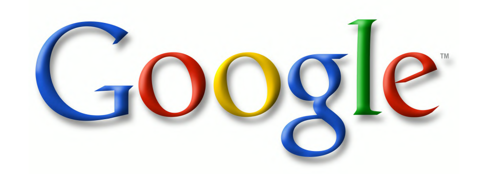






# СРАВНИТЕЛЬНО-КРИТИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ

## НАДЪ СЛОЕВЫМЪ СОСТАВОМЪ

# НАРОДНАГО РУССКАГО ЭПОСА.

**Ореста Миллера.**

....Da die geschichte das zu thun hat, dass sie das leben der völcker und ihre lebendige thaten erzähle, so leuchtet es ein, wie sehr die traditionen auch ihr angehören.... Nicht zu sehen, dass es noch eine wahrheit gibt, ausser den urkunden, diplomen und chroniken, das ist höchst unkritisch... Die geschichte... muss aufhören eine dienerin zu sein der politik oder der jurisprudenz oder jeder andern wissenschaft. Und dass wir endlich diesen vortheil erlangen, kann durch die kenntniss der volkssagen erleichtert und mit der zeit gewonnen werden....

Jacob Grimm, Ueber Sagen (Kleinere Schriften, I, 402—403).

....Man lasse fahren den wahn, sie seien an irgend einer begünstigten stelle aufgewachsen, und von da erst auf äusserlich nachweisbarem weg oder pfad in die ferne getragen worden....

Jacob Grimm, vorrede zum Pentamerone von G. Basile, IX.

Justice aura été faite à tout le monde, excepté au peuple. D'où vient cet oubli? pourquoi ne s'est on pas mis en peine de recueillir les matériaux de son histoire? c'est qu'on ne se doutait probablement pas qu'il en ait une. Il est vrai, qu'elle n'est guères enregistrée ni dans les cartulaires, ni dans les chroniques; elle existe pourtant; elle est consignée dans les poésies populaires et traditionnelles....

Villemarqué, Barzaz—Breiz, préambule de la 1-re éd.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
1869.

# ИЛЬЯ МУРОМЕЦЪ

## И

# БОГАТЫРСТВО КІЕВСКОЕ.

(Fedorovitch)
Orest Miller

Ореста Миллера.

Мы Русскіе не рыцари, мы—самъ народъ, мы—plebs.

Ив. Аксаковъ (изъ статьи «Дня» по поводу отвѣта г. Ригера на письмо А. Ѳ. Гильфердинга).

Народныя преданія съ ихъ миѳическимъ характеромъ для историка драгоцѣнный источникъ, и каждый историкъ, не принимающій въ разсчетъ народныхъ преданій при своемъ трудѣ, самъ отнимаетъ у себя средство дать душу своему произведенію, освѣтить его тѣмъ свѣтомъ, при которомъ совершались описываемыя имъ древнія событія. Разгадайте миѳическія преданія о Владимірѣ красномъ солнышкѣ кіевскомъ и его богатыряхъ, и кіевскій періодъ русской исторіи заговоритъ передъ вами.

Ив. Бѣляевъ, Сказанія о нач. Москвы (Р. Вѣстникъ 1868 г. Мартъ, стр. 5 и 6).

С. ПЕТЕРБУРГЪ.
1869.

Въ типографіи Н. Н. Михайлова, (Литейная, № 42).

## ПОСВЯЩАЮ ПАМЯТИ

**моего дорогого дяди и воспитателя**

# Ивана Петровича Миллера.

Хотя у насъ и не принято посвящать ученые труды своимъ близкимъ, а тѣмъ менѣе памяти ихъ, я рѣшаюсь такъ поступить, повинуясь влеченію чувства, руководимаго благодарнымъ сознаніемъ, что самымъ зачиномъ этого труда обязанъ я главнымъ образомъ тому, чьей памяти онъ посвящается. Не кто другой какъ покойный мой дядя положилъ на рабочій мой столъ, вскорѣ по ихъ появленіи въ свѣтъ, первые выпуски пѣсень Кирѣевскаго. Онъ своимъ вѣрнымъ и, при нѣмецкомъ имени, чисто русскимъ чутьемъ гораздо ранѣе меня самого понялъ, какой драгоцѣнный кладъ сохранился въ этихъ народныхъ пѣсняхъ. Я-же—сознаюсь теперь откровенно — въ продолженіи цѣлыхъ мѣсяцевъ даже не раскрывалъ этихъ завѣтныхъ книжекъ, продолжая усердно учиться „гражданству вселенной“ у Шиллера или отвлеченно наслаждаться Шекспиромъ и вовсе не воображая, что вскорѣ придется отъ нихъ перейти къ „безграматнымъ Ильямъ Муромцамъ.“— Но не прошло и года, какъ я совсѣмъ углубился въ сборникъ Кирѣевскаго, а вслѣдъ за тѣмъ и въ первую часть сборника г. Рыбникова, и почувствовалъ, что предо мной открывается цѣлый, совершенно для меня новый и мною не чаянный міръ.

Нѣсколько позже попались мнѣ и первые листы „Дня“ И. С. Аксакова, и, уже подготовленный народными пѣснями, я

почуялъ и въ этихъ листахъ что-то свѣжее, новое и такое, съ чѣмъ, казалось, давно бы надобно согласиться. Чтеніемъ этихъ листовъ нерѣдко наслаждался со мною и мой покойный дядя, и то вліяніе, какое производили они на него служили для меня убѣдительнымъ доказательствомъ, какою могучею силою притяженія, помимо всякой насильственной преднамѣренности, обладаетъ народность русская надъ тѣми изъ нашихъ инородцевъ, которые воспитались подъ ея вліяніемъ. Если самъ я, воспитанный совершенно по русски, оставался до той поры незатронутымъ чувствомъ русской народности, то только вслѣдствіе того односторонняго направленія въ ходѣ развитія нашей образованности, которое и до сихъ поръ еще забиваетъ въ узкій молчалинскій уголъ и многихъ природныхъ Русскихъ. Какъ бы то ни было, но то могучее чувство народности, которое вдругъ меня охватило и въ силу котораго я съ тѣхъ поръ посвятилъ свою жизнь изученью народности и родной старины,—это чувство сблизило меня короче и задушевнѣе прежняго съ моимъ дорогимъ.... покойникомъ.

Ему не было суждено дождаться окончанья труда, явившагося плодомъ совершенно новыхъ для меня занятій, а потому и плодомъ, созрѣвшимъ медленно. Отдавая его теперь на судъ общества, но далеко не сознавая въ немъ той степени зрѣлости, какая-бъ была желательна, я буду лишенъ и того утѣшенія, которое бы доставила мнѣ живая радость при самомъ уже видѣ этой книги — того, чьимъ подаркомъ она подготовлена и чьего благосклоннаго голоса мнѣ уже теперь не услышать....

Ноября 7-го

1869.

Петербургъ.

ОРЕСТЪ МИЛЛЕРЪ.

# ПРЕДИСЛОВІЕ.

Книга, предлагаемая теперь вниманію общества, писалась долго. Первая ея половина, написанная уже довольно давно, впослѣдствіи подверглась различнымъ передѣлкамъ и вставкамъ. Начата была книга еще при первомъ увлекающемъ знакомствѣ съ народнымъ эпосомъ, съ цѣлью остановиться собственно на любимомъ народомъ богатырѣ, Ильѣ Муромцѣ, и написалась бы, вѣроятно, относительно скоро подъ вліяніемъ цѣльнаго и единаго впечатлѣнія, но тѣ, ссылавшіяся на неподготовленность научной почвы, недоумѣнія и сомнѣнія, которыя раздавались съ одной стороны, съ другой-же — указанія необходимости расширить кругъ, ввести въ него весь вообще народный эпосъ, только въ полномъ своемъ объемѣ достойный стать предметомъ труда, предпринимаемаго для исканья ученой степени, — все это заставило меня измѣнить первоначальный мой замыселъ. Уступая убѣдительности только что изложенныхъ доводовъ, я долженъ былъ и расширить, и вмѣстѣ съ тѣмъ углубить свой трудъ. Мало по малу я убѣдился, что необходимо обстоятельное сличеніе всѣхъ доселѣ изданныхъ пересказовъ каждой отдѣльной былины, а вмѣстѣ съ тѣмъ и возможно полная критическая провѣрка всѣхъ сходствъ былевого нашего эпоса съ эпосомъ другихъ народовъ. На бѣду-же выходило такъ, что именно тѣ былины, которыя, по первоначальному моему замыслу, затронуты были-бы только слегка, какъ не касающіяся Ильи Муромца, а по новому, расширенному замыслу, должны были разсматриваться съ тою-же подробностью, какъ и остальныя,—именно онѣ-то и представляли весьма значительное количество пересказовъ, а также и эпическихъ сходствъ

со сказаніями различныхъ народовъ. Вотъ почему глава объ этихъ былинахъ разрослась страшно и является какою-то длинною вставкою промежъ главъ, въ которыхъ всетаки главнымъ образомъ разбираются, въ слоевомъ ихъ образованіи, сказанія именно про первенствующаго между богатырями, Илью. Считаю нужнымъ предупредить объ этомъ—съ тѣмъ, чтобы тѣ изъ читателей, которые приступятъ къ моей книгѣ не съ совершенно уже спеціальною цѣлью, могли, для большей цѣльности впечатлѣнія, пропустить всю огромную VI-ую главу (Владиміръ князь и женитьба его. Богатырская дружина владимірова). Съ пропусками-же, отчасти, могутъ быть читаемы и не менѣе большія главы VII и VIII. Все же остальное, начиная съ половины VIII-й главы и до конца, писано было въ теченіи послѣдняго года (или не многимъ долѣе) по одному, уже совершенно установившемуся замыслу, а потому и отличается, смѣю думать, большею цѣлостностью и ровностью.

Важною причиною долговременной моей работы надъ этою книгою было уже и то, что, приступивъ къ народному русскому эпосу, я не былъ къ тому подготовленъ даже и необходимымъ прежде всего—знаньемъ славянскихъ нарѣчій. Совершенно другія занятія, которымъ я предавался прежде (книга моя „о нравственной стихіи въ поэзіи" была построена такимъ образомъ, что въ ней не затрогивалась ни одна изъ славянскихъ литературъ!) и тотъ отвлеченно-нравственный и художественный космополитизмъ, котораго я держался, довели меня до того, что я считалъ непозволительнымъ урывать время отъ чтенія первостепенныхъ западно-европейскихъ поэтовъ, чтобы посвятить его побѣжденію внѣшнихъ трудностей языка—для ознакомленья съ какими нибудь бѣдными литературами народовъ, обреченныхъ, по тогдашнему моему пониманію, на вѣчное заимствованье у „Европы". Конечно, я не могъ не знать и тогда уже, что богатая народная словесность Славянъ давно обратила на себя вниманье и западно-европейскихъ ученыхъ. Но занятья народной словесностью представлялись мнѣ тогда до того отрѣшёнными отъ всякихъ живыхъ вопросовъ, что не было ни малѣйшей охоты отказываться отъ Данта или Мольера для какихъ нибудь „ископаемыхъ" пѣсень простонародья. Когда же пришлось отдаться со всѣмъ усердіемъ этой „безграматной" старинѣ,—тогда снова пришлось усѣсться чуть не за азбуку—за давно отстраненное и позабытое чтеніе на сла-

вянскихъ нарѣчіяхъ. Но не сдѣлать этого, выступить съ трудомъ по народному русскому эпосу со ссылками на нѣмецкіе переводы славянскихъ пѣсень—казалось мнѣ уже слишкомъ неуважительнымъ обращеніемъ какъ со славянской народностью, такъ и съ наукой.

Кромѣ усвоенія себѣ языка славянскихъ народныхъ пѣсень, пришлось, ради расширяемаго круга сличеній, усвоивать и языкъ средневѣковыхъ германскихъ и французскихъ эпическихъ памятниковъ. Но кругъ сравненія все расширялся—и тутъ пришлось наконецъ обращаться и къ переводамъ, Это обстоятельство, сознаюсь откровенно, много мѣшаетъ основательности и прочности выводовъ моего сравнительнаго труда. Рѣшеніе многихъ запутанныхъ и сложныхъ вопросовъ по народному эпосу возможно лишь для ученаго, — или, вѣрнѣе сказать, для совмѣстныхъ и дружныхъ усилій многихъ ученыхъ, владѣющихъ, въ равной мѣрѣ, языкомъ Старой Эдды, Авесты и Вѣдъ—съ одной стороны, а съ другой—даже различными языками не арійскаго корня, такъ какъ эпосъ народный заставляетъ расширять кругъ сравненій — по лицу всей земли....

Мнѣ остается только выразить мою искреннюю признательность тѣмъ лицамъ, которыя сообщали мнѣ ненапечатанныя еще данныя или-же снабжали меня различными указаніями: Е. В. Барсову, В. В. Бауеру, К. Н. Бестужеву-Рюмину, А. Ѳ. Бычкову, Я. К. Гроту, Г. С. Дестунису, А. А. Котляревскому, П. И. Лерху, Л. Н. Майкову, г. Прыжову, П. Н. Рыбникову, А. А. Шифнеру, студ. ист, фил. фак. г. Экземплярскому и др.

Особенно-же пріятно мнѣ выразить мою благодарность за прямое, непосредственное участіе въ моемъ трудѣ, студенту того же факультета П. И. Аландскому, а также и студ. дух. ак. С. И. Аландскому, принявшимъ на себя тяжелое и неблагодарное, но чрезвычайно полезное дѣло составленія указателя.





## ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

# ВВЕДЕНІЕ:

## ПРОИЗВЕДЕНІЯ НАРОДНАГО ЭПОСА, КАКЪ ПРЕДМЕТЪ НАУКИ..

### ЗНАЧЕНІЕ СРАВНИТЕЛЬНАГО ПРІЕМА.

> Il y a dans la poésie populaire un principe de durée, qui semble se jouer des efforts du temps.
>
> Villemarqué, Barzaz—Breiz.

Было время, да и не такъ давно, когда даровитый критикъ, имѣвшій у насъ такое рѣшительное вліяніе, былъ въ состояніи, какъ какую-нибудь, даже не требующую доказательствъ, истину выставить мнѣніе, что «одно небольшое стихотвореніе настоящаго поэта-художника выше всѣхъ произведеній народной поэзіи, вмѣстѣ взятыхъ.»[1]—Впрочемъ, мнѣніе это нисколько не помѣшало Бѣлинскому въ той же самой статьѣ высказать много мѣткихъ, и, какъ все у него, живыхъ и блестящихъ замѣтокъ о нашемъ народномъ эпосѣ. Но то было въ сороковыхъ годахъ, когда изученье народной словесности находилось у насъ еще въ совершенномъ младенчествѣ, и нѣтъ никакого сомнѣнія, что еслибъ Бѣлинскій дожилъ до нашей поры, то онъ бы взглянулъ на народный эпосъ и сочувственнѣе, и глубже, причемъ, по всей вѣроятности, со своею обычною честностью и откровенностью самъ бы сознался въ перемѣнѣ своего взгляда. Только односторонній умъ или же самолюбіе самой низкой пробы не позволяетъ сознаваться въ своихъ ошибкахъ, предписываетъ упорно стоять *на своемъ*, хотя бы внутренно оно уже признавалось и нами самими ложнымъ, или же, *сойдя* съ прежней точки, нагло увѣрять и себя, и другихъ, будто и прежде мы на ней не стояли. Во всякомъ случаѣ Бѣлинскій въ настоящее время, конечно, не повторилъ бы своего стараго отзыва о народной поэзіи, отзыва, въ настоящее время уже несовмѣстнаго ни съ однимъ изъ существующихъ у насъ направленій. Однако же путность народной словесности и занятій ею признана ли уже въ той

[1] Полное Собраніе Сочиненій Бѣлинскаго, V, стр. 32—33.

мѣрѣ, что бы не показалась странною цѣлая книга о какихъ-то небывалыхъ богатыряхъ, какъ предметѣ *историческаго изученія* — ибо на это послѣднее прямо указываютъ выставленные выше эпиграфы. Если же они свидѣтельствуютъ о признанности именно такого рода воззрѣній на эпосъ народный какъ въ наукѣ западной, такъ и въ нашихъ ученыхъ трудахъ направленія, называемаго «славянофильскимъ»,—то и до сихъ поръ еще оказывается возможнымъ въ нашемъ ученомъ мірѣ отрицаніе всякой связи между сказывающимися въ исторіи образовательными началами и «безграмотнымъ» Ильей Муромцемъ.

И въ самомъ дѣлѣ — прежде всего: гдѣ найти его въ цѣлости, какъ связать изъ стольких разрозненныхъ пѣсень—этого *Илью Муромца*? Какъ и когда возникъ въ воображеніи народа его первоначальный образъ, гдѣ въ немъ *подлинно-стародавнее*, гдѣ позднѣйшее, какъ различить это, когда наши пѣсни стали записываться не ранѣе XVIII ст.? И не представляютъ ли почти всѣ онѣ цѣлаго множества разнорѣчій?

Но вѣдь, собственно говоря, чѣмъ болѣе собрано разнорѣчій, тѣмъ для науки выгоднѣе. Надобно только желать добросовѣстнаго ихъ записыванія—записыванія даже того, что представляется какъ будто бы искаженнымъ. Въ самомъ складѣ этихъ искаженій можетъ проявляться многое, не лишенное своего рода важности для «психологіи народовъ». А иной разъ, посреди этихъ, часто лишь кажущихся искаженій, могутъ, по мѣрѣ накопленія разнорѣчій, оказываться и выясняться драгоцѣнныя черты старины. Не дай Богъ только умничанья со стороны собирателей, не дай Богъ имъ воображать себя одаренными такимъ вѣрнымъ инстинктомъ въ распознаваніи подлиннаго и испорченнаго, какой приписываютъ себѣ иные врачи въ дѣлѣ опредѣленья болѣзни. Своего рода распознавательный тактъ, пріобрѣтенный долгимъ опытомъ, дѣйствительно былъ у Я. Гримма и Вука Караджича, но онъ дается не такъ-то легко, и дается не всякому. Пусть же лучше поболѣе собираютъ и съ точностію записываютъ по различнымъ мѣстностямъ.

Издатель какого нибудь древняго памятника письменности радъ радехонекъ, если ему удастся найти большое количество списковъ. Не надѣется ли онъ, при большомъ количествѣ ихъ, удачнѣе приблизиться къ подлинному, первоначальному смыслу?

Извѣстно, что и съ появленіемъ письменности, дающей возможность въ точности оберегать личную мысль отъ постороннихъ прибавокъ и искаженій, еще не съ разу является и стараніе пользоваться такою возможностью. То отсутствіе *личнаго творчества*, какимъ отличается устная словесность народа, въ продолженіи долгаго времени до извѣстной степени продолжаетъ проявляться и въ самой письменности. И помощію переписыванія усвоивая чужую мысль, съ нею обращаются еще, такъ сказать, на основаніи общности умственнаго имущества. Тутъ кое что убавить, тамъ напротивъ того прибавить кое что отъ себя, сокращать и распространять — одинаково обычно. Вотъ поэтому-то и важно теперь имѣть подъ руками нѣсколько списковъ, и рѣшительно неудобно, ежели какое либо произведеніе уцѣлѣло всего въ одномъ спискѣ. Кто можетъ поручиться, что этотъ единственный не подвергся со

стороны переписчика всяческимъ сокращеніямъ и распространеніямъ?—Когда ихъ нѣсколько, то неуцѣлѣвшее въ одномъ можетъ оказаться въ другихъ. Чѣмъ ихъ больше, тѣмъ несомнѣннѣе становится подлинность всего того, что во всѣхъ спискахъ оказывается одинаковымъ или близко сходнымъ. А затѣмъ, чѣмъ точнѣе подобною одинаковостью опредѣлится основная сущность, тѣмъ легче убѣдиться въ подлинности многаго, съ этою сущностью вяжущагося, но уцѣлѣвшаго только въ нѣсколькихъ или даже въ одномъ спискѣ, а также и тѣмъ яснѣе обозначатся тѣ произвольныя искаженія и наросты, которые обязаны своимъ существованіемъ какому нибудь переписчику, а отъ него могли перейти и къ нѣкоторымъ другимъ.

Но ежели такъ оно издавна уже дѣлается при изученіи древнихъ памятниковъ письменности, то почему бы такому же способу не оказаться пригоднымъ и при изученіи памятниковъ словесности устной?—Тамъ *списки* со многими разнорѣчіями, здѣсь—*пересказы* со множествомъ ихъ; но и тутъ и тамъ одинаковымъ образомъ то, что принято называть *варіантами*. Важная разница, конечно, въ томъ, что списки могутъ принадлежать различнымъ эпохамъ (иногда они весьма древни, близки, по времени, къ подлиннику); пересказы же стали записываться только во время, ближайшее къ намъ, у насъ на Руси не ранѣе XVIII ст.—Но вѣдь оказывалось же не разъ, что списки, по времени довольно близкіе къ подлиннику, являлись болѣе искаженными, чѣмъ даже несравненно болѣе поздніе, но почему либо лучше сохранившіе черты старины. Такъ и въ пересказахъ, записанныхъ даже въ наше время, могутъ сохраняться черты чрезвычайно древнія, и дѣйствительно многіе пересказы у Кирѣевскаго и Рыбникова должны быть въ этомъ отношеніи предпочитаемы нѣкоторымъ пересказамъ у Кирши Данилова, хотя эти послѣдніе и записаны уже въ XVIII ст.; а въ свою очередь всѣ, даже самыя плохія изъ пѣсень Кирши несравненно древнѣе и подлиннѣе, чѣмъ единственная, относящаяся къ XVII столѣтію—не былина, а книжная передѣлка былины, извѣстная подъ именемъ «Повѣсти о семи богатыряхъ». Но пѣсни сохранялись въ теченіи долгихъ вѣковъ просто *памятью*, а на память, повидимому, нельзя положиться въ той мѣрѣ, какъ на закрѣпляющую силу письма. Зато вѣдь пѣсня сохранялась не тѣмъ или другимъ пѣвцомъ въ одиночку;—какъ пѣлась она передъ многими, такъ и сберегалась общимъ трудомъ, участіемъ *общей памяти*. Напротивъ того *въ уголку, про себя* совершали свои труды переписчики, некому было остановить, надоумить: смотри, вотъ ты тутъ пропустилъ, тамъ не понялъ и переписалъ невѣрно, а тамъ въ торопяхъ описался. Съ другой стороны также не кому было быть, тутъ же, въ данный мигъ и на данномъ мѣстѣ, провѣрщикомъ и судьей произвольныхъ прибавокъ и вставокъ: вписывай себѣ въ тихомолку, что хочешь—все терпитъ хартія! Въ дѣлѣ пересказыванія произведеній народной словесности, совершенно на оборотъ, преобладала гласность: дѣло совершалось вѣдь дверемъ отворенныхъ — во всеуслышанье. Попробуй пѣвецъ народный дать слишкомъ большой просторъ своимъ собственнымъ присочиненіямъ,—и они сразу прозвучали бы вопіющей разноголосицей для народнаго слуха. Только исподоволь, мало по малу, могло проникать въ постоянно провѣряемые общимъ народнымъ судомъ пе-

ресказн пѣсень то *измѣняющее начало*, которое дѣлаетъ ихъ *варіантами*. Да и откуда взять какому нибудь пѣвцу *личныя* краски и отпечатокъ личнаго нрава и вкуса, когда все это возможно развѣ въ самой незначительной степени—при томъ почти одинаковомъ умственномъ уровнѣ, какой господствуетъ у народа, нетронутаго образованіемъ? Какъ ни ограниченна та доля послѣдняго, какую можно предположить въ какомъ нибудь инокѣ переписчикѣ, все же она давала возможность, по поводу какого нибудь переписываемаго имъ мѣста, вспомнить о другомъ изъ какой нибудь другой книги и, не задумавшись, вставить его въ свой списокъ. И такія вставки нерѣдко дѣлались безъ оговорокъ, при томъ недостаткѣ понятія о писательской личности, при той, какъ я уже выразился, общности умственнаго имущества, какая еще удерживалась долгое время и въ письменности. Правда, своего рода вставки и заимствованія со стороны происходили нерѣдко и въ народномъ эпосѣ, но то были заимствованія и вставки изъ общаго же добра народнаго, — добра, болѣе или менѣе однороднаго. Если же иной разъ и заходила какимъ нибудь образомъ въ эпосъ та или другая черта изъ той или другой книги, то она сейчасъ же, такъ сказать, распускалась въ преобладающей общенародной стихіи. Въ устно-народной словесности общность умственнаго имущества, была, такъ сказать, еще единственной формой владѣнія, въ древней же письменности уже заводится *личная собственность*, но все еще удерживается привычка пользоваться и не своимъ. Свое и чужое тутъ не то чтобы нераздѣльно въ общинномъ смыслѣ, а оно тутъ какъ бы *коммунистически* смѣшивается. При этомъ положеніе изслѣдователя не только не легче, но скорѣе труднѣе, потому что межи между личнымъ и общимъ нерѣдко сняты, а надобно въ данномъ памятникѣ возстановить произведеніе, принадлежащее уже — *лицу*. Напротивъ изслѣдователь народной словесности исключительно имѣетъ дѣло съ тѣмъ, что создано *общими силами*, и общими же силами, а потому и вѣрнѣе, хранилось въ народѣ. Впрочемъ и для нѣкоторыхъ произведеній народной словесности настаетъ наконецъ пора, когда созданное первоначально общими силами хранится уже только извѣстнымъ разрядомъ людей въ народѣ. Это происходитъ преимущественно съ произведеніями поэзіи былевой. Извѣстно, что былины въ настоящее время поются далеко не вездѣ, да и въ тѣхъ-то мѣстностяхъ, гдѣ онѣ уцѣлѣли, ихъ приходится долго *отыскивать*, какъ это видно изъ любопытной замѣтки г. Рыбникова, помѣщенной въ концѣ III части его прекраснаго сборника. Изъ этого ясно, что былины уже вышли изъ общаго употребленія, и это не въ томъ только смыслѣ, что онѣ уже не всѣми *поются*, но и въ томъ, что не всѣми онѣ и *слушаются*. Самъ по себѣ переходъ ихъ въ завѣдываніе извѣстнаго рода людей, по преимуществу одаренныхъ памятью, сдѣлавшійся неизбѣжнымъ по мѣрѣ накопленія былинъ и сшиванія ихъ эпически-повременною нитью въ цѣлые большіе круги,—такое появленье особыхъ пѣвцовъ—сохранителей эпоса по призванію, совершившееся, по всей вѣроятности, уже въ издавнее время (и омировскій эпосъ уже сберегался такими пѣвцами *сшивателями* — рапсодами),—такое явленье, конечно, могло лишь способствовать лучшему и точнѣйшему сбереженію былевыхъ пѣсень, но подъ тѣмъ непремѣннымъ

условіемъ, чтобы такіе пѣвцы вели свое дѣло съобща, тѣсно сплоченные въ дружныя, неразрывныя общины, а съ другой стороны, чтобы ихъ постоянными слушателями оставались, по прежнему, всѣ въ народѣ. Въ настоящее же время мы находимъ уже пѣвцовъ былинъ живущими врознь, внѣ всякой пѣвческой братчины [2]), — а вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ и слушаютъ уже далеко не часто, и далеко не всѣ, а потому и видимо уже ослабѣвшею представляется въ настоящее время провѣрка, такъ сказать, послѣднихъ изданій народнаго эпоса *всенароднымъ сознаніемъ*. Это явленіе свидѣтельствуетъ уже, конечно, о томъ, что эпическая пора для народа проходитъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ нельзя не признать, что эпосъ, при такомъ порядкѣ вещей, уже легко можетъ портиться.

Было бы очень важно рѣшить, какъ давно обозначались первые признаки предстоящаго впереди окончательнаго изчезновенья этой поры эпической, но прямыхъ, положительныхъ указаній на то не имѣется, такъ какъ на такія явленія только недавно обратили у насъ вниманіе. Но сличеніе сборника Кирши Данилова, составившагося уже въ XVIII в., съ современными сборниками Кирѣевскаго и Рыбникова убѣждаетъ въ томъ, что начало упадка эпическаго настроенія не можетъ быть относимо къ далекой отъ насъ порѣ: между этими сборниками оказывается еще такъ много общаго, пересказы, записанные Киршею въ Пермскомъ краѣ, въ сущности еще такъ близки къ пересказамъ, записаннымъ въ Олонецкомъ краѣ г. Рыбниковымъ или записаннымъ въ разныхъ концахъ Россіи и вошедшимъ въ сборникъ Кирѣевскаго, что по этому мы прямо можемъ судить о томъ, какъ еще медленно, къ счастью, подвергаются порчѣ и подновленіямъ наши былины.

Нельзя, конечно, не замѣтить съ другой стороны, что каждая изъ мѣстностей, гдѣ записываются былины, до нѣкоторой степени налагаетъ на нихъ свой особый мѣстный оттѣнокъ. По замѣчанію г. Рыбникова, даже между былинами, записанными имъ въ одномъ и томъ-же, правда весьма обширномъ Олонецкомъ краѣ, замѣчаются извѣстныя особенности въ строѣ и складѣ, до извѣстной степени зависящія даже отъ личнаго образа жизни, а отчасти и отъ личнаго нрава того или другого пѣвца. Я полагаю однако же, что многое, представляющееся нашему многоуважаемому собирателю отпечаткомъ *личности* знакомыхъ ему пѣвцовъ скорѣе можетъ быть признано отпечаткомъ того *учителя*, у котораго тотъ или другой научился былинамъ. Весьма замѣчательно, что до сихъ поръ еще памятны въ Олонецкомъ краѣ нѣкоторыя имена подобныхъ знаменитыхъ *учителей*, прямо указывающія на то, что недавно еще пѣснопѣніе былевое считалось весьма существеннымъ, важнымъ дѣломъ. Если ему *учились*, то должны были существовать въ немъ извѣстные, установившіеся пріемы, а нѣкоторыя различія, оказавшіяся между

[1]) На существованіе древнихъ пѣвческихъ братчинъ прямо указывается слѣдующимъ свидѣтельствомъ о слѣпцахъ Стоглава: «ходятъ по дальнимъ странамъ, ватагами многими, по шестидесятъ и по семидесятъ человѣкъ.» (См. стр. 35 книги о былинахъ Л. Н. Майкова. Ср. также въ статьѣ г. Колачова объ артеляхъ стр. 14—въ VI вып. Этногр. Сб.) Указаніе на старинныя конгрегаціи слѣпцовъ-пѣвцовъ въ Сициліи можно найти въ статьѣ В. И. Ламанскаго о Національностяхъ Итальянской и Славянской, стр. 80—въ От. Зап. 1865 г. (Одни члены конгрегаціи складывали пѣсни, другіе ихъ пересказывали). До нѣкоторой степени слѣды общества сохранились еще и въ нашихъ теперешнихъ калѣкахъ-слѣпцахъ, распѣвающихъ стихи духовные.

учителями, могли быть уже унаслѣдованы и ими самими отъ старины, отъ особыхъ, давно уже обозначившихся *разрядовъ былевыхъ пѣвцовъ* или — какъ бы только не удивило это выраженіе — *школъ* ихъ. Но внимательное сличенье былинъ, записанныхъ отъ различныхъ пѣвцовъ олонецкихъ, невольно наводитъ на мысль о существованіи тамъ въ прежнее время чего то — въ родѣ отдѣльныхъ *школъ*, изъ которыхъ и выходили различные былевые *изводы*. — Кромѣ же тѣхъ разнорѣчій, которыя остаются въ теперешнемъ составѣ эпоса слѣдами такихъ старинныхъ изводовъ, существуютъ, можетъ быть, и нѣкоторыя незначительныя различія, зависящія отъ *вкуса* пѣвцовъ теперешнихъ, но въ этомъ случаѣ дѣло почти всегда ограничивается только выборомъ изъ готоваго эпическаго запаса извѣстныхъ любимыхъ чертъ, а не произвольнымъ сочиненіемъ новаго, небывалаго. При сличеніи пересказовъ, надо отчасти имѣть въ виду и эти личные вкусы пѣвцовъ, и оно особенно важно въ томъ отношеніи, что сохранившееся у нихъ помимо такого ихъ вкуса, или даже наперекоръ ему, тѣмъ самымъ уже прямо себя выдаетъ за обязательное для всѣхъ пѣвцовъ, всѣми одинаково унаслѣдованное [3]). Цѣлью пересказовъ должно быть во первыхъ именно опредѣленье того, что такимъ образомъ обязательно проходитъ по всюду, т. е. по возможности точное установленье основы сказанія. Вслѣдъ за тѣмъ такою, уже полученною основою могутъ быть провѣряемы тѣ черты, которыя попадаются лишь кое гдѣ: если онѣ совершенно въ духѣ общей основы, служатъ вполнѣ подходящими къ ней подробностями, то онѣ могутъ смѣло признаваться подлинными; въ противномъ же случаѣ слѣдуетъ относиться къ нимъ недовѣрчиво— пока какія нибудь новыя эпическія открытія не прольютъ на нихъ свѣта. При оцѣнкѣ такихъ одиноко стоящихъ чертъ опять очень важно обращать вниманіе на относительную степень умѣлости и, такъ сказать, *наслышанности*, а также и на личный вкусъ того пѣвца, въ пересказѣ котораго онѣ встрѣтились, кромѣ же того и на самое состояніе строя пѣсни,—на то, въ какой мѣрѣ сохранился въ ней стихъ, устойчивость коего служитъ своего рода охраною для устойчивости содержанія. Собственно такъ называемыя *былины*, т. е. былевыя пѣсни съ болѣе или менѣе стройно выдержаннымъ стихомъ, имѣютъ въ этомъ отношеніи болѣе вѣса, чѣмъ *побывальщины*, какъ ихъ называютъ, то есть на половину уже прозаическія сказанія, въ которыхъ стихъ замѣтенъ только мѣстами; а еще ниже должны быть поставлены *сказки*, образовавшіяся изъ побывальщинъ черезъ окончательное разложенье стиха, а также и подновленье, частію же опошленье и самаго содержанія. Иной разъ, впрочемъ случайно, т. е. по какой нибудь непонятной для насъ причинѣ, не только въ побывальщинѣ, но и въ сказкѣ могутъ оказываться уцѣлѣвшими такія черты, которыхъ уже нѣтъ въ соотвѣтствующихъ былинахъ, и которыми самымъ подходящимъ образомъ пополняются въ этихъ послѣднихъ чрезъ то самое обнаруживающіеся пробѣлы. Иногда же для объясненія какой нибудь одиноко стоящей, неясной, или же очевидно не полной черты, за неимѣніемъ ничего объясняющаго или пополняющаго ни въ побывальщинахъ,

[3]) Ср. въ моей замѣткѣ къ IV ч. Сборн. пѣсень П. Н. Рыбникова стр. XXXVII.

ни въ былевыхъ сказкахъ, приходится обращаться къ другимъ отдѣламъ народной словесности,—и часто неожиданный свѣтъ бросаетъ въ этомъ отношеніи какая нибудь бытовая или обрядовая пѣсня, заговоръ, или даже загадка, пословица, а иной разъ и духовный стихъ, въ которомъ, не смотря на вліяніе книжное, основа по большей части народная.

Внимательно сличить въ такомъ смыслѣ между собою различные пересказы былинъ и провѣрить ихъ связью съ другими отраслями народной словесности — было первою моею задачею въ этомъ трудѣ, тѣмъ болѣе для меня важною, что до сихъ поръ еще въ полномъ смыслѣ никто за нее не брался. Вполнѣ чувствую, что мнѣ не удалось рѣшить ее, какъ бы слѣдовало—можетъ быть и потому, что, взявшись за такую задачу, я дѣлалъ надъ собою усиліе — отъ природы нечувствуя никакого расположенія къ неизбѣжному при подобной задачѣ копотливому разысканію частностей, а иной разъ и мелочей. Многое, безъ сомнѣнія, упущено мною изъ виду, но по крайней мѣрѣ проложена, смѣю думать, одна изъ дорожекъ къ тому, чтобы поставить словесность народную на то положительное основаніе, которое, у нея обыкновенно оспариваютъ. При сличеніи пересказовъ я обыкновенно начиналъ со сборника Кирши Данилова — уступая въ этомъ случаѣ предубѣжденью, установившемуся у насъ въ его пользу. Самъ же я того мнѣнія, что составленіе этого сборника ранѣе всѣхъ другихъ — въ XVIII ст., теряетъ большую долю своей цѣны вслѣдствіе того, что мы хорошенько не знаемъ, какъ онъ составлялся. Если намъ извѣстна мѣстность, къ которой онъ относится и имя его составителя,—то гдѣ же точныя и опредѣленныя свѣдѣнія о личности этого послѣдняго, объ его отношеніяхъ къ пѣснямъ, о томъ, въ какой мѣрѣ внимательно, осторожно и честно (т. е. безпримѣсно) онъ ихъ записывалъ. Извѣстно, что ни личность, ни образъ жизни, ни возрастъ, ни полъ пѣвцовъ,—имъ не обозначены, какъ не существуетъ у него и точнѣйшаго обозначенія мѣстностей. Все это говорится, конечно, не въ укоръ Киршѣ Данилову, отъ котораго въ XVIII в. нельзя было и требовать тѣхъ пріемовъ при собираніи пѣсенъ народныхъ, какіе обязательны для современныхъ намъ собирателей, просвѣщенныхъ наукою старины и народности. Говорю это лишь къ тому, чтобы показать, что составленіе сборника пѣсенъ въ XVIII в., само по себѣ, безъ дальнѣйшихъ соображеній, не служитъ еще ручательствомъ преимущества этого сборника передъ новѣйшими. Съ моей точки зрѣнія, по крайней мѣрѣ, скорѣе приходилось провѣрять Киршу Кирѣевскимъ съ Рыбниковымъ, чѣмъ на оборотъ, хотя провѣрка и оказалась въ большей части случаевъ въ пользу Кирши Данилова—т .е. доказала вѣрность записыванья имъ пѣсень,но далеко не всегда ихъ преимущественныя достоинства и старину. Убѣдившись въ пригодности сборника Кирши, я могъ поставить его исходною точкою—для успокоенія тѣхъ, кто ему особенно довѣряетъ. Вслѣдъ за нимъ положилъ я себѣ обращаться къ пересказамъ Кирѣевскаго, сборникъ котораго, составлявшійся въ продолженіи долгихъ лѣтъ и въ разныхъ краяхъ Россіи, также былъ принятъ, сколько мнѣ извѣстно, съ полнѣйшимъ довѣріемъ. Позже другихъ занялся собираньемъ былинъ П. Н. Рыбниковъ и въ короткое время собралъ въ од-

номъ Олонецкомъ краѣ такое ихъ множество, что эти внезапно открывшіяся сокровища невольно поразили всѣхъ, иныхъ же могли привести и въ недоумѣніе.... Общая участь всѣхъ внезапныхъ открытій та, что они, какъ напримѣръ, Слово о Полку Игоревѣ и Краледворская Рукопись, рядомъ съ восторженными поклонниками вызывали и сомнѣвающихся, а потомъ уже наука, обезоруживъ послѣднихъ, приводила восторги первыхъ къ положительной, опредѣленной основѣ.... Такъ оно станется, смѣю думать, и съ открытіями г. Рыбникова, пересказы котораго старался я разбирать въ настоящемъ моемъ трудѣ послѣ пересказовъ Кирѣевскаго, сообразно съ самымъ временемъ собиранія, хотя небывалые до тѣхъ поръ не только у насъ, но и въ другихъ странахъ, добросовѣстные собирательскіе пріемы г. Рыбникова дѣлали сборникъ его по преимуществу облегчающимъ трудъ сличенія пересказовъ. [4]) Тѣ точныя подробности, какія сообщаетъ онъ о мѣстѣ, гдѣ записана пѣсня, о личности, возрастѣ, полѣ и образѣ жизни пѣвца не рѣдко могутъ служить своего рода руководящимъ средствомъ для оцѣнки относительнаго достоинства пересказовъ. Нѣкоторыя былины, записанныя въ Олонецкомъ краѣ уже послѣ г. Рыбникова и заимствованныя мною изъ Олонецкихъ Вѣдомостей или же обязательно доставленныя мнѣ достойнымъ пріемникомъ П. Н. Рыбникова, Е. В. Барсовымъ, должны у меня разбираться послѣ всѣхъ остальныхъ, служа въ большей части случаевъ только подтвержденіемъ эпическихъ данныхъ г. Рыбникова, иногда же и доставляя къ нимъ довольно любопытныя дополненія... Надѣюсь, что мое обстоятельное приведеніе былинъ Олонецкаго края на очную ставку съ былинами другихъ мѣстностей будетъ содѣйствовать оцѣнкѣ открытій г. Рыбникова, а равно и объясненью возможности такихъ обильныхъ открытій именно въ этомъ краѣ, столько же *окраинномъ*, т. е. уединенномъ отъ постороннихъ и разнообразныхъ вліяній, какъ и края Архангельскій, Сибирскій, Пермскій и Поволжскій, гдѣ собрана большая часть остальныхъ былинъ [5]).

Но сравнительное изученіе эпическихъ данныхъ, имѣющее цѣлью опредѣленье ихъ древней основы со всѣми ея позднѣйшими видоизмѣненіями, не можетъ ограничиваться однимъ сравненіемъ отдѣльныхъ пересказовъ между собою и одними дополнительными къ нимъ объясненіями изъ другихъ отдѣловъ нашей же русской народной словесности. Уже для оцѣнки, дополненія и объясненія нѣкоторыхъ одиноко стоящихъ чертъ необходимо заглядывать въ эпосъ (разумѣя его въ широкомъ смыслѣ) другихъ Славянъ, у которыхъ могли уцѣлѣть соотвѣтственныя черты въ болѣе полномъ и совершенномъ видѣ. Но мало того — бываютъ и такіе случаи, что какая нибудь неясность или пробѣлъ въ нашемъ эпосѣ выясняется и дополняется какою нибудь чертою, уцѣлѣвшею гдѣ нибудь у тѣхъ или другихъ изъ нашихъ бо-

---

4) См. мою замѣтку въ IV ч. сб. П. Н. Рыбникова, стр. XLIII, а также статью объ этой части сборника П. А. Лавровскаго въ март. книжкѣ Ж. М. Н. П. 1868 г. Отвѣта на статью г. Лавровскаго ни съ какой стороны не послѣдовало.

5) Вотъ какимъ образомъ распредѣляется статистика былинъ по первымъ 4-мъ вып. Кирѣевскаго (обнимающимъ кіевскій бог. кругъ): изъ Архангельской Губ. 22, Симбирской 21, Сибири 8, Нижегородской губ. 6, Московской 3, Новгородской и Саратовской по 2, Оренбургской, Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской и Петербургской—по одной. Сборникъ Кирши какъ извѣстно, составленъ весь на Пермскихъ горныхъ заводахъ.



лѣе отдаленныхъ родственниковъ по общему арійскому корню; а наконецъ выходитъ и такъ, что невольно заглянешь и къ кому нибудь изъ иноплеменниковъ, даже къ совершеннѣйшимъ дикарямъ, такъ какъ основные *пріемы* первобытнаго творчества вездѣ одни и тѣже, а потому и кое какія допотопныя окаменѣлости въ нашемъ эпосѣ легко могутъ разъясняться посредствомъ сравненія съ поэзіею народовъ, до сихъ поръ еще пребывающихъ на первобытной ступени развитія.

Въ этомъ расширенномъ смыслѣ сравнительнымъ пріемомъ при изученіи народнаго эпоса уже пользовались у насъ довольно удачно, только страннымъ образомъ минуя при этомъ обстоятельное сравниваніе въ тѣсномъ смыслѣ, т. е. сравниваніе между собою всѣхъ пересказовъ. Впрочемъ и въ расширенномъ смыслѣ сравнительнымъ пріемомъ пользовались у насъ до сихъ поръ собственно только изслѣдователи одного направленія, того, которому нужно было сопоставлять насъ съ Западомъ съ тѣмъ, чтобы болѣе или менѣе ясно корить насъ и тутъ слабою степенью развитія у насъ того, что сильно развито на Западѣ. Напротивъ изслѣдователи того направленія, которое указываетъ въ нашей исторической жизни совершенно особыя, своеобразныя стороны, задатки вполнѣ самобытной образованности, изучали нашъ эпосъ почти исключительно *изъ него самого*, въ лицѣ самыхъ даровитыхъ своихъ представителей почти не касаясь сопоставленій и съ общеславянскимъ міромъ [1]). И это былъ путь, въ свое время вполнѣ пригодный, которымъ пройти было необходимо. Слѣдовало, не заглядываясь по сторонамъ, сосредоточить неразвлеченно все свое вниманіе собственно на нашихъ былинахъ, чтобы усмотрѣть въ нихъ, сквозь частности, внутреннюю, объединяющую ихъ связь, основной ихъ духъ, и провѣрить его только духомъ нашей исторіи, что и сдѣлали у насъ до сей поры лучше всѣхъ другихъ именно такъ называемые «Славянофилы». Но надобно было обладать высокою даровитостью Кирѣевскихъ, Хомякова и К. Аксакова, а главное—теплою ихъ *любовью* къ родной народности, чтобы такъ вѣрно почуять сердцемъ и такъ мѣтко угадать умомъ то, къ чему, при тогдашнемъ положеніи знанія, можно было, по большей части, приходить именно лишь такимъ чутьемъ и угадываньемъ.

Иная, въ своемъ родѣ заслуживающая признательности заслуга остается за главнымъ представителемъ другого начала въ изученіи нашего народнаго эпоса, Ѳ. И. Буслаевымъ. Ему въ этой области, какъ г. Аѳанасьеву въ миѳологіи, довелось быть у насъ представителемъ тѣхъ пріемовъ сравнительнаго изученія, которыми наука обязана одному изъ величайшихъ и сочувственнѣйшихъ умовъ нашего вѣка, Я. Гримму. Г. Буслаевъ сталъ внимательно сравнивать данныя нашего эпоса съ эпосомъ и нашихъ братьевъ Славянъ, и различныхъ народовъ арійскаго корня. При этомъ со всею ясностью у него оказалось, что дѣло сравниванія не ограничивается уясненіемъ нѣкоторыхъ, одиноко стоящихъ у насъ, такъ сказать, допотопныхъ чертъ, но и указаніемъ поразительнаго сходства, нерѣдко оказывающагося между многими, весьма обычными у насъ чертами, и чертами столько же обычными

---

[1]) Собственно изъ славянофиловъ къ такимъ сопоставленіямъ систематически прибѣгалъ только г. Безсоновъ.



и распространенными въ эпосѣ различныхъ Арійцевъ. При этомъ у г. Буслаева (а отчасти и у г. Аѳанасьева) важнымъ недостаткомъ является то, что не съ достаточною ясностію обособляются черты, роднящія насъ со Славянами, отъ чертъ, роднящихъ насъ съ Арійцами вообще. Первыя должны бы слиться въ кругъ обще-славянскій, ближайшій къ намъ, вторыя—въ кругъ общеарійскій, болѣе отъ насъ отдаленный и сохранившійся въ нашемъ эпосѣ въ видѣ осадка отъ самой отдаленнѣйшей старины..., Отъ относительно позднѣйшаго осадка обще-славянскаго долженъ бы быть со всею ясностью отдѣленъ съ другой стороны и собственно-русскій былевой слой, а равнымъ образомъ и внимательно прослѣжены въ этомъ послѣднемъ всѣ, обозначившіеся въ немъ слои частные, осадившіеся отъ различныхъ періодовъ русской исторіи. Съ этой послѣдней стороны до извѣстной степени разсматривалъ уже былевой нашъ эпосъ и г. Буслаевъ, но не обозначая при этомъ съ удовлетворительною ясностью развивавшихся въ нашей исторіи своеобразныхъ началъ, которыя часто даже скорѣе у него заслонялись особеннымъ налеганіемъ на подборъ эпическихъ сходствъ между нами и преимущественно Германцами, при чемъ наше своеобразіе ограничивалось, по большей части, только слабою степенью развитія у насъ добра общаго. Между прочимъ, любопытнымъ образчикомъ того, въ какомъ смыслѣ пользовался сравнительнымъ пріемомъ г. Буслаевъ, можетъ служить его сопоставленіе Ильи Муромца съ Сидомъ, сравнительно съ давнишнею попыткою такого же сопоставленія въ лекціяхъ С. П. Шевырева. Послѣдній, какъ извѣстно, въ свое время только навлекъ на себя нареканія неслыханною тогда дерзостью — ставить рядышкомъ рыцаря Сида съ мужикомъ Ильей. Но Шевыревъ поставилъ ихъ рядышкомъ собственно для того, чтобы нагляднѣе показать—до какой степени они внутренне между собою не схожи, хотя каждый эпически хорошъ въ своемъ родѣ. Г. Буслаевъ, въ своей гораздо позднѣйшей статьѣ (и, притомъ, цѣлой статьѣ-монографіи), открылъ гораздо болѣе *общаго* между Ильею и Сидомъ, т. е. общаго, доставшагося имъ обоимъ отъ общей основной природы эпоса, но тѣ коренныя отличія бытовыя и историческія, которыя, неминуемо отразившись въ испанскомъ и въ нашемъ эпосѣ, развели Илью Муромца съ Сидомъ врозь, по различнымъ дорогамъ, — различія этого рода не только не были болѣе выяснены г. Буславымъ, но скорѣе даже у него постерлись сравнительно съ краткимъ, но мѣткимъ сравнительнымъ сопоставленіемъ Шевырева. Къ сожалѣнію, послѣ покойнаго профессора уже никто изъ славянофиловъ (хотя къ нимъ и не вполнѣ можетъ быть отнесенъ Шевыревъ) не брался уже за сравнительное, или ,лучше сказать, *сличительное* сопоставленіе нашихъ *эпическихъ* данныхъ съ западно-европейскими (собственно же *историческія* сопоставленья подобнаго рода, какъ всѣмъ извѣстно, производились славянофилами). Между тѣмъ, по моему мнѣнію, слѣдовало бы въ одно и тоже время пользоваться сравнительнымъ пріемомъ и въ томъ смыслѣ, какъ имъ пользуется г. Буслаевъ, и въ томъ, какъ имъ однажды воспользовался покойный Шевыревъ: тогда только могли бы вполнѣ обозначиться какъ эпическія черты нашего родства съ другими, такъ и эпическое отпечатлѣніе нашей народной личности. Въ настоящемъ трудѣ я и пытаюсь

достигнуть этого, и такимъ образомъ представить опытъ провѣрки посредствомъ сравнительнаго пріема тѣхъ бытовыхъ и историческихъ заключеній о нашемъ эпосѣ, которыя являлись у славянофиловъ главнымъ образомъ въ видѣ глубокомысленнаго угадыванія и схватыванья чутьемъ. Дѣйствительно ли всѣ тѣ черты, которыя выдаются ими за *наши*, принадлежатъ исключительно намъ, или, можетъ быть, стоитъ лишь хорошенько пошарить вокругъ, и онѣ окажутся существующими въ такой же совокупности и въ эпосѣ у другихъ народовъ? Вотъ вопросъ, который я себѣ задавалъ, хотя, признаюсь откровенно, многія изъ чертъ, оставшихся только недостаточно разъясненными у г. Буслаева, даже и при этой своей неразъясненности до того отзывались чѣмъ-то совершенно особеннымъ, — что тѣмъ самымъ онѣ уже заранѣе мнѣ подсказывали: «славянофилы должны быть правы».

Особенно живою стороною вопроса представлялось мнѣ точное сравнительное опредѣленіе особенностей, отдѣляющихъ нашъ богатырскій эпосъ отъ эпоса братьевъ нашихъ Германцевъ, съ которыми мы такъ давно уже разошлись враждебно, и которые до сихъ поръ еще ведутъ такую затаенно озлобленную и высокомѣрно-презрительную, по многимъ своимъ пріемамъ, борьбу со всѣмъ вообще славянствомъ. Дѣйствительно ли мы въ сущности тѣже *они*, только на неизмѣримо низшей ступени развитія, или даже низшей уже отъ природы пробы,—какіе-то *недоноски* и *недодумки* того же самаго образовательнаго начала? Вотъ вопросъ, на рѣшеніе котораго, мнѣ казалось, могло бы съ своей стороны пролить свѣтъ и сравнительное, въ настоящемъ смыслѣ, сопоставленіе нашего эпоса съ древне-германскимъ.

У меня невольно сказалось *древне*—съ намекомъ на то, что у Германцевъ приходилось бы брать для сравненія не теперешнія, распѣваемыя у нихъ пѣсни, а тѣ *древнія*, которыя теперь уже не поются. Еще въ теченіи среднихъ вѣковъ онѣ были закрѣплены письменностью, при чемъ съ другой стороны подверглись литературной обработкѣ и переработкѣ. Но почему же сравнивать именно съ ними наши теперешнія богатырскія; какъ будто бы эти послѣднія могутъ въ такомъ же смыслѣ называться *древними*? Дѣло въ томъ, что и тѣ и другія — *богатырскія*, тогда какъ теперешнія нѣмецкія пѣсни и наше единственное, еще къ XII вѣку относящееся «Слово о Полку Игоревѣ»—произведенія уже не въ богатырскомъ родѣ. Извѣстно, что народная словесность проходитъ черезъ слѣдующія ступени развитія: миѳическую, богатырскую, историческую и частно-бытовую. Наши былины до сихъ поръ пребываютъ на той богатырской ступени, которая почти совершенно уже миновала для германской народной словесности [7]) и о которой мы можемъ судить почти исключительно по средневѣковымъ литературнымъ ея обработкамъ. Имѣя въ виду этотъ *внутренній* признакъ, можно, незадумавшись, сравнивать былины съ средневѣковою Heldensage, но никакъ не пойдешь сближать эту послѣднюю со Словомъ о Полку Игоревѣ, которое можетъ къ ней подходить

---

7) Только на Ферреерскихъ островахъ существовали еще въ началѣ нашего вѣка живые отзвуки богатырскаго эпоса, случайно записанные однимъ путешественникомъ (о чемъ будетъ ниже).

только по *внѣшнему* признаку—написанности въ XII вѣкѣ. Въ Словѣ о Полку Игоревѣ нѣтъ уже и тѣни чего либо богатырскаго, мало даже и чисто эпическаго, несравненно менѣе, чѣмъ въ чешской Краледворской Рукописи, которая, впрочемъ, также, не смотря на свою принадлежность среднимъ вѣкамъ, представляетъ не много общаго съ средневѣковою Heldensage, т. е. германскимъ богатырскимъ эпосомъ. Всю несостоятельность сравниванья на основаніи чисто внѣшнихъ признаковъ самымъ осязательнымъ образомъ доказываетъ весьма почтенный, по начитанности, трудъ П. Н. Полевого: «Опытъ сравнительнаго обозрѣнія памятниковъ народной словесности Германской и Славянской». Изъ сравниванья не вышло тутъ почти ничего, потому что сравнивались величины несоизмѣримыя: съ одной стороны исполненный чисто эпической выпуклости яркихъ и полныхъ образовъ богатырскій германскій эпосъ, съ другой—такія блѣдныя тѣни, какими невольно должны подлѣ нихъ представляться личности Слова о Полку Игоревѣ, стоящія уже на почвѣ дѣйствительной исторической и нарисованныя только слегка, при очевидно сказывающейся стихіи лирической.

Но если трудъ г. Полевого и въ самомъ дѣлѣ ошибоченъ по своему пріему, т. е. если нельзя сравнивать Тидрекъ-Загу со Словомъ о Полку Игоревѣ и съ Краледворскою Рукописью, то слѣдуетъ ли изъ этого, чтобы въ самомъ дѣлѣ можно было сравнивать Тидрекъ-Загу съ былинами? Какъ могла быть сохранена одною народною памятью такая отдаленная старина, которую можно бы было поставить на одну ступень съ несомнѣнною стариною германскаго эпоса?—Но самая постановка этого вопроса, дѣйствительно у насъ раздающагося, свидѣтельствуетъ только о томъ младенчествѣ, въ какомъ находится у насъ до сихъ поръ наука народной словесности. Впрочемъ, такіе вопросы задаются и у насъ лишь тѣми, кто или вовсе не занимался этимъ предметомъ, или только что начинаетъ имъ заниматься, или занимался имъ прежде, да бросилъ, не слѣдилъ за дальнѣйшимъ ходомъ науки и, вдругъ услыхавъ, до чего она стала доходить, точно также не признаетъ этого, какъ Наполеону I не хотѣлось признать возможности паровой машины. Между тѣмъ тамъ, гдѣ изслѣдованія по части народной словесности начались гораздо ранѣе, чѣмъ у насъ, въ Западной Европѣ, давно уже сдѣлалась несомнѣнною истиной неудобопонятная только для насъ живучесть старины въ народѣ. Въ какую бы область народной словесности вы ни заглянули, вездѣ натыкаетесь вы на своего рода допотопныя окаменѣлости. Возьметесь ли за народные заговоры, —даже подъ имѣющеюся во многихъ изъ нихъ верхнею оболочкою христіанскаго молитвеннаго содержанія еще ясно проглядываетъ воззрѣніе, прямо противоположное молитвенному началу, воззрѣніе, заключающееся въ принудительномъ дѣйствіи человѣка на миѳически понимаемыя силы природы. При всемъ, въ настоящее время преобладающемъ даже и тутъ, превознесеніи свѣтлыхъ существъ миѳическихъ, порою вы встрѣчаетесь въ заговорѣ съ прямымъ обращеніемъ къ черной силѣ, вытекающимъ изъ самаго зловреднаго умысла и чуждымъ даже малѣйшей тѣни какъ вѣроисповѣднаго, такъ и нравственнаго начала. При возможности подобнаго рода древности самой основы въ заговорахъ, что мудренаго, если нѣкоторыя заговаривающія формулы оказываются почти тождественными у насъ и у простонародья нѣмец-

каго, англійскаго, скандинавскаго, эстскаго не только съ какимъ нибудь руно-писнымъ германскимъ заговоромъ X в., но и съ нѣкоторыми чертами Атарва-Вѣды? Что мудренаго также, если какіе нибудь «волосци» и «стекла», особыя, якобы насылаемыя лихимъ человѣкомъ болѣзни, существуютъ съ одной стороны у насъ—гдѣ нибудь въ Архангельскомъ краѣ, съ другой—у какихъ нибудь островитянъ Тихаго Океана.[8])—Заглянете ли въ отдѣлъ народныхъ загадокъ,—и васъ поразитъ тоже основное тождество представленій въ теперешнемъ простонародьѣ—какъ арійскомъ, такъ и не арійскомъ, и въ такихъ старинныхъ рукописныхъ памятникахъ, какъ средневѣковыя chansons de geste и животный эпосъ, какъ Старая Эдда, Авеста или даже Ригъ-Вѣда.[9]) А пѣсни обрядовыя со всѣми ихъ сопровождающими священными дѣйствіями, эти живучіе, какъ разрубленные члены змѣя, остатки миеической народной мистеріи, въ сущности разыгрывающейся и теперь по лицу всей Европы подъ прозрачною оболочкою налегшихъ на нее христіанскихъ праздниствъ, которыя на самомъ дѣлѣ не вытѣснили ни рождественскаго горящаго пня, ни погруженья въ воду при закликаньи весны даже въ самый страстной четвергъ, ни чудодѣйственнаго выкатыванья въ росѣ въ день Егорія Храбраго, этого попечителя стадъ и отмыкателя своимъ золотымъ ключомъ земли, ни купальскихъ костровъ и горящихъ колесъ, скатываемыхъ въ воду и по сію пору совершенно также, какъ скатывались они еще у древнихъ Индійцевъ изъ подражанія Индрѣ, погрузившему въ дождевое море раскаленное лѣтнее колесо солнца.[10]) Уже десять лѣтъ тому назадъ Кунъ въ своей знаменитой «Herabkunft des Feuers» возвелъ многіе изъ теперь еще соблюдаемыхъ общеевропейскихъ обрядовыхъ дѣйствій къ старинѣ арійской, а знакомство съ нѣкоторыми изъ нашихъ обрядовыхъ пѣсенъ, ему недоставашее, могло бы пополнить кое какіе пробѣлы въ возстановленныхъ имъ миеахъ народныхъ, а равно и служить новымъ подтвержденіемъ вѣрности словъ Baudry: «tel mythe, défiguré à plaisir par les écrivains grecs, à peine respecté par le Rig Veda, est resté intact dans un dicton ou une fête populaire.[11])—Указывать ли и на народные свадебные обряды съ неразлучно имъ спутствующими и выясняющими ихъ пѣснями?[12]) Извѣстно, какъ ясно тутъ говорится и по сію пору не только про куплю невѣсты, и теперь еще обрядовымъ образомъ совершаемую, но и про способъ, еще болѣе древній — насильственное *умыкиваніе*, поражавшее Нестора у Древлянъ, но уже въ его пору оставленное Полянами, а у Сер-

---

8) Wolf's Zeitschrift für D. Mythologie, III, 330, 331. Nisard, Histoire des livres populaires, I, 135, 137, 138, 169. Л. Майкова Великорусскія заклинанія, стр. 29 и 351 Моего Истор. Обозр. Р. Слов. стр. 75 и слѣд. Tylor, Forschungen über die Urgeschichte, 177, 254, 255. Рыбникова II. IV, 258, 260. Эрбена Чешскія Пѣсни, 509—510. Атарва Вѣда, XX, 96 (въ Indische Studien Вебера, ч. IV) J. Grimm, Ueber zwei Ged. aus der Zeit des D. Heidenthums (Klein. Schr. II). Kuhn, Germanische und Indische Segenssprüche (Zeitschr. f. Vergl. Sprachf, X и т. д. 1) Буслаева Очерки I, 250—257. Kalewipoeg, eine estnische Sage, v erd. v. Rheinthal. 259.

9) Худякова, Великорусскія Загадки (Этногр. Сб. VI, стр. 111) Schleicher. Litauische Märchen Räthsel etc. 194—Guillaume d'Orange, éd. Jonckbloet, v. 396. Du Méril, Poésies antérieures au XII siècle, p. 235. Orient und Occident. III, 1, 164, Windischmann, Mira, 15 (Abh. der d. Morgenl. Gesellsch. I, 1,) Petersen. Griechische Mythologie, 72 (у Эрша и Грубера) Ср. въ моемъ Ист. Обозр. стр. 62 и слѣд.

10) Hanusch Bajeslovny Kalendar Slovansky. Reinsberg Düringsfeld, das festliche Jahr in Deutschland. Jdem, D. F. J. in Böhmen. Моего Истор. Обозр. Р. Слов. стр 27—60. Аеанасьева Поэтич. Воззр. Слав. III, стр. 718, 719. Baudry, les Mythes du feu et du breuvage céleste (Revue German. 1861, III, 372—373).

11) Revue Germanique, 1861, 3-me livr., p. 356.

12) Ср. въ моемъ Истор. Обозр. Р. Слов. стр. 100—112

бовъ зато доживавшее до самаго начала нашего вѣка подъ именемъ *отмицы*, и до сихъ поръ еще разыгрываемой и у насъ, и у всѣхъ Славянъ участвующими въ свадебной драмѣ. И пѣсни, указывающія на эти древнѣйшіе виды брака, поются, что особенно замѣчательно, въ *перемьшку* съ пѣснями, указывающими уже на свободныя, любовью скрѣпленныя отношенія между женихомъ и невѣстой, пѣснями, имѣющимися у всѣхъ, даже самыхъ непросвѣщенныхъ изъ Славянскихъ народовъ, подобно тому какъ и пѣсни перваго рода, древнѣйшія и грубѣйшія, уцѣлѣли у всѣхъ, даже самыхъ просвѣщенныхъ въ славянской семьѣ. [18])

Изо всего этого, кажется, въ правѣ мы заключить, что каждый родъ произведеній народной словесности заключаетъ въ себѣ нѣсколько послѣдовательныхъ слоевъ, которые и должны быть въ точности распознаваемы критикой. А при этомъ оказывается, что и слои древнѣйшіе возстановляются еще довольно легко, до сихъ поръ отличаясь значительной степенью яркости. Состояніе народной словесности въ этомъ отношеніи представляетъ нѣчто подобное состоянію земной коры, а наука народной словесности является своего рода палеонтологіею. Извѣстно, что одинъ изъ современныхъ французскихъ лингвистовъ, А. Пикте, озаглавилъ свой трудъ о первобытныхъ Аріяхъ: Essai de paléontologie linguistique. Но наука народной словесности пользуется пріемомъ сравнительнымъ совершенно также, какъ и сравнительное языкознаніе. Какъ это послѣднее, докапываясь до корней, напримѣръ, общеславянскихъ, возстановляетъ древній общеславянскій слой, а докапываясь до корней даже обще-арійскихъ, возстановляетъ и самый, такъ сказать, допотопный общеарійскій слой, — подобно этому и сравнительное изученье народной словесности стремится къ возстановленію тѣхъ же слоевъ — докапываясь съ одной стороны до *коренныхъ*, *основныхъ преданій*, (во первыхъ общеславянскихъ, а тамъ и общеарійскихъ) съ другой же стороны и въ самомъ, уже собственно русскомъ слоѣ различая вошедшіе въ его составъ слои частные, осадившіеся отъ различныхъ періодовъ русской исторіи

Но состояніе народной словесности можно также сравнить съ *палимпсестомъ*, въ которомъ изъ подъ позднѣйшаго ряда письменъ до сихъ поръ еще выглядываетъ рядъ, а иногда и ряды древнѣйшіе.

Дѣло въ томъ, что ежели память служитъ народу единственнымъ средствомъ храненія памятниковъ словесности, то самый способъ храненія памятью, при отсутствіи граматности, является изощреннымъ въ такой же мѣрѣ, какъ обыкновенно изощряются осязанье и слухъ при отсутствіи зрѣнія. Народъ обнимаетъ, можно сказать, въ своей памяти цѣлое книгохранилище, составлявшееся въ продолженіи многихъ вѣковъ, но отличающееся тѣмъ, что изданія болѣе новыя не вытѣсняютъ изданій старыхъ, сберегаемыхъ даже съ особенною осторожностью и любовью. Народъ въ своей словесности всего

---

Là, comme partout, l'habitude et la routine ont lutté victorieusement contre l'intelligence et le progrès; des formes surannées et désormais dépourvues de sens ont persisté sans raison et se sont bizarrement mêlées à celles qui leur avaient succédé. (Ed. du Méril, des formes du mariage et des usages populaires qui s'y rattachaiet surtout en France pendant le moyen age. Paris 1861. p. 2. Cp. 7 стр.).



болѣе *староверъ*, только не такой закоснѣлый, которому было бы совершенно чуждо дальнѣйшее историческое движеніе. Вслѣдствіе этого могъ онъ представиться также и двоевѣромъ, но вѣрнѣе будетъ сказать, что составъ его *эпической* (въ широкомъ значеніи) вѣры — составъ чрезвычайно сложный, состоящій изъ многихъ слоевъ, но съ рѣшительнымъ преобладаніемъ слоевъ древнихъ.

Если все это вѣрно относительно различныхъ отдѣловъ народной словесности, то нѣтъ никакихъ основаній на то, чтобы оно оказалось невѣрнымъ относительно отдѣла собственно такъ называемаго былевого, т. е. эпическаго въ тѣсномъ значеніи. Такъ на это и смотрятъ въ наукѣ западно-европейской. Не смотря на длинный рядъ вѣковъ, отдѣляющихъ Иліаду отъ германской Heldensage и отъ франкскихъ chansons de geste, ученый весьма положительный, извѣстный филологъ Беккеръ, принялся за сравненіе такихъ разновременныхъ и разнонародныхъ круговъ эпическихъ,—и оказалось, что многіе эпическіе пріемы, положенія и даже черты богатырскихъ нравовъ, существовавшіе у одного изъ арійскихъ народовъ, народа греческаго, еще за столько вѣковъ до Р. Х., у другого народа того-же племени, народа германскаго (въ широкомъ смыслѣ—включая сюда и Франковъ) дожили до XI, XII и XIII в. по Р. Х., не смотря на неизбѣжно на нихъ тутъ налегшій, позднѣйшій и совершенно уже своеобразный германскій историческій отпечатокъ. И вообще, хотя бы собственно такъ называемый *былевой* отдѣлъ народной словесности, какъ указывается уже и самымъ его названіемъ, даже и болѣе другихъ отдѣловъ подвергался вліяніямъ *былевымъ*, т. е. историческимъ, все же они сказываются въ немъ не на столько, чтобы наслоеніями отъ позднѣйшихъ періодовъ закрывались слои древнѣйшіе. Дѣло науки умѣть ихъ возстановить, и вотъ съ такими-то возстановляемыми въ былинахъ слоями нашихъ среднихъ вѣковъ и можетъ, и долженъ быть сравниваемъ средневѣковый западно-европейскій эпосъ.

На живучесть отдаленной исторической старины въ былинахъ уже было обращено вниманіе Л. Н. Майковымъ въ его замѣчательномъ именно въ этомъ отношеніи изслѣдованіи «О Былинахъ Владимірова Цикла.» Признавая съ одной стороны, что между сюжетами былинъ есть и такіе, которые можно возвести въ эпохѣ до-историческаго сродства индо-европейскихъ преданій, нашъ почтенный изслѣдователь съ другой стороны указываетъ на то, что даже и эти древнѣйшія преданія представляются (т. е. въ былинахъ) въ такой редакціи, которая можетъ быть пріурочена только къ положительному историческому періоду. Далѣе, слѣдуя мнѣнію, высказанному относительно бретонскаго эпоса Вильмарке, а относительно новогреческаго Форіэлемъ, онъ совершенно основательно утверждаетъ, что «вообще народный эпосъ по своему первоначальному образованію всегда современенъ или воспѣваемому событію, или, по крайней мѣрѣ, живому впечатлѣнію этого событія на народъ. Въ былинахъ же Русь представляется сосредоточенною подъ властью великаго князя Владиміра... Дѣйствіе былинъ происходитъ главнымъ образомъ въ Кіевѣ или около него. .. Между дѣйствующими лицами былинъ встрѣчаются лица, относимыя по лѣтописямъ къ X, XI, XII и XIII вѣкамъ.

Напротивъ того, въ былинахъ Владимірова цикла не видно преобладанія Москвы, ни какъ великаго княжества, ни тѣмъ болѣе какъ царства: Москва даже никогда въ нихъ не упоминается, есть только Московскія сторожевыя заставы. Соображая эти данныя, заключаетъ г. Майковъ, имѣемъ право думать, что содержаніе былинъ Владимірова цикла вырабатывалось въ продолженіи X, XI и XII вѣковъ, т. е. въ первой половинѣ удѣльно-вѣчеваго періода, и установилось не позже времени татарскаго владычества, и даже именно той его эпохи, когда Москва еще не сосредоточивала въ себѣ всю государственную силу Руси, и въ народѣ свѣжа была память о первенствующемъ значеніи Кіева. Такой эпохой можно считать вторую половину удѣльно-вѣчеваго періода — вѣка XIII и XIV» [4])

Хотя нѣсколько далѣе и встрѣчаются у нашего изслѣдователя оговорки, что и московскій періодъ до извѣстной степени все-таки отразился въ нашемъ эпосѣ, и хотя мнѣ самому въ настоящемъ трудѣ придется даже въ извѣстномъ смыслѣ усилить то, что заключается въ этихъ оговоркахъ, — тѣмъ не менѣе слой стольно-кіевскій съ его вѣчевымъ укладомъ и его издавнею борьбою со степными насильниками несомнѣнно является въ нашихъ былинахъ господствующимъ, послѣдующіе же слои оказываются тѣмъ незначительнѣе, чѣмъ они ближе къ намъ.

Очень важны у г. Майкова и тѣ, помѣщенныя въ примѣчаніяхъ, обстоятельныя выписки изъ лѣтописей, которыя касаются лицъ, дѣйствующихъ также и въ эпосѣ. «Всѣ эти упоминанія лѣтописи о лицахъ, дѣйствующихъ въ былинахъ, идутъ не позже XIII в», замѣчаетъ нашъ изслѣдователь. Далѣе же, приведя нѣсколько лѣтописныхъ свидѣтельствъ о *великихъ богатыряхъ* вообще, онъ говоритъ: «и подобныя упоминанія о богатыряхъ тоже не идутъ въ лѣтописяхъ дальше XII в. [5]) Изъ всего этого можно заключить, что въ сознаніи лѣтописцевъ XIII в. представлялся предѣломъ богатырской эпохи. [6])

Извѣстно, что книга г. Майкова вызвала со стороны другого изъ нашихъ изслѣдователей, А. А. Котляревскаго, одно весьма основательное, касающееся цѣлаго труда, замѣчаніе — на счетъ совершеннаго недостатка въ немъ указаній на стихію мифическую. Но г. Котляревскій такимъ образомъ свидѣтельствуетъ, что подъ тою отдаленною историческою стариною въ былинахъ, которая выставляется г. Майковымъ, скрывается еще болѣе глубокая старина, еще ранѣе образовавшійся слой — мифическій. Тѣмъ болѣе, стало быть, оснований сопоставлять нашъ устный былевой эпосъ съ германскимъ, нѣкоторые изводы котораго болѣе или менѣе отзываются также мифичностью. [7])

---

[4]) Л. Н. Майкова, О былинахъ Владимірова Цикла, стр. 21—27.

[5]) Вѣроятно опечатка — вм. XIII.

[6]) Кромѣ любопытныхъ сопоставленій эпоса съ лѣтописью въ разсужденіи г. Майкова, слѣдуетъ упомянуть и о тѣхъ многочисленныхъ ссылкахъ на наши былины, которыми весьма основательно объясняются многія черты Слова о Полку Игоревѣ въ прекрасномъ изданіи г. Тихонравова. При этомъ приходится убѣждаться самымъ нагляднымъ образомъ, что до сихъ поръ еще живы въ народномъ творчествѣ многіе отдѣльные обороты, вошедшіе уже въ памятникъ XII в., хотя этотъ послѣдній и не въ богатырскомъ родѣ.

[7]) Весьма дѣльныя указанія на мифическую стихію въ былинахъ заключаются въ тѣхъ извлеченіяхъ изъ письма П. Н. Рыбникова, которыя напечатаны въ прил.

Но я незамѣтнымъ образомъ перебралъ, какъ оказывается, главнѣйшія воззрѣнья на русскій эпосъ моихъ предшественниковъ. Позже всѣхъ, еще очень не давно, выступилъ на это поприще г. Стасовъ, объявившій, какъ извѣстно, всѣ существовавшія до него мнѣнія *побѣжденною точкой зрѣнія.* Изъ ученыхъ, занимавшихся былинами до него, какъ можно замѣтить изъ моего изложенія, нѣкоторые (славянофилы) почти не пользовались пріемомъ сравнительнымъ, а разсматривали нашъ эпосъ самъ по себѣ, въ связи вообще съ явленіями нашего быта и нашей исторіи (мало пользовался сравнительнымъ пріемомъ и г. Майковъ). Другіе же изслѣдователи прибѣгали къ сравненіямъ, но по различнымъ способамъ. Выдѣляясь въ этомъ отношеніи изъ ряда славянофиловъ, г. Безсоновъ зато ограничивалъ кругъ сравненій — съ одной стороны славянскимъ міромъ, съ другой — собственно только классической древностью, разсматривавшеюся у него преимущественно съ точки зрѣнія миѳической—на основаніи миѳологической теоріи знаменитаго философа Шеллинга. (Покойный Шевыревъ собственно только однажды, какъ бы мимоходомъ, но весьма удачно, сталъ на сравнительную дорогу въ своемъ сближеніи Ильи Муромца съ Сидомъ). При этомъ нападеніямъ г. Безсонова, какъ извѣстно, подвергались тѣ изъ нашихъ изслѣдователей, которые особенно любили ходить за сравненіями къ Германцамъ. Во главѣ ихъ стоитъ, разумѣется, г. Буслаевъ, за которымъ, при всѣхъ, выше изложенныхъ недостаткахъ, несомнѣнно остается та значительная заслуга, что онъ въ сущности расширилъ свои сравненья до общеарійскаго круга, слѣдуя при этомъ тому же пріему, какому слѣдуетъ и сравнительное языкознаніе,—пріему Я. Гримма. Такимъ образомъ всѣ наши сравнительные изслѣдователи побывали въ школѣ у Нѣмцевъ—кто у философа Шеллинга, кто у филолога Гримма. Съ появленіемъ же труда г. Стасова могло показаться, что онъ идетъ совершенно самостоятельною, никакому *нѣмецкому навожденію* непричастной дорогой; но такъ оно могло только *показаться* вслѣдствіе того, что г. Стасовъ не счелъ нужнымъ упомянуть о своемъ учителѣ. Можетъ быть, если бы г. Буслаевъ въ свое время не поспѣшилъ откровенно и прямо выставить себя ученикомъ Гримма, и его пріемы сочли бы у насъ такими же самостоятельными, какими недавно сочли, по недоразумѣнію, пріемы г. Стасова, сочли и возликовали о новыхъ, самородныхъ открытіяхъ русской науки — даже не посмотрѣвъ на то, что этими *открытіями* выставлялся въ самомъ невозможно невыгодномъ свѣтѣ народъ русскій. (8) Уже въ моей книгѣ о русской словесности я имѣлъ случай указать на тотъ способъ, при помощи котораго объясняются сходства европейскихъ сказокъ съ восточными у извѣстнаго современнаго оріенталиста Бенфея (9) и нѣкоторыхъ его сотрудниковъ по журналу Orient und Occident. «Они рѣшительно утверждаютъ, сказано у меня

во II ч. его сборника. Тутъ говорится, между прочимъ, о миѳическомъ значеніи Вольги-Волха, родящагося отъ змѣя, какъ объ одномъ изъ видовъ Перуна, о тождествѣ Микулушки съ Николой Можайскимъ въ былинахъ о Потыкѣ, и т. п.

(8) Конечно, если бы дѣйствительно тутъ было открытіе, а не призракъ учено-настроеннаго воображенія, то смѣшно бы было, изъ любви къ народу, не признавать очередной истины, хотя, разумѣется, радоваться было бы все таки нечему.

(9) Въ его пространномъ введеніи въ Пантча-Тантру, составляющемъ первую часть его изданія этого сборника.

въ примѣч. 2-мъ на стр. 141, что большая часть тѣхъ сказокъ, которыя составляютъ теперь общее достояніе индо-европейскихъ народовъ, сначала перешла изъ Индіи вмѣстѣ съ буддизмомъ къ Монголамъ, и потомъ Монголами занесена къ Славянамъ, а отъ нихъ уже перешла на Западъ.» Когда я писалъ эти строки, мнѣ, конечно, еще не снилось, что скоро появится трудъ, въ которомъ теорія Бенфея примѣнена будетъ къ нашимъ *былинамъ*—также оказывающимся у г. Стасова только занесенными къ намъ изъ Индіи въ различныхъ буддійскихъ изводахъ, чрезъ посредство Монголовъ и Тюрковъ. Между тѣмъ провозвѣстникомъ г. Стасова уже тогда бы мнѣ могъ служить почтеннѣйшій А. А. Шифнеръ, на котораго я, впрочемъ, и указалъ въ томъ же мѣстѣ моей книги: «Какъ будто подъ вліяніемъ этого (т. е. бенфеевскаго) взгляда и академикъ Шифнеръ, въ своемъ предисловіи къ издавному недавно монгольскому сборнику «Шидди Куръ», высказалъ мнѣніе, что въ сказкахъ, здѣсь заключающихся, мы «знакомимся не только съ образцами монгольской и калмыцкой поэзіи, но и съ источниками самой древне-русской поэзіи.» Надо замѣтить, впрочемъ, что этотъ бенфеевскій способъ объясненія сходствъ заимствованіемъ — въ сущности только Бенфеемъ видоизмѣненный очень старинный способъ. Имъ пробавлялись въ теченія XVIII в. во Франціи, корни же его скрываются въ младенческомъ періодѣ науки древне классической: на основаніи этого способа уже Иродотъ — все сходное у Грековъ съ Египтянами объяснялъ заимствованіемъ первыми у послѣднихъ.[20]) Вотъ противъ такого-то престарѣлаго способа, еще не совершенно вымершаго и при Я. Гриммѣ, и высказывается этотъ великій ученый во второмъ изъ эпиграфовъ, помѣщенныхъ у меня на заглавномъ листѣ. Вся сила переворота, совершеннаго имъ въ наукѣ и направленнаго одною изъ самыхъ видныхъ своихъ сторонъ именно противъ этого способа, не помѣшала этому послѣднему снова вынырнуть у замѣчательнаго своею ученостью Бенфея, противъ чего успѣлъ еще высказаться въ послѣднихъ своихъ трудахъ и самъ Гриммъ. Но собственно *старина* того способа, къ которому возвратился Бенфей, еще не могла бы служить доказательствомъ его невѣрности. Мало ли что могло казаться совсѣмъ устарѣлымъ, вполнѣ отброшеннымъ, и потомъ опять возникать и не безъ основанія властвовать надъ умами! Но надо во первыхъ замѣтить, что Бенфею послѣ великаго Гримма пришлось быть весьма осторожнымъ: онъ ограничился только *сказками*, да и тутъ попадаются у него оговорки, что это касается *многихъ*, но все таки не всѣхъ сказокъ. Нашимъ же русскимъ бенфеямъ можно было обойтись и безъ особенной осторожности, при отсутствіи въ нашей юной наукѣ устойчивости и опредѣленныхъ руководящихъ преданій. Но замѣчательно, что первый у насъ представитель Бенфея, г. Шифнеръ, очень скоро отказался отъ мнѣнія о *монгольскихъ источникахъ* русской поэзіи. На мнѣніе это я ему возражалъ еще и до выхода моей книги о русской словесности въ разборѣ сказокъ

20) На это указываетъ и С. М. Соловьевъ, и указываетъ, какъ на признакъ младенческаго состоянія науки, въ одной статьѣ, помѣщенной въ томъ-же В. Европы, который такъ рьяно отстаиваетъ непреложность выводовъ имъ же напечатаннаго изслѣдованія г. Стасова (см. декабрь 1869 г. стр. 701).



А. Н. Аѳанасьева, помѣщенномъ въ XXXII присужденіи Демидовскихъ наградъ. Но оказалось, что почтенный академикъ успѣлъ уже отказаться отъ недавно заявленнаго имъ мнѣнія или, вѣрнѣе, высказать совершенно другое въ своей оцѣнкѣ сборника г. Радлова. (См. въ № 287-мъ СПБ. Вѣд. отчетъ объ акад. зас. 10 Ноября 1864). Тутъ уже онъ замѣтилъ, что многое у Монголовъ и Тюрковъ могло, совершенно несогласно съ Бенфеемъ, перейти къ нимъ съ Запада, т. е. отъ насъ. Вотъ по поводу этого обстоятельства, въ томъ же примѣчаніи къ моей книгѣ о русской словесности (стр. 142), я уже высказалъ слѣдующее: «Такъ какъ, вслѣдствіе, вѣроятно, той сжатой формы, какая требуется въ отчетѣ, новое мнѣніе г. Шифнера выражено въ общихъ чертахъ и представляется, съ другой стороны, какъ бы не лишеннымъ противорѣчія съ его прежнимъ мнѣніемъ, то нельзя не пожелать, въ интересахъ науки, чтобы почтенный академикъ высказался относительно этого вопроса опредѣлительнѣе и подробнѣе.» — Отчасти (хотя все еще очень вкратцѣ) почтенный академикъ уже и сдѣлалъ это въ своемъ предисловіи къ сборнику г. Радлова, гдѣ, между прочимъ, онъ замѣчаетъ, что наши русскія сказки записаны въ разныхъ концахъ Россіи, и нерѣдко оказывается, что именно тамъ-то, куда почти вовсе не проникала монгольская власть, и встрѣчаются самыя замѣчательныя сходства съ чертами восточными. —«Но я спрошу, заключаетъ г. Шифнеръ, давали ли себѣ, говоря о вліяніи монгольскаго владычества, довольно ясный отчетъ въ томъ, какъ далеко простиралось у самихъ Монголовъ во время ихъ нашествія, вліяніе буддійской образованности, какъ далеко могла она впослѣдствіи проникнуть на западъ? Были вѣдь, къ счастію, и другіе пути, кромѣ завоеванья и ига, для перенесенія свѣтлыхъ произведеній восточнаго воображенья на западъ,—я разумѣю пути торговые. Но по такому-то пути съ другой стороны нерѣдко переносились и съ Запада на Востокъ чрезъ Балтійское море и сѣверъ Россіи, особливо же посредствомъ торговли съ Біарміею и Новгородомъ, вмѣстѣ со всѣми другими товарами, и произведенія творчества — такимъ образомъ проникавшія въ самую глубину Азіи; посредниками же могли тутъ быть въ обѣ стороны отважные и предпріимчивые торговые люди Новгородскіе, вслѣдъ же за ними казаки съ ихъ чуткимъ и свѣжимъ, съ одной стороны воспріимчивымъ, съ другой сообщительнымъ (mittheilsam) духомъ. Сюда же могутъ быть отнесены и многочисленныя неохотныя переселенья какъ мужчинъ, такъ и преимущественно женщинъ, являвшіяся ужаснымъ слѣдствіемъ многочисленныхъ войнъ, но въ свою очередь содѣйствовавшія тому, чтобы сѣмена западной образованности пересаживались на востокъ.»

Можно бы было только пріятно изумиться такому быстрому измѣненью во взглядѣ почтеннаго академика. Но тотъ же самый сборникъ г. Радлова вскорѣ послѣ того послужилъ однимъ изъ тѣхъ главныхъ запасовъ эпическихъ, при сравнительномъ объясненіи которыхъ другой, уже русскій ученый, В. В. Стасовъ, твердой стопою пошелъ примѣнять у насъ тѣже бенфеевскіе пути, съ которыхъ такъ рано и такъ внезапно свернулъ академикъ Шифнеръ. Своимъ «Происхожденіемъ Русскихъ Былинъ,» напечатаннымъ въ Вѣстникѣ Европы 1868 г., нашъ несомнѣнно начитанный и одаренный остроуміемъ ар-

хеологъ поставилъ у насъ бенфеевскую теорію на ноги, а въ отвѣтной его замѣткѣ на мою критику (помѣщенной въ Петербургскихъ Вѣдомостяхъ) она заведена имъ такъ далеко, что и весь западно-европейскій эпосъ (не однѣ сказки) сталъ представляться заимствованнымъ, какъ и нашъ, съ востока. Не знаю, былъ ли бы доволенъ такою смѣлостью своего русскаго представителя самъ Бенфей, или же счелъ бы нужнымъ сдержать его славянскій пылъ и размашистость,—но почтенный академикъ Шифнеръ, вполнѣ вѣрный своему взгляду, высказанному по поводу Радлова, и вполнѣ, повидимому, отказавшись отъ взгляда, заявленнаго имъ по поводу «Шиддикура», академикъ Шифнеръ, говорю я, рѣшительно высказался противъ г. Стасова въ той самой оцѣнкѣ его труда, которая вошла въ отчетъ о присужденіи демидовскихъ наградъ. «Въ заключеніе своей рецензіи, сказано въ этомъ отчетѣ, г. Шифнеръ замѣчаетъ, что г. Стасовъ не успѣлъ доказать восточное происхожденіе русскихъ былинъ, совершившееся будто бы въ сравнительно довольно позднее время, т. е. начиная съ XIII в. черезъ вліяніе монгольскихъ и тюркскихъ племенъ, обладающихъ большимъ числомъ древне-азіятскихъ мотивовъ въ позднѣйшей буддійской редакціи.... Должно напротивъ того признать, что буддійская редакція древнѣе другихъ редакцій и ближе къ древне-арійскимъ первообразамъ, такъ что уже этимъ самымъ могло бы объясниться то большое сходство, которое г. Стасовъ находитъ въ нихъ съ нѣкоторыми чертами русскихъ былинъ». [37]) Правда, изъ этихъ словъ академика Шифнера я выпустилъ въ двухъ мѣстахъ частицу *хотя*, связующую эту первую и совершенно особнякомъ стоящую часть его суда со второю, которая безъ такого *хотя* представилась бы даже и въ смыслѣ лишь-грамматически понимаемой логики ни коимъ образомъ не вытекающею изъ первой. «Тѣмъ не менѣе, начинается у г. Шифнера (какъ оно грамматически и слѣдуетъ послѣ *хотя*) вторая часть его приговора, тѣмъ не менѣе.... заслугой его (г. Стасова) надобно признать критическій взглядъ на русскихъ богатырей. Возставъ противъ выводовъ прежнихъ изслѣдователей, усиливавшихся видѣть въ Добрынѣ, Ильѣ Муромцѣ и другихъ богатыряхъ представителей разныхъ сторонъ древне-русскаго быта, г. Стасовъ заставилъ правильнѣе взглянуть на особенности нашей эпической поэзіи, подлежащей впрочемъ общимъ законамъ этого рода народнаго творчества»... Я же позволю себѣ быть лишь послѣдовательнымъ (не въ одномъ грамматическомъ, но и въ логическомъ смыслѣ) и изъ первой половины приговора г. Шифнера сдѣлать иной совершенно выводъ—*единственно-возможный*, сколько я понимаю. Если г. Стасовъ возсталъ противъ своихъ предшественниковъ во имя теоріи, но соб-

---

[37]) См. Журналъ Мин. Н. Просв. за Окт. стр. 389. Сходство же между былинами и восточнымъ эпосомъ вообще можетъ быть объяснено и на основаніи соображеній А. Ѳ. Гильфердинга въ его «Древнѣйшей Исторіи Славянъ», помѣщавшейся даже одновременно съ трудомъ г. Стасова въ томъ же самомъ «В. Европы,» который, повидимому, съ особеннымъ удовольствіемъ допускаетъ на своихъ страницахъ противорѣчащія теоріи. Г. Гильфердингъ возстаетъ противъ мнѣнія, выводящаго предковъ Славянъ и Литвы изъ Азіи одновременно съ предками Германцевъ и доказываетъ, что Славяне съ Литвою покинули Азію позже всѣхъ прочихъ Арійцевъ, такъ что ихъ даже отчасти коснулся вѣроисповѣдный переворотъ, происшедшій въ Иранѣ и извѣстный подъ именемъ Заратустрова. Этимъ бы могло объясниться и сродство нашего эпоса съ «Царственной книгой Ирана», да и съ индійскимъ эпосомъ, какъ древне-арійскимъ.

ственному суду г. Шифнера оказавшейся не состоятельною, если г. Стасову не удалось (или, какъ немножко двусмысленно выражается г. Шифнеръ, онъ *не успѣлъ*) доказать восточное происхожденіе русскихъ былинъ, не удалось даже при помощи объявленія буддійскихъ редакцій позднѣйшими, тогда какъ, по мнѣнію спеціалиста, самого г. Шифнера, онѣ напротивъ того оказываются древнѣйшими,—ежели все это такъ, то — предшественники г. Стасова остаются неопровергнутыми, заимствованность русскаго эпоса недоказанною, т. е. вполнѣ на ногахъ остается мнѣніе объ его самобытности и народности, а русскимъ ученымъ и послѣ труда г. Стасова представляется самое законное основаніе дѣлать изъ *русскаго* эпоса выводы о *русскомъ* бытѣ, и удерживать ихъ отъ этого можетъ развѣ одержимость боязнью *какихъ бы то ни было выводовъ*. Вотъ на этомъ то основаніи и я считаю себя въ правѣ, издавая хотя бы и послѣ г. Стасова книгу о русскомъ эпосѣ, приходить въ ней къ выводамъ о русскомъ бытѣ—дѣлая ихъ, разумѣется, собственно изъ такихъ чертъ въ былинахъ, которыя, на основаніи сравнительнаго пріема, оказываются чертами, имѣющимися, въ общей своей связи, собственно въ нашемъ эпосѣ. Такъ какъ трудъ мой—сравнительный, то мнѣ и придется нерѣдко разсматривать обильныя сравнительныя данныя г. Стасова—во первыхъ ихъ провѣряя, во вторыхъ же, когда провѣрка окажется въ ихъ пользу, даже прямо пользуясь ими—но совершенно въ особомъ, совсѣмъ не бенфеевскомъ смыслѣ, лишь иной разъ, быть можетъ, признавая и частную пригодность этого послѣдняго. Значеніе, какое получаетъ подновленный Бенфеемъ пріемъ въ европейской наукѣ, и извѣстное вліяніе его на нѣкоторыхъ учениковъ Гримма заставляетъ меня отнестись къ этому пріему внимательно и добросовѣстно, и постараться доказать всю его несостоятельность въ томъ, слишкомъ обобщительномъ смыслѣ, какой ему придаютъ, а не ограничиваться однимъ голословнымъ его отверженьемъ—какъ пріема уже не новаго.

Но прежде чѣмъ перейти къ моему сравнительному труду, считаю нужнымъ сказать еще нѣсколько словъ о самомъ словѣ *былина*, о тѣхъ, кѣмъ пѣлись въ старину былины, и наконецъ о томъ *богатырскомъ* родѣ, который онѣ воспѣваютъ.

На древность слова «былина» обратилъ уже вниманіе г. Майковъ. На основаніи извѣстнаго приступа пѣвца Игорева «начяти же ся тъй пѣсни по *былинамъ* сего времени, а не по замышленію бояню», онъ совершенно основательно предполагаетъ, что «былины, какъ особый родъ эпоса, существовали въ нашей народной поэзіи уже въ XII в.» и что «содержаніе ихъ заимствовалось изъ показаній современности» [22]). Другой вопросъ—на сколько слово *былина* употребительно и теперь въ народѣ—даже въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ былины поются. По свидѣтельству г. Барсова, сами олонецкіе пѣвцы былинъ обыкновенно называютъ ихъ *старинами*,—выраженіе, въ своемъ родѣ мѣткое и даже съ оттѣнкомъ сроднымъ (*старое* вѣдь и есть *былое*). Кромѣ же того народъ вообще называетъ этотъ родъ произведеній и

---

22) См. стр. 29 въ диссерт. г. Майкова. Тутъ же приводится въ выноскѣ и слѣд. мѣсто изъ «Задонщины», «лудчи намъ, братіе... начати повѣдати по дѣламъ и по былинамъ».

просто *пѣснями*, многозначительно противопоставляя ихъ сказкамъ. въ слѣдующемъ изрѣченіи, давно уже истолкованномъ К. С. Аксаковымъ: «пѣсня *быль*, а сказка *складка*». Но вѣдь такимъ образомъ въ народномъ толкованіи слова *пѣсня* заключается то-же указаніе на *былевую*, дѣйствительную основу, тогда какъ «складка» очевидно соотвѣтствуетъ тутъ «замышленью бояновy». И такъ, въ народѣ и до сихъ подъ хранится тотъ же разграничительный взглядъ XII столѣтія.

Уже Л. Н. Майковъ останавливалъ свое вниманіе и на вопросѣ: кто пѣлъ въ старину былины? Доискиваясь отвѣта, онъ указывалъ на свид. житія Θеодосіева о *многихъ игравшихъ и испускавшихъ гусльные гласы предъ княземъ* и приводившихъ въ смущеніе преподобнаго. (Для истолкованія слова *игравшіе* въ смыслѣ *пѣвшіе* можно бы привести теперешнее народное выраженіе *играть пѣсню*, хотя она при этомъ просто поется). Далѣе указывается у того же ученаго на относящіеся къ періоду до-татарскому обличенія нашей духовной письменности противъ скомороховъ, гудцовъ и игрецовъ и противъ пѣнія ими пѣсень бѣсовскихъ или мірскихъ. «Соотвѣтственно этимъ показаніямъ, замѣчаетъ г. Майковъ, и въ былинахъ Владимірова цикла мы находимъ веселыхъ молодцевъ, гудошниковъ и скомороховъ (или лицъ, переодѣтыхъ скоморохами) на княжескомъ пиру [23]). Они поютъ и играютъ на звончатыхъ яровчатыхъ гусляхъ или гудкѣ. Далѣе, приводя свидѣтельство былины про то, какъ Ставръ сталъ «игръ играть, напѣвокъ припѣвать про стары времена и про нынѣшни и про всѣ времена досюлешны», г. Майковъ подтверждаетъ этимъ предположеніе, что «между этими пѣснями разумѣются и эпическія. нѣчто въ родѣ нынѣшнихъ былинъ». Сверхъ того приводится у него же и свидѣтельство новгородской былины про Садка о грѣховности такихъ мірскихъ пѣсень, напоминающее взглядъ духовной письменности и подтверждающее тождество пѣсень, ею подразумѣваемыхъ, съ тѣми, какія приписываются пѣвцамъ въ былинахъ. Наконецъ г. Майковъ приводитъ заключеніе одной былины Кирши Данилова:

> Гдѣ—ко пиво пьемъ, тутъ и честь воздаемъ,
> Тому *боярину великому*
> И *хозяину* ласкову.

Это даетъ ему поводъ окончательно отождествить тѣхъ пѣвцовъ, про которыхъ говорится въ нашей духовной письменности, съ древними пѣвцами былинъ. Слушателями ихъ были, по мнѣнію г. Майкова, тѣ, для кого создавались эти произведенія народной поэзіи. «Это былъ — впрочемъ не исключительно—классъ высшій, т. е. княжеская дружина..... Самое содержаніе бы-

[23]) Надо замѣтить, что слово скоморохъ толкуется у г. Котляревскаго какъ не русское: scamari—rae, samaratores, latrones, exploratores—это были бродяги, которые въ 5—8 ст. скитались по восточной Европѣ.г. и, вѣроятно, заходили къ намъ тѣмъ же путемъ, какъ и шпилевы или шпильманы, о которыхъ иногда упоминается въ памятникахъ нашей старинной письменности. (Ср. разб. 1 т. Поэт. Воззр. Аѳан. въ X присужд.Увар. Нагр. стр. 45) Значитъ, скомороховъ, пѣвшихъ передъ князьями и ихъ дружиною, слѣдуетъ отличать отъ туземныхъ народныхъ пѣвцовъ. Но мы увидимъ въ своемъ мѣстѣ что и въ былинахъ Добрыня, являсь скоморошиною на пиру у Владиміра, ведетъ танцы отъ Царяграда и Еруcалима.



линъ, по большей части воспѣвающее приключенія богатырей-дружинниковъ, и, въ противорѣчіе лѣтописямъ, совершенно умалчивающее о военныхъ подвигахъ самыхъ князей, только подтверждаетъ то соображеніе, что военный, богатырскій эпосъ былинъ возникъ и первоначально существовалъ въ кругу княжеской дружины» [24]).... Вотъ съ чѣмъ, мнѣ кажется, довольно мудрено согласиться. Не прославляя князя, ставя его совершенно въ тѣнь, былины столь же мало прославляютъ и его дружину, которая должна разумѣться въ былинахъ подъ окружающими его и также совершенно безличными и ничтожными *князья-боярами*, иной разъ даже прямо осмѣиваемыми. Былины слагались не про нихъ, а про дружину *земскую* богатырскую, потому если онѣ и пѣлись въ присутствіи дружинниковъ княжескихъ, то пѣлись вмѣстѣ съ тѣмъ и въ присутствіи самого князя—въ тѣ самыя отдаленныя, начальныя времена нашей исторіи, когда еще отношенья народа къ князю были отношенья совершенно простыя и уже ни мало не подобострастныя. Надо полагать, что уже при самыхъ первыхъ признакахъ усиленія и осуровленія власти, а также и первыхъ зачаткахъ ея обзаведенья дворомъ и возникновенья боярства служилаго, эпосъ нашъ перешелъ въ народъ, сдѣлался исключительно его достояньемъ: только въ такомъ случаѣ можетъ быть объяснено все ничтожество эпическаго Владиміра и его бояръ - воронъ и вся сила превознесенія крестьянскаго богатыря Ильи Муромца. И въ этомъ отношеніи, какъ во многихъ другихъ, эпосъ нашъ рѣзко отличается отъ западно-европейскаго, который дѣйствительно создавался и пѣлся для рыцарей въ замкахъ, и только позже, гораздо позже, перешелъ, не смотря на свой рыцарскій духъ, къ народу, какъ болѣе или менѣе уже праздная забава для его воображенія [25]).

Мнѣ остается только взглянуть на значеніе того общаго прозвища, какимъ обозначаются лица, дѣйствующія въ былинахъ — эти одаренные избыткомъ сверхъ-человѣческихъ силъ, хотя уже поставляемые нерѣдко на историческую почву — *богатыри*. Уже г. Майковъ обратилъ вниманье на то, что они упоминаются и въ лѣтописи, какъ участники древнѣйшихъ событій, не идущихъ далѣе XIII в. Между тѣмъ уже не со вчерашняго дня стали у насъ доказывать, что слово богатырь — не русское, а татарское. Вотъ что значится относительно этого уже въ Плюшаровскомъ Энциклопедическомъ Словарѣ: «Богатырь— слово языковъ монгольскихъ, въ которыхъ оно произносится *багадуръ*, *батуръ*, *баторъ*, *бегадаръ*, распространенное нынѣ по всему востоку, значитъ *герой*. Титулъ богатырей получали у Монголовъ и Турокъ удалые воины, которые трижды вторгались первые и поодиночкѣ въ непріятельскіе ряды, и убивали по крайней мѣрѣ одного человѣка [26])... Получившій титулъ богатыря присоединялъ его къ своему имени, какъ у насъ

---

24) См. въ диссертаціи г. Майкова стр. 35—36.

25) Раннимъ переходомъ нашего эпоса въ исключительное завѣдываніе народа слѣдуетъ, можетъ быть, объяснять и то, что онъ исключительно сохранялся памятью а не слагался въ такіе рукописные своды, какіе уже въ средніе вѣка появлялись въ Западной Европѣ, какъ пособіе для пѣвцовъ, содержавшихся на жирныя средства бароновъ. (См. статью Уланда о французскомъ эпосѣ въ IV ч. II, собр. его соч. стр. 360—362).

26) Энциклопед. Лексиконъ, т. VI, стр. 154. О русскихъ эпическихъ богатыряхъ при этомъ ни слова. (Въ подл. опечатка убавили вм. убивали).

титулы графъ или князь. Многіе государи носили его». Такого же взгляда на происхожденіе слова *богатырь* держится, повидимому, даже В. И. Даль, въ словарѣ котораго послѣ этого слова значится—*тат.*, т. е. татарское [27]. Совершенно другое, чисто русское производство этого слова предложено было покойнымъ Д. Щепкинымъ въ его даровитой, хотя и весьма странной, во многомъ, книгѣ—«объ Источникахъ Русскаго Баснословія.» Вотъ это-то производство усвоено было и мною еще въ первомъ изданіи моего. «Опыта Истор. Обозр. Русск. Словесности»: «*богатырь — богато одаренный, силами обильный*, т. е. слово это отъ одного корня съ *богатство* а также и съ *богъ*, *божественный;* богатыри — это, стало быть, люди, одаренные *богатствомъ*, божественнымъ изобиліемъ силъ» [28]. Такого же мнѣнія держится и г. Буслаевъ, говоря въ своей статьѣ о богатырскомъ эпосѣ: «хотя современники князя Владиміра слывутъ *богатырями*, но, безъ сомнѣнія, это названіе перенесено на нихъ отъ лицъ древнѣйшихъ, титаническихъ, потому что *богатырь* происходитъ отъ слова *богъ* черезъ прилагательное *богатъ*, и собственно значитъ существо, одаренное высшими божескими преимуществами, какъ герой, произшедшій отъ *бога*... И такъ *богатырь* есть не что иное, какъ собственно русское названіе тѣхъ же существъ, которыя въ сербскомъ эпосѣ слывутъ подъ общимъ индо-европейскимъ именемъ *дивовъ* (какъ латинское dives, богатый, поясняетъ въ примѣчаніи тотъ же ученый, происходитъ отъ deus—богъ, divus — божественный (отъ корня div—свѣтать, откуда и наши *дивы*— богатыри): такъ и наше *богатъ* первоначально имѣетъ смыслъ миѳическій, равно какъ и *збожіе* (то-же отъ слова *богъ*) въ смыслѣ жита и хлѣба, а потомъ имѣнія вообще, богатства [29]. Въ дополненіе къ этому слѣдуетъ обратить вниманіе и на то, что слово *богатырь* попадается и въ теперешнихъ украинскихъ сказкахъ, и, что особенно замѣчательно, именно въ смыслѣ богатаго. «Бувъ соби чоловикъ дуже *богатій*: мав соби богато наймитивъ и наймечокъ, що сіяли йому, орали.... И винъ війшовъ любовавъ тимъ, що винъ такій *богатирь* що вси сіють, а винъ тилько дивиццэ — любуе, що йому орають [30].

Считаю не лишнимъ послѣ всего этого упомянуть и о замѣчательныхъ соображеніяхъ касательно слова *богатырь* нѣмецкаго оріенталиста Шотта [31]. Во первыхъ указываетъ онъ на распространенность этого слова отъ предѣловъ Угріи и Польши безъ перерыва до самыхъ Тунгузовъ, и отъ Южной Персіи далеко за предѣлы Алтая. Изъ народовъ Туранскаго племени собственно только Монголы восточные удержали гортанный звукъ въ формѣ b a g h a t u r (у другихъ-же — b à t u r, b a t y r, b a t o r, b a t u r u). Совершенно явственно слышится этотъ звукъ и въ русскомъ *богатырь*, и въ польскомъ b o h a t e r, и въ персидскомъ b a h a d e r или b e h a d i r. Что касается самаго производства слова, продолжаетъ Шоттъ, то языки туранскіе

27) Даля словарь стр. 90?

28) См. въ моемъ Ист. Об. Р Сл. 2 изд., стр. 203. Тамъ-же ссылка на Щепкина П, 36.

29) Русскій Вѣстникъ 1862 г. Сент., 80

30) Рудченка Народныя Южно-Русскія сказки, I, стр. 162. Сюда же можетъ быть отнесена и пословица, приводимая въ прибавленіи 3-мъ къ словарю г. Даля: «богатырь дивится чѣмъ худакъ живится» (тутъ г. Даль и переводитъ это слово! богачъ, богатина!)

31) Monatsber. der Berl. Akad., Juli 1868. s. 499—500.

не проливаютъ на него ни малѣйшаго свѣта, а приходится прибѣгнуть къ санкритскому b h a d r a (корень b h a d)=радостный, счастливый, отличный. Къ объясненію же перехода смысла въ *храбрый*, *смѣлый*, *геройскій* (или наоборотъ) можетъ служить романское g a i l l a r d, g a g l i a r d o, gallardo, а частію и b r a v o, b r a v. Впрочемъ и ново-персидская форма занимающаго насъ слова значитъ уже исключительно *герой* и *храбрецъ*. — Шоттъ вспоминаетъ и о другомъ еще словѣ санскритскомъ b h a g a d h a r a=обладающій счастіемъ, отъ b h a g a=portio, bona fortuna, т. е. доля, счастье, speha. Переходя за тѣмъ къ русскому *богатырь* и къ польскому b o h a t e r, онъ находитъ его, по первоначальному тождеству со словомъ *богатый*, болѣе близкимъ къ санкритскому, чѣмъ персидское b e h a d i r. Тѣмъ не менѣе Шоттъ замѣчаетъ, что въ польскомъ языкѣ *богатство* отличается отъ *богатырство* тѣмъ, что пишется b o h a t e r, а не b o g a t e r, и b o g a t y, а не b o h a t y. Надбавка же буквы r не могла сама по себѣ превратить въ одномъ и томъ же языкѣ *богатаго* въ *героя*.

Но выше мы уже видѣли, что въ малороссійскомъ нар. прибавка *р* даже ни мало не измѣнила смысла слова: *богатирь* такъ себѣ и значитъ просто *богатый*. Но вѣдь и безъ всякой приставки слово это могло, подъ вліяніемъ особаго понятія о богатствѣ, быть принимаемо и въ смыслѣ богатаго силою, мужествомъ, наконецъ *удачей*. Послѣдняя, ненадобно забывать, чрезвычайно важна въ богатырствѣ; богатыри *удатны*. А развѣ этимъ словомъ не переводится всего лучше санкритское b h a g a d h a r a, производимое, какъ мы видѣли, самимъ Шоттомъ отъ b h a g a — portio, bona fortuna, т. е. *удача*?

Изъ всего этого, кажется, совершенно ясно, что не только слово *богатырь* по происхожденію своему арійское, но и переходъ его въ значенье *удатнаго*, а за тѣмъ и *героя* совершенно понятенъ и безъ тѣхъ ухищреній, къ какимъ подъ конецъ прибѣгаетъ Шоттъ. Онъ думаетъ, что въ смыслѣ *героя*, *вождя* оно стало употребляться лишь подъ вліяніемъ Монголовъ, хотя сами они первоначально должны были заимствовать это слово у Персовъ. Славяне же, въ лицѣ Русскихъ и Поляковъ, заимствовали свое же родное слово въ переиначенномъ смыслѣ у насильниковъ своихъ Монголовъ, со времени власти которыхъ, по увѣренію Шотта, оно только и пошло у нихъ (scheidt sich erst) (т. е., надобно думать, въ смыслѣ—*удатнаго*?)

Мнѣ же кажется, что къ этому, какъ и къ выводу второй части мнѣнія г. Шифнера о книгѣ г. Стасова изъ первой части того-же мнѣнія примѣнима поговорка: началъ за здравіе, а свелъ за упокой.

Но, что касается собственно слова *богатырь* въ его настоящемъ *богатырскомъ* смыслѣ, то если бы даже Нѣмцамъ [39]) (въ томъ-ли, въ другомъ ли ихъ

[39]) Подъ «Нѣмцами» разумѣю и тутъ не народность германскую, которую вполнѣ уважаю, какъ и всякую другую самостоятельную народность и великихъ ученыхъ дѣятелей которой, подобныхъ Гриммамъ, желаю считать своими учителями, а собственно тѣхъ представителей извѣстной стороны въ германствѣ, къ которымъ можетъ быть отнесено простодушно-лукавое выраженье народное, что «нѣмецъ хитеръ—онъ и обезьяну выдумалъ». Вотъ эта то нѣмецкая хитрость частехонько водитъ за носъ податливыхъ и довѣрчивыхъ русачковъ-простачковъ, при помощи такихъ заманчивыхъ выраженій, какъ безпристрастіе, и т. п.

видѣ или превращеніи) и удалось доказать его монгольское происхожденіе, то этимъ однимъ они бы еще не много выиграли. Слово могло быть заимствовано и замѣнить собою какое нибудь другое, предшествовавшее ему туземное, а эпическія сказанья о личностяхъ, позже прозвановавшихся богатырями, всетаки могли существовать издавна и всецѣло принадлежать нашему народу. Другое дѣло, если бы «Нѣмцамъ» могло посчастливиться доказать, что у Русскихъ даже и самостоятельнаго-то эпоса не оказывается, т. е. не оказывается того, что составляетъ неотъемлемую принадлежность всякаго, мало-мальски историческаго народа, мѣсто же этого общаго достоянія у насъ занимаютъ какіе-то краденые у разныхъ Туранцевъ и кое какъ сметанные лохмотья. Тогда бы пришлось въ самомъ дѣлѣ махнуть рукой. Какія ни предпринимайте преобразованія, какія благодѣтельныя учрежденія, или вообще развивающія средства ни примѣняйте къ намъ, все будетъ пропадать даромъ безъ нескончаемаго участья чужихъ, безъ вѣчной благодѣтельствующей опеки! Чего тутъ дождешься отъ собственныхъ силъ страны, въ которой обитаетъ какой-то небывалый еще народъ—дурень?

Но пора обратиться и къ самымъ даннымъ нашего эпоса, пора вступить въ долгій и трудный, а отчасти, быть можетъ, и скучноватый путь. Но читатель, дѣйствительно придающій цѣну народному эпосу, сознающій всю его связь съ народно-образовательными началами, не посѣтуетъ, смѣю думать, ни на подробность разбора былинъ, ни на обстоятельный просмотръ разныхъ взглядовъ на нихъ тѣхъ или другихъ изъ моихъ предшественниковъ. Въ отношеньи къ послѣднимъ постараюсь быть справедливымъ, но въ то же время прямымъ и вполнѣ высказывающимся. Наши старинные странники былевые обыкновенно брали съ собою чудесный камешекъ-самосвѣтъ, который и служилъ имъ путеводителемъ. Пусть же и мнѣ такимъ путеводнымъ свѣтомъ послужатъ прежде всего золотыя слова, сказанныя И. С. Аксаковымъ въ началѣ одного изъ литературныхъ его предпріятій: «*станемъ честно*», т. е. будемъ высказываться вполнѣ, никого не боясь и ни къ кому не поддѣлываясь. [33])

---

[33]) Введеніе это, начатое нѣсколько лѣтъ тому назадъ, было во многомъ измѣнено и дополнено по окончаніи цѣлаго труда.



# ИЛЬЯ МУРОМЕЦЪ

## И

## БОГАТЫРСТВО КІЕВСКОЕ.

> Поэзія всякаго народа находится въ тѣсномъ отношеніи съ его исторіей; въ поэзіи и въ исторіи равнымъ образомъ заключается таинственная психея народа, и потому его исторія можетъ объясняться поэзіею, а поэзія исторіею
>
> Бѣлинскій (V. стр. 71).



# I.

## Преданіе о боѣ между отцомъ и сыномъ у различныхъ народовъ. Особенности рускаго преданія о боѣ между Ильей Муромцемъ и его сыномъ сравнительно съ германскимъ о боѣ Гильдебранда и Гадубранда.

Между всѣми похожденіями нашего богатыря для сравнительнаго изслѣдованія особенно удобно то, въ которомъ онъ враждебно сталкивается съ юнымъ витяземъ, оказывающимся впослѣдствіи его сыномъ. Соотвѣтственныя преданія сохранились у многихъ народовъ, при томъ у такихъ, между которыми не могло даже быть никакихъ сношеній. Поэтому тутъ нельзя предположить заимствованія, а сходство можетъ быть объяснено только происхожденіемъ всѣхъ ихъ, каждаго независимо отъ другихъ, отъ одного основного, когда-то общаго всему индо-европейскому племени, и, стало-быть, древняго, до-историческаго сказанія.

У Германцевъ, какъ извѣстно, сюда относится отрывокъ былевой пѣсни о Гильдебрандѣ и Гадубрандѣ, записанный еще въ VIII ст. (какъ полагаютъ по языку и по рукописи). Съ нимъ нѣмецкіе изслѣдователи уже давно сравнивали значительно-позднѣйшій изводъ того же сказанія, вошедшій въ составъ такъ называемой *Viltina Saga* (составленной, какъ полагаютъ, въ XIII в. на основаніи разсказовъ нѣмецкихъ торговцевъ [1]) и еще позднѣйшую народную пѣсню, попадающуюся въ рукописяхъ XV в. а также и на «Fliegende Blätter» въ XVI в. Каждый изъ этихъ изводовъ отличается своими особенностями, зависящими отъ характера времени. Уже братья Гриммы, въ своемъ извѣстномъ изданіи «Пѣсни о Гильдебрандѣ», [2]) кромѣ сличенія между собою ризличныхъ нѣмецкихъ изводовъ, впрочемъ весьма коротко указали на сходныя сказанія у другихъ народовъ. Затѣмъ Лудвигъ Уландъ въ своемъ курсѣ исторіи древненѣмецкой поэзіи, читанномъ въ тюбингенскомъ университетѣ въ 1830—31 г. и напечатанномъ въ 1-мъ т. его сочиненій, привелъ еще болѣе различныхъ сличеній. [3]) — Но какъ у Гриммовъ страннымъ образомъ не достаетъ указанія на иранскій изводъ сказанія, такъ Уландъ не обратилъ достаточнаго вниманья на кельтскій. Правда, и тотъ и другой дошли до насъ

---

[1]) Rassmann, die deutsche Heldensage und ihre Heimat, II, Vorrede, XXIII.

[2]) Die beiden ältesten deutschen Gedichte aus dem VIII Jahrhundert: des Lied von Hildebrand und Hadubrand und das Wessobrunner Gebet, herausgegeben. v. J. и W. Grimm. Cassel. 1812.

[3]) Uhland's Schriften. zur geschichte der Dichtung und Sage. Stuttgart, I. Band 1865, стр. 165—170.

въ видѣ уже не чисто народномъ, а болѣе или менѣе переработанномъ подъ вліяніемъ личнаго творчества. Иранскій изводъ, какъ указалъ Уландъ, былъ обработанъ двумя персидскими писателями X и XI в.—сперва Ансари, потомъ Фирдоуси въ его Шахъ-Наме. Что касается кельтскаго извода, то онъ вошелъ въ составъ макферсоновскаго Оссіана. Извѣстно, что послѣ всѣхъ продолжительныхъ колебаній во мнѣніи на счетъ подлинности знаменитыхъ пѣсень древняго кельтскаго барда въ новѣйшее время пришли къ тому, что если Макферсонъ не былъ добросовѣстнымъ собирателемъ въ родѣ теперешнихъ, то не былъ и простымъ выдумщикомъ. Пѣсни, имъ изданныя подъ именемъ оссіановыхъ, признаны хотя и во многомъ отличающимися отъ чисто-народныхъ, сильно уже принаровленными къ книжному вкусу XVIII ст. но по основѣ своей все-таки представляющими также и много общаго съ народными кельтскими пѣснями. Въ новѣйшее время доказано, что двѣ изъ нихъ менѣе другихъ подверглись литературному искаженію, и по характеру своему особенно близки къ двумъ подлиннымъ кельтскимъ народнымъ пѣснямъ, записаннымъ уже въ XVI столѣтіи. [4]) Одна изъ этихъ двухъ пѣсень и есть пѣсня о Картонѣ, заключающая въ себѣ сказаніе о боѣ отца съ сыномъ.

Впрочемъ кромѣ оссіановскаго Картона къ кельтскому изводу боя отца съ сыномъ относятся два особыхъ пересказа въ сборникахъ ирландскихъ пѣсень: 1) **Miss Brooke** Reliques of irish poetry Dublin 1772 и 2) **Shmith** Sean dana, 1787 г. Указаніе на эти сборники извѣстно мнѣ по прекрасному труду Дюмериля объ исторіи скандинавской поэзіи (достать ихъ я не могъ). Въ этомъ сочиненіи кругъ сличеній былъ значительно расширенъ сравнительно съ Гриммами и Уландомъ [5]) Кромѣ указаній, сдѣланныхъ тутъ въ выноскахъ на нѣкоторые менѣе замѣчательные, позднѣйшіе и уже сильно потерпѣвшіе отъ различныхъ искажающихъ вліяній, изводы нѣмецкіе, французскіе, нидерландскій и другіе, тутъ приведенъ замѣчательный соотвѣтственный эпизодъ изъ итальянской карловингской поэмы. На страницѣ 441 книги Дюмериля находится указаніе на то, что извѣстный французскій оріенталистъ Сильвестръ де-Саси нѣсколько лѣтъ сряду читалъ лекціи, касающіяся занимающаго насъ круга, исходя главнымъ образомъ отъ иранскаго героя Рустема. Дюмериль сожалѣетъ о томъ, что ему не удалось слушать этого курса; каждый, конечно, пожалѣетъ о томъ, что онъ остался ненапечатаннымъ. Ко всѣмъ поименованнымъ мною писателямъ уже въ ближайшее къ намъ время присоединился извѣстный нѣмецкій изслѣдователь старины и народности Рейнгольдъ Кёлеръ, указавшій наконецъ и на одну изъ нашихъ русскихъ былинъ о боѣ между отцомъ и сыномъ [6]). Въ то время и намъ, Русскимъ, не были извѣстны другія, во многомъ отличающіяся совершенно особымъ характеромъ, былины о томъ же предметѣ;—ихъ зналъ только покойный П. В. Кирѣевскій и немногія лица

---

[4]) См. статью **Heller'a** Ueber die Lieder Ossians въ Jahrbuch für Romanische und Englische Literatur, herausgegeben v. Ebert

[5]) Edélestand du Méril, Histoire de la poésie scandinave. Prolegomènes. Paris, 1839, p. 417—459.

[6]) Weimarisches Jahrbuch, herausgegeben v. Reinhold Köhler, IV Band. 1 Heft, статья **Carl Anthes'a** «das deutsche Hildebrandslied u. die Iranische Sohrab-sage» и примѣчанія къ ней Рейнгольда Кёлера.



его круга; да и имъ, впрочемъ, оставались неизвѣстными многіе, съ высшей степени своеобразные пересказы, только въ самое недавнее время записанные и обнародованные г. Рыбниковымъ. Замѣтивъ, что изъ сличенія всѣхъ ихъ съ прежде извѣстнымъ (тѣмъ, что̀ у Кирши Данилова; его-то и имѣлъ въ виду Рейнгольдъ Келеръ) можно сдѣлать выводы, не лишенные значенія для сравнительнаго разбора одного изъ распространеннѣйшихъ повсемѣстно преданій; я, во время моего пребыванія за границей, изложилъ на нѣмецкомъ языкѣ, въ видѣ дополненія къ статьѣ Р. Келера, мои соображенія объ этомъ предметѣ [7]) Уже въ этой моей статьѣ я старался объяснить особенности нашихъ былинъ о боѣ между отцомъ и сыномъ связью ихъ съ общимъ содержаніемъ нашего народнаго эпоса объ Ильѣ Муромцѣ. Выраженное сжато, въ видѣ общихъ положеній, подкрѣпленныхъ только нѣкоторыми выписками, мое мнѣніе могло показаться произвольнымъ и недостаточно доказательнымъ. Теперь, избирая исходною точкою моего изслѣдованія былины о боѣ Ильи съ Сокольникомъ, я имѣю въ виду опредѣлить мѣсто, занимаемое ими въ общемъ кругѣ былинъ объ Ильѣ, а затѣмъ постепенно выяснить весь этотъ, нашъ знаменательный былевой кругъ, со всею подробностью, при помощи критическаго сличенія и оцѣнки всѣхъ, уже обнародованныхъ у насъ пересказовъ.

Къ пересказамъ въ широкомъ смыслѣ, относительно древняго, основнаго преданія, должны быть отнесены и тѣ изводы его, которые встрѣчаются намъ у различныхъ народовъ. Каждый изъ этихъ изводовъ, въ свою очередь, могъ опять распадаться на нѣсколько пересказовъ, хотя и не всѣ они имѣли возможность дойти до насъ. Иранскій и кельтскій изводы дошли до насъ каждый въ трехъ пересказахъ [8]). Германскій изводъ сохранился въ четырехъ главныхъ видахъ, принадлежащихъ, какъ мы видѣли выше, разнымъ вѣкамъ. Но къ германскому изводу XV в. относятся еще два неполныхъ пересказа, указываемые у Гриммовъ; составляющая же изводъ XVI в. пѣсня изъ «Fliegende Blätter» напечатана Гриммами по тремъ пересказамъ. Сверхъ того бой отца съ сыномъ существуетъ въ германскомъ средневѣковомъ эпосѣ еще въ двухъ совершенно особыхъ видахъ (въ поэмахъ Otnit и Biterolf und Dietleib). Затѣмъ въ двухъ-же совершенно самостоятельныхъ видахъ имѣется оно у Скандинавовъ. Въ четырехъ не менѣе самостоятельныхъ видахъ является таже эпическая основа во французскихъ Chansons de geste. Уже по одному только пересказу имѣется у Нидерланцевъ, Англичанъ, Итальянцевъ, новыхъ Грековъ и Сербовъ. Что̀ же касается нашего русскаго извода сказанія о боѣ между отцомъ и сыномъ, то онъ отличается особеннымъ богатствомъ и разнообразіемъ пересказовъ, очевидно зависѣвшимъ отъ того, что преданіе до новѣйшаго времени жило у насъ въ устахъ народа, жило, т. е. видоизмѣнялось. Но замѣчательно, что не смотря на длинный, многовѣковый рядъ видоизмѣненій, въ большей части русскихъ былинъ о боѣ между отцомъ и сыномъ сохра-

---

7) См. журналъ Геррига Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen за 1863 г.

8) Кромѣ двухъ вышеуказанныхъ персидскихъ обработокъ Анссари и Фирдоуси Дюмериль на стр. 441 указываетъ еще на третью въ т. н. Джихангиръ-Наме. Но въ послѣдней развязка уже особенная (ср. Mohl, le livre des rois, I, préface, LXII.





нилось то, что составляетъ замѣчательную черту старины въ персидской художественной обработкѣ. Я разумѣю трагическую развязку. Таже развязка существуетъ еще и въ кельтскомъ преданіи. Какая была развязка въ нѣмецкой пѣснѣ о Гильдебрандѣ, записанной въ VIII в., намъ теперь неизвѣстно, ибо пѣсня дошла до насъ безъ конца. Но въ Viltina Saga и въ нѣмецкой народной пѣснѣ XV и XVI в. развязка уже счастливая, что, какъ увидимъ скоро, должно быть принято за смягченіе первоначальнаго, основнаго сказанія. Таже смягченность замѣтна уже и во всѣхъ остальныхъ вышеуказанныхъ видахъ сказанія, а равно и въ нѣкоторыхъ (собственно только трехъ) изъ нашихъ русскихъ пересказовъ. Такимъ образомъ первоначальное сказаніе оказывается распавшимся на два, совершенно различныхъ, по развязкѣ, разряда. Это распаденіе, какъ положительно доказывается нашими былинами, произошло и тамъ, гдѣ сказаніе о боѣ между отцомъ и сыномъ не подвергалось художественной обработкѣ; стало быть также помимо всякаго книжнаго вліянія, въ самой устной словесности, могло совершиться и то смягченіе первоначальной мысли, которое выразилось счастливой развязкой. Сѣверный рукописный изводъ, Viltina Saga, по всей вѣроятности уже заимствовалъ такую развязку изъ народныхъ пѣсень. Напротивъ персидскій поэтъ-художникъ, Фирдоуси, по особеннымъ соображеніямъ, имѣющимъ связь съ основною мыслію его поэмы, счелъ нужнымъ удержать суровую трагическую развязку.

Бой между отцомъ и сыномъ уже самъ по себѣ, даже оставивъ въ сторонѣ исходъ подобнаго боя, не могъ не представлять много возмутительнаго даже и самому первобытному, едва развивающемуся нравственному чувству. Тѣмъ болѣе возмутительнымъ должно было представиться сказаніе о подобномъ боѣ при трагической развязкѣ его. И порѣ едва пробуждающагося нравственнаго сознанія она могла только достаться въ наслѣдіе отъ самой отдаленной, самой до-исторически грубой поры. Между тѣмъ въ сказаніяхъ, древность которыхъ доказывается уже самымъ существованіемъ ихъ у различныхъ, отдаленныхъ одинъ отъ другаго народовъ, нерѣдко встрѣчаются примѣры такой вражды между ближайшими ровственниками, которая проявляется самыми возмутительными жестокостями. Такъ и въ сказкахъ индо-европейскихъ народовъ мы находимъ не мало,—не только мачихъ, но и матерей, изводящихъ своихъ дѣтей, сестеръ, губимыхъ родными сестрами, и т. п. Подобные примѣры звѣрства между ближайшими родственниками давно уже были замѣчены и въ художественно-обаятельной миѳологіи классическаго народа— Грековъ. Уже одно сопоставленіе съ нею наводило на заключеніе, что и сродныя черты звѣрства въ народныхъ сказаніяхъ первоначально должны были имѣть миѳическое же значеніе. [9]) Съ другой стороны, сравнительные изслѣ-

[9]) Позволю себѣ указать на мнѣніе Штейнталя, что въ мірѣ миѳическомъ нельзя вообще доискиваться нравственнаго начала. Всѣ миѳическія существа, говоритъ онъ, «это олицетворенныя силы и явленья природы. Природа сама по себѣ совершенно безразлична въ нравственномъ смыслѣ, а потому и не можетъ быть названа ни нравственною, ни безнравственною. Но механическая сила природы, усмотрѣнная какъ личность, постановляемая въ отношенія и условія міра нравственнаго, должна представляться совершенно безнравственною. И такъ оно въ цѣломъ язычествѣ, не исключая и греческаго. Изъ этого, конечно, не слѣдуетъ, замѣчаетъ онъ далѣе, чтобы язычники непремѣнно были безнравственны; напротивъ начала выработанной у нихъ нравственности нерѣдко влагались ими въ боговъ, которые первоначально выражали только силы природы. См. статью Штейнталя: die Sage v. Simson въ Zeitschrift für Völkerpsychologie, II, 150.



дователи народной словесности пришли къ тому заключенію, что и все повсемѣстно-сходное въ народныхъ сказаніяхъ, повсемѣстно-сохраняемое какъ всеобщее наслѣдіе старины, первоначально было не что иное, какъ миѳъ. Такимъ образомъ и въ основѣ сказанія о боѣ отца съ сыномъ, одного изъ повсемѣстно-распространеннѣйшихъ, должно заключаться миѳическое начало. Оно, конечно, могло представлять и нѣкоторое соотвѣтствіе съ нравами въ тѣ отдаленныя времена, когда общества были основаны на одномъ рабски-беспрекословномъ повиновеніи старшему младшихъ, когда такъ называемая патріархальная власть должна была вызывать по временамъ своимъ самодурствомъ отпоры самаго кроваваго, самаго звѣрскаго свойства. Позже, при смягченіи нравовъ, при переходѣ къ такому устройству общества, когда оно начинаетъ основываться на началахъ любви, становиться свободнымъ союзомъ людей, должна была ощутиться и потребность въ смягченіи звѣрскихъ сказаній, по наслѣдію доставшихся отъ старины. Вотъ тогда-то, но только тогда, трагическая развязка занимающаго насъ преданія могла передѣлаться мало помалу въ счастливую. Это, очевидно, могло быть только явленіемъ уже гораздо позднѣйшаго времени и потому-то тѣ пересказы нашего преданія, въ которыхъ оно еще кончается смертію сына, должны быть признаны древнѣйшими по своей основѣ. Вотъ въ этомъ-то отношеніи и можно сказать, что сказаніе о Рустемѣ и Зорабѣ у Фирдоуси [10]) ближе, по характеру своему, къ старинѣ, чѣмъ нѣмецкая позднѣйшая пѣсня о Гильдебрандѣ и Гадубрандѣ, или чѣмъ передача тогоже сказанія въ Viltina Saga. Но что же могло заставить поэта художника, какъ Фирдоуси, удержать эту древнюю суровую основу, измѣнившуюся, какъ мы знаемъ, съ теченіемъ времени, въ самой устной поэзіи многихъ народовъ? Она представлялась, какъ кажется, чрезвычайно удобною для выраженія той мысли о неотразимой судьбѣ, которая съ такимъ увлеченіемъ проведена у Фирдоуси. Къ усиленію этой основной мысли послужило поэту многое, чего не встрѣчается въ другихъ сказаніяхъ о боѣ между отцомъ и сыномъ и что, повидимому, принадлежитъ его художественному перу. Мать Зораба, покинутая мужемъ на другой же день брака, взроствивъ сына и отпустивъ его въ поиски за отцомъ, позаботилась о томъ, чтобы дать ему въ спутники человѣка, который видѣлъ Рустема и могъ его указать Зорабу. Но выходить такъ, что самъ Рустемъ, отправившись въ чужомъ платьѣ соглядатаемъ въ лагерь Зораба, убиваетъ того самаго человѣка, который одинъ и имѣлъ возможность, указавъ Зорабу отца, отвратить его отъ боя съ нимъ. Съ другой стороны, къ Зорабу приставлены другіе спутники, слуги Афразіаба, царя туранскаго, которымъ велѣно не давать Зорабу узнать Рустема, чтобы довести его до боя съ отцомъ. Тщетно упрашиваетъ ихъ Зорабъ указать ему, гдѣ Рустемъ; вѣрные приказанью царя, они отвѣчаютъ уклончиво. Тщетно умоляетъ Зорабъ о томъ-же, своего молодого плѣнника: Хеджиръ, побуждаемый совер-

---

10) Оно извѣстно всей читающей русской публикѣ въ обработкѣ Жуковскаго. Но надо замѣтить, что Жуковскій вольно подражалъ Рюккерту, а Рюккертъ не менѣе вольно подражалъ подлиннику. Несравненно точнѣе переводъ Schack'a: Die Heldensagen des Jran, но онъ не полонъ; многіе эпизоды опущены. Полнымъ оказывается только французскій переводъ Моля.

шенно другимъ, заботой о томъ, чтобъ Зорабъ не ринулся вдругъ на Рустема и не убилъ его, точно также скрываетъ отъ него Рустема, не воображая, что это его отецъ. Такимъ образомъ совершенно различныя пружины съ разныхъ сторонъ ведутъ къ одному исходу—злополучному бою между отцомъ и сыномъ. Наконецъ роковая сила сказывается съ особенной яркостью въ томъ, что Хеджиру Зорабъ почему-то не говоритъ, отчего ему такъ важно узнать Рустема; Рустемъ же, передъ самымъ началомъ боя даже прямо спрошенный Зорабомъ: не Рустемъ-ли онъ? съ какимъ-то уже совершенно беспричиннымъ упорствомъ утверждаетъ, что онъ не Рустемъ. Мысль о силѣ судьбы, ввергающей человѣка въ бѣду, по всей вѣроятности уже доставшаяся Фирдоуси въ иранскихъ народныхъ преданіяхъ (она существуетъ въ устной словесности всѣхъ народовъ), получила у него новую яркость—какъ отъ его магометанскаго исповѣданія, такъ и отъ его доразвивающей художнической способности. Въ преданіяхъ, доставшихся Фирдоуси отъ старины, всетаки менѣе рокового, потому что злополучный бой, по этимъ преданіямъ, могъ являться не столько посланнымъ свыше бѣдствіемъ, сколько карою. Надобно вспомнить, что подъ основною мыслію цѣлой поэмы Фирдоуси, мыслію о борьбѣ Ирана съ Тураномъ, скрывается другая, древнѣйшая мысль, о борьбѣ царства свѣта и царства тьмы. Рустемъ, сильнѣйшій изъ богатырей Ирана, долженъ былъ выработаться изъ первоначальнаго божественнаго представителя свѣтлой силы. Онъ вступаетъ въ брачный союзъ съ туранкою Теминою т. е. съ существомъ изъ темнаго міра. За это его, по нервичной мысли сказанія, не могла не постигнуть кара. [11]) И вотъ ему суждено столкнуться въ бою съ своимъ сыномъ, туранцемъ по матери: суждено чтобы онъ не узналъ въ немъ сына, чтобы видѣлъ въ немъ только врага, туранца: наконецъ чтобъ не самъ онъ погибъ отъ его руки, а погубилъ, и еще при помощи хитрости, этого молодого туранца, и только при послѣднемъ его издыханіи узналъ наконецъ въ немъ сына. У Фирдоуси эта мысль о карѣ является прикрытою отвлеченною мыслію о судьбѣ, но и для этой послѣдней ему осталась нужна роковая развязка сказанія; вотъ почему онъ удержалъ ее и самобытно воспользовался ею. Какъ художникъ, онъ не могъ однакоже, съ другой стороны, не позаботиться и о *смягченіи* своего предмета. Смягченіе оказалось у него въ лицѣ сына, этого совершенно юнаго еще Зораба, который весь исполненъ чаянія, что передъ нимъ именно и находится его милый отецъ, вслѣдствіе чего онъ и умоляетъ его назвать ему свое имя а передъ началомъ второго боя обращается къ нему съ самыми нѣжными, самыми ласковыми словами. Съ другой стороны и самъ отецъ въ началѣ боя обнаруживаетъ какую-то жалость къ молодости противника; но позже чувство это разъ навсегда уступаетъ все болѣе и болѣе усиливающемуся. подъ вліяніемъ рока, стремленью сразиться и побѣдить. Въ

[11]) Въ похожденьи Рустема съ Теминою у Фирдоуси уже не видать, это правда, грѣховности такого союза. Но на нее прямо указывается при женитьбѣ отца его Заля, женитьбѣ на такой же туранкѣ. Сказанье объ этомъ бракѣ, долго откладываемомъ по причинѣ боязни, наводимой на многихъ его грѣховностью, сохранилось у Фирдоуси, какъ надобно думать, въ болѣе первоначальномъ видѣ. (См. Mohl, Livre des rois, I, 279). По основной древней мысли, быть можетъ, Рустемъ платился не только за свое собственное, но и за отцовское прегрѣшеніе.



пылу боя, послѣ увѣреній отца, что онъ не Рустемъ, становится ожесточеннымъ и сынъ; отецъ же, сражаемый сыномъ, рѣшается прибѣгнуть къ обману, который спасаетъ его и губитъ Зораба. [12]) Словомъ все, что есть сочувственнаго, человѣчнаго, все это на сторонѣ Зораба. Только подъ конецъ отчаянная горесть отца примиряетъ насъ съ нимъ.

Тою же смягченностью въ нравѣ сына отличается кельтскій изводъ. Надо замѣтить однако же, что́ у Макферсона, при всей несомнѣнной народности самой основы, все уже замѣтно что-то подправленное въ изложеніи. На бѣду же въ гаэльскомъ подлинникѣ, который, какъ извѣстно, былъ Макферсономъ изданъ послѣ его англійскаго перевода [13]), пѣсня о Картонѣ оказывается не полною: она обрывается до начатія боя, вслѣдствіе чего Дюмериль, въ вышесказанномъ своемъ сочиненіи, долженъ былъ главнѣйшую часть похожденія перевести на французскій языкъ уже не съ подлинника, а съ англійскаго перевода. Картонъ, подобно Зорабу, рождается послѣ отъѣзда отца. Связь Клизамора съ его матерью Моиною объясняется столь же случайнымъ обстоятельствомъ какъ и связь Рустема съ Теминой. Рустемъ попадаетъ въ городъ Темины, отыскивая коня своего, который былъ уведенъ у него въ то время, когда онъ заснулъ въ окрестностяхъ этого города. Клизаморъ былъ прибитъ бурею къ берегамъ рѣки Клейда и гостепріимно встрѣченъ Ревтамиромъ, старѣйшиной ближняго города, обитаемаго Бриттами. Въ довершеніе гостепріимства, онъ выдаетъ за Клизамора дочь свою. Между тѣмъ оказывается, что ее давно уже любилъ одинъ бриттъ. Между нимъ и новымъ ея жинихомъ завязывается бой, кончающійся смертію бритта. Это обстоятельство, не имѣющееся въ иранскомъ сказаніи, принадлежитъ однако же къ самымъ обычнымъ въ народномъ эпосѣ вообще. Извѣстно, какъ много имѣется почти повсемѣстно пѣсенъ о *боѣ изъ за невѣсты.* Слѣдствіемъ убіенія прежняго жениха оказывается то, что Бритты нападаютъ на Клизамора и онъ принужденъ спасаться вплавь. Достигнувъ судовъ, онъ хотѣлъ было немного спустя вернуться назадъ за женою, но постоянно-противный вѣтеръ помѣшалъ этому.

Моина родила сына и умерла вслѣдъ затѣмъ (новое отличье отъ Фирдоуси, гдѣ мать Зораба, Темина, переживаетъ своего милаго сына). Дѣдъ назвалъ мальчика Картономъ. Когда ему было три года, Комгалъ, вождь Ировъ, въ одинъ изъ походовъ своихъ на Бриттовъ сжегъ родной городъ

---

[12]) Обманъ этотъ заключается въ слѣдующемъ: Рустемъ увѣряетъ Зораба, будто въ Иранѣ не принято, поваливъ врага, сразу и отрубить ему голову; будто право на то получается лишь въ томъ случаѣ, если удастся его повалить во вторичномъ боѣ. Зорабъ вѣритъ, позволяетъ Рустему встать и отдохнуть, а тотъ отправляется молить Бога возвратить ему весь избытокъ силъ, отъ котораго онъ отказался въ былое время. Снова его получивъ, онъ вступаетъ въ бой, и уже сразу одолѣваетъ Зораба (Mohl II, 167—169.)

[13]) Этотъ гаэльскій подлинникъ долго былъ заподозриваемъ: многіе заявляли, что онъ переведенъ самимъ Макферсономъ, для довершенья обмана, съ того англійскаго изданія Оссіана, которымъ началъ свое поприще Макферсонъ и которое было выдано имъ за переводъ съ гаэльскаго. (См. въ книгѣ Лёбеля: Die Entwickelung der deutschen Poesie von Klopstoks erstem Auftreten bis zu Goethes Tode I, стр. 1713—11). Извѣстный французскій филологъ, Пиктѐ, въ статьѣ, напечатанной имъ въ Bibliothèque universelle de Genève (Octobre 1854)—les poëmes Ossianiques—доказывая неосновательность большей части обвиненій, взводившихся на Макферсона, главнымъ образомъ налегаетъ на поэтическія преимущества гаэльскаго изданія передъ англійскимъ; эти преимущества, по мнѣнію Пикте, и доказываютъ дѣйствительную подлинность гаэльской рукописи, тогда какъ еслибы Макферсонъ только перевелъ ее съ своего англійскаго изданія, то переводъ гаэльскій долженъ бы былъ оказаться слабѣе, плоше,—а выходитъ на оборотъ.

Картона, при чемъ былъ убитъ его дѣдъ, самъ же онъ спасенъ своей нянькой. Достигнувъ юношескаго возраста, Картонъ рѣшился отомстить врагамъ, не воображая, что въ рядахъ ихъ, въ числѣ прочихъ сподвижниковъ Фингала, сына Комгалова, ему придется встрѣтиться съ отцомъ своимъ Клизаморомъ.

Это чувство мести, какъ двигатель, рѣзко отличаетъ кельтскій разсказъ отъ иранскаго. Зорабомъ руководитъ совершенно другое чувство: онъ хочетъ завоевать и Иранъ, и Туранъ, чтобы воцарить надъ всею вселенною своего заочно любимаго, страстно отыскиваемаго отца. Но возвратимся къ Картону, стольже страстно стремящуся сразиться съ врагами.

Наканунѣ битвы обнаруживаются обычные въ эпосѣ зловѣщіе признаки. Поражаемый ими Фингалъ отправляетъ къ Картону посла. «Напомни ему, говоритъ онъ, что тѣни сраженныхъ нами враговъ наполняютъ воздухъ, но что не мало и такихъ чужестранцевъ, которые съ радостью показываютъ своимъ дѣтямъ оружіе, вымѣненное у насъ (намекъ на древній, засвидѣтельствованный гомерическимъ эпосомъ, народный обычай мѣняться оружіемъ въ знакъ примиренія съ равносильнымъ врагомъ), Оказывается, что Фингалу жаль молодого противника, что ему хотѣлось бы сохранить его дни для его родныхъ. Въ раздумьи его по этому поводу много общаго съ тѣми словами, съ какими обращается къ Зорабу Рустемъ предъ началомъ боя. «О нѣжный юноша, говоритъ Рустемъ, земля вѣдь суха, холодна, воздухъ же мягокъ и тепелъ. Я старъ, видѣлъ не одно поле брани и сокрушилъ не одну рать... Мнѣ жаль тебя, юноша, и я бы не желалъ у тебя отнимать жизнь (Mohl, II, 147.) Однакоже когда сердце Зораба, въ отвѣтъ на эти слова, устремилось къ старцу и онъ спросилъ у него: не Рустемъ-ли ты? а Рустемъ не понятнымъ образомъ отперся, тогда Зорабъ по неволѣ устремился въ бой. Что же касается Картона, то онъ на предложенія мира отвѣчаетъ воспоминаньями о пеплѣ своего роднаго города. Вотъ здѣсь-то и обрывается гаэльскій подлинникъ, такъ что приходится обратиться къ переводу, или, лучше сказать, подражанію Макферсона.

При воспоминаніи о гибели родины, слезы пролились изъ очей Картона—черта, которая въ прежнее время могла бы, пожалуй, быть употреблена въ числѣ доводовъ противъ подлинности нашей пѣсни: но болѣе близкое знакомство съ народной поэзіей, какъ еще не разъ намъ представится случай видѣть, доказываетъ, что такія слезы вовсе не какая нибудь искусственная чувствительность, а явленье довольно обычное даже у самыхъ суровыхъ народныхъ богатырей. Такъ оно, напримѣръ, въ самыхъ древнихъ и самыхъ грубыхъ и дикихъ *chansons de geste* [14]). Между тѣмъ у Фингала снова выказывается состраданіе къ Картону. «Выступлю ли я самъ противъ этого юноши, чтобы преждевременно остановить его на пути славы? Тогда пѣвецъ, указывая на

---

[14]) См. Guillaume d'Orange, éd. Jonckbloet, I, p. 220, 236, 238, 279, 286, 293, 308, 322, 345, 400, 412. Renaus de Montauban, éd. Michelant, p. 176, 181, 190, 198, 227, 236, 239, 270, 274, 300, 330, 335, 351, 354, 360, 396, 412, 417, 419, 425.—Затѣмъ въ прекрасномъ трудѣ Gautier—les épopées françaises можно видѣть плачущимъ и Ожье, и Оливье, и Роланда, и самого Карла великаго со всѣми его баронами (II, p. 237, 357, 360, 429, 445, 450, 517, 569. Gautier заключаетъ совершенно справедливо: un héros qui pleure est un héros qui vit Такимъ образомъ стр. 587), плачетъ и Ахиллесъ въ Иліадѣ.



могилу Картона, скажетъ: Фингалъ самъ вывелъ противъ него свои тысячи». Нѣтъ, пѣвецъ грядущаго времени, тебѣ не придется запятнать имя Фингала!» Такая забота о томъ, что̀-то скажутъ пѣвцы, опять таки не книжная выдумка: она есть и въ сербскомъ, чисто-народномъ эпосѣ [15]) Я не знаю только можно ли подкрѣпить данными народнаго эпоса то, что Фингалъ, для сохраненія своей доброй славы не хотящій выходить противъ Картона самъ, высылаетъ однако же противъ него своихъ витязей. «Кто изъ вождей моихъ хочетъ сразиться съ сыномъ морскаго края?»—спрашиваетъ Фингалъ, въ этомъ случаѣ опять таки напоминая чисто эпическіе пріемы: сходнымъ образомъ вызываетъ охочихъ богатырей нашъ Владиміръ. Противъ Картона выходитъ одинъ изъ богатырей Фингала, потомъ другой, и оба падаютъ подъ его ударами. Тогда Фингалъ высылаетъ въ бой Клизамора: «вспомни свою старую силу, сподвижникъ отца моего Комгала.» И старикъ, потрясши сѣдой головой, гордо выступилъ противъ Картона. Остановившись на высотѣ скалы, юный витязь любовался старымъ своимъ противникомъ: «подниму ли я противъ него копье мое, всегда попадающее такъ вѣрно, или обращу къ нему слово мира, чтобы пощадить его жизнь? Какъ онъ еще статенъ подъ тяжестью лѣтъ.... Что̀ ежели это мужъ Моины, отецъ Картона! Не разъ приходилось мнѣ слышать, что онъ долженъ жить на берегахъ этихъ». Между тѣмъ Клизаморъ уже занесъ копье свое. Юноша, принявъ его на свой щитъ, обратилъ къ нему мирное слово: «развѣ не кѣмъ тебѣ замѣниться, сѣдатый воинъ? или нѣтъ у тебя сына, чтобы выйти противъ меня? (Сынъ, замѣняющій собою старика отца—одно изъ самыхъ обычныхъ явленій въ народномъ эпосѣ...) [16]). Или нѣтъ у тебя милой жены, или плачетъ она надъ могилой сыновей своихъ?—Кто ты? сидишь ли въ рядахъ королей? И какова же будетъ моя удача молодецкая, если ты падешь подъ моими ударами?—«Не мала бы была она, молодой нахвальщичекъ, отвѣчалъ Клизаморъ. Я выросъ посреди браней, но никогда еще не называлъ я врагу своего имени.»—Въ примѣчаніи къ этому мѣсту у Макферсона сказано: назваться по имени передъ врагомъ, это значило, въ тѣ времена бранной славы, уклоняться отъ боя съ нимъ: ибо чуть только обнаруживалось, что издавняя дружба существовала между предками имѣвшихъ сразиться,—и бой немедленно прекращался, а извѣчная дружба возобновлялась. [17]) Слова эти указываютъ на близкое знакомство Макферсона съ народной поэзіей: подмѣченная имъ черта, какъ не трудно замѣтить, подтверждается данными Иліады. [18]) Мы увидимъ далѣе, что нехотѣніе назвать свое имя ради молодецкой чести, замѣтно въ разнонародныхъ изводахъ разбираемаго нами сказанія. Уландъ въ своемъ вышеупомянутомъ курсѣ объясняетъ эту черту сходно съ Макферсономъ [19]). Что же касается

---

[15]) Нек слиjепи по свиjету ходе, нек пjеваjу и спомињу Марка»—думаетъ передъ смертію Марко Кралевичъ (Вука пѣсни II, 443. Ср. тамъ-же 438). Такъ и Роландъ заботится о томъ, чтобы о немъ male cançun chantet ne seit (Génin, Chanson de Roland, 87, 115, 119).

[16]) См. наши былины о Даниилѣ Игнатьевичѣ въ вып. III Кирѣевскаго (отчасти также Илью съ Ермакомъ у Рыбникова и Кирѣевскаго); а въ Сербскихъ пѣсняхъ Вука III, № 55 и 56. Ср. Gautier, Epopées françaises, II, 139, 179—186, 498.

[17]) The Poems of Ossian, translatéd by Macpherson, Leipzick 1805, in three volumes, I, 98.

[18]) См. въ 6-й ея пѣснѣ похожденіе Діомеда съ Главкомъ.

[19]) Uhland's Schriften, 1, 169. Rassmann, Heldensage, II, 649.

Дюмериля, то въ одномъ изъ примѣчаній къ своему обзору изводовъ нашего сказанія, онъ приводитъ изъ Эдды слѣдующія пояснительныя слова къ попадающемуся въ одной изъ пѣсень ея нежеланію Зигурда назваться по имени Фафниру: «въ то время вѣрили, что слово умершаго имѣло великую силу, когда онъ соединялъ проклятіе съ именемъ своего врага» [20]). Подобнаго же рода побужденіе утаивать свое имя существуетъ и до сихъ поръ у дикарей новаго свѣта. [21]) Но въ данномъ случаѣ, кажется, этого послѣдняго рода страхъ едвали имѣетъ мѣсто; скорѣе тутъ именно предполагаемое Макферсономъ опасеніе—показаться уклоняющимся отъ боя; а, можетъ быть, и еще оттѣнокъ такого же, въ сущности, страха,—какъ бы узнаніе имени не дало спрашивающему, въ случаѣ побѣды его, возможности похваляться предъ всякимъ, что онъ побѣдилъ такого-то. [22]) Что именно этого рода оттѣнокъ слышится въ нѣкоторыхъ изводахъ нашего сказанія, это увидимъ мы ниже. Теперь возвращаюсь къ макферсоновскому изводу. «Уступи же мнѣ, сынъ глубины морской, продолжалъ Клизаморъ, тогда ты узнаешь, что слѣды меча моего остались на многихъ поляхъ. «Никогда я не уступалъ никому» отвѣчалъ Картонъ.... Не презирай же меня.... возвратись къ своимъ и вышли противъ меня поединщика помоложе. «А за что же ты наносишь мнѣ такую обиду, отвѣчалъ Клизаморъ со слезами... Бѣжать ли мнѣ на глазахъ у Фингала, на глазахъ у вождя, мнѣ любезнаго. Сынъ глубины морской, я ни отъ кого еще не спасался бѣгствомъ. Намѣть же копье свое въ мою богатырскую грудь!»

И они сразились, словно два противныхъ вѣтра, борющихся между собою, чтобы уровнять волны. Копье Картона блуждало въ его рукѣ: все представлялось ему, что врагъ этотъ—мужъ Моины. Но вотъ онъ переламываетъ пополамъ почернѣлое копье Клизамора и вырываетъ у него изъ рукъ его пламенный мечь; но когда онъ собирался связать старика, старикъ вытащилъ изъ ножонъ кинжалище своихъ предковъ, и, замѣтивъ открытое мѣсто у своего врага, нанесъ ему рану въ бокъ.

Далѣе у Макферсона передается, какимъ образомъ на помощь Клизамору поспѣшилъ Фингалъ. И вдругъ онъ замѣчаетъ окровавленнымъ Картона, а у молодого витязя вырываются изъ груди слова сожалѣнія о томъ, что ему не пришлось сразиться съ самимъ Фингаломъ. «Картонъ умретъ въ безвѣстности», восклицаетъ онъ.—Нѣтъ, этого не будетъ, возражаетъ Фингалъ, обѣщая ему, что пѣвцы Морвена будутъ прославлять въ потомствѣ его юную доблесть. Радость снова засіяла на лицѣ Картона. Онъ передалъ Фингалу свой мечъ, съ тѣмъ, чтобы, повѣшенный въ его чертогѣ, онъ напоминалъ о безвременной гибели юнаго витязя. Бой вокругъ смолкъ; пѣвецъ пропѣлъ пѣсню мира. Вожди окружили умирающаго Картона, и, опершись на мечи свои, внимали его предсмертнымъ словамъ.

«Король Морвена, сказалъ Картонъ, я гибну на серединѣ пути. Чужая могила приметъ во цвѣтѣ лѣтъ послѣдняго изъ поколѣнія Ревтамира.... Со-

---

[20]) Histoire de la poésie Scandinave, 418, примѣч. 5.

[21]) Tyler, Forschungen über die Urgeschichte der Menschheit. 178—179.

[22]) Въ одной сербской пѣснѣ побѣдитель спрашиваетъ побѣжденнаго: «кажо ли се по имену кажеш, нека знадем, ког сам погубио» (Петрановича пѣсни изъ Босны и Герцеговины, 428).



храни же ты здѣсь хотя воспоминаніе о Картонѣ! Можетъ быть, мужъ Моины и прольетъ когда нибудь горючія слезы о гибели своего Картона». Слова эти прямо проникли Клизамору въ сердце, и онъ въ безмолвіи склонился надъ своимъ сыномъ.....

Три дня оплакивали Картона; на четвертый умеръ и его отецъ.

Такая быстрая смерть отъ горя—черта вполнѣ возможная въ народномъ эпосѣ. Такъ и въ извѣстной «Роландовой пѣснѣ», Ода, жена Роланда, немедленно умираетъ при извѣстіи объ его смерти. [23]) Въ нѣкоторыхъ сербскихъ пѣсняхъ съ такою же быстротою умираютъ не только отъ горя, но и отъ большой радости, по преимуществу также женщины. Но въ сборникѣ Вука III, № 78 и 79, отъ горя внезапно умираетъ мужчина и притомъ *въ цвѣтѣ лѣтъ*. Послѣ этого смерть *старика* Клизамора становится уже совершенно понятною.

Мы подробно разсмотрѣли пѣсню о Картонѣ, прекраснѣйшую изъ оссіановыхъ, по замѣчанію братьевъ Гриммовъ. Не трудно замѣтить, что въ ней, сравнительно съ расказомъ Фирдоуси, являются двѣ совершенно особенныя существенныя черты. Во первыхъ, Клизаморъ утаиваетъ свое имя—изъ чувства *воинской чести*, тогда какъ у Фирдоуси тутъ просто то безпричинное запирательство, о роковомъ значеніи котораго уже было сказано. На совершенно ясное вопросительное замѣчаніе Зораба: «я думаю, что ты не кто другой, какъ Рустемъ» (у Оссіана же *роковое* сказывается скорѣе въ отсутствіи такой ясной постановки вопроса Картономъ);—на такія слова его отецъ отвѣчаетъ съ какимъ-то увлеченіемъ самодурствующаго запирательства: «ты ошибаешься; Рустемъ принадлежитъ къ боевымъ вождямъ, я же изъ числа рабовъ». [24]) Другая черта разницы между Оссіаномъ и Фирдоуси, это то, что у перваго въ Картонѣ сказывается незамѣтное у втораго чувство мести соотечественникамъ Клизамора за разореніе ими его роднаго края. [25])

Къ двумъ иностраннымъ изводамъ трагическаго содержанія можно наконецъ прибавить и еще одинъ (изъ круга преданій классическихъ), оканчивающійся трагически для отца. Я разумѣю передаваемое Телегоніею Эвгаммона сказаніе объ Одиссеѣ, которому тутъ предсказано, что онъ погибнетъ отъ руки сына. Сынъ этотъ—Телегонъ, рожденный имъ, какъ и Рустемомъ Зорабъ, Клизаморомъ—Картонъ, вдали отъ своихъ, на очарованномъ островѣ, отъ Кирки (Цирцеи). Кромѣ того, имъ рожденъ еще и другой незаконный сынъ отъ связи съ другою женщиной. Послѣ смерти ея, возвращаясь на свою Итаку, онъ встрѣчается тамъ съ Телегономъ, давно уже отыскивающимъ

---

[23]) La chanson de Roland, éd. Génin, Paris 1850 p. 311.

[24]) Надо, впрочемъ замѣтить, что Уландъ думаетъ объяснить запирательство Рустема: высланный Шахомъ противъ него, онъ боится, какъ бы, услышавъ такое грозное имя, Зорабъ не уклонился отъ боя (Schriften, I, 169).

[25]) Я, къ сожалѣнію, не могъ достать англійскаго изданія, въ которомъ находится гаэльская пѣсня о боѣ между Конлахомъ и Кухуллиномъ (соотвѣтствующими Картону и Клизамору) изъ вышеупомянутой рукописи XVI ст. (M'Lauchlan and Skene. The Dean of Lismore's book) Содержаніе этой пѣсни извѣстно мнѣ только по несовсѣмъ подробной передачѣ ея въ X ч. (1865 г.) Пфейфферова журнала »Germania«. Тутъ отказывается назвать свое имя не отецъ, а сынъ: «уѣзжая изъ дому, я далъ слово никому не называть его, говоритъ онъ; а не то бы я назвалъ его—изъ любви къ тебѣ». Отецъ настаиваетъ, преисполненный чаянія; но напрасно. Конецъ уже совершенно близокъ къ тому пересказу, который послужилъ основаніемъ для Макферсона.



отца. Телегонъ теперь находитъ его, но, не зная, что это отецъ, враждебно имъ встрѣченный за разбои, производимые имъ (Телегономъ) на Итакѣ, вступаетъ въ бой съ Одиссемъ,—и убиваетъ его. [26]).

Не трудно замѣтить, что все это нѣсколько подходитъ къ сказанію о невольномъ убійцѣ отца — Эдипѣ. Первичная основа сказанія о боѣ между отцомъ и сыномъ распалась, повидимому, на двѣ вѣтви: въ одной сынъ погибаетъ отъ руки отца, въ другой отецъ—отъ руки сына. Но въ сказаніи объ Эдипѣ, какъ всѣмъ извѣстно, кромѣ *отцеубійства* проявляется также *кровосмѣшеніе*. Этою послѣднею чертою оно совершенно обособляется въ самостоятельный кругъ, извѣстный не только классической древности, но и среднимъ вѣкамъ. Въ положеніи Эдипа является тутъ—то Іуда предатель (яко бы убившій отца и женившійся на матери—еще до поступленія въ ученики Христовы), то Андрей Критскій, то Григорій папа. Повѣсти объ этихъ лицахъ, извѣстныя всей Европѣ, имѣются и у насъ, какъ въ старинныхъ рукописяхъ (первая, объ Іудѣ, преимущественно въ раскольничьихъ), такъ и въ видѣ устныхъ разсказовъ (переходящихъ въ разрядъ безыменныхъ), а отчасти и пѣсенъ (у Малороссіянъ — безыменныя; у Сербовъ—о находѣ *Симеунѣ*, съ сохраненіемъ только *кровосмѣшенія* и пропускомъ *отцеубійства*) [27]) По разнообразію изводовъ, при повсемѣстной распространенности, можно полагать, что сказаніе это существовало и въ западной Европѣ, и у Славянъ, независимо отъ Грековъ.

Я позволю себѣ оставить въ сторонѣ ту отрасль занимающаго насъ сказанія, въ которой *отецъ погибаетъ отъ руки неузнающаго его сына*: [28]) она не подходитъ къ нашимъ былинамъ объ Ильѣ Муромцѣ (особенно по примѣшавшемуся сюда кровосмѣшенію). Но прежде чѣмъ перейти къ этимъ послѣднимъ, представлю заключительный выводъ о двухъ разсмотрѣнныхъ мною изводахъ другой отрасли—о персидскомъ «Зорабѣ» и кельтскомъ «Картонѣ», *погибающихъ отъ руки отца*. Сказанія эти раздѣлены и необъятнымъ *пространствомъ*, и необъятнымъ *временемъ*. *Заимствовать устнымъ путемъ* съ отдаленнѣйшаго востока было бы рѣшительно мудрено на крайнихъ предѣлахъ европейскаго Сѣверо-Запада, Пришлось бы, для объясненья *заимствованьемъ*, предположить, что къ Кельтамъ Ирландіи или Шотландіи какимъ нибудь способомъ могли быть занесены въ старину *рукописные* переводы-передѣлки персидской поэмы. Но это должно *остаться предположеніемъ*, такъ какъ рукописи подобнаго рода не отыскались въ этихъ краяхъ. Если же наконецъ предположить, что сказаніе о боѣ между отцомъ и сыномъ заимствовано изъ Шахъ-Наме, уже въ XVIII вѣкѣ, самимъ Макферсономъ, который такъ долго и заподозривался, какъ извѣстно, въ нагломъ подлогѣ, — то это не допускается тѣмъ обстоятельствомъ, что первое понятіе о трудѣ Фирдоуси получено было въ Англіи, да и вообще въ Европѣ, только въ 1774 г.

---

[26]) Preller, Griechische Mythologie, II, 111.

[27]) См. ст. Н. И. Костомарова «Легенда о кровосмѣсителѣ» въ его Историч. монографіяхъ, Т. I, стр. 110—158. Двѣ рукописныхъ повѣсти этого рода напечатаны имъ во 2 вып. Памятниковъ старинной русской литературы, стр. 415—424. См. также Вука Караджича сербскія пѣсни, ч. II, стр. 63—75.

[28]) Укажу только мимоходомъ, что сюда же должна быть отнесена, по своей основѣ, и баснословная исторія Брута въ Historia regum Britanniae Готфрида Монмут-

(изъ отрывковъ, изданныхъ Джонсомъ), [29]) тогда какъ макферсоновъ Оссіанъ появился уже въ 1760 г. Да и къ тому же ирландское сказаніе о боѣ между отцомъ и сыномъ оказалось существующимъ уже, какъ сказано выше, въ одной рукописи XVI столѣтія. Наконецъ намъ не трудно было замѣтить, что при всемъ *единствѣ основы*, между сказаньемъ иранскимъ и кельтскимъ существуютъ весьма существенныя различія въ *постановкѣ* и *обстановкѣ*. Съ другой же стороны замѣчательно, что въ продолжительный промежутокъ времени между началомъ XI столѣтія, (когда писалъ Фирдоуси) и второю половиною XVIII, (когда писалъ Макферсонъ), *основа* сказанія сохранилась такъ цѣльно и неприкосновенно, во всемъ суровомъ величіи трагическаго исхода.

Но такой же исходъ сохранился и до настоящаго времени—въ соотвѣтственныхъ русскихъ былинахъ.

Всѣ онѣ (т. е. трагическія изъ нихъ) отличаются совершенно особеннымъ положеніемъ сына. Онъ не обнаруживаетъ ни малѣйшей любви къ отцу, и не только далекъ отъ радости въ ту минуту, когда узнаетъ наконецъ, кто онъ, но даже выказываетъ совершенно противоположное чувство. Такой несмягченный характеръ сына можетъ служить однимъ изъ свидѣтельствъ объ отдаленнѣйшей древности нашего отечественнаго извода; но онъ не остается въ былинахъ безъ объясненія, ему указана особенная причина, которой должно быть приписано, съ другой стороны, уже относительно позднее происхожденіе. Эта причина указывается только въ самомъ концѣ былины, и указывается совершенно неожиданнымъ образомъ; она уже переноситъ насъ съ миѳической почвы на бытовую, въ теченіи же первой и большей части былины еще ясно дается чувствовать, что тутъ передъ нами какой-то уже затемненный миѳъ. Обращусь прежде всего къ тѣмъ изъ трагическихъ пересказовъ, которые вошли въ сборникъ Кирѣевскаго. Между ними, изъ общаго числа семи, одинъ—безъ конца, [30]) четыре отличаются трагическимъ окончаніемъ, [31]) три—счастливымъ, [32]) (не считаю былины 1-го выпуска, IV отд., подъ № 5, такъ какъ въ ней добрый молодецъ, сталкивающійся враждебно съ Ильею, уже не называется его сыномъ, а просто жидовиномъ). Между трагическими пересказами у Кирѣевскаго два коротенькихъ и два довольно длинныхъ. [33]) На счетъ относительной краткости и пространности соотвѣтственныхъ пѣсень извѣстно мнѣніе Лахмана, отдающее предпочтеніе сравнительно-краткимъ пѣснямъ. Но это мнѣніе, послужившее краеугольнымъ камнемъ знаменитой лахмановой критики «Нибелунговъ», уже вызвало много весьма дѣльныхъ возраженій, впрочемъ болѣе ограничительнаго, чѣмъ вполнѣ оспаривающаго свойства. Дѣйствительно надо умѣть отли-

---

скаго (Carriere, die Kunst im Zusammenhange der Culturentwickelung, III, II, 295. S. Marthe, Arthursage, 11.

[29]) Mohl, le livre des Rois, t. I, préface, p. XXIX.

[30]) Кир. I, 1, I, 4. (Оренбургск. губ. Уфимск. уѣзда).

[31]) Кир. I. 1, 2, 3, (Симб. губ.); IV, 2, (Онега); IV, 3. (Арханг. губ.

[32]) Кир. I, I, 1. (Симб.); 5, (Томск. губ.); 6, (Пермск. Кирши Дан.)

[33]) Въ одномъ изъ этихъ краткихъ (I, I, 1), трагическая развязка совершенно ясна; въ другомъ (I, 1, 1) о ней можно догадываться потому, что Илья, подбросивъ молодца подъ облака, не подхватываетъ его на руки, какъ онъ дѣлаетъ въ тѣхъ пересказахъ, гдѣ хочетъ спасти его. Краткій же пересказъ I, 1, 4—совсѣмъ безъ конца: татарченокъ нападаетъ на Илью, бьетъ его по бѣлу лицу (такъ оно только въ этомъ пересказѣ; вездѣ стрѣляетъ въ грудь), а Илья грозится стоптать его на конѣ.



личать первоначальную *краткость* отъ *сокращенности*, [34]) которая можетъ появляться въ народной поэзіи уже вслѣдствіе того, что тому или другому пѣвцу начинаетъ измѣнять память. Точно также слѣдуетъ умѣть отличать *распространенность*, являющуюся слѣдствіемъ занесенія въ народную поэзію уже кое-какихъ искусственно-книжныхъ замашекъ, отъ первоначальной *пространности* т. е. *эпической обстоятельности содержанія*. Такая обстоятельность, обращеніе вниманія даже на то, чтó скорѣе въ позднѣйшую, болѣе развитую пору, можетъ показаться неважнымъ, составляетъ одно изъ основныхъ отличій настоящаго, т. е. народнаго эпоса (въ лично-художественную пору творчества *настоящаго эпоса*, можно сказать, уже нѣтъ). Изъ былинъ Кирѣевскаго о боѣ Ильи съ сыномъ болѣе длинныя именно и отличаются этою древнею эпическою обстоятельностью. Въ нихъ къ позднѣйшему времени должно быть отнесено только то, что Илья является уже тутъ не одинъ, а въ сообществѣ съ другими богатырями, и является уже на богатырской заставѣ, охраняющей русскую землю и Кіевъ градъ отъ нападенія вражьяго. [35]) Такое поставленіе нашего богатыря въ ряды земской богатырской дружины уже представляетъ намъ складъ исторически-бытовой, имѣвшій возможность только въ позднѣйшее время наслоиться на первоначальную миѳическую основу. И всѣ остальные богатыри только позже могли быть народнымъ воображеніемъ сведены въ одинъ общій кругъ, отличающійся уже земскимъ значеніемъ. Только позже могло произойти и сосредоточеніе всѣхъ ихъ около Кіева и его князя, представителя земщины, какъ и повсюду въ народной поэзіи образованіе круговъ эпическихъ происходило уже въ позднѣйшую пору, первоначально же возникали совершенно отдѣльныя пѣсни о томъ, или другомъ лицѣ. [36]) По *обособленности* своего содержанія, болѣе древними, сравнительно съ длинными пересказами Кирѣевскаго, должны бы быть признаны коротенькіе, не знающіе рѣшительно ничего о прочихъ богатыряхъ и о богатырской заставѣ; [37]) но изъ сличенія ихъ съ длинными оказывается, что они передаютъ собственно только заключительный отдѣлъ сказанія, что собственно въ нихъ нѣтъ начала, а потому и кратки они только какъ отрывки. Только ихъ отрывочности надобно приписать и то, что противникъ Ильи не называется въ нихъ его сыномъ. На сыновнее значеніе его отчасти указываетъ уменьшительное — *татарченокъ*, преимущественно же близкое сходство съ однимъ коротенькимъ же пересказомъ у Кирѣевскаго, въ которомъ уже нѣтъ трагическаго исхода, но ясно указывается на родство между Ильей Муромцемъ и юнымъ его врагомъ. [38])

Изъ двухъ пространныхъ трагическихъ пересказовъ Кирѣевскаго во многихъ отношеніяхъ очень древнимъ можно считать помѣщенный въ 4 выпускѣ подъ № 3, Архангельской губерніи и уѣзда. Г. Буслаевъ считаетъ

---

[34]) См. въ направленномъ противъ Лахмана сочиненіи Holtzmann'a Untersuchungen über das Niebelungenlied, Stuttgart 1854 г. стр. 5 и слѣд.

[35]) Кир. I, 1, 5; IV, 2; IV, 4. Впрочемъ и Рустемъ и Клизаморъ, также уже—съ цѣлымъ войскомъ а не одни.

[36]) См. статью Штейнталя das Epos—въ Zeitschrift für Völkerpsychologie, B. V, H. 1.

[37]) Кир. I, I, 1, 2, 3, 4. (Симб. губ.).

[38]) Кир. вып. I, отд. I, стр. 1 и 2. Илья называетъ тутъ мать татарченка своею кумою—очевидно позднѣйшая порча (но понятіе о родствѣ тутъ сохранено).



его даже древнѣйшимъ изъ всѣхъ пересказовъ. Я-же думаю, что *древнѣйшею* относительно другихъ сходныхъ едва ли можно назвать какую либо изъ былинъ въ цѣломъ ея составѣ. Въ одной большею древностью отличается одно, въ другой—другое; даже и въ былинахъ, вообще необыкновенно хорошо сохранившихся, иногда попадаются немногія отдѣльныя черты очевидно новѣйшаго происхожденія. Каждая былина непремѣнно нуждается во внимательнѣйшей критической провѣркѣ, въ каждой должны быть критикою отличены одинъ отъ другаго пласты, сохранившіеся въ ней отъ различныхъ эпохъ. Такъ и въ обѣихъ пространныхъ трагическихъ нашихъ былинахъ. Въ предпочитаемой г. Буслаевымъ дѣйствительно отдаленнѣйшею стариною отличается весьма многое; но во многомъ зато она уступаетъ той, которая помѣщена въ 1 вып., IV отд. подъ № 2. (Онега). Съ другой же стороны во многихъ отношеніяхъ древнѣе самыхъ древнихъ особенностей обѣихъ былинъ Кирѣевскаго является многое въ соотвѣтствующихъ былинамъ у Рыбникова, какъ увидимъ мы въ своемъ мѣстѣ.

Обращаясь сперва къ пересказу, предпочитаемому г. Буслаевымъ, прежде всего я считаю должнымъ откинуть почти все вступленіе (ст. 1—54), въ которомъ характеризуются богатыри, вмѣстѣ съ Ильей изображающіеся тутъ стоящими на богатырской заставѣ, т. е. эту характеристику, вмѣстѣ съ соотвѣтственными мѣстами изъ другихъ пересказовъ, придется разсматривать позже, когда мы дойдемъ до совершившагося съ теченіемъ времени пріуроченія Ильи Муромца къ Кіеву и его земской дружинѣ. Въ настоящее же время укажу изъ этого вступленія только на слѣдующую характеристику юнаго вражескаго богатыря (такъ какъ онъ и Илья Муромецъ единственныя первоначальныя лица въ нашей былинѣ; всѣ остальныя, за исключеніемъ матери юноши, лица также первоначальнаго, но являющагося только въ концѣ былины, уже позднѣйшія вставки):

Ѣдетъ молодецъ на добромъ конѣ,
На правомъ плечѣ везетъ ясна сокола,
На лѣвомъ плечѣ везетъ бѣла кречета, [39])
*У стремени прикована змѣя горынская*
(ст. 10—13).

Первые три стиха не представляютъ ничего особеннаго противъ многихъ другихъ пересказовъ, сходно съ этимъ изображающихъ его охотникомъ, вслѣдствіе чего онъ даже называется въ нѣкоторыхъ пересказахъ *сокольничкомъ-охотничкомъ*[40]) (въ другихъ—молодымъ Соловниковымъ, Збутомъ королевичемъ, бѣлымъ Борисомъ Козловымъ, татарченкомъ-басурманченкомъ, просто татарченкомъ и т. п.) Особенно замѣчательна въ приведенной сейчасъ выпискѣ *змѣя*, которая и сама по себѣ, и своимъ эпитетомъ *горынская*, ставящимъ ее въ связь со знаменитымъ *Змѣемъ Горынычемъ* нашихъ былинъ, со *Святогоромъ*, *святыми горами* и миѳическимъ значеніемъ *горы* вообще,—всѣмъ этимъ указываетъ на то, что здѣсь сохранилась древняя миѳическая черта. Ниже описывается слѣдующая богатырская игра вражьяго добра молодца:

---

[39]) У Рыбн. I, 12 (отъ Рябинина) нѣсколько иначе: «на правой то рукѣ сидитъ Соловей, а на лѣвой то рукѣ жавроленочекъ»: повидимому, уже попорчено—такъ какъ птицы тутъ не охотничьи.

[40]) Рыбн. I № 13 (въ концѣ).

Мечетъ копье подъ вышину небесную,
Подъѣзжаетъ на конѣ и подхватываетъ,
Самъ копью *наговариваетъ:*
«Коль легко я верчу острымъ копьемъ,
Толь легко буду вертѣть Ильей Муромцемъ.»
(Ст. 49—50). [41])

Отдаленнѣйшею стариною отзывается тутъ этотъ, съ перваго раза незначущій, глаголъ *наговариваетъ*. Кто припомнитъ соотвѣтственный наговоръ Ильи Муромца на копье, пускаемое имъ въ Соловья (о чемъ будетъ ниже) и кто вообще знакомъ съ народными заговорами (о нихъ смотри въ моей книгѣ о Р. Слов. стр. 66—85), тотъ усмотритъ и тутъ стремленіе силою слова наговорить на копье дѣйствительную силу поворотить Ильей Муромцемъ. Съ другой же стороны въ послѣднемъ стихѣ слышно уже воинское поддразниванье врага, т. е. тутъ надобно видѣть черту уже *бытовую*, позднѣйшую. Въ вышеуказанномъ пересказѣ 1-го вып. (онежскомъ) этой бытовой черты еще нѣтъ, потѣха же добраго молодца обрисовывается какъ-то полнѣе:

Выкидываетъ палицу вверхъ подъ облако,
Выметываетъ сабельку вострую,
Принимаетъ палицу единой рукой,
А другой рукой саблю вострую. (Стр. 52).

Совершенно такая же боевая потѣха встрѣчается очень часто въ сербскихъ былинахъ:

Топузину баца у облаке
Дочекуjе у биjеле руке (Вука II, № 67).
Онъ буздохан баца у висину,
А у десну дочекуjе руку... (Вука III, 305)
А довати тешку топузину,
Па ми топуз у висине баца,
А вата га у биjеле руке (Ibid. 351. Сравни также 26, 196.) [42])

Такъ и въ болгарской пѣснѣ Дойчинъ:

Га си топузъ-тъ подхвърли,
Дéвять сахáта отива,
Тачé го съ кóнче-то стигаше,
Та гó съ руку хвáташе (Безсонова I, 15) [43]).

Сходно наконецъ и въ «Chanson de Roland» самъ Роландъ:

Sun fort espiet vait li bers palmeiant,
Cuntre le ciel vait l'amure turnant. [44])

Такое совпаденіе служитъ, конечно, доказательствомъ древности этой черты. Но она еще глубже отодвинется въ старину, если позволено будетъ припомнить тутъ молотъ германскаго громовника Тора, который, будучи кинутъ, постоянно возвращался въ его руки. [45])

Въ онежскомъ пересказѣ игра добраго молодца не называется *утѣхою дворянскою*, какъ въ архангельскомъ, а что эта *утѣха дворянская*—черта позднѣйшая,—кажется и доказывать нечего. Зато въ любимомъ пересказѣ г. Буслаева замѣчательна слѣдующая черта:

*Не двѣ грозны тучушки затучились,*
*Не двѣ горы вмѣстѣ сдвигалися,*
Два богатыря съѣзжались въ чистомъ полѣ (ст. 80—82)

---

[41]) Илья отвѣчаетъ на это пословицею: «не уловя птицы, ты теребишь ее, не сваривши птицы Богу молишься» (ст. 78 и 79).

[42]) Ср. также у Петрановича, Пjесме изъ Босне и Герцеговине, 209, 219, 605.

[43]) Игра эта, въ примѣчаніи поясняетъ г. Безсоновъ, въ обширномъ смыслѣ называется титра: играютъ съ камнями на конѣ, съ маленькими камушками ребята, какъ у насъ; женщины съ яблоками, и т. д.

[44]) Chanson de Roland, ed. Génin, 98—99.

Сравнить также въ Guillaume d' Orange, éd, Jonckbloet, I, 328:

....Renoart o son tinel corant,
De l'une main en l'autre paumoiant (Ср. тамъ же 344).

[45]) J. Grimm, D. Mythologie, 3-e Ausg. 164. Замѣчательно, что въ одномъ сказаніи минусинскихъ татаръ къ Катай Хану возвращается пущенная имъ стрѣла, пройдя черезъ семь земель и истребивъ не мало народа (Castren's Vorlesungeu über die Altaischen Völker, 215) Кто у кого тутъ заимствовалъ? (!).

Подобнаго рода сравненіе, какъ увидимъ мы въ своемъ мѣстѣ, должно оказаться не просто сравненіемъ, а едва ли не прямымъ указаніемъ на миѳическое значеніе борющихся существъ. Между тѣмъ въ томъ же самомъ пересказѣ нѣсколько далѣе (ст. 111—112) употреблено сравненіе, относящееся къ совершенно другому и, конечно, позднѣйшему кругу:

Не сѣрая утица востопорщится,
Илья на землѣ поворотится.

Не прямое ли это доказательство, что въ одной и той же былинѣ могутъ сходиться совершенно различныя «струи», объясняемыя тѣмъ, что къ первичной ея основѣ съ теченіемъ времени присоединяются различныя наращенія. Далѣе въ пересказѣ архангельскомъ замѣчательно то, что кромѣ *палицъ* и *копій*, почти единогласно упоминаемыхъ всѣми пересказами, тутъ упоминаются еще какія-то *тяги желѣзныя*. За тѣмъ и тутъ, какъ вездѣ, послѣ коннаго боя съ оружіемъ схватываясь въ-пѣшь *рукопашкою*,

Водились добры молодцы полтора года,
*По колѣнямъ въ землю пріобмялися* [46])

Чрезвычайно сходно съ этимъ въ болгарской пѣснѣ описаніе боя Стояна съ медвѣдицею:

Борѣли ся два дни ми, три дни,
До поясъ ся въ земяископали,
Бистри ся извори (ручьи) излѣзли,
Рѣка ми, вода тръгнула,
Нито Стоянъ пада, нито мечка пада.
(Безсон. 1, 101).

Вполнѣ также соотвѣтствуетъ этому и угрязаніе въ землю нашего знаменитаго старшаго богатыря Святогора, а на востокѣ—такое же угрязаніе даже прямо соотвѣтствующаго нашему Ильѣ, по бою съ сыномъ, Рустема. Но ежели въ этомъ угрязаніи, такимъ образомъ, нельзя не видѣть черты весьма древней, то совершенно напротивъ полуторогодовая продолжительность боя—отличается уже тѣмъ крайнимъ гиперболизированіемъ съ умысломъ, которое замѣтно у народа только въ позднѣйшее время. Едва ли не ближе къ первоначальному тотъ срокъ, какой приписывается бою въ онежскомъ пересказѣ:

Первый день водилясе до вецера,
И темну ноць водились до бѣла свѣта:
Другой день водилисе до вецера
И темну ноцьку до бѣла свѣта;
Да и третій день водялисе до вецера...
(Стихи 60—64, стр. 53—54)

Также точно оно, какъ мы могли замѣтить, и въ болгарской пѣснѣ.

Этому же вполнѣ соотвѣтствуетъ и трехдневный бой между Рустемомъ и Зорабомъ—срокъ, такимъ образомъ одинаково сохранившійся и у насъ, и у Персовъ, сохранившійся и у насъ, и у нихъ, независимо другъ отъ друга, т. е. уцѣлѣвшій и здѣсь и тамъ отъ первоначальнаго, когда-то общаго вида преданія. [47]) Далѣе, въ буслаевскомъ (буду его такъ называть) пересказѣ, важна сходная со многими рыбниковскими подробность, относящаяся къ паденью Ильи:

---

[46]) Этому отчасти соотвѣтствуетъ въ онежскомъ пересказѣ касающійся собственно только Сокольника стихъ:
Подъ молодцемъ земля голыблится.

[47]) Также точно цѣлыхъ три дня догоняетъ молодца богатырь Добрыня (или Алеша), а потомъ Илья—во многихъ пересказахъ. Ниже увидимъ мы, что три же дня догоняетъ Вольга́ Микулушку Селяниновича.





У Ильи права нога окатилась
А лѣвая нога подломилася [48])

Слѣдующая же за тѣмъ увѣренность Ильи въ высшей помощи и въ буслаевскомъ пересказѣ отличается уже столь же недревнимъ оттѣнкомъ, какъ и во многихъ другихъ [49]). Подъ христіанскимъ вліяніемъ, замѣтнымъ въ нихъ въ этомъ мѣстѣ, скрывается, надо полагать, первоначальная языческая увѣренность Ильи въ покровительствующей ему силѣ рока. Это-то упованіе и придало ему опять столько силы, что онъ могъ сбросить съ себя и подбросить подъ облака врага своего—

Самъ вставалъ, да и подхватывалъ, (Стихъ 115).

*Киданье подъ облака* должно быть опять чертой весьма древнею· Илья прибѣгаетъ къ нему во всѣхъ почти пересказахъ «боя съ сыномъ», сверхъ же того при встрѣчѣ своей съ великаномъ Зюзею (о чемъ будетъ ниже). Но у него это киданье сопровождается уже уберегающимъ отъ смерти *подхватываньемъ*. Совершенно иначе пользуется *киданіемъ* знаменитый сербскій богатырь Марко Кралевичъ, когда, мстя своей сестрѣ измѣнницѣ, не щадитъ и ея сына:

Па га баци небу подъ облаке,
На бойно га копльe дочекао,
На копjу му серце износио. [50])

Киданье враговъ въ верхъ составляетъ также боевой пріемъ германскаго бога Тора [51]) (который, какъ увидимъ мы въ своемъ мѣстѣ, представляетъ и нѣкоторыя другія черты сходства съ нашимъ Ильей). Возвращаясь къ муромскому богатырю, замѣчу, что, подхвативъ, онъ

Клалъ паленицу на сыру землю,
Садился къ паленицѣ на бѣлы груди.

Что касается послѣдняго стиха, то едва ли не древнѣе своеобразное выраженіе пересказа онежскаго:

Втогды садился да на *цёрны груди*. (Стихъ 76).

Этотъ эпитетъ *черныя*, вмѣсто обычныхъ эпическихъ *бѣлыхъ* грудей, стоитъ тутъ, конечно, не даромъ, (тоже и у Рыбн. I, № 13); имъ, по всей вѣроятности, указывается на *темное значеніе* Сокольника, на то, что въ немъ кроется миѳическій представитель начала тмы. Это опять совершенно соотвѣтствуетъ персидскому преданію, въ которомъ Зорабъ является сыномъ туранки, т. е. лица изъ темнаго царства, съ которымъ незаконнымъ образомъ вступилъ въ брачный союзъ богатырь царства свѣта, Рустемъ. Также точно и въ нашемъ русскомъ первоначальномъ сказаніи, Илья долженъ былъ вступать въ союзъ съ существомъ не одной съ нимъ, а совершенно другой и отчасти враждебной природы. Доказательства на это изъ другихъ былинъ увидимъ мы въ своемъ мѣстѣ. Теперь же замѣчу, что въ пересказѣ онеж-

---

[48]) Ср. у Рыбникова I. 12, II, 64.

[49]) Сколько я стоялъ за вѣру христіанскую, еще болѣ я стоялъ за церковь Божію, и т. д. Ср. 1, IV, 2:

Не дай меня поганому на поруганіе,
Буду я служить до свѣту до вѣку
За тѣ церкви за Божіи,
За ту вѣру за крещшоную (ст. 68—72).

[50]) Юкича и Любомира, народне пjесме Босанске и Герцеговачке, I, 60, 61.

[51]) Uhland, der Mythus v. Thor, 111, 165. Подброшенные Торомъ становятся на небѣ звѣздами—и такъ, тутъ еще форма миѳическая. (Я тутъ указываю страницы по старому изданію).

скомъ *черныя груди* встрѣчаются не одинъ разъ. Когда Илья и въ этомъ пересказѣ, какъ и въ архангельскомъ и остальныхъ, до трехъ разъ допрашиваетъ побѣжденнаго богатыря, откуда онъ, тотъ, послѣ долгаго запирательства, наконецъ сознается:

Што по имени зовутъ меня—Сокольшицёкъ,
А по отцесьву зовутъ меня—Нахвальшицёкъ,
Молодой вдовы Омельфы Тимоѳеевны родной я сынъ.
Тутъ сходилъ старой со *церныхъ* грудей....
«Ты скажи-тко, скажи молодой вдовы
Отъ старика казака поклонъ низкіе.»

Чтó касается собственно происхожденія Сокольника, то оно въ архангельскомъ пересказѣ опредѣлено точнѣе и отличается большею древностью:

Отъ *моря* я отъ *студенаго*,
Отъ *камени* я отъ Латыря,
Отъ той отъ *бабы* отъ *Латыгорки*, (ст. 142—144).

Очевидно, что эта баба Латыгорка, самое имя которой указываетъ на связь ее съ Латыремъ, этимъ, еще недостаточно разъясненнымъ, но несомнѣнно миѳическимъ камнемъ, [52]) очевидно, что эта баба Латыгорка, говорю я, несравненно древнѣе, чѣмъ вдова Амелѳа Тимоѳеевна,—это, такъ сказать, стереотипное имя матери, попадающееся въ былинахъ о любомъ изъ богатырей. (Между тѣмъ немного пониже въ томъ же самомъ пересказѣ мать Сокольника величается уже этимъ стереотипнымъ именемъ—ст. 153, 155). И камень Латырь, по всѣмъ даннымъ народной поэзіи находящійся среди моря, и это, такимъ образомъ естественно связанное съ нимъ *море студеное*, и это указаніе *на гору*, скрывающееся во второй половинѣ имени загадочной бабы,—все это еще остатки миѳическихъ выраженій. Услышавъ подобный отвѣтъ отъ сокольника, по буслаевскому пересказу,

Соходилъ Илья со бѣлыхъ грудей,
Бралъ его за руку за правую,
Цаловалъ во уста во сахарныя:
«Здравствуй, мое чадо милое»!

Бережно подхвативъ его еще до узнанія въ немъ своего сына, послѣ такого узнанія, Илья, очевидно, тѣмъ болѣе долженъ его щадить. А между тѣмъ мы встрѣчаемся въ той же былинѣ съ концомъ трагическимъ, и притомъ убитымъ остается именно сынъ. Чѣмъ же объясняется это, изъ чего вытекаетъ такое обратное впаденье въ суровость въ нашемъ богатырѣ? Всѣ пересказы съ исходомъ трагическимъ единогласно свидѣтельствуютъ о томъ, что неожиданное узнаніе тайны своего происхожденія «за бѣду пало Сокольнику, за великую». Сперва, чуть опомнившись, онъ еще отправляется за подтвержденіемъ къ матери; когда же и она подтверждаетъ слова Ильи,

[52]) Въ моемъ Ист. Обозр. русской словесности я, на основаніи различныхъ сравненій, толкую латырь камень—солнечнымъ камнемъ (см. стр. 79—80, 335) Въ дополненіе къ приведенному мною тамъ, укажу еще на то, что у Куна въ объясненіи эпизода Магабгараты и Рамаяны о вабиваніи млечнаго моря опущенною въ него горою, образуемый, въ числѣ прочихъ предметовъ, отъ такого вабиванія драгоцѣнный небесный камень является именно солнцемъ. (Herabkunft, 249, 251). Можно указазать и на основной, выяспяемый Куномъ миѳъ—возжиганіе въ солнечномъ кругѣ свѣта посредствомъ сверленія, а затѣмъ и на другой миѳъ—солнце, какъ мельницу, или какъ жорновъ, жерновой камень, изъ котораго посредствомъ тренія также производится свѣтъ. (См. у Куна стр. 16, 36, 48. 115). Послѣ этого, не позволительно ли будетъ догадываться, что камень латырь посреди студенаго моря—это солнце посреди зимняго неба, солнце въ его зимнемъ, невозженномъ состояніи. Баба Латыгорка тогда оказалась бы видоизмѣненіемъ той зимней бабы, у к о в а м и которой у Сербовъ почитается снѣгъ. Эта баба—гора, (горыпинка) зимняя туча, залегщая камень латырь (Латыгорка), пока наконецъ, чрезъ союзъ съ миѳическимъ существомъ, скрывающимся въ Ильѣ, она не становится снова плодоносною, лѣтнею бабою.

былины опять почти единогласно повторяютъ: «за бѣду ему пало, за великую». Онъ принимаетъ свое происхожденіе за такую бѣду, что обратно ѣдетъ къ неожиданно-узнанному имъ виновнику этой бѣды, и, заставъ его на постели въ шатрѣ, хочетъ застрѣлить соннаго. А въ пересказѣ онежскомъ высказывается и еще яснѣе, почему онъ тутъ видитъ такую *бѣду* (т. е., очевидно, *обиду* себѣ); послѣ подтвердительныхъ словъ матери былина свидѣтельствуетъ:

То Сокольницьку не показалосе:
«По примѣтамъ знать я....»
Да отсѣкъ сынокъ буйну голову,
Родной матери буйну голову.
И поѣхалъ ко бѣлу шатру полотняному,
Разсѣкци стара на-двое. (Стихъ 118—123).

Это убіеніе разобиженнымъ сыномъ даже матери попадается только въ одномъ пересказѣ. Относительно всякой, только однажды встрѣчающейся черты, надобно, разумѣется, быть весьма осторожнымъ: она можетъ быть признана подлинною (т. е. древнею) только въ томъ случаѣ, ежели вполнѣ соотвѣтствуетъ духу цѣлаго, замѣчательнымъ образомъ дополняетъ его. Чтó касается только что приведенной, одиноко стоящей черты, то она плохо подкрѣпляется, какъ увидимъ, воззрѣніями народа на незаконнорожденность. Съ другой стороны она очень походитъ, усиливая разъяренность сына, на тѣ примѣры умышленнаго изощренія, крайняго гиперболизма, къ числу которыхъ относился и замѣченный уже нами полутора-годовой срокъ боя, (вмѣсто тредневнаго) [53]) Но черта эта, все-таки, не просто вымышленная, а только перенесенная изъ другого круга — изъ народныхъ преданій объ измѣнницѣ матери, которой звѣрскія дѣйствія противъ сына приводятъ наконецъ къ тому, что и сынъ перестаетъ видѣть въ ней мать. Чтó же касается нашей былины, то въ ней сама мать, какъ увидимъ по другимъ пересказамъ, выставляется страдательнымъ лицомъ, жертвою; а потому ярость сына противъ нея неумѣстна. Между тѣмъ нельзя не замѣтить, что нѣчто сходное попадается въ средневѣковой германской поэмѣ Otnit, одинъ изъ эпизодовъ которой относится къ кругу сказаній о боѣ между отцомъ и сыномъ.—Тутъ герой сказанія вступаетъ въ бой съ карликомъ Альберихомъ, который потомъ оказывается отцомъ его. Принявъ карлу за хорошенькаго ребенка, Отнитъ захотѣлъ его взять на руки, но чудный ребенокъ хватилъ его въ грудь такъ сильно, что Отнитъ, обладавшій силою двѣнадцати человѣкъ, счелъ однакоже нужнымъ продолжать съ нимъ бой. Тѣмъ не менѣе онъ наконецъ побѣдилъ, и Альберихъ, послѣ этого, безъ малѣйшаго запирательства сказалъ ему свое имя, изъ котораго впрочемъ Отнитъ ничего не могъ заключить. Но вслѣдъ за тѣмъ карла выдалъ ему и тайну его матери, изъ которой и обнаружилось, что Отнитъ—сынъ Альбериха. «А, если такъ, то да будетъ сожжена моя мать; какъ смѣла она любить другого, кромѣ отца моего (т. е. кромѣ того, кто

---

[53]) Въ различныхъ сказаніяхъ тюркскихъ народцевъ Сибири бой между богатырями продолжается очень нерѣдко по нѣскольку лѣтъ; напримѣръ по т р и (Castrens Vorles über die Altaischen Völker, 211, 212), по д е в я т и (Radloff, Proben dev Volkslitt. der türk. Stämme. S. Sibiriens, II, 50, 58, 136): мало того—даже по с о р о к а и ш е с т ь д е с я т и лѣтъ—(тамъ-же стр. 185). Вся вообще поэзія этихъ народцевъ отличается крайнею разнузданностью воображенія.—Въ Рамаянѣ бой Раваны съ Рамою продолжается не болѣе семи дней (Youddhakanda, гл. XCII).



назывался его отцомъ); попадись она мнѣ, не проживетъ и дня!» Тогда карла объясняетъ ему, что это было противъ воли его матери, среди бѣлаго дня, что она плакала горькими слезами, но тщетно». [54]) И сынъ волею - неволею успокаивается—въ нѣмецкой поэмѣ даже до того, что уже не думаетъ мстить и отцу насильнику.

Не то у насъ. Относительно разъяренности сына противъ отца, всѣ пересказы нашей былины, какъ намъ извѣстно, вполнѣ согласны. Стрѣляя въ соннаго, сынъ попадаетъ въ *оберегъ чудный крестъ* [55]) (о миѳическомъ смыслѣ, таящемся тутъ подъ *крестомъ*, будетъ сказано далѣе); спасенный своимъ чуднымъ оберегомъ, Илья уже не щадитъ болѣе своего сына, и, самъ также разсвирѣпѣвъ, по буслаевскому пересказу,

Хваталъ Сокольника со добра коня,
Схвативши его онъ, на полы рбзорвалъ. (Кир. II стр. 18)

По пересказу же 1-го выпуска (онежскому)

Ухватилъ старъ голову подъ пазуху,
Подъ пазухой голова и осталасе.

Этого послѣдняго рода смертію умираетъ сынъ Ильи и въ одномъ изъ краткихъ персказовъ Кирѣевскаго (I. 1, 2):

Онъ снесъ съ него злодѣя буйну голову
По его могучи плеча.

Напротивъ по онежскому пересказу, самъ Сокольникъ собирался было «разсѣкци стара (Илью) на двое». Такимъ образомъ указаніе на этотъ способъ смерти сохранилось и тутъ. Способъ этотъ долженъ быть признанъ весьма древнимъ. Сходно съ нимъ и у Вука III, 311 говорится про убіеніе Турка Расничемъ Стеваномъ.

Од себе га мачемъ ошинуо,
На двије га поле прекинуо (ср. у Петрановича 53)

Но тутъ уже *разсѣченіе* на двѣ половины, разсѣченіе мечомъ, а не разрываніе—просто *руками*. *Разсѣченіе* на полы весьма нерѣдко встрѣчается и въ chansons de geste, наприм. въ Renaus de Montauban, (изд. Michelant, стр. 180, 185, 186, 189, 285 и 414), гдѣ разсѣкается даже пополамъ и рыцарь и конь его (стр. 189). [56]) Думаю, что это смягченный видъ первичнаго *разрыванія* —просто силою богатырскихъ рукъ, разрыванія, уцѣлѣвшаго въ нашихъ былинахъ.— Въ Эддѣ Торъ разсѣкаетъ на полы голову великана Грунгнира (не мечомъ—а молотомъ. [57]) Какъ бы то ни было, Сокольникъ въ разобранныхъ пересказахъ подъ конецъ убивается Ильей.

[54]) Simrock, das kleine Heldenbuch, 348

[55]) Въ разсказѣ 90-лѣтняго старика, Бориска ударилъ Илью палицей стопудовою (указаніе на исполинскія силы Бориска) но не могъ пресѣчь чуднаго креста (Рыбн. 1, стр. 65). А въ пересказѣ Латышова, Сокольникъ собирается распороть Ильѣ грудь, вынуть у него сердце съ печенью—и ударяетъ его въ грудь ножищемъ кинжалищемъ (Ср. I, 13).

[56]) Тоже дѣлаютъ Оливье и Роландъ (Chanson de Roland, ed Génin, 115; ср. тамъ же стр. 102 и 112, 390) Тотъ же пріемъ употребляется Жираромъ Віанскимъ, Гуономъ Бордоескимъ и другими (Gautier les épopées françaises, II, 96, 277, 563).

[57]) Въ Шахъ-Намѣ Зогакъ распиливаетъ Джемшида на́ полы (Mohl, I, 65); Рустемъ разсѣкаетъ на́ полы чародѣйку (Mohl, I, 523) Въ Рамаянѣ обезьяны, сражающіяся съ ракшазами (злыми духами) разсѣкаются ими на́ полы-же (Fauche, Ramayna, VII, 229) Въ тюркскихъ сказаніяхъ довольно обычно разсѣченіе на́ полы посредствомъ удара бичомъ (Castrens Vorles. über Alt. Völker, 184, 219). Но встрѣчается и разсѣченье мечомъ (тамъ-же 212) (Radloff I, 102; II, 125)· Есть наконецъ и примѣры разрыванія руками (Radloff, II, 7, 57, 301, 302). Послѣ разрыванія, слѣдуетъ, кажется, преимущество въ древности отдать разсѣченью бичомъ, о миѳическомъ значеньи котораго см. у Аѳанасьева Поэт. Воззр. Слав. I, 282 и слѣд.) У него же о миѳическомъ значеніи разрыванія (II, 397).

Вотъ собственно этотъ-то заключительный эпизодъ и передается краткими трагическими пересказами. Они начинаются нападеніемъ татарченка на спящаго Илью, а кончаются тѣмъ, что, по одному пересказу. Илья рубитъ татарченку голову, [58]) а по другому, кидаетъ татарченка за ноги выше дерева. [59])

Такъ какъ всѣ остальные пересказы Кирѣевскаго уже не трагическіе, то обращаюсь теперь къ рыбниковскимъ, которые всѣ до одного отличаются трагическою развязкою. Ихъ числомъ пять, и шестой—на половину-прозаическій пересказъ (стало быть, по виду, позднѣйшій, но по содержанію онъ весьма своеобразенъ и долженъ быть древенъ).—№ 12, въ I ч. (Рябинина) [60]) отличается тою, въ немъ только и попадающеюся особенностію, что тутъ съ Ильею вступаетъ въ бой не сынъ, а дочь. Затѣмъ замѣчательна слѣдующая характеристика паленицы:

Конь подъ нею какъ сильна гора,
Паленица на конѣ, какъ сѣнна копна;
И надѣта на головушку у ней шапочка пушистая,
Пушистая шапочка и завѣсиста:
Спереду-то не видать лица румянаго,
И сзаду не видно шеи бѣлыя.

Все это, очевидно, отличается громадностью и чудовищностью, среди которой теряется человѣческій образъ (съ сѣнною копною сравнивается и *морской царь* въ былинахъ о Садкѣ). По громадности образа, придаваемаго паленицѣ, съ рябининскимъ пересказомъ имѣетъ нѣчто общее одинъ изъ краткихъ у Кирѣевскаго (I, 1, 2), гдѣ такимъ образомъ обрисовывается татарченокъ:

Въ вышину онъ, злодѣй, пять аршинъ
А въ ширину, злодѣй, коса сажéнь,
Голова на немъ какъ пивной котелъ,
Во лбу глаза по большой чашѣ.

Но это все-таки черты, попадающіяся и въ другихъ былинахъ; напротивъ рябининская *сѣнная копна* съ *шапочкою завѣсистою* въ обрисовкѣ богатыря составляетъ рѣшительно исключеніе. Съ другой же стороны нельзя не замѣтить, что причиняемымъ шапочкою пушистою, закрытымъ состояньемъ лица намекается на причину, по которой Илья не могъ узнать паленицу. Такой намекъ отличается уже какою-то придуманностію, и могъ понадобиться только тогда, когда стали искать объясненій для столь необычайнаго боя; собственно же говоря, Ильѣ, или совсѣмъ, или съ дѣтства не видѣвшему своего чада милаго, ни въ какомъ случаѣ нельзя бы было узнать его. Первоначально, по всей вѣроятности, эта *шапочка пушистая* была только принадлежностью необычайнаго образа паленицы. Такому образу совершенно соотвѣтствуютъ и ея пріемы:

Посвистываетъ она по соловьему (стихъ 47—на стр. 67)

а этимъ, по видимому, указывается на причастность ея чудовищному свисту Соловья разбойника, о которомъ рѣчь еще впереди [61]). (Такая причастность паленицы соловьиному роду вполнѣ соотвѣтствуетъ *чернымъ грудямъ* Сокольника въ одномъ изъ выше разобранныхъ пересказовъ Кирѣевскаго). За

---

[58]) Кир. 1, 1, 2.
[59]) Кир. I, 1, 3.
[60]) Петроваводскаго уѣзда, Кижской волости.
[61]) Впрочемъ, какъ увидимъ въ своемъ мѣстѣ, и самъ Илья въ былинѣ Рыбн. III, 14, кричитъ по звѣриному, свиститъ по змѣиному, чѣмъ и пугаетъ Сокольника.



тѣмъ оказывается и тутъ, что поленица подбрасываетъ палицу булатную *подъ ходячія облака*, (совершенно какъ сербскій богатырь).

Подъѣзжаетъ-то она на добромъ конѣ,
Подхватитъ эту паличку одной рукой.
То *какъ лебединымъ перышкомъ по-*
*игрываетъ*:
*И не велика эта палица булатная:*
*Вѣсомъ-то она до девяноста пудъ.*
(Стихъ 105—109 [62])

У стараго казака Ильи Муромца *его сердце богатырское пріужахнулось.*

Эту черту надо считать опять весьма древнею по соотвѣтствію ея той способности порою и испугаться, которая у различныхъ народовъ принадлежитъ именно въ древнѣйшемъ эпосѣ даже такимъ героямъ, которыхъ идеализація доводится только въ позднѣйшее время до того, что они рѣшительно ничего и никого никогда не боятся. Такъ при встрѣчѣ съ Лютицей Богданомъ приходитъ въ ужасъ неустрашимый сербскій богатырь Марко Кралевичъ, и только мысль о долгѣ побратима заставляетъ его поспѣшить на помощь противъ Богдана къ своимъ. Въ свою очередь и лютый Богданъ сильно боится Марка (Вука пѣсни II № 39). При встрѣчѣ же съ троеглавымъ Арапомъ Марка разобралъ такой страхъ, что племянникъ его, полу-дитя Груя, называетъ его «женска глава», самъ же одолѣваетъ Арапа (Юкича и Любомира Боснійскія и Герцеговинскія пѣсни I, 108) Такъ и Сеньянина Иву, при видѣ множества Турокъ, «торструка уфати грозница», вслѣдствіе чего побратимы и называютъ его *страшивицею.* (Тамъ же, 171). Такъ и у болгарскаго богатыря Стояна при встрѣчѣ съ медвѣдицей *сердце примплѣло* (Безсонова Болг. Пѣсни I, 102). Какъ не вспомнить при этомъ и того страха, который одолѣлъ Гектора, когда онъ побѣжалъ отъ Ахиллесса и три раза, имъ преслѣдуемый, обѣжалъ кругомъ стѣнъ Трои (Иліады пѣснь XXII) Такіе же примѣры нерѣдки въ Shansons de geste. Даже Роландъ съ Оливье, въ бою съ Гарсилемъ и съ четырьмя королями-союзниками, обратились было на время въ бѣгство. И знаменитый Ожье, одолѣваемый Карломъ Великимъ, почувствовалъ наконецъ страхъ. Говоря объ этомъ, Готье очень основательно замѣчаетъ: «страхъ этотъ служитъ доказательствомъ прекраснаго древняго склада этой поэмы; напротивъ герои позднѣйшихъ *chansons* до того чужды страха, что дѣлается даже смѣшно («Gautier. éporées françaises, II, 235, 325»). По большей части, однакожь, богатырскій страхъ не надолго, какъ и рустемовъ передъ Зорабомъ. [63])

Такъ и нашъ Илья способенъ *пріужахнуться.* Не теряясь, онъ припадаетъ къ коню своему богатырскому, совершенно напоминая сказочнаго Ивана, и проситъ коня сослужить ему службу:

Чтобъ не побилъ бы насъ поганый въ чистомъ полѣ,
Не срубилъ бы онъ моей буйной головушки...
*Хоть на бою мнѣ смерть не написана,*
*Переступить сила черезъ великъ законъ* [64]).

[62]) Въ «Guilaume d'Orange» сарацынскій чудовищный король Baudus.

Tint le mast dont la hante est plenière,
Ne le portassent V paien de Baivière,
Mais ne li poise le rain d'une olivière. (Jonckbloet, 388).

[63]) Mohl, II, 149. Еще прежде испугался онъ Бѣлаго Дива, и однакоже одолѣлъ его (I, 539).

[64]) Эти два стиха находятся у Рыбн. въ III ч., на стр. XLVI (въ замѣткѣ). Они были спѣты нашему собирателю, когда онъ вторично попросилъ Рябинина затянуть «бой съ Сокольникомъ»: Рябининъ тутъ кое-что пропѣлъ иначе и прибавилъ эти два стиха,—и все это съ совершенною добросовѣстностью сообщено г. Рыбниковымъ.



Такимъ образомъ въ этомъ случаѣ онъ способенъ даже усомниться въ непреложномъ законѣ судьбы, ему покровительствующей. Тѣмъ не менѣе онъ подъѣзжаетъ къ паленицѣ *со бѣла лица.*

Оны другъ друга били пежалухою. [65])

Палицы, копья ломаются, какъ и по всѣмъ пересказамъ, у нихъ въ рукахъ,

И сходили съ добрыхъ коней на матушку
сыру землю;
Надо биться молодчамъ имъ боемъ рукопашкою
И отвѣдать надо силушки великоей.
Эта паленичица удалая,
Она была зла догадлива,
Подходила къ богатырю могучему,
Подхватила его на косу бедру
*И здынула выше головы*
И ступила на бѣлую грудь,
И беретъ свою *рогатину звѣриную.*
Заносила руку правую выше головы
И спустить хотѣла ниже пояса.
Тутъ *по Божьему повелѣнію*
Рука правая въ плечи застоялася.
(Ст. 160—174).

Эта уже христіанская черта, напоминающая стихи о Егорьѣ храбромъ (по Божьему повелѣнію, по егорьеву моленію) вполнѣ соотвѣтствуетъ той христіанской-же надеждѣ на Бога, какую мы видѣли со стороны Ильи въ пересказахъ Кирѣевскаго. Далѣе въ нашемъ рябининскомъ пересказѣ напоминается приговоръ судьбы:

*На бою-то Ильѣ смерть не написана,*
Разгорѣлось его сердце богатырское,
Какъ отмахнетъ свою руку правую,
И сшибъ онъ паленицу со бѣлой груди,
Онъ скорешенько вскочилъ да на рѣзвы ноги,
Схватилъ-то паленицу за желты кудри,
Сдынулъ онъ паленицу выше головы и т. д.
(Ст. 180—186).

Онъ дѣлаетъ съ нею тоже, что̀ она съ нимъ. Вотъ тѣмъ-то и отличается рябининскій пересказъ отъ другихъ, что и паленицѣ приписываются тутъ тѣ-же пріемы, какіе у другихъ сказителей принадлежатъ только Ильѣ Муромцу. [66]) Вся разница въ томъ, что Илья тутъ, схвативъ паленицу за желты кудри и здынувъ ее выше головы, *спустилъ ее на сыру землю,* и вмѣсто рогатины занесъ на ея груди бѣлыя *булатный ножъ.* Былина трижды повторяетъ спросъ Ильи: «ты съ коей земли, да съ коей Литвы; паленица дважды отказывается отвѣчать, объясняя это словами:

Тебѣ просто надо мною насмѣхатися (стихъ 201)

(Тоже самое и въ 14 № той же 1 ч., пудожскаго уѣзда, отъ Никифора Прохорова:

«А ты у меня на бѣлой груди
Вольно тебѣ насмѣхатися». (стихъ 102—103, стр. 84).)

Такимъ образомъ въ этомъ спросѣ имени у побѣжденнаго усматривается поруганье надъ нимъ — черта эта, какъ замѣтилъ еще Уландъ, проходитъ чрезъ всѣ сказанія о боѣ между отцомъ и сыномъ, какому бы народу ни принадлежали они. [67]) По третьему спросу паленица однакоже указываетъ на свое происхожденіе изъ храброй Литвы, отъ матери вдовы-калашницы (черта, очевидно, не первоначальная, особенно если сличить ее съ тѣмъ, что̀ чита-

---

[65]) Такъ у Рыбникова; этимъ, кажется, выправляется довольно неумѣстный глаголъ не жалуетъ, употребленный у Кир. I, 1, 3. (Симб. губ.).

Онъ и бьетъ добраго молодца, не жалуетъ.

[66]) Паленицѣ приписывается даже вопросъ Ильѣ— какъ его величаютъ по отечеству? Но въ примѣчаніи на стр. 71 Р. с. замѣчено, что это должна быть вставка, такъ какъ далѣе паленица говоритъ: еслибъ я сидѣла у тебя на грудяхъ, не стала бы спрашивать. Объ этомъ будетъ еще у меня ниже, при разборѣ одной былины изъ 7-го выпуска Кирѣевскаго.

[67]) Uhland's Schriften zur Geschichte der Dichtung- und Sage, I, 169.



емъ мы на этомъ мѣстѣ въ пересказѣ буслаевскомъ). Далѣе же Илья Рябинина указываетъ на свои отношенія къ этой вдовѣ:

Жилъ я въ хороброй Литвы....
Выхаживалъ дани выходы отъ князя Владиміра
И жилъ я у твоей родителя-у-матушки,
Спалъ я на кроватки, на тесовыя,
На той на перинкѣ на пуховоей,
У нея у самой на правой ручкѣ.

Это чрезвычайно напоминаетъ былину о дунаевой службѣ въ Литвѣ, а также и позднѣйшія передѣлки ея—былины о Ванюшкѣ ключничкѣ. Повидимому Рябининъ и примѣшалъ тутъ постороннее, приписалъ Ильѣ Муромцу слова Дунаюшки.

Зато своеобразіемъ и подлинностью отличается то, что паленица, по словамъ ея, послана была матушкою *попровѣдати про батюшка*. Такое *отыскиваніе* отца встрѣчается и въ сказаніяхъ о нашемъ боѣ у другихъ народовъ. Но узнавъ, какимъ образомъ Илья сталъ отцомъ ея, паленица и у Рябинина, (какъ вездѣ, гдѣ конецъ трагическій) приходитъ въ негодованіе:

Не спущу этой насмѣшки на Святой Руси.

Конецъ (въ сущности опять сходный съ пересказами, помѣщенными у Кир.) отличается, во первыхъ, пробужденьемъ Ильи отъ звона, произведеннаго ударомъ рогатины паленицыной по его оберегу-чудному кресту:

Скинулъ свои очи ясныя:
Стоитъ паленичища на добромъ конѣ
Надъ верхомъ какъ *сильна гора*.

А за тѣмъ вотъ замѣчательное пробужденіе въ Ильѣ увѣренности въ своей завѣтной непобѣдимости:

Не твой-то кусъ, да не тебѣ-то ѣсть
И не тебѣ убить Илью Муромца.

А вотъ и ужасающая картина гибели паленицы:

Ступилъ онъ паленицы на лѣву ногу,
И подернулъ паленицу за праву ногу:
Онъ и на двое порозорвалъ.
Первую частиночку рубилъ онъ на мелки куски,
И рылъ по раздольицу чисту полю,
Кормилъ эту частиночку сѣрымъ волкамъ:
А другую частиночку рубилъ онъ на мелки куски,
Рылъ онъ по раздольицу чисту полю,
Кормилъ эту частиночку чернымъ воронамъ.

Съ такою обстоятельностью тутъ описывается то, что въ пересказѣ буслаевскомъ заключено въ одинъ стихъ:

Схвативши его онъ, на полы розорвалъ.

Нѣсколько иначе, но также съ своего рода обстоятельностью описывается разрываніе врага у Рыбникова въ № 13 той же 1 части (пудожскаго уѣзда; записано отъ калики Латышова):

Выскочитъ Илья изъ бѣла шатра,
Хватилъ за ногу, на другу наступилъ,
На полы Сокольничка розорвалъ,
Половину бросилъ въ Сахатарь рѣку,
А другую оставилъ на своей стороны:
«Вотъ тебѣ половинка, мнѣ другая:
«Раздѣлилъ я Сокольничка охотничка».
(Стихи 195—200, стр. 80).

Затѣмъ пересказъ этотъ отличается опредѣленіемъ возраста Сокольника въ 12 лѣтъ (соотвѣтственно возрасту Зораба)[68]. Описанье его коня не отличается ничѣмъ особеннымъ—это обычныя черты коннаго витязя (изъ ноздрей искры, и т. п.). Замѣчательно, что Илья наѣхалъ богатыря *у синя моря*:[69])

---

[68]) Такимъ же возрастомъ отличается въ духовныхъ стихахъ—по основѣ своей былевой, богатырскій отрокъ Ѳедоръ Тырянинъ (Тиронъ).

[69]) А нѣсколько выше—поѣхалъ по батюшку синю морю. (Ст. 90).

Ѣздитъ по тихимъ по заводямъ,
Стрѣляетъ гусей, лебедей, пернастыхъ утушекъ.

Далѣе они, такъ сказать, обмѣниваются крикомъ богатырскимъ; отъ того и отъ другаго крика

Тихая заводь сколыбалася,
Со пескомъ вода помутилася.

Но крикъ Сокольника пересиливаетъ: отъ него у Ильи конь на колѣни палъ. Затѣмъ, послѣ сходнаго во всѣхъ пересказахъ паденья Ильи, силы у стараго богатыря возвращаются уже не отъ увѣренности, что *смерть ему на бою не написана*, а отъ того, что вслѣдствіе насмѣшекъ Сокольника

Разъярилось сердце богатырское.

(Тоже самое видимъ мы у Рыбникова же во II ч., № 64. Напротивъ въ III ч., № 14-мъ, Илья поднимается опять при помощи вѣры въ *ненаписанность ему на бою смерти*). Двигателемъ является тутъ, такимъ образомъ, уже чувство очевидно позднѣйшее.

Какъ ударилъ онъ Сокольника въ *черны кудри* [70])
И вышибъ его выше лѣсу стоячаго
Упадалъ Сокольникъ на сыру землю,
Выбивалъ головой, какъ пивной котелъ.

При такихъ громадныхъ размѣрахъ, въ немъ оказывается и живучесть громадная—живучесть, прямо напоминающая Тугарина Змѣевича (въ былинахъ объ Алешѣ Поповичѣ), который, убитый Алешей, является снова живымъ, за столомъ у жены Владиміра. Такое сходство съ Тугариномъ, представителемъ темной силы, служитъ своего рода подтвержденіемъ подлинности *черныхъ грудей* Сокольника. (Тоже во II ч., въ № 64). Какъ ни въ чемъ не бывало:

Онъ скоро вскочилъ на добра коня
И поѣхалъ въ свою орду къ своей матери,
Къ матушкѣ бабѣ *Латымірки*

имя которой, такимъ образомъ, составляетъ только видоизмѣненное *Латыгорки*, (уже попадавшейся намъ у Кирѣевскаго). Латымірка открываетъ сыну его происхожденіе, что касается Ильи, то онъ въ этомъ пересказѣ вовсе не узнаетъ въ Сокольникѣ сына, даже и не разспрашиваетъ его объ имени — черта до того противорѣчащая всѣмъ остальнымъ пересказамъ, что ея нельзя не признать за позднѣйшій пропускъ. Такой пропускъ былъ уже шагомъ къ тому искаженью былины, вслѣдствіе котораго явились особые пересказы, гдѣ и Сокольникъ не узнавалъ отца въ Ильѣ, а просто становился *вражьимъ нахвальщикомъ* или *жидовиномъ*.

Значительное сходство съ пересказомъ Латышова представляетъ пересказъ кижской волости, помѣщенный у Рыбникова въ ч. II, подъ № 64, [71]) Тутъ живучесть Сокольника выказывается еще съ большей ясностью.

И палъ-то Сокольникъ въ дробь о сыру землю,
И лежитъ, гдѣ рука, гдѣ нога, гдѣ буйна голова,
И поѣхалъ тутъ Илья ко бѣлу шатру
Такъ и думаетъ Илья, что Сокольнику смерть пришла.

Муромскій богатырь заваливается спать, а Сокольникъ между тѣмъ словно ото сна пробуждается и ѣдетъ себѣ преспокойно къ матери—*семи-горкѣ бабѣ Владымеркѣ*. Что *Владимірка* тутъ позднѣйшая замѣна ставшей не-

---

[70]) И такъ, опять эта чернота, уже извѣстная намъ по пересказу съ Онеги—у Кир. I, IV, 2.

[71]) Петра Иванова Корнилова (см. во II ч. Рыбн. стр. CCCLXVI).

понятною Латымірки, – объ этомъ, кажется, и говорить нечего. Но трудно сказать, что́ такое *семи-горка;* ошибкой ли тутъ число *семь,* или же этимъ намекается на какое-нибудь, намъ неизвѣстное изъ другихъ былинъ *семигоріе* (вообще число *семь* довольно обычно въ народныхъ сказаніяхъ). Нѣкоторымъ своеобразіемъ отличается далѣе смерть Сокольника, совершенно также, какъ и въ другихъ пересказахъ, вторично нападающаго тутъ на Илью:

| | |
|---|---|
| И схватилъ-то онъ Сокольника за ноги, | И ступилъ онъ Сокольнику на ногу, |
| И ударилъ онъ его о сыру землю, | Рукой хватилъ за другую, |
| Тутъ–то ему и смерть пришла· | И половину кинулъ матери на погребеніе, |
| Выходитъ Илья со бѣла шатра, | А другую собакамъ на съѣденіе. |

Тутъ такимъ образомъ *разрываніе* составляетъ уже второй пріемъ, первымъ же пріемомъ оказывается *ударенье* Сокольникомъ о *землю.* Съ этимъ сходно въ другихъ былинахъ удареніе о *кирпищатъ полъ.* И въ сербскихъ пѣсняхъ встрѣчается также:

| | |
|---|---|
| Како кога рукам доваташе: | Веħ г'увати за врат до рамена |
| Те о земљу њиме удараше | Па удари шњиме о калдрму (полъ) |
| (Вука III, 119. Стоянъ Янковичъ) | (Вука III, 261. Тотъ же Стоянъ. [72]) |

Замѣчу наконецъ, что въ только что разсмотрѣнномъ пересказѣ, немедленно послѣ убіенья Сокольника, Илья отправляется въ Кіевъ и поступаетъ въ *услуженіе* къ князю Владиміру.

Въ пересказѣ Пудожскаго уѣзда, записанномъ отъ Никифора Прохорова (Рыбн. I, № 14) Илья оказывается уже состоящимъ защитникомъ града Кіева въ то время, когда наѣзжаетъ Сокольникъ, величаемый тутъ Соловниковымъ (но Илья тутъ еще одинъ, безъ дружины). Имя молодого нахвальщика какъ будто находится въ связи съ уже намъ знакомымъ его соловьинымъ свистомъ, и служитъ новымъ намекомъ на его темное, получудовищное происхожденье (роднящее съ соловьемъ разбойникомъ). [73]) Первые боевые пріемы Ильи въ этомъ пересказѣ отличаются особенностью:

Ударилъ Соловникова въ буйну голову:
Сидитъ Соловниковъ не стряхнется
Желтыя кудерки не сворохнутся

Только отъ третьяго удара Ильи «рѣчистый языкъ у него мѣшается и мозгъ въ головѣ потрясается». Вслѣдъ за тѣмъ посылаетъ онъ своихъ *вѣрныхъ слугъ* къ матери *за сине море* (она называется тутъ просто *Настасьюшкой*) узнать отъ нея, что́ это за такой невѣжа побилъ его? Тутъ такимъ образомъ, совершенно несогласно съ прочими пересказами, съ самаго начала одолѣваетъ Илья. Въ этомъ нельзя не видѣть позднѣйшей, произвольной измѣны, порчи. Дѣло кончается со стороны Ильи, какъ и началось, колоченіемъ.... Вслѣдъ за тѣмъ однакоже заносится ножъ и застаивается въ плечѣ

[72]) Также и Марко Кралевичъ въ Герцеговинскихъ пѣсняхъ (Юкича и Любоміра I. 60). Сравни также у Петрановича въ его пѣсняхъ Воснійскихъ и Герцеговинскихъ стр. 534. И въ ново-греческой пѣснѣ дѣва-воительница «за волосъ Клефта схватила и грянула о земь» (Амарантосъ, произведенія народной поэзіи нынѣшнихъ Грековъ, изданныя Эвлампіосомъ, стр. 31). Примѣры ударенія объ полъ встрѣчаются наконецъ и въ chansons de geste, наприм. въ Guillaume d'Orange (éd. Jonckbloet, I, 245. Тамъ же и другой способъ ударенія—головою о столбъ: 305).

[73]) Это замѣчено было уже академикомъ Шифнеромъ въ его статьѣ—Zur russischen Heldensage,—въ Mélanges russes, IV, 239: «hier sieht man deutlich, dass des Name eine Reminiscenz an den Räuber Solowei enthält.

рука—какъ вездѣ; узнавъ же отъ Сокольника, кто онъ, Илья говоритъ: «чтó бы тебѣ раньше сказать, не билъ бы я тебя съ перваго раза». Они садятся вмѣстѣ въ шатрѣ пить — кушать, но Соловниковъ, безъ всякаго объясненія почему, совершаетъ свое обычное нападеніе на заснувшаго послѣ обѣда Муромца. *Да тутъ Ильюшенкѣ не къ суду пришло* (своеобразный намекъ на то, *что смерть ему не написана*). Илья бросаетъ Соловникова о землю, какъ и въ пересказѣ II части, а затѣмъ пластаетъ его груди бѣлыя, разсѣкаетъ его на мелкія части и раскидываетъ ихъ по чисту полю.

Въ III ч. подъ № 14 помѣщенъ г. Рыбниковымъ пересказъ Поромскаго старика, отличающійся весьма замѣчательными особенностями, какъ и все, записанное отъ этого сказителя. Во первыхъ пріѣздъ Сокольника предвѣщается тутъ карканьемъ вѣщей птицы черна ворона. Далѣе за исполинскимъ его конемъ водится такая особенность:

Ископыти у коня метано
По цѣлой овчины по барановой.

(Во II ч. № 64 Илья просто замѣчаетъ ископыть, а у Кирши онъ *наѣзжаетъ на бродучій слѣдъ*). Потомъ Илья тутъ *свиститъ по змѣиному*, а *ревъ* у него *звѣриный*. Но такъ какъ ни то, ни другое обыкновенно не водится за Ильей, а составляетъ принадлежность чудищъ въ родѣ соловья разбойника, то это, по всей вѣроятности, только порча, явившаяся отъ смѣшенія эпическихъ признаковъ богатырской силы съ эпическими признаками силы чудовищной. Далѣе у Поромскаго старика (какъ и въ одномъ изъ пересказовъ Кирѣевскаго) *съѣхалися два богатыря*, *будто двѣ горы вмѣстѣ столкнулися*, чтó первоначально, какъ мы уже знаемъ, должно было приниматься въ прямомъ смыслѣ, а не какъ метафора. Далѣе замѣчательна слѣдующая особенность: Илья, уже упавъ, поглядѣлъ на руку на правую,

Самъ говорилъ: о Господи! Что на бою смерть не писана;
Подписалъ на ручкѣ на правыя, А теперь смерть мнѣ приходитъ».

Въ объясненіе къ этому странному *подписываныо на рукѣ* можно указать въ старой Эддѣ на пѣсню о Зигурдрифѣ. Тутъ эта вѣщая женщина указываетъ Зигурду на таинственныя письмена (руны), которыя онъ долженъ написать себѣ на рукѣ (der Hand Rücken, переводятъ братья Гриммы—въ подлинникѣ handar baki). Далѣе она указываетъ ему на *руны спасенія* Hülf-Runen—biargrunar), которыя должны быть написаны на *ладони*. [74]) Такое же точно спасительное, *заговаривающее* значеніе должна имѣть и подпись на рукѣ Ильи—черта чрезвычайно древняя, указывающая на суевѣрный обычай, по всей вѣроятности, принадлежавшій въ отдаленныя времена очень многимъ народамъ.

Далѣе надо отмѣтить, что при подхватываніи Ильею Сокольника пересказъ Поромскаго старика присовокупляетъ слѣдующія, не лишенныя важности, пояснительныя слова:

Да кабы не подхватывалъ,
И предалъ бы смерть скорую.

---

[74]) Lieder der alten Edda, aus der Handschrift herausgegeben und erklärt durch die Brüder Grimm, Berlin, 1815, I, 215, 217, 221.



Соотвѣтственно этому въ концѣ, когда Илья уже перестаетъ щадить Сокольника, былина опять поясняетъ, что, кинувъ подъ облаки,

....назадъ его не подхватывалъ
И предалъ ему смерть скорую. [75])

Мать Сокольничка, называемая тутъ *старою дѣвкою Сиверьяничною*, слѣдующимъ образомъ говоритъ объ Ильѣ сыну:

«Онъ меня въ полѣ побилъ,
Со мной грѣхъ творилъ,
Съ того я тебя и прижила».—

«Не хочу жить заугольникомъ!
Поѣду къ старой собакѣ, сѣдатому псу:
Ему жить, либо мнѣ».

Эта подробность окончательно объясняетъ существующую и во всѣхъ пересказахъ озлобленность сына противъ отца: онъ видитъ въ немъ человѣка *оказавшаго насиліе* его матери, *похитившаго* у нея даръ любви, и думаетъ только о томъ, чтобы отомстить ему за нее. Но далѣе по нашему пересказу оказывается, и это самая замѣчательная его особенность, что у Ильи было, и отъ его же руки погибло *не одно чадо*:

И самъ говорилъ таково слово:
*Два чада* на вѣку было спорожено,
Да и тѣмъ отъ своихъ рукъ смерть предана,

Намекается ли этимъ на намъ уже неизвѣстныя, бѣзслѣдно пропавшія былины: или же это ошибка пѣвца? [76]) Ошибка могла бы произойти вотъ какимъ образомъ. Намъ извѣстенъ тотъ пересказъ, въ которомъ вмѣсто сына борется съ Муромцемъ дочь. Какой нибудь, бывалый въ различныхъ краяхъ, сказитель былинъ, могъ познакомиться съ пересказами того и другаго рода, и принять дочь—не за подставку вмѣсто сына, а за самостоятельное лицо. Но кто знаетъ, можетъ быть и дѣйствительно въ древнемъ эпосѣ существовалъ бой Ильи и съ сыномъ, и съ дочерью, и тогда только что разобранный нами конецъ рыбниковскаго пересказа прямо указывалъ бы на это.

Не надобно забывать при томъ, что былины находятся въ тѣсной связи со сказками. Тѣ и другія возникли хотя и различными путями, но изъ одной основы. Вотъ почему, иной разъ, для объясненія кое-чего въ былинахъ приходится обращаться къ сказкамъ. Съ былевымъ Ильею не одну черту сходства можетъ представить сказочный Иванъ. Сличеніе этихъ двухъ замѣчательныхъ образовъ народной словесности могло бы составить предметъ особаго изслѣдованія. Я-же пока ограничусь только нѣкоторыми указаніями этого рода, гдѣ оно будетъ кстати. Въ настоящемъ случаѣ, по вопросу о томъ, дѣйствительно ли *два чада* было у Ильи Муромца, укажу на двѣ сказки архангельской губерніи и одну тверской (зубцовскаго уѣзда), собственно представляющія только отдѣльные пересказы одного и того же, и помѣщенные у г. Аѳанасьева въ VIII в. подъ буквами а, b, с въ сказкѣ подъ № 4. Иванъ Запечникъ (потомъ добрый молодецъ), которому приписывается тутъ нѣсколько похожденій, напоминающихъ Илью (о каждомъ будетъ у меня въ своемъ мѣстѣ), или Иванъ младшій братъ, добывая живой воды для отца, засталъ

[75]) Подбрасываніе встрѣчается также и въ татарскихъ сказаніяхъ (наприм. у Радлова, II, 242, 249). Однажды встрѣтилось мнѣ тамъ и бережное опусканіе на землю—но уже по приказу Боговъ, возопившихъ: «не убивай!» (Тамъ же стр. 276).

[76]) У Одиссея, мы видѣли, два незаконныхъ сына.

*спящею* бѣлую лебедь Захарьевну (Елену прекрасную, царь дѣвицу) и, безъ вѣдома ея, такъ какъ она и не просыпалась, «пошутилъ съ нею не гораздо» (самое ее облюбилъ). Слѣдствіемъ того оказываются, по пересказу архангельскому *а—дѣти* (вообще, безъ обозначенья числа) а по архангельскому Ь и тверскому с—*два сына* Ивана царевича и прекрасной дѣвы. Таково свидѣтельство сказки, во многомъ напоминающей похожденья Ильи. Оно должно быть принято къ свѣдѣнію, хотя, разумѣется, до новыхъ открытій, не можетъ окончательно разрѣшить вопроса.

Чтó касается *насилія* Ильи, о которомъ повѣствуетъ пересказъ Поромскаго старика, то оно подтверждается побывальщиною 90-лѣтняго старика (пудожскаго уѣзда) въ Колодозерѣ.[75]) «Илья муромецъ, разъѣзжая по бѣлу свѣту, наѣхалъ на паленицу Авдотью *горынчанку* (и тутъ опять связь съ *горою*), и одолѣлъ ее съ бою. Отъ него Авдотья поносъ понесла и родила сына богатырскаго.... Сынъ, узнавши о своемъ происхожденіи, рѣшился отомстить за позоръ матери, сковалъ себѣ палицу въ триста пудъ и нагналъ стараго въ чистомъ полѣ.... Тутъ же Илья и убилъ его. Какъ поѣхалъ ко городу ко Кіеву, видитъ—мать дерется съ Добрыней, а Добрыня кричитъ ему во всю голову: «убилъ меня богатырь великій, пособи мнѣ съ богатыремъ драться». Совѣтъ, который далѣе дается ему Ильей, уже записанъ стихами,—очевидно потому, что только этотъ отрывокъ и сохранился точно въ памяти сказителя, остальное передавшаго сбито. Какъ самый совѣтъ, такъ и весь этотъ бой бабы съ Добрынею сходнымъ образомъ передается въ одной былинѣ, помѣщенной еще у Кирши Данилова и вошедшей также въ сборникъ Кирѣевскаго; [76]) тутъ точно также бой этотъ происходитъ одновременно съ боемъ между Ильею и сыномъ, только этотъ послѣдній уже не представляетъ въ этомъ пересказѣ трагическаго исхода. Горынинка у Кирши обращается за помощію къ Ильѣ Муромцу.

«Не прикажи ты мнѣ рѣзать груди бѣлыя,
Много у меня въ землѣ останется злата и серебра»
И схватилъ Илья Добрыню за бѣлы руки.

За тѣмъ баба повела ихъ къ своему погребцу глубокому, гдѣ лежала у нея золота казна; Илья оглянулся на одинъ мигъ въ сторону, а Добрыня тѣмъ временемъ срубилъ бабѣ голову.—Это обращеніе бабы къ Ильѣ и готовность послѣдняго спасти ее, вполнѣ объясняются, какъ не трудно замѣтить, выше-приведеннымъ пересказомъ Рыбникова, изъ котораго выходитъ, что Илья нѣкогда былъ въ связи съ этой бабою. Въ пересказѣ поромскаго старика, также разобранномъ выше, Илья равнымъ образомъ выѣзжаетъ на подвиги вмѣстѣ съ Добрынею, но послѣдній не борется тутъ съ Горынинкою, а борется, прежде Ильи, съ Сокольникомъ. Такъ точно и въ началѣ многихъ, уже разобранныхъ пересказовъ прежде самого Ильи бьется съ Сокольникомъ Добрыня, иногда Алеша, а Илья тутъ стоитъ на богатырской заставѣ уже съ цѣлою дружиною богатырей, но выше мною уже замѣчено

---

[77]) Рыбн. I № 11 (въ концѣ, стр. 65)

[78]) Кир. I, 1, 6. (Кирши Данилова № 47).



что самое сопоставленіе Ильи съ другими должно быть отнесено къ позднѣйшему времени, такъ что и вся начальная часть упомянутыхъ пересказовъ должна почитаться позднѣйшею. Ранѣе сопоставленія Ильи на заставѣ съ цѣлою дружиною богатырскою могло произойти сопоставленіе его съ однимъ Добрынею,— именно то, которое видимъ мы въ былинѣ Кирши и въ побывальщинѣ 90 лѣтняго колодозерскаго старика, гдѣ какъ Добрыня, такъ и Илья разъѣзжаются каждый въ особый путь, на особыя похожденія, и только случайнымъ образомъ сталкиваются опять. Тутъ только сведеніе вмѣстѣ, на нѣкоторое время, двухъ славныхъ богатырей, изъ которыхъ каждый еще *самъ по себѣ*, и за каждымъ предполагается свой совершенно особенный рядъ похожденій... Напротивъ позже они уже тѣсно связываются между собою единствомъ цѣли, заключающейся въ общественномъ ихъ служеніи.—Такого общественнаго служенія ни въ былинѣ Кирши, ни въ колодозерской побывальщинѣ еще рѣшительно нѣтъ; та и другая должны быть древнѣе общественнаго значенія обоихъ богатырей, должны относиться еще къ порѣ первоначальнаго миѳическаго значенія ихъ. Не даромъ и уцѣлѣли тутъ подробности о миѳической же связи Ильи съ Горынинкой, подробности, не существующія уже въ тѣхъ позднѣйшихъ былинахъ, въ которыхъ Илья выступаетъ съ перевѣсомъ общественнаго значенія.

Такимъ образомъ подробно разсмотрѣны всѣ былины съ трагическою развязкою. Рыбниковскія, какъ оказалось, ни мало не противорѣча остальнымъ, только дополняютъ и выясняютъ въ нихъ многое. Теперь, если съ трагическими сравнить тѣ двѣ не трагическія былины, которыя въ сборникъ Кирѣевскаго вошли—одна отъ Кирши, другая изъ Академическихъ прибавленій [77]), то что же окажется? Подобно тому, какъ два коротенькихъ пересказа Кирѣевскаго (I, I, 2, 3) не болѣе какъ отрывки, какъ сокращенная передача только заключительной части пересказовъ пространныхъ,—подобно этому оба нетрагическіе пересказа въ сущности передаютъ (однако же не сокращенно) только первую половину пространныхъ, оканчиваясь тѣмъ, что Илья узнаетъ въ Сокольникѣ сына; а «великая обида» Сокольника, поѣздка его за справкою къ матери и вторичное нападеніе его на Илью, все это тутъ уже откинуто, но откинуто такъ, что былина и безъ того имѣетъ своего рода законченность. Полной законченности нѣтъ только въ третьемъ не трагическомъ пересказѣ, коротенькомъ [78]) гдѣ Илья говоритъ татарченку:

Кабы мать твоя не куна была
Я закинулъ бы тебя во сине море,

а затѣмъ былина переходитъ прямо къ другому похожденію Ильи—къ нападенію на Соловья разбойника (она и начинается не прямо съ боя между Ильей и татарченкомъ, а съ перваго выѣзда Ильи изъ дома родительскаго, т. е., очевидно, это уже былина *сводная*, хотя и далеко не пространная.)

Изъ всего этого неоспоримо слѣдуетъ, что трагическая развязка является въ нашихъ былинахъ основною, первоначальною, чѣмъ онѣ вполнѣ совпадаютъ

---

[79]) Кир. I, 1, 5, 6.

[80]) Кир. I, 1, ст. 35—48 (Симб. губ.)



съ изводами иранскимъ и кельтскимъ. Въ рыбниковскихъ пересказахъ, какъ не трудно было замѣтить, существуетъ исключительнотрагическая развязка, и притомъ передаваемая съ самыми поразительными чертами суровости и даже звѣрства (припомнимъ способъ убіенія Сокольника). Думаю, что это можетъ служить свидѣтельствомъ въ пользу древности рыбниковскихъ былинъ. Замѣчательно въ этомъ случаѣ, что пересказъ, записанный раньше всѣхъ прочихъ, еще въ XVIII в., (пересказъ Кирши, нетрагическій) оказывается, въ силу критическаго разбора, позднѣйшимъ. Напротивъ записанные несравненно позже, уже въ исходѣ второй четверти девятнадцатаго столѣтія, пересказы Кирѣевскаго, оказываются болѣе древними по своему происхожденію; самыми же древними едва-ли не слѣдуетъ признать пересказы Рыбникова, записанные во время, ближайшее къ намъ. — На это не мѣшаетъ обратить вниманіе тѣмъ, кто склоненъ придавать особую важность пѣснямъ, рано записаннымъ, и слишкомъ предубѣжденно заподозрѣвать тѣ, которыя записываются въ наше время [81]).

Теперь, если по трагическому исходу нашъ русскій изводъ, какъ общая основная совокупность отдѣльныхъ пересказовъ, вполнѣ сходится съ иранскимъ и кельтскимъ, то не трудно замѣтить, что между ними существуетъ и существенное несходство. Какъ черты сходныя, при невозможности взаимовліянія, надо признать одинаково унаслѣдованными отъ общей, отъ дальнѣйшей старины, такъ все несходное должно быть приписано измѣненіямъ, произошедшимъ въ позднѣйшее время. Къ числу такихъ позднѣйшихъ особенностей, какъ мы уже отчасти и видѣли, принадлежитъ и та смягченность въ характерѣ сына, которая, сходнымъ образомъ проявляясь въ иранскомъ и кельтскомъ изводѣ, совершенно не сходна съ нашимъ. Между тѣмъ и у насъ (мы не могли не сдѣлать этого заключенія) проявилось стараніе пояснительными причинами смягчить тяжолое впечатлѣніе, производимое боемъ съ его трагическою развязкой, только выразилось оно совершенно особеннымъ образомъ. У насъ, какъ не трудно замѣтить, объясненіе оставшимся несмягченными отношеніямъ сына къ отцу было найдено въ томъ, что сынъ этотъ, съ дѣтства знавшій лишь мать, считаетъ самую причину своего рожденія оскорбленіемъ ей, горькою обидою для себя, а съ тѣмъ вмѣстѣ неотразимымъ побужденіемъ къ мести.—Этого рода настроеніемъ сына нашъ отечественный изводъ рѣшительно отличается ото всѣхъ остальныхъ а между тѣмъ эта исключительно принадлежащая ему особенность вполнѣ соотвѣтствуетъ общему воззрѣнію народной словесности на отношенія между мужчиной и женщиной. Кому неизвѣстны тѣ дѣвы-воительницы, которыя въ богатырскихъ преда-

[81]) Считаю не лишнимъ привесть по этому поводу слова Уланда о германскомъ народномъ эпосѣ: ясно, что языческо-германскій кругъ долженъ предшествовать въ изложеніи (Уландъ говоритъ о своемъ курсѣ) христіанскимъ поэтическимъ произведеніямъ, хотя эти послѣднія и составляютъ древнѣйшіе памятники письменности. Богатырскія пѣсни пѣлись въ теченіи всей древнѣйшей эпохи народомъ; случаи письменной передачи обнимаютъ періодъ времени по крайней мѣрѣ въ семь вѣковъ; онѣ обработывались духовными, рыцарями, гражданскими цѣховыми пѣвцами (Meistersänger) и въ самыхъ позднихъ изъ такихъ обработокъ мы тѣмъ не менѣе замѣчаемъ весьма часто первоначальный видъ сказанія сохранившимся съ большею вѣрностію и полнотою, чѣмъ въ болѣе раннихъ. Это, кажется, достаточное доказательство, что повременный порядокъ письменной передачи не можетъ служить намъ нормою при изложеніи. (Gesch. der Deutschen Poesie im Mittelalter 11. Schriften I.



віяхъ различныхъ народовъ оружіемъ защищаютъ дорогое имъ дѣвство? Лирически та-же самая мысль выясняется множествомъ свадебныхъ пѣсень, въ которыхъ дѣвственная пора выставляется порою свободы. [82]) Такимъ образомъ уже въ отдаленнѣйшія времена, среди преобладанія грубой тѣлесной силы, сравнительно слабая женщина не хочетъ безгласно ей подчиняться, а старается отстоять свою независимость. Свободно, по собственной волѣ уже въ тѣ отдаленныя времена, стремится располагать она *даромъ любви*. Какъ въ своихъ собственныхъ, такъ и въ чужихъ глазахъ глубоко упадала она, уже въ тѣ отдаленныя времена, отъ насилія. Отсюда и многочисленные историческіе примѣры предпочтенія смерти позору, и столько соотвѣтственныхъ примѣровъ изъ столь еще памятныхъ намъ временъ крѣпостнаго самоуправства, и такое множество повсемѣстно распространенныхъ народно-поэтическихъ идеаловъ женщины, помощію воображенія одаренной, для обороны своей свободы, и избыткомъ силъ, въ дѣйствительности не существующихъ. Въ нашихъ народныхъ былинахъ оскорбленіе чести матери приводитъ сына къ тому, что онъ забываетъ отца въ оскорбителѣ и видитъ въ немъ только того, по чьей милости не спасшая своей женской свободы мать, должна была, таясь отъ людей, родить его *за угломъ*, а ему приходилось прослыть *заугольникомъ!* Оскорбленьемъ такого рода, какъ величайшимъ изъ оскорбленій, объясняется въ нашихъ былинахъ то звѣрское нападеніе сына на узнаннаго имъ отца, которымъ до такой степени отличаются онѣ отъ нѣжныхъ сыновнихъ чувствъ Зораба и Картона. Эти чувства возможны въ кельтскомъ изводѣ потому, что Клизаморъ не выставляется насильникомъ въ отношеніи къ Моинѣ, въ иранскомъ же потому, что Темина даже сама предлагаетъ Рустему свою любовь. Въ различныхъ германскихъ пересказахъ, въ свою очередь, Гильдебрандъ, какъ мы скоро увидимъ, является прямо мужемъ матери Гадубранда. Только въ нашихъ былинахъ отецъ оказывается насильникомъ, и нельзя не сознаться, что предположеніе покойнаго К. С. Аксакова, что съ новыми открытіями, нравственное достоинство Ильи Муромца, повсей вѣроятности, и въ этомъ случаѣ будетъ спасено, далеко не оправдалось открытіями г. Рыбникова. Но такъ какъ характеръ насильника дѣйствительно не соотвѣтствуетъ тому образу, какой остается за Муромцемъ въ цѣломъ и общемъ составѣ нашего эпоса, то и остается только перенести отношенья его къ Латыгоркѣ или Латыміркѣ на ту почву миѳическую, на которой у всѣхъ народовъ совершенно въ порядкѣ вещей всякаго рода насилія.—Только съ полною утратою для народа миѳическаго значенія былины, только съ тѣхъ поръ, какъ повѣствуемое въ ней стало представляться народу явленіемъ бытовымъ, и могли понадобиться тѣ бытовыя-же объясненія кровавой развязки, съ которыми мы познакомились. Чувствомъ оскорбленности объяснилось предательское нападенье Сокольника на оказавшаго ему пощаду и безпечно уснувшаго въ

[82]) Djевованье—моје цpraвoванье!
Цар ти бијах—док dјевојком бијах. (Вука сербскія пѣсни, I, 300).

....лијепо царство дјевојаство
(тамъ же 373),
А царь—вольный человѣкъ (въ сказкахъ)

своемъ шатрѣ отца;—разсвирѣпѣньемъ отца послѣ такого поступка сына объяснилась безпощадная гибель, какой подвергся наконецъ отъ Ильи Сокольникъ.—Между тѣмъ, если вглядѣться въ ту способность къ пощадѣ, съ какою является Муромецъ въ первой половинѣ разобранныхъ нами былинъ. то не трудно замѣтить въ ней затаенную *мягкость* чувства. Смягченность, въ иранскомъ и кельтскомъ изводѣ проявившаяся въ лицѣ сына, въ нѣкоторыхъ пересказахъ нашего отечественнаго извода до замѣчательной степени проявилась въ отцѣ. И Зорабъ и Картонъ, какъ мы видѣли, преисполнены сокровеннаго чаянія встрѣтить отца, чаянья, полнаго любви къ этому отцу. Въ нашихъ былинахъ такое чаяніе сказывается напротивъ того со стороны отца, тамъ; гдѣ, по выраженію рыбниковскихъ пересказовъ, у него *рука въ плечахъ застоялася*, и гдѣ онъ такъ упорно распрашиваетъ объ имени:

Ты скажи-тко, скажи молодой вдовы
Отъ старика казака поклонъ низкіе.—

Говоритъ онъ въ одной изъ разсмотрѣнныхъ нами былинъ [83]). Или въ другой:

Здравствуй, мое чадо милое!....
Бралъ его за руку за правую,
Цѣловалъ во уста во сахарныя [84])

Или точно такъ у Рыбникова:

Цѣловалъ онъ ю (паленицу) во уста во сахарныя
И называлъ ю дочерью себѣ любимою. [85])

Или опять у Рыбникова же:

«Ай же сынъ мой возлюбленный
. . . . . . . . . . . . . . .
Почему ты раньше не сказалъ мнѣ.
Не билъ бы я тебя съ перваго раза!

Этими послѣдними словами указывается даже на то, что у Ильи до тѣхъ поръ былое именно только *чаяніе*; такъ что только оно, а не *увѣренность* въ томъ, что это сынъ, заставляло его щадить Сокольника. Наконецъ, что касается подбрасыванья и подхватыванія, то въ воспоминаніяхъ К. Аксакова Илья точно также человѣколюбиво подхватываетъ и совершенно чужого ему великана. [86]) По основѣ, быть можетъ, эта встрѣча на Окѣ съ Зюзею есть та-же встрѣча съ Сокольникомъ (который также является великаномъ по нѣкоторымъ пересказамъ); но она уже *сдѣлалась* похожденіемъ, совершенно особымъ, выражающимъ способность Ильи пощадить и чужого.

Еще болѣе смягченнымъ является нравъ Ильи въ тѣхъ пересказахъ, которыхъ я еще не разсматривалъ, въ тѣхъ, гдѣ нѣтъ уже и трагическаго исхода. Таковъ прежде всего пересказъ Кирши Данилова. Онъ отличается замѣчательною особенностью, указывающею уже на позднѣйшую пору, тогда какъ въ пересказахъ, мною разобранныхъ, не смотря на то, что они записаны цѣлымъ столѣтіемъ позже, сохранилось воззрѣніе болѣе древнее, болѣе первобытное. Во первыхъ, у Кирши уже нѣтъ указаній на исполинскіе размѣры Сокольника и начальный перевѣсъ его силъ надъ силами Ильи Муромца.

---

[83]) Кир. I, IV, 2. (Также точно почти у Рыбник. III, 14).

[84]) Кир. IV, 3.

[85]) Рыбн. I, стр. 73.

[86]) Кир. I. прилож., стр. XXX.

Вмѣстѣ съ тѣмъ для Ильи тутъ нѣтъ уже и причинъ пріужахнуться, тутъ напротивъ того ясно намекается на то, что въ ужасъ приходитъ не Илья, а Збутъ (такъ тутъ называется сынъ Ильи). Не даромъ же отпускаетъ онъ своего вожья выжлока (охотничьяго пса) и яснаго сокола, приговаривая каждому изъ нихъ: «а тепере мнѣ не до тебя пришло—корми ты самъ свою буйну голову» (ст. 38—44). Далѣе, хотя Збутъ и наѣзжаетъ на противника первый, но нѣтъ уже свидѣтельствованнаго столькими пересказами паденья Ильи подъ нимъ. (Мы видѣли, что его также нѣтъ у Рыбникова I, 14). Вмѣсто того замѣшалась сюда стрѣльба Ильѣ въ грудь, по другимъ пересказамъ относящаяся къ самому концу, когда Илья спитъ въ шатрѣ. Далѣе, хотя Збутъ и угодилъ Ильѣ въ грудь (причемъ даже забывается объ оберегѣ) но Ильѣ отъ того и горя мало. Наконецъ, со свойственнымъ ему, во столькихъ другихъ похожденіяхъ, незлобіемъ силы, совершенно въ себѣ увѣренной, онъ уже явно щадитъ тутъ Збута. Былина Кирши налегаетъ на то, что Илья не употребилъ оружія:

Не бьетъ онъ его палицей тяжолою,
Не вынимаетъ изъ налушна тугой лукъ
Изъ-колчана калену стрѣлу,
Не стрѣляетъ онъ Збута Бориса королевича
Его только схватилъ во бѣлы руки·
И бросаетъ выше дерева стоячаго
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Подхватилъ Илья Муромецъ Ивановичъ
На свои онъ руки богатырскія,
Положилъ его да на сыру землю... [87])

Затѣмъ начинаются уже обычные во всѣхъ пересказахъ распросы и запирательство Сокольника:

И до того его Илья билъ, покуда правду сказалъ.

Этому соотвѣтствуетъ стихъ онежскаго пересказа:

Да и вынялъ Илья свой булатенъ ножъ....

А въ разсказѣ 90-лѣтняго старика, Илья *выпыталъ подъ ножомъ*, кто онъ. Такимъ образомъ у Кирши и тутъ *оружіе* замѣняется просто употребленіемъ въ дѣло *рукъ*. Цѣль же и тутъ и тамъ одна—добиться имени молодца, удовлетворить тому чутью, о которомъ сказано было выше.

А и какъ взговоритъ Збутъ Борисъ королевичъ младъ:
«Я того короля—Задонскаго»,
А втапоры Илья Муромецъ Ивановичъ,
Глядючи на свое чадо милое,
И *заплакалъ* Илья Муромецъ Ивановичъ.

Можно бы принять и эти слезы за выраженіе особенной мягкости Ильи Муромца; но мы знаемъ уже, что этого рода мягкостью въ своемъ родѣ идеализирующее воображенье народа надѣляетъ очень многихъ богатырей. У насъ нерѣдко плачущимъ оказывается и Добрыня. Беккеръ, въ своихъ прекрасныхъ сличеніяхъ гомерической поэзіи съ средневѣковою, приводитъ множество цитатъ о богатырскихъ слезахъ изъ французскаго и германскаго эпоса, толкуя ихъ гомерическимъ выраженіемъ ἀριδάκρυες ἄνερες ἐσθλοί (Monatsber. der Berliner Akademie, jul; 1867, p. 434—436.) Зато нельзя не видѣть яснаго указанія на мягкость собственно Ильи Муромца въ слѣдующихъ его словахъ сыну:

Поѣзжай ты, Збутъ Борисъ королевичъ младъ,
Поѣзжай ты ко своей сударынѣ матушкѣ,
Кабы ты попалъ на нашихъ русскихъ богатырей,
Не отпустили бы тебя они живого отъ Кіева.

Илья такимъ образомъ самъ сознаетъ себя человѣколюбивѣе всѣхъ про-

[87]) Кир. I, 1, 6. (Кирши Данилова № 47.)

чихъ богатырей. Такое же сознаніе, очевидно, могло быть приписано ему только въ то время, когда въ немъ уже рѣшительно выработался *человѣколюбивый нравъ.* Такимъ образомъ и по этому пересказъ нашъ долженъ принадлежать уже порѣ позднѣйшей выработки народнаго эпоса, той порѣ, когда, вслѣдствіе общей смягченности, естественнымъ образомъ должна была быть откинута и трагическая развязка. И я сказалъ уже, что ея и дѣйствительно уже нѣтъ въ разбираемой нами пѣснѣ. Соотвѣтственно этому должно было также быть сглажено и значенье Ильи, какъ насильника.... Когда Збутъ ѣдетъ *ко царю задонскому*, ко своей государынѣ матушкѣ, чтобы расказать ей про свою *удачу*, мать съ любовію говоритъ ему объ Ильѣ:

Почто ты напущался на стараго?
Не надо бы тебѣ съ нимъ дратися,
Надо бы съѣхаться въ чистомъ полѣ,
И надо бы тебѣ ему поклонитися
О праву руку до сырой земли:
Онъ по роду тебѣ батюшка....

А въ другомъ не трагическомъ пересказѣ (алтайскаго округа томской губерніи, зап. Соколовымъ, помѣщенъ въ прил. къ Изв. Академіи Наукъ, перепеч. у Кир. I, i, 5)

Говорила я тебѣ, дитя, наказывала,
Гдѣ ты съ Ильей съѣдешься,
Только ты ему низко кланяйся:
Пб роду тебѣ онъ отецъ родной.

Этимъ уже прямо вводится въ былину необходимость счастливой развязки, и, немыслимое уже послѣ этого заключительное явленіе пересказовъ трагическихъ, такимъ образомъ отпадаетъ само собой.

Кое въ чемъ пересказъ алтайскаго округа болѣе близокъ къ рыбниковскимъ и трагическимъ пересказамъ Кирѣевскаго. Бориско (такъ называется тутъ Сокольникъ) сваливаетъ въ этомъ пересказѣ, какъ и вездѣ, (кромѣ Рыбникова I, 14) Илью на землю; но это объясняется уже не избыткомъ исполинскихъ силъ, а тѣмъ, что Бориско *на носокъ востеръ* (ловокъ въ борьбѣ на носокъ—по примѣчанію изд. сборн. Кирѣевскаго), Только послѣ того, какъ Илья подбросилъ его и подхватилъ, Бориско пріужахнулся.

Говорилъ онъ таковы слова:
«Ты охота, охота молодецкая!
Полетай-ко охота къ моей матушкѣ,
Спроси-ко у ней, какъ съ Ильей перевѣдаться?»

По тому смыслу, какой получаетъ «охота» въ нѣкоторыхъ сказкахъ, надобно полагать, что и тутъ этимъ словомъ обозначаются соколы Збута, его псы (какъ принадлежности его охоты). [88]) И такъ, по этому пересказу онъ только тутъ, подъ конецъ, отсылаетъ отъ себя своихъ охотничьихъ спутниковъ, тогда какъ у Кирши это дѣлается въ самомъ началѣ, отъ болѣе ранняго переполоха, и порученья отправиться къ матери тамъ не имѣется. Отвѣтъ матери (по алтайскому пересказу) уже приведенъ мною выше.

Въ 7 выпускѣ пѣсень Кирѣевскаго, въ отдѣлѣ дополненій къ прежнимъ выпускамъ, помѣщена еще одна былина со счастливой развязкой. Записанная въ воронежской губерніи, землянскомъ уѣздѣ (и первоначально напечатанная въ Воронежскомъ Сборникѣ 1861), она служитъ единственною пока представительницею совершенно особаго склада смягченной, нетрагической отрасли нашего сказанія. Въ другихъ былинахъ, какъ мы видѣли, смягченіе главнымъ

88) Ср. у Даля въ Словарѣ, стр. 1345: онъ охоту держитъ, мы охоту перевели—т. е. собакъ, борзыхъ и гончихъ.



образомъ произошло въ отцѣ, сынъ же, сравнительно съ отраслію трагическою, только надѣленъ меньшею силою, а потому и не приводитъ въ ужасъ отца, но напротивъ того самъ пугается. Въ воронежской же былинѣ въ сынѣ выказывается нравственное смягченіе, и онъ до нѣкоторой степени можетъ подходить въ этомъ отношеніи къ Зорабу и Картону. Дѣйствіе происходитъ за Днѣпромъ рѣкой, гдѣ Илья стоитъ на заставѣ съ другими богатырями. Вдругъ доноситъ ему Добрыня о появленьи богатыря—съ палицею на однѣмъ плечѣ, кречетомъ на другомъ, выжлоками впереди. Илья велитъ Дорынѣ ѣхать за богатыремъ и не брать съ собой тяжкой палицы, сабли вострыя (этимъ, должно быть, онъ хочетъ удержать Добрыню отъ боя, припасая этотъ послѣдній себѣ самому). Добрыня ѣдетъ и спрашиваетъ молодца про дѣдину-отчину, коего города, какой земли? На это богатырь отвѣчаетъ словами: «отлейся ты какъ вода вешняя, отъѣзжай, мужикъ-деревенщина, отлети, ворона перелетная». Слова эти, по видимому, имѣютъ значеніе оберега, заговора. Добрыня поворачиваетъ назадъ: «Богъ тебя суди, старой козакъ, не велѣлъ ты мнѣ брать тяжкой палицы»; затѣмъ онъ передаетъ Ильѣ похвальбу богатыря. Сердце Муромца разгоралося, кровь его раскипалася. Онъ посылаетъ Добрыню въ Кіевъ—поставить свѣчи мѣстныя Христу, богоматери и Михаилу Архангелу: «когда свѣчи станутъ обливатися, по ту пору стану я воеватися». Примѣчаніе къ этому мѣсту, напечатанное въ сборникѣ Кирѣевскаго, едва ли вѣрно толкуетъ слова: *станутъ обливатися* словами: *порядочно уже сгорятъ*. Скорѣе, мнѣ кажется, должны они значить: *станутъ оплывать*, и такое особое знаменіе, явленное на свѣчахъ, должно будетъ свидѣтельствовать о началѣ великаго, многотруднаго боя. Въ такомъ смыслѣ черта эта можетъ подойти ко многимъ, на таинственномъ сочувствіи (симпатіи) основаннымъ примѣтамъ-знаменіямъ эпическимъ. Употребленная въ данномъ случаѣ, черта эта свидѣтельствуетъ о той особаго рода тревогѣ, которую тутъ ощущаетъ Илья, соотвѣтственно тому, какъ въ другихъ пересказахъ *сердце у него пріужахнулось*. Тутъ прибѣгаетъ онъ, уже совершенно по христіански, къ недеждѣ на Бога, которая далѣе и выручаетъ его въ этой уже сильно проникнутой христіанствомъ былинѣ. Не стукъ стучитъ, не громъ гремитъ—Илья торопится на богатыря. А у того—отъ богатырскаго крика Ильи и его коннаго топота конь спотыкается. Сердясь на коня, богатырь отпускаетъ своего кречета и своихъ выжлоковъ во темны лѣса: «мнѣ теперь не до васъ пришло». Въ этомъ случаѣ пересказъ воронежскій совершенно подходитъ къ другимъ нетрагическимъ, такимъ же образомъ, какъ мы видѣли, указывающимъ на то, что и супротивнику Муромца стало боязно. Съѣзжались богатыри: бой, какъ вездѣ, въ три пріема. Когда дошло дѣло до рукопашки, у супротивника оказалась уловка не добрая: бралъ онъ Илью Муромца на косой носокъ (сравни съ пересказомъ алтайскаго округа). Отъ такой хитрости супротивника упадаетъ на землю Илья Муромецъ; но, поваливъ его, вражій богатырь три раза заноситъ на него руку съ чингалищемъ, и три раза она у него въ плечѣ застаивается. Тоже самое происходитъ, какъ уже видѣли мы, въ одной изъ рыбниковскихъ былинъ, (I, № 12) съ паленицей, дочерью Ильи Муромца. Но тамъ оно происходитъ такъ *по божь-*

*ему повелѣнію*; здѣсь же, въ воронежскомъ пересказѣ, черта эта объясняется словами молодого богатыря:

Не могу я вспороть груди бѣлыя!
*Аль ты въ родствѣ, аль въ племени?*
Скажи мнѣ про дѣдину, и т. д.

Рука юноши такимъ образомъ застаивается отъ того, что онъ безсознательно *чуетъ* въ Ильѣ—не врага; — вотъ въ этомъ то и заключается то *смягченіе,* которое, какъ сказано выше, уподобляетъ тутъ сына Ильи иранскому и кельтскому юному витязю. Что касается Муромца, то онъ на первый разъ озабоченъ только своей неудачей:

Былъ я на *семи* бояхъ.
На *семи* бояхъ, на *семидесяти,* [89])
Все мнѣ старому удавалося,
А нынѣ Господь Богъ прогнѣвался....

Въ другихъ былинахъ, какъ знаемъ мы, у Ильи, послѣ такого раздумья вдругъ возвращаются силы. Въ пересказѣ шенкурскаго уѣзда (Кир. I, IV, 1) при этомъ сказано: *лежучи* у Ильи втрое силы прибыло» (ст. 193). [90]) Въ объясненіе приводится у г. Аѳанасьева одинъ случай изъ сказокъ: конь умышленно ударяетъ молодца копытомъ, чтобы тотъ упалъ на землю, и спрашиваетъ его: «много ли прибыло силы?», а молодецъ отвѣчаетъ: «прибыла сила великая!» Нашъ почтенный миѳологъ заключаетъ изъ этого: «русскіе богатыри набираются силы крѣпости, упадая на мать сыру землю». Для окончательнаго разъясненія этой черты онъ замѣчаетъ: «о титанахъ (исполинахъ греческой миѳологіи) расказывается, что они, при всякомъ паденіи въ пылу битвы, какъ скоро прикасались къ землѣ—сейчасъ же возставали еще съ большими силами; мать земля, соболѣзнуя о своихъ дѣтищахъ (они были, какъ извѣстно, рождены отъ *земли* и неба), укрѣпляла ихъ къ новой борьбѣ. Геркулесъ, чтобъ побѣдить Антея, вынужденъ былъ поднять его на воздухъ, и, не давая ему касаться ногами земли, задушилъ ослабѣвшаго врага своими могучими руками. [91]) Въ воронежскомъ пересказѣ уже нѣтъ и въ поминѣ всѣхъ этихъ миѳическихъ отношеній къ землѣ; не она, *мать сырая*, а два ангела, спустившись съ неба, поднимаютъ Илью словами: «встрепенись какъ трепещется на синемъ морѣ сизой орелъ!» Встрепенувшись, Илья подбрасываетъ богатыря (обратное паденье его на землю, повидимому, забыто). Взбѣгалъ на него съ ножомъ Муромецъ, хватилъ его въ бѣлую грудь—не сгибался ножь до черена: молодца спасъ его серебряный крестъ. Когда лежалъ Илья на землѣ, то говорилъ, что не сталъ бы и спрашивать молодца объ отчинѣ; теперь онъ измѣняетъ своимъ словамъ, и спрашиваетъ: «какого отца и матери»—«Матери польки я, отца Ильи Муромца». (Думаю, что *полька*

---

[89]) Какъ число семь, такъ и семьдесятъ, а особенно семьдесятъ семь—весьма древнее эпическое число. Оно встрѣчается уже, съ какимъ-то таинственнымъ значеніемъ, въ Вѣдахъ (Kuhn, Zetschr. für vergl. Sprachf. XIII, 128). Оно же довольно употребительно въ нѣмецкихъ и въ нашихъ русскихъ заговорахъ Sieben und siebzigte geschoss, sieben und siebenzigerlei krankheit—см. тамъ же и въ Wolf's zeitschr. f. D. Myth. III, III, 325) 77 жилочекъ и 77 суставчиковъ (у Кривошапкина: Енисейскій округъ, стр. 45). Въ Германіи употребительно также чародѣйное связываніе пучковъ—изъ 77 различныхъ родовъ травы (Reinsberg Düringsfeld, das festliche jahr in Deutschland' 243). «Число семь и сложныя изъ него одарены особою силою» (Nisard, Histoire des livres populaires, 2 éd., I, 128; но тоже относитъ онъ и къ числамъ 3 и 9).

[90]) А въ пересказѣ архангельск. уѣзда (К. IV, стр. 12) вдвое.

[91]) Аѳанасьева поэтич. возвр. Славянъ на природу, II, 678.



тутъ въ смыслѣ *полякующей*, поляницы, а едва ли въ этнографическомъ смыслѣ) Становилъ его Илья на ноги, цѣловалъ въ уста: «ужь ты здраствуй, дитя мое милое!» Вмѣстѣ сѣли они и поѣхали—къ князю Владиміру, который задалъ имъ почестный пиръ (Кир. VII, прил. № 1).

Таковы основныя черты воронежскаго извода. По общему сладу онъ все таки примыкаетъ къ былинамъ изъ пермскаго края и изъ Сибири; такимъ образомъ *нетрагическій* складъ сказанія оказывается извѣстнымъ въ трехъ, столь различныхъ мѣстностяхъ, между тѣмъ какъ изводъ трагическій пока оказывается уцѣлѣвшимъ только на сѣверѣ — олонецкомъ и архангельскомъ.

Нужно ли говорить о краткомъ нетрагическомъ пересказѣ Кирѣевскаго? (I, i, 1, симбирской губ.) Тутъ уже просто *татарченкомъ* называется молодецъ, оказывающійся сыномъ *кумы* Ильи Муромца (о чемъ было выше). Сходство съ пересказомъ Кирши тутъ въ томъ, что нѣтъ *паденья* Ильи, замѣняемаго и тутъ стрѣльбой ему въ бѣлу грудь,—только стрѣла попадаетъ въ добра коня, Илья же въотвѣтъ ограничивается угрозою—«закинулъ бы, молъ, тебя за сине море, если бы не родство».

Но есть еще совершенно особая былина, передающая похожденія двухъ совершенно самостоятельныхъ лицъ (Саула Леванидовича съ сыномъ), а между тѣмъ въ основѣ тутъ тотъ-же роковой, противоестественный бой. Былина эта имѣется въ двухъ пересказахъ: Кирши Данилова (перепеч. у Кир. III, 116—124) и Языкова (записанъ въ симбирской губ. и напечатанъ у Кир. III, 113—116) Но и тутъ опять изъ сличенія пересказовъ выходитъ, что записанный въ XVIII в. отличается меньшею степенью древности. Онъ и распространеннѣе, и перепутаннѣе съ одной стороны; съ другой же смягченіе доходитъ въ немъ до того, что даже не происходитъ самаго боя между отцомъ и сыномъ.

Оба пересказа по всей своей постановкѣ отличаются чѣмъ-то чужимъ, несвойственнымъ обычному строю жизни въ нашемъ народномъ эпосѣ. Самое имя—Саулъ (Сауръ) Леванидовичъ (Ванидовичъ) отличается чѣмъ-то восточнымъ и книжнымъ. Если въ пересказѣ симбирской губ. онъ является просто княземъ, то у Кирши онъ даже оказывается *царемъ* — но Богъ вѣсть какимъ, со сказочною неопредѣленностью. Въ симбирскомъ пересказѣ князь Сауръ выѣзжаетъ изъ астраханскаго царства, накопивъ себѣ силушки многое множество (такое множество *силы*, войска, какъ увидимъ мы далѣе, не совсѣмъ то обычно въ Кіевскомъ эпосѣ). Съ нею-то отправляется онъ въ походъ подъ цѣлыхъ три царства—латынское, литвинское и сорочинское. У Кирши же въ этомъ случаѣ страннымъ образомъ уцѣлѣло старое имя *половецкой земли*, куда отправляется царь Саулъ за данями и невыплатами. Княгиня провожаетъ отъѣзжающаго и, по пересказу симбирскому, на нее кидается въ это время змѣя; молодая княгиня испужалася,—и почувствовала, что во чревѣ у нея дитя встрепенулось. Только тутъ догадавшись о своей беременности, она посылаетъ съ этой радостной вѣстью нагнать мужа, но онъ не совсѣмъ-то вѣритъ и уѣзжаетъ, наказывая: ежели точно родитъ княгиня, то будетъ-ли то дочь, пусть выдастъ ее на 16 году замужъ, будетъ-ли сынъ, пусть

уже на десятомъ году посылаетъ его отцу на помощь. Все это, какъ не трудно замѣтить, до извѣстной степени напоминаетъ отъѣзжающаго Рустема. Подобно Зорабу, сынъ сауловъ отправляется въ поиски за отцомъ—съ силою въ 40 тысячъ. Онъ совершаетъ подвиги рѣшительно книжные—по своей чрезмѣрности и несвойственности русскому строю эпоса.

Латынское царство онъ выжегъ и вырубилъ
А Литвинское царство въ полонъ все взялъ.

Подступивъ же къ сорочинскому царству требуетъ онъ поединщика. Противъ него высылаютъ поединщичка-затюремщичка, а таковымъ оказывается не иной кто, какъ его отецъ. Молитва помогаетъ Сауру выладить изъ сѣдла молодого воина и пасть ему на бѣлу грудь. Допрашивая побѣжденнаго о родѣ племени, Сауръ узнаетъ, что это его милый сынъ. Онъ плачетъ отъ радости, какъ Илья Муромецъ, а сынъ съ неменьшею радостью пишетъ матери, что выручилъ (т. е. изъ плѣна у Сарацынъ) роднаго батюшку.

Безымянный въ симбирскомъ пересказѣ, у Кирши молодой богатырь становится Константинушкой. мать же его царицей Азвяковной (Узбековной) молодой Еленой Александровной. Въ описаніи дѣтства Константинова примѣшиваются черты богатырскаго забіячества, какъ бы взятыя изъ былинъ о Васькѣ Буслаевѣ, когда же, подобно матери Васьки, царица начинаетъ бранить сына, онъ вдругъ спрашиваетъ ее, есть-ли у него на роду батюшка? Мать расказываетъ все какъ было, и онъ вдругъ велитъ себѣ сѣдлать коня и отправляется въ путь дорогу искать отца. На розстаняхъ находитъ онъ надпись подобную той, какую еще увидимъ мы впереди въ былинахъ о трехъ поѣздочкахъ Ильи Муромца. Затѣмъ онъ одолѣваетъ Татаръ, причемъ неудается даже подкопъ, затѣянный противъ него (какъ затѣвается онъ противъ Ильи Муромца въ былинахъ о татарскомъ нашествіи) [92]) въ городѣ Угличѣ онъ вдается въ обманъ, повѣривъ обѣщанію жителей поставить его въ цари. Вмѣсто того, когда онъ сталъ подъѣзжать подъ стѣны ихъ бѣлокаменныя,

Они крюки багры заметывали,
Подымали его на стѣну высокую
Со его добрымъ конемъ.

(Совершенно также, замѣчу я мимоходомъ, донскіе казаки, засѣвшіе въ Азовѣ, ловятъ крюками Турокъ въ повѣсти объ азовскомъ сидѣніи, помѣщенной у г, Рыбникова въ IV ч.). Схваченный такимъ образомъ, Константинъ становится тѣмъ же, чѣмъ въ пересказѣ симбирскомъ отецъ его—полоненьщичкомъ-затюремщичкомъ. Его сажаютъ въ глубокъ погребъ (какъ Илью въ нѣкоторыхъ былинахъ, или какъ Егорія храбраго въ духовныхъ стихахъ). Между тѣмъ царь Саулъ собирается ѣхать изъ Углича въ царство свое алыберское (тутъ оно наконецъ названо, но какимъ-то сказочно-искуственнымъ именемъ), Узнавъ, по возвращеніи, что у него родился сынъ, онъ вдругъ опять уѣзжаетъ въ Угличъ (въ былинѣ, по видимому, при вставкахъ и распространеньяхъ съ одной стороны, съ другой стороны есть пропуски: надо полагать, что онъ зналъ про полоненьщичка углицкаго и вдругъ уга-

[92]) Напротивъ того Рустемъ, какъ извѣстно, погибъ отъ такого подкопа.



далъ въ немъ сына). Въ концѣ концовъ онъ становится тутъ тѣмъ, чѣмъ въ симбирскомъ пересказѣ является сынъ—освободителемъ изъ тюрьмы. Освободитель и освобожденный знакомятся между собою, и дѣло обходится такимъ образомъ даже совсѣмъ безъ схватки, какъ уже и сказано было выше.

Изъ этой краткой передачи содержанія, кажется, ясно, что все тутъ поставлено совершенно иначе, чѣмъ въ боѣ Ильи съ Сокольникомъ. Это не какая нибудь передѣлка былинъ объ этомъ послѣднемъ, а совершенно особый расказъ, основаніемъ которому, по всей вѣроятности, послужила какая нибудь зашедшая къ намъ изчужа своеобразно-сложившаяся вѣтвь обще-арійскаго сказанія объ отцѣ и сынѣ. Г. Безсоновъ въ своей замѣткѣ къ 3 вып. пѣсень Кирѣевскаго обращаетъ вниманіе на имя царевича — Константинъ. «Поэзія южныхъ Славянъ, говоритъ онъ, выводя часто греческихъ царей, обыкновенно называетъ ихъ Константинами; и у насъ въ духовныхъ стихахъ почти каждый царь православнаго востока есть непремѣнно *Константинъ Самойловичъ* или Константинъ Сауйловичъ.... Мы не сомнѣваемся почти, заключаетъ онъ, что все это—отрывки преданій, занесенныхъ изъ тогдашней Греціи и только привитыхъ къ Руси посредствомъ передѣлки; будемъ ожидать разъясненія отъ дальнѣйшихъ открытій». (Стр. XI)

Но открытіе, пожалуй, и сдѣлано, даже ранѣе, чѣмъ появилась замѣтка г. Безсонова, только едва ли этимъ многое разъясняется, Уже въ моей книгѣ о русской словесности (стр. 220) я упомянулъ о византійскомъ изводѣ «боя между отцомъ и сыномъ», свѣдѣніями о которомъ былъ я обязанъ г. Дестунису. Въ настоящее время я ознакомился и самъ съ тѣмъ трудомъ, о которомъ онъ мнѣ тогда говорилъ. Это вышедшая въ Лейпцигѣ въ 1861 г. брошюра Макса Бюдингера «Mittelgriechisches Volkseposs». Изъ нея видно, что еще въ 1859 г. Аѳинскій ученый Зампеліосъ издалъ найденную имъ въ одной парижской рукописи пѣсню, которую призналъ онъ за народную и которой происхожденіе отнесъ къ X столѣтію. Она была перепечатана въ Anthologie neugriechischer Volkslieder von Th. Kind (Lpz 1861) на стр. 2 и слѣд. съ переводомъ. И подлинникъ и переводъ наконецъ перепечатаны снова въ видѣ приложенія къ упомянутой брошюрѣ Бюдингера. Авторъ этой послѣдней старается въ ней доказать, что пѣсня значительно позднѣйшаго происхожденія. Сначала онъ сближаетъ главнаго героя ея Андроника съ лицомъ XII ст., послѣднимъ изъ дома Комненовъ, императоромъ Андроникомъ I, который до вступленія своего на престолъ. испыталъ многоразличныя похожденія, а въ томъ числѣ и плѣнъ и любовныя связи особаго рода. Въ разсказахъ объ императорѣ Андроникѣ Бюдингеръ видитъ очень много относящагося къ кругу народныхъ сказаній. Если же нравъ его въ этихъ расказахъ значительно разнится отъ того, что̀ приписывается ему въ народной пѣснѣ, то Бюдингеръ объясняетъ это позднѣйшею смягчающею идеализаціею, произшедшею при потомкахъ Андроника. Какъ бы то ни было, — для насъ историческое пріуроченіе тутъ не особенно важно (во всякомъ случаѣ тутъ было именно только обычное въ эпосѣ пріуроченіе къ историческому лицу, самая же основа расказа—эпическая, общенародная); какъ бы то ни было—представляетъ ли греческая пѣсня значительныя черты сходства—не со

сказаніями о боѣ между отцомъ и сыномъ вообще, а именно съ нашими былинами о царѣ Саулѣ и его сынѣ? Такъ ли значительно это сходство, чтобы можно было признать эти послѣднія передѣлкою византійской пѣсни, попавшей въ рукописи (что доказывается открытіемъ ея въ Парижѣ) и книжнымъ путемъ, можетъ быть, проникшей въ русскую землю? Подтверждается ли такимъ образомъ предположеніе г. Безсонова о византійскомъ происхожденіи былинъ о царѣ Саулѣ, или нѣтъ?

Въ греческой пѣснѣ жена Андроника уведена въ плѣнъ Сарацынами и въ плѣну у нихъ рождаетъ сына. Всего трехъ лѣтъ отъ роду, онъ уже обнаруживаетъ богатырскія силы. Сарацыны удивлены его скачкомъ черезъ девять коней, при чемъ онъ разрываетъ тяжелыя цѣпи, которыми, по его же требованію, опутали его Сарацыны. Вспрыгнувъ затѣмъ на своего коня, онъ уносится въ поле, а мать предупреждаетъ его, что посреди красныхъ шатровъ онъ встрѣтитъ одинъ черный—это и будетъ шатеръ его государя-батюшки. «Смотри, говоритъ она ему, не спѣшивайся, коли трижды они тебѣ не поклянутся.» При видѣ чернаго шатра, отрокъ, не находя дверей, дѣлаетъ сильный прыжокъ въ него вмѣстѣ съ конемъ. Андроникъ сердится, требуетъ, чтобы онъ сошелъ съ коня, и спрашиваетъ его о дѣдинѣ — отчинѣ. Тотъ, вѣрный совѣту матери, въ свою очередь требуетъ троекратной клятвы. «Какъ я вытащу мечъ, вотъ тѣ и будетъ клятва», возражаетъ Андроникъ. — «Ну, коли вытащишь свой, такъ и у меня мечъ найдется. «А я схвачусь за копье, такъ ты у меня и спѣшишься.» — «Если ты — за копье, такъ и я за копье — смотри-ка!»—«Ну, такъ этимъ моимъ мечомъ я клянусь тебѣ десятикратно, что пусть самъ онъ пронзитъ мнѣ сердце, ежели я разобижу тебя». Тогда отрокъ сошелъ съ коня, его стали опять распрашивать о дѣдинѣ-отчинѣ, и онъ прямо сказалъ имъ: я сынъ Андроника, похищенный Сарацынами, рожденный въ темницѣ, въ цѣпяхъ. Тутъ, взглянувъ на него, Андроникъ заплакалъ, обнялъ его и возблагодарилъ небо. А черный флагъ надъ своимъ шатромъ смѣнилъ онъ тогда на красный. [93])

У Бюдингера перепечатанъ и еще одинъ, своеобразный, но не полный пересказъ того же содержанія (трапезунтскій, распѣваемый, какъ замѣчаетъ онъ, по всей вѣроятности и теперь), заимствованный изъ изд. Арнольда Пассова **Popularia Carmina Graeciae Recentioris, 1860 г.** Тутъ самъ отрокъ расказываетъ о похищеніи своей матери Турками во время осады Константинополя, о своемъ рожденьи въ темницѣ и воспитаніи у Эмира Али. Далѣе есть пропуски и нѣтъ конца, и встрѣча съ отцомъ передается съ такою неясностью, что не будь у насъ полной пѣсни, трудно было бы и понять, въ чемъ тутъ дѣло.

Нужно ли говорить, что сходство греческой былины съ нашею о Саулѣ царѣ Леванидовичѣ—сходство довольно отдаленное. Плѣнъ у Сарацынъ, исканье

---

[93]) Въ Приложеніи будетъ у меня помѣщена вся эта пѣсня въ прекрасномъ русскомъ переводѣ Г. С. Деступиса, которому и приношу за доставленіе мнѣ его усерднѣйшую благодарность.

сыномъ отца, слезы послѣдняго—вотъ и все, что́ между ними находится общаго. Конечно, къ намъ могли заходить другіе пересказы греческаго сказанія, а наши теперешніе пересказы былины о Саулѣ могли значительно уклониться отъ первоначальныхъ. Намъ недостаетъ теперь посредствующихъ звеньевъ, а потому и приходится только повторить слова г. Безсонова, что до новыхъ открытій, трудно будетъ окончательно рѣшить вопросъ о происхожденіи нашихъ былинъ про Саула, столь особеннымъ образомъ видоизмѣняющихъ сказаніе о боѣ между отцомъ и сыномъ.

Есть у насъ наконецъ и еще одинъ видъ этого сказанія—въ лубочной сказкѣ о Еруланѣ Лазаревичѣ, попадающейся также и въ рукописяхъ XVII столѣтія. Изъ такой-то рукописи, находящейся въ погодинскомъ древлехранилищѣ, (№ 1773) перепечатана эта сказка Н. И. Костомаровымъ во II вып. «Памятниковъ старинной русской литературы». Если уже въ былинѣ Кирши о Саулѣ можно было замѣтить смѣшеніе различныхъ сказаній, то сказка о Еруланѣ страдаетъ этимъ еще въ большей степени. Вмѣстѣ съ тѣмъ она отличается уже вовсе не былевою пестротою именъ, частію татарскихъ (наприм. Алогти-Гирей), часто—Богъ вѣсть какихъ, но, по видимому, книжныхъ: (Кондурія, Прондора, Мендора, Легія, Понарія, градъ Дербій); частію русскихъ, но чуждыхъ всякой эпической опредѣленности: Иванъ русскій богатырь, Ивашка бѣлая епанча, Данило Бѣлый. Дѣйствіе происходитъ, по сказочному, Богъ вѣсть гдѣ.

Другой пересказъ, также изъ рукописи XVII ст., принадлежавшей покойному В. М. Ундольскому, гораздо болѣе полный и стройный, напечатанъ еще въ 1859 г. во II-мъ томѣ «Лѣтописей Русской Литературы и древности» Н. Тихонравова. Недавно онъ былъ подвергнутъ обстоятельному разбору В. В. Стасовымъ, и разборъ этотъ составляетъ самую лучшую главу въ его трудѣ о происхожденіи русскихъ былинъ. Тутъ важны уже и тѣ замѣчанія, которыя касаются главныхъ именъ. Въ пересказѣ Ундольскаго, надо сказать, нѣтъ тѣхъ странныхъ *Прандоръ* и *Легій*, какими отличается пересказъ погодинскій; второстепенныя лица, по большей части, остаются тутъ безыменными. Зато отчество господствующаго лица, Уруслана, отличается въ рукописи Ундольскаго надбавкою лишняго слога: онъ уже не *Лазаревичъ*, какъ въ погодинской рукописи, а *Залазаревичъ*. «Лишній слогъ *за* не ошибка и не случайность, толкуетъ г. Стасовъ; въ Шахъ-Наме отца Рустемова обыкновенно зовутъ «Заль»; но это лишь сокращеніе полнаго имени «Заль-Зеръ».:. Персидское Заль-Зеръ явилось сначала на нашей почвѣ въ формѣ «Залазарь», а изъ нея впослѣдствіи, по сходству звуковъ, образовалось христіанское «Лазарь» [94]). Толкованіе г. Стасова тѣмъ болѣе убѣдительно, что и другія имена оказываются подходящими къ именамъ Шахъ-Наме. «Урусланъ живетъ и богатырски дѣйствуетъ при царѣ Киркоусѣ, а имя персидскаго (иранскаго) царя, при которомъ совершаются почти всѣ главные подвиги Рустема—«Кей-Каусъ». У насъ царя этого зовутъ по батюшкѣ «Киркодановичъ»; въ Шахъ-Наме отецъ Кей-Каусовъ былъ Кей-Кобадъ,

94) Вѣстникъ Европы 1868 г. Янв. 175—176, 179.

и такимъ образомъ изъ первоначальнаго Кейкобадовича» у насъ произошло «Киркодановичъ». Одинъ изъ враговъ Уруслана князь Даніилъ *Бѣлый*—это рустемовъ врагъ *Бѣлый Дивъ*». «Въ Русской сказкѣ конь уруслановъ называется *Арашъ*, въ Шахъ-Наме Рустемовъ конь *Ракшъ*». Не трудно заключить изо всего этого, что самому *Уруслану* приходится оказаться *Рустемомъ*. Филологически оно, разумѣется, нѣсколько мудрено. Тутъ мало допустить одну порчу, а надо допустить подставку другого имени. Изъ Рустема первоначально могъ выйти *Рустанъ*, а потомъ уже это имя могло *замѣниться* татарскимъ *Арсланъ*, передѣланнымъ въ *Раслана*, *Рослана*, *Руслана*, *Уруслана*. Какъ бы то ни было, но многія похожденія, приписываемыя этому лицу, дѣйствительно очень сходны съ похожденіями Рустема; они представляются даже почти въ томъ порядкѣ, какъ Въ Шахъ-Намѣ. Во всемъ этомъ г. Стасовъ совершенно правъ, но онъ въ этомъ отношеніи только подкрѣпилъ доказательствами предположенья своихъ предшественниковъ; всѣ они, кромѣ одного Сахарова, не смотря на различіе направленій, заявляли единогласно, что сказка объ Урусланѣ должна быть происхожденья чужого, скорѣе всего —восточнаго [95]).

Въ концѣ уруслановыхъ похожденій встрѣчается и враждебное столкновеніе съ сыномъ; но именно оно-то и далеко не вполнѣ подходитъ къ соотвѣтственному похожденію Рустема. Урусланъ женится на дочери индѣйскаго царя, спасенной имъ отъ трехъ-главаго змѣя. Онъ такимъ образомъ совершаетъ тутъ подвигъ, распространенный во множествѣ обще-европейскихъ сказокъ, подвигъ германскаго Зигфрида, кельтскаго Тристана, греческихъ Тезея и Персея, индѣйскихъ Индры и Кришны, тотъобщеарійскій подвигъ, [96]) охристіанствованнымъ видомъ котораго является въ нашихъ духовныхъ стихахъ змѣеборство Егорія Храбраго (и съ нѣсколько иной постановкой Ѳедора Тырянина). Возвращаясь къ Уруслану, замѣчу, что уже въ первую ночь спрашиваетъ онъ у жены, «есть ли гдѣ тебя краше, а меня, Уруслана, удалѣе?» Она указываетъ ему на солнечный городъ, гдѣ царствуютъ царевны въ семь седмерицъ ея краше; удалѣе же Уруслана по ея мнѣнію, никого нѣтъ. На слѣдующее утро собрался онъ отыскивать эту красавицу, женѣ же на прощаніе далъ драгоцѣнный камень, вынесенный имъ со дна того озера, въ которомъ обиталъ змѣй. «Родитца у тебя послѣ меня сынъ, и тотъ камень на руку ему взложи; а родитца у тебя дочь, и ты ей въ томъ камени серги доспѣй». Пока только эта черта и напоминаетъ Рустема. который, отъѣзжая, оставляетъ у Темины каменьониксъ съ тѣмъ. чтобы она, въ случаѣ рожденія дочери, прикрѣпила его къ волосамъ ея въ видѣ амулета; если же родится

---

[95]) О такомъ мнѣніи своихъ предшественниковъ свидѣтельствуетъ и самъ г. Стасовъ (стр. 170). Мнѣніе это вообще такъ вѣрно, что новому нашему изслѣдователю не зачѣмъ было прибѣгать къ натяжкамъ—съ цѣлію уподобить похожденьямъ Рустема даже и такія изъ руслановыхъ, которыя уже никакъ не подходятъ къ тѣмъ: наприм. драконъ Шахъ-Наме, по закону эпическихъ подстановокъ, не можетъ соотвѣтствовать князю Ивану русскому богатырю (стр. 80 и 191), какъ темное не можетъ соотвѣтствовать свѣтлому.—Объ Ерусланѣ-Арсланѣ ср. у г. Везсонова въ зам. къ III вып. пѣсень Кир. стр. XVI.

[96]) Carriere, die Kunst im Zusamenhange der Culturentwickelung, I, 351. Тоже сказаніе встрѣчается въ сказкахъ Сомадевы, въ кн. II, гл. 9. Откуда зашло оно въ нашу, и вообще заимствованную сказку объ Урусланѣ, это довольно трудно сказать, но что то-же сказаніе также должно было существовать и у насъ, какъ у всѣхъ, искони, помимо всякихъ заимствованій, это не подлежитъ никакому сомнѣнію.



сынъ, то, чтобы она привязала ему этотъ камень къ рукѣ, подобно тому, какъ носилъ его самъ Рустемъ (Mohl II. 83). (Это напоминаетъ также и Саула Леванидовича). Достигнувъ солнечнаго царства, Урусланъ вступаетъ тамъ въ новую связь и живетъ съ прекрасною солнечною царевной много лѣтъ. «И какъ Урусланъ съ тою царевною поспитъ мѣсяцъ времени и онъ обезсилѣетъ; учнетъ тянуть свой доброй крѣпкой лукъ, и онъ не можетъ и отъ петель отвести... И какъ Урусланъ не поспитъ съ царевною мѣсяцъ времени: и онъ учнетъ свой лукъ тянуть по старому. а прошлую свою вѣнчальную жену Урусланъ позабылъ.—(Лѣтописи Тихонр. II. 125). Въ рукописи погодинской это объясняется тѣмъ, что онъ «съ умомъ смѣшался» (Пам. стар. Р. Лит. II, стр. 337, столбецъ 2-й, внизу).

Тутъ не достаетъ только того пояснительнаго *питья забыдущаго*, которое является въ цѣломъ рядѣ сказаній (стоитъ вспомнить германскаго Сигфрида, привораживаемаго такимъ образомъ къ Гудрунѣ ея матерью и оставляющаго Брюнгильду (двойная связь Уруслана отчасти напоминаетъ двуженнаго Одиссея въ вышеприведенномъ расказѣ изъ Телегоніи Евгаммона). Между тѣмъ отъ первой жены Уруслана родится Урусланъ Урусланович҄ъ, и ѣдетъ искать отца. «Глаза у него, какъ питы чаши» (чтó отчасти напоминаетъ Сокольника въ одномъ изъ краткихъ пересказовъ Кирѣевскаго). Такъ оно въ *погодинской рукописи*, а у Ундольскаго сообщается о немъ еще слѣдующее: «какъ будетъ Урусланъ двѣнатцати лѣтъ и захотѣлъ онъ потѣшитца царскою потѣхою, и которыхъ добрыхъ родовъ царскіе дѣти учали звать выблеткомъ... И Уруслану Урусланович҄у то слово учинилося добре въ досаду. и пришелъ Урусланъ къ матери своей... Скажи мнѣ, госпожа моя мати, какова язъ отца сынъ?» Это можетъ служить разъясненіемъ, почему и Сокольнику было такъ обидно увидѣть себя «заугольникомъ»: Положенье Уруслана выгоднѣе: онъ родился отъ *вѣнчальнаго* брака и можетъ преспокойно ѣхать разыскивать своего отца. Пріѣхавъ къ солнечному городу, онъ сталъ по конецъ мосту и свиснулъ богатырскимъ голосомъ. «Въ то время отецъ его Урусланъ Залазаревичъ исполошился; не простой то человѣкъ крикнулъ, свиснулъ доброй сильной богатырь». Вскочилъ Урусланъ и направился къ мѣсту. «Съѣхалися оба богатыря вмѣстѣ. И паробчикъ Уруслана ударилъ, отца своего, копьемъ-тупымъ концомъ, и вышибъ его изъ сѣдла». Во время боя Рустема съ Зорабомъ употребляется другой пріемъ, *схватываніе за кушаки*. (Mohl, II, 151, 167). Но въ другихъ случаяхъ попадается намъ въ Шахъ-Наме и высаживанье копьемъ изъ сѣдла (Mohl, I, 461; II, 33, 67, 97.) «Мало Урусланъ съ коня не упалъ, удержался за сѣдельную луку и поѣхали богатыри въ другорять вмѣсто съѣзжатися. И Урусланъ паробчика сшибъ копьемъ, тупымъ концомъ съ коня на землю, а добрый конь урусланов҄ъ вѣщей *Арашъ* у паробчика наступилъ на пансырское ожерелье [97]). И Уруслану паробчика убити до смерти жаль

---

[97]) Г. Стасовъ видитъ въ этомъ помощь, оказанную богатырю конемъ его, (стр. 180) Сходно съ этимъ и Рустему однажды помогъ его конь (Mohl, 1, 521). Но далѣе мы еще будемъ имѣть случай встрѣтиться съ такою эпическою помощію коня и въ сказаніяхъ европейскихъ.



(въ этомъ онъ напоминаетъ Илью; правда, и Рустемъ *въ началѣ* жалѣетъ Зораба, но зато подъ конецъ онъ становится способнымъ убить его даже при помощи самой предательской хитрости) что еще паробчикъ молодъ добре, а паробчикъ въ серцахъ подъ Урусланомъ рветъ у него копье булатное и ухватился за копье добре крѣпко и у паробчика рука обголилась. И Урусланъ у паробчика увидѣлъ тотъ камень, который Урусланъ изъ озера вынесъ, какъ чюдо убилъ. И потому именно Урусланъ опозналъ сына своего... «Затѣмъ слѣдуютъ распросы и дѣло кончается наставленіемъ сына отцу: «пригоже ли ты такъ дѣлаешь? покинулъ еси ты законную жену свою и живешь не съ законною женою». Слова сына подѣйствовали на отца: онъ вернулся съ нимъ къ законной женѣ, а сынъ сталъ жить въ полѣ и искать себѣ чести. Сказка оканчивается книжно—*аминемъ*.

Въ рукописи погодинской, при свиданіи съ отсутствовавшимъ столь долгое время мужемъ, мать *паробчика* говоритъ: солнце мое равитское (аравитское, аравійское) откуду взошло и меня обогрѣло? Отколѣ мя свѣтъ освѣтилъ и отколя заря возсіяла? [98]) (Это напоминаетъ въ былинахъ о возвращеньи Добрыни слова жены его Настасьи Микулишны)... И цѣловала его во уста сахарныя, и прижимала его къ своему сердцу ретивому, и повела его въ хоромы царскія.... Еруслану слова не минуетца отнынѣ и до вѣка Аминь.»— Изъ этихъ выписокъ, кажется, достаточно выказывается смѣсь книжныхъ пріемовъ и выраженій съ народными и даже былевыми. Въ самомъ содержаніи— чужого, не русскаго очень много, но прямо подходящаго къ Шахъ-Наме (въ эпизодѣ побоища съ сыномъ) очень мало. Гдѣ тутъ поразительное запирательство Рустема, его малодушная хитрость, гдѣ наконецъ развязка трагическая?

Чувствуя, что многое тутъ даже весьма далеко отъ поэмы Фирдоуси, г. Стасовъ (на стр. 205) указываетъ на два другихъ восточныхъ расказа, которые могли въ свою очередь оказать вліянье на нашу сказку (равно и многія другія несходства съ Фирдоуси въ теченіи всей исторіи Уруслана объясняетъ онъ различными восточными-же расказами). [99]) Въ объясненіе счастливой развязки побоища съ сыномъ нашъ изслѣдователь могъ бы еще указать на персидскую поэму *Джигангиръ-Наме*, главное лицо которой, второй сынъ Рустема, также вступаетъ въ бой съ отцомъ, но узнается имъ и щадится, какъ и Урусланъ (Mohl, livre des rois, préface, LXII). Я готовъ признать такимъ образомъ, что и *развязка* нашей повѣсти объ Урусланѣ можетъ быть восточнаго же происхожденія. Хотя многое въ повѣсти, какъ я указалъ

---

[98]) Кромѣ того, при всей господствующей книжности, въ ней есть весьма многіе, чисто народные обороты, такъ что она не терпетъ значенія и при рукописи Ундольскаго.

Можно отмѣтить, что побѣжденный Урусланомъ царь огненный щитъ ѣздитъ на осьминогомъ конѣ. Въ сказаніяхъ минусинскихъ татаръ попадется шестиногій конь (Castren's Vorles. 225. Mél. Asiatiques, III, 401). Кому не извѣстенъ осьминогій конь германскаго Одина? (Grimm. Myth. 140) кто же у кого тутъ заимствовалъ? (Ср. Аѳан. Поэт. воззр. Сл. I, 215—216) Другая черта (подобно коню осьминогому, не имѣющаяся въ Шахъ-Наме)—добываніе Урусланомъ драгоцѣннаго камня съ глубины морской—сродна общеарійскому миѳу о солнечномъ камнѣ, находящемся посреди небеснаго моря. (См. Аѳан. Поэт. воззр. I, 214—216, II, 142—151. Ср. также сказанное у меня выше въ примѣч. на стр. 19-й.)



выше, напоминаетъ и преданія европейскія, господствующій въ ней складъ дѣйствительно складъ восточный. Въ этой сказкѣ такимъ образомъ, какъ и въ былинахъ о Саулѣ Леванидовичѣ, мы имѣемъ сказанье о боѣ между отцомъ и сыномъ въ видѣ чужомъ, заимствованномъ. Какимъ путемъ зашелъ къ намъ этотъ *чужой изводъ—устнымъ* или *книжнымъ*—это въ настоящее время мудрено рѣшить. Но сказаніе о Еруланѣ, какимъ бы путемъ ни зашло оно къ намъ, подверглось у насъ *обработкѣ книжной*. Такая участь, напротивъ того, не постигла нашего *туземнаго*, *незаимствованнаго извода*, того, съ которымъ мы познакомились по былинамъ объ Ильѣ и Сокольникѣ. Общеарійское сказанье о боѣ между отцомъ и сыномъ имѣетъ въ немъ, какъ мы могли уже убѣдиться, совершенно особый видъ, независимый отъ «Уруслана» и восточныхъ его образцовъ.

Въ этомъ видѣ издавнее сказанье арійское донесено до насъ памятью народной, донесено безъ участія древнихъ книжниковъ—со всѣми признаками своеобразія съ одной стороны, отдаленнѣйшей, первобытнѣйшей старины съ другой.

Но замѣчательно, что и самое *заимствованное*, *чужое* сказаніе объ Урусланѣ, вопреки г. Стасову (стр. 192), все-таки до извѣстной степени носитъ на себѣ печать нашей русской народности. Самъ онъ замѣчаетъ (на стр. 178), что въ нашей сказкѣ князь Даніилъ бѣлый нападаетъ на киркоусово царство, напротивъ того въ Шахъ-Наме «не на Кей-Кауса нападаютъ, а онъ самъ, только что сѣвъ на отцовскій престолъ, вдругъ возгордился своею силою, войскомъ и богатствомъ до такой степени, что вообразилъ себя выше всѣхъ царей на свѣтѣ, не хотѣлъ уже считать никого себѣ равнымъ и затѣялъ напасть на сосѣднее мазандеранское царство, обитаемое дивами» (въ числѣ ихъ и *бѣлый дивъ*—первообразъ нашего *Даніила бѣлаго*). Уничтоженіе въ нашей сказкѣ этой *наступательности* находится въ тѣсной связи съ тѣмъ общимъ складомъ нашего эпоса, который долженъ будетъ раскрыться предъ нами въ дальнѣйшемъ ходѣ моего изслѣдованія. Киркоусъ не даромъ поставленъ у насъ въ положенье *страдательное*, *оборонительное*: въ такомъ же положеніи почти постоянно находится въ нашихъ былинахъ стольный Кіевъ градъ, на который, подобно Даніилу бѣлому, нападаютъ разнаго рода насильники.—Далѣе г. Стасовъ упоминаеть, (на стр. 184) о томъ, какъ Рустемъ, выпутавъ Кейкауса изъ бѣдъ, навлеченныхъ на него гордостью, принимаетъ отъ царя богатые подарки [100]) а равно и грамоту, утверждающую за нимъ удѣлъ его—южное царство. Но нашъ изслѣдователь не обратилъ вниманья на то, что Урусланъ напротивъ того не беретъ даровъ, говоря: «государь царь! одно взяти: любо корыствоватися или богатыремъ слыти. [101])» Надо прибавить, что Урусланъ спасаетъ царя Киркоуса, забывая о

[100]) Они состояли изъ разукрашеннаго престола, яйца съ драгоцѣнными камнями, блестящей цѣпи, ста женщинъ съ золотыми поясами, ста красивыхъ мужчинъ (очевидно рабовъ), ста коней, ста муловъ съ золотою упряжью, ста кошельковъ съ золотомъ, и т. п. За все это Рустемъ осыпаетъ царя благословеніями, падаетъ передъ нимъ на землю и цѣлуетъ его престолъ (Mohl, livre des rois, I, 567—569) Еще ранѣе, восторжествовавъ надъ твердыней Зилендъ, Рустемъ вывозитъ оттуда пятьдесятъ тысячъ вьюковъ золота, серебра и разныхъ сокровищъ (Mohl, I, 373).

[101]) «Лѣтописи» Тихонравова, II, п, 107.

томъ, какъ царь до нападенья Даніила бѣлаго, приказывалъ Залазарю выгнать изъ его царства. «Которой доброй человѣкъ лихому не мститца. А то, государь, мнѣ не отъ тебя: по грѣхомъ моимъ твоя царская опала пришла ко мнѣ. [102]) А которой, государь, богатырь въ своемъ отечествѣ не честенъ? А гдѣ ни буди, тутъ я государю своему слуга буду»—такъ говоритъ Урусланъ. Далѣе, сражаясь съ княземъ Иваномъ, Урусланъ ударяетъ его противъ сердца *тупымъ* концомъ копья (пріемъ, употребляемый имъ и въ другихъ случаяхъ): *«жаль ему князя Ивана убить»*, и вотъ онъ братается съ нимъ. Еще позже отправляясь доѣзжати Ивашка бѣлую поляницу, богатырь нашъ разсуждаетъ такимъ образомъ: «мнѣ зъ батькомъ да съ маткою долго не видатца; а отецъ мой и мати моя при старости были, какъ я отъ нихъ поѣхалъ». И здумалъ Урусланъ, поѣхалъ къ отцу да къ матери челомъ ударити....» Когда Урусланъ пріѣзжаетъ къ вражьему Зеленому царю, чтобъ ему лестью (т. е. обманомъ) служить, то царь начинаетъ дарить его многими дары царскими, а онъ *не емлетъ*, и потомъ только, спохватясь, начинаетъ *дары имать*, чтобы царь не понялъ, что онъ пріѣхалъ къ нему обманомъ. По убіеніи же Урусланомъ царя Зеленаго, «царевы богатыри учали бити ему челомъ въ службу», а онъ и отъ власти, какъ отъ даровъ, отказывается: *«не царствовати я къ вамъ пришелъ*, пріѣхалъ есми для своего дѣла». Совершивъ это дѣло, вынувъ у царя печень, нужную ему для изцѣленія своего родного царя, Киркоуса, Урусланъ уѣзжаетъ. Далѣе онъ одолѣваетъ въ бою Ивашку, и впадаетъ въ раздумье: «взяти мнѣ Ивашковъ конь или ратное оружіе, и мнѣ разбойникомъ прослыти». [103]) Между тѣмъ, какъ всѣмъ хорошо извѣстно, бранная добыча, начиная отъ героевъ гомеровыхъ, вообще не считалась разбоемъ, а напротивъ совершенно законнымъ явленіемъ, естественною принадлежностью быта воинскаго [104]) Еслибы та или другая изъ подобныхъ чертъ, приписываемыхъ у насъ Уруслану, и встрѣтилась совершенно въ такомъ же видѣ въ томъ или другомъ восточномъ произведеніи, то-все же это будутъ черты разрозненныя, единичныя. Ни въ Рустемѣ, ни въ другихъ восточныхъ герояхъ, приводимыхъ у г. Стасова, мы не видимъ такого совокупнаго приписыванья одному лицу чертъ, свидѣтельствующихъ объ отсутствіи и корыстолюбія и властолюбія. Въ нашихъ бы-

---

[102]) Грѣхи Уруслана заключались въ томъ, что онъ въ отроческія года занимался вырываніемъ рукъ и ногъ у своихъ юныхъ сверстниковъ, почему князь, бояре и гости сильные взмолились царю, а царь весьма благоразумно рѣшилъ: «не пригоже для одного человѣка распустить царство», и велѣлъ изгнать его (Лѣтоп. Тих. 101). Въ этомъ случаѣ Киркоусъ является въ болѣе выгодномъ свѣтѣ, чѣмъ Урусланъ, дальнѣйшія, сочувственныя черты котораго должны быть признаны за болѣе позднюю выработку у насъ эпическаго его склада. Напротивъ дѣтская потѣха его—черта издавняя по своей грубости, напоминающая дѣтство Константина Сауловича, Васьки Буслаева, сербскаго Марка (Валявца Narodne pripovjedke, 65) и германскаго Зигфрида (кромѣ того героя Магабгараты, на котораго указываетъ г. Стасовъ на стр. 169). Другая черта звѣрства въ Урусланѣ, это то, что онъ отрубаетъ голову у дѣвицы, рѣшившейся сказать ему про богатыря, который славнѣе его. Объ этомъ еще будетъ рѣчь впереди—при разборѣ былинъ о Дунаѣ Ивановичѣ.

[103]) «Лѣтописи» Тихонравова, II, 106, 108, 117, 118 122.

[104]) Послѣ одной побѣды, одержанной Иранцами надъ Тураномъ, въ Шахъ-Наме говорится, что всѣ сокровища, все вооруженіе и всѣ кони побѣжденныхъ достались побѣдителямъ, которые собрали всю эту добычу въ одно мѣсто; впрочемъ—сказано далѣе—не раздѣвая убитыхъ и не обыскивая лежащихъ на землѣ (Mohl, II, 69). Тутъ какъ будто бы есть нѣкорое соотвѣтствіе съ раздумьемъ Уруслана; хотя все-таки позорнымъ представляется тутъ собственно только раздѣваніе и обыскиваніе, при чемъ большое вліяніе могло оказывать и опасенье оскверниться тѣмъ, что было на мертвомъ.

линахъ, напротивъ того, мы еще встрѣтимся съ такимъ соединеньемъ подобныхъ чертъ въ лицѣ Ильи Муромца. Вотъ подъ вліяньемъ такого-то чисто народнаго образца и преобразовался въ нашей сказкѣ заимствованный и полукнижный богатырь Урусланъ. И въ заимствованномъ, такимъ образомъ, оказывается у насъ наслоенье народное,—а оно-то и особенно дорого для изучающаго словесность *русскую*.

Но разборъ сказки объ Урусланѣ нѣсколько насъ отвлекъ отъ сказанія собственно про бой между отцомъ и сыномъ. Наши отечественные изводы этого послѣдняго теперь, кажется, уже вполнѣ разсмотрѣны. Что касается сказаній ино-славянскихъ, то до сихъ поръ, сколько я знаю, оставляли безъ вниманія одну сербскую былину, въ которой нечаяннымъ образомъ также завязывается бой между отцомъ и сыномъ, но прерывается уже какъ нельзя болѣе благополучно. Я разумѣю въ 3 ч. пѣсень Вука Караджича № 56 (Иво Сенковић и ага од Рибника), стихи 311—385. Причиною боя тутъ просто то, что Иванъ, побѣдивъ турка, одѣвается въ его платье и такимъ образомъ принимается отцомъ за врага. Онъ поступаетъ въ этомъ случаѣ подобно нашему Алешѣ Поповичу, который, окрутившись въ одежду побѣжденнаго имъ Тугарина, чуть чуть не былъ также убитъ — только не отцомъ, а названнымъ братомъ. [105]) Въ сербской пѣснѣ мать, уже издали замѣчая всадника въ турецкой одеждѣ, въ ужасѣ думаетъ, что это «ага од Рибника», одолѣвшій въ боѣ ея сына и сѣвшій на его коня. Услышавъ объ этомъ, и старый отецъ «проли сузе низ јуначко лице» и поскакалъ противъ турка. Тщетно сынъ поспѣшилъ закричать ему:

Бог ми с тобом, родитељу Ђурђу!
Ни сам, бабо, ага од Рибника,
Та сам, бабо, твоје чедо Ива!«

Но старикъ, въ пылу гнѣва и скорби вслѣдствіе воображаемой гибели сына, налетаетъ на мнимаго агу, чтобы отсѣчь ему голову. Свойственная сербскимъ народнымъ пѣснямъ стихія участія пѣвца къ тому, о чемъ поетъ онъ (стихія лирическая) сказывается тутъ слѣдующимъ восклицаніемъ:

Ето Иви големе невољи!
Оће јунак да изгуби главу,
А од кога, већ од бабе свога!

Затѣмъ уже опять эпически передается о томъ, какимъ образомъ Иво избѣгъ погибели:

А кад види, да ће погинути,
Даде плећа, пак стаде бегати,
За њим Ђурађ пусти бедевију:
»Стани, аго, утећи ми не ћеш
Брзо Ђурађ састигао Иву
И оће му да одсече главу;
Кад се види Ива на невољи,
Он се маши у јанкесу пасу,
Баци главу аге од Рибника,
Баци главу пред свог родитеља:
Бог ми с тобом, родитељу Ђурђу!
Ето т'главе аге од Рибника!

[105]) Опасность отъ переодѣванья — обстоятельство весьма распространенное въ эпосѣ. Оно встрѣчается и въ chansons de geste, напримѣръ Guillaume d'Orange (éd. Jonckbloet, I 264) Renaus de Montauban (éd. Michelant, 282).

Про Алешу см. у Кирши Данилова № 19.





Увидѣвъ ее, отецъ Ивы, наконецъ понялъ, въ чемъ дѣло:

Пак он скочи с бедевије старе,
Под Иваном коња приватио,
Своје чедо на руке привати,
Пак Ивана и грли и љубе.

Сначала прославляя его за подвигъ, онъ подъ конецъ упрекаетъ сына:

Ал што с' Турско руво облачио?
Мало бабо душу не огреши,
Мало тебе не погуби, сине!

Въ этой былинѣ сербской наше сказаніе, думаю я, представляется въ самомъ смягченномъ видѣ. Тутъ даже побудительною причиною служитъ любовь отца къ сыну (желанье отомстить за него); а сынъ въ свою очередь изъ любви къ отцу готовъ даже показаться трусомъ. Какъ дѣйствующія лица, такъ и самъ пѣвецъ проникнуты чувствомъ ужаса уже при одной мысли, что дѣло могло бы дойти до боя между отцомъ и сыномъ!

Мнѣ остается теперь перейти къ изводу германскому. Древнѣйшій видъ его (пѣсня о Гильдебрандѣ и Гадубрандѣ въ рукописи VIII в.) отличается совершенно противоположнымъ восточному и кельтскому изводу чаяніемъ старика Гильдебранда, что юный воинъ, съ которымъ онъ сталкивается, именно и есть его сынъ. Вслѣдствіе этого и тутъ, какъ въ нашихъ былинахъ, спѣшитъ распросить объ имени не кто другой, какъ отецъ. И сынъ, безъ малѣйшаго запирательства, называетъ ему себя Гадубрандомъ, сыномъ Гильдебранда.—Тутъ такимъ образомъ не видать той боязни себя опозорить открытіемъ имени, о которой говорено было выше. Боязнь эта не проявляется также и у Фирдоуси, гдѣ Рустемъ просто изъ упрямства не хочетъ сознаться, кто онъ, не обнаруживая ни малѣйшей обиженности вопросомъ объ этомъ Зораба [106]).

Что же касается Гадубранда, то, назвавъ своего отца, онъ даже подробно говоритъ объ немъ, его отношеніяхъ къ Дитриху и причинахъ скитальческой его жизни. «Но я не думаю, чтобы онъ былъ еще живъ», прибавляетъ въ заключеніе Гадубрандъ.

«Призываю въ свидѣтели самого Ирмина, восклицаетъ старикъ Гильдебрандъ, тебѣ еще ни разу не приходилось биться съ такимъ близкимъ родственникомъ». А за тѣмъ онъ снимаетъ съ руки одинъ изъ тѣхъ обручей, которые были получены имъ самимъ отъ предводителя Гунновъ, и даритъ его юношѣ. Въ этомъ случаѣ онъ идетъ несравненно дальше Ильи, распросивъ сына еще до начатія боя и рѣшительно намѣреваясь отклонить этотъ послѣдній. Сынъ въ свою очередь, какъ мы видѣли, вовсе не запирается, и бою, повидимому, не бывать. Но вотъ тутъ-то и принимаетъ дѣло оборотъ совершенно иной, и основанный уже на чисто-германскихъ началахъ. Юный Гадубрандъ не принимаетъ подарка: «*мужу прилично только оружіемъ наживать добро*, отвѣчаетъ онъ Гильдебранду; ты хитеръ, старый гуннъ, и хочешь меня провести..... Мореплаватели сообщили мнѣ, что умеръ мой отецъ

[106]) И въ другихъ случаяхъ въ Шахъ-Намѐ не замѣтно нежеланіе или опасеніе открыть противнику свое имя (см. на прим. стр. 519 первой части перевода Моля). Тоже самое и въ нѣкоторыхъ западно-европейскихъ произведеніяхъ времени болѣе поздняго, чѣмъ пѣсня о Гильдебрандѣ: такъ въ Guillaume d'Orange—произведеніи XI или XII ст.—на стр. 22, 42, 211, 388).

Напротивъ,—скрываніе имени у Радлова, II, 161.



Гильдебрандъ». Съ этихъ поръ старикъ считаетъ бой уже неизбѣжнымъ: «горе мнѣ, говоритъ онъ, горе, великій Боже! горькая судьбина свершается! Тридцать лѣтъ и тридцать зимъ я скитался изгнанникомъ, и постоянно видали меня въ ряду храбрыхъ воиновъ, но нигдѣ меня не постигла смерть; [107]) теперь же собственному моему чаду приходится меня поразить мечомъ или разрубить топоромъ своимъ, а не то самому мнѣ стать его убійцею».—Такимъ образомъ онъ считаетъ бой съ сыномъ какъ бы приговоромъ судьбы, но изъ слѣдующаго за тѣмъ мы поймемъ, что принимается тутъ *судьба* не въ томъ смыслѣ, какъ въ «Шахъ-Намѐ».—Чтó же, тебѣ не трудно продолжаетъ старикъ Гильдебрандъ, если хватитъ на это духу, достать себѣ силой оружія въ добычу отъ стараго то, чтó принадлежало бы тебѣ по праву». Въ переводѣ этихъ послѣднихъ словъ я слѣдую Дюмерилю, видящему въ этомъ указаніе на сыновнее право наслѣдованія послѣ отца (стр. 442); въ переводѣ Фольмера и Гоффмана это мѣсто темнѣе, зато вслѣдъ за тѣмъ, какъ мнѣ кажется, ими весьма удачно сдѣлана перестановка сюда трехъ стиховъ, въ рукописи находящихся въ началѣ только что приведенной рѣчи старика Гильдебранда. Тамъ óни не имѣютъ смысла. и переводя ихъ, по крайнему своему разумѣнію, Дюмериль сознается, что это самое трудное мѣсто въ цѣлой пѣснѣ. Напротивъ у Фольмера и Гоффмана слова эти получаютъ смыслъ—вмѣсто Гильдебранда приписываемыя Гадубранду и служа отвѣтною рѣчію послѣдняго. «*Я вижу по твоему вооруженію*, говоритъ онъ тутъ, *что у тебя есть дома такой добрый господинъ, отъ котораго тебѣ не приходилось спасаться бѣгствомъ*»... т. е. этимъ онъ какъ бы старается доказать, что старикъ, съ которымъ онъ говоритъ, даже не походитъ на такого изгнанника, какимъ долженъ бы оказаться его отецъ. Чрезъ вставленіе этихъ словъ въ уста Гадубранду въ этомъ мѣстѣ является полнота, [108]) а слѣдующія за тѣмъ слова

---

[107]) Такъ переводятъ Фольмеръ и Гоффманъ въ своемъ изданіи Гильдебрандовой пѣсни, Лейпцигъ 1850 г. Въ подлинникѣ мы читаемъ:

Wittu irmin-got, quad Hiltibraht, obana ab hevane,
dat du neo danahalt mit sus sippan man dinc ni gileitos!

Братья Гриммы въ своемъ буквальномъ переводѣ передаютъ это такимъ образомъ:

Herr Menschen-Gott, sprach Hildebrand, oben vom Himmel,
dass du nie dann mehr mit so Sippen-Mann Ding nicht geleitest!»

Въ переводѣ же болѣе вольномъ (Umschreibung, какъ они его называютъ) у нихъ вышло такъ: Reicher Gott vom Himmel, sprach Hildebrand, dass du doch ja nicht zwischen zwei so nahverwandten Männern Kampf zulassest». Ясно, что Гриммы слово du связываютъ съ Gott: о Боже, и т. д., не допусти ты. Напротивъ Фольмеръ и Гоффманъ относятъ du къ Гадубранду, обращеніе же къ Богу принимаютъ за призывъ его въ свидѣтели, или просто божбу въ томъ, что Гадубранду не приходилось сражаться съ такимъ близкимъ родственникомъ. Кромѣ того Гриммы переводятъ слово irmin, какъ нарицательное имя, а Фольмеръ и Гоффманъ принимаютъ его за имя собственное, за особое миеическое существо—Ирмина. Думаю, что послѣднее совершенно подходитъ къ древнему значенію пѣсни, а что du лучше относить къ Гадубранду по слѣдующей причинѣ: стремленіе помѣшать противоестественному бою обращеніемъ къ Богу тутъ еще не своевременно, такъ какъ ни изъ чего не видно пока, чтобы всѣ другія средства остались тщетными. (Замѣчу мимоходомъ, что Дюмериль въ своемъ переводѣ слѣдуетъ Гриммамъ: «oppose-toi du haut des cieux à un combat entre d'aussi proches parents; но съ другой стороны это воззваніе начинается у него словами: sage Irmin! Такъ что въ послѣднемъ отношеніи Гоффманъ и Фольмеръ, быть можетъ, только слѣдовали Дюмерилю, книга которого появилась уже въ 1839 г.) (Historie de la Poésie Scandinave, p. 419).

[108]) Дюмериль чувствуетъ недостатокъ ея, когда говоритъ: «отвѣта Гадубранда не достаетъ; далѣе снова говоритъ отецъ (стр. 422). Замѣчу также, что позволяя себѣ перестановку въ текстѣ Гильдебрандовой пѣсни, Фольмеръ и Гоффманъ могли бы согласиться со слѣд. мѣстомъ въ статьѣ о ней Лахмана: «по всему видно, что это не настоящая, цѣльная пѣсня (kein ordentliches Lied), а разрозненные и, быть можетъ, даже не совсѣмъ-то исправно распредѣленные отрывки пѣсни—

Гильдебранда становятся новымъ возраженіемъ его сыну. «Да почитается послѣднимъ изъ воиновъ кто бы вздумалъ отказать тебѣ въ боѣ, котораго ты такъ жаждешь. Испытаемъ на дѣлѣ, *кто изъ насъ обоихъ добудетъ себѣ нынче съ бою оружье другого»*. Изъ этихъ словъ Гильдебранда становится окончательно ясно, что́ именно заставляетъ его считать необходимостію бой съ сыномъ. *Отказомъ отъ этого боя боится онъ выказать себя послѣднимъ изъ воиновъ*, т. е., очевидно, онъ боится быть заподозрѣннымъ въ трусости, ежели станетъ еще уклоняться отъ вызова послѣ столькихъ оскорбительныхъ понуканій со стороны сына.—Но онъ необходимостью счелъ уже бой и по выслушаніи тѣхъ словъ Гадубранда, которыми тотъ отказывался отъ подарка. Уже въ тѣхъ словахъ заключалось подозрѣнье въ обманѣ, предпринимаемомъ, какъ по всей вѣроятности думаетъ Гадубрандъ, съ цѣлью обезоружить врага и потомъ измѣннически напасть на него. Въ этомъ подозрѣніи, стало быть, заключается уже и упрекъ въ желаніи уклониться отъ открытаго, честнаго боя, т. е. въ немъ заключалось уже *оскорбленіе чести воина.* Вотъ это-то и заставляетъ старика Гильдебранда забыть въ своемъ обидчикѣ сына, и помнить въ самомъ себѣ только воина: черта, принадлежащая собственно изводу германскому и рѣшительно незамѣтная въ нашихъ былинахъ. Илья борется съ Сокольникомъ, еще не зная, кто онъ... Только какое-то смутное чаяніе сказывается у него, какъ мы видѣли, въ этой рукѣ, застаивающейся въ плечѣ, въ этомъ упорномъ распрашиваніи объ имени. Но вѣдь и это распрашиваніе можетъ быть простымъ любопытствомъ —узнать имя побѣжденнаго супротивника, для того, чтобы послѣ хвалиться побѣдой надъ нимъ. Не даромъ же и считаетъ Сокольничекъ такое распрашиваніе *опозореніемъ*: «просто тебѣ насмѣхатися», говоритъ онъ Ильѣ.—Узнавъ, кто такой супротивникъ, Илья сразу отказывается отъ боя съ нимъ, цѣлуетъ его, плачетъ отъ радости... А между тѣмъ и ему довелось таки слышать оскорбительныя слова отъ Сокольника; на примѣръ въ архангельскомъ пересказѣ, какъ намъ уже извѣстно:

Коль легко я верчу острымъ копьемъ
Толь легко буду вертѣть Ильей Муромцемъ!

И слова эти задѣли было за живое Илью, отвѣчающаго на нихъ:

Не твоя чаша, не тебѣ и пить. [109])

Или, по другому пересказу:

Ахъ ты старый сѣдатый песъ!
Не за мной бы тебѣ ѣздить по чисту полю:
Пора бы ти въ деревнѣ сидѣть, свиней пасти. [110])

А между тѣмъ въ нашихъ былинахъ не видно, чтобы разобиженная честь воина ставилась выше чувствъ отца. Конечно, она сказывается и у насъ, какъ въ

---

въ томъ видѣ, какъ сохранила ее уже колеблющаяся память (см. стр. 139 въ Abhandl. der Histor. philol. Abtheil. der Berliner Akademie за 1833 г.) Не надобно также забывать, что В. Гриммъ въ своемъ Nachtrag къ статьѣ Лахмана, предполагаетъ тутъ даже двѣ памяти, обѣ колеблющіяся, такъ какъ онъ замѣчаетъ въ текстѣ два различныхъ почерка, объясняемые у него тѣмъ, что два монаха вмѣстѣ припоминали пѣсню, слышанную когда-то во время ихъ жизни въ мірѣ, и вносили на обертку рукописи каждый, что́ могъ припомнить. (Извѣстно, что пѣсня о Гильдебрандѣ найдена именно на оберткѣ одной кассельской рукописи духовнаго содержанія) (См. въ тѣхъ же Abhandlungen стр 145).

[109]) Кир. IV, стр. 13 и 14.

[110]) Рыбн. I, стр. 78.



сынѣ, боящемся опозорить себя открытіемъ своего имени, такъ и въ отцѣ, задѣваемомъ за живое насмѣшками супротивника и, послѣ побѣды надъ нимъ, жаждущемъ узнать его имя, но это чувство воинской чести съ одной стороны не поставлено даже въ столкновеніе съ чувствомъ отца, съ другой же оно не мѣшаетъ нимало даже широкому чувству человѣколюбія вообще. Воинская честь Ильи Муромца удовлетворяется уже тѣмъ, что Сокольнику довелось испытать перевѣсъ его силъ. Въ одномъ изъ нетрагическихъ пересказовъ у Кирѣевскаго (I, I, 5 Алтайскаго округа), Сокольничекъ, и тутъ, какъ въ большей части другихъ пересказовъ, сначала одолѣвъ и даже поваливъ Илью, издѣвается надъ нимъ слѣдующими словами:

«Ты базыга, базыга старая!
Зачѣмъ ты на малаго отрока напущаешься»,

(сходно и у Рыбн· I, № 12: старая базыга новодревняя. [111]) Затронутый этимъ издѣваніемъ, старый богатырь собираетъ опять свои силы и вполнѣ проявляетъ ихъ подбрасываньемъ Сокольника выше облака, но тутъ же надъ чувствомъ обиды превозмогаетъ то чувство человѣколюбія, на которое могъ подѣйствовать самый упрекъ въ томъ, что старый напустился на малаго. Онъ не хочетъ погубить *малаго*; и, давъ ему только почувствовать, каковы его *старыя силы*, какъ легко могъ бы малый погибнуть отъ нихъ, за тѣмъ тѣ же самыя силы употребляетъ на то, чтобы подхватить, т. е. спасти отъ погибели своего супротивника.—Тоже самое подхватываніе, какъ мы знаемъ, попадается и въ пересказахъ трагическихъ; такимъ образомъ уже и въ нихъ подготовляется то *смягченіе* въ нравѣ Ильи, которое окончательно совершилось откинутіемъ трагическаго, противорѣчащаго ему исхода.

Изъ всего этого не трудно, кажется, окончательно убѣдиться, что на нашихъ русскихъ былинахъ о боѣ отца съ сыномъ мы видимъ печать различныхъ временъ. Какъ былины съ трагическою развязкою сохранились отъ самой отдаленнѣйшей миѳической старины, ясно проглядывающей и теперь сквозь позднѣйшія наслоенія бытового свойства, проглядывающей даже яснѣе, чѣмъ въ изводахъ какого либо другого народа; такъ въ былинахъ со счастливымъ исходомъ виденъ уже рѣшительно бытовой характеръ, а бытъ, о которомъ мы можемъ судить по этимъ былинамъ, отличается значительною смягченностію. И въ германскихъ изводахъ миѳъ уже совершенно заслоненъ бытовыми чертами, но по этимъ чертамъ мы должны заключить, что это бытъ совершенно иной, далеко не отличающійся такою мягкостью. Хотя въ Гильдебрандовой п. VIII в. недостаетъ конца, мы можемъ съ достовѣрностію предполагать, что конецъ этотъ былъ трагическій, ибо послѣ словъ самого Гильдебранда о той горькой судьбинѣ, въ силу которой неизбѣжно погибнетъ или онъ отъ сына, или сынъ отъ него, послѣ такого признанія необходимости боя не на животъ а на смерть, трудно предположить какую либо возможность для примиренія. [112]) Въ позднѣйшемъ германскомъ изводѣ (вошедшемъ

---

[111]) Базыга, по толкованію изд. сб. Кирѣевскаго—хрычъ, глуадырь (I, стр. 10).

[112]) Эттмюллеръ въ своемъ послѣднемъ, по беллетристической формѣ довольно странномъ трудѣ, приводитъ

въ составъ Vilkina Sag'и) развязка уже счастливая. Отъ VIII до XIII ст. было достаточно времени для такого смягченія нравовъ, при которомъ убійство сына отцомъ или отца сыномъ представляется уже возмутительнымъ. Но нравы, какъ видно и по позднѣйшему изводу, все таки остались по преимуществу воинскими, и сурово-воинскими. Въ концѣ—уже примиреніе съ сыномъ, но до этого примиренія кровь льется ручьями съ обѣихъ сторонъ, со стороны же отца удары наносятся и тутъ не смотря на то, что онъ очевидно знаетъ, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло. Замѣчательно, что тутъ *Гильдибрандуръ отыскиваетъ* своего сына, по другимъ же изводамъ, какъ мы уже знаемъ, это приписывается сыну. Гильдибрандуру уже заранѣе сообщены всѣ примѣты Алибрандура. «Обратись къ нему вѣжливо и скажи ему, что ты его отецъ..., Нѣтъ подобнаго ему воина, а такъ какъ ты старъ, то лучше и не вступай съ нимъ въ бой»—вотъ какихъ совѣтовъ наслушался Гильдибрандуръ. Но старикъ со смѣхомъ отвѣчаетъ на это: хотя бы онъ и считалъ себя такимъ важнымъ бойцомъ и воображалъ, что нѣтъ ему равнаго,—при всей моей старости, я заставлю его сейчасъ же сказать мнѣ свое имя, какъ и самъ я скажу ему сейчасъ же мое». И вотъ, дѣйствительно Гильдибрандуръ встрѣчается съ юнымъ всадникомъ, въ которомъ оказываются до одной всѣ сообщенныя ему примѣты Алибрандура. Замѣчу мимоходомъ, что онъ, какъ и сынъ Ильи, является *охотникомъ*: при немъ собака и ястребъ (вмѣсто нашего сокола). Гильдибрандуръ, которому, кажется, не трудно было узнать въ немъ сына, примѣтивъ молодецкую посадку его на конѣ, прямо поѣхалъ ему на встрѣчу, а Алибрандуръ мужески его встрѣтилъ. Копья ломаются о щиты съ той и съ другой стороны. Только попозже, когда оба устали и присѣли для отдыха, Алибрандуръ (тутъ такимъ образомъ сынъ, а не отецъ) сталъ рас-

---

весьма остроумную догадку на счетъ трагическаго исхода гильдебрандова похожденія. Онъ замѣчаетъ, что въ позднѣйшемъ нѣмецкомъ изводѣ (XV в.), хотя конецъ уже и счастливый, сынъ однако же наноситъ двѣ раны отцу. Въ прозаической же приписнѣ къ старому Heldenbuch мы встрѣчаемъ слѣдующее. Во время бойни у Этцеля, Гильдебранду нанесены (но не сыномъ) двѣ такія раны, которыя уже не заживаютъ у него до самой смерти;—нѣсколько же выше значится: Гильдебранда убилъ сынъ короля Гунтера у воротъ Берна (Вероны). Опять въ другомъ мѣстѣ—его убиваетъ тамъ же самъ Гунтеръ. Между тѣмъ эти послѣднія свидѣтельства совершенно не подтвеждаются другими сказаніями. «Ясно. замѣчаетъ Эттмюллеръ, что духу позднѣйшаго времени представлялось уже противнымъ—допустить сына убить, или даже ранить отца; и вотъ по одному сказанію Гильдебрандъ сталъ представляться получившимъ рану уже издавна; по другому—былъ придуманъ особый, никакимъ другимъ преданіемъ не засвидѣтельствованный убійца; въ третьемъ этотъ неизвѣстный отброшенъ и на мѣсто его поставленъ его отецъ, тогда какъ по другимъ сказаніямъ онъ уже оказывается умершимъ задолго до возвращенія Гильдебранда въ Бернъ. Въ этомъ отношеніи позднѣйшая пѣсня о Гильдебрандѣ все-же поближе къ истинѣ, выставляя сына виновникомъ—по крайней мѣрѣ раны отца. Но и это въ свою очередь кажется мнѣ смягченіемъ, явившимся уже подъ вліяніемъ христіанства». Съ другой стороны догадку свою о томъ, что первоначально убійцей отца своего являлся сынъ, Эттмюллеръ подкрѣпляетъ соображеніемъ такого рода. Виновнѣйшій долженъ понести и большее наказаніе; величайшее же наказанье для сына—не собственная смерть, а сознаніе, что онъ убилъ отца, и вотъ это-то наказаніе должно было достаться Гадубранду потому, что его необузданный пылъ вызвалъ отца на бой. (Ettmüller, Hurbstabende und Winternächte, Gespräche über deutsche Dichtungen I, 49, 50).

Отдаленнымъ отголоскомъ трагическаго сказанія о боѣ между отцомъ и сыномъ (но того извода, въ которомъ погибаетъ сынъ) служитъ у Саксона Грамматика расказъ о томъ, какъ умирающій въ бою съ роднымъ братомъ (по матери) Гильдигеръ указываетъ ему на свой щитъ, на которомъ изображенъ сынъ его (Гильдигера), и единственный наслѣдникъ, павшій отъ руки отца—по предопредѣленію богинь судьбы (parcarum præscius ordo). Тоже самое повторяется и въ исландской сагѣ объ Асмундѣ, гдѣ Гильдигеръ называется Гильдибрандомъ—не безъ вліянія, какъ полагаетъ Уландъ, нѣмецкой пѣсни о боѣ Гильдебранда съ сыномъ. (См. VI-ю часть полнаго собранія сочиненій Уланда, стр, 118—119, 122).

прашивать стараго врага своего объ имени: «не назовешь, захвачу тебя въ сей же мигъ!» И при этомъ Алибрандуръ занесъ обѣими руками свой мечъ на Гильдибрандура, а тотъ на него, и такимъ образомъ сѣкли они другъ друга пока не устали, а тамъ дали себѣ во второй разъ отдыхъ. Сынъ снова допрашивать: «назовись, или умрешь на мѣстѣ!» Въ отвѣтъ на это, послѣ новыхъ, взаимныхъ ударовъ, Гильдибрандуръ въ свою очередь начинаетъ выспрашивать: «ты не изъ рода ли Ильфинговъ? назовись, или я убью тебя!»—«Ежели жизнь дорога тебѣ самому, по прежнему твердитъ сынъ, то назови свое имя, а я не изъ рода Ильфинговъ, и меня удивляетъ, какъ это ты, будучи такимъ старикомъ, осмѣливаешься меня распрашивать.» Тутъ уже, такимъ образомъ, проявляется понятіе объ обидности такого распрашиванія, еще не замѣтное въ Гильдебрандовой пѣснѣ. Не даромъ отецъ и сынъ не хотятъ уступить другъ другу и въ самомъ этомъ выспрашиваніи, кромѣ ударовъ перекрещиваясь и вопросами: «откуда и кто ты? А я не изъ рода Ильфинговъ.»—И снова бой, въ которомъ Алибрандуръ, падаетъ подъ ударами Гильдибрандура. Не трудно замѣтить въ этомъ уже значительную особенность. Мы видѣли, что въ большей части изводовъ падающимъ является въ началѣ отецъ. У Фирдоуси даже окончательно побѣжденный сыномъ, онъ спасается только при помощи хитрости. Въ Вилькина-Загѣ особаго рода хитрость, напротивъ того, употребляется для своего спасенія упавшимъ сыномъ. Онъ притворяется сдающимся, въ знакъ чего хочетъ отдать Гильдибрандуру мечъ свой, когда же старикъ протягиваетъ за нимъ руки, Алибрандуръ, изловчась, хочетъ ему отрубить ихъ. Старикъ успѣваетъ закрыться щитомъ и, гнушаясь подобною хитростью, восклицаетъ: «этому научила тебя, конечно, женщина, а не отецъ твой», и еще безпощаднѣе накидывается на сына. Алибрандуръ падаетъ внизъ головой, а Гильдибрандуръ навалившается на него и, ударяя его рукоятью: «назови свое имя сейчасъ же, если жизнь тебѣ дорога.»—«Чтó мнѣ въ ней, когда такой старикъ былъ въ силахъ меня побѣдить» съ отчаяніемъ отвѣчаетъ отцу юный воинъ. И тутъ только отецъ выражается совершенно ясно: «скажи мнѣ, если ты хочешь спасти свою жизнь, ты ли мой сынъ Алибрандуръ?—тогда вѣдь я Гильдибрандуръ, отецъ твой.» Тутъ только, открывшись ему наконецъ, совершенно израненный сынъ заключается имъ въ объятія. Вмѣстѣ ѣдутъ они домой, къ женѣ Гильдибрандура. «Чтó это, ты въ крови! и какой это человѣкъ съ тобой ѣдетъ», спрашиваетъ она сына, не узнавая отца, послѣ 30-ти лѣтней его отлучки. «Этой раны мнѣ, матушка, стыдиться нечего; ее мнѣ нанесъ Гильдибрандуръ, отецъ мой, и вотъ онъ-то со мной и пріѣхалъ сюда.» Обрадовалась мать Алибрандура и весело привѣтствовала своего мужа.... Оба у нея ночевали, и она, какъ съумѣла, перевязала рану своему сыну. Когда же Гильдибрандуръ съ нимъ вмѣстѣ отправился въ Бернъ (къ королю Тидреку) и привратникъ, не узнавъ его, занесъ на него свой мечъ, Алибрандуръ отрубилъ привратнику голову. На упрекъ отца въ томъ, что пролилъ напрасно кровь, Алибрандуръ отвѣтилъ: «если онъ не причинилъ тебѣ никакого вреда, то ты долженъ благодарить свою крѣпкую броню, а не будь она такъ крѣпка,—вѣдь я бы лишился отца моего, и онъ бы не былъ тогда невиненъ.»—Такимъ образомъ собственно только тутъ, въ концѣ, проявляется нѣкоторая смягченность въ сынѣ, смягченность,

хотя нѣсколько напоминающая Зораба и Картона. Вообще воинственный складъ едва ли не развитъ тутъ даже болѣе, чѣмъ въ Гильдебрандовой пѣснѣ VIII в.; по крайней мѣрѣ Гильдибрандуръ тутъ еще менѣе отецъ и еще болѣе отдаляется отъ нашего Ильи (въ изводѣ съ благополучными исходомъ).

Но что же представляетъ намъ нѣмецкая пѣсня конца XV ст.? Предупреждаемый и тутъ о предстоящей ему встрѣчѣ съ молодымъ Гильдибрандомъ (тутъ оба они носятъ одно и то-же имя); старый Гильдибрандъ уже заранѣе говоритъ, что не снесетъ его воинской гордости и разрубитъ его щитъ въ крохи.... Пускай слезно жалуется своей матери!—Старика унимаетъ Дитрихъ Бернскій: «оставь-ка его лучше въ покоѣ, онъ мнѣ дорогъ и милъ». «Что же, мнѣ его упрашивать, что ли? возражаетъ старый Гильдибрандъ. Вмѣсто того, чтобы такъ срамиться, я съ нимъ скорѣе сражусь.» Далѣе тутъ старика подзадориваетъ не просто ухваточка молодецкая встрѣчающагося ему сына, а дерзкій его вопросъ: «скажи ко мнѣ, старый, чего ты тутъ вздумалъ искать, въ землѣ этой? Броня у тебя такъ блеститъ и сверкаетъ, того и гляди, что ослѣпнешь, на нее глядя; тебѣ бы лучше и сидѣть у себя дома у теплой печки». Старикъ отвѣчаетъ съ усмѣшкой, что сидѣть ему некогда, что онъ посѣдѣлъ въ походахъ. «А вотъ, я вырву у тебя твою старую бороду.... если ты мнѣ не отдашься въ плѣнъ....» За перебранкой послѣдовала брань оружіемъ. Молодой вскорѣ задалъ старому такой ударъ, что сердце того пріужахнулось, какъ у нашего Ильи Муромца. Замѣчательно тутъ сохраненіе этой черты, которая, какъ мы видѣли, имѣется и въ несравненно болѣе старомъ изводѣ (иранскомъ). Вслѣдъ затѣмъ молодой отпрыгнулъ на двѣ пяди (zwei klafter) въ сторону, а старикъ замѣтилъ на это: «такому прыжку тебя научила женщина». И такъ этотъ прыжокъ тутъ вмѣсто того измѣнническаго удара, который также приписывается урокамъ женщины въ Вильк. Загѣ. Не есть ли это сохранившаяся въ пѣснѣ XV ст. старая эпическая черта, сродная богатырскимъ прыжкамъ Брюнгильды въ пѣснѣ о Небелунгахъ? И въ такомъ случаѣ не подразумѣвалась ли подъ этою женщиной, учительницей молодого Гильдибранда, соотвѣтственная Брюнгильдѣ женщина богатырша? Не намекалось ли этимъ когда-то на подобнаго рода природу его матери, которая бы попала такимъ образомъ въ одинъ разрядъ съ загадочной бабой, матерью нашего Сокольника? Впрочемъ, въ отвѣтѣ молодого Гильдебранда слышится въ нашей пѣснѣ уже пониманіе этого *женскаго прыжка* въ оскорбительномъ смыслѣ: «еслибы я учился у женщинъ, то мнѣ былъ бы отъ этого стыдъ и срамъ», отвѣчаетъ юноша. Далѣе же съумѣлъ изловчиться старикъ. Схвативъ юношу за станъ (*въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ былъ всего тоньше*—do er am schmélsten was), онъ повалилъ его на спину: «кто трется о старые котлы, тотъ себѣ пачкаетъ платье»—насмѣшливо привелъ онъ пословицу. А затѣмъ начинаетъ его *исповѣдывать*: скажи-ка, не изъ Вульфинговъ ли ты?—«Волки бѣгаютъ по лѣсамъ, отвѣчаетъ юноша (въ пѣснѣ все болѣе и болѣе выказывается складъ *пародіи*), моя же мать благородная герцогиня Ута, а отецъ мой, старикъ Гильдебрандъ». Имя открывается здѣсь также скоро, безъ запирательства, какъ и въ Гильдебрандовой пѣснѣ VIII в., а затѣмъ уже слѣдуетъ прямо узнаніе и отеческій поцѣлуй.—Не трудно замѣтить, что въ началѣ

суровая не менѣе древнихъ изводовъ, далѣе эта пѣсня XV столѣтія уже смягчается до извѣстной степени. Подъ конецъ же сынъ говоритъ уже съ совершеннымъ избыткомъ смягченности: «отецъ, я бы гораздо охотнѣе выносилъ ежечасно на собственномъ тѣлѣ тѣ лютыя раны, которыя нанесены тебѣ моею рукою»—«Ну, перестань вспоминать объ этомъ, дитя мое милое, ранамъ можно помочь. Славу Богу, что ни одинъ изъ насъ не убитъ».—Далѣе пѣсня рѣшительно принимаетъ добродушно-шутливый оттѣнокъ. Отецъ ѣдетъ сзади, разыгрывая плѣннаго. Подъѣхавъ къ дому, на глазахъ у Уты, глядящей въ окно, они слѣзаютъ съ коней и разыгрываютъ битву, кончающуюся пораженіемъ отца. [113]) Тогда сынъ вводитъ его, плѣннаго, къ матери, наконецъ открываетъ ей, что это отецъ и благодаритъ ее за прыжокъ, которому она его научила.

Пѣсня XVI в., напечатанная Гриммами сводно по тремъ пересказамъ, близка къ только что разобранной. Тотъ-же, какъ бы полушуточный и чрезъ то значительно-смягчающій складъ. Въ концѣ сынъ сажаетъ мнимаго плѣнника за столъ у матери. Она, все еще не узнавая мужа, удивляется, чтò за такой особый почетъ плѣннику. Наконецъ сынъ открываетъ ей тайну, а мужъ даетъ ей узнать себя посредствомъ перстня, опущеннаго ей въ кубокъ.—Но, при всѣхъ этихъ мягкихъ чертахъ, неизмѣнною остается и тутъ только чисто-воинственнымъ бытомъ объясняемая готовность отца вступить въ бой съ сыномъ, уже несомнѣнно узнаннымъ. Въ пѣснѣ VIII в. эта готовность, по крайней мѣрѣ, вызывается и объясняется оскорбительными словами сына. Въ Вилькина-Сагѣ и пѣсняхъ XV и XVI в. Гильдебранда вызываетъ на бой уже просто воинственная ухватка сына, замѣчаемые въ немъ чисто внѣшніе пріемы нахвальщика. [114]) При смягченіи въ другихъ отношеніяхъ, при возраставшемъ съ теченіемъ времени смягченіи въ сынѣ, въ отцѣ напротивъ того все болѣе и болѣе развивалась эта воинская задорность. И замѣчательно, что Тидрекъ Бернскій, унимая задоръ Гильдебранда, и не думаетъ пробудить въ немъ чувство отца, а ссылается только на то, что юноша дорогъ ему, господину

---

[113]) Въ Lais de Milun у позднѣйшей писательницы Marie de France встрѣчается также бранная схватка между отцомъ и сыномъ на турнирѣ, и побѣжденнымъ точно также остается отецъ. (Édel, du Méril, histoire de la poésie scandinave, p. 423) Кромѣ Marie de France, замѣчу тутъ мимоходомъ, по всей вѣроятности народное же сказаніе послужило основаніемъ Шекспиру для того боя отца съ сыномъ, какой у него попадается въ Генрихѣ VI). Но Дюмериль приводитъ также подобный бой изъ Генріады Вольтера (стр. 459—460); но это должно быть собственное измышленіе знаменитаго поэта, такъ какъ онъ, при своемъ умственно-аристократическомъ взглядѣ, едва ли рѣшился бы взять чтò нибудь у canaile (какъ величался тогда народъ).

[114]) Трудно понять, на какомъ основаніи Лахманъ въ своей статьѣ о Гильдебрандовой пѣснѣ VIII в. полагаетъ, что въ позднѣйшемъ изводѣ (XV вѣка) Гильдебрандъ сначала не знаетъ, съ кѣмъ онъ вступаетъ въ бой (стр. 124 въ Abhandlungen der Berliner Akademie за 1833 г—Historisch-philologische Abtheilung). Мы видѣли выше, что когда онъ собирается выѣхать въ поле (ausrieten zu land), его прямо предупреждаютъ, что ему попадется на встрѣчу der junge Hilteprant, отецъ же нѣсколько разъ названъ въ пѣснѣ der alte Hilteprant; такимъ образомъ это имя получаетъ тутъ значенье фамиліи, а прилагательныя jung и alt употреблены тутъ въ томъ же смыслѣ, какъ въ нашихъ выраженіяхъ: старый и молодой Ивановъ, Петровъ и т. д. (соотвѣтственно французскимъ: Guizot-pere и Guizot-fils). Нельзя наконецъ не обратить вниманія и на то, что въ одномъ изъ пересказовъ пѣсни XVI в., чрезвычайно близкой, какъ мы видѣли, къ пѣснѣ XV в., вмѣсто словъ старика Гильдебранда:

Und dass er ein gantzes Jahe seiner Mutter zu
klagen hab.

находится слѣдующее:

und dass er seiner Mutter Otten ein Jahre zu klagen hab.

Мать тутъ прямо названа по имени—Otte, а это и есть, какъ извѣстно, имя жены старика Гильдебранда (Otte, Gotte, Gote, Gute, Ute) (См. прим. 36 на стр. 54 гриммовскаго изданія Гильдебрандовой пѣсни).

старика Гильдебранда.—Не разсчитывая на родительскую любовь, онъ разсчитываетъ на вассальную вѣрность.

Мы могли замѣтить въ только что приведенной нѣмецкой пѣснѣ—*узнаніе посредствомъ перстня.* Оно встрѣчается въ цѣломъ, совершенно особомъ рядѣ сказаній о возвращающемся изъ долгой отлучки мужѣ, сказаній разнонародныхъ, на которыя намекаютъ Гриммы на стр. 79 своего изданія пѣсни о Гильдебрандѣ (Die ältesten deutschen Gedichte, etc). Мы еще будемъ имѣть случай встрѣтиться съ этимъ кругомъ при обзорѣ былинъ о Добрынѣ въ отлучкѣ. Теперь же я укажу еще на одно сказаніе, въ которомъ узнаніе посредствомъ перстня происходитъ послѣ боя между отцомъ и сыномъ. Это сѣверная сага объ Анѣ стрѣлкѣ, на которую вкратцѣ указали уже Гриммы на стр. 77 вышеупомянутой книги, подробно же содержаніе ея передается Уландомъ въ его курсѣ по древне-нѣмецкой поэзіи, на стр. 166 и 167. Она отличается совершеннымъ своеобразіемъ многихъ подробностей, отчасти запечатлѣнныхъ глубокою стариной. Обычная во многихъ сказаніяхъ этого рода связь стрѣлка Ана съ женщиной чужеземкой (въ пѣсняхъ о Гильдебрандѣ, какъ мы видѣли, оно не такъ) объясняется его изгнаньемъ изъ родины, обстоятельствомъ очень не рѣдкимъ въ сѣверныхъ сагахъ. Родивъ сына отъ дочери человѣка, давшаго ему пріютъ, онъ потомъ бросилъ ее и женился на богатой вдовѣ—обстоятельство, изъ цѣлаго круга сказаній о боѣ между отцомъ и сыномъ напоминающее только Одиссея съ его отношеніями къ разнымъ женщинамъ, до нашего Уруслана. Однажды вечеромъ Анъ, выйдя изъ дому, замѣтилъ на близъ лежащемъ островѣ огонекъ. Частью изъ опасенія, частью изъ любопытства онъ сѣлъ въ лодку и поплылъ по направленію къ острову. Тутъ замѣтилъ онъ у огня чрезвычайно высокаго юношу, занятаго ѣдою. Видя, что чужеземецъ не принимаетъ никакихъ предосторожностей, Анъ выстрѣлилъ и попалъ въ кусокъ, только что вынутый имъ изъ котла. Тотъ преспокойно вынулъ изъ мяса пущенную Аномъ стрѣлу, положилъ ее подлѣ себя и продолжалъ себѣ ужинать. Анъ пустилъ вторую стрѣлу, и, попавъ въ тарелку, разбилъ ее на двое. Незнакомецъ продолжалъ сидѣть, не обраща на все это никакого вниманія. Тогда Анъ, пустивъ и третью стрѣлу, попалъ въ ножикъ, бывшій въ рукахъ у невозмутимаго незнакомца, и разсѣкъ рукоятку ножа на двое. Тутъ только незнакомецъ проговорилъ: «онъ хочетъ мнѣ повредить, но мало поможетъ себѣ, испортивъ мой ножикъ.» Затѣмъ онъ взялся за свой лукъ, а Анъ скрылся за дубомъ. Незнакомецъ въ свою очередь пустилъ три стрѣлы и всѣ три прямо вонзились въ дубъ. «Пусть же теперь тотъ, кто стрѣлялъ въ меня, покажется, чтобы я могъ съ нимъ сразиться!» И Анъ показался. Завязался бой и Анъ первый усталъ (какъ и почти вездѣ въ началѣ отецъ уступаетъ въ силѣ сыну). Уставъ, Анъ преспокойно потребовалъ отдыха: противникъ на то согласился. «Но кто ты? спросилъ тутъ Анъ. «Я Тореръ; а имя отца моего и Анъ» Ясно, что тутъ, какъ и въ древнѣйшей пѣснѣ о Гильдебрандѣ, еще нѣтъ запирательства. Только послѣ того молодой противникъ Ана не вдругъ соглашается обнаружить и свои признаки, но наконецъ обнаруживаетъ ихъ, въ томъ числѣ перстень, по которому Анъ и узнаетъ его окончательно. Съ прежнимъ невозмутимымъ спокойствіемъ ѣдутъ

они къ женѣ Ана, и она преблагодушно принимаетъ этого невѣдомаго ей сына своего мужа, замѣчая только, что еще не видала такого рослаго. Возвращаясь изъ Скадинавіи въ собственную Германію, замѣчу, что бой отца съ сыномъ встрѣчается и еще, опять съ совершенно особыми именами и личностями участниковъ, въ одной средневѣковой поэмѣ XIII ст.—Biterolf und Die leib, крайне растянутой и прямо выдающей себя за переработку болѣе древняго рукописнаго произведенія. Согласно со свидѣтельствомъ В. Гримма въ его Deustche Heldensage, 127, Уландъ видитъ въ ней, кромѣ нѣкоторыхъ частностей, уже не подлинное, устно развиваемое сказаніе, а произвольное измышленіе. (Съ расказомъ о Битерольѳѣ и Дитлейѳѣ въ Вилькина-Загѣ тутъ нѣтъ ничего общаго). Къ числу исключеній, т. е. дѣйствительно народныхъ частностей въ упомянутой поэмѣ, можно отнести и бой Дитлейба съ сыномъ, но и это, по мнѣнію Уланда, только искусственное видоизмѣненіе пѣсни о Гильдебрандѣ, и дѣйствительно своеобразно тутъ развѣ то, что отецъ узнаетъ сына по звуку меча своего, оставленнаго имъ дома и взятаго сыномъ съ собою въ походъ. [115]) Я бы могъ замѣтить еще одно въ самой уландовой передачѣ содержанія упомянутой поэмы,—это длинные волосы молодого Битерольѳа, которыми закрывался онъ отъ дождя, какъ соколъ крыльями. Они нѣсколько напоминаютъ *пушистую шапочку и зависистую* у нашего Сокольника; впрочемъ сходство тутъ, можетъ быть, чисто-случайное. Все остальное болѣе или менѣе, какъ вездѣ: Дитлейбъ оставляетъ Битерольѳа двухлѣтнимъ мальчикомъ, когда тайно уѣзжаетъ на службу къ Этцелю. Мальчикъ, подрастая, слышитъ, какъ его сверстники употребляютъ слово — отецъ Что же это? спрашиваетъ онъ у матери. Распросы приводятъ къ тому, что однажды, уже лѣтъ 12, (эпическія лѣта богатырскихъ юношей, лѣта Зораба, Тидрека, Ѳедора Тирона и другихъ), онъ отпрашивается у матери на охоту, а самъ уѣзжаетъ искать отца. Прибывъ къ Этцелю, у котораго между тѣмъ война съ Поляками, онъ просится также въ походъ, предводительствовать въ которомъ долженъ отецъ его, (что неизвѣстно Битерольѳу). Мальчика не пускаютъ. Онъ уѣзжаетъ тайкомъ, пролагаетъ себѣ улицу (совсѣмъ по эпически) чрезъ ряды враговъ, и тутъ-то сталкивается съ отцомъ. Принимая другъ друга за непріятелей, они сражаются, потомъ узнаютъ другъ друга (вышеуказаннымъ образомъ—по звуку меча) и возвращаются съ миромъ вмѣстѣ. [116]) Если Дитлейбъ узнаетъ Битерольѳа по звуку своего меча, то въ старой англійской пѣснѣ Sir Degoré, въ свою очередь относящейся къ разбираемому нами кругу, узнаніе происходитъ благодаря тому, что отецъ носитъ при себѣ отломленный конецъ меча, нѣкогда оставленнаго имъ сыну [117]) Еще болѣе простое средство узнанія встрѣчается въ старо-датскомъ романѣ Olger Danske, гдѣ Гальдеръ враждебно сталкивается съ отцомъ своимъ Геде и, сходно съ тѣмъ, какъ оно во всѣхъ почти пересказахъ, въ началѣ

[115]) Uhland's Schriften, I, 416.

[116]) Uhland's Schriften, I, 43, 44. Онъ тутъ выписываетъ замѣчательное мѣсто изъ 3074 стиха поэмы: da was im ande (т. е. ahnung, чаяніе) genug (когда услышалъ онъ въ рукахъ сына знакомый звукъ своего меча).

[117]) Уландъ, указывая на это на стр. 168 упомянутаго курса о древне-германской поэзіи, цитуетъ сборникъ Эллиса—Specimens of early englisch metrical romances, 2 ed., III, 361, 379 (1811 г.) Я не могъ достать этого сборника,

наноситъ отцу тяжелый ударъ; далѣе перевѣсъ склоняется и тутъ, какъ вездѣ, на сторону послѣдняго, такъ что только крѣпкая броня защищаетъ сына. «Проклятъ да будетъ тотъ, кто ее выковалъ», закричалъ отецъ, и вотъ тутъ, по голосу, сынъ узнаетъ его. Этимъ, очевидно, указывается уже на значительное измѣненье преданія: если сынъ могъ по голосу узнать отца, то онъ долженъ былъ долго жить съ нимъ вмѣстѣ, и разлука ихъ не могла быть давнею. Послѣ узнанія, сынъ и тутъ выражаетъ такую же нѣжность къ отцу, какъ въ нѣмецкихъ пѣсняхъ XV и XVI ст. «Милый отецъ, я такъ крѣпко ударилъ тебя, не зная, кто ты; но я ѣхалъ тебѣ на помощь, такъ позволь же мнѣ теперь поцѣловать тебя и обнять»! [117]).

Есть еще одно сказаніе, въ которомъ старикъ боецъ является опять Гильдебрандомъ, но юный противникъ,—уже не сынъ его, а племянникъ, по имени Альфартъ. Это эпизодъ изъ прекрасной поэмы **Alpharts Tod**, сохранившейся, къ сожалѣнію, всего въ одной, при томъ не совсѣмъ полной рукописи. В. Гриммъ (Heldensage стр. 364, 378) относилъ эту поэму ко второй половинѣ XIII ст. и видѣлъ въ ней не болѣе какъ подражаніе пѣснѣ о боѣ дѣтей Этцеля съ Виттихомъ и ихъ преждевременной смерти. Уландъ, не отрицая сходства, считаетъ пѣсню объ Альфартѣ во всякомъ случаѣ живымъ поэтическимъ отпрыскомъ, хотя бы и отъ того же корня. Особенно въ первой половинѣ ея слышится ему настоящій складъ народной эпической пѣсни [118]) Къ первой половинѣ относится и бой съ Гильдебрандомъ.

Старый воинъ, боясь, чтобы юный его племянникъ не уходилъ себя въ битвѣ, куда его, за крайнею молодостью, даже и пускать не хотѣли, выѣзжаетъ въ поле, чтобы (подобно Ильѣ Муромцу, спасающему Ермака) «наложить свои храпы крѣпкіе на его на плечики на могутныя на молодецкія». (Мы разсмотримъ въ своемъ мѣстѣ это сходное положеніе нашего муромскаго богатыря). Между тѣмъ юный Альфартъ принимаетъ своего дядюшку за одного изъ воиновъ Эрманариха, лютаго врага Дитриха Бернскаго, для обороны котораго и выѣхалъ юноша въ поле. «Мнѣ надо съ нимъ перевѣдаться» подумалъ Альфартъ, и помчалъ на него коня своего. Чтó же дѣлаетъ Гильдебрандъ?—Онъ разсуждаетъ такимъ образомъ: «какъ же такъ? поѣхалъ въ поле противъ ребенка, да и не пощажу его?—кто бы могъ такъ посовѣтовать [119]).—Въ собственную его мысль влагается, такимъ образомъ, нѣчто въ родѣ того, чтó говорится Ильѣ Сокольникомъ: «ай же, базыга старая, чтó ты *на малаго отрока напущаешься*?» И Гильдебрандъ, въ силу своего разсужденія, уже близокъ къ тому, чтобы дѣйствительно пощадить такого же малаго отрока, притомъ же и прямо извѣстнаго ему за племянника—того самаго, за которымъ и выѣхалъ онъ—не на гибель, а на его сбереженіе. Между тѣмъ

---

[117]) Grimm, Die ältesten deutschen Gedichte, etc 77.

[118]) Uhland's Schriften, I, 415 и 416.

[119]) Въ подлинникѣ слѣдующее:

Daz ich gein einem kinde ze felde komen bin,
Ist daz ich sîn nicht schône, wer gap mirz in den sin?

(Alpharts Tod herausgegeben v. Ernst Martin, Berliu? 1866, p. 17—во второй части новаго берлинскаго изданія des deutschen Heldenbuchs.)

Зимрокъ, кажется, переводитъ конецъ второго стиха слишкомъ вольно:

Wenn ich ihn überwinde, was bringt es mir Gewinn?

(Karl Simrock, Das kleine Heldenbuch, 2-te Ausg. Stuttg. и Augsb. 1857, p. 106).

что́ же? Мысли его, подъ вліяніемъ воинской чести, сейчасъ же принимаютъ иной оборотъ: «пощажу его, такъ и выслужу только укоръ себѣ. [120]) Нѣтъ, нельзя ему уступить, надо съ нимъ перевѣдаться!»—Бой начинается, какъ и обычно, на копьяхъ; Гильдебрандово копье переламывается. Они слѣзаютъ съ коней и вступаютъ въ бой на мечахъ;—опять переходъ, какъ мы знаемъ, совершенно обычный и повсемѣстно распространенный въ сказаніи, насъ занимающемъ (а также и во многихъ другихъ — у разныхъ народовъ). Наконецъ Альфартъ наноситъ Гильдебранду такой ударъ, что онъ растягивается передъ нимъ по травѣ. Эрнестъ Мартинъ въ своемъ вступленіи къ пѣснѣ объ Альфартѣ стр. XXV указываетъ на это позорное, по его выраженію, пораженіе Гильдебранда, какъ на приставку позднѣйшаго времени. Но мы уже видѣли, что бо́льшая часть изводовъ занимающаго насъ сказанія представляетъ въ началѣ—если не всегда падающимъ, то всетаки побѣждаемымъ именно старшаго изъ бойцовъ. Правда, что потомъ онъ опять оправляется и торжествуетъ надъ молодымъ. Здѣсь же, и въ этомъ случаѣ, такъ дѣйствительно надобно думать, для вящаго превознесенія главнаго лица пѣсни, ребенка Альфарта, Гильдебрандъ и остается уже до конца въ положеніи побѣжденнаго. Его удобнымъ образомъ выручаетъ то, что онъ выѣхалъ не для боя, а чтобы забрать съ поля брани племянника, и вотъ онъ наконецъ ему открывается: «ты долженъ пощадить мою жизнь, я твой дядюшка Гильдебрандъ». Это съ перваго взгляда могло бы, пожалуй, напомнить образъ дѣйствія отрока Ивы въ выше-разобранной сербской пѣснѣ; и можно бы было сказать, что старый и малый только помѣнялись положеніемъ. Но вдумываясь внимательнѣе, замѣчаешь совсѣмъ не то: сербскій отрокъ даже обращается въ бѣгство, но собственно для того, чтобы не допустить отца *огрѣшить свою душу* чрезъ бой съ сыномъ. Гильдебрандъ же напротивъ того вступаетъ въ бой съ малымъ отрокомъ, племянникомъ, тѣмъ, для спасенья котораго выѣхалъ, и все это изъ-за одной чести воинской, и тутъ, какъ вездѣ въ германскомъ изводѣ, ставимой выше всего. Зато подъ конецъ, чрезъ такое позднее открытіе своего имени онъ попадаетъ въ положенье, тѣмъ болѣе неблаговидное,—и въ этомъ отношеніи Мартинъ дѣйствительно могъ бы употребить прилагательное—позорное. Гильдебрандъ *выпутывается* изъ неловкости своего положенія единствено тѣмъ, что говоритъ племяннику: «теперь я извѣдалъ на самомъ себѣ твою силушку богатырскую, и могу сказать о ней Дитриху; ему оно будетъ по́ сердцу, что ты и меня побѣдилъ». Но очевидно, что это съ его стороны чистый вымыселъ.

Таковы различные отпрыски извода германскаго, Они отличаются, какъ могли мы замѣтить, совершенно своеобразнымъ, народно-германскимъ складомъ. Еслибы ото всего германскаго эпоса сохранилось намъ только сказаніе о боѣ между отцомъ и сыномъ, то и тогда можно бы было составить себѣ понятіе о преимущественно воинскомъ складѣ древне германской жизни. Но сохрани-

[120]) Und ist daz ich sîn schône, sprach der küene man,
Son wirt mir niht ze lône, danne daz ichs laster hân.

Зимрокъ переводитъ:
So wird mir nichts zu Lohne, als dass ich Unsieg gewann.

лось несравненно болѣе. Первенствующее лицо въ пѣсняхъ о боѣ съ сыномъ, старикъ Гильдебрандъ, есть одно изъ дѣйствующихъ лицъ цѣлаго уцѣлѣвшаго круга сказаній о Дитрихѣ Бернскомъ. Вставимъ же разсмотрѣнный нами эпизодъ въ этотъ общій кругъ; тогда окончательно должны будутъ передъ нами раскрыться, въ эпическомъ отраженіи, основныя черты древне-германскаго быта.

Вслѣдъ затѣмъ поставимъ и наши былины о боѣ между Ильей и Сокольникомъ въ соотношеніе съ цѣлымъ кругомъ сказаній о муромскомъ богатырѣ. Черезъ это должны эпически выясниться, въ свою очередь, и основы нашего русско-славянскаго быта.

# II.

## Германскія сказанія о Гильдебрандѣ и Дитрихѣ Бернскомъ, въ связи съ германскимъ богатырскимъ эпосомъ вообще. Сказаніе о боѣ между отцомъ и сыномъ въ карловингскомъ эпосѣ. Общія заключенія объ эпосѣ германскомъ.

«Отецъ мой, говоритъ Гадубрандъ въ вышеупомянутомъ отрывкѣ пѣсни VIII вѣка, былъ Гильдебрандъ; онъ бѣжалъ отъ зависти Отакра, оставивъ жену, ребенка-сына и все свое имущество, и отправился съ Дитрихомъ и другими витязями въ восточную землю. Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ начались дитриховы невзгоды, отецъ мой непріязненно разошелся съ Отакромъ.» Этимъ прямо указывается на тѣсную связь между Гильдебрандомъ и Дитрихомъ; но какая же это связь? Дошло ли до насъ что́ нибудь объ ней и объ этомъ враждебномъ Отакрѣ?—Что́ касается Дитриха, его богатырскихъ подвиговъ, а потомъ невзгодъ, и отношеній къ нему Гильдебранда, то обо всемъ этомъ подробно говоритъ не одна средневѣковая поэма. Но дѣло въ томъ, что важнѣйшія изъ нихъ, по своему содержанію, какъ «Dietrichs Flucht,» «Rabenschlacht», отличаются уже позднѣйшею искусственною распространенностью, книжностью, и бытовымъ наслоеніемъ временъ рыцарства. В. Гриммъ и Уландъ относили составленіе этихъ поэмъ къ XIV столѣтію, [1]) но новѣйшій издатель, Эрнстъ Мартинъ [2]), на томъ основаніи, что одна изъ рукописей поэмы «Dietrichs Flucht» принадлежитъ концу XIII ст., доказываетъ, что самое созданіе поэмы должно быть еще давнѣе. Какъ бы то ни было, несравненно первобытнѣе, безъискусственнѣе и короче передача того же содержанія въ одной изъ извѣстнѣйшихъ сѣверныхъ загъ, т. н. Thidreksaga, или же Vilkina (Viltina) Saga. Значеніе отдаленнаго скандинавскаго сѣверо-запада (Исландіи) для сохраненія германской старины всѣмъ извѣстно. «Какъ великій государственный мужъ, по завершеніи своего гражданскаго поприща, удаляется въ уединеніе, чтобы выработать въ немъ свою исторію, такъ и народный духъ сѣвера, почуявъ исходъ своихъ языческихъ дней, избралъ себѣ мѣстомъ отдохновенья Исландію, чтобы здѣсь, на досугѣ, составить записки о своей

---

[1]) W. Grimm, D. Heldensage, стр. 186. Uhland, zur Gesch. der Dicht. u. Sage, I, 413—415. Ср. W. Wackernagel, Gesch. d. D. Litter., 210—211.

[2]) Deutsches Heldenbuch, 2 г. Theil: Alpharts Tod, Dietrichs Flucht, Rabenschlacht, herausgegeben v. E. Martin (Einleitung, p. 41). (См. также стр. XXXIV).

жизни (Memoiren).... Какъ Скандинавія вообще оказывается застывшею, неподвижною (starr), неразвитою стороною германскаго міра, такъ Исландія представляетъ намъ ту-же сторону Скандинавіи» (Köppen, Einleitung in die Nordische Mythologie, 30). «Существуютъ всего только три, основанныя на сказаньяхъ, литературы (Sagenliteratüren)—индѣйская, греческая и скандинавско-исландская» (тамъ же 23). «Заги исландскія, по словамъ того же ученаго—это только *прозаически-передаваемое сказаніе, возникшее непосредственно изъ разложенія древнихъ народныхъ пѣсень.....»* Чтó касается собственно Vilkina Sag'и, то Кёппенъ судилъ о ней довольно неблагосклонно, говоря, будто бы ей рѣшительно не достаетъ отпечатка древности (стр. 115). Мы увидимъ, что это далеко не вѣрно относительно многихъ ея частей (но что она отличается пестрымъ смѣшеніемъ различныхъ круговъ эпическихъ, въ этомъ Кёппенъ вполнѣ правъ). Во всякомъ случаѣ, она, по складу своему, древнѣе нѣмецкихъ поэмъ о Дитрихѣ (сѣверный Тидрекъ). Относительно времени составленія Thidrek или Vilkina Sag'и, прежніе изслѣдователи вообще (въ томъ числѣ и П. Э. Мюллеръ) были того мнѣнія, что она никакъ не древнѣе конца XIV ст. [3]);—но уже В. Гриммъ въ своей Heldensage, стр. 178 склонялся къ тому, чтобы считать ее древнѣе цѣлымъ столѣтіемъ. Онъ основывался при этомъ преимущественно на томъ, что въ ней еще не замѣтно знакомства съ тѣми средневѣковыми поэмами, полными распространеній и искаженій, которыя къ концу XIV ст. уже были вездѣ извѣстны. Но только съ изданіемъ древнѣйшей имѣющейся рукописи, замѣчаетъ Рассманнъ [4]), сдѣлалось возможнымъ точнѣе опредѣлить время памятника. Рукопись эта несомнѣнно относится къ концу XIII ст., самая же зага должна была быть составлена уже въ половинѣ XIII ст. Какимъ же образомъ она составилась, объ этомъ со всею ясностію говорится въ ея «прологѣ». «Когда—сказано тутъ, мужи хотятъ узнать еще неизвѣстныя имъ и объемистыя сказанія, то самое лучшее и вѣрнѣйшее для болѣе прочнаго запечатлѣнія въ памяти, чтобы *сказанія эти были записаны.»* Этимъ прямо указывается, что до того они передавались *изъ устъ въ уста*, т. е. что это были *сказанія* въ прямомъ смыслѣ слова. Далѣе, указавъ на тѣ многоразличныя мѣстности, въ которыхъ происходитъ дѣйствіе этой заги, составитель замѣчаетъ: она касается всѣхъ этихъ странъ; вездѣ говорится о тѣхъ чудесахъ, которыя совершены были этими мужами, служащими предметомъ расказовъ въ каждой изъ странъ, только что поименованныхъ. И Датчане также, и Шведы, могутъ многое *порасказать* объ этомъ, многое *выразили они въ своихъ пѣсняхъ* [5]), *занимающихъ досуги знатныхъ мужей.»* Слѣдующее за тѣмъ передается яснѣе въ другой рукописи: «Многія *пѣсни* поются и теперь, а сложились онѣ въ древнѣйшее время. Мужи сѣвера собрали и объединили извѣстную часть этого сказанія, а ежели иной разъ и замѣчаются тутъ измѣненія въ языкѣ, особливо же чтó касается на-

---

[3]) Lange, Untersuchungen über das Verhältniss der nordischen und deutschen Heldensage, aus P. E. Müller's Sagabibliothek, S. 276, 288.

[4]) Rassmann, D. Heldensage, II, xxii.

[5]) В. Гриммъ замѣчаетъ, что Вилкина-Зага указываетъ такимъ образомъ на два различныхъ источника—старыя нѣмецкія пѣсни и расказы нѣмецкихъ мужей (Deutsche Heldensage 2-e Auflage, стр. 178)



именованій отдѣльныхъ героевъ или нѣкоторыхъ произшествій, то тутъ нѣтъ ничего удивительнаго, *при томъ множествѣ нарѣчій, на которыхъ это сказаніе передается; но всюду, гдѣ бы оно ни расказывалось, оно возникаетъ изъ одной основы*».—Чтò же это, какъ не свойство устной словестности, постоянно видоизмѣняясь, въ сущности постоянно оставаться одною и тою же? Но далѣе дѣло представляется и еще яснѣе — съ указаніемъ на главнѣйшій источникъ составителя: «зага эта составлена по *расказамъ* нѣмецкихъ мужей, частію же изъ ихъ *пѣсень, услаждающихъ досуги знатныхъ* и сложенныхъ очень давно, *немедленно вслѣдъ за событіями*, расказываемыми въ загѣ». Опять одна изъ особенностей устнаго творчества—то, что оно происходитъ по *свѣжимъ слѣдамъ событій* [6]). Но еще замѣчательнѣе дальнѣйшее: ежели взять по одному мужу изъ каждаго замка въ Саксоніи, то всѣ они раскажутъ эту загу одинаковымъ образомъ,—а это-то и производятъ ихъ старыя пѣсни» [7]). Въ связи со всѣмъ остальнымъ, эти послѣднія слова, мнѣ кажется, получаютъ такое значеніе: зага вездѣ одинаково передается, благодаря тому, что ей сообщенъ видъ пѣсни, что она скрѣплена и упрочена пѣсеннымъ ладомъ, въ силу котораго, по нашему народному выраженію, изъ *пѣсни слова не выкинешь* [8]). Во всякомъ случаѣ, приведенныя выписки изъ пролога къ Тидрекъ-Загѣ ясно указываютъ на устный ея источникъ. Однакоже, когда читаешь ее, то онъ далеко не вездѣ оказывается чистымъ. Мѣстами выдаются искусственныя преувеличенія, книжныя ухищренія и даже прямыя заимствованія изъ книгъ, какъ объ этомъ справедливо было замѣчено еще П. Э. Мюллеромъ [9]). Тѣмъ не менѣе существенная часть заги оправдываетъ тѣ свѣдѣнія объ ея составѣ, какія даются прологомъ, а потому она и можетъ быть сопоставляема съ такими памятниками, какъ наши былины. Почва у нихъ, и у ней—народная, устно-эпическая; только въ нашихъ былинахъ, не смотря на записываніе ихъ въ столь позднее, къ намъ ближайшее время, она сохранилась еще въ большей неприкосновенности. Посмотримъ же, чтò сообщаетъ намъ Тидрекъ-Зага о Гильдебрандѣ и Дитрихѣ, и будемъ дополнять ея данныя тѣми частями средневѣковыхъ нѣмецкихъ поэмъ, въ которыхъ старина сколько нибудь уцѣлѣла, особливо же данными другихъ загъ, старой Эдды, (латынской (по языку) поэмы Waltharius и англосаксонскаго «Беовульфа». Полезный трудъ Рассмана, дающій полный переводъ нашей заги (во II части) съ распредѣленіемъ ея содержанія по входящимъ въ составъ ея кругамъ эпическимъ, и съ указаніями на все, сколько нибудь сходное въ другихъ памятникахъ, можетъ служить при этомъ пособіемъ.

Какъ сош[illegible] Тидрекъ (по нѣмецки Дитрихъ) и Гильдебрандъ, или, прежде всего, кто такіе они, какого роду-племени, гдѣ и какъ жили да были?

---

[6]) В. Гриммъ полагаетъ, впрочемъ, что эти пѣсни достались составителю заги уже въ рукописяхъ: der häufig ausgedrückte gegensatz von «alten gedichten und erzählungen deutscher männer bezeichnet wol zugleich den unterschied zwischen schriftlicher und mündlicher überlieferung (D. H. S., 179)

[7]) Rassmann, Heldensage, II, 1—2.

[8]) Если же принять предположеніе В. Гримма, что пѣсни, доставшіяся составителю заги, были рукописныя пѣсни, то такая окрѣплость сказанія объяснится также его записанностью. — При окрѣплости основы, Vilkina-Saga представляетъ однакоже немало противорѣчій, объясняемыхъ разнорѣчіями все-же видоизмѣнявшагося сказанія. (См. у В. Гримма стр. 182).

[9]) Lange, Untersuchungen, 285, 286

Отецъ Тидрека, Тетмаръ (Дитмаръ), наслѣдовалъ бернскій (веронскій) престолъ отъ отца своего великана Самсона (между глазъ—косая сажень, какъ бы слѣдовало перевести языкомъ былинъ—zwischen den Augen mass er eine Spanne [10]), похожденьямъ котораго посвящены первыя тринадцать главъ заги. Первоначальнымъ поприщемъ дѣятельности этого великана является итальянскій городъ Салерно; позже добываетъ онъ себѣ Верону (Бернъ), гдѣ, а равно и въ окрестностяхъ, происходитъ и большая часть похожденій его внука Тидрека,—совершенно соотвѣтственно историческому утвержденью германскихъ властителей на развалинахъ Римской Имперіи. О рожденіи самого Тидрека зага не говоритъ ничего особеннаго; но Рассманъ приводитъ объ этомъ любопытное свидѣтельство изъ дополненія къ Германской Богатырской Книгѣ (Anhang des Heldenbuches), почерпнутое, по всей вѣроятности, изъ какой нибудь утраченной пѣсни. Когда мать Дитриха была уже тяжела имъ, нѣкій злой духъ, книжно называемый тутъ Махметомъ, представилъ ей въ одну ночь подобіе ея мужа какъ бы возлежащимъ подлѣ нея, между тѣмъ какъ онъ въ это время находился въ отлучкѣ. Вдругъ она просыпается, простираетъ къ нему руки и, — передамъ это словами подлинника,—do greiff sû uff einen holen.geist. А онъ говоритъ ей: «не бойся ничего, я добрый духъ (ein gehûrer geist); возвѣщаю тебѣ, что сынъ, котораго ты понесла отъ Дитмара, будетъ сильнѣйшимъ духомъ, когда либо имѣющимъ родиться на землѣ, а отъ этого сна, который тебѣ приснился, будетъ у него, когда онъ разсердится, выходить огонь изо рта». И за тѣмъ этотъ чортъ (tuvel) построилъ въ три дня крѣпкій замокъ — онъ-то и называется бернскимъ (веронскимъ) замкомъ. — Рассманнъ указываетъ при этомъ на упоминаемое въ 169 гл. той же заги рожденіе Гёгни отъ жены короля Альдріана и ночного эльфа (Nachtelbe), и замѣчаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что хотя Дитрихъ, въ только что приведенномъ сказаніи, и не оказывается уже прямо сыномъ духа Махмета, тѣмъ не менѣе его огненное дыханіе заставляло смотрѣть на него, какъ на таковаго. Рассманъ указываетъ далѣе на нѣкоторыя мѣста изъ пѣсни о Нибелунгахъ, поэмъ Rosengarten, Sigenot и др., прямо свидѣтельствующія о приписываемомъ Дитриху таинственномъ, не человѣческомъ происхожденіи. На то-же указываютъ и слова Экке въ поэмѣ XIII в. Ecken Ausfahrt: «я не хочу сражаться съ Дитрихомъ, потому что его происхожденіе никому неизвѣстно» [11]). Не трудно, кажется, понять, что объясненіе его нечеловѣческихъ свойствъ однимъ *сномъ* его матери подъ вліяніемъ ночного духа есть уже смягченный видъ сказанія; что первоначально она должна была и зачинать его не отъ мужа, подобно матери Гёгни, матери знамени[illegible] кельтскаго чародѣя Мерлина, и столькимъ другимъ эпическимъ матерямъ, такимъ же точно образомъ обманываемымъ какимъ нибудь духомъ, или же змѣемъ. [12]) Что ка-

---

10) Entre elz pleine paume—въ Guillaume d'Orange (éd. Jonckbloet, I, 293). Entre 2 euz ot de lé demi pic Ibidem, 14).

11) Rassmann, II, 414.

12) Нѣкоторыя данныя о невольномъ сопряженіи женщинъ съ этимъ послѣднимъ можно найти въ любопытной статьѣ Ѳ. И. Буслаева о Муромской Легендѣ, (Очерки Русской народной словесности и искусства, ч. 1, статья X). Я же, припоминая теперь вышеприведенный симбирскій пересказъ былины о Саулѣ Леванидовичѣ, по-



сается чудеснаго признака Тидрека, его *огненнаго* дыханья, то замѣчу мимоходомъ, что богатыри съ подобнымъ дыханіемъ попадаются также и въ эпосѣ тюркскихъ народовъ Сибири (Radloff, II, 73, 92) [13]).

Къ отцу этого чуднаго Тидрека и поступилъ на службу уже извѣстный намъ Гильдебрандъ, въ свою очередь превозносимый загою во всѣхъ отношеніяхъ, особливо же какъ хорошій совѣтникъ. Будучи тридцати лѣтъ отъ роду, сказалъ онъ отцу своему, герцогу Регинбальду, что намѣренъ извѣдать житье-бытье многихъ знатныхъ мужей. [14]) «Не достигнуть же мнѣ большей славы, сидя у тебя дома... а довелось таки слышать про славнаго короля Тетмара въ Бернѣ,—къ которому дальній путь; вотъ къ нему-то я и хочу ѣхать». Когда онъ прибылъ къ Тетмару, Тидреку было всего пять лѣтъ. Вотъ онъ и воспиталъ его до 12-лѣтняго возраста (возраста эпической возмужалости).

Однажды выѣхалъ съ нимъ Гильдебрандъ на охоту. Преслѣдуя оленя, Тидрекъ встрѣтился съ карликомъ Альфрикомъ (Альберихъ въ нѣмецкой формѣ, тотъ самый, котораго похожденіе съ Отнитомъ мы уже знаемъ). Не давъ ему убѣжать въ пещеру, Тидрекъ, схвативъ его за воротъ, поднялъ къ себѣ на лошадь. Чтобы избавиться отъ него, карликъ обѣщаетъ Тидреку проводить его къ кладу, принадлежащему двумъ существамъ исполинскаго рода—Гриму, сила котораго равняется силѣ двѣнадцати человѣкъ, и женѣ его, Гильдѣ, еще болѣе сильной и злющей. Чтобы Тидреку совладать съ обоими, Альфрикъ добываетъ ему гримовъ мечъ Нагльрингъ, чудеснымъ образомъ выкованный самимъ карлою. Этотъ мечъ, какъ и далѣе упоминаемый исполиновъ шлемъ Гильдегримъ, принадлежитъ къ тѣмъ многочисленнымъ вооруженіямъ съ *собственнымъ именемъ*, вооруженіямъ, какъ-бы олицетворяемымъ такимъ образомъ,—которыя такъ обычны въ германскомъ эпосѣ (причисляя къ нему и карловингскій), и такъ необычны въ русскомъ и вообще въ славянскомъ. Нужно ли говорить, что и этотъ болѣе внѣшній признакъ, это надѣленіе жизнью оружія, указываетъ на преимущественно-воинственную настроенность поэтическаго воображенія древнихъ Германцевъ?

Затѣмъ Альфрикъ приводитъ обоихъ къ пещерѣ, гдѣ хранится кладъ великановъ. Это довольно близко напоминаетъ похожденье Ильи Муромца и Добрыни съ бабой Горынинкой, которую можно принять за такую же великаншу, какъ Гильда, жена Грима (всѣ вообще великаны—*Горынычи*). У нашей бабы, какъ и у Грима съ женой, оказывается кладъ въ *погребѣ глубокомъ* (соотвѣтствуетъ *пещерѣ*). Разница въ томъ, что у насъ въ былинѣ баба подводитъ богатырей къ погребу уже подъ конецъ, послѣ одержанной надъ нею побѣды, а въ Тидрекъ-загѣ богатыри входятъ въ пещеру въ самомъ началѣ—сперва Тидрекъ, а за нимъ Гильдебрандъ. Гримъ, при видѣ незванныхъ го-

зволю себѣ вопросъ: и упоминаемый въ ней испугъ отъ змѣя сауловой матери (испугъ, вслѣдствіе котораго она ощущаетъ ребенка у себя подъ сердцемъ, не есть ли въ свою очередь уже смягченный видъ первоначальнаго зачатія его ею отъ этого змѣя?

[13]) Тамъ же (собственно у Минусинскихъ Татаръ) и кони, отъ пламеннаго дыханья которыхъ таютъ удила (Schiefner über die Heldensagen der Minussinischen Tataren—въ Mélanges asiatiques, III, 490).

[14]) Замѣчательно, что Гильдебрандъ, соотвѣтственный нашему Ильѣ Муромцу по бою съ сыномъ, только тридцати лѣтъ выѣзжаетъ на подвиги; а Илья цѣлыхъ тридцать лѣтъ сидитъ сиднемъ (какъ увидимъ мы ниже)

стей, не находя меча своего, вооружается взятымъ имъ отъ огня горящимъ деревомъ. Завязывается бой. Гильдебранду особенно достается отъ Гильды, которая впивается ему руками вкругъ шеи, валитъ его и хочетъ связать. Такимъ же точно образомъ одолѣваетъ Добрыню баба Горынинка, но разница въ томъ, что Добрынѣ помогаетъ тутъ добрымъ совѣтомъ Илья, т. е. младшему старшій, здѣсь же на оборотъ Гильдебранду Тидрекъ, т. е. старшему младшій. Громко призванный имъ на помощь, Тидрекъ, отрубивъ прежде голову Гриму, затѣмъ накидывается на Гильду и разсѣкаетъ ее нà полы (въ нашей же былинѣ Добрыня рубитъ Горынинкѣ голову). Надо замѣтить, что въ Тидрекъ-Загѣ мы видимъ тутъ тотъ же самый допотопный пріемъ, къ которому прибѣгаетъ и нашъ Илья, рѣшившись наконецъ истребить Сокольника, тотъ пріемъ, съ широкою распространенностью коего мы уже познакомились выше по столькимъ разнонароднымъ примѣрамъ. Но въ нашей загѣ этимъ разсѣченіемъ дѣло еще не покончено. Разсѣченныя половины сбѣжались вмѣстѣ и снова срослись вплотную. Тогда, въ своемъ постоянномъ эпическомъ качествѣ совѣтчика, Гильдебрандъ научаетъ Тидрека, какъ поступить ему съ Гильдой [15]). Въ этомъ случаѣ онъ уже прямо соотвѣтствуетъ Ильѣ Муромцу, научающему Добрыню, какъ совладать съ Горынинкой. Только наставленье Ильи неудобно для печати, Гильдебрандъ же говоритъ Тидреку: «стань между туловищемъ ея и ногами, и тогда ты ее изведешь!» И точно, когда Тидрекъ послѣдовалъ этому совѣту, то сперва жизнь замерла въ нижней части чудовища, а верхняя продолжала еще говорить, но вскорѣ умерла и она. Изъ этихъ послѣднихъ подробностей надобно заключить, что Тидрекъ разсѣкъ поперегъ, тогда какъ нашъ Илья разорвалъ Сокольника вдоль; но тотъ, и другой раздѣляетъ нà полы, т. е. на двое. Сростаніе же разрубленныхъ членовъ и средство, употребленное противъ такого сростанія, черты чрезвычайно древнія. Нѣчто сходное видимъ мы въ индѣйскомъ сказаніи о боѣ Вишну съ Асурою. «Вишну, какъ богъ, былъ неуязвимъ, но и Асура оставался живъ, не смотря на то, что Вишну отрубилъ ему голову, руки и прочіе члены: они снова возвращались на свое мѣсто. Бой продолжался до ночи, силы Вишну стали ослабѣвать; тогда жена, боясь за него, взяла лепестокъ Утпалы и, разорвавъ на двѣ части, бросила ихъ въ разныя стороны и стала ходить между ними. Вишну понялъ смыслъ этого, разорвалъ тѣло Асуры на двѣ части и *сталъ ходить между ними*; тогда Асура умеръ; нѣкогда онъ получилъ отъ одного Риши соизволеніе на то, чтобъ его отрубленные члены сростались, но Риши не сказалъ, чтобъ его тѣло срослось, когда будетъ разорвано.» [16]) Тутъ такимъ образомъ понадобилось и *разрываніе*, какъ средство болѣе дѣйствительное, чѣмъ разсѣченіе. Чтò же касается *сростанія верхней и нижней части разсѣченнаго тѣла*, то оно встрѣчается и въ одной пѣснѣ Сагайцевъ, но богатырь тутъ не знаетъ никакого средства противъ такого сростанія (Radloff, II, 238) Замѣчательно, что намекъ на черту, попадающуюся въ Тидрекъ-Загѣ съ одной, въ преданьи индѣйскомъ съ другой стороны,—на

---

[15]) Rassmann, II, 362—365.

[16]) Васильева Буддизмъ, 216.



это мѣсто, занимаемое между верхней и нижней частью разрубленнаго тѣла,—такой намекъ слѣдуетъ, кажется, видѣть въ одномъ изъ темныхъ, на первый взглядъ, образныхъ выраженій Шекспира — въ одной изъ славнѣйшихъ его трагедій: «не становись между дракономъ и его разинутой пастью;» [17]) т. е., думаю я, между его туловищемъ и отсѣченной его головой. Извѣстно, какъ обильно черпалъ Шекспиръ въ родникѣ народныхъ преданій.—Изведя великана и великаншу, Тидрекъ и Гильдебрандъ навьючиваютъ коней своихъ несмѣтными ихъ сокровищами, а равно забираютъ послѣ великановъ и упомянутый выше, сообща имъ служившій знаменитый шлемъ, соединявшій и въ своемъ названіи имена обоихъ (Hilde-Grim). Въ примѣчаніи къ этому похожденію Рассманъ старается опровергнуть В. Гримма, доказывавшаго, что это только перелицовка добыванія Сигфридомъ знаменитаго сокровища Нибелунговъ.—Какъ бы то ни было, не надобно забывать, что въ основѣ рѣшительно всѣхъ добываній богатырскою силою лежитъ добываніе клада миѳическое: и кладъ Нибелунговъ, и кладъ Грима съ Гильдой, и кладъ Горынинки, и всѣ возможные клады въ преданіяхъ,—это все одинъ и тотъ же миѳическій кладъ, уже достаточно разъясненный Гриммами и ихъ школой [18]).

Это добыванье—въ миѳическомъ смыслѣ покрылось въ германскомъ эпосѣ позднѣйшимъ добываніемъ бытовымъ: у каждаго побѣжденнаго берется въ силу побѣды все его добро; если нѣтъ ничего болѣе, то вооруженіе. Вотъ и еще принадлежность воинственности, указаніе на которую можно найти уже въ выше-приведенныхъ словахъ Гадубранда: «мужу прилично только оружіемъ наживать добро;» а также и въ томъ, что́ нѣсколько ниже говоритъ ему Гильдебрандъ: добывай-же себѣ мечомъ то, что́ могло бы тебѣ принадлежать по праву (т. е. достаться въ наслѣдство, какъ объяснено было выше). Не трудно замѣтить, что́ никакого намека подобнаго рода не видно въ нашихъ былинахъ о боѣ Ильи съ Сокольникомъ (похожденье съ Горынинкою у по греба остается, къ сожалѣнью, не конченнымъ; былина, повидимому, не совсѣмъ полна).

Въ примѣчаніяхъ своихъ къ только что разобранной главѣ Тидрекъ-Заги Рассманъ, по своему обыкновенію, указываетъ на соотвѣтственныя мѣста въ средневѣковыхъ нѣмецкихъ поэмахъ. Тутъ попадается (въ поэмѣ Ecken Ausfahrt) указаніе такого рода, будто бы Дитрихъ обезславилъ себя тѣмъ, что убилъ Грима и Гильду сонными. Вотъ опять замѣчательное соотвѣтствіе съ воззрѣніемъ, заключающимся въ упрекѣ Ильи Сокольнику: «что́ ты меня бьешь соннаго, аки мертваго? Мы бы съ тобой такъ могли побаталиться». [19]) О шлемѣ же Гильдегримѣ сообщается въ нѣкоторыхъ поэмахъ, что въ него былъ вставленъ камень, ясно свѣтившій и посреди ночи (Rassmann, II, 368. Ср. также

---

[17]) Это говоритъ король Лиръ (въ 1-мъ дѣйствіи, 1-мъ явленіи) Кенту (см. перев. Дружинина).

[18]) Въ Ригъ-Ведѣ, въ гимнахъ, обращенныхъ къ Асвинамъ (Діоскурамъ), этому олицетворенію первыхъ лучей утреннихъ, говорится, что они разсыпаютъ выкопанный ими золотоносный кладъ—солнце. Въ другомъ мѣстѣ—они разсыпаютъ свѣтъ какъ бы изъ зарытаго горшка съ золотомъ (гимнъ 117-й; см. переводъ Бенфея въ Orient u Occident, Ш, 1, стр. 163 и 164).

[19]) Кир. I, 1, 3. А въ пѣснѣ 2-й того же перваго отдѣла татарченокъ говоритъ: «соннаго мнѣ убить—не честь, не хвала, а разбудить его, не сладити.« (I, стр. 4) Такъ и Еруcланъ при видѣ Ивана богатыря спящаго, а потомъ Иванъ при видѣ спящаго Еруслана: «не честь мнѣ будетъ, не хвала молодецкая — сонпаго человѣка убити: сонной человѣкъ аки мертвой (по Погод. рук. XVII ст. — Пам. Стар. Р. Литер. II, 328). — Но ниже намъ встрѣтятся и примѣры противоположные.

стр. 414). Этому соотвѣтствуетъ камень самоцвѣтъ въ русскихъ и сербскихъ народныхъ пѣсняхъ. (См. въ моей замѣткѣ къ IV ч. пѣс. г. Рыбникова стр. XXXIX, гдѣ приведено слѣдующее мѣсто изъ сборника Вука о каменьяхъ, вставленныхъ въ *колесницу*:

При ньима се види путовати
У поночи, како у по дапа.

Тамъ же указаны у меня цифрами страницъ и другія соотвѣтственныя мѣста у Вука; сравниваю же я ихъ тамъ со слѣдующимъ мѣстомъ въ рыбниковской (III, стр. 50) былинѣ Поромскаго старика:

Дорого самоцвѣтное каменье
. . . . для ради ночки темныя осеннія,
Чтобы видно гдѣ ходитъ мой добрый конь.

т. е. конь Ильи, у котораго промежду ушей и находится это каменье. Тотъ-же камень самоцвѣтъ встрѣчается и во многихъ былинахъ изъ Босніи и Герцеговины въ сборникѣ Петрановича (стр. 175, 222, 365, 485, 563)[20]).

Въ похожденіи съ Гримомъ и Гильдою Тидрекъ и Гильдебрандъ дѣйствуютъ наступательно. Вслѣдъ же затѣмъ имъ приходится обороняться противъ различныхъ выходцевъ, являющихся подъ стѣнами Берна и вызывающихъ на поединокъ самого Тидрека. Первымъ является получудовищный Геймиръ, сынъ Студа. Подобно Гильдебранду, онъ объявилъ однажды своему отцу, что хочетъ познакомиться съ житьемъ-бытьемъ благородныхъ (знатныхъ—по другой рукописи) мужей и поискать себѣ чести. (Обыкновенное въ германскомъ эпосѣ обозначеніе причины отъѣзда; заключительныя же слова, какъ извѣстно, встрѣчаются и въ нашемъ словѣ о Полку Игоревѣ: Ищуче себѣ чьти, а князю славы). Подобно Гильдебранду, и Геймира привлекала слава посторонняго короля, только уже не Тетмара, а его сына Тидрека, (хотя Тетмаръ и былъ еще живъ), и ѣхалъ-то онъ къ нему затѣмъ, чтобы сразиться съ нимъ. «Или умру, или превзойду его въ славѣ» отвѣчаетъ Геймиръ на убѣжденья отца не ѣздить, и прибавляетъ за тѣмъ: «мнѣ уже цѣлыхъ семнадцать зимъ (лѣтъ), а ему еще не полныхъ двѣнадцать.» Прибывъ въ Бернъ и войдя въ палату Тидрека, Геймиръ останавливается передъ престоломъ (Hochsitz), кланяется Тидреку и вызываетъ его на единоборство. «Пусть тотъ изъ насъ, кто окажется сильнѣе другого, унесетъ съ собою оружье обоихъ.» (Это совершенно соотвѣтствуетъ словамъ Гильдебранда Гадубранду въ вышеразобранной пѣснѣ о Гильдебрандѣ: «ну, такъ испытаемъ же на самомъ дѣлѣ, кто изъ насъ обоихъ добудетъ себѣ нынче съ бою оружье другого). Тидреку, котораго никто еще не отваживался вызвать на бой, это за бѣду стало, за великую досаду показалося. Однакоже онъ облатился и обкольчужился при помощи семерыхъ своихъ рыцарей; осьмой же, державшій стремя, когда онъ садился, былъ самъ воспитатель его Гильдебрандъ. Тутъ уже высказывается во всей полнотѣ обусловливаемое воинскимъ бытомъ значеніе вождя, обладателя сокровищъ, постоянно накапливающихся отъ добычъ. Какъ

[20]) Съ этимъ сходенъ свѣтозарный жипань-камень въ монгольскихъ сказкахъ. См. Шидди Куръ, перев. Гомбоева стр. 61 въ Этногр. Сб. VI). Ср. у Аѳанасьева Поэт. Возар. Слав. I, 214—215.



неистощимый раздаватель такихъ сокровищъ, онъ, и на высотѣ своего подвижного престола — коня, и въ двѣнадцатилѣтнемъ возрастѣ, въ состояніи поставить своего взрослаго воспитателя и совѣтчика въ служебное положеніе стремянного.

Но мы видѣли выше, въ сербской былинѣ о юномъ богатырѣ и Агѣ изъ Рыбника, самого отца принимающимъ коня у своего сына;—не то ли же самое и въ нашей загѣ, и Гильдебрандъ у стремени Тидрека на объясняется ли просто эпическою первобытною простотой и незатѣйливостью отношеній?—А тѣ семь рыцарей, которые облекаютъ въ вооруженіе Тидрека? Они уже прямо указываютъ на *церемоніалъ* и, попадая въ ихъ рядъ, и Гильдебрандъ получаетъ значеніе церемоніально-служебное.

Бой происходитъ, какъ и у Ильи съ Сокольникомъ, и какъ большею частію въ эпосѣ, въ три пріема: у обоихъ ломаются копья—черта въ свою очередь уже попадавшаяся намъ въ былинахъ. Тогда, опять по эпическому обычаю, замѣтному какъ въ европейскихъ сказаніяхъ, такъ и у Минусинскихъ Татаръ [21]) не покончивши на коняхъ, слѣзаютъ на землю и схватываются въ пѣшь, на мечахъ. Долго длится и этотъ бой, наконецъ мечъ Геймира обламывается о неприступный шлемъ Тидрека—объ того самаго *Гильдегрима*, что́ достался ему въ добычу отъ великановъ. Видя себя обезоруженнымъ, Геймиръ сдается. Тидрекъ однакоже щадитъ Геймира — дѣлаетъ его *своимъ мужемъ* (zu seinem Mann). Еще въ первый разъ встрѣчается намъ это странное, для непривычнаго взгляда, опять таки только воинственнымъ бытомъ объясняемое выраженіе, одно изъ обыкновеннѣйшихъ въ германскомъ эпосѣ (относя къ нему и карловингскій), гдѣ только вожди являются самостоятельными людьми, всѣ же прочіе—мужами или людьми другихъ. Они становятся такими или невольно, такъ сказать, доставаясь, подобно Геймиру, вмѣстѣ со своимъ оружьемъ въ добычу своему побѣдителю, или добровольно отдавая ему себя мирной сдѣлкой за получаемыя отъ него сокровища, часть его прежнихъ боевыхъ добычъ.

Эти отношенія вождя къ *своему мужу* до нѣкоторой степени указываются уже въ старой пѣснѣ о Гильдебрандѣ въ словахъ ему Гадубранда: «я вижу по твоему вооруженію, что у тебя доброжелательный господинъ»— т. е. онъ-то и надѣлилъ тебя такимъ славнымъ вооруженіемъ. Но съ особенною ясностію выказываются эти отношенія въ тѣхъ мѣстахъ принадлежащей къ тому же кругу поэмы Alphart's Tod, гдѣ Дитрихъ упрекаетъ Гейме (нѣмецкая форма Геймира) за то, что онъ перешелъ на сторону врага его Эрменриха. Упрекая, Дитрихъ припоминаетъ свой бой съ нимъ въ тѣхъ-же самыхъ чертахъ, съ которыми уже познакомила насъ Тидрекъ-Зага. Затѣмъ вотъ подлинныя слова поэмы о томъ, какимъ образомъ сдался Гейме:

Dû stractest mir dîn hende, und *wurde mîn man*,
Do ich dir vor manegem recken, helt, gesigte an.
Ich begienc an dir min êre, *guot unde lant*,
Ich nam dich ze schiltgesellen. *Hât des gedienet mir dîn hant?* [22])

---

[21]) См. статью Шифнера—über die Heldensagen der Minussinischen Tataren, въ Mélanges asiatiques, III, 398.

[22]) Deutsches Heldenbuch, v. Ernst Martin, II, 4 (строфа 10-я поэмы Alpharts Tod).

И такъ упрекъ заключается въ томъ, что за землю и сокровища, которыми побѣдитель Дитрихъ думалъ великодушно пріобрѣсть себѣ Гейме (уже пріобрѣтеннаго самой побѣдой надъ нимъ—но то было бы пріобрѣтеніе въ *рабы*, а чрезъ надѣлъ добромъ пріобрѣтался *зависимый мужъ*),—что плохо за это послужилъ Гейме Дитриху. Онъ отвѣчаетъ ему на это, что послужилъ таки ему въ юности; въ другомъ же мѣстѣ поэмы Гейме указываетъ на то, что Дитрихъ самъ отпустилъ его къ Эрменриху въ ту пору, когда тотъ, дядя Дитриха, еще не былъ съ нимъ во враждѣ. Но когда Эрменрихъ сталъ дѣйствовать противъ Дитриха, то что же было дѣлать Гейме, ставшему мужемъ Эрменриха? Вотъ что самъ онъ говоритъ Дитриху:

Ich nam die rîche miete die er mir dô bôt
Daz ich im wolte dienen [23]).

Такимъ образомъ эта, ложившаяся во главу угла, miete, эта *плата за вѣрность*, могла доводить до невѣрности прежнему, оставленному плательщику. По большей части, конечно, служилые мужи германскаго эпоса остаются весь вѣкъ свой при одномъ и томъ же плательщикѣ; но, продавъ свою вѣрность ему одному, они становятся иногда невѣрными собственной совѣсти, людямъ вообще, даже самымъ близкимъ людямъ. Все это еще раскроется впереди.

Вслѣдъ за Геймиромъ, прибываетъ къ Тидреку новый нахвальщикъ—Видга, сынъ знаменитаго въ сказаніяхъ сѣвера миѳическаго ковача Велента (Вѣлунда), который соединяетъ въ себѣ черты, напоминающія многихъ греческихъ боговъ, полубоговъ и богатырей: Иѳеста, Прометея, Дедала, Атрея. Остатками несомнѣнно существовавшаго особаго эпоса объ этомъ лицѣ служитъ одна изъ пѣсень старой Эдды (Wölundarquida), обыкновенно относимая къ VI стол. [24]), и то, что вошло въ составъ главъ 57—79 разбираемой мною заги. Сынъ великана, ученикъ карликовъ въ свойственномъ имъ искусствѣ кованія, Велентъ своимъ умѣньемъ выдѣлывать золото возбуждаетъ въ королѣ Нидунгѣ такъ легко возбуждаемую въ германскихъ эпическихъ личностяхъ алчность къ добычѣ. Скованный Нидунгомъ съ цѣлію вынудить у узника тайну его искусства, Велентъ однако упорно молчитъ. Когда же онъ, находясь въ плѣну, пытается посредствомъ различныхъ чаръ приворожить къ себѣ дочь короля, Нидунгъ, узнавъ о томъ, повреждаетъ ему ноги. (Въ этомъ одно изъ сходствъ съ Иѳестомъ). Велентъ страшнѣйшимъ образомъ мститъ королю. Убивъ сыновей его, онъ выдѣлываетъ изъ ихъ костей искусно оправленныя вещи для короля и его жены, (что напоминаетъ Атрея), а дочь его подвергаетъ насилію. Это одинъ изъ нерѣдкихъ примѣровъ мести въ германскомъ эпосѣ, мести, которая большею частію именно такова въ немъ, что для вящей отплаты обидчику губятъ тѣхъ, кто ему особенно дорогъ и вся вина которыхъ и заключается только въ томъ, что они ему дороги. Изъ опасенья обратной мести со стороны короля, Велентъ, неистощимый въ искусныхъ выдумкахъ, изготовляетъ себѣ особаго рода сорочку изъ птичьихъ перьевъ и улетаетъ въ ней. (Кромѣ греческаго Дедала, этому соотвѣтствуетъ и небесный полетъ

---

23) Строфа 32 (стран. 6 изд. Мартина).

24) Rassmann, II, 212.



Кейкауса—въ Шахъ-Наме) (Mohl, II, 43—45) Послѣ смерти Нидунга онъ мирится съ оставшимся въ живыхъ его сыномъ и получаетъ въ супруги сестру его, когда-то имъ обезчещенную.

Вотъ отъ нея-то и родится у Велента Видга. Достигнувъ двѣнадцатилѣтняго возраста, онъ выказываетъ презрѣніе къ занятіямъ своего отца. «Родъ моей матери не допускаетъ, чтобы рука моя прикасалась къ твоему молотку» говоритъ онъ Веленту.—«Но что же предпримешь ты, чтобы одѣвать себя и пропитывать?» спрашиваетъ отецъ. —«Я излюблю себѣ коня добраго, копье крѣпкое, острый мечъ, новый щитъ, твердый шлемъ, броню бѣлую, еще излюблю себѣ вождя славнаго, чтобы служить ему и разъѣзжать за нимъ весь мой вѣкъ.» Словомъ ему любо-дорого отдать себя *въ мужи*—за злато и серебро господина; и въ такомъ поступленіи подъ начало, избавляющемъ отъ всякаго другого труда, кромѣ брани, онъ не видитъ уже ничего унизительнаго для себя, какъ королевскаго внука по матери. Взглядъ совершенно соотвѣтствующій тацитову свидѣтельству о Германцахъ, что только одна война считалась у нихъ трудомъ благороднымъ.

Вождь, излюбленный Видгою, — это все тотъ-же Тидрекъ, уже успѣвшій прославиться, не смотря на то, что ему, какъ и Видгѣ, не болѣе двѣнадцати лѣтъ. Но и Видга, подобно Геймиру, намѣренъ прежде всего попытать свою силушку въ схваткѣ съ нимъ. «А побѣдитъ онъ меня, такъ я сдѣлаюсь его мужемъ». — Велентъ, какъ и отецъ Геймира, противъ такого опаснаго предпріятія. «Отправься-ко лучше въ сосѣдній лѣсъ противъ засѣвшаго въ немъ великана, который успѣлъ уже накурить всѣмъ окрестнымъ людямъ бѣды несносныя. Если ты одолѣешь его, то король тѣхъ людей, Свитіодъ, наградитъ тебя рукой своей дочери.» Такъ совѣтуетъ Велентъ. Но замѣчателенъ отвѣтъ Видги: «вотъ еще, стану я изъ-за бабы пускаться на такое дѣло». Эта баба кажется ему недостаточною наградой. Только намекъ на *награду* и замѣтилъ онъ въ словахъ отца, ни мало не почувствовавъ всей *полезности людямъ* указаннаго ему отцомъ подвига. Вмѣсто боя съ великаномъ за окрестныхъ людей, онъ предпочитаетъ сразиться съ Тидрекомъ — просто для того, чтобы сразиться, а, въ случаѣ неудачи, стать въ прибыльное положеніе служилаго мужа. — Видя, что съ нимъ ничего не подѣлаешь, отецъ соглашается, надѣляетъ его отличнѣйшимъ вооруженіемъ и даже собственнымъ своимъ мечомъ Мимунгомъ, знаменитой работой собственныхъ рукъ. Простившись также и съ матерью, Видга, вскочивъ на коня, уносится въ путь — сквозь лѣса дремучіе и останавливается на берегу большущей рѣки, черезъ которую не было переправы. Привязавъ коня къ дереву, скинувъ доспѣхи и платье и старательно спрятавъ и то и другое, онъ входитъ по горло въ воду. Тутъ подъѣзжаютъ къ берегу трое всадниковъ — уже знакомые намъ Гильдебрандъ и Геймиръ, и третій — Ярлъ Горнбоги, приглашенный къ себѣ въ сподвижники самимъ Тидрекомъ [25]). Что это

[25]) Причина этого приглашенія поясняется въ гл. 176 Тидрекъ-Заги: молва о замкахъ и о богатой движимости Горнбоги разнеслась далеко и дошла до Тидрека, которому и захотѣлось пріобрѣсть себѣ такого служилаго мужа (Rassmann, II, 466). О другомъ лицѣ этого имени см. у В. Гримма Held. Sage, 141—142.



за карла тамъ на водѣ? Ужь не Альфрикъ ли, тотъ, чтó былъ пойманъ Тидрекомъ и указалъ ему кладъ» говоритъ Гильдебрандъ: «Попробуемъ забрать его въ плѣнъ, чтобы онъ далъ за себя и теперь не меньшей цѣнности выкупъ». Сходятъ съ коней и подходятъ къ берегу, а Видга въ отвѣтъ имъ: «дайте мнѣ съ миромъ выйти на землю, и вы увидите, какой я карликъ». Когда они обѣщали ему безопасность, то онъ выпрыгнулъ изъ воды—разомъ на девять футовъ. «Кто ты и откуда»? спросилъ Гильдебрандъ. «Ежели ты, въ отвѣтъ ему Видга, добрый богатырь, то зачѣмъ напущаешься на нагое тѣло? Дай мнѣ вооружиться, и тогда уже спрашивай, если хочешь». Изъ этихъ словъ видно, что вопросъ объ имени принимается тутъ совсѣмъ не въ томъ смыслѣ, въ какомъ онъ встрѣчался намъ выше — въ большей части сказаній о боѣ между отцомъ и сыномъ. Тутъ этотъ спросъ объ имени не есть, очевидно, приглашеніе сдаться, а въ немъ скорѣе слышится Видгѣ прямо вызовъ на бой. Надо думать, что Германцы узнавали передъ боемъ объ имени и для того, чтобы видѣть по происхожденію супротивника, прилично ли будетъ сразиться съ нимъ. При своемъ знатномъ происхожденіи (по матери), Видга очень хорошо понималъ, что пришелся бы имъ какъ разъ ровнею. Надобно полагать, что и въ пѣснѣ о Гильдебрандѣ, ежели Гадубрандъ немедленно отвѣчаетъ отцу на спросъ объ имени, то и ему тутъ слышится только желанье узнать, достаточно ли знатенъ, для возможности боя, родъ супротивника. Совершенное отсутствіе *запирательства* слышно и во многихъ мѣстахъ старинныхъ сказокъ о Вильгельмѣ Оранжскомъ: qu'ainz por nul home ne fu mon non celé — говоритъ этотъ богатырь, какъ бы указывая прямо на то, что *скрывать имя* — позорно. Въ другомъ мѣстѣ, спрошенный туркомъ, онъ высчитываетъ ему даже всю свою родню, и оказывается, что многіе изъ нея не мало уже насолили Туркамъ, вслѣдствіе чего супротивникъ Вильгельма и говоритъ ему: «or tu as trop duré, que mon lignage as mort et cravente». [26]) Тутъ такимъ образомъ опять особый оттѣнокъ, которымъ еще болѣе выясняется тотъ взглядъ, по которому именно воинская честь и повелѣваетъ — *не* скрывать имени. Вотъ и Видга, послѣ того какъ дали ему одѣться и вооружиться, ясно отвѣчаетъ на спросъ: «каковъ твой родъ, и зачѣмъ ты здѣсь, и куда ты ѣдешь?» — Узнавъ все въ подробности, и видя большущій ростъ Видги и все въ немъ сверхчеловѣческимъ, Гильдебрандъ не на шутку задумался объ опасности, угрожающей его господину Тидреку, и придумалъ, при своей хитрости-мудрости, особый родъ дѣйствій съ Видгою. Онъ представился очень довольнымъ, что находится наконецъ человѣкъ, способный, повидимому, укротить задоръ и надменность Тидрека. «Станемъ назваными братьями, чтобы помогать другъ другу въ бѣдѣ, гдѣ бы, и когда-бы то ни было».—На такое предложеніе со стороны Гильдебранда заключить съ нимъ тотъ родъ союза, который имѣлся у всѣхъ, безъ изъятья, первобытныхъ народовъ, но у Германцевъ, при воинственномъ

---

[26]) Jonckbloet, Guillaume d'Orange, I, 42, 22—28; Ср. также 211, 388. Также отсутствіе запирательства— въ Шахъ-Наме (Mohl, I, 519) при встрѣчѣ Рустема съ дракономъ. Ср. выше стр. 50.



складѣ ихъ жизни, былъ обозначенъ своеобразнымъ именемъ — Waffenbrüderschaft; [27]) — на такое предложеніе Видга отвѣчаетъ съ оттѣнкомъ, еще въ большей степени воинственнымъ и германскимъ: «кажется мнѣ, что ты храбрый и сильный мужъ, да и *знатнаго рода;* такъ отчего же мнѣ и не вступить съ тобой въ братство». Это уже совсѣмъ не то, что безпрерывно встрѣчающееся въ славянскихъ эпическихъ пѣсняхъ чистое, безпримѣсное понятіе о названомъ братствѣ, которому дѣла нѣтъ ни до званія, ни до народности, ни до вѣры? [28]) Тутъ уже, подъ вліяньемъ преимущественной воинственности, ярко выдвигается впередъ *родовитость*. Послѣ первой межи, проведенной между людьми исключительнымъ *благородствомъ* военныхъ людей, въ самомъ кругу послѣднихъ новыя межи проводятся тѣмъ, что званье вождя, хотя бы сначала и выборное, дѣлаясь средствомъ къ нагроможденью въ однѣхъ рукахъ преимущественной добычи, вмѣстѣ съ наслѣдственной передачей ея, становится наконецъ и само наслѣдственнымъ.

Заключая съ Видгою союзъ братства съ особою, затаенною цѣлью, Гильдебрандъ скрываетъ себя подъ вымышленнымъ именемъ. Ѣдутъ они далѣе вмѣстѣ всѣ четверо, и останавливаются у *розстаней* (мѣсто остановки чрезвычайно обычное какъ въ русскомъ, такъ и въ югославянскомъ эпосѣ). «Обѣ эти дороги, говоритъ Гильдебрандъ, ведутъ въ Бернъ, одна долга и трудна, другая короче и лучше, да та бѣда — нельзя миновать рѣки, черезъ которую перекинутъ каменный мостъ, а у моста башня, обитаемая двѣнадцатью молодцами [29])—взымаютъ они гроши подорожные (по другой рукописи— это просто разбойники; одинъ изъ нихъ — Грамалейфъ. На самомъ мосту — ихъ таможня; тамъ должны мы оставить коней и оружье, и быть довольными, ежели удастся самимъ убраться по добру по здорову. Тидрекъ пытался было овладѣть этой башнею, но напрасно. Если же удастся кому нибудь одолѣть этихъ двѣнадцать молодцевъ, то противъ него не устоять ни самому Тидреку, ни какому либо другому изъ храбрыхъ. А потому мой совѣтъ — поѣхать дорожкой окольною». Такъ говоритъ Гильдебрандъ — но умыселъ тутъ, очевидно, иной, тотъ, чтобы именно разлакомить Видгу на подобный опасный и славный бой. И старикъ не ошибся въ своемъ разчетѣ. «По мнѣ такъ надобно ѣхать дорогою прямоѣзжею, — возражаетъ Видга; прибавляя, впрочемъ, съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ осторожнаго благоразумія.

[27]) Обычай побратимства встрѣчается даже въ эпосѣ тюркскихъ народовъ. Замѣчательно въ немъ слѣдующее выраженіе: «будемъ друзьями, какъ два уха на одной головѣ; когда умремъ, пусть лежатъ наши кости вмѣстѣ, и кровь наша, когда потечетъ, пусть сольется въ одинъ ручей» (Radloff, II, 125; ср. также 42). Если смѣшенье костей напоминаетъ греческаго Ахилла, желающаго, чтобы пепелъ его соединился съ патрокловымъ, то смѣшеніе крови не представляетъ ли связи съ тѣмъ германскимъ обычаемъ, въ силу котораго, вступая въ побратимство, ранили себя слегка и давали стечь въ одно мѣсто крови изъ ранъ двухъ друзей (Uhland's Schriften, B. VII, S. 199). Всѣ подобнаго рода сходства доказываютъ только единство природы эпоса, объясняемое единствомъ природы человѣческой вообще.

[28]) «Богомъ сестро, танана робинъо»—говорится очень часто въ юго-славянскихъ пѣсняхъ. Богатыри сербскіе братаются даже съ Турками (наприм. у Вука III, стр. 370) Устан' ронче, мой по Богу брате (Вука I, 577).

[29]) Число двѣнадцать вообще довольно распространено въ сказаніяхъ. Нерѣдко являются также въ нихъ и двѣнадцать братьевъ разбойниковъ (какъ въ пѣсняхъ, такъ и въ сказкахъ у разныхъ народовъ). — Въ нѣмецкомъ Heldenbuch сходное похожденіе съ разбойниками приписывается Вольфдитриху, а въ поэмѣ Wolfdieterich число ихъ умножено до пятидесяти. П. Э. Мюллеръ считалъ это заимствованіемъ у нашей саги, но Рассманнъ замѣчаетъ весьма справедливо, что сходнымъ образомъ были въ ходу у народныхъ сказителей различные бои съ разбойниками (II, 389).

чужеземца должны они пропустить съ миромъ». Это предпочтенье пути прямоѣзжаго — черта совершенно эпическая, древняя. Также точно предпочитаетъ его и Рустемъ — по совѣту отца, который говоритъ ему: «одинъ путь въ Мазандеранъ (царство чародѣевъ) — долгій, и его избралъ царь Каусъ; другой — всего на двѣ недѣли, но онъ полонъ львовъ, дивовъ и мрака.... Ступай однакожь короткимъ путемъ на встрѣчу всѣмъ этимъ чудовищамъ — Создатель тебѣ поможетъ» (Mohl. I, 509) Вотъ на этомъ-то пути, между прочимъ, попался Рустему *драконъ*, не пропускавшій до той поры никого — ни дива, ни слона, ни льва. Но Рустемъ истребляетъ его и прочищаетъ дорогу. (Mohl. 517—521). Нужно ли говорить, что *драконъ*, залегшій дорогу — древнѣе, первоначальнѣе залегшаго ее разбойника Грамалейфа? Въ серединѣ находится намъ всѣмъ извѣстный *Соловей-разбойникъ*, залегшій дорогу къ Кіеву (но о немъ рѣчь еще впереди).—Видга съ товарищами, избравъ прямоѣзжій путь, подъѣхали къ башнѣ разбойничьей. Уже издали усмотрѣли ихъ съ высоты ея двѣнадцать проказниковъ и стали заранѣе дѣлиться, въ воображеніи, оружіемъ Видги; а на долю послѣднихъ трехъ пошли у нихъ наконецъ и отдѣльныя части его богатырскаго тѣла. Вотъ и выѣхали ему на встрѣчу трое и немирно отвѣтили на мирный его привѣтъ. Захотѣлъ Видга видѣть самого Грамалейфа, но и съ нимъ порѣшить добромъ было невозможно. Вотъ и завязался бой между Видгою и всѣми двѣнадцатью. Занесъ было мечъ Грамалейфъ на шлемъ Видги, да шлемъ былъ такъ крѣпокъ, что выдержалъ. А Видга какъ размахнется, да и разсѣкъ Грамалейфа, начиная отъ головы черезъ цѣлое туловище, такъ что мечъ остановился у пояса.— Ясно, что это опять *разсѣченіе на полы* (и въ chansons de geste *оно обыкновенно останавливается у пояса* [30]).

Взяло между тѣмъ Гильдебранда раздумье. «Чтó ежели онъ одолѣетъ, а мы ему не помогали? онъ и скажетъ тогда, что его обманули.... А вѣдь плохо придется намъ, какъ да онъ за насъ примется; да и я бы нарушилъ тогда свою клятву на братскій союзъ съ нимъ».—«А по моему, замѣтилъ тутъ Геймиръ, если похоже на то, что осилитъ онъ, то помочь ему надобно, если же самъ онъ будетъ осиленъ, то надобно поскорѣй убираться, не подвергаясь опасности изъ за незнакомаго человѣка,» — «Нѣтъ, если мы поклялись ему, возразилъ Горнбоги, то и должны, какъ мужи, оказать ему помощь» — «Стыдно оставить его,» подтвердилъ Гильдебрандъ. — А по двумъ другимъ рукописямъ разсуждаетъ только послѣдній, и разсуждаетъ такимъ образомъ: «пойдемъ къ нему и поможемъ; мнѣ сдается, что поле будетъ за нимъ. Но если придется ему погибать,—мы удеремъ поскорѣе!» Такъ ли, иначе ли,—а нельзя не замѣтить, что понятіе о названомъ братствѣ уже очень, и очень тутъ шатко.

Между тѣмъ Видга одинъ одолѣлъ семерыхъ; пятеро остальныхъ убѣжало. Съѣхавшись съ Видгою, сотоварищи, какъ быть водится, за одно съ нимъ воспользовались добычею. Затѣмъ улеглись всѣ въ башнѣ; не спалъ

---

[30]) Точно также и въ испанской «поэмѣ о Сидѣ»: diòl' tal espadada con el so diestro brazo, cortól' por la cintura el medio echó en campo (Damas Hinard, Poema del Cid, vers. 768—769: ср. также стихъ 2433).



только Гильдебрандъ и все думалъ объ опасности, угрожающей его сотоварищу и названому сыну Тидреку (такъ онъ называется тутъ, а не господиномъ Гильдебранда, какъ выше). Гильдебрандъ думалъ еще о томъ, какое отличнѣйшее оружіе у Видги. Въ полночь онъ всталъ, вынулъ свой мечъ изъ ножонъ, потомъ подошелъ къ знаменитому мечу Видги, Мимунгу, вынулъ изъ ножонъ и его, затѣмъ опустилъ въ ножны Видги свой собственный мечъ, а Мимунга упряталъ въ свои ножны (предварительно жь обмѣнилъ онъ и рукоятки—свою къ мечу Видги, его къ своему). Сдѣлавъ такое дѣло, Гильдебрандъ преспокойно улегся, и спать-заснулъ. На другое утро, когда Видга обратился къ Гильдебранду съ вопросомъ: «что дѣлать съ башнею, такъ какъ мы уѣзжаемъ?» Гильдебрандъ прежде всего отвѣчалъ признаніемъ, что онъ не тотъ, за кого себя прежде выдалъ, а именемъ Гильдебрандъ—мужъ Тидрека, другіе же двое—его же мужи. «Но хотя я сначала и скрылъ отъ тебя свое настоящее имя, я намѣренъ сдержать свою заповѣдь братства названаго (послѣ продѣлки съ мечами!) Мой совѣтъ оставить здѣсь этихъ двоихъ сторожить нашу башню, я-же съ тобою вдвоемъ отправляюсь къ Тидреку. Разстанетесь вы съ нимъ друзьями,—такъ и владѣйте сообща этой башней; а разстанетесь недругами, такъ владѣй ею ты одинъ; а она вѣдь не малаго стоитъ.»

Нельзя не замѣтить, припоминая старое, что, сокрушивъ Грамалейфа, совершенно нежданно-негаданно Видга собственно совершилъ тотъ подвигъ, о которомъ ему говорилъ отецъ. И вотъ, онъ даже высказываетъ Гильдебранду мысли, совершенно достойныя такого подвига. «На этомъ мосту была мытница, было постоянно немирно и грозила неволя какъ чужеземнымъ, такъ и туземнымъ мужамъ, а между тѣмъ вѣдь это большая дорога, но многіе не рѣшались съ извѣстныхъ поръ проѣзжать по ней... Пускай же теперь ѣдутъ съ миромъ черезъ этотъ каменный мостъ и чужеземецъ, и свой, и молодой, и старый, и счастливый, и несчастливый.» И Видга собственною рукою поджегъ злодѣйскую башню, предварительно вынесши изъ нея все, что еще оставалось въ ней. Весело поѣхали они всѣ вмѣстѣ далѣе, но у слѣдующей рѣки не оказалось моста: его нарочно сломали бѣжавшіе сотоварищи Грамалейфа. Тогда Видга пришпорилъ коня своего Скемминга, и онъ перелетѣлъ, какъ стрѣла, черезъ всю рѣку, съ одной надбрежной скалы на другую. И до сихъ поръ еще можно видѣть и тамъ, откуда, и тамъ, куда онъ скокнулъ отпечатлѣвшимися въ камнѣ *слѣды подковы коня его и гвоздей въ ней*.—Такіе слѣды тамъ показывали въ XIII в. Они показываются и теперь во многихъ мѣстахъ Германіи и точно также приписываются удару копыта того или другого исполинскаго коня. (Grimm, Mythol. стр. 513 и слѣд.) Въ Болгаріи показываютъ такимъ образомъ слѣды отъ копытъ знаменитаго коня Марка Кралевича (Миладиновыхъ Болгарскія пѣсни стр. 528). Подобный же слѣдъ былъ наконецъ выбитъ и конемъ Роланда (Grimm, Myth. стр. 520). Но возвратимся къ богатырямъ Тидрекъ-Заги. Конь Гильдебранда, скокнувъ, полетѣлъ въ рѣку, и уже вплавь прибылъ къ берегу. Горнбоги переправился подобнымъ же образомъ, но опередилъ Гильдебранда. Что же касается Геймира, то конь его, причитавшійся роднымъ братомъ Скеммингу, перескочилъ также точно удач-

но, какъ Скеммингъ, черезъ всю рѣку. Между тѣмъ Видга, разомъ очутившись на противоположномъ берегѣ, пустился въ погоню за бѣжавшими пятерыми разбойниками. Сразились; а Геймиръ преспокойно себѣ сидѣлъ на своемъ молодецкомъ конѣ и не захотѣлъ подать помощи Видгѣ. Когда-же переправился черезъ рѣку Горнбоги, то усердно помогъ ему. Всѣ пятеро супротивниковъ полегли. Видгѣ еще нельзя было и замѣтить отсутствія своего меча Мимунга.

Переночевавъ вслѣдъ за тѣмъ у жены Гильдебранда Оды (Ута—въ пѣснѣ о боѣ съ сыномъ), дворъ которой лежалъ по дорогѣ, на слѣдующій день они прибыли къ Тидреку. Когда было ему доложено о возвращеньи мужей его, онъ вышелъ имъ самъ на встрѣчу. Тутъ Видга, снявъ съ руки оправленную въ серебро перчатку, подаетъ ее Тидреку: «вызываю тебя на поединокъ, мы однолѣтки, давно наслышался я про тебя, — попытаю теперь, точно ли ты такой добрый молодецъ, какъ идетъ о тебѣ молва».—«Ну, уже доведу же я до того въ странѣ отца моего и моей собственной, что не придется каждому глуздырю и собакѣ такъ дерзко выкликать меня въ поединщики». Сталъ было Гильдебрандъ унимать своего питомца, что ты-де еще не знаешь, съ кѣмъ тебѣ приходится имѣть дѣло. «Что́-то ты очень за него заступаешься, съ досадой замѣтилъ Тидрекъ; ну, а какъ я да повѣшу его за воротами Берна». Тидрекъ послалъ за своимъ вооруженіемъ, облатился и обкольчужился (обозначаю этими двумя глаголами изъ нѣкоторыхъ русскихъ былинъ сущность того, что́ передается съ величайшей подробностью загою). Наконецъ подвели ему и коня его Фальку, родного брата Скемминга, коня Видги, и Риспы, коня Геймира. Передъ началомъ боя, Геймиръ поднесъ вина Тидреку: «пей, господинъ, на здоровье и да дастъ тебѣ Богъ побѣду». Тогда Гильдебрандъ поднесъ Видгѣ другую чару, которую тотъ попросилъ его отворотить Тидреку. За великую досаду показалось это послѣднему, какъ и все вообще появленіе Видги. Гильдебрандъ же, возвративъ своему брату названому чару, пожелалъ ему счастія въ боѣ. — Изъ всего этого видно, что отношенія Гильдебранда къ Тидреку — не совсѣмъ то, что́ обыкновенныя отношенія мужа къ своему господину. Какъ воспитатель Тидрека, онъ дѣйствуетъ очень свободно и смѣло. Вмѣстѣ съ тѣмъ все болѣе выдвигаются у него впередъ обязанности брата названаго.

Бой между Видгой и Тидрекомъ происходитъ, по обыкновенію, сперва на коняхъ, потомъ впѣшь рукопашкою. Мечъ Видги переломился на двое отъ удара о тидрековъ шлемъ Гильдегримъ. Тутъ Видга помянулъ не добромъ своего отца за то, что, при всей своей знаменитой умѣлости, не сковалъ ему меча крѣпче этого. Между тѣмъ Тидрекъ занесъ уже свой мечъ Нагльрингъ, чтобы отрубить Видгѣ голову. Тутъ подскочилъ Гильдебрандъ: «отпусти его съ миромъ, Тидрекъ, и прими его къ себѣ въ мужи — смѣлѣе и храбрѣе его тебѣ не найти. Онъ взялъ у разбойниковъ ту крѣпкую башню, которая не давалась тебѣ со всѣми твоими мужами». «Какъ я сказалъ, такъ и будетъ, возразилъ Тидрекъ; сегодня же ты увидишь его повѣшеннымъ за воротами Берна». На новыя убѣжденія Гильдебранда, Тидрекъ только обзываетъ Видгу холопьимъ сыномъ и грозитъ самому Гильдебранду.

Вотъ тутъ-то окончательно заговорилъ въ Гильдебрандѣ названый братъ: «Богъ да запретитъ быть невѣрнымъ каждому!» воскликнулъ онъ, намекая такимъ образомъ на самого себя — на вѣроломный обмѣнъ мечей съ Видгою. Тутъ возвратилъ Гильдебрандъ Видгѣ Мимунга, а тотъ отъ радости сталъ цѣловать свой родимый мечъ и мысленно извиняться передъ отцомъ въ несправедливомъ ему упрекѣ. И ужь далъ-же себя знать знаменитый Мимунгъ — такъ заработалъ, что Тидреку приходилось только обороняться. Чувствуя наконецъ въ своемъ тѣлѣ не одну глубокую рану, взмолился онъ Гильдебранду: «поспѣши сюда, разлучи насъ». — «А, возразилъ Гильдебрандъ, — такъ-то ты наказанъ за то, что не послушался моего совѣта...»

Тутъ вздумалъ вмѣшаться Тетмаръ, отецъ Тидрека. — Онъ просилъ о пощадѣ и предлагалъ землю и выгодную женидьбу Видгѣ. — «Нѣтъ, пусть постигнетъ твоего сына та самая участь, которую онъ сулилъ мнѣ». Снова завязался бой между нимъ и Тидрекомъ. Когда наконецъ подъ ударами Мимунга совсѣмъ разлетѣлся тидрековъ шлемъ Гильдегримъ, тогда только подскочилъ Гильдебрандъ и сталъ, ради братства названаго, просить у Видги пощады Тидреку. «Хотя онъ и не заслуживалъ бы того, отвѣчалъ Видга, но ради тебя и нашего братства да будетъ исполнена твоя просьба». Тутъ оба сняли съ себя оружіе и подали другъ другу руки, а тамъ вошли вмѣстѣ въ Бернъ — какъ друзья.

Объ этомъ жестокомъ боѣ между Видгою и Тидрекомъ, по замѣчанію Рассмана (стр. 398) кромѣ нашей заги не упоминается нигдѣ болѣе. За то зага съ другой стороны не упоминаетъ о томъ, на какомъ основаніи послѣ боя сошлись супротивники. Между тѣмъ въ строфѣ 217 поэмы Alpharts Tod Альфартъ говоритъ Видгѣ (тутъ нѣмецкая форма — Виттихъ):

Dir war der vogt von Berne je mit triuwen holt,
Er gap dir harte gerne sin silber und ouch daz golt,
Er liess dich sin gewaltec über bürge und lant (E. Martin, 27).

Изъ этого видно, что Видга, получивъ отъ Тидрека золото, землю и замки, поступилъ къ нему въ мужи, т. е. сдѣлалъ то-же, что́ Геймиръ. Но, какъ одолѣвавшій Тидрека, онъ, надо думать, получилъ болѣе, чѣмъ другіе. За вышеприведенными стихами въ той же поэмѣ слѣдуетъ еще одинъ, которымъ намекается на то, что у Виттиха въ свою очередь были служилые мужи:

Die küenen Wülfinge, die dienten dir dâ zehant.

Уже въ двухъ, намъ знакомыхъ похожденіяхъ Тидрека, достаточно выясняется его нравъ. При счастливой расправѣ съ Геймиромъ, ему любо-дорого было выказаться великодушнымъ; но при скоромъ появленіи вслѣдъ за тѣмъ другого пахвальщика, самолюбіе его направляется совершенно въ иную сторону: надо проучить всѣхъ другихъ смѣльчаковъ, становящихся наконецъ докучливыми; Гильдебрандъ же своими похвалами Видгѣ и совѣтами поуняться да посдержать свой задоръ, только болѣе раззадориваетъ Тидрека.

Замѣчательна нравственная двусмысленность Гильдебранда въ похожденіи съ Видгою, Съ одной стороны вѣрность Тидреку, своему *господину*, доводитъ его до предательскаго обманыванья новаго своего побратима (да и са-

мое это побратимство заключено какъ бы съ разчетомъ на то, чтобы тѣмъ удобнѣе сослужить службу Тидреку). Тутъ германское начало служилой вѣрности становится выше общечеловѣческаго начала названнаго братства. Но далѣе и это послѣднее начинаетъ брать свое, подъ конецъ-же недовольство гордостью своего *воспитанника* Тидрека, приводитъ Гильдебранда къ тому, что надъ нимъ уже рѣшительно беретъ верхъ, и возбуждаетъ даже раскаянье въ прошломъ, человѣчная, чувствомъ согрѣтая мысль о долгѣ названнаго брата.

Задѣтый за живое своею неудачею въ бою съ Видгой, Тидрекъ, чуть только зажили его раны, выѣхалъ изъ Берна, чтобы поискать себѣ на полѣ новыхъ встрѣчь и возвратить себѣ прежнюю славу. Ѣхалъ онъ дни и ѣхалъ ночи и наконецъ заѣхалъ въ дремучій лѣсъ, гдѣ обыкновенно выжидалъ себѣ супротивника могучій Экка, братъ еще болѣе могучаго Фазольда. Поѣхавъ за славой, Тидрекъ, какъ увидимъ сейчасъ, вначалѣ является только больше приниженнымъ подъ вліяніемъ неодолимаго страха. Заблудившись въ лѣсу, онъ наѣхалъ на Экку, и, спрошенный имъ объ имени, назвалъ себя Геймиромъ: «ѣду я по своему дѣлу къ отцу и вовсе не намѣренъ тебя затрогивать». А мнѣ, отвѣчалъ Экка, сдается, что ты самъ Тидрекъ, сынъ Тетмара; и ежели молва, идущая про тебя, вѣрна, то не слѣдовало бы тебѣ скрывать свое настоящее имя».—Вотъ опять свидѣтельство, что *назвать себя* далеко не всегда служитъ признакомъ желанія уклониться отъ боя, но можетъ напротивъ того выказывать и прямую готовность сразиться. И тутъ, какъ въ томъ случаѣ, который уже попался выше, спросъ объ имени можетъ заключать въ себѣ только желанье узнать, достаточно ли значительно званіе супротивника, чтобы стоило съ нимъ сражаться. — Скрывая въ настоящемъ случаѣ свое славное имя, столь заманчивое для такого задорнаго богатыря, какъ Экка, Тидрекъ, очевидно, выказываетъ нерасположеніе къ бою. Далѣе, принужденный наконецъ сказать правду, онъ повторяетъ, что не имѣетъ никакого злого умысла противъ Экки и ѣдетъ своею дорогою. Экка думаетъ подзадорить его тѣмъ, что намекаетъ на недавнюю его неудачу: «ты лишился отличнаго оружія въ томъ бою, теперь тебѣ представляется случай достать отъ меня не худшее, если удастся меня одолѣть».—Тогда Тидрекъ ссылается на темноту лѣса, которая помѣшаетъ имъ видѣть другъ друга, а неугомонный Экка расписываетъ всѣ достоинства своего оружія, пускаетъ въ ходъ всевозможныя средства, чтобы приневолить Тидрека къ бою: «конечно, продолжаетъ онъ, я пѣшкомъ, ты-же верхомъ, и легко можешь отъ меня ускакать: — но не честь-хвала молодецкая уклоняться отъ боя». А затѣмъ опять расхваливанье своего меча Эккисакса, работы того же карлы, которымъ былъ скованъ и тидрековъ Наглрингъ. Тидрека проняла наконецъ досада: «что ты расхвастался! видишь какой темный-претемный лѣсъ? Если жизнь тебѣ дорога, ты другой разъ не станешь вызывать меня такимъ образомъ. Чуть займется день, и давай отнимать другъ у друга, сколько удастся отнять». — «Ну такъ поѣзжай же теперь по добру по здорову, отвѣчаетъ Экка. А самъ между тѣмъ начинаетъ расказывать о своемъ поясѣ, въ которомъ у него зашито цѣлыхъ двѣнадцать фунтовъ золота: «побѣдишь, — и все будетъ твое». Только въ

концѣ концовъ Тидрекъ отваживается вступить въ бой—послѣ столь долгаго переполоха. Это совершенно соотвѣтствуетъ столь-же *продолжительному оробѣнію* Марка Кралевича въ нѣкоторыхъ юго-славянскихъ пѣсняхъ, и послѣ всего этого, кажется, уже окончательно дѣлается понятнымъ и несомнѣнно-подлиннымъ краткій испугъ Ильи. Муромца—при первой встрѣчѣ его съ Сокольникомъ.

Но чуть только разгорѣлось въ Тидрекѣ его богатырское сердце, какъ онъ яро хватилъ по камнямъ своимъ мечомъ, чтобы искрами освѣтить мѣсто боя. А тамъ засіяли молніи отъ мечей ихъ, а удары звучали громовыми перекатами. У обоихъ оружіе поломалось; наконецъ Экка повалилъ Тидрека: «сдайся съ оружіемъ и конемъ» Но добрый конь Тидрека не допустилъ такого позора. Порвавъ путы, которыми Тидрекъ его привязалъ передъ боемъ, онъ вдругъ подскочилъ и, ставъ на дыбы, такъ крѣпко ударилъ Экку передними своими копытами, что переломилъ ему становой хребетъ. А Тидрекъ между тѣмъ всталъ, отрубилъ Эккѣ голову и облекся въ его доспѣхи.

Это рѣшительно сходно съ помощью, оказанною Рустему конемъ его Ракшемъ въ бою съ дракономъ. Послѣдній накинулся на богатыря и уже одолѣвалъ его, но вотъ тутъ-то и сталъ вѣрный конь зубами рвать плечи дракону: это дало Рустему время опомниться и срубить наконецъ врагу голову (Mohl, I, 521). Такая же помощь отъ коня встрѣчается въ одной пѣснѣ сибирскихъ Сагайцевъ (Radloff II, 36; ср. I, 328).

Попавъ въ прежній лѣсъ, Тидрекъ наткнулся на брата Экки, Фазольда; завязался бой и Тидрекъ упалъ подъ ударами своего противника. Вспомнивъ однако же, что однажды онъ порѣшилъ не убивать и не грабить такихъ, которыхъ повалитъ сразу, Фазольдъ вдругъ ускакалъ отъ Тидрека. Черта великодушія, но великодушія въ чисто воинственномъ вкусѣ, основанная на презрѣніи къ ничтожности своего врага. Оскорбленный поступкомъ Фазольда, Тидрекъ, вставъ, поскакалъ за нимъ съ крикомъ: «чтожь, ты не намѣренъ мстить за своего брата?» Этимъ онъ сразу воротилъ Фазольда. Вновь завязавшійся бой окончился тѣмъ, что у Тидрека оказалось всего три раны, а у Фазольда цѣлыхъ пять. Послѣдній согласился сложить оружіе и сдѣлаться мужемъ Тидрека, но бернскій богатырь отвѣчалъ: «убивъ твоего брата, я не могу принять твоей службы; какъ я буду тебѣ довѣрять, не выплативъ тебѣ пени». Фазольдъ соглашается, чтобы Тидрекъ откупился отъ его мести. Всемогущею силою золота онъ обращается тутъ-же въ названаго брата Тидрека.

Сдѣлавъ дѣло, вернувъ себѣ славу бранную, Тидрекъ готовъ былъ вернуться въ Бернъ. Но удача богатырская послала ему вслѣдъ за тѣмъ не одно еще похожденіе. Первое, схватка со слономъ, съ одной стороны, по необычайности такого животнаго, указываетъ на какой нибудь посторонній, книжный источникъ [31]); съ другой же тутъ только повторяется паденіе Тид-

[31]) Рассманъ замѣчаетъ на стр. 422, что въ Anhang des Heldenbuchs на щитѣ у Орнита изображонъ слонъ. Извѣстно знаменитое начальное похожденье Рустема—торжество надъ слономъ (Mohl, I. 363—368). Слонъ этотъ—былъ царскій, сорвался ночью съ цѣпи и перепугалъ всѣхъ стражей; одинъ только юный Рустемъ-

река и освобожденье его помощію коня. Только въ одной изъ рукописей это, очевидно передѣланное изъ предыдущаго и надставленное безъ особой нужды, похожденіе служитъ, по крайней мѣрѣ, къ тому, чтобы дать первый случай Фазольду показать свою вѣрность Тидреку, хотя и тутъ окончательнымъ рѣшителемъ боя является конь.

Вскорѣ послѣ того между двумя знаменитыми мужами Тидрека—Геймиромъ и Видгою — происходитъ совершенный разрывъ, подготовленный уже въ то время, когда, въ схваткѣ Видги съ разбойниками, Геймиръ не захотѣлъ подать ему помощи. Теперь, когда Тидрекъ со своими сподвижниками сидѣлъ за столомъ на своемъ возвышенномъ мѣстѣ, а Геймиръ справлялъ обязанность кравчаго, Тидреку вздумалось вдругъ, вынувъ изъ ножонъ свой мечъ Нагльрингъ (стало быть онъ и обѣдалъ вооруженный), подарить этотъ славный мечъ Геймиру [32]). Всѣ остались довольны и благодарили за Геймира, только одинъ Видга обратился къ Нагльрингу, уже совсѣмъ какъ къ живому лицу, съ соболѣзнующимъ воззваніемъ: «бѣдный Нагльрингъ! кому ты достался!» И вслѣдъ за тѣмъ онъ расказалъ вслухъ о поступкѣ съ нимъ Геймира въ дѣлѣ съ разбойниками. «Что за позорное, низкое дѣло! воскликнулъ Тидрекъ,— не помочь въ бѣдѣ своему товарищу!» И тутъ-же онъ прогналъ отъ себя Геймира.

Не зная за что и приняться, чтобы вернуть себѣ славу, Геймиръ вдругъ поступилъ въ дружину къ разбойнику Инграму.—Вскорѣ ему представился случай убить и ограбить цѣлыхъ шестьдесятъ купцовъ, и Геймиръ нагрѣлъ себѣ руки. Онъ весело хвалился тѣмъ, что никогда еще не выказывалъ такой храбрости. Но вскорѣ не повезло ему у разбойниковъ. Онъ снова явился къ Тидреку и помирился съ нимъ. Ясно, что разбойничество не налагало на мужа пятна; это былъ только особый видъ воинственной дѣятельности,—особое средство къ добычѣ, или къ тому, чтобы поразмять плечо.

Между тѣмъ Тидреку предстояло добыть себѣ еще и новаго служилаго мужа—въ лицѣ молодого Тетлейфа, который, послѣ участія вмѣстѣ съ отцомъ въ пораженьи только что упомянутой шайки разбойниковъ, немедленно добылъ себѣ не меньшую славу одинъ—въ бою со старымъ Зигурдомъ. Отецъ его Битерульфъ, разставаясь съ нимъ, предупредилъ его, что на пути попадется ему замокъ этого Зигурда, стараго его сотоварища. «Ты найдешь тамъ огромный рогъ, затруби въ него; старикъ сейчасъ же выйдетъ къ тебѣ, а ты поскорѣе назови ему свое имя — пока еще не успѣетъ его пронять досада; а не то бѣда: у него сила двѣнадцати человѣкъ и ты съ нимъ не совла-

---

проснувшись отъ шума, ни мало не растерялся и одолѣлъ слона.—Но подробности тидрекова боя со слономъ совершенно иныя, а потому это похожденіе ни какъ не могло быть заимствовано изъ Шахъ-Намé. Рустемово похожденіе со слономъ скорѣе напоминаетъ юнаго Пипина, одолѣвшаго льва, вырвавшагося изъ клѣтки и приведшаго въ ужасъ всѣхъ, даже самого Карла Мартеля (въ chanson de geste o Berte aus grans pies, édition Paulin Paris, p. 4—6). Такой же левъ вырывается изъ звѣринца испанскаго короля, приводитъ въ ужасъ инфантовъ каріонскихъ и одолѣвается Сидомъ (Буслаева Сидъ, стр. 42).

[32]) Въ главѣ 188-й указывается на эпически-важную услугу, оказанную Тидреку Геймиромъ и поясняющую, можетъ быть, надѣленіе его «Нагльрингомъ»: Геймиръ надѣлилъ Тидрека его славнымъ конемъ Фалькою, котораго добылъ онъ для своего господина у отца своего Студы, знаменитаго смотрителя коней у Брюнгильды. Вотъ за это-то, замѣчается въ упомянутой главѣ, Тидрекъ вознаграждалъ Геймира неоднократно. (Rassmann II, 476).

даешь.» Но это-то, разумѣется, и заставляетъ Тетлейѳа—не открывать Зигурду настоящаго своего имени, чтобы не причесться ему въ друзья и тѣмъ самымъ не уклониться отъ боя, на который отецъ своими предостереженіями только сильнѣе его разохотилъ. Вотъ и еще новый видъ сказанія о боѣ между близкими—старымъ и малымъ (это-то и соотвѣтствуетъ въ нашей загѣ тому бою Дитлейба (нѣмецкая ѳорма) съ отцомъ, о которомъ говорится въ нѣмецкой поэмѣ (см. предыдущую главу). Тутъ старый подозрѣваетъ, что передъ нимъ сынъ его названаго брата, какъ бы племянникъ названый, и даже прямо спрашиваетъ: «не сынъ ли ты Битерульѳа?» но юноша отнѣкивается, потому что для него особенно лакомъ бой съ такимъ силачомъ, какъ отцовъ побратимъ. Бьются упорно съ равномѣрною силою, съ роздыхомъ; наконецъ Зигурдъ, уже очень уставъ и немного раненный, приглашаетъ Тетлейѳа къ себѣ на ночлегъ. На самомъ же дѣлѣ онъ вспомнилъ, что дома имъ былъ позабытъ талисманъ—*камень дающій побѣду.* Это соотвѣтствуетъ той части силы, которая была оставлена Рустемомъ, такъ сказать, про запасъ, и снова пущена въ оборотъ противъ Зораба [33]). Но Тетлейѳу достается другая, лучшая участь: на сторону его переходитъ дочь Зигурда, которая, пользуясь крѣпкимъ, отъ опьяненія, сномъ отца, похищаетъ у него изъ кармана чудесный камень и надѣляетъ имъ Тетлейѳа. Она является одною изъ длиннаго ряда тѣхъ измѣнницъ эпическихъ, которыя выдаютъ тайну близкаго имъ человѣка, какъ сдѣлала Далида съ Самсономъ, и кое-какія женщины въ сербскихъ и русскихъ сказаніяхъ (что̀ еще будетъ указано впереди). Но въ нашей загѣ измѣна смягчается уже тѣмъ, что дочь Зигурда предварительно узнаетъ о родствѣ съ нимъ Тетлейѳа и можетъ разсчитывать на пощаду съ его стороны къ отцу. Напротивъ того въ chansons de geste очень много женщинъ—обыкновенно это дочери королей сарацынскихъ—совершенно позабывающихъ, ради христіанскаго добраго молодца, которому онѣ отдаются, своихъ, становящихся имъ чужими, отцовъ,—до того, что готовы даже сами требовать ихъ смерти. Такова, напримѣръ, Флорипара въ пѣснѣ о Фьерабрасѣ. — Что̀ касается дочери Зигурда, то другимъ своимъ поступкомъ—тѣмъ, что, являясь къ Тетлейѳу ночью, она прямо укладывается рядомъ съ нимъ на постель (безъ всякаго неблаговиднаго умысла — смягчительно поясняетъ зага), она роднится съ тѣми, предлагающими себя, эпическими красавицами, къ разряду которыхъ относится и Темина, жена Рустема.— При первой же встрѣчѣ съ Тетлейѳомъ, эта красная дѣвица явилась могучею паленицей: догадываясь, что отецъ потерпѣлъ пораженіе, она накинулась на незнакомца съ такою силою, что онъ свалился на землю. Зато, поднявшись, Тетлейѳъ самъ ее такъ отработалъ, что кровь выступила у нея изъ подъ ногтей; она взмолилась о пощадѣ, и онъ, разсуждая, что вовсе не славное дѣло убить женщину, отпустилъ паленицу съ миромъ. И послѣ такой-то встрѣчи, они преспокойно идутъ за столъ вмѣстѣ съ Зигурдомъ; вотъ тутъ-то дѣвица и заглядывается на Тетлейѳа, затѣмъ является къ нему ночью и наконецъ становится его помощницей противъ отца.

[33]) Mohl, II, 167—169 См. въ предыдущей главѣ стр. 7, примѣч. 12.

По утру—всѣ трое дружелюбно ѣдятъ за однимъ столомъ, а прямо изъ за стола Зигурдъ съ Тетлейфомъ отправляются на поле боя. Новая схватка развязывается окончательнымъ пораженіемъ Зигурда. Тогда только Тетлейфъ называетъ ему себя. Зигурдъ радъ видѣть родственника и предлагаетъ ему руку дочери, а съ нею и множество золота.

Вотъ такого-то богатыря, послѣ подобнаго похожденія, (не смотря на невѣсту) неудержимо влечетъ къ себѣ слава Тидрека. Онъ спѣшитъ отыскать его, застаетъ на пути къ Эрминреку, дядѣ Тидрека, и предлагаетъ себя бернскому богатырю въ служилые мужи—смотрѣть за его оружіемъ и конями. Тидрекъ согласенъ, и Тетлейфъ отправляется съ нимъ и его мужами къ Эрминреку. Тутъ представляется юношѣ случай показать, что такъ страстно стремившись на службу, онъ только слѣдовалъ той силѣ косности, какая принадлежитъ укоренившемуся обычаю, въ сущности же не разучился любить независимость, потому что не лишился силы ее отстаивать. Пока Тидрекъ съ различною знатью пировалъ за столомъ у дяди, служилому люду было отведено помѣщенье въ конюшнѣ. Вмѣсто того, чтобы ходить во дворецъ за пищею, Тетлейфъ рѣшилъ употребить свое собственное добро на покупку припасовъ себѣ и своимъ сотоварищамъ. А такъ какъ эпическіе пиры длятся днями, и эпическій аппетитъ не дуренъ, то средствъ у Тетлейфа наконецъ не стало. Тогда онъ сталъ постепенно закладывать—и уже не свое, а чужое добро: сперва коня Геймира, потомъ коня Видги, а тамъ и тидрекова, а за нимъ и весь запасъ платья, взятый въ дорогу Тидрекомъ. Когда кончился наконецъ долгій пиръ и Тидрекъ, собравшись домой, велѣлъ Тетлейфу осѣдлать коней, тотъ открылъ ему все, какъ было: «чѣмъ-же, пока вы тамъ пировали, питался бы я съ товарищами?»—Геймиру это пришлось по нраву: «славнаго добыли мы слугу»—нашелъ онъ. Но Эрминрекъ остался не совсѣмъ-то довольнымъ: ему, какъ хозяину, пришлось расплачиваться за Тетлейфа и выкупать заложенныя имъ вещи. «Какъ это тебя угораздило столько проѣсть въ девять дней?» спросилъ Эрминрекъ. А Тетлейфъ въ отвѣтъ: «сдается мнѣ, что всегда былъ обычай у знатныхъ мужей, при встрѣчѣ съ кѣмъ либо, сперва пригласить его сѣсть за столъ, а потомъ уже разговаривать.»—Проученный такимъ образомъ, Эрминрекъ велѣлъ подать и поѣсть и попить Тетлейфу, а тотъ и поѣлъ за троихъ, и сразу осушилъ такую чарочку, которую насилу принесъ слуга.

Нельзя не замѣтить, что образъ Тетлейфа становится тутъ довольно близкимъ къ разряду объѣдалъ и опивалъ сказочныхъ; что-же касается его поступленія на службу, то, такъ какъ онъ поступаетъ не въ *мужи*, а просто въ *слуги*, то тутъ—нѣчто выходящее изъ ряда бытовой вассальной служилости. Тетлейфъ соприкасается тутъ съ повсемѣстнымъ эпическимъ типомъ *приниженнаго на время молодца*. (Такимъ молодцемъ пришлось быть въ первой юности и Роланду, и Карлу Великому). Приниженье однакожь кончается, какъ мы видѣли, тѣмъ, что Тетлейфъ даетъ себя знать королю Эрминреку.—За честь послѣдняго вступается племянникъ его по сестрѣ, Вальтари. Онъ вызываетъ Тетлейфа помѣряться съ нимъ въ искусствѣ метанья шеста и камня (игра весьма древняя, особливо послѣдняя, такъ какъ ею занимается даже

Брюнгильда въ Эддѣ); въ закладъ - буйная голова. Тетлейфъ выигрываетъ, и Вальтари приходится сложить свою голову. Эрминрекъ предлагаетъ за него выкупъ—сколько Тетлейфъ захочетъ. Тотъ добродушно согласенъ пощадить такого славнаго молодца, но, по германской привычкѣ къ добычѣ, не отказывается и отъ выкупа, предоставляя только Эрминреку заплатить по своему усмотрѣнію. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ настаиваетъ и на выкупѣ Эрминрекомъ заложеннаго имъ оружья и прочаго. Эрминрекъ согласенъ на все. Выкупивъ вещи, онъ выплачиваетъ Тетлейфу и всѣ тѣ деньги, которыя тотъ проѣлъ изъ собственнаго своего кармана. Вслѣдъ за тѣмъ Эрминрекъ посвятилъ его въ рыцари, а Тидрекъ принялъ его къ себѣ *во товарищи*. Наконецъ они вмѣстѣ вернулись въ Бернъ.

---

Всѣ эти, только что переданныя похожденія Тетлейфа, составляли, надобно думать, особый пѣсенный кругъ, въ которомъ ему принадлежало первое мѣсто. Къ вящему его возвеличенію служитъ наконецъ и жалкое положеніе, достающееся, по неудачномъ состязаніи съ нимъ, племяннику Эрминрека, Вальтари. Между тѣмъ объ этомъ послѣднемъ, а именно объ его первой молодости, имѣется наоборотъ сказаніе, представляющее его самымъ удалымъ воиномъ. Оно вошло даже и въ нашу загу, (гдѣ помѣщено не на мѣстѣ, какъ какая-то вставка, гл. 241 — 244) но въ видѣ уже значительно искаженномъ, не полномъ. Совсѣмъ не то поэма X вѣка, гдѣ, не смотря на обработку въ латинскихъ стихахъ, со служащимъ заглавіемъ облатыненнымъ именемъ героя **Waltharius**, эпическая основа преданія сохранилась прекрасно. Лучшимъ признакомъ той бережности, съ какою обошелся съ ней книжный ея возсоздатель монахъ (кто такой былъ онъ — одинъ ли изъ Эккегардовъ санъ-галленскихъ, или Геральдъ, или наконецъ надо признать тутъ руку всѣхъ ихъ троихъ, этотъ вопросъ для насъ не имѣетъ важности. [34]) Лучшимъ признакомъ уваженія этого духовнаго лица къ *преданію* служитъ то, что, позволивъ себѣ, это правда, кое-какія заимствованія у Виргилія, [35]) онъ умѣлъ воздержаться отъ *охристіанствованія*, проглядывающаго у него всего въ какихъ-нибудь трехъ-четырехъ мѣстахъ. Я. Гриммъ, указывая на нихъ въ своемъ прекрасномъ изданіи (стр. 78), замѣчаетъ, что даже перекрещиванью подносимаго вина (оно встрѣчается въ 225 ст. поэмы) соотвѣтствовало въ языческихъ германскихъ обычаяхъ осѣненіе себя знакомъ молота, этой священной принадлежности бога Тора. На черты языческой старины, прекрасно сохранившіяся въ поэмѣ, указано у Гримма подробно. Вообще же онъ заключаетъ о ней: «поэтическое произведеніе столь стройно-послѣдовательнаго содержанія, не могло быть измышленіемъ какого нибудь монаха, оно

---

[34]) См. у Якова Гримма и Андрея Шмеллера въ Lateinische gedichte des X Jahrh. Cassel 1837 на стр. 57 и слѣд.; также у Дюмериля въ Poésies populaires latines antérieures au XII siècle Paris 1843, p. 316.

[35]) Они указаны у Гримма тамъ-же, стр. 65—67. и у Дюмериля—въ разныхъ мѣстахъ.



должно было уже ранѣе жить, какъ нѣмецкая пѣсня, въ народѣ,» (стр, 99). Прямое указаніе на устный источникъ видитъ Гриммъ въ выраженіяхъ—**narrant** (стих. 78), **referunt** (688), особливо же въ послѣднемъ стихѣ: **haec est Walthärii poësis**, служащемъ, по мнѣнію его, только переводомъ съ нѣмецкаго: **daz ist Walthаries liod**. Совершенно согласно съ Гриммомъ и мнѣніе извѣстнаго французскаго ученаго Дюмериля, при своемъ изданіи поэмы **Waltharius** имѣвшаго въ виду, кромѣ 6-и рукописей, извѣстныхъ Гримму, еще седьмую, остававшуюся ему неизвѣстною. [36]).

Поэма начинается описаніемъ могущественнаго царства Аттилы, — не историческаго, конечно, но все же болѣе напоминающаго знаменитаго завоевателя, чѣмъ Аттила, съ которымъ мы еще встрѣтимся въ Тидрекъ-Загѣ, а равнымъ образомъ въ Эддѣ и въ позднѣйшихъ нѣмецкихъ поэмахъ (въ послѣднихъ онъ—Этцель, въ Эддѣ—Атли). Тѣмъ не менѣе Дюмериль и тутъ считаетъ нужнымъ замѣтить, что «по исландски **adha**, **adla**, **edla**—*благородный*, *судья*, *отецъ*, и въ то время, когда всѣ имена имѣли опредѣленный смыслъ, вѣроятно часто называли такъ королей.» «А можетъ быть и то, продолжаетъ Дюмериль, что первоначально это имя было **atall**—сильный, храбрый.... Впрочемъ въ поэтическихъ произведеніяхъ, относящихся къ столь отдаленной эпохѣ, трудно отличить миѳъ отъ исторіи: великая слава Аттилы легко могла повести къ тому, что ему-же были приписаны похожденія другихъ королей сѣвера». (стр. 317). Имя жены Аттилы въ нашей поэмѣ — Оспиринъ—означаетъ, по толкованію Гримма, (**Mythol.** 385): небесная медвѣдица. Въ Тидрекъ-загѣ она, какъ мы увидимъ,—Герка, въ нѣмецкихъ поэмахъ—*Гельха*, а это имя можетъ быть сроднымъ съ греч. Ἑλίκη, и тогда оно въ свою очередь означало бы большую медвѣдицу [37]). Это, повидимому, указываетъ на миѳическую основу. Наконецъ Гриммъ замѣчаетъ, что имя народа, управляемаго Аттилою—то Гунны, то Авары, служитъ также и именемъ великановъ (таковы Обры у нашего Нестора); впрочемъ латинскій возсоздатель поэмы не знаетъ этого [38]).

Мѣстность въ «Вальтаріѣ» уже исторически и географически опредѣленная. Изъ Панноніи Аттила посылаетъ свои войска за Рейнъ — противъ Франковъ, Бургундовъ и Аквитанцевъ. Приведенные въ ужасъ такимъ нашествіемъ, всѣ три народа предлагаютъ обильную дань и заложниковъ. Отъ Франковъ отправляется къ Аттилѣ, за малолѣтствомъ королевскаго сына, юноша изъ знатнѣйшихъ служилыхъ мужей — *Гаганонъ*. [39]) Отъ Бургундовъ ѣдетъ заложницей сама королевская дочь Гильтгунда, а отъ Аквитанцевъ королевскій же сынъ Вальтарій (сканд. Вальтари, нѣм. Вальтеръ) — герой поэмы. Оба они уже въ дѣтствѣ были предназначены другъ для друга родителями— черта чрезвычайно древняя и въ эпическомъ, и въ бытовомъ отношеніи, но

---

[36]) Четыре рукописи—не полныя. Самыя древнія — XII ст.—Waltharius занимаетъ у Дюмериля въ его Poésies populaires latines antérieures au XII siècle стр. 313—377.

[37]) Grimm, Lateinische gedichte, 119; ср. 126.

[38]) Grimm ibidem, 120. Mythol. 300,700. У Дюмериля особое толкованіе имени Гунны: les barbares étaient constamment á cheval, et on les appelait les Cavaliers, les Chevaux; Huni ou Chuni du slave kun, kon, kony, cheval; les Gots et les Scythes de l'islandais goti, skioti, qui ont la même signification, etc. (p. 324).

[39]) Grimm, lat. ged., 118. (Въ нѣм. формѣ Гагенъ).



уцѣлѣвшая и до сихъ поръ въ дочернихъ словахъ одной изъ нашихъ свадебныхъ пѣсень: «вы тогда меня (родители) пропили (т. е. скрѣпили виномъ просватанье), когда мать спородила. [40]) Заложники приняты у Аттилы превосходно — соотвѣтственно своему званію. Вальтарій поставленъ во главѣ храбрыхъ дружинъ и вскорѣ, не смотря на свою молодость, отличается необыкновенною боевою удатностью. Гильтгундѣ ввѣрено смотрѣніе за златомъ-сѐребромъ королевы Гельхи. Но вотъ черезъ нѣсколько лѣтъ умираетъ король Франковъ. Наслѣдникъ его Гунтарій (Гунтаръ, Гунтеръ) отказываетъ Аттилѣ въ дани. Пользуясь этимъ, франкскій заложникъ Гаганонъ спѣшитъ бѣжать отъ Аттилы и благополучно возвращается во свояси. — Боясь, чтобы того-же не сдѣлалъ Вальтарій, Оспирина совѣтуетъ королю женить его на какой-нибудь знатной паннонкѣ и при этомъ надѣлить землями. Дюмериль замѣчаетъ, что древніе сѣверные короли имѣли право женить по своему усмотрѣнію служилыхъ своихъ людей; а въ намѣреніи надѣлить Вальтарія землями видитъ онъ указаніе на отдаленную древность ленныхъ отношеній. Все это такъ—но надежда посредствомъ *брака* привязать Вальтарія къ Панноніи должна быть измышленіемъ автора, а не народно-эпическою чертою: какъ Рустема, Одиссея, Ана стрѣлка, такъ и вообще эпическихъ героевъ мало стѣсняютъ брачныя узы;—захотятъ и уѣдутъ себѣ отъ жены на долгое время, да еще заведутъ себѣ новую подругу и новую семью. Вальтарій также точно не въ духѣ эпоса отвѣчаетъ на предложеніе Оспирины, что женившись онъ не могъ бы уже съ прежнимъ рвеньемъ служить королю. Какъ бы то ни было, Аттилу это успокоиваетъ, а Вальтарій, между тѣмъ, по возвращеніи изъ новаго удачнаго похода, уговаривается съ Гильтгундою на счетъ побѣга, а также и брака по возвращеніи домой. По его желанію, она должна похитить изъ сокровищницы Оспирины многія драгоцѣнности—сколько, по разчету его, можетъ вынести лошадь. Такое похищеніе—съ цѣлію вознаградить себя за вынужденную подать и плѣнъ, а вмѣстѣ и наказать врага—черта довольно обычная въ разнонародныхъ преданіяхъ. Не менѣе обычно и средство, къ какому прибѣгаетъ Вальтарій, чтобы скрыть свое бѣгство: онъ задаетъ пиръ Аттилѣ и его мужамъ и опаиваетъ ихъ до безчувственности. Они просыпаются только на другой день. Хватившись бѣжавшихъ, Аттила обѣщаетъ тому, кто нагонитъ ихъ:

Hunc ego mox auro vestirem saepe recocto
Et tellure quidem stantem hinc inde onerarem,
Atque viam penitus clausissem vivo talentis (ст. 405—407).

Гриммъ (стр. 80) видитъ тутъ нѣчто общее съ древнимъ германскимъ обычаемъ, указаннымъ въ его Древностяхъ Германскаго Права и отличающимся поэтическою образностью и гиперболизмомъ: въ вознагражденіе за убитаго, покрывали золотомъ весь его трупъ, если же убито животное, то его набивали золотомъ. Въ нашей поэмѣ слово vivo, какъ замѣчаетъ Гриммъ, указываетъ на то, что тутъ чистымъ золотомъ (recocto auro) долженъ

---

[40]) См. въ моей Христом. стр. 20 и въ моемъ Истор. Обозр. Русской Словесности стр. 106.

быть одѣтъ (vestitus) *живой*, и при томъ такимъ образомъ: по обѣимъ сторонамъ его, стоящаго на землѣ, должно быть насыпано столько золота, чтобы ему была совершенно преграждена дорога[41]). Но кто тутъ этотъ *стоящій живой*: тотъ ли, кто поймаетъ Вальтарія, или же самъ Вальтарій? У Гримма это остается какъ-то неяснымъ, я-же думаю, что скорѣе такое нагроможденіе должно быть совершено вокругъ пойманнаго Вальтарія, какъ цѣна его тѣла, доставляемаго живымъ[42]). Если подобнаго рода обсыпаніе золотомъ и есть поэтическое преувеличеніе, то все-же оно указываетъ на множество сокровищъ, сгромождавшихся у знаменитыхъ вождей въ силу воинскаго начала добычи.—Между тѣмъ, не смотря на бытовое стремленіе къ ней и бытовую готовность сражаться, никто не отваживается и изъ за такого количества золота пуститься въ погоню за такимъ неприступнымъ бойцомъ, какъ Вальтарій. Онъ преспокойно совершаетъ свой путь, сидя на одномъ конѣ съ Гильтгундою и прокармливая и себя и ее рыбной ловлей. Такимъ образомъ достигаютъ они Рейна, при переправѣ черезъ который близь Вормса (тутъ, какъ замѣчаетъ Гриммъ, совершенно географическая опредѣленность мѣста) Вальтарій платитъ за перевозъ рыбою. Перевозчикъ продаетъ ее повару короля Гунтарія, и рыба такимъ образомъ появляется за королевскимъ столомъ. Гунтарій съ удивленіемъ замѣчаетъ, что подобнаго рода рыбы не водится въ странѣ Франковъ. Начинаютъ справляться, гдѣ взяли такую рыбу, и узнаютъ про загадочнаго всадника съ дѣвою и тяжелою поклажею на конѣ. И Гагавонъ, бѣжавшій, какъ мы уже знаемъ, раньше Вальтарія, и король—его господинъ—сейчасъ же догадываются, кто это. У Гаганона вырываются изъ груди слова: «возрадуйтесь вмѣстѣ со мной,—Вальтарій, мой бывшій товарищъ, ѣдетъ обратно отъ Гунновъ». (Они, какъ оказывается, заключили во время своего плѣна у Аттилы, союзъ боевого братства). Радуется и Гунтарій, но радостію совершенно другого рода:

Congaudete mihi, jubeo, quia talia vixi.

Послѣднія слова, по замѣчанію Гримма, (стр. 68) прямой переводъ съ нѣмецкаго: weil ich solches erlebte. Замѣчательно также это *jubeo*, выражающее королевскій приказъ радоваться вмѣстѣ съ нимъ потому, что онъ дожилъ до слѣдующаго:

Gazam quam Gibicho regi transmisit eoo
Hanc nunc Cunctipotens huc, in mea regna, remisit.

Это одинъ изъ рѣдкихъ въ нашей поэмѣ примѣровъ христіанской примѣси: *Всевышній* возвращаетъ мнѣ тѣ сокровища, которыя нѣкогда отправилъ туда, (т. е. къ Гуннамъ) Гибихонъ (отецъ говорящаго). И вотъ, вскакивая изъ за стола и едва его не опрокидывая (т. е. *обезчещивая столы*, какъ выражаются въ подобныхъ случаяхъ наши былины), Гунтарій посылаетъ

---

[41]) У Гримма въ Rechtsalterthümer 672—73 приведены и такіе примѣры, что заваливали золотомъ сидящаго на конѣ и даже съ копьемъ въ рукахъ, и заваливали яко бы по самое остріе копья.

[42]) Не понимаю, на какомъ основаніи Дюмериль говоритъ: «Attila donnerait autant d'or pour payer la mort de Waltharius que son vainqeur eût été obligé d'en donner pour se racheter de tout châtiment si ce meurtreu 'eut pas éte légitime». Думаю, что ему нуженъ Вальтарій живой, на что даже прямо указывается словами: clausissem vivo.



двѣнадцать (эпическое число) избранныхъ молодцевъ, чтобы потребовать у Вальтарія выдачи всѣхъ сокровищъ. Гриммъ-уподобляетъ руководствующее имъ побужденіе тому, какое онъ справедливо видитъ въ похищеніи сокровищъ Вальтаріемъ. Это побужденіе—желаніе возвратить свое, когда-то насильно отнятое. Только относительно Гунтарія знаменитый ученый едва ли правъ. Ему нѣтъ никакого основанія думать, что Вальтарій везетъ обратно отъ Гунновъ собственно ту часть сокровищъ, которую отправилъ съ нимъ Гибихонъ. Не менѣе было отправлено съ нимъ и отцами Вальтарія и Гильтгунды, а Гунтарій хочетъ всего—онъ даже требуетъ у Вальтарія коня и самой Гильтгунды [43]) .Ясно, что это не что иное, какъ голая, грубая жажда добычи. При приближеніи мужей Гунтарія, Гильтгунда уже догадывается, что ее ожидаетъ обычная участь плѣнницъ (участь Гомеровой Бризеиды и столькихъ другихъ въ эпическихъ произведеньяхъ съ воинственною подкладкой). Она умоляетъ своего жениха поскорѣе убить ее:

> Ut, quae non merui pacto thalamo sociari,
> Nullius ulterius [44]) patiar consortia carnis.

Тутъ, очевидно, та-же величавая оборона дѣвственной чести, объ эпическомъ значеніи которой говорено было выше—по поводу «обиды великой» Сокольника. Вальтарій-же является въ нашей поэмѣ однимъ изъ эпическихъ образцовъ мужескаго самообладанія и цѣломудрія: про него говорится въ ст. 425—26:

> ....fugae toto se tempore virginis usu
> Continuit vir Waltharius, laudabilis heros.

Въ отвѣтъ на отчаянную просьбу невѣсты, Вальтарій выказываетъ надежду на свою молодецкую руку и на помощь Божію Между тѣмъ Гагенонъ, оставаясь вѣрнымъ братству названому, старается отклонить своего господина отъ погони за Вальтаріемъ. Не достигнувъ этого, онъ по крайней мѣрѣ самъ не принимаетъ, пока, никакого участія въ нападеніи на своего друга. Вальтарій, нежданно настигнутый цѣлою дюжиной молодцевъ, оказывается однакоже хорошо обороненнымъ отъ нихъ тою мѣстностью, которую совершенно нечаяннымъ образомъ выбралъ онъ для ночлега. Это была пещера, гдѣ онъ и легъ, утомленный, положивъ голову на колѣни къ Гильтгундѣ и поручивъ ей бодрствовать и разбудить его, чуть только замѣтитъ она **nebulam atram** — *черниэину* въ полѣ, какъ говорится въ нашихъ былинахъ. Этотъ сонъ на колѣняхъ у дѣвицы—картина чисто эпическая; недостаетъ только слезы, падающей изъ ея глазъ на богатыря и служащей къ его пробужденію, чтобы совершенно уподобить эту картину отдыху сказочнаго Ивана или Егорія духовныхъ стиховъ. Разбуженный Гильтгундой, Вальтарій, вскочивъ, занимаетъ мѣсто въ томъ узкомъ проходѣ въ пещеру, благодаря которому подойти къ нему и сражаться можно только по одиночкѣ. Гильтгунда между тѣмъ остается въ глубинѣ пещеры. Главнымъ образомъ изъ со-

---

[43]) Cum scriniolis equitem des atque puellam (стихъ 602) также въ другомъ мѣстѣ: nec solum parmam sed equum cum virgine et auro reddes, tum demum scelerum cruciamina pendes (ст. 819 и 820).

[44]) У Дюмериля послѣ этого въ скобкахъ alterius съ вопросительнымъ знакомъ (стр. 341).

страданія къ ней, надо думать, Вальтарій обнаруживаетъ нѣкоторую уступчивость. Спрошенный обычнымъ эпическимъ спросомъ: «кто ты и откуда»? (quisnam sis? aut unde venis?); а также: «куда ѣдешь»? (quo tandem pergere tendis), онъ отвѣчаетъ, что хотя и не видитъ причины распрашивать такимъ образомъ путешественника, но не боится назвать себя, — и называетъ (И тутъ опять спросъ имѣетъ то скорѣе вызывающее къ бою значеніе, примѣры котораго мы уже видѣли въ Тидрекъ-Загѣ). — На требованіе выдачи всего своего достоянія, Вальтарій отвѣчаетъ предложеніемъ королю почетнаго подарка изо ста золотыхъ обручей; когда-же этого показалось мало, онъ предлагаетъ двѣсти. — Мы видѣли изъ разбора пѣсни о Гильдебрандѣ, что обручи (bouga) предлагаются также и этимъ знаменитымъ воиномъ въ даръ Гадубранду. (Дюмериль утверждаетъ, что обручи этого рода (поручи воинскіе) употреблялись въ древности вмѣсто денегъ, и приводитъ множество примѣровъ какого употребленія изъ различныхъ германскихъ памятниковъ; онъ полагаетъ наконецъ, что отголоскомъ того же служитъ французское выраженіе: avoir les bagues sauves (стр. 343). — Когда-же Гунтарій настоятельно требуетъ у Вальтарія *всего*, то онъ принужденъ наконецъ обороняться. Надо полагать, что только благодаря ущелью, въ которомъ находится Вальтарій, не нападаютъ на него всѣ двѣнадцать разомъ. Въ нашей поэмѣ еще мало замѣтно то воинское великодушіе, которое, развившись въ позднѣйшую пору, требовало боя одинъ на одинъ съ равносильными средствами. Мы видѣли нѣкоторые признаки такого великодушія, какъ одного изъ требованій утонченно-развившейся воинской чести, въ кое-какихъ мѣстахъ Тидрекъ-Заги. Гриммъ (стр. 76) указываетъ и въ нашей поэмѣ на стихъ 1283, въ которомъ, видя, что противники слѣзаютъ съ коней, и Вальтарій слѣзаетъ съ своего коня,—для того, по мнѣнію Гримма, чтобы бой былъ равный. Но такимъ образомъ поступаетъ тутъ только Вальтарій. Что́ касается мужей Гунтарія, то они, видя безуспѣшность нѣсколькихъ поединковъ съ Вальтаріемъ, пускаютъ въ дѣло противъ него, уже общими силами, цѣлую машину, состоящую изъ крюковъ, закидываемыхъ посредствомъ тройнаго каната; [45]) вотъ этимъ-то канатомъ и управляютъ многіе—чтобы на немъ притянуть къ себѣ Вальтарія, зацѣпившись крюками за его щитъ (стих. 983). Тутъ, кажется, нѣтъ еще и тѣни воинскаго великодушія. Эпическая основа нашей поэмы отличается еще самой первобытной воинственностью, съ чѣмъ въ сущности согласенъ и Гриммъ, говоря про черты старины въ поэмѣ: besonders erscheint noch das kriegerleben in einfacher roheit (стр. 72). Сюда относятся въ ней отмѣчаемыя у Гримма: почти постояное отрубленіе головы уже поверженному на землю врагу (причемъ она придерживается за волосы), или же попиранье ногою его спины (pede collum), или же удушеніе его гривною (ожерельемъ). Принадлежностью той же первобытной поры оказывается у сражающихся обоюдная брань, насмѣшки и хвастовство (Гриммъ, 76), имѣющіяся, какъ мо-

[45]) Не сродни ли этому triplici fune tridenti употребительная въ сербскихъ пѣсняхъ трострука канджія? Можно отчасти вспомнить при этомъ и наши тяги желѣзныя въ одной изъ былинъ про бой Ильи съ сыномъ. Только тамъ употребляются онѣ все-таки одинъ на одинъ.



гли мы замѣтить, и въ нашихъ былинахъ, гдѣ все это составляетъ принадлежность *нахвальщика*. Что же касается весьма употребительнаго въ «Вальтаріѣ» сниманія съ противника вооруженья и отнятія у него коня, то съ этимъ мы нерѣдко встрѣчались и въ Тидрекъ-Загѣ. Также напоминаетъ ее въ стихѣ 781-мъ выпрашиваніе себѣ заранѣе у Гунтарія однимъ изъ его мужей щита — еще только въ воображеніи побѣждаемаго Вальтарія: точно такъ въ воображеніи же дѣлили, какъ видѣли мы, разбойники вооруженіе и даже части тѣла Видги (на это сходство указываетъ Гриммъ на стр. 273).

Относительно послѣдовательныхъ двѣнадцати поединковъ Гриммъ замѣчаетъ, что каждый изъ нихъ отличается чертами своеобразными: одни изъ супротивниковъ Вальтарія дѣйствуютъ изъ жажды добычи, другіе — изъ мести за убитыхъ уже, или кровныхъ, или названыхъ братьевъ, третьи — изъ повиновенія своему господину.

Гаганону, какъ видѣли мы, долгъ названаго братства не позволяетъ повиноваться Гунтарію. Напрасно король попрекаетъ его отцомъ, трусости котораго онъ будто бы вознамѣрился подражать. Это возбуждаетъ въ Гагановѣ не что иное, какъ гнѣвъ, если только, замѣчаетъ поэтъ, кому либо позволительно гнѣваться на своего господина:

Si tamen in dominum licitum est irascier ulli [46]) (стих. 345).

Но ежели тутъ такимъ образомъ самъ поэтъ какъ бы проникается сознаніемъ святости одного изъ основныхъ началъ древне-германскаго быта, то въ другомъ мѣстѣ онъ влагаетъ въ уста Гаганону такую выходку, которая рѣшительно невозможна въ устахъ истаго воинственнаго германца. Удивительно, какъ ни Гриммъ, ни Дюмериль не почувствовали, что она не могла принадлежать народно-эпической основѣ поэмы, а составляетъ въ своемъ родѣ благочестивое разсужденіе поэта-монаха. Разсужденье такого рода приписываетъ онъ Гаганону въ то время, когда, послѣ пятерыхъ сотоварищей, полегшихъ отъ могучей руки Вальтарія, шестымъ выступаетъ противъ него сынъ сестры Гаганона, молодой Патавридъ. «О ненасытная жажда добычи, проповѣдуетъ Гаганонъ, разверзтая пасть сребролюбія, пружина всяческихъ золъ!..... Каждому мало того, что имѣетъ: никто не боится встрѣтиться съ лютою смертью изъ за поживы. Чѣмъ болѣе добыто, тѣмъ жгучѣе становится жажда добычи...... И я вотъ не въ силахъ удержать отъ боя любезнаго мнѣ племянника, такъ какъ ты его подстрекаешь, лютая алчность! И вотъ онъ спѣшитъ, ослѣпленный, вкусить злополучную смерть, и изъ за суетной славы хочетъ сойти въ міръ тѣней». [47]) Уже изъ тѣхъ немногихъ частей германскаго эпоса, которыя успѣли мы разсмотрѣть, достаточно, кажется, явствуетъ, что называемое тутъ пружиною всяческихъ золъ стремленье

[46]) Такъ у Дюмериля—по брюссельской рукописи—а у Гримма: ullum.

[47]) O vortex mundi, fames insatiata habendi,
Gurges avaritiae, cunctarum fibra malorum!
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . nullique suum jam sufficit: ecce
Non trepidant mortem pro lucro incurrere turpem.
Quanto plus retinent, tanto sitis ardet habendi.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ecce ego dilectum nequeo revocare nepotem;
Instimulatus enim de te est, o saeva cupido!
En coecus mortem properat gustare nefandam,
Et vili pro laude cupit descendere ad umbras
(ст. 857—871)

къ *поживѣ чужимъ,* есть вмѣстѣ съ тѣмъ и одна изъ главнѣйшихъ пружинъ древне-германскаго быта; другая же пружина его — жажда славы, которая только германцу-монаху могла показаться суетною. Изслѣдователи германскіе указываютъ въ древне-германскомъ быту и еще на одну превозносимую ими пружину — *служилую вѣрность,* но и она вѣдь въ сущности сводится не къ чему иному, какъ къ той-же краеугольной жаждѣ добычи. Въ сущности вѣдь и она—только вѣрность изъ за получки.—Но Гаганонъ, какъ мы видѣли, отрекается — не на словахъ, а на самомъ дѣлѣ — отъ этой служилой вѣрности, принося ее въ жертву иной, *безкорыстной* вѣрности—союзу названаго братства? — Да, до поры до времени! — Когда наконецъ у ногъ Вальтарія лежало до десяти труповъ, Гунтарій еще разъ прибѣгнулъ — уже не съ упрекомъ, а съ мольбой къ Гаганону. И что́-же?—«Ради любезнаго мнѣ племянника, отвѣчаетъ тотъ, (и племянникъ его погибъ отъ руки Вальтарія) я бы не нарушилъ завѣта вѣрности брату названому, но ради тебя, господинъ, нарушаю—и иду на встрѣчу несомнѣнной опасности» [48]).—Родство духовное, братство названое поставлено выше узъ крови, но выше названаго братства въ концѣ концовъ становятся узы служилости. — Столкновеніе двухъ началъ, уже встрѣченное нами въ Гильдебрандѣ, такимъ образомъ выказалось и въ Гаганонѣ. Но Гильдебрандъ, сначала притворно, ради *служилости,* вступившій въ союзъ названаго братства и на первыхъ порахъ запятнавшій его обманомъ, потомъ вдругъ даетъ ему перевѣсъ — пристыженный негодною выходкой своего господина-питомца. Напротивъ того Гаганонъ, уже въ дѣтствѣ, безъ всякаго посторонняго умысла, связанный заповѣдію братства, блюдетъ ее свято и при столкновеніи съ иною могучею заповѣдью, — но не выдерживаетъ до конца и разомъ уступаетъ властительной силѣ этой послѣдней. Чувство вѣрности, мигомъ перенесенное съ друга на господина, какъ бы въ силу полученнаго вновь толчка неудержимо стремится по новому направленію. «Здѣсь, въ въ этомъ узкомъ ущельи, не совладать съ нимъ, замѣчаетъ Гаганонъ своему господину. Намъ надобно отступить;— тогда онъ подумаетъ, что мы ушли во свояси и выйдетъ на открытое мѣсто, а мы тутъ-то и нападемъ на него». — Такъ и сдѣлали. Но Вальтарій рѣшилъ остаться въ пещерѣ своей до утра: «пусть не расказываетъ про меня этотъ гордый король, что я воровски отъ него улепетываю». Вслѣдъ за тѣмъ открывается такая картина. Вальтарій отдаетъ послѣднюю воинскую честь убитымъ своимъ супротивникамъ. Къ каждому трупу прикладываетъ онъ принадлежащую ему голову, потомъ становится на колѣни, къ востоку лицомъ, съ обнаженнымъ мечомъ въ рукахъ. Гриммъ (стр. 98) сравниваетъ съ этимъ одно мѣсто въ Hervarar Saga, гдѣ такимъ точно образомъ Одръ отдаетъ послѣдній долгъ одиннадцати имъ убитымъ врагамъ. Въ томъ, что это дѣлается съ обнаженнымъ мечомъ, Гриммъ (стр. 98 и 98) и Дюмериль (стр. 366)

---

[48]) Nam propter carum, fateor tibi, domne, nepotem
Promissam fidei normam corrumpere nollem.
Ecce in non dubium pro te, rex, ibo periclum.
(ст. 1112 — 1114)

Слово domne у Дюмериля напечатано съ большою начальною буквою. Неужели онъ относитъ его не къ господину, а къ Господу? — У Гримма — маленькая буква (см. стр. 41).



видитъ языческо-воинственный погребальный обычай, о которомъ, впрочемъ, желательно бы было имѣть свидѣтельства болѣе точныя. Что́ касается обращенія на востокъ, то къ свидѣтельству Дюмериля о томъ, что почитаніе солнца заставляло язычниковъ обращаться съ молитвой туда, откуда оно выходитъ (стр. 366), можно присоединить указаніе на наши народные заговоры, въ которыхъ заговаривающій постоянно становится *на востокъ лицомъ* [49]).

Картина эта одна изъ самыхъ величественныхъ, по мнѣнію Гримма, во всей древне-германской поэзіи. Она однакоже далеко уступаетъ тому мѣсту Роландовой Пѣсни, гдѣ Роландъ, уже раненный, собираетъ на ронсевальскомъ полѣ трупы своихъ убитыхъ товарищей и приноситъ ихъ къ архіепископу Турпину, также изнемогающему отъ ранъ, чтобы онъ ихъ напутствовалъ своимъ благословеньемъ (Génin, Chanson de Roland, p. 182—183). Вслѣдъ за тѣмъ, какъ извѣстно, умираютъ и Турпинъ и Роландъ. Вальтарія на противъ того не постигаетъ конецъ трагическій; и, отдавъ убіеннымъ послѣдній долгъ, онъ не забываетъ о той поживѣ, какую представляютъ ему ихъ доспѣхи и цѣнныя украшенія. Все это, снятое съ нихъ, наваливается на четырехъ коней, которые въ свою очередь служатъ ему добычею. Гриммъ впрочемъ находитъ нужнымъ замѣтить, что собственно *одежды убитыхъ* онъ не коснулся (стр. 73 и 93). [50])

Послѣ всего этого не получаютъ ли совершенно особую цѣнность вышеприведенныя слова нашего, хотя бы и *заимствованнаго* (что́ касается *эпическаго остова*) Уруслана Заазаревича, слова, уподобляющія воинскую добычу—разбою?— А они, какъ увидимъ мы въ своемъ мѣстѣ, не стоятъ у насъ одиноко.

На утро, Вальтарій съ умноженною добычею выѣхалъ изъ ущелья и вотъ тутъ-то настигли его противники. Напрасно Вальтарій напоминаетъ Гаганону о годахъ молодости, о союзѣ названаго братства. У него готовъ отвѣтъ: «ты первый нарушилъ вѣрность, когда, хотя и видѣлъ меня, не пощадилъ ни друзей моихъ, ни моего родственника». Но мы знаемъ уже, что имъ управляетъ совсѣмъ не месть, а повиновеніе своему господину. И вотъ завязывается отчаянный бой двоихъ противъ одного. Онъ длится долго, пока наконецъ не оказались валяющимися посреди поля—нога короля, правая рука Вальтарія и дрожащій глазъ Гаганона. Этотъ послѣдній вышибается у него Вальтаріемъ и по расказу Тидрекъ-Заги, во всѣхъ остальныхъ подробностяхъ весьма уклоняющемуся отъ нашей поэмы. Но если такое согласіе относительно вышибаемаго глаза служитъ, разумѣется, доказательствомъ подлинности этой черты, то я съ другой стороны не вижу, на какомъ основаніи В. Гриммъ утвердительно говоритъ, что нога, отсѣкаемая у короля, и рука, которой лишается Гаганонъ—непремѣнно неподлинны, составляютъ вставку [51]). Та и другая только дорисовываютъ ту суровую картину, которой приправою служатъ еще взаимныя насмѣшки противниковъ надъ понесенною утратою членовъ.

---

[49]) См. въ моей книгѣ о русской словесности.

[50]) Ср. выше стр. 48, примѣч. 104, гдѣ приводится соотвѣтственная черта изъ Шахъ-Намé.

[51]) W. Grimm, Deutsche Heldensage, 92.



Способность къ этимъ насмѣшкамъ, выказывающая закаленность въ перенесеніи боли, производитъ въ своемъ родѣ величавое впечатлѣніе. Оно еще усиливается тѣмъ положеніемъ, какое приписывается тутъ Гильтгундѣ. Нѣжная дѣва, по желанью Вальтарія, перевязываетъ раны всѣмъ троимъ. Вслѣдъ за тѣмъ она подноситъ вино своему жениху, но тотъ отворачиваетъ Гаганону: «пусть выпьетъ онъ первый—за его удалость; потомъ выпью я, а тамъ ужь Гунтарій—такъ какъ онъ оказался всѣхъ плоше.» А Гаганонъ въ свою очередь отворотилъ Вальтарію: «Онъ будетъ покрѣпче не только меня, но и всѣхъ насъ.»

Тутъ они *«возобновили кровавый союзъ»* [52])—очевидный намекъ на древній обычай обрядоваго смѣшенія крови названыхъ братьевъ (см. выше) [53]).—Такимъ образомъ, надобно думать, скрѣпили свою дружбу и Гаганонъ съ Вальтаріемъ еще у Аттилы. Теперь они снова сдружились, обоюдно проливъ кровь въ бою. Оба вмѣстѣ подняли на лошадь всего болѣе потерпѣвшаго короля.—«Такъ-то подѣлили они аварскія (гунскія) кольца (т. е. сокровища)» [54]) въ этомъ восклицаніи, находящемся нѣсколько выше, можно бы чуять латынскаго возсоздателя, если бы многочисленные примѣры подобныхъ лирическихъ выходокъ въ сербскихъ пѣсняхъ не служили прямымъ доказательствомъ возможности ихъ и въ чисто народной поэзіи. Восклицаніе полно ироніи. Вальтеръ отстоялъ все свое добро, до послѣдняго обруча и еще умножилъ его добромъ убитыхъ своихъ супротивниковъ. Вернувшись къ себѣ въ Аквитанію, онъ женился на Гильтгундѣ, а король съ Гаганономъ вернулись къ себѣ ни съ чѣмъ.

Таково основное значеніе Вальтера въ германскомъ эпосѣ, значеніе очевидно, весьма почетное и не соотвѣтствующее тому, съ какимъ мы его видѣли въ Тидрекъ-загѣ. Впрочемъ онъ еще и не разъ намъ встрѣтится въ ней—въ положеніи опять уже болѣе выгодномъ. Возвратимся же къ Тидрекъ-Загѣ, къ прерванной нити его похожденій.

---

Глава 130 сообщаетъ о прибытіи новаго лица въ Бернъ—на службу къ Тидреку—Амлунга, сына уже извѣстнаго намъ Горнбоги. Между тѣмъ умираетъ отецъ Тидрека и самъ онъ становится королемъ Берна. Вскорѣ послѣ этого является еще новое лицо — Вильдиферъ — съ предложеніемъ себя въ мужи Тидреку [55]).

Владѣя отборной служилой дружиной, Тидрекъ охотно подаетъ помощь и другимъ могучимъ вождямъ. Въ гл. 134—147 нашей заги повѣствуется о помощи, поданной имъ королю Аттилѣ, съ которымъ онъ связанъ былъ узами

---

[52]) Pactum renovant iterato cruentum (ст. 1443).

[53]) См. J. Grimm, Rechtsalterthümer, 192. Тамъ-же приводятся примѣры смѣшенія друзьями своей крови въ сосудѣ, послѣ чего она размѣшивалась виномъ и пилась обоими. Примѣры эти заимствованы у Геродота (про Скиѳовъ, Карійнъ и Грековъ), Плутарха (про Римлянъ), и др. (стр. 193—194). Въ свою очередь Дюмериль приводитъ множество указаній на существованіе такого обычая смѣшивать кровь на скандинавскомъ сѣверѣ (стр. 369). См. также Menzel, Odin, 49, гдѣ съ этимъ сравнивается миѳъ младшей Эдды о смѣшеніи Азами и Ванами своихъ слюней.

[54]) Sic armillas partiti sunt avarenses (ст. 1404).

[55]) Онъ входитъ къ Тидреку въ такой глубокой шляпѣ, что нельзя было хорошенько разглядѣть лица. Въ такой шляпѣ, какъ мы еще увидимъ, обыкновенно является въ германскомъ эпосѣ Одинъ. (Сравни съ шапочкою пушистою и завѣсистою у Сокольника).



братства. Подъ именемъ этого Аттилы (*Этцеля* въ нѣмецкой формѣ) уже никакъ не слѣдуетъ понимать историческаго короля Гунновъ, хотя онъ и въ эпосѣ властвуетъ надъ Гуннами (на сѣверъ отъ Берна, со столицею Сузатъ) Онъ изображается въ нашей загѣ добрымъ и пользующимся привязанностію своего народа. Совершенно въ другомъ свѣтѣ выставляется противникъ Аттилы—Озантриксъ, король эпическаго народа Вилькиновъ, у котораго вымогалъ онъ послѣднее (Rassmann, 273). На бѣду же у него были на службѣ два страшнѣйшихъ брата - великана Видольтъ и Авентродъ. Перваго надобно было постоянно держать на цѣпи, съ тѣмъ, чтобы только передъ самымъ боемъ спускать съ нея, какъ дикаго звѣря (стр. 282). Третій же братъ, великанъ Атгейръ, былъ посланъ Озантриксомъ въ даръ своему другу, Изунгу, королю Бертанговъ, у котораго онъ охранялъ границы.

Вотъ противъ этого-то Озантрикса и просилъ Аттила помощи у Тидрека, который и отправился къ нему самъ съ пятью стами рыцарей и всѣми своими мужами. Вступивъ въ страну несчастныхъ Вилькиновъ, они выместили на нихъ вину короля, ихъ же собственнаго разорителя, грабили, и убивали, и обращали въ бѣгство безъ милосердія.

Вслѣдъ за тѣмъ обратился за помощью къ Тидреку Эрминрекъ, которому одинъ изъ его *подкольныхъ*, Римштейнъ, вздумалъ вдругъ отказать въ платежѣ дани. Ужь и былъ же онъ наказанъ за то совокупнымъ вторженіемъ въ его землю самого Эрминрека съ 6000 и Тидрека съ 500 воиновъ: они жгли и рѣзали, сколько могли. Наконецъ и самъ Римштейнъ былъ разсѣченъ Видгою на *полы*, такъ что мечъ, начавъ съ головы, остановился у пояса. [56]) Между тѣмъ люди въ городѣ Римштейна покорились; Эрминрекъ оставилъ имъ жизнь и имущество, но завладѣлъ городомъ и поставилъ главою надъ нимъ своего племянника Вальтари. Что же касается Тидрека, то онъ послѣ этого провелъ нѣкоторое время въ мирѣ, а это съ нимъ случалось не слишкомъ часто.

Вслѣдъ за тѣмъ начинается въ загѣ (главы 171—182) подробное описаніе наружности, вооруженія и гербовъ Тидрека и его сподвижниковъ. По содержанію, этотъ сравнительный перечень напоминаетъ тѣ мѣста въ Шахъ-Намé, гдѣ Зорабъ, глядя издали на иранскій станъ, выспрашиваетъ, кому принадлежитъ тотъ или другой *знакъ*, выставленный на шатрѣ (Mohl. II, 133) зато въ нашемъ русскомъ эпосѣ невстрѣчается намъ ничего подобнаго, при совершенномъ отсутствіи въ немъ гербовъ и при его неохотѣ распространяться о вооруженіяхъ. Между тѣмъ, при совершенно другомъ направленіи германскаго эпоса, упомянутый *перечень* могъ даже уцѣлѣть въ одной изъ стародатскихъ народныхъ пѣсень (XVI ст.) [57]),

Сидя однажды со своими мужами, Тидрекъ расхвастался: «вотъ насъ тринадцать молодцевъ (обычное богатырское эпическое число — двѣнадцать; онъ—самъ тринадцатый); мы можемъ спокойно себѣ разъѣзжать по бѣлу свѣту потому что равныхъ намъ не найдется».—«Ты говоришь, какъ дитя, возра-

[56]) Примѣры разсѣченія на́ полы встрѣчаются и въ другихъ загахъ сѣвера. (Uhland's Schr. VII, 216, 281),

[57]) Rassman, II, 477. Самая пѣсня въ нѣмецкомъ переводѣ перепечатана тамъ-же на стр. 513—520.



зилъ старый Гербрандъ; не слыхалъ, знать, про короля Изунга и одиннадцать его сыновей, а съ ними двѣнадцатый молодой Зигурдъ, кожа котораго такъ тверда, какъ рогъ.»—Этимъ только возжигается въ Тидрекѣ охота перевѣдаться съ такими могучими богатырями. — Зигурдъ, на котораго указываетъ Гербрандъ, (оно несомнѣнно по эпическому его признаку, роговой кожѣ) это главное лицо другого, особаго круга германскихъ сказаній, лицо совершенно самостоятельное въ этомъ особомъ кругу, не поставленное ни въ какія соотношенія съ Тидрекомъ. Вотъ почему въ томъ сопоставленіи ихъ лицомъ къ лицу, какъ двухъ супротивниковъ, какое представляетъ намъ Тидрекъ-Зага, нельзя не видѣть уже позднѣйшаго, умышленнаго сведенія вмѣстѣ совершенно различныхъ былевыхъ круговъ. Дорога къ Изунгу оказывается заложенною великаномъ Этгейромъ. Видга вызывается проложить дорогу черезъ заставу великанскую, т. е. собственно тутъ только новый видъ самаго перваго похожденія Видги—проложеніе имъ прямоѣзжей дороги черезъ заставу разбойника Грамалейфа. Но съ Этгейромъ мудренѣе сладить. *Отъ его храпѣнія богатырскаго вѣтви на деревьяхъ къ землѣ приклонились.* Видга не захотѣлъ напасть на соннаго,—разбудилъ великана, но, посовѣтовавъ лучше не трогать его, великанъ заснулъ снова. Тогда Видга толкнулъ его въ бокъ такъ сильно, что вышибъ у него два ребра. Великанъ, снова проснувшись, замахнулся на Видгу своею *желѣзною палицей*. Только Видга *вертокъ былъ*,— палица ударилась въ землю и засѣла между двухъ камней. За тѣмъ великанъ пустилъ въ Видгу своей алебардою — тотъ опять увернулся, а алебарда *вся ушла въ землю*. Кончилось тѣмъ, что одолѣлъ Видга, и великанъ, чтобы выкупить свою голову, повелъ его къ погребцу глубокому. Видга не могъ поднять камня, которымъ заваленъ былъ входъ; великанъ-же поднялъ, какъ ничего. Онъ хотѣлъ, чтобы Видга первый полѣзъ въ погребъ, намѣреваясь завалить его тѣмъ же камнемъ; но Видга заставилъ великана итти впередъ, и когда тотъ началъ спускаться, отрубилъ ему голову. Это совершенно напоминаетъ поступокъ Добрыни съ Горынинкой у погребца глубокаго Тогда стали выбирать изъ погребца золото— видимо не видимо! Но такъ какъ это было сокровище Изунга (Этгейръ только оборонялъ его), то Тидрекъ нашелъ, что воспользоваться имъ еще рано «побѣдимъ, такъ возьмемъ, а не побѣдимъ, такъ не срамить-же себя въ конецъ забравъ добро *даромъ*; ну а случится такъ, что разойдемся друзьями,—то и подѣлимъ этотъ кладъ пополамъ.» — Прибывъ въ царство Изунга, Тидрекъ раскинулъ свои шатры. Завидѣвъ ихъ издали, Зигурдъ вызвался; что поѣдетъ развѣдать, зачѣмъ это такіе гости пожаловали.—«Неслыханное вы дѣло затѣяли, сказалъ онъ, пріѣхавъ биться съ королемъ Изунгомъ!... Да и все-же надо бы послать ему что нибудь для получки, такъ, ради чести».—«Почему-же и нѣтъ, возразилъ Тидрекъ;—кинемъ-ка жребій, кому изъ нашихъ мужей разставаться съ конемъ и щитомъ».—Тидрекъ въ этомъ случаѣ поступаетъ совершенно также какъ Вальтари, не отказавшійся послать Гунтеру сто поручей,—тоже ради почета. Вотъ и кинули жребій,—выпалъ Амлунгу. Но когда уже Зигурдъ уѣхалъ съ конемъ его и щитомъ, назначенными въ даръ Изунгу, ему вдругъ за бѣду за обиду стало. Выпросилъ Амлунгъ коня у Видги, и поскакалъ въ

догонку за Зигурдомъ. Тотъ, разумѣется, не захотѣлъ добромъ воротить коня: «скажи мнѣ, кто ты такой, такъ смѣло ко мнѣ обращающійся?» Но Амлунгъ вмѣсто отвѣта только повторилъ свое требованіе — возвратить коня.— Тогда Зигурдъ, подозрѣвавшій въ немъ сына своего родственника Горнбоги, предложилъ Амлунгу игру богатырскую: «я буду стоять на мѣстѣ, а ты наѣзжай на меня на своемъ конѣ, и если удастся тебѣ вышибить меня изъ сѣдла,—то ты и получишь, чего желаешь. (Тутъ то-же вышибаніе изъ сѣдла, что и въ «Еруслане Лазаревичѣ»). А ежели, продолжалъ Зигурдъ, я выдержу твой напоръ, то попытаюсь въ свою очередь наперетъ такимъ образомъ на тебя, пока одинъ изъ насъ не лишится коня своего.» Амлунгъ принялъ вызовъ (а Видгѣ онъ обѣщался, въ случаѣ утраты его милаго Скемминга, уплатить ему двѣнадцатью замками, полученными имъ отъ отца). Бойко налетѣлъ на Зигурда Амлунгъ, но не вышибъ его изъ сѣдла. Зигурдъ отозвался о немъ съ похвалою. Когда-же въ свою очередь сталъ напирать на него съ копьемъ своимъ Зигурдъ, онъ хоть и стойко держался, но былъ таки сбитъ со Скемминга. «А что бы ты далъ, спросилъ Зигурдъ, если бы я возвратилъ тебѣ твоего собственнаго коня и этого?»—«Я на все соглашусь, лишь бы оно не могло послужить къ стыду самому мнѣ или моимъ родственникамъ».—«Ну вотъ видишь ли, я еще передъ боемъ хотѣлъ узнать твое имя, но ты былъ такъ гордъ, что скрылъ отъ меня свой родъ;—ну такъ теперь назови и себя, и своихъ, если хочешь вернуть коней».—«Коли я, еще владѣя конемъ, не сказалъ тебѣ своего имени, то какъ-же теперь вдругъ скажу? Товарищи будутъ думать, что это изъ трусости. Лучше лишиться коней и всего имущества, чѣмъ потерпѣть позоръ и худую молву».—«Но я спрашиваю не для того, чтобы тебя обезчестить, а мнѣ сдается, не сынъ ли ты родственника моего Горнбоги, и я готовъ оказать тебѣ честь и почетъ. Про себя-же скажу напередъ, что я Зигурдъ».—«Хотя ты и первый сказалъ мнѣ свое имя, возразилъ Амлунгъ, я все таки не скажу тебѣ своего, развѣ ты поклянешься мнѣ самимъ Богомъ, что мнѣ не будетъ отъ того стыдно.» — Все это опять проявленіе той боязни назвать себя, которую видѣли мы и въ позднѣйшихъ пѣсняхъ о Гильдебрандѣ и Гадубрандѣ, и въ нашихъ былинахъ объ Ильѣ и Сокольникѣ. «Тебѣ просто надо-мной насмѣхатися»—вотъ что отвѣчено было Сокольникомъ на спросъ объ имени. Но теперь, когда мы познакомились со столькими соотвѣтственными мѣстами германскаго эпоса, намъ не трудно будетъ признать совершенно особый оттѣнокъ въ сокольниковой боязни насмѣшекъ. Вспомнимъ, что во всѣхъ пересказахъ былины онъ выражаетъ ее уже послѣ окончательнаго торжества Ильи Муромца; да Илья и спрашиваетъ объ имени—опять таки во всѣхъ пересказахъ — уже послѣ боя. Въ этомъ спросѣ, повидимому, Сокольнику должно слышаться намѣреніе Ильи похвастаться потомъ предъ другими,—что вотъ-де я одолѣлъ и такого-то. Между тѣмъ въ германскихъ произведеніяхъ постоянно спросъ объ имени происходитъ еще до боя и отказъ отвѣчать вообще объясняется тутъ боязнію быть заподозрѣннымъ въ желаніи отъ него уклониться. Что же касается собственно Амлунга, то и при новомъ спросѣ объ имени, уже послѣ побѣды надъ нимъ, онъ повидимому боится, какъ бы тотъ же самый Зигурдъ не обнесъ его

впослѣдствіи въ трусости. Зигурдъ его успокоиваетъ, что не станетъ его безчестить, и тогда только Амлунгъ называетъ ему себя.

Какъ не замѣтить, что передъ нами опять новый видъ сказанія о боѣ между близкими родственниками. Конецъ совершенно своеобразный — изъ всѣхъ германскихъ изводовъ того-же сказанія наиболѣе смягченный и очеловѣченный. Въ ряду прочихъ германскихъ, онъ до извѣстной степени занимаетъ мѣсто, соотвѣтственное тому, какое въ ряду славянскихъ изводовъ занимается сербской былиной. Тамъ, какъ мы видѣли, сынъ, чтобы удержать отца отъ грѣховнаго боя, готовъ обратиться въ бѣгство. Здѣсь, какъ сейчасъ увидимъ, еще болѣе неблагопріятное для себя положеніе рѣшается принять Зигурдъ, чтобы поставить въ благопріятное положеніе своего родственника. Соскочивъ съ коня, онъ сказалъ: «ступай, добрый другъ, — взявъ съ собою обоихъ коней, а когда пріѣдешь въ свой станъ, то скажи тамъ, что ты силою отнялъ ихъ у меня. Но прежде, чѣмъ ты уѣдешь, привяжи меня къ этой липѣ,—потомъ забери и мой щитъ, и копье, и коня моего.» — Такимъ образомъ онъ, побѣдитель, готовъ разыграть побѣжденнаго.— Но если внимательнѣе вглядѣться въ это великодушіе, то замѣтишь, что тутъ — даже прямая противоположность простотѣ побужденія сербской былины. Въ этомъ великодушіи Зигурда—верхъ изысканности, желанія порисоваться, вычурной прихоти перерядиться въ униженнаго, соединенной съ гордой увѣренностью въ томъ, что это—одно переряживанье [58]). И точно, когда Амлунгъ возвращается въ станъ свой, ему долго не вѣрять, чтобы онъ дѣйствительно побѣдилъ и привязалъ къ дереву Зигурда. — «Вѣрно ты, назвавъ себя родственникомъ, смиренно вымолилъ у него коня». (Вотъ и такихъ подозрѣній заранѣе могъ бояться Амлунгъ, когда не хотѣлъ назваться).—Видга однако-же ѣдетъ, чтобы развязать Зигурда, если дѣйствительно онъ привязанъ: стыдно бы было оставить его въ такомъ положеніи. Но чуть только Зигурдъ завидѣлъ издали Видгу, какъ, не захотѣвъ разыгрывать долѣе свою роль, порвалъ всѣ путы и убѣжалъ на гору. Тутъ только Видга, подъѣхавъ къ дереву и увидавъ разорванныя веревки, повѣрилъ, что Зигурдъ дѣйствительно былъ связанъ Амлунгомъ,—и разблаговѣстилъ объ этомъ по всему стану.

Амлунгу представился вскорѣ случай дѣйствительно отличиться. Когда Зигурдъ увѣдомилъ Изунга о вызовѣ со стороны Тидрека, то начались поединки между сыновьями перваго и мужами второго. Сначала постоянно торжествовали сыновья Изунга. Но вотъ вышелъ Амлунгъ и, одолѣвъ шестаго изъ сыновей Изунга, отпустилъ его на волю, съ обязательствомъ отпустить точно также побѣжденныхъ другими его сыновьями мужей Тидрека.

Вслѣдъ за тѣмъ счастіе начало колебаться между той и другой стороной. Послѣдній рѣшительный поединокъ произошелъ между знаменитѣйшими богатырями, представителями двухъ различныхъ круговъ, — Зигурдомъ и Тидрекомъ. Цѣлыхъ два дня просражались они съ безъисходною равномѣр—

---

[58]) Нѣчто сходное встрѣчается въ chanson de geste XIII ст. Macaire, гдѣ притворяется побѣжденнымъ Ожье; но тамъ происходитъ это отъ того, что онъ узнаетъ отъ своего противника про королеву Бланшефлёру, считавшуюся погибшею, и спѣшитъ извѣстить о томъ короля (Gautier, Epopées Françaises, II, 546).



ностью силъ и два раза подъ вечеръ разнималъ ихъ Изунгъ. Наконецъ наканунѣ третьяго дня Тидрекъ попросилъ Видгу дать ему своего Мимунга: «только этого меча и боится Зигурдъ; сегодня онъ взялъ съ меня клятву, что въ рукахъ у меня нѣтъ Мимунга». — Передъ третьимъ боемъ, Зигурдъ снова потребовалъ той же клятвы. Тутъ Тидрекъ употребилъ хитрость: за спиной у себя онъ незамѣтнымъ образомъ вынулъ изъ ножонъ Мимунга, потомъ воткнулъ его остріемъ въ землю, а спиною уперся на рукоятку: «клянусь, что остріе Мимунга не находится гдѣ либо на землѣ, ни рукоятка его въ рукахъ у кого либо».—Тогда Зигурдъ преспокойно обнажилъ свой мечъ, а Тидрекъ пустилъ въ дѣло Мимунга, который и доставилъ ему побѣду. Тутъ Зигурдъ догадался, что Тидрекъ схитрилъ. Однако-же онъ охотно сдался ему въ служилые мужи: «нѣтъ никакого стыда служить такому вождю, какъ ты», сказалъ Зигурдъ.

Такимъ образомъ кончился этотъ походъ, къ явному возвеличенію Тидрека, такъ какъ хитрость, ему приписываемая, по ясно проглядывающему въ расказѣ эпическому сознанію, также мало лишаетъ его богатырской чести, какъ не лишается ея вслѣдствіе разныхъ своихъ продѣлокъ Одиссей хитроумный [59]). Въ этомъ слышится даже древняя эпическая струя, ясно проглядывающая, какъ можно было замѣтить, и во многихъ другихъ подробностяхъ, не смотря на то *позднее построеніе въ цѣломъ,* которое выдаетъ себя самою мыслію о *сведеніи Тидрека съ Зигурдомъ въ одинъ богатырскій бой*.

Замѣчательно, что основная эпическая постановка этого похожденія прекрасно сохранилась въ устахъ народа до самаго XVI ст., когда былъ составленъ, какъ уже сказано въ вводной главѣ, тамъ-же и упомянутый сборникъ датскихъ народныхъ пѣсень. Одна изъ нихъ, соотвѣтственная расказу Тидрекъ-Заги, приводится Рассманомъ съ подстрочнымъ обозначеніемъ разнорѣчій изъ семи другихъ пересказовъ. Добровольное позволеніе Амлунгу привязать себя къ дереву повторяется во всѣхъ пересказахъ [60]), но спросъ объ имени происходитъ только послѣ побѣды Зигурда, а Амлунгъ тотчасъ-же и соглашается,—что нечего дѣлать, надо сказать. Когда же онъ возвращается въ станъ свой яко-бы побѣдителемъ, Видга въ пѣснѣ яснѣе, чѣмъ въ загѣ выказываетъ сомнѣніе: «если ты и привязалъ Зигурда, то съ его согласія.»— Съ особенною эпическою силою передается наконецъ въ пѣснѣ бѣгство Зигурда, при видѣ приближающагося Видги: рванувшись, онъ выхватилъ изъ земли вмѣстѣ съ корнемъ тотъ дубъ, къ которому былъ привязанъ, а Изунгъ, видя его возвращающимся съ этой ношей, замѣчаетъ: «видно онъ былъ въ лѣсу, что идетъ съ такимъ цвѣткомъ за спиною.» — Этимъ собственно и кончается пѣсня: короли разъѣзжаются съ миромъ, и Изунгъ какъ-то остается довольнымъ, что едва-ли не слѣдуетъ считать порчею, а всю пѣсню урѣзанною, лишившеюся конца.

Чего нѣтъ въ разобранной нами пѣснѣ, то отчасти имѣется въ другой

---

[59]) Напротивъ того В. Гриммъ находитъ, что настоящему характеру Тидрека не соотвѣтствуетъ хитрый его обманъ. W. Grimm, D. Heldensage, 357.

[60]) Rassmann, II, 520, прим. 27.

изъ датскихъ, перепечатанной Рассманомъ на стр. 521—524: только тутъ опять много такого, чего вовсе не имѣется въ Тидрекъ-Загѣ, а ежели и имѣется въ ней, то при другихъ похожденіяхъ. Во-первыхъ Исаакъ (Изунгъ) является тутъ *любителемъ христіанскаго мяса*. Когда-же на его требованіе даней-выходовъ Тидрекъ отвѣчаетъ походомъ противъ него, то своего рода *людоѣдство* проявляется и у мужей Тидрека. Одинъ изъ нихъ схватилъ за бороду кравчаго изунгова (за его обидныя рѣчи) и такъ его хватилъ объ стѣну, что мозгъ полился изъ головы (такое прижиманье къ стѣнѣ до пролитья мозговъ попадается и во франкскихъ chansons de geste). [61]) Затѣмъ, бросивъ его, уже мертваго, на столъ королевскій, онъ закричалъ: ну-ка, сготовьте мнѣ изъ него жаркое!

Замѣчу, что людоѣдство нерѣдко и во франкскомъ эпосѣ, гдѣ оно приписывается не только язычникамъ, но и христіанамъ. Вотъ на прим. одно мѣсто, очень близкое къ только что приведенной чертѣ датской пѣсни:

Le cuer du ventre entre ses deus mains tint,
Guillaume fiert devant enmi le vis:
«Tenez, vassel, le cuer vostre cuisin;—
Or le povez et saler et rostir».

Заимствую это мѣсто изъ статьи Беккера: Bemerkungen zum Homer [62]) (о значеніи которой уже сказано у меня выше), гдѣ оно служитъ однимъ изъ *многихъ* примѣровъ, доказывающихъ, что и средневѣковой эпосъ имѣлъ своего Полифема, Скиллу и Лестригоновъ.—Послѣ всего этого, кажется, людоѣдство въ выше приведенной датской пѣснѣ должно оказаться чертою — не какого нибудь случайнаго *одичанья* воображенія, а первобытно-эпической *дикости*.

Такою же въ ней чертою, напоминающею наше былевое *разсѣченіе на́ полы*, должно быть признано то, что самъ Дидерихъ такъ хватилъ мечомъ по королю Исааку, что мечъ остановился только у пупа. Далѣе же откуда ни взялась мать короля, и когда одинъ изъ мужей Дидериха, Гунтингъ, схвативъ ее за обѣ ноги, ударилъ ею крѣпко на крѣпко о землю, то она обернулась вдругъ журавлемъ и полетѣла подъ облаки. Тутъ вдругъ и у Гунтинга оказалась сорочка лебединая, такъ что онъ полетѣлъ ей вслѣдъ: день летѣлъ за нею до вечера, и другой летѣлъ до вечера, пока наконецъ не поймалъ журавля за обѣ ноги и не разорвалъ его на частиночки мелкія. Послѣдняя черта датской пѣсни совершенно напоминаетъ Илью, разрывающаго въ куски Сокольника. Удареніе объ землю, причиняющее измѣненіе образа, попадается въ народныхъ сказкахъ, что́-же касается *лебединой сорочки*, то, попадаясь во многихъ сказаньяхъ германскихъ, она съ другой стороны попадается и у тюркскихъ народцевъ, гдѣ иногда замѣняется сорочкой гусиной, или орлиной [63]). (См. также Пантша-Тантру Бенфея I, 268—269).

---

[61]) Такъ, напримѣръ, поступаетъ въ Guillaume d'Orange юный Renoars:

Si duremant le hurte à un piler,
Le cuer li ront et se li fist crever,
Et de la teste andeus les euz voler,
Et la cervele et espandre et verser. (Jonckbloet, I, 305)

[62]) Monatsbericht der Berliner Akademie, juli 1867, p. 437, 442.

[63]) Castren's Vorles. 173, 183, 201, 214, 217, 221, 129. Radloff, Proben II, 77, 101, 398, 407, 451, 523, 575. См. также статью академика Шифнера über Heldensagen der minussinischen Tataren, въ Mélanges Asiatiques III., 399. Ср. также стр. 403.



Возвращаюсь къ Тидрекъ-Загѣ. Вслѣдъ за походомъ Тидрека противъ Изунга повѣствуется въ ней о женитьбѣ Зигурда; далѣе же слѣдуютъ все отдѣльные эпизоды—о Гербургѣ, о Ярлѣ Иронѣ, и т. п. Мнѣ придется еще затронуть эти расказы въ другомъ мѣстѣ. Теперь-же прямо перехожу къ похожденію, которымъ начинается въ загѣ совершенно новая часть. Тидрекъ, достигшій высочайшей степени славы и благоденствія, вдругъ подвергается цѣлому ряду невзгодъ, посреди которыхъ и доказываетъ ему свою неизмѣнную вѣрность старикъ Гильдебрандъ. Расказъ обо всемъ этомъ Тидрекъ-Заги тѣмъ болѣе дорогъ, что именно ему соотвѣтственныя поэмы нѣмецкія и отличаются особенною искаженностью и подновленностью (это и есть тѣ «Dietrichs Flucht» и «Rabenschlacht», которыя были названы уже въ началѣ этой главы). Въ нашей загѣ, по сужденію В. Гримма, все въ этомъ случаѣ естественнѣе и проще.—[64]).

Причиною всѣхъ невзгодъ Тидрека является дядя его Эрминрекъ, вызвавшій своего приближеннаго Зифку на такую месть, которая, по германскимъ нравамъ, тяжко отозвалась и на всѣхъ родственникахъ Эрминрека. Зифка даже превзошелъ Велента, о свирѣпой мести котораго сказано выше.— Родъ оскорбленія, нанесеннаго Зифкѣ, существуетъ въ эпосѣ многихъ народовъ: женѣ его пришлось попасть въ положеніе жены уріиной (сходный расказъ имѣется и въ сборникѣ индѣйскихъ сказокъ Сомадевы [65]). Но разница въ томъ, что Урія былъ предварительно посланъ на вѣрную смерть и не могъ даже знать объ участи, ожидавшей его жену. Напротивъ Зифкѣ дано было Эрминрекомъ совсѣмъ не опасное порученіе. Онъ только на время его удалилъ, чтобы сблизиться съ его женою. Какъ ни сопротивлялась она, но должна была уступить Эрминреку. Когда же вернулся мужъ, она сообщила ему обо всемъ, вызывая его на месть. Зифка ее успокоилъ, что не останется у Эрминрека въ долгу, но искусно затаилъ свою злобу: и низко кланялся королю, и былъ постоянно веселъ въ его присутствіи.

Въ сущности совершенно также передается это въ «Приложеніи къ Богатырской Книгѣ» (Anhang des Heldenbuchs), у которой, по мнѣнію Рассмана, былъ въ этомъ случаѣ общій источникъ съ загою [66]). Вся разница въ томъ, что Зифка, по упомянутому памятнику, сперва назывался **der getruwe Sibiche** (нѣмецкая форма) Зифки, когда же узналъ о позорѣ жены, то сказалъ: «nun wil ich werden ein ungetruwer Man und wil werden (ge) heissen der ungetruwe Sibiche». Какъ сказалъ, такъ и сдѣлалъ.

«Что́ это король Озантриксъ не платитъ тебѣ даней-выходовъ? Пошли къ нему сына своего Фридрека съ нѣсколькими мужами, такъ какъ вѣдь не въ обычаѣ, чтобы при послахъ было много спутниковъ». Таковъ былъ добрый совѣтъ Эрминреку Зифки. Любо-дорого было королю видѣть такую заботливость о своихъ выгодахъ;—послушался, и послалъ Фридрека. А Зифка между тѣмъ далъ знать одному изъ мужей Озантрикса, своему родственнику,

---



[64]) Deutshe Heldensage, 366.

[65]) См. въ карманномъ изданіи Брокгауза ч. I. стр. 39—41. О сходномъ сказаніи русскомъ будетъ ниже.

[66]) Rassmann, II, 571.



замокъ котораго лежалъ по пути, чтобы онъ, при проѣздѣ Фридрека, взялъ да убилъ его. Въ древне-шведской обработкѣ Тидрекъ-Заги *Зибеке* (форма, уже довольно близкая къ *Зибиху*, какимъ является Зифка въ нѣмецкихъ поэмахъ) даетъ самому Фридреку письмо къ своему родственнику, въ которомъ сказано: возьми и убей подателя[67]). Это подлиннѣе, болѣе по-эпически; такъ оно въ цѣломъ рядѣ сказаній (въ духѣ которыхъ написанъ и всѣмъ извѣстный шиллеровъ Gang nach dem Eisenhammer). [68]) Получитель письма такъ и сдѣлалъ, какъ было въ немъ сказано; сдѣлалъ такъ по родству и пріязни къ Зифкѣ, безъ всякихъ справокъ о томъ, за что такая напасть злополучному Фридреку. Вмѣстѣ съ нимъ, за одно, убили и его спутниковъ — также безъ дальнихъ соображеній. Эрминрекъ-же подумалъ, что такъ приказалъ Озантриксъ, разсерженный присыломъ за данью.

Чѣмъ дальше, тѣмъ ярче выказывается исполинская untruwe Зифки, при всемъ томъ до конца принимаемаго Эрминрекомъ за getruwe. Умѣя подлаживаться подъ самодурство своего господина, Зифка обращаетъ его въ постоянно работающее орудіе своей мести. Зифка рѣшительно превосходитъ Велента въ томъ отношеніи, что незамѣтнымъ образомъ заставляетъ самого Эрминрека губить одного за другимъ своихъ сыновей, разсчитывая въ концѣ концовъ извести одинкаго лютой по нихъ тоской. Едва успѣвъ погубить Фридрека, Зифка сталъ снова натверживать Эрминреку: «вотъ и король Англовъ пересталъ платить дань; пошли-ка за нею сына своего Регинбальда, только снаряди ему цѣлый корабль; такъ врагамъ и не удастся его обойти, какъ покойнаго его брата».—Снова послушался Эрминрекъ, а Зифка надѣлилъ Регинбальда самымъ дряннымъ кораблемъ, который и потонулъ на морѣ при первой же бурѣ. Вмѣстѣ съ Регинбальдомъ погибли и всѣ его мужи. Такимъ образомъ зифкина месть не только распространялась на *кровь*, на *пораждение* Эрминрека, но падала также и на чужихъ,—потому что такъ выходило. Оно и не разъ еще выйдетъ такъ,—но это не остановитъ Зифку.

Выѣхалъ однажды Эрминрекъ на охоту,—разумѣется со своимъ неразлучнымъ Зифкою. Ѣхалъ не радошенъ хитрый совѣтникъ, низко повѣсилъ голову. «Что ты такъ запечалился, добрый Зифка?»—«Господинъ, великая мнѣ обида и стыдъ отъ сына твоего Самсона,—мнѣ, и моей милой дочери.... Но это останется не отомщеннымъ, развѣ ты самъ, государь, совершишь надъ нимъ злую месть».... И Эрминрекъ, не задумавшись, готовъ извести и послѣдняго, еще уцѣлѣвшаго сына.... Самъ — насильникъ жены Зифкиной, онъ не позволитъ своему сыну безнаказанно отнестись точно также къ зифкиной дочери.... Онъ какъ будто бы даже радъ-радехонекъ случаю наказаніемъ своего сына вознаградить своего *добраго* Зифку за собственную свою безнаказанность...—И вотъ тутъ же, на мѣстѣ, ни въ чемъ неповинный, оклеветанный Зифкой Самсонъ, сбитый отцомъ съ своего коня, испускаетъ духъ подъ копытами коня эрминрекова. До сихъ поръ невольный, по крайней мѣ-

---

[67]) Таже черта имѣется въ сказкахъ Сомадевы. Brockaus, II, 64. [68]) Rassman, II, 575.



рѣ, губитель своихъ сыновей, Эрминрекъ становится наконецъ сознательнымъ, непосредственнымъ палачомъ—послѣдняго.

Оставалось еще Эрминреку двое племянниковъ (по сестрѣ)—надо и ихъ извести, и опять по его-же велѣнію. Въ этомъ новомъ явленіи мстительной, кровью облитой драмы приняла участіе и сама Одила, жена Зифки. Она, какъ и мужъ, пустила въ ходъ клевету. «Эгардъ и Аки, сказала она женѣ короля Эрминрека, готовы посягнуть на твою невинность». Королевѣ то за бѣду стало.

Вотъ приходитъ къ ней Эрминрекъ. «Они будутъ висѣть у меня такъ высоко, какъ еще никто не висѣлъ», отвѣчаетъ онъ на жалобы королевы. «Горе, что отчимъ ихъ, Видга, уѣхалъ къ королю Тидреку», подумалъ воспитатель несчастныхъ юношей, Фритила, бывшій въ это время при Эрминрекѣ. «Пока я живъ, замѣтилъ онъ королю, они не будутъ повѣшены». Онъ сѣлъ на коня и скакалъ день и ночь, поспѣшая къ своимъ воспитанникамъ.

Предупрежденные Фритилою, юноши не теряли надежды оправдаться передъ дядею. Тотъ между тѣмъ самъ прибылъ къ нимъ съ цѣлымъ войскомъ, для совершенія надъ ними казни.—«Въ чемъ же наша вина, за что́ ты хочешь взять съ бою нашъ замокъ?»—«Въ чемъ бы ни была вина ваша,—сегодня же будете вы повѣшены».—Братья рѣшились защищаться до послѣдней крайности. Эрминрекъ пустилъ зажигательные снаряды не только на замокъ, но и на городъ: цѣлое множество ни въ чемъ уже не повинныхъ жителей стали жертвою личныхъ счетовъ со своимъ господиномъ *невѣрнаго* Зифки. А *вѣрный* Фритила, не имѣя возможности спасти жизнь, старался по крайней мѣрѣ спасти воинскую честь своихъ юныхъ питомцевъ: онъ просилъ ихъ выйти изъ воротъ города и умереть смертью храбрыхъ. Но послѣ отчаяннаго боя, стоившаго и Эрминреку четырехсотъ человѣкъ, они были схвачены,—и повѣшены. Чуть только Эрминрекъ, сдѣлавъ свое дѣло, уѣхалъ, какъ вдругъ возвращается Видга и застаетъ пепелище. Снова вернулся онъ къ Тидреку за совѣтомъ, что́ дѣлать. Тидрекъ отправился вмѣстѣ съ нимъ къ Эрминреку, чтобы узнать, въ чемъ обвиняетъ онъ Видгу. Желая доказать, что собственно Видги не касается эта опала, Эрминрекъ вознаграждаетъ его новымъ замкомъ,—и Видга преспокойно его принимаетъ.

Въ «Dietrichs Flucht» убійство племянниковъ передается иначе: какимъ бы позднимъ характеромъ ни отличалась эта поэма вообще, въ ней должно быть подлинною эпическою чертою то, что Эрминрекъ завладѣваетъ землею и золотомъ племянниковъ. Мы могли уже убѣдиться, что это составляетъ одну изъ главнѣйшихъ бытовыхъ принадлежностей въ древне-германскомъ эпосѣ, такъ что въ этомъ отношеніи Тидрекъ-Зага, по всей вѣроятности, передаетъ уже позднѣйшій видъ сказанія.

Изъ всѣхъ ближайшихъ родственниковъ Эрминрека оставался въ живыхъ одинъ Тидрекъ;—но и до него дошла очередь сдѣлаться жертвою зифкиной мести. «Посмотри, заговорилъ Эрминреку Зифка, вѣдь Тидрекъ, съ тѣхъ поръ какъ онъ королемъ, успѣлъ уже увеличить свое королевство». — Этимъ указывалось на него, какъ на опаснѣйшаго сосѣда; его усиливающееся могущество выставлялось, какъ достаточная причина вражды къ нему, какъ какое



нибудь оскорбленье съ его стороны! — Это мѣсто въ нашей загѣ заслуживаетъ вниманія. Мы такъ склонны еще сомнѣваться въ томъ, чтобы какое нибудь сказанье, повѣрье или обрядъ могли дѣйствительно переживать вѣка и иногда доходить до нашего времени почти въ томъ же видѣ, въ какомъ сложились они въ старину отдаленнѣйшую. А эта политическая предусмотрительность Зифки—развѣ не уцѣлѣла она живьемъ, какъ правило между-государственной мудрости, которымъ все еще руководствуются образованнѣйшія государства? Развѣ и до сихъ поръ вся политика нашей Европы не основывается на томъ, чтобы не дать возникнуть по сосѣдству съ собой какому нибудь новому народному и государственному могуществу? Развѣ народы не разыгрываютъ и теперь роль податливыхъ Эрминрековъ, а считающая себя свободною печать не подслуживается имъ вѣчно бьющимъ въ набатъ наушничаньемъ рѣшительно въ родѣ Зифки — что вотъ тутъ угрожаетъ окончательное объединенье Италіи, тамъ черезъ чуръ уже быстро усилилась Пруссія, а тамъ вотъ, того и гляди, захотятъ наконецъ сплотиться разрозненные Славяне и надъ гніющимъ турецкимъ трупомъ зацвѣтетъ молодая, свободная жизнь!

«Дани, дани ты долженъ потребовать у него, продолжалъ мудрый Зифка; онъ-же вѣдь собираетъ подати съ той страны, которую добылъ себѣ мечомъ твой отецъ (а мы развѣ не говоримъ и теперь о *священномъ правѣ* меча? развѣ и Турція не должна оставаться цѣлою единственно на основаніи допотопной пословицы: что взято, то свято?) И Эрминрекъ, подобно какой нибудь теперешней Франціи, Англіи или Австріи, добычелюбиво развѣсилъ уши. «Правду ты говоришь», замѣчаетъ онъ, — и посылаетъ за данью къ Тидреку. Тотъ, разумѣется, въ ней отказываетъ.

«Ну не говорилъ я тебѣ, замѣчаетъ Зифка, что Тидрекъ хочетъ во всѣхъ отношеніяхъ стать такимъ-же, какъ ты?» — «Да, соглашается Эрминрекъ, онъ хочетъ сравнять свое царство съ моимъ; но прежде чѣмъ это удастся, онъ будетъ повѣшенъ.» — Зифкѣ только того и надобно. Но услышавъ такія рѣчи, громко заговорили когда-то служившіе Тидреку Геймиръ и Видга. Позабывъ про свою вражду, они сошлись въ чувствѣ негодованія противъ Зифки и не побоялись высказать правду господину своему Эрминреку. «Богъ да спасетъ короля Тидрека! А ты, истребляя своихъ друзей и родственниковъ, когда нибудь да поплатишься горькимъ стыдомъ за все это: но всему тутъ виною Зифка».

Эрминрекъ въ тотъ-же часъ велѣлъ кликнуть кличъ — чтобы всѣ мужи его собирались, вооруженные, на коняхъ. А Видга между тѣмъ поскакалъ предупредить Тидрека. Вскорѣ послѣ него явился къ послѣднему также и Геймиръ, сообщившій, что Эрминрекъ двинулся съ 5000 рыцарей, а прочей силы и смѣты нѣтъ. Вѣрность прежнему господину такимъ образомъ сказалась въ обоихъ. Между тѣмъ у Тидрека было всего 800 рыцарей—вотъ до чего не правъ былъ Зифка, преувеличивая его могущество! «Намъ надобно, обратился къ мужамъ своимъ Тидрекъ, выбирать: или защищаться здѣсь отъ превосходящей насъ силы врага, безъ всякой однакожь надежды его отразить, или же уѣхать отсюда и тѣмъ самымъ спасти себѣ жизнь. Не знаю, какъ вы,

а я бы выбралъ послѣднее».—Тутъ раздалось со всѣхъ сторонъ нескончаемое рыданіе женъ и дѣтей — о мужьяхъ, сыновьяхъ и отцахъ, по замѣчанію сказывающаго, но также, конечно, и о самихъ себѣ. Какая участь могла имъ грозить отъ такихъ полномощныхъ злодѣевъ, каковы были Эрминрекъ съ Зифкой, это ясно для всякаго, кто уже знаетъ о германскомъ обычаѣ — вымещать за мужей на ихъ кровныхъ и близкихъ. Этому-же обычаю послѣдовали и Тидрекъ со старикомъ Гильдебрандомъ: выбравшись изъ своей страны, они, проходя чрезъ страну Эрминрека, сожигали и замки, и крѣпости, и дворы, и деревни—и всего истребили обитаемыхъ мѣстъ у врага до 11000. Та-же способность за вину одного наказывать многихъ выказывается въ слѣдующей похвальбѣ дитриховыхъ мужей въ поэмѣ «Flucht»:

wir sluogen swen wir vanden....
nieman dô vor uns genas.
alle, die Ermrich gehôrten an,
den muoste ez an ir leben gân.
(Ernst Martin, 143).

Sie werdent cleine gespart,
ich meine die Ermriches man....

ich solz da schaffen, ob ich mac,
daz muoter kint beweinen muoz..
ich geriche mînen smerzen (150)
nu lât genesen nieman!...
wir suln an Ermriche
hiute rechen unser leit,
daz manic vrouwe her nâch cleit.
(Слова Вольфгарта—ibidem 157).

Замѣчу теперь-же, что этому совершенно противоположно слѣдующее мѣсто изъ сербскихъ народныхъ пѣсень:

Клет ће мене све јуначке мајке,
да им Иво погубио синке....,..
Не ћу њега на муке метати,

Сва ће ми се земља наругати....
Не ћу цвилит твоје вјерне љубе;
На онаку остаріеле мајке...

(Юкича и Любомира пѣсни Босанскія и Герцеговацкія, I, 171, 209).

Такъ-то слезами и кровью цѣлыхъ громадъ насолили они Эрминреку; такъ-то изъ за сладострастія одного человѣка и въ своемъ родѣ сладострастнѣйшей мстительности другого платились — даже *деревни*.

Но въ сознаніи людей этой, кровью облитой почвы и этого дико-воинственнаго закала существуетъ только одна бѣда — бѣда сильныхъ и знатныхъ. Это отчасти объясняется словами предисловія къ Тидрекъ-Загѣ, что она услаждала досуги *знатныхъ мужей*.—И въ новыхъ, негодующихъ словахъ Эрминреку и Зифкѣ Геймира слышится жалоба лишь на то, что погибли сыны и племянники королевскіе, а изгнаны старикъ Гильдебрандъ и столькіе славные рыцари!—И тотъ же Геймиръ, когда онъ, получивъ за это отъ Зифки пощечину, стоившую ему пяти зубовъ, вскочилъ на коня и помчался изъ города — тотъ-же Геймиръ истребилъ на землѣ Эрминрека 500 дворовъ со всѣмъ злополучнымъ ихъ населеніемъ!

Рассманъ въ своемъ примѣчаніи къ этому мѣсту заги [69]) указываетъ на то, что въ нѣмецкихъ поэмахъ Геймиръ остается все время на сторонѣ Эрмриха (какъ оно и видно уже изъ того, что́ сказано у меня выше на стр. 72). Зато въ англо-саксонскомъ «Беовульфѣ», относящемся, какъ извѣстно, къ VII — VIII в. [70]), указывается на отнятіе богатыремъ Hâma знаменитаго клада у короля Эрманриха, (и такъ — опять этотъ распространен-

---

[69]) Rassmann, D. Heldens., II, 587.

[70]) W. Grimm, Heldensage, 18.

ный *кладъ*) «Hâma, по замѣчанію В. Гримма (такъ какъ англосакс. â соотвѣтствуетъ нѣмецкому ei) — это тѣмъ несомнѣннѣе *Гейме*, [71]) нѣмецкаго эпоса. что и тамъ онъ является въ соотношеніи съ Эрманрихомъ. О великомъ кладѣ, который тутъ у него похищается, нѣмецкій эпосъ не знаетъ, но что у него былъ такой кладъ, на это ясно указывается однимъ свидѣтельствомъ у Саксона Грамматика [72]) и другимъ въ Reinecke Fuchs. Для насъ же свидѣтельство такого древняго памятника, какъ «Беовульфъ» объ этотъ похищеніи клада Геймиромъ важно собственно потому, что этимъ подтверждаются показанія Тидрекъ-Заги о враждебныхъ отношеніяхъ Геймира къ Эрминреку. Думаю, что ежели въ собственно нѣмецкихъ (а они и позднѣйшіе) памятникахъ этихъ отношеній уже не оказывается, то объясненія надо искать въ томъ дальнѣйшемъ развитіи *понятія о служилости*, о которомъ такъ ясно говорятъ вышеприведенныя мною изъ «Flucht» мѣста (см. туже стр. 72). По свидѣтельству этихъ мѣстъ, позднѣйшія обязательства, обусловленныя получаемою отъ новаго лица поземельно-сокровищною мздою, ставятся уже несравненно выше прежнихъ. Напротивъ въ Тидрекъ-Загѣ еще слышна память о прежней, продолжительной службѣ, хотя мзда за нее прекратилась уже съ самою службою. Это до извѣстной степени *память сердца*; тутъ чувство вѣрности не ставится въ исключительную зависимость отъ получаемой въ данное мгновенье служилой мзды. Но что уже въ Тидрекъ-Загѣ существуютъ всѣ тѣ данныя, изъ которыхъ должна была выработаться эта уже чисто-вассальная вѣрность собственно изъ за мзды, указанья на это уже встрѣчались намъ въ ней, да еще и встрѣтятся далѣе: мы увидимъ, что тѣ-же Геймиръ и Видга все таки сочтутъ долгомъ послужить противъ Тидрека Эрминреку. Послѣ преходящаго взрыва *чувствъ*, заговорятъ въ нихъ *разсудочныя* обязанности—обязанности *наемниковъ*. Не даромъ-же въ самой основѣ древнѣйшей германской воинственности занимаетъ такое видное мѣсто—голая жажда добычи.

Въ скоромъ времени пришлось принять мзду отъ другого, а съ нею и обязанности служилыя, доселѣ бывшему щедрымъ подателемъ мзды, муженачальному Тидреку [73]). Совершивъ свои мстительныя опустошенія въ странѣ Эрминрека, онъ прибылъ въ столицу Аттилы, Зузатъ. Аттила выѣхалъ съ женой, со знаменами, съ множествомъ рыцарей, и съ веселыми скоморохами на встрѣчу Тидреку, чествуя въ немъ короля и славнаго въ цѣломъ мірѣ витязя. Затѣмъ былъ заданъ Аттилой пиръ — разливанное море, и на этомъ-то пирѣ предложено Тидреку оставаться у него, сколь долго заблагоразсудитъ, и принять отъ него во владѣніе все, что есть только лучшаго изъ его имущества. Тидрекъ, разумѣется, очень охотно принялъ подобныя предложенія, и оставался у Аттилы долго, очень долго.

---

[71]) Въ нѣмецкихъ же памятникахъ, какъ мы видѣли, Гейме является вм. Геймира. W. Grimm, Heldens., 17.

[72]) См. у Гримма-же стр. 46.

[73]) Со всею ясностью служилыя отношенія Дитриха къ Этцелю выставляются собственно въ поэмѣ «Dietrichs Flucht», гдѣ Гельха говоритъ мужу:

du gewanne nie bî dînen tagen....
so edele dienaere,
als den Bernaere (E. Martin, 137.)

Все, только что расказанное, именно и составляетъ ту часть похождeній Тидрека (Дитриха) съ Гильдебрандомъ, на которую указывается вышеприведенными словами Гадубранда изъ пѣсни VIII в.: «отецъ мой бѣжалъ отъ зависти Отакра (онъ замѣняетъ тутъ Зифку).... и отправился съ Дитрихомъ и другими витязями въ восточную землю (къ Аттилѣ); съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ начались дитриховы невзгоды, отецъ мой непріязненно разошелся съ Отакромъ». — (См. выше стр. 63). Что этотъ Отакръ (историческое, но вставленное въ эпосъ имя) дѣйствительно занимаетъ тутъ мѣсто Зифки, это видно изъ свидѣтельства Экегарда (въ chonicon Uspergense, доведенной до 1126 г.), отмѣтившаго на стр. 85ª (по изданію 1609), что, по народнымъ сказаніямъ и пѣснямъ (vulgari fabulatione et cantilenarum modulatione) — «Hermenricus:.. Theodoricum Dietmari filium, patruelem suum, ut dicunt, instimulante Odoacre, item, ut ajunt,.... de Verona pulsum, apud Attilam Hunorum regem exulare coegerit».... В. Гриммъ, приводя это мѣсто, обращаетъ также вниманіе на замѣчаемое Экегардомъ противорѣчіе между этой народной молвой и историческимъ свидѣтельствомъ Іорнанда (въ VI. в.) по которому Эрманрихъ умираетъ задолго до Аттилы. Тотъ-же ученый замѣчаетъ, что ежели самъ Дитрихъ былъ, на зло хронологіи, народнымъ эпосомъ пріурочемъ къ позднѣйшему историческому Теодориху, жившему слишкомъ сто лѣтъ спустя послѣ Эрманариха, то въ имени эпическаго противника дитрихова Отакра замѣтно соотношеніе съ тѣмъ Одоакромъ, вождемъ Геруловъ, который дѣйствительно былъ современникомъ Теодориха, такъ какъ послѣдній одержалъ надъ нимъ извѣстную рѣшительную побѣду [74]).

Указанія на бѣгство Дитриха-Тидрека имѣются также въ древней англосаксонской (экзетерской) рукописи, въ одной изъ пѣсень Эдды (какъ увидимъ ниже), въ нѣсколькихъ мѣстахъ поэмы о Нибелунгахъ. [75]). Въ поэмѣ «Flucht» дѣло представляется съ различными уклоненіями отъ Тидрекъ-Заги. Эрмрихъ хочетъ заманить къ себѣ Дитриха обманомъ—какъ бы желая оставить ему управленіе страной во время поѣздки, предпринимаемой самимъ Эрмрихомъ въ Іерусалимъ съ цѣлію отмолить невинное убіенье племянниковъ (въ такомъ, хотя и косвенномъ указаніи на грѣховность этого поступка, нельзя не видѣть уже позднѣйшей черты, сравнительно съ грубою непробужденностью совѣсти въ Эрминрекѣ по Тидрекъ-Загѣ). Когда-же Дитрихъ (предупреждаемый тутъ уже не Видгою, а самимъ посланнымъ Эрмриха) не является на зовъ дяди, тотъ нападаетъ на него съ несмѣтною силою, но разбивается Дитрихомъ при Raben (Равеннѣ) и бѣжитъ, а у Дитриха остается въ плѣну его сынъ Фридрихъ (объ убіеніи котораго такимъ образомъ поэма Flucht уже ничего не знаетъ), и сверхъ того еще 1800 плѣнниковъ. Но Дитриху нечѣмъ заплатить за службу своимъ (такъ какъ его сокровища разграблены Эрмрихомъ). Одинъ изъ служилыхъ мужей предлагаетъ ему ссудить его своимъ имуществомъ, за которымъ и отправляется самъ со многими

---

[74]) W. Grimm, Heldensage, 353. Указаніе на Отакра въ положеніи Зибиха имѣется еще въ Chronicon Quedlinburgense. (См. у Гримма стр. 31).

[75]) См. у В Гримма D. H. S. 20, 24, и у Расманна D. H. S. 588. Lange, Untersuchu ngen über nord- und deutsche H. S., 221—227.



другими (въ томъ числѣ Гильдебрандъ). Эрмрихъ подстерегаетъ ихъ на возвратномъ пути, и все у нихъ отнимаетъ; многіе при этомъ убиты, семеро взято въ плѣнъ. Въ выкупъ за нихъ Дитрихъ готовъ отдать и Фридриха, и всѣхъ своихъ 1800 плѣнниковъ. Когда же Эрмрихъ не соглашается и требуетъ у Дитриха уступки всей его области, то Дитрихъ, для спасенія своихъ (и въ томъ числѣ своего воспитателя) бьетъ челомъ до сырой земли, прося оставить ему хотя одинъ Бернъ. Но Эрмрихъ неумолимъ, грозитъ даже висѣлицей; Дитриху остается только подчиниться всѣмъ требованіямъ злодѣя. Отдавая всю страну, онъ удаляется въ изгнаніе къ Аттилѣ—со спасенными имъ изъ плѣна возлюбленными мужами и еще сорока тремя.—Весь этотъ изводъ сказанія толкуется В. Гриммомъ, какъ позднѣйшій, преувеличенно и неловко пристрастный къ Дитриху. «Чтобы освободить семерыхъ, замѣчаетъ В. Гриммъ, онъ связываетъ себя безсмысленными условіями: не только отпускаетъ за нихъ на волю какъ эрмрихова сына, такъ и 1800 плѣнниковъ, но и предоставляетъ даже все свое государство во власть врагу.... Подобнымъ великодушіемъ онъ долженъ быть превознесенъ, но оно лишено состоятельности и правды, а потому и не производитъ впечатлѣнія» [76]). Я позволю себѣ замѣтить однако-же, что своего рода *правда* тутъ есть. Это та вѣрность вождя дружины своимъ мужамъ, которая выказывается и во многихъ другихъ эпическихъ произведеніяхъ, начиная съ англо-саксонскаго (относящагося къ VIII в.) «Беовульфа» и кончая «Вольфдитрихомъ» и «Королемъ Ротеромъ». — Эта вѣрность вождя, составлявшая его обязанность, составляла противовѣсъ правамъ его на мужей. Чтó-же касается дѣйствительно безсмысленной стороны въ поступкѣ Дитриха, то и такое пожертвованіе для немногихъ участью цѣлой страны (отдаваемой въ жертву такому злодѣю, какъ Эрмрихъ) совершенно въ духѣ германскаго эпоса: мы могли уже видѣть, что въ немъ собственно цѣнятся только немногія личности, полновѣсныя своимъ положеніемъ [77]).—Только что приведенное изъ поэмы «Flucht», едва ли составляетъ личное измышленье поэта-книжника; скорѣе это только особый изводъ сказанія, хотя и изводъ, въ самомъ дѣлѣ оказывающійся позднѣйшимъ потому, что въ немъ черезъ чуръ уже ясно желаніе превознести, во чтó бы ни стало, Дитриха: [78]) принужденный бѣжать и, какъ мы увидимъ, не разъ бѣжать

---

[76]) Grimm. D. H. S., 367.

[77]) Вотъ какимъ образомъ выражается самъ Дитрихъ о своихъ отношеніяхъ къ мужамъ своимъ:

swer durch mich êre unde leben
hiute wagt in dirre nôt,
um den diene îchz unz an mînen tot (149).

Впрочемъ дитриховы mâge unde man говорятъ ему:

soln wir daz umb sie siben geben
so ist bezzer daz si sterben tôt
denn daz wir lîden immer nôt.

Но Дитрихъ отвѣчаетъ на это:

und waeren mîn elliu rîch,
diu wolde ich elliu lân,
ê mine getriuwe liebe man.
(D. Fl. v. Ernst Martin, 118).

Въ другомъ мѣстѣ это объясняется слѣдующимъ вполнѣ человѣчнымъ соображеніемъ:

verliuse ich die vil kecken....
daz muoz besiuften muoter kint. (Ibidem, 115).

Далѣе, при очищеніи Берна, Дитрихъ выказываетъ заботу объ участи жителей, говоря Эрмриху:

...erbarme hiute dich
Ueber diese frouwen, veter min,
Und lâ sie in der stat sin. (124).

Но Эрмрихъ, разумѣется, не исполняетъ просьбы, и все населеніе города выгоняется изъ него, — изъ-за семерыхъ любимыхъ мужей Дитриха!

[78]) Эрнстъ Мартинъ говоритъ о Mittelstück поэмы Flucht (той части, въ которой передается все самое существенное), что содержаніе тутъ по большей части sagengemäss (стр. XLV вступленія). Въ другомъ мѣ-

къ Аттилѣ, онъ тѣмъ не менѣе выставляется неоднократнымъ, рѣшительнымъ побѣдителемъ, а въ объясненіе бѣгства его и приводятся черты—въ родѣ только что упомянутаго великодушія. Но возвратимся къ Тидрекъ-Загѣ.

Тидрекъ взялъ съ собой къ Аттилѣ и своего меньшого брата Тетера (Тетмара, Теттера—въ различныхъ рукописяхъ различно), годового ребенка. Онъ выросъ вмѣстѣ съ сыновьями Аттилы, Эрпомъ и Ортвиномъ, своими однолѣтками, и мать ихъ, Эрка, любила его не менѣе сыновей своихъ. Уже цѣлыхъ двадцать лѣтъ прожилъ Тидрекъ у Аттилы, вѣрно служа ему во многихъ походахъ противъ его враговъ. Однажды приходитъ Тидрекъ во внутренніе покои Эрки, а она привѣтливо подноситъ ему чару вина золотую. Тидрекъ-же былъ не радошенъ, слезы такъ и лились изъ глазъ его. На сѣтованія его о своей злополучной участи, Эрка отвѣчала ему обѣщаніемъ помощи со стороны Гуновъ. «Ты долго и вѣрно служилъ намъ, и я первая готова дать тебѣ тысячу рыцарей [79]), а съ ними и двухъ моихъ сыновей». — И королева отправилась тутъ-же въ палату къ королю Аттилѣ, а онъ посадилъ ее подлѣ себя на свой высокій престолъ. «Король Тидрекъ мечомъ своимъ добылъ тебѣ не мало земель, завела рѣчь Эрка, и тебѣ бы слѣдовало теперь отплатить ему—пособіемъ воротить его собственную землю».—«А что́ же онъ самъ не попроситъ», съ гордой обидчивостью возразилъ Аттила, однако-же вскорѣ потомъ преложилъ гнѣвъ на милость: «ну, ежели ты обѣщала ему своихъ сыновей и *тысячу своихъ рыцарей*, то пускай и у меня онъ возьметъ *другую тысячу*, даже двѣ, и сверхъ того служилаго моего мужа маркграфа Родингейра» (ср. въ былинахъ: «ты у меня князя *сто бери*, у княгини *другое сто*»).

Когда наступило время разлуки, королева пролила горючи слезы. А все-же въ напутствіе сыновьямъ взговорила она таково слово: «будьте смѣлы и храбры, какъ крѣпко ваше оружіе; и какъ мнѣ ни важно и дорого, чтобы вы вернулись ко мнѣ невредимыми, но пуще того я хочу, чтобы про ваши подвиги молодецкіе разносилась по свѣту слава». Затѣмъ наказывала она ихъ другу, а своему названому сыну, Тетеру, чтобы всѣмъ имъ другъ за дружку стоять, а Тетеръ ей обѣщался: «дастъ Богъ, я тебѣ ворочу сыновей здоровыми, если же они сложатъ головы, то и мнѣ не снести на плечахъ своей головы.» — Тутъ всѣ трое облатились и обкольчужились, и никогда еще, гласитъ сказаніе старины (или—по шведской обработкѣ нашей заги—*гласятъ старики*), не было видано такого богатства и такого блеска въ вооруженіи.

---

стѣ говоритъ онъ о той-же существенной части поэмы (со стиха 2543), что авторъ черпалъ тутъ aus der Volkssage (стр. XLIX). Наконецъ еще ниже онъ указываетъ въ поэмѣ на einige alterthümliche Formen, die sich in der Volkspoesie gehalten zu haben scheinen (стр. LVII). Я могу прибавить къ этому еще указаніе на слѣд. эпическія черты, встрѣчающіяся въ «Dietrichs Flucht» и напоминающія народныя пѣсни. Въ поэмѣ встрѣчается разсѣченіе на̀ полы (стр. 206). Поломавъ копья, сражающіеся принимаются за мечи (стр. 195; такъ и въ нашихъ былинахъ). Поле брани удобряется кровью (стр. 196, 208, 210: 211; ср. со Слов. о П. Иг.). Пиръ длится 14 дней (стр. 85; такъ иногда и въ слав. пѣсняхъ, наприм. въ Босанскихъ и Герцеговацкихъ у Любомира и Юкича, 1, 183: пир чините за 15 данах; 190: за неделъу данах; 152: три неделье данах; также въ Болгарскихъ у Миладиновыхъ, 118, 274—опять цѣлыхъ три недѣли. Витязи нѣмецкой поэмы часто плачутъ (что̀ замѣчено и Эрнстомъ Мартиномъ на стр. XXXIX его вступленія; о повсюдности этой черты уже было сказано выше — стр. 8).

[79]) Въ поэмѣ «Flucht» они прямо называютъ себя Дитриху:

.... die Helchen man
die in ze helfe sint gesant.

(Ernst Martin, 148).

Вотъ опять одна изъ тѣхъ картинъ, гдѣ суровая, бытовая воинственность, доводящая мать до добровольной отсылки въ походъ, для боевого искуса, едва оперившихся сыновей, смягчается съ другой стороны и несомнѣннымъ присутствіемъ въ ней своего рода заботливой женственной нѣжности, а въ общей своей совокупности становится величавою, поражающею своей особенной красотой закаленности и выносливой мощи духа!

Передъ самымъ уже отправленіемъ Эрка поручила своихъ птенцовъ одному изъ ближнихъ тидрековыхъ мужей, Гільпреку, и онъ ей поклялся, что она не увидитъ его, если ему не удастся сберечь ихъ.—А Аттила между тѣмъ, взойдя на высокую башню, кликнулъ оттуда кличъ, чтобы ратная сила расположилась отрядами.

Тутъ Тидрекъ послалъ предупредить короля Эрминрека, что онъ идетъ добывать обратно свою страну. Такъ и вспоминаешь при этомъ знаменитыя слова Святослава: «иду на васъ!», слова, вытекающія изъ того же *воинственнаго великодушія*, вполнѣ объясняемаго воинскимъ исканіемъ чести и славы— именно въ открытомъ бою съ его избыткомъ опасностей [80]).

Предупрежденный такимъ образомъ самимъ Тидрекомъ, Эрминрекъ кликнулъ кличъ по всей странѣ, чтобы поголовно ополчились и старъ и младъ. Во главѣ прибывшихъ на зовъ оказался Видга, сказавшій своему господину: «все это несмѣтное войско готово сразиться съ Гунами, но я не расположенъ итти на Тидрека или его брата; а все-же я обязанъ поступить, какъ ты велишь». Въ такое-же двоякое положеніе попадаютъ и многіе изъ мужей Эрминрека: не только знакомые, но и дружные съ мужами Тидрека, вслѣдствіе прежнихъ, столь частыхъ и добрыхъ сношеній его съ Эрминрекомъ, они должны будутъ, какъ и Видга, встрѣтить друзей своихъ во враждебномъ станѣ.

Когда обѣ стороны расположились одна противъ другой, изъ стана эрминрекова, подъ вечеръ, выѣхалъ Рейнальдъ и встрѣтился съ выѣхавшимъ изъ стана Тидрека, назначеннымъ держать въ ту ночь стражу старикомъ Гильдебрандомъ.—«Кто ты, и что такъ невѣжливо смотришь, и куда такъ торопишься?» спросилъ Гильдебрандъ.—«Мнѣ не зачѣмъ противъ воли называть тебѣ мое имя, потому что ты ѣдешь одинъ, какъ и я (ясный намекъ на то, что тутъ открытіе имени—признакъ сдачи, вызываемой страхомъ опасности); тебя-же я и не стану спрашивать, кто ты, потому что я знаю тебя, хотя мы и двадцать лѣтъ не видались: ты Гильдебрандъ, мужъ Тидрека». И Рейнальдъ открываетъ своему давнишнему другу, что во главѣ эрминрекова войска находится Видга, ихъ лучшій другъ, и Зифка, ихъ злѣйшій врагъ. «Затѣмъ-то и выѣхалъ я тайкомъ, говоритъ онъ, чтобы обо-всемъ предупредить Тидрека; я желаю ему добра и успѣха, а все таки я обязанъ помогать своимъ, но ничего не скрою отъ Тидрека, чего бы ни захотѣлъ онъ

80) Поэма «Dietrichs Flucht» ничего чо знаетъ о великодушномъ «иду на васъ»; а дитриховы мужи, вновь ему добывающіе города его, даже по преимуществу прибѣгаютъ къ хитрости-мудрости (см. въ изданіи Эрнста Мартина стр. 142, 154, 155). Самъ издатель замѣчаетъ на стр. XXXIX своего вступленія про поэмы «Dietrichs Flucht» и «Rabenschlacht»: beide lieben besonders kriegslisten; das umreiten der feinde, das aufbinden der feindlichen fahnen». Впрочемъ хитрость мудрость должна быть древнѣе воинскаго великодушія.



узнать про воинскій строй нашъ».—Пользуясь этимъ и свѣтомъ взошедшей луны, Гильдебрандъ попросилъ его указать ему издали признаки шатра Зифки: «хотѣлось бы мнѣ причинить ему вредъ, ежели ты допустишь это». —И Рейнальдъ указалъ ему на шатеръ съ тремя золотыми шарами: «вотъ это шатеръ Эрминрека, въ немъ-же и Зифка; но, хотя я тебѣ и не запрещаю, ты не можешь ему повредить теперь, такъ какъ всюду вокругъ шатра — стоитъ войско».—«А гдѣ же нашъ любезный другъ Видга со своимъ войскомъ? спросилъ Гильдебрандъ. И Рейнальдъ указалъ ему видгинъ шатеръ (съ серебрянымъ шаромъ) и свой; а вслѣдъ за тѣмъ Гильдебрандъ повелъ Рейнальда на такое мѣсто, откуда былъ видѣнъ станъ Тидрека, и сталъ указывать ему на дружественные шатры: «вонъ тамъ съ пятьми золотыми шарами—шатеръ Тидрека; а вправо отъ него съ девятью шарами—шатеръ сыновей Аттилы съ братомъ Тидрека; влѣво-же—шатеръ маркграфа Родингейра, пособника нашего. Ты знаешь теперь, какъ расположены шатры наши.... Пусть же будетъ вѣдомо Зифкѣ, что Тидрекъ всего охотнѣе направитъ прямехонько противъ него свое знамя».—«И самъ онъ, отвѣчалъ Рейнальдъ, также рѣшился сражаться съ Тидрекомъ; я-же направлюсь на Родингейра, ему служатъ Гуны, а съ ними мы не друзья; нашъ любезный другъ Видга со своимъ отрядомъ пусть направится противъ сыновей Аттилы съ Тетеромъ, хотя съ послѣднимъ ему сражаться и не любо, такъ какъ онъ братъ Тидрека, но этого, вѣроятно, не миновать ему». — Послѣ такого обмѣна рѣчей, оба друга поцѣловались и возвратились—каждый къ своему стану.

Между тѣмъ Зифка, провѣдавъ обо всемъ, собирался въ погоню за Гильдебрандомъ, чтобы убить его. Но онъ былъ удержанъ угрожающимъ заступничествомъ Рейнальда. «А, такъ ты измѣняешь Эрминреку и помогаешь его врагамъ».—«Нѣтъ, я не намѣреваюсь сдѣлаться врагомъ Эрминрека, хотя и долженъ буду сражаться противъ родныхъ и друзей; но я не дозволю убить Гильдебранда, потому что онъ ѣдетъ совершенно одинъ».— Вотъ такъ-то приходилось порядочнымъ людямъ выпутываться изъ безвыходнаго, обусловленнаго всѣмъ складомъ жизни, служенія *двумъ господамъ*.

На другое-же утро былъ заданъ широкій *кровавый пиръ*. Тидрекъ такъ и рубилъ мужей съ ихъ конями и вправо и влѣво. Вильдиферъ сразился съ Вальтаромъ, и оба они упали мертвыми другъ противъ друга. Такой-то конецъ достается въ загѣ Вальтару, тогда какъ по другимъ сказаніямъ онъ кончаетъ свою богатырскую жизнь въ монастырѣ (но и тутъ шутитъ шуточки не гораздо добрыя). Видя погибель Вальтара, Зифка со всѣмъ своимъ войскомъ пустился въ бѣгство. Тутъ Видга счелъ долгомъ служилаго мужа поддержать честь своихъ. Но онъ направился не противъ Тидрековцевъ, а противъ одного изъ мужей Аттилы, Наудунга, сильно свирѣпствовавшаго въ борьбѣ съ Эрминрековцами. Подъ ударами страшнаго Мимунга вскорѣ палъ Наудунгъ. За смерть своего служилаго мужа захотѣлъ отомстить Видгѣ Ортвинъ, одинъ изъ двухъ сыновей Аттилы. Но ринувшись на него вмѣстѣ съ Гіяльпрекомъ, онъ тутъ же сложилъ вмѣстѣ съ нимъ свою буйную голову. Такимъ-то образомъ Гіяльпрекъ сдержалъ свое слово Эркѣ — по крайней мѣрѣ не пережить сыновей ея. Немедленно пробилъ часъ и Эрпу, второму

сыну. Месть за брата и его ополчила на Видгу — но онъ также не устоялъ противъ Мимунга. Въ живыхъ оставался только названый сынъ Эрки — Тетеръ, въ свою очередь возгорѣвшій жаждою отомстить за названыхъ братьевъ. Я знаю тебя, закричалъ ему Видга, ты Тетеръ, братъ короля Тидрека... «Ради его, я щажу тебя». — Но Тетеръ не хотѣлъ пощады: «или отомщу тебѣ, или умру», кричалъ онъ, и принялся, что́ есть мочи, рубить по Видгѣ. «Призываю Бога въ свидѣтели, проговорилъ тутъ Видга, что я только вынужденно поднимаю на тебя руку, какъ это ни больно мнѣ ради твоего брата Тидрека.» — Въ отвѣтъ на это Тетеръ рубанулъ Видгу мечомъ по шелому; но шеломъ былъ такъ крѣпокъ, что мечъ отскочилъ и ударился о коня Видги, у котораго, силой удара, отлетѣла прочь голова. Думаю, что это убіеніе коня Видги — событіе, въ эпическомъ смыслѣ важное. Эпическая общенародная дружба между конемъ и его господиномъ заставляетъ полагать, что Видга, въ первоначальномъ видѣ сказанія, долженъ былъ выступить мстителемъ за коня — а этимъ рѣшалась и участь Тетера. И въ загѣ это до извѣстной степени еще проглядываетъ въ словахъ, вырывающихся у Видги при видѣ совершоннаго Тетеромъ: «Богу извѣстно, что я совершу теперь то [81]), что́ по истинѣ считалъ невозможнымъ». И онъ дѣйствительно совершилъ — силой другого, вѣрнаго своего друга, Мимунга — разсѣченіе Тетера на́ полы.

Такимъ образомъ, избѣгая вредить Тидреку, Видга постепенно втягивался въ такія дѣйствія, которыми въ концѣ концовъ наносился самый жестокій вредъ — тому же самому Тидреку.

Послѣднему дано было знать, что не стало ни брата его, ни названыхъ братьевъ. «Лучше бы мнѣ не снести головы, причиталъ онъ; какъ я теперь покажусь королевѣ Эркѣ?» — Яростный, ринулся Тидрекъ впередъ, ища Видгу, и тутъ его чудесное, нечеловѣческое происхожденье сказалось тѣмъ, что палящее пламя, отъ гнѣва, повалило у него изо рта. Завидя его, Видга въ ужасѣ поскакалъ прочь, а Тидрекъ его нагонять: «и не стыдно тебѣ улепетывать отъ меня, когда я намѣренъ отомстить за брата!» — «Только вынужденно, противъ воли, убилъ я его, увѣрялъ Видга, но я готовъ заплатить тебѣ пеню, какую захочешь.»—А самъ между тѣмъ продолжалъ ускакивать. Но Тидрекъ настигъ его окончательно на самомъ берегу моря, и Видга, подъ вліяніемъ страха какъ будто лишившись силы остановиться, погрузился вмѣстѣ съ конемъ своимъ въ море. Между тѣмъ Тидрекъ уже пустилъ за нимъ вслѣдъ копье, но оно ударилось въ землю и засѣло въ ней. Любопытные могутъ видѣть его на томъ мѣстѣ и до сего дня [82]).

Такъ въ Тидрекъ-Загѣ. Но въ «Dietrichs Flucht» опять значительно иначе. Витеге (Видга) выставленъ тутъ совершеннымъ измѣнникомъ Дитриху. Далѣе Дитрихъ узнаетъ по виду ранъ, что онѣ должны быть нанесены Мимунгомъ;—черта эта, во всякомъ случаѣ, *въ духѣ* германскаго эпоса, такъ какъ ею указывается

---

[81]) Въ двухъ рукописяхъ прибавляется въ этомъ мѣстѣ — вынужденно. (Rassmann, II, 609).

[82]) По другой рукописи—копье торчало на томъ же мѣстѣ еще долгое время спустя. (Rassmann, II, 611).



на вполнѣ живыя, *личныя* свойства знаменитаго оружія Витеге.—Столько-же въ духѣ эпоса и слова улепетывающаго отъ Дитриха своему коню Шеммингу (онъ остается тутъ не убитымъ): «и овса, и лучшаго сѣна задамъ я тебѣ, только спаси мнѣ жизнь.»—Наконецъ уже рѣшительно древнѣе того, что передаетъ Тидрекъ-Зага, должно быть въ поэмѣ, не смотря на преобладаніе въ ней относительной новизны, то обстоятельство, что за Витеге, припертымъ Дитрихомъ къ морю, является его прабабушка, Вахильта, морская женщина, и вотъ она-то и увлекаетъ его къ себѣ съ конемъ на дно моря. Тамъ она начинаетъ его попрекать за трусость, говоря, что Дитриха было легко одолѣть, такъ какъ броня его была вся размягчена, какъ воскъ отъ его гнѣвнаго внутренняго огня [83]) (что соотвѣтствуетъ пламени изо рта въ Тидрекъ-Загѣ). Когда же Витеге захотѣлъ вернуться на землю и отыскать Дитриха, она отсовѣтовала ему, потому что броня его снова окрѣпла [84]).—

Тидреку однако-же пришлось, не смотря на благопріятный для него исходъ сраженія, вернуться, скрѣпя сердце, къ Аттилѣ. «Почему-же, остроумно спрашиваетъ В. Гриммъ, не остается онъ, побѣдитель, въ своемъ королевствѣ, а напротивъ своимъ возвращеніемъ къ Аттилѣ мѣшаетъ успѣху всего предпріятія? Причина угадывается легко: по подлинному (первоначальному, основному) сказанію побѣжденнымъ въ сраженіи оставался онъ а потому и приходилось ему вторично спасаться бѣгствомъ къ Аттилѣ. Что бы отвратить отъ главнаго и любимаго своего лица позоръ побѣжденности, творческій замыселъ (очевидно позднѣйшій) переворотилъ все событіе, но не могъ и сладить противорѣчія, заключающагося въ послѣдствіяхъ битвы. Это становится вполнѣ несомнѣннымъ въ силу древнѣйшаго на сто лѣтъ свидѣтельства поэмы «Klage»: въ ней Дитрихъ возвращается съ совершенно упадшимъ духомъ изъ битвы. [85]) А у Рассмана приводятся даже изъ самой Тидрекъ-Заги позже сказанныя слова Тидрека: «Я готовъ поклясться, что уже не вернусь съ *безчестіемъ* ихъ страны Амлунговъ [86]).» Такимъ образомъ и въ загѣ, т. е. въ одной изъ вошедшихъ въ составъ ея пѣсень уцѣлѣлъ очень ясный намекъ на первоначально принадлежавшее эпосу пораженіе Тидрека.

Чтобы сообщить Аттилѣ съ Эркою о смерти ихъ сыновей, Тидрекъ прибѣгнулъ къ посредничеству Родингейра. Самъ-же онъ сидѣлъ между тѣмъ въ поварской королевской ожидая рѣшенія своей участи. Аттила принялъ тяжелую вѣсть съ покорностію неодолимой судьбѣ. Горько плакала Эрка, но сама пошла отыскать, ободрить и утѣшить Тидрека. «А какъ сражались мои сыновья, прежде чѣмъ пали въ битвѣ?» спросила она у него. На успокоительный отвѣтъ, что они были добрыми витязями, она сказала, обнявъ Тидрека: «и прежде бывало, и нынче бываетъ, что жертвами падаютъ въ битвѣ тѣ, кому суждено такъ. Не слѣдуетъ оплакивать мертвыхъ.» А между тѣмъ съ этого самаго дня она стала чахнуть и таять—года же два спустя ле-

[83]) Подобно этому въ пѣсняхъ Минусинскихъ Татаръ отъ огненнаго дыханья коня богатырскаго растапливаются удила (Schiefner, въ Mélanges Asiatiques, III, 400).

[84]) Rassmann, Heldensage, II, 619, 620.

[85]) W. Grimm, D. H. S., 388—359. См. у него же стр. 121, гдѣ приводится и самое соотвѣтственное мѣсто изъ «Klage».

[86]) Rassmann, II, 622.

жала на смертномъ одрѣ.—Съ тѣмъ же совершеннымъ незлобіемъ, объясняемымъ вѣрой въ судьбу, съ тою же постоянно вѣрною дружбою къ Тидреку, прощаясь съ нимъ, она щедро его обдарила и завѣщала ему даже руку своей близкой родственницы. Тидрекъ плакалъ надъ ней, какъ ребенокъ, плакалъ и Гильдебрандъ, съ которымъ прощалась она также трогательно. Когда же разнеслась вѣсть о ея кончинѣ, то заплакалъ и каждый ребенокъ, и каждый мужъ въ странѣ Гуновъ, и всѣ говорили, что не бывало еще жены, которая бы такъ много творила добра столькимъ людямъ.

Съ глубокимъ сочувствіемъ отзывается объ этомъ дѣйствительно прекрасномъ лицѣ германскаго эпоса знаменитый поэтъ и ученый Уландъ —[87]). Но тѣмъ, что кругъ ея дѣйствій захватываетъ *всѣхъ и каждаго* — и захватываетъ щедротами, а не гнетомъ, эта прекрасная женственная природа рѣзко выдѣляется изъ суроваго древне-германскаго эпоса. Между тѣмъ съ другой стороны и она отражаетъ въ себѣ этотъ чисто-воинственный бытъ, какъ мать *воиновъ*, прежде и больше всего заботящаяся объ ихъ воинской дѣятельности, объ ихъ *воинской* чести и славѣ!

Прощаясь съ Аттилой, Эрка вотъ что́ ему завѣщала: «пріищи себѣ добрую жену, а если добудешь злую, то за это поплатишься не одинъ ты, но и многіе.» — И тутъ слышна такимъ образомъ заботливость Эрки о *многихъ*, но въ этой заботливости сказывается вмѣстѣ съ тѣмъ и прозорливое предчувствіе всего того, что́ раскрывается дальнѣйшимъ содержаніемъ эпоса. «Не бери себѣ жены изъ страны Нифлунговъ, говоритъ она съ большею точностью далѣе, а если сдѣлаешь это, то поплатишься дорого и великое горе будетъ тебѣ и дѣтямъ твоимъ отъ этой женитьбы.»

Чтобы понять слова Эрки, слѣдуетъ перейти къ особу кругу германскихъ сказаній, къ сказаніямъ о Нифлунгахъ, которыя входятъ извѣстною частью своею и въ Тидрекъ-Загу. Но мимоходомъ я позволю себѣ обратить вниманіе на эпическое сходство въ предостерегающемъ завѣщаніи Эрки со словами умирающей царицы Софьи Романовны — въ нашихъ былинахъ о Грозномъ:

Не женись ты, царь, въ проклятой Литвѣ [88])

Царь не слушается, женится именно тамъ, и также долженъ раскаяваться, хотя и не въ той мѣрѣ, какъ придется раскаяваться королю Аттилѣ. Но прежде чѣмъ мы перейдемъ къ дальнѣйшей судьбѣ послѣдняго, посмотримъ, какимъ образомъ выставляются отношенія Тидрека къ Эркѣ и ея сыновьямъ поэмою «Rabenschlacht».

Вѣщій сонъ предсказываетъ тутъ Эркѣ (Гельхѣ) опасность грозящую ея сыновьямъ [89]). Вслѣдствіе этого она не только не предлагаетъ ихъ сама въ походные сотоварищи Дитриху, но даже долго не соглашается ихъ отпустить съ нимъ, не смотря на то, что они такъ и рвутся на поле брани. Только увѣренія Дитриха, что онъ сбережетъ ихъ, и усиленныя ихъ просьбы

---

87) Uhlands Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage, I, 322—324.

88) Кир. VI, 115.

89) Самъ по себѣ подобнаго рода сонъ есть вполнѣ эпическая принадлежность; но въ поэмѣ «Flucht» она оказывается не самостоятельною, а составленною изъ заимствованій у поэмъ «Niebelungen» и «Kudrun» (см. во вступленіи Э. Мартина стр. XLIII).



доводятъ ее до того, что она съ особаго рода материнскою слабостію и баловствомъ, начинаетъ уговаривать Аттилу отпустить ихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ она тайно вооружаетъ для ихъ обороны 12000 воиновъ. Сберегая дѣтей Гельхи, Дитрихъ не пускаетъ ихъ въ бой, а держитъ подъ присмотромъ гильдебрандова брата Илазака въ Бернѣ. Но они однажды отпрашиваются у своего надзирателя выѣхать не много за городъ, заѣзжаютъ слишкомъ далеко, и, заблудившись, наталкиваются на Витеге [90]). Вотъ тутъ-то и вздумалось имъ отомстить за Дитриха — о чемъ уже сказано было выше. Во всемъ этомъ, думаю я, опять таки не личное измышленье позднѣйшаго автора, но особый изводъ сказанія, такъ какъ въ основѣ тутъ слышится общераспространенная въ эпосѣ кара за непослушаніе матери и наставнику (на той-же основѣ построены и духовные наши стихи о Борисѣ и Глѣбѣ, уже этимъ однимъ сильно разнящіеся отъ рукописной повѣсти). Своего рода эпическая черта, и не меньше распространенная, замѣтна и въ томъ, что Гельха догадывается о смерти своихъ сыновей по окровавленнымъ ихъ конямъ, возвращающимся домой безъ всадниковъ. По такому же точно признаку узнаетъ о смерти своего племянника Бодуина Карлъ Великій въ chanson de Saisnes (Gautier, épopées françaises, II, 509). Такіе же *окровавленные кони зловѣстники* встрѣчаются въ литовскихъ народныхъ пѣсняхъ [91]). Они есть наконецъ и въ сказаніяхъ тюркскихъ народовъ (Castrén's Vorlesungen 243. Radloff's Proben, II, 110 [92]). Зато уже совершенная порча сказанія и чисто-авторское измышленіе слышно въ томъ, что Гельха, съ воплемъ падая на землю, разражается проклятіями противъ Дитриха. Только позже, вразумленная Рюдигеромъ (Родингейромъ) на счетъ невинности Дитриха, который и самъ вѣдь лишился брата, она начинаетъ жалѣть, что проклинала его, и встрѣчаетъ горемычнаго ласково [93]). Во всемъ этомъ слышна уже изысканная чувствительность, рѣзко разнящаяся отъ величаваго самообладанія Эрки въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ Тидрекъ-Заги.

---

Мы видѣли, что Эрка, умирая, завѣщала мужу не брать жены изъ земли Нифлунговъ. Уже самое указаніе на эту землю переноситъ въ особый эпическій кругъ — тотъ, котораго позднѣйшею нѣмецкою обработкой, уже не безъ нѣкоторой доли вліянія рыцарскаго и книжнаго, является знаменитая поэма о *Нибелунгахъ* (нѣмецкая форма, соотвѣтственная скандинавской формѣ *Нифлунги*). Въ болѣе древнемъ видѣ сохранились намъ отдѣльныя пѣсни изъ этого круга въ богатырской части старой Эдды, этого драгоцѣннаго сборника пѣсень, составленнаго въ началѣ XII столѣтія. Зато тутъ недостаетъ многихъ посредствующихъ звѣньевъ, а также и самыхъ вступительныхъ пѣ-

[90]) Rassmann, II, 618.

[91]) См. сборникъ Юшкевича въ приложеніяхъ къ XII т. Записокъ Академіи Наукъ, стр. 9 и 25.

[92]) В. Гриммъ, говоря, что въ поэмѣ Rabenschlacht благородный металлъ довольно легко отличается отъ дикаго камня, замѣчаетъ въ частности, что духъ древняго творчества такъ и слышится тамъ, гдѣ повѣствуется о смерти Дитера и сыновей Гельхи, слышится сквозь все многорѣчіе и всѣ утомительныя повторенія, принадлежащія неумѣлости позднѣйшаго автора (Deutsche Heldensage, 372. Ср. у Эрнста Мартина стр. XLI).

[93]) Rassmann, II, 621.

сень о родоначальникахъ дома Вользунговъ, отъ котораго происходилъ главный герой этого круга — Зигурдъ (въ нѣмецкой формѣ — Зигфридъ [94]). Къ счастью эти пробѣлы удовлетворительно восполняются *Вользунга-Загою* — собраніемъ народныхъ сказаній изъ того же круга, составившимся также въ XII вѣкѣ [95]). Многія мѣста этой заги служатъ только прозаическою передачею соотвѣтственныхъ пѣсень Эдды, изъ чего и можно заключить, что и тѣ части заги, которыхъ нѣтъ въ Эддѣ, должны были въ свою очередь быть почерпнуты изъ пѣсень [96]). Первыя главы этой заги и повѣствуютъ о родоначальникахъ Зигфрида. Такъ какъ въ судьбахъ всего дома замѣтна особая роковая преемственность, и судьбы эти служатъ съ другой стороны отраженіемъ древне-германскихъ нравовъ, то я обращу вниманіе и на эти начальныя главы, вкратцѣ передавая ихъ содержаніе по переводу Рассмана, посвятившаго Вользунга-Загѣ всю первую часть своего труда о германскомъ богатырскомъ эпосѣ.

Сказываютъ про мужа, именемъ Зиги, что онъ былъ сынъ Одина. Былъ другой знатный мужъ, а у него рабъ Бреди. Однажды охотился Зиги вмѣстѣ съ этимъ рабомъ, и рабу было больше удачи въ охотѣ. Зиги то за бѣду за обиду стало, что холопъ его превзошелъ; вотъ онъ и убилъ Бреди и упряталъ его трупъ подъ снѣгъ. Замѣчу при этомъ, что убиванье рабовъ составляетъ самое обыкновенное явленье въ исландскихъ загахъ. Иногда это дѣлается въ нихъ только для того, чтобы хорошенько насолить господину раба. Въ убіеніи рабовъ упражняются иной разъ и дѣти [97]). Но это вовсе не мѣшаетъ нѣкоторымъ изслѣдователямъ нѣмецкимъ восторженно говорить объ исландской свободѣ. При этомъ они забываютъ прекрасное выраженіе извѣстной въ Германіи писательницы, Г-жи Тальфи, выраженье, внушенное ей ея благородною женственностью: «настоящая, человѣческая свобода, это свобода крестьянская, всенародная» [98]).

Если убіенье рабовъ и не оставалось безнаказаннымъ, то въ томъ-же смыслѣ, въ какомъ безнаказаннымъ не оставалось и воровство: убитый рабъ равнялся вещи, украденной у его господина. Рабство было неизбѣжною принадлежностью быта воинскаго, въ основу котораго ложилось *начало добычи:* однимъ доставаясь съ бою какъ *живая добыча*, другими рабы наслѣдовались, но какъ для однихъ, такъ и для другихъ, они имѣли значеніе выгодной вещи, не болѣе. — Какъ похититель чужой собственности, Зиги долженъ былъ бѣжать изъ отечества, но это не лишило его покровительства Одина. Воинственный богъ, соотвѣтственно смыслу его имени (Sigi-sieg — побѣда) [99]), доставлялъ изгнаннику, пустившемуся съ дружиною на воинственный промыселъ, побѣду за побѣдой, такъ что онъ наконецъ завоевалъ себѣ цѣлое цар-

---

[94]) Онъ служитъ связью между франкскими Вельзунгами и бургундскими Гибихунгами, а затѣмъ уже тѣ и другіе получаютъ названіе Нибелунговъ (Grimm, D. Mythol. 345).

[95]) Rassmann, D. Heldensage, I, 42—44.

[96]) Köppen, Literarische Einleitung in die Nordische Mythologie, Berlin, 1837, S. 107. Книга эта, хотя и не новая, можетъ еще служить прекраснымъ пособіемъ при изученіи сѣверной поэзіи.

[97]) См. P. E. Müller: Sagabibliothek des Scandinavischen Alterthums in Auszügen, übersetzt v. K. Lachmann, Berlin 1816, I, 37,64, 83.

[98]) Talvj, Versuch einer geschichtlichen charakteristik der Volkslieder germanischer Nationen. S. 281. Это та самая Тальфи, которая такъ сочувственно отзывалась, въ особыхъ сочиненіяхъ, о славянской народной словесности.

[99]) Rassmann 1, 52.



ство. Это эпическое отраженіе исторической судьбы цѣлаго множества скандинавскихъ изгнанниковъ. Но, какъ и многіе удатные молодцы, Зиги умеръ насильственной смертью. Жену себѣ взялъ онъ, какъ надо думать, изъ какого-нибудь имъ побѣжденнаго дома — явленье довольно обычное, имѣвшее и у насъ свое отраженье эпическое въ варяжскомъ преданіи о Владимірѣ и Рогнѣдѣ. Братья жены измѣннически напали на Зиги, и онъ погибъ со всей своей дворней. Мстителемъ за него выступилъ сынъ его Рериръ, истребившій до одного всѣхъ убійцъ отца. Съумѣвъ накопить себѣ много добычи, онъ добылъ себѣ и жену, по достоинству *сверстную*. Но тутъ приключилось довольно обычное въ эпосѣ продолжительное неплодье, разрѣшившееся наконецъ, въ силу молитвъ родительскихъ, чрезвычайнымъ образомъ [100]). Жена Рерира *понось понесла* отъ чудеснаго яблока, спавшаго съ неба отъ самого Одина — черта, разнообразно передаваемая въ цѣломъ множествѣ сказокъ, до сихъ поръ живущихъ въ устахъ у всевозможныхъ народовъ. Но зачатый богатырскій младенецъ, какъ многіе богатыри, долго не могъ выйти на свѣтъ божій — совершенно подобно Рустему иранскаго эпоса или Вейнемейнену финскаго [101]). Наконецъ, послѣ шестилѣтняго плѣна, онъ былъ освобожденъ — съ помощью ножа [102]). Рослаго, крѣпкаго новорожденнаго назвали Вользунгомъ. Онъ только успѣлъ поцѣловать мать, и лишился ея (отецъ умеръ еще до его рожденія). Когда Вользунгъ возмужалъ и женился на дочери великана Гримнира, у него родились отъ нея сынъ и дочь: *Зигмундъ* и *Зигни*. Руки послѣдней со временемъ сталъ просить могущественный король *Зиггейръ* (Корень *Зиг* со своимъ *побѣднымъ* значеньемъ — уже встрѣченный нами въ имени родоначальника *Зиги* — повторяется тутъ въ цѣлыхъ трехъ именахъ, соотвѣтственно воинственному складу всѣхъ этихъ похожденій). По всенародному обыкновенію *патріархальной поры*, Зигни должна была покориться волѣ отца и братьевъ — выйти за немилаго ей Зиггейра. На свадьбѣ явился невѣдомый гость — босой, одноглазый, въ пестромъ плащѣ и завѣсистой шляпѣ. Въ этомъ видѣ обыкновенно является въ германскихъ сказаніяхъ Одинъ. Явленье его ознаменовалось тѣмъ, что онъ воткнулъ мечь въ исполинскій дубъ, находившійся посреди палатъ Вользунга, и сказалъ: «кто съумѣетъ вытащить этотъ мечь, тотъ получитъ его отъ меня въ даръ». Это имѣло роковыя послѣдствія, обозначившіяся цѣлыми потоками крови, чѣмъ окончательно подтверждается то, что воткнувшимъ роковой мечь долженъ оказаться не кто другой, какъ именно Одинъ. Уже въ одной изъ миѳическихъ пѣсень Эдды, Велуспѣ, говорится, что онъ *кинулъ мечъ въ народъ* и съ тѣхъ поръ начались у людей кровавыя брани [103]). Въ болѣе тѣсныхъ

---

[100]) Кромѣ извѣстныхъ библейскихъ примѣровъ, укажу на различныя сказанія тюркскихъ народовъ, гдѣ неплодіе до глубокой старости довольно обычно.

[101]) Уже въ нѣсколько ослабленномъ видѣ представляются такіе тяжелые роды въ эстонской поэмѣ «Калевипоэгъ» (Kalewipoeg, eine estnische Sage, verdeutscht v. Rheinthal, 48—52).

[102]) Въ числѣ различныхъ эпическихъ примѣровъ вырѣзанныхъ изъ матерняго чрева дѣтей Я. Гриммъ, кромѣ Иранскаго Рустема, кельтскаго Тристана и шотландскаго Макдуфа, указываетъ и на нашего Добрыню Никитича (Deutsche Mythologie 361). Между тѣмъ въ былинахъ объ этомъ послѣднемъ ничего подобнаго нѣтъ.

[103] Lüning, die Edda, 70, 146. Simrock's überaetzung der Edda, 2 Aufl., 7, 376—77.

Ср. Uhlands Schriften, VII, 110, 116.

предѣлахъ совершается то-же самое въ Вользунга-сагѣ: тутъ воткнутый Одиномъ мечъ становится причиной кровавой вражды между двумя породнившимися, было, родами. Долго не удавалось никому вытащить мечъ; наконецъ подошелъ къ нему Зигмундъ, сынъ Вользунга, и вытащилъ его даже безъ особеннаго усилія. Зиггейру стало завидно и онъ захотѣлъ купить этотъ мечъ у Зигмунда на тройной вѣсъ золота; Зизгмундъ не согласился, а Зиггейръ затаилъ въ душѣ месть неподатливому брату своей жены. Уѣзжая съ ней въ свое царство, онъ пригласилъ къ себѣ въ гости ея отца и братьевъ. Въ условленное время, они отправились къ Зиггейру, но Зигни выѣхала къ нимъ на встрѣчу и предупредила, что мужъ ея замышляетъ недоброе. «Еще не родясь, отвѣчалъ на это Вользунгъ, я уже далъ обѣтъ не бояться ни огня, ни желѣза». Горько плакала Зигни и не хотѣла возвращаться къ Зиггейру. «Нѣтъ, ты должна возвратиться къ мужу,» приказалъ ей отецъ, и она возвратилась. Вользунгъ между тѣмъ, вооруживъ всѣхъ своихъ мужей, ожидалъ нападенія, и оно послѣдовало. Зиггейръ привелъ на нихъ все свое войско, и неравный бой окончился гибелью Вользунга и плѣномъ его сыновей. Всѣ они посажены были въ одну колодку въ лѣсу, гдѣ ихъ поочередно пожирало чудовище. Такимъ образомъ погибло ихъ девятеро и остался въ живыхъ одинъ Зигмундъ, обладатель рокового меча. Зигни придумала средство его спасти. Она велѣла не только вымазать его медомъ, но и положить ему меду въ ротъ. Когда, въ наступившую десятую ночь, подбѣжало къ нему чудовище, то стало съ жадностью слизывать съ него медъ и наконецъ запустило ему въ ротъ языкъ свой, онъ же вцѣпился въ него зубами и вырвалъ его даже съ корнемъ. Чудовище и умерло отъ этого, нѣкоторые же мужи сказываютъ, что то была мать короля Зиггейра, умѣвшая *оборачиваться*.

Спасши своего брата, Зигни задумала сдѣлать его орудіемъ мести Зиггейру за смерть другихъ братьевъ и отца. Но той же цѣли должны были послужить и собственные ея сыновья отъ Зиггейра. Однажды послала она старшаго изъ нихъ къ Зигмунду — въ ту землянку, которую онъ себѣ построилъ въ лѣсу и въ которой скрывался. Зигмундъ велѣлъ ему замѣсить тѣсто изъ данной ему муки, а самъ пошелъ за топливомъ. Вернувшись, онъ засталъ мальчика ничего не дѣлающимъ: «я не посмѣлъ дотронуться до этой муки, сказалъ онъ, потому что почуялъ въ ней что-то живое». — Когда Зигни узнала объ этомъ, то сказала брату: «убей его; ему незачѣмъ долѣе жить». И онъ убилъ ея сына. Позже она отправила къ нему и второго но, *чтобы не затягивать расказа* [104]), надо прямо упомянуть о томъ, что и его постигла такая же смерть, по наущенію его матери.

Поступокъ Зигни объясняется тѣмъ, что она хотѣла видѣть въ своихъ сыновьяхъ орудіе для своей мести. Но они оказались слишкомъ робкими, испугавшись змѣи, которая нарочно положена была въ мѣшокъ съ мукой для искуса. Надобно было родить новаго сына, но родить ужъ такимъ, чтобы онъ

[104]) Это выраженіе употреблено въ сагѣ. Ему соотвѣтствуетъ въ сербскихъ народныхъ пѣсняхъ — дуљити акрдиjу. (Вука словарь 144).



ничего не боялся и оказался годнымъ на месть. И Зигни, не останавливаемая ничѣмъ, отыскала такое средство. Сблизившись съ одной чародѣйской, она приняла ея видъ (уступивъ ей свой собственный) и, въ этомъ новомъ видѣ, три ночи сряду посѣщала своего брата. Не узнавъ въ ней своей сестры, Зигмундъ въ скоромъ времени сдѣлался виновникомъ рожденія новаго ея сына, Зинфіотли. Кровосмѣшеніе должно было повести къ тому, чтобы сдѣлать этого мальчика въ полномъ смыслѣ годнымъ для мести: и по отцу, и по матери происходя отъ Вользунга, онъ съ его чистой, безпримѣсной кровью наслѣдовалъ и его мужество. Когда она отправляла его, еще не достигшаго десяти лѣтъ, въ зигмундову землянку, то пришила ему къ рукамъ платье. Подобнаго рода опытъ производила она и надъ своими прежними сыновьями, но тѣ, не выдержавъ боли, кричали; этотъ-же оторвалъ одежду отъ тѣла, такъ что въ рукавахъ остались цѣлые куски мяса, и сказалъ матери, что Вользунгамъ это ни по чемъ. Подобный ребенокъ, ни мало не задумавшись, сейчасъ-же замѣсилъ тѣсто, изъ данной ему муки, а вмѣстѣ съ тѣстомъ замѣсилъ преспокойно и находившуюся въ мукѣ змѣю [105]). Самъ онъ однако-же не могъ ѣсть этого ядовитаго хлѣба, потому что ядъ только снаружи ему не вредилъ, тогда какъ отецъ его Зигмундъ могъ его принимать и внутрь. — Считая его еще слишкомъ молодымъ для того, чтобы послужить ему въ сподвижники мести, Зигмундъ (притомъ и не подозрѣвавшій, что это сынъ не Зиггейра, а его собственный) думалъ сперва пріучить его къ смѣлымъ выходкамъ. Вотъ они и проскитались по лѣсамъ все лѣто, избивая себѣ въ добычу мужей. Однажды нашли они спящими двухъ незнакомцевъ, надъ которыми висѣли ихъ волчьи сорочки: это были заклятые королевичи, только каждый десятый день изъ волковъ оборачивавшіеся обратно въ людей. Зигмундъ и Зинфіотли влѣзли въ ихъ волчьи шкуры, и уже не могли изъ нихъ вылѣзть, а сдѣлались *волкудлаками* (употребляю это выраженіе изъ славянскаго эпоса, представляющаго множество примѣровъ такого оборотничества). Вотъ и побѣжали они въ разныя стороны по лѣсу, избивая людей; наконецъ, разсердившись на Зинфіотли зато, что тотъ не кликнулъ его на помощь противъ одиннадцати напавшихъ на него человѣкъ, Зигмундъ укусилъ Зинфіотли въ горло. Сидя надъ раненымъ, вдругъ онъ замѣтилъ, какъ одна дикая кошка, укусивъ другую въ горло, побѣжала въ лѣсъ, принесла оттуда листокъ, положила его рану, — и больная кошка вскочила, какъ встрепанная. Зигмундъ вышелъ изъ хижины и замѣтилъ летѣвшаго къ нему съ листкомъ ворона; и чуть только былъ этотъ листъ положенъ на рану, какъ Зинфіотли вскочилъ, совершенно здоровый. — Такой способъ изцѣленія до сихъ поръ сохранился въ нѣмецкихъ народныхъ сказкахъ, гдѣ точно такимъ же образомъ витязь заимствуетъ его у змѣи, изцѣляющей другую змѣю [106]). Сходный расказъ имѣется и у насъ на Руси въ одномъ лѣчебникѣ синодальной библіотеки: «сказывалъ-де Веницѣянинъ, торговый человѣкъ: лучилось имъ дорогою ѣхать съ товары на во-

---

[105]) Яковъ Гриммъ сопоставляетъ его съ Геркулесомъ, котораго сила еще въ колыбели испытывается змѣями. (Deutsche Mythologie, 345)

[106]) Grimm, Kinder und Hausmärchen, I, № 16.

зѣхъ тяжелыхъ, а змѣя-де лежитъ на дорогѣ, и черезъ еѣ перепелъ возъ и тутъ ее затерло, и она-де умерла. «И другая змія къ ней пришла и принесла во рту припутникъ, да на еѣ взложила, и змія де и ожила и поползла» [107]). Этотъ рукописный расказъ очевидно чужой, заимствованный; но у насъ, и въ разныхъ славянскихъ земляхъ имѣются и свои соотвѣтственные расказы, съ которыми еще придется встрѣчаться ниже.

За изцѣленіемъ Зинфіотли послѣдовало освобожденье его, вмѣстѣ съ Зигмундомъ, изъ волчьихъ сорочекъ, которыя они и сожгли вслѣдъ затѣмъ. Когда Зинфіотли подросъ, Зигмундъ повелъ его въ палаты Зиггейра на подвигъ мести. Они запрятались въ бочки, находившіяся въ прихожей. Тутъ подсмотрѣли ихъ двое дѣтей Зиггейра и Зигни и прибѣжали сказать отцу. Тотъ сталъ подозрѣвать, что противъ него затѣвается какая-то измѣна, а Зигни пошла вмѣстѣ съ ними къ Зигмунду, и сказала ему: убей ихъ! — «Я не хочу убивать дѣтей твоихъ, отвѣчалъ онъ. Зинфіотли-же поднялъ мечъ, положилъ на мѣстѣ обоихъ и бросилъ ихъ головы въ сосѣдній чертогъ къ ногамъ короля Зиггейра. Такимъ образомъ, по наущенію самой матери, сверхъ прежнихъ двухъ пало и еще двое дѣтей — жертвою того увлеченія местью, которое подавило въ ней всѣ остальныя страсти.

По приказанію Зиггейра, Зигмундъ и Зинфіотли были схвачены, и король сталъ обдумывать, какою бы смертью ихъ по-томительнѣе замучить. Вотъ и велѣлъ онъ навалить гору изъ камней и дерна съ пещерой внутри, перегороженною пополамъ большущей скалой. Затѣмъ посадили въ одну половину Зигмунда, въ другую Зинфіотли, такъ что каждый изъ нихъ могъ слышать другаго, но не былъ съ нимъ вмѣстѣ. Когда-же готовились завалить пещеру, Зигни нашла возможнымъ забросить въ нее пукъ соломы. Въ ней оказался мечъ Зигмунда, которымъ узники и распилили раздѣлявшую ихъ скалу, вслѣдъ-же затѣмъ пробили себѣ и выходъ изъ пещеры. Они прямо направились ко дворцу Зиггейра и подожгли его.» Теперь ты узнаешь, что еще не всѣ Вельзунги умерли», взговорилъ Зигмундъ перепуганному Зиггейру; сестру-же хотѣлъ онъ вывесть изъ пламени. «Ты видѣлъ, отвѣчала она, простила ли я Зиггейру смерть Вельзунга; я убила своихъ дѣтей, считая ихъ слишкомъ робкими для дѣла мести; я была у тебя въ лѣсу въ чужомъ видѣ и Зинфіотли — сынъ нашъ: оттого-то онъ такъ мужественъ, что онъ сынъ и сына и дочери Вельзунга; я испытала до одного всѣ пути, чтобы погубить короля Зиггейра... теперь-же я радостно умру вмѣстѣ съ нимъ — онъ мужъ мнѣ, хотя бы и по неволѣ», Обнявъ Зигмунда и Зинфіотли и пожелавъ имъ счастливо жить, она кинулась въ пламя и погибла въ немъ вмѣстѣ съ Зиггейромъ и всей его дворней. — Такъ, съ увлеченьемъ исполнивъ одинъ *задушевный* долгъ, она съ холоднымъ самоотверженьемъ исполнила и другой.

Зага, совершенно по-эпически, ничего не говоритъ о томъ, что чувствовали при этомъ Зигмундъ и Зинфіотли. (Подобно этому и въ нашихъ былинахъ часто не говорится о томъ, что̀ чувствовало то, или другое лицо).

---

[107]) Буслаева, о народной словесности въ древне-русской литературѣ, стр. 30.



Она прямо переходитъ къ возвращенію Зигмунда на родину и занятію имъ снова отеческаго престола. Вслѣдъ за тѣмъ женится онъ на Боргильдѣ, которая рождаетъ ему двухъ сыновей. Брату этой Боргильды, Гуннару, пришлось стать врагомъ сыну Зигмунда, Зинфіотли. Оба захотѣли взять себѣ въ жены одну и туже; изъ-за этого, какъ нерѣдко въ эпосѣ, завязался бой и Зинфіотли убилъ Гуннара [108]). Послѣ этого Боргильда потребовала его изгнанія. Напрасно Зигмундъ предлагалъ ей богатый выкупъ, чего еще не доводилось дождаться отъ него ни одной душѣ. На поминкахъ по братѣ, она отравила пасынка (ядъ только снаружи ему не вредилъ). Въ отчаяньи, схвативъ трупъ въ объятья, Зигмундъ побѣжалъ лѣсомъ къ морскому заливу. Тутъ встрѣтился ему перевощикъ, который предложилъ переправить его черезъ заливъ. Но лодка была такъ мала, что сперва надо было перевезти трупъ. Тщетно, однакоже, Зигмундъ ждалъ возвращенія перевощика — онъ такъ и изчезъ вмѣстѣ съ трупомъ. Надо думать, что то былъ Одинъ, явленье котораго въ видѣ лодочника довольно обычно въ сказаніяхъ сѣвера [109]). Зигмундъ послѣ того изгналъ жену свою, и она вскорѣ за тѣмъ умерла. Тогда онъ сталъ свататься за Гіордизу, дочь короля Эйлими. Но у нея былъ уже другой искатель руки, король Линги. Тогда отецъ, (что не часто случалось въ патріархальную пору), предоставилъ ей свободу выбора. Она выбрала Зигмунда, какъ знаменитѣйшаго. Бракъ состоялся, но за нимъ послѣдовала война съ прежнимъ искателемъ ея руки, королемъ Линги. Не смотря на малочисленность своего войска, Зигмундъ уже близокъ былъ къ торжеству. Какъ вдругъ выступаетъ изъ вражьяго стана человѣкъ въ голубомъ плащѣ и широкой шляпѣ, съ однимъ глазомъ; онъ занесъ на Зигмунда свое копье и, ударившись объ него, переломился на двое мечъ Зигмунда. Не трудно узнать въ одноглазомъ бойцѣ бога Одина, который, похитивъ тѣло сына, явился теперь и за отцомъ. Счастье съ того же часа измѣнило Зигмунду, и онъ палъ въ сраженіи вмѣстѣ со своимъ тестемъ. Но Гіордиза еще застала его живымъ на полѣ сраженія. «Одину не угодно, чтобы я владѣлъ мечомъ; видишь, онъ переломленъ. Я сражался во многихъ бояхъ, пока это было ему угодно». — Но Гіордиза все еще не теряла надежды, что онъ выздоровѣетъ и отмститъ за ея отца. «Нѣтъ, это предназначается для другого, возразилъ Зигмундъ; — ты родишь сына, онъ будетъ славнѣйшимъ во всемъ нашемъ родѣ; сохрани эти обломки моего меча; — изъ нихъ онъ скуетъ себѣ новый мечъ».

Закрывъ глаза своему мужу, Гіордиза досталась въ плѣнъ королю Альфу, который, забравъ вмѣстѣ съ нею множество сокровищъ Зигмунда женился на своей плѣнницѣ.

Такова эта повѣсть о предкахъ Зигурда (онъ-то и имѣетъ родиться отъ Гіордизы — по предсказанію Зигмунда), во всей своей полнотѣ и послѣдова-

---

[108]) Ср. выше стр. 7, гдѣ указана сходная черта въ кельтскомъ эпосѣ. Бой изъ-за невѣсты служитъ предметомъ цѣлаго особаго ряда пѣсень юго-славянскихъ (многія изъ нихъ сведены и разсмотрѣны Венелинымъ въ его книжкѣ: «о характерѣ народныхъ пѣсень Славянъ Задунайскихъ»). Съ другой же стороны такой бой довольно обыченъ въ сказаніяхъ Минусинскихъ Татаръ, (Schiefner, Ueber die Heldensagen der Minussinischen Tataren, въ Mélenges Asiatiques, III, 399).

[109]) Rassmann, Heldensage, II, 91. Лодочникомъ является Одинъ, напримѣръ, въ «Harbardhsliodh» Старой Эдды.



тельности передаваемая только Вользунга-Загою. Чтó-же касается самого Зигурда, то похожденія его — хотя и не всѣ, а съ нѣкоторыми перерывами — передаются многими пѣснями Старой Эдды, а Вользунга-Зага, по большей части, только вторитъ ей въ своей прозаической передачѣ, кое гдѣ, однако-же, дополняя ее.

Относительно пѣсень Эдды нельзя не замѣтить, что имъ не достаетъ весьма существенной принадлежности эпическихъ пѣсень — того, чтó можно назвать эпическою словоохотливостью. Онѣ поразительно сжаты и отличаются съ другой стороны частымъ употребленіемъ разговорной формы. Оба эти свойства обратили на себя вниманіе одного изъ даровитѣйшихъ современныхъ нѣмецкихъ ученыхъ, Гольцмана. Онъ объясняетъ ихъ весьма остроумнымъ предположеньемъ. Когда появилась письменность, то ею стали пользоваться какъ пособіемъ для народныхъ пѣвцовъ. Сначала записывали только важнѣйшія мѣста, на примѣръ *рѣчи* дѣйствующихъ лицъ; все-же промежуточное просто сказывалось пѣвцомъ въ обычныхъ пріемахъ эпическихъ, причемъ предоставлялось отчасти и поле для произвола и личныхъ способностей. Такъ и пѣсни Эдды, чтобы становиться вполнѣ понятными и оказывать полное впечатлѣніе, еще должны были облекаться въ эпическую пространность повѣствованія [110]). Вотъ чѣмъ довольно удовлетворительно, какъ мнѣ кажется, объясняются тѣ отличія въ *пріемахъ* и *складѣ*, какими отличаются пѣсни Эдды, все-же по преимуществу эпическія, былевыя — отъ нашихъ былинъ. При всемъ отличіи *внѣшняго склада*, онѣ развились на одной съ ними, сверхчеловѣческой, богатырской почвѣ; но при такомъ единствѣ *эпической почвы*, тѣмъ рѣзче выказываются особенности *склада внутренняго*, *бытового*, далеко не сходнаго у Германцевъ и у Славянъ.

О самомъ дѣтствѣ Зигурда, впрочемъ, пѣсни Эдды говорятъ менѣе, чѣмъ Вользунга-Зага и уже извѣстная намъ многосложная Тидрекъ-Зага. По Вользунга-Загѣ онъ хотя и родился въ плѣну у Альфа, похитителя его матери, но пользовался благосклонностью отца его, короля Гіальпрека, а также и любовію всѣхъ своихъ сверстниковъ. Однакоже при обрядѣ *облитія водою* (занимавшемъ у древнихъ Германцевъ мѣсто крестинъ и сопровождавшемся нареченіемъ имени) ему не было дано обычныхъ въ этомъ случаѣ подарковъ въ родѣ оружія, земли, или маленькаго раба, изъ чего можно заключать, что плѣнъ его матери всетаки на немъ отозвался [111]), и Зигурдъ, подобно многимъ эпическимъ знаменитостямъ, началъ свою жизнь въ *загонѣ и униженіи*. (См. выше на стр. 84-й указаніе на Карла Великаго и Роланда). Въ Тидрекъ-Загѣ дѣтство его представляется еще менѣе благопріятнымъ. Мать его, оклеветанная передъ своимъ мужемъ (подобно Бертѣ, матери Карла Великаго) и обреченная на казнь, положила ребенка въ стеклянный сосудъ, который былъ прибитъ водой къ противному берегу. Когда сосудъ этотъ, отъ напора воды, разбился, мальчикъ былъ замѣченъ собакою, которая и кормила его

---

[110]) Holtzmann, Untersuchungen über das Niebelungenlied, 168.

[111]) Rassmann, I, 97—98. Маленькій рабъ, подаренный знатному ребенку, воспитывался вмѣстѣ съ нимъ и оставался на всю жизнь его собственностью. Не объясняется ли этимъ обычная въ эпосѣ служилость друга?



въ продолженіи цѣлаго года, т. е. съ нимъ повторилась исторія Ромула съ Ремомъ, вскормленныхъ, какъ извѣстно, волчицею [112]). Тутъ онъ былъ найденъ кузнецомъ Мимиромъ, въ кузницѣ котораго онъ, подростая, сталъ отличаться драчливостью и задоромъ въ родѣ нашего Васьки Буслаева [113]). Тогда этотъ Мимиръ послалъ его въ лѣсъ за дровами, разсчитывая на то, что тамъ онъ будетъ убитъ братомъ Мимира, змѣемъ-оборотнемъ Регином. Кончилось однакоже тѣмъ, что Зигурдъ убилъ этого Регина, а потомъ и самого Мимира [114]).

Но эти отношенія Зигурда къ странному своему воспитателю значительно иначе и съ большею полнотою передаются пѣснями Старой Эдды о Регинѣ и Фафнирѣ (um Regin oc Otrsgiolld и Fafnismal). Тутъ воспитателемъ Зигурда является Регинъ, пришедшій къ Гіяльпреку въ то самое время, когда Зигурдъ, по обычаю всѣхъ возмужавшихъ героевъ, выбралъ себѣ коня — знаменитаго Грани. Искусный на всякія хитрости, карликъ и чародѣй, этотъ Регинъ, взявъ къ себѣ Зигурда, расказалъ ему о томъ, какъ трое боговъ, Одинъ, Гениръ и Локи однажды пришли къ водопаду карла Андвари. Тутъ находился въ то время братъ Регина, Отуръ, обернувшійся выдрою. Его убилъ Локи, а спутники его остались очень довольны снятою съ него шкуркою. Вслѣдъ за тѣмъ зашли они къ отцу убитаго, Грейдмару, и, не зная, кто онъ, похвастались передъ нимъ своей удачной охотой. «Тогда мы, говорилъ Регинъ (т. е. самъ онъ и отецъ его Грейдмаръ) заставили боговъ заплатить намъ пеню, наполнивъ золотомъ шкуру и сверху прикрывъ ее золотомъ-же. Это, какъ не трудно замѣтить, тотъ-же самый способъ взиманія пени, который уже намъ встрѣтился въ поэмѣ Waltharius.—За золотомъ посылаютъ Локи. Онъ добываетъ у морскаго божества, Раны, ея сѣти, закидываетъ ихъ въ водопадъ Андвари и вытягиваетъ изъ него щуку, а это былъ самъ обернувшійся карликъ [115]). У него добылъ Локи многое множество золота, но карликъ не захотѣлъ ему отдавать кольца. Когда-же Локи отнялъ у него насильно и эту послѣднюю драгоцѣнность, Андвари наговорилъ на него заклятіе: «золото, у меня взятое, принесетъ смерть двумъ братьямъ и послужитъ гибелью осмерымъ эделингамъ; добро мое никому не пойдетъ въ прокъ». Этимъ-то заклятымъ золотомъ боги набили шкуру Отура, потомъ, поставивъ на ноги чучело, покрыли его и сверху золотомъ. Но Гейдмаръ, подойдя, нашелъ, что одинъ волосокъ въ усахъ выдры остался не покрытымъ, и потребовалъ, чтобы и онъ былъ покрытъ. Тогда Одинъ покрылъ его заклятымъ кольцомъ карлы Андвари. «Ты теперь съ золотомъ, злорадствуя произнесъ Локи, но оно причинитъ и тебѣ, и сыну твоему смерть».—«Хуже, возразилъ Грейдмаръ, хуже то, что я чую—споръ потомковъ изъ-за дѣвицы;

---

[112]) См. въ моей замѣткѣ къ IV ч. сборника пѣсень П. Н. Рыбникова стр. XXVI, а равно и помѣщенную въ этой части повѣсть о царѣ и оклевстанной царицѣ (стр. 185—203), принадлежащую къ тому-же кругу сказаній, но отличающуюся и книжностью и заимствованностью.

[113]) См. выше стр. 40 и 48.

[114]) Lange, Untersuchungen über die nordische und die deutsche Heldensage, 184—185.

[115]) Г. Буслаевъ въ своей статьѣ «Пѣсни Эдды о Зигурдѣ» говоритъ: «Миѳъ о щукѣ Андвари напоминаетъ намъ сказочное выраженіе, вошедшее въ пословицу:: по щучьему велѣнью..... и извѣстную святочную пѣсню, сулящую богатство: «щука шла изъ Нова-города.... какъ на щукѣ чешуйка серебреная,» и т. д. (Очерки Р. Нар. Слов. и Искусства, I, 273). Думаю, что такое сопоставленіе слишкомъ смѣло.

но я думаю, что еще не родились королевичи, которымъ суждено враждовать изъ-за этого золота». Надъ самимъ Грейдмаромъ роковая сила заклятаго золота проявилась скоро. Сыновья его Фафниръ и Регинъ стали требовать у него доли изъ пени за брата. Онъ захотѣлъ удержать ее всю себѣ, — и Фафниръ убилъ его во время сна. Добывъ золото, онъ не хотѣлъ подѣлиться съ братомъ, и Регинъ задумалъ его извести при помощи ученика своего Зигурда. Искусный ковачъ, Регинъ сковалъ ему мечь, по имени Грамръ (гнѣвъ) [116]) и Зигурдъ этимъ мечомъ разрубилъ на полы наковальню Регина. По Вользунга-Загѣ мечъ этотъ скованъ Регином, согласно завѣщанію умирающаго отца Зигурда изъ обломковъ того знаменитаго меча, который достался Зигмунду, какъ видѣли мы, отъ Одина, былъ самимъ же Одиномъ сломанъ, а теперь какъ бы возрождается для новой богатырской службы [117]). Вотъ тутъ-то и началъ Регинъ подущать его противъ Фафнира, но Зигурдъ возговорилъ: «надо мною бы стали смѣяться, если бы я болѣе думалъ о золотыхъ кольцахъ, чѣмъ о мести за моего отца».

Эта послѣдняя прямо получаетъ тутъ значеніе долга нравственнаго. Месть уже не разъ попадалась намъ, какъ двигающее начало, въ германскомъ эпосѣ; но самымъ священнымъ видомъ ея считалась именно месть за отца, составляющая главную пружину въ цѣломъ рядѣ германскихъ сказаній [118]). Но замѣчательно, что едва ли не столь-же часто проявляется она и въ эпосѣ тюркскихъ народовъ Сибири: одно изъ доказательствъ, что и самые замѣчательные историческіе народы стояли въ былое время на одной ступени съ какими нибудь дикими, или полудикими ордами, отличаясь общими съ ними пороками, и общими *добродѣтелями.*

Прежде всего стремясь къ мести, этому *долгу* первобытной поры, Зигурдъ однакоже не отказывается и отъ золота — этой *страсти* той-же дикой поры. Впрочемъ и то, и другое было уже заранѣе предсказано ему Грипиромъ, дядей его по матери. Объ этомъ повѣствуетъ особая пѣсня Эдды — Gripis spa [119]). Поѣхавъ къ вѣщему дядѣ, чтобы узнать у него про свою судьбу, Зигурдъ вотъ что услышалъ: «ты отомстишь за отца: ты одинъ убьешь сіяющую змѣю (Фафнира, лежавшаго надъ своимъ кладомъ), ты разбудишь отъ долгаго сна королевскую дочь (Брюнгильду); славно будетъ имя твое между людьми; пробывъ одну ночь въ домѣ Гіуки, ты позабудешь о названой дочери Геймира (о Брюнгильдѣ); ты обмѣняешься видомъ съ сыномъ Гіуки (Гуннаромъ) и обручишься съ дочерью Геймира, — никому этого

[116]) По мнѣнію г. Буслаева (Очерки, I, 274). Этимъ именемъ, можетъ быть, указывается на гнѣвъ божества, даровавшаго этотъ мечъ—Одина.

[117]) Замѣчу, что въ эстонской поэмѣ Kalewi-Poeg, герою ея, сыну Калевы, послѣ испытанія имъ нѣсколькихъ мечей, приносится наконецъ кузнецомъ-чародѣемъ мечъ покойнаго отца его, и этимъ мечомъ онъ подобно Зигурду, разрубаетъ наковальню. Сходство съ германскимъ преданьемъ тутъ такъ велико, что въ этомъ случаѣ, кажется, слѣдуетъ допустить вліяніе этого преданія на эстонское (Kreuzwald, Kalewi-Poeg, 141—146).

[118]) В. Гриммъ замѣчаетъ на счетъ этого: «часто случается въ сказаніяхъ сѣвера, что цѣлая жизнь посвящается мести за отца или за родственниковъ; но не основывается ли такая месть на сильной любви?» (Altdänische Heldenlieder, Vorrede, XV).

[119]) Г. Буслаевъ, кажется, совершенно основательно соглашается съ Рассманомъ, который, вопреки В. Гримму и Зимроку, считаетъ эту пѣсню не позднѣйшимъ сокращеніемъ изъ другихъ, а самостоятельною древнею пѣснью. (См. статью: Пѣсни древней Эдды о Зигурдѣ, и т. д. въ 1 ч. Очерковъ Р. Нар. Словесности и искусства, стр. 269—272).



не отвратить; ты нарушишь слово свое (т. е. слово вѣрности) и полюбишь Гудруну; славная жена (Брюнгильда) исполнится противъ тебя злобы; братья Гудруны поднимутъ на тебя руку» [120]). Выслушавъ все это, Зигурдъ спросилъ: «неужели-же никому не преодолѣть судьбы?»

Остальныя пѣсни Эдды покажутъ, что всѣ эти слова Грипира ни мало не послужили Зигурду *предостереженіемъ*. Не смотря на то, что многое тутъ, повидимому, прямо касалось *поступковъ*, зависящихъ отъ воли, онъ все это совершитъ буква въ букву, — до такой степени этой грубой порѣ еще чуждо начало *свободной воли*, до такой степени человѣкъ на этой ступени развитія еще *рабъ* роковыхъ, хотя бы и въ немъ самомъ пребывающихъ, бурныхъ стихійныхъ силъ.

Прежде всего, согласно предсказанію, Зигурдъ отправился отомщать за отца. Тутъ, по пути, на горѣ, является ему самъ небесный родоначальникъ Вользунговъ, Одинъ, и указываетъ ему на различныя добрыя предзнаменованія [121]). Самъ погубивъ отца, Одинъ захотѣлъ въ отомщеніе за него содѣйствовать сыну. И дѣйствительно, отъ руки Зигурда падаетъ убійца Зигмунда съ тремя сыновьями.

«Пѣсня о Фафнирѣ» (Fafnismal) повѣствуетъ уже о добытіи Зигурдомъ рокового клада. Чтобы погубить змѣя-оборотня, богатырь сдѣлалъ родъ подкопа — глубокую яму, въ которой засѣлъ и изъ которой, снизу, пронзилъ сердце переползавшаго черезъ нее Фафнира [122]). Раненное чудовище захотѣло узнать имя своего убійцы, но Зигурдъ скрылъ его — потому, говорится въ прозаической вставкѣ, находящейся въ этомъ мѣстѣ, что въ древности считали заклятіе умирающаго многосильнымъ, когда онъ при этомъ по имени называлъ врага. — Въ этомъ случаѣ (какъ уже замѣчено было выше въ примѣчаніи 21 на стр. 10) на одной почвѣ съ Эддою и до сихъ поръ еще обрѣтаются дикари Австраліи. Не много погодя, Зигурдъ однакоже называетъ Фафниру своего имя.—«Это золото причинитъ тебѣ смерть, заговорилъ умирающій; поѣзжай лучше прочь. Регинъ предалъ меня, — предастъ и тебя».

[120]) Грипиръ высказываетъ это все не сразу, а сперва только доброе, но, вынуждаемый Зигурдомъ, открываетъ ему вслѣдъ за тѣмъ и остальное, недоброе. Г. Буслаевъ (стр. 273) обращаетъ вниманье на то, что Зигурда особенно смущаетъ не ранняя смерть, а предназначенные ему обманъ, вѣроломство. Замѣчу, что подобно Зигурду, ранняя смерть и долгая слава была предназначена греческому Ахиллу. Въ иномъ видѣ такое соединеніе доброй и злой судьбы представляетъ намъ сербскій эпосъ въ лицѣ Марка Кралевича: съ одной стороны ему предназначена вѣчная слава въ потомствѣ, съ другой—позорное служеніе Туркамъ (см. во II части сборника Вука Караджича пѣсню «Урошъ и Мрльавчевичи»).

[121]) Онъ является тутъ подъ именемъ Гникара, о чемъ и повѣствуетъ особая пѣсня Эдды—um Hnikar (Grimm Lieder der Edda, I, 166. 173). Предзнаменованьями удачнаго исхода брани служитъ появленье черныхъ вороновъ и сѣраго волка. Напротивъ того дурной знакъ, еже-ли конь споткнется (такое, зловѣщее спотыканье коня попадается въ нашемъ народномъ стихѣ о Борисѣ и Глѣбѣ). Не слѣдуетъ вступать въ бой при вечерней зарѣ.

[122]) Г. Буслаевъ указываетъ на то, что въ Вилькина (Тидрекъ) Загѣ, Зигурдъ поражаетъ змѣя горящимъ деревомъ. Далѣе онъ приводитъ изъ стариннаго русскаго Азбуковника слѣдующее мѣсто изъ толкованія на слово аспидъ: «обоянницы (т. е. обаятели, чародѣи) пришедши обоятн, копаютъ яму, садятся въ яму... и ставятъ у себя угліе горящее и разжигаютъ клещи» (въ послѣднихъ — намекъ на ремесло кузнеца). Связь нашего азбуковника съ нѣмецкимъ преданіемъ нашъ ученый объясняетъ тѣмъ, что въ азбуковникѣ многое входило изъ иностранныхъ хронографовъ и космографій, въ космографіи же Айтика изъ Истріи подобнымъ же образомъ описывается убіеніе ядовитыхъ змѣй на островѣ Rifarica. Но сопоставленіе съ азбуковникомъ важно для г. Буслаева потому, между прочимъ, что изъ его свидѣтельства объ употребленіи этого пріема обоянницами онъ заключаетъ весьма остроумно, что и Зигурдъ убиваетъ змѣя при помощи обаятельства, чародѣйства (Очерки Р. Нар. Сл. и Иск. I, 276).

Вслѣдъ за тѣмъ змѣй умираетъ. Является Регинъ, вырѣзаетъ сердце у убитаго брата и пьетъ его кровь. Изъ сличенія съ нѣкоторыми другими сказаніями выходитъ, что такое выпиваніе крови не есть простое безпричинное звѣрство: выпитая кровь придавала особую силу [123]). Напившись зміиной братниной крови, Регинъ заснулъ, какъ бы опьяненный ею, приказавъ Зигурду изжарить ему между тѣмъ сердце Фафнира. Зигурдъ исполнилъ приказъ и захотѣлъ попробовать пальцемъ, не готово ли уже жаркое, но при этомъ обжегся и отъ боли поднесъ палецъ ко рту. Чуть только коснулся его языка сокъ изъ фафнирова сердца, какъ онъ сталъ понимать языкъ птицы. А на деревѣ какъ разъ сидѣло тутъ цѣлыхъ семь и разговаривали между собою о томъ, что Регинъ захочетъ убить Зигурда и что умнѣе сдѣлаетъ Зигурдъ, ежели убьетъ его самого и останется одинъ обладателемъ клада Фафнира. И богатырь послѣдовалъ такому внушенію. Тутъ же отсѣкъ онъ Регину голову, ни мало не стѣсняясь тѣмъ, что тотъ въ это время спалъ; съѣлъ самъ сердце Фафнира и выпилъ кровь какъ его, такъ и Регина, что должно было служить къ умноженію его силъ, хотя пѣсня и не говоритъ объ этомъ. Вслѣдъ за тѣмъ птицы повторяютъ ему предсказаніе Грипира — о будущихъ роковыхъ его отношеніяхъ къ двумъ женщинамъ [124]).

И это новое предсказаніе ни мало не служитъ Зигурду предостереженіемъ. Прежде однакоже, чѣмъ перейти къ дальнѣйшимъ повѣствованіямъ Эдды и Вользунга-Заги, слѣдуетъ указать на то замѣчательное обстоятельство, что на отдаленныхъ Феррерскихъ островахъ всѣ, только что приведенныя похожденія Зигурда, (начиная отъ смерти на полѣ брани его отца) *жили въ устахъ народа* еще въ первой четверти настоящаго столѣтія, когда (въ 1817 и 1822 г.) составлены были случайно туда заѣхавшимъ кандидатомъ богословія, Лингби, два сборника этихъ замѣчательныхъ пѣсень, весьма обширныхъ и подходящихъ, по виду, къ нашимъ такъ называемымъ *своднымъ былинамъ*. Рассманъ, приводя нѣкоторыя изъ нихъ, въ нѣмецкомъ переводѣ, въ различныхъ мѣстахъ своего, уже хорошо извѣстнаго намъ труда, замѣчаетъ, что пѣсни эти во время долгихъ зимнихъ вечеровъ слушались юношествомъ Феррерскихъ островов во время работъ, и такимъ образомъ заучивались наизусть. Въ пору же между рождествомъ и постомъ тѣже пѣсни пѣлись при хороводныхъ пляскахъ (Reigen). По преимуществу раздавалась тутъ пѣсня о Зигурдѣ, неизбѣжная на всѣхъ свадьбахъ. Наконецъ эти пѣсни такъ глубоко укоренились въ народномъ сознаніи, что невѣрному работнику, напримѣръ, говорили: «ты не лучше Регина»; молодымъ дѣвуш-

[123]) Такъ Гаддингъ (у Саксона Грамматика) выпиваетъ теплую кровь и съѣдаетъ сердце убиваемаго имъ льва, для умноженія своей силы (Uhland's Schriften, VII, 200). Г. Буслаевъ въ упомянутой выше статьѣ указываетъ на средневѣковую общеевропейскую повѣсть о Соломонѣ и Морольфѣ, въ которой мудрость перваго производится отъ съѣденнаго имъ въ дѣтствѣ совинаго сердца, а пронырливость втораго объясняется тѣмъ, что ему на голову была вылита подливка отъ этого жаренаго сердца: и онъ облизалъ ее. (Очерки Р. Нар. Слов. и Иск. I, 278).

[124]) Какъ тутъ отъ зміинаго сока, попадающаго на языкъ, понимается Зигурдомъ говоръ птицъ, такъ герой одного сказанія тюркскаго начинаетъ понимать языкъ змѣи, послѣ того какъ положилъ себѣ въ ротъ откушенную ею травку (т. е. все дѣло въ томъ, что на языкъ его попадаетъ слюна змѣи). (Radloff, Proben, I, 322). Эпическая основа, очевидно, одна какъ въ скандинавскомъ, такъ и въ сибирскомъ сказаніи, но о заимствованіи съ какой-либо стороны не можетъ тутъ быть и рѣчи.



камъ давались нерѣдко навѣтки словами Гудруны: «не ведетъ къ добру полюбить чужого мужа»; а желая расположить къ усердному уходу за стадомъ, напоминали о томъ, какъ Гудруна пеклась о зигурдовомъ конѣ Грани [125]). Замѣчательно, что Феррерскія пѣсни о Зигурдѣ гораздо цѣльнѣе и ближе, по своей основѣ, къ пѣснямъ Эдды и Вользунга-заги, чѣмъ датскія пѣсни изъ того же круга; хотя эти послѣднія были изданы уже въ концѣ XVI и въ началѣ XVII в. и почерпнуты по большей части изъ *рукописей*, а не изъ *устъ народа* [126]). Вотъ опять свидѣтельство въ пользу преимущественной надежности, въ дѣлѣ сохраненія старины, крѣпкой народной памяти. Правда на Феррерскихъ островахъ есть преданье о томъ, что распѣваемыя на нихъ богатырскія пѣсни заимствованы изъ двухъ огромныхъ книгъ, занесенныхъ на эти острова изъ Исландіи [127]). Но кто не знаетъ, какъ часто встрѣчаются и въ различныхъ средневѣковыхъ поэмахъ ссылки на книги, никогда и не существовавшія? Такими ссылками думали только сообщить повѣствуемому особенную важность и достовѣрность.

Большая ферререкая пѣсня, помѣщенная у Рассмана въ 1 ч. его Heldensage на стр. 306—313, начинается подробнымъ описаніемъ гибели Зигмунда, отца Зигурда, которая уже извѣстна намъ по Вользунга-загѣ. Тутъ позднѣйшею, христіанскою порою отзывается только то, что Гіордиза кладетъ на́ гробъ Зигмунда крестъ. Драчливость молодого Зигурда рисуется въ исполинскихъ размѣрахъ: онъ вырываетъ цѣлые дубы со кореньями, подобно кое-какимъ богатырямъ русскимъ и—всякимъ. Мечъ выковывается для него Региномъ изъ обломковъ зигмундова меча *въ теченіи цѣлыхъ тридцати ночей*. Такая преувеличенность, впрочемъ, все еще далека отъ той, какая замѣчается въ эстонскомъ сказаніи о мечѣ Калевы, выковываемомъ въ теченіи цѣлыхъ *семи лѣтъ*. [128]) Въ награду за свою работу Регинъ требуетъ отъ Зигурда убіенія змѣя, и онъ-же даетъ тутъ Зигурду совѣтъ убить его изъ подкопа—но съ умысломъ тѣмъ самымъ погубить и Зигурда, утопивъ его въ ядовитой змѣиной крови. Богатыря спасаетъ одноглазый старикъ (Одинъ), совѣтуя ему выкопать двѣ лишнихъ ямы (для того, надо думать, чтобы кровь не остановилась вся въ одной ямѣ). Совѣтъ убить Регина даетъ Зигурду самъ умирающій змѣй. Какъ этого послѣдняго, такъ и Регина Зигурдъ разсѣкаетъ на̀ полы. Всѣ эти особенности ферререкой пѣсни, какъ не трудно замѣтить, не отзываются позднею искаженностью, а носятъ въ свою очередь отпечатокъ старины. Указавъ на ферререкій устный изводъ, возвращаюсь къ Эддѣ. Въ пѣснѣ о Зигурдрифѣ или Брюнгильдѣ (Sigurdrifumal) говорится о томъ, какъ онъ, навьючивъ на лошадь кладъ зміиный, поѣхалъ—и увидѣлъ передъ собою гору въ пламени, точь въ точь какъ описывали ее птицы въ пѣснѣ о Фафнирѣ. Проскочивъ сквозь огонь, онъ увидѣлъ

[125]) Rassmann, D. Heldensage, I, 47. Упоминая обо всемъ этомъ, онъ ставитъ глаголы въ настоящемъ времени, но такъ какъ основаньемъ ему служили труды Лингби, относящіеся къ первой четверти настоящаго вѣка, то я замѣнилъ настоящее время—прошедшимъ, хотя весьма можетъ быть, что все вышеприведенное уцѣлѣло на Феррерскихъ островахъ и до сихъ поръ.

[126]) W. Grimm, Altdänische Heldenlieder, vorrede, XII.

[127]) Rassmann, I, 47.

[128]) Kalewipoeg, verdeutscht v. Carl Reinthal, 144. Это—преувеличенность, близкая къ тюркскимъ сказаніямъ. (См. выше стр. 20, прим. 53; другіе примѣры будутъ ниже).

спящаго, въ полномъ вооруженіи, воина. Сорвавъ съ него шлемъ, онъ замѣтилъ, что это женщина,—та самая, усыпленная Одиномъ, о которой говорили ему птицы. Отъ удара меча его, съ ней слетѣло вооруженіе, и она проснулась.—Это одинъ изъ видовъ того обще-арійскаго миѳа о зачарованной, зимней каленою стужею усыпленной дѣвѣ—землѣ, которая пробуждается отъ ударяющаго луча весенняго солнца; того миѳа, отголоски котораго слышатся и теперь на устахъ у разныхъ народовъ—въ сказкѣ о спящей красавицѣ [129]). Но тутъ этотъ миѳъ получилъ особый, народно-германскій оттѣнокъ: эта спящая дѣва—валькирія, одна изъ тѣхъ воинственныхъ дѣвъ чтó выполняли различныя бранныя порученія войнолюбиваго Одина. Однажды она осмѣлилась поступить противъ его воли, погубивъ въ бою короля, находившагося подъ его покровительствомъ, а Одинъ въ наказаніе укололъ ее усыпляющимъ терніемъ. Вотъ какое значеніе получилъ тутъ издавне-миѳическій, мертвящій *уколъ зимы*, колючаго ея холода [130]). Съ тѣхъ поръ она уже не должна была торжествовать въ бою, а ей предназначалась обыкновенная участь женщины—выйти замужъ. Но на это она отвѣчала, что давно ужь дала обѣтъ, не выходить за того, кто способенъ хоть когда нибудь испугаться.—Но это означало, какъ можемъ мы заключить послѣ всѣхъ, приведенныхъ выше, примѣровъ *испуга* самыхъ знаменитыхъ богатырей,—это означало рѣшимость никогда не выходить за мужъ. Зигурдрифа становится такимъ образомъ самымъ отъявленнымъ образцомъ тѣхъ строптивыхъ, неподатливыхъ дѣвъ, о которыхъ говорено было выше. Изъ общаго всѣмъ народамъ эпическаго склада подобныхъ женщинъ выработался у Германцевъ своеобразный воинственный складъ валькирій, а самою яркою ихъ представительницей является именно Зигурдрифа или Брюнгильда. Впрочемъ, чувство женщины беретъ наконецъ свое. Черезъ всю, упомянутую мною пѣсню, какъ это прекрасно выставлено у г. Буслаева, проведено *слюбленіе* Брюнгильды съ Зигурдомъ, кончающееся ихъ обоюдною клятвою въ вѣрности. Но противъ выполненія такой клятвы заранѣе ополчилась судьба. Самой Брюнгильдѣ всѣхъ лучше это было извѣстно. Въ той-же самой пѣснѣ выказывается также и *вѣщая* ея сторона. Во первыхъ, она знакомитъ Зигурда со значеніемъ чародѣйныхъ рунъ,—между прочимъ и тѣхъ *подписей на рукѣ*, которыя уже были затронуты выше (по поводу такой подписи у Ильи Муромца—см. стр. 28). Вслѣдъ за тѣмъ даетъ она Зигурду совѣты, изъ которыхъ одинъ: «поздно рѣшайся на месть» какъ-то мало соотвѣтствуетъ тому повальному стремленію къ мести, какое мы видимъ въ германскомъ эпосѣ. И сама Зигурдрифа, какъ мы скоро узнаемъ, поступаетъ совершенно на оборотъ. Зато послѣдній ея совѣтъ—прямо къ дѣлу, очень ясно указывая на то, чтó предстоитъ Зигурду. «Если по дорогѣ тебѣ встрѣтится чародѣйка, смотри, проѣзжай мимо, не останавливайся у нея, хотя бы и ночь застигла тебя въ дорогѣ».—Но и это, какъ мы увидимъ, осталось только предсказаньемъ, а не предостереженьемъ.

---

[129]) См. у Аѳанасьева въ «Поэт. Воззр. Славянъ», II, стр. 422—429.

[130]) Аѳанасьева, Поэт. Воззр. II, 430.



Замѣчательно, что встрѣчная чародѣйка, о которой говоритъ тутъ Брюнгильда, особенно ярко выдается въ своемъ *останавливающемъ* значенiи въ одной изъ тѣхъ пѣсень, которыя, какъ выше сказано, дожили на Феррерскихъ Островахъ до нынѣшняго столѣтiя. Тутъ она попыталась остановить Зигурда еще въ то время, когда онъ только въ первый разъ направлялся къ Брюнгильдѣ, которая въ пѣснѣ феррерской *полюбила его заочно* (какъ оно нерѣдко случается въ пѣсняхъ народныхъ [131]). Выйдя на дорогу, Гримгильда обѣими руками схватилась за удила Грани, коня зигурдова, и стала приглашать богатыря къ себѣ; но на первый разъ всѣ ея просьбы остались тщетными. Зато когда Зигурдъ, уже по вступленiи въ бракъ съ Брюнгильдой, вторично проѣзжалъ мимо жилья Гримгильды, она опять поджидала его на дорогѣ, опять ухватилась за его коня,—и на этотъ разъ съумѣла уговорить Зигурда заѣхать къ ней и познакомиться съ ея дочерью. Вслѣдъ за тѣмъ она приказала этой послѣдней размѣшать вино съ медомъ, для питья забыдущаго, и, когда Гудруна стала отказываться, не желая *отнимать чужое добро*, Гримгильда приневолила ее къ повиновенью ударомъ въ зубы [132]). Все это черты несомнѣнно древнiя, находящiяся въ прямой связи со словами Брюнгильды въ Эддѣ. Зато *роковое начало* является какъ въ этой феррерской пѣснѣ, такъ и въ другихъ, уже весьма ослабленнымъ [133]). Напротивъ оно еще совершенно ясно въ Вользунга-Загѣ, но эта послѣдняя, съ другой стороны, выставляетъ Гримгильду далеко не такъ ярко, какъ пѣсня феррерская: она уже не является тутъ *выжидающею на дорогѣ разлучницею*, какою рисуетъ ее, въ своемъ предсказанiи, Брюнгильда—въ упомянутой пѣснѣ Эдды (что̀ касается этого послѣдняго сборника, то въ немъ не оказывается пѣсни, повѣствующей о томъ, какимъ образомъ встрѣтилась Кримгильда съ Зигурдомъ). Вотъ тутъ-то и служитъ намъ дополненiемъ—съ одной стороны феррерская пѣсня, съ другой—Вользунга-Зага. Обратимся-же теперь къ послѣдней.

У короля Гiуки, повѣствуетъ она, было три сына: Гуннаръ, Гогне и Гутторне; сестру ихъ звали Гудруной, мать-же *вѣщей Гримгильдой*. Гудрунѣ снились странные сны—то о соколѣ, прилетѣвшемъ къ ней на руки, то о прекрасномъ оленѣ съ золотою шерстью [134]), котораго поймала она на охотѣ и котораго Брюнгильда убила у нея на колѣняхъ. Вотъ и отправилась Гудруна къ Брюнгильдѣ—просить ее разгадать ей сны. «Хорошо, я скажу тебѣ, что̀ случится», отвѣчала вѣщая дѣва: «къ вамъ прiѣдетъ Зигурдъ, котораго я избрала мужемъ; Гримгильда, мать твоя, дастъ ему меду, раство-

---

[131]) Заочно же полюбили другъ друга Зигни и Гельги въ одной изъ пѣсень Эдды.

[132]) Феррерская пѣсня о Зигурдѣ и Брюнгильдѣ помѣщена у Рассмана, I, 313—326.

[133]) Къ признакамъ позднѣйшей испорченности принадлежитъ въ феррерской пѣснѣ и то, что отецъ Брюнгильды, желающiй выдать ее за мужъ, по ея настоянiю возжигаетъ, при помощи карликовъ-чародѣевъ, пламя вокругъ ея терема, которое въ древнѣйшемъ изводѣ приписывается карающей волѣ Одина. Брюнгильдѣ-же въ пѣснѣ феррерской нужно это пламя, какъ оборона противъ всякаго другого жениха, кромѣ Зигурда, который одинъ, какъ она знаетъ, можетъ переѣхать черезъ чудесное пламя.

[134]) У этого оленя золотошерстаго должно быть миѳическое сродство съ тѣмъ оленемъ-золотые рога, который встрѣчается въ нѣкоторыхъ пѣсняхъ (со свадебными намеками) какъ русскихъ, такъ и юго-славянскихъ. (См. мою статью о сборникахъ по народной словесности за 1866 г. въ Журн. Мин. Нар. Просв. за 1867 г., Мартъ, стр. 620). Золотошерстая лось встрѣчается въ одной пѣснѣ Киназьцевъ. (Radloff, II, 613). Золотошерстый вепрь—у германскаго бога Фрейра и у черкескаго бога Месича (Grimm, Myth., 194, 196).

реннаго злымъ обманомъ; ты будешь обладать Зигурдомъ и скоро его лишишься.» И такъ продолжала она, рисуя ей и дальнѣйшія, неизбѣжныя бѣдствія. Но точно такія-же предсказанія слышалъ отъ Брюнгильды и самъ Зигурдъ. Когда онъ, при вторичномъ свиданіи съ нею [135]), выражалъ желаніе поскорѣе соединиться съ чудесной дѣвой, она отвѣчала ему, что нѣтъ на то воли судьбы, что онъ женится на Гудрунѣ, дочери Гіуки. «Никогда ей не соблазнить меня, отвѣчалъ Зигурдъ; клянусь богами, что ты, ты одна будешь моею женою». И въ знакъ этого, онъ ей оставилъ свое золотое кольцо.

Все однако-же совершилось какъ было предсказано. Зигурдъ поѣхалъ отъ Брюнгильды со всѣмъ своимъ кладомъ и заѣхалъ къ Гіукунгамъ, гдѣ Гримгильда, прельстившись его неизчислимыми сокровищами, и поднесла ему роковой рогъ съ медомъ. Не успѣлъ онъ выпить его, какъ пересталъ вспоминать про Брюнгильду. То было питьице *забыдущее*.

Цѣлыхъ пять полугодій прожилъ Зигурдъ у Гіукунговъ. Наконецъ они предложили ему руку своей сестры, прекрасной Гудруны, и онъ женился на ней, а съ ними вступилъ въ братство названое. Вслѣдъ за тѣмъ посовѣтовала Гримгильда старшему своему сыну, Гуннару, посвататься за Брюнгильду. Но она жила въ своемъ теремѣ дѣвичьемъ [136]), окруженномъ отовсюду огнемъ, и только тотъ могъ добыть ея руку, кто рѣшится черезъ него проѣхать. Такимъ образомъ тутъ опять упоминается этотъ огонь, и Зигурдъ вторично черезъ него проѣзжаетъ за Гуннара, который никакъ не могъ заставить своего коня въѣхать въ пламя. Но Зигурдъ нетолько сдѣлалъ это за Гуннара, онъ даже принялъ его видъ, и Брюнгильда его не узнала. Какъ ни противно ей было, но она должна была выполнить заповѣдь—выйти за того, кто проѣдетъ черезъ огонь. Три ночи лежали они на одной постели, но Зигурдъ, вѣрный названому братству, не думалъ воспользоваться, нося образъ Гуннара, и его правами, а положилъ между собой и Брюнгильдой свой знаменитый мечъ Грамъ. Но онъ снялъ у Брюнгильды съ руки кольцо Андвари (его-то, надобно думать, и оставилъ онъ Брюнгильдѣ при прежнемъ свиданіи) и далъ ей взамѣну другое — изъ клада Фафнира. Вслѣдъ за тѣмъ онъ возвратился къ Гуннару и принялъ опять свой видъ, а Брюнгильда *нѣсколько дней* сряду праздновала свою свадьбу съ Гуннаромъ [137]). Только по окончаніи всѣхъ этихъ пиршествъ, Зигурдъ, наконецъ вспомнилъ про прежнія свои клятвы Брюнгильдѣ (питьице забыдущее, надо думать, стало терять свою силу). Онъ однако-жъ казался совершенно спокойнымъ.

---

[135]) Вторичнымъ представляется это свиданье въ Вользунга-Загѣ, на самомъ-же дѣлѣ, кажется, тутъ надобно видѣть только особый пересказъ перваго, основного свиданія, принятый составителемъ заги за особую, самостоятельную пѣсню. П. Э. Мюллеръ считаетъ этотъ второй пересказъ подновленнымъ (Lange, Untersuchungen, etc., 28); но онъ тѣмъ не менѣе цѣненъ по ясности проводимаго въ немъ рокового начала. (Ср. у Рассмана I, стр. 172—175).

[136]) Buur или Jomfrubuur—особый, отъ остальныхъ зданій отдѣленный домъ, гдѣ въ старинныя времена жили сами по себѣ, одиноко, дочери королей и знатныхъ — примѣч. П. Э. Мюллера (Lange, Untersuchungen, etc., 25). Въ такихъ-то зданіяхъ, надо думать, предполагаются живущими и тѣ красавицы русскихъ былинъ, которыхъ «вѣтры не обвѣютъ» и т. п., а равно и такія же прекрасныя затворницы юго-славянскія. Но объ этомъ еще будетъ ниже.

[137]) Rassmann, D. Heldensage, I, 180 — 185. Lange, Unters., etc., 22—26. Пиръ по нѣскольку дней — также въ русскомъ и юго-слав. эпосѣ; въ тюркскомъ—даже по нѣскольку лѣтъ (Radl . II, 138).

Гораздо короче и съ меньшею ясностью передается все это похожденіе въ началѣ той пѣсни Эдды, которая носитъ названіе: **Quidha Sigurdar med Brynhildar spa** (пѣсня о Зигурдѣ съ предсказаньемъ Брюнгильды). Тутъ Зигурду уже не приходится снова переѣзжать черезъ огонь, потухшій, какъ надо думать, послѣ перваго его переѣзда [138]).

«Къ числу утраченныхъ пѣсенъ Эдды, говоритъ П. Э. Мюллеръ, несомнѣнно должна была относиться пѣсня о ссорѣ Брюнгильды съ Гудруной» (**Lange, Untersuchungen**, 31). Ссора эта, послѣдовавшая за женидьбою Гуннара, передается подробно въ Вользунга-Загѣ, источникомъ которой служила, по мнѣнью того же ученаго, именно эта, не дошедшая до насъ пѣсня. Однажды, повѣствуетъ Вользунга-Зага, Брюнгильда и Гудруна отправились обѣ на Рейнъ умываться. Замѣтивъ, что Брюнгильда уходитъ отъ нея вверхъ по рѣкѣ, Гудруна спросила, зачѣмъ она это дѣлаетъ? «А затѣмъ, что ни здѣсь, ни въ какомъ-либо другомъ мѣстѣ, я не стану съ тобою рядомъ. Отецъ мой былъ могущественнѣе твоего, а подвиги моего мужа почетнѣе подвиговъ Зигурда; мой Гуннаръ перескочилъ черезъ горящій огонь, твой-же мужъ былъ слугою короля Гіальпрека».—Тутъ Гудруна не выдержала и открыла ей что черезъ огонь переѣхалъ не кто другой, какъ именно Зигурдъ, что онъ покоился рядомъ съ Брюнгильдой и взялъ у нея кольцо Андвари: «вотъ я его и ношу теперь», заключила Гудруна. Брюнгильда поблѣднѣла, какъ трупъ, и ничего не сказала. На другой-же день царицы опять заспорили о своихъ мужьяхъ, и Гудруна стала ссылаться на то, что пѣвцы поютъ: «Зигурдова побѣда надъ змѣемъ цѣннѣе цѣлаго царства короля Гуннара».

Во всемъ этомъ, кажется, надо видѣть особую *струю* сказанья, не ту, въ которой Брюнгильда выставляется вѣщею, прозорливою женщиной. Въ той струѣ, надо думать, любовь ея къ Зигурду обращалась въ ненависть единственно потому, что онъ разлюбилъ ее и полюбилъ Гудруну, хотя бы то было вслѣдствіе питья чародѣйнаго и она ужь заранѣе знала о томъ. Въ этой-же особой струѣ къ ревности присоединяется еще обиженность Брюнгильды тѣмъ, что Зигурдъ обманомъ пріобрѣлъ ее для другого. Чувство задѣтой чести, усиливъ ревность, привело къ тому, что Брюнгильда стала требовать у Гуннара убіенія Зигурда.—Съ этихъ поръ Вользунга-Зага почти во всемъ слѣдуетъ пѣснѣ Эдды «о Зигурдѣ и предсказаніи Брюнгильды».—Гуннаръ сталъ подстрекать брата своего Гёгни: «хочешь ли ты воспользоваться богатымъ кладомъ?» Сейчасъ-же понявъ, въ чемъ дѣло, Гёгни ему отвѣчалъ: «какъ же намъ разрубить мечомъ клятву вѣрности».—«Ну такъ мы склонимъ на это убійство Гутторма, младшаго нашего брата; его вѣдь не было съ нами, когда мы клялись въ братской вѣрности Зигурду» [139]). Другая пѣсня Эдды—**Brunhildarquidha** 2, а также и Вользунга-Зага прибавляютъ къ этому, что вслѣдъ за тѣмъ они накормили Гутторма волчьимъ и змѣинымъ мясомъ. Черта эта несомнѣнно подлинная, основывающаяся на томъ началѣ

---

[138]) Grimm, Lieder der Edda, 243—245.

[139]) Гриммы въ примѣчаніи къ этому мѣсту говорятъ, что они приписываютъ эти слова Гуннару (Lieder der Edda, 251).

*уподобленія*, которое оказывается господствующимъ въ народныхъ заговорахъ и чародѣйныхъ дѣйствіяхъ. Нѣчто сходное замѣчено путешественниками у тѣхъ дикарей Новой Зеландіи, которые, съ цѣлью придать мальчику твердость, даютъ ему глотать камешки [110]). Наѣвшись змѣинаго и волчьяго мяса, Гутторм на самомъ дѣлѣ *уподобился* ихъ звѣрству: ему ничего не стоило вонзить свою сталь въ сердце Зигурду. Но Зигурдъ, въ отместку, кинулъ въ него свое копье,—и убійца, имъ пораженный, развалился на полы. [141])

Свечера, беззаботно, заснула Гудруна подлѣ своего мужа, но проснуться ей пришлось не на радость—она плавала въ крови Зигурда [142]). «Не плачь, утѣшалъ ее умирающій, у тебя есть братья... Всему причиной Брюнгильда—она сильно любила меня....» Гудруна испустила крикъ, а Зигурдъ душу. Громко засмѣялась Брюнгильда, услыхавъ плачъ Гудруны. «Вотъ бы намъ убить у тебя на глазахъ твоего брата Атли», сказалъ, негодуя, Гуннаръ. «Онъ переживетъ васъ обоихъ», отвѣчала Брюнгильда.

Такимъ образомъ оказывается, что Атли, это уже давно намъ знакомое лицо Тидрекъ-заги, по древнѣйшимъ пѣснямъ — братъ паленицы Брюнгильды. Далѣе эта вѣщая паленица предсказываетъ, что братъ ея женится на Гудрунѣ, и что слѣдствіемъ этого будетъ цѣлый рядъ бѣдствій. Вотъ эти-то бѣдствія чуяла и умирающая королева Эрка въ Тидрекъ-Загѣ, когда завѣщала мужу не брать себѣ новой жены изъ страны Нифлунговъ. Въ Эддѣ бѣдствія эти предсказываются Брюнгильдою — тожѐ передъ смертью. Отомстивъ Зигурду за его измѣну, она не хочетъ его пережить, и, закалываясь мечомъ своимъ, завѣщаетъ сжечь себя на одномъ кострѣ съ нимъ, и на тотъ-же костеръ возвести, по варварскому обычаю старины, нѣсколькихъ рабынь и рабовъ, а также двухъ собакъ и двухъ ястребовъ [143]).

Подъ именемъ **Drap Niflunga** помѣщена въ Эддѣ краткая прозаическая передача дальнѣйшей судьбы Нифлунговъ — убійцъ Зигурда и сестры ихъ, несчастной его вдовы. Оказывается, что Гуннаръ и Гегни *взяли себѣ все золото, наслѣдіе Фафнира* [114]) и оно, это роковое, проклятое золото, и ихъ, какъ всѣхъ прежнихъ владѣльцевъ, должно было вовлечь въ бѣду. Немедленно Атли, братъ Брюнгильды, обвинилъ ихъ въ ея смерти; но побужденьемъ, какъ надо догадываться, служило тутъ просто желанье завладѣть доставшимся имъ — *змѣинаго ложа огнемъ* [115]), какъ называется золото Фафнира въ одной

---

[140]) Tyler, Forschungen über die Urgeschichte der Menschheit, 167. На томъ-же началѣ основывалось средне-вѣковое повѣрье, будто бы можно удачно совершать разбой, взявъ съ собою отрубленную руку висѣльника, въ которую втыкалась зажженная свѣча, вытопленная изъ его-же сала. (Nisard, Histoire des livres populaires, I, 169). У Гриммовъ въ сказкѣ 118 къ одному цирюльнику, вмѣсто собственной, отрѣзанной руки, прирастаетъ отрѣзанная рука вора, — и цирюльникъ становится воромъ. (Kinder-und-Haus-Märchen, II, 158 etc.). Сюда-же наконецъ можетъ быть отнесенъ старинный нѣмецкій оберегъ отъ судей, произносившійся во время выноса покойника, и основывавшійся на вѣрѣ, что мертвенность сообщится отъ этого послѣдняго судьямъ, которые такимъ образомъ онѣмѣютъ. (Wolfs zeitschrift für D. Mythol. II, 1, s. 117).

[141]) И Рустемъ, умирая, убиваетъ своего убійцу (Mohl., IV, 719)

[142]) Въ прозаическомъ послѣсловіи къ Brunhildarquidha 2 замѣчено: одни говорятъ, что Зигурда убили въ полѣ, другіе—въ постели, соннаго. По словамъ нѣмецкихъ мужей — онъ убитъ въ лѣсу (съ этою особенностью извода нѣмецкаго мы еще встрѣтимся). Но всѣ сходятся въ томъ, что онъ убитъ вѣроломно — въ лежачемъ положеніи и не вооруженный. (Grimm, Lieder der Edda, 239)

[143]) Grimm, Edda, 273. Собаки и ястреба—принадлежности охоты.

[144]) Зигурдъ постоянно возилъ его съ собой на конѣ.

[144]) Такъ полагаетъ Зимрокъ въ своихъ примѣчаніяхъ къ Эддѣ (Simrock, die Edda, die ältere und die jüngere, 2 Aufl. 467).

изъ пѣсень Эдды [146]). Нифлунги, для мировой, предлагаютъ ему живой выкупъ— руку своей сестры Гудруны, которую они склоняютъ къ тому при помощи питья *забыдущаго*. Но Атли, женившись, не оставляетъ своего намѣренія завладѣть кладомъ. Онъ посылаетъ пригласить къ себѣ Гуннара и Гёгни. Гудруна, чуя недоброе, думаетъ предупредить ихъ иносказательною посылкою имъ кольца Андвари вмѣстѣ съ волчьими волосами — знакомъ волчьяго настроенія Атли. Братья однакоже отправляются къ нему въ гости. Гудруна, при видѣ ихъ, обращается къ своимъ дѣтямъ отъ Атли съ требованіемъ, чтобы они упросили отца своего пощадить ея братьевъ. Но дѣти отказываются). Изъ того, что Гудруна обращается къ этимъ дѣтямъ, надобно заключить, что Атли послалъ за ея братьями по прошествіи многихъ лѣтъ послѣ своей женидьбы. (Lüning, 417—418, Simrock, 231).

Во второй пѣснѣ Эдды о Гудрунѣ (Gudrunarquidha 2) является и король Тидрекъ. Гудруна жалуется ему на данное ей братьями питье забыдущее (оно было изъ всякихъ кореньевъ и изъ звѣриныхъ внутренностей), но дѣйствіе этого питья, надо думать, миновалось скоро, потому что она, вспоминая о Зигурдѣ, расказываетъ Тидреку и о томъ, какъ она въ первую-же ночь предсказала немилому мужу, Атли, всѣ грозящія ему бѣдствія и какъ о томъ снилось и ему самому.

Но хотя Гудруна и негодуетъ на братьевъ, она остается для нихъ, соотвѣтственно духу патріархальныхъ временъ, вѣрной сестрой. Такою выставляется она въ двухъ пѣсняхъ Эдды объ Атли (Atlaquidha и Atlamàl). [147]) Въ первой посланные къ Нифлунгамъ увѣряютъ ихъ, что король Гунновъ щедро ихъ обдаритъ оружьемъ и золотомъ. «У насъ у самихъ семь палатъ наполнены мечами златооправными», отвѣчали братья. — Роковая сила однако-жь влечетъ ихъ, и они сдаются на приглашеніе. Но чуть успѣли они прибыть къ Атли, какъ ужъ ихъ заключили въ оковы. Обороняясь, Гёгни убилъ семерыхъ, а осьмого бросилъ въ печь. Пришлось однако-же уступить перевѣсу силъ. «Хочешь-ли ты искупить свободу и жизнь свою золотомъ?» спросили у Гуннара. (А въ Вользунга-Загѣ Атли требуетъ, чтобы Гуннаръ указалъ ему, гдѣ у него скрыто золото — т. е., очевидно, знаменитый кладъ).— Пусть подадутъ мнѣ сюда сердце Гёгни, вырѣзавъ его изъ груди королевича». (Изъ Вользунга-Заги ясно, что слова эти произноситъ самъ Гуннаръ). Когда-же принесли ему на блюдѣ окровавленное сердце, то онъ сказалъ: «Нѣтъ, это сердце не могло принадлежать отважному Гёгни, не даромъ, продолжаетъ оно дрожать здѣсь на блюдѣ, еще-же больше дрожало въ груди у него — у труса Гіалли». И точно, сердце было вырѣзано не у Гёгни, а у этого робкаго раба; но такой довольно обыкновенный эпическій способъ замѣны обреченнаго на смерть другимъ лицомъ [148]) оказался тутъ неудавшимся. Пѣсня, поразительно сжатая, прямо переходитъ къ тому, какъ громко захохоталъ Гёгни, когда стали у него вырѣзывать сердце. «Вотъ это—сердце смѣ-

---

[146]) Gudrunarquidha 1 (Lüning, 416). (Изданіе Гримовъ, къ сожалѣнью, не пошло далѣе первой части, она-же кончается у нихъ пѣснію о смерти Брюнгильды).

[147]) Simrock, Edda, 241—238.

[148]) Ср. нашу повѣсть объ Акирѣ и многія средневѣк. поэмы.



лаго Гёгни, радостно заговорилъ Гуннаръ; оно не дрожитъ на блюдѣ, какъ никогда не дрожало и у него въ груди. Оставайся, Атли, также далеко отъ моихъ очей, продолжалъ онъ, какъ далеко ты останешься навсегда отъ моихъ сокровищъ! Теперь одному мнѣ извѣстно, гдѣ находится скрытый кладъ Нифлунговъ, такъ какъ Гёгни не стало. Меня смущали сомнѣнія, пока насъ еще было двое; оставшись одинъ, я теперь спокоенъ». Такимъ образомъ выясняется, на что было нужно ему сердце Гёгни: онъ хотѣлъ, чтобы тайна клада осталась при немъ одномъ — и умерла съ нимъ вмѣстѣ, вопреки самымъ лютымъ вымогательнымъ мукамъ. «Хранителя клада» ввергли, по приказанію Атли, въ змѣиную яму [149]); но онъ преспокойно сталъ въ ней играть на арфѣ. — (По Вользунга-Загѣ эту арфу прислала ему сестра и онъ игралъ на ней пальцами ногъ, такъ какъ руки у него были связаны) Сходная участь приписывается и герою одной изъ извѣстнѣйшихъ сѣверныхъ загъ—Рагнару Лодброку, въ уста которому влагается цѣлая пѣсня, передающая жизненные его подвиги и яко-бы спѣтая имъ въ змѣиной тюрьмѣ, передъ смертью. Уландъ указываетъ и на другіе примѣры подобнаго предсмертнаго пѣнія въ сѣверныхъ загахъ, между прочимъ на Асбьёрна Пруди, который пѣлъ, пока у него вытягивали кишки. «Умирать смѣясь, замѣчаетъ Уландъ, это эпическій признакъ несокрушимаго мужества.» При этомъ приводятся имъ изъ Саксона Грамматика слѣдующія слова о знаменитомъ въ сѣверныхъ загахъ Грольфѣ Краки:

Ridendo excepit lethum mortemque cachinno
Sprevit et elysium gaudens successit in orbem [150]).

Я-же позволю себѣ замѣтить, что въ этомъ отношеніи съ древними Германцами на одну ступень должны быть поставлены тѣ людоѣды Америки, о которыхъ такъ сочувственно отзывался Монтень: «у нихъ не найдете вы никого, кто-бы не захотѣлъ лучше быть убитымъ и съѣденнымъ, чѣмъ унизиться до мольбы пощадить его жизнь... Плѣнникамъ заранѣе выставляютъ на видъ предстоящія имъ мученія... но они остаются веселыми, просятъ своихъ обладателей поскорѣе подвергнуть ихъ испытанію, поносятъ ихъ и выставляютъ имъ на видъ когда-то потерянныя ими битвы [151]). Возвращаясь къ умираю-

[149]) Изъ того, что Гуннаръ тутъ названъ хранителемъ клада и изъ только что приведеннаго его обращенія къ Атли, слѣдуетъ, думаю я, прямо заключить о намѣреніи короля Гунновъ овладѣть кладомъ, хотя В. Гриммъ и отрицаетъ это, стараясь доказать, что Атли дѣйствуетъ главнымъ образомъ подъ вліяніемъ чувства мести за Брюнгильду. (D. Heldensage, 8). По Вользунга-Загѣ Атли знаетъ, что Гіукунгамъ достался кладъ Зигурда, и вслѣдствіе этого-то онъ и посылаетъ за ними.

[150]) Uhlands Werke, VII, 313—314. Уландъ указываетъ тутъ на стр. 519 и 690. Rechtsalterthümer Гримма, откуда видно, какимъ образомъ производилось это звѣрское вытягиваніе кишокъ: разрѣзавъ животъ и вытянувъ кончикъ кишки, прибивали его гвоздемъ къ дереву, а потомъ гоняли вокругъ дерева человѣка, пока не выйдутъ всѣ кишки. Позволю себѣ привести слова, сказанныя мною въ другомъ мѣстѣ: «кровожадность, обычность убійствъ должны были вызвать въ Германцахъ силу духа, необходимую для того, чтобы сносить подобный порядокъ вещей. Привычка убивать должна была вызвать привычку видѣть и сносить убійства. Германецъ долженъ былъ смотрѣть на нихъ, какъ на дѣло обычное, которое каждый день можетъ коснуться и его; чтобы мысль о гибели не подкашивала силы его духа, не уничтожала въ немъ энергіи къ дѣятельности, онъ долженъ былъ свыкнуться съ ожиданіемъ смерти, смотрѣть ей безстрашно въ глаза; и вотъ онъ дѣйствительно научился даже улыбаться среди мученій. (См. мою книгу «О нравственной стихіи въ поэзіи». стр. 120).

[151]) Essais de Michel Montaigne, édition Firmin Didot, p. 99—100. Тутъ-же приводится Монтенемъ и пѣсня плѣнника, исполненная того же духа. См. мою статью о Монтенѣ и его взглядѣ на народную словесность въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1865 г., за Іюль.

щему Гуннару, замѣчу, что въ Drap Niflunga онъ *игрою на арфѣ усыпляетъ змѣй*, но когда одна изъ нихъ тѣмъ не менѣе прокусываетъ ему грудь до печени, онъ умираетъ [152]). По чудесному дѣйствію своей игры, Гуннаръ тутъ попадаетъ въ разрядъ тѣхъ общеарійскихъ эпическихъ личностей, о которыхъ я имѣлъ уже случай говорить въ статьѣ по поводу открытой г. Верковичемъ болгарской пѣсни объ Орфеѣ [153]). — Къ указанному тамъ примѣру не-арійскому — финскому Вейнемейнену (въ Калевалѣ) — можно присоединить еще указанія на *орфееву игру* у тюркскихъ народовъ. Такъ у Радлова въ ч. 1 на стр. 201 и 202 упоминается богатырь, который притомъ-же и находится въ положеніи, напоминающемъ Гуннара: посаженный въ глубокую яму, онъ своею игрою на дудкѣ очаровываетъ птицъ и лѣсныхъ звѣрей, (потомъ на крылѣ одной изъ очарованныхъ птицъ пишетъ письмо къ своимъ — въ видѣ заговора, сила котораго и доноситъ къ нимъ птицу вѣстницу [154]).

Послѣ указанія на эти черты, роднящія пѣсню Эдды съ эпосомъ всякихъ народовъ, обращаюсь къ дальнѣйшему ея ходу. Страшная месть Гудруны за братьевъ—убіеніе ею своихъ собственныхъ сыновей отъ Атли — напоминаетъ Медею, а поднесеніе ихъ отцу въ снѣдь Атрея съ Тіэстомъ въ греческомъ эпосѣ. Но по основному побужденію, какъ мстительница за ближайшихъ членовъ *своего рода*, Гудруна всего болѣе напоминаетъ германскую-же Зигни, точно также пожертвовавшую, какъ мы уже знаемъ, своими дѣтьми—для отомщенія за отца. Обѣими женщинами управляетъ одно и то-же *родовое начало*. Подавивъ чувство матери, въ лицѣ Гудруны оно оказывается подавившимъ также и скорбную память о миломъ, вѣроломно убитомъ мужѣ, убитомъ тѣми самыми братьями, которымъ, какъ ближайшимъ изъ родичей, не только прощается все, но и приносятся въ жертву ни въ чемъ неповинныя (по свидѣтельству самой пѣсни) дѣти! Кромѣ дѣтей приносится въ жертву и цѣлое множество другихъ, столько же неповинныхъ людей: Гудруна, опять уподобляясь Зигни, поджигая чертоги Атли, сожигаетъ въ нихъ *весь народъ* [155]).

«Подробнѣе расказано объ этомъ въ грёнландскомъ «Atlamal» — читаемъ мы въ Эддѣ вслѣдъ за только что приведенною пѣснью. Въ числѣ подробностей этой второй пѣсни объ Атли встрѣчается упрекъ ему со стороны Гудруны въ томъ, что онъ изъ за сокровищъ умертвилъ ея мать [156]). Далѣе, не Гуннаръ, а Атли велитъ тутъ вырѣзать сердце у Гёгни, а одинъ изъ исполнителей приказанія говоритъ другимъ: «поймаемъ лучше Гіалли и пощадимъ Гёгни.» Перваго, по его мнѣнію, жалѣть нечего —

---

[152]) Lüning, Edda, 417—418. Simrock, 231. То-же самое упоминается и въ Вользунга-Загѣ; а въ пѣснѣ Эдды «Oddrunar gratr» эта губительная змѣя выставляется матерью Атли. (Simrock, 245).

[153]) См. Ж. Мин. Нар. Просв. 1868 г. за Мартъ.

[154]) Другой примѣръ чудодѣйственной игры встрѣчается у Радлова во II ч, на стр. 407. Сходные-же примѣры въ чтеніяхъ Кастрена объ Алтайскихъ народахъ, стр. 207, 233. Сравни еще въ сборникѣ сказокъ Сомадевы—по нарманнову изданію Брокгауза I, 74, 107. Отзвукъ того-же эпическаго начала слышится, но уже сильно переиначенный, и въ буддійскомъ сказаніи о проповѣдникѣ Ашвагошѣ, слушая котораго лошади, цѣлыхъ шесть дней некормленныя, не прикасались къ пищѣ и проливали слезы (Васильева Буддизмъ, 211). Возможность въ буддизмѣ подобныхъ отзвуковъ объясняется тѣмъ, что въ него очень многое «внесено уже готовое изъ народныхъ вѣрованій». (См. въ томъ-же сочиненіи стр. 179).

[155]) Lüning, Edda, 451. Simrock, 251.

[156]) Этимъ, кажется, окончательно подтверждается сребролюбивый нравъ Атли.

онъ всегда былъ дрянь. Не безъ насмѣшливаго презрѣнія говорится и далѣе въ пѣснѣ про его крики, пока точили ножъ. Досадно стало наконецъ Гёгни, и онъ сталъ просить за этого *негодяя*, незахотѣвшаго ни съ того, ни съ сего умирать: «самъ я лучше сыграю въ эту игру; кому-же не надоѣстъ слушать подобный визгъ?» Когда принялись за него самого, онъ громко захохоталъ, а всѣ кругомъ наблюдали, какъ мужески выносилъ онъ боль. И онъ, и Гуннаръ, игравшій ногами на арфѣ въ зміиной ямѣ, умерли оба къ утру, но «ихъ пережила доблесть». — Затѣмъ послѣдовала страшная тризна, устроенная Гудруной, тризна, для которой она убила дѣтей своихъ, говоря имъ: «мнѣ давно хотѣлось лишить васъ жизни.» Когда-же Атли напился изъ ихъ черепов ихъ крови и наѣлся ихъ мяса, Гудруна съ наслажденьемъ сказала ему: «на вертелѣ изжарились ихъ сердца, и я дала ихъ тебѣ отвѣдать вмѣсто телячьихъ; ты одинъ ихъ ѣлъ и ничего не оставилъ, ты пожиралъ ихъ съ жадностью, и крѣпкими зубами!»—Наконецъ она убила и самого Атли—при помощи сына своего брата Гёгни. Умирая, Атли упросилъ ее похоронить его и дѣтей съ честью, и она обѣщала исполнить все это—какъ будто бы они жили въ любви и согласьи. «Счастливъ, заключаетъ пѣсня, кому дана такая отважная дочь!» И эти заключительныя слова прямо показываютъ, что Гудруна поступаетъ въ древне-германскомъ духѣ, что пѣсня сочувствуетъ ей, какъ исполнившей свято свою обязанность.

Между тѣмъ отъ брака съ нею, съ этою грозною женщиною изъ страны Нифлунговъ, предостерегала своего мужа умирающая Эрка. Это съ одной стороны можетъ указывать на то, что во время сложенія Тидрекъ-Заги образъ Гудруны, вслѣдствіе нѣкотораго смягченія нравовъ, не представлялся уже привлекательнымъ. Но съ другой стороны предостереженіе Эрки можетъ относиться и просто къ тому *роковому значенію*, какое соединяется съ Гудруною и ея родней. Такое роковое значеніе придаетъ имъ, какъ могли мы замѣтить, переходящее къ нимъ отъ Зигурда *проклятое золото*. Позарившись на него, и второй мужъ Гудруны, Атли (Аттила), какъ всѣ прежніе его обладатели, неминуемо долженъ погибнуть. Эта *пагубность золота* служитъ только миѳическимъ выраженьемъ того, что было подмѣчено народною мыслію въ господствующихъ явленіяхъ древне-германскаго быта. Та самая вступительная пѣсня Эдды, Вёлуспа, по которой брошенный Одиномъ мечъ низводитъ на землю кровопролитіе,—та самая пѣсня, описывая первоначальное блаженство Азовъ, замѣчаетъ, что они еще не знали *жажды золота*. Потомъ вдругъ явились валькиріи (воинственныя дѣвы, служительницы Одина); онѣ «*истолкли мечами золотую силу* и трижды ее пережгли въ чертогахъ Вышняго [157]). Трижды пережженная, трижды она возраждалась и все остается живою [158]). Вслѣдствіе этого, какъ и отъ меча, сброшеннаго на

[157]) Золотая сила — Goldkraft, по переводу Зимрока—Gullveig въ подлинникѣ. Люнингъ въ своемъ изданіи Эдды толкуетъ это слово, какъ имя собственное: «Гульвейга, говоритъ онъ, это золотая сила, какъ бы богиня золота; ее толкутъ копьями и три раза пережигаютъ. Приготовленіе золота выставляется тутъ какъ убійство, да оно и является гибелью золотой (блаженно и война и убійство связываются съ нимъ (Lüning, Edda, 145, прим. 25).

[158]) Золото, хотя и нѣсколько разъ пережженное, толкуетъ Люнингъ, все остается золотомъ; его не истребить, какъ и его губительной силы. (Тамъ-же).



землю Одиномъ, завелось на землѣ убійство.—Такому отождествленію, по губительному ихъ дѣйствію, золота и оружія, вполнѣ соотвѣтствуетъ то обстоятельство, что въ одной изъ сѣверныхъ загъ съ пріобрѣтеніемъ чудеснаго меча соединяется такая-же точно роковая, губящая сила, какою въ сказаньи о Зигурдѣ ознаменовывается пріобрѣтеніе знаменитаго клада. Я разумѣю загу о Гервёрѣ и Гейдрекѣ, подробно передаваемую Уландомъ, который говоритъ въ заключеніе, что основная мысль тутъ—«самоистребленіе непомѣрной и необузданной силы» [159]). Вооруженная мечомъ и управляемая жаждой золота, сила эта составляетъ роковое начало въ цѣломъ составѣ древне-германскаго эпоса.

Въ томъ уже позднѣйшемъ, сравнительно съ Эддою, видѣ сказанья о Зигурдѣ, какой представляетъ намъ *Пѣсня о Нибелунгахъ* (обыкновенно относимая къ XII—XIII ст.) знаменитый кладъ Нибелунговъ почти совсѣмъ потерялъ свое *миѳическое* значеніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ту сторону своего рокового значенія, которая зависѣла отъ проклятія, наложеннаго на этотъ кладъ карлой Андвари. Роковое начало и вообще является уже ослабленнымъ въ этой поэмѣ, равно какъ и та, въ своемъ родѣ роковая же сила *родовыхъ связей*, преобладанье которой замѣтно въ Эддѣ и Вользунга-Загѣ. Вмѣсто связей родовыхъ тутъ преобладаютъ связи *вассальныя*.

Въ Эддѣ, какъ мы видѣли, Брюнгильда не перестаетъ любить разлюбившаго ее, подъ вліяніемъ рока, Зигурда, и, переходя въ ревность, любовь ея наконецъ вырождается въ ненависть. Въ «Пѣснѣ о Нибелунгахъ» она просто оскорблена тѣмъ, что сестра ея мужа, Кримгильда, вышла замужъ за его служилаго мужа (Зигфрида).

Umbe dîne swester ist mir von herzen leit;
Di sich ich sizen nâhe dem eigen holden dîn:
Daz muoz ich immer weinen, sol si sô verderbet sîn [160]).

Сперва обращаясь такимъ образомъ къ мужу, позже она говоритъ почти то-же и самой Кримгильдѣ, которая, чтобы доказать ей, что она ничѣмъ не ниже ея, спѣшитъ войти въ церковь раньше Брюнгильды. Ссора передъ входомъ въ церковь замѣняетъ въ «Пѣснѣ о Нибелунгахъ» ту ссору на рѣкѣ, какую видѣли мы въ Вользунга-Загѣ. И тамъ уже проглядывала гордость Брюнгильды, но въ сущности она вытекала изъ ревности, слѣдъ которой уже совершенно простылъ въ «Пѣснѣ о Нибелунгахъ»—«Твой мужъ былъ слугою Гіальпрека,» говоритъ Брюнгильда въ Вользунга-Загѣ, указывая такимъ образомъ на то, что Зигурдъ родился въ плѣну у этого короля. Такого плѣна не существуетъ въ поэмѣ: король Зигурдъ, отецъ Зигфрида, оказывается тутъ живымъ и властвующимъ во время женидьбы своего сына, но Зигфридъ, королевскій сынъ, добровольно становится служилымъ мужемъ Гунтера. Не смотря на то, Брюнгильда находитъ Зигфрида не-ровнею для своей золовки, и этимъ выражается уже развитая до высочайшей степени феодальная гордость. Каково-же было узнать этой гордой королевѣ, что сама она поко-

---

159) Uhlands Schriften, VII, 131.

160) Der Niebelunge Noth, von K. Lachmann, 3 Ausg., 80.

лась рядомъ съ этимъ презираемымъ ею человѣкомъ, что онъ, а не Гунтеръ, ее побѣдилъ? Но самой Брюнгильдѣ не зачѣмъ и помышлять о мщеніи: на это *святое* дѣло называется вѣрнѣйшій изъ служилыхъ мужей ея мужа, Гагенъ. Въ негодованіи говоритъ онъ о Зигфридѣ:

Daz er sich hât gerüemet der lieben frowen mîn
Dar umbe wil ich sterben, ez engê im an daz leben sîn (Lachm. 112).

Онъ и задумываетъ, и выполняетъ задушевное дѣло мести съ самымъ пламеннымъ увлеченіемъ; и позже, по убіеніи Зигфрида, онъ ни мало не избѣгаетъ встрѣчи со вдовою Зигфрида, а даже прямо напоминаетъ ей о своемъ поступкѣ, словно хвастаясь имъ, какъ прекраснымъ, похвальнымъ дѣломъ. То начало *служилой вѣрности*, котораго пробужденіе видѣли мы уже въ латинской поэмѣ «Waltharius,» достигаетъ полнѣйшаго своего развитія въ «Пѣснѣ о Нибелунгахъ». Эта послѣдняя неоднократно ссылается на сказаніе, послужившее основою первой, и прямо указываетъ на то, что Гагенъ—это тотъ же самый Гагановъ, который, изъ служилой вѣрности королю Гунтарію, выступилъ въ бой со своимъ побратимомъ [161]). Но тамъ, какъ мы видѣли, онъ не вдругъ рѣшился на это; съ другой же стороны бой этотъ былъ открытый и кончился примиреніемъ. Здѣсь-же, т. е. въ поэмѣ о Нибелунгахъ, Гагенъ, не колеблясь, рѣшается на вѣроломный обманъ, на убійство изъ за угла, совершаетъ его, не дрогнувъ, сознаетъ себя, до конца своей жизни, совершенно правымъ, даже пользуется уваженіемъ всѣхъ—кромѣ одной вдовы Зигфрида. Онъ съ особеннымъ удовольствіемъ, и опять какъ бы съ чувствомъ исполненнаго долга, продолжаетъ ей вредить и потомъ—погружая въ воды Рейна весь знаменитый кладъ, доставшійся ей отъ Зигфрида. Кладъ этотъ такимъ образомъ существуетъ и здѣсь, но имѣетъ уже значеніе самое обыкновенное: на него Кримгильда разсчитываетъ нанять себѣ вѣрныхъ слугъ, способныхъ отомстить за нее братьямъ и Гагену, этотъ-же послѣдній именно для того и уничтожаетъ кладъ, чтобы лишить ее средствъ нанять себѣ мстителей. — Кримгильдѣ однако-же вскорѣ представилось новое средство: замужство съ королемъ Этцелемъ (Атли); обладателемъ многихъ служилыхъ мужей. Скрѣпя сердце, идетъ за него Кримгильда, не перестающая оплакивать Зигфрида, идетъ, взявъ съ посланнаго имъ для сватовства служилаго его мужа Рюдигера клятву въ безусловной, на всякое дѣло способной вѣрности:

Si sprach: so swert mir eide, swaz mir ieman getuot,
Daz ir sît der naechste der büeze mîniu leit.
Dô sprach der marcgrâve: des bin ich, vrouwe, bereit.
(Lachm. 163).

Обеспечивъ себѣ удачный исходъ задушевнаго дѣла мести вѣрностью своихъ новыхъ, служилыхъ мужей, Кримгильда посылаетъ звать къ себѣ въ гости братьевъ. Тутъ уже все совершенно не такъ, какъ въ Эддѣ. Если тамъ Гудруна забываетъ своего мужа и мститъ не за него, а за своихъ, его погубившихъ братьевъ, то тутъ Кримгильда только и живетъ мыслію объ убитомъ

[161]) Lachmann, Nibelungen, 225, 230, 262, 298.



Зигфридѣ и о томъ, какъ бы отомстить за него своимъ братьямъ (не думая даже о пощадѣ къ младшему, не участвовавшему въ убійствѣ). В. Гриммъ совершенно справедливо объясняетъ это совершеннымъ измѣненіемъ нравовъ. (Heldensage, 370). Отголосокъ древнихъ *родовыхъ* обязанностей слышится въ «Пѣснѣ о Нибелунгахъ» единственно тамъ, гдѣ Кримгильда, вскорѣ послѣ убіенія Зигфрида, отказывается отъ предложенія отца его переселиться къ нему,—на томъ основаніи, что у нея *нѣтъ родныхъ въ странѣ Нибелунговъ*. Я обязана, продолжаетъ она, остаться здѣсь, у *своихъ*, что́ бы со мною ни сталось» [162]). Впрочемъ и тутъ можетъ таиться уже совершенно иное, а именно надежда, оставшись у братьевъ, тѣмъ удобнѣе имъ отомстить. Не даромъ тутъ-же начинаетъ Кримгильда раздаривать свой наслѣдственный кладъ на право и на лѣво, и не даромъ испуганный этимъ Гагенъ требуетъ отнятія у нея клада. Когда Гунтеръ противится этому на основаніи заключенной имъ съ сестрою мировой, Гагенъ, со свойственнымъ ему особаго рода самоотверженіемъ, говоритъ: «положи этотъ грѣхъ на меня» [163]). Гунтеръ сейчасъ же и соглашается, а младшаго, вѣрнаго Кримгильдѣ брата, Гизельгера, хотя и смущаетъ этотъ новый грѣхъ, но онъ говоритъ только, что Гагенъ поплатился бы за это жизнью, если бъ не былъ имъ *свой человѣкъ*. И тутъ такимъ образомъ дѣло не въ томъ, *каковъ* поступокъ, а въ томъ, *чей* онъ, и весь успѣхъ противъ древнихъ германскихъ понятій заключается только въ томъ, что понятіе *свой* расширено: кромѣ исключительно *кровныхъ*, оно обнимаетъ также *сроднившихся въ силу служилости*. Оно и вполнѣ понятно при той безграничной вѣрности, на какую оказываются способными слуги, подобные Гагену.

Когда Кримгильда, уже жена Этцеля, присылаетъ звать къ себѣ въ гости братьевъ, Гагенъ не совѣтуетъ ѣхать, чуя недоброе. Тутъ Гернотъ [164]) высказываетъ подозрѣніе, что онъ боится за себя, избѣгаетъ угрожающей ему, прежде всѣхъ другихъ, мести. Это вдругъ заставляетъ Гагена настаивать на поѣздкѣ къ Кримгильдѣ. «Я никогда не дѣйствую подъ вліяніемъ страха» (durch vorhte ich niht entuo) [165]) отвѣчаетъ онъ,—совершенно въ духѣ отвѣта, даннаго Гильдебрандомъ сыну на его подозрѣніе въ томъ, что старикъ изъ трусости хочетъ причесться ему въ отцы. Одно и то-же неизмѣнившееся воинственное начало сказывается, такимъ образомъ, и въ отрывкѣ пѣсни VIII в. и въ поэмѣ XII-го.

Рѣшившись ѣхать во что́ бы ни стало, братья Кримгильды, со своими многочисленными служилыми мужами, заѣзжаютъ по дорогѣ къ знаменитому служилому мужу Этцеля, Рюдигеру Бехеларскому. Не зная, что́ ждетъ его впереди, чего потребуетъ отъ него Кримгильда, которой поклялся онъ въ безусловной вѣрности, Рюдигеръ усердно принимаетъ знаменитыхъ гостей. Щедро одаренные имъ, въ знакъ дружескаго союза, они уѣзжаютъ, порѣшивъ, что

[162]) Ich habe niemen mâge in Niblunge lant...
Ich muoz hie belîben, swaz halt mir geschiht,
bî mînen mâgen die mir helfen klagen.
(Lachmann, Niebelungen, 142).

[163]) lât mich den schuldigen sîn. (Lachmann, 148).

[164]) Братъ Гунтера, средній между нимъ и Гизельгеромъ.

[165]) Lachmann, Niebelungen, 194.

младшій изъ королевичей, Гизельгеръ, женится на дочери Рюдигера. Подобно своимъ господамъ, обоюдно братаются между собою и служилые мужи. У Этцеля ждалъ гостей совершенно иной пріемъ—невѣдомо, впрочемъ, для самого Этцеля. При первой-же встрѣчѣ предостерегаютъ ихъ знакомые намъ давно король Дитрихъ и старикъ Гильдебрандъ, проживающіе, какъ мы уже знаемъ, у Этцеля (въ этомъ «Пѣсня о Нибелунгахъ» совпадаетъ вполнѣ съ «Тидрекъ-Загою»). «Каждый день слышу я плачъ Кримгильды о Зигфридѣ», говоритъ Дитрихъ.—Кримгильда дружески привѣтствовала только Гизельгера, а къ Гагену сейчасъ же обратилась съ вопросомъ, куда онъ дѣвалъ ея кладъ? Тотъ преспокойно ей отвѣчаетъ, что кладъ покоится на днѣ Рейна. Встрѣченные подобнымъ образомъ, гости не снимаютъ вооруженія. Кримгильда между тѣмъ готова челомъ бить своимъ служилымъ мужамъ, чтобы они убили Гагена. Видя ихъ готовность на то, она захотѣла пройтись въ королевскомъ вѣнцѣ передъ своими врагами, чтобы показаться имъ *власть имѣющею*. Но Гагенъ намѣренно не встаетъ при ея приближеніи и выставляетъ ей на показъ носимое имъ оружіе, когда-то принадлежавшее Зигфриду. Горько заплакала тутъ Кримгильда и стала его упрекать, какъ это онъ осмѣлился къ ней пріѣхать непрошенный?—«Сюда были приглашены трое витязей, — они мои господа, я ихъ мужъ»—сказалъ въ объясненье допрашиваемый. «Я, продолжалъ онъ съ какимъ-то особеннымъ самохвальствомъ, тотъ самый Гагенъ, который убилъ Зигфрида; крѣпко онъ поплатился за то, что Кримгильда оскорбила Брюнгильду!» Послѣ всего этого гости удвоили свои предосторожности. На ночь Гагенъ со своимъ другомъ, *скоморохомъ* (vidaelere) Фолькеромъ стали на стражу. Такимъ образомъ не удалось нападеніе мужей Кримгильды, появившихся лишь для того, чтобы выслушать обще-народный упрекъ эпическій: «честь ли хвала добрымъ молодцамъ нападать на сонныхъ?» (Lachmann, 236). Послѣ первой неудачной попытки, Кримгильда обратилась къ Дитриху. За него отвѣтилъ сперва Гильдебрандъ (въ чемъ, быть можетъ, слѣдуетъ видѣть отголосокъ эпическаго представленія Гильдебранда—*пѣстуномъ, дядькою* Дитриха): «если кто и подыметъ руку на Нибелунговъ, то, конечно, безъ моего участія». И онъ даже рѣшился прибавить, что не выступитъ противъ нихъ *ни за какія сокровища*. Вслѣдъ за тѣмъ сталъ попрекать Кримгильду и Дитрихъ, что она злоумышляетъ противъ своихъ-же *кровныхъ*, (Lachmann, 343) съ миромъ къ ней приглашенныхъ. Въ немъ такимъ образомъ сказывается — съ одной стороны указывающее на смягченіе нравовъ негодованіе противъ коварнаго разставленья сѣтей, съ другой-же — уваженіе къ древнѣйшимъ обязанностямъ *родового, патріархальнаго* быта. И Дитрихъ и Гильдебрандъ еще далеки отъ пониманья тѣхъ новыхъ, вполнѣ измѣненныхъ понятій о долгѣ, къ которымъ относятся слѣдующія слова В. Гримма: «месть Кримгильды братьямъ коренится въ томъ воззрѣніи среднихъ вѣковъ, которое относилось къ любви, какъ къ высочайшему чувству, не допускающему никакихъ постороннихъ соображеній» [166]). Отказъ Тидрека, кро-

[166]) W. Grimm, D. Heldensage, 370. Тутъ-же указывается на то, что сочинитель еще болѣе поздней поэмы «Klage» (Плачъ) видѣлъ въ поступкѣ Кримгильды богоугодную вѣрность Зигфриду. Дитрихъ-же напротивъ того въ одномъ мѣстѣ «Нибелунговъ» называетъ Кримгильду *чудовищемъ* (valandinne) (Lachmann, 224



мѣ того, долженъ указывать и на его болѣе независимыя отношенія къ Кримгильдѣ, чѣмъ отношенія къ ней остальныхъ служилыхъ мужей. Послѣ горькой ошибки своей съ Дитрихомъ, Кримгильда обратилась къ брату Этцеля, Блёделину, и онъ сейчасъ-же подался на ея требованія, а вмѣстѣ и на приманку посуленной ею особой miete. (Гильдебрандъ-же, какъ мы видѣли, способенъ стать выше этой послѣдней). Между тѣмъ гости приглашены въ столовую Этцеля. Кримгильда приказала туда отнести и маленькаго своего сына: тутъ, кажется, слышенъ еще отголосокъ того пожертвованья своимъ собственнымъ *порожденьемъ*, которое составляетъ, какъ мы знаемъ, существенную принадлежность древняго, *сѣвернаго* вида сказанія. По всей вѣроятности, и въ болѣе древнемъ изводѣ сказанья *германскаго*, Кримгильда съ большею ясностью выставлялась разсчитывающею на то, что дитя ея сдѣлается жертвою, а это должно будетъ вызвать на месть и самого вялаго, безцвѣтнаго Этцеля [167]). Она знала, что во время этого самаго пира Блёделинъ, по ея наущенію, нападетъ на пировавшихъ особо слугъ ея братьевъ. Когда вѣсть о рѣзнѣ, учиненной между ними, принесена была въ столовую королевскую стоявшимъ во главѣ слугъ, братомъ Гагена, Данквартомъ, тогда Гагенъ, въ отместку, тутъ-же отрубилъ голову малюткѣ Ортлибу, — и голова отскочила отъ него прямо на колѣни къ Кримгильдѣ. Вся поглощенная мыслію о своей задушевной мести, она остается при этомъ безмолвною. Зато между витязями началось тутъ побоище и свирѣпое, и великое. Самъ-же Этцель, впрочемъ, и тутъ поднялся не сразу.

Другого рода отголосокъ того древняго вида сказанія, который сохранился на сѣверѣ, въ Эддѣ, замѣтенъ въ томъ, что Кримгильда и тутъ поджигаетъ съ четырехъ сторонъ тотъ чертогъ, въ которомъ происходила бойня. Прежде чѣмъ рѣшиться на это, она попыталась потребовать у братьевъ выдачи Гагена. Но тутъ величаво сказалось со стороны ихъ чувство взаимной ихъ вѣрности вѣрнѣйшему своему слугѣ: «скорѣе поляжемъ мы сами хотя бы и цѣлою тысячью, чѣмъ выдадимъ одного его [168]). Бойня такимъ образомъ продолжалась, а отъ горящихъ стѣнъ распространился страшнѣйшій жаръ и сражающіеся изнемогали отъ жажды. Тогда Гагенъ подалъ совѣтъ напиться крови, лившейся повсюду потоками: «среди подобнаго жара это лучше вина». Думаю, что тутъ сохранился намекъ на то древнее, *укрѣпляющее* дѣйствіе выпитой крови, съ какимъ мы встрѣчались въ Эддѣ, тѣмъ болѣе, что немного далѣе сказано даже прямо про напившихся по совѣту Гагена:

dâ von gewan vil krefte ir etliches lîp. (Lachm., 270).

Чтобы поддержать усердіе своихъ служилыхъ мужей, Кримгильда приказала нанести краснаго золота цѣлыми щитами, и раздавала его всякому, кто протягивалъ руку. «Никогда еще не было потрачено болѣе золота противъ враговъ!»

Между тѣмъ ряды Кримгильды и Этцеля все больше и больше рѣдѣли. Тогда кто-то изъ Гунновъ указалъ на стоящаго въ сторонѣ Рюдигера, *плакав-*

[167]) Въ дошедшемъ до насъ изводѣ читаемъ мы только слѣдующее: (Lachmann, Niebelungen, 244).
Dô der strît niht anders kunde sîn erhaben,
(Kriemhilt leit daz alte in ir herzen was begraben),
dô hiez si tragen ze tische den Etzelen suon.
wie kund ein wîp durch râche immer vreislîcher tuon?

[168] Ob unser tûsent waeren, wir laegen alle tôt,
der sippe dîner mâge, ê wir den einen man
gaeben hie ze gîzel. (Lachmann, 268).



*шаго* глядя на бойню (опять эти народныя *богатырскія слезы*!)[169] «Не мало набрался онъ замковъ у короля, а еще и не думалъ обнажать меча въ этотъ день»—заговорили про Рюдигера. Вскорѣ обратился къ нему съ упреками и самъ Этцель, а еще горше Кримгильда, напомнившая ему о клятвѣ. «Я поклялся служить вамъ и честью своею, и жизнью, но не душою» (совѣстью). Тогда и король, и королева били ему челомъ до сырой земли. «О, для чего я дожилъ до этого дня, когда приходится распрощаться съ вѣрностью, съ честью и съ долгомъ» причитывалъ Рюдигеръ, указывая на союзъ дружбы, заключенный имъ съ Гунтеромъ и его мужами. И онъ сталъ умолять короля: «прими отъ меня обратно всѣ свои замки;—я отправлюсь пѣшкомъ мыкать горе». Но неумолимый король отвѣчалъ на это обѣщаніемъ новыхъ земель. И Рюдигеръ уступилъ наконецъ, успокоивая свою совѣсть тѣмъ, что *пережить* это все ему не придется. «За все то добро, которымъ вы меня надѣляли, за все это долженъ я умереть... позаботьтесь о моихъ дѣтяхъ и о моей женѣ». И тутъ-же онъ *«положилъ на вѣсы свою душу и свое тѣло»*. Передачу дальнѣйшаго позволю себѣ выписать изъ другого, стараго моего труда: «Когда Рюдигеръ вступаетъ въ бой съ Бургундами, Гагенъ тотчасъ узнаетъ въ немъ того радушнаго хозяина, который еще такъ недавно угощалъ ихъ въ своемъ замкѣ. Онъ напоминаетъ ему объ этомъ и говоритъ, что щитъ, подаренный ему Рюдигеромъ, уже разбитъ въ щепы во время боя! Тогда Рюдигеръ снимаетъ щитъ съ своей собственной руки и отдаетъ Гагену, который, тронутый этимъ, говоритъ, принимая щитъ, что онъ уже не вступитъ послѣ этого въ бой съ самимъ Рюдигеромъ. Дѣйствительно, Гагенъ все время щадитъ его, избивая другихъ безъ пощады. Этотъ Рюдигеръ есть, безъ сомнѣнія, самое симпатическое лицо во всей поэмѣ. Ему досталась тяжкая доля: пожертвовать однимъ долгомъ для другого... Долго чувство гостепріимства борется въ немъ съ чувствомъ вассальнаго долга; наконецъ послѣдній превозмогаетъ: Рюдигеръ съ отчаяніемъ ополчается противъ недавнихъ гостей своихъ; и что̀ должна чувствовать теплая душа его, когда они показываютъ ему — кто мечъ, кто поручи, подаренные имъ у него въ домѣ? Въ жертву вассальной вѣрности приносится человѣческое чувство братства, и недавніе друзья падаютъ одинъ отъ руки другого[170]). Напомню только, что такого-же рода пожертвованіе, для вассальныхъ обязанностей, дружбою уже представилъ намъ Гагенъ въ поэмѣ **Waltharius**, только дѣло обошлось тамъ безъ трагическаго конца; съ другой-же стороны нѣчто подобное представила намъ и Тидрекъ-Зага въ своемъ повѣствованіи о канунѣ битвы между мужами Тидрека и мужами Эрминрека, но и тамъ было всетаки менѣе жертвъ. Такое роковое столкновеніе двухъ различныхъ началъ въ высшей степени драматично, но я въ настоящее время уже не рѣшусь повторить того, что̀ было сказано мною тому десять лѣтъ: «эта идея вѣрности, (т. е. вассальной) до какого бы фанатизма ни доходила она, всетаки есть высокое

---

[169]) Lachmann, Niebelungen, 273. (О плачущихъ богатыряхъ см. выше стр. 8).
[170]) О нравственной стихіи въ поэзіи на основаніи историческихъ данныхъ, Спб. 1838 г., стр. 125.

преимущество германской жизни и германской поэзіи. Въ ней видно добровольное забвеніе своей личности, принесеніе своихъ чувствъ въ жертву долгу»... [171]) Уже по тому, что сказано выше, въ разныхъ мѣстахъ, о служившей основаніемъ подобному долгу miete (мздѣ) можно судить о совершенной неосновательности подобнаго заключенія. Особенно-же ярко опровергаютъ его слѣдующія слова сотоварища гагенова Фолькера при видѣ выступившаго противъ ихъ рядовъ Рюдигера:

an uns wil dienen Rüedeger sine bürge und siniu lant.

«на насъ (т. е. нами, нашею гибелью) хочетъ выслужить Рюдигеръ свои замки и свою землю... (Lachmann, 277). Долго, какъ видѣли мы, колебалось прекрасное, человѣческое сердце Рюдигера; онъ готовъ былъ отказаться отъ этихъ замковъ и этой земли, чтобы не измѣнять *совѣсти*, какъ онъ самъ выражается — и въ концѣ концовъ всетаки измѣнилъ ей для *долга*, основаннаго на замкахъ и на землѣ! До такой степени начало это вошло въ плоть и кровь и подчинило себѣ понятія.

Подъ вліяньемъ позднѣйшей вассальной служилости извратился и древній величественный образъ Зигфрида — Зигурда. Въ Эддѣ и Вользунга-Загѣ странныя его отношенья къ Брюнгильдѣ объясняются и извиняются роковымъ началомъ. И тамъ добывая Брюнгильду для Гуннара, онъ еще не является дѣлающимъ это по долгу *служилаго мужа*, и рука сестры Гуннара пріобрѣтается имъ независимо отъ услуги брату, тогда какъ въ «Пѣснѣ о Нибелунгахъ» рука эта служитъ для него *мздою* (miete). Мечъ, по сѣверному изводу полагаемый Зигурдомъ между собой и Брюнгильдой, напоминаетъ соотвѣтственную черту въ сказаніяхъ разныхъ мѣстъ, постоянно объясняющихъ подобное цѣломудріе вѣрностью *названаго брата*. Изъ «Пѣсни о Нибелунгахъ» оказывается уже выпавшею эта древняя сочувственная черта; изъ названаго брата Зигфридъ становится просто служилымъ мужемъ, готовымъ на всякаго рода обманъ. Зайдя слишкомъ далеко, позволивъ себѣ не только завоевать своему господину невѣсту, но и похвалиться этимъ, онъ отъ *услуги* переходитъ разомъ къ *обидѣ* — и падаетъ, какъ мы видѣли, отъ руки другого служилаго мужа, возставшаго за эту обиду.

Есть однако-же въ томъ изводѣ сказанья о Зигфридѣ, который вошелъ въ «Пѣсню о Нибелунгахъ» одна черта, отзывающаяся самою отдаленною стариною. Выше видѣли мы (стр. 132, прим. 141) указаніе на различные расказы о томъ, какимъ образомъ погибъ Зигурдъ—Зигфридъ. «По словамъ нѣмецкихъ мужей, сказано въ Эддѣ (въ прозаическомъ послѣсловіи ко 2-ой пѣснѣ о Брюнгильдѣ) онъ *убитъ въ лѣсу*». Вотъ этимъ-то именно способомъ погибаетъ онъ въ «Пѣснѣ о Нибелунгахъ», погибаетъ во время охоты, на которую пригласили его братья Кримгильды, по наущенію Гагена. Умышленно приготовляется очень соленая пища и не берется на охоту вина. Сгарая отъ жажды, Зигурдъ пьетъ изъ источника, нагнувшись надъ нимъ ничкомъ, и вотъ въ это-то время Гагенъ попадаетъ ему въ спину, — въ то небольшое

---

[171]) См. въ той же книгѣ ту-же страницу, по-ниже.



единственное мѣсто, которое оставалось у него не покрытымъ *роговою корою*. Уже выше (стр. 96) указано было въ одномъ мѣстѣ изъ Тидрекъ-Заги на эту роговую оболочку, какъ на главнѣйшій эпическій признакъ Зигурда. Подробно о происхожденіи его повѣствуется въ отдѣльной «Пѣснѣ о роговомъ Зигѳридѣ (Hürnensiegfrid), во многихъ отношеньяхъ не отличающейся большою древностью, но сохранившей двѣ замѣчательныя черты — освобожденье Брюнгильды *отъ змѣя*, коренящееся въ общеарійскомъ миѳѣ о *змѣеборцѣ*, и мазанье Зигѳрида сокомъ растопленной имъ зміи, отъ котораго и образуется у него роговая, неприступная оболочка на всемъ тѣлѣ (кромѣ одного мѣстечка на спинѣ [172]), которое осталось непокрытымъ корою отъ приставшаго къ этому мѣсту листа [173]).—Вотъ въ это-то единственное мѣсто и могъ быть пораженъ Зигѳридъ, тогда какъ вообще его не касались, благодаря роговой корѣ, ни какіе удары. И вотъ эту-то тайну умѣлъ вывѣдать у самой Кримгильды Гагенъ, уговорившій ее даже вышить на платьѣ Зигѳрида на соотвѣтственномъ мѣстѣ значокъ, — будто съ тѣмъ, чтобы онъ, Гагенъ, могъ тѣмъ успѣшнѣе оберечь Зигѳрида отъ ударовъ въ предстоящей войнѣ съ Датчанами. Довѣрчивость Кримгильды относительно Гагена представляетъ своеобразное, рѣшительное видоизмѣненіе общенародной эпической *выдачи женою тайны своего мужа*, — выдачи, которая встрѣтится намъ еще не разъ. Но если въ этомъ всеобщая *старина эпическая* представляется уже измѣненною въ коренномъ своемъ смыслѣ, то она остается неприкосновенною въ самомъ свойствѣ тайны, въ этомъ *единственномъ уязвимомъ мѣстѣ* Зигѳрида. Кто не вспомнитъ соотвѣтственной *уязвимости только въ пяту* греческаго Ахилла, уязвимости, объясняемой тѣмъ, что пята эта, за которую ухватила младенца героя мать, опуская его въ *чудесный источникъ*, осталась нетронутою его водами, придавшими неуязвимость всему остальному тѣлу? Такое сходство древне-германскаго и греческаго сказанія (при *несходствѣ* многихъ подробностей) можетъ основываться только на издавнемъ, обще-арійскомъ *единствѣ основы* [174]). Съ другой же стороны миѳъ объ Ахиллѣ—Зигѳридѣ служитъ только особымъ выраженіемъ той *въ тайнѣ скрываемой уязвимости*, которой другимъ выраженіемъ служитъ миѳъ объ *уязвимости только оружіемъ изъ извѣстнаго рода растенія*, миѳъ, выражающійся германскимъ Бальдуромъ и иранскимъ Исфендіаромъ. Эдда — съ одной стороны, Шахъ-Наме съ другой представляютъ въ этомъ отношеніи эпическое сродство, равносильное сродству греческихъ сказаній объ Ахиллѣ съ германскими средневѣковыми поэмами о Зигѳридѣ. Такое сродство относитъ насъ въ самую глубокую даль и заставляетъ эту черту «Пѣсни о Нибелунгахъ», относить къ древнѣйшему, первоначальному изводу занимающаго насъ сказанія.

---

172) Simrok, das kleine Heldenbuch,

173) Niebelungen, 117, (Lachm. Ausgabe).

174) Между тѣмъ нѣчто подобное встрѣчаемъ мы сверхъ того—съ одной стороны въ сказкахъ Сомадевы (Brockhaus, I, 112), съ другой—у Алтайскихъ народовъ (Castren, 197). У Сомодевы упоминается Ахура, котораго можно ранить только въ одно мѣсто на лѣвой рукѣ, а у алтайскаго Ханъ-Мургена такое мѣсто находится даже именно на спинѣ и попасть въ него можно, когда онъ нагнется.



Но если такимъ образомъ оказывается, что эпическій родъ смерти Зигфрида есть издавняя и не одному германскому эпосу свойственная черта [175]), то собственно этому послѣднему принадлежитъ служащая орудіемъ этой гибели дикая служилая вѣрность Гагена. Столько же своеобразно и слѣдствіе— месть жены, совершаемая при помощи такихъ-же служилыхъ людей, ополчающихся наконецъ даже противъ своихъ недавнихъ гостей и пріятелей. Гибель въ бою съ ними этихъ вѣрныхъ слугъ вызываетъ наконецъ на бранныя дѣйствія и ихъ сотоварищей по служилымъ отношеніямъ къ Этцелю, Дитриха съ Гильдебрандомъ. Мстя за своихъ, Дитрихъ связываетъ короля Гунтера и выдаетъ его Кримгильдѣ, прося ее подарить ему жизнь и проливая при этомъ *богатырскія слезы* [176]). Но Кримгильда, прямо противоположно «Эддѣ», велитъ отрубить брату голову и сама подаетъ ее Гагену. Вслѣдъ за тѣмъ она собственноручно отрубаетъ этому послѣднему голову мечомъ Зигфрида. Это приводитъ въ сильное негодованіе Этцеля: «лучшій изъ витязей, восклицаетъ онъ, палъ отъ женской руки!» А старика Гильдебранда негодованіе доводитъ до того, что онъ разсѣкаетъ Кримгильду на части. (Lachmann, Niebel. 302).

Такого рода обращеніе съ нею, на глазахъ у самого Этцеля, общаго ихъ служилаго мужа—съ одной стороны указываетъ на то, что месть Кримгильды за Зигфрида какъ будто бы не представляется въ глазахъ Гильдебранда законною, оправдываемою установившимися понятіями. Старикъ Гильдебрандъ является какъ бы представителемъ старыхъ взглядовъ, узаконившихъ собственно *родовую месть*, ту, которую мы видѣли въ Эддѣ. Съ другой-же стороны Гильдебрандъ, а также и Дитрихъ—въ своихъ, указанныхъ выше, негодующихъ выходкахъ противъ Кримгильды—дѣйствуютъ, можетъ быть, подъ вліяніемъ жалости о потеряхъ, понесенныхъ ими изъ-за мстительности другихъ людей. Мы видѣли изъ Тидрекъ-Заги, что потеря Тидрекомъ (Дитрихомъ) власти и многаго множества подвластныхъ ему людей, а равно и его бѣгство къ Аттилѣ (Этцелю) были слѣдствіемъ мести, задуманной Зифкою за свою жену противъ обидчика ея Эрминрека. И вотъ вдругъ новая личная месть, месть Кримгильды братьямъ за мужа, должна отнять у Дитриха всѣхъ его служилыхъ людей, у Гильдебранда—всѣхъ его сотоварищей!

---

Такимъ образомъ оказывается, что не даромъ умирающая Эрка предостерегала Аттилу отъ брака съ женщиной изъ страны Нифлунговъ. Но послѣдствія этого брака, переданныя мною по Эддѣ и «Пѣснѣ о Нибелунгахъ», передаются и въ самой Тидрекъ-Загѣ, только вошедшая въ нее повѣсть отличается, во многомъ, позднѣйшею посторонней примѣсью и искусственнымъ

[175]) О гибели Исфендіара повѣтствуется въ Шахъ-Намѐ (Mohl, livre des rois, IV, 671—679); о гибели Бальдура—частью въ Старой Эддѣ (особливо въ «Вёлуспѣ») преимущественно же въ младшей (см. у Зимрока стр. 8 и 316—317). Относительно трудной уязвимости Ахиллеса Преллеръ въ своей Греческой Миѳологіи (II, 281) полагаетъ, что она принадлежитъ уже позднѣйшему сказанію. Думаю, что совпаденіе въ этомъ случаѣ греческаго эпоса съ иранскимъ и германскимъ, заставляетъ, напротивъ того, видѣть тутъ издавнюю, по основѣ своей, миѳическую черту.

[176]) (О значеніи этихъ послѣднихъ см. выше стр. 8).

сплетеніемъ сѣвернаго извода съ нѣмецкимъ [177]). Мы уже видѣли, что Тидреку приписывается тутъ даже побѣда надъ Зигурдомъ (Зигфридомъ) (см. выше стр. 99) и что ея нельзя не признать позднѣйшей чертой. Послѣ этой побѣды Тидрекъ въ нашей загѣ ѣдетъ вмѣстѣ съ Зигурдомъ къ Гуннару (Гунтеру) и присутствуетъ при роковыхъ бракосочетаніяхъ Гуннара съ Брюнгильдой и Зигурда съ Кримгильдой. Замѣчательную черту составляетъ далѣе то, что собираясь, семь лѣтъ спустя послѣ своей свадьбы съ Этцелемъ, пригласить къ себѣ братьевъ, Кримгильда жалуется ему: «они еще ничего мнѣ не дали изъ золота, принадлежавшаго Зигурду.» Такъ какъ король Аттила былъ корыстолюбивъ, то это подѣйствовало на него, и онъ согласился пригласить братьевъ жены своей. Этимъ подтверждаются тѣ намеки на корыстолюбіе Атли (Аттилы), какіе мы видѣли въ Эддѣ. Не менѣе замѣчательно то, что Кримгильда подстрекаетъ своего сына ударить по лицу Гогне (Гагена), что́, разумѣется, должно вызвать его на месть, такъ что разсчетъ Кримгильды, пожертвовавъ сыномъ, завязать кровопролитіе, выказывается тутъ съ совершенною ясностью. Далѣе для окончательной гибели Нифлунговъ, Кримгильда велитъ постлать имъ подъ ноги сырыя кожи, вслѣдствіе чего они спотыкаются (черта эта сохранилась въ сборникѣ датскихъ пѣсенъ XVI — XVII ст. [178]). Наконецъ любопытную черту составляетъ то, что Гогне (являющійся тутъ, согласно съ Эддою, братомъ Гуннара) уже смертельно раненный, вступаетъ въ связь съ одной женщиной, предсказывая ей, что у нея родится сынъ, которому она должна передать ключи отъ клада Нифлунговъ и который долженъ будетъ отомстить за отца (Rassmann, II,96—97). Нужно ли говорить, что черта эта совершенно въ духѣ древнѣйшихъ германскихъ преданій?

Потерявъ у Аттилы всѣхъ своихъ мужей, Тидрекъ въ нашей загѣ рѣшается вернуться во свояси, такъ какъ до свѣдѣнія его дошло, что Эрминрекъ умеръ, что на мѣсто его сѣлъ Зифка, а въ Бернѣ зато утвердился Алибрандъ, сынъ Гильдебранда—тотъ самый, котораго враждебное столкновенье съ отцомъ уже намъ знакомо. Столкновенье это и происходитъ въ Тидрекъ-Загѣ въ то время, когда Тидрекъ съ Гильдебрандомъ возвращаются отъ Аттилы во свояси. Теперь намъ должно стать понятнымъ и то, почему доходили до Алибранда слухи—что отецъ его умеръ: при той кровавой бойнѣ, какая постигла весь тидрековъ людъ у Кримгильды не мудрено было заключить и разносить по свѣту, что погибъ и онъ [179]). Существованье же такихъ слуховъ о смерти Гильдебранда уже въ пѣснѣ VIII в. заставляетъ заключать объ отдаленной древности сказанія о кримгильдиной бойнѣ.

---

Мы такимъ образомъ разсмотрѣли все предшествовавшее «бою отца съ сыномъ» въ Тидрекъ-Загѣ, при чемъ многія изъ вошедшихъ въ нее похожде-

[177]) Таково мнѣніе П. Э. Мюллера (Lange, Untersuchungen, 190). Имена дѣйствующихъ лицъ въ Тидрекъ-Загѣ отличаются по большей части сѣверной формой; нѣкоторыя же заимствованы изъ извода нѣмецкаго.

[178]) W. Grimm, Altdänische Heldenlieder, 6. Въ Тидрекъ-Загѣ сказанья этого круга передаются въ гл 162—169, 342. 348, 356—392.

[179]) Ср. въ статьѣ Макса Ригера «Bemerkungen zum Hildebrandslied» въ «Германіи» Пфейффера, IX, 301, 304, 317.



ній были переданы по другимъ памятникамъ, представляющимъ болѣе древній изводъ. Но подтверждается ли всѣми этими похожденіями тотъ основной бытовой строй, который былъ мною усмотрѣнъ въ сказаніи о боѣ между Гильдебрандомъ и его сыномъ—по всѣмъ изводамъ? Подтверждаются ли германскимъ эпосомъ вообще бытовыя отличія германскаго сказанія объ этомъ боѣ отъ сказанія русскаго?—Мы видѣли, что Гадубрандъ, въ отрывкѣ пѣсни VIII в., по отличному вооруженію своего отца заключаетъ о *щедрости* его господина. Подобная *щедрость* оказалась въ цѣломъ составѣ германскаго эпоса основою отношеній между *господиномъ* и его *людьми*; это и есть та milte, которая выражалась раздачею miete и служила восполненіемъ той *поживы*, какая, по выраженію отрывка «Гильдебрандовой Пѣсни», *добывалась съ бою* у побѣжденныхъ [180]). Мы видѣли также, что Гильдебрандъ всего больше боится *подозрѣнія въ трусости*; черта эта, какъ уже сказано выше, вполнѣ подтвердилась такимъ же точно опасеніемъ Гагена, заставляющимъ его ѣхать со своими господами къ Кримгильдѣ, не смотря на увѣренность въ томъ, что имъ грозитъ у нея непремѣнная гибель. Да и всюду въ германскомъ эпосѣ такъ и выдается презрѣнье къ опасностямъ и соединяемая съ нимъ основная забота о воинской славѣ и воинской чести!

Въ жертву этой *чести воина*, какъ мы видѣли, приносится во всѣхъ изводахъ «Гильдебрандовой Пѣсни» *чувство отца*. Сходное же пожертвованіе самыми *естественными чувствами* для чисто-*условныхъ понятій* могли мы и вообще замѣтить въ германскомъ эпосѣ. Напомню только самые выдающіеся примѣры: Зигни, жертвующую собственными дѣтьми для мести за давнишнюю, невозвратную потерю отца, для той-же мести посредствомъ обмана прибѣгающую къ кровосмѣшенію, а наконецъ, по совершеніи мести, самоубійствомъ отнимающую себя у своихъ родныхъ изъ холодной, обязательной вѣрности ненавистному мужу; Гудруну, собственноручно убивающую своихъ дѣтей [181]) — ради обязательной *родовой* мести — мести за братьевъ, личныхъ враговъ, вѣроломно сгубившихъ ея милаго мужа, и для той-же мести губящую, вмѣстѣ со вторымъ ненавистнымъ мужемъ, и всѣхъ подвластныхъ ему людей; Кримгильду — ради мести уже за милаго выставляющую на жертву опять таки своего ребенка, изводящую двѣ цѣлыхъ рати и требующую у своихъ служилыхъ мужей пожертвованія чувствами дружбы и закономъ госте-

[180]) Въ дополненіе къ вышеуказанному, обращу въ этомъ отношеніи вниманіе на англо-саксонскую поэму VIII в. «Беовульфъ», гдѣ особенно часто господинъ служилыхъ мужей называется раздавателемъ колецъ, сокровищъ, клада, золотымъ другомъ вождей (goldvine); чертогъ его—чертогомъ даяній, (gifhealle) (Beowulf, übers v. Ettmüller, p. 67, 80, 90, 99, 102, 104, 106, 113, 118, 131, 136, 143, 145, 147, 159, 161, 163. 166, 171, 172, 180, 181, 184, 186). Сюда же можетъ быть отнесено замѣчательное мнѣніе Беккера о томъ, что «грубое корыстолюбіе и подкупность средневѣковыхъ героевъ объясняется тѣмъ дурнымъ государственнымъ устройствомъ, въ силу котораго этимъ путемъ добывались средства для проявленія той добродѣтели, которая, на ряду съ мужествомъ и воинскою доблестью, всего больше, или даже почти исключительно цѣнилась въ государяхъ и баронахъ—т. н. largesse, по нѣмецки milte, т. е. расположеніе и привычка дѣлать подарки на право и на лѣво, достойнымъ, и недостойнымъ, по силамъ и свыше силъ». (Monatsbericht der Berliner Akademie, Nov. 1866, p. 744).

[181]) Дѣти, какъ рожденныя отъ человѣка изъ чужого рода, цѣнятся ниже, дешевле, чѣмъ родичи, тѣ, въ чьемъ кругу родилась ихъ мать.

пріимства—ради долга служилости. Вспомнимъ также и тѣ уловки, къ которымъ должны прибѣгать *люди* Тидрека и *люди* Эрминрека наканунѣ битвы между своими господами, — чтобы избѣгнуть обагренія рукъ въ крови друга или родного. Вспомнимъ Видгу, избѣгающаго боя съ братомъ своего бывшаго господина, Тидрека, и обязаннаго сразиться съ его названымъ братомъ, порученнымъ на его попеченіе матерью. Вспомнимъ эту послѣднюю, королеву Эрку, отплачивающую за вѣрность Тидрека не только своими рыцарями, но и дѣтьми, отпускаемыми на войну за него (и страстно, это правда, туда стремящимися); Эрку, при самомъ извѣстіи о ихъ гибели спѣшащую прежде всего узнать—вполнѣ ли они соблюли *честь воиновъ*? Вспомнимъ Гаганона, который, не мстя за своихъ родныхъ своему названому брату, выступаетъ однакоже противъ послѣдняго по долгу служилаго мужа; или Гагена, ради того-же долга становящагося *убійцею изъ-за угла* (не смотря на общенародное эпическое несочувствіе нападеньямъ на *сонныхъ, безоружныхъ* и т. п.).

Стараясь каждое изъ послѣдовательныхъ звеньевъ германскаго эпоса привести по древнѣйшему изъ *дошедшихъ* до насъ изводовъ, я долженъ былъ иной разъ переходить отъ менѣе древняго вида сказанія къ болѣе древнему и обратно. Не трудно однакоже замѣтить, что подобно тому, какъ основной воинственный духъ «Гильдебрандовой Пѣсни» VIII в. сохранился и въ позднѣйшихъ изводахъ этого сказанія, такъ и воинственно-феодальное начало поэмы «Waltharius» является только дальше и шире развитымъ какъ въ Тидрекъ-Загѣ, такъ и въ «Нибелунгахъ». Въ сторонѣ отъ другихъ эпическихъ памятниковъ, съ отпечаткомъ преимущественной, отдаленнѣйшей старины, является Эдда и дополняющая ее во многомъ Вользунга-Зага. И тутъ тотъ же самый, закаленный въ кровавыхъ дѣлахъ, духъ боевого безстрашія, но проявляющій себя не на *феодальной*, а на предшествовавшей ей *родовой почвѣ*. Вмѣсто позднѣйшихъ *вождей* и *служилаго люда*, тутъ еще *владыки родовъ* и принадлежащіе имъ и душою и тѣломъ *родичи*, связанные между собой обязательной, безусловной вѣрностью, еще же большею вѣрностію *владыкѣ* — даже погибшему, и въ такомъ случаѣ завѣщающему месть за себя своему роду—всѣмъ, принадлежащимъ къ нему [182]), даже женщинамъ [183]). Вотъ по этой-то древнѣйшей своей основѣ германскій эпосъ сроденъ эпосу самыхъ грубыхъ и первобытныхъ народовъ — такъ какъ родовая ступень есть ступень основная *всеобщая*; въ свое время пережитая всѣми историческими народами, у народовъ, пока *недвинувшихся* въ историческомъ смыслѣ, она остается и теперь во всей своей силѣ, какъ бы застывшею, окаменѣвшею. Напротивъ того позднѣйшій, феодальный порядокъ вещей въ

---

[182]) Объ этомъ подробно у Стринголъма: «Походы Викинговъ, государственное устройство, нравы и обычаи древнихъ Скандинавовъ, перев. А. Шемякина, Москва 1861 г., ч. II, стр. 44 и слѣд. «Наслѣдникъ убитаго говорится тамъ, приглашалъ на помощь (т. е. для мести) родню; однакожъ и убійца могъ разсчитывать на пособіе своего рода. Семейства обоихъ становились въ военное положеніе относительно другъ друга».

[183]) Въ сочиненіи г. Шпилевскаго—Союзъ родственной защиты у древнихъ Германцевъ и Славянъ, (Казань 1866, стр. 57) утверждается, со ссылками на нѣмецкихъ писателей, а также и на нѣкоторые юридическіе источники, что женщина у Германцевъ не могла мстить. Но это опровергается, какъ могли мы видѣть, многими сказаніями древнѣйшихъ временъ. Законъ только позже сталъ ограничивать издавній обычай.



его эпическомъ отраженіи, мы не можемъ уже провѣрять общенародными эпическими началами. Народы неисторическіе, какъ сказано, остановились на предшествующей, древнѣйшей ступени, а изъ историческихъ народовъ не всѣ перешли чрезъ ступень феодальную. Такъ даже у самихъ Германцевъ—на сѣверѣ, въ Скандинавіи, не было собственнаго феодализма [184]). Чтò же касается того великаго племени, къ которому принадлежимъ и мы, Русскіе, т. е. Славянъ, то въ историческомъ ихъ развитіи ступень, послѣдовавшая за родовою, обозначилась чертами совершенно своеобразными, чертами, которыя было сказывались и у Германцевъ, но вскорѣ заглохли у нихъ при особенно яркомъ развитіи феодальныхъ порядковъ.

Связь вождя со служилымъ людомъ, (des hern zu sînem man) — вотъ чѣмъ замѣнилась прежняя родовая связь. Какъ прежде каждый *родичъ* зналъ только другихъ *родичей* и *главу рода*, а за тѣмъ уже относился вполнѣ безучастно ко всему остальному міру [185]); такъ каждый служилый мужъ зналъ только другихъ служилыхъ мужей и общаго съ ними вождя, а ко всѣмъ остальнымъ относился не какъ къ живымъ, подобнымъ себѣ существамъ, а какъ къ *предметамъ*. Слово *свой*, какъ ужь и видѣли мы, вполнѣ сохранило свое, все рѣшающее значеніе; какъ прежде стояли за каждаго родича, правъ ли онъ, или не правъ, такъ позже стали стоять за вождя и своихъ сослуживцевъ—безразлично, во всякомъ дѣлѣ. Какъ прежде связью служила *кровь*, такъ позже связію стало служить *кровяное*, т. е. кровью облитое *золото*. Издавній миѳъ Эдды объ его роковомъ значеніи выражалъ, какъ не трудно понять, роковую силу той страсти къ нему, которая, существуя съ древнѣйшихъ временъ, послужила, какъ стремленіе къ miete, основою для позднѣйшей феодальной вѣрности. Посредствомъ этой miete—*страсть* вполнѣ примирилась съ *долгомъ*, такъ какъ этотъ послѣдній вознаграждался тутъ постояннымъ удовлетвореніемъ страсти. Правда, что постоянно тутъ прозакладывалась, такъ сказать, буйная голова,—но при этомъ, съ другой стороны, кромѣ жажды добычи, удовлетворялась и жажда воински поразмять плечо и снискать себѣ славу воинскую, та жажда брани ради самой брани, которая, какъ видѣли мы, составляетъ опять особую *страсть* въ цѣломъ германскомъ эпосѣ. Самую сочувственную черту въ позднѣйшей, собственно *феодальной* его порѣ, черту, заключающую въ себѣ поэтическую цѣнность *общечеловѣческую*, составляетъ, конечно, та уравнивающая обоюдность вѣрности между вождемъ и его мужами, съ отдѣльными проявленіями которой мы ужь встрѣчались [186]), но которая самымъ полнымъ образомъ выражается въ сѣверной загѣ о Грольфѣ Краки, въ англосаксонской поэмѣ «Беовульфъ» и нѣмецкой «Wolfdietrich» [187]).

---

[184]) Стриндгольма, Походы Викинговъ, II, 35, 38, 40.

[185]) Стоитъ вспомнить приведенные выше примѣры изъ сѣверныхъ загъ, гдѣ, желая хорошенько насолить врагу своему или своего родича, убиваютъ его родныхъ или его рабовъ. Эти послѣдніе и вообще могли безнаказанно убиваться. Въ Скандинавіи даже въ XIII в., не смотря на христіанство, законы не признавали за собою власти осуждать къ уплатѣ виры за убійство раба (Походы Викинговъ, II, 77).

[186]) Стоитъ только вспомнить Дитриха, отстаивающаго отъ Эрманрека своихъ мужей (см. выше стр. 108), причемъ не надо забывать и того, что изъ-за этихъ человѣкъ тутъ жертвуется участью цѣлаго населенія.

[187]) Вольфдитрихъ оставляетъ молодую жену и отправляется, подвергая себя опасностямъ, выручать изъ плѣна своихъ одиннадцать служилыхъ мужей, которые въ свою очередь вѣрны ему безгранично. Когда онъ, переодѣтый странникомъ, подъ окнами ихъ тюрьмы вы

Надо замѣтить, что особымъ самостоятельнымъ отпрыскомъ германскаго эпоса *феодальной поры* служитъ и богатый *карловингскій эпосъ*, т. е. его древнѣйшія обработки, въ которыхъ вполнѣ преобладаетъ строй chansons de geste и еще не замѣтно вліянья poëmes d'aventures (съ ихъ, на кельтской народной подкладкѣ развившеюся общерыцарскою стихіей). Готье въ своемъ замѣчательномъ сочиненіи о французскомъ средневѣковомъ эпосѣ не разъ указываетъ на замѣтное въ немъ начало германское (проникшее туда черезъ важное въ древней французской исторіи значеніе *Франковъ*). При этомъ онъ обыкновенно позволяетъ себѣ кое-какія выходки противъ собственно *германской грубости*, выходки, едва-ли умѣстныя въ смыслѣ *патріотическомъ*, такъ какъ выдѣлить изъ древне-французской жизни могучую стихію германскую нѣсколько мудрено. Гораздо справедливѣе въ этомъ отношеніи судитъ Ренанъ въ своемъ отзывѣ о другомъ изслѣдователѣ средневѣковой старины, Леклеркѣ: «онъ не усматривалъ, что наши большія средневѣковыя эпопеи—по духу *германскія*, что никогда ни Галлія сама по себѣ, ни Галлія, преобразованная Римомъ, не произвела бы подобныхъ пѣсень... Что̀ такое была эта Франція, на почвѣ которой родились плоды, столь прекрасные? Это была страна, управляемая великою германскою феодальностью. Преимущественный даръ французской почвы составляетъ именно то, что на ней всякія, даже чужеземныя растенія, развиваются съ бо̀льшимъ успѣхомъ, чѣмъ на своей собственной [188]),..»

Какъ примѣръ германскаго эпическаго плода на французской почвѣ приведу изъ chansons de geste кое-какіе расказы, служащіе позднѣйшею передѣлкою такъ долго насъ занимавшаго общеэпическаго «боя между отцомъ и сыномъ». Тутъ уже не оказывается основной черты древнѣйшихъ изводовъ—того, что вступающіе въ бой достовѣрно не знаютъ, а только чуютъ, какъ близки они другъ другу. По крайней мѣрѣ одинъ изъ сражающихся уже съ самаго начала тутъ знаетъ, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло. Къ такому измѣненію, впрочемъ, неизбѣжно должно было повести дальнѣйшее развитіе особенностей извода германскаго. Мы видѣли, что въ немъ и вполнѣ узнавая сына, все еще продолжалъ съ нимъ сражаться отецъ; позже, даже знаніе въ самомъ началѣ уже не мѣшало бою. Такъ въ одной изъ извѣстнѣйшихъ и древнѣйшихъ chansons, въ Reonaus de Montauban, даже оба и отецъ, и сынъ, зная другъ друга, вступаютъ въ бой. Но особенно тутъ замѣчательно то, что отецъ нападаетъ на сына ради вассальной вѣрности. Сынъ, знаменитый Рено, навлекъ на себя гнѣвъ Карла Великаго, котораго усерднымъ слугою остается отецъ его, герцогъ Аймонъ, не смотря на то, что сыновнее дѣло—правое. «Nus hom, разсуждаетъ Aymes (Аймонъ),

---

прашиваетъ у нихъ кусокъ хлѣба, старшій изъ нихъ, ссылаясь на то, что имъ и самимъ его мало, говоритъ въ заключенье: «Если бы мнѣ сказали, что отъ поданнаго мною куска воскреснутъ мои родители, то и для нихъ я бы того не сдѣлалъ; ради одного только я готовъ съ тобой подѣлиться—ради нашего вѣрнаго господина Вольфдитриха». (Von der Hagen, Heldenbuch, I, 272). Новый разительный примѣръ предпочтенія даже родителямъ своего господина, т. е. искусственной извращенной нравственности.

[188]) Revue des deux mondes, 15 Mars 1866, p. 367—368—статья о Леклеркѣ.



Ne se doit parjurer por fil ne por ami,
Et qui son seignor boise, bien a Deu relenqui [189]).

По той твердости, съ какою имъ высказываются эти противуестественныя слова, Aymes далеко за собой оставляетъ Рюдигера Бехеларскаго и другихъ *върныхъ слугъ* собственно германскаго эпоса. Но замѣчательно въ этихъ словахъ карлова вассала и то. что онъ считаетъ недостаточное усердіе къ своему господину—*измѣною Богу*. Такое подкрѣпленье *вассальныхъ обязанностей*, такъ часто оказывающихся противуестественными, *обязанностями вѣроисповѣдными* съ особенною яркостью развито въ древне-французскомъ эпосѣ. Иной разъ случается въ немъ и то, что человѣкъ становится въ отношенья вассальныя къ самому Господу, какъ небесному сюзерену. Представленье подобнаго рода могло возникнуть только изъ союза германскаго начала *феодализма* съ романскимъ началомъ *принимaнія церкви за государство и невидимаго главы ея—за государя* (при намѣстникѣ этого послѣдняго, главѣ видимомъ). Вотъ такою-то феодальною связію человѣка съ Богомъ долженъ быть объясняемъ тотъ бой отца съ сыномъ, который происходитъ въ «Bataille d'Aleschans» (одной изъ chansons, принадлежащихъ къ кругу Вильгельма Оранжскаго) [190]). Тутъ молодой, принявшій крещеніе сарацынъ, Renoars, сражаясь въ рядахъ Вильгельма, безъ милосердія проводитъ мечомъ своимъ *улицы* и *проулочки* чрезъ ряды своихъ соотечественниковъ (измѣна вѣрѣ всегда является въ эпосѣ измѣною и своей народности). Наконецъ встрѣчается онъ со своимъ отцомъ—и узнаетъ его:

Il li escrie: biau père, dont viens-tu? Dist à son fil: Renoart, ies-ce-tu?
Ge sui tes filz que tu as tant perdu.» Par toi ont hui François le champ vaincu;
Desramez [191]) l'ot, tot le sanc a méu Forment me poise que te voi mescréu».

На такіе упреки отца, сынъ въ свою очередь отвѣчаетъ упрекомъ: «зачѣмъ же ты остаешься вѣренъ Магомету, Юпитеру, и Аполлину? (обычное въ эпосѣ смѣшеніе магометанства съ язычествомъ). Они всѣ не стоютъ и гроша. Я бы, если бы не боялся упрековъ, разрубилъ тебѣ голову [192]). Понятно, что послѣ этого отецъ накидывается съ оружьемъ на сына, сынъ же готовъ изъ оборонительнаго положенія перейти въ наступательное:

Son père éust merveilleus cop féru, Et quant li bers Renoars l'a véu
Quant un sien frères s'est entr'eus II. féru. Ne l'esparna, ains l'a bien consén.

Погубивъ такимъ образомъ брата, дерзнувшаго отвратить отъ отца его руку, Ренoаръ обращается съ похвальбой къ господину своему Вильгельму:

Por toi ai mort un mien frère Jambu.
Si feré-ge Desramé le chénu,
Se il ne croit le digne roi Jhesu.

Ясно, что *король Іисусъ* является тутъ главнымъ, набольшимъ сюзереномъ, вербуя которому вѣрныхъ вассаловъ, безъ всякой пощады готовы убить—хо-

---

[189]) Renaus de Montauban oder die Haimonskinder, altfranzösisches Gedicht, herausgegeben v. H. Michelant, p. 79. (Bibliothek des litter. Vereins in Stuttgart, B. LXVII, 1862, p. 79). Совершенно вѣрно (на стр. 503 и 504) замѣчаетъ издатель, что и самъ Рено, при всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ противъ Карла, все-же остается, въ сущности, типомъ готоваго на безупречную вѣрность вассала. (Послѣсловье издателя вообще замѣчательно).

[190]) Jonckbloet, Guillaume d'Orange, I, 385—386.

[191]) Имя отца, сарацынскаго славнаго витязя и короля.

[192]) Se ne me fust à reproche tenu
Ge te trenchasse le chief o l'eaume aigu.
(vers 6477—6478).

тя бы отца, если онъ не подается на такую вербовку. Еще и ранѣе, прежде встрѣчи съ отцомъ, Реноаръ уже задался намѣреніемъ убить его, ежели онъ не захочетъ стать вѣрнымъ *величеству* Іисуса [193]).—Намѣреніе его остается однако же не исполненнымъ послѣ того, какъ сына съ отцомъ разлучилъ **Jambu**, поплатившійся за то жизнью. Весьма сходный бой между отцомъ и сыномъ происходитъ также въ болѣе поздней **chanson de geste** (начала XIV ст.)—**la prise de Pampelune** [194]). Сарацынъ, отецъ Мальсерисъ (впрочемъ, сейчасъ же согласный креститься, если его сдѣлаютъ перомъ Франціи что̀ однако же не такъ-то легко) готовъ убить своего уже вполнѣ обратившагося сына даже не въ бою, а соннымъ, но, послѣ долгаго колебанья, уходитъ, не рѣшившись на это. Убить надо бы, потому что онъ можетъ сокрушить могущество короля Марсиля, сюзерена мальсерисова (извѣстно, что средневѣковой эпосъ и Сарацынъ надѣляетъ и феодализмомъ и рыцарствомъ и всѣми бытовыми явленіями среднихъ вѣковъ, кромѣ одного только христіанства). Убить сына надо бы, но естественная жалость къ нему вызываетъ признаніе, что такого грѣха не простили бы никогда ни Магометъ, ни Іисусъ,—т, е. ни одинъ изъ тѣхъ сюзереновъ небесныхъ, между которыми *колеблется* Мальсерисъ. Впрочемъ такое проявленіе нѣжныхъ отеческихъ чувствъ едва ли могло тутъ принадлежать *преданію*, и скорѣе должно быть приписано *болѣе развитой личности* позднѣйшаго трувера, наложившаго на эту chanson свою руку. Въ приведенномъ мѣстѣ нѣтъ того *недостатка знанія человѣческаго сердца*, какое замѣчаетъ у древнихъ французскихъ поэтовъ Готье, и какое и въ занимающей насъ chanson видитъ онъ главнымъ образомъ въ послѣдовавшемъ за тѣмъ боѣ между Мальсерисомъ и его сыномъ. Этотъ послѣдній, по словамъ Готье, «ставъ христіаниномъ, становится совершенно похожимъ на всѣхъ *обращенныхъ* въ chansons de geste; у него уже не оказывается любви къ отцу [195]).» Словомъ, Изоре относится къ Мальсерису также, какъ Реноаръ къ Дераме, только побѣда остается тутъ за отцомъ, и сражающихся разлучаютъ подоспѣвшіе перы Карла Великаго.

Напрасно, мнѣ кажется, въ подобныхъ эпическихъ похожденіяхъ Готье видитъ недостатокъ знанія человѣческаго сердца со стороны французскихъ поэтовъ; подобныя похожденія—плодъ бытовой болѣзни, не естественно сложившагося порядка вещей, пораждавшаго столько же неестественные и болѣзненные идеалы. Но возможность ихъ объясняется, между прочимъ, и тѣмъ, что всѣ эти **chansons**, какъ и германскія **sagen**, услаждали досугъ *знатныхъ мужей*, а не самого народа (къ которому вполнѣ перешли только позже, *перешли*, а не въ немъ сложились). *Народъ* никогда не удаляется такъ далеко отъ природы. Такое удаленіе возможно только въ сословіи, которое, *при той же самой непросвѣщенности*, поставлено въ особое, искусственное, преимущественное положеніе.

Съ безчеловѣчными отношеніями къ своимъ отцамъ двухъ *обращенныхъ*

[193]) .....Je sui fiz Desramé,
Mais s'il ne croit Jhesu de majesté,
Je l'ocirrai de c'est tinel quarré!» (J. I, 376).

[194]) Gautier, épopées françaises, II, 366 etc.

[195]) Gautier, Epopées françaises, II, 372. Prise de Pampelune издано Муссафіей.



*сарацынскихъ витязей* совершенно сходятся тѣ *обращенныя дочери-сарацынки*, которыя нерѣдко требуютъ въ средневѣковомъ эпосѣ, чтобы поскорѣе казнили отца, если только онъ не поклянется въ вѣрности Господу. Такое извращеніе чувствъ было слѣдствіемъ того извращенья понятій, въ силу котораго Господь Богъ съ одной стороны, различныя не христіанскія обоготворяемыя существа (а по мнѣнію средневѣковыхъ христіанъ—черти) съ другой представлялись владыками двухъ враждующихъ между собою становъ [196]). Вѣрность своему владыкѣ, Господу, вслѣдствіе такого *земного*, земными порядками совращеннаго взгляда, заставляла стремиться къ распространенью его владычества силой меча. Всѣ, непокорявшіеся Господу, т. е. слуги демоновъ не представлялись уже вовсе людьми — ихъ слѣдовало губить безъ пощады, Отсюда, напримѣръ, въ chanson о Готтфридѣ Бульонскомъ, тотъ, составляющій часть крестоносной рати, отрядъ такъ называемыхъ ribbaus и taffurs, которыхъ было до двадцати тысячъ и которымъ приписывается *вѣроисповѣдное людоѣдство*:

il dient c'uns payens bien un cras mouton vault,
et le mettent en rost com la char de biersault...
plus ayment la char d'un turc ou d'un persant
que ne fait a baisier amie son amant...
pardevant Antioche, dont les murs sont plenier,
mengirent ceste gent de payens maint millier,
et mengeoient en rost, en guise de plouvier...

чтó-же касается главы этихъ людоѣдовъ, roy des ribaus, то онъ

prist un sarrasin qui fu gros et poissants...
ocist le sarrasin et le fu desviestans
tout ensy que un pourciel c'uns bouciers est tuans.
Appareilla le corps et l'y ouvry les flans.
la coraille eu jicta devant lui sur les camps.
en la broke le mist dardevent les persans,
et à deux sarrasins le fu tantos quierkans.

«И такія отвратительности, замѣчаетъ приводящій это мѣсто Беккеръ, расказываются, даже безъ малѣйшаго порицающаго замѣчанія, въ поэмѣ, которая немногимъ моложе событія (т. е. 1-го крестоваго похода) и имѣетъ въ виду быть историческою Впрочемъ, оговаривается тотъ же ученый, поэзіи собственно такъ называемыхъ труверовъ знакомы только нѣкоторые, отдѣльные людоѣды, притомъ упоминаемые лишь вскользь» [197]).

Отпрыскомъ франкскаго (карловинскаго) эпоса служатъ наконецъ и тѣ итальянскія поэмы, которыя вошли въ составъ сложившейся уже въ XIV ст. *сводной* поэмы: Reali di Francia. Тутъ намъ встрѣчается, между прочимъ,

---

[196]) Отсюда обычное въ средне-вѣковомъ эпосѣ величанье святыхъ титуломъ бароновъ. По замѣчанію Вильмара, уже въ англо-саксонскомъ Helland Спаситель представленъ какъ король, а апостолы, какъ вассалы. (См. его книгу: D. Alterthümer im Heliand, главу: Volk und König).

[197]) Monatsbericht der Berliner Akademie, Juli 1867, p. 437—439. Тамъ-же приводятся слѣдующія слова Отинеля, только что обращеннаго въ христіанство, Роланду—при видѣ языческаго войска:

quidés vos sul les paiens tous mangier?
par cele foi que je doi saint Richier,
et moi et vos i auruns à rungier.

Далѣе же приводится тутъ приказъ Готфрида Бульонскаго, этого божьяго воина, перекинуть головы убитыхъ подъ Антіохіею Сарацынъ за стѣны города:

là reconistera la mere son enfant (стр. 442).

(Противоположная славянская черта — выше стр. 105.)

и *бой отца съ сыномъ*, а именно въ поэмѣ Rejina d'Ancroja, откуда и заимствованъ этотъ итальянскій изводъ всенароднаго рокового боя Дю Мерилемъ въ его Histoire de la poésie scandinave (Prolegomènes, p 423—428). Впрочемъ тутъ, какъ и въ только что приведенныхъ *бояхъ* изъ Chansons de geste, нѣтъ уже ничего *рокового*. Сынъ является, какъ и тамъ, очень хорошо знающимъ, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло, но *отцу* остается тутъ вполнѣ неизвѣстнымъ юный его противникъ. Отецъ этотъ,—одинъ изъ знаменитѣйшихъ паладиновъ Карла, Ринальдъ. Возвращаясь изъ святой земли, онъ остановился въ сарацынскомъ замкѣ и вступилъ въ связь съ дочерью короля, отъ которой и родился у него сынъ, Гвидонъ, не знавшій своего отца, но получившій отъ матери, какъ средство узнанья, его кольцо. (Изъ всего этого видно, что основныя, существенныя черты сказанія—*союзъ съ чужестранкой* и *оставляемое кольцо* — сохранились тутъ въ полной неприкосновенности) Гвидонъ отправляется въ поиски за отцомъ во Францію и, желая показаться его достойнымъ, выкликаетъ себѣ поединщиковъ изъ карлова стана: послѣ многихъ другихъ выступаетъ противъ него и Ринальдъ. (И въ этомъ опять замѣчательное соотвѣтствіе со сказаніями другихъ народовъ—въ томъ числѣ и нашимъ, гдѣ также, прежде чѣмъ имѣть дѣло съ Ильей, Сокольникъ выдерживаетъ бой съ другими, стоящими на заставѣ [198]). При первой же схваткѣ, копья у противниковъ изломались (опять, какъ и въ прочихъ изводахъ этого боя). Далѣе, Гвидонъ, (какъ и многіе другіе изъ *сыновей* въ этомъ боѣ) отказывается назвать свое имя. Почувствовавъ всю силу руки своего отца, онъ подумалъ: «вотъ теперь я вижу, что мать не обманула меня: отецъ мой дѣйствительно лучшій боецъ во всемъ мірѣ, удары мои не должны уже быть для него опасны, но мнѣ хочется попытаться, не съумѣю ли я устоять противъ его нападеній и добыть себѣ честь въ этой схваткѣ съ нимъ.» И онъ такъ яро увлекается этой попыткой, что Роланду, другу Ринальда, стало страшно за жизнь знаменитаго паладина. Въ пылу дальнѣйшаго увлеченія юный нахвальщикъ кричитъ своему противнику: «оружье, добытое тобой у Мамбрина, не избавитъ тебя отъ смерти, тебѣ предстоящей». И точно, Ринальдъ, почти ужь безъ памяти, повисъ на шеѣ у своего коня. Такимъ образомъ оказалось, что воинскій пылъ въ конецъ заглушилъ въ молодомъ Гвидонѣ чувство сына, и если Ринальдъ не погибъ, то только потому, что у него, какъ и у Ильи Муромца, опять *силы прибыло*. Тутъ пришлось плохо уже Гвидону. Тогда онъ спрыгнулъ съ коня, снялъ свой шлемъ и сказалъ своему противнику; «ты, конечно, не откажешься меня обнять». А Роландъ, взглянувъ на него, закричалъ своему другу: «Боже, какъ онъ похожъ на тебя!»

Мы видимъ таким образомъ, что если въ chansons de geste чувства сына (или отца) приносятся въ жертву феодально-церковнымъ началамъ, то въ итальянской поэмѣ изъ карловингскаго круга сыновнимъ чувствомъ по-

---

[198]) Къ любимѣйшимъ эпическимъ чертамъ, замѣчаетъ М. Ригеръ, принадлежитъ то, что лучшій изъ героевъ, долго воздерживается отъ боя, предоставляя его своимъ товарищамъ, и наконецъ уже, въ самомъ крайнемъ случаѣ, хватается за оружіе. (Pfeiffer's Germania, IX, 313).



жертвовано—просто воинскому задору, —даже не воинской чести, какъ оно въ «Гильдебрандовой Пѣснѣ». Прекрасно выраженъ духъ карловингскаго эпоса въ слѣдующихъ словахъ Гастона Париса объ основномъ складѣ **Chanson de Roland**, которую онъ считаетъ лучшимъ его образцомъ: «складъ этотъ совершенно соотвѣтствуетъ тогдашнему обществу, отличавшемуся такими особыми, странными нравами: *дѣйствующія лица—бароны, и только едва, едва люди* (ses héros sont des barons, à peine des hommes); они не разстаются со своимъ вооруженіемъ и не знаютъ никакихъ другихъ отношеній, кромѣ тѣхъ, какія зародились изъ феодальныхъ учрежденій. Великодушныя побужденія человѣческой природы въ нихъ едва обнаруживаются; все запечатлѣно совершенно особою краской, отраженіемъ образованности, чисто переходной, и притомъ отпечаткомъ опредѣленнаго слоя общества, слоя людей, обладающихъ оружіемъ. Ихъ весьма ограниченное нравственное существованіе представляетъ всего какихъ-нибудь три-четыре весьма не далекія точки зрѣнія, ихъ простыя и напряженныя страсти, ихъ неспособность освободиться отъ весьма *искусственнаго кругозора*, своего рода простодушье понятій, упрямая послѣдовательность убѣжденій—все это великолѣпнѣйшимъ образомъ отражается въ поэмѣ, гдѣ глубина чувствъ равносильна только ихъ узости [199].»

Правда, что это именно та изъ поэмъ, въ которой нѣтъ еще ни малѣйшей тѣни того рыцарскаго, тоже чисто условнаго и искусственнаго великодушья, которое мало замѣтно и вообще въ древнѣйшихъ Chansons, да и въ позднѣйшихъ является плодомъ вліянія poëmes d'aventures, этихъ уже не германскихъ, по своей основѣ, эпическихъ произведеній.

Обрисованный Гастономъ Парисомъ узкій, искусственный кругозоръ—кругозоръ почетнаго, обладающаго оружіемъ слоя—составляетъ только дальнѣйшее развитіе того, что подмѣчено еще въ тацитовой „Германіи"—съ ея предоставленіемъ непочетнаго обладанья сохою и плугомъ—на долю рабамъ. [200]) Сперва поставленные внѣ *рода*—въ положеніе только собственности, роду принадлежащей, потомъ поставленные внѣ *дружины*—въ положеніе безсмѣнныхъ работниковъ на ея вождей, эти, несящіе всѣ тяготы труда, *тежаки* (какъ прекрасно называются земледѣльцы у Сербовъ) стояли вообще внѣ живущаго человѣческой жизнью міра, и самый эпосъ среднихъ вѣковъ если и вспоминаетъ о нихъ порою, то почти единственно для того чтобы расказать, какъ они гибли безгласными сонмами. (Стоитъ только вспомнить выше-приведенныя свидѣтельства Тидрекъ-Заги о послѣдствіяхъ брани между Эрминрекомъ и Тидрекомъ—см. стр. 105)

Въ родовую пору, какъ знаемъ мы, воинственный пылъ поддерживался нескончаемою обязательною цѣпью мщеній. Но кромѣ такихъ вытекавшихъ

---

[199]) Gaston Paris, Histoire poétique de Charlemagne, Paris, 1865, p. 18.

[200]) Совершенно то-же мы видимъ и въ позднѣйшія историческія времена въ Скандинавіи. «Для хлѣбопашества пользовались чужими силами..... Молодые люди, не ѣздившіе въ набѣги для изученія военнаго ремесла и пріобрѣтенія богатства, презирались: о такихъ говорили, что они сидятъ въ золѣ (Походы Викинговъ, II, 74). (Сидѣнье въ золѣ намекаетъ на эпическій образъ запечника, сидня).



изъ долга, кромѣ собственно *родовыхъ мщеній*, существовали и мщенія за себя, вытекавшія изъ того исключительнаго надѣленья избыткомъ правъ собственно *старшихъ родичей*, который не могъ не вызывать на отпоръ, и отпоръ самаго кроваваго свойства, многихъ и очень многихъ изъ остальныхъ. Отсюда многочисленые примѣры убіенія младшими братьями старшихъ или пользующихся предпочтеніемъ, или же вообще кровавой распри за первенство между братьями, примѣры убіенья отцовъ сыновьями, всякаго рода *личной* мести (*даже въ дѣтскомъ возрастѣ*) и т. п. [201]). Отсюда наконецъ появленье личностей, добивающихся силой оружья безграничной воли, насилующихъ во всѣ стороны—ради жажды добычи и самаго насилія, жажды, соединяемой съ похвальбой ненаказанностью [202]).—И вотъ такіе-то ожесточенные люди, выдѣлившись изъ предѣловъ рода, становились вождями *дружинъ*, составленныхъ уже изъ всякихъ людей, соединенныхъ общимъ ожесточеньемъ и общею жаждой добычи. И такого-то рода дружины, разсѣявшись по лицу многихъ странъ, стали наконецъ, кромѣ добычи движимой, дѣлить между собою и землю. Не однѣ уже bouge unde hort, но и bürge unde lant стали основою новаго, воинственнаго союза—союза *сильныхъ*, становившихся вмѣстѣ съ тѣмъ *богачами*, и *знатью*. Сами держа свои bürge и lant отъ другихъ, они могли въ свою очередь набирать дружины, добывать съ ними новые замки и земли, и опять раздавать ихъ. Такимъ образомъ одни надъ другими стояли *короли разныхъ величинъ*, изъ которыхъ каждый, только въ большемъ или меньшемъ кругѣ, былъ совершенно *свободенъ* (т. е. *не связанъ*)—по *направленію внизъ*, тяготѣя надъ тою толпой поставленныхъ внѣ боевого союза, которые жили при его bürge и на его lant. Когда же меньшіе короли, изъ за личныхъ страстей или изъ личныхъ разсчетовъ, заводили другъ съ другомъ брань, или же вступали въ союзъ для брани съ большими королями—то *слабые, бѣдные и простые* падали жертвой ихъ счетовъ, какъ *дѣти* въ родовую пору.

Таково дальнѣйшее историческое развитіе того *безграничнаго простора личности* (т. е., какъ оно неизбѣжно выходитъ, извѣстнаго *крупнаго ряда личностей*) которымъ въ германскомъ племени обозначился переходъ отъ общей для всѣхъ народовъ бранно-родовой поры—не къ трудовой поземельной общинности, а къ преобладанью военной дружины. Удивительно вѣрно обрисовалъ это основное германское начало *воинственнаго развитія личности* В. Менцель, въ трудѣ, посвященномъ миѳической старинѣ. Я разумѣю его книгу объ *Одинѣ*, этомъ первоначально атмосферическомъ божествѣ, позже получившемъ значенье божества бытоваго—*воинственнаго*, и сдѣлавшемся вѣрнѣйшимъ миѳическимъ представителемъ германской стихіи.

---

[201]) Проявленья такой разнуздавшейся, никакими преступленіями не останавливаемой личности встрѣчаются и позже—въ chansons de geste, напримѣръ въ Gaydon:

Son père ocist par poison en buvant,
20 de ses freres estraingla en dormant,
de sa poison va sa mere abevrant

(Беккеръ въ Ber. der Berl. Ak. Nov. 1867, p. 737).

[202]) Такъ, напримѣръ, въ одной изъ сѣверныхъ сагъ (Viga Stirs Saga). Стиръ похваляется тѣмъ, что убилъ на своемъ вѣку 33 человѣка и ни за одного не заплатилъ пени (P. E. Müller's Saga—Bibliothek, I, 27, 28). (Пеня, какъ извѣстно, служила вознагражденіемъ роднѣ убитаго и вмѣстѣ съ тѣмъ откупомъ отъ ея мести).



„Отважное стремленье къ свободѣ, говоритъ Менцель, едва ли въ какомъ либо другомъ народѣ съ такою силою пробудившееся сознаніе ея, равнымъ образомъ бранный напоръ и боевая нужда, гордое увлеченіе побѣдой, *особенное удовольствіе поступать неправо,* (Lust Unrecht zu thun) стали здѣсь (т. е. у древнихъ Германцевъ) въ рѣзкое противорѣчіе съ нравственнымъ чувствомъ. Не примирить, а только объяснить такое противорѣчіе, было главной задачей древне-германскаго языческаго богословія.»

«Это миѳическое богословіе самымъ разительнымъ образомъ уклоняется отъ нравственной основы вѣроученія древне-индійскаго и древне-персидскаго. О какой-либо самоотверженной преданности отдѣльнаго недѣлимаго общему и цѣлому, какъ у Индійцевъ, или объ одушевленной борьбѣ за добро противъ зла, какъ у Персовъ,—не могло быть и рѣчи у нашихъ предковъ. *Они-бы сочли это неприложимымъ къ жизни.* Господствовавшій у нихъ *духъ личности* былъ для этого слишкомъ строптивъ и властителенъ.—Въ томъ чтобы постоянно имѣть обѣ руки не связанными заключалось для нихъ главное, и это *стремленье къ свободѣ ради свободы* было въ нихъ гораздо сильнѣе, чѣмъ какая-либо нравственная щекотливость... Въ Одинѣ чтили Германцы не что̀ иное, какъ то, что̀ называютъ въ настоящее время житейскимъ благоразуміемъ (praxis).... Но чтобы уразумѣть всю исключительность такого понятія, надо отложить попеченіе о какихъ-либо нравственныхъ требованіяхъ ... Древніе Германцы и Норманны, какъ служители Одина, имѣли въ виду не что-либо иное, какъ изобилующую успѣхомъ, безусловно дѣйствительную и состоятельную жизненную опытность Они были довольно честны, чтобы сознаваться и утверждать, что такъ называемый нравственный міръ управляется вовсе не нравственностью, а просто на̀просто духомъ житейскаго опыта, а, какъ язычники, они были еще неспособны примирять въ смыслѣ ученія христіанскаго, глубокое противоворѣчіе между тѣмъ что дѣйствительно совершается, и тѣмъ, что должно-бы быть. Они сразу взяли да и присудили нравственность и добродѣтель къ пребыванію въ меньшинствѣ. Не съ тѣмъ, разумѣется, чтобы односторонпимъ образомъ приписать мировое владычество злу, что было бы и противу естественно и невѣрно, а собственно съ тѣмъ, чтобы опытное, безразлично-относящееся къ нравственности, благоразуміе, выставить настоящимъ выраженьемъ того, что̀ управляетъ свѣтомъ»....

Древніе Германцы были завоеватели, одержимые духомъ войны и какъ-бы до упоенья увлекшіеся стремленіемъ къ побѣдѣ, а потому и немилосердые —ужасъ для всѣхъ окрестныхъ народовъ».

«Въ мужской половинѣ германскаго міра и теперь еще сохранилось немало этой языческой, чисто одиновской жесткости, соединяемой со скрытою злоумышленностью (Verschlagenheit). Въ англо-норманскомъ нравѣ черта эта оказывается наименѣе ослабленною и сгладившеюся; впрочемъ, нетолько въ практической Англіи и сѣверной Америкѣ, но и между нами подобнаго рода нравъ встрѣчается еще очень нерѣдко.» (Menzel's Odin, VIII—XI. Stuttgart, 1855).

Къ такому признанію, откровенному чуть не до грязности, остается только прибавить: не этими-ли сторонами германства, не этою-ли его допотопною Lust Unrecht zu thun, объясняются и грубо-себялюбивыя отношенія

—по преимуществу Англія—къ восточнымъ Славянамъ, и тѣ воззрѣнія вообще на славянство германскаго міра, которыя выражены такъ мѣтко въ извѣстныхъ стихахъ нашего маститаго поэта:

Для нихъ — законъ и равноправность
Для насъ—насилье и обманъ,
И закрѣпила стародавность
Ихъ, какъ послѣдіе Славянъ.

Но не та-ли-же самая Lust Unrecht zu thun держалась такъ долго въ закоснѣломъ плантаторствѣ Американцевъ, на помощь которому призваны были и религія и наука, и ядъ, и кинжалъ? или-же держится и до сихъ поръ въ плантаторскихъ вожделѣніяхъ Нѣмцевъ, живущихъ въ предѣлахъ Россіи, съ ихъ совершенно искреннимъ недоумѣніемъ: какъ это такъ освобожденье крестьянъ съ землею прошло у насъ мирно и ровно, тогда какъ вѣдь это, на самомъ дѣлѣ, eine Verletzung der Eigenthums Rechte!! [203])

---

Возвращаясь къ тѣмъ видамъ «боя между отцомъ и сыномъ», какіе уже приведены мною изъ chansons de geste, считаю нужнымъ указать еще на стоящій отъ нихъ въ сторонѣ совершенно смягченный видъ, встрѣчающійся въ «Parise la duchesse» [204]). Сынъ этой герцогини, рожденный въ изгнаніи вслѣдствіе клеветъ, взведенныхъ на мать (подобныя клеветы достаются, какъ извѣстно, на долю многимъ матерямъ и женамъ въ средне-вѣковомъ эпосѣ);—сынъ отправляется тутъ (какъ и нерѣдко въ эпосѣ) отыскивать своего отца, и, соединясь съ частью вассаловъ, оставшеюся преданною матери, вступаетъ въ бой съ отцомъ, но при этомъ щадитъ его, а въ бесѣдѣ съ нимъ послѣ боя, ловкимъ образомъ намекаетъ на положеніе матери. Вслѣдъ за тѣмъ они разъѣзжаются, послѣ же дѣло доходитъ до оправданія матери и возстановленія лада въ семьѣ. Тутъ такимъ образомъ проявляется, по крайней мѣрѣ со стороны сына, мягкое чувство *семейное*, тогда какъ во всѣхъ остальныхъ карловингскихъ примѣрахъ «боя между отцомъ и сыномъ», нѣтъ его и въ поминѣ ни у одного изъ сражающихся. По заботамъ о *чести* матери, сынъ Паризы можетъ быть поставленъ въ одинъ разрядъ съ Сокольникомъ, только послѣдняго его рожденіе *за угломъ*, ставитъ, какъ видѣли мы, въ положенье гораздо больше ожесточенное, которое и разрѣшается трагическимъ образомъ. Нападенье его на соннаго Илью, эпически соотвѣтствуя нападенію Мальзериса на сонніаго сына (въ Siège de Pampelune), чуждо однако-же того человѣчнаго колебанія, какое приписано Мальзерису. Ожесточенье въ Сокольникѣ безгранично, и по силѣ страсти оно напоминаетъ Гагена, ожесточеннаго оскорбленьемъ Брюнгильды. Оба переполнены чувствомъ мести; но одинъ—за *мать*, другой—за свою *госпожу*. Съ другой же стороны, месть перваго не удается и слѣдствіемъ ея является всего одна жертва—самъ мститель. Месть второго

---

[203]) Замѣчательно, что Бюхнеръ, доказывая отсутствіе нравственныхъ понятій у дикарей, приводитъ въ примѣръ, что Новые-Каледонцы готовы дѣлиться всѣмъ съ каждымъ встрѣчнымъ. «Трудно выбрать болѣе странный примѣръ безнравственности!», замѣчаетъ P. Janet (R. d. deux Mondes, 150 ct. 1868, p. 894).

[204]) Parise la duchesse, chanson de geste, 2-ème éd. par Guessard et Larchey, Paris, 1860, p. 64—67. (Les anciens poètes de la France, t. IV, гдѣ, сверхъ того, помѣщенъ, въ началѣ и «Фьерабрасъ»).



приведена въ исполненіе и влечетъ за собою рядъ слѣдствій, стоющихъ жизни цѣлымъ тысячамъ вполнѣ неповинныхъ людей.

Оскорбленность Сокольника, оскорбленность за мать и за самого себя, отрицательнымъ образомъ указываетъ на сознанье всей святости и всей чистоты союза семейнаго. Мы могли окончательно убѣдиться, что это составляетъ исключительную особенность нашего отечественнаго извода. Какимъ образомъ, вслѣдствіе чего святотатственное оскорбленье семьи достается на долю любимѣйшему богатырю народному, это такая-жь загадка, какою остается въ эстонскомъ эпосѣ невольный союзъ съ сестрою «наслѣдника Калевы» и убійство имъ сына своего воспитателя [205]). Въ томъ и другомъ эпосѣ такого рода черта должна быть признана остаткомъ отдаленнѣйшей старины, первоначальный, несомнѣнно миѳическій корень которой остался безъ позднѣйшаго толкованія въ *бытовомъ смыслѣ*. Какъ бы то ни было, тутъ грубость еще первобытная, безъискусственная. Нѣтъ и въ поминѣ какихъ либо чисто условныхъ, но, въ сущности, столько же грубыхъ понятій — о воинской чести и славѣ, какъ высшемъ благѣ, о слѣпой, животненной вѣрности господину. Съ другой же стороны—не говоря уже о томъ совершенно смягченномъ видѣ нашего сказанія, изъ котораго выпалъ и самый конецъ трагическій—уже одна *застаивающаяся въ плечѣ* рука Ильи Муромца указываетъ на его способность къ жалости, а радость при узнаніи сына — на ничѣмъ тутъ не подавляемую теплоту естественныхъ чувствъ отца. Оскорбившій въ былые дни чистоту понятія о семьѣ является тутъ *растроганчымъ*, вполнѣ по отцовски, при видѣ своего *чада милаго*. Въ этомъ отношеніи наше сказанье *не только* въ отрицательномъ смыслѣ указываетъ на *семейственное начало*.

Съ рѣдкою теплотою проводится это послѣднее въ одной трагической былинѣ сербской, былинѣ, которую, именно по ея трагическому исходу и по замѣтному въ ней *роковому началу*, сопоставляли не разъ (напримѣръ Дюмериль) съ трагическими сказаніями о боѣ между отцомъ и сыномъ, хотя тутъ бой происходитъ между *двумя братьями*. Это «Предрагъ и Ненадъ» во II ч. сборника Вука Караджича подъ № 16 [206]). Въ злую пору, въ голодные годы вскормила мать двухъ сыновей недоростковъ. Чуть только старшій, Предрагъ, *доросъ до коня*, какъ уже отправился въ то пристанище молодецкихъ остатковъ независимой сербской силы, гдѣ такъ долго гнѣздилась она, не сдаваясь—въ горы, чтобы стать *гайдукомъ*. Такимъ образомъ младшій, Ненадъ, выросъ, даже и не слыхавъ про брата. Но попозже и онъ отправился въ тѣ-же горы. Былъ онъ умный, смышлёный юнакъ, и дружина гайдуцкая, въ которую поступилъ онъ, сдѣлала его старѣйшиною. Уже цѣлыхъ три года подвизался онъ въ качествѣ такого *выборнаго главы*, но сгрустнулось ему, молодому, по матери! «О дружина моя, дорогіе братья! возговорилъ онъ, давайте, подѣлимъ добро, и пусть каждый отправится къ своей матери!» Рада была это слышать дружина. Каждый, высыпая свое достояніе, клялся тяжелою клятвою—кто братомъ, а кто сестрой; Ненадъ же,

---

205) Kalewipoeg, verd. v. Rheinthal, p. 149—152.

206) Сходная пѣсня болгарская у Безсон. I, №



когда высыпалъ свое, такъ говорилъ дружинѣ: «нѣтъ у меня брата и нѣтъ сестры, но именемъ Бога единаго—да отсохнетъ у меня десница, грива да отпадетъ у моего коня, острая сабля заржавѣетъ—если я утаилъ чтó нибудь». Трогательна эта клятва другъ другу членовъ гайдуцкой *общины*—клятва самыми близкими изъ *семьи*. Такъ и видно, что при всей воинственности этой общины, она пустилась въ войну не ради самой войны, что, какъ бы наступательно ни дѣйствовала она противъ Турокъ,—первоначально возникнувъ изъ видовъ оборонительныхъ, она не отрѣшилась вполнѣ отъ породившей ее, угнетенной врагами семьи.—Выборный глава общины клялся, какъ и всѣ прочіе, но сильно смутило его, что одинъ только онъ не могъ поклясться ни сестрою, ни братомъ. Вернувшись домой, онъ съ трогательнымъ простодушіемъ говоритъ матери:

Oj старице, моја мила мајко!
Да ми није од льуди срамоте,
Да ми није од Бога греоте,
Не би рек'о, да си моја мајко:
Зашт' ми ниси брата породила,
Јали браца, јали милу сеју?

Мать спѣшитъ успокоить его, что есть у него милый братъ, и недавно имѣла она о немъ вѣсть—онъ главою гайдуковъ. Юноша тутъ-же сталъ собираться въ поиски за своимъ братомъ, чтобъ миновала скорѣе живая его тоска-жалость. Не слушая уговоровъ матери, поспѣшилъ онъ нà гору Гаревицу и вскричалъ зычнымъ голосомъ: «о Гаревица, гора зеленая! не кормишь ли ты въ своихъ нѣдрахъ юнака Предрага, родного мнѣ брата?» Предрагъ же сидѣлъ той порой подъ зеленой елью и пилъ вино. Заслышалъ онъ голосъ Ненада и взговорилъ дружинѣ: «ступайте туда на дорогу, подстерегите незнакомаго воина, только не бейте его, не взимайте пени, и приведите сюда живого: откуда бы ни былъ молодецъ, но онъ изъ моей семьи». Вотъ и отправились *тридцать* молодцевъ (число довольно обычное въ сербскомъ эпосѣ, когда дѣло идетъ объ объемѣ дружины), и расположились въ различныхъ мѣстахъ—тремя десятками. Не послушался первый десятокъ наказа и сталъ пускать стрѣлы въ молодца; возговорилъ имъ Ненадъ: «не стрѣляйте, братцы, съ горы;—пусть никогда не томитъ васъ жалость-тоска по братѣ, какъ меня по моемъ дорогомъ». И они его пропустили съ миромъ. Онъ поѣхалъ далѣе, но, точно также враждебно встрѣченный и вторымъ десяткомъ, Ненадъ къ нему обратился съ мольбой—не лишать его счастья доѣхать до брата. Когда же и третій десятокъ встрѣтилъ его также выстрѣлами, тогда разсердился молодецъ: первый десятокъ посѣкъ онъ саблей, второй потопталъ конемъ, третій же разбѣжался въ горы. Донеслась до Предрага молва, что незнаемый воинъ изсѣкъ у него дружину. Вскочилъ онъ тутъ на *рѣзвы ноги* [207]), пустился на путь дорогу, притаился за зеленою елью и ударомъ стрѣлы скинулъ молодца со добра коня. Попала стрѣла въ недоброе мѣсто, въ недоброе мѣсто—юнацкое сердце. Горько всплакнулъ Ненадъ и сталъ его клясть: «да томитъ же тебя постоянно жалость-тоска по братѣ, какъ меня по моемъ дорогомъ! На чтó ты меня подстерегъ—погубилъ мою буйную

[207]) **Лагане ноге**—столь-же обычное сербское эпическое выраженіе, какъ и наше **рѣзвы ноги**, въ родѣ древне-греческаго πόδας ὠκύς (обычный эпическій признакъ Ахилла).



голову?» Заслышавъ такую рѣчь, сталъ его распрашивать Предрагъ изъ-за ели: «кто ты, чьего рода-племени?» И сказалъ ему все Ненадъ, и про старую одинокую мать, и про единственнаго брата Предрага, въ поиски за которымъ пустился онъ въ путь, чтобы унялась его жалость-тоска по братѣ! — «Можешь ли ты перемочь свои лютыя раны?» заговорилъ тутъ, назвавшись ему, Предрагъ; поспѣшно спустилъ его съ коня на траву и порывался перевязать его рану. «Хвала Богу, что я наконецъ увидѣлъ тебя, и моя лютая жалость-тоска миновала; не перемочь мнѣ ранъ, но да простится тебѣ моя кровь!» Проговоривъ это, Ненадъ испустилъ свою душу, а горемычный Предрагъ, причитывая, выхватилъ ножъ изъ-за пояса, и, хвативъ себя въ сердце, мертвый упалъ возлѣ брата.

Такого рода концомъ, самоубійствомъ послѣ рокового убійства, въ ряду всѣхъ сказаній о боѣ между близкими родственниками отличается только былина сербская. Но самоубійство отъ избытка горя довольно обычно въ славянскомъ эпосѣ вообще. Это, конечно, явленье страдательное, но служащее признакомъ мягкости, теплоты чувства. Такою-то теплотою, какъ не трудно было замѣтить, исполнена и вся былина о Предрагѣ и Ненадѣ, не смотря на суровую почву гайдучества, вполнѣ соотвѣтственную и вообще осуровленному, подъ вліяньемъ туречины, эпосу сербскому, все однако-жь таящему подъ такою суровостью много мягкаго, человѣчнаго.

Враждебное столкновенье двухъ братьевъ происходитъ и въ одной русской былинѣ, записанной въ Олонецкой Губ. въ Кижской Волости отъ превосходнаго сказителя Рябинина (Рыбн. I, № 72). Въ ней однакожь замѣтно *смѣшенье* различныхъ эпическихъ похожденій, а въ описаніи самаго боя мѣстами почти дословно повторены подробности боя между Ильей Муромцемъ и паленицею, его дочерью (ср. съ былиной того-же Рябинина въ той-же 1 ч. № 12). Смѣшенье въ этомъ послѣднемъ отношеніи до того странно, что *молодому Петру Петровичу, королевскому сыну*, неизвѣстный его супротивникъ говоритъ, какъ паленица Муромцу: «ахъ ты старая базыга новодревняя» (стр. 418). Молодой Петрой Петровичъ, котораго прозываніе *королевичемъ* указываетъ не на русскую землю, выѣзжаетъ изъ города изъ Крякова, встрѣчающагося и въ нѣкоторыхъ другихъ былинахъ и, *быть можетъ*, указывающаго на польскій Краковъ. Ѣдетъ Петрой за охотою, хочетъ стрѣлять двухъ лебедушекъ, но онѣ, взговоривъ языкомъ человѣческимъ, величаютъ его *святорусскимъ богатыремъ*, себя же называютъ двумя Настасьями Митріевичнами, летающими отъ *пана*, просятъ себѣ пощады и совѣтуютъ ему ѣхать къ Кіеву, гдѣ онъ наѣдетъ черна ворона во сыромъ дубѣ — перьица распущены до сырой земли (встрѣча съ лебедиными дѣвами обычна и во множествѣ сказокъ у всѣхъ народовъ, и въ древней Эддѣ, и въ «Пѣснѣ о Нибелунгахъ», гдѣ подобныя дѣвы вопіютъ о пощадѣ къ Гагену, на пути его къ Этцелю). Воронъ, на котораго, побѣдивъ дѣвицъ, наѣзжаетъ Петрой, въ свою очередь обращается къ нему съ умилостивительными словами:

„Ты слыхалъ ли поговорье на Святой Руси:
—„Въ кельѣ старца убить, то есть не спасенье,

Черна ворона подстрѣлить, то есть не корысть получить. [208])
....расточишь мою кровь то по сыру дубу,—
Не упрятуешь плеча ты могучаго:
Не утѣшишь сердца богатырскаго—

Второй разъ послушалось богатырское сердце такихъ умильныхъ рѣчей;—къ тому-же воронъ ему указалъ и на настоящее богатырское дѣло: «ѣздитъ подъ Кіевомъ паленица, грозится церкви на дымъ спустить, черныхъ мужичковъ всѣхъ повырубить». И поѣхалъ нашъ королевскій сынъ *утѣшать* свое богатырское сердце стояньемъ за мужичковъ черныхъ.

Тутъ уже вполнѣ слышится то земское *оборонительное* начало, котораго отраженіе видѣли мы даже на вполнѣ чуждой, заимствованной повѣсти объ Уруланѣ (см. выше стр. 47), начало, которое такъ прямо-противоположно вышеприведенному отвѣту германскаго богатыря Видги своему отцу на совѣтъ его—избавить окрестныхъ людей отъ разбойника (см. стр. 73). Если далѣе, въ выборѣ прямоѣзжей, хотя и опасной дороги, Петрой зато сходится съ Видгой (и съ иранскимъ Рустемомъ), то вмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ тутъ сказывается эпически-возможный и у *всѣхъ народовъ* богатырскій страхъ: «побьетъ меня татаринъ во чистомъ полѣ, не бывать-то молодцу на Святой Руси». Но, не смотря на подобный страхъ, онъ ѣдетъ, *призвавъ себѣ Бога на помочь*. По одолѣніи имъ воображаемаго татарина, у него, какъ и у Ильи Муромца, *три раза застоялась рука въ плечѣ*. Наконецъ, при третьемъ допросѣ объ имени, супротивникъ признался:

Есть я со тоя со темной Литвы,
Отъ тыхъ Татаровей поганыихъ
А увезенъ былъ маленькимъ ребеночкомъ
Изъ того изъ города изъ Крякова....

(опять повсемѣстно встрѣчающаяся эпическая черта; нѣчто подобное уже попалось намъ выше,—въ греческой былинѣ объ Андроникѣ—см. стр. 42). Подобно тому, какъ Ненадъ поѣхалъ искать себѣ брата, этотъ полоненщичекъ, возросши до возраста, поѣхалъ на матушку на святую Русь—

Поискать собѣ-то роду племени
И поотвѣдать собѣ-то отца матери.

И вотъ теперь-то нашелъ онъ, чего искалъ: скорешенько скочилъ съ его бѣлыхъ грудей молодой Петрой,

Цѣловалъ его во уста въ сахарнія,
Называлъ-то братцемъ собѣ роднымъ —

и повезъ онъ его на родную сторону къ государынѣ-матушкѣ.

Наша былина, какъ видно, представляетъ, сравнительно съ сербскою, смягченный, нетрагическій видъ [209]). Уцѣлѣли ли гдѣ нибудь и у насъ отголоски извода трагическаго,—при теперешнемъ количествѣ данныхъ намъ неизвѣстно. Трудно также рѣшить, при существованіи всего только одного рябининскаго пересказа, служитъ ли онъ отголоскомъ нашего собственнаго преданія о боѣ между братьями, или это отголосокъ преданій, зашедшихъ къ

---

[208]) Это, очевидно, отличается строемъ пословицы (поговорья);—по духу же она подходитъ къ цѣлому множеству нарѣченій народныхъ о проливаньи напрасной крови.

[209]) Бой между братьями долженъ былъ существовать въ эпосѣ и у другихъ народовъ. Съ благополучнымъ окончаніемъ подобный бой попадается въ извѣстной поэмѣ Вольфрама Эшенбаха—«Парцифаль», гдѣ онъ происходитъ между Фейрефисомъ и Парцифалемъ. (Конецъ, м. б., смягченъ Эшенбахомъ—Carrière, III, п, 314).



намъ отъ другихъ Славянъ (какъ оно можетъ казаться по *различной смѣси* въ этой былинѣ, по *королевскому* званью Петроя, по городу *Крякову*—если только подъ нимъ разумѣется *Краковъ*—и т. п.). Во всякомъ случаѣ, духъ, проникающій эту былину, хотя она и находится внѣ эпической связи съ *сердцевиною* нашего эпоса, разсматриваемаго какъ цѣлое,—духъ этотъ—тотъ-же, что́ и въ этомъ цѣломъ.

Но въ чемъ-же оно состоитъ, это цѣлое, и не пора ли наконецъ обратиться къ изысканью той связи, въ какой находятся съ нимъ служившія намъ точкой исхода былины объ Ильѣ и Сокольникѣ? Если германскія сказанья о боѣ между Гильдебрандомъ и Гадубрандомъ оказались, какъ видѣли мы, въ тѣснѣйшей, не только внѣшней, но и внутренней связи съ общимъ строемъ германскаго эпоса, съ двумя главными составными его кругами,—то окажется ли такая-же тѣсная связь между нашими отечественными былинами про бой богатыря съ сыномъ, и всею основной совокупностью нашего русскаго эпоса?

Да и можетъ ли оказаться въ немъ, столь разрозненномъ, отрывочномъ, въ старые дни не записывавшемся, какая либо основная совокупность и цѣлостность? А вотъ посмотримъ.

———

## III.

### Былины о бое между Ильею и сыном въ связи съ былинами объ отношеніяхъ къ богатырю Святогору и объ изцѣленіи Ильи Муромца.

Мы видѣли, что въ трагическихъ былинахъ о нашемъ боѣ, въ томъ видѣ, какъ онѣ сохранились, причина враждебнаго столкновенія между отцомъ и сыномъ оказывается въ *насиліи*, испытанномъ его матерью со стороны Ильи Муромца. Насиліе предполагаетъ *перевѣсъ силъ* въ Ильѣ, перевѣсъ, въ народной поэзіи далеко не всегда оказывающійся въ богатыряхъ сравнительно съ богатыршами. Между тѣмъ о перевѣсѣ силъ Ильи Муромца надъ силами бабы Горынчанки даже прямо говоритъ пересказъ Кирши и рыбниковская побывальщина; — но и тотъ, и другая, какъ уже было замѣчено, во многихъ отношеніяхъ не отличаются особенною древностью. Да и такому перевѣсу Ильи противорѣчитъ то, правда временное, но все-таки очевидное торжество Сокольника надъ Ильей, какое мы видимъ, по многимъ пересказамъ, въ первой половинѣ сказанія. Не даромъ при встрѣчѣ съ Сокольникомъ и сердце у Ильи пріужахнулось (чего не случается съ нашимъ богатыремъ ни во одномъ изъ другихъ его похожденій): Сокольничекъ дѣйствительно оказывается, на первое время, пересиливающимъ Илью, а если послѣдній и торжествуетъ надъ нимъ подъ конецъ, то собственно только ободряющею силою вѣры въ покровительствующую ему судьбу. Съ другой стороны, такой, хотя бы и временной перевѣсъ силъ въ Сокольникѣ, не можетъ быть объясняемъ тѣмъ, что Илья — уже *старый казакъ*. Во первыхъ, у *малаго отрока* (какимъ называетъ себя Сокольникъ), силы, казалось бы, должно оказаться и еще менѣе, чѣмъ у стараго казака. Во вторыхъ же прозвище *старый* обратилось въ постоянное эпическое прозвище Ильи Муромца, такъ что съ нимъ далеко не всегда соединяется указаніе на дѣйствительную старость богатыря въ данный мигъ. Чѣмъ же объяснить такой перевѣсъ силъ въ маломъ отрокѣ (съ особенною яркостью обозначающійся, кромѣ иранскаго, въ нашемъ русскомъ изводѣ)? Не указывается ли такимъ перевѣсомъ на происхожденіе его отъ существа съ силами необычайными, превосходящими силы самого Ильи? А такимъ существомъ можетъ оказаться только мать Сокольника, и ежели она, Горынчанка,

Латыгорка, Семигорка, выставляется въ разобранныхъ нами пересказахъ болѣе слабою, чѣмъ Илья, то въ этомъ едва ли не слѣдуетъ видѣть позднѣйшее измѣненіе. Такое измѣненіе могло показаться нужнымъ въ то время, когда, съ одной стороны, Илья Муромецъ окончательно сдѣлался для народа богатыремъ первѣйшимъ, вполнѣ затмившимъ всѣхъ предшествовавшихъ, съ другой же стороны понадобилось бытовое объясненіе для его боя съ сыномъ, и такое объясненіе найдено было въ насиліи, оказанномъ Ильею Горынчанкѣ. Первоначально же эта богатырская баба должна была быть сильнѣе Ильи, какъ Брюнгильда была сильнѣе Гунтера. Такъ можно было предполагать и догадываться;—и вотъ это предположеніе до извѣстной степени подтвердилось одною изъ замѣчательнѣйшихъ былинъ, открытыхъ въ Олонецкой Губерніи г. Рыбниковымъ. Уже самыя имена сокольниковой матери—Латы*горка*, Семи*горка*, равно же и та *змѣя горынская*, съ какою, по одному рыбниковскому пересказу, разъѣзжаетъ Сокольничекъ, находятся въ какой-то связи съ попадающимися въ народныхъ преданьяхъ *святыми-горами* и богатыремъ *Святогоромъ*. И вотъ въ прекрасной рыбниковской былинѣ объ этомъ послѣднемъ, [1]) у него оказывается жена, вступающая съ Ильей Муромцемъ въ такую же связь, въ какую, по другимъ пересказамъ, вступаетъ съ Ильей Горынчанка. Но разница въ томъ, что Илья уже не является тутъ насильникомъ, а скорѣе самъ уступаетъ силѣ превосходящей его богатырши. Чтобы объяснить это, надо припомнить содержаніе всей былины. Она примыкаетъ къ самой начальной порѣ похожденій Ильи, приводитъ его къ столкновенію съ его предшественникомъ—однимъ изъ тѣхъ богатырей, которыхъ, на основаніи большой шенкурской былины (Кир. I, VI, 1) К. С. Аксаковъ прозвалъ *богатырями старшими*.—Илья Муромецъ еще въ первый разъ выѣзжаетъ на подвиги. Попадается ему шатеръ подъ сырымъ дубомъ, въ шатрѣ кровать богатырская долиной десяти сажень, шириной шести сажень. Илья ложится и засыпаетъ, (при этомъ былина уже забываетъ сказать, что кровать не въ мѣру велика для Ильи—но такъ оно должно быть, на основаніи всего дальнѣйшаго) [2]).

А сонъ богатырскій крѣпокъ:
На три дня и на три ночи. [3])
На третій день услыхалъ его добрый конь
Великій шумъ съ–подъ *сиверныя* сторонушки.
Мать сыра земля колыбается,
Темны лѣсушки шатаются,
Рѣки изъ крутыхъ береговъ выливаются.
Бьетъ добрый конь копытомъ о сыру землю,
Не можетъ разбудить Илью Муромца....
(Стихи 117—125).

Конь, ударомъ копыта старающійся разбудить богатыря—это эпическая

[1]) Рыбник. ч. I, № 8 (стр. 33—42). Петрозав. Уѣзда, Кижскаго Погоста, отъ Леонтія Богданова.

[2]) Далѣе, когда Илья пытается улечься въ гробъ—домовище оказывается и велико и широко для него (стр. 41).

[3]) А по былинѣ Симбирск. Губ. (у Кир. I, I, 1, ст. 31 и 32:

На бугрѣ Илья отдохнуть прилегъ;
Богатырскій сонъ на двѣнадцать день.

(То-же и въ другомъ пересказѣ той же мѣстности, Кир. I, I, 3, ст. 39). Такъ какъ сонъ этотъ слѣдуетъ тутъ непосредственно за исцѣленіемъ Ильи Муромца—какъ и въ былинѣ Л. Богданова—то не намекается ли этимъ на то, что и слѣдующая за долгимъ сномъ Ильи у Л. Богданова встрѣча со Святогоромъ—только выпала, изгладилась изъ былины Кирѣевскаго, а когда-то имѣлась и въ ней? Слѣдующіе два стиха:

Онъ прославился сильнымъ воиномъ,
Богатыремъ славнымъ могучіимъ, —

Слишкомъ не эпически сжато хватаютъ впередъ. Они тутъ очевидно вставные—взамѣнъ чего-то забытаго, они замѣщаютъ тутъ пропускъ. Далѣе слѣдуетъ встрѣча съ татарченкомъ—но и въ ней многое позабыто.

черта, находящаяся и въ chansons de geste (гдѣ такимъ образомъ дѣйствуютъ, напримѣръ, и Баярдъ, конь Ринальда, и Broiefort, конь Ожье) [4]). Столько же обыкновенна въ эпосѣ и способность коня проязычить (стоитъ только вспомнить коней Ахилла; но таковы же кони и у тюркскихъ богатырей). Такъ и у Ильи

Проязычилъ конь языкомъ человѣческимъ:
Ай же ты, Илья Муромецъ!
Спишь себѣ прохлаждаешься.
Надъ собой невзгодушки невѣдаешь:
Ѣдетъ къ шатру Святогоръ богатырь...
(Стихи 127—130.)

Проснувшись, Илья, по совѣту коня, отпускаетъ его въ чистое поле, а самъ *выстаетъ* во сырой дубъ, и съ вершины его

Видитъ: ѣдетъ богатырь выше лѣсу стоячаго,
Головой упираетъ подъ облаку ходячую,
На плечахъ везетъ *хрустальный ларецъ*.

Богатырь останавливается, снимаетъ съ головы свою ношу, отпираетъ ларецъ золотымъ ключомъ, и вотъ —

Выходитъ оттоль жена богатырская...

(Описаніе ея красоты не отличается ничѣмъ особеннымъ). Святогоръ засыпаетъ,

А красавица жена его богатырская
Пошла гулять по чисту полю,
И высмотрѣла Илью во сыромъ дубу....
„Сойди-ко со сыра дуба,
Сойди, любовь со мной сотвори;
Буде не послушаешься,
Разбужу Святогора богатыря,
Разбужу Святого а, и скажу ему,
Что ты насильно меня въ грѣхъ ввелъ".
Нечего дѣлать Ильѣ:
Съ бабой не сговорить,
А со Святогоромъ богатыремъ не сладить.
Слѣзъ онъ съ того сыра дуба
И сдѣлалъ дѣло повелѣное.
Взяла его красавица, богатырская жена,
Посадила мужу во глубокъ карманъ [5]).

Не трудно замѣтить, что, какъ тѣлесно, такъ и нравственно, Илья тутъ въ положеніи далеко не первенствующемъ и далеко не самостоятельномъ. Онъ сталкивается съ существами, которымъ принужденъ уступать, потому что это существа не одного съ нимъ рода, существа совершенно особаго и сильнѣйшаго поколѣнія. Связь его съ женою подобнаго поколѣнія—связь, выходящая изъ порядка вещей, а потому долженствующая имѣть послѣдствія необыкновенныя. Плоду отъ подобной связи естественно отличаться необычайною силою уже въ отроческія лѣта, и если рыбниковская былина (Л. Богданова) не намекаетъ на то, чтобы жена Святогора *отъ Ильи понесъ понесла* [6]), то это, быть можетъ, только позднѣйшій пропускъ, и плодомъ этой связи долженъ быть признанъ попадающійся только въ другихъ былинахъ Сокольничекъ.

---

[4]) Gautier, épopées françaises, II, 213, 233.

[5]) Не понимаю, почему г. Стасовъ преминулъ указать, какъ на первообразъ этого эпизода въ нашей былинѣ, на одну сказку въ персидскомъ сборникѣ Тутти-Намѐ (XIV в.; сокращенная передѣлка XVII в.): «однажды увидѣлъ одинъ человѣкъ въ степи слона съ носилками на спинѣ. Съ испугу онъ взлѣзъ на дерево. Слонъ случайно подошелъ къ тому же дереву, стряхнулъ со спины носилки и пошелъ себѣ далѣе пастись въ полѣ. Вдругъ упомянутый человѣкъ замѣчаетъ на носилкахъ прекрасную женщину, сходитъ съ дерева и старается заслужить ея благосклонность; и ей онъ понравился, и она начала говорить съ нимъ именно такъ, какъ надобно было для достиженія общей ихъ цѣли. Коротко сказать, они удовлетворили обоюднымъ желаніямъ».... Далѣе говорится о томъ, какъ она вынула изъ кармана шнурокъ съ узелками и сдѣлала на немъ новый узелъ. На вопросъ же его, что̀ это, она отвѣчала: «мой мужъ—чародѣй, обернулся слономъ и носитъ меня на спинѣ своей по полю, а между тѣмъ, не смотря на то, что онъ сторожитъ меня такимъ образомъ, я уже позабавилась съ цѣлою сотней мужчинъ» (столько и узелковъ на шнуркѣ). (Touti-Nameh, übers. v. Iken, Stutt. 1822, S. 31—32).

[6]) Какъ рыбниковскій прозаическій пересказъ, I, стр. 65, гдѣ впрочемъ Илья одолѣлъ паленицу Горынчанку съ бою. (Зап. отъ 90 л. старика Пудожск. уѣзда) Разсказъ этотъ, очевидно, не полонъ.

Самыя враждебныя отношенія между нимъ и Ильей, послѣ этого, могутъ быть до нѣкоторой степени объяснены принадлежаніемъ отца не къ одной породѣ съ матерью, а къ породѣ, надобно полагать, враждебной съ ея породою. Такъ и въ основѣ сказанія о Рустемѣ и Зорабѣ, какъ мы уже видѣли, лежало враждебное отношеніе тѣхъ царствъ, къ которымъ принадлежатъ Рустемъ и Темина. Тутъ тоже *незаконность* связи, только незаконность, понимаемая не въ томъ позднѣйшемъ смыслѣ, какимъ лишь съ теченіемъ времени могли проникнуться наши трагическія былины о боѣ между Ильей и Сокольникомъ. Какъ Рустему приходилось поплатиться за свою связь съ женою изъ *темнаго царства*, такъ и нашъ Илья, въ первоначальномъ видѣ былины, по всей вѣроятности платился за свою связь съ женою изъ *сиверной* (т. е. также лишенной свѣта солнечнаго, *темной*, стало быть, стороны); съ женою, отъ которой только и могъ Сокольничекъ наслѣдовать свои *черныя* груди и свой *соловьиный* свистъ (свойственный преимущественно чудовищамъ — изчадіямъ также темнаго царства) [7]. Если изъ конца былины Л. Богданова выходитъ, что Илья не могъ имѣть сына отъ жены Святогора, потому что этотъ страшный богатырь тутъ же убилъ ее;—то, во первыхъ, объ этомъ передается уже въ томъ мѣстѣ сказанія, гдѣ стихъ окончательно разложился и повѣствованіе, такъ сказать, скомкалось, т. е. тамъ, гдѣ память измѣняла пѣвцу (а такими мѣстами надо пользоваться весьма остотрительно); во вторыхъ же и при неразложившемся стихѣ тутъ могло бы передаваться все-таки позднѣйшее, по временемъ утвердившееся присочиненіе. Нѣтъ ничего удивительнаго, если съ теченіемъ времени могло показаться нужнымъ, чтобы жена Святогора, все болѣе становясь для народа настоящею женщиною [8]), была наказана своимъ мужемъ, также точно какъ съ теченіемъ времени показалось надобнымъ, чтобы Илья выкупилъ нравственную незавидность своего положенія въ этомъ дѣлѣ откровенною передачею его Святогору, и въ награду за то былъ имъ признанъ за названаго брата. Былина, въ первой своей половинѣ сохраняющая память о томъ, что было поколѣніе богатырей, которому уступалъ силою Илья Муромецъ, къ концу склоняется снова къ обычному возвеличенію любимаго народнаго богатыря, которому заставляетъ уступить мѣсто самого Святогора, сходящаго подъ конецъ въ могилу какъ бы по приговору судьбы. Къ Ильѣ же эта послѣдняя находится и тутъ въ тѣхъ же покровительственныхъ отношеніяхъ, которыя уже знакомы намъ по приговору ея, что смерть ему *на бою не написана*. По видимому, не что иное какъ

---

[7]) Нельзя, впрочемъ, не вспомнить, что въ былинѣ Пароменскаго старика о боѣ Ильи съ Сокольникомъ (Р. III, 14), самъ Илья, подобно Соловью разбойнику, «засвисталъ по змѣиному» и «отъ рева его отъ звѣринаго» подъ Сокольникомъ конь на колѣни упалъ», а Сокольникъ бранитъ его: «что ты въ колѣ птицы (Соловья?) шарашаешься?» Тутъ это, можетъ быть, объясняется подражаніемъ Ильи Соловью, съ цѣлію напугать Сокольника. Не лишнее, однакоже, будетъ указать на то, что въ индѣйскомъ эпосѣ свистъ змѣиный приписывается не только ракшазамъ (злымъ духамъ), но и божествамъ: такъ въ Рамаянѣ свистящимъ является и злой Равана, и божественный Рама (Fauche, Ramayana, VI, 111, 183; IX, 89, 179).

[8]) Не трудно замѣтить, что въ персидской сказкѣ (приведенной выше) она еще болѣе женщина, и сказка даже попадаетъ чрезъ это въ разрядъ сказокъ-анекдотовъ (въ родѣ fabliaux) о невѣрности женъ. Вотъ почему, между прочимъ, персидскую сказку также мудрено признать за первообразъ нашего сказанія о Святогорѣ, какъ и всѣ вообще сказки какого-нибудь Шидди-Кура— за источники нашей народной поэзіи. (См. мою замѣтку о сборникѣ сказокъ г. Аѳанасьева въ XXXIV присужденіи демидовскихъ наградъ, стр. 88).

мысль объ этомъ приговорѣ сказывается у Ильи въ одномъ изъ отрывковъ рябининской былины о Святогорѣ, помѣщенныхъ у Рыбн. въ III ч. подъ № 2. Прочитавъ надпись на гробѣ, Илья тутъ вовсе и не пытается лечь въ него, а говоритъ съ увѣренностью: «не наше мѣсто, не намъ и спать». Уже и выше было говорено о томъ, какъ вообще твердо вѣруетъ Илья въ этотъ приговоръ и какую силу придаетъ ему эта вѣра; но намъ остается еще познакомиться съ самымъ происхожденіемъ этого приговора.

Мы скоро увидимъ, что его сообщаютъ Ильѣ какія-то существа особаго, очевидно уже переводящагося, *старшаго* поколѣнія. У нихъ, сравнительно съ Ильей Муромцемъ, тотъ-же перевѣсъ тѣлесныхъ силъ, что и у Святогора съ его женой богатырскою; они, очевидно, сродни Святогору.

Если самыя похожденія этого послѣдняго сдѣлались намъ извѣстными только по былинамъ Рыбникова, то какъ имя его попадалось уже и въ прежде извѣстныхъ сборникахъ, такъ встрѣчалось и обозначеніе всей той породы, къ которой принадлежитъ онъ, именемъ богатырей *старшихъ*. Уже у Кирши Данилова при первомъ пріѣздѣ Ильи къ Владиміру упомянуты особые, рѣдко встрѣчающіеся богатыри:

Выходили тутъ—князи бояра
Всѣ Русскіе могучіе богатыри:
Самсонъ богатырь Колывановичъ,
Суханъ богатырь сынъ Домантьевичъ,
*Святогоръ* богатырь и Полканъ другой, и т. д.
(Кир. I, 45).

Въ пѣсенникѣ 1805 г. (Кир. I, 22, прим. 8) на соколѣ кораблѣ:

Кормою то владѣетъ младъ Полканъ богатырь,
Атаманомъ былъ на немъ *Святогоръ* богатырь, и т. д.

Совершенно сходно и въ пересказѣ пѣсни Саратовской Губерніи, доставленномъ А. М. Тургеновымъ (и напечатанномъ также у Кир. 22).

Въ Современникѣ 1840 г. т. XVII (Кир. IV, 119—124) въ стихѣ объ Аникѣ-воинѣ и смерти:

Былъ на землѣ Самсонъ богатырь,
Былъ на землѣ *Святогоръ* богатырь,
И я ихъ скосила....

Въ пѣснѣ Вятской Губерніи, помѣщенной въ сборникѣ духовныхъ стиховъ Варенцова (Кир. IV, 122), также говорится смертью:

Былъ на землѣ богатырь Егоръ-*Святогоръ*

(по замѣчанію пѣвца—сынъ Самсона).

Въ былинѣ Лужскаго Уѣзда, Городенскаго Погоста, деревни Чернь, записанной Гуляевымъ и напечатанной въ Прибавл. къ Изв. Ак. Н. т. II (Кир. I, 58—66) при нападеньи Мамая, Илья говоритъ:

Есть у насъ три девять богатырей:
Алеша Поповичъ, Самсонъ богатырь,
*Святогоръ* богатырь и т. д.

Названные далѣе еще два раза, они являются тутъ, а въ числѣ ихъ и Святогоръ, даже дѣйствующими лицами—выручаютъ Ермака изъ бѣды, но зато далѣе:

Отправляются тутъ могучіе богатыри
Что на поле, на Куликово,
Вѣдь въ Кіевѣ-то нельзя имъ жить:
Разгуляются, распотѣшатся,
Распотѣшатся, станутъ всѣхъ толкать:
А такія потѣхи богатырскія
Народу было не вытерпѣть.
Котораго толкнутъ, тому смерть да смерть.

Ясно, что имъ приписывается тутъ сила *разрушительная*, пагубная *для народа*, сила, которой поэтому и суждено было сойти съ лица земли.

По-преимуществу *силою* (въ грубомъ тѣлесномъ смыслѣ) отличается Святогоръ и въ одной изъ тѣхъ былинъ, которыя хотя и напечатаны у Рыбникова (I, 129—139) но взяты изъ сборника П. О. Бутенева. Тутъ мать говоритъ Добрынѣ:

Я бы рада тебя, дитятко, спородити
Таланомъ-участью въ Илью Муромца,
Силой въ *Святогора* богатыря....

Въ большой сводной былинѣ, помѣщенной у Кир. подъ № 1 въ VI отдѣлѣ I-го выпуска (еще въ 1843 г. она была помѣщена въ Москвитянинѣ, № 11), мы читаемъ про Илью Муромца:

У ёвб конь бѣжитъ, какъ соколъ летитъ,
Рѣки и озёра промежъ ногъ беретъ...
*Старши богатыри* дивуются:
„Нѣтъ на поѣздку Ильи Муромца!
У ёвб поѣздка молодецкая,
Вся поступочька богатырская!“ *).

Тутъ воображенье народа заставляетъ ихъ дивиться любимому народному богатырю; но не трудно замѣтить, что собственно они удивляются *ловкости*, *отважности* Ильи Муромца, т. е. уже не просто и исключительно тѣлеснымъ качествамъ. Чтó касается этихъ послѣднихъ, то оказывается, что Илья надѣленъ только извѣстною степенью ихъ.

Въ знакомомъ рѣшительно всѣмъ сказаніи объ изцѣленіи Ильи Муромца отъ той совершенной разслабленности, какою недуговалъ онъ тридцать лѣтъ, таинственные старцы, которыхъ посѣщеніе сообщаетъ ему силу, находятъ нужнымъ на половину, а по одной сказкѣ на седьмую часть (Кир. I, XXX) убавить только что ему сообщенный ея избытокъ. Сказаніе это передается во множествѣ пересказовъ, но, къ сожалѣнію, стихъ въ нихъ большею частію въ состояніи уже разлагающемся, такъ что это скорѣе уже побывальщины (Рыбн. I, 8, II, 2, III, 5. Кир. IV, 1) или же и просто сказки (Кир. I, прилож. стр. I и II, IV, XXIX, XXXII). Стихъ хорошо сохранился собственно только въ одной, сюда относящейся былинѣ Симбирск. Губ. села Языкова (Кир. I, I, 1); но по содержанію былина эта значительно охристіанствована. Старцы, изцѣляющіе Илью, названы тутъ *Христомъ и двумя апостолами* (являющимися подъ образомъ *нищей братіи*). Такъ и у Рыбникова въ началѣ № 5-го III части, гдѣ Христосъ даже ограждаетъ крестомъ чашу, отворачиваемую Ильѣ. А въ побывальщинѣ, помѣщенной въ началѣ IV выпуска пѣсень Кирѣевскаго (Арх. Губ.) выставленъ уже одинъ только *старъ человѣкъ* и притомъ уже какъ простой нищій. Сравнительно съ начальнымъ пересказомъ 1-го выпуска это только поблѣд-

*) Кир. I, стр. 78. То-же повторяется еще два раза на стр. 80 и 81.



нѣвшій и сокращенный видъ того же охристіанствованнаго преданія. Тутъ даже выпало подношенье питья, а Илья подноситъ великъ каравай, ладитъ подать милостыню благословенную. Зато есть и подробность лишняя: Илья данъ Богомъ на старость его родителямъ (какъ и въ сказкѣ—Кир. I, прил., I). Охристіанствованіе слышно и у Рыбникова во 2 № II части въ словахъ людей *проходящихъ, старыхъ* уже изцѣленному ими Ильѣ: такъ и стой за вѣру христіанскую. — При всемъ томъ въ основѣ сказанія должно скрываться миѳическое событіе. Вовсе не христіанскій смыслъ проглядываетъ еще довольно ясно въ отвѣтахъ, которые даются у Кирѣевскаго Ильею на вопросы Христа и апостоловъ (въ былинѣ Симбирск. Губ.).

„Много ли, Илья, чуешь въ себѣ силушки?"
—Отъ земли столбъ былъ да до небушки,
Ко столбу было золото кольцо,
За кольцо бы взялъ, святорусску поворотилъ".—
—„Ты поди, Илья, принеси другу чашу!"
Илья сталъ имъ поднашивать,
Они Ильѣ отворачиваютъ:
Выпивалъ Илья безъ отдыха
Большу чашу въ полтора ведра;
Они у Ильи стали спрашивать:
„Много ли, Илья, чуешь въ себѣ силушки.
—Во мнѣ силушки половинушка".

Такъ какъ чудесные старцы удовлетворяются этимъ количествомъ, то они, надобно полагать, только и назначали Ильѣ *половинную силу*. Но вѣдь и въ *половинѣ* той силы, которою можно поворотить землю, все еще слышится что-то до-христіанское, что-то миѳическое. Въ сказкахъ того-же содержанія охристіанствованіе замѣтно вообще даже въ большей степени (равно и въ томъ, что́ внесено въ сборникъ Кирѣевскаго изъ воспоминаній К. С. Аксакова и В. И. Даля). Но въ одной изъ сахаровскихъ сказокъ (помѣщенной у Кирѣевскаго въ прил. подъ № 2) замѣчательна черта, поясняющая, почему оказалось нужнымъ убавить силу, только что дарованную Ильѣ. Во первыхъ, здѣсь она даруется ему лицами, носящими названіе *каликъ перехожихъ*,— названіе, на которое мы еще обратимъ вниманіе. Во вторыхъ-же, послѣ словъ Ильи: «кабы былъ столбъ отъ земли до неба, и я перевернулъ бы всю землю»,— стали промежь себя калики говорить: «много дано силы Ильѣ: *земля не снесетъ*». Изъ этихъ замѣчательныхъ словъ не ясно ли, что каликамъ хорошо извѣстна и степень силы, принадлежащая самой землѣ. Можно также догадываться, что имъ знакомы и существа, которыхъ земля не сноситъ.

Между сказаніями, слышанными въ дѣтствѣ К. С. Аксаковымъ, дѣйствительно попадается подобное существо. Оно лежитъ на горѣ, само какъ гора. Подходитъ къ нему Илья Муромецъ, и наноситъ ему ударъ. «Никакъ я зацѣпился за сучокъ», говоритъ богатырь. Илья, напрягши всю свою силу, повторяетъ ударъ. «Вѣрно я за камешекъ задѣлъ», говоритъ богатырь; оборотясь, онъ увидалъ Илью Муромца, и сказалъ ему: «а, это ты, Илья Муромецъ! *Ты силенъ между людьми*, и будь между ними силенъ, а со мною нечего тебѣ мѣрять силы. Видишь, какой я уродъ: *меня и земля не держитъ*; нашелъ себѣ гору и лежу на ней». (Кир. I, прил., xxx—xxxi).

Въ германскомъ эпосѣ этому похожденію Муромца эпически соотвѣтствуетъ похожденіе Тора съ великаномъ Скримиромъ. Этотъ послѣдній засыпаетъ подъ дубомъ и храпитъ; при ударѣ по головѣ его молотомъ Тора, онъ просыпается и спрашиваетъ: «что́ это, должно быть листокъ упалъ? Улегшись подъ другимъ

дубомъ, онъ опять захрапѣлъ такимъ образомъ, что по лѣсу раздалось журчаніе листьевъ; Торъ ударилъ по великану сильнѣе, нажимистѣе (tiefer): «жолудь, должно быть, попалъ мнѣ въ лицо», опять промычалъ проснувшійся. Въ третій разъ заснулъ Скримиръ, а Торъ повторилъ свой ударъ, еще больше усиливъ напоръ; великанъ, пробудившись, почесалъ себѣ щеку и произнесъ: «надо мною тамъ, на деревьяхъ, должны быть птицы и пометъ ихъ падаетъ съ вѣтвей мнѣ на голову». Яковъ Гриммъ, приводя это мѣсто изъ снорровой (младшей) Эдды, замѣчаетъ, что подобныя же сказанія попадаются и въ совершенно другихъ краяхъ. Такъ онъ указываетъ на одно чешское о спящемъ великанѣ Шармакѣ, на котораго обрушивается башня: «тутъ нельзя спать, говоритъ онъ, птицы обкладываютъ пометомъ голову». Въ другой разъ падаетъ на него огромный колоколъ, а онъ даже не просыпается (Grimm, Mythol. 508 и 509).

Въ размѣрахъ еще болѣе исполинскихъ представляется въ Рамаянѣ полгода спящій Кумгакарна. Его бьютъ большими молотами и всякимъ оружьемъ, деревьями, вершинами горъ, даютъ пройтись по немъ цѣлымъ тысячамъ слоновъ,— а онъ все себѣ спитъ, да спитъ... Когда-же онъ наконецъ поднялся отъ пѣсень небесныхъ женъ [10]), то походилъ на тучу, чреватую дождями... Когда отрубили у него уши и носъ, то онъ, орошаемый кровью, уподобился горѣ, по которой текутъ ручьи и рѣки (Fauche, Ramayana, VIII, 283—284, 351).

Возвращаясь къ Ильѣ Муромцу, замѣчу, что, подобно Тору, при встрѣчѣ съ великаномъ-горой онъ является—*мелкимъ*, по самой своей внѣшности (что вполнѣ соотвѣтствуетъ его пребыванію въ карманѣ у Святогора [11]); сила его называется *первенствующею между людьми*, но уступающею силѣ такихъ существъ, которыя зато сами себя называютъ *уродами*, силѣ, которая въ тягость и имъ самимъ, и землѣ, не могущей снести ихъ. Послѣ этого можно понять, что имъ должна быть завидна та возможность управлять своею силою, какую даетъ только умѣренная степень ея; въ нихъ вполнѣ можетъ возбуждать удивленіе ловкость, отважность и стройность богатырской ухваточки и поѣздочки Ильи Муромца. А если такъ, то и тѣ старшіе *удивляющіеся* богатыри, не должны ли быть признаны принадлежащими къ тѣмъ существамъ, которыхъ *земля чуть держитъ*?

Указанія на особое поколѣніе богатырей, отличающееся *избыткомъ* силъ, такимъ образомъ очевидны въ былинахъ и сказкахъ, помѣщенныхъ у Кирѣевскаго. Что касается рыбниковскихъ, то онѣ дорисовываютъ и дополняютъ то, что видимъ мы у Кирѣевскаго. Съ рыбниковскою былиною о встрѣчѣ Ильи со Святогоромъ мы уже познакомились выше. Но особенности необычайнаго образа Святогора еще пополняются однимъ отрывкомъ былины объ немъ, помѣщенымъ также у Рыбникова. (Записана въ Святозерской

[10]) Вотъ опять примѣръ того чудеснаго, чарующаго дѣйствія игры, о которомъ см. выше стр. 135.

[11]) Г. Стасовъ замѣчаетъ, что сажанье въ карманъ довольно обычно въ сказаніяхъ тюркскихъ (оно дѣйствительно встрѣчается наприм. у Радлова II, 137, гдѣ въ карманѣ сидитъ жена богатыря). Думаю, что такого рода совпаденія могутъ быть совершенно случайными (при существованіи кармановъ у всѣхъ народовъ). Впрочемъ, такія мелочи могли, пожалуй, и заходить къ намъ изъ чуждыхъ сказаній, подобно тому какъ всякая смѣсь заходила также отъ грамотниковъ. (Впрочемъ объ этомъ еще будетъ далѣе).

волости отъ крестьянки Дмитріевой). Тутъ въ лицѣ Святогора окончательно предстоитъ передъ нами живьемъ такой богатырь, какимъ, по пересказамъ Кирѣевскаго и сказкѣ Сахарова, *уже не долженъ быть* Илья Муромецъ.

Не съ кѣмъ Святогору силой помѣряться,
А сила-то по жилочкамъ
Такъ живчикомъ и переливается.
*Грузно отъ силушки, какъ отъ тяжелаго беремени.*
„Какъ бы я тяги нашелъ,
Такъ я бы всю землю поднялъ“ [12])

Но вѣдь именно такую-же силу ощущаетъ въ себѣ и Илья послѣ первой чарки, поднесенной ему каликами; и ежели они не хотятъ за нимъ оставлять подобную силу, то имъ, видно, знакома она и ею обладающій Святогоръ! И оно дѣйствительно такъ оказывается въ отчасти уже намъ извѣстной былинѣ Богданова, гдѣ встрѣча Ильи со Святогоромъ передается непосредственно за изцѣленіемъ Ильи Муромца. (Р. I № 8). — Изцѣливъ Илью, калики въ этой былинѣ налагаютъ на него такой зарокъ:

„Бойся — ратися со всякимъ богатыремъ,“
И со всею паленицею удалою,
А столько не выходи драться
Съ Святогоромъ богатыремъ:
Его и земля на себѣ черезъ силу носитъ“
Не ходи драться съ Самсономъ богатыремъ...

Кромѣ того они называютъ ему и нѣсколько другихъ, съ которыми также не совѣтуютъ ему драться. Все это лица, о которыхъ имѣется уже чрезвычайно мало былинъ и которыя почти никогда не являются въ нихъ въ сообществѣ съ обычными нашими богатырями. Калики такимъ образомъ обнаруживаютъ знакомство съ кругомъ людей, уже мало вѣдомыхъ, пребывающихъ гдѣ-то вдали, гдѣ-то *потерявшихся*, подобно тому, какъ, давъ свой завѣтъ Ильѣ, и сами калики *потерялися*, по выраженью былины Л. Богданова. — Очевидно, они какіе-то выходцы изъ дальней недовѣдомой стороны, которыхъ посѣщеніе рѣдкость, а не обыкновенные *калики*, т. е. нищіе странники-богомолы, позднѣйшимъ именемъ которыхъ только прикрылось первоначальное ихъ значеніе. Что самыя силы ихъ не только не походятъ на силы обыкновенныхъ каликъ но превосходятъ даже силы обыкновенныхъ богатырей, т. е. прямо ставятъ этихъ *каликъ* въ разрядъ богатырей особенныхъ, *старшихъ*, — этого изъ разбираемой нами былины Богданова уже не видно. Но оно ясно изъ былины Кирши «о сорока Каликахъ со каликою», въ которой они являются уже христіанскими странниками въ Іерусалимъ; и не смотря на это, за ними сохранена еще въ этой былинѣ такая сила, что, когда

Скрычатъ калики зычнымъ голосомъ,
Дрогнетъ матушка сыра земля,
Съ деревъ вершины попадали,
Подъ княземъ конь окарачился,
А богатыри съ коней попадали...
Едва пробудится Владиміръ Князь...

Въ нѣкоторыхъ же рыбниковскихъ былинахъ о томъ же силѣ ихъ приданы размѣры нѣсколько менѣе поражающіе [13]). Въ разбираемой нами теперь былинѣ Богданова не говорится уже собственно ничего о ихъ силѣ, но они тутъ еще не богомолы странники, еще не просятъ милостыни, а

---

[12]) Рыбник. I, стр. 32 и 33.

[13]) Кир. III, стр. 91. Рыбн. I, 236, II, 76, IV, 69.



лишь впуска въ домъ, и не *отворачиваютъ* только Ильѣ изъ его же рукъ принятую, въ видѣ угощенія, чашу, (какъ въ другихъ пересказахъ), [14]) но сами

Наливають чарочку питьица медвянаго,
Подносятъ-то Ильѣ Мурымцу.
Какъ выпилъ-то чару питьица медвянаго
Богатырско его сердце разгорѣлося,
Его бѣлое тѣло распотѣлося.
Воспроговорятъ калики таковы слова:
„Что чувствуешь въ себѣ Илья?“ —
Слышу въ себѣ силушку великую [15]).

И только — силѣ Ильи не придано тутъ громадныхъ размѣровъ, а потому тутъ уже нѣтъ и *уменьшенія* силы по волѣ каликъ.

Если въ этомъ послѣднемъ мѣстѣ, очевидно, уже позабыта замѣчательная черта, съ которою мы познакомились у Кирѣевскаго; то во всемъ остальномъ разбираемому нами рыбниковскому пересказу рѣшительно слѣдуетъ отдать преимущество въ старинѣ. Правда, уже и тутъ калики крестъ кладутъ по писаному, но въ цѣломъ еще незамѣтно охристіанствованія. — Наконецъ именно въ этой былинѣ и говорится Ильѣ каликами:

Будешь ты, Илья, великій богатырь,
И *смерть тебѣ на бою не писана* [16]).

Это послѣднее предсказаніе, уже хорошо знакомое намъ по нѣкоторымъ былинамъ о боѣ съ сыномъ (см. выше стр. 23), упоминается, раза два у Кирѣевскаго, а у Рыбникова оно приводится въ столькихъ былинахъ, при столь различныхъ похожденіяхъ Ильи Муромца, что рѣшительно нѣтъ возможности усомниться въ *подлинности* этихъ многозначительныхъ словъ, съ которыми мы не разъ еще будемъ встрѣчаться, такъ какъ они имѣютъ очень важное значеніе въ богатырской жизни Ильи [17]). — Такимъ образомъ, тѣ самые калики, которые, по другимъ пересказамъ, прибавивъ, сейчасъ-же и убавляютъ силу Ильѣ, — тѣ-же калики предсказываютъ, что и съ этою уменьшенною силою онъ никогда не будетъ побѣжденъ, не поплатится ни въ одномъ бою жизнію. Они, такимъ образомъ, сулятъ постоянное торжество и безсмертную жизнь такимъ силамъ, которыя, не имѣя уже возможности своротить землю, т. е. дѣйствовать разрушительно, не подлежатъ и не могутъ подлежать истребленію.

Преданіе о позднемъ пробужденіи силъ, о позднемъ началѣ дѣятельности впослѣдствіи славнаго витязя, или же о долгомъ его пребываніи въ неизвѣстности и загонѣ — одно изъ самыхъ распространенныхъ преданій. Соотвѣтствующія ему можно найти, напримѣръ, — въ *сказкахъ* едва-ли не у всѣхъ индо-европейскихъ народовъ. Сюда относятся и извѣстныя сказки о *сиднѣ*, о *запечникѣ*, о *Попяловѣ*, объ *Иванушкѣ дурачкѣ*, также просиживающемъ, какъ извѣстно, долгія лѣта на печкѣ въ совершенномъ бездѣйствіи. Сюда-же относятся и преданія о подобныхъ-же существахъ женскаго рода, въ томъ числѣ и всѣмъ извѣстное о Сандрильонѣ, (славянской Попелюгѣ). Къ тому-же разряду относятся въ сказкахъ—погруженіе въ продолжительный сонъ, скрытіе подъ свинымъ чехломъ, вообще превращенное или омраченное состояніе..

---

[14]) Кир. I, 1. «Испей-ко самъ послѣ насъ» — говорятъ они у Рыбн. II, 2. «Выкушай самъ что подносишь»—Рыбн. III, 5. Ср. Кир. I, I—II, IV, XXIX.

[15]) Рыбник. I, 34, стихи 31—39.

[16]) Та-же 34 стр. стихи 41 и 42.

[17]) Они встрѣчаются у Кирѣевскаго 1, стр. 51, IV, стр. 12 (обѣ эти былины изъ Арханг. Губ.); у Рыбник. I, 68, 71, 86; II, 2, 4, 336; III, 53, 219. (Сравни также III. 2, 14, 53, 57, 219). (Но у Кирѣевскаго иначе выражено: «не бывать Ильѣ въ чистомъ полѣ убитому»).



Если уже одна распространенность подобнаго положенія указываетъ на древность его, то окончательнымъ потвержденіемъ древности должно служить, что въ средневѣковыя литературныя обработки народныхъ сказаній вошло и это, всѣмъ народамъ знакомое положеніе. Такъ въ извѣстной англосаксонской поэмѣ VIII в. «Беовульѳъ» имѣется намекъ на то, что молодость свою онъ провелъ въ загонѣ, въ пренебреженіи. Нѣчто подобное, даже и съ большею ясностію, сообщается въ нѣкоторыхъ сказаніяхъ, о молодости знаменитаго Зигѳрида. Далѣе надо замѣтить, что въ томъ видѣ сказанія о Битерольѳѣ и Тетлейѳѣ, въ какомъ оно является въ Тидрекъ-Загѣ, Тетлейѳъ всю свою молодость проводитъ настоящимъ *запечникомъ*, а потомъ, разомъ стряхнувъ съ себя накопившуюся годами золу, выходитъ на подвиги богатырскіе (уже намъ знакомые) [18]). Наконецъ и въ другихъ сѣверныхъ загахъ такіе запечники являются часто. Такъ оно, напримѣръ, въ **Glum's Saga** (относимой къ X в.).—Герой ея, Глумъ, въ молодости ничего не обѣщалъ; сидѣлъ себѣ молча и избѣгалъ всякаго общества... Дѣдъ, у котораго жилъ онъ, презиралъ его.... Какъ вдругъ приходитъ страшный берзеркъ и выкликаетъ поединщика. Глумъ поднялся и одолѣлъ его. Также точно въ **Svarfdälasaga** (IX—X вѣка) Торстейнъ, сынъ Торгейра, въ молодости лежалъ вытянувшись между главными столбами, поддерживающими своды дома; по одной сторонѣ его была *груда золы*, по другой—огонь; объ него спотыкались и всѣ его считали за *дурня*. Наконецъ его братъ, проворный купецъ, съумѣлъ поднять его на ноги.

«Богатырскому эпосу, говоритъ Я. Гриммъ, свойственно представлять дѣтство и первую молодость омраченною тѣлесными недостатками, потомъ-же вдругъ давать выступить впередъ блистательнѣйшему проявленію долго сдерживаемой силы... У Саксона грамматика герой Уѳѳа *нѣмъ*, Вермундъ, отецъ его, *слѣпъ;* этому соотвѣтствуютъ въ англосаксонскомъ племени изъ Мерціи два Оѳѳы, и каждый изъ нихъ *не владѣетъ ногами*, нѣмъ, слѣпъ. Точно также въ земундовой (старой) Эддѣ у Гіервардра и Зигурлины родился большой и прекрасный сынъ, но оставался нѣмымъ, пока одна изъ пришедшихъ къ нему девяти валькирій не дала ему имени *Гельги* и не вызвала у него способности сказать, что онъ принимаетъ это имя. Такъ и Старкадръ былъ въ дѣтствѣ нѣмъ, а Гальѳданъ считался глупымъ. Также точно поздно развились богатырскія силы Дитлейба, или-же Ильи въ русскихъ сказаніяхъ» [19]).

Исторія Уѳѳы прекрасно расказана Уландомъ въ его курсѣ исторіи германской и романской народной словесности (Schriften VII, 213—217). Уѳѳа родится у Вермунда уже подъ старость, превосходитъ всѣхъ сверстниковъ ростомъ, но кажется глупымъ, постоянно молчитъ и никогда не смѣется — до *30-ти лѣтняго возраста*. Когда-же король саксонскій сталъ вызывать поединщиковъ у его отца, онъ вдругъ выступилъ про-

---

[18]) См. выше стр. 82—89.

[19]) Beowulf v. Simrock, 110, 168. Beow. v. Ettmüller, 154. Rassmann, D. Heldensage, II, 427, 451. (Ср. тамъ-же 524—25—о Тистрамѣ). Grimm, D. Mythol., 361. Uhlands Schriften, I, 228. P. E. Müller Sagaenbibliothek, I, 51, 216, 218, 261, 265; II, 180.



тивъ двоихъ и разсѣкъ ихъ на полы старымъ мечомъ отцовскимъ, который сейчасъ-же былъ радостно узнанъ, по звуку, старикомъ Вермудомъ.

Послѣ всѣхъ этихъ европейскихъ примѣровъ *сидня*, укажу и на тѣ восточные, которые приводятся у г. Стасова изъ 23 главы сборника буддійскихъ сказаній, составленнаго на островѣ Цейлонѣ и извѣстнаго подъ именемъ Магаванзи. Глава эта заключаетъ въ себѣ десять отдѣльныхъ повѣстей о похожденіяхъ десяти богатырей, данныхъ въ товарищи царевичу Гамени.

Во второй изъ этихъ повѣстей говорится, что братья богатыря Суранирмалы, еще мальчика, жаловались отцу, что этотъ младшій братъ ихъ «ничего не дѣлаетъ и сидитъ дома праздный, пока всѣ они бываютъ на работѣ». Вслѣдствіе этого отецъ и велитъ Суранирмалѣ отправляться на царскую службу вмѣсто старшихъ братьевъ» [20]). Въ четвертой повѣсти той-же 23 главы расказывается: «богатырь Готіимбира былъ необыкновенно силенъ, еще будучи мальчикомъ [21]); но, не смотря на всю свою силу, онъ не хотѣлъ ходить на работу. Прочіе его шесть братьевъ, разчищавшіе поле и рубившіе толстыя деревья, для того, чтобы потомъ засѣять то поле, оставили часть земли не разчищенною: пускай, дескать, тамъ поработаетъ младшій братъ. Готіимбира пошелъ на поле и вытащилъ съ корнями всѣ тамъ стоявшія деревья... въ то-же время онъ выворотилъ тамъ все поле мотыкой... Братья не хотѣли вѣрить... А онъ потомъ отправился на царскую службу.» Кромѣ этихъ цейлонскихъ примѣровъ, у г. Стасова указаны и примѣры тюркскіе, въ которыхъ особенно выдвигается впередъ *сидѣнье*.

«Что касается до долговременнаго сидѣнья Ильи Муромца на одномъ мѣстѣ, говоритъ г. Стасовъ, то собственно эту именно черту мы встрѣчаемъ еще явственнѣе выраженною въ нѣкоторыхъ другихъ восточныхъ расказахъ. Такъ на прим. въ одной пѣснѣ Минусинскихъ Татаръ богатырь Канакъ Калешъ расказываетъ, что въ дѣтствѣ своемъ онъ пролежалъ 40 лѣтъ на одномъ мѣстѣ, накрытый камнемъ.» (Но это составляетъ въ пѣснѣ совершенно постороннюю, мимоходомъ отмѣченную черту «Ко мнѣ, лежавшему подъ камнемъ, говоритъ Канакъ Калешъ, подошла дѣвица въ видѣ лисицы и хотѣла меня сожрать. Вотъ я и ищу ее съ давнихъ поръ и надѣюсь скоро найти». Она дѣйствительно находится подъ конецъ и убивается до смерти). «Одна пѣсня сибирскихъ Киргизовъ говоритъ, что богатырь Акъ-Ханъ 70 лѣтъ просидѣлъ, не вставая съ мѣста» (Radloff, II, 387). Такимъ образомъ *скомкано* содержаніе этой пѣсни у г. Стасова; на самомъ-же дѣлѣ въ ней вотъ что. Акъ-Хану, который во время оно женился на семилѣтней дѣвушкѣ, уже 70 лѣтъ, а женѣ его 60; дѣтей-же у нихъ нѣтъ какъ нѣтъ — (словомъ, эпическое положенье Авраама и Сарры). Плачутъ старики, жалуются Господу

---

[20]) Г. Стасовъ опустилъ нѣсколько подробностей, не лишенныхъ своего рода важности. Не смотря на большое разстояніе, Суранирмала, вставъ рано по утру, прибылъ къ царю до восхода солнечнаго. Удивленный царь далъ ему порученье къ одному брамину, жившему также на большомъ разстояніи, и онъ къ вечеру того-же дня вернулся назадъ, да еще успѣлъ сбѣгать къ родителямъ, чтобы подѣлиться съ ними подарками царскими. Потомъ, обидѣвшись насмѣшками царскихъ ковачей оружія, онъ бросилъ на нихъ отломившійся кончикъ меча и разомъ пронзилъ 500 человѣкъ. (Mahawanse, transl. by Upham, 128—131).

[21]) У него была сила десяти слоновъ при весьма небольшомъ ростѣ (Mahawanse, 132).



Богу. Плачъ ихъ былъ услышанъ народомъ, и онъ также взмолился Богу за стариковъ, вслѣдъ-же затѣмъ обратился къ Акъ-Хану: «что ты не осѣдлаешь своего коня? что ты не поѣдешь считать свой народъ и свои стада?» Слова эти дѣйствуютъ съ силою заговора. «Если такъ говоритъ мой народъ, то Господь, конечно, умилосердится» — и съ этими словами *никогда не встававшій* Акъ-Ханъ вдругъ всталъ и наложилъ узду на коня, *никогда еще имъ не взнузданнаго*. Вслѣдъ затѣмъ отправился онъ считать стада свои и охотиться, по возвращеніи же нашелъ жену свою родившею чудеснаго младенца — верхняя часть тѣла серебряная, нижняя золотая.» (Radloff II, 385—419 — далѣе слѣдуютъ еще весьма длинныя и разнообразныя похожденія).

Ко всѣмъ этимъ, приводимымъ у г. Стасова, восточнымъ примѣрамъ *долговременнаго сидѣнья*, можно, пожалуй, прибавить и еще одинъ — изъ монгольскаго Шидди-Кура. Въ главѣ XVIII расказывается тутъ какъ одинъ глупый сынъ жившаго въ Индіи богача, послѣ смерти своихъ родителей, женился, но постоянно сидѣлъ себѣ на одномъ мѣстѣ и даже не опоясывался. Наконецъ указанные ему женой *крылья грифа* пробуждаютъ въ немъ желаніе торговать и онъ становится дѣятельнымъ [21]).

Всѣ эти *восточные сидни*, конечно, въ своемъ родѣ любопытны, какъ своеобразное выраженье того-же эпическаго начала, которое заключается и въ *сидняхъ западныхъ*. Нашъ сидѣнь Илья такимъ образомъ оказывается имѣющимъ эпическую родню въ различныхъ краяхъ свѣта, и чтобы составить его *мозаически* изъ различныхъ «сидней», нашимъ народнымъ пѣвцамъ пришлось бы слишкомъ много и долго трудиться. Дѣло, вѣроятно, происходило проще — безъ всякой мозаики. Къ тому-же и сходство Ильи какъ съ восточными, такъ и съ западными сиднями, сходство *основы* — не болѣе. Что касается *подробностей*, то въ этомъ отношеніи замѣчательно совпаденіе *тридцатилѣтняго* срока разслабленности Ильи [22]) съ такимъ же срокомъ бездѣйствія германскаго Уффы (напротивъ тюркскій Акъ-Ханъ сидитъ сорокъ лѣтъ, и такая разница тѣмъ болѣе замѣчательна, что число *тридцать* вообще оказывается распространеннымъ въ европейскомъ эпосѣ, а число сорокъ въ тюркскомъ). Съ другой-же стороны вырыванье Ильею, послѣ изцѣленія, дубья-колодья изъ родительскаго поля [23]), довольно живо напоминаетъ цейлонскихъ сидней, начавшихъ со сходныхъ работъ (но такое-же дѣло, по толкованію Уланда, было и первымъ дѣломъ скандинавскаго Гальфдана [24]). Нѣкоторые-же другіе изъ нашихъ пересказовъ — тѣ, гдѣ Илья вдругъ встаетъ и начинаетъ дѣйствовать самъ собою, безъ всякихъ чудесныхъ цѣлителей [25]) — подходятъ къ подобному-же ничѣмъ необъясняемому вставанію нѣкоторыхъ сидней германскихъ. Но сличеніе этихъ пересказовъ съ прочими заставляетъ признать ихъ испорченными, сокращенными; такимъ образомъ сходство оказывается тутъ совершенно случайнымъ. Вообще-же въ нашемъ

---

[21]) Шидди-Куръ, переводъ Гомбоева, стр. 80—81.

[22]) Кир. I. 1 и 2 (Симб. губ). тридцать три года. Только въ сказкѣ Кирѣевскаго (прил. къ I вып. I—III; а также у Аѳан. вып. III № 11) 18 лѣтъ.

[23]) Въ былинѣ Л. Богданова и въ нѣкот. сказкахъ.

[24]) Uhlands Schriften, VI, 116—119, 122—126.

[25]) Такъ оно у Кир. I, 1, 2 (Симбирской Губ.). Также въ лубочной сказкѣ, перепечатанной въ приложеніи къ 1 вып. Кирѣевскаго, стр. XVII и въ былинѣ Кижской Волости Андрея Сарафанова (Рыбн. III, 4).

«изцѣленіи Ильи Муромца» существенную сторону составляютъ его чудесные гости — цѣлители. Ихъ не оказывается ни въ восточныхъ, ни въ западныхъ сказаньяхъ о *сидня*. Между тѣмъ само по себѣ посѣщенье людей чудесными гостями, щедро награждающими за гостепріимство, составляетъ черту чрезвычайно распространенную въ эпосѣ разныхъ народовъ.

«Къ общему исконному добру нашей миѳологіи, говоритъ Я. Гриммъ, надобно отнести то, что богъ, иногда два-три бога сходили съ неба на землю, для того-ли, чтобы посмотрѣть-попытать человѣческое житье-бытье, или-же для исканія похожденій».—Такое странствованіе боговъ упоминается, по его словамъ, въ Одиссеѣ XVII, 485—487 и въ этомъ-то заключается самое возвышенное освященіе гостепріимства: человѣкъ боится отказать чужеземцу, думая, что въ образѣ его можетъ къ нему явиться божественный гость. То-же представляетъ у Грековъ сказаніе объ Оріонѣ: къ Гиріею приходятъ трое боговъ—Зевсъ, Посидонъ и Эрмисъ (Гриммъ приравниваетъ ихъ Донару, Ціо и Вуотану у Германцевъ), угощаются имъ и въ награду даруютъ ему сына. —Въ овидіевыхъ Метаморфозахъ передается прекрасное сказаніе о Филемонѣ и Бавкидѣ, угостившихъ Юпитера и Меркурія, которые спасаютъ гостепріимныхъ стариковъ отъ потопа. Въ одной изъ ѳедровыхъ басенъ странствуетъ Меркурій, у Эзопа—Димитра (Церера) въ сопровожденіи ласточки и угря. У Индійцевъ по преимуществу странствующими являлись Брама и Вишну. По одному литовскому сказанію, Перкунъ странствовалъ по землѣ въ ту пору, когда еще говорили звѣри. Наказавъ попавшуюся ему лошадь за то, что она отказалась ему указать дорогу, онъ напротивъ того наградилъ за исполненіе этой просьбы корову. Позднѣйшіе раскащики, замѣчаетъ Гриммъ, не обинуясь могли замѣстить Перкуна Спасителемъ. — Въ Эддѣ странствуютъ постоянно вмѣстѣ Одинъ. Локки и Гёниръ... и въ такомъ соединеніи съ другими даже Локки не заключаетъ въ себѣ ничего злого. (Правда, что объ испытанномъ этими богами гостепріимствѣ Эдда не упоминаетъ, зато это сохранилось въ сказаніи о странствующемъ подъ именемъ Ригра богѣ Геймдальрѣ — въ Rigsmâl). Финскій эпосъ выставляетъ странствующими Вейнемейнена, Ильмаринена и Лемминкайнена. Въ позднѣйшихъ, уже охристіанствованныхъ сказаніяхъ, Христосъ и апостолъ Петръ странствуютъ то вмѣстѣ, то порознь, надѣляя своихъ гостепріимцевъ щедротами (J. Grimm. D. Mythologie, vorrede, XXXIV—XXXVI; см. также далѣе до стр. XXXVIII).

Такое же странствованіе Христа и апостоловъ занимаетъ очень видное мѣсто и въ нашихъ народныхъ расказахъ (см. какъ сказки, такъ и въ особенности легенды А. Н. Аѳанасьева). Да и въ двухъ пересказахъ былины объ изцѣленіи Ильи встрѣтили ли мы эти христіанскія имена, тогда какъ въ остальныхъ это безыменные гости, калики, цѣлющая сила которыхъ указываетъ однакоже на ихъ высшее, сверхчеловѣческое происхожденіе.

Питье, при помощи котораго они изцѣляютъ Илью, составляетъ опять черту, проходящую черезъ цѣлое множество всенародныхъ сказаній. Это такъ называемая въ нашихъ сказкахъ *живая вода*.

«Прибываніе силы отъ напитка, говоритъ г. Стасовъ, мотивъ очень

обыкновенный въ восточныхъ поэмахъ и легендахъ. Такъ въ «Гариванѣѣ» Рама (воплощеніе бога Вишну), отправляя на богатырскіе подвиги Кришну съ его братомъ Санкаршаной, даетъ имъ выпить молока отъ своей коровы, обыкновенно служащаго ему для жертвоприношеній; отъ этого молока они получаютъ новую силу: въ другомъ мѣстѣ той-же поэмы расказывается, что мать Прадіумны (сына Кришны) давала своему сыну пить чудодѣйственные напитки, отъ которыхъ онъ получилъ необыкновенно быстрый ростъ и силы. Въ Магабгаратѣ богатырь Бхима, выступая на послѣдній рѣшительный бой съ богатыремъ Карной, пьетъ напитокъ, который удваиваетъ его силу» [26]).— Мнѣ бы слѣдовало указать теперь на соотвѣтственные примѣры европейскіе, но на этотъ разъ такой трудъ принялъ на себя даже самъ г. Стасовъ.

«Въ древнѣйшихъ сказаніяхъ индо-европейскихъ племенъ, говоритъ онъ, мы встрѣчаемъ этотъ самый древне-азіятскій мотивъ—у Литовцевъ и Скандинавовъ. Въ одной литовской сказкѣ три дѣвы подземнаго царства, чтобы дать герою необыкновенныя силы для поднятія волшебнаго меча, велятъ ему выпить цѣлый сосудъ «воды силы» (Schleicher, Märchen, 135—137). Германо-скандинавскій Зигурдъ пьетъ напитокъ, подносимый ему женщинами-эльбами, и черезъ это получаетъ силу, равную силѣ 12 человѣкъ (Grimm, D. M. 345), (Г. Буслаевъ въ Р. Вѣстникѣ 1862 г., сент., стр. 45 приводитъ соотвѣтственное преданье норвежское—о трехъ глоткахъ изъ бутылки съ *водою силы*).

Но по мнѣнію г. Стасова въ нашемъ сказаніи вовсе не происходитъ прибыванія силы. Илья Муромецъ, думаетъ онъ, сиднемъ сидитъ не отъ недостатка, а отъ избытка силъ (В. Евр., Апр., 655). Такимъ образомъ г. Стасовъ какъ бы уподобляетъ Илью тому богатырю-горѣ, который неподвижно лежалъ потому, что не былъ въ состояніи *поднять* свою силу. Но вѣдь въ сущности сила, которой владѣть нельзя, равняется тому же безсилью. По прямому же свидѣтельству симбирскаго пересказа (Кир. I, I, 1) и нѣкоторыхъ сказокъ объ Ильѣ Муромцѣ, только послѣ того, какъ калики *отворотили* ему поданное имъ питье, у него *прибываетъ* громадная сила, которую они вслѣдъ затѣмъ, снова подавая ему испить, убавляютъ. Такимъ образомъ калики совершаютъ надъ Ильей два противоположныхъ чуда, и надо думать, что въ первоначальномъ видѣ сказанія они подавали ему два совершенно различныхъ питья, подобно тому, какъ въ сказкахъ различается *сильная* и *слабая* вода [27]) (равнымъ образомъ питье должно было приноситься ими съ собою, какъ оно и происходитъ до сихъ поръ въ пересказѣ Леонтья Богданова).—Если же г. Стасову непремѣнно нужно, чтобы у Ильи только *убавлялась* сила, то это ради уподобленья его Рустему, который, тяготясь своимъ первоначальнымъ избыткомъ силъ, просилъ Господа взять у него часть ихъ (потомъ же, когда надо было совладать съ Зорабомъ, вернулъ себѣ прежнюю силу, *напившись изъ чудеснаго источника* — ср. выше стр. 7, прим. 12).

---

[26]) В. Европы 1868 г., Апрѣль, стр. 654. Въ дополненіе можно еще указать на примѣры цѣлющей воды въ сборникѣ Радлова—II, 86, 118, 198; или же цѣлющихъ елюней (тамъ-же, стр. 62).

[27]) Противоположеніе той и другой рѣзко проведено и въ финской поэмѣ Kalewipoeg (verdeutscht v. Rheinthal, p 354) которая во многихъ отношеніяхъ отличается сказочнымъ складомъ.



Но разница между нашимъ и иранскимъ сказаньемъ — существенная. Не самъ богатырь проситъ у насъ силы, а имъ въ этомъ отношеніи вполнѣ *распоряжаются* пришедшіе къ нему чудесные гости. Сперва они надѣляютъ его новыми силами, но узнавъ, что онъ бы могъ теперь *поворотить землю* (Кир. I, I, 1), они находятъ, что такой разрушительной силы ему не надобно, и убавляютъ ему ее при помощи втораго питья. Вотъ этой-то *уменьшенной силѣ смерть на бою не написана*—таковъ приговоръ судьбы. Наше сказаніе такимъ образомъ отличается стройною совмѣстностью чертъ, въ эпосѣ другихъ (какъ западныхъ такъ и восточныхъ народовъ) встрѣчающихся только порознь. Между тѣмъ какъ тамъ *перерожденіе сидня* само по себѣ, *гостепріимство, оказанное чудеснымъ гостямъ* само по себѣ, и *дѣйствіе живой воды само по себѣ*; у насъ всѣ эти три эпическія черты составляютъ одно неразрывное цѣлое, проникнутое мыслію объ особомъ избранничествѣ богатыря, о предназначеніи его, хотя и поздно пробудившейся и умышленно умѣряемой силы на жизнь безконечную.

Есть однакоже въ приводимой у г. Стасова тюркской пѣснѣ такая черта, которая можетъ служить эпическимъ поясненіемъ одной стороны въ нашемъ сказаніи объ изцѣленіи Ильи Муромца, до сихъ поръ остававшейся незамѣченною. Вспомнимъ, какъ сидень Акъ-Ханъ встаетъ отъ молитвъ своего народа: молитвы эти, очевидно, имѣли силу заговора. Также точно и изцѣленіе Ильи Муромца отъ разслабленности происходитъ еще до напоенія его питьицемъ, происходитъ въ силу одного призыва со стороны каликъ, призыва, первоначально имѣвшаго также значеніе заговора: ты вставай, Илья, подавай испить!» Въ прекрасномъ пересказѣ Симбирской Губерніи на отвѣтъ Ильи: «я безъ рукъ, безъ ногъ,» странники только усиливаютъ призывъ:

Ты вставай, Илья, насъ не обманывай! —
Илья сталъ вставать ровно встрепанный,
Онъ пошелъ принесъ чашу въ полтора ведра....

И вотъ при помощи этой-то чаши, ему отвороченной, онъ окончательно надѣляется богатырскою силою, сперва оказывающеюся чрезмѣрною, потомъ умѣряемою). Замѣчательно, что въ пересказѣ Архангельскаго Уѣзда (Кир. IV, 1) напоенья питьемъ нѣтъ вовсе, и при помощи одного *призыва* со стороны каликъ Илья надѣляется великою силою:

Подннмалъ великъ щанъ пива пьянаго

(навареный отцемъ его къ храмовому празднику),

Завздынулъ чанъ (*sic*) на повѣть высокую.

А родители возвращаются отъ обѣдни и удивляются:

Что же это, старуха, за притча прилучилася;
Семерыма да осмерыма не могли щана
Ни въ кую сторону поднять...

Извѣстно, что омраченный долголѣтнимъ пребываніемъ въ золѣ, или нравственно омраченный тѣмъ, что почитается *дурачкомъ*,—въ томъ и другомъ случаѣ въ *бездѣйствіи пребывающій, обезсиленный*, при помощи миѳическихъ толкованій оказывается не чѣмъ инымъ, какъ *свѣтлымъ лѣтнимъ началомъ*, на долгое время обезсиливаемымъ подъ властью начала *тьмы*, господ-

ствующаго зимою. По соотвѣтствію съ этимъ и тридцатилѣтняя разслабленность Ильи Муромца на миѳическомъ языкѣ должна выражать то-же самое; силы же, получаемыя имъ отъ *питья*, заставляютъ видѣть въ этомъ питьѣ, какъ и въ сказочной *живой водѣ, дождевую животворную влагу*. Носителями ея обыкновенно являются въ сказкахъ *птицы*, миѳически означающія, какъ извѣстно, дожденосныя облака. Въ нашихъ былинахъ питье дается Ильѣ уже человѣкообразными существами—*каликами*, которые могутъ быть признаны новымъ, уже антропоморфическимъ миѳомъ для того же облака. (Самый эпитетъ каликъ—*перехожіе* можетъ указывать на обычное *перехожее* состояніе облака, на постоянное *странничество* его по небесному своду).

Но заглянемъ въ ту извѣстную книгу по миѳологіи, предметомъ которой служитъ, кромѣ низведенья огня, также и низведенье питья небеснаго. По свидѣтельству Куна, индійскаго громоносца Индру отпоили тремя чанами меду Маруты—боги вѣтровъ. Не дожденосными ли вѣтрами должны мы считать и нашихъ каликъ, отпаивающихъ Илью? Съ другой же стороны сличеніе съ этимъ мѣстомъ Ригъ-Вѣды указываетъ на то, что тѣ пересказы, гдѣ Илья пьетъ *три раза*, должны быть ближе къ первоначальному виду сказанія; Кунъ замѣчаетъ при этомъ, что и германскій Торъ выпиваетъ три чана (kufen) меду. Считая тутъ число *три* первичнымъ, хотя и отказываясь объяснить это, Кунъ производитъ отсюда и троекратность каждодневныхъ обрядовыхъ возліяній Индрѣ. Вмѣстѣ же съ тѣмъ то обстоятельство, что въ индѣйскихъ и германскихъ преданіяхъ пьется громовникомъ *медъ*, заставляетъ признать первичнымъ въ нашемъ сказаніи объ Ильѣ *питьице медвяное*, которое уцѣлѣло единственно въ пересказѣ Богданова [28]). Древность этого напитка окончательно подтверждается приводимыми у Куна этимологическими сопоставленіями: санскр. и зендск. madhu, древн. сѣв. mjodhr, греч. μεϑυ (въ смыслѣ вина) др. сакс. medo, англ. сакс. meodo, др. фр. mede, др. в. нѣм. meto, metu, mito, лит. medùs, midùs, слав. медъ кимр. medd, ирл. meadh, miodh, и т. д. [29]).

Если калики, изцѣляющіе Илью, соотвѣтствуютъ Марутамъ, то этимъ нисколько не исключается ихъ миѳическое сродство съ облаками. Вѣтеръ и то, что уносится вѣтромъ — представленія весьма близкія. Изъ сочетанія ихъ образовался величавый германскій образъ *дикой охоты* (Wilde Jagd), которой неистово предаются на небѣ божества облаковъ, вѣтровъ и грома. Нѣчто сходное съ этимъ представляетъ въ одной изъ былинъ Кирши слѣдующая черта, приписываемая нашимъ каликамъ:

Скрычатъ калики зычнымъ голосомъ,
Съ деревъ вершины попадали... (Кир. III, стр. 91).

Калики, какъ мы видѣли выше, знаютъ Святогора богатыря. Они, отъ приближенья которыхъ дрожитъ земля, близко знакомы съ богатыремъ, котораго землѣ не снести. Громадные размѣры богатыря, имя котораго связываетъ

---

28) Въ другихъ пересказахъ это то вода (Кир. I, I—II, XXIX), то пиво (Кир. I, IV), то квасъ, (Р. II, 2, III, 5).

29) Kuhn, Herabkunft des feuers und des göttertranks, 155—159.



его съ *горою*, должны указывать на исполинскіе размѣры, принимаемые нерѣдко *тучею*. Скрытіе въ *карманѣ* [30]) такого богатыря миѳически выражаетъ не что̀ иное, какъ *скрытіе въ тучѣ*. Мы имѣемъ совершенно сходный германскій миѳъ. *Карману* богатыря Святогора соотвѣтствуетъ тамъ *палецъ перчатки* великана Скримира, въ которомъ ночуетъ богъ Торъ. Если Уландъ въ 1836 г. [31]) видѣлъ въ этомъ Скримирѣ *горный кряжъ*, то при теперешнемъ состояніи сравнительной миѳологіи въ этомъ *горномъ кряжѣ* скорѣе слѣдуетъ видѣть цѣпь миѳическихъ горъ, т. е. *тучъ*. На это прямо указываетъ и производимый храпѣніемъ Скримира *громъ* — явленіе, производимое тучами; если же Скримиръ производитъ ихъ въ *лѣсу*, то вѣдь и *лѣсъ* на миѳическомъ языкѣ означаетъ тоже *столпленіе тучъ*, среди котораго нѣкорыми изъ нихъ и производится *храпѣніе—громъ*. Скрывается же въ перчаткѣ Скримира, т. е. въ *уголкѣ тучи*, не кто иной, какъ богъ Торъ; онъ же въ германской миѳологіи, какъ извѣстно, есть производитель грозы, производитель молніи, первоначально же онъ *былъ сама молнія*, которая такимъ образомъ и скрывается тутъ въ уголкѣ исполинской тучи. И Илья, соотвѣтствующій въ нашемъ сказаніи Тору, долженъ оказаться миѳическимъ представителемъ *молніи*. Этому вполнѣ соотвѣтствуютъ и другія черты сходства, замѣчаемыя между нашимъ Ильей и германскимъ Торомъ. Мы уже видѣли выше, что у Тора происходитъ съ тѣмъ же великаномъ Скримиромъ столкновеніе другого рода, вполнѣ соотвѣтствующее столкновенію Ильи Муромца съ тѣмъ *великаномъ горы*, о которомъ знаемъ мы по воспоминаніямъ К. Аксакова. Въ германскомъ миѳѣ Торъ ударяетъ Скримира *молотомъ*, составляющимъ господствующую его принадлежность (этимъ-то божественнымъ молотомъ и производитъ онъ громъ). Въ нашемъ сказаніи упоминаются уже просто *удары* Ильи Муромца. Но ежели, по германскимъ преданіямъ, *ударомъ молотка Тора высѣкаются въ горахъ источники*, (что̀ на миѳическомъ языкѣ означаетъ источенье дождя изъ тучъ послѣ молніи, ихъ разсѣкающей), то и въ одной изъ нашихъ былинъ, когда Илья въ первый разъ выѣзжаетъ на богатырскіе подвиги,—гдѣ скочилъ конь Ильи, тамъ колодезь сталъ [32]) (а на миѳическомъ языкѣ конь, копытомъ высѣкающій ключъ—какъ Пегазъ греческій—это молніеносный конь) [33]). Быть можетъ наконецъ и въ нашихъ былинахъ уцѣлѣли слѣды *молотка*. Извѣстно, что молотъ Тора въ христіанскія времена, во многихъ преданіяхъ, замѣнился отчасти походящимъ на него по виду *крестомъ* [34]). Въ томъ ѻберегѣ — *чудномъ крестѣ*, который въ былинахъ

---

[30]) Спѣшу отмѣтить хоть здѣсь, что въ только сейчасъ доставленной мнѣ изъ Петрозаводска Е. В. Барсовымъ побывальщинѣ о Святогорѣ, записанной отъ кр. Щеголенкова, Илью сажаетъ Святогоръ не въ карманъ, а въ колчанъ. (Замѣчу при этомъ, что и въ эстонской поэмѣ Калевипоэгъ сходнымъ образомъ одинъ разъ —сажанье въ карманъ, а другой разъ — въ дорожную суму—Kalewi Poeg, v. Rheinthal 252, 277.

[31]) Uhland, der Mythus v. Thor nach nordischen Quellen, Stuttg. и Augsb. 1836. S. 73. (Schriften, VI 48). И Беовульфъ чуть чуть не попалъ въ перчатку къ матери чудовища Гренделя (см. въ прим. къ пер. Зимрока стр. 201).

[32]) Кир. I стр. 35. Рыбн. IV, 3. Такъ и въ далевской сказкѣ объ Ильѣ Муромцѣ (Кир. I, xxxII), вслѣдъ за исцѣленіемъ изъ подъ копытъ коня Ильи живой ключъ ударилъ, бьющій, какъ сказываютъ, и по нынѣ. То-же расказывали прошлымъ лѣтомъ (К. Н. Бестужеву-Рюмину. И подобный же расказъ записанъ для (меня г. студ. Экземплярскимъ со словъ муромскаго предтеченскаго дьякона Ильи Абрамовича Тихоміровa.

[33]) Mannhardt, Germanische Mythen, 134, 145.

[34]) Mannhardt, 24, 25. Книга Mortillet—Le Signe de la croix avant le christianisme (Paris 1866) заключаетъ въ себѣ множество непереваренныхъ данныхъ (почерпнутыхъ главнымъ образомъ изъ раскопокъ) и никакихъ миѳологическихъ объясненій.

о боѣ съ сыномъ спасаетъ Илью Муромца, быть можетъ слѣдуетъ видѣть, только позднѣйшую замѣну первоначально принадлежащаго, по всей вѣроятности, и нашему молніеносному божеству чудеснаго молота. Далѣе, ежели мы припомнимъ, что Илья подбрасываетъ вверхъ Сокольника—тоже самое дѣлаетъ онъ и съ нѣкоторыми другими, напр., съ богатыремъ Зюзей по воспоминаніямъ К. С. Аксакова Кир. I, XXIX—то таже самая привычка водится по нѣмецкимъ преданіямъ, и за Торомъ [35]). Встрѣча съ Зюзей въ воспоминаніяхъ К. Аксакова, непосредственно слѣдуетъ за изцѣленьемъ Ильи. Въ сказкахъ объ изцѣленіи за нимъ слѣдуютъ и кое-какія другія продѣлки со стороны нашего богатыря, въ свою очередь напоминающія Тора (или индійскаго Индру). Такъ въ сказкѣ Кирѣевскаго (Аѳан. III; Кир. I, I—II) Илья, еще идя за водой для каликъ, за которое дерево ни ухватится — изъ корню выдернетъ (есть на это намеки и въ воспоминаньяхъ Константина Аксакова). Затѣмъ, *отпоенный* каликами, Илья, какъ мы знаемъ, идетъ копать—свою силу пробовать. Кончается тѣмъ, что родители, возвращаясь съ работы, удивляются: «чтò это, лѣсъ весь вырытъ?»—Срыванье лѣсовъ (небесныхъ) принадлежитъ къ числу подвиговъ молніеносца. Если же мы возвратимся къ бою съ Сокольникомъ, то тому обстоятельству, что Илья сперва падаетъ въ бою съ нимъ, а потомъ, какъ выражается былина, *лежучи у Ильи втрое силы прибыло*, — этому обстоятельству вполнѣ соотвѣтствуетъ у Германцевъ паденіе Тора въ бою съ великаномъ Грунгниромъ, только въ германскомъ преданіи Торъ поднимается при помощи своего сына — Магни [36]) (имя, означающее *силу*, вслѣдствіе чего г. Буслаевъ и думаетъ, что подъ торовымъ сыномъ Магни слѣдуетъ разумѣть возродившуюся силу самого Тора). Наконецъ способъ убіенія Ильею Сокольника,—столь распространенное, какъ мы видѣли, въ эпосѣ различныхъ народовъ *разрываніе нà полы*—вполнѣ соотвѣтствуетъ тому удару молотомъ, которымъ Торъ разсѣкаетъ пополамъ голову Грунгнира [37]) (чтò на миѳическомъ языкѣ означаетъ разрываніе молніею тучи

Ко всѣмъ этимъ чертамъ сходства, уже довольно ясно указывающимъ на то, что богатырское лицо Ильи должно было выработаться изъ первоначальнаго божественнаго лица, соотвѣтствовавшаго у насъ германскому Тору [38]), прибавлю еще одну черту, встрѣчающуюся въ богдановской былинѣ объ изцѣленьи Ильи каликами. Они тутъ немедленно заботятся о томъ, чтобы пробудившійся къ дѣятельности богатырь добылъ себѣ коня, и даютъ ему совѣтъ относительно ухода за этимъ конемъ:

Ты по три ночи жеребчика въ саду поваживай.
И въ *три росы жеребчика выкатывай*

Кому не извѣстно наше обрядовое купанье въ росѣ на ивановъ день? А у Маннгардта (въ его Germanische Mythen) мы находимъ множество примѣровъ *купанья въ росѣ*, *умыванья росою*, и т. п., равно же и доказательствъ

---

[35]) Uhland, Thor, 116, 165 (Schriften, VI, 67):

[36]) Буслаева, слѣды русскаго богатырскаго эпоса и т. д. Филолог. Зап. 1862—3 г., вып., стр. 14.

[37]) Uhland, Thor, 41 (Schriften, VI, 28—29).

[38]) Говоря соотвѣтствовавшаго, я разумѣю, что изъ обще-арійскаго миѳа о громовникѣ выработалось у Германцевъ одно лицо, у Славянъ другое, у Грековъ третье и т. д. Всѣ эти лица соотвѣтственны одно другому по своему миѳическому значенію, но ни одно изъ нихъ не снято ни съ одного изъ другихъ

[39]) Рыбн. I, 8, II, 2. Въ далевской сказкѣ. (Кир. I, XXXII—«выкатывай въ росѣ на тридевяти утренникахъ».



что все это связано со священнымъ значеніемъ *росы*, какъ той же *небесной влаги*, имѣющей столь тѣсное соотношеніе съ Торомъ [40]).

Но только что приведенной чертѣ изъ былины рыбниковской соотвѣтствуетъ у Кирѣевскаго начало большой былины, записанной въ Симбирской Губерніи въ селѣ Станичномъ (Кир. I, III, 1); изъ нея выказывается, что конь, выкатываемый въ росѣ, *шелудивый* конь. Въ преданіи же, записанномъ В. И. Далемъ (Кир. I, прил., XXXII), прямо сказано, что валиваніе въ росѣ дѣлаетъ его, *шелудиваго жеребенка,—конемъ богатырскимъ*. Отсюда ясно, что *роса медвяная* также цѣлебно дѣйствуетъ на коня, какъ *питьице медвяное* на самого Илью, *шелудивость* же коня соотвѣтствуетъ *разслабленности* богатыря. И у знаменитаго Марка Кралевича конь былъ сначала *губавый* (въ сыпи, паршивый — Вука словарь, 346); но Марко его излѣчилъ и сталъ его поить виномъ (первоначально же, надо думать, оно-то и должно было служить къ его изцѣленію, какъ чудесное, миѳическое вино). Отзвукомъ того же основного преданія, какъ замѣтилъ уже Ѳ. И. Буслаевъ, служитъ въ испанскомъ эпосѣ то, что конь Сида первоначально считался *плохой лошаденкой*, на что̀ и сохранился намекъ въ самомъ имени этого коня—*Babieca*—глупый (Прованс. *baban*—см. Буслаева Испанскій Эпосъ о Сидѣ,—въ прилож. къ V т. Зап. Ак. Наукъ, стр. 36). Эта *глупость* коня соотвѣтствуетъ мнимой *глупости* сказочнаго добраго молодца Ивана: то и другое служитъ однимъ изъ видовъ той временной *омраченности*, о миѳическомъ значеніи которой уже говорено было выше. Но въ испанскомъ эпосѣ уже утратилась память о томъ, вслѣдствіе чего этотъ глупый конь вдругъ обратился въ умѣлаго. Такимъ образомъ и преданіе объ изцѣленіи коня съ наибольшею полнотой сохранилось у насъ, подобно преданію объ изцѣленьи богатыря.

Другой расказъ о конѣ Ильи — испытыванье его посредствомъ удара кулакомъ въ спину, при чемъ самымъ крѣпкимъ оказывается *стоявшій въ заброси* (Кир. I, прил., II) — уже менѣе древенъ по своей основѣ, такъ какъ въ немъ уже не оказывается миѳическаго *изцѣленія* и самая *болѣзненность* замѣнилась простою *заброшенностью*. Между тѣмъ совершенно соотвѣтственная черта имѣется въ Шахъ-Наме—поэмѣ XI ст. Она могла перейти къ намъ черезъ сказку объ Уруланѣ Залазаревичѣ, которая, какъ признано выше (стр. 43), сложилась во многихъ отношеніяхъ подъ вліяніемъ восточнаго эпоса. Но этой зашедшей чертѣ должна быть предпочтена наша собственная—*шелудивый и изцѣляемый конь* — черта еще чисто миѳическая, соотвѣтственная столько-же миѳическому изцѣленію самого Ильи Муромца.

Такое соотвѣтствіе, совершеніе одного и того же чуда надъ конемъ и богатыремъ объясняется первоначальнымъ миѳическимъ тождествомъ того и другого. *Конь* и *богатырь*—только два различныхъ миѳа одного и того же явленія, сведенные вмѣстѣ уже въ болѣе позднюю пору. Въ объясненіе я позволю себѣ привести слѣдующее изъ прежняго моего труда: «въ загадкахъ на-

---

[40]) Mannhardt, 28, 29, 30. Надо вспомнить о народномъ названьи росія медвяная т. е. медовая, что̀ должно находиться въ миѳической связи съ вышеуказаннымъ цѣлебнымъ значеніемъ медвянаго питья.



родныхъ видное мѣсто занимаетъ *конь*, которымъ выражается, между прочимъ, *громъ* (какъ *ржущій* на все царство или скачущій такъ, что земля дрожитъ); иногда же въ загадкахъ *конь — вѣтеръ* (какъ несущійся съ быстротою коня, котораго не поймать, не сдержать). «Конь въ этомъ послѣднемъ значеніи является (въ тѣхъ же загадкахъ) то *братцевымъ* конемъ, то *батюшкинымъ* жеребцомъ; т. е. онъ тутъ только *принадлежность* человѣкообразнаго существа. Такое значеніе въ миѳологіи получили — уже въ позднѣйшее время — всѣ тѣ животныя, которыя первоначально служили *самостоятельнымъ* образомъ для того или другого явленія. Въ загадкахъ о громѣ *конь* еще самостоятельный образъ, онъ-то и есть *самъ громъ*; напротивъ того въ сказкахъ онъ уже только принадлежность того *добраго молодца*, который въ позднѣйшее время сдѣлался воплощеніемъ грома». (См. въ моей книгѣ о Р. Слов. стр. 64). Такъ и *былевой* конь является уже только принадлежностью богатыря, но первоначальное тождество ихъ еще слышится въ томъ, что конь Ильи Муромца *болѣетъ* подобно богатырю и *исцѣляется* подобно ему при помощи *влаги*. Въ обоихъ выражено одно — *бездѣйствующее*, *болѣющее* зимою и оживающее съ весенними дождями молніеносное существо.

Извѣстно, что главная дѣятельность молніеноснаго существа—это борьба съ великанами-тучами. Съ ними борется и германскій Торъ, и индійскій Индра (миѳическое единство которыхъ такъ прекрасно доказано Маннгардтомъ [41]). Борьба эта выражаетъ разсѣканіе молніею тучъ, имѣющее слѣдствіемъ обращеніе ихъ въ дождь и уничтоженіе ихъ вмѣстѣ съ дождемъ, а за тѣмъ и выходъ на волю краснаго солнышка, какъ бы пребывавшаго передъ этимъ въ плѣну у тучъ. Но, чтобы сокрушить тучи, молніеносное существо нуждается въ тучахъ-же; въ нихъ оно зарождается, въ нихъ оно долго таитъ свою силу, и потомъ обращаетъ ее противъ нихъ-же. Отношеніе молніеноснаго начала къ тучамъ, такимъ образомъ, въ одно и тоже время и родственныя, и враждебныя. Отсюда-то и раскрывается возможность союза Ильи съ существомъ иного, исполинскаго рода,—съ Горынинкой, т. е. великаншей горы, или тучей [42]; съ другой-же стороны и возможность враждебнаго столкновенія съ изчадіемъ того-же великанскаго рода, столкновенія, приводящаго къ разорванію этого изчадія—тучи-же—на-полы разсѣкающими ударами молніи. Такимъ же точно образомъ въ индійской миѳологіи Индра съ одной стороны производитъ облака на небѣ (т. е. ихъ *порождаетъ*, является какъ бы ихъ отцомъ); съ другой стороны онъ же является, главнымъ образомъ, и *истребителемъ облаковъ* (въ нѣкоторомъ отношеніи его же изчадій). Сражаясь съ тѣми драконами, которые также служатъ миѳомъ *тучъ*, Индра нерѣдко схватывается съ ними—*молнія противъ молніи* [43]). Припомнимъ при этомъ, что въ нашей былинѣ Илья и Сокольничекъ сталкиваются—какъ *гора*

---

[41]) Въ первой половинѣ его извѣстной книги «Germanische Mythen»

[42]) «Боги весеннихъ грозъ и бурь, говоритъ г. Аѳанасьевъ, вступали въ бракъ съ исполинскими дѣвами: Фрейръ съ прекрасною Gerdhr, дочерью Gymir'а, Торъ съ великаншею Iarnsaxa, Gunnlödh была любовницей Одина. Въ русской былинѣ святогорова жена отдается Ильѣ Муромцу, какъ представителю Перуна, и погибаетъ отъ меча-кладенца, т. е. умираетъ, пораженная молніей». (Поэт. Воззр. Славянъ, II, 672).

[43]) Mannhardt, 166, 168. При этомъ Индра имъ сокрушаетъ оружіе и разсѣкаетъ голову.

съ *горой* (или какъ *туча* съ *тучей*; ихъ бой, такимъ образомъ, можетъ быть, служитъ миѳомъ того столкновенья двухъ тучъ, отъ котораго происходитъ громъ). Въ нѣкоторыхъ-же другихъ пересказахъ Сокольникъ подбрасываетъ въ воздухъ палицу и копье, возвращающіяся къ нему въ руки, что едва-ли не должно означать *метаніе молній*[44]). На молнію, какъ мнѣ кажется, указываетъ и привязанная у Сокольника къ стремени *змѣя горынская*, такъ какъ *змѣя* самымъ наружнымъ видомъ своимъ подавалъ поводъ къ сближенію его съ молніей, а *горынскій* на миѳическомъ языкѣ значитъ *тучевой*, въ тучахъ живущій. Въ боѣ же, такимъ образомъ, можно видѣть указаніе на враждебное столкновеніе двухъ молніеносныхъ тучъ. Что касается германскаго молніеноснаго существа, Тора, то онъ, производитель (или, на миѳическомъ языкѣ, отецъ) грозы, также и борется самъ съ разрушительною силою той-же грозы[45]). Съ другой-же стороны онъ, съ порою дѣятельности котораго именно и наступаетъ зной, самъ-же является и врагомъ чрезмѣрнаго зноя, даже его губителемъ, такъ какъ обыкновенно съ разразившеюся грозою зной, хотя временно, умѣряется[46]).

Имѣя, такъ сказать, жизненною задачею, истребленіе исполинскихъ тучъ чрезъ разсѣканіе ихъ *на̀ полы*, молніеносное начало можетъ вступить въ свою дѣятельность, послѣ своего зимняго продолжительнаго обезсиленія, только при содѣйствіи тѣхъ-же тучъ, только по пролитіи ими на землю носимаго ими питья—дождевой влаги. Тучи только извѣстными сторонами своего существа представляются враждебнымъ началомъ. Онѣ враждебны или тогда, когда задерживаютъ у себя дождевую влагу, оледеняя или, выражаясь миѳически, окаменяя ее зимою; или же когда лѣтомъ носятся по небу, застилая на долго солнце, т. е., на миѳическомъ языкѣ, задерживая его у себя въ плѣну, иногда же при этомъ не испуская изъ себя и дождя, наружно чреватыя имъ, но какъ бы не хотящія разрѣшиться; или наконецъ, когда, не въ мѣру становясь щедрыми, проливаются цѣлыми рѣками и затопляютъ землю. Весеннее же ихъ появленіе съ чарою,и не одною,питьица медвянаго—каждою въ полтора ведра—дѣлаетъ ихъ желанными странниками, чудотворными изцѣлителями и питателями, какими и оказываются наши *калики*, соотвѣтствующіе, какъ мы видѣли, различнымъ странствующимъ богамъ въ эпосѣ различныхъ народовъ. Благотворною стороною указанныхъ миѳическихъ существъ объясняется и возможность того союза *названаго братства*, въ какое вступаетъ богатырь Святогоръ съ вынутымъ имъ изъ кармана Ильей Муромцемъ. И такое громадное различіе въ размѣрахъ, какъ видно, не мѣшаетъ имъ поравняться между собою братскимъ союзомъ. Святогоръ—исполинская *туча-гора*; Ильѣ Муромцу, подобно сказочному *мальчику съ пальчикъ*, мѣстечка въ этой горѣ надо немножечко, но въ немъ, небольшой, сравнительно съ тучею, *молніи*, и поступочка, и ухваточка настоящая богатырская![47]) Съ выступленіемъ его на

---

[44]) Считаю нужнымъ припомнить при этомъ то, что сказано было выше (на стр. 16) о распространенности этой черты и о молотѣ Тора, постоянно къ нему возвращающемся.

[45]) Uhland, Thor, 91, 92, 139. (Schr. VI, 77, 126).

[46]) Uhland, Thor, 133 (Schr. VI, 115).

[47]) Вотъ какъ толкуется у г. Аѳанасьева мальчикъ съ пальчикъ: «это сказочное лицо встрѣчается



свое богатырское поприще—поприще ихъ, *исполиновъ съ гору*, уже окончено: уже не залечь имъ, подобно горѣ, всего неба, уже не держать имъ въ плѣну у себя свѣтилъ небесныхъ; надъ ними уже постоянно поднятъ молотъ, мечъ, булава, рогатина, змѣя горынская и т. п. маленькаго, сравнительно съ ними, да удаленькаго богатыря. Съ порою подвиговъ, предстоящихъ ему, *младшему* относительно тѣхъ исполиновъ—*старшихъ*, пора ихъ проходитъ, они исчезаютъ съ лица земли, уступая мѣсто *младшимъ*, какъ греческіе Титаны богамъ, или германскіе Іотуны—Азамъ. Наши старшіе богатыри какъ будто отодвинулись назадъ, *потерялись*, и только по временамъ выглядываютъ изъ своей сокровенной дали, чтобы подивиться ухваточкѣ и поѣздочкѣ *младшаго*. Временемъ богатырей старшихъ, какъ, по моему мнѣнію, слѣдуетъ изъ всего этого, въ нашей народной миѳологіи обозначалась та пора года, когда господствуютъ сплошныя, охватившія цѣлое небо, холодныя зимнія тучи, неподвижно лежащія, какъ гора; или же когда разрушительная сила хранимаго ими холода обращаетъ всю землю какъ бы въ подобіе того *хрустальнаго ларца*, изъ котораго выходитъ жена Святогора [48]). Сравнительная миѳологія положительно доказала, что пораженный бореніемъ свѣта и тьмы, человѣкъ въ продолженіе долгаго времени былъ по преимуществу запуганъ силами тьмы, а потому и не былъ увѣренъ—не только зимою, что лѣто опять непремѣнно будетъ, но и по ночамъ, что опять непремѣнно настанетъ и не можетъ не наставать день. Нуженъ былъ цѣлый долговременный срокъ, прежде чѣмъ утвердилась рѣшительная увѣренность въ томъ, что начало свѣта всегда окончательно торжествуетъ надъ временно-лишь-одолѣвающею его тьмою,—и вотъ съ появленіемъ этой увѣренности и наступила въ миѳологіи пора перевѣшивающаго значенія *божествъ свѣтлыхъ*, пора позднѣйшая, *младшая*, вслѣдствіе чего *младшими* же становились и относящіяся къ этой порѣ божества. Вотъ они то, кажется мнѣ, и скрываются въ позднѣйшемъ образѣ *богатырей младшихъ*.

Но до подобнаго значенія того и другого *богатырскаго рода* мы въ настоящее время можемъ только *восходить* при помощи сравнительно-миѳологическихъ соображеній. Въ самомъ сознаніи народномъ *такой разницы*

---

у всѣхъ индо-европейскихъ народовъ и слѣдовательно принадлежитъ къ кругу тѣхъ миѳическихъ представленій, за которыми слѣдуетъ признать глубочайшую древность происхожденія.... Мальчикъ съ пальчикъ изображается такимъ крошкою, что легко можетъ скрыться въ хвостѣ или гривѣ коня, въ его ноздрѣ, ухѣ, или подъ копытомъ; это—баснословный конь-туча, изъ ушей и ноздрей котораго исходитъ грозовое пламя и который ударомъ своего копыта выбиваетъ живые источники дождя»..... «По любопытному свидѣтельству младшей Эдды, говоритъ онъ далѣе, Торъ провелъ однажды цѣлую ночь въ мизинцѣ великановой перчатки... Ночь—метаѳора мрака отъ сгущенныхъ облаковъ; богъ громовникъ или сама молнія покоится въ великанѣ-тучѣ.... Илья Муромецъ (Перунъ) очутился въ глубокомъ карманѣ Святогора... О великанѣ Оѳрушѣ (св. Христофорѣ) католическая легенда говоритъ, что онъ въ большомъ пальцѣ своей рукавицы отпраздновалъ сестрину свадьбу (брачный союзъ громовника съ облачною дѣвою).... Въ приведенныхъ сказаніяхъ богъ метатель молній выступаетъ съ характеромъ карлика, приравнивается мальчику съ пальчикъ (П. В., II, 738—741).

[48]) Въ германскихъ сказаніяхъ ему соотвѣтствуетъ стеклянная гора (Glasberg), миѳически объясняемая льдомъ. Не надо забывать, что Святогоръ ѣдетъ съ этимъ хрустальнымъ ларцомъ отъ сѣверной отъ сторонушки. Замѣчу при этомъ, что г. Аѳанасьевъ едва-ли основательно видитъ въ хрустальномъ ларцѣ Святогора — метафору облака, замыкаемаго золотымъ ключомъ—молніей. (П. В., II, 672, прим.) Ключъ этотъ, можетъ быть, просто присочиненіе. Съ другой же стороны г. Аѳанасьевъ очень ясно указываетъ на зимнее значеніе великановъ (съ какимъ является и нашъ подпирающій облака Святогоръ), приводя ихъ германскія имена, отличающіяся смысломъ то инея, то снѣга, то льда. (П. В. В., II, 660).

между старшими и младшими богатырями давно уже не существуетъ. Эпосъ народный давно уже видитъ въ нихъ только представителей двухъ различныхъ видовъ *богатырской* (а не божеской) силы. Старшіе богатыри *сильнѣе*—но въ самомъ грубомъ, чисто тѣлесномъ смыслѣ; младшіе въ этомъ смыслѣ *слабѣе*, но зато ихъ сила *разумнѣе*, это сила *умѣлая*, *благотворная*, и ей, только ей одной, *смерть на бою не написана* [49]).

---

[49]) Отмѣчу здѣсь, въ дополненіе къ этой главѣ, что значеніе испиваемыхъ громовникомъ сосудовъ съ питьемъ какъ дожденосимыхъ облаковъ доказывается еще слѣдующимъ. Употребленныя для этого Ригъ-Ведою (VIII, 7, 10) выраженія utsa и kàbandha означаютъ въ одно и тоже время и колодезь, бочку, и облако. (Kuhn Herabkunft, 156).

## IV.

### Отношенія Ильи Муромца къ Вольгѣ и Микулѣ.—Встрѣча Микулы съ Вольгою и со Святогоромъ. — Смерть Святогора богатыря.

Кромѣ совѣта, избѣгать боя со Святогоромъ, калики предостерегаютъ Илью отъ враждебныхъ отношеній и къ другимъ еще богатырямъ:

Не бойся и съ родомъ микуловымъ:
Его любитъ матушка сыра земля;
Не выходи еще на Вольгу Сеславича:
Онъ не силою возметъ,
Такъ хитростью мудростью.
(Рыбн. I, стр. 35).

Изъ того, что съ ними не слѣдуетъ биться Ильѣ, можно бы заключить, что и они принадлежатъ къ роду сильнѣйшему, старшему, къ тому же, къ которому принадлежитъ Святогоръ. Но не трудно замѣтить, что микуловъ родъ прямо противоположенъ Святогору тѣмъ, что его *любитъ матушка сыра земля*, тогда какъ Святогора она *черезъ силу носитъ*. Чтó касается Вольги, то ему, опять совершенно несходно со Святогоромъ, приписывается сила *хитрости-мудрости*, а не одна только сила тѣлесная. Это, повидимому, выдвигаетъ Вольгу изъ ряда богатырей старшихъ, отличающихся только избыткомъ чисто-тѣлесныхъ силъ. Но какое-же мѣсто занимаетъ онъ въ нашемъ эпосѣ, часто-ли, и съ какимъ характеромъ, появляется онъ въ дошедшихъ до насъ былинахъ? Еще въ сборникъ Кирши Данилова вошла былина о Волхѣ Всеславьевичѣ, представляющая столько сходствъ съ тѣми былинами о Вольгѣ, которыя записаны г. Рыбниковымъ, что приходится признать этого Волха за одно лицо съ Вольгою.—По мнѣнію издателя первыхъ 2-хъ частей рыбниковскаго сборника, отчество Волха—*Всеславьевичъ* испорчено изъ *Святославича*, *Волхъ* же есть только передѣлка Вольги, т. е. Вольга, Ольга, Олега, котораго тотъ-же издатель считаетъ не кѣмъ инымъ, какъ историческимъ княземъ Олегомъ. Подъ вліяніемъ этого взгляда изображенъ Вольгá — Волхъ и въ главѣ, посвященной обзору былинъ въ 1-мъ изданіи моего «Опыта Историческаго Обозрѣнія Русской Словесности».—Но при болѣе близкомъ знакомствѣ съ древнѣйшимъ эпосомъ нельзя не убѣдиться въ томъ, что былины о Волхѣ—Вольгѣ съ одной стороны носятъ на себѣ отпечатокъ еще чисто-миѳическій, съ другой-же нѣкоторые историческіе въ нихъ намеки должны

быть приписаны наслоеніямъ позднѣйшей поры. Подобнаго рода взглядъ и былъ выраженъ мною во 2-мъ, дополненномъ и измѣненномъ изданіи моей книги. Уже самое рожденіе Волха ставитъ его въ разрядъ всего менѣе очеловѣченныхъ, рѣшительно сверхъ-естественныхъ богатырей. Вотъ какъ повѣствуется объ этомъ у Кирши Данилова [1]):

Молода княжна Марѳа Всеславьевна
Она съ камени скочила на лютаго на змѣя;
Обвивается лютой змѣй около чеботъта зеленъ сафьянъ,
Около чулочика шелкова, хоботомъ бьетъ по бѣлу стегну.
А втапоры княгиня понос понесла,
А поносъ понесла, и дитя родила.
А и на небѣ просвѣти свѣтелъ мѣсяцъ,
А въ Кіевѣ родился могучъ богатырь,
Какъ-бы молодой Волхъ Всеславьевичъ...
(Стихи 2—10).

Достаточно уже одного этого вступленія, чтобы признать довольно неосновательнымъ мнѣніе издателей 1 части рыбниковскихъ пѣсень, будто бы эта былина Кирши должна быть признана *позднею и искаженною* (см. примѣчаніе на 11-й стр.). — Такое же *змѣиное нападеніе* уже встрѣтилось намъ въ симбирскомъ пересказѣ былины о Саулѣ Леванидовичѣ (см. выше стр. 39), только тамъ оно просто ведетъ къ испугу, отъ котораго и встрепенулся носимый княгиней младенецъ. Я имѣлъ уже случай указать на то, что первоначально тутъ могло происходитъ *зачатіе отъ змѣя* (см. 12-е примѣч. ко II-й гл.—на стр. 66 и 67), какъ оно и выходитъ въ былинѣ Кирши о Волхѣ. Подобнаго рода *зачатіе богатырское* въ нашихъ былинахъ составляетъ уже рѣдкую, исключительную черту, но древность ея подтверждается сходными *сопряженіями со змѣемъ* въ древнихъ рукописныхъ повѣстяхъ съ подкладкою устнонародною (на прим. въ нашей повѣсти о Петрѣ и Ѳевроніи Муромскихъ), а равно и въ прекрасно-сохранившихся былинахъ сербскихъ (на прим. Царица Милица и Змај од-Јастребца — во II-й ч. сб. Вука № 43), (не говоря уже о множествѣ сказокъ про *жениха змѣя* — змiјa младожењa у Сербовъ). И на это отчасти уже указано было выше (стр. 66), со ссылкою на одну изъ относящихся сюда статей г. Буслаева. Теперь считаю нужнымъ указать на приводимое тѣмъ же ученымъ въ другихъ его статьяхъ преданіе, заимствованное изъ старинныхъ хронографовъ. Тутъ *звѣриныя* свойства приписываются самому *чародѣю* Волху (хотя о чудесномъ, нечеловѣческомъ происхожденіи его и не говорится), только онъ является не *змѣемъ*, а *крокодиломъ*. Въ этомъ образѣ *залегаетъ* онъ рѣку Волховъ, однихъ потопляя на ней, другихъ пожирая. А невѣжественный народъ—будто бы—тогда почиталъ его за Бога и назвалъ громомъ или Перуномъ. И поставилъ этотъ окаянный чародѣй городокъ малъ на нѣкоторомъ мѣстѣ, зовомомъ *Перыня*, гдѣ и кумиръ Перуна стоялъ [2]).

Толкуя это преданіе, г. Буслаевъ прежде всего замѣчаетъ: «крокодилъ, очевидно, литературная замѣна змія, залегающаго рѣки» (а такимъ змѣемъ является и германскій Фафниръ въ вышеприведенной пѣснѣ Эдды — см. стр. 125). «Въ мѣстномъ преданіи, доселѣ живущемъ у

[1]) Древнія Россійскія стихотворенія, стр. 45—53 Перепечатано у Рыбникова въ 1 ч стр. 11.—17.

[2]) Буслаева, Очерки Русской Нар. Словесности и Искусства, II, 8.



Новгородцевъ, продолжаетъ г. Буслаевъ, это миѳическое существо называется *звѣрь зміяка, Перюнъ*... Будто-бы этотъ звѣрь зміяка жилъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ скитъ перюньской... каждую ночь звѣрь зміяка ходилъ спать въ Ильмень къ *волховской коровницѣ*. Перешелъ зміяка жить въ самый Новгородъ, но когда народъ крестился въ крещенную вѣру, зміяку—Перюня бросили въ Волховъ. Зміяка поплылъ вверхъ по водѣ и подплылъ къ старому своему жилью и взошелъ на берегъ. Князь Владиміръ опять велѣлъ его бросить въ рѣку»... Это преданіе (заимствованное г. Буслаевымъ у г. Якушкина изъ путевыхъ его писемъ по Новгородской и Псковской Губерніи, стр. 118—119), прямо соотвѣтствуетъ, по замѣчанію самого г. Буслаева, мѣстному кіевскому, записанному еще Несторомъ, о томъ, какъ низверженъ былъ въ Днѣпръ Перунъ, проплылъ пороги, и выброшенъ былъ на *перуняней рѣни*. (Р. Вѣстн. 1862 г., Мартъ, стр. 38 и 39).

Во всѣхъ этихъ преданіяхъ, какъ уже замѣчено мною выше, свойства миѳическаго змѣя приписываются самому Волхову (Волху), тогда какъ у Кирши Данилова змѣемъ оказывается чудесный его отецъ. Что же опять касается такого *рожденья отъ змѣя*, или же вообще отъ таинственнаго, нечеловѣческаго существа, — то напомню о сходномъ рожденіи Дитриха и Гегни въ германскихъ эпическихъ памятникахъ XIII ст. (см. выше стр. 66), сверхъ-же того укажу на столь-же таинственное, нечеловѣческое рожденіе героя кельтскихъ сказаній, Мерлина, упоминаемое у писателей XII ст. (ab incubo genitus... Inter lunam et terram habitant spiritus, qnos incuqos daemones appellamus) [3]).

Но если такимъ образомъ рожденіе Волха у Кирши связано со столь многими древними миѳическими преданіями, то не меньшею древностію отзываются въ той же былинѣ и *чудесныя знаменія* при его рожденіи..... Замѣчу прежде всего, что древностью отзываются тутъ уже самые скрывающіеся въ гору *туры*—животное теперь переведшееся, но такъ часто упоминаемое въ Словѣ о Полку Игоревѣ (буй туръ Всеволодъ), съ другой же стороны уцѣлѣвшее уже въ весьма немногихъ устно-народныхъ памятникахъ: семицкихъ пѣсняхъ — *туръ молодецъ удалый*: въ загадкахъ миѳическихъ — *туръ ходитъ по горамъ, турица по доламъ* [4]); наконецъ въ былинахъ о Добрынѣ, который оборачивается *туромъ — золотые рога*. Что́ же касается этого общаго *сотрясенья* животнаго царства и вообще природы при рожденіи Волха, то-же происходитъ и у другихъ народовъ при рожденіи нѣкоторыхъ богатырскихъ (первоначально же божественныхъ личностей). Такъ въ началѣ первой пѣсни старой Эдды о Гельги, убійцѣ Гундинга, мы читаемъ: «то было въ старые годы, какъ вскричали орлы и съ небесныхъ горъ пролилися священныя воды,—тогда родила Боргильдра въ Бралундрѣ доблестью славнаго Гельги». Далѣе являются Норны (судныя дѣвы, *рожаницы*) и завязываютъ нити судьбы;—«тогда настало въ Бралундрѣ *сокрушенье твердынь*: pa er borgir braut.»—Братья Гриммы, переводя это—Burgen Bruch, ста-

[3]) San Marte, Arthur Sage, 89, 92. (Изъ Гиральда Камбрейскаго и Готерида Монмутскаго).

[4]) Сахарова Сказанія I, III, 261—Этнографич. Сборникъ, VI стр. 50 (разгадка—гроза).



вятъ въ скобкахъ Sturm (буря); въ примѣчаніи же къ этому мѣсту они говорятъ: «если принимать borgir braut за существительныя, а ра за нарѣчіе, то выходитъ: «тогда, какъ явились Норны, въ часъ рожденія, была сокрушительная буря (Burgstrum), вихрь, ураганъ, подобно тому какъ индѣ (sonst) явленіями природы ознаменовывается появленіе и изчезновенье великихъ личностей. И въ самомъ началѣ пѣсни прорицающій крикъ орловъ и ниспаденіе водъ съ горъ небесныхъ указываютъ, повидимому, на день рожденія Гельги, какъ на чудесный (исполненный знаменій) день» [5]). Такому же толкованію остался вѣренъ Яковъ Гриммъ и въ своей Миѳологіи [6]), гдѣ онъ сверхъ того указываетъ на слѣдующее: «избранію Гакона въ короли предшествовали также знаменія—птицы дважды неслись и дважды разцвѣтали деревья, о чемъ повѣствуетъ 14-я глава его саги» [7]). Но если тутъ подобными чудесами сопровождается уже *иная година*, то опять къ самому рожденію богатырей отнесены чудеса въ одной изъ chansons de geste (уже довольно поздней — XIII ст.), Doon de Mayence. Тутъ трое родоначальниковъ трехъ главныхъ отраслей эпическихъ выставлены рождающимися въ одно время, и при такомъ-то тройномъ рожденіи «сокрушился весь міръ вдоль и поперегъ, солнце измѣнило свой свѣтъ, небо стало красно, какъ кровь, и три большихъ молніи упали изъ облаковъ»... Если, по мнѣнію Готье, такое тройное чудо не заключаетъ въ себѣ ничего первоначальнаго (primitif) [8]), то это можетъ быть вѣрно только относительно *троякости*, сгроможденія нѣсколькихъ эпическихъ чудесъ въ одно, но они, эти чудеса, почерпнуты были позднѣйшими труверами въ издавнемъ запасѣ эпическомъ. Изъ такого-то запаса заимствованы и тѣ знаменія при воплощеніи бога Вишну, о которыхъ повѣствуетъ позднѣйшая индійская «Гариванза», приводимая въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, г. Стасовымъ: «Въ ту минуту великолѣпной ночи, когда сталъ воплощаться Вишну, моря заколебались, горы задрожали до самыхъ основъ своихъ, разные огни заблистали»... и т. д. [9]). Г. Стасовъ приводитъ это по поводу рожденья Добрыни Никитича, но тамъ оно уже рѣшительно неумѣстно; такъ какъ потрясеніе въ природѣ происходитъ не отъ Добрыни, а отъ страшнаго скимена звѣря. Напротивъ съ рожденіемъ Волха воплощеніе Вишну находится на самомъ дѣлѣ въ такомъ же эпическомъ сродствѣ, какъ и съ рожденіемъ Гельги, французскихъ героевъ и воцареньемъ Гакона. Свидѣтельство «Гариванзы» оказывается, конечно, болѣе близкимъ къ первоначальной основѣ въ томъ отношеніи, что тутъ такими знаменіями сопровождается рожденіе (т. е., собственно, воплощеніе) не богатырской, а божественной личности (впрочемъ, чрезъ самое *воплощеніе на землѣ* она переходитъ тутъ изъ божественной въ богатырскую). Но можно указать на примѣръ, еще болѣе близкій къ первоначальной основѣ, примѣръ, гдѣ рождается именно бо-

---

[5]) Grimm, Lieder dei Edda, I, 57, 58.

[6]) Grimm, D. Mythologie, 363.

[7]) Мѣсто это выписывается Рассманомъ въ примѣчаніяхъ къ Вольсунга-Сагѣ. Тутъ же заимствуетъ онъ изъ одной статьи Маннгардта слѣдующее толкованіе: «небесныя горы—это тѣ святыя вершины, откуда проливались грозовые ливни—святыя воды» (Rassmann, Heldensage, I, 7).

[8]) Gautier, Epopées françaises, II, 188

[9]) В. Европы Февр. 1868 г. стр. 645.

жество, такъ и остающееся божествомъ, безъ всякаго *вочеловѣченія.* Въ 61-мъ гимнѣ Ригъ-Вѣды, посвященномъ Индрѣ, сказано: «отъ страха предъ нимъ сотряслись и горы, и небо, и сама земля, когда онъ рождался на свѣтъ»—[10]). И такое сотрясеніе становится вполнѣ понятнымъ при рожденіи Индры — *громовника-молніеносца.* Надо думать, что то-же *потрясающее* явленіе громоваго божества скрывается и въ эпической основѣ всѣхъ тѣхъ чудесно-рождающихся богатырей, которые у какого бы народа они ни встрѣчались, только позже могли стать *богатырями.*

Волхъ говоритъ, *какъ громъ гремитъ.*
А и будетъ Волхъ во полтора часа...

Слово *какъ*, можетъ быть, только позднѣйшая вставка, первоначально же *м. б., Волхъ говорилъ*, т. е. *громъ гремѣлъ.*—По крайней мѣрѣ очень многія поэтическія сравненія и образные обороты первоначально были не сравненіями и оборотами, а дѣйствительными, миѳически понимаемыми явленіями. Если въ этомъ отношеніи, на примѣръ, сравнивать Рамаяну или Магабгарату, эти уже болѣе поздні́я поэмы индѣйскія, съ Ригъ-Вѣдою, то въ первыхъ представляется уже просто сравненіемъ многое, что́ въ послѣдней еще ничуть не сравненіе.—Какъ бы то ни было, Волхъ, говорящій какъ громъ, уже въ полтора часа возраста самъ научаетъ свою государыню матушку:

А не пеленай во пелену червчатую,
А не поясн въ поясья шелковые. —
Пеленай меня, матушка,
Въ крѣпки латы булатные,
А на буйну голову клади златъ шеломъ,
Во праву руку палицу,
А тяжку палицу свинцовую,
А вѣсомъ та палица въ триста пудъ.

Чудесное, преждевременное развитіе Волха [11]) получаетъ тутъ чисто воинственный оборотъ, встрѣчающійся притомъ не особенно часто въ нашемъ народномъ эпосѣ. Этому совершенно соотвѣтствуетъ въ вышеупомянутой пѣснѣ Эдды то обстоятельство, что *однодневный* Гельги также является уже облеченнымъ въ доспѣхи. Но собственно подвиги этого сѣвернаго богатыря начинаются только съ пятнадцатилѣтняго возраста [12]). Также точно и Волху, становящемуся во главѣ дружины, пятнадцать лѣтъ (и каждому изъ его дружиниковъ по стольку же). Начинаетъ же онъ себѣ прибирать дружину и еще ранѣе — двѣнадцати лѣтъ и число это даже обычнѣе въ эпосѣ, какъ срокъ богатырскаго возмужанія (см. выше стр. 67). Самый *приборъ имъ себѣ дружины* опять соотвѣтствуетъ такому же образу дѣйствія Гельги, про котораго, совершенно въ духѣ германскаго эпоса, сказано, что онъ раздавалъ золото своимъ служилымъ мужамъ. Въ нашей былинѣ о подобной раздачѣ золота не упомянуто, но и самая эта, прибираемая *себѣ* дружина представляетъ нѣчто совершенно отличное отъ той, на особыхъ началахъ основывающейся дружины, съ господствующимъ значеньемъ которой въ на-

---

[10]) Orient nnd Occident, 1 jahrgang, IV. Heft. S. 585 Uebersetzung des Rid—Veda v. Th. Bentey.

[11]) Съ нимъ можно сопоставить въ германскомъ эпосѣ Вользунга, который, едва рожденный, цѣлуетъ свою мать см. выше стр. 117).

[12]) Grimm. L. Edda, 1, 61, 63.



шихъ былинахъ мы еще познакомимся далѣе. Господствующая въ нашихъ былинахъ дружина скорѣе напоминаетъ гайдуцкую сербскую съ ея *выборнымъ* главою. Волхъ напротивъ того, при своемъ чисто-воинственномъ складѣ съ самаго дѣтства, является самъ *наборщикомъ* себѣ служилой дружины для потѣхи воинской. Его соотвѣтствіе съ сѣвернымъ Гельги, быть можетъ, совсѣмъ не случайно. Не то, чтобы одинъ былъ съ другого списанъ (къ подобному объясненію нѣтъ основанія прибѣгать), но въ обоихъ одинъ и тотъ-же духъ — потому, что на нашего Волха (по основѣ своей, какъ и Гельги, миѳическаго) могъ въ историческія времена налечь отпечатокъ варяжской дружинной стихіи. Въ этомъ отношеніи и г. Безсоновъ не совсѣмъ, можетъ быть, ошибается, усматривая въ Волхѣ-Вольгѣ черты историческаго Олега. Если не именно это княжеское лицо, то вообще *князь дружинникъ* дѣйствительно замѣтенъ въ Волхѣ, а еще болѣе въ *Вольгѣ*, какъ называется онъ въ рыбниковскихъ пересказахъ, въ этомъ именно отношеніи болѣе полныхъ и ясныхъ.

Кромѣ Волха, наборщикомъ особой, *своей* дружины, является знаменитый богатырь новгородскаго круга, Васька Буслаевъ. Въ молодости же матушка отдаетъ его, слѣдуя, надо думать, обычаю торговаго новгородскаго люда, — учиться грамотѣ, и грамота Василью въ *наукъ пошла*. То-же самое въ былинѣ Кирши Данилова приписывается и Волху, но приписывается уже совершенно не кстати, такъ что черта эта должна быть признана замѣшавшеюся сюда изъ былинъ о Васькѣ Буслаевѣ. Вслѣдъ за этимъ *вставнымъ* ученіемъ грамотѣ упоминается другое ученіе, уже существенное въ былинѣ о Вольгѣ, и переходящее черезъ всѣ ея пересказы. Это ученіе *ко премудростямъ*, напоминающее особый рядъ сказокъ о *хитрой наукѣ*, которой обучались у *чародѣевъ*[13].) Мудрости же Волха были слѣдующія: обертываться яснымъ соколомъ, сѣрымъ волкомъ и гнѣдымъ туромъ—золотые рога. Послѣдній родъ оборотничества, какъ увидимъ мы въ своемъ мѣстѣ, приписывается также другому богатырю, Добрынѣ; но у того это оборотничество невольное, напускное, Волхъ-же оборачивается самъ, добровольно, и притомъ различнымъ образомъ. По оборачиванью *волкомъ* напоминаетъ онъ отчасти уже затронутыхъ выше славянскихъ эпическихъ *волкудлаковъ* (см. стр. 119).

Оборотничество вообще, весьма обычное въ сказкахъ, составляетъ въ нашихъ былинахъ явленіе исключительное, и вотъ въ немъ-то и заключается та *хитрость-мудрость* Волха, на которую указываютъ Ильѣ калики, относящіе этого оборотня къ *особому* разряду богатырей. По такой *чудесной* (кудесническої) хитрости онъ становится *знахаремъ*, *вѣщимъ* и это опять сближаетъ его—по крайней мѣрѣ съ *прозвищемъ*, доставшимся князю Олегу. Но не по *прозвищу* только, а по дѣйствительно вѣщимъ чародѣйнымъ дѣйствіямъ, онъ долженъ быть сопоставленъ съ другимъ лѣтописнымъ лицомъ, даже и рожденнымъ, подобно ему, чудеснымъ образомъ.

[13]) Особое ученіе оборотничеству также львомъ, волкомъ, лисицей, ястребомъ, Радлова I, 42. Учитъ старикъ, оборачивающійся всадникомъ.

Лицо это—знаменитый Всеславъ, князь полоцкій. О немъ въ Лаврентьевской Лѣтописи мы читаемъ: «его же *роди мати отъ вълхвованья*, матери бо родивши его, бысть ему язвено, (по другому списку—язва) на главѣ его, рекоша бо волсви матери его: «се язвено, навяжи нань, да носить е до живота своего», еже носить Всеславъ и до сего дне на собѣ, сего ради немилостивъ есть на кровьпролитье» [14]). Кромѣ лѣтописи, лицо это, какъ извѣстно, упоминается и въ словѣ о Полку Игоревѣ, упоминается съ признаками оборотня, и именно волкудлака. «Скочи влъкомь до Немигы съ Дудутокъ... Всеславъ въ ночь влъкомъ рыскааше: изъ Кыева дорыскаше до куръ Тмутараканя; великому Хръсови влъкомъ путь прерыскааше». Далѣе слѣдуетъ указаніе на его чудесный, чародѣйный слухъ: «тому въ Полотстѣ позвониша заутренюю... а онъ въ Кыевѣ звонъ слышаше»... [15]). Послѣ этого въ самомъ отчествѣ Волха — *Всеславьевичъ* (по пересказу Кирши) не заключается-ли воспоминанія объ оборотнѣ Всеславѣ? Такъ думалъ уже покойный С. П. Шевыревъ, указывавшій вмѣстѣ съ тѣмъ и на то, что былевая мать Волха называется Марѳою *Всеславьевною* (т. е. у Кирши Данилова). — Въ самомъ же имени богатыря-оборотня *Волхъ* тотъ-же ученый видѣлъ намекъ на его первенство въ волхвованіи [16]), — что опять таки роднитъ этого богатыря съ рожденнымъ отъ волхвованья Всеславомъ. Волхвующій, чародѣйный обликъ этого послѣдняго сказывается, по мнѣнію Шевырева, и въ томъ, что всѣ его рати предшествуются или сопровождаются знаменьями.... [17]). Подъ 1092 г. расказываются дивныя произшествія въ столицѣ Всеслава, Полоцкѣ: «въ мечтѣ ны бываше въ нощи тутънъ, станяше (стонаше—по другому списку) на улици, яко человѣци рищюще бѣси; аще кто вылѣзяше изъ хоромины, хотя видѣти, абье уязвенъ будяще невидимо отъ бѣсовъ язвою, и съ того умираху»... [18]). Преданіе это невольно напомнило мнѣ въ Вользунга-загѣ рыщущихъ по лѣсу въ *видѣ волковъ* Зигмунда и Синфіотли, перекусавшихъ (т. е. также *изъязвившихъ*) столькихъ людей (см. выше стр. 119). И подъ рыщущими у насъ *бѣсами* (слово уже позднѣйшее, относящееся къ христіанской порѣ), не должны-ли подразумѣваться иныя темныя существа? Далѣе въ томъ-же лѣтописномъ свидѣтельствѣ передается молва народная объ этихъ существахъ, и тутъ они называются уже не бѣсами: «тѣмъ и человѣци глаголаху: яко *навье* бьють Полочаны»... А извѣстно, что *навье* въ древнемъ нашемъ языкѣ значило *мертвецы*, эти же послѣдніе одарены были способностью *оборачиваться*—между прочимъ и волками (становиться волкудлаками). Послѣ этого не мудрено было *живымъ оборотнямъ* смѣшиваться въ преданіяхъ съ мертвецами (навье). А если такъ, то въ этихъ бѣгающихъ по Полоцку и язвящихъ людей существахъ не скрывается-ли первоначальное оборотничество вѣщей, кудеснической дружины Всеслава-Волха?

---

[14]) Полное Собр. Р. Лѣтоп. I, 67.

[15]) Ср. у Тихонравова, слово о Полку Игоревѣ, 10, 64.

[16]) Шевырева Исторія Р. Слов. I, 229, II, 279.

[17]) Передъ тѣмъ, напримѣръ, какъ ему выжечь Новгородъ, Волховъ течетъ назадъ.. Это заставляетъ вспомнить о мнѣніи г. Буслаева, что Волхъ и Волховъ миѳически между собою связаны (см. выше).

[18]) Полное Собр. Р. Лѣт. I, 92.

Но если даже и не такъ, все-же въ нашей былинѣ о Волхѣ сохранилось темное, это правда, воспоминаніе о чудесномъ Всеславѣ лѣтописи и «Слова о Полку Игоревѣ». Послѣ этого онъ совершенно вѣрно называется у покойнаго Шевырева представителемъ кудесничества между нашими богатырями, и вотъ это-то и ставитъ его въ былевомъ нашемъ эпосѣ въ столь-же обособленное положенье, какъ то, какое занимаетъ волшебникъ **Maugis** (Malagis), въ карловингскомъ эпосѣ [19]). Но если послѣдній подъ конецъ долженъ каяться, то ничего подобнаго не видимъ мы въ нашемъ Волхѣ. Шевыревъ, это правда, приписывалъ ему, чародѣю, разрушеніе царства кудесничества, т. е. самоуничтоженіе. Предназначеньемъ его на такое дѣло и объясняется у Шевырева переполохъ въ природѣ при самомъ его рожденіи. Дѣйствительно, кромѣ земли и моря, у Кирши при этомъ поколебалось и славное *царство индѣйское*, то самое, противъ котораго предпринимаетъ онъ позже походъ. «Отчего-же, спрашиваетъ Шевыревъ, индѣйское царство играетъ такую важную роль въ пѣснѣ о богатырѣ-кудесникѣ? Отчего трястись ему, когда онъ родится? Отчего-же Волхъ сопротивникъ самого царя Индѣйскаго?»—«Индія, отвѣчаетъ онъ, родина чернокнижія и волхвованія. Оттуда, изъ этого первоначальнаго родства съ индѣйскимъ племенемъ, нашъ народъ почерпнулъ свои преданія чернокнижныя. Чудная память его сохранила темное о томъ сознаніе» [20]).

Смѣю думать, что подобнаго рода память предположить почти столько-же мудрено, какъ и память богатырскихъ пѣсень о пришествіи Славянъ изъ Индіи на Дунай [21]). *Царство Индѣйское* или *Индѣя богатая* упоминается въ нашихъ былинахъ не разъ, хотя и не особенно часто. Думаю, что этой чертѣ должно быть приписано происхожденіе книжное, что въ былины она зашла изъ древнихъ рукописныхъ повѣстей о *богатой Индіи*, повѣстей, распространенныхъ и по всей Европѣ [22]).—Какого либо опредѣленнаго, особеннаго значенія царство индѣйское не имѣетъ у насъ въ былинахъ, да и въ самой былинѣ о Волхѣ ничто не указываетъ на него, какъ на родину волхвованія, а на Волха Всеславича какъ на представителя народной борьбы съ язычествомъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ на немъ непремѣнно была бы печать вліянія христіанскаго (какъ на Можисѣ въ **chanson** о Рено Монтобанскомъ) а именно на этомъ богатырѣ ея вовсе не видно. *Царь индѣйской* въ былинѣ Кирши о Волхѣ—совершенно случайно зашедшій оттѣнокъ книжный. Имя же его, а также и его жены—обыкновенныя былевыя имена, отзывающіяся татарщиной; онъ *Салтыкъ Ставрульевичъ*—въ стихѣ 90; въ слѣдующемъ же затѣмъ даже *Батыевичъ*, жена-же его—царица *Азвяковна* (Узбековна) Елена Александровна (какъ и въ былинѣ о Саулѣ Леванидовичѣ—см. выше стр. 40). Снаряжается этотъ *индѣйской царь* подъ Кіевъ градъ и хочетъ его за щитомъ весь взять, подобно тому, какъ обыкновенно снаряжается въ нашихъ

[19]) Преимущественно въ Renaus de Montauban.

[20]) Шевырева Исторія Р. Слов. I, 232.

[21]) См. предисловіе къ «Волгарской пѣснѣ объ Орфеѣ» и мою замѣтку объ ней въ іюльской кн. Журн. Мин. Нар. Просв. за 1868 г. стр. 358.

[22]) См. Пыпина Очерки Литер. исторіи стар. пов. и сказокъ русскихъ, стр. 73 въ IV кн. Уч. Зап. Ак. Наукъ.

былинахъ черная сила татарская. Чтобы отвратить такое его снаряженіе, Волхъ со дружиною самъ предпринимаетъ походъ ко славному царству индѣйскому. Такой переходъ изъ обычнаго въ былевомъ нашемъ эпосѣ *оборонительнаго* положенія въ *наступательное* скорѣе напоминаетъ тѣ отзвуки *дружинныхъ* сказаній, которые зашли въ нашу лѣтопись. По своему наступательному походу Волхъ отзывается складомъ князей дружинниковъ, а въ томъ числѣ и Олега вѣщаго; но помощью служитъ ему въ походѣ его чародѣйная сила, помогавшая, какъ мы уже знаемъ, и походамъ Всеслава Полоцкаго. Когда дружина спитъ, такъ Волхъ не спитъ: оборачиваясь по ночамъ то волкомъ, то соколомъ, онъ ловитъ звѣрей и бьетъ птицъ, и такимъ образомъ кормитъ—одѣваетъ свою дружину. Тутъ, какъ не трудно замѣтить, сквозь образъ князя-дружинника ясно проглядываетъ иной, отзывающійся еще звѣроловнымъ бытомъ, полумиѳическій образъ ловца-чародѣя. Подобный образъ попечительнаго старѣйшины, ловомъ-охотой кормящаго весь свой людъ, является прямо преобладающимъ въ пѣсняхъ такихъ народовъ, которые до сихъ поръ еще остаются на ступени звѣроловно-пастушеской. Я разумѣю пѣсни тюркскихъ народомъ Сибири, собранныя по преимуществу Радловымъ. Только тамъ это уже обыкновенный, не связанный съ чародѣйствомъ ловъ [23]); тогда какъ въ нашихъ былинахъ, служа былевымъ обломкомъ звѣроловной первобытной поры, онъ понятнымъ образомъ отличается при этомъ и издавнимъ оттѣнкомъ миѳическимъ. Соединеніе же въ одномъ лицѣ Волха *звѣроловныхъ* и *воинственно-княжескихъ* признаковъ вполнѣ объясняется замѣчаніемъ Я. Гримма о тѣсномъ сродствѣ между охотничьимъ и воинскимъ бытомъ [24]). Въ числѣ звѣрей, убиваемыхъ Волхомъ, упоминаются *барсы*— черта опять книжная (какъ и *львы* въ нѣкоторыхъ былинахъ), притомъ-же напоминающая лѣтописное сравненіе Святослава съ *леопардомъ*: «легко ходя аки *пардусъ*» (П. Собр. Лѣт. I, 27). Вслѣдъ за своей удачной охотой, Волхъ начинаетъ *вражбу* чинить: кто бы изъ васъ, спрашиваетъ онъ своихъ молодцевъ, обернулся гнѣдымъ туромъ и сбѣгалъ ко царству индѣйскому? Отвѣтъ на это такой:

Нѣту у насъ такого молодца
Опричь тебя, Волха Всеславьевича.

Вотъ и отправляется онъ *турьимъ скокомъ* въ царство индѣйское, и быстрота его въ этомъ случаѣ опять напоминаетъ Всеслава Полоцкаго (въ «Словѣ о П. Иг.»), съ другой же стороны *оленій* скокъ Честмира и *лисьи* скоки Забоя (въ пѣсняхъ Краледворской Рукописи) [25]). — Вслѣдъ-же затѣмъ онъ оберты-

---

[23]) Ср. ст. ак. Шифнера въ Mélanges Asiatiques, III, 397.

[24]) См. въ моемъ Ист. Обозр. Р. Слов. стр. 88, прим. 1-ое, гдѣ приведено изъ гриммовой Исторіи Нѣм. Языка слѣдующее: «нельзя раздѣлять воиновъ, охотниковъ и пастуховъ»... «всѣ странствующіе пастухи были воинственны, всѣ воины водили за собою стада»... «Въ языкѣ кочевниковъ множество выраженій для всякаго рода оружія». Къ этому можно еще прибавить слѣдующія слова Гримма о людяхъ звѣроловной поры: «вся жизнь ихъ проходитъ въ передвиженьяхъ, охотѣ, войнѣ борьба, которой они такъ жадно ищутъ, доставляетъ имъ, какъ и охота, добычу; и бой, и охота ихъ веселятъ». (J. Grimm, Geschichte der Deutschen Sprache, I, 12).

[25]) См. въ моемъ Ист. Обозр. Р. Слов. стр. 262.

вается опять соколомъ и, садясь на окошко царя индѣйскаго, подслушиваетъ его разговоръ съ царицей про походъ на Русь. Тутъ обернулся Волхъ *горностаемъ*, бѣгалъ по подваламъ, по погребамъ, накусывалъ тетивки у луковъ царя индѣйскаго и повынималъ желѣзцы у каленыхъ стрѣлъ. [26]) (Вслѣдъ-же за такимъ, чисто-первобытнымъ оружьемъ упоминаются тутъ *ружья* со *шомполами*, которыя закапываются Волхомъ въ землю — совсѣмъ уже новый наростъ на этой древней былинѣ). До сихъ поръ такимъ образомъ Волхъ дѣйствуетъ совершенно одинъ, въ этомъ отношеніи уподобляясь прочимъ богатырямъ нашего эпоса, почти всегда расправляющимся *своими руками*. Зато далѣе, опять обернувшись соколомъ, Волхъ летитъ за дружиной и находитъ ее преспокойно спящею. Разбудивъ, отправляется онъ уже съ нею подъ индѣйское царство, — но какъ пройти сквозь крѣпкую стѣну бѣлокаменную и ворота желѣзные?

Стоитъ подворотня дорогъ рыбій зубъ,
Мудревы вырѣзы вырѣзано
А и только въ вырѣзу мурашу пройти...
И всѣ молодцы закручинилися...
„А и какъ намъ будетъ стѣна [27]) пройти?“—
Молодой Волхъ онъ догадливъ былъ;
Самъ обернулся мурашикомъ
И всѣхъ добрыхъ молодцевъ мурашками.

Это послѣднее превращеніе напоминаетъ одну новогреческую сказку, гдѣ въ числѣ животныхъ, благодарныхъ королевичу за оказанную имъ услугу, упомянутъ и *муравей*. «Тебѣ, говоритъ онъ, стоитъ только сказать раза два: муравей, муравей! и ты сдѣлаешься муравьемъ и пролѣзешь всюду, куда бы ни вздумалось». И королевичу пришлось прибѣгнуть къ этому средству, когда ему понадобилось пройти сквозь *замочную скважину* [28]). Эта греческая сказка можетъ служить поясненіемъ связи между нашей былиной и сказаніемъ-заговоромъ «какъ стать невидимкой», помѣщеннымъ у г. Рыбникова въ ч. IV на стр. 245. Тутъ, какъ указалъ еще Л. Н. Майковъ [29]), замѣчательно обращеніе къ *царю муравьевъ*». Это повѣрье, говоритъ тотъ-же писатель, служитъ комментаріемъ къ тому эпизоду въ былинѣ о Волхѣ Всеславичѣ (по пересказу Кирши Данилова), въ которомъ расказывается, какъ Волхъ, подъ видомъ мураша, проникъ за бѣлокаменную стѣну Индѣйскаго Царства». Но богатырь проникъ туда не одинъ, а съ цѣлой дружиной *мурашиковъ*. Это невольно наводитъ на умъ тотъ народъ *Мирмидоновъ*, въ главѣ котораго стоялъ Ахиллесъ. Не указываетъ-ли значеніе слова *Мирмидоны* на существованіе и у древнихъ Грековъ преданія, по чудесной основѣ своей подходящаго къ нашему? (Μύρμηξ=муравей; μυρμηδών=муравьная куча).

Проникнувъ за стѣну бѣлокаменную, мураши, надо думать, опять превратились въ людей. «Ходите, говоритъ имъ Волхъ, по царству Индѣйскому.

Рубите стараго, малаго,
Не оставьте въ церствѣ на сѣмена;
Оставьте только по выбору
Не много, — не мало семь тысячей,
Душечки красны дѣвицы.
(стихи 158 — 163).

Такъ и сдѣлали. [30]) Царя индѣйскаго Волхъ хватилъ о кирпищатъ полъ

[26]) Обращенье горностаемъ также у Радлова, II, 201. Но сходно и въ одномъ греч. сказ. у Эліана (Gött. Anz, стр. 1659-ая 1868 г.).

[27]) Старый видъ винительнаго падежа.

[28]) Hahn, Griechische und Albanesische Märhen, I, 87 (то-же, только менѣе полно, и у — Аѳан.).

[29]) Журн. Мин. Нар. Просв. Май 1868 г., стр. 690.

[30]) Др. Рос. Стих. стр. 52.



(про распространенность такого пріема см. выше стр. 27). Самъ же онъ послѣ того царемъ насѣлъ и женился на царицѣ Азвяковнѣ.

А и та-то дружина хоробрая,
И на всѣхъ на дѣвицахъ переженилася.

Эта заключительная часть былины Кирши Данилова напоминаетъ полукнижное произведеніе довольно поздней поры—*Гисторію о азовскомъ взятіи и осадномъ сидѣніи*, напечатанную въ IV ч. сборника г. Рыбникова. Тутъ казаками у Азовскихъ Татаръ и Турокъ «плѣнныхъ женъ, дѣвокъ и малыхъ робятъ собрано числомъ 15000...» «и многіе казаки на турчанкахъ поженились и въ крещеную вѣру привели.» — Былина не знаетъ только послѣдней черты, вообще не обычной въ нашемъ былевомъ эпосѣ, какъ-то мало заботящемся о вѣроисповѣдномъ захватѣ. Зато былина опять совершенно сходится съ казацкой исторіей въ томъ, что Волхъ злата серебра выкатилъ,

А и коней, коровъ табуномъ дѣлилъ,
А на всякаго брата по сту тысячей....

Въ «гисторіи»-же по дѣлежу досталось на казака «по 2 тысящи рублевъ и по три человѣка, по 4 коня.» — Былина, какъ видно, даже превосходитъ «гисторію» въ размѣрѣ добычи, вообще же объ этой послѣдней былевой нашъ эпосъ говоритъ крайне рѣдко и она не составляетъ въ немъ такой неотъемлемой принадлежности богатырскаго боя, какую она составляетъ въ германскомъ эпосѣ. Взиманье добычи—какъ вещественной, такъ и живой—плѣнниковъ и плѣнницъ,—выдѣляя былину Кирши о Волхѣ изъ общаго строя нашего эпоса, сближаетъ ее съ позднѣйшими сказаніями о казацкихъ походахъ. Эти послѣдніе составляютъ, такъ сказать, самое верхнее *наслоеніе* въ былинѣ Кирши, и въ этомъ собственно отношеніи она дѣйствительно носитъ отпечатокъ поздній. Но намъ придется еще не разъ убѣждаться, что въ самыхъ древнихъ, по своей основѣ, былинахъ, попадаются черты различныхъ временъ, и, между прочимъ, чрезвычайно позднія.

Числомъ плѣнныхъ женъ и т. д. «гисторія» вдвое превосходитъ былину Кирши, но и число, встрѣчающееся въ этой послѣдней (7000) слишкомъ велико для богатырской дружины, обыкновенно немногочисленной. Тутъ опять таки слышится что-то позднее и полукнижное, рѣзко отличающееся отъ пересказовъ рыбниковскихъ, гдѣ дружина Вольги состоитъ всего изъ 30 чел. Дружина изъ такого же числа воиновъ уже встрѣтилась намъ выше въ сербской былинѣ о Предрагѣ и Ненадѣ (см. стр. 140.) (Много другихъ примѣровъ у Вука въ III ч. [31]) Но довольно часто встрѣчается тоже число и въ chansons de geste: такъ у молодого Роланда, играющаго во дворцѣ Карла Великаго, оказывается 30 сверстниковъ; да и позже является онъ во главѣ дружины изъ 30 danziax; такъ и у Гитеклена оказывается 30 королей подколѣнныхъ, а въ chanson de Saisnes упоминается 30 echelles des Français. Въ кругѣ chansons о Вильгельмѣ Оранжскомъ дружина изъ 30 человѣкъ или же 30 королей и т. п. упоминается нѣсколько разъ. Въ chanson de Roland у измѣнника Ганелона оказывается 30 родственниковъ-защитниковъ [32]). Такая эпическая обыч-

[31]) Также у Петрановича въ Бос. и Герц. II., 43, 447, 564. Милад. Болг. II. 219.

[32]) Gautier, Epopées Françaises, II, 61, 200, 499, 572. Renaus de Montauban, éd. Michelant, p. 119. Guillaume d'Orange, éd. Jonckbloet, I, p. 34, 48, 90, 157, 168 176.—Chanson de Roland, éd. Génin, p. 316.



ность и распространенность этого числа заставляетъ, конечно, признать его и въ былинахъ о Вольгѣ-Волхѣ подлиннымъ, давнимъ, число же 7000—позднимъ.

Въ этомъ отношеніи рыбниковскимъ былинамъ должно быть отдано предпочтеніе въ старинѣ сравнительно съ былиной Кирши. Но и еще кое въ чемъ онѣ заслуживаютъ предпочтенія. Прежде однако же чѣмъ перейти къ нимъ, остановлюсь на отрывкѣ былины, помѣщенномъ еще въ прибавленіяхъ къ Извѣстіямъ Академіи Наукъ (Пам. Нар. яз. и Слов. III. 279, 280) и перепечатанномъ въ сборникѣ г. Рыбникова, въ видѣ подстрочнаго примѣчанія, на стр. 12 и 13-й 1 части). Къ сожалѣнію въ академическомъ изданіи не обозначено, гдѣ, отъ кого и кѣмъ записанъ этотъ отрывокъ; да и отрывкомъ названа эта пѣсня только издателями рыбниковскаго сборника, въ академическомъ же изданіи она названа *былиною про змѣя Горыныча.* Дѣло въ томъ, что и тутъ, какъ у Кирши Данилова, княгиня (безыменная) зачинаетъ молодца отъ змѣя, названнаго тутъ *Горынычемъ* (подобно *горынской* змѣѣ въ олонецкихъ былинахъ про Илью и Сокольника—см. выше стр. 15). Затѣмъ замѣчательна тутъ та особенность, что чадо, *провѣщившись* при самомъ своемъ рожденіи, стало такимъ образомъ утѣшать свою мать.

*Не дамъ-я тебя змѣю во обиду,*
Когда я буду на возрастѣ,
На возрастѣ — *пятнадцати лѣтъ,*
Ужь ты скуй мнѣ палицу боевую....

Эта палица должна быть во сто пудъ, а покажется легка, такъ и въ полтараста, и вотъ при ея то помощи станетъ онъ воевать со змѣемъ...

Я заѣду-то къ нему въ пещерочки змѣиныя,
Сшибу ему буйную головушку.....
Подниму его головушку на острый колъ,
Поднесу его головушку къ твоему дворцу.

Словомъ, онъ точно также хочетъ мстить змѣю, насильнику своей матери, какъ Сокольничекъ мститъ Ильѣ Муромцу...[33]) Но, такъ какъ подобное совпаденіе засвидѣтельствовано всего однимъ пересказомъ, то трудно сказать положительно, существуетъ ли подлинное, основное соотвѣтствіе между Ильею и змѣемъ-насильникомъ, — или это только позднѣйшее былевое *смѣшеніе.* Можно при этомъ напомнить о вышеприведенныхъ примѣрахъ отождествленья *змѣяки* съ *Перуномъ* — громовымъ божествомъ, какимъ, какъ видѣли мы, по своей первичной основѣ долженъ быть, муромскій богатырь. О змѣѣ, какъ миѳѣ молніеносца-громовника подробно говорится у г. Аѳанасьева во II ч. его «Поэтическихъ воззрѣній Славянъ на природу», на стр. 409 и слѣдующихъ. Этимъ то миѳическимъ значеніемъ змѣя должно быть объяснено и наше повѣріе объ *огненномъ* змѣѣ, привораживающемъ къ себѣ красныхъ дѣвицъ (смотри Сахарова Сказанія II, VII, 5, 6; а также болгарскую пѣсню,—гдѣ змѣй уноситъ дѣвицу, называющую себя его *любою*—Миладиновыхъ, стр. 467). Можно указать также на лужицкое представленіе змѣя подателемъ всякихъ благъ

[33]) Особый видъ мести отцу представляетъ одна румынская сказка. Царевичъ-змѣя женится; жена сожигаетъ змѣиную шкурку. Въ наказаніе онъ говоритъ ей, что она не разрѣшится отъ бремени до тѣхъ поръ, пока онъ неналожитъ на нее руку;—а самъ исчезаетъ. Вокругъ же ея наросло семь желѣзныхъ обручей. Послѣ долгаго времени они сходятся,—онъ налагаетъ на нее руку — обручи лопаются, и она рождаетъ сына—такого большого и сильнаго, что онъ тотчасъ же схватываетъ отца и—объ полъ! (Benfey P. Tantra 266—67).

(Haupt und Schmaler, Volkslieder der Wenden,II,266). Быть можетъ и тотъ *дивскій старјешина*, которому отдается мать молодца въ сербской пѣснѣ (Вука, II, 8) принадлежалъ первоначально къ той же огненной (свѣтлой) породѣ, сообразно и съ первоначальнымъ смысломъ самаго корня *див* (ср. Гануша—Deva, zlatovlasa bohine pohanskych Slavanuv, стр. 6 и 7) Считаю не лишнимъ напомнить также о приводимомъ у Куна указаніи на Зевса, обернувшагося змѣею для прельщенія Перзефоны, у которой и рождается отъ этого сынъ (Herabkunft, 166) Тамъ же приведено Куномъ еще и слѣдующее сопоставленіе: «скрытіе Перзефоны въ пещерѣ совпадаетъ съ пребываніемъ въ горѣ Гунлёдды (въ древнегерманскомъ или сѣверномъ миѳѣ), и Зевсъ приближается къ дѣвѣ, *оборачиваясь змѣею*, какъ Одинъ, про котораго прямо сказано, что онъ (I orms liki) *проползъ* въ этомъ образѣ *чрезъ отверзтіе*, далѣе же эти два миѳа (т. е. греческій и древне-германскій) расходятся въ слѣдующемъ: Одинъ, заслуживъ благосклонность дѣвицы, добываетъ отъ нея питье, въ греческомъ же миѳѣ питье это является само божествомъ ....Отъ соединенія молніи съ тучей (Зевса въ зміиномъ образѣ съ Перзефоною, живущею въ углубленіи облачной горы) зачинается дождь» (Діонисъ, только позже изъ бога *вина небеснаго* сдѣлавшійся богомъ обыкновеннаго *земного вина*). Далѣе указывается у Куна на соотвѣтствіе между греческимъ Діонисомъ и индѣйскимъ Сомою (зендскимъ Хаомою)—обожествленіемъ, по первичному смыслу, небеснаго, т. е. дождевого питья».

Послѣ всего этого не позволено ли будетъ *предположить* основное соотвѣтствіе нашего Волха, рожденнаго отъ союза змѣя съ дѣвою, ходящею *по горамъ и камнямъ* (=пещерѣ,) о соотвѣтствіи его съ тѣмъ плодомъ, какой родится отъ этого брака въ греческомъ миѳѣ? — Не объясняется ли этимъ и миѳическое сближеніе Волха съ *рѣкою* Волховымъ? Извѣстно, что рѣки земныя миѳически происходятъ отъ рѣки небесныхъ; тутъ, какъ и въ миѳическихъ сказаніяхъ о *горахъ*, происходило *низведеніе съ неба на землю.* [34]) Позже отождествленный съ земною, географически опредѣленною рѣкою Волховымъ, первоначально богатырь Волхъ могъ быть миѳомъ небесной рѣки — дождя (явленья столь сроднаго съ громомъ и тучей).

Возвращаясь къ отцу его, змѣю, приведу еще слѣдующее толкованіе г. Аѳанасьева: «тѣже самыя облака и тучи, въ которыхъ фантазія древняго человѣка видѣла змѣевъ — похитителей живой воды и золота солнечныхъ лучей, разсматривались и какъ внѣшній покровъ, одежда или шкура, въ которую облекаются свѣтлые боги и богини. Окутываясь темнымъ облачнымъ покрываломъ, боги какъ бы *оборачиваются въ змѣиную шкуру*, и принимаютъ на себя чудовищный змѣиный образъ. Представленіе это состоитъ въ тѣсной связи съ общимъ вѣрованіемъ въ оборотничество. Самъ богъ-громовникъ, засыпающій на зиму въ оцѣпененныхъ стужею тучахъ и до весны незримый въ блескѣ настоящей его красоты (т. е. перестающій блистать золотистыми молніями) на метафорическомъ языкѣ эпическихъ сказаній превращается въ змѣя

---

[34]) См. статью А. А. Потебни въ чтеніяхъ М. О. И. др. за 1865 г. кн. IV, стр. 263.



и скрываетъ свой свѣтлый ликъ подъ его безобразными формами» [35]). (*Огненный* же змѣй, прибавлю я отъ себя, долженъ, повидимому, указывать именно на блистаніе золотистыми молніями»).

Въ только что приведенныхъ словахъ г. Аѳанасьева отчасти затрогивается и вопросъ о миѳическомъ значеніи оборотничества вообще. Онъ разсматривается нашимъ миѳологомъ и на послѣднихъ страницахъ 1-й части, гдѣ, между прочимъ, сказано: «одно и то-же явленье природы, въ глазахъ древнихъ поэтовъ, могло принимать различныя, многоизмѣнчивыя формы, роднившія его съ звѣрями, птицами, гадами, рыбами»…. [36]) Но едва ли какое другое явленіе оказывается столь многоизмѣнчивымъ, всячески *оборачивающимся*, какъ облако. И самое оборотничество Волха не разгадывается ли миѳическимъ значеньемъ его, какъ *дожденоснагѡ облака?* Мы видѣли, что на него, въ нѣкоторыхъ сказаніяхъ, перенесены *змѣиныя* свойства его отца; но не легче ли же еще могли быть перенесены на него же и *облачныя* свойства его матери?

Оборотничество нашего богатыря съ особенными подробностями передается въ рыбниковской былинѣ Козьмы Романова (Петрозав. Уѣзда) [37]), гдѣ онъ, какъ уже сказано, названъ *Вольгою Буслаевичемъ* (чтѡ, конечно, неподлинно и замѣшалось изъ новгородскихъ былинъ о Васькѣ Буслаевѣ); въ пересказѣ же Пудожскаго Уѣзда онъ, какъ и у *Кирши*, *Всеславьевичъ* [38]). Въ пересказѣ К. Романова слышится отчасти вліяніе книжное—въ самомъ родѣ животныхъ, которыми Вольгȃ оборачивается, а именно *леваго* (льва) звѣря и науй - птицы [39]), — Въ этомъ то образѣ, а также и въ образѣ рыбы щучины, Вольгȃ еще до начала своего воинскаго похода занимается ловлею звѣрей, птицъ, рыбъ, при чемъ подробно описываются самые пріемы ловли и троекратно указывается на то, что дружина, все изготовившая, ничего однакоже не выловила, такъ что вся честь удачи достается ему одному. Изъ этого видно, что *звѣроловный* образъ Вольги выказывается тутъ съ особенною яркостью. Ловъ этотъ въ свою очередь могъ имѣть миѳическое основаніе. «Для каждаго естественнаго явленія, говоритъ г. Аѳанасьевъ, миѳологія даетъ по нѣскольку разнообразныхъ картинъ…. Въ глубочайшей древности всякій смотрѣлъ на явленія природы съ той точки зрѣнія, какая была ему ближе и понятнѣе по образу его жизни и занятій: пастухъ смотрѣлъ на нихъ именно, какъ пастухъ, охотникъ, какъ охотникъ, воинъ какъ воинъ… «Могучій громовникъ, говоритъ онъ другомъ мѣстѣ, какъ богъ, приводящій весну съ ея дождевыми облаками, представлялся *пастыремъ* миѳическихъ

[35]) Аѳанасьева, Поэтич. Воззрѣнія Славянъ, II, 621—622.

[36]) Поэтич. Воззр. I, 793 — 794. Ср. въ моей книгѣ о Русск. Слов. стр. 94. Доп., 6, 18.

[37]) Рыбник. ч. I, № 1.

[38]) Рыбник. ч. I, № 2.

[39]) «Науй-птица, замѣчаетъ собиратель, является и въ стихѣ о Егоріѣ Храбромъ и въ сказкѣ объ Александрѣ Македонскомъ, который на ней поднимается на небеса». Издатели же прибавляютъ къ этому: иначе ногъ и ногай; серб. ној, страусъ».—Чтѡ касается льва, то онъ нерѣдко является и во французскомъ эносѣ (см. выше стр. 82). О появленіи его въ герм. жив. эпосѣ см. Я. Гримма, R. Fuchs, XLVI.

стадъ... Въ Ведахъ громовержецъ Индра выгоняетъ на небесныя пастбища свои облачныя стада»... [40]). Соотвѣтственно этому, съ другой стороны, могъ возникнуть и образъ *ловца* небеснаго.... Облака предъ дождемъ и громомъ принимаютъ самыя разнообразныя и причудливыя очертанія, какъ бы усиленно предаются оборотничеству. Тучи, то больше, то меньше величиною, носятся по небу, какъ бы нагоняя одна другую, и болѣе объемистыя представляются какъ бы поглощающими другія. Все это простодушно-первобытному взгляду легко могло представляться происходящею на небѣ ловлею. Можно напомнить при этомъ о германскомъ миѳическомъ образѣ *дикой охоты* (см. выше стр. 180), который объясняется у г. Аѳанасьева тѣмъ, что «вѣтры какъ быстроногіе охотничьи псы, гонятъ передъ собою облака, которыя олицетворялись въ образѣ различныхъ животныхъ» [41]).

Чтò бы впрочемъ ни значилъ первоначально ловецъ-оборотень, онъ несомнѣнно имѣлъ какое нибудь миѳическое значеніе, и только позже сталъ представляться богатырскимъ образцомъ ловца. Въ пересказѣ изъ Пудожскаго Уѣзда образъ его уже менѣе полонъ, а одинъ изъ видовъ лова (птичій) даже совсѣмъ позабытъ. За то пересказъ этотъ отзывается большею древностью въ томъ отношеніи, что царство, противъ котораго отправляется Вольгà, называется тутъ *Золотою Ордою*, тогда какъ въ пересказѣ Романова это уже *Турецъ-земля*, съ которой мы стали имѣть дѣло позже. Впрочемъ именно эта-то вражеская земля и соотвѣтствуетъ тому весьма позднему казацкому наслоенью, о которомъ уже говорено было выше и которое въ пересказѣ К. Романова выражается слѣдующимъ заключительнымъ обращеньемъ къ дружинѣ:

Станемъ-те теперь полону подѣлять!
Чтò было надѣлу дорого
И чтò было надѣлу дешево?
Вострыя сабли по пяти рублей...
А добрые кони по семи рублей;
А только надѣлу было дешево—женскій полъ:
Старушечки были на полушечкѣ,
А молодушечки по двѣ полушечки,
А красныя дѣвушки по денежкѣ....
(Стихи 178—187).

Оба пересказа совершенно сходятся въ томъ, что ясно обрисовываютъ начальническія отношенья Вольги къ дружинѣ, говоря, что она, по его наказу, немедленно дѣлаетъ *дѣло повельное*. Впрочемъ господствующій въ нашемъ эпосѣ иной, на общинномъ началѣ основанный строй дружины отчасти сказывается и тутъ въ томъ, что Вольгà называетъ себя «атаманомъ—ихъ большимъ *братомъ*».

Но окончательно познакомиться со значеньемъ Вольги мы можемъ только по тѣмъ рыбниковскимъ былинамъ, въ которыхъ онъ сводится съ другимъ, еще не затронутымъ нами лицомъ — съ Микулой. Три пересказа, сюда относящіеся, составляютъ едва ли не лучшее открытіе г. Рыбникова, равно какъ и двѣ былины о Святогорѣ, имѣющія также соотношенье съ Микулушкой; это уже въ самомъ дѣлѣ *открытіе*, такъ какъ ни въ одномъ другомъ сбор-

---

40) Поэтич. Воззр. I, стр. 690, 724.

41) Поэтич. Воззр. I, 724.



никѣ Микулушки мы не встрѣчаемъ. Былина, записанная отъ Рябинина, начинается, какъ и другія, описаніемъ лова - оборотничества Вольги, но вскорѣ переходитъ отъ него къ другимъ, совершенно особымъ подробностямъ. Вольга связывается тутъ узами эпическаго родства съ Владиміромъ:

Жаловалъ его розный дядюшка,
Ласковый Владиміръ стольно-кіевскій
Тремя городами со крестьянами....

Если въ подобномъ *пожалованіи* слышится уже позднее, къ московской порѣ относящееся начало *помѣстной раздачи*, то самою отдаленною стариной — *самоличнымъ княжескимъ сборомъ дани* — отзывается далѣе слѣдующее:

Молодой Вольга Святославговичъ
Онъ поѣхалъ къ городамъ *за получкою*,
Выѣхалъ въ раздольице чисто поле,
Онъ услышалъ въ чистомъ полѣ ратая.
Оретъ въ полѣ ратай, понукиваетъ,
Сошка у ратая поскрипываетъ,
Омѣшики по камешкамъ почеркиваютъ.
(Рыбн. I, стр. 18).

До сихъ поръ передъ нами, повидимому, не болѣе, какъ простой земледѣлецъ, представляющійся дѣйствующимъ даже въ той именно мѣстности, гдѣ записана былина. Поскрипываніе его сошки и почеркиваніе по камнямъ омѣшиковъ, по замѣчанію издателей рыбниковскаго сборника, прямо указываютъ на ту каменистую почву, какою отличается Заонежье и Пудожскій Уѣздъ. — Но вслѣдъ за тѣмъ образъ оратая вдругъ выростаетъ предъ нами до размѣровъ сверхчеловѣческихъ:

Ѣхалъ Вольга до ратая
День съ утра онъ до вечера
Со своёю дружинушкой хороброей,
А не могъ онъ до ратая доѣхати.
Ѣхалъ Вольга ощё другой день,
Другой день съ утра до вечера,
А не могъ онъ до ратая доѣхати.
(Стихи 31—37).

Сходно съ этимъ и Илья старается, и также никакъ не можетъ догнать Сокольничка въ одной былинѣ у Кирѣевскаго:

Побѣжалъ онъ за добрымъ молодцемъ,
Бѣжалъ онъ день до вечера,
Нагналъ его на разсвѣтѣ свѣту бѣлаго,
На восходѣ солнца яснаго [42]).

Но быстрота Сокольничка объясняется все таки легче—тѣмъ, что онъ на конѣ богатырскомъ, у оратая же просто кобылка соловая, да и съ сохою ѣзда не можетъ быть скорая. Тѣмъ не менѣе богатырь Вольга ѣхалъ за нимъ не одинъ только день, какъ Илья за Сокольникомъ, и даже не два только дня,—

Ѣхалъ Вольга ощё третій день,
Третій день съ утра до пабѣдья,
Наѣхалъ онъ въ чистомъ полѣ ратая:
Оретъ въ полѣ ратай, понукиваетъ,
Съ края въ край бороздки пометываетъ,
Въ край онъ уѣдетъ, другого не видать.

Такимъ образомъ вся картина расширяется до громадныхъ размѣровъ. Передъ нами какъ бы поэтическое отвлеченіе той безпредѣльной равнины, какою разстилается вся вообще земля русская, и ее-то воздѣлываетъ оратай съ такою неутомимостью и такъ быстро передвигаясь изъ края въ край, что въ немъ можно видѣть только божественнаго оратая, божественнаго представителя и покровителя земледѣлія на Руси. [43]) Какъ въ образѣ Вольги замѣчаемъ мы черты, свойственныя божеству — представителю съ одной стороны звѣролов-

---

[42]) Кир. стр. 9, 10.

[43]) Подобнаго тому «милому богу», который «сѣетъ ячмень изъ серебрянаго лукошка» въ одной латышской пѣснѣ (у Спрогиса стр. 300).

наго, съ другой — воинскаго быта; такъ въ образѣ Микулушки скрывается божество, въ которомъ отъ прежняго физическаго значенія совершился соотвѣтственный переходъ къ нравственному значенію божества, заправляющаго земледѣльческимъ бытомъ. Его божественный родъ еще проглядываетъ до сихъ поръ сквозь тѣ черты все болѣе и болѣе усиливающагося очеловѣченія, какому со временемъ подвергаются всѣ безъ исключенія существа народнаго эпоса. Какъ бы попеременно представляется онъ въ теперешнемъ видѣ былины то сверхчеловѣческимъ существомъ, то простымъ человѣкомъ. Не болѣе какъ человѣка какъ будто бы видитъ въ немъ и Вольга̀, когда обращается къ нему съ тѣмъ привѣтствіемъ, съ какимъ обращаются у насъ, и у другихъ Славянъ, и теперь къ каждому, подвизающемуся въ полѣ крестьянину:

Божья ти помочь, ора̀таюшко!
Орать да пахать, да крестьянствовати,
Съ края въ край бороздки пометывати,
Коренья каменья вывертывати.

Человѣкомъ считаетъ себя и самъ Микула, когда, отвѣчая Вольгѣ, соглашается:

Мнѣ-ка надобно Божья помочь крестьянствовати!

И далѣе, какъ простой человѣкъ, самъ онъ спрашиваетъ Вольгу:

„Далеко ль, Вольга̀, ѣдешь, куда путь держешь?
Со своею дружинушкой хороброю?"
— Ай же ты, ра̀таю, ратаюшка!
Ѣду къ городамъ за получкою....
— Ай же, Вольга, Святославговичъ!
Я недавно былъ въ городни, третьёво дни,
На своей кобылкѣ соловой,
Увезъ я оттоль соли столько два мѣха
Два мѣха соли по сороку пудъ.
И живутъ-то мужики все разбойники,
Оны просятъ грошевъ подорожныихъ;
А былъ я съ шалыгой подорожною,
Платилъ имъ гроши подорожные;
Который стоя стоитъ, тотъ и сидя сидитъ,
А который сидя сидитъ, тотъ и лежа лежитъ.
А кой лежа лежитъ, тотъ и вѣкъ не стоитъ [44]).

Рядомъ съ первобытными, совершенно естественными условіями сельскаго быта, тутъ рисуются передъ нами условія городской, уже искусственной жизни. Они въ высшей степени возмущаютъ не понимающаго такой искусственности оратая. Сущимъ разбоемъ кажется ему это взиманіе *грошевъ подорожныхъ*—т. е. пошлины, и, становясь въ положеніе оборонительное, онъ выплачиваетъ городскимъ мужикамъ ударами, въ которыхъ сказывается чрезвычайная сила [45]). Услыхавъ про такую удаль оратая, Вольга приглашаетъ го съ собою;

Ай же, оратай, оратаюшко,
Поѣдемъ со мной во товарищахъ!
А ко славному городу ко Гурчевцу
И ко тымъ городамъ за получкою [46]),

Микула согласенъ, но вскорѣ потомъ оказывается, что не чета земледѣлецъ дружиннику! Только немного отъѣхавъ, Микула пріостанавливается:

---

[44]) Этотъ послѣдній стихъ пропѣтъ былъ г. Рыбникову Рябининымъ при вторичномъ сказываніи ему былины, и напечатанъ вмѣстѣ со многими другими дополненіями въ замѣткѣ къ III ч. сборника на стр. XLIV.

[45]) Нѣчто подобное встрѣчается въ той части chanson о Doon de Mayence, гдѣ рѣчь идетъ объ отрочествѣ Доона. Когда ему пришлось переѣжать черезъ рѣку, то перевощикъ потребовалъ у него денегъ. Доонъ воспитанный вдали отъ людей, въ одиночествѣ, не понялъ даже самаго слова—деньги. Кончается тѣмъ, что онъ, подобно Микулѣ, надѣляетъ, вмѣсто денегъ, побоями. (Doon de Mayence, ed. A. Pey, p. 81 et 82).

[46]) Эти два стиха тоже изъ замѣтки въ III ч., стр. XLIV.

Оставилъ я сошку въ бороздочкѣ
И не гля-ради прохожаго, проѣзжаго,
А гля-ради мужика деревенщины.
Сколнутъ (сколотятъ) омѣшики булатнии,
А и не чимъ мнѣ будетъ крестьяновати [47])
Какъ бы сошка съ земельки повыдернути,
Изъ омѣшиковъ земелька повытряхнути;
И бросить бы сошка за ракитовъ кустъ.

Онъ заботится о томъ, чтобы его сошка не пропадала, вотъ онъ и хочетъ припрятать ее за кустъ, чтобы тамъ ее отыскалъ умѣлый и нуждающійся въ ней *мужикъ деревенщина*—полупрезрительное названіе, которое могло только *прирости* сюда, прирости въ позднѣйшее время развившихся сословныхъ понятій, тогда какъ въ основѣ былины лежитъ еще поэтическое возвеличеніе *мужицкаго, деревенскаго*. Мы сейчасъ увидимъ, какою оказывается та сошка, о сохраненіи которой такъ заботится нашъ Микулушка.

Молодой Вольга Святославговичъ
Посылаетъ онъ съ дружинушки хоробрыя
Пять молодцевъ могучіихъ,
Чтобы сошку съ земельки повыдернули.

Но что тутъ пять, что тутъ десять, что тутъ даже и вся дружина хоробрая: подъ конецъ, послѣ неудачныхъ попытокъ сперва пяти, потомъ десятка *могучихъ воиновъ*, всѣ они ѣдутъ разомъ, и что же?

Оны сошку за обжи вокругъ вертятъ,
А не могутъ сошки съ земельки повыдернути,
Изъ омѣшиковъ земельки повытряхнути,
Бросить сошки за ракитовъ кустъ!

Но вотъ подъѣзжаетъ онъ самъ, совершенно одинъ, на своей кобылкѣ соловенькой.

Говорилъ оратай оратаюшко:
Ай же Вольга Святославовичъ!
То не мудрая дружинушка хоробрая [48])
Бралъ то онъ сошку одной рукой,
Сошку съ земельки повыдернулъ,
Изъ омѣшиковъ земельку повытряхнулъ,
Бросилъ сошку за ракитовъ кустъ.
(стихи 122—127).

Чудесныя свойства этой, недающейся цѣлой дружинѣ сохи нѣсколько болѣе разъясняются другими пересказами. Въ одномъ изъ нихъ (Пудожскаго Уѣзда, отъ Никифора Прохорова) соха отличается позолоченностью. Послѣ этого, если въ отрывкѣ былины про Микулушку, помѣщенномъ у г. Рыбникова въ ч. II, № 60, говорится, что соха его была изъ краснаго *дерева*, то это должно быть признано порчею. Далѣе въ томъ же отрывкѣ сказано, что *омѣшики были серебряные*, а *присошачекъ краснаго золота*. Обычное *эпическое прилагательное* золота именно и есть *красное*. Нужно-ли говорить, что вмѣсто *позолоченой* (въ пересказѣ Прохорова) первоначально должна была быть *золотая* соха? Это подтверждается галицкими колядками о *золотомъ плугѣ*.

Ей въ полѣ, въ полѣ, въ чистейкомъ полѣ!
Тамъ же ми й оре золотоі плужекъ
А затѣмъ плужкомъ ходить самъ Господь, и т. д. [49]).

Изъ того, что такимъ плугомъ управляетъ тутъ *самъ Господь* окончательно выясняется особенное священное значеніе этого плуга. Подъ христіанскимъ именемъ Господа должно тутъ скрываться иное, предшествовавшее ему существо—миѳическое, и такое же существо скрывается, надо думать, въ

[47]) И эти два стиха оттуда-же.

[48]) И эти три стиха оттуда-же.

[49]) Головацкаго пѣсни Галицкой и Угорской Руси, I, 89. Ср. II, 8, 23. Вмѣстѣ съ Господомъ ходящею за плугомъ и подающею сѣмена представляется въ тѣхъ-же колядахъ мать пресвятая богородица. Подъ ея именемъ должна тутъ скрываться богиня, соотвѣтствующая нѣмецкой Гольдѣ, которой приписывалось управленіе плугомъ (см. ст. г. Потебни о Ягѣ-Бабѣ въ чт. М. И. Общ. 1865 г. III, 89).

Микулѣ. У г. Аѳанасьева приводится также слѣдующій малороссійскій заговоръ (заимствованный имъ изъ Пам. Стар. Лит. III, 167), произносимый при собираніи лѣкарственныхъ травъ: «святій Адамъ оравъ, Іисусъ Христосъ насиння (сѣмена) дававъ, а Господь сіявъ» [50]) и т. д. Въ объясненіе я позволяю себѣ привести изъ другого моего труда [51]) слѣдующее: «благотворное вліяніе лѣтнихъ божествъ на занятія, которыми жилъ человѣкъ, должны были мало по малу развить представленье о томъ, что они какъ бы покровительствуютъ этимъ занятіямъ.... Сюда относятся обычныя занятія и пастушескаго и земледѣльческаго быта. Совершенная зависимость тѣхъ и другихъ отъ благотворныхъ явленій лѣта, т. е. лѣтнихъ боговъ.... очень легко развивала взглядъ на боговъ этихъ, какъ на учредителей, установителей тѣхъ и другихъ занятій. Но установители должны были сами научить человѣка этимъ занятіямъ, а потому они должны были первые заниматься ими. Такимъ образомъ явилось понятіе, что и въ ораніи поля подали первый примѣръ человѣку боги. Если же такъ, то ими же долженъ былъ быть изготовленъ и первый плугъ. Да отчего же и нѣтъ? Земной плугъ куется, а на небѣ происходило, по миѳическому воззрѣнію, выковываніе своего рода—молнійныхъ стрѣлъ и т. п. Въ миѳологіи всѣхъ индоевропейскихъ народовъ существуетъ исполинскій образъ *небеснаго ковача*. Вотъ этому то ковачу было приписано и изготовленіе перваго плуга. Но свѣтоносному ковачу естественнѣе всего имѣть дѣло съ золотомъ, и вотъ первый плугъ является золотымъ плугомъ». Въ нашихъ преданіяхъ образъ небеснаго ковача—изготовителя плуга скрывается уже подъ христіанскими именами. У г. Буслаева въ нѣкоторыхъ статьяхъ приводится южно-русское преданіе, въ которой юноша, спасающійся отъ змѣя, натыкается случайно на кузницу, въ которой ***св. Борисъ и Глѣбъ ковали первый плугъ для людей***. Вмѣсто Бориса и Глѣба, замѣчаетъ тотъ же почтенный ученый, по другимъ сказаніямъ является Козьма и Даміанъ» [52]) Эти послѣдніе, какъ извѣстно, сливаются у народа въ одно лицо—*Козмодемьяна*). Обозначая христіанскими именами миѳическія представленія о божествахъ земледѣльческихъ, народъ какъ бы думалъ отвратить отъ себя издавнія укоризны нашихъ христіанскихъ проповѣдниковъ, что въ навечеріе богоявленія *кликаютъ плугу*. [53]) Связь подобнаго кликанья съ первоначальнымъ колядным (солнечнымъ) праздникомъ прямо указываетъ на происхожденіе перваго плуга изъ страны горняго свѣта, почему и подобало этому дару небесъ быть свѣтозарнымъ.» Наши земледѣльцы, замѣчаетъ г. Котляревскій, и теперь въ созвѣздіи Оріона видятъ *плугъ*, а сербская пословица говоритъ: «рало и мотика свијет храни» и тѣмъ указываетъ на связь земледѣльческаго быта съ поклоненіемъ солнцу [54]). Но замѣчательно, что и на западѣ съ древнимъ празд-

---

[50]) Поэт. Воэр. Славянъ, I, 486.

[51]) Оп. Ист. Обозр. Р. Слов. I, 36—57.

[52]) Истор. Оч. Р. нар. Слов. и Иск. II, 107—108. См. его-же статью о Р. Богат. эпосѣ въ Р. Вѣстн. 1862 г. Сент., стр. 8 и 9.

[53]) Ст. Потебни въ Ч. М. И. О. 1865, II, 6.

[54]) Лѣтописи Тихонравова I, 127 — 128 (статья о Бергмановой книгѣ про Сивовъ).

никомъ возрожденія солнца (нашимъ колляднымъ) до сихъ поръ еще соединяются различные обряды съ плугомъ. Такъ въ Англіи въ первый понедѣльникъ послѣ крещенья употребительно хожденіе съ нимъ, при чемъ должна находиться старуха съ *большущимъ носомъ*. Этотъ послѣдній признакъ принадлежитъ во многихъ сказаніяхъ германской богинѣ плодоносящей тучи, Гольдѣ [55]), которой во многихъ мѣстахъ Германіи также приписывается золотой плугъ. Во многихъ углахъ германскаго міра на самое крещеніе въ комнату, гдѣ пляшутъ празднующіе крестьяне, вносится плугъ, и *пляска справляется вокругъ него* (это отчасти соотвѣтствуетъ нашему отечественному обычаю, соблюдаемому въ Галиціи, въ навечеріе новаго года класть на обѣденный столъ рукоять плуга). До сихъ поръ живя въ обрядахъ и пояснительныхъ къ нимъ преданіяхъ, *небесный плугъ*, съ другой стороны, получаетъ также и мѣстное пріуроченіе—какъ благодатное, въ тайнѣ пребывающее сокровище стародавней поры. Такъ про Унтерсбергъ въ Баваріи, а также и про будто бы провалившійся замокъ Сандау при Ландсбергѣ расказываютъ, что тамъ *лежитъ золотой плугъ* [56]).

Но если эпически обрядовая распространенность *небеснаго плуга* въ теперешнемъ европейскомъ простонародьи уже достаточно свидѣтельствуетъ объ издавности этого представленія, то мы имѣемъ даже свидѣтельство шестнадцатаго столѣтія о соотвѣтственномъ миѳическомъ вѣрованіи Чеховъ. Оно заключается въ повѣствованіи Гайка (Hajek) о выборѣ на чешскій княжескій столъ Премысла пахаря. Ѳ. И. Буслаевъ давно уже обратилъ вниманіе на это сказаніе. Когда Премыслъ, изъявивши согласіе, отправился съ посланными за нимъ, то быки, которыми онъ пахалъ, *поднялись на воздухъ*, и потомъ, опустившись, скрылись въ расщелинѣ скалы, которая, принявъ быковъ, сомкнулась [57]). Этому послѣднему обстоятельству соотвѣтствуетъ въ выше приведенномъ баварскомъ преданіи скрытіе чудеснаго плуга въ *горѣ* или *провалившемся замкѣ*; первоначальныя же горы преданій — *небесныя горы, тучи*, а *провалившіеся замки*—особый миѳическій образъ для тѣхъ же тучъ, разсѣвшихся и изчезающихъ съ источившимся изъ нихъ дождемъ. Но и поднимающіеся къ небу *быки* (первоначально *крылатые*, надо думать) это опять таки особый миѳъ тучи, миѳъ, существующій уже въ Вѣдахъ. Поднятію же этихъ небесныхъ быковъ, очевидно впряженныхъ въ плугъ, соотвѣтствуетъ въ нашей былинѣ (пересказъ Прохорова) то обязательство, что сошка Микулушкина, богатырски попихнутая, улетѣла къ подоблакамъ. Сообразно этому, въ отрывкахъ, записанныхъ отъ Т. Іевлева, и кобылка микулушкина, по прозвищу «подыми голова», заздынула (подняла) голову подъ оболоку. Но какъ быки Премысла, поднявшись на воздухъ, сейчасъ же и опускаются,

[55]) Вотъ ей-то и должно было соотвѣтствовать у Славянъ божество, скрывающееся (въ вышеприведенной колядкѣ) подъ именемъ богородицы.

[56]) Reinsberg Düringsfeld, das festliche Jahr in Deutschland, 15, 27. Буслаева письмо къ Соловьеву (Ист. Россіи, II, прилож., стр. 32). Panzer, Beitrag zur deutschen Mythologie, I, 295.

[57]) Буслаева, Р. богатырскій эпосъ въ Р. Вѣстникѣ 1862 г., Сент. стр. 10. Его же Оч. Р. Нар. Слов. и Иск. I, 372.

такъ и сошка микулушкина (у того же Прохорова) *пала о сыру землю, ушла сошка до рогача въ землю* (чѣмъ, конечно, опять указывается на ея великую тяжесть) [58]).

Черты соотвѣтствія между теперешними сказаніями и древнимъ чешскимъ, записаннымъ еще въ XVI в., заставляютъ уже удивляться необыкновенной памятливости народа въ дѣлѣ сохраненья преданій. Но удивленье наше усилится, если мы обратимъ вниманье на то, что еще въ V в. до Р. Х, записано было Иродотомъ преданіе, во многомъ оказывающееся сроднымъ съ только что разобранными, живущими и до сихъ поръ, преданіями о чудесномъ плугѣ. Относящееся сюда свидѣтельство Иродота находится въ IV книгѣ его исторіи, въ гл. 5 и 6, въ описаніи быта, нравовъ и вѣрованій Скиѳовъ, которымъ и принадлежитъ это предачіе. Въ настоящее время можно уже считать порѣшеннымъ вопросъ о племенныхъ связяхъ между Скиѳами и народами индоевропейскими [59]). — Послѣ этого становится понятнымъ и сродство между скиѳскими преданіями и многими арійскими, особливо-же между преданіями Славянъ и Германцевъ, которые ставятся современною наукою въ особенно близкое родственное соотношенье со Скиѳами. Въ скиѳскомъ преданіи,записанномъ у Иродота, упоминается также соха чудеснаго свойства, отличающаяся *жгучестью* (составлящею, во многихъ преданіяхъ, одно изъ миѳическихъ свойствъ небеснаго золота). Вслѣдствіе этой то жгучести, она и не даетъ къ себѣ прикоснуться *Князю-Щиту* и второму брату его, *Князю-Стрѣлѣ*, тогда какъ третій (младшій) братъ — *Князь Коло* преспокойно берется за эту соху и не обжигаетъ объ нее рукъ. [60]) Если въ двухъ первыхъ именахъ совершенно тутъ ясно соотношеніе съ воинскимъ бытомъ, то третье имя, по своей принадлежности лицу, умѣющему совладать съ орудіемъ земледѣльческимъ, должно заключать въ себѣ указаніе на земледѣльческій бытъ. *Коло*, т. е. *колесо*, тутъ по всей вѣроятности, pars pro toto, т. е. означаетъ *движущееся на колесахъ*, — телѣгу, всего вѣроятнѣе, какъ одну изъ принадлежностей селянина. Въ скиѳскомъ преданіи только своеобразно выражается таже неумѣлость богатырей-воиновъ совладать съ тѣмъ, что̀ такъ легко и сразу дается богатырю-земледѣльцу. Въ скиѳскомъ преданіи, сверхъ того, чудесная соха чудеснымъ же образомъ спадаетъ съ неба.

---

[58]) Отрывки Іевлева у Рыбн. II, № 1.(Книжск. Общ.).

[59]) Мнѣніе о Монголизмѣ Скиѳовъ, котораго держался и Нибуръ, а позже Нейманъ, лингвистически опровергается ак. Шифнеромъ и въ недавнее время К. Мюлленгофомъ, который въ своей статьѣ Ueber die Herkunft und Sprache, der pontischen Scythen und Sarmaten (Monatsber. der Berl. Ak. August 1866) доказываетъ что они были послѣдніе изъ Аріевъ, вышедшихъ въ Европу. Странно только, что, относя ихъ zunächst der Sippe der Iranier и признавая славянскій языкъ особенно близкимъ къ иранскому, онъ отрицаетъ славянизмъ Скиѳовъ!

[60]) Bergmann, les Ancêtres des peuples Germaniques et Slaves, Deuxième édition, Halle 1860, p. 19, 39, 64, 68. Имена братьевъ Бергманъ толкуетъ слѣдующимъ образомъ: «Hleipok-saïs, norr. Hlifarskoe ou Hlifav-skati. cf. lat. Clypeus (prince au bouclier): Arpo-ksaïs, sancr. Arva-kchayas grec-pers. arba-kès, arpha-kchad, norr. örvar-skoe (prince aux flèches); kola-ksaïs, sancr. hala-kchayas norr. hiul-skoe (prince à la charrue). Замѣчательно что умѣлымъ является тутъ младшій, т. е. именно тотъ, которому приписывается тоже свойство и въ общенародныхъ сказкахъ о трехъ братьяхъ. Отцемъ-же является въ скиѳскомъ преданіи Таргитаусъ — богъ сіяющаго солнечнаго круга.

По свидѣтельству того же Иродота, священная эта соха хранилась у Скиѳовъ въ святилищѣ—вмѣстѣ съ *золотымъ ярмомъ*, *золотымъ топоромъ* и *золотою чашею*, также ниспавшими съ неба. [61]) — *Съ обладаніемъ этими сокровищами связывалась царская власть:* такъ оно установлено было съ тѣхъ самыхъ поръ, когда старшіе братья уступили ее меньшому, Калаксаису, за умѣнье его владѣть золотою сохою.

Думаю, что Бергманнъ заходитъ слишкомъ далеко, предполагая, что отъ скиѳскаго миѳа о жгущемся плугѣ произошла нѣмецкая пословица—**sich die Finger verbrennen** (взяться не за свое дѣло). — Гораздо осторожнѣе Я. Гриммъ, который, указывая на существованіе и у Нѣмцевъ преданія о *жгучей боронѣ*, спускающейся съ неба на землю, объясняетъ ею (въ связи со скиѳскимъ жгущимся плугомъ) и тотъ древне-нѣмецкій обычай, по которому **gesetzliche weite** опредѣлялась киданіемъ плуга и непремѣнно *горячаго*. «Это было бы безсмысленно, если бы не основывалось на древнемъ преданіи, говоритъ Гриммъ. Орудіе должно быть еще горячо, т. е. совершенно ново, только что выковано, ибо для священнаго обихода орудіе должно непремѣнно быть новое». «Можно припомнить, продолжаетъ онъ, и особую форму *суда Божія* — ходить босикомъ по раскаленному плугу: древняя святость орудія земледѣльческаго тутъ еще ясно проглядываетъ». «Въ средніе вѣка еще употреблялись серебряные плуги въ видѣ приношеній въ церковь (Abgabe) (Mythologie, p. 243. Въ дополненіе ко всему этому Гриммъ еще замѣчаетъ, что Дельфійскій оракулъ предписывалъ копать серебряною лопатою [62]).

Отъ сроднаго различнымъ европейскимъ преданіямъ свидѣтельства Иродота о скиѳскомъ миѳѣ мы должны наконецъ перейти въ Азію. Тамъ, у древнихъ Иранцевъ, въ Зендъ-Авестѣ, время написанья которой обыкновенно относятъ къ VI в. до Р. Х., самое же содержаніе — къ отдаленнѣйшей незапамятной старинѣ; въ Зендъ Авестѣ, а именно во второй главѣ Вендидада, встрѣчаемъ мы миѳъ о томъ, какимъ образомъ свѣтлое верховное божество, Аурамазда, призывая Јиму быть кормителемъ, защитникомъ, и владыкою міра, надѣляетъ его двумя *золотыми* орудіями. Второе изъ нихъ одинаково переводится и Шпигелемъ и Виндишманомъ: это *шипъ*, игла (Stachel), что можетъ соотвѣтствовать въ нашей былинѣ *омѣшику* (желѣзному наконечнику сохи, какъ объяснилъ еще г. Буслаевъ); что же касается перваго золотого орудія, то Шпигель переводитъ *копье* (Lanze) но въ примѣчаніи указываетъ на иной совершенно переводъ Рота — *вѣялка* (Wanne oder Schwinge) [63]). Виндишманъ же въ этомъ отношеніи стоитъ какъ бы въ серединѣ между обоими другими: копье переходитъ у него въ *лопату* (годящуюся для вѣянья). Максъ Дункеръ въ своей «Исторіи Арієвъ» слѣдуетъ Виндишману, говоря, что Аурамазда далъ Јимѣ *золотую лопату* (плугъ, прибавляетъ онъ въ скобкахъ [64]) и *золотой шипъ* (*омѣшъ*). Во всякомъ случаѣ оба орудія

---

61) ... ἐκ τοῦ οὐρανοῦ φερόμενα χρύσεα ποιήματα, ἄροτρόν τέ καὶ ζυγὸν καὶ σάγαριν καὶ φιάλην, πεσεῖν εἰς τὴν Σκυθικήν.
(Herod. IV, 5, 6)

62) ἀργυρέᾳ εὐλάκᾳ εὐλάξειν (Thuc,, V, 16) (J. Grimm, Gesch d. Deutschen Sprache, I, 42).

63) Spiegel, Avesta, I, 71.

64) Max Duncker, Geschichte der Arier in der alten

вмѣстѣ должны служить земледѣлію, такъ какъ далѣе Јима копаетъ тутъ (копьемъ-ли, лопатой-ли) землю и прокалываетъ ее шипомъ, вслѣдствіе чего она разступается, подается въ ширь. Согласно съ этимъ и заключаетъ Дункеръ: «Аурамазда, вызвавъ къ жизни и міръ и людей, передаетъ Јимѣ *золотой плугъ*. Такимъ образомъ само небо сообщило и предписало людямъ способъ воздѣлыванья земли». Совершенно также понимаетъ это и нашъ отечественный ученый, многоуважаемый К. А. Коссовичъ [65]). Послѣ всего этого, кажется, мы вправѣ окончательно заключить, что преданіе о *золотомъ, происходящемъ съ небесъ, орудіи земледѣльческомъ* восходитъ къ самой глубокой старинѣ арійской.

При такомъ издавнемъ происхожденіи существуя и до сихъ поръ въ крѣпкой народной памяти у Славянъ и Германцевъ, преданіе это, съ другой стороны, живетъ въ Южной Азіи и даже выражается особымъ *обрядовымъ дѣйствіемъ* у Сіямцевъ. А. Бастіанъ въ своей любопытной статьѣ о Сіямскомъ праздничномъ кругѣ (der Siamésische Cyklus der Jahresfeste) расказываетъ про справляемый тамъ въ концѣ апрѣля *праздникъ плуга*. Одинъ изъ сановниковъ, носящій званіе *завѣдывающаго земледѣліемъ* (Minister des ackerbaues), въ высокомъ вѣнцѣ и въ блещущемъ золотомъ платьѣ торжественно приносится на носилкахъ, и, сходя съ нихъ, среди многочисленнаго, собравшагося отовсюду народа, берется за *позолоченный* и цвѣтами разукрашенный *плугъ*, запряженный двумя буйволами Спереди плугу этому приданъ образъ миѳической *птицы* Гаруды, въ чемъ едва ли не сохранился намекъ на способность этого плуга подниматься, какъ бы на крыльяхъ, подъ облака въ ту небесную высь, откуда онъ происходитъ. [66]) Вотъ этотъ то плугъ девять разъ проводится по полю упомянутымъ сановникомъ, надъ которымъ при этомъ раскидывается золотой зонтикъ; за нимъ же слѣдуютъ престарѣлыя сановныя женщины и посыпаютъ сѣменами проводимыя борозды [67]). Какъ всѣ вообще обряды Сіамцевъ, такъ и этотъ,—буддійскаго происхожденія, а въ буддизмъ, по замѣчанію нашего многоуважаемаго ученаго Васильева, многое перешло цѣликомъ изъ арійскихъ народныхъ преданій (см. выше стр. 135).

Замѣчательное сходство съ буддійскимъ обрядомъ Сіамцевъ, сходство въ свою очередь свидѣтельствующее о древней эпической основѣ этого обряда, представляетъ средневѣковой расказъ *о золотомъ плугѣ короля Константинопольскаго Гугона*, въ англонормандской поэмѣ о путешествіи Карла Великаго въ Іерусалимъ. Карлъ застаетъ тутъ Гугона пашущимъ, сидя на золотомъ стулѣ, везомомъ конями. Въ рукахъ у него былъ золотой прутъ, подъ ногами дорогая скамейка, руки—въ красивыхъ перчаткахъ, надъ нимъ распростертъ навѣсъ. Не смотря однакоже на такую пышность въ обстанов-

---

Zeit 454 457. (Geschichte des Alterthums, II r Band, 3-te Auflage, Leipzig 1867).

[65]) Онъ переводитъ: ligonem aureum spiculumque (золотую мотыку и шипъ), а въ примѣчаніи говоритъ, что Юсти переводилъ первое слово—aratrum (плугъ), второе же mucro (острее). «Я готовъ, заключаетъ онъ, присоединиться къ этому ученому въ томъ отношеніи, что тутъ разумѣется земледѣльческое орудіе», (Kossowicz, Decem Zendavestae excerpta, Par. 1865, p. 144

[66]) Замѣчательно, что птичій образъ придается сохѣ и въ одной русской загадкѣ: «летѣла пава, сѣла на припалѣ, разсыпала перья по всему полю». (Даля Посл., 1072).

[67]) Internationale Revue, Januar 1867, S. 58—59. Какъ

кѣ, король, по окончаніи дневной работы, самъ выпрягъ воловъ и оставилъ плугъ въ полѣ. Когда же Карлъ Великій замѣтилъ ему, что плугъ весь сіяетъ золотомъ и его легко могутъ украсть, то Гугонъ отвѣчалъ: «въ странѣ моей нѣтъ воровъ; онъ могъ бы простоять здѣсь семь лѣтъ, и никто бы его не сдвинулъ съ мѣста» [68]). Конецъ, если немного вдуматься, напоминаетъ отчасти наше сказаніе о Микулѣ и объясняется имъ. Стоитъ только признать это отсутствіе воровъ за искусственное присочиненье; настоящая же, первоначальная причина должна заключаться тутъ въ томъ, что плугъ этотъ *не дается въ руки*. Основа въ обоихъ преданьяхъ, какъ и въ выше разобранномъ скиѳскомъ, должна быть одна—но какимъ же образомъ могло оно быть пріурочено къ Византіи, къ византійскому королю, котораго вся обстановка, повидимому, не допускала и малѣйшаго намека на земледѣльческое происхожденіе власти? Можно бы думать, что это преданіе занесено въ Константинополь Славянами, а оттуда перешло въ средневѣковую поэму. Но съ другой стороны роскошная обстановка пашущаго и самый навѣсъ надъ нимъ, совершенно чуждые какъ славяно-русскому, такъ и скиѳскому преданію, скорѣе указываютъ на то, что расказъ о Гугонѣ по крайней мѣрѣ испыталъ на себѣ вліянье расказовъ восточныхъ, которые несомнѣнно заходили въ Европу и замѣшивались въ европейскій эпосъ, но никакъ не могли послужить для него не только единственною, но и главною основою.

Какъ вообще въ Европу, такъ и къ намъ (а отчасти, по сосѣдству съ Азіей, къ намъ даже по преимуществу) могли заходить и замѣшиваться въ нашъ эпосъ кое какія черты изъ сказаній восточныхъ. Такъ, напримѣръ тотъ зонтикъ, носимый надъ сіамскимъ лицомъ обрядовымъ и попадающійся чрезвычайно часто въ восточныхъ сказаніяхъ — онъ встрѣчается въ нѣкоторыхъ русскихъ былинахъ, гдѣ оказывается передѣлавшимся въ большущій подсолнечникъ (какъ увидимъ мы въ своемъ мѣстѣ). Но, что̀ касается нашихъ сказаній о *чудесномъ плугѣ и пахарѣ*, то они совершенно чужды того *роскошнаго* восточнаго отпечатка, который отразился, какъ видѣли мы, и на средневѣковой поэмѣ. Нашъ образъ чудеснаго пахаря, при всей своей сверхчеловѣческой основѣ, такъ простъ, такъ соотвѣтствуетъ именно нашей земледѣльческой обстановкѣ, такъ тѣсно связанъ именно съ нашей природой, и даже съ природой той *сѣверной мѣстности*, въ которой записаны рыбниковскія былины, что тутъ такъ и прыщетъ въ глаза самымъ яркимъ своеобразіемъ —при всей общераспространенности *основы эпической* [69]). Въ сказаніи нашемъ, какъ не трудно замѣтить, съ особенной яркостью выказывается та *неприступность сохи*, дающейся только чудесному пахарю, которая совершенно затемнена и перетолкована въ англо-нормандской поэмѣ, а въ древнемъ преданіи скиѳскомъ выражается *жгучестью*. У насъ же вмѣсто этого послѣдняго свойства является тяжесть сохи микулушкиной. Предметы не легко подни-

—————

сановникъ за плугомъ долженъ представлять тутъ первоначальное миѳическое существо— земледѣльческаго бога, такъ этими женщинами должны были замѣниться какія нибудь богини, подобныя той, которая въ нашей колядѣ скрывается подъ Богородицей.

[68]) Keller Altfranzösische Sagen I, 37—38. Ср. J. Grimm Geschichte der Deutschen Sprache, 1, 42.

[69]) Понятно послѣ этого, почему г. Стасовымъ не затронуты былины о Микулѣ и почему А. Ѳ. Гильфердингъ въ своей мастерской сатирической статьѣ

маемые, требующіе особенной силы-сноровки—вообще не большая рѣдкость въ эпосѣ. Къ нимъ въ извѣстномъ смыслѣ долженъ быть отнесенъ и тотъ мечъ въ Вользунга-Загѣ, который удалось вытянуть изъ дуба только Зигмунду, и удалось даже безъ особеннаго усилія (см. выше стр. 118),

Но тяжесть меча зависитъ тутъ отъ того, что онъ глубоко засаженъ въ дубъ Одиномъ (чему, впрочемъ, соотвѣтствуетъ въ пересказѣ Прохорова то обстоятельство, что соха Микулы, упадая изъ подъ облаковъ, уходитъ въ землю до рогача). Въ той же самой англо-нормандской поэмѣ о путешествіи Карла Великаго въ Іерусалимъ и Константинополь, въ которой выставляется пашущимъ король константинопольскій, въ числѣ различныхъ диковинокъ этого короля упоминается клубокъ, съ которымъ не могутъ сладить сто человѣкъ и который однако же поднимается одною рукою и закидывается на дворецъ Вильгельмомъ Оранжскимъ (однимъ изъ извѣстнѣйшихъ франкскихъ богатырей, какъ мы уже знаемъ) [70]). Съ другой же стороны тяжелые предметы встрѣчаются и въ тюркскихъ сказаніяхъ. Такъ въ одной пѣснѣ Лебедскихъ Татаръ упоминается *тяжелая уда*, не дающаяся даже такимъ силачамъ которые въ состояніи подбросить быка. Въ одной богатырской пѣснѣ Сагайцевъ упоминается *тяжелая* и *жгучая стрѣла* (съ многочисленными сказаніями о *тяжеломъ лукѣ* мы еще будемъ имѣть случай встрѣтиться). Наконецъ въ одной пѣснѣ Шоровъ старуха рождаетъ ребенка, лежащаго въ ямѣ подъ *семью пластами* (unten in der siebenschichtigen grube — по переводу Радлова). За нимъ посылаютъ сперва *семь*, потомъ *девять* человѣкъ, и они не могутъ поднять ребенка, а старуха поднимаетъ его, какъ ничего [71]).

Не трудно замѣтить, что ото всѣхъ этихъ *тяжелыхъ предметовъ* рѣзко отличается наша *соха*, отличается по своей *земледѣльческой тяжести*, недоступной для цѣлой военной дружины Вольги и для самого ея предводителя, не смотря на его одолѣвающую цѣлое царство, чародѣйную *хитрость-мудрость*.

Но способность, сказывающаяся не въ комъ другомъ, какъ именно въ Микулѣ—пахарѣ совладать съ тяжестью, оказывающеюся не по силамъ и существамъ съ величайшимъ избыткомъ силъ—раскрывается и еще изъ одной былины, описывающей встрѣчу Микулушки со Святогоромъ. Про послѣдняго уже было говорено, что ему самому грузно отъ своей силушки, что если бы онъ тяги нашелъ, такъ и всю бы землю поднялъ. Но вотъ

Наѣзжаетъ Святогоръ въ степи
На маленькую сумочку переметную:
Беретъ погонялку, пощупаетъ сумочку не скрянется,
Двинетъ перстомъ ее—не ворохнется,
Хватитъ съ коня рукою—неподымется:
„Много годовъ я по свѣту ѣзживалъ
А эдакова чуда не наѣзживалъ:
Маленькая сумочка переметная
Не скрянется, не ворохнется, не подымется“
Слѣзаетъ Святогоръ съ добра коня.
Ухватилъ онъ сумочку обѣма руками,
Поднялъ сумочку повыше колѣнъ:
И по колѣна Святогоръ въ землю угрязъ,
А по бѣлу лицу не слезы, а кровь течетъ,

противъ его «происхожденья былинъ» выставилъ на первое мѣсто не затронутаго нашимъ Венееемъ Микулушку.

[70]) Gautier, les epopées Françaises II, 278. Съ чудеснымъ клубкомъ удается тутъ совладать воинственной личности. И у насъ въ пересказѣ Прохорова тяжелую сошку поднимаетъ не кто другой, какъ Вольга; но это, какъ не трудно замѣтить по сличенью съ другими двумя пересказами, очевидно, искаженіе, порча.

[71]) Radloff, Proben, I, 332, 376 II, 14—15.



Такіе же точно тяжелые, *по колѣна угрязающіе* великаны встрѣчаются и въ германскихъ преданіяхъ [72]; въ нѣкоторыхъ великаны замѣнены *чертями*. Сверхъ того угрязаніе Святогора напоминаетъ Рустема, тѣло котораго, *подобное горѣ*, не только не могла сносить земля, но и камень не могъ сносить [73]. Въ силу повсемѣстнаго единства законовъ первобытной дѣятельности воображенія, и у нашихъ инородцевъ сибирскихъ сказываютъ про богатырей, глубоко угрязающихъ (иногда и совсѣмъ проваливающихся) въ землю (обыкновенно во время боя) [74].

Крестьянка, передававшая г. Рыбникову былину про Святогора (святозерской волости, деревни Пятокъ, по имени Дмитріева), скомкала конецъ былины, позабыла о томъ, что̀ должно слѣдовать послѣ этого. Святогоръ, по словамъ ея, тутъ отъ натуги и умеръ, что̀ объяснила она наказаньемъ ему отъ Господа за похвальбу. [75] Подобная степень охристіанствованія должн относиться уже къ сравнительно позднему времени.

Впрочемъ такое же охристіанствованіе замѣтно и въ соотвѣтственномъ болгарскомъ преданіи о Маркѣ кралевичѣ. Однажды онъ похвалился, что подниметъ на копье всю землю. Вотъ и послалъ къ нему Господь ангела, велѣвъ наполнить землею торбу, и дана была этой торбѣ тяжесть, равная тяжести цѣлой земли. Сталъ ангелъ Господень на дорогѣ, по которой долженъ былъ идти Марко, и сказалъ ему: «подними ко мнѣ эту торбу». Марко едва могъ поднять ее на рамена ему при помощи своего копья, и съ этихъ поръ пропала у Марка сила [76].

Но у насъ сохранился прозаическій пересказъ, въ которомъ нѣтъ еще охристіанствованія [77]. Святогоръ встрѣчается тутъ съ прохожимъ, котораго точно также не можетъ догнать, какъ Вольга Микулушку не смотря на то, что Святогоръ ѣдетъ во всю прыть, а прохожій просто идетъ себѣ, да идетъ, и все остается впереди. Прохожій наконецъ пріостанавливается — уже по просьбѣ очевидно уставшаго Святогора. «Пріостановился прохожій, снималъ съ плечъ сумочку и кладывалъ сумочку на сыру землю. Говоритъ Святогоръ богатырь: «что̀ у тебя въ сумочкѣ?» — А вотъ, подыми съ земли, такъ увидишь.» Сошелъ Святогоръ съ добра коня, захватилъ сумочку рукою, не могъ и пошевелить: сталъ здымать обѣма рукама, только духъ подъ сумочку могъ подпустить: а самъ по колѣна въ землю угрязъ. Говоритъ богатырь таковы слова: «что̀ это у тебя въ сумочку накладано? силы мнѣ не занимать стать, а я и здынуть сумочку не могу».—«У сумочкѣ у меня тяга земная.»—«Да кто же ты есть, и какъ тебя именемъ зовутъ, звеличаютъ какъ по изотчины?»—«Я есть Микулушка Селяниновичъ.» Если прохожій оказывается тѣмъ же Микулушкой, то и эта, подчимаемая имъ сумочка съ тягою земною, должна быть сродни той тяжелой сошкѣ, которой не въ силахъ поднять дружина Вольги? Какъ эта дружина сохи, такъ сумочки съ тягою не

---

[72] J. Grimm, D. Mythol., 3 Ausg. 497, 521.
[73] Mohl, Livre des rois, II, 167.
[74] Radloff, Proben, II, 80, 136, 159, 336.
[75] Рыбн. I, стр. 33.
[76] Миладиновыхъ Болг. пѣсни, 528.
[77] Рыбн. I, стр. 39—40, въ выноскѣ.



въ силахъ поднять Святогоръ, котораго земля черезъ силу носитъ; между тѣмъ ту-же тягу даже безъ особеннаго труда переноситъ Микула—оратаюшко, вѣчно имѣющій дѣло съ сохою. Не ясно ли послѣ этого, что подъ загадочной тягой должна разумѣться не тяжесть въ ея обыкновенномъ, естественномъ смыслѣ, а скорѣе та тягота, которая заключается въ трудѣ надъ землей и выдерживается не столько силою мышцъ, сколько силою терпѣнья, умѣлости и устоя. Кстати будетъ привести сербское названіе земледѣльца: *тежакъ* сходное съ древне-русскимъ *тяжарь* [78]). Но еще замѣчательнѣе древне чешское zeme tehy прямо подходящее къ *земной тягѣ* [79]).

Намъ уже встрѣтился выше тяжелый клубокъ (pelotte), который удалось поднять только Вильгельму Оранжскому. Но такъ какъ поднимающій тутъ воинственное лицо, ни мало не соотвѣтственное Микулѣ, то ясно, что и этотъ клубокъ не имѣетъ ничего общаго съ микулиной сумочкой,

Въ германской миѳологіи упоминается Speisebündel (узелокъ съ пищею) великана Скримира (о которомъ свидѣтельствуетъ младшая Эдда), только развязать этотъ узелокъ не удается тутъ существу, и вообще уступающему въ силахъ великанамъ, а именно Тору, который, соотвѣтственно этому, и такъ малъ, что ночуетъ въ перчаткѣ Скримира. Тутъ, такимъ образомъ, нѣтъ ничего удивительнаго, тогда какъ безсиліе въ подобномъ случаѣ такого силача исполина, какъ нашъ Святогоръ, указываетъ именно на потребность для этого силы особенной, а не просто тѣлесной. У насъ такая сила принадлежитъ, какъ видѣли мы, Микулушкѣ, на болѣе человѣческіе размѣры котораго указываетъ и это уменьшительное имя, и уменьшительное же названіе его лошади—*кобылкою*, а равно и сохи его *сошкою* и сумы—*сумочкой*. [80]) И Торъ, какъ извѣстно, получилъ у Германцевъ значеніе божества земледѣльческаго: но Тору не приписываютъ, относительно узелка Скримира, той силы, какою одаренъ у насъ, сравнительно со Святогоромъ, Микулушка. [81]) Есть впрочемъ шведское народное преданіе о Торѣ, отчасти подходящее къ нашему о Микулушкѣ со Святогоромъ. Вышелъ онъ однажды со своимъ слугою Тіальфи и повстрѣчалъ одного великана, который, не узнавъ его, сказалъ ему, что идетъ на небо, чтобы сразиться съ Торомъ. «Не слишкомъ ли много ты берешь на себя?» вопросилъ его Торъ: «тебѣ не поднять и этого небольшого камня». И точно, какъ ни силился великанъ, а не могъ поднять камешка,—такую тяжесть ему придалъ Торъ. Между тѣмъ слуга Тора, нагнувшись, поднялъ камень, какъ какую нибудь перчатку. Тутъ только великанъ узналъ Тора и ринулся на него съ такою силою, что у него подогнулись колѣни; но Торъ поднялъ свой молотъ и убилъ великана [82]).

---

[78]) Аристова, промышленность древней Руси, 57, въ выноскѣ со ссылкою на слов. И. И. Срезневскаго, которымъ г. Аристовъ пользовался въ рукописи. Впрочемъ, уже въ словарѣ А. Х. Востокова (II, 482) приведены примѣры употребленія этого слова въ подобномъ смыслѣ: «и начять Нои тяжарь на земли быти ἄνθρωπος γεωργός. Иди бчелѣ, и увѣжь яко тяжарь есть ἐργάτης ἐστι. Тамъ же и слово тяжатель переводится также γεωργός agricola, ἐργάτης operarius. Тяжати ἐργάζεσθαι opus facere.

[79]) H. Jirecek, Das Recht in Bohmen und Mahren, I, 34. «Работать по славянски — teziti... У Далматинцевъ этотъ глаголъ до сихъ поръ еще обозначаетъ воздѣлывать поле (teg — jugum) Древне-чешское zeme tehy прямо напоминаетъ teziti.»

[80]) Въ ск. Аѳан. V, 87 мальчикъ съ пальчикъ—«Микулка четвертной.»

[81]) Simrock, Die Edda 2-e Ausg., S, 308—309. Uhland's S. vi, 38—39.

[82]) Grimm, D. Mythol, 3-e Ausg., 512. Г. Аѳанасьевъ,

Всѣ подробности встрѣчи Святогора съ Микулою, передаются, даже съ дополненіями, въ былинѣ о Самсонѣ богатырѣ Петрозаводскаго Уѣзда, Кижской Волости, отъ Т. Г. Рябинина).

Славный Самсонъ, богатырь свято-руськіий
Ѣхалъ на добромъ конѣ богатырскоемъ
И усмотрѣлъ ѣдучись по чисту полю
Дородня добра молодца *пѣхотою*,
Какъ припуститъ скакать коня богатырскаго
Во всю силу лошадиную,
Идетъ добрый молодецъ пѣхотою,
Во слѣдъ не останется,
Поѣдетъ Самсонъ тихою вольготою,
Добрый молодецъ во слѣдъ не наступываетъ.

И такъ, этотъ чудесный молодецъ одаренъ какою-то особенною способностью—не только не быть обогнаннымъ, но и не обгонять другихъ, сколько бы они ни старались отстать отъ него. У молодца является нѣсколько дальше и сумочка—но опять съ особой подробностью:

Супротивъ ихъ явился камень синенькой,
Камень синенькой, [83]) плита зеленая.
Этотъ удаленькій дородный добрый молодецъ
Полагаетъ онъ малыя сумочки
Со своихъ плечь со могучіихъ
На эту на плиту на зеленую....

Имѣетъ ли тутъ этотъ камень какую нибудь связь со знаменитымъ миѳическимъ камнемъ латыремъ,—довольно трудно рѣшить, такъ какъ черта эта встрѣчается только въ одной, занимающей насъ теперь былинѣ [84]). Но камень долженъ имѣть тутъ особенное значеніе, потому что проводится черезъ всю былину. Когда добрый молодецъ приглашаетъ Самсона:

Отвѣдай взять мою ношицу
На свои на плечи на могучіи
И побѣжать по славному раздольицу чисту полю....

То Самсону куда ужъ бѣжать...

Ни какъ этыя сумочки малыя
На камешкѣ не сворохнутся.
Принимался онъ обѣма ручкамы бѣлыми,
Сумочки на камешкѣ не сворохнутся.
Принимался онъ со всей своей силой богатырскою
И припалъ своей грудью бѣлою
Ко этымъ ко сумочкамъ ко маленькимъ,
И схватилъ всей силой великою;
По колѣну онъ угрязнулъ во зеленъ камень,
Столько могъ подпустить малый духъ
Подъ эти подъ сумочки подъ малыя.
(Рыбн. Ш, стр. 2)

Очевидно, что тутъ этотъ камень служитъ только къ усиленному выраженію тяжести самого Самсона, котораго такимъ образомъ не только земля, но и камень не сноситъ.

Черезъ это наша былина соприкасается съ цѣлымъ рядомъ преданій о *камняхъ, въ которыхъ выдавлены слѣды великановъ*. Такія преданья въ славянскомъ племени имѣются, напримѣръ, у Болгаръ—о слѣдахъ Марка Кралевича [85]). Цѣлый рядъ подобныхъ же сказаній преимущественно германскаго племени указывается у Я. Гримма въ его миѳологіи; тутъ упоминаются

---

приводя это преданіе въ своихъ «Поэтическихъ Воззрѣніяхъ Славянъ» ч. II, стр. 682 ошибочно говоритъ, что оно древнее скандинавское.

[83]) Трудно сказать, имѣетъ ли этотъ синій цвѣтъ какую нибудь связь съ обычными выраженіями народныхъ заговоровъ: «въ синемъ морѣ синій камень» и т. д.

[84]) Замѣчу однакоже, что въ одномъ заговорѣ встрѣчается слѣдующее: «на морѣ на оціанѣ камень кипарисный (обыкновенно же камень заговоровъ—это латырь камень), отъ моря оціана идетъ мужичокъ старый, несетъ суму котомку и т. д. (Зап. В. И. Ламанскимъ. Рукоп. данныя Этногр. Отд. Геогр. Общества).

[85]) Миладиновыхъ болгарскія пѣсни, стр. 528.

слѣды, оставленные не только *ногами*, но и *руками* великановъ. [86]) Ганъ въ своемъ изданіи новогреческихъ сказокъ отмѣчаетъ, что близъ Каристо, по дорогѣ къ горѣ св. Ильи (Оха), показываютъ въ скалѣ слѣды рукъ и ногъ Драка (обыкновенное имя великана въ новогреческихъ пѣсняхъ и сказкахъ) [87]) Со всѣми этими преданіями сходны и сохранившіяся у народа совершенно иного племени, а именно у Мордвы, богиня которой, Анге-Патяй, также оставляетъ глубокіе слѣды въ камняхъ; или же у различныхъ сибирскихъ народцевъ, знающихъ не одного угрязающаго въ камень богатыря [88]). Распространенныя по разнымъ мѣстностямъ, преданія эти очень часто представляются уже охристіанствованными, т. е., мѣсто великановъ въ нихъ занимаютъ святые, слѣды которыхъ, указываемые тамъ или здѣсь, служатъ предметомъ особаго почитанія.

Въ одной изъ *сказокъ* объ Ильѣ Муромцѣ (воспом. Даля въ прилож. къ 1 вып. пѣсень Кирѣевскаго) отъ его тридцатилѣтняго сидѣнія сиднемъ оказывается въ печи такая глубокая яма, что Илья совершенно угрязъ въ нее и видна была только борода съ головою. Это своеобразный отзвукъ тѣхъ же сказаній о *глубокихъ слѣдахъ*. Такъ и въ одномъ нѣмецкомъ великанша, сѣвъ на скалу, выдавливаетъ въ ней яму [89]). Но подъ великаншей она образуется вдругъ, Илья же—богатырь не великанскаго старшаго, а младшаго, сравнительно мелкаго поколѣнія, выдавливаетъ яму только въ силу постояннаго сидѣнія въ продолженіи тридцати цѣлыхъ лѣтъ.

Замѣчательно, что у дикарей острововъ Южнаго Моря (а именно на островѣ Самоа) причина образованія двухъ огромныхъ впадинъ въ одной скалѣ объясняется тѣмъ, что въ нее угрязъ обѣими ногами великанъ Тіити, когда, понатужась, оторвалъ отъ земли небо и утвердилъ его въ вышинѣ [90]). При одинаковой тяжеловѣсности, онъ былъ счастливѣе нашего Самсона. Возвращаясь къ этому послѣднему, замѣчу, что далѣе, самъ удивляясь своей неумѣлости, онъ восклицаетъ:

Отъ роду я эдакой ношицы не здымывалъ:
Кто ты есь какой человѣкъ,
Какого ты рода племени,
Отъ куда идешь, куда путь держишь?
Посланъ я Ангелъ отъ Господа.
Поотвѣдать твоей силы великія:
Погружена вся тягота во эты во сумочки.
(Стихи 51—58).

Этотъ ангелъ, являющійся Самсону, напоминаетъ болгарское сказаніе о Маркѣ Кралевичѣ (см. выше), въ слѣдующихъ же за тѣмъ словахъ обрисовывается сверхчеловѣчное самосознаніе силача Самсона, ставящее его въ одинъ разрядъ съ южноморскимъ великаномъ Тіитіи.

„Аще въ небеси было бы кольцо,
И притянута оттуда цѣпь желѣзная,
Притянулъ бы я небо ко сырой земли
И своей бы силой богатырскою
Смѣталъ бы земныхъ со небесными;
И есть бы было кольцо въ матушки сырой земли.
Могъ бы я повернуть матушку сыру землю
Повернулъ бы краемъ къ верху
И опять перемѣталъ бы земныхъ съ небесными.
(стихи 60—68).

[86]) J. Grimm, D. Mythol, 510, 512, 513, 520 по 3-му изданію.

[87]) Hahn, Griechische und Albanesische Marchen, I,39.

[88]) Мельникова Очерки Мордвы въ Р. Вѣстн. 1867 г. окт., стр. 399. Radloft Proben, I, 188, 418.

[89]) Grimm, D. Mythol, 503. Скандинавскій богатырь Старкадръ выдавилъ глубокую впадину въ скалѣ, на которую опустился, изнемогая отъ ранъ; эту впадину еще показывали при Саксонѣ Грамматикѣ (Uhland's Schriften VII. 255).

[90]) Tyler, Forschungen über die Urgeschichte der Menschheit. Aus dem englischen v. H. Müller, S. 147.

Если не совершенно тѣже, то весьма сходныя слова приписываются другими сказаніями — Ильѣ Муромцу. Такъ оно у Кир. въ вып. 1, № 1 (Симбирск. Губ.): .

От̂ъ земли столбъ былъ да до нёбушки,
Ко столбу было золото кольцё,
За кольцё бы взялъ, Святорусску повдротилъ.

Въ сказкѣ, записанной Кирѣевскимъ (не сказано гдѣ) и помѣщенной первымъ приложеніемъ къ 1 вып. его пѣсень — онъ бы поворотилъ *подвселенную*. Въ сказкѣ Сахарова (тамъ-же, прил. 2, на стр. V) — *всю землю*, также точно и въ сказкахъ, напечатанныхъ нѣсколько далѣе—тамъ же, по воспоминаніямъ В. И. Даля и К. С. Аксакова (стр. XXIX и XXXII). Ясно, что эта богатырская исповѣдь силы слышана была въ разныхъ мѣстностяхъ разными собирателями. Не менѣе ясно и то, что она не подходитъ къ тѣмъ свойствамъ силы. какими обыкновенно отличается Илья Муромецъ, а потому у него, во всѣхъ приведенныхъ сказаніяхъ, подобный избытокъ силы сейчасъ-же и отнимается. — Но г. Безсоновъ въ замѣткѣ къ IV вып. пѣсень Кирѣевскаго (стр. CVIII) указываетъ также на книжное «Прѣніе живота съ смертью» (въ рукописи XVII в.), гдѣ весьма сходныя слова приписываются не кому другому, какъ Александру Македонскому, лицу, *ставшему всесвѣтнымъ богатыремъ*, книжныя повѣсти о которомъ стали заходить къ намъ изъ Византіи уже въ самую раннюю пору [1]).—Вотъ чтó говорится тутъ Александромъ: «аще было бы кольцо въ землю вдѣлано, азъ бы и всѣмъ свѣтомъ поворотилъ». Это начальное *аще*, какъ не трудно замѣтить, оказывается и въ устахъ Самсона въ вышеприведенной былинѣ, а своею необычностью въ устной словесности оно прямо указываетъ на источникъ книжный. Въ этотъ же послѣдній, съ другой стороны, такое сказанье должно было перейти изъ народныхъ устъ. Замѣчу, что сходнымъ образомъ грозится потрясти всю вселенную могучая чародѣйка въ одной изъ кельтскихъ народныхъ пѣсень. [2])—Но возвратимся къ нашему Самсону.

Далѣе въ его словахъ,—какое-то таинственное, какъ-бы христіанствомъ отзывающееся противоположеніе *земныхъ небеснымъ*, а наконецъ самое это наименованіе богатыря *Самсономъ* указываетъ опять на книги, и притомъ уже прямо на книги св. Писанія. Столько же ясно, съ другой стороны, что библейское сказаніе о Самсонѣ налегло тутъ на древнее сказаніе о Святогорѣ, личность котораго является, такимъ образомъ, совершенно тождественною съ Самсономъ. Сходство въ громадности силъ, найденное народнымъ воображеніемъ между древнимъ народнымъ богатыремъ и силачомъ библейскимъ, заставило смѣшать того и другого: въ первой, уже извѣстной намъ половинѣ былины подъ именемъ Самсона является не кто другой, какъ Святогоръ; во второй же половинѣ ея, послѣ расказа о сходной съ женитьбою Святогора женитьбѣ Самсона, расказывается уже, совершенно сходно съ библейскимъ

---

[1]) См. А. Н. Пыпина Очеркъ Литер. Ист. стар. пов. и сказокъ русскихъ, стр. 39, 45, 53.

[2]) Villemarqué, Barzaz Breiz, I, xviii, 230. Надо вспомнить и похвальбу греческаго Зевса, что окруживъ цѣпью вершину Олимпа, онъ бы могъ поднять на воздухъ весь міръ (Preller, Griechische Mythologie, I, 78).



повѣствованьемъ, объ обезсиленіи Самсона посредствомъ коварной жены, выпытавшей у него признаніе:

Оттого я силенъ, и славенъ, и громокъ,
Что имѣю на головѣ семь волосовъ ангельскихъ.

Но откуда же именно это число *семь*, чуждое ветхозавѣтному сказанію о Самсонѣ? Уже въ Святославомъ сборникѣ 1073 г. въ поученіи объ Иродіадѣ (на тему о злыхъ женахъ) сказано о Самсонѣ: «иже и седмь плѣницъ на главѣ ношаше, седмеросвѣтильный благодати образъ нося. [93]) — Уже уменьшенное число *сильныхъ* волосъ представляютъ двѣ сказки, записанныя въ совершенно различныхъ мѣстностяхъ — у Албанцевъ и у Галичанъ. Не болѣе какъ въ 3 *золотыхъ* волосахъ заключается сила албанскаго великана Драка, [94]) и въ томъ же числѣ *ангельскихъ* (совсѣмъ какъ у Рыбникова) волосъ коренится неодолимость галицкаго разбойника Жолобчука. [95]) Этотъ послѣдній далѣе, совершенно подобно Самсону, снова является сильнымъ, когда «за рôкъ му ангельскіе волосы зновель выросли». Сверхъ того, совсѣмъ какъ Самсону, «очи му выняли», наконецъ онъ и гибнетъ, погубляя другихъ, подъ развалинами зданія. Совершенво то-же и въ заключительной части нашей былины о Святогорѣ-Самсонѣ (Рыбн. III, стр. 4). Во всемъ этомъ нельзя не видѣть прямого заимствованія изъ книгъ, [96]) но, переходя изъ устъ въ уста, герой сказанія переходитъ просто въ разбойника. Замѣчательно, что такая же точно участь постигла и нашего народнаго Святогора въ томъ расказѣ Вологодской Губерніи, который былъ записанъ и напечатанъ еще въ 1843 г. М. П. Погодинымъ и перепечатанъ въ замѣткѣ къ IV вып. пѣс. Кирѣевскаго, стр. CXII. По крайней мѣрѣ во встрѣчѣ Аники разбойника со старцемъ, въ сумкѣ котораго оказывается земля, все еще слышится встрѣча Святогора съ Микулою. Между тѣмъ имя Аники указываетъ на источникъ книжный, весьма ощутительный и въ извѣстномъ духовномъ стихѣ объ Аникѣ воинѣ.

Въ знакомомъ уже намъ пересказѣ былины объ изцѣленьи Ильи, Святогоръ упоминается рядомъ съ Самсономъ, какъ такой богатырь, съ которымъ Илья не долженъ биться; но выше, разбирая этотъ пересказъ, я умышленно опустилъ Самсона.

Теперь мы могли уже, кажется, убѣдиться въ тождествѣ Святогора съ Самсономъ. Но если для критическаго изслѣдователя такое тождество ясно, если Самсонъ является только позднѣйшею подставкою вмѣсто Святогора (отчасти же и *приставкою* къ нему по новымъ, своеобразнымъ подробностямъ, состоящимъ главнѣйше въ томъ, что у него *семь власовъ ангельскихъ*), то пѣвцы былинъ могли слышать отъ своихъ предшественниковъ и о Самсонѣ, и о первообразѣ того же богатыря, Святогорѣ. Это рѣшительно общій законъ въ народной поэзіи, что съ появленіемъ новыхъ образовъ не

[93]) См. Обзоръ Пам. Др. Р. П. И. И. Срезневскаго (Изв. Ак. Наукъ, X, 425).

[94]) Hahn, griechische und albanesische Märchen, 1, 187.

[95]) Казки, зобравъ Игнатій зъ Нилловичъ. Накладомъ Якова Савчинъскаго. Львовъ 1861. стр. 1—8.

[96]) Между тѣмъ, съ другой стороны, многое и въ книжномъ сказаніи—происхожденья народнаго. Такова намѣна жены и выспрашиваніе ею—въ чемъ тайна его силы—черта, передаваемая въ цѣломъ рядѣ сказаній разныхъ народовъ. См. и вообще ст. Штейнталя. Die Sage von Simson, въ Zeitshrft für Völckerpsychologie, B. II.



изчезаютъ, или по крайней мѣрѣ, не вдругъ изчезаютъ и старые. Такимъ образомъ, не смотря на позднѣйшую выработку Самсона изъ Святогора, могъ не изчезнуть и Святогоръ. Сходство въ размѣрахъ силы того и другого должно было ихъ выставлять современниками, богатырями одного и того же рода, и вотъ изъ одного богатыря вышли два, одинаково опасные для Ильи Муромца:

А столько не выходи драться
Съ Святогоромъ богатыремъ;
Его и земля на себѣ черезъ силу носитъ;
Не ходи драться съ Самсономъ богатыремъ
У него на головѣ семь власовъ ангельскихъ...
(Рыбн, I, стр. 35).

Оба они—не чета Ильѣ потому, очевидно, что въ обоихъ—сила, не сдержанная ничѣмъ, не управляемая никакимъ высшимъ началомъ, сила, которая въ тягость и имъ самимъ, и землѣ, и не только въ тягость, но и опасна, потому что способна стать разрушительною—даже для цѣлой вселенной, способна возвратить къ хаосу, на который такъ ясно указывается вышеприведенными словами о *смѣшеніи земныхъ съ небесными.* И такая чрезмѣрная, страшная сила не можетъ совладать съ небольшою сумочкой, наполненной тягой земною [97]). Такъ какъ же не признать послѣ этого, что подъ такою *тягою* разумѣется нѣчто, требующее силы другого рода, не той, которая возвращаетъ къ хаосу, и прямо противоположной силѣ, которая установляетъ порядокъ. Такою въ миѳологіи разныхъ народовъ является сила, проявляемая въ земледѣліи. Божества, установители земледѣльческаго строя жизни, являются вообще и установителями порядка, мира, союза между людьми. Повсемѣстно божества земледѣльческія получали, съ теченіемъ времени, такое особое, высшее, нравственное значеніе; и я не понимаю, что̀ бы могло помѣшать находить того же рода значеніе въ подъемѣ микулушкиной сумочки съ тягой земною? Если вполнѣ справедливо, что первоначально всѣ божества имѣли физическое (естественное) значеніе, то столько же справедливо и то, что съ теченіемъ времени это значеніе, по крайней мѣрѣ у историческихъ народовъ (вѣрнѣе же будетъ сказать—не у нихъ однихъ, но въ нѣкоторой мѣрѣ у всѣхъ и каждаго) углублялось, проникалось внутреннимъ смысломъ. При всемъ томъ нельзя не видѣть большой неточности и неясности въ словахъ г. Безсонова, усматривающаго въ *тягѣ земной — сложившуюся, окрѣпшую землю русскую, кажется, малую, слабую*, въ самомъ же дѣлѣ *пересиливающую Святогора* [98]) Къ поясненію этой сумочки можетъ намъ послужить сошка, съ которою также точно не можетъ совладать Вольга, какъ съ сумочкою не совладать Святогору. Та и другая оказывается не по силамъ самымъ сильнымъ богатырямъ, но и та и другая совершенно по силамъ тому *оратаю*, въ которомъ, послѣ всего этого, слѣдуетъ видѣть земледѣльческое божество, подъемлющее ту тяготу земледѣльческаго труда, которая есть уже тягота *нравственная.* При умѣніи поднимать подобную тяготу—разумѣется, крѣпнетъ, разумѣется устанавливается *земля*,

---

[97]) Въ побывальщинѣ, записанной отъ кр. Щеголенкова и доставленной мнѣ Е. В. Барсовымъ это не сумочка, а колчанъ. Думаю, что тутъ порча, такъ какъ подобный предметъ совершенно лишенъ земледѣльческаго значенія.

[98]) Рыбник. I, замѣтка, стр. X.

въ смыслѣ обитающаго ее *міра-народа*. Если не *сумочка* микулушкина, то самъ Микулушка Селяниновичъ долженъ, въ этомъ смыслѣ, быть признанъ представителемъ *окрѣпшей*, *сложившейся* земли русской, и въ этомъ отношеніи г. Безсоновъ не до такой степени неправъ, какъ полагаютъ иные. Точно также есть своего рода, хотя и весьма затуманенный смыслъ, въ слѣдующихъ словахъ того же писателя про *каликъ перехожихъ*: «бродячіе, слѣпые, безобразные, они были на Руси всегда представителями періода стихійнаго броженія и кочеванія»; а про Святогора богатыря:» это сила, враждебная землѣ; сила стихійная, титаническая, эпохи броженія и кочевья». [99])

Въ вышеприведенномъ указаніи Святогора-Самсона на свое умѣнье *смѣшать земныхъ съ небесными* выражается именно что̀ то *стихійное*, *титаническое*, а потому и враждебное землѣ. Предостерегая противъ подобной силы Илью Муромца, калики вслѣдъ за тѣмъ не велятъ ему биться и съ силой иною, прямо противоположною:

Не бойся и съ родомъ микуловымъ:
Его любитъ матушка сыра земля.

Изъ этого, кажется, ясно, что у Ильи Муромца съ землей матерью какъ враги, такъ и друзья—общіе. Если же такъ, то столько же противоположенъ ему, какъ Микулѣ, чародѣй Вольга̀, отъ котораго также, какъ и отъ Святогора, предостерегаютъ его калики:

Онъ не силою возметъ.
Такъ хитростью мудростью,

Но мы видѣли, что вся *хитрость-мудрость* Вольги — ничто передъ микулушкиной *умѣлостью*. Микула даже прямо сказалъ про его служилыхъ людей: «то *не мудрая* дружинушка хоробрая». Но народное воображенье захотѣло и еще новымъ образомъ выразить первенство Микулушки. Это мы видимъ въ концѣ прекрасной былины Рябинина. Когда Микула, подоспѣвъ на помощь къ оторопѣвшей дружинѣ Вольги, забросилъ наконецъ сошку за ракитовъ кустъ, тогда

Сѣли на добрыхъ коней, поѣхали....
У оратая кобылка-то рысью идетъ.
А Вольгинъ-отъ конь и поскакиваетъ;
У оратая кобылка-то грудью пошла̀,
А Вольгинъ-отъ конь оставается.
Сталъ Вольга тутъ покрикивать,
Колпакомъ Вольга сталъ помахивать,
Постой-ка ты, ратай ратаюшко!
Этая кобылка конькомъ бы была,—
За эту кобылку пятьсотъ бы дали,
Говорилъ оратай таковы слова:
Глупый Вольга Святославговичъ!
Взялъ я кобылку жеребчикомъ сподъ матушки,
И заплатилъ за кобылку пятьсотъ рублей:
Эта кобылка конькомъ бы была,—
За эту кобылку смѣты бы нѣтъ

Описаніе это дополняесся другимъ пересказомъ, по которому микулушкина

Кобыла подыми голова,
Заздынула она голову подъ облаку [100])

На черту эту уже указано было выше, какъ на сродную съ крылатостью быковъ Премысла, уносящихъ на небо его чудесный плугъ. Этимъ подтвер-

[99]) Рыбн. I, зам., XII, XIII.

[100]) Рыбн. II, 1. (отъ Тер. Іевлева).



ждается то, что въ основномъ миѳѣ, отъ котораго уцѣлѣли только обломки, мѣсто дѣйствія было на небѣ. Конь, опережающій коня Вольги, былъ, по всей вѣроятности, громовый конь, т. е. *громовая туча*, съ быстротою подвигающаяся впередъ и опережающая другія. То содѣйствіе, какое оказываетъ гроза земледѣлію проливаемыми ею ручьями дождя, естественно приводило къ тому, что у многихъ народовъ божество грозы, т. е. грома и молніи, съ теченіемъ времени становилось божествомъ установителемъ и заступникомъ земледѣлія.[101]) Но и въ самомъ *явленіи* грозы воображенью арійскихъ народовъ, по замѣчанію г. Аѳанасьева, представлялась поэтическая картина вспахиванья облачнаго неба громоноснымъ Перуномъ». Богъ громовникъ, говоритъ онъ роетъ вихрями облачное небо, бороздитъ его разящими молніями и разбрасываетъ сѣмя дождя [102]). Послѣ этого становится совершенно понятнымъ и миѳическій пахарь, скрывающійся подъ нашимъ Микулушкой.

Теперешнее имя его есть, очевидно, испорченное ***Миколушка***, ***Микола*** т. е. ***Миколай***, ***Николай***. Подъ тѣмъ же именемъ встрѣчается намъ лицо, одаренное чрезвычайною силою въ былинахъ о Михаилѣ Потыкѣ (какъ увидимъ ниже) а также въ особыхъ изъ новгородскаго круга — о Садкѣ купцѣ. Оно то (Микола Можайскій) и выводитъ Садка со дна моря. Значеніе *оберегателя на морѣ* получилъ и у многихъ народовъ запада св. Николай Чудотворецъ. Такое значеніе, разумѣется, перешло къ нему отъ какого нибудь языческаго божества. Посвятившій себя изслѣдованію языческой стихіи въ легендахъ, І. В. Вольфъ видитъ въ сказаніяхъ о св. Николаѣ солнечнаго бога Фро [103]). Но въ одного и того же святого переходили иногда и различныя божества, на основаніи какого нибудь общаго признака. Отношеніе же св. Николая къ морю, мнѣ кажется, даетъ полную возможность полагать, что подъ нимъ можетъ иногда скрываться и божество грома и молніи, такъ тѣсно связанное въ миѳологіи съ небесною водяною пучиною. Такимъ образомъ имя Миколы, придаваемое нашему божественному представителю земледѣлія, въ свою очередь подтверждаетъ догадку, что въ этомъ образѣ скрывается у насъ громовое божество, соотвѣтственное германскому Тору. Этотъ послѣдній, какъ извѣстно, былъ сыномъ богини Земли [104]); нашего Микулушку любитъ ***мать сыра земля,*** въ которой г. Буслаевъ совершенно основательно видитъ не просто метафору, а настоящее одушевленное существо—богиню. Постоянные спутники Тора—Tialfi и Röscva, что̀ означаетъ ***работникъ*** и ***быстрая;*** по происхожденію же оба они *дѣти крестьянскія* [105]). Соотвѣтственно этому Торъ и представлялся у Германцевъ особенно покровительствующимъ тому

---

[101]) Въ чешскомъ преданіи, записанномъ у Гайка, крылатые быки Премысла пахаря скрываются въ разверзшейся скалѣ. (метофора тучи). До сихъ поръ существуетъ въ Чехіи сказаніе о выходящемъ изъ бѣлой скалы, каждогодно въ страстную пятницу, древнемъ предревнемъ крестьянинѣ, тотчасъ и начинающемъ засѣвать поле. На слѣдующій же годъ, въ туже страстную пятницу, на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ сѣялъ, взошедшимъ оказывается золото (Grohmann Sagen aus Böhmen, 171).

[102]) Аѳанасьева, Поэтич. Воззр. Слав. I, 434, 558, 676, 679, 687. О греч. земледѣльческихъ миѳахъ см. у Преллера въ Греч. Миѳол. I, 136, 474, 479. Замѣчательно, что въ одной пѣснѣ герцеговинской за описаніемъ битвы слѣдуетъ: грмљавина шибах, звстенањс мечах, неби реко—небеса се оре. (Юкича и Любомира Герцегов. II, I, 149).

[103]) Wolf, Beiträge zur deutschen Mythologie, I, 106

[104]) Uhland der Mythus v. Thor, 24, 27, (Schriften YI, 18).

[105]) Uhland, Thor, 86. 93, 188, 189 (Schriften vi, 19 35, 115, 126.

слою общественному, который у нихъ *работалъ, крестьянствовалъ* по преимуществу—рабамъ [106]). Онъ даже является въ миѳахъ въ одеждѣ крестьянской. Что̀ касается нашего Микулушки — ежели, послѣ всего, уже вышеизложеннаго, еще нужны новыя подтвержденія его связи съ крестьянствомъ, то онъ самъ рисуетъ себя настоящимъ крестьяниномъ въ слѣдующемъ отвѣтѣ его Вольгѣ на спросъ объ имени:

Ай же Вольга Святославговичъ!
А я ржи напашу да во скирды сложу,
Во скирды складу, домой выволочу,
Домой выволочу, да дома вымолочу,
Драни надеру да и пива наварю,
Пива наварю, да и мужичковъ напою,
Станутъ мужички меня покликивати:
„Молодой Микулушка Селяниновичъ!“

Если Микулушка является тутъ *молодымъ*, то и Торъ въ нѣкоторыхъ миѳахъ *молодъ*. Такимъ онъ могъ представляться по той вѣчно юной силѣ, съ какою возрождался онъ ежегодно послѣ своего зимняго замиранія. Съ другой же стороны, какъ существо изначальное, вѣчное, постоянно лишь возраждающееся, онъ могъ представляться и старымъ, и это послѣднее прилагательное дѣйствительно придавалось ему у нѣкоторыхъ германскихъ племенъ [107]). Этимъ же прилагательнымъ Торъ напоминаетъ уже не Микулушку, а другого богатыря — знаменитаго Илью Муромца, постоянно величаемаго *старымъ* (*казакомъ*), какъ извѣстно каждому. Это снова приводитъ насъ къ тому сходству между Торомъ и Ильей Муромцемъ, которое уже было нами признано выше за первоначальное миѳическое тождество. Но вѣдь такое же тождество оказывается теперь между Торомъ и Микулою Селяниновичемъ. Не слѣдуетъ ли заключить изъ этого, что Илья и Микула выработались изъ одной и той же основы миѳической? что въ нихъ не только одинъ родъ, но и одно существо? Если Микулушку Селяниновича любитъ матушка сыра земля, любитъ какъ свое чадо милое, то Илью любятъ его крестьяне родители, горько сѣтующіе о его сидѣніи сиднемъ и радующіеся, когда видятъ его, изцѣленнаго, съ разу принимающимся за работу крестьянскую. Эти крестьяне родители, люди изъ того слоя, который по преимуществу называется у насъ *землею*, они замѣняютъ *матушку сыру землю* соотвѣтственно той большей степени очеловѣченности, какою отличаются и вообще былины объ Ильѣ Муромцѣ. Если же очеловѣченности въ нихъ болѣе, то онѣ должны относиться къ сравнительно позднѣйшему времени. Не даромъ съ другой стороны, образъ Микулушки какъ бы отнесенъ народомъ еще къ кругу старшихъ богатырей; онъ почти не приводится въ столкновеніе съ младшими, стоитъ рѣшительно въ сторонѣ, а между тѣмъ, по своему внутреннему значенію, въ самой средѣ старшихъ богатырей онъ составляетъ какъ бы переходъ къ тому новому поколѣнію, главнымъ представителемъ котораго служитъ Илья. Образъ Микулушки является какъ бы первой попыткой народа отъ представителей чисто тѣлесной силы перейти къ представителямъ силы нравственной. Попытка, по видимому, вполнѣ удалась: образъ Микулушки безспорно

---

[106]) Uhland, Thor, — въ концѣ.

[107]) Mannhardt, Germ. Mythen, 166, 233.



одинъ изъ прекраснѣйшихъ образовъ въ нашемъ народномъ эпосѣ—цѣльный законченный по выполненію, глубокій по основной мысли. Но народное воображеніе, почему то, не позаботилось о дальнѣйшемъ развитіи этого образа; оно, надо думать, не привязало къ нему длинной цѣпи эпическихъ похожденій, ибо, при существованіи подобной цѣпи, Микулушка не могъ бы быть позабытъ въ большей части Россіи. У Кирши Данилова не существуетъ даже и его имени, между тѣмъ у него имѣются, какъ мы уже знаемъ, имена Святогора, Самсона и т. п, Только въ отдаленномъ Олонецкомъ краѣ г. Рыбниковъ открылъ прекрасныя былины о немъ — былины, заключающія въ себѣ, какъ мы видѣли, собственно только два похожденія: одно со Святогоромъ и одно съ Вольгою—первое въ видѣ побывальщины, второе въ видѣ двухъ полныхъ поэтическихъ пересказовъ (Рябинина и Прохорова) и одного неполнаго (шальскаго лодочника) [108]). Если такой малочисленности сказанія о Микулѣ противопоставить огромное количество былинъ объ Ильѣ, съ другой же стороны подумать о внутреннемъ сходствѣ между Микулушкой и Ильей, то не трудно изъ этого заключить, что отъ перваго воображеніе народа перешло къ послѣднему, въ лицѣ его проводило туже мысль, а затѣмъ оставило въ сторонѣ, отодвинуло въ глубь перваго выразителя этой мысли—Микулушку. Но такъ какъ въ народномъ эпосѣ рядомъ съ новыми образами могутъ сохраняться и старые, то не только мѣстами Микулушка могъ уцѣлѣть, но онъ могъ даже быть сопоставляемъ, какъ и видѣли мы, съ Ильею, собственно только дальнѣйшимъ развитіемъ того же самаго типа.

Но если такъ, то смыслъ, заключающійся въ Микулушкѣ, можетъ служить къ разъясненію смысла, заключающагося въ Ильѣ. Припомнимъ же заключеніе разобранной нами былины о встрѣчѣ Микулы съ Вольгою. Первый, на своей кобылкѣ, опережаетъ послѣдняго на его боевомъ конѣ. Какъ въ этомъ, такъ и въ умѣніи одного Микулы поднять соху, такъ наконецъ и въ самой начальной чертѣ былины — этой долгой гоньбѣ Вольги на конѣ за пѣшимъ еще Микулою (напоминающей гоньбу Святогора за пѣшимъ молодцемъ); — во всемъ этомъ явно выказывается то первенство, какое дается народомъ богатырю земледѣльцу передъ богатыремъ воиномъ. Но по одной побывальщинѣ, Микула даже обладаетъ способностью становиться, когда нужно, воинственнымъ—для обороны. На эту способность начекаетъ уже вышеприведенный его поступокъ съ тѣми мужиками—горожанами, которые спрашивали съ него грошей подорожныхъ. Тутъ онъ оборонялъ себя; но есть одна побывальщина, [109]) гдѣ онъ обороняетъ другихъ—и именно того-же Вольгу съ его воинственною дружиною. Это удается ему, повидимому, при помощи не одной отваги, но и своего рода находчивости, мудрости. Въ городѣ, куда отправляется съ Вольгою Микула (быть можетъ томъ-же, гдѣ спрашивали грошей съ Микулы), имъ готовили засаду: разобрали мостъ, и Вольга погибъ бы

---

[108]) Въ числѣ доставленныхъ мнѣ былинъ, записанныхъ Е. В. Барсовымъ отъ Щеголенкова, одна приписываетъ главнѣйшія черты Микулы Дюку Степановичу; это, конечно, ошибка, и былина можетъ быть признана четвертымъ пересказомъ похожденія Микулы съ Вольгою, не отличающимся, впрочемъ, ничѣмъ особеннымъ.

[109]) Рыбник. I, стр. 22 выноска.

тутъ со всею своею дружиною, если бы его не спасъ Микула Селяниновичъ. Къ сожалѣнію г. Рыбниковъ не передаетъ подлинныхъ словъ этой побывальщины, а только сжато сообщаетъ ее. (Въ пересказѣ Прохорова хотя и подробно говорится о *поддѣльныхъ мостахъ*, придуманныхъ мужиками для погибели Вольги, но честь спасенія не приписывается одному Микулѣ, а говорится, что они вмѣстѣ съ Вольгою перескакиваютъ *за Волховъ* на коняхъ богатырскихъ). Объяснителю первыхъ двухъ томовъ рыбниковскаго сборника, г. Безсонову, показалось тутъ замѣчательнымъ сходство съ тѣмъ, что происходило на мосту въ Овручѣ, гдѣ погибъ Олегъ Святославичъ. На основаніи этого онъ видитъ въ Вольгѣ—не только Олега Вѣщаго, но также и нѣкоторыя черты другого Олега—Древлянскаго. Невозможнаго тутъ ничего нѣтъ: перенесеніе на одно лицо свойствъ, принадлежащихъ различнымъ лицамъ, очень обычно въ народной поэзіи [110]).—Но по моему, тутъ важно совсѣмъ не то,—а помощь, оказываемая Микулушкою какому бы то нибыло князю, но князю-дружиннику, не обходящемуся такимъ образомъ безъ *Селяниновича*. Микула уже оказывается тутъ тѣмъ *оберегателемъ* князя, тою *земскою оборонительною силою*, какою сдѣлался позже, какъ мы увидимъ, Илья Муромецъ *крестьянскій сынъ*. Также точно въ той беззаботной свободѣ обращенія съ княземъ, какая замѣтна въ отвѣтѣ Микулы на замѣчаніе Вольги на счетъ ц нности его кобылки: «Глупый Вольга Святославовичъ!» видно уже совершенно тоже, что еще придется намъ слышать отъ Ильи при первомъ пріѣздѣ его къ Владиміру: «Ай же ты дурень, князь стольно-кіевскій!»—Ежели по отношеніямъ къ земледѣлію и крестьянству Микула напоминаетъ Тора, то этому послѣднему не принадлежитъ въ германской миѳологіи то первенствующее положеніе, какое дается у насъ Микулѣ. Вспомнимъ, что Торъ—покровитель не только земледѣльцевъ, но и *рабовъ*, на долю которыхъ и оставлялись у древнихъ Германцевъ занятія земледѣльческія. Между тѣмъ, презрѣніе, съ какимъ относились Германцы къ рабамъ, кидало извѣстную тѣнь и на ихъ покровителя—Тора. У господствующаго слоя, того, который видѣлъ свое преимущество въ занятіяхъ охотою и войною, былъ свой особый богъ покровитель *занятій воинскихъ*. Соотвѣтственно общественному первенству покровительствуемаго имъ слоя, къ нему перешло и безусловное первенство въ миѳологіи. Вмѣсто того не совсѣмъ то завиднаго положенія, какое досталось у насъ воинственному Вольгѣ, при его встрѣчѣ съ Микулою, въ германскихъ сказаніяхъ незавидная роль скорѣе приходилась на долю Тора. Такъ въ пѣснѣ «Старой Эдды» о Гарбардрѣ [111]) Торъ возвращается весною съ похода противъ великановъ; онъ идетъ пѣшкомъ и готовится перейти черезъ потокъ, протекающій на рубежѣ страны великановъ. Съ другого берега замѣчаетъ его Одинъ,—скрывающійся въ образѣ пастуха Гарбардра. «Кто этотъ мужикъ и о чемъ это

---

[110]) Grimm. Lateinische gedichte des x und XI. Jahrhunderts, 64. Такъ и въ одномъ эпическомъ лицѣ Вильгельма Оранжскаго соединилось нѣсколько историческихъ Вильгельмовъ Jonckbloet, Guillaume d' Orange въ различныхъ мѣстахъ II части). Бываетъ и на оборотъ: раздѣленье на нѣсколько эпическихъ лицъ того, что первоначально принадлежало одному лицу «Uhland's Schiften» VII, 111).

[111]) Harbardsliodh (Edda herausgegeben v. Luning, p. 216. Edda, übersetzt v. Simrock, p. 49).



онъ кричитъ оттуда?», спрашиваетъ вельможный богъ. Торъ, не понявъ презрительнаго тона, заключающагося въ этихъ словахъ, отвѣчаетъ на нихъ просьбою перевезть его черезъ потокъ, за чтó обѣщаетъ заплатить припасами изъ своей дорожной корзины; она же наполнена у него селедками и овсянкою. Такая пища, разумѣется, не прельщаетъ Одина; къ тому же, онъ замѣчаетъ, что Торъ босоногъ и вообще похожъ на бродягу: «а господинъ лодки, говоритъ онъ, не велѣлъ мнѣ перевозить нищихъ, подобныхъ тебѣ», — Торъ, рѣшительно не узнавая Одина, начинаетъ подозрѣвать, не скрывается ли въ этомъ неподатливомъ пастухѣ враждебный ему великанъ. Одинъ между тѣмъ хвастаетъ воинскими своими подвигами. «Ты же, говоритъ онъ Тору, хотя и довольно силенъ, но трусливъ, [112]) малодушенъ. Со страху запрятался ты и въ перчатку Скримира, не рѣшаясь въ ней даже чихнуть, въ опасеніи, какъ бы великанъ не услышалъ».—И до конца Одинъ остается неподатливъ на всѣ просьбы Тора;—такъ и не перевозитъ его, а только указываетъ ему другую дорогу.

Если съ другой стороны съ личностью Тора соединялись у Германцевъ и качества привлекательныя, а именно—неустанность въ работѣ, готовность всегда помочь и человѣческому труду, вообще благосклонность къ людямъ, сила, по преимуществу охранительная, отстаивающая миръ и союзъ семейный, — то только въ Одинѣ проявлялся вполнѣ духъ предпріимчивый, творческій, двигающій впередъ, только онъ въ германской миѳологіи испытуетъ и мыслитъ, сообщаетъ воинственное и поэтическое одушевленіе.—Это сочетаніе двигающаго, мыслительнаго и творческаго начала съ началомъ воинственнымъ вполнѣ обрисовываетъ *образовательный* (культурный) духъ германизма. Восторгаясь высокимъ духовнымъ значеніемъ Одина, г. Буслаевъ видитъ въ немъ доказательство и высокихъ преимуществъ той народности, на почвѣ которой возникъ этотъ образъ.—Снисходя же съ высотъ германскаго миѳическаго міросозерцанія къ славянскимъ народнымъ миѳамъ, нашъ ученый рѣшаетъ торжественно: у Славянъ оставалось въ первобытныхъ зародышахъ то, чтó «въ нѣмецкихъ племенахъ пустило глубокіе корни и получило блистательное развитіе». [113]).

Въ самомъ дѣлѣ, въ славянскихъ миѳахъ не получило глубокихъ корней воинственное начало, оно не дошло въ нихъ до такого развитія, изъ котораго могло бы возникнуть первенствующее воинственное богопочитаніе, соотвѣтственное одиновскому. Славянскія преданія таковы, что изъ нихъ можно заключать о преимущественномъ и широкомъ развитіи совершенно иного начала;—остается только его усмотрѣть, разъяснить то, чтó есть, а не искать непремѣнно того, чего быть не могло, и о чемъ даже, правду сказать, плакать нечего!

Воинственное богопочитаніе Одина было въ тоже время и богопочита-

---

[112]) Стоитъ вспомнить при этомъ вышеприведенные примѣры временной трусости очень многихъ эпическихъ знаменитостей.

[113]) Буслаевъ въ Филолог. Зап., стр. 6. Ср. у В. Мюллера: Geschichte und System der altdeutschen Religion, 237, 240, 244, 246.

ніе вельможное. Только одаренному преимуществами сословію воиновъ отворялъ Одинъ двери въ свою Валгаллу. Извѣстно, что отъ самаго принятія христіанства нѣкоторые изъ германскихъ вождей были удерживаемы тѣмъ что въ христіанскомъ раю имъ бы пришлось блаженствовать на равнѣ и въ перемѣшку съ какими нибудь простыми крестьянами, или даже рабами! Оно было бы окончательно не подъ стать такимъ знаменитымъ родамъ, которые даже прямо производили себя отъ Одина. Источникъ королевской власти былъ въ немъ, и какъ бы по наслѣдству переходила она отъ воинственнаго божества къ родовитымъ его потомкамъ [114]). У Славянъ же, совершенно наоборотъ, существуютъ преданія о происхожденіи власти князей отъ простыхъ земледѣльцевъ. Выше затронуто уже было сказаніе чешское о пахарѣ Премыслѣ, призванномъ на престолъ княжескій. Вотъ какимъ образомъ передается оно у чешскаго лѣтописца XII ст. Козьмы Пражскаго. Когда нѣкоторые изъ гражданъ выказали недовольство княжною своей Любушей, то она рѣшилась отдать свою руку Премыслу и отправила за нимъ посланныхъ. Путеводителемъ имъ служилъ ея чудный конь, остановившійся наконецъ среди пашни...

Ecce vir Prziemysl prope in agro boves stimulat.... Ad quem nuncii accedentes inquiunt....

Salve dux, salve, magna dignissime laude,
Solve boves, muta vestes, ascende caballum.
Et monstrant vestes sternutantemque caballum [115]).

Domina nostra Libussie et plebs universa mandat, ut cito venias, et sibi ac tuis nepotibus fatale regnum accipias.... Te ducem, te judicem, te rec-

---

[114]) W. Müller, ib., 192, 202, 206, 290.

[115]) Эти три латинскихъ стиха указываютъ, повидимому, на то, что и нѣкоторыя, по крайней мѣрѣ, части сказанія слышаны были Козьмою въ видѣ народной пѣсни. Такъ и въ хроникѣ Саксона Грамматика при передачѣ нѣкоторыхъ сказаній мѣстами замѣтны стихи, въ которыхъ Уландъ видитъ латинскій переводъ отрывковъ изъ датскихъ народныхъ пѣсень (Uhlands Schriften, VII, 91).

Считаю нужнымъ передать здѣсь по русски латинское свидѣтельство Козьмы Пражскаго: «вотъ передъ ними Премыслъ понукиваетъ въ полѣ быковъ... Посланные же, подойдя къ нему, говорятъ: «здравствуй, нашъ князь, здравствуй, достойный хвалы! Отвязывай-ка воловъ, передѣнься и садись на коня! Вотъ тебѣ новая скрута, а вотъ и конь передъ тобою чихаетъ. Госпожа наша Любуша и весь народъ зовутъ тебя поскорѣе принять сужденное тебѣ и твоимъ потомкамъ княжество... Тебя нашимъ княземъ, судьей и правителемъ, тебя покровителемъ, тебя одного господиномъ себѣ выбираемъ». Онъ же на это, разумный, словно не зная будущаго, всталъ, и палку, которую держалъ въ рукахъ. воткнулъ въ землю, и, отрѣшивъ быковъ, заговорилъ: «ступайте, откуда пришли.» Они же, не успѣлъ онъ сказать, тотчасъ же изчезли изъ глазъ, и уже никогда болѣе не являлись. Орѣшина же, воткнутая имъ въ землю, пустила три большихъ вѣтви, и, что еще диковиннѣе, даже съ листьями и орѣхами. А посланные, видя все это, стояли себѣ, дивясь. Онъ же ласковымъ голосомъ приглашаетъ ихъ гостепріимно къ завтраку, и изъ сумы своей, закрытой пробкою, вынимаетъ заплеснѣвшій хлѣбъ и кусокъ сыра, суму же кладетъ на дернъ заместо стола, а поверхъ ея грубую ткань. А между тѣмъ, пока они завтракали, двѣ вѣтви высохли и отпали, третья же разросталась все выше и шире... Не удивляйтесь, сказалъ онъ, а знайте, что отъ нашего рода произойдутъ многочисленные государи, но всегда лишь одинъ будетъ править... Послѣ этого, окрутившись въ княженецкую скруту и обувшись въ сапожки царскіе, садится оратай на коня рѣзваго; но, не забывъ прежней доли, беретъ съ собой свои старые сапоги. Когда же отправились они кратчайшимъ путемъ (дорожкой прямоѣзжею), то словно не рѣшались говорить безъ чиновъ съ новымъ княземъ, но одинъ изъ нихъ, посмѣлѣе и развязнѣе на языкъ, заговорилъ: «господинъ, скажи намъ, на что это ты велѣлъ намъ беречь эти старые, изъ корки (лыка) сшитые (сплетенные) сапоги (лапти), годные лишь на то, чтобъ ихъ выкинуть»—«А на то, отвѣчалъ онъ, велѣлъ я и вѣчно велю ихъ беречь чтобъ знали наши потомки, какого происхожденья они и чтобъ жили всегда смиренно, остерегаясь, какъ бы не удручать несправедливо, изъ гордости, тѣхъ людей, которыхъ имъ поручилъ Господь... Всѣ мы вѣдь совершенно равны по природѣ...»

Надо замѣтить, что по нѣкоторымъ намекамъ у Козьмы Пражскаго можно заключать объ издавности

torem, te protectorem, te solum nobis (in) dominum eligimus. Ad quam vocem vir prudens, quasi futurorum inscius, substitit et stimulum, quem manu gestabat, in terram fixit, et solvens boves, ite illuc, unde venistis, dixit, qui statim citius dicto ab oculis eavnuerunt et nusquam amplius comparuerunt. Corylus autem, quam humi fixit, tres altas propagines, et, quod est mirabilius, cum foliis et nucibus produxit. Viri autem illi videntes haec talia ita fieri, stabant obstupefacti. Quos ille grata voce hospitum invitat ad prandium, et de pera subere contexta excutit mucidum panem et formatici partem, et ipsam peram in cespite pro mensa et super rude textum ponit. Interea dum prandium sumunt.... duae propagines.... aruerunt et ceciderunt, sed tertia multo altius et latius accrescebat.... Et ille, quid admiramini, inquit? Sciatis, et nostra progenie multos dominos nasci, sed unum semper dominari.... Post haec indutus veste principali et calciatus calciamento regali acrem ascendit equum arator; tamen suae sortis non immemor, tolit secum suos cothurnos....

Factum est autem, dum per compendia viarum irent, nec tamen adhuc illi nuncii ceu ad novitium dominum familirius loqui auderent.... unus, qui erat audacior et linqua promptior: o Domine, dic, inquit, nobis, ad quid hos cothurnos subere consutos et ad nihilum nisi ut projiciantur aptos, nos servare fecisti.... Quibus ille, ad haec, inquit, eos feci et faciam in aevum servari, ut nostri posteri sciant, unde sint orti et ut semper vivant pavidi et suspecti, ne homines a Deo sibi commissos injuste opprimunt per superbiam: quia facti sumus omnes aequales per naturam. [116])

На счетъ этихъ послѣднихъ словъ Премысла вотъ чтó высказано извѣстнымъ археологомъ чешскимъ Воцеломъ: «такъ какъ хроника Козьмы Пражскаго относится къ XII столѣтію, т. е. къ такой порѣ, когда въ западной и въ южной Европѣ былъ уже въ полномъ смыслѣ феодализмъ, основанный на величайшемъ неравенствѣ человѣческихъ правъ, то слова, приписываемыя нашимъ лѣтописцемъ Премыслу, бросаютъ самый благопріятный свѣтъ на нравы и понятія о достоинствѣ человѣка въ тогдашней Чехіи» [117]).

Въ относящейся къ концу XIII или къ началу XIV в. стихотворной хроникѣ Далимила, написанной уже не по латыни, а по чешски, также передается сказаніе о Премыслѣ. Между тѣмъ, несмотря на народный языкъ, въ ней нерѣдко выказывается вельможный образъ мыслей [118]) Тѣмъ не менѣе древній, далеко не вельможный смыслъ преданія сохранился и тутъ, хотя кое что измѣнилось. Вѣщій конь, какъ и у Козьмы, приводитъ любушиныхъ посланныхъ на Бѣлину рѣку:

На ньеж ора муж велекij
Обинув све ноги лыки....

связи между Любушей и Премысломъ. Основа подобной связи должна быть миеическая—соотвѣтственная той, какая существовала у Грековъ между земледѣльческою богиней Димитрой и Язіономъ, первымъ пахаремъ (Preller, Griechische Mythologie, I, 479).

Быть можетъ и любовь къ нашему Микулушкѣ матери сырой земли указываетъ, въ свою очередь, на первоначальную миеическую чету. Ужъ но отъ этой ли миеической супруги (сырой земли), говоритъ г. Буслаевъ, родились у Микулы три его дочери (Р. Вѣстн. 1862 г., Сент , стр. 17) О дочеряхъ Микулы въ своемъ мѣстѣ.

[116]) Scriptores rerum bohemicarum, I, 15—18.

[117]) Wocel, Pravêk Zeme ceske, v. Praze 1868, p. 320

[118]) См. въ изданіи В. Ганки стр. 6 вступленія.

Когда конь остановился у пахаря и посланцы-паны узнали, что имя ему Премыслъ, то пересмѣхнулись и тутъ же хотѣли его взять съ собой:

А якожъ сіе јего дотку,
Пршемыслъ вдружи в земју отку,
Ръка: „жель же сте такъ рано пршишли;
Бысте были тепрув вышли,
Бых могл ту улегл взорати....
Але же сте ухватили,
А мніе в роли пршеказили:
Муж то слышети кажды рад
Буде в земи жизнь а често хлад.
(стихи 261—270).

Вслѣдъ за тѣмъ, доставъ сыръ и хлѣбъ, онъ зачалъ ѣсть на сохѣ, пригласивъ пановъ усѣсться подлѣ себя. Они же переглянулись между собою и вспомнили про Любушу, предсказавшую имъ, что онъ будетъ передъ ними ѣсть *на желѣзѣ* (т. е. на плугѣ); онъ же поясняетъ панамъ, что̀ это значитъ:

Кдыжъ сте нерадили о дѣвцѣ тбати,
Буди вы муй род желѣзну метлу казати.

Вотъ какой уже иносказательный смыслъ получилъ тутъ *сельскій* завтракъ Премысла, *прямое* значенье котораго понадобилось *осмыслить* по своему вельможному Далимилу. Между тѣмъ воткнутая въ землю палка выпустила изъ себя *пять* вѣтвей, четыре изъ нихъ вскорѣ засохли, пятая же продолжала цвѣсти. Самая палка толкуется тутъ Премысломъ такимъ образомъ:

Суха отка јест знаменје
Мего хлапего розенје [119]).

Тутъ даже ему самому приписанъ неуважительный взглядъ на свое сельское происхожденіе, величаемое у Далимила *холопьимъ*. Лапти же, взятые съ собою Премысломъ у Далимила опущены. Между тѣмъ память объ нихъ еще жила въ Чехіи и въ XVI в., когда написана хроника Гайка, изъ которой заимствовано было выше преданіе о *крылатыхъ быкахъ*. Какъ бы низко ни стоялъ трудъ Гайка въ историческомъ отношеніи, то, что̀ сообщаетъ онъ о Премыслѣ, гораздо болѣе отзывается складомъ *преданія*, чѣмъ только что приведенный расказъ Далимила. Самое число мужей, посылаемыхъ за Премысломъ—*тридцать*—есть, какъ мы въ томъ могли уже убѣдиться, чисто эпическое число. Конь проводникъ ихъ, при видѣ Премысла, ржетъ и преклоняетъ предъ нимъ голову, какъ и предсказано было Любушей. Изъ скалы, въ которую скрылись быки чудеснаго пахаря, «вода яко гнойна и неб яко бы з хлѣва текла, такову вуони ма ажъ до днешниго дни». Все это, какъ ясно для всякаго, сколько нибудь знакомаго съ народной словесностью, чисто эпическія черты. Про лапти и у Гайка сказано, что Премыслъ самъ ихъ сплелъ, что они сохранялись потомъ въ вышеградскомъ храмѣ на ряду съ иными царскими драгоцѣнностями (ведлѣ јиных кленотуовъ) и что ихъ показывали каждому, вновь коронуемому королю; но при императорѣ Сигизмундѣ они пропали [120]).

Замѣчательно, что память о постановленіи пахаря княземъ до сихъ поръ сохранилась въ народной словесности чешской. Въ одной свадебной пѣснѣ поется:

---

[119]) Далимилова чешская хроника, приведенная къ древнѣйшему чтенію В. Ганкой, изд. 2-е, стр. 12—14.

[120]) Chronika ceska—cum gratia et privilegio regiae majestatis, 1541 г., стр. X и XI.



Любуше, нѣкды кнежна ческа,
Панна ушлехтила, хезка,
Свего подданнего слугу
За муже свего од плугу
Пршемысла ораче взяла,
Јій книжитем удѣлала [121]).

Въ другой же пѣснѣ свадебной вспоминается про соотвѣтственный выборъ княземъ Олдрихомъ себѣ въ жены простой крестьянки Божены. Но и это преданіе опять таки существуетъ уже у Далимила, гдѣ расказывается, какъ князь этотъ, ловъ ловя, увидѣлъ стирающую бѣлье крестьянку съ босыми ногами, но неописанной красоты и рѣдкой нравственности, и, прельстившись ею, взялъ ее за себя, разсудивъ такимъ образомъ: «вышли смы з отце једного». Слова эти, какъ не трудно замѣтить, соотвѣтствуютъ вышеприведенному изрѣченію Козьмы Пражскаго о равенствѣ всѣхъ людей. Сохранивъ, не смотря на свое шляхетство, подобныя слова Ольдриха, Далимилъ толкуетъ ихъ далѣе такимъ образомъ: «лучше взять крестьянку чешскую, чѣмъ нѣмецкую цезаровну». (стр. 73 въ изд. Ганки).

Преданье объ Ольдрихѣ и Боженѣ по основному началу своему соотвѣтствуетъ нашему лѣтописному объ Игорѣ и Ольгѣ, которое въ свою очередь живетъ еще и до сихъ поръ въ памяти народа около Пскова [122]). Не лишнее будетъ вспомнить при этомъ и преданіе о Владимірѣ, какъ сынѣ служанки ольгиной, вслѣдствіе чего варяжская дѣва Рогнѣда и не хочетъ разуть его, *робичича*.

Возвращаясь къ постановленію княземъ крестьянина, укажу на польское преданіе о Лешкѣ II, записанное Кадлубкомъ (въ XIII ст.). Послѣ междуцарствія и долгихъ споровъ изъ за престола рѣшено было наконецъ выбрать княземъ того, кто обгонитъ другихъ въ конской скачкѣ. Это удается (при помощи нѣкоторой хитрости) одному крестьянину-юношѣ (въ его имени *Лешко* нѣкоторые изслѣдователи видятъ указаніе на его *лесть* (?), хитрость), Чтобы не забывать о своемъ низкомъ происхожденіи, онъ приказалъ при каждомъ торжественномъ случаѣ вѣшать свое прежнее крестьянское платье подлѣ престола, на которомъ онъ возсѣдалъ въ королевской мантіи. Передавая это сказаніе, извѣстный нѣмецкій изслѣдователь Санъ-Марте (псевдонимъ Шульца) замѣчаетъ вполнѣ справедливо: «это чисто славянская черта, что всякій изъ народа принимаетъ тутъ участіе въ состязаніи, и юноша изъ низшаго слоя (fortuna tenuis conditione humillimus—по словамъ Кадлубка) достигаетъ власти [123]). Столько же замѣчательно и другое преданье—о Пястѣ, подробно передаваемое польскимъ лѣтописцемъ XII ст. Мартиномъ Галломъ, и принадлежащее къ разряду общенародныхъ сказаній о *богачѣ и бѣдномъ и посѣщающихъ того и другого чудесныхъ странникахъ*. Объ эпической распространенности этихъ послѣднихъ уже говорено было выше—по поводу изцѣляемаго такими же странниками Ильи Муромца.

Но у насъ, какъ и во многихъ другихъ сказаніяхъ посѣщенію ими крестьянской гостепріимной избы Ильи не предшествуетъ посѣщенье иного,

---

[121]) Эрбена чешскія пѣсни, 312.

[122]) См. Записки о путешествіи по псковской и новгородской губерніи г. Якушкина, стр. 156, а также замѣчанія г. Буслаева въ его статьѣ о Муромской легендѣ (стр. 298)—памятникѣ полукнижномъ, полународномъ, гдѣ также выходитъ за князя крестьянка.

[123]) San-Marte, die Polnische Königssage, Berlin 1848, s. 48.

вовсе не гостепріимнаго, хотя и богатаго дома. Въ польскомъ преданіи напротивъ того такое посѣщеніе есть: князь города Гнѣзна, именемъ Попелъ, празднуетъ постриги своихъ сыновей и приглашаетъ на пиръ plurimos suorum procerum et amicorum.... Contigit autem ex occulto dei consilio duos illuc hospites advenisse, qui non solum ad convivium non sunt invitati, verum etiam a civitate cum injuria sunt reducti, qui statim civium illorum inhumanitatem abhorrentes et in suburbium descendentes, ante domunculam aratoris praedicti ducis pro filiis convivium facientis, forte fortuna devenerunt. Ille vero bonae compassionis pauperculus hospites illos ad suam domunculam invitavit, suamque paupertatem eis benignissime praesentavit. At illi pauperis invitationi gratanter inclinantes, et hospitalitatis tugurium subeuntes, bene, inquiunt, nos advenisse gaudeatis, et in nostro adventu bonorum copiam et de sobole honorem et gloriam habeatis.—Erant enim hospicii domestici: Pazt et uxor ejus Repta (Repca).... Cumque.... peregrini, an ibi potus aliquid habeantur? inquirerent, arator hospitalis respondit: «Est—inquit—mihi vasculum cerevisiae fermentatae, quam pro caesarie filii quem habeo unici tondenda praeparavi, sed quid prodest hoc tantillum? Si libeat, ebibatis»....

Qui etiam porcellum nutriebat, quem ad illud servitium reservabat. Mira dicturus sum, sed quis valet dei magnalia cogitare? Qui temporaliter pauperum humilitatem aliquociens exaltat, et hospitalitatem etiam gentilium remunerare non recusat.—Imperant igitur hospites securi cerevisiam propinari, quam bene noverant potissando non deficere, sed augeri; usque adeo enim crevisse fertur cerevisia, donec vasa mutuata replerentur omnia et quae ducis convivantis invenere vacua. Praecipiunt et porcellum supradictum occidi, unde X situlae, Slavonice cebri, mirabile dictu, memorantur adimpleri. Visis igitur Pazt et Repta miraculis, quae fiebant, aliquid magni praesagii de puero sentiebant. Jamque ducem et convivas invitare cogitabant, sed non audebant, nisi prius peregrinos hoc inquirant. Quid moramur? Consilio itaque hospitum et exhortatione dominus eorum dux et convivae omnes ipsius ab agricola Pazt invitantur, neque rustico suo dux invitatus condescendere dedignatur. Nondum enim ducatus Poloniae erat tantus, neque princeps orbis tanto fastu superbiae tumescebat, nec tot cuneis clientelae stipatus, ita magnifice procedebat. Inito de more convivio, et habundanter omnibus apparatis, hospites illi puerum totonderunt, eique Semovith vocabulum, ex praesagio futurorum, indiderunt.—His itaque peractis puer Semovith.... viribus et aetate crevit et de die in diem in augmentum proficere probitatis incepit, eotenus quod rex regum et dux ducum eum Poloniae ducem concorditer ordinavit, et de regno Popiel cum sobole radicitus extirpavit» [124]).

---

[124]) ...Многихъ изъ вельможъ своихъ и друзей.. По сокровенному же Божію совѣту случилось, что пришло туда двое странниковъ, которыхъ не только что не пригласили къ пиршеству, но даже оскорбительнымъ образомъ отогнали отъ города, они же, возгнушавшись безчеловѣчіемъ жителей, сей часъ же спустились въ пригородъ, и случайно подошли къ хижинѣ пахаря (работавшаго на) вышерѣченнаго князя, дававшаго пиръ ради сыновей. Этотъ же сострадательный бѣднякъ пригласилъ странниковъ въ свою хижину и предложилъ имъ со всѣмъ усердіемъ отъ своей скудости. Они же, съ благодарностью уступая его приглашенію и вступая подъ гостепріимный кровъ, говорятъ: «великая будетъ вамъ отъ прихода нашего радость, и множество благъ, и почеть и слава—отъ потомковъ вашихъ». Хозяева же хижины были Пастъ и жена его Рѣпка.... Когда же



Не трудно разглядѣть въ этомъ сказаніи, сквозь нѣкоторую примѣсь книжную, чисто-народныя эпическія черты—начиная чудеснымъ умноженьемъ питья и пищи и кончая полнѣйшею перемѣной въ судьбѣ гостепріимныхъ нищихъ. Только въ сказаніяхъ этого рода, живущихъ въ устахъ народа, постоянно проводится мысль *объ отнятіи у богатаго* для дарованія бѣдному. Первоначально, надобно думать, и въ изложенномъ польскомъ сказаніи чудесные гости, не учествованные королемъ Попеломъ, должны были прямо произнесть роковой приговоръ, что власть отъ него перейдетъ къ потомству гостепріимнаго мужика. У Мартина Галла такого карательнаго приговора уже не имѣется, но на дѣлѣ оно выходитъ такъ. У другого лѣтописца, уже XIII ст., Богухвала, не сынъ Пяста, а самъ Пястъ становится королемъ польскимъ, чудесные же посѣтители получаютъ уже христіанскія имена святыхъ мучениковъ Іоанна и Павла. Тоже повторяетъ и позднѣйшій писатель, Длугошъ, у котораго Пястъ, подобно чешскому Премыслу, велитъ беречь свои лапти и даже въ самый чертогъ королевскій вступаетъ въ нихъ и въ остальной крестьянской одеждѣ, и только потомъ уже облекается въ королевское одѣяніе. С. Марте думаетъ, что черта эта заимствована Длугошемъ изъ сказанія чешскаго, а по моему она могла уже изначала принадлежать и польскому. Если ея нѣтъ у Мартина Галла, то это могло зависѣть отъ неполноты въ пересказѣ, имъ слышанномъ, тогда какъ до Длугоша могъ дойти пересказъ, въ этомъ отношеніи болѣе полный, хотя Длугошъ и жилъ несравненно позже: мы могли уже видѣть, а впередъ еще будемъ не разъ имѣть случай окончательно убѣдиться въ томъ, какъ въ одной мѣстности можетъ рано изчезнуть то, что въ другой сохраняется долго. Какъ бы то ни было, но С. Марте и тутъ, въ этомъ сказаніи о Пястѣ и Земовитѣ, видитъ выраженіе той гражданской свободы и равноправности, какою пользовались у древнихъ Славянъ земледѣльцы, прямо допускавшіеся къ участію въ дѣлахъ общественныхъ, и даже, по народному выбору, въ правительственной власти [125]).

---

странники стали спрашивать: есть ли у нихъ какое нибудь питье? гостепріимный пахарь имъ отвѣчалъ: «есть у насъ сосудецъ меду, припасенный къ постригамъ единственнаго моего сына, но что вамъ въ такой бездѣлицѣ. Но если угодно, выкушайте!..» Кромѣ того онъ откармливалъ поросенка, также назначаемаго для того дня... Чудное предстоитъ мнѣ сказать, но кто въ состояніи исповѣдывать пути Божіи? Онъ въ силахъ, въ извѣстное Ему время, умножить стократъ состояніе бѣдняка и онъ не отказываетъ въ наградѣ за гостепріимство даже язычникамъ... Вотъ странники и велятъ, увѣренные въ себѣ, подать медъ, зная, что онъ испиваемый, не только не оскудѣетъ, но напротивъ того умножится. И до того, какъ сказываютъ, умножился медъ, что имъ наполнены были взятые взаемъ сосуды и всѣ оказавшіеся порожними у пировавшаго князя. Но вотъ велятъ они заколоть поросенка вышереченнаго, и чудесными образомъ наполняются отъ него, гласитъ память, цѣлыхъ десять мисъ, по славянски цебровъ.... Пястъ же и Рѣпка, видя такое чудо, усматривали въ немъ великое нѣкое предназнаменованіе своему отроку. Задумывали даже пригласить князя и его гостей, но не смѣли, не спросившись сперва у странниковъ. Но что медлить? (выраженіе, можетъ быть, и народное: стоитъ вспомнить вышеприведенное мѣсто изъ сѣверной заги (стр. 112) и слова сербской пѣсни: дульити лакрдіју). Съ согласія и одобренія странниковъ князь и всѣ его гости приглашаются пахаремъ Пястомъ, и приглашенный князь не отказываетъ своему крестьянину. Въ то время вѣдь княжество польское не было еще велико, да и князь еще превозносился блескомъ величія, не былъ еще окруженъ толпящейся дворней, не выступалъ еще такъ величаво. Когда же пиръ, по обычаю, былъ заведенъ и всего было наготовлено въ изобиліи, странники сами совершили надъ мальчикомъ постриги и нарекли имя ему Земовитъ, предназнаменуя будущее. По совершеніи же всего этого, отрокъ Земовитъ въ силахъ и возрастѣ прибывалъ, и со дня на день крѣпился достоинствомъ, ибо Царь царствующихъ и Господь господствующихъ предназначилъ его княземъ Польши, а родъ Попела искоренилъ. San Marte, Polnische Königssage, 64—65, 67, 50.

125) Ibidem, стр. 72.

Послѣ всего этого слѣдуеть указать и на тотъ хорутанскій обрядъ поставленія князя, который непосредственно связанъ со славянскою эпическою стариною и существовалъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ дѣйствительности даже до XIV в. не смотря на полнѣйшій разгаръ западно-европейскаго феодализма, о сильномъ развитіи котораго уже въ XII в. говоритъ Воцелъ. Ново поставляемаго князя приводили къ каменному столу (престолу), находившемуся посреди поля; на немъ заставалъ онъ уже сидящимъ старосту сельскаго, и, подойдя къ нему, долженъ былъ совлечь съ себя верхнюю княжескую одежду и облечься въ крестьянскую. По обѣимъ сторонамъ князя становились его приближенные — одинъ съ *воломъ*, другой съ *кобылою* (тѣ-же самыя земледѣльческія животныя, что и въ преданіи о Микулѣ—Премыслѣ). Тогда староста сельскій обращался къ нимъ съ престола со слѣдующими вопросами: «Кого это вы привели сюда»?—Князя земли нашей, которому долженъ ты *уступить* свой столъ.—«Не сдѣлаю этого, пока не буду удостовѣренъ, что онъ достоинъ возсѣдать на немъ.—Онъ вполнѣ достоинъ.... «Справедливый ли онъ судія.... станетъ ли онъ охранять покой земли нашей, защищать вдовъ и сиротъ?»... Станетъ.—«Такъ пусть же онъ присягнетъ въ томъ»....—Затѣмъ присяга давалась сперва троими изъ приближенныхъ княжескихъ, ставовившимися какъ бы его поручителями.—Тогда староста сельскій, сойдя со стола, указывалъ на него князю, который, вступивъ на него, давалъ уже самъ за себя присягу. А потомъ уже весь народъ присягалъ въ свою очередь князю» [126]).

Надо однакожь замѣтить, что Я. Гриммъ, приводя это, указываетъ также на германское преданіе о Генрихѣ Птицеловѣ, котораго посланные отъ избирателей застали за ловлею птицъ. Это преданіе, говоритъ онъ, принадлежитъ еще порѣ пастушеской, земледѣльческой же порѣ—римское преданіе (у Плинія 18,4) о Серанѣ. serentem invenerunt dati honores Seranum, unde cognomen (Gesch. d. D. Spr. I, 43) Нѣсколько выше Гриммъ напоминаетъ римское же преданіе о Цинциннатѣ: aranti quatuor sua jugera in vaticano, quae prata quinctia appellantur, Cincinnato viator attulit dictaturam, et quidem, ut traditur, nudo plenoque pulveri ore. Plin. 18,4.; Quinctius ab aratro ad dictaturam arcesitus Liv. 3,26. Cic. fin. 2,4. Наконецъ онъ же приводитъ готское преданіе о Вамбѣ, о которомъ предсказано было, что его призовутъ на царство въ то самое время, когда онъ будетъ вспахивать поле при помощи бѣлаго быка:

y lo habian de hallar arando cerca de la Andalucia,
con un b u e y b l a n c o y sereno, y un prieto en su compania.

(бѣлыми, нужно замѣтить, оказываются и быки Премысла: «unus bos praecinctus est albedine et albo capite, alter a fronte post tergum albus, et pedes posteriores habens albos [127]).

---

[126]) См. въ моемъ «Ист. Обзор. Р. Слов.» стр. 212—213, гдѣ находится ссылка на Палацкаго—Dejiny narodu ceskeho, I, 197. откуда и взято мною описаніе хорутанскаго обряда. (Ср. у Буслаева въ «Очеркахъ» I, 373).

[127]) Scriptores rerum bohemicarum, ed. Pelzel et Dubrowski, I, 15.



Всѣ эти указанія Я. Гримма вполнѣ подтверждаютъ первоначальную свойственность всему арійскому племени сочувственно-уважительнаго взгляда на земледѣліе. Это отголоски отдаленной обще-арійской поры, тамъ или здѣсь уцѣлѣвшіе съ большею или меньшею ясностью, тогда какъ собственно у Славянъ мы видимъ не какіе нибудь отголоски, а цѣльный и стройный эпическій кругъ сказаній съ чисто-земледѣльческимъ складомъ.

Что̀ же касается Германцевъ, то въ своемъ родѣ замѣчательны, но опять лишь какъ отдѣльные, разрозненные отголоски, нѣкоторыя сказанія, записанныя самими Гриммами со словъ народа. Тутъ выставляется противоположность между великанскимъ родомъ и малорослымъ земледѣльческимъ поколѣніемъ. Пашущаго крестьянина, вмѣстѣ съ его лошадьми, подняла, какъ игрушку, дочь великана, и принесла въ передникѣ къ своему отцу. Но онъ приказалъ ей отпустить человѣчка на волю, на томъ основаніи, что это такой родъ, который можетъ сильно повредить великанамъ. Затѣмъ эти послѣдніе оставляютъ ту мѣстность, какъ бы чувствуя, что гдѣ заведутся со своею упорною силою терпѣнія и труда эти карлы—оратаи, тамъ уже не будетъ житья неповоротливому и неумѣлому поколѣнію великановъ.

Такъ передается это у Гримма въ его Исторіи Нѣмецкаго Языка, (2-е изд., I,11) Но въ его же **Deutsche Sagen**, I, № 17 сообщенъ, повидимому, другой пересказъ съ нѣсколько позднѣйшимъ оттѣнкомъ. Тутъ великанъ называется *рыцаремъ*; и въ его замѣчаніи великаншѣ дочери поражаетъ слѣдующее: «крестьянинъ мнѣ не игрушка.... если онъ не будетъ воздѣлывать поля, то намъ великанамъ придется умирать съ голоду». [128])

Такимъ образомъ и при рыцарскомъ званіи это всетаки *великанъ*, и земледѣльцу, даже и по этому пересказу, приписывается нравственное преимущество только передъ *глупымъ*, грубо-тѣлеснымъ великанскимъ родомъ. Это далеко не то, что̀ столь разнообразно у насъ выражаемое первенство Микулы передъ Вольгою, хоробрымъ и *вѣщимъ* князємъ Оба они, и чудесный пахарь, и чудесный князь во многомъ сохраняютъ еще черты первоначальныхъ божествъ, и первенство, достающееся Микулѣ, оказывается первенствомъ земледѣльческаго божества.

Мы видѣли, какъ у Германцевъ это самое божество отодвинуто было назадъ, впередъ же былъ выдвинутъ «богъ—воинъ Одинъ, представитель начала *родовитости*, этой позднѣйшей, уже чисто исторической формы от-

---

[128]) Уже въ укороченномъ видѣ представляется это сказанье у Гриммовъ въ D. Sagen № 325. Еще сокращеннѣе сказанье кашубское, помѣщенное у Гильфердинга въ приложеніяхъ къ его статьѣ «Остатки Славянъ на южномъ берегу Балтійскаго Моря», стр. 114. (Этнограф. Сб. в. V). См. также въ Kalewipoeg стр. 411.

Уважительный до нѣкоторой степени взглядъ на земледѣльца проявляется также въ сказаніи о Старкадрѣ (у Саксона Грамматика). Богатырь этотъ, весь израненный, не позволялъ себя перевязывать тѣмъ, къ кому питалъ презрѣніе, но сыну свободнаго селянина онъ охотно позволилъ перевязать себя. Между тѣмъ въ числѣ презираемыхъ и потому отвергнутыхъ, находился также земледѣлецъ,—но запятнавшій себя обязательною работою за свою несвободную жену. Такимъ образомъ тутъ все-же проявляется тотъ вельможный взглядъ, который зависѣлъ отъ перевѣсившей у Германцевъ воинственности и который прямо противоположенъ славянскимъ эпическимъ личностямъ, такъ легко братающимися съ рабами.—Что̀ же касается Старкадра, то и его уваженіе къ свободному земледѣльцу представляетъ какой то остатокъ воззрѣній, не подходящихъ къ господствующимъ въ сказаньи о немъ: онъ любимецъ воинственнаго Одина, а потому и предметъ ненависти земледѣльческаго Тора (Uhland, VII, 255—256).

даленнаго *родового быта*, формы, въ которой онъ уцѣлѣлъ и до нашего времени въ *родовитыхъ*, (аристократическихъ) установленіяхъ западно-европейской жизни».—Теперь же будетъ кстати указать въ старой Эддѣ на пѣсню Rigsmal, говорящую объ исконномъ раздѣленіи людей на рабовъ, земледѣльцевъ и знатныхъ. «Каждое изъ поименованныхъ состояній производится тутъ, при участіи странствующаго божества, (Ригра—особое имя Геймальра, сына Одина) отъ особой изначальной четы: та, отъ которой пошли рабы, уже отъ природы ужасала своимъ безобразіемъ; у той, которая произвела земледѣльцевъ, самая наружность отличалась болѣе человѣческими чертами; послѣдняя же, родоначальница родовитыхъ людей, была и сама красавица, и все потомство ея отличалось красотой ненаглядною, лучшимъ же цвѣтомъ ея, позже всѣхъ рожденнымъ, какъ бы верховнымъ выводомъ родовитости, является *конуръ* (король). Вотъ *кровное* происхожденіе германской верховной власти въ противоположность славянскому *выборному*». [129])

Только что приведенное свидѣтельство пѣсни «Rigsmal» объ изначальности сословій Я. Гриммъ считаетъ классическимъ (Rechtsalterthümer, 227) «Изъ сословія благородныхъ, говоритъ онъ немного далѣе, выдвигается впередъ князь или король». Между тѣмъ родъ занятій этихъ благородныхъ подробно описывается въ той-же пѣснѣ Эдды. Глава ихъ, посѣщаемый Ригромъ, *Фадиръ* (отецъ) представляется тутъ крутящимъ жилы для тетивы, натягивающимъ лукъ, насаживающимъ стрѣлу на древко. Старшій сынъ его, Ярлъ, [130]) возмужавъ, точно также начинаетъ крутить жилы и проч, сверхъ-же того кидать дротики, колебать копья, ѣздить на жеребцахъ, травить собакъ, извлекать изъ ножонъ мечи, переплывать заливъ.—Тутъ снова является Ригръ, велитъ пріобрѣтать земли въ наслѣдственную собственность, пріобрѣтать и замки. Вотъ и заколебалось въ рукахъ у Ярла копье на древкѣ липовомъ, онъ пришпорилъ коня и вытащилъ мечъ. Вотъ и загорѣлась тутъ брань, обагрился лугъ, врагъ былъ сраженъ и земля завоевана. Вслѣдъ-же затѣмъ онъ усѣлся и началъ властвовать въ осьмнадцати палатахъ, раздѣляя добро, одаряя всѣхъ—кого драгоцѣнными украшеніями, кого конями статными, кого поручами.... Вотъ и отправились благородные по влажнымъ путямъ за невѣстой для Ярла—благородною Эрною (живою-веселою). Отъ нея родятся у Ярла дѣти: *Бурръ*, *Зонръ* (оба=сынъ), *Барнъ*, *Іодъ*, *Мёгръ* (всѣ три=дитя), *Адаль* (благородный), *Арфи* (наслѣдникъ), *Нидръ*, *Нидјунгръ*, *Кундръ* (потомокъ, родственникъ), *Свейнъ* (благородный мальчикъ), и наконецъ *Конръ*

---

[129]) См. въ моемъ «Ист. Обозр. Р. Слов. стр. 213. Такъ смотритъ самъ переводчикъ Эдды Зимрокъ: «In Konur, dessen Name mit König verwandt ist, sollte wohl dargelegt werden, wie aus dem Stande der Edeln das Königthum sich hervorbildet... Dass gerade der jüngste des Geschlechts hierzu erschen ist, mag uns den König als die Bluthe des Adels, den letzten höchsten Trieb der Volksentwickeluug darstellen sollen» (Simrock, Edda 2 Aufl. S. 432). Совершенно также разсуждаетъ и Люнингъ (Edda S. 247). Напротивъ того Ф. Либрехтъ полагаетъ, что достиженіе именно младшимъ королевской власти служитъ намекомъ на нѣкогда широко распространенный сеньоратъ (Jüngstrecht). Далѣе онъ напоминаетъ тутъ о скиѳскомъ Калаксаисѣ—также младшемъ сынѣ (Götting. Gel. Anz. 1865 г. 12 Stück, 22 März). Но можно указать и на всенародную удатность именно младшаго изъ трехъ братьевъ—въ сказкахъ, удатность—не смотря на то, что положенье его въ семьѣ у отца и у старшихъ братьевъ, самое неблагопріятное, совсѣмъ не отзывающееся сеньоратомъ. Думаю, что преимущество младшаго въ пѣснѣ Эдды—есть только издавняя общенародная, особаго изслѣдованія заслуживающая эпическая черта.

[130]) Jarl—graf (Lüning, Edda, Glossar, 582).

(король) [131]). Если же припомнить послѣ всего этого, что отецъ Ярла такъ и носитъ въ этой пѣснѣ имя Отца (Fadir), а мать — Матери (Modir), то вполнѣ понятнымъ сдѣлается слѣдующее замѣчаніе Гримма: «самыя простыя и обычныя выраженія для родственныхъ отношеній.... такимъ образомъ производятся здѣсь изъ рода знатныхъ, благорожденныхъ». Но не въ правѣ-ли мы заключить изъ этого, что твердо установившіяся *связи родственныя* и основывающееся на нихъ *право наслѣдованія* (на которое указывается именемъ *Арфе*—Erbe) признаются тутъ какимъ то особеннымъ преимуществомъ собственно *благороднаго* слоя?—Какъ бы то ни было, все это благорожденное поколѣніе является склоннымъ къ игрѣ, къ плаванью, къ метанью костей; взросли они, обуздывая жеребцовъ, украшая щиты, натачивая стрѣлы, стругая древка. Младшему, Конру, (королю) приписано кромѣ того и знаніе рунъ—т. е. вѣщее знанье письменъ чародѣйныхъ [132]) (ср. выше стр. 28 и 128); умѣлъ онъ при помощи ихъ и *цѣлить* мужей [133]), но также и притуплять мечи и одолѣвать моря. Птицъ понималъ онъ (ср. съ Зигфридомъ— выше стр. 126), умѣлъ унимать огонь усмирять море, прогонять заботы,—(вѣроятно посредствомъ тѣхъ-же чародѣйныхъ рунъ); [134]) сила-же его равнялась силѣ осьми мужей. Онъ состязался и съ Ригромъ и съ Ярломъ въ знаніи рунъ; во всякой хитрости-мудрости [135]) одерживалъ онъ побѣду». По такому *вѣщему* складу, этотъ *Конръ* вполнѣ соотвѣтствуетъ нашему *кънязю* (слово одного корня съ *конромъ*) [136]) Вольгѣ, который однако-же, при всѣхъ своихъ *вѣщихъ хитростяхъ*, долженъ былъ, какъ видѣли мы, уступить Микулѣ— не только въ подъемѣ сохи, но и въ быстрой ѣздѣ и въ умѣньи найтись въ опасности. Что сталось далѣе съ Конромъ, мы не знаемъ, потому что пѣсня Эдды дошла до насъ безъ конца, какъ думаютъ [137]). Далѣе сказано про него, что онъ поскакалъ сквозь тростникъ и лѣсъ, сталъ метать оружіе и ловить птицъ—въ чемъ опять соотвѣтствуетъ онъ Вольгѣ—*охотнику*. Но тутъ съ высоты дерева провѣщилась Конру ворона. «Тебѣ ли, княжому сыну, ходить за птицами; тебѣ бы приличнѣе объѣзжать коней, разбивать войска».... Далѣе она указываетъ ему на сосѣдей, которые «умѣютъ пытать мечи и наносить раны».... Пѣсня этимъ кончается, и если, по всей вѣроятности, это не настоящій конецъ, а лишь перерывъ, все же основное содержаніе ясно: это—міръ благородныхъ, какъ особый, совершенно обособлен-

---

[131]) Толкованіе этихъ именъ—у Як. Гримма, въ Rechts-Alterthümer, 266.

[132]) Aefin rûnar ok aldrrûnar. Зимрокъ переводитъ— Zeitrunen und Zukunftrunen, а Люнингъ толкуетъ: «die kenntniss der geschichtlichen begebenheiten und der lebensschicksale hevorragender männer war eine hauptzierde des mannes.... А немного далѣе: runen bezeichnen ebensowohl das auf natürlichem wege als auch das durch zauberkünste erlangte wissen und können (стр. 247).

[133]) Mönnum biarga, d. h., объясняетъ Люнингъ, er verstand die biargrûnar—heilkunde. Что же касается Зимрока, то онъ переводитъ довольно темно: Menschen bergen.

[134]) Brögdum beitti—künste anwenden, üben, по переводу Люнинга (Glossar, 539).

[135]) Послѣ этого, можетъ быть, и обученіе Вольги грамотѣ должно быть признано только особымъ видомъ обученья премудростямъ т. е. тутъ можетъ подразумѣваться грамотность чародѣйная, соотвѣтственная рунической. (Тогда пришлось бы признать такую грамотность Вольги—подлинною, а не замѣшавшеюся, какъ предположено у меня выше, изъ былинъ о Васькѣ Буслаевѣ).

[136]) См. въ моемъ Ист. Обозр. Р. Сл. стр. 129.

[137]) Schluss scheint zu fehlen — отмѣчаетъ Зимрокъ (стр. 130); scheint verstümmelt, говоритъ Люнингъ (стр. 248).

ный міръ *боевой потѣхи* и *насильственнаго захвата*, отчасти озаренный и свѣтомъ особаго, по преимуществу тому-же благородному слою принадлежащаго — вѣщаго, чародѣйнаго знанія... Совершенно въ сторонѣ отъ него стоитъ *трудовой, земледѣльческій* міръ, глава котораго еще ранѣе посѣщенъ былъ Ригромъ, заставшимъ его за токарнымъ станкомъ, одѣтымъ въ обтяжку, съ ящиками на полу. Подлѣ него, за пряжей, сидѣла его жена. Когда же она родила, при участіи Ригра, сына, то онъ названъ былъ Карломъ (**kerl, mann: 1) mann im Gegensatz zur frau,** и 2) **der freie bauer—im Gegensatz zum edelen**) [138]).—Мужая, сталъ онъ усмирять быковъ, выдѣлывать плуги, строить дома, выводить житницы, изготовлять телѣги, воздѣлывать поле. Позже на дворъ къ нему прибыла, вся увѣшанная ключами, невѣста, въ козьей одеждѣ, по имени Snör (сноха). Вотъ и зажили они вмѣстѣ, обмѣнявшись кольцами, и занялись домоводствомъ. Отъ этой то четы родились сыновья: Гальръ, Дренгръ (мужъ) Денгъ, Зеггръ (молодецъ); Смидръ (кузнецъ) Буй, Бонди (селянинъ): Гельдръ (кулачный боецъ) [139]).—Это послѣднее имя указываетъ, конечно, и на способность земледѣльца къ бою — при помощи *естественнаго* оружія. Но всѣ роды занятій, приписываемыхъ этимъ людямъ, рѣзко ихъ отличаютъ, какъ могли мы замѣтить, отъ людей благородныхъ — воинственныхъ. Имена же родителей этого крестьянскаго поколѣнія—***Афи*** и ***Амма—Дѣдъ*** и ***Бабушка***—выставляютъ ихъ *старшими*, сравнительно съ родителями поколѣнія благородныхъ—*Отцомъ* и *Матерью*. Не служитъ ли это эпическимъ выраженьемъ какъ той издавней окрѣплости земледѣльческой жизни, которая относилась еще къ обще-арійской порѣ, такъ и того позднѣйшаго перехода отъ земледѣльческаго строя къ воинственному, которымъ обозначилась дальнѣйшая судьба выдѣлившагося изъ арійскаго корня германскаго племени? Въ силу этого перехода, *передовымъ, благороднымъ* сталъ представляться слой, не вѣдавшій мирнаго земледѣльческаго труда и не имѣвшій ничего общаго съ людьми, ему преданными [140]). Князь-дружинникъ, зовущій къ себѣ *во товарищи* Селяниновича, составляетъ явленіе, не мыслимое въ германскомъ эпосѣ; еще же менѣе мыслимо въ немъ *передовое значеніе* Селяниновича. Но какъ бы ясно ни выражалось оно въ эпическомъ столкновеніи Микулы съ Вольгою,—настоящимъ, полнѣйшимъ выраженіемъ этого первенства служитъ богатырская жизнь другого любимца земли—Ильи Муромца, ему же суждено было навсегда оставить работу крестьянскую, земледѣльческую—для боя, смерть въ которомъ ему не написана.

«Въ видѣ одной изъ характерныхъ особенностей нашего Ильи, говоритъ г. Стасовъ, [141]) выставляютъ обыкновенно то, что онъ—богатырь крестьянинъ...

---

[138]) Lüning, Edda (glossar, 585).

[139]) Pugil, какъ переводитъ Гриммъ (Rechtsalterthümer, 283); словомъ же молодецъ я перевожу то, что у него—vir fortis.

[140]) Послѣ этого становится понятнымъ и то, признаваемое Гриммомъ, обстоятельство, что самое слово плугъ (Pflug) заимствовано Германцами у Славянъ (Gesch. d. D. Sprache, I, 40; тоже признаетъ и Шлейхеръ въ своемъ «Очеркѣ до-исторической жизни сѣверо-восточнаго отдѣла индо-германскихъ языковъ, стр. 7; но надо ср. также стр. 43 и 51). Съ другой же стороны не лишнее будетъ указать и на мнѣніе академика Куника, что многія изъ словъ, обозначающихъ различныя части вооруженія, заимствованы Славянами у Германцевъ (Bulletin de l'Académie des Sciences, XII, 52).

[141]) Вѣстн. Евр. 1868 г., Апр., стр. 652.

Но это совершеннѣйшее заблужденіе. Восточныя поэмы и легенды заключаютъ много подобныхъ расказовъ, гдѣ герой или богатырь крестьянскаго происхожденія. Такъ напр. въ цейлонскомъ собраніи религіозныхъ буддійскихъ книгъ, извѣстномъ подъ именемъ «Магаванзи», есть цѣлая особая глава, 23, гдѣ изложено 10 отдѣльныхъ повѣстей о похожденіяхъ 10 богатырей, данныхъ въ товарищи царевичу Гамени.—Про каждаго изъ нихъ расказывается особо, что родители его, именно такіе-то, (часто придворные или вельможи) жили въ такой-то деревнѣ и занимались сельскими работами; родился у нихъ сынъ, именемъ такой-то, который въ ребячествѣ и отрочествѣ помогалъ родителямъ въ ихъ сельскихъ работахъ, а впослѣдствіи сталъ совершать разные богатырскіе подвиги»....

Не стану уже говорить о томъ, что родители этихъ богатырей, по словамъ самого г. Стасова —часто *придворные* или *вельможи*, а потому и земледѣльческія ихъ занятія должны быть не чѣмъ инымъ, какъ своего рода *прихотью*—лѣтнимъ деревенскимъ препровожденіемъ времени. Впрочемъ я вовсе не отрицаю, что въ какихъ нибудь восточныхъ сказаніяхъ могутъ оказаться и настоящіе богатыри изъ крестьянъ... Какъ явленіе исключительное, они попадаются даже въ совсѣмъ уже не деревенскомъ—франкскомъ средневѣковомъ эпосѣ: таковъ, на примѣръ, Gautier въ chanson de geste о Gaydon'ѣ, или Varocher — въ Macaire». [142]) Еще замѣчательнѣе то обстоятельство, что въ презрительныхъ словахъ сына Карла Великаго, Карлота, одному изъ знаменитѣйшихъ паладиновъ Карла Вел., Ожье Датскому, заключается какъ будто намекъ на его низкое происхожденіе. «Отправляйся мять свои кожи и выдѣлывать свои сыры» говоритъ ему Карлотъ. [143]) Между тѣмъ ничто уже въ настоящемъ видѣ сказаній о паладинѣ Ожье, не можетъ служить объясненьемъ такого намека. Онъ долженъ былъ или примѣшаться со стороны, или уцѣлѣть отъ болѣе древняго вида сказанія, въ которомъ, быть можетъ, Ожье обрѣтался на одной эпической почвѣ съ нашими отечественными сказаніями о *Кожемякѣ*. Но хотя бы и дѣйствительно такъ,— всякій слѣдъ такого, если не сельскаго, то мѣщанскаго происхожденія, совершенно простылъ во всемъ нравственномъ складѣ Ожье — благороднаго паладина отъ головы до ногъ. Онъ и не могъ не простыть при господствующей въ западно европейскомъ эпосѣ бытовой закваскѣ. Только при прямо противоположной закваскѣ въ славянскомъ эпосѣ и возможно—не крестьянское происхожденіе того или другого богатыря (само по себѣ оно и вездѣ возможно) [144]), а его безусловное, имъ самимъ сознаваемое первенство не смотря на такое происхожденіе, открыто, во всеуслышанье имъ исповѣдуемое, и исповѣдуемое не только на словахъ, но и на дѣлѣ, во всемъ нравственномъ складѣ, и во всѣхъ оборотахъ его богатырской дѣятельности.

---

[142]) Gautier, les Epopées Françaises, II, 466, 541—545. Chanson о Гедонѣ относится къ концу XII или началу XIII ст. (См. стр. XV и XIX въ предисловіи къ изданію ея, составляющему VII ч. коллекціи «les anciens poètes de la France»)

[143]) Gautier, Epopées Françaises, II, 53.

[144]) Надо замѣтить, что въ сѣверныхъ загахъ очень часто являются важными дѣйствующими лицами т. н. бонды, т. е. богатые, самостоятельные поселяне. О мѣщанскомъ происхожденіи Сида будетъ ниже.

Вотъ такое-то первенство, такъ ясно выражающееся въ Микулѣ, должно будетъ еще съ большею ясностью выказаться изъ разбора всѣхъ подвиговъ Ильи Муромца.

Но прежде чѣмъ возвратимся къ нему и къ дальнѣйшимъ послѣдствіямъ его встрѣчи со Святогоромъ (послѣдовавшей за его изцѣленіемъ.), упомянемъ еще объ одномъ событіи изъ жизни этого старшаго богатыря, которое произошло еще до знакомства съ Ильей, и въ которомъ участіе принималъ Микула. Не совладавъ съ микулиной сумочкой, Святогоръ, недоумѣвая, и какъ бы чуя въ Микулѣ особую, вѣщую силу, спрашиваетъ у него, какъ бы ему узнать судьбину (божью— прибавлено въ побывальщинѣ, подъ вліяніемъ уже христіянскихъ вѣрованій). Микула посылаетъ его къ *Сивернымъ горамъ*, къ великому дереву—въ стоящую подъ нимъ кузницу, гдѣ кузнецъ ему можетъ *сковать судьбину*. Надо думать, что въ подобномъ опредѣленіи мѣстности долженъ былъ въ свое время заключаться миѳическій смыслъ; что́ же касается *выковыванія судьбы*, то подобное выраженіе совершенно въ духѣ народной словесности. Оно объясняется тѣмъ, что управленіе судьбою первоначально приписывалось не *отвлеченному* высшему существу, а осязательнымъ божествамъ, первоначально имѣвшимъ, какъ и всѣ другія, значеніе чисто естественное (физическое). Если *выкованное* оказывалось крѣпкимъ въ прямомъ, не переносномъ значеніи, то и крѣпкое въ иносказательномъ смыслѣ, въ смыслѣ ненарушимости, прочности внутренней, представлялось миѳическому воззрѣнію выкованнымъ. Отсюда и ненарушимыя брачныя узы, и ненарушимые завѣты судьбы выковывались небесными ковачами. [145]) Для Святогора въ настоящемъ случаѣ они совпадаютъ. — Кузнецъ, къ которому онъ пріѣзжаетъ по указанію Микулушки, выковывая *два тонкихъ волоса* (быть можетъ, двѣ жизненныхъ нити), говоритъ ему, что онъ куетъ судьбину, кому на комъ жениться. А мнѣ на комъ жениться? спрашиваетъ Святогоръ. А твоя невѣста въ Царствѣ Поморскомъ, въ престольномъ во городѣ, тридцать лѣтъ лежитъ во гноищѣ. Не можетъ такая невѣста понравиться Святогору; — за досаду то ему показалося, и онъ рѣшается ѣхать туда—чтобы убить невѣсту неподходящую. Не буду останавливаться на томъ, что это тридцатилѣтнее лежанье во гноищѣ есть какъ бы миѳическій противень къ тридцатилѣтней разслабленности Ильи (а что одно и тоже явленіе могло выражаться двумя образами, женскимъ и мужскимъ, это извѣстно изъ сравнительной миѳологіи). Изцѣленіе прокаженной дѣвы вслѣдствіе удара ея мечомъ Святогора, при чемъ спадаетъ съ нея словно *кора*, соотвѣтствуетъ сходному способу изцѣленія во многихъ сказкахъ. Самая же эта кора напоминаетъ ту *еловую же кору*, въ какой являются сестры Егорью Храброму, тоже ихъ изцѣляющему (надо вспомнить при этомъ и то, что въ вышеприведенныхъ указаніяхъ на Святогора изъ стиха про Анику и смерть, онъ иногда называется Егоръ-Святогоръ). Замѣчаю это все мимоходомъ, потому что въ настоящемъ случаѣ насъ

---

[145]) Въ нашихъ пѣсняхъ, какъ уже замѣчено выше, первоначальный ковачъ миѳическій скрывается уже подъ именемъ Козьмодемьяна; ему же приписывается и кованіе вѣнца брачнаго. Чисто миѳическій образъ небеснаго ковача сохранился въ латышскихъ пѣсняхъ (см. въ Сб. Спрогиса стр. 13 и 302).



занимаетъ не первоначальный миѳическій смыслъ, а та позднѣйшая, разумѣется, мысль о судьбѣ, которая проведена уже черезъ все сказаніе. Для насъ важно, что Святогоръ думалъ отдѣлаться отъ выкованной ему брачной судьбины, ударилъ невѣсту мечомъ, и ускакалъ отъ нея. Между тѣмъ именно этотъ ударъ послужилъ къ тому, что она *обернулась* неописанною красавицей. Когда же разнесся слухъ про ея красоту, Святогоръ поѣхалъ посмотрѣть на красавицу и женился на ней, не догадываясь, кто она. Наконецъ уже онъ узналъ ее по рубцу на груди, происходившему отъ удара его мечомъ. И пришлось, послѣ этого исповѣдывать Святогору, что отъ судьбины своей никуда не уйдешь.» [146]).

Такимъ образомъ передается это похожденіе у г. Рыбникова въ части I, на стр. 39—41, въ выноскѣ (безъ обозначенія гдѣ и отъ кого записано) Но тоже самое расказывалъ нашему многоуважаемому собирателю въ Кижской Волости Петрозаводскаго Уѣзда крестьянинъ Рябининъ, расказывалъ про Самсона богатыря, объ отождествленіи котораго со Святогоромъ уже сказано было выше. Кузнецъ у Рябинина *выковываетъ* Самсону жениться въ Поморскомъ Царствѣ *на дочери Луки калѣки* (и тутъ пролежавшей во гноищѣ тридцать лѣтъ), и Самсонъ признаетъ послѣ свадьбы, что

Суда Божія на добромъ конѣ не объѣхати
И то поговорье впередъ пошло [147])

На древность этого поговорья указано г. Тихонравовымъ, который сближаетъ его съ извѣстной *припѣвкой* Бояна въ Словѣ о Полку Игоревѣ: «ни хитру, ни горазду суда Божія не минути», и думаетъ что это *поговорье-припѣвка* было какъ бы выводомъ изъ давняго эпическаго сказанія о судьбѣ богатыря [148]). Далѣе слѣдуетъ у Рябинина расказъ, уже прямо напоминающій библейскаго Самсона. Извѣстная измѣна этому послѣднему жены его связана съ нашимъ сказаніемъ о Святогорѣ-Самсонѣ тѣмъ, что жена этого послѣдняго, дочь Луки калики, никакъ не можетъ ему простить намѣренія—разрубить ее мечомъ на полы. Между тѣмъ такое объясненіе измѣны, очевидно,

---

[146]) Въ настоящемъ видѣ своемъ эта побывальщина представляетъ уже черты подновленныя и опошленныя до нельзя. Такъ, прежде чѣмъ ударить дѣвицу мечомъ, Святогоръ вынулъ пятьсотъ рублей и положилъ на столъ. Послѣ его отъѣзда, проснувшаяся дѣвица взяла эти деньги и начала торговать на Святыхъ горахъ. Въ объясненіе этихъ странныхъ пяти сотъ рублей не должна ли служить слѣдующая черта изъ одной Аѳанасьевской сказки (VIII, стр. 64). Иванъ Царевичъ пріѣхалъ къ спящей царевнѣ, самоё ее облюбилъ, и опять ускакалъ. Проснулась царевна и говоритъ: «что такой за невѣжа былъ, квашню раскрылъ и двѣ полушки на сихъ положилъ? Далѣе она еще разъ выражаетъ это—немного полнѣе: «Какой-то невѣжа былъ, мою квашню раскрылъ, на покрышкѣ двѣ полушки положилъ». Черта эта, имѣющая тутъ иносказательный, не совсѣмъ-то приличный смыслъ, понятая въ прямомъ смыслѣ, замѣшалась въ побывальщину (вслѣдствіе чего и въ этой послѣдней дѣвица просыпается): изъ двухъ полушекъ вышли рубли, и даже цѣлыхъ пятьсотъ, послужившихъ дѣвицѣ къ разбогатѣнью. Замѣчательно, что въ видѣ безыменной сказки все это сказаніе о женитьбѣ Святогора сохранилось также въ Пермскомъ краю. Одинъ человѣкъ захотѣлъ жениться. Вотъ однажды въ церкви показываетъ ему старикъ на горбатую нищую: «вотъ твоя судьба—не обойдешь,не объѣдешь». Тотъ съ досады хватилъ нищую тесакомъ, и уѣхалъ. Но оказалось, что у нея, отъ удара, только отскочилъ горбъ и изъ горбуньи вышла красавица. Попалась она къ офицеру въ стряпки. Тамъ увидѣлъ ее тотъ суженый съ тесакомъ, полюбилъ и женился. Потомъ уже замѣтилъ онъ у нея рубецъ на спинѣ и, вспомнивъ старое, сознался, какъ Святогоръ, что «суженой не обойдешь не объѣдешь». (Пермскій Сборн., II. II, 166).

[147]) Рыбн. III, стр. 3.

[148]) Тихонравова, Слово о Полку Игоревѣ, стр. 65. Тутъ же указывается на тоже поговорье у Даніила Заточника: «Суда-де Божья ни хитрому ни горазду не минути».

присочинено совершенно искусственнымъ образомъ: ударъ святогоровъ изцѣляетъ, *отвертываетъ* его невѣсту и она, по первоначальному смыслу, не имѣетъ основанья за это мстить. Измѣна жены нашего Самсона (если дѣйствительно она заключалась уже въ сказаніи о Святогорѣ, а не замѣшалась только изъ библіи; первое, впрочемъ, весьма вѣроятно, при повсемѣстной эпической распространенности и издавности женъ-измѣнницъ)—измѣна эта должна была происходить ни съ того ни съ сего, какъ всѣ настоящія эпическія измѣны, корень которыхъ—непремѣнно миѳическій.—Какъ бы то ни было, жена нашего Самсона коварно выпытываетъ у него, что «отъ того онъ и силенъ и славенъ и громокъ, что имѣетъ на головѣ *семь волосовъ ангельскихъ* [149]). Напоивъ его вслѣдъ за тѣмъ на пиру, она, при помощи друзей любимыхъ, остригла ему голову до нага и выкопала ему очи ясныя. Отсюда и до конца передается уже просто повѣсть о Самсонѣ библейскомъ, только до нельзя тутъ подновленная. Такъ жена посылаетъ его скитаться *съ крѣпостною служаночкой*; когда же онъ опять пріотростилъ себѣ кудри и почувствовалъ прежнюю силушку, то велѣлъ этой служаночкѣ повести себя на *великое танцеваніе*, заданное его женою, и задавилъ всѣхъ у нея *танцевавшихъ* подъ обломками сокрушеннаго имъ зданія.

Въ своемъ родѣ также трагически, но иначе кончаетъ свою богатырскую жизнь Святогоръ—въ двухъ расказахъ, записанныхъ г. Рыбниковымъ. Свидѣтелемъ гибели этого старшаго богатыря является Илья Муромецъ, пытающійся его спасти, но напрасно. Попытка же Ильи объясняется тѣмъ союзомъ названаго братства, который онъ, какъ мы уже знаемъ, заключилъ съ Святогоромъ.

Союзъ этотъ не могъ быть первоначальнымъ, да и теперь еще прежнія враждебныя отношенія къ младшимъ богатырямъ старшаго стихійнаго поколѣнія сказываются при посѣщеніи Ильей Муромцемъ отца святогорова. Объ этомъ расказывается въ побывальщинѣ, записанной г. Рыбниковымъ отъ Рябинина (III, 2). Самъ Святогоръ однакожь и тутъ относится дружелюбно къ Ильѣ, предупреждая его, чтобы онъ не подавалъ руки старику, а вмѣсто руки протянулъ ему (старикъ слѣпъ) кусокъ раскаленнаго желѣза. И дѣйствительно, слѣпой богатырь «какъ захватилъ желѣзо, сдавилъ его и говоритъ: «крѣпкая твоя рука, Илья! хорошій ты богатырекъ!» Въ другомъ расказѣ приведенномъ Д. И. Минаевымъ въ одной статьѣ въ Библ. для Чт. 1864 г. и перепечатанномъ Л. Н. Майковымъ въ его разборѣ IV ч. рыбниковскаго сборника, [150]) старикъ этотъ уже не названъ отцомъ Святогора, а просто сосѣднимъ богатыремъ, но также слѣпымъ, старчищемъ многолѣтищемъ Билюгремлищемъ, въ свое время носившимъ на головѣ колоколъ въ 300 пудовъ, ударяя въ который, бывало, скликалъ онъ свою дружину по темнымъ лѣсамъ. Если этотъ послѣдній пріемъ, сколько мнѣ помнится, не встрѣчается въ другихъ были-

[149]) О нихъ уже сказано было выше (см. стр. 218). Къ приведеннымъ тамъ примѣрамъ такихъ же волосъ изъ эпос[illegible] другихъ народовъ можно прибавить еще р[illegible] золо[illegible]хъ волоса дѣда Всевѣда—въ чешской сказкѣ (Эрбена Читанка, стр. 1—7), толкуемой г. Аѳанасьевымъ миѳически (Поэтич. Воззр. I, 180),

[150]) Журн. Мин. Народн. Просв. за 1868 г., Май, стр. 624



нахъ [151]) то по ношенью на головѣ подобнаго колокола богатырь этотъ напоминаетъ того каличищу, который встрѣчается въ разныхъ былинахъ, а въ новгородскихъ о Васькѣ Буслаевѣ является крестнымъ батюшкой этого послѣдняго. Имя, придаваемое каличищу въ нѣкоторыхъ пересказахъ, — Пилигримище—прямо объясняетъ въ пересказѣ г. Минаева очевидно испорченное наименованіе—Билогремлище. Что же касается самаго приписыванья отцу Святогора обычныхъ признаковъ каличища, то тутъ едвали слѣдуетъ видѣть смѣшенье различныхъ образовъ, а это объясняется сродствомъ Святогора съ каликами, принадлежностью того и другихъ одному и тому же старшему богатырскому поколѣнію (ср. выше стр. 172). Далѣе въ пересказѣ г. Минаева вмѣсто Святогора предостерегающимъ Илью Муромца оказывается отецъ этого послѣдняго, что́, повидимому, гораздо умѣстнѣе. Ильюша входитъ къ Билогремлищу въ морозный день и стоитъ передъ нимъ словно тросточка, а старикъ передъ Ильей какъ бы коренастый дубъ на густыхъ на вѣтвяхъ съ зимнимъ иніемъ. Прося у Ильи руки, чтобы попытать его кровь, Билогремлище говоритъ: «я знавалъ во очью твою родню почестную, а тебя, другъ, хоть только пощупаю». Илья отвѣчаетъ, что его руки съ морозу захолодѣли, что ему надобно поразмяться, а между тѣмъ бросаетъ свою мѣдную 25 пудовую палицу въ топящуюся печь и, накаливъ ее до бѣла, подаетъ вмѣсто руки Билогремлищу. Старъ-богатырь жметъ палицу, только искры брызжутъ, да послѣ каждаго жома остаются глубокіе перехваты. «Ну, сказалъ богатырь,—горяча, Ильюшка, твоя кровь, а все супротивъ нашей не будетъ». Ясно, что старикъ этотъ принадлежитъ къ разряду тѣхъ всенародныхъ *перехитряемыхъ великановъ*, къ которымъ относится и омировъ Полифемъ (со всею его эпическою родней—въ томъ числѣ и нашимъ *одноглазымъ Лихомъ*) [152]) Но кромѣ этого *общаго* сходства, есть у нѣкоторыхъ народовъ преданія, даже прямо подходящія къ нашему по самому *подсовыванію вмѣсто руки желѣза*. Такъ уже намъ извѣстный Ганъ сообщаетъ одно, записанное имъ въ Греціи при Платаницѣ (имя однако же звучитъ по славянски), что́ близъ Каристо. Слѣпому старику Драку (великану) захотѣлось узнать, черезъ осязаніе, что́ это за такія существа—люди. Вотъ и подвели къ нему человѣка, чтобы онъ могъ ощупать его. Для предохраненія же хрупкаго существа на голову ему положили *плугъ*: Дракъ ухватился за этотъ послѣдній, и плугъ обратился въ пыль. При этомъ Ганъ указываетъ и на преданіе шведское, приводимое у Гримма въ миѳологіи на стр. 907. Слѣпому великану захотѣлось попытать силу мореплавателей, заѣхавшихъ на его островъ; вмѣсто руки, ему подали *раскаленный посольскій жезлъ* (Bootsstange); великанъ стиснулъ его и сказалъ: «не велика же у васъ сила.» Въ этомъ видѣ сказаніе

[151]) Въ сказкахъ, напротивъ того, и въ различныхъ народныхъ повѣрьяхъ встрѣчаются сродные образы—напримѣръ того волшебнаго бочонка, въ который стоитъ лишь постучать, и явится цѣлое войско. «Точно также, замѣчаетъ г. Аѳанасьевъ, удары перунова молота по наковальнѣ и стукъ (= грому) въ чудесную суму = облаку призываютъ къ битвѣ толпы могучихъ ратниковъ т. е. грозовыхъ духовъ» (Поэтич. Воззр. I. 581) (см. тамъ-же стр. 275—278).

[152]) См. въ моей книгѣ о Русской Слов. стр. 157.

особенно близко къ нашему русскому. Но Ганъ указываетъ и еще на одну соотвѣтственную черту изъ памятника древне-индійскаго, 11-ой книги Магабгараты. Когда слѣпой и исполински сильный Дритарастра выразилъ желаніе обнять Бему, убившаго въ сраженіи его сыновей, то, чуя коварный умыслъ, Кришна подалъ ему *изваяніе изъ желѣза*, которое тутъ же и было сокрушено слѣпымъ. [153]) Не лишнее будетъ вспомнить, что нѣчто подобное встрѣчается въ одномъ пересказѣ нашего стиха объ Іосифѣ прекрасномъ: опасаясь жаркихъ объятій отца своего, послѣ долгой разлуки съ нимъ, Іосифъ даетъ ему вмѣсто себя обнять столбъ. [154])

Всѣ эти преданія представляютъ одинъ разрядъ, отмѣченный даже единствомъ *основного пріема*. Въ сторонѣ отъ него стоитъ преданіе, вошедшее въ Шахъ-Наме. Когда Рустемъ прибылъ въ качествѣ посла во враждебное (темное) Мазандеранское Царство, то одинъ изъ вельможъ тамошнихъ, желая его испытать, сжалъ ему руку; но Рустемъ только улыбнулся, самъ же вслѣдъ за тѣмъ такъ стиснулъ руку этому силачу, что у него жилы лопнули, и онъ безъ чувствъ упалъ на землю. Но у мазандеранскаго царя нашелся другой страшнѣйшій силачъ, который, сжавъ руку Рустему, заставилъ его посинѣть;— самъ же зато лишился ногтей на рукѣ, которые всѣ отскочили разомъ, когда Рустемъ въ свою очередь сжалъ ему руку. [155]).

Преданіе это съ остальными, только что приведенными, связывается собственно *сжатьемъ руки, какъ способомъ испытанія богатырской силы*. Способъ этотъ долженъ происходить такимъ образомъ отъ отдаленнѣйшей старины, какъ и самое *подсовываніе желѣза*, не встрѣчающееся только въ иранскомъ сказаніи. Но это послѣднее важно въ томъ отношеніи, что съ особенною ясностью указываетъ на враждебную, темную природу тѣхъ силачей, которые испытываютъ Рустема. Они принадлежатъ тутъ къ Мазандеранскому Царству, которое, какъ царство тьмы, находится въ постоянной, изначальной враждѣ со *свѣтлымъ* Ираномъ. Въ нашемъ русскомъ изводѣ черта эта, по происхожденію непремѣнно миѳическая, объясняемая враждою *силъ тьмы* къ *силамъ свѣта*, оказывается наиболѣе стертеюся, такъ что даже самъ сынъ слѣпца-великана предохраняетъ отъ его коварства Илью—въ пересказѣ рыбниковскомъ. Мы уже видѣли, кромѣ того, что Святогоръ (у Л. Богданова) даже вступаетъ съ Ильей въ братство названое. Это могло произойти тогда, когда вполнѣ затемнилось первоначальное значеніе того рода, къ которому принадлежалъ Святогоръ, и когда оба они были сближены въ томъ отношеніи, что оба стали представляться *богатырями*. Если степень ихъ богатырскихъ силъ и размѣровъ различна, то, такъ сказать, *назначеніе*, *поприще* ихъ представляется уже сходнымъ. Только при такомъ взглядѣ стало возможнымъ, чтобы...

---

[153]) Hahn. Griech. und Alb. Märchen. I, 39, 40.

[154]) Калѣки перехожіе, вып. 1-й, стр. 171. Въ апокрифическомъ «Завѣтѣ Іосифа», напечатанномъ у г. Тихонравова въ I ч. его «Отреченныхъ книгъ Русской старины», а равно и въ соотвѣтственномъ латинскомъ апокрифѣ (Migne, dictionnaire des apocryphes, I, p. 905) черты этой нѣтъ.

[155]) Mohl, livre des rois, I, 504.

....выучилъ Святогоръ Илью
Всѣмъ похваткамъ, поѣздкамъ богатырскимъ.
(у Л. Богданова — Р. I, стр. 40)

Сближеніе Святогора съ Ильей нѣсколько особеннымъ образомъ представляется въ побывальщинѣ, записанной въ олонецкомъ же краѣ отъ кр. Щеголенкова Е. В. Барсовымъ и обязательно имъ доставленной мнѣ. Хотя вообще Щеголенковъ наклоненъ къ *перепутыванію* своего былевого запаса и иногда даже къ полному искаженію, по слабой памяти,—его побывальщина о встрѣчѣ Ильи со Святогоромъ отличается своего рода цѣльностью и стройностью, а потому я и приведу здѣсь самыя замѣчательныя черты изъ нея.

У Святогора богатыря *сила неизвѣстная*. Ѣдетъ онъ на конѣ своемъ богатырскомъ, палицею булатною поигрываетъ (какъ выше указанные народные богатыри—см. стр. 16)— а *гдѣ конь идетъ, тамъ по колѣнъ въ землю грязнетъ* подъ этымъ Святогоромъ богатыремъ. Задремалъ онъ на конѣ сидя, а сзаду наѣзжаетъ *человѣкъ неизвѣстный*, ударитъ палицей булатной по Святогору и взговоритъ: «русскія мухи кусаютъ больно!» Послѣ второго такого удара оглянулся Святогоръ богатырь и, схвативъ человѣка неизвѣстнаго, посадилъ его въ *колчанъ* [156]) къ себѣ и поѣхаль далѣе. Но тутъ сталъ спотыкаться конь: не могу нести двухъ богатырей; выпусти ты богатыря изъ колчана на сыру землю, *побратайтесь другъ съ другомъ*; одинъ будь большій братъ, другой будь меньшій братъ.» *Послушался Святогоръ коня* — выпустилъ неизвѣстнаго человѣка: «кто ты есть за богатырь?»—«Есть я русскій могучій богатырь—старый казакъ Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ.» — «Какой же ты русскій могучій богатырь? Везъ я тебя въ колчанѣ три поприща—съ тымъ-то конемъ да богатырскіимъ, съ этой плеточкой шелковоей, съ этой палицей булатноей».—«Когда ты называешься русскимъ могучимъ богатыремъ, старой казакъ Илья Муромецъ, сынъ Ивановичъ; а я русскій могучій богатырь Святогоръ. Кони у насъ мѣрныи, сила у насъ неизвѣстная». Вышли они со тыхъ коней богатырскіихъ отдохнуть на матерь на сыру землю. Насыпали конямъ пшены да бѣлояровой; кони стоятъ да все пшено идятъ, самы ревомъ ревятъ да богатырскіимъ; сѣдла у коней потрескиваютъ. Пробудились русскіи могучіи богатыри отъ сна да богатырскаго, не много не мало спали они да трои суточки. Садятся эты русскіи могучіи богатыри на своихъ коней да богатырскіихъ, хочутъ ѣхать по сырой земли испытать своя сила богатырская: *который буде большій братъ и который буде меньшій братъ?* Поѣхали оны по сырой земли по матери, коней стали попуживать этыма плеточькамъ шелковыма, *палицами булатныма поигрывать*; *палицы оны кидаютъ подъ облако*. Разгорѣлося сердце богатырское у этого Святогора богатыря; *ужахнулось сердечько у стара казака* Ильи Муромца сына Ивановича. И наладили эты русскіи могучіи богатыри разъѣзды на сырой земли;—не мно. го, не на мало—на три поприща, испытать-то своей силы богатырскоей. Поѣхали эты богатыри по чисту полю; коней стали попуживать плеточьками шел-

---

[156]) На этотъ колчанъ вмѣсто кармана уже указано было выше. (см. стр. 181).

ковыма, палицами булатныма стали поигрывать; ужахнулось сердечько у стара казака Ильи Муромца сына Ивановича; проговоритъ онъ своему коню да богатырскому: «*На уходъ уходи, будемъ мы да убитыи отъ этого Святогора да богатыря,*»... Укрылся старой казакъ Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ со этого ли да со чиста поля. Оглянулся Святогоръ богатырь на своемъ да на чистомъ полѣ, розмялъ свою силу богатырскую;—не видать русскаго могучаго богатыря на чистомъ полѣ,—уѣхалъ русскій могучій богатырь со чиста поля! *Расходились печени богатырскіи*; разсмотрѣли очи ясныи, что нѣтъ русскаго могучаго богатыря на чистомъ полѣ... догнать надо стара казака Илью Муромца сына Ивановича. Малыи рѣчьки конь перешагиватъ, озера нешироки перемахиватъ, лѣсы дремучіи подъ себя пущатъ. *Не досталъ Святогоръ богатырь стара казака Ильи Муромца*! Выходитъ онъ да со добра коня, да со добра-ль коня да богатырскаго. Становится онъ да на сыру землю, самъ проговоритъ онъ таково слово: «*удержи-тко мать сыра земля русскіихъ могучіихъ богатырей—Святогора да богатыря и стара казака Илью Муромца*». Поднимается Святогоръ да богатырь на эту на щелью на великую, спущаетъ каменья огромныя по всѣмъ сторонамъ,—по всѣмъ сторонамъ—на три поприща. Разсмотрѣлъ Святогоръ-то богатырь по всѣмъ по четыремъ сторонамъ: нѣтъ рускаго могучаго богатыря! Нѣтъ стара казака Ильи Муромца! Поднимался Сватогоръ да богатырь на этого коня да богатырскаго, поѣхалъ-то ко этому то полю ко чистому, говоритъ то онъ да таково слово: «было бы кольцо да во сырой земли, друго бы кольцо было да въ высокомъ небѣ; поворотилъ бы я мать-сыру землю да вверхъ крайчикомъ,—не уѣхалъ бы отъ меня старой казакъ Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ.» Поѣхалъ Святогоръ богатырь путемъ-дороженькой отъ этой думы крѣпкоей; утупилъ-то свои очи ясныи во сыру землю:—не съ кѣмъ испытать силы богатырскоей: «нѣтъ-то мнѣ видно *попарщичка*, и нѣтъ-то мнѣ да поединщичка!»

Существенная черта въ побывальщинѣ Щеголенкова—это тотъ *страхъ*, который чувствуетъ тутъ Илья передъ Святогоромъ [157]). Страхъ этотъ можетъ служить подтвержденіемъ тому, чтó замѣчено было еще въ 1-ой главѣ о причинѣ кратковременнаго испуга Ильи при первой встрѣчѣ съ Сокольникомъ Этотъ послѣдній, какъ выше замѣчено, по матери происходитъ отъ болѣе сильнаго рода: мать его—жена Святогора, который и наводитъ у Щеголенкова такой, даже продолжительный ужасъ на Муромца. Но гдѣ же тутъ богатырское *первенство* Ильи, если онъ оказывается, хотя бы и временно, такимъ трусомъ? Въ отвѣтъ на это напомню о той трусости сербскаго Марка, германскаго Дитриха, франкскихъ Ожье, Оливье, Роланда и наконецъ омировскаго Гектора,—которая однако же ни мало ихъ не лишаетъ значенія первенствующихъ эпическихъ лицъ (см. выше стр. 23, 81)[158]). Такъ и испугъ

[157]) Побывальщина Щеголенкова доставлена мнѣ только теперь, когда уже поздно было исправить ошибку, оказывающуюся выше на стр. 163, гдѣ сказано, будто бы, кромѣ страха Ильи при встрѣчѣ съ Сокольникомъ, ничего подобнаго не случается съ нашимъ богатыремъ ни въ одномъ изъ другихъ его похожденій.

[158]) Къ вышеприведеннымъ разнонароднымъ примѣрамъ богатырскаго страха можно прибавить еще примѣръ сорока знаменитѣйшихъ шведскихъ богатырей, струсившихъ въ одной битвѣ съ Датчанами (у Саксона Грамматика) «Главнѣйшій изъ нихъ, говоритъ Саксонъ, былъ Старкадръ, остававшійся обыкновенно непоколе-



Ильи только выставляетъ его, помимо всѣхъ качествъ иного рода, *человѣкомъ*-богатыремъ. Въ этомъ смыслѣ испугъ этотъ—не недостатокъ, а *преимущество*. Никогда не пугаться способна только такая сила, которая способна зато и переворотить землю. Сами калики, отпоившіе Муромца, рѣшили уже не давать ему такой силы, но въ то-же время рѣшили, что ему, человѣку-богатырю, смерть на бою не написана. Между тѣмъ вѣдь они, какъ мы видѣли, сами — богатыри старшіе, и народъ такимъ образомъ ихъ заставляетъ произносить приговоръ прежнему, старому складу богатырской жизни. Народъ какъ бы заставляетъ ихъ *раздѣлять* свой собственный взглядъ — самъ же онъ въ такой смѣнѣ богатырей *количественныхъ* богатырями болѣе *качественными*, видитъ ту рѣшительную необходимость, которая на языкѣ древнихъ вѣрованій носитъ наименованіе *рока, судьбы*. Для Святогора богатыря, по народному представленію, уже окончательно произнесенъ приговоръ—сойти съ лица земли. Это выражается главнымъ образомъ у Рыбникова въ ч. 1, № 8, записанномъ отъ Леонтія Богданова — въ видѣ уже близкомъ къ побывальщинѣ (т. е. съ явно разлагающимся стихомъ). Отрывки того же самаго похожденія передавалъ г. Рыбникову и Т. Г. Рябининъ, этотъ плодовитѣйшій изъ пѣвцовъ, смутно помнившій, какъ пѣвалъ о томъ въ свое время знаменитый учитель его Илья Елустафьевъ[159]). Наконецъ уже совершенною побывальщиною записано г. Рыбниковымъ то-же сказаніе на Колодозерѣ отъ Трофима Романова, и помѣщено въ IV ч. подъ № 1: это собственно сокращеніе № 8 ч. 1-ой — съ нѣкоторыми незначительными отличіями. Когда Святогоръ поѣхалъ вмѣстѣ съ Ильй, то (по 1 ч, № 8)

....Наѣхали путемъ дорогою на великій гробъ [160]).
На томъ гробу подпись подписана:
„Кому суждено въ гробу лежать,
Тотъ въ него и ляжетъ".
Легъ Илья Муромецъ,
Для него домовище и велико, и широко.

Совершенно напротивъ того—въ ч. III, № 2—Илья и не пытается ложиться въ гробъ, а, прочитавъ надпись, говоритъ: «не наше мѣсто, не намъ и спать». Тутъ выражается вся полнота его вѣры въ благопріятный ему приговоръ судьбы. Въ 1-й же части № 8:

Ложился Святогоръ богатырь:
Гробъ пришелся по немъ.
Говоритъ богатырь таковы слова:
„Гробъ точно про меня дѣланъ.
Возьми-тко крышку, Илья,
Закрой меня".

---

бимымъ среди величайшихъ опасностей. Я готовъ думать, прибавляетъ тотъ же лѣтописецъ, что страхъ этотъ былъ на него навлеченъ божественной силой, чтобы онъ не мнилъ себя одареннымъ доблестью свыше человѣческихъ силъ (ne supra humanam fortitudinem virtute sibi praeditus videretur)». Уландъ, у котораго заимствовано мною свидѣтельство Саксона Грамматика, по видимому, раздѣляетъ воззрѣніе древняго лѣтописца. Оно, нетрудно замѣтить, подходитъ къ воззрѣнью крестьянки Дмитріевой на Святогора, котораго Богъ попуталъ за похвальбу, а также и къ воззрѣнію, выразившемуся въ болгарскомъ сказаніи о торбѣ съ землею, поданной ангеломъ Марку Кралевичу. Но Уландъ приводитъ еще свидѣтельство Норнагестъ-саги о томъ, какъ тотъ же Старкадръ, которому даже приданы тутъ размѣры іотуна (великана), обратился въ бѣгство передъ Зигурдомъ—вовсе не великаномъ. Взаимныя отношенья обоихъ такимъ образомъ противоположны отношеніямъ между маленькимъ Ильей и большущимъ Святогоромъ и скорѣе напоминаютъ отношенія между Святогоромъ и Микулушкой—при состязаньи въ подъемѣ сумочки. (См. Uhland's Schriften, VII, 262—263).

159) Рыбн. ч. III, № 2.

160) У Рыбн. IV, 1 — гробница выложена краснымъ золотомъ.

(А у Рябинина [III, 2]: «окутай меня каменной крышкой)» Святогоръ не понимаетъ еще, что съ этимъ соединенъ приговоръ судьбы—такъ выходитъ изъ словъ Ильи Муромца:

„Не возьму я крышки, большій братъ,
И не закрою тебя:
Шутишь ты шуточку не малую,
Самъ себя хоронить собрался.

А Святогоръ все еще видитъ тутъ только шуточку:

Взялъ богатырь крышку и самъ закрылъ ею гробъ;
Да какъ захотѣлъ поднять ю,
Никакъ не можетъ;....

А въ ч. IV, № 1 говорится, что доски, которымъ накрывается гробъ, *Божьимъ изволомъ приросли*: это, очевидно, уже позднѣйшая замѣна судьбины—Богомъ.

Пришлось наконецъ понять, въ чемъ дѣло;—выбившись изъ силъ, Святогоръ говоритъ Ильѣ:

„Видно судьбина поискала меня,
Не могу поднять крышки,
Попробуй-ка приподнять ю".
(Стихи 220—222)

Святогоръ, узнавая тутъ дѣло *судьбы*, вспоминаетъ, быть можетъ, о томъ, что онъ уже однажды былъ пересиленъ ею—въ дѣлѣ женитьбы, этого *суда божія*, какъ называется она по народному, вполнѣ совпадая въ этомъ наименованіи со смертью—также *судомъ божіимъ*. Святогоръ теперь чуетъ, что и этотъ новый *судъ* рѣшится опять противъ его воли. Тщетно Илья Муромецъ, поступая вполнѣ по братски,—силится спасти Святогора поднятіемъ крышки,—силъ не стаетъ. Не помогаетъ и мечъ Святогора, которымъ велитъ онъ Ильѣ разсѣчь крышку. Сначала Илья и меча-то святогорова поднять не въ силахъ; но Святогоръ велитъ ему нагнуться къ маленькой щелочкѣ въ гробѣ. «Наклонился Илья, и дохнулъ на него Святогоръ богатырь своимъ духомъ богатырскіимъ: почуялъ Илья, что въ немъ силы противъ прежняго прибавилось втрое.... ударилъ поперегъ крышки. Отъ того удара великаго посыпались искры, а гдѣ ударилъ мечъ кладенецъ, на томъ мѣстѣ выросла полоса желѣзная».—Сила удара была, стало быть, велика, да дѣйствіе-то оказалось прямо противоположнымъ тому, чего ожидали. И дѣйствуя посредствомъ Ильи, святогорова сила оказалась слабою передъ высшею силой — судьбой, судьба овладѣла и ею самой, обративъ ее противъ самого Святогора. Наноситъ Илья и второй ударъ, теперь уже вдоль по крышкѣ, все тою же святогоровой силой — и опять она подѣйствовала во зло Святогору: новая скоба отъ нея наросла на гробѣ.

Но не хочется Святогору покориться судьбѣ, а видитъ, что надобно покориться. Такъ пускай же, по крайней мѣрѣ, вмѣстѣ съ нимъ погибнетъ и Илья Муромецъ! Тутъ какъ бы прорывается у Святогора то чувство вражды къ Ильѣ, какое первоначально онъ долженъ былъ питать къ нему, какъ великанъ. Святогоръ пытается даже пустить въ ходъ *хитрость-мудрость*;— только не дается ему столь не свойственное великанамъ качество! «Задыхаюсь я, меньшій братецъ, жалуется Святогоръ; наклонись-ка ко щелочкѣ, я дохну еще на тебя и передамъ тебѣ всю силушку» [161]). Но Илья не даромъ

[161]) Г. Худяковъ на стр. 6 своихъ «Матеріаловъ для изученія народной словесности» въ статьѣ о святогоровой смерти, въ примѣч. 4, указываетъ на повѣрье, что «колдуны ежеминутно повторяютъ передъ смертью:

узналъ отъ каликъ, что ему *всей* силы не надобно. «Будетъ съ меня, отвѣчаетъ онъ, большій братецъ, не то земля на себѣ носить не станетъ.» Промолвился тутъ Святогоръ богатырь: «хорошо ты сдѣлалъ, меньшій братъ, что не послушалъ моего послѣдняго наказа: я дохнулъ бы на тебя мертвымъ духомъ и ты бы легъ мертвъ подлѣ меня. А теперь прощай, владай моимъ мечомъ кладенцомъ, а добра коня моего богатырскаго привяжи къ моему гробу. Никто кромѣ меня не совладаетъ съ этимъ конемъ.» Послѣдними словами еще разъ указывается на то, что̀ составляло преимущество старшихъ богатырей — избытокъ тѣлесныхъ силъ, какому уже не бывать на землѣ по рѣшенью судьбины.

Сказаніе о гибели Святогора, какъ видно изъ вышесказаннаго, составляетъ опять находку г. Рыбникова. Изъ того уже разлагающагося вида, въ какомъ оно имъ записано, явствуетъ, что и въ олонецкомъ краѣ оно изглаживается изъ памяти пѣвцовъ народныхъ. Тѣмъ не менѣе и въ другихъ мѣстностяхъ уцѣлѣли еще кое какіе обломки того же замѣчательнаго сказанія. Такъ въ выноскѣ къ XXXIV стр. Приложеній къ 1 вып. пѣсень Кирѣевскаго г. Безсоновъ передалъ слышанный имъ (къ сожалѣнію, не сказано гдѣ) расказъ о смерти *Ильи*—но выходитъ, что это смерть Святогора. Мнимый Илья (такая замѣна указываетъ уже на рѣшительную путаницу въ памяти расказывавшаго) ѣздилъ вмѣстѣ съ Добрыней и Алешей, наѣзжалъ на диво *Невеличку*, поборолся. Невеличко помялъ ему бока, такъ что Муромецъ крякнулъ: «Невелика, говоритъ, птичка, а носокъ востеръ!» Въ этой противоположности между сильнымъ Невеличкою и Ильей не трудно замѣтить нѣчто общее съ противоположностью между Микулою съ его маленькою сумочкой переметною и Святогоромъ. Далѣе же находящійся въ положеніи Святогора Илья прямо натыкается на каменный гробъ (оба похожденія—*встрѣча* и *смерть*—сведены въ одно). Лѣзетъ Добрыня, лѣзетъ Алеша, — обоимъ оказывается гробъ не въ пору; зато онъ приходится въ пору Ильѣ-Святогору, и крыша сама захлопывается. Далѣе почти какъ у Рыбникова.—Еще попорченнѣе тотъ видъ, въ какомъ попадается наше сказаніе въ III вып. сказокъ г. Худякова, подъ № 101 (записано въ Нижегородской Губерніи, Ардатовскомъ Уѣздѣ, селѣ Котовкѣ). Тутъ это уже сказаніе *безыменное*, то есть безъ имени является богатырь, заключающійся во гробѣ; тотъ же, которому передаетъ онъ свою могучую силу посредствомъ выходящей изъ гроба *третьей пѣны*,— есть уже просто пародія на богатырей (нерѣдкая въ сказкахъ: побилъ сразу триста оводовъ, и думаетъ, что побѣдилъ триста человѣкъ) [162]).

Отдаленные отголоски былевой «гибели Святогора» слышны также и въ сказкѣ, записанной въ Зубцовскомъ Уѣздѣ Тверской Губерніи и напечатанной

---

«вовьми! вовьми!» желая кому либо изъ окружающихъ передать подвластныхъ духовъ. (Со ссылкою на Воронежск. лит. сб. т. I, стр. 382).

[162]) Впрочемъ, первоначально и такое побиваніе насѣкомыхъ могло представлятся настоящимъ богатырскимъ подвигомъ. Такъ оно въ эстонскомъ сказаніи о походѣ «сына Калевы» въ адъ (подземное царство). Въ ряду различныхъ опасностей встрѣчаются тутъ сонмы мухъ, залѣпляющихъ богатырю глаза, залѣзающихъ ему въ носъ, ротъ и уши, и приводящихъ его въ наступленіе, соединенное даже со страхомъ за жизнь. (Kalevipoeg, 449—451).



у г. Аѳанасьева въ VIII вып. (стр. 53 и 54). Тутъ царевичъ видитъ на горѣ *богатыря, валяющагося вмѣсто собаки*, и спрашиваетъ у поповъ, можно ли *похоронить* его? Есть у богатыря *конь за 12 дверьми желѣзными*... одинъ мечъ у него 4 человѣка на носилкахъ носятъ. Попы взялись и похоронили этого богатыря, а царевичъ устроилъ ему поминки. Когда, послѣ нихъ, остался царевичъ одинъ на горѣ, *взговоритъ вдругъ мертвый богатырь:* «благодарю, что похоронилъ меня въ честности, и *дарю тебѣ своего коня;... дарю тебѣ и мечъ, и латы мои... Если можешь*, владѣй на здоровье». И далѣе оказывается, что царевичъ смогъ. — что̀, относительно коня, уже составляетъ совершенное уклоненіе отъ *былины*.

Нельзя также не вспомнить преданія, сообщеннаго еще въ 1863 году М. П. Погодинымъ и перепечатаннаго въ замѣткѣ г. Безсонова къ IV вып. пѣсень Кирѣевскаго на стр. CXI—CXII. «За Спасо-Прилуцкимъ монастыремъ, расказываетъ г. Погодинъ, верстахъ въ десяти отъ Вологды, начинается *Аникинъ Лѣсъ.*' Тамъ, въ глуши, на полянкѣ, стояла избушка безъ оконъ (какъ у бабы-Яги или Кощея), гдѣ жилъ Аника и откуда ходилъ на большую дорогу грабить.... Однажды вышелъ онъ по обыкновенію.... На встрѣчу ему старикъ съ котомкою за плечами». Здорово, дѣдушка, откуда ты и куда? —«Изъ Кіева... Теперь иду къ Соловецкимъ».—«Не тяжело ли тебѣ, старинушка, носить свою суму? У тебя, чаю, есть много липняго; дай-ка я посмотрю, что̀ ты набралъ?» Разбойникъ снялъ котомку и увидалъ въ ней узелки съ *землею* (сверхъ того—уже надбавка позднѣйшая—частицы антидора и мощей). Съ досады началъ онъ разбрасывать узелки и разсыпать *землю*, сколько старикъ ни просилъ его со слезами о сохраненіи его сокровищъ. «Такъ берегись же ты, Аника, Богъ накажетъ тебя за обиду нищему старику»—И дѣйствительно, Аника встрѣчается съ чудищемъ—смертью, которое и губитъ его. (См. выше стр. 218).

Этимъ, уже явно охристіанствованнымъ концомъ, сказаніе наше связывается съ извѣстными духовными стихами объ Аникѣ и смерти, такъ что приведенный погодинскій расказъ тѣмъ именно и замѣчателенъ, что представляетъ смѣшеніе сказаній о Святогорѣ и объ Аникѣ. Послѣднее, какъ видно изъ греческаго имени, происхожденія книжнаго,—и странно, что признающій его таковымъ г. Безсоновъ, тѣмъ не менѣе считаетъ его «почти слово въ слово извѣстною, только перелицованною былиною о смерти Святогора (стр. CIX). Сходство тутъ только въ томъ, что внезапно гибнутъ двѣ страшныя силы, да въ одномъ пересказѣ—смерть *валяется* среди пути дороженьки: это, пожалуй, напоминаетъ *сумочку валяющуюся, причиняющую смерть Святогора—съ натуги*.

Такимъ образомъ оказывается, что если сказаніе о смерти Святогора въ стройномъ видѣ сберeглось только въ олонецкомъ краѣ, то болѣе или менѣе ясные отголоски его имѣются и въ другихъ углахъ Россіи. Что̀ касается прочихъ Славянъ, то мнѣ извѣстно только сказаніе кашубское о смерти послѣдняго *столыма* (великана). Эти столымы являются довольно часто въ сказаньяхъ и сказкахъ, записанныхъ у Кашубовъ А. Ѳ. Гильфердингомъ. Нѣкоторыя изъ нихъ свидѣтельствуютъ объ извѣстной общенародной *перехи-*

*тряемости* великановъ, нѣкоторыя о глубокихъ слѣдахъ, оставляемыхъ великанами въ камняхъ [163]), одно же сводитъ послѣдняго столыма съ человѣкомъ и дѣлаетъ этого послѣдняго свидѣтелемъ его смерти. Одинъ король, повѣствуется тутъ, держалъ у себя въ саду столыма. Вотъ и пошелъ себѣ столымъ гулять въ городъ съ *портнымъ* изъ нашихъ людей. Подошли они къ грушевому дереву съ отличными грушами. Столымъ легко доставалъ ихъ съ верхушки, портной же, по малости роста, не могъ. Подойдя къ другой грушѣ, портной ухватился за одну вѣтвь, а столымъ, какъ отпуститъ ее, такъ она и перекинула портного на другую сторону, такъ что столымъ долго незналъ, куда онъ дѣвался. Когда наконецъ портной подалъ голосъ и оба продолжали прогулку, то попался имъ большущій дубъ. «Надо его срубить, взговорилъ портной, и сдѣлать изъ него себѣ гробъ». Вотъ они и срубили дубъ и выдѣлали изъ него гробъ — долготою со столыма, да еще и съ крышкою. Первый вошелъ въ этотъ гробъ портной и сказалъ великану, чтобы онъ закрылъ крышку: захотѣлось попытаться, въ пору ли ему гробъ; — а тамъ надо было опять поднять крышку. До сихъ поръ сказаніе записано у г. Гильфердинга по кашубски и притомъ собственными словами сказывавшаго; далѣе же замѣчено: «не удалось записать конца, гдѣ расказывалось, какъ человѣкъ легъ въ гробъ, какъ великанъ, по его просьбѣ, засунулъ крышку, а потомъ, выпустивъ своего товарища, самъ легъ примѣрить гробъ для себя, и какъ человѣкъ тогда, засунувъ крышку, приколотилъ ее накрѣпко и задушилъ послѣдняго столыма» [164]).

Уже съ перваго взгляда ясно, что сказаніе это сохранилось далеко не въ такомъ стройномъ и цѣлостномъ видѣ, какъ наше о Святогорѣ; въ концѣ же замѣчаются въ немъ совершенно особыя отношенія человѣка къ столыму, прямой умыселъ перваго погубить послѣдняго, чего вовсе не видно относительно Святогора со стороны Ильи Муромца.

Нѣчто сходное съ гибелью нашего Святогора встрѣчается и за предѣлами Руси. Такъ у Гана сообщена сказка греческая, гдѣ въ положеніи Святогора является Дракъ, а въ положеніи Ильи Муромца — такъ называемый тутъ «Прекрасный». [165]) Этотъ послѣдній, какъ большая часть сочувственныхъ сказочныхъ личностей, является младшимъ, гонимымъ братомъ. Благодаря своей умѣлости, онъ спасается отъ бѣды и молва о немъ доходитъ до короля. Желая его испытать, король, по сказочному обыкновенію, даетъ ему трудныя порученія: онъ долженъ украсть у Драка коня его, одѣяло со звонками и т. д., что̀ и исполнено юношей въ точности. Тогда дается ему порученіе доставить къ королю и самого великана. Прекрасный проситъ только двухлѣтняго срока, чтобы отросла у него борода и великанъ не узналъ его. По истеченіи двухъ лѣтъ, онъ отправляется въ путь и, въ усугубленіе предосторожности, мѣняется платьемъ со встрѣчнымъ каликою, — подобно

---

[163]) Остатки Славянъ на южномъ берегу Балтійскаго моря, стр. 132, 126 (Этногр. Сб. ч. V: эта часть вышла въ 1862 г.). Въ дополненіе къ этимъ и многимъ, приведеннымъ выше (стр. 216) великанскимъ слѣдамъ прибавлю еще указаніе на стр. 424 поэмы Kalevipoeg.

[164]) Въ той же статьѣ Гильфердинга, стр. 114—1.5.

[165]) Hahn, Griechische und Albanesische Märchen, I, № 3. II, стр. 178—186.

тому, какъ дѣлаютъ это въ извѣстныхъ случаяхъ и наши богатыри. Дракъ дѣйствительно не узнаетъ Прекраснаго, который его застаетъ работающимъ *надъ ящикомъ*. «Что ты это тутъ дѣлаешь?» спрашиваетъ калика. «Да вотъ натворилъ у меня всякихъ бѣдъ Прекрасный, такъ я и готовлю для него этотъ ящикъ: какъ удастся поймать, такъ и запру его.»—«Знаю я этого негодяя, возражаетъ калика, вѣдь онъ-то и меня привелъ въ нищету; только этотъ ящикъ для него малъ.» «Помилуй, отвѣчаетъ Дракъ, онъ и для меня довольно великъ.»—Да вѣдь Прекрасный почти съ тебя ростомъ; поди ка попытайся,—коли ты туда влѣзешь, такъ влѣзетъ и онъ».—Вотъ тутъ Дракъ и улегся въ ящикъ. Прекрасный же закрылъ крышку и закричалъ: «поприжми еще, чтобы видѣть, не треснетъ ли ящикъ».—Дракъ нажалъ, что есть мочи, и закричалъ въ свою очередь: «крѣпко!—только открой поскорѣе.»—Прекрасный же вмѣсто того еще крѣпче прибилъ крышку гвоздями, взвалилъ себѣ ящикъ на спину и понесъ къ королю. Этому послѣднему очень захотѣлось взглянуть на Драка. Вотъ онъ и прорѣзалъ себѣ дыру въ ящикѣ, да пришлась-то она какъ разъ противъ рта великанова, и чуть король заглянулъ туда, Дракъ проглотилъ его.

Въ другомъ пересказѣ Прекрасный, подъ именемъ Костанти, переодѣтый каликою, начинаетъ рубить платановое дерево, красующееся передъ великановой башней, чтобы сдѣлать изъ него уже не *ящикъ*, а прямо *гробъ для* врага великанова и якобы своего. Великанъ же до того радъ тому, что самъ отдѣлываетъ этотъ гробъ и ложится въ него, чтобъ примѣрить [166]). Этотъ пересказъ, какъ не трудно замѣтить, ближе подходитъ къ нашему отечественному сказанію; но, если внимательнѣе вглядѣться, то сходство и тутъ чисто внѣшнее, заключающееся главнымъ образомъ въ *примѣриваніи гроба*. Черта эта окажется страшно-древнею, если вспомнить извѣстный египетскій миѳъ о погибели Озириса, упоминаемый въ «Миѳологіи» г. Аѳанасьева. [167]) «Злой Тифонъ, приготовивши богато изукрашенный *ящикъ*, объявилъ на пиру, что подаритъ его тому, кому онъ прійдется по мѣркѣ. Всѣ стали примѣриваться, и какъ только Озирисъ улегся въ ящикъ, Тифонъ захлопнулъ крышку и бросилъ его въ Нилъ. Между тѣмъ, при такомъ тождествѣ *губительнаго способа*, взаимныя отношенія *губящаго* и *губимаго* въ египетскомъ миѳѣ совершенно не тѣ. Въ немъ темное существо при помощи хитрости губитъ существо свѣтлое, тогда какъ въ греческой сказкѣ (а равно и въ кашубской) свѣтлое существо губитъ темное, перехитряя его, въ нашей же былинѣ темное существо, на глазахъ у свѣтлаго, само себя губитъ, перехитряемое судьбою. Къ самому роду смерти въ нашей былинѣ присоединяется еще *наростаніе желѣзныхъ полосъ*, и эти *скрѣпляющія* полосы наростаютъ именно вслѣдствіе ударовъ по гробу, долженствующихъ, повидимому, *сокрушить* его. Такая же точно противоположность между *намѣреніемъ* и *слѣдствіемъ* встрѣчается въ одной сербской пѣснѣ. Марко Кралевичъ хочетъ вывести Милоша изъ темницы, въ которую посадилъ его Леджанскій король. Вотъ и бьетъ онъ по *вратамъ* темницы тяжелымъ своимъ буздованомъ (палицей):

[166]) См. мою замѣтку въ концѣ IV ч. Сборника пѣсенъ Рыбникова, Стр. III—V.

[167]) Аѳанасьева, Поэтич. Воззрѣнія Славянъ на Природу, I, 582.



Ал се врата обити не могу;—
Што их Марко више ударание
Све то врата тврђа долажаху [168]).

Въ другихъ и притомъ многоразличныхъ видахъ тоже самое начало выражается у различныхъ народовъ въ цѣломъ рядѣ преданій о томъ, какъ всякое противодѣйствіе своему суду судьба обращаетъ въ орудіе непремѣннаго его его исполненія. Выше мы видѣли, какъ судъ этотъ неотразимо совершился надъ Святогоромъ въ дѣлѣ его женитьбы; теперь онъ постигнутъ инымъ *судомъ Божіимъ*—смертью.

Эта святогорова смерть миѳически толковалась у насъ гг. Худяковымъ и Аѳанасьевымъ. Первый при этомъ указывалъ на загадку: «на полѣ царынскомъ въ *дубу гробница*, въ гробницѣ дѣвица огонь высѣкаетъ, и т. д. (разгадка—*молнія*). «*Гробницу въ дубу*, сказано у него далѣе, напоминаетъ то, что *гробъ*, въ которомъ *умеръ* великанъ (т. е. кашубскій) дѣлается изъ *дубу*. Въ былинѣ г. Рыбникова Святогоръ спитъ подъ *дубомъ*» [169]). Далѣе, соотвѣтственно разгадкѣ *молнія*, и мечъ кладенецъ Святогора, которымъ пытался Илья разрубить гробъ, толкуется у г. Худякова *молніей*.—Въ томъ же смыслѣ истолкованъ этотъ мечъ и г. Аѳанасьевымъ въ двухъ другихъ случаяхъ — когда отъ удара его слетаетъ кора съ невѣсты и когда отъ тогоже меча погибаетъ согрѣшившая съ Муромцемъ жена Святогора. Что́ же касается смерти самого великана богатыря, то она толкуется у г. Аѳанасьева такимъ образомъ: «великанъ Святогоръ (гора = туча) умираетъ, т. е. оковывается холодомъ и засыпаетъ зимнимъ сномъ... Дѣйствіе зимнихъ морозовъ народная ѳантазія сблизила съ ковкою желѣза; морозъ претворяетъ и воды и землю въ камень, дѣлаетъ ихъ столько же твердыми, какъ желѣзо.... Мы до сихъ поръ выражаемся, что зима *сковываетъ* и *оцѣпеняетъ* природу, т. е. налагаетъ на нее желѣзныя цѣпи.... На Козьму и Демьяна зима принимается сковывать землю и воду, почему тотъ другой слывутъ у поселянъ кузнецами и въ народныхъ преданіяхъ заступаютъ мѣсто тѣхъ миѳическихъ ковачей, какими издревле признавались грозовые духи. Такое вліяніе различныхъ представленій (морозовъ и грозы) тѣмъ болѣе было естественно, что тѣже тучи, которыя весною и лѣтомъ приносятъ теплые вѣтры и дожди, зимою и осенью вѣютъ стужею и снѣгомъ; тотъ же громовой молотъ (= мечъ-кладенецъ), который при началѣ весны куетъ ясное небо, — во время суровыхъ осеннихъ грозъ приготовляетъ желѣзные обручи, налагаемые на облака холодною рукою зимы [170].

Но если всѣ эти миѳическія представленія дѣйствительно сродны съ сокрытіемъ во гробъ Святогора, то это послѣднее, по первоначальному смыслу, должно было происходить лишь на время. Такой переходъ грозовой тучи изъ лѣтняго состоянія въ зимнее долженъ былъ смѣняться возвратомъ ея въ прежнее лѣтнее состояніе; за сокрытіемъ въ гробѣ должно было слѣдовать

[168]) Петрановича, Пјесме из Босне и Херцеговине, 219.

[169]) Въ то время, когда жена его входитъ въ связь съ Ильей Муромцемъ, дополняетъ тотъ же писатель, замѣчая при этомъ, что послѣднее напоминаетъ нѣсколько миѳъ о Зевсѣ и Семелѣ (Худякова Матеріалы для изученія Народной Словесности, стр. 7 (статьи: Смерть Святогора).

[170]) Поэтич. Воззр. Славянъ, I, 583,584.

возстаніе изъ него. Такъ оно и было въ египетскомъ миѳѣ объ Озирисѣ, который только на время заключался Тифономъ во гробъ. Подобнаго рода миѳъ существовалъ также у Финикіянъ и Грековъ и выражался даже особымъ обрядовымъ погребеньемъ.... Слѣды подобныхъ обрядовъ сохранились съ другой стороны и у насъ—въ похоронахъ Ярилы и Коструба, и извѣстно, что вслѣдъ за смерью этого послѣдняго обрядъ намекаетъ и на его оживаніе... [171]). Но все это, примѣненное къ Святогору, указывало бы, во первыхъ, на *двоякость* въ этомъ послѣднемъ... Онъ въ такомъ случаѣ распадался бы на *лѣтнюю* и *зимнюю* половины.... Если мы припомнимъ изцѣленіе имъ невѣсты посредствомъ удара мечомъ, то это на самомъ дѣлѣ можетъ имѣть только лѣтнее, *пробуждающее къ жизни*, значеніе, подобно тому, какъ и знакомые со Святогоромъ Калики, отпаивающіе Илью, истолковываются *тучами*—именно и единственно въ *лѣтнемъ*, благотворномъ значеніи. Послѣ этого и самое братство названое между Ильею и Святогоромъ сдѣлалось бы возможнымъ даже въ миѳическомъ смыслѣ, равнымъ образомъ и передача умирающимъ Святогоромъ Ильѣ меча кладенца выражала бы передачу неистребимой молніи *старымъ* громовымъ божествомъ *молодому* громовому же божеству (можно вспомнить при этомъ въ сербскихъ колядныхъ пѣсняхъ противоположеніе *стараго Бадняка молодому Божичу*) [172]). Святогоръ въ такомъ случаѣ долженъ бы былъ оказаться Перуномъ въ его *страшномъ, губительномъ* смыслѣ, Илья же—Перуномъ въ иномъ, *благодатномъ* смыслѣ, любезномъ какъ Микулушкѣ, такъ и землѣ матери. Съ другой же стороны, въ такомъ именно случаѣ, Святогоръ и не могъ бы на всегда сходить въ гробъ... Но мы дѣйствительно встрѣтимъ его еще, хотя собственно только какъ *имя*, въ кое-какихъ дальнѣйшихъ похожденіяхъ Ильи Муромца. Если же вѣрны выше изложенныя доказательства тождества Святогора съ Самсономъ, (въ чемъ, кажется, мудрено сомнѣваться) то важнымъ становится то, что этотъ послѣдній еще явится передъ нами не только какъ *имя*, но и какъ живое, опредѣлительно дѣйствующее лицо, и явится въ одномъ изъ главнѣйшихъ похожденій Ильи, какъ его помощникъ.

Всѣ эти соображенія, впрочемъ, представлены мною собственно потому, что къ нимъ, какъ къ дальнѣйшему выводу, невольно приводятъ миѳичекія толкованія г. Аѳанасьева. Въ сущности все это остается еще весьма и весьма гадательнымъ. Дѣло въ томъ, что въ настоящемъ видѣ былинъ о гибели Святогора онъ гибнетъ вполнѣ, гибнетъ по приговору судьбы, его поискавшей. Какая бы тамъ ни была первоначальная миѳическая основа этого сказанія, въ настоящее время она уже совершенно заслонена въ немъ мыслію о смѣнѣ одного богатырскаго (а не божескаго) поколѣнія, — другимъ смягченнымъ, менѣе сильнымъ, но именно потому то и болѣе человѣчнымъ. Вотъ этою-то мыслію (повторю здѣсь слова, сказанныя мною въ другомъ трудѣ) достойною движущагося впередъ, историческаго народа, нашъ видъ сказанія

[171]) См. статью о Ярилѣ г. Ефименка въ 2 ч. Записокъ Географическаго общества по отдѣленію Этнографіи и мою замѣтку въ концѣ этой статьи.

[172]) Вукъ Сербскія пѣсни, I, стр. 115.



выдвигаетъ его изъ разряда сказокъ-складокъ (какими являются кашубское о Столымѣ и новогреческія о Дракѣ) и вноситъ его въ разрядъ былевой [173]). Между тѣмъ мысль эта находится, какъ не трудно замѣтить, въ самой тѣсной внутренней связи съ тою, которая выражена въ былевыхъ встрѣчахъ Святогора и Волха-Вольги съ первенствующимъ передъ ними Микулою — этимъ *предтечею* Ильи Муромца.

Мы знаемъ, что Микула-оратай *спасъ* князя Вольгу со всею его дружиною. Какимъ образомъ происходило это — уже не видно изъ того сокращеннаго, прозаическаго расказа, который былъ слышанъ г. Рыбниковымъ въ Шалахъ (ч. I, стр. 22, вып. 1). Мы уже вовсе не знаемъ теперь, пришлось ли пахарю взяться при этомъ за мечъ, или нѣтъ. Что̀ же касается другого *Селяниновича* — Ильи, то онъ наслѣдовалъ святогоровъ мечъ-кладенецъ. *Опоясавъ его*, поѣхалъ Илья въ раздольице чисто поле (Рыбн. I, стр. 42) и уже не возвращался къ занятіямъ земледѣльческимъ, тогда какъ и сербскій богатырь Марко, и болгарскій Стоянъ на время опять принимаются за соху. (Вука пѣсни II, № 73. Безсон. пѣсни I, № 22. Но Илья, на память, взялъ съ собою въ ладонку горсть родной земли [174]).

Наши былины не поясняютъ (по крайней мѣрѣ въ настоящемъ ихъ видѣ), что̀ побудило Илью промѣнять соху на мечъ. Но я позволяю себѣ привести черту изъ эпоса чуждаго, принадлежащаго даже не одноплеменному съ нами народу, но все-же сроднаго съ нашимъ эпосомъ — въ силу общечеловѣческаго эпическаго сродства. Я имѣю въ виду указать на причины *соединенія плуга съ мечомъ* въ рукахъ эстонскаго «сына Калевы». «Чтобъ участвовать земледѣльца, самъ онъ взялся за плугъ; а чтобъ добыть долговременный миръ, чтобы дать земледѣльцу на волѣ справлять работу крестьянскую, не видя возлѣ себя кровавой рѣки и не слыша браннаго шума, довелось ему взяться за мечъ — въ оборону отъ чужеземныхъ насильниковъ» [175]).

Не та ли же самая *оборона* труда земледѣльческаго заставила опоясаться мечомъ кладенцомъ и нашего Илью Муромца? Чтобъ отвѣтить на этотъ вопросъ, мы должны прослѣдить отъ начала и до конца всю его богатырскую дѣятельность [176]).

---

[173]) См. въ моей зам. къ IV ч. пѣсь. Рыб. стр. III.

[174]) Восп. Даля (Кир. I, прил. стр. XXXIII.)

[175]) Kalevipoeg, verdeuscht von Rheinthal, 198, 199. Мѣсто это, правда, необозначено звѣздочками, т. е. не передано подлинными словами эстонскихъ пѣсенъ, но оно, какъ и все въ поэмѣ, основано на расказахъ, слышанныхъ отъ народа и только сведенныхъ вмѣстѣ. Не могу не замѣтить при этомъ, что въ ряду похожденій «сына Калевы» есть одно, подходящее по основѣ эпической, къ сказанію про Микулу съ Вольгой, хотя очевидно, вполнѣ отъ него независимое. Когда появились злые желѣзные мужи (рыцари), то, желая испытать ихъ силу, сынъ Калевы предложилъ одному изъ нихъ вытянуть изъ воды то вырванное съ корнемъ дерево, которое употреблялъ онъ для ловли раковъ Но сколько ни бился рыцарь,—ничего не могъ упахать съ этимъ деревомъ, а сынъ Калевы вытянулъ его сразу одной рукой (Ср. также съ тяжелой удой въ тюркскомъ сказаніи—выше стр. 212.

[176]) Въ дополненіе къ этой главѣ отмѣчу здѣсь пропущенное, по недосмотру, на стр. 190. Не только кое что въ похожденьяхъ Вольги, но и самое имя его сродно скандинавскому Гельги. «Ольгъ и Ольга—имена скандинавскія, говоритъ И. И. Срезневскій (ср. Helgr и Helgi);—впрочемъ, прибавляетъ онъ далѣе, и у Чеховъ была Ольга, Olga и Woliiha (чтенія о русскихъ лѣтописяхъ, стр. 46 — въ 4-мъ прилож. ко II т. Зап. А. Н.).

# V.

## Первая поѣздка Ильи Муромца въ Кіевъ.

Ни одно изъ похожденій нашего первенствующаго богатыря не запечатлѣлось такъ глубоко въ народной памяти, какъ именно эта первая поѣздка его въ стольный городъ. О ней повѣствуется въ цѣломъ множествѣ пересказовъ, частью довольно сжатыхъ, частью весьма подробныхъ. Въ большей части изъ нихъ связывается одной общей нитью нѣсколько похожденій, главнымъ изъ которыхъ является вездѣ торжество надъ Соловьемъ-разбойникомъ, составляющее предметъ богатырской похвальбы Ильи Муромца при пріѣздѣ къ Владиміру. Въ одномъ изъ прозаическихъ сказаній, записанныхъ по воспоминаніямъ В. И. Даля, мысль о Соловьѣ разбойникѣ не оставляетъ Ильи въ покоѣ во все время его разслабленности: даже молиться не даетъ, окаянный! [1]) Но и въ большей части былевыхъ пересказовъ Илья, вслѣдъ за своимъ изцѣленіемъ, отправляется въ путь съ ясно-сознаваемою цѣлью — очистить дорогу отъ Соловья. И онъ предпринимаетъ это самъ, безъ всякихъ постороннихъ внушеній, прямо отличаясь отъ германскаго богатыря Видги, которому, какъ уже видѣли мы, тщетно внушалъ отецъ: «отправься въ сосѣдній лѣсъ противъ засѣвшаго въ немъ великана, который успѣлъ уже накурить всѣмъ окрестнымъ людямъ бѣды несносныя» [2]).—Такому подвигу въ пользу людей Видга предпочитаетъ отправиться прямо къ Тидреку и сразиться съ нимъ—изъ любви къ искусству (см. выше стр. 73). Ему однако же приходится послѣ сразиться и съ великаномъ, но совершенно нежданно-негаданно (см. стр. 77).

Совсѣмъ не то нашъ Илья, вполнѣ сознательному и преднамѣренному дѣлу котораго потому-то и легко могъ быть приданъ, въ позднѣйшее время, тотъ христіанскій оттѣнокъ, который особенно замѣтенъ въ нѣкоторыхъ сказаніяхъ прозаическихъ, Какъ самое его изцѣленіе получило въ нихъ смыслъ христіанскаго чуда, совершившагося въ награду за его милосердіе, такъ и пер-

---

[1]) Кир. I, прил., стр. xxxii—xxxii.

[2]) Совершенно напротивъ того, по воспоминаніямъ Даля, родители нашего Муромца, благословляя его, даже наложили на него заклятіе ѣхать не на Черниговъ, гдѣ залегъ Соловей, а объѣхать на Кіевъ околицею.



вые подвиги богатыря объяснены милосердіемъ къ людямъ. Вмѣстѣ же съ тѣмъ, въ нѣкоторыхъ мѣстныхъ преданіяхъ карачаровскихъ, первой работѣ его — вырыванью деревьевъ для очищенія поля — приписывается и *набожное*, христіанское примѣненіе: три цѣльныхъ дуба, имъ вырванныхъ, положены были въ основаніе деревянной церкви, впослѣдствіи сгорѣвшей до тла. [3]). — Съ другой же стороны и нѣкоторая примѣсь ветхозавѣтная, зашедшая, конечно, изъ книгъ, сказалась въ томъ, будто Илья Муромецъ сидѣлъ сиднемъ за какой-то *грѣхъ дѣда своего*, ушедшаго въ монастырь, въ Кіевъ. Всталъ же Илья впервые на ноги, по тому же расказу, когда возгласили въ церкви: *Христосъ воскресъ!*, въ ночь на свѣтлое воскресеніе. «На этой позднѣйшей ступени, замѣчаетъ г. Буслаевъ, подновленное преданіе какъ бы встрѣчается съ извѣстнымъ ростовскимъ объ Аврааміи. Также какъ Илья Муромецъ, Авраамій до восмьнадцатилѣтняго возраста пролежалъ въ разслабленіи въ домѣ своихъ богатыхъ родителей язычниковъ [4]). Также приходятъ какіе то калики перехожіе, Новгородцы. Отъ нихъ онъ услышалъ о вѣрѣ въ Іисуса Христа, самъ увѣровалъ и сталъ на ноги, будто Илья, услышавшій: *Христосъ воскресе!*» [5]). Здѣсь, такимъ образомъ, древнее чудо миѳическое оказывается перенесеннымъ уже окончательно на христіанскую почву.

Если охристіанствованіе, въ сказаніи объ изцѣленьи Ильи, сказалось съ такою силою, что приравниваетъ его *святому* Авраамію, то христіанская же примѣсь сказывается и далѣе въ различныхъ подробностяхъ и послѣдовательныхъ явленіяхъ первой его поѣздки. Есть пересказы, въ которыхъ главное, знаменитѣйшее явленіе этой богатырской поѣздки, похожденіе съ Соловьемъ, стоитъ совершенно отдѣльно, безъ какой либо примѣси иныхъ, предварительныхъ похожденій. Таковъ помѣщенный во 2-мъ изд. Кирши Данилова подъ № 46 и перепечатанный у Кирѣевскаго въ вып. I, отд. III подъ № 6; да еще другой, помѣщенный также у Кирѣевскаго въ томъ же отдѣлѣ того же выпуска подъ № 2 (Записанъ къ Московской Губ).

Вторая изъ этихъ пѣсень отличается не первоначальною краткостію эпическою, а очевидною сокращенностью, отсутствіемъ подробностей самыхъ существенныхъ. Зато первая, какъ и бо̀льшая часть пѣсень изъ сборника Кирши Данилова, замѣчательна по соединенію сжатости съ полнотой. Илья снаряжается тутъ изъ Мурома въ Кіевъ *тою дорогою прямоѣзжею, которая залегла отъ Соловья разбойника ровно тридцать лѣтъ* — ровно столько же лѣтъ, сколько сиднемъ сидѣлъ Илья Муромецъ. Это совпаденіе срока гибельной дѣятельности Соловья съ лѣтами недѣятельности богатыря Ильи едва ли случайно. Рѣшимость Ильи проложить дорогу является тутъ *заповѣдью великою*, и притомъ соединяемою съ условіемъ *не вымать изъ налушна тугой лукъ, изъ колчана не вымать калену стрѣлу.* [6]) Хотя и трид-

---

[3]) Записано г. студ. Экземплярскимъ со словъ священника села Карачарова отца Михаила.

Въ одной сказкѣ «Илья Муромецъ именно 18 лѣтъ сидитъ сиднемъ (см. выше стр. 176, прим.)

5) См. статью г. Буслаева въ Р. Вѣстн. 1862 г. сент стр. 45 (у него же ссылка на Древнія Святыни Ростова Великаго, гр. Толстаго, изд. 2-е, стр. 60).

[6]) Стрѣлы его закалены въ утробѣ земли матери—(по воспом. Даля) а выкованы имъ изъ трехъ полосъ булатныхъ (Кир. I, пр., XXXII.)

цатилѣтній, Илья, по народному обычаю, беретъ при этомъ благословеніе у отца съ матерью,—и садится на своего коня богатырскаго. Конь этотъ, какъ первоначально миѳическій конь, *перву скокъ ступилъ за пять верстъ, а другого ускока не могли найти.*—Илья ѣдетъ черезъ *лѣса брынскіе*, черезъ *грязи смоленскія* (нерѣдкая въ эпосѣ *перепутанность* мѣстностей). Среди темныхъ лѣсовъ наѣзжаетъ нашъ богатырь Соловья на *девяти дубахъ—засвисталъ Соловей по соловьиному, зашипѣлъ по змѣиному, зрявкаетъ по звѣриному.* Илья, видя, что конь подъ нимъ окорачился, *разрушаетъ заповѣдь великую, вымаетъ калену стрѣлу, попадаетъ Соловья въ правый глазъ, полетѣлъ Соловей комомъ ко сырой земли, Илья подхватываетъ его на бѣлы руки и привязываетъ къ лукѣ сѣдѣльныя.*—Далѣе у Соловья оказывается дворъ на *семи верстахъ*, вокругъ двора *желѣзный тынъ*, а на всякой тынинкѣ — *по головѣ богатырской*—ужасающіе признаки одержанныхъ злымъ существомъ побѣдъ, иногда попадающіеся и въ сказкахъ.

У Соловья оказывается семья—жена и *девять сыновей*, которые хотятъ обернуться *черными воронами* и расклевать Илью Муромца. Но Илья благополучно пріѣзжаетъ въ Кіевъ, застаетъ у Владиміра многихъ богатырей, которые вмѣстѣ съ княземъ не хотятъ повѣрить ему, что онъ побѣдилъ Соловья разбойника. Тогда Илья заставляетъ Соловья свистать, шипѣть и зрявкать, а князи и бояра испужалися, на карачкахъ по двору наползались (подобно первоначальному проявленью испуга въ конѣ Ильи Муромца). «Уйми ты, говоритъ Владиміръ, Соловья разбойника».

Вотъ существеннѣйшія черты былины Кирши Данилова, повторяющіяся съ самыми небольшими отличіями во всѣхъ пересказахъ. Въ иныхъ нѣсколько иначе, но съ тою же основною мыслію, выражается завѣтъ, который при самомъ отъѣздѣ налагаетъ на себя Илья. Такъ у Рыбн. въ ч. I п. 9 и ч. II п. 6 состоитъ онъ въ томъ, чтобы *рукъ* по пути *не кровавити.* У Рыбн. въ ч. III, п. 6 завѣтъ гораздо пространнѣе: не натягивать туга лука и не накладывать каленой стрѣлы, не кровавить копья долгомѣрнаго и не кровавить палицы булатнія». У Рыбн. въ ч. II, п. 63, когда отецъ удивляется, что Илья не беретъ съ собою оружія, былина прибавляетъ, что *для опасу великаго онъ однакоже захватываетъ съ собою одинъ лукъ и одну стрѣлочку.*—Въ иныхъ пересказахъ не указано число лѣтъ, въ теченіи которыхъ дорога была Соловьемъ заложена (но гдѣ она указала, тамъ вездѣ 30 лѣтъ [7]); въ иныхъ не указано число дубовъ, или если указано, то не *девять*, а *семь* (подобно двору на семи верстахъ въ былинѣ Кирши) или же только *три*, иной разъ *тридевять, сорокъ* [8]). Число дѣтей Соловья также разнится: то девять, то семь, то три, и притомъ то сыновья, то дочери. Въ пересказахъ такимъ образомъ перемѣшиваются тѣ числа, которыя и вообще господствуютъ въ народномъ эпосѣ: *три, семь, девять, сорокъ.*—Отличія замѣтны также въ томъ, въ какой глазъ стрѣляетъ Илья: но въ большей части пересказовъ стрѣляетъ онъ въ *правый* глазъ, въ иныхъ при этомъ стрѣла выходитъ черезъ *лѣвый* [9]).

---

[7]) Кир. I, стр. 36, 41. Рыбн. II, стр. 323.

[8]) Кир. I, стр. 30, 36, 41. Рыбн., I, стр. 47 (сидитъ на 7 дубахъ и захватываетъ на 7 верстахъ) III, стр. 13, 19.

[9]) Рыбн. I, 9, II, 63, III, 5 (вмдь подъ лѣвую пазуху)

Что̀ касается вышеуказанной коротенькой былины Московской Губ. (у Кирѣевскаго), то въ ней замѣчательна та *постепенность*, съ какою Соловей высказываетъ свои силы: ужь какъ свистнулъ соловей въ четверть своего голоса, *что столѣтніи дубы зашаталися*; какъ и свистнулъ онъ въ полголоса, что Илья съ конемъ только вздрогнулися, какъ хотѣлъ Соловей свистнуть во весь голосъ свой—натянулъ Илья Муромецъ калену стрѣлу и т. д. Съ подобною постепенностью, по нѣкоторымъ другимъ пересказамъ, уже завладѣвшій Соловьемъ Илья приказываетъ ему показать свою силу Владиміру,—чѣмъ, повидимому, и подтверждается, что постепенное ознакомленіе съ этою силою самого Ильи есть черта подлинная, издавняя; но Соловей, по нѣкоторымъ пересказамъ, не слушается Ильи, и, вмѣсто полсвиста, свиститъ во весь свистъ—къ вящему ужасу князя Владиміра; по другимъ же въ ужасъ приводится князь уже и полсвистомъ. [9])

Въ сборникѣ Рыбникова есть также двѣ былины, въ которыхъ бой Ильи съ Соловьемъ стоитъ еще отдѣльно между отъѣздомъ его изъ Мурома и пріѣздомъ въ Кіевъ—это части II, № 3 (отъ калики изъ Красныхъ Лягъ) и части III № 4 (отъ А. Сарафанова). Обѣ былины отличаются, между прочимъ, тѣмъ, что засвистать сначала велитъ Соловью самъ Владиміръ, чудище же отвѣчаетъ на это: «не твой хлѣбъ я кушаю, не тебя и слушаю.» Тогда Владиміръ обращается къ посредничеству Ильи, тотъ приказываетъ Соловью свистать, но онъ въ пересказѣ калики изъ Лягъ отговаривается тѣмъ, что ему раскололо головушку о каменья, что сперва ему надобно дать зелена вина. [10]) Когда по приказу Владиміра, Соловья отпаиваютъ виномъ, онъ начинаетъ свистать во весь свистъ (вопреки приказу Ильи свистать въ полъ-свиста) отъ этого же *всѣ старые домы въ Кіевѣ приломалися* а *новые домы пошаталися*, *оконницы всѣ изъ домовъ пропадали*. Говоритъ Владиміръ князь: «Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ! буде спустишь экого вора по Кіеву, *а раззоритъ у насъ и весь Кіевъ градъ.*» Тогда Илья «отрубилъ Соловью буйну голову, да разсѣкъ разрубилъ его на мелкія части, отвозилъ тѣ части въ чисто поле, огня расклалъ и на огнѣ сожогъ, пепелъ по чисту полю развѣивалъ.»

Эта послѣдняя черта встрѣчается и въ краткомъ пересказѣ у Кирѣевскаго, зап. въ Моск. Губ., но тутъ Илья просто *убилъ—застрѣлилъ Соловья разбойника.* Точно такой же конецъ и во многихъ другихъ пересказахъ: Кир. вып. I. отд. III, п. 1 (Соловей раздавленъ), п. 4 (Илья кидаетъ Соловья выше дерева стоячаго, допускаетъ упасть на землю—а не подхватываетъ, какъ въ другихъ случаяхъ [11]) —и Соловей разшибается); отд. VI, п. 1. (Илья схватываетъ Соловья за черны кудри, бьетъ о сырую землю, хлопаетъ о сѣ-

---

[9]) Кир. I, стр. 30, 34, 38. Рыбн. II, 9; III, 24, 28. У Кир. въ в. IV, п. 1. Илья велитъ Соловью свистать тихимъ посвистомъ, а онъ сосвистѣлъ по соловьиному, смекая, что тѣмъ уходитъ Илью, но неудачно.

[10]) Сходный отвѣтъ Соловья и такое же первенствующее значеніе Ильи, становящее въ тѣнь самого Владиміра—и въ цѣломъ рядѣ другихъ пересказовъ (Кир. вып. I, отд. III, п. 1, Симб. Губ.) отд. VI п. 1. (Шенкурск. Уѣзда). п. 4, (Нижегород. Губ.) Рыбн., ч. I, п. 9, ч. III, п. 5 и 6.

[11]) Слѣдуетъ вспомнить при этомъ указанное въ 1-й главѣ сострадательное подхватыванье Ильею Сокольника, а также и богатыря Зюзи (стр. 34).

рой камень); вып. IV. п. 1 (Илья разрываетъ Соловья). Рыбн. ч. I, п. 9 (разсѣкаетъ Соловья на часточки; п. 10, и ч. III, п. 5 и 6 (рубитъ Соловью голову); ч, II, п. 63 (сажаетъ его въ погребъ и засыпаетъ песками). Изъ всѣхъ этихъ различныхъ *смертей* частію болѣе рѣдкими въ народномъ эпосѣ, частію же болѣе близкими уже къ человѣческому быту, т. е. позднѣйшими является *застрѣливаніе*, *колоченіе о землю* и особенно *рубленіе головы*. Всѣ же остальные чрезвычайно употребительны въ эпосѣ и легко объясняются миѳическимъ разшибаньемъ и разсѣченьемъ тучи молніею. Что касается послѣдняго, *сажанія въ погребъ*, то оно скорѣе замѣшалось сюда изъ сказаній о гибели свѣтлыхъ существъ, напр. Егорія Храбраго, а также и самого Ильи (въ одномъ изъ другихъ его похожденій). Такимъ образомъ двумя рыбниковскими пересказами, которые сопоставили мы во многомъ съ другими, дополняется, доводится до конца похожденіе Ильи съ Соловьемъ: какъ существо чудовищное, темное, онъ и долженъ быть изведенъ безъ пощады представителемъ свѣтлой побѣдоносной силы, который ежели и не вдругъ убиваетъ Соловья, то съ тѣмъ, чтобы еще живьемъ привести его на показъ Владиміру.

Далѣе оба рыбниковскихъ пересказа отличаются особымъ способомъ защиты Соловья дѣтьми его (здѣсь до ерьми): киданіемъ ими въ Илью подворотни тяжелой—по одному пересказу *сорока*, по другому—*сто* пудовой. Такъ же точно, или сходно, и въ нѣкоторыхъ другихъ—у Кир. вып. I отд. III, п. 1 и 4 (дочь Соловья кидается на Илью съ дрекольемъ) Рыбн. ч. I, п. 9 и 10 (съ рогатиной) [12]), ч, II, п. 63 (подворотнею въ 90 пудъ), ч. III, п. 5 (точно также), п. 6 (подворотня въ сорокъ пудъ кидается женою Соловья). Такой способъ защиты ближе къ человѣческой обстановкѣ, а потому онъ долженъ быть гораздо новѣе извѣстнаго намъ изъ пересказа Кирши стремленія *вороновъ*—сыновей Соловья *расклевать* Илью Муромца. Зато съ другой стороны рыбниковскій пересказъ части II-ой (калики изъ К. Лягъ) дополняетъ и разъясняетъ одну черту уже постершуюся, затемнившуюся въ пересказѣ Кирши Данилова. Въ этомъ послѣднемъ жена Соловья совѣтуетъ сыновьямъ ублаготворить Илью золотой казной, а ея оказывается у Соловья многое множество. Сыновья, въ пересказѣ Кирши, не слушаются матери, тогда она сама умоляетъ Илью: «бери ты у насъ золотой казны сколько надобно, отпусти Соловья разбойника». Но со стороны Ильи не слышится тутъ никакого отвѣта; былина говоритъ вслѣдъ за этимъ: «его-то дѣти соловьевы неучливо они поговариваютъ, они только Илью и видѣли», — т. е. онъ уѣзжаетъ къ Владиміру съ Соловьемъ. Въ рыбниковскомъ же пересказѣ калики изъ К. Лягъ сообщается и отвѣтъ Ильи Муромца: «не возьму я злата серебра и скачонаго жемчуга, не отвяжу тебя отъ добра коня (тутъ выкупъ предлагается Ильѣ самимъ Соловьемъ), не спущу тебя да во свои дома, — покажу я князю Владиміру». Точно такой же отказъ отъ выкупа встрѣчается и въ другихъ пересказахъ — у Кир. вып. I, отд. VI, п. 1 (Илья на злато на серебро не зарится); Рыбн. ч. II, п. 63 (тутъ замѣчательныя подробно-

---

[12]) Въ другомъ пересказѣ тутъ же, въ примѣчаніи—съ подворотнею въ сто пудовъ.





сти, о которыхъ ниже); ч. Ш, п. 5 («не надо мнѣ не злата, не серебра, я свезу Соловья въ Кіевъ градъ, на вино пропью, на колачъ проѣмъ»); п. 6 («еслибъ тыкнули копейцо во сыру землю, еслибъ обносили копейцо златомъ и серебромъ, и тутъ не отдалъ бы на выкупъ Соловья». Черта эта отзывается глубокою древностью, какъ не трудно замѣтить по полнѣйшему сходству ея съ вышеприведенной чертой изъ поэмы Waltharius (см. стр. 87—88). Та-же безсребренность встрѣчается и во многихъ сказкахъ объ Иванушкѣ дурачкѣ, которыя и во многомъ иномъ сходятся съ былинами объ Ильѣ Муромцѣ. Безсребренность эта, столь распространенная въ нашемъ эпосѣ,—происхожденія, хотя, по всей вѣроятности, и издавняго, но уже бытового. Чисто миѳическія существа напротивъ того падки на золото, такъ какъ въ добываніи его у темныхъ силъ и заключается основная задача этихъ существъ. Вотъ почему нельзя не признать остаткомъ чисто-миѳическимъ, издавнею подлинною чертою въ одномъ рыбниковскомъ пересказѣ (ч. I, п. 9) что Илья тутъ *беретъ* сокровища у Соловья, но при этомъ всетаки не отпускаетъ его на волю: «это, братцы, *мое заработчее*, а не отдамъ *я* вашего батюшку, онъ будетъ опять разбой держать».

Отъ этихъ сличеній съ нѣкоторыми чертами въ пересказахъ, уже отличающихся *сцѣпленіемъ* похожденій,—возвращаюсь къ тѣмъ двумъ у Рыбникова (калики изъ К. Лягъ и А. Сарафанова), въ которыхъ похожденіе съ Соловьемъ стоитъ еще одиноко. Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ ихъ нельзя не признать попорченными, исказившимися. Такъ, напримѣръ, источникъ позднѣйшій, книжный слышится въ обѣихъ былинахъ въ самомъ отчествѣ Соловья — *Рахмановъ*, Рахмановичъ (должно быть отъ *брахмановъ, брамановъ*, индѣйскихъ жрецовъ, т. е. вѣщихъ людей, получившихъ значеніе чудесниковъ, чародѣевъ, отчего *рахманный*=чудесный, кудесный, кудесническій. То-же отчество попадается и въ нѣкоторыхъ другихъ пересказахъ (Рыбн. Ш, 6), а въ большой былинѣ А. Сорокина (Р. Ш, 63) Соловей называется *птицей рахманной* (чудесной, чудовищной) [13]). Позднѣйшимъ смѣшеньемъ названій нельзя не признать въ пересказѣ А. Сарафанова (Р. Ш, 4), того, что Илья выѣзжаетъ тутъ изъ города *Крякова*, изъ села *Березина*. Городъ этотъ (уже попавшійся намъ выше въ былинѣ про королевичей изъ Крякова), встрѣчается и у Кирѣевскаго (IV в., № 1); но тутъ это не родина Ильи Муромца, а городъ, освобождаемый имъ отъ враждебной силы, подобно тому какъ въ другихъ былинахъ освобождаетъ онъ Черниговъ, Смоленскъ, и т. п. Это освобожденіе города, какъ мы вскорѣ увидимъ, въ цѣломъ рядѣ былинъ сцѣпляется съ походомъ на Соловья, какъ предшествующее ему приключеніе; но въ только что упомянутой мною былинѣ Кирѣевскаго, оно отнесено ко времени *послѣ* побѣды надъ Соловьемъ, котораго Илья заставляетъ при этомъ помогать себѣ. Помощничество Соловья Ильѣ только до извѣстной степени повторяется еще однимъ пересказомъ — у Рыбн. въ ч. Ш, п. 6, гдѣ Илья,

---

[13]) См. Сухомлинова, о преданіяхъ въ старинной Русской Лѣтописи (Основа 1862) Въ одномъ пересказѣ онъ Соловей Одихмантьевъ сынъ (Рыбн. ч. 1, № 10) У Кир. IV, 1, Соловей—Алатырецъ некрещеный.



оставляя Соловья съ конемъ на дворѣ у Владиміра, а самъ отправляясь въ княжескій теремъ, приказываетъ Соловью стеречь коня. (Впрочемъ, употребленіе побѣжденнаго вражьяго существа свѣтоносным побѣдителемъ себѣ въ помощь—явленіе, попадающееся въ народныхъ преданіяхъ, наприм. о чортѣ, подъ именемъ котораго обыкновенно скрывается первоначальная, миѳически-темная сила [14]). Быть можетъ черта эта и повторится въ какихъ нибудь пока еще не обнародованныхъ пересказахъ. Возвращаясь же къ самому мѣсту дѣйствія, Крякову, замѣчу, что въ своемъ родѣ вниманія заслуживаетъ сохраненіе имени этого города въ пѣсняхъ, записанныхъ въ Олонецкой и Архангельской Губерніи, если только — повторю здѣсь уже замѣченное у меня выше на стр. 161,—подъ этимъ былевымъ Кряковымъ дѣйствительно должно разумѣть историческій польскій Краковъ [15]).

Мы познакомились съ тѣми четырьмя пересказами (два Кирѣевскаго и два Рыбникова) въ которыхъ похожденіе съ Соловьемъ представляется еще отдѣльно, особнякомъ, а равно и съ нѣкоторыми чертами другихъ пересказовъ, или очень схожими, или совершенно несхожими съ упомянутыми четырьмя. Разсмотримъ же теперь подробно, со всѣхъ сторонъ, все множество остальныхъ пересказовъ, отличающихся, какъ мы уже знаемъ, сцѣпленіемъ въ одно цѣлое нѣсколькихъ похожденій. Но мы сперва выдѣлимъ собственно похожденіе съ Соловьемъ и укажемъ на тѣ особенности, съ какими представляется оно въ этихъ, такъ сказать, *сводныхъ* былинахъ, и которыя или особеннымъ образомъ дорисовываютъ уже знакомую намъ основу, или же придаютъ ей отчасти особый оттѣнокъ. Начнемъ, по обыкновенію, съ былинъ Кирѣевскаго (не забывая при этомъ, что уже и въ разсмотрѣнныхъ выше *одиночныхъ* былинахъ бой Ильи съ Соловьемъ связывается, какъ посредствующее звено, съ отъѣздомъ изъ Мурома и пріѣздомъ въ Кіевъ). Въ вып. I, отд. III, п. 1 (Симбирск. Губ,) Илья, собираясь въ походъ на *вспоможенье Владиміру и сбереженіе* (у Кир. I, III, 4—чтобы *заложиться* за князя Владиміра), *проситъ отца* купить ему *жеребца шелудиваго* [16]), который потомъ цѣлебно выкатывается имъ въ росѣ. (Объ этомъ послѣднемъ дѣйствіи и его сравнительно миѳическомъ значеніи уже было говорено выше). Сверхъ того конь поится сытою медовою—что̀ опять можетъ быть объяснено миѳическимъ значеніемъ *меда*, какъ любимаго напитка бога громовника, напитка, собственно обозначающаго *дождь* [17]). Что̀ касается тутъ же упоминаемаго кормленія тѣстомъ пшеничнымъ, то это, быть можетъ, просто распространеніе, позднѣйшая дорисовка.

Съ чудесною быстротою коня Ильи мы знакомы уже по тѣмъ *двумъ ускокамъ*, о которыхъ говорится въ пересказѣ Кирши Данилова и которымъ

---

[14]) Таково изъ нашихъ русскихъ преданіе объ Іоаннѣ Новгородскомъ, пропутешествовавшемъ въ Іерусалимъ верхомъ на плѣненномъ имъ въ сосудѣ съ водою чортѣ (Памятн. Стар. Р. Лит. I,245). Сродны также средневѣковыя преданія о Зенонѣ

[15]) У С. Марте въ его «Polnische Königssage» приводится множество примѣровъ распространенности мѣстныхъ наименованій того же корня у всѣхъ славянъ, что̀ сближается въ той же книгѣ со стариннымъ преданьемъ о Кракѣ (страницы не могу теперь указать, не имѣя подъ рукой этой книги, но см. въ ней главу о Кракѣ).

[16]) Кромѣ вышеприведенныхъ примѣровъ коня шелудиваго см. въ сербск. сказк. Вука стр. 27: коњ као да је губав... њега ко добије, може у небеса ићи.

[17]) Ср. выше стр. 183.

соотвѣтствуютъ у Кирѣевскаго въ вып. I, отд. III, № 4 — *три* ускока отъ Мурома до Чернигова. При этомъ чудесный конь, когда осержается, прочь отъ земли отдѣляется, онъ и скачетъ выше дерева стоячаго, чуть пониже облака ходячаго. У Рыбникова въ ч. I п. 9 (Пудожскаго Уѣзда, зап. отъ Прохорова) также *три* ускока, но сила воображенья значительно сдержана: каждый ускокъ *по верстѣ*, и при каждомъ Илья дѣлаетъ на столбѣ подпись: «первая, вторая и т. д. поѣздка Ильи Муромца.»

Думаю, что *три ускока* подлиннѣе, такъ какъ число *три* имѣетъ и вообще издавнее и общенародное миѳическое значеніе (ср. выше о *трехъ* глюткахъ—на стр. 180). Г. Стасовъ указываетъ на то, что «три шага, при совершеніи подвига, — очень часто встрѣчающійся мотивъ восточныхъ поэмъ и пѣсень. Такъ въ Индѣйской поэмѣ Гариванзѣ Вишну въ три шага овладѣваетъ тремя мірами.» Затѣмъ указываются у того же сочинителя богатыри тюркскіе, перепрыгивающіе въ три прыжка три неба или три земли (В. Евр. 1868 г. Янв., 206). Я же присоединю къ этому изъ Рамаяны тѣ *три шага*, которыми Вишну проходитъ *три міра* (Fauche, R. I, 197), (Вообще о числѣ *три* см. Куна Herabk., 155—57, 191, 201, 208).

У Рыбн. II,п. 63 (А. Сорокина), подписи дѣлаются на *крестахъ*, строгаемыхъ Ильей. Кстати будетъ привести при этомъ одно мѣсто изъ записной книги разстриженнаго единовѣрческаго монаха Григорія Панкѣева: «на лугѣ построена церковь Ильи Мумовца, называется *Скочекъ*; я сталъ спрашивать тамошнихъ жителей, и они расказали мнѣ по дробну: въ прежнія времена ѣхалъ Илья Муровецъ въ Кіевъ Богу молиться на богатырскомъ коню—*десять верстъ скочекъ*; за одни сутки долетѣлъ въ Кіевъ съ Мурома (еще скорѣе это происходитъ въ нѣкоторыхъ былевыхъ пересказахъ—гдѣ Илья поспѣваетъ изъ Мурома въ Кіевъ между заутреней и обѣдней: Кир. I, VI, 1; Рыбн. II, 3 и 63; III, 5 и 6) и до самаго Кіева теперь *поставлены церкви на всякомъ скочкѣ*... И такъ точно слухъ по этой губерніи одинаковъ.... Вотъ какую пользу угодникъ Божій *созиздилъ* Илья Муровецъ христіаномъ! Эта притча большая, какъ онъ купилъ у священника маленькаго *лошенка*—никто гроша не даетъ и не на что дивиться — потомъ черезъ три года выросъ богатырской конь: божія сила и премудрость.... [18]). Вотъ въ какомъ смыслѣ толкуются тутъ монахомъ тѣ чудесныя свойства первоначальнаго миѳическаго коня, въ силу которыхъ онъ, по былинѣ Н. Прохорова, рѣки, озера перескакивалъ, а темные лѣса промежъ ногъ пущалъ. Совершенно подобнымъ же образомъ летитъ конь Ильи у Кирѣевскаго въ вып. I, отд. VI, п. 1 (Шенкурскаго Уѣзда). А у Рыбникова въ I ч. 10 п. (Петрозаводскаго Уѣзда, отъ Рябинина) конь Ильи съ горы на гору перескакиваетъ, съ холмы на холму перемахи-

[18]) Григорій Панкѣевъ, въ иночествѣ Герасимъ, род. въ 1803 г., вступилъ въ корсунскій единовѣрческій монастырь и въ 1848 г. лишенъ сана — «по злобѣ, какъ пишетъ онъ, архимандрита Тишки». Тогда, взявъ съ собою большую пустую книгу въ 1000 стр., онъ пошелъ молиться Богу по всей Руси, и на каждомъ привалѣ записывалъ все, что ни встрѣчалось ему примѣчательнаго: преданья, повѣрья и т. п. Умеръ онъ въ 1858 г., въ московской маріинской больницѣ. Записная книга его досталась г. Прыжову, который передалъ ее въ Чертковскую Библіотеку, гдѣ она и значится подъ № 1, 2, 55. Мѣсто, у меня приведенное, находится въ ней на стр. 184, и обязательно выписано для меня г. Прыжовымъ, котораго усердно благодарю за то.



ваетъ (что̀ вполнѣ соотвѣтствуетъ тѣмъ *горамъ*, которыя являются на пути къ Соловью у Кир. I, III, 1 и 5 подъ позднѣйшимъ книжнымъ названіемъ то *Сіонскихъ*, то *Сорочинскихъ*. Между тѣмъ и самъ этотъ конь Ильи, по описанью его въ шенкурской былинѣ (Кир. I, VI, 1), *какъ гора лежитъ* (на дворѣ у Владиміра). Такая быстролетная, *скачущая черезъ горы* гора должна заключать въ себѣ миѳическую основу. Въ объясненіе можно напомнить о тѣхъ *летучихъ*, *крылатыхъ горахъ*, которымъ богъ Индра, въ извѣстномъ индѣйскомъ миѳѣ, наконецъ поотрѣзывалъ крылья [19]). Извѣстно уже, что первоначальное, обще-арійское значеніе горы, — это воздушная, облачная гора—*туча*, которая носится въ горнемъ пространствѣ, носится на крыльяхъ вѣтра черезъ небесныя воды и небесный облачный лѣсъ. Такое миѳическое значеніе долженъ былъ первоначально имѣть и выѣздъ Ильи «изъ за горъ было, горъ высокіихъ» (Кир. I, III, 3), хотя въ настоящее время онѣ понимаются пѣвцами народными уже въ смыслѣ земныхъ, настоящихъ горъ, которыя хотя весьма незначительны на Руси, но все же имѣются—хотя бы и въ области кіевской, гдѣ должны были первоначально сложиться наши былины (Горы же въ смыслѣ миѳическомъ должны были быть вынесены нашими предками еще изъ арійской прародины, гористость которой уже прямо вела къ преобладанію образа *горы* въ миѳахъ).

Въ томъ же пересказѣ у Кирѣевскаго замѣчательны далѣе три дороги, открывающіяся передъ Ильей, съ тремя надписями— о предстоящей на каждой изъ нихъ судьбѣ. Черта эта, надобно думать, замѣшалась сюда изъ былины о *трехъ поѣздочкахъ*, гдѣ она совершенно умѣстна, тогда какъ тутъ Илья совершаетъ только одну поѣздку—по одной дорогѣ. Съ другимъ, и совершенно умѣстнымъ значеніемъ являются *двѣ* дороги и надпись у Кирѣевскаго въ вып. I, отд. VI, п. 1 (Шенкурскаго Уѣзда) и въ вып. IV, п. 1 (Аргангельскаго Уѣзда), гдѣ по прямой дорогѣ до Кіева полтора часа, а по окольной полтора года; и у Рыбникова въ ч. I, п. 9 (Н. Прохорова), гдѣ «прямо 500, на околъ 700 верстъ [20]),—прямо ѣхать, живу не бывать», на что̀ Илья замѣчаетъ: «не честь хвала молодецкая на околъ ѣхати» (точно тоже говоритъ онъ у Рыбникова—въ ч. Ш, п. 6). Чертою уже позднею, порчею слѣдуетъ, кажется, признать тутъ то, что Илья только въ это время, по надписи, узнаетъ о Соловьѣ: «какъ прямо ѣхать, живу не бывать, нѣтъ пути ни прохожему, ни проѣзжему, ни пролетному, сидитъ Соловей разбойникъ на семи дубахъ, захватываетъ воръ собака на семи верстахъ». (Соотвѣтственно названью *собака*, Соловей въ этомъ пересказѣ, сверхъ обычнаго въ прочихъ пересказахъ издаванья зміиныхъ и птичьихъ звуковъ, еще *мызгаетъ по собачьему*). Кромѣ прохоровскаго пересказа, и въ пересказѣ Ѳедотова (Р. Ш, 6), а также въ помѣщенномъ у Кирѣевскаго въ I вып. Ш отд. № 4 Илья только тутъ узнаетъ про Соловья. Во всѣхъ остальныхъ пересказахъ онъ

---

[19]) Ст. г. Потебни: Змѣй, Волкъ, Вѣдьма: въ Чт. Моск. Ист. Общ. 1865, стр. 262. Крылатая гора встрѣчается также въ Рамаянѣ (Fauche, Ramayana VI, 55, 56). Въ той же поэмѣ различныя миѳическія существа часто выставляются словно горы, и тѣ-же самыя существа иной разъ перекидываются между собою—горами же (Fauche, IV, 227, 243, VIII, 297, 370).

[20]) Въ пересказѣ Рябинина (Рыбн. I, п. 10) про эти дороги говорятъ Ильѣ мужики Черниговцы: прямою дорогою 500, окольною 1000 верстъ.

уже выѣзжаетъ изъ Мурома съ ясно сознаваемой цѣлью — проложить дорогу прямоѣзжую черезъ разбойническую заставу.

Перейду теперь къ подробностямъ самой встрѣчи Ильи съ Соловьемъ. У Кирѣевскаго въ вып. 1, отд. III, п. 1 (Симбирской Губ.) Илья подстрѣливаетъ его въ правое *крыло*, вполнѣ соотвѣтственно его птичьему образу; тамъ-же въ п. 3 (той-же губ.) Соловей *летитъ* на встрѣчу Ильѣ, далѣе же Илья сшибаетъ его какъ *овсянаго снопа*, чѣмъ съ другой стороны указывается на большущіе размѣры этого чудеснаго Соловеюшки (въ пересказѣ Пудожскаго Уѣзда, Т. Романова—Рыбн. III, п. 5 Соловей, уже побѣжденный, у стремени побѣдителя—какъ *сѣнна копна*). Опять зато соотвѣтственно птичьему образу въ былинѣ шенкурской (Кир. I, vi, 1) и въ пересказѣ Рябинина (Рыбн. I, 10) говорится о *гнѣздѣ* Соловья. Правда, это слово употреблялось и въ примѣненіи къ человѣческому быту: стоитъ только вспомнить Всеволода *Большое Гнѣздо*. Но въ сводной былинѣ Сорокина (Рыбн. II, 63) про гнѣзло Соловья прямо сказано, что оно *свито*—свито на трехъ дубахъ кряковистыхъ, на двухъ березахъ на покляпыихъ. Зато во многихъ другихъ пересказахъ говорится уже о *помѣстьицѣ*, *теремѣ*, *посельицѣ* или *дворѣ* разбойника, даже объ его *подворьѣ дворянскомъ* [21]). Кромѣ того въ иныхъ пересказахъ приписываются ему и нѣкоторые, какъ бы человѣческіе признаки, Такъ у калики изъ Красныхъ Лягъ (Рыбн. II, 3) онъ *стоитъ* на дубу и Илья ударяетъ его палицей *въ груди*. А въ былинѣ Сорокина (Р. II, 63), хотя Соловей и скатывается съ дубовъ со гнѣздышкомъ, какъ сѣнная куча неподъемная, но Илья беретъ его *за желты кудри* и привязываетъ къ стремени *желтыми кудерками*. Въ пересказѣ же Н. Прохорова (Р. I, 9) Илья говоритъ про Соловья Владиміру: «у него *уста* запечатаны, запеклись кровью горючею.... Стрѣленъ у меня во правый глазъ, вышла стрѣла во лѣво *ухо*. Налейте ему чашу зелена вина, вѣсомъ чашу *полтора пуда*, мѣрой чашу полтора ведра» (обычная богатырская мѣра), а когда ему ее налили, Соловьюшка принималъ чашу *единой рукой* (какъ обыкновенно богатыри) Съ этимъ сходно и то, что въ шенкурской былинѣ (Кир. I, vi, 1) Соловей, завидѣвъ Илью, *бьетъ въ долони* по богатырскому.

Нечеловѣческая въ самомъ своемъ существѣ природа Соловья особенно выпукло выдается впередъ у Кирѣевскаго въ вып. I, отд. III, п. 4. Семья его оказывается тутъ настоящимъ гнѣздомъ, въ которомъ всѣ птенцы между собой схожи, почему Илья и спрашиваетъ у ихъ батюшки: «что́ это у тебя дѣти на единый ликъ?»—«Я, отвѣчаетъ разбойникъ, сына-то вырощу, за него дочь отдамъ, дочь-то вырощу, отдамъ за сына, чтобы соловейкинъ родъ не переводился.»

Кстати будетъ вспомнить при этомъ черту, уже попавшуюся намъ выше въ Вользунга Загѣ [22]) а именно—связь между Зигни и роднымъ ея братомъ Зигмундомъ. И тамъ такое кровосмѣшенье должно было послужить къ тому, что-

[21]) Это послѣднее, очевидно, позднее выраженіе, встрѣчается именно въ старѣйшемъ изъ имѣющихся у насъ сборниковъ — Кирши Данилова, такъ что и въ этомъ, какъ во многихъ случаяхъ, нѣкоторые пересказы рыбниковскіе неприкосновеннѣе сберегли старину. Другія, только что приведенныя выраженія — у Кир. IV, 1; Рыбн. I, 9.

[22]) См. стр. 118—119.

бы произвести на свѣтъ *чистокровнаго* представителя Вользунговъ—того знаменитаго рода, отъ котораго происходилъ и любимѣйшій сѣверный богатырь—Зигурдъ. Кровосмѣшенье въ Вользунга-Загѣ ни мало не пятнаетъ знаменитаго рода и не вызываетъ ни съ чьей стороны отвращенія [23]). Въ нашей же былинѣ, при всемъ ея грубомъ складѣ, отзывающемся самой сѣдой стариной, совершенно наоборотъ.—Высшая, человѣческая, уже не на первой ступени развитія находящаяся природа сказывается тутъ въ Ильѣ Муромцѣ: «звѣринскій» обычай чудовища Соловья *за досаду ему показался*. Вынималъ онъ свою саблю вострую, прирубилъ у Соловья всѣхъ дѣтушекъ.—Тутъ оказалось одной причиною болѣе для того отсутствія пощады, съ какимъ и въ другихъ пересказахъ, то въ большей, то въ меньшей степени, относится Муромецъ къ Соловью и соловьиному роду, Мы видѣли, что ежели самого Соловья Илья убиваетъ не сразу,—то только руководствуясь желаніемъ показать его еще живымъ Владиміру. «Повезу я, говоритъ онъ, тебя, чуда, въ Кіевъ градъ, на показанье князю Владиміру (Кир. IV, 1). Съ тою же цѣлью, очевидно, у Рыбник. въ ч. III, п. 5, Илья напутствуетъ пускаемую имъ въ Соловья стрѣлу слѣдующимъ заговоромъ: «лети въ правый глазъ, выдь подъ лѣвую пазуху (въ другихъ пересказахъ—черезъ лѣвый глазъ), *оброни Соловья безъ навиду* (смертной раны). (Этому вполнѣ соотвѣтствуетъ въ другихъ пересказахъ та бережность, съ какою подхватываетъ Илья падающаго съ дубовъ разбойника). Впрочемъ богатырь заботится только о томъ, чтобы Соловей доѣхалъ *живымъ* до Владиміра (искалѣчить, обезобразить его онъ не боится). Хотя собственно только у Ѳедотова (Рыбн. III, 6) прямо сказано, что Соловей привязывается Ильею къ стремени *головою внизъ*, но на это и въ другихъ пересказахъ указывается жалобою Соловья на то, что *расколотило ему головушку о каменья*. Заповѣданіе стрѣлѣ сострѣлить Соловья безъ навида встрѣчается всего въ одномъ пересказѣ; самый же заговоръ на стрѣлу—съ цѣлью удачно, неотразимо ее направить — попадается еще у Кирѣевскаго I, VI, 1: «вередите ему, (т. е. стрѣлы) сердце ретивое»—и по этому пересказу Соловей уже тутъ оказывается убитымъ, но далѣе опять оживаетъ и кричитъ зычнымъ голосомъ. Такая живучесть враждебной силы сама по себѣ черта древняя, чисто миѳическая; но въ похожденіи съ Соловьемъ это стрѣляніе прямо *въ сердце* стоитъ слишкомъ особнякомъ, слишкомъ противорѣчитъ засвидѣтельствованному большинствомъ пересказовъ старанью Ильи до поры до времени сохранить разбойнику жизнь,—а потому черта эта и должна быть признана *тутъ* нарушающею основной смыслъ, со стороны замѣшавшеюся. Совершенно другое дѣло тотъ заговоръ, который встрѣчается у Сорокина (Рыбник. въ ч. II, п. 63) «лети въ правое ухо, вылети въ лѣвый глазъ»: онъ вполнѣ соотвѣтствуетъ свидѣтельству многихъ пересказовъ о мѣстѣ, куда раненъ (но не смертельно) Соловей разбойникъ. Самое же употребленіе тутъ въ дѣло заговора, подтверждаемое множествомъ до сихъ поръ еще существующихъ въ народѣ заговоровъ на оружіе и даже именно на стрѣлу [24]), составляетъ въ нашихъ былинахъ замѣчательную обрядово-бытовую черту.

---

[23]) И Авеста (Sp. II, 87) хвалитъ бракъ близкихъ родственниковъ.

[24]) См. сказ. Сахарова I, II, 23, 25—27.



Въ нѣкоторыхъ пересказахъ указывается по сосѣдству съ гнѣздомъ Соловья рѣка Самородина — Кир. I, III, 1, 4; VI, 1; Рыбн. I, 10, II, 63. Она занимаетъ очень видное мѣсто и вообще въ нашихъ народныхъ пѣсняхъ, является постоянно рѣкою неодолимою, способною погубить и самаго умѣлаго молодца. Самъ Илья у Рыбн. II, 63, обѣщаетъ людямъ, что скоро имъ нечего будетъ бояться Соловья разбойника, прибавляя къ этому: «только бойтесь одной Самородины». Между тѣмъ къ имени этой рѣки не пріищешь никакого сколько нибудь соотвѣтствующаго географическаго. Какъ по необычайнымъ свойствамъ своимъ, такъ и по наименованію это должна быть рѣка миѳическая. Имя, быть можетъ, указываетъ на рѣку, которая *сама рождается*, сама вдругъ, нежданно-негаданно, заводится въ облакахъ, и оттуда проливается цѣлымъ потопомъ на землю; представленье, вполнѣ понятное при тѣхъ сплошныхъ, безостановочно льющихся и часто губительно-дѣйствующихъ дождяхъ, которыми такъ изобилуетъ наша сѣверная природа. Вотъ съ такою-то дождевою рѣкою сближается воздушное гнѣздо Соловья; но она, подобно дубамъ, въ которыхъ Соловей угнѣздился, является уже перенесенною на землю, уже *земною рѣкою*, когда оказывается способною съ *пескомъ сомущаться*,— у Кир. въ вып. I, отд. VI, п. 1. Но замѣчательно, что такимъ образомъ она сомущается тутъ, т. е. мутится въ ней самое дно—не отъ чего другого, какъ отъ *рева* Соловья разбойника, въ то-же самое время оказывающаго вліяніе и на лѣса, которые тутъ отъ этого рева *къ землѣ приклоняются*. (Послѣднее и въ пересказѣ Рябинина—Рыбн. I, 10). Соловей оказывается такимъ образомъ способнымъ не только на *свистъ*, но и на *ревъ*. Въ другихъ пересказахъ — постоянно *свистъ*, но послѣдствія его, уже намъ знакомыя, не менѣе ощутительны, съ особенною же силою выказываются они въ пересказѣ архангельскомъ—у Кир. въ вып. IV, п. 1. «Засвиститъ въ полсвиста—заметъ листъ въ зеленомъ саду;» а девять дубовъ, на которыхъ сидитъ онъ тутъ, если корнями и утверждены уже на землѣ, то своими вершинами еще переносятъ насъ въ высь—*въ небо ввиваются*. Тамъ же, стало быть, на воздушной выси, и гнѣздо Соловья, оттуда-то и раздается—не то свистъ, не то ревъ, пагубныя дѣйствія котораго оказываются на землѣ [25]).

Изо всего, что̀ мы видѣли, уже съ достаточною ясностью выказывается *бурная*, разрушительная природа Соловья, собственно и дѣлающая эту чудовищную птицу *разбойникомъ*. Съ другой же стороны извѣстно, что и въ нашихъ сказкахъ нерѣдко являющіеся похитителями *соколы*, *орлы*, *вороны* прилетаютъ вмѣстѣ съ *вихрями*, *грозою* и *бурею*, въ нѣкоторыхъ же пересказахъ *вмѣсто* подобныхъ птицъ прямо дѣйствуютъ *вѣтеръ*, *градъ*, *громъ*. Въ сказкахъ же упоминается *исполинская птица*, затемняющая все небо, въ образѣ коей, по словамъ г. Аѳанасьева, «фантазія воплотила тотъ неудержимо несущійся бурный вихрь, который, нагоняя на небо черныя тучи, по-

---

[25]) Крикъ Соловья, кромѣ того, оказываетъ страшное дѣйствіе и на людей. У Рябинина они отъ этого мертвы лежатъ, а у Анфима Савинова—бабы поносныя разродились (а также и кобылы жеребыя жеребились — Рыбн. IV, 2). Отчасти сходное происходитъ отъ боя двухъ богатырей у Радлова, II, 352.

темняетъ солнечный свѣтъ, волнуетъ моря и съ корнемъ вырываетъ столѣтнія деревья.» Сюда же должны быть отнесены бѣлорусскіе Гарцуки (отъ *гарцовать*—играть, бѣгать въ запуски) духи, подвластные Перуну, летающіе въ видѣ различныхъ хищныхъ птицъ и крыльями своими производящіе стремительные вѣтры [26]). Такъ и въ духовномъ стихѣ о *голубиной книгѣ*, сохраняющемъ въ себѣ, какъ извѣстно, очень много миѳическаго, упоминается *стратимъ птица*, которая, когда вострепенется, океанъ море восколыхнется [27]) (то-же дѣйствіе *на рѣку* производитъ, какъ мы видѣли, Соловей).

Всѣмъ этимъ чудовищнымъ птицамъ очевидно сродни и іотунъ (великанъ) Hraesvelgr въ старшей Эддѣ, сидящій на краю неба, въ *перьяхъ орла* и размахомъ крыльевъ производящій вѣтеръ. [28]) *Орломъ* же представляется въ различныхъ мѣстахъ Эдды и другой великанъ, *Тіасси*, даже совершенно подобно нашему Соловью гнѣздящійся на дубахъ и убиваемый богомъ лѣтней поры, громовникомъ Торомъ, который, какъ видѣли мы, во многомъ соотвѣтствуетъ первоначальному миѳическому существу, скрывающемуся въ нашемъ Ильѣ [29]). Въ положеніи, въ свою очередь напоминающемъ и Илью, и Тора находится и знаменитый греческій богатырь Ираклъ (Геркулесъ), когда разгоняетъ на стимфальскомъ болотѣ чудовищныхъ птицъ съ желѣзными перьями (и нашего Соловья окружаютъ *грязи*, топь). Не лишнее будетъ припомнить и то, что одна изъ *гарпій* (также чудовищныхъ полу-птицъ) носила названье Ἀελλώ, а ἄελλα значитъ *буря*. Г. Аѳанасьевъ замѣчаетъ сверхъ этого, что греч. ἄνεμος — *дуновеніе* и ἀετός *орелъ* находятся въ очевидномъ филологическомъ сходствѣ, происходя отъ ἄν, ἄημι — *дую*. (Съ чѣмъ сопоставлено у него и то, что на Украйнѣ *каня* означаетъ и *тучу*, и *хищную птицу*). Не менѣе замѣчательно и другое приводимое у него филологическое сходство—двухъ латинскихъ словъ: aquilo — бурный вѣтеръ, и aquila — орелъ; а равно и другое: vulturnus—юговосточный вѣтеръ и vultur—коршунъ. Замѣчательно вмѣстѣ съ тѣмъ, что и у новыхъ Грековъ управленіе вѣтрами приписывается *коршуну*. Да и у разныхъ народовъ миѳами вѣтра служатъ то *орлы*, то *соколы*, то *вороны* [30]), (послѣ этого и *вороній* образъ дѣтей Соловья у Кирши Данилова долженъ быть признанъ миѳическою чертою; дѣти эти, по всей вѣроятности, *вѣтры*).

Послѣ всѣхъ этихъ разнонародныхъ примѣровъ укажу наконецъ на двухъ *бурныхъ птицъ* въ индѣйскомъ эпосѣ. При приближеньи одной изъ нихъ — отъ движенія ея крыльевъ заплясали деревья, другая же, знаменитая Гаруда, птица бога Вишну, также размахомъ крыльевъ поднимаетъ на морѣ волны, приводитъ въ сотрясеніе горы и вырываетъ деревья съ корнями [31]).

Послѣ всего этого, кажется, должно сдѣлаться несомнѣннымъ, что птичій исполинскій образъ составляетъ древнюю миѳическую принадлежность нашего Соловья, также волнующаго воды и колеблющаго деревья.

---

[26]) Аѳанасьева Поэтическія Воззр. Славянъ, I, 502, 506, 508, 515.

[27]) См. въ моей христоматіи, стр. 293.

[28]) Bergmann, Poemes Islandais: Voluspa, Lokasenna et Vafthrudnismal, p. 278.

[29]) Uhland, Thor (Schriften, VI, въ концѣ).

[30]) Аѳанасьева, Поэтич, Воззр, I, 503—504.

[31]) Fauche, Ramayana, V, 395; VIII, 188.

Но если понятно, почему птица вообще могла служить миѳомъ для бурной силы, то какое же можетъ имѣть тутъ значеніе собственно *Соловей*? Для народнаго воображенія вполнѣ достаточно и какой нибудь одной, допускающей сближеніе стороны. *Свистаніе* бури и *свистъ* Соловья—вотъ что̀ могло тутъ быть сближено. Звуки атмосферическіе сближались и вообще со всевозможными звуками—хотя бы даже съ колокольнымъ звономъ, или же съ глаголомъ устъ человѣческихъ. Замѣчательно, что нѣмецкое названіе Соловья—Nachtigall, состоящее, какъ замѣтилъ уже г. Аѳанасьевъ, изъ nacht (ночь) и gall,—этою второю своею половиной сближается съ ирл. gaill = слово, слав. *глаголъ*, перс. gâl = крикъ, наконецъ съ санскр. корнемъ gal, gr, означающимъ вообще *звучать*. Соотвѣтственно этому и нашъ *соловей* (*славій* — въ Сл. о П. Иг.) сближается съ *слово—слава*. Отсюда и всякая *рѣчистая*, громко звучащая сила становится соловьемъ: такъ называется и пѣвецъ о полку Игоревѣ, и сладкорѣчивый жрецъ Богомилъ (въ Іоакимовской Лѣтописи), а наконецъ и самъ *языкъ*—въ замѣчательной народной загадкѣ: «за бѣлыми березами (зубами) соловеюшка свищетъ». Послѣ этого становится понятнымъ, почему въ народныхъ преданіяхъ, по словамъ г. Аѳанасьева, «соловьиный щекотъ — символъ весеннихъ глаголовъ бога-громовника, вѣщающаго въ *грохотѣ* грома и *свистѣ* бури. Какъ соловей, прилетая съ весною, начинаетъ свою громозвучную пѣсню, свой далеко раздающійся свистъ *по ночамъ* (почему Нѣмцы и назвали его *ночнымъ глашатаемъ*), такъ точно и богъ грозы съ началомъ весны заводитъ свою торжественную пѣсню, звучащую изъ мрака ночеподобныхъ тучъ. Воинственная Аѳина, помощница Зевса въ его творческихъ дѣяніяхъ, принимала на себя образъ этой птицы». Замѣчательно, что у насъ про св. Евдокію, память которой 1-го марта, — пора, когда начинаютъ дуть весенніе вѣтры, — народъ выражается: *свистунья* пріѣхала. Понятно послѣ этого также и то, почему у моряковъ, по замѣчанію того же изслѣдователя, до сихъ поръ существуетъ повѣрье, что свистомъ можно накликать бурю; при стихающемъ попутномъ вѣтрѣ пловцы обыкновенно *свистятъ по вѣтеръ* [32]). Потому-то, съ другой стороны, свистать въ жилой избѣ почитается въ простонародьи дурною примѣтою и грѣхомъ; изба, въ которой свистятъ, скоро опустѣетъ—все высвищешь [33]). Не должно свистать и во время весеннихъ посѣвовъ; иначе зерно будетъ вывѣяно съ пашни вѣтрами.

Сила *свистящая* выказалась передъ нами съ обѣихъ своихъ сторонъ — благотворной, какъ своего рода признакъ желанныхъ явленій весны и лѣта, и зловредной, какъ проявленіе вообще силы бурной, губительной. Г. Аѳанасьевъ, имѣя въ виду объяснить миѳъ о Соловьѣ разбойникѣ, съ недостаточною ясностію, какъ мнѣ кажется, указалъ на то, что въ немъ выражается почти исключительно темная, вредная сила миѳическаго свистуна. Во многихъ отношеніяхъ свистунъ этотъ, по выставленнымъ у нашего многоуважаемаго изслѣ-

---

[32]) Поэтич. Воззр. Слав., I, 298, 302, 308, 309.

[33]) У Кулиша въ Запискахъ о Южной Руси, I, 172—78 помѣщена одна былевая малороссійская пѣсня, въ которой чудесное существо, топящее на морѣ корабли, названо Посвистачемъ. Но пѣсня эта, стоя особнякомъ, остается нѣсколько сомнительною, тѣмъ болѣе что у Малороссіянъ вообще не сохранилось былевыхъ пѣсенъ.

дователя признакамъ, долженъ оказываться какъ бы *сподвижникомъ*, *спутникомъ* свѣтлаго бога громовника—что́ очень мало замѣтно въ отношеніяхъ Соловья къ Ильѣ Муромцу. Можно бы сказать, что этого незамѣтно вовсе, если бы не тотъ пересказъ, въ которомъ Илья приневоливаетъ Соловья помогать ему въ одолѣніи Крякова. Черта эта такимъ образомъ можетъ получить объясненіе такого рода: сила, дѣйствовавшая постоянно зловредно, подчинившись богу-громовнику и имъ управляемая, получаетъ благодѣтельное назначеніе, какъ составное начало тѣхъ грозовыхъ явленій, которыми онъ благодѣтельствуетъ землѣ. Въ качествѣ силы, служебной Ильѣ-громовнику, Соловей отчасти является и въ томъ пересказѣ, гдѣ ему поручается сторожить коня Ильи. Быть можетъ миѳическимъ толкованіемъ въ ту же самую сторону можетъ быть разъяснено и еще незнакомое намъ обстоятельство, упоминаемое всего въ одномъ пересказѣ и съ перваго раза могущее показаться рѣшительнымъ искаженіемъ и безсмыслицей. У Кирѣевскаго въ вып. I, отд. III, п. 1-й двѣ дочери Соловья являются женами двухъ богатырей кіевскихъ, Алеши Поповича и Добрыни Никитича [34]). Между тѣмъ если въ первомъ подъ многими непривлекательными сторонами его нрава, и можетъ еще скрываться темное *миѳическое* начало, то второй является во всѣхъ отношеніяхъ представителемъ свѣтлой силы. Тѣмъ не менѣе оказывается возможнымъ даже брачный союзъ съ нимъ дѣвицы изъ темнаго царства, дечери бѣдоваго свистуна. Союзъ этотъ тѣмъ болѣе должно считать эпически возможнымъ, подлиннымъ, что и самъ Илья Муромецъ, какъ мы знаемъ, находился въ связи съ великаншею изъ старшаго, темнаго поколѣнія, и отъ этой-то связи и прижилъ своего, по нѣкоторымъ признакамъ также *темнаго* сына. Бой Ильи съ этимъ послѣднимъ, какъ мы уже знаемъ, въ сущности представляетъ миѳическую борьбу двухъ сторонъ одного и того же явленія-существа, стороны благотворной со стороною зловредною. Какъ каждое, можно сказать, явленье природы распадается въ этомъ отношеніи на двое, такъ и въ каждомъ миѳическомъ существѣ понятно подобное раздвоеніе. Иной разъ враждуя со своею собственною темною стороною, (иногда выдѣляемою миѳически въ особое существо) въ другой разъ свѣтлое божество способно вступить и въ союзъ съ постороннею, темною силою, придавая ей благотворное назначеніе [35]). Но, какъ бы то ни было, въ нашей былинѣ объ Ильѣ Муромцѣ и Соловьѣ, отношенія перваго ко второму почти постоянно и сплошь враждебныя, и Соловей является по преимуществу какъ зловредное существо. Въ этомъ то смыслѣ и г. Аѳанасьевъ указываетъ на миѳическое тождество Соловья со змѣемъ [36]): «Соловей разбойникъ гнѣздится на двѣнадцати дубахъ; народная сказка то же самое говоритъ о змѣѣ, и подробность эта объясняется миѳическимъ значеньемъ дуба—дерева, посвященнаго Перуну: «Загремѣлъ Зилантъ (змѣй), выходя изъ желѣзнаго гнѣзда, а висѣло оно на двѣнадцати дубахъ, на двѣнадцати цѣпяхъ»; въ одномъ заклятіи говоръ змѣя сравнивается съ шумомъ вѣтра: «что́ ни дубъ

---

[34]) У Рыбн. въ ч. I, п. 10-й, упоминается о трехъ зятьяхъ Соловья, но они не названы.

[35]) Въ одной сербской сказкѣ добрый молодецъ становится побратимомъ змѣя (Вука сказки, № 5). Въ другой змѣй-побратимъ замѣняется чортомъ (№ 20).

[36]) Поэт. Воззр. Слав. I, 307.



стоитъ, Зміуланъ сидитъ, что не вѣтеръ шумитъ—Зміуланъ говоритъ». Въ украинской сказкѣ, напечатанной въ «Запискахъ о Южной Руси»,[37]) по сличенію ея съ варіантами того же эпическаго сказанія, записанными въ другихъ мѣстностяхъ, Соловей-разбойникъ замѣняетъ собою Змѣя Горыныча; въ другой сказкѣ Илья Муромецъ побиваетъ двѣнадцатиголоваго змѣя, избавляя отъ него красавицу королевну. Всѣ эти сближенія убѣдительно свидѣтельствуютъ, что въ образѣ Соловья-разбойника народная фантазія олицетворила демона бурной тучи». Да, но всѣмъ этимъ еще не достаточно выяснена по преимуществу *злая* природа Соловья-свистуна. Бурная грозовая туча, какъ явленіе преходящее, можетъ быть вполнѣ благотворнымъ явленіемъ (какимъ порою является въ народныхъ преданьяхъ и *змѣй*, вообще отличающійся двоякостью). Но нашъ Соловей, хоть и птица, не есть явленіе быстролетное или даже летучее; — главное его состояніе — не полетъ, а *сидѣніе*; онъ годами сидитъ на своихъ дубахъ, онъ *засѣлъ*, *заложилъ* дорогу—и вотъ въ этомъ-то его пагубность. Дубъ, выростающій быстро на небѣ по волѣ Перуна, столь же быстро и разбивается тѣмъ же Перуномъ—и производителемъ и губителемъ тучи [38]): но тучи-дубы, служащіе обиталищемъ Соловью, вершинами *ввились* въ небо, а между собою сплотились посредствомъ свитаго въ нихъ долговременнаго гнѣзда. Вокругъ оказываются цѣлые лѣса непроходные, которые у Рыбн. въ ч. II, п. 63 *срываются* Ильей Муромцемъ (у Кирѣевскаго вып. I, отд. VI, п. 1, и у Рыбн. ч. III, п. 5 и 6 онъ *вырываетъ дубы*). Сверхъ лѣсовъ по дорогѣ къ гнѣзду Соловья, какъ мы знаемъ, также и горы высокія, неприступныя; какъ *сидень* подъ ихъ защитой въ своемъ гнѣздѣ, какъ скопитель и задержатель на небѣ сплошныхъ неподвижныхъ тучъ, Соловей и является *цѣльною*, исключительно злою миѳическою личностью. Свистъ и шипъ, и ревъ и т. д. Соловья — это не тѣ благодатно-грозные, преходящіе звуки, какими и устрашаетъ и веселитъ настоящая гроза лѣтняя — это нескончаемое звучаніе сплошныхъ, неустанно докучныхъ, осеннихъ и зимнихъ убійственныхъ бурь, вьюгъ, мятелей. Не даромъ и говорится въ былинахъ, что Соловей заложилъ дорогу на тридцать лѣтъ: его зловредно-дѣятельнос *сидѣнье* на ней вполнѣ соотвѣтствуетъ тридцатилѣтнему же бездѣятельному сидѣнью у себя дома богатыря Ильи. Въ теченіи тридцати недѣль, или семи съ половиною (отсюда-то число *семь* — въ обстановкѣ Соловья: семь дубовъ, захватываніе на семи верстахъ) глубоко-осеннихъ и зимнихъ мѣсяцевъ, при бездѣйствіи лѣтнихъ, въ разслабленіе приведенныхъ силъ, крѣпко держится въ своемъ темномъ гнѣздѣ мертвящая зимняя сила. Когда же наконецъ пробуждаются снова силы лѣтняго божества, то первымъ дѣломъ его становится прочищенье себѣ дороги. Впрочемъ на Соловья подъ конецъ посмотрѣлъ съ этой точки и г. Аѳанасьевъ, когда, объясняя названье его *разбойникъ*, онъ говоритъ, что «закрытіе тучами и зимними туманами небесныхъ свѣтилъ называлось на старинномъ поэтическомъ языкѣ *похищеніемъ золота*: въ подвалахъ Соловья разбойника лежала несчетная золотая казна» [39]).

---

[37]) Кулиша, Записки о Южн. Руси, II, стр. 48—59.

[38]) Въ томъ-же смыслѣ онъ и родитель и убійца Сокольника.

[39]) Аѳан., Поэт. Воззр. Слав. I, 307. Надо замѣтить, что и Индра въ Ригъ-Вѣдѣ часто величается побѣдителемъ разбойника.

Кстати будетъ привести тутъ преданіе, сохранившееся въ рязанской губерніи о страшной птицѣ, обитавшей, совершенно подобно нашему Соловью разбойнику, въ дремучемъ лѣсу на огромномъ дубѣ, но носящей совершенно особенное и замѣчательное имя—*скопа*. Тутъ очевидный намекъ на *скопленіе* у ней хищнически добытаго добра Замѣчательно, что преданіе это сохранилось въ *Скопинскомъ* Уѣздѣ, самое названье котораго находится какъ будто въ связи съ этой *Скопою* [40]).

Хищническій нравъ миѳическихъ чудищъ, по замѣчанію г. Аѳанасьева, съ теченіемъ времени повелъ къ тому, что вмѣсто нихъ въ пересказахъ позднѣйшихъ и подновленныхъ выводятся на сцену воры и разбойники [41]). И въ нѣкоторыхъ пересказахъ нашей былины про Соловья, какъ уже видѣли мы, надъ чудовищнымъ птичьимъ рѣшительно преобладаетъ богатырски-человѣческій образъ разбойника. Уже прямо такимъ разбойникомъ, стоящимъ во главѣ цѣлой шайки, является въ Загѣ о Тидрекѣ Грамалейѳъ, застава котораго точно также уничтожается Видгой, какъ застава *соловьевая* Ильей Муромцемъ (см. выше стр. 75—77). Скандинавскій изводъ XIII ст. отличается въ этомъ смыслѣ несравненно позднѣйшимъ складомъ, чѣмъ тѣ изъ нашихъ *теперешнихъ* пересказовъ, въ которыхъ сохранился за Соловьемъ его чудовищно-птичій образъ. Болѣе древнимъ, сравнительно съ Грамалейѳомъ, изводомъ того же сказанія служитъ въ другомъ мѣстѣ той же Заги *великанъ* Этгейръ, также залегшій путь, пролагаемый тѣмъ же Видгой; такой чудовищный великанъ, отъ храпѣнья котораго *вѣтви на деревьяхъ къ землѣ приклонились* (см. выше стр. 96). Самое это дѣйствіе на природу совершенно подъ стать нашему Соловью, но все же и у Этгейра хотя и чудовищный, но уже человѣческій образъ. Чистымъ чудовищемъ является съ другой стороны залегшій дорогу Рустему—*драконъ* въ Шахъ Наме, совершенно подобно нашему Соловью не пропускающій рѣшительно никого, и попадающійся Рустему именно на кратчайшей дорогѣ, (какъ Соловей Ильѣ и Грамалейѳъ Видгѣ), дорогѣ, не смотря на опасность, совершенно сознательно выбираемой и скандинавскимъ, и древне-иранскимъ, и русскимъ богатыремъ (см. выше стр. 76).

Я указалъ такимъ образомъ на близкую эпическую родню Ильи Муромца, не мѣшающую, однакоже, его побѣдѣ надъ Соловьемъ имѣть свой особый, отъ этой родни независимый строй—уже по самому птичьему образу Соловья, который, впрочемъ, роднитъ его съ другой стороны съ цѣлою отраслью *птичьихъ миѳовъ* у разныхъ народовъ. Перехожу теперь къ тому «восточному оригиналу» нашей былины, который, по мнѣнію г. Стасова, оказывается у Чернолѣсныхъ Татаръ, живущихъ близь Телецкаго озера (въ Южной Сибири). Печети-ханъ стоженный вздумалъ добыть себѣ въ жены дочь Батыя-Кередея... За ней отправляется мальчикъ-богатырь Тана верхомъ на жеребенкѣ, который, пока онъ его сѣдлалъ и взнуздывалъ, сразу достигъ четырехлѣтняго возраста. Пріѣхавъ къ Печети-Хану, Тана приводитъ, его въ

---

[40]) Рязанск. Губ. Вѣд. 1866 г., № 21.

[41]) Поэтич. Возвр. Слав. I, 309.



ужасъ тѣмъ, что, садясь, сокрушаетъ подъ собою желѣзный стулъ, а товарищъ его проламываетъ желѣзную дверь.... Ханъ спѣшитъ его выпроводить на подвиги.... Дорóгой Тана наѣзжаетъ на семиголоваго Іельбегена (чудовище-великанъ): одной головой онъ *свисталъ* на дудочкѣ, другой *пѣлъ*, третьей *вопилъ*, четвертой *волхвовалъ*, пятой *ревѣлъ*[42]). Этотъ Іельбегенъ говоритъ Танѣ, чтобы онъ не ѣздилъ далѣе, а взялъ для своего хана другую невѣсту, проживающую у него дочь царя богатыря Алтынъ Эргека. «Ваши кони, прибавляетъ онъ, нажрутся огненной травы, напьются огненной воды и всѣ передохнутъ».—«А, ты хотѣлъ меня погубить! воскликнулъ Тана, схватилъ свою 8-ми хвостую плеть и разшибъ ею всѣ семь головъ Іельбегена. Потомъ онъ ѣдетъ дальше, но всѣ ихъ кони, какъ сказалъ Іельбегенъ, околѣваютъ, поѣвши огненной травы и т. д. Но дочь Алтына Эргека оживляетъ его коней и онъ беретъ ее въ жены самому себѣ, а Печети—ханъ, наслышавшись о ея красотѣ, сталъ приказывать Танѣ, чтобы тотъ ему ее отдалъ. Вступивъ съ Ханомъ въ бой и не сладивъ съ нимъ (оба одинаковой силы), Тана отправляется за *чернымъ воломъ*: пускай, молъ, проглотитъ ханскую юрту. Спрятавъ коня въ кустарникѣ и сдѣлавъ себѣ самъ копье, Тана поднялся до неба и копьемъ этимъ пронзилъ верхнюю губу черному волу, а нижнюю крѣпко прикололъ къ землѣ. Потомъ онъ схватилъ вола и повезъ его къ Печети-Хану... Тотъ, въ ужасѣ, сталъ совать въ пасть волу коней, за ними быковъ.... Но черный волъ вслѣдъ за тѣмъ пожралъ и слугу ханскаго, и весь его скотъ, а наконецъ и самого хана. А Тана любовался и приговаривалъ: «ну, вотъ такъ-то хорошо!»

«Въ этой сибирской пѣснѣ, замѣчаетъ нашъ почтенный ученый, поразительное сходство со всѣми главными подробностями нашихъ пѣсень объ Ильѣ Муромцѣ съ Соловьемъ разбойникомъ»[43]).

По открытой г. Стасовымъ теоріи составленія нашего эпоса изъ различныхъ чужихъ кусочковъ, въ «лицѣ Соловья слиты два чудовища восточныхъ оригиналовъ: Іельбегенъ и черный волъ[44])...» Для объясненія же неимѣющихся въ этихъ оригиналахъ достаточно ясныхъ *птичьихъ признаковъ* (*пѣнье* одной головой, и *свистѣнье* другою *на дудочкѣ* довольно мало напоминаетъ птицу), а равно и самаго прозванія нашего чудища *Соловьемъ*, пришлось бы предположить въ сказаніи объ этомъ послѣднемъ также кусочки изъ германскихъ, греческихъ и т. д. птичьихъ миѳовъ (уже затронутыхъ у меня выше). Предоставляя читателю судить о томъ, сколько вообще правдоподобно такое *составленіе изъ кусочковъ*, я позволю себѣ указать на сходство, *по моему* вовсе не сходнаго съ Соловьемъ, чудовищнаго чернаго вола Чернолѣсныхъ Татаръ съ чудовищнымъ волкомъ Фенриромъ въ Младшей Эддѣ. У этого послѣдняго, когда онъ появится для пожранья самихъ боговъ въ концѣ міра, *верхняя губища будетъ касаться неба*, *нижняя земли*, а если бы мѣсто нашлось, то онъ разинулъ бы страшный зѣвъ свой и еще шире. Кромѣ того

---

[42]) О послѣднихъ двухъ головахъ, повидимому, позабыто въ пѣснѣ.

[43]) Вѣст. Евр. 1868 г. Апрѣль, стр. 659—661.

[44]) Тамъ же стр. 662.



ему, какъ и волу Чернолѣсцевъ, проткнули мечомъ насквозь обѣ страшныя губы, чтобы онъ не кусался, потомъ же связали его чародѣйными узами, изъ которыхъ онъ можетъ освободиться только передъ концомъ міра [45]). Указывая на такое, въ самомъ дѣлѣ, замѣчательное сходство г. Стасову, я попросилъ бы его рѣшить: Чернолѣсные ли Татары Сибири въ этомъ случаѣ позаимствовались у Эдды, или Эдда у Чернолѣсныхъ Татаръ?

Впрочемъ, въ общемъ эпическомъ родствѣ съ чудовищнымъ воломъ этихъ послѣднихъ, а равно и съ семиголовымъ ихъ Іельбегеномъ, находятся и всякія чудовища у всякихъ народовъ. И Ираклу греческому, какъ всѣмъ извѣстно, приходилось имѣть дѣло съ существами, подходящими въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ и къ семиголовому Іельбегену и къ черному волу (Гидра и Минотавръ), только художественно умѣренное воображеніе Грековъ не доходило до такого чудовищнаго преувеличиванья. И нашъ былевой Соловей отчасти сходенъ съ Іельбегеномъ въ томъ отношеніи, что издаетъ *всевозможные звѣриные звуки*, только это объясняется не «кусочками», а тою миѳическою соединимостью самыхъ различныхъ образовъ, которая чисто самостоятельнымъ путемъ сказывалась, между прочимъ, и у Грековъ—въ лицѣ такихъ существъ, какъ Гарпіи, Кентавры и т. п.

Но г. Стасовъ, изъ сравненія нашей былины съ сибирскимъ «подлинникомъ» выводитъ еще заключеніе объ особыхъ преимуществахъ этого послѣдняго (оно и понятно: подлинникъ всегда выше снимка). Ему очень не нравится ползанье на карачкахъ Владиміра отъ страха передъ Соловьемъ, и онъ заключаетъ объ этомъ «грубомъ буфонскомъ мотивѣ»: «ясно, что тутъ есть какое-то искаженье какого-то совсѣмъ иного, первоначальнаго оригинала [46]).

Что похожденье Владиміра съ Соловьемъ—дѣйствительно грубая народная шутка, это совершенно вѣрно, но шутка эта заключаетъ въ себѣ очень ясный смыслъ, неразрывно связанный съ цѣлымъ. Незнаемый богатырь пріѣзжаетъ въ Кіевъ и объявляетъ тамъ, что дѣло, не дававшееся ни одному изъ его богатырей, сдѣлано: прямоѣзжая дорожка прочищена. Ни всѣ эти прежніе богатыри, уже заставаемые имъ у князя, ни самъ стольный князь, ни его князья-бояра, не хотятъ вѣрить. Вотъ богатырь и ведетъ ихъ на дворъ княжескій съ тѣмъ, чтобъ не только имъ всѣмъ показать Соловеюшку скованнымъ, но также и дать испытать его силу разбойничью. Однако же обычное добродушіе Муромца заставляетъ его подумать о томъ, какъ бы подобнаго рода опытъ не обошелся черезъ-чуръ уже дорого князю и его окружающимъ. Онъ велитъ Соловью засвистѣть только въ полсвиста: будетъ, молъ, съ нихъ и того! Когда же всѣ княжескіе богатыри попадали, а самъ князь на карачкахъ наползался,—Ильюша стоитъ себѣ, усмѣхается, будто думаетъ: «что? теперь вѣрите? вотъ и самъ ты, князь, и всѣ твои сильные богатыри передъ нимъ валяетесь, а я его полонилъ и привезъ вамъ сюда на диво!»

Нѣкоторые пересказы, какъ мы уже знаемъ, выставляютъ Муромца, для защиты князя, берущимъ его подъ одну пазушку, а княгиню подъ другую.

---

45) Simrock, Edda, 298, 299, 321.

46) В. Европы 1868 г. Апрѣль, 659.



Это только особый, дѣйствительно *шуточный* видъ того же начала, которое уже замѣтили мы въ *спасеніи* Микулою Селяниновичемъ князя Вольги съ дружиною. Это особый способъ выставить *первенствующимъ* богатыря-крестьянина, способъ дѣйствительно *грубый*, *мужицкій*. Это, конечно, каррикатура, но цѣнная въ своемъ родѣ и совершенно своеобразная—созданье народныхъ, по своему остроумныхъ Аристофановъ!

И чѣмъ же думаетъ нашъ ученый пролить новый свѣтъ на такое, по его мнѣнію, безсмысленное «буффонство»? Тѣмъ, что въ чернолѣсномъ «оригиналѣ» Тана приводитъ къ Печети-хану вола чернаго *не для шутки*, а чтобы ему *отомстить* за попытку отнять у Таны невѣсту! — Я же думаю, что хотя и въ чернолѣсномъ сказаньи есть смыслъ, но совершенно особенный, *свой*, и—не во гнѣвъ будь сказано, низшаго свойства.

Есть, однакоже, и въ тюркскихъ сказаньяхъ Сибири кое какія черты, могущія до извѣстной степени пролить свѣтъ на нѣкоторыя эпическія странности нашей былины; — но именно эти-то черты и оставлены г. Стасовымъ безъ вниманія. Въ одной пѣснѣ Сагайцевъ Ханъ-Меке устраиваетъ себѣ *воздушный домъ*, прикрѣпленный къ небу клямами и въ тоже время привязанный тесмами къ землѣ. А въ пѣснѣ Качинцевъ (на Уй-Тагѣ) въ *сплетшейся верхушкѣ девяти-вѣтвистаго желѣзнаго дерева свили себѣ гнѣздо два пестрыхъ ворона, сторожившихъ бѣлую траву цѣлебнаго свойства* [47]). Надо замѣтить, что *девятивѣтвистая* желѣзная лиственница упоминается у Тюрковъ и во многихъ пѣсняхъ [48]) (но обыкновенно она только замѣняетъ столбъ, къ которому привязываютъ коня, иногда же приковываютъ человѣка). *Девятивѣтвистое сплетающееся* дерево соотвѣтствуетъ въ нашей былинѣ сплетающимся дубамъ, которыхъ, по нѣкоторымъ пересказамъ, *девять* же. Зато родъ дерева, *дубъ*, совершенно отличается отъ *лиственницы* (притомъ — *желѣзной*) [49]); но онъ же упоминается, какъ видѣли мы, въ сказаніяхъ Эдды объ орлѣ Тіасси, который притомъ гнѣздится на *нѣсколькихъ* же дубахъ, и родъ этотъ, какъ извѣстно, миѳически связанъ съ *громовникомъ*. Дубъ—это родъ дерева, господствующій въ сказаньяхъ о Торѣ, и онъ же, съ другой стороны, еще встрѣтится намъ не разъ въ сказаніяхъ объ Ильѣ, во многомъ, какъ уже знаемъ мы, соотвѣтствующемъ Тору. (См. выше стр. 181—184).

Но если такимъ образомъ эпическія связи между нашей былиной и тюркскими уравновѣшиваются въ этомъ отношеніи такими же связями первой со сказаніями германскими; то въ сторонѣ остается пока *воздушное жилище* Хана-Мѣке, какъ воздушное *человѣческое* жилище (и Соловей въ нѣкоторыхъ пересказахъ уже носитъ человѣческое подобіе). Но помѣщеніе на деревьяхъ въ примѣненіи къ человѣку встрѣчается и въ другихъ тюркскихъ пѣсняхъ. Такъ у Минусинскихъ Татаръ Катай-Ханъ завѣщаетъ похоронить себя на верхушкахъ девяти деревьевъ [50]). А въ одной пѣснѣ Шоровъ Ай-Мѣгё, по-

---

[47]) Radloff, Proben, II, 49, 588.

[48]) Тамъ же, II, 35, 231, 263, 319.

[49]) Дерево — если не все металлическое, то съ листьями мѣдными упоминается и въ одной мордовской пѣснѣ. Въ нашихъ же колядкахъ воспѣвается иногда дерево съ серебряными листьями, или съ золотой корой (примѣры см. въ началѣ статьи моей о сборникахъ по народной словесности за 1866 г. въ Мартовской книжкѣ Ж. М. Н. Пр. за 1867 г.).

[50]) Schiefner, Heldensagen der Minussinischen Tataren, 207.

павъ въ 6 скачковъ за 60 небесъ, *связываетъ* тамъ верхушки девяти деревьевъ и на нихъ хоронитъ Кизиль-Таса [51]).

Впрочемъ и тутъ опять нѣчто сходное встрѣчается и не у однихъ Тюрковъ. Такъ у Померанцевъ расказываютъ про *колдуна* Пагельса, будто бы онъ за отнятіе чужого поля наказанъ былъ тѣмъ, что каждую ночь ему приходилось съ вѣтромъ и бурею *очутиться на деревѣ* и мерзнуть на немъ часа два. Хотя онъ и *умеръ* тому сто лѣтъ, тоже самое происходитъ съ нимъ и теперь: часто видятъ его въ *образѣ бѣлой совы на деревѣ* и слышатъ его пронзительный жалобный крикъ, почему по ночамъ никакъ не заставишь коня пройти мимо [52]).—Если съ одной стороны по *птичьему образу*, *пронзительному крику*, *страху*, *наводимому на коня*, и *бурѣ*, сопровождающей появленье чародѣя на деревѣ, -- все это отчасти напоминаетъ, въ общемъ и цѣломъ, и нашу былину про Соловья,—то *пребываніе на деревѣ мертваго* подходитъ къ только что приведеннымъ пѣснямъ Минусинскихъ Татаръ и Шоровъ.

Подобное *воздушное помѣщеніе мертвыхъ* объясняется въ статьѣ Ф. Либрехта о сборникѣ г. Радлова, статьѣ, изъ которой я и заимствовалъ указаніе на померанскій расказъ. «Душа ищетъ прежнихъ жилищъ, замѣчаетъ Либрехтъ; такими же жилищами въ отдаленнѣйшія времена были вѣтви деревьевъ, и до сихъ поръ еще служащія жилищами нѣкоторымъ дикарямъ»...[53]).—Далѣе у Либрехта слѣдуетъ указаніе на воздушное-же жилище нашего Соловья.

Черта эта такимъ образомъ оказалась бы принадлежностью самой первобытной поры (а пора эта — у всѣхъ народовъ одна и таже), принадлежностью—сданною въ нашей былинѣ міру чудовищъ, тому, въ которомъ возможенъ еще и «звѣринскій обычай» кровосмѣшенья, съ такимъ яркимъ негодованьемъ караемый Ильей Муромцемъ. Подобнаго рода черты, въ допотопную пору зашедшія въ *миѳы* изъ *жизни*, по упраздненьи ихъ въ жизни, могли уберечься, *окаменѣть* въ сказаньяхъ, еще сохраняющихъ на себѣ отпечатокъ миѳическій.

Былины о Соловьѣ, при всемъ сохраненіи въ нихъ съ замѣчательною неприкосновенностью древнѣйшей основы миѳической, уже неразрывно связаны съ другой стороны съ пріѣздомъ Ильи въ стольный Кіевъ на вспоможеніе—сбереженіе князю Владиміру, что уже изначала является для Ильи ясно сознаваемою общественною обязанностью [54]). Но извѣстно, что въ народномъ эпосѣ новые образы могутъ только мало по малу, на основаніи какихъ нибудь сходствъ, замѣнять собой старые и наконецъ совершенно становиться на ихъ мѣсто. Такъ и Владиміръ князь могъ попасть въ пѣсни только на мѣсто уже готовое, долженъ былъ вытѣснить собою другое, первоначально-миѳическое существо. Если же вникнуть въ основу большей части сказаній эпическихъ, то въ ней непремѣнно должны оказаться *три* существа, почти

---

[51]) Radloff, Proben, I, 390.

[52]) Temme, Volkssagen von Pommern, № 226. Объ этомъ даже поется тамъ маленькая, впрочемъ уже не совсѣмъ-то ясная пѣсенка.

[53]) Götting. Gel. Anz. 1868, 15 Jan.

[54]) У Кир. въ вып. I, отд. III, н. 4 Илья ѣдетъ заложиться за князя Владиміра, постоять ему вѣрой правдою».



столько же тутъ необходимыя, какъ для предложенія необходимы три его составныя части. Какъ въ предложеніи можетъ ихъ быть и болѣе, могутъ быть и части второстепенныя,—такъ возможны онѣ и въ сказаніи, но *существенными* являются всегда три: а) свѣтлое существо, ополчающееся противъ темнаго; б) темное существо, которое, какія бы ни представлялись тутъ колебанія счастія, въ концѣ концовъ непремѣнно должно быть побѣждено; в) существо, изъ-за котораго и дѣлается нападеніе на злую силу, существо ею плѣненное, свѣтлое и освобождаемое отъ нея первою свѣтлою силою.

Въ преданіи о Соловьѣ разбойникѣ первымъ существомъ является Илья Муромецъ — первоначальный громовникъ-молніеносецъ; вторымъ — Соловей разбойникъ—первоначально сплошное, свистомъ вѣтровъ возвѣщаемое и рѣками дождей сопровождающееся злое ненастье, ненастье, на долго заложившее путь — но къ чему? Къ ясному, свѣтлому небу, къ сіянію краснаго солнышка. Въ сказкахъ, освобождаемое отъ темныхъ силъ, оно является въ образѣ красавицы дѣвы, царевны. Но солнце же является въ сказкахъ и въ образѣ царевича или царя.

Существованье и мужескихъ миѳовъ солнца давно уже признано и вообще сравнительной миѳологіей. Послѣ этого и Соловей-разбойникъ могъ застилать дорогу къ прекрасному *государю солнцу*, и вотъ на мѣсто такого то миѳическаго государя и долженъ былъ явиться впослѣдствіи князь Владиміръ—солнышко кіевское. Если же въ основѣ и всей вообще богатырской дѣятельности Ильи Муромца заключается постоянная имъ оборона Кіева съ его стольнымъ княземъ, то первоначально и въ этомъ должна была быть оборона божества солнечнаго богомъ-громовникомъ.

Такимъ образомъ *основа* нашихъ былинъ можетъ быть приведена къ одному знаменателю съ цѣлымъ множествомъ общеарійскихъ миѳовъ. Мысль эта отчасти была уже высказана г. Буслаевымъ (Ист. Оч. I, 417), прямо признающимъ Владиміра князя позднѣйшею замѣною солнца миѳическаго. Напротивъ другой изслѣдователь нашей старины, г. Шеппингъ, сводя Владиміра со сказочнымъ *отцомъ* трехъ братьевъ, видитъ въ немъ наслѣдника того *невозмутимаго спокойствія и величественнаго отдаленія*, въ какомъ постоянно пребываетъ этотъ *отецъ*. Какъ въ «величаво—покойной личности солнышка Кіевского», такъ и въ сказочномъ, «объективно спокойномъ отцѣ самого дневного свѣтила», г. Шеппингу слышится отголосокъ первобытнаго «Урана—Сварога, праотца боговъ и повелителя вселенной» (По первоначальному смыслу своему онъ *богъ-небо*). «Какъ отецъ солнца, онъ и самъ солнце, почему и Владиміръ носитъ постоянный эпитетъ *краснаго солнышка* въ нашихъ былинахъ. Странно, что самое имя Владиміра (владыка міра) случайно выражаетъ собою свое древнѣйшее значеніе, хотя положительно можно сказать, что имя Владиміра словосозвучіемъ своимъ замѣнило въ нашихъ преданіяхъ древнѣйшее, чисто миѳологическое прозвище божества неба и солнца, если не тождественное съ Волосомъ, скотіимъ богомъ нашихъ лѣтописей, то находящееся по крайней мѣрѣ въ близкомъ филологическомъ сродствѣ съ нимъ и съ симитійскимъ Вааломъ, или Бель, отразившимся и во множествѣ выраженій, именъ и ѳеогоній всѣхъ старѣйшихъ племенъ Европы». (Русская

народность въ ея повѣрьяхъ, обрядахъ и сказкахъ М. 1862, стр. 84 и 85). Сюда же относится г. Шеппингомъ примѣчаніе, во второй половинѣ котораго указывается на то, что въ «Голубиной Книгѣ» Владиміръ является Володиміромъ Володиміровичемъ, Володуморомъ, или Волотоманомъ Волотомановичемъ; въ «Повѣсти же города Ерусалима» — Волотомъ Волотовичемъ, именемъ, прямо напоминающимъ намъ древнихъ исполиновъ въ нашихъ миѳахъ, Волотовъ, и имя Волоса, переходящее иногда въ Волота». Что касается миѳическаго значенія Волоса (такимъ образомъ отождествляющагося съ Владиміромъ) то за солнечное божество принимаетъ его И. И. Срезневскій (о поклоненіи солнцу у древн. Славянъ, въ Ж. М. Н. Пр. 1846 г. Іюль), а покойный Сабининъ сближалъ его съ Одиномъ (мой Оп. Ист. Об. Р. Сл. I, 60). Относительно же миѳическаго смѣшенія неба съ другими божествами можно привести еще изъ книги г. Аѳанасьева, (стр. 129-я I т. его «Поэтич. Воззрѣній Славянъ на Природу») слѣдующее разсужденіе о *Сварогѣ*. «Названіе это происходитъ отъ санскр. sur—блистать: черезъ поднятіе звука r — въ ar явилась форма suar = svar — *небо* (т. е. свѣтлое, блестящее), и въ болѣе тѣсномъ смыслѣ—зодіакъ, солнечный путь; въ Mater verborum древнее чешское zuor (svor) объяснено также словомъ zodiacus. Съ приставкою въ концѣ ga (=идущій, движущійся) образовалось слово svarga — coelum Indri, aether, т. е. небо подвижное, ходячее = облачное, въ которомъ властвуетъ громовникъ Индра... Потому и нашъ Сварогъ въ Ипатьевской Лѣтописи сближается съ громовникомъ Ифестомъ...» По мнѣнію г. Аѳанасьева и Волосъ есть богъ громовникъ (стр. 695); но сближаемый съ нимъ Владиміръ не могъ никакъ образоваться изъ *громовой* стороны Волоса, потому что громовый богъ— дѣятельный богъ, а Владиміръ существо праздное. Празднымъ, страдательнымъ, обороняемымъ силой другихъ, скорѣе могло представляться *солнце*, и только изъ *солнечнаго* значенія Волоса могъ выработаться Владиміръ [55]). Еще болѣе недѣятельнымъ съ извѣстной точки зрѣнія, могло представляться *небо*, и вотъ о миѳическомъ смѣшеніи его съ солнцемъ также говоритъ г. Аѳанасьевъ: «отъ того же корня sur (легшаго въ основу *Сварога*) произошли греч. ἥλιος, лат. sol, готск. sauil, франц. soleil, лит. saule, наше *солонь* (солнце), въ которыхъ буква l по извѣстному грамматическому закону смѣнила звукъ r, остающійся въ санскр. sûris, sûryas, греч. σείριος, σείρ, лат. sirius; иногда обѣ эти буквы опускаются, откуда образовалась другая санскритская форма sûnas, sûnus, готск. sunna, sunno, нѣмец. sonne. Въ связи съ этими данными слово «svarga» употреблялось и въ смыслѣ прозванія солнца, какъ свѣтлаго, блестящаго бога, шествующаго по небесному своду» [56]). Солнце миѳически могло наконецъ замѣнять небо на основаніи т. н. pars pro

---

[55]) Къ вышеприведенному миѳическому объясненію слова **Владиміръ** можно прибавить еще указанное А. А. Потебнею обстоятельство, что въ одномъ заговорѣ мѣсяцъ (а онъ же и князь, хіçzус) названъ Володимеромъ. Тотъ же ученый толкуетъ въ одной купальской пѣснѣ слово **володимерь** какъ притяжательное, служащее эпитетомъ бога Купалы (солнца). (См. статью о Купальскихъ огняхъ въ Археол. Вѣстникѣ, Май—Іюнь, стр. 99—Москва 1867 г.) Что касается допускавшагося нѣкоторыми толкователями сближенія **Волота** съ **Волшаномъ**, то оно филологически опровергнуто г. Тихонравовымъ въ его статьѣ о «Калѣкахъ» г. Безсонова (33 Прис. Дем. наградъ, стр. 207).

[56]) Поэтич. Воззр. Слав. I, 130.



toto. Представляясь въ миѳахъ извѣстнаго рода со стороны страдательной (въ другихъ оно могло становиться и дѣятельнымъ божествомъ), оно въ нихъ уступало роль дѣйствующей, ратующей силы *громовнику*, который, обороняя солнце-небо, являлся сокрушителемъ то сплошныхъ, долговременно гнѣздящихся въ небѣ, то лишь порою, хотя и стремительно, яро, на него напирающихъ темныхъ тучъ. Эти послѣднія въ нашихъ былинахъ, какъ увидимъ мы въ своемъ мѣстѣ, съ одной стороны сохраняя еще намекъ на чудовищность въ прозвании ихъ *Змѣями Горынычами* и *Тугаринами Змѣевичами*, съ другой получаютъ уже значеніе историческихъ кочевниковъ — насильниковъ Русской Земли, въ иныхъ же былинахъ и прямо носятъ названье *татарина*. Но миѳическій представитель сплошнаго ненастья—свистунъ Соловей остался въ нашихъ былинахъ свободнымъ отъ историческаго на него наслоенія, и сравнительно хорошо сохранилъ существенныя черты чудища. Впрочемъ, какъ уже видѣли мы, и въ немъ человѣкоподобіе—по нѣкоторымъ пересказамъ, является уже преобладающимъ надъ чудовищностью [57]). Одинъ только чудовищно-соловьиный признакъ, оглушительный *свистъ*, сохраняется за нимъ не только во всѣхъ безъ исключенія пересказахъ былинъ, но даже и въ позднихъ сказаніяхъ, рѣшительно, т. сказ., стершихся и исказившихся. Такъ въ Воронежской Губерніи расказываютъ про жившаго близь г. Усерда разбойника $3^1/_2$ аршинъ росту, помѣщавшагося въ теремѣ изъ высокаго *дубоваго* лѣса, окруженномъ рвомъ, огражденномъ толстѣйшимъ пясломъ. Имя его—*Гордыня*—очевидно новое, соединенное съ указаніемъ на отвлеченное, нравственное значеніе. Для вящей ужасности приписывается ему даже убійство отца и матери, — черта опять поздняя, отзывающаяся умышленнымъ изощреніемъ и неимѣющаяся за Соловьемъ; но *богатырскій свистъ* Соловья, ужасный для всѣхъ окрестныхъ мѣстъ, сохраняется и за Гордынею [58]).

Но если въ *былинахъ* преобладаетъ чудовищность Соловья и въ нихъ мы не видимъ и тѣни отождествленья его съ *инородческою* стихіею, *нехристью*, то вотъ что встрѣчается въ одномъ *полукнижномъ сказаніи*, заимствованномъ г. Мельниковымъ изъ рукописнаго сборника XVII в. [59]). «Во времена стародавнія, гдѣ теперь стоитъ Нижній-Новгородъ, жилъ знатный, сильный *Мордвинъ*, по имени *Скворецъ*. Онъ былъ другъ... другому, такому же знатному... Мордвину, *Соловью, тому самому, что связанъ былъ Ильей Муромцемъ.* Женился Скворецъ на 18 женахъ и родили онѣ ему 70 сыновей... Тутъ же въ ущельи обиталъ *чародѣй Дятелъ*, тоже Мордвинъ, тоже пріятель Соловью. И спросилъ Скворецъ Дятла о судьбѣ 70 сыновей своихъ. Отвѣчалъ Дятелъ: если дѣти твои будутъ жить мирно и согласно другъ съ другомъ, долго будутъ обладать здѣшними мѣстами, а поссорятся — будутъ покорены Русскими...» Такъ оно и вышло [60]).

---

[57]) Въ одномъ ненапечатанномъ пересказѣ, запис. въ Олонец. Губ. отъ кр. Щеголенкова, Соловей и Илья сталкиваются на конях ъ (доставлено мнѣ Е. В. Барсовымъ).

[58]) Воронежск. Губ, Вѣд. 1866 г. № 31.

[59]) Сказаніе это первоначально напечатано было въ № 3 Нижегор. Губ. Вѣд. 1845, потомъ въ составленномъ г. Мельниковымъ «Указателѣ достопримѣчательностей въ мѣстахъ, посѣщенныхъ въ 1855 г. Государыней Императрицей», наконецъ пересказано въ его-же «Очеркахъ Мордвы»—въ Русск. Вѣстникѣ 1867 г. Іюнь, стр. 494—495.

[60]) Сходное сказаніе сохранилось, по свидѣтельству г. Мельникова, и въ устахъ народа, но Скворецъ

Возвращаясь къ былинамъ про Соловья разбойника, замѣчу, что сверхъ трехъ основныхъ существъ въ нихъ имѣются и второстепенныя. Таковы изчадія Соловья. Собственно только въ томъ пересказѣ Кирши, гдѣ имъ придается еще образъ вороновъ съ желѣзными клювами, да въ томъ у Кирѣевскаго, гдѣ всѣ они оказываются *во единый ликъ*,—и сохраняются настоящія свойства гнѣзда. Эти, составляющіе его птенцы съ желѣзными клювами первоначально могли служить миѳомъ тѣхъ *вѣтровъ*, которые всегда соединяются съ непогодой. Но въ большей части имѣющихся пересказовъ у Соловья является уже скорѣе семья человѣкоподобная, о которой сообщаются и такія подробности, въ коихъ трудно предположить какой либо миѳическій смыслъ и которыя скорѣе относятся къ разряду позднѣйшихъ эпическихъ распространеній. У Соловья является тутъ жена, одаренная человѣческимъ благоразуміемъ, совѣтующая дѣтямъ предложить за батюшку выкупъ и въ этомъ отношеніи представляющая яркую противоположность съ пылкостью, зарывчивостью не сразу слушающихся ее дѣтей [61]). Въ пересказѣ Кирши женѣ Соловья придано обычное прилагательное *молодая*. Она взбѣгаетъ тутъ на чердакъ и наводитъ оттуда *трубками нѣмецкими* (подзорными); — черта уже совершенно новая, хотя и попадающаяся въ прекрасномъ пересказѣ Кирши.

Дочерямъ Соловья придаются даже особыя имена, изъ которыхъ два, это правда, не употребительны въ быту человѣческомъ: ***Пелька*** и ***Невея*** [62]). это послѣднее упоминается въ нашихъ заговорахъ въ числѣ девяти сестеръ ***трясавицъ***, (т. е. лихорадокъ), но зато два другія—вполнѣ человѣческія: Ненила и Марья. Къ числу позднѣйшихъ распространеній надо, кажется, отнести и споръ, происходящій—то между женой и дѣтьми, то между нѣкоторыми изъ сыновей и дочерей Соловья. Одной, обыкновенно младшей, издали кажется, что Соловей везетъ къ нимъ кривого мужика; другая же, обыкновенно старшая, разумнѣйшая, узнаетъ, что это Соловей, окривленный и захваченный въ неволю мужикомъ (Ильей). Распространеньемъ должно быть, навѣрное, признано также и приводимое Соловьемъ объясненіе возможности побѣды надъ нимъ Ильи: «на ту пору больно пьянъ я былъ, — у меня большая дочь была именинница» (Кир. I, III, 4). То обстоятельство, что кромѣ лѣсовъ, болотъ и грязей, Соловей окруженъ и рѣками, послужило поводомъ сдѣлать дочь Соловья — перевощицей — при чемъ рѣка, вмѣсто Самородины, получаетъ названіе Дуная (впрочемъ, она тутъ едва ли имѣетъ географическое происхожденіе, а скорѣе должна быть принимаема въ первоначальномъ ***нарицательномъ*** смыслѣ слова *дунай*, въ смыслѣ, который до сихъ поръ еще сохранился во словахъ пѣсни — «за рѣками, за дунаями») Илья попадаетъ на этотъ *дунай* уже послѣ побѣды надъ Соловьемъ [63]), который и кричитъ тутъ

---

тутъ называется Соколомъ (и одна гора въ Нижнемъ носитъ названіе Соколъ подобно тому какъ другая— Дятлова Гора). У некрещеной Мордвы, замѣчаетъ онъ, до сихъ поръ сохраняется обыкновеніе давагъ новорожденнымъ имена птицъ» (стр. 495). Подобный обычай, надобно думать, имѣетъ миѳическое происхожденіе.

[61]) Рыбн. I, 9, 10.

[62]) Рыбн. I, 10; II, 3; III, 5.

[63]) Кир. I, VI, 1 (Шенкурскъ). Впрочемъ уже до прибытія къ Соловью, онъ тутъ успѣлъ побывать на Дунаѣ, гдѣ — черта, очевидно, позднѣйшая, — слушилъ обѣдню Миколѣ Заруцевскому.



дочери, чтобы она не перевозила его, а прежде потребовала у него отца на выкупъ. Илья не соглашается, убиваетъ ненужную ему перевощицу и самъ начинаетъ мостить мосты черезъ рѣку [64]). Въ другихъ пересказахъ онъ прибѣгаетъ къ мощенью мостовъ еще прежде, по пути къ разбойнику черезъ окружающія его топи, но во всѣхъ пересказахъ, гдѣ говорится объ этомъ, одинаковымъ образомъ лѣвой рукой онъ коня ведетъ, а правой—рветъ дубы для мостовъ [65]). Само по себѣ это мощеніе, можетъ быть, происхожденія древняго — тѣмъ же самымъ занимаются Торъ и Индра, вполнѣ соотвѣтственно ихъ миѳическому хожденію по хлябямъ небеснымъ [66]). Въ миѳическомъ отношеніи мосты Ильи могутъ быть приняты и за *радугу*, представляющуюся *мостомъ* въ миѳологіи у разныхъ народовъ [67]). И извѣстное народное повѣрье, что съ появленіемъ этой небесной дуги долженъ прекратиться дождь, сродно представленью ея *мостомъ*—оборонительнымъ отъ воды средствомъ.

При всемъ преобладаніи въ только что разобранныхъ нами былинахъ о схваткѣ Ильи Муромца съ Соловьемъ древняго миѳическаго характера, мы могли замѣтить за нашимъ богатыремъ и черты уже чисто бытовыя и нравственныя, такъ глубоко вросшія въ самую сущность былинъ, что ихъ уже трудно изъ нихъ и выдѣлить. Намъ не трудно будетъ припомнить, что черты эти главнымъ образомъ слѣдующія: 1) молодецкое исканіе прямого пути, хотя онъ и самый опасный; 2) твердая рѣшимость при этомъ не обнажать оружія, не кровавить рукъ по пути; 3) глубокое человѣческое отвращеніе къ звѣринскому образу жизни и хищнической природѣ Соловья разбойника; 4) отсутствіе сребролюбія, выражающееся отказомъ отъ выкупа; 5) первенствующее значеніе Ильи передъ княземъ Владиміромъ, выказываемое непослушаніемъ послѣднему Соловья, послушнаго Ильѣ Муромцу, и тѣмъ переполохомъ отъ Соловья, посредствомъ котораго Илья доказываетъ стольному князю, что Соловей дѣйствительно взятъ имъ въ плѣнъ.

Мы уже видѣли выше, что первой чертой (выборомъ опасной дороги) Илья Муромецъ совершенно напоминаетъ германскаго Видгу и иранскаго Рустема. Что̀ касается второй черты—выхода на опасный путь безоружнымъ, то точно также выходитъ противъ чудовища Гренделя Беовульфъ (въ англосаксонской поэмѣ VII в.), только тутъ это служитъ особымъ проявленіемъ похвальбы своимъ мужествомъ, а отчасти и великодушіемъ воинскимъ. «Не съ помощію меча изведу я его, говоритъ Беовульфъ;—ему самому не знако-

---

[64]) Въ другихъ пересказахъ, убіеніе дочери Соловья происходитъ вслѣдствіе того, что она хлестнула Илью подворотней. Илья застрѣливаетъ ее на воротахъ (Кир. I. III, 1), или кидаетъ ее черезъ дворъ къ заднему тыну (Рыбн. III, 3) или же—съ оттѣнкомъ изъ христіанской набожности—выше церквей соборныхъ (I, 9).

[65]) Кир. I, VI, 1. Рыбн. III, 5 и 6.

[66]) Mannhardt, Germanische Mythen, 146—147.

[67]) Поэтич. Воззр. Слав. I, 360—362. Въ нѣкоторыхъ пересказахъ (Рыбн. I, 9; II, 63) мосты Ильи называются калиновыми — прилагательное, обыкновенно придаваемое мосту въ народныхъ пѣсняхъ. Если вѣрно объясненіе г. Аѳанасьева, что слово это связано съ глаголомъ калить, съ калинниками=морозами и что мосты калиновы являются произведеніемъ зимняго миѳическаго кузнеца, сковывающаго ими воду (Поэт. Воззр. Слав. I, 584); то прилагательное—калиновые должно было примѣшаться въ наши былины къ мостамъ уже въ то позднѣйшее время, когда затемнился первоначальный миѳическій смыслъ ея. Въ нашей былинѣ по общему значенію ея, мостъ можетъ служить только переправою черезъ воды, и не можетъ приниматься въ томъ зимнемъ его значеніи, какое выражается народнымъ выраженіемъ о весеннемъ Егорьѣ и зимнемъ Николѣ — Егорій съ гвоздемъ а Никола съ мостомъ, — какъ послѣдовательные, помогающіе другъ другу установители зимней норы (напротивъ Илья въ нашей былинѣ можетъ являться только ея истребителемъ).

мо оружіе».—Замѣчательно, что Зимрокъ въ примѣчаніяхъ къ своему переводу «Беовульфа» указывающій, между прочимъ, на черты миѳическаго сходства этого богатыря съ богомъ Торомъ, говоритъ про послѣдняго: «передъ однимъ изъ своихъ походовъ и онъ однажды далъ себѣ слово не пользоваться своимъ оружіемъ—молотомъ» [68]). Такимъ образомъ и эта черта, въ свою очередь, сближая Илью Муромца съ Торомъ, отодвигается, *по своей основѣ*, въ отдаленную глубь миѳическую, смыслъ которой для насъ въ настоящее время уже неясенъ. Въ первоначальной связи съ обѣтомъ Ильи должно находиться сострѣливанье имъ Соловья—безъ *навида*, т. е. безъ раны, безъ *окровавленія* (убіеніе его происходитъ уже несравненно позже — у князя Владиміра). Но надо всѣмъ этимъ господствуетъ въ нашей былинѣ уже совершенно ясный, христіанскій смыслъ обѣта, налагаемаго на себя Ильей (или же отцомъ на него). Точно такой же смыслъ имѣетъ и то, что въ одной изъ болгарскихъ былинъ Марко Кралевичъ *не беретъ съ собою оружія*, при чемъ онъ выставляется даже собирающимся на говѣніе передъ пасхой (и у насъ Илья спѣшитъ къ *обѣднѣ воскресенской* въ Кіевъ — но спѣшитъ по прямому, *заложенному* пути). Сестра Марка, боясь нежданныхъ опасностей, догадалась однако же, безъ его вѣдома, спрятать его вѣрный мечъ въ гриву коню его вѣрному, и этотъ послѣдній, когда на пути богомольномъ дѣйствительно настаетъ опасность, провѣщившись, указываетъ Марку на мечъ, который оказывается далеко не лишнимъ [69]).

Впрочемъ, что̀ касается опять Ильи, то, какъ его обѣтъ, такъ и нравственный обликъ его вообще, еще опредѣлительнѣе дорисовывается тѣми похожденіями, которыя въ нѣкоторыхъ пересказахъ соединяются въ одно цѣлое съ тремя основными, уже извѣстными намъ частями сказанія: первымъ отъѣздомъ изъ Мурома, битвою съ Соловьемъ и первымъ пріѣздомъ въ Кіевъ. Эти новыя, такъ сказать, *добавочныя* похожденія, въ связи съ главнымъ узломъ сказанія служащія только къ бо̀льшему возвеличенію Ильи Муромца, — это похожденье его съ разбойниками и похожденіе съ силой, облегшей Черниговъ. То или другое, становясь между отъѣздомъ Ильи изъ Мурома и пріѣздомъ его къ Соловью, является какъ помѣха, какъ задержка на пути къ разбойнику, какъ новая *застава*, встрѣчающаяся богатырю. Въ большей части пересказовъ такою заставою является *сила передъ Черниговомъ* (Кир. I, III, 4; VI, 1; IV, 1. Рыбн. I, 9, 10; II, 63; III, 5, 6). Въ двухъ другихъ застаставою на пути къ Соловью оказываются *разбойники* (Кир. I, III, 3, 5). Наконецъ въ одномъ пересказѣ (Кир. I, III, 1), обѣ заставы являются одна вслѣдъ за другой: сперва *сила передъ Черниговомъ*, потомъ разбойники (далѣе—Соловей).

Что̀ касается похожденія съ разбойниками, то оно оказывается вставляемымъ также и въ другое сцѣпленіе похожденій, образующее былины о *трехъ поѣз-*

---

[68]) Simrock, Beowulf, S. 37, 193.

[69]) Миладиновыхъ Болгарскія пѣсни, 152. Надо замѣтить, что отвращенье къ проливанію напрасной крови очень часто выражается въ славянскихъ пѣсняхъ. «Людска крвица не водица, проливати не годится» (Голов. пѣсни, I, 173. Ср. тамъ же 155, 164). Марку Кралевичу мать его жалуется на то, что она устала мыть его окровавленныя одежды, и онъ послѣ этого принимается за воздѣлыванье поля (Вука Пѣсни, II, 438).



*дочкахъ* Ильи Муромца, принадлежащихъ, *какъ цѣлое*, уже къ позднѣйшей порѣ его богатырской дѣятельности. Надо замѣтить, что относимое къ «тремъ поѣздочкамъ», похожденье Ильи съ разбойниками отличается складомъ, далеко не похожимъ на тотъ, какимъ оно обозначено въ сцѣпленіи похожденій, составляющихъ занимающія насъ теперь былины о первой поѣздкѣ Ильи Муромца въ Кіевъ. Первоначально, надобно думать, похожденье съ разбойниками существовало и *само по себѣ*, какъ самостоятельная пѣсня. Мы и теперь имѣемъ нѣсколько небольшихъ пѣсенъ, въ которыхъ оно является *какъ будто бы особнякомъ* (Кирѣевскаго выпускъ первый—весь отдѣлъ II-й, всего 8 пересказовъ). Говорю — *какъ будто бы* потому, что въ трехъ пересказахъ (3, 5, 6—II-го отд. Кир.), отличающихся особенной полнотой, и отчетливостью (два изъ нихъ—Симбирской Губерніи, одинъ—Воронежской, т. е. мѣстностей *окраинныхъ*, гдѣ пѣсни вообще сохраняются лучше), въ началѣ упоминаются три дороги и три надписи, а такъ какъ далѣе повѣствуется только о поѣздкѣ Ильи *по той дорогѣ, гдѣ убиту быть*, то и ясно, что это отрывокъ, часть былины — о трехъ поѣздочкахъ. (Въ пересказѣ № 6 — Корсунскаго Уѣзда Воронежской Губерніи—въ началѣ говорится и объ отъѣздѣ Ильи изъ Мурома; вслѣдъ за тѣмъ—розстани съ тремя надписями). Что касается тѣхъ пересказовъ, въ которыхъ нѣтъ надписей и которые могли бы быть приняты за цѣльныя, самостоятельныя пѣсни, то три изъ нихъ отличаются во многомъ чертами, уже очевидно поздними. (Притомъ же два и записаны — одинъ (№ 1) въ Рязанской, другой (№ 2) въ Московской Губ., т. е. въ мѣстностяхъ серединныхъ, гдѣ, какъ намъ извѣстно, пѣсни большею частію не хорошо сохраняются; третій же (№ 4), правда, изъ Симбирской Губ., но онъ прямо себя выдаетъ, какъ увидимъ, очевидными искаженіями и новизнами). Въ пересказѣ первомъ (II-го отд. Кир.) Илья ѣздитъ и *выхваляется своей храбростью* — черта, какъ мы убѣдимся, вовсе не соотвѣтствующая основному нраву нашего богатыря; далѣе же его хвастовство выражается словами, рѣшительно новыми: «вотъ я Турочекъ всѣхъ повырублю, а Турчаночекъ во полонъ возьму». Въ пересказѣ же второмъ самое начало отличается страннымъ и мало употребительнымъ въ былинахъ, отрывисто восклицательнымъ оборотомъ:

На Илюшенькѣ смуръ кафтанъ,
Здунинай най!
Крутожелтъ тафта
Здунинай най!

(И далѣе припѣвъ этотъ повторяется послѣ каждаго стиха). Что касается пересказа третьяго (№ 4), то онъ, хотя и записанный, какъ сказано, въ мѣстности, близкой къ *окраинѣ*, говоритъ о *шатаніи* и *гульбѣ* Ильи Муромца, величаетъ его *старшиною донскихъ казаковъ*, и обрывается (конца нѣтъ) на слѣдующей, уже совершенно новой, подробности: «развернулся, распахнулся добрый молодецъ: на правой полынкѣ (кафтана) знамя *царское*, а на лѣвой полынкѣ *персонушка*. При такихъ пріемахъ въ этихъ трехъ пересказахъ, они не могутъ быть приняты за пѣсни древнія, уцѣлѣвшія отъ той поры въ развитіи народнаго эпоса, когда каждое похожденіе богатыря служило предметомъ *отдѣльной* пѣсни. Пересказы эти слѣдуетъ признать скорѣе частями,

точно также отдѣлившимися отъ *своднаго* цѣлаго, какъ и тѣ, которыя, какъ мы видѣли, сами выдаютъ себя въ этомъ отношеніи уцѣлѣвшимъ въ нихъ указаніемъ на три дороги. Такого указанія не уцѣлѣло въ одномъ пересказѣ (№ 8 отд. II-го), который, хотя и находится въ старомъ сборникѣ Кирши Данилова, но съ одной стороны слишкомъ близко подходитъ къ другимъ, только что упомянутымъ пересказамъ, съ другой не представляетъ никакихъ особенно древнихъ и замѣчательныхъ признаковъ [70]), а потому и его нѣтъ никакого основанія принимать за древнюю, самостоятельную былину. За такую развѣ можетъ быть принятъ пересказъ № 7 (Саратовской Губерніи), гдѣ все похожденье съ разбойниками носитъ своеобразный характеръ, и происходитъ даже не на землѣ, а на морѣ.

Остановимся же прежде всего на этомъ замѣчательномъ пересказѣ, основныя черты котораго повторяются, съ небольшими отличіями, въ трехъ другихъ, изъ которыхъ именно эти-то отличительныя черты и приводятся въ сборникѣ Кирѣевскаго, въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ къ принятому за основаніе пересказу Сарат. Губ. (мѣстность другихъ въ примѣчаніяхъ не обозначена). Вездѣ одинаково былина начинается прямо съ описанія плаванія корабля: «по морю, по морю синему плавалъ соколъ-корабль....» Обозначеніе моря въ саратовск. пересказѣ *Хвалынскимъ*, а въ другомъ даже позднѣйшимъ названіемъ для того же моря—*Каспійскимъ*—переноситъ на почву географическую, но эта послѣдняя не подкрѣпляется тутъ никакими историческими или бытовыми чертами. Ильѣ Муромцу въ его значеніи бытового богатыря-поленицы, оборонителя стольно-кіевской Руси, рѣшительно нѣтъ основанія дѣйствовать не только на отдаленномъ Каспійскомъ, но и на какомъ бы то ни было морѣ. *Хвалынско-каспійскимъ* стало оно, очевидно, уже по переходѣ былинъ въ ту *саратовскую окраину*, гдѣ и записаны занимающіе насъ теперь пересказы. Ранѣе это могло быть только вообще *море* и притомъ въ *широкомъ смыслѣ*, т. е. *вмѣстилище водъ* (еще недавно г. Потебня въ одной изъ своихъ статей указалъ въ одной пѣснѣ малороссійской выраженіе «дунай-море» [71]). Еще же ранѣе тутъ должно было разумѣться море въ *миѳическомъ* смыслѣ — вмѣстилище *водъ небесныхъ*. Къ этому невольно приходишь, когда обратишь вниманье на то, что какъ въ сказкахъ нерѣдко являются на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ то *горы*, то *лѣса*, то *моря* (съ *плавающими* по нимъ *кораблями*), такъ и въ нашей былинѣ о встрѣчѣ Ильи съ разбойниками, эти послѣдніе являются то выскакивающими изъ-за *горъ*, среди *лѣса* (какъ у Рыбн. II, 62; Кир. I, III, 1), то нападающими *на морѣ* на *корабль* Ильи, то нападающими на него съ конемъ среди *поля* (какъ въ пересказахъ Кир. вып. I, отд. II), при чемъ предполагается, что они выскакиваютъ изъ лѣса.

---

[70]) Въ концѣ этой пѣсни есть черта, даже очень поздняя, противорѣчащая всѣмъ бытовымъ основамъ нашихъ былинъ и встрѣчающаяся въ нихъ какъ какой-то нарость, всего въ двухъ или въ трехъ мѣстахъ. Это предложенье Ильѣ разбойниковъ—взять ихъ въ холопство вѣковѣчное.» Несообразность этой поздней черты со всѣмъ основнымъ и древнѣйшимъ въ былинахъ будетъ, какъ я надѣюсь, обстоятельно мною доказана.

[71]) Археол. Вѣстникъ, изд. Моск. Арх. Общ. май—іюнь 1867 г. стр. 99: статья о купальскихъ огняхъ. Г. Потебнею приводится тутъ и слѣд. мѣсто изъ Ипатьевск. лѣт. о ратныхъ Игоря Святославича: «пошахуть Русь съ 15 мужъ утекшя.... а прочіи въ морѣ истопоша»—но моря тамъ не было, а были рѣчки.



А ежели *море* соотвѣтствуетъ тутъ и *полю* (оно, въ свою очередь, является миѳомъ неба въ загадкахъ) и *лѣсамъ*, и *горамъ*, если море тутъ только особая миѳическая принадлежность *небесной* мѣстности съ ея облачными лѣсами—горами и ея вмѣстилищемъ дождевыхъ водъ, то и *корабль* можетъ только соотвѣтствовать *коню*, тому быстролетному, по воздуху несущемуся коню Ильи Муромца, съ которымъ мы уже хорошо знакомы. Совершенно такимъ же образомъ въ сказкахъ крылатый и огненосный конь добраго молодца иной разъ миѳически замѣняется *кораблемъ летучимъ* (тотъ и другой—только различные миѳы *громовой тучи*). Корабль Ильи Муромца, это правда, уже не оказывается *летучимъ*; но на постоянное его пребываніе въ движеніи, на вѣчную подвижность его среди водяной равнины, указываютъ во всѣхъ пересказахъ слѣдующія черты: «на якори корабль не стаивалъ, и желтаго песочку въ глазъ не видалъ»; — или: «у крутыхъ, красныхъ береговъ отнюдь не бывалъ», и т. п. Съ этимъ совершенно согласенъ и еще одинъ пересказъ (Кир. I, ш, 5)—(Корсунскаго Уѣзда), въ которомъ встрѣча Ильи съ разбойниками уже стоитъ не особнякомъ, а связывается съ пріѣздомъ его къ Соловью. (Такимъ образомъ «*море*» прямо оказывается тутъ на пути изъ Мурома въ Кіевъ, и должно выражать то-же самое, что́ въ другихъ пересказахъ *грязи*, *дунай*, *рѣка самородина*—съ мощеньемъ мостовъ, перевозомъ и т. п.). Тутъ говорится: «на якорѣ корабль не останавливался и ко бережку корабль не приваливался». Но далѣе въ этомъ пересказѣ (и во многомъ другомъ не отличающемся особою стариной) прибавляется еще слѣдующая, уже бытовая, т. е. позднѣйшая черта: «на батюшкѣ на *черномъ* кораблѣ было *два торга* и *четыре кабака*». Трудно сказать имѣетъ ли какой нибудь миѳическій смыслъ попадающееся тутъ (и только въ этомъ одномъ пересказѣ) названіе корабля *чернымъ*. Также трудно рѣшить, имѣетъ ли особый смыслъ и то число лѣтъ, въ продолженіи котораго безостановочно плаваетъ корабль Ильи: по корсунскому пересказу *тринадцать*—(вѣроятно испорчено)—а по всѣмъ четыремъ другимъ—*тридцать* лѣтъ—т. е. то-же знаменательное число, какимъ опредѣляется и сидѣніе Ильи Муромца. Миѳическою чертою скорѣе можно считать проводимое по всѣмъ пересказамъ названіе корабля *соколомъ*, хотя оно съ другой стороны могло явиться и просто слѣдствіемъ весьма естественнаго уподобленія быстролетнаго корабля — птицѣ. Что́ касается дальнѣйшаго описанія корабля: «хорошо соколъ-корабль изукрашенъ былъ: бока сведены по звѣриному, а носъ-отъ да корма по змѣиному»; или: «киль его сдѣланъ по змѣиному, а парусы на немъ какъ орлиное крыло»; или еще: «выгнутъ носъ его съ кормою по звѣриному;—то все это, повидимому, только списано съ дѣйствительныхъ, бытовыхъ кораблей, которымъ въ старину придавался подобный причудливый видъ, особливо же у народовъ приморскихъ (къ намъ же на такихъ корабляхъ могли пріѣзжать варяги [72]). — Изъ дѣйствительности бытовой, и притомъ даже гораздо позднѣйшей, взяты и званія *атамана* и

---

[72]) См. статью г. Котляревскаго «Скандинавскій Корабль на Руси» въ Трудахъ Моск. Арх. Общ., I. ч. Объ этомъ, впрочемъ, еще будетъ рѣчь ниже—при разборѣ былинъ о Соловьѣ Будиміровичѣ.



*есаула*; но тутъ же съ другой стороны замѣчательною древней чертою должно считать то, что старшій чинъ, атамана, приписывается не Ильѣ, а другому лицу—по двумъ пересказамъ *Святогору-богатырю*, по пересказу же корсунскому — *Симеону* (молодому), который явился тутъ, вѣроятно, ошибкою вмѣсто *Самсона*, служащаго, какъ мы уже знаемъ, полукнижною замѣною того же самаго Святогора. Наконецъ въ саратовскомъ пересказѣ — не атаманомъ, а стоящимъ у кормы называется (младъ) Полканъ-богатырь — имя, по всей вѣроятности, происхожденія уже прямо книжнаго [73]), но упоминаемое и въ нѣкоторыхъ другихъ былинахъ, и притомъ при перечисленіи тѣхъ же *старшихъ богатырей*, къ которымъ уже несомнѣнно относится, какъ мы знаемъ, *Святогоръ-Самсонъ*. (Прилагательное *младъ, молодой*, придаваемое этому старшему лицу въ былинѣ, должно быть позднѣйшею вставкою, сдѣланною на основаніи обычной въ эпосѣ молодости, нескончаемой молодости богатырей. Если же за Ильей, напротивъ того, закрѣпилось названіе *стараго*, то на это, какъ мы увидимъ, были особыя и притомъ, въ свою очередь уже позднѣйшія, причины). И такъ, на первомъ мѣстѣ является тутъ еще богатырь старшій, Илья же Муромецъ только со второстепеннымъ значеніемъ *подъ-атамана*, *есаула* или *другого* (*не перваго* богатыря). Только въ саратовскомъ пересказѣ Илья не только сравнивается со своимъ спутникомъ, но даже выдвигается впередъ тѣмъ, что—«*кормою-то* владаетъ (младъ) Полканъ богатырь, а *всѣмъ кораблемъ* Илья Муромецъ».—По и во всѣхъ пересказахъ силою дѣйствующею, наводящею страхъ, побѣждающею является не кто другой, какъ Илья, а богатырь, первенствующій по своему званію, остается какъ бы въ сторонѣ, въ тѣни, присутствуетъ гдѣ-то издали,—какъ оно и вообще бываетъ съ *богатырями старшими*. — Далѣе начинается описаніе наряда Ильи, по всѣмъ пересказамъ оказывающагося — *богатымъ*: «на немъ шуба была во пятьсотъ рублей, на немъ *шапочка* во сотенку, а пуговки на шубѣ чиста золота»; — или: «лѣва пола во пять-сотъ рублей, правая пола во всю тысячу, всей-то шубочкѣ цѣны ей нѣтъ». Это *богатство* богатыря, какъ отчасти уже и было замѣчено выше, никакъ не можетъ быть объяснено въ бытовомъ смыслѣ. Богатырь-крестьянинъ Илья не могъ родиться богатымъ, онъ могъ только *разбогатѣть*. Между тѣмъ такому разбогатѣнію противорѣчитъ то, что Илья, какъ мы знаемъ, постоянно находитъ, что ему богатство *не къ разуму*, или же—*не къ радости*, или же, что оно ему на старости — *не надобно*. Такимъ образомъ выражается онъ при розстаняхъ даже въ тѣхъ самыхъ былинахъ о встрѣчѣ съ разбойниками [74]), которыя съ другой стороны представляютъ его богатымъ. Такое противорѣчіе можетъ быть объяснено только тѣмъ, что богатство оказалось не нужнымъ Ильѣ—*на старости*, т. е. когда окончательно въ немъ сложился образъ *стараго* уже въ бытовомъ отношеніи, земскаго, неумирающаго богатыря; тогда какъ признаки богатства мѣстами уцѣлѣли за нимъ еще отъ тѣхъ временъ, когда являлся онъ *моло-*

[73]) Такимъ считаетъ его г. Котляревскій, котораго вовсе не опровергъ въ этомъ отношеніи г. Безсоновъ (см. замѣтку послѣдняго ко II ч. Пѣс. Рыбн., CCXXXVI.

[74]) Въ пересказахъ, гдѣ мѣсто дѣйствія суша (только на ней вѣдь и возможны розстани)—Кир. I, II, 3, 5, 6. Ср. въ Лѣтоп. Тихонр., IV, Сарат. II., II.



*дымъ*, т. е. вѣчно юнымъ въ миѳическомъ смыслѣ, богомъ громовникомъ, добывателемъ *кладовъ* у темныхъ силъ [75]). Но если самое *богатство* одежды Ильи мы должны считать издавнимъ, миѳическимъ, то этого никакъ нельзя относить ко всѣмъ *подробностямъ* въ ея описаніи. Кажется, не чѣмъ инымъ какъ созданіемъ позднѣйшаго, разрисовывающаго воображенія слѣдуетъ считать и то, что въ каждой пуговкѣ у Ильи *по лютому звѣрю, по заморскому льву* (Корсунск. переск.).

Въ этихъ львахъ, и притомъ съ пояснительнымъ прилагательнымъ *заморскіе*, слышится даже источникъ книжный. Самыя же *пуговки* попадаются и въ былинахъ о другихъ богатыряхъ, наприм. о Чурилѣ Пленковичѣ и о Дюкѣ, у которыхъ онѣ и еще затѣйливѣе. Можетъ быть даже пуговки эти только замѣшались, со стороны зашли въ былины объ Ильѣ Муромцѣ; не замѣшавшимися, а подлинными, можно считать только тѣ два глагола, которые тутъ съ ними связываются: пуговки золоченыя *разгремѣлися*, люты звѣри *разревѣлися*; происходитъ же это отъ того, что Илья по пуговкамъ *тросточкою* поваживаетъ. Что касается этой послѣдней, то въ ней, чтобы она могла быть къ лицу такому богатырю, какъ Илья, надо развѣ предположить ту умышленую, добродушнымъ лукавствомъ отзывающуюся уменьшительность, какая замѣтна и въ названіи богатѣйшей шубы Ильи *шубеночкою худехонькою* (Кир. I, ш. 5). Но и будь тутъ, вмѣсто тросточки, даже цѣлая *трость*, все же это должна быть только позднѣйшая замѣна первоначальной *палицы, вяза* или *дуба*, служащихъ оружіемъ нашему богатырю въ другихъ былинахъ. Движеніемъ этой то богатырской палицы *производится громъ*—вотъ къ чему, какъ первоначальному и миѳическому, могутъ быть приведены заключительныя подробности нашей былины. Отъ грома же этого приходятъ въ испугъ разбойники, напавшіе на корабль Ильи:

А разбойнички испужалися,
Въ горы съ испугу разбѣжалися

Въ перескаѣ Корсунскаго Уѣзда уже иначе, сообразнѣе съ водною средою: всѣ станишники перепугалися, во многія во лодки пометалися, по синему морю разстрѣлялися.... (Кир. I, ш, 5) а между тѣмъ тутъ же, когда они на третій день возвращаются и зовутъ Илью въ товарищи, онъ отвѣчаетъ имъ, что никогда *по лѣсамъ* не стаивалъ. Далѣе же онъ спрашиваетъ у нихъ про дорогу черезъ *лѣса* брынскіе, черезъ *горы* сарочинскіе, и прямо попадаетъ отъ нихъ на эту дорогу, а потомъ въ Кіевъ.

Послѣ всѣхъ этихъ былинъ о «морскомъ» похожденіи съ разбойниками, укажу на одно прозаическое сказаніе, записанное въ самомъ селѣ Карачаровѣ отъ тамошняго священника, отца Михаила (доставлено мнѣ г. студ. Экземплярскимъ). Тутъ дѣло происходитъ на *рѣкѣ*, и притомъ на опредѣленной, мѣстной рѣкѣ — Окѣ; къ тому же, что въ свою очередь замѣчательно, происходитъ непосредственно послѣ изцѣленія Ильи Муромца.

---

[75]) Вотъ въ этомъ-то именно смыслѣ **богатымъ**, собирающимъ **сокровища** очень часто величается и громовника Индра въ Ригъ-Вѣдѣ. (См. переводъ Бенфея—во многихъ мѣстахъ).

Берега рѣки Оки были тогда покрыты частымъ дубовымъ лѣсомъ. Ока же, говорятъ Карачаровцы, текла тогда въ дальнѣйшемъ разстояніи отъ Карачарова, чѣмъ въ настоящее время. *По ея берегамъ*, поросшимъ густымъ дубовымъ лѣсомъ, *безстрашно бродили шайки разбойниковъ*, отъ которыхъ много страдали жители окрестныхъ селеній. ***Притону разбойниковъ въ этихъ мѣстахъ много способствовала отдаленность рѣки отъ селеній и, между прочимъ, отъ Карачарова.*** — Чтобы избавиться отъ этихъ разбойничьихъ шаекъ, ***жители Карачарова задумали приблизить русло Оки къ своему селу***: въ такомъ случаѣ, полагали они, шайки разбойниковъ не осмѣлятся бродить по берегамъ рѣки. Чтобы привести въ исполненіе задуманное дѣло, они порѣшили очистить берега Оки отъ дубняка, а самый дубнякъ побросать въ рѣку и тѣмъ измѣнить ея теченіе по направленію къ селу. Каждый житель долженъ былъ очищать отъ дубняка свой пай по рѣкѣ и закидывать этимъ дубнякомъ русло ея. Здѣсь, за этой работой, Илья Муромецъ, только что изцѣленный странниками, засталъ своихъ родителей, которые трудились почти безплодно. Появленіе его удивило всѣхъ. Еще болѣе удивилъ всѣхъ Илья своею необыкновенною силою: онъ безъ затрудненія и въ короткое время очистилъ доставшійся на долю его родителей пай, съ корнемъ вырывая изъ земли дубы.

Самое вырываніе дубняка, какъ не трудно вспомнить, встрѣчается и въ нѣкоторыхъ сказкахъ объ Ильѣ Муромцѣ (см. выше стр. 176), но тамъ это дѣлается ***для разчищенія поля***, здѣсь же, въ преданіи карачаровскомъ, особенно замѣчательно то, что такое вырываніе служитъ къ переводу русла Оки, переводъ же этотъ предпринимается съ цѣлью спасенія Карачарова отъ разбойниковъ, и Илья такимъ образомъ дѣйствуетъ противъ нихъ совершенно особеннымъ, совсѣмъ уже не губительнымъ способомъ [76]).

Повидимому, въ сказаніи карачаровскомъ только смѣшаны два совершенно различныхъ сказанія — объ очищеніи поля и объ отводѣ разбойниковъ. Замѣчательно въ немъ уже бытовое значеніе этихъ послѣднихъ, вполнѣ заслонившее тутъ ихъ значенье миѳическое.

Въ пользу существованья и такого значенія въ былинахъ объ Ильѣ съ разбойниками въ свою очередь свидѣтельствуетъ, надобно думать, то, что въ Енисейскомъ Округѣ записанъ М. Ѳ. Кривошапкинымъ одинъ пересказъ, принадлежащій къ «морскому» изводу былины и имѣющій тамъ значенье обрядовой пѣсни. Поется она во время колядная хожденія со звѣздою, и на звѣздѣ даже оказывается нарисованнымъ содержанье былины: корабль, носъ

[76]) Кстати будетъ замѣтить здѣсь, что въ Муромѣ, противъ Козьмо-Демьянской церкви, лежитъ небольшой островъ, явившійся, по объясненью жителей Карачарова и Мурома, вслѣдствіе того, что хотя рѣка, заброcанная дубнякомъ, и приняла иное направленіе (ближе къ Карачарову и Мурому), всетаки впослѣдствіи времени пробила прежній свой путь, и такимъ образомъ появился рукавъ, называемый Старицей (записано тѣмъ же г. Экземплярскимъ отъ муромскаго предтеченскаго дьякона И. А. Тихомірова). По другому расказу (записанному В. И. Далемъ) Илья измѣнилъ русло Оки тѣмъ, что, упершись плечомъ въ гору, сдвинулъ ее съ крутого берега на рѣку. (Кир. I. прил., XXXIII). Сдвиганіе съ мѣста скалъ приписывается и Тору—Uhland, VI, 114; (тотъ же Торъ, какъ мы знаемъ, отличается и вырываньемъ лѣсовъ). Но у Даля это дѣлается Ильей лишь затѣмъ, чтобы доказать родителямъ свою силу; помѣхи отъ этого для разбойниковъ нѣтъ и въ поминѣ. Далѣе въ расказѣ Даля Илья на соколѣ кораблѣ ѣдетъ въ окіанъ-море.



котораго въ родѣ змѣя, на кормѣ Полканъ богатырь (о немъ, а не о Святогорѣ упоминается въ этой пѣснѣ), на палубѣ Добрыня, Илья и Алеша; потомъ три церкви, мѣсяцъ и звѣзда; турецкій городъ; море, гдѣ турки на катерахъ, на кормѣ флаги. Все *турецкое* въ изображеніи объясняется тѣмъ, что *разбойники* замѣнены въ этомъ пересказѣ *Турками* — что̀ составляетъ въ немъ, разумѣется, черту позднюю, а равно и то, что Илья съ товарищами *самъ* нападаетъ тутъ на турецкій городъ. Зато черту древнюю составляютъ, мнѣ кажется, *три церкви* на кораблѣ (плыветъ же онъ, какъ и въ изводѣ саратовскомъ, по морю *хвалынскому*): церкви эти служатъ, повидимому, замѣною *трехъ теремовъ златоверховатыхъ*, въ которыхъ, по пѣснямъ колляднымъ, жувутъ *солнце, мѣсяцъ и звѣзды* (въ свою очередь находящіеся въ изображеніи). Кончается пѣсня тѣмъ, что турецкій *ханъ* постигнутъ стрѣлою Ильи, пущенною въ него съ заговоромъ, Турки же, испужавшись, всѣмъ своимъ богамъ заклиналися и рѣшили ни дѣтямъ ни внучатамъ на синемъ морѣ не бывать, Илья Муромца не видать. (Кривошапкина Енисейскій Округъ стр. 41—44. Ср. въ Сар. пѣсняхъ Костом.—Лѣт. Тихонр. IV. стр. 10).

Вотъ, кажется, и все, что̀ можетъ быть отнесено къ изводу, заставляющему Илью встрѣчаться съ разбойниками на водѣ. Теперь же посмотримъ на тотъ изводъ (въ свою очередь распадающійся на различные пересказы), по которому встрѣча происходитъ среди поля, въ лѣсу или между горами. Въ только что разобранномъ нами водяномъ изводѣ разбойники, какъ мы видѣли, не убиты, а перепуганы Ильей Муромцемъ. (Только въ енисейской пѣснѣ стрѣла пущена Ильей прямо въ хана). Въ тѣхъ же пересказахъ, гдѣ дѣйствіе происходитъ на сушѣ, и которые стоятъ какъ будтобы особнякомъ, съ большею или меньшею ясностію оказывается, что у Ильи и въ умыслѣ было только *перепугать* разбойниковъ (слѣдуетъ выключить пересказъ № 4, такъ какъ онъ не оконченъ). Сначала Илья, въ цѣлыхъ пяти пересказахъ (№ 1—5), какъ бы подзадориваетъ разбойниковъ, съ лукавымъ простодушіемъ сознаваясь имъ, что съ него и взять нечего, а затѣмъ подробно описывая богатство своего наряда. Въ пересказѣ Кирши (№ 8) Илья не дѣлаетъ этого, а говоритъ просто: «взять у стараго нечего» [77]). Но не много выше отмѣчено про него, что со старымъ вѣдь денегъ не годилося,

Только червонцевъ золотыхъ съ нимъ семь тысячей.
Дробныхъ денегъ сорокъ тысячей
Коню вѣдь подъ старымъ цѣны не было...

Далѣе—описаніе чудесныхъ свойствъ коня Ильи [78]). Въ другихъ пересказахъ описывается только богатая сермяжка богатыря, (единственно въ № 6

---

[77]) Въ ненапечатанной былинѣ Щеголенкова Илья говоритъ также безъ всякаго хвастовства, но съ особымъ оттѣнкомъ:

А чѣмъ же я буду согрѣватися?—
Надо мнѣ шубка соболиная.
А чѣмъ же коня буду попуживать?—
Надо мнѣ плеточька шелковая
А чѣмъ я буду да поигрывать?—
Надо мнѣ палица булатная.....

[78]) Свойства эти, по пересказу Кирши, таковы: «скачетъ онъ съ берегу на берегъ, которая рѣка верста. «По пересказу же № 6 «черезъ Оку рѣку конь перескакивалъ, рѣзвыихъ ногъ не обмачивалъ.» (Кир. I, стр. 21) Можно сопоставить съ этимъ загадку сербскую: сивацъ (сивко) море прескочи, ни копита не сваси. (См. въ моемъ «Ист. Обозр. Р. Слав. стр. 64»)

не говорится ничего о богатствѣ). Такимъ образомъ подзадоренные Ильей разбойники, въ пересказѣ № 1, отзываются объ немъ такими словами:

Будто что мы у стараго про что спрашивали?
Что и самъ ли старый дуракъ правду сказываетъ!

Въ пересказѣ № 5 они на мнимо-простодушное хвастовство Ильи «сомигнулися и улыбнулися». Въ остальныхъ же пересказахъ говорится просто, что они, услышавъ его хвастовство, на него напали, и подобно этому, въ пяти пересказахъ (№ 1—5) просто, безъ всякаго растолковыванія причины и цѣли, говорится, что въ отпоръ имъ Илья выстрѣлилъ въ дубъ, разшибъ его въ черенья ножовые, а разбойники этого испугалися и попадали. Но пересказъ Кирши (№ 8) пояснительно прибавляетъ тутъ:

Онъ стрѣляетъ не по станишникамъ,
Стрѣляетъ онъ сыро́й по дубу...

Это стрѣляніе въ дубъ и разщепленье его въ черенья встрѣчается и въ двухъ пересказахъ того вида сказанія, въ какомъ оно вошло въ былины о трехъ поѣздочкахъ. Но тамъ при этомъ ясно указывается на умыселъ и притомъ прямо противоположный тому, какой подразумѣвается въ Ильѣ Муромцѣ только что упомянутыми пересказами. Тутъ Илья пускаетъ стрѣлу съ такимъ заговоромъ:

Полети, моя стрѣлочка, во сырый дубъ,
Разорви на мелкія на ножовыя черенынца
И всѣхъ убей сорокъ человѣкъ разбойниковъ,
Всѣхъ убей ночныхъ подорожниковъ.

Онъ какъ бы надѣется, что ощепки дуба, разлетѣвшись во всѣ стороны, попадутъ разомъ во всѣхъ и положатъ ихъ мертвыми. (Рыбн. I, 11, ст. 1—54, III, 12, ст. 1—46). Это вполнѣ соотвѣтствуетъ той жестокости, какою и вообще отличается Илья Муромецъ въ былинахъ о трехъ поѣздочкахъ. Что самая эта жестокость—миѳическая, издавняя,—едвали подлежитъ сомнѣнію. Но служило ли къ проявленью ея уже первоначально и это стрѣляніе въ дубъ (самый родъ дерева, тѣсно связаннаго съ богомъ громовникомъ, указываетъ, повидимому, на значенье миѳическое), было ли оно только позже надѣлено другою, уже человѣколюбивою цѣлью—только попугать разбойниковъ; или же напротивъ того разщепленье дуба уже первоначально имѣло подобное назначеніе и только въ тѣхъ былинахъ, гдѣ за Ильею и вообще сохранилась жестокость, и это стрѣляніе было примѣнено въ такомъ смыслѣ,—на все это едва ли можно положительно отвѣчать. Какъ бы то ни было, ясно и несомнѣнно одно: въ большей части имѣющихся у насъ пересказовъ стрѣляніемъ въ дубъ выражается уже человѣколюбивое намѣреніе Ильи Муромца, вполнѣ соотвѣтствующее и тѣмъ общимъ чертамъ уже вполнѣ смягченнаго нрава, съ какими является Илья Муромецъ въ большей части теперешнихъ пересказовъ.... Въ одномъ изъ затронутыхъ нами о встрѣчѣ съ разбойниками (№ 2) даже прямо пояснено: *«ему жалко ихъ до смерти убить»* (далѣе же онъ тутъ не въ дубъ пускаетъ стрѣлу, а *запускаетъ* ее въ мать сыру землю: гдѣ калена стрѣла шла, на косую сажень драла». Черта эта не встрѣчается въ другихъ пересказахъ, но съ нею можетъ быть эпически сопоставлено то,

что въ индѣйской Рамаянѣ стрѣлы Рамы, свистя, врѣзаются въ землю [79]). (Конецъ въ нашемъ пересказѣ опущенъ, испугъ разбойниковъ какъ бы подразумѣвается).

Кромѣ человѣколюбія, въ одномъ изъ нашихъ пересказовъ (№ 3) въ Ильѣ выказывается опять и знакомая намъ *безсребренность*. Испуганные Ильей, разбойники предлагаютъ ему добычу.

Возговоритъ старъ матеръ человѣкъ:
Кабы мнѣ брать вашу золоту казну,
За мной бы рыли ямы глубокія;
Кабы мнѣ брать ваше цвѣтно платье,
За мной бы были горы высокія;
Кабы мнѣ брать вашихъ добрыхъ коней,
За мной бы гоняли табуны великіе.
(Стихи 39—44).

Этими словами, хотя и не повторяющимися въ другихъ пересказахъ, прекрасно выражается уже знакомое намъ двойное значеніе Ильи: съ одной стороны ими указывается на свойственное ему, по его миѳически-воинственному значенію, собиранье добычи, съ другой же на добровольное, уже нравственно-бытовое, человѣческое отъ нея отреченіе!

Но кромѣ безсребренности, нѣкоторыми изъ нашихъ пересказовъ приписывается Ильѣ и еще одна, совершенно новая, но, какъ увидимъ мы далѣе, не оставшаяся безъ дальнѣйшаго развитія, столько же высокая нравственная черта. Въ пересказѣ № 5 (Симб. Губ.) она является не полною (такъ что и эта былина, собственно говоря, не совсѣмъ окончена). Перепуганные Ильей, разбойники разбѣгаются, но въ третьи суточки снова собираются на мѣсто и говорятъ Ильѣ: «возьми къ себѣ насъ во товарищи». Но отвѣтъ Ильи Муромца сообщается только пересказомъ другого, *морскаго* извода (записаннымъ въ Корсунскомъ Уѣздѣ—Кир. I, III, 5): тутъ, точно также сошедшись обратно черезъ трое сутокъ, они высказываютъ свое предложеніе совершенно такимъ же образомъ, прибавляя только: «ты будешь у насъ атаманушкой». — «У отца я былъ, у матери, отвѣчаетъ Илья, не охочъ я былъ стадо пасти». Въ пересказѣ же Кирши (Кир. I, II, 8) предложенію придается уже оборотъ гораздо позднѣйшаго времени:

Возьми ты насъ въ *холопство* вѣковѣчное,
Дадимъ рукописанье служить до вѣку.

Отвѣтъ Муромца, въ свою очередь, отличается тутъ своеобразіемъ:

Поѣзжайте вы отъ меня во чисто поле,
Скажите *вы Чурилѣ, сыну Пленковичу*
Про стараго казака Илью Муромца.

Въ другомъ пересказѣ, записанномъ въ Саратовской Губ. и помѣщенномъ въ сборникѣ Н. И. Костомарова и А. Н. Мордовцевой (Лѣтописи Тихонравова, ч. IV, о. II, стр. 11 и 12), а потомъ перепечатанномъ въ VII вып. пѣсень Кирѣевскаго (стр. 7—9) Илья велитъ сказать о себѣ *Алешѣ Поповичу*.

Въ своемъ мѣстѣ мы познакомимся какъ съ этимъ послѣднимъ лицомъ, такъ и съ Чурилой, и поймемъ, почему Илья хочетъ погрозить собою

[79]) Fauche, Ramayana, IX, 179. Ср. также стр. 277.

именно имъ. Въ настоящее же время достаточно будетъ замѣтить, что не желая ни смерти разбойниковъ, ни власти надъ ними, онъ удовлетворяется одною, оборонительною для земли, молвою про свои подвиги.

Изъ всего, что̀ мы видѣли, ясно выказывается сродство между нравственными чертами Ильи при встрѣчѣ съ разбойниками и тѣми чертами, какія были ему приписаны и въ позднѣйшемъ перестроѣ былинъ о схваткѣ его съ Соловьемъ. Что̀ же мудренаго, если явились попытки связать одно похожденье съ другимъ. Одну изъ нихъ уже видѣли мы въ томъ пересказѣ *морского* извода, гдѣ непосредственно послѣ своей «морской побѣды» Илья отправляется черезъ лѣса брынскіе къ Соловью разбойнику. Сверхъ того имѣются еще два пересказа, въ которыхъ не съ моря на сушу, а просто отъ однихъ лѣсовъ къ другимъ, или съ поля къ лѣсу переходитъ Илья, чтобы отъ разбойниковъ перейти къ Соловью (Симб. Губ.). И тутъ похожденіе съ разбойниками начинается съ розстаней и трехъ дорожекъ, указывающихъ на то, что собственно это похожденье только оторвалось, такъ сказать, отъ былины о трехъ поѣздочкахъ и примкнуло къ былинамъ о Соловьѣ. Въ первомъ изъ этихъ пересказовъ, вслѣдъ за подзадоривающимъ описаньемъ одежды, Илья говоритъ разбойникамъ: «дайте вы мнѣ старому исправиться, будете старому и кланяться». И немедленно послѣ такого выраженья увѣренности въ себѣ—величавый вопросъ: «въ васъ стрѣлять, иль сырый дубъ»?—«За тѣмъ, послѣ выстрѣла, переполохъ разбойниковъ своеобразно выражается тѣмъ, что они падаютъ на сыру землю *ницъ лицомъ*. При этомъ выказывается со стороны Ильи даже особенная объ нихъ заботливость (Кир. I, ш, 1, стихи 96—99):

«Полноте лежать на сырой землѣ,
Полноте спать высыпаться:
По дорогѣ много прошли конныхъ и пѣшихъ,
У себя вы много добраго упустили».

Но при нерасположеніи Ильи ко всякой вредной силѣ, при его стараніи, хотя бы онъ и подарилъ ей жизнь, помѣшать ея дальнѣйшей дѣятельности,—такая заботливость о разбойникахъ указываетъ, по видимому, на то сочувственное къ нимъ отношенье народа, которое и не у насъ однихъ было слѣдствіемъ общественнаго неустройства, заставлявшаго бездомниковъ удаляться въ лѣса и оттуда совершать нападенія — не на всякаго встрѣчнаго, а на такихъ лишь, съ которыми было дѣйствительно много, и черезъ-чуръ много добраго. Не говоря уже о сербскомъ *гайдучествѣ*, народное сочувствіе къ которому объясняется *противутурецкимъ* его назначеніемъ (см. выше стр. 160) можно указать и на то превознесенье народомъ разбойничества, которое выразилось, напримѣръ, въ англійскихъ балладахъ о Робинъ Гудѣ[80]), да и у насъ породило особый, уже къ позднѣйшему времени относящійся рядъ былинъ о разбояхъ; но то-же направленіе, повидимому, зашло и въ разбираемый нами теперь пересказъ о встрѣчѣ Ильи съ разбойниками. — Когда же они, вслѣдъ за тѣмъ,

---

[80]) Если вѣрно мнѣніе Авг. Тьерри, что онъ принадлежалъ къ покоренному Норманнами племени Саксовъ, то и его разбойничество получаетъ оттѣнокъ политическій, соотвѣтствующій гайдуческому. (См. Aug. Thierry, Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normans, livre XI).



предлагаютъ ему надъ собою власть, онъ и тутъ отвѣчаетъ имъ: «не хочу съ вами стада пасти», прибавляя — «а ѣду я въ Кіевъ градъ», и т. д., чѣмъ и связывается это похожденіе—съ дальнѣйшимъ. Сходно съ этимъ оно и въ другомъ симбирскомъ пересказѣ (Кир. I, ш, 3 п.). Тутъ разбойники, предлагая Ильѣ итти къ нимъ во товарищи, прибавляютъ къ этому:

«Сколько хочешь, бери золотой казны,
Платья цвѣтнаго, лошадей и табуны!
*Илья Муромецъ на нихъ разсмѣхнулся*:.
«Охъ вы, *братцы мои*, *непріятели!*
*Не охотникъ я у васъ овецъ пасти,*
Покажите мнѣ дороженьку....

т. е. дороженьку къ Соловью. Въ этомъ же пересказѣ приводится и число разбойниковъ—41; оно близко къ упоминаемому въ одномъ изъ выше разобранныхъ (стоящихъ особнякомъ) пересказовъ — 44; во всѣхъ же остальныхъ пересказахъ число вовсе не упоминается. А въ былинѣ о трехъ поѣздочкахъ ихъ по двумъ пересказамъ оказывается 40, по двумъ же другимъ число это разростается въ 40,000 (Рыбн. I, 11, II, 62, III, 11 и 12. Тамъ же III, 13—500 разбойниковъ. Надо замѣтить, что какъ это послѣднее число, такъ и число 40 оказывается весьма распространеннымъ, какъ замѣчено г. Стасовымъ, въ восточномъ эпосѣ, и въ этомъ случаѣ, можетъ быть, слѣдуетъ допустить извѣстную долю вліянья восточнаго, тѣмъ болѣе понятную, что число 40 обыкновенно употребляется у насъ для обозначенія *вражьей*, не русской силы. Выше мы видѣли, что и самые разбойники въ нѣкоторыхъ пересказахъ замѣнены *Турками* и *Татарами*, сочувственный же взглядъ на разбойниковъ проявляется всего въ одномъ пересказѣ Симбирской Губерніи (Кир. I, ш, 1).

Надо замѣтить, что въ этомъ пересказѣ похожденье съ разбойниками не служитъ началомъ; сперва повѣствуется тутъ объ отъѣздѣ Ильи изъ Мурома (не *громъ гремитъ*, не стукъ стучитъ, а Ильюшка проситъ благословенія у своего батюшки); далѣе же встрѣчѣ съ разбойниками предшествуетъ другая встрѣча—съ силою облегшею городъ Черниговъ. О той же силѣ говорится и въ нѣкоторыхъ другихъ пересказахъ, но городъ называется въ нихъ различно: въ большей части пересказовъ — Черниговомъ [81]) (иногда испорченно Чернягиномъ; въ одномъ пересказѣ Смолягиномъ [82]) (должно быть испорчено изъ Смоленска, который, и правильно произносимый, тутъ совсѣмъ некстати, не сосѣдя ни съ Кіевомъ, ни съ Муромомъ); наконецъ въ нѣкоторыхъ пересказахъ вовсе не географически Бѣжеговомъ (Рыбн. III, 5, 6) Бекетовцемъ (Рыбн. I, 9), Кидишемъ [83]). Въ одномъ пересказѣ (Рыбн. IV, 1)— *Тургновомъ*, какъ будто напоминающимъ древній *Туровъ* (кромѣ этого города упомянуто тутъ еще село *Орѣхово*). Однажды, какъ уже видѣли мы, осаждаемый городъ оказывается даже *Кряковомъ*, но тутъ Илья подъѣзжаетъ къ

[81]) Кир. I, III, 1, 4; Рыбн. I, 10, III, 6 но жители города названы тутъ Бѣжеговцами).

[82]) Рыбн. II, 63. Пересказъ чрезвычайно распространенный и во всѣхъ почти отношеніяхъ поздній.

[83]) Имя это сходно съ другимъ—Китежъ, встрѣчающимся въ нѣкоторыхъ раскольничьихъ сказаньяхъ по Волгѣ, при чемъ сами сказывающіе толкуютъ, что имя это—чудское. Придается оно тутъ городу, будто бы, во время осады его агаряниномъ Батыемъ, вдругъ исчезнувшему на глазахъ у басурманъ, погрузившемуся въ сокровенныя нѣдра земли, согласно услышанной Богомъ молитвѣ. (См. мою статью о сборникахъ по народной словесности за 1866 г. въ Ж. М. Н. Пр. за 1867 г., мартъ, стр. 671—674. То-же преданіе слышано было П. И. Мельниковымъ (Печерскимъ) и напечатано въ его статьѣ «за Волгой» въ Р. Вѣстн. 1868 г., Іюль, стр. 459—460. По основѣ оно принадлежитъ къ общенароднымъ о провалившихся городахъ.

нему послѣ побѣды надъ Соловьемъ и при этомъ заставляетъ Соловья помогать себѣ. Если вникнуть въ основу этого сказанія и сопоставить его съ народными сказаніями вообще, то эта вражья сила, облегшая городъ, не что иное, какъ опять особое видоизмѣненіе той первоначальной миѳической враждебной силы, которой другимъ видоизмѣненіемъ уже являлись передъ нами разбойники, древній же видъ которой сохранился не во множественномъ, а въ единственномъ числѣ—въ разбойникѣ-чудищѣ Соловьѣ. Сила, отражаемая Ильей отъ Чернигова, въ сущности тождественна съ соловьиной силой, вытѣсняемой имъ съ дороги къ Кіеву. Первая, какъ распространенная и очеловѣченная, могла явиться только позже второй, и только съ утратою въ пѣвцахъ народныхъ миѳическаго сознанія онѣ могли быть поставлены рядомъ, какъ два последовательныхъ явленія. А сверхъ того между ними, въ одномъ, уже упомянутомъ пересказѣ, какъ третье, посредствующее явленіе стала и схватка съ разбойничьей силой,—въ основѣ которой опять не иное что, какъ тотъ же единый миѳъ. Въ сказаніи о разбойникахъ, уже намъ знакомомъ, миѳъ этотъ является значительно повредившимся, усѣченнымъ: въ немъ уже не хватаетъ одной изъ тѣхъ трехъ необходимыхъ частей сказанія, о которыхъ было сказано выше. Въ немъ, какъ мы знаемъ, есть свѣтлое начало — Илья, и есть темное начало—разбойники; но отъ этой темной силы онъ спасаетъ только себя самого, а нѣтъ уже другого свѣтлаго существа, котораго бы онъ являлся освободителемъ, или же подобное существо надо видѣть тутъ въ отдаленномъ Кіевѣ, по пути къ которому помѣхой, заставой оказываются разбойники. Но такъ какъ главною, собственною помѣхою является тутъ Соловей, то былина, при повѣствованіи о разбойникахъ, почти забываетъ о Кіевѣ; въ ней уже не оказывается лица, или лицъ, непосредственно страдающихъ отъ разбойниковъ, а отсюда и возможность пощады ихъ Ильей Муромцемъ. Только въ сказаніи карачаровскомъ ясно указаны *существа, спасаемыя Ильей отъ разбойниковъ*: это жители его родного села. Также и въ нѣкоторыхъ пересказахъ былины о *трехъ поѣздочкахъ—спасаемыя* существа есть: это жители *города латынскаго*, который и осаждается тутъ разбойниками. И въ сказаніи о силѣ, облегшей Черниговъ, по упомянутому пересказу Кирѣевскаго, *страдающаго* лица не оказывается: тутъ эта сила, какъ и разбойники, нападая собственно на Илью, имѣетъ значенье простой помѣхи ему на пути. Но не такъ оно во всѣхъ другихъ пересказахъ, гдѣ похожденіе съ силою подъ Черниговомъ непосредственно связывается съ походомъ на Соловья. Тутъ лица страдающія уже ярко выдаются впередъ: это жители города, изъ состраданья къ которымъ Илья уже не можетъ щадить осаждающихъ. И дѣйствительно въ отношеніи къ этимъ послѣднимъ, въ немъ выказывается даже жестокость. Она получаетъ тутъ особый смыслъ оттого, что осаждающимъ тутъ придается имя историческихъ насильниковъ русской земли. Въ нѣкоторыхъ пересказахъ они называются Татарами (Кир. I, ш, 1 — гдѣ имъ еще придается обычный эпическій признакъ всего зловреднаго—*черные*; Р. II, 63, III, 6, IV, 2), въ одномъ пересказѣ Татарами и Литвою (Рыбн. I, 9); опять въ одномъ только Литвою (Кир. I, vi. 1); въ нѣкоторыхъ же пересказахъ они названы просто *силою поганою* (Рыбн. III, 5), силой враждебною (Кир.

IV, 1) *или силушкою чернымъ черно* (по особому пристрастію русской народной поэзіи къ уменьшительнымъ оборотамъ) (Рыбн. I, 10), наконецъ *силою смѣты нѣтъ*: *три царевича, у каждаго силы сорокъ тысячей* (Кир. I, ш, 4). Бѣдствіе осажденныхъ жителей города, во всѣхъ почти пересказахъ безразлично величаемыхъ *мужиками*, заставляетъ Илью ополчиться за нихъ и помѣхою лишь на одно мгновенье становится положенный имъ при отъѣздѣ изъ Мурома и уже намъ знакомый обѣтъ не кровавить рукъ.

Съ особенною ясностію и полнотою представляется это похожденіе въ прекрасномъ пересказѣ Нижегородской Губ. (Кир. I, ш, 4, перепечатано изъ Изв. Ак. Наукъ). Сказавъ о трехъ царевичахъ съ ихъ тремя сороками тысячъ (собственно это *множество* силы — должно быть только распространенье позднѣйшее), пересказъ замѣчаетъ:

*Богатырское сердце разгорчиво и неувмчиво,*
Пуще огня огничка сердце разыграется,
Пуще палящаго мороза разгорается.
Тутъ возговоритъ Илья Муромецъ таково слово:
Не хотѣлось было батюшку супротивникомъ быть.
Иншо знать то ёго заповѣдь нерестунить.

Дѣло въ томъ, что завѣтъ въ этомъ пересказѣ налагается на Илью отцомъ, и притомъ съ пояснительнымъ дополненіемъ—*не помыслить зломъ и на Татарина*. Но видя, какъ Татары *насилуютъ*, Илья, хоть и не хотя, нарушаетъ отцовскій завѣтъ. Однакоже, *нагулявшись* по татарской силушкѣ и добившись до трехъ царевичей, онъ, повидимому, замѣчаетъ, что они уже стали безвредны и отцовскій завѣтъ можетъ опять вступить въ силу.

«Охъ вы гой есте мои три царевича!
Во полонъ ли мнѣ васъ взять
Аль съ васъ буйны головы снять?

Вопросъ, совершенно сходный съ тѣмъ, какой былъ предложенъ Ильею разбойникамъ: «въ васъ стрѣлить, или въ сырый дубъ!» И какъ тамъ онъ рѣшенъ былъ въ пользу разбойниковъ, такъ и тутъ онъ рѣшается въ пользу царевичей:

Какъ въ полонъ мнѣ васъ взять, —
У меня дороги заѣзжія и хлѣбы завозные...

Этими не вполнѣ ясными словами, повидимому, указывается на вѣчное *полеваніе*, вѣчно-подвижную жизнь Ильи, на неимѣніе у него постояннаго мѣста жительства, куда бы можно было отправлять плѣнниковъ.

Собственно же *хлѣба завозные*, повидимому, указываютъ на то, что Ильѣ было бы нечѣмъ кормить своихъ плѣнниковъ, что онъ возитъ съ собою лишь столько, сколько ему самому надобно. На это, по крайней мѣрѣ, какъ будто указываютъ слова, встрѣчающіяся въ ненапечатанной былинѣ про Илью Муромца, записанной отъ крестьянина Щеголенкова и доставленной мнѣ г. Барсовымъ. Вотъ они: «хлѣбъ-то онъ имѣлъ да во колчанѣ, питье-то онъ имѣлъ да во кружкѣ, и вси доспѣхи при себѣ у богатыря». Какъ бы то ни было, Илья (въ пересказѣ нижегородскомъ), отказавшись отъ взятія царевичей въ плѣнъ, говоритъ имъ далѣе:

«А какъ головы снять—царски сѣмяна погубить.
«Вы поѣдьте по своимъ мѣстамъ,
«Вы чините вездѣ такову славу —
«Что святая Русь не пуста стоитъ,
«На святой Руси есть сильны-могучи богатыри».
(Стихи 55—59).

И въ этомъ опять есть извѣстнаго рода сходство съ тѣмъ, что́ гооорится Ильею разбойникамъ: «вы скажите про меня Чурилѣ Пленковичу». И тутъ, и тамъ Илья довольствуется одною богатырскою славой. Но изъ отвѣта его Татарамъ замѣтно, что имъ при этомъ руководитъ не самолюбіе: славы вполнѣ достаточно и слава его вполнѣ полезна Руси потому, что черезъ нее всѣ узнаютъ, что Русь не пуста стоитъ, что есть кому защищать ее; — узнаютъ, и не такъ то скоро отважутся!

Впрочемъ, состраданіе къ самой силѣ татарской стоитъ въ нашей былинѣ особнякомъ, не подтверждается прочими пересказами; но оно въ ней прекрасно объяснено и приведено въ разумную связь съ цѣлымъ. Во всемъ же остальномъ только что разобранный пересказъ сходится съ прочими. Главное, основное вездѣ—необходимость, замѣчаемая Ильей, нарушить завѣтъ свой. По двумъ рыбниковскимъ пересказамъ (I, 9; IV, 2), пораздумался Муромецъ и рѣшилъ: всякой заповѣдь кладываетъ, а не всякой-то исполняетъ». По двумъ другимъ пересказамъ, при сходствѣ съ одной стороны, оказывается несходство съ другой: у Рыбн. въ ч. II, п. 63 (А. Сорокина). Илья сначала не хочетъ вовсе брать съ собою оружія и потомъ уже беретъ съ собой одну стрѣлочку, тѣмъ не менѣе ему, сообразно съ завѣтомъ, «не хочется кровавить своей *руки* богатырскія» (на дѣлѣ же выходитъ—оружія), и вотъ онъ вырываетъ каждою рукою по дубу и ими отдѣлываетъ Татаръ. По пересказу же Т. Романова (Рыбн. Ш, п. 5) Илья напротивъ того и «облатился и обкольчужился», и «бралъ съ собою палицу булатную, бралъ копье долгомѣрное, еще тугой лукъ и калены стрѣлы», но, вооружившись такимъ образомъ, онъ тутъ же даетъ обѣтъ не употреблять своего оружія въ дѣло. Когда же увидѣлъ онъ какъ мужики Бѣжеговцы «на смертную казнь снаряжаются» [84]). Ильѣ Муромцу «*жаль стало* мужиковъ бѣжеговскихъ, — и ***разрушилъ завѣты великіе.*** Далѣе какъ въ упомянутомъ передъ симъ пересказѣ, такъ и въ этихъ — онъ вырываетъ *дубъ*, и начинаетъ имъ прокладывать черезъ враговъ улочки съ переулочками. При этомъ издатель сборника (должно быть самъ г. Рыбниковъ, такъ какъ третій томъ изданъ имъ самимъ), отмѣчаетъ въ выноскѣ: «такимъ образомъ на первой порѣ *оружье* Ильи, взятое изъ дому, остается не окровавленнымъ». Но свойственна ли подобная ***изворотливость совѣсти*** первобытному эпосу?—Судя по приведенному выше, во 2-й главѣ, примѣру германскаго Тидрека, приходится думать, что такія эпическія черты возможны, — если только въ данномъ случаѣ не оказывается въ Тидрекъ Загѣ вліяніе книжной искуственности, которая кое въ чемъ въ ней замѣтна. Тидрекъ, какъ видѣли мы (см. выше стр. 99) клялся Зигурду, что остріе знаменитаго меча Мимунга не находится гдѣ либо *на* землѣ, и въ то же самое время опирался спиной на этотъ мечъ, воткнувъ остріе его *въ* землю; такимъ образомъ, *наружно* дѣйствительно не солгавъ, онъ вслѣдъ за тѣмъ преспокойно пустилъ въ дѣло этотъ самый мечъ [85]). Положимъ, что черта

[84]) По другому пересказу осаждающіе «морятъ ихъ смертью голодною» (Кир. IV, 1); а опять другой пересказъ говоритъ, что осажденные «ходятъ во слезахъ великіихъ.» (Рыбн. I, 9).

[85]) Примѣръ наружнаго соблюденія клятвы при внутреннемъ нарушеньи ея встрѣчается также въ Шахъ-Намс. Извѣстный сподвижникъ Рустема, Гивъ, поклялся пролить кровь туранца Пирана. Когда



эта не есть какое нибудь присочиненіе составителя заги, а дѣйствительно уже находилась въ томъ *устномъ источникѣ*, который служилъ ему основаніемъ; она во всякомъ случаѣ несравненно свойственнѣе Тидреку, чѣмъ нашему Ильѣ Муромцу мысль: будто бы окровавить естественное оружіе — дубъ, не то-же самое, что̀ окровавить оружіе выкованное. Вся та бытовая почва, на которой стоитъ Тидрекъ, отличается, какъ могли мы замѣтить, искусственностью; совсѣмъ не то—почва, на которой стоитъ нашъ Илья, богатырь крестьянинъ, прямой на распашку всегда и во всемъ. Въ самой былинѣ Романова, передъ вырываніемъ дуба, сказано, что Илья *разрушилъ завѣты великіе*, т. е. вырываніе дуба ни мало не помогло. А въ пересказѣ А. Савинова онъ даже самъ сперва говоритъ преспокойно: «всякъ человѣкъ завѣтъ завѣчаетъ, а не всякъ завѣтъ справляетъ» и вслѣдъ за такимъ сознаньемъ захватываетъ дубъ со кореньями (Рыбн. IV, стр. 8—9). Но къ тому же самому естественному способу вооруженія прибѣгаетъ Илья и въ другихъ случаяхъ; къ тому же прибѣгаютъ и другіе богатыри, не только наши, но и у всякихъ народовъ—потому ли, что цѣлымъ дубомъ, да еще и съ кореньями, можно скорѣе прокладывать улочки, или же просто потому, что память и о такомъ, уже вполнѣ *богатырскомъ* оружіи, удержалась въ эпосѣ и преспокойно въ немъ уживается рядомъ съ оружьемъ искусственнымъ и позднѣйшимъ; быть можетъ, наконецъ, въ настоящую былину этотъ дубъ со кореньями только замѣшался изъ другихъ былинъ, замѣшался, разумѣется, въ болѣе позднее время. Попадается же въ пересказѣ Романова и такой, уже очевидный *наростъ*, какъ то, что, вырвавъ дубъ, Илья «обдѣлалъ рукояточку»;—что̀ развѣ немного уступаетъ другому наросту, состоящему въ томъ, что мужики бѣжеговскіе усмотрѣли Илью «во тую во трубочку подзорную».— Во всякомъ случаѣ, по основному смыслу какъ этого пересказа, такъ и всѣхъ остальныхъ, Ильѣ Муромцу не многаго стоитъ нарушить завѣтъ свой, и это вполнѣ сообразно со свободною широтой общенароднаго чувства нравственнаго, и, можетъ быть, съ особенною широтою въ этомъ отношеніи именно русскаго человѣка. Если то свойство этого послѣдняго, по которому ему такъ часто «законъ не писанъ», иной разъ и ведетъ къ безобразіямъ; то въ томъ же самомъ свойствѣ, съ другой стороны, замѣтна основа здоровая: это ясное, быстрое проницаніе въ глубь вопроса, это вѣрное пониманіе *духа* его и вѣрность на дѣлѣ *духу*, при подобающей разумному существу несвязанности его *буквою*.—Не кровавить рукъ—это для Ильи Муромца значитъ *удер-*

---

его попросилъ Кай Косру пощадить этого несчастнаго, Гивъ сослался на свою клятву. «Не нарушай ея, сказалъ Кай-Косру; вонзи твой кинжалъ ему въ ухо и, когда кровь его прольется на землю, ты одновременно выполнишь и свою клятву, и долгъ милосердія». (Mohl, Livre des Rois, II, 515).

Другой примѣръ, отчасти въ особомъ родѣ, представляетъ пока еще ненапечатанный въ цѣломъ Roman de Tristan de Nanteuil. Тутъ Тристанъ даетъ слово сарацинскому королю неубивать его, еже-ли тотъ выдастъ ему ключи свои. Король выдаетъ ихъ, а Тристанъ, еще прежде, во время боя, отрубившій королю руку и ногу, привязываетъ его въ этомъ состояніи къ своему коню, тащитъ въ сосѣдній лѣсъ, прикрѣпляетъ ему руку къ кисти его другой руки, отсѣкаетъ ему языкъ и оставляетъ его въ этомъ состояніи: онъ вѣдь сдержалъ свое слово — не убилъ его! Искалѣченный вскорѣ послѣ того, разумѣется, умеръ. Но надо замѣтить, что весь романъ этотъ отличается рѣдкою искусственностью. (См. notice о немъ П. Мейера въ Jahrbuch Эберта. IX ч., IV кн., стр. 370—371).

*живать ихъ отъ насилія*; но не дать имъ воли противъ Татаръ, это значило бы позволять Татарамъ насиловать. И вотъ, нимало не усомнившись, Илья разбиваетъ ихъ. А такъ какъ сердце богатырское, чуть только дать ему волю, разгорчиво и неуемчиво (Кир. I, III, 4. Р. I, 9), то, по нѣсколькимъ пересказамъ, онъ не оставляетъ ихъ и на сѣмена (Кир. I, VI. 1. Р. II, 63; въ сущности тоже у Р. I, 9 и 10, III, 6. У Кирѣевскаго въ в. IV, п. 1. Илья выбиваетъ *всю силу* вмѣстѣ съ другимъ *добрымъ молодцемъ* — Соловьемъ). Но мы видѣли уже, что въ одномъ пересказѣ, по пересказѣ весьма хорошо сохранившемся, богатырское сердце Ильи, натѣшившись вволю, подъ конецъ унимается, и щадитъ трехъ татарскихъ царевичей, повелѣвая имъ только распускать молву, что насиловать Русь—нельзя безнаказанно!

Надо замѣтить, что вообще *нарушенье завѣта* составляетъ въ нашемъ сказаніи черту издавнюю, идущую, можетъ быть, отъ поры миѳической. У Куна въ Herabkunft des Feuers на стр. 154 говорится (со ссылкою на Çat. Br. XII, 7, 3, 1 и Mahabh. V, 228) о томъ, какъ самъ богъ Индра далъ обѣтъ не убивать Вритры, а потомъ нарушилъ его или покрайней мѣрѣ обошелъ при помощи обмана. Тамъ же указано и на германскаго Одина (со ссылкою на стр. 100 Havamal въ ст. Эддѣ), про котораго сохранился намекъ, что онъ однажды нарушилъ обѣтъ свой, а потому и никто уже ему не захочетъ вѣрить. Такимъ образомъ *нарушеніе клятвы* является какъ бы общею принадлежностью трехъ разнонародныхъ существъ миѳическихъ, принадлежностью, вынесенною, надобно думать, народами изъ ихъ арійской прародины и первоначально имѣвшею ясный миѳическій смыслъ. Но у нашего Ильи (первоначальнаго громовника, какъ и Индра, а нѣкоторыми сторонами миѳически сроднаго также и съ Одиномъ) нарушенье обѣта, въ настоящемъ видѣ былинъ, лишено уже всякаго миѳическаго значенія, въ нравственномъ же смыслѣ является вовсе не преступленіемъ, а скорѣе сочувственною чертою. До нѣкоторой степени съ нею эпически сродною оказывается слѣдующая черта въ одной коибальской пѣснѣ. Богатырь Алтынъ Мергэнъ, отыскивая свою жену, даетъ Богу обѣтъ не проглотить, до соединенія съ нею, ни одного куска мяса, ни одной ложки похлебки. Но вдругъ ему попадается вѣщая женщина, обѣщающая сказать, гдѣ его жена, но только въ такомъ случаѣ, если онъ именно съѣстъ кусокъ мяса и выпьетъ ложку похлебки. Онъ соглашается, и такимъ образомъ узнаетъ, гдѣ его жена.

Имѣя въ виду возможность подобной черты въ *коибальской* пѣснѣ [86]) (страннымъ образомъ не обратившей на себя вниманіе г. Стасова), я и имѣлъ право нѣсколько выше упомянуть объ *общенародной* широтѣ чувства нравственнаго. Между тѣмъ древній восточный эпосъ, имѣвшій, какъ думаютъ, такое вліяніе на воображеніе тюркскихъ народовъ, представляетъ примѣры прямо противоположной ограниченности, *узости* взгляда нравственнаго, Такъ всѣмъ извѣстный герой Рамаяны, божественный Рама, заботится о соблюденіи въ святости не собственнаго своего обѣта, а даннаго однажды отцомъ его одной

86) Radloff, Proben, II, 291.

изъ своихъ женъ, обѣта—выполнить всякое, ею объявленное желаніе. Оказывается, что она требуетъ, ни съ того, ни съ сего, изгнанія самого Рамы,—и Рама добровольно подчиняется этому, не смотря ни на слезы и просьбы своей собственной матери, ни на горе и жалобы обожающаго его народа. Было бы только исполнено отцовское слово—все остальное ему ни по чемъ. Сопоставленье съ такими чертами восточнаго эпоса нашихъ былинъ, яко бы отъ него пошедшихъ, особенно вразумительно. И въ нашемъ русскомъ, да и вообще въ славянскомъ эпосѣ высоко ставится воля родительская, но повиновеніе ей не заставляетъ однакожь Илью оставить безпомощными «мужиковъ» черниговскихъ. Готовый повиноваться завѣту отца, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ повинуется *толкованіямъ* своей совѣсти. Это прямо противоположно слѣдующимъ словамъ Каушаліи, матери Рамы (думавшей удержать его отъ удаленья въ изгнаніе требованіемъ покорности своей материнской волѣ): «Индра, по приказанію своей матери, убилъ своихъ братьевъ соперниковъ и тѣмъ заслужилъ себѣ царство на небѣ.» Но Рама на это отвѣчалъ инымъ, еще чудовищнѣйшимъ примѣромъ: «а развѣ Рама Джамаданьидъ не отрубилъ головы родной матери, потому что такъ приказалъ отецъ»? [87]).

Отъ вліянья подобныхъ индѣйскихъ примѣровъ остался свободенъ не только нашъ русскій, но и какой нибудь коибальскій эпосъ, не лишенный, какъ и всякій другой, своего рода самостоятельности. Но возвратимся, послѣ такого продолжительнаго отступленія, къ нашимъ былинамъ.

Послѣ услуги, оказанной Ильею Чернигову весьма естественна благодарность ему отъ Черниговцевъ. Въ пересказѣ Нижегородской Губерніи (Кир. I, III, 4) она ограничивается тѣмъ, что воевода черниговскій, приказавъ узнать объ имени добраго молодца-освободителя, приказываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ пригласить его хлѣба соли откушати.—«Нейду я къ воеводѣ вашему, отвѣчаетъ Илья». Ему некогда, онъ вѣдь задался мыслію ѣхать въ Кіевъ градъ;—гдѣ же тутъ пировать и давать себя чествовать! Сходно съ этимъ и въ пересказѣ Н. Прохорова, гдѣ берутся даже постоянно его поить кормить (по обычанію *кормленія* воеводскаго) [88]) и «денегъ давать ему до люби», онъ-же ссылается тутъ на заповѣдь—поспѣть въ Кіевъ-градъ (Рыбн. I, 9). Но съ другой стороны въ этомъ пересказѣ попадается черта одиночная, вовсе не подтверждаемая остальными: видя, что Илья отказывается жить съ Черниговцами и постоянно у нихъ кормиться, Черниговцы насыпаютъ чашу золота, другую серебра и третью жемчуга, а онъ принимаетъ, говоря: «это, братцы, мое зарабочее».—Надо замѣтить, что это тотъ же самый пересказъ, въ которомъ Илья беретъ *зарабочее* и отъ дѣтей Соловья, что, какъ мы знаемъ, въ свою очередь составляетъ черту вполнѣ одиночную [89]). Ясно, что такое взиманіе зарабочаго и въ томъ, и въ другомъ случаѣ, должно быть, уцѣлѣло въ нашемъ пересказѣ отъ болѣе древняго строя былинъ—когда нравственныя качества Муромца еще не были вполнѣ развиты

[87]) Fauche, Ramayana, II, 109, 111. Но съ другой стороны въ той же самой Рамаянѣ оказывается возможнымъ и слѣдующаго рода широта воззрѣнія, отличающаяся, впрочемъ, опять таки крайностью своего проявленія: «жестокость, какъ и доброта, грѣхъ, какъ и добродѣтель,—все должно быть пущено въ ходъ для спасенія тварей (Ibidem, 180).

[88]) Отраженіе извѣстнаго бытового явленья позднѣйшей поры.

[89]) См. выше стр. 259.

и такими качествами еще не были вытѣснены другія—миѳическаго происхожденія: жестокость съ одной, сребролюбіе съ другой стороны. По всетаки и въ упомянутомъ, *одинокомъ* въ этомъ отношеніи пересказѣ, съ нравственнымъ обликомъ Ильи Муромца до нѣкоторой степени согласовано это тѣмъ, что получаетъ значенье законной награды за подвиги. Тѣмъ не менѣе всѣми прочими пересказами отвергается и всякая мысль о наградѣ—какой бы то ни было. Въ пересказѣ Т. Романова (Рыбн. III, 5) Черниговцы предлагаютъ Ильѣ не только сокровища, но и власть надъ собой, а онъ:

Не на-бъ мнѣ ка не злата, не серебра...
И не слыву у васъ воеводою.,..

А въ пересказѣ Рябинина (Р. I, 10) ему предлагаютъ только воеводство, и онъ точно также отказывается. Въ пересказѣ жь Ѳедотова (Р. ч. III, п. 6) онъ не хочетъ у Черниговцевъ *суды судить*. У А. Савинова (Р. IV, 2) ему предлагаютъ *золотые ключи* отъ города, а онъ говоритъ: «не умѣю быть воеводою». Далѣе Турговцы (какъ называется въ этомъ пересказѣ городъ) думаютъ, повидимому, его испугать подробнымъ описаньемъ *помѣхъ* на дорогѣ къ Кіеву, а онъ только повторяетъ отказъ: «не умѣю быть воеводою» [90]). И во всѣхъ этихъ пересказахъ, немедленно послѣ отказа, онъ одинаковымъ образомъ говоритъ: «а покажите мнѣ дорогу на Кіевъ градъ.» Тутъ такимъ образомъ причиной отказа является, повидимому, недосугъ, другія, издавнія и высшія цѣли. Но уже нѣчто другое примѣшивается сюда у Кир. въ вып. IV, п. 1 [91]). «Покланяемся тебѣ нашимъ городомъ—будь у насъ набольшимъ», говорятъ тутъ Ильѣ Черниговцы; а Илья отвѣчаетъ:

«Подъ вами сила была необсильчива.
*Вы живите братаны по старому,*
Я поѣду въ стольный Кіевъ градъ.

Онъ явно не желаетъ нарушать ихъ прежнихъ порядковъ, не видя, чтобы его услуга Чернигову давала ему какія либо права надъ нимъ. Не менѣе важенъ, и отчасти сроденъ, оттѣнокъ, придаваемый этому обстоятельству въ пересказѣ Сорокина (Р. II, 63): «не дай Господи дѣлать изъ богатыря воеводу».—Богатырское служенье землѣ и власть надъ землею, это, по мнѣнію Ильи, не одно и тоже. И хотя пересказъ, въ которомъ находится эта черта, отличается многими, очевидно позднѣйшими распространеніями, сама она, хоть и стоящая одиноко, вполнѣ подтверждается тѣмъ отсутствіемъ властолюбія, которое такъ ясно выказывается въ Ильѣ и по былинамъ о встрѣчѣ съ разбойниками. Это, какъ кажется, та несвойственность народу русскому *жажды власти*, которая, съ одной стороны способная перерождаться въ нерадѣніе о себѣ, въ гражданское равнодушіе и податливость, съ другой составляетъ въ немъ ту здоровую силу, по которой онъ неспособенъ, говоря словами И. С. Аксакова, самъ «облечь себя въ багряницу» и, насильствуя подъ личиной закона и права, багряниться кровью по подобію какого нибудь «конвента».

---

[90]) Жители города въ этомъ пересказѣ не предлагаютъ Ильѣ злата-серебра, но далѣе это предлагается ему дѣтьми Соловья, на что онъ отвѣчаетъ: мнѣ подарокъ не надобно, и, истребивъ все гнѣздо чудовища, возетъ его самого къ Владиміру. (Рыбн. IV, стр. 12).

[91]) Архангельскаго уѣзда.

Сводя въ памяти все, что замѣтили мы въ похожденіи какъ съ разбойниками, такъ и съ силою, обневолившею Черниговъ, мы безъ труда найдемъ, что не только первоначальная основа миѳическая, но и позднѣйшее нравственное наслоеніе въ обоихъ похожденьяхъ одно и тоже. И тутъ, и тамъ—то-же отсутствіе сребролюбія, властолюбія, и то-же самое преобладаніе человѣколюбія. Понятно, послѣ этого, почему съ былинами о Соловьѣ, въ свою очередь испытавшими, хотя и не въ такой мѣрѣ, позднѣйшее наслоеніе чертъ со значеніемъ чисто нравственнымъ, могло связываться то одно, то другое изъ этихъ однородныхъ похожденій (съ разбойниками, и съ силой татарскою). Но одинъ пересказъ связываетъ ихъ оба (связываетъ, однакоже, сокращая, и, частію, искажая одно изъ нихъ),—съ Соловьемъ разбойникомъ (Кир. I, ш, 1—Симб. Губ.).—Мы знаемъ однако же, что особенно часто связаннымъ съ походомъ на Соловья является похожденіе съ силою подъ Черниговомъ. Во всѣхъ пересказахъ этого рода (собственно состоящихъ изъ четырехъ частей: a) отъѣзда изъ Мурома; b) освобожденья Чернигова; c) побѣды надъ Соловьемъ; d) пріѣзда въ Кіевъ) или во всемъ этомъ уже *сводномъ*, и, какъ по этому, такъ и по многимъ нравственнымъ и бытовымъ чертамъ, относящемся уже не къ первой ступени развитія, изводѣ сказанія о поѣздкѣ Ильи Муромца въ Кіевъ, оказывается замѣчательная цѣлостность. Если посмотрѣть на изводъ этотъ со стороны внѣшней, то тутъ оказывается господствующимъ столкновеніе между той поспѣшностью, съ какою стремится Илья Муромецъ къ Кіеву, и всѣми тѣми помѣхами, какія являются ему на пути (кромѣ главной силы подъ Черниговомъ, или разбойниковъ, тутъ имѣются и другія — грязи (болота), лѣса брынскіе, рѣка Самородина (черезъ которую приходится мостить мостъ), посельице Соловья и засада со стороны дѣтей его (не говоря о самомъ *гнѣздѣ* Соловья, встрѣчи съ которымъ уже заранѣе ждетъ Илья Муромецъ).

Что же касается *внутренней* стороны цѣлаго извода, то основною мыслью является тутъ столкновеніе *двухъ обязанностей*: вѣрности завѣту сострадаиія и пощады, и вѣрности богатырской оборонѣ земли; примиреніемъ же является то, что *буква* закона нарушается для выполненія его *духа* — т. е. того начала *человѣколюбія*, которое заключается въ основѣ, можно сказать, обѣихъ сталкивающихся обязанностей.

Нравственный обликъ нашего муромскаго богатыря уже достаточно выяснился и опредѣлился, несмотря на то, что пока мы разсмотрѣли только одинъ начальный рядъ похожденій, ему приписываемыхъ. Но его заботы о спасеніи люда, его готовность пощадить всякаго, отсутствіе сребролюбія и жажды власти — составляетъ ли все это собственно его принадлежность, или тѣ-же черты встрѣчаются и въ другихъ, да притомъ и не въ русскихъ богатыряхъ? — Извѣстно, что уже покойный С. П. Шевыревъ сближалъ Илью Муромца съ Сидомъ и что ему пришлось потомъ оправдываться передъ своими слушателями въ той «смѣлости, съ какою онъ поставилъ обоихъ на равнѣ».—«Но если испанскій народъ понимаетъ рыцаря своего по своему, говорилъ Шевыревъ, то позвольте же, на правахъ свободомыслія, которымъ вы славите XIX вѣкъ, и русскому народу понять своего витязя по своему раз-

умѣнію. Мы сближаемъ не съ тѣмъ, чтобы предпочесть одного другому, а съ тѣмъ, чтобы уяснить предметъ».... [92]). Изъ словъ этихъ ясно, что, сближая Илью и Сида, Шевыревъ имѣлъ главнѣйше въ виду показать *отличія* одного отъ другого. Онъ въ этомъ случаѣ понималъ сравнительный пріемъ въ наукѣ полнѣе и шире, чѣмъ Ѳ. И. Буслаевъ, хотя познанія послѣдняго въ области сравнительнаго изученія народной словесности и далеко опередили познанія Шевырева. И г. Буслаевъ, какъ извѣстно, въ своемъ изслѣдованіи о Сидѣ рѣшился, на этотъ разъ по стопамъ Шевырева, сближать испанскаго витязя съ русскимъ, — но дѣло не клонилось у него къ тому, чтобы тѣмъ болѣе выяснились бытовыя и историческія особенности нашего родного Ильи; не клонилось оно къ тому, повидимому, *«страха ради іудейска»*: ну какъ да вдругъ сопричислятъ къ славянофиламъ! — Вотъ поэтому-то у г. Буслаева и въ любопытныхъ его сближеніяхъ Ильи Муромца съ Сидомъ есть какая-то недосказанность. Пользуясь его данными, приходится дополнять ихъ на основаніи пріема, употребленнаго Шевыревымъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что Сидъ, отпускающій на свободу сто Мавровъ и сто Мавритянокъ, чтобы они не поминали его лихомъ [93]); или же Сидъ, отпускающій плѣнныхъ Мавровъ по ихъ зáмкамъ и даже приказывающій кое-чтó имъ дать на дорогу, — не только походитъ на Илью подъ Черниговомъ, но, по *размѣрамъ* своего великодушнаго образа дѣйствій, даже далеко превосходитъ его. Зато, если внимательнѣе вглядѣться, то тутъ и въ поминѣ нѣтъ того земскаго *оборонительнаго* начала, которое сказывается въ словахъ Ильи отпускаемымъ на свободу королямъ-королевичамъ: «чините вездѣ такову славу, что святая Русь не пуста стоитъ.» Слава, какъ для Сида, такъ и для другихъ богатырей запада, имѣетъ значеніе болѣе *личное;* собственно она для нихъ лишь особый, нравственный видъ *добычи*. Относительно этой послѣдней въ ея *вещественномъ* смыслѣ, лично, самъ для себя, Сидъ способенъ быть иногда воздержнымъ, подобно Ильѣ. Такъ при взятіи у Мавровъ города Кастейона, онъ для себя самого не беретъ ничего изъ добычи, но все набранное тамъ злато-серебро оставляетъ своимъ товарищамъ. По большей же части онъ беретъ себѣ, согласно обычаю, пятую часть. Чтó же касается *власти* надъ городами, имъ завоеванными, то отъ нея онъ никогда не отказывается. Такъ, напримѣръ, послѣ взятія одного замка, Сидъ говоритъ: «я вижу не много живыхъ Мавровъ и Мавритянокъ; продавать ихъ намъ нельзя, а посрубить съ нихъ головы — нѣту выгоды [94]) (и это, повидимому, напоминаетъ Илью въ первой половинѣ его обращенія къ королевичамъ, но вотъ чтó далѣе): «соберемъ ихъ внутрь, продолжаетъ Сидъ, потому что мы господа крѣпости, *размѣстимся въ ихъ домахъ, а они пусть намъ услуживаютъ»*. Въ другой разъ, взявъ въ плѣнъ графа Барселонскаго, Сидъ, возвращая ему свободу, сказалъ: «изъ своей добычи я вамъ не возвращу ни денежки, потому что *все это нужно мнѣ и*

---

[92]) Шевырева, Исторія Русской Словесности, преимущественно древней, I, 197—98, 233—34.

[93]) Ytvos (идите) para vestro reynado, salvo e seguro; que en toda la mi vida non aya des miedo (страха) des rey moro nin de christiano. (Cronica rimada del Cid, v. 486—7 — въ изд. Damas Hinard, le Poème du Cid, etc, стр. XCIII).

[94]) Los Moros è las Moras vender non los podremos. Que les decabere mos (обезглавимъ), nada non ganaremos. (Poema del Cid, v. 627—628).

*моимъ вассаламъ, которые пошли за мной бѣдняками»*. Вотъ это-то послѣднее, не какое либо случайное, а постоянное бытовое явленіе, и не даетъ уже никакой возможности Сиду хотя сколько нибудь походить на Илью, не берущаго *заработнаго*. И понятно, что Сидъ считалъ дѣломъ законнымъ, когда дружина его служилая даже теряла счетъ въ золотѣ, добытомъ съ бою.—А вотъ и другая сторона отношеній его къ дружинѣ, служащей ему ради золота: щедро ее надѣливъ при взятіи Валенсіи, онъ положилъ, что «ежели кто изъ дружины удалится безъ его позволенія и *не поцѣловавъ у него руки*, и ежели такого схватятъ, то отнять у него все имущество, *а самого повѣсить»*.—Во всемъ этомъ Сидъ уже очень далекъ отъ Ильи, еще же дальше онъ отъ него въ томъ отношеніи, что въ предѣлахъ той же Валенсіи опустошалъ поля и отнималъ у жителей хлѣбъ въ теченьи трехъ лѣтъ [95]).

Послѣ всего этого можно будетъ, я думаю, повторить слова Шевырева: «позвольте Ильѣ Муромцу понять семью, месть, правду и милость иначе, нежели понимаетъ ихъ Цидъ. Кто не уважитъ въ Цидѣ благороднаго чувства чести, сознанія личныхъ правъ своихъ? Цидъ сознаетъ честь и мщеніе даже по смерти: когда жидъ, вошедшій во храмъ, гдѣ въ гробу лежало цидово тѣло, хотѣлъ обезчестить рыцаря и взять его за бороду, чего не позволялъ онъ дѣлать при жизни своей,—Цидъ мертвый схватился за мечъ и выдернулъ его изъ ноженъ. Въ чертахъ Ильи Муромца чувство личной чести не выдается надъ всѣмъ, — нѣтъ, скорѣе главная черта его: служеніе міру... Въ своемъ самоотверженіи почерпаетъ онъ сознаніе своего достоинства... Но когда... при дворѣ Владиміра хотятъ отнять у него славу побѣды надъ Соловьемъ,—тогда и въ немъ просыпается личное чувство — и онъ готовъ положить голову во неправдѣ передъ лицомъ всего народа. Онъ признаетъ въ себѣ личность, не какъ личность, а ка́къ необходимое орудіе служенія пользѣ общей»... [96]).

При всѣхъ этихъ отличіяхъ, особенное значеніе получаютъ и тѣ *отдѣльныя* черты сходства, какія несомнѣнно существуютъ между Ильей и Сидомъ. Ихъ между нашимъ богатыремъ и паладиномъ испанскимъ болѣе, чѣмъ между Ильей и какими либо другими героями западными — потому, можетъ быть, что Сидъ, какъ указалъ уже г. Буслаевъ, *по своему происхожденію* нѣсколько ближе другихъ къ нашему крестьянскому сыну: въ нѣкоторыхъ сказаніяхъ Сидъ называетъ себя *мѣщаниномъ*, и даже хвалится этимъ, хотя слѣды такого происхожденія во многихъ случаяхъ въ нёмъ и изгладились. Но и въ ряду чистокровнѣйшихъ рыцарей могутъ попадаться такіе, которые тою или другою *отдѣльной* чертой могутъ напоминать сочувственныя черты нашего Муромца. Такъ даже *отказаться отъ власти* оказался однажды способнымъ не кто другой, какъ Рено—рыцарь отъ головы до ногъ. Когда ему предложили королевство въ Іерусалимѣ,

...li frans chevaliers avoit tout refusé.
Onques ne vout rois estre, ne n'en ot volenté [97]).

[95]) Буслаева Сидъ (Прилож. 6-е къ V-му тому Зап. Ак. Наукъ; стр. 29, 30, 34).

[96]) Шевырева, Исторія Русской Словесности, I 234.

[97]) Renaus de Montauban, éd. Michelant, p. 417 418.



Даже въ ряду германскихъ, по преимуществу добычелюбивыхъ личностей, встрѣчаются, а именно въ сѣверныхъ загахъ, иной разъ способныя и не брать добычи, а удовлетворяться одною славою браннаго подвига [98]). Да и всѣмъ наконецъ хорошо извѣстно, что въ различныхъ средневѣковыхъ поэмахъ попадаются *отдѣльные случаи* поразительнаго великодушія, которымъ надѣляются въ нихъ иногда даже представители *сарацинства* [99]); но это великодушье особаго рода, съ непремѣннымъ оттѣнкомъ *воинственности* и при этомъ съ наклонностью *щегольнуть, великодушно порисоваться.* Собственно только *крестьянской природѣ* нашего отечественнаго богатыря свойственна та *простота* и совершеннѣйшая *непринужденность* въ добрѣ, при которой почти изчезаетъ и мысль о какой либо въ томъ *заслугѣ.*

Уже выше, въ своемъ мѣстѣ (на стр. 48—49) указано было на то, что и книжному, съ чуждыхъ образцовъ списанному Уруслану приписаны были у насъ черты, заимствованныя у родного богатыря—Ильи Муромца. Именно на эти черты, какъ указано тамъ же, не обратилъ никакого вниманія г. Стасовъ, котораго и вообще занимаетъ по преимуществу *остовъ* сказаній, заставляющій его очень часто не замѣчать *живыхъ* подробностей свойства бытового и нравственнаго. А между тѣмъ и въ восточномъ эпосѣ можно бы было пріискать черты, болѣе или менѣе соотвѣтственныя—ну хотя бы великодушному обращенью Ильи съ побѣжденными. Такъ, напримѣръ, въ Рамаянѣ самъ Рама, поймавъ соглядатаевъ, присланныхъ къ нему отъ вражьяго царя Раваны, даетъ имъ наглядѣться всего и потомъ отпускаетъ ихъ невредимыми [100]).—Но *отдѣльныя* проявленья великодушія оказываются возможными рѣшительно всюду—даже у самыхъ дикихъ народовъ, и доказываютъ только *нравственное единство человѣческаго рода.* Именно подъ этимъ заглавіемъ помѣщена была извѣстнымъ французскимъ писателемъ Павломъ Жанé статья, представляющая сводъ очень многихъ, весьма любопытныхъ разнонародныхъ данныхъ. Заимствую изъ этой статьи слѣдующій расказъ путешественника Мунго-Парка. «Одинъ маврскій король захотѣлъ силою обратить въ магометанство негрскаго короля Дамеля. Въ возникшей войнѣ побѣдителемъ остался послѣдній. Когда къ нему привели скованнымъ врага его, то онъ спросилъ его: «что̀ бы ты сдѣлалъ со мной, если бъ ты былъ на моемъ мѣстѣ»? — «Я бы поразилъ тебя въ сердце стрѣлою, и это, разумѣется, ждетъ и меня».— Нѣтъ, отвѣчалъ Негръ, смерть твоя не возстановила бы моихъ городовъ и не воскресила бы моихъ подданныхъ, а потому я и не убью тебя, но только удержу въ плѣну до тѣхъ поръ, пока не замѣчу, что твое присутствіе въ твоемъ царствѣ уже не будетъ опасно для твоихъ сосѣдей.» — Онъ продержалъ его въ плѣну три мѣсяца, и потомъ отпустилъ на волю [101]). Какъ не сознаться, что такое великодушіе въ своемъ родѣ не уступаетъ ни нашему Ильѣ Муромцу, ни испанскому Сиду? Но неужели же необходимо для объ-

---

[98]) Таковъ напримѣръ герой шведскій Гуннаръ (см. Uhland, Schriften, VI, 117).

[99]) См. на прим. у Gautier, Epopées Françaises, II, p. 54, 79—80, 351.

[100]) Fauche, Romayana, VIII, 4, 5.

[101]) Paul Janet, l'unité morale de l'espèce humaine, въ R. D. D. Mondes, 15 Oct. 1868 г., p. 907). Ср. Carriere, die Kunst etc:, I, 130.

ясненья подобной черты доискиваться какого нибудь вліянія на Негровъ со стороны, вліянія и на нихъ какой нибудь высшей, міровой образованности?

Извѣстно, какъ сильно преувеличены были нѣкоторыми будто бы міровое, смягчительное и возвышающее значенье буддизма. Надо думать, что и г. Стасову, если бы онъ не увлекся почти исключительно *эпическимъ остовомъ*, заманчивымъ показалось бы выводить и самую *человѣчность* нашего Муромца изъ мягкихъ, человѣчныхъ сторонъ буддизма. И едва ли въ подобномъ случаѣ могли послужить помѣхою такія *основныя несходства*, какъ крайняя дикость въ проявленіяхъ буддійскаго состраданія и самоотверженья, или же какъ совершенное безразличіе для буддійской нравственности, *человѣку ли* надо помочь, или какому нибудь *животному*. Извѣстны тѣ расказы про самого Будду, въ которыхъ онъ, для утоленія голода встрѣчающагося ему звѣря, даетъ на съѣденіе какую либо изъ частей собственнаго своего тѣла [102]). Но то-же самое, въ видѣ заповѣди, высказывается и въ слѣдующихъ словахъ: путь добродѣтели—не истреблять ничего живого. Ибо сказано: не обижать—это правило добродѣтельныхъ и праведныхъ, а потому щади даже вшей, блохъ, осъ» и т. п. «Кто рубитъ деревья и убиваетъ скотъ, обагряетъ себя кровью, какъ можетъ онъ войти въ рай?—Для кого же тогда будетъ адъ?» [103]).

Между тѣмъ нельзя не замѣтить, что даже въ сказаньяхъ тѣхъ тюркскихъ народцевъ, чрезъ которыхъ, по извѣстному ученью, должны были переходить въ Европу сказанья буддійскія, не оказывается въ значительной степени отраженья подобнаго буддійскаго милосердія и самоотверженья. Зато въ сборникѣ Радлова, а отчасти и въ другихъ, попадаются нѣкоторыя нравственныя черты, которыя очень удобно могли бы быть сближены съ извѣстными нравственными чертами нашего Ильи Муромца. Если г. Стасовъ, занятый собственно *остовомъ*, не обратилъ на все это никакого вниманія, то я готовъ сдѣлать это за него.

Въ пѣснѣ Томскихъ Шоровъ женщинѣ богатыршѣ, побѣдившей чудовищнаго насильника хана, спасенные ею изъ его внутренности предлагаютъ *дань*. «Не возьму у васъ дани, мнѣ ея не нужно; *гдѣ вы прежде жили, тамъ и теперь живите*.»—Въ пѣснѣ Мрасскихъ Шоровъ, Каратти Перганъ спасаетъ людей изъ внутренности большущей лоси. «Сколько въ годъ возмешь ты съ насъ дани?»—«Ничего не возьму; *откуда пришли вы, туда и ступайте*». Въ монгольскомъ «Шидди-Курѣ» Масангъ съ телячьей мордой (рожденный отъ коровы), выбравшись изъ ямы, въ которой вѣроломно оставили его товарищи, находя ихъ, пускаетъ для страха, на воздухъ стрѣлу, и дѣйствительно ихъ пугаетъ. Товарищи, для мировой, предлагаютъ ему своихъ женъ. «Мнѣ не надо вашихъ женъ.... *оставайтесь жить по прежнему*, прощайте.» Въ пѣснѣ Сагайцевъ творцы заповѣдуютъ Тарбѣ—Киндши: «не позволяй себѣ никакой несправедливости, не убивай никакого человѣка»

[102]) Нѣчто подобное встрѣчается и въ Рамаянѣ. Голубь, преслѣдуемый коршуномъ, ищетъ спасенія нагруди у Шивы. Коршунъ требуетъ у него своей добычи. Въ видѣ выкупа Шива даетъ ему собственное свое сердце (Fauche, R. II, 65).

[103]) Benfey, Pantscha—Tantra, II, 235—236.

Въ пѣснѣ Коибаловъ, Алтынъ—Мергэна, умилостивляютъ побѣжденные имъ: «ступайте себѣ домой,» говоритъ онъ. Въ пѣснѣ Кизильцевъ Сюдей-Мергэлъ сначала велитъ отрубить своимъ зятьямъ обманщикамъ головы а потомъ: «да подастъ мнѣ Господь Богъ блага,—не рубить имъ головъ!» [104])

Если въ двухъ послѣднихъ примѣрахъ отличье отъ нашихъ былевыхъ чертъ составляетъ такое заповѣдыванье милосердія *Богомъ*, а еще болѣе *ожиданье за это награды* отъ Бога; то въ первыхъ примѣрахъ даже совершенно подходитъ къ словамъ Ильи подъ Черниговомъ соединяющееся съ отказомъ отъ дани выраженіе тюркскихъ богатырей: «живите по прежнему,» и т. д. Но тутъ это—*разрозненныя* черты, приписываемыя *то тому*, *то другому лицу*, тогда какъ у насъ онъ всѣ сливаются въ одномъ богатырскомъ лицѣ, какъ *стройное цѣлое*, составляющее *постоянный установившійся нравъ* Ильи Муромца. Вотъ на этомъ-то основаніи, а также и на томъ, что сравнительно съ нашими инородцами мы несомнѣнно занимаемъ болѣе высокую нравственную ступень, я бы и склонился скорѣе къ тому, чтобы видѣть въ извѣстныхъ высокихъ проблескахъ въ ихъ сказаніяхъ извѣстную долю вліянія съ нашей стороны. Но это только въ томъ случаѣ, если необходимо держаться *ученія о заимствованіяхъ*. Я однакоже не считаю такого ученья необходимымъ, а потому и думаю, что наши инородцы могли и сами, собственными своими силами, доходить до извѣстныхъ понятій сочувственныхъ, человѣчныхъ—какъ въ своей жизни, такъ и преимущественно въ эпосѣ, всегда отражающемъ жизнь въ свѣтѣ болѣе чистомъ и яркомъ. Но всетаки, повторяю, всѣ тѣ отдѣльныя, разрозненныя черты сходства съ нашимъ отечественнымъ богатыремъ, какія находимъ мы какъ у Тюрковъ, такъ и въ древней Индіи или средневѣковой Европѣ,—это черты отдѣльныя, разнесенныя на нѣсколько лицъ, и такое стройное цѣлое, какъ совмѣщенье всего этого въ нравѣ нашего Муромца, не могло образоваться путемъ искусственнаго, мозаическаго составленія.

Мнѣ остается теперь внимательнѣе разсмотрѣть заключительную часть извода: пріѣздъ Ильи Муромца въ Кіевъ;—разсмотрѣть со стороны его бытовыхъ особенностей и тѣхъ нравственныхъ чертъ, которыми, какъ увидимъ, только полнѣе и далѣе развиваются черты и особенности остальныхъ, уже намъ извѣстныхъ, частей. Одною изъ нихъ еще болѣе, такъ сказать, оттѣняется *безсребренность* Ильи Муромца; она тутъ именно, въ прямомъ смыслѣ *оттѣняется*, и *тѣнію* служитъ противоположный свойствамъ Ильи проблескъ нѣкотораго сребролюбія въ князѣ Владимірѣ. У Рыбник. въ ч. II, п. 63 (А. Сорокина) когда дѣти Соловья сулятъ Ильѣ множество денегъ, онъ велитъ имъ катить ихъ къ Кіеву: «можетъ тамъ я вамъ отдамъ кормильца батюшку». Между тѣмъ и въ Кіевѣ онъ не отдаетъ имъ его, не смотря на то, что Соловей, и самъ прося воли, обѣщаетъ выстроить село вокругъ Кіева. Но онъ плохо смекнулъ, только что передъ тѣмъ поднявъ свой свирѣпый свистъ. «Не строитель онъ вѣковой, а разоритель» заключаетъ Илья, указывая на него,

[104]) Radloff, Proben, I, 353, 387, II, 277, 304, 634. Шидди Куръ, перев. Гомбоева—въ VI ч. Этн. Сб., стр. 26.



какъ на начало отрицательное, враждебное жизни, а потому и подлежащее истребленію. Соловья сажаютъ въ погребъ и засыпаютъ песками. (Сходно съ этимъ оно и у Рыбн. въ ч. I, въ прозаическомъ—(уже разложившемся) окончаніи пѣсни 9-ой: Соловья зовутъ тутъ—неизвѣстно кто—и зовутъ (уже проблескъ вліянія христіанскаго) во честные монастыри, но онъ оказывается въ нихъ «не строителемъ, а разрушителемъ,» и Илья *разсѣкаетъ* его. Но когда дѣти Соловья, сообразно приказу Ильи, прикатываютъ въ Кіевъ свое имѣнье богачество,—Илья вдругъ является ихъ защитникомъ. Обзарился на имѣнье-богачество Владиміръ князь, а Илья замѣчаетъ ему про дѣтей Соловейки: «не тобой они приказаны, не тобой и назадъ отпустятся.»[105]) И дѣйствительно, съ полнымъ сознаніемъ на этотъ разъ и своего права, и своей власти (какъ въ другомъ случаѣ *слава*, такъ въ этомъ случаѣ *власть* оказывается ему нужною *для чужой пользы*), Илья отдаетъ соловьинымъ дѣтушкамъ все ихъ имѣнье-богачество и отпускаетъ ихъ, говоря:

Катите все имѣнье-богачество
Всю несчетну золоту казну:
Оставлена вамъ отъ батюшка,
Будетъ пропитатися до смерти,
Не надо вамъ по міру ходить да скитатися!»

Они покатили имѣнье—заплакали. Черта эта, правда, стоитъ одиноко; сверхъ того, она попадается въ пѣснѣ, сведенной изъ многихъ другихъ, и, какъ увидимъ мы въ своемъ мѣстѣ, даже разнородныхъ и взаимно противорѣчивыхъ; наконецъ пѣсня, въ которой она попадается, изобилуетъ многими, явно позднѣйшими вставками и распространеніями. Тѣмъ не менѣе эту черту, какъ и нѣкоторыя другія въ той же былинѣ, можно, не обинуясь, принять за подлинную, прямо относящуюся къ той же порѣ развитія нашего эпоса, къ которой относятся и всѣ остальныя, бытовыя и нравственныя черты всѣхъ только что разсмотрѣнныхъ пересказовъ. Во первыхъ, это особое проявленіе безсребренности въ Ильѣ вполнѣ соотвѣтствуетъ всѣмъ другимъ ея проявленіямъ въ немъ; во вторыхъ выказывающимся тутъ превосходствомъ Ильи надъ Владиміромъ только дополняется превосходство его надъ нимъ во всѣхъ, уже намъ знакомыхъ былинахъ; въ третьихъ на тотъ же самый сребролюбивый нравъ солнышка кіевскаго намекается, повидимому, отвѣтомъ ему Соловья: «я не твой хлѣбъ кушаю, не тебя князя—*вора* и слушаю»—черта тѣмъ болѣе замѣчательная, что уцѣлѣла она въ такомъ пересказѣ, гдѣ Владиміръ уже окруженъ настоящимъ внѣшнимъ величіемъ, гдѣ въ отношеньяхъ къ нему является даже много подобострастнаго (Кир. I, VI, 1). Тотъ же корыстный нравъ наконецъ выказывается у Владиміра, уже со всею ясностію, и въ другихъ случаяхъ, въ отношеніяхъ къ другимъ богатырямъ, какъ обстоятельно укажемъ мы въ своемъ мѣстѣ (Кир. IV, стр. 84; Рыбн. I, стр. 273, 279, 321; II, 145. III, 121, 125.), Сребролюбіемъ, какъ бы наслѣдованнымъ отъ отца, отличается и дочь владиміровa, (говорится о ней вообще въ немногихъ пересказахъ). «По словамъ Бутылки (пѣвца), замѣчаетъ г. Рыбниковъ, дочь княженецкая (она выбѣжала вмѣстѣ съ отцомъ и матерью на

[105]) Сходно съ этимъ Рено говоритъ другимъ баронамъ, что король Іоонъ взятъ въ плѣнъ имъ, а потому онъ же и распорядится его участью—и распорядится также человѣколюбиво (Renaus de Montauban, 248).

встрѣчу Ильѣ Муромцу) увидѣла на рукѣ у Соловья золотъ перстень и ухватилась было за перстень; а Соловей ей перстъ и оторвалъ, Илья же Муромецъ тутъ ей выговорилъ: «всю бы руку захватилъ Соловей, такъ и всю бы пооторвалъ» (Рыбн. III, стр. 14, выноска). То-же стремленье къ добычѣ мы могли уже видѣть въ другомъ княжескомъ лицѣ нашего эпоса—въ Вольгѣ Святославговичѣ, на миѳическій образъ котораго налегли, какъ мы знаемъ, нѣкоторыя черты, свойственныя главѣ дружины. Между тѣмъ какъ Микулушка Селяниновичъ вспахиваетъ свое необъятное поле, Вольга Святославговичъ со своею дружиною прогуливается по городамъ за получкою. По лѣтописнымъ сказаніямъ, какъ извѣстно, это стремленье къ получкѣ, обратившись въ страсть, сдѣлалось причиною злополучной смерти одного изъ древнѣйшихъ князей, дѣда владимірова, Игоря. Что̀ мудренаго, если и внуку приписывается нѣкоторыми былинами тотъ же сребролюбивый нравъ, столь обычный въ главѣ дружины. Мы видѣли его наконецъ развитымъ до нельзя въ германскомъ эпосѣ, а стихія германская и вообще довольно замѣтна въ нашихъ древнѣйшихъ князьяхъ-варагахъ.

Но Владиміръ представился намъ до сихъ поръ собственно со сторонъ, ни мало не привлекательныхъ. Въ немъ есть и другія, дающія ему право и иносказательно называться солнышкомъ. Кромѣ образа князя дружинника, сроднаго и князю богатырю Вольгѣ, и носящаго печать германской стихіи, въ немъ еще выказывается другой, уже скорѣе славянскій—образъ ласковаго хозяина земли русской. Къ нему-то, за его радушный столъ, прибываетъ вдругъ богатырь крестьянинъ. Въ такомъ поставленіи съ глазу на глазъ стольнаго князя съ пахаремъ собственно только повторяется сопоставленіе Селяниновича съ Вольгой. Если Илья Муромецъ и оставилъ свою работу крестьянскую для работы въ полѣ ратномъ, то не даромъ онъ взялъ съ собою, какъ мы знаемъ, въ ладонку, горсть родной земли, а сверхъ того пустилъ еще кусокъ хлѣба въ Оку рѣку—въ благодарность за то, что она взростила его вспоила. (Воспом. Даля. [106]) Илья во всемъ остается вѣрнымъ обычаямъ своей сельской родины. Ему уже тридцать лѣтъ, а онъ, по первобытному началу зависимости и взрослыхъ дѣтей отъ родителей, до сихъ поръ еще господствующему въ нашемъ крестьянствѣ, не рѣшается ничего предпринять безъ благословенья родительскаго.

Что не бѣлая березынька къ землѣ клонится,
Приклонялся Илюшка къ своему батюшкѣ,
Къ государынѣ своей матушкѣ...

Соблюденъ даже этотъ обычный въ народѣ уменьшительный оборотъ въ самомъ имени (Кир. I, III, 1).

Не сырой дубъ къ землѣ клонится,
Ни бумажныя листочки разстилаются,
Разстилается сынъ передъ батюшкомъ,
Онъ и проситъ себѣ благословеньица...

---

[106]). Кир. I, прил., стр. XXXIII.

А получивъ его на поѣздку въ Кіевъ,

Поклонился Илья Муромецъ отцу до земли...
(Кир. I, III, 4)
Онъ просилъ у родимова батюшки
Благословенья великаго,
Во вѣки ненарушимаго... (Кир. I, VI, 1)
Подходилъ Илья Муромецъ,
Земнымъ поклономъ чевствовалъ своихъ родителей
Просилъ у нихъ крѣпкаго благословенія. (К. IV, 1).

Даже въ томъ пересказѣ (Кирши Данилова), гдѣ это выражено короче, все-таки сказано, что Илья беретъ благословенье великое у отца съ матерью. (Кир. I, III, 8) Замѣчательно, что и многіе другіе богатыри просятъ у родителей благословенія на какое либо предпріятіе, но и не получивъ его рѣшаются пуститься въ дорогу, за чтò обыкновенно расплачиваются дорого. Илья же никогда не является подобнымъ примѣромъ наказаннаго непослушанія. Нарушенье завѣта отцовскаго, какъ мы видѣли, нарушеніе только по буквѣ, но не *по духу*. Пересказы рыбниковскіе придаютъ, это правда, больше самостоятельности Ильѣ: въ нихъ онъ большею частію самъ налагаетъ на себя завѣтъ—чтò, впрочемъ, встрѣчается и въ нѣкоторыхъ пересказахъ Кирѣевскаго;—но такъ какъ рыбниковскіе забываютъ даже сказать объ испрошеніи благословенія у родителей, столь послѣдовательно проходящемъ черезъ всѣ пересказы Кирѣевскаго, [107]) то въ этомъ нельзя не видѣть порчи, позднѣйшаго искаженія.

Илья Муромецъ крестьянскій сынъ, и притомъ даже въ тридцать лѣтъ покорный сынъ, собирается прямо нà прямо въ стольный городъ—явиться съ глаза нà глазъ стольному князю. Попадается на пути Черниговъ градъ, но онъ представляется крестьянскому сыну, или же крестьянскимъ пѣвцамъ былинъ, населеннымъ *мужиками*. (Такъ оно, впрочемъ, только въ пересказахъ Рыбникова—I, 9, 10; II, 63; III, 5, 6.) Если вѣрно то производство этого имени, какое предлагается С. М. Соловьевымъ: *мужикъ*—уменьшительное отъ *мужъ*—то имя это могло появиться у насъ только съ развитіемъ сословныхъ отношеній, и тотъ оттѣнокъ презрѣнія, который въ такомъ случаѣ въ немъ заключается, рѣшительно не соотвѣтствуетъ первенству богатырскому крестьянина Ильи Муромца. Поэтому самое выраженіе *мужики* должно было тутъ появиться гораздо позже и замѣнить какое нибудь древнѣйшее,—можетъ быть, слово *крестьяне*—скорѣе почетное, чѣмъ унизительное, такъ какъ первоначально оно было равнозначущимъ слову *христіане*. Во всякомъ случаѣ замѣчательно тутъ отсутствіе особаго имени *для горожанъ*, указывающее на несознаваніе народомъ особенностей собственно *городской жизни*. Правда, въ Черниговѣ оказывается *воевода*, но слово это въ древнемъ своемъ значеніи выражаетъ не чтò иное, какъ *старѣйшина*. *Вои* въ древнемъ смыслѣ—только члены *семьи*, дома; *войско*—населеніе дома; а потому и воевода только старѣйшина. [108]) Одинъ замѣчательный пересказъ Кирѣевскаго знаетъ въ Черниговѣ *князей* и *бояръ*; но, чтò касается перваго имени, то кому же не извѣстно обо-

---

[107]) Съ ними согласны и сказки объ Ильѣ Муромцѣ.

[108]) См. у Иречка: Das Recht in Böhmen und Mähren, I, 31. Тутъ указывается и на то, что у Сербовъ и теперь еще слово војска означаетъ населеніе дома. Колико имаш војске у kyhи? до сихъ поръ спрашиваютъ жителей Бокка ди Коттаро.



значеніе *князем*ъ—жениха, т. е. будущаго главу дома; кто не знаетъ изначальнаго множества на Руси и у прочихъ Славянъ — князей, т. е. тѣхъ же *старѣйшинъ*; наконецъ и второе имя—*бояринъ*, по древнему произношенію *болярииъ*, опять означаетъ только *большаго* въ томъ же первобытномъ смыслѣ, т. е. *старѣйшаго*, *старшину*. Что не иначе, какъ именно такъ все это должно быть понято въ нашей былинѣ, это видно въ ней изъ того, что князья черниговскіе, желая узнать, кто такой Илья, спрашиваютъ его просто:

Какъ тебя честнымъ именемъ зовутъ,
Какъ тебя величаютъ по отечеству?

Для нихъ важно только это одно; уже самое имя человѣка, оказавшаго имъ такую услугу, является *честнымъ*; не чувствуется никакой потребности въ особенномъ чинѣ, званіи, въ какихъ либо особыхъ отличкахъ, кромѣ одного имени и изотчества. И Илья отвѣчаетъ имъ въ томъ же духѣ:

Меня именемъ зовутъ Илейкой,
А величаютъ—сынъ Ивановичъ.

Въ этомъ одномъ наименованіи—по батюшкѣ, до сихъ поръ употребительномъ у насъ *во всемъ* народѣ—уже достаточное *величаніе*. Больше ничего и не надо *князьямъ-боярамъ* черниговскимъ; теперь они уже спокойно зовутъ Илью на пиръ къ воеводѣ, зная, какимъ образомъ его *величать* за столомъ (Кир. I, ш, 4). Сходно съ этимъ оно и у Рыбн. II, 63, III, 5, только къ вопросу Ильи прибавляется тутъ: изъ коей ты земли, изъ коей *орды* (послѣднее, очевидно, черта уже позднѣйшая, по-татарская). По одному изъ пересказовъ Кирѣевскаго Черниговцы вовсе не спрашиваютъ, кто такой Илья по имени и изотчеству, а называютъ его *богатыремъ честнымъ* и точно также предлагаютъ ему власть надъ городомъ, какъ въ другихъ пересказахъ—*Ильѣ Ивановичу* (Кир. IV, 1). Только по одному изъ пересказовъ Рыбникова *мужики* черниговскіе (тутъ бекетовскіе) говорятъ Ильѣ: не знаемъ тебѣ ни имени, ни изотчины, коей ты орды, коей земли, коего ты отца, коей матери, и сверхъ того прибавляютъ: «царь ли ты, царевичъ ли, король ли ты, королевичъ ли» (отъ Ник. Прохорова). Но уже самая распространенность вопроса говоритъ о томъ, что это могло только съ теченіемъ времени нарости, какъ наростомъ является въ отвѣтѣ Ильи: «*я старый казакъ* Илья Муромецъ!» (Рыбн. I, 9; II, 63). Замѣчательно наконецъ, что во всѣхъ почти пересказахъ (Кир. IV, 1. Рыбн. I, 9; II. 63; III. 5, 6), предложеніе денегъ и власти дѣлается Ильѣ всѣми жителями, почему и въ отвѣтѣ его господствуетъ мѣстоименіе множественнаго числа. Только у Кир. I, ш, 4—Нижегор. Губ.—предложеніе дѣлается воеводою со князьями-боярами; но во первыхъ тутъ имѣется только приглашенье *на пиръ*; во вторыхъ же самые обороты вопроса, дѣлаемаго этою только кажущеюся *знатію*, Ильѣ Муромцу на счетъ его *имени*, указываютъ, какъ мы уже и видѣли. на чисто *земскій* характеръ этихъ старшинъ: князей-бояръ признали мы за бóльшихъ, старшихъ въ семьяхъ (домахъ), а воеводу должно признать за нáбольшаго надъ ними надо всѣми. Но если извѣстно, что и главы семей уже издавна являются у Славянъ и *выборными*, [109]) то тѣмъ болѣе вы-

[109]) ...«Умре ли глава челедина, дѣти всѣ ту сбожь- це»... читаемъ мы въ «Судѣ Любуши». Ср. въ моемъ онъ въ једно влацу, владику си з рода выберу- Ист. Обозр. Р. Слов. стр. 132.



борнымъ слѣдуетъ признать общаго ихъ воеводу.—Повидимому, нѣчто, относящееся уже къ другому кругу воззрѣній, слѣдуетъ видѣть въ томъ же пересказѣ Кирѣевскаго въ пощадѣ, оказываемой Ильею *собственно* татарскимъ *царевичамъ* и въ самомъ его выраженіи: «какъ съ васъ головы снять, *царски сѣмена погубить*». Наконецъ, къ совершенно особому кругу, и кругу, очевидно, позднѣйшему, должны быть отнесены слова, приросшія у Рыбн. II, 63 къ уже намъ извѣстному выраженію Ильи: «не дай Богъ дѣлать изъ богатыря воеводу». Передъ этимъ находится тутъ еще: «не дай Богъ дѣлать съ барина холопа, съ барина холопа, съ холопа дворянина, дворянина съ холопа, изъ попа палача». И баринъ, и дворянинъ, и холопъ, и палачъ—все это уже выраженья позднѣйшаго времени русской исторіи.

Господство, при разобранномъ нами похожденіи, не этихъ московскихъ, а болѣе древнихъ воззрѣній, которыя можно назвать *кіевскими*, подтверждается и господствующими бытовыми чертами той части нашихъ былинъ, въ которой повѣствуется уже о самомъ пріѣздѣ Ильи Муромца въ *Кіевъ*. Но вѣдь уже и одно это имя, вмѣстѣ съ именемъ *стольнаго князя Владиміра*, заставляетъ считать тутъ подлинными и первоначальными *такія* черты, и только наростомъ и порчею черты византійско-московскія.

По цѣлому ряду былинъ (исключеніе составляютъ всего *два* пересказа у Рыбникова) Илья Муромецъ также прямо и просто и пріѣзжаетъ и обходится съ княземъ Владиміромъ, какъ бы пріѣхалъ и сталъ относиться къ какому нибудь хозяину въ деревенскомъ домѣ. Конь оставляется на дворѣ, а богатырь, ни у кого и не спрашиваясь, поднимается на крыльцо къ князю. Двери, повидимому, просто отворены настежь: въ противномъ случаѣ, при эпической привычкѣ описывать самыя обыкновенныя мелочи, объ отвореніи ихъ было бы упомянуто. Только у Рыбн. въ ч. III, п. 5 (Тр. Романова) говорится, что онъ ѣхалъ не воротами-приворотнями, а переѣхалъ прямо черезъ стѣны городовыя. Но кто хоть сколько нибудь почиталъ былинъ, тому должно быть извѣстно, что подобнымъ образомъ въѣзжаютъ только недруги, что это входъ неуважительный и притомъ неуважительный съ *умысломъ*, самый же этотъ рыбниковскій пересказъ въ дальнѣйшемъ своемъ содержаніи не представляетъ ни малѣйшей вражды или неуваженія со стороны Ильи къ Владиміру. Ясно, что такой способъ въѣзда приросъ сюда отъ другихъ былинъ, вслѣдствіе возможнаго только въ позднѣйшее время смѣшенія ихъ содержанія. Такою же порчею и приростомъ въ одномъ изъ этихъ пересказовъ слѣдуетъ считать то, что Илья входитъ, не спрашивая *приворотниковъ* и *придверниковъ*: подобные люди даже и не упоминаются во всѣхъ остальныхъ пересказахъ, и только въ одномъ изъ нихъ (Н. Прохорова), гдѣ Илья не застаетъ Владиміра дома, ему навстрѣчу попадается *хлѣбница* княжеская и онъ у нея распрашиваетъ, гдѣ князь (Рыбн. I, 9). Одиноко стоитъ въ томъ же пересказѣ и втыканіе Ильею копья тупымъ концомъ въ землю и привязываніе къ нему коня богатырскаго. Обыкновенно онъ привязываетъ его къ дубовому столбу, или же *просто* привязываетъ (столбъ какъ бы подразумѣвается). Нѣкоторыми пересказами прибавляется, что онъ «привязываетъ, никому не приказываетъ» — потому, можетъ быть, что приказать, т. е. поручить, и не кому (Кир. I, III, 1.

Рыбн. III, 6 — въ этомъ послѣднемъ пересказѣ потомъ онъ надумывается поставить сторожемъ у коня Соловья; также у Р. II, 63,). Одинъ пересказъ прибавляетъ къ столбу кольцо *золоченое* (Рыбн. I, 9), что можно бы было считать позднѣйшимъ (извѣстно лѣтописное сказаніе о *деревянныхъ ложкахъ* Владиміра), если бы *золото, позолота* не являлась уже въ отдаленныя времена по *миѳическимъ* основаніямъ. Въ нѣкоторыхъ пересказахъ Илья входитъ *во гридню* къ Владиміру (Кир. I, ш, 6—пересказъ Кирши; Рыбн. I, 9, III, 5), по другимъ—въ *палаты* (Кир. I, ш, 1, 3, Рыбн. III, 6). Но и это послѣднее слово можетъ быть тутъ издавнимъ, такъ какъ прежде съ нимъ вовсе не соединялось понятіе о жильѣ непремѣнно роскошномъ и непремѣнно знатномъ.— Зато на знатность обстановки, повидимому, указываетъ то, что Владиміръ во многихъ пересказахъ окруженъ не только *могучими богатырями*, но и *знатными князьями съ боярами* (Кир. I, ш, 4, 6; IV, 1) а въ нѣкоторыхъ даже одними *князьями-боярами* (Кир. I, ш, 3. Рыбн. I, 9). Но вѣдь мы знаемъ уже, что и эти наименованія въ древности имѣли значеніе земское, являлись равнозначущими домовымъ старшинамъ, а потому одно только прилагательное *знатные* должно быть принято тутъ за позднѣйшую примѣсь. Чертою, стоящею совершенно особнякомъ, являются у Рыбн. I, 9 *подколѣнные* князья при Владимірѣ (вѣроятно, въ нихъ надо видѣть эпическое отраженье *удѣльной* поры) которымъ особый поклонъ отвѣшиваетъ тутъ Илья Муромецъ. Самые *поклоны* Ильи имѣютъ свой смыслъ и явно указываютъ на то, что весь этотъ владиміровъ *дворъ* имѣетъ просто значеніе всегда переполненнаго гостями большаго, и, пожалуй, богатаго дома. Вездѣ тутъ просто *поклоны*, а не *челобитье*; и притомъ поклоны—князю со княгинею и *на всѣ на четыре стороны*, или даже прежде—*на всѣ на четыре сторонки*, а потомъ—Владиміру князю въ особину, (Кир. I, ш, 6, vi, 1; Рыбн. I, 9, II, 63, III, 5). Словомъ Илья, приходя къ Владиміру, ведетъ себя совершенно также, какъ каждый русскій человѣкъ при приходѣ въ гости куда бы то ни было. Что касается князя, то онъ обращается къ неизвѣстному доброму молодцу съ такимъ же точно вопросомъ, съ какимъ обратились къ нему въ Черниговѣ: «чей ты и откуда?» А онъ въ отвѣтъ: «я изъ Мурома, изъ села Карачарова, Илюшка Ивановъ сынъ» (Кир. I, ш, 1). Тотъ же отвѣтъ—и на нѣсколько иначе выражаемые (въ сущности тѣ же) вопросы въ другихъ пересказахъ: «котораго города, которой земли, какъ молодца именемъ зовутъ? (Кир. IV, 1, Рыбн. III, 5) или: «ты откулѣшный, дородный добрый молодецъ?» (Рыбн. I, 10; II, 3) И для стольнаго князя вполнѣ достаточно однихъ этихъ свѣдѣній; и ему никакого нѣтъ дѣла до чина, или происхожденія. Правда, иной разъ онъ говоритъ: «по имени тебѣ можно мѣсто дать, *по изотчеству* пожаловать» (Кир. I, ш, 6—Кирши Данилова);—но и тутъ только *по отцу*, выше по родословной линіи къ *предкамъ* молодца не подымается стольный князь, и, подобно воеводѣ черниговскому, онъ вполнѣ удовлетворенъ отвѣтомъ: «я Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ» (Кир. I, ш, 6; Рыбн. II, 63; III, 5). (Въ пересказѣ Кирши Ильѣ при входѣ даже подносятъ чашу зелена вина въ полтора ведра). Если и есть что обиднаго въ отношеньяхъ къ нашему крестьянскому сыну князя и его князей-бояръ, то это ихъ невѣріе, что онъ дѣйствительно совершилъ никому не да-

вавшійся подвигъ. Иной разъ ему говорятъ добродушно: «заврался ты, добрый молодецъ»; Илья же оправдывается, въ свою очередь величая *добрыми молодцами* приближенныхъ княжескихъ (Кир. I, ш, 1). Но въ другихъ пересказахъ отзываются при этомъ и рѣзче въ третьемъ лицѣ: дѣтина завирается (Кир. I, ш, 6 (пересказъ Кирши) IV, 1). Наконецъ въ пересказѣ Рябинина Владиміръ говоритъ ему: «во глазахъ *мужикъ* ты насмѣхаешься, во глазахъ *мужикъ* ты надлыгаешься» (Рыбн. I, 10). Такъ какъ слово *мужикъ* тутъ звучитъ презрительно, то оно явно выдаетъ себя какъ наростъ на этихъ былинахъ, отличающихся совершенно другимъ порядкомъ вещей...

Но мы разсмотрѣли до сихъ поръ только самыя общія ихъ черты; теперь же обратимъ вниманіе на нѣкоторыя особенности въ томъ или другомъ пересказѣ, особенности, которыми только болѣе оттѣняется и дорисовывается таже своеобразная бытовая картина. Начнемъ опять съ пересказовъ Кирѣевскаго.

Въ вып. I, отд. III, п. 1 (Симб. Губ.) Илья говоритъ Владиміру: «дай проѣзжему доброму молодцу мѣстечка немножечко».—«Кто до молодцевъ дородился, отвѣчаетъ Владиміръ, тотъ самъ себѣ мѣсто найдетъ». Это, конечно, уже не радушный пріемъ; но этимъ указывается только на то, что мѣста богатырскія у Владиміра добываются подвигами. И Илья тутъ же доказываетъ князю, что у него по крайней мѣрѣ имѣется сила недюжинная: слѣдуя указанію князя, онъ самъ себѣ мѣсто находитъ, да такъ, что *какъ онъ сѣлъ да пожалъ, у другого красный сокъ побѣжалъ*.

Въ видѣ дальнѣйшаго объясненія можно привести соотвѣтственное мѣсто изъ сѣверной Нарнагестъ-Заги. Тутъ самъ Гестъ, приходя подъ именемъ Токе къ королю Олафу, расказываетъ ему, какъ въ былое время посѣтилъ онъ королей Грольфа и Гальфа, и какъ у каждаго ему было сказано, что онъ найдетъ доступъ ко столу королевскому, если только ему удастся выпихнуть кого нибудь изъ сидящихъ за нимъ съ его мѣста. Не мало пришлось таки повозиться гостю богатырю, но наконецъ, при помощи богатырскихъ рукъ, онъ нашелъ себѣ мѣсто у Грольфа повыше, а у Гальфа только пониже. Между тѣмъ все это имѣетъ значенье простаго *испытанія силы* и нимало не соединяется съ какимъ нибудь нерасположиніемъ къ незнаемому богатырю или же желаніемъ выказать ему презрѣніе [110]),

Возвращаясь къ нашему Ильѣ Муромцу, перехожу къ 3 пѣснѣ III отд. 1 вып. Кирѣевскаго (Симбирской же Губ.). Тутъ Владиміръ при входѣ Ильи нѣсколько особеннымъ образомъ его спрашиваетъ:

Кіевскій князь распрашивать сталъ
Гдѣ проѣзжалъ-проѣзживалъ?
Ужь ты кто и *какой ты богатырь?—*
*Богатырь я самъ Илья Муромецъ.*

А въ пѣснѣ 4-й (Нижегородской Губ.):

Пріѣзжалъ Илья Муромецъ во Кіевъ градъ
И вскричалъ онъ громкимъ голосомъ:
«Ужъ ты батюшка Володиміръ князь
*Тебѣ надо ль насъ*, принимаешь ли
*Сильныхъ могучихъ богатырей*,
Тебѣ батюшкѣ на почесь хвалу,
Твоему граду стольному на изборечье».....
—«Да какъ васъ не надо-то!
*Я вездѣ васъ ищу, вездѣ спрашиваю*».
(Стихи 126—136).

110 Uhland, Schriften, VII, 329.

Такимъ образомъ въ этомъ, какъ и въ предшествующемъ пересказѣ выказывается, что люди, окружающіе Владиміра, носятъ собственно всѣ одинъ санъ, доставляемый не рожденьемъ, а подвигами — санъ богатырскій. Но Владиміръ прибавляетъ къ этому въ той же пѣснѣ:

На пріѣздѣ васъ жалую по добру коню
По добру коню (по латынскому), богатырскому...
—«У меня свой конь (латынской) богатырской» [111]).

отвѣчаетъ Илья Муромецъ, какъ бы обиженный указаніемъ на эту, хотя бы и вошедшую въ обычай *подачку*. Владиміръ, какъ по всему видно, еще и не чуетъ, что передъ нимъ и неслыханный и невиданный богатырь. Не имѣя также понятія и о голосѣ побѣжденнаго Ильей Соловья разбойника, онъ проситъ Илью заставить его засвистать, а Ильѣ, какъ мы уже знаемъ, приходится взять при этомъ князя съ княгиней подъ пазушку. Послѣ всего этого Владиміръ говоритъ Ильѣ:

Жалую тебя тремя я мѣстами:
Первое мѣсто—подлѣ меня ты сядь,
Другое мѣсто—супроти меня,
Третье—гдѣ ты хочешь, тутъ и сядь.
Зашелъ Илья Муромецъ со конничька
Пожалъ онъ всѣхъ князей и боярей
И сильныхъ могучихъ богатырей:
Учтился онъ супроти князя Владиміра.

Это пожатіе, согласно съ пѣснею 1-й, указываетъ на то, что за столомъ у Владиміра было не такъ-то просторно. Но появленіе новаго, нежданнаго-негаданнаго богатыря съ его, на дѣлѣ оправдывающеюся похвальбою, вызываетъ чувство зависти въ одномъ изъ прежнихъ молодцевъ владиміровыхъ:

За досаду Алешѣ Поповичу показалося
Взялъ Алеша булатный ножъ
Онъ и кинулъ ёво во Илью Муромца.

Само по себѣ это киданье ножомъ должно быть эпическою чертою весьма древнею: она встрѣчается также во многихъ chansons de geste [112]). Но въ нашей былинѣ заслуживаетъ особеннаго вниманія вотъ что:

Пымалъ на полету Илья булатный ножъ
Взоткнулъ его въ дубовый столъ.

Въ отвѣтъ на страстность Алеши, со стороны Муромца тутъ—величественное спокойствіе самоувѣренности, уже хорошо намъ знакомое въ немъ, а равно и оттѣнокъ столько же хорошо намъ знакомаго богатырскаго его мягкосердія.

Въ пѣснѣ 3-й (Корсунскаго Уѣзда), гдѣ пріѣздъ къ Владиміру описывается весьма коротко, съ предшествующими пересказами сродно то, что у стольнаго князя сидятъ тутъ «во бесѣдѣ» только одни богатыри, между тѣмъ Владиміръ уже названъ *царемъ*, что̀, конечно, составляетъ тутъ черту относительно новую, тогда какъ рядомъ уцѣлѣлъ тутъ чрезвычайно древній *оттѣнокъ* въ словахъ, что Илья Муромецъ, входя въ палату, молился *чужимъ* образамъ [113]).

---

[111]). Ставлю въ скобки латынскій, такъ какъ это, очевидно, поздняя книжная вставка.

[112] Gautier, Epopées françaises, II, 75, 91, 170, 232. 298.

[113]) Съ этимъ можетъ быть сопоставлено то, что въ



Въ пѣснѣ же 6-й (взятой у Кирши Данилова) богатыри, заставаемые Ильею у князя, поименовываются: *Самсонъ* богатырь *Колывановичъ* (отчество неизвѣстное; подъ именемъ же Самсона, какъ мы знаемъ, скрывается первоначальный Святогоръ, который ниже приводится у Кирши, какъ особое существо); *Суханъ* богатырь сынъ *Домантьевичъ* (о немъ имѣется былина въ сборникѣ Рыбникова и мы разберемъ ее въ своемъ мѣстѣ), *Свѣтогоръ* (вм. Святогоръ) богатырь и *Полканъ* другой, (мы уже видѣли его въ одномъ пересказѣ на кораблѣ съ Ильей, при чемъ Полкану приписывалось первенство) и семь-то братовъ *Збродовичи*, еще мужики были *Залѣшане*, а еще два брата *Хапиловы*, только было у князя ихъ *тридцать молодцовъ*. То-же число, какъ мы знаемъ, заключалось и въ дружинѣ Вольги Святославговича. Вмѣстѣ же съ тѣмъ, какъ извѣстно, это—распространенное и не у насъ однихъ *эпическое число*. Но по имени названы тутъ всего четыре, остальные же обозначены семейными именами (семь Збродовичей и двое Хапиловыхъ) или же, повидимому, именемъ мѣстности (Залѣшане, которыхъ, за вычетомъ остальныхъ, оказывается семнадцать, а такъ какъ названы они мужиками, то въ лицѣ ихъ *мужичья* стихія оказывается тутъ господствующею у Владиміра). Надо замѣтить, что изъ всѣхъ этихъ богатырей, мы кое что еще знаемъ о братьяхъ Збродовичахъ (увидимъ въ своемъ мѣстѣ), но о Хапиловыхъ и Залѣшанахъ до сихъ поръ еще не отыскано пѣсень. Замѣчательно, что и въ числѣ извѣстныхъ богатырей тутъ почти исключительно старшіе. Но мы знаемъ уже, что эти послѣдніе силами и размѣрами превосходили Илью, а тутъ имъ приписывается такая же точно трусливость, какъ и Владиміру: всѣ они, перепуганные Соловьемъ, «на корачкахъ по двору наползалися».—Черта эта не можетъ быть первоначальною, старшіе богатыри могли только замѣшаться сюда со стороны, и цѣну имѣетъ собственно существованіе ихъ *именъ* въ сборникѣ Кирши Данилова. Между тѣмъ особенно поражаетъ то, что въ перечнѣ не поименованъ ни одинъ изъ тѣхъ богатырей, о которыхъ имѣются цѣлые ряды былинъ, какъ о *богатыряхъ владиміровыхъ* (одного изъ нихъ, Алешу, мы встрѣтили уже у Кирѣевскаго въ п. 4-й). Это можетъ быть, какъ мнѣ кажется, объяснено испорченностью заключительной части нашего, хотя бы еще и въ XVIII в. записаннаго пересказа: въ немъ замѣтно какъ бы стремленіе выставить Илью Муромца первоначальникомъ новаго поколѣнія богатырей при Владимірѣ, поколѣнія, которое оказывается тутъ *сильнѣе* старшихъ, тогда какъ по другимъ былинамъ оно выходитъ на оборотъ, да на оборотъ же должно выходить и на основаніи общихъ законовъ развитія миѳологіи. — *Перечень богатырскій* Кирши важенъ собственно какъ подтвержденіе проводимаго черезъ пересказы Кирѣевскаго господства именно *богатырской* стихіи за столомъ у Владиміра.—Въ вып. IV, п. 1-й (Арханг. Губ.) объ ней упоминается только

---

одной чешской свадебной пѣснѣ (Эрбена сб., 326) невѣста, покидая свой родной домъ, прощается и съ милымъ паномъ богомъ: въ чужомъ домѣ, у мужа, ее какъ бы ожидаетъ чужой, для нея новый богъ. Въ переводѣ на позднѣйшія христіанскія выраженія отсюда-то и могли произойти чужіе для Ильи Муромца образа у князя Кіевскаго. (Ср. въ моемъ Ист. Обозр. Р. Сл. стр. 100).

вскользь, но тутъ замѣчательна одна черта, дорисовывающая простоту отношеній Ильи къ Владиміру. Съ внѣшней стороны она уже является охристіанствованною: Илья застаетъ Владиміра въ церкви, и когда любопытный князь начинаетъ его распрашивать объ имени и объ отчествѣ, Илья отвѣчаетъ ему: «здѣсь не то поютъ, не то и слушаютъ, здѣсь идетъ обѣдня воскресенская». А Владиміръ, выслушавъ безъ сердцовъ подобный урокъ отъ крестьянскаго сына, еще «проситъ его къ себѣ на трапезу».

Теперь обратимся къ пересказамъ Рыбникова. Въ помѣщенномъ у него въ ч. I пѣснью 9-ю (записано отъ Н. Прохорова) Владиміръ, при пріѣздѣ Ильи, точно также оказывается у обѣдни (то-же и въ пѣснѣ 10-й; ч. II, п. 3; ч. III п. 5), о чемъ Илья узнаетъ отъ хлѣбницы княжеской, а узнавъ, садится дожидаться князя въ самой гриднѣ его столовой на лавочку брусовую.

Ажно приходитъ князь Владиміръ стольно кіевскій
Отъ тыя обѣденки христосьскія
Тутъ оны здоровье сдіяли,
Другъ друга здравствуютъ!
Здравствуешь, удалый добрый молодецъ
Не знаю тебѣ то имени, ни отчины...

И вдругъ за этимъ—приростъ: «царь ли ты, царевичъ ли, король ли ты, королевичъ ли?»—(Но это тотъ же самый пересказъ, въ которомъ тѣ же добавочныя слова, встрѣчающіяся довольно часто въ сказкахъ, имѣются и въ вопросѣ, даваемомъ Илѣ мужиками Бекетовцами). Узнавъ изъ отвѣта Ильи, что онъ просто старый казакъ, Владиміръ не видитъ ни малѣйшей себѣ обиды въ томъ, что такое лицо прямо усѣлось у него на лавкѣ; по крайней мѣрѣ былина говоритъ только, что безъ всякихъ чиновъ

Сѣли оны за столъ хлѣба кушати,—
Бѣлы лебеди рушати.
Поразговорился Ильюша, порасхвастался.

Но Владиміръ не вѣритъ главному: похожденію съ Соловьемъ разбойникомъ.

А видно ты, удалый добрый молодецъ,
А былъ на (царевомъ) большомъ кабакѣ! [114])
Не напился ли зелена вина,
Не пустымъ ли добрый молодецъ хвастаешь?
—*Ахъ же ты дурень, князь стольно кіевскій!*
У меня соловей разбойникъ у стремены у черкасскія.

И этотъ способъ отвѣчать князю уже рѣшительно безъ чиновъ, какъ бы своему брату, ни мало не долженъ насъ удивлять послѣ извѣстнаго намъ уже давно отвѣта Микулушки:

*Глупый* Вольга Святославовичъ (Рыбн. I, 3).

Въ пѣснѣ 10-й (зап. отъ Рябинина) замѣчательна поспѣшность, съ какою кидается Владиміръ посмотрѣть Соловья:

Скорешенько вставалъ онъ на рѣзвы ноги,
Кунью шубоньку накинулъ на одно плечо,
Шапочку соболью на одно ушко,
Скорешенько бѣжалъ онъ на широкій дворъ.

Ни въ одеждѣ, ни въ поступи—ничего еще сановитаго, царственнаго. И точно такимъ же образомъ, когда оказывается нужнымъ поднести Соловью вина,

Владиміръ князь стольно кіевскій,
Скорешенько шелъ въ палату бѣлокаменну

[114]) Ставлю царевомъ въ скобки, такъ какъ черта эта сама себя выдаетъ.

(это прилагательное какъ-то тутъ неумѣстно при всей остальной простотѣ; первоначально, по всей вѣроятности, было: *тисову* или т. п.).

Наливаетъ-то онъ чару зелена вина,
И не малую стопу—полтора ведра,
Разводилъ-то медамы стоялыма,
Подносилъ-то къ Соловью ко разбойнику.

Ясно, что вокругъ князя тутъ еще не предполагается ни чашниковъ, ни стольниковъ, всегда готовыхъ къ услугамъ, и это вполнѣ соотвѣтствуетъ такому двору, при которомъ нѣтъ съ другой стороны ни привратниковъ, ни придверниковъ (исключеніе только. Рыбн. III, 5). Въ своемъ мѣстѣ мы увидимъ въ нѣкоторыхъ былинахъ и различныхъ придворныхъ чиновниковъ у Владиміра, зашедшихъ сюда, разумѣется, уже въ позднѣйшее время. Уже у Рыбникова въ ч. II, п. 3-й (отъ старика калики), которая во многихъ отношеніяхъ сохранилась дурно, Владиміръ *приказываетъ* налить Соловью вина (кому—не сказано). Въ части же III, п. 4-й (отъ А. Сарафанова) опять совершенно иначе:

Выбѣгаетъ Владиміръ стольно кіевскій,
Со своей княгиней со Апраксіей,
Стрѣчали стараго казака Илью Муромца.

Выбѣгаетъ съ родителями и дочь княженецкая, которая при этомъ-то и зарится на золотое кольцо Соловья (см. выше стр. 306).

Всѣ эти пересказы (т. е. какъ Кирѣевскаго, такъ и Рыбникова), собранные изъ различныхъ мѣстностей, отличаются, какъ не трудно замѣтить, несомнѣннымъ единствомъ внутреннимъ. Всѣ они, взаимно пополняя одинъ другой, рисуютъ картину такого быта, при которомъ крестьянскому сыну до стольнаго князя еще вовсе не далеко, и стоитъ быть только *богатыремъ*, чтобы добыть себѣ мѣсто за радушнымъ столомъ у князя (въ большей части пересказовъ, замѣтимъ это въ заключеніе, величаемаго *ласковымъ)*. Если и говоритъ онъ Ильѣ что либо не ласковое, то только принявъ его съ перваго приступа за лгуна-хвастуна. Если и Илья въ свою очередь въ одномъ пересказѣ не ласково пожимаетъ богатырей, чтобы нашлось ему между ними мѣсто, то это скорѣе неловкость и размашистость богатырская, или же стремленіе показать свою силу и тѣмъ доказать князю свои права на богатырское мѣсто за его столомъ. Наконецъ если къ Ильѣ уже и очень не ласково относится одинъ изъ богатырей кіевскихъ, то это уже выше объяснено было завистью богатырскою, да къ тому же Алеша и вообще, какъ увидимъ мы въ своемъ мѣстѣ, отличается въ кругу прочихъ богатырей нравомъ вовсе не мягкимъ и не прямымъ, и въ немъ какъ бы скрывается какая-то сила, передѣлавшаяся и измѣнившаяся, но первоначально враждебная (сила, въ своемъ смыслѣ миѳическомъ, можетъ быть, соотвѣтственная той, какую представляетъ въ сонмѣ сѣверныхъ боговъ враждебной Локки). Во всякомъ случаѣ, во всѣхъ разобранныхъ пересказахъ, составляющихъ вмѣстѣ какъ бы одинъ изводъ, нѣтъ и тѣни враждебныхъ отношеній къ Ильѣ, какъ богатырю-выходцу, богатырю-крестьянину. Во всемъ изводѣ еще нѣтъ и того, при чемъ только и были бы возможны подобныя отношенія, — нѣтъ собственно ни *двора* великокняжескаго, ни *знати* (принимая князей, бояръ въ томъ значе-

ніи, о которомъ сказано было выше). Но у Рыбн. въ ч. III, п. 5 (Пудожскаго Уѣзда, отъ Трофима Романова) дѣло представляется уже нѣсколько иначе. Весь пересказъ вообще отличается распространенностью и многими чертами поздними, къ тому же и стихъ во многихъ мѣстахъ почти совершенно въ немъ разложился. Начинается онъ съ изцѣленья Ильи, которое тутъ охристіанствовано едва ли не болѣе, чѣмъ во всѣхъ остальныхъ пересказахъ. Когда отпоили Илью калики-апостолы, онъ говоритъ, встряхнувшись: «я теперь *корпусъ* въ себѣ имѣю». Далѣе упоминается о томъ, какъ Илья *облатился* и *обкольчужился*—выраженія, стоящія одиноко и указывающія на вооруженія временъ уже не богатырскихъ, а историческихъ. При пріѣздѣ въ Кіевъ, Илья именно въ этомъ пересказѣ и перескакиваетъ на конѣ черезъ стѣну, что, какъ мы видѣли, могло только замѣшаться сюда изъ другихъ былинъ—такихъ, гдѣ описывается пріѣздъ существа *враждебнаго*. Сверхъ того у Владиміра уже оказываются тутъ *приворотники*, которые названы даже *царевыми*. Если Илья входитъ тутъ прямо въ гридню, то уже потому только, что «у дверей не спрашиваетъ придверщиковъ, а у воротъ приворотниковъ», — такъ что съ его стороны и тутъ уже что-то какъ бы насильственное, враждебное. Но принятъ онъ Владиміромъ хорошо — такъ какъ въ этой части былины, надобно полагать, уцѣлѣлъ еще прежній строй. Зато далѣе опять Илья выходитъ на *царское* крылечико переное, глядѣть на *царскій* дворъ (*царемъ* являлся Владиміръ изъ прежде разсмотрѣнныхъ пересказовъ всего въ одномъ у Кирѣевскаго). Но на этотъ послѣдній, соотвѣтственно опять прежнему строю былинъ, сбѣжалося, безъ всякихъ чиновъ, народу множество—подивиться на Соловья разбойника. Къ концу—какъ во всѣхъ пересказахъ, но когда Владиміръ князь, заходивъ окаракою, говоритъ Ильѣ: «ты заполонилъ Соловья-то, куда хошь клади»—Илья Муромецъ, вмѣсто того, чтобы самому убить его, какъ въ другихъ пересказахъ, *приказываетъ* отрубить Соловью буйну голову.

Такою же точно *порчею*, искаженіемъ основного смысла былинъ объ Ильѣ слѣдуетъ признать у Рыбн. въ ч. IV, п. 2 (отъ А. Савинова—Пудожскаго уѣзда) то, что у Ильи оказываются тутъ (и болѣе *нигдѣ*) *слуги вѣрные*, которымъ онъ велитъ, при отъѣздѣ изъ дому, осѣдлать своего коня. Между тѣмъ, когда дѣло доходитъ до казни надъ Соловьемъ, то Илья въ этомъ пересказѣ самъ отвозитъ его во чисто поле и рубитъ ему буйну голову. Подъ самый же конецъ пересказъ этотъ заставляетъ Владиміра дарить Илью подарками великими за услугу за великую, да и самое сомнѣнье Владиміра въ дѣйствительности побѣды Ильи выражено чрезвычайно мягко, когда же Соловей оглушаетъ всѣхъ, «солнышко князь самъ на колѣнки палъ подъ лѣвую пазуху Ильѣ Муромцу.»—Въ пересказѣ Савинова не говорится, принялъ ли Илья великіе подарки княжескіе, или же отказался отъ нихъ, какъ отъ коня богатырскаго въ одномъ изъ другихъ пересказовъ. Но надо замѣтить, что въ пѣснѣ Ѳедора Никитина (Рыбн. IV, 3), гдѣ Илья *ничѣмъ не хвастаетъ*, а Владиміръ *самъ уже знаетъ про его подвигъ* и предлагаетъ ему не только золотой казны, но и городовъ съ пригородками, деревень со крестьянами (тутъ уже отразилось начало позднѣйшей *помѣстной раздачи*) или *чинъ ве-*

*лiкiй* (также принадлежность—скорѣе уже московской поры); — тутъ богатырь хотя и оказывается, по обычаю, не падкимъ ни на золото, ни на власть, но беретъ однакоже награду *умѣренную*:

Только дай мнѣ одно село Карачаево,
Столько бъ дай земли,
Что живетъ старый казакъ Илья Муромецъ,
Въ томъ селѣ Карачаевѣ.

Въ слѣдъ за тѣмъ былина заставляетъ его низко объ землю кланяться, бить челомъ князю, что столько же несвойственно Муромцу, какъ совершенно не кстати упоминаемый вслѣдъ за тѣмъ *отъѣздъ* Ильи въ поле чистое, тогда какъ по всѣмъ другимъ пересказамъ онъ остается у князя. Надо замѣтить однако же, что та же самая пѣсня Ѳ. Никитина заставляетъ съ другой стороны и князя Владимiра, при прiѣздѣ Ильи, *бить ему челомъ низко кланяться за очищенiе дорожки прямоѣзжiя* (выше уже замѣчено, что Владимiръ знаетъ о побѣдѣ Ильи, такъ что тутъ совершенно не существуетъ *сомнѣнiя* въ ней). Далѣе пересказъ этотъ отличается еще и тою особенностью, что Илья, отведенный самимъ княземъ въ палату и посаженный имъ за столъ, пока всѣ прочiе богатыри хвастаютъ, кто чѣмъ гораздъ,—одинъ побѣдитель Илья:

Ничего онъ не хвастаетъ,
За столомъ сидитъ, самъ кручинится,
Попустилъ буйну голову ниже могучихъ плечъ.

По мнѣнiю г. Рыбникова пѣвецъ тутъ «машинально перенесъ на Илью кручину удалаго молодца на пиру изъ другой какой либо былины», я же высказалъ уже въ замѣткѣ моей къ IV ч. Сборника г. Рыбникова (стр. VII) иное мнѣнiе. Во первыхъ Илья въ той же самой былинѣ успѣлъ уже похвалиться предъ княземъ—только гораздо ранѣе. Былина сводитъ *три поѣздки* съ первой поѣздкой въ Кiевъ. Удачно побѣдивъ всѣ преграды на трехъ дорогахъ, Илья прiѣзжаетъ къ Владимiру и хвалится передъ нимъ: «я очищу дорожку прямоѣзжую отъ Кiева до Чернигова.» Владимiръ, очевидно, вѣритъ, а потому-то и принимаетъ Ильюшу съ такимъ почетомъ при вторичномъ прiѣздѣ его — уже съ Соловьемъ разбойникомъ. «Такимъ образомъ, сказано уже въ моей замѣткѣ, побѣда заранѣе предобѣщана Муромцемъ; въ этомъ, такъ сказать, была уже и предпохвальба съ его стороны; за тѣмъ дѣло сдѣлано, заслуга признана, почетъ оказанъ; послѣ этого Ильѣ, особливо при его нравѣ, и остается только молчать—отъ удовлетворенности. Но, какъ знать, такая полнѣйшая удовлетворенность, не можетъ ли она, при богатырской жаждѣ постоянной, безостановочной дѣятельности, постояннаго подъятiя новыхъ трудовъ, задаванiя себѣ новыхъ цѣлей, не можетъ ли она стать для богатыря и причиною скуки,—если уже не кручины?» Выходитъ, прибавлю теперь, что если бы даже это кручиноватое *затишье* богатыря и примѣшалось сюда изъ чужихъ похожденiй, все же оно осмыслено въ духѣ самого Ильи Муромца, до такой степени хорошiе пѣвцы народные, даже и тамъ, гдѣ оказываются у нихъ смѣшенiя, носятъ въ своемъ сознанiи *цѣлое* нашего эпоса съ *установившимися обликами* отдѣльныхъ богатырей.

Былина Ѳ. Никитина, ставя поѣздку въ Кіевъ, какъ бы четвертую, вслѣдъ за *тремя поѣздочками*, есть уже былина *сводная*. Уже сама по себѣ подобная *сводность* составляетъ явленье позднѣйшее, сверхъ же того въ этой былинѣ Владиміръ названъ не только кіевскимъ, но и *владимірскимъ княземъ*, Илья, при низкомъ поклонѣ ему, забываетъ о *сторонахъ* и т. п. Зато въ самомъ свойствѣ отношеній князя къ богатырю сохранилось тутъ начало издавнее, являющееся и въ большей части другихъ пересказовъ.

Замѣчательно-позднимъ складомъ отличается одна сводная же былина у Кирѣевскаго, на которую въ свое время было уже обращено вниманіе К. Аксаковымъ, вполнѣ понявшимъ, благодаря своему удивительному чутью, ея сомнительныя достоинства. Былина эта помѣщена у Кир. въ вып. I, отд. VI, пѣснею 1-й (записана въ Шенкурскѣ). Она не только *сводная*, но и *дурно сведенная*, такъ сказать, перебитая (хотя въ ней есть и замѣчательные слѣды старины). Сначала въ ней отъѣздъ изъ Мурома, потомъ неизвѣстная ни откуда болѣе побывка Ильи на Дунаѣ, поѣздка его къ Соловью—къ великому удивленію *старшихъ богатырей*; потомъ *убіеніе* (sic) Соловья, и только вслѣдъ за тѣмъ прибытіе къ городу Кидишу и освобожденье его отъ силы; далѣе, пріѣздъ на заставу къ сыновьямъ Соловья, при чемъ оказывается снова живымъ и самъ Соловей; тамъ—пріѣздъ Ильи опять на Дунай, гдѣ перевощицей дочь Соловья, наконецъ проѣздъ въ Кіевъ, похвальба Соловьемъ и т. д. Сверхъ того, былина эта просто изобилуетъ чертами позднѣйшими. Такъ уже въ самомъ началѣ Илья просится у отца съѣздить да посмотрѣть

Земли святорусскія
*И кружала государева*,
Цёрнаго корабля, яснаго сокола
Во всѣ государевы вотцины...

На Дунаѣ, служа обѣдни Миколѣ Заруцевскому, онъ молится:

Ты поправь меня, Господи,
*Во сибирскихъ во украинахъ*...

и далѣе неразъ повторяется, что онъ ѣдетъ въ восточную сторону, въ сибирскія во украины. Соловей-разбойникъ названъ воромъ *Ахматовичемъ*, чѣмъ какъ бы указывается на извѣстнаго царя золотой орды, современника Іоанна III. При пріѣздѣ въ Кіевъ, совершенно какъ у Рыбн. III, 5,

Онъ не спрашивалъ у воротъ приворотницьковъ,
У дверей да у придверницьковъ,
Онъ беретъ двери за скобу,
Отпираетъ двери да на пяту.

способъ отпиранія, къ которому прибѣгаютъ въ былинахъ въ случаяхъ—также не мирнаго, насильственнаго прихода. Далѣе, хотя Илья кланяется, по общему обычаю, сперва на четыре стороны, а потомъ князю въ особину (это и тутъ уцѣлѣло), онъ его величаетъ уже «славнымъ княземъ кіевскимъ да владимірскимъ!»—на что Владиміръ уже съ чисто барскимъ презрѣніемъ ему отвѣчаетъ: «еще здравствуй ты дѣтина *шельщина* (должно быть испорчено изъ попадающагося въ нѣкоторыхъ другихъ пѣсняхъ — *засельщина*), ты дѣтина шельщина да *деревенщина*.» Такъ называетъ Владиміръ Илью, еще и не распросивъ, кто онъ. Князь повидимому догадывается о крестьянскомъ его происхожденіи—по одеждѣ. Такъ, по крайней мѣрѣ, можно догадываться потому, что у самого князя оказывается тутъ уже не общенародная, а осо-

бенная одежда. Немного далѣе говорится о томъ, какъ окручивается Владиміръ князь, чтобы выйти посмотрѣть Соловья; онъ уже дѣлаетъ это не наскоро, а вотъ съ какою отчетливостью:

Обувалъ сапожки князь сафьяновы,
Оболокалъ кошулю саболюю...

Къ этой кошулѣ Общ. Люб. Р. Слов. дѣлаетъ примѣчаніе: «рубашка не косоворотка», [115]) «также шились и шубы. Старинный покрой корзна».—Далѣе же былина цѣнитъ эту кошулю:

Зарукавьи серебряныи
Ожерелья жемцюжныи—

Еще та ли кошля во пятьсотъ рублей (но это бы еще ничего не значило, вѣдь и крута богатырская Ильи Муромца выставляется очень богатою). И не побѣжалъ уже. въ такомъ тяжеломъ нарядѣ, Владиміръ на дворъ къ Соловью скоро-на-скоро, а

*Повели его слуги подъ руки.*

Рѣзкую *разноголосицу* послѣ всего этого составляетъ то, что Соловей разбойникъ именно тутъ и называетъ Владиміра княземъ—воромъ; князь же, какъ бы присмирѣвъ, величаетъ Илью Муромца *паленицей великою*. Поиспытавъ же продѣлочекъ Соловья и постоявъ, какъ выражается пересказъ, въ *худой душѣ* (но ползанье на корачкахъ тутъ уже миновало Владиміра), пока богатырь не убилъ разбойника, вслѣдъ за тѣмъ Владиміръ велитъ слугамъ и Илью Муромца *подъ руки провести въ свѣтлицу*. Но, проведенный туда съ такимъ небывалымъ почетомъ, онъ вдругъ видитъ себя посаженнымъ *по край стола, да по край скамьи*. Вотъ что̀ не попадалось намъ ни въ одномъ изъ цѣлаго множества разобранныхъ пересказовъ. Но вѣдь и тутъ такое зажанье *по край* является вовсе не кстати, противорѣчитъ почету, только что оказанному Ильѣ, и служитъ только новымъ признакомъ, что въ этомъ пересказѣ *сведено* даже разнородное, что онъ—сбитый и перебитый. Далѣе, съ замѣчательною сжатостію на этотъ разъ, онъ повѣствуетъ о томъ, какъ Илья со своего мѣстечка послѣдняго, уже заносчиво (при всей этой обстановкѣ) кричитъ Владиміру:

«Еще ты, славной князь кіевскій да владимірскій!
*Ты неси-ко* цяшу большую да обѣруцьную...

Подаютъ (не сказано кто), а Илья возобновляетъ требованіе:

Ты неси, князь, еще цяшу бо̀льшую.

Опять подаютъ,—Илью маленько и ошабурило:

Онъ хотѣлъ да поладиться,
Онъ поладиться да поправиться
Поломалъ онъ скамьи да дубовыи,
Онъ погнулъ свои да желѣзныи

Опять черта, совершенно новая для насъ въ Ильѣ Муромцѣ; *хмѣльнымъ* незнаетъ его ни одинъ изъ множества вышеразобранныхъ пересказовъ, а знаютъ былины совершенно особаго содержанія,—а потому и эта черта является

[115]) Т. е. уже особаго покроя, а не общенародная, какая, вѣроятно, предполагается у Ильи,



только новымъ вкладомъ со стороны въ эту сведенную такъ разноголосно былину.

А у князя во ту пору да во то времяцько
Еще столъ идетъ да во полу-столѣ,
Еще пиръ идетъ да во полу-пирѣ...

Это обычный приступъ цѣлаго ряда былинъ о богатыряхъ владиміровыхъ, а тутъ онъ втиснутъ въ самую середину повѣствованія;—далѣе описанье гостей:

За столомъ сидятъ гости—бояра,
Еще все купцы да торговыи.

Они упоминаются и въ нѣкоторыхъ другихъ былинахъ, но большею частью спереди—богатыри, а тутъ они упоминаются только третьими, и былина находитъ нужнымъ надбавить къ нимъ:

Свято-русскіи воины.

Если они принимаются тутъ сверхъ *богатырей*, то въ древнихъ былинахъ, кромѣ этихъ послѣднихъ, никакого другого войска не надобно; если же *воины* служатъ тутъ только поясненьемъ къ богатырямъ, то въ древнихъ, хорошо сохраненныхъ былинахъ значеніе богатырей само собой ясно, а всякое растолковываніе—уже признакъ порчи.

Поприжалъ Илья Муромецъ да сынъ Ивановицъ
Поприжалъ онъ ихъ да во большой уголъ....

Такое—ежели не *прижатіе*, то *пожатіе* богатырей мы видѣли и въ нѣкоторыхъ изъ вышеразобранныхъ пересказовъ; но тамъ выходило это отъ того, что Ильѣ было просто надобно занять *между ними* мѣсто, туть-же оказываются другія причины, и цѣлыхъ двѣ: Илья пьянъ, и его посадили на мѣсто послѣднее. Вотъ онъ, въ отплату, и *«помышалъ»*, по словамъ Владиміра, за столомъ у него всѣ мѣста *да уценыи*...

«Погнулъ ты у насъ свои да всѣ желѣзныя:
У меня поромежъ каждымъ богатыремъ
Были свои желѣзныи,
Чтобъ они въ пиру да напивалисе,
Напивалисе да нестолкалисе.“
(Стихи 295—299).

Т. е. прямо указывается на огульное пьянство богатырей, заставляющее, мирясь съ нимъ съ одной стороны, какъ съ чѣмъ-то въ порядкѣ вещей, съ другой принимать противъ него и мѣры. Между тѣмъ по другимъ былинамъ пьяницами оказываются два три богатыря, но далеко но всѣ.—Напуганный вторично,—не Соловьемъ уже, а побѣдителемъ Соловья, Владиміръ князь, еще болѣе присмирѣвъ, предлагаетъ Ильѣ *у нихъ пить и ѣсть, у нихъ воеводой жить*. Не трудно припомнить, что во всѣхъ остальныхъ пересказахъ такое предложеніе дѣлаютъ Ильѣ жители того города, который имъ спасенъ отъ враговъ. Но въ нашемъ теперешнемъ, перепутанномъ пересказѣ, жители города не предлагаютъ Ильѣ ничего: ясно, что предложеніе власти, позабытое тамъ, поставлено не на своемъ мѣстѣ, вставлено въ уста Владиміру. Илья отказывается, какъ во всѣхъ пересказахъ,—но тутъ примѣшивается совершенно иная побудительная причина:

«На пріѣздѣ гостя не употчивали,
А на поѣздинахъ да не уцествовали;
Эта ваша мнѣ цесть не въ цесть».

Горько разобиженный мѣстечкомъ покрай стола, шельщина деревенщина, незадабриваемый позднимъ почетомъ, продолжаетъ по своему расправляться:

Еще взялъ онъ *плеткой* да помахивать,
Еще взялъ гостей да поколачивать,

(какъ будто срисовано съ одного изъ тѣхъ орудій истязательныхъ, которыхъ такъ много оказалось у насъ на Руси послѣ монгольскаго ига)

Еще взялъ гостей да поворачивать,
Еще бьетъ онъ, самъ приговариваетъ—

приговариваетъ тѣ слова о позднемъ почетѣ, которыя выписаны у меня немного выше.—Послѣ этого переполохъ Владиміра уже окончательный. Уже окончательная помѣсь церемоніальнаго съ самымъ обыкновеннымъ выказывается въ слѣдующей картинѣ:

Еще *царь*-то въ ту пору да въ то времяцько
За пецьку задвинулся,
Собольей шубкой закинулся.

Наконецъ, въ довершеніе всякихъ помѣсей и надставокъ, пересказъ заключается такимъ образомъ:

Илья то тутъ и былъ и нѣтъ,
Нѣтъ ни вѣсти, ни повѣсти
Нынѣ и до вѣку.

Начинаясь изцѣленіемъ, былина оканчивается изчезновеньемъ Ильи, а такое изчезновеніе упоминается и въ нѣкоторыхъ пересказахъ былины о *трехъ поѣздочкахъ*, но *нигдѣ* не упоминается объ немъ при первомъ пріѣздѣ Ильи къ Владиміру. Ясно, что такимъ образомъ сложился особый изводъ, какъ бы обнимающій всю жизнь Ильи Муромца, — но обнимающій сбивчиво, безтолково, разноголосно, и выпускающій всѣ тѣ подвиги, какіе совершилъ Илья уже на службѣ Владиміру. А объ нихъ имѣется еще цѣлый и длинный рядъ былинъ.

Но наша *сводная* не стоитъ вполнѣ одиноко. У Рыбникова въ ч. II подъ № 63 помѣщена другая, хотя и менѣе безтолковая, но во многомъ сходная съ нею и еще болѣе распространенная. Едва ли это не самая большая изъ всѣхъ былинъ, гдѣ либо до сихъ поръ напечатанныхъ (цѣлыхъ 23 страницы) Уже въ самомъ приступѣ есть наросты:

Съ той-то земли, *съ богатой орды*,
Со *славнаго* города со Мурома....
Какъ снаряжается да собирается
*Удаленькой-упаленькой дородный добрый молодецъ.*

Изцѣленье Ильи, какъ видно, не вошло въ сводъ. Зато подробности о сѣдланіи коня сообщаются самыя плодовитыя—въ цѣлыхъ 20 стихахъ (что̀ не обычно въ былинахъ объ Ильѣ Муромцѣ). Далѣе Илья прощается съ государемъ-батюшкой (матери нѣтъ и въ поминѣ). Отецъ удивляется, что онъ не беретъ съ собою оружія, а Илья объясняетъ это своимъ завѣтомъ не кровавить рукъ. Онъ однакоже потомъ надумывается взять съ собой лукъ *для опасу великаго*. За тѣмъ—становленье *крестовъ* по дорогѣ. Со стороны полуденныя Ильѣ слышутся шумы и гамы великіе:

*Ежели не съѣздить мнѣ*
*На шумы и гамы на великіе, —*
Съѣду я ко славному городу стольному Кіеву
Ко славному князю ко Владиміру,
Солнышко князь стольно-кіевскій
На пріѣздѣ удалыхъ добрыхъ молодцевъ
Онъ заводитъ-то для нихъ столованье-почестный пиръ,
На поѣздѣ онъ жалуетъ удалыхъ добрыхъ молодцевъ
Несчетною золотой казной, —
*На честномъ пиру не чимъ мнѣ хвастати.*

Такая разсудочность и разсчетливая умышленность дѣйствій вовсе не въ духѣ эпическихъ личностей, а особенно не въ духѣ Ильи, который по всѣмъ другимъ пересказамъ спасаетъ Черниговъ (шумы и гамы оказываются идущими отъ него) безъ всякой корыстной цѣли. Къ тому же наконецъ, по другимъ пересказамъ, Ильѣ не зачѣмъ пріискивать и придумывать себѣ подвиги, когда онъ уже изъ дому выѣзжаетъ за тѣмъ, чтобы проложить дорогу прямоѣзжую черезъ заставу Соловья-разбойника. Похожденіе подъ Черниговомъ (тутъ онъ Смолягинъ) сопровождается длинными рѣчами жителей и довольно также плодовитыми словами Ильи. На предложенье остаться у нихъ воеводою и судить суды все правильно, Илья, прежде извѣстныхъ словъ, что *не слѣдъ богатырю итти въ воеводы*, указываетъ еще на слѣдующія несообразности:

Не дай Господи дѣлать съ барина холопа,
Съ барина холопа, съ холопа дворянина,
Дворянина съ холопа, изъ попа палача...

Все это—и холопъ, и баринъ, и дворянинъ, и палачъ—выраженія рѣдкія въ нашихъ былинахъ, хотя и не рѣдкія въ нашей, преимущественно позднѣйшей литературѣ, попадающіяся тѣмъ чаще, чѣмъ ближе отъ періода кіевскаго къ московскому.—Далѣе Илья узнаетъ о дальнѣйшихъ заставахъ и въ томъ числѣ о соловьиной—уже изъ длинной рѣчи мужиковъ смолягинскихъ. Подъѣзжая къ Соловью, Илья слышитъ его пискъ-визгъ *татарскій* и только тутъ видитъ необходимость нарушенія своего завѣта не обнажать оружія и не кровавить рукъ, тогда какъ завѣтъ уже давно нарушенъ имъ подъ Смолягиномъ, гдѣ онъ ни единаго не оставилъ на сѣмяна. Въ большей части пересказовъ, напротивъ того, необходимость нарушенья завѣта чувствуется имъ именно подъ городомъ, а нападеніе на Соловья, уже предвидѣнное заранѣе, вовсе и не принимается за нарушенье завѣта, потому ли, что Соловей—чудище, потому ли, что первоначально Илья сострѣливаетъ его *безъ навиду* (и только позже, уже у Владиміра, разсердившись на него за продѣлки, окончательно изводитъ его). Послѣ этого, мнѣ кажется, ясно, что въ сводномъ сорокинскомъ пересказѣ слова Ильи о нарушеньи завѣта стоятъ не на мѣстѣ, что имъ слѣдовало стоять тамъ, гдѣ говорится о похожденіи подъ Черниговомъ. Послѣ весьма подробнаго описанія *красовитости* соловьиной усадьбы, былина привозитъ наконецъ Илью въ Кіевъ, гдѣ онъ поручаетъ Соловью стеречь коня своего, а паче всего коню беречь Соловья. Такимъ образомъ и тутъ, какъ въ другихъ пересказахъ, какой либо прислуги на дворѣ у князя, по видимому, не оказывается; за тѣмъ и кланяется Илья, какъ вездѣ, на четыре стороны, а потомъ уже князю, но князь тутъ оказывается уже совсѣмъ не тѣмъ, какимъ привыкли мы видѣть его въ другихъ пересказахъ:

„Ай же маленькой-удаленькой да упаленькой, —
Я не знаю, какъ тебя именемъ зовутъ.

(Въ другихъ пересказахъ, также не зная объ этомъ, онъ спрашиваетъ объ имени; тутъ же нѣтъ, какъ будто не стоитъ того).

Садись съ нами хлѣба кушать транезовать;
На нижнемъ конечку есть мѣстечка немножечко,
Други мѣстечка вся призабавлены,
Мѣстечка вся позаняты:
Сидитъ у меня на честномъ пиру
Что князей, что бояриновъ,
Что (*сенаторовъ*) да думныихъ,
Что *вельможъ*, купцовъ, да богатыихъ,
Что полянипъ да удалыихъ,
И *шестьдесятъ* росейскихъ могучіихъ богатырей.

Они такимъ образомъ упоминаются *послѣдними*, число же ихъ, *шестьдесятъ* не подтверждаемое общею сложностію былинъ, явно выдаетъ себя какъ позднѣйшее *распространеніе*. Богатырей тутъ уже *толпа*, они поставлены ниже другихъ *вельможныхъ* или *богатыхъ* гостей, и, какъ сейчасъ мы увидимъ, они и въ нравственномъ смыслѣ принижены. Когда Илья, обиженный *нижнимъ мѣстомъ*, отвѣчаетъ князю:

„Самъ ѣшь—кушашь съ воронами,
Меня садишь съ воронятами",—

тогда *солнышко*-князь, *стемнѣвъ* какъ *темная ночь* (какая разноголосица — *солнышко* и *ночь темная*), *сревѣвъ какъ будто левъ-то звѣрь*:

Ай же вы, могучіе росейскіе богатыри!
Чтобы онъ могъ бы насъ назвать
Воронами и воронятами!
Берите подъ руку три богатыря
И подъ другую три богатыря,
Ведите его на широкъ дворъ,
*Отрубите ему буйну голову!*
(стихи 405—411).

Князь считаетъ для богатырей унизительнымъ быть прозванными воронами, а самъ придаетъ имъ значеніе *палачей!* Въ самомъ дѣлѣ оказывается, что и выше слово это совсѣмъ не случайно зашло въ этотъ пересказъ: оно соотвѣтствуетъ и самому содержанью былины, весь строй которой оказывается принадлежащимъ позднѣйшему времени, времени, которое, повидимому, уже испытало и грознаго царя Ивана Васильевича! — Богатыри съ подобострастнымъ повиновеніемъ [116]) принимаются за Илью,—но падаютъ замертво отъ его руки богатырской. Владиміръ посылаетъ на него, и уже въ большемъ числѣ, новыхъ богатырей-палачей,—и они точно также положены,—очевидно еще не привыкшимъ къ подобнымъ порядкамъ Ильею. То-же и въ третій разъ: тридцать шесть богатырей въ три пріема положены замертво. Далѣе Илья стрѣляетъ въ *золоченыя маковки* княженецкія и идетъ въ кабакъ пропивать ихъ съ *голями*.

Какъ тутъ тугой лукъ натягивалъ
Калену стрѣлу направливалъ,
Самъ своей стрѣлы приговаривалъ:
„Ты лети, стрѣла, объ окошки княженецкія,
*У окошекъ отстрѣли всѣ маковки....*
Какъ обиралъ онъ эти маковки,
Пошелъ на царевъ кабакъ
Пропивать тѣ маковки *царскія*.

Это *стрѣлянiе маковокъ*—черта для насъ столько же новая, какъ и нежеланіе сидѣть съ *воронятами*. Съ другой же стороны *пьянство* Ильи *примѣшалось* сюда также точно, какъ въ сводномъ и перебитомъ пересказѣ у Ки-

---

[116]) Относительно этой былины (да еще нѣкоторыхъ другихъ о ссорѣ Ильи съ Владиміромъ, о нихъ же рѣчь впереди) дѣйствительно оказывается вѣрнымъ замѣчаніе г. Буслаева о подобострастіи богатырскомъ; но невѣрно у него обобщеніе. См. въ моемъ историч. Обоз, Р. Слов. стр. 225.



рѣевскаго. Общее между нимъ и своднымъ рыбниковскимъ пересказомъ еще и то, что Илья обижается *мѣстечкомъ послѣднимъ*. Въ обоихъ видно еще стремленіе унизить Илью, какъ выскочку, при вельможномъ уже дворѣ княжескомъ. Оба пересказа (и отчасти еще рыбниковскій ч. III № 5) рѣзко отличаются ото всѣхъ остальныхъ. Въ тѣхъ богатырь-крестьянинъ, хотя еще и безвѣстный для князя, смѣло и прямо находитъ доступъ въ его и всегда, и для всѣхъ открытую настежь гридню; въ этихъ немногихъ—богатырь-крестьянинъ, уже принижаемый, силой поддерживаетъ свои права, возстаетъ и боемъ идетъ на своихъ принизителей. Ясно, что эти два совершенно различныхъ строя могутъ принадлежать только двумъ совершенно различнымъ порамъ.

Есть одно слово въ сводной былинѣ Рыбникова, по которому, повидимому, прямо можно бы заключить, что этотъ враждебно разыгрывающійся приходъ Ильи къ князю—уже не первый его приходъ:

Клонится-то онъ на всѣ четыре стороны,
Солнышку князю съ княгиней Апраксіею въ особину.
Какъ *не узналъ* его Солнышко Владиміръ князь.

Но прослѣдивъ значеніе этого выраженія вообще въ былинахъ, я долженъ склониться къ тому, что оно употребляется и въ смыслѣ—просто *не знать:* не узналъ его князь—т. е. не вызналъ въ немъ, не узналъ ничего (никого) знакомаго; а не то, чтобы не узналъ въ немъ лица, уже прежде видѣннаго. Тѣмъ не менѣе имѣется нѣсколько былинъ, въ которыхъ Владиміръ *не узнаетъ* Илью именно въ этомъ послѣднемъ смыслѣ, изъ которыхъ слѣдуетъ, что Илья, послѣ долгой отлучки, опять прибываетъ въ Кіевъ и тутъ только встрѣченъ не по заслугамъ. Въ этихъ былинахъ, повѣствующихъ исключительно объ отдѣльномъ событіи—ссорѣ Ильи съ Владиміромъ—есть и стрѣляніе маковокъ и еще кое-что, имѣющееся также въ сводномъ рыбниковскомъ пересказѣ—въ заключительной его части, которая выше была опущена. Ее, вмѣстѣ съ отдѣльными былинами о ссорѣ, мы еще разберемъ въ своемъ мѣстѣ; теперь же не время ихъ разбирать, потому что все это похожденіе—въ чемъ не трудно теперь убѣдиться — только припутано, приставлено со стороны въ обѣ сводныя былины, какъ напутано въ нихъ и нагорожено много другого, мною уже отмѣченнаго.

Послѣ всего этого рѣшительно странно, какимъ образомъ такой знатокъ дѣла, какъ Ѳ. И. Буслаевъ могъ безъ всякаго дальнѣйшаго сличенія пересказовъ, принять за основаніе именно сводную былину Сорокина [117]). Оно становится еще болѣе страннымъ, когда во вниманіе примешь слѣдующее сужденіе объ этомъ пѣвцѣ самого собирателя, П. Н. Рыбникова (сужденіе это, впрочемъ, оставалось неизвѣстнымъ Ѳ. И. Буслаеву и впервые напечатано въ моей замѣткѣ къ IV ч. сборника на стр. XXXVI). «Обиліе подробностей, нѣкоторая расплывчивость, говоритъ г. Рыбниковъ, богатство эпизодовъ, соединеніе многихъ былинъ въ одну—у сумозерскаго пѣвца (А. Сорокина)—ясно указываетъ промыселъ сказителя — содержателя постоялаго

---

117) См. статью его о Богатырскомъ Эпосѣ въ Р. Вѣстн. 1862 г. Сент. стр. 56.



двора: чѣмъ дольше длится былина, тѣмъ ему выгоднѣе: обязательные слушатели рады лежа слушать до поздняго вечера» [118]). Послѣ всего этого сужденіе г. Буслаева можетъ быть объяснено только предвзятою мыслью о сходствѣ древне-русскихъ порядковъ съ западно-европейскими, въ силу котораго и Илья, какъ *мужикъ*, уже *первоначально* былъ долженъ встрѣтить дурной пріемъ у государя съ сословной его обстановкой. Между тѣмъ, подходя къ нашему народному эпосу безъ подобной мысли, непремѣнно замѣтишь, что ежели въ миѳической части его и есть много общаго съ западнымъ, то и тутъ уже, вмѣсто германскаго первенства вельможнаго бога Одина, выдвигается славянское первенство мужицкаго бога Перуна; что же касается дальнѣйшихъ превращеній послѣдняго, Микулы и Ильи Муромца, то оба они, въ своемъ уже бытовомъ значеніи, стоятъ совершенно отдѣльно, своеобразно, самостоятельно.

Въ предпочтеніи, отдаваемомъ сводной былинѣ, сходится съ г. Буслаевымъ и столь часто оспаривающій его г. Стасовъ. Такое предпочтеніе нужно ему потому, что только въ такомъ случаѣ оказывается хоть какое нибудь сходство между пріѣздомъ Ильи къ Владиміру и пріѣздомъ Таны къ обидчику Печети-Хану. Сводная редакція, по мнѣнію г. Стасова, «несравненно болѣе удовлетворительна: тутъ есть причины всѣхъ дѣйствій Ильи: месть за оскорбленіе и обиды». Нѣсколько ниже признаетъ онъ эту редакцію «болѣе древнею и менѣе испорченною [119]) и прямо отъ нея переходитъ къ черно-лѣсному подлиннику. Если одна предвзятая мысль попутала г. Буслаева, то другая, столько же превзятая мысль, попутала въ томъ же самомъ его противника, критическій же разборъ пересказовъ невольно заставляетъ сознаться, что далѣе ихъ обоихъ видѣлъ и тутъ, какъ во многихъ случаяхъ, такъ часто напрасно коримый въ *предвзятости* К. С. Аксаковъ.

Если уже основываться на *сводныхъ* былинахъ о пріѣздѣ въ Кіевъ, то почему не заглянуть и въ такъ называемыя *сказки* объ Ильѣ Муромцѣ. Тутъ окажется еще больше вельможнаго и, такъ сказать, церемоніальнаго-европейскаго. Тутъ ясное солнышко кіевское величается даже *королемъ* (Кир. I, стр. III и IV), тутъ Илья уже *челомъ бьетъ князю черниговскому*, *до полу кланяется* по три рядъ (стр. VIII), тутъ черниговскій князь вмѣстѣ съ становымъ кафтаномъ, *жалуетъ Ильѣ боярство со всѣмъ его родомъ племенемъ*. Тутъ Владиміръ собирается ему *по роду* уже мѣсто дать, и *по племени* его пожаловать, на что Илья ему отвѣчаетъ: «*не великъ мой родъ племенъ, а почестенъ во міру*: единъ былъ сынъ у батюшки, единъ сынъ у матушки, да оба живутъ во селѣ Карачаевѣ, а *и оба правятъ міромъ*;» [120]) тутъ (стр. XIII) къ первому же пріѣзду припутано и особое похожденіе съ

---

[118]) Это не мѣшаетъ однакоже сохраненію у Сорокина нѣкоторыхъ древнихъ выраженій (см. въ Замѣткѣ г. Рыбникова къ III ч. стр. XXXI) а также и отдѣльныхъ замѣчательныхъ особенностей, прямо приличествующихъ тому или другому дѣйствующему лицу (см. въ моей замѣткѣ къ IV ч. стр. XLI).

[119]) Вѣстн. Евр. 1868 г. Апр., 659. Между прочимъ г. Стасовъ налегаетъ на то, что какъ Илья погнулъ у Владиміра сваи желѣзныя такъ и Тана проломилъ у Печети-Хана желѣзный стулъ.

[120]) Только эта черта можетъ быть признана подлинною и древнею (Шевырева Ист. Р. Слов. I, стр. 193).

идолищемъ поганымъ [121]). Хотя въ сказкахъ Владиміръ князь ни мало не принижаетъ Муромца, а напротивъ встаетъ и садитъ его за столъ, но Илья тутъ самъ унижается, говоря: «есть у тебя князья и бояре и сильны могучіи богатыри, а то-то мѣсто припасено для нихъ: а мнѣ-ли, стару старику, пригоже и поодаль быть» (стр. XVI). И мало ли чего тутъ не встрѣтишь еще въ этихъ искаженныхъ и переискаженныхъ *сказкахъ*, также *сводныхъ* и черезъ чуръ уже *полныхъ*, особенно въ безконечной сахаровской: тутъ почти что ни строка, то беретъ сомнѣніе—ужъ не просто ли это, и при томъ неискусная, чья либо поддѣлка новѣйшая?

Но оставимъ эти—во всякомъ случаѣ *искаженія*, и возвратимся къ богатырской старинѣ владиміровой, къ той его свѣтлой и настежь открытой гриднѣ, къ тѣмъ его радушнымъ пирамъ во всякъ часъ и про каждаго. Мы видѣли первое прибытіе Ильи къ князю ласковому; но онъ еще мало знакомъ намъ и самъ, и княгиня его Апраксѣевна, и всѣ тѣ сильны-могучи богатыри, которыхъ уже засталъ у него Илья Муромецъ.

---

[121]) Точно также къ нему приннутаннымъ оказывается оно и въ ненапечатанной (въ своемъ родѣ сводной и во многомъ попорченной) былинѣ, записанной Е. В. Барсовымъ отъ Щеголенкова (нѣкоторыя отдѣльныя черты изъ нея приводились у меня въ разныхъ мѣстахъ—см. выше.)



## VI.

### Владиміръ князь и женитьба его. Богатырская дружина Владимірова.

Разсмотрѣнныя нами былины уже представили намъ указанія на различныя стороны Владиміра (Володиміра, Володимера), этого *средоточія*, къ которому стягиваются отовсюду нити нашего эпоса. Уже попадавшееся намъ наименованіе его *солнышкомъ* встрѣчается и въ цѣломъ рядѣ всякихъ другихъ былинъ, съ различными прилагательными: то солнце *красное*, то солнце *ласковое*, то просто—*солнышко*. Всѣ эти случаи употребленія точно обозначены въ указателѣ къ сборнику Кирѣевскаго, на стр. 3 и 4 (въ концѣ выпуска IV). Въ сборникѣ Рыбникова тѣ-же выраженія попадаются столь же часто, если еще не чаще. Въ подтвержденіе того миѳическаго значенія, какое, какъ выше мы видѣли, должно было заключаться первоначально въ этомъ *солнышкѣ*, можно привести еще ссылку г. Буслаева на *Слово о Полку Игоревѣ*. «Авторъ *Слова* говоритъ почтенный профессоръ, называетъ героя или воеводу *внукомъ бога солнца* (внукомъ Дажь-бога), какъ бы тѣмъ давая знать своимъ современникамъ XII в., что нѣкогда самое это божество было признаваемо за представителя богатырскихъ доблестей, за источникъ и центръ всякой на землѣ власти». Надо замѣтить также, что издатели двухъ первыхъ частей сборника г. Рыбникова отмѣчаютъ два слѣдующихъ стиха въ былинѣ о Ставрѣ Годиновичѣ:

Вставала (жена Ставра) по утру по раннему
До солнышка князя до Владиміра.

«Замѣчательное отождествленіе солнышка Владиміра, замѣчаютъ они, съ раннимъ утреннимъ солнцемъ» [1]). Мнѣ однакоже кажется, что можно понять и просто: встала раньше, чѣмъ князь, именуемый солнышкомъ. Само по себѣ *это мѣсто* не говоритъ еще ничего въ пользу миѳическаго значенія солнышка-князя. Скорѣе въ этомъ отношеніи вниманія заслуживаетъ другое (Рыбн. I, 212; Кир. III, 28), указываемое г. Буслаевымъ:

---

[1]) Рыбн. II, стр. 99.

Не красное солнце числовалося:
Заводилося пированьице честное у князя Владиміра.

«Какъ солнце по небу *числуется*, т. е. играя и свѣтя управляетъ временами года и освѣщаетъ день, такъ и Владиміръ, пируя съ своими богатырями, управляетъ землею русскою» — толкуетъ это мѣсто г. Буслаевъ [2]). Но нельзя, я думаю, не признаться, что для самихъ народныхъ пѣвцовъ миѳическое значеніе солнышка князя утрачено уже давнымъ давно; а поэтому чисто иносказательный смыслъ имѣютъ теперь и придаваемыя Владиміру прилагательныя: *свѣтлый*, *пресвѣтлый*, или существительное: *свѣтъ*. [3]) Внѣшній образъ Владиміра—красота его—представляетъ въ свою очередь сходство слишкомъ поверхностное со сказочнымъ названьемъ солнышка въ женскомъ образѣ—царевною *ненаглядною красотою*. Цвѣтъ волосъ Владиміра по нѣкоторымъ пересказамъ *жолтый*, какъ и у большей части другихъ богатырей—уже скорѣе сохраняетъ въ себѣ нѣкоторую тѣнь указанія на *златовласость* миѳическую. Но по большей части пересказовъ волосы у Владиміра уже *черные*, [4]) что рѣшительно не идетъ къ солнцу миѳическому. На чисто отвлеченное, историческое значеніе указываетъ употребительное въ нѣкоторыхъ пересказахъ *солнышко кіевское* [5]). Еще болѣе на историческую почву переноситъ нѣкоторыми (тремя) пересказами отмѣчаемое отчество Владиміра князя—*Сеславичь*, *Сеславьевичъ*, *Сыславичъ* [6]), очевидно испорченное *Святославичъ*, которое лучше сохранилось въ проименованіи, какъ мы видѣли, нѣкоторыми пересказами Вольги—Святославговичемъ. Затѣмъ Владиміръ уже безпрестанно именуется *стольно-кіевскимъ* княземъ (указ. Кир 2—3; та-же безпрестанность и у Рыбникова); иногда же вм. *стольный* — славный (указ., 4), но несравненно рѣже, и, повидимому, вслѣдствіе порчи, а иногда (но рѣдко) и просто — *кіевскій* князь. Довольно часто Владиміръ именуется также *великимъ* княземъ (указ. 2). Что касается нравственннаго облика князя, то преобладающимъ прилагательнымъ тутъ является *ласковый* [7]) (по большей

---

[2]) Въ примѣчаніи указываетъ онъ на то, что и король Артуръ первоначально, по преданіямъ кельтскихъ бардовъ, былъ сыномъ миѳическаго титана и бога и чествовался какъ солнце (Русскій богат. эпосъ—Р. Вѣстн. 1862 г. Сент. стр. 52. Ср. у Villemarqué, les Romans de la table ronde et les contes des anciens Bretons, 3-me éd. p. 9, 11—12. Быть можетъ даже, позволю я себѣ предположить, въ круглом ъ столѣ Артура, происходящемъ, какъ замѣчено у Вильмарке, отъ древнѣйшихъ кельтскихъ преданій, когда-то заключалось миѳическое указаніе на кругъ солнечный. Замѣчательно наконецъ, что лѣтъ тридцать тому назадъ, по замѣчанію Вильмарке, дѣти въ Бретани играли еще въ игру короля Артура: сажали на большой камень самаго степеннаго изъ мальчиковъ, украшали его зеленью, и сплетшись руками, хороводомъ ходили вокругъ него, распѣвая: «покланяемся тебѣ, король Артуръ», — и дѣйствительно били при этомъ челомъ въ землю. Тоже дѣлалось въ старину и дѣтскимъ населеніемъ замковъ, только мальчика, величаемаго Артуромъ, сажали на кресло и вѣнчали особою шапкою (Villemarqué p. 35—36). Позволю себѣ указать при этомъ на существованіе сходной, до извѣстной степени, игры въ Подольской Губерніи. Дѣвушки, сплетшись руками, сажаютъ на нихъ мальчика, носятъ его вокругъ церкви (за церковной оградой) и при этомъ поютъ пѣсни о золотомъ дитяткѣ, которое рѣжетъ золотымъ ножомъ серебряное яблоко (Шейковскаго, Бытъ Подолянъ, I, 27). Замѣчательно, что имя придаваемое дитяткѣ въ пѣснѣ, есть Володарь, близко подходящее, какъ не трудно замѣтить, ко Владиміру.

[3]) См. указ. съ сб. Кир. стр. 4.

[4]) Тотъ же указат. къ Кир., стр. 4.

[5]) Тотъ же указ., стр. 3.

[6]) Тотъ же указ., стр 1.

[7]) Подобно этому и король Артуръ выставляется добрымъ (Villemarqué стр. 27),—прозвище, принадлежащее также, надо замѣтить, почти постоярно королю и въ испанскомъ, и во франкскомъ эпосѣ, и идущее, надо думать, еще отъ временъ миѳическихъ, отъ доброты и ласковости государя-солнца (подобно тому какъ отъ обрядовъ миѳическихъ должна происходить вышеуказанная игра Володарь, соотвѣтствующая игрѣ короля Артура). Что же касается собственно кельтскаго эпическаго владыки, то онъ особен-

части, когда оно соединяется съ именемъ Владиміра, прилагательное *стольный* переносится на Кіевъ-градъ; въ другихъ же случаяхъ этотъ послѣдній называется *славнымъ*). На тотъ же нравъ князя указываютъ, повидимому, придаваемыя Владиміру существительныя: *надежа* (рѣдко) и *батюшка* (чрезвычайно часто—указ. 3; не рѣже и у Рыбникова). Какъ преобладающее въ былинахъ *положеніе* Владиміра есть положеніе *стольнаго князя кіевскаго*; такъ и преобладающее его качество—*ласковость*, *отеческая доброжелательность*. Но съ одной стороны *сквозь* этотъ нравъ проглядываетъ, съ другой стороны къ нему примыкаетъ, или наконецъ *поверхъ* его выдается нравъ совершенно иного рода. И съ нимъ мы отчасти уже познакомились—по тѣмъ нѣкоторымъ проявленіямъ корыстолюбія, которыя были отмѣчены выше и которыхъ сходство съ чертами германскаго эпоса заставило насъ ихъ признать за проявленіе германской дружинности во Владимірѣ, какъ князѣ-варягѣ. Но кромѣ того непривлекательныя черты остались мѣстами за княземъ и отъ другого порядка вещей, уцѣлѣли, повидимому, отъ временъ отдаленнѣйшихъ, отъ такъ называемой патріархальности, т. е. поры грубѣйшаго, кровнаго деспотизма. Наконецъ на то-же лицо налегъ во многихъ былинахъ и позднѣйшій, государственный деспотизмъ въ духѣ Ивана Грознаго. Всѣ эти совершенно различные и не рѣдко перекрещивающіеся слои во Владимірѣ должны быть со всею строгостью различаемы.

Сверхъ всего указаннаго, есть одна сторона, постоянно во всѣхъ былинахъ, сохраняющаяся за Владиміромъ. «Потому ли, говоритъ г. Буслаевъ, что государственное начало, скрѣпленное пришлыми Варягами, охватывало русскую жизнь только снаружи, однѣми внѣшними формами покоренія и налоговъ; потому ли, что князь и дружина, набранная изъ чужаковъ, авантюристовъ, стали особнякомъ отъ низменнаго, кореннаго населенія Руси,—какъ бы то ни было, только историческій идеалъ самого князя Владиміра въ народномъ эпосѣ мало выработался, не развился разнообразьемъ подвиговъ и очертаній характера..... Ласковый князь только пируетъ съ своими богатырями да посылаетъ ихъ на разные подвиги, а самъ не принимаетъ участія ни въ какой опасности и сидитъ дома съ супругой Апраксѣевной» (Р. Вѣстн. 1862 г., сент., стр. 52) Эту, по просту сказать, *праздность* Владиміра—по вышеприведеннымъ миѳическимъ толкованіямъ г. Шеппинга пришлось бы объяснить тѣмъ, что на него были перенесены свойства древне-славянскаго, въ *покоѣ пребывающаго* Сварога. Инымъ, уже историческимъ путемъ объяснялъ эту самую сторону во Владимірѣ въ одной изъ критическихъ статей своихъ покойный Добролюбовъ, объяснялъ, если не ошибаюсь, вліяніемъ *византійской* государственной *важности*. Но этому послѣднему толкованію противорѣчитъ та *простота* отношеній между княземъ и богатыремъ, съ которой мы имѣли уже столько случаевъ познакомиться.—Если же и другія толкованія болѣе или менѣе односторонни, то не окажется ли хоть тутъ совершенно сподручнымъ

---

но близко подходитъ къ нашему Владиміру и въ томъ отношеніи, что все у него, по древнѣйшимъ преданьямъ, довольно просто, пиръ дается про всѣхъ, двери почти постоянно открыты... Все это объясняется у Вильмарѐ (стр. 17) древнимъ бытовымъ началомъ гостепріимства (общенароднымъ—нельзя не признать).

стасовское ученіе о заимствованіяхъ съ востока? Не оказывается ли въ самомъ дѣлѣ хоть эта вѣчная праздность нашего Владиміра списанною съ какихъ нибудь восточныхъ властителей?—Увы! что̀ касается, по крайней мѣрѣ, ближайшихъ къ намъ *тюркскихъ* сказаній, то и въ нихъ т. н. *ханы*—родоначальники оказываются несравненно дѣятельнѣе нашего Владиміра: они воюютъ, они охотятся, и добычею кормятъ народъ, нашъ же князь никогда ничего не дѣлаетъ! Послѣ всего этого, отказываясь, при настоящемъ положеніи науки, отъ всякихъ дальнѣйшихъ толкованій, мнѣ остается только повторить слова, сказанныя мною про Владиміра былевого въ другомъ мѣстѣ: «не въ немъ настоящая сила Руси,—а въ нихъ, людяхъ *всякаго рода*, такъ сказать, въ *выборныхъ людяхъ* земли русской; онъ же только даетъ широкій просторъ ихъ богатырскимъ силамъ.» [8]) Въ этомъ смыслѣ Владиміръ рѣзко отличается отъ двухъ знаменитыхъ *живыхъ средоточій* эпоса западнаго—Карла Великаго и короля Артура. Первый если и является иногда трусоватымъ, то все же дѣйствуетъ, принимаетъ живое участье въ походахъ—въ цѣломъ множествѣ chansons de geste; второй же является ратующимъ неустанно—по крайней мѣрѣ въ древнѣйшихъ сказаніяхъ кельтскихъ и только въ болѣе позднихъ изводахъ является преимущественно *пирующимъ* [9]).

Мы видѣли, какъ Илья Муромецъ засталъ князя ласковаго за столомъ княженецкимъ съ многочисленными гостями. И большая часть былинъ начинается съ того, что

Во стольномъ городѣ во Кіевѣ
У ласкова князя у Владиміра
Было пированьице почестенъ пиръ
На многихъ князей на бояръ,
На могучіихъ на богатырей
(Указ. къ Кир., 5; Рыбн. I, 178, 186).

Нѣкоторыми же былинами прибавляется къ этому:

И на всю поленицу удалую

Или же сверхъ того:

На всѣхъ гостей званыхъ браныихъ,
Званыхъ браныихъ гостей и почестныихъ.

что̀ касается слова *гость*, то оно едва ли не должно быть тутъ понимаемо въ древнемъ смыслѣ, въ смыслѣ торговаго человѣка, купца. Это особенно ясно изъ двухъ слѣдующихъ стиховъ:

Было столованье почестной столъ
На многи князи-бояра
И на русскіе могучіе богатыри,
И *гости богатые*. (Кир. III, стр. 4)

Кромѣ представителей боярства и купечества, за столомъ у Владиміра находился, какъ мы уже знаемъ, и Алеша *поповскій* сынъ. Но былиною Кирши Данилова указываются также, какъ видѣли мы, во гриднѣ княжеской и *мужики* Залѣшане, и мнѣніе г. Буслаева будто бы до прихода Ильи богатырской дружинѣ княжеской не доставало крестьянскаго элемента (Русск. Вѣстн. 1862 г. Сент. стр. 54), едва ли выдержитъ критику. На *всякаго рода* людей

---

[8]) См. въ моемъ Истор. Обозр. Р. Слов. стр. 225.

[9]) См. вообще первую главу въ вышеуказанной книгѣ Вильмарке: les Romans de la table ronde ou les contes des anciens Bretons.

указываютъ, повидимому, и братья *Сбродовичи*, упоминаемые въ той же былинѣ Кирши. Послѣ этого, замѣчанья славянофиловъ о томъ, что столъ у Владиміра князя—*про всѣхъ* оказываются совершенно вѣрными.

Илья застаетъ подлѣ Владиміра за столомъ княгиню *Апраксѣевну* (Апраксѣвну, Апраксину, Опраксу, Опраксію, Апраксію, Епраксію, (Афросинью по другимъ былинамъ — см. указ. Кир. 13) имя, очевидно, не историческое, но испорченное изъ крестнаго и весьма употребительнаго въ народѣ имени *Евпраксія* [10]) а потому и доискиваться въ немъ какого либо миѳическаго значенія было бы странно. Въ нѣкоторыхъ же былинахъ Владиміръ является еще холостымъ, и, жалуясь на это, вызываетъ охотника отыскать ему невѣсту: такой охотникъ оказывается, и невѣста добывается князю. При жалобѣ на свою неженатость Владиміръ ссылается на примѣръ богатырей, которые всѣ у него поженены,—а наконецъ имѣются и былины, повѣствующія о женитьбѣ нѣкоторыхъ богатырей (Ивана Годиновича, Михаила Потыка, Хотена Блудовича, Дуная Ивановича). Если же сравнить всѣ эти былины съ былинами о женитьбѣ самого Владиміра, то между ними окажется много общаго. Не мало прекрасныхъ былинъ о сватовствѣ имѣется также у Болгаръ и Сербовъ (у послѣднихъ напримѣръ — Женитьба Сеньянина Ива — Вука III, № 26 и 27). А введя въ кругъ сравненья и все великое множество сказокъ о всякаго рода женитьбахъ, невольно придешь къ тому, что все это только различныя перелицовки одной и той же основы, которая въ западной Европѣ въ теченіи среднихъ вѣковъ нерѣдко входила и въ рукописи. Сюда же относится пѣсня Skirnisför въ Старой Эддѣ. Тидрекъ-Зага представляетъ даже нѣсколько сказаній о сватовствѣ, какъ-то: сватовство Самсона за Гильдисвиду (гл. 1—3) Озантрикса за Оду (главы 29—33), Аттилы за Эрку (гл. 42—56); Тидрека за Гильду (гл. 233—239); Аполлонія за Гербургу (гл. 246—253). Пятое приключеніе въ поэмѣ Kudrun составляетъ сватовство Горанда за Гильду; сватовство же составляетъ существенную часть поэмы Otnit и основное содержаніе поэмы Konig Rother; наконецъ въ одной итальянской поэмѣ изъ карловингскаго цикла—Innamoramento di Carlo Magno встрѣчается исполненное похожденій, сватовство этого послѣдняго за Белизанду [11]). Въ самой же основѣ всѣхъ подобныхъ сказаній сравнительными изслѣдователями народной поэзіи уже принято видѣть миѳъ о бракѣ одного свѣтлаго (благотворнаго) существа (мужескаго) съ другимъ (женскимъ), отнимаемымъ у темной, зловредной силы. Такимъ образомъ и во всѣхъ былинахъ о сватовствѣ въ сущности имѣются только различные пересказы одного и того же сватовства миѳическаго. Все это—различные миѳы одного и того же явленія, возникшіе, по всей вѣроятности, въ различное время, но ужившіеся въ народной памяти рядышкомъ и составившіе особые звенья въ цѣпи эпическихъ похожденій, совершающихся вокругъ Владиміра. Но разница между княземъ и его богатырями и тутъ оказывается состоящею въ томъ, что въ немъ скрывается страдательная сторона свѣтлой небесной силы, тогда какъ въ нихъ — сторона

---

[10]) Но попадающаяся въ нѣкоторыхъ пересказахъ Афросинья—стоитъ, разумѣется, въ сторонѣ, какъ совершенно особое имя (Евфросинія—Εὐφροσύνη).

[11]) Gaston Paris, Histoire poétique de Cherlemagne, 385.

дѣятельная. Между тѣмъ какъ богатыри сами добываютъ себѣ невѣстъ, для Владиміра она добывается. Невѣста въ сущности добывается также чужою (милошевою) умѣлостью въ побѣжденьи опасностей для сербскаго царя Душана (Вука II, п. 29). Сходное сказаніе, только короче, имѣется и у Болгаръ (Безсонова I, п. 5). Точно также и въ зап. европейскомъ эпосѣ невѣста добывается для Аттилы Родольфомъ, для Геттеля Горандомъ и Вате, для Карла Великаго Ринальдомъ и Роландомъ; для Тидрека она должна быть добыта Гербуртомъ; (напротивъ Аполлоній, Озантриксъ, Ротеръ, Отнитъ—въ концѣ концовъ сами отправляются за невѣстою). И въ сказкахъ добыть невѣсту царю обыкновенно поручается доброму молодцу (Ивану), представляющему черты сходства со всѣми, можно сказать, богатырями былинъ, вывѣтвившимися, очевидно, изъ одной основы съ этимъ сказочнымъ молодцемъ. Но какъ въ сказкахъ добытіе невѣсты царю обыкновенно является уже связаннымъ съ добытіемъ ея и для себя добрымъ молодцемъ (сліяніе въ одно похожденій, первоначально, какъ надобно полагать, существовавшихъ въ раздѣльности), такъ и въ большей части былинъ о сватовствѣ Владиміра, добывающій ее богатырь Дунай въ тоже самое время добываетъ и для себя невѣсту. Въ сербской пѣснѣ о женитьбѣ Душана Милошъ, добывая ему невѣсту, въ тоже время снабжаетъ невѣстою и себя. Такъ и Вълко въ соотвѣтственной пѣснѣ болгарской. (Въ расказѣ о добываніи невѣсты Тидреку встрѣчается та особенность, что посланный, Гербуртъ, присвоиваетъ ее самому себѣ). Мы имѣемъ собственно только одну былину (Рыбн. III, 3, отъ Бутылки), въ которой повѣствуется о добытіи невѣсты для одного Владиміра, исполняющіе же это порученіе (тутъ два лица—Ѳедоръ и Василій Ивановичи) [12]) о собственномъ своемъ сватовствѣ и не думаютъ. Точно также и въ Старой Эддѣ Скирниромъ добывается только одна невѣста для отправившаго его за нею бога Фрейра. (Божество это — солнечное, что можетъ служить въ свою очередь косвеннымъ доказательствомъ солнечнаго значенія Владиміра). То-же и въ другихъ германскихъ сказаніяхъ, кромѣ одного — о сватовствѣ Аттилы за Эрку при посредствѣ Родольфа, при чемъ послѣдній, совершенно подобно Дунаю, добываетъ себѣ родную сестру Эрки, Берту. Единственная, дошедшая до насъ былина о женитьбѣ собственно одного Владиміра, дошла до насъ въ видѣ уже черезъ чуръ испорченномъ, переполненномъ вставками позднѣйшаго времени [13]). Въ ней есть только нѣкоторыя замѣчательныя чер-

[12]) Впрочемъ и въ тѣхъ былинахъ, гдѣ главную роль тутъ играетъ Дунай, онъ беретъ себѣ въ сотоварищи кого нибудь другого; такъ что отправляются за невѣстою двое, подобно тому, какъ и во многихъ германскихъ сказаніяхъ.

[13]) Тутъ отъ Владиміра пріѣзжаютъ къ отцу невѣсты даже лакеи молодые; невѣста, а потомъ и Владиміръ выходитъ въ нарядѣ своемъ господскоемъ; начало— не на пиру у князя, а просто со всею сухостью прямо выдающей себя сокращенности говорится тутъ, что

Жилъ былъ славный Володиміръ князь
Похотѣлъ тутъ князь пожениться.

Далѣе сваты ѣдутъ съ тросточками дубовыми, въ шляпѣ пуховоей, поклоняются не на четыре стороны, какъ обыкновенно, а на двѣ стороны и т. п. Владиміръ оказывается тутъ весьма богатымъ; у него палата красовитая, луга грановитыя. Не отъ грановитой ли московской палаты? Не понятое и не умѣстно поставленное, уже на московскую обстановку указывающее слово. Къ тому же далѣе народъ говоритъ про Владиміра: нѣтъ таковаго во всей Руси, и нѣтъ таковаго въ каменной Москвы. Затѣмъ въ былинѣ попадаются и несообразности: ѣдутъ къ королю Литовскому за славно за сине море и ѣдутъ на коняхъ, по полю, такъ что пыль стоитъ. Есть и черты въ городскомъ лакейско-кабацкомъ вкусѣ: напримѣръ,

ты, о которыхъ и сказано будетъ въ своемъ мѣстѣ, а впрочемъ она развѣ только напоминаетъ о томъ, что когда-то должны были существовать особыя пѣсни о женитьбѣ Владиміра. Подобнымъ образомъ должны были существовать и совершенно *особыя* же пѣсни о женитьбѣ Дуная, но мы имѣемъ теперь только такія, въ которыхъ о ней повѣствуется совмѣстно съ женитьбою Владиміра. Чтò касается имени богатыря-свата—Дунай, то оно, какъ уже и выше приходилось намъ замѣчать, имѣло когда-то значеніе имени нарицательнаго, означало—рѣку вообще. Имя такимъ образомъ заключаетъ въ себѣ намекъ миѳическій, но такъ какъ въ миѳологіи всѣ вообще рѣки первоначально были рѣками небесными, то такою же должна оказаться и рѣка-богатырь Дунай. Но, какъ почти во всѣхъ сказаніяхъ, такъ и тутъ, первоначальная основа до такой степени загромождена, такъ сказать, позднѣйшими наслоеніями, разростами и наростами, что можно только *приблизительно* добираться сквозь все это до смысла миѳа (рѣдко-рѣдко удается обнажить миѳическую основу такъ, чтобы все было ясно и не оставалось противорѣчій). Относительно *рѣки*, воды дождевой, какъ посредника въ дѣлѣ брака, можно указать на множество брачныхъ обычаевъ съ водою, на повѣрье о благотворности дождя при выходѣ отъ вѣнца, и т. п. [14]). А такъ какъ въ обрядовыхъ дѣйствіяхъ заключается подражаніе тому, чтó видѣлось первобытному человѣку въ явленіяхъ атмосферическихъ, то во всѣхъ этихъ брачныхъ обрядахъ съ водою не трудно усмотрѣть подражаніе брачной дѣятельности небесныхъ водъ. Проливаясь съ неба весною на покрытую еще снѣгомъ — этими *бабиными уковами*, какъ величается онъ у Сербовъ,—засидѣвшуюся въ зимнемъ плѣну землю, дождь-рѣка размываетъ ея оковы, и, выводя на волю, подготовляетъ ее къ благодатному браку съ солнцемъ. Не даромъ же и. невѣста владимірова представляется во многихъ пересказахъ сидящею за тридевятью *замками*, за тридевятью *ключами*, чтобы вѣтеръ не *завѣялъ*, да и *солнце не запекло* (Кир. III, стр. 64, 71; сходно во второй половинѣ и у Рыбн. I, стр. 187). Точно также иной разъ оберегаются женщины и въ болгарскихъ пѣсняхъ, наприм.

Девять години стояло (т. е. бѣлое ея лицо),
Та го вѣтъръ не повѣяло
И слънце не е го огрѣло [15]).

И въ сербскихъ пѣсняхъ встрѣчается дѣвица въ заперти —

Ни je видла сунца ни мjесеца (Вука I, 252; II, 223).

А надъ германской Гильдой находились два павлина, которые своими крыльями не давали лучамъ солнечнымъ печь ея прекрасное лицо—черта весьма древняя, по замѣчанію Я. Гримма (Lat. ged. des X и XI Jahrh., 384). Не даромъ и тотъ, у кого добывается такая дѣвица, *названъ* королемъ *нехристомъ* (у него и спасова образа нѣтъ, не надо креститься-молитвиться) [16]),

---

встрѣчая невѣсту, Владиміръ беретъ ее за груди и ѣжимъ я. (Былина эта и записана въ самомъ городѣ Петрозаводскѣ).

[14]) См. въ моемъ Ист. Обозр. Р. Слов. стр.

[15]) Безсонова Болг. П. I, 7 и 8 (издатель и указываетъ въ примѣчаніи на сходство съ русской былиной. Надо замѣтить, что Якшичъ Митро десять лѣтъ служитъ у Янка и не можетъ увидать его дочери. И Зигфридъ у Гунтера не скоро увидалъ Кримгильду.

[16]) Кир. III, стр. 54 и 73. Рыбн. I, стр. 180.

королемъ *ляховинскимъ*, *литовскимъ*, иной разъ живущимъ въ *Золотой Ордѣ*; сверхъ того, хотя бы онъ жилъ и въ *Литвѣ*, окружающіе его въ иныхъ пересказахъ оказываются *Татарами*. Такъ и въ сербскихъ пѣсняхъ отецъ неприступной невѣсты является обыкновенно латыняниномъ. Только иногда называется онъ просто Эммануиломъ Эммануиловичемъ, и въ этомъ случаѣ даже *любимымъ* тестемъ Владиміра, но настоящая природа его сказывается и тутъ въ дополнительномъ — *грозный король* [17]). Въ немъ во всякомъ случаѣ скрывается что-то чужое, враждебное, именами же историческихъ враговъ земли русской и въ другихъ былинахъ, какъ мы уже знаемъ, прикрываются первоначальные миѳическіе враги природы. Грозенъ король въ большей части пересказовъ дурно принимаетъ и самое сватовство Владиміра; онъ не хочетъ выпускать изъ своихъ рукъ невѣсту, онъ не хочетъ ея отдать *добромъ*. Въ сербскихъ былинахъ онъ только сначала прикидывается согласнымъ на выдачу дочери замужъ, а потомъ зато награждаетъ присланнымъ отъ жениха препятствія и опасности всякаго рода. Такихъ королей, упорствующихъ въ своемъ несогласіи отдать красавицу замужъ, много, и очень много въ сказаніяхъ у различныхъ народовъ, и объяснять это однимъ только самодурствомъ патріархальныхъ временъ—едва ли возможно.

Женихи, сватающіеся за этихъ неприступныхъ невѣстъ, почти постоянно—короли-королевичи, т. е. женихи и почетные, и способные щедро внести за невѣсту. Кажется, что лучшее тутъ объясненье—миѳическое: *темная сила* не хочетъ выпустить изъ своей власти запертую ею подъ замокъ ненаглядную *свѣтъ*-красоту. Но въ такомъ случаѣ эта темная сила должна оказываться не отцомъ, а скорѣе злымъ отчимомъ или насильникомъ-господиномъ свѣтлой затворницы, если же во многихъ сказаніяхъ (а въ томъ числѣ и нашемъ о женитьбѣ Владиміра) онъ является напротивъ того именно отцомъ, то это должно быть позднѣйшее измѣненіе, сдѣлавшееся возможнымъ вслѣдствіе того, что въ такъ называемыя *патріархальныя* времена, т. е. времена безграничной отцовской власти, *отецъ* и *господинъ*, *обладатель* были понятія очень близкія. На то, что первоначально затворница королевская должна была быть совершенно чужою ему, и даже имъ обневоленною, похищенною, указываетъ въ большей части разнонародныхъ сказаній о сватовствѣ полная готовность затворницы отдаться въ руки пришлому доброму молодцу. Такъ въ сербской пѣснѣ о женитьбѣ Юрія Смедеревца, сама дѣвица извѣщаетъ сватовъ объ угрожающей имъ опасности и о томъ, какъ имъ выпутаться изъ нея (Вука II, п. 79. Съ нею сходны п. 87, 92). Многія сказанья подобнаго рода вошли и въ составъ романскаго средневѣковаго эпоса. Тамъ иной разъ затворница дѣва готова даже способствовать жениху въ убіеньи ея отца. Такъ оно, напримѣръ, въ «Fierabras» (См. мою книгу о нравств. стихіи въ поэзіи, стр. 150). Всегда она изъявляетъ полную готовность креститься. Такъ и дочь паши отъ Пазара, бѣгущая отъ него съ Якшичемъ Стеваномъ, похитивъ множество сокровищъ (у Вука II, п. 95 [18]). (И въ нашихъ былинахъ, какъ вла-

---

[17]) См. указат. къ сб. Кир. стр. 103—104.

[18]) Также точно бѣжитъ съ награбленными сокровищами вслѣдъ за Вальтеромъ Гильтгунда—какъ мы видѣли выше въ поэмѣ Waltharius (см. стр. 87). Но она

диміровa, такъ и дунаева невѣста, по пріѣздѣ въ Кіевъ, вмѣстѣ крестились-молитвились). Ясно, что она такая же—только сдѣлавшаяся ему *дочерью*, какими являются у Яги-бабы тѣ свѣтлыя дѣвицы, которыя также, въ теперешнемъ видѣ сказокъ, носятъ уже названіе дочерей ея. Въ хорошо всѣмъ извѣстной сказкѣ о морскомъ царѣ и Василисѣ прекрасной, эта послѣдняя точно также помогаетъ молодцу противъ мнимаго отца своего и вмѣстѣ съ нимъ отъ него убѣгаетъ. Въ нѣкоторыхъ пересказахъ нашего сказанія о Дунаѣ—сватѣ Владиміра также имѣется указанье на то, что невѣста очень рада за нимъ послѣдовать. Такъ оно и въ замѣчательномъ по многимъ, хорошо сохранившимся, слѣдамъ старины пересказѣ Кирши Данилова (Кир. вып. III, пѣсня о Дунаѣ 4-я): встрѣчая сопротивленіе со стороны Короля, Дунай готовъ

Хоть нога изломить, а двери выставить!
Пнетъ во двери желѣзныя,
Приломалъ онъ крюки булатные,
Всѣ тутъ палаты зашаталися.
Бросается дѣвица испужалася,
Будто угорѣлая вся,
***Хочетъ Дуная во уста цѣловать...***
(Стихи 173—179).

Потвержденіемъ служитъ у Рыбникова въ ч. I, п. 31-й (отъ Рябинина) отвѣтъ Дунаю невѣсты:

«Три года я Господу молилася,
Чтобъ попасть мнѣ замужъ за князя за Владиміра.»

У Рыбникова же въ той былинѣ, которая повѣтствуетъ о свадьбѣ Владиміра отдѣльно отъ свадьбы дунаевой, (ч. III, п. 3, отъ Бутылки) королевишна, сама выходя на крыльцо къ посламъ Владиміра, говоритъ имъ:

Возьмите-ко вы батюшка родимаго,
Моего короля любимаго
Стащите его вы во чисто поле,
Закопайте-ко вы во сыру землю,
Закопайте его до бѣлыхъ грудей [19]).
Можетъ въ ту пору король объумѣется....
Можетъ быть меня Настасью Королевичну
Отдастъ за князя за Владиміра

Какъ ни полна упомянутая пѣсня чертами новыми, но эта послѣдняя черта не можетъ не быть признана весьма древнею, такъ какъ мы встрѣчаемъ ее даже во многихъ средневѣковыхъ литературныхъ передѣлкахъ народнаго эпоса [20]).

Зато во всѣхъ остальныхъ пересказахъ нашей былины дѣвица вовсе не выражаетъ такой готовности итти за Владиміра; она является тутъ лицомъ совершенно страдательнымъ, такъ что насиліе, повидимому, оказывается тутъ и ей.—Такъ оно у Рыбн. I, 30 (Козьмы Романова) II, 12 (Терентія Іевлева), III, 21 (Андрея Сарафанова).

Въ германскомъ эпосѣ та-же двоякость. Такъ Эрка, совершенно подобно Апраксіи въ пересказѣ Рябинина, говоритъ: «о Господи, дай мнѣ сдѣлаться въ самомъ дѣлѣ женою Аттилы» (Th. S. c. 51); также охотно идетъ и Ода за Озантрикса (ibid. c. 35); Гербурга, сначала выказавшая полнѣйшее послушанье отцу, потомъ до того приворожена была силою магическаго кольца къ Аполлонію, что не захотѣла оставаться съ отцомъ (ibid c. 248); точно также привораживается Гильда магическою игрою Горанда (Gudr. V-te av.); точно также

бѣжитъ отъ господина. Между тѣмъ и тутъ должна быть та-же основа эпическая.

[19]) Первоначально должно было быть—до черныхъ.

[20]) Какъ уже и замѣчено выше.



готовность слѣдовать за женихомъ выказывается невѣстой и въ «Отнитѣ» и въ «Королѣ Ротерѣ». Зато невѣста Самсона является совершенно безгласною. Что же касается вышеуказанной пѣсни Старой Эдды, то въ ней Герда сначала даже вовсе не сдается на сватовство: «не хочу я и знать о мужѣ, и пока оба мы живы, я и Фрейръ, намъ не жить вмѣстѣ.» На нее не дѣйствуетъ и чудесное кольцо Фрейра (тогда какъ кольцомъ привораживается Гербурга, невѣста Аполлонія), долго не дѣйствуютъ и угрозы Скирнира,—отрубить ей по плечи голову, положить также и отца ея—*стараго великана*; только силою заговоровъ и рунъ онъ наконецъ вынуждаетъ у нея согласіе. «Прими-же, говоритъ она, этотъ ледяной кубокъ съ медомъ.... на девятый день я буду въ рукахъ у Фрейра.» — Зимрокъ въ своихъ примѣчаніяхъ къ этой пѣснѣ Эдды замѣчаетъ, что имя отца Герды, Гимиръ, въ другой пѣснѣ Эдды (Oegisdrecka) придается также и морскому Богу (сопоставьте съ этимъ *морскаго царя* въ сказкахъ о Василисѣ прекрасной, держащихся на той же основѣ, но отличающихся тѣмъ, что Василиса охотно покидаетъ яко-бы-*отца* своего). Братъ Герды—Бели, по смыслу имени—*ревущій*, чѣмъ можетъ быть указывается на ревъ бурнаго вѣтра. «Въ этой то роднѣ Герды, говоритъ Зимрокъ, и заключается препятствіе ея браку съ Фрейромъ. Но уже ея ненаглядная красота (въ которую съ высоты своего небеснаго престола влюбился Фрейръ) указываетъ на ея болѣе свѣтлую природу; только принужденье удерживаетъ ее въ кругу родныхъ. Это принужденіе выказывается тѣмъ огнемъ, который окружаетъ ея чертогъ, тою изгородью, которую оберегаютъ бѣшеныя собаки.... Герда является таящеюся въ зимнее время, подъ снѣгомъ и льдомъ, растительною силой земли. Зимою обрѣтаясь во власти темныхъ (демоническихъ) силъ, она освобождается возвращающеюся теплотою солнечною. Служитель Фрейра—Скирниръ (отъ at skirna—clarescere) т. е. *проясняющій* получаетъ порученіе освободить ее и возвратить живительному вліянію свѣта и теплоты (Фрейра) [21]).—Извѣстный издатель Эдды въ подлинникѣ, Люнингъ, въ своемъ миѳическомъ предисловіи толкуетъ самое имя Герды: «Gerdr, сравни gerdi — огороженная пашня (Saatfeld); gardr — изгородь (gehege, umzäunung).»—«Фрейръ, говоритъ онъ, долженъ вызвать растительность изъ земли, но зимняя окоченѣлость земли еще задерживаетъ ее. Въ посѣянномъ зернѣ еще не пробудилась растительная сила, оно еще тихо покоится въ холодномъ лонѣ земли и не хочетъ выступать наружу. Весенній воздухъ и солнечные лучи стараются проникнуть сквозь холодную земную кору и вызвать ростки изъ посѣва, но сила, въ немъ затаенная, еще медлитъ и сопротивляется, какъ только что начинающая созрѣвать непреклонная дѣва..... Но все возбудительнѣе и сильнѣе становятся лучи весенняго солнца, окоченѣлая кора разрѣшается,—еще нѣсколько ночей—и весело зеленѣютъ всходы—отъ теплыхъ объятій весенняго бога.» [22]) Послѣ этого и мечъ Фрейра, которымъ грозитъ Гердѣ Скирниръ, долженъ, какъ толкуетъ и Зимрокъ, оказаться *лучомъ солнечнымъ*. Свиданіе же бога съ Гердою должно совер-

[21]) Simrock, Edda 2 Aufl., 389.

[22]) Lüning, Edda, 77, 78.



шиться въ лѣсу Барри, т. е. *зеленѣющемъ* (по толкованію Зимрока, а Люнингъ сближаетъ съ barr-почка, также—зерно), т. е. весною, послѣ побѣды Фрейра надъ братомъ Герды, Бели, зимнимъ ревуномъ-вихремъ, побѣды, на которую указывается въ той же пѣснѣ. (Побѣда же эта въ своемъ родѣ соотвѣтствуетъ побѣдѣ Ильи надъ Соловьемъ).—Остается необъясненною только *огонь*, окружающій чертогъ Герды; но и зима въ своемъ родѣ *жжетъ*, *калитъ*—холодомъ. Затѣмъ огонь этотъ сближаетъ пѣсню Skirnisför съ пѣснею той же Старой Эдды о Брюнгильдѣ, которая также окружена огнемъ, и, погруженная въ сонъ, разбужена Зигурдомъ, но не хочетъ отдаться ему безъ боя, избѣгая любви; потомъ побѣждается имъ, но передается другому лицу—Гунтеру. Въ этой пѣснѣ—другой, позднѣйшій, не божескій, а богатырскій изводъ того же сказанія, сохраненный намъ тою же Эддою (таже основа, какъ извѣстно, жива до сихъ поръ и въ общенародныхъ сказкахъ о спящей царевнѣ;—сонъ ея въ хрустальномъ гробу—то же пребываніе подъ замкомъ, гдѣ и солнце не оппечетъ и вѣтры не оввѣютъ). И такъ и въ германскихъ изводахъ мы видимъ не только добровольный выходъ дѣвицы изъ своего плѣненія, но и неохоту ея выходить изъ него.

Извѣстно, до какого противорѣчащаго разнообразія доходили представленья миѳическія. Такъ и тутъ—съ одной стороны свѣтлому существу, сидящему подъ замкомъ у существа темнаго, совершенно естественно добровольно отдаваться силѣ, выводящей изъ подъ замка; съ другой же долговременность пребыванія того же свѣтлаго существа во власти у темнаго могло представляться и свыклостью съ нимъ, освоеньемъ въ его средѣ, охотнымъ съ нимъ породненіемъ. Отсюда же и новая возможность, новый поводъ представить затворницу *дочерью* темнаго существа. Такое породненіе съ нимъ, такое доброльное отданье ему себя выражается даже цѣлымъ рядомъ сказокъ объ *измѣнѣ*—то матери, то жены, то сестры свѣтлаго молодца, объ измѣнѣ ему и слюбленьи со змѣемъ, кощеемъ или злымъ королемъ. [23]) Вездѣ тутъ въ основѣ измѣна миѳическая, измѣна свѣту для тьмы; и нѣкоторая тѣнь того же можетъ таиться въ томъ отсутствіи всякаго сочувствія къ жениху, какое мы видимъ въ нѣкоторыхъ германскихъ сказаніяхъ и въ иныхъ пересказахъ нашей былины о сватовствѣ Владиміра.

Ясно, что въ этихъ пересказахъ преобладающею чертою должно являться *насиліе*. Королевична съ бою берется у короля, сама же является совершенно безгласною. Такое насиліе, по основѣ своей миѳическое, въ то же самое время соотвѣтствовало и самымъ бытовымъ явленіямъ старины отдаленной. Да вѣдь и въ самые свои миѳы, на ихъ небесную почву, первобытный человѣкъ въ сущности только переносилъ то, что совершалось у него на землѣ. Если съ одной стороны въ обрядовыхъ дѣйствіяхъ перенимались явленья небесныя, то съ другой въ этихъ послѣднихъ только отражались земныя явленія. Насильственный захватъ небесной невѣсты могъ быть возможенъ только при существованіи у людей, создававшихъ миѳы, несильственнаго захвата невѣстъ.

[23] См. въ моемъ Ист. Обозр. Р. Слов. стр. 146, 200.

И такъ кромѣ миѳической стороны, наши былины о насильственномъ сватовствѣ заключаютъ въ себѣ и сторону бытовую. Въ настоящемъ видѣ этихъ былинъ, при затемненности основного миѳа, бытовая сторона особенно выдается. Разсмотримъ же теперь наши пересказы преимущественно со стороны этого, конечно уже позднѣйшаго, но преобладающаго въ нихъ строя. Въ пересказѣ Кирши Данилова, посылая Луная, Владиміръ хочетъ дать ему не только *золотой казны* но и *могучихъ богатырей*. Въ одномъ изъ пересказовъ у Кирѣевскаго онъ предлагаетъ ему цѣлыхъ *тридцать* богатырей (извѣстное уже намъ эпическое число ихъ; Кир. III, стр. 54) и также казны *сколько надобно*. Въ другомъ цересказѣ съ Онеги, зап. Верещагинымъ (напечат. въ Изв. Ак. Наукъ) обстановка уже позднѣйшаго, государственнаго времени:

Городы тѣ нать-ли съ пригородами,
Иже села-то тѣ нать-ли съ приселками....
Али сила тобѣ надоть несчетная....

Кир. III, стр. 64). Сходно съ этимъ и у Рыбникова (Кижск. Общ., отъ Терентія Іевлева)

Много ль туды ты силы возьмешь,
Много ль возьмешь да золотой казны.

(II, стр. 46). Въ другомъ же пересказѣ (отъ К. Романова) опредѣляется число *силы*, доводимое тутъ до страшной (позднѣйшей) распространенности:

Возьми ты у меня силы сорокъ тысячей,
Возьми казны десять тысячей....

Зато въ этомъ пересказѣ съ особенною ясностію высказывается, что цѣль такого посольства вовсе не одинъ почетъ:

И поѣзжай въ тую землю въ хоробру Литву
И добрымъ словомъ посватайся:
*Буде въ честь не даютъ, такъ ты силой возьми.*

(Р. I, стр. 179). Послѣ этого ясно, что золотая казна тутъ — *для выкупа*, сила—*для взятія съ боя* невѣсты. Кому не извѣстны эти два способа древнѣйшаго сватовства? Ежели выкупъ и явился немного позже, то оба въ продолженіи долгаго времени существовали рядомъ, и употреблялись, какъ видно изъ нашей былины, то тотъ, то другой — смотря по надобности [24]). Далѣе, какъ въ пересказѣ Кирши, такъ и въ другихъ, Дунай отказывается отъ несчетной силы и проситъ себѣ у Владиміра одного молодца Екима Ивановича (по другимъ пересказамъ—Василія Казиміровича или Добрыню Никитича; въ нѣкоторыхъ—двухъ богатырей разомъ). Вдвоемъ ѣдутъ также Озидъ и Родольфъ (въ Тидрекъ-Загѣ), Горнадъ и Вате (въ Кудрунѣ), Ринальдъ и Роландъ (въ итальянской поэмѣ); но сверхъ того имъ тутъ и еще придаются спутники. Въ нашихъ же былинахъ богатыри дѣйствительно ѣдутъ вдвоемъ, но

[24]) Извѣстно, что въ свадебныхъ пѣсняхъ поѣздъ жениха является цѣлымъ полкомъ. У Юго-Славянъ и до сихъ поръ онъ долженъ быть, даже у небогатыхъ людей, многочисленнымъ: это, конечно, остатокъ той грубой поры, когда невѣста добывалась силою. См. въ моемъ Ист. Обозр. Р. Слов. стр. 102 и слѣд.



что они вдвоемъ стоютъ цѣлой силы ратной, это видно по продѣлкамъ ихъ у короля, вслѣдствіе которыхъ онъ и видитъ себя принужденнымъ отдать имъ дочь свою. У Кирши Екимъ Ивановичъ одинъ, при помощи попавшейся ему оси телѣжной [25]), избиваетъ цѣлыхъ семь тысячъ мурзъ-улановей, и король умоляетъ Дуная унять его и оставить ему силы *хоть на сѣмена*. Тоже выраженіе, только про Добрыню, и у Рыбн. I, стр. 181, 182 и III, 100. Но въ дополненіяхъ, пропѣтыхъ г. Рыбникову Терентіемъ Іевлевымъ (IV, стр. 28—29) Дунаю приписывается тутъ слѣдующая черта, своею смягченностію напоминающая Илью Муромца:

Полно ти, Добрынюшка, уродовати;
Видно намъ есте Божья помочь.

Ни въ одномъ изъ германскихъ изводовъ этого не встрѣчается.

У Кирши же замѣчательно далѣе, что Дунай, при готовности выведенной изъ своего терема королевны цѣловать его, замѣчаетъ ей:

А и ряженой кусъ, да не суженому ѣсть,
Не цѣлую тебя во сахарны уста...
Достанешься ты князю Владиміру.

Хотя этого и не встрѣчается въ другихъ пересказахъ [26]), на древность такой черты указываетъ сходство ея съ тѣмъ, какимъ образомъ поступаетъ въ германскомъ эпосѣ Сигфридъ, добывая Брюнгильду въ невѣсты Гунтеру. Тотъ между собою и чужою невѣстою кладетъ на ночь мечъ, вынутый изъ ноженъ. Нашему Дунаю—искушеніе въ меньшей степени; онъ отказывается только отъ поцѣлуя, но точно также отказывается *отъ чужого*. И тутъ и тамъ та вѣрность *дружки*, этого главнѣйшаго свадебнаго заправщика, которая является однимъ изъ проблесковъ нравственнаго начала сквозь густую тьму тѣхъ грубыхъ временъ насильства. При обзорѣ былинъ о боѣ Ильи съ сыномъ уже было говорено о той важности, какая придавалась даже въ отдаленнѣйшую старину *дѣвственности* невѣсты. Свадебные обряды особаго рода, имѣющіе въ виду служить доказательствомъ этой дѣвственности и своею простодушною откровенностію указывающіе на глубь временъ, существовали или даже существуютъ у многихъ народовъ. Вездѣ при этомъ, въ случаѣ доставленія невѣсты не дѣвственною, являются особыя позорныя наказанья родителямъ,—но нѣтъ даже и тѣни намека на возможность вины въ этомъ случаѣ дружки.

Впрочемъ въ прекрасной сербской былинѣ о сватовствѣ Марка Кралевича, выбранный ими въ кумы *вѣнчанные* (свадебный чинъ въ родѣ дружки) *дуждъ од Млетака* (Венеціянскій дожъ), влюбившись на дорогѣ въ сопровождаемую имъ невѣсту Марка, предлагаетъ *деверю* (другому свадебному лицу) богатую мзду за право провести одну ночь съ невѣстою. Но въ отвѣтѣ деверя слышится вся необычайность такого поступка:

---

[25]) Такое вооруженье себя, съ полнымъ успѣхомъ, чѣмъ попало, составляетъ черту чрезвычайно распространенную;—такъ и знаменитый библейскій Самсонъ челюстью осла побилъ Филистимлянъ.

[26]) У Рыбн. I, п. 31 (Рябинина) Дунай напротивъ того преспокойно цѣлуетъ ее во уста во сахарнія.



Иди, дужде, изгубио главу!
Како ће се обльубити кума?

Кончается однакоже тѣмъ, что *деверь* продаетъ ему невѣсту; но она въ ужасѣ говоритъ вѣроломному куму:

Под нам ће се земльа провалити,
А више нас небо проломити,
Како ће се кума миловати!

Напрасно дожъ успокаиваетъ ее увѣреніями

Ј а сам до сад девет обльубио,
Кумо моја! кума крштенијех,
А вјенчане двадест и четири:
Ни једном се земльа не провали...

Дѣвица перехитряетъ его и онъ гибнетъ отъ руки Марка (Вука, II, п. 56). Сюда же относится и сказаніе Тидрекъ-Заги о сватовствѣ Гербурта за Гильду для короля Тидрека. Гербуртъ рисуетъ Гильдѣ на стѣнѣ черты Тидрека столь ужасными, что она ни за что не хочетъ выходить за него, и на дорогѣ, во время остановки *у дерева*, позволяетъ Гербурту вступить въ права супруга [27]). Мы увидимъ вскорѣ, что это послѣднее обстоятельство можетъ быть сближено съ однимъ мѣстомъ въ былинѣ Кирши Данилова. Возвращаясь къ этой послѣдней, замѣчу, что когда король тутъ убѣждается въ томъ, что нельзя не отдать дочери, то самъ онъ велитъ повезти за ней *золоту казну* на тридцати телѣгахъ. Тутъ уже выказывается обычай давать *приданое* за невѣстой, обычай, относящійся къ болѣе смягченному времени, переходомъ къ которому только мало по малу служили *подарки* жениху со стороны невѣсты, становившіеся все болѣе и болѣе значительными, но и то еще долгое время *выкупавшіеся* женихомъ [28]).

У Кирѣевскаго въ в. III, на стр. 66 (пересказъ Верещагина) король даже прямо называетъ отпускаемое имъ съ королевишною добро—*приданымъ*. Еще болѣе подновленнымъ является у Кирѣевскаго— тамъ же на стр. 55-й (Шенкурскъ, запис. Борисовымъ, доставлено Далемъ) то, что король съ самаго начала оказывается благосклоннымъ къ сватовству:

За Владиміра можно дѣвка отдать,
Хорошой женихъ, во славѣ, во почести.

Черта эта, противорѣчащая не только всѣмъ прочимъ нашимъ, но и иностраннымъ изводамъ, должна была быть перенесена на *отца* съ *дочери*, которая, какъ мы видѣли, въ нѣкоторыхъ пересказахъ является расположенною къ жениху. Впрочемъ и у Рыбник. въ ч. III п. 21 (Петрозаводскаго уѣзда, отъ Андрея Сарафанова), король сначала *радуется* сватовству и приходитъ въ гнѣвъ только позже, когда узнаетъ, что Владиміръ сватается за меньшую, а не за старшую дочь. Хотя на издавность обычая выдавать дочерей за мужъ по старшинству указываетъ и ветхозавѣтная, даже съ обманомъ соединенная выдача Ліи прежде Рахили, все же черта эта въ нашей былинѣ, стоя особ-

---

[27]) Сходное сватовство передается и въ поэмѣ Biterolf und Dietleib, ст. 6461—6512; но тутъ невѣста уже съ самаго начала добывается Гербортомъ для себя, вслѣдствіе чего и представляется страннымъ, почему Дитрихъ съ Гильдебрандомъ нападаютъ на него, когда онъ возвращается къ нимъ со своею невѣстою. Въ Тидрекъ-Загѣ—она не была сначала его невѣстою; за то далѣе тамъ забывается проведенный Тидрекъ (W. Grimm, Heldensage, 183—185).

[28]) См. въ моемъ Ист. Обоер. Р. Слов. стр. 119.

някомъ, съ другой стороны соединяется съ какою-то умышленностью—служитъ къ объясненію гнѣва короля за сватовство, такое же объясненіе могло понадобиться только въ позднѣйшее время.

Въ только что упомянутомъ пересказѣ у Рыбникова Дунай говоритъ, что ему «большей дочери, Настасьи королевишны, не надобно». Напротивъ у Кир. III, стр. 55 онъ проситъ у короля эту вторую дочь за себя, и король сейчасъ соглашается (только она оказывается тутъ меньшою—очевидно, ошибочно: во всѣхъ остальныхъ пересказахъ на оборотъ). Вездѣ, кромѣ одного этого пересказа, женитьба Дуная на Настасьѣ совершается другимъ образомъ: на возвратномъ пути отъ короля онъ встрѣчается съ паленицею, съ которою и вступаетъ въ бой, отправляя невѣсту Владиміра къ Кіеву со своимъ товарищемъ. Въ дополненьяхъ къ былинѣ Козьмы Романова, пропѣтыхъ Терентьемъ Іевлевымъ, особеннымъ образомъ объясняется самою Настасьею причина ея выѣзда въ поле:

Увезли сестрицу Апраксію,
И поѣхала я за ними вслѣдъ,
Воротить сестрица Апраксія,
Либо положить головка настасьина.

Но у Кирши Данилова Настасья совершенно не то говоритъ Дунаю:

Я у батюшки сударя отпрошалася,
Кто меня побьетъ во чистомъ полѣ,
За того мнѣ дѣвицѣ за мужь итти...

Хотя слова эти и не встрѣчаются въ другихъ пересказахъ, но на древность ихъ указываетъ сходство съ тѣми полумиѳическими, полубытовыми воительницами германскаго эпоса, къ которымъ принадлежитъ и Брюнгильда, точно также не отдающая себя за мужъ иначе, какъ только съ бою. О бытовомъ значеніи этихъ воинственныхъ женскихъ образовъ было уже говорено по поводу былинъ о боѣ Ильи Муромца съ сыномъ. Теперь же можно прибавить къ этому, что женщина является тутъ — не совершенною рабою отца, а существомъ, скорѣе самостоятельнымъ. Въ этомъ смыслѣ образъ невѣстъ-воительницъ долженъ принадлежать уже относительно позднѣйшему времени. Но подъ нимъ скрывается смыслъ изначальный, миѳическій — то нехотѣнье добромъ перейти во власть свѣтлой силы, которое указываетъ на свыклость, на освоенность съ силами тьмы свѣтлой по своей природѣ дѣвицы, словомъ, на изъясненную уже выше миѳическую измѣну. Вслѣдствіе такой-то измѣны, быть можетъ, дѣвѣ воительницѣ и приписываются въ пересказѣ Верещагина (Кирѣевскаго въ вып. I, на стр. 67) — груди *черныя* (какъ сыну Ильи Муромца въ одномъ пересказѣ). При этомъ Дунай борется съ паленицею не одинъ день съ утра до вечера, (какъ и Илья съ Сокольникомъ). Тамъ же на стр. 66 женственный образъ изчезаетъ въ придаваемыхъ ей размѣрахъ богатыря [29]), который *какъ сѣнна куча шатается* (тотъ же неуклюжій образъ придается нѣкоторыми пересказами также и сыну Ильи, постоянно же, въ былинахъ и сказкахъ, онъ принадлежитъ лицу несомнѣнно темному — царю морскому). У

---

[29]) Въ одномъ изъ рыбниковскихъ пересказовъ позднѣйшія названія—наѣздникъ и даже рыцарь: черты, очевидно, книжныя, зашедшія, м. б., изъ лубочныхъ изданій. (III, 100, 101 (п. 21).



Рыбникова же въ ч. I, п. 31, Рябинина) Настасья Королевишна накатывается на Дуная, какъ *сильна гора*. А тамъ же въ п. 30 (Козьмы Романова) она является татариномъ, который обрисовывается слѣдующимъ образомъ:

Рыкнулъ Татаринъ по звѣриному,
Свистнулъ татаринъ по змѣиному,
Въ чистомъ полѣ камешки раскатывались.
Травяшки въ чистомъ полѣ повянули
Цвѣточки на землю повысыпали,
Упалъ Дунаюшка со добра коня

Словомъ, ей приписывается таже зловредная и ужасная сила, что и Соловью разбойнику. Тѣмъ не менѣе Дунай вступаетъ съ нею въ союзъ, какъ Илья Муромецъ съ женой Святогора или съ бабой Горынчанкой. О миѳическомъ значеніи такого союза съ силами темными, или полутемными уже было выше говорено. Мы знаемъ и объ исходѣ союза Ильи съ Горынчанкой, о рожденіи отъ нея сына, съ которымъ приходится Ильѣ вступить въ бой. Трагическимъ же исходомъ сопровождается и союзъ Дуная съ Настасьей· скоро онъ заключенъ, скоро и разрывается. У Кирши Данилова немедленно послѣ боя

Тутъ они обручалися,
Кругъ ракитова куста вѣнчалися—

черта несомнѣнно древняя, хотя и не повторяющаяся въ другихъ пересказахъ: это тотъ языческій брачный обрядъ, на который жалуются въ своихъ поученіяхъ древнѣйшіе наши писатели. Думаю съ другой стороны, что тутъ надобно разумѣть не одинъ обрядъ, но и полное вступленье въ права супруга, подобное происходящему также у деревъ между Гербуртомъ и Гильдою (въ вышеприведенномъ эпизодѣ Тидрекъ-Заги). Въ другихъ пересказахъ бракъ совершается уже въ церкви, но также скоро — немедленно по пріѣздѣ въ Кіевъ, въ одно время съ бракомъ Владиміра. Совершенно подобно этому въ Тидрекъ-Загѣ одновременно совершается бракосочетаніе Аттилы съ Эркою и посланнаго за нею Родольфа съ сестрой ея Бертою. (Какъ и вообще весь этотъ эпизодъ Тидрекъ-Заги особенно близко подходитъ къ нашимъ былинамъ). Возвращаясь къ Киршѣ Данилову, замѣчу, что и у него бракъ, совершенный уже *вкругъ куста*, далѣе скрѣпляется церковнымъ вѣнчаніемъ, при чемъ, даже не безъ оттѣнка нѣкотораго сатиризма, (очевидно позднѣйшаго) замѣчается:

Ради были тому попы соборные,..
Вѣнчальнаго далъ Дунай пятьсотъ рублей.

Совершенно подобно этому и на западѣ впродолженіи среднихъ вѣковъ церковное вѣнчаніе обыкновенно происходило уже по заключеніи самаго брака [30]). Но и церковнымъ соединеніемъ не уничтожается издавняя миѳическая отчужденность между молодыми. Уже на свадебномъ пиру у Владиміра (князь разомъ празднуетъ и свою, и дунаеву свадьбу) завязывается роковая ссора между Настасьею и Дунаемъ. Эта заключительная часть былины не имѣется вовсе въ германскихъ изводахъ, она составляетъ особенность нашихъ былинъ, и только нѣкоторое съ нею сходство представляютъ и кое-какія былины юго-славянскія. Но между пересказами этой заключительной части за-

---

30) См. объ этомъ въ книгѣ Вейнгольда: Die Deutschen Frauen im Mittelalter, въ главѣ о бракѣ.



мѣчается у насъ значительное разногласіе; видно по всему, что ссорѣ приданъ былъ особенный оборотъ уже въ позднѣйшее время, и что самый оборотъ этотъ подвергался видоизмѣненіямъ. Въ настоящемъ видѣ былинъ ссора имѣетъ уже бытовое значеніе. У Кирши Данилова Дунай, напившись на пиру у князя, начинаетъ хвастать тѣмъ, что въ цѣломъ Кіевѣ нѣтъ такого стрѣлка, какъ онъ. Напротивъ княгиня Апраксѣевна увѣряетъ, что нѣтъ такого стрѣлка, какъ сестра ея Анастасія. Это Дунаю *за бѣду стало*: бросали они жеребья, кому прежде стрѣлять;—досталось стрѣлять Настасьѣ. Сходно съ этимъ у Кирѣевскаго (въ шенкурскомъ пересказѣ Борисова, и пересказѣ Сузунскаго зав., зап. Соколовымъ—въ III вып. стр. 55 и 58); только тутъ Настасья на мужнину похвальбу отвѣчаетъ похвальбою сама. У Рыбникова въ пересказѣ Терентія Іевлева (II, стр. 60) Дунай хвастается силой и храбростью, а она стрѣльбой. Въ пересказѣ же Андрея Сарафанова (III, стр. 101) Настасья Королевична сама начинаетъ хвастать и тѣмъ вызываетъ Дуная на состязаніе. У Кирѣевскаго же на стр. 68 й III выпуска, въ пересказѣ Верещагина, Настасья еще прибавляетъ къ своей похвальбѣ похвалу богатырямъ кіевскимъ, а о мужѣ и не упоминаетъ,—«то какъ да Дунаю и не показалося». —Таже похвала другимъ богатырямъ—и у Рыбн. въ пересказѣ Козьмы Романова (въ ч. I, на стр. 184), только тутъ она вызвана похвальбой самого Дуная: «Нѣтъ такого молодца на Дуная Ивановича — самъ себя женилъ, другого подарилъ. (Такъ и въ пересказѣ Рябинина I, стр. 192—193). Наконецъ у Рыбникова въ пересказѣ Никифора Прохорова (въ ч. I, на стр. 195) Настасья, начиная съ похвальбы собою, отзывается за тѣмъ съ похвалою о цѣломъ множествѣ богатырей, и былина пояснительно прибавляетъ къ этому, что она «не спохватила своего-то мужа законнаго, тихаго Дона (тутъ это имя русской извѣстной рѣки вмѣсто югославянскаго Дуная) сударь Ивановича». Этимъ какъ бы прямо указывается на то, что въ Дунаѣ могла быть возбуждена и ревность. Господствующее же въ немъ чувство, заставляющее его вступить съ женой въ состязаніе стрѣльбою, это, очевидно, молодецкое чувство чести [31]). Сама Настасья въ пересказѣ сузунскаго завода (Кир. III, 57) говоритъ, что она при бесѣдѣ его избезчестила. Видя, какъ жена попадаетъ прямо въ кольцо, находящееся надъ головой его, онъ хочетъ во что бы ни стало попасть точно также въ кольцо и надъ ея головою. Въ большей части пересказовъ, промахнувшись два раза, онъ, несмотря на просьбы жены не стрѣлять болѣе, чтобы не убить ея, самъ не помня себя, подъ вліяніемъ своего разобиженнаго самолюбія, стрѣляетъ еще разъ, и выстрѣлъ оказывается смертельнымъ. У Кирши Данилова Дуная удерживаетъ отъ стрѣльбы—спер-

---

[31]) Къ объясненію эпическаго смысла этой черты можетъ служить соотвѣтственная изъ chanson о путешествіи Карла В. въ Іерусалимъ и Константинополь. Карлъ спрашиваетъ у жены, видала ли она кого нибудь, кто бы лучше его носилъ и венѣцъ и мечъ?—Ты слишкомъ заносишься, отвѣчаетъ ему жена: я знаю такого». И Карлу то за бѣду стало—ради Французовъ его окружавшихъ. Онъ требуетъ, чтобы она назвала ему этого соперника,—онъ поѣдетъ на состязанье съ нимъ, и если окажется, что она солгала, то онъ самъ ей отрубитъ голову! — Жена готова упасть ему въ ноги и увѣряетъ, что она только пошутила. Но повторенныя угрозы Карла вынуждаютъ у нея признаніе, что соперникъ—король константинопольскій.

«Отъ черты этой, по замѣчанію Готье, за версту пахнетъ древностью» (ceci sent l'antiquité d'une lieue. (Gautier, Epopées françaises, II, 272).

ва Апраксѣевна, потомъ всѣ сильны могучи богатыри. (Кир. III, 79). Но такое невѣріе ихъ въ его умѣлость только пуще раззадориваетъ Дуная. У Кирѣевскаго въ шенкурскомъ пересказѣ. (вып. III на стр. 55) онъ, послѣ двухъ неудачныхъ выстрѣловъ, съ досады, съ умысломъ мѣтитъ ей прямо въ сердце. А въ пересказѣ сузунскаго завода (тамъ же на стр. 57—58), Дунай, не давъ ей еще и показать своего искусства, начинаетъ самъ стрѣлять—и

Онъ въ третій разъ попалъ въ молоду жену,
Угодилъ по ретиву сердцу...

нечаянно ли, умышленно ли на этотъ разъ—сказать трудно, при неясности и неопредѣленности выраженій былины. У Рыбн. въ пересказѣ Никифора Прохорова (въ ч. I, на стр. 196) умыселъ Дуная убить жену уже совершенно ясенъ: вслѣдъ за удачной ея стрѣльбой, онъ уже первый свой выстрѣлъ напутствуетъ слѣдующимъ заговоромъ:

Ай же ты, моя любимая калена стрѣла,
Пади-ка ни на воду, ни на землю,
Пади-ка въ Ѳепру королевичну
А пади-ка ей во бѣлу грудь.

А въ дополненьяхъ, пропѣтыхъ Рыбникову Терентіемъ Іевлевымъ (IV, стр. 29) встрѣчается вотъ еще что̀:

Бралъ стрѣлочку каленую,
Намазывалъ саломъ змѣинымъ.

«Это, надобно думать, чарованіе своего рода, имѣющее въ виду придать стрѣлѣ мѣткость»—сказано въ моей замѣткѣ къ IV ч. Рыбн., стр. XII. Наконецъ у Рыбникова же въ пересказѣ Андрея Сарафанова III, на стр. 101—102) Дунай стрѣляетъ первый и неудачно, потомъ стрѣляетъ Настасья и попадаетъ вѣрно; тогда у Дуная отъ зависти

Разгорѣлось сердце богатырское...
Ни на что не взираючи,
Пласталъ онъ ей груди бѣлыя.

И такъ, въ нѣкоторыхъ пересказахъ невольно, въ пылу увлеченія, въ другихъ же умышленно, изъ зависти и изъ мести, Дунай убиваетъ жену на самомъ пиру свадебномъ. Между тѣмъ оказывается, что у нихъ уже было *чадо посьяно*: «по̀ локоть руки въ серебрѣ, по колѣна ноги въ золотѣ, во лбу солнце красное, на затылкѣ свѣтелъ мѣсяцъ, по косицамъ часты звѣзды; (Кир. III, 57, 69, 80). (Рыбн. I, 185, 193, 196) по нѣкоторымъ пересказамъ цѣлыхъ два чада (Кир. III, 56; Рыбн. II, 51), наконецъ по одному пересказу цѣлыхъ три (Рыбн. III, 102). Такія же свѣтозарныя дѣти являются и въ цѣломъ множествѣ сказокъ, и тамъ обыкновенно въ числѣ двухъ. Въ одной болгарской былинѣ ужасающаго содержанія изъ чрева убитой матери вынимается отцомъ—*момченце съ злато перченце* [32]) (съ золотыми волосками); убивается же тутъ мать за то, что долго не имѣла дѣтей и мужъ не повѣрилъ ея увѣреніямъ, что она скоро должна родить. Въ пересказѣ Кирши Данилова сынъ Дуная называется удалымъ молодцемъ; онъ выскакиваетъ изъ утробы и говоритъ: «гой еси, сударь мой батюшка!»

---

[32]) Безсон. Болг. П. I, стр. 66.

Ка бы далъ мнѣ сроку на три часа,
А и я бы на свѣтѣ былъ попрыжѣе
И полутчѣе въ семь семерицъ тебя.

Изъ словъ этихъ видно, что чадо выходитъ *живымъ* изъ чрева матери, и выстрѣлъ Дуная оказывается такимъ образомъ смертельнымъ только для нея одной. Что же это за чадо, столь чудеснымъ и трагическимъ образомъ рождаемое? Кромѣ сходства со сказочными младенцами, оно напоминаетъ и Егорія Храбраго, точно также сверкающаго серебромъ, золотомъ и блескомъ свѣтилъ небесныхъ. Въ образѣ Егорія, по всей вѣроятности, скрывается тоже миѳическое существо, что и во Владимірѣ—солнце, только усматриваемое съ его дѣятельной, ратующей, воинственной стороны. Но у Дуная по нѣкоторымъ пересказамъ не одно, а нѣсколько чадъ. Точно также оно, какъ и замѣчено было выше, во многихъ сказкахъ. Это могло произойти вслѣдствіе извѣстнаго эпическаго закона *размноженія*. Шотты, объясняющіе свѣтозарнаго младенца — *младенцемъ солнечнымъ*, полагаютъ, что такое размноженье могло въ данномъ случаѣ произойти отъ появленія съ новой весной какъ бы новаго солнечнаго младенца: «и тотъ же самый, а все-таки—другой», заключаютъ Шотты. Такъ у Гриммовъ подъ № 60—два свѣтозарныхъ младенца, а въ соотвѣтственной валашской сказкѣ у Шоттовъ (№ 10)—всего одинъ. Затѣмъ Шотты указываютъ на сказочную связь подобныхъ свѣтозарныхъ младенцевъ съ водою, у которой они обыкновенно происходятъ на свѣтъ или же которой они ввѣряются. «Вода обозначаетъ ту среду, изъ которой возникаетъ солнечное свѣтило» [33]). И нашъ отецъ свѣтозарнаго младенца, Дунай, принадлежитъ къ водному началу. Впрочемъ во множественности чудесныхъ младенцевъ (по нѣкоторымъ пересказамъ) можетъ заключаться и миѳическое указаніе не на одно солнце, но и на мѣсяцъ и звѣзды. Въ индоевропейскихъ миѳахъ существовало представленіе такого рода, что богъ громовникъ во время грозы сѣетъ златоноснымъ фаллосомъ—молніею золотое сѣмя въ тучахъ, и въ нихъ такимъ образомъ снова рождаются свѣтила небесныя, послѣ того какъ тучи, скрывавшія ихъ, распластываются и совершенно изводятся. Не это ли явленіе таится и въ основѣ миѳа объ убіеніи Дунаемъ жены? Какъ богъ-богатырь-рѣка (небесная), онъ близокъ къ богу громовнику (громъ сопровождается же всегда дождемъ). Мы знаемъ уже, что отъ удара копытомъ (молніею) коня громоваго бога протекаютъ источники. Въ концѣ же нашихъ былинъ о Дунаѣ, послѣ убіенія жены, онъ самъ закалывается и отъ крови его протекаетъ рѣка.

Подобно этому въ одной болгарской пѣснѣ три рѣки протекаютъ отъ крови, вытекшей изъ трехъ головъ змѣя—тучи [34]). Какъ тамъ, такъ и въ сказаніи о Дунаѣ, первоначально разумѣлись воды небесныя. Позже миѳъ былъ перенесенъ на землю; когда же нарицательное *дунай* стало именемъ собственнымъ, то онъ сдѣлался миѳомъ *мѣстнымъ*, объясняющимъ происхожденіе опредѣленной географической рѣки. По нѣкоторымъ пересказамъ не толь-

[33]) Gebr. Schott, Walachische Märchen, 333.

[34]) Чт. М. И. О. 1865 г. к. IV, стр. 263 (ст. Потебни)

ко отъ крови дунаевой, но и отъ крови настасьиной протекаетъ рѣка—такъ и называемая Настасьею (Рыбн. I, п. 30 и 31; II, п. 12; III, п. 21). Въ одномъ изъ этихъ пересказовъ (II, 12) присоединяется тутъ толкованіе, что быстрая Настасья-рѣка протекла къ королю ко литовскому, а Дунай-рѣка—къ городу ко Кіеву, въ другомъ—о Дунаѣ то-же, о Настасьиной же рѣкѣ, что она пала въ Золоту Орду (III, 21). Все это уже отзывается позднѣйшимъ присочиненіемъ. Но замѣчательна слѣдующая добавка послѣдняго пересказа (Андрея Сарафанова):

Одна въ сторону рѣка, друга въ другую,
*И въ одно мѣсто оны стекалися.*

Это сложилось, по крайней мѣрѣ, по подобію многихъ народныхъ сказокъ, гдѣ любящіеся, изведенные чьею либо враждебною силою, превращаются, напримѣръ, въ два дерева, и вѣтви ихъ между собою сплетаются, и т. п. Позднѣйшею порчею, какъ оказывается изъ сличенія между собой пересказовъ, слѣдуетъ признать конецъ, встрѣчающійся единственно у Кирши Данилова: Дунай не кидается тутъ на ножище-кинжалище грудью, и не отъ крови его протекаетъ рѣка, а онъ, ткнувъ себя чингалищемъ во бѣлы груди, съ горяча *бросается* во быстру рѣку — потому быстра рѣка Дунай словетъ (Кир. III, стр. 80). Наконецъ имѣется пересказъ Никифора Прохорова, въ которомъ юго-славянскій *Дунай* замѣняется русскимъ *Дономъ*; имя же невѣсты этого Дона Ивановича тутъ—Нѣпра, что заставляетъ догадываться, что отъ крови ея должна была, въ болѣе древнемъ видѣ этой былины, протекать Днѣпръ-рѣка. Теперь же конецъ былины, очевидно, испорченъ: «тутъ-то отъ нихъ (отъ обоихъ, Дона и Нѣпры) протекала Донъ рѣка» (Рыбн. I, п. 32). Пѣсня о Днѣпрѣ и Донѣ замѣчательна и тѣмъ, что въ ней не повѣствуется о женитьбѣ молодца; она прямо начинается споромъ между мужемъ и женою на пиру у Владиміра. Точно также ограничивается однимъ этимъ пѣсня, помѣщенная у Кир. въ вып. III на стр. 56—58 (Сузунскаго завода, зап. Соколовымъ, первоначально помѣщена въ Приб. къ Изв. Ак. Наукъ). Обѣ эти пѣсни оторвались отъ цѣлаго и во всей полнотѣ своего основного значенія не могутъ быть поняты безъ связи съ нимъ. Но съ другой стороны онѣ представляютъ и своего рода цѣлостность, если имѣть въ виду только одно бытовое значеніе [35]). Это—двѣ сходныхъ картины изъ грубыхъ временъ первобытной воинственности, картины, рѣшительно не похожія на то,

[35]) Самый способъ стрѣльбы попадается и въ юго-славянскомъ эпосѣ, на прим. въ одной болгарской пѣснѣ, гдѣ повѣствуется о воинственномъ состязаніи между молодцами. Между прочимъ они собираются тутъ:

Ей ви васъ, млади юнаци!
Сребърну пару да гудимѣ,
Читире стотинъ раскрачи:
Кой-то пару удари,
Той ште войвода да буде.

Г. Безсоновъ переводитъ: «пару (мелкую монету) утвердимъ, приладимъ (гудимъ) на разстояніи 400 шаговъ раскрачь); кто попадетъ (ударитъ) въ нее? (Болгарскія пѣсни, I, 235). Есть и сходныя черты въ сербскихъ пѣсняхъ, на примѣръ:

На кули (башнѣ) је копље ударено,
На копљу је од злато јабука,
Ти стријељај кроз прстен јабуку.
(Латинянинъ Милошу—Вука II, стр. 148).

Тутъ недостаетъ только того, чтобы эта мелкая монета держалась надъ чьей нибудь головою, какъ кольцо надъ головой жены дунаевой. За то этому послѣднему совершенно соотвѣтствуетъ яблоко на головѣ сына Телля, — а извѣстно, что это преданіе было только пріурочено къ исторической личности, въ основѣ же тутъ общераспространенная эпическая черта. (См. ст. о томъ въ R. des D. Mondes 15 Aout 1868, p. 813).

что̀ представляли на́мъ даже и самые древніе, грубѣйшіе пересказы состязанья Ильи Муромца съ сыномъ. Въ этихъ послѣднихъ рѣшительно не замѣтили мы того, что̀ такъ ярко сказывается въ германскомъ изводѣ того же сказанія: готовности отца на бой съ уже узнаваемымъ сыномъ, готовности, вытекающей изъ того чувства воинской чести, которое рѣшительно пересиливаетъ чувство отцовской любви. Вотъ этой-то чести воинской, столь ярко выдающейся въ Гильдебрандѣ, не замѣтили мы въ Ильѣ Муромцѣ; напротивъ, именно она-то и составляетъ господствующую черту Дуная, который ей въ жертву приноситъ и жену и дѣтей. Во всѣхъ пересказахъ Настасья умоляетъ Дуная отказаться отъ стрѣльбы въ кольцо, чтобы, вмѣстѣ съ нею, не лишить жизни и тѣхъ чудесныхъ дѣтей, которыя у нея съ нимъ посѣяны.— Онъ и слушать не хочетъ, только бы ей доказать, что онъ не хуже ея попадетъ въ кольцо! Только окончательно не попавъ въ него, а попавъ въ жену, онъ приходитъ въ себя, и, какъ бы тутъ только вникнувъ въ слова жены—спѣшитъ посмотрѣть, точно ли такое чудесное чадо было у ней посѣяно. Не дрогнувъ, пластаетъ онъ ея груди бѣлыя и, дѣйствительно вынувъ изъ нея младенца, въ отчаяніи кидается на копье. Главное для него—младенецъ; только какъ *мать*, и жена получаетъ для него значеніе. Совершенно одиноко стоятъ въ этомъ отношеніи два пересказа съ Онеги (верещагинскіе), сведенные въ сб. Кирѣевскаго въ вып. III, на стр. 58—69. Тутъ Настасья сначала вовсе не пугается и не проситъ Дуная не стрѣлять, а говоритъ ему о младенцѣ только передъ третьимъ выстрѣломъ. Далѣе уже самая смерть жены, безъ всякаго стремленья провѣрить, мать ли она, или нѣтъ, приводитъ Дуная въ отчаянье.

Попало Настасьи въ ретиво̀ сарцо̀.
И убилъ Дунай молоду жену,
Приходилъ къ ей Дунай шаго̀мъ вя̀ро̀выемъ (быстрымъ)
И видитъ — Настасья мертва лёжитъ.
Становилъ Дунай да въ мать сыру землю
Свой булатенъ ножъ, да тупымъ концомъ,
И говорилъ Дунай да таковы слова:
«А гдѣ тѣло лёжитъ настасьино,
Да останься тутъ тѣло и дунаево».—
И падалъ онъ на ножъ да ретивымъ сарцо̀мъ.

Но этого нельзя не признать уже позднѣйшимъ смягченіемъ, если вникнуть въ сущность былины и остановиться на тѣхъ словахъ, съ какими обращается Настасья къ Дунаю, чтобы отклонить его отъ стрѣльбы, и обращается совершенно тщетно. У Кирши Данилова:

Стала ему кланяться и передъ нимъ убиватися:
„Гой еси, мой любезный ладушка...
„Оставь шутку на три дни,
„Хоть не для меня, но для своего сына нерожденнаго:
„Завтря рожу тебѣ богатыря".
(Кир. III, стр. 80).

А въ пересказѣ Сузунскаго Завода (Кирѣевскаго III, 57):

Сдогадалася, спохваталася:
Ахъ ты, Дунай, сынъ Ивановичъ,
Ты прости меня глупу женщину,
Что тебя при бесѣдѣ избезчестила—
У меня есть въ утробѣ чадо милое:....
—*Тому то Дунай не увѣровалъ.*

Сильнѣе выражается Настасья у Рябинина. Она предлагаетъ ему, вмѣсто стрѣльбы, лучше наказать ее *за вину* (а вина, какъ мы знаемъ, состояла въ томъ, что она умѣла стрѣлять лучше мужа):

Копай ты въ матушку сыру землю меня по поясъ,
Бей-ко ты меня по нагу тѣлу (Р. I, 193)

Или у Терентія Іевлева:

Бей меня плеточкой шелковою
За мою вину за великую. (Р. II, 50)

Наконецъ еще подробнѣе у Козьмы Романова (не смотря на мягкій складъ этого пѣвца) [36]);

Омочи плетку въ горячу смолу,
И бей меня по нагу тѣлу.....
Возьми меня за волосы за женскія
Привяжи ко стремени сѣдельному
И гоняй коня по чисту полю...
Копай попелькамы (грудями) въ сыру землю
И бей меня клиньямы дубовыма,
И засыпь пескамы рудожелтыма,
Голодомъ мори, овсомъ корми,
А держи меня ровно три мѣсяца,
А дай мнѣ-ка черево повыносить,
Да мнѣ младенца поотродити...

(Р. I, 185 (п. 30) Дополненіемъ ко всему этому можетъ служить картина самаго боя Дуная съ Настасьей, вслѣдствіе котораго и женится онъ на ней. Вотъ въ какихъ краскахъ является этотъ бой у Кирши Данилова:

И гораздъ онъ съ дѣвицею дратися,
Ударилъ онъ дѣвицу по щекѣ,
А пнулъ онъ дѣвицу подъ.....
Женской полъ отъ того пухолъ живетъ,—
Сшибъ онъ дѣвицу съ рѣзвыхъ ногъ,
Онъ выдернулъ чингалище булатное,
А и хочетъ взрѣзать груди бѣлыя.
(Кир. III, 76).

Ясно, что это переноситъ во времена самаго отдаленнаго, безчеловѣчнѣйшаго самодурства мужчины и совершеннаго униженія женщины. Но послѣ этого-то и становится вполнѣ понятнымъ тотъ воинственный образъ женщины богатырши, какою является и сама Настасья; создавая подобные образы, поэтическое воображенье народа хоть этимъ давало отпоръ той безграничности правъ мужчины, какая существовала въ дѣйствительности.

Понятно теперь, почему женитьба Дуная могла сплотиться въ одно цѣлое съ женитьбой князя Владиміра: та и другая совершаются на одной и той же почвѣ, на древнѣйшей почвѣ насилія и захвата. Съ бою взятая у отца, или сама побѣжденная въ боѣ, жена можетъ являться только военноплѣнною, невольницею, рабою. Такою представляется она до сихъ поръ и въ цѣломъ множествѣ свадебныхъ пѣсень,—рядомъ съ которыми, впрочемъ, имѣются и другія, позднѣйшаго, человѣчнаго строя, въ которыхъ невѣста оказывается самостоятельною и свободною. Такъ и въ нашихъ былинахъ о сватовствѣ Владиміра нельзя не замѣтить наслоенья позднѣйшей поры въ тѣхъ словахъ, какими, уже въ самомъ началѣ, опредѣляетъ Владиміръ, чего требуется отъ невѣсты, ему супротивной. Если уже у Кирши, и въ верещагинскомъ пересказѣ является необходимымъ условіемъ, чтобы она была не только красива, но и *умна* (Кир. III, 70, 62); то у Козьмы Романова къ этому еще прибавляется:

---

[36]) Ср. въ моей замѣткѣ къ IV ч. Пѣс. Рыбн. стр. XXXVII, гдѣ сказано: «Ясно, что это только уцѣлѣло въ памяти добродушнаго пѣвца, уцѣлѣло, такъ сказать, помимо его, какъ унаслѣдованный остатокъ старины самой грубой, самой отдаленной. «Сколько же замѣчательны черты мягкія у пѣвца суровыхъ картинъ Рябинина.

*И было бы мнѣ, князю, съ кѣмъ жить да быть,*
*Дума думати....*
*И всему красному городу Кіеву*
*Было бы кому покланятися* (Р. I, стр. 178)

Или же у Рябинина и Терентія Іевлева:

И вамъ, молодцамъ, *было бы кому покланятися* (Р. I, стр. 186, II, 45).

А между тѣмъ, и изъ подъ подобнаго, уже почетнаго воззрѣнія на женщину, такъ и выглядываетъ тутъ другое, грубое: Владиміръ поручаетъ другимъ сыскать ему *ровню*. Сходно съ этимъ оно и во многихъ германскихъ изводахъ: король наслышался про красоту такой-то дѣвицы, и посылаетъ за нею. Это брачная сдѣлка, а не союзъ, основанный на душевномъ расположеніи. Нѣсколько иначе представляется дѣло въ Эддѣ, гдѣ Фрейръ поручаетъ Скирниру добыть ему невѣсту, которую самъ онъ видѣлъ, хотя и изъ далека, и горячо полюбилъ, но опять-таки за ея ненаглядную красоту. Во многихъ сказкахъ королевичъ влюбляется въ портретъ: Der Treue Johannes у Гриммовъ, I, 6; также точно и въ индійской Паншатантрѣ, I, 417 въ изданіи Бенфея [37]). Въ одномъ итальянскомъ сборникѣ XVII в. (Pentamerone дона Базиле) король плѣненъ видомъ крови убитаго вороненка на бѣломъ мраморѣ: охъ если бы мнѣ невѣсту такую бѣлорумяную и съ такими волосами, какъ вороново крыло! Братъ его ѣдетъ отыскивать ему такую невѣсту [38]). А у насъ въ пересказѣ Кирши:

Ея бѣлое лице какъ бы бѣлой снѣгъ,
И ягодицы, какъ бы маковъ цвѣтъ
А и ясныя очи какъ бы у Сокола

Или у Терентія Іевлева:

У ней кровь-то въ лицѣ словно бѣлаго заяца (Р. II, стр. 45)

Ее видѣлъ Дунай Ивановичъ. Когда видѣлъ, какъ?—вотъ вопросъ, изъ котораго должны были возникнуть особыя обстоятельства, особыя похожденія. И дѣйствительно у Кирши Данилова король, въ отвѣтъ на сватовство Дуная, замѣчаетъ ему:

Ка бы прежде у меня не служилъ вѣрою и правдою,
То бъ велѣлъ посадить во погреба глубокіе
И уморилъ бы смертью голодною...

Дунай же на это въ отвѣтъ:

Ка бы у тя во дому не бывалъ,
Хлѣба соли не ѣдалъ,
Сѣкъ бы по плечъ буйну голову (Кир. III, стр. 73).

Можно замѣтить въ этомъ указаніе на существовавшій уже въ отдаленнѣйшія насильственныя времена смягчающій законъ гостепріимства;—но намъ теперь собственно важно указаніе на давнюю и долгую службу Дуная Ивановича королю. Въ другихъ пересказахъ у Кир. (зап. въ Шенкурскѣ и на Онегѣ) король также, при видѣ Дуная, припоминаетъ его службу въ Литвѣ (III, стр. 55, 65), Съ меньшею ясностію у Рыбн. II, п. 12 (Терентія Іевлева). Опять же въ пересказѣ Кирши Дунай говоритъ Настасьѣ:

---

[37]) Сличи у Р. Кёлера über die europäischen Volksmärchen—въ Weimarische Beiträge 1865, p. 197. По его свидѣтельству черта эта встрѣчается у многихъ народовъ. Заочно влюбляется и Вильгельмъ Оранжскій въ dame Orable; такимъ же точно образомъ въ Шахъ-Намѐ—Залъ влюбляется въ Рудабѐ (Mohl, I, 243—269).

[38]) Сходная черта и у Вильмарке.—Les Romans de la table ronde, 3-me éd., p. 130.

Служилъ я, Дунай, во семи ордахъ,
Во семи ордахъ, семи королямъ,
А не могъ себѣ выжить красныя дѣвицы
(Кир. III, 77)

(указаніе на древній способъ вознаграждать за службу подобнымъ образомъ, напоминающее библейское выслуживаніе Іаковомъ сперва одной, потомъ другой дочери у Лавана). Въ нѣкоторыхъ пересказахъ Дунай уже въ самомъ началѣ говоритъ Владиміру:

Гулялъ я, молодецъ, да изъ земли въ землю,
Загулялъ я, молодецъ, да къ королю въ Литву,
Былъ въ услуженьи у короля я девять лѣтъ... (Кир. III, 63. На Онегѣ).

Или:

Жилъ я, Владиміръ князь, въ ляховинской землѣ,
У ляховинскаго короля двѣнадцать лѣтъ:
Ровно три года я былъ въ конюхахъ,
Три года я у воротъ стоялъ,
У воротъ стоялъ приворотничкомъ,
Три года я у дверей стоялъ,
У дверей стоялъ придверничкомъ,
Три года я у стола стоялъ,
У стола стоялъ — стольничалъ.
(Кир. III, 54) (Шенкурскъ).

Совершенно въ тѣхъ же выраженіяхъ описываетъ службу Дуная самъ король (только служба продолжается тутъ всего три года)—у Рыбник. I, стр. 180, 183 (п. 30, К. Романова). Послѣ всего этого слѣдуетъ уже порчей считать, что у Рябинина (Рыбн. I, 189 (31). Король не узнаетъ Дуная, что тутъ знающимъ королевичну оказывается не Дунай, а Пермилъ, который однако же совѣтуетъ послать свататься Дуная, такъ какъ онъ «во послахъ бывалъ, *много земель знивалъ*, и говоритъ гораздъ».—А у Андр. Сарафанова (Рыбн. III, 97 (21) опять вѣрнѣе: про другихъ богатырей говорится, что они «не бывали на чужихъ, на дальнихъ сторонушкахъ, не видали людей чужестранныихъ», а Дунай напротивъ того: «онъ жилъ-то у короля литовскаго онъ двѣнадцать лѣтъ во конюхахъ». Впрочемъ король и тутъ не узнаетъ Дуная.

Ясно, что всѣ пересказы одинаково представляютъ Дуная бывалымъ въ различныхъ странахъ, нанимавшимся на службу у различныхъ лицъ. Наконецъ пересказъ онежскій, подробно описывающій службу Дуная у короля литовскаго, даже начинается словами:

Гулялъ-гулялъ Дунай да съ земли въ землю,
Да загулялъ Дунай да къ королю въ Литву (К. III, 58).

Если бы тутъ и лежало въ основѣ миѳическое гулянье, т. е. протеканье по разнымъ странамъ *дуная* (рѣки), то все же сверхъ этого тутъ ясно и гуляніе *добра молодца*, гуляніе бытовое. А кто же являлся у насъ въ старину подобнымъ образомъ *гуляющимъ* и *нанимающимся*, какъ не бороздившіе русскую землю *варяги*? Не древній ли образъ варяга слѣдуетъ видѣть и въ Дунаѣ Ивановичѣ—поверхъ еще болѣе древняго миѳическаго *Дуная—рѣки* (сперва небесной, а потомъ и земной)? Не этимъ ли объясняется и то, столь свойственное варягамъ (съ ихъ преобладающею стихіей германскою) чувство воинской чести, какое замѣтили мы въ Дунаѣ-богатырѣ? — Но и въ другихъ отношеніяхъ былины о немъ представляютъ не мало чуждаго, ярко отличающагося отъ обычнаго строя былинъ кіевскихъ. Дунай служилъ при дворѣ

короля, при настоящемъ *дворѣ*; онъ проходилъ черезъ различныя придворныя должности, еще не существовавшія, какъ мы видѣли, въ древнѣйшей основѣ былинъ владиміровыхъ. У короля (какой бы тамъ онъ ни былъ—литовскій, ляховинскій, или ордынскій) въ ходу слово *служба*, *слуга*: «а прежняя слуга, слуга вѣрная,» говоритъ онъ Дунаю (Р. I, 180, 181). «Ай же вы, слуги мои вѣрные!» обращается онъ и къ другимъ (Р. I, 190). «Уйми своего слугу вѣрнаго,» говоритъ онъ Дунаю про Екима Ивановича (Кир. III, 74). У него оказываются и «палачи не милосливые» (Кир. III, 60). Онъ считаетъ Дуная не довольно почетнымъ посломъ отъ Владиміра, когда говоритъ:

Глупый Владиміръ стольно-кіевскій.
Онъ не зналъ кого послять ко мнѣ посвататься
Изъ крестьянъ ко мнѣ крестьянина богатаго,
Изъ бояръ мнѣ-ка боярина хорошаго,
Изъ богатырей богатыря могучаго;
Онъ послалъ ко мнѣ *холопину* дворянскую (Р. I, 190).

Но не замѣчательно ли, что и тутъ сквозь эти слова, отзывающіяся совершенно особымъ порядкомъ вещей, все же проглядываютъ черты иного рода, подходящія къ господствующему строю былинъ? Гордый чужеземный король готовъ примириться и съ посланникомъ изъ *крестьянъ*, только бы выбрали кого нибудь изъ нихъ побогаче! Въ другомъ пересказѣ король говоритъ Дунаю: «какъ вашъ тотъ князь не великъ собой.» (Рыбн. II, стр. 48) Смыслъ этихъ словъ выкажется въ своемъ мѣстѣ изъ сличенія ихъ съ другими, подобными же намеками) Наконецъ имѣются и нѣкоторые, правда,незначительные, намеки на роскошь самой обстановки короля. У Кирши онъ предлагаетъ наполнить телѣги золотомъ, серебромъ, жемчугомъ и каменьями самоцвѣтными; тамъ же, у палатъ, въ которыхъ сидитъ Настасья, двери желѣзныя, а *крюки, пробои по булату злачены* (Кир. III, 74—75). Въ одномъ изъ пересказовъ Кирѣевскаго король выходитъ на *крыльцо золоченое* (III, 65). У Рябинина Опракса королевична ходитъ по терему—*злату верху*(Рыбн.I, 191). А у Бутылки пріѣзжающіе тутъ вмѣсто Дуная Ѳедоръ и Василій Ивановичи вяжутъ коней къ столбикамъ точенымъ, ко тымъ *колечкамъ золоченымъ*, а шляпу пуховую кладутъ на *стопку золоченую.*» (III, стр. 10). Но при всемъ томъ вліянье эпической кіевской *простоты отношеній* сказалось и въ разбираемыхъ нами теперь былинахъ даже на самомъ королѣ ляховинскомъ: при входѣ Дуная съ товарищами, онъ спрашиваетъ ихъ просто:

Вы откулешны, удаленьки дородни добры молодцы?...
—«Есть мы со славной матушки со святой Руси,
Отъ ласкова князя отъ Владиміра.»

И, довольствуясь уже этимъ,

Король садитъ-то ихъ за столики дубовые... .
Наливаетъ-то онъ чару зелена вина....
Поднесъ къ тихому Дунаюшку Иванову... (Р. I, стр. 189).

Въ другомъ пересказѣ, при пріѣздѣ Дуная,

Выходитъ король на широкіі дворъ
И встрѣчаетъ тутъ Дуная Ивановича. (Р. III, стр. 99).

Мы уже видѣли, какъ подобнымъ образомъ *самъ* встрѣчалъ Илью Муромца Владиміръ князь. И простотѣ всего его образа жизни и обстановки вполнѣ соотвѣтствуютъ подобные пріемы *хозяина добраго*, соотвѣтствуетъ и *нали-*

*ванiе собственными руками* и *подношенiе гостю,* неоднократно приписываемое былинами о Дунаѣ Владимiру (Кир. III, стр. 72. Р. I, стр. 188, 189 III, стр. 96 (Дунаю и Василью Казимiровичу), и только однимъ пересказомъ перенесенное съ него на гордаго *короля.* Съ другой же стороны, опять однимъ только пересказомъ (Кирши Данилова) на ласковаго Владимiра переносится болѣе свойственное королю *приказанiе* наливать чару и подносить (Кир. III, стр. 71) Зато въ другомъ пересказѣ (Рябинина) Владимiръ подноситъ своими руками даже Василью п.:робку, котораго выпрашиваетъ себѣ тутъ Дунай въ помощники, и про котораго говоритъ:

Ему, Васильюшку, коней сѣдлать,
Ему, Васильюшку, разсѣдлывать
Плети подавать, плети принимать...

(Р. I, стр. 188) Опять въ другомъ пересказѣ Владимiръ *руками приводитъ* къ Дунаю Екима Ивановича. Что касается Добрыни, то Владимiръ вотъ какимъ образомъ къ нему обращается:

Пожалуй ты къ Дунаюшкѣ во товарищи.

Во всемъ этомъ видѣнъ еще тотъ образъ Владимiра, при которомъ совсѣмъ не въ обычаѣ *слуги*, но зато совершенно обычное дѣло задать по случаю своей свадьбы:

Пированье столованье *на весь крещеный людъ* (Кир. III, 55).

И вотъ у такого-то князя на радушномъ пиру, совершенно несоотвѣтственно тому, что видѣли мы почти во всѣхъ былинахъ о первомъ прiѣздѣ Ильи Муромца въ Кiевъ,—Дунай является въ томъ же пересказѣ съ поклонами *низкими*, да къ тому же—дѣло неслыханное *для того строя* былинъ—не только проситъ позволенiя говорить, но вотъ еще какими словами:

Благослови мнѣ слово молвити
Безъ ск:раго безъ казненья,
И безъ дальнiя мнѣ-ка высылки.

(Кир. III, 53. У Рябинина—Рыбн. I, стр. 187—низко кланяется князю Пермилъ Ивановичъ). Точно также выражается у Кирши Данилова—дающiй тутъ совѣтъ поручить сватовство Дунаю, Иванъ Гостиной сынъ:

Благослови предъ собой слово молвити,
И единое слово безопальное,
А и безъ тоя опалы великiя (К. III, 71).

Но къ такому *низкому* содержанiю словъ рѣшительно не идетъ тотъ *высокiй*, тотъ зычный голосъ, какимъ, по обычаю богатырскому, высказываетъ эти слова Иванъ. Выраженiе же *опала* ясно указываетъ уже на московскiй порядокъ вещей, къ которому (и даже къ опредѣленной порѣ его) уже рѣшительно относится въ нашихъ былинахъ и *малюта Воскурлатовъ сынъ*: ему, въ другомъ пересказѣ, приписываются слова сходнаго содержанiя:

Прикажи-тко се мнѣ да слово молвити
Безъ тоя ли безъ высылки безъ дальнiя,
Безъ тоя ли безъ кàзани безъ смертныя (Кир. III, стр. 62, Онега)

Но ежели тутъ сказалось подобнымъ образомъ и позднѣйшее наслоенье московское, сложившееся изъ стихiй, въ свою очередь чуждыхъ славянскимъ основамъ Руси, то поэтическому образу Дуная, этого наемника разныхъ странъ,

этого странствующаго слуги, пріемы подобострастной почтительности могли быть приданы уже издавна, если не изначала. У Рыбн. въ ч. I, на стр. 179 (отъ К. Романова), услышавъ приглашенье Владиміра ѣхать на сватовство, Дунаюшка Ивановичъ

Выходитъ за столика дубоваго
Бьетъ челомъ, покланяется.

То-же выраженіе, еще намъ ни разу не попадавшееся, употреблено въ томъ же пересказѣ и тамъ, гдѣ Дунай приходитъ къ *королевскому величеству*...

Знаетъ онъ *порядню королевскую*,
Не надо креститься, молитвиться, —
Бьетъ челомъ, покланяется...

Послѣ всего того, чтò уже знаемъ мы объ обстановкѣ короля ляховинскаго, не является ли и это *битье челомъ* принадлежностію *его порядни*, не изъ этой ли чуждой порядни занесено оно Дунаемъ въ Кіевъ? (Р. I, стр. 180). Даже въ одномъ изъ тѣхъ пересказовъ гдѣ Дунай при пріѣздѣ поступаетъ крайне невѣжливо (Р. II, 47, III, 99)—размахиваетъ ворота на пяту, и такъ далѣе,—даже тутъ онъ:

Поклонъ ведетъ по ученому,
А онъ королю ведетъ поклонъ въ особину (Р. II, 47).

Такъ оно и въ другомъ пересказѣ (Рыбникова I, стр. 189), гдѣ онъ также на пяту размахиваетъ—но не ворота—а дверь, вслѣдъ за тѣмъ онъ все-таки ведетъ поклонъ по ученому же—и королю, и его князьямъ подколѣннымъ. Но такъ какъ обыкновенно въ нашихъ былинахъ *поклонъ по ученому* значитъ поклонъ *на четыре стороны, а потомъ хозяину*, то и неудивительно, если въ двухъ пересказахъ и при входѣ Дуная къ королю ляховинскому послѣ—*поклонъ по ученому*, у пѣвцовъ какъ бы невольно пропѣлось:

На всѣ на четыре сторонки,
Самому-то королю въ особину...

Но если такимъ образомъ вліяніе *строя кіевскаго* до извѣстной степени сказывается и на Дунаѣ-богатырѣ, все же по основному своему складу онъ скорѣе напоминаетъ тотъ *чуждый строй*, съ которымъ мы коротко познакомились при разборѣ германскаго эпоса (см. гл. II). Это уже заранѣе, еще и безъ всякой помощи сравнительнаго изученія, понялъ своимъ *глубокимъ чутьемъ* К. Аксаковъ. «Не похожъ, говоритъ онъ, Дунай на другихъ богатырей; очевидно *пришлецъ изъ чужихъ странъ, буйный духомъ*, онъ отличается какою-то особенною, *горделивою осанкою*. Въ одномъ мѣстѣ Дунай говоритъ самъ о себѣ, что онъ служилъ въ семи ордахъ, семи королямъ. *Удалой дружинникъ*, Дунай наконецъ остался въ службѣ православнаго князя Владиміра и самъ является уже православнымъ витяземъ» [39]). Въ иную сторону уклонился на этотъ разъ г. Безсоновъ (у котораго, какъ извѣстно, собственно только то и заслуживаетъ вниманія, чтò взято имъ у славянофиловъ и не слишкомъ затемнено его собственнымъ способомъ изложенія). Основываясь на *имени* богатыря, г. Безсоновъ находитъ, что онъ напоми-

[39]) Полн. Собр. соч. К. С. Аксакова, I, 357—358. Курсивъ принадлежитъ мнѣ.

наетъ ту древнѣйшую пору, когда русскіе Славяне, за одно съ прочими своими братьями, жили еще при Дунаѣ, а потому если г. Безсоновъ и считаетъ его *явившимся со стороны* въ землѣ кіевской, то только въ томъ смыслѣ, что онъ принадлежалъ, до появленія на Руси, и другимъ племенамъ славянскимъ [40]). Значительно иначе, но въ сущности сходно, *поставлено* толкованіе г. Буслаева. «Въ раннюю эпоху своего миѳическаго броженія, говоритъ почтенный профессоръ, славянскія племена, разнося съ собою общія начала индо-европейской миѳологіи, разсѣялись по рѣкамъ... Согласно древнѣйшему обычаю славянскихъ племенъ, русскій эпосъ воспѣваетъ знаменитыя рѣки, олицетворяя ихъ въ видѣ богатырей старшей эпохи» [41]).(Дунай, Днѣпра, Донъ— нѣкоторыхъ пересказовъ).

Позднѣйшій изъ нашихъ изслѣдователей, разумѣется, не согласенъ ни въ чемъ со своими предшественниками. «Наша былина, говоритъ г. Стасовъ, представляетъ рѣшительно ничѣмъ необъяснимую смѣсь грубости, нелѣпости и чудовищности». Самъ онъ однакоже пытается объяснить эту смѣсь—разумѣется, *порчею* разныхъ восточныхъ подлинниковъ, совсѣмъ не нелѣпыхъ и не чудовищныхъ. Что̀ касается *грубости* нашей былины, то ея не оспаривалъ ни одинъ изъ предшественниковъ г. Стасова. Убійство мужемъ жены изъ за того, что она похвасталась — это, безспорно, грубо, хотя и не надо забывать, что въ большей части пересказовъ у Дуная и въ умыслѣ нѣтъ *угодить* въ жену, а онъ твердо увѣренъ въ томъ, что стрѣла пролетитъ безвредно надъ ея головой и онъ только докажетъ ей мѣткость и вѣрность своей стрѣльбы. Но г. Стасову кажется также непостижимымъ вырѣзыванье младенца изъ утробы убитой матери—по какой причинѣ и для какой цѣли оно совершается [42])? Въ этомъ случаѣ нашъ ученый нѣсколько недогадливъ. Дунаю вѣдь нужно удостовѣриться въ томъ, правду ли говорила его жена, что у нея съ нимъ *чадо посьяно*, да и нужно, если бы то оказалось правдой, не дать младенцу погибнуть вмѣстѣ съ матерью. Но г. Стасова, видите ли, попутали восточные *подлинники*, гдѣ вырѣзываніе младенца происходитъ изъ *ревности*; въ одномъ изъ нихъ онъ вырѣзывается мужемъ у жены, посѣявшей этого младенца *съ другимъ* (въ Гариванзѣ); а въ другомъ подлинникѣ (у Сомадевы) мужъ вырѣзываетъ у жены своего собственнаго младенца—по настоянью своей другой, ревнивой жены (нельзя сказать, чтобы и это было особенно *нѣжно* и человѣчно). Если же въ Гариванзѣ у бога Сомы—цѣлыхъ 27 женъ, уступленныхъ ему добровольно, и еще позднѣйшая, 28 жена, взятая силою, то и это оказывается совершенно сподручнымъ для г. Стасова: «первыя 27 женъ, объясняетъ почтенный ученый, это первая наша королевична, уступленная добровольно; вторая его жена, Тара, взятая силой—это вторая наша королевична, взятая силой. Но такъ какъ въ нашей былинѣ временъ христіанскихъ, не могло уже быть рѣчи о многоженствѣ, то у насъ первую королевичну отдали въ жены особому лицу, князю Владиміру, и изъ этого произошелъ, безъ сомнѣнія, весь эпизодъ о сватовствѣ этого князя».

[40]) Замѣтка къ вып. III-му Пѣс. Кир., стр. VI.

[41]) Русскій Богатырскій эпосъ—въ Р. Вѣстн. 1862 г Мартъ, стр. 31 и 33.

[42]) Вѣстникъ Европы 1868 г. Апрѣль.

Въ томъ, что младенецъ, вырѣзанный ревнивымъ Сомою изъ утробы Тары, «блеснулъ подобно огню, павшему на пучки камыша» г. Стасовъ замѣчаетъ только краткій видъ того, что̀ оказывается у насъ *распространеннымъ* въ извѣстное описанье младенца: «по колѣна ноженьки въ серебрѣ, по локоть рученьки въ золотѣ, по косицамъ звѣздушки» и т. д. (Но мы уже отмѣтили выше эпическую распространенность именно такого *пространнаго*, цѣльнаго образа — примѣры котораго, впрочемъ, приводятся далѣе и самимъ г. Стасовымъ—конечно, изъ восточнаго же эпоса). Что̀ касается сказки Сомадевы, то сличенія нашей былины съ нею приводятъ г. Стасова, между прочимъ, къ тому, что въ лицѣ нашей «второй королевичны» (т. е. Настасьи) соединяется «демонъ, оборотившійся кабаномъ, и царевна Виндурекха восточнаго подлинника». Впрочемъ, нашимъ ученымъ приводятся и еще другіе *подлинники*, а именно два расказа изъ Магабгараты—объ *эмбріонахъ, недоношенныхъ матерью*, горестныя *слезы* которой *превращаются въ рѣку*. (Замѣчу, что такая *рѣка отъ слезъ* попадается въ эпосѣ разныхъ странъ столь же часто, какъ и *рѣка отъ крови*, но основательная критика никакъ не позволяетъ смѣшивать ту и другую рѣку). Выше указаны были черты (между прочимъ изъ болгарскаго эпоса) дѣйствительно соотвѣтственныя рѣкѣ, протекающей вслѣдствіе самоубійства богатыря Дуная. [43]) Что̀ же касается собственно такого поступка нашего богатыря, то и онъ представляется г. Стасову непостижимымъ. «Когда въ материей утробѣ, разсуждаетъ онъ, найденъ младенецъ, то почему герой, вмѣсто того, чтобъ радоваться, что если уже убита мать, то по крайней мѣрѣ вышелъ на свѣтъ такой волшебный ребенокъ, — вмѣсто этого онъ вдругъ лишаетъ себя жизни?» Смѣю думать, что если бы эпосъ народный разсуждалъ въ этомъ отношеньи по стасовски, то былина, и безъ того уже грубая, вышла бы и еще грубѣе. Но къ счастію, Дунай Ивановичъ, при всей своей грубости, не задается холодными разсудочными соображеніями а глубоко *чувствуетъ* всю свою вину, и, въ пылу охватившаго его душу отчаянія, закалывается надъ тѣломъ своей безвинно-погибшей жены: будь это сказано не во гнѣвъ г. Стасову, утверждающему, между прочимъ, будто бы богатыри наши *никогда ничего не чувствуютъ*. Извѣстно, что сербскіе и болгарскіе во многихъ отношеніяхъ еще первобытнѣе, а потому и еще грубѣе нашихъ, но и они способны *съ горя* рѣшаться на самоубійство. Есть даже примѣръ что юнакъ убиваетъ себя — не чувствуя силъ пережить возлюбленнаго коня своего:

Кaде нијe доре коњa мoгa,
Нека није ни мене јунака. (Вука Сербск. II. I, 605).

Послѣ всего этого, предоставляю желающимъ дочитать въ статьѣ г. Стасова (В. Евр. 1868 г. Апрѣль) всѣ остальные его ученые доводы и соображенія, самъ же возвращаюсь къ нашимъ былинамъ о Дунаѣ. Остается указать въ нихъ еще на одну, незатронутую мною сторону.

Въ пересказѣ К. Романова Настасья, побѣжденная Дунаемъ, говоритъ ему:

Что̀ же ты, Дунаюшка, не опозналъ?
А мы въ одной дороженькѣ не ѣзживали,
Въ одной бесѣдушкѣ не сиживали,
Съ одной чарочки не кушивали?

[43]) Ср. Милод. Болг. П., 79. Fouche, Ram., I, 184, 217. Radloff, II, 35, 195, Uhland, VI, 17, 222.

(Р. I, стр. 183). Этимъ указывается не только на знакомство съ нею Дуная (неудивительное, при службѣ ея отцу), но даже на весьма короткія къ ней отношенія. Они съ подробностью излагаются въ пересказѣ, записанномъ на Онегѣ и начинающемся повѣствованіемъ о службѣ Дуная въ Литвѣ (Кир. III, стр. 58 — 69). Это цѣлая любовная связь, прерванная отъѣздомъ Дуная на службу къ Владиміру. Такія связи, прерываемыя долгимъ забвеніемъ и потомъ снова возобновляемыя, не рѣдкость въ народной словесности разныхъ странъ. Такова по своей основѣ и непостоянная связь съ воительницей Брюнгильдой Сигфрида—въ германскихъ сказаніяхъ. Тутъ, разумѣется, кроется та же миѳическая измѣна, о которой не разъ уже было говорено, только измѣнникомъ является тутъ не женское существо, а мужское. Но если основа и этого повѣствованія можетъ такимъ образомъ оказаться древнею и общенародною, то въ упомянутой былинѣ о Дунаѣ оно представляется уже прошедшимъ, повидимому, черезъ нѣсколько видоизмѣненій. Мы видѣли изъ другихъ пересказовъ, какъ король вспоминаетъ о *вѣрной* службѣ Дуная; по этому же пересказу она вовсе не вѣрная служба и чуть было не стоила головы Дунаю: слюбившись съ королевичной, добрый молодецъ похвастался ею въ кабакѣ, за что осужденъ на смерть, но спасенъ своею любезною; послѣ этого онъ отправляется въ Кіевъ, гдѣ продолжаетъ проводить время въ пьянствѣ и проживаетъ тамъ все свое платье, пока наконецъ, по совѣту Малюты, не вызванъ изъ кабака къ Владиміру. Чрезъ это *пьянство*, другими былинами не замѣчаемое за Дунаемъ, образъ его совпадаетъ со знаменитыми пьяницами былинъ — Михаиломъ Потыкомъ и Васильемъ Казиміровичемъ (съ которыми познакомимся мы въ свое время). Какъ это пьянство, такъ и другія стороны того же похожденія нашли дальнѣйшее развитіе въ цѣломъ рядѣ былинъ, въ которыхъ изчезло и самое имя Дуная, и всякая память о другихъ его похожденіяхъ. Переходомъ тутъ служатъ былины о Настасьѣ королевичнѣ политовской, помѣщенныя у Рыбн. въ ч. I, № 77 и части III, № 52. Въ первой молодецъ является безъименнымъ, во второй онъ получаетъ новое имя—Ваньки. Сюда же относятся и былины о *женѣ неудачливой*, такъ названныя потому, что тутъ добрый молодецъ уходитъ въ Литву отъ постылой своей жены (Рыбн. I, № 78, III, 53); и та и другая былина—уже безъименныя; у Рыбникова же II, № 49, 50—добрый молодецъ получаетъ вовсе ему не приличествующее имя Василія Буслаева, что доказываетъ только полнѣйшую неознакомленность пѣвца ея съ *цѣлымъ* составомъ нашего эпоса.—У Кирѣевскаго въ вып. V, стр. 164 — 178 (одиннадцать коротенькихъ пѣсень) становится безъименнымъ и самое королевство, куда заходитъ молодецъ. Тамъ же на стр. 128—163 (23 пѣсенки) вмѣсто короля является уже князь Волконскій, съ дочерью (а индѣ и женою) котораго сближается *ключничекъ его Ванька*. Сюда же относится и у Рыбн. въ ч. I-й № 71. У Кирѣевскаго V, стр. 179—вмѣсто Волконскаго является князь Румянцевъ, а на стр. 180 — 182 уже просто «любила княгиня камеръ-лакея». — Но все это составляютъ весьма любопытную главу въ бытописаніи уже несравненно позднѣйшей поры русской народной словесности, той, когда и въ нее, при всемъ слабомъ у насъ развитіи начала сословнаго, все же проникла и рознь, и вражда сословная. Тутъ

похвальба Ваньки-ключника любовію дочери (иной разъ жены) вельможи, стала издѣваніемъ слуги надъ поруганною честію барина.

Мы могли такимъ образомъ убѣдиться, что одно изъ похожденій Дуная переработалось въ совершенно особый былевой кругъ, отразившій на себѣ бытовыя явленія уже несомнѣнно нашей, но несравненно позднѣйшей жизни. А между тѣмъ по своей основѣ и это похожденіе оказывается существующимъ у разныхъ народовъ. Сюда относится въ сборникѣ нѣмецкихъ пѣсень Миттлера № 137, не представляющій однако и тѣни молодецкой похвальбы слуги обезчещеніемъ своего барина [14]). Съ другой же стороны сюда относится (но опять-таки только по основѣ) одно стихотвореніе индѣйскаго поэта Калидазы, въ которомъ положеніе Дуная-Ваньки занимаетъ юный брахманъ, слюбившійся съ царскою дочерью [15]).

Возвращаясь къ другимъ, прежде разсмотрѣннымъ похожденіямъ Дуная Ивановича, замѣчу, въ видѣ заключительнаго вывода, что во всемъ этомъ *свадебномъ дѣлѣ* никакого *участія* не принимаетъ нашъ муромскій богатырь. Такъ оно и должно вѣдь быть потому, что уже при первомъ своемъ пріѣздѣ въ Кіевъ онъ застаетъ Владиміра князя женатымъ. Съ другой же стороны и самое внутреннее содержаніе этихъ былинъ о сватовствѣ во многомъ отзывается временемъ болѣе грубымъ и отдаленнымъ, чѣмъ то, къ какому долженъ быть отнесенъ имѣющійся у насъ теперь строй былинъ о первомъ пріѣздѣ Ильи къ Владиміру. Однако же *имя* муромскаго богатыря замѣшалось въ цѣлыхъ три пересказа былинъ о Дунаѣ. У Кир. въ вып. III, стр. 55 Настасья на слова Дуная: «нѣтъ на свѣтѣ меня сильнѣй», отвѣчаетъ ему: «нѣтъ на свѣтѣ меня стрѣльнѣе, а Ильи Муромца сильнѣе». Но весь конецъ этого пересказа явнымъ образомъ сбитъ и испорченъ (начиная съ того мѣста, гдѣ король *охотно* просватываетъ обѣихъ дочерей своихъ). Кромѣ того, имя Ильи попадается въ томъ хвалебномъ перечнѣ богатырей (Р. I, стр. 195), какой влагается нѣкоторыми пересказами въ уста Настасьѣ, тѣмъ самымъ еще болѣе задѣвающей за живое Дуная:

А нѣть-та стрѣльцовъ добрыхъ молодцовъ
Противъ меня Нѣпры королевичны:
А силою молодцевъ, ухваткою
Противъ стараго казака Ильи Муромца, и т. д.

Но въ другомъ пересказѣ (Кир. III, 68) тотъ же перечень въ устахъ у Настасьи оказывается безъ Ильи Муромца;—не вслѣдствіе ли соображенія прежнихъ, старинныхъ пѣвцовъ, что его еще въ это время и не было въ Кіевѣ?— Въ другой разъ встрѣчается имя Ильи у Рыбн. въ ч. III, п. 21. Онъ является тутъ вмѣсто Ивана Гостинаго, Пермила, или Малюты другихъ пересказовъ—только затѣмъ, чтобы посовѣтовать князю послать за невѣстой ему именно Дуная Ивановича: положеніе, слишкомъ не видное для нашего первенствующаго богатыря. Не ясно ли, что онъ, такъ сказать, недосмотромъ пѣвца попалъ сюда на чужое мѣсто; тогда какъ существенной, внутренней связи между нимъ и былинами о сватовствѣ княжескомъ рѣшительно не оказывается?

---

[14]) Mittler, Deutsche Volkslieder, s. 132—134.

[15]) Carriere, die Kunst, etc. I, 494.



Не то было у Сербовъ съ Маркомъ Кралевичемъ. Знаменитый богатырь этотъ далекъ отъ того преобладающаго значенія *земскаго*, какимъ отличается Муромецъ. Потому-то Марку и приходится иногда *размѣниваться*, такъ сказать, на такія дѣла, какъ добыванье невѣстъ. Впрочемъ и у насъ имѣется одна сказка изъ Пермской Губерніи, въ которой невѣсту добываетъ Владиміру *Илюшка матросовъ сынъ*. Но какъ это сильно-подновленное прозвище, такъ и многое въ самомъ содержаніи указываетъ на крайнюю степень испорченности сказанія. При всемъ томъ и тутъ нельзя не замѣтить того обстоятельства, что и переродившійся до нельзя *Илюшка пьянюшка* (послѣднее качество, очевидно, перешло къ нему отъ Дуная) все еще оказывается способнымъ, прежде личной услуги князю, сослужить и *земскую службу*—высказать про Владиміра правду горькую: что «прежде онъ былъ солнце кіевское, а теперь сталъ у насъ горе кіевское,» за что Илюшка и посаженъ въ тюрьму и только позже выведенъ изъ нея для посылки за невѣстой княжеской [46]). (Тутъ оказывается примѣшавшеюся позднѣйшая ссора Ильи съ Владиміромъ, о которой рѣчь еще впереди).

Сватовство Владиміра, какъ мы видѣли, шло объ руку со сватовствомъ Дуная. Бывшій вѣрный слуга короля ляховинскаго породнился и съ нимъ, и съ кіевскимъ стольнымъ княземъ. Но король въ этомъ случаѣ только уступилъ силѣ, Владиміръ же преспокойно отпраздновалъ свадьбу своего посланнаго въ одинъ день со своею. У Кирши Данилова Дунай, видя, что у воинственной жены его, по снятіи куяка и панцыря съ кольчугой, осталась всего одна епанечка бѣлая, безъ всякихъ чиновъ посылаетъ доложиться князю:

Не о томъ, что итти во свѣтлы гридни,
О томъ, что не въ чемъ итти княгини молодой

(княгинѣ, т. е. въ смыслѣ невѣсты)

А втапоры Владиміръ князь догадливъ былъ,
Знаетъ онъ кого послать:
Послалъ онъ Чурила Пленковича
Выдавать платьице женское цвѣтное.

Кстати запомнимъ тутъ этого Чюрилу, указаніе на котораго уже встрѣтилось намъ однажды въ устахъ Ильи Муромца и съ которымъ мы должны будемъ коротко познакомиться далѣе.

Не только за одно со своею собственной свадьбой Владиміръ празднуетъ и чужую, дунаеву; имъ, или, по крайней мѣрѣ, вокругъ него нерѣдко устраиваются и другія. Гридня его столовая—это какое-то сборное мѣсто, вѣчно открытое всѣмъ и каждому. Здѣсь напиваются, здѣсь и хвастаютъ, здѣсь наконецъ и сватаются, а иной разъ и больно ссорятся изъ за сватовства. О ссорѣ такого рода повѣствуется въ былинахъ о Хотенѣ или Горденѣ Блудовичѣ, нѣкоторыми чертами напоминающихъ былины о сватовствѣ Владиміра. Какъ невѣста солнышка кіевскаго, такъ и невѣста Хотенушки, сидитъ—просиживаетъ

Во славноемъ во теремѣ въ златомъ верху;
На ню красное солнышко не öпекётъ,
На ню буйные вѣтры не öввѣютъ.
Многіе люди не обгалятся.

---

[46]) Записки Географич. Общества по отдѣленію этнографіи. ч. 1, стр. 659—661.

(Р. I, стр. 252); (стр. 256—сидитъ она ровно 20 лѣтъ. Р. II, 120—за тремя замочками, ее частые дожжички не обмочатъ). Надо замѣтить, что такое затворничество невѣсты, и вообще нерѣдкое въ эпосѣ у разныхъ народовъ, почти тѣми же словами описывается въ сербскихъ пѣсняхъ, напримѣръ·

Нити види сунца ни мјесеца,
Нити види дана бијелога
Некмоли ће лица јуначкога [47].

А въ болгарскихъ:

Та го вѣтъръ нее повѣяло
И слънце не е го огрѣло. [48]).

Какъ Владиміру князю Дунаемъ, такъ и Хотеномъ себѣ самому добывается эта затворница съ бою. Наконецъ, подобно тому какъ Опракса; по многимъ пересказамъ, совершенно страдательная и безгласная, по нѣкоторымъ охотно идетъ за Владиміра,—и невѣста Хотена, у которой, во всѣхъ почти пересказахъ, никто и не спрашиваетъ о согласіи, въ пересказѣ Рябинина, спрошенная Хотеномъ, отвѣчаетъ ему:

Три года я Господу молилася,
Чтобъ попасть мнѣ за мужъ за Хотенушка.

Вслѣдствіе чего Хотенъ и говоритъ далѣе:

Во люби-то я Офимьюшку взялъ за себя. (Р. I, стр. 255).

О миѳической возможности и того и другого положенья невѣсты уже было говорено; но и въ бытовомъ смыслѣ и то и другое положеніе возможно. Иной разъ, во времена насильственнаго захвата, невѣста отдавалась захватывающему безгласно и безучастно, или вовсе не зная его, или не чуя для себя впереди у кого бы то ни было ничего добраго; иной разъ она могла радостно кидаться на шею пришлому, наслышавшись про него и надѣясь по крайней мѣрѣ освободиться изъ подъ желѣзной руки родительской.

Въ былинахъ о сватовствѣ Владиміра самодуромъ является король-отецъ; въ былинахъ же о Хотенѣ самодурствуетъ мать, — хотя и не королева по имени, но властвующая надъ своею семьей—девятью (двѣнадцатью) сыновьями и дочерью—какъ надъ маленькимъ государствомъ. Сидитъ она, Чесовая жена, на пиру у Владиміра рядомъ съ Блудовою женою. Только въ одномъ пересказѣ (Петрозаводскаго Уѣзда, Кижской Волости, отъ Андрея Сарафанова)—пиръ происходитъ невѣдомо гдѣ:

Во стольномъ городѣ во Кіевѣ,
При ласковомъ князѣ при Владимірѣ.

(Хотя и тутъ *при* можно понимать не какъ опредѣленіе времени, а какъ равнозначущее выраженію: въ присутствіи князя Владиміра). Обѣ женщины—вдовы, наслѣдовавшія неограниченную власть надъ своими семьями. Но у Блудовой—всего одинъ сынъ; и вотъ она, на пиру у князя сватается, за него у Чесовой вдовы. Ни въ одномъ пересказѣ не упомянуто, хочетъ ли этого самъ Хотенъ, или это только ея материнскія заботливыя затѣи. Что касается отказа Чесовой жены, то ясно, что онъ дается только отъ ея имени,

---

[47]) Петраковича С. П. 118. Ср. также стр. 652.

[48]) Безсонова I, стр. 7, 8.



что дочь, рисуемая затворницею [49]) при этомъ совсѣмъ и не спрошена. Но мало что Чесовая дала отказъ; она осердилася на Блудовую

Била се по щекѣ, таскала по полу кирпищету
И при всемъ народѣ, при беседѣ
Вдову опозорила —

такъ оно въ пересказѣ Кирши Данилова (Кир. IV, 68 — 72), рисующемъ такимъ образомъ самую грубую картину нравовъ. Замѣчательно съ другой стороны, что хозяинъ ласковый—Владиміръ, остается тутъ въ сторонѣ; былина какъ будто бы даже позабываетъ о немъ, имѣя въ виду *народъ*, у него пирующій; но и этотъ послѣдній ни мало не возмущенъ насиліемъ Чесовой —

И весь народъ тому смѣялися

замѣчаетъ былина. Далѣе же оказывается, что Блудовая вдова, обиженная,

Втапоры была пьяная,

такъ что сынъ, по возвращеніи ея домой, долженъ былъ уложить ее спать. Этимъ нѣсколько уясняется смѣхъ народа: принявъ, вѣроятно, за пьяную и обидчицу, онъ смѣется надъ дракою пьяныхъ бабъ. По другимъ пересказамъ, вмѣсто побоевъ, Чесовая плещетъ Блудовой въ ясны очи изъ подносимой ей Блудовою чарки вина, и подмачиваетъ неудачливой свахѣ ея шубу соболиную. (Кир. IV, стр. 73, Онега; Р. I, 251, 256; II, 120 III, 142—по нѣкоторымъ пересказамъ она ее, сверхъ того, скверно выругала).

Далѣе пересказы сходятся въ слѣдующемъ. Самодурству и насилію Чесовой вдовы Хотенъ противопоставляетъ насиліе же. Онъ разбиваетъ теремъ неприступной невѣсты. Но мать высылаетъ на него своихъ сыновей. Они всѣ кто убитъ, кто полоненъ Хотеномъ; сестра должна выйти за побѣдителя убійцу, мать — смириться предъ нимъ. (Только у Р. въ ч. I, п. 43 о сыновьяхъ Чесовой вовсе не упоминается).

Затѣмъ есть и замѣчательныя отличія въ томъ или другомъ пересказѣ. У Кирши Хотенъ сбиваетъ у Чесовой полтерема разомъ брошенною имъ горстью песку (при этомъ подавленъ и *виноградъ* — уцѣлѣвшій ли тутъ отъ древняго, южнаго извода сказанія, позже ли зашедшій въ былину—полукнижнымъ путемъ, мудрено сказать). Видя это, Чесовична бѣжитъ къ своей матушкѣ жаловаться, бѣжитъ къ ней на *княженецкой пиръ*. За нею и Горденъ—благо тамъ двери всегда и про всѣхъ отворены — идетъ также къ «великому князю» Владиміру—«разсматривать вдову, Чесову жену». Повидимому онъ прежде и не видалъ этой будущей своей тещи. Когда же Горденъ выходилъ отъ князя назадъ, то

Вдовины ребята съ нимъ заздорили,
Приходилось ихъ тутъ пять человѣкъ.

(Значитъ не всѣ)

---

[49]) Ея затворничество рисуется совершенно также, какъ и затворничество невѣсты Владиміра.



Взяли Гордена пощипывати,
*Надѣючи на свою родимую матушку...*

т. е., повидимому, полагаясь на ея приказаніе именно такъ поступить съ Горденомъ...

Не троните меня, молодцы,
А меня вамъ убить—не корысть получить.
И онъ отбивался и метался отъ нихъ
И *прибилъ всѣхъ тутъ до единаго.*
Втапоры донесли *народъ кіевской*
Честной вдовѣ —

И такъ, снова *народъ*, бывшій свидѣтелемъ боя на дворѣ у князя, свободно идущій теперь къ нему въ гридню—такъ какъ вдова еще тамъ,—какъ бы заслоняющій собой, въ этомъ замѣчательномъ пересказѣ, князя-хозяина, хотя и величаемаго въ немъ же—не просто кіевскимъ, а еще и *великимъ*. [50]) Но особенно замѣчательно тутъ это сопоставленіе всего, и при томъ уже свободно дѣйствующаго, кіевскаго народа — съ небольшимъ и подвластнымъ народомъ Чесовой вдовы, съ ея сыновьями-подданными. Не матерью въ человѣческомъ смыслѣ слова, а патріархальною *государыней*-матушкой является она тутъ, когда, не проявивъ и малѣйшей скорби объ убитыхъ дѣтяхъ, посылаетъ противъ Хотена четырехъ остальныхъ, еще называемыхъ тутъ *любимыми*! Оставшаяся еще часть ея домашняго войска должна отомстить за побитую, а главное — должна отомстить за нее, государыню, расправиться за нее съ Горденомъ —

Чтобъ онъ отъ того не убрался домой,
*Убить бы его до смерти.*
И настигли его на широкой улицѣ,...
Горденъ вертокъ былъ...
И тѣхъ всѣхъ *прибилъ до смерти.*
(Кир. IV, 70—72).

Въ пересказѣ, записанномъ на Онегѣ, Хотенъ снимаетъ по окнамъ теремъ копьемъ—тупымъ концомъ [51]), издѣваясь при этомъ: «здрастуй-ко ты, тешша гордливая, да здрастуй-ко ты, тешша ломливая!» А она пошла къ сыновьямъ,

Приносила имъ жалобу на Хотеныша...
„Подьте да захватите сына Блудова,
*Приведите его мнѣ предъ ясны очи!...*
—Ой ты наша родна матушка,
Намъ вить у Хотена взять-то нецего!—
„Кабы было у меня девять зятевьевъ,
Дакъ оны бы мнѣ послушались.“
(Кир. IV, 74).

Замѣчательно это указаніе на зятевьевъ, какъ поступающихъ въ тоже самое—въ этомъ случаѣ уже не только *семейное*, но и *родовое*—патріархальное государство, подъ власть государыни тещи [52]). И указаніемъ на зятьевъ Чесовая вдова пристыдила свое войско сыновнее:

[50]) Кстати будетъ послѣ этого указать на то, что утверждается г. Стасовымъ на стр. 634 іюньской книжки Вѣстн. Евр. за 1868 г.: въ былинахъ «нѣтъ не только народа думающаго, соображающаго, занятаго своими дѣлами и выгодами, сколько нибудь имѣющаго вліяніе на событіе былины, но даже вовсе нѣтъ народа и на степени декораціи и нѣмого хора въ фонѣ картины. О народѣ былины рѣшительно вовсе молчатъ».—Нельзя однако же не сознаться, что **народъ** подъ этимъ своимъ наименованіемъ дѣйствительно рѣдко упоминается въ былинахъ. Но это можетъ быть объяснено тѣмъ съ одной стороны, что самое слово **народъ** въ своемъ настоящемъ смыслѣ и изъ самой народной словесности стало вытѣсняться по мѣрѣ исчезновенья народныхъ правъ, съ другой же стороны тѣмъ, что древнее значенье народа постепенно переносилось на его любимѣйшаго богатыря и наконецъ какъ бы воплотилось въ немъ. Раскрыть **народное значеніе** Ильи Муромца и составляетъ, понятнымъ образомъ, главнѣйшую задачу своего труда.

[51]) Надо замѣтить, что то-же выраженіе неоднократно встрѣчается въ повѣсти объ Урусланѣ Залазаревичѣ (см. выше, въ 1-й главѣ).

[52]) Такое привлеченіе, **пріуроченіе** къ тестю или тещѣ въ старинномъ русскомъ языкѣ выражалось и особымъ наименованіемъ зятя — **вабій** — отъ глагола **вабить** приманивать (собственно птицъ), вообще привлекать, пріучать. Остатки такого родоваго сожитель-

Да не стали тутъ добры молодцы
Отзыватьсе отъ своёй родной матери,
И поѣхали въ нагонъ за Хотенушкомъ...
Троихъ молодцевъ копьемъ скололь
Да троихъ молодцевъ конемъ стопталъ,
Да еще троихъ къ стремени привязалъ.
Скоро на скоро поѣхалъ къ Цясовой жоны...
«Выкупай-ко ты своихъ добрыхъ молодцовъ...
Коли выкупишь, такъ живыхъ спущиу,
А не выкупишь, дакъ смерти придамъ.

Въ пересказѣ Рябинина Хотенъ кидаетъ палицу булатнюю подъ облаку, подхватываетъ ее одной рукой, а палица въ девяноста пудъ (въ этомъ отношеніи Хотенъ напоминаетъ Сокольника) потомъ ударяетъ ею по терему Чесовой вдовы *нежалухою*

Во теремѣ околенки разсыпались,
На теремѣ всѣ маковки покривились...

Далѣе—добровольное соглашенье невѣсты; а затѣмъ пѣсня какъ будто бы обрывается—о тещѣ болѣе и помину нѣтъ, братья же и въ началѣ не упомянуты. (Рыбн. I, № 43). Зато у Леонтія Богданова Чесовая уже при отказѣ своемъ Блудовой упоминаетъ о своемъ войскѣ оборонительномъ — *девьнадцати сыновьяхъ*

Оны ѣздятъ во чистомъ полѣ, полякуютъ,
Хочутъ-то поимать молода Хотенушка:
Захочу, его при себѣ держу,
Захочу, подъ барина отдамъ (Рыбн. I, №44)

Сходно и у К. Романова (Р. II, № 22).

Соотвѣтственно такой похвальбѣ самоуправствомъ Чесовой вдовы, въ тѣхъ же и другихъ пересказахъ Рыбникова похваляется въ свою очередь и Хотенъ:

Захочу, Офимью за себя возьму,
Захочу, за служку возьму за Панюточку
(Рыбн. I, стр. 258).
И будешь ты наша портомойница
(Рыбн. II, 123).
(Сходно и I, 253, 144).

Въ этомъ случаѣ — опять замѣчательное сходство со сватовствомъ Дуная. Тотъ говоритъ въ Литвѣ:

Въ честь возьму Опраксу за князя за Владиміра,
А не въ честь Опраксу за товарища,
За того возьму за парубка любимаго [58])
(Рыбн. I, 191).

Что касается участи братьевъ Чесовичей, то она у Рыбникова въ нѣкоторыхъ пересказахъ сходна съ онежскимъ пересказомъ Верещагина (Кир. IV, стр. 72).

Трехъ-то братьицевъ конемъ потопталъ,
தремъ-то братьицамъ голову срубилъ
Шестерыхъ-то братьицевъ во полонъ взялъ,
(Р. I, 258; III, 146—тутъ ихъ девять).

Только это дѣлаетъ не Хотенъ, а его помощникъ Панюточка. Оставшихся въ живыхъ и тутъ Хотенъ предлагаетъ на выкупъ Чесовичнѣ (Р. I, 299). Въ пересказѣ Козьмы Романова про Чесовичей сказано коротко, что Хотенъ ихъ подъ мечь склонилъ.

Что касается заключительной части былины, то и тутъ оказываются

---

ства и хозяйства замѣтны у насъ и теперь въ народѣ. Г. Барыковъ, собравшій обычаи наслѣдованія у государственныхъ крестьянъ, по поводу раздѣла имущества послѣ смерти хозяина указываетъ, что зятья и свойственники, живущіе въ домѣ, получаютъ такую же часть, какъ и родственники» (Шпилевскаго, о союзѣ родственной защиты у древнихъ Германцевъ и Славянъ, 31).

[58]) Отголоскомъ этого эпическаго положенія служитъ, повидимому, и пѣсня, помѣщенная у г. Савельева въ Сборникѣ Донскихъ народныхъ пѣсенъ на стр. 145—146 (№ 6 отдѣла семейныхъ пѣсенъ). Съ нею сходна и помѣщенная въ Сб. Ник. Ив. Костомарова и А. Н. Мордовцевой на стр. 88—89. На сходное положеніе въ одной нѣмецкой пѣснѣ изъ сборника Митлера уже указано мною въ статьѣ о сборникахъ по народной словесности за 1866 г. (Ж. М. Нар. Пр. 1867 г. Мартъ).

особенности. По пересказу Кирши, Хотенъ, по истребленіи всѣхъ братьевъ преспокойно собиралъ свадебный столъ,

Позвалъ тутъ князя со княгинею
И молоду [54]) свою тещу, Чесовую жену.
Втапоры было честная вдова, Чесовая жена,
Загординилася, нехотѣла было итти... [55]).
Тутъ Владиміръ князь стольно кіевской
И со княгинею стали ее уговаривати...

И такъ, въ концѣ былины является дѣйствующимъ и стольный князь, до сихъ поръ, въ этомъ пересказѣ, остававшійся заслоненнымъ народомъ кіевскимъ. И посредничество князя было удачное...

... она тутъ ихъ послушала,
Пришла къ зятю на веселый пиръ,...

Въ пересказѣ Леонтія Богданова и Андрея Сарафанова—также посредничество Владиміра, но о томъ даже проситъ сама Чесовая вдова: боясь, повидимому, что-бы дочь ея не была дѣйствительно выдана побѣдителемъ, какъ онъ погрозился, за своего паробка, она говоритъ князю:

Назовись моей Офимьюшкѣ родникомъ,
Чтобы взялъ Хотёнъ Офимью за мужъ за себя.

У Козьмы же Романова конца вовсе нѣтъ—свадебный пиръ какъ бы подразумѣвается. Мы уже видѣли, что у Рябинина—конецъ совершенно мирный, такъ какъ тутъ вовсе нѣтъ и сопротивленія со стороны братьевъ. Это, разумѣется, сокращенность, испорченность.

Напротивъ того распространенность, надбавка—въ окончаніи онежскаго пересказа. Тутъ Хотенушка достаетъ у двухъ вороновъ живой воды, и ею, какъ это безпрестанно случается въ сказкахъ, оживляетъ своихъ шурьяковъ (Кир. IV. 76—77) [56]). Ясно, что здѣсь оно вовсе не кстати, прямо противорѣчитъ основному складу всей былины, и въ этомъ должна быть признана смягчающая рука уже гораздо позднѣйшаго времени.

Но основа сказанія такъ груба, что существеннаго, коренного смягченія не допускаетъ. Еще грубѣе она въ сербской былинѣ о *сестрѣ Леки Капетана* (Вука II, № 40). А между тѣмъ въ положеніи Хотена является тутъ любимецъ сербскихъ былинъ, Марко Кралевичъ, только онъ еще несравненно суровѣе и мстительнѣе Хотена.—Сестра Леки росла, какъ и многія былевыя дѣвы, у *кавезу* (клѣткѣ), *ни виђела сунца ни мјесеца*. Но не родители, и не братья, а она сама отказываетъ женихамъ. Вотъ что говоритъ о ней Лека:

Ал'је сестра моја самовољна,
Не боји се ни кога до Бога....
Седамдесет и четире просца
Што су сестри дослен доходила,
Свакомъ сестра находи махану ...
(Стихи 342—347).

Въ Маркѣ Кралевичѣ нашла она вотъ какой недостатокъ:

Је Марко турска придворица,
Са Турцима бије и сијече,..

Зато и наказалъ же ее за презрѣніе Марко:

---

[54]) Молодость, конечно, эпическая.

[55]) Не лишнее сравнить съ этимъ эпическимъ нехотѣніемъ тещи обрядовой отказъ съ ея стороны итти на пиръ къ зятю, уцѣлѣвшій въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи.

[56]) Надо замѣтить, что совершенно сходно въ одной пѣснѣ Сагайцевъ Ай-Толызы заставляетъ двухъ вороновъ принести живой воды для оживленья Катанджулы (Radloff, II, 197—199).



Остар пињјал вади од појаса,
Те јој десну осијече руку,
Ос'јече јој руку до рамена,
Десну руку даде у лијеву,
А пињалом очи извадио,
Па их зави у свилени јаглук,
Па јој тури у десно њедарце,
«Бирај саде, кога тебе драго»!....

Есть еще одна небольшая былина сербская, сродная по основному замыслу. Тутъ *неженьен Воине* говоритъ своимъ *тридцати* товарищамъ (Вука I, № 721).

У Ивана лепу сестру кажу,
Просио сам, али ми не даду,
Мамио сам, али не ће за мном;
Да идемо, да је отнимамо.

И дѣйствительно они нападаютъ на дворъ ивановъ. Услышавъ шумъ, онъ, по эпическому обычаю въ случаѣ крайней поспѣшности, выбѣгаетъ

У калчинам' без жути папуча,
Од наглости у кошуљи танкой...

(Это почти достословно соотвѣтствуетъ нашему былевому:

Въ однихъ тонкіяхъ чулочкахъ безъ чоботовъ,
Въ одной бѣленькой рубашечкѣ безъ пояса... )

Горькая участь постигаетъ и брата, и надменную сестру-красавицу:

Свег Ивана на копља разнеше,
И отеше сестру иванову...

Но она выказываетъ тутъ твердость воли, способную пожертвовать самою жизнію:

Она сави скуте и рукаве
И ускочи у то море сиње...
Тоном тоне, тонући беседи:
«Волим бити морским рибам' рана,
Нег' Воину за невољу љуба,
Нег' Воину, братину крвнику.

Черта эта, очевидно, уже ни мало не соотвѣтствуетъ почти совершенной страдательности Чесовичны въ нашихъ былинахъ о Хотенѣ, но мы еще встрѣтимся и у насъ съ соотвѣтственною чертою въ другихъ былинахъ. Теперь же упомяну еще о двухъ пѣсняхъ—не сербскихъ, а герцеговинскихъ, также подходящихъ, по замыслу, къ «Хотену Блудовичу», но въ свою очередь отличающихся оттѣнками своеобразными. Въ одной (Вука Герцеговинскія Пѣсни № 5) Бановичъ Секула, оскорбленный отказомъ будимскаго краля въ рукѣ его дочери, отомщаетъ нападеніемъ на нее среди чистаго поля, нападеніемъ, о послѣдствіяхъ котораго она говоритъ:

«Под грло ме закину зубом».

Послѣ этого, она рада бы выйти за него замужъ, къ чему и склоняетъ отца, но Секула съ гордостью ему отвѣчаетъ:

Кад је исках, ти ми је не даде,
А сад ти је ни искати нећу,
Нек с'удава, за кога јој' драго,
Ја сам давно другу испросио.—

Другая герцеговинская пѣсня (№ 12) еще ближе подходитъ къ нашимъ о Хотенѣ Блудовичѣ, только оказывается нѣсколько смягченнѣе ихъ. Мать красавицы Фаты хвастается на пиру передъ своими подругами:

Не бих Фату ни за пашу дала,
А камо ли Серајлији Мују!

Задѣтый за живое Мујо пробирается въ женскомъ платьѣ въ жилище Фаты (это напоминаетъ въ германскомъ эпосѣ Гугдитриха, а въ греческомъ—Ахиллеса на Скиросѣ). Тутъ онъ, какъ и бановичъ Секула,

Под грло је закину зубом...

Тогда гордая теща соглашается выдать за него дочь свою.

Ясно, что какъ нашъ, такъ и сербскій и герцеговинскій изводы переносятъ во времена, предшествующія самымъ первымъ зародышамъ государственной и общественной жизни, — на ту почву, которая чувствуется также во многихъ *свадебныхъ пѣсняхъ*, почву безграничнаго родового самодурства съ одной, совершеннѣйшей розни и разобщенности съ другой стороны. Тутъ и ревнивое нехотѣніе отдать свою дѣвицу въ чужой родъ, и вытекающее отсюда насильственное ея отнятіе, и безпрекословное повиновеніе съ той и съ другой стороны младшихъ членовъ владыкѣ рода, и кровавая месть за обиду ему и родичамъ. Тутъ слово *родъ* можетъ быть даже употреблено не только въ томъ смыслѣ *родни*, *семьи*, какой имѣло оно въ старину, но и въ расширенномъ смыслѣ соединенья въ одно, подъ одною патріархальною властію, многихъ семей (это мы видѣли въ указаніи на подначальность зятьевъ владычицѣ-тещѣ). Но при всемъ томъ родовой бытъ представляется тутъ уже не на первой ступени развитія. Владыкой рода является *вдова честная*, а такое значеніе вдовы именно при родовомъ бытѣ и не могло стать возможнымъ сразу. «Добытая мужемъ изъ чужого рода или силою, или посредствомъ купли, она, въ чисто патріархальныя времена, должна была и затѣмъ оставаться просто *вещію* мужа, имѣвшаго право даже продать ее. При первоначально родовомъ бытѣ власть послѣ смерти мужа переходила не ко вдовѣ, а къ старшему сыну, и сама мать такимъ образомъ попадала къ нему въ зависимость» (См. въ моемъ Обозр. Р. Слов. стр. 129 — 130). Обломкомъ этихъ временъ служитъ въ сборникѣ Миладиновыхъ та болгарская пѣсня, гдѣ Марко Кралевичъ повелительно относится къ матери (стр. 231); еще же болѣе та сербская (Вука I. стр. 548), гдѣ сынъ собирается *продавать* мать свою. Съ этимъ можетъ быть сопоставлено и то, что въ пересказѣ былины о Михаилѣ Потыкѣ, записанномъ отъ Василья Лукина (Рыбн. IV, стр. 68), Михаилъ, играя въ шашки съ царемъ Бухаремъ, ставитъ на доску, кромѣ жены, и матерь свою родимую.

Послѣ этого ясно, что та власть вдовы матери, какую мы видѣли въ нашихъ былинахъ о Хотенѣ Блудовичѣ, представляетъ уже особый видъ развитія, уже уклоненіе отъ чисто-родовыхъ основъ, Но тутъ на вдовѣ-повелительницѣ замѣтенъ еще отпечатокъ чисто мужской самодурной власти. Зато уже смягченною, женственною является *государыня матушка* въ столькихъ другихъ былинахъ, и мы еще увидимъ эти человѣческія отношенья ея къ различнымъ богатырямъ-сыновьямъ.

На ту древнѣйшую *родовую* основу, какую замѣтили мы въ былинахъ о Хотенѣ Блудовичѣ, налегло и особое, *позднѣйшее* наслоеніе. Однакоже г. Безсоновъ, кажется мнѣ, не правъ, говоря, что въ нихъ видно «начало и зародышъ позднѣйшаго мѣстничества, борьбы сословій, пытавшихся подняться надъ остальнымъ народомъ, съ своими узкими интересами», или, что матери тутъ посчитались «родами, заслугами отцовъ, воспитаніемъ дѣтей» [57]). Соб-

[57]) Въ дополненіе къ обслѣдованію эпической основы сказанія о Хотенѣ замѣчу здѣсь, что и въ одной сказ-



ственно только одинъ пересказъ Кирши Данилова обѣихъ вдовъ ***честныхъ*** (честными являются онѣ *обѣ*, а не собственно Блудова жена, какъ у г. Безсонова) называетъ богатыми женами *дворянскими* (и опять ***обѣихъ***). Въ этомъ же единственномъ пересказѣ значится, что Гордену «многіе пожитки осталися отъ своего родимаго батюшки» (Кир. IV, 69). По другимъ же между нимъ съ его матерью и Чесовою съ ея дѣтьми—разстоянье огромное, но не потому, чтобы первая была рода знатнаго, хотя и такого, котораго слава упала, вторая же—рода, вышедшаго въ знать, какъ бы выскочкою изъ гостей, т. е. купцовъ (такъ думаетъ г. Безсоновъ). Разстоянье между ними огромное потому, что Чесовая была такая *купецъ-жена*, (Р. I, 251, III, 142; и также точно Офимьюшка—*купецъ дочи* I, 253), до того баба *богатая*, ***богатая*** баба заносливая (Р. II, 120), что могла накладывать цѣлыя телѣги сокровищами въ выкупъ за сыновей своихъ (Кир. IV, 76); Хотенъ же напротивъ, этотъ сынъ ***Блудища***, какъ она выражается, самъ—такое ***уродище***, которое по ея описанію, «по заполямъ ***уродуетъ***» (проказитъ):

Да стрѣлятъ сорокъ воронъ за цюжимъ дворомъ
(Кир. IV, 73)
Ѣздитъ Хотинка по городу
Уродуетъ со своимъ парубкомъ любимымъ,

Ищетъ бобоваго зерненка,
А гдѣ бы Хотинушкѣ обѣдъ сочинить (Р. I, 252; III, 142)
Ищетъ упалаго зернычка
А чѣмъ бы ему голова пропитать (Р. I, 256)

Ясно, что она называетъ его побирушкой, чужимъ нахлѣбникомъ;—т. е. поверхъ того самодурства временъ родовой разобщенности, о которомъ говорено было выше, въ отказѣ ея замѣтно то презрительное высокомѣріе богатства, которое всякаго, кто бѣднѣе, считаетъ нищимъ. Но, чтобы въ Хотенѣ слѣдовало видѣть члена *боярскаго* обѣднѣвшаго рода, это не подкрѣпляется ни названіемъ его матери (всего въ одномъ пересказѣ) вдовою дворянскою, (при чемъ такою же названа и Чесовая вдова); ни величаніемъ ея ***честною*** вдовою—такъ какъ такимъ образомъ постоянно величаются онѣ обѣ. У Хотенушки, какъ мы скоро увидимъ, есть нѣкоторые признаки барства; но такіе признаки уже видѣли мы и у богатой купецъ-жены Чесовой: что́-же, какъ не барство, въ ея угрозѣ: «захочу, кладу Хотенку во повары, захочу — во конюхи, или продамъ во барскій (боярскій) дворъ (Р. I, 258; II, 121). Это слово—***продамъ***—указываетъ на торгъ людьми — въ своемъ родѣ ***барское***, а также и ***торговое*** дѣло. Она надѣется, посредствомъ своихъ девяти сыновей, ***въ поль поединщиковъ***, (Р. III, 145) взять Хотенушку въ плѣнъ, а потомъ продать его въ рабство—особаго рода смѣщеніе торговаго дѣла съ военнымъ. Но мало того, ея девять сыновъ поединщиковъ выѣзжали въ чисто поле

Со всею силою *подневольною*.

Замѣчательное выраженіе, указывающее, повидимому, на цѣлую, посредствомъ забора въ плѣнъ составившуюся рать этой торговой жены; но и этого еще мало—

Такъ ёна была баба богатая
Погреба были злата и серебра,

Такъ ёна наняла силу инную
За злато и за серебро (Р. II, 123).

---

нѣ, вошедшей въ извѣстный итальянскій сборникъ Pentamerone Дона Базиле гордая красавица проучивается молодцемъ, заставляющимъ се выйти за себя за мужъ Der Pentamerone des Giambattista Basile aus dem neapolitanischen übertragen v. F. Liebrecht, II B., № 40. (La soperbia castecata).

Въ другомъ же пересказѣ обозначается, у кого нанимаетъ она эту новую силу:

Наклала мису серебра, и т. д.
Приносила ко солнышку ко Владиміру
. . . . . .
Владиміръ князь стольно-кіевскій
Принималъ даровья драгоцѣнныя,
*Давалъ ей силушки шесть полковъ...*

(Р. I, 259). Во Владимірѣ князѣ тутъ снова выказывается уже знакомая намъ черта—*сребролюбіе*, объясненное выше стихіей *варяжско-дружинною*. Въ теперь разбираемой нами былинѣ онъ дорого платится за эту *долгорукость* дружинника. Чесовая новыми мисами злата и серебра покупаетъ его согласіе назваться роднею Офимьюшкѣ; но и Хотенко не промахъ.

Онъ ставилъ копье долгомѣрное во сыру землю,
Самъ говорилъ таковы слова:
„Ахъ ты солнышко Владиміръ стольно-кіевскій!
Когда Офимья тебѣ ближняя племяйца
Обсыпь-ко ты мое копье долгомѣрное
Златомъ-серебромъ, каменьемъ драгоцѣннымъ,

Это обсыпанье копья сокровищами, напоминая соотвѣтственную черту германскую въ поэмѣ Waltharius и въ Старшей Эддѣ(см.выше стр.87,123), принадлежитъ несомнѣнно къ числу самыхъ древнихъ эпическихъ чертъ. (Р. I, 260; III, 146). А у Рыбникова IV, п. 7 (Терентія Іевлева) Хотенъ заставляетъ Владиміра обсыпать златомъ и серебромъ костыль — съ нижняго конца и до верхняго. (Въ пересказѣ же № 8 той же части онъ требуетъ этого отъ самой Чесовой, грозясь, въ случаѣ неисполненія, выдать Чесовичну за холопа за послѣдняго».

Солнышко Владиміръ пораздумался:
Кто отъ бѣды откупается,
А Владиміръ самъ на бѣду накупается!—

Тѣмъ, очевидно, что позарившись на дары Чесовой, самъ принужденъ дать дары еще большіе. Сходнымъ образомъ неоднократно попадаетъ въ просакъ и эпическій Карлъ В. Есть у Рыбникова въ IV ч. подъ № 8 одинъ пересказъ (кореляка Василья Лазарева), гдѣ Владиміръ изъ названнаго дядюшки Чесовичны становится роднымъ ея дядей, роднымъ братомъ Чесовой вдовы, такъ что эта послѣдняя дѣйствительно имѣетъ тутъ основаніе говорить:

Мы есть роду богатаго, именитаго,
Именитаго роду, княженецкаго;
Вы есть роду нищетнаго, копеельчата.

Этимъ можетъ быть объяснено тутъ и то, что она наняла силы сорокъ тысячей. Но пересказъ этотъ, стоя рѣшительно одиноко, не уничтожаетъ общаго смысла всѣхъ остальныхъ, —того, что Чесовая только богатая купецъ-жена, а вовсе не знатная бабища. Мы видѣли, что Владиміръ является въ былинахъ о Хотенѣ настоящимъ варягомъ-дружинникомъ; но какая же это сила, его подкупающая (какъ бароны франкскіе подкупаютъ Карла), нанимающая у него полки, и въ тоже время являющаяся *торговой*, *купеческой?* Не та ли же это опять пришлая на Руси, варяжская торговая сила, для которой торговля въ то же время была и войною? И Хотенушка Блудовичъ отличается въ свою очередь чисто варяжскимъ, хотя, можетъ быть, не непремѣвно торговымъ, но все же добычелюбивымъ нравомъ. Онъ еще не богатъ, но стремится къ богатству—требуя огромнаго выкупа за своихъ плѣнныхъ и огромнаго свадебнаго подарка отъ свата Владиміра. Онъ еще не богатъ, но обнаруживаетъ поползновенья на барство, совершенно сходныя съ

замашками купецъ-жены Чесовой. Не владѣя дружиною подневольною, онъ имѣетъ *служку Панюточку*, за котораго, *ради безчестья*, какъ видѣли мы, грозится выдать Офимьюшку. Наконецъ разстоянье, какое, уже чисто по барски, видитъ онъ между собой и Панюточкой, ярко выказывается въ его гнѣвѣ на то, что Панюточка осмѣлился вмѣсто него прогуляться по головамъ Чесовичей:

Не свою ты работушку работаешь,
Ты столько знай щи каша варить,
Щи каша варить, да меня кормить.

(Р. I, 258; III, 146). Ясно, что на владѣнье копьемъ и палицей, на право надѣвать на головушку злаченъ шеломъ (Р. II, 122), Хотенушка смотритъ, какъ на преимущество, достающееся далеко не всѣмъ: воззрѣніе, невольно напоминающее германскій эпосъ. У Рыбникова въ ч. IV п. 7 (Терентія Іевлева) онъ говоритъ Чесовичамъ:

Вяжитесь-ка вы своима поясками шелковыма
По двое, по трое въ одно мѣсто,
Подите ко городу ко Кіеву,
Кричите вы во всю голову:
„Есть мы сила полоненая,
Полонилъ насъ Хотенушка Блудовичъ“.

Совершенно подобнымъ же образомъ витязи короля Артура посылаютъ къ нему на показъ побѣжденныхъ и полоненныхъ ими супротивниковъ. Значительно иначе, какъ мы уже видѣли, поступаетъ Илья Муромецъ. Онъ вовсе не полоняетъ, а просто отпускаетъ на волю королевичей изъ подъ Чернигова, удовлетворяясь тѣмъ, чтобы они чинили вездѣ такову славу—

Что святая Русь не пуста стоитъ—
Много въ ней славныхъ могучихъ богатырей.

И разбойниковъ подорожниковъ отпустилъ онъ на волю, наказавъ имъ только сказать о немъ богатырю Чурилѣ Пленковичу.

Въ Хотенѣ же напротивъ того сказывается и тутъ уже замѣченное нами начало дружинное. Но въ пересказѣ Василья Лазарева встрѣчается черта, подходящая подъ тотъ нравственный складъ, котораго главнѣйшимъ выразителемъ служитъ у насъ Илья Муромецъ. Частію губя, частію полоняя Чесовичей, Хотенъ у В. Лазарева щадитъ ту силу, которая нанята Чесовою вдовой:

Вольна сила есть наемная,
Тронуть ея нечего (Р. IV, стр. 46).

Къ тому же, *по духу*, подходитъ уже извѣстное намъ изцѣленье Хотеномъ убитыхъ Чесовичей — въ онежскомъ пересказѣ (у Верещагина). Но во всемъ остальномъ, какъ могли мы видѣть, Хотенушка выражаетъ иной совершенно складъ—отчасти подходящій къ варяжскому.

Но нѣтъ ли и въ варяжскихъ сказаніяхъ лѣтописи чего либо сходнаго съ былинами о Хотенѣ? Г. Безсонова его отчество *Блудовичъ* наводитъ на лѣтописнаго Блуда (Зам. къ IV в. Кир. I, VIII) который, какъ извѣстно, измѣнивъ Ярополку, помогъ Владиміру отомстить этому несчастному князю за смерть Олега Древлянскаго. Вся эта кровавая драма представляетъ черты варяжскія; но если въ отцѣ Хотенушки, Блудѣ, и можно дѣйствительно видѣть лѣтописнаго Блуда (изъ одного выраженія—*Блудище* и изъ денегъ, оставленныхъ имъ, по *одному пересказу*, Хотену, этого еще не выходитъ), все же

былина говоритъ не о немъ, не объ его похожденiяхъ, а о хотеновыхъ, совершенно особыхъ и съ тѣми не сходныхъ. Зато эти похожденья Хотена или Гордена очень сходны съ однимъ похожденiемъ самого Владимiра, отличающимся чертами, опять совершенно варяжскими: какъ Хотенъ былъ отвергнутъ Чесовою вдовой, такъ Владимiръ дочерью Рогволода, и какъ у Чесовая поплатилась жизнiю своихъ сыновей и насильнымъ отнятiемъ у нея дочери, такъ Рогнѣда жизнiю отца и братьевъ и насильственнымъ бракомъ со своимъ побѣдителемъ. Въ сказанiи о Хотенѣ не отразились только нѣкоторыя черты сказанiя о Владимiрѣ и Рогнѣдѣ: невѣста Хотена не представляется бывшею до того невѣстой другого, она не выражаетъ сословной къ нему нерасположенности и наконецъ не мститъ ему, какъ Рогнѣда, вообще обнаруживающая самостоятельный женскiй нравъ, тогда какъ Офимьюшка—существо совершенно страдательное и безгласное. Но мы увидимъ сейчасъ, что нѣчто похожее и на эти послѣднiя стороны варяжскаго сказанiя о Рогнѣдѣ съ Владимiромъ выразилось въ другихъ былинахъ — объ Иванѣ Годиновичѣ. Однакоже, прежде чѣмъ къ нимъ перейти, замѣтимъ, что былины о Хотенѣ Блудовичѣ—эта повѣсть временъ родовыхъ съ позднѣйшимъ наслоеньемъ варяжско-дружиннымъ, уже не связываются и малѣйшей чертой съ Ильей Муромцемъ. Даже и самое имя его не попало въ нихъ [58]).

Кто же такой Иванъ Годиновичъ, и какiя его похожденiя? Его отчество *Годиновичъ*—отъ Година—очень близко къ *Хотину, Хотену*; а въ этомъ имени слышится что-то чуждое, не обычное. Какъ Хотенъ, такъ и этотъ новый молодецъ, вяжется еще очень слабо съ кiевскимъ богатырскимъ кругомъ. Зато онъ вяжется съ княземъ Владимiромъ,—по нѣкоторымъ пересказамъ даже родственными связями—У Р. I, 197 (33), II, 52 (13), III, 113 (23) онъ племянникъ, у Р. I. 202 (34) — крестный сынъ Владимiра. Этимъ, можетъ быть, объясняется, почему Владимiръ въ пересказѣ Кирши Данилова, спрашиваетъ съ особенною заботливостью: «а зачѣмъ ты, Иванушка, не женишься? А потомъ самъ *пишетъ* за него къ будущему тестю *ерлыкъ*—черта, очевидно, позднѣйшая: «сватаюсь я-де Владимiръ князь» (Кир. III, стр. 20). Разсмотримъ прежде всего и всю былину Кирши Данилова. Въ отвѣтъ князю Иванъ признается тутъ:

Гдѣ охота брать—за меня не *даютъ*,
А гдѣ-то под*аютъ*, ту я самъ не беру—

сказано во множественномъ числѣ и относится, очевидно, къ родителямъ, а не къ безгласной невѣстѣ. Взять же хотѣлъ бы Иванъ въ Черниговѣ, у Ди-

[58]) Въ дополненiе къ разбору былинъ о Хотенѣ приведу еще слѣдующую черту изъ его приказанiя Панюточкѣ наблюдать, какъ поѣдутъ Чесовичи:

Аще (книжное слово) станутъ тотъ напередъ,
да другой напередъ:
Тому-то надо выславиться,
Да другому надо выславиться—
Это есть не храбрые воины,—
А если пойдутъ всей грудью,
И такъ буди меня отъ великаго сна (Рыбн. III, стр. 145, пересказъ Сарафанова) еще полнѣе въ другомъ пересказѣ:

Если поѣдутъ по два по три въ одно мѣсто
То у нихъ есть думушка ровная,
Ровная думушка, не розная;
А поѣдутъ тотъ напередъ, другой напередъ...
Тотъ ѣдетъ хорошо, другой лучше того и т. д.
(Р. IV, стр. 40 Пересказ Тер. Iевлева).

митрія гостя богатаго (такъ оно и у Р. I, 197; II, 52; III, 113, т. е. это званіе *гостя* засвидѣтельствовано какъ былиною пермскаго края, такъ и былинами, записанными въ различныхъ мѣстностяхъ олонецкой области. Съ богатырскою скоростью переѣзжаетъ Иванъ два девяноста верстъ въ два часа; молится у Димитрія Спасову образу (этою, отъ христіанства наслоившеюся чертою, въ Димитріи рѣшительно закрывается все *враждебное*, темное, первоначально долженствовавшее въ немъ таиться, какъ увидимъ далѣе). Но кланяется Иванъ не на четыре стороны, а только гостю Димитрію (такъ оно и въ другихъ пересказахъ, кромѣ тѣхъ, гдѣ вовсе о поклонѣ не упомянуто, и Р. III, 114, Пудожскаго Уѣзда, отъ Троф. Романова—гдѣ онъ кланяется и на четыре стороны). Но замѣчательно, что далѣе у Кирши, при возвратѣ къ Владиміру, Иванъ кланяется только ему: такое забвеніе народнаго обычая кланяться на всѣ стороны, можетъ быть, не лишено извѣстнаго смысла въ такой былинѣ, гдѣ, какъ увидимъ, и вообще много чуждаго. Такимъ оказывается прежде всего отвѣтъ Димитрія гостя Ивану:

Глупый Иванъ, неразумный Иванъ!.
Нынѣ Настасья просватана...
Въ дальну *землю загорскую*
За царя Афромея Афромеевича.
За царя выдать,—ей царицею слыть.
(Панова всѣ поклонятся,
Панова и уланowья,
А нѣмецкихъ языковъ счету нѣтъ)
За тебя, Иванъ, отдать—холопкой слыть,
Избы мести, заходы скрести.

Этими словами черниговскій гость разомъ выставляетъ себя варяжскимъ гостемъ, какъ и купецъ-жена Чесовая. Совершенно также и въ Тидрекъ-Загѣ король Саломонъ отказываетъ въ рукѣ своей неприступной дочери Аполлонію, на томъ основаніи, что онъ только ярлъ, а ему нуженъ зять король [59]). Но кромѣ того слова Димитрія гостя отзываются тѣмъ же духомъ, который высказывается въ нежеланіи гордой норманки Рогнѣды разуть Владиміра, какъ *робичича*. Сходство еще ярче въ томъ пересказѣ, гдѣ слова эти говорятся не отцомъ Настасьи, а сочувственно повторяются ею самою вслѣдъ за ея женихомъ-царемъ.

Что мнѣ-ка слыть портомойницей?
А лучше будетъ слыть царицею [60]).

Р. I, 200 (Кижской Вол. отъ Никифора Прохорова) а также и въ тѣхъ, гдѣ она (Р. I. 233 (34); II, 55 (13); III, 116 (22), не говоритъ этихъ словъ, но дѣйствуетъ въ духѣ ихъ. Надо припомнить, что Иванъ — родня Владиміру; а чрезъ это пренебреженіе оказывается и въ нашихъ былинахъ какъ бы самому князю. — Не даромъ же у Кирши Данилова самому Владиміру отъ этого за бѣду стало:

Рветъ на главѣ черны кудри свои,
Бросаетъ ихъ о кирпищетъ полъ:
„Гой еси, Иванъ Годиновичъ!
Возьми ты у меня князя сто человѣкъ
Русскихъ могучихъ богатырей,
У княгини ты бери другое сто...

Нельзя не замѣтить, что это взиманіе ратной силы особо у князя и у

59) Rassmann II, 541.

60) Сходно, впрочемъ, и въ одной серб. пѣснѣ (Вука II, 182).

княгини очень напоминаетъ то мѣсто въ Тидрекъ-Загѣ, гдѣ Эрка даетъ Тидреку отъ себя 1000 рыцарей и столько же выпрашиваетъ въ помощь ему у Аттилы [61]). Это новый приказъ германской стихіи въ нашей былинѣ. Далѣе же оказывается, что особая дружина предполагается былиною и у самого Ивана:

У себя, Иванъ, бери третье сто;
Поѣзжай ты о добромъ дѣлѣ—о сватаньѣ,
Честью не дастъ, ты и силою бери.

Эти особыя дружины у князя, княгини и племянника княжескаго, (какимъ выставленъ Иванъ если не у Кирши, то въ многихъ другихъ пересказахъ)—дружины, служащія *лично* имъ, и, очевидно, отличныя отъ богатырской дружины кіевской (хотя эти дружины личныя являются тутъ составленными изъ *могучихъ богатырей*—по всей вѣроятности только по привычкѣ къ этому выраженію). Вмѣстѣ съ тѣмъ, эта особая дружина у княгини, у *женщины*, говоритъ уже о почетномъ положеніи этой послѣдней;—съ другой же стороны, между тѣмъ, и эта дружина предназначается тутъ на то, чтобы силою, съ бою—*взять женщину*: обычное въ народной поэзіи перекрещиванье разновременныхъ теченій! Иванъ однако же не пользуется тремя дружинами,—онъ разсылаетъ ихъ въ разныя стороны—различнаго звѣря ловить, но самъ онъ зато, своими однѣми силами, насильничаетъ не меньше любой дружины. Сходно и въ нѣкоторыхъ пересказахъ у Рыбникова, гдѣ Иванъ, отказавшись отъ силы, беретъ съ собой только Василья Заморскаго I, 202; II, 53. Замѣчательно, что и въ другихъ былинахъ о сватовствѣ богатырь, которому оно поручается, беретъ съ собой одного, много — двухъ помощниковъ, и постоянно отказывается отъ силы ратной; почему, не съумѣю сказать. Прямое, ясными словами выраженное указаніе на *захватъ*, какъ своего рода право, есть также въ другихъ пересказахъ: «ужь ты чёстно не дашь—за боёмъ возьму (Кир. III, стр. 13, Шенкурск. уѣзда, зап. Харитоновымъ). «Не отдашь съ добра, силомъ возьму» (Р. I, 198). По пересказу Кирши Иванъ застаетъ у Димитрія, которому ужь на этотъ разъ онъ не кланяется, мурзъ-улановей (наслоенье отъ татарской поры), привезшихъ Настасьѣ Дмитріевнѣ подарки отъ царя Афромея:

Платья того на сто тысячей...
А самъ царь Афромей Афромеевичъ
Онъ отъ Чернигова въ трехъ верстахъ стоитъ,
*А силы съ нимъ три тысячи.*

Ни мало не боясь этого, Иванушка, богатырски-одинъ, преспокойно

Потащилъ онъ Настасью, лишь туфли звенятъ.
Что возговоритъ ему Дмитрій гость:
„Суженое пересуживаешь,
Ряженое переряживаешь.
Можно тебѣ взять не гордостью,
Веселымъ пиркомъ, свадебкой. (К. III, 23)

т. е. онъ тутъ уступаетъ, смиряется, какъ Чесовична передъ Хотеномъ.

Только Иванъ слово выговорилъ:
„Добромъ мы у тебя сваталися,
А сватался Владиміръ князь;
Не могъ ты честью отдать,—

---

[61]) См. выше стр. 109.

Нонѣ беру и не кланяюсь."
Вытащилъ ее середи двора.
Посадилъ на добра коня...
(Стихи 145—149).

А былина, какъ бы желая напомнить о томъ, что все это дѣлалъ Иванъ совершенно одинъ, замѣчаетъ:

Некому бѣжать въ Кіевъ градъ
*За молодымъ Иванушкомъ...*

Между тѣмъ преспокойно раскинулъ онъ въ полѣ шатеръ, въ которомъ съ чужою невѣстою опочивъ держитъ. Чтобы одолѣть богатыря насильника, царь Афромей, не смотря на свою силу трехтысячную, находитъ нужнымъ *вражбу* чинить: обертывается туромъ, соболемъ, соколомъ, и настигаетъ Ивана. «Станемъ, говоритъ ему богатырь побѣдитель, мы съ тобою боротися о бóльшинѣ, что кому наша Настасья достанется»; — поединокъ изъ за невѣсты, нерѣдкій въ народномъ эпосѣ всякихъ странъ [62]). Одолѣваемый Иваномъ, царь Афромей повторяетъ Настасьѣ слова, сказанныя Ивану отцомъ ея — «за Иваномъ быть—холопкой слыть». Они оказываютъ свое дѣйствіе —

Душка Настасья Дмитревна
Изымала Ивана Годиновича за ноги,
Тутъ его двое и осилили...

Въ этомъ какъ бы месть съ ея стороны Ивану за оказанное ей насиліе — опять до извѣстной степени сходно съ Рогнѣдою.

И связали Ивана руки бѣлыя,
Привязали его ко сыру дубу,
Царь Афромей во шатеръ пошелъ,
Сталъ съ Настасьею поигрывати,
А назолу даетъ ему, молоду Ивану Годиновичу
(Стихи 214—218).

Но тутъ, по его *талану*, выбѣгаетъ на помощь ему изъ города Кіева высылка—сто человѣкъ, но при этомъ въ нашей былинѣ уже опущенъ тотъ условный знакъ, которымъ дается товарищамъ знать о бѣдѣ во всѣхъ сказаньяхъ подобнаго рода (напримѣръ о царѣ Соломонѣ и измѣнѣ жены его) [63]). Какъ бы то ни было, Иванъ освобожденъ высылкой кіевской. Но онъ щадитъ Афромея:

Ихъ-то царей не бьютъ не казнятъ,
Не бьютъ не казнятъ, и не вѣшаютъ:
Повезите его ко городу ко Кіеву—

Тутъ уже какая-то примѣсь государственнаго воззрѣнія на вещи, нѣсколько сходная съ нерѣшимостію Ильи Муромца *царски сѣмена погубить*. Но, не мстя Афромею, Иванъ звѣрскимъ образомъ мститъ Настасьѣ, въ этомъ случаѣ ни мало не уподобляясь Владиміру въ извѣстномъ преданіи, который наконецъ умилостивился надъ Рогнѣдою. А вотъ какъ расправляется Иванъ Годиновичъ:

---

[62]) Сюда относятся въ Сербскихъ былинахъ у Вука: II, № 94, 101. III, № 24, 54, 67, 73.

[63]) Знакъ этотъ—игра на рожкѣ. (См. у Рыбн. въ ч II, стр. 285—287 былина о Соломонѣ).

Сталъ онъ, Иванъ, жену свою учить,
Онъ перво ученье, то руку отсѣкъ ей:
„Эта мнѣ рука не надобна,
Трепала она рука Афромея царя.
А второе ученье, ноги ей отсѣкъ...
А третье ей ученье, губы ей обрѣзалъ и съ носомъ прочь...
Четверто ученье, голову ей отсѣкъ и съ языкомъ прочь...
«И этотъ языкъ мнѣ не надобенъ,—
Говорилъ со царемъ невѣрнымъ
И здавался на его слова прелестныя.»

И такое звѣрство засвидѣтельствовано всѣми рѣшительно пересказами. Вездѣ называется оно *ученіемъ*, легкимъ урокомъ, какъ надобно вѣрно любить, кого и когда велятъ! И отъ подобнаго легонькаго ученія

Втапоры Владиміръ князь веселъ сталъ,
Что отпускалъ Вахромея царя, своего подданника
Въ его землю Загорскую.
Только его увидѣли,
Что обернется гнѣдымъ туромъ,
Поскакалъ далече во чисто поле къ силѣ своей.

Такою представляется эта замѣчательная былина у Кирши Данилова, гдѣ совпаденье въ ней норманскаго сказанія о Рогнѣдѣ особенно ощутительно, такъ какъ наслоеньемъ временъ историческихъ тутъ болѣе, чѣмъ въ другихъ пересказахъ, прикрыта первоначальная миѳическая основа. Тамъ же, гдѣ эта основа сквозитъ яснѣе, тамъ попадается даже и поясненная выше миѳическая готовность невѣсты оставить своего—яко бы отца. Такъ въ пересказѣ Харитонова, записанномъ въ Шенкурскомъ Уѣздѣ (Кир. III, стр. 9—19).

Она брала Ивана за бѣлы руки,
Цѣловала—миловала во сахарныя уста.

Тутъ и самый образъ невѣсты отличается чѣмъ-то страннымъ, чудеснымъ:

Тутъ сидитъ Авдотья, полотенце ткётъ,
На головѣ у Авдотьи бѣлы лебеди,
На лѣвомъ плечѣ у ней черны соболи,
На правомъ плечѣ сидятъ ясны соколы,
На прошестяхъ [64]) у Авдотьи сизы голуби,
На подножкахъ [65]) у Авдотьи черны вероны.
Ужь то здравствуй Иванъ Свѣтъ Годиновичъ!
Выходила Авдотья изъ тонка полотна [66]).

Нельзя не замѣтить поразительнаго сходства между этими птицами вкругъ дѣвицы и тѣмъ, что̀ говорится о гордой красавицѣ Гильдѣ въ Тидрекъ-Загѣ: «надъ головой у нея высились два павлина, кидавшіе вокругъ нея тѣнь, такъ что солнце не пекло лица ея». Если тутъ такимъ образомъ выясняется, *зачѣмъ* надъ головой у нея эти птицы, то въ нашей былинѣ больше подробностей—которыя, впрочемъ, едва ли не должно признать за распространенія.—О птицахъ надъ Гильдой еще Яковъ Гриммъ замѣтилъ: «черта чрезвычайно древняя, указывающая на сверхчеловѣческое существо» (Rassm. II, 538). Но въ нашемъ былевомъ образѣ есть и еще одна подробность, также несомнѣнно древняя и миѳическая. Это работа, которою занята Авдотья, и которая напоминаетъ нѣмецкихъ миѳическихъ пряхъ, принадлежащихъ, какъ извѣстно, къ числу существъ *двойственныхъ*, *свѣтлыхъ*, но способныхъ впадать въ *омраченіе*. На свѣтлую миѳическую природу нашей Авдотьи указываетъ названье ея въ томъ же пересказѣ *лебедью бѣлою* (а такими же опять являются и германскія дѣвы валькиріи—тѣже пряхи). Съ другой же стороны

[64]) Прошесть, основа, утокъ-то, что̀ ткутъ. Прим. Общ.
Р. Сл. Соколы на плечахъ дѣвицы также у Петран. 126.
[65]) Утинцкаго станка.
[66]) Изъ за тканья. Кир. III, 13—14.

на непостоянство ея природы, на способность ея измѣняться, указывается, повидимому, самымъ *духомъ* (а не *буквою* — выраженія тутъ подновлённыя) того предостереженья, какое даетъ Ивану на счетъ ея князь Владиміръ:

*Не бери ты во городѣ во Черниговѣ,*
У того у *царя* у Чернигова,
У него есть Авдотья, лебедь бѣлая,
*Она ростомъ не мала*, да умомъ слаба (К. III, 11).

Отецъ Авдотьи, какъ видно, является тутъ не купцомъ, а *царемъ*. Черезъ это самое, такъ какъ онъ не можетъ же оказаться подначальнымъ Владиміру, онъ получаетъ значенье существа чуждаго, царя не русскаго, поступаетъ въ разрядъ тѣхъ враждебныхъ существъ, которыя въ древнѣйшихъ былинахъ являются именно съ титуломъ царскимъ (по всей вѣроятности отъ *царя*, какъ его называли, враждебной Золотой Орды). Соотвѣтственно враждебному значенью Черниговца, Иванушка уже и самый входъ свой къ нему чинитъ враждебно:

Онъ двери отпиралъ широко—на̀ пяту,
Онъ двери запиралъ крѣпко на̀ крѣпко:
Дубовое ободверенье онъ повкосилъ

(далѣе точно также входитъ онъ и къ Настасьѣ). Послѣ такихъ пріемовъ—*поклонъ по ученому* и *молитва Спасу пречудному — у такого* царя является уже противорѣчивою позднѣйшею вставкою. Царь Черниговецъ обращается къ Ивану Годиновичу, повидимому, также со *вставкою*:

Ты пріѣхалъ ко мнѣ все по старому,
Все по старому, по бывалому,
Что во тѣ во ключники во столовые...

Это какъ бы замѣшалось сюда изъ былинъ о Дунаѣ, но замѣшалось не безъ основанія: къ варяжскимъ чертамъ Ивана идетъ и варяжское странничество-наемничество. На отвѣтъ Ивана, что онъ пріѣхалъ свататься, царь въ свою очередь отвѣчаетъ тутъ, уже безъ всякихъ *сословныхъ* замашекъ, что дочь у него просватана—просто за *Одолища*, котораго даже самъ онъ, вполнѣ по эпически, величаетъ *поганымъ* и живущимъ въ ордѣ во невѣрной. Позже, во время боя, у Одолища оказываются *черны* груди и это повторяется три раза (Кир. III, 16). А у Ивана тутъ же *бѣлы груди* и *русы* кудри (17). По другимъ пересказамъ, вмѣсто Одолища, этого, конечно, уже позднѣйшаго, презрительно чудовищнаго олицетворенія силы языческой, подставленнаго вмѣсто прежней миѳически-темной силы, въ нѣкоторыхъ другихъ пересказахъ мы встрѣчаемъ *Кощея* (Рыбн. I, 198, III, 115)—это обычное сказочное лицо, котораго злое миѳическое значеніе уже не подлежитъ никакому сомнѣнію. Отнятіе *Лебеди Бѣлой* у подобнаго жениха боемъ-кровопролитьемъ великимъ—въ миѳическомъ смыслѣ является не *насиліемъ*, а скорѣе *обороною слабаго*.— Полная готовность Лебеди Бѣлой прямо отдаться въ руки *оборонителя* повторяется и у Рыбникова въ ч. I, п. 34 (отъ Рябинина), хотя прежнимъ ея женихомъ является тутъ не чудовище, а царскій сынъ Ѳедоръ Ивановичъ—съ Хороброй Литвы.

Не пошла она за сына царскаго,
А пошла за Иванушка Годиновича.
Иванушка Годиновъ сынъ
Взялъ во люби Настасью Митріевичну.

Но позже какъ тутъ, такъ и въ другихъ пересказахъ, Настасья помогаетъ (царю ли, царскому ли сыну, Идолищу ли, или Кощею) — обневолить Ивана Годиновича. Въ основѣ должна тутъ скрываться *измѣна миѳическая*, измѣна свѣтлому существу (Ивану) для темнаго (Кощея и т. п.). Въ пересказѣ шенкурскомъ у измѣнницы еще сохраняется состраданье къ Ивану:

Ой ты гось еси, Одолище поганое.
Не пори у Ивана *бѣлыхъ грудей,*
Не вымай у Ивана ретива сердца:
Мы возымемъ-ка Иванушка да свяжемъ здѣсь...
Мы привяжемъ Ивана ко сыру дубу.
(Кир. III, 17).

Тутъ слышится такой же умыселъ—послѣ отвязать и пустить на волю Ивана, какъ и въ совѣтѣ Рувима—вмѣсто убіенія Іосифа, опустить его въ ровъ (въ извѣстной библейской исторіи объ Іосифѣ). Только позже могло тутъ примкнуть другое, *бытовое* сказаніе—источника уже варяжскаго—и то, что миѳически было измѣной, въ иномъ пересказѣ, особенно у Кирши, стало представляться какъ будто бы *вѣрностью* прежнему жениху и *местью* вмѣстѣ съ нимъ новому и насильствующему. Но счастье въ концѣ концовъ вездѣ на сторонѣ Ивана, и въ большей части пересказовъ оборотъ въ его пользу дѣлается страннымъ образомъ, заставляющимъ предполагать опять таки миѳическую основу. На сырой дубъ, раскинувшійся близь шатра, гдѣ опочивъ держитъ Авдотья съ Кощеемъ на глазахъ у связаннаго Ивана, прилетаютъ два голубя (Кир. III, 18) или голубь съ голубушкой (Рыбн. II, 56; III, 117), или три лебедя (Р. I, 204). Авдотьюшкѣ захотѣлось голубятины (лебедятины) (Кир. III, 18, Р. I, 204—тутъ ей захотѣлось этого на поносѣ — миѳическая быстрота естественныхъ отправленій). Или же она побоялась, что голубь съ голубкою полетятъ въ Кіевъ и дадутъ знать обо всемъ Владиміру (Р. II, 55). Или наконецъ Кощею, по его злой природѣ, захотѣлось *разорить любовь голубиную* (Р. III, 117). Какъ бы то ни было, вездѣ одинаково онъ стрѣляетъ въ птицъ, которыя наконецъ въ одномъ пересказѣ переходятъ въ единственное число и являются *чернымъ враномъ*, и онъ человѣческимъ языкомъ провѣщиваетъ:

А не владѣть-то Марьей Дмитріевичной
Царю Кощею сыну Трипетову,
А владѣть Ивану Годиновичу.

Вотъ этимъ-то злымъ предвѣщаніемъ вызывается выстрѣлъ Кощея (Р. I, 200). Но напрасно, въ одномъ пересказѣ (Кир. III, 18) онъ даже напутствуетъ стрѣлу заговоромъ:

Ты пади, стрѣла, не на воду, не на землю,
Ты пади, стрѣла, во дубъ древо,
Изъ сыра дуба въ сиза голубя,
Сизу голубю пади ты въ праву око.

Сбывается только первая половина заговора:

Она пала во матерое дубъ древо,
Отскочила отъ дуба Одолищу во черны груди.
Тутъ-то Одолище окончился.

И такъ же точно оно и въ другихъ пересказахъ (Р. I, 200, 204; II, 56, 58; III, 117). Эта гибель чрезъ голубей, чрезъ неудачную въ нихъ стрѣльбу заключаетъ въ себѣ что-то роковое. Въ пересказѣ Рябинина голуби, подъ вліяніемъ христіанскимъ, прилетаютъ *по божьему по повелѣнію* (Р. I, 204), и оно не особенно поражаетъ именно въ этомъ пересказѣ, потому что тутъ оба жениха сватаются одновременно и Настасья сама предпочитаетъ, какъ уже и видѣли мы, царскому сыну Ивана Годиновича. Но подъ этимъ повелѣніемъ божьимъ должно скрываться *миѳическое предопредѣленіе*; оно же вполнѣ возможно и во всѣхъ другихъ пересказахъ. Это предопредѣленіе заключается въ томъ, что представители *свѣта* должны непремѣнно одолѣвать представителей тьмы; это то предопредѣленіе, которое господствуетъ постоянно *въ сказкахъ*, какъ по преимуществу миѳическомъ видѣ эпоса, и производитъ въ нихъ почти постоянно развязку счастливую.

Есть еще одинъ пересказъ—сокращенный и неоконченный (Р. II, 57—58). Въ немъ, по ошибкѣ, Иванъ Годиновичъ даже замѣнился Васильемъ Буслаевымъ. Но замѣчательно, что въ этомъ пересказѣ, согласно съ цѣлымъ множествомъ сказокъ о похитителѣ Кощеѣ Безсмертномъ, этотъ послѣдній не является первымъ, ранѣе просватаннымъ женихомъ, а, наѣзжая на женатыхъ уже Ивана съ Настасьей при помощи всей своей силы *проклятой*, является совершенно неправымъ зачинщикомъ злой обиды. Тутъ и Настасья выказывается уже вполнѣ какъ *измѣнница*, совѣтуя даже Кощею не стрѣлять въ голубей, а лучше стрѣльнуть въ ея мужа. Стрѣла же и тутъ отлетаетъ и попадаетъ Кощею—но въ *груди бѣлыя* (также у Рыбн. III, 116): ошибка и порча, тѣмъ болѣе поражающая, что *миѳичность* особенно хорошо сохранилась въ этомъ отрывкѣ—т. е. въ *отношеніяхъ* между дѣйствующими въ немъ лицами.

Остается указать еще на нѣсколько отличій въ томъ или другомъ пересказѣ, преимущественно бытового, частію позднѣйшаго свойства, и нерѣдко съ оттѣнкомъ опять варяжскимъ. Въ пересказѣ Шенкурскаго Уѣзда Иванъ, подобно Дунаю, обращается къ Владиміру:

Ты позволь-ко мнѣ ка слово молвити:
Не изволь меня при всемъ столѣ *казнить*,
Не изволь меня при всѣхъ князьяхъ рубить....
У насъ молодцы приженилися,
У насъ дѣвицы замужъ выданы.
Я одинъ, добрый молодецъ, холостъ хожу.

Что это только наростъ, сейчасъ видно изъ отвѣта князя, который не даромъ и тутъ, какъ по большей части, называется ласковымъ:

Ты поди, Иванъ, на конюшій дворъ,
Ты бери жеребца съ девяти цѣпей,
Надѣвай ко сбруду (збрую) богатырскую,
Поѣзжай-ко ты, куда хочется,
Ты бери себѣ жену, гдѣ можется:
Хотя у кого царя у царевича,
Хоть у того короля, королевича,
Хоть у того у купца богатаго,
Хоть у того у попа простоволосаго,
Хоть у того у мужика у *подлаго*....
(Кир. III, 10).

Если это послѣднее прилагательное и не имѣло въ старину теперешняго презрительнаго значенія, а значило просто *низкій*, послѣдній (такъ оно было еще въ XVIII вѣкѣ, какъ видно по тогдашнимъ литературнымъ произведеніямъ);

все же въ соединеніи со словомъ *мужикъ*—вмѣсто слова *крестьянинъ* (находящагося на соотвѣтствующемъ мѣстѣ немного ниже)—оно производитъ впечатлѣніе не особенно выгодное. Во всякомъ случаѣ тутъ уже замѣтна сословная постепенность,—но сквозь эту сословность позднѣйшую все же проглядываетъ и тутъ первоначальное славянское равенство—въ самой этой возможности выбрать невѣсту—хотя бы и изъ крестьянъ!—Далѣе—опять оттѣнки разнорѣчащіе и разновременные. Когда Владиміръ, на слова Ивана, что ему никого не надобно, кромѣ дочери короля Черниговца, отвѣчаетъ ему уже намъ извѣстнымъ предостереженіемъ,—

Показалося Иванушку за досадушку...
Ни съ кѣмъ добрый молодецъ не прощается
Онъ двери отпираетъ широко на пяту...
Дубовыя ободверины покосилъ...

Подобнымъ образомъ, за добрый совѣтъ княжескій, поступаетъ въ палатахъ у князя тотъ самый, кто немного выше просилъ не *казнить* его за смѣлость — высказать откровенно свое желаніе! Далѣе князь съ самымъ простодушнымъ незлобіемъ старается умиротворить недовольнаго — но этому придается тутъ оборотъ въ свою очередь смѣшаннаго, разновременнаго свойства:

Тебѣ много ли надо золотой казны,
Тебѣ много ли надо силы (арміи),
Тебѣ много ли надо сильныхъ богатырёвъ?

Разобщенностью Ивана объясняется въ этомъ пересказѣ то, что онъ отъ силы отказывается, и отправляется къ черниговскому царю одинъ. Когда, присмирѣвъ отъ продѣлокъ Ивана, и пристыженный словами дочери: «не умѣлъ меня, батюшка, замужъ выдати безъ того кроволитьица великаго»,—Черниговецъ предлагаетъ Ивану «хлѣба-соли откушать», тогда Иванъ презрительно отвѣчаетъ на это:

На пріѣздѣ ты гостя не отпотчивалъ,
На поѣздѣ тѣ гостя не отпотчивать (Кир. III, 14)

Сходно съ этимъ, и въ подобномъ же положеніи, и Дунай говоритъ королю Литовскому:

Не учествовалъ молодцевъ пріѣдучись,
То не ужаловать ти молодцевъ уѣдучись...

(Р. I, 190 (31)—но съ этимъ оборотомъ мы встрѣтимся еще и не разъ, въ подобныхъ же случаяхъ, какъ съ однимъ изъ обычныхъ эпическихъ оборотовъ. — Замѣчательно далѣе въ нашемъ шенкурскомъ пересказѣ обращеніе Одолища къ тестю: «ужь ты гой еси, царь, *вольный Черниговецъ*!»—Подобно этому въ сказкахъ почти постоянно встрѣчается выраженіе: *царь*, *вольный человѣкъ*! Въ немъ, если вдуматься, смыслъ глубокій. Значенье сказочнаго царя какъ-то мало обращало на себя вниманія. Та простота обстановки, въ какую онъ съ одной стороны поставленъ, съ перваго взгляда находится въ рѣзкомъ противорѣчіи съ тѣмъ полновластіемъ, какимъ онъ съ другой стороны надѣленъ. Но противорѣчіе совершенно изглаживается, когда подумаешь,

что царскимъ именемъ только прикрылась въ сказкахъ первоначальная неограниченная власть патріарха, родоначальника, относительно котораго выраженіе *вольный человѣкъ* представляется особенно глубокомысленнымъ. Дѣйствительно, такой патріархъ, въ грубо-первобытномъ значеніи, былъ человѣкъ *вполнѣ вольный*, — но зато и *единственный вольный* во всемъ своемъ маленькомъ государствѣ—семьѣ, или немного большемъ государствѣ—родѣ. То-же положеніе неограниченнаго ничѣмъ патріархальнаго самовольца принадлежитъ, какъ не трудно понять, и нашему—по однимъ пересказамъ *богатому гостю*, по другимъ—въ *сказочномъ смыслѣ царю* Черниговцу.

У Рыбникова въ ч. I, п. 33 (Ник. Прохорова), Иванъ самъ выпрашиваетъ себѣ у дяди Владиміра «силы сорокъ тысячей, казны денегъ друго сорокъ тысячей»—то-же распространеніе коренной цифры сорокъ, примѣры котораго намъ уже попадались. Эта рать-сила великая посылается Иваномъ обратно къ Владиміру уже послѣ того, какъ онъ овладѣлъ невѣстой: похититель, въ упоеніи отъ удачи, какъ бы забываетъ, что впереди еще схватка съ Кощеемъ.—Въ той же части, въ п. 34 замѣчательно служебное значеніе того, кто выбранъ Иваномъ въ помощники вмѣсто рати великой:

> Чтобъ ему Васильюшку коней сѣдлать,
> Да ему Васильюшку разсѣдлывать,
> Ему плеть подавать, да и плеть принимать (Р. I, 202, Рябинина),

И въ этомъ барствѣ своемъ Иванъ Годиновичъ походитъ на Хотенушку и на Дуная,—что снова свидѣтельствуетъ въ пользу общей имъ всѣмъ варяжской стихіи. У Рыбн. въ ч. II, п. 13 замѣчательно, какъ наростъ отъ позднѣйшихъ, уже смягченныхъ временъ, выраженье Ивана:

> Кабы мнѣ нажить *богосуженая*,
> Кабы мнѣ ка нажить *супружница*...

Далѣе же этотъ *судъ божій* оказывается просто *судомъ меча* (не только отецъ не даетъ, но и невѣста не идетъ добровольно, между прочими, и въ этомъ именно пересказѣ):

> Не отдашь какъ Настасьи то Димтріевны,
> Отсѣкемъ мы тебѣ буйную голову (стр. 54).

Наконецъ у Рыбн. въ ч. III, п. 23 не лишены, можетъ быть, особаго смысла слова Ивана:

> Я былъ за славнымъ *за синимъ моремъ*,
> Во томъ ли во городѣ во Черниговѣ,
> У Дмитрія гостя торговаго.

Здѣсь, думается мнѣ, море должно быть принимаемо въ прямомъ смыслѣ, какъ *окіанъ-море*. Но въ такомъ случаѣ нѣтъ ли тутъ указанья на то, что родиною торговыхъ гостей, купцовъ представляли себѣ у насъ по преимуществу *землю заморскую*, т. е. отдаленный *варяжскій берегъ*?—(такъ, что это представленіе не было тутъ затерто даже пріуроченіемъ Димитрія къ Чернигову граду, т. е. на сушу) И далѣе опять:

Когда будетъ Иванъ *за синимъ моремъ*,
Во тѣхъ палатахъ во дмитріевыхъ (стр. 114).

Далѣе одиноко стоитъ, среди другихъ пересказовъ, грубый отвѣтъ Димитрія:

У меня срощена собака на моемъ дворѣ
Отдать за тебя, Иванушка Годиновичъ.

Зато и Иванъ беретъ Настасью въ тороки (115), какъ Илья Муромецъ Соловья разбойника. Наконецъ замѣчательна картина приближенья Кощея:

Не шумъ шумитъ, да не громъ гремитъ,
Налетѣлъ то Кощей безсмертвій,
Зарычалъ Кощей да во всю голову,
*Мать сыра земля всколыбалася,*
*Сыры дубья пошаталися...*
(Стихи 95—99).

Но при всемъ этомъ миѳическомъ образѣ, Кощей говоритъ Ивану:

Станемъ-ко, Иванъ, со мной бой держать
*Кому на бою будетъ Божья помочь!*
—Ай же ты ворона налетная!
Тебѣ ли будетъ на бою *Божья помочь?*
Будетъ-то Иванушку Гудинову».—
И *пособилъ ему Господи* молодцу Ивану Гудинову.

Подъ этою помощію Божіею насильнику, какъ мы уже знаемъ, скрывается *миѳическое предопредѣленіе* въ пользу Ивана—какъ миѳически-свѣтлаго существа.

И въ похожденья Годиновича, какъ въ похожденья Хотена, вовсе не замѣшивается Илья Муромецъ. Вся эта область захватовъ насильственныхъ, чисто тѣлесныхъ силъ и грубо патріархальныхъ дѣлъ остается совершенно въ сторонѣ отъ нашего очеловѣченнаго богатыря [67]).

Съ Иваномъ Годиновичемъ отождествляется у г. Безсонова другой Иванъ—Гостиный сынъ [68]). Дѣйствительно, если въ имѣющихся теперь былинахъ его похожденія отличаются отъ похожденій Годиновича и стоятъ даже въ сторонѣ отъ всякаго *сватовства*, то въ сказкахъ объ Иванѣ *купеческомъ сынѣ* [69]) (тоже, что *гостиный*) онъ, при помощи чудеснаго коня своего, добываетъ себѣ, какъ и всѣ сказочные Иваны, невѣсту, такъ что, по всей вѣроятности, и въ былинѣ первоначально состязанье его коня съ конемъ княжескимъ увѣнчивалось добываньемъ себѣ невѣсты. Иванъ Гостиный уже намъ попался однажды въ былинѣ Кирши о Дунаѣ, гдѣ именно онъ-то и даетъ Владиміру совѣтъ послать этого послѣдняго за невѣстой для князя въ Золотую Орду къ королю Этмануйлу: тамъ онъ, Иванъ, бывалъ, и красавицъ, дочерей королевскихъ, видалъ. Но у Кирши имѣется и особая былина объ Иванѣ Гостиномъ сынѣ (Кир. III, стр. 4—8), гдѣ ему приписывается исключительно состязаніе съ княземъ въ искусствѣ коней —бѣжать изъ Кіева до Чернигова промежь обѣдней и заутреней два девяноста мѣрныхъ верстъ. Дѣло начи-

[67]) Замѣчу въ заключеніе, что изъ эпической основѣ разобранныхъ нами былинъ о насильственномъ сватовствѣ должны быть отнесены у Вука, Сербск. П. II, № 101; III, № 24, 54, 67, 73; у Петрановича № 38; въ германскомъ эпосѣ сказанія о Ротерѣ, Отнитѣ, Гугдитрихѣ; въ Шахъ-Намé по пер. Моля—I, стр. 119—135. См. также Gautier, Epopées Francaises, II, p. 52—54, 479; у Уланда, VII, 228—299: сѣверная сага объ Альфѣ и Альвильдѣ.

[68]) Замѣтка къ III вып. пѣс. Кир., стр. I—II и XXX.

[69]) Онѣ указываются у г. Безсонова на стр. XXIX и XXX.

нается тутъ вызовомъ со стороны самого Владиміра: есть ли, говоритъ онъ, кто нибудь въ Кіевѣ, кто бы похвалился на триста жеребцовъ и на три жеребца похваленые:

Сивъ жеребецъ, да кологривъ жеребецъ,
И который полоненъ воронко во Большой Ордѣ,
Полонилъ Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ
Какъ у молода Тугарина Змѣевича.

Такъ какъ Ильѣ только въ одной былинѣ (Кирѣевск. стр. 56—58—Суз. Зав.), приходится выступить противъ Тугарина (да и тутъ бой за него со *Бълевичемъ*, какъ онъ прозванъ въ этой былинѣ, выдерживаетъ попадающаяся только въ ней одной *жена* Ильи, *Савишна*), то и самое приписыванье Муромцу полоненія тугаринова воронка становится нѣсколько подозрительнымъ; оно должно быть перенесено на него съ какого нибудь другого богатыря (перенесено, можетъ быть, для наибольшаго прославленья коня), — тѣмъ болѣе, что Муромецъ, какъ мы знаемъ, совсѣмъ не наклоненъ къ взиманью добычи. Какъ бы то ни было, отъ вызова княжескаго «меньшой за большаго хоронится», т. е. происходитъ то, что въ нѣкоторыхъ другихъ былинахъ называется *тулицею* — эпическое явленье, обычное не у насъ однихъ: и отъ вызововъ-предложеній Карла Великаго бароны его нерѣдко *туляются* [70]). Но вотъ тутъ то и *выступается на свое богатырское мъсто* Иванъ Гостиный (и онъ такимъ образомъ—*постоянный* нахлѣбникъ Владиміра):

Нѣтъ у тебя во Кіевѣ охотниковъ,
А и быть передъ княземъ невольникомъ...

—выраженье, употребляемое и въ другихъ случаяхъ другими лицами....

А бьюсь я Иванъ о велпкъ закладъ....
О своей буйной головѣ—

обычное въ эпосѣ разныхъ народовъ *прозакладыванье* самой жизни, объясняемое тѣмъ неразвитымъ воззрѣніемъ на нее, которое выразилось поговоркою: *жизнь копъйка.*—Не только всѣ князи-бояра, но и *гости корабельщики* (т. е. свои люди *гостиному сыну*) держатъ поруки крѣпкія за Владиміра—закладу кладутъ за него сто тысячей, а за Ивана бы никто порукъ не держалъ, если бы не пригодился тутъ загадочный (при теперешнемъ видѣ былины) *владыка* черниговскій—повидимому, архіерей, по церковному смыслу слова *владыка*—который, какъ бы изъ жалости, ручается за Ивана,—и всѣ *подписываются* (указанье на *грамотность*). Иванъ же, выпивъ чару зелена вина въ полтора ведра, идетъ въ конюшню и падаетъ, по сказочному, во правое копытечко коню своему. Тотъ обѣщаетъ выручить молодца, поручая ему совершить надъ собою, *бурочкой, косматочкой, троелъточкой*, т. е., надобно полагать, *невзрачнымъ* (какъ сначала и всѣ кони сказочные) *невеличкою*, нѣчто въ родѣ того, что совершаетъ Илья надъ *шелудивымъ* своимъ жеребенкомъ — корм-

---

[70]) Gautier, Epopées françaises, II, p. 125.



ленье *по три зари* сытою медвяною; самому же Ивану конь приказываетъ одѣться въ шубу соболиную и не садиться на него, а вести за поводокъ. Иванъ исполняетъ все, какъ сказано, и когда приходитъ отъ князя посолъ, ведетъ бурочку къ князю.

Онъ будетъ, де, Иванъ середи двора княженецкаго,
Сталъ его бурко передомъ ходить
И копытами онъ за шубу посапывати
И по черному соболю выхватывати,
Онъ на всѣ стороны побрасывати:
Князи и бояра дивуются....

Вслѣдъ же за тѣмъ бурко, подобясь въ этомъ случаѣ Соловью разбойнику, зазрявкалъ по туриному, шипъ пустилъ по змѣиному — и вышелъ такой же переполохъ, какъ отъ Соловья: триста коней разбѣжалося, а сивъ жеребецъ двѣ ноги изломилъ, кологривъ жеребецъ — тотъ и голову сломилъ, а полоненъ воронко убѣжалъ въ Золоту Орду; люди же—совершенно какъ отъ Соловья — окорачь наползались, а Владиміръ князь со княгинею печаленъ сталъ; «уведи, говоритъ Ивану, ты уродья со двора долой: просты поруки крѣпкія, записи всѣ изодраныя». Это послѣднее выраженье объясняется издателями такимъ образомъ: «Упразднены, порѣшены; въ закладѣ говорятъ: «рублемъ простъ буду», — ставлю рубль, и рубль отданный порѣшитъ, опроститъ, развяжетъ руки заложившихся объ рублѣ.» (Кир. III, стр. 8, примѣч.) Я-же позволяю себѣ думать, что князь этими словами хочетъ самодурно уничтожить договоръ, оказавшійся невыгоднымъ именно *для* него и князей-бояръ со гостьми корабельщиками [71]). Это соотвѣтствуетъ какъ нѣкоторымъ другимъ проявленіямъ самодурнаго полновластья въ лицѣ Владиміра, такъ и его наклонности наживаться, а не убытчиться. Но владыка черниговскій рѣшилъ иначе: онъ обезпечиваетъ себѣ выполненіе договора тѣмъ, что велитъ захватить три корабля на быстромъ Днѣпрѣ. Это—со гостей - корабельщиковъ княжескихъ: «а князи, де, и бояра никуда отъ насъ не уйдутъ», заключительно разсуждаетъ онъ.

Къ пермской былинѣ Кирши довольно близко подходитъ записанная въ Петрозаводскѣ отъ кр. Андр. Иванова (Рыбн. III, № 34). Тутъ однакоже Владиміръ не самъ похваляется своими конями, а вызываетъ на похвальбу Ивана Гостинаго, который сначала сидѣлъ себѣ, призадумавшись, на пиру княжескомъ. Выслушавъ же похвальбу его, Владиміръ замѣчаетъ:

Во хмѣлю лѣтина порасхвастался:
„Не на комъ тебѣ будетъ и выѣхать.

Тогда Иванъ предлагаетъ князю заложить сорокъ тысячь казны своей, а самъ закладываетъ голову, вслѣдъ же затѣмъ стольный князь съ купеческимъ сыномъ написали письма крѣпкія и приложили ручки бѣлыя. Своеобразно взмолился потомъ Гостиный своему *добру коню* (выраженье, уже подновленное, *стертое*—сравнительно съ *бурочкою* Кирши):

---

[71]) Совершенно подобно этому Садко Новгородскій, какъ увидимъ мы въ своемъ мѣстѣ, видя, что кинутые имъ жеребьи выпали не въ его пользу, не задумавшись, объявляетъ ихъ неправильными и велитъ кинуть другіе—съ перестановкой признаковъ. (Рыбн. I, стр. 376. Кир. V, стр. 36).



Можешь ли ты мою буйную голову выкупить,
*Князя Владиміра къ стыду привести,*
А большаго брата посоромить?—

«Подразумѣвается братъ коня», поясняетъ г. Рыбниковъ (братъ, надо думать, находящійся у Владиміра). Далѣе, когда конь начинаетъ выщипывать у Ивана шубу, князи-бояра надъ нимъ издѣваются: *глупый* Иванъ, спортитъ твою шубу конь:

Этой бы ты шубой подарилъ князя Владиміра,
Онъ простилъ бы тебя во великой вины—

новый намекъ на наклонность стольнаго князя къ *получкѣ*. Иванъ же имъ *отворачиваетъ*: *глупые* вы князи и бояра —

Живъ молодецъ—шубу наживу,
А помретъ молодецъ—шубу державалъ.
Эта шуба была въ пятьсотъ рублевъ
А сошьетъ молодецъ въ цѣлу тысящу.

Владиміръ *велитъ конюхамъ* выбирать изъ трехсотъ тридцати коней — маленькаго полонена воронка (о полоненьи его *Ильею* ни слова). Когда же отъ свистанья коня иванова приста жеребцовъ *мертвы полегли*, тридцать жеребцовъ *ископытилисъ*, а воронко, скочивъ черезъ Пущай рѣку, во чисто поле ушелъ, тогда князь, по требованью Ивана: «не держи меня добра молодца», отсчитываетъ ему сорокъ тысячей, но вслѣдъ за тѣмъ говоритъ:

Душка Иванъ Гостиный сынъ!
Подари-тко мнѣ добра коня:
Мнѣ-ка князю не на комъ повыѣхать.

Иванъ, расхваливъ коня, что де «сталъ онъ ему цѣлу тысящу,» исполняетъ желаніе князя, но что же выходитъ? Конь душки Ивана, отведенный конюхами на конюшню княжескую, пшены не ѣстъ и меда не пьетъ, а какъ вскрикнетъ-свистнетъ опять по звѣриному-змѣиному,—такъ и прибилъ остальныхъ всѣхъ жеребчиковъ княжескихъ. Тутъ Владиміръ, и на этотъ разъ опять самъ напросившійся на бѣду, взмолился *душки Ивану*:

Что не надобенъ мнѣ твой добрый конь,
Мнѣ не надобенъ, поѣзжай домой!

Кромѣ этихъ двухъ полныхъ пересказовъ, мы имѣемъ еще отрывки пѣсни, записанные П. В. Кирѣевскимъ въ Новгородской Губерніи, Валдайскомъ Уѣздѣ; *пѣсенный же зачинъ* указываетъ на происхожденіе ея изъ другой совершенно мѣстности, такъ какъ тутъ говорится о Волгѣ рѣкѣ, о Казани, Астрахани, великомъ перевозѣ подъ Новымъ—Городомъ (т. е. Нижнимъ) [72]. Далѣе Иванушка выѣзжаетъ тутъ на насадничкѣ съ матерью; вслѣдъ же за тѣмъ пѣвецъ, очевидно, пропустившій многое, прямо перешелъ къ похвальбѣ Гостинаго сына передъ боярами своимъ бурушкой-каурушкой:

---

[72]) Кир. III, стр. 1—3; вслѣдъ за тѣмъ помѣщено еще 9 стиховъ—обломковъ особаго пересказа, записанныхъ также самимъ Кирѣевскимъ (стр. 3—4), но не представляющихъ ничего особеннаго.

Трехъ годковъ жеребушечка,  
Маленькій, косматенькій.....  
Гривушка семи саженьковъ,  
Хво тичикъ и семидесять....

Это описаніе составляетъ, кажется мнѣ, такую же яркую, подлинную черту, какъ и предписанье конька Ивану:

Пусти меня на травы зеленыя....  
Самъ покатайся, и меня покатай!

(очевидно, миѳически-цѣлебное *катанье въ росѣ*—такое, какое предписано было Святогоромъ коню Ильи Муромца). Когда же конекъ пустился бѣжать отъ Кіева до *Владимірова*, (т. е. *города*) [73]) и при этомъ засипѣлъ-заревѣлъ по звѣриному змѣиному,—

Съ горъ желты пески сподымалися,  
Бѣлая вода всколыхалася,  
Съ теремовъ шатры [74]) посваливлися,  
Вси господа испужалися....

Этотъ испугъ *господъ*, какъ не трудно замѣтить, составляетъ въ нашей пѣснѣ то, что собственно и выдвигаетъ ее изъ разряда сказокъ объ Иванѣ (съ которыми имѣетъ она столько общаго) и становитъ ее въ былевой кругъ владиміровъ. Пѣсня вяжется съ нимъ именно этимъ новымъ переполохомъ княжескимъ, этимъ особымъ постановленіемъ князя съ его боярами *въ тѣнь*, причемъ тѣмъ ярче выступаетъ впередъ первенство *богатырской стихіи*.

Принадлежа къ ея представителямъ, Иванъ Гостиный остается однакоже не затронутымъ земскимъ ея значеніемъ, [75])—и вотъ почему въ дошедшей до насъ былинѣ о немъ опять таки нѣтъ, да и не можетъ быть мѣста *для* Ильи Муромца. И едва ли г. Безсоновъ не вдается въ нѣкоторое преувеличеніе, говоря о *хвастовствѣ конемъ*, что это «предметъ не малой важности для исторіи первобытной; успѣхи коня волновали не одну Грецію, не одинъ Римъ: отъ Кіева до Чернигова волнуется вся земля, въ закладъ входятъ князья и бояре и гости корабельщики; цѣлая область черниговская, въ лицѣ своего владыки, споритъ съ кіевскою, съ княземъ Владиміромъ.»—[76]) Споръ этотъ между *княземъ* и *богатыремъ*, какъ мнѣ кажется, споръ все же прежде всего изъ за *личныхъ* выгодъ и *личной* чести,—а гдѣ замѣчается только этотъ двигатель, тамъ не ищите Муромца! Если же князи-бояра становятся за Владиміра, то это, кажется, просто изъ желанія угодить ему, замѣтнаго во многихъ былинахъ, и отличающаго *князей-бояръ* отъ *богатырей*. Но въ такомъ случаѣ тѣмъ болѣе значенія получаетъ то, что *владыка* принимаетъ сторону не князей-бояръ, а богатыря Ивана. Это выставляетъ *владыку* со стороны, столько же сочувственной для народа, сколько несочувственнымъ представляется ему, какъ увидимъ, представитель того же слоя, Алеша *Поповичъ*.

Всѣ такія соображенія, разумѣется, должны показаться чистѣйшей фантазіей г. Стасову. Доискиваясь положительныхъ данныхъ, почтенный нашъ

---

73) Въ другомъ стихѣ и сказано прямо—Владиміра.

74) Крыши—поясняютъ издатели.

75) Впрочемъ Иванъ упомянутъ однажды на богатырской заставѣ—въ былинѣ о томъ, какъ перевелись витязи, разборъ которой еще впереди.

76) Зам. къ Ш в. П. Кир., стр. II.



бенфеистъ составляетъ Ивана Гостинаго изъ двухъ богатырей Томскихъ Шоровъ—Алтынъ-Эргека и Алтынъ-Таша, а его бурочку *троелѣточку* ведетъ отъ шорскаго коня Аранджулы, *пережившаго три поколѣнія.*

Дѣло въ томъ, что въ расказѣ шорскомъ, «имѣющемъ съ нашимъ необыкновенное сходство, не смотря на нѣкоторую разницу подробностей», трехлѣтній Алтынъ-Эргекъ ѣдетъ отомщать за смерть своего отца девяти чернымъ демонамъ (Кара-Монгусамъ). Конь Аранджула разомъ переноситъ его къ нимъ черезъ море; когда же три богатырскихъ сына Кара-Монгусовъ хотятъ схватить его, уже привязаннаго своимъ господиномъ, по пріѣздѣ на мѣсто, къ дереву, онъ перегрызаетъ удила и убѣгаетъ. Семь дней богатыри гонятся за нимъ, а онъ въ это время пробѣгаетъ семь небесъ..... Наконецъ Аранджула возвращается къ своему господину, который между тѣмъ выросъ величиною съ гору и перебилъ всѣхъ людей въ царствѣ Кара-Монгусовъ. Вотъ тутъ появляется наконецъ и Алтынъ-Ташъ,—эта вторая половина Ивана Гостинаго. Онъ проситъ у брата коня Аранджулу, чтобы съѣздить на три неба. Такъ какъ Алтынъ-Эргекъ не согласенъ, то Алтынъ-Ташъ опаиваетъ его виномъ и такимъ образомъ овладѣваетъ Аранджулой (вотъ этимъ-то, по мнѣнію г. Стасова, и объясняется въ нашей былинѣ выпиванье Иваномъ чары въ полтора ведра передъ отправленіемъ за конемъ). Верхомъ на Аранджулѣ, Алтынъ-Ташъ переносится черезъ семь небесъ туда, гдѣ живутъ девять творцовъ; единый (верховный) творецъ былъ тоже тамъ. Эти девять творцовъ (наши князь Владиміръ съ боярами, князьями и гостями) создали гнѣдого коня съ бѣлыми крыльями, для того, чтобы ему состязаться въ бѣгѣ со свѣтло желтымъ (буланымъ) конемъ Аранджулой, котораго создалъ единый (верховный) творецъ (нашъ владыка черниговскій); а Алтынъ-Ташъ побился объ закладъ съ девятью творцами на счетъ этого бѣга. Конямъ надо было пробѣжать, отъ утра до вечера, сто пространствъ небесныхъ (наши два девяноста мѣрныхъ верстъ между Кіевомъ и Черниговомъ). Дѣло кончается побѣдой Аранджулы, который перекусилъ жилу на затылкѣ у гнѣдого коня, такъ что тотъ издохъ (нашъ воронко).

Но г. Стасовъ не остановился на этомъ. Продолжая себя считать стоящимъ на твердой почвѣ, не *фантазирующимъ*, онъ отъ посредствующихъ звеньевъ шорскихъ, (отзвука буддійской поры), переходитъ къ древне-индійскому «оригиналу» временъ брахманскихъ—и находитъ его въ расказѣ Магабгараты о добываніи богами божественнаго напитка—амриты. Расказъ этотъ приводится также Куномъ въ его извѣстной книгѣ о «Низведеніи небеснаго огня и божественнаго питья,» и ему, конечно, не снилось, къ какимъ новымъ соображеніямъ приведетъ этотъ эпизодъ г. Стасова! Желая добыть амриту, боги стали пахтать море, подобно тому, какъ пахтаютъ масло; при этомъ гора Мандара служила имъ мутовкой, а змѣй Васуки—веревкой. Все это, разумѣется, даже воображенію г. Стасова не могло бы представиться сколько нибудь похожимъ на сказанье объ Иванѣ Гостиномъ, если бы вслѣдствіе миѳическаго пахтанья, изъ моря, кромѣ амриты, не произошли многія чудныя существа, а въ томъ числѣ и *бѣлый конь* Уччаисравасъ, въ которомъ «нельзя не узнать» прадѣдушки нашего бурочки косматочки тро-

елѣточки. (Уччаисравасъ значитъ «съ навостренными ушами»). Сходство становится тѣмъ болѣе очевиднымъ, что двѣ женщины божественнаго происхожденія, сестры Кадру и Вината, побились изъ за этого коня *объ закладъ*. Одна увѣряла, что онъ бѣлый, другая—что хвостъ у него черный. При помощи извѣстной хитрости, послѣдней удается обратить хвостъ коня въ черный, при чемъ на сторону ея сталъ и самъ верховный прародитель всего сущаго, отъ котораго происходитъ, по замѣчанію г. Стасова, «верховный творецъ» шорской пѣсни, этотъ *«прототипъ;* нашего черниговскаго владыки; [77]) (отъ двухъ же сестеръ спорщицъ должны происходить въ такомъ случаѣ шорскіе семь творцовъ,—на нихъ распалась одна сестра, и опять таки шорскій верховный творецъ—другая сестра. *Бѣлый* (свѣтлый) цвѣтъ уцѣлѣлъ въ нашемъ *буркѣ*, а *черный* хвостъ—въ нашемъ *воронкѣ*.

Жаль, что нашъ ученый пропустилъ родившуюся отъ одной изъ сестеръ-спорщицъ птицу Гаруду, и не постарался связать ея *свѣтозарность* съ *бурымъ* цвѣтомъ коня иванова, а оно тѣмъ болѣе бы было возможно, что и на Гарудѣ ѣздили верхомъ [78]).

Отдавая остроумныя сближенія г. Стасова на судъ самому читателю, перейду къ одной совершенно особой былинѣ объ Иванѣ Гостиномъ, записанной г. Рыбниковымъ въ Повѣнецк. Уѣздѣ отъ Ѳед. Никитина и вошедшей у него въ IV ч. подъ № 13. Мы видѣли, что въ отрывкѣ изъ Новгородской Губерніи Иванъ выѣзжаетъ на насадничкѣ (суднѣ [79]) съ матерью. Собиратель, покойный П. В. Кирѣевскій, замѣчаетъ тутъ: «все это начало очевидно взято изъ другой пѣсни». Но упомянутая пѣсня рыбниковская именно и останавливается, и притомъ исключительно, на отношеньяхъ Ивана къ матери. Овдовѣвъ, она посылаетъ его торговать за море—съ завѣтомъ: не ходить въ кабакъ и т. д. Но онъ не выполняетъ матерняго завѣта и проживаетъ-пропиваетъ за моремъ все имѣнье отцовское. Тогда матушка ѣдетъ за нимъ сама за сине море и отыскиваетъ его въ *царевомъ кабакѣ*. Это прилагательное до такой степени эпически срослось со своимъ существительнымъ, что не разлучается съ нимъ даже въ странѣ заморской, гдѣ бы должно было замѣниться другимъ—*королевскій*. Въ силу того же *эпическаго постоянства* мать Ивана, войдя въ кабакъ, и тамъ, по обычаю, ведетъ поклонъ по ученому, бьетъ челомъ—низко кланяется, своему ли сыну въ особину. Но ни этотъ поклонъ чаду милому, ни слезы, прокатившіяся у нея изъ ясныхъ очей, не мѣшаютъ вдовѣ честной распорядиться имъ полновластно. Ведетъ она его ко синю морю ко купцамъ ко заморскіимъ:

Ай же вы купцы Заморяна,
Вы Заморяна я Вавилоняна!—[80])
Вы купите у меня чада милаго....
И дайте вы за него пятьсотъ рублей.....
Я не вора продаю и не разбойника:
Продаю я единаго сына любимаго.....

И напрасно Иванъ, проливая горячія слезы, попрекаетъ ее:

---

[77]) В. Европы 1868 г. Мартъ, стр. 681—687

[78]) Fauche, Mahabhârâta, I, 134, 137.

[79]) Насадъ или набой—отъ насаживанья или набиванья бортовъ: судно, низъ котораго изъ однодеревки, а съ боковъ приставные досчатые борты.—Прим. Общ. Люб. Р. Слов.

[80]) Въ этомъ послѣднемъ имени, разумѣется, слышится вліяніе уже книжныхъ источниковъ.

По закону была родна матушка,
А по житью бытью змѣя лютая....

Со всѣмъ непреклоннымъ сознаніемъ чинимаго *правосудія*, она, и сама проливая слезы, обращается къ *суду народному*:

«Не дивитесь вы, народъ православный,
Что продала я своего чада милаго,
По имени Иванушка Гостиняго:
Не кормитель онъ былъ родной матери,
А разоритель былъ золотой казны,
А за простунокъ я его и продала.

Власть ея такимъ образомъ идетъ даже далѣе власти Чессвой вдовы—въ былинахъ о Хотенѣ, съ которыми только что разобранная находится, очевидно, на одной почвѣ. Это та отдаленная, древняя почва временъ родовыхъ, когда *отцы* дѣйствительно имѣли право и продавать и даже лишать жизни *дѣтей*—какъ то извѣстно намъ, даже изъ учебниковъ, о древнихъ Грекахъ и Римлянахъ. Но если тамъ это именно предоставлялось *отцамъ*, то въ нашей былинѣ особенно замѣчательна подобная полнота власти *матери*, съ другой же стороны замѣчательно, какъ наслоенье уже отъ позднѣйшихъ временъ *общинности*, ея обращенье къ *народу*.

При теперешнемъ, неполномъ составѣ нашего эпоса мы уже не видимъ, какимъ образомъ вязалось это похожденье Ивана съ другимъ, выше разобраннымъ. Можно только *предполагать*, что, попавъ въ бѣду и потомъ исправившись, онъ становился самъ самостоятельнымъ гостемъ, заѣзжалъ ко Владиміру князю въ Кіевъ и, при помощи чудеснаго коня своего, окончательно выходилъ въ люди. Теперь же его похожденіе съ матерью остается рѣшительно въ сторонѣ отъ кіевскаго былевого круга.

Предоставляя г. Стасову обратить вниманье на нашу былину и пріискать для объясненья ея какіе нибудь новые эпическіе кусочки у Шоровъ и Коибаловъ, я возвращаюсь къ обзору эпической жизни богатырей, болѣе или менѣе тѣсно связанныхъ съ княземъ Владиміромъ. Въ ряду ихъ остается еще незатронутымъ одинъ изъ богатырей *сватающихся*, но вмѣстѣ съ тѣмъ имѣющій уже отчасти и значеніе *земской служилой силы*.

Богатырь этотъ Михайло Ивановичъ, съ прозвищемъ *Потокъ*[81])—по сборнику Кирши Данилова, въ рыбниковскомъ же сборникѣ—*Потыкъ*. Впрочемъ въ замѣткахъ къ нему и къ сборнику Кирѣевскаго, г. Безсоновъ приводитъ то и другое къ общему корню *тьк*—и *тьк*, *ток* и *тек*, и видитъ въ немъ представленіе *силы движенія* или *стремленія*, силы неугомонной, бродячей, перехожей;—отсюда и связь Михаила съ калѣками перехожими этими *потыками своего* рода (Рыбн. I, зам., II; Кир. IV, зам., XXXIII XXXIV). Дѣйствительно, богатырская жизнь Потыка соотвѣтствуетъ подобному прозвищу. Г. Безсоновъ правъ, говоря: «посмотрите, сидитъ ли онъ на одномъ мѣстѣ: какъ будто ни минуты, какъ будто только присядетъ, чтобъ подняться и въ путь. Пѣсни объ немъ обыкновенно начинаются тѣмъ, что Владиміръ отряжаетъ его на какой нибудь подвигъ въ далекую сторону; только лишь

---

[81]) Этому прозвищу соотвѣтствуетъ, кажется, въ болгарскомъ эпосѣ турлакъ (Безсонова Болг. П., I, 201).

онъ воротится, какъ ступай дальше» ... (стр. XXXVII) Эти свойства *непосѣда* г. Безсоновъ объясняетъ особою силою въ древней народной жизни. «Поприщемъ ея всесторонняго дѣйствія, говоритъ онъ, собственнымъ мѣстомъ и временемъ для силы движенія, переходовъ, броженія было *кочевье*, эпоха кочевого быта, періодъ слагавшагося народа русскаго».... (стр. XXXIV). Все это, за множествомъ лишнихъ словъ, не довольно ясно; но можно однакоже догадаться, что именно разумѣлъ изслѣдователь. И въ самомъ дѣлѣ, при томъ множествѣ различныхъ слоевъ, какое замѣчается въ народной словесности, и той живучести даже старѣйшихъ изъ нихъ, какою она отличается, въ былинахъ о Михаилѣ Потыкѣ могутъ, пожалуй, проглядывать, и черты доисторическаго кочевничества. Но на нихъ налегли другія; это древнѣйшее *потыканье*, т. е. *шатанье* по свѣту прикрылось позднѣйшимъ—тѣмъ гуляньемъ изъ страны въ страну, какое уже видѣли мы въ Дунаѣ Ивановичѣ. Въ самомъ названіи этого послѣдняго именемъ *рѣки*, т. е. *текущей*, *потыкающейся*, является своего рода сходство съ применованіемъ Михаила—*Потокомъ-Потыкомъ*. Одна изъ рыбниковскихъ былинъ о Михаилѣ, правда неоконченная, начинается совершенно также, какъ нѣкоторыя былины о Дунаѣ Ивановичѣ:

Ходилъ молодецъ изъ орды въ орду,
Загулялъ молодецъ къ королю въ Литву.

(Р. I, № 35. Записано отъ Рябинина; замѣчательно, что отъ того же пѣвца записанъ и другой, отличающійся полнотой пересказъ о Потыкѣ, помѣщенный подъ № 36. Надо думать, что Рябининъ слышалъ о Потыкѣ отъ двухъ различныхъ пѣвцовъ; но слышанное отъ одного изъ нихъ почти изгладилось изъ его памяти.) Хотя, по всей вѣроятности, это только примѣшалось сюда изъ былинъ о Дунаѣ,—все же это произошло, надо думать, на основаніи ощущаемаго сродства между Дунаемъ и Михаиломъ Потыкомъ. Но *потыканье* перваго признано было выше за наемническое перекочевываніе варяга—дружинника; то-же самое, кажется, и въ Михаилѣ Потыкѣ. Сходство съ Дунаемъ подтверждается и нѣкоторыми другими чертами также съ варяжскимъ оттѣнкомъ.

Скитальческій нравъ Потыка однако же не замѣтенъ въ пересказѣ Кирши Данилова, несравненно болѣе сжатомъ и менѣе полномъ, чѣмъ шесть пересказовъ Рыбникова (седьмой—вышеупомянутый неоконченный) Зато съ другой стороны онъ свободенъ отъ многихъ позднѣйшихъ вставокъ и очевидныхъ распространеній. Какъ древнѣйшій въ этомъ смыслѣ, онъ и долженъ быть нами разсмотрѣнъ ранѣе.

Дѣло начинается пиромъ у князя, но пиромъ не на всѣхъ вообще, а собственно только:

На три братца названые
Свято-русскіе могучіе богатыри—

Михаила Потока, Добрыню и Алешу Поповича. Владиміръ поручаетъ Потоку сослужить ему службу заочную—съѣздить къ синему морю и настрѣлять къ

столу княженецкому бѣлыхъ лебедей.—Всталъ, вышелъ, взвился на своемъ конѣ Михаилъ также скоро, какъ и всѣ вообще богатыри.

| | |
|---|---|
| По его по *щаски* великія [82]) | А головушка у ней |
| Привалила птица къ круту берегу... | Увивана *краснымъ золотомъ* |
| И увидѣлъ *бѣлую лебедушку*, | И *свѣтнымъ жемчугомъ усажена.* |
| Она черезъ перо была *вся золота*, | (К. IV, 153). |

Здѣсь такимъ образомъ во очію является то, на что въ былинахъ объ Иванѣ Годиновичѣ только указывалось именемъ невѣсты—*Лебедь Бѣлая*. Это уже прямо та миѳическая лебедь-дѣва, сродная югославянской вилѣ и германской валькиріи, которая является такъ часто и въ сказкахъ и миѳическое значенье которой не разъ затрогивалось гг. Буслаевымъ и Аѳанасьевымъ. Ея, разъясненному ими, по преимуществу *облачному* значенію соотвѣтствуетъ — и это во всѣхъ пересказахъ—то, что Потокъ встрѣчаетъ ее плавающею по *синему морю*; оно же, какъ не разъ уже видѣли мы, первоначально должно было означать *синеву небесную*. Какъ въ сказкахъ, такъ и въ нашей былинѣ, Бѣлая Лебедь, видя, что добрый молодецъ намѣтилъ въ нее стрѣлу, провѣщилась ему языкомъ человѣческимъ:

Не стрѣляй ты меня Лебедь Бѣлую:
Нѣ въ кое время пригожуся тебѣ...

Эти два стиха составляютъ весьма распространенное эпическое изрѣченіе. Въ одной изъ колядокъ галицкихъ оно приписывается оленю золоторогому [83]), во множествѣ сказокъ—различнаго рода чудеснымъ животнымъ. Слова: «пригожуся тебѣ»—должно быть зашли въ былину изъ сказокъ, гдѣ пощаженныя животныя впослѣдствіи помогаютъ молодцу. Въ былинѣ, какъ далѣе будетъ видно, Лебедь далека отъ того, чтобы оказать какую либо *помощь* Михаилу. Тутъ отношенья особаго рода...

Выходила она на крутой бережокъ,
Обернулася душой красной дѣвицей.

Михайло, вмѣсто стрѣльбы, принимается ее цѣловать, она же ни мало не сопротивляется, сама даже заговариваетъ о женитьбѣ (выражая этимъ ту же *миѳическую готовность* отдаться свѣтлому молодцу, съ какою уже мы встрѣчались и выше—въ нѣкоторыхъ пересказахъ другихъ былинъ); но при этомъ она предлагаетъ условіе, въ которомъ затаена и миѳическая измѣна:

Хотя ты на мнѣ и женишься,
И кто изъ насъ прежде умретъ,
Второму за нимъ живому во гробъ итти.

То-же условіе повторяется и тремя рыбниковскими пересказами, при той же

---

[82]) Щаски, очевидно, равняется—счастіе. Въ этомъ же смыслѣ попадается тоже слово въ одной изъ былинъ про Турилу Пленковича. Г. Аристовъ, повидимому, находитъ въ этомъ указаніе на особый участокъ княжескій,—но это одна изъ тѣхъ ошибокъ, которыя слѣдовало бы исправить въ его вообще весьма добросовѣстной и полезной книгѣ—о промышленности древней Руси. (См. стр. 10).

[83]) Сходная пѣсня записана также и въ иной совершенно мѣстности — въ самарскомъ краѣ (Сб. Варенцова, стр. 154—155).



готовности выйти за мужъ—она даже во всѣхъ пересказахъ—(I, 209, 216; II, 62), сверхъ того мы встрѣчаемъ его и въ одной нѣмецкой сказкѣ въ сборникѣ Гриммовъ, гдѣ невѣста-ненаглядная-красота заранѣе объявляетъ, что выйдетъ лишь за того, кто согласится на такое условіе. Добрый молодецъ, страстно въ нее влюбившись, готовъ и на это [84]). Въ примѣчаніяхъ къ своимъ сказкамъ Гриммы отмѣчаютъ, что въ сѣверной Загѣ объ Асмундѣ и Асвитѣ точно такое же условіе заключается ими при вступленіи въ союзъ названаго братства [85]). По ихъ же указанію наконецъ сходный обычай (опять между мужемъ и женою) какъ въ нашей былинѣ и въ нѣмецкой сказкѣ—встрѣчается и въ путешествіяхъ Синдабада (Тысяча и одна ночь, II, 137) [86]). Возвращаясь къ нашей былинѣ, замѣчу, что у Кирши попадается вслѣдъ за тѣмъ черта, совсѣмъ одиноко стоящая:

Полетѣла она бѣлой лебедушкой въ Кіевъ градъ
Ко своей сударынѣ матушкѣ...
Потокъ Михайло Ивановичъ.
Нигдѣ не мѣшкалъ, не стоялъ;
Авдотьюшка *Лиховидьевна*
Перво его въ свой домъ ускорить могла...

Самое это отчество, указывающее на *лихо*, т. е. *зло*, *бѣду*, *тьму*, свидѣтельствуетъ, что мѣсто жительство ея родителей первоначально не могло находиться въ Кіевѣ, этомъ средоточіи *свѣтлаго* богатырскаго круга. Въ рыбниковскихъ пересказахъ она и переносится въ иную сторону; то называется она Марьею *Подоленкою* дочерью Лиходѣевою—I, 214, 231; II, 74, 84, то является увезенною изъ царства *заморскаго* (Р. II, пѣсня 15-я); то даже дочерью Лиходѣя Лиходѣевича, царя *темной* орды (замѣчательно тутъ это прилагательное—*темная* вмѣсто обыкновенно соединяемаго съ ордою, ея историческаго прилагательнаго *золотая*—(Р. I, 206).—Древностью отличается, совершенно соотвѣтственное природѣ лебеди-дѣвы, это ея прилетаніе раньше Потыка въ Кіевъ. Зато уже позднею чертою, т. е. позднею въ бытовомъ отношеніи, является нѣсколько далѣе то, что Михаилъ входитъ къ Владиміру не просто-на просто безъ докладовъ, а сперва

Приворотнички доложили стольникамъ
А стольники князю Владиміру—

При входѣ же Михаилъ Потыкъ:

Поклонился князю со княгинею

и только потомъ уже

На всѣ на четыре стороны—

словомъ, такія же уклоненія отъ простоты обычаевъ кіевскихъ, какія видѣли мы въ былинахъ и о другомъ скитальцѣ, также насмотрѣвшемся всякихъ чужихъ порядковъ, Дунаѣ Ивановичѣ, да и вообще въ былинахъ о богатыряхъ

[84]) Grimm, Kinder und Haus Märchen, I, № 16.

[85]) Содержаніе этой заги (по Саксону Грамматику) подробно передается въ Полн. Собр. Соч. Уланда, ч. VII, стр. 217—219.

[86]) Grimm, K. и H. Märchen, III, 26, 27. Ср. также у Шлейхера въ Лит. ск., 57—59.

со сколько нибудь варяжскимъ оттѣнкомъ. Зато дальше, совсѣмъ уже безъ чиновъ, Михайло говоритъ князю, чтобы онъ *доспѣлъ* свадебной пиръ на него одного. И желанье богатыря исполняется; князь же, встрѣчая новобрачныхъ, *сталъ весель-радошенъ*. Повидимому, тутъ-же, у князя, на *широкомъ* дворѣ,

Потокъ Михайло Ивановичъ
Спать въ подклѣть убирается...

Всѣ тутъ князи и бояра разъѣхалися,
Разъѣхались и пѣшкомъ разбрелись...

но *предательская* сторона въ двойственной природѣ Авдотьюшки Лиховидьевны сказывается въ скоромъ времени. Черезъ полтора года (у Рыбн. II, 62— *на третій годъ*), къ вечеру заболѣвъ, она къ утру уже и преставилася; а былина пояснительно замѣчаетъ, что она *мудрости искала надъ мужемъ*, т. е. мудрости въ древнемъ смыслѣ слова, той же *мудрости — хитрости*, какою славился, на примѣръ, какъ мы знаемъ, и оборотень-богатырь— Вольга [87]). — Отдаленнѣйшею стариною отличается далѣе и обрядъ погребальный: тѣло Авдотьи везутъ *на саняхъ* — употребленіе которыхъ въ этомъ случаѣ засвидѣтельствовано древними памятниками, наприм. рисунками къ житію Бориса и Глѣба,—вслѣдъ же за тѣломъ Авдотьи

Тутъ Потокъ Михайло Ивановичъ
*Съ конемъ и збруею ратною*
Опустился въ тое жь могилу глубокую —

(у Рыбникова же въ ч. I, стр. 218—онъ беретъ съ собою *и хлѣба на пропитаніе*; въ ч. II, п. 15—*запасу* на два мѣсяца! [88]) Точно также съ запасомъ опускается въ могилу къ другу своему Асвиту Асмундъ въ вышеупомянутой сѣверной загѣ (Grimm, K. M. III, 26). Такъ и въ нѣмецкой сказкѣ мужъ, заключаемый заживо въ склепъ, находитъ у гроба столъ, и на немъ четыре лайба хлѣба и четыре бутылки вина (Grimm, K. M. I, 89).

Все это совершенно согласно съ цѣлымъ рядомъ свидѣтельствъ древней письменности, а равно и новѣйшихъ раскопокъ, о повсемѣстности обычая погребать человѣка со всѣмъ тѣмъ, что оказывалась нужнымъ ему при жизни [89]).

Въ новомъ подземномъ своемъ жилищѣ Михайло Потокъ *приустрашился*, какъ даже самъ Илья Муромецъ въ одно изъ начальныхъ мгновеній своего боя съ Сокольникомъ, этимъ существомъ также двойственнымъ, полутемнымъ. Но и у Михайлы это только *мгновенный* страхъ — передъ его окружившею и ему несродною тьмою:

---

[87]) Въ дополненіяхъ, пропѣтыхъ П. Н. Рыбникову въ другой разъ Рябининымъ, сказано про Марью: она была злодогадлива,—помирала скорою смеретушкой (Рыбн. III, зам. стр. XLVI).

[88]) По Рыбн. I, 219 Потыкъ, согласно условію, зарывается въ могилу на три мѣсяца (Р. I, 209 — даже только на трое сутокъ). Рыбн. IV, п. 12 уговоръ итти въ могилу на два мѣсяца, но далѣе въ той же былинѣ говорится: отпущенъ былъ на полъ мѣсяца, а прожилъ въ сырой землѣ двои сутки. Въ соотвѣтственной нѣмецкой сказкѣ и въ сѣверной загѣ срокъ не опредѣленъ. Въ Литовской сказкѣ добрый молодецъ воскрешается черезъ три года (Schleicher). Три же года остается окамененнымъ вѣрный дядька въ новогреческой сказкѣ (Hahn, I, 59), исцѣляемый слезами королевы, наплаканными въ теченіи этихъ трехъ лѣтъ. Въ русскомъ пересказѣ той же сказки для воскрешенія дядьки нужна кровь трехлѣтняго мальчика (Худякова вып. III). Число три такимъ образомъ оказывается тутъ самымъ распространеннымъ — т. е. излюбленнымъ эпическимъ числомъ.

[89]) Былины о Потыкѣ подробно разсмотрѣны съ этой стороны А. А. Котляревскимъ въ его разсужденіи «о Погребальныхъ Обрядахъ Славянъ».

И для страху добылъ огня,
Зажигалъ свѣчи воску яраго.

(Въ нѣмецкой же сказкѣ мужъ уже находитъ въ могилѣ на томъ же столѣ, гдѣ хлѣбъ, также и четыре свѣчи).

И какъ пришла пора полуночная,
Собиралися къ нему всѣ гады змѣиные,
А потомъ пришелъ *большой змѣй*,
Онъ жжетъ и палитъ *пламенемъ огненнымъ*.
А Михайло Потокъ Ивановичъ
На *то-то не робокъ былъ*:
Вынималъ саблю острую,
Убиваетъ змѣя лютаго
И сѣкаетъ ему голову
И тою *головою змѣиною*
Учалъ тѣло Авдотьино *мазати*.
Въ та поры она, еретница,
Отъ смерти пробуждалася,

Т. е. это помазаніе головою змѣиною производитъ тутъ то-же дѣйствіе, что и знаменитая сказочная *живая вода*. Подъ этою же послѣднею, какъ извѣстно, миѳически разумѣется *дождь*, а подъ приносящею ее птицею *туча*. Но образомъ той же самой тучи, только болѣе громаднаго и ужаснаго вида, служитъ *змѣй*. Вмѣсто помазанія головою змѣя, въ другихъ пересказахъ, какъ мы увидимъ, изцѣленіе происходитъ при помощи живой воды, приносимой змѣемъ. (Нѣчто среднее между тѣмъ и другимъ представляетъ встрѣчающееся въ нѣкоторыхъ сказаніяхъ помазаніе слюною изъ змѣиной пасти, слюною, которая миѳически оказывается тѣмъ же дождемъ.) Во всякомъ случаѣ тутъ оживотвореніе посредствомъ *дождя*—перваго ниспаденія весенней небесной влаги на зимнюю могилу природы.—Вслѣдъ же за тѣмъ Михайло Потокъ, изъ могилы, вдругъ ударяетъ *въ колоколъ*;—въ теперешнемъ видѣ былины это объяснено уже тѣмъ, что онъ, еще сходя въ гробъ, взялъ съ собою конецъ веревки, привязанный къ колокольнѣ. Первоначально же такія пояснительныя подробности едва ли оказывались нужными: звонъ могъ рождаться и прямо въ гробу, этомъ опять особомъ образѣ тучи. Дѣло въ томъ, что «въ народныхъ загадкахъ *звонъ колокола* обозначается тѣми же метафорами, какъ и *громовые удары*»... «Какъ символъ грома, какъ указаніе на *грядущаго бога громовника*, разителя демоновъ, звонъ, по общему повѣрью Славянъ, Нѣмцевъ и другихъ народовъ, прогоняетъ нечистую силу. Когда тучи заволокутъ небо, на Украйнѣ причитываютъ: «*бій, дзвоне, бій! хмару розбій!* нехай хмари на Татаре, а сонечко на Хрестяне» [90]). Такое же точно разбивающее значеніе имѣетъ въ нашей былинѣ *звонъ*, только тутъ, раздаваясь изъ гроба, онъ и разбиваетъ тотъ же гробъ—въ сущности также *хмару, тучу*. Опять только особый образъ для того же миѳическаго представленія составляетъ нѣсколько далѣе то, что

Потокъ Михайло Ивановичъ
Въ могилѣ реветъ зычнымъ голосомъ.

Это объясняется совершенно загадкою: *гробъ плыветъ, мертвецъ реветъ*; разгадка: *туча* и *громъ*. Но въ той же загадкѣ есть и еще черта: ладонъ пы-

---

[90]) Аѳанасьева, Поэтич. Воззр. Славянъ, I, 299—300.

шетъ, *свѣчи горятъ*, что̀ разгадывается *молніей*. А вотъ и другой пересказъ цѣлой загадки: «въ дубу гробница, въ гробницѣ дѣвица, *огонь высѣкаетъ*, сырую землю зажигаетъ.» Такимъ образомъ въ нашей загадкѣ находитъ себѣ соотвѣтствующія черты и самое зажиганіе Михаиломъ *свѣта* въ гробу. Что̀ же касается жены Потока съ ея двойственною природою, то уже придаваемый ей тутъ образъ *бѣлаго лебедя* указываетъ прямо на ту неразлучную съ лѣтомъ *облачность*, которая способна вступать въ благодатный союзъ съ громомъ-молніей, а на зиму, безплодно застаиваясь среди неба, бездѣйственно въ немъ замирая, таить съ собою, какъ бы схороненною, и громовую силу своего мужа.

Но послѣ этого оказывается, что миѳическая основа Потока должна быть та-же, что и у Ильи Муромца. Къ той же основѣ, какъ мы видѣли выше, можетъ быть до извѣстной степени приведенъ и Дунай. Изъ одной и той же основы вырабатывались съ теченіемъ времени различныя лица; каждое шло своимъ особымъ путемъ развитія, подвергаясь одно менѣе, другое болѣе, бытовымъ и историческимъ наслоеніямъ разнаго рода, вслѣдствіе которыхъ различіе, разумѣется, все усиливалось.

Позднѣйшія наслоенія на Потокѣ, какъ уже сказано, особенно замѣтны въ пересказахъ Рыбникова. Но слѣдуетъ прежде остановиться на томъ, что̀ и въ миѳическомъ отношеніи прибавляется ими къ пересказу Кирши Данилова. Этотъ послѣдній оживленіемъ Лебеди Бѣлой собственно и оканчивается. Слѣдующіе затѣмъ восемь стиховъ говорятъ только о томъ, какъ Михайло съ Авдотьею жили потомъ и состарѣлись, какъ потомъ умеръ Потокъ, а Авдотьюшка въ свою очередь была съ нимъ зарыта въ землю.—Рыбниковскіе же пересказы вмѣсто этого расказываютъ о новыхъ похожденіяхъ Потока и Авдотьи Лебеди, похожденіяхъ, служащихъ новымъ выраженіемъ *миѳической измѣны* послѣдней своему мужу. Въ этихъ похожденіяхъ оказывается особенное сходство съ былинами объ Иванѣ Годиновичѣ.

Но прежде всего надо указать на нѣкоторыя подробности, какими рыбниковскіе пересказы дополняютъ миѳическую картину женитьбы, погребенія вмѣстѣ съ женою Потока и оживотворенія имъ ея. Въ ч. 1, п. 26-й (записанной отъ отличнаго пѣвца, Рябинина) Михаилъ куетъ въ могилѣ *три прута мѣдныхъ и три желѣзныхъ, также клещи желѣзные*. Тоже въ п. 37-й (отъ девяностолѣтняго старика, въ Пудожскомъ Уѣздѣ, на Колодозерѣ) Этимъ выказывается въ Потыкѣ еще и *ковачъ* небесный, онъ же, какъ извѣстно изъ миѳологіи, есть ковачъ молній, которыхъ образомъ и служатъ тутъ упомянутыя орудія. Ими Потыкъ сѣчетъ *змѣю подземельную*, т. е. могильную: тутъ животненный образъ тучи, змѣя, совмѣщенъ съ ея вещественнымъ образомъ—гробомъ. Въ пересказѣ Рябинина эта змѣя оказывается самою Лебедью Бѣлою—она ею *обертывается*. Не трудно замѣтить, что это напоминаетъ въ Старой Эддѣ мать короля Атли, точно также обертывающуюся змѣею (см. выше стр. 135, прим. 152. [91]). Что̀ же ка-

[91]) Когда Михаилъ, у Рябинина, начинаетъ бить змѣю, она опять обвертывается Марьей Лебедью и даетъ заповѣдь, не дѣлать впредь никаковыхъ пакостей. А въ дополненьяхъ, пропѣтыхъ тѣмъ же Рябининымъ

сается собственно обращенія змѣемъ Лебеди Бѣлой, то оно, быть можетъ, не лишено особаго миѳическаго значенія, указывая на переходъ свѣтлыхъ небесныхъ лебедей-тучъ въ чудовищно-темныя, драконообразныя, и наоборотъ на переходъ этихъ послѣднихъ, послѣ сѣченья ихъ молніями, опять въ свѣтлыя лебединыя. Въ пересказѣ же 90 лѣтняго старика (Ч. I-й п. 37-ая) и въ пересказѣ старика калики изъ дер. Красныя Ляги Каргоп. уѣзда (ч. II, п. 15) такого отождествленія змѣи и лебеди не встрѣчается и сѣченье змѣи имѣетъ только цѣлью заставить ее сдѣлать то, что̀ въ сказкахъ дѣлается обыкновенно птицею: принести живой воды. Распространяющая сила воображенія въ пересказѣ 90 лѣтняго старика и въ нѣкоторыхъ другихъ надѣлила змѣю еще и змѣнышемъ, (у Рыбн. II, п. 15—даже цѣлыми двѣнадцатью) который дается Потоку въ закладъ и давится имъ подъ каблукомъ съ цѣлью побудить змѣю—дѣйствительно принести живой воды, безъ которой не жить и ея змѣнышу. [92]) Замѣчательно далѣе, что, какъ оживленный змѣнышъ, такъ уже въ началѣ и сама змѣя, *плывутъ* (такъ и у Р. II, 62)—своего рода указаніе на *водяной* характеръ этихъ змѣй—тучъ, при которомъ прилагательное *подземельная* не можетъ быть тутъ первоначальнымъ.

Надо замѣтить, что въ соотвѣтственной нѣмецкой сказкѣ (Гриммовъ № 16) добрый молодецъ представляется научающимся у змѣй, какимъ образомъ изцѣлить жену. Завидя подползающую къ тѣлу жены змѣю, онъ разсѣкаетъ ее на три части мечомъ своимъ (это пока еще очень походитъ на былину Кирши Данилова); тутъ выползаетъ другая змѣя (въ нѣмецкой сказкѣ онѣ уже выползаютъ, а не выплываютъ), и, видя разрубленную молодцемъ, возвращается назадъ, а потомъ опять ползетъ—уже прямо къ убитой змѣѣ, съ *тремя зелеными листиками во рту*. На каждый кусокъ змѣи она кладетъ по листику, и что̀ же? разрубленныя части сростаются. Тогда добрый молодецъ, вдругъ надоумленный, поднимаетъ одинъ изъ листиковъ, кладетъ его на губы къ женѣ, а два другихъ—на глаза ей,—и жена оживаетъ. (Позже точно также возвращаютъ къ жизни и самого добраго молодца, вѣрный слуга котораго припряталъ три цѣлющихъ листика).—Тотъ же видъ изцѣленія, только при другихъ обстоятельствахъ, встрѣчается въ одной новогреческой сказкѣ, гдѣ мать, отыскивающая трупъ сына, убиваетъ на дорогѣ змѣю, а отъ другой змѣи узнаетъ—о *травѣ* цѣлющей. [93])—Въ другой новогреческой сказкѣ опять—*листья* цѣлющіе [94]). Тутъ отыскиваютъ убитаго сына отецъ и мать и видятъ, какъ одна змѣя убиваетъ другую. «Покрой змѣю листьями,» говоритъ старикъ женѣ; та покрываетъ, и змѣя соцѣляется. «Ну, такъ набей

---

она говоритъ: «не буду я ходить ко гробу ко дубовому и не буду точить тѣла бѣлаго» (Рыбн. III, зам. стр. XLVI). На издавность этой черты указываетъ то, что и въ вышеупомянутой сагѣ объ Асмундѣ и Асвитѣ у писателя VII в., Саксона Грамматика, встрѣчаетъ мы нѣчто подобное. Когда Асмундъ, заживо схоронившійся съ Асвитомъ, былъ случайнымъ образомъ освобожденъ изъ гроба, то все лицо у него оказалось въ крови; въ объясненіе онъ раскавалъ, что каждую ночь его мертвый другъ оживалъ, и при этомъ съѣлъ сперва коня и собаку (зарытыхъ вмѣстѣ съ нимъ въ землю), а потомъ принялся и за самого Асмунда, которому уже успѣлъ оторвать ухо. Тогда Асмундъ отрубилъ ему мечомъ голову и вонзилъ ему въ тѣло заостренный колъ (Uhland, VII, 218, 219). Извѣстно, что это послѣднее средство и у Славянъ считается единственнымъ противъ упырей.

[92]) Сходное взятіе въ закладъ змѣеныша встрѣчается также въ одной сказкѣ у Аѳан. VII, 133.

[93]) Hahn, griechische Märchen, II, 204.

[94]) Ibidem, II, 260.

же себѣ карманы этимъ цѣлющимъ растеніемъ», говоритъ онъ; и оно имъ служитъ къ оживленью сына. Въ другомъ пересказѣ той же сказки разрубленныя хвостомъ одной змѣи части другой сами приползаютъ къ чудесной травѣ, завертываются въ нее и соцѣляются. [95]) Самъ же изцѣляемый юноша въ этой греческой сказкѣ является передъ тѣмъ змѣеборцемъ—спасителемъ дѣвы, становящимся жертвою другого существа. Совершенно таже основа и совершенно тотъ же способъ изцѣленія—въ сказкѣ иной совершенно страны: въ одной изъ литовскихъ (у Шлейхера). Тутъ израненныя въ поединкѣ змѣи подползаютъ къ кусту, нарываютъ съ нею листьевъ и обвертываются въ нихъ; позже такими же листьями изцѣляютъ молодца вѣрные ему звѣри. [96]) Но Гриммы въ своихъ примѣчаніяхъ указываютъ и на преданіе древнегреческое, даже всею своею обстановкою напоминающее наши былины о Потыкѣ. Оно вошло въ Миѳическую Библіотеку Аполлодора. Тутъ вѣщій Полиідъ замыкается въ могилу къ Главку для его изцѣленія. Убитая имъ, подползшая къ тѣлу змѣя изцѣляется другою при помощи травы, которою вслѣдъ затѣмъ Полиідъ воскрешаетъ и Главка. [97]) Наконецъ надо вспомнить уже знакомое намъ изъ Вользунга-заги изцѣленіе Зигмундомъ Зинфіотли при помощи листьевъ, о цѣлебности которыхъ узналъ онъ отъ дикихъ кошекъ. [98]) Но возвращаюсь къ пересказу 90 лѣтняго старика. Въ немъ уже не имѣется колокольнаго звона, зато тутъ отъ подмогильнаго рычанія Михаила:

> Мать земля сколыбалася,
> Вода съ пескомъ помутилася.

У Рыбн. же въ ч. II, п. 15-й:

> Закричалъ какъ въ сырой землѣ
> Такъ у князя Владиміра палаты зашаталися.

А въ пересказѣ Василья Лукина (IV, п. 12) «закричалъ онъ уродище во сырой землѣ—земля сколыбалася.... околенки вонъ повалилися». Пересказъ же 90 лѣтняго старика отличается еще и тѣмъ, что подоленка Марья, *лукавая*, какъ она тутъ называется (съ примѣсью еще и крѣпкаго слова), выпрашивается у отца погулять съ нянькими-мамками, сѣнными дѣвками,—и, отпущенная, оставляетъ ихъ въ сторонѣ, сама же подходитъ къ бѣло-полотняному шатру съ золотою маковкою, раскинутому Потыкомъ:

> И стоитъ у шатра—удивается,
> *Во сыру землю поклоняется.*
> Спитъ богатырь, схарпываетъ.

---

[95]) Hahn, II, 260, 274.

[96]) Schleicher, Litauische Märchen, 57, 59.

[97]) Apallodor's Mythische Bibliothek, übersetzt v. Beyer, III, B, 5 Cap. Восточные примѣры изцѣленія змѣиной травой, а также и головою змѣя приводятся у Венфея (Pantscha-Tantra, I, 200, 207, 608; и II, 359—изцѣленіе дымомъ отъ змѣинаго горячаго мяса) Бенфей указываетъ и на сходные цѣлющіе листья въ чешскихъ сказкахъ, замѣчая при этомъ однакоже: «едвали это находится въ исторической связи со сходными индѣйскими примѣрами»—(P. Tantra, II, 547; ср. также I, 60—63). Сходнаго рода цѣлебная трава встрѣчается наконецъ и въ тюркскихъ сказаніяхъ (Radloff, II, 55, 118; 585: тутъ ее сторожатъ два пестрыхъ ворона, свившихъ себѣ гнѣздо въ сплетшейся верхушкѣ девятиvѣтвистой лиственницы. См. тамъ-же стр. 118: вода и трава; и стр. 62: цѣлебная слюна.

[98]) См. выше стр. 119—120.

Потыка будитъ его добрый конь, онъ ладитъ цѣловать въ уста красну дѣвицу, а она говоритъ:

Примемъ мы съ тобой золоты вѣнцы,
И станемъ мы съ тобой жить да быть,
Жить да быть, дѣтей сводить...

Вотъ до какой беззастѣнчивости доводится эта—какъ мы знаемъ уже, по основѣ своей миѳическая *податливость*, здѣсь же скорѣе *навязчивость*,—указывающая, въ бытовомъ отношеніи, если и на своего рода самостоятельность дѣвушки, то съ другой стороны на крайнюю ея униженность, доводимую тутъ до вымаливанія любви—*челобитьемъ*! Но со всѣмъ тѣмъ и тутъ, какъ въ другихъ пересказахъ, Лиховидьевна вслѣдъ за тѣмъ измѣняетъ Потыку

Прежде чѣмъ перейти къ обзору той части былины, которая повѣствуетъ объ этой измѣнѣ, сдѣлаю заключенье о всѣхъ тѣхъ чертахъ въ первой, уже разсмотрѣнной части, которыя оказались сходными съ германскими, литовскими, греческими эпическими чертами. Всѣ эти сходства, кажется, такъ значительны, что громко свидѣтельствуютъ о древности основного содержанія нашей былины. Къ тому же мы замѣтили соотвѣтственныя черты даже въ такихъ, положительно древнихъ, письменностью закрѣпленныхъ памятникахъ, какъ Аполлодорова Библіотека съ одной стороны, сѣверныя саги съ другой. Но г. Стасовъ въ своей, уже упомянутой выше, статьѣ, указываетъ на новыя черты сходства, переносящія въ индійскую старину. Можно было бы и въ этомъ случаѣ только благодарить г. Стасова за расширяемый такимъ образомъ кругъ сравненій, если бы и тутъ, какъ вездѣ, онъ не придавалъ своимъ индійскимъ поэмамъ вовсе не подобающее имъ и въ этомъ случаѣ, какъ въ другихъ, значеніе—*первообразовъ*.

Г. Стасовъ открылъ въ Магабгаратѣ одинъ эпизодъ, отъ котораго, разумѣется чрезъ посредство благодѣтелей нашихъ Тюрковъ, произошли былины о Михаилѣ Потокѣ (нашъ сочинитель остается при этой формѣ его прозвища) [99]). Разберемъ же этотъ эпизодъ. Я буду сокращать: оно выгоднѣе для самого г. Стасова, такъ какъ такимъ образомъ устранено будетъ многое, не подходящее къ нашимъ былинамъ.

Великій отшельникъ Стхулакеса усыновилъ дѣвочку, найденную имъ на берегу рѣки и оказывающуюся дочерью нимфы Менаки. За красоту онъ назвалъ ее Прамадварою, т. е. красавицею красавицъ.—«Однажды брахманъ Руру (привожу тутъ уже самую передачу г. Стасова), сама олицетворенная добродѣтель, увидалъ Прамадвару въ скитѣ отшельника и былъ пораненъ богомъ Любви». Онъ посватался, пріемный отецъ согласился (стр. 671) Это мѣсто сравнивается у г. Стасова съ нашей былиною такимъ образомъ: «Царь Лиходѣй Лиходѣевичъ и его дочь Лебедь—это брахманъ Стхулакеса и его пріемная дочь Прамадвара». Что касается этого перваго обстоятельства, то я позволю себѣ замѣтить, что брахманъ—лицо уважаемое, лицо со свѣтлымъ

---

[99]) Вѣстн. Евр. 1868 г. Февр., стр. 671—677.

значеньемъ въ индійскомъ эпосѣ; нашъ же царь Лиходѣй, какъ и имя, и содержанье былины показываетъ,—лицо враждебное, темное. Такого же перехода свѣтлыхъ лицъ въ темныя не водится въ эпосѣ. Продолжаю выписку. Прамадвара «живетъ на берегу рѣки, у воды, въ скитѣ пріемнаго отца своего, и тутъ, опять таки у воды же, ее видитъ Руру и влюбляется въ нее. Въ русской пѣсни Потокъ видитъ свою будущую невѣсту у воды, на берегу синя моря, и тутъ влюбляется въ нее.»—(стр. 673-674). Во первыхъ, онъ вовсе и не влюбляется: все это дѣлается у насъ какою-то *роковою* силою. Что же касается той *воды*, у которой дѣйствіе происходитъ, то весьма простое ея значеніе постарался разъяснить самъ г. Стасовъ—въ выноскѣ на стр. 674. «Индѣйскіе аскеты, говоритъ онъ, почти всегда поселялись.... у какой нибудь воды: рѣки, озера или пруда, для удобства предписанныхъ закономъ омовеній.»—Своего рода любовь *у воды* встрѣчается нерѣдко и въ сербскихъ эпическихъ пѣсняхъ: въ нихъ у воды происходитъ *отмица*. И у Нестора читаемъ мы про Древлянъ: «у воды умыкиваху дѣвиця».—И это опять очень просто: дѣвицы ходили на воду по воду; тутъ настигали ихъ молодцы и уводили.—Совсѣмъ не то вода въ былинѣ о Потыкѣ. Тутъ важно то, что невѣста его не просто живетъ или встрѣчается ему у воды; она тутъ—*водное существо*. И напрасно г. Стасовъ изворотливо говоритъ: «Невѣста Потока *называется* [100]) у насъ Бѣлою Лебедью». Она не только называется, но и есть у насъ *Лебедь*: это видно и изъ подробнаго описанія особенностей ея лебединой сорочки, и изъ ея полета. «Невѣста Руру, продолжаетъ г. Стасовъ, тоже *бѣлая*. Въ разсказѣ Магабгараты два раза упоминается объ этомъ съ особеннымъ упоромъ: она здѣсь сравнена, по бѣлизнѣ своей, съ бѣлою лиліею и бѣлымъ лотосомъ, а сравненіе это въ индѣйской поэмѣ вовсе не обычное, не всегдашнее, подобно многимъ другимъ, при описаніи женщинъ и женской красоты» [101]).—Ну какъ же, по крайней мѣрѣ, не сказать, что наши русскіе съемщики (черезъ посредство Тюрковъ) съ индѣйскихъ подлинниковъ отличались очень и очень доразвивающимъ воображеніемъ: изъ этихъ двухъ бѣлыхъ индѣйскихъ цвѣтковъ они создали стройный, единый образъ—цѣлаго Бѣлаго Лебедя, да еще и съ золотыми перьями!—Видно, что они не только *сокращали*, какъ постоянно воображаетъ нашъ сочинитель, но и очень распространяли, если у нихъ появилось подробнѣйшее описаніе, какъ принялся было *стрѣлять* въ Лебедь Бѣлую Потыкъ, и какъ она тутъ провѣщилась голосомъ человѣческимъ. Въ индійскомъ «первообразѣ» ничего такого нѣтъ и въ поминѣ. Но вотъ зато «поразительная» черта сходства: «въ русской пѣсни Лебедь Бѣлая ходитъ гулять въ поле съ мамками, нянькамии сѣнными дѣвушками: въ этомъ (т. е. въ якобы соотвѣтственномъ) мѣстѣ Магабгараты Прамадвара также является окруженная своими подру-

---

[100]) Курсивъ принадлежитъ мнѣ.

[101]) Это не совсѣмъ вѣрно. Въ одной Рамаянѣ женская красота вообще сравнена съ лотосомъ до семи разъ (Fauche, Ramayana, II, 47; VI, 102, 108, 153, 164; VII, 337); женское лицо—пять разъ (Ibid. IV, 376, 500; VI, 155, 187; VII, 88) женскія руки—два раза (III, 206; IV, 382), ноги—четыре раза (I, 79) II, 345; IV, 329; VIII, 165); женскіе глаза—двадцать три раза (I, 87; III, 97· IV, 17, 239, 352, 497; V, 180, 181, 334; VI, 106. 123, 125, 148, 156, 204, 206, 223, 235, 242, 378; VII, 88; VIII, 30, 283). Но въ Магабгаратѣ, это правда, сравненіе женщины съ лотосомъ встрѣчается рѣже.



гами дѣвушками.» Затѣмъ и еще такое же неоспоримое «сходство»: Потокъ назначаетъ, когда быть обрученью и сватьбѣ (а именно въ тотъ же день передъ вечерними): въ Магабгаратѣ отецъ Прамадвары точно также назначаетъ, когда быть сватьбѣ (и именно въ первый день счастливаго луннаго созвѣздія, благопріятный браку)». Предоставляя другимъ судить, на сколько *первый благопріятный* день соотвѣтствуетъ вечеру самаго того же дня первой встрѣчи, замѣчу только, что тотъ или другой день для сватьбы всегда и вездѣ назначался и теперь назначается: подобно тому какъ вездѣ и во всѣ времена дѣвушки являются часто гуляющими не однѣ, а съ подругами или какими нибудь окружающими.

«Оставалось уже немного дней до сватьбы, какъ вдругъ случилось, что молодая дѣвушка, играя съ подругами, не замѣтила большого змѣя, спавшаго поперегъ дороги; натолкнутая на него самою Смертью, она всей ногой наступила на него, точно будто искала своей смерти. Животное, побуждаемое Смертью, глубоко вонзило свои ядовитые зубы въ тѣло опрометчивой красавицы. .....Убитая змѣинымъ ядомъ, эта дѣвушка съ тонкимъ станомъ лежала на землѣ, точно будто во снѣ..... Отецъ ея и прочіе отшельники увидали ее, лежащую на землѣ, бездыханную и прекрасную въ своей блѣдности, точно бѣлая лилія». (Вотъ изъ этой-то смертной блѣдности и выработался у нашихъ пѣвцовъ живой образъ Лебеди Бѣлой)... «Они принялись плакать, полные состраданья; но Руру ушелъ, одолѣваемый горестью...... «Если съ самаго дня рожденья я укрощалъ свою душу и строго исполнялъ всѣ предписанія закона, пусть въ награду этихъ заслугъ благородная Прамадвара воскреснетъ!»—Пока онъ жаловался такимъ образомъ, пришелъ къ нему вѣстникъ отъ боговъ и сказалъ: «жизнь не возвращается въ смертнаго, когда разъ изъ него вышла, а жизнь въ конецъ покинула эту дѣвушку..... Но есть средство, издавна созданное великодушными богами. Если хочешь его испытать, Прамадвара скоро будетъ тебѣ возвращена».—«Какое же это средство?»—«Отдай полъ-жизни своей за молодую дѣвушку, отвѣчалъ вѣстникъ боговъ, и за эту цѣну она воскреснетъ»..... «Я отдаю полъ-жизни своей за Прамадвару»..... Богъ Смерти далъ на то свое согласіе, и молодая Прамадвара тотчасъ же встала. Эта благородная дѣвушка вышла изъ смерти, точно изъ сна. Послѣ того, избравъ счастливый день, родственники, полные радости, отпраздновали эту сватьбу, и новобрачные вкусили счастіе, желая одинъ другому всякаго благополучія.»—(стр. 672—673).

Такъ передается у нашего сочинителя дальнѣйшее содержаніе индійской повѣсти. А вотъ и дальнѣйшій подборъ имъ сходствъ между этою повѣстью и нашей былиной.

«Скоро послѣ брака умираетъ Лебедь Бѣлая: скоро послѣ помолвки умираетъ Прамадвара. Къ тѣлу Лебеди Бѣлой собираются попы соборные и хоронятъ ее: вокругъ тѣла Прамадвары сходятся брахманы отшельники, сидятъ и плачутъ».

Тутъ, дѣйствительно, сходство полное: это единство смерти, какъ смерти, всегда и вездѣ, и слезъ, проливаемыхъ на похоронахъ во всѣ времена и у всѣхъ народовъ.

«Для того, чтобы не разставаться съ Лебедью-Бѣлою, Потокъ велитъ похоронить себя вмѣстѣ съ нею, отступается отъ всей остальной своей жизни: точно также и Руру, для того, чтобы не разставаться съ любезною своею Прамадварою, рѣшается отдать за нее полъ-жизни своей».

Вотъ тутъ уже изворотъ—очень ловкій, конечно. Руру надѣется половиною своей жизни выкупить жизнь Прамадвары. И тѣни подобной надежды не имѣетъ Потыкъ, заключающійся въ могилу только вслѣдствіе условія, заранѣе заключеннаго съ нимъ женою. Со стороны же ея тутъ былъ даже, соотвѣтственно отчеству—Лиховидьевна, злой умыселъ: «она мудрости искала надъ мужемъ своимъ» говорится у Кирши Данилова. Другими словами—она искала его извести, умышленно разболѣвшись и прикинувшись мертвою.—Въ основѣ индійскаго эпизода лежитъ самопожертвованіе изъ любви. Женскимъ двойникомъ Руру служитъ въ той же Магабгаратѣ прекрасная Савитри, такимъ же способомъ вымаливающая у бога Смерти жизнь своего мужа, Сатьявана [102]). Въ классическомъ эпосѣ на той же основѣ зиждутся сказанія объ Орфеѣ и Эвридикѣ, Касторѣ и Поллуксѣ.—Въ основѣ же нашего русскаго преданія и роднаго ему германскаго лежитъ хитрость-мудрость враждебнаго миѳическаго начала, приводящая въ заключительной части преданія (о которой рѣчь еще впереди) къ столь обычной въ преданіяхъ *измѣнѣ* миѳической [103]). Если же тутъ и примѣшалась нравственная мысль, то мысль о вѣрности данному слову, о строгости въ соблюденьи обѣтовъ. Бытовою же подкладкою служитъ тутъ существовавшій въ отдаленную пору обычай придавать похоронамъ значенье какого-то отпуска въ дальній путь, отпуска со всѣми удобствами—съ нужнѣйшими принадлежностями и ближайшими существами [104]). Впрочемъ и г. Стасовъ сознаетъ это. На стр. 676 онъ говоритъ: «погребеніе живого мужа вмѣстѣ съ умершею женою вовсе не есть случайный капризъ Лебеди Бѣлой или Потока, и никакимъ образомъ не должно быть разсматриваемо какъ экспромтное изобрѣтеніе фантазіи, подъ впечатлѣніемъ утраты любимаго существа (т. е., замѣчу я отъ себя, тутъ нечего и искать желанія не разставаться съ любимымъ существомъ,—а г. Стасовъ именно и отыскиваетъ это—изъ желанія приравнять Потыка къ Руру). Нѣтъ, погребеніе двухъ

[102]) См. въ моемъ Истор. Обозр. Р. Слов. стр. 94.

[103]) По основѣ, наше сказанье о Потыкѣ можетъ быть отнесено къ разряду сказаній объ опасной невѣстѣ. Сюда же принадлежатъ въ сборникѣ сказокъ братьевъ Гриммовъ № 134 и 191 (вторая, по подробностямъ, во многомъ напоминаетъ нашу сказку-былину о Ванькѣ Вдовкиномъ). Нельзя также не вспомнить одной армянской сказки, заимствованной Бенфеемъ у Гакстгаузена (Franskaukasia):

«Однажды одинъ богатый путешественникъ спасъ отъ поношенія мертвое тѣло, заплативъ за него истязавшимъ его и по смерти заимодавцамъ. Позже этотъ богачъ объднѣлъ. Ему предлагаютъ руку богатой невѣсты которая уже отправила на тотъ свѣтъ пятерыхъ въ самую брачную ночь. Къ нему нанимается слуга—подъ условіемъ раздѣлить съ нимъ половину его будущаго добра.—Слуга этотъ становится на ночь съ мечомъ у брачной комнаты. Изо рта у новобрачной выползаетъ змѣя и хочетъ укусить новобрачнаго;—слуга отсѣкаетъ змѣѣ голову.—Получивъ половину всего добра, онъ требуетъ наконецъ и половину самой молодой: я повѣшу ее головою внизъ и разсѣку на полы». При совершеніи имъ этого, у нея выползаетъ изо рта вторая змѣя. «Живи съ ней, сказалъ слуга;—теперь она безопасна, я-же—духъ того человѣка, котораго мертвое тѣло ты спасъ (P. Tantr I. 219—220).

Сюда же можетъ быть отнесена и одна сказка угорская, гдѣ лежащая въ гробу невѣста раздираетъ въ клочья людей, приставляемыхъ къ ней на стражу, въ томъ числѣ и своего жениха. Но сказка эта уже потерпѣла отъ посторонней примѣси (Schott, Ungarische Märchen № 10).

[104]) См. въ моей книгѣ о Р. Слов. стр. 90—93.

супруговъ, изъ которыхъ одинъ мертвый, а другой живой, есть не что иное, какъ исполненіе существующаго закона, или по крайней мѣрѣ обычая: это одна изъ характерныхъ особенностей древне-азіятской жизни.»—Т. е. это одна изъ принадлежностей древнѣйшей обще-арійской жизни, существовавшихъ и у отдѣльныхъ народовъ арійскаго коня по переселеніи ихъ въ Европу. За доказательствами можно обратиться къ статьѣ Я. Гримма: Ueber das Verbrennen der Leichen (Kleinere Schriften, II). Но я готовъ поблагодарить г. Стасова за слѣд. указаніе на тибетскую поэму «Дзанглунъ»: «героиню повѣсти, монахиню Утпаландогъ, два раза погребаютъ съ мужьями ея, сначала съ первымъ, потомъ со вторымъ, послѣ смерти каждаго изъ нихъ; но каждый разъ случается что нибудь особенное для ея спасенія».... Я вполнѣ признаю тутъ дѣйствительное сходство съ нашей былиной о Потыкѣ и женѣ его; но это сходство объясняется происхожденіемъ индійскаго образца тибетской повѣсти отъ одного корня со преданіями другихъ арійскихъ народовъ.

А вотъ какъ передается у г. Стасова продолженье индійской повѣсти. «Возвративъ себѣ, такимъ чудеснымъ образомъ, свою невѣсту, сіяющую бѣлизной, подобно жилкамъ лотоса, отшельникъ Руру поклялся убить всѣхъ змѣевъ.... Однажды онъ пошелъ въ большой лѣсъ и увидалъ тамъ спящую амфизбену (двуголоваго змѣя), въ цвѣтѣ лѣтъ.... Въ своей ярости онъ хотѣлъ убить ее, но амфизбена сказала ему: «я до сихъ поръ не дѣлала тебѣ никакого зла, за что же ты такъ свирѣпо бьешь меня?»—«Змѣй укусилъ жену мою.... отвѣчалъ Руру. Я далъ страшную клятву: убивать всѣхъ змѣевъ».... «Змѣи, что жалятъ людей.... отвѣчала амфизбена, совсѣмъ другіе, чѣмъ мы.... Ты знаешь справедливость;—пожалуйста, не дѣлай вреда амфизбенамъ: мы приносимъ большую пользу, а ты насъ смѣшиваешь съ безполезными». Выслушавъ эту рѣчь, Руру пересталъ бить амфизбену. Послѣ этого змѣй разсказываетъ, что онъ и самъ прежде былъ брахманомъ, но превращенъ въ змѣя за то, что испугалъ своего пріятеля чучелой змѣи, сдѣланной изъ травы: но тотъ пріятель, узнавъ, что это была только шутка, объявилъ ему, что проклятіе снимется съ него и онъ перестанетъ быть амфизбеной, когда его увидитъ добродѣтельный брахманъ Руру. А такъ какъ это предсказаніе теперь исполнилось, то амфизбена сбросила съ себя змѣиную оболочку и снова превратилась въ брахмана.»—

Конецъ этотъ, ужь разумѣется, долженъ относиться къ тѣмъ «немногимъ исключеніямъ,» за которыми, по мнѣнію г. Стасова, «всѣ подробности нашей пѣсни заключаются въ расказѣ Магабгараты».—Къ такимъ же «немногимъ исключеніямъ» должно относиться и то, что нашъ непосѣдъ Потокъ (а непосѣдомъ онъ признанъ у насъ совершенно вѣрно), по нравственному своему складу уже рѣшительно не подходитъ къ степенному, добродѣтельному брахману Руру.—Но г. Стасовъ съ другой стороны проглядѣлъ одну черту *внѣшняго* сходства: амфизбена оказывается не настоящимъ змѣемъ, а *обороченнымъ* человѣкомъ: и у насъ въ одномъ пересказѣ змѣй оказывается не просто змѣемъ, а самою Бѣлою Лебедью. Пересказъ этотъ едва ли лишенъ цѣны, такъ какъ подобное оборотничество соотвѣтствуетъ враждебному зна-

ченію Лиховидьевны. Оно составляетъ только новый видъ хитрости-мудрости, направленной противъ Потыка.

Я не стану впрочемъ особенно налегать на подлинность этого пересказа, такъ какъ пока онъ стоитъ одиноко. Но какія же сходства находитъ въ послѣдней части сличаемыхъ имъ сказаній нашъ сочинитель? А вотъ какія.

«Сидя въ могилѣ, Потокъ нещадно бьетъ прутьями змѣю, приползшую въ могилу: точно также Руру немилосердно бьетъ палкой змѣю, которая лежитъ поперегъ его дороги». (Что дорога эта—не въ могилѣ и что все это въ Магабгаратѣ происходитъ уже по воскрешеніи Прамадвары, тогда какъ въ нашей былинѣ это-то и должно повести къ ея воскрешенію;—до такихъ мелочныхъ особенностей г. Стасову, разумѣется, нѣтъ и дѣла; должно быть и это относится къ «незначительнымъ исключеніямъ»). «Прутья нашей пѣсни, остроумно продолжаетъ нашъ сочинитель,—это палка, которую брахманы носятъ всегда, по предписанію закона.» Подумаешь, что безъ подобнаго предписанія, палокъ и носить нелязя! Но надо, по крайней мѣрѣ, сознаться, что научившись у Индійцевъ (черезъ Конбаловъ) ношенію палокъ, наши пѣвцы явились усовершенствователями,—стали *ковать* ихъ: изъ одной палки вышло у нихъ три прута мѣдныхъ и три желѣзныхъ, [105]) а сверхъ того еще и *клещи*. Все это изготовляется Потыкомъ умышленно—съ тѣмъ, чтобы овладѣть змѣею, приближенья которой онъ, очевидно, ждетъ, опускаясь въ могилу.

Я позволяю себѣ пропустить все остальное подыскиваніе нашимъ сочинителемъ сходствъ между Руру и Потыкомъ, и прямо перехожу къ его заключенію, что сходство тутъ—«самое полное, вся разница лишь въ незначительныхъ измѣненіяхъ и перестановкахъ. И тѣ и другія произошли, безъ сомнѣнія, въ тѣхъ промежуточныхъ, и, конечно, многочисленныхъ редакціяхъ этого разсказа, которыя существовали между Магабгаратой и нашей пѣснью и которыхъ я теперь не имѣю возможности указать...... Въ этихъ промежуточныхъ редакціяхъ мы бы нашли, конечно, не мало такихъ подробностей, которыя есть въ нашей пѣснѣ, но которыхъ нѣтъ въ Магабгаратѣ. Къ числу этихъ подробностей относится, напримѣръ, мотивъ оживленія умершаго человѣка посредствомъ живой и мертвой воды, принесенной какимъ нибудь животнымъ.... Этотъ мотивъ былъ въ сильномъ употребленіи въ древне-азіатской литературѣ, и особенно распространенъ въ пѣсняхъ сибирскихъ народовъ. Если когда нибудь найдется пѣсня котораго нибудь сибирскаго народа съ тѣмъ же содержаніемъ, какъ разсказъ Магабгараты и наша пѣсня о Потокѣ, то, по всей вѣроятности, тамъ будетъ на лицо разсказъ о воскрешеніи героини посредствомъ живой воды, принесенной змѣей».—Что̀ касается меня, то я не берусь заранѣе судить о томъ, какіе еще расказы могутъ тамъ быть открыты. Г. Стасову поводъ къ его предположенію даетъ то, что «въ нашей русской пѣснѣ не мало есть подробностей, на то указывающихъ. Мы не разъ наталкиваемся тутъ на детали, неизвѣстныя брахманской Индіи и язы-

---

[105]) Надо замѣтить, что битье такими прутьями упоминается и въ святочной пѣснѣ о хороненіи золота.



ческой Персіи, но очень употребительныя у племенъ тюркскихъ. Въ числѣ ихъ довольно указать на опущеніе Потока въ могилу съ конемъ и оружіемъ». Слѣдуетъ примѣръ подобнаго рода изъ одного расказа Сагайцевъ. Я-же опять укажу на статью Гримма о сожженіи труповъ, изъ которой оказывается, что въ старину и всѣ Индо-Европейцы походили въ этомъ отношеніи на Тюрковъ.

Далѣе г. Стасовъ переходитъ ко второй половинѣ нашей былины, заключающейся въ измѣнѣ воскрешенной Лебеди Михаилу Потыку. Г. Стасовъ, по собственнымъ словамъ его, знаетъ только одинъ «оригиналъ» этой второй пѣсни о Потыкѣ (у каждой изъ нашихъ пѣсень, по его теоріи, было нѣсколько восточныхъ оригиналовъ); «но сходство уже и здѣсь, по мнѣнію нашего сочинителя, поразительно». Оригиналъ, указываемый г. Стасовымъ,— средне-азіятскій: онъ заключается въ поэмѣ Богда-Гессеръ-Ханъ. Приведу его существеннѣйшія черты теперь же, а потомъ уже отъ восточныхъ «оригиналовъ» перейду къ нашимъ пѣснямъ.

«Однажды могущественный волшебникъ великанъ принялъ на себя образъ великаго почтеннаго ламы, явился къ женѣ Гессеръ-Хана, по имени Рогмо-Гоа, и сталъ звать ее, чтобъ она пошла къ нему въ жены. Соблазненная его подарками и богатствами, она соглашается, но съ тѣмъ, что онъ долженъ напередъ побѣдить ея мужа[106]). Потомъ, по наущенію чародѣя, она идетъ къ Гессеръ-Хану, разсказываетъ ему, что этотъ добродѣтельный лама роздалъ великія сокровища всѣмъ ихъ бѣднымъ и нищимъ, и уговариваетъ его идти къ этому ламѣ, поклониться ему и просить его благословенія: черезъ это они получатъ отъ него и благодать и всѣ богатства его. Послѣ нѣкотораго сопротивленія, Гессеръ-Ханъ соглашается, но только онъ наклонился передъ чародѣемъ, чтобъ принять отъ него благословеніе, какъ тотъ превращаетъ его въ чернаго осла, который принужденъ таскать на себѣ огромныя кучи самаго противнаго навоза, а чародѣй беретъ гессеръ-ханову жену себѣ въ жены. Между тѣмъ трое богатырей, товарищей Гессеръ-Хана (имена я позволю себѣ опустить), долго не видя его и стосковавшись по немъ, держатъ совѣтъ, какъ бы его освободить, и для этого идутъ звать на помощь вторую жену гессеръ-ханову, чародѣйку Адчу Мергэнъ. Она принимаетъ на себя видъ отвратительной вѣдьмы, родной сестры чародѣя ламы, идетъ къ нему и, не смотря на сопротивленіе измѣнницы Рогмо-Гоа, выпрашиваетъ себѣ у чародѣя чернаго осла, уводитъ его съ собою и превращаетъ осла въ человѣка. Тогда Гессеръ-Ханъ идетъ мстить чародѣю, но тотъ спасается отъ него, принимая на себя то образъ волка, то тигра; наконецъ, когда онъ принимаетъ на себя еще третье превращенье, видъ ламы съ 500 учениками, Гессеръ-Ханъ посылаетъ на него сонъ, и тутъ чародѣй видитъ, что завтра къ нему придетъ молодой, красивый и отлично разумный ученикъ. Чародѣй вѣритъ этому сну, ничего не подозрѣвая, радушно принимаетъ Гессеръ-Хана, когда тотъ на другой день приходитъ подъ видомъ молодого, красиваго и

[106]) Т. е., хотѣлъ, вѣроятно, сказать г. Стасовъ, чтобы онъ напередъ побѣдилъ ея мужа.

умнаго ученика, бесѣдуетъ съ нимъ и поселяетъ у себя. Но Гессеръ-Ханъ улучаетъ время и зажигаетъ домъ чародѣя, сдѣланный имъ же самимъ изъ тростника. Въ этомъ пожарѣ погибаетъ чародѣй и все его чародѣйное племя» (Стр. 677—678).

Не трудно замѣтить, что въ первой половинѣ похожденій Потыка, нами подробно разсмотрѣнной, нѣтъ ничего, соотвѣтствующаго Гессеръ-Хану, который потому и могъ пригодиться въ «оригиналы» только для второй пѣсни о Потыкѣ. Но г. Стасовъ какъ-то проглядѣлъ одинъ расказъ Пантшатантры, который (если слѣдовать его теоріи) годится быть оригиналомъ для обѣихъ пѣсенъ о Потыкѣ. Это пятый расказъ IV книги, озаглавленный: *Какъ женщина отплачиваетъ за любовь.* Безыменный брахманъ внезапно лишается своей нѣжно любимой, но злющей жены (причины внезапной смерти ея не видно), и совершенно подобно Руру, выкупаетъ обратно жизнь ея пожертвованіемъ половины своей собственной жизни. Почти непосредственно вслѣдъ за тѣмъ неблагодарная ему измѣняетъ. Она прельщена *чарующимъ голосомъ* встрѣчающагося имъ изувѣченнаго незнакомца, которому сейчасъ же и навязываетъ свою любовь (мужъ между тѣмъ отправился за съѣстными припасами). Далѣе она несетъ калѣку въ корзинѣ, какъ бы изъ состраданья къ его увѣчью (на что согласенъ и возвратившійся мужъ). Когда они остановились у края колодца, жена сталкиваетъ въ него мужа, и идетъ со своей дорогою ношею далѣе. Чиновники отнимаютъ у нея корзину и несутъ къ царю. «Это мой больной мужъ, котораго я сама ношу» объясняетъ хитрая женщина,—и вознаграждается за свою добродѣтель двумя деревнями.—Мужа однакоже вытащили между тѣмъ изъ колодца какіе то добрые люди. Чуть завидя его, она стала увѣрять царя, что это супротивникъ ея мужа; царь, недолго думая, велитъ казнить его, но брахманъ проситъ одной справедливости: чтобы приказали этой женщинѣ возвратить ему то, что она отъ него получила—т. е. половину жизни его. «Возвращаю, проговорила она;—и тутъ же упала мертвою [107]).

И такъ вотъ и еще «оригиналъ» обѣихъ пѣсень о Потыкѣ разомъ. Но Бенфей въ своемъ вступленіи въ Пантша-Тантру приводитъ еще нѣсколько сходныхъ расказовъ, и всѣ они, если примѣнить къ нимъ теорію г. Стасова, могли бы пригодиться въ «оригиналы» для нашихъ пѣсень. Вотъ одинъ изъ этихъ «оригиналовъ», признаваемый Бенфеемъ за позднѣйшее, отчасти, видоизмѣненіе только что приведеннаго расказа изъ Пантша-Тантры.

«Богъ Индра насылаетъ на людей голодъ,—люди пожираютъ другъ друга. Жило было трое братьевъ, старшіе два уже поѣли своихъ женъ, пришлось приниматься за жену младшаго. Этотъ послѣдній, не желая питаться ея мясомъ, бѣжитъ съ нею, взявъ ее наплечи, и питаетъ ее въ дорогѣ частями собственнаго своего тѣла, а жажду ей утоляетъ своею кровью. Но неблагодарная тутъ же въ дорогѣ влюбляется въ существо, изувѣченное еще пуще того калѣки, что въ Пантша-Тантрѣ. Она находитъ его валяющимся на дорогѣ безъ рукъ, безъ ногъ, безъ носа и безъ ушей (надо думать, что части эти

[107]) Benfey, Pantscha-Tantra, II, 304—306.

были кѣмъ нибудь съѣдены). Изъ состраданья самъ мужъ сажаетъ его къ себѣ на плечи вмѣстѣ съ своею женою, кормитъ его и умащаетъ цѣлебнымъ масломъ, остановившись въ рощѣ и выстроивъ тамъ шалашъ. Вотъ тутъ-то, во время одной изъ отлучекъ мужа, калѣка долженъ сдѣлать съ женой его «дѣло повелѣное». Мужъ, по возвращеніи, сброшенъ въ колодезь, но вытащенъ предводителемъ мимо проѣзжавшаго каравана. Далѣе—какъ въ Пантша-Тантрѣ. Только царю еще яснѣе говоритъ тутъ про мужа жена, что это тотъ, который такъ изувѣчилъ ея мнимаго мужа. Его велятъ казнить, но калѣка, потребованный осужденнымъ въ свидѣтели, не можетъ выдержать зрѣлища казни и объявляетъ, въ чемъ дѣло. Царь велитъ изувѣчить невѣрной женѣ лицо. [108])

Вслѣдъ за тѣмъ приводится у Бенфея расказъ, годящійся въ «оригиналы» собственно для второй пѣсни о Потыкѣ (онъ соотвѣтствуетъ, какъ сейчасъ увидимъ, расказу г. Стасова о Гессеръ Ханѣ. У ревниваго мужа во время его отлучки сбѣжала жена, которую онъ потомъ отыскиваетъ, но она ссылается на то, что ее насильно увелъ Бгилла. «Пойди, говоритъ она, посиди тамъ въ пещерѣ, а когда онъ ночью заснетъ, мы убьемъ его». А сама между тѣмъ указала возвратившемуся Бгиллѣ его убѣжище. Тотъ привязалъ несчастнаго мужа къ дереву, и у него же на глазахъ прохлаждался-забавлялся съ его женою (это напоминаетъ страданья Ивана Годиновича, очень близко подходящія, какъ увидимъ, къ страданіямъ Потыка во второй пѣснѣ о послѣднемъ). При помощи богини Тчанди, которой онъ сталъ молиться, несчастный перерѣзалъ свои путы мечомъ Бгиллы и тѣмъ же мечомъ срубилъ ему голову (и это соотвѣтствуетъ стрѣлѣ Кощея, губительной для него самого—въ былинѣ объ Иванѣ Годиновичѣ; передъ нами такимъ образомъ восточный «оригиналъ» для цѣлыхъ двухъ русскихъ былинъ,—г. Стасовъ можетъ быть этимъ доволенъ). Жена выставляетъ передъ царемъ убитаго Бгиллу своимъ мужемъ, а мужа—убійцею существа неповиннаго. Но правда обнаруживается, и у невѣрной жены отсѣкаются уши и носъ [109]).

Четвертый бенфеевскій «оригиналъ»—монгольскій (онъ долженъ оказаться однимъ изъ посредствующихъ звеньевъ по теоріи г. Стасова). Жена влюбляется въ раздающійся издали *чудный голосъ* и тутъ же топитъ въ колодцѣ оказавшагося ненужнымъ мужа. Голосъ оказывается лѣсовымъ эхомъ отъ криковъ раненнаго, который лежитъ въ лѣсу. Она беретъ его на свое попеченіе и остается вѣрной ему до самой смерти.

Въ доказательство, что всѣ эти расказы—буддійскіе, Бенфей приводитъ слѣдующее изрѣченіе Будды, передаваемое въ Milinda Prasna: «каждая женщина готова согрѣшить, чуть только представится случай сдѣлать это въ тайнѣ, хотя бы любезный ея оказался безрукимъ и безногимъ [110]).

Далѣе Бенфей приводитъ еще арабскій расказъ, гдѣ жена грѣшитъ съ негромъ, невольникомъ своего мужа. Почему бы не принять это за «ори-

---

[108]) Benfey, P. Tantra, I, 436—438.

[109]) Benfey, P. T. I, 439—441. Расказъ этотъ изъ сборника сказокъ Сомадевы.

[110]) Benfey, P. T., I, 442.

гиналъ» для нашихъ былинъ о Дунаѣ и Ванькѣ Ключничкѣ? Бенфей-же связываетъ этотъ расказъ съ предшествующими тѣмъ, что невольникъ въ силу извѣстныхъ гаремныхъ обычаевъ, легко могъ выработаться изъ *кальки*.— Измѣнница хочетъ вмѣстѣ съ негромъ убить мужа, (притомъ же это происходитъ среди поля, въ шатрѣ—не выкраденъ ли отсюда *шатеръ* въ былинахъ объ Иванѣ Годиновичѣ?), но онъ спасенъ своей вѣрной собакой.

Да не подумаетъ читатель, что я указываю на всѣ эти восточные расказы, какъ на годящіеся въ «оригиналы» для г. Стасова, желая *пародировать* употребляемые имъ пріемы. Нисколько! Самъ учитель его Бенфей «почти не сомнѣвается въ томъ», что можно связывать съ вышеприведенными индійскими расказами ту гриммовскую сказку (№ 16), каторая такъ походитъ на былины о Потыкѣ. «Здѣсь также, замѣчаетъ онъ, мужъ возвращаетъ жизнь своей уже умершей женѣ»;—Бенфей такимъ образомъ не примѣчаетъ при этомъ *слона*: заранѣе заключаемое условіе—вмѣстѣ въ могилу лечь—не имѣющееся въ индійскихъ «оригиналахъ».—«Когда же, продолжаетъ Бенфей, она, немного спустя, ѣдетъ моремъ къ отцу вмѣстѣ съ мужемъ... то влюбляется въ лодочника, и оба вмѣстѣ сбрасываютъ самого мужа въ море. Но онъ спасенъ вѣрнымъ своимъ слугою, который возвращаетъ ему жизнь (посредствомъ зміиныхъ листьевъ). Отецъ жены, узнавъ объ ея поступкѣ, губитъ ее вмѣстѣ съ лодочникомъ».—Впрочемъ Бенфей и тутъ, какъ вездѣ, оказывается несравненно осторожнѣе своего русскаго послѣдователя. «Отъ рѣшительнаго признанія связи (т. е. между индійскими повѣстями и нѣмецкою сказкою), говоритъ онъ, удерживаетъ меня то обстоятельство, что всѣ, до сихъ поръ извѣстные западные изводы опираются на далеко уже отходящіе отъ индійскаго магометанскіе, и до сихъ поръ не оказывается ни одного посредствующаго, который бы ближе подходилъ къ индійскому». [111]) (Западно европейскіе изводы, указываемые Бенфеемъ, это такіе, уже *литературные* памятники, какъ Gesta Romanorum, Heptamerone Маргариты Новарской и испанскій романъ Эспинеля. Всѣ они уже чрезвычайно далеки отъ индійскихъ изводовъ и приближаются къ тому изводу арабскому, который, какъ мы видѣли выше, представляетъ *измѣну* жены скорѣе со стороны, подходящей къ Дунаю и Ванькѣ Ключничку).

Гораздо смѣлѣе Бенфея и ближе, въ этомъ отношеніи, къ г. Стасову, сотрудникъ перваго по журналу его «Orient und Occident, Феликсъ Либрехтъ. Онъ уже безъ всякаго колебанія производитъ [112]) отъ приводимаго Бенфеемъ расказа объ измѣнѣ жены (изъ сборника Сомадевы) одно преданіе старопольское изъ Хроники Богуфала, XIII ст. (оно было отмѣчено еще Гриммомъ въ его замѣткахъ къ изданію Waltharius'а [113]), преданіе, которое, подходя отчасти къ заключительной части вышеупомянутой гриммовской сказки, еще ближе подходитъ ко второй половинѣ былинъ о Потыкѣ, еще мною не разобранной.—Въ этомъ преданіи старопольскомъ опять-таки двѣ части. Въ первую,

[111]) Benfey, P. T. I, 454.
[112]) Orient und Occident, I, 1, p. 125—129.
[113]) Grimm und Schmeller, Lat. Ged. des X u. XI, Jahrh., 112—114.



какъ замѣтилъ Гриммъ, замѣшалась, хотя и въ самомъ спутанномъ видѣ, основа «Вальтера Аквитанскаго» (потому-то Гриммъ и упоминаетъ объ этомъ польскомъ преданіи въ своемъ изданіи латынской поэмы о Вальтерѣ, подробно разсмотрѣнной мною выше, въ главѣ о германскомъ эпосѣ). Самыя имена молодца и дѣвицы въ польскомъ преданіи *Вальгершъ* и *Гельгунда*—прямо напоминаютъ соотвѣтственныя имена въ латынско-германской поэмѣ. Но, не смотря на это, Гриммъ связывалъ польское преданіе съ германскимъ только однимъ *единствомъ основы*; говорить о заимствованіи онъ не рѣшился. Мы видѣли, что Вальтеръ увозитъ невѣсту свою Гильдгунту отъ короля Атли, у котораго они оба были заложниками; но на границахъ родной земли Вальтеръ подвергается со стороны земляковъ нападенію, основой которому служитъ корысть. Въ польскомъ преданіи значительно иначе. Прежде чѣмъ Вальгершъ узналъ Гельгунду, она любила и была взаимно любима королевскимъ сыномъ изъ Алеманніи. Но Вальгершу удается влюбить ее въ себя посредствомъ своего чарующаго пѣнія. Гриммъ, со своею обычною чуткостью замѣчаетъ, что въ этомъ, быть можетъ, скрывается древняя, подлинная черта, утратившаяся въ другихъ изводахъ. Онъ указываетъ на сходство съ пѣніемъ Горанта въ германской поэмѣ «Gudrun;» я же позволю себѣ замѣтить, что тутъ сказывается та общенародная эпическая черта, которая слышна и въ Орфеѣ Ригъ-Вѣды и въ Орфеѣ греческомъ, и въ недавно открытой болгарской пѣснѣ [114]), и въ вышеприведенной бенфеевской сказкѣ, гдѣ жена-измѣнница влюбляется въ чарующій *голосъ* раненнаго. Во всемъ этомъ одна и та-же основа, но никто тутъ ни у кого не заимствовалъ, и первообразомъ для всѣхъ остальныхъ чарующихъ пѣвуновъ не могъ послужить не только бенфеевскій «чудный голосъ», но и самый «Орфей» Ригъ-Вѣды. Такъ-же оно, большей частью, и при другихъ эпическихъ сходствахъ.—Причарованная пѣніемъ Вальгерша, Гельгунда отдается ему и бѣжитъ съ нимъ, но на Рейнѣ ихъ нагоняетъ алеманскій королевичъ, бывшій ея полюбовникъ, и послѣ ожесточеннаго поединка падаетъ отъ руки Вальгерша.—Такимъ образомъ здѣсь нападенье на Вальтера имѣетъ совершенно особый смыслъ,—далеко не тотъ, что̀ въ германско-латинской поэмѣ о Вальтерѣ. Смѣю думать, что и тутъ, въ преданіи польскомъ, могла сохраниться древняя, подлинная черта, такъ какъ то-же встрѣчается въ цѣломъ множествѣ общенародныхъ сказаній о захватѣ чужой невѣсты и о боѣ изъ за нея. Не трудно понять, что прямо сюда же относятся и наши былины объ Иванѣ Годиновичѣ. Въ нихъ, какъ и въ сродномъ преданіи польскомъ, лучше сохранилась основа эпическая, чѣмъ въ германско-латинской поэмѣ (хотя эта послѣдняя и закрѣплена письменностью уже въ X—XI ст.), гдѣ причиною нападенья является уже германское воинское начало добычи. Такимъ образомъ и въ первой половинѣ преданія польскаго проходитъ струя, отводящая его отъ германскаго «Вальтера.» Гриммъ не замѣтилъ ея и тутъ, потому что отъ него ускользнули наши былины объ Иванѣ Годиновичѣ. Между тѣмъ Ф. Либрехту онѣ извѣстны (благодаря нашему

---

[114]) Открыта г. Верковичемъ, изд. въ Москвѣ г. Даниловымъ.

почтенному академику А. А. Шифнеру); но онъ пользуется этимъ только для того, чтобы тѣмъ настоятельнѣе доказывать происхожденье славянскаго (русско-польскаго) извода отъ индійскаго (Сомадевы) [115]). Дѣйствительно—то, уже знакомое намъ обстоятельство, что Иванъ Годиновичъ, привязанный къ дубу, долженъ смотрѣть на забаву-прохладу Кощея съ его женою—эпически сродно съ положеніемъ злополучнаго мужа въ индійскомъ расказѣ. (Какъ уже и замѣчено было выше) Въ томъ же смыслѣ сродни этому послѣднему, хотя уже въ меньшей степени, и вторая половина преданія польскаго, подходящая очень близко ко второй половинѣ былинъ о Михаилѣ Потыкѣ. Въ этой второй половинѣ Гельгунда точно также измѣняетъ очаровавшему ее Вальгершу, какъ Марія Лебедь Бѣлая воскресившему ее Потыку. Гриммъ передаетъ эту вторую половину только вкратцѣ — на томъ основаніи, что тутъ преданіе становится уже, по его мнѣнію, славянскимъ, совершенно чуждымъ германскому о Вальтерѣ. Напротивъ Либрехтъ въ примѣч. къ своей статьѣ въ 1-й книжкѣ. Orient und Occident перваго года приводитъ самый латинскій (Богуфаловъ) текстъ этой второй половины сказанія: [116]) подробности нужны ему, чтобы осязательно, какъ онъ думаетъ, доказать заимствованіе этого, яко бы славянскаго преданія, изъ индійскаго источника.— Вальтеръ, у Богуфала, побѣждаетъ прекраснаго Вислава, князя Вислицкаго, и сажаетъ его во глубокъ погребъ. По прошествіи нѣкотораго времени отправляется Вальтеръ въ походъ, и до двухъ лѣтъ пробываетъ въ отлучкѣ. Гельгундѣ приходится тутъ почувствовать, что она ни вдова, ни замужняя. Вотъ тутъ то дѣвушка, къ ней приближенная, начинаетъ ей говорить о красотѣ плѣнника ея мужа — Вислава. Гельгунда идетъ къ нему, влюбляется въ него, освобождаетъ его изъ погреба и бѣжитъ съ нимъ въ его городъ. Вскорѣ послѣ этого возвращается Вальтеръ и, женатый, остается безъ жены.—Все это отчасти подходитъ къ тому кругу общенародныхъ сказаній о *долгой отлучкѣ* съ ея послѣдствіями, который еще займетъ васъ при разсмотрѣніи былинъ о Добрынѣ въ отлучкѣ. Съ другой же стороны тутъ слышна также струя сказаній о плѣнникѣ, освобождаемомъ женщиной. Этой послѣдней нѣтъ и слѣда въ индійскомъ расказѣ (у Сомадевы), но основа сказаній объ *отлучающемся* слышна въ немъ, хотя и смутно. Далѣе сходство индійскаго расказа съ польскимъ уже гораздо ближе. Вальтеръ, отыскивая жену, попадаетъ въ городъ Вислава. Гельгунда увѣряетъ его, что она увезена насильно; онъ, повѣривъ, входитъ съ нею въ домъ Вислава, находящагося въ отлучкѣ, но скоро возвращающагося. Виславъ приковываетъ Вальтера къ стѣнѣ въ столовой, и тамъ же велитъ поставить себѣ съ Гельгундою брачное ложе. Спасительницею является некрасивая сестра Вислава, которой онъ поручилъ сторожить Вальтера. Прежде всего она добивается отъ узника клятвы, что онъ возьметъ ее за себя замужъ. Тутъ, очевидно, завязывается струя сказаній о *предлагающейся дѣвицѣ*, показавшаяся странною

---

[115]) Orient u. Occident, III, II, 357—358.

[116]) Тутъ Вальтеръ постоянно называется Walterus. Откуда же заимствовалъ Я. Гриммъ приводимое имъ wdaly Walgjersz? Развѣ изъ Procosii Chronicon Slavosarmaticum, гдѣ, какъ онъ указываетъ на стр. 114 также находится сказаніе о Вальтерѣ и Гельгундѣ.



Богуфалу (что оказывается у него въ словахъ: pudore puellari prorsus remoto). Струя эта весьма обычна въ восточныхъ сказаніяхъ, и вотъ она-то, *быть можетъ*, дѣйствительно *окажется одною* изъ тѣхъ, которыя могли быть *заимствованы* въ Европѣ изъ азіятскихъ источниковъ. Между тѣмъ въ расказѣ Сомадевы именно ея-то и нѣтъ. Тамъ, какъ мы видѣли, спасительницею является богиня Тчанди, вызванная молитвами узника. Тутъ отношенія совершенно иныя, не напоминающія ни Вальтера, ни, какъ мы скоро увидимъ, Михаила Потыка. — Далѣе же въ индійскомъ расказѣ спасенный богинею Тчанди не убиваетъ своей жены, а одного Бгиллу, голову котораго эта хитрая женщина прячетъ. Предоставляя эту голову царю, она увѣряетъ его, что это голова ея мужа и что она отрублена негодяемъ, только выдающимъ себя теперь за ея мужа. Но правда выходитъ наружу, и у обманщицы, по приказу царя, отсѣкаются уши и носъ.

Самъ Либрехтъ сознается, что всего этого заключенія нѣтъ ни въ польскомъ расказѣ, ни въ указываемыхъ у него англійскомъ, нѣмецкомъ и изъ Gesta Romanorum, происходящихъ, по его мнѣнію, отъ польскаго. Между тѣмъ подобное заключенье имѣется, какъ могли мы замѣтить, въ большей части вышеприведенныхъ (по Бенфею) восточныхъ расказовъ. Почти вездѣ въ нихъ это приведеніе на *царскій*, проницательно-грозный судъ. Напротивъ того какъ въ польскомъ преданіи, такъ и въ нашихъ былинахъ, вмѣсто этого—*самосудъ*: и Вальтеръ, и Иванъ Годиновичъ, и Потыкъ сами казнятъ какъ врага-соблазнителя, такъ и жену-измѣнщицу. Въ нашихъ былинахъ казнь послѣдней заключается въ напоминающемъ расказы восточные отсѣченіи членовъ (впрочемъ не носа, который отсѣкается только въ нѣкоторыхъ пересказахъ былины о Добрынѣ съ Маришкою), въ польскомъ же преданіи Вальтеръ, мечомъ самого Вислава, utros per medium scidit: это, очевидно, наше былевое рѣзсѣченіе *на полы*,—еще болѣе древній пріемъ эпическій, такъ какъ онъ встрѣчается и въ сербо-болгарскомъ, и въ германскомъ, и въ карловингскомъ эпосѣ. [117]) Вовсякомъ случаѣ въ русскомъ и польскомъ сказаніи *самосудъ*, а онъ несомнѣнно древнѣе *суда царскаго*. Такой *самосудъ* въ нашемъ эпосѣ могъ только *уцѣлѣть*, остаться въ немъ въ видѣ любопытной окаменѣлости отъ временъ отдаленнѣйшихъ, до-историческихъ Между тѣмъ если допустить *заимствованіе* занимающаго насъ преданія съ востока, то вѣдь такое заимствованіе могло произойти только во времена уже *историческія*, когда *царская власть* имѣлась уже въ быту нашемъ. [118]) Встрѣтивъ въ восточномъ первообразѣ *царскій судъ*, мы, т. е. предки наши не имѣли никакого основанія его исключить, какъ что либо непонятное, и замѣнить его *самосудомъ*. Присутствіе этого послѣдняго въ нашемъ и польскомъ преданіи служитъ доказательствомъ отдаленнѣйшаго самостоятельнаго происхожденія того и другого, и совершеннѣйшей независимости обоихъ отъ какихъ либо *образцовъ* позднѣйшаго и историческаго востока.—Но подобныя соображенія

[117]) См. выше стр. 21.

[118]) Я разумѣю тутъ власть эту въ широкомъ смыслѣ, противополагая ее семейной и родовой, какъ власть государственную.

не мало не затрудняютъ Либрехта, задавшагося мыслію о томъ, что польское преданье—изъ Индіи (какъ рано всѣ эти *эпигоны* позабыли *критическіе пріемы* своихъ великихъ предшественниковъ и учителей, братьевъ Гриммовъ!). Познакомившись съ русскими былинами объ Иванѣ Годиновичѣ и Потыкѣ, Либрехтъ еще ближе подвинулся къ искомому имъ востоку: «теперь уже, восклицаетъ онъ, я ни мало не сомнѣваюсь, что то-же преданіе существовало и у Монголовъ (о эти новомодные цивилизаторы цѣлой Европы—Монголы!), а потому оно и должно когда нибудь всплыть, такъ что цѣпь, обратно отводящая въ Индію, окажется возстановленною во всѣхъ своихъ звеньяхъ». (Or. u. Occ. III, п, 538).—В. В. Стасовъ можетъ похвалиться тѣмъ, что онъ нашелъ еще одно звено этой цѣпи—въ томъ расказѣ о Гессеръ-Ханѣ, съ которымъ мы познакомились выше; но не трудно замѣтить, что это «звено» отличается такими самостоятельными чертами, которыя отводятъ его весьма далеко какъ отъ бенфеевскихъ расказовъ, такъ и отъ преданія русско-польскаго (только г. Стасову могло тутъ примерещиться тождество) Я-же позволю себѣ указать на Х-ю главу Шидди-Кура, этого уже чисто монгольскаго сборника, въ которомъ А. А. Шифнеръ началъ было усматривать «источники самой древней русской поэзіи» (позже, въ своемъ предисловіи къ труду г. Радлова, онъ сильно видоизмѣнилъ свое мнѣніе, или, лучше сказать, отказался отъ него). Эта глава Шидди-Кура, по основѣ, близка къ выше преведеннымъ расказамъ бенфеевскимъ. Тутъ жена измѣнница влюблена въ *трупъ*: она ходитъ къ нему отъ мужа цѣловаться-миловаться и даже рѣшается покормить его, сквозь стиснутые зубы, съ кончика языка своего, который при этомъ откусывается сомкнувшимися зубами трупа. Затѣмъ она жалуется на живого мужа, будто бы имъ откушенъ у ней конецъ языка; но правда открывается на *судѣ кагана*. Этотъ послѣдній прямо подходитъ къ виду суда въ расказахъ бенфеевскихъ, а *чарующій трупъ* служитъ только дальнѣйшимъ видоизмѣненіемъ ихъ *чарующихъ калѣкъ*, *увѣчныхъ*, *уродовъ*.—И такъ, вотъ оно, монгольское посредствующее звено: неужели Либрехтъ обрадуется и ему, т. е. возможности повести *черезъ него*, черезъ этотъ производящій отвращеніе трупъ, ту цѣпь преданій, которую непремѣнно хотѣлось бы ему повести изъ Индіи? Смѣю думать, что нашъ соблазнитель Кощей, Лиходѣй и т. п. представляетъ и болѣе поэтическое, и болѣе древнее, и совершенно самостоятельное видоизмѣненіе того *темнаго начала*, каторое должно скрываться въ основѣ этого лица и котораго азіятски-изощреннымъ, изыскано-непоэтически-искаженнымъ видомъ служитъ *безносый уродъ*, *обрубокъ*, наконецъ *трупъ* индійско-монгольскихъ изводовъ. Г. Стасовъ, на этотъ разъ, поступилъ осторожнѣе Нѣмцевъ, даже не затронувъ всего этого.—Я впрочемъ не считаю себя въ правѣ не указать на одно сходство съ монгольскимъ *трупомъ*, представляемое расказомъ карловингскимъ: это извѣстное сожительство Карла Великаго съ *мертвой* его женою. Но сходство и тутъ ни мало не свидѣтельствуетъ о заимствованіи, и притомъ оно только кажущееся. Эта любовь Карла и спящей во гробѣ должна находиться въ связи со сказаніями общеевропейскими о любви королевича къ спящей, т. е. чудеснымъ образомъ усыпленной царевнѣ (la belle au bois dormant—во французскихъ сказкахъ.

Но довольно обо всемъ этомъ. Познакомившись со всяческими восточными якобы *первообразами* и второй половины нашихъ былинъ о Потыкѣ, обращусь къ подробному разбору ея, т. е. всѣхъ ея пересказовъ. У Рыбникова въ ч. 1 п. 36 (отъ Рябинина) 37, (отъ 90 лѣтняго старика) и ч. II, п. 15 (отъ калики изъ Красныхъ Лягъ) измѣна Лебеди Бѣлой происходитъ вслѣдъ за ея обмираніемъ и оживленіемъ, во время новой посылки Потыка Владиміромъ въ страну дальную (I, 37; II, 15); или же во время пребыванія разгулявшагося Потыка въ кабакѣ (I, 36). Этой послѣдней чертою, разгуломъ, Потыкъ походитъ опять на Дуная, и опять соотвѣтственно громовому, т. е. и упоюющемуся дождемъ свойству обоихъ. Пользуясь слабостію Потыка, Марья (Настасья—Авдотья) Лебедь, когда онъ прибываетъ за нею въ Литву (Орду, Волынскую землю) каликою перехожею, подноситъ ему зельице *забыдущее*: Михаилъ гдѣ ѣлъ да пилъ, тамъ и спать-уснулъ. (Спрашивается: гдѣ, въ которомъ изъ восточныхъ *подлинниковъ*, встрѣчаемъ мы это, эпически-столь существенное въ нашей былинѣ, питье забыдущее?) Тогда жена измѣнница прибиваетъ его гвоздями къ стѣнѣ. (Въ польскомъ преданьи, какъ видѣли мы, приковываетъ; въ индійскихъ расказахъ, какъ и въ «Иванѣ Годиновичѣ», мужъ привязывается къ дереву: основа вездѣ тутъ одна, но эпическія подробности въ каждой странѣ отличны *самостоятельны*). Въ богатыря влюбляется сестра (дочь) похитителя; снимаетъ его со стѣны, заращиваетъ раны. Въ п. 37 она соединяетъ съ такими попеченьями о богатырѣ условіе:

Возьми меня за себя за мужь,
Такъ избавлю тя отъ смерти напрасныя.

Сходно и въ ч. II, п. 15. (Вполнѣ то-же, какъ видѣли мы, и въ польскомъ преданіи). Эта навязчивость совершенно сходна съ тѣмъ, какъ относится, по нѣкоторымъ пересказамъ, къ Михайлу Потыку и сама Лебедь Бѣлая. Что касается собственно *пригвожденья богатыря*, имѣющагося въ русской былинѣ, то оно, напоминая пригвожденнаго Прометея отчасти подтверждаетъ *громовое* значенье Потыка (въ основаніи сказанія о Прометеѣ, какъ доказано Куномъ,[119]) лежитъ миѳъ о громовникѣ—низводителѣ огня съ неба). Что касается въ нашей былинѣ дальнѣйшей подробности,—что избавительница, вмѣсто Потыка, прибиваетъ къ стѣнѣ татарина, то это, не объясняясь миѳическими наведеніями, составляетъ, повидимому, присочиненіе, хотя и очень древнее, указывающее на самое грубое самоуправство въ нравахъ. Точно также въ одной изъ былинъ о Дунаѣ Ивановичѣ поступаетъ влюбленная въ него королевична политовская: по приказу ея рубится, вмѣсто дунаевой, голова татарина. Замѣчательно, что подобный безчеловѣчный просторъ произвола происходитъ, по нашимъ былинамъ, въ царствахъ чужихъ, во всѣхъ отношеніяхъ темныхъ, враждебныхъ. Вотъ эта черта должна была войти къ намъ изъчужа, книжнымъ путемъ, и на этотъ разъ дѣйствительно съ востока.—Она

[119]) Въ Herabkunft des feuers und göttertranks. Съ другой же стороны надо замѣтить, что пригвожденье къ столбу встрѣчается и въ тюркскихъ пѣсняхъ, на прим. у Радлова I, 416; II, 24, 263· а II, 28 богатырь пригвожденъ къ скалѣ, совершенно какъ Прометей въ извѣстномъ сказаніи греческомъ.

встрѣчается въ повѣсти объ Акирѣ Премудромъ, которая появилась у насъ въ переводѣ, по всей вѣроятности, уже въ XII, вѣкѣ. [120]) Впрочемъ у Рыбн. въ ч. I, п. 38 Настасья прибиваетъ къ стѣнѣ татарина—уже *мертваго, мерзлаго* (стр. 234). Избавленный отъ смерти, Потыкъ готовъ еще разъ напиться изъ рукъ жены зелья забыдущаго, но удерживается отъ этого своею избавительницею, катора уже заранѣе взяла съ него слово убить жену-измѣнницу. (Въ польскомъ преданіи она проситъ Вальтера пощадить ея брата Вислава). Потыкъ исполняетъ это. (Р. I, 36; II. 17).

Въ нѣкоторыхъ пересказахъ къ усыпленію присоединяется еще *обращеніе въ камень* Потыка. (И тутъ опять спрашивается, гдѣ оно, это окаменѣніе, въ *подлинникахъ* восточныхъ?) [121]) (Р. I, п. 37 и 38; II, 15 и 16). Кто знакомъ съ миѳологіей сказокъ, тому извѣстно, что какъ сонъ молодца (или дѣвицы) есть *зимнее усыпленье* природы, такъ и окамененность его или цѣлаго царства есть *зимняя окаменѣлость* природы. Такимъ образомъ два однозначущихъ миѳа насажены тутъ одинъ на другой, да еще и на третій подобно-значущій: *обмиранье* Лебеди Бѣлой, раздѣляемое и Потыкомъ, есть опять-таки, какъ мы знаемъ зимняя, омертвѣлость природы.

Но имѣются пересказы, въ которыхъ *обмиранья* нѣтъ, а есть только усыпленіе и обращеніе въ камень. Въ тѣхъ же пересказахъ (I. 38; II, 16). замѣчательную подробность составляетъ *гвоздь сердечный*, котораго недостаетъ женѣ Потыка, чтобы разомъ его прикончить; пока она ходитъ за нимъ на торгъ, королевична снимаетъ со стѣны Михаила. Въ ч. II, п. 17 Михаилъ пригвожденъ въ погребѣ—какъ Вальтеръ въ преданіи польскомъ. (Р. I, 38; II, 16, 18). Первоначально, надобно думать, отдѣльно существовали пѣсни: а) объ обмираніи вмѣстѣ съ мужемъ, объ усыпленіи, с) окамѣненіи мужа женою измѣнницею (пригвожденье къ стѣнѣ, какъ особая сторона миѳа, могло слѣдовать уже изначала, въ видѣ дальнѣйшаго проявленья измѣны, за возращеніемъ молодца къ жизни). Уже *сводными*, т. е. позднѣйшими, приходится послѣ этого считать былины, въ которыхъ усыпленіе и окаменѣніе соединены вмѣстѣ. Въ имѣющихся теперь у насъ уже выпали вонъ подробности самой женитьбы Потыка на Лебеди Бѣлой). Въ большей степени *сводными*, очевидно, т. е. въ этомъ отношеніи еще *позднѣйшими*, оказываются былины, гдѣ связаны вмѣстѣ всѣ три отдѣльныхъ вида: не только усыпленіе и окаменѣніе, но и обмираніе. Но въ нѣкоторыя изъ этихъ послѣднихъ вставлено и еще одно похожденіе: чуть успѣлъ Михаилъ Потыкъ высвободиться изъ могилы вмѣстѣ съ женою, какъ о красотѣ ея прошла молва по всѣмъ землямъ, по всѣмъ ордамъ. Наѣхало сорокъ царей, сорокъ царевичей, сорокъ королей, сорокъ королевичей на извѣстныя уже намъ Сорочинскія Горы (сказочныя-

[120]) См. Пыпина Обзоръ Старинныхъ Пов. и сказ. Русскихъ, стр. 39, 45. Сравн. въ моемъ Опытѣ Ист. Обозр. Р. Слов., I, стр. 353. Позже, подъ историческимъ вліяніемъ наслоеній, усилившихся въ московскій періодъ нашей исторіи, такое самоуправство стало совершаться въ былинахъ и на Святой-Руси; оно встрѣчается въ въ пѣсняхъ о грозномъ царѣ Иванѣ Васильевичѣ.

[121]) Хотя вообще, это правда, оно существуетъ въ восточномъ эпосѣ. См., наприм., у Радлова II, 487. Опять всенародная эпическая черта.

ническія по основѣ, книжныя—по названію) и требуютъ у Владиміра выдачи богатырской жены красавицы:

«А не отдастъ съ добра,
Весь Кіевъ градъ повырубимъ.
И приходитъ къ Михайлу Владиміръ князь:
«Ай же душечка Михайла Потыкъ Ивановичъ!
Для одной бабы не погибать цѣлому царству [123])....»
Говоритъ душечка Михайла Потыкъ Ивановичъ:
«Отдай свою богатырску княгину Опраксію,
А я не отдамъ жены съ добра».

Мѣсто замѣчательное. Съ одной стороны—это нападеніе изъ за красавицы, напоминающее столько древнихъ сказаній, а въ томъ числѣ и войну троянскую; съ другой—черта уже совершенно своеобразная—этотъ разговоръ между княземъ и Михаиломъ, потверждающій замѣченную нами въ стольких былинахъ простоту отношеній князякъ богатырямъ его.—Михаилъ выходитъ къ царямъ-царевичамъ, переодѣтый въ женское платье, явленіе, соотвѣтствующее отчасти подобному же переодѣванію бога Локки въ сказаніяхъ скандинавскаго севѣра. Прикидываясь Марьею—Лебедью Бѣлою, Потыкъ спрашиваетъ у жениховъ: «за кого мнѣ-ка за васъ замужъ итти»?—Онъ хочетъ «разстрѣлять стрѣлочку по чисту полю», съ тѣмъ, чтобы выйти за того замужъ, кто первый обратно принесетъ стрѣлку—условіе, распространенное по цѣлому множеству сказокъ и имѣющееся въ восточныхъ расказахъ (см. у Бенфея въ I ч.) только въ нашей былинѣ конецъ не по сказочному—немирный. Между тѣмъ какъ цари-царевичи за стрѣлочками по чисту полю разбѣжалися, Михайло Потокъ Ивановичъ

.... зачалъ по чисту полю поѣзживать,
Зачалъ головушки отвертывать,
Отвертѣлъ имъ всѣ головушки...
Не оставилъ силы на сѣмена.

Р. I, п. 37. Сходно и въ ч. II, п. 15; тутъ только дѣло происходитъ на Оскатъ-горѣ, стрѣлочекъ разстрѣливается, по числу царевичей, цѣлыхъ сорокъ, что̀ и должно быть вѣрнѣе:

Который впередъ прибѣжитъ за стрѣлочкой,
Михайла тому голову сѣкетъ,
Сѣкетъ голову и подъ шатеръ складетъ.

Вотъ такимъ то образомъ отстоявъ жену, Михайло снова идетъ въ кабакъ, а во время новаго его кутежа жена у него увозится Вахрамеемъ (Р. I, 37). Но по Рыбн. ч. II, п. 15 и ч. IV, п. 12 (Василья Лукина) во время пьянства къ нему пріѣзжаетъ отецъ жены его, король польскій, и требуетъ ея отдачи назадъ. Это еще новая вставка, но замѣшалась она сюда изъ какого нибудь сказанія весьма древняго: въ ней бытовыя черты—чрезвычайно грубыя. Король съ Потыкомъ садятся играть въ тавлеи: первымъ выигрышемъ Михайло отыгрываетъ жену, вторымъ выигрываетъ землю польскую, по третьему «надоть королю голова рубить королевство польское на руки принимать». Подобное проигрываніе нетолько головы своей, но и дочери, даже царства, напоминающее различныя сказанья восточныя (сходнымъ образомъ проигрывается, какъ

---

[123]) Нѣчто похожее встрѣчается и сербской пѣснѣ о сестрѣ Леки Капетана (Вука II, стр. 240).

извѣстно, и Наль) указываетъ опять на короля-патріарха, неограниченнаго властелина надъ судьбою своихъ дѣтей и всего своего королевства—т. е., первоначально, своей родни, рода.—Вѣсть о похищеніи Маріи Лебеди Вахрамеемъ заставляетъ однакожъ Потыка *простить* королю и царство его и голову и ѣхать на отвоевыванье убѣжавшей.

Имѣются наконецъ и еще подробности въ томъ или другомъ пересказѣ. Такъ въ ч. I, п. 37 хитростью добываются у короля латы тяжелыя умершаго богатыря и его оружіе, съ помощію котораго Потыкъ и совершаетъ кару надъ Вахрамеемъ и своей женой измѣнницей. (Въ польскомъ преданіи Вальтеръ расправляется оружіемъ самого Вислава). Наконецъ въ ч. I, п. 36 встрѣчается присочиненіе, очевидно, позднѣйшее, свойства смягчительнаго, имѣющее въ виду объяснить измѣну Маріи-Лебеди. Объясненіемъ служитъ тутъ ревность, возбуждаемая въ ней при видѣ дѣвушки, везомой мужемъ ея на конѣ: дѣвушка же эта только избавлена имъ отъ разбойниковъ.

Всѣ эти подробности, въ ихъ совокупности, очевидно, чужды основному складу вышеприведенныхъ восточныхъ расказовъ. Настоящая связь оказывается у нашихъ былинъ объ измѣнѣ жены потыковой только съ преданіемъ польскимъ, что совершенно понятно, при *славянскомъ* единствѣ Русскихъ съ Поляками. Въ польскомъ преданіи, кромѣ многихъ отдѣльныхъ подробностей, нѣтъ того пьянства и разгула, которымъ такъ существенно отличается Потыкъ. И при такомъ-то качествѣ лицо это вздумали выдавать за сколокъ со степенныхъ индійскихъ брахмановъ!

Несмотря на пьство, нравъ у Потыка — болѣе человѣчный, чѣмъ тотъ, какой видѣли мы у Дуная, Хотена, Ивана Годиновича. Михайло Потыкъ беретъ Лебедь Бѣлую не насиліемъ, а добровольно; онъ вѣренъ положенному имъ съ нею условію; онъ становится къ ней жестокъ только послѣ неоднократныхъ ея измѣнъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не замѣтить и разницы между тѣмъ положеніемъ, какое занимаютъ у Владиміра князя Дунай, Иванъ Годиновичъ и отчасти Хотенъ, и тѣмъ, какое въ большей части пересказовъ получаетъ Михайло Потыкъ. Дунай служитъ Владиміру только по *частному* дѣлу—по дѣлу его женитьбы. Ивану Годиновичу, съ другой стороны, служитъ Владиміръ князь по тому же частному дѣлу—женитьбѣ его, Ивана. Хотенъ также вращается въ кругу *частныхъ* обязанностей и отношеній, при чѣмъ выдвигается впередъ опять женитьба, въ которой нѣкоторое участіе принимаетъ и Владиміръ-князь. Связь между всѣми этими богатырями и княземъ—связь рѣшительно личная; тутъ еще и въ поминѣ нѣтъ Земли Русской, богатырскаго служенія подъ его рукою *землѣ*, ея общему благу. И вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ мы видѣли, въ похожденіяхъ всѣхъ этихъ лицъ никакого участія не принимаетъ нашъ совершенно другими отношеньями связываемый съ Владиміромъ Илья Муромецъ.—И Михайло Потыкъ много занятъ своею женою, а Владиміромъ княземъ употребляется опять по своимъ, уже совершенно *личнымъ* дѣламъ—просто на̀ просто по дѣламъ своего *стола*. Мы видѣли, какъ Владиміръ посылаетъ его настрѣлять себѣ лебедей. Да,—но такъ оно только въ одномъ пересказѣ Кирши Данилова—а именно въ этомъ-то пересказѣ и помину нѣтъ объ Ильѣ и какихъ либо отношеньяхъ его къ Потыку. Но въ переска-

захъ рыбниковскихъ Михайло получаетъ уже несравненно высшее назначеніе у Владиміра: его посылаютъ то въ то, то въ другое чужеземное царство справлять дани-выходы; ради этой службы своей—уже государственной, такъ сказать—онъ долженъ поминутно оставлять домъ, жену, которая и измѣняетъ ему во время его отлучки. И замѣчательно, что тамъ, гдѣ Потыку дается такое значеніе, онъ уже тѣсно связывается съ Ильей Муромцемъ, получаетъ одновременно съ нимъ порученія отъ Владиміра и вызываетъ даже особую заботливость о себѣ Ильи. Но обо всемъ этомъ—позже, при обрисовкѣ во всей подробности отношеній Ильи Муромца къ богатырямъ-сотоварищамъ.

Нельзя обойти молчаніемъ одной черты, приписываемой Потыку собственно только въ пересказѣ Василія Лукина (Рыбн. IV, 12). Это та жестокость, съ какою собираетъ онъ дань въ царствѣ Заморскомъ:

Поразсердилъ плечо богатырское,
Сталъ бить казнить, иныхъ вѣшати (стр. 62).

Подобно этому и послѣ побѣды надъ соблазнителемъ жены его, королемъ Политовскимъ, Михайло

Хотѣлъ королевство за щитомъ пройти,
Да огнемъ сожгать (стр. 73).

Но его не допустила до этого Настасья королевична. Въ пересказѣ 90 лѣтняго старика (Р. I, 37) про эту помѣху съ ея стороны не сказано, а потому Михайло

Которую силу прирубилъ,
А котору въ полонъ забралъ.

Но это всетаки еще далеко отъ той погибели *всего народа* вмѣстѣ съ его королемъ, которая понадобилась г. Стасову для полноты сходства между нашею былиною и азіятскою поэмою о Гессеръ-Ханѣ: «съ королемъ, т. е. политовскимъ, замѣчаетъ г. Стасовъ, погибаетъ весь народъ его, какъ съ ламою (соблазнителемъ жены Гессеръ-Хана), все его племя. (В. Е. 1868 г. II, 679)

Замѣчу, что въ одномъ изъ тѣхъ пересказовъ, гдѣ Потыкъ получаетъ уже важныя порученія отъ Владиміра, самому вывозу имъ, вмѣсто дани, жены себѣ придается значеніе совершенно особенное,—значеніе своего рода пользы общественной:

И говоритъ Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ:
«Ай же вы, братьица крестовые!
А не давайте мнѣ красна золота,
И не троньте душечки Бѣлой Лебеди:
Я съ ней поѣду въ столенъ Кіевъ—градъ.

И говорятъ ему братія:
«Чтó-же ты, Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ,
Обзарился ты на предестц женскія,
А не везешь злата одной денежки?
И съ чимъ ты теперь во Кіевъ градъ появишься?»

А Владиміръ, увидѣвъ ее, говоритъ Потыку:

«Чѣмъ тебя за эту выслугу будетъ жаловать?
А и тѣхъ-то послалъ, чтобъ женилися,
А они, молодцы, не догадалися,
Обзарилисъ на золото и серебро.

Въ нашу державу свято-русскую
Пойдутъ сѣмена—плодъ богатырскій:
То лучше злата и серебра.
(Рыбн. II, стр. 60 и 61.)

Кстати нельзя не замѣтить еще, что это очень близко, по духу, къ лѣтописнымъ словамъ Владиміра: «златомъ и серебромъ не добыть хорошей дружины, а съ хорошей дружиной всегда добудешь и злата и серебра».

Въ заключеніе нельзя не обратить вниманія и на тотъ оборотъ, какой придается былинами казни жены михайловой. Мы видѣли свирѣпую казнь, совершаемую надъ женою Иваномъ Годиновичемъ, со всѣми ея продолжительными, ужасающими подробностями. Это совершенно подходитъ къ образу богатыря, стоящаго на почвѣ до-исторической. Уже на другую, позднѣйшую, высшую почву переходитъ, какъ видѣли мы, Михаилъ Потыкъ,—и вотъ, въ былинахъ о немъ, возмутительныя подробности казни, обычной только во времена допотопныя, уже стираются, и дѣло передается совершенно сжато:

Убивалъ онъ сына царскаго
И убилъ Марью Лебедь Бѣлую (Р. I, стр. 212)

Или:

Взмахнулъ своей саблей вострой,
Отнялъ де онъ Марьѣ буйну голову

(Р. I. стр. 236. Также Р. II, 79, 87).

И взялъ царя Вахрамея Вахрамеевича
На воротахъ и розстрѣлялъ;
И Марьюшку душечку
Также на воротахъ розстрѣлялъ.

(Р. II, 70. Съ Вахрамеемъ также у Р. I, 227). Правда, что у Рыбн. II, 80:

Тутъ по три дня было пированьицо
Про того Михайлу Потыка Ивановича,
Что сказнилъ свою Марью Лебедь Бѣлую.

Правда и то, что у Рыбн. I, 227—Марья казнится безчеловѣчнѣйшимъ способомъ временъ отдаленныхъ, нерѣдко попадающимся и въ сказкахъ:

..... Лебедь Бѣлую, дочь Лиходѣевну
Къ семи жеребцамъ къ хвостамъ привязалъ.
По чисту полю ее раздернули...

Но мы еще не покончили со *сватовствомъ* и *супружескими измѣнами*. Если даже за Ильею Муромцемъ, какъ мы знаемъ, когда-то водились своего рода брачныя связи, въ настоящее время представляющіяся уже въ неопредѣленной дали и туманѣ (въ былинахъ о его боѣ съ сыномъ); то что же мудренаго, ежели и за другимъ изъ замѣчательнѣйшихъ, важною дѣятельностью отмѣченныхъ богатырей, Добрынею, имѣются миѳическія по основѣ похожденья любовныя, ставящія его, такъ сказать, на одну доску съ Иваномъ Годиновичемъ и Потыкомъ. Разсмотримъ же теперь эти связи вслѣдъ за всѣми, уже намъ извѣстными: онѣ составляютъ остатокъ той же поры отдаленнѣйшей. Связи у Добрынюшки—съ Мариной Игнатьевной, *еретницей*, какъ величается она, можетъ быть не безъ вліянія примѣшавшихся сюда гораздо позднѣйшихъ воспоминаній объ иновѣрной женѣ Димитрія самозванца, о

которой, какъ извѣстно, также осталась въ народѣ молва, какъ о чародѣйкѣ. Воспоминанье о ней слышится и въ самой, такъ сказать, ополяченной формѣ— *Марина*, тогда какъ въ сущности это та-же невѣста (жена) измѣнщица Марья (съ одной стороны—*Лебедь Бѣлая*, съ другой—*Лиховидьевна*). Если же такимъ образомъ на чисто-миѳическую основу могли тутъналечь столь поздніа историческія, такъ сказать, только *обаснословленныя* воспоминанія, то эпически столько же возможнымъ оказалось и то, что миѳическому похожденью съ Мариною въ теперешнемъ видѣ былинъ предшествуетъ (по многимъ пересказамъ) долговременное служенье Добрыни Владиміру князю и при томъ служенье въ такихъ должностяхъ, которыя уже указываютъ на настоящій *дворъ* (только въ былинахъ съ позднѣйшимъ оттѣнкомъ имѣющійся у Владиміра):

У славнаго сударь князя Владиміра
Три года Добрынюшка стольничалъ
А три года Никитичъ приворотничалъ,
Онъ стольничалъ, чашничалъ девять лѣтъ.—

читаемъ мы у Кирши Данилова. Сходно и въ пересказѣ Симбирской Губерніи (Кир. II, 41):

Три года у князя стольничалъ,
Да три года у князя *харешничалъ*...

Но въ другомъ пересказѣ, Корсунскаго Уѣзда, значительно иначе:

Три года хлѣбничалъ,
Три года *горшечничалъ*
Три года *притворовывалъ*.

Послѣднее совершенно согласно съ особою пѣснію у Кирши о молодости Добрыни, гдѣ онъ является сыномъ богатаго *гостя* (купца). (Кир. II, 49) Послѣ этого едва ли, какъ думаютъ издатели сб. Кирѣевскаго, *горшечничалъ* испорчено изъ *харешничалъ*, а слѣдующее затѣмъ въ той же былинѣ Корсунскаго Уѣзда—*три года приворовывалъ*—испорчено изъ—три года *приворотничалъ*. Хотя пересказъ Корсунскаго Уѣзда во многомъ попорченъ, урѣзанъ и сбитъ, во всякомъ случаѣ замѣчательно, что какъ въ немъ эта дѣятельность Добрыни совершается не у Владиміра, а не извѣстно гдѣ, (хотя и въ Кіевѣ), такъ оно и въ двухъ пересказахъ у Рыбникова (I, п. 28, II, п. 4), только тутъ говорится опять о *стольничаньи* и *чашничаньи*, въ одномъ же пересказѣ вмѣсто *приворотничанья* является даже *пословничанье* (II, 4; это послѣднее стоитъ между пересказами совсѣмъ одиноко и могло замѣшаться сюда изъ особыхъ былинъ о дѣйствительно-*посольской* дѣятельности Добрыни). Во всѣхъ пересказахъ (кромѣ одного Арх. Губ. —Кир. II, 48) за этою девяти-годовою службой Добрыни слѣдуетъ его *гулянье* (въ полномъ смыслѣ слова—безъ цѣли опредѣленной)—по Кіеву; по нѣкоторымъ же пересказамъ онъ при этомъ, какъ малый еще неопытный и совсѣмъ небывалый, *отпрашивается у матушки*. Въ одномъ пересказѣ Самарской Губ. Сызранскаго уѣзда даже и не говорится о предварительной его службѣ гдѣ либо, а прямо передается его просьба;

Благослови ты меня, матушка, по городу погулять...
— Гуляй, гуляй, молодецъ по городу...
Только не ѣзди въ тоё улицу гулять,
Въ тоё улицу гулять во Андреевскую:
Во той улицѣ Маринка живетъ,
Еретница она, кореньщица (Кир. II, 44).

У Рыбникова въ двухъ пересказахъ, какъ сказано, это слѣдуетъ послѣ *службы* добрыниной, а въ одномъ изъ нихъ оно еще дополняется слѣдующими чертами:

...Прошло того времени девять лѣтъ,
На десятый годъ Добрыня *на свою волю пошелъ*.
Матушка Добрынюшкѣ наказываетъ:
Ты ходи, гуляй *по всѣмъ родамъ*,
По всѣмъ родамъ и по всѣмъ землямъ,
По всѣмъ улочкамъ ходи и переулочкамъ,
Не завертывай во улицу Игнатьевку, и т. д. (Р. I, стр. 172, п. 28, отъ Мих. Богданова) (Ср. II, п. 4— отъ старика калики).

Надо, между прочимъ, замѣтить, что это—*по всѣмъ родамъ*, если только оно не явилось, какъ порча, вмѣсто—по *всѣмъ ордамъ*, заслуживало бы вниманія, какъ намекъ на то древнее *родовое устройство*, слѣды котораго уже довольно рѣдки въ нашемъ народномъ эпосѣ. Что же касается вообще отпуска матушкою Добрыни, то онъ напоминаетъ подобныя же положенія и въ эпосѣ другихъ странъ, напримѣръ отпущеніе матерью, также въ первый разъ, на гульбу богатырскую кельтскаго Передура, неопытнаго и небывалаго юноши [123]). Относительно же *службы* добрыниной невольно возникаетъ вопросъ: не одного ли рода она съ *наемничаньемъ* Дуная Ивановича, не видно ли указанія на стихію варяжскую не только въ ней, но и въ торговомъ значеніи отца добрынина, и не относится ли это наемничанье въ варяжскомъ смыслѣ къ первой молодости Добрыни? [124])—Не есть ли это та отдача отрока въ чужой домъ для службы домашней, примѣры которой имѣются въ скандинавскомъ эпосѣ, и примѣромъ котораго у насъ на Руси можно бы было считать служеніе отрока Ѳеодосія въ домѣ у *властелина* града (см. несторово житіе Ѳеодосія)? Въ служебномъ же значеньи Добрынюшки вообще можетъ заключаться наконецъ и намекъ историческій. Вѣдь имя Добрыни встрѣчается, какъ извѣстно, и въ лѣтописи: тамъ онъ—дядя Владиміра, родной братъ матери его Малуши, служившей *ключницею* у Ольги.—Но и Добрыня эпическій является при Владимірѣ лицомъ въ родѣ *ключника*,—не перешло ли же это къ нему отъ сестры его? [125]) *Замѣна* въ подобномъ случаѣ также возможна, какъ возможною была же *замѣна—дяди* въ *племянника* князя Владиміра: такимъ является Добрыня въ другихъ былинахъ о немъ, при другихъ своихъ похожденіяхъ.—Въ вышеупомянутой былинѣ Кирши онъ напротивъ того является сыномъ *гостя* (купца), и притомъ *рязанскаго*, т. е. вовсе не родственникомъ Владиміру: въ этомъ случаѣ сюда-же, надобно думать, примкнули и историческія воспоминанія о другомъ, позднѣйшемъ Добрынѣ, томъ, про котораго въ лѣтописи значится, что онъ былъ убитъ при Калкѣ, при чемъ

---

[123]) См. у Villemarqué, les Romans de la table ronde, etc., p. 324. Очень долго держали взаперти и юнаго Карла В.—по роману Girard'a d'Amiens «Charlemagne» (Gautier, Epopées françaises, II, 34—36).

[124]) Вообще о варяжской стихіи въ Добрынѣ говорилъ уже Хомяковъ (Моск. Сб. 1852 г. стр. 327—329).

[125]) Уже г. Буслаевъ замѣтилъ, что въ Добрынѣ эпосъ первоначально вспоминалъ, вѣроятно, брата Малуши, ключницы ольгиной, отъ которой родился князь Владиміръ (Русскій Вѣстникъ 1862 г., V, 524.)

онъ названъ *Рязаничемъ Златымъ Поясомъ* [126]).—Въ былинахъ, повидимому, произошло раздвоеніе: Добрыня Рязаничъ торговый гость сталъ представляться *вообще* служащимъ—гдѣ бы тамъ ни было; Добрынѣ же племяннику княжескому—если уже служить, то служить у дяди, особенно же въ отроческіе годы, прежде другой, болѣе важной, богатырской обязанности. [127]) Впрочемъ въ основѣ и тутъ можетъ крыться не что иное, какъ *служба миѳическая*, приписываемая многимъ божественнымъ существамъ въ миѳологіи разныхъ народовъ. (Напримѣръ Ѳебу-Аполлону, Ираклу, Кришнѣ, Зигфриду и т. д.) И опять замѣчательно, что въ этихъ былинахъ о Добрынѣ слугѣ и потомъ полюбовникѣ маришкиномъ также не принимаетъ ни малѣйшаго участія Илья Муромецъ—опять соотвѣтственно высшему его значенью въ былинахъ.

Что касается самыхъ отношеній Добрыни къ Маринѣ, то они завязываются слѣдующимъ образомъ. Гуляя по Кіеву, Добрыня видитъ на одномъ окнѣ двухъ голубей и стрѣляетъ въ нихъ, но, вмѣсто того, чтобы попасть въ голубей, попадаетъ въ окно, которое оказывается окномъ Марины. Въ этомъ сходятся всѣ почти пересказы (Кир. II, стр. 53—60; 40—43; 43—44; 48—49; Р. II, 10—12.) У Кирши Данилова объясняется и поводъ къ стрѣлянію въ голубей:

| | |
|---|---|
| Сидятъ тутъ два сизые голубя. | Тутъ Добрынѣ за бѣду стало |
| Цѣлуются они, милуются, | Будто надъ нимъ насмѣхаются! |
| Желты носами обнимаются: | (Кир. II, стр. 54, стихи 20—25). |

Т. е. насмѣхаются, повидимому, надъ тѣмъ, что онъ не можетъ наслаждаться подобно имъ,—насмѣхаются надъ его еще холостымъ состояніемъ. Но въ той же былинѣ Кирши, Добрыня уже съ самаго начала своей прогулки забавляется тѣмъ, что «по горницамъ стрѣляетъ воробушковъ, по повалушамъ сизыхъ голубей.» Такое стрѣляніе вообще *по домамъ*, не встрѣчающееся въ другихъ пересказахъ, едва ли не составляетъ позднѣйшаго распространенія и дорисовки; между тѣмъ оно походитъ на другое стрѣлянье въ былинахъ, съ которымъ мы еще встрѣтимся,—на сострѣливаніе маковокъ въ Кіевѣ расходившимся Ильей Муромцемъ. А такъ какъ у Ильи оно является вслѣдствіе его негодованья на князя за недостаточную оцѣнку его заслугъ, то, надобно полагать, и въ стрѣляніи по домамъ Добрыни стала предполагаться подобная же причина. [128]) Отсюда-то, можетъ быть, начальные стихи пересказа Архангельской Губерніи:

| | |
|---|---|
| Жилъ былъ Добрыня у дядюшки | Не выжилъ Добрыня хлѣба мягкаго, |
| Не выжилъ Добрыня слова гладкаго, | Только выжилъ Добрыня себѣ добра коня... |

Впрочемъ, надо замѣтить, что именно изъ этого пересказа и выпало далѣе не

---

[126]) См. диссертацію Леонида Майкова: о былинахъ Владиміра цикла стр. 26—28.

[127]) Въ одномъ пересказѣ (Рыбн. III, п. 19)—Трофима Романова.) Добрыня—очевидно вслѣдствіе порчи—сынъ московской честной вдовы; и изъ Москвы онъ тутъ ходитъ прогуливаться по Кіеву! Въ довершенье всего мать Добрыни, чтобы отвернуть его, ищетъ по Москвѣ докторовъ!

[128])Я предполагаю тутъ смѣшеніе двухъ совершенно различныхъ эпическихъ положеній—на томъ основаніи, что изъ общей сложности былинъ о Добрынѣ не видно повода къ негодованью на недостаточную оцѣнку его заслугъ Владиміромъ. (О такомъ негодованіи безчастнаго молодца—Р. II, 51—будетъ ниже).

только стрѣляніе по домамъ, но и стрѣляніе въ двухъ голубей на окнѣ у Марины Игнатьевны: сказавъ о недостаточной оцѣнкѣ княземъ заслугъ Добрыни, былина дѣлаетъ прямо скачокъ къ *женитьбѣ* его:

Задумалъ Добрынюшка женитися,
На той на Маринѣ на Игнатьевой.

Но ему не совѣтуетъ дѣлать это—не мать, а сестра его:

«Извела Марина девять князей,
Все девять князей—жениховъ своихъ;
Изведетъ она тебя десятаго»[129]).

То-же предостереженіе и тѣми же почти словами встрѣчается и въ большей части другихъ пересказовъ, только во многихъ изъ нихъ, кромѣ того, что говоритъ это мать,—Добрыня нечаянно, черезъ стрѣльбу, вступаетъ въ сношенья съ Мариною,—въ нѣкоторыхъ же онъ *отыскиваетъ* марининъ теремъ. (Кир. II, 41, 48 Симб. Губ.) А у Кир. I, 44—(Сызрань) присоединяется слѣдующее описанье ея обители, прямо напоминающее дворъ Соловья:

Загороженъ дворъ все желѣзнымъ тыномъ,
На всякой тыниночкѣ по маковкѣ,
По той ли молодецкой по головушкѣ[130]).

Въ тѣхъ пересказахъ, гдѣ Добрыня нечаянно попадаетъ къ Маринѣ, она, какъ бы въ отомщенье ему за то, что онъ, стрѣльнувъ къ ней въ окно, многое перебилъ у нея въ домѣ, *привораживаетъ* его къ себѣ:

Брала она слѣды горячіе молодецкіе,
Набирала Марина беремя дровъ,
А беремя дровъ бѣлодубовыхъ,
Клала дрова въ печку муравленую
Со тѣми слѣды горячими,
Разжигаетъ дрова палящатымъ огнемъ
И сама она дровамъ приговариваетъ:
«Сколь жарко дрова разгораются
Со тѣми слѣды молодецкими,
Разгоралось бы сердце молодецкое
Какъ у молода Добрынюшки Никитьевича
(Кирша. Кир. II, 55)

Эпическое изображеніе чаръ, до сихъ поръ еще творимыхъ мѣстами и сопровождаемыхъ заговорами[131]). Сходно и у Кир. I, стр. 44 (Сызрань); (пѣсня тутъ не окончена):

Гори, гори, слѣдочки добрынюшкины,
Боли, боли, сердечко молодецкое!

Особенныя подробности сообщаются при этомъ въ одной былинѣ (Трофима Романова: Рыбн. III ч., 19 п.), которая въ другихъ отношеніяхъ сильно подновлена и искажена[132]):

---

[129]) Марина относится такимъ образомъ къ тому же разряду опасныхъ невѣстъ, образчикъ которыхъ уже видѣли мы въ Марьѣ Лебеди Бѣлой.

[130]) Эта ужасающая картина уже замѣнена описаніемъ обыкновеннаго терема въ томъ рыбниковскомъ пересказѣ (Трофима Романова), гдѣ Добрыня является москвичемъ. Тутъ же, вмѣсто головы на каждой тыничкѣ,—на каждомъ окошечкѣ голубь со голубушкою (Р. III, стр. 92).

[131]) См. въ «Великорусскихъ заклинаніяхъ» Л. Майкова № 3, 7, 8, 10, 14 отдѣла перваго (наговариваются на слѣдъ) (Во II ч. Записокъ Географическаго Общ. по отд. этн.)

[132]) См. примѣч. 127-е.

Брала свой ножъ булатный.
И куда ступалъ Добрынюшка Никитиничъ:
Знать-то гвоздики шеломчатые,
И подскоблила слѣды добрынюшкины.

Такія чары въ этомъ пересказѣ тѣмъ болѣе нужны, что тутъ Добрыня до нихъ распоряжается вотъ какъ съ Маринкою: видя, что стрѣла попала къ ней въ теремъ, онъ посылаетъ къ ней своего *паробка да слугу вѣрнаго* (и такъ, слуга имѣется и у него) требовать обратно стрѣлу свою:

И говоритъ злодѣйка Маринка таково слово:
«Кто эту стрѣлочку стрѣлилъ, пускай самъ придетъ сюда.
И скочилъ Добрынюшка тутъ со добра коня,
Онъ ухватилъ то Маринку за бѣлу грудь,
Кинулъ то Маринку о дубовый мостъ
И бралъ онъ стрѣлочку каленую.
(Стихи 56—59).

Нѣсколько иначе производятся чары у Рыбн. II, п. 4 (старика калики):

Нашептала на листочки лазуревы
И бросала на Добрыню Никитича:
«Какъ сохнутъ листочки лазуревы,
Такъ сохни по Маришкѣ Добрынюшка
По мнѣ по Маришкѣ курвѣ стравницѣ»
(Стихи 40—44).

Чисто эпическое величанье себя самой такими милыми прозвищами! Тутъ, какъ видно, нѣсколько особый видъ тѣхъ же чаръ. Но замѣчательно, что въ этомъ пересказѣ Маринка сперва обращается къ Добрынюшкѣ ласково:

„Поди-тко, Добрынюшка Никитиничъ,
Ко мнѣ хлѣба-соли покушати.“
*Плюнулъ Добрыня и прочь пошелъ...*

вспомнивъ, вѣроятно, *наказыванье* своей матушки, которой онъ, какъ прямо сказано въ началѣ этого пересказа, *не послушался* (въ пересказѣ Троф. Романова *забылъ* Добрынюшка наказаньицо матушкино)—за что̀ и поплатился тѣмъ, что, поздно спохватившись и уходя, не могъ уберечься отъ насланныхъ на него листочковъ лазуревыхъ.—Послѣдствіемъ заговора и чаръ, какъ и слѣдовало ожидать, выходитъ, что

Взяло Добрыню пуще остраго ножа...
Онъ съ вечера Добрыня хлѣба не ѣстъ...
Со полуночи Никитичу не уснется... (Кирша. Кир. II, 55)

Чары надъ слѣдами были въ ходу и у древнихъ Германцевъ. Кусокъ той земли или дерна, на которомъ стоялъ такой-то, вырѣзывался и вѣшался посреди трубы; по мѣрѣ того, какъ онъ начиналъ сохнуть или вянуть, и данное лицо должно было худѣть [133]). Нѣсколько иначе совершается это и теперь еще у Бирманцевъ: для полноты дѣйствія, землѣ, взятой изъ подъ слѣда, придается (по мѣрѣ умѣнья, конечно), подобіе того человѣка, котораго надобно зачаровать. Тейлеръ, приводящій множество примѣровъ подобнаго круга воззрѣній изъ быта современныхъ дикарей, объясняетъ все это тѣмъ, что по простодушному взгляду младенчествующаго человѣчества между человѣкомъ

---

[133]) J. Grimm, D. Mythol., 1047.

и его слѣдомъ, его тѣнью, его изображеніемъ, его именемъ наконецъ усматривается живая связь: такъ какъ въ слѣдѣ, въ тѣни и т. д. заключается какъ бы часть самого человѣка, то сдѣланное надъ слѣдомъ и тѣнью должно сообщиться и ему самому (также точно пожеланіе, соединенное съ такимъ-то именемъ, должно оказать дѣйствія на того, кто носитъ это имя) [134]). Добрыня, не выдержавъ чаръ, идетъ къ Маринѣ, она же оказывается измѣнщицею, издавна уже отдавшеюся другому (У Кирши. Кир. II, 55).

А у молодой Марины вечерника была<br>
А и собраны были душечьи красны дѣвицы...<br>
Вошелъ онъ Добрыня въ высокъ теремъ,<br>
А стала его Марина въ окошко бранить, ему больно пенять;<br>
Завидѣлъ Добрыня онъ змѣя Горынчаса...

Вотъ кто оказывается милымъ другомъ измѣнщицы—особый образъ Кощея или Лиходѣя, такое же темное миѳическое существо, и своимъ *змѣинымъ* видомъ, и своимъ отчествомъ отъ *горы*, указывающій, можетъ быть, на мрачную *тучу*.—Въ пересказѣ же Архангельской Губ. Шенкурскаго Уѣзда вотъ какая картина:

Лежала Маринка на постелюшкѣ<br>
На рукѣ у ней лежитъ змѣя лютая,<br>
На другой рукѣ лежатъ два змѣеныша;<br>
Змѣя лютая Добрыню *зажегчи* хочетъ,<br>
Два змѣеныша Добрыню *запалити* хотятъ.<br>
(Кир. II, 45) [135]).

Къ главной и, первоначально, единственною, м. б., змѣѣ, въ силу распространенія, придается тутъ еще и потомство. При всей ужасности супротивника, онъ побѣжденъ: по пересказу Кирши, вонъ бѣжитъ, хвостъ поджавъ.

Взяла его страсть, такъ зачалъ....<br>
Окольшки металъ по три пуда...

И въ этой, до нѣкоторой степени уже смѣшной картинѣ, первоначально могло заключаться миѳическое изверженіе дождевыхъ потоковъ, напоминающее продѣлки сказочнаго *бычка дристуна* (если вѣрно миѳическое толкованье его г. Аѳанасьевымъ) [136]). По двумъ другимъ пересказамъ змѣй даже прямо убитъ и убитъ уже тою стрѣлою, которою мѣтилъ Добрынюшка въ голубей—(Кир. II, 41—43. Симб. Губ., зап. Языковымъ; Рыбн. III, стр. 93, Троѳ. Романова: тутъ Тугаринъ убитъ на постели марининой.) Еще одинъ пересказъ, повидимому, не безъ насмѣшливаго оттѣнка, говоритъ про Добрыню (Кир. II, 48—49; Корс. Уѣзда):

Накладываетъ калену стрѣлу,<br>
Убиваетъ *сиза голубя*,<br>
Того-ли змѣя Притугалинка,<br>
Маринкина друга милаго.<br>
Закидалася Маринка, заметалася....<br>
Брала Добрыню за бѣлыя руки,<br>
Вела въ палаты каменныя...<br>
Наливала зелья лютаго....<br>
«Выкушай, Добрыня, Микитинъ сынъ!»<br>
—Прежде хозяина и попъ не пьетъ [137]).

А по одному изъ пересказовъ Рыбникова, она

---

[134]) Tyler, Forschungen über die Urgeschichte der Menschheit, aus dem engl. v. H. Müller, 152—153.

[135]) Точно также два змѣеныша оказываются на груди у похищенной змѣемъ матери Ѳедора Тирона—въ извѣстномъ духовномъ стихѣ.

[136]) Въ Магабгаратѣ упоминается быкъ, пометъ котораго приказано ѣсть одному брахманскому ученику: впослѣдствіи учитель объясняетъ ему, что пометъ этотъ—амрита (амброзія). Fauche, Mahabharata, I, 87.

[137]) Зап. Шейномъ; пѣсня безъ конца.

Поднесла ему чара зелена вина.
Въ той чарѣ *алыиной силы* положено.
Принимаетъ онъ чару правой рукой
Подаваетъ кобелю меделянскому:
Разрываетъ кобеля меделянскаго.
(Рыбн. I, 173).

Къ подобной повѣркѣ свойства питья или купанья иногда прибѣгаютъ и въ разнонародныхъ сказкахъ и во франкскихъ chansons de geste (на примѣръ въ Gaydon [138]). Въ одной побывальщинѣ, записанной также г. Рыбниковымъ (см. тамъ-же въ выноскѣ) зелье называется *питьемъ забыдущимъ*. По видимому, оно только примѣшалось сюда изъ сходныхъ, по основѣ, былинъ о Михайлѣ Потыкѣ. Вслѣдъ же за зельемъ въ той-же побывальщинѣ Марина *беретъ Добрыню за желты кудри и перекидываетъ его черезъ плечо*, приговаривая: гдѣ былъ Добрыня Никитичъ, *тутъ стань златорогій туръ*. Вотъ это-то и составляетъ тотъ *способъ*, къ какому прибѣгаетъ Марина въ большей части пересказовъ для погубленья Добрыни (не прибѣгая при этомъ къ какому либо другому). (Легко будетъ вспомнить, что къ такому же средству прибѣгаетъ лама въ той азіятской поэмѣ, которая, по ученью г. Стасова, служила первообразомъ былины о Потыкѣ. Превращеніе Гессеръ-Хана уже скорѣе напоминаетъ превращенье Добрыни, хотя и тутъ, разумѣется, незачѣмъ сочинять заимствованіе). Превращеніе въ звѣриный образъ, какъ извѣстно изъ миѳологіи, черта чрезвычайно распространенная, общая; это—миѳическая превращенность, миѳическое *омраченіе* лѣтнихъ благотворныхъ божествъ на зимнее время, т. е. оно вполнѣ равносильно миѳическому *сну* (или *усыпленію*), *окаменѣлости*, и т. п. Между тѣмъ въ *золотыхъ рогахъ* Добрынюшки-тура все еще сохраняется указаніе на свѣтлость его природы (Кирша. Кир. II, 57; Рыбн. II, 72) [139]. Но у Кир. II, 46 (Шенкурскъ) свѣтлые признаки уже исчезаютъ: Добрыня просто оборачивается гнѣдымъ туромъ. У Троф. Романова (Рыбн. III, п. 19) онъ обращенъ въ *оленя* рыскучаго; у Кирѣевскаго въ вып. II, на стр. 42 (Сим. Губ.)—въ *лошадь* (повидимому испорчено), и этимъ подвигомъ Марина тутъ сама похваляется на пиру у Владимира...

А въ то время добрынина сестра тутъ была:
«Оборочу тебя, Маринка, сѣрой сукою,
Станешь ты бѣгать по загуменью борзымъ кобелемъ!
Загоритесь, загоритесь, дубовыя дрова,
Разгорися, разболѣйся у Маринки ретиво сердце
По братѣ моемъ Добрынѣ Никитьевичѣ!»
Разгорѣлося, разболѣлося у Маринки ретиво сердце...
Побѣжала Маринка во зеленые луга,
Оборотила Добрынюшка молодцемъ:
«Возьми-ко, Добрыня, меня за себя» (стр. 48).

Тутъ такимъ образомъ *однѣ чары* направляются противъ *другихъ*: явленіе, отзывающееся отдаленною стариною, впрочемъ и до сихъ поръ еще сохраняющееся, мѣстами, въ народномъ знахарствѣ [140]). Такая же угроза Маринкѣ лишеніемъ и ея самой образа человѣческаго встрѣчается и во многихъ другихъ пересказахъ—нѣтъ только *привораживанья* ея къ Добрынѣ, составляющаго, можетъ быть, не болѣе какъ *вставку* въ только что разобранномъ

[138]) Les anciens poètes de la France, t. VII, p. 58—60. Тутъ юношѣ даютъ отвѣдать яблока, отравленнаго съ цѣлью погубить Карла Великаго.

[139]) Не находятся ли въ связи съ этимъ былиннымъ превращеньемъ Добрыни обрядовыя пѣсни объ оленѣ—золотые рога? Въ нихъ подъ этимъ послѣднимъ, по всей вѣроятности, слѣдуетъ разумѣть солнечное божество, а оно-же, какъ увидимъ далѣе, должно было послужить и миѳическою основой Добрыни (См. въ моемъ Оп. Ист. Обозр. Р. Слов. стр. 123).

[140]) См. въ моей книгѣ о Р. Слов. стр. 72—74, также въ дополненіяхъ стр. 11.

пересказѣ. У Кир. II, стр. 47 (Шенкурскъ) Марина, впрочемъ, отправляясь въ чистое поле для возвращенья Добрынѣ образа человѣческаго, сама оборачивается перепелочкой, садится Добрынѣ на правый рогъ и, сидя на немъ, *отвертываетъ* Добрыню. У Рыбникова въ ч. II, п. 4 (старика калики) Маринѣ грозитъ обращеніемъ въ *сороку* подгуменную—не сестра, а мать Добрыни, наряжающаяся старухою старою. Но съ особенною подробностію вся эта часть похожденія передается у Кирши Данилова. *Полгода* длится тутъ *превращенное* состояніе Добрыни—соотвѣтственно полугодовому зимне-осеннему времени (оно, конечно, не продолжительнѣе въ Кіевской Руси, гдѣ первоначально слагались былины). Была вечеринка у великаго князя и сидѣли на пиру честныя вдовы—родная и *крестная* мать Добрыни (подъ христіанскимъ званіемъ послѣдней можетъ скрываться *названая* мать)

Не отколь взялась тутъ Марина Игнатьевна,
Водйлася съ дитятами княженецкими,
*Она больно Марина упивалася,*
Голова на плечахъ не держится....

Картина—напоминающая былину Кирши о Хотенѣ Блудовичѣ, мать котораго не уступитъ въ этомъ отношеньи Маринѣ. Тотъ и другой образъ должны принадлежать одной и той же, весьма недалекой порѣ развитія. Пьянствомъ объясняется и знакомая намъ похвальба Марины:

Во стольномъ городѣ во Кіевѣ
А и нѣтъ меня хитрѣя, мудрѣя.
А и я де обернула и т. д.

Мать Добрыни, въ слезахъ, подноситъ поминальуню чашу крестной матери, а эта послѣдняя

Выпила чару зелена вина,
А Марину она по щекѣ ударила,
Сшибла она съ рѣзвыхъ ногъ,
А и топчетъ ее по *бѣлымъ* грудямъ:
«А и сука ты, еретница!
Я де тебя хитрѣя и мудренѣя:
Сижу я на пиру, не хвастаю,
А и хошь ли, я тебя сукой оберну!»...

Эта свалка двухъ женщинъ опять напоминаетъ былины о Хотенушкѣ. Столь же грубою стариной отзывается и напоминающая другія, также разобранныя былины, заключительная часть похожденія. Обернулась Марина *косаточкой* и, усѣвшись Добрынѣ на правый рогъ, спрашиваетъ:

Возмешъ-ли, Никитичъ, меня за себя?
«А право возму, ей Богу возму!
А и дамъ тѣ, Марина, поученьице
Какъ мужья женъ своихъ учатъ».
Тому она, Марина, повѣрила,
Обернула его добрымъ молодцемъ...
Сама обернулася дѣвицею:
Они въ чистомъ полѣ женилися,
Кругъ ракитова куста вѣнчалися—
(Стихи 208—218).

Тотъ же языческій вѣнчальный обрядъ, что и въ былинѣ Кирши о Дунаѣ Ивановичѣ. Но какъ тамъ, такъ и тутъ сейчасъ же оказывается и христіанское наслоеніе:

Пришли они къ Маринѣ во высокъ теремъ...
„У тебя въ высокихъ хорошихъ теремахъ
Нѣту Спасова образа....
А и чай моя острая сабля заржавѣла?

И тутъ же—звѣрская расправа съ женой, прямо напоминающая расправу съ женой же измѣнницей Ивана Годиновича:

Онъ первое ученье—ей руку отсѣкъ....
А второе ученье—ноги отсѣкъ....
А третье ученье—губы ей отрѣзалъ и съ носомъ прочь...
Четвертое ученье голову ей отсѣкъ и съ языкомъ прочь....
«Зналъ онъ дѣла еретическія». (Кир. II, 59—60).

Опускаю пояснительныя слова при другихъ поученіяхъ, совершенно сходныя со словами Ивана Годиновича... У Кир. въ в. II, стр. 43 (Симб. Губ.) уже короче: Добрыня обрѣзываетъ у Марины груди *бѣлыя* (опять *бѣлыя*, какъ и выше,—повидимому, не ошибка, а указаніе на ея основу *свѣтлую*, только помрачившуюся); губы *толстыя* (черта безобразія, соотвѣтствующая *помраченкости*):«вотъ тебѣ, Маришка, и конецъ тебѣ весь тутъ! «Удивительно, какъ г. Стасовъ не налегъ съ особенной силой именно на этотъ пересказъ Симбирской Губерніи. Для него должно быть особенно важно, что у Марины обрѣзываются тутъ *груди*, такъ какъ чрезъ это ея положенье приближается къ положенію индійскаго образца—Путаны. Вотъ заимствованное г. Стасовымъ изъ «Гариванзы» похожденье Путаны съ Кришною—отъ котораго якобы пошло наше похожденье Марины съ Добрынею.

«Еще въ первые дни младенчества Кришны, когда онъ лежалъ въ люлькѣ, ночью прилетѣла къ нему, въ видѣ птицы, Путана, кормилица царя Канзы, дочь царя Детіевъ (Асуровъ). Это было страшное чудовище: она яростно махала крыльями и производила въ воздухѣ страшный шумъ. Ея крикъ похожъ былъ на крикъ тигра. Ставъ на колесо телѣги, (служившей Кришнѣ люлькой), покуда все семейство спало, она подала Кришнѣ одну изъ грудей своихъ, откуда текъ настоящій ядъ. Ребенокъ схватилъ грудь, но въ то-же мгновенье Путана испустила глубокій вздохъ и упала на землю: у ней грудь была откушена». (В. Евр. 1868 г. стр. 646).

Отыскавъ въ Индіи подлинникъ нашей Марины, г. Стасовъ тамъ-же съумѣлъ найти и подлинникъ змѣя Горыныча. Это—демонъ-чудовищный-волъ Аришта, родной братъ Путаны, съ которымъ борется Кришна въ той-же «Гариванзѣ», но несравненно позже своего похожденья съ его сестрой. Кришна забавляется по вечерамъ съ молодыми пастушками. Вотъ въ одинъ изъ такихъ вечеровъ «вдругъ увидали, бѣжитъ въ ярости Аришта. Ужасъ напалъ на всю страну. Онъ приближается, подобный чернымъ облакамъ, повисшимъ въ воздухѣ, столь же ужасный, какъ темный геній смерти. (Все это, замѣчу, уже очень не первоначально; во всемъ этомъ уже поутратилось миѳическое сознаніе; далѣе, впрочемъ, болѣе эпической цѣльности). Рога его грязны, глаза его блестятъ, словно солнце, нога его, точно вила, взрываетъ землю,.. его хвостъ гордо изгибается, спина напряжена, щетина на горбу встала дыбомъ... весь онъ покрытъ коровьимъ пометомъ, голени у него толстыя, ротъ большой, колѣни твердыя, животъ огромный. Онъ бѣжитъ, опустивъ рога, съ повисшими внизъ щетками, и бросается на коровъ, которыхъ мучитъ своими ужасными ласками.... Тогда коровы столпились къ Кришнѣ, чтобы онъ ихъ защитилъ... Они вызываютъ другъ друга на бой, они стал-

киваются: Ариштa выбрасываетъ изъ ноздрей своихъ, со страшнымъ звукомъ, кровавую пѣну. Противники, тѣсно сплавшись, подобны облакамъ, что осенью показываются, будто скованныя вмѣстѣ. Наконецъ Кришна, одолѣвъ своего гордаго непріятеля, наступаетъ ему ногой между роговъ и давитъ ему горло точно такъ, какъ выжимаютъ мокрое бѣлье. Потомъ онъ вырываетъ у него лѣвый рогъ и имъ бьетъ его въ голову. Демонъ падаетъ и издыхаетъ. (В. Евр. 1868 г. II, 649—650).

А вотъ и уподобительный судъ г. Стасова: «эпизодъ о Змѣѣ Горынычѣ есть очень не много измѣненный эпизодъ о волѣ-демонѣ Ариштѣ. Это въ обоихъ разсказахъ созданіе свирѣпое и любострастное: по русской пѣсни это любовникъ Марины, по индѣйской поэмѣ—это родной братъ Путаны. Добрыня и Кришна одинаково одерживаютъ надъ ними побѣду. Но особенно при этомъ замѣчательно крайнее сходство мелкихъ подробностей. Добрыня приходитъ къ Маринѣ вечеромъ: тамъ происходитъ вечеринка, веселое собраніе молодыхъ женщинъ и дѣвушекъ, которыя весело заигрываютъ съ Добрыней; но тутъ онъ видитъ врага змѣя и вступаетъ съ нимъ въ бой: точно также Кришна играетъ съ цѣлой толпой молодыхъ дѣвушекъ, *вечеромъ*, посреди этихъ игръ видитъ врага Ариштy, вола-демона, и тотчасъ вступаетъ съ нимъ въ бой». (Дѣйствительно, сходство тутъ полное: сходство двухъ вечеровъ, потому что они вечера). «Во время боя Змѣй Горынычъ Добрыню, а Ариштa Кришну тщетно усиливаются спалить огнемъ (стр. 657)». Что Путана и Ариштa (кромѣ своего родства) являются совершенно разрозненными въ индійской поэмѣ, тогда какъ Марина и змѣй тѣсно связаны въ одно похожденіе связью соблазнителя съ соблазняемой, это всего менѣе затруднило г. Стасова, такъ какъ онъ порѣшилъ, что наши пѣвцы—мозаичные мастера: возьмутъ отсюда кусочекъ, оттуда кусочекъ, да и складываютъ себѣ на досугѣ, благо собственной, самобытной работы не имѣлось въ пустомъ ихъ воображеніи.

Надо замѣтить, что кромѣ индійскаго первообраза похожденья Добрыни съ Мариною, г. Стасовъ нашелъ и кое-какія «посредствующія звенья». Сюда относится въ тибетско-монгольской поэмѣ «Богда Гессеръ Ханъ» уже знакомая намъ (по сличеніямъ съ Михайломъ Потыкомъ), расправа героя со своею невѣрною женою Рогмо Гоа. Здѣсь же можно прибавить, что когда онъ рубилъ ей руки и ноги, она воскликнула «черти и бѣсы бы меня взяли!» Въ силу этого нернаго проклятія, появились тотчасъ же черти и бѣсы, сунули ея задъ въ ледъ, оторвали и бросили ея груди въ рѣку, а кишки выставили на солнце (стр. 667). Надобно, по крайней мѣрѣ, поблагодарить нашихъ *мозаичныхъ* пѣвцовъ за то, что этотъ тибетско-монгольскій «кусочекъ» показался имъ, надо думать, не совсѣмъ поэтическимъ,—и они его отбросили. Далѣе указывается у г. Стасова одна пѣсня Сагайцевъ, гдѣ богатырь рубитъ женѣ своей руки и ноги (стр. 668). На этотъ разъ было бы даже весьма пріятно считать доказаннымъ, что подобное звѣрство Добрыни было заимствовано нами изъ восточныхъ источниковъ; но увы! и въ европейскомъ средневѣковомъ эпосѣ имѣется не мало такого же звѣрства, да и въ Гриммовыхъ Rechtsalterthümer можно найти указанія на карательное отсѣченіе членовъ: носовъ, губъ, рукъ, ногъ, языковъ (стр. 704—707-я 2-го изд.). И въ нашихъ былинахъ

подобное звѣрство должно быть остаткомъ той грубой патріархальной поры, черезъ которую проходили рѣшительно всѣ народы. Быть можетъ, однако же, что на сохраненіе подобнаго звѣрства въ нѣкоторыхъ былинахъ, при замѣтномъ смягченіи нашего былевого эпоса вообще, имѣли вліяніе заходившіе къ намъ отъ Монголовъ расказы, подобно тому какъ вліяніе грубыхъ монгольскихъ нравовъ производило у насъ и въ самомъ быту, въ самой жизни, обратное впаденіе въ грубость. Вотъ въ какомъ смыслѣ, и только въ такомъ, можетъ быть допускаемо вліяніе на нашъ народный эпосъ монгольскаго. Идя далѣе, г. Стасовъ невольно натягиваетъ.

Между тѣмъ тотъ же писатель, мимоходомъ, въ выноскѣ, проводитъ одно сопоставленіе, дѣйствительно совершенно вѣрное. «Кришна-младенецъ, еще въ люлькѣ умертвившій подкравшуюся къ нему Путану-чудовище,—это Геркулесъ младенецъ, еще въ люлькѣ задушившій подползшихъ къ нему двухъ змѣй. Кришна, убивающій свирѣпаго вола Ариштy, это—Геркулесъ, убивающій свирѣпаго Минотавра.»—(стр. 668). Сопоставленіе проводится далѣе—по отдѣльнымъ похожденіямъ Кришны и Геркулеса, и проводится такъ же точно вѣрно, потому что въ обоихъ лицахъ дѣйствительно одна и таже *миѳическая основа*. Но становясь на точку зрѣнія г. Стасова, я бы спросилъ у нашего ученаго: кто у кого тутъ заимствовалъ, грекъ у индійца, или индіецъ у грека? Если же заимствовать свойственно только русскому, то почему же непремѣнно у какого нибудь индійца (черезъ монгола), а не у грека—изъ первыхъ рукъ (при нашихъ сношеніяхъ съ Византіей)?

Но возвратимся къ маринкиной казни. У Рыбн. въ ч. I, п. 28 (Мих. Богданова) Добрыня просто отсѣкаетъ ей буйную голову. Но пересказъ этотъ и вообще отличается сокращенностью. Въ двухъ пересказахъ, какъ уже видѣли мы, просто позабытъ конецъ (Кир. II, 43—44, 48—49). Въ трехъ другихъ онъ имѣется, но уже смягченъ. У Кир. въ вып. II, стр. 48 (Шенкурскъ) былина кончается тѣмъ, что сестра Добрыни обертываетъ Марину сукою долгохвостою. Сходно у Рыбн. въ ч. III, п. 19 (Троф. Романова), гдѣ *баба задворенка*, *отвернувшая* Добрыню, спрашиваетъ его, возьметъ ли онъ Маринку за себя замужъ, и узнавъ, что Добрынѣ она не надобна, *обвертываетъ* злодѣйку собакою. А у Рыбн. въ ч. II, п. 4 (старика калики) Маринка-*стравница* только *перепалася* старухи старыя (добрыниной матушки) и, подъ вліяніемъ страха, отыскиваетъ ей и Добрыню-тура, и десять другихъ туровъ, его товарищей.

Сущность всѣхъ разобранныхъ пересказовъ, какъ не трудно замѣтить, заключается въ томъ, что Марина (подобно Марьѣ-Лебеди, женѣ Потыка и Ивана Годиновича)—существо *омрачившееся*, передавшееся змѣю—противнику богатыря. Совершенно особнякомъ стоитъ отрывокъ, записанный въ Петрозаводскѣ Е. В. Барсовымъ отъ крестьянина Щеголенкова, и пока еще не напечатанный. Тутъ страннымъ образомъ *шестиголовый змѣй* является *сватомъ* Добрыни Никитича. Испугавшись богатыря, онъ проситъ его не топтать *хоботовъ змѣиныихъ*:

«Я достану тебѣ дѣвицу прекрасную
Отъ короля великаго—отъ синя моря:
Очи у ней ясна солнышка,
На головѣ въ волосахъ звѣзды частыя.

Добрыня послѣ этого уѣхалъ отъ змѣя въ поле и *увеселилось у него сердце богатырское.* Прошло тому времени сутки, пріѣзжаетъ Добрыня къ рѣкѣ и видитъ—стоитъ дѣвица,—такая, какъ описывалъ змѣй. Вотъ и везетъ онъ ее съ собою въ Кіевъ, спрашивая: идетъ ли она за него во супружество?—«Воля есть да вашая»—подобострастно отвѣчаетъ невѣста, и «начинаетъ тутъ Добрыня дѣло дѣлати...» На этомъ пѣсня и обрывается, такъ что мы лишены возможности судить о дальнѣйшихъ отношеньяхъ къ Добрынѣ добытой ему змѣемъ суженой.

Отъ этого загадочнаго змѣя-свата возвращаясь опять къ супротивнику-змѣю Горынчищу, замѣчу, что съ этимъ послѣднимъ Добрынѣ приходится имѣть дѣло и въ другихъ былинахъ. Между всѣми богатырями былинъ его по преимуществу можно назвать *змѣеборцемъ.* И другая схватка Добрыни со змѣемъ происходитъ еще совершенно въ сторонѣ отъ Ильи Муромца, но въ повѣствованіи объ ней уже начинаетъ обрисовываться тотъ очеловѣченный обликъ богатыря, благодаря которому онъ и могъ сдѣлаться съ теченіемъ времени главнымъ сподвижникомъ Ильи Муромца. Схватка Добрыни со змѣемъ передается главнымъ образомъ въ трехъ пересказахъ: Кирши Данилова (Кир. II, 49 — 53) и двухъ, записанныхъ въ Олонецкой Губерніи (одинъ и тотъ же—у Кир. II, 23—28 и у Рыбн. I, 122—129; другой у Рыбн. III, п. 15 (60—69) зап. отъ Бутылки—впрочемъ во многомъ сходный съ предъидущимъ). Есть еще два-три пересказа неполныхъ и смѣшанныхъ съ другими похожденіями. Собственно только у Кирши схватка со змѣемъ составляетъ совершенно отдѣльное похожденіе (ему предшествуетъ тутъ одно краткое описаніе дѣтства Добрыни). Въ пересказахъ Олонецкой Губерніи оно уже сведено въ одно съ другимъ похожденіемъ. Кромѣ своей обособленности, пересказъ Кирши отличается и другими признаками *старины.* Добрыня отправляется тутъ на гулянье молодецкое двѣнадцати лѣтъ—возрастъ первыхъ подвиговъ Вольги Святославговича и, какъ мы уже знаемъ, многихъ богатырей у разныхъ народовъ (см. выше стр. 67). Но гулянье тутъ—не по Кіеву, а на рѣку, величаемую то *Израемъ,* то *Сафатомъ* (въ послѣдней, конечно, уже слышенъ источникъ книжный). (Въ одной рыбниковской былинѣ, гдѣ описывается также первый выѣздъ Добрыни, но гдѣ за нимъ слѣдуетъ похожденье совершенно иное, замѣшавшееся изъ былинъ объ Ильѣ Муромцѣ—перескакиваніе закопаней—возрастъ его въ это время—15 лѣтъ). Далѣе Добрыня садится тутъ на коня самолета.

Садясь его видѣли, а ѣдучи не видѣли.
Отъ того поѣзду богатырскаго
Звѣря по лѣсу разбѣжалися,
Птицы по горамъ разлеталися...

Совершенно какъ при рожденьи Вольги.—У Кирши же Данилова вслѣдъ за тѣмъ Добрыня отправляется не одинъ, а со своею *дружиною хороброю* — опять сходство съ Вольгою — княземъ-дружинникомъ, и несходство съ только что нами разобраннымъ рядомъ былинъ о Добрынѣ. Тамъ, подъ вліяніемъ памяти о служебномъ положеніи родни Владиміра съ материной стороны, и Добрынѣ приписано положенье служебное. Здѣсь же его родство съ Влади-

міромъ, стольнымъ княземъ кіевскимъ, надѣляетъ и его самого дружиной служилою [141]) которой онъ говоритъ, собираясь купаться:

«А и гой еси вы, молодцы удалые!
*Не мнѣ вода грѣть*, не тѣшити ее.»

Но вмѣсто того, чтобы проложить, такъ сказать, дорогу въ воду Добрынѣ,—

Никто молодцы не смѣетъ, никто нейдетъ,
А молодой Добрынюшка Никитичъ младъ...

Зная смѣлость сынка, матушка, когда онъ у нея просился на рѣку, ему наказывала:

Израй рѣка быстрая,
А быстрая она, сердитая:
Не плавай, Добрыня, за перву струю,
Не плавай ты, Никитичъ, за другу струю.

Послѣдній стихъ не имѣетъ смысла—само собой разумѣется, что если нельзя за первую, то тѣмъ болѣе нельзя за вторую. Лучше, толковѣе сохранились слова матери въ пересказѣ, гдѣ съ другой стороны многаго нѣтъ, многое сбито и все похожденье неловкимъ образомъ вдвинуто промежъ другихъ— Р. II, п. 6 (старика калики); тутъ—вотъ какимъ образомъ:

И за быстру плови, и за другую плови,
Не плови ты, дитя, за третью. (Стр. 16)

Въ пересказѣ же кирѣевско-рыбниковскомъ (бутеневской): [142]).

*Середня* струйка какъ огонь сѣчетъ.

(Такъ оно и въ рыбниковскомъ ч. III, п. 19—Трофима Романова),

«Добрыня-то *матушки не слушался*,»—такъ же точно, какъ при похожденіи своемъ съ Мариною—и также точно наказанъ за непослушанье свое и за то, что «надъ собой онъ Добрыня невзгоды не вѣдаетъ». Этотъ беззавѣтный нравъ юноши совершенно одинаковымъ образомъ проведенъ и чрезъ былины о *томъ* похожденьи его, и чрезъ былины, теперь разбираемыя:

А поплылъ Добрынюшка за первую струю,
Захотѣлось молодцу и въ другую струю;
А двѣ-то струи самъ переплылъ,
А *третья* струя подхватила молодца [143]).
Унесла во *пещеры* бѣлокаменны.
Ни отколь взялся тутъ лютой звѣрь,
*Налетѣлъ* на Добрынюшку Никитича.
(Кирша. Кир. II, стр. 50—51).

Далѣе про то-же чудовище говорится:

Налетѣлъ на его *змѣй Горынчище*,
Хочетъ Добрыню *огнемъ спалить*!...

---

[141]) Но у Рыбн. въ ч. I, п. 23-й (Козьмы Романова) у Добрыни только одинъ малый паробия, который предупреждаетъ его о приближеніи змѣя.

[142]) Помѣщенъ у Кирѣевскаго въ вып. 2 на стр. 23—40 у Рыбникова въ ч. 1, № 24.

[143]) Этимъ потверждается вѣрность выраженій матушкина наказаньица въ другомъ пересказѣ (Р. II,6). Надо замѣтить, что у Рыбн. ч. въ 1, п. 23 (Козьмы Романова) мѣсто матушкина наказаньица занимаетъ предостереженье какихъ-то дѣвицъ, моющихъ бѣлье во Пучай рѣкѣ, что въ ней не купаются нагимъ тѣломъ. Такъ и въ той ненапечатанной былинѣ Щеголенкова, гдѣ змѣй доставляетъ невѣсту Добрынѣ. Но это только зашло сюда изъ былинъ о Василіѣ Буслаевѣ—какъ увидимъ мы ниже. (см. Кир. V, стр. 30; Рыбн. 1, стр. 361).

Ясно, что это тотъ же врагъ, котораго видѣли мы въ былинахъ о Маринѣ Игнатьевнѣ, съ тѣми же огненными своими признаками. Но здѣсь къ нимъ присоединяется еще способность *летать*—подъ водой, и мѣсто жительства въ подводной *пещерѣ*. Эта послѣдняя миѳически приравнивается той же *горѣ*, на которую указываетъ отчество змѣя: пещера, гора и самъ змѣй—все это только различные миѳы одного и того же—тучи, обитающей средь небесныхъ водъ и летающей по небеснымъ водамъ. Но къ этому миѳическому чудовищу Добрыня обращается вдругъ съ упрекомъ, указывающимъ на значительно развитыя нравственныя понятія:

Не честь хвала молодецкая,
На нагое тѣло напущаешься....

Вспомнимъ совершенно соотвѣтственное этому обращеніе Видги къ Гильдебранду въ Тидрекъ-загѣ. (См. выше стр. 74) И подобному требованію пощады къ обезоруженному приписывается въ нашей былинѣ такая сила, что самъ Горынчище ему покоряется,—пролетаетъ мимо. Это уже не та, насильствомъ полнящаяся и на немъ одномъ основанная среда, въ какой вращаются Дунай, Хотенъ, Иванъ Годиновичъ, а отчасти и Михайло Потыкъ. Только видя, что Добрыня, добравшись до берега, нагребъ шляпу песку желтаго, Горынчище снова на него налетаетъ,—но Добрыня ему порошитъ глаза и ушибаетъ два хобота, а наконецъ, схвативъ дубину, убиваетъ его и до смерти. Затѣмъ—расправа со *гнѣздомъ* змѣя, какъ оно тутъ названо—въ иносказательномъ ли значеніи, или потому, что пѣвцу припомнилось обиталище другого чудовища—Соловья. Какъ у послѣдняго, у Горынчища оказываются малыя дѣтушки—должно быть такое же присочиненіе—и Добрыня всѣхъ ихъ прибилъ, *пополамъ перервалъ* (древній миѳическій способъ убіенія, какъ мы знаемъ). Подлинною, первоначальною чертою должно быть далѣе то, что, какъ Илья въ гнѣздѣ соловьиномъ и у королевичны чародѣйки, такъ и Добрыня у змѣя Горынчища нашелъ много злата и серебра. Но Добрыня не оказался безсребреннымъ, какъ Илья въ столь многочисленныхъ пересказахъ: онъ собралъ золото, но, сверхъ того, взялъ у змѣища свою *любимую тетушку Марью Дивовну*. Дома ждетъ его радостная встрѣча у князя Владиміра, къ которому было отправилась горе дѣлить добрынина матушка. Уже мягкія, человѣческія отношенья и чувства замѣтны въ томъ, какъ Владиміръ скочилъ на рѣзвы ноги при входѣ Добрыни и цѣловалъ его, а Добрыня до поры до времени *спряталъ свою тетушку*.—Эту послѣднюю г. Безсоновъ считаетъ тождественною съ Мариною (Зам. къ IV вып. Кир., CLXXX, и Указ., 109): мнѣніе, не лишенное вѣроятности, если вспомнить, что женственныя свѣтлыя существа, обрѣтающіяся въ плѣну у темныхъ мужескихъ, по сказкамъ и пѣснямъ различныхъ народовъ, очень часто охотно отдаются этой силѣ *плѣняющей* (поясненіемъ можетъ служить и *двоякое* значеніе этого послѣдняго слова). Вышеприведенная былина Щеголенкова, гдѣ змѣй доставляетъ Добрынѣ *невѣсту*, (сперва, вѣроятно, плѣненную змѣемъ) можетъ до извѣстной степени подкрѣпить догадку г. Безсонова. Если же въ пересказѣ Кирши она Добрынѣ *близкая родственница*, то въ этомъ нельзя

еще видѣть противорѣчія, при обычности на миѳической почвѣ *кровосмѣшенія*. Самое отчество—*Дивовна*—указываетъ на *Дива*,—существо, имѣющее значеніе темное въ миѳахъ Славянъ (см. у Вука пѣсню *Дивски Старјешина*, которому охотно отдается мать добра молодца.) [144]) *Марья Дивовна* представляется существомъ страдательнымъ; столько же безгласное лицо и безыменная невѣста Добрыни въ былинѣ Щеголенкова; подъ именемъ же *Марины* она начинаетъ и дѣйствовать въ пользу *плѣнителя* своего Горыныча, съ которымъ могла *сжиться*, *свыкнуться* въ подводныхъ его пещерахъ и оттуда даже неохотно послѣдовать за Добрыней. Въ двухъ другихъ пересказахъ того же сказанія—Добрыня бьется со змѣемъ даже двоекратно. Обратимся къ этимъ пересказамъ. Р. I, № 24; III, № 15).

Оба вполнѣ согласны между собою уже въ томъ, что мать Добрыни въ самомъ началѣ плачется передъ нимъ, зачѣмъ это онъ *молодъ* началъ ѣздить во чисто поле—топтать молодыхъ зміенышей, *выручать полоновъ русскіихъ*.

Этимъ указывается уже на *общественное* служеніе Добрыни; онъ является спасителемъ не одной своей *родственницы* (невѣсты), но и всякихъ плѣнниковъ, русскихъ людей вообще.—Далѣе же, какъ у Кирши: совѣтъ матери не плыть далеко, непослушаніе Добрыни и послѣдствія непослушанія. Миѳическими чертами отличается описаніе приближающагося змѣя:

Вѣтра нѣтъ, *тучу надневло*,
Тучи нѣтъ, а только *дожжь дожжитъ*,
Дождя-то нѣтъ, *искры сыпятся*, [145])
Летитъ Змѣище-Горынчище
О двѣнадцати змія о хоботахъ.
Хочетъ змія его съ конемъ *сожечь*...
«Захочу, Добрыню теперь *потоплю*,
Захочу, Добрыню въ *хоботы возьму*....
Захочу, Добрыню *съѣмъ-сожру*.
(Рыбн. I, стр. 123).

Но Добрынюшка *колпакомъ* своимъ (*шляпою земли греческой*—принадлежностью наряда каличьяго, подъ которымъ скрываются наши богатыри), при помощи насыпаннаго туда песку, ошибаетъ змѣю всѣ двѣнадцать хоботовъ (ср. въ сказкахъ двѣнадцать головъ змѣя);—упала змѣя во *ковыль траву*—(замѣчательное сохраненіе этой особенности южно-русскихъ степей въ пересказѣ олонецкаго края!) [146])

Добрынюшка на ножку былъ повертокъ,
Скочилъ на зміиныны груди *бѣлыя*—

очевидно, ошибкою, вмѣсто—*черныя*.

А змія Добрынѣ ему взмолится:
Мы положимъ заповѣдь великую,
Чтобы не летать мнѣ на святую Русь,
Не носить людей больше русскіихъ...
А тебѣ не ѣздить далече во чисто поле
Не топтать ти младыхъ зміенышей.

---

[144]) Вука Српске Народне Пјесме II, стр. 26. О переходѣ у Славянъ корня див изъ свѣтлаго значенія въ темное см. у Гильфердинга въ статьѣ: Древнѣйшій періодъ исторіи Славянъ. (В. Европы 1868 г. Іюль).

[145]) Только у Рыбн. III, 15 (отъ Бутылки) тутъ небольшая вставка:

Дождь идетъ, свищетъ молвія,
Молвія идетъ, искры сыпятся.

[146]) Въ томъ же родѣ замѣчательна Ока-рѣка въ заговорахъ Архангельской и Новогородской Губ. (см. «Заклинанія» г. Майкова, стр. 95), чѣмъ, разумѣется, въ свою очередь указывается на то, что эти заговори только перешли въ тотъ край, гдѣ записаны, изъ краевъ, прилежащихъ къ Окѣ.

Въ самой возможности такой *заповѣди*, очевидно, заключается опять указаніе на порядокъ вещей уже высшій, не чуждый обязательствъ и отношеній общественныхъ....Но Горынчище только *прикидывается*, что уважаетъ ихъ:

Тая змія она проклятая
Поднялась она вверхъ *подъ облаку*,
Случилось ей летѣть черезъ Кіевъ градъ
Увидала она князеву племянницу....
Унесла во *нору во глубокую*.
(Рыбн. I, стр. 124).

Здѣсь она изъ сестры дѣлается племянницею, какъ и самъ Добрыня племянникомъ сталъ изъ дяди. «Владиміръ князь по три дни онъ *билицъ*-волшебницъ скликивалъ»—замѣчательное указаніе на чародѣяніе съ благою цѣлью, направленное противъ волшебной силы. Не могъ онъ билицъ докликатися, тогда говоритъ Алеша Леонтьевичъ (новое лицо между кіевскими богатырями, къ которому вскорѣ придется намъ перейти), Алеша говоритъ, чтобы *накинули* на Добрыню *службу* достать *Забаву Путятичну*—подъ этимъ новымъ именемъ является тутъ похищенная.—Алеша знаетъ про заповѣдь, положенную между Добрыней и змѣемъ: указанье на связи, на сношенія, уже существующія между отдѣльными кіевскими богатырями. Но служба, накинутая на Добрыню, его опечаливаетъ—и тутъ, можетъ быть, одна изъ начальныхъ причинъ той вражды, въ какой мы увидимъ его съ *совѣтчикомъ* въ этомъ дѣлѣ—Алешею. (По крайней мѣрѣ нѣкоторый поводъ къ подобному предположенію можетъ подать то, что подобнаго рода причина оказывается во франкскомъ эпосѣ вполнѣ достаточною для возбужденія страшной ненависти Ганелона къ Роланду, ненависти, слѣдствіемъ которой и была гибель знаменитаго паладина). Тутъ же и первые проблески того утомленія отъ богатырства, того совершенія подвиговъ нехотя, только по долгу, дальнѣйшее развитіе котораго въ Добрынюшкѣ мы еще увидимъ въ другихъ былинахъ. Обсѣдлалъ онъ коня *дѣдушкова*—(ежели это не вставка, то тутъ можетъ быть указаніе на какое-то уже неизвѣстное намъ существо), матушка провожаетъ его и даетъ совѣтъ—бить коня промежъ заднихъ ногъ, чтобы онъ лучше прискакивалъ и притоптывалъ всѣхъ змѣенышей. На этотъ разъ слушаясь матушки, Добрыня удачно изводитъ ихъ. На упрекъ змѣи въ нарушеніи заповѣди, онъ самъ ее попрекаетъ тѣмъ-же и требуетъ отдачи безъ боя княжевой племянницы;—змѣя не согласна.

Дрался со змѣей онъ *трои сутки*,
Онъ убилъ змѣю-то проклятую, [147])
Спустился во нору во глубокую.
Много тамъ сидитъ царей-царевичевъ,
Много королей-королевичевъ
Простой-то силы и смѣты нѣтъ....
Говоритъ онъ княжевой племянницѣ:
*За тебя я этакъ странствую*!
Поѣдемъ ко граду ко Кіеву,—
*А вамъ всѣмъ, господа, воля вольная*!

Въ попрекѣ племянницѣ княжеской имѣется, можетъ быть, и намекъ на дѣйствительную ея виновность—на добровольный побѣгъ со змѣемъ. [148]) Съ дру-

[147]) Въ одной изъ былинъ Рыбникова, гдѣ слиты различныя похожденія и гдѣ змѣй является уже подъ позднѣйшимъ видомъ Невѣжина, уцѣлѣло слѣдующее подробное и, по всей вѣроятности, древнее описаніе казни, совершенной надъ нимъ Добрынею:

И тутъ Невѣжу онъ разсѣкъ-разрубилъ,
Разрубилъ-разсѣкъ на мелки части,
И огня-то расклалъ, на огнѣ его сожегъ. (Р. II, стр. 17, стараго изданія).

[148]) Стоитъ вспомнить при этомъ болгарскую пѣсню, гдѣ сама уносимая змѣемъ дѣвица говоритъ, что она вjерна льуба змаjа огньенога (Милад. стр. 467).



гой же стороны эта воля, данная *полонамъ*—уже не только русскимъ, но и королямъ королевичамъ, подъ которыми въ былинахъ разумѣются *чуждые* государи,—это еще ступенью выше поднимаетъ Добрыню, придаетъ его богатырству освободительное значеніе *общенародное* (такъ же точно дѣйствуетъ въ нѣкоторыхъ сказкахъ и Иванъ Царевичъ, идущій, между прочимъ, спасать какое-то царство, въ которомъ вымеръ весь народъ).

Изо всего этого, кажется, должно быть ясно, что общій строй двухъ пересказовъ олонецкихъ ступенью выше, позднѣе строя былины Кирши Данилова. Тамъ значенье Добрыни—если уже и значительно очеловѣченное, то все еще вращающееся въ *семейномъ* кругу; здѣсь, какъ мы видѣли, оно уже переносится въ среду *общественную*. Тѣмъ болѣе возможнымъ становится короткое даже сближеніе Добрыни съ Ильею.

Впрочемъ въ пересказѣ III ч. Рыбникова, п. 15, при всей основной его одинаковости съ пересказомъ кирѣевско-рыбниковскимъ, обособляется ярко одна черта, возвращающая насъ назадъ къ миѳическому значенью Добрыни. Тщетно пробившись съ змѣею три дни, онъ бьется съ нею еще три часа:

> Тая змѣя *кровью пошла.*
> Стоялъ у змѣи онъ трои сутки,
> Не могъ онъ крови той переждать....

Беретъ Добрыня копье бурзамецкое, бьетъ копьемъ о сыру землю, самъ къ копью приговариваетъ:

> Разступись-ко, матушка сыра земля,
> На четыре разступися на четверти,
> Пожри-ко всю кровь змѣиную!...

Земля слушается, и кровь изчезаетъ. — Такая опасность утонуть въ крови змѣя миѳически вполнѣ соотвѣтствуетъ опасности утонуть въ рѣкѣ, которая угрожаетъ Добрынѣ-же въ былинѣ о встрѣчѣ его съ рѣкой Самородиной. (Кир. II, 61—65) Какъ эта послѣдняя миѳически объяснена была выше дождемъ, такъ дождемъ-же оказывается въ миѳологіи и кровь змѣи-тучи. [149]) Но замѣчательно, что въ упомянутомъ рыбниковскомъ пересказѣ совѣтъ, какъ раздѣлаться со змѣею и ея кровью, дается Добрынѣ двоекратно повторяющимся *гласомъ съ небесъ*. При совершенномъ сходствѣ этого послѣдняго съ преданіями о христіанскихъ святыхъ, тутъ нельзя уже не видѣть извѣстной доли охристіанствованія. И оно тутъ вполнѣ понятно, если обратить вниманіе на сходство, оказывающееся между этимъ утопаньемъ Добрыни въ крови и такимъ же точно утопаньемъ въ *духовныхъ стихахъ* двухъ святыхъ змѣеборцевъ: Егорія Храбраго и Ѳедора Тирона. Оба они и какъ змѣеборцы вообще оказываются выросшими на одной миѳической почвѣ съ Добрынею. Ѳедоръ Тиронъ даже въ такихъ же точно молодыхъ лѣтахъ, какъ онъ, изба-

[149]) Замѣчу, что въ одномъ мѣстѣ Магабгараты головы змѣй являются вмѣстилищемъ водъ, при помощи которыхъ эти змѣи и стараются залить пожаръ (Fauche, Mahabhârâta, II, p. 276—277.



ляетъ изъ плѣна—только не тетушку, а матушку [150]). Что̀ касается Егорія храбраго, то ежели онъ и не до такой степени молодъ (вслѣдствіе зашедшаго изъ христіанскихъ легендъ обстоятельства—что побѣда надъ змѣемъ есть уже его чудо посмертное), то самый подвигъ его—спасенье царевны отъ змѣища многоголоваго—ничѣмъ не разнится отъ добрынина подвига (или отъ подвига германскаго Зигфрида, тоже освобождающаго отъ змѣя Брюнгильду въ Lied vom hürnenen Siegfried). Если Егорій представляется сверхъ того поборающимъ и цѣлое стадо змѣй,—то вѣдь и Добрыню уже видѣли мы притоптывающимъ цѣлыя кучи змѣенышей. Но имѣются наконецъ у Кирѣевскаго и такія пѣсни, въ которыхъ встрѣча Добрыни съ цѣлымъ столпленіемъ различныхъ звѣрей совершенно походитъ на подобныя встрѣчи Егорія Храбраго:

Пробѣжало тутъ *стадечко звѣринов*,
Что звѣриное стадечко сѣрыхъ волковъ
Напередъ бѣжитъ собака лютый Скименъ звѣрь
То на Скименѣ шёрсточка булатная
Что у Скимена уши, что востро копье
(Кир. II,1, (Новгор.)

Выбѣгало тутъ стадечко звѣриное,
Что звѣриное стадечко—змѣиное,
Напередъ-то выбѣжалъ Скиперъ-звѣрь...
Круты роги и копытечки булатные
(Кир. II,12, Тульск губ.

Стоитъ только посмотрѣть на соотвѣтствующія мѣста въ духовныхъ стихахъ о Егоріѣ Храбромъ (у Безсонова, Калики, вып. I), и убѣдишься, что тамъ почти совершенно то-же. Что̀ касается г. Стасова, то, не говоря о Егорьѣ, онъ подъискалъ, по своему обыкновенію, индійскій подлинникъ къ Скимену-звѣрю. Скименъ—это царь Канза, своего рода индійскій Иродъ, ищущій погибели младенца Кришны. Ему было предсказано объ этомъ младенцѣ, что когда-то онъ сядетъ на его престолъ. (Это индійскій видъ извѣстной персидской исторіи объ Астіагѣ и Кирѣ, исторіи, имѣющейся у разныхъ народовъ и въ многоразличныхъ видахъ уцѣлѣвшей и въ общенародныхъ сказкахъ). Узнавъ о рожденіи Кришны, Канза прибѣгаетъ со своей свирѣпой стражей, грознымъ голосомъ требуетъ новорожденнаго младенца, и, схвативъ его за ногу, разшибаетъ ему голову о полъ (старый, весьма распространенный пріемъ эпическій, попадающійся и въ нашихъ былинахъ). Но ребенокъ былъ заранѣе подмѣненъ дѣвочкой, которая однако-же не погибла отъ удара объ полъ, а, превратившись въ божественную дѣву, поднялась на небо [151]) и пропророчила Канзѣ погибель (В. Е. II, 645). Уже знакомая намъ Путана является кормилицей этого самаго Канзы: видно ея ядовитое молоко пошло ему въ прокъ—такъ какъ онъ царь демоновъ. И волъ Ариштa оказывается помощникомъ Канзы. Позже Канза употребляетъ еще и другія средства для убіенія Кришны;—но со всего этого уже не списанъ нашъ Скименъ звѣрь. Онъ списанъ, по мнѣнію г. Стасова, съ Канзы собственно въ мигъ прибѣга послѣдняго за новорожденнымъ Кришною. «При этомъ, замѣчаетъ г. Стасовъ, факты и явленія, неимѣющіе въ русскомъ текстѣ ни причины, ни послѣдствій,

---

[150]) Мы уже замѣтили выше, что она даже представляется сидящею со змѣемъ и змѣенышами, какъ Марина въ одномъ изъ пересказовъ Кирѣевскаго.

[151]) Не мѣшаетъ вспомнить при этомъ наши духовные стихи о женѣ Аллилуйевой, также [illegible] пожертвовавшей своимъ ребенкомъ. Тутъ долженъ скрываться какой нибудь народный миѳъ, притаившійся подъ наслоеніемъ христіанскимъ.



вполнѣ ясны, понятны и послѣдовательны въ индѣйскомъ текстѣ.... Появленіе звѣря Скимена и его дикаго стада не имѣетъ у насъ никакого значенія.... Въ индѣйскомъ первообразѣ появленіе Канзы въ эту минуту есть только начало будущихъ враждебныхъ дѣйствій этого царя противъ Кришны» (стр. 655). Я совершенно соглашенъ съ тѣмъ, что Скименъ-звѣрь уже не имѣетъ яснаго смысла въ нашихъ былинахъ, подобно тому, какъ и многое уже въ нихъ утратило смыслъ, видоизмѣняясь въ устахъ народа, утрачивая многія, когда-то миѳически-существенныя черты, позже становившіяся вполнѣ непонятными самому народу и потому мало по малу выбрасывавшіяся. Змѣиное стадо, роднящее, какъ уже сказано, Добрыню съ Егорьемъ, какъ-то болѣе у мѣста въ духовномъ стихѣ о Егоріѣ, потому что миѳическій образъ лучше сохранился въ этомъ послѣднемъ, чѣмъ въ богатырѣ Добрынѣ.

Существенная особенность въ томъ, что въ былинахъ мѣстомъ дѣйствія служитъ Нѣпра рѣка, и что чудовищамъ приписывается тутъ вліяніе на природу, напоминающее Соловья Разбойника.

Отъ его было отъ крику отъ звѣринаго
Что быстрая рѣка мать взволновалася,
Отъ его было отъ свисту отъ соловьяго
Что темны лѣса къ сырой землѣ склонилася...

Впрочемъ, въ этой отрывочной пѣснѣ, ни мѣсто дѣйствія, ни богатырь-побѣдитель не названы; но сходно, только немного короче, передается это и въ другихъ пересказахъ, гдѣ поименованы *Добрыня* и *Нѣпра* рѣка.—По двумъ пересказамъ стадо приходитъ въ движеніе, дѣйствіе котораго отзывается вредно на всей природѣ,—въ самое то мгновеніе

Какъ народился на святой Руси на богатой
Молодёшенекъ Добрыня сынъ Никитьевичъ (Кир. II, стр. 2).

Точно также болѣзненно чуетъ рожденіе будущаго своего побѣдителя и левъ звѣрь со стадомъ своимъ въ пересказѣ онежскомъ:

Крыцялъ лёвъ звѣрь по звѣриному
Поссыпались тутъ круты—красны берёжоцьки,
Ступиласе мать Нѣпра рѣка:
Аслышали рожденьицё Добрынино...

Подобное же потрясающее дѣйствіе производитъ по нѣкоторымъ пересказамъ рожденіе Егорія Храбраго. Миѳическое тождество скрывающагося подъ нимъ божества съ тѣмъ, которое скрывается подъ Добрыней, послѣ всего этого, кажется, ясно. Скрывается же подъ Егорьемъ, какъ видно изъ народнаго егорьевскаго праздника съ его обрядами, и изъ значенія, получаемаго Егоріемъ въ заговорахъ,—скрывается подъ нимъ божество солнечное [152]). Тоже самое божество приходится видѣть и въ Добрынѣ Никитичѣ. Миѳическая основа у него, такимъ образомъ, совершенно иная, чѣмъ у Ильи Муромца; но она оказывается одною и тою же у Добрыни и у князя Владиміра. Въ этомъ и миѳическое основаніе для самаго ихъ родства. Одно и тоже существо, какъ оно и часто встрѣчается въ миѳологіи, распалось на два совершенно

[152]) См. въ моемъ Истор. Обозр. Р. Слов. Стр. 53, 314—317.

различныхъ лица. Недѣятельная, страдательная сторона солнца, т. е. представленіе его ровно, невозмутимо совершающимъ свое теченье и какъ бы предоставляющимъ оборону себя отъ тучъ—,разсѣкающему ихъ мечу громовержца Ильи—это осуществлено въ лицѣ Владиміра. Сторона же солнца дѣятельная, воинственная, т. е. представленье его ведущимъ постоянную борьбу съ тьмою, каждодневно торжествующимъ надъ ней по утрамъ, каждогодно же торжествующимъ надъ зимой, мечами своихъ лучей разбивающимъ ея оковы, избавляющимъ плѣненную ею землю,—это олицетворилось въ Добрынѣ-Егорьѣ. Доказательствомъ солнечнаго значенья Добрыни могутъ служить и тѣ сличенія его съ индійскимъ Кришною (однимъ изъ воплощеній солнечнаго бога Вишну), какія представляетъ г. Стасовъ. У Добрыни и Кришны (кромѣ похожденья послѣдняго съ Путаной и кое чего другого) дѣйствительно много общаго, но общаго, объясняемаго доисторическимъ арійскимъ сродствомъ, а никакъ не заимствованіемъ. Г. Стасовъ, между прочимъ, налегаетъ на тѣ знаменія въ природѣ, какими сопровождается рожденіе Кришны, уподобляя ихъ той чудесной обстановкѣ рожденья Добрыни, которую выше отмѣтили мы по нѣкоторымъ пересказамъ. Но точно такое же чудесное дѣйствіе на природу оказываетъ, какъ мы знаемъ, и рожденье Вольги, и рожденіе Гельги въ «Старой Эддѣ» и т. д. [153]) Но неужели и скандинавскаго Гельги рѣшится г. Стасовъ производить, по пути заимствованія, отъ индійскаго Кришны?—Это было бы уже черезъ чуръ мудрено, при отдаленной древности пѣсень, вошедшихъ въ Эдду, самое составленье которой, какъ цѣлаго, относится уже къ XII в., т. е. такой порѣ, когда Монголы, эти передатчики Европѣ плодовъ индійскаго творчества, еще и не думали о своемъ просвѣтительномъ нашествіи на Россію.—Необъяснимое заимствованіемъ, сходство рожденія Гельги съ рожденіемъ Кришны легко объясняется арійскимъ доисторическомъ единствомъ эпическихъ чертъ и миѳовъ. Этимъ же легче всего объяснять и всякое сходство Кришны съ Вольгою или Добрыней. Сходство съ послѣднимъ особенно велико въ похожденіи Кришны со змѣемъ. Кришна приходитъ однажды на берега озера, отравленнаго гнѣздящимися въ немъ змѣями: «ни одно животное не можетъ тамъ напиться и благочестивые люди не приходятъ туда совершать предписанное закономъ тройное омовеніе. Жители воздуха избѣгаютъ его сосѣдства; воды озера, разливаясь по травѣ, сожигаютъ ее, и пустыня лежитъ далеко вокругъ: такова страшная, пожирающая сила яда въ этихъ волнахъ». Увидавъ это озеро, Кришна понялъ, что оно есть жилище чернаго Каліи, царя змѣевъ.» Я долженъ одолѣть его, рѣшилъ онъ, чтобы волны, теперь нечистыя, стали послѣ моей побѣды хороши и полезны... Я родился на свѣтъ, чтобы уничтожать всѣ чудовища этой породы».—И, подойдя тотчасъ же къ берегу озера, молодой Кришна крѣпко привязалъ свой поясъ къ дереву и легко вскарабкался на его вершину. Потомъ, повиснувъ оттуда, какъ облако, онъ бросился въ озеро... Великое жилище змѣевъ пришло въ волненіе: ихъ царь вышелъ изъ воды, ярость блистала въ его глазахъ,

---

[153]) См. выше стр. 190—191.



красныхъ отъ гнѣва, и въ эту минуту Калія былъ похожъ на кучу темныхъ облаковъ, несущихъ въ себѣ бурю (по первоначальному миѳу, замѣчу я отъ себя, онъ не только былъ похожъ на такую тучу, но онъ и въ самомъ дѣлѣ былъ такая туча). Пять огромныхъ и страшныхъ головъ поднимаются вокругъ его великанскаго тѣла, по концамъ ихъ пять пастей, извергающихъ пламя и потрясающихъ остріями... Царь змѣевъ, весь въ дыму, метнулъ пламя: оно въ одно мгновеніе испепелило деревья поблизости на берегу: таково будетъ однажды дѣйствіе огня, который явится въ концѣ временъ [154]). Дѣти, жены Каліи, и остальные змѣи, его прислужники, являются всѣ и извергаютъ страшный огонь, смѣшанный съ потоками яда и клубами дыма. Они сплетаются ужасными узлами и опутываютъ ими руки и ноги Кришны: дивный ребенокъ остается неподвиженъ, какъ гора: Пастухи, товарищи Кришны, съ ужасомъ сбѣжались на это зрѣлище, (свои *служилые* годы, соотвѣтствующіе служилой порѣ Добрыни и многихъ другихъ эпическихъ лицъ, Кришна провелъ въ кругу пастуховъ). Слыша отовсюду жалобные крики, Кришна, «играючи, сталъ дѣйствовать руками, разорвалъ змѣиные узлы, которыми былъ опутанъ, и принялся топтать ногами толпы чудовищъ, выходившихъ изъ воды. Но этого мало, онъ схватилъ одну изъ огромныхъ головъ ихъ царя, пригнулъ ее передъ собою и легко вскочилъ на нее... Змѣй, весь израненный этими движеніями, и извергая изъ пастей черную кровь, сказалъ своему побѣдителю: «я объявляю себя побѣжденнымъ, мои всѣ яды изошли».—(В. Евр. 1868 г. II, 647—649).—Такова великолѣпная картина боя со змѣемъ въ «Гариванѣ», но картина уже весьма сложная, а потому и не первоначальная. Въ основѣ же ея заключается издавній обще-народный миѳъ, которого отпрысками остаются въ сказкахъ повсемѣстно распространенные многоголовые змѣи съ ихъ юношей-побѣдителемъ. Различно-народные видоизмѣненія этого общаго миѳа прекрасно сопоставлены въ книгѣ Карріера объ Исторіи Творчества. Представляя и вообще искусный сводъ главнѣйшихъ, послѣднихъ выводовъ здравой, настоящей науки, она говоритъ объ этомъ предметѣ слѣдующее: «и въ Египтѣ свѣтлый богъ Пта поражаетъ ночного змѣя, что кажетъ намъ путь еще глубже, въ стародавнюю исконность (Urzeit). А Греція, а Италія, а Германія,—развѣ и тамъ мы не видимъ слѣдовъ того же первоначальнаго миѳа во многоразличныхъ видахъ и переплавкахъ?... Вотъ онъ, солнечный богъ

---

[154]) Замѣчу мимоходомъ, что этотъ огонь, полагающій конецъ міру, кромѣ своей близости къ апокалиптическому огню, очень близокъ также къ подобному же роковому огню «Старой Эдды». Тотъ же конечный огонь встрѣчается и въ нашихъ духовныхъ стихахъ о страшномъ судѣ; его обыкновенно въ нихъ объясняютъ вліяніемъ Апокалипсиса; быть можетъ оно и не такъ, быть можетъ, этотъ огонь въ нихъ независимымъ образомъ удержался отъ старого славянскаго миѳа, сроднаго съ миѳомъ Эдды. По крайней мѣрѣ въ германскомъ стихотвореніи IX в. Muspilli, уже не безъ извѣстной доли христіанскаго вліянія говорящемъ о концѣ міра, нѣкоторые изслѣдователи нѣмецкіе все-же находятъ конечный огонь болѣе сроднымъ Эддѣ, чѣмъ Апокалипсису. Но никому, навѣрное, не придетъ въ голову производить этотъ «конечный огонь» въ германскихъ или славянскихъ преданіяхъ отъ такого огня въ Гариванзѣ или въ другихъ индѣйскихъ источникахъ. А между тѣмъ и въ т. н. «посредствующихъ звеньяхъ» между Индіей и Европой, въ преданіяхъ нашихъ инородцевъ, встрѣчается также конечный огонь—наприм. съ Сборникѣ Радлова—въ преданіи о концѣ міра. Въ этомъ преданіи уже несомнѣнно сказалось вліяніе христіанъ—сосѣдей, хотя изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы конечный огонь въ немъ происходилъ изъ Христіанскихъ источниковъ. Онъ могъ въ немъ явиться и самъ по себѣ, подобно тому, какъ самъ же по себѣ является онъ и въ Эддѣ, и въ славянскихъ преданіяхъ.

Аполлонъ, низлагающій злого Пиѳона, а вотъ и солнечный витязь Иракль, сокрушающій многоголовую лернейскую Гидру... Вотъ подобный же солнечный витязь Персей, освобождающій дѣвицу Андромеду отъ морского чудовища. А бой съ драконами индійскаго Карны, кельтскаго Тристана, германскаго Зигфрида—и они вытекаютъ вѣдь изъ того-же, общаго всѣмъ источника. Въ миѳологіи сѣвера побивателемъ змѣевъ является Фрейръ—тоже солнечный богъ, также освобождающій божественныхъ женщинъ изъ плѣненія у чудовищъ... Общее во всѣхъ похожденіяхъ этихъ лицъ есть наслѣдственное, староарійскаое достояніе. Всѣ, тутъ поименованные, подобно Карнѣ, Зигфриду и Тристану, являются также подчиненными другому лицу, и притомъ слабѣйшему, но именно при служилости и развиваются всѣ ихъ доблести и они снискиваютъ себѣ только вящую славу: это солнце, совершающее свое теченіе по небу, разгоняя или истребляя ночныхъ чудовищъ, принося тѣмъ услугу людямъ, слабѣйшимъ, чѣмъ они, существамъ.»—(Die Kunst etc., I, 351—352). Тутъ такимъ образомъ обращено вниманіе и на *служилость* солнечныхъ витязей, хотя объясненіе этой послѣдней, принадлежащее, кажется, самому Карріеру, едва ли можно признать удовлетворительнымъ. Зато несомнѣнно, какъ общій научный выводъ, что такая служилость оказывается за ними за всѣми, какъ за всѣми оказывается и бой со змѣемъ. Ни той, ни другому, стало быть, нѣтъ ни малѣйшей надобности быть *заимствованными* Добрыней у Кришны. Нашъ Добрыня, подобно другому нашему змѣеборцу, Алешѣ (о которомъ рѣчь еще впереди), подобно миѳической основѣ Егорья и Тирона, попадаетъ въ общеарійскій кругъ змѣеборцевъ, какъ равный къ равнымъ, какъ братъ къ роднымъ братьямъ, а вовсе не какъ дитя къ родителямъ. Индійскіе змѣеборцы могутъ еще, пожалуй, назваться *старшими братьями*, но никакъ не болѣе. Многіе изъ нихъ (но далеко не всѣ) лучше другихъ могли сохранить черты давно уже схороненнаго, общаго всѣмъ *родителя*; хотя это преимущественно относится къ змѣеборцу Ригъ-Вѣды, Индрѣ, а никакъ не къ Кришнѣ въ такой уже значительно-поздней поэмѣ, какъ «Гариванза». Но нѣкоторыя, преимущественныя черты сходства съ этимъ послѣднимъ дѣйствительно представляетъ нашъ Добрыня. Сюда, во первыхъ, можно отнести то, что онъ, какъ мы могли замѣтить, топчетъ ногами змѣй (но тоже дѣлаетъ и Егорій при встрѣчѣ со стадомъ змѣинымъ). Сюда еще болѣе относится слѣдующій договоръ между побѣжденнымъ змѣемъ и Кришною, прямо напоминающій договоръ Добрыни съ Горынычемъ.» Говори, какъ намъ быть, обращается къ Кришнѣ змѣй, мнѣ съ моими женами, дѣтьми и всѣмъ семействомъ? Кому мнѣ теперь быть покорнымъ?... Себѣ я прошу только жизни».—Увидавъ у своихъ ногъ пятиглавое чудовище, Кришна почувствовалъ, что весь гнѣвъ его погасъ, и отвѣчалъ умоляющему: «я не могу оставить тебя въ рѣкѣ Ямунѣ. Ступай жить въ море съ своимъ семействомъ и родными. Но если когда нибудь кто изъ твоихъ подданныхъ или дѣтей придетъ на эту землю или на эти воды, я его убью своею рукой.»(В. Е. 649). [156])Но однихъ

[156]) Нѣчто сходное встрѣчается и въ одной новогреческой сказкѣ (Hahn II., 2 [13]).

этихъ, ближайшихъ сходствъ всетаки слишкомъ мало, чтобы по нимъ положительно заключить о заимствованіи. Къ тому же наше русское *«подражаніе»* оказывается въ этомъ случаѣ полнѣе индійскаго «первообраза»: у насъ расказывается далѣе о томъ, какъ змѣй нарушилъ приказанье Добрыни—сталъ снова летать на святую Русь и унесъ наконецъ Марью Дивовну; тогда Добрыня выполняетъ свою угрозу, — убиваетъ змѣя и спасаетъ плѣнницу. Въ индійскомъ «первообразѣ» ничего этого нѣтъ. Тамъ только въ иномъ совершенно мѣстѣ Кришна выводитъ изъ плѣна—не у змѣя, а у оборачивающагося волною демона Панчаджаны, и притомъ выводитъ не царевну, а сына учителя своего Сандипани. Кришна спускается въ волны, убиваетъ Панчаджану, однако же не находитъ у него искомаго ребенка, который наконецъ оказывается пребывающимъ у Ямы, царя мертвыхъ. Труба Кришны приводитъ въ ужасъ все царство Ямы, который и возвращаетъ ему ребенка (стр. 654). Вотъ отсюда-то, по мнѣнію г. Стасова, произошелъ у насъ второй бой Добрыни со змѣемъ, заключающійся освобожденіемъ Марьи Дивовны. Такимъ образомъ отъ двухъ совершенно особыхъ, многими похожденіями разрозненныхъ, эпизодовъ Гариванзы долженъ происходить нашъ столь цѣлостный, столь послѣдовательный и внутренно связный двоякій бой Добрыни со змѣемъ! По истинѣ *мозаичное* мастерство нашихъ народныхъ художниковъ [156]). Тѣмъ не менѣе, однако же, Кришна, какъ и Добрыня, оказывается сострадательнымъ къ змѣю. Но этимъ доказывается только присутствіе сострадательности и въ индійскомъ эпосѣ. Сострадательность есть такое общечеловѣческое чувство, котораго отдѣльныхъ проявленій не можетъ не быть въ любомъ эпосѣ. Сравнительное изученіе эпоса доказываетъ, что оно проявляется уже издавна. Но, повторю еще разъ, дѣло не въ отдѣльныхъ, отрывочныхъ проявленіяхъ этого рода, а въ постоянномъ и преобладающемъ его значеніи. Такое постоянное, преобладающее значеніе получаетъ оно, какъ мы уже знаемъ, въ нашемъ Ильѣ Муромцѣ; но и за Добрынею замѣтимъ мы въ своемъ мѣстѣ особые, совершенно своеобразные проблески человѣчности. Теперь же замѣчу, что *состраданія къ змѣю*, при всей своей сострадательности вообще, однакоже не допустилъ бы въ себѣ Илья Муромецъ. Вспомнимъ его отвѣтъ соловьинымъ дѣтушкамъ: «не отпущу я вашего батюшку,—онъ будетъ опять разбой держать.»—Относительно темныхъ, зловредныхъ силъ онъ постоянно суровъ и неумолимъ. Его сострадательность, такимъ образомъ, не есть какая нибудь безотчетная, такъ сказать, нервная мягкость; онъ сознательный властелинъ и надъ нею, какъ надъ всякимъ, въ немъ возникающимъ чувствомъ.

Кромѣ разницы въ самой миѳической основѣ, такимъ образомъ оказывается весьма существенное различіе и между нравомъ Ильи и Добрыни. Тѣмъ не менѣе, въ ряду прочихъ богатырей, они между собою по преимуществу

---

[156]) Кромѣ сходствъ, указаныхъ г. Стасовымъ, можно привесть еще одну черту изъ Магабгараты, подходящую къ пріему, употребляемому Добрынею противъ змѣя. Какъ Добрыня ушибаетъ ему хоботы пескомъ, набраннымъ въ шляпу, такъ и знаменитая солнечная птица Гаруда пескомъ засыпаетъ глаза змѣямъ, сторожащимъ Амриту Fauche, Mahabhârâta I, 162). (Гаруда—солнечная птица; Добрыня—солнечный богатырь).



братья названные. Первоначальное же основанье тому, надо думать, такъ въ самомъ миѳическомъ ихъ значеніи [157]). И добрый молодецъ *солнце* (Добрыня), и добрый молодецъ *громъ* съ его молніей (Илья), содѣйствующіе одному и тому же дѣлу торжества свѣта надъ тьмой, лѣта надъ зимой,—уже по этому представляются родственными, союзными существами. Отсюда же и возможность смѣшенья обоихъ существъ миѳическихъ, возможность приписыванья обоимъ похожденій довольно сходныхъ. Такимъ образомъ Добрыня въ одномъ изъ своихъ похожденій напоминаетъ Дуная, миѳически приводимаго, какъ я думаю (см. выше), къ одной основѣ съ Ильею Муромцемъ.—Подобно тому, какъ Дунай, добывъ Афросинью королевичну, отправляетъ ее къ Владиміру князю со своимъ товарищемъ, самъ же ѣдетъ по лошадиному слѣду и наѣзжаетъ паленицу—удалую женщину; такъ и Добрыня, отправивъ освобожденную имъ племянницу князя въ Кіевъ съ догнаннымъ имъ Алешею, ѣдетъ лошадинымъ бродомъ—*по кольну у ней въ землю угрязнуто*—и догоняетъ паленицу, женщину великую [158]). Размѣры, придаваемые ей, и мѣры ея богатырскихъ силъ уже разнятся отъ паленицы, съ которой боролся Дунай, но зато напоминаютъ жену Святогора, съ которою, какъ мы знаемъ, имѣлъ дѣло Илья Муромецъ. Сходство съ послѣднимъ оказывается тутъ и вотъ еще въ чемъ. Ударивъ паленицу палицею въ буйну голову—а она и назадъ не оглянется—и *пріужахнувшись* этого (какъ Илья пріужахнулся, было, Сокольника)—Добрыня Никитичъ ударяетъ палицей въ дубъ—сначала шести, потомъ двѣнадцати саженей въ обхватѣ—и дубъ разшибается весь *поластиньямъ*, какъ у Ильи—въ черенья ножовые:

«Сила у Добрыни все по старому,
А смѣлость у Добрыни не по старому»....

заключаетъ изъ этого богатырь, повторяетъ свой опытъ и надъ паленицею и надъ дубомъ, и только по третьему удару его, паленица оглядывается и говоритъ:

Я думала, что комарики покусываютъ,
Ажно русскіе могучіе богатыри пощелкиваютъ!
Хватила Добрыню за желты кудри,
Посадила его во глубокъ карманъ,—

подобно тому, какъ жена Святогора посадила Илью Муромца въ карманъ къ мужу:

Везла она Добрыню трои сутки,
И провѣщится какъ ей добрый конь:
«Ахъ ты ой, Настасья, дочь Никуличнa,
Не могу везти васъ съ богатыремъ»—

опять до извѣстной степени сходно съ жалобою коня святогорова на тяжесть, прибывшую отъ Ильи. Но особенность въ томъ, что Настасья—имя, принадлежащее также и женѣ дунаевой,—оказывается тутъ *Никуличною*. Этимъ, быть можетъ, указывается на Никулу-Микулу, уже знакомаго намъ Селяниновича. Гг. Буслаевъ и Безсоновъ даже прямо утверждаютъ это. Но кромѣ

---

[157]) Ср. у Маннгардтѣ: Germanische Mythen 141, 214. [158]) Кир. II, стр. 28—30 (пер. бутеневскій).

отчества, мы не имѣемъ никакихъ указаній, по которымъ бы эта поляница оказывалась дочерью Селяниновича; кромѣ того этотъ послѣдній, по своимъ смягченнымъ чертамъ, уже выходитъ изъ ряда богатырей старшихъ, тогда какъ эта, яко-бы его дочь—Настасья оказывается еще прямо принадлежащею къ нимъ—какъ по своимъ размѣрамъ, такъ и по грубости слѣдующаго ея объявленія:

Ежели богатырь онъ старой,
Я богатырю голову срублю:
А ежели богатырь онъ младой,
Я богатыря въ полонъ возьму,
А ежели богатырь мнѣ въ любовь придетъ,
Я теперича за богатыря замужъ пойду.

Вышеобъясненныя свойства дѣвы-воительницы достигаютъ въ Настасьѣ Никуличнѣ самыхъ широкихъ размѣровъ. Тутъ уже не то, чтобы она, побѣжденная, съ уваженьемъ отдавалась своему побѣдителю, какъ Настасья королевична отдалась Дунаю, или какъ Брюнгильда отдалась Зигфриду, а напротивъ, сама побѣдительница, она даритъ побѣжденному вмѣстѣ и жизнь и свою любовь. Но позже мы увидимъ ее, эту исполиншу-жену Добрыни, уже совершенною женщиной, смягченною подъ вліяніемъ позднѣйшаго строя былинъ, при преобладающей въ этомъ строѣ уже бытовой обстановкѣ. Въ настоящемъ же сказаніи о женитьбѣ Добрыни видѣнъ еще очень старый строй, и хотя оно уже слѣдуетъ, въ теперешнемъ составѣ былинъ, за боемъ Добрыни со Змѣемъ Горынычемъ (въ двухъ пересказахъ: кирѣевско-рыбниковскомъ и рыбниковскомъ ч. III п. 115—отъ Бутылки), по строю оно древнѣе имѣющихся у насъ пересказовъ этого боя, въ которомъ, при очевидной миѳичности, столько же очевидно уже и бытовое значеніе богатырства. Женитьба Добрыни еще представляетъ примѣръ того же сближенія между собою двухъ божескихъ поколѣній — старшаго, сильнѣйшаго, съ младшимъ, слабѣйшимъ тѣлесно, сильнымъ *иною* силою (и побѣжденный Настасьею, Добрыня *плѣняетъ* ее);—того же сближенія, какое представляютъ намъ и отношенія Ильи Муромца къ женѣ Святогора или къ другой женщинѣ исполинскаго рода (темная природа которой сказалась и въ *черныхъ* грудяхъ, и въ избыткѣ тѣлесныхъ силъ, и въ суровости ея сына). Но въ былинѣ о Добрынѣ Никитичѣ это противуестественное сближеніе уже не представляется *незаконнымъ* бракомъ и не соединяется съ трагическими послѣдствіями; скрѣпляемое даже церковнымъ вѣнчаніемъ, оно становится настоящимъ союзомъ брачнымъ, съ дальнѣйшими послѣдствіями котораго мы еще познакомимся въ своемъ мѣстѣ.

Побѣдитель змѣя и, въ сущности, все же *плѣнитель* хотя и сильнѣйшей Настасьи, Добрыня только въ этихъ своихъ похожденіяхъ остается еще ничѣмъ не связываемымъ съ побѣдителемъ Соловья разбойника. Изъ прочихъ богатырей кіевскихъ у него оказываются сношенія только съ Алешею. Мы сейчасъ увидимъ, что и основные *подвиги* ихъ весьма сходны, хотя съ другой стороны выказывается и самое рѣшительное различіе въ ихъ нравѣ.

Алеша—змѣеборецъ точно также, какъ и Добрыня: онъ два разаимѣетъ дѣло съ чудовищемъ. Нося имя Тугарина *Змѣевича*, своею наружностью врагъ Алеши рѣшительно напоминаетъ врага Добрынина:

Въ вышину-ли онъ Тугаринъ трехъ саженъ,
Промежъ плечей косая сажень,
Промежу глазъ калена стрѣла,
Конь подъ нимъ какъ лютый звѣрь.

Онъ и обращается къ Алешѣ почти тѣми же словами, какими Горынычъ обращался къ Добрынѣ:

Хошь-ли я тебя огнемъ спалю,
Хошь-ли, Алеша, конемъ стопчу,
Али тебя, Алеша, копьемъ заколю (Кир. II, 72, 78) [150]).

Такъ оно у Кирши Данилова, котораго большая былина о двоекратномъ змѣеборствѣ Алеши остается почти единственною былиной о томъ. У Рыбникова въ ч. III подъ № 20 помѣщенъ еще одинъ пересказъ (Бутылки), но уже сокращенный и повѣствующій только о второй схваткѣ Алеши съ Тугариномъ. Былина Кирши Данилова начинается выѣздомъ изъ Ростова города (не очень далекаго, какъ извѣстно, отъ родины Ильи Муромца) двухъ богатырей—Алеши и Якима Ивановича. Они величаютъ другъ друга *братьями*, даже *родимыми* (Кир. II, 70), а между тѣмъ Якимъ при Алешѣ—тоже, что при Добрынюшкѣ его паробокъ. «Которой дорогой *изволишь* ѣхать»? спрашиваетъ Якимъ Алешу, когда на розстаняхъ попадается имъ надпись:

Первая дорога въ Муромъ лежитъ,
Вторая дорога въ Черниговъ градъ,
Третья дорога ко Кіеву.

Когда Алеша, выбравъ дорогу на Кіевъ къ ласкову князю Владиміру, остановился переночевать у Сафатъ рѣки,—раскинули *два бѣлыхъ шатра*, и поутру Алеша еще изволилъ въ своемъ шатрѣ опочивъ держать, а молодой Якимъ Ивановичъ уже вышелъ съ конями на зеленъ лугъ. Послѣ того Алеша, проснувшись, *приказалъ* ему сводить коней на Сафатъ рѣку. На берегу рѣки происходитъ и схватка Алеши съ Тугариномъ—совершенно какъ у Добрыни съ Горынычемъ. (Но такъ оно и у всѣхъ змѣеборцевъ, потому что *змѣй* миѳически связанъ съ *водою*) Особенность составляетъ то, что Алеша предварительно узнаетъ о чудовищѣ отъ калики перехожаго, у котораго беретъ для борьбы съ нимъ подорожную шелепугу въ тридцать пудъ. Ею ударяетъ онъ Тугарина въ буйную голову; когда же хочетъ пороть у упавшаго черны груди,—

Втапоры взмолится Тугаринъ Змѣевичъ младъ:
«Не ты ли Алеша Поповичъ младъ?
Только ты Алеша Поповичъ младъ,
Семъ побратуемся съ тобою.

И это не должно показаться вставкою или порчею послѣ того, что было высказано выше о миѳической возможности, такъ сказать, временныхъ сдѣлокъ между свѣтлыми и темными силами. Точно такимъ же образомъ въ сербскихъ сказкахъ змѣй предлагаетъ царевичу сдѣлаться его побрати-

———

150) Съ этимъ можно сравнить въ сербской былинѣ о женитьбѣ Душана тотъ «пламен модар», который испускается на Милоша леджанскимъ воеводой Балачкомъ (кромѣ же огня, онъ пускаетъ еще и ветра студенога. (Вука II, стр. 153). (Ср. въ сборникѣ Петрановича стр. 398).



момъ, и царевичъ принимаетъ это предложеніе [160]), сходно и въ одной босанской былинѣ, гдѣ Милошъ братается со змѣемъ, старающимся, какъ и въ нашихъ былинахъ, всякаго встрѣчнаго богатыря *огнемъ спалить*. Не замѣчая притаившагося Милоша, змѣй сбрасываетъ свои огненныя крылья и начинаетъ купаться въ озерѣ. Товарищъ Милоша, Миланъ Топлица, хочетъ пустить въ змѣя стрѣлу, но Милошъ его удерживаетъ и только похищаетъ змѣиныя крылья. Когда змѣй, выкупавшись, проситъ Милоша возвратить ему ихъ, тотъ соглашается, но хочетъ сперва показать ихъ царю Лазарю въ доказательство, что огненный змѣй находится въ его власти. Похвалившись передъ царемъ этимъ знакомъ побѣды, Милошъ дѣйствительно возвращаетъ крылья змѣю, который, въ качествѣ побратима, даетъ обѣтъ помогать Милошу противъ Турокъ. [161]) Но въ нашей былинѣ дѣло кончается совершенно не такъ:

....Алеша врагу не вѣровалъ,
Отрѣзалъ ему голову прочь....

Побѣдитель прибываетъ въ Кіевъ съ Екимомъ Ивановичемъ, и, въ этомъ случаѣ уподобляясь Дунаю Ивановичу, они

....*бьютъ челомъ*, покланяются
Князю Владиміру и княгинѣ Апраксѣевнѣ,
И на всѣ на четыре стороны—

Этотъ земскій, общій поклонъ уже послѣ! Впрочемъ нѣсколько далѣе Алеша зато совершенно по земски, не желая выдвигаться изъ ряда другихъ, напоминаетъ даже Илью Муромца, когда

Не садился Алеша въ мѣсто большее,
И не садился въ дубову скамью,
Сѣлъ онъ со своими товарищи на палатной брусъ.
Мало время позамѣшкавши,
Несутъ Тугарина Змѣевича
На той доскѣ красна золота
Двѣнадцать могучихъ богатырей,
Сажали въ мѣсто большое...

Такимъ образомъ, уже убитый Алешею, онъ оказывается снова живымъ— опять подобно Горынычу, который, убитый Добрынею у рѣки, оказывается снова живымъ въ былинахъ о Маринѣ Игнатьевнѣ [162]). И опять подобно любовной съ нею связи Горынича, вотъ какая любовная связь оказывается у Тугарина:

Сажали на мѣсто большее
И подлѣ его сидѣла княгиня Апраксѣевна.
Понесли ѣства сахарныя, и т. д.
И говорилъ втапоры Алеша Поповичъ младъ:
«Гой еси ты, ласковый сударь Владиміръ князь!
Что у тебя за болванъ пришелъ,
Ко княгинѣ онъ, собака, руки въ пазуху кладетъ,
Цѣлуетъ во уста сахарныя....
И принесли лебедушку бѣлую,
И ту рушала княгиня лебедь бѣлую,
Обрѣзала рученьку лѣвую;
«Либо мнѣ рѣзать лебедь бѣлую,
Либо смотрѣть на милъ животъ
На молода Тугарина Змѣевича.»

И Апраксѣевна такимъ образомъ вдается въ хорошо уже намъ извѣстную и

[160]) Вукъ Српске Приповјетке, № 5 и 20.
[161]) Петрановича Српске Пјесме из Босне и Херцеговине; пѣсня 19: Лов цара Лазара.
[162]) Сходное оживанье убитаго встрѣчается въ одной новогреческой сказкѣ (Hahn, II, 195), съ другой же стороны въ койбальской пѣснѣ (Radloff II, 327).

по основѣ своей миѳическую *измѣну*. Но, какъ на глазахъ у Марины Горынычъ Добрынею, такъ на глазахъ у Апраксѣевны побивается Тугаринъ Алешею. За досаду показалося молодцу обращенье Тугарина съ нею, а равно и его чудовищная обжорливость и опивчивость. Сравнилъ онъ Тугарина съ собачищемъ отца своего—

Тугаринъ почернѣлъ, какъ осення ночь,
Алеша Поповичъ сталъ какъ свѣтёлъ мѣсяцъ.

Потомъ онъ сравнилъ Тугарина съ коровищемъ старымъ—

Тугаринъ потемнѣлъ какъ осення ночь,
Выдернулъ чингалище булатное,
Бросилъ въ Алешу Поповича;
Алеша на то вертокъ былъ....
Подхватилъ чингалище Екимъ Ивановичъ.
«Самъ-ли ты бросаешь въ него, или мнѣ велишь?»

Вопросъ этотъ не объясняется ли уже намъ извѣстнымъ выговоромъ Хотена слугѣ своему за то, что тотъ осмѣлился расправиться вмѣсто своего господина съ его врагами?—

Нѣтъ, я самъ не бросаю и тебѣ не велю;—
Заутра съ нимъ перевѣдаюсь—

отвѣчаетъ Алеша...

Втапоры князи и бояра
Скочили на рѣзвы ноги
И всѣ за Тугарина поруки держатъ;
Князи кладутъ по сту рублевъ,
Бояре по пятидесять, крестьяне по пяти рублевъ;
Тутъ же случились гости купеческіе,—
Три корабля свои подписываютъ
Подъ Тугарина Змѣевича....

Такимъ образомъ не только при первомъ пріѣздѣ Ильи, но и при пріѣздѣ Алеши, на пиру у Владиміра оказываются присутствующими всякаго рода люди, въ томъ числѣ и крестьяне. Общее же невѣріе въ возможность побѣдить Тугарина не соотвѣтствуетъ-ли знакомому намъ невѣрію въ подвигъ муромскаго богатыря? — И точно также, какъ Илья Муромецъ, Алеша во очію у всѣхъ доказываетъ несомнѣнность своей побѣды [163]).

....Прокололъ уши у Тугарина Змѣевича
И привязалъ къ добру коню,
И привезъ въ Кіевъ на княженецкій дворъ.
Бросилъ середи двора княженецкаго.

(Самая же битва опять происходитъ на Сафатъ-рѣкѣ).

Тогда-то Владиміръ приглашаетъ его жить въ Кіевѣ, служить ему князю. Только княгиня относится къ нему уже встрѣчавшимися намъ презрительными словами позднѣйшей поры:

Деревенщина ты, засельщина,
Разлучилъ меня съ другомъ милымъ.

---

[163]) Впрочемъ дѣло обходится тутъ безъ того переполоха, до какого доводятъ Владиміра со князьями—боярами не только Илья Муромецъ, но и Иванъ Гостиный, въ свою очередь, какъ видѣли мы, этимъ переполохомъ наказывающій за невѣріе въ его подвигъ. Но Владиміръ князь, какъ могли мы замѣтить, въ другомъ, совершенно особомъ смыслѣ попадаетъ въ неловкое положеніе передъ Алешею, которому честь княжеская, повидимому, дороже, чѣмъ самому князю. Былина о Поповичѣ представляетъ такимъ образомъ новый видъ проводимаго черезъ нашъ былевой эпосъ приниженія князя передъ богатырями.

Но и онъ не остается въ долгу, безъ чиновъ, какъ Добрыня съ Мариной, замѣчая ей:

А ты гой еси, матушка княгиня Апраксѣевна!
Чуть не назвалъ я тебя сукою,
Сукою-то волочайкою (Кир. II, 70—80).

Значенье Алеши въ этой былинѣ едва-ли уступаетъ значенью Добрыни Никитича. Отсюда и возможность братства названаго между Добрыней и Алешей. Среди *плѣненныхъ* (въ полномъ смыслѣ этого слова), т. е. обневоленныхъ исполинской силой чудовища и приведенныхъ ею въ удивленіе приближенныхъ княжескихъ, въ присутствіи княгини, причарованной къ змѣю, онъ одинъ относится чисто презрительно къ темной силѣ и наконецъ избавляетъ Владиміра отъ двойного позора: поступиться княжествомъ и поступиться женой.

Въ небольшомъ пересказѣ Бутылки униженіе Владиміра выказывается и еще яснѣе: Владиміръ тутъ даже самъ зазываетъ Тугарина на почестный пиръ. Что касается дальнѣйшаго хода былины, то пущенный Тугариномъ ножъ подхватывается тутъ не самимъ Алешей, а Екимомъ паробкомъ, который, прямо названный слугою Алеши, спрашиваетъ при этомъ (подобно тому, какъ у Кирши—въ другомъ случаѣ):

Самъ ли ты поѣдешь, али меня пошлешь
Съ Тугариномъ супротивиться?
—«Не куда уйдетъ гагара безногая!»

презрительно отвѣчаетъ Алеша, и выѣзжаетъ самъ въ поле. Затѣмъ уже —смерть Тугарина—въ самыхъ короткихъ чертахъ.

Но если, при всемъ этомъ свѣтломъ значеніи и при видимомъ сходствѣ положенія съ Добрыней и даже съ Ильею, въ Алешѣ нельзя не предположить основного свѣтлаго существа миѳическаго; то съ другой стороны, какъ мы увидимъ, въ его нравѣ есть стороны прямо противоположнаго, темнаго свойства. И на это могло быть, въ свою очередь, основанье миѳическое: о миѳической *двоякости* нрава было уже неоднократно говорено. Дѣйствія самыхъ свѣтлыхъ и благотворныхъ силъ могутъ становиться и вредными. Благотворитель-громовникъ можетъ своими молніями убивать не однихъ великановъ, но и людей. благотворитель-солнце не только растворяетъ землю золотыми ключами своихъ лучей, но и пожигаетъ ее своими горючими стрѣлами. (Стоитъ вспомнить Феба Аполлона въ началѣ Иліады, дѣйствіемъ своихъ стрѣлъ производящаго язву). Какое бы свѣтлое существо ни крылось въ основѣ Алеши, въ немъ, кромѣ благотворной его стороны, была усмотрѣна и миѳически развита и темная. Позже, при возраставшей очеловѣченности первоначальнаго божества, эта темная сторона все болѣе и болѣе принимала значенье дурного, нечестнаго, неуживчиваго нрава. Въ разсмотрѣнной нами былинѣ Кирши Данилова сторона эта еще мало замѣтна. Надо полагать, что было время, когда въ цѣломъ рядѣ былинъ выдвигалась только одна свѣтлая, сочувственная сторона Алеши. Остаткомъ этого ряда, уцѣлѣвшимъ въ большей части былинъ, гдѣ о немъ хоть немного упоминается, слѣдуетъ считать то прилагательное *смѣлый*, которое придается ему почти постоянно,

какъ его отличительный признакъ,—тогда какъ по теперешнимъ чертамъ его нрава въ былинахъ онъ выигрываетъ далеко не одною смѣлостью, но также и *хитростью*, дѣйствуя даже *изъ-за-угла*. Если онъ беретъ у калики не только его богатырскую палицу, но и платье его каличье, чтобы Тугаринъ Змѣевичъ не могъ признать его, то къ тому же прибѣгаютъ и другія лица—даже, какъ увидимъ мы въ своемъ мѣстѣ, и Илья Муромецъ. Но Алеша идетъ въ своихъ хитростяхъ несравненно далѣе. Когда Тугаринъ, дѣйствительно не узнавъ, его спрашиваетъ:

Гой еси, калика перехожея,
А гдѣ ты слыхалъ и гдѣ видалъ
Про млада Алешу Поповича?...
Говоритъ тутъ Алеша каликою:
Подъѣзжай поближе ко мнѣ
«Не слышу я, что ты говоришь»—
И подъѣзжалъ къ нему Тугаринъ Змѣевичъ младъ.
Сверстался Алеша Поповичъ младъ
Противъ Тугарина Змѣевича,
Хлестнулъ его шелепугою, и т. д.

Ясно при этомъ, что калика имѣетъ тутъ уже позднѣйшее значеніе убогаго, искалѣченнаго нищаго, странника (такъ что только тяжеловѣсною палицей указывается тутъ на древнѣйшее, миѳическое значенье каликъ).—Далѣе же, отрѣзавъ у Тугарина голову прочь, Алеша снималъ съ него платье цвѣтное на сто тысячъ и надѣвалъ на себя. Между тѣмъ подобный грабежъ съ убитаго вовсе не въ обычаѣ у кіевскихъ богатырей. Этимъ, какъ и барствомъ своимъ (въ отношеніи къ Екиму) онъ, въ бытовомъ отношеніи, скорѣе выказываетъ въ себѣ стихію варяжскую. Вмѣстѣ съ тѣмъ эта, одиноко стоящая въ нашемъ эпосѣ, не въ порядкѣ вещей обрѣтающаяся черта сейчасъ же подвергается въ немъ и карѣ. Какъ добычелюбивый Игорь въ извѣстномъ лѣтописномъ сказаніи поплатился жизнію за свой нравъ,—также точно едва ею не поплатился и нашъ Алеша. Выше (стр. 49) уже былъ у меня намекъ на это,—по поводу одной сербской пѣсни, гдѣ такой же опасности подвергается юноша, переодѣвшійся въ платье турка, вслѣдствіе того неузнаваемый отцомъ своимъ и едва-едва имъ не убитый. Совершенно подобно этому и Екимъ Ивановичъ, увидѣвъ на Алешѣ платье тугариново, принялъ его за самого Тугарина, бросилъ *назадъ себя* булатную палицу и угодилъ Алешенькѣ въ груди бѣлыя. Но тотъ же Екимъ съ помощью калики возвращаетъ его къ жизни посредствомъ откачиванья и *питья заморскаго*;—это послѣднее, очевидно, только иначе названная, подновленная, сказочная *живая вода*.—Такимъ-же подновленіемъ являются, при вторичной схваткѣ Алеши съ Тугариномъ, крылья его *бумажныя*. И Алеша, опять прибѣгая къ хитрости, пользуется этимъ:

Молился Богу со слезами:
«Создай, Боже, тучу грозную,
А и тучи-то съ градомъ дождя!»
Алешины молитвы доходны ко Христу. [164]).

Крылья дождемъ подмочило, и Тугаринъ упалъ на сыру землю. Алеша же, подъѣзжая къ Тугарину, говоритъ:

«Гнился ты со мной о велікъ закладъ
Биться-драться единъ на единъ
А за тобою нынѣ силы смѣты нѣтъ....»
Оглянется Тугаринъ назадъ себя,—
Втапоры Алеша подскочилъ, ему голову срубилъ [165]).
(К. II. 78—Кирши Данилова).

[164]) Т. е. какъ молитвы поповскаго сына.

[165]) Къ сходной же хитрости прибѣгаетъ въ схваткѣ со злой бабетиной (бабой) Милошъ въ одной сербской былинѣ (Петрановича 304).

При такой наклонности Алеши къ *окольнымъ дорожкамъ* понятно, почему онъ долженъ былъ стать въ отношенья не совсѣмъ дружелюбныя къ постоянному другу прямоѣзжихъ путей, Ильѣ Муромцу. Мы видѣли, что уже при первомъ пріѣздѣ Ильи Муромца въ Кіевъ, Алешенька кинулъ въ него ножомъ;— теперь оборотъ этотъ оказывается заимствованнымъ у Тугарина, Илья же въ этомъ случаѣ *верткимъ*, подобно Алешѣ, но дѣйствующимъ, съ другой стороны, безъ всякой посторонней помощи, безъ всякаго паробка [166]). Но нельзя-ли узнать и ближайшую причину нерасположенія Алеши къ Ильѣ? Не открываются-ли между ними какія нибудь предварительныя сношенія?

Между былинами объ Алешѣ есть одна, въ которой его непохвальный нравъ выдается еще и съ особенной стороны — это небольшая былина о братьяхъ Збродовичахъ, записанная въ Шенкурскѣ и помѣщенная во II вып. пѣсенъ Кирѣевскаго на стр. 67—69. На пиру у князя Владиміра, при всеобщей похвальбѣ богатырской, только двое братьевъ сидятъ — не веселы, буйны головы повѣсили. На приглашенье *ласковаго* Владиміра: «что̀ вы ни чѣмъ не похвалитесь?» они говорятъ, что у нихъ есть сестра, сидящая въ теремѣ за семью замками: ни солнце ее не огрѣетъ, ни вѣтры не обвѣютъ... Совершенно напоминая затворничество Афросиньи королевичны и Чесовичны, черты эти прямо ставятъ и эту *сестру братнюю* въ разрядъ тѣхъ *затворницъ миѳическихъ*, насильственное отнятье которыхъ *яко-бы* у ихъ братьевъ есть только *освобожденіе изъ неволи*. Но въ нашей былинѣ затворничество сестры получаетъ уже, въ понятіи братьевъ, значеніе добровольной, нравственной неприступности; только дальше оказывается, что братья въ ней ошибаются:

«Не чѣмъ же вы, братаны, хвастаете,
Не добромъ вы, братаны, похваляетесь;
Довольно я видалъ вашу сестрицу
Свѣтъ Настасью Збородовичну,
А бывали и такіе часы
Что у ней и на грудяхъ леживалъ.»

Нѣсколько напоминая положенье Дуная у короля Политовскаго, слова эти принадлежатъ тутъ Алешѣ, который и на дѣлѣ доказываетъ братьямъ, что сестра ихъ дѣйствительно его принимаетъ. Въ основѣ не трудно и тутъ усмотрѣть не что̀ иное, какъ ту миѳическую податливость стремящагося высвободиться изъ плѣна свѣтлаго существа, о которой говорено было выше. Но поверхъ ея налегло наслоеніе бытовое, впрочемъ также весьма отдаленное: въ этомъ не трудно намъ убѣдиться послѣ всего того, что̀ видѣли мы въ исходѣ древнѣйшихъ былинъ о боѣ Ильи Муромца съ сыномъ, и что̀ было по поводу ихъ говорено объ издавней цѣнности *чести дѣвичьей*.

Захватили свою родну сестрицу....
Хотятъ ей срубить буйну голову....
«Не губите своей Настасьи Збородовичны,—
Отдайте мнѣ-ка во замужество.»

Честнымъ на этотъ разъ поворотомъ въ отношеніяхъ къ ней Алеши прикрывается основное *миѳическое замужество* свѣтлой дѣвы, спасшейся отъ

166) Такого у него и никогда не имѣется. Кромѣ вышеуказанной пѣсни у Рыбн. IV, № 2.

погони существъ, державшихъ ее въ плѣну. Но есть еще пересказы, къ сожалѣнію, попорченные; въ одномъ уже и мѣсто дѣйствія не у Владиміра, а, по сказочному, *невѣсть гдѣ*; въ другомъ же—у попа съ дьякономъ. Въ первомъ—конецъ трагическій: братья срубаютъ сестрѣ голову—

Покатилася головка
Алешенькѣ подъ ножки.... (Кир. II, 65—66).

Въ второмъ конца собственно нѣтъ, но на него ясно указывается заключительными словами: «ссѣкемъ сестрѣ голову—обезчестила бороду» (Кир. II, 67). Братья такимъ образомъ *мстятъ* сестрѣ за *стыдъ*, которымъ она покрыла семью. Ими въ этомъ случаѣ руководитъ то-же самое чувство, сила котораго поднимаетъ руку Сокольника на Илью Муромца Наши богатыри, такимъ образомъ, вопреки скороспѣлому заключенію г. Стасова (В. Евр. Іюнь, 629), чувствуютъ иногда и стыдъ, и потребность мщенія, хотя послѣдняя и проявляется въ нихъ крайне рѣдко, что̀ самъ я не разъ высказывалъ, но въ чемъ никакъ не могу видѣть *недостатка* нравственнаго, способнаго поставить насъ ниже Минусинскихъ Татаръ или Коибаловъ.

Возвращаясь собственно къ братьямъ Збродовичамъ, замѣчу, что для трагической развязки ихъ отношеній къ сестрѣ миѳическаго основанія уже не имѣется: свѣтлое существо, какъ извѣстно, *окончательно* никогда не гибнетъ. Эта развязка уже—бытовая, явно усиливающая впечатлѣніе, производимое темными сторонами нрава Алеши. — Но есть и еще одно сказаніе объ его безсовѣстныхъ отношеніяхъ къ женщинамъ, сказаніе, въ которомъ уже принимаетъ участіе и Илья Муромецъ. Оно даже вставлено въ одну изъ былинъ объ Ильѣ, гдѣ предшествуетъ неполной и сильно-попорченной передачѣ его схватки съ татарченкомъ (сыномъ) (Кир. I, стр. 5). Илья Муромецъ наѣзжаетъ въ чистомъ полѣ диковинку—*разъѣздную походную красну дѣвицу:* слова, которыми, повидимому, намекается на знакомыхъ намъ женъ воительницъ; но въ отвѣтѣ на вопросъ Ильи Муромца: кто она? дѣвица является уже существомъ слабымъ, но нравственно сильнымъ, неподдающимся:

Я жила была у батюшки дочь гостиная. Отъ того Олеши Поповича,
Я бѣжала красна дѣвица съ новыхъ сѣней, Отъ насмѣшника—пересмѣшника.

Это послѣднее прозванье, какъ увидимъ, закрѣпилось за Алешею даже въ цѣломъ рядѣ былинъ. Что̀ касается дѣвицы, то ежели и тутъ въ свою очередь можетъ крыться знакомая намъ общенародная сторона,—миѳическая *неподатливость*, то въ настоящемъ видѣ былины все похожденье имѣетъ смыслъ уже исключительно нравственный. Новый, нравственный же оттѣнокъ проявляется при этомъ и въ Ильѣ Муромцѣ:

Охъ ты гой еси, душа-ли красна дѣвица! Я бы съ Олешей перевѣдался,
Охъ ты что̀ мнѣ давно не сказалася? Я бы снялъ съ Олеша буйну голову?

Не занимало ли это похожденіе въ томъ цѣлостномъ строѣ нашего эпоса, какой, повидимому, уже ясно обозначался въ немъ въ свое время, не занимало ли оно въ немъ мѣста *до* пріѣзда Ильи Муромца въ Кіевъ и не этимъ ли

похожденіемъ объясняется тотъ недружелюбный пріемъ, какой былъ сдѣланъ ему Алешею? Во всякомъ случаѣ надо думать, что Илья Муромецъ въ прежнемъ, болѣе цѣльномъ составѣ нашего эпоса, не въ одномъ только этомъ похожденіи являлся защитникомъ чести дѣвичьей. Такъ и первенствующій, подобно ему, югославянскій Марко оказывается *спасителемъ дѣвицъ*. Сюда относится у Вука въ ч. II большая былина подъ № 66. Замѣчательны также слѣд. стихи изъ другой сербской пѣсни:

Од Бога је велика гријота,
А од људи азор и срамота
Дјевојачку срећу затомити.... (Вука II, стр. 532).

Осязательнымъ выраженіемъ той же мысли служитъ въ сборникѣ Петрановича пѣсня подъ №8—отчасти уже охристіанствованная. А въ другой пѣснѣ Марко Кралевичъ говоритъ у него: дјевојку оставит' грехота (ст. 413).

Дѣвица—жертва Алеши—сестра Збродовичей. Но братья Збродовичи упоминаются также у Кирши Данилова въ перечнѣ богатырей, присутствовавшихъ у Владиміра во время пріѣзда Ильи Муромца. Но по перечню ихъ должно быть семь, а въ былинѣ, только что упомянутой, ихъ всего двое. Объ остальныхъ пяти братьяхъ мы, стало быть, ничего не знаемъ. Но упоминовеніе уже и одного имени ихъ при первомъ пріѣздѣ Ильи не свидѣтельствуетъ ли въ пользу того, что это лица *издавнія* въ нашемъ эпосѣ, и этимъ не подтверждается ли и издавность въ немъ ихъ сестры съ ея похожденіемъ? Г. Безсоновъ, на томъ основаніи, что они, въ разсмотрѣнной нами былинѣ, названы раза два Петровичами, приравниваетъ ихъ (зам. къ IV в. Кир., XXI) къ двумъ королевичамъ изъ Кракова Петрою и Лукѣ Петровичамъ (Рыбн. I, п. 72). Но вѣдь на одномъ этомъ основаніи еще ничего нельзя заключить; похожденія же двухъ королевичей не представляютъ ничего сходнаго со Збродовичами. Вѣрнѣе, кажется, мнѣніе г. Безсонова вообще о такъ называемыхъ у него *скученныхъ* богатыряхъ: «желая, говоритъ онъ, намѣтить иногда цѣлую эпоху или цѣлый край... или сложность какихъ либо богатырскихъ свойствъ былевая пѣсня размѣщаетъ нѣкоторыя лица *кучами*... Таковы же *братья Збродовичи*, по своему имени—збродъ, сборные удальцы (Зам. къ IV вып. Кир., стр. XII) Далѣе, г. Безсоновъ указываетъ но имя тѣхъ же Збродовичей въ другихъ былинахъ—на богатырской заставѣ кіевской (о которой рѣчь еще впереди) и даже въ самомъ Новгородѣ. Но и тутъ и тамъ это только *имя*, никакихъ дальнѣйшихъ объясненій не представляющее.

Рядомъ со Збродовичами, какъ не трудно намъ вспомнить, у Кирши Данилова упоминаются въ перечнѣ и мужики *Залѣшане* (опять встрѣчающіеся и въ Новгородѣ и на богатырской заставѣ); сверхъ того въ одной рукописной былинѣ (XVII ст.) [167]) упоминается то *богатырь*, то *дворянинъ* Залѣшанинъ. Въ своемъ мѣстѣ увидимъ мы и Илью Муромца принимающимъ имя *Заолѣшенина*, чтобы явиться человѣкомъ незнаемымъ. Но едва ли можно

---

[167]) Пам. Стар. Р. Литер., вып. 2: повѣсть о семи богатыряхъ.



согласиться съ г. Безсоновымъ въ томъ, что «самый ужасъ, который собственно наводитъ Илья на Кіевъ, выдавая себя Заолѣшаниномъ, составляетъ, конечно, отличительный признакъ и сего послѣдняго, грознаго и страшнаго, какимъ въ народныхъ представленіяхъ былъ и есть всегда пришелецъ». — (Зам. къ IV в. Кир., XIX). Во первыхъ ужасъ наводится тутъ самимъ Ильей, а вовсе не именемъ, которое онъ на себя принимаетъ (съ цѣлію просто остаться неузнаннымъ): мы увидимъ это въ своемъ мѣстѣ. Во вторыхъ же пришелецъ вовсе не всегда представлялся и представляется народу непремѣнно грознымъ и страшнымъ; это обнаружится ниже, при разборѣ былинъ о *богатыряхъ заѣзжихъ*. Къ числу же ихъ относитъ и нашего Заолѣшанина самъ г. Безсоновъ—на основаніи той же пѣсни 8-й IV вып. Кирѣевскаго, гдѣ Илья, прикинувшись Заолѣшаниномъ, говоритъ Владиміру:

Поишь-ли ты кормишь-ли
*Заѣзжихъ* удалыхъ добрыхъ молодцевъ?
Я къ тебѣ служить пришелъ....

Относительно мѣстности, изъ которой пришелъ этотъ молодецъ, не безъосновательнымъ является указаніе г. Безсонова на западный край, откуда Владиміръ взялъ даже знаменитую свою Апраксію. «На томъ-же западѣ относительно древней Россіи, замѣчаетъ тотъ же ученый, было много дикихъ пущей—*Лѣсы*, *Лясы*, съ производными *Залѣсье*, *Олѣско*, *Олѣшнище*, *Заолѣсье*, *Полѣсье*, *Подлѣсье* и проч., откуда въ польскій языкъ, а вмѣстѣ въ западно русское нарѣчіе перешло такое множество своеобразныхъ фамилій. Ясно, что оттуда же въ пѣсняхъ всѣ *Заолѣшане* и *Залѣшане*: во первыхъ *мужики*, какъ низшій слой народа, далѣе—*дворяне*,—имя, которымъ изстари любили наши предки обозначать преимущественно западныхъ соплеменниковъ, шляхту, однодворцевъ и т. д.» (XVIII). О нравѣ же этихъ *скученныхъ* Заолѣшанъ мы уже ничего не знаемъ. Мало, очень мало узнаемъ и о нравѣ того Заолѣшанина, которымъ прикинулся Илья и который съ другой стороны упоминается въ рукописи XVII ст.: изъ послѣдней видно только, что онъ человѣкъ степенный,—умѣряетъ излишній пылъ Алеши, умно говоритъ, выбранъ посломъ. Впрочемъ въ рукописи этой, какъ увидимъ мы въ своемъ мѣстѣ, былина уже слишкомъ искажена книжнымъ наслоеньемъ московскаго времени, чтобы можно было на ней основывать какіе либо выводы на счетъ старины отдаленной.

Вслѣдъ за Заолѣшанами упоминаются въ перечнѣ двое братьевъ *Хапиловыхъ*. Имя это попадается еще разъ въ былинѣ о Ставрѣ Годиновичѣ (и о ней еще рѣчь впереди) рядомъ съ другимъ—*Притченки*.

Нарочны борцы, удалы молодцы
Притченки да Хапилонки (Кир. IV, 63).

Въ примѣчаніяхъ къ пѣснямъ Кирѣевскаго Моск. Общ. Люб. Россійской Словесности при этомъ значится: «и свойства и нарицательныя прозвища обращены тутъ въ имена собственныя: *Притченки*—отъ *притка* (извѣстное древнее слово)—кто натыкается, является откуда ни возьмись, задираетъ не-

взначей, прыткій, удалый; *Хапилонки*—хапать, хватать,—хвать. (Ср. Зам. къ IV в. п. Кир., XX),

Кромѣ этихъ болѣе или менѣе скученныхъ богатырей, Илья застаетъ у Владиміра и обособленныя богатырскія личности, но онѣ, какъ и скученные богатыри, затѣмъ уже очень рѣдко являются въ былинахъ владиміровыхъ. Съ приходомъ Ильи Муромца какъ бы окончательно проходитъ ихъ время.— Нѣкоторыхъ и изъ этихъ обособленныхъ богатырей мы уже знаемъ: таковы Святогоръ и Самсонъ, которые, какъ мы видѣли, составляютъ въ сущности *одно лицо*—*богатыря старшаго*. Самсонъ получаетъ въ перечнѣ отчество *Колывановичъ*, попадающееся еще кое гдѣ, но безъ малѣйшихъ указаній на то, что это за такой *Колыванъ*. Рядомъ со Святогоромъ упоминается и Полканъ, котораго уже видѣли мы въ одной изъ былинъ «объ Ильѣ и разбойникахъ» и видѣли *первенствующимъ* передъ Ильею. Между тѣмъ имя этого Полкана происхожденія чуждаго, книжнаго. При всемъ стараніи г. Безсонова опровергнуть мнѣніе г. Котляревскаго, что оно передѣлалось изъ Pulicane, зайдя къ намъ вмѣстѣ съ передѣлкою извѣстной итальянской повѣсти Buovo d'Antona (Бова Королевичъ);—его собственныя доказательства въ пользу существованія издавна въ нашихъ народныхъ миѳахъ *полкановъ*, т. е. «*полуконей*, подобныхъ кентаврамъ греческимъ», остаются совершенно неубѣдительными. Самъ же онъ сознается, что полканы встрѣчаются преимущественно въ лубочныхъ изданіяхъ—тамъ, гдѣ довольно сильна уже стихія заносная, чуждая, а что въ сказкахъ, устно передаваемыхъ, они рѣдки. Правда, г. Безсоновъ прибавляетъ, что въ *преданіяхъ* Полканъ и его образъ живутъ доселѣ;—но что бы было въ такомъ случаѣ привести хоть одно изъ подобныхъ преданій (Зам. къ IV в. Кир., CLXXXIX). Полканъ, не какъ богатырь полу-конь, а просто какъ одинъ изъ сильнѣйшихъ богатырей, упоминается еще въ былинѣ о Смерти и Оникѣ-воинѣ. Тутъ смерть говоритъ:

Былъ Самсонъ богатырь, тотъ славнѣ тобя,
Былъ Полканъ богатырь, тотъ славнѣ тобя, (Кир. IV, 117).

Затѣмъ остается въ перечнѣ у Кирши только Суханъ богатырь сынъ Домантьевичъ. О немъ имѣется цѣлая и довольно большая былина у Рыбникова, но былина, уже весьма подновленная (I ч., п. 6) Въ ней повѣствуется о татарскомъ нашествіи, Владиміръ является скорѣе *грознымъ* царемъ, чѣмъ ласковымъ княземъ и передъ произволомъ его безгранично покорствуютъ его слуги вѣрные. Все это увидимъ мы въ своемъ мѣстѣ—при обзорѣ былинъ о татарскомъ нашествіи и о перемѣнѣ во Владимірѣ-князѣ.

Такимъ образомъ и Суханъ остается лицомъ, въ сущности столько же мало извѣстнымъ, какъ и другіе въ перечнѣ; неизвѣстность же подобнаго рода есть *позабытость*,—т. е. отдаленность, давность. Извѣстнѣе прочихъ Святогоръ-Самсонъ, котораго древнѣйшія отношенія къ Ильѣ Муромцу уже намъ знакомы. Мы видѣли Илью присутствующимъ при его смерти; у Кирши же является онъ какъ будто ожившимъ, подобно Тугарину. Мы увидимъ его и еще разъ,—притянутымъ Ильею Муромцемъ даже на *службу общественную*.

Вызванными на ту же службу увидимъ мы и прочихъ, разсмотрѣнныхъ нами богатырей.—На службѣ такого, уже высшаго рода, а не на прежней домашней, увидимъ мы ихъ въ тѣхъ былинахъ, гдѣ они являются въ сообществѣ съ Ильей Муромцемъ. Хотя и неупомянутые въ богатырскомъ перечнѣ, они, частію своихъ похожденій, строемъ и складомъ, ихъ отличающимъ, явно *предшествуютъ* Ильѣ Муромцу. Собственно только съ приходомъ его, въ богатырское сборище кіевское проникаетъ струя новой жизни—кругъ отношеній опредѣляется, раздвигается, и *сборище* переходитъ въ *дружину*.

---

# VII.

**Илья Муромецъ во главѣ богатырской дружины.—Его отношенія къ отдѣльнымъ богатырямъ.—Сказаніе про Добрыню въ отъѣздѣ.**

Вслѣдъ за пріѣздомъ Ильи Муромца въ Кіевъ въ теперешнемъ составѣ нашего эпоса какъ бы ощущается пробѣлъ. Въ большей части пересказовъ мы не видимъ, какимъ образомъ завязалъ онъ сношенья съ богатырями, уже бывшими при Владимірѣ. Изъ того, что до сихъ поръ напечатано, только въ лубочной сказкѣ (изъ сборника П. А. Безсонова) значится, что Илья немедленно послѣ продѣлочекъ Соловья у князя «назвался съ Добрынею Никитичемъ братьями, и осѣдлали своихъ добрыхъ коней, и поѣхали въ чисто поле гулять, и ѣздили ровно три мѣсяца, не нашли себѣ сопротивника» (Кир. I прил., XXI). Да сверхъ того по отмѣткамъ В. И. Даля оказывается, что Илья Муромецъ тутъ же на пиру у князя побратался не только съ Добрыней, но и съ Алешей Поповичемъ, и съ обоими дружно жилъ (тамъ-же XXXIV). Въ ненапечатанной же пока былинѣ Щеголенкова (не разъ уже у меня приводившейся), при первомъ пріѣздѣ Ильи (вмѣстѣ съ Соловьемъ) въ Кіевъ,

Увидали тутъ вси русскіе могучіи богатыри
Старa казака Илью Муромца:
«Будь же ты намъ, старой казакъ Илья Муромецъ,
Будь же ты намъ да вѣдь большій братъ!
Держимъ мы на тебя надёжу великую
Будь-ко ты граду Кіеву у высъ да защитникомъ!»

Вообще же въ былинахъ безъ всякихъ посредствующихъ объясненій Илья является дѣйствующимъ наряду съ Добрыней, и братство названое между ними представляется чѣмъ-то издавнимъ и всѣмъ знакомымъ. По нѣкоторымъ пересказамъ (Кирши Данилова—Кир., I, стр. 11—13—Поромскаго Старика въ Пудожск. Уѣздѣ на Кенозерѣ—Рыбн. III п. 14; отчасти въ побывальщинѣ девяносто-лѣтняго старика—въ Пуд. У. на Колодозерѣ—Рыбн. I, стр. 65—наконецъ въ пересказѣ воронежскомъ—Кир. VII, доп., стр. 1—8) вдвоемъ съ Добрынею выѣзжаетъ Илья и въ тотъ разъ, когда ожидала его схватка съ сыномъ. Это сказаніе, уже подробно нами разсмотрѣнное *само по себѣ*, теперь должно представиться намъ въ связи съ богатырскимъ служеніемъ Муромца Кіеву,

кіевской Руси. Въ сторонѣ отъ этого служенья, особнякомъ стоитъ Илья Муромецъ при своемъ столкновеніи съ сыномъ только въ тѣхъ немногихъ, далеко не полныхъ, обрывками уцѣлѣвшихъ пѣсняхъ, которыя образуютъ у Кирѣевскаго 1-й отдѣлъ 1-го выпуска. Всѣ остальные, полные и подробнѣйшіе пересказы, уже выставляютъ Илью Муромца—кіевскимъ служилымъ богатыремъ. [1]) У Кирши Данилова Илья выѣзжаетъ вдвоемъ съ Добрынею (Кир I, 11—15). То-же и въ побывальщинѣ—Р. I, стр. 65. Мы уже видѣли выше, (см. стр. 30) какъ, пока Илья Муромецъ бился съ сыномъ, Добрыня терпѣлъ отъ бабы Горынинки, какъ Илья Муромецъ указалъ ему на средство совладать съ нею (отличающееся еще первобытною грубостью и не совсѣмъ удобное для печати), и какъ, когда средство это стало помогать, баба обратилась за помощью къ Ильѣ же: «не прикажи ты мнѣ рѣзать груди бѣлыя». Тутъ Илья Муромецъ *схватилъ Добрыню за бѣлы руки.*

И повела ихъ баба Горынинка
Ко своему погребу глубокому...
Гдѣ лежитъ золота казна...
Они сами тутъ богатыри дивуются,
Что много злата и серебра,
А цвѣтнаго платья все русскаго...

(т. е., очевидно, награбленнаго злою бабою на святой Руси. Но послѣ всего того, что уже знаемъ мы объ Ильѣ, насъ ни мало не удивитъ, если у него не оказывается охоты и глядѣть на золото; соскучивъ,

Оглянулся Илья Муромецъ
Во тѣ во раздолья широкія...

Между тѣмъ, пользуясь этимъ поворотомъ головы богатырской къ раздолью полей отъ тѣснаго погреба, по прежнему наклонённый надъ нимъ, вмѣстѣ съ бабою,

Молодой Добрынюшка Никитичъ младъ
Втапоры бабѣ голову срубилъ.

Въ этомъ случаѣ, дѣйствуя такъ не прямо, украдкою, онъ нѣсколько напоминаетъ Алешу Поповича.—Но мы вскорѣ увидимъ и этого послѣдняго поставленнымъ рядомъ съ Ильей.

Въ пересказѣ Поромскаго Старика (Рыбникова въ ч. III, н. 14) его еще нѣтъ. Илья тутъ выѣзжаетъ изъ Кіева также вдвоемъ съ Добрыней; но они не разъѣзжаются въ разныя стороны, а держатъ опочивъ на *Фаоръ-горѣ* (вліяніе христіанское, книжное)—въ одномъ шатрѣ (а не такъ, какъ Алеша съ Якимомъ, по барски—въ двухъ разныхъ). Илья пробуждается первый:

Вставай, молодецъ, Добрынюшка Никитиничъ!
У насъ что надъ шатромъ сотворилося:
Налеталъ надъ шатеръ вѣща птица,...
Вѣща птица, да черный воронъ
И не радостну вѣсточку сказываетъ;
Выходи-ко Добрыня изъ бѣла шатра,
И погляди по дорогѣ прямоѣзжія,
Не проѣхала ли поленица удалая.

[1]) Надо замѣтить, впрочемъ, что и въ эпосѣ другихъ народовъ *бой отца съ сыномъ* является уже вставленнымъ, какъ отдѣльное явленіе, въ цѣлую войну, происходящую между двумя сторонами. И это, думаю я, объясняется тѣмъ, что законы эпическаго развитія въ сущности вездѣ одни.



И Добрыня слушается, какъ *молодой* богатырь, *старика, свѣтъ-государя* Илью (онъ его величаетъ *батюшкой*). О братствѣ названомъ между обоими богатырями въ этой былинѣ не упомянуто, но оно должно быть подразумѣваемо при слѣдующихъ словахъ Ильи тому же Добрынѣ:

Поѣзжай-ко ты теперь за богатыремъ:
*Буде русскій богатырь, ты побратайся,*
А невѣрный богатырь, ты *войны проси.*

Этимъ прямо указывается на то, что всѣ русскіе богатыри *должны быть между собою братьями.* (Надо замѣтить, что точно также *побратаны* между собою и перы Карла Великаго [1]). Вмѣстѣ съ тѣмъ и къ невѣрнымъ богатырямъ отношенья—уже очеловѣченныя: надо *просить* войны, т. е. не нападать внезапно, а предупреждать, дѣлать вызовъ. Не напоминаетъ ли это знаменитаго святославова изрѣченія: «иду на васъ?»

Но богатырь, котораго встрѣтилъ Добрыня, оказывается слишкомъ необыкновеннымъ богатыремъ:

«Я не смѣю ѣхать за богатыремъ,
Что его храбра поѣздка молодецкая»
—«Буде не смѣешь ѣхать за богатыремъ
Дакъ больше мнѣ и товарищъ не надобно».

Послѣ этого самъ Илья (о Добрынѣ же далѣе и не упоминается) выѣзжаетъ противъ богатыря — оказывающагося его сыномъ — и, по этому пересказу, убиваетъ его. Такимъ образомъ не только въ пересказѣ *счастливомъ*, но и въ *трагическомъ*, т. е. болѣе древнемъ, Илья не стоитъ уже особнякомъ, въ сторонѣ отъ Кіева, а оказывается принадлежащимъ къ его богатырскому кругу, выѣзжающимъ на подвиги ратные съ побратимомъ богатыремъ Добрынею. И въ другихъ пересказахъ трагическихъ—то-же, и еще въ высшей степени: тутъ Илья во главѣ цѣлой *богатырской заставы.* Такъ у Кир. въ вып. IV, п. 3 (Арханг. Уѣзда):

За городомъ было за Кіевомъ
*Стояли* за Кіевомъ по *три года,*
Ничего во чистомъ полѣ не видѣли...
Выходилъ Илья изъ бѣла шатра,
Увидѣлъ паленицу преудалую...
Воротился Илья во бѣлъ шатеръ:
«*Кто бы изъ насъ* съѣздилъ во чисто поле,
Досмотрѣлъ паленицу преудалую?..

Далѣе онъ перебираетъ богатырей: Алеша гордливъ-спѣсивъ, не умѣетъ съ богатыремъ съѣхаться, не умѣетъ богатырю честь отдать; Дунай, у котораго повороты тихіе, не за виды (не за что) положитъ свою буйну голову;—что же касается Добрыни Никитича, то онъ знаетъ, какъ съ богатыремъ съѣхаться, знаетъ, какъ богатырю честь отдать. Такимъ образомъ тутъ Добрынѣ предписывается—не вступать въ бой, а только высмотрѣть, что за такой противникъ. Когда-же Добрыня, возвратясь, передаетъ Ильѣ слова противника:

Коль легко я верчу острымъ копьемъ,
Толь легко буду вертѣть Ильей Муромцемъ.

[1]) Gautier, Epopées franç·ises, II, 175.



Тогда Илья Муромецъ отвѣчаетъ:

«Ой ты гой еси, Алеша Поповичъ младъ,
Не твоя чаша, не тебѣ и пить.»

Этимъ уже прямо указывается на знакомство Ильи съ качествами Алеши. Нельзя, кажется, не согласиться съ примѣчаніемъ, дѣлаемымъ относительно этого мѣста издателями пѣсень Кирѣевскаго: «здѣсь, при хвастовствѣ паленицы, у Ильи вырываются слова: «ты, паленица, затѣялъ то-же, что̀, случалось, затѣвалъ Алеша! И тебѣ та будетъ доля, что̀ Алешѣ: не твой кусъ,—неравно подавишься; не твоя чаша,—не тебѣ и пить!» — Послѣ этого Илья немедленно выѣзжаетъ противъ нахвальщика.—Нѣсколько иначе опять въ верещагинскомъ пересказѣ съ Онеги,—у Кир. въ в. I, отд. IV, п. 2: «между Кіевомъ было и Черниговомъ стояла русская крѣпкая застава: *атаманомъ* (позднѣйшее) былъ въ первыхъ Илья Муромецъ, *во вторыхъ* былъ Дунай сынъ Ивановичъ, во третьихъ Добрыня Микитичъ, во четвертыхъ Олеша Поповичъ сынъ, а во пятыхъ былъ Ванька (Васька?) Долгополистой. Кромѣ послѣдняго—все знакомые намъ богатыри. По совѣщаніи съ податаманьемъ (а кто занимаетъ эту должность, не сказано), Илья, перебравъ да посравнивъ между собою богатырей (мѣсто въ этомъ пересказѣ попорчено), рѣшаетъ послать *Дуная*. Но и тотъ, какъ бы *воскрешаемый* на этотъ случай (мы знаемъ, что онъ погибъ уже послѣ свадебнаго пира у князя Владиміра), не смотря на свое, уже извѣстное намъ чувство воинской чести, завидѣвъ необычайнаго молодца,—

И не смѣлъ ѣхать Дунай во цисто полё...
Изъ шатра выходилъ старъ казакъ Илья Муромецъ.
„Видно, что окромѣ старика ѣхать нѣкому" (Кир. I, 53).

Сходно и въ пересказѣ калики Латышова, Пудожск. Уѣзда, (Рыбн. въ ч. I, п. 13): тутъ за три версты отъ Кіева на заставѣ стояли: *во первыхъ*—Илья, *во вторыхъ*—Добрыня, *во третьихъ*—Михайло Потыкъ; да еще стояло семь братцевъ Грядовичевъ (Збродовичей), стоялъ Ѳома Долгополый и мужики Залѣшане. Опять все лица знакомыя,—кромѣ одного *долгополаго*, но названнаго тутъ уже Ѳомою.

...Мимо эту заставу крѣпкую
Проѣзжаетъ удалый дородный добрый молодецъ...
Ихъ-то молодцевъ ничѣмъ завеѣтъ,
На Владиміра князя посмѣхъ ведетъ...

Выходилъ старый казакъ Илья и сталъ перебирать всѣхъ богатырей:

Мужики Залѣшане—бѣда дремать,
Продремлютъ богатыря во чистомъ полѣ
Ѳома Долгополый бѣда зѣвать,
Прозѣваетъ богатыря во чистомъ полѣ;
Послать семь братьевъ Грядовичевъ:
Ребята-то были молодые,
Ни за̀ что ихъ головушка во чистомъ полѣ!..
Алеша Поповичъ зарывчатъ былъ,—
Изорветъ силу до богатыря...
(Стихи 26—28).

Тутъ представляется онъ такимъ образомъ опять съ другой, сочувственной своей стороны.... Этимъ только далѣе дорисовывается его уже намъ извѣст-

ная *смѣлость*. — Въ концѣ концовъ посылается тутъ опять Добрыня; но отъ крику нахвальщика онъ упадаетъ съ добра коня во *ковыль* траву, (опять эта память о теплыхъ степяхъ въ пѣснѣ, записанной на отдаленномъ сѣверѣ). Три часа лежитъ за мертво, потомъ просыпается, ѣдетъ обратно, расказываетъ обо всемъ Ильѣ, а тотъ:

«Не кѣмъ мнѣ замѣнитися,—
«Замѣнится своей старой буйной головой.»

Въ пересказѣ изъ Кижской Волости (Рыбн. въ ч. II, п. 64) сходно съ этимъ: на дорогѣ къ Кіеву была застава великая, крѣпость была крѣпкая, семь было богатырей, а именно: 1) Илья Муромецъ, 2) Добрыня, 3) Алеша, 4) Чурилушка Щепленковичъ (намъ уже извѣстенъ намекъ на него Ильи изъ похожденія подъ Черниговомъ), 5) Михайло Долгомеровичъ (по примѣчанію изд. пѣсенъ Рыбникова, «это *Михайло* Потыкъ, потомъ Василій *Долго*полый Кази*меровичъ*, изъ котораго сдѣланъ Долгомеровичъ»—т. е., прибавлю я отъ себя, это смѣшеніе съ Михаиломъ того же самаго Долгополаго, который уже попадался намъ въ другихъ пересказахъ); наконецъ 6 и 7) два брата Агрикановы (какъ бы соотвѣтствующіе *двумъ* братьямъ Хапиловымъ; имя же Агриканъ, Агрикановы— въ другихъ былинахъ не попадается; можно припомнить только *Агриковъ мечъ* въ полукнижномъ сказаніи о Ѳевроніи Муромской).

Какъ по утру ранёшенько
Выходитъ прокладиться на бѣлой дворъ
Нашъ донской казакъ Илья Муромецъ....
«Братцы вы товарищи.....
«Чтò наша за застава!
Чтò за крѣпость наша крѣпкая?
Теперь я видѣлъ лошадиный скокъ...
Снаряжайтесь-ко, друзья,
Въ чисто поле погулять,
Тамъ невѣжи поискать.»

Это риѳмованіе двухъ послѣднихъ короткихъ стиховъ выдается изъ остального, нарушаетъ общій былевой строй. Но далѣе опять возстановляется обычный ладъ: «Ѣхать ли не ѣхать Добрынѣ Никитичу!» Только не видно, кому именно принадлежатъ слова эти. По всей вѣроятности, они составляютъ отвѣтъ *друзей*, налагающихъ службу на Добрыню. Тутъ отправляется Никитичъ разыскивать—и приключается съ нимъ совершенно то-же, чтò и въ предшествующемъ пересказѣ:

Видли молодца поѣдучи веселаго,
А пріѣдучи печальнаго...
И спроситъ нашъ донской казакъ
Илья Муромецъ:
«Чтò Добрынюшка не веселъ,
«Чтò головушку повѣсилъ?
«Ужь ты въ полѣ погулялъ,
«Знать невѣжу повидалъ!»

Опять риѳмованье короткихъ стиховъ—явленіе, конечно, уже позднѣйшее. Въ пересказѣ Рябинина—Петрозаводск. Уѣзда, Кижской Волости (Рыбн. въ ч. I, п. 12) начало нѣсколько подновлено:

На славной на *московской* на заставы
Стояло двѣнадцать богатырей безъ единаго.
По нихъ, по славной московской заставы
Пѣхотою никто не прохаживалъ,
На добромъ конѣ никто не проѣзживалъ;...
Сѣрый звѣрь не прорыскивалъ,
Птица черный воронъ не пролетывалъ.
Проѣхала паленичища удалая...
Она ѣхала, собака, насмѣялася...
Не сказала Божьей помощи богатырямъ

«Ежели Владиміръ князь стольно Кіевскій
Не дастъ онъ мнѣ поединщика,
Самого то я Владиміра подъ мечъ склоню..
Черныхъ мужичковъ-то всѣхъ повырублю»...
Говорилъ-то старый козакъ Илья Муромецъ:
«Ай же вы, братьица мои крестовые!»..,

Въ этомъ воззваніи—уже прямое свидѣтельство объ обычаѣ братства названаго между богатырями.—На вызовъ Ильи выѣзжаетъ сперва Алеша, но «посмотрѣлъ на паленицу за сыра дуба, — не смѣй онъ къ паленицы и подъѣхати». Выѣзжаетъ Добрыня—и съ нимъ тоже самое.

Если такое сотоварищество съ другими богатырями внесено и въ древнѣйшіе пересказы—трагическіе, то что же удивитеаьнаго, когда въ томъ смягченномъ со счастливой развязкой, который записанъ въ Алтайскомъ Горномъ Округѣ Д. П. Соколовымъ и перепечатанъ у Кир. въ вып. 1 на стр. 7—10, мы встрѣчаемъ на богатырской заставѣ пять богатырей: Илью Муромца, Колывана Ивановича, Самсона Васильевича, *молодого* Добрыню Никитича и Алешу Поповича.

Не пропускали они ни коннаго,
Ни коннаго и ни пѣшаго..,
Ни звѣря рыскучаго,
Ни птицы летучей.
Младъ ясенъ соколъ летитъ,—
Перо выронитъ;
Добрый молодецъ бѣжитъ,—
Головой вершитъ [3])

Проснувшись, Илья замѣчаетъ вдали богатыря. Кому-же ѣхать—распросить его о дѣдинѣ, отчинѣ, и *чей* такой добрый молодецъ?

Если русскій богатырь, то побрататься,
А невѣрный—поразвѣдаться...

Замѣчательное согласіе съ вышеразобраннымъ пересказомъ Поромскаго Старика. Между тѣмъ одинъ изъ Олонецкой Губерніи, другой изъ Алтайскаго Горнаго Округа.

Отвѣтъ держитъ Алеша Поповичъ:
«Я, братцы, поудалѣе, всѣхъ,
У меня конь порыскучѣе...

Но самохвалъ, раззадоривъ невѣдомаго богатыря словами, возвращается вотъ въ какомъ видѣ:

Ѣдетъ Алеша пьянъ, шатается,
Ко сѣдельной лукѣ приклоняется.
Завидѣлъ Алешу Илья Муромецъ:
«Говорилъ я тебѣ, Алеша, наказывалъ,
Не пей ты зелена вина»...
—«Радъ бы я не пить зелена вина:
Напоилъ-то меня добрый молодецъ до пьяна
Той шелепугой подорожною»....

Самый же способъ, какимъ онъ его напоилъ, слѣдующій:

Беретъ Алешу за бѣлы руки,
Снимаетъ его съ добра коня,
Вынимаетъ шелепугу подорожную.
Стегалъ онъ Алешу Поповича,
И садилъ его на добра коня.
(Стихи 69—73).

---

[3]) Совершенно сходно въ одной болгарской пѣснѣ: «не ми человѣкъ поминулъ, ни то ми је птиче прѣфрънуло (Безсон. I, 156; ср. также 118: не дáвутъ пиле да фръ'не).

Въ этихъ боевыхъ пріемахъ сына Ильи не видѣнъ-ли самъ Илья—съ его стремленіемъ только *проучить*, а не погубить? Такимъ образомъ *смягченность* въ этомъ пересказѣ не ограничивается однимъ Ильей, но сообщается и его сыну.

Но смягченіе выразилось еще и другимъ образомъ въ этомъ замѣчательномъ похожденіи на богатырской заставѣ. Въ пѣснѣ Арханг. Губ. Шенкурск. Уѣзда, помѣщенной у Кирѣевскаго въ вып. I, отд. IV, № 1, и въ пѣснѣ Арханг. Уѣзда, помѣщенной тамъ же въ вып. IV подъ № 2 невѣдомый богатырь является уже просто *врагомъ*, *чужаниномъ*, а вовсе не сыномъ Ильи. Въ первомъ изъ этихъ пересказовъ застава подъ самымъ Кіевомъ, на тѣхъ на степяхъ на *цицарскіихъ* [4]) (послѣднее, очевидно,—книжное, подновленное): Илья атаманомъ, податâманьемъ Добрыня, есауломъ (тутъ и этотъ казацкій чинъ) Алеша поповскій сынъ, еще былъ у нихъ Васька Долгополистый [5]) и Гришка боярскій сынъ; послѣдній—лицо, еще намъ не попадавшееся.—Всѣ были *братцы* въ разъѣздьицѣ, только Илья Муромецъ спалъ въ чистôмъ полѣ въ бѣлôмъ шатрѣ. Добрыня, возвращаясь съ охоты отъ синя моря, замѣтилъископоть въ полъ-печи.

Учалъ онъ ископоть досматривать:
«Еще что же то за богатырь ѣхалъ?
Изъ этой земли изъ *жидовскія*
Проѣхалъ Жидовинъ могучъ богатырь.»

по остроумному объясненію покойнаго Хомякова, онъ долженъ быть изъ *Земли Хозарской* (гдѣ, какъ извѣстно, исповѣдывалось Іудейство). Но какова, въ такомъ случаѣ, рѣзкость перехода отъ такого воспоминанія о древнемъ Хозарскомъ Царствѣ, къ такому, уже очевидно позднѣйшему обстоятельству, какъ то, что Жидовинъ пріѣзжаетъ тутъ на степи *цицарскія*. При видѣ нахвальщика, Добрыня, прибравъ свою *братію приборную*, обращается къ ней со слѣдующимъ упрекомъ, напоминающимъ слова Ильи въ пересказѣ изъ Кижской Волости:

Мы чтô на заставушкѣ устояли?
Мимо нашу заставу богатырь ѣхалъ.

Чтобы пособить горю, братья приборная начинаетъ *думу крѣпкую думати*:

Кому ѣхать за нахвальщикомъ?—
*Положили* на Ваську Долгополаго.

Но на рѣшеніе *братской думы* находится возраженіе у *большаго богатыря* Ильи Муромца, возраженіе — отчасти напоминающее пересказъ калики Латышова:

Не ладно, ребятушки, положили:
У Васьки полы долгія; —
Но бою—на дракѣ заплетётся,
Погинетъ Васька по напрасному.

Стали снова думу думать, и *положились* на Гришку на боярскаго: но и на это находится возраженье у Муромца:

---

[4]) Цысарскія—у Кир. II, п. 2.

[5]) Долгополище—у Кир. II, п. 2.

Боярскіе роды хвастливые;—
На бою-дракѣ призахвастается; [*])
Погинётъ Гришка по напрасному.

Дума, опять передумавъ, положилась было на лицо изъ другаго слоя,—уже хорошо знакомаго намъ Алешу Поповича; но и тутъ раздается неодобрительная оцѣнка со стороны муромскаго крестьянина:

Поповскіе глаза завидущіе,
Поповскія руки загребущія;—
Увидитъ Алёша на нахвальщикѣ
Много злата, серебра—
Злату Алеша позавидуетъ;—
Погинётъ Алеша по напрасному.

Вотъ какимъ образомъ, по мнѣнью безсребренника-Ильи, является вредной помѣхой въ подвигахъ богатырскихъ та самая жажда добычи, которая, какъ видѣли мы, легла *краеугольнымъ камнемъ* въ основу германскаго эпоса. Но въ той же былинѣ, немного далѣе, не та уже точка зрѣнія сказывается въ словахъ Добрыни, на котораго, какъ и въ другихъ пересказахъ, наконецъ *положили* ѣхать за нахвальщикомъ. Вотъ какого рода попрекомъ встрѣчаетъ его Добрыня:

Зачѣмъ нашу заставу проѣзжаешь
Атаману Ильѣ Муромцу не бьешь челомъ,
Податаману Добрынѣ Никитичу?
Есаулу Алешѣ въ *казну не кладешь*
*На всю нашу братію наборную?*
(Стихи 88—92).

Тутъ Алеша является, какъ бы съ общаго согласія, человѣкомъ по части злата и серебра; онъ какой-то казначей этой братьи наборной, а чужіе богатыри какъ будто должны откупаться отъ боя съ нею. Или не разумѣется ли тутъ какое нибудь взиманіе на богатырской заставѣ *грошей подорожныхъ*? — Но мы видѣли, какъ эти *гроши* разсердили представителя старины крестьянской, Селяниновича Микулу. Онъ со своимъ осужденьемъ «грошей,» и Илья, со своимъ судомъ надъ Алешей за сребролюбіе—принадлежатъ къ одному эпическому возрѣнію, къ одному былевому слою. Напротивъ въ словахъ Добрыни о казнѣ есаула Алеши слышенъ уже совершенно особый слой. Но и тутъ — это казна *общая*, казна *на всѣхъ*, и слова Добрыни могутъ быть примирены со словами Ильи тѣмъ, что послѣдній нападаетъ въ Алешѣ собственно на жажду добычи *личной*. — Особый и, конечно, относительно поздній слой слышенъ и въ томъ *обобщеньи*, въ какое вдается Илья, называя всѣ вообще поповскіе глаза завидущими и всѣ вообще боярскіе роды хвастливыми. Тутъ уже слышится ясно обозначившаяся сословность, и своего рода крестьянскій отпоръ и боярскому, и духовному чину.

Добрыню, который, по свидѣтельству нашего пересказа, отъ приговора братской думы *не отпирается*, постигаетъ и въ немъ та-же участь, какая въ другихъ пересказахъ достается всѣмъ, кромѣ одного Ильи. При приближеньи нахвальщины всколебалася мать-земля, изъ озеръ вода выливалася, подъ Добрыней конь на колѣнца палъ. Тутъ Добрыня, подобно Мстиславу Тму-

[*]) Призахвастнется—у Кир. II, п. 2.

тораканскому въ извѣстномъ лѣтописномъ преданіи, взмолится Господу Богу и матери пресвятой Богородицѣ [7]). Но Мстиславъ взмолился во время самаго боя и наконецъ одолѣлъ Редедю, а Добрыня былъ радъ и тому, что конь, поправившись, *унесъ* его отъ нахвальщины. Встрѣчаетъ возвращающагося Илья Муромецъ со братіею со приборною; Добрыня имъ сознается во всемъ, а Ильѣ, какъ и въ пересказѣ Латышова, приходится прійти къ заключенію:

Больше некѣмъ замѣнитися,—
Видно ѣхать атаману самому.

И мы не разъ еще услышимъ отъ муромскаго крестьянина такія слова, которыя, какъ и боязнь его проливать напрасную кровь, прямо сближаютъ былевого Илью съ историческимъ Мономахомъ. «Что долженъ былъ дѣлать отрокъ мой, говоритъ знаменитый князь, то самъ я дѣлалъ, ночь и день не давая себѣ покоя, на посадниковъ не полагаясь [8]).»

Поѣзжаетъ Илья на гору Сорочинскую, посмотрѣлъ изъ кулака молодецкаго (эта, такъ сказать, природная *подзорная трубка*, конечно, первобытнѣе тѣхъ «трубочекъ нѣмецкихъ», о которыхъ такъ часто говорятъ былины и которымъ соотвѣтствуетъ въ сербскихъ пѣсняхъ не рѣже въ нихъ попадающійся «дурбинъ отъ бильура»—трубка хрустальная [9]). Поѣхавъ прямо на *чернизину*, Илья Муромецъ не *удробился*, т. е. не испугался, по объясненію П. В. Кирѣевскаго. Такимъ образомъ этимъ пересказомъ даже отрицается тотъ мимолетный страхъ, который нѣкоторыми пересказами приписывается и Ильѣ при первой встрѣчѣ съ нахвальщиной. Однако же и тутъ, какъ въ другихъ пересказахъ, Илья сначала падаетъ подъ нахвальщиной: обстоятельство, опять подтверждающее, что мы имѣемъ передъ собою только передѣлку былины о боѣ съ сыномъ, превратившимся тутъ въ чужого, въ богатыря Жидовина. Тождество подтверждается и насмѣшками этого послѣдняго надъ *старостію* Ильи: «ты поставилъ бы себѣ келейку; при той путѣ— при дороженькѣ; сбиралъ бы ты, старикъ, во келейку тутъ бы, старикъ, сытъ-питаненъ былъ.» [10])—Но и тутъ, какъ въ другихъ пересказахъ, у Ильи, лежучи, втрое прибыло силы отъ одной мысли о томъ, что «не бывать ему въ чистомъ полѣ убитому,»—только приговоръ этотъ является тутъ «удуманнымъ у апостоловъ, написаннымъ у святыхъ отцовъ.»—Сохраненъ и извѣстный пріемъ Ильи—*киданіе выше дерева*; но, такъ какъ противникъ тутъ—злой Жидовинъ, то *подхватываніе* оказывается непригоднымъ. «Палъ нахвальщина на сыру землю, въ сыру землю ушелъ до поясъ.»—Вслѣдъ за тѣмъ—замѣчательный стихъ, какъ будто бы намекающій на иной, первоначальный видъ похожденія:

---

7) Данъ-мать пресвятой Богородицѣ—у Кир. II, п. 2. Т. е. Донской Божьей Матери — по примѣч. записавшаго пѣсню.

8) Мы видѣли выше (стр. 37), какъ въ пересказѣ воронежскомъ Илья даже не даетъ Добрынѣ, выѣзжающему въ поле выглядывать, взять съ собой палицу—чтобы не допустить его до боя, а припасти этотъ послѣдній себѣ самому.

9) На примѣръ у Вука II, страница 230, III, 282. Но у Кир. II, п. 2. Илья смотритъ изъ трубочки серебряной. Въ онежск. пер. Верещагина (Кир. I, IV, 2)—трубка долговидная.

10) Тутъ бы старикъ и животъ скончалъ—у Кир. II, п. 2.

*Не досугъ Илюхѣ много спрашивать,*—
Скоро споролъ груди бѣлыя...

т. е., какъ будто бы, было время. когда такой *недосугъ распросить* объяснялъ ужасное обстоятельство—убіенье родного сына, вмѣсто этого позднѣйшаго жидовина. Но въ такомъ случаѣ, это былъ бы намекъ на совершенно особый изводъ *трагической* вѣтви сказанія, болѣе близкій къ нерусскимъ изводамъ: въ нашихъ отечественныхъ, какъ мы видѣли, Илья постоянно находитъ досугъ распросить объ имени, узнаетъ сына, щадитъ его, и только позже губитъ—защищая себя отъ мстящей его руки.

Какъ бы то ни было, въ теперешнемъ видѣ былины смыслъ намека вполнѣ утраченъ. Отсѣченную голову жидовина Илья, какъ единственную свою добычу, везетъ, взоткнувъ на копье, на заставу свою богатырскую, гдѣ встрѣчаетъ его Добрыня съ братіею. Тутъ онъ бросаетъ передъ ними голову на землю:

«Ѣздилъ во полѣ тридцать лѣтъ,
Экаго чуда не наѣзживалъ.»

Былина этимъ заканчивается: сраженъ Жидовинъ,—врагъ, подобный Тугарину, Одолищу или Батыгѣ. Киданіе отрубленной головы врага—пріемъ, довольно рѣдкій въ нашихъ былинахъ, но попадающійся и въ юго-славянскомъ и въ западно-европейскомъ эпосѣ. У Ильи же онъ какъ-то особенно тутъ проникнутъ, по словамъ Хомякова, «спокойнымъ величіемъ древняго эпоса.

Только что разобранный пересказъ записанъ г. Кузмищевымъ въ Шенкурскомъ Уѣздѣ; что же касается помѣщеннаго у Кирѣевскаго въ вып. IV подъ № 2, то онъ записанъ въ самомъ Архангельскомъ Уѣздѣ г. Харитоновымъ, между тѣмъ этотъ послѣдній совершенно близокъ къ тому. Обращая вниманіе на это обстоятельство, издатели пѣсень Кирѣевскаго (въ выноскѣ *** къ 6-й стр. IV-го выпуска) справедливо замѣчаютъ, что такимъ совпаденьемъ былинъ, записанныхъ въ разныхъ мѣстахъ и разными лицами, прямо доказывается, какъ вѣрно обѣ онѣ записаны. Немногія, оказывающіяся разнорѣчія уже обозначены мною въ подстрочныхъ выноскахъ. Здѣсь же приведу только одно, главнѣйшое. Оно заключается въ слѣдующей замѣчательной постановкѣ разсужденія Ильи Муромца:

Малое большимъ замѣняется
Большему не кѣмъ замѣнитися;—
Ѣхать атаману самому.

Это своеобразно высказано, но совершенно соотвѣтствуетъ основному воззрѣнію Муромца, по которому чѣмъ выше вверхъ, чѣмъ болѣе силы, тѣмъ болѣе тяготы и повинности.

Два, разобранныхъ теперь пересказа, представляютъ особый, архангельскій изводъ сказанія о боѣ на заставѣ, изводъ, въ которомъ смягченіе первоначальной основы выразилось, какъ мы видѣли, тѣмъ, что пративникъ Ильи сталъ совершенно чужаниномъ—Жидовиномъ. На востокѣ, въ Перм-

скомъ Краѣ, какъ еще ранѣе видѣли мы, смягченіе выразилось *мировою* между противниками—отцомъ и сыномъ. Только одинъ Олонецкій Край, не смотря на свое сосѣдство съ Архангельскимъ, уберегъ, какъ мы также знаемъ, такой видъ сказанія, въ которомъ смягченіе, сказавшись было въ Ильѣ, не мѣшаетъ однакоже кровавой развязкѣ, вызываемой закоренѣлою несмягченностью его сына.—Напомнивъ объ этой основной разницѣ между изводами архангельскимъ, пермскимъ и олонецкимъ, обратимся теперь къ своду общихъ положеній изъ разсмотрѣнія собственно той стороны ихъ, которая занимала насъ въ настоящей главѣ. Сторона эта заключается собственно въ богатырской заставѣ и положеніи на ней Ильи Муромца, стоятеля и оберегателя, во главѣ богатырской приборной братіи.

Застава эта, какъ могли мы видѣть, есть, такъ сказать, обороченная въ другую сторону застава соловьиная. Какъ та не пропускала къ Владиміру князю ни пѣшаго, ни коннаго, такъ не пропускаетъ и эта; но та не пропускала къ нему своихъ, отдѣляла его отъ народа, эта же не пропускаетъ вороговъ, *посмѣхъ ведущихъ на князя*, [11]) оберегаетъ отъ силы чужанской народъ вмѣстѣ съ княземъ. На той заставѣ засѣло чудовище съ *родомъ* своимъ звѣринымъ, напложеннымъ отъ кровосмѣшенія, по обычаю *скотьскому*, выражаясь языкомъ Нестора. На этой заставѣ проживаетъ *братія* по Богу, а не по роду, употребляя выраженіе сербскихъ пѣсень. [12])— Это братія *крестовая*, *названая*, *приборная*, это—*община богатырская*. У нея своя общинная казна, свои общинныя должностныя лица. Но они носятъ уже, въ настоящемъ видѣ былинъ, имена, заимствованныя у позднѣйшей казацкой боевой общины. Въ главѣ ихъ Илья—съ прозвищемъ также уже позднѣйшимъ *атамана казацкаго*. Но существенное, основное его значенье— это ясно еще сквозящее значенье *большого богатыря*—старинушки, первенствующаго своею силою и долголѣтнею опытностью. При всемъ могучемъ вліяньи его, заправляетъ *дума*: службу на отдѣльныхъ богатырей *налагаютъ*, *накидываютъ*—во множественномъ числѣ,—т. е. братія, община.—Самъ Илья говоритъ: кого же *намъ* послать? (пересказъ Рябинина). Или: кому изъ *насъ* ѣхать? (верещагинскій пересказъ съ Онеги). Встрѣчается, правда, (у калики Латышова) вопросъ этотъ и въ такомъ видѣ: кого *мнѣ* послать за богатыремъ, но это только разъ, и совершенно несоотвѣтственно всему остальному въ былинѣ, а равно и общему душевному складу Муромца.—Совершенно иное значеніе имѣетъ тоже мѣстоименіе *мнѣ* въ словахъ Ильи изъ той же былины: «некѣмъ мнѣ замѣнитися» Мы уже видѣли, что слова эти значатъ: меньшей силы оказывается недостаточно, надо пустить въ ходъ и большую, про запасъ сбереженную. Есть одинъ пересказъ нашего сказанія, (Никифора Прохорова изъ Пудожскаго Уѣзда Купецкой Волости), гдѣ Илья Муромецъ выступаетъ совершенно одинъ и притомъ не на *заставѣ*, а въ самомъ Кіевѣ—прекрасномъ селѣ. Тутъ онъ совсѣмъ и не думаетъ о какой либо замѣнѣ себя

[11]) Въ пересказѣ Латышова (Р. I, 75).
Ихъ-то молодцевъ ничѣмъ зоветъ,
На Владиміра князя посмѣхъ ведетъ.

[12]) Вука пѣсни, I, 454: «ва' по Богу, ва' по роду.» Ср. выраженія: «Богомъ побратиме, Богомъ поочиме,» и т. п.



другими. Подступаетъ молодой Соловниковъ и выкликаетъ изъ Кіева поединщика:

Пришло извѣстьице ко тому ко Ильѣ ко Муромцу:
Скочилъ Илья на рѣзвы ноги,
Какъ ударилъ кулакомъ во дубовый столъ,—
Разлетѣлся столъ во всѣ стороны.
Говоритъ Илья таково слово:
Я могу служить стоять за Кіевъ градъ [13]).

Всякое значеніе *старѣйшинства* тутъ исчезаетъ.—У Кирѣевскаго въ 1 вып. въ одномъ отдѣлѣ съ былинами о стояніи Ильи на заставѣ помѣщена одна, нѣсколько особаго содержанія, записанная на Сузунскомъ Заводѣ Д. П. Соловьевымъ (№ 3 въ отд. IV-мъ). Сама по себѣ она не имѣетъ важности, ставя Илью въ положеніе, не достающееся ему по другимъ былинамъ: во время нападенья на Кіевъ Тугарина Бѣлевича, Илья тутъ сказывается отсутствующимъ—ловящимъ звѣрей въ полѣ; за него расправляется съ Тугариномъ молодая жена его Савишна, которая и является только въ одной этой былинѣ, [14]) тогда какъ во всѣхъ остальныхъ Илья Муромецъ не имѣетъ жены (связь его съ матерью Сокольника—связь, какъ мы видѣли, *заугольная*). (Мы убѣдимся въ своемъ мѣстѣ, что этой Савишнѣ приписывается тутъ похожденіе, собственно принадлежащее вѣрной женѣ совершенно другого богатыря, подобно тому какъ Тугаринъ—былевой врагъ не Ильи, а Алеши). Упомянутая былина замѣчательна только указаніемъ на Илью, какъ на выборнаго главу рати, вслѣдствіе чего, вѣроятно, и помѣщена она въ сборникѣ въ одномъ отдѣлѣ съ былинами о стояніи Ильи на заставѣ во главѣ богатырской приборной братіи. Между тѣмъ зачинъ былины отличается особенностью, выставляющею Владиміра не столько древне-кіевскимъ, сколько уже московскимъ властителемъ: къ нему собираются собственно только *князи-бояря*, собираются *низко кланяются*, *рѣчи слушаютъ княженецкія*. Но этимъ князьямъ-боярамъ, становящимся тутъ, по былевому-казацкому, въ *побѣдный кругъ*, Владиміръ молвитъ таково слово:

Князья-бояря вы мои вѣрныя!
*Изберите вы молодца изъ-промежъ себя*,
А я дамъ ему рать мою сильную:
А *кто съ нимъ пойдетъ, тотъ съ нимъ пойдетъ*,
А кто съ нимъ нейдетъ, тотъ останется
Берегчи князя со княгинею.»

Мимоходомъ замѣчу, что этимъ: «кто пойдетъ, а кто нейдетъ», какъ будто бы поясняются выше приведенныя слова изъ пересказа калики Латышова: «ѣхать не ѣхать Добрынѣ Никитичу». Этимъ, кажется, указывается на то, что *прибирается* эта братія на началѣ вольной волюшки.—Тѣмъ менѣе къ ней подходитъ позднѣйшее, разумѣется, проименованіе: *князья-бояря*,—особенно когда обратишь вниманье на слѣдующее:

Стали думу думати крѣпкую,
Надумали, говорили таково слово:
«Мы всѣ съ тобой, со княгинею,
«За тебя мы положимъ наши головы,
А рать поведетъ Илья Муромецъ:
Мы дадимъ ему нашихъ дѣтушекъ...

т. е. они дадутъ своихъ боярскихъ и княженецкихъ дѣтей подъ начало

[13]) Рыбн. I, стр. 81.

[14]) Она была уже мимоходомъ затронута выше.

крестьянину!—Ясно, что *князья-бояря* тутъ только замѣна древнѣйшихъ *богатырей*, только позднѣйшій наростъ на такой былевой основѣ, которая и вѣдаетъ лишь одинъ, всѣхъ уравнивающій, *богатырскій чинъ*.

---

Мы разсмотрѣли отношенія Ильи Муромца ко всей вообще богатырской братіи. Обратимъ же теперь вниманіе на его особенныя отношенія къ тому или другому богатырю побратиму. Уже изъ вышесказаннаго можно было замѣтить, что Илья Муромецъ болѣе близокъ къ Пот̀ыку и Добрынѣ. Былины о первомъ уже были разсмотрѣны мною во всей полнотѣ, что̀ касается основного ихъ содержанія. Остается только указать на подробности, которыми опредѣляются отношенья Ильи къ Потыку, а вмѣстѣ и къ Добрынѣ—третьему въ ихъ братскомъ союзѣ. Почти всѣ пересказы рыбниковскіе начинаются на пиру у Владиміра тѣмъ, что солнышко *наметываетъ службы* на этихъ богатырей. Всѣ эти службы—свойства уже вполнѣ государственнаго. Въ пересказѣ девяностолѣтняго старика изъ Пудожскаго Уѣзда (Р., I, 37) Владиміръ при этомъ подноситъ богатырямъ по чарѣ зелена вина и по̀ ковшу меду сладкаго. (Такъ и у калики изъ Красныхъ Лягъ—Р., II, п. 15). На *перва̀го богатыря стараго Илью Муромца* онъ наметывалъ службу великую:

Съѣздить на Горы Сорочинскія,
Убить силу поганую отъ мала до велика...

Относительно этой силы, высылавшей столькихъ губителей на Русскую Землю, Илья Муромецъ, какъ намъ уже извѣстно, не зналъ пощады. Возвратившись изъ посылки, онъ расхвастался передъ княземъ:

Я убилъ силу съ мала до велика
Не оставилъ силы на сѣмена.

Изъ положенья стоятеля-оберегателя на заставѣ онъ перешелъ такимъ образомъ въ положеніе наступательное. И въ этомъ опять отразились судьбы Земли Русской, которой, для упроченія своей обороны, волей-неволею приходилось въ концѣ концовъ вступать со своими врагами, какъ съ востока, такъ и съ запада или сѣвера, въ наступательную войну. При этомъ, какъ всѣмъ извѣстно, дѣло наконецъ доходило и до *захвата*. На него уже прямо указываетъ та служба, которую, за одно съ наметываемою на Илью, Владиміръ наметываетъ на Добрыню:

Ему ѣхати богатырю за славное синё море, Коренить (искоренять) языки человѣчески,
Ему бить, земли прибавливать, Прибавливать землицы святорусскія.

И Добрыня сослуживаетъ эту службу съ такою же исправностью, какъ Илья.

Не трудно замѣтить, что ежели въ стояніи богатырей на заставѣ отразилось оборонительное положеніе древнѣйшей *украинной* Руси, то только что

разобранное наметываніе службъ могло проникнуть въ былины лишь позже—съ началомъ наступательныхъ дѣйствій московской, уже царской Руси.

О родѣ службы, доставшейся Потыку, — справленіи даней-выходовъ,—мы уже знаемъ изъ подробнаго обзора былинъ о немъ. По пересказамъ старика калики изъ Красныхъ Лягъ (Р. II, п. 15) и пудожгорскаго крестьянина Василія Лукина (Р. IV, п. 12) и безыменнымъ, одному изъ Олонецкихъ Вѣдомостей (Р. I, п. 38) и двумъ, записаннымъ г. Лысановымъ въ Кижской и Сѣнногубской Волостяхъ (Р. II, п. 16 и 17)—то-же справленіе выходовъ достается и Ильѣ съ Добрыней. Владиміръ говоритъ при этомъ:

Не чимъ мнѣ Владиміру похвастаться,
Нѣтъ у меня золотой казны.

На долю Громца во всѣхъ этихъ пересказахъ приходится добываніе даней съ Золотой Орды [15]), которой, по нѣкоторымъ другимъ былинамъ, а также и по свидѣтельству исторіи, мы напротивъ того сами платили дань. Ясно, что подъ Золотою Ордою должны разумѣться тутъ позднѣйшія, покоренныя нами орды,—Казанское, Астраханское Царство. Потыку достаются дани съ Туреціи, а Добрынѣ—со Швеціи (Р. I, п. 38; II, п. 16 и 17). Но въ пересказѣ Рябинина (Р. I, п. 36), какъ и видно было выше, Потыкъ ѣдетъ въ Золоту Орду, и притомъ не *за* данью, а *съ* данью, которую, впрочемъ, онъ ворочаетъ. Тутъ такимъ образомъ сохранилась память о дани нашей Татарамъ. (Въ пересказѣ изъ Олонецкихъ Вѣдомостей, а также въ двухъ пересказахъ лысановскихъ, Потыкъ, привезя дани изъ Турецкой Земли, долженъ везти дани къ Бухарю Заморскому, но ѣдетъ безъ нихъ и напротивъ выигрываетъ у Бухаря дани выходы) (сходно и у В. Лукина). Въ пересказѣ изъ Красныхъ Лягъ Добрыня ѣдетъ въ *Цареградъ*, а Потыкъ въ *Царство Заморское*. То и другое, конечно, древнѣе. — Цареградъ только позже замѣнился Турціей, а неопредѣленное Царство Заморское — лежащею дѣйствительно за моремъ и географически опредѣленною Швеціей [16]).

Такимъ образомъ три, занимающихъ насъ богатыря, отправляются съ государственными порученіями въ такія земли, которыя могли зайти въ былины только въ позднѣйшія историческія времена. Но это не мѣшаетъ имъ оставаться между собой побратимами въ древнѣйшемъ былевомъ смыслѣ. Прежде чѣмъ разъѣхаться, собирались они ко кресту леванидову: [17]) тутъ они крестами побраталися. Такъ оно въ пересказѣ Олонецкихъ Вѣдомостей, обоихъ лысановскихъ (изъ Кижской и изъ Сѣнногубской Волостей) и у Василія Лукина (Повѣнецкаго Уѣзда) [18]). При этомъ Илья, разумѣется, стано-

---

[15]) Только у Василья Лукина Ильѣ говорится:

Съѣзди-ка во большу землю
Большу землю, каменну Москву...

Но эта очевидная ошибка поправлена была самимъ пѣвцомъ. Во второй разъ онъ уже пропѣлъ г. Рыбникову: каменну орду. Далѣе же у него является и золотая, въ которую достается ѣхать Добрынѣ:

Ты съѣзди-ка въ небольшу землю,
Небольшу землю, Золоту Орду...

Пѣвецъ явнымъ образомъ путалъ (Р. II, стр. 61).

[16]) Въ Лысановскомъ пересказѣ изъ Сѣнногубской Волости (Р. II, п. 17), Потыкъ ѣдетъ въ богатую Индію. О томъ, что она должна быть происхожденія книжнаго, уже говорено было выше.

[17]) Крестъ этотъ, нерѣдко упоминаемый въ былинахъ, составляетъ въ нихъ еще неразъясненную, какъ думаю я, подробность.

[18]) Р. I, п. 38; II, п. 16 и 17; IV, п. 12.

вится большимъ братомъ, Потыкомъ среднимъ, а Добрыня меньшимъ; у Василья Лукина это распредѣленіе позабыто. Затѣмъ у него нѣсколько иначе, чѣмъ у другихъ пѣвцовъ, передается слѣдующее:

На прощаньи они спромолвили:
«Кто у насъ прежде повыправитъ,
Другому *на встрѣчу* посиѣвать» (Р. IV, стр. 62).

Въ другихъ пересказахъ: «который выѣдетъ раньше, къ другому ѣхать на *выруку*.» Притомъ же слова эти въ обоихъ лысановскихъ пересказахъ приписываются Ильѣ Муромцу—на что, конечно, имѣется основаніе въ его по преимуществу братолюбивомъ нравѣ. Слова *на выруку* вѣрнѣе передаютъ смыслъ условія, чѣмъ слова *на встрѣчу*. Въ пересказѣ Олонецкихъ Вѣдомостей слово *выручка* сохранилось, но въ цѣломъ это мѣсто попортилось:

Кто же изъ нихъ пораньше всѣхъ
Да повыѣдетъ къ другому на выручку?

Спрашивается тутъ какъ бы отъ лица самого пѣвца (Р. I, стр. 229) — Нѣсколько иначе представляется договоръ у калики изъ Красныхъ Лягъ:

Разъѣзжалось, богатыри
Промежду собой уговорилися,
Братьямъ дружка дружкѣ сожидать. [19])

Илья справляется раньше всѣхъ и вслѣдъ затѣмъ раскидываетъ въ полѣ шатеръ бѣлополотняный и дожидается своей братіи. Въ пересказѣ колодозерскаго девяностолѣтняго старика (изъ Пудожскаго Уѣзда) объ условіи, заключаемомъ на разставаніи побратимами, позабыто, но на него указывается дальнѣйшимъ содержаніемъ и этого пересказа. Илья и Добрыня справляются ранѣе, такъ какъ имъ дано только по одному порученію, а Потыкъ, справивъ первое, сейчасъ же получаетъ другое — ѣхать опять за выходами въ другое царство—Налетово. При возвращеньи оттуда, его встрѣчаютъ оба брата названыхъ и сообщаютъ о смерти его жены (Р. I, п. 37). Сходно съ этимъ и у калики изъ Красныхъ Лягъ, гдѣ даже прямо сказано, что Илья возвратился первый, а за нимъ Добрыня. Зато про смерть жены сказано тутъ, что скорая вѣсть о ней просто *пришла* къ Михайлѣ въ кабакъ; черезъ кого — уже позабыто (Р. II, п. 15). Въ пересказѣ изъ Олонецкихъ Вѣдомостей раньше всѣхъ возвращается Михайло Потыкъ, но сейчасъ же получаетъ новое порученіе—къ Бухарю. Вотъ туда-то ѣдетъ къ нему Добрыня—съ вѣстью о *побѣгѣ* жены его. Въ обоихъ же лысановскихъ пересказахъ вѣстникомъ является Илья, а Потыкъ, сейчасъ же собравшись въ путь, поручаетъ Ильѣ получить съ Бухаря выигранную имъ половину Царства Заморскаго (Р. II, п. 16 и 17). Напротивъ того у Василія Лукина (Р. IV, п. 12) дѣло это (тутъ, впрочемъ, полученіе *всего* царства) поручается Добрынѣ, пріѣхавшему съ вѣстью о смерти марьиной. Такая замѣна Ильи Добрыней и наоборотъ вполнѣ понятна, такъ какъ оба являются тутъ въ одномъ и томъ же значеніи

[19]) Су с' један другом завјерили: «дје се један у невољи нађе, да му други у помоћи буде». (Вук. II, 221—222).

*вѣрнаго побратима*. У Рябинина (Р. I, п. 36), гдѣ позабыто и наметываніе службъ на троихъ и разстанное условіе между богатырями, Илья однакоже является къ Михайлѣ въ кабакъ съ вѣстію—тутъ опять о *побѣгѣ* жены (хотя и о *смерти* ея, позабытой, было, Рябининъ вспомнилъ потомъ и особо пропѣлъ собирателю пропущенные стихи о томъ).

Въ пересказѣ девяносто-лѣтняго старика (изъ Пудожскаго Уѣзда, Рыбн. I, п. 37) Потыкъ, собираясь итти съ женою въ могилу, поручаетъ приготовленье ея обоимъ названымъ братьямъ. Схоронили Михайлу съ женою. Прошло послѣ того три мѣсяца, а Илья, знать, все думаетъ про своего побратима. Идутъ отъ обѣдни князи-бояра и могучіе русскіе богатыри, вдругъ подъ землей зарычало и вода со пескомъ помутилася. «Не изъ воды ли чудо выстало, не изъ иной ли земли наѣхало?» спрашиваютъ богатыри. Только Илья сейчасъ же понялъ, въ чемъ дѣло: «стоснулося богатырю во сырой землѣ со тымъ со тѣломъ со мертвымъ.» (Р. I, стр. 220).

Признавъ за своимъ побратимомъ эту, впрочемъ, весьма не мудреную способность *стосковаться*, Илья не спросился у того изъ нашихъ изслѣдователей, которому богатыри наши представляются неумѣющими ни радоваться, ни горевать (Вѣстникъ Европы за Іюнь 1868 г., стр. 629). Мало того, Илья и самъ съ Добрынею оказывается умѣющимъ горевать о Потыкѣ, когда тотъ пропадаетъ безъ вѣсти, превращенный въ камень своей ожившей женой. «*Стосковалися* братьица крестовые,» говорится въ одномъ пересказѣ; (Р. II, стр. 76) «воспомнили, сжаловались по Михайлы Потыку»—въ другомъ (Р. I, стр. 232); его *спомнили* братья крестовые (Р. II, стр. 83); *схватились* они по Михайлѣ Потыкѣ (II, 67); братьица по немъ *вспахнулися* (т. е. вспомнили съ безпокойствомъ, по примѣч. г. Рыбникова, IV, стр. 68). У калики изъ Красныхъ Лягъ къ Ильѣ и Добрынѣ присоединяется еще и Алеша *Поповичевъ*: каковъ онъ ни будь, но и онъ способенъ *схватиться* по побратимѣ (только въ былинахъ о Добрынѣ въ отлучкѣ мы увидимъ его измѣняющимъ братству крестовому).

Богатыри-побратимы не только предаются чувству тоски, но подъ вліяньемъ его сейчасъ же совершаютъ *извѣстные факты*, *извѣстныя дѣйствія*, какъ выражается тотъ-же русскій изслѣдователь; можетъ быть именно изъ-за преобладанія въ нашихъ богатыряхъ дѣятельной стихіи эпической, не допускающей праздной чувствительности, онъ и проглядѣлъ въ нихъ всякія руководящія чувства. Во всѣхъ, только что упомянутыхъ пересказахъ, братья, накрутившись каликами, идутъ отыскивать Потыка. Имъ попадается *старичокъ* (Р. I, п. 37), *старчище пилигримище* съ клюкою въ сорокъ пудъ (Р. I, п. 38. [20]), *четвертый калика незнакомый* (Р. I, п. 15: въ числѣ переодѣтыхъ каликами: съ Ильей и Добрыней тутъ еще идетъ и Алеша); *калика старая*, *старая калика сѣдатая*, *сѣдатая*, *сама плѣшатая* (*Р. IV, п. 12*). Переодѣтые калики охотно берутъ этого подлиннаго калику *во товарищи* [21]).

[20]) Также у Р. II, п. 16 и 17, только въ послѣдней при старчищѣ—пилигримищѣ еще сорокъ каликъ со каликою, не имѣющіе тутъ никакого значенія и, очевидно, замѣшавшіеся сюда изъ другихъ былинъ.

[21]) Въ пересказѣ Олонецкихъ Вѣдомостей (Р.—I. стр. 232) они прямо приглашаютъ его во компанію



«Не побрезгуемъ,» говорятъ они ему у Василья Лукина (Р. IV, стр. 69). Далѣе, въ пересказѣ Олонецкихъ Вѣдомостей и въ обоихъ лысановскихъ, прибывъ въ то царство, гдѣ окамененъ былъ Потыкъ, они просятъ милостыни у царя; но пѣвцы, имена которыхъ остаются намъ неизвѣстными, сказывая конецъ былины уже машинально, быть можетъ, отъ утомленія, позабыли о цѣли ихъ странствія — узнать, гдѣ Михайло Потыкъ? Калики просто просятъ милостыни, и, получивъ, уходятъ. Въ лысановскомъ пересказѣ изъ Кижской Волости не передается даже и щедрое надѣленье каликъ и пищею, и питьемъ, и деньгами по совѣту жены михайловой (о чемъ довольно подробно въ другихъ пересказахъ), а все это мѣсто скомкано въ одинъ, совершенно безцвѣтный стихъ: «отпустили каликъ перехожіихъ»(Р. II, стр. 76). Но изъ дальнѣйшаго содержанія видно, что они надѣлены деньгами. Все это, дѣйствительно, порча, «должно почитаться позднѣйшимъ, мало мотивированнымъ варіантомъ,» по выраженію г. Стасова [22]); но онъ не правъ, утверждая, что самое испрашиванье даровъ переодѣтыми богатырями «имѣетъ мало смысла»: оно тутъ явнымъ образомъ для того, чтобы вполнѣ показаться каликами и тѣмъ удобнѣе вывѣдать про Михаила;—только самое *вывѣдываніе* пропущено.—Этотъ пропускъ, надобно думать, обратилъ на себя вниманіе какого нибудь сознательнаго пѣвца, которому былина досталась уже въ упомянутомъ, попорченномъ видѣ. Отсюда могли явиться попытки опять поправить, и вотъ такія-то попытки и дошли до насъ въ пересказахъ девяностолѣтняго старика съ Колодозера и калики изъ Красныхъ Лягъ. У перваго прямо указывается на то обстоятельство, что «не спросили калики, гдѣ убитъ ихъ названый братъ.» Между тѣмъ, придя къ царю Вахрамею, они тутъ просили милостыни,

Не для ради калики перехожаго,
А для ради Михайла Потыка Ивановича,
Нашего брата названаго (Р. I, стр. 223).

Эта послѣдняя откровенность есть опять своего рода *порча*, при которой женѣ михайловой не надо даже особой смѣтливости, чтобы рѣшить, что это не калики перехожіе, а русскіе могучіе богатыри, а потому и слѣдуетъ надѣлить ихъ всѣмъ, чтобы они—это, какъ кажется, затаенная мысль ея—не спросили про Михаила. И пѣвцу, который прямо послѣ этого говоритъ, что они ушли, *не спросивъ*, цѣль ея представляется, повидимому, достигнутою: закормленные и упоенные, они отуманены. У калики изъ Красныхъ Лягъ это объяснительное обстоятельство еще болѣе выдвинуто впередъ, хотя, съ другой стороны, о самомъ умыслѣ жены михаиловой тутъ умалчивается.

И брала каликъ за руки бѣлыя,
А ведетъ въ палаты бѣлокаменны,
И поитъ-кормитъ, чествуетъ.
Трое калика (третьимъ—Алеша) пьютъ и ѣдятъ,
А четвертый (незнаемый) не ѣстъ и не пьетъ;
Трое каликъ принапилися,
Принапилися, да на полъ свалилися,
А четвертый калика не пилъ, тотъ и не пьянъ.

(послѣднее слово, конечно, новѣйшее). Сходно и въ лысановскомъ изъ Кижской Волости, только тутъ не имѣется слова компанія. (Р. II, стр. 76).

[22]) Вѣстн. Евр. 1868 г., Февр., стр. 679.



Оно насылаетъ на сонныхъ двѣнадцать богатырей Вахрамея, но они всѣ побиты каликой бодрствующимъ. Тогда Вахрамей, присмирѣвъ, отбираетъ у сонныхъ каликъ котомки и, наполнивъ полнехонько златомъ-серебромъ, кладетъ обратно. Калики же, проснувшись, рѣшаютъ:

«Накормилъ напоилъ Вахрамей Вахрамеевичъ,
И на дорогу животами надѣлилъ!»
И пошли калики во Кіевъ градъ (Р. II, стр. 67 и 68).

Позволяя себѣ думать, что такое объясненіе странной забывчивости побратимовъ есть только присочиненье позднѣйшее, подобно тому какъ самая эта забывчивость есть только порча, пропускъ, плохо вяжущійся со всѣмъ остальнымъ,—я однакоже полагаю съ другой стороны, что въ этихъ позднѣйшихъ чертахъ могли выказаться нѣкоторыя слабыя стороны народныхъ нашихъ нравовъ. Во всякомъ случаѣ *все это* очень далеко отъ трехъ товарищей Гессеръ-Хана, отыскивающихъ его у г. Стасова, который умѣлъ однакоже нѣсколько ихъ приблизить къ нашимъ богатырямъ, опустивъ такія подробности, какъ, на примѣръ, превращеніе одного изъ отыскивающихъ *въ улитку*, которую кладетъ себѣ въ карманъ Адшу-Мергенъ, другая жена Гессеръ-Хана, совершенно заслоняющая собою въ дѣлѣ отыскиванія трехъ его сотоварищей. [23]) Но еще отдаленнѣе отъ азіятскаго «первообраза» то, что слѣдуетъ во всѣхъ упомянутыхъ пересказахъ далѣе. Надѣленные златомъ и серебромъ, калики идутъ отъ царя и останавливаются на дорогѣ у камня. «Давайте, братцы, живота дѣлить», говоритъ четвертый калика незнакомый. Въ пересказѣ девяностолѣтняго старика съ Колодозера приводится еще особенная тому причина:

Привелъ ихъ старчище ко каменю:
«Мнѣ отъ васъ эта ровстань прочь итти,—
Начнемъ на камню деньги паевать.» (Р. I, стр. 224)

Во всѣхъ пересказахъ выходитъ такъ, что дѣлитъ именно этотъ старчище, а въ томъ, что изъ Олонецкихъ Вѣдомостей и въ одномъ изъ лысановскихъ—такая честь предоставлена ему Ильей Муромцемъ—едвали не изъ уваженія къ старымъ лѣтамъ сѣдатаго и плѣшатаго; наконецъ у Василія Лукина (Р. IV, п. 12) честь дѣлежа предоставляется старчищу обоими—и Ильей, и Добрыней. Но старчище начинаетъ дѣлить на четыре части (тамъ, гдѣ примѣшанъ Алеша, на пять). Тутъ, по одному пересказу—всѣ остальные калики, по тремъ другимъ—Илья Муромецъ съ удивленіемъ спрашиваетъ: кому же лишняя часть. [24]) А у калики изъ Красныхъ Лягъ при этомъ сказано про Илью, что онъ «не стерпѣлъ своего сердца ретиваго.» Но удивленная досада богатыря должна была скоро улечься. Незнакомый калика объясняетъ, что

[23]) Schmidt, die Thaten Bogda Gesser Chans, p. 276.

[24]) Опять не спросясь у г. Стасова, по увѣренью котораго богатыри наши и удивляться-то не умѣютъ (В. Евр., Іюнь, 629). Такое же точно выдѣленіе лишней доли встрѣчается и въ тѣхъ сказкахъ о чудесномъ старцѣ, помогающемъ бѣдняку выдѣлить царевну, на которыя указываетъ г. Бессоновъ въ своей Замѣткѣ къ IV в. Кар., стр. XLII—XLIII.

четвертая часть тому, кто поднимета этотъ горючъ камень (или кто броситъ его черезъ плечо, или же то и другое вмѣстѣ). Прискочилъ Добрыня и ухватилъ камень до колѣнъ своихъ: по колѣнъ Добрынюшка въ землю угрязъ; прискочилъ Илья, поднялъ камень по грудямъ своимъ, и по груди казакъ въ землю увязъ (угрязъ). [25]) А у девяностолѣтняго старика сверхъ того сказано, что *Илья на силу* (*свою*) *надѣется*, но ему приходится спросить тутъ: «чтожь это въ камени за сила за божеска, иль за дьявольска?

На здымъ здынулъ бы два камня,
А тутъ на камень не могу и умомъ подумать.»

Прискочилъ ко камню Добрыня Никитичъ,
А не могъ подъ камень вѣтра подпустить

(Р. I, стр. 224).

Что не удается богатырямъ, то удается старчищу: подхвативъ камень одной рукой (или же концами рукъ), онъ, какъ ничего, перебрасываетъ его черезъ плечо съ наговоромъ:

Гдѣ былъ бѣленькій горючій этотъ камешекъ,
Тутъ повыскочи Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ,—

и Михайла выскакиваетъ, говоря: «какъ я долго спалъ». Старчище отвѣчаетъ на это: «еслибъ не я, такъ и вѣкъ бы спалъ», и заповѣдуетъ ему, по возвращеніи въ Кіевъ, поставить свѣчу Николѣ угоднику. Такъ оно въ пересказѣ Олонецкихъ Вѣдомостей и въ обоихъ лысановскихъ (во второмъ недостаетъ только наказа поставить свѣчу. [26]) Что же касается девяностолѣтняго старика, то у него Михайла не говоритъ о *спаньѣ*, а сейчасъ же спрашиваетъ братьевъ названыхъ о молодой женѣ своей. При этомъ пѣвецъ какъ будто бы пораженъ тѣмъ, что онъ

И не спрашивалъ ни про Кіевъ градъ,
Ни про князей-бояръ, про богатырей.

Въ этомъ случаѣ Михайломъ управляетъ одно только чувство мести, не застывшее въ немъ и при долгомъ окаменѣніи, и г. Стасовъ опять поторопился заключеніемъ, что богатыри наши и о чувствѣ мести не знаютъ, (В. Е. Іюнь, 627). Вслѣдъ за отвѣтомъ (повидимому, со стороны богатырей) на счетъ жены, раздаются тутъ слѣдующія слова старчища:

«Молитесь Миколы Можайскому,
И будетъ васъ Микола миловать,
Изъ синя моря выздыновать.»

---

[25]) У Василія Лукина Добрыня выдвинулъ до пояса и по колѣна въ землю сѣлъ, Илья здынулъ на бѣлу грудь, и по поясъ въ землю сѣлъ (Р. IV, стр. 70).

[26]) Въ пересказѣ Василія Лукина (Р. IV, с. 12) это передается подробнѣе:

Какъ будешь у города у Кіева,
Служи-ка церькови Богородицѣ и Михайлу Архангелу,
И Николы Святителю:
Я избавилъ тебя, отъ смерти напрасныя.

Церкови Михайлу Архангелу появляются тутъ вслѣдствіе имени Потыка—Михаилъ; церковь Богаматери, кажется,—просто распространеніе, но замѣчательно въ этомъ пересказѣ отожествленіе я послѣ наказа поставить церковь Николѣ: этимъ, кажется, прямо указывается на то, что онъ-то и есть Никола.—Св. Николаемъ оказывается и чудесный старецъ въ тѣхъ сказкахъ, на которыя, какъ уже сказано выше, указываетъ г. Безсоновъ (Пѣсни Кир. IV, стр. XL—XLIV).

Старчище оказывается такимъ образомъ тѣмъ же самымъ угодникомъ Николаемъ, который извѣстенъ и по былинамъ о Садкѣ, новгородскомъ купцѣ, поднятомъ имъ со дна моря (какъ увидимъ мы въ своемъ мѣстѣ). Но подъ этимъ позднѣйшимъ именемъ изъ христіанскаго круга вѣрованій скрывается, разумѣется, какое нибудь другое, миѳическое лицо—изъ старшаго поколѣнія. Въ ново-открытой болгарской пѣснѣ объ Орфеѣ встрѣчается также *поднимающій со дна моря* чудесный старецъ, — но не святой Николай, а просто «стари дѣдо съ брада до локата-тъ.» (См. въ изд. г. Дашкова).

Надо замѣтить, что въ томъ же пересказѣ девяностолѣтняго старика, перегримище вдругъ изчезаетъ:

А и видѣли старика походючись,
И не видѣли куда старый сшелъ (Р. I, стр. 225).

Это совершенно напоминаетъ въ одной изъ былинъ объ изцѣленіи Ильи Муромца выраженіе: «тутъ калики потерялися.» Не даромъ же и старчище въ былинахъ о Потыкѣ является каликою съ тяжелѣйшей богатырской клюкою. И онъ вѣдь творитъ надъ Михайломъ чудо, своимъ *оживляющимъ* дѣйствіемъ прямо подходящее къ чуду тѣхъ перехожихъ каликъ надъ сиднемъ Ильей. Какъ первоначальная, миѳическая природа Потыка должна была быть близка къ миѳической природѣ Ильи, такъ и старчище, скрывающееся подъ именемъ угодника Николая, долженъ былъ быть однимъ изъ тѣхъ, избыткомъ чудесной силы надѣленныхъ старцевъ. Не забудемъ наконецъ, что и тѣ калики въ одномъ изъ пересказовъ скрываются подъ позднѣйшими христіански-священными именами самого Іисуса Христа съ апостолами.

Послѣ всего этого совершенно понятно *первенствованіе* старчища пилигримища даже передъ Ильей Муромцемъ. Это опять выходецъ изъ старѣйшаго, отошедшаго вдаль поколѣнія богатырей, выходецъ, какихъ еще встрѣтимъ мы впереди—при другихъ похожденіяхъ Муромца.

Но мы знаемъ уже, что богатыри старшіе отличались преимуществами, исключительно *тѣлесными*. Старчищу же пилигримищу въ пересказѣ девяностолѣтняго старика приписывается въ самомъ концѣ и чисто нравственная черта. По уходѣ его «оставалась казна на камени» (Р. I, стр. 225). Онъ такимъ образомъ только выдѣлилъ лишнюю часть, но не взялъ ее себѣ. Думаю, что это произошло уже подъ вліяніемъ христіанскаго представленія объ угодникѣ, которому ничего земного не надобно.

Но мы знаемъ уже, что такая же точно безсребренность составляетъ господствующую черту въ Ильѣ Муромцѣ. У калики изъ Красныхъ Лягъ она проявляется въ немъ и тутъ, во время *дѣленія животовъ* каликою незнакомымъ. Все это мѣсто былины передается у этого пѣвца со значительными особенностями. Если сначала Илья тутъ униженъ тѣмъ, что и онъ, вмѣстѣ съ Добрынею и Алешей, принапился и на полъ свалился (только *незнакомый калика* остался тутъ трезвъ—опять черта, по всей вѣроятности также связанная съ христіанскимъ значеніемъ угодника); то далѣе образъ Ильи возстаетъ опять во всей своей простой, но дѣйствительной, уже знакомой

нымъ красотѣ. «Не стерпѣвъ своего сердца ретиваго» при видѣ пятой, излишней части, выдѣленной незнакомымъ каликою, Илья вдругъ слышитъ отъ него въ отвѣтъ: «тому пятая часть, кто сдѣлаетъ изъ этого камня богатыря.» Тутъ онъ, надо думать, догадывается, что этотъ, имѣющій выйти изъ камня, не кто иной, какъ побратимъ его Потыкъ. Съ очевидною *радостью* говоритъ онъ тутъ:

«Батюшко, четвертый калика незнакомый!
Буде ты сдѣлаешь изъ этого каменя богатыря,
Пусть весь животъ тебѣ пойдетъ,
Не надо-ть намъ одна денежка (Р. II, стр. 60).

Кромѣ собственной своей обычной безсребренности, Муромецъ тутъ высказываетъ и полную увѣренность въ томъ, что она найдется на этотъ разъ и въ его побратимахъ. Это *«намъ»* знаменательно, находясь вмѣстѣ съ тѣмъ въ связи и съ привычкою Муромца — употреблять мѣстоименіе личное во *множественномъ* числѣ. Наконецъ тутъ совершеннѣйшее отсутствіе богатырскаго самолюбія, ревности или зависти. Въ этомъ смыслѣ и г. Стасовъ могъ бы быть правымъ: многихъ чувствъ, или, лучше сказать, многихъ сильныхъ *страстей*, дѣйствительно у насъ не имѣется—по крайней мѣрѣ за Ильей Муромцемъ.

Послѣ того, что̀ имъ высказано, Илья у калики изъ Красныхъ Лягъ даже и не пытается совладать съ камнемъ. Не пытаются и другіе богатыри, предоставляя это каликѣ незнаемому, который, *крѣпки приговоры* приговаривая, выводитъ Михайлу изъ камня. Далѣе же въ этомъ пересказѣ особенно выдается впередъ и безсребренность чудеснаго старца:

Обирайте, калики, весь животъ,
Не надо-ть мнѣ моя доля:
Молитесь вы Николѣ Святителю:
Кабы не онъ, то бы вы убиты были!»

(намекъ на напавшихъ на нихъ, по этому пересказу, двѣнадцать богатырей вахрамеевыхъ).

Послѣ этого три калики кіевскіе уходятъ въ Кіевъ градъ, незнакомый калика въ свою сторону, а Потыкъ искать жену свою. Тутъ дѣйствительно не видать ни *радости* при свиданіи, ни благодарности за спасенье. И мѣстъ, отличающихся такою эпическою сжатостью, наклонностью къ *факту*, къ одной *передачѣ событія*,—такихъ мѣстъ дѣйствительно много въ нашемъ по-преимуществу *эпическомъ* эпосѣ. Вотъ это-то и можетъ подавать поводъ къ поспѣшнымъ выводамъ о кажущемся отсутствіи «психическихъ мотивовъ» у нашихъ богатырей. Впрочемъ въ данномъ случаѣ пересказъ Василья Лукина отличается иными свойствами. Вотъ какъ въ немъ повѣствуется о возстаніи михаиловомъ:

Кололся камешекъ на двое,
Выходитъ Михайла Потыкъ Ивановичъ,
Выходитъ онъ на святую Русь,
Поклонъ онъ бьетъ по ученому
Братцамъ крестовымъ
И каликѣ перехожої,
Что избавили отъ смерти напрасныя.
Спроговоритъ калика имъ старая:
«Прощайте-ка, русскіе могучіе богатыри!»...
А Михайла Потыкъ Ивановичъ
Сталъ отправляться къ королю Политовскому.
Стали братьица звать въ свою сторону.
Нѣтъ, мои братьица крестовыя!
«Набѣ отсѣчь мнѣ Марьѣ буйна голова.

Тутъ уже прямое указанье на мысль о мести. Но богатыри побратимы идутъ въ свою сторону, подобно тому, какъ и въ другихъ пересказахъ, бывъ свидѣтелями оживленія Потыка, они за тѣмъ оставляютъ его, — оттого ли, что считаютъ силы его достаточными на Вахрамея съ Лебедью, оттого ли, что спѣшатъ къ Кіеву на свою богатырскую службу? — Это, конечно, остается вопросомъ, «психическіе мотивы» тутъ не показаны, но такъ оно бываетъ нерѣдко во всякомъ, вполнѣ первобытномъ эпосѣ, а потому тутъ едва-ли слѣдуетъ предполагать сокращеніе, пропускъ. Скорѣе, думаю я, только что приведенное мѣсто изъ пересказа Василія Лукина отличается позднѣйшею, уже нѣсколько разсудочною распространенностью. Совсѣмъ не то встрѣчающееся въ пересказѣ изъ Олонецкихъ Вѣдомостей заявленіе, что Потыкъ, отправляясь отомщать женѣ, *простился со братьями со крестовыми* (Р. I, стр. 234). Оно не нарушаетъ эпической сжатости, и, быть можетъ, только позже выпало изъ другихъ пересказовъ.

Позднимъ пропускомъ, позабытостью, было признано выше то обстоятельство, что богатыри-побратимы не спрашиваютъ у короля о Потыкѣ. Въ этомъ отношеніи пересказъ Василія Лукина полнѣе, не смотря на то, что король и тутъ кормилъ ихъ до сыта и поилъ до пьяна (что̀ на древнемъ языкѣ вовсе не значило—до опьяненія) [27]) и дарилъ имъ честны дарева, а они ни мало̀ не были отуманены этимъ (Р. IV, стр. 70):

Спрашивали русскіе могучіе богатыри
У Марьи Лебедь Бѣлыя
Михайлу Потыка Иванова.
Она имъ испроговорить:
«Тоскую по Михайлы Потыкѣ Ивановѣ, —
Не знаю, гдѣ Михайла Потыкъ Ивановичъ».

---

Государственная служба богатырей и побратимныя отношенія между ними ясно выказываются также въ былинѣ о *Добрынѣ въ отъѣздѣ*, которая дошла до насъ въ большомъ количествѣ пересказовъ. Былина эта выставляетъ Добрыню уже мужемъ добытой имъ съ бою Настасьи Микулишны. Но воинственная сторона послѣдней, съ громадностью богатырскихъ размѣровъ и чрезвычайнымъ избыткомъ силъ, (какъ мы видѣли выше)—уже вовсе не проявляется въ этой былинѣ: Настасья Микулишна поставлена тутъ въ положеніе обыкновенной женщины, такъ что уже по этому одному былина, къ которой мы теперь обращаемся, представляетъ собою особый, значительно позднѣйшій былевой слой. Между тѣмъ основа ея, какъ увидимъ, принадлежитъ къ числу самыхъ древнихъ основъ эпическихъ.

Вотъ что̀ передается намъ Киршей Даниловымъ [28]). Пиръ у ласкова сударь князя Владиміра. А и будетъ день въ половину дня, Владиміръ князь распотѣшился, похаживаетъ и поговариваетъ:

---

[27]) Въ стихѣ о Вознесеніи Христосъ говоритъ калѣкамъ: будете вы сыты и пьяны (т. е. удовлетворены какъ пищею, такъ и питьемъ).

[28]) Перепеч. у Кир. въ изд. II, отд. I, № 9.

Есть ли въ Кіевѣ таковъ человѣкъ
А кто бы сослужилъ службу дальную,
А и дальну службу заочную?
Кто бы съѣздилъ въ Орды немирныя
И очистилъ дороги прямоѣзжія
До моего тестя любимаго
До грознаго короля Этмануйла Этмануйловича.
Вырубилъ Чудь бѣлоглазую,
Прекротилъ [29]) Сорочину долгополую,
А и тѣхъ Черкесъ пятигорскихъ,
И тѣхъ Колмыковъ съ Татарами,
Чукши всѣ бы и Алюторы?»

Въ числѣ этихъ народовъ, принадлежащихъ ко всякаго рода татарщинѣ, издавна извергавшей на русскую землю насильниковъ,—въ числѣ ихъ упоминаются и сибирскіе, воинственныя отношенія къ которымъ Руси обозначились только къ исходу XVI столѣтія, и Черкесы—народъ кавказскій, вызвавшій противъ себя силу русскую и еще позже. Но отдаленная эпическая старина слышна въ томъ, что всѣ эти народы представляются залегшими, подобно Соловью разбойнику, дорогу прямоѣзжую къ тому *неисторическому* тестю владимірову, королю Этмануйлу, о которомъ мы уже знаемъ изъ древнихъ былинъ о Дунаѣ Ивановичѣ. Столько же явственно слышится старина и въ самомъ, уже хорошо намъ знакомомъ, пріемѣ Владиміра: онъ тутъ, собственно говоря, только *вызываетъ охотника* сослужить службу; тутъ еще не видать того *наметыванія службъ*, которое только что видѣли мы въ былинахъ о Потыкѣ, *наметыванія*, уже отзывающагося *приказаніемъ, властностью* временъ царскихъ. Надо замѣтить, что отчасти сходное отсутствіе повелительности еще слышится и въ одной изъ древнѣйшихъ chansons de geste, гдѣ самъ Карлъ Великій иной разъ спрашиваетъ: «seignurs barons, qui i enveierons?» Или говоритъ имъ: «m'élisez un barun.... qu'à Marsiliun me portast mun message....» или опять: «me jugez q'iert en larere guarde?» [30]). Обломкомъ такой *простоты отношеній* является въ эпосѣ франкскомъ и то, что перы, какъ уже видѣли мы, нерѣдко *туляются* отъ вызововъ Карла. Въ нашей былинѣ Кирши Данилова, вслѣдъ за спросомъ Владиміра выходитъ то-же:

Втапоры большой за меньшаго хоронится
А отъ меньшаго ему князю отвѣта нѣтъ.

Вотъ тутъ-то выступаетъ на выручку князю племянникъ его Добрыня и говоритъ словами Ивана Гостинаго (см. выше стр. 380)

Нѣтъ у тебя въ Кіевѣ охотниковъ,—
Быть передъ княземъ невольникомъ

т. е., по примѣчанію издателей сб. Кирѣевскаго: «коли нѣтъ у тебя охотниковъ, такъ по неволѣ приходится мнѣ» (II, стр. 19). Но хотя эта служба и названа тутъ *невольною*—она всетаки служба не по приказу, а по сознанію, что кому нибудь надо же сослужить ее: «*изъ чего же насъ богатырей князю и жаловати*,»—далѣе говоритъ самъ Добрыня матери, когда та упрекаетъ

---

[29]) Перекротилъ, укротилъ.

[30]) Chanson de Roland. éd. Génin, p. 21, 27, 66, 69.

его, что онъ «передъ княземъ расхвастался въ походъ иттить.»—Но вдругъ, посреди такого порядка вещей, Владиміру приписывается пріемъ, очевидно припадлежащій уже не тому былевому слою:

Втапоры Владиміръ князь
*Приказалъ* наливать чару зелена вина въ полтора ведра...
*Подавали* Добрынѣ Никитичу.

Оно бы показалось совершенно обыкновеннымъ и ни мало не страннымъ, еслибы не встрѣчалось очень часто въ былинахъ, что Владиміръ наоборотъ *самъ* наливаетъ и *самъ* подаетъ чару богатырямъ.—Выпивъ, Добрыня идетъ за благословеніемъ къ государынѣ матушкѣ, за благословеніемъ на шесть лѣтъ, еще въ запасъ на двѣнадцать лѣтъ: такъ долго, по разсчету его, должна продолжаться трудная, многосложная служба. Мать отвѣчаетъ такимъ упрекомъ, въ которомъ такъ и слышится подтвержденіе свидѣтельству лѣтописи о *семейственномъ* бытѣ тихихъ и кроткихъ Полянъ:

На кого покидаешь ты молоду жену?...
За *чьмъ же ты*, дитятко, *и бралъ за себя?*
Что не прошли твои дни свадебные
Не успѣлъ ты отпраздновати *радости* своей,
Да передъ князенъ расхвастался и т. д.
(Кир. II, стр. 20).

Однако же, уступая доводамъ Добрыни, что тутъ вовсе не хвастовство, а обязанность, мать детъ ему благословенье великое. Тутъ начинается прощанье съ женою, которой онъ наказываетъ ждать его до двѣнадцати лѣтъ, а тамъ, говоритъ онъ,

Хоть за князя пойди, хоть за боярина,
*Не ходи только за брата названаго,*
*За молода Алешу Поповича.*

Причина такому запрету—та, что братство названое, это родство духовное, нравственное, столько же мѣшало брачнымъ отношеніямъ, сколько и родство по крови.

Добрыня отправляется въ походъ и отъ него *всякимъ языкамъ спуску нѣтъ*. Проходитъ двѣнадцать лѣтъ, никто къ Настасьѣ не сватается. Тогда посватался Владиміръ князь, — и посватался именно за Алешу Поповича. А скоро эта сватьба учинилася. Между тѣмъ Добрыня возвращается въ Кіевъ. *Матушка его старехонька,* некому Добрынюшку встрѣтити. Входитъ онъ, мать заплакала. Узнавъ, что жена его вѣнчается съ Алешею, Добрыня идетъ къ великому князю появитися: сватьба Алеши, какъ и дунаева, происходитъ въ гриднѣ владиміровой. Молится Добрынюшка Спасову образу, князю со княгинею покланяется и на всѣ на четыре стороны. Отдаетъ онъ князю отчотъ во всѣхъ своихъ подвигахъ, князь похвалаетъ его за службу вѣрную, но Добрынюшка не похваляетъ князя:

Гой еси, сударь мой дядюшка!...
Не диво Алешѣ Поповичу,
Диво князю Владиміру:
Хочетъ у жива мужа жену отнять.

Настасья тутъ засовалася: хочетъ прямо скочить—обезчестить столы. (Замѣ-

чательно, что такое скаканіе жены встрѣчается также въ польской пѣснѣ о панѣ Домбровѣ, соотвѣтствующемъ нашему Добрынѣ. Жена его, по одному пересказу, przez trzy stoły przeskoczyła, а по другому—черезъ четыре, при чемъ piąty nóżką obaliła—все это уже позднѣйшее усиленіе)[31]. Добрыня удерживаетъ ее отъ этого и выводитъ вѣжливенько изъ-за стола, извиняясь князю Владиміру и говоря Алешѣ: «здравствуй, женившись!—да не съ кѣмъ спать!» Обратимся теперь къ другимъ пересказамъ, которыми подтверждаются главнѣйшія, существенныя черты пересказа Кирши, но которые однако же и уклоняются отъ него во многомъ. Самымъ ближайшимъ къ нему оказывается записанный свящ. Фаворскимъ въ селѣ Павловѣ Нижегородской Губерніи и перепечатанный изъ Изв. Ак. Наукъ во II-мъ вып. Кирѣевскаго, въ отд. I-мъ пѣсень о Добрынѣ, подъ № 7. Онъ однакоже на цѣлыхъ 87 стиховъ короче пересказа Кирши, и эта краткость не есть первоначальная сжатость, но очевидная сокращенность. Но я не хочу сказать этимъ, чтобы онъ служилъ сокращеніемъ собственно изъ Кирши. Скорѣе оба выработались изъ одного и того же извода, одинъ принялъ болѣе краткій видъ и каждый испыталъ свои, довольно значительныя видоизмѣненія.—Обычнаго зачина на пиру у Владиміра въ пересказѣ изъ Павлова нѣтъ. *Невольному* отправленью Добрыни въ походъ у Кирши Данилова соотвѣтствуетъ тутъ зачинъ, въ которомъ Добрыня сѣдлаетъ коня *нерадышенъ*. Имя жены добрыниной—*Аграфена Григорьевна*, и это очевидная порча, такъ какъ имя Настасьи Микуличны, принадлежащее ей у Кирши, подтверждается, какъ мы знаемъ, былиною о самой женитьбѣ Добрыни. Аграфена прямо, сама обращается къ мужу съ вопросомъ: куда онъ? на долго ли? Добрыня отвѣчаетъ кратко, что онъ ѣдетъ на годы на урочные на *двѣнадцать* лѣтъ—побить силушки двѣнадцать ордъ. (На каждую орду, такимъ образомъ, онъ заранѣе назначаетъ по году).—Имя матери совершенно то-же, что у Кирши, и она точно также называется *старою*.[32] Уже одна эта, повидимому, незначительная черта можетъ служить указаніемъ на происхожденіе обоихъ пересказовъ отъ одного и того же извода: въ эпосѣ и вдова въ преклонныхъ лѣтахъ далеко не всегда называется *старою*; очень часто за ней сохраняется какъ будто бы вѣчная молодость, что мы замѣтимъ и въ нѣкоторыхъ другихъ пересказахъ нашей былины.—Мать, повторивъ вопросъ жены Добрыни и вызвавъ у него повторенье его отвѣта (это—совсѣмъ уже по эпически), спрашиваетъ за тѣмъ, какъ и въ пересказѣ Кирши, на кого покидаетъ онъ молодую жену? а въ отвѣтѣ Добрыни слышится тутъ черта, отчасти отзывающаяся служилымъ положеньемъ невѣстки у своей свекрови:

На тя я покидаю, родима матушка:
Хоша ключницой зови её, хоть постельницой,
Хошь вдовой держи, хошь за мужь отдай.

---

[31]) Roger, Piesni ludu polskiego w Gornym Szlązku, Breslau, 1863 (№ 25, 26).

[32]) Тутъ это прилагательное придается ей даже въ самомъ началѣ, до отъѣзда Добрыни, тогда какъ у Кирши она старехонька, собственно черезъ двѣнадцать лѣтъ, при его возвращеніи.

И тутъ же,—матери, а не женѣ, передается и самый наказъ, притомъ и поставовляемый совершенно уже не такъ, какъ у Кирши: «хоть за князя отдай, хоть за барина, хоть за нашего брата за богатыря.» Въ этихъ словахъ уже слышится полная утрата сознанія, что не позволительно выходить за названаго брата: мы знаемъ, что всѣ вообще богатыри находятся между собою въ союзѣ названаго братства, такъ что и выраженье *нашъ братъ* первоначально не могло тутъ означать просто: *намъ равный*, или *намъ подобный*. А дальнѣйшій запретъ отдавать за Алешу передается тутъ, такъ сказать, еще испорченнѣе: «не отдай только за *мово недруга*—за того ли Алешку за поповича. Это, очевидно, уже совершенное *извращеніе*. Зато другая, очень существенная черта въ пересказѣ Кирши,—участіе въ сватовствѣ за жену добрынину самого Владиміра, сохранена тутъ вполнѣ и даже съ большею ясностью: «сватомъ тутъ самъ батюшка Володиміръ князь, а свахой сама княгиня Евпраксія.» Вслѣдъ же за тѣмъ и надбавка: «Аграфена свата дàрила шириночкой, другой дàрила свахыньку (извѣстный народный обычай дарить полотенца). Олешку-ту дàрила каленой стрѣлой». А между тѣмъ въ концѣ, при возвращеніи Добрыни, Аграфена, узнавая его, говоритъ: «не давай меня Олёшкѣ *не милому*!

Самое возвращенье Добрыни отличается въ пересказѣ изъ Павлова такою же сжатостью, какъ и у Кирши: и это опять указываетъ на происхожденіе обоихъ пересказовъ отъ одного корня, ибо во многихъ другихъ, какъ мы увидимъ, мѣсто это именно и отличается обиліемъ подробностей, и притомъ подробностей чисто эпическихъ.—Зато при свиданіи съ матерью въ пересказѣ изъ Павлова есть замѣчательная эпическая черта, не имѣющаяся у Кирши:

Не узнаётъ Добрыню родима матушка,
Говоритъ вдова таково слово;
У мово-та у Добрынюшка была примѣтычька,
Што на правой ногѣ у нево родинка.—
Скидаетъ Добрыня зелёнъ сапогъ,
*Кажетъ родимой примѣточьку.*

Далѣе, даже и не спрашивая у матери про жену, Добрыня называетъ себя *скоморохомъ Данилой Заморнинымъ*, отправляется на пиръ къ князю, и *наигрываетъ* ему:

«Гулялъ я, молодецъ, двѣнадцать лѣтъ,
«Побилъ я силушки двѣнадцать ордъ:
«Инышо гдѣ это слыхано, гдѣ видано,
«Отъ живово мужа жену отнять».

Нужно ли говорить, что такое *наигрываніе своей обидушки* со стороны *переряди́вшагося скоморохомъ* какъ нельзя болѣе кстати, и что пріемъ этотъ весьма обыченъ въ эпосѣ?—Въ этомъ отношеніи очень уступаетъ пересказъ Кирши, не сохранившій также и слѣдующей подробности пересказа павловскаго:

Наливалъ онъ (Добрыня) чару зелена вина,
Опущалъ именной перстень туда:
Выпивалъ молодой полъ чарычьки,
А останну половину Агрофена Григорьевна.
Примѣчала она именной перстень,
А по немъ узнавала и мила дружка,
Мила дружка Добрыню Никитича....
(Кир. Н, стр. 16).

Мы встрѣчались уже съ этимъ способомъ *узнаванія* въ нѣкоторыхъ иностранныхъ изводахъ сказанія о боѣ между отцомъ и сыномъ, гдѣ возвращающійся послѣ долгой отлучки *отецъ* также точно не узнается своими, какъ и Добрыня. Изъ эпоса, надобно думать, опусканіе перстня въ кубокъ, подаваемый молодой, перешло и въ обряды свадебные, что отчасти соотвѣтствуетъ и присутствію въ числѣ болгарскихъ свадебныхъ пѣсень такой, которая совершенно напоминаетъ своимъ содержаніемъ возвращеніе Добрыни къ женѣ своей. [**])—Нужно ли говорить, что такая эпическая и даже обрядовая распространенность упомянутой черты служитъ и доказательствомъ ея подлинности и издавности въ занимающемъ насъ пересказѣ?—Въ этомъ послѣднемъ встрѣчается наконецъ и еще одно преимущество передъ пѣсней Кирши. Это слѣдующія слова матери, проводившей Добрыню:

Укатается изъ глазъ красно солнышко,
Уѣзжаетъ изъ виду добрый молодецъ.—

Замѣчательной полнотой отличается пересказъ, доставленный въ сборникъ Кирѣевскаго (II, 1, стр. 4—9) П. М. Языковымъ и записанный въ Симбирской Губерніи въ селѣ Головинѣ. Многое близко сходится тутъ съ пересказами Кирши и Павловскимъ, что впрочемъ довольно понятно, такъ какъ всѣ три относятся къ одной и той же полосѣ Россіи—поволжско-восточной. Иное въ языковскомъ пересказѣ полнѣе, чѣмъ въ двухъ другихъ.—Сюда относится указаніе на способъ, какимъ дошло до Добрыни извѣстіе о предстоящемъ замужествѣ его жены,—способъ совершенно эпическій: проязычившій вѣщій конь. Выслушавъ его рѣчь нерадостную, Добрыня, подобно сказочному Ивану, «палъ коню во рѣзвы ноги, во правую, во переднюю», чтобы онъ «переставилъ его домой черезъ три часа».—При возвращеніи, поспѣшность Добрыни выражается тѣмъ, что онъ пнулъ столбы своимъ чоботомъ,—столбики пошатилися, воротечки растворилися. Коня же своего онъ пускалъ не привязана, и никому коня не приказывалъ. Если съ одной стороны это подробнѣе, чѣмъ въ павловскомъ пересказѣ, то съ другой оно совершенно иначе, чѣмъ у Кирши, гдѣ Добрыня напротивъ того коня привязалъ къ дубову столбу, къ тому кольцу булатному—но этотъ послѣдній пріемъ, свойственный эпосу только тамъ, гдѣ можно *прохлаждаться*, тутъ совершенно не кстати, и на сторонѣ языковскаго пересказа съ его *торопливымъ* пріемомъ оказывается преимущество,

Зато многое въ этомъ пересказѣ отличается сильнѣйшею степенью порчи. Такъ, напримѣръ, позволяя женѣ выйти замужъ на *тринадцатомъ* году послѣ своего отъѣзда, Добрыня, кромѣ *князя* или *барина*, допускаетъ тутъ и *гостя торговаго*, и *мурзыньку татарина* А далѣе—вотъ оцѣнка Алеши, который отвергается уже не просто какъ *недругъ* (см. пересказъ изъ Павлова) а какъ *бабій пересмѣшничекъ*, *судейскій перелестничекъ*. Жена Добрыни однакоже слова его не послушала, а рѣшилась и притомъ уже на десятомъ

---

**) Ср. въ моемъ Ист. Об. Р. Слов. стр. 128. И Рама, чтобы открыться женѣ, посылаетъ кольцо свое (Fauche,



году, пойти именно за Алешу. Можно думать, что рѣшеніе тутъ приписано ей самой, но засвидѣтельствованное другими двумя пересказами участіе въ этомъ дѣлѣ Владиміра слышно и тутъ въ словахъ матери возвращающемуся Добрынѣ: «гдѣ тебѣ съ Алешенькой тягаться,—у нихъ тысяцкой Володиміръ князь». Въ этомъ можно бы видѣть указаніе на властное, державное положенье Владиміра, еслибъ не слѣдовало за тѣмъ: «а дружкой у нихъ Илья Муромецъ». Но мы видѣли, что Ильѣ Муромцу, по преимуществу *земскому* изъ богатырей, не особенно свойственно участіе въ дѣлахъ *частныхъ*. По всей вѣроятности эта одиноко стоящая черта языковскаго пересказа должна быть признана чисто порчею, объясняемою тѣмъ, что пѣвцу просто попало на языкъ имя муромскаго богатыря, какъ самое полновѣсное для убѣдительности совѣта: «Добрынюшка, не тягайся». Для успокоенія матери, Добрыня ей говоритъ, что пойдетъ на пиръ *потихохоньку, посмирнехоньку*. Приходя и раскланявшись на всѣ стороны, а также князю съ новобрачными и съ Ильей, Добрыня говоритъ князю: «прикажи, сударь, при мѣстѣ быть». Ему указываютъ середи избы на скамеечку, и тутъ то онъ начинаетъ *наигрыши наигрывать* о своей бѣдѣ, какъ и въ павловскомъ пересказѣ, только съ большей подробностью и поэтичностію пріема:

«Ой вы гусли, мои гуслицы...,
Вы лежали со ряду шесть лѣтъ,
А еще лежали ровно три года,
А еще лежали ровно круглый годъ,—
На десятомъ году играть стали!»
А другой наигрышекъ сталъ наигрывать:
«Гдѣ это видано, еще гдѣ это слыхано—
Отъ жива мужа за мужъ итти?»

*Наигрыванье своей обиды* встрѣчается и въ соотвѣтственной сербской пѣснѣ о Стоянѣ Янковичѣ (Вука III, № 25); но тамъ употреблено иное, не менѣе поэтическое иносказаніе:

Вила гньиздо тица ластавица
Вила га je за девет година
Ајутрос га поче да развија:
Долети јој сив зелен соколе
Од столице цара честитога,
Па јој не да гньиздо да развија.

Жена, догадавшись, подаетъ ему тутъ чару зелена вина;—опять порча: мы видѣли, что эта чара должна быть напротивъ того подана ей Добрынею—съ опущеннымъ въ чару перстнемъ. Послѣдняго въ языковскомъ пересказѣ и въ поминѣ нѣтъ. Зато и въ немъ уцѣлѣла прекрасная черта пересказа павловскаго—*примѣточка-родинка* на ногѣ у Добрыни (только тутъ она на *лѣвой* ногѣ). Не смотря на такое согласіе съ павловскимъ пересказомъ, иной, особый изводъ слышится тутъ въ томъ, что мать Добрыни, *княгиня* [34]) *Тимоѳеевна*, и при возвращеньи его величается тутъ *молодою*. Для молодости ея имѣется, впрочемъ, и нѣкоторое основаніе По языковскому пересказу и Добрыня еще очень молодъ; онъ, повидимому, только что женился и уѣзжаетъ. Впрочемъ на то-же указываютъ и въ пересказѣ Кирши Данилова слова матери: «что не прошли твои дни свадебные, не успѣлъ ты отпраздновать своей радости»,

---

Ram. VI, гл XXXII Сундараканды).

[34]) Такъ называется она въ пересказѣ языковскомъ отъ начала и до конца, а собственное имя ея, Амельфа перешло тутъ къ женѣ Добрыни, которая называется также и отчествомъ Тимоѳеевна. Такое смѣшеніе, конечно, объясняется опять порчею.

и т. д. Тѣмъ страннѣе, что мать, по прошествіи двѣнадцати лѣтъ, величается у Кирши *старосомакою*, и тѣмъ болѣе этимъ указывается на особый изводъ.— Въ языковскомъ же пересказѣ *молодость* Добрыни повела къ тому, что въ началѣ тутъ, повидимому, примѣшался первый его отъѣздъ на подвиги богатырскіе: Какъ березынька къ землѣ клонится, такъ Добрыня приклоняется тутъ къ матери: «дай ты мнѣ великое благословленьице

«Могучи плеча поразправити,
Всѣхъ силушекъ пропоѣдати, [35])
Поискать себѣ супротивничка!»
Тутъ возговоритъ родна матушка
*Молодая* княгиня Тимоѳеевна:
«Ой ты гой еси, родно дитятко...
*То-то молодо, то-то зелено*...

Тутъ возговоритъ добрый молодецъ...
«*Тебѣ меня дома не выучить*.
Еще жилъ былъ родной батюшка
Свѣтъ сударь Микита Романовичъ, [36])
Живши бывши, самъ состарѣлся,
Состаривши, переставился!»
Даетъ ему тутъ великое благословеньице.

Ясно, что тутъ разумѣется *первый отъѣздъ*, который такимъ образомъ прямо совпадаетъ въ нашемъ пересказѣ съ отъѣздомъ его послѣ женитьбы.

Такое же точно *совпаденье обоихъ отъѣздовъ* представляютъ пѣсни, помѣщенныя у Кирѣевскаго во II-мъ вып. подъ № 2 и 8 въ отдѣлѣ пѣсень о Добрынѣ: первая записана самимъ Кирѣевскимъ въ Алексинскомъ Уѣздѣ Тульской Губерніи, вторая Г-жею Пасхаловою въ Саратовѣ (первоначально напечатана въ Изв. Ак. Наукъ). Въ обѣихъ пѣсняхъ жена должна ждать Добрынюшку девять лѣтъ, а на девятый дается ей *своя воля*. Въ обѣихъ Алеша выставляется «охочимъ смѣяться чужимъ женамъ, молодымъ вдовамъ, краснымъ дѣвушкамъ» (сторона, выставляемая въ немъ и былиной о дѣвицѣ, за которую готовъ былъ заступиться Илья). Это-то и служитъ тутъ основаньемъ запрету выходить за Алешу. Обѣ пѣсни, не смотря на смѣшеніе въ нихъ двухъ отъѣздовъ, т. е. двухъ различныхъ былинъ, уже чрезвычайно сокращены, не полны и не закончены. Но въ обѣихъ одинаково сохранилось подлинное былевое имя жены Добрыни, Настасья (только въ тульской пѣснѣ она безъ отчества, а въ саратовской—съ отчествомъ, но невѣрнымъ—*Гурьишна*). Только во второй сохранилось совпадающее съ другими, уже разобранными пересказами, обстоятельство, что самъ *Владиміръ тутъ сватомъ*. Въ той же саратовской пѣснѣ совершенно своеобразенъ конецъ:

Что не ясные два сокола солеталися,
Два сильные могучіе богатыря съѣзжалися—
Что съѣзжалися Добрыня со Поповичемъ на смертный бой. [37])

---

[35]) По толкованію издателей сборника Кирѣевскаго пропоѣдати тутъ въ смыслѣ попровѣдати: распровѣдать, попытать. Соглашаясь съ этимъ, я позволю себѣ другому ихъ толкованію—а именно слова силушекъ, противопоставить, какъ предположеніе, свое, другое. Они въ объясненіе къ силушекъ прибавляютъ (впрочемъ, съ вопросительнымъ знакомъ) въ себѣ? т. е. что онъ хочетъ поиспытать въ себѣ силы. Я же думаю, что слово силы тутъ значитъ войско, рать, (оно очень часто употребляется именно въ этомъ смыслѣ въ былинахъ), такъ что онъ хочетъ тутъ попровѣдать, поразвѣдать о разныхъ силахъ—ратяхъ вражьихъ.

[36]) Замѣчательно это поэтическое дарованье Добрынѣ въ отцы Никиты Романовича, этого знаменитаго спасителя царевича Ивана Ивановича въ былинахъ о Грозномъ.

[37]) Ср. въ VII вып. Кирѣевск., Доп., стр. 11.

Такъ какъ подобнаго рода бой за женщину довольно обыченъ въ эпосѣ вообще, то можно предполагать, что это не праздная выдумка какого нибудь плохого пѣвца, а скорѣе обломокъ особой отрасли, особаго извода нашихъ былинъ о Добрынѣ и объ Алешѣ.

Въ той же саратовской пѣснѣ Добрыня при отъѣздѣ *на гуланіе въ чистое поле* говоритъ матери, что онъ тамъ поищетъ «свово брата названаго, что старово казака Илью Муромца.»

То-же самое и еще въ двухъ пѣсняхъ, уже совершенно неполныхъ, оборваныхъ, одной изъ Симбирска (зап. Д. Валуевымъ. Кир. II, I, 3) и другой изъ Новгорода [38]) (зап. Кирѣевскимъ съ помѣткой: *отъ Ѳеклы*, II, I, 1.; въ этой *бабьей* былинѣ Илья изъ *названаго* сдѣланъ даже *роднымъ* братомъ Добрыни). Такимъ образомъ Добрыня уже при первомъ отъѣздѣ стремится къ Ильѣ. Это, разумѣется, не имѣетъ смысла, такъ какъ, не ставъ еще богатыремъ, Добрыня не имѣлъ возможности и побрататься съ Ильей: но черта эта все же указываетъ на то, что сознанью народныхъ пѣвцовъ присуща мысль объ особой, преимущественной дружбѣ между Добрынею и Ильею, мысль — при которой *Илья Муромецъ дружкою у Алеши* — черта, тѣмъ болѣе невозможная, только порчею объясняемая.

Возвращаясь опять къ пересказу Тульской Губерніи (Кир. II, I, 2), замѣчу наконецъ, что въ немъ, не смотря на его короткость и незаконченность, отъѣзду Добрыни предшествуетъ еще то появленіе звѣринаго стада со звѣремъ Скиперомъ во главѣ, которое опять таки уже попадалось намъ въ былинахъ о рожденіи Добрыни и объ отроческомъ боѣ его со змѣемъ. Тѣмъ яснѣе изъ этого, что тутъ дѣйствительно *примѣшался* первый отъѣздъ Добрыни. Та-же самая примѣсь стада звѣринаго встрѣчается и въ упомянутой уже пѣснѣ изъ Новгорода (Кир. II, I, 1), и въ пространномъ, замѣчательномъ пересказѣ съ Онеги, записанномъ Верещагинымъ (Кир. II, I, 6, — сперва напеч. въ Изв. А. Н.), къ разбору котораго я и обращаюсь теперь [39]).

Въ пересказѣ этомъ, какъ и въ томъ, что изъ Алексинскаго Уѣзда Тульской Губерніи, появленіемъ звѣринаго стада съ *левомъ* звѣремъ (такъ оно въ пересказѣ онежскомъ) ознаменовывается рожденье Добрыни-*князя*. Вслѣдъ за тѣмъ говорится тутъ уже прямо о женитьбѣ его въ *двѣнадцатилѣтнемъ возрастѣ*. Само по себѣ оно совершенно возможно въ эпосѣ, но тутъ это, кажется, служитъ только позднѣйшею спайкой двухъ, совершенно различныхъ, смѣшавшихся тутъ сказаній. По крайней мѣрѣ ни одинъ изъ другихъ пересказовъ, также *сводящихъ* сказанье объ отрочествѣ Добрыни со сказаніемъ о долгой его отлучкѣ, не знаетъ о такой женитьбѣ его въ двѣнадцатилѣтнемъ возрастѣ. Зато совершенно несогласно съ Киршей, у кото-

38) Въ первой (изъ Симбирска) за отъѣздомъ Добрыни слѣдуетъ переходъ къ какимъ-то тремъ Татарченкамъ, разбивающимъ весь Черниговъ градъ и напрашивающимъ душу красную дѣвицу, князей родную сестрицу,» — и на этомъ-то пѣсня и обрывается. Вторая (изъ Новгорода останавливается на жалобѣ Добрыниной матушки, что онъ оставляетъ ее «безпріютную, безпризрѣнную.»

39) Не упоминаю о пѣснѣ съ Лоптевскаго Завода, записанной г. Гуляевымъ и помѣщенной въ сб. Кир. въ вып. II, I, № 5, потому что въ ней кромѣ одного звѣря Скимена съ его пагубнымъ дѣйствіемъ на природу ничего нѣтъ, и я не понимаю, почему помѣщена она въ числѣ пѣсенъ о Добрынѣ въ отъѣздѣ.

рано Добрыня уѣзжаетъ, *даже* не допраздновавъ свадебныхъ дней, — въ пересказѣ онежскомъ онъ живетъ съ *Окулинушей Микулисьнѣй* [40]) *два года*, и поѣзжаетъ во чисто поле только на третій: слишкомъ большая убавка лѣтъ въ одномъ мѣстѣ какъ будто-бы повела къ надбавкѣ въ другомъ. Между тѣмъ подлинность и эпическая издавность того обстоятельства, что Добрыня уѣзжаетъ, *едва успѣвъ обвѣнчаться*, засвидѣтельствована тѣмъ, что оно совершенно такъ и въ юго-славянскихъ соотвѣтственныхъ пѣсняхъ. Такъ въ сербской (Вука III, № 25) *Стояна* уводятъ въ плѣнъ черезъ недѣлю (льуба од недѣлье дана); въ болгарской *Симона* отзываютъ въ походъ послѣ *трехъ дней* свадебнаго пира (Милад. № 65), а по двумъ другимъ пересказамъ даже на *другой день* послѣ сватьбы (№ 66, № 572). — Но возвратимся къ нашему онежскому пересказу. Далѣе порча слышна тутъ и въ томъ, что для самаго ожиданія мужа обратно ей даются опять *два* года, а на *третій* уже волюшка вольная итти — не только за князя, или за боярина, или за гостя торговаго (какъ въ томъ или другомъ изъ прежде разобранныхъ пересказовъ), но хотя бы и *за крестьянина богатаго* — (и это именно въ такомъ пересказѣ, гдѣ Добрыня величается *княземъ*). Объ Алешѣ же тутъ сокращенно: «онъ есть насмѣшникъ женскіе!» — Опущеніе перстня на дно цяры имѣется, но употреблено безсмысленно, потому что цяра эта — та, которую выпиваетъ самъ Добрыня. *Наигрыши* на гудкѣ о томъ, что тутъ совершается, также имѣются, но уже въ урѣзанномъ видѣ. Свое «платье княжесько» мѣняетъ тутъ Добрыня, вмѣсто *скоморошьяго*, на *калисьнёё*, которое занимаетъ онъ у каликъ, встрѣтившихся ему на дорогѣ къ Кіеву и расказавшихъ ему про сватовство алешино. Такая *замѣна каликами коня вѣстника*, не подтверждаемая, какъ увидимъ, большею частью остальныхъ пересказовъ, едва ли не замѣшалась сюда изъ другихъ былинъ. — О приневоливающемъ участіи князя Владиміра пересказъ нашъ не знаетъ: Окулянуша распоряжается собою сама и сама же кается передъ Добрыней въ глупости бабьей. Такимъ образомъ сравнительно со многими другими пересказъ этотъ довольно попорченъ. Но въ немъ имѣются двѣ черты, связывающія его съ цѣлымъ рядомъ прекрасныхъ, еще не затронутыхъ мною, олонецкихъ. Во первыхъ, Алеша тутъ самъ увѣряетъ жену Добрыни, что мужа ея *живово нѣтъ*:

Былъ я, Окулянуша, во цистомъ поли...
Голова у Добрынюшка отсѣцёна,
Да во цистомъ поли отъ тулова откяцёна,
Выклёвали вороны ясны оци,
Проросли травы сквозь ясны оци,
И чвѣтутъ чвѣты, да все лазуревы. [41])

Во вторыхъ же въ концѣ — не Добрыня (какъ у Кирши), а самъ Алеша надъ собою посмѣивается:

Быдто Олёша и жёнатъ бывалъ
Быдто Олёша и съ женой живалъ (Кир. II, стр. 14)

---

[40]) Тутъ такимъ образомъ вѣрно сохранилось отчество жены добрыниной, но совершенно не вѣрно имя.

[41]) Можно сравнить съ этимъ въ сербской пѣснѣ: «Кроз кости јој трава проницала» (Вука II, стр. 17; другой пересказъ у Петрановича стр. 57); но это дѣлается тутъ съ больною.

Прежде чѣмъ перейти къ пересказамъ олонецкимъ, сдѣлаю общее заключеніе о только что разсмотрѣнныхъ у Кирѣевскаго. Большая часть ихъ, какъ видѣли мы, смѣшиваетъ въ одно два совершенно различныхъ отъѣзда Добрыни. Вслѣдствіе этого та молодая охота *во полѣ погулять—поразмять плечо*, которою ознаменовывается первый отъѣздъ, соединенный съ *вымогательствомъ* материнскаго благословенія,—охота эта сообщается и всему *складу* Добрыни въ пересказахъ этого рода: и жену покидаетъ онъ весело и притомъ для какихъ-то неопредѣленныхъ, имъ отыскиваемыхъ подвиговъ (только въ пересказѣ онежскомъ совсѣмъ не видно, каково было расположеніе духа Добрыни). Напротивъ, въ тѣхъ двухъ пересказахъ, гдѣ *отъѣздъ отъ жены* стоитъ *самъ по себѣ*, Добрынѣ предстоятъ уже совершенно опредѣленныя, указываемыя Владиміромъ *службы*. Вмѣстѣ же съ тѣмъ и, надо думать, зависимо отъ того, Добрыня называетъ себя тутъ *невольникомъ* (у Кирши), или же сѣдлаетъ коня *не радышенъ* (въ пересказѣ изъ Павлова).

Такое настроеніе Добрыни доведено до сильнѣйшей степени въ той большущей былинѣ изъ «Олонецкихъ Вѣдомостей» 1859 г., которая занимаетъ у Кирѣевскаго во второмъ выпускѣ весь второй отдѣлъ былинъ о Добрынѣ. Между тѣмъ и эта былина—сводная. Въ началѣ повѣствуется о томъ, какъ Добрыня, *не слушаясь матушки*, молодъ сталъ ѣздить во чисто поле и топтать змѣенышей; словомъ, тутъ уже хорошо знакомая намъ расправа Добрыни со зміиною силой, вслѣдъ же за тѣмъ—женитьба его на Настасьѣ Никуличнѣ послѣ богатырскаго боя съ ней. Это составляетъ какъ-бы первую часть нашей сводной былины (258 стиховъ). Но и этой первой части тутъ сообщилось до нѣкоторой степени то недовольное, грустное настроенье Добрыни, о которомъ было только что говорено. Сначала охотно пустившись въ походъ на змѣя, потомъ, когда туда же *послали* его для спасенья Запавы Путятичны, онъ *закручинился*, и, освободивъ племянницу княжескую, какъ-бы попрекнулъ ее: «за тебя я этакъ странствую!» — Все это, впрочемъ, мы уже давно видѣли. Но печальное настроенье Добрыни сказывается съ особенною силою далѣе—въ началѣ второй части нашей сводной былины—передъ отъѣздомъ Добрыни въ новый походъ отъ молодой жены и отъ матери, передъ которой плачется онъ такимъ образомъ:

Ты на что̀ меня Добрынюшку несчастнаго спородила?
Спородила бы, государыня матушка,
Ты бы бѣленькимъ горючимъ меня камешкомъ,
Завернула въ тонкой во льняной во рука̀вичекъ,
Спустила бы меня во синё море:
Я бы вѣкъ Добрыня въ морѣ лежалъ,
Я не ѣздилъ бы Добрыня по чисту полю,
Я не убивалъ Добрыня неповинныхъ душъ,
Не пролилъ бы крови я напрасныя,
Не слезилъ Добрыня отцовъ матерей,
Не вдовилъ Добрыня молодыихъ женъ,
Не пускалъ сиротать малыихъ дѣтушекъ.
(Кир. II, стр. 30—31).

Въ этомъ сѣтованіи Добрыни на его, такъ сказать, *богатырство невольное*, такъ и выказывается—съ одной стороны существенное отличіе Добрыни отъ знаменитаго его побратима изъ Мурома, съ другой—единство его *душевной основы* съ Ильею. Добрыня тяготится накидываемою на него службою, онъ несетъ богатырскій свой долгъ, но скрѣпя сердце, считая себя невольникомъ. Напротивъ, Илья Муромецъ въ состояніи во всякое время ото всего сердца

воскликнуть: «я готовъ стоять за Кіевъ градъ!»—Если онъ и жалѣетъ иногда о томъ, что «не кѣмъ ему замѣнитися», то этимъ и ограничивается его скромное сѣтованіе, сразу останавливаемое сознаніемъ, что тому-то и богатырствовать за другихъ, кому смерть на бою не написана.—Но и Добрыня, подобно Ильѣ, съ полнѣйшею готовностью, съ *увлеченіемъ*, выѣзжаетъ на подвигъ, *излюбленный* имъ самимъ: первое гулянье его, какъ мы видѣли, было гулянье вполнѣ *охотное*. Онъ столько же самостоятельно, со всею способностью къ *зачину*, задался мыслію объ истребленіи змѣй, сколько Илья Муромецъ—изведеніемъ Соловья Разбойника. Наконецъ съ другой стороны то, что заставляетъ Добрыню тяготиться своимъ богатырствомъ—это *отвращенье къ напрасной крови*, это *состраданье ко вдовамъ и сиротамъ*—всѣ эти *двигатели душевные* совершенно знакомы и Ильѣ Муромцу; но они только смягчаютъ, человѣчно направляютъ его богатырство, а не приводятъ его къ нареканіямъ, чуть не къ проклятіямъ на богатырскую долю, какъ Добрыню Никитича. Добрыня *чувствуетъ* тягость этой, какъ будто-бы *роковой для* него доли, и жалуется на свое *рожденіе*; Илья *сознаетъ*, что богатырство неизбѣжно, законно, хотя бы даже нарушало завѣтъ, законно—какъ изберечь люду крещеному. Въ первомъ болѣе говоритъ *сердце*, во второмъ *разумъ*; но и сердце одного, и разумъ другого заняты не собой, не своимъ личнымъ *я*, а отношеніями этого *я* ко вдовамъ и сиротамъ, ко граду Кіеву, къ Свято-Русь-землѣ.

Будь все это сказано не во гнѣвъ г. Стасову, который думаетъ, что «напрасно наши изслѣдователи, въ своемъ ревностномъ одушевленіи вырисовать отчетливую, самостоятельную характеристику русскихъ богатырей, отмежевали для каждаго изъ нихъ особенныя черты, которыя должны отдѣлить совершенно явственно и опредѣлительно одного богатыря отъ другого.» (В. Е. Іюнь, 599). Будь это ему не во гнѣвъ и въ томъ отношеніи, что онъ какъ-бы отрицаетъ въ богатыряхъ нашихъ всякую способность къ *зачину*, восторгаясь тою противоположностью имъ любого героя восточнаго въ силу которой онъ идетъ «на войну или завованіе, потому что ему самому такъ хочется, а не князь приказалъ» (тамъ же, стр. 627). Будь это ему не во гнѣвъ и въ томъ наконецъ отношеніи, что онъ считаетъ нашихъ богатырей неспособными—не только что къ состраданью, но даже и къ горести. (стр. 627).

Впрочемъ въ другомъ мѣстѣ и нашъ сочинитель признаетъ за богатырями «*мотивы психическіе*;» но въ такомъ случаѣ они у него являются *уцѣлѣвшими* отъ какихъ нибудь первообразовъ тюркскихъ. Но я попрошу г. Стасова указать мнѣ такое мѣсто въ «оригиналѣ» Добрыни, Кришнѣ, гдѣ бы онъ сѣтовалъ на свое богатырство изъ за связаннаго съ нимъ проливанья напрасной крови? Или, если не въ устахъ Кришны, то гдѣ, въ чьихъ другихъ восточныхъ устахъ нашъ сочинитель нашелъ «первообразъ» добрынина сѣтованія?

Сходными съ жалобою Добрыни, но сходными по *основному направленію*, по *общему строю*, являются только нѣкоторыя *лирическія* произведенія Китайцевъ, на которыя я уже имѣлъ случай указать въ одной изъ моихъ

давнишнихъ статей, [42]). Такое сходство легко объясняется издавнимъ земледѣльческимъ бытомъ Китая. Но все же это произведенія лирическія, выражающія настроеніе воина, поставленнаго въ условія *дѣйствительной* жизни;— все же это не жалобы *богатыря*, какимъ является нашъ Добрыня, т. е. представителя бранной силы по преимуществу. Такія богатырскія жалобы на богатырство возможны только при рѣшительно земледѣльческой подкладкѣ самаго богатырскаго эпоса. Мы уже видѣли выше, что служащее основаніемъ такихъ жалобъ отвращеніе *къ крови напрасной* встрѣчается и въ юго-славянскомъ эпосѣ (см. стр. 280).[43]) При всей своей осуровленности подъ позднѣйшимъ турецкимъ вліяніемъ, онъ все еще сохранилъ основную славянскую человѣчность. Примѣромъ прямо противоположнаго настроенія въ эпосѣ франкскомъ можетъ служить слѣдующее, въ самомъ корнѣ своемъ *иное* заклятіе знаменитаго богатыря, прославленнаго въ chansons de geste XI и XII ст.:

Et Dex confonde Sarrasins et Esclers, Quant par efforz n'ont passée la mer,
Qui tant nos lessent dormir et reposer, Si que chascuns s'i péust esprover! —

Или то-же по другому пересказу:

Et Dex confonde Sarrazins et Persans Dés or m'anuie le séjorner céanz,
Quant mer ne passent par lor efforcement! Quant ge ne puis prover mon hardement [44]).

Такъ говоритъ Вильгельмъ Оранжскій, по прозванью Курносый (au cort nez) во время того *затишья*, которое служило промежуткомъ между взятіемъ имъ Нима и взятіемъ Оранжа. По честности и великодушію этотъ богатырь франкскій можетъ быть поставленъ въ одномъ разрядѣ съ нашимъ Ильей Муромцемъ; но тѣже самыя качества коренятся тутъ въ совершенно иныхъ, чисто *воинскихъ* основахъ быта. Потому-то богатырство *для* него—не *средство*, не просто неизбѣжный способъ обороны крещенаго люда,—оно ему *цѣль*, какъ цѣлью отчасти является оно и у нашего Добрынюшки въ былинахъ объ его первомъ выѣздѣ. Тамъ—просто удаль, *исканіе подвиговъ ради подвиговъ*, замѣченное за Добрыней Хомяковымъ и приписанное имъ стихіи варяжской; въ былинахъ же объ отъѣздѣ Добрыни послѣ женитьбы сказывается совершенно иной, чисто славянскій строй.

Прекрасная добрынина жалоба стала впервые извѣстна изъ Олонецкихъ Вѣдомостей, куда она была доставлена изъ остающагося не вполнѣ обнародованнымъ сборника г. Бутенева.[45]) Въ отвѣтъ на добрынину жалобу матушка его отвѣчаетъ:

---

[42]) Въ разборѣ Исторіи Поэзіи г. Линниченко въ Ж. Мин. Нар. Пр. 1861 г.

[43]) Съ указанною у меня тамъ сербской пѣсней о матери Марка Кралевича можно сравнить болгарскую—у Безсонова, 1, стр. 104. Иной разъ прямо выражается въ сербскихъ пѣсняхъ и неохота слезить матерей (цвиjелити маjке) (Вука Ш, стр. 491; ср. тамъ же стр. 26 и 279.

[44]) Guillaume d'Orange, éd. Joncbloet, I, p. 114 et 115. Извѣстно, что въ chansons de geste очень часто встрѣчается передача одного и того же въ двухъ и даже трехъ различныхъ видахъ, что и объясняется тѣмъ, что это сводъ пѣсень.

[45]) Такъ видно изъ отмѣтки г. Рыбникова, у которато въ первой части перепечатана та-же пѣсня подъ № 24 и 25. (Пѣсни, полученныя отъ г. Бутенева, отмѣчены «въ перечнѣ по мѣсту и лицамъ», буквами П. О. В., и составляютъ въ этомъ перечнѣ первый отдѣлъ. (Я это знаю по устному мнѣ заявленію П. Н. Рыбникова). Г. Рыбниковъ такимъ образомъ, раздѣлилъ на два

Я бы рада тебя, дитятко, спорѣдити,
Таланомъ-участью въ Илью Муромца,
Силой въ Святогора-богатыря,
Смѣлостью въ смѣлаго Алешку во Поповича,
Красотой бы я въ Осипа Прекраснаго
Я походкою бы тебя щепливою [46])
Я того Чурилу во Пленковича.
Я бы вѣжествомъ въ Добрынюшку Никитича:
Сколько тыя статьи есть, а другихъ Богъ не даль [47]),

Жалоба Добрыни, а равно и отвѣтъ на нее матери имѣются во всѣхъ почти пересказахъ рыбниковскихъ; [48]) но не вездѣ сохранились и та, и другой одинаково полно. Кромѣ того, есть и разности въ частностяхъ. Что касается жалобы, то всего полнѣе и ближе къ пересказу бутеневскому передается она у Гаврилы Амосова (Р. III, № 18 [49]) и Андрея Сорокина (Р. II, № 7). Въ другихъ пересказахъ не имѣется указанія на *напрасную кровь* и чрезъ это мѣняется основаніе жалобы. Такъ оно и у Козьмы Романова, гдѣ Добрыня желалъ бы лежать въ морѣ каменемъ—просто за тѣмъ, чтобы его *не посылали*... (Р. I, № 26). Еще болѣе развито такое настроеніе у Рябинина (Р. I, № 27), передающаго жалобу съ особенною пространностью: Добрынѣ хотѣлось бы *или* камнемъ лежать въ океанѣ, *или* деревинкою на горѣ стоять, или стоять въ Днѣпрѣ рѣкѣ гоголинкою—и то, и другое, и третье—*вѣкъ по вѣку безъ шевелимости*. Во всемъ этомъ, очевидно, одна только жажда покоя—ради покоя; и развѣ только въ желаніи, чтобы къ этому дереву съѣзжались богатыри, все еще сказывается богатырская природа Добрыни. А между тѣмъ именно въ этомъ то пересказѣ (какъ увидимъ мы въ своемъ мѣстѣ) дѣйствія Добрыни и оказываются особенно богатырскими.—Въ пересказахъ: калики изъ Красныхъ Лягъ (Р. II, № 6) и Поромскаго Старика (III, № 16) Добрыня, выбранный на богатырское дѣло, жалуется на то, что у него нѣтъ тѣхъ качествъ, которыя, по отвѣту матери оказываются принадлежащими другимъ богатырямъ. Тутъ преимущественно выдается какая то особенная скромность Добрыни, какое-то *незнанье себѣ цѣны*. Такимъ образомъ добрынина жалоба окрашивается въ былинахъ *трояко*; но всѣ пересказы сходятся въ томъ, что хотя ему и не по сердцу наметываемое на него дѣло, онъ однако же совершаетъ его—по обязанности.

Отвѣтъ добрыниной матери передается съ значительною полнотою во всѣхъ, выше указанныхъ пересказахъ, кромѣ калики изъ Красныхъ Лягъ, гдѣ онъ значительно сокращенъ. Но разности между пересказами не совсѣмъ ничтожныя. У Андрея Сорокина и Гаврилы Амосова Ильѣ приписывается вмѣсто *талана участи* пересказа бутеневскаго—*сила могучая богатырская*, въ бутеневскомъ пересказѣ, какъ видѣли мы, предоставляемая Святогору;—этотъ же

пѣсни то, что въ сборникѣ Кирѣевскаго напечатано, какъ одна. Любопытно было бы знать, было ли все это пропѣто г. Бутеневу, какъ одна пѣсня, или нѣтъ? Во всякомъ случаѣ, въ самомъ ли дѣлѣ, у самихъ ли пѣвцовъ народныхъ, состоялся тутъ сводъ, или нѣтъ, но вторая половина пѣсни, уже по самому низведенію въ ней Настасьи Никулишны изъ богатырщъ въ обыкновенныя жены, оказывается принадлежащею иному слою былинъ.—

[46]) Мелкою, щегольскою—по примѣчанію О. Л. Р. Слов.

[47]) Сколько есть въ тебѣ статья (качества)-надѣлено-сти, тѣмъ и будь доволенъ (примѣчаніе тогоже Общ. Л. Р. Слов.).

[48]) Только у К. Романова (I, № 26) нѣтъ отвѣта у Тр. Потанина (III, № 17) ни жалобы ни отвѣта а въ одной ненапечатанной былинѣ Кр. Щеголенкова жалоба принадлежитъ самой матери.

[49]) Съ нимъ согласны также пересказы калики Латышова и изъ Большого Двора, на которые указываетъ г. Рыбниковъ и разнорѣчія изъ которыхъ приводятся у него въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ къ пересказу Г. Амосова.

послѣдній вовсе и не упомянутъ у Сорокина и Амосова. У Рябинина мать жалѣетъ о томъ, что не спородила Добрыню *возрастомъ* въ Илью Муромца, а вмѣстѣ съ тѣмъ *силушка*, отнятая тутъ у Ильи, отдается *Самсону* (подъ которымъ, какъ видѣли мы, скрывается тотъ же Святогоръ). Думаю, что отличительныя качества Ильи Муромца и Святогора вѣрнѣе опредѣлены у Бутенева, хотя пересказъ его и стоитъ въ этомъ отношеніи одиноко. *Таланъ участь*, въ этомъ пересказѣ упоминаемый, долженъ указывать на приговоръ судьбы, что *смерть Ильѣ на бою не написана*; этотъ же приговоръ, какъ видѣли мы, засвидѣтельствованъ цѣлымъ множествомъ пересказовъ изъ самыхъ различныхъ мѣстностей. Такою-то своею неприкосновенностью, неистребимостью—этимъ-то отмѣннымъ богатырскимъ *таланомъ*—Илья и отличается отъ Святогора, который, при всей своей преизбыточествующей *силѣ*, всетаки, какъ видѣли мы, доступенъ смерти. Чтó касается *возраста*, который составляетъ отличительный признакъ Ильи у Рябинина, то съ этимъ должно находиться въ связи его обычное прилагательное *старый*, т. е. старый въ смыслѣ *зрѣлости*, полноты силъ, разъ на всегда опредѣлившейся и какъ бы застывшей.—У Поромскаго Старика (Р. III, № 16), вслѣдъ за Самсономъ-Колывановичемъ, съ его отличительною *силою*, упоминается Илья со своей *смѣлостью-напускомъ*. (Въ не напечатанной былинѣ кр. Щербакова Ильѣ приписывается *ухваточка*—сходная, повидимому, со *смѣлостью напуска* [50]). Изъ того, чтó мы уже знаемъ о муромскомъ богатырѣ съ его ровнымъ, спокойнымъ закаломъ силы, должно быть, кажется, ясно, что отличать его отъ другихъ собственно тѣми *вспышками* силы, которыми порождается *смѣлость напуска*, будетъ едва ли вѣрно. Къ тому же въ другихъ пересказахъ, какъ и у Бутенева, *смѣлость* является преимущественнымъ свойствомъ Алеши. Но въ ненапечатанномъ пересказѣ Щеголенкова она приписывается Ильѣ Муромцу, Алешѣ же особое умѣніе—*грамотность* (соотвѣтственно его *поповскому* происхожденію, но прямо противоположно былинѣ Кирши Данилова объ Алешѣ [51]). Качество, достающееся у Бутенева Чурилѣ, походка *щепливая*, сохраняется за нимъ и въ другихъ пересказахъ (кромѣ Рябинина, Амосова и калики изъ Кр. Лягъ, гдѣ о Чурилѣ совсѣмъ позабыто); и это, какъ увидимъ мы въ своемъ мѣстѣ, вполнѣ соотвѣтствуетъ былевому облику Чурилы. Равнымъ образомъ согласны пересказы въ *красотѣ Осипа*, хотя эта послѣдняя должна была замѣшаться въ былины изъ духовныхъ стиховъ объ Іосифѣ Прекрасномъ. Точно также изъ стиховъ (о Егоріѣ Храбромъ), замѣшались *кудри царя Кудріяница*, на которыя мать Добрыни указываетъ у Поромскаго Старика. Первоначально, быть можетъ, вмѣсто Кудріяница тутъ упоминался Владиміръ, на кудри котораго нерѣдко указываютъ былины [52]). Владиміру же (вмѣсто Осипа)

---

[50]) Сила же въ этомъ пересказѣ приписывается Кастрюку Демьяновичу — но лицо это тутъ совершенно не кстати и очевидно замѣшалось сюда изъ круга московскаго.

[51]) Въ этой былинѣ, Алеша, наѣзжая въ дорогѣ на камень съ надписью, велитъ ее прочитать Екиму Ивановичу, какъ во грамотѣ поученому человѣку (Кир. II, стр. 70). Если мы въ правѣ изъ этого заключить, что самъ Алеша является тутъ неграматнымъ, то такая черта, хотя и являющаяся у Кирши, объясняется только порчею (у калики изъ Красныхъ Лягъ и у Поромскаго Старика Алеша (въ этомъ мѣстѣ не упомянутъ вовсе). Но замѣчательно, что у калики изъ К. Л. позабытъ даже самъ Илья Муромецъ; у него упомянуты только Самсонъ, Осипъ и Владиміръ князь.

[52]) См. въ указ. въ пѣсн. Кир. стр. 4.



приписывается у Рыбнина *красота*, тогда какъ у калики изъ Красныхъ Лягъ его признакомъ является *счастье*. И то и другое идетъ къ былевому Владиміру: не даромъ величается онъ *краснымъ* солнышкомъ, не даромъ съ другой стороны и то, что, самъ ничего не дѣлая, онъ окруженъ такимъ множествомъ постоянно выручающихъ его изъ бѣды свято-русскихъ богатырей.— Нѣкоторыми пересказами упоминается тутъ о свойствахъ и еще трехъ богатырей. *Поромскій Старикъ* указываетъ на *поѣздку* Дюка Степановича; напротивъ у Андрея Сорокина *ѣзда на конѣ* приписывается Потыку. Въ былинахъ о послѣднемъ мы не могли замѣтить преимущественной его умѣлости въ верховой ѣздѣ. Напротивъ, какъ увидимъ мы въ своемъ мѣстѣ, такою умѣлостью дѣйствительно отличается Дюкъ, а потому Поромскій Старикъ въ этомъ мѣстѣ правѣе. Совершенно другимъ признакомъ отмѣченъ этотъ богатырь у Андрея Сорокина но отмѣченъ, какъ увидимъ мы въ свою очередь, опять совершенно вѣрно; этотъ признакъ—*имѣнье богачество* [53]). Напротивъ у Гаврилы Амосова то-же (счастки-богатство) приписывается знаменитому лицу новгородскихъ былинъ—Садку-купцу, богатому гостю. Самое это былевое прозвище Садка—богатый—уже показываетъ, что правъ съ своей стороны и этотъ послѣдній пѣвецъ. Изъ всего же, представленнаго мною сличенія разбираемаго мѣста у различныхъ пѣвцовъ, кажется, слѣдуетъ, что въ большей, или въ меньшей степени въ сознаніи каждаго изъ нихъ живы отличительныя свойства отдѣльныхъ богатырей, и что проведеніе этихъ отличительныхъ свойствъ принадлежитъ самому народному творчеству, а не «досужему воображенію патріотическихъ изслѣдователей былинъ» какъ вообразилъ нашъ новѣйшій изслѣдователь.

Въ бутеневскомъ пересказѣ и самъ Добрыня отмѣченъ особеннымъ качествомъ—*вѣжествомъ*. Другіе пересказы не знаютъ объ этомъ; они или просто умалчиваютъ о свойствахъ Добрыни, или отзываются, устами матери, совершенно глухо: «такова молодца тебя Господь Богъ спородилъ» (Поромскій Старикъ)· или: «а каковаго тебя Богъ далъ, дѣлать нечего» (калика изъ Кр. Лягъ); или наконецъ влагаютъ въ уста матери слѣдующее заключительное разсужденіе:

Видно, чадо мое милое,
Народился ты въ ту звѣзду
И ту минуту безчастную, нешаланную... [54])

А между тѣмъ бутеневскій пересказъ, хотя и стоящій въ этомъ отношеніи одиноко, отличается большею вѣрностью: *вѣжество*, какъ увидимъ, является въ разныхъ случаяхъ свойствомъ Добрыни и въ другихъ былинахъ.

---

[53]) Но къ этому присоединяется у Сорокина еще и другая черта: «рада бы тебя спородити...

Имѣньемъ богачествомъ въ молода боярина во Дюка Степановича—
Изъ туга лука стрѣлять во Тугарина во Змѣевича во Заморскаго.

Между тѣмъ въ имѣющихся теперь былинахъ Дюку, какъ увидимъ, не приписывается боя съ Тугариномъ; но въ нѣкоторыхъ пересказахъ встрѣчается подробное описаніе чудесныхъ стрѣлочекъ Дюка.

[54]) Черезъ это Добрыня какъ бы сближается съ дворяниномъ безчастнымъ молодцемъ, побывальщина о которомъ помѣщена у Рыбн. въ ч. II, подъ № 51; но она уже сильно подновлена, попорчена и все мѣсто заимствовалась изъ книжекъ.

Обратимся теперь къ другимъ чертамъ бутеневскаго пересказа и будемъ въ свою очередь сопоставлять ихъ съ пересказами рыбниковскими. Соотвѣтственно упоминовенію Алеши въ перечнѣ славнѣйшихъ богатырей, упоминовенію съ почетнымъ прилагательнымъ *смѣлый*, Добрыня тутъ, совершенно какъ у Кирши, поводомъ къ запрещенію выходить за Алешу выставляетъ только свое съ нимъ названое братство. Совершенно также оно у Трофима Потахина (Пудожскаго Уѣзда, Филимоновской Волости, Р. III, № 17), гдѣ эта черта сохранилась, не смотря на значительную плоховатость этого пересказа. Чтó же мудренаго, ежели она имѣется у калики изъ Красныхъ Лягъ, но имѣется съ многозначительнымъ дополненіемъ: крестовый братъ паче роднаго. [55]) Тоже самое дополненіе и у Поромскаго Старика,—только тутъ и примѣсь совершенно иного свойства, изъ иного извода сказанія: Алеша называется тутъ же *воромъ собакою*. [56]) Еще рѣзче выдается смѣшеніе у отличнѣйшаго пѣвца—Рябинина (Р. I, № 27): «не ходи, говорится тутъ, за *смѣлаго* Олешеньку Поповича,—*за того за бабьяго насмѣшника: Олешенька Поповичъ мнѣ названый братъ*. При словахъ *богатырь* и *смѣлый*—слова *бабій насмѣшникъ* представляются прямо вставкою изъ того, несочувственнаго Алешѣ, позднѣйшаго извода, съ которымъ познакомились мы по былинамъ Кирѣевскаго. [57]) Къ этому же изводу прямо относятся и у Рыбникова въ пересказѣ Андрея Сорокина слова Добрыни: Олеша пустохвастъ-то есть, вѣкъ Олеша пустымъ хвастаетъ [58]); впрочемъ, прилагательное *смѣлый* остается за нимъ и тутъ. [59]) Кромѣ того у Сорокина уцѣлѣло и указаніе на *братство названое*—только въ перейначенномъ видѣ: Алеша братается тутъ съ Добрынею, встрѣтившись съ нимъ въ чистомъ полѣ, и тотчасъ же послѣ этого, вернувшись въ Кіевъ, увѣряетъ, что Добрыня убитъ; т. е. Алеша лжетъ, измѣняя только что заключенному братству. Память о братствѣ между обоими сохранилась и у Козьмы Романова (Р. I, № 26), гдѣ, уже къ концу былины, Алеша называется *меньшимъ братомъ*, [60]) въ самомъ же *запрещеніи* тутъ говорится просто: «столько не ходи за Алешу Поповича. (У Гаврилы Амосова нѣтъ ни запрещенія выходить за Алешу, ни какого либо намека на братство названое между нимъ и Добрыней). [61]) Изъ всего этого ясно, что большая часть пересказовъ рыбниковскихъ, какъ и бутеневскій, примыкаетъ въ этомъ отношеніи къ Киршѣ; но въ нѣкоторыхъ пересказахъ у Рыбникова сказывается и знакомство съ изводомъ, господствующимъ у Кирѣевскаго.

---

[55]) О повсемѣстности братства названаго уже было у меня говорено не разъ. Замѣчательно слѣдующее изрѣченіе на счетъ его изъ Панчта Тантры: «мать рождаетъ въ первый разъ, во второй же разъ рождаетъ слово. Братъ, рожденный отъ слова, стоитъ выше родного брата (Benfey, P. Tontra, II, 266).

[56]) Замѣчу, что у Поромскаго Старика высказывается скромное мнѣніе Добрыни и о самомъ себѣ въ словахъ: «выбери богатыря противу хоть меня» (Р. III, стр. 71) этому совершенно соотвѣтствуетъ болгарская пѣсня: «нѣ юнака си барашъ, юнакъ спроти мене.» (Миладин. № 572) (стр. 485).

[57]) У Щеголенкова Алеша—*дѣвочій насмѣшникъ*, чтó еще яснѣе указываетъ на него, какъ на *соблазнителя*.

[58]) Въ ненапечатанномъ пересказѣ кр. Щербакова у Алеши отчество *Пустохвастовичъ*.

[59]) Точно также остается оно за Алешей и у Щеголенкова.

[60]) Такъ же у Щеголенкова. Извѣстно, что изъ названыхъ братьевъ одинъ постоянно является бóльшимъ (старшимъ), а другой меньшимъ.

[61]) Рыбн. III, стр. 84—91.

Прекрасный бутеневскій пересказъ отличается особенною мягкостью въ отношеніяхъ семейныхъ. Проводивъ Добрынюшку, мать его домой пошла и *одна заплакала*. Провожала его и любимая *семья*, молода Настасья дочь Никулична, и *сама* спрашивала, какъ и у Кирѣевскаго въ пересказѣ изъ Павлова, когда его дожидать назадъ? Онъ назначаетъ ей шесть лѣтъ, а когда Владиміръ начинаетъ свататься за Алешу, она говоритъ, что исполнила заповѣдь мужнюю—ждала Добрыню «цѣло шесть годовъ.... а теперь исполнитъ заповѣдь *свою женскую*: прождетъ Добрынюшку другово шесть годовъ». Та же особая *заповѣдь женская* имѣется и у Рыбникова въ пересказахъ Козьмы Романова, Андрея Сорокина, Гаврилы Амосова, Трофима Потахина и Щербакова (только у послѣднихъ заповѣдь женская, какъ и срокъ, назначаемый Добрынею, на *три* года).

При значительной человѣчности въ отношеніяхъ семейныхъ, у Бутенева слышится отдаленная старина въ употребленіи слова *семья, семеюшка* въ смыслѣ *жены*, и въ окончаніи на *и* именительнаго падежа: государыни матушка.—Первое сохранилось также и у Рябинина, Амосова и Сорокина; второе же—только у послѣдняго.

Мягкость отношеній значительно дорисовывается въ пересказахъ рыбниковскихъ. Такъ у К. Романова мать Добрыни называетъ жену его своимъ *богоданнымъ дитяткомъ*, а Добрыню ея *милою ладушкою, крѣпкою сдержавушкою* (у Рябинина *любимою сдержавушкою* называетъ Добрыню сама Настасья). Правда, и въ пѣсняхъ свадебныхъ употребительно выраженіе *богоданные* про родителей жениха, и это ни мало не мѣшаетъ относиться къ нимъ съ недовѣріемъ, ужасомъ или даже ненавистью.—Но что въ нашей былинѣ слово *богоданная* отнесено свекровью къ невѣсткѣ безъ всякой ироніи, это обнаруживается общимъ свойствомъ тѣхъ отношеній между обѣими, какія проводятся черезъ всю былину. У Андрея Сорокина по отъѣздѣ Добрыни рисуется слѣдующая трогательная картина:

Не двѣ утушки сплывалися
Не двѣ бѣлыя лебедушки слеталися,
Садилися свекровушка да невѣстушка въ одно мѣсто
Плачутъ—обливаются.

То-же самое начало согласія, лада сказывается и въ словахъ свекрови у Рябинина: «ой же ты моя любезная семеюшка» (слово это такимъ образомъ употреблено тутъ и въ смыслѣ невѣстки)

Ты чего сидишь во теремѣ, въ златомъ верху?
Али надъ собой невзгодушки не вѣдаешь?
Закатается-то наше красное солнышко, и т. д.

(Ср. въ пер. изъ с. Павлова Нижегор. Губ.). То-же самое сравненіе имѣется у Козьмы Романова. У Поромскаго же старика употреблено сравненіе сродное, но въ обратномъ смыслѣ, и въ другомъ мѣстѣ — рядомъ съ другимъ сравненіемъ: когда мать уже узнаетъ возвратившагося Добрыню, она говоритъ ему:

Распекло де у насъ солнце красное,
Закатается-де у насъ свѣтелъ мѣсяцъ:
Твоя-то хозяйка за мужъ пошла...

Первая половина этого сравненья встрѣчается также въ соотвѣтственной сербской пѣснѣ, гдѣ невѣстка говоритъ свекрови при возвращеніи своего мужа: «тебе стару огрејало сунце,—ево теби твог Стојана сина»[62]). У калики Латышова сравненіе двойное:

Ясенъ соколъ на дворъ прилетѣлъ,
Слетала сиза голубица съ широка двора.

А въ пересказѣ изъ Б. Двора, сравненье, относясь къ одному Добрынѣ, проведено весьма поэтически далѣе:

Не свѣтъ-то на улицы разсвѣтается,
Не зори ли утренны,
Не зори ль вечорныя,
Не свѣтелъ ли мѣсяцъ выкатается,
Не часты ль звѣзды разсыпаются,
*Не красное ль солнышко распекло?*
(Р. III, стр. 87, примѣч.).

Возвращаясь къ Поромскому Старику (вообще отличающемуся, какъ мы знаемъ, своеобразіемъ), не могу не отмѣтить у него слѣдующей подробности о Добрынѣ: «со своей матерью прощается, *паче того* съ молодой женой.» Но такое предпочтенье женѣ, не подкрѣпляемое прочими пересказами и н совсѣмъ-то согласное съ преимущественною нѣжностью нашихъ богатырей именно къ матери, находится даже въ прямомъ противорѣчіи съ пересказомъ бутеневскимъ. Въ этомъ послѣднемъ во первыхъ съ особенною силою передается одна черта, которая имѣется, впрочемъ, и въ другихъ пересказахъ (кромѣ Поромскаго Старика и Тр. Потахина). Вездѣ, когда Добрыня, возвращаясь, отъ поспѣшности входитъ къ матери безобсылочно, бездокладочно,— она, не узнавая его, оскорбляется этимъ и говоритъ ему, что если-бы былъ въ живыхъ ея сынъ, то онъ бы не далъ надъ ней такимъ образомъ насмѣхаться. У Сорокина оскорбленность *побѣдной* [63]), какъ она себя тутъ называетъ, старухи, доходитъ до такой степени, что, приказывая ему убираться, она грозитъ: «а то пошатаю своей старостью глубокою,—нечестно провожу.» Въ бутеневскомъ пересказѣ, какъ и въ другихъ, она только вспоминаетъ при этомъ своего сына-оберегателя, — но выставляетъ его способнымъ даже на то, чтобы отрубить невѣжѣ голову за «поступки неумильные.» И совершенно соотвѣтственно этому Добрыня въ томъ же пересказѣ, уже открывшись женѣ и Алешѣ, обращается къ послѣднему съ такими словами:

---

[62]) Вука Српске Пјесме, III, № 25, стр. 172. Это, впрочемъ, уже приведено мной въ замѣткѣ къ IV ч. Пѣсень П. Н. Рыбникова, на стр. XL. Указанная сербская пѣсня о Стоянѣ и вообще соотвѣтствуетъ былинамъ о Добрынѣ въ отлучкѣ. Мѣстный оттѣнокъ главнымъ образомъ придаетъ ей то, что причиною девятилѣтняго отсутствія Стояна является его уведеніе въ плѣнъ Турками, откуда онъ наконецъ бѣжитъ при помощи товарища своего Ильи. Далѣе тутъ, какъ и въ соотвѣтственныхъ болгарскихъ пѣсняхъ (Сборника Миладиновыхъ, № 65 и 66) возвращающійся мужъ, въ вознагражденіе жениху жены своей, выдаетъ за него сестру свою. Въ концѣ сербской пѣсни мать отъ внезапной радости умираетъ.

[63]) У г. Потебни въ его статьѣ о «Долѣ» на стр. 6 (Древн. Моск. Арх. Общ. ч. II) сказано: «бѣда, въ ст. сл. — necessitas, въ польск. чешск. — то же, что и въ русск. сербск., и сверхъ этого—напраслина побједа, calumnia. Корень bhud, bhinatti—findere, откуда bhêда, м. раскалыванье, раздѣленіе, раздоръ, различеніе, различіе... Кстати, что значитъ побѣдный, какъ эпитетъ круга:

Становилась въ побѣдный кругъ?

Неужели то-же, что въ выраженіяхъ «побѣдная голова» (бѣдная) «побѣдный голосъ» (жалкій)? («побѣдная старуха»—можно прибавить).

«Въ той вины, братецъ, тебя Богъ проститъ,
«Что ты посидѣлъ подли моей любимой семьи...
«А во другой вины тебѣ, братецъ, не прощу:...
«Привозилъ ты вѣсточку не радостну,
«Что нѣтъ жива Добрыни Никитича.,.
«Такъ тогда государыня родна матушка
«Желешенько съ по мнѣ плакала,

«Слезила свои очи ясныя,
«Скорбила свое лицо бѣлое:
«Съ этой вины тебѣ не прощу!»
Ухватилъ Алешку за желты кудри,
Выдернетъ Алешку чрезъ дубовый столъ,
Бросилъ Алешку о кирпиченъ мостъ,
Учалъ шалыжищемъ ухаживать.

Послѣ всего этого я могу предоставить читателю посудить, на сколько вѣрны слова г. Стасова: «Добрыня пріѣзжаетъ домой послѣ долгаго отсутствія и находитъ, что жена его идетъ за другого: онъ этого другого бросаетъ о полъ, бьетъ плетью и—дѣло съ концомъ. Что̀ онъ думалъ, что̀ чувствовалъ—ничего этого нѣтъ въ былинѣ, она этого и знать не хочетъ, ей вмѣсто этого очень только интересенъ самъ сырой фактъ и слѣдствіе его: «что̀ хлопанье, и что̀ оханье—не слышно вѣдь!» (Вѣстн. Евр. 1868 г. Іюнь, стр. 627).

Что̀ же касается самаго пріема—этого битья о кирпичатъ полъ, то сходно съ нимъ, какъ мы уже знаемъ, и въ пѣсняхъ сербскихъ нерѣдко ударяютъ врага о *мармар калдрму* [64]). Въ различныхъ восточныхъ поэмахъ употребительно удареніе *объ землю*, [65])—изъ чего я позволяю себѣ заключить только то, что это эпическій пріемъ—когда-то бывшій очень распространеннымъ, и потому древній. Удары же плетью (шалыжищемъ) дѣйствительно особенно распространены въ восточныхъ произведеніяхъ, и это, какъ и самое употребленіе плети въ дѣйствительности, могло быть на самомъ дѣлѣ однимъ изъ подарковъ намъ, Русскимъ, отъ великой монгольской образованности.

Изъ бутеневскаго пересказа не видно, въ конецъ ли уходилъ Добрыня своего невѣрнаго брата названаго.—Только въ одномъ (вообще испорченномъ) пересказѣ Тр. Потахина сказано, будто отъ удара добрынина—*тутъ Олешенька кончается*. (Р. III, стр. 83)—У Поромскаго Старика совсѣмъ иначе: «Не далъ ему Добрыня смерти скорыя, а далъ безвѣчье вѣковѣчное.» У К. Латышова: сдѣлалъ Алешу въ полвѣка (Р. III, стр. 91). Сходно съ этимъ у Г. Амосова: чуть Алешеньку въ душахъ оставилъ. А у Сорокина Добрыня пнулъ Алешу да подъ лавицу, а Алеша съ подъ лавицы выговариваетъ: «всякій на свѣтѣ женится, а не всякому женитьба удавается.» — Такой же точно *смѣшной* оборотъ и у калики изъ Красныхъ Лягъ: «А мнѣ-ка Алешенькѣ не издалась.» Такая, въ своемъ родѣ простодушная насмѣшка Алеши надъ самимъ собою, подходящая къ верещагинскому пересказу, до извѣстной степени миритъ съ этимъ *пустохвастомъ*, и ею такимъ образомъ смягчается заключеніе нашей былины, [66]). У Кирши, какъ мы видѣли, насмѣшка влагается въ уста самому Добрынѣ, который при этомъ и ограничивается только *насмѣшкою* надъ своимъ провинившимся братомъ. Тутъ та-

[64]) См. выше стр. 27.

[65]) Впрочемъ въ пѣсняхъ сербскихъ встрѣчается и удареніе прямо объ землю (Вука II, стр. 119, 261).

[66]) Въ ненапечатанной былинѣ кр. Щербакова Алеша даже вдается въ сопоставленье своей неудачной женитьбы съ удачной женитьбою—кромѣ Добрыни—Ставра-Годиновича (что̀ и оправдывается былинами, о которыхъ рѣчь впереди), и Ильи Муромца (чему можетъ служить подтвержденіемъ развѣ былина о томъ, какъ за него однажды сражалась жена его Савишна, о которой не знаетъ ни одна изъ другихъ былинъ).



кимъ образомъ смягченье зашло ещё дальше, и зашло, положительно можемъ сказать, еще до того времени, когда составился сборникъ Кирши, т. е. до половины XVIII ст. Между тѣмъ въ пересказахъ Олонецкой Губ., только что съ этой стороны просмотрѣнныхъ, до сихъ поръ еще сохранилась *суровость* въ обращеньи Добрыни съ Алешею, суровость, отчасти смягчаемая тѣмъ, что Алеша всетаки въ состояніи надъ собою смѣяться. Но въ *двухъ* пересказахъ олонецкихъ смягченье зашло опять далѣе, и путемъ совершенно своеобразнымъ. Въ пересказѣ Козьмы Романова расходившагося Добрыню унимаетъ тотъ, чьей помощи противъ Добрыни просила, какъ видѣли мы, и баба Горынинка:

... скочилъ старый казакъ Илья Муромецъ,
Захватилъ за плечики за могутныя за молодецкія:
«Ай же ты, Добрынюшка Никитичъ!
«Не убей ты смертію напрасною [67]),
Меньшого братца Алешу Поповича.» —

Хотя эти слова Ильи и имѣются въ настоящее время только въ одномъ пересказѣ,— нужно-ли говорить, что они вполнѣ соотвѣтствуютъ основнымъ чертамъ Муромца? У Рябинина то же значеніе *унимателя* приписывается другому лицу—Владиміру (Р. I, стр. 171). Но это развѣ въ томъ отношеніи не лишено смысла, что Владиміръ тутъ самъ замѣшанъ, какъ сватъ алешинъ. Свидѣтельство о томъ Кирши и нѣкоторыхъ пересказовъ Кирѣевскаго прямо подтверждается какъ бутеневскимъ, такъ и всѣми рыбниковскими пересказами. Въ ненапечатанномъ пересказѣ кр. Щербакова Владиміръ *сватомъ*, а княгиня Апраксія—*свахою*, Настасья же того *испугалася*. Въ этихъ пересказахъ выказывается съ особенной яркостью *насилье*, до какого при этомъ доходитъ Владиміръ, за что и приходится ему выслушивать отъ Добрыни самую горькую и неразборчивую на выраженія правду. Такъ у калики изъ Красныхъ Лягъ Владиміръ говоритъ про Настасью, что если она «добромъ нейдетъ, такъ силомъ возмемъ, силомъ нейдетъ, такъ за боемъ возмемъ». У Сорокина онъ, въ случаѣ ея отказа, грозится выдать ее въ Литву за Татарина, и затѣмъ, противъ воли, велитъ *повести* ее въ церковь соборную. У Амосова онъ грозится ее постричь во старицы, и мать Добрыни говоритъ про нее возвращающемуся сыну: «а не съ охоты шла, а со пристрастки со княжескія.» Въ плохомъ пересказѣ Потапа Потахина это лишено силы потому, что этимъ извиняетъ себя передъ Добрыней сама Настасья: «не въ честь берутъ и не охвотою, а берутъ великою неволею.» (Р. III, стр. 83) У Рябинина Настасья говоритъ:

Побоялась я князя Владиміра,
Сталъ ко мнѣ Владиміръ похаживать...
И сталъ мнѣ-ка Владиміръ князь пограживать:
Ежели не пойдешь за мужъ за Алешеньку Поповича,
Такъ не столько во городѣ во Кіевѣ,
Не будетъ тебѣ мѣста и за Кіевомъ

У Поромскаго Старика про нее (тутъ она Катерина; во всѣхъ другихъ пересказахъ у Рыбникова—Настасья), какъ бы отъ лица самого пѣвца, сказано, что на слова Катерина не сдавалася, на силу ей князь поневолилъ пойти.—

[67]) Этому выраженію соотвѣтствуетъ въ сербскихъ пѣсняхъ «смерть напрасна» (Вука II, 487).

Хлопоты же Владиміра вызваны тутъ обѣщаніемъ Алеши: «я буду служить тебѣ вѣрой-правдою.»—У того же пѣвца, когда все открылось и князю отъ этого за бѣду пришло, ему съ особенною рѣзкостью говоритъ Добрыня: «кабы ты былъ не Владиміръ князь, назвалъ бы тебя я сводникомъ, а княгиню—сводницей» [68]). Не такъ грубо, но еще прямѣе обращается Добрыня къ Владиміру у К. Романова. Тутъ, вмѣсто обычнаго у другихъ пѣвцовъ: «не дивую я женщинѣ, или не дивую Алешѣ, а дивую князю,»—совершенно напротивъ того:

Не дивуюсь я князю Владиміру,—
Что и самъ творитъ, другому велитъ—
Отъ живого мужа хочетъ жену отнять.

И при этомъ Романовъ пояснилъ г. Рыбникову, что у Владиміра было двѣнадцать женъ, иныя отъ живыхъ мужей (Р. I, стр. 145). Есть ли это путемъ эпоса уберегшееся воспоминаніе о засвидѣтельствованномъ лѣтописью женолюбіи Владиміра язычника, или же это чисто эпическая черта въ родѣ тѣхъ, какія достались на долю многимъ властителямъ въ эпосѣ разныхъ народовъ?—Думаю, что и самое женолюбіе Владиміра въ лѣтописи—по крайней мѣрѣ на половину эпическаго происхожденія, или хоть *эпически преувеличено*. Въ словахъ Романова число женъ несравненно ограниченнѣе, чѣмъ въ лѣтописи, гдѣ, можетъ быть, первоначальное эпическое число, (и само по себѣ, вѣроятно, не малое,) было еще увеличено воображеніемъ монаха, желавшаго какъ можно болѣе наложить тѣни на *языческую* пору Владиміра. Что же касается собственно словъ *отъ живыхъ мужей*,—то въ этомъ должно заключаться указаніе на былины о Ставрѣ Годиновичѣ, разборъ которыхъ еще впереди. Послѣ всего упомянутаго понятно, что, при такой неловкости положенія, тутъ солнышку Владиміру «къ стыду пришло»—какъ выражается пересказъ бутеневскій. Князь стольно-кіевскій такимъ образомъ раздѣляетъ участь Алеши, который, по свидѣтельству А. Сорокина, *съ того стыду да со сорому* пошелъ на чужую дальную сторону. [69])—Владиміръ уравненъ съ Алешей и въ томъ, что у Г. Амосова самъ надъ собой смѣется: «кто отъ бѣды отступается, а Владиміръ князь на бѣду накупается.» (Это, впрочемъ, говорится про князя и въ другихъ случаяхъ. Замѣчу, что въ извиненье Владиміру отчасти можетъ служить то, что Алеша увѣряетъ и жену Добрыни, и князя, будто бы видѣлъ Добрыню убитымъ—такъ оно во многихъ пересказахъ).

Въ сторонѣ отъ прочихъ рыбниковскихъ пересказовъ стоитъ ненапечатанный пересказъ Щеголенкова, по которому, согласно съ онежскимъ, Настасья *сама себя просватала*. Далѣе же она уѣзжаетъ тутъ съ мужемъ *во землю во Смоленскую*, гдѣ и является къ ней на свадебный пиръ Добрыня (а Владиміръ тутъ совсѣмъ въ сторонѣ). У Алешиньки оказываются въ Смо-

---

[68]) Такой же точно оборотъ и въ обращеніи Добрыни съ Алешей у А. Сорокина: «какъ былъ бы Алеша не крестовый братъ, взялъ бы я тебя, Алеша, за желты кудри «А между тѣмъ, не смотря на братство, тутъ же и чинитъ съ нимъ такъ.

[69]) Не спросясь, вѣроятно, у г. Стасова, по рѣшенію котораго, богатыри наши и стыда-то никогда не чувствуютъ.



ленскѣ свои *подданы*—слуги вѣрные, впрочемъ подкупаемые *златницами* Добрыни. Ложную вѣсть о смерти добрыниной приносятъ тутъ *трое* каликъ.

Мы уже встрѣтились у г. Бутенева и у различныхъ рыбниковскихъ пѣвцовъ со многимъ, прямо подтверждающимъ или прекрасно дополняющимъ Киршу и различные пересказы Кирѣевскаго. Такъ и перстень, опускаемый Добрынею въ кубокъ, подаваемый имъ женѣ—это эпическое обстоятельство, хотя и не уцѣлѣвшее у Кирши, но замѣченное нами кое гдѣ у Кирѣевскаго, имѣется какъ у Бутенева, такъ и вездѣ у Рыбникова (кромѣ одного, сильно испорченнаго пересказа Троф. Потахина).—Другая эпическая черта, также указанная уже выше въ пересказѣ изъ Симбирской и изъ Нижегородской Губерніи,—узнаваніе Добрыни матерью по родимой знадебкѣ—въ пересказѣ бутеневскомъ не сохранилось, но оно имѣется у А. Сорокина (только не на ногѣ, а подъ правой пазухой), у Поромскаго Старика (на лицѣ—три знамени), и у Щербакова (родимая знадебка на головѣ). [70]) Что касается того способа, какимъ узнаетъ Добрыня о грозящей ему *обидѣ*, то мы видѣли, что въ пересказѣ изъ Симбирской Губерніи такимъ способомъ служитъ *проязычившій конь*. Тоже и у Бутенева, только съ надбавкою, хотя и стоящею одиноко въ ряду нашихъ пересказовъ, но подтверждаемою употребленіемъ того же въ различныхъ эпическихъ произведеніяхъ. Эта надбавка—въ томъ, что у *Добрыни тутъ конь потыкается*. Обыкновенно это въ эпосѣ служитъ предвѣстіемъ близкой бѣды (такъ, напримѣръ, споткнулся конь у Бориса въ сказаніи о Борисѣ и Глѣбѣ). И Добрыня—надо думать, что испугавшись такого предвѣстья,—бранитъ коня, спрашивая, отчего это?—и вотъ тутъ-то конь сообщаетъ ему о Настасьѣ съ Алешою.—Также точно и у Андрея Сорокина. Кромѣ нашихъ, поименованныхъ пересказовъ, *проязычившій конь вѣстникъ* является и въ болгарской былинѣ о Симонѣ, соотвѣтствующемъ, [illegible] какъ мы знаемъ Добрынѣ (Милад., № 65). У Рябинина и Амосова вѣстника[illegible]и о томъ являются *голубь со голубушкой*. То-же и у калики изъ Красныхъ Лягъ[illegible] только тутъ еще надбавка, состоящая въ томъ, что этихъ *кормленыхъ* пти[illegible]ъ *посылаетъ за Добрынею его матушка*. (Такая отправка крылатыхъ вѣстн[illegible]ковъ въ эпосѣ вообще—не рѣдкость). Знакомъ поспѣшности, съ какою Добр[illegible]ыня бросается на призывъ голубей, служитъ у того же пѣвца, и только у н[illegible]его одного, перескакиваніе богатыря черезъ столъ, за которымъ онъ пировал[illegible]ъ. Въ другихъ пересказахъ этотъ пріемъ приписывается женѣ Добрыни, въ т[illegible] минуту, когда она узнаетъ его по перстню; ей говорятъ при этомъ, чтобы она *не безчестила столы*.—По всей вѣроятности, такое же *скаканье Добрыни* явилось только вслѣдствіе ошибки пѣвца, перепутавшаго совершенно различ-

---

[70]) У Поромскаго Старика, замѣчательна та особенность, что мать не узнаетъ его—вотъ почему:

> Истаскалися де платья цвѣтныя...
> Испошилъ-де кафтаны все звѣриные,
> Шапки, сапоги—все звѣриные.

У Рябинина, хотя онъ и отличный пѣвецъ, знадебки нѣтъ и въ поминѣ. Тутъ мать увѣряется въ томъ, что это сынъ ея, при помощи слѣдующаго разсужденія: «не признаю чужинъ деревенщина (за какого былъ ею принятъ Добрыня) святымъ духомъ, самъ собой, про лапотики шелковые, и про платьице скоморовчато, про гуселышка яровчата», (т. е. про тѣ вещи Добрыни, которыхъ потребовалъ онъ у матери, чтобы отправиться въ свиту). Но это отзывается уже совсѣмъ не эпическимъ перевѣсомъ разсудочности; такъ и слышно, что поданный, старый способъ узнаванія тутъ позабытъ, и взамѣнъ его придуманъ новый.

ный обстоятельства; именно у него про Настасью (намѣревающуюся скочить черезъ столъ у всѣхъ прочихъ пѣвцовъ) сказано просто, что она — отошла отъ Алеши Поповича и сѣла подлѣ Добрыни Никитича. — Возвращаясь къ *способу извѣщенія*, замѣчу, что въ ненапечатанномъ пересказѣ Щербакова являются — и *птица-вѣстница* (*воронъ*), и *проязычившій конь*, такъ что тутъ, повидимому, сведены вмѣстѣ оба эпическихъ способа извѣщенія. Далѣе напомню о томъ, что въ верещагинскомъ пересказѣ мы видѣли въ значеніи вѣстниковъ — *каликъ перехожихъ*. У Поромскаго Старика вѣстникомъ является также не конь, и не птица, а человѣкъ — но изъ богатырскаго круга, и именно тотъ, кому та-же роль вѣстника о бѣдѣ досталась, какъ видѣли мы, въ былинахъ о Потыкѣ. Какъ тамъ, такъ и тутъ воображенью пѣвца представился по преимуществу *вѣрный* изъ богатырей:

Поѣхалъ Илья Муромецъ во чисто поле...
«Твоя то хозяйка за мужъ пошла
За премладаго за Алешу за Поповича:
Насилу ей князь поневолилъ выйти» (Р. III, стр. 73).

Остается напомнить еще объ одной эпической подробности, выше замѣченной нами въ нѣкоторыхъ пересказахъ Кирѣевскаго — это *наигрыванье Добрыней своего похожденья* на пиру владимировомъ. Въ рыбниковскомъ сборникѣ оно со всею ясностью сохранилось у Поромскаго Старика:

Первый разъ игралъ отъ Царя града,
Другой разъ игралъ отъ Іерусалима,
Третій разъ сталъ наигрывати,
*Все свое похожденье расказывати...*

«Нѣсколько иначе въ ненапечатанной былинѣ кр. Щеголенкова: «и перво растояніе играетъ дѣтинушка скомарешенекъ отъ Кіева до земли сорочинской, отъ сорочинской до тальянской (Добрыня по этому пересказу посланъ былъ въ итальянскую землю), отъ тальянской до Царя-града, отъ Царя-града до Іерусалима; показалося Настасьѣ Микулишнѣ — наигрыши хорошіи», — и она (а не Владиміръ князь) даетъ ему за нихъ три мѣста: ей, повидимому, по сердцу содержаніе пѣсни, въ которомъ передается все добрынино путешествіе. У прочихъ рыбниковскихъ пѣвцовъ имѣется только краткое указаніе на игру отъ Цареграда, и т. д. Это стараются объяснить издатели пѣсень Кирѣевскаго въ примѣчаніи къ соотвѣтственному мѣсту въ бутеневскомъ пересказѣ, гдѣ оно передается такимъ образомъ:

Играетъ-то онъ въ Царя-градѣ,
А на выигрышъ беретъ все въ Кіевѣ (К. II, 37).

«Пѣвецъ нѣсколько осмыслилъ по своему, замѣчаютъ издатели. По сравненью съ другими былинами видимъ: Добрыня *сыгрышъ*, напѣвъ, голосъ игралъ цареградскій, а *наигрышъ*, содержаніе бралъ въ Кіевѣ». — Догадка эта весьма остроумна и правдоподобна; но въ самыхъ, имѣющихся теперь былинахъ я не могъ замѣтить такого точнаго и строгаго разграниченія между словами *сыгрышъ и наигрышъ*. — А что содержанье въ игрѣ Добрыни дѣйствительно было кіевское, это видно въ бутеневскомъ пересказѣ изъ словъ сидящихъ за столомъ у князя и заслушавшихся игры добрыниной:

«Что не быть удалой скоморошины,
А кому ни надо быть русскому»...



(потому, что ему такъ хорошо известно то, что происходитъ въ Кіевѣ).—Изъ этого мѣста видно, что скоморошины были не какіе либо осѣдлые, постоянные пѣвцы княжескіе, а бывалые въ разныхъ краяхъ, бродячіе, странствующіе пѣвцы. [71]) Но не отсюда ли и возможность въ одномъ изъ пересказовъ, какъ уже видѣли мы, названія платья, въ которое переодѣлся Добрыня, платьемъ *каличьимъ*? Какъ платье людей бродячихъ, странствующихъ, оно можетъ быть тождественно со *скоморошьимъ*. Впрочемъ у Рыбникова вездѣ добрынино платье называется этимъ послѣднимъ именемъ; также и у Бутенева.

Нельзя не замѣтить, что у послѣдняго съ особенною яркостью и подробностью выдаются *неумильные* поступки Добрыни по возвращеніи къ матери:

Не воротмы ѣхалъ черезъ стѣну городовую,
Мимо тую башню наугольную—
Ко тому придворью ко вдовиному,

Это одинъ изъ обычныхъ былевыхъ признаковъ *поспѣшности*, только обыкновенно къ этому прибавляется, что богатырь прямо *перескочилъ черезъ стѣну*. Кромѣ же поспѣшности, это имѣетъ также и смыслъ *презрительнаго обращенія* съ тѣмъ, къ кому пріѣзжаютъ такимъ образомъ (черезъ стѣну перескакиваетъ обыкновенно грозенъ посолъ).

На дворъ заѣхалъ безъобсылочно,
Въ палаты идетъ бездокладочно...
Вслѣдъ идутъ придверники, приворотники:
«Пречестна вдова Мамельфа, Тимоѳеевна,
Какъ этотъ удалый добрый молодецъ
Наѣхалъ изъ чиста поля скорымъ *гонцомъ*»...

(*скорый же гонецъ* обыкновенно является въ нашихъ былинахъ и *грознымъ посломъ*). Вспомнимъ, что у Кирѣевскаго только въ языковскомъ пересказѣ (изъ Симбирской Губ.), кромѣ намека на то, что Добрыня вошелъ къ матери *самъ* (т. е. безъ доклада), мы видѣли еще слѣдующій *неумильный* пріемъ:

Онъ и пнулъ столбы своимъ чоботомъ,—
Столбики пошатилися,
Воротечки растворилися. (Кир. II, 1, 6)

Ср. у Олонецкаго калики изъ Кр. Лагъ:
Какъ ударилъ ёнъ въ ворота грудью бѣлою,
Разлетѣлися ворота на три четверти).

Старуха-мать при этомъ расплакалась, а онъ утѣшаетъ ее тѣмъ, что выстроитъ ей ворота новые. У К. Романова мать обижается просто тѣмъ, что онъ входитъ къ ней безобсылочно, бездокладочно, не спрашиваясь у придверничковъ и заворотничковъ. У Г. Амосова *неумильность* Добрыни выражается тѣмъ, что онъ *стучитъ-гремитъ* до трехъ разъ у воротъ рѣшетчатыхъ: [72]) въ сербскихъ пѣсняхъ это обыкновенный пріемъ пріѣзжихъ людей, и никто

[71]) Это особенно ясно изъ пересказа К. Романова, гдѣ Владиміръ упрекаетъ д ѣ т и н у п р і ѣ з ж у ю, с к о м о р о ш и н у ю, г у с е л ь н у ю (Добрыню), что онъ долго проѣдается—пропивается, а не идетъ къ нимъ на честный пиръ (Р. I, стр. 148). Этимъ повидимому, указывается на обычай, чтобы скоморохи прямо валили къ князю и кормились съ его стола.

[72]) Замѣчательно, что тотъ же самый пріемъ встрѣчается въ c h a n s o n d e g e s t e o G i r a r s d e V i a n e, гдѣ такимъ образомъ н е у м и л ь н о стучится къ королю строптивый вассалъ. Въ тѣхъ же chansons de geste встрѣчается и вхожденіе къ королю безобсылочно, бездокладочно—съ цѣлью его оскорбить этимъ. (Gautier, Epopées françaises, II, 86—87).

тѣмъ не обижается. И въ нашей былинѣ, по всей вѣроятности, разобиженность добрыниной матери должна быть объяснена тѣмъ, что этотъ *стучащій-гремящій* представляется ей кабацкою *пьяницей подорожной* [73]).—У А. Сорокина наконецъ, заставъ мать у окна, онъ *велитъ* ей отворять ворота. И это опять совершенно возможно въ эпосѣ, возможно при полнѣйшемъ уваженіи къ матери: первоначальное эпическое значеніе ея, какъ женщины, связано съ тѣмъ, чтобы встрѣтить усталаго сына, даже принять его разгорѣвшагося коня и отвести его на воду. Такъ нерѣдко поступаетъ въ сербскихъ былинахъ мать Марка Кралевича, который однако же шагу не сдѣлаетъ безъ того, чтобы не посовѣтоваться съ этою, съ другой стороны служащею ему матерью. Такъ и въ нашемъ духовномъ стихѣ принимаетъ у сына коня царица-мать Ѳедора Тирона, котораго опасное похожденіе за нее хорошо извѣстно. Изъ этого видно, что служилому значенью матери не мѣшаетъ и званье царское, какъ не помѣшало омировской Алкиноѣ стирать бѣлье ея царское же, но царское въ древнемъ эпическомъ смыслѣ, происхожденіе. Послѣ всего этого, именно пересказъ Сорокина, хотя и не подтверждаемый въ этомъ отношеніи прочими, и оказывается вѣрнымъ старинному эпическому складу, а ежели онъ, между прочимъ, какъ будто съ руки г. Стасову, чтобы задать вопросъ: «что́-же Добрыня за князь?»—то вѣдь также можно спросить: «что́-же за царская дочь Алкиноя-прачка, и какая тутъ царская кровь въ сербскомъ Маркѣ съ его служанкою матерью?»—Кто свыкся съ дѣйствительно первобытнымъ эпосомъ, тотъ, изъ за того, что Добрыня у Андрея Сорокина *велитъ* матери отворить себѣ дверь, не перестанетъ считать его племянникомъ княжескимъ, какъ и самого Владиміра—княземъ изъ за того, что даже и онъ, у большей части пѣвцовъ, не держитъ ни приворотниковъ, ни придверниковъ. Если таковые оказываются у него въ бутеневскомъ пересказѣ [74]) (какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ), то такіе же оказываются тамъ и у добрыниной матушки: и то и другое принадлежитъ уже болѣе позднему былевому слою [75]). Къ этому же послѣднему должны быть отнесены и замѣшавшіяся во всѣ пересказы, презрительныя выраженія Амельфы о неузнаваемомъ ею Добрынѣ, что онъ *мужикъ деревенщина* или *голь подорожная*. Если послѣднее отзывается нарушеньемъ того древнѣйшаго начала гостепріимства, по которому даже эпическіе цари радушно принимали *каждаго* странника, то первое эпически разногласитъ съ названымъ братствомъ Добрыни и крестьянскаго сына Ильи, а равно и съ тѣмъ, что Добрыня въ одномъ изъ извѣстныхъ намъ пересказовъ позволяетъ женѣ выйти—хотя бы за *крестьянина*.—Также точно оно у К. Романова, гдѣ крестьянинъ, вмѣсто богатаго (какъ въ пересказѣ съ Онеги) называется *полномочнымъ*, т. е., по объясненію самого пѣвца, такимъ, у котораго всего вдоволь, независимымъ (Р. I, стр. 141). Если же у Сорокина и Поромскаго Старика Добрыня не велитъ

[73]) Въ ненапечатанной былинѣ Щеголенкова онъ проситъ у ней милостини ради Добрыни Никитича.

[74]) Ихъ, какъ и приворотниковъ, Добрыня вашей отталкивалъ (Кир. II, 36).

[75]) У Рябинина кромѣ придверниковъ-приворотниковъ упоминаются еще сторожа строгіе и могучіе, на которыхъ точно также не обращаетъ никакого вниманья Добрыня. (Р. I, стр. 166).

ей выходить даже за купца, то тутъ же запрещаетъ онъ ей и бракъ хотя бы съ бояриномъ, а требуетъ, чтобы она вышла непремѣнно за богатыря,—на что̀ имѣется у Сорокина и особое основаніе: «чтобы жены наши богатырскія доставались россійскимъ могучимъ богатырямъ.»—Кромѣ *придверниковъ-приворотничковъ* у Владиміра и у добрыниной матушки, иной, болѣе поздній слой какъ будто-бы слышится еще въ томъ *мѣстѣ*, какое отводится во многихъ пересказахъ нашей былины скоморошинѣ. Мѣсто это, по словамъ Владиміра,—«на печки на муравленой, на муравленой печки на запечки» (бутеневскій пересказъ; сходно и у Гаврилы Амосова) [76]. Но у нѣкоторыхъ пѣвцовъ Добрыня самъ садится у печки (Рябининъ, Поромскій Старикъ), изъ чего и надобно заключить, что это должно представляться тутъ обычнымъ скоморошьимъ мѣстомъ. У Рябинина, какъ мы знаемъ, Добрыня передъ этимъ растолкалъ приворотниковъ княжеских, и при такомъ задорѣ ему не слѣдъ скромничать, *выбирать* себѣ мѣсто *пониже;* тѣмъ болѣе надобно думать, что это мѣсто обычное. Но у Рябинина говорится при томъ, что другіе скоморохи, заслушавшись игры добрыниной, пріумолкнули;—а гдѣ сидѣли они, не видно. У Поромскаго Старика Владиміръ, плѣнившись игрой Добрыни, самъ зоветъ удалаго скоморошину *во почестный пиръ*; онъ идетъ и садится за общій столъ. Въ этомъ видна возможность такого же, вовсе не важничающаго обращенія князя со скоморошиною, какое у него и съ богатырями—не смотря на «породу» ихъ. У А. Сорокина отдаленное мѣсто на печкѣ объясняется тѣмъ, что, по словамъ Владиміра, «всѣ мѣстечки привасажены; есть на печки муравленой мѣстечка немножечко...» А потомъ и тутъ пересаживаютъ его за общій столъ.—У Бутенева Владиміръ, пересаживая скоморошину, говоритъ:

Садись-ко съ нами за дубовъ столъ хлѣба кушати...
За твою игру веселую
Дамъ тебѣ три мѣста любимыихъ:
Перво мѣсто сядь подли меня,
Друго мѣсто супротивъ меня,
А третье мѣсто-куда самъ захошь...

(Кир. II, 1, 37). Это напоминаетъ слова, съ какими во многихъ былинахъ Владиміръ обращается и къ богатырямъ. Сходно передается оно и у Рябинина: «первое тебѣ мѣстечко подлѣ меня, а другое мѣстечко подлѣ *князя* (молодого, новобрачнаго) Алешеньки Поповича, а третье мѣстечко избирай себѣ по̀ люби.» Добрыня же отвѣчаетъ на это, что ему не любо сидѣть подлѣ князя, не любо и противъ Алеши, а любо «противъ молодой княгины Настасьи Микуличной» (Р. I, стр. 168). Тотъ же выборъ мѣстъ предоставляется скоморошинѣ и у К. Романова, гдѣ самъ Добрыня проситъ мѣстечка *не со множечко*, а князь, упрекнувъ скоморошину, что она не прямо пришла на пиръ къ нему, предоставляетъ ей вслѣдъ за тѣмъ *три мѣстечка любимыхъ*: первое противъ стола, второе противъ князя, третьимъ-же мѣстомъ оказывается опять замѣшавшаяся сюда, надо думать, изъ другого слоя былинъ, *печка земляная*. Изъ этихъ перекрещивающихся слоевъ древнѣйшимъ, конечно, долженъ быть тотъ, въ

---

[76]) Въ ненапечатанной былинѣ Щербакова также—с к о м о р о ш ь е м ѣ с т о н а з а п е ч ь и.

которомъ странствующему пѣвцу отдается почетъ: это вытекаетъ изъ древнѣйшей простоты отношеній, и изъ древнѣйшаго важнаго значенья пѣвцовъ, и изъ древнѣйшихъ требованій гостепріимства. Впрочемъ, быть можетъ, и мѣсто на печкѣ не заключало въ себѣ ничего унизительнаго: оно могло отводиться скомороху, какъ находящееся въ сторонѣ, гдѣ ему удобнѣе было углубиться въ себя и пѣть, и откуда, по окончаніи пѣнія, его непремѣнно пересаживали за общую братскую трапезу. Пересаживаемый Добрыня, въ большей части пересказовъ, выбираетъ себѣ мѣсто противъ молодыхъ—чтобы удобнѣе стать въ положеніе обличителя.

Большая часть пѣвцовъ, какъ могли мы замѣтить, выставляя Настасью жертвою самоуправства владимірова [77]), тѣмъ самымъ какъ-бы снимаетъ съ нея самой виновность предъ мужемъ. Что она не въ силахъ противиться князю,—это прямо выставляетъ ее не тою воительницею Настасьей, которая одолѣла самого Добрыню и посадила его къ себѣ въ карманъ. Та Настасья и эта принадлежатъ совершенно различнымъ слоямъ, различнымъ порамъ творчества: между той и другой должно было пройти не одно поколѣнье пѣвцовъ, но обѣ уживаются теперь рядомъ, уживаются даже въ устахъ одного и того же пѣвца. Но и за Настасьей позднѣйшей, очеловѣченной, еще уцѣлѣли черты, отзывающіяся если не миѳическою, то бытовою грубѣйшею древностью. Стертыя уже у Кирши, въ его вообще чрезвычайно смягченномъ и укороченномъ пересказѣ (не смотря на то, что онъ записанъ еще въ XVIII в.), эти грубыя черты уцѣлѣли, вмѣстѣ со многими замѣчательными подробностями, въ олонецкомъ краѣ,—правда, только кое-гдѣ. Между тѣмъ какъ у Кирши Настасья, узнавая Добрыню, только *засовалася* изъ-за стола и онъ прекротко проситъ ее *не безчестить столовъ* (Кир. II, I, стр. 22);—уже въ пересказѣ онежскомъ (верещагинскомъ) она падаетъ ему во рѣзвы ноги и проситъ простить ее, бабу глупую; (онъ-же и тутъ говоритъ ей только, чтобы она шла домой и жила по прежнему). Такое же точно паденіе ея въ ноги имѣется и у Бутенева, а Добрыня при этомъ презрительно отзывается о женщинахъ вообще, что у нихъ «волосъ дологъ, да умъ коротокъ—ихъ куда ведутъ, онѣ туда идутъ» [78]). Такъ и почти вездѣ у Рыбникова. Но у К. Романова это выражено иначе:

Знаю я ваши умы разумы женскіе:
Мужъ пойдетъ *за дровамы въ лѣсъ*,
А жена пойдетъ во замужество...

При всемъ, чисто крестьянскомъ оборотѣ этого выраженія (крестьянскомъ, не смотря на добрынино *княжество*), въ основаніи, въ духѣ и тутъ ощу-

---

[77]) При этомъ, какъ видѣли мы, Владиміръ уже надѣляется всесильнѣйшею п о л н о т о ю в л а с т и; при всемъ томъ привычка къ старославянскому общинному пріему сказалась и тутъ у одного изъ пѣвцовъ: приходя къ Настасьѣ, съ тѣмъ, чтобы ей п о в е л ѣ т ь итти за Алешу, Владиміръ однакоже, какъ и всякій гость, кланяется у нея на всѣ на четыре стороны, ей же, Настасьѣ, въ особину (и въ эпосѣ франкскомъ сюзерены просватываютъ своихъ в а с с а л о в ъ.—Р. III, №18).

[78]) Можно сравнить съ этимъ въ сербскихъ пѣсняхъ: «с дугом косом, а памећу кратком.» (Вука II, 532). Но еще ближе къ нашему слѣдующее обращеніе къ женщинѣ въ одной тюркской пѣснѣ: «хотя волосы у тебя и долги, да умъ коротокъ.» (Radloff, II, 502).

тительно, думаю я, вліяніе на народныя представленія тѣхъ книжныхъ, духовныхъ нападокъ на женъ, которыя уже изстари зашли къ намъ изъ Византіи... Совершенно иная, не книжная и болѣе глубокая старина слышится въ покаянныхъ словахъ Настасьи у того-же Козьмы Романова:

Возьми меня за волосы за женскіе,
Привяжи меня ко стремени сѣдельному,
Поразмыкай меня по чисту полю.

И это у такого пѣвца, какъ Романовъ, который, по свидѣтельству г. Рыбникова, вообще отличается мягкостью [79]).—У того же К. Романова Настасья, уже и при самомъ отъѣздѣ мужа, воздаетъ ему честь, какъ своему домашнему государю: *поклонъ до шелковаго пояса, правой рукой до сырой земли* [80]). Не знаю, нужно ли мнѣ прибавлять и тутъ, что столь долгому сохраненью старинной *эпической грубости* не могло, разумѣется, не содѣйствовать и присутствіе грубости въ самой *дѣйствительности* народнаго семейнаго быта—то самодурство владыки-мужа и то, нерѣдко съ нимъ сопряженное, распутство жены, которое и теперь такъ грустно насъ поражаетъ въ народномъ, вслѣдствіе многихъ, и многихъ причинъ, загрубѣломъ быту.

Между тѣмъ въ томъ же олонецкомъ краѣ, въ нѣкоторыхъ пересказахъ, разбираемое теперь положеніе смягчено. Такъ у Рябинина:

И усмотрѣла свой обручный злаченъ перстень...
Какъ она тянула чарочкой о золотъ столъ,
Оперлася на него плечика могучія...
И беретъ его за ручушки за бѣлыя...
И цѣловала его во уста во сахарнія
И называла то любимою сдержавушкой...

(Очень сходно съ этимъ и у Гаврилы Амосова.)

Изъ подробнаго разсмотрѣнія пересказа бутеневскаго и различныхъ рыбниковскихъ не трудно будетъ теперь заключить, что сходясь въ основныхъ чертахъ съ Киршею и лучшими пересказами у Кирѣевскаго, они вообще передаютъ сказаніе о Добрынѣ въ отъѣздѣ въ болѣе полномъ и древнемъ видѣ. Теперь замѣчу, что бо̀льшая часть пересказовъ рыбниковскихъ не смѣшиваютъ занимающаго насъ отъѣзда Добрыни съ первымъ его отъѣздомъ, въ чемъ они согласны съ Киршей и пересказомъ изъ Нижегородской Губерніи (у Кирѣевскаго). Что̀ касается бутеневскаго, то въ немъ *смѣшенія* нѣтъ, а есть какъ бы *сводъ* всѣхъ, можно сказать, похожденій Добрыни (если только дѣйствительно все это было пропѣто г. Бутеневу однимъ лицомъ и съ одного раза). Но у г. Рыбникова имѣются два пересказа (калики изъ Красныхъ Лягъ II, № 6, и Поромскаго Старика III, № 16), гдѣ, какъ и во многихъ, выше разобранныхъ пересказахъ Кирѣевскаго, отъѣздъ отъ жены въ походы дальніе смѣшивается съ первымъ отъѣздомъ изъ дома. Совпаденіе въ такомъ отношеніи двухъ пѣсень изъ олонецкаго края съ пѣснями, записанными въ Губерніяхъ Тульской, Симбирской, Саратовской, заставляетъ предполагать, что и *смѣшеніе двухъ отъѣздовъ* произошло у пѣвцовъ уже довольно давно, ус-

[79]) Ср. въ моей зам. къ IV ч. Сб. Рыбн. стр. XXXVII.

[80]) Нѣчто подобное встрѣчается и въ «Пѣснѣ о Сидѣ.» «ant'el Campeedor Dona Ximena con sus fijos do va legando» Poema del Cid, v. 264 (ср. также стихъ 1608).

пѣвъ составить особый, на большомъ пространствѣ распространенный изводъ. Обратимъ же теперь вниманіе на рыбниковскихъ представителей *этого* извода, являющагося у нихъ съ замѣчательной полнотой и со многими самостоятельными чертами. Во первыхъ надо замѣтить у нихъ совершенно особый зачинъ: «Повышла, повыкатила Волга рѣка», и т. д. (Поромскій Старикъ тутъ подробнѣе—у него говорится даже о впаденіи ея въ Каспійское Море.) Уже этимъ однимъ указывается на то, что родина этого вида былинъ—не въ Олонецкомъ краѣ, а въ томъ Поволжскомъ, гдѣ и записаны многіе изъ пересказовъ Кирѣевскаго. Но эти послѣдніе не представляютъ многихъ подробностей, которыя, будучи занесены на отдаленный олонецкій сѣверъ, какъ бы застыли тамъ, тогда какъ на самой Волгѣ, при постоянномъ наплывѣ на нее всякаго бродячаго люда со всякими впечатлѣніями, онѣ уже давно затемнились или истерлись (не сохранился въ имѣющихся пересказахъ съ Волги и самый начальный припѣвъ о ней).—Въ пересказахъ изъ Симбирскаго и изъ Саратовскаго края смѣшеніе *двухъ отпъадовъ* въ настоящее время сказывается, какъ мы видѣли, только тѣмъ, что тутъ Добрынюшка такъ и рвется изъ дому для расправленія своихъ богатырскихъ плечъ. (ср. выше стр. 479-я). У Поромскаго же старика и калики изъ Кр. Лягъ замѣщанъ и самый его *начальный подвигъ* (бой со змѣемъ, скрывающимся тутъ подъ именемъ *Невѣжи*), между тѣмъ настроенье его тутъ — совершенно печальное. Это объясняется тѣмъ, что *начальный подвигъ* отнесенъ тутъ къ порѣ службы Владиміру, службы, уже, успѣвшей его утомить. Вслѣдъ за припѣвомъ о Волгѣ говорится, какъ и въ началѣ большей части былинъ, о пирѣ у князя Владиміра. У Поромскаго Старика князь самъ, какъ во многихъ былинахъ, *подноситъ* богатырямъ,—и притомъ еще *низко имъ кланяется*: «Вы, братцы, могучіе богатыри, который изъ васъ меня повыручитъ?»—Дѣло въ томъ, что на Кіевъ градъ *налетѣлъ* Невѣжа. Услышавъ призывъ Владиміра, всѣ, какъ оно и часто бываетъ, *призамолкли сидя*. Первый откликается, какъ и обыкновенно въ подобныхъ случаяхъ, *большой* богатырь Илья Муромецъ.. Онъ находитъ, что *хотя долго сидѣть; а говорить будетъ*.

А кому въ поле ѣхать поединщикомъ?
Я вѣдь недавно изъ походу пришелъ,
Бился, рубился съ Невѣжей-богатыремъ.
Летаетъ Невѣжа чёрнымъ ворономъ,
Не могъ я его на очи обозрѣти;
Кабы увидѣлъ собаку, убилъ бы изъ туга лука.

Выходитъ, что онъ уже помѣрялся силами съ этимъ Невѣжей — даже и до призыва. Что *большому* богатырю не удалось совладать съ врагомъ, — это явленіе очень и очень возможное въ эпосѣ вообще. Мы видѣли, что самые знаменитые богатыри подъ часъ робѣютъ; точно также имъ иной разъ и не счастливится. Но за Ильею собственно, при его *таланѣ*, послѣдняго въ былинахъ не водится. Здѣсь же ему приписана подобная неудача, [81])—но сейчасъ же и объясняемая особенною причиной: онъ не могъ Невѣжу *обозрѣти*, а еслибъ *увидѣлъ* его, то убилъ бы. Едва ли это не связывалось въ

[81]) Замѣчательно, что у Поромскаго Старика, какъ мы уже и видѣли выше, Илья отличается не таланомъ-участью, а смѣлостью-напускомъ.

сознаніи пѣвца съ извѣстною эпическою *старостью* Ильи Муромца: Невѣжа леталъ высоко, а глаза у богатыря отъ старости ослабѣли. Вотъ и *накинули* службу-работу на молодого богатыря—Добрыню; но онъ, не смотря на молодость, *кручинитъ-печалитъ*, едва покороталъ пиръ. Тутъ-то, по возвращеніи къ матери, и раздается его, по другимъ пересказамъ уже намъ извѣстная *жалоба* ей, здѣсь выражаемая кратко. (Отвѣтъ ея, съ указаніемъ на знаменитыхъ богатырей, уже намъ извѣстенъ [82]). Объ исходѣ похода, о томъ, совладалъ ли Добрыня съ Невѣжей, нашъ пересказъ ничего не знаетъ.—Зато у калики изъ Красныхъ Лягъ прямо сказано, что Добрыня ѣздилъ девять лѣтъ и не видѣлъ Невѣжи. Наконецъ уже на десятомъ году, когда, не снося жаровъ, онъ пошелъ купаться,—Невѣжа напалъ на него у воды и былъ побѣжденъ имъ. Словомъ, тутъ повторяются всѣ подробности перваго юношескаго подвига Добрыни (есть и предостереженіе Матери—не плавать за третью струю). Участвуетъ въ пересказѣ упомянутаго калики и Илья Муромецъ, но нѣсколько иначе, чѣмъ у Поромскаго Старика. Съ пира у князя выходитъ онъ на крыльцо и замѣчаетъ летающаго Невѣжу, который требуетъ себѣ поединщика. И зачали между собой жеребій метать, кому ѣхать: жеребій выпалъ Добрынѣ. Вотъ тутъ-то и запечалился Добрынюшка богатырь, но на утѣшенье ему вдругъ является матушка, — какъ Ѳетида къ тоскующему Ахиллу. Жалоба Добрыни заключается тутъ главнымъ образомъ въ томъ, что она породила его *силой не сильнаго*, тогда какъ ему-то и выпалъ жеребій. Однакоже дѣло съ Невѣжей, какъ мы уже знаемъ, ему удается, и онъ сейчасъ же, какъ будто мѣняясь, самъ себя спрашиваетъ: «что мнѣ дѣлать въ Кіевѣ? Поѣду я въ Королевство Заморское—какія очередь собирать дани пошлины.» Такимъ образомъ имъ самимъ налагаются тутъ на себя порученія, по другимъ пересказамъ достающіяся ему отъ князя; и онъ обнаруживаетъ при этомъ такую готовность, которая скорѣе идетъ къ Потыку или къ Дунаю. Но далѣе нашъ пѣвецъ объясняетъ это словами богатыря: «проѣзжу я двѣнадцать лѣтъ, такъ меня на службу больше не потребуютъ.» Словомъ, Добрынѣ хочется, такъ сказать, отслужиться разомъ. Этого нѣтъ въ другихъ пересказахъ, но этимъ только проводится далѣе уже замѣченная нами во многихъ изъ нихъ *неохота* его служить. Тутъ, т. е. у калики изъ Кр. Лягъ, какъ будто бы даже слышится отзвукъ позднѣйшихъ рекрутскихъ пѣсень со всѣми ихъ жалобами на службу. Древнее богатырское, эпическое жеребьеваніе, рѣшавшее только кому изъ людей *всякихъ званій, излюбившихъ* уже богатырство и сливавшихся въ немъ, повыѣхать въ поле *на этотъ разъ*;—это жеребьеванье какъ будто бы смѣшано тутъ съ тѣмъ, возникшимъ въ позднѣйшей дѣйствительности, которое, совсѣмъ ужъ не спрашивая объ охотѣ или призваніи, вырываетъ людей изъ семьи, и при томъ исключительно изъ

---

82) Въ ненапечатанномъ пересказѣ Щеголенкова жалоба влагается въ уста матери: «хочетъ разлучить солнышко Владиміръ князь и русскіе могучіе богатыри; выбралъ его солнышко Владиміръ князь, подписались русскіе могучіе богатыри.» (Это прямое указаніе на участіе богатырей въ наметываніи службы соотвѣтствуетъ обычному множественному числу въ разныхъ пересказахъ: посылаютъ и т. п.). Добрыня же идетъ тутъ довольно охотно «за свое ли родное отечество.»

семьи крестьянской, и ставитъ ихъ подъ роковую *мѣрку*. Тутъ такимъ образомъ ощутителенъ уже очень и очень поздній былевой слой, уподобляющій Добрынюшку-князя, владимірова племянника—неохотному, горемычному рекруту.

Въ этомъ случаѣ нашъ пересказъ подходитъ къ болгарскимъ былинамъ, гдѣ соотвѣтствующее лицо—*добаръ юнакъ Симонъ*,—вызывается на царскую (султанскую) службу—въ одномъ пересказѣ—по слѣдующему приказу султана:

Земайте го Симонъ добаръ юнакъ;
Оти мене войска ме надоли!
Какъ ке г'найте, така да го зейте.
Ак' е голо, голо да го зейте.

Черезъ девять лѣтъ, узнавъ о просватаньи своей жены, онъ просится у царя въ отпускъ. (Милад. № 65). По другому пересказу—

... во четвергокъ го (майка) оженила,
А во петокъ-от абер му дошолъ
На войска д'одитъ ендекъ да копатъ

(№ 66); по третьему же пересказу и еще ближе къ солдатчинѣ:

... в понеделникъ янычари дошле
На войска писале това лудо младо. (№ 572).

Дѣло, на которое ѣдетъ Добрыня послѣ дѣла съ Невѣжей у калики изъ Красныхъ Лигъ, это, какъ только что видѣли мы, сборъ даней въ Королевствѣ Заморскомъ. Напротивъ въ пересказѣ Рябинина онъ посылается княземъ къ королю Бутеяну, чтобы *отнести* ему дани-выходы за старые годы и за нынѣшніи, и *отвезти* ещу грамоту повинную.—Выше приведены были нѣкоторыя отдѣльныя черты изъ пересказа Рябинина, т. е. изъ второй его части, гдѣ повѣствуется о возвращеніи его отъ царя Бутеяна къ собирающейся выходить за Алешу Настасьѣ. Теперь же разсмотримъ первую часть—поѣздку съ данями къ Бутеяну: она отличается замѣчательными подробностями и заключаетъ въ себѣ около 600 стиховъ. [83]) Къ этой первой части былины Рябинина очень близко подходятъ двѣ у Кирѣевскаго: одна Шенкурскаго Уѣзда, записанная г. Кузмищевымъ и доставленная М. П. Погодинымъ (Кир. II, I, 83-89), другая изъ села Павлова (Нижегор. Губ.), записанная священникомъ Фаворскимъ и перепечатанная изъ Извѣстій Академіи Наукъ. (Кир. II, I, 90—92). Но въ этихъ двухъ послѣднихъ былинахъ говорится только о *поѣздкѣ съ данями*, а похожденіе съ женой тутъ даже и не затронуто. Надо думать, что этотъ *отвозъ даней* и долженъ былъ первоначально стоять отдѣльно, составлять содержанье особой пѣсни, такъ что большая былина Рябинина должна быть признана *сводною* (она же и единственная въ этомъ отношеніи). Не смотря на то, самый *отвозъ дани* передается въ ней съ большею полнотой и отличается большею степенью древ-

[83]) Въ цѣлой же былинѣ ихъ 925, такъ что это одна изъ самыхъ большихъ былинъ. Изъ первой части надо однакоже исключить болѣе ста стиховъ (138—257), гдѣ говорится о прощаніи Добрыни съ матерью и женой и о запретѣ послѣдней выходить за Алешу (содержаніе ихъ уже разсмотрѣно выше).



ности, чѣмъ былины Кузмищева и Фаворскаго. Это сейчасъ же окажется изъ сравнительнаго обзора.

Всѣ три пересказа одинаково начинаются на пиру у князя; но у Рябинина полнѣе передается этотъ обычный былевой зачинъ, соединяемый также съ *похвальбою* богатырей, въ двухъ другихъ пересказахъ неимѣющеюся. Черты Владиміра у Рябинина—черты князя въ старо-славянскимъ смыслѣ. Если въ началѣ онъ величается *государиномъ*, то вѣдь въ пѣсняхъ и отецъ для дѣтей является *государемъ*. Собираясь отправить къ Бутеяну дань, онъ, какъ и во многихъ, уже намъ извѣстныхъ пѣсняхъ, не приказываетъ, а спрашиваетъ: «Кого послать, братцы, изъ васъ повыѣхать?» Но и тутъ, какъ часто, не вдругъ дождаться ему отвѣта: пріумолкнули всѣ, затулялися... Наконецъ вышелъ изъ за столовъ и скамеечекъ старый Пермилъ сынъ Ивановичъ, понизешенько покланяется князю и, *попросивъ благословенья* слово вымолвить, даетъ совѣтъ послать молодого Васильюшку Казимірова—лицо, еще для насъ новое, если только не его разумѣлъ Илья въ томъ *переборѣ* богатырей, какой мы слышали отъ него въ былинахъ о стояніи на заставѣ. Тогда стольно-кіевскій князь самъ наливаетъ чару вина, разводитъ медомъ и подноситъ Василью. А тотъ послѣ этого къ дѣлу идетъ, не ужахнется... Понизешенько кланяясь князю, онъ говоритъ, что отвезетъ дани, если только дадутъ ему во товарищахъ братца названаго Добрыню Никитича. Тогда Владиміръ точно также идетъ и къ Добрынѣ съ виномъ, а тотъ точно также ему отвѣчаетъ: «дай-ко намъ еще во товарищахъ молода Иванушка Дубровица:

«Ему Иванушку коней сѣдлать,
Ему Иванушку разсѣдлывать,
Ему плети подавать и плети принимать.»

Какъ видно, этотъ Иванушка назначается въ служилые богатыри въ родѣ Якима Ивановича (при Алешѣ), или Марка паробка (иначе—Панюточки при Хотенѣ). Но эта служилость не мѣшаетъ тутъ общему богатырскому братству крестовому; значитъ, она должна вытекать изъ положенія младшаго брата и вполнѣ соотвѣтствовать также отчасти служилымъ отношеніямъ Патрокла къ Ахиллу въ омировскомъ эпосѣ. Да и Владиміръ князь идетъ, какъ и къ прочимъ, также и къ этому служебному богатырю, который, принявъ изъ рукъ его чару, подобно другимъ, изъявляетъ свое согласіе. Тогда Васильюшка Казиміровъ, глава предпріятія, точно также, безъ всякихъ чиновъ и рядовъ, распоряжается княземъ:

Поди-тко ты на погреба глубокіе,
Неси-тко ты дары драгоцѣнные:
Двѣнадцать лебедей, двѣнадцать креченей,
И още неси ты грамоту повинную.

И Владиміръ слушается: скорешенько бѣжитъ самъ на погребъ и приноситъ, что надобно. «Что за стольный князь!» слѣдовало бъ воскликнуть г. Стасову.

Но совсѣмъ ужь не то въ пересказахъ шенкурскомъ и павловскомъ, а равно и въ тѣхъ сродныхъ съ первымъ, которые записаны въ томъ же шенкурскомъ уѣздѣ г. Харитоновымъ и разнорѣчія изъ которыхъ приведены въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ у Кирѣевскаго.

«У меня тебѣ, Василій, служба явленая—
Ѣхати Василью во Большу орду.»

Вотъ какимъ образомъ повелительно прямо обращается къ нему Владиміръ въ шенкурскомъ изводѣ (Кир. II, стр. 83). А Василій отъ того не отпирается: куда, говоритъ, меня пошлешь, я тебѣ радъ служить; только дай, говоритъ онъ и тутъ, мнѣ во товарищи Добрыню и Марка паробка (вмѣсто Ивана Дубровича) Поднесенья вина самимъ княземъ ужь нѣтъ и въ поминѣ. И соотвѣтственно такой важности, властности обращенья княжескаго, ужь и дань, отправляемая имъ въ Орду, сверхъ соколовъ и кречетовъ состоитъ тутъ въ мисѣ золота, мисѣ серебра, мисѣ жемчуга.

Въ пересказѣ изъ Павлова сохранилось еще угощенье виномъ, но оно происходитъ тутъ съ важностью и съ особою цѣлью:

Востаетъ *самъ* батюшка Володиміръ князь
*Изъ свово изъ мѣста княженецково.*
*Приказалъ* онъ наливать чанъ зелёна вина:
Въ чанъ пушшаетъ золоту чару..

Возговоритъ *самъ* батюшка Володиміръ князь:
«Хто подыметъ эту чару одной рукой,
И хто выпьетъ эту чару однымъ духомъ,
*Сослужилъ бы* мнѣ тотъ службу великую.

Тутъ мы встрѣчаемъ, во первыхъ, одинъ изъ тѣхъ, крайне рѣдкихъ случаевъ, гдѣ указывается на *особое* княжепецкое мѣсто. Далѣе *съ приказомъ* налить вина богатырямъ соединяется намѣренье испытать этимъ виномъ ихъ силу. Само по себѣ такое намѣреніе, проглядывающее и въ томъ пріемѣ, къ какому прибѣгаетъ Васька Буслаевъ для испытанія набираемой имъ дружины (въ новгородскихъ былинахъ);—такое намѣреніе само по себѣ совершенно въ духѣ древняго, настоящаго эпоса, но относительною новизною, сравнительно съ рябининскимъ пересказомъ, отзывается тутъ это княжеское стремленіе *самому выбрать*, вмѣсто предоставленія выбора волѣ и охотѣ богатырей, хотя въ условномъ (сослагательномъ): «сослужилъ бы»—замѣтенъ и тутъ еще отзвукъ того настроенія, которое господствуетъ у Рябинина.

Дани въ пересказѣ изъ Павлова еще богаче, чѣмъ въ шенкурскомъ: тутъ и золота на 12,000, и серебра на 12,000 и каждаго рода птицъ на 12 тысячъ (*мисы* не упомянуты, что̀ уже менѣе эпично и менѣе первобытно). Затѣмъ Владиміръ обѣщаетъ тутъ *сбережатыхъ* и *провожатыхъ*, отъ которыхъ осилившій чару искуса Василій отказывается (какъ и Дунай Ивановичъ), а вмѣсто нихъ выпрашиваетъ себѣ Добрыню: «онъ отца матери хорошаго (уже *родовитый*, *вельможный* оттѣнокъ);—умѣетъ Добрыня слово молвити, передъ тѣмъ царемъ поклонитися.» Т. е. этимъ указывается на то *вѣжество* Добрыни, которое въ одномъ изъ пересказовъ, какъ видѣли мы, выставляется на видъ его матерью [84]).

Возвращаюсь къ Рябинину. Собравшись въ путь, трое богатырей побратимовъ *думали думушку съ общая* и *сдѣлали сговоръ промежду собой*: гдѣ съѣ-

[84]) Въ этомъ вѣжествѣ Добрыни г. Буслаевъ видитъ «наивное обозначеніе раннихъ начатковъ русской цивилизаціи.» Это вѣжество, по мѣткому замѣчанію того же ученаго, такъ срослось съ эпическимъ типомъ Добрыни, что даже имъ поражаемый змѣй есть не только разрушительное чудовище, но и представитель грубаго невѣжества, почему и называется (какъ выше видѣли мы) Невѣжею. (Р. Вѣстн. 1862 г. Окт., стр. 532.

хаться въ раздольицѣ чистомъ полѣ на тыхъ на доро женькахъ крестовыихъ (т. е., надобно думать, на перекресткѣ, у скрещающихся дорогъ, на розстаняхъ— какъ оно обыкновенно бываетъ, въ случаѣ *сговора*, въ другихъ былинахъ). Тутъ пѣвецъ на время оставляетъ другихъ и останавливается на Добрынѣ, который остается господствующимъ лицомъ, не смотря на кажущееся, чисто-внѣшнее главенство Василія Казиміровича. Здѣсь-то передается уже намъ извѣстное прощанье Добрыни съ матерью и его, столь подробная у Рыбникова, жалоба, изъ которой оказывается, что его согласіе ѣхать съ данью, хотя и сейчасъ же данное, дано имъ лишь скрѣпя сердце. При прощаніи съ женою грустное настроеніе Добрыни сказывается злымъ предчувствіемъ: «прибѣжитъ мой богатырскій конь на вашъ ли на вдовиный дворъ» говоритъ онъ Настасьѣ, заранѣе воображая ее вдовою, подобно своей матушкѣ. (*Конь безъ сѣдока, примчавшійся съ поля сраженія*, это, какъ мы уже знаемъ, одинъ изъ распространенныхъ обще-эпическихъ способовъ извѣщенья о смерти). Далѣе съ особенною подробностью передается осѣдлываніе коня, и такая, растягивающая дѣло, подробность, какъ бы соотвѣтствуетъ *неохотнымъ* сборамъ въ дорогу Добрыни. Тѣмъ страннѣе въ этомъ пересказѣ употребленіе Добрынею, вслѣдъ за прощаньемъ съ женою, того эпическаго оборота, какимъ обыкновенно выражается въ былинахъ поспѣшность:

Со двора то онъ поѣхалъ не воротами,
То онъ съ города-то ѣхалъ не дорожкою,
Ѣхалъ черезъ стѣны городовыя.

Слова эти представляются мнѣ вставкою. Правда, они есть и въ пересказѣ шенкурскомъ, но тамъ все *поставлено* совершенно иначе: нѣтъ добрыниной *жалобы*, и богатыри тутъ дѣйствительно могутъ поспѣшать сослужить свою *службу явленную*. Въ пересказѣ изъ села Павлова поспѣшность прямо сказывается въ томъ, что вмѣсто подробнаго описыванья сѣдланья, тутъ говорится: «во стремена ногою не ступаючи и за уздицу рукою не хватаючи, садились молодцы на добрыхъ коней.» Возвращаясь къ сѣдланію коня, замѣчу, что сѣдло у него обсажено самоцвѣтныимъ камешкомъ обзолоченымъ. Этотъ чудесный камень упоминается въ разныхъ былинахъ, при чемъ обыкновенно объясняется его *самоцвѣтность*, здѣсь остающаяся неясною. Свойства камня однакоже выдаются изъ другого мѣста нашего пересказа, которое хотя и попорчено, но можетъ быть возстановлено при помощи различныхъ былевыхъ свидѣтельствъ о самоцвѣтномъ камнѣ. Вотъ это мѣсто:

Брали оны *вѣрный планъ* во ясны очи
И поѣхали раздольицемъ чистымъ полемъ.
Въ день ѣдутъ по красному по солнышку,
Въ ночь ѣдутъ по свѣтлому по мѣсяцу.

Этотъ *вѣрный планъ*, надо думать, даетъ имъ камешекъ-самоцвѣтъ въ сѣдлѣ Добрыни,—камешекъ, который и во многихъ былинахъ кажетъ путь и въ темную ночь, свѣтясь, словно мѣсяцъ или даже солнышко. Отмѣтивъ эту черту въ моей замѣткѣ къ IV ч. пѣсень Рыбникова, я указалъ тамъ и

на сходное *каменье* въ сербскихъ былинахъ. [85]) Замѣчу теперь, что такое же точно имѣется и въ болгарскихъ. У г. Стасова сведено много полныхъ и ясныхъ мѣстъ изъ нашихъ былинъ объ этомъ камнѣ, но онъ, какъ и всегда, не зная о сходствѣ съ югославянскими пѣснями, видитъ тутъ отголосокъ «тѣхъ чудодѣйныхъ камней, разсказами о которыхъ наполнены азіятскія поэмы и повѣсти.»—[86]) Я бы могъ замѣтить ему, что одно изъ свойствъ *восточнаго* чуднаго камня, указываемое у него, но неимѣющееся въ нашихъ былинахъ,— то, что *онъ исполняетъ всѣ желанія,*—это свойство, выражаемое самымъ смысломъ названія его—*чинтамани*—прямо подходитъ къ древне-германской миѳической Wünshcelgerte. (тутъ исполняющій желанія). — Зато предположеніе г. Стасова, что упомянутые чудесные камни первоначально должны были именоваться у насъ не *самоцвѣтными*, а *самосвѣтными*, кажется мнѣ совершенно вѣрнымъ.

При створѣ между богатырями—куда съѣзжаться? (какъ видно изъ сличенія съ былинами о Потыкѣ) не достаетъ у Рябинина весьма существенной черты: кто кончитъ дѣло, пріѣзжай къ условленному мѣсту—*сожидать* товарищей, чтобы въ случаѣ нужды *поспѣшать имъ на выручку*. Самое прибытіе съ данями и похожденіе у царя заморскаго въ пересказѣ Рябинина и въ пересказѣ шенкурскомъ передается довольно сходно и весьма подробно. Не смотря на свое неохотное отправленье въ походъ, Добрыня оказывается тутъ душой похода. Собственно въ дорогѣ проведено богатырями, по рябининскому пересказу, цѣлыхъ три года. Въ пересказѣ изъ Павлова срокъ этотъ сокращается въ *трои суточки*. Наконецъ-то пріѣзжаютъ они—у Рябинина довольно неопредѣленно въ орды дальнія, во этую во землю въ Сорочинскую, во тыя мѣста во невѣрныя ко царю Бутеяну; по шенкурскому пересказу—въ землю *Заоданскую* ко *царю Батыю*, по павловскому—къ *Батырю Каймановичу* ко *Астрахани*. Въ послѣднихъ такимъ образомъ мѣстность *географически*, а время *исторически* совершенно опредѣлено. Добрыня съ товарищами попадаютъ за Донъ къ знаменитому хану Батыю, въ силу того, что всякое враждебное, темное царство эпическое легко подвергалось у насъ переименовыванію въ татарское. Отсюда въ занимающей насъ былинѣ и неопредѣленность имени—гдѣ Бутеянъ, гдѣ Батый, гдѣ король, гдѣ царь. Прибывъ къ этому Бутеяну-Батыю, распорядитель похода, Васильюшка Казиміровъ, не оставляетъ коней на *посыльномъ дворѣ* а, въ знакъ непочтенья къ царю, ни кому коней не приказывалъ, а просто пристегивалъ ихъ къ копью, воткнутому вострымъ концомъ во матушку сыру землю. [87]) По-

[85]) Стр. XXXIX. Поправлю здѣсь опечатки въ цифрахъ цитаты моей изъ сборника Бука относительно этого камня. Вотъ вѣрное указанье страницъ изъ III части: 78, 154, 354, 430, 535, 544.

[86]) В. Европы 1868 г., іюль, 305. Вотъ лучшія изъ былевыхъ мѣстъ, приводимыхъ у г. Стасова. У царевича Константина Леванидовича вставлено въ заднюю и въ переднюю луку сѣдла, по тирону, по камню, подъ-дорогу, по самоцвѣтному... для ради пути дороженьки, для ради темной ночи осенней. Калики берутъ съ собою въ дорогу по камешку антавенту,—день идутъ по красному солнышку, ночь идутъ по камешку антавенту. Такіе же камни въ стрѣлахъ у Дюка: гдѣ стрѣла летитъ, отъ нея лучъ печетъ, въ день красно солнышко, въ ночь отъ свѣтлаго мѣсяца (т. е., надобно думать, въ день какъ солнышко, въ ночь какъ отъ мѣсяца).

[87]) Примѣры такого же привязыванія коня къ копью встрѣчаются и въ сербскихъ пѣсняхъ (на прим. у Петрановича 539), и въ chansons de geste. (На прим. Renaus de Monatuban, éd. Michelant, p. 236, 320).

томъ, взявъ подъ пазушку даровья, *на пяту онъ двери поразмахивалъ* (извѣстный былевой знакъ неуваженья), такъ что всѣ столики сворохнулися, всѣ околенки поразсыпались. Вслѣдъ затѣмъ, однакоже, какъ онъ, такъ и его товарищи, поклонились на всѣ на четыре стороны, самому королю въ особину и всѣмъ его подколѣннымъ. Вмѣстѣ съ этимъ поклономъ полагаютъ они на столъ дани выходы и повинную грамоту. Но по первому неуважительному приступу со стороны Василья можно уже догадываться, что богатырями положено не оставлять у царя даней-выходовъ.—Въ шенкурскомъ же пересказѣ даже и прямо сказано, что они не брали съ собой ни дани, ни пошлины, а ухватили *лучишко дорожное*—оружіе, имѣющее надѣлать въ рукахъ у Добрыни дѣла великія; но пріѣхавъ, они говорятъ Батыю, что дани привезены ими.—Далѣе, одинаково въ обоихъ пересказахъ, король (царь) спрашиваетъ у богатырей, кто изъ нихъ гораздъ играть въ *шашки шахматы*, во славны во *велеи во нѣмецкія.*—(Въ подстрочномъ примѣчаніи издателями поправлено: *тавлеи*; такъ оно, по большей части, въ другихъ былинахъ). Относительно этого замѣчено у г. Стасова: «богатыри нашихъ былинъ нерѣдко играютъ въ какую-то игру на шахматной доскѣ; пѣсни иной разъ называютъ эту игру шашки-шахматы,» и тутъ же прибавляютъ: «тавлеи нѣмецкія.» Казалось бы, на первый взглядъ, всего естественнѣе предположить, что здѣсь рѣчь идетъ объ игрѣ въ шахматы. Но это совсѣмъ не такъ. Описывая калмыцкій образъ жизни и нравы, Бергманъ разсказываетъ, что у Калмыковъ въ большомъ употребленіи одна персидская игра, которую Калмыки зовутъ *наррь*, а русскіе *тавлея*.... Играютъ на низенькомъ столѣ; у каждаго игрока есть по шести мѣстъ (квадратовъ), по которымъ мечутъ бѣлые и черные камешки.»—[88]) На то, что *тавлеи* названы въ былинахъ *нѣмецкими*, нашъ изслѣдователь не обратилъ вниманія, равно какъ и на то, что кромѣ *тавлей* упомянуты же въ былинахъ и *шахматы*, такъ что тутъ, повидимому, эпически *наслоились* одна на другую двѣ различныхъ игры. [89]) Что касается собственно *шахматовъ*, то извѣстно, какъ часто играютъ въ нихъ богатыри франкскіе въ chansons de geste. Конечно, сама по себѣ игра эта зашла въ Европу съ востока; но если она оказывается въ chansons de geste, то потому, что употреблялась въ Европѣ, а вовсе не потому, чтобы труверы заимствовали ее изъ восточныхъ пѣсень. То-же, по здравому смыслу, должно полагать и про нашихъ пѣвцовъ.

Но игра въ шашки-шахматы-тавлеи называется въ нашей былинѣ, устами Василія Казиміровича, «ухваткою богатырскою» короля: «а у насъ всѣ игроки дома оставлены; столько мы надѣемся на Спаса и пресвятую богородицу, въ третьихъ—на младого Добрынюшку Микитинца»—т. е. онъ то и долженъ тутъ оказаться игрокомъ изъ игроковъ. Тутъ упо-

---

[88]) Вѣстн. Евр. 1868 г., Іюль, 303.

[89]) Изъ приводимаго у г. Стасова свидѣтельства Бергмана видно, что тавлеи состоятъ въ метаніи камешковъ; въ нашей же былинѣ говорится далѣе про Добрыню, что онъ просмотрѣлъ ступень шашечный: ясно, что тутъ разумѣется игра, въ которой ступаютъ, ходятъ (Р. 1, стр. 156). А изъ шенкурскаго пересказа видно, что и съ самыми тавленки (вальящатыми) соединяется тутъ метаніе и ступаніе шашки—шахматы тутъ не названы):

Первую тавлеюшку царь ступилъ...
Больше царю ступить нѣкуда.

треблёнъ тотъ же самый, чисто народный, лукавый пріемъ, который уже видѣли мы въ словахъ Ильи Муромца: *я, молъ,* совсѣмъ не богатъ, всего со мной золота столько-то и т. д. Въ пересказѣ шенкурскомъ къ усиленію того же лукаваго оборота служатъ еще слѣдующія слова Василія: «съ измалехонька Добрынюшка тѣшился, съ малыми ребятами игрывалъ.» А у Рябинина то-же лукавство, кажется, слышится нѣсколько далѣе въ томъ, будто Добрыня, тутъ уже по свидѣтельству самого пѣвца, первую игру проигралъ *со тоя великія со горячности*: изъ общаго же смысла этого похожденія видно, что тутъ былъ очевидный *разсчетъ* игрока—сначала *поддаться* и тѣмъ самымъ только вѣрнѣе *заманить* короля. Съ тѣмъ же разсчетомъ, послѣ перваго проигрыша, Добрыня пускается въ слѣдующія, опять лукавыя причитанія:

Не бывать-то намъ на Святой Руси,
Не видать то намъ свѣту бѣлаго [90]).
Проигралъ я свои головушки молодецкія.

Изъ этого видно, что прозакладаны были тутъ ими богатырскія головы;—надо думать, что сперва одна чья нибудь, можетъ быть самого Добрыни, такъ какъ король соглашается съиграть съ нимъ вторую игру—вѣроятно, за вторую голову. Добрыня съигралъ вторую—и пообыгралъ короля, съигралъ третью—опять пообыгралъ: въ первую, надо думать, онъ отъигралъ свою голову, во вторую—выигралъ королевскую. Вотъ тутъ и думаетъ Бутеянъ выпутаться изъ бѣды новою «ухваткою богатырскою»—стрѣляніемъ въ цѣль. Прежде чѣмъ перейти къ нему, замѣчу, что игра добрынина прямо подходитъ къ игрѣ Потыка, точно также ставящаго, такъ сказать, *на карту* жизнь человѣческую. «Эта азартная игра, замѣчаетъ г. Стасовъ, любима на востокѣ со временъ глубокой древности: уже въ Магабгаратѣ, Рамаянѣ, Гариванзѣ и т. д. цари, царевичи и богатыри предаются ей со страстью, и проигрываютъ не только всѣ богатства, все состояніе свое, но даже женъ, и, наконецъ, даже собственную свободу и жизнь... [91]) Эту же игру мы встрѣчаемъ также въ поэмахъ и пѣсняхъ почти всѣхъ народовъ Азіи. У насъ въ былинахъ говорится не только о томъ, какъ богатыри вообще играютъ въ тавлеи другъ съ другомъ, но еще разсказывается, что они играютъ съ иноземнымъ царемъ, и ставятъ на конъ все имущество, собственную свободу и жизнь. Но разница нашихъ богатырей отъ восточныхъ здѣсь въ томъ, что наши никогда ничего не проигрываютъ, и всегда одерживаютъ верхъ, точно также въ былинахъ, какъ и въ сказкахъ.» (В. Е. Іюль 1868, стр. 303—304). Послѣднее замѣчаніе совершенно вѣрно. И въ разбираемомъ нами случаѣ, Добрыня, выходя побѣдителемъ какъ послѣ игры, такъ и послѣ другихъ «бо-

---

[90]) Въ пересказѣ изъ с. Павлова сходныя слова влагаются въ уста самому Батырю, который ими привѣтствуетъ богатырей при самомъ пріѣздѣ:

Не бывать вамъ молодцамъ на святой Руси,
Не видать вамъ молодцамъ князя Володиміра
И не гулявать по конныимъ по площадямъ.

И это эпически-совершенно-умѣстно. Точно также приговариваетъ Кудріянище въ духовномъ стихѣ: не бывать Егорью на святой Руси, и т. д.

[91]) См. выше стр. 411. Извѣстно, что самую завязку Магабгараты составляетъ проигрыванье царемъ Юдгиштирою своего царства, имущества, своихъ братьевъ, общей съ ними жены своей и собственой своей свободы.

гатырскихъ ухватокъ» короля орды, отыгриваетъ обратно дани выходы, и вообще въ былинахъ богатырямъ всегда удается воротить эти дани, вмѣстѣ съ повинною грамотою, обратно. Историческое воспоминаніе о даняхъ, платившихся нами въ орду въ теченіи столькихъ вѣковъ, въ эпосѣ съузилось, укоротилось, можно сказать, въ *одинъ мигъ*: оборонители Земли Русской, богатыри, какъ будто-бы только *для шутки* отвезутъ эти дани Батырю, покажутъ ему свои мисы издалека, дадутъ, такъ сказать, понюхать,—а въ концѣ концовъ *разыграютъ въ лицахъ* пословицу: по усамъ текло, да въ ротъ не попало. Въ этомъ—своего рода идеализмъ народной словесности.

Первая половина замѣчанія г. Стасова—объ обычности проигрыванья даже и самой жизни въ восточныхъ сказаніяхъ также вѣрна; только нельзя сказать, чтобы это было обычно въ эпосѣ единственно на востокѣ. И во многихъ сказаніяхъ европейскихъ не дорого цѣнится жизнь. Такъ оно, на примѣръ, при тѣхъ *препираньяхъ загадками*, которыя соединялись обыкновенно съ *прозакладываніемъ головы*. Чисто-европейскіе (начиная съ Эдды) примѣры такихъ препираній можно найти у г. Худякова въ предисловіи къ его «Великорусскимъ Загадкамъ.» Но есть наконецъ и европейскіе примѣры прозакладыванія и жизни, и царства—при *игрѣ въ шахматы*, столь обычной, какъ уже сказано, въ chansons de geste. Въ одной изъ нихъ (de Mont Garin glane) Карлу Великому измѣняетъ жена (какъ и Апраксѣевна нашему князю Владиміру въ былинѣ объ Алешѣ Поповичѣ, и другихъ, которыя еще впереди). Карлъ выбираетъ способомъ мести ея обольстителю, своему вассалу, игру съ нимъ въ шахматы—на такихъ условіяхъ: если онъ (обольститель) выиграетъ, то ему достанется даже и Франція, но если онъ проиграетъ—то не снести ему буйной головы [92]). Конечно, можно начать доказывать, что и во французскую средневѣковую поэзію эта черта зашла изъ восточныхъ сборниковъ. Можетъ быть, многое въ нихъ и окажется на самомъ дѣлѣ *заимствованнымъ* съ востока. *Нѣкоторые отдѣльные случаи* такого заимствованія вполнѣ возможны и въ нашихъ былинахъ. Уже выше, во многихъ мѣстахъ, я указывалъ въ нихъ на такія черты, въ которыхъ весьма *вѣроятно* заимствованіе. Къ числу такихъ случаевъ, можетъ быть, относится и эта *игра съ прозакладываньемъ головы*, которая *особенно распространена*, въ самомъ дѣлѣ, въ восточныхъ произведеніяхъ. Но *такого* рода заимствованія ни мало не упраздняютъ вполнѣ самобытной основы былинъ. Да и въ эту *игру*, какъ мы видѣли, нашими пѣвцами вложенъ самостоятельный смыслъ, признаваемый даже и г. Стасовымъ.

Обыгранный въ тавлеи, король приглашаетъ *гораздаго* изъ богатырей *стрѣлять изъ луку изъ каленаго* — такъ, чтобы прострѣлить стрѣлку по острею по ножовому, чтобы прокатилася стрѣлочка на двѣ стороны вѣсомъ ровна и попала бы въ колечко серебряное. Когда Василій, съ прежнимъ лукавствомъ, говоритъ Бутеяну, будто-бы всѣ у нихъ стрѣлки дома оставлены, и вся надежда — развѣ опять на Добрыню, («изъ маленькихъ лучиш-

---

[92]) Gautier, Epopées françaises, II, 158.

ковъ онъ пострѣливалъ,» прибавляетъ Василій въ пересказѣ шенкурскомъ), тогда Бутеянъ зоветъ своихъ *слугъ*—вѣрныхъ могучихъ богатырей:

«Несите-тко мой тугій лукъ разрывчатый.
Идутъ туда *три* богатыря могучіихъ
И несутъ тутъ лукъ разрывчатый,
Подносятъ къ Добрынюшку Микитинцу.
Молодой Добрынюшка Микитинецъ,
Принимаетъ этотъ лукъ одной рукой...
Сталъ Добрынюшки онъ стрѣлочки накладывать,
Сталъ Добрынюшка тетивочки натягивать,
Сталъ тугій лукъ разрывчатый покрякивать,
Шелковыя тетивочки полопывать,
Дрянное лучёнышко пометное:
Не съ чѣмъ богатырю святорусскому повыстрѣлять.

Тогда Бутеянъ посылаетъ уже цѣлыхъ *десять* богатырей принести *самолучшій* тугій лукъ. Они несутъ его изъ погребовъ на *носилочкахъ*. Но въ рукахъ у Добрыни и онъ оказывается лученышкомъ пометнымъ. Въ пересказѣ шенкурскомъ размѣры и тяжесть чудеснаго лука оказываются и еще болѣе замѣчательными:

Подъ конецъ несётъ *сто* Татаровей,
Подъ другой несётъ *другое сто*
Подъ серёдочку *третье сто;*
Всѣ идутъ Татарове, покрёхтываютъ.
Беретъ ли Добрыня ручкой правою,
Кладетъ ли Добрыня подъ ножку подъ лѣвую,
Съ лѣвыя ножки на лѣво плечо...
Изломалась полоса булатная:
«Ахъ ты гой еси Батый царь Заданскій!
Что ты мнѣ экой за лукъ принесъ?»...

А другого, *самолучшаго* тутъ уже у царя не оказывается, какъ и въ пересказѣ изъ с. Павлова, гдѣ тяжесть лука опять умѣреннѣе и выражается совершенно особеннымъ образомъ:

Внесли ему тугой лукъ,
Положили на дубовой столъ.
Возговоритъ царь Батырь:
«Ишшо-што это дубовой столъ не шатпется
И у стола ноги не подломятся?»
Отвѣтъ держитъ Добрыня Никитиничъ:
«Подъ столомъ тѣ сидятъ *двѣ пташки* обѣ
Русскіихъ.»

А оказывается, что эти-то пташки и поддержали столъ, который безъ нихъ долженъ бы былъ пошатнуться и подломиться подъ тяжестью королевскаго лука. Впрочемъ, стрѣльба въ цѣль, по этому пересказу, предложена самими богатырями, тогда какъ по двумъ другимъ ихъ вызываетъ на это король. Послѣднее сообразнѣе съ ходомъ цѣлаго, такъ какъ на сторонѣ короля тутъ, повидимому, всѣ преимущества. Пересказъ изъ Павлова отличается еще и тѣмъ, что въ немъ имѣется всего одна «ухватка богатырская»—именно эта стрѣльба изъ лука. Она должна составлять существеннѣйшую, древнѣйшую принадлежность сказанія. Дѣйствительно, изъ такого-же неодолимаго лука и съ такимъ же точно успѣхомъ стрѣляетъ и въ индійской Гариванзѣ богатырь Кришна, эпическое происхожденье котораго отъ одного и того-же *арійскаго корня* съ нашимъ Добрынею уже было признано выше. Лукъ, съ которымъ имѣетъ тамъ дѣло Кришна, есть лукъ царя Канзы, личнаго, какъ мы знаемъ, врага Кришны. Этого необычайнаго лука не могли сломать сами боги и даже Индра, а въ рукахъ у Кришны онъ ломается пополамъ, при чемъ раздается звукъ, подобный урагану. [93]) Дѣло въ томъ, что Кришна, какъ

[93]) Вѣстникъ Европы. Февраль 1868 г., стр. 652. Въ Гариванзѣ есть еще много другихъ подробностей, далеко несущественныхъ, одна изъ нихъ г. Стасову представляется, напротивъ того, существенною: когда Криш-

мы уже знаемъ, это самъ воплощенный богъ Вишну. Въ индійской поэмѣ, благодаря ея древности, еще существуетъ, такъ сказать, миѳическая *разгадка*, въ нашихъ былинахъ уже не имѣющаяся. Другимъ воплощеніемъ того же солнечнаго божества въ другой еще болѣе древней индійской поэмѣ (Рамаянѣ) служитъ, какъ извѣстно, Рама. Что же мудренаго, ежели и ему приписывается сломаніе исполинскаго лука — принадлежащаго тутъ королю Ганакѣ. Это собственно только другой индійскій изводъ того же преданья, отличающійся большею полнотой, какъ болѣе древній. Если въ Гариванзѣ Кришнѣ сопутствуетъ братъ его Санкаршана, то тутъ при Рамѣ находится братъ его Лакшмана. Какъ тѣ, такъ и эти хотятъ посмотрѣть знаменитый лукъ, хранящійся у царя подъ семью замками. Но въ Рамаянѣ описывается и самое происхожденіе лука, прежде принадлежавшаго богу Шивѣ. Далѣе тутъ, какъ и въ нашихъ былинахъ, опредѣляется самая тяжесть лука: 800 человѣкъ огромнаго роста и великой силы съ трудомъ повезли его на восьми колесахъ (преувеличеніе, какъ и вообще въ восточныхъ произведеніяхъ, доведено тутъ до крайней степени). Когда Рама выстрѣлилъ изъ этого лука, всѣ *попадали*, кромѣ самого царя Рамы съ братомъ и ихъ наставника Висвамитры (дѣйствіе, очевидно, такое же сильное, какъ и при свистѣ Соловья разбойника) [94]). Особенно же существенно въ Рамаянѣ то дополненіе, что умѣнье совладать съ этимъ лукомъ доставляетъ руку красавицы Ситы, яко-бы дочери царя Ганаки, которая и достается тутъ Рамѣ [95]). Такая же точно награда соединена со стрѣльбою изъ подобнаго же лука и въ третьей индійской поэмѣ—Магабгаратѣ. Тутъ у царя Друпады живетъ, подъ именемъ дочери, красавица Драопади. Царь хочетъ ее выдать за мужъ за богатыря Арджуну, но такъ какъ онъ съ братьями отшельничествуетъ въ лѣсахъ, то царь придумываетъ средство привлечь его оттуда къ себѣ въ столицу. Такимъ средствомъ и служитъ ему нарочно заказываемый съ этою цѣлью тугой лукъ: кто съумѣетъ его натянуть, тому достанется Драопади. Вотъ и съѣхались отовсюду цари и царевичи. Пришли и Арджуна съ братьями въ одеждѣ брахмановъ, нищихъ. Никто не съумѣлъ не только что попасть въ цѣль, но даже натянуть тетиву лука. Тогда вдругъ поднялся Ард-

---

на и Санкаршана прибываютъ въ городъ Канзы, то на одной изъ улицъ они отнимаютъ у красильщика богатыя царскія одежды и надѣваютъ ихъ на себя. Отсюда, по мнѣнію нашего изслѣдователя, происходитъ драгоцѣнность тѣхъ одеждъ, которыя въ рыбниковскомъ пересказѣ беретъ съ собою Добрыня (и беретъ, надо замѣтить, изъ дому): «одѣлъ себѣ одежицу дорожную драгоцѣнную и бралъ съ собой одежицы запасныя не малёшенько, онъ бралъ — на двѣнадцать лѣтъ. (Р. 1, стр. 151).

[94]) Ramayana, tr. p. Fauche, 1, 369. Отъ индійскаго царя-отшельника Висвамитры происходитъ, по мнѣнію г. Стасова, нашъ Василій Казиміровичъ, который точно также всѣхъ заправляетъ, самъ не совершая никакихъ подвиговъ, какъ и Висвамитра въ похожденіяхъ Рамы и Лакшманы. «Поэтому, заключаетъ г. Стасовъ, много основательности имѣетъ на своей сторонѣ остроумная и глубокая догадка Хомякова, что Василій Казиміровичъ есть типъ дьяка, грамотѣя: Висвамитра, индійскій мудрецъ, очень просто и естественно превратился на Руси въ дьяка, какіе всегда у насъ участвовали въ посольствахъ...» (стр. 661). Я умышленно подчеркиваю послѣднее, какъ проговорку нашего изслѣдователя. Почему же было такому дьяку, со всѣми его не-богатырскими признаками (въ томъ числѣ и долгополостью, на которую далѣе указывается г. Стасовымъ), не зайти къ намъ въ былину изъ нашей же жизни, изъ нашихъ же собственныхъ посольскихъ обычаевъ?—Дѣйствительно-остроумный и глубокій Хомяковъ не могъ подумать, это иначе. А если уже производить нашего дьяка отъ индійскаго мудреца, то почему бы и не пойти доказывать, что самое имя Василій Казиміровичъ есть только передѣланное на русскій ладъ Висва Митра. Предлагаю это производство г. Стасову.

[95]) Вѣстн. Евр. Февр. 1868 г., стр. 660.

жуна; всѣ въ досадѣ, считая его просто нищимъ. Между тѣмъ онъ-то и натянулъ тетиву и насквозь прострѣлилъ мудреную цѣль [96]).—За передачу этихъ трехъ пересказовъ извода индійскаго можно только поблагодарить г. Стасова. Но жаль, что онъ позабылъ обратить вниманіе на сходство—особенно съ третьимъ пересказомъ (изъ Магабгараты) прекраснаго древне-греческаго извода того же сказанія. Изводъ этотъ всѣмъ хорошо извѣстенъ изъ XXI пѣсни Одиссеи. Но, какъ *самостоятельно* вывѣтвившійся изъ основного обще-Арійскаго корня, онъ отличается въ очень многомъ своею особою постановкою. Наградой удачной стрѣльбы также должна тутъ служить рука—но рука замужней, полу-вдовы, Пенелопы. Одолѣваемая множествомъ неотвязчивыхъ жениховъ, которые просто держатъ ее въ осадѣ (этому вполнѣ соотвѣтствуетъ въ Рамаянѣ настоящая годовая осада столицы, гдѣ жила Сита [97]) вѣрная жена Одиссея, знакомая со свойствами его лука, хранящагося у нея въ кладовой, предлагаетъ имъ стрѣльбу изъ него въ цѣль. (Надо замѣтить, что лукъ этотъ съ давнихъ поръ достался Одиссею отъ его гостя Ифита: тутъ такимъ образомъ уже не имѣется того *божественнаго* происхожденія этого оружія, какое замѣтно въ индійскомъ изводѣ):

«Можете сами теперь разрѣшить вы мой выборъ. Готова
Быть я цѣною побѣды. Смотрите, вотъ лукъ одиссеевъ;
Тотъ, кто согнетъ, навязавъ тетиву, одиссеевъ могучій
Лукъ; чья стрѣла пролетитъ черезъ всѣ (ихъ не тронувъ) двѣнадцать
«Колецъ, я съ тѣмъ удалюся изъ этого милаго дома».

Пытаются женихи, пытается и сынъ одиссеевъ, чтобы, убѣдившись въ своей силѣ, по крайней мѣрѣ этимъ утѣшать себя въ кругломъ, предстоящемъ ему сиротствѣ; никто не съумѣлъ даже и погнуть лука (не смотря на смазываніе его саломъ или распариванье его, къ которому прибѣгаютъ иные) у всѣхъ онѣмѣли руки. Но вотъ выступаетъ и самъ неузнанно присутствовавшій при этомъ, покрытый рубищемъ Одиссей. «Что ты, негодный бродяга? Не вовсе ль разсудка лишался?» говоритъ ему знатнѣйшій и самый гордый изъ жениховъ, Антиной. Но Пенелопа настаиваетъ, чтобы ему позволили взяться за лукъ; ее однакоже перебиваетъ сынъ, слова котораго составляютъ самую своеобразную, самую т. ск. *греческую* черту во всей пѣснѣ:

Милая мать, Одиссеевымъ лукомъ не можетъ никто здѣсь
Властвовать; дать ли, не дать ли его, я одинъ лишь на это
Право имѣю........
Но удались: занимайся, какъ должно, порядкомъ хозяйства,
Пряжей, тканьемъ; наблюдай, чтобъ рабыни прилежны въ работѣ
Были; судить же о лукѣ не женское дѣло, а дѣло
Мужа, и нынѣ мое: у себя я одинъ повелитель.
Такъ онъ сказалъ; изумяся, обратно пошла Пенелопа,
Къ сердцу слова *многоумныя* сына, принявъ... [98])

[96]) Вѣстн. Евр. Февр., 662.

[97]) Черта, опущенная г. Стасовымъ. См. Fauche, Ramayana, I, 366.

[98]) Одиссея, перев. Жуковскаго. (Полное Собр. Соч. X, 322). Я умышленно ставлю курсивомъ слово м н о г о у м н ы я.

Послѣ тѣхъ отношеній между сыномъ и матерью, какія видѣли мы въ былинахъ о Добрынѣ, тѣмъ болѣе должна выказаться вся невозможность только что приведенныхъ словъ Телемака и такого послушанья матери сыну—на славянской почвѣ. Мать и въ славянскомъ эпосѣ способна служить, въ качествѣ женщины, утомленному богатырствомъ сыну: но она, государыня-матушка, не способна выслушивать отъ него наставленія. А между тѣмъ Телемакъ—добрый сынъ. Онъ имѣетъ особое основаніе удалить мать, а въ сущности онъ согласенъ съ нею: лукъ предоставляется имъ отцу, уже заранѣе Телемакомъ узнанному (тогда какъ мать еще ничего не знаетъ). И вотъ—Одиссей берется за лукъ:

> Крѣпкую правой рукой тетиву потянувши, онъ ею
> Щелкулъ: она провизжала, какъ ласточка звонкая въ небѣ.
> Дрогнуло сердце въ груди жениховъ, и въ лицѣ измѣнились
> Всѣ... Тутъ ужасно Зевесъ загремѣлъ съ вышины, подавая
> Знакъ....

Эти зевсовы звуки соотвѣтствуютъ тѣмъ звукамъ урагана, какіе въ Гариванзѣ издаются самымъ лукомъ Кришны. Но индійскій оборотъ древнѣе, первоначальнѣе: въ немъ еще проглядываетъ божественность самого стрѣлка—Кришны, тогда какъ Одиссей—уже человѣкъ, нуждающійся въ ободреніи со стороны Зевса. Такимъ то ободреньемъ и служитъ ему этотъ *громъ*:

> .... живое веселіе въ грудь Одиссея проникло:
> Въ громѣ зевесовомъ онъ предвѣщанье благое услышалъ......
> Къ луку притиснувъ стрѣлу, тетиву онъ концомъ оперенным,
> Сидя на мѣстѣ своемъ, натянулъ, и, прицѣляся, въ кольца,
> Выстрѣлилъ—быстро отъ перваго всѣ до послѣдняго кольца,
> Ихъ не задѣвъ, пронизала стрѣла, заощренная мѣдью....
> (Одиссея Жуковскаго, II, стр. 326—327).

Если читатель припомнитъ вышеприведенное описанье стрѣльбы добрыниной, то, при различіи эпическихъ оборотовъ, онъ замѣтитъ и тутъ и тамъ уравнивающую *эпическую полноту*. Это та полнота первобытной художественности, по которой, слѣдуя мнѣнію нѣмецкаго ученаго, г. Марте, русскія былины должны быть поставлены на ряду съ омировскимъ эпосомъ. [99]) (Такою художественностью, замѣчу мимоходомъ, не могутъ никакъ отличаться какіе ни будь сколки-сшивки съ чужихъ образцовъ).—Высокая же художественность, но уже особый, чисто греческій видъ художественности, сказался въ томъ *чувствѣ мѣры*, въ силу котораго вся необычность одиссеева лука заключается единственно въ его *тугости* и не только нѣтъ того крайняго преувеличенія его *тяжести*, какимъ отличается индійскій изводъ, но его даже очень легко выноситъ изъ кладовой сама Пенелопа. При чрезмѣрной тяжести лука, чрезмѣрное же преувеличеніе замѣтно и въ томъ, что Рама берется за него *одной рукой*. Про Одиссея не сказано этого. У насъ же въ

[99]) См. въ Jahrbuch für Literaturgeschichte v. Gosche статью: das russische Volksepos—въ самомъ концѣ.



былинахъ имѣется и эта черта (соотвѣтственная подъему Микулою сошки также одной рукой), и—довольно значительное, хотя и уступающее индійскому, преувеличеніе тяжести лука. Въ этомъ отношеніи, можетъ быть, должно допустить извѣстную долю вліянія на нашихъ народныхъ пѣвцовъ вообще восточной разнузданности воображенія.

Изъ всего приведеннаго не мудрено усмотрѣть, что сходясь во многихъ основныхъ чертахъ съ изводомъ индійскимъ, нашъ отечественный изводъ занимающаго насъ сказанія въ той же мѣрѣ сходится и съ изводомъ греческимъ. Къ числу чертъ, которыя сближаютъ его съ послѣднимъ, относится и то, что Добрыня, подобно Одиссею, попадаетъ въ цѣль, стрѣляя *изъ собственнаго своего лука*. Поломавъ бутеяновъ лукъ (у Рябинина цѣлыхъ *два*,—вслѣдствіе эпическаго *усугубленія*, надо думать), Добрыня велитъ Ивану Дубровичу пойти отстегнуть отъ коня его тугій лукъ разрывчатый—завозное лученышное, дорожное. Такъ у Рябинина, а въ пересказѣ шенкурскомъ уже при описаніи ихъ отъѣзда, какъ мы видѣли, сказано, что они *ухватили это лучишко дорожное*. Рябининъ же сообщаетъ объ этомъ *оружіи* и еще одну подробность: было оно вмѣстѣ съ тѣмъ и игральнымъ *орудіемъ*: «въ тотъ тугій лукъ разрывчатой въ тупой конецъ введены были гуселышка яровчаты.» Пока проходилъ съ этимъ лукомъ по двору Иванъ Дубровичъ, онъ заигралъ на немъ,—и всѣ тутъ *игроки пріумолкнули, вси скоморохи пріослухались*. Тутъ такимъ образомъ присоединяется еще и извѣстная эпическая *чарующая игра*. [100]) Добрыня же не за игру принимается, а за *стрѣльбу*: становился онъ супротивъ ножа булатняго (служившаго цѣлью) и стрѣлялъ: пролетѣла стрѣла по острею ножовому на двѣ стороны вѣсомъ равна и прямо въ кольцо. И такъ до трехъ разъ. Потомъ принимается за стрѣльбу Бутеянъ,—но первый разъ перестрѣлилъ, второй—не дострѣлилъ, а въ третій и попасть не могъ.—Въ греческомъ изводѣ, какъ видѣли мы, *ломанье чужого лука* не существуетъ, а есть только умѣлая стрѣльба изъ своего собственнаго (неодолимаго для другихъ). Въ нашемъ русскомъ изводѣ имѣется и то, и другое, и ежели уже искать въ немъ *мозаики*, то надобно допустить въ нее и греческіе *кусочки*. Впрочемъ и въ индійской Гариванзѣ имѣются указанія на *особый* лукъ, спущенный съ неба богами и достающійся въ *собственность* Кришнѣ (это въ особомъ случаѣ, при особой, грозящей ему опасности).—[101]) Да и въ Рамаянѣ, кромѣ лука Ганаки, есть еще другой, которымъ временно владѣетъ соименникъ Рамы, Рама Гамаданидъ. Встрѣтившись съ Рамою, намъ уже знакомымъ, Рамою Дазаратидомъ, онъ самъ предлагаетъ ему натянуть этотъ тугой лукъ, съ помощію котораго онъ отомстилъ за своего отца и

[100]) Она, какъ извѣстно, служитъ однимъ изъ главнѣйшихъ эпическихъ средствъ для удачнаго сватовства, потому то упоминовенье подобной игры въ рябининскомъ пересказѣ и даетъ нѣкоторое основаніе предполагать, что когда нибудь все это похожденье добрынино соединялось съ его сватовствомъ.

[101]) В. Европы, Февраль, стр. 654. Вмѣстѣ съ лукомъ тутъ спускается съ неба палица, будава, и наконецъ плугъ. Этотъ послѣдній напоминаетъ небесное происхожденіе плуга въ германо-славянскихъ преданіяхъ, о которыхъ было говорено выше, по поводу сошки микулиной. Особенно близко подходитъ сюда разсмотрѣнное тамъ же преданіе скиеское (у Иродота). Все это отпрыски одного и того же искоиннаго добра (Urgut) Арійцевъ и все это ни мало не относится къ занимающему насъ сказанію о Добрынѣ.

подчинилъ себѣ землю. «Есть два знаменитыхъ лука, говоритъ онъ ему, оба работы Висвакармы (сына бога Брамы, индійскаго Ифеста—небеснаго ковача).... Одинъ изъ нихъ былъ уже сокрушенъ тобою.... Другой-же вотъ этотъ, подобный тому... Боги вручили его богу Вишну» [102]).... Такимъ образомъ и оказывается, что лукъ этотъ, натягиваніе котораго также удается Рамѣ Дазаратиду,—есть его *собственный* лукъ, такъ какъ Рама—это вѣдь тотъ же Вишну.

Какъ въ Рамаянѣ и Магабгаратѣ, такъ и въ Одиссеѣ *стрѣляніе* соединяется *со сватовствомъ* и вовсе не упоминается о какой либо *дани*, платимой съ той, или съ другой стороны—какъ въ нашихъ былинахъ. Напротивъ въ Гариванзѣ упомянута эта *дань*, только въ другомъ смыслѣ: не Кришна съ Санкаршакою сами ее везутъ къ Канзѣ, а Канза посылаетъ за нею своего казначея, который при этомъ привозитъ и Кришну съ братомъ [103]). Точно также вопросъ о дани занимаетъ видное мѣсто въ одной телеутской пѣснѣ (изъ сборника Радлова), также повѣствующей о чудесномъ стрѣляніи изъ лука. Къ ойротскому князю Конгодою приходятъ изъ *чужой стороны* три человѣка съ *желѣзными луками*: «ежели кто изъ вашихъ съумѣетъ совладать съ этимъ лукомъ, то мы станемъ ему платить день, если же нѣтъ, то вы должны платить ее намъ.» Трое княжескихъ сыновей не смогли даже и поднять этого оружія, но старшій ихъ братъ, *взявъ свой собственный лукъ*, мѣтко выстрѣлилъ изъ него, тѣже три лука, испытавъ, отбросилъ, какъ никуда негодные. Съ тѣхъ поръ тѣ три человѣка стали платить отцу его дань [104]).

Соединеніе чудесной стрѣльбы со *сватовствомъ*, *дѣломъ частнымъ*, *домашнимъ*, древнѣе, первоначальнѣе, чѣмъ соединеніе той же стрѣльбы съ вопросомъ *о дани*, предполагающимъ уже, хотя бы самыя, такъ сказать, *зародышныя*, но все уже *государственныя* отношенія. *Сватовство* только позже могло быть замѣнено въ занимающемъ насъ сказаніи *спросомъ дани*, и такая замѣна могла произойти совершенно самостоятельнымъ образомъ какъ въ Гариванзѣ, такъ и въ русской былинѣ и у Телеутовъ. [105]) Что же касается послѣднихъ, то я замѣчу, съ другой стороны, что ежели они могли заимствовать изъ Индіи (черезъ буддизмъ) *многія* изъ своихъ сказаній (никогда не *все*—полнаго отсутствія *творчества* не бываетъ и у самыхъ отъявленныхъ дикарей), то трудно понять, почему бы они, сосѣдя съ русскимъ населеньемъ Сибири, не могли заимствовать многихъ сказаній и у него. Неужели собственно Русскіе должны непремѣнно заимствовать—хотя бы у Телеутовъ?

Есть еще одна пѣсня Минусинскихъ Татаръ, по мнѣнію г. Стасова—особенно важная. Къ старику Акъ-Хану являются три богатыря, сыновья Ханъ-Миргэна, и отъ имени отца требуютъ малолѣтняго сына акъ-ханова, Агъ-Ая. При всемъ нежеланьи отца, Агъ-Ай самъ вызывается пойти къ враждебному хану. Поступивъ къ Ханъ-Миргэну, онъ получаетъ у него воспитаніе, и ханъ, видя его подросшимъ, велитъ сдѣлать ему лукъ, такой огромный и тугой, что къ ихъ юртѣ

---

102) Fauche, Ramayana, I, 406.
103) Вѣстн. Евр. Февр. 657.
104) Вѣстн. Евр. Февр. 664.
105) Ср. выше стр. 407.



насилу его притаскиваютъ шесть здоровенныхъ молодцовъ, а стрѣлы, кряхтя, приволакиваютъ пять другихъ молодцовъ. Ни одинъ изъ сыновей Ханъ-Миргэна не въ состояніи справиться въ этомъ лукомъ, но Агъ-Ай, свободно натягивая его, попадаетъ въ цѣль, намѣченную на мѣдной горѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и во всѣхъ сыновей Ханъ Миргэна, стоящихъ на скалѣ, такъ что отъ нихъ ото всѣхъ, и скалы и людей, — не осталось и слѣда. Ханъ Миргэнъ въ ярости бьетъ его желѣзной клюкой, и тогда, находя, что этими побоями онъ расквитался за воспитаніе, Агъ-Ай хватаетъ Ханъ-Миргэна за бороду и убиваетъ его объ землю. [106])—Въ первой половинѣ нашъ изслѣдователь видитъ особенную близость къ Гариванзѣ, потому что тутъ рѣчь идетъ о злоумышленіяхъ на мальчика богатыря (въ индійской поэмѣ, какъ мы уже видѣли, на мальчика Кришну злоумышляетъ царь Канза). Вторая же половина приведеннаго мѣста изъ минусинской пѣсни (стрѣляніе въ цѣль и попаданіе разомъ и въ въ скалу, и въ сыновей Ханъ Миргэна) выдается за *первообразъ* того, что Добрыня въ нашей пѣснѣ стрѣляетъ въ цѣль «далече въ чисто поле, въ то ли матерое въ дубово дерево, и разшибъ дубъ дерево въ черенье въ ножовое, и еще стрѣла не уходилася, залетѣла въ пещеру бѣлокаменну, убила змія *троеглаваго*».—«Скала, объясняетъ г. Стасовъ; превратилась у насъ въ дубъ, а три богатыря—во змѣя троеглаваго (стр, 666). Нашъ изслѣдователь разумѣетъ тутъ собственно пересказы изъ Шенкурскаго Уѣзда. Но мы знаемъ уже, что такое *разшибаніе дуба въ черенья* встрѣчается и въ другихъ былинахъ: оно обыкновенно приписывается Ильѣ Муромцу и соединяется съ цѣлью—только показать свою силу, не проливая *напрасной крови*. Приписанное въ нашемъ пересказѣ Добрынѣ Никитичу, это *разшибаніе* дуба соединяется съ тою же человѣколюбивою цѣлью. Добрыня спрашиваетъ Батыя:

«По Татаровей стрѣлять, али во чисто поле?»
—Ты куда поизволишь, туда и стрѣляй.
Разжалился стрѣлять по Татаровой,
Стрѣлялъ онъ далече во чисто поле,
Во то ли во матёрое во дубово дерево: [107])
Разшибъ дубъ дерево въ черенье во ножёвое.
(Кир. II, стр. 89).

Въ минусинской пѣснѣ, какъ не трудно замѣтить, въ основу всего положена та *личная месть*, которая составляетъ одно изъ господствующихъ началъ въ тюркскомъ эпосѣ (чѣмъ этотъ эпосъ походитъ на германскій). Въ нашихъ же былинахъ, напротивъ, и вообщее весьма рѣдко и слабо проглядываетъ личная месть; здѣсь же, въ разбираемомъ похожденьи Добрыни, ея нѣтъ и въ поминѣ—за отсутствіемъ тутъ всякой *личной обиды*. Самое основаніе похожденья совсѣмъ не личное: Добрыня съ товарищами посланы къ Батыю съ данью отъ князя Владиміра, а вслѣдствіе его подвиговъ вышло такъ, что они «не́ дали ни дани ни пошлины, а уѣзжали робята въ стольный Кіевъ градъ.» (Кир, II, стр. 89). И такъ оно кончается во всѣхъ пересказахъ. Что́ же касается *троеглаваго змѣя*, то собственно *троеглавость* его ничего не значитъ: змѣи эпическіе оказываются то *трое*, то *шести-семи*, то *двѣнад-*

[106]) Вѣстн. Евр. Февр. 664—665.

[107]) Съ этимъ можно сравнить въ сербской пѣснѣ (Вука III, стр. 309) стрѣляніе Росничемъ Стевановъ— не въ коня и јунака, а въ виту јелу.

*цатиглавыми*, и то или другое число главъ употребляется безразлично и совершенно случайно. *Змъй* же, и притомъ змѣй въ пещерѣ бѣлокаменной, какъ видѣли мы, встрѣчается въ самомъ первомъ похожденьи Добрыни; это похожденье во многихъ былинахъ смѣшалось съ другими. Такъ оно, вѣроятно, и тутъ: попаданье въ пещеры къ змѣю стало не на своемъ мѣстѣ,— и только.

Жалость стрѣлять по Татаровьямъ, сближающая Добрыню съ Ильей, совершенно соотвѣтствуетъ тому настроенью Добрыни, которое высказалось въ его жалобѣ на проливаніе крови напрасной. Такимъ образомъ К. Аксаковъ не безъ основанія говорилъ о добротѣ Добрыни, сближая съ нею и самое его имя. — Впрочемъ, только одни пересказы шенкурскіе знаютъ объ этой пощадѣ Добрынею злыхъ Татаровей (какъ и добрынина жалоба извѣстна только на сѣверѣ). Да и тутъ онъ уже успѣлъ наложить на Татаръ свою богатырскую руку. Еще до стрѣльбы въ цѣль, Батый предложилъ борьбу съ *тремя татарами*. «Со всѣми ли вдругъ бороться, или по одиночкѣ?» спрашиваетъ Добрыня?—«Какъ но изволишь, такъ и борись.»—Добрыня беретъ ихъ поочередно за воротъ, и бросаетъ о сыру землю до смерти, употребляя уже намъ знакомый пріемъ эпическій, имѣющійся не только у Минусинскихъ Татаръ, но и у Юго-Славянъ, и у Франковъ (въ chansons de geste [108]). Въ пересказѣ же изъ Павлова—другой пріемъ, еще болѣе и еще повсемѣстнѣе обычный въ эпосѣ. Тутъ уже всѣ трое молодцевъ учали по силушкѣ погуливать: гдѣ повернутся, дѣлали улицы, гдѣ поворотятся — площади). Тутъ это происходитъ послѣ *стрѣльбы*, безъ всякаго вызова на *состязанье въ борьбѣ*, которое въ этомъ пересказѣ, какъ и состязаніе въ *игрѣ*, опущено, позабыто. Напротивъ у Рябинина есть вызовъ и на *борьбу*, но и тутъ происходитъ она послѣ стрѣльбы. «Кто изъ васъ гораздъ бороться *объ одной ручкѣ?*» спрашиваетъ Бутеянъ. Пришлось и тутъ выходитъ Добрынѣ, а Бутеянъ съ Васильюшкомъ и Иванушкомъ пошли на *балконы королевскіе* смотрѣть на борьбу богатырскую [109]). Противъ Добрыни выходятъ Татаровья престрашные, «въ плечахъ у нихъ такъ велика сажень, между глазами велики пядень, на плечахъ головушки какъ пивной котелъ.» Подобнаго рода великанскіе образы уже намъ встрѣчались и прежде; столько же обычны они и въ германскомъ и во французскомъ эпосѣ [110]). Встрѣтился намъ уже разъ, при подобной встрѣчѣ, *и перепугъ* богатырскій. Ежели передъ Сокольникомъ смутился сначала и самъ Илья, то что же мудренаго, когда при видѣ Татаровей, и у молодого его побратима Добрыни *сердечушко ужахнулось*.

---

[108]) Наприм. въ Aleschans, гдѣ собственно битье о кирпичатъ полъ (мармар калдрму сербскихъ пѣсенъ):

Tant les batis....
Desor un marbre el pavement listé

Guillaume d'oranje, ed. Jonckbloet, p. 245).

[109]) Эти балконы — выраженье совершенно понятное, но, разумѣется, позднее, вставочное,—представляются г. Стасову выраженіемъ темнымъ, неопредѣленнымъ (В. Е. Февр., 658). Къ счастію для себя, онъ находитъ полное объясненіе въ Гаривансѣ: тамъ единоборство происходитъ въ театрѣ, котораго архитектура подробно описана, и царь сидитъ въ великолѣпной царской ложѣ своей: вотъ и первообразъ нашихъ балконовъ!

[110]) Наприм. въ Тидрекъ-сагѣ (см. выше стр. 66) или въ Guillaume d'Orange (éd. Jockbloet, I, 14, 293): entre II eulz ot de lé demi pié...

Пошло къ Добрынюшкѣ цѣлыми десятками.
Добрынюшка видитъ—есть дѣло немалое
Схватилъ онъ татарина за ноги,
Сталъ онъ татариномъ помахивать,
Сталъ онъ Татаровей покалачивать.
(Рыбн. I, стр. 160).

Опять особый пріемъ эпическій, который, впрочемъ, еще встрѣтится намъ не разъ.—Но, побѣдивъ такимъ образомъ въ себѣ страхъ, вскорѣ Добрыня опять испугался:

Какъ отворились-то ворота на широкъ дворъ,
Пошло оттуда силушки черным черно...
Вскричалъ тутъ Добрыня громкимъ голосомъ,
«Поспѣвайте ко мнѣ, братца, на выручку.»

Въ дополненіе ко многимъ примѣрамъ возможности такого *переполоха* изъ эпоса разныхъ народовъ, примѣрамъ, приведеннымъ у меня выше, приведу теперь даже цѣлое разсужденье изъ устъ знаменитаго франкскаго богатыря, Guillaume d' Orange, разсужденье, оправдывающее не только *испугъ*, но и *бѣгство* въ случаѣ крайней опасности. Когда племянникъ Вильгельма, Вивіенъ, далъ обѣтъ—не бѣжать никогда передъ Сарацынами, Вильгельмъ порицаетъ его за это:

Jà n'est—il home, tant seit né preuz né bers
N'estuet foïr quant il est enpressez...
Vos estes juesnes, lessiez tiex foletez.
S'il avient chose que en bataille entrez,
Fuiez moult tost, se mestier en avéz
Si com ge faz, quant ge sui encambrez
Et ge sui trop de bataille enpressez...
Bone et la fuie dont li cors est sauvez [111]).

Вильгельмъ относительно своего племянника находится въ обычномъ эпическомъ положеніи дяди—положеніи зрѣлаго, опытомъ вразумленнаго человѣка, сдерживающаго юношескій, неразумный пылъ. Между тѣмъ именно такимъ пыломъ, только сначала поиспугавшись, проникается въ разгарѣ борьбы нашъ молодой Добрынюшка, а *сдерживающимъ* лицомъ выступаетъ у насъ Васильюшка Казиміровичъ. Къ нему обращается Бутеянъ,—съ просьбой унять Добрыню и обѣщаньемъ *платить Владиміру дани до вѣку*. Поскакалъ Василій.

Налагалъ онъ храпы крѣпкіе
На него на плечики могучіе...
«Ужо вѣдь ты позавтракалъ:
Оставь мнѣ-ка пообѣдати [112]).

Но Василію Казиміровичу приходится сдерживать такимъ образомъ не одного Добрыню. Страшно расходился также и подбѣжавшій къ нему на выручку Иванъ Дубровичъ.

---

[111]) Guillaume d'Orange, éd. Jonckbloet, p. 163—164.

[112]) Это оставленье ему, Василью, боевого обѣда прямо указываетъ на то, что и онъ совсѣмъ не такой только мирный дядька, какъ Висвамитра въ Рамаянѣ. Въ своемъ мѣстѣ увидимъ мы особыя былины о Василѣ, въ которыхъ является онъ и могучимъ дѣйствующимъ богатыремъ, и горчайшимъ пьяницей. Это послѣднее обстоятельство замѣчательно тѣмъ, что такимъ образомъ не одному брахману Руру (первообразу Потыка), но и самому брахману изъ брахмановъ, святѣйшему Висвамитрѣ—суждено было превратиться у насъ на Руси въ забулдыгу!

Схватилъ онъ въ руки *желѣзну ось,*
Сталъ онъ желѣзной осью помахивати...
И сталъ онъ Татаровей покалачивать...
Бились молодцы цѣлы суточки...
Силушки видь въ нихъ не уменьшилось,
Сердце богатырско не утихнуло,
А въ орды стало силы мало ставиться.
(Р. I, стр. 161).

Но подъ «храпами крѣпкими» нàбольшаго Василья сердце сейчасъ же утихло въ обоихъ богатыряхъ.

Сперва поединокъ, а потомъ и побоище просходятъ послѣ похожденія съ лукомъ также и въ Гариванзѣ. Но пріемы, употребляемые тутъ Кришной, совершенно особые: подъ его кулакомъ, отяжелѣвшимъ надъ головою борца царя Канзы (между тѣмъ какъ колѣномъ онъ наперъ ему въ грудь) глаза у этого несчастнаго выскочили изъ своихъ мѣстъ. Сходнымъ образомъ Санкаршана ударяетъ другого борца кулакомъ въ голову, отчего, кромѣ выскочившихъ глазъ, и мозгъ у него оказался раздавленнымъ. Зато при схваткѣ съ особымъ борцомъ Кришна *отчасти* походитъ и на Добрыню: поднявъ его, онъ размахиваетъ имъ по воздуху, но размахиваетъ сто разъ и потомъ бросаетъ о земь. [113]) Далѣе же Кришна тащитъ за волосы и убиваетъ и самого царя Канзу, издавняго своего врага. Мстителемъ за послѣдняго выступаетъ его тесть, но вотъ тутъ-то, на помощь Кришнѣ и Санкаршанѣ, спадаетъ съ неба то божественное оружіе—плугъ, булава, лукъ и палица, о которомъ уже сказано было выше. Особенныя чудеса совершаетъ *плугъ,* которымъ вооружается Санкаршана.

Вотъ отъ этого-то *плуга* и производится у г. Стасова *желѣзная ось* Ивана Дубровича, при чемъ нашъ изслѣдователь замѣчаетъ, что плугъ въ индійскихъ поэмахъ очень часто употребляется какъ оружіе [114]). Въ нашей былинѣ о Микулушкѣ мы также видѣли *соху* чудесную, и притомъ также *спавшую съ неба,* но вовсе не употребляемую какъ оружіе, а служащую очевидною принадлежностью чисто-земледѣльческаго образа жизни. Что же касается *оси* Ивана Дубровича, то она не есть ни *соха,* ни *плугъ. Осью* вооружаются и въ другихъ былинахъ (плугомъ же—никогда): напримѣръ дѣвушка чернавушка, прибѣгающая на помощь къ Василью Буслаеву; но тамъ это—ось *тележная,* что̀ и должно быть подлиннѣе, древнѣе, такъ какъ смыслъ тутъ тотъ, чтобы указать на вооруженіе *чѣмъ попало.* Такихъ, въ торопяхъ вооружающихся всѣмъ, что̀ бы ни подвернулось подъ руки, оказывается очень много въ эпосѣ всякихъ народовъ. Сюда же надобно отнести и симитскаго, всѣмъ намъ уже издѣтства знакомаго силача Самсона, побивающаго Филистимлянъ попавшеюся ему *челюстью осла.* Всякаго рода *природ-*

[113]) Кромѣ борьбы съ людьми, тутъ происходитъ также борьба со слономъ—особенность уже индійская. А между тѣмъ г. Стасовъ думаетъ, что и въ нѣкоторыхъ былинахъ у насъ на Руси расхаживаютъ даже слоны, какъ туземныя животныя. «(В. Евр. Іюль, 293, примѣч. 9)» Онъ ссылается при этомъ на слѣдующее мѣсто изъ пѣсни, записанной въ Нижегородской Губерніи (Кир. III, стр. 36):

Не два слона въ чистымъ полѣ слонятся
Слонятся-шатаются два богатыря.

Но тутъ очевидное недоразумѣніе: слонъ въ этомъ мѣстѣ просто происходитъ отъ глагола слонаться; это вообще слоняющееся существо. Впрочемъ, другія, невѣдомыя у насъ животныя, львы, барсы, дѣйствительно зашли въ нашъ эпосъ, подобно тому какъ левъ замѣнилъ туземнаго царя медвѣдя въ германскомъ эпосѣ, нимало однакоже не нарушивъ господствующей народности этого послѣдняго. (См. у Як. Гримма въ началѣ его «Reinhart Fuchs.»

[114]) Вѣстн. Евр. Февр. 658.

*нымъ, случайнымъ* оружіемъ готовы воспользоваться даже такіе *богатыри* съ оттѣнкомъ уже чисто *рыцарскимъ*, какъ герои chansons de geste. Такъ Ожье въ одномъ случаѣ вооружается *желѣзною полосой* (barre de fer), оторванной имъ отъ стѣны; въ другомъ — даже просто *сѣдломъ*. Такъ Вильгельмъ Оранжскій vit un pel aiguisé, passa avant, si l'en a esrachié; въ другомъ же случаѣ оружіемъ служитъ ему tynel qui por feu fere i estoit aporté. Уже намъ извѣстный (по бою съ отцомъ) сподвижникъ его, обратившійся Сарацинъ, отъ подобнаго же *оружія* получилъ даже и прозвище — Renoart au tynel [115]). Такъ и одинъ изъ героевъ поэмы Gaydon, именно vavasseur Gautier — вооружается d'un gambeson tout vieux et enfumé [116]). На ряду съ подобнаго рода оружіемъ можетъ быть поставлено и то *дерево*, которое вырываетъ и обдираетъ, *для* удобнѣйшаго употребленія, силачъ Бгима въ томъ соотвѣтственномъ мѣстѣ Магабгараты, гдѣ также, послѣ похожденія съ лукомъ, происходитъ побоище—вслѣдствіе зависти большинства присутствующихъ къ побѣдителю въ стрѣльбѣ Арджунѣ и брату его Бгимѣ [117]). Братья выходятъ однако же побѣдителями изъ страшной многолюдной свалки.

Сходная всеобщая свалка происходитъ, какъ извѣстно, и въ Одиссеѣ, гдѣ побѣдителемъ надо всѣмъ множествомъ *женихов* своей вѣрной жены остается наконецъ Одиссей при помощи своего сына (и такъ опять главнымъ образомъ *двое*, хотя имъ помогаютъ, кромѣ того, и нѣкоторые служители). Но *вооруженія чѣмъ попало* въ греческой поэмѣ нѣтъ.

Мы можемъ такимъ образомъ заключить, что не только стрѣляніе изъ чудеснаго лука, но и слѣдующая затѣмъ свалка, кончающаяся въ пользу того, кто одолѣлъ и въ стрѣльбѣ, — составляетъ общую принадлежность какъ индійскихъ, такъ и греческаго, и русскихъ сказаній. Если въ послѣднихъ исчезла такая древняя принадлежность, какъ *сватовство*, то еще есть, какъ будтобы, намеки на то, что подобно Зитѣ, женѣ Рамы, и Настасья, жена Добрыни, возникла изъ земледѣльчески-миѳическаго представленія. Зита—только названая дочь царя Ганаки; на самомъ же дѣлѣ она родилась внезапно изъ *борозды*, проведенной въ полѣ [118]). О рожденіи Настасьи мы ничего не знаемъ, но отчество *Микулична* указываетъ въ ней какъ бы дочь *Микулы*, этого чудеснаго Селяниновича съ его тяжелымъ плугомъ. Первоначально могли у насъ существовать былины, въ которыхъ *стрѣльбой* и *борьбой* пріобрѣталась рука Настасьи — пріобрѣталась, быть можетъ, вторично, послѣ долгаго отсутствія отъ нея, какъ въ изводѣ греческомъ. *Соединеніе* съ *гуслями лука* въ пересказѣ Рябинина составляетъ, быть можетъ, уцѣлѣвшій намекъ на то, что первоначально эта *стрѣльба* происходила одновременно съ *игрою*

[115]) Gautier, les Epopées Françaises, II, 237, 240, 467. Guillaume d'Orange, éd. Jonckbloet, p. 51, 135.

[116]) Этотъ Gautier—изъ числа рѣдкихъ въ западномъ эпосѣ лицъ происхожденья крестьянскаго (см. выше стр. 237).

[117]) В. Евр. Февр. 668. Замѣчательно наконецъ, что и Индра въ «Ригъ-Вѣдѣ» побиваетъ враговъ костью (гимнъ 84—см. въ Orient und Occident, B. II, H. 2, p. 245). Вотъ этотъ незапамятно древній восточный примѣръ дѣйствительно принадлежитъ къ одному эпическому разряду съ нашей былевою чертою и другими приведенными разнонародными; но и этотъ восточный примѣръ—нисколько не первообразъ.

[118]) Fauche, Ramayana, I, 365. (Араніаканда, гл. IV).

*на гусляхъ* мнимаго *скоморошины.* Все это—только предположенія. Но, что касается собственно *греческаго* вида сказанія, то принадлежность къ одной съ нимъ основѣ и нашихъ былинъ не подлежитъ никакому сомнѣнію—потому что *возвращающійся Добрыня* своимъ положеніемъ вполнѣ соотвѣтствуетъ *возвращающемуся Одиссею* (послѣдній, также принимаемый сперва за бродягу, даже узнается по *рубцу* на ногѣ, какъ въ нѣкоторыхъ изъ нашихъ пѣсенъ Добрыня узнается по *знадеѣкѣ* на ногѣ же [119]). Между тѣмъ ни Кришна, ни Рама, ни тюркскіе стрѣлки изъ большого лука, не находятся въ положеніи *возвращающагося къ женѣ*, и изводъ *азіятскій* такимъ образомъ остается въ сторонѣ отъ того пути, какимъ направился *европейскій*, отпрысками котораго, кромѣ *греческаго* и *славянскихъ*, служатъ также, какъ мы скоро увидимъ, *германскій*, *романскій* и *кельтскій*.

Греческій Одиссей, только что оказавшійся соотвѣтствующимъ Добрынѣ, выше оказывался уже, какъ можно припомнить, соотвѣтствующимъ, также въ качествѣ *возвращающагося*, другому главнѣйшему изъ нашихъ богатырей, Ильѣ Муромцу: онъ ему соотвѣтствуетъ по борьбѣ со своимъ собственнымъ сыномъ. Между тѣмъ мы имѣемъ одинъ пересказъ былины о возвращающемся Добрынѣ, гдѣ и этотъ послѣдній враждебно сталкивается со своимъ порожденіемъ. Это тотъ, нерѣдко уже отмѣчавшійся у меня, какъ плохой, пересказъ Потапа Потахина, который помѣщенъ у г. Рыбникова въ III ч. подъ № 17. Въ немъ не достаетъ обычной въ олонецкихъ пересказахъ *добрыниной жалобы*, которая замѣняется *просьбою о благословеніи* поразмять плечо (подобно нѣкоторымъ пересказамъ Кирѣевскаго), просьбою, обращаемою къ старой матушкѣ (въ этомъ послѣднемъ отношеніи согласно съ Киршей). Тутъ такимъ образомъ какое то странное смѣшеніе различныхъ былевыхъ изводовъ. Далѣе слѣдуетъ подробнѣйшее описаніе вооруженья Добрыни, и при этомъ перечисляется, что весьма рѣдко въ былинахъ, всевозможное оружіе. Наконецъ со стиха 74-го начинается весьма необычное въ былинахъ и отзывающееся искусственностью безпрестанное употребленіе рифмующихся глаголовъ: прохлаждается, опасается, увѣряется, пробуждается, прогуляется, и т. д. Чѣмъ-то искусственнымъ, позднимъ и книжнымъ отзываются и слѣдующіе стихи:

И не можетъ (Добрыня) дождаться никакого *воина*,  
Никакого *воина* къ себѣ и богатыря.  
День отъ дня времячко прохлаждается,  
И *никакой земли* богатырь къ нему не является.

Наконецъ-то приближенье богатыря будитъ заснувшаго въ полѣ Добрыню: богатырь посвистываетъ, Добрыня *веселымъ* духомъ ободряется и подраж-

---

[119]) Но по нѣкоторымъ пересказамъ, какъ видѣли мы, и на другихъ частяхъ тѣла. Замѣчательно, что узнаваніе по родимому пятну—(на ногѣ и подъ мышкой) уцѣлѣло и въ одной новогреческой пѣснѣ о возвращающемся послѣ десятилѣтняго отсутствія мужѣ; только тутъ эти знаки не у него, а у нея. Кромѣ того замѣчателенъ тутъ и двѣнадцатилѣтній срокъ ожиданья: при видѣ возвращающагося, не узнавая его, она говоритъ ему, что ждала мужа десять лѣтъ и будетъ ждать еще два (Амарантосъ или розы возрожденной Эллады, произведенія народной поэзіи нынѣшнихъ Эллиновъ, собранныя Г. Эвлампіосомъ. С. Пб. 1843 г. № XXIV). Не лишнее будетъ упомянуть и о томъ, что мать Рено узнаетъ его, при возвращеніи, по рубцу на лицѣ (Renaus de Montauban, éd. Michelant, p. 91): такъ и по пересказу Поромскаго Старика у Добрыни три знамени на лицѣ. (Рыбн. ч. III, стр 73, ст 142, а № пѣсни 16).



нивает богатыря. На боевыя палицы сражаются,—приломалися; потомъ на сабли,—и тѣ приломалися, а потомъ оба выпали со добрыхъ коней и стали другъ съ другомъ таскатися, подъ ними земля подгибатися,—словомъ, совершенно какъ у Ильи съ Сокольникомъ. Точно также, когда, одолѣвъ наконецъ *короля* (такъ онъ тутъ названъ пѣвцомъ, еще прежде, чѣмъ самъ себя называетъ), Добрыня заноситъ на него руку,—во плечѣ рука застоялася (только одно *схватываніе за волосы*, прежде киданія объ землю, составляетъ сколько нибудь самостоятельную черту). Далѣе, послѣ двоекратнаго запирательства, признаніе побѣжденнаго таково: «есть я богатырь съ золотой земли, съ золотой орды, король земли бухарскія». Добрыня цѣлуетъ его послѣ этого: «Свези своей матушкѣ низкой поклонъ, отъ Добрынюшки челобитьице, золотые подарки во милости.» Конецъ — совершенно какъ въ олонецкомъ изводѣ *боя Ильи съ Сокольникомъ*, только безъ указанія побудительныхъ причинъ и опять съ безобразнымъ риѳмованьемъ:

Тутъ Добрынюшка на крѣпкій сонъ ободряется,
Такъ богатырь взадъ ворочается,
Къ бѣлу шатру приближается.
Вострую саблю обнажается,
Хватилъ онъ Добрыню по бѣлой шеи,
Вострая сабля бѣлой шеи не забрала.

(такимъ образомъ не достаетъ *оберега*, спасающаго, какъ мы знаемъ, Илью)

Отъ того ли страху ужасается,
Отъ крѣпкаго сна пробуждается,
Схватилъ короля за желты кудри
И кидалъ во сыру землю,
Предалъ смерть ему скорую.
Со той великой *во радости*
Ѣстъ и пьетъ—прохлаждается.
(Рыбн. III, 81—82).

Эта *радость* опять составляетъ особенность, но въ высшей степени неумѣстную и неидущую ни къ Ильѣ, ни къ Добрынѣ. Ею увѣнчивается испорченность всей былины, къ *позднимъ* чертамъ которой принадлежитъ и упоминаемая вслѣдъ за тѣмъ *каменна Москва* (куда собирается одинъ изъ голубей, извѣщающихъ Добрыню, вслѣдъ за боемъ его съ *королемъ*, о выходѣ замужъ его жены), и та (замѣшавшаяся, должно быть, по связи съ Москвою) *палатушка грановитая*, гдѣ происходитъ свадебный пиръ и гдѣ, при появленьи Добрыни, *народы всѣ* ужахнулися.—

При всѣхъ этихъ свойствахъ потахинскаго пересказа, тѣмъ меньшее значеніе получаетъ попадающееся только въ немъ одномъ столкновенье Добрыни съ сыномъ. По всей вѣроятности оно произошло лишь вслѣдствіе смѣшанности и перепутанности былевыхъ представленій въ памяти и въ воображеньи пѣвца. Но возможность такого смѣшенія объясняется, всетаки, самою, такъ сказать, *природой* того, что *смѣшано*. Намъ будетъ не трудно вспомнить, что кромѣ *возвращающагося* Одиссея, враждебное столкновеніе съ сыномъ приписывается и *возвращающемуся* Гильдебранду, котораго даже жена узнаетъ совершенно такимъ же образомъ, какъ Добрыню, при помощи подаваемаго ей *кольца*. То-же самое *кольцо*, какъ мы знаемъ, встрѣчается и въ другихъ изводахъ того-же сказанія о *возвращающемся къ женѣ послѣ боя на пути съ сыномъ*. На это давно уже было обращено вниманіе Вильгельмомъ

Мюллеромъ въ его любопытной статьѣ: Die Fahrt in den Osten, составляющей одно изъ приложеній къ сборнику нижне саксонскихъ сказаній, изданныхъ имъ вмѣстѣ съ Шамбахомъ. [120]) Статья эта представляетъ цѣлое сравнительное изслѣдованіе, касающееся того ряда сказаній, который насъ теперь занимаетъ. Въ ней не достаетъ весьма важнаго—славянскихъ изводовъ, съ которыми, главнымъ же образомъ съ русскимъ, мы уже обстоятельно познакомились, при ознакомленіи же съ прочими изводами европейскими статья В. Мюллера можетъ намъ послужить прекраснымъ пособіемъ. Прежде всего разсмотримъ изводы *устные*, какъ ближайшіе, по этому своему свойству, къ славянскимъ. Сюда относится нѣмецкая народная пѣсня von dem edlen Möringer. [121]) Онъ возвращается изъ Святой Земли въ то самое время, когда жена его готова выйти за Herr v. Neufen, подъ *покровительствомъ котораго онъ ее оставилъ:* своеобразное указаніе на ту *близость отношеній*, какая въ русскомъ изводѣ выражается *братствомъ названымъ* между Добрынею и Алешей. О грозящей ему бѣдѣ извѣщаетъ отсутствующаго ангелъ Господень во снѣ—позднѣйшая христіанская замѣна какого нибудь первоначальнаго *крылатаго* вѣстника—подобнаго *голубямъ* въ нѣкоторыхъ русскихъ пересказахъ (птицы древнѣйшихъ преданій обыкновенно замѣнялись *ангелами*). Проснувшись послѣ этого сна, Möringer увидѣлъ себя близь своего замка. Здѣсь это, повидимому, дѣлается *чудомъ* въ христіанскомъ смыслѣ, тогда какъ въ нашихъ былинахъ быстрота возвращенія объясняется *ускоками* чудеснаго не въ христіанскомъ смыслѣ коня богатырскаго. Срокъ отсутствія короче, чѣмъ въ большей части русскихъ пересказовъ—всего семь лѣтъ, подобно тому, какъ и въ вышеуказанной польской пѣснѣ о панѣ Домбровѣ. [122]) Тотъ же срокъ и въ одномъ швабскомъ (уже прозаическомъ) сказаніи (sage), также въ нѣкоторыхъ другихъ (уже значительно видоизмѣненныхъ) нѣмецкихъ и въ двухъ изъ Нормандіи [123]) Въ швабскомъ сказаніи (подобно польскому) встрѣчается и *наказъ*, даваемый отъѣзжающимъ (Herr v. Bodmann) женѣ—ждать его семь лѣтъ. Затѣмъ онъ тутъ ѣдетъ—просто на *край свѣта* и попадаетъ къ *людоѣду* (въ томъ и другомъ—уже сказочная терминологія). Этотъ, извѣщая его о сватовствѣ за его жену, переноситъ его въ одну ночь на родину. Никто не узнаетъ его тамъ, какъ Добрыню и Одиссея, пока онъ не открывается посредствомъ *кольца* женѣ (въ другомъ пересказѣ изъ Швабіи этого средства узнанія уже не имѣется, напротивъ въ особомъ сказаньи изъ Швабіи же про Роберта von Calv, кольцо даже *опускается имъ женѣ въ кубокъ*, совершенно какъ въ нашихъ былинахъ). Въ одномъ изъ двухъ нормандскихъ сказаній возвращающійся de Baqueville даетъ женѣ *половину кольца* (другую же онъ оставилъ у нея при отъѣздѣ). Отъѣзжаетъ онъ, по-

[120]) Niedersächsische Sagen und Märchen aus dem Munde des Volkes gesammelt und mit Anmerkungen und Abhandlungen herausgegeben v. G. Schambach u. W. Müller, Göttingen 1855.

[121]) Ее можно найти у Уланда въ Deutsche Volkslieder, I, 298, etc.; также въ сб. Митлера и др.

[122]) Roger, Piesni ludu polskiego w gornym Szlasku, № 25.

[123]) См. въ статьѣ В. Мюллера стр. 391, 399, 400, 402 и слѣдующія.



добно Мёрингеру, въ Св. Землю, и именно въ крестовый походъ (болѣе древній оттѣнокъ). Вотъ тутъ-то и попадаетъ онъ на семь лѣтъ въ *невольничество къ Сарацынамъ*, изъ котораго спасается въ одну ночь чудомъ св. Юліана, вслѣдствіе обѣта выстроить этому святому церковь. Въ другомъ нормандскомъ сказаніи мужъ посылаетъ женѣ половину кольца обручальнаго черезъ герцога Ричарда I, который далъ ему знать о намѣреніи ея черезъ три дня обвѣнчаться съ другимъ. Герцогъ освобождаетъ его вмѣстѣ съ тѣмъ изъ плѣна у Сарацынъ, продолжавшагося семь лѣтъ (W. Müller, 402). Подобно обоимъ нормандскимъ героямъ, *попадающимъ въ плѣнъ* оказывается, въ одномъ опять Швабскомъ сказаніи, Ульрихъ г. Бухгорнъ; но плѣнъ этотъ—въ Угріи, гдѣ воевалъ онъ. (По этому *попаданью въ плѣнъ* оба только что поименованныя сказанія попадаютъ въ одинъ эпическій рядъ съ уже намъ извѣстнымъ сербскимъ о Стоянѣ Янковичѣ.)—Конецъ въ сказаніи швабскомъ весьма измѣненъ: жена, не дождавшись мужа, идетъ въ *монастырь*, и сюда то приходитъ онъ къ ней *нищимъ* (въ этомъ отношеніи опять какъ Одиссей и Добрыня). Имѣется еще нѣсколько сказаній нѣмецкихъ, въ которыхъ конецъ совершенно забытъ, а есть только внезапное попаданіе въ долговременный плѣнъ и внезапное возвращеніе изъ него, однимъ полетомъ, на родину. [124])

Не трудно замѣтить, что во всѣхъ приведенныхъ расказахъ имя *возвращающагося* постоянно мѣняется, такъ что даже въ каждомъ *нѣмецкомъ* расказѣ—героемъ является непремѣнно лицо совершенно особое. Уже это одно, кромѣ многаго другого, можетъ служить признакомъ утраты въ этихъ сказаніяхъ той *устойчивости*, которая замѣчается въ нашихъ былинахъ, выставляющихъ возвращающимся изъ отлучки постоянно Добрыню. *Смѣна именъ* служитъ обыкновенно переходною ступенью къ той *безыменности*, какою ознаменовывается совершенная порча сказанія. Такимъ *безыменнымъ лицомъ* является въ одномъ баварскомъ сказаньи крестьянинъ, попадающійся въ плѣнъ къ Французамъ въ 1812 г. (вотъ до чего тутъ дошло подновленіе) и вдругъ, вслѣдствіе даннаго ввечеру благочестиваго обѣта, просыпающійся въ своемъ домѣ. (Статьи В. Мюллера стр. 394).—Нѣсколько, по большей части *безыменныхъ* же пересказовъ нѣмецкой пѣсни о томъ же эпическомъ похожденіи, съ отпечаткомъ и въ другихъ отношеніяхъ весьма уже позднимъ, было недавно сопоставлено Р. Кёлеромъ со сходными пѣснями изъ различныхъ мѣстностей Франціи [125]) Это, по большей части, уже пѣсни о *возвращающемся солдатѣ*, что подходитъ къ нѣкоторымъ проблескамъ *рекрутскаго* настроенія въ кое какихъ пересказахъ былины о возвращающемся Добрынѣ (см. выше). *Солдатомъ* является наконецъ безыменный герой въ одной пѣснѣ бретонской [126]), вообще весьма видоизмѣненной и, очевидно, поздней, но сохранившей одна-

---

[124]) Сюда относятся въ сборникѣ Шамбаха и В. Мюллера № 52 и 168 См. также въ статьѣ В. Мюллера стр. 393 и 394.

[125]) Въ журналѣ Эберта für Romanische und Englische Litteratur, VIII, III, 356—359. Пѣсни эти—изъ сборника Bujeaud, Chants et chansons populaires des provinces de l'ouest, Niort, 1866, t. II, p. 84—90 (сюда же можетъ быть отнесена, по основѣ, и въ 1-й ч. на стр. 290—292 пѣсня le conscrit). Еще два пересказа можно найти въ сборникѣ Puymaigre: Chants populaires, recueillis dans le pays messin, Paris, 1865, p. 20—26. Въ примѣчаніяхъ къ одной изъ нихъ есть весьма любопытныя сравнительныя сопоставленія (стр. 22—24).

[126]) Villemarqué, Barzaz Breiz, I. № XXXII.

коже ту, хорошо знакомую намъ черту, что новобрачный вызывается въ походъ на *другой же день послѣ свадьбы.* Сохранилось также (существующее, впрочемъ, почти повсемѣстно) переодѣваніе возвращающагося *нищимъ*, но при этомъ, по бретонскому обычаю выбирать въ пляскѣ одного изъ непремѣнно присутствующихъ нищихъ, молодая идетъ съ нимъ въ пляску, и вотъ тутъ то онъ спрашиваетъ ее, куда она дѣвала его кольцо? Въ такомъ-то измѣненномъ видѣ является тутъ это, проходящее черезъ всѣ края, чисто эпическое кольцо. Сильная степень измѣненности замѣтна и въ томъ, что жена солдата *видитъ его убитымъ во снѣ* и вслѣдствіе этого рѣшается выйти за другого, еще же болѣе въ томъ, что возвратившійся мужъ убиваетъ ее за измѣну [127]). Зато опять поболѣе близости къ нѣкоторымъ изводамъ преданія въ тѣхъ *сорокахъ* (замѣняющихъ нашихъ *голубей—вѣстниковъ*), которыя наговариваютъ отсутствующему: «если измѣнчиво море, то женщины и того измѣнчивѣе.» Это отчасти подходитъ къ словамъ самого Добрыни въ нѣкоторыхъ пересказахъ нашей былины. Между тѣмъ все содержаніе, цѣлый ходъ многихъ другихъ выставляетъ Настасью Микуличну скорѣе вѣрною женою, уступающею только насильству, хотя она и далеко отстаетъ тутъ отъ Пинелопы, не уступающей ничему!

Не трудно было замѣтить, что во всемъ этомъ множествѣ западно-европейскихъ расказовъ о *возвращающемся мужѣ*, при всей разительной *подновленности* большей части изъ нихъ, все еще сохранились существенныя черты преданія.[128]) Но мы имѣемъ еще книжныя обработки того же преданія; наиболѣе извѣстною, конечно, является та, которая находится у Боккачіо въ Декамеронѣ: объ Итальянцѣ, перенесенномъ чародѣемъ прямо съ востока въ Павію, гдѣ оставалась его жена, только что собравшаяся опять за мужъ, но узнающая его, какъ и вездѣ почти, по кольцу.[129]). Остальныя обработки, заключаются въ различныхъ старонѣмецкихъ поэмахъ (отчасти и въ хроникахъ) и во франкскихъ chansons de geste. При такой *давности* обработки многое тутъ уцѣлѣло полнѣе, чѣмъ въ устныхъ западно-европейскихъ расказахъ, но всетаки, какъ мы убѣдимся, не въ той полнотѣ и несмѣшанности, какъ въ нашихъ, хотя и устныхъ былинахъ. Одно изъ отличій старинныхъ книжныхъ изводовъ—въ томъ, что вмѣсто различныхъ, ничѣмъ не извѣстныхъ *бароновъ*, sieur'овъ, *солдатъ* (или даже крестьянъ) въ положеніи *возвращающагося мужа* являются тутъ очень часто знаменитыя личности историческія. Правда, уже въ одномъ изъ нормандскихъ устныхъ сказаній мы встрѣтили

---

[127]) Въ этомъ отношеніи бретонская пѣсня стоитъ совершенно особнякомъ, и это въ ней, разумѣется, признакъ одичалости, объясняемой упадкомъ народнаго творчества.

[128]) Отдѣленнымъ отголоскомъ того же преданія служитъ также одна ново-греческая сказка, въ которой перемѣшаны различныя эпическія основы. Тутъ младшій братъ, добывъ невѣстъ для себя и для старшихъ братьевъ, предсказываетъ своей невѣстѣ, что за нее будетъ свататься вдовый его отецъ: «но ты жди меня годъ, три дня и три часа, а если я не вернусь въ этотъ срокъ, ты можешь за него выйти». Вслѣдствіе измѣны братьевъ оставшись въ подземномъ царствѣ, онъ, послѣ множества похожденій, спасдываетъ. Приходя домой въ видѣ поваренка и позванный неузнающимъ его отцомъ для сказыванія сказокъ, онъ, пользуясь этимъ, высказываетъ все свое похожденіе (эта древняя черта такимъ образомъ сохранилась и тутъ) (См. въ сборникѣ Гана въ ч. II стр. 54 и 61). Одно изъ отличій этой новогреческой сказки—въ томъ, что у богатыря перехватывается другимъ не жена, а невѣста; то-же и въ сербской былинѣ у Вука—въ ч. II, № 94 (Женидба Тодера Јакшића).

[129]) См. въ статьѣ В. Мюллера стр. 393.

герцога Ричарда I, но тамъ ему достается только второстепенное положеніе *вѣстника объ измѣнѣ жены и возвратителя* восвояси *мужа.* (Такъ и въ вышеприведенномъ швабскомъ сказаніи объ Ульрихѣ фонъ-Бухгорнъ упоминается *Генрихъ Неицелевъ*, но только какъ *дядя жены* Бухгорна [130]). Напротивъ старонѣмецкая поэма о *Генрихѣ Львѣ* выставляетъ въ положеніи *возвращающагося*—самого этого пресловутаго герцога. (Впрочемъ, она имѣется въ разныхъ изводахъ, и въ нѣкоторыхъ онъ просто называется *Браунчвейгомъ*). Генрихъ Прёле въ своихъ Deutsche Sagen (Berlin 1863) обстоятельно передаетъ содержаніе такой поэмы по вольфенбюттельской рукописи конца XVI ст., а въ отдѣльно изданныхъ примѣчаніяхъ къ этой книгѣ онъ перепечаталъ и главнѣйшія части подлинника (и тутъ герцогъ названъ Генрихомъ Львомъ собственно только въ заглавіи). Поэма эта отличается примѣсью различныхъ, совершенно постороннихъ сказаній, довольно искуственно связанныхъ съ основнымъ. Причиною отъѣзда герцога, согласно съ духомъ германскаго богатырства, является то, что

> Preis wolte er erlangen—
> Zog weid in frembde land.

При этомъ онъ набралъ себѣ *свою собственную дружину служилую.*

> Er nam an Ritter und Graffen,
> Es waren seine Unterthanen,
> Nach Ebenthewrn [131]) stets düratetén.

Они отправляются моремъ, испытываютъ бурю, потомъ голодъ, поочередно, по жребію, переѣдаютъ одинъ другого, такъ что подъ конецъ въ живыхъ остаются только самъ герцогъ и его вѣрный слуга. О томъ, чтобы жребій миновалъ герцога, усердно молились Богу его Unterthanen, самихъ себя отдававшіе преохотно въ снѣдь. Но наконецъ жребій выпалъ и герцогу, только слуга не захотѣлъ его скушать. Ihr seid ja Hochgebohrn, говоритъ онъ ему съ холопскимъ благоговѣніемъ и предлагаетъ зашить его въ кожанный мѣшокъ, что и исполняетъ, положивъ ему туда про запасъ и его богатырскій мечъ. Откуда ни возмись птица Грифъ, подобная обще-европейскимъ сказочнымъ птицамъ и древне персидскому Зимургу въ Шахъ-Намѣ, съ тою разницею, что тѣ *спасаютъ* погибающаго героя, а эта уноситъ его въ свое гнѣздо, какъ пищу своимъ дѣтенышамъ. Герцогъ однакоже вырѣзаетъ себѣ мечомъ дыру въ мѣшкѣ и, вылѣзая оттуда, истребляетъ гнѣздо Грифа. Затѣмъ является онъ помощникомъ льву въ боѣ его съ дракономъ, и левъ, изъ благодарности, становится его спутникомъ и помощникомъ [132])—какъ въ кельтскомъ сказаніи объ Iwein'ѣ, совершенно справедливо замѣчаетъ Прёле (указывая притомъ и вообще на преданія о благодарныхъ животныхъ — у раз-

---

[130]) См. въ той же статьѣ стр. 391.

[131]) Не понимаю, почему у Прёле стоитъ тутъ вопросительный знакъ. Это, очевидно, испорчено изъ Abenteuer (приключеніе, похожденіе).

[132]) Всѣ эти приключенія Генриха, по замѣчанію В. Мюллера, «не находятся вовсе въ связи съ германскою эпическою стариной, и подобно другимъ чудесамъ востока, основываются на позднѣйшемъ изобрѣтеніи, или же только извнѣ зашли въ Германію. (стр. 409).



ныхъ народовъ)[133]. Герцогъ, впрочемъ, сначала боится льва и хочетъ одинъ переправиться черезъ море, но левъ, съ наловленной дичью, вспрыгиваетъ къ нему на плотъ. Дальнѣйшимъ путеводителемъ герцога является **Wirth aussen Nobis-Krug**, въ лицѣ котораго скрывается самъ *нечистый*, спасающій его, вмѣстѣ со львомъ, изъ волнъ, по которымъ носилъ его вѣтеръ. Нечистый же сообщаетъ ему при этомъ:

Ein Ander aus frembden Landen
Der krigt dein Weib und Landt.

Герцогъ находитъ это совершенно возможнымъ:

Ich bin ja ausgewesen
Länger den **sieben** ihar,
Sie werden nicht anders denken,
Ich sey weck von der Weldt!

Собственно только съ этихъ поръ, такимъ образомъ, выясняется тутъ занимающее насъ преданіе. *Нечистый* въ качествѣ вѣстника является прямо противоположною замѣною того *ангела*, котораго видѣли мы въ этомъ случаѣ въ одномъ изъ нѣмецкихъ-же пересказовъ; а далѣе *помощь* того же нечистаго оказывается замѣною того *чуда*, совершаемаго святымъ, какое также видѣли мы въ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ расказахъ. Какъ чудо *святого*, оно можетъ быть признано соотвѣтствующимъ чуду *Миколы Можайскаго* въ нашихъ былинахъ о спасеніи Садки Новгородскаго,[134] а какъ спасеніе *со дна моря* это послѣднее чудо является соотвѣтственнымъ помощи нечистаго, оказываемой *среди волнъ*. Какъ Садко, благодаря Миколѣ, разомъ переносится въ Новгородъ, такъ и герцогъ, при помощи чорта, разомъ переносится въ Брауншвейгъ. Впрочемъ и этотъ извратившійся, *темный* видъ чуда имѣется и у насъ на Руси—въ томъ сказаніи объ Іоаннѣ Новгородскомъ, которое вошло въ рукописное житіе[135]. Тамъ оно христіански объяснено тѣмъ, что Іоаннъ, силою крестнаго знамени подчинивъ себѣ чорта, заставляетъ его перенести себя прямо изъ Іерусалима въ Новгородъ. Здѣсь же, въ нѣмецкой поэмѣ, нечистый (напоминая въ этомъ отношеніи сказанія разныхъ народовъ о договорѣ со злою силою—куда относится также и «Фаустъ»), предлагаетъ перелетѣть съ герцогомъ въ Брауншвейгъ, но говоря при этомъ: wenn du wilt mein eigen sein... (тутъ еще присоединяются подробности, мною опускаемыя; далѣе же и самое условіе забывается сочинителемъ).—Въ дальнѣйшемъ ходѣ расказа уже нѣтъ такой разнородной примѣси. Не узнавая возвратившагося герцога, Trabanten und auch Leute die drewten ihn zu schlan. «Du bist ein Ummelaufer», говорили они ему—подобно тому, какъ и во всѣхъ изводахъ возвращающагося принимаютъ за *бродягу*.[136] Онъ однакоже добивается,

---

[133]) Anmerkungen und Sachregister zu den D. Sagen v. H. Pröhle, Berlin 1863, S. 21.

[134]) Рѣчь объ нихъ еще впереди.

[135]) См. въ 1 вып Пам. стар. Р. Литер. изд. Н. И. Костомаровымъ. Замѣчу мимоходомъ, что какъ Іоаннъ первоначально покоряетъ себѣ чорта тѣмъ, что заключаетъ его въ сосудъ, такъ оно происходитъ со злыми духами и во многихъ восточныхъ сказкахъ, приводимыхъ у Бенфея въ его «Пантша-Тантрѣ» (I, стр. 116—117) (Ср. Grimm. Kinder Märchen, III, 179—181; Schott, Wal. Märchen, № 7)

[136]) Въ былинахъ — за **мужика деревенщину**

чтобы о немъ доложили герцогинѣ, собирающейся вѣнчаться, и попросили ее выслать ему внизъ кубокъ съ виномъ. Дождавшись кубка, герцогъ опускаетъ въ него *половину кольца*, на *которой былъ вырѣзанъ его гербъ* (черта, очевидно, присочиненная). Герцогиня догадывается:

Da er von mir thete scheiden...
That ihn (т. е перстень) von ander schneiden,
Das ist gewis und war...
Länger als sieben Jahr.
Kom ich den nun nicht wieder...
Sprach mein edler Herre,
So nehmet ein ander Gemahl.

Разрѣшенье на это съ его стороны такимъ образомъ тутъ имѣется, но нѣтъ проходящаго черезъ наши русскіе пересказы запрещенія выйти *за такого-то*. Женихъ въ нѣмецкой поэмѣ (какъ и по большей части въ изводахъ не русскихъ)—лицо безыменное; но, отчасти подобясь Алешѣ, онъ какъ будто-бы насмѣхается надъ собой:

Nun ist meine Sache verloren:
Durch den Korb bin ich hindürch...
Jhehabe ein Wild geiagt,
Ein ander hat es gefangen.

Въ утѣшеніе же ему употребляется то же самое средство, какое уже видѣли мы въ болгарскихъ пѣсняхъ: какъ тамъ возвращающійся выдаетъ за него сестру свою, такъ здѣсь у герцога находится для него—ein Frewlein her auss Franken. Вся разница въ томъ, что въ болгарской пѣснѣ основою служитъ при этомъ *родовое* (патріархальное) *право брата*, здѣсь же, въ нѣмецкой поэмѣ, не менѣе грубое *феодальное право*, по которому сюзеренъ могъ располагать рукою дочерей своихъ вассаловъ [137]).

Другая нѣмецкая поэма о томъ же, содержаніе которой передается Мюллеромъ по изданію Массмана (стр. 389), во всемъ существенномъ сходится съ только что мною разобранною. Но Брауншвейгъ, по возвращеніи отъ св. гроба, не узнается своими потому, что весь *обросъ волосами*—wie ein wilder Mann. (Подобно этому sicuti barbatus, возвращается мужъ въ латинской рукописи Цезарія von Heisterbach; гдѣ этому возвращающемуся придается особое имя—Gerhardt von Holenbach). [138])

Прёле передаетъ еще, подъ № 3 своихъ «Sagen,» содержаніе другой поэмы, также XVI ст., основой которой равнымъ образомъ послужили сказанія устныя. Поэма эта — Thedel unverzagt von Walmoden. Такъ называется въ ней одинъ изъ вассаловъ Генриха Льва, мигомъ перелетающій въ Іерусалимъ верхомъ на встрѣтившейся ему чуднымъ образомъ *чорной козѣ* [139]) Въ Іерусалимѣ застаетъ онъ, сверхъ ожиданія, герцога Генриха (здѣсь онъ именно такъ и названъ) вмѣстѣ съ его львомъ, и сообщаетъ ему, что гер-

[137]) Разительные примѣры этого встрѣчаются въ chanson des Lohérains.

[138]) Онъ особенно почиталъ св. Ѳому. Однажды является къ нему чортъ въ образѣ калики-паломника, и проситъ во имя этого святого себѣ пріюта. Угощенный, онъ исчезаетъ, унося плащъ, данный ему на ночь Гергардомъ. Но послѣ тому же чорту велѣно было (надо думать—св. Ѳомою; по духу, это особенно близко къ «Іоанну Новгородскому») перенести его мигомъ изъ Индіи (гдѣ онъ поклонялся мощамъ святого) и родину—къ готовой выйти за мужъ, послѣ 5-ти лѣтняго ожиданья, женѣ Средство же узнанья и тутъ—половина перстня, опускаемая въ кубокъ (Müller 390).

[139]) Извѣстна связь между чортомъ и козломъ.

цогиня, его супруга, вслѣдствіе всеобщей молвы, что онъ утонулъ *въ дикомъ морѣ*, рѣшается выйти замужъ за *одного пфальцграфа*. — Такимъ образомъ этотъ Тедель является тутъ въ томъ же положеніи *вѣстника*, которое въ одномъ изъ нормандскихъ сказаній достается, какъ видѣли мы, герцогу Ричарду I. Послѣ этого, кажется, можно будетъ заключить, что ежели и въ нѣкоторыхъ изъ нашихъ пересказовъ былины о Добрынѣ, вѣстникомъ къ нему являются, вмѣсто *коня* или *птицъ, люди* (по одному пересказу—Илья Муромецъ), то и такая *замѣна* произошла въ силу *общихъ законовъ развитія эпоса*, а не по *произволу* нѣкоторыхъ изъ нашихъ пѣвцовъ. — Генрихъ Левъ снабжаетъ Теделя письмомъ къ женѣ своей и тотъ возвращается, съ тою же быстротой, въ Брауншвейгъ, но уже на *чорномъ конѣ*, добытомъ имъ у *чорта* (кормить его надобно было *горячими угольями*). Чудесный перелетъ при помощи *темной силы* является такимъ образомъ перенесеннымъ въ этой поэмѣ съ Генриха Льва на Теделя; но этотъ послѣдній, вмѣсто *закабаленья* себя нечистому, является полнымъ вѣры, что Господь только позволитъ чорту *сослужить ему* службу, а не позволитъ ему нанести вреда (опять сходство съ Іоанномъ Новгородскимъ) [140]. Про возвращеніе же самого герцога Генриха изъ Іерусалима въ Брауншвейгъ къ женѣ (предупрежденной посланнымъ черезъ Теделя и обрадовавшимъ ее письмомъ)—въ поэмѣ сказано уже глухо, что Богъ помогъ ему въ этомъ. Далѣе слѣдуютъ совсѣмъ постороннія похожденія.

То же, что про Генриха Льва, повѣствуется въ другой, еще болѣе старой поэмѣ про Рейнфрида Брауншвейгскаго. Но тутъ присоединяется одна, совершенно особенная черта. У Рейнфрида, послѣ десятилѣтняго брака, нѣтъ дѣтей, не смотря на всѣ молитвы о томъ. Наконецъ является ему во снѣ Богоматерь и обѣщаетъ ему исполненье молитвъ, если онъ отправится за море воевать съ язычниками. Рейнфридъ, проснувшись, обѣщаетъ это, и дѣйствительно отправляется въ походъ, который и связывается далѣе съ похожденіемъ, насъ занимающимъ; впрочемъ, поэма не окончена (см. въ статьѣ В. Мюллера стр. 408 и 390).

То-же самое похожденіе наконецъ еще ранѣе было приписано знаменитѣйшему изъ государей среднихъ вѣковъ—самому Карлу Великому. Въ такомъ положеніи представляется онъ въ VII-ой (неизданной) книгѣ Reali di Francia, которая, какъ доказываетъ Гастонъ Парисъ, заимствовала это похожденіе изъ «Испаніи» Николая Падуанскаго (жившаго въ XIV ст.) [141]. Совершенно подобно Генриху Льву, отсутствующій императоръ разомъ перелетаетъ въ Парижъ при помощи *нечистаго*—по приказу Роланда, который умѣетъ его вызывать въ силу чаръ, извѣданныхъ имъ на востокѣ, и которому нечистый успѣлъ уже сообщить, что рыцарь Макарій, оставленный Карломъ

---

[140]) Въ основѣ должно тутъ скрываться, подъ охристіаненной формой, такое же миѳическое поступленіе т е м н о й силы въ услуженіе къ с в ѣ т л о й, какое уже видѣли мы выше въ с л у ж и л о с т и Соловья разбойника (см. стр. 260) Замѣчательный примѣръ представляетъ въ этомъ отношеньи Магабгарата: тутъ, въ отдѣлѣ «Вирата Парва» с о л н ц е приставляетъ ракшазу (з л о г о д у х а) къ прекрасной женщинѣ, чтобы о б е р е г а т ь ее отъ насилія. (Fauche, Mahabharata, V, 148—149).

[141]) Gaston Paris, Histoire poétique de Charlemagne, p. 188, 397—398.

для управленія Франціею, распустилъ молву объ его погибели отъ руки Сарацынъ и приневоливаетъ супругу Карла выйти за себя замужъ. Уже подлетая къ Парижу, Карлъ вздумалъ было перекреститься отъ радости, и едва не поплатился за это: нечистый, не вынесши крестнаго знаменья, выпустилъ его изъ рукъ, такъ что онъ упалъ на ступени дворца—къ счастью, съ незначительной высоты. Переодѣтый каликою (паломникомъ), онъ отправляется на кухню, требуя себѣ пищи; испытавъ поношеніе отъ неузнающихъ его поваровъ, Карлъ однакоже проникаетъ къ своей женѣ, которая также не узнаетъ его. Зато къ нему радостно кидается и лижетъ ему ноги его собачка, напоминающая, по справедливому замѣчанію Г. Париса, вѣрную одиссееву собаку (въ пѣснѣ XVII Одиссеи). Удивленная королева спрашиваетъ его, кто онъ? Карлъ открывается ей, но она точно также не сразу вѣритъ ему и требуетъ отъ него доказательствъ, какъ Пинелопа отъ Одиссея. Дѣло кончается смертью измѣнника Макарія [142]).

Въ нѣсколько иномъ, и болѣе *чистомъ* (т. е. менѣе *смѣшанномъ*) видѣ, представляется то-же сказаніе въ стихотворной нѣмецкой хроникѣ писателя болѣе древняго, Эненкеля (XIII ст.). Пока Карлъ Великій мечомъ обращалъ въ христіанство Угровъ, въ Ахенѣ вдругъ пронеслась молва объ его погибели. При мысли о безначаліи, начались безчинства. Собравшійся по этому поводу совѣтъ бароновъ потребовалъ у королевы, чтобы она отдала свою руку другому мужу, и на эту должность уже былъ назначенъ одинъ очень знатный баронъ. Но Господь, не оставлявшій своего вѣрнаго слуги Карла, послалъ къ нему (какъ къ Мѣрингеру) своего *ангела*, который доставляетъ ему *трехъ* смѣнныхъ *коней*, переносящихъ его, срокомъ въ *трое сутокъ*, въ Ахенъ—какъ разъ наканунѣ дня, назначеннаго для сватьбы императрицы. Эти *три коня* и *трое сутокъ* должны были послужить уже приближающею къ дѣйствительности замѣной первоначальныхъ *трехъ богатырскихъ ускоковъ*, которые до сихъ поръ еще уцѣлѣли въ нѣкоторыхъ былинахъ. [143]) Прибывъ въ Ахенъ, Карлъ отправляется въ соборъ и, облекшись въ императорское одѣяніе и возложивъ на себя вѣнецъ, садится на престолъ, приготовленный противъ алтаря.—[144]) Когда свадебный поѣздъ входитъ въ церковь, Карла принимаютъ за привидѣніе; но онъ вскорѣ даетъ себя узнать, прощаетъ жену и возстановляетъ въ странѣ порядокъ.—Вкратцѣ то-же похожденіе передается и въ Хроникѣ v. Weihenstephan, съ тою разницею, что тамъ женихомъ супруги Карла является король Англійскій.—[145]) Не смотря на давность этихъ обработокъ книжныхъ, въ нихъ уже утрачена заключительная эпическая черта: кольцо, какъ средство узнанія.

Укажу и еще на одну изъ chansons de geste, гдѣ то-же самое

[142]) Ср. Gautier, Epopées françaises, II, p. 529.

[143]) См. выше стр. 261. Въ ненапечатанной былинѣ Щербакова конь везетъ Добрыню изъ дому три года, домой же Добрыня хочетъ быть привезенъ въ два часа, а конь привозитъ его даже въ полтора (первоначально это происходило, вѣроятно, въ три часа—соотвѣтственно тремъ годамъ дороги изъ дому).

[144]) В. Миллеръ обращаетъ при этомъ вниманіе на слѣдующую подробность. Чтобы попасть въ соборъ Карлу приходится пролѣзть подъ ворота, при чемъ онъ мараетъ себѣ платье. (стр. 392). (Смотри ниже прим. 150.

[145]) Gaston Paris, H. p. d. C. 396, 397. См. также въ статьѣ В. Миллера стр. 392.

похожденіе приписывается герцогу и притомъ чародѣю Basin, который, возвращаясь въ то время, когда жену его прчневоливаетъ выйти за себя графъ Poitiers d' Archambaud, въ порывѣ негодованія убиваетъ этого послѣдняго (Chanson de Jean de Lanson). [146])

Наше сказаніе вошло наконецъ, хотя и въ сильно измѣненномъ видѣ, въ составъ поэмы о Вольфдитрихѣ (въ обработкѣ Каспара von der Rhön). У отца его, Гугдитриха, есть невѣрный совѣтникъ Сабене, который въ его отсутствіе домогается благосклонности его жены, но напрасно.—Другія же черты нашего сказанія пріурочиваются тутъ къ Вольфдитриху, но не безъ примѣси сказанія совсѣмъ посторонняго. Вольфдитрихъ убилъ дракона, поглотившаго Ортнита, и тѣмъ самымъ снискалъ себѣ руку его вдовы. Но когда онъ пріѣзжаетъ къ ней, переодѣтый каликою, то застаетъ ее готовою обвѣнчаться съ другимъ, выдающимъ себя за убійцу дракона. Тутъ ему помогаетъ столь распространенное въ этомъ случаѣ кольцо, опускаемое имъ въ кубокъ, ему подаваемый, и оказывающееся кольцомъ Ортнита, которое и узнается вдовою; языки же дракона, прибереженные Вальфдитрихомъ, служатъ ему доказательствомъ, что онъ, а не кто другой, совладалъ съ дракономъ. (Этотъ послѣдній способъ доказательства, какъ извѣстно, встрѣчается въ цѣломъ множествѣ сказокъ объ Иванѣ, у котораго старшіе братья хотѣли было похитить честь побѣды надъ змѣемъ). (W. Müller, 413-414.)

Послѣ всего этого, кажется, можно заключить, что наши былины о *возвращающемся* цѣлостнѣе, стройнѣе и въ эпическомъ смыслѣ первоначальнѣе не только устныхъ (большею частію уже прозаическихъ) западно европейскихъ изводовъ, но и тѣхъ обработокъ книжныхъ, которыя восходятъ даже къ XIII ст. Внутренними же особенностями въ нашемъ отечественномъ изводѣ оказываются: сильное развитіе юмора въ эпической постановкѣ Алеши Поповича, относительная мягкость Добрыни (сказывающаяся главнымъ образомъ въ его жалобѣ) и трогательно-сыновнія его отношенія къ матери.—Настасья страдательностью своего положенія вообще подходитъ къ безгласному же, по большей части, типу жены и въ нерусскихъ изводахъ сказанія. Только нѣкоторыми пересказами выдвигается впередъ ея *вѣрность*, которая и въ иностранныхъ изводахъ оказывается развитою, но зато въ *высшей степени*, только въ Пинелопѣ и въ женѣ Карла (у Николая Падуанскаго). Послѣдняя подвергается даже страшнѣйшимъ гоненіямъ отъ Макарія, который, въ особой chanson de geste, отомщаетъ ей клеветой на нее. (По терпѣливой вѣрности—но не мужу, а жениху,—сюда же можетъ быть отнесена и Гудруна въ извѣстной нѣмецкой поэмѣ.)

Такія крупныя личности, какъ Генрихъ Левъ, Карлъ Великій въ историческомъ развитіи нашего преданія предшествовали, разумѣется, Мёрингерамъ, Голенбахамъ и т. п., какъ и эти въ свою очередь предшествовали различнымъ безыменнымъ солдатамъ или другого рода людямъ. Въ нѣкоторомъ соотвѣтствіи съ *положеніемъ* Карла и Генриха находится и *родство со столь-*

---

[146]) См. Gautier, les Epopées françaises, II, 256. И Добрыня въ одномъ пересказѣ убиваетъ Алешу.



*нымъ князем* нашего Добрыни Никитича. Но какъ онъ, такъ и Генрихъ и Карлъ, *должны были*, по законамъ эпоса, служить замѣной иныхъ именъ, иныхъ лицъ, еще болѣе древнихъ, въ иномъ смыслѣ важныхъ—лицъ, съ властію надъ природою, со значеньемъ миѳическимъ.

И вотъ такое то лицо уцѣлѣло *для* насъ, въ положеніи возвращающагося издалека послѣ долгой разлуки съ женою, въ извѣстной латинской хроникѣ Саксона Грамматика (XII ст.). Лицо это—не кто иной, какъ самъ богъ Одинъ (въ германской формѣ—Вуотанъ). Саксонъ сообщаетъ о такомъ его похожденіи два особыхъ преданія, но сообщаетъ *сжато*, вслѣдствіе чего, вѣроятно, тутъ и не оказывается нѣкоторыхъ намъ извѣстныхъ, общераспространенныхъ подробностей. Впрочемъ, не смотря на сжатость, тутъ есть и черты, больше нигдѣ не встрѣчающіяся, а сверхъ того даже цѣлая, совершенно *особенная сторона* въ преданіи... Одинъ изъ расказовъ Саксона (на стр. 45 по указанію В. Мюллера) начинается тѣмъ, что боги *изгоняютъ Одина*, и ставятъ на его мѣсто нѣкоего Оллера, которому даже придаютъ его имя. Онъ такимъ образомъ властвуетъ *десять* лѣтъ, и только по истеченіи этого срока боги опять призываютъ настоящаго Одина и возвращаютъ ему его власть, Оллеръ же изгнанъ и потомъ убитъ. Тутъ не достаетъ, какъ не трудно замѣтить, отношеній Оллера къ женѣ Одина. Эта сторона не совсѣмъ забыта зато въ другомъ расказѣ, передаваемомъ у Саксона на стр. 13. Тутъ удаленіе Одина—добровольное; оно объясняется негодованьемъ его на Фриггу, жену его, которая—uni familiarium se stupro subjecit. Связь съ другимъ, такимъ образомъ, происходитъ тутъ еще до удаленія Одина, въ чемъ скорѣе сказывается та струя преданій, къ которой, по крайней мѣрѣ по *званію* соблазнителя, принадлежитъ и нашъ Ваня Ключничекъ. — Далѣе же въ этомъ расказѣ Саксона, удалившагося Одина замѣняетъ какой то чародѣй, называемый Mitodhinn, который и тутъ, по возвращеніи настоящаго, бѣжитъ и гибнетъ [147]). Особыхъ отношеній Фригги именно къ такому, смѣняющему ея мужа, лицу и тутъ, стало быть, не имѣется. Это объясняется, конечно, уже не одною *сжатостью* передачи, а также ея неточностью, неотчетливостью. Этотъ недостатокъ Саксона Грамматика пополняется свидѣтельствами Старой Эдды и Инглинга-Саги. Въ первой относится сюда упрекъ, дѣлаемый Фриггѣ богомъ Локки въ томъ, что она завела связь съ двумя братьями Одина—Вили и Ве; во второй же передается, что такая связь съ ними происходила во время *долгаго* отсутствія Одина и продолжалась до его возвращенія [148]). Не входя въ разбирательство такой *двойной* связи, я обращу вниманіе лишь на

---

[147]) Гробъ Митодина поражаетъ смертію всякаго, къ нему подходящаго,—пока наконецъ не надумываются проткнуть его трупъ заостреннымъ коломъ. Этотъ послѣдній пріемъ и въ теперешнихъ устныхъ преданіяхъ является вѣрнымъ средствомъ отъ вампировъ (у п ы р е й)—къ которымъ такимъ образомъ долженъ принадлежать и Митодинъ.

[148]) Не они ли, не эти ли д в а б р а т а Одина, скрываются въ тѣхъ д в у х к о в а ч а х ъ, которые, въ самомъ началѣ расказа Саксона на стр. 13, утаиваютъ для нея золото отъ з о л о т о й с т а т у и ея супруга? Далѣе Одинъ велитъ ихъ повѣсить, подобно тому какъ смерти же предаетъ онъ, въ качествѣ соблазнителя своей жены, и Оллера. Все начало расказа Саксона въ высшей степени искусственно. Что это за з о л о т а я с т а т у я Одина, которую далѣе самъ онъ надѣляетъ даромъ слова, т. е. какъ бы самъ создаетъ второго Одина, подобнаго тому, который его замѣняетъ въ дальнѣйшемъ ходѣ расказа. (Ср. у Уланда Schriften., B. VII, s. 68).

то, что это *кровное братство* соблазнителей съ Одиномъ совершенно соотвѣтствуетъ *названому братству* Алеши съ Добрыней. *Названое*, конечное, позднѣе; въ основѣ могло ему предшествовать и у насъ братство кровное (а можетъ быть и Владиміръ—*помощникъ* Алеши—въ болѣе древнемъ видѣ былины былъ его *соучастникомъ* — другимъ соблазнителемъ. не смотря на свою, даже кровную связь съ Добрыней).

Возвращаясь къ расказу Саксона на стр. 48, перехожу теперь къ той его *особенной сторонѣ*, которая заслуживаетъ преимущественнаго вниманія. Причиной изгнанія Одина выставляется то, что боги прогнѣвались на него за собственную его связь съ Риндой. — Послѣ того, какъ извѣстный сынъ Одина, Бальдуръ, былъ убитъ, Одинъ сталъ допрашивать вѣщихъ людей—какъ бы ему отомстить за него? Вотъ и было ему возвѣщено, что онъ долженъ родить себѣ новаго сына отъ Ринды, дочери короля Рутеновъ,—такъ какъ этому сыну и предназначено отомстить за Бальдура [149]). Одинъ отправляется къ королю и старается заслужить его милость, служа ему долгіе годы въ различныхъ видахъ (при помощи различныхъ переодѣваній). Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ ищетъ случая сблизиться съ Риндой и снискать себѣ ея благосклонность, но она, подобно множеству неприступныхъ красавицъ эпоса, отвергаетъ его. Явившись къ ней *воиномъ* и вернувшись ни съ чѣмъ, онъ опять является къ ней *ковачомъ* и не узнанъ ею (cum veras oris notas falsus squalor abstergeret veterem habitum nova furaretur illuvies). [150]) позже онъ является къ ней *старикомъ*, наконецъ—*женщиной* (какъ Потыкъ въ одномъ изъ пересказовъ). Вотъ въ этомъ-то послѣднемъ образѣ находитъ онъ наконецъ доступъ къ Риндѣ и достигаетъ своихъ стремленій—употребивъ насиліе. Но за эти переодѣванія (особенно послѣднее—женщиной) боги и вознегодовали на Одина и сослали его. [151])

Позднѣйшимъ, уже *богатырскимъ* видоизмѣненіемъ этого насильственнаго сватовства за Ринду Одина В. Мюллеръ считаетъ то скандинавское сказаніе о Велентѣ, съ которымъ мы познакомились выше (въ отдѣлѣ германскаго эпоса). [152]) Какъ Одинъ у короля Рутеновъ, такъ и Велентъ находится въ услуженіи у короля Нидунга, которому онъ точно также помогаетъ одолѣть враговъ, какъ тому королю Одинъ. Велентъ—*ковачъ*; Одинъ, какъ мы видѣли, принимаетъ, между прочими превращеніями, видъ *ковача*. Ринда отвергаетъ Одина; дочь Нидунга отвергаетъ Велента. Одинъ однакоже достигаетъ цѣли; равнымъ образомъ, какъ мы знаемъ, и Велентъ. Даже знаменитый *полетъ*

---

[149]) Позднѣйшимъ видомъ этой стороны преданія служитъ вымаливаніе сына въ вышеприведенной поэмѣ о Рейнфридѣ Брауншвейгскомъ. Такимъ же точно образомъ вымоленъ и Вильгельмъ Австрійскій (въ поэмѣ о немъ Іоанна Вюрцбургскаго), на котораго перенесено тутъ похожденіе, принадлежавшее первоначально отцу—а именно переодѣваніе (султаномъ) и сватовство за дѣвицу, сначала его не узнающую и сопротивляющуюся, а потомъ радостно отдающуюся ему и отвергающую другого (См у В. Мюллера стр. 410). (Тутъ такимъ образомъ и въ самомъ, перенесенномъ на сына, похожденіи отца, собственно смѣшаны оба похожденія послѣдняго: сватовство за неподатливую невѣсту и возвращеніе къ неузнающей женѣ.

[150]) Этому соотвѣтствуетъ перемаранная одежда Карла В. у Эненкеля (см. выше). Что-же касается переодѣванія ковачомъ, то не подтверждается ли имъ предположеніе, что выше означенные два ковача дѣйствительно могли быть только личиною двухъ братьевъ Одина, соблазнителей Фригги?

[151]) Переодѣваніе богатыря женщиной встрѣчается также въ греческомъ сказаціи объ Ахиллѣ на Скиросѣ и германскомъ о Гугдитрихѣ.

[152]) Смотри въ этомъ трудѣ стр. 72.

Велента на крыльяхъ, имъ изобрѣтенныхъ, сближается В. Мюллеромъ (стр 415) съ тѣмъ быстрымъ *перелетомъ* домой, который приписывается Генриху Льву, Карлу Великому и другимъ. Въ первоначальномъ сказаніи, думаетъ онъ, средствомъ перелета должна была служить Одину соколиная сорочка Фригги, [153]) или же онъ возвращался (какъ послѣ своего похожденія съ Gunnlödh) въ видѣ орла, или же наконецъ на своемъ быстролетномъ Слейпнирѣ (этому послѣднему вполнѣ соотвѣтствуетъ конь богатырскій Добрыни).

Ко всему этому можно прибавить еще и то, что Велентъ (по Старой Эддѣ) оказывается уже женатымъ до своего поступленія къ Нидунгу, и я не понимаю, почему, при всѣхъ другихъ чертахъ сходства, В. Мюллеру (стр. 416, прим. 2-е) представляется слишкомъ смѣлымъ (zu gewagt) поставить эту первую жену Велента въ соотношеніе съ Фриггой, первой женой Одина.

Возвращаясь собственно къ сватовству этого послѣдняго за Ринду, замѣчу, что В. Мюллеръ указываетъ и еще на позднѣйшій видъ того же сказанія—въ средневѣковой германской поэмѣ о Гугдитрихѣ (на что еще до него указывалъ Мюлленгофъ): онъ также, чтобы проникнуть къ неприступной красавицѣ Гильдебургѣ, переодѣвается *женщиной*, достигаетъ такимъ образомъ цѣли и рождаетъ отъ Гильдебурги Вольфдитриха. Тутъ, такимъ образомъ, сохранилось это *рожденіе*, не имѣющееся въ сказаніи о Велентѣ. Далѣе же Вольфдитрихъ, подобно одинову сыну отъ Ринды, является мстителемъ за короля Отнита. Самого же Одина напоминаетъ въ немъ то, что онъ долгое время является *изгнаннымъ* — по милости своихъ братьевъ (какъ и Карлъ Великій).

Такому изгнанію, такой неохотной отлучкѣ Одина эпически соотвѣтствуетъ въ нашихъ былинахъ невольная, растворенная горемъ поѣздка Добрыни.—Та-же *неохотность*, по замѣчанію В Мюллера (стр. 409), замѣтна и за героями прочихъ сказаній изъ этого ряда: большая часть изъ нихъ или находится на службѣ у другихъ (хотя бы то было у Господа, посылающаго ихъ на брань съ невѣрными), или даже въ плѣну. Тѣмъ не менѣе Мюллеръ полагаетъ, что въ преданіи Саксона объ Одинѣ такая *неохотность* отлучки не могла быть первоначальною; т. е. и самое изгнанье его богами составляетъ уже причину отлучки позднѣйшую. «Вѣдь Одинъ, замѣчаетъ онъ, отправляется къ Риндѣ по волѣ судьбы,—а эта послѣдняя не могла же находиться въ противорѣчіи съ волей боговъ. Потому-то мы и должны принять, что десятилѣтнее удаленіе Одина, во время котораго властвовалъ вмѣсто него Оллеръ, и обнимаетъ именно то время, когда Одинъ сватался за Ринду. Если же мы позаимствуемъ изъ другого расказа Саксона (въ которомъ одновременное связывается узломъ причинности) еще и то обстоятельство, что Фригга во время отсутствія своего супруга находилась въ связи съ замѣнившимъ его Митодиномъ или Оллеромъ—то миѳъ обозначится передъ нами во всей своей полнотѣ» (стр. 406). Нѣсколько же далѣе нашъ сочинитель приходитъ къ слѣ-

---

[153]) Не на это ли намекаетъ, замѣчу я отъ себя, его послѣднее переодѣваніе женщиной — у Саксона Грамматика? Не было ли это принятіемъ образа Фригги, подобно тому какъ нашъ Потыкъ принимаетъ образъ Лебеди бѣлой Марьи? (См. выше въ этомъ трудѣ стр. 411).

дующему заключенію: «Уже въ тѣхъ преданіяхъ, какія были на лицо у Саксона, первоначальный миѳъ объ удаленіи Одина распался на двѣ вѣтви: одна налегала на невѣрность Фригги, умалчивая о томъ, что дѣлалъ во время своего удаленія Одинъ; — другая напротивъ того опускала изъ виду Фриггу и повѣствовала о сватовствѣ за Ринду Одина. Такое же распаденіе, надобно думать, произошло и въ позднѣйшихъ нѣмецкихъ сказаніяхъ (стр. 409).

Такимъ образомъ въ первоначальномъ сказаніи, по мнѣнію Мюллера, было соединеніе *двухъ измѣнъ*: Фригга измѣняла Одину, но и Одинъ измѣнялъ Фриггѣ. Такого же рода *соединеніе* ощутительно и во многихъ другихъ общеизвѣстныхъ преданіяхъ — въ болѣе или менѣе измѣненномъ видѣ. Такъ Зигфридъ, оставляя Брюнгильду, женится на Кримгильдѣ, а Брюнгильда, вмѣсто Зигфрида, выходитъ за Гунтера. Такъ, между тѣмъ какъ за Пинелопу сватается множество жениховъ, странствующій Одиссей находится въ связи со многими женщинами. Такъ въ нашихъ былинахъ о Потыкѣ Марья Лебедь выходитъ за Лиходѣя, а Потыкъ женится на сестрѣ лиходѣевой. Въ своемъ мѣстѣ увидимъ мы, какъ Апраксѣевна измѣняетъ Владиміру, а Владиміръ въ свою очередь посягаетъ на чужихъ женъ. Но вѣдь и въ сказаніяхъ о Добрынѣ замѣчается таже двоякость: кромѣ его брачной связи съ Настасьей, готовой выйти за его названаго брата, у него имѣется связь съ Мариной Игнатьевной.

Изъ такой первоначальной *соединенности* выдѣлились, какъ думаетъ Мюллеръ, двѣ вѣтви сказаній. Первая, дополню я отъ себя, разрослась богато и теперь обнимаетъ собою всѣ такъ называемыя *измѣны жены*, а та ея долгая *неподатливость*, которая проявляется въ нашей Настасьѣ Микуличнѣ, должна составлять только позднѣйшее, смягченное, облагороженное видоизмѣненіе той же основы (еще дальше такое облагороженіе пошло въ Пинелопѣ, Гудрунѣ и женѣ Карла Великаго—такъ что тутъ даже и не узнаешь первоначальной основы). — Вторая вѣтвь обнимаетъ сказанія о *сватовствѣ за строптивую женщину, приводящемъ наконецъ къ насилію* [154]). Къ числу подобныхъ насильниковъ, какъ видѣли мы въ своемъ мѣстѣ, принадлежитъ и нашъ Илья Муромецъ. Отношенья его, *старика*, къ королевѣ задонской, живѣ чѣмъ отношенья Добрыни къ Маринѣ, напоминаютъ отношенія къ Риндѣ Одина, обернувшагося *старикомъ*. Ринда, царевна рутенская, (т. е. русская, поясняетъ Мюллеръ) проживаетъ въ царствѣ, лежащемъ отъ Одина, скандинавскаго божества, на востокъ; такъ и жертва насилья Ильи обитаетъ въ восточной полосѣ Руси, за Дономъ. Но наши былины почти не знаютъ о какомъ либо другомъ, первомъ бракѣ Муромца; не знаютъ и о той цѣли второго насильственнаго союза, къ какой ясно стремится Одинъ. Если такая цѣль имѣлась первоначально и въ нашемъ эпосѣ, то тѣмъ самымъ должно было до извѣстной степени выкупаться *насильническое* положеніе Ильи въ

154) В. Мюллеръ подробно разсматриваетъ различные германскіе отпрыски этой вѣтви (стр. 410—419). Сюда относятся сказанія о Ротерѣ, Освальдѣ, Рюдигерѣ съ Эркою и другія, уже приведенныя у меня выше—по поводу похожденій Дуная Ивановича. (Смотри въ этомъ трудѣ стр. 331).



этомъ случаѣ, такъ мало идущее ко всѣмъ остальнымъ его похожденіямъ. Намекъ на какого то *другого* сына Ильи (на двухъ его сыновей) видѣли мы, въ своемъ мѣстѣ, у Поромскаго Старика. (Два же сына оказались и въ сказкахъ у Ивана, находящагося тутъ въ положеньи Ильи Муромца). На дальнѣйшія соображенія объ этомъ наводитъ наконецъ и сходство, представляемое насильничествомъ Ильи у Задонскаго короля съ насильничествомъ у Нидунга знаменитаго Виланда (Велента). На это сходство уже и было указано выше. Самое ремесло *ковача*, принадлежащее Виланду, соотвѣтствуетъ миѳическому первообразу Ильи, который, какъ богъ-громовникъ, долженъ былъ быть ковачомъ. Далѣе—охрамленность Виланда, его *невладанье ногами*, находится въ прямомъ соотвѣтствіи съ *разслабленностью* Ильи. Если въ германскомъ преданіи причиной является *искалѣченіе* Нидунгомъ Виланда, то нѣчто подобное могло, въ первоначальныхъ, забытыхъ преданіяхъ, совершаться и надъ Ильей. Въ эпосѣ вообще болѣзненное состояніе является причиненнымъ умышленно вражьею, темною силой. Въ такомъ случаѣ разслабленности Ильи могли предшествовать полные силъ годы юности, и вотъ къ этой-то порѣ могъ относиться какой нибудь его первый, теперь позабытый бракъ. Въ сказаньи о Виландѣ рожденіе сына является просто слѣдствіемъ насилья надъ дочерью Нидунга, насилья, долженствующаго служить отомщеніемъ ея отцу. Той цѣли рожденія сына, какая приписывается Одину, тутъ уже нѣтъ, подобно тому какъ въ расказѣ Саксона объ Одинѣ нѣтъ такого съ нимъ обращенія короля Рутеновъ, которое бы вызвало месть съ его стороны. Въ одномъ преданіи изчезло одно, въ другомъ—другое, долженствовавшее быть въ первоначальномъ преданіи. У насъ же изчезло и то, и другое: и какая либо издавняя цѣль самаго сватовства, и месть за встрѣченное сопротивленіе. Зато у насъ ярко выдается впередъ рожденіе *за угломъ* сына, который и выступаетъ наконецъ отомстителемъ — но не за какого нибудь прежняго брата, а за собственную свою мать, за насилье, оказанное ей отцомъ. Не было-ли чего нибудь подобнаго и въ древне-германскомъ сказаніи? По духу, оно совершенно вѣдь сродно столькимъ *отомщеніямъ* въ Эддѣ и въ загахъ сѣвера. Въ сказаніи же о Виландѣ, какъ мы можемъ припомнить, есть и еще одна черта мести—это убіеніе Виландомъ двухъ сыновей Нидунга, братьевъ его жены. В. Мюллеръ думаетъ, что это только позднѣйшій смягченный видъ, что первоначально онъ убивалъ своихъ *собственныхъ сыновей* (подобно Гудрунѣ въ старой Эддѣ) (стр. 417.) Это могло бы служить и подтвержденіемъ—именно *двумъ* чадамъ Ильи, которымъ, по Поромскому Старику, была отъ него *смерть предана*. Подобно же тому, какъ *одинъ* изъ нихъ, по всѣмъ другимъ пересказамъ, накликаетъ на себя смерть тѣмъ, что хочетъ изъ мести убить отца, — не было-ли вызвано тѣмъ же и истребленіе своего порожденія Виландомъ?

Точнаго, удовлетворительнаго отвѣта на всѣ такіе вопросы, быть можетъ, никогда не будетъ; но давняя, отдаленная связь между тѣмъ похожденьемъ Ильи, которое послужило исходною точкою моего труда, и сказаніемъ о Виландѣ (въ Эддѣ и Тидрекъ-Загѣ) и Одинѣ (въ Эддѣ и у Саксона);—связь эта, жется мнѣ, несомнѣнна. В. Мюллюръ, сверхъ всего, уже приведеннаго, за

мѣчаетъ еще, что Гугдитрихъ, въ свою очередь, какъ мы видѣли, отражающій на себѣ черты Виланда - Одина, въ одномъ изъ изводовъ (у Каспара фонъ деръ-Рёнъ), побуждаемый своимъ злымъ совѣтникомъ, готовъ приказать *убить собственнаго своего сына* (стр. 414). Мы знаемъ уже, какъ, въ силу такихъ же наущеній, были (хотя и не намѣренно) отосланы Эрминрекомъ на вѣрную смерть два его сына. Упоминая и объ этомъ (стр. 418), В. Мюллеръ приводитъ и еще примѣръ погибели *двухъ юношей*—если не родныхъ, то *названыхъ* сыновей Тидрека Бернскаго, отъ руки *прежняго слуги* его Видги сына Виланда (и это уже знакомо намъ изъ Тидрекъ-Заги). Во всемъ этомъ—разныя перестановки и передѣлки смягчающія, но корень во всемъ одинъ, и къ этому корню должно, кажется, относиться и самое число *два*. Изъ всего приведеннаго Мюллеръ наконецъ заключаетъ: «должно было существовать древне-германское преданіе о Вуотанѣ (Одинѣ), по которому онъ убивалъ своихъ собственныхъ сыновей» (стр. 417). Кромѣ всѣхъ остальныхъ сказаній, Мюллеръ указываетъ еще на извѣстное намъ уже давно о Тидрекѣ (Дитрихѣ) и Гильдебрандѣ. На нихъ подѣлились черты, первоначально принадлежавшія Одину, но такъ, что Гильдебранду досталось болѣе. Дитрихъ собственно сохранилъ за собою положенье *изгнанника*, принадлежащее Одину у Саксона. Что же касается Гильдебранда, то онъ, какъ мы уже знаемъ, находится въ положеніи и возвращающагося домой послѣ долгой отлучки, и бьющагося со своимъ сыномъ. Въ обоихъ же положеніяхъ находится, какъ мы видѣли, и Одиссей (болѣе близкій къ Одину потому, что сынъ, съ которымъ онъ борется, рожденъ отъ особаго брака, тогда какъ у Гильдебранда только одна жена и одинъ, рожденный отъ нея сынъ). Въ нашемъ же эпосѣ и эти оба положенія, соединенныя въ Гильдебрандѣ и Одиссеѣ, уже разошлись, размѣстились розно. Въ положеніи возвращающагося къ женѣ мы видимъ Добрыню, о сынѣ котораго вовсе не знаютъ былины (кромѣ одного пересказа Потапа Потахина, просто смѣшавшаго Добрыню съ Ильей). Съ другой же стороны въ положеніи приживающаго сына на сторонѣ и бьющагося съ этимъ сыномъ (по нѣкоторымъ намекамъ—съ двумя), является Илья Муромецъ. Первоначально же, въ корнѣ, и то и другое должно было приписываться и у насъ одному и тому же лицу—еще не богатырскому, а миѳическому. Но какой же смыслъ долженъ былъ заключаться въ этомъ единомъ лицѣ и въ двоякомъ его положеніи?

Во всѣхъ, безъ исключенья, видахъ сказанія о *возвращающемся*, онъ является до такой степени *измѣненнымъ*—вслѣдствіе ли выросшей бороды, или вслѣдствіе переодѣванія въ рубище и замаранности—что даже самые близкіе къ нему люди не узнаютъ его. Между тѣмъ срокъ отсутствія (хотя бы и *двѣнадцатилѣтній*) все же не таковъ, чтобы нельзя было узнать человѣка близкаго и притомъ отлучившагося еще въ молодыхъ лѣтахъ. *Измѣненность* образа должна непремѣнно имѣть тутъ особенное значеніе, сродное той *превращенности* и тому *оборотничеству*, которое такъ обычно въ народныхъ сказаніяхъ. В. Мюллеръ цѣлымъ рядомъ примѣровъ доказываетъ, что такою измѣненностью, преимущественно же *блѣдностью*, *состарѣлостью* или *запачканностью*, всегда отличаются въ сказаніяхъ люди, возвратившіеся

съ *того свѣта*, изъ царства, находящагося *подъ землей*, или *царства смерти* (стр. 395-399). Далѣе и въ разобранныхъ нами расказахъ о томъ или другомъ возвратившемся герцогѣ, графѣ и т. п. онъ отмѣчаетъ болѣе или менѣе ясные намеки на то, что они возвратились именно съ того свѣта. На это указываетъ уже и самая *отдаленность края*, гдѣ побывали они: онъ находится или гдѣ нибудь на *востокѣ* (въ Угріи, Палестинѣ, Индіи, землѣ Сарацынской), или и просто на краю свѣта (единственное исключеніе составляетъ одно изъ сказаній швабскихъ—о Губертѣ v. Calw, который проживаетъ не далѣе, какъ въ Швейцаріи—см. у Мюллера стр. 392). А извѣстно, что, по повѣрью народному, входъ въ подземное царство находится у отдаленнѣйшихъ предѣловъ земли (стр. 401 статьи Мюллера). Далѣе надо замѣтить, что многопостранствовавшему Одиссею даже прямо приписывается посѣщеньи царства мертвыхъ прежде его возвращенья къ женѣ.—Подобно ему и Генрихъ Левъ, въ одномъ изъ изводовъ, встрѣчаетъ нечистаго посреди *духовъ*, столпившихся *дикой охотой* (wüthende jagd), участіе же въ этой послѣдней, по германскимъ повѣріямъ, душъ *усопшихъ* всѣмъ хорошо извѣстно. Такъ и Ричардъ Нормандскій встрѣчается съ mesgnie Hellequin (испорчено изъ Charles Quint; извѣстно что этотъ знаменитый императоръ, вмѣсто первоначальнаго бога Одина, былъ поставленъ воображеньемъ народа во главу этой *дикой охоты*, которая скрывается тутъ подъ словомъ mesgnie), и узнаетъ въ ней одного изъ знакомыхъ ему мертвецовъ. Такъ и Тедель ту черную козу, которая свозила его въ Палестину, беретъ у одного изъ своихъ *умершихъ* родственниковъ, встрѣченнаго имъ въ цѣломъ сонмѣ хорошо знакомыхъ ему мертвецовъ. Такъ и въ сказаніи швабскомъ—о Бодманѣ—есть одна замѣчательная черта, относящаяся сюда же. Отправившись на край свѣта, онъ, еще до встрѣчи своей съ людоѣдомъ, наѣзжаетъ на мѣсто, *окруженное высокой стѣной*. Слуга, которому онъ приказываетъ взлѣзть на нее, чтобы поглядѣть, что̀ тамъ,—взобравшись, только поманилъ рукою и изчезъ изъ виду. Также точно не вернулся къ Бодману и другой слуга, потому что за стѣною былъ райскій садъ. Но у Мюллера приводятся и еще два, совершенно особыхъ сказанія, въ которыхъ посѣщеніе того свѣта представляется и съ большею еще ясностью. Одно изъ нихъ по началу своему подходитъ къ сказаніямъ о *замкахъ, провалившихся въ нѣдра горы* и *о людяхъ, пребывающихъ заживо въ нѣдрахъ горъ, но имѣющихъ изъ нихъ выйти*. Въ упомянутомъ сказаніи, у Мюллера, въ нѣдра подобной горы попадаетъ *пастухъ*. Онъ набрелъ на подземный ходъ, проведшій его въ провалившійся замокъ, всѣ комнаты котораго, наполненныя черепами и остовами, онъ посѣтилъ при помощи подземной старухи, но тамъ же нашелъ онъ и *прекрасный садъ*. Долго не находилъ пастухъ выхода и такимъ образомъ пробылъ въ горѣ цѣлыхъ *семь лѣтъ*, которыя однакоже показались ему *семью днями*. Вернувшись, онъ застаетъ жену свою готовою выйти за другого, такъ какъ она считала его умершимъ, да и тутъ узнала не вдругъ, по милости большущей, отросшей у него бороды.—Другое сказаніе—скорѣе *сказка*, подходящая къ разряду имѣющихся и у насъ на Руси, и даже во многихъ видахъ, сказокъ о *Неумойкѣ*. Такимъ является тутъ солдатъ, неумывающійся цѣлыхъ *семь лѣтъ*,

т. е. запачканный, *омраченный*, вслѣдствіе того, что проводитъ ихъ—на *днѣ ада*, у *чорта* (вмѣсто дна *горы* и *старухи*—руководительницы), которому служитъ онъ все это время и который требуетъ отъ него, чтобы онъ не только не мылся, но и не чесался, не стригъ ногтей, и т. д. Наконецъ возвращается онъ на землю въ старомъ холстинномъ кителѣ и до такой степени очаровываетъ короля своею *чудесной игрой*, что тотъ выдаетъ за него дочь свою.—Такимъ образомъ тутъ оказывается изчезнувшимъ оставленье жены и возвращенье къ ней же,—но уцѣлѣла, хотя уже не служащая средствомъ узнанія, *игра чудесная.* Зато въ другомъ пересказѣ заключительная часть и полнѣе, и ближе къ первоначальному. Тутъ уже на четвертомъ году своего служенія чорту (оно происходитъ тутъ *не подъ землею*, но также соединено съ *неумытостью*) солдатъ сватается за дочерей человѣка, спасеннаго имъ отъ должниковъ (при помощи золота, даннаго чортомъ). Старшія двѣ отвергаютъ, младшая принимаетъ его руку. [155])—Но онъ удаляется отъ нея, чтобы дослужить остальные три года *нечистому*, оставляя ей половину кольца, съ просьбою подождать его въ продолженіи этого срока. По возвращеніи она не вдругъ его узнаетъ—но потому, что чортъ его вымылъ и вычистилъ (т. е. это уже *выворочено* на другую сторону). Средствомъ узнанія служитъ другая половина кольца.—Есть наконецъ и третій, не совсѣмъ полный пересказъ, въ которомъ служба опять происходитъ въ подземномъ царствѣ. [156])

Въ сказкахъ о Неумойкѣ нѣтъ того обстоятельства, чтобы семь лѣтъ показались пребывавшему подъ землей семью днями, а между тѣмъ это черта существенная. Она повторяется во множествѣ разныхъ сказаній о побывавшемъ въ горѣ, или въ чудесномъ саду, или на днѣ чудеснаго, огражденнаго стѣною колодца: многимъ даже сто, двѣсти, и болѣе лѣтъ показались немногими днями. Можно замѣтить, что и для нашего Добрыни долгіе годы его отлучки проходятъ какъ бы незамѣтно, быстро: многіе пересказы даже не отмѣчаютъ, что̀ же подѣлывалъ онъ все это долгое время, ни разу даже не вспоминая о домѣ—при всей *неохотности*, приневоленности своего отъѣзда:

Какъ день за днемъ будто дождь дождитъ,
Недѣля за недѣлей, какъ трава растетъ,
А годъ за годомъ, какъ рѣка бѣжитъ!... (Р. I, стр. 131)

Вотъ какимъ поэтическомъ оборотомъ какъ бы *сокращается* въ нѣкоторыхъ пересказахъ весь этотъ долгій, и почти ничѣмъ не наполненный *срокъ* Добрыни (собственно только у Кирши и у Рябинина упоминаются тутъ *многосложные* подвиги).—Но это, во всякомъ случаѣ, только слабо напоминаетъ въ нашихъ былинахъ ту *сторону*, которая особенно цѣлостно развита, какъ

---

[155]) Это число **три**, столь обычное въ сказкахъ, окажется въ данномъ случаѣ весьма недавнимъ, если обратить вниманье на то, что и Виландъ (Велентъ) по старой Эддѣ, имѣетъ дѣло—съ **тремя** валькиріями. Онъ же, покрытый своей сажей кузнечной, въ своемъ родѣ неумойка.

[156]) См. въ статьѣ В. Мюллера стр. 389, 391, 400—401, 402.



мы только что видѣли, въ германскихъ сказаніяхъ, въ этомъ отношеніи отличающихся преимущественною стариною. Сюда же относится, конечно, и странная звѣриная одежда Добрыни и та *состарѣлость* его матушки, которую видѣли мы въ одномъ изъ нашихъ изводовъ. Вообще же у насъ онъ уже является только прослывшимъ покойникомъ, а не настоящимъ *посѣтителемъ* и *сообщникомъ* мертвыхъ. Между тѣмъ всѣ черты, приведенныя изъ германскихъ сказаній, позволяютъ, кажется, заключать, что такъ какъ возвращающійся первоначально возвращался отъ *мертвыхъ*, изъ *царства смерти*, то ко всѣмъ, разсмотрѣннымъ нами сказаніямъ, должны быть отнесены и тѣ, въ которыхъ къ вѣрной женѣ (иногда невѣстѣ) возвращается ея дѣйствительно умершій, но живой и за гробомъ и увлекающій ее за собою мужъ. Это — только особая вѣтвь на томъ же эпическомъ деревѣ, вѣтвь, выросшая уже давно и хорошо сохраняющая черты старины. Съ нею мы могли познакомиться уже изъ расказа «Эдды» о Гельги, возвращающемся къ женѣ (но безъ всякаго долговременнаго срока разлуки). Позднѣйшими отпрысками того же сказанія служатъ въ Германіи пѣсни, на которыхъ основалъ Бюргеръ свою Ленору. Но сходныя съ ними имѣются и у насъ—въ Руси Галицкой [157]).

Что же могло означать это *возвращеніе мертвецовъ*, это какъ бы быстролетное, на самомъ же дѣлѣ долгое ихъ отбытіе въ царство мертвыхъ, это пребываніе ихъ въ *помертвѣломъ*, *замершемъ* состояніи? Извѣстно, что, миѳически оно совершенно равнозначительно *усыпленности*, *окаменѣнности* *омраченности*. Неохотная отлучка Добрыни и возвращенье его—не въ *своемъ образѣ*, это миѳически совершенно тоже, что скрытіе Потыка въ нѣдрахъ камня или его же собственное обращеніе въ тура Мариною. *Долговременный срокъ* отлучки добрыниной миѳически равнозначущъ долговременному сидѣнію Ильи Муромца.—Если у насъ теперь первый отсутствуетъ не долѣе 12 лѣтъ, а второй просиживаетъ цѣлыхъ тридцать, то въ германскихъ пѣсняхъ Гильдебрандъ, какъ могли мы замѣтить, соотвѣтствующій Ильѣ по бою съ сыномъ, отсутствуетъ именно *тридцать лѣтъ*. О значеніи этого числа я уже говорилъ въ своемъ мѣстѣ. Я высказывалъ предположеніе, что имъ могло обозначаться число недѣль, обнимаемыхъ зимнимъ временемъ, а потому оно можетъ почитаться почти равнозначущимъ числу *семь* (встрѣчающемуся въ большей части германскимъ изводовъ), такъ какъ это послѣднее относится *къ семи зимнимъ мѣсяцамъ* [158]). Если же Добрыня *дѣйствуетъ* во время своей отлучки, то дѣйствующимъ въ это время съ живыми людьми, съ обычными богатырскими цѣлями, представляется онъ лишь теперь, при позднѣйшемъ, богатырско-историческомъ видѣ былины. Первоначально это должно было быть—хотя и дѣйствованіе, но *сокрытое*, *тайное*—въ царствѣ тѣней, въ царствѣ смерти, или же, по смыслу первообразному, въ царствѣ зимы. Такъ и силы Ильи уже *были*, *таились* въ немъ и во время его невладанья ногами, и къ этому-то времени могло относиться первоначально его пребы-

---

[157]) Помѣщены въ сборникѣ Я. Ѳ. Головацкаго. Замѣчательно, что Жуковскій, подражая бюргеровой Ленорѣ, конечно, и невоображалъ, что у насъ у самихъ имѣется испоконъ вѣка сходная пѣсня.

[158]) Тридцать недѣль равняются, собственно, семи съ половиною мѣсяцамъ.

ваніе у короля Задонскаго и связь съ королевичной (какъ и подобная же связь Велента, напоминаю объ этомъ, могла же произойти, несмотря на его *охрамленность*). Только позже могло сложиться эпическое представленіе о совершенно не дѣятельномъ сидѣніи Ильи, т. е. о непробужденности его богатырскихъ силъ для богатырской охраны земства.—Отлучка Добрыни, какъ видѣли мы, происходитъ уже безъ какой либо связи его съ другой женщиной, кромѣ ждущей его обратно жены, потому что одно основное лицо распалось у насъ на различныя лица—Илью и Добрыню. То въ одномъ изъ нихъ, то въ другомъ мы усматриваемъ черты, соединенныя въ Одиссеѣ, Велентѣ, Одинѣ, что же касается связи этого послѣдняго съ Риндой, то она составляетъ, какъ видѣли мы, *измѣну* его женѣ своей Фриггѣ, которая въ то же время *измѣняетъ* ему, Одину, отдаваясь Оллеру. И та, и другая измѣна въ основѣ своей *измѣна миѳическая*: это передача свѣтлаго лѣтняго существа на сторону темнаго зимняго. Союзъ Одина съ Фриггою, по своей основѣ, не что иное, какъ коренной въ миѳологіи всѣхъ народовъ, древнѣйшій союзъ неба съ землею. Теплое лѣтнее небо представлялось держащимъ въ своихъ объятіяхъ землю и порождающимъ изъ лона ея прекрасныхъ, цвѣтущихъ дѣтей. Но въ зимнюю пору не доставало этого теплаго, плодотворнаго мужа. Онъ представлялся тогда умершимъ—и это было древнѣйшее представленіе. Позже, когда замѣчено было постоянное возвращеніе теплоты небесной, ея, уже признанное только *временнымъ*, отсутствіе стало представляться *отлучкой*, *отъѣздомъ* въ чужой, отдаленный край, отъѣздомъ *для связи съ чужою, враждебною, темною силою.*—Но надъ землею и въ зимнюю пору высится, по прежнему, сводъ небесный—только это уже не прежнее теплое, плодотворное небо, а холодный, безсильный его двойникъ, обманщикъ, облекшійся въ его образъ и обольстившій его жену;—это не Одинъ, а Митодинъ, какъ прекрасно называется онъ у Саксона Грамматика, т. е. самозванецъ, Лжеодинъ. Но вотъ наконецъ возвращается настоящій. «Онъ сначала неузнаваемъ, лишенъ величія, подобится одичавшему нищему, страннику, какъ прекрасно выражается Морицъ Карріеръ,—пока опять не откроется во всемъ своемъ царственномъ блескѣ и не освободитъ своей супруги, природы, отъ ея злыхъ жениховъ (какъ въ сказаніи греческомъ; въ германскомъ—отъ одного жениха самозванца)—этой зимней силы, протѣснившейся на его мѣсто, но падающей наконецъ подъ ударами его стрѣлъ.» [159])

«У народовъ, направившихся (т. е. изъ арійской прародины) въ теплыя земли, продолжаетъ Карріеръ, на берегахъ Ганга, или въ Іоніи, это поэтическое сказаніе отодвинулось въ глубь, зато у обитающихъ сѣверъ Германцевъ оно было далѣе развиваемо. Впрочемъ и въ Делосѣ и Милитѣ, ежегодно осенью и весной, обрядовымъ образомъ праздновалось удаленіе и возвращеніе Аполлона, а дельфійское сказаніе заставляетъ его, по убіеніи змѣя Пиѳона, въ искупленіе пролитой крови находиться въ услуженіи, у Адмета». (Это соот-

[159]) Carriere, Die Kunst im Zusammenhange der Culturentwickelung, oder die Ideale der Menschheit, I, 354.

вѣтствуетъ служилости Одина, Велента, Сигурида, Карла Великаго, Роланда, Добрыни). Сохранилось наконецъ и сказанье индійское—про бога Индру: какъ онъ, по убіеніи Вритры (того же змѣя), бѣжалъ и ради покаянія скрылся въ прудѣ на отдаленнѣйшемъ краѣ земли: тогда высохло и изчезло все живое въ природѣ, между тѣмъ какъ наглый и гордый женихъ сталъ свататься за супругу Индры; но возвращающійся богъ убиваетъ похитителя своего престола и своего соперника и снова счастливитъ свѣтъ своей властью.» [160])—

Изъ этого поэтическаго сопоставленія видно, что у Грековъ въ положеніи возвращающагося царя и супруга является Ѳивъ-Аполлонъ, божество солнечное, а у Индійцевъ—Индра, божество громовое. Точно также и у насъ, на одной и той же Русской землѣ, первоначально приписывалось одно и тоже и Добрынѣ, выработавшемуся изъ миѳа солнечнаго, и Ильѣ—богатырскому видоизмѣненью громоваго миѳа. И это сдѣлается намъ вполнѣ понятнымъ, если мы обратимъ вниманье на то, что первоначально единое существо неба миѳически распалось впослѣдствіи на два дѣйствующихъ въ немъ существа: *солнце* и *молнію съ громомъ*. Въ миѳологіи Славянъ, какъ и во всѣхъ остальныхъ, *Даждь-богъ-солнце* и *Сварожичъ-громъ* являются порожденіями *неба-Сварога*. Потому-то и такое сходство, а отсюда и такая перепутанность между миѳами *небесными* съ одной, и миѳами *солнечными или громовыми* съ другой стороны. Потому-то и сходство и перепутанность между богатырями, выработавшимися изъ небеснаго божества, и тѣми, которые выработались изъ божествъ солнечныхъ или громовыхъ.

Въ миѳѣ германскомъ преждевременно погибаетъ юный, свѣтозарный сынъ Одина—солнце-Бальдуръ. Въ отомстители за него, по Саксону Грамматику, рождается Одиномъ другой сынъ, — отъ брачнаго союза въ чужой странѣ, которая миѳически толкуется, какъ страна зимняя. Она должна быть равнозначущею той *облачной горѣ*, въ которой заключены, по многимъ сказаніямъ, на семь зимнихъ мѣсяцевъ, многіе, первоначально миѳическіе герои; дѣва, живущая въ ней, должна быть тою холодною, непривѣтливою дѣвою зимняго облака, въ объятьяхъ которой, наконецъ прогрѣваемыхъ дыханіемъ бога, зарождается, какъ предвѣстникъ новаго лѣта, первый весенній громъ. Вотъ въ этомъ-то смыслѣ и является онъ отомстителемъ за убитаго брата,— т. е. возстановителемъ его силы, силы солнца, какъ-бы воскресающаго послѣ первыхъ грозъ. Это собственно и составляетъ сущность большой части тѣхъ общеарійскихъ миѳовъ, которые такъ прекрасно возстановляются Куномъ въ его «Herabkunft».—Богъ-громовникъ представляется въ нихъ вновь возжигающимъ солнце и послѣ каждой отдѣльной грозы,—это представленье древнѣйшее; и возжигающимъ его съизнова каждогодно послѣ весеннихъ грозъ;—

---

[160]) Объ этомъ повѣствуется въ Іодіога—Парвѣ, отдѣлѣ Магабгараты. (Faushe, Mahâbhârata, V. 379—402). Но Карріеръ нѣсколько ошибается, говоря, будто Нагушу (соперника Индры) губитъ самъ Индра: его губитъ брахманъ Агастія за гордость. Но замѣчательно, что Нагуша, подобно Митодину, царствуетъ вмѣсто Индры (призванный на престолъ его самими богами), и что боги уговариваютъ выйти за него жену Индры, остающуюся непоколебимо ему вѣрною. Индра между тѣмъ обрѣтается въ замершемъ состояніи въ подводномъ царствѣ. Причина добровольнаго его удаленія — угрызенія совѣсти вслѣдствіе того, что онъ убилъ Вритру, при помощи хитрости обойдя данное ему обѣщаніе: не губить его ни днемъ, ни ночью, ни камнемъ, ни деревомъ, ни оружіемъ, и т. д. (Ср выше стр. 296,—о нарушеніи завѣта Индрой).

представленье, свидѣтельствующее уже о большемъ развитіи, а потому и позднѣйшее.

Молнія, рождающаяся отъ тучи, заноситъ свое разсѣкающее остріе на ту же самую тучу,—въ этомъ, можетъ быть, надо видѣть миѳическое объясненіе и для того пересказа, въ которомъ Сокольникъ убиваетъ свою мать. Но главнымъ образомъ, какъ мы знаемъ, онъ посягаетъ на своего отца. Отецъ этотъ, Илья Муромецъ, долженъ тутъ приниматься еще въ древнѣйшемъ, широкомъ значеніи *неба*. Молніеносецъ-громовникъ, порожденный имъ отъ союза съ тучей, посягаетъ на своего отца — застилая его цѣлымъ множествомъ сопряженныхъ съ грозою тучъ. Но небо-отецъ оказывается могучѣе: противъ молній своего сына высылаетъ онъ свои молніи; душныя тучи, нагроможденныя сыномъ, онъ ими разсѣкаетъ, разбиваетъ на̀ полы или въ крохи, и снова является во всемъ блескѣ яркимъ безоблачнымъ небомъ. Наконецъ и встрѣчающійся въ сербскихъ пѣсняхъ бой между братьями можетъ быть миѳически объясненъ, какъ бой или между перекрещивающимися, какъ враждебными молніями, или даже какъ бой между молніею и солнцемъ: если по одному миѳическому представленію сѣкущая молнія является освободительницей солнца отъ полонившихъ его тучъ (его мстительницей-воскресительницей); то не менѣе сообразно съ природою и другое—что молнія, всегда сопряженная съ умноженіемъ тучъ, какъ бы собираетъ ихъ противъ солнца, вооружается ими противъ него.

Оставалось бы миѳически объяснить и ту *месть*, которою проникается въ нашихъ былинахъ Сокольникъ, глубоко чувствующій позоръ своего рожденія *за угломъ*. Но это, мнѣ кажется, составляетъ у насъ наслоеніе, уже несравненно позднѣйшее и исключительно бытовое. Имъ указывается прямо и исключительно на развившееся въ жизни понятіе о женской независимости и чести.

Я такимъ образомъ представилъ посильное, во многомъ, можетъ быть, преждевременное объясненіе всего этого миѳическаго узла, когда-то заключавшагося въ основномъ сказаніи, позже вывѣтвившемъ у насъ изъ себя особыя—съ одной стороны объ Ильѣ, съ другой—о Добрынѣ. Во всякомъ случаѣ неоспоримо тутъ одно: тѣсная, до сихъ поръ еще не порванная связь между нашимъ сказаніемъ и соотвѣтственными арійскими, и первоначальная *миѳичность* (въ какомъ бы то ни было смыслѣ) этихъ сказаній.

Предполагаемая мною, по причинамъ вышеизложеннымъ, былая связь между былинами о Добрынѣ въ отлучкѣ и былинами объ изцѣленіи Ильи и его отношеньяхъ къ сокольниковой матери, заставила меня заглянуть назадъ и припомнить старое. Теперь же считаю нужнымъ немного остановиться на той, миѳически понимаемой мною чертѣ въ расказѣ Саксона Грамматика, по которой супругу Одина обольщаетъ представляющійся Одиномъ, или Лже-Одинъ. Ни въ соотвѣтственныхъ расказахъ германскихъ, ни въ нашихъ отечественныхъ пересказахъ мы не встрѣтили ничего подобнаго [161]). Между тѣмъ

[161]) Въ германскомъ эпосѣ напоминаетъ эту черту развѣ одно приниманье Брюнгильдой за Гунтера Зигфрида — но тамъ уже и вся обстановка—совершенно другая.

такая черта встрѣчается въ одномъ пересказѣ индійскомъ — въ извѣстномъ сборникѣ Сомадевы (въ VI кн.). Расказъ этотъ передается г. Стасовымъ въ февральской книжкѣ «Вѣстника Европы,» но вы тавляется у него первообразомъ былинъ о совершенно особомъ богатырѣ—Соловьѣ Будимировичѣ. Дѣйствительно этому послѣднему приписывается въ *одномъ пересказѣ* то-же, что и Добрынѣ Никитичу: отлучившись, только не отъ жены, а отъ невѣсты, онъ подвергаетъ себя опасности быть лишеннымъ ея другимъ лицомъ, только уже совсѣмъ ему незнакомымъ. Не буду теперь говорить о томъ, что это вовсе не вяжется со всѣмъ остальнымъ, повѣствуемымъ о Соловьѣ Будимировичѣ, къ похожденіямъ котораго только *примѣшалось* такимъ образомъ одно изъ существеннѣйшихъ, какъ убѣдились мы, похожденій Добрыни. Опущу теперь и все то въ индійскомъ расказѣ, что сближается у г. Стасова съ похожденіями, исключительно принадлежащими Соловью, и обращусь собственно къ тѣмъ чертамъ, въ которыхъ я вижу сходство съ расказомъ Саксона Грамматика. Мимоходомъ замѣчу, что царю Удаянѣ приписывается у Сомадевы такая же измѣна первой женѣ, какъ и Одину у Саксона — но безъ выставляемой этимъ послѣднимъ побудительной причины, и съ тою разницею, что предметъ второй страсти Удаяны, Калингасена, сама отдается ему, а не отвергаетъ его, какъ Ринда Одина. Вмѣсто эпической *неподатливости невѣсты* тутъ столько же распространенная въ эпосѣ ея *навязчивость*. Но главное дѣло въ томъ, что любовью этой Калингасены удается воспользоваться не Удаянѣ, а совершенно другому лицу, царю духовъ Маданавегѣ, втирающемуся къ ней подъ *образомъ Удаяны*[162]). Онъ былъ этому наученъ богомъ Шивой, который является въ индійскихъ сказаніяхъ особеннымъ знатокомъ по любовной части. Замѣчу при этомъ, что хотя и не Шивѣ, а другому могучему богу, Индрѣ, въ Рамаянѣ приписывается образъ дѣйствій, совершенно напоминающій Маданавегу. Онъ однажды явился къ женѣ одного отшельника, *принявъ образъ ея супруга*, и воспользовался ея любовью[163]). То-же, считаю не лишнимъ напомнить, приписывается и классическому Зевсу въ извѣстномъ его похожденіи съ женою Амфитріона. Все это—черты сродныя, но никакъ не заимствованныя Саксономъ у Сомадевы или кѣмъ бы то ни было у кого бы то ни было. Во всякомъ случаѣ расказъ, передаваемый г. Стасовымъ, все же ближе подходитъ къ Саксону Грамматику, чѣмъ къ нашимъ былинамъ объ *отсутствующемъ супругѣ*, которыхъ тѣснѣйшая связь съ цѣлою вереницею европейскихъ сказаній о томъ же выставлена у меня, какъ я думаю, съ достаточною полнотою.

---

[162]) Вѣстникъ Европы, Февраль, 699—701.

[163]) Fauche, Ramayana 1, 282 замѣчу, что у Сомадевы есть и еще одинъ расказъ (о брахманѣ Видушакѣ — стр. 7 — 34 части 11-ой дешеваго изданія нѣмецкаго перевода Брокгауза), хотя и не изчерпанный г. Стасовымъ, но представляющій, повидимому, распространеніе того же основнаго сказанія, со многимъ вставками изъ другихъ, постороннихъ и съ приданнымъ цѣлому отпечаткомъ уже чисто восточнаго и притомъ позднѣйшаго, многоженнаго быта. Видушака добывъ себѣ въ жены царевну, избавленную имъ отъ смерти, затѣмъ начинаетъ жить съ другою, изъ высшаго рода Видіахаровъ, Бадрою, которая, не смотря на то, сама ему отдается. Гнѣвъ Видіахаровъ (особыхъ духовъ) за подобный неравный бракъ заставляетъ ее покинуть его, причемъ она оставляетъ ему на память свой перстень. Видушака пускается за ней въ поиски, мимоходомъ избавляя еще различныхъ царевенъ, каж-

Разсмотрѣніе нашего сказанія въ связи съ прочими европейскими увлекло насъ въ отдаленную глубь миѳическую. Подъ тѣмъ *преимущественнымъ* побратимствомъ Ильи съ Добрыней, которое совершенно понятно при *внутреннихъ* чертахъ сродства между ними (извѣстной мягкости, человѣчности, отличающей того и другого), подъ этой связью скрывается еще, какъ оказалось, первоначальная связь миѳическая. Добрыня оказался выработавшимся изъ лица, миѳически соотвѣтствовавшаго индійскому Кришнѣ—Рамѣ и германскому Одину, Илья—изъ лица, соотвѣтствовавшаго индійскому Индрѣ, а у Германцевъ преимущественно Тору, но частію также Одину. Но послѣдній, это главное божество Германцевъ, получилъ у нихъ, какъ мы видѣли, значеніе аристократическаго божества. Нашъ Илья, при всемъ своемъ богатырствѣ, сохранилъ отпечатокъ крестьянскаго своего значенія,—сохранившійся у Германцевъ за Торомъ, но лишившій этого послѣдняго первенствующаго значенія. Напротивъ у насъ всегда и во всемъ первенствуетъ Илья;—онъ же оказывается и *старшимъ названымъ* братомъ Добрыни, несмотря на *княжество* этого послѣдняго и его *преимущественное* соотвѣтствіе первенствовавшему у Германцевъ Одину.

Обратимся теперь къ тѣмъ богатырямъ, которые находятся внѣ богатырской дружины. Это такъ называемые *богатыри заѣзжіе.*

---

дую изъ нихъ беретъ въ жены, и каждую потомъ покидаетъ, стремясь къ одной Бадрѣ. Наконецъ ему удается совершить къ ней чудесный полетъ на огромномъ ракшазѣ (зломъ духѣ). Прибывъ въ ея царство, онъ встрѣчаетъ дѣвушекъ Бадры, вышедшихъ на рѣку за водою для своей госпожи. Тутъ кидаетъ онъ одной изъ нихъ въ ведро тотъ перстень, который оставила ему Бадра; начавъ умываться, она находитъ его, узнаетъ своего супруга и уѣзжаетъ съ нимъ на ракшазѣ. По пути забираетъ онъ на спину къ тому же Ракшазу всѣхъ своихъ остальныхъ, постепенно добытыхъ и навремя оставленныхъ женъ, и наконецъ прилетаетъ съ ними со всѣми къ первой—нетерпѣливо ожидавшей его, какъ и всѣ остальныя. Послѣ этого всѣ онѣ преспокойно уживаются у него вмѣстѣ. Нельзя не замѣтить, что эта ѣзда на зломъ духѣ опять таки сближаетъ индійскую сказку со сказаніями германскими (въ нашихъ былинахъ, какъ видѣли мы, ея нѣтъ а она имѣется только въ рукописномъ Іоаннѣ Новгородскомъ). Въ составъ сказки о Видушакѣ вплетено также особое похожденіе на морѣ, которое сближается у г. Стасова съ былинами о Садкѣ. Онъ такимъ образомъ говоритъ объ этой сказкѣ только въ главѣ объ этихъ послѣднихъ, не обращая вниманія на другія стороны той же многосоставной сказки.

# VIII.

## Богатыри заѣзжіе: Соловей Будимировичъ, Чурило Пленковичъ и Дюкъ Степановичъ.—Отношенія Ильи Муромца къ двумъ послѣднимъ.

Прямымъ переходомъ къ заѣзжему Соловью можетъ намъ послужить та индійская сказка, изъ отдѣльныхъ кусковъ которой слагаются, по теоріи г. Стасова, похожденія этого странствующаго богатыря. Значительнѣйшую часть этой сказки я уже разобралъ и отнесъ, куда слѣдовало—къ кругу арійскихъ сказаній о богатырскомъ лицѣ, совершенно отличномъ отъ Соловья Будимировича. Теперь укажу на тѣ черты въ индійскомъ произведеніи, которыя сближаются у г. Стасова съ чертами, существенно принадлежащими къ похожденіямъ Соловья.—Уже знакомая намъ царевна Калингасена, просватанная отцомъ за одного незнакомаго ей старика царя, уносится своею пріятельницей, волшебницей Сомапрабхой, по воздуху, въ царство молодого и прекраснаго Удаяны (также знакомаго намъ), котораго и показываютъ ей прогуливающимся въ саду. Очарованная Калингасена настаиваетъ, чтобы сейчасъ же устроили ей свиданіе съ Удаяной. Сомапрабха ссылается на то, что нынѣшній день—несчастный и велитъ ей, скрывшись въ саду, подождать до завтра. Калингасена однакоже не выдерживаетъ, и тутъ же велитъ одному изъ придворныхъ сказать Удаянѣ, *что она пріѣхала сюда для выхода за него замужъ по закону свободнаго выбора* [164]) Удаяна сначала и самъ тому радъ, но совѣтникъ его, заботясь о царицѣ, его женѣ, уговариваетъ царя отложить этотъ вторичный бракъ—до дня счастливаго созвѣздія, а пока отвесть Калингасенѣ особое приличное жилище и послать ей подарковъ.—О томъ, какъ вслѣдъ за тѣмъ приближается къ Калингасенѣ принимающій видъ Удаяны Маданавега, мы уже знаемъ. Ихъ застаетъ вдвоемъ Удаяна, нарочно приводимый для этого своимъ хитрымъ совѣтникомъ; однакоже, когда все разъясняется, Удаяна готовъ жениться на ней, но она сама его отвергаетъ, продолжая тѣмъ не менѣе пользоваться помѣщеньемъ въ его дворцѣ.

---

[164]) Бракъ по свободному выбору, или иначе бракъ любви, помимо обрядовъ религіи и согласія родителей а и джарвовъ (игроковъ небесныхъ) — это бракъ по прим. г. Стасова на стр. 700 (В. Евр. Февр. 1868 г.)

Вслѣдъ за тѣмъ начинается, собственно говоря, совершенно другая повѣсть: о судьбѣ дѣтей, родившихся отъ брака Калингасены съ Маданавегой и Удаяны съ царицей Васавадаттой. Отъ брака между первыми родится дочь, отъ брака между вторыми—сынъ. Они другъ въ друга влюбляются и ихъ хотятъ обвѣнчать. На канунѣ свадьбы прилетаетъ волшебница Сомапрабха и *въ одну ночь разводитъ для дочери своей пріятельницы такой садъ, какого нѣтъ краше ни на землѣ, ни на небѣ.* Удаяна застаетъ въ немъ прогуливающимися прекрасныхъ и богатыхъ дѣвицъ, которыя оказываются *Науками* и *Искусствами*, пришедшими вселиться въ его сына. (Нужно ли и указывать на всю искусственность, всю ненародность этой черты; ея одной совершенно достаточно, чтобы заподозрить *чистоту* такого источника—по крайней мѣрѣ *въ цѣломъ*). Когда Удаяна возвращается во дворецъ, сынъ его проситъ мать свою *поиграть на лютнѣ.* Она начинаетъ, но онъ находитъ, что лютня разстроена; тогда отецъ велитъ играть ему самому,—и онъ *играетъ до того превосходно, что приводитъ въ удивленіе самихъ гандхарвовъ* (игроковъ-скомороховъ небесныхъ). Испытанье его отцомъ въ прочихъ искусствахъ и наукахъ оказывается столько же удачнымъ: Между тѣмъ дѣло опять идетъ о бракѣ его съ дочерью Калингасены. Удаяна начинаетъ сопротивляться этому браку—на томъ основаніи, что она—*дочь какой-то шлющейся проходимки, которая и за него прежде сваталась.* Но тутъ раздается небесный голосъ, требующій совершенія брака;—и онъ совершается съ большимъ торжествомъ.[165])

Эта вторая часть, или, лучше сказать, вторая особая повѣсть—въ нашей былинѣ о Соловьѣ Будиміровичѣ должна была, по теоріи г. Стасова, очутиться первою, кромѣ самой послѣдней черты, отнесенной и у насъ во вторую часть. Первая же часть, или первая сомадевина повѣсть, должна была перейти у нашихъ пѣвцовъ главнымъ образомъ во вторую часть. Нашему Соловью пришлось соединить въ себѣ черты—и самого Удаяны, и его, умѣлостью одареннаго, сына. Посмотримъ же теперь на самую эту *мозаику* нашихъ пѣвцовъ. Начнемъ, по обыкновенію, съ пересказа Кирши Данилова.

Зачинъ тутъ—тотъ самый размашисто поэтическій, на который давно уже обратилъ вниманіе Ѳ. И. Буслаевъ (а за нимъ не такъ давно г. Тихонравовъ), сравнивъ его съ поэтическимъ описаньемъ пріемовъ Бояна въ «словѣ о Полку Игоревѣ.»

| | |
|---|---|
| Высота ли—высота поднебесная, | Широко раздолье по всей земли, |
| Глубота глубота океанъ-море; | Глубоки омуты днѣпровскіе. |

Эта послѣдняя черта, отличающаяся отъ всего предъидущаго такою полнѣйшею опредѣленностью мѣста, замѣчательна, какъ указаніе на тотъ край, въ которомъ разыгрывается дѣйствіе былины и въ которомъ долженъ былъ первоначально возникнуть нашъ эпосъ. Эти *днѣпровскіе* омуты особенно замѣчательны въ пѣснѣ, записанной, какъ и все у Кирши, въ отдаленномъ отъ кіевской Руси пермскомъ краѣ.—Зато далѣе въ нашей былинѣ ощущается

---

165) Вѣст. Европы, Февр., 699—702.

уже недостатокъ въ географической опредѣленности: просто изъ за моря синяго отъ славнаго *города Леденца*, [166]) отъ царя *заморскаго* выбѣгаютъ тутъ *тридцать* (извѣстное эпическое число) и еще одинъ корабль славнаго, богатаго гостя Соловья Будимiровича. Одинъ корабль—лучше всѣхъ и носитъ уже попадавшееся намъ имя *сокола* корабля: мы уже видѣли на такомъ соколѣ и Илью Муромца и Настасью Микулишну. Самая наружность корабля—таже: онъ дѣйствительно имѣетъ видъ птицы, вмѣсто очей—по яхонту, вмѣсто бровей по соболю якутскому, вмѣсто уса—два ножа булатныхъ, вмѣсто ушей воткнуты два копья и на нихъ повѣшаны два горностая, и т. д. Носъ корма по туриному, бока взведены по звѣриному. На этомъ соколѣ караблѣ, опять также какъ и у Ильи Муромца, устроенъ муравленъ (муравою, разводами, пестрый) чердакъ, въ немъ бесѣда *дорогъ рыбій зубъ* (моржевая кость), подернута бесѣда бархатомъ, а на бесѣдѣ *купавъ* молодецъ Соловей Будимiровичъ. Онъ обращается ко своимъ *гостямъ корабельщикамъ* съ вопросомъ, чѣмъ ему будетъ, по прибытiи въ Кіевъ, дарить князя Владиміра. При этомъ Соловей называетъ ихъ *цѣловальниками* любимыми,—и слово это должно быть принимаемо, разумѣется, не въ теперешнемъ своемъ смыслѣ, а въ древнемъ—въ смыслѣ людей, *въ знакъ вѣрности цѣловавшихъ крестъ ему*. Гости корабельщики — *его цѣловальники*, т. е. *его дружина*, дружина, служащая *лично ему*, подобно тому, какъ и все добываемое—его же.

«Есть, сударь, у *васъ* золота казна» отвѣчаютъ ему эти цѣловальники, тогда какъ при извѣстныхъ намъ условiяхъ *земской* дружины, имъ бы слѣдовало отвѣчать: есть у *насъ* золота казна. Изъ дальнѣйшихъ словъ этихъ цѣловальниковъ оказывается, что казна его главнымъ образомъ состояла изъ дорогихъ мѣховъ и изъ камочки—узоръ хитеръ. «Хитрость была Царя-града, а и мудрости Іерусалима, замыслы Соловья Будимiровича»—т. е., по толкованiю издателей сборника пѣсень Кирѣевскаго, искусство сдѣланныхъ узоровъ было заграничное, а придуманы они Соловьемъ [167]). — Корабли прибѣгаютъ подъ славной Кіевъ градъ и метаютъ якори въ Днѣпръ-рѣку (опредѣленность мѣста опять полнѣйшая). Они бросаютъ на берегъ сходни и платятъ въ таможнѣ *товарную пошлину*—со всѣхъ кораблей *семь тысячей*. И это было для нихъ, гостей (купцовъ) корабельщиковъ, дѣло уже привычное: никто не смутился и не обидѣлся этимъ, какъ смутился Микулушка *Селяниновичъ*, когда спросили у него *грошей подорожныхъ*. Сверхъ пошлины, Соловей несетъ еще и дары Владиміру — сорокъ сороковъ соболей да *второе сорокъ* бурнастыхъ лисицъ, да княгинѣ камку бѣлохрущатую. Войдя къ князю, *заморскій* гость не справляетъ обычнаго славянскаго поклона на всѣ на четыре стороны, но, помолившись однакоже Спасову образу, кланяется только князю и княгинѣ, а затѣмъ подноситъ дары, которые полюбилися князю, княгинѣ же наипаче того. Изъявленiемъ удовольствiя княжескаго служитъ даваемое имъ Соловью позволенiе: «заимуй дворы княженецкiе, заимуй ты боярскiе, заимуй дворы и дворянскiе.» Но Соловей выпрашиваетъ себѣ только — *загонъ земли*

---

[166]) Впрочемъ Л. Майковъ видитъ въ этомъ Леденцѣ-Венецiю. [167]) Кир. IV стр. 101, пр. 2.



*непаханыя и не ораныя* у племянницы княжеской Запавы Путятишны въ ея зеленомъ саду, чтобы построить тамъ *снаряденъ* дворъ. *Подумавъ съ княгинею* (которая, какъ мы уже знаемъ, постоянно является участницею во всѣхъ дѣлахъ княжескихъ), Владиміръ предоставляетъ ему желанный *загонъ*. Тогда Соловей обращается къ корабельщикамъ-цѣловальникамъ, какъ *ко своимъ людямъ работнымъ*, т. е. *работающимъ на него.* [168]) И вотъ они—тутъ же величаемые и *его дружиной хороброй*, начавъ позднимъ поздно, уже къ полуночи выстраиваютъ въ саду у Запавы *три терема златоверховатыхъ*:

Хорошо въ теремахъ изукрашено:
На небѣ солнце—во теремѣ солнце;
На небѣ мѣсяцъ—во теремѣ мѣсяцъ;
На небѣ звѣзды—въ теремѣ звѣзды;
На небѣ заря—во теремѣ заря
И вся красота поднебесная.

Запава, проснувшись при звонѣ къ заутренѣ и выглянувши въ окно, удивилася чуду въ своемъ зеленомъ саду. А нянюшки, мамушки и сѣнныя красныя дѣвушки поясняютъ ей: «счастье твое на дворъ къ тебѣ пришло.» Наскоро нарядившись въ свою соболиную шубу (цѣна ей три тысячи, пуговкамъ—семь тысячей), она побѣжала въ садъ—

У перваго терема послушала:
Тутъ въ теремѣ щелчитъ молчитъ,
Лежитъ соловьева золота казна.
Во второмъ теремѣ послушала:
Тутъ въ теремѣ потихоньку говорятъ,
По маленьку говорятъ, все молитву творятъ,—
Молится соловьева матушка
Со вдовы честны, многоразумными;
У третьяго терема послушала:
Тутъ въ теремѣ музыка гремитъ.

Она входитъ въ него, и пугается блеска отъ солнца, мѣсяца и звѣздъ въ теремѣ—

Подломились ея ноженьки рѣзвыя.
Втапоры Соловей онъ догадливъ былъ,—
Бросилъ *свои звончаты гусли*,
Подхватывалъ дѣвицу за бѣлы ручки,
Клалъ на кровать слоновыхъ костей:
«Чего де ты, Запава, испужалася?
«Мы де-оба на возрастѣ.»
—«А и я де дѣвица на выданьѣ,
Пришла де сама за тебя свататься.»
Тутъ они и помолвили.

Но провѣдала о томъ Соловьева матушка и всею силой своей родительской власти «сватьбу кончити посрочила.» соловью, по мнѣнію ея, еще слѣдовало съѣздить за моря за синія и тамъ расторговаться, а потомъ—пожалуй себѣ женись! Вотъ и отъѣзжалъ Соловей за моря за синія.

Несогласіе матери Соловья служитъ къ тому, чтобы приплести тутъ, въ видѣ развязки, то похожденіе Добрыни, которое только что было разобрано со всей полнотой. Вмѣсто Алеши является тутъ голый шапъ (щапъ—щеголь) Давидъ Поповъ (самое имя *Поповъ* какъ-бы передѣлано изъ *Поповича*). Скоро расторговавшись [169]), онъ прибываетъ въ Кіевъ и расказываетъ, будто-бы самъ видѣлъ въ городѣ Леденцѣ, какъ Соловей въ протаможье попалъ и посаженъ въ тюрьму у царя заморскаго. Совершенно какъ у Поповича, такъ и у Попова, *тысяцкимъ* является князь Владиміръ, а *сва-*

---

[168]) Въ этихъ словахъ былины, кажется, иронія; по крайней мѣрѣ въ даръ князю приноситъ онъ только сукно скурое да крашенину печатную.

[169]) Работный, парабокъ, рабъ—одного корня.

*щелою* княгиня Апраксѣевна. Между тѣмъ, подобно Добрынѣ (только долгаго срока нѣтъ), возвращается въ Кіевъ Соловей Будиміровичъ—«въ девяностѣ корабляхъ» (т. е. разжившись втрое). Онъ является въ гридню княжескую, гдѣ справлялась сватьба, и Запава прямо его узнаетъ, грозясь обезчестить столы. Съ насмѣшливыми словами къ Попову: «здравствуй женимши» и т. д., обращается тутъ не кто иной, какъ она сама. А Владиміръ князь со княгинею веселъ сталъ.

И такъ, отличія отъ былинъ про Добрыню тутъ самыя незначительныя; это только легкая передѣлка ихъ съ примѣсью наконецъ, изъ совершенно особой былины, и *сорока каликъ со каликою*: въ ихъ сообществѣ возвращается Соловей и всѣхъ ихъ вмѣстѣ съ нимъ вводятъ въ гридню столовую.

Хотя эта заключительная часть оказывается приросшею отъ былины о Добрынѣ къ былинѣ о Соловьѣ Будиміровичѣ уже въ половинѣ XVIII вѣка (когда составился сборникъ Кирши), — ея однакоже нѣтъ ни въ одномъ изъ другихъ пересказовъ. Правда, что всѣ остальные записаны въ Олонецкой Губерніи [170]). Они значатся у г. Рыбникова въ I ч. подъ № 53, 54; во II—31; III—32, 33 и IV—11. Во всемъ основномъ сходясь съ Киршею, нѣкоторые изъ нихъ отличаются однако кое какими выдающимися дополненіями или особенностями. Только одинъ, не во всѣхъ отношеніяхъ полный пересказъ изъ «Олонецкихъ Вѣдомостей» 1857 г. (отъ крестьянина Каргопольскаго Уѣзда— Р. III, № 33) мѣстомъ дѣйствія обозначаетъ *Нѣпру* рѣку, совершенно правильно впадающую тутъ въ море Черное—*зачинъ* же былины и тутъ указываетъ на совершенно иную мѣстность:

Рѣки да озера къ Новугороду,
А мхи да болота къ Бѣлуозеру,
Да чисто поле къ Опскову,
Темные лѣси Смоленскіе,
Высоки горы Сорочинскія,
Широки ворота Чигарицкіе,
Широка мать Волга подъ Казань прошла,
Подалѣ того и подъ Астрахань.

Такимъ образомъ въ этомъ зачинѣ на Русь юго-западную указываютъ только ворота Чигарицкіе, въ пересказѣ Прохорова оказывающіеся *Чигиринскими* (Р. I, № 54). Далѣе, за исключеніемъ слишкомъ *широкаго* и книжнаго по происхожденію *Сорочинскія*, прилагательнаго—тутъ въ началѣ— мѣстности сѣверныя и сѣверно-западныя, къ концу же — восточныя и юговосточныя. Такое смѣшеніе должно быть объяснено, какъ я думаю, тѣмъ, что былина, переходя изъ одного края въ другой, отъ каждаго какъ-бы захватывала на память по одному или по нѣскольку именъ собственныхъ. Въ большей или меньшей степени такая же смѣсь—и въ зачинѣ другихъ пересказовъ [171]), но замѣчательно, что постоянно упоминаемая въ этомъ зачинѣ Волга *мѣстомъ дѣйствія* является только у Никифора Прохорова (Р. I, № 54) Надо однакоже думать, что ежели въ пересказѣ Шальскаго Лодочника (Р. I,

---

[170]) Т. е. не въ той мѣстности, гдѣ составился сборникъ Кирши.

[171]) У Никифора Прохорова въ самомъ началѣ замѣчается слѣдующая надбавка, указывающая на самый глубокій сѣверъ:

А мхи были болота въ поморской стороны,
А тая эта зыбель въ подъ—сѣверной стороны...
(Р. I, стр. 325)

№ 53) море, изъ за котораго корабли выплываютъ, названо *Волынскимъ*, то подъ нимъ слѣдуетъ разумѣть *Хвалынское* (позднѣйшее и теперешнее *Каспійское*), хотя у этого Шальскаго Лодочника не упоминается ни впадающая въ Каспійское море Волга, ни какая либо другая рѣка, а *размашистаго зачина* съ упоминовеніемъ разныхъ мѣстностей у него и совсѣмъ не имѣется. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи подходитъ къ нему пересказъ Анфима Савинова (Р. IV, № 11, Пудожскаго Уѣзда), въ которомъ сказывается уже рѣшительное вліяніе *сѣверной* мѣстности. Мѣсто дѣйствія тутъ на *Невѣ* рѣкѣ, выпадающей въ море *Вирянское* (должно быть, испорчено изъ *Варяжскаго*, имени древняго, такъ что это указывало бы на относительную старину и того извода, къ которому принадлежитъ этотъ пересказъ). А все же и тутъ, хотя бы даже на *Невѣ* рѣкѣ, является неизбѣжный нашъ былевой *Кіевъ*, указывающій и въ этомъ совершенно *осѣверившемся* изводѣ на первоначальное происхожденіе сказанія съ *юга*.

Мѣсто, отъ котораго выплывали корабли, съ особенною подробностью обрисовывается въ лысановскомъ пересказѣ (Кижской волости):

За того ли моря, моря за Турецкаго,
Съ подъ того ли то дуба, дуба сыраго,
Изъ подъ того ли то вяза, вяза чернаго,
Изъ подъ той то было березы кудреватыя,
Изъ подъ того креста Леванидова,
Изъ за того ли было острова Кодольскаго
Той-то земли Веденецкія...
(Р. II, № 31).

т. е. изъ Леденца, поясняютъ издатели, сообразно съ другими пересказами. Все это, вмѣстѣ съ загадочнымъ, попадающимся, какъ мы знаемъ, и въ другихъ былинахъ *крестомъ Леванидовымъ*, стремясь опредѣлить мѣстность, географически вовсе не опредѣляетъ ея. Леванидовъ же крестъ невольно наводитъ на мысль о другой диковинкѣ нашего эпоса, *камнѣ латырѣ*;—и вотъ онъ-то долженъ скрываться въ пересказѣ Н. Прохорова подъ тѣмъ *камешкомъ яхонтомъ*, изъ подъ котораго вытекаетъ тутъ Волга-рѣка (изъ подъ него да изъ подъ сыраго дуба—и все тутъ) (Р. I, стр. 326). Что же касается опять пересказа лысановскаго, то въ немъ, какъ и у Шальскаго Лодочника, ни Волги, ни какой либо другой рѣки вовсе не существуетъ. Корабли Соловья подплываютъ тутъ *моремъ* къ самому Кіеву. Въ этомъ случаѣ надобно вспомнить вышеприведенное толкованіе г. Потебнею народно-эпическаго слова *море*, какъ *вмѣстилища водъ* вообще [172]). Послѣ этого и встрѣчающееся въ одномъ пересказѣ (у Потахина Р. III, № 32) показанье Соловья, что онъ изъ славнаго моря за *Дунайскаго*, должно быть объясняемо не *собственнымъ*, а древнѣйшимъ *нарицательнымъ* значеньемъ *дуная*, какъ рѣки вообще [173]). Все это заставляетъ видѣть въ данномъ случаѣ не что иное, какъ отсутствіе географической опредѣленности: корабли бѣгутъ просто по водѣ,

---

[172]) Только въ пересказѣ лысановскомъ море подъ Кіевомъ получило уже какъ бы географически опредѣленное значеніе моря Турецкаго, на днѣ котораго Соловей тутъ велитъ искать щупалами злата-серебра или скатнаго жемчуга. (II, стр. 187).

[173]) Племена, выселившіяся изъ общей Арійской родины въ Европу, говоритъ г. Буслаевъ, вынесли съ собою общее индо-европейское имя рѣки вообще дуни, и въ этомъ же нарицательномъ значеніи оставили его между горными племенами на Кавказѣ, гдѣ доселѣ у Осетинцевъ формы дун и донъ означаютъ рѣку или воду вообще..... въ одной польской пѣснѣ поется: за рѣками... за дунаями. (Русск. Вѣстн. 1862 г., Мартъ, стр. 33)

по великому вмѣстилищу водъ. Потому-то я и не знаю, вполнѣ-ли кстати при этомъ г. Безсоновымъ вспоминается преданіе про Олега, подъѣзжавшаго кораблями на колесахъ подъ самый Царь-Градъ (Кир. IV, стр. CII). Но въ рыбниковскихъ пересказахъ нашей былины есть другая черта, отчасти напоминающая вошедшія въ лѣтопись преданія объ Олегѣ. У корабля Соловья Будиміровича, кромѣ позолоченныхъ коржинъ и щелковыхъ канатовъ, и самые паруса были изъ *семи шелковъ*. (Такъ оно у Никиф. Прохорова; у другихъ— изъ *крупчатой камки*—Р. I, 53; II, 31; III, 32, 33). Не то ли же было и у олеговыхъ воиновъ? Но тамъ оно имѣетъ особенное назначеніе: такіе роскошные паруса отличали между воинами Олега—*Русь* отъ *Славянъ*, у которыхъ паруса были простые *холстинные*. Впрочемъ и подобнаго рода стремленіе *къ постановкѣ перегородокъ* между людьми встрѣчается въ свою очередь въ рыбниковскихъ пересказахъ нашей былины. Приставая къ Кіеву, Соловей велитъ выкидывать сходни трехъ родовъ:

По тыя по сходенкѣ по волжаной
Сходитъ дружина соловьевая,
По тыя по сходенкѣ серебряныя
Сходитъ соловьевая матушка,
По этой по сходкѣ позолоченой
Сходитъ самъ Соловей Будиміровичъ.

Даже государыня матушка поставлена ниже *самого* Соловья! И такъ оно у всѣхъ пѣвцовъ [174])—кромѣ одного, уже упомянутаго выше, неполнаго пересказа изъ «Олонецкихъ Вѣдомостей» (Р. III, № 33), гдѣ не имѣется никакихъ сходенъ, но гдѣ зато *перегородки* замѣтны въ распредѣленіи подарковъ:

Князей тыихъ дарилъ краснымъ золотомъ,
Княгинь тыихъ дарилъ скатнымъ жемчугомъ,
*Малую чету—чистымъ серебромъ*,
Княгини дарилъ камочки двоеличневой...

Сходно съ этимъ у Шальскаго Лодочника: «придверниковъ, приворотниковъ дарилъ Соловей чистымъ серебромъ, князя дарилъ золотой казной», и т. д. (Р. I, № 53).—Въ отношеніи къ своей дружинѣ *работной*, Соловей—*господинъ* въ полномъ смыслѣ слова: по одному мановенью его, они *слушаются*— дѣлаютъ *дѣло повельное*: то *щупалами* измѣряютъ глубину воды, то *трубками подзорными* высматриваютъ, гдѣ пристань, то скидаютъ кафтаны скурлатные и надѣваютъ рабочіе (чтобы приняться за построеніе теремовъ). Но при всемъ томъ онъ называетъ ихъ — не только *дружинушкой хороброй* (соотвѣтственно древнѣйшему, *воинственному* роду торговли), но и *братцами*,—этимъ прекраснымъ словомъ, которое оставалось у насъ, какъ какая нибудь окаменѣлость, и въ барскихъ обращеньяхъ къ народу въ позорныя времена позднѣйшаго крѣпостничества. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Соловей у пѣвцовъ олонецкихъ не забываетъ, при входѣ къ князю, объ уравнивающемъ поклонѣ *на всѣ на четыре стороны* (Р. I, 54; II, 31; III, 32; IV, 11), подобно тому, какъ и Запава Путятична, при входѣ къ нему со своею подручницею въ теремъ, кланяется не только ему и его матушкѣ, но и его работной дружинѣ въ особину (Р. III, № 32), или даже прямо—на всѣ на четыре сто-

---

174) У двоихъ вмѣсто в о л ж а н о й, сходни, по которой сходитъ дружина, м ѣ д н а я (Р. II, № 31; IV, № 11)

роны (IV, № 11; ср. II, № 31). Что касается самого Владиміра, то именно въ томъ пересказѣ (Шальскаго Лодочника), гдѣ ему приданы и придверники и приворотники, онъ встрѣчаетъ Соловья съ *униженьемъ*. Но это, кажется, должно быть объяснено тою *уважительностью* богатства, какою пользуется оно у людей, зараженныхъ корыстолюбіемъ; Владиміръ же, какъ не разъ уже мы замѣчали, далеко не чуждъ этой слабости. Впрочемъ у Ник. Прохорова (I, № 54) Владиміръ представляется сначала не знающимъ, кто такой пріѣхалъ къ нему:

Царь ли ты есть, царевичъ ли,
Али съ тиха ты Дону лихой казакъ,
Али грозный посолъ ляховецкій былъ?
Города ль тебѣ надо ть съ пригородками,
Села ль тебѣ надоть со прiселками,
Али много надо ть золотой казны?

Такъ и въ пересказѣ изъ Олон. Вѣдомостей—(Р. III, № 33). Равнымъ образомъ и у Савинова: «ты сюда пріѣхалъ посломъ посдовать?» Впрочемъ сейчасъ же прибавлено: «али торгомъ торговать, али на жиру жить такъ?» (Р. II, стр. 58)—до того велико обаяніе соловьевой роскоши и его вельможнаго положенія во главѣ своей торгово-работной дружины! [175]). Узнавъ вслѣдъ за тѣмъ, кто онъ, и принявъ отъ него подарки небольшенькіе—по выраженію Прохорова [176]), Владиміръ однакоже и самъ, у Ник. Прохорова, хочетъ его отдарить богато, и притомъ особеннымъ родомъ, по княжески. Въ пересказѣ лысановскомъ, Владиміръ напротивъ того въ затрудненіи—чѣмъ пожаловать Соловья за его дорогіе подарочки? (Р. III, стр. 189). Соловей проситъ и тутъ только немного мѣстечка для построенья теремовъ златоверховатыхъ; князь даетъ—и онъ посылаетъ туда свою дружину работную, чтобы сперва повырубить колоды—пенье. Также оно и у Р. I, № 54; III, № 32 и IV, № 11. Черта эта соотвѣтствуетъ загону *земли не паханыя и не ораныя*, у Кирши Данилова.—Но нѣкоторые пересказы олонецкіе сообщаютъ и такую подробность о садѣ запавиномъ, которой нѣтъ у Кирши: тамъ у нея пряники пекутъ, калачи продаютъ, малые ребята барышничаютъ (Р. I, 53; II, 31), а у Никифора Прохорова мѣсто, выбираемое Соловьемъ, помѣщается просто *середь города, середь рыночка.* Этимъ, надо думать, указывается на то, что садъ служилъ княженецкой племянницѣ статьею доходною, и что она такимъ образомъ не отставала отъ дядюшки, взимавшаго пошлины съ кораблей, а сверхъ того любившаго и подарочки.—Но есть и еще одна подробность, совершенно другого рода, оказывающаяся у Прохорова и Савинова; она касается предписанія Соловья, какъ должны быть выстроены терема: «чтобы верхи съ верхами свивалися» (Р. I, 54; IV, 11). Это напоминаетъ тѣ *дубы* (по нѣкоторымъ пересказамъ также *три*), въ которыхъ свито гнѣздо Соловья раз-

---

[175]) Нѣсколько иначе у Потахина:

И зачѣмъ ты сюда побывалъ,
Торгомъ ли торговать,
Али гостемъ погостить
Али на съѣздъ ко мнѣ? (III, стр. 190)

Этимъ послѣднимъ словомъ какъ бы опять намекается на предполагаемое также княземъ и посольское значеніе Соловья (разумѣя тутъ посольскій съѣздъ) А—на жиру жить—едвали не равняется житью на всемъ на готовомъ, гостемъ.

[176]) А нѣсколько ниже они названы уже прямо, безъ уменьшающаго лукарства, великими (Р. I, стр. 328).

бойника—*дубы, свивающіеся верхами*[177]). Такое сходство могло бы показаться чисто случайнымъ и пройти незамѣченнымъ, если-бы не встрѣтилось тутъ же и это тождество имени. Сверхъ же того должно быть замѣчено, что подобнымъ дѣйствію на Владиміра князя *свиста* Соловья разбойника, оказывается въ лысановскомъ пересказѣ и у Савинова дѣйствіе на Запаву *прозвчатыхъ гуслей* Соловья Будиміровича (Р. II, 31; IV, 11). Даже поспѣшность, съ какою Запава бѣжитъ посмотрѣть соловьевы теремы, совершенно напоминаетъ поспѣшный выбѣгъ Владиміра, чтобы увидать Соловья разбойника). И княжна и князь одинаково тутъ принижены и отданы на посмѣшище. Владиміръ, какъ мы уже знаемъ, съ *испугу* отъ соловьинаго *свиста*, на корачкахъ наползался. У Запавы же, отъ *удивленья* соловьиной *игры*, незамѣтнымъ для нея образомъ *тепла вода въ щеботы стекла* (IV, стр. 59); *или*, по выраженью другого пѣвца, она даже не успѣла Господу помолитися и на всѣ стороны поклонитися: «у ней какъ съ ж... прошло и въ голянищо протекло» (II, стр. 192). Соотвѣтствіе окажется еще болѣе полнымъ, если припомнить ту былину въ которой Владиміръ, «почуявъ бѣду неминучую, затыкаетъ себѣ ж... онучею.»

*Игра* и *свистъ* двухъ лицъ, носящихъ одно и тоже *соловьиное имя*, вызывая одни и тѣже послѣдствія, дѣйствуютъ однако же не одинаково: неописанный ужасъ наводитъ оглушающій свистъ *разбойника*, неописанное наслажденіе доставляютъ нѣжные звуки игры *Будиміровича*. Надобно думать, что и самое это *отчество* заключаетъ въ себѣ указанье на *пробуждающее* и разносящееся повсюду дѣйствіе чудной игры. И тотъ и другой *соловей*—не одинъ въ своемъ родѣ; и тому и другому подобныхъ найдется не мало въ эпосѣ всякихъ странъ. Въ томъ, и въ другомъ *соловьѣ*, въ обоихъ рядахъ *соловьиныхъ* миѳовъ, выразилась одна и тоже *звуковая* сила великихъ воздушныхъ явленій, этихъ, то *потрясающихъ*, то *умиляющихъ*, *сладкихъ игроковъ-скомороховъ* небесныхъ: въ первыхъ выражается страшная, гибелью угрожающая, во вторыхъ—желанная, благодатная сторона одного и того же явленія. (Ср. выше стр. 267—268).

Прозвищемъ *разбойника* зловредный, пагубный Соловей достаточно отличонъ у насъ отъ своего, прямо противоположнаго двойника. Но до извѣстной степени и въ этомъ послѣднемъ проглядываютъ черты издавняго, въ своемъ родѣ *разбойничьяго* склада. Въ миѳическомъ смыслѣ разбойничій складъ скрывается, во первыхъ, подъ этимъ образомъ мореходца-торговца при помощи храброй дружины, т. е. торговца посредствомъ *морскаго разбоя*, какими и были, какъ всѣмъ извѣстно, торговцы древнѣйшіе. Далѣе, хотя дѣвица и признается у Кирши Данилова, что она *сама пришла за него свататься*, но еще до такого признанія онъ уже успѣлъ ее схватить на бѣлы руки и бросить къ себѣ на постель съ вопросомъ: *«чего ты испужалася?»* Въ этомъ пріемѣ сохранился намекъ на первоначально-насильственныя отношенія къ ней Соловья. Въ другихъ пересказахъ этого намека уже не имѣется; но во всѣхъ

---

177) Въ № 82 части III у Рыбникова въ соотвѣтствіе къ тремъ выстраиваемымъ теремамъ появляются и цѣлыхъ три сада (Р. III, стр. 190). (Ср. выше стр. 273—274: о жилищахъ на деревьяхъ).



безъ исключенія при Соловьѣ, кромѣ гуслей, мы видимъ корабли диковиннаго устройства, а подобные корабли, какъ и гусли, служатъ обыкновенно эпическимъ средствомъ *насильственнаго увоза, похищенія.* При помощи подобнаго *корабля,* и разныхъ, съ нимъ сопряженныхъ *диковинокъ, выкрадываютъ* невѣсту *семь Семіоновъ*—въ извѣстной сказкѣ подъ этимъ заглавіемъ. Шестеро одноименныхъ братьевъ являются тутъ въ своемъ родѣ послушной дружиной старшаго—Симеона же, а *умѣлость* этой дружины во всякихъ хитростяхъ вполнѣ соотвѣтствуетъ тому искусству, съ какимъ соловьева дружина выстраиваетъ въ одну ночь три терема. Въ названной сказкѣ, какъ и во многихъ другихъ, быстрое построеніе зданій принадлежитъ къ числу трудныхъ задачъ, задаваемыхъ царемъ отцомъ; въ былинѣ зданіе воздвигается по собственному начинанью Соловья, — но исходъ—одинъ: чарующее дѣйствіе на невѣсту чудеснаго зданія, ни въ чемъ не уступающее дѣйствію на нее *чудесной игры*. Въ сказкѣ миѳическое значеніе корабля еще совершенно прозрачно—это *корабль воздушный, летучій*; въ былинѣ, какъ оно и часто бываетъ въ этомъ родѣ словесности, первоначальное значеніе заслонено позднѣйшими наслоеніями—всѣмъ этимъ тяжелымъ *убранствомъ изъ всякаго мѣха,* уподобляющимъ корабли звѣрямъ, и этою тяжеловѣсною, разукрашенною *бесѣдою изъ кости*; — но въ названіи *соколъ* и въ сквозящемъ еще кое гдѣ *птичьемъ* образѣ еще сохраняется указаніе на *летучесть.*—Отъ сказки, повѣствующей объ увозѣ невѣсты семью *умѣлыми* братьями — всего одинъ шагъ къ тѣмъ *семи братьямъ,* семи *буйнымъ вѣтрамъ,* о которыхъ говорятъ наши *заговоры,* приписывающіе имъ совершеніе также *любовнаго дѣла* [178]). Эти *семь братьевъ* заговора даже ближе къ Соловью съ дружиною потому, что они не увозятъ, не крадутъ дѣвицу, а именно *напѣваютъ*—напѣваютъ тоску любовую, какъ то дѣлается и Соловьемъ съ дружиною. Связь-же миѳическая между *соловьинымъ свистомъ* и *вѣтромъ* уже хорошо намъ знакома. Построенія Соловья Будиміровича съ дружиною и семи Семіоновъ братьевъ—и *корабли* и *чудесные терема* — это должны быть тѣ, возводимыя такъ быстролетно, воздушныя построенія, какія воздвигаются вѣтромъ изъ *облаковъ.* Послѣ этого станетъ для насъ понятнѣе и выше указаное соотношеніе между *гнѣздомъ* Соловья (въ свивающихся дубовыхъ верхахъ) и *теремами* Соловья (со сплетающимися вершинами): и *гнѣздо,* и *теремъ* тутъ миѳически однозначущи, какъ построенія изъ небесныхъ, свивающихся деревьевъ—тучъ.—Если *гнѣздо* Соловья есть жилище мрачное, то и въ немъ скрываются имъ накраденные, драгоцѣнные, *яркіе клады,* миѳически соотвѣтствующіе тѣмъ *свѣтиламъ небеснымъ,* какія оказываются сокрытыми въ *теремахъ* соловьиныхъ.—Нельзя не привесть и того, что эти послѣдніе, именно *три терема златоверховатыхъ,* занимаютъ очень важное мѣсто въ извѣстныхъ обрядовыхъ пѣсняхъ—*колядкахъ,* гдѣ они точно также оказываются обителью *солнцу, мѣсяцу, звѣздамъ.* — Мы видѣли наконецъ въ своемъ мѣстѣ и употребительное въ Сибири святочное изображеніе на *ладьѣ* этихъ смыхъ *свѣ-*

178) Это сопоставленіе семи вѣтровъ буйныхъ въ заговорахъ съ семью Симеонами въ сказкахъ заимствовано мною изъ устной бесѣды съ В. И. Кельсіевымъ.



*тилъ небесныхъ*,—и оно замѣчательно потому, что есть и кромѣ того основанія принимать за первоначальное мѣсто постройки теремовъ свѣтозарныхъ—самую *ладью* съ ея кормчимъ—строителемъ. Стоитъ вспомнить сибирскій-же обрядъ съ ладьею, въ которой помѣщены символическія изображенія лѣтнихъ явленій. [179]).

Возвращаясь однако къ святочному *изображенію*, употребляющемуся въ Сибири, не могу не напомнить о томъ, что кормчимъ является тамъ *Илья Муромецъ*, какъ видно изъ пѣсни, распѣваемой носящими упомянутое изображеніе [180]). Это прямо насъ переводитъ и къ тому ряду пѣсень объ Ильѣ на соколѣ кораблѣ, которыя были разобраны выше. Такое сходное положенье Ильи и Соловья Будиміровича, послѣ всего приведеннаго, не можетъ уже показаться страннымъ: оно объясняется тѣмъ сродствомъ миѳическимъ, какое существуетъ между плывущимъ по облакамъ громовникомъ и въ нихъ-же свистящимъ вѣтромъ. Это та-же самая связь, что и между вѣдаическимъ Индрою—громомъ и Марутами—вѣтрами.

Тѣмъ болѣе замѣчательно, что при сродствѣ миѳическомъ, не оказывается уже рѣшительно никакого сходства между позднѣйшими былевыми образами Ильи Муромца и Соловья Будиміровича,—излюбленнаго атамана земской дружины съ одной стороны, и предводителя своей *собственной роботной* дружины — съ другой. Между ними и не существуетъ, по крайней мѣрѣ въ теперешнемъ составѣ нашего эпоса, ни малѣйшихъ сношеній или отношеній.

Всѣ, только что приведенныя миѳическія сближенія могутъ показаться нѣсколько преждевременными; но *связь* между былинами о Соловьѣ Будиміровичѣ и нашими сказками о семи Семіонахъ, заговорами, призывающими семь вѣтровъ, и колядками о трехъ теремахъ остается, кажется, несомнѣнною. Былины о Соловьѣ не составляютъ такимъ образомъ чего либо исключительнаго, выдающагося своей разнородностью; онѣ тѣсно связаны съ нашей народной поэзіей вообщее, и даже съ обрядовой, т. е. несомнѣнно древней и несомнѣнно народной поэзіей.

Органически связаны тѣ-же былины и съ обще-европейской народной поэзіей. Связь эта въ свою очередь указываетъ на новыя основанія для миѳическаго истолковыванія въ выше изложенномъ смыслѣ. Такъ въ многочисленныхъ европейскихъ сказаніяхъ объ увозѣ невѣсты на кораблѣ при помощи чудной игры, на самомъ же кораблѣ показываются и различные диковинные товары; нерѣдко—драгоцѣнный *самоцвѣтъ камень*, миѳически вполнѣ соотвѣтствующій *свѣтиламъ небеснымъ*. Камень этотъ никогда не выносится на берегъ; чтобъ увидѣть его, королевна должна сама посѣтить корабль. Залюбовавшись, и заслушавшись чудной игры, она не чувствуетъ, какъ корабль отчаливаетъ и она остается во власти купца — игрока-похитителя. По всей вѣроятности, первоначально и наши чудесные терема выстраивались Соловьемъ на соколѣ кораблѣ, и Запава, чтобы увидѣть таящіяся въ нихъ чу-

---

179) Ср. въ моемъ Ист. Обозр. Р. Слов. стр. 44

180) См. выше стр. 287.

деса, сходила сама на корабль и незамѣтно отчаливала отъ берега. Что же касается той готовности, съ какою отдается она Соловью Будиміровичу, то мы знаемъ уже, что податливость дѣвицы, доводящая даже до влюбленія въ змѣя или Кощея, столько же развита въ общенародномъ эпосѣ, какъ и противоположная ей строптивость невѣсты. Въ однѣхъ chansons de geste можно встрѣтить многое множество женщинъ, вѣшающихся на шею витязямъ съ такимъ забвеніемъ и стыда и совѣсти, что становятся готовыми вмѣстѣ со своимъ любезнымъ посягнуть на самую жизнь—хотя бы родного отца [181]. Тамъ это уже соединено съ желаніемъ поскорѣе креститься—(всѣ подобныя женщины—*сарацынки*) и звѣрство въ отношеньи къ роднымъ объясняется изувѣрною ненавистію къ нимъ и къ своей прежней вѣрѣ. Иной разъ навязчивость влюбившихся въ витязя женщинъ вызываетъ съ его стороны отвращеніе; такъ оно, на примѣръ, выходитъ у Girars de Viane и вдовы Бургундскаго Герцога, у Ансенса и Годисоы, и т. д. [182]). Тоже самое происходитъ и между Соловьемъ Будиміровичемъ и Запавою—въ былинахъ рыбниковскихъ. Чуть намѣченная у Кирши навязчивость послѣдней доведена въ Олонецкомъ краѣ до самыхъ послѣднихъ предѣловъ, и Запава рѣшительно тутъ заслуживала бы того презрительнаго названія «наметкина,» какое дается подобнымъ женщинамъ въ сербскомъ эпосѣ [183]). Ближе всего къ Киршѣ въ этомъ отношеніи оказывается пересказъ лысановскій, гдѣ Соловей, увидѣвъ ее, самъ (тутъ—Любаву),

Поддергивалъ какъ ей золотъ стулъ:
«Садись ка, молода Любава Путятична!...»
Какъ она садилась на золотъ стулъ:
«Ай же младъ Соловей сынъ Будиміровичъ.
Женатъ ли ты, али холостъ есть?
Возьми ты меня во замужество!»

Но вслѣдъ за тѣмъ — уже иначе. Соловей сейчасъ высказываетъ свое недовольство такой беззастѣнчивостью:

Всѣмъ ты, Любава, во любовь пришла
Однѣмъ ты, Любава, не въ любовь пришла:
«Сама себя, Любавушка, просватываешь!
Тутъ-то Любавушки стыдно стало.
(Р. II, стр. 192)

Далѣе однакоже, приходя къ Владиміру, Соловей говоритъ, что пріѣхалъ о добромъ дѣлѣ—о сватовствѣ — на молодой Любавы Путятичной, заявляетъ однакоже князю и о томъ, чѣмъ ему Любава не въ любовь пришла. «Столько у нихъ было и сватовства», замѣчаетъ былина, но что это должно быть понимаемо только въ смыслѣ *скораго* сватовства, видно изъ упоминаемыхъ вслѣдъ за тѣмъ приготовленій къ свадьбѣ. Однако же Соловей не вѣнчался въ Кіевѣ, а поѣхалъ въ свою землю Веденецкую. Другіе пересказы рыбниковскіе, упоминая о неудовольствіи Соловья вслѣдствіе запавиной беззастѣнчивости, даютъ однакоже свадьбѣ преблагополучно совершиться въ Кіевѣ [184]).

Но у Шальскаго Долонника отвращенье къ поступку Запавы проводится несравненно дальше: Соловей, проживъ у Владиміра три мѣсяца, *снимаетъ*

---

[181]) Такою является въ «Фьерабрасѣ» прекрасная Флоdипара (Gautier, Epopées françaises, II, 319); въ «Вильгельмѣ Оранжскомъ»—Орабла (Guillaume d'Orange ed, Jonckbloet, p. 149). См. также во II томѣ у Gautier стр. 40, 289, 478, 515, 581).

[182]) Gautier, Ep. Fr., II, 90, 479 Ср. у Уланда, Соч., VII, стр. 23): соотвѣтственныя черты изъ сѣв. заг.

[183]) А ја јунак наметкиње не ћ
Наметкиња кућна разметкања
(Вука I, 630—31).

свои терема и уплываетъ обратно. (Р. I, № 53). О состоявшейся свадьбѣ не упоминается также и въ пересказѣ изъ Олонецкихъ Вѣдомостей 1857 г. (Каргопольскаго Уѣзда); но такъ какъ пересказъ этотъ вообще не полонъ то въ немъ, можетъ быть, только не достаетъ конца.

У одного изъ пѣвцовъ, Никифора Прохорова, особенно ярко выказывается все противорѣчіе между поведеньемъ Запавы и обычными требованіями отъ дѣвушки. Вотъ что тутъ говоритъ Соловей:

А тебѣ бы, дѣвушкѣ, не эдакъ бывать, Нно дома быть, воды носить,
Не такъ бывать дѣвушкѣ—дома быть, Коровъ поить, телятъ кормить. (Р. I, 332)

т. е. быть работницею у дядюшки—князя Владиміра, опять подобно греческой Навзикаѣ, царевнѣ-прачкѣ. Замѣчательно наконецъ въ трехъ пересказахъ (лысановскомъ, Шальскаго Лодочника и Савинова) указанье на то, что Запава, чуть было не оттолкнувшая Соловья своею навязчивостью, была уже заранѣе цѣлью его пріѣзда. Особенно ясно это у А. Савинова:

Да я бы дождался свѣту бѣлаго и солнца красняго, И я бы на тебѣ посватался—
Я бы къ тебѣ сватовей послалъ, А ты сама себя просватала. (Р. IV, стр. 60)

Изъ этого ясно, что въ основѣ нашей былины заключается *походъ за невѣстой*, рѣшительно роднящій ее со столькими, выше упомянутыми сказаніями. *Самопросватаніе Запавы* придаетъ ей однакоже особый оттѣнокъ, особенно близко подходящій ко многимъ былинамъ юго-славянскимъ (негодованіемъ, напоминающимъ Соловья, иногда проникается Марко Кралевичъ [184]).

Послѣ этого трудно убѣдиться въ томъ, будто бы *самопросватаніе Запавы* объясняется «индѣйскимъ оригиналомъ», гдѣ оно «имѣетъ историческое и народное значеніе.» «Въ древней Индіи, поясняетъ г. Стасовъ, въ числѣ многихъ формъ брака, изчисляемыхъ законами Ману, существовалъ и *бракъ по свободному выбору* невѣсты. Этому выбору, когда онъ былъ разъ сдѣланъ, не могли болѣе противиться родители невѣсты: они обязаны были покориться рѣшенію своей дочери, да этому выбору принужденъ былъ, сверхъ того, покориться и самъ избираемый, иначе ему грозило проклятіе. Въ индѣйскихъ поэмахъ, легендахъ и сказкахъ очень часто идетъ рѣчь о такомъ бракѣ». (Впрочемъ, какъ видно изъ примѣчанія нашего сочинителя къ этому мѣсту, подобный бракъ былъ въ употребленіи и вообще на востокѣ со временъ глубокой древности) [185]).—Но мы видѣли уже, что *самопросва-*

[184]) Вука, С. Н., II, стр. 186 У А. Савинова позабыты самыя навязывающіяся слова Запавы, но порицанье ея навязчивости соловьемъ и у него имѣется. Любопытенъ слѣдующій отзывъ о Запавѣ. С. «Отечественныхъ Записокъ»: «Запава привлекательнѣе Апраксѣевны»... А и я де дѣвица на выданьѣ, пришла де сама за тебя свататься.» Тутъ они и помолвились.—Таковы простыя отношенія между мужчиной и женщиной, болѣе понятныя народу. (Статья о богатыряхъ В. В-ва въ От. Зап. 1868 г. Сент. 311—12). Смѣю думать, что изъ подробнаго моего разбора ясно, какъ мало народъ сочувствуетъ и Запавѣ (права ли она въ этомъ—особый вопросъ). Между тѣмъ указанная статья «Отеч. Записокъ» заключаетъ въ себѣ много вѣрнаго—впрочемъ заимствованнаго (для самого сочинителя незамѣтнымъ образомъ)—о ужасъ!—у Славянофиловъ. Статья эта замѣчательна уже и тѣмъ, что появившись послѣ изслѣдованій г. Стасова, не хочетъ объ нихъ и знать.

[185]) Вѣстн. Евр., Февр 1858 г., стр. 703—704.

*таніе* невѣсты не менѣе часто встрѣчается и въ славянскихъ и въ западно-европейскихъ произведеніяхъ, а потому и пришлось бы сперва доказать, что и въ эти произведенія оно зашло съ востока; но это, покамѣсть, еще несдѣлано.

Предоставляю самому читателю посудить и о томъ, представляется ли и вообще настоятельная надобность производить нашего Соловья Будиміровича отъ *сложенія* двухъ царей изъ сомадевина сборника.—Думаю, что въ ряду обще-арійскихъ сказаній о *походѣ за невѣстой на чудесномъ кораблѣ и при помощи чудесной игры или пѣнія*, сказанья индійскія, зендскія или иныя *восточныя*, занимаютъ, какъ и въ прочихъ случаяхъ, мѣста только *братскія*, а никакихъ не *родительскія*. Расказу же Сомадевы нельзя даже называться и *старшимъ братомъ*, по крайней его *перепутанности* и искусственности, доходящей даже до олицетворенья наукъ и искусствъ.

Къ числу восточныхъ, по происхожденію, но распространенныхъ по всей Европѣ, сказаній *объ увозѣ на кораблѣ* принадлежатъ и знаменитыя сказанія о Саломонѣ. Заходили они и къ намъ — путемъ книжнымъ, и нерѣдко попадаются у насъ въ рукописяхъ, хотя и не особенно старыхъ. Но то-же самое содержаніе получило у насъ и поэтическую обработку—въ видѣ былинъ, записанныхъ г. Рыбниковымъ въ числѣ цѣлыхъ четырехъ пересказовъ.[186]) Это—рѣдкій и весьма замѣчательный примѣръ чисто народнаго, въ духѣ былинъ, возсозданія данныхъ чужихъ и книжныхъ. Для царя Цареграда [187]) Василья Окульевича увозится тутъ—собственно не невѣста, а жена чужая—Саломонова царица Саламанія. Способъ же увоза рѣшительно соотвѣтствуетъ былинамъ про Соловья. Исполнитель порученія царскаго говоритъ ему (въ прекрасномъ пересказѣ Поромскаго Старика):

Мнѣ построй-ка *три корабля черненые*,
Носы-кормы взводи *по звѣриному*,
Бока-то взводи по *змѣиному*, и т. д.
Поставь по древу капарисному,
На древо пасади *птицы райскія*,
Чтобы пѣли—де *пѣсенки* по царскому;
Построй-ка *кровать слоновыхъ костей*,
Въ зголовьяхъ станови, сударь, *гуселышка*
Чтобы сами и гудѣли, сами тонцы вели,
Тонцы-то вели все Царя-града,
Утѣха-то была Іерусалима,
*Отпѣвали умъ разумъ во буйной головы.*

(Р. III, стр. 298). Исполнитель порученія является, какъ и Соловей, гостемъ заморяниномъ и самъ напоминаетъ, чтобы съ него взяли пошлину. Потомъ онъ заманиваетъ царицу на самый корабль, *на которомъ*, какъ не трудно замѣтить, находится тутъ и *дерево* съ райскими птицами (соотвѣтствующее *саду*) и *кровать слоновая* и *гусли чудесные*, лишающіе ума-разума. Вся вообще былина въ поэтическомъ отношеніи превосходна, и можетъ дѣйствительно служить доказательствомъ способности народа *воспроизводить чужое*. Но такая способность легко объясняется тѣмъ, что это *чужое* живѣйшимъ образомъ напоминало народу многое, и очень многое въ собственномъ его *запасѣ эпическомъ*.

186) Р. II, № 52, 53; III, 53, IV, 13.

187) По другимъ пересказамъ—Кудреянскаго царства.

Въ только что приведенномъ мѣстѣ изъ былины про царя Саломона встрѣтилось намъ и описаніе наружности корабля и его убранства, напоминающее какъ корабль Соловья, такъ и корабль Ильи Муромца. «Эти описанія, по мнѣнію г. Стасова, сильно напоминаютъ восточныя формы, азіятскій вкусъ.» Далѣе приводится у него подобное мѣсто изъ *Гарихвансы*: «всѣ они носились по волнамъ на лодкахъ, сдѣланныхъ изъ легкаго дерева и изображавшихъ, однѣ—цаплей, павлиновъ и слоновъ, другія—рыбъ и морскія чудовища, наконецъ всякаго рода фигуры. Подъ вечеръ всѣ сѣли на корабли, великолѣпно изукрашенные. На этихъ корабляхъ были представлены.... четвероугольныя площадки, округленные портики, террассы..... тутъ во множествѣ находились деревья, дикіе звѣри, птицы; тамъ видны были аркады, украшенныя камнемъ лаписъ-лазули, длинныя нити драгоцѣнныхъ камней.....» «Мы принуждены, оговаривается г. Стасовъ, сравнивать корабли нашихъ былинъ пока только съ кораблями брахманской эпохи, но безъ сомнѣнія, если когда нибудь найдутся подобныя же описанія буддійской эпохи, то они еще больше будутъ имѣть сходства съ описаніями русскихъ былинъ, чѣмъ брахманскія» [188]). Найдутся ли такія буддійскія описанія и дѣйствительно ли оно тогда такъ окажется, это заранѣе трудно сказать, но нашему сочинителю слѣдовало бы знать, что корабли былинъ сравнивались до появленія его труда другимъ изслѣдователемъ—не съ индійскими, а со скандинавскими описаніями кораблей. Вотъ—во всякомъ случаѣ болѣе мѣткія и остроумныя соображенія А. А. Котляревскаго: «Куда ни обращалъ взоры сѣверный германецъ въ своихъ поискахъ чести, славы и богатства, вездѣ онъ встрѣчался съ моремъ... При такихъ условіяхъ жизни, сѣверный житель не могъ отнестись равнодушно къ своему кораблю: послѣдній былъ для него болѣе, чѣмъ обыкновенное перевозное судно, онъ — его ближайшій другъ и товарищъ.... Оттого корабль въ глазахъ германскихъ мореходцевъ былъ живымъ, одушевленнымъ существомъ, морскимъ звѣремъ..., Устройство и украшенія корабля соотвѣтствовали этому понятію о немъ. По свидѣтельству Снорри Стурлезона—суда строили заостренныя съ обоихъ концовъ, и давали имъ видъ драконовъ, змѣй, буйволовъ и другихъ животныхъ, передняя часть судна была головою и шеей животнаго, задняя—хвостомъ его... Цѣлый особый отдѣлъ кораблей носилъ названіе *драконовъ* (drekar); передняя часть корабля украшалась изображеніемъ головы и гривы этихъ животныхъ, а задняя—хвоста животнаго, рыбьяго или змѣинаго... Въ средней же части помѣщалась *бесѣда*—шатеръ, покрытый сукномъ или бархатомъ» [189]).

Заключеніями г. Котляревскаго о *внѣшности* корабля Соловья Будиміровича подтверждаются тѣ заключенія объ его богатырской личности, какія дѣлались другими изслѣдователями, упоминаемыми у г. Стасова. «Одни изъ этихъ ученыхъ, замѣчаетъ онъ, объявляютъ, что Соловей Будиміровичъ—яркій и опредѣленный образъ морскихъ наѣздниковъ, вѣроятно прибалтій-

---

[188]) Вѣстн. Евр. Іюнь 1868 г., стр. 646.

[189]) Скандинавскій Корабль на Руси—статья А. А. Котляревскаго въ «Древностяхъ Моск. Археол. Общ. ч. 1, стр. 39—40).

скихъ, плѣнявшихъ своею богатою добычей и морскими диковинками русскихъ невѣстъ» и только сомнѣваются, «былъ ли Соловей отважный норманъ или скорѣе одинъ изъ Поморянъ, изъ западныхъ Славянъ до-исторической эпохи, когда Русскіе жили близь Балтійскаго моря и вели по немъ торговыя сношенія (Безсоновъ); другіе прямо называютъ Соловья Будиміровича «варягомъ, норманскимъ пиратомъ» (Буслаевъ); наконецъ третьи видятъ въ Соловьѣ Будиміровичѣ «знаменитаго *строителя* изъ Италіи и именно изъ Венеціи, напоминающаго тѣхъ мастеровъ, которые съ XII в. приходили на Русь» (Майковъ) [190]) В. Евр. Февр. 696). Не соглашаясь ни съ однимъ изъ этихъ ученыхъ и не вѣдая, на этотъ разъ, г. Котляревскаго, нашъ сочинитель, какъ мы уже знаемъ, видитъ въ Соловьѣ Будиміровичѣ помѣсь изъ двухъ индійцевъ—Удаяны съ Маданавегой.

Не трудно однакоже замѣтить, что всѣ изслѣдователи сходятся въ одномъ,—въ признаваніи *иностраннаго* строя въ личности Соловья Будиміровича. И дѣйствительно, поверхъ той древней основы, которая роднитъ его, какъ мы видѣли, съ другими нашими же народно-поэтическими личностями, въ немъ замѣчается слой бытовой, значительно отличающійся отъ бытовыхъ условій богатырства кіевскаго. Уже по одной *своей* работной дружинѣ и по *троякимъ* сходнямъ—онъ явно не кіевскій богатырь, а, какъ называетъ его въ одномъ пересказѣ Запава Путятична, дивомъ наѣхавшая *богатая богатина* (Р. III, стр. 194). Но такою же точно, только наѣхавшею со стороны *богатиною* оказывается, въ особыхъ былинахъ, еще и другое лицо—знаменитый нашъ щеголь Чурило Пленковичъ, къ которому и перейдемъ теперь.

Былина о немъ Кирши представляетъ уже своего рода *сводъ* изъ двухъ похожденій, о которыхъ и до сихъ поръ еще поется *порознь* въ нѣкоторыхъ пересказахъ Кирѣевскаго и Рыбникова (что могло, впрочемъ, произойти и вслѣдствіе *обратнаго* распаденія слагавшагося, было, свода на его составныя части). Вмѣстѣ съ тѣмъ былина Кирши уже надѣляетъ Владиміра *сокольниками, кречетниками* и *стольниками*, этими *придворными степенями* московскихъ временъ, которыя находятся тутъ въ самомъ рѣзкомъ противорѣчіи съ основной *простотой* и даже *простоватостью* былевого князя, съ другой стороны столько же падкаго тутъ на подарки, какъ и въ былинахъ о Соловьѣ Будиміровичѣ. Когда день уже былъ въ половин*а* (древнее окончаніе винительнаго падежа) дня, а столъ уже былъ во полустолѣ и Владиміръ князь распотѣшился, появились къ нему вдругъ *люди незнаемы*—молодцы за сто, за другое сто и за третье сто. Оказывается, что это собственные его *охотники*. (Если слово *незнаемы* стоитъ тутъ не по ошибкѣ—*незнаемыми* называются въ нѣкоторыхъ пересказахъ люди чуриловы — то этимъ указывалось бы на *отдаленность* Владиміра отъ своего работнаго люда, на его уже царственную замкнутость и неприступность). У всѣхъ у нихъ головы булавами пробиваны и кушаками завязаны, бьютъ они челомъ и творятъ жалобу, что ничего они не наѣзживали *на его государевомъ* займищѣ: со стороны-де наѣ-

---

[190]) См. выше пр. 166. (Въ сербскихъ пѣсняхъ упоминается латинскій городъ Леджанъ).



хало молодцовъ за триста и за пять сотъ, соболи и куницы повыловили, а лисицы печерски (пещерски) повыгнали, *туры*, *олени* (замѣчательное смѣшеніе западной фауны съ сѣверною) по выстрѣлили, ихъ всѣхъ, *охотниковъ* княжескихъ, перераниди. «А тебѣ, осударь, добычи нѣтъ, а отъ васъ, осударь, жалованья нѣтъ; дѣти, жены осиротѣли, пошли по миру скитатися» (Кир. III, стр. 79).

Выслушавъ подобную, казалось бы, и для него самого вовсе не постороннюю жалобу, Владиміръ однакоже съ изумительною безпечностью пьетъ-ѣстъ-прохлаждается, ихъ челобитья не слушаетъ. — Но не успѣла уйти *та толпа*, какъ *иная толпа* появилася — опять молодцовъ за триста и за пятьсотъ, охотниковъ *рыболовныхъ*: всѣ точно также избиты-изранены и жалуются, что ѣздили они по рѣкамъ-озерамъ на *щаски* его княженецкія [191]) и ничего не поимавали, потому, что опять какіе-то молодцы за триста и за пять сотъ выловили всю рыбу, да ихъ же еще и изранили. «Тебѣ, государь, приносу нѣтъ,» говорятъ рыболовы; а государь себѣ по прежнему кушаетъ и челобитьица ихъ не слушаетъ. Но вотъ приходятъ двѣ новыхъ толпы — сокольники, кречетники, точно также жалующіеся, что на *потѣшныхъ его островахъ* княженецкихъ ничего не поимывали, только наѣхали *за тысячу* молодцовъ, все повыхватавшихъ и ихъ переранившихъ: *называются дружиною чуриловою*.

Передъ нами такимъ образомъ *новая дружина служилая*, только болѣе рѣшительная и дерзкая, чѣмъ соловьевая, — къ тому же и несравненно болѣе многочисленная [192]). Услышавъ о такой *особой* дружинѣ въ Кіевѣ, Владиміръ князь наконецъ *за то слово спохватится*: «кто это Чурило есть таковъ?»—Съ отвѣтомъ выступается старый *Бермята Васильевичъ* (уже попавшійся намъ однажды, какъ подавшій совѣтъ, кого послать за невѣстою княжеской). «Я-де, говоритъ онъ, про Чурилу давно вѣдаю. Чурила живетъ не въ Кіевѣ, а пониже малаго Кіевца, дворъ у него на семи верстахъ, около двора желѣзной тынъ, на всякой тынинкѣ по маковкѣ, а и есть по жемчужинкѣ.» Такимъ образомъ обыкновенно описывается пространный дворъ при *трехъ златоверховатыхъ теремахъ*—въ колядкахъ Эти послѣдніе, (т.е. терема) надо думать, только опущены, позабыты у Кирши Данилова, но они, хотя и не именно *три*, а вообще *терема златоверхіе*—имѣются въ нѣкоторыхъ пересказахъ у Рыбникова, и притомъ именно съ тѣми же *небесными диковинами* внутри, какія находятся и въ теремахъ колядокъ и въ теремахъ Соловья Будиміровича. Зато совершеннѣйшее сходство съ убранствомъ *чердака* на кораблѣ соловьевомъ, и у Кирши Данилова представляетъ убранство *свѣтлицъ* чурилиныхъ: «гридни бѣлодубовыя, покрыты сѣдымъ бобромъ, потолокъ черныхъ соболей, матица-то валжёная.» Далѣе же *троякимъ* сход-

[191]) Эти щаски, повидимому, понимаются г. Аристовымъ какъ особые княжескіе участки (Промышленность древней Руси, стр. 10). Но въ другихъ мѣстахъ былинъ щаски употребляются очевидно, въ смыслѣ счастія: «на его щасии великія привалила птица» (Кир. IV, стр. 94).

[192]) Только въ одномъ пересказѣ лисановскомъ (II, № 31) Соловью приписывается дружина въ триста молодцевъ, со единымъ; у всѣхъ остальныхъ ихъ тридцать, со единымъ, или безъ единаго.



нямъ у Соловья (по пересказамъ Рыбникова), совершенно соотвѣтствуетъ у Кирши *троякость* воротъ чурилиныхъ: когда Владиміръ вмѣстѣ съ княгинею, скорешенько снарядившись [193]) въ гости къ Чурилѣ, встрѣчаетъ у двора его стараго Плена (отца Чурилы), то этотъ послѣдній

Для князя и княгини
Отворяетъ ворота вальящатые,
А князьямъ и боярамъ хрустальные,
Простымъ людямъ ворота оловянные.

Владиміръ, какъ видно, отправился къ Чурилѣ съ *цѣлой дворней*, и наѣхало ихъ къ нему на дворъ до 500 человѣкъ, какъ сказано въ другомъ мѣстѣ, въ томъ числѣ и могучіе богатыри — Добрыня Никитичъ и старый Бермята Васильевичъ. Это въ своемъ родѣ *походъ* на Чурилу. [194]) *Отворенъ воротъ* старымъ Пленомъ даетъ этому походу исходъ совершенно мирный: дорогихъ гостей повели за столъ и повары догадливые стали носить яства сахарныя и питья заморскія. Князь со княгинею веселъ сидитъ, позабылъ про продѣлки дружины чуриловой, какъ вдругъ вздумалъ выглянуть въ окошко косящатое и, увидѣвъ въ полѣ толпу людей, всполошился:

По грѣхамъ надо мною княземъ учинилося:
Князя, меня, въ домѣ не случилося,
Ѣдетъ ко мнѣ король изъ Орды
Или какой грозенъ посолъ—

А Пленка старикъ, усмѣхаясь и продолжая подчивать, успокоиваетъ князя: «продолжай-де кушать, ѣдетъ-де дружина хоробрая сына моего, молода Чурилы (сына) Пленковича.» И это опять отчасти напоминаетъ удивленный вопросъ Владиміра Соловью: «царь-ли ты, царевичъ-ли; король-ли ты, королевичъ-ли, али грозенъ посолъ ляховецкій?» Но тамъ только удивленье, здѣсь, передъ чуриловою дружиной, испугъ: не касаясь уже того, что̀ наговорено про нее Владиміру челобитчиками, одинъ ея безконечно-тянущійся рядъ хоть кого напугаетъ. «А какъ онъ, государь, продолжаетъ Пленъ, станетъ передъ тобою—будетъ пиръ во полупирѣ, будетъ столъ во полустолѣ»—т. е. столько времени пройдетъ, пока успѣетъ пройти предшествующая Чурилѣ дружина. А вышло и того дольше: пьютъ они, ѣдятъ, потѣшаются, всѣ уже безъ памяти сидятъ; а и на дворѣ день вечеряется, красное солнышко закатается— и наконецъ-то подъѣзжаетъ Чурила ко двору своему. Но тутъ же былина, какъ-бы безсознательно повторяя число, выше приведенное челобитчиками, попадаетъ въ противорѣчіе съ такимъ долгимъ шествіемъ, когда говоритъ, будто молодцевъ было всего за пятьсотъ и до тысячи. Такое же точно *эпическое* противорѣчіе и немного далѣе: некуда Чурилѣ на дворъ ѣхать и стоять со своимъ промысломъ (съ сопровождавшей его охотою—объясняютъ издатели); некуда, очевидно, отъ тѣхъ *пятисотъ* человѣкъ, сопровождавшихъ Владиміра, которые загромоздили *семиверстный* чурилинъ дворъ! Не найдя

193) Эта поспѣшность его напоминаетъ ту, съ какою онъ побѣжалъ смотрѣть Соловья разбойника. Она несогласна съ тѣми чертами барской, прохлаждающейся неподвижности, какая также приписывается Владиміру, но должна принадлежать въ былинахъ иному слою.

194) У Рыбникова въ пересказѣ Колодозерскаго Старика сборамъ Владиміра приданъ даже оттѣнокъ воинственный—тѣмъ, что онъ тутъ ладился (вѣроятно латился, замѣчаютъ издатели) и поскорѣй кольчужился (1, стр. 262). Между тѣмъ эти выраженія очень рѣдки въ былинахъ.



на немъ мѣста, дружина чурилова убралась на другой, окольный. О томъ, что нѣтъ мѣста на переднемъ дворѣ, сообщилъ Чурилушкѣ *скороходъ*, бѣжавшій у него впереди,—повидимому, *для развѣдыванья*. Сверхъ же всего, въ довершеніе торжественности, передъ Чурилой несли подсолнечникъ, «чтобъ не запекло солнце бѣла его лица.» Кто же такой, по званью, по образу жизни, этотъ горделиво выступающій владыка большой хороброй дружины? Отецъ его, старый Пленъ, называется въ былинѣ Сароженином. Имя это ставятъ въ соотношеніе съ Сурожскимъ моремъ, и *сурожанъ* толкуютъ, какъ торговцевъ по Сурожу [195]). Такимъ образомъ передъ нами опять предводитель торгово-хороброй дружины, только сухопутной, а не морской, какъ Соловей Будиміровичъ, съ которымъ оказалось уже такъ много общаго у Чурилы. Подобно Соловью, онъ, при всемъ своемъ перевѣсѣ надъ людомъ, сопровождающимъ князя, спѣшитъ поднести князю подарки изъ дорогихъ мѣховъ, а княгинѣ камку бѣлохрущатую—т. е. и подарки-то совершенно тѣ же, что̀ у Соловья Будиміровича̀. Тутъ уже князь со княгинею до того возрадовались, что въ конецъ позабыли всѣ жалобы челобитчиковъ, а стали, напротивъ того, приглашать Чурилу-обидчика: «не подобаетъ тебѣ въ деревнѣ жить, подобаетъ тебѣ, Чурилѣ, въ Кіевѣ жить, въ Кіевѣ жить, *князю служить.*» Изъ дальнѣйшаго хода былины оказывается, что онъ дѣйствительно былъ приглашенъ на *службу княжескую*, а не въ *земскую* дружину богатырскую. По какой-то, не вдругъ объясняющейся причинѣ, *не ослушавшись* князя, Чурила у него становится *стольникомъ*. Въ этомъ новомъ званіи онъ посылается Владиміромъ созывать гостей на почестной пиръ, даваемый для него-же, новаго, богатаго стольника княжескаго. При этомъ приказалъ ему князь Владиміръ—*зватаго брать со всякаго по десяти рублей*. Издатели пѣсень Кирѣевскаго дѣлаютъ примѣчаніе, что это *поборъ за зовъ, вѣроятно, въ пользу Чурилы* (Р. III, стр. 85). Думаю, что при богатствѣ Чурилы, это было бы такого рода несообразностью, какая едвали возможна и въ часто-противорѣчивомъ эпосѣ. Скорѣе тутъ-замѣчательное указаніе на *братчину-складчину*, на то, что и пиръ у князя дается тутъ на такомъ обычномъ у насъ въ старину основаніи [196]). Это, конечно, также противорѣчитъ тѣмъ признакамъ царственной обстановки у князя именно въ этой былинѣ, какіе замѣчены были выше. Но подобнаго рода противорѣчіе вполнѣ объясняется разновременностію слоевъ, различаемыхъ въ нашей былинѣ. Складчинный пиръ у князя совершенно соотвѣтствуетъ, напротивъ того, *основамъ былинъ*, выставляющимъ его нерѣдко удивляющимся богатству, а самого небогатымъ, подобно тому какъ и въ лѣтописномъ преданіи онъ представляется неимѣющимъ даже серебрянныхъ ложекъ. Князь, въ складчину угощающій въ стольномъ Кіевѣ

---

195) Т. е. Азовскому морю. Суроженинъ, Суровецъ, Суръ — прозвища, придаваемыя въ былинахъ и другимъ лицамъ: такъ наз. Суровцу-Суздальцу и Садкѣ Новгородскому. «Это сынъ гостиный, сынъ торгоговца и самъ торговецъ, толкуетъ г. Безсоновъ, и любопытно-шелковыми товарами, а шелкъ—сырецъ или суровецъ, лат. sericum (шелковый рядъ—суровскій). Открыть связь между сурожскъ и сырцомъ, суровскими товарами, дѣло не столько филолога, сколько историка» (?) (Зам. къ III вып. Кир., стр. VIII).

196) Такъ, повидимому, понимаетъ это и Ѳ. И. Буслаевъ, говоря, что позовщикъ—Чурила долженъ былъ брать въ княжескую казну со всякаго позваннаго гостя (Русск. Вѣстн. 1862 г. Окт., стр. 536).

богача, владыку дружины торговой, вызваннаго имъ изъ деревни къ себѣ на службу,—это князь того *былевого строя*, въ которомъ и Кіевъ-градъ являлся только большимъ прекраснымъ *селомъ* (какъ и называется онъ до сихъ поръ въ одномъ пересказѣ у Рыбникова) [197]). Что же касается того обстоятельства, почему богачъ и самъ себѣ баринъ Чурила *не ослушивается* Владиміра, то это, кажется, объясняется тѣмъ, что въ Кіевѣ приходилось ему очутиться поближе къ лицу, хорошо знакомому. Не даромъ Бермята Васильевичъ сказалъ, какъ мы видѣли, князю, что онъ давно про Чурилу вѣдаетъ: когда новый стольникъ сталъ ходить-созывать гостей, то *позамѣшкался* у жены бермятиной, Катерины прекрасной. На другой же день, когда зазвонили къ заутренѣ, по выпавшему вновь снѣгу замѣченъ былъ свѣжій слѣдъ. «Это не зайка скакалъ и не бѣлъ горностай, это шелъ Чурила Пленковичъ къ старому Бермятѣ Васильевичу»—шелъ, надо думать, въ то время, когда старикъ еще допировывалъ у Владиміра. Вотъ такимъ-то образомъ въ былину Кирши вплетается второе, особое похожденье Чурилы, съ бо́льшими подробностями передаваемое у Кирѣевскаго и у Рыбникова въ *особыхъ* пѣсняхъ. Но прежде чѣмъ къ нимъ перейти, разсмотримъ тѣ особенности, какія представляютъ намъ рыбниковскіе пересказы перваго похожденія (въ сборникѣ Кирѣевскаго ни одного особаго пересказа этого похожденія не имѣется). Сюда у Рыбникова относятся собственно только двѣ пѣсни — въ ч. I, № 45 (отъ старика въ Колодозерѣ—Пудожскаго Уѣзда) и въ ч. III, № 24 (того же уѣзда отъ Поромскаго Старика). Въ первой изъ этихъ пѣсень у дружины чуриловой «кафтанчики скурлатъ сукна, сапожки на ножкахъ зеленъ сафьянъ,» во второй же—кафтаны *голубъ* скурлатъ, что совершенно подходитъ къ однорядочкамъ изъ голубаго скурлата, упоминаемымъ у Кирши Данилова (стихъ 30). Это совершенно напоминаетъ такіе же точно кафтанчики и сапожки у соловьевой дружины. Существенное отличіе отъ послѣдней составляютъ богато разукрашенные кони у дружины чуриловой. Кирша ихъ называетъ *латинскими* (чѣмъ указывается на иноземное происхожденіе), а у рыбниковскихъ пѣвцовъ они *одношерстные*, что совершенно подходитъ къ *одноличности* молодцевъ—свойству, одинаково принадлежащему и чуриловой и соловьевой дружинѣ. Но совершенную особенность первой составляетъ то, упоминаемое только обоими рыбниковскими пѣвцами обстоятельство, что у нихъ *источнямись подпоясанось* (разноцвѣтными струйчатыми поясами — поясняетъ собиратель—III, стр. 120), а на головахъ *колпачки—золоты плаши* (у Кирши), или золоты верхи (у Поромскаго Старика). Относительно этихъ послѣднихъ вотъ что сказано у г. Стасова: «шапки съ золотымъ верхомъ, какія были на челяди Чурилы Пленковича, встрѣчаемъ въ пѣсняхъ у Сагайцевъ, на челяди Ханъ-Тёса, а изъ Шахъ-Наме узнаемъ даже, что золотыя шапочки издревле принадлежали къ костюму рабовъ» [198]). Можно придать нѣкоторый вѣсъ этому замѣчанію на томъ основаніи, что такія шапочки представляютъ что-то *исключительное* въ нашихъ былевыхъ описаньяхъ одежды, а вмѣстѣ и потому,

---

197) На наше на село на прекрасное, на славенъ на
Кіевъ градъ наѣзжаетъ собака Калинъ царь, и т. д. (Рыбн. I, стр. 97).

198) Вѣстн. Евр., Іюль 1868 г., стр. 692—693.

что въ былинѣ Кирши о Чурилѣ встрѣчается и другая черта, не менѣе у насъ исключительная: это тотъ *подсолнечникъ*, которымъ закрываютъ Чурилу отъ солнца и который является, можетъ быть, только упростительною замѣною обычнаго на востокѣ, самой природой предписываемаго *зонтика* [199]). Есть и еще одна особенность въ жилищѣ Чурилы, упоминаемая у Кирши Данилова и у Поромскаго Старика —это то, что въ его свѣтлицахъ «*полъ-середа одного серебра*, крюки да пробои по булату злачены.» Вотъ какъ толкуетъ это г. Стасовъ: въ восточныхъ произведеніяхъ нерѣдко упоминается полъ—хрустальный, или изъ лапись-лазули, изображавшій воду; тоже должно быть и въ нашемъ описаніи пола Чурилы; «*середина*, сдѣланная изъ серебра, изображала воду, а *кругомъ* этого подобія настоящей воды шла полоса пола, уже не похожая на воду (значитъ сдѣланная не изъ серебра)». (В. Евр. Іюнь, стр. 644). — Заодно укажу и на попытку того же изслѣдователя объяснить другую, уже извѣстную намъ черту въ жилищѣ Чурилы — убранство соболями, лисицами и т. п. «Должны-ли мы вообразить себѣ, спрашиваетъ г. Стасовъ, что потолокъ и окна дѣйствительно были выложены мѣхами? Наврядъ-ли. Это была бы подробность довольно странная и необъяснимая. Но вполнѣ удовлетворительное объясненіе этимъ загадочнымъ выраженіямъ мы получаемъ въ «*Дзанглунѣ*:» тутъ разсказывается, что потолокъ въ домѣ у одного богача былъ покрытъ фигурами всякихъ дикихъ звѣрей, морскихъ чудовищъ, рыбъ. Дикіе звѣри азіятскихъ разсказовъ превратились у насъ въ бобровъ и соболей,» и являются они тутъ, какъ всѣ, переложенныя былинами подробности восточныхъ оригиналовъ, въ урѣзанномъ и сокращенномъ видѣ. Въ восточныхъ оригиналахъ было еще сказано, что всѣ эти звѣри и животныя «отъ движенья воздуха колебались и отражались на полу», значитъ мы должны тутъ видѣть подъ обычными восточными гиперболами рѣзные барельефы, столь любимые древнимъ востокомъ.... Наши же былины забыли архитектурное значеніе этихъ рельефовъ, и принимаютъ ихъ уже прямо за дѣйствительно тѣ самые предметы, которыхъ тутъ первоначально описывалось только подобіе Это ничто иное, какъ общій всегдашній пріемъ былинъ: такъ напр. чудовища, звѣри и птицы, вырѣзанные на пуговицахъ богатырской одежды, превращаются иногда въ былинахъ въ живыхъ, дикіе звѣри начинаютъ тутъ ревѣть, птицы пѣть....» (В. Е. Іюнь, 644—645). Собственно говоря, это встрѣчается въ былинахъ довольно рѣдко. Одинъ примѣръ уже встрѣтился намъ въ описаніи пуговицъ Ильи Муромца, другой еще встрѣтится въ былинахъ о Дюкѣ Степановичѣ.—Возвращаясь теперь къ Чурилѣ съ его страннымъ теремомъ, я спѣшу оговориться, что ко многимъ подробностямъ въ замѣчаніяхъ о немъ г. Стасова должно поставить вопросительные знаки. Я не стану вдаваться въ разбирательство этихъ подробностей. Повторю только,

---

[199]) Въ одной Рамаянѣ подобный зонтикъ упоминается до 22-хъ разъ (Fauche, Ramayana II, 71, 153; III, 96, 179, 184, 336; IV, 243, V, 44, 161, 233; VI, 44, 110, 297; VIII, 237, 252, 271, 330, 372, 410 IX, 396, 407. Въ Магабгаратѣ—едвали не также часто. Подсолнечникъ вмѣсто зонтика упоминается у насъ также въ одномъ пересказѣ былины про Дюка Степановича, гдѣ его несутъ надъ его государыней матушкой — о чемъ ниже. Выше же см. стр. 210 и 211 о золотомъ зонтикѣ у Сіамцевъ и навѣсъ надъ Гугономъ.

что до *извѣстной степени* можетъ быть допущено *вообще* вліяніе на *нѣкоторыя* былины пріемовъ восточной эпической кисти, съ которой должны мы были познакомиться по несомнѣнно къ намъ заходившимъ и устно и письменно восточнымъ расказамъ; но вліяніе можетъ быть допускаемо собственно на такихъ былинахъ, которыя и всѣмъ своимъ бытовымъ складомъ отличаются отъ бытового склада старославянскаго. Къ числу подобныхъ относятся какъ былины о Соловьѣ Будиміровичѣ, такъ и былины о Чурилѣ Пленковичѣ. Къ обрисовкѣ составлявшаго у насъ въ эпосѣ явленіе только *чужое, заѣзжее,* крупнаго богача-торговца очень легко могли примѣшаться черты, повыслушанныя и позаимствованныя изъ расказовъ о роскоши и сановитости торговыхъ людей востока [200]). Съ ними, впрочемъ, могли знакомить и не одни расказы, а даже сама дѣйствительность, сводившая отовсюду на землю русскую, а вмѣстѣ и съ востока, не однихъ же кочевниковъ—насильниковъ, но и торговцевъ.

Если вышеприведенное замѣчаніе г. Стасова о заимствованіи *златоверхихъ шапочекъ* чуриловой челяди у эпической круты восточныхъ *рабовъ* дѣйствительно вѣрно, то этимъ подтверждается *подначальное* значенье работной дружины чуриловой. Нужно ли повторять, что самое слово *роботный*, этимологически связывается со словомъ *рабъ* [201])? Но замѣчательно, что дружиной *работною* надѣляются у насъ Соловей и Чурила—лица *заѣзжія*. Ни дружина Вольги, ни дружина Добрыни (хотя и служащая лично тому и другому) не обозначены этимъ именемъ; не говорю уже о дружинѣ владиміровой, которая собственно и не служитъ *ему*, а только вызывается, выспрашивается имъ отовсюду—для обороны русской земли. Напротивъ сокольники, кречетники и т. д. владиміровы (у Кирши) составляютъ уже его *служилый людъ*, и въ пересказѣ Колодезерскаго Старика они получаютъ даже названіе *трудниковъ работниковъ* (числомъ шестьсотъ). Они выставляются тутъ уже хорошо знающими про Чурилушку, что онъ живетъ со *своею дружиной хороброй* во *Кіевцѣ* на Сорогѣ рѣкѣ, куда они *отосланы были* на ловъ. Колодозерскій Старикъ въ спутники князю, отправляющемуся къ Чурилѣ, даетъ Илью Муромца, величая его при этомъ *любимымъ подручникомъ* княжескимъ. Что Илья—*любимый* изъ богатырей, это подтвеждается всѣми былинами; только онъ болѣе *любимъ* народомъ, чѣмъ княземъ кіевскимъ. Въ этомъ намъ придается увѣриться изъ дальнѣйшаго, и это объяснится тѣмъ, что отчасти уже и выказалось въ Ильѣ — его неспособностью быть *подручникомъ*. Въ былинахъ о Соловьѣ разбойникѣ мы уже видѣли, какъ самъ Владиміръ очутился (въ прямомъ смыслѣ слова) *подъ рукой* у Ильи, а княгиня Апраксѣевна подъ другою. Оба они всегда и вездѣ находятся вмѣстѣ со всей землей русской *за* могучей его обороною. Такимъ образомъ слово *подручникъ* не подходитъ къ Ильѣ и не можетъ быть подлиннымъ; столько же неподлинна тутъ, надо

---

[200]) Замѣчу въ заключеніе, что еще замѣчательное сходство съ былинами про Чурилу—съ его воротами—представляетъ въ Рамаянѣ Ланка, охраняемая Раваною, украшенная высокими воротами, подобящимися облакамъ, между которыми сверкаютъ одни серебрянные и даже одни изъ тяжелаго золота.

[201]) См. выше на стр. 550 примѣчаніе 2-го столбца, опечаткою помѣщенное подъ № 169 вмѣсто 168-го.

думать, и вся эта замѣна Ильею Добрыни (упоминаемаго въ данномъ случаѣ у Кирши): богатырь-спутникъ служитъ тутъ просто *лицомъ безъ рѣчей и безъ дѣла*, а подобное положеніе ужь Ильѣ-то совсѣмъ не свойственно.—*Троякость*—только не *воротъ*, а *сѣней*—встрѣчается и у Колодозерскаго Старика, только уже безъ того *входа* людей поважнѣе въ однѣ, а поплоше въ другія [202]), какой мы замѣтили въ древнемъ пересказѣ Кирши (а у Поромскаго Старика даже *девятеро сѣней*—по трое каждаго рода—но опять безъ разграничивающаго значенія *входовъ*). Подобно роботничкамъ княжескимъ, и работнички чуриловы идутъ съ поля тремя толпами—въ сто, въ двѣсти, и въ триста молодцевъ.

Одинъ молодецъ получше всѣхъ:
*Волосинки—золота дуга серебряная.*
Шея у Чурилы—бɪдто бѣлый снѣгъ,
А личико бɪдто маковъ цвѣтъ
Очи бɪдто у ясна сокола,
Брови бɪдто у черна соболя;
Съ коня на конь перескакиваетъ,
У молодцевъ шапочки подхватываетъ,
На головушки шапочки покладываетъ.
(Р. I, стр. 264).

А у Поромскаго Старика онъ изъ сѣдла въ сѣдло перемахиваетъ, черезъ третье да на четвертое, въ верхъ копье подбрасываетъ, изъ ручки въ ручку подхватываетъ—(III, стр. 124—125). Словомъ, это уже знакомая намъ хорошо общеэпическая игра богатырская (см. выше стр. 16).

Думаю, что замѣняющее эту игру у Колодозерскаго Старика подхватываніе шапочекъ составляетъ уже порчу; что-же касается у него *волосинокъ-золотой дуги*, то это, можетъ быть, примѣшалось сюда отъ сказочныхъ золотоносныхъ отроковъ [203]). Испуга Владиміра при видѣ Чурилы съ его большою дружиною у Колодозерскаго Старика уже не имѣется. Зато онъ не только что сохранился, но передается даже съ большею полнотой у Поромскаго Старика:

Владиміръ то сидѣлъ за дубовымъ столомъ,
Взадъ да впередъ сталъ поелзывати: [204])
«Охти мнѣ, уже куда де буде мнѣ!
«Али же тутъ ѣдетъ уже царь съ Ордой,
«Али тута ѣдетъ король съ Литвой,
Али тутъ ѣдутъ сватовщики
На моей-то племянницы любезныя
На душкѣ Забавы на Путятичной.»

Замѣчательное приведенье сватовщиковъ въ числѣ *грозныхъ* гостей,—указывающее, конечно, на исконный, насильственный видъ сватовства. — Поразительны послѣ этого у Поромскаго Старика лукаво-добродушныя слова стараго Плена: «Да не бойся-тко, Владиміръ, не полошайся: тутъ вѣдь ѣдетъ *сынишко* мое, *премладое* Чурило (сынъ) Пленковичъ (Р. III, стр. 124). И у Колодозерскаго Старика онъ называетъ его *сынишкой Чурилченкой*, но тутъ это служитъ только отвѣтомъ на слова Владиміра: «не твое ли это дитятко любимое» (I, стр. 264);—такъ что все это мѣсто въ упомянутомъ пересказѣ, очевидно, попорчено. — Далѣе въ немъ, сверхъ извѣстныхъ подар-

---

[202]) У Колодозерскаго Старика всѣ какъ будто проходятъ и въ тѣ, и въ другія, и въ третьи сѣни, а потомъ уже въ терема златоверхіе.

[203]) Впрочемъ г. Безсоновымъ толкуется это какъ лучезарный нимбъ—въ связи съ другими признаками, по которымъ онъ уподобляетъ Чурилу Эрмису (См. Зам. къ IV вып. Кир. стр. LXXXV).

[204]) Поерзывать—въ бережнодубровской побывальщинѣ, отрывокъ изъ которой приводится у Рыбн. I, стр. 266.

ковъ княгинѣ и князю, упоминается также золотая казна—смѣты нѣтъ, какъ чурилинъ подарокъ князьямъ и боярамъ, что̂ опять таки напоминаетъ Соловья Будиміровича, не забывшаго также и спутниковъ княжескихъ. Принимая подарки, Владиміръ въ нашемъ пересказѣ находитъ, что не довлѣетъ Чурилѣ жить въ Кіевцѣ, а довлѣетъ ему жить въ Кіевѣ—у него, у князя, въ *курятникахъ*: слово, отличающееся большею простотой, бо̂льшимъ соотвѣтствіемъ сельскому быту, чѣмъ *стольничанье* Чурилы у Кирши Данилова [205]). Впрочемъ, далѣе въ нашемъ пересказѣ Чурилушкѣ достается другая должность:

И возговоритъ княгиня Опраксія:
«Ахъ же ты, солнышко Владиміръ князь!
Положи-тко Чурилу въ постельники,
Чтобы сталъ онъ перину пуховую
И кладалъ бы зголовьице высокое
И сидѣлъ бы у зголовьица высокаго,
Игралъ бы въ *гуселышки яровчаты* [206]),
И спотѣшалъ бы князя Владиміра.

Этими *гуслями* Чурила еще больше сближается съ Соловьемъ Будиміровичемъ; а приведеніе ихъ, этого средства эпическаго для влюбленія и причаровыванія, вслѣдъ за выборомъ для него княгинею должности постельника, прямо указываетъ на то, что между нимъ и княгиней завяжутся тутъ отношенія, окончательно напоминающія Соловья съ Запавой. И дѣйствительно нашъ пересказъ, съ замѣчательною *чистотой* въ оборотѣ, замѣчаетъ далѣе, что Чурила спотѣшаетъ князя Владиміра, *а княгину Опраксію больше того*. Нѣсколько иначе, но въ сущности сходно, говорится объ этомъ въ отрывкѣ изъ побывальщины, записанномъ въ Бережно—Дубровскомъ Погостѣ г. Рыбниковымъ и приводимомъ у него въ видѣ примѣчанія къ этому мѣсту нашего пересказа (ч. I, стр. 266). Пожаловалъ его князь въ постельники, и стилалъ Чурила постели мягкія... потѣшалъ князя игрою на гуселкахъ, *а княгиня Чурилу у души держала*. Опять иначе, и въ высшей степени поэтически передается та-же черта у Поромскаго Старика: Чурила, какъ и у Кирши, поступаетъ тутъ въ стольники, и вотъ тутъ-то, во время служенья его за столомъ, учинилось, что

Премладая-та княгиня Апраксія
Рушала мясо лебединое,
Да обрѣзала руку бѣлу правую,
И сама говорила таково слово:
«Не дивуйте-ка, жены мнѣ господскія,
Что обрѣзала я руку бѣлу правую:
Я смотрючись на красоту Чурилову,
На его на кудри на желтые,
Помутились у меня очи ясныя.»
Еще говорила таковы слова:
«Свѣтъ государь ты Владиміръ князь!
Премладому Чурилу сыну Плепковичу
Да не на этой ему службѣ быть:
А быть ему въ *постельникахъ*»...
Свѣтъ государь-де Владиміръ князь
Снялъ Чурила съ этой *большины*—

т. е. должности, поясняетъ собиратель,—съ должности стольника;—однако же сдѣлалъ не по княгинину—поставилъ на большину на иную, во ласковые зазыватели [207]), т. е. въ ту-же, въ какой онъ является дѣйствующимъ у Кирши.

---

205) И въ этомъ курятничаньи Чурилы г Безсоновъ видитъ соотвѣтствіе съ тѣмъ, что у Эрмиса символомъ былъ пѣтухъ (?) (Стр. 4 XXIX).

206) Эта гусельная игра Чурилы напоминаетъ г. Безсонову изобрѣтеніе семиструнной лиры Эрмисомъ, наводящимъ, какъ и Чурила, своею игрою сонъ на людей

207) А Эрмисъ—богъ глашатаевъ (Безсоновъ).

У Колодозерскаго Старика, гдѣ Чурила уже былъ постельникомъ (по исполненному желанью княгини) онъ вдругъ переименовывается надоумившимся княземъ также въ *позовщички*. Что́ же касается бережно-дубровской побывальщины, то въ ней нѣтъ никакого *переименовыванья*, а высказывается снисхожденье Владиміра: «пришла ты, княгиня, мнѣ въ любовь, и я тебя въ этой вины прощу, а то бы тебѣ головка сѣчи...» (Р. I, 266). Всего этого похожденья Чурилы съ княгиней совсѣмъ не имѣется у Кирши. Оно однакоже было извѣстно и до г. Рыбникова. Уже въ 1 т. Прибавленій къ Извѣстіямъ Ак. Наукъ напечатана была *отдѣльная пѣсня* объ этомъ, записанная свящ. Фаворскимъ въ селѣ Павловѣ (Нижегородской Губерніи). Тутъ на пиру у Володиміра *Сыславича* (довольно рѣдкое въ былинахъ испорченное—*Святославича*) княгиня, какъ и у Поромскаго Старика, рушила лебедь бѣлую (одно изъ *пяти на двадцати* яствъ) и, заглядѣвшись на *Чуриву* на *Цыпленковича*, порѣзала себѣ руку лѣвую, до *со стыду со сраму* подъ столъ руку свѣсила. Вслѣдъ же за тѣмъ она тутъ сама находитъ, что «не годенъ Чуривушка въ постельнички... сказана Чуривѣ служба явленая: ему ѣздить по городу по Кіеву...»

Княгиня Апраксѣевна, какъ не трудно вспомнить, у *души держала* не одного Чурилу. Мы уже видѣли ея отношенія къ чудищу Тугарину, приведшія въ негодованіе—даже Алешу Поповича.

Впрочемъ, мы знаемъ уже, что не одна Апраксѣевна для Чурилушки измѣнила мужу. Но кромѣ указанной у Кирши жены бермятиной, вотъ что́ говоритъ пересказъ изъ Павлова о Чурилѣ—уже въ *большинѣ* зазывателя «когда поѣхалъ Чуривушка по Кіеву, заглядѣлись на него всѣ люди;—гдѣ дѣвушки глядятъ—заборы трещатъ, а гдѣ молодушки глядятъ—лишь оконенки звенятъ, а гдѣ стары глядятъ,—манатьи на себѣ берутъ, (т. е. мантіи дерутъ, поправляютъ издатели; вмѣсто же *стары*, надобно, думаю я, читать *старицы*, такъ оно, по крайней мѣрѣ, у Поромскаго Старика: смотрючись на красоту чурилову, старицы по кельямъ опакишь дерутъ, молодыя молодицы въ голенище... красныя дѣвки очелье [208]) дерутъ [209]). Вотъ тутъ-то, совершенно уже потерявшая стыдъ Апраксія вторично заявляетъ Владиміру. что не на этой службѣ Чурилѣ быть, а быть ему въ *постельникахъ*. Тогда Владиміръ, видя, что бѣда пришла, просто высылаетъ Чурилу изъ Кіева.—У Колодозерскаго Старика ни княгиня не повторяетъ своего требованія, ни Владиміръ не выводится такимъ образомъ изъ своего поразительнаго долготерпѣнія. Чурила идетъ тутъ приглашать ко Владиміру *князей-бояръ*. Непосредственно за этимъ слѣдуетъ похожденье съ женой бермятиной, соединяющееся такимъ образомъ въ одну сводную пѣсню съ другими двумя похожденіями. — Напротивъ того у Поромскаго Старика и у нѣсколькихъ другихъ пѣвцовъ олонецкихъ, а также у одного съ Сузунскаго Завода (Кир. III, стр. 87—90) похожденье съ женою бермятиной является, какъ отдѣльная пѣсня, особнякомъ. Прежде чѣмъ пе-

[208]) Передъ сороки, головного убора, надѣваемаго на сдерику (объясненіе г. Рыбникова—III, стр. 126).

[209]) Эта послѣдняя черта, повторяющаяся у различныхъ пѣвцовъ, совершенно напоминаетъ то, что́ приключилось съ Запавою отъ чарующей игры Соловья. Иначе выражено это мѣсто въ бабьей старинѣ изъ Кижской Волости:

На его дѣвки глядятъ—золоты пелы ломятъ,
Стары бабы глядятъ—прялицы ломятъ
(Р. I, № 46).

рейти къ сравнительному разбору этого *послѣдняго* похожденья Чурилы, остановлюсь на былинѣ Поромскаго Старика объ основномъ похожденьи чурилиномъ. Былина эта—самая подробная, но вовсе не многорѣчивая. Когда Владиміръ князь на пиру своемъ распотѣшился, то вышелъ онъ, государь, на крылечко переное, зрѣлъ-смотрѣлъ во чисто поле и увидѣлъ толпу *мужиковъ все Кіевлянъ*, обращающихся къ нему съ мольбою: «дай, государь, свой праведный судъ, дай на Чурила сына Пленковича» Они знаютъ его потому, что люди, переловившіе у нихъ рыбу, «скажутся-называются дружиною чуриловой.» Всѣ принадлежности у этихъ людей—роскошныя: плутивца у сѣтокъ *серебряныя*, камешки *позолоченные*, тетивки *семи шелковъ* (это напоминаетъ *шелковые* паруса Соловья Будиміровича). *Шелковыми* оказываются и *тенета* у другой дружины чуриловой, той, которая переловила звѣрей. Вслѣдъ за тѣмъ *тутъ* же, во очью у Владиміра, появляются и сами Чуриловцы въ числѣ—до пяти сотъ. «Стали по Кіеву уродствовати: лукъ-чеснокъ весь повырвали, бѣлую капусту повыломали.» Такими послѣдствіями ихъ чисто разбойническаго нашествія вполнѣ выясняются совершенно *сельскія* свойства Кіева, главныя богатства котораго оказываются тутъ—въ огородахъ. Но, кромѣ разоренія, дошло тутъ и до насильствъ въ такомъ родѣ:

Старыхъ-то старухъ обезвѣчили,
Молодыхъ де молодицъ сорома де довели,
Красныхъ дѣвицъ опозорили.
Бьютъ челомъ князю *всѣмъ Кіевомъ*:
Князи-то просятъ со княгинями,
Бояра-то просятъ со боярынями,
Всѣ мужики *огородники*:
«Дай, государь, свой праведный судъ!
Дай на Чурила сына Пленковича».
(Рыбн. III, стр. 121).

Мнѣ приходитъ на память одно мѣсто въ исторіи С. М. Соловьева, гдѣ *дружина богатырская* выставляется враждебною *мужикамъ* [210]). Оно будетъ вѣрно, если уничтожить *обобщеніе* и сказать—*дружина чурилова*. Но между дружиной такого рода и *дружиною земскою* общаго нѣтъ ничего. Послѣ этого можетъ выясниться и значенье тѣхъ словъ набольшаго земской дружины, Ильи Муромца, которыя уже попались намъ выше, при прощаньи Ильи со станишниками: «*скажите обо мнѣ Чурилѣ Пленковичу*». Они должны быть равносильны словамъ, съ какими обратился тотъ же Илья къ королевичамъ подъ Черниговомъ: «чините обо мнѣ такову славу, что святая Русь не пуста стоитъ, много въ ней славныхъ могучихъ богатырей» [211]). Пусть же такая слава о богатыряхъ охранителяхъ дойдетъ и до Чурилы, насильника и обидчика!

Однакоже въ нашей былинѣ Илья Муромецъ не является, что, по всей вѣроятности, должно быть объяснено его отсутствіемъ въ это время изъ Кіева. Праведнаго суда проситъ Кіевъ не у Ильи, а у своего князя. Между просящими вслѣдъ за князьями и боярами непосредственно идутъ *огородники*. Собиратель, въ выноскѣ, поправляетъ: *горожане*. Я же думаю, что поправки тутъ вовсе не нужно: подъ жалующимися послѣ князей и бояръ должны разумѣться тѣ, у кого истреблены овощи, т. е. именно *огородники*.

210) Въ XIII т., въ обрисовкѣ внутренняго состоянія древней Руси. Съ этой стороны томъ этотъ былъ мною разобранъ въ статьѣ: Русскій народный эпосъ передъ судомъ г. Соловьева», помѣщенной въ Библіотекѣ для чтенія того же года, когда вышелъ XIII томъ.

211) См. выше стр. 289.



Ихъ же, надобно думать, разумѣетъ Владиміръ подъ *гостями торговыми*, которыхъ называетъ онъ неразумными, а князей-бояръ—глупыми за то, что они обращаются къ нему, не знающему *посельица чурилина*. Но князья-бояре его знаютъ. Они описываютъ князю и мѣсто, и устройство двора чурилина, уже намъ знакомое, а на томъ дворѣ оказывается тутъ у Чурилы до *семидесяти* теремовъ.—Вотъ и поднимается князь туда, на Почай рѣку, поднимается со князьями со боярами, со купцами и со гостями торговыми. Прибывъ туда и увидѣвъ все, головою качаетъ князь, приговариваетъ: «право мнѣ, не пролгали мнѣ.» — Выходитъ изъ теремовъ на *падовую* улицу старъ матеръ человѣкъ въ соболиной шубѣ подъ самитомъ съ пуговицами вальячными изъ краснаго золота, зоветъ Владиміра хлѣба кушати—

«Какъ тебя да именемъ зовутъ,
Хотя зналъ бы у кого хлѣба кушати»—
Я, говоритъ, Пленко *гость* Сороканинъ,
Я вѣдь чуриловъ-отъ есть батюшка.—

Такимъ образомъ—этимъ словомъ *гость* окончательно выясняется *купеческое* происхожденье Чурилы. Но это не мѣшаетъ ему имѣть при себѣ, именно въ этомъ пересказѣ, цѣлый рядъ служилыхъ чиновъ, поражающихъ князя Владиміра своимъ барскимъ видомъ.

Изъ чиста поля толпа появилася...
Говорилъ Владиміръ таково слово:
«Не тутъ ли ѣдетъ Чурило сынъ Пленковичъ?»
— Нѣтъ Чурила сына Пленковича:
Ѣдутъ тутъ чуриловы то повары...
Та толпа на дворъ прошла
Новая изъ поля появилася,
Ѣдетъ молодцевъ до до пяти ихъ сотѣ...
«Не тутъ ли ѣдетъ Чурило сынъ Пленковичъ?»
—Ѣдутъ тутъ чуриловы-то стольники.
(Рыбн. III, стр. 124).

Наконецъ то выѣзжаетъ новая толпа болѣе тысячи человѣкъ, и середи этой *силы* (вспомните древнее значеніе этого слова = *рати*, войску) *купавъ* [212]) молодецъ, разодѣтый роскошно, какъ и отецъ его. *Сила* чурилова ушла по своимъ теремамъ, а самому сказала про гостей *незнаемыхъ*. Тутъ онъ, какъ и во всѣхъ пересказахъ, идетъ въ свои кладовыя за подарочками,—но совершенно особеннымъ образомъ распредѣляетъ ихъ: кромѣ Владиміра князя, которому, какъ и у другихъ пѣвцовъ, дается тутъ сорокъ сороковъ соболей,—бояръ-то дарилъ да все лисками, купцовъ-то дарилъ все куницами, мужиковъ-то дарилъ золотой казной... Такое особенное предпочтенье послѣднимъ едва ли не должно быть объяснено желаньемъ вознаградить ихъ за понесенные ими убытки. Но въ такомъ случаѣ гости эти—*незнаемы* только для докладывавшихъ о нихъ, а ему самому хорошо извѣстны. Едва ли не подобнымъ образомъ дѣйствій Чурилы Пленковича объясняются въ нашемъ пересказѣ и слѣдующія, должно быть нѣсколько ироническія, слова Владиміра: «хоть и много на Чурила было жалобщиковъ, а теперь на Чурила я суда де не дамъ.» Да и не зачѣмъ, такъ какъ жалобщики совершенно ублаготворены.—Но такъ оно *исклю-*

212) Болг. хубавъ (сербск. убав.) — красивый (Иркут. купавый—бѣлый) перс. хубъ—прекрасный. (Прим. г. Безсонова въ 1 ч. его Болгарскихъ Пѣсенъ стр. 3).



*чительно* въ томъ *изводѣ*, представителемъ котораго служитъ Поромскій Старикъ. Въ этой *примирительной* постановкѣ Чурилы нельзя, мнѣ кажется, не признать попытки приблизить это, *чуждымъ* началомъ проникнутое лицо, къ основному складу порядковъ кіевскихъ.—Вмѣстѣ же съ тѣмъ въ болѣе выгодномъ свѣтѣ является тутъ и Владиміръ князь.

Прежде чѣмъ перейти къ заключительному похожденью Чурилы, передаваемому, между прочимъ, и въ особой пѣснѣ Поромскаго Старика, не могу не обратить вниманія на недавнюю еще попытку нашего многоуважаемаго историка, И. Д. Бѣляева,—поставить былины о Чурилѣ въ соотношеніе съ историческими сказаніями о началѣ Москвы. Говоря объ издавнемъ заселеніи Суздальской Руси боярами—выходцами изъ Новгорода, онъ замѣчаетъ, что «они управляли ею отъ имени Новгорода, подобно тому какъ Волынскую и Галицкую землю держали за собою тамошніе земскіе бояре землевладѣльцы въ родѣ сказочныхъ Дюка Степановича и Чурилы Пленковича, или стараго Плена, отца Чурилы.»—Далѣе онъ останавливается на томъ обстоятельствѣ въ одномъ изъ сказаній о Москвѣ, что князь Даніилъ Александровичъ проситъ у боярина Кучка двухъ сыновей его къ себѣ во дворъ и говоритъ такъ: «аще не да даси сыновъ своихъ мнѣ во дворъ, и язъ на тя войною пойду и тебя мечомъ побью, а села твои красныя огнемъ пожгу.»—«Это требованіе, замѣчаетъ г. Бѣляевъ, совершенно одинаково съ требованіемъ Кіевскихъ князей отъ Волынскихъ и Галицкихъ земскихъ бояръ, какъ видно изъ народной былины о томъ, что великій князь Владиміръ Святославичъ требовалъ отъ Волынскаго боярина, стараго Плена, чтобы онъ отпустилъ къ нему на службу своего сына Чурилу Пленковича. Отсюда ясно, что Суздальскіе князья въ здѣшнемъ краю повторяли-то, что прежде дѣлали Кіевскіе князья на Волыни и въ Галичѣ, такъ что самое народное преданіе здѣсь является какъ бы повтореніемъ приднѣпровской былины.» [213]) Не отрицая этой *преемственности* между тѣми и другими князьями, а вмѣстѣ съ тѣмъ и издавней черты *исторической* (въ широкомъ смыслѣ этого слова) въ приглашеніи независимаго Чурилы на службу въ Кіевъ, я никакъ не вижу, при всемъ моемъ уваженіи къ нашему историку, отпечатка *земскаго боярства* ни на Чурилѣ, ни на отцѣ его, старомъ Пленѣ. Совершенно другое дѣло—Дюкъ Степановичъ, былины о коемъ должны насъ занять въ скоромъ времени. Того въ самомъ дѣлѣ сами пѣвцы называютъ *бояриномъ*; стараго же Плена, напротивъ того, нетолько не надѣляютъ они этимъ званіемъ, но даже положительно отзываются о немъ, какъ о *гостѣ* (купцѣ) *Сарожанинѣ*. Если и онъ, и Чурила, своею роскошною и барскою обстановкой, дѣйствительно выказываютъ себя *боярами*, *большими людьми*—то большими по богатству, по имущественному преобладанію. Это, пожалуй себѣ, и *болярство*, но купеческое, торговое, какимъ, впрочемъ, было, собственно говоря, и боярство новгородское. Между нимъ, и между *мужиками*—новгородскими или кіевскими—общаго нѣтъ ничего; оно, это боярство торговое, не вѣдаетъ подъ собою общей для всѣхъ, основной, *земской*

---

213) *Русскій Вѣстникъ 1863 г. Мартъ, стр. 16 и 20 (статья И. Д. Бѣляева—Сказанія о началѣ Москвы)*

почвы. И поступая на службу къ князьямъ, оно не становится *земскимъ*, а только чисто *служилымъ*, *дворскимъ*. — Существенная разница между былинами о Чурилѣ и сказаніями о началѣ Москвы—и въ томъ, что тамъ князья *заставляютъ* бояръ поступать къ себѣ на службу *угрозою*, здѣсь же самъ Владиміръ князь сначала робѣетъ передъ Чурилой, уступающимъ обыкновенному *приглашенью*. Этимъ Владиміръ какъ бы старается только задобрить, сдѣлать ручною, безвредною силу, начинавшую, было, вредить ему *лично*, забирать его имущество княженецкое. Владиміръ тутъ дѣйствуетъ также совсѣмъ не какъ *земскій князь:* забирая Чурилу къ себѣ во дворъ, онъ и не думаетъ о судѣ надъ нимъ за обиды его народу. Только въ изводѣ, сохранившемся у Поромскаго Старика, все это сглажено, какъ мы видѣли, тѣмъ, что Чурила какъ будто бы самъ, добровольно, ублаготворяетъ мужиковъ надѣленіемъ ихъ золотою казною.

Зато между былинами и сказаньями—полное соотвѣтствіе въ томъ, что какъ въ первыхъ Чурила заводитъ любовную связь съ княгиней, такъ и въ послѣднихъ Кучковичи соблазняютъ жену княжескую. Это кончается даже трагически—убіеніемъ ими сообща съ нею князя. И между былинами о Чурилѣ есть трагическія, только гибнущимъ является въ нихъ не князь (остающійся даже совсѣмъ въ сторонѣ), такъ какъ и самая связь любовная завязывается тутъ у Чурилы съ женою—не князя, а одного изъ ближнихъ людей его. Объ этой связи мы знаемъ уже изъ былины Кирши Данилова, только тамъ она передана неполно и безъ развязки. Эта послѣдняя напротивъ того имѣется въ нѣсколькихъ пѣсняхъ у Рыбникова и въ одной у Кирѣевскаго. Сюда же относится и выше уже упомянутая пѣсня Поромскаго Старика (Р. III, № 27), служащая какъ бы прямымъ продолженіемъ пѣсни Кирши Данилова. Чѣмъ кончается та, тѣмъ начинается эта—слѣдами на порохѣ снѣга бѣлаго, выпавшаго во время заутрени. Если о самомъ звонѣ къ ней не упомянуто у Поромскаго Старика, то у него весьма точно опредѣленъ зато самый праздникъ—благовѣщенье. Далѣе—у старика позабыто *выпаданье гвоздочковъ серебрянныхъ* изъ сапогъ чурилиныхъ (и не сказано, какъ эти гвоздочки подбирались *ребятами*: «тѣмъ-де ребята головы кормятъ» (особая черта роскоши въ нашемъ щеголѣ) [214]). Катерина, жена Бермяты, къ которой идетъ тутъ Чурила, оказывается далѣе Катериной *Микуличной*, т. е. какъ будто сестрою Настасьи, жены добрыниной (такъ оно и во всѣхъ пересказахъ рыбниковскихъ). Но между тѣмъ какъ Настасья въ продолженіи долгихъ лѣтъ соблюдаетъ вѣрность супружескую, Катерина легко измѣняетъ своему—впрочемъ старому мужу. Она зазываетъ черезъ окно Чурилу, говоря ему, что Бермятаго дома не случилось (онъ, между тѣмъ, у заутрени). Начинаютъ они играть, по хрустальной доскѣ, въ шахматы серебряные—на такихъ, высказываемыхъ ею, выгодныхъ исключительно для него условіяхъ: «я тебя поиграю, тебя Богъ проститъ, а ты меня поиграешь, тебѣ сто рублей.» Такимъ образомъ, трижды ей давши матъ, выигралъ онъ триста рублей. Тутъ она бросала и доску и шахматы, и говорила такія слова, которыя, очевидно,

---

214 Ср. въ Замѣткѣ г. Безсонова въ IV вып. Пѣс. Кир. стр. XCV.

принадлежатъ къ одному и тому же былевому изводу со словами княгини Апраксіи у того же пѣвца.

Премладое Чурило ты сынъ Пленковичъ,
Я не знаю играть съ тобой во шахматы,
Я не знаю глядѣть на твою красоту,
На твои то на кудри на желтые,
На твои-то на перстни злаченые:
Помѣшался у меня разумъ во буйной головы,
Помутились у меня очи ясные,
Смотрючись де, Чурило, на твою красоту.

Она уводитъ его къ себѣ на кровать *слоновыхъ костей*. Начали онѣ *забавлятися*, да помѣхой является тутъ лицо, встрѣчающееся и въ нѣкоторыхъ другихъ былинахъ и въ сказкахъ, безъ всякаго имени собственнаго, а просто какъ *дѣвка чернавка*. Вотъ она-то даетъ знать обо всемъ въ церковь своему господину. *Старое Бермято* спѣшитъ домой, *стучитъ во кольцо* серебряное (извѣстный намъ былевой пріемъ [215]), стучитъ до *третьяго накона изо всей могуты богатырскія*, всѣ терема пошаталися, маковки поломалися, (чѣмъ подтверждается причисленіе Бермяты къ богатырямъ въ одномъ изъ выше разобранныхъ пересказовъ). Тутъ Катерина Микулична выбѣгала *въ рубашечкѣ безъ пояса, въ чулочкахъ безъ чеботовъ* (такъ оно и въ другихъ рыбниковскихъ пересказахъ, и въ данномъ случаѣ совершенно умѣстно, тогда какъ нѣкоторыми пѣвцами, особливо же превосходнымъ во многихъ отношеніяхъ Рябининымъ, эта эпическая черта употребляется иногда *ни къ селу ни къ городу*) [216]). Отпирала она ворота широкіе и *запущала* Бермяту Васильевича. Свой неприборъ, не смотря на праздникъ, объясняетъ она, какъ оно въ этихъ случаяхъ водится, нездоровьемъ, а про замѣчаемое имъ въ теремѣ платье чурилово говоритъ ему: «У моего у родимаго брателки конями съ Чуриломъ помѣняноси, цвѣтнымъ-то платьемъ побраталоси» (замѣчательное указаніе на подобный обычай *мѣны* при вступленіи въ братство названое [217]). Бермята же беретъ саблю со стопки и идетъ въ спальню къ женѣ, гдѣ и находитъ на постели Чурилу—

На ни [218]) лучная зоранька просвѣтила,
Острая сабелька промахнула;
Не бѣлый горохъ рязстилается.
Чурилова кровь проливается,
По той-де по *середы* кирпичныя
Чуриловы кудри валяются.

Но этимъ *трагедія* еще не окончена. Катерина выказываетъ настоящую, крѣпкую любовь къ Чурилѣ: «брала она два ножа острые, становила ихъ черенемъ въ сыру землю и съ разбѣгу падала на нихъ грудью. Съ невольнымъ сочувствіемъ замѣчаетъ при этомъ пѣвецъ:

Погибнуло двѣ головушки,
Что хорошія головы, наилучшія.

215) Часто употребляется въ юго-славянскомъ эпосѣ.

216) См. въ моей замѣткѣ къ IV ч. пѣсень Рыбникова стр. XXXVIII.

217) Можно напомнить о соотвѣтственномъ обмѣнѣ оружія между Діомедомъ и Главкомъ въ Иліадѣ.

218) Будто—по объясненію т. Рыбникова (III, стр. 160).



А старый Бермята Васильевичъ, дождавшись воскресенья Христова и проживъ недѣлю свѣтлую (время, когда не вѣнчаютъ), обвѣнчался съ дѣвкой чернавушкой.

Если читатель припомнитъ былины о Михаилѣ Потыкѣ, то ему сейчасъ же бросится въ глаза, что такимъ же точно образомъ женится и этотъ богатырь, по совершеніи казни надъ своею женой, на своей спасительницѣ отъ этой измѣнницы, Аннѣ королевичнѣ, по нѣкоторымъ пересказамъ оказывающейся также весьма некрасивою, черною. Можно указать также на совершенно черную спасительницу сербскаго богатыря Марка Кралевича, дочь арапскаго краля, къ которой онъ чувствуетъ, вслѣдствіе ея черноты, глубокое отвращеніе [219]). Впрочемъ, такихъ *чернавушекъ* отыщется въ эпосѣ разныхъ народовъ не мало. Онѣ должны принадлежать къ эпическимъ образамъ самымъ издавнимъ и въ основѣ ихъ черноты должно заключаться нѣчто миѳическое. *Сторожевое*, такъ сказать, значенье чернавушки въ нашей былинѣ также должно быть, по своей основѣ, миѳическимъ. Оно можетъ разъясниться черезъ сопоставленіе съ соотвѣтственнымъ *сторожевымъ* образомъ, но образомъ мужескимъ, въ греческихъ миѳахъ; я разумѣю Аргуса [220]). Извѣстно, что его *многоочитость* объясняется многочисленностью *ночныхъ звѣздъ*, и самъ онъ такимъ образомъ является миѳомъ *ночи*. Не тотъ же ли самый миѳъ надобно видѣть въ основѣ и всѣхъ нашихъ *дѣвокъ чернавокъ*?

Но возвратимся къ сравнительному обозрѣнью пересказовъ нашей былины. Пересказъ Поромскаго Старика—самый полный. Всего ближе къ нему—записанный въ Тихвиноборскомъ Погостѣ Каргопольскаго Уѣзда (безъ имени пѣвца—Р. II, № 24), гдѣ недостаетъ, сравнительно съ нимъ, весьма немногаго. Конецъ чрезвычайно сжатъ и отличается особеннымъ оборотомъ:

Тутъ Бермята бралъ саблю во труѣ, *Не два яблочка свалилося,*
Вырубилъ-то головушку Чурилушкѣ. *Двѣ головушки скатилося.*

Вслѣдъ за тѣмъ надо поставить пересказъ Латышова (Р. II, № 23). Тутъ позабыто начальное *выпаданье пороши*, нозато не забыто *выпаданье гвоздей*, позабытое въ № 24 той же II части.

Уже въ этомъ послѣднемъ, вмѣсто поэтической рѣчи Катерины Чурилѣ у Поромскаго Старика, сказано просто: «*не могу* болѣ играть съ тобою во шахматы,—пойдемъ ко мнѣ во спальню во теплую.» У Латышова же это мѣсто уже окончательно *стерто*: «полно, Чурилушка, въ шахматы играть, пойдемъ, Чурила, опочивъ держать.» Доносчица на Катерину названа тутъ совершенно испорченно просто *старой служанкой*. Но зато замѣчательную подробность составляетъ далѣе то, что, послѣ перваго удара Бермяты въ кольцо, Катерина, *несмотря на шатаніе теремовъ*, того не пытаючись, продолжала забавляться съ Чурилой. Убіеніе же Чурилы передано едвали не лучше, чѣмъ у Поромскаго Старика:

219) Вука Сербскія Пѣсни II, № 64.

220) Ср. Зам. г. Безсонова къ IV вып. пѣсенъ Кирѣевскаго, стр. XCII.—объ убіеніи Аргуса, сторожившаго юную Іо, Эрмисомъ, овладѣвающимъ ею.

Не свѣтъ зорюшка просвѣтилась,
Востра сабля промахнулася;
Не скатная жемчужинка катается,
А чурилова головка катается
Не бѣлый горохъ разсыпается:
Чурилина-то кровь разливается.

Но объ участи Катерины—ни слова. Точно также оно и въ *бабьей старинѣ* изъ Кижской Волости, напечатанной у Рыбникова въ ч. I, подъ № 46. Эта послѣдняя въ другихъ отношеніяхъ сохранила однако же довольно недурно основныя черты былины. Правда, что Бермята передѣланъ тутъ въ Ерму, [221]) что чернавка является тутъ дѣвкой *челядичной*. Когда же она тутъ предупреждаетъ Катерину, что донесетъ обо всемъ Ермѣ, та пытается задобрить ее: «я тебѣ, дѣвка, башмаки куплю; я тебѣ, дѣвка, сарафанъ сошью.» Но обѣщанья Бермяты оказываются болѣе существенными: «буде правду говоришь—я замужъ возьму, а неправду говоришь—голову срублю. Такъ оно и у Тр. Потахина III, № 26. Пересказъ этого послѣдняго отличается довольно большимъ объемомъ. Не смотря на нѣкоторые признаки рѣшительно обнаруживающейся порчи, въ немъ есть замѣчательныя особенности. Въ началѣ былины попеременно упоминается то *Кирилушка*, то *Чирилушка* (а въ одномъ мѣстѣ даже *Кирила*), потомъ же пѣвецъ, какъ бы спохватившись, поправившись, постоянно говоритъ—*Чирилушка*. Совершенно искалѣчено другое имя—*Бермята*, обратившееся тутъ въ *Вельму*. Вмѣсто одной изъ главныхъ принадлежностей чурилиной круты, сапоговъ сафьянныхъ, [222]) тутъ у него *лапотцы семи шелковъ*, обыкновенно относимые къ крутѣ каличьей. Кромѣ того у него тутъ, подобно Сокольнику, *шапочка ушиста*, *пушиста и надвѣсиста* — такъ что спереди не видно лица бѣлаго, а сзади не видно шеи бѣлыя [223]); что, въ положеньи Чурилы, конечно не имѣетъ смысла.—Все это признаки *порчи*. Къ замѣчательнымъ же *особенностямъ* относится жалоба Катерины на то, что *Кирила* вечоръ не бывалъ и ѣства у нея залежалися; что Вельма сначала отвѣчаетъ на извѣты чернавушки: «знала бы дѣвка свое дѣло дворовое, знала бы дѣвка коровъ доить» и т. д. Когда онъ подходитъ къ своему дому, то видитъ коня чирилушкина, зоблетъ пшену бѣлоярову, тогда какъ собственный его конь *пріотогнанъ*. У выбѣгающей на стукъ его Катерины (кромѣ того, что она безъ чеботовъ) «женскіе волосы растрепаны, нѣжная грудь показаная, бѣлое лице намазаное.» Особенно же яркая особенность въ самомъ концѣ: расправившись съ Чурилою, Бермята Васильевичъ «поворотъ сдѣлалъ къ Катеринушкѣ: гдѣ пала головка чурилушкина, и тутъ пади головка катеринушкина.» Такимъ образомъ и ея смерть—отъ его руки. Прямо послѣ этого онъ отправляется въ церковь и вѣнчается съ дѣвкой челядичной.

Не трудно замѣтить, что главнымъ образомъ *по развязкѣ*, рыбниковскіе пересказы между собою расходятся. Между тѣмъ какъ Поромскій Старикъ приписываетъ смерть Катерины самоубійству, два другихъ просто по-

---

[221]) А по Безсонову въ этомъ Е р м ѣ сохранилось древнее Е р м і й (Гермесъ)!!!

[222]) Уже г. Буслаевъ замѣтилъ, что пѣвецъ особенное вниманіе обращаетъ на востроносые сапоги на высокихъ каблукахъ у Чурилы съ дружиною; это была дружина не лапотная, отмѣчаетъ онъ въ скобкахъ—съ намекомъ на извѣстное лѣтописное мѣсто о сборѣ дани съ лапотниковъ и съ носящихъ сапоги (Р. Вѣстн. 1862 г., Окт., стр. 539).

[223]) У А. Сарафанова шеи н ѣ ж н о й.

забываютъ про ея судьбу, каргопольскій пересказъ выражается очень неясно о паденіи двухъ головушекъ, а потахинскій, прямо противоположно Поромскому Старику, рубитъ и катеринину голову рукою Бермяты. Къ этому же подходитъ и пересказъ съ Сузунскаго Завода, записанный Д. П. Соловьевымъ и первоначально напечатанный въ Прибавл. къ III ч. Изв. Ак. Наукъ, а оттуда взятый въ сборникъ Кирѣевскаго (IV, стр. 87—90). Тутъ Бермята говоритъ Катеринѣ: «женю я тебя, княгиня моя, на другомъ женихѣ, на другомъ женихѣ—вострой сабелькѣ». Въ началѣ, какъ у Кирши и Поромскаго Старика, упоминается тутъ *пороша снѣга*, но по ней тутъ слѣдочки *малымъ-то малы* коротешеньки, которымъ дивятся собирающіеся къ нимъ старики: особая, женоподобная даже подробность у красавца Чурилы. Ею, очевидно, объясняется въ нашей былинѣ то, опять таки только въ ней и упоминаемое обстоятельство, что подъ нимъ травка муравка не топчется, лазоревый цвѣточекъ не ломится...[224]) Далѣе пересказъ Сузунскаго Завода особенно близко подходитъ къ пересказу Потахина, такъ что оба повидимому относятся къ одному и тому же изводу. Въ обоихъ не имѣется *выпаданья гвоздочковъ* (впрочемъ также и у Р. I, № 46; II, № 24). Въ обоихъ нѣтъ вымышляемой Катериною *мѣны платьевъ* между братомъ ея и Чурилой; только въ пересказѣ сузунскомъ, Катерина думаетъ выпутаться при помощи совершенно особой хитрости: про колпакъ[225]) она говоритъ, что ей подарилъ его батюшка, про перчатки—что матушка, про кафтанъ—что братецъ, про сафьянны сапожки—что сестрица, и все это для Бермяты Васильевича: «хочу я тебя срядить лучше стараго, лучше стараго, лучше новаго.» Къ особенностямъ принадлежитъ и то, что *Пермитьевъ*,[226]) *превысокій господинъ*, для приданія себѣ бодрости, велитъ *сѣнной дѣвушкѣ*—доносчицѣ налить себѣ чару зелена вина и выпиваетъ ее на единый духъ. — Самая же выдающаяся особенность въ слѣдующемъ обращеньи оскорбленнаго мужа къ своему оскорбителю:

Выходи-ко ты Чурило, середи пола,
*До тебя-то мнѣ, Чурило, дѣла нѣту-ка,*
*Мы съ тобой, Чурило, побратуемся.*

Можно бы думать, что въ послѣднемъ стихѣ такая же точно иронія, какъ и въ словахъ Пермитьихѣ: «женю я тебя на другомъ женихѣ.» — Но предшествующій стихъ—*до тебя, Чурила, мнѣ дѣла нѣтъ*—какъ будто указываетъ на то, что весь его гнѣвъ устремленъ на одну жену.

Теперь будетъ кстати упомянуть еще объ одномъ пересказѣ—Петрозаводскаго Уѣзда, Кижской Волости, Андрея Сарафанова (Р, III, № 25). Тутъ

---

[224]) Въ высшей степени легкою походкою, замѣчаетъ г. Безсоновъ, отличался Гермесъ; онъ не столько шелъ, сколько летѣлъ, на что̀ указывала и его крылатая обувь. Эта послѣдняя была золотая;—у Чурилы же выпадали изъ подошевъ гвоздики серебряные. Красота Чурилы, превозносимая въ былинахъ, напоминаетъ красоту Гермеса. (Эрмиса) (стр. LXXXVI).

[225]) Онъ называется тутъ золотымъ, что̀ соотвѣтствуетъ въ рыбниковскихъ былинахъ золотымъ колпакамъ дружины чуриловой.

[226]) Это конечно подновлено изъ Бермяты или Пермила другихъ пересказовъ. Къ новымъ чертамъ принадлежатъ тутъ и часовые, при приходѣ Чурилы выходящіе съ фонарями изъ дома Пермитьихи, какъ постоянно величается тутъ Катерина Никулична. Къ признакамъ же порчи принадлежитъ то, что не указано мѣсто, гдѣ находился тогда Пермитьевъ, а равно и время посѣщенья чурилина.

Чурила дѣйствительно оказывается братомъ названымъ *Бурмяна Ивановича* (имя опять своеобразно испорчено). Не слѣдуетъ-ли, послѣ этого, вмѣсто *побратуемся* въ пересказѣ сузунскомъ предположить первоначальное *побраталися*, и пощаду его Пермитьевымъ объяснить памятью о существованіи между ними подобнаго братства? Не даромъ же и Илья, останавлив я добрынину руку, уже занесенную на Алешу, напомнилъ ему о братствѣ названомъ съ Поповичемъ. Пересказъ Сузунскаго Завода вмѣстѣ съ сарафановскимъ въ такомъ случаѣ указывалъ бы на совершенно особый, почти безслѣдно пропавшій изводъ былины.

Но ежели подобный изводъ въ свое время существовалъ, то пересказъ Сарафанова представляется уже совсѣмъ исказившимся его отголоскомъ. Онъ ѣдетъ въ поле поляковать со удалыми со добрыми со молодцами — дѣло не совсѣмъ для него обычное; при этомъ беретъ онъ *конишка маломочнаго* [227]), что уже совсѣмъ не соотвѣтствуетъ богатой его обстановкѣ. Чурилушку провожаетъ *дѣвушка челядинка*, *черная*, *послѣдняя подляночка*, въ другомъ мѣстѣ называемая тутъ, устами Бурмяна, *общею полюбовницей* — до такой степени опошленности и униженія доведена тутъ эта былевая *черная дѣва*. Она подаетъ Чурилѣ поводъ и совѣтуетъ ему взять *пудовую палицу* (*рублевую*—сказано далѣе; первоначально же, надо думать, было *боевую*), а также и *оружье малопульное*,—такъ какъ ему встрѣтится, по ея словамъ, *сила-армія* великая. Не смотря на всѣ увѣщанья подляночки, Чурила не беретъ ни палицы ни оружья. Въ болѣе полномъ видѣ былины, надобно думать, *подляночка* изъ этого заключала, что онъ ѣдетъ совсѣмъ не поляковать. Чурила выѣзжаетъ, встрѣчается въ чистомъ полѣ съ Бурмяномъ и говоритъ ему:

Нынѣче крестамы побратаемся:
Будь-ка ты мнѣ нынѣчку братъ родной,
Не братъ родной, будешь гость честной.

Послѣднимъ стихомъ указывается, надо думать, на то, что Чурила скоро будетъ у Бурмяна въ домѣ *хозяиномъ* (т. е. у его жены), самъ же хозяинъ послѣ этого какъ бы окажется *гостемъ*. Далѣе пѣвецъ прямо перескакиваетъ, къ Катеринѣ Микуличнѣ, которую называетъ *сестрицей* Чурилы Пленковича т. е. по мужѣ, его братѣ названомъ. Она величается у него также и *богатыршей великой*. Катерина скоренько бѣжала по чисту полю, поймала коня за шелковъ поводъ (коня, надо думать, мужнина) привязала коня къ зелену саду и насыпала пшены бѣлояровой:

«Ѣшь, ней, конь, ты *нечистый духъ*!
Я не ради тебя покланяюся,
А для своего братца родимаго,
Для своего гостя любимаго [228]).

Самому же Бурмяну, съ нахальнѣйшею откровенностью, объясняемою только испорченнымъ видомъ былины, она выговариваетъ: «возьми-тко ты денегъ

[227]) Ворона, прибавлено въ пересказѣ, и начальная буква—большая. Думаю, что это едва ли имя Воронъ, а скорѣе—вороной конь.

[228]) Т. е. для Чурилы.

цѣлу тысящу, а отдай мнѣ Чурилушку Пленковича.» Желанье ея (вслѣдствіе пропуска, надо думать) оказывается вдругъ исполненнымъ: «выводила она во чисто поле»—надо догадываться, что Чурилу, который, вмѣсто вымышленнаго поляокванья, прискакалъ къ ней — но къ чему же тутъ *поимыванье коня* и *подкупленіе* мужа? Все это мѣсто, очевидно, испорчено до нелѣпости. «Приводила она (т. е. Чурилу) во высокъ теремъ, и замкнула она во дубовый ларь, въ одной рубашечкѣ безъ пояса, въ одникхъ чулочикахъ безъ чеботовъ».— Далѣе въ такомъ же именно видѣ выходитъ и Чурилушка изъ ларя, т. е. такая *раздѣтость* относится прямо къ нему, а не къ ней, чѣмъ опять таки указывается на пропускъ, въ которомъ, по всей вѣроятности, говорилось о томъ, какъ Чурилушка *позабавился* съ нею—прежде чѣмъ очутился въ ларѣ. «Посиди-тко тамъ, приговариваетъ Катерина,—авось онъ (мужъ) къ намъ не воротится.» Между тѣмъ Бурмянъ возвращается черезъ полтора часа. Вабѣжавъ, онъ богатырски разбиваетъ ларь ударомъ ноги; потомъ, уже безо всякаго сострадянія къ выскакивающему *брату*, скорешенько отсѣкаетъ ему голову. Тутъ Катерина называетъ его сильнымъ могучимъ богатыремъ и упрашиваетъ: «гдѣ пала головушка чурилина, туда пущай падетъ головка катеринина.» Сказавъ: «что же у тебя не гость гоститъ—видно пакоститъ», мужъ, не задумавшись, рубитъ и ей головку—совершенно какъ и у Потахина и въ пересказѣ суэунскомъ. Но въ занимающемъ насъ теперь, трагедія проведена еще далѣе. Погубивъ и жену названаго брата, Бурмянъ возгорается ненавистью къ доносчицѣ:

Знала бы, дѣвка, коровъ доить,
Знала бы, дѣвка, телятъ поить,
Не знала бы ты, дѣвка, мужнихъ женъ губить.
Завела говорить, договаривай,
Завела доказывать, доказывай...
Стрепетало ей сердце дѣвочье,
Разгорѣлось его серце богатырское,
Онъ отсѣкъ у ней буйну голову

Но этою новою кровью не смылъ онъ со своей совѣсти прежней крови: поѣхалъ къ своимъ товарищамъ и говоритъ имъ: «я недолго гостилъ, много винъ натворилъ»—и товарищи соглашаются съ нимъ, поясняя:

«Не *хватило у тебя ума разума*;—
Ты убилъ—побилъ три головушки.»
Раздумался Бурмянъ, самъ *расплакался*:
«Дайте вы мнѣ коня добраго и т. д.

Ему подаютъ и коня и копье и онъ уѣзжаетъ —но только для новаго преступленія:

Пустилъ онъ копье о сыру землю,
Вострымъ концомъ во бѣлую грудь:
Со той со великой со досадушки
Придалъ онъ себя тутъ смеретушкѣ.

А товарищи богатыри могучіе, до конца выдерживая какъ-бы значеніе хора въ трагедіи древнихъ, вторично разсудили о немъ такимъ образомъ:

*Не хватило у него ума разума*,
Погубилъ онъ свою душу грѣшную.

Замѣчательное объясненіе преступленія — неразуміемъ, приводящее область

*нравственную* къ одному знаменателю съ *умственною*! Въ основѣ тутъ—тоже воззрѣніе, которое сказалось въ духѣ самаго языка нашего: припомнимъ Мономахово Поученіе съ употребленнымъ въ немъ прпименованіемъ *развратныхъ* женщинъ—*нелѣпыми*!—Если же обратить вниманье на то, что кровь проливается въ нашей былинѣ не даромъ, что причиною тутъ—дѣйствительная, *кровная*, какъ говорится, *обида* [229]), обида, вызывающая на *месть*,—то нельзя будетъ не замѣтить, что и эта послѣдняя не извиняетъ пролитія крови въ сознаньи народномъ, что такое пролитіе во всякомъ случаѣ представляется ему *преступленіемъ*. Оно не преступно, по общему смыслу былинъ, только для обороны слабыхъ, вдовъ и сиротъ, насилуемой врагами *земли*. Бурмянъ не руководствуется такими высшими побужденіями; имъ руководствуетъ личная страсть, и потому-то, по народному представленію, не стало у него ума-разума. Тутъ, конечно, не обошлось и безъ вліянія христіанскаго: оно прямо сказывается въ нашей былинѣ слѣдующими за признаньемъ Бурмяна въ убійствѣ, такими его словами:

По сесвѣтному есть согрѣшеньице,
Въ будущемъ вѣцѣ нѣтъ прощеньица.

(Р. III, стр. 131). Но вліянію христіанскому, *въ этомъ*, по крайней мѣрѣ, *отношеніи*, долженъ былъ быть открытъ легкій доступъ въ совѣсть-разумъ народный, ежели въ эпосѣ нашемъ является почти незамѣтнымъ столь развитое въ эпосѣ разныхъ народовъ начало *кровавой мести*.

Какъ ни плоха, ни попорчена-вообще только что разобранная былина, конецъ ея оказался прекраснымъ, прямо указывающимъ на какой нибудь прежній, лучшій видъ *цѣлой* былины, отъ котораго хорошо сохранился только этотъ конецъ. Черезъ него, черезъ его основную мысль, и *цѣлое*, разсмотрѣнное теперь *похожденіе*, хотя и стоящее въ сторонѣ, внѣ прямой, непосредственной связи съ сердцевиною эпоса кіевскаго, по крайней мѣрѣ *по духу* связывается съ тѣмъ самымъ, преобладающимъ слоемъ народнаго творчества, которому принадлежитъ и окончательная отработка поэтической личности Ильи Муромца.

Пересказъ Сарафанова не стоитъ однакоже совершенно особнякомъ. По существенному въ его развязкѣ самоубійству Бермяты съ нимъ сходятся пересказы, записанные уже послѣ П. Н. Рыбникова г. Барсовымъ и напечатанные имъ въ Олонецкихъ Вѣдомостяхъ за 1867 г. [230]).

Изводъ, представляемый всѣми этими пересказами,—самый трагическій. Между тѣмъ этотъ избытокъ трагическаго—*четыре* погибшія головы вмѣсто *двухъ*—какъ ни странно покажется оно съ перваго взгляда, долженъ быть признанъ *смягченіемъ* первоначальнаго содержанія. При древнѣйшей *патрі*-

---

[229]) Бурманъ тутъ даже не старъ, чѣмъ объясняется въ другихъ пересказахъ намѣна жены его.

[230]) Замѣчателенъ тутъ одинъ пересказъ, въ которомъ Верьмасъ, срубивъ Чурилѣ голову, хочетъ срубить ее и Катеринѣ:

Съ горючь слезьми она да покоривлася,
Своему да мужу покорилася,
Чтобъ не срубилъ бы онъ да буйной головы...
Молодецкое сердечко уходилося...

т. е. онъ щадитъ ее. См. мою статью объ Олон. Вѣд. за 1867 г. въ Ж. Мин. Нар. Просв. 1868 г., Мартъ, стр. 922—923.



*архальной расправѣ*, слѣды которой и уцѣлѣли во многихъ былинахъ (о Добрынѣ съ Мариной, Потыкѣ съ Марьей и т. п.)—*сказненная* (въ прямомъ смыслѣ слова) своимъ *государемъ мужемъ* жена не вызывала угрызеній въ его, успокоиваемой *судейскимъ* призваніемъ, совѣсти. Отвращенье къ лицу, подслужившемуся доносомъ, уже служитъ признакомъ измѣнившихся, смягчившихся нравовъ, а ненависть къ самому себѣ, способность увидѣть въ себѣ не *судью*, а *убійцу* и поднять за то на себя самого убійственную же руку—служитъ подобнымъ признакомъ еще въ большей степени. Конечно, смягченье идетъ еще несравненно далѣе тамъ, гдѣ въ *самомъ началѣ* удерживается убійственная рука. — И вотъ, можно указать на одинъ пересказъ, гдѣ она вовсе не поднимается у Бермяты ни на кого изъ виновныхъ. Если у Кирши мы также не видимъ кровавой расправы бермятиной, то тамъ это только зависитъ отъ неоконченности былины: упомянувъ о слѣдахъ чурилиныхъ по порошѣ снѣга, она сразу и обрывается. Гораздо дальше идетъ пересказъ Колодозерскаго Старика,—и всетаки не приходитъ къ развязкѣ трагической. Мы уже разобрали первую и обширнѣйшую часть этого пересказа, повѣствующую о продѣлкахъ дружины чуриловой и принятіи Владиміра старымъ Пленомъ. Вторая же часть, подобно былинѣ Кирши Данилова, повѣствуетъ о томъ, какъ Чурила, отправившись сзывать гостей къ князю, завертываетъ и къ старому Бермятѣ Васильевичу. Этотъ послѣдній, повидимому, оказывается тутъ купцомъ — такъ какъ Чурила идетъ къ нему въ *суконный рядъ*. Приглашенный *позовщичкомъ* княжескимъ, Бермята посылаетъ его въ свои палаты бѣлокаменныя: «зови-ка Катерину Микуличну, любимую мою семеюшку.» Тотъ, разумѣется, слушается: она же, выглядывая, объявляетъ ему, что у нея давно столъ готовъ и она все его дожидалась. *Дѣвица чернява* (съ безсмысленною прибавкой—*колачница*) является тутъ *предохранительницею* Чурилы: «не ходи ты, говоритъ она, въ палаты бермятины, не зови Катерину Микуличну.» Это приводитъ послѣднюю въ бѣшенство, она бьетъ черняву съ косой берды о сыру землю и проливаетъ ея кровь *напрасную*, сама же ведетъ Чурилу въ свои терема *златоверхіе*. Зачалъ онъ съ Катериною тѣшиться, какъ вдругъ бѣжитъ къ крыльцу самъ Бермята и бьетъ въ *позолоченую блесту*. Онъ, повидимому, нарочно послалъ къ ней Чурилу, чтобы потомъ застать ихъ въ расплохъ. Катерина, выбѣгая въ одной рубашкѣ, напоминаетъ Запаву Путятичну: «у ней тонка рубашечка къ тѣлу льнетъ, а *у Катерины вода черезъ чоботы идетъ.*» Но и при такихъ, кидающихся въ глаза, уликахъ, Бермята не выходитъ тутъ изъ себя, а удовлетворяется тѣмъ, что, поймавъ Чурилу, добродушно замѣчаетъ ему: «а экъ-ли зовутъ на почестный пиръ?» (Р. I, № 45, стр. 268). Это даже гораздо *мягче, благополучнѣе для* Чурилы, чѣмъ развязывается *для* Алеши Поповича похожденье его съ женою добрыниной. *Смягченье* въ лицѣ Бермяты доходитъ почти *до смѣшнаго* (до того, что̀ называется *колпакомъ*), и едва-ли въ объясненіе не должно быть и тутъ предположено то первоначальное *братство* Бермяты съ Чурилой, на которое намекается, какъ видѣли мы, въ двухъ другихъ пересказахъ. Если же возстановить его тутъ, то наша былина о Чурилѣ съ Бермятою, представится тѣмъ болѣе сходною

съ былинами объ Алешѣ съ *братомъ* его Добрыней. Въ обѣихъ основа должна быть одна и та же, а всѣ существенныя различія легко объясняются—*развѣтвленіемъ*. Но мы можемъ припомнить, что и Алешѣ въ одномъ пересказѣ *предается* Добрынюшкою смерть *скорая*. Надо думать, что и тутъ, въ этой вѣтви, была развита въ свое время, не смотря на названое братство, развязка трагическая, позже окончательно уступившая мирно-комической, благодаря все болѣе и болѣе вырабатывавшейся *мягкости* въ нравѣ Добрыни и смягчающему вмѣшательству Ильи Муромца. Въ другой же вѣтви, напротивъ того, до сихъ поръ еще уцѣлѣла, у большинства пѣвцовъ, развязка кровавая.

Чурила гибнетъ, подвергаясь карѣ,—но на его сторонѣ, до извѣстной степени (при отталкивающей *старости* катеринина мужа),—сочувствіе народныхъ пѣвцовъ. Такая погибель сочувственныхъ лицъ возможна только въ *былинахъ*. Извѣстно, что въ другой отрасли эпоса, *сказкахъ*, они всегда подъ конецъ торжествуютъ, а гибнутъ единственно существа несочувственныя, темныя, такъ какъ въ нихъ скрывается злое, въ миѳическомъ смыслѣ, начало. [231]) Не была ли и гибель Чурилы *миѳически обусловленною*, а если такъ, то не указываетъ ли она и на его первоначальное миѳически *злое* значеніе? Такое значеніе не скрывается ли и подъ позднѣйшимъ значеньемъ *обидчика люда кіевскаго*. Какъ позднѣйшіе, бытовые богатыри—*защитники земства* выработались изъ свѣтлыхъ миѳическихъ силъ, такъ, можно думать, не только Тугарины или Батыри, *насильники внѣшніе*, но и *внутренніе насильники*, какъ Чурила и извѣстная сторона Алеши Поповича, должны были произойти отъ *насильниковъ* въ смыслѣ *миѳическомъ*. [232])

Но Алеша, мы знаемъ, другой своей стороной представляется также и *защитникомъ люда*, какъ спасительный *змѣеборецъ*. На сходнаго же рода значеніе и Чурилы какъ будто бы указывается одной былиной, записанной въ Лодейнопольскомъ Уѣздѣ А. А. Шкалинымъ и напечатанной во II ч. Пѣсень Рыбникова № 25. Тутъ *Гусинко* Плёнковичъ вызываетъ противъ себя вражду *бусурманища* Шарка великана, сказавъ, что *не ему ухвататися за руссійскую Марью Лебедь бѣлую* (Шаркъ же въ началѣ былины выставляется пораздумавшимся объ испытанномъ уже имъ *караніи Бога руссійскаго Христіанскаго*). Но былина эта стоитъ до такой степени особнякомъ, и до того плоха, что ей нельзя придавать значенія. Открывается она зачиномъ лирическимъ, какъ будто сочувственнымъ басурману: «разступись земля, не скопляйтеся тучи, потому что тошнехонько *богатырской* силѣ, горемычно Шарку», и т. п. Тутъ, очевидно, изъ за придаваемой ему *богатырской силы* забывается въ немъ *враждебная сила*,—но такое «забвенье» въ хорошихъ былинахъ не мыслимо. Далѣе Пленковичъ и Шаркъ тутъ братаются, а такое братаніе съ *басурманщиной* въ нашихъ былинахъ совсѣмъ необычно (хотя въ юго-славянскомъ эпосѣ юнаки нерѣдко братаются съ Турками). Когда послѣ этого, Шаркъ спрашиваетъ Пленковича, гдѣ бы ему достать коня мо-

---

[231]) См. въ моемъ Ист. Об. Р. Слов. стр. 143.

[232]) И Эриннсъ имѣлъ свою темную сторону (Зак. Вед. XCI).

гучаго? тотъ говоритъ»: у того ли у князя у новгородьскаго»; а на подобный же вопросъ о мечѣ, онъ отвѣчаетъ ему указаньемъ на Кіевъ градъ со Владиміромъ княземъ: такое сопоставленье среды новгородской съ кіевскою встрѣчается чрезвычайно рѣдко и притомъ исключительно въ былинахъ съ очень позднимъ оттѣнкомъ. Отвѣчая Шарку на его два вопроса, Пленковичъ заявляетъ сомнѣніе въ томъ, по силамъ ли будутъ ему и подобный конь, и подобный мечъ? Уже это должно подготовить тотъ гнѣвъ, какой окончательно возжигается въ Шаркѣ отвѣтомъ на третій его вопросъ—о Марьѣ Лебеди. Шаркъ кидаетъ Пленковича за *тридесять земель* (выраженіе сказочное), при чемъ онъ *зацапливаетъ за ясныи звѣзды*, а бусурьманище ухмыляется: «А скажи-ко-сь ты мнѣ, усмѣшище, во дальніихъ ли странахъ бусурьманскиихъ душу свою схоронилъ не отпѣтую?» (Р. II, стр. 130). Такое *полное* торжество бусурманской силы надъ русскимъ богатыремъ въ былинахъ опять таки не обычно.—Все это, кажется, говоритъ о томъ, что самое *происхожденіе* этой былины должно быть приписано весьма позднему времени и самымъ неумѣлымъ пѣвцамъ.

Нельзя однакоже обойти молчаніемъ еще одну былину о Чурилѣ Пленковичѣ, имѣющуюся только въ нѣмецкомъ переводѣ (или же-передѣлкѣ). Еще въ 1819 г. вышла въ Лейпцигѣ книжечка: Fürst Wladimir und dessen Tafelrunde. Alt-russische Heldenlieder. Безыменный издатель — переводчикъ долженъ былъ принадлежать къ числу *русскихъ Нѣмцевъ* [233]): въ своемъ предисловіи онъ говоритъ, что «многія изъ этихъ пѣсень или сказаній пѣлись или расказывались у его колыбели, другія же памятны ему съ отроческихъ лѣтъ. (Knabenalter) («стр. XV). Въ другомъ мѣстѣ увѣряетъ онъ, что «ничто существенно-своеобразное (eigenthümliches) имъ не пропущено, а только откинуты кое гдѣ новыя вставки, хотя при этомъ онъ сознается, что могъ руководствоваться только *чутьемъ* (blosses Gefühl)» (стр. XIV). Нѣкоторыя изъ переведенныхъ у него былинъ совершенно подходятъ къ Киршѣ Данилову; но есть и такія, которыя не имѣются ни у этого послѣдняго, ни въ какомъ либо изъ другихъ, намъ извѣстныхъ сборниковъ. Легко могло быть, что нѣмецкому переводчику были знакомы кое какіе пересказы, въ позднѣйшее время утратившіеся [234]). Есть у него и двѣ пѣсни о Чурилѣ Пленковичѣ (№ 3 и 9), къ которымъ однакоже, по крайней ихъ *одинокости*, приходится относиться съ большимъ недовѣріемъ. Одна изъ нихъ (№ 9) представляетъ Чурилу Пленковича добывающимъ себѣ, при помощи богатыря *Рогдая*, коня могучаго, а при помощи этого коня и Яги-Бабы, прекрасную *Милолику*, находившуюся въ плѣну у *Кощея*, убиваемаго ко-

[233]) Въ посвященіи В. Кн. Александрѣ Θеодоровнѣ онъ говоритъ: es sind die frühne Sagen unsers Volks; а въ предисловіи (стр. XIII, выноска) замѣчательно у него слѣдующее мѣсто, достойное настоящаго русскаго: «какому знатоку русской словесности не было бы желательно, чтобы Жуковскій, этотъ вдохновенный пѣвецъ, которому снова послушникъ, впервые послѣ Ломоносова, является русскій языкъ, чтобы пѣвецъ этотъ вздумалъ приняться за обработку подобныхъ пѣсень—въ томъ родѣ, какой всего лучше укажетъ ему его собственное чутье.» — Едва ли такое желаніе было нѣмъ либо въ то время заявлено въ самой русской литературѣ; да и заявленное, оно бы осталось, конечно, гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. И цѣнить свою собственную народность должны были насъ научить инородцы! Только научились ли мы тому и теперь?

[234]) Такое предположеніе было заявлено мнѣ въ разговорѣ А. А. Котляревскимъ.

немъ Чурилы: тутъ, очевидно, и примѣсь изъ сказокъ, и примѣсь именъ чисто книжныхъ, *дѣланныхъ* (Рогдай, Милолика), такъ что и все это, вѣроятно, искусственно сшито полукнижнымъ лицомъ, хотя и могло дѣйствительно сказываться переводчику. — Но *добыванье красавицы* по крайней мѣрѣ не лишено соотвѣтствія тѣмъ свойствамъ Чурилы, которыя раскрываются въ извѣстныхъ, выше разобранныхъ былинахъ о немъ. Зато въ особенномъ свѣтѣ выставляетъ его тутъ то, что онъ оказывается служащимъ Владиміру сыномъ стараго *кожевника* Плена.—Это странное, неожиданное *происхожденье* Чурилы разъясняется въ пѣснѣ подъ № 3, гдѣ онъ, молодой кожевникъ, одаренный такою силою, что можетъ, какъ ничего, перервать цѣлую охабку кожъ, является спасителемъ Кіева отъ страшнаго змѣя, и въ награду за этотъ подвигъ призывается княземъ за столъ богатырскій. Ясно, что только одно это заключительное *призваніе въ Кіевъ* и походитъ на наши былины, гдѣ такое призваніе происходитъ однако совсѣмъ не *изъ за подвига, а не смотря* на дурныя продѣлки. У нѣмецкаго переводчика, какъ не трудно замѣтить, Чурилѣ приписывается тотъ подвигъ, который въ несторовомъ преданіи совершаетъ *Янъ Усмошвецъ*, а въ устно народномъ (сохранившемся въ Тамбовской Губерніи и на Украйнѣ въ прозаическомъ видѣ) *Кожемяка*—Никита по одному, *Кирила* по другому пересказу. Только это послѣднее имя какъ будто опять, внѣшнимъ образомъ, связываетъ этого кожемяку съ Чурилою, въ одномъ изъ пересказовъ у Рыбникова, какъ видѣли мы, переходящимъ, черезъ *Курилу*, въ *Кирилу*. Нужно ли говорить, что этого еще далеко не достаточно для признанія издавней, подлинной принадлежности кожемякина подвига—Чурилѣ Пленковичу. Былина, переведенная на нѣмецкій языкъ, могла быть издѣлія весьма поздняго. Она, какъ и другая у того же самаго переводчика, а равно и вышеуказанная, записанная г. Шкалинымъ, имѣютъ, при теперешнемъ количествѣ данныхъ, только ту цѣну, что даютъ нѣкоторое право подозрѣвать дѣйствительное существованье какихъ либо такихъ былинъ о Чурилѣ, въ которыхъ онъ, подобно Алешѣ, представлялся совсѣмъ съ особенной, не враждебной, а напротивъ того благотворной *змѣеборческой* стороны. Какъ бы то ни было, благая его сторона *заглохла* въ нашемъ былевомъ эпосѣ, а закрѣпилось за нимъ лишь значенье заѣзжаго въ Кіевъ *насильника-богача и щеголя соблазнителя* [235]).

---

[235]) Въ связи со значеніемъ с о б л а з н и т е л я, должно находиться указываемое г. Безсоновымъ польское czuryło — волокита, блудникъ, и чешское czurák—фаллосъ Но и Эрмисъ, по замѣчанію г. Безсонова, древнѣйшимъ своимъ символомъ имѣлъ фаллосъ, фаллосъ же изображался на его древнѣйшихъ гермахъ, нашихъ чуркахъ. (Стр. XC замѣтки къ IV в. Кир.) Считаю не лишнимъ указать также на фил. сближенія г. Безсоновымъ слова ἕρ - μα съ с у р-ма (такой же металлъ какъ и металлъ Меркурія) съ ч у р-к а, ч у р б а н ъ—др. ч у р ъ въ значеніи колоды или обрубка на мѣтѣ, на межѣ, перекресткѣ. (Древнѣйшія г е р м ы были просто обрубками и ставились на перекресткахъ, по межамъ; съ этимъ сходно и наше употребленіе Чура и чурокъ на межахъ (стр. LXXV и LXXVI). Всѣ подобныя толкованія г. Безсонова должны быть, конечно, снабжены вопросительнымъ знакомъ. Но мнѣ кажется, что въ общемъ и цѣломъ дѣлаемыя имъ сближенія эпическихъ подробностей Чурилы съ эпическими подробностями Эрмиса, сближенія, надъ которыми такъ поглумился г. Стасовъ (въ своей статьѣ о «Властительномъ Тріумвиратѣ»), на самомъ дѣлѣ нисколько не с м ѣ л ѣ е сближеній, дѣлаемыхъ между Добрыней и Кришной и т. п., самимъ г. Стасовымъ, только послѣдній пишетъ удобопонятнымъ языкомъ, тогда какъ г. Безсонова просто попутала шеллингова терминологія. Такъ, на примѣръ, надо долго ломать себѣ голову, чтобы понять у г. Безсонова толкованіе П л е н а, от-

*Щегольская* сторона Чурилы, и только *одна щегольская*, при негодности на богатырство, окончательно выказывается въ особыхъ былинахъ объ его столкновеніи съ Дюкомъ Степановичемъ. Но господствующимъ лицомъ тутъ является этотъ послѣдній.—Относительно его оказывается совершенно вѣрнымъ замѣчаніе г. Безсонова: какъ у Кирши Данилова, такъ и во всѣхъ почти другихъ пересказахъ онъ прямо называется *боярскимъ сыномъ*. На это указываетъ и самое его имя *Дюкъ*, т. е. конечно Dux, герцогъ, по справедливому замѣчанію того же ученаго (ср., прибавляетъ онъ, у Славянъ имя *Дука*, область *Дукадинъ* — ducatus, *Герцеговину*). Выѣзжаетъ Дюкъ у Кирши «изъ славна Волынца, красна Галичья». «Здѣсь нужно видѣть Русь *Галицкую*,» говоритъ тотъ же писатель; но тамошняя Русь черезъ Угровъ познакомилась рано съ западными пріемами, обычаями, названіями». (Чѣмъ можетъ быть объяснено и самое его имя). — Но къ такому опредѣленію мѣстности совершенно не кстати прибавляется у Кирши: «изъ тоя *Корелы* богатыя»; а въ началѣ столько же не кстати сказано у него: «*изъ за моря, моря синяго*». Это—нерѣдкая въ нашихъ былинахъ перепутанность мѣстностей, объясняемая различными эпическими слоями.—Если же, по мнѣнію г. Безсонова, *Корелою* тутъ указывается просто на *порубежную отдаленность*, то и *море* тутъ упомянуто въ томъ же смыслѣ: Дюкъ является богатыремъ *заморскимъ*—въ смыслѣ *чужого*. Сильное развитіе въ немъ *стихіи боярской*, на *западный ладъ* (à la duc, такъ сказать) заслоняетъ въ немъ для народа свое, родное, такъ что самая страна, изъ которой онъ пріѣзжаетъ, — страна, въ сущности, совершенно русская,—смѣшивается съ *инородческою* Корелою. Далѣе самая *внѣшность* Дюка вполнѣ соотвѣтствуетъ тѣмъ *пріемамъ рыцарскимъ*, какіе совершенно вѣрно замѣчены въ немъ г. Безсоновымъ. Ему приписываются у Кирши различныя принадлежности *круты воинской*, весьма рѣдко вычисляемыя въ нашихъ былинахъ въ такой полнотѣ: «крѣпки доспѣхи на могучихъ плечахъ... Что куякъ и панцырь чиста серебра; а кольчуга на немъ красна золота»... Въ опредѣленіи цѣнности его круты былина слѣдуетъ чисто-народному, ироническому пріему: «не много съ Дюкомъ живота пошло... А куяку и панцырю цѣна лежитъ три тысячи, а кольчугѣ на немъ красна золота цѣна сорокъ тысячей, а и конь подъ нимъ въ пять тысячей». Послѣднее объясняется тѣмъ, что онъ умѣлъ перескакивать *съ берега* на берегъ. Не трудно будетъ припомнить, что тотъ же пріемъ замѣтенъ и въ описаніи круты Ильи Муромца, только она оказывается далеко не столь дорогою и несправненно менѣе воинственною: вмѣсто куяка и панцыря просто сермяжка, и т. д. Однакоже самое оружіе, приписываемое Дюку, совершенно соотвѣтствуетъ оружью Ильи и вообще всѣхъ богатырей: это господствующій въ былинахъ, несомнѣнно *древній*, *тугой лукъ разрывчатый*; но у Дюка «цѣна тому луку три тысячи... полосы были се-

---

на Чурилѣ, какъ плѣна: «въ эпоху Кроническую, эпоху Дажбога, сознаніе человѣческое было въ плѣну у вѣщей космической силы... было само себѣ вѣщимъ... и т. д. (Стр. LXXX—LXXXI.)



ребряны, а рога красна золота, а и тетивочка была шелковая, а бѣлаго шелку Шемаханскаго...» Столь же драгоцѣнно-своеобразенъ и колчанъ у Дюка:

А и въ колчанѣ было за триста стрѣлъ,
Всякая стрѣла по десяти рублевъ;
А и еще есть въ колчанѣ три стрѣлы,
А и тѣмъ стрѣламъ цѣны нѣтъ...
Колоты онѣ были изъ *трость-дерева*,
Строганы тѣ стрѣлки во *Новѣгородѣ*...
Клеены онѣ клеемъ осетра рыбы,
Перены онѣ перьицемъ сиза орла...
А того орла, птицы *камскія*,
*Не тоя-то Камы, коя въ Волгу пала,*
*А тоя-то Камы—за синимъ моремъ,*
Своимъ устьемъ впала въ сине море.

«Не смѣшана ли здѣсь Кума?» замѣчаютъ издатели пѣсень Кирѣевскаго, перепечатавшіе былину Кирши въ III вып, на стр. 101—106. Какъ бы то ни было, былина, записанная въ Пермскомъ краѣ, выказываетъ знакомство съ самыми различными мѣстностями.—Но вотъ какимъ образомъ продолжаетъ она описывать происхожденіе трехъ чудныхъ стрѣлъ:

А леталъ орелъ надъ синимъ моремъ,
А ронилъ онъ перьица во сине море,
А бѣжали гости корабельщики,
Собирали перья на синемъ морѣ,
Вывозили перья на святую Русь,
Продавали душамъ краснымъ дѣвицамъ:
Покупала дюкова матушка
Перо во сто рублевъ, во тысячу...
Потому тѣ стрѣлы дороги,
Что въ ушахъ поставлено по тирону,
По каменю но дорогу, самоцвѣтному;
А и еще у тѣхъ стрѣлокъ,
Подлѣ ушей перевивано
Аравитскимъ золотомъ...
Онъ днемъ стрѣляетъ,
Въ ночи тѣ стрѣлки сбираетъ:
Какъ днемъ-то стрѣлочекъ не видѣти,
А въ ночи тѣ стрѣлки, что свѣчи горятъ.

Это объясняется свойствами вставленнаго въ нихъ *тирона*—(или *антавента*, по другимъ пѣснямъ)—камня *самосвѣтнаго* (о которомъ уже было говорено). — Настрѣлявъ, при помощи своихъ чудныхъ стрѣлъ,—гусей, лебедей, уточекъ, Дюкъ отправляется въ Кіевъ къ князю Владиміру. Привязавъ коня къ дубову столбу къ кольцу булатному, онъ поклонился сперва князю съ княгинею, а потомъ уже на четыре стороны. Сидѣвшіе тутъ князи-бояра владиміровы (о богатыряхъ не сказано) скочили на рѣзвы ноги и дивуются *заѣзжему* молодому боярину. Владиміръ, надѣляемый *барскимъ пріемомъ*, *приказываетъ наливать чару:* подавали Дюку Степанову; онъ принимаетъ, *не чванится*. Чара—обычная богатырская—въ полтора ведра, и принимается по богатырски—*единой* рукой, а выпивается *единымъ* духомъ; Владиміръ же садитъ вслѣдъ за тѣмъ Дюка за *единой* столъ. Въ послѣднемъ случаѣ слово *единой* повторилось, кажется, машинально: у Владиміра постоянно, во всѣхъ былинахъ, одинъ столъ для всѣхъ, и намѣренно указывать на это въ данномъ случаѣ не представляется на малѣйшей надобности. Далѣе выходитъ однакоже, что столъ, годный для князя Владиміра со боярами, не годится для боярина заѣзжаго: онъ верхню корочку отламываетъ, а нижнюю корочку прочь откладываетъ. «Что ты, Дюкъ, чѣмъ чванишься!» спрашиваетъ его молодой Чурила Пленковичъ, въ свою очередь, какъ уже знаемъ мы, избалованный, но свыкшійся, надо думать, съ порядками кіевскими. «Онъ во Кіевѣ былъ счастливъ добрѣ» замѣчаетъ о немъ былина; и, вѣрный *дворскому* своему

значенью *любимца княжескаго*, спѣшитъ оговорить Дюка; но тотъ извиняется такимъ образомъ передъ княземъ:

Въ томъ ты на меня не прогнѣвайся:
Печки у тебя биты глиняны,
А подики кирпичные,
А помелечко мочальное,
Въ лохань обмакиваютъ;
А у меня, Дюка Степанова,
А у моей сударыни матушки,
Печки были муравлены,
А подики мѣдные,
Помелечко шелковое,
Въ сыту медвяную обмакиваютъ; —
Колачикъ съѣшь—больше хочется.

Выслушавъ о такихъ чудесахъ, Владиміру не до гнѣва. Въ немъ возгарается то-же самое *любопытство*, что̀ и при вѣсти о продѣлкахъ дружины чуриловой. Захотѣлось ему ѣхать къ Дюку ,вотъ и зоветъ онъ съ собой князей-бояръ, и взялъ Чурила Пленковича. Далѣе, былина, повидимому, употребляетъ опять пріемъ *ироническій*, говоря, что они пріѣхали на *пашню* къ нему, къ тѣмъ *крестьянскимъ* дворамъ; и тутъ у Дюка *стряпчій* (въ смыслѣ повара) былъ, *припасъ* про князя Владиміра *почестной столъ*. Наѣвшись—напившись, Владиміръ говоритъ Дюку: «каково про тебя сказывали, таковъ ты и есть», чѣмъ намекается на давно уже доходившую въ Кіевъ молву про Дюка. Но при этомъ сейчасъ же обозначается, что Владиміръ приведенъ къ Дюку не однимъ любопытствомъ, но и *корыстью*. Покушавши, ласковой Владиміръ князь *велѣлъ домъ его переписывать*... Но это оказалось не такъ-то легко: четверо сутокъ переписывали его *крестьянской домъ*, — бумаги не стало. Тогда Дюкъ, прибѣгая къ способу *наивящаго удивленія*, ведетъ Владиміра къ своей матушкѣ — въ *высоки терема* (ихъ нѣсколько, какъ у Чурилы и Соловья Будиміровича): тутъ Владиміръ даже *ужасаться* сталъ, какъ хорошо въ теремахъ изукрашено! Дюкова матушка живетъ еще лучше его самого, и въ этомъ, въ противоположность Соловью Будиміровичу, сказалось, при всемъ *боярствѣ* Дюка, славянское *начало семейное* съ его почитаніемъ государыни матушки. Славянское начало сказалось и въ томъ, что за столъ садится у нея Владиміръ князь со всѣми гостьми, *со всѣми людьми* (что̀ повторено до трехъ разъ — совершенно въ духѣ пословицы: пиръ на весь міръ) Пріемъ, употребленный Дюкомъ,—разудивить а вмѣстѣ съ тѣмъ и запоить-закормить, достигаетъ цѣли: Владиміръ говоритъ его матушкѣ: «исполать тебѣ, честна вдова многоразумная, употчивала меня со всѣми гостьми, со всѣми людьми; хотѣлъ было вашъ и этотъ домъ описывать, да отложилъ всѣ печали (заботы, хлопоты) на радости.» Вдова же честная обдариваетъ его мѣхами и каменьями, и былевой Владиміръ оказывается *насытимѣе* древнѣйшаго лѣтописнаго корыстолюбца—Игоря. Теперь должно стать понятнымъ и и то, почему и Чурила, и Соловей Будиміровичъ спѣшатъ обдарить Владиміра со княгинею и со князьями-боярами: они также боятся переписи и слѣдующаго за нею взиманья высокой (надо думать, по произволу) пошлины. Но тѣ боятся ея въ самомъ Кіевѣ, съ Дюка же Владиміръ готовъ ее взять у него на родинѣ, въ Волынь-Галичѣ,—чѣмъ указывается или на существующую уже зависимость этого края, въ сознаньи пѣвца, отъ Владиміра, или же на

задуманное тутъ княземъ его подчиненіе (соотвѣтственно историческимъ походамъ Владиміра на *Червенскіе города*).

Этимъ и оканчивается былина Кирши, вообще, какъ не трудно замѣтить, довольно стройная, съ явными признаками старины въ самомъ языкѣ,— напримѣръ, въ *старинномъ* творительномъ падежѣ: со князи и бояры, каменьи самоцвѣтными, и т. п. Между тѣмъ, какъ увидимъ, въ ней не достаетъ многаго, — и самыя отношенія Дюка къ Чурилѣ въ ней развиты не вполнѣ. Въ сборникѣ Кирѣевскаго, кромѣ перепечатки пересказа Кирши, имѣется всего одинъ пересказъ о Дюкѣ — съ Урала, да и то неоконченный (всего 27 стиховъ). Дюкъ выѣзжаетъ тутъ *изъ за горъ высокихъ*, что уже скорѣе, чѣмъ *море синее*, подходитъ къ мѣстнымъ условіямъ *Волынь-Галича*. Конь его называется — *бурымъ Бахматомъ*, въ чемъ слышна примѣсь изъ сказокъ. Далѣе и до конца отрывка слѣдуетъ описанье *трехъ стрѣлъ*; въ ушахъ у нихъ, какъ и у Кирши, перья орловые, но не здѣшнихъ орловъ *тульскихъ*, а заморскихъ. Далѣе про этихъ орловъ сообщается тутъ:

Выроняютъ (перья [236]) въ окіянъ-море.
Сбираютъ перья корабельщички.
Ко всему эти перья надобны:
И плоты плотить, корабли снастить...
И для снастей (и для струментовъ) всѣхъ
Эти перышки царю надобны [237]).

Все это напоминаетъ одну пѣсню авсеневую (изъ Саратовской Губерніи); гдѣ нѣчто сходное приписывается *павѣ*:

Летѣла пава...
Роняла перья;
Кому перья брати?
На что перья?
Шапочку шити,
Перьями пушити;
На что шапочку.
На базаръ ѣхати
Дрова рубить...
Мосты мостить.
Кому мостами ѣздить.
Царю—государю... [238])

Слова былины будто бы служатъ отзвукомъ этой обрядовой пѣсни, отзвукомъ, уже неполнымъ, вслѣдствіе чего и происходитъ странность — перья какъ-бы непосредственно служатъ на то, чтобы плоты плотить, и т. д. Но есть еще другая пѣсня, имѣющаяся, съ легкими видоизмѣненіями, въ иной совершенно мѣстности—въ Малороссіи и Галиціи: въ ней усматривается нѣкоторое соотвѣтствіе съ пересказомъ Кирши Данилова, гдѣ, какъ мы видѣли, перья чудеснаго орла продаются *дѣвицамъ*. Въ упомянутой же пѣснѣ:

А въ лиску, лиску, на жовтимъ песку,
Тамъ пава ходыла, пирье роныла,
За нею и шла панна Марьечка,
Пирье збирала да въ рукавъ клала,.. [239])

Далѣе слѣдуютъ уже совершенно особенныя подробности. Подобнаго же рода пѣсня встрѣчается у Краковяковъ съ одной стороны и Бѣлоруссовъ съ

---

[236]) Слово это пѣвцомъ было пропущено, но, по смыслу цѣлаго, возстановлено издателями.
[237]) Кир. III, стр. 100—101.
[238]) Терещенки Бытъ Русскаго Народа, VII, 118.
[239]) Метлинскаго Южно Русс. пѣсни, стр. 332. Жеготы Пауля Piesni ludu Ruskiego w Galicyi, I, 3—5.

другой [240]). У послѣднихъ павлинье перо—золотое крыло упоминается также въ пѣснѣ такъ называемыхъ *волочебниковъ*, ходящихъ на пасху. Тутъ этимъ золотымъ перомъ, въ воображеньи поющихъ, метется дворъ господина, ими посѣщаемаго, идутъ же они къ нему черезъ *межи золотыя* [241]). Сходная пѣсня существуетъ наконецъ и за предѣлами русской славянщины—у Моравъ: тутъ летящими и роняющими перья являются *золотые голуби* (по другому пересказу—утки), падаютъ же изъ нихъ перья оттого, что Господь, возсѣдающій на золотомъ столѣ, ударяетъ ихъ золотымъ бичомъ. Падающія перья и тутъ подбираются дѣвицею, вьющею изъ нихъ вѣнки для раздачи *колядовщикамъ* [242]). Всѣ эти *сходства* — при томъ же и съ пѣснями *обрядовыми* (т. е. древнѣйшимъ пѣсеннымъ родомъ)—говорятъ, мнѣ кажется, въ пользу того, что и въ былинахъ эти *чудесныя перья* сохранились отъ старины отдаленной—къ тому же они имѣются и во многихъ пересказахъ рыбниковскихъ, т е. принадлежатъ къ тѣмъ существеннѣйшимъ чертамъ, которыя одинаково сохранились въ различныхъ мѣстностяхъ.

Одинокимъ, сравнительно съ пѣснями, остается въ былинахъ то обстоятельство, что стрѣлы, украшенныя этими перьями, украшены также и камешкомъ самосвѣтнымъ, а потому и свѣтятся ночью, какъ будто-бы днемъ. Но этому, какъ видѣли мы, соотвѣтствуютъ въ разныхъ былинахъ всякаго рода предметы, украшенные тѣмъ же камешкомъ-самосвѣтомъ. У г. Стасова отмѣчены различные восточные примѣры эпическаго его употребленья (въ Іюльской книжкѣ Вѣстн. Европы 1868 г. на стр. 305). «Гессеръ-Хановы 30 стрѣлъ свѣтились огнемъ отъ драгоцѣнныхъ камней, въ нихъ вправленныхъ.» «Подобно этому и жилище Гессеръ-Хана освѣщалось драгоцѣнными камнями, вставленными въ кровельную балку и въ четыре угла палаты: они свѣтились словно огонь, такъ что ночью не было нужно лампъ. Для освѣщенія дороги Гессеръ-Хану служилъ драгоцѣнный же камень, свѣтящійся какъ огонь [243]). Самосвѣтные камни, впрочемъ, уже были затронуты у меня выше. — Теперь же я укажу, какъ на новое свидѣтельство въ пользу эпической древности сходнаго свойства *стрѣлочекъ* Дюка, на то, что въ Рамаянѣ Лакшмана пускаетъ въ ракшазу (злого духа) Вирадгу «семь стрѣлъ, оперенныхъ золотомъ, летающихъ съ великою быстротой, подобно вѣтру или крыльямъ Гаруды (миѳической птицы). Усыпанныя глазами, подобно *павлиньимъ* перьямъ, и свѣтящіяся какъ огонь, онѣ пронизываютъ тѣло Вирадги» [244]). Въ другомъ мѣстѣ сходными стрѣлами стрѣляетъ Рама; но, сверхъ всѣхъ остальныхъ качествъ, онѣ еще отличаются тѣмъ, что сами возвращаются въ колчанъ [245]). Въ другой разъ про нихъ, сверхъ того, говорится, что онѣ *озаряютъ ночь*, какъ звѣзды на сводѣ небесномъ. Такими же стрѣлами, впрочемъ, стрѣ-

---

[240]) Pieśni lund Krakowskiego. Krakow 1841. стр. 92 Rypinskiego Bialorus Par. 1849 стр. 47.

[241]) Czeczot, Piosnki z nad Niemna i Dzwiny. Wilno 1846, стр. 1.

[242]) Сушилъ Моравскія пѣсни, стр. 747.

[243]) Ср. также въ концѣ Іюльской книжки В. Евр. стр. 642—643.

[244]) Ramayana, trad. p. Fauche, IV, 41.

[245]) Сравни тамъ же стр. 102, 148, 177, 186, 215, 221, 363; V, 33, 67, 96; VIII, 247, 256, 265; IX, 241. О такомъ же свойствѣ миѳическаго оружія у разныхъ народовъ см. выше стр. 16.

ляетъ и царь ракшазовъ; свѣтясь у него, подобно солнцу,—пущенныя, онѣ воспламеняють все небо [246]).

Описаніемъ стрѣлочекъ Дюка отрывокъ, записанный на Уралѣ, и оканчивается. Затѣмъ остается намъ обратиться къ пересказамъ рыбниковскимъ— многочисленнымъ и отличающимся особою полнотою и стройностью. Ихъ, впрочемъ, можно раздѣлить на три разряда: 1) менѣе подробный, а потому и ближе подходящій къ Киршѣ Данилову, притомъ же не затрогивающій, подобно ему, Ильи Муромца; 2) болѣе подробный, въ большей или меньшей степени вводящій Илью въ похожденія Дюка; наконецъ 3) заключающій въ себѣ, собственно говоря, не былины, а *побывальщины* — съ разложившимся стихомъ, съ утратою многихъ существенныхъ чертъ и примѣсью кое чего, совсѣмъ посторонняго. Къ первому разряду относится въ ч. I, № 48 (Рябинина); въ ч. II, № 29 (калики изъ Красныхъ Лягъ) и въ ч. IV, № 9 (кореляка В. Лазарева) и № 10 (А. Савинова). Между этими четырьмя пересказами только у одного В. Лазарева сохранилась память о тѣхъ чудесныхъ стрѣлахъ Дюка, про которыя такъ подробно говорится у Кирши Данилова [247]). Зато въ остальномъ пересказъ Лазарева оказывается сократившимся и попортившимся, равно какъ и пересказъ Савинова. Только въ началѣ напротивъ того у Лазарева оказывается надставка: о семиверстномъ дворѣ Дюка и трехъ на немъ церквахъ соборныихъ, а немного подалѣе—о *холопахъ боярскихъ*, шьющихъ ему кафтаны и шапки. Такія надставки не лишены смысла и связи съ цѣлымъ, напротивъ того у Савинова постороннею и безсмысленною примѣсью (занесенною изъ былинъ о Сокольникѣ), могла бы представиться надѣваемая Дюкомъ шапка черно-мурманка, отъ которой не видать спереду ясныхъ очей, а сзаду шеи бѣлыя, еслибы та же шапка не приписывалась Дюку и въ нѣкоторыхъ пересказахъ подробнаго рыбниковскаго извода [248]).

При всей сокращенности и попорченности пересказовъ Лазарева и Савинова, даже и они, сравнительно съ Киршей Даниловымъ, отличаются преимуществомъ, еще болѣе замѣтнымъ какъ у Рябинина и калики изъ Красныхъ Лягъ, такъ и въ рыбниковскихъ пересказахъ *подробнаго* разряда. У Кирши Данилова, какъ могли мы замѣтить, Дюкъ брезгуетъ только калачиками Владиміра, вино же выпиваетъ онъ преспокойно. Напротивъ во всѣхъ вообще былинахъ рыбниковскихъ (даже въ сокращенныхъ и попорченныхъ), Дюкъ брезгуетъ не только калачами, но и виномъ [249]). Кромѣ того у Кирши Данилова враждебное столкновеніе Чурилы съ Дюкомъ выражается только тѣмъ, что Чурила *оговариваетъ* его брезганье калачами и вслѣдъ за тѣмъ ѣдетъ вмѣстѣ съ Владиміромъ свидѣтельствовать—все ли дѣйствительно такъ хорошо у Дюка? Въ пересказахъ же рыбниковскихъ между Чурилой и Дю-

---

[246]) Тамъ-же VII, 138, 402. Ср. стр. 414; IX, 43.

[247]) Совпаденіе съ Киршей замѣтно у Лазарева и въ томъ, что Галичъ оказывается тутъ связаннымъ съ Корелой богатой — безъ дальнѣйшей примѣси какихъ либо другихъ мѣстностей.

[248]) Рыбн. II, № 28, III № 29 и 31 (стр. 186).

[249]) Надо, впрочемъ, замѣтить, что у А. Савинова объ особомъ, усовершенствованномъ способѣ приготовленья вина у Дюка упомянуто не на своемъ мѣстѣ— тамъ, гдѣ говорится о пріѣздѣ къ Дюку владиміровыхъ обцѣнщиковъ, тогда какъ обыкновенно у Рыбникова самъ Дюкъ расказываетъ о способѣ приготовленія своего вина въ объясненіе, почему онъ брезгуетъ виномъ владиміровымъ.



конѣ происходитъ цѣлое состязаніе — въ щегольствѣ какъ платьемъ, такъ и верховой ѣздой [250]). Съ замѣчательными подробностями передаются эти особенности у Рябинина. Повыплескавъ поданное ему у Владиміра князя вино, Дюкъ охуждаетъ способъ приготовленья его въ бочкахъ дубовыхъ съ обручиками еловыми, и слѣдующимъ образомъ описываетъ приготовленье вина у своей государыни матушки:

Сдѣланы то бочечки серебряныя
И обручики набиты золоченые...
И на цѣпи на жемчужныя повѣшено.
Туды подведены вѣтры буйные:
Какъ повѣютъ вѣтры буйные,
Пойдутъ воздуха по погребамъ,—
Никогда такъ водочкой винцё не задохнется:
Какъ чарочку то выпьешь,
По другой душа горитъ.
(Рыбн. I, стр. 287, ст. 142—151).

(Кромѣ того онъ хулитъ у Владиміра мосты кирпичные и порученки калиновы; у его же родителя-матушки порученки серебряны, настланы сукна кармазинныя, и т. д.). Что же касается собственно столкновенія между Чурилой и Дюкомъ, то оно передается у Рябинина такимъ образомъ: «Ударимъ-ка, говоритъ Чурила Дюку, о великъ закладъ на три году поры времени, чтобы проѣздить намъ по Кіеву на добрыхъ коняхъ богатырскихъ, каждый день носить одежа снова на ново, снова на ново да что ни лучшая.» А Дюкъ отвѣчаетъ лукаво: «хорошо тебѣ биться объ закладъ—у тебя здѣсь въ Кіевѣ кладовыя одежицей наполнены, а мое вѣдь дѣло дорожное, платьице у меня завозное.» Самъ же сейчасъ посылаетъ со своимъ конемъ богатырскимъ письма скорописчаты къ своей матушкѣ—во славную *Индѣюшку* богатую (гдѣ, вмѣсто *Корелы*, находится у Рябинина, какъ и во многихъ другихъ пересказахъ, *Волынь*-городъ, родина Дюка) прямо на *княженецкій дворъ* (Дюкъ, согласно смыслу своего имени, постоянно величается у Рябинина *княженецкимъ сыномъ*). Увидавъ коня, прибѣжавшаго домой безъ Дюка, мать, совершенно по эпически, принимаетъ это за признакъ смерти своего сына [251]), но конюхи, разсѣдлывая коня, находятъ подъ сѣдломъ письмо отъ Дюка. Существованіе этихъ *конюховъ* избавляетъ дюкову матушку отъ древней эпической обязанности—ходить самой за конемъ: она *велитъ* насыпать ему пшены и т. д., а сама, при помощи разцѣнщиковъ, отбираетъ для Дюка одежицу на три года и потомъ (совсѣмъ уже по эпически) посылаетъ всю эту одежу съ тѣмъ же конемъ, привязавъ ее всю къ сѣдлу черкасскому. — Вотъ и начинаетъ Дюкъ ѣздить съ Чурилою день за днемъ въ одежицахъ драгоцѣнныхъ. Въ исходѣ третьяго года ѣдутъ они къ заутрени христосьскія [252]): у Чурилушки на одеждѣ въ пуговки воплетано по доброму молодцу, а въ петелки по красной дѣвицѣ,—какъ застегнутся, такъ и обоймутся, а разстегнутся—поцѣлуются [253]); но и у Дюка оказывается тоже самое, да сверхъ то-

250) Замѣчу однакожъ, что у А. Савинова и въ описаніи этого состязанія оказываются кое какіе пропуски и перестановки. А у калики изъ Кр. Лягъ не достаетъ состязанья и въ верховой ѣздѣ.

251) Ср. выше стр. 115.

252) Пасхальной. Такъ у Заонежанъ, а у Пудожанъ она—воскресенская (Рыбн. I, стр. 290, прим. 1).

253) У В. Лазарева вмѣсто этого отъ пуговицъ Дюка идетъ стукъ да громъ: это, повидимому, примѣшалось изъ былинъ про Илью на соколѣ кораблѣ, гдѣ подобнымъ громомъ отъ пуговицъ приводятся въ ужасъ разбойники. А у Савинова проводится такая разница между Чурилой и Дюкомъ: у перваго въ пуговкахъ и петелкахъ молодцы съ дѣвицами, у второго же—лютые звѣри и змѣи. Сходно съ этимъ и въ нѣкоторыхъ пересказахъ подробнаго рыбниковскаго извода.

го еще шляпонька: — спереду введено красно солнышко, сзаду введенъ свѣтелъ мѣсяцъ, а на верховьицѣ будто жаръ горитъ. Тогда перещапленный одеждой Чурила предлагаетъ Дюку удариться объ закладъ—чтобы на добрыхъ коняхъ богатырскихъ перескочить черезъ Нѣпру рѣку. Дюкъ Степановичъ; повидимому опять не безъ лукавства, называетъ своего коня «конишечкомъ дорожнымъ заѣзженымъ.» Впрочемъ, пѣвецъ утверждаетъ, будто-бы онъ, дѣйствительно ужахнувшись, слезно упрашивалъ коня—не посрамиться, конь же въ отвѣтъ взялся перенести его черезъ Днѣпръ на своихъ *подложныхъ крыльяхъ лошадиныхъ*. Слово *подложныя* тутъ, разумѣется, вставка позднѣйшая, но въ одномъ изъ другихъ пересказовъ (хотя вообще и довольно плюхомъ—Р. II, № 27) конь Дюка величается прямо бурушкомъ крылатымъ, сама же по себѣ крылатость коня дѣло вполнѣ возможное въ эпосѣ—таковъ и конь сербскаго Момчила). Сверхъ того дюковъ конь у Рябинина объясняетъ, что онъ не уступитъ даже и большимъ братьямъ, не только что меньшему: большій братъ его у Ильи Муромца, а середній у Добрыни Микитинца, самъ онъ—третій братъ, а у Чурилы уже четвертый, послѣдній. И точно, скакнули они съ Чурилою разомъ [154]), но Дюкъ преблагополучно очутился на другомъ берегу Нѣпры, Чурила же посередь рѣки пріогрюшился, да спасибо Дюку: тотъ поворотъ держалъ и повытащилъ его за желты кудри.

Слѣдующее за состязаніемъ обцѣниванье имѣнья дюкова (для чего къ нему посылаются Дунай, Василій Казиміровичъ и Алеша), представляетъ у Рябинина, сравнительно съ Киршею, ту надбавку (существующую и въ пересказахъ подробнаго рыбниковскаго извода, а также и въ побывальщинахъ), что, входя въ первый покой, посланные владиміровы принимаютъ за дюкову матушку — его рукомойницу, потомъ — во второмъ покоѣ—портомойницу, въ третьемъ—стольницу, и наконецъ уже сѣнныя дѣвушки доводятъ ихъ до дюковой матушки, которой они говорятъ, будто бы ихъ послалъ для обцѣниванья самъ Дюкъ. Она повела ихъ въ погребъ, и описывали они, обцѣнивали эту сбрую лошадиную ровно три года и все не могли обцѣнить. (Тутъ преувеличеніе доведено у Рябинина до крайности, превосходимой только въ одной преплохой побывальщинѣ, рѣчь о которой—ниже; такая степень преувеличенія не могла быть первоначальною). Тогда она повела ихъ въ погреба, гдѣ висѣли бочки съ серебромъ, золотомъ, жемчугомъ, и тогда обцѣнщики написали Владиміру:

Продай-ко свой стольно-Кіевъ градъ
На эты на бумаги (на гербовыя),
Да на чернила-перья продай еще Черниговъ градъ.
Тогда можешь Дюково имѣнье описывать.

Черта эта, повторяемая, съ легкими отличіями, и въ большей части пересказовъ подробныхъ, должна быть происхожденія книжнаго, какъ замѣтилъ я еще въ моемъ «Истор. Обозрѣніи Русской Словесности.» Въ «Посланіи царя Ивана Индѣйскаго къ царю Мануилу Греческому» мы читаемъ: «аще хощеши вѣдати всѣхъ силъ моихъ и вся чудеса моего индѣйскаго царства, и ты про-

---

154) У Лазарева и Савинова Чурила скачетъ первый, потому что «его похвала на передъ зашла».

дай свое царство греческое, да купи бумаги, да прїѣдь въ мое царство индѣйское со своими книжники, и я дамъ списати чудеса индѣйскыя земля, и не мочи тебѣ списати моего царьства и до исхода душа своея.» [255]).

Надо замѣтить, что это «Сказанiе объ Индiи» находилось въ одной рукописи со «Словомъ о Полку Игоревѣ», т. е. тутъ черта книжная весьма древняя, хотя она и не имѣется у Кирши Данилова, а уцѣлѣла только въ олонецкихъ былинахъ.

Замѣчательнымъ своеобразiемъ отличается многое у калики изъ Красныхъ Лягъ. Такъ, стоя въ церкви съ княземъ Владимiромъ, Дюкъ посматриваетъ и самъ почамкиваетъ; на князя Владимiра взглянетъ — только головой пошатаетъ, а на Апраксу королевичну взглянетъ—рукой махнетъ. Когда же Владимiръ послѣ обѣдни спросилъ его, что это онъ Богу не молился, а только по церкви посматривалъ, Дюкъ говоритъ: «а то я посматривалъ, что у васъ противъ нашей церкви десятой доли нѣтъ; и у тебя, Владимiръ князь столенъ кiевскiй, платье какъ у насъ у самаго бѣднаго; но и у тебя супруга Апраксiя королевична—такъ у насъ этакъ бѣдная женщина средится; у васъ въ палатахъ-то бѣлокаменныхъ противъ нашего—послѣднiй домъ.»—Въ отвѣтъ на вызовъ Чурилы, Дюкъ отвѣчаетъ, что у него будетъ платья не на три года, а на цѣлыхъ семь лѣтъ. Ѣхать за платьемъ дюковымъ вызывается Алеша, но Дюкъ боится его поповскихъ завидливыхъ глазъ и проситъ, чтобы послали Добрыню. Такой способъ привоза платья, конечно, не столь первобытенъ, какъ рябининское порученiе этого дѣла коню: у калики изъ Красныхъ Лягъ, надо думать, смѣшались — отправка за платьемъ, и отправка общѣнщиковъ къ Дюку. Зато роскошь и торжественность обстановки у дюковой матушки передается нашимъ каликой гораздо полнѣе:

И стоитъ онъ (Добрыня) у церкви у соборныя,
И пошли народъ отъ обѣдни воскресныя,
И народъ идетъ, кто въ шелку,
Кто въ золотѣ, кто въ серебрѣ...
Да пошли и мятельники,
Да пошли и лопатники,
Позадѣ дюкову матушку
Ведутъ дѣвицы подъ руки.

Но заключительная часть былины — состязанье съ Чурилой — у калики изъ Кр. Лягъ очень сокращена и попорчена. Особенность составляетъ тутъ то, что у Чурилы стало платья всего на *мѣсяцъ*, и тогда Дюкъ ухватилъ его и вмѣстѣ съ конемъ въ карманъ посадилъ: эта послѣдняя черта, повидимому, зашла сюда изъ былинъ о Святогорѣ и объ Ильѣ Муромцѣ, но воображенiе тутъ еще болѣе разыгралось: мало упрятать богатыря въ карманъ, надобно и коня туда-же!

Перейду теперь къ пространному рыбниковскому изводу. Сюда относятся въ 1-ой ч. № 47 (Пудожскаго Уѣзда, Сумозерскаго Погоста; имя пѣвца

---

[255]) См. въ моей книгѣ о Русской Словесности стр. 355. Замѣчу, что при всѣхъ преимуществахъ рябининскаго пересказа, въ немъ есть и вставки безсмысленныя. Такъ въ самомъ началѣ матушка называетъ Дюка «охвочимъ упиваться въ зелено вино», тогда какъ это качество принадлежитъ не ему, а Дунаю и Потыку. Далѣе Дюкъ «отгадываетъ Владимiру загадки», что вовсе не подтверждается прочими пересказами или даже дальнѣйшимъ содержанiемъ пересказа рябининскаго, Чурилка Пленковичъ расхаживаетъ у Владимiра въ одной рубашечкѣ безъ пояса въ однихъ чулочкахъ безъ чеботовъ, на что не имѣется ни малѣйшаго основанiя.



не означено) и 49 (изъ бутеневскаго сборника); въ ч. II № 28 (калики Датышова) и 30 (Андрея Сорокина); въ ч. III, № 29 (Поромскаго Старика), 30 (Г. Ѳедотова) и 31 (Тр. Романова; при чемъ отмѣчены и нѣкоторыя разнорѣчія изъ особаго пересказа Л. Богданова).

Надо замѣтить, что пересказы подробные записаны преимущественно въ Пудожскомъ Уѣздѣ: I ч. № 47, II № 30 и III № 29 и 31; но въ томъ же уѣздѣ записанъ и одинъ изъ выше разобранныхъ пересказовъ относительно-краткихъ—ч. IV, № 10. Далѣе подробный пересказъ ч. II № 28 принадлежитъ Каргопольскому Уѣзду; но тамъ же записанъ изъ краткихъ ч. II № 29. Петрозаводскому Уѣзду принадлежитъ между подробными пересказами ч. III, № 30; но тому же уѣзду принадлежитъ между краткими ч. I № 48. Изъ этого видно, что ни *краткій*, ни *пространный* рядъ не составляютъ принадлежности одной какой нибудь опредѣленной мѣстности, а распространены по разнымъ уѣздамъ, а потому и называть эти *ряды — изводами*, можетъ быть, не позволительно въ строгомъ смыслѣ.

Безъ точнѣйшаго обозначенія мѣстности остается пересказъ бутеневскій. Между тѣмъ въ замѣткѣ къ III ч. своего сборника, г. Рыбниковъ приводитъ нѣкоторыя замѣны—поправки къ бутеневскому пересказу, сдѣланныя имъ со словъ Бутылки (отъ котораго онъ, надо думать, слышалъ пересказъ, почти совершенно подобный бутеневскому); Бутылка же, какъ значится у г. Рыбникова,—родомъ изъ самаго города Петрозаводска.

Прежде другихъ пересказовъ подробныхъ, разсмотримъ бутеневскій, отличающійся, какъ и бо́льшая часть пѣсень изъ этого сборника, замѣчательною стройностью и полнотою (Рыбн. I, № 49).

Въ началѣ въ немъ, какъ и въ большей части пересказовъ подробныхъ, говорится о чудесныхъ стрѣлочкахъ Дюка. Далѣе въ отвѣтъ на просьбу о благословеньицѣ ѣхать въ Кіевъ *прямой дорожкой, не окольною*, мать указываетъ Дюку на три заставы по прямой дорогѣ: 1) горы толкуціи, 2) птицы клевуціи, 3) змѣище горынчище. Нельзя не замѣтить, что какъ послѣднее, очевидно, примѣшалось сюда изъ былинъ о Добрынѣ, такъ первыя, по видимому, зашли сюда изъ стиха о Егорьѣ Храбромъ (птицы же, можетъ быть, и изъ «Голубиной Книги»). Между тѣмъ таже самая *примѣсь со стороны* встрѣчается и въ нѣкоторыхъ другихъ пересказахъ подробныхъ, — съ тѣми или другими незначительными измѣненіями (Р. II, № 28, III № 29, 30). Не слушаясь матушки, Дюкъ уѣзжаетъ, она же наказываетъ ему, какъ и въ большей части остальныхъ пересказовъ, по крайней мѣрѣ не хвастаться у Владиміра «сиротскими животинками вдовиными.» Дюкъ благополучно проскакиваетъ черезъ всѣ заставы, благодаря прыткости своего коня, который, чтобы молодцу не было страшно такъ высоко летать, совѣтуетъ ему подвязать подъ *плецко* сыроматерой земли [256]). Пріѣхавъ къ Владиміру, Дюкъ застаетъ у него,

---

[256]) Вмѣсто плецко Бутылкою пропѣто было г. Рыбникову пелечко; т. е., объясняетъ нашъ собиратель, «подъ лопатки, какъ разъ противъ стремени.» (Рыбн. III, зам., XLVII). Такое привязываніе земли не имѣетъ ли того чарующаго значенія, что всаднику будетъ казаться, будто онъ ѣдетъ по землѣ, (а не летаетъ по воздуху) вслѣдствіе чего и долженъ пройти у него страхъ.



вслѣдствіе дождя, на мостовыхъ, изнасыпанныхъ черной землей, грязь по колѣна. Поглядывая на свое замаранное платье, онъ возбуждаетъ подозрѣніе не только князей-бояръ, но и *мелкой четы*, что это какой нибудь *дѣтинушка залѣшеникъ*: «онъ убилъ купца либо боярина, надѣлъ платьевъ не видаючи, и все онъ дѣтина на платье поглядываетъ.» — Что такая хула на Дюка не приписывается тутъ собственно Чурилѣ,—это въ бутеневскомъ пересказѣ, сравнительно съ другими, такая же испорченная черта, какъ и то, что даже самое состязанье съ Чурилой происходитъ тутъ не по собственному зачину послѣдняго, а по приглашенію князя [257]). Зато замѣчательно выражена въ бутеневскомъ пересказѣ всячески-проводимая и черезъ другіе противоположность между Кіевомъ и Волынь-Галичемъ (впрочемъ у Бутенева онъ не названъ, а названа только страна. Дюка— *Индія богатая*.)

Я слыхалъ отъ родителя отъ батюшки
Что Кіевъ градъ очень красивъ добрисъ [258]),
Анно въ Кіевѣ да не по нашему:
Церкви ты у васъ вся деревянныя,
У васъ маковки на церквахъ всѣ осиновыя..,
Какъ у моей государыни родной матушки
Тамъ церкви есть у насъ все каменныя,
Известочкою они отбѣлены,
Маковки на церквахъ самоцвѣтныя,
У насъ крышечки ли въ домахъ золоченыя.

Роскошь родины Дюка еще яснѣе выказывается у Бутенева при обцѣниваніи ея людьми кіевскими. Завидѣвъ ее издалека, они подумали, что Дюкъ приказалъ зажечь ее:

«Ай, горитъ Индія богатая!»
Какъ подъѣхали они поближе-де:
У нихъ крышечки въ домахъ золоченыя,
У нихъ маковки на церквахъ самоцвѣтныя.

Далѣе и лица изъ женской прислуги Дюка, принимаемыя обцѣнщиками за его матушку, сидятъ тутъ въ златѣ-серебрѣ, въ погребахъ же течетъ у него струйка золоченая... Потомъ при предложеніи Владиміромъ княземъ состязанія въ ѣздѣ на *коняхъ смѣнныихъ*, и т. д., князь прибавляетъ еще такое условіе: «который-то добрѣе у васъ выступитъ, — другому голова рубить.» По Чурилѣ, своемъ человѣкѣ, держали при этомъ *поруку* двума градмы—Кіевомъ и Черниговомъ, по Дюкѣ же молодомъ бояринѣ, какъ по чужомъ, заѣзжемъ, богатству котораго не повѣрили, не было никакой порукушки, только держалъ по немъ «тотъ владыка черниговскій,» примѣшавшійся, надо думать, изъ былины объ Иванѣ Гостиномъ, но, въ видѣ поясненія, жалуемый тутъ Дюку во крестовые батюшки. Въ этомъ отношеніи преимущество должно быть отдано плохому пересказу А. Савинова. Не смотря на свою принадлежность къ *краткимъ*, онъ не только знаетъ, какъ и большая часть пространныхъ, о *порукахъ*, но поручительство за Дюка приписываетъ, съ бо́льшимъ смысломъ чѣмъ у Бутенева, самому князю Владиміру, который во всякомъ случаѣ тутъ умѣстнѣе, чѣмъ владыка черниговскій. Примѣсь изъ былинъ объ Иванѣ Гостиномъ составляетъ у Бутенева, надо думать, и то, что конь Дюка, воз-

[257]) Что́ это только порча, а первоначально оно не было такъ—ясно и изъ самаго пересказа бутеневскаго: когда приходится перескакивать черезъ рѣку, Дюкъ говоритъ Чурилѣ: «т в о я  п о х в а л ь б а  н а п е р е д ъ  з а ш л а,—поѣзжѣй черезъ рѣку ты попереди (такъ оно и въ двухъ краткихъ пересказахъ—Лазарева и Савинова—см. выше прим. 254)

[258]) Д о б р и с ъ—т. е., надо думать, добръ есть,

вращаясь отъ матушки съ платьицемъ, ржетъ такъ громко, что все у Владиміра приходитъ въ ужасъ [259]). Далѣе же сообщается въ бутеневскомъ пересказѣ про коня дюкова слѣдующая, чисто эпическая черта: между тѣмъ какъ Чурила нагналъ цѣлое стадо лошадей, Дюкъ только «пораньше поутру выстанетъ, бурка въ росы повыкатаетъ—на бурки-то шерсть перемѣнится». Бурка такимъ образомъ замѣняетъ ему цѣлое стадо коней. Изъ всѣхъ другихъ пересказовъ черта эта уцѣлѣла только въ плохомъ пересказѣ А. Савинова (уже разобранномъ выше—(Р. IV, № 10). Замѣчательно еще другое сходство между прекраснымъ бутеневскимъ пересказомъ и другимъ, преплохимъ (изъ краткихъ)—В. Лазарева. Тамъ, когда Дюкъ ударяетъ рукою о свои пуговицы, отъ нихъ идетъ стукъ да грѣмъ. У Бутенева же и Дюку, и Чурилѣ приписывается поваживанье по пуговкамъ плеточкой и позваниванье пуговокъ, далѣе же оказывается между ними и разница въ томъ, что у Чурилы при этомъ отъ пуговки къ пуговкѣ плыветъ змiище горынчище, а у Дюка поютъ птицы пѣвучіи, кричатъ звѣрки рыкучіи, но и то и другое производитъ общій переполохъ. [260]) Сведенныя вмѣстѣ, эти черты изъ бутеневскаго и лазаревскаго пересказовъ оказываются, не трудно замѣтить, напоминающими Илью на Соколѣ кораблѣ, игрою на своихъ пуговицахъ приводящаго въ ужасъ разбойниковъ. Оттуда-то, надо думать, и замѣшалась эта черта въ былину о Дюкѣ, какъ далѣе замѣшался въ бутеневскій ея пересказъ и слѣдующій отвѣтъ молодого боярина на просьбу Владиміра унять птицъ и звѣрей: «не твое я сегодня ѣмъ да кушаю, не хочу я тебя слушати». Тоже отвѣчаетъ Владиміру Соловей разбойникъ, и тамъ это кстати, указывая на то, что его поитъ-кормитъ, какъ своего плѣнника, не кто другой, какъ побѣдитель его Илья; здѣсь же оно совершенно не кстати, такъ какъ Дюкъ гоститъ, а потому и кормится, у Владиміра князя. Не примѣшивая этой *грубости соловья*, нѣкоторые другіе изъ пересказовъ подробныхъ примѣшиваютъ *ревъ птицъ и звѣрей отъ пуговицъ*, тогда какъ иные повторяютъ прекрасную черту пересказа рыбнинскаго, гдѣ, какъ видѣли мы, въ пуговкахъ молодцы, въ петелкахъ — дѣвицы, обнимающіеся при застегиваньи.

Въ концѣ пересказа бутеневскаго замѣчательна просьба Владиміра—не рубить побѣжденному Чурилѣ буйной головы. «Оставь намъ Чурилу хоть *для памяти*», говоритъ стольный князь, а Дюкъ, сдаваясь на просьбу, зато издѣвается надъ Чурилой: «пусть ты княземъ Владиміромъ упрошенный, пусть ты кіевскими бабами уплаканный; не ѣзди съ нами со *бурлаками* (странное *несозвучное* выраженіе въ его *боярскихъ* устахъ!), а сиди ты въ Кіевѣ между бабами». Послѣднее совершенно идетъ къ волокитѣ Чурилѣ. Вотъ тутъ-то, и совершенно умѣстно, слѣдуетъ у Бутенева отправленіе къ Дюку

---

[259]) Въ дополненіяхъ, записанныхъ г. Рыбниковымъ отъ Бутылки, при этомъ даже терема пошаталися, а люди заговорили: «есть какой нибудь у насъ во градѣ уродище. (Рыбн. III, стр. XLVII—XLVIII).

[260]) Г. Стасовъ диковинное движеніе въ пуговкахъ Дюка объясняетъ тѣмъ, что наши былины «забыли архитектурное значеніе различныхъ рельефовъ» (изображавшихъ звѣрей, птицъ и т. д) въ восточныхъ сказаніяхъ, и «принимаютъ ихъ уже прямо за дѣйствительно тѣ самые предметы, которыхъ первоначально описывалось подобіе». (И въ восточныхъ оригиналахъ рельефные звѣри и животныя отъ движенія воздуха колебались) (В. Евр. Іюнь, стр. 645). Я-же укажу на старинную рукописную повѣсть о Вавилонскомъ Царствѣ (помѣщенную въ Памяти. Стар. Р. Литер.) въ которой дѣланные змѣи вдругъ становятся живыми.



обцѣнщиковъ: казалось, Чурила богачъ изъ богачей, а сыскался богачъ еще и почище Чурилы — такъ какъ же не возбудиться въ сильнѣйшей степени любопытству у князя такой страны, гдѣ все деревянное, неказистое, незатѣйливое?—Убѣдившись же въ томъ, что его городовъ и на чернила съ бумагой не станетъ, Владимiръ, какъ въ прежнее время Чурилу, приглашаетъ Дюка: «ты торгуй въ нашемъ во градѣ во Кiевѣ вѣкъ безъ пошлины».

Изъ числа обцѣнщиковъ, назначенныхъ княземъ, Дюкъ у Бутенева проситъ, какъ и у Рябинина, не посылать Алешу, но особенность составляетъ у него то, что первымъ обцѣнщикомъ назначается Илья Муромецъ, и Дюкъ совершенно доволенъ этимъ, а равно и назначеньемъ Добрыни. Этимъ, очевидно, указывается на добрую, разносившуюся молву объ этихъ богатыряхъ. Но Илья, какъ обцѣнщикъ, упоминается только у Бутенева, (Добрыня же и въ одномъ ненапечатанномъ пересказѣ, доставленномъ мнѣ г. Барсовымъ [261]). Подобное, чисто частное порученiе не совсѣмъ соотвѣтствуетъ господствующему положенiю Ильи въ эпосѣ кiевскомъ. Другiе подробные пересказы вводятъ его, какъ увидимъ, съ другой стороны въ былины о Дюкѣ, и при томъ со стороны болѣе ему приличной и соотвѣтственной.

Довольно близки къ бутеневскому пересказы калики Латышова (II, 28) и Поромскаго Старика (III, 29), изъ которыхъ каждый, впрочемъ, отличается и совершенно самостоятельными чертами. Родина Дюка, Волынь-Галичъ, обрѣтается тутъ въ одно и тоже время и въ Индiи богатой, и въ Корелѣ упрямой и въ Сорочинѣ широкой. Послѣдней заставой оказывается въ обоихъ пересказахъ—не кто другой, какъ донской казакъ Илья Муромецъ [262]). Такое помѣщенье его на ряду со звѣрями и со змѣями, составляющими двѣ первыхъ заставы, конечно, не можетъ быть первоначально. Дѣло въ томъ, что звѣри и змѣи въ этихъ пересказахъ, какъ и въ бутеневскомъ, поставлены, подобно богатырямъ, для обороны русской земли, тогда какъ, по первоначальному своему смыслу, они могли дѣйствовать только противъ нея. Это то-же, что Соловей—помощникъ Ильи, или чортъ—слуга Iоанна Новгородскаго и герцога Генриха Льва.

Благополучно проѣхавъ двѣ первыхъ заставы, Дюкъ у Латышова раздумался и распечалился передъ шатромъ Ильи: «не честь мнѣ хвала молодецкая—проѣду третью заставу, по мнѣ нѣтъ заступщичковъ-попеченьщичковъ въ Кiевѣ». Не совсѣмъ-то ясныя эти слова объясняются дальнѣйшимъ ходомъ дѣйствiя. Дюкъ привѣтствуетъ Муромца, подробно отвѣчаетъ на вопросъ его: «ты откулѣшный»? и говоритъ, что выѣхавъ въ полдень страстныя субботы, поспѣваетъ къ заутрени Христоскiя въ Кiевъ (такъ оно и въ нѣкоторыхъ другихъ пересказахъ — по подобiю намъ извѣстнаго поспѣванiя самого Ильи изъ Мурома въ Кiевъ между заутреней и обѣдней). Должно быть не вполнѣ довѣряя такимъ показанiямъ, Муромецъ предлагаетъ Дюку: «не угодно-ли выѣхать въ поле поратиться, поборотися»?—Но Дюкъ находится, какъ отвѣчать:

---

261) Зап. свящ. Первенцовымъ со словъ кр. Пуд. Уѣзда Ив. Захарова (75 лѣтъ)

262) У Поромскаго Старика составляетъ онъ заставу четвертую, первыя же заставы: г о р ы н ь—з м і я о двѣнадцати главахъ зла лиха, лютый звѣрь, и стадо г р а ч е в ъ -по нашему черныхъ вороновъ.



Одно солнце на небѣ, одинъ мѣсяцъ:
Одинъ донской казакъ на святой Руси,
Илья Муромецъ, сынъ Ивановичъ
*Эти рѣчи Ильѣ показалися...*

«Ну, молодой боярскій сынъ Дюкъ Степановичъ,
Поѣзжай въ стольный Кіевъ градъ:
Буду я за тебя печаль держать
И буду я за тебя заступатися.»

Выходитъ, что Дюкъ какъ бы за тѣмъ и вошелъ въ шатеръ, чтобы найти себѣ въ Ильѣ попеченьщика: добрая, знать, была молва о немъ по землѣ. У Поромскаго же старика даже прямо высказано, почему такъ надобны *попеченьщики* въ Кіевѣ. Матушка тутъ не только указываетъ Дюку на опасность *заставъ*, но и предостерегаетъ сынка отъ жителей кіевскихъ:

*Живутъ тамъ люди лукавые.*
Изведутъ тебя добраго молодца,
Бывъ, [263]) хорошаго наливного яблока.

И Илья Муромецъ вполнѣ подтверждаетъ слова ея, говоря Дюку:

Будешь ты во городѣ во Кіевѣ:
Живутъ тамъ люди *все лукавые*,
И станутъ налегать на тебя на молодца...

Вообще же встрѣча съ Ильей у Поромскаго Старика постановлена нѣсколько иначе. Подъѣхавъ къ шатру Ильи, *не съ разума* Дюкъ сговорилъ: «кто-де тамъ спитъ въ шатрѣ, выходи съ Дюкомъ поборотися, поотвѣдать дюковой храбрости». А Илья, выходя изъ шатра, говоритъ: «смѣю я съ Дюкомъ поборотися».

Подошла *статья я* Дюка Степановича,
И падалъ съ коня Ильѣ во бѣлы ноги:
«Одно у насъ на небѣ солнце красное,
Печеть во всю землю святорусскую,
А одинъ на Руси могучь богатырь...
Кто смѣетъ съ нимъ поборотися,
Тотъ боками отвѣдати матки-травы».
Ильѣ эти рѣчи полюбилися.

И онъ, какъ у Латышова, даетъ обѣщаніе помогать Дюку.

Сочувственныя отношенія Ильи Муромца къ молодому богатырю у Латышова выражаются уже и тѣмъ, что онъ, *провожая его*, говоритъ своимъ богатырямъ сотоварищамъ: «по его поѣздкѣ молодецкія можно поспѣть изъ Волынь-города въ Кіевъ». Перескакивая черезъ стѣны и башни (отъ спѣшности, надо думать), Дюкъ прямо подъѣзжаетъ къ церкви и застаетъ въ ней Владиміра съ Чурилушкой и Алешей. На нихъ обоихъ подѣлено у Латышова то, что въ другихъ пересказахъ достается одному Чурилѣ, но это не лишено смысла, такъ какъ нравы обоихъ отчасти сходны [264]). Первый *оговариваетъ* Дюка Алеша: «онъ укралъ порты у боярина» и т. д. Дюкъ же въ отвѣтъ только пуще хвалится: какъ-де его матушку ведутъ подъ руки тридцать дѣвицъ со дѣвицею, и вся она обвѣшана бархатомъ, чтобы не запекало ее солнце красное; «а у тя, говоритъ, просто за̂ просто, пусто за̂ пусто». — Тогда Алеша напрашивается съѣздить посмотрѣть на его посельице, а Дюкъ, коря

---

263) Бывъ т. е. будто бы.

264) Съ пересказомъ Щеголенкова сходенъ въ этомъ отношеніи и выше упомянутый пер. Захарова доставленный мнѣ г. Барсовымъ).



его, какъ и во многихъ пересказахъ, глазами поповскими, спѣшитъ воспользоваться своими новыми отношеніями къ Ильѣ: онъ пускаетъ къ нему въ шатеръ стрѣлочку съ ярлыкомъ. У Поромскаго Старика самъ Илья наказываетъ ему, выставивъ людей кіевскихъ обидчиками, припечатывать къ стрѣламъ ярлыки и разстрѣливать по чисту полю: «у меня, говоритъ онъ, летаетъ тамъ ясенъ соколъ, собираетъ стрѣлы со чиста поля; — пособлю, дѣтина, твоему горю.» Распечатавъ ярлыки, онъ посылаетъ къ Дюку Добрыню. «Ты почто насъ требуешь изъ чиста поля?» говоритъ, пріѣзжая, Никитичъ. Дюкъ проситъ Добрыню съѣздить и посмотрѣть, каково у него въ посельицѣ?—Тутъ такимъ образомъ участье Добрыни и самого Ильи въ обцѣниваньи имѣнья дюкова получаетъ совершенно особенное значеніе—значеніе обороны противъ насилія. А все же Илья Муромецъ считаетъ излишнимъ отправиться туда самъ, какъ бы припасая свою богатырскую силу для болѣе важныхъ подвиговъ.—Добрынюшка вполнѣ убѣждается въ вѣрности всего того, чѣмъ похвалялся Дюкъ. Тутъ замѣчательны, между прочимъ, такія подробности «въ кладовыхъ стоитъ семьдесятъ столовъ, у каждаго стола по три человѣка, каждый человѣкъ на свою руку на щетахъ ходитъ, казну принимаетъ. Семьсотъ человѣкъ на красномъ золотѣ иконы пишутъ.» По возвращеньи Добрыни въ Кіевъ, выступаетъ Чурила — со своимъ вызовомъ Дюка на состязаніе. «По Чурилѣ Кіевомъ ручаются, а по Дюкѣ только *голь кабацкая*.» Это послѣднее, нѣсколько загадочное обстоятельство, получаетъ дальнѣйшее разъясненіе у Поромскаго Старика: у него, послѣ того какъ Дюкъ уже перещепилъ Чурилу необычайнымъ ревомъ звѣрей въ своихъ пуговкахъ и свистомъ змѣй въ петелкахъ,

Въ стольномъ городѣ во Кіевѣ
Старый и малый на землѣ лежитъ;
Только *малые люди* оставалися,
За Дюкомъ всѣмъ городомъ Кіевомъ начнулися:
«Тебѣ спасибо, удалый добрый молодецъ
Перещепилъ ты Чурила сына Пленковича.

Ясно, что малые люди, голи радуются позору стараго своего насильника, того, кто, какъ мы знаемъ, въ былое время топталъ огороды въ Кіевѣ и т. п., потомъ же долженъ былъ возмущать народъ своимъ незаслуженнымъ почетомъ у князя и своею безсовѣстной роскошью. Вотъ народу и любо, что онъ поплатился теперь пятьюстами рублями, которые, согласно условію, беретъ съ него Дюкъ, и на нихъ покупаетъ зелена вина своимъ «голямъ-поручникамъ». Впрочемъ у того же Поромскаго Старика, кромѣ голей, за Дюка ручается и собрать ихъ по происхожденію, однажды, какъ мы можемъ припомнить, грозившій собою Чурилѣ, старый казакъ Илья, наѣхавшій въ Кіевъ по получены со стрѣлкой письма отъ Дюка [365]). Но этимъ и ограничивается у нашего пѣвца участіе Муромца. Далѣе хотя обцѣнщикомъ къ Дюку и у него посылается другъ Ильи, Добрыня, но это дѣлается по собственному рѣшенію князя съ Чурилой. По возвращеньи Добрыни, свидѣтельствомъ его о томъ, что для описи имѣньица дюкова надо «везти бумаги на шести возахъ», толь-

365) Илья (вмѣстѣ съ Добрынею) являются поручителями за Дюка и въ ненапечатанномъ пер. Ив. Захарова, хотя нѣтъ вовсе ни бою братанья съ Дюкомъ Ильи. Поручительство за Чурилу Кіевомъ также у Р. IV, 54.

ко вновь подзадоривается Чурила, вотъ-тутъ-то и рѣшающійся прибѣгнуть къ состязанію на коняхъ, съ прозакладываньемъ головы. Но когда, послѣ новой побѣды Дюка, приходится поплатиться головой самому зачинщику,—за него вступаются князь со княгинею, и все дѣло ограничивается тѣмъ, что Дюкъ Степановичъ «пялъ Чурила правой ногой,—улетѣлъ Чурила во чисто поле,» а Дюкъ только приговаривалъ: «Ай ты, Чурило сухоногое! поди; щепи ты съ дѣвками да съ бабами, а не съ нами, съ добрыми молодцами.»—Въ пересказѣ же Латышова, гдѣ состязаніе на коняхъ происходитъ съ Алешею, за побѣжденнаго «взмолилися князья-бояре и русскіе могучіе богатыри.» При первомъ же состязаніи—въ щегольствѣ одеждой,—происходящемъ и у Латышова съ *Чурилой*,—чтобы спасти Пленковичу его буйную голову, *доставали Илью Муромца изъ чиста поля*, и Илья, наѣзжая, не велитъ Дюку сѣчь Чурилѣ голову:» не честь-хвала молодецкая — не знаютъ его сильные могучія богатыри, только знаютъ его дѣвки да бабы въ Кіевѣ.» А Дюкъ отвѣчаетъ: «ну, Илья Муромецъ, еслибъ не ты, сѣкъ бы я ему буйну голову!»—Въ концѣ латышовскаго пересказа, передаваемомъ, какъ и многія въ немъ мѣста, *побывальщиною* (съ совершенной утратой стиха), Дюку приписывается благочестивая раздача по монастырямъ своего цвѣтнаго платьица—того самаго, надо думать, въ которомъ перещеплялъ онъ Чурилу. У Поромскаго же старика замѣчательно слѣдующее его прощаніе съ цѣлымъ Кіевомъ:

Прощай свѣтъ-государь ты, Владиміръ князь... И прощайте, купцы именитые,
И прощайте бояре всѣ кіевскіе, И прощайте, мужики огородники.

Въ лицѣ этихъ послѣднихъ онъ, повидимому, прощается съ тѣми, кого, какъ уже знаемъ мы, особенно обижалъ соперникъ его Чурила. Вообще же тутъ замѣчателенъ этотъ земскій, всесословный пріемъ въ прощаньи, хотя и имѣющійся только въ этомъ пересказѣ, но вполнѣ соотвѣтственный проходящему черезъ бо́льшую часть ихъ соблюденію Дюкомъ обычая святорусскаго—кланяться при пріѣздѣ на всѣ на четыре стороны, вслѣдствіе чего ему и говорятъ въ Кіевѣ: «изученіе видимъ твое полное, а не знаемъ ни имени, ни вотчины,» и т. д. Такое *изученіе* Дюка указываетъ, повидимому, на то, что и въ Волынь-Галичѣ, по представленію былевому, не смотря на его боярскую роскошь и пышность, соблюдаются обычаи русскіе, какъ и исповѣдуется русская православная вѣра. Между тѣмъ другія черты былевой обстановки Галича повели какъ бы къ *отчужденью* его отъ русской земли, сказавшемуся помѣщеньемъ его то въ Сорочинѣ, то въ Корелѣ, то въ Индіи, а въ одномъ пересказѣ даже подлинное его названіе, слегка передѣланное въ *Галицу*, соединяется съ совершенно уже отчуждающимъ прилагательнымъ: «*проклятая*» (Рыбн. I, п. 48 стр. 284).

Какъ бы отдѣльный изводъ составляютъ у Рыбникова въ ч. I, № 47, (Пудожскаго Уѣзда Сумозерскаго Погоста—безъ обозначенія пѣвца) и въ ч. II № 30 (Андрея Сорокина, также сумозерскаго уроженца, чѣмъ легко объясняется близость этого пересказа къ первому, въ которомъ не достаетъ самаго конца и который вообще сжатѣе, тогда какъ второй—самый про-

странный изъ всѣхъ (871 стихъ!) подобно большей части пересказовъ А. Сорокина). Въ самомъ началѣ уже особенность обоихъ этихъ пересказовъ выражается въ томъ, что на слова Дюка: «долго ли мнѣ жить дома тѣшиться во глупомъ во маломъ во ребячествѣ» и на желанье его «поразмять своего плеча богатырскаго во чистомъ полѣ», мать сама совѣтуетъ ему лучше ѣхать въ Кіевъ, тогда какъ въ другихъ пересказахъ она именно туда-то его и не пускаетъ! Здѣсь же Мамелфа Тимоѳеевна [266]) говоритъ ему: «не бывалъ ты во чистомъ полѣ, не слыхалъ ты крику звѣринаго, визгу-писку татарскаго, не вынесть тебѣ изъ чиста поля головушки... А вотъ солнышко Владиміръ стольно-кіевскій на пріѣздѣ заводитъ для молодцевъ почестенъ пиръ, а на поѣздѣ удалыхъ много жалуетъ золотой казной.» На это собственно у Сорокина Дюкъ отвѣчаетъ: «куда мнѣ съ золотой казной» (т. е. у меня и своей довольно); въ пересказѣ же 1-й части онъ, безъ всякаго указыванья причины, ѣдетъ не къ Владиміру князю, а въ чистое поле. Тогда мать совѣтуетъ ему не ѣздить по крайней мѣрѣ на славну на Палачь-гору Аѳанасьеву: [267]) на нее много заѣзжаетъ добрыхъ молодцевъ, а мало выѣзживаетъ.» Тутъ же вмѣстѣ съ тѣмъ вспоминаетъ она, что и въ самомъ Кіевѣ не совсѣмъ безопасно: «на честномъ пиру не хвастай сиротскимъ имѣньицемъ, не хвастай мною матушкой.» (И тутъ, значитъ, сказалась эта черта, проходящая черезъ прочіе пересказы). Поѣздивъ по полю и не найдя себѣ поединщика по плечу, Дюкъ не слушался материнскаго наказа, заѣхалъ на заповѣдную гору и сталъ разстрѣливать по ней свои дорогія стрѣлы (подробно описываемыя и въ этомъ изводѣ). Съ досады, что все это понапрасну — не видать ни откуда богатырей — Дюкъ Степановичъ хочетъ стрѣлить хоть въ ворона, но воронъ вымаливаетъ себѣ пощаду обѣщаніемъ, что впереди повстрѣчается ему поединщикъ [268]). Дѣйствительно, вскорѣ наѣзжаетъ онъ на лошадиный слѣдъ: «у лошади копытамъ выверчивано въ матери земли будто сильныма рѣшетамы.» Вслѣдъ за тѣмъ, наѣхавъ на шатеръ бѣлополотняный и на бѣлую богатырскую лошадь при немъ, онъ, какъ и у Латышова, порасплакался: «теперь на уѣздъ уѣхать — не уѣхати... падетъ моя голова ни за *чистую бѣлочку*» (черта эта, какъ бы сродная лѣтописному сбору дани *по бѣлѣ*, уцѣлѣла только въ 47 № 1-й ч.). «Поставлю я, разсуждаетъ Дюкъ, своего коня съ тѣмъ конемъ къ одной пшеницѣ бѣлояровой, — если кони смирно станутъ ѣсть пшеницу, пойду въ шатеръ — не тронетъ богатырь; а если кони драться станутъ, на уѣздъ поѣду!» (Черта эта, хотя и встрѣчающаяся только въ этомъ изводѣ, но совершенно вѣрная духу народныхъ примѣтъ и т. п., должна быть опять таки признана уцѣлѣвшею отъ старины). Увидѣвъ, что кони пресмирно вмѣстѣ ѣдятъ пшеницу, Дюкъ входитъ въ шатеръ и замѣчаетъ въ немъ *надпись богатырскую*: «ажно спитъ старый казакъ Илья Муромецъ». Успокоенный *доброй примѣтой*, молодой бояринъ смѣло будитъ Илью — «поѣдемъ-де вмѣстѣ

[266]) Имя это, проходящее через многіе пересказы, происхожденія книжнаго (какъ оно показано г. Н. Лавровскимъ въ статьѣ его объ апокрифахъ, помѣщенной въ Духовномъ Вѣстникѣ) 1864 г.

[267]) У Сорокина просто: крутая славная гора колончатая.

[268]) У Сорокина онъ уѣзжаетъ отъ ворона на той на радости на великія.

въ Кіевъ къ обѣдни воскресенскія.» Разбуженный только по третьему разу, Муромецъ спрашиваетъ: «почто ты будишь меня отъ крѣпкаго сна? *Или бьютъ тя въ чистомъ полѣ поганые Татаровья*, или самому тебѣ хочется спробовать со мною силы удачи?»—Испугавшись послѣдняго, Дюкъ обнадеженъ первою половиною словъ Ильи—его готовностью быть заступникомъ каждому. «Не на то будилъ, отвѣчаетъ онъ, чтобы ѣхать на дѣло ратнее—тебѣ вѣдь смерть на бою не написана—а на то, что будетъ надежный товарищъ въ чистомъ полѣ, повыучитъ всѣмъ похматкамъ поѣздкамъ богатырскимъ [269]).» И Илья, ни мало не обидѣвшись тѣмъ, что незнакомый молокососъ называетъ его товарищемъ, цѣловалъ его во уста во сахарнія, называлъ меньшимъ крестовымъ братомъ—*взяли*, крестами побраталися (это чисто-эпическое братанье должно было первоначально существовать и въ другихъ пересказахъ). Далѣе слѣдуетъ въ обоихъ пересказахъ нашего извода очевидная *вставка*. Илья вмѣстѣ съ Дюкомъ наѣзжаютъ на Идолища поганаго, тогда какъ похожденье съ нимъ Муромца составляетъ предметъ совершенно особыхъ былинъ и передается въ нихъ гораздо подробнѣе и при томъ такъ, что тутъ рѣшительно не зачѣмъ участвовать Дюку. Вставка эта можетъ быть опущена вся цѣликомъ, ни мало не нарушая строя былины, и я просто опускаю ее теперь, чтобы вернуться къ ней при разборѣ сказанія объ Ильѣ и объ Идолищѣ.—Ѣдетъ Муромецъ вмѣстѣ съ Дюкомъ, ѣдетъ во всю пору лошадиную, а Дюкъ Степановичъ на своемъ бурушкѣ *обскакиваетъ Илью*. Замѣтя такое передъ собой преимущество своего меньшаго братца, Илья преспокойно ему говоритъ, чтобы онъ уже лучше одинъ ѣхалъ къ Кіеву—поспѣвалъ къ обѣднѣ воскресенскія [270]). Вмѣстѣ же съ тѣмъ, безъ малѣйшей тѣни оскорбленнаго самолюбія или зависти, онъ повторяетъ ему завѣтъ его матери—не хвастать имѣньицемъ въ Кіевѣ, прибавляя:

«А станутъ обижать тебя во честномъ пиру,
Держи ко мнѣ вѣсточку въ чисто поле
Къ моему шатру бѣлополотняному,
Такъ не обидятъ тебя въ городѣ во Кіевѣ.

Пріѣхалъ молодой бояринъ въ Кіевъ-градъ и прямо шелъ въ церковь Божію: «Не *узналъ* его солнышко Владиміръ стольно кіевскій; — не бывалъ онъ во городѣ во Кіевѣ», (не *узналъ*, очевидно, употреблено тутъ въ значеніи не *зналъ*). При объясненьи Владиміру, что «я-де пріѣхалъ посмотрѣть вашего города—скажутъ, онъ на красы стоитъ, скажутъ—ты князь богато живешь», Дюкъ не забываетъ ввернуть, что кромѣ того «послалъ его братецъ крестовый, старый казакъ Илья Муромецъ.» Далѣе, садясь за столъ у Владиміра, онъ сначала намѣревается слѣдовать совѣту своего старшаго братца: «не-хвальбамы всѣ похвалялися, — сидитъ молодой бояринъ не пьянъ не веселъ, повѣшена буйна голова ниже плечъ могучихъ.» Только когда понесли колачики да вино, избалованный у своей матушки молодой бояринъ не съумѣлъ заставить себя ѣсть и пить, а сталъ невольно метать колачи подъ столъ,

[269]) Подобно тому, какъ самого Илью богатырству обучалъ Святогоръ (См. выше стр. 243).

[270]) Не это ли обскакиванье Ильи Дюкомъ, смѣшанное съ обскакиваньемъ Вольги Микулою, повело къ тому, что Дюку въ одной былинѣ приписано похожденье Микулы? (См. выше стр. 228).

[illegible] выливать за окошко; вслѣдъ же за тѣмъ, въ объясненіе, пришлось похвалиться особеннымъ приготовленьемъ у матушки и колачей и вина. Такимъ образомъ въ этомъ изводѣ нашей былины Дюкъ невольно, мало по малу, *втягивается* въ похвальбу, а потомъ ужь не можетъ уняться: заводитъ рѣчь и о платьѣ, и о коняхъ, и о глубокихъ погребахъ, изнасыпанныхъ золотомъ, у своей государыни матушки, и доходитъ наконецъ до такого *вызывающаго* задора:

Не оцѣнитъ на потребъ окупно-продатъ
Стольный Кіевъ градъ и Черниговъ градъ.

Нужно-ли говорить, что во всемъ этомъ замѣтна особенная, чисто художественная тонкость въ наблюденіи душевныхъ явленій и ихъ обрисовкѣ. Пересказъ 1-й ч. № 47 на этомъ, къ сожалѣнію, обрывается; остальную часть былины приходится прослѣдить уже по одному пересказу Сорокина, крайняя распространенность котораго мѣшаетъ стройности впечатлѣнія (самый переходъ къ похвальбѣ передается въ немъ несравненно плоше [271]). Не успѣлъ еще Дюкъ дойти до платьицевъ матушкиныхъ, какъ Владиміръ у А. Сорокина, уже разобиженный колачами, говоритъ Дюку: «кабы былъ молодой Чурила Пленковичъ, онъ бы зналъ, что съ тобою поговорить.» Вдругъ двери на пяту отворяются, и Чурила (уже видѣвшій Дюка въ церкви и *задѣвшій* его при выходѣ) входитъ и отвѣшиваетъ всѣмъ поклоны, только Дюку не клонитъ буйныя головы. «Тутъ съ Чурилой пошло слово за слово, тутъ съ Чурилой порассорились.» Дюкъ задираетъ его похвальбою платьями и конями, также и погребами—дороже Кіева. Не прилюбилися эти рѣчи Владиміру и онъ самъ начинаетъ перебирать, кого-бы послать оцѣнщикомъ: побоявшись алешиныхъ завидущихъ глазъ—въ томъ смыслѣ, что онъ, позарившись на золото, не оцѣнитъ дюкова живота (т. е. дастъ себя подкупить); побоявшись также чурилина волокитства, Владиміръ находитъ, что надо послать «грамотой востраго, на рѣчахъ разумнаго, съ гостями почестливаго»—словомъ, Добрыню Никитича. Между тѣмъ и его, по возвращеньи изъ Галича, Чурила заподозриваетъ въ подкупленности — т. е. въ томъ смыслѣ, что за золото Дюка онъ черезъ чуръ превознесъ его имънье-богачество. Въ описаніи торжественной обстановки дюковой матушки особенность у Сорокина составляетъ то, что ведутъ ее съ каждой стороны по тридцати дѣвицъ, а надъ ней, какъ надъ Чурилой въ былинѣ Кирши, несутъ *подсолнечникъ*, [272]) надѣто же у нея такое платье, на которомъ подведена луна, помѣтъ солнце и т. д. (замѣшалось, надо думать, изъ сказокъ, нерѣдко упоминающихъ о подобныхъ платьяхъ). Вотъ и бьется тутъ Чурила объ закладъ о *тридцати тысячахъ* (не смотря на пространность пересказа, о *порукахъ* въ немъ позабыто). Вслѣдствіе письма Дюка къ матушкѣ, отъ Галича къ Кіеву

---

[271]) Начинается такимъ образомъ: молодой бояринъ сидитъ да ничѣмъ онъ не хвастаетъ; потому онъ не хвастаетъ, что чару пьетъ, а другу за окошко льетъ, и т. д. Это, очевидно, уже совершенно не то (Р. II, стр. 171).

[272]) См. выше стр. 567.

пошло какъ стады-стадами добрыхъ коней и пошли многи телѣги (ордынскія) платья разнаго: все это, конечно, уже далеко не такъ эпично и первобытно, какъ извѣстное намъ по другимъ пересказамъ *развертыванье различными шерстями* одного и того же бурочки и присылка всего платья на немъ на одномъ. Къ Чурилушкѣ сгоняли тутъ лошадей со всего Кіева и съ Чернигова, да и платья сносили изъ этихъ двухъ городовъ, а также и изъ за синя моря,—а все таки у Дюка даже *осталось* платья и коней *еще* на три года. Въ одеждѣ Дюка особенность составляютъ у Сорокина лапотцы съ камешкомъ *самоцвѣтнымъ* (свѣтящимъ и днемъ и ночью) и шапка съ рогавками, у которой висятъ тѣ же камешки самоцвѣтные. У Чурилы же дѣвушки, введенныя въ петелки, наливаютъ вино и подносятъ добрымъ молодцамъ, а добрые молодцы (на пуговкахъ) играютъ въ гусли яровчаты [273]). Увидѣвъ эту диковину, Дюкъ говоритъ, что не дороги ему тридцать тысячей, а дорога ему слава великая: «не поддамся я вашему городу Кіеву». Тутъ, проведя по пуговкамъ, производитъ онъ намъ извѣстный ревъ-свистъ, отъ котораго самъ Чурила тутъ *на зени* лежитъ, а князь стоитъ окоракою. Послѣ же новаго вызова со стороны Чурилы, Дюкъ порасплакался передъ своимъ конемъ: «ежели не перескочишь черезъ матушку Нѣпру рѣку, то поѣду я искать своего братца крестоваго». А крестовый братецъ и самъ пріѣзжалъ тутъ изъ чиста поля и здоровкался съ молодымъ бояриномъ: «за какими-молъ случаями проживаешь все время въ Кіевѣ?»—Узнавъ же, въ чемъ дѣло, Илья говоритъ Чурилѣ: «вѣрно надоѣла тебѣ жизнь на семъ на бѣломъ свѣту? Хоть бы не перескочилъ конь у молода боярина, далъ ли бы я вамъ отсѣчь буйну голову молодому боярину, *когда я засматривалъ ровно три года во каждый день?*» Эта новая черта, хотя и одиноко стоящая, вполнѣ соотвѣтствуетъ однако же тому званію *попеченьщика* о молодомъ Дюкѣ, съ какимъ является Илья и въ другихъ пересказахъ нашей былины. Когда же пришлось не Дюку, а Чурилушкѣ рубить голову, и за послѣдняго стали упрашивать старыя старухи, молодыя молодухи и красныя дѣвушки (онъ, знать, имѣлъ обожательницъ всякихъ возрастовъ), тогда и Илья посовѣтовалъ Дюку только пнуть Чурилу подъ ж... «пускай де шатается межъ бабами!» И Дюкъ отпускаетъ такимъ образомъ этого «бабьяго умоленника и старушьяго упрашивальника»: «не вяжись-де между нами, между русскими могучими богатырями» (и такъ, Дюкъ тутъ прямо и себя называетъ русскимъ). Вслѣдъ за тѣмъ они съ Ильей Муромцемъ ѣдутъ вмѣстѣ къ князю Владиміру. Встрѣчаясь только у А. Сорокина, это, надо думать, такое же присочиненіе, какъ и слѣдующія за тѣмъ слова: «тутъ-то узнали молодого боярина, тутъ-то сталъ вездѣ поѣзживать со старымъ казакомъ Ильей Муромцемъ.»

[273]) Тутъ, кажется, слѣдуетъ предположить, вслѣдствіе порчи, обмѣну ролей: первоначально подававшія вино, надо думать, сидѣли на пуговкахъ, которыя и должны были служить вмѣстилищемъ для вина. По крайней мѣрѣ въ сербскихъ пѣсняхъ встрѣчаются пуговицы, завинчивающіяся и развинчивающіяся и служащія кубцами: (Наприм. у Вука III, стр. 352). Что же касается собственно дѣвицъ на пуговицахъ, то этому до извѣстной степени эпически-соотвѣтствуютъ въ Рамаянѣ плоды въ видѣ женщинъ, выростающія на диковинныхъ деревахъ (Fauche, Ramayana, V, 299) (замѣчу мимоходомъ, что по сербски пуце означаетъ въ одно и тоже время и пуговицу и ягоду (виноградную).



По нѣкоторымъ особенностямъ, въ сторонѣ отъ другихъ пересказовъ стоятъ записанные г. Рыбниковымъ въ Пудожскомъ Уѣздѣ отъ Тр. Романова (ч. III, № 31) и отъ Л. Богданова (пересказъ котораго до того близокъ къ романовскому, что собиратель ограничился обозначеніемъ немногихъ его разнорѣчій въ видѣ примѣчаній къ пересказу Романова). Начальная часть этихъ пересказовъ подходитъ къ тому изводу, въ которомъ Дюку *самому* захотѣлось въ Кіевъ. Молодецъ вспоминаетъ однакоже, что «не честь ему хвала молодецкая поѣхати безъ прощенья безъ матерына», — и вотъ онъ идетъ ко вдовѣ Авдотьѣ Данильевнѣ, отвѣтъ которой на просьбу сынка позабытъ въ этомъ пересказѣ. Далѣе уже особенность составляетъ то, что подъ самымъ подъ городомъ подъ Кіевомъ Илья застаетъ въ шатрѣ не одного Илью, но вмѣстѣ съ нимъ и дядюшку Самсона Манойловича. Оба спятъ себѣ преспокойно—съ безпечностью, и въ другихъ былинахъ приписываемою иногда нашимъ богатырямъ; Дюку очень легко бы было проѣхать мимо, но его останавливаетъ мысль о томъ, что тогда богатырямъ «за преку будетъ за великую» (т. е. ихъ станутъ упрекать, что они проглядѣли проѣзжаго), и вотъ онъ сопущается на сыру землю и будитъ Илью съ Самсономъ. Вопросъ Ильи—*горитъ ли у него* душа побороться? и скромный отвѣтъ Дюка—соотвѣтствуютъ передачѣ того и другого въ пересказахъ того извода, къ которому подходитъ и начало романовскаго. Далѣе же *одинъ богатырь на Руси Илья* (это особенно сильно звучитъ при спящемъ подлѣ Ильи *старшемъ* богатырѣ Самсонѣ) въ числѣ *обидчиковъ* кіевскихъ, отъ которыхъ обѣщается онъ защитить Дюка, прямо называетъ Чурилу щапливаго и Алешу пустохвастишку: между тѣмъ при пріѣздѣ къ князю, задѣвающимъ Дюка является тутъ не Алеша, а какой-то молодой Шатенька — *племянникъ княжескій*; но по-позже, какъ у обоихъ сумозерскихъ пѣвцовъ (Сорокина и ч. I, № 47), вдругъ отворяется дверь и входитъ Чурила, не кланяющійся Дюку, отзывающемуся о немъ такимъ образомъ: «эта слава шла про Чурилушку не ложная, что шея у него будто бѣлый снѣгъ и т. д., а эта славушка ложная, что умѣетъ Чурилушка честь отдать и поздравствовать.» Впрочемъ у Тр. Романова упомянутъ потомъ и Алеша, назначаемый къ Дюку обцѣнщикомъ, но отвергаемый молодымъ бояриномъ, и тутъ, какъ во многихъ пересказахъ, просящимъ, чтобы послали Добрыню (Илья въ числѣ кіевскихъ богатырей называетъ ему у Романова и Добрыню—но тутъ должна была первоначально присоединяться и какая-нибудь оговорка, сочувственно оттѣнявшая этого послѣдняго отъ Алеши и Чурилы)[274]). Остальное—какъ и вездѣ; но съ тою надбавкою, что Добрыня «*ужарьшился*, глядя на дюковъ животъ.» Возвращеньемъ Добрыни въ Кіевъ перерывается пересказъ Романова: не достаетъ состязанья съ Чурилой, котораго ожидаешь по предшествующимъ намекамъ, и которое уцѣлѣло, хотя уже на половину въ видѣ *побывальщины*, въ близкомъ къ романовскому пересказѣ Л. Богданова [275]).

---

274) Назвавъ ему ихъ, Илья говоритъ: «не станутъ ли обижать,—сюда вѣсть держи.»

275) Отмѣчу также, что весьма позднимъ наслоеніемъ являются у Романова царевы приворотники, кото-

Изъ разнорѣчій этого послѣдняго пѣвца я отмѣчу только, что Дюкъ, входя къ Владиміру, *князьямъ боярамъ челомъ не бьетъ* и становится въ мѣсто большее богатырское (тогда какъ у Тр. Романова на оборотъ—въ мѣсто небольшое по лѣву руку Владиміра).

Къ романовскому пересказу подходитъ во многомъ и записанный отъ Ѳедотова (Р. III, № 30), который, при большей подробности, представляетъ также и особенности, отличающія его не только отъ романовскаго, но и отъ всѣхъ остальныхъ. Сюда, во первыхъ, относится то, что матушка при «прощеньицѣ—благословеньицѣ» наказываетъ Дюку «не дѣлать обиды народу православному и не проливать крови неповинныя» (сравнить съ завѣтомъ отца Ильи, жалобою матери Марка Кралевича и т. п.). На заставѣ богатырской Дюкъ застаетъ тутъ Илью въ сообществѣ *съ четырьмя* богатырями: Добрыней, Алешей, какимъ то Михайломъ Долгомѣровичемъ и замѣшавшимся сюда изъ новгородскаго круга *Васильемъ Буславьевичемъ*. На челобитье Дюка съ привѣтомъ: «ты здравствуй нашъ донской казакъ Илья Муромецъ!», первенствующій богатырь спрашиваетъ, почему же онъ его знаетъ и по имени называетъ, а Дюкъ въ отвѣтъ: «слава происходитъ про тебя въ городахъ и деревняхъ—во всемъ свѣтѣ нѣтъ противъ тебя супротивника.» Далѣе выходитъ, что «притѣсненье», въ случаѣ котораго Дюкъ, по наказу Ильи, долженъ ему дать знать, заключается въ предлагаемомъ ему, послѣ его похвальбы, отвѣдываніи силы съ русскими богатырями: всѣ они, и въ томъ числѣ самъ Илья, наѣзжаютъ на княжій дворъ, гдѣ присоединяются къ нимъ еще и *шестой* Чурила и *седьмой—Иванъ Годиновичъ*. До боя съ самимъ Ильей дѣло, однакоже, не доходитъ, ибо такъ далеко не зашла *испорченость* въ этой былинѣ, позабывающей далѣе про Илью. Прежде всего бьется Дюкъ съ Долгомѣровичемъ Михайлой и *вышибаетъ его изъ сѣдла*, [176]) а князь выхваляетъ Дюка. Вслѣдъ за тѣмъ, побѣжденнымъ остается и Василій Буславьевъ, а Иванъ Годиновичъ хотя и тоже съ Дюкомъ сражается, но потомъ Дюку покоряется. Надо замѣтить, что, по мнѣнію собирателя, П. Н. Рыбникова, вмѣсто Василья Буслаева, «здѣсь надо быть Василью Игнатьевичу — во первыхъ потому, что Василій Буслаевичъ богатырь новгородскій, а во вторыхъ—онъ «удалъ необычно есть»: по новгородскому представленію, онъ также непобѣдимъ, какъ Илья Муромецъ у Кіевлянъ. Развѣ, можетъ быть, спрашиваетъ далѣе г. Рыбниковъ, тутъ проглядываетъ областное соперничество, и былина нарочно сводитъ удалаго новгородца Василья Вуславьевича съ Дюкомъ Степановичемъ, чтобы онъ погибъ отъ руки встрѣчнаго заѣзжаго молодца?» Во всякомъ случаѣ такое сведеніе вмѣстѣ богатырскихъ лицъ изъ двухъ совершенно различныхъ былевыхъ круговъ составляетъ явленіе, какъ бы соотвѣтственное сведенію Тидрека съ Зигурдомъ въ Тидрекъ-Загѣ (см. выше стр. 96 и 99). Кромѣ того и весь этотъ бой Дюка съ богатырями на глазахъ у

---

рыхъ Дюкъ спрашиваетъ про князя. Добрыня находитъ у Дюка тридцать три теремъ, свивающіеся верхами въ одно мѣсто: это, должно быть, произошло вслѣдствіе безсмысленнаго ихъ сближенія со свивающимися дубами Соловья разбойника. Родина Дюка называется у Романова Корягой богатой, Индѣей широкой.

[176]) Пріемъ, употребляемый въ Урусланѣ (выше стр. 45).

Владиміра, похваляющаго побѣду заѣзжаго богатыря, какъ и боевой пріемъ послѣдняго—высаживаніе изъ сѣдла—отзывается уже духомъ *лубочныхъ сказокъ* [277]). Къ тому же книжностью отзывается тутъ, въ описаніи боя, и частое рисмованье глаголовъ. Напротивъ того конецъ—состязаніе съ Алешей, а потомъ съ Чурилой (причемъ вдругъ какъ бы позабываются остальные богатыри, вызванные для боя съ Дюкомъ) довольно близокъ къ концу, обычному и въ остальныхъ пересказахъ.

Остается теперь обратиться къ третьему виду существующихъ сказаній о Дюкѣ—къ *побывальщинамъ*. Мы могли замѣтить, что и нѣкоторыя, выше разобранныя *былины* могутъ такъ называться только по *преобладающему* въ нихъ строю, а что кое какія мѣста въ нихъ отзываются уже складомъ *побывальщины* (такъ оно, наприм., въ пересказѣ калики Латышова—Р. II, № 28). Подъ № 27 помѣщенъ во II ч. у г. Рыбникова пересказъ, записанный на Кенозерѣ, проѣздомъ, отъ крестьянина: хотя во многихъ мѣстахъ тутъ еще сохранился стихъ (по содержанію-же кое что тутъ подходитъ къ пересказу Романова, записанному въ томъ же Пудожскомъ Уѣздѣ), но въ одномъ изъ мѣстъ съ совершенно разложившимся стихомъ есть тутъ вставка безсмысленная, указывающая на совершенную порчу былевой основы. По пути къ Кіеву, Дюкъ, кромѣ волковъ и змѣй, побиваетъ еще Соловья разбойника!—Далѣе, встрѣчая Илью вмѣстѣ съ Самсономъ, Михайломъ Потыкомъ и Сухманомъ, онъ проситъ ихъ всѣхъ *поберечь его въ Кіевѣ*. Остальная часть побывальщины, по свидѣтельству собирателя, не представляетъ ничего новаго. Подъ № 26 во II-ой же части напечатанъ у г. Рыбникова расказъ про Дюка, записанный въ Лодейнопольскомъ Уѣздѣ (неизвѣстно отъ кого) г. Шкалинымъ. Тутъ Чурило названъ *Гусникою*, какъ и въ другомъ, уже упомянутомъ у меня выше расказѣ, доставленномъ тѣмъ же г. Шкалинымъ. Какъ ни плохъ, ни искусственъ и книженъ тотъ расказъ, въ немъ по крайней мѣрѣ сохраненъ болѣе или менѣе стихъ; расказъ же о Дюкѣ хотя и напечатанъ съ раздѣленіемъ на стихи, но по большей части почти не представляетъ слѣдовъ размѣра: это какъ есть—побывальщина и притомъ впадающая мѣстами въ пріемы лубочной сказки. При такихъ качествахъ, кажется, не чѣмъ другимъ, какъ вліяніемъ книжнымъ должно быть объяснено тутъ въ началѣ отправленіе Дюка по рѣкѣ по *Дунаеви* [278]). При этомъ дается ему цѣлая *дружина боярская*, далѣе же изъ отвѣта его царевнѣ оказывается, что вся сила его—вѣрный слуга, а богатствіе—могучій конь [279]). Слуга этотъ—Никита Полица, упоминаемый и въ нѣкоторыхъ лубочныхъ сказкахъ. Съ нимъ ѣдетъ добрый молодецъ Дюкъ Богу молитися, съ *честнымъ народомъ вольно-кіевскимъ гости-*

---

277) Къ нимъ можетъ быть отнесена и сказка объ Урусланѣ.

278) Впрочемъ, можно тутъ вспомнить и о древнемъ, нарицательномъ значеніи слова дунай, уже затронутомъ у меня выше на стр. 278. Кромѣ приведеннаго тамъ, по слѣдамъ г. Буслаева, примѣра изъ польской пѣсни, можно привести еще слѣдующее мѣсто изъ пѣсни сербской (записанной въ Дернишѣ, въ Далмаціи): нек се граде два дунаја, два дунаја воде ладне (Пам. и Обр. Нар. Яз. и Слов., тетр. II, стр. 196—въ прил. ко II ч. Изв. Ак. Наукъ.)

279) Но замѣчательно въ этомъ мѣстѣ побывальщины употребленіе слова сила въ двухъ его различныхъ смыслахъ: «много ль силы съ собой ведешь?»—Отвѣтъ: слугу вѣрнаго. «Много ль у тя силы богатырскія? Отвѣтъ»: «у меня (т. е. въ мышцахъ) сила не малая—все царьствіе ваше верхъ дномъ вериую. (Рыбн. II, стр. 131—132)

*имся*: какъ ни вѣрно само по себѣ такое прозвище Кіевлянъ, тутъ, при всемъ остальномъ, оно отзывается чѣмъ то придуманнымъ. Услышавъ молву неправдивую, неутѣшную, что въ Кіевѣ богатствомъ прохваляется Гусинко Пленкович съ товарищами, Дюкъ, чрезъ посредство Никиты, называется въ гости къ какой то *безыменной* царевнѣ, которая подзадориваетъ его, чтобы онъ *рышилъ* Пленковича. Дюкъ ссылается то, что и такъ у него много грѣха на сердцѣ, что не губить пришелъ онъ душу христіанскую, а пришелъ ради богомольствія. Но есть у него кому расправиться съ Чурилою, вотъ и говоритъ онъ, отправляясь на утро въ церковь, Никитѣ Полицѣ: «какъ будетъ онъ, разокрученный супротивникъ мой, при честныхъ людяхъ надъ боярскимъ сыномъ насмѣхаться, не утерпитъ твое сердце горячее во такой обидѣ своего господина.» [280]) И точно, какъ сталъ Гусинко ходить по церкви, надуваючись, своимъ длиннымъ поламъ розмахиваясь, Дюкъ Степановичъ стоялъ смирнехонько и только изподтишка заставилъ ревѣть звѣрей въ своихъ пуговкахъ, окончательно же съ Гусинкой расправился Никита Полица: захватилъ его за ноги, дотащилъ до темнаго лѣсу-бору и забросилъ въ яму темную къ вѣдьмѣ кіевской. Такимъ образомъ исполнилось желаніе безыменной царевны, которую велѣдъ за тѣмъ Дюкъ увозитъ изъ Кіева при помощи тогоже Никиты Полицы и своего коня вѣрнаго [281]).

Довольно забавная побывальщина записана г. Рыбниковымъ отъ крестьянки Дмитріевой. [282]) Порча тутъ уже въ самомъ началѣ дошла до того, что *Юнка* (вмѣсто Дюка) выѣзжаетъ изъ *малаго* города изъ *Клина* (какъ Чурила изъ *малаго* Кіевца): онъ такимъ образомъ дѣлается вполнѣ *своимъ* человѣкомъ—бояриномъ одного изъ московскихъ уѣздовъ, и оттуда-то ѣдетъ въ стольный Кіевъ къ Владиміру! Тамъ привѣтствуетъ онъ княгиню Апраксію, какъ *портомойницу*: до того показалась она ему невзрачна, сравнительно съ его клинскою богачихой-матушкой. Въ его обращеніи къ Владиміру: *князю*! и отвѣтѣ Владиміра: *человѣче*!, т. е. въ этой формѣ звательнаго падежа, слышится струя книжная. Не перешла ли и эта побывальщина въ уста народныхъ разсказчиковъ изъ рукописныхъ тетрадокъ? Послѣ побѣды Юнки надъ Чурилою въ поѣздѣ на коняхъ, Владиміръ говоритъ ему: «у кого изъ насъ животовъ больше? Буде у меня больше, такъ ты мнѣ на вѣкъ слуга, а буде у тебя больше,

---

[280]) Замѣчательно, что не только въ этой побывальщинѣ, но и въ былинахъ про Чурилу съ Дюкомъ, ихъ состязаніе въ щегольствѣ происходитъ именно въ церкви. Ѳ. И. Буслаевъ находитъ это совершенно согласнымъ съ бытомъ древней Руси, которая видѣла въ церкви самое главное и удобнѣйшее мѣсто для публичныхъ сборищъ... Тутъ можно было узнать какую нибудь новость, передать сплетню, высмотрѣть жениха или невѣсту. Только въ церкви же можно было показать передъ всѣми свой великолѣпный нарядъ. Старинные документы нерѣдко возстаютъ противъ разныхъ неприличій, происходившихъ въ церквахъ.» Приведу тутъ же и любопытное свидѣтельство того же ученаго о главномъ предметѣ щегольства Чурилы и Дюка. «Видно изъ рядныхъ записей и другихъ описей, что, посему, особенное вниманіе обращали на низанье и саженье, т. е. на ожерелья и ювелирныя вещи, и между ними почти всегда на пуговицы. (Р. Вѣстн. 1862 г. Октябрь стр 599).

[281]) Не трудно вспомнить, что въ былинѣ изъ записки «Fürst Wladimir,» такой увозъ царевны (Миловиды) и притомъ совершаемый также при помощи коня вѣрнаго, приписывается Чурилѣ (см. выше стр. 585), въ шкалинской же побывальщинѣ напротивъ того царевна вооружена противъ Чурилы. Уже такая смѣна ролей указываетъ на утрату устойчивости въ той струѣ преданія, которая досталась и нѣмецкому переводчику, и г. Шкалину, успѣвъ, по всей вѣроятности, предварительно пройти черезъ полуграматную переработку въ народныхъ тетрадяхъ.

[282]) Петрозаводскаго Уѣзда, Святозерской Волости, дер. Пряжовъ (Р. I, № 50).

такъ и у тебя на вѣкъ слуга». Вотъ и хотятъ послать въ Клинъ трехъ приказныхъ общѣнщиковъ, а Дюкъ говоритъ: «посылайте тридцать.» — И что же? кругъ одного сѣдла, на которомъ, по словамъ матушки Дюка, ѣздитъ ея сынокъ по праздникамъ, просидѣли они *три года*—не могутъ цѣны наладить! До такого нелѣпѣйшаго безобразія дошло тутъ преувеличеніе [283])! Мать между тѣмъ посылаетъ къ Юнкѣ съ платьемъ на три года—старика, служившаго его отцу, и тотъ совѣтуетъ молодому боярину *сверху* накрутить платье похуже. Когда Юнка пошелъ въ немъ по улицѣ, люди кричатъ: «Чурило лучше», а скинулъ Юнка верхнюю одежду — платье такъ засіяло, что всѣ на колѣна пали; привезено же было это платье въ скорлупѣ яичной—(черта, замѣшавшаяся изъ сказокъ). Затѣмъ и Владиміръ князь, и Чурила (пощадить котораго упросили Юнку *бабы кіевскія*) поѣхали къ Клину — опять общѣнивать юнковыхъ животовъ. Владиміръ дивится юнкову дому, а Юнка взялъ его за руку и ведетъ въ палаты: инъ половицы въ полу стеклянныя, подъ ними вода течетъ, вовъ водѣ играютъ рыбки разноцвѣтныя. Упирается князь, боится ступать по половицамъ: однако жь ведутъ, такъ надо итти [284]). Послѣ столованья, спрашиваетъ Владиміръ: гдѣ же его *подъячіе*? (Этимъ *позднимъ* прозвищемъ замѣнено тутъ выше употребленное также позднее—*приказные*). Оказалось, что они высохли, какъ щепочки—съ тоски, что не могли общѣнить одного сѣдла дюкова.—Попался князь во услуженіе Юнкѣ, а Юнка говоритъ: «мнѣ твоей службы не надо, у меня своихъ животовъ много, а ты поѣзжай домой, да соблюдай, чтобы впредь у васъ чужого человѣка незнакомаго въ домѣ не обижали».

Такимъ образомъ эта мысль объ *обидѣ*, наносимой въ Кіевѣ, проглядывающая и во многихъ *былинахъ* о Дюкѣ (въ словахъ Ильи Муромца), даже съ особенною силою выдвинута впередъ въ этой побывальщинѣ, впадающей, какъ не трудно замѣтить, въ строй и ладъ народной *пародіи*, отъ которой всего болѣе достается (какъ и во многихъ былинахъ) самому стольному князю.

Если въ этой побывальщинѣ Дюкъ сдѣланъ велико-русскимъ бояриномъ, проучивающимъ своего государя, то въ одномъ расказѣ Лодейнопольскаго Уѣзда, онъ является *русеійскимъ богатыремъ*, побивающимъ того самаго Шарка великана, который, по другому лодейнопольскому расказу, одолѣлъ въ бою Гусинку (Чурилу). Оба эти расказа о боѣ съ нимъ русскихъ богатырей записаны тѣмъ г. Шкалинымъ, отъ котораго доставлена г. Рыбникову и выше разобранная побывальщина о столкновеніи Дюка съ Гусинкой. Странно, что всѣ эти шкалинскіе расказы отличаются однимъ и тѣмъ же

[283]) Оно, впрочемъ, только немногимъ превосходитъ то трехгодовое общѣниванье сбруи лошадиной, которое уже попалось намъ выше у Рыбникова (см. стр. 594)

[284]) Замѣчу, что это гораздо скорѣе, чѣмъ «полъ-середа одного серебра (въ описаніи палатъ чурилиныхъ) напоминаетъ ту черту восточныхъ сказаній, которая указывается у г. Стасова въ іюньской книжкѣ В. Евр. 1868 г., на стр. 643—644. «Уже въ Магабгаратѣ мы читаемъ, что царь Судіодхана, рассматривая дворецъ братьевъ Пандуидовъ, пришелъ въ одну залу, гдѣ полъ былъ хрустальный. Не подозрѣвая этого, онъ сказалъ про себя:» да это вода! «приподнялъ полы платья и обошелъ такимъ образомъ всю залу кругомъ, но упалъ, по нечаянности, и тутъ только узналъ свою ошибку, а между тѣмъ хозяева хохотали надъ нимъ. Въ «Дзанглунѣ» это событіе повторено съ самыми незначительными измѣненіями». Я не отрицаю, что такая фантастическая черта, ни мало не соотвѣтствующая нашимъ рускимъ бытовымъ явленіямъ, могла къ намъ зайти изъ восточныхъ сказаній.

полу-книжнымъ, искусственнымъ складомъ, рѣшительно заставляющимъ предполагать, что тутъ не обошлось безъ народныхъ *тетрадокъ*.

Отъ Шарка великана съ *желѣзными* ногами разбѣгается въ дикіе лѣса людъ христіанскій *руссійскій*; но, желая свою «славушку добрую сохранити», противъ него снаряжается руссійскій богатырь Дюкъ Степановичъ. Сподоблае ёнъ наряды самолучшіе, одѣвае ёнъ широку пладу со сіяніемъ, сѣдлае коня—что ночь чернаго... выѣзжае на поле *на зеленое*... [285]). При первомъ выѣздѣ и при второмъ выѣздѣ сжалось его ретивое сердце: «завтра на зорѣ биться начнемъ, а сегодня лучше поприготовимся.» Но при третьемъ выѣздѣ, въ силу молитвъ Христу, Богородицѣ и Николѣ, ретиво сердце его загорѣлося, а его добрый конь попятился.. Вынимае ёнъ булатный мечъ въ сорокъ пудовъ, вымахивае ёнъ коню доброму голову, самъ пѣшо иде къ *великану гордому*.... Разъ ударились—искорье валитъ, на другой разъ—алцю стонъ пошелъ; оба тяжелы мечи въ черепья разсыпывались.... Тутъ рукамъ они сплетаются, колѣномъ другъ въ друга упираются, силушки ихъ надрываются. Вспомяни тутъ Дюкъ про свой запасный мечъ тяжелѣй перваго, вынимае ёнъ тотъ булатный мечъ, съ лету голову злочастную вымахивае, Шарка великана ёнъ до дому дотаскивае, посмѣянье великое дѣлае, славушку себѣ добрый молодецъ сохраняе.» (Р. I, стр. 312—315).

Уже изъ этой сокращенной моей передачи можно видѣть, какъ мало все это напоминаетъ наши обычные былевые пріемы, до какой степени расказъ этотъ отличается какою-то полукнижною сочиненностью (онъ долженъ быть дѣломъ какого нибудь народнаго граматника). Изъ него выдается собственно только одна чисто-эпическая черта: испугъ Дюка Степановича при первыхъ двухъ встрѣчахъ съ Шаркомъ [286]).

Не трудно замѣтить, что всѣ эти побывальщины и расказы про Дюка, такъ сказать, *разбрелись врозь*: съ утратою стиха, утратилась тутъ и устойчивость былевой основы. Зато эта послѣдняя, какъ могли мы также замѣтить, въ былинахъ олонецкаго края сохранилась съ несравненно большею полнотой, чѣмъ въ былинѣ, записанной еще въ XVIII в. Киршей Даниловымъ. Что существенныя подробности, которыми пересказы олонецкіе дополняютъ былину Кирши Данилова, дѣйствительно уцѣлѣли отъ старины, а не причинены уже въ позднѣйшее время, это видно прежде всего изъ удивительной цѣлостности и стройности пересказовъ олонецкихъ и изъ полнаго ихъ соотвѣтствія съ общею совокупностью нашего эпоса. Между тѣмъ, вѣдь чѣмъ ближе къ намъ, тѣмъ болѣе творчество народное приходитъ въ упадокъ, а потому та цвѣтущая сила его, какая сказывается въ олонецкихъ былинахъ про Дюка, можетъ быть только остаткомъ старины отдаленной, вѣрнѣе сохраненной памятью въ олонецкомъ краѣ, чѣмъ въ другихъ краяхъ. Впрочемъ, въ пересказѣ Кирши Данилова есть даже намеки, прямо говорящіе о томъ, что и тутъ должны были въ свое время существовать черты, теперь имѣющіяся только въ пересказахъ олонецкихъ. Такъ, на примѣръ, про

[285]) Вмѣсто обычнаго былевого чисто поле.

[286]) О распространенности такого испуга въ эпосѣ разныхъ народовъ см. выше стр. 23 и 244. Сюда же можно отнести въ сб. Сербск. пѣс. Петрановича № 24.

коня Дюкова сказано у Кирши, что онъ скачетъ съ берега на берегъ—которая рѣка цѣлая верста пятисотная; между тѣмъ на дѣлѣ это качество коня не проявляется у Кирши, а въ пересказахъ олонецкихъ оно проявляется въ его состязаньи съ Чурилой. Далѣе—самолюбіе Чурилы, очевидно, задѣто и у Кирши: Чурила *осматриваетъ* чужого щеголя, вслѣдъ за тѣмъ ѣдетъ вмѣстѣ съ Владиміромъ оцѣнивать его животы—но и все тутъ.,.. Потомъ пѣсня позабываетъ Чурилу — его разыгравшееся самолюбіе не выражается ничѣмъ яркимъ: не ясно ли, что тутъ только пропускъ—пропускъ того, что уцѣлѣло въ олонецкомъ краѣ?

Но какое же значенье имѣетъ это, въ нихъ уцѣлѣвшее состязанье Чурилы съ Дюкомъ—въ общемъ составѣ нашего эпоса? Съ поступленьемъ Чурилы на службу къ Владиміру нарушается *земскій строй* въ его гридницѣ гостепріимной. Если и во всѣхъ былинахъ сидящими за столомъ у него представляются, между прочимъ, *князья-бояре*, не отмѣченные отпечаткомъ земскимъ, то они вѣдь зато остаются по большей части чѣмъ-то въ родѣ *слугъ безъ рѣчей*. Настоящія *дѣйствующія лица* въ столовой Владиміра—это *богатыри святорусскіе*, т. е., по смыслу слова, *богачи*, но богачи особаго рода—по избытку силъ, посвящаемыхъ ими на *оборону* родной земли. Напротивъ того Чурила является богачомъ въ смыслѣ имущественномъ, богачомъ еще не бывалымъ, и уже одно это—соединенье въ *однѣхъ рукахъ* такой *крупной собственности*—составляетъ явленіе противуземское, нарушающее *равновѣсіе* земскихъ силъ. Къ тому же этотъ страшный богачъ Чурила, при *наймѣ* рабоищной дружины, получаетъ и страшную *власть*: онъ насилуетъ и уродуетъ, онъ готовъ отнять у народа послѣднее. И вотъ такого-то богача обидчика, сначала и самъ имъ обиженный Владиміръ князь, ублаготворенный его подаркомъ, зоветъ къ себѣ въ Кіевъ-градъ—*для придворной* должности. Если по *одному* пересказу Чурила ублаготворяетъ и огородниковъ, если по нѣсколькимъ пересказамъ горою становится за него и Кіевъ-градъ и Черниговъ-градъ, то въ нѣкоторыхъ противъ него зато выступаютъ *голи*. Если же вникнуть въ общій смыслъ всѣхъ былинъ о Чурилѣ, то и ручательство Кіева и Чернигова можно будетъ принять только въ смыслѣ ручательства князей-бояръ кіевскихъ и черниговскихъ, *дворской*, а не *земской* части ихъ населенія. Дѣло въ томъ, что само былевое народное творчество вовсе не за Чурилу. Какъ бы ни было велико то эпическое спокойствіе, съ какимъ оно превозноситъ его нарядъ и его красоту ненаглядную, оно съ особеннымъ удовольствіемъ отдаетъ передъ нимъ преимущество Дюку Степановичу. Вмѣстѣ съ *голями*, оно рѣшительно становится за послѣдняго. Затѣявшій-было превозноситься надъ остальнымъ людомъ Чурила, этотъ щеголь, задумавшій придать Кіеву блескъ, ему вовсе не сродный, основать его славу на томъ, что противно его бытовымъ началамъ — долженъ низко склонить свою красивую голову передъ невиданной роскошью и ловкостью выходца изъ *богатой Индіи*. Этимъ чужимъ, книжнымъ именемъ проименовало народное творчество родную Русь Галицкую — за заведшіеся въ ней вельможескіе порядки, и вотъ ея-то вполнѣ отчужденнаго отъ насъ представителя—Дюка заставляетъ оно задать Чурилѣ такой урокъ: «что ты затѣялъ щепить-басить на землѣ рус-

ской—посреди ея немощенныхъ улицъ и въ ея неказистыхъ храмахъ? Во всемъ этомъ я, съ моимъ сиротскимъ посельицемъ, превзойду и тебя, и вашъ стольный Кіевъ; а вотъ передъ чѣмъ нельзя не склонить головы всему міру— такъ это предъ русскимъ могучимъ богатыремъ, *единымъ* какъ солнышко на небѣ, Ильей Муромцемъ, крестьянскимъ сыномъ!»—Словомъ, господствующая въ былевомъ нашемъ эпосѣ мысль о *первенствѣ* Ильи только съ новою силой проводится далѣе въ былинахъ про Дюка съ Чурилой.

Нельзя, однакоже, не остановиться съ другой стороны и на томъ, что Кіевъ-градъ, по молвѣ, дошедшей до Дюка, «на красы стоитъ.» Въ этой молвѣ и въ горькомъ *разочарованіи* молодого боярина, слѣдуетъ, кажется мнѣ, усматривать два совершенно различныхъ слоя. Молвою о красотѣ и богатствѣ Кіева указывается на былевую память о томъ древнемъ расцвѣтѣ его величія, который былъ прерванъ татарскимъ нашествіемъ. Напротивъ выставленіе Кіева въ нашихъ былинахъ какимъ-то немощёнымъ *селомъ* — должно отражать на себѣ тѣ свойства нашей позднѣйшей столицы, Москвы, которыми такъ поражала она заѣзжавшихъ къ намъ иностранцевъ. Да и до сихъ поръ еще сохранилось прозваніе нашей бѣлокаменной—*большою деревнею*.

Нельзя также не обратить вниманія и на то, что за Чурилу ручаются *двумя городами*. Хотя бы и разумѣть подъ ними, какъ я и дѣлаю, собственно *болѣе достаточный слой* этихъ городовъ,—все же тутъ остается ручательство—*не родни*, *а общества*. Это не лишнее будетъ сопоставить съ примѣрами поручительства въ эпосѣ франкскомъ. Тамъ, въ случаѣ *поединковъ судебныхъ*, обыкновенно ручаются цѣлой родней: такъ оно происходитъ и при поединкѣ защитника Ганелона—Пинабеля съ Тьерри въ chanson de Roland. Подобнаго рода поручительство объясняется тѣмъ *родовымъ бытомъ*, съ котораго начинали всѣ народы и многочисленныя проявленья котораго въ области права какъ у Германцевъ, такъ и у Славянъ сведены въ любопытномъ разсужденіи г. Шпилевскаго «о союзѣ родственной защиты». [287]) Слѣды родового быта уцѣлѣли еще, какъ видѣли мы, и въ нѣкоторыхъ изъ нашихъ былинъ; но въ нашихъ эпическихъ примѣрахъ *поручительства*—какъ за Чурилу съ Дюкомъ, такъ и за Ивана Гостинаго (см. выше стр. 380) проявляется уже не первоначальное *родовое*, а то *общинное* начало, которое особеннаго развитія достигло именно у славянскихъ народовъ [288]).

При состязаньи Чурилы съ Дюкомъ, кромѣ поручительства, пущено въ ходъ и *прозакладыванье головы*, встрѣчающееся и еще кое-гдѣ въ былинахъ. Нерѣдко прозакладывается она и во франкскомъ эпосѣ—между прочимъ и всѣми тѣми родственниками Ганелона, которые ручаются за него при судебномъ поединкѣ его защитника Пинабеля съ Тьерри. Но вотъ въ этомъ-то и заключается разница нашего и франкскаго *прозакладыванья*: наши Чурила и Дюкъ подвергаютъ опасности собственную свою голову, Ганелонъ же головы цѣлыхъ тридцати родственниковъ. Мало того,—эти послѣдніе и на самомъ дѣлѣ платятся жизнію за своего преступнаго родственника: ихъ преспокойно вѣша-

[287]) Казань 1865 г. Недостатокъ этой добросовѣстной книги составляетъ то, что въ ней недовольно оттѣнены отличія славянскаго отъ германскаго.

[288]) См. въ моемъ Истор. Обозр. Р. Слов. стр. 134 и слѣд.



ютъ—по требованію рыцарей, которое извѣстнымъ намъ французскимъ ученымъ Готье откровенно признается *варварскимъ*. [289])—Напротивъ того у насъ, какъ видѣли мы, не даютъ погибнуть и самому провинившемуся Чурилѣ—въ иныхъ пересказахъ Владиміръ князь, въ иныхъ женщины кіевскія, въ иныхъ народъ, въ иныхъ наконецъ самъ, совершенно не сочувствующій Чурилѣ, Муромецъ. А Дюкъ сей часъ же и уступаетъ просьбамъ о пощадѣ Чурилы. Тамъ, гдѣ проситъ его Илья, это объясняется, разумѣется, закономъ взаимнаго послушанія между назваными братьями. Но мы видѣли, что Илья заранѣе высматривалъ, что-то будетъ, рѣшившись не давать въ обиду своего побратима,—а вмѣстѣ съ тѣмъ не далъ и ему самому погубить супротивника *смертью напрасною*. Самое это выраженіе (сербская *смерть наненада*), употребленное, собственно, въ другомъ былевомъ случаѣ, при защитѣ Ильею другого недруга своего, Алеши, уже и само по себѣ указываетъ на несомнѣнную *мягкость* и *человѣчность* въ извѣстномъ слоѣ нашихъ былинъ [290]).

Но мы должны, наконецъ, припомнить и то, что Илья, получающій въ былинахъ о Дюкѣ значеніе богатыря, готоваго защищать отъ обиды всякаго, что этотъ Илья признаетъ за жителями кіевскими способность наносить обиду. Онъ, очевидно, уже недоволенъ порядками кіевскими, и не этимъ ли объясняется то, что въ былинахъ про Чурилу и Дюка онъ постоянно является проживающимъ *внѣ Кіева*? Правда, нѣкоторые пересказы, становя его въ сообщество съ другими богатырями, вмѣстѣ съ тѣмъ приписываютъ имъ всѣмъ и обычное положеніе *стоятелей на заставѣ* — чѣмъ и можетъ быть объяснено отсутствіе ихъ изъ Кіева; но надо замѣтить, что въ этомъ мѣстѣ былины про Дюка не встрѣчается тѣхъ пріемовъ эпическихъ, какіе обычны въ былинахъ про стояніе на заставѣ. Многіе же пересказы, какъ видѣли мы, представляютъ Илью живущимъ въ сторонѣ отъ Кіева—со всѣмъ одиноко. Но замѣчательно, что онъ вполнѣ сохраняетъ увѣренность въ силѣ своего

---

[289]) Epopées françaises, II, p. 456—459. «Rigueur horrible», отзывается объ этомъ Готье, находящій, впрочемъ, возможнымъ успокоить свое патріотическое чувство тѣмъ, что «dans toute la procedure qui va être suivie contre Ganelon, vous chercheriez en vain quelque élément romain ou celtique: tout est emprunté au droit germain le plus pur, tout est germanique, ultragermanique» (Ср. со сказаннымъ у меня выше о германскомъ началѣ въ карловингскомъ эпосѣ—стр. 150) Но послѣ того отвращенія, съ какимъ говоритъ Готье о древне-германской грубости, любопытно обратить вниманіе на то умиленіе, въ какое та-же самая процедура надъ Ганелономъ приводитъ нашего отечественнаго изслѣдователя, г. Буслаева. Почтенный профессоръ, это правда, особенно налегаетъ на то, что Карлъ не имѣетъ права самъ осудить Ганелона, а представляетъ его поступокъ на судъ бароновъ. «Эти начатки гласнаго судопроизводства, господствующаго надъ авторитетомъ самого императора, изъ области эпическаго вымысла выводятъ изслѣдователя на историческую почву», говоритъ г. Буслаевъ, и въ этомъ, конечно, есть правда; но страненъ слѣдующій за тѣмъ обобщающій выводъ—въ видѣ удивленья тому,» какъ рано у западныхъ народовъ развилось чувство правды и уваженіе къ личности подсудимаго». (См. статью г. Буслаева» о Роландовой Пѣснѣ въ Отеч. Зап. ч. CLVI, отд. I, стр. 183). Почтенный профессоръ какъ бы забываетъ при этомъ, что на слѣдующей же страницѣ ему приходится говорить о томъ «безчеловѣчномъ рѣшеніи судей, по которому должны быть повѣшены тридцать безвинныхъ родственниковъ Ганелона». Хороша, въ самомъ дѣлѣ, правда и уваженіе къ личности!

[290]) Въ ненапечатанной былинѣ 75 лѣтняго старика Захарова смягченность въ лицѣ самого Дюка доведена до того, что, упрошенный всѣмъ Кіевомъ, онъ добродушно говоритъ Чурилѣ: «я тебѣ по бѣлу свѣту второй батюшко.»—Сходно съ Дюкомъ, и сербскій Марко Кралевичъ, вызванный въ бой Алилъ Агою и побѣдившій его, даритъ ему жизнь и становится его побратимомъ (Вука II, стр. 361; ср. тамъ-же стр. 365). Замѣчу наконецъ здѣсь же, что и самому вытаскиванью Дюкомъ Чурилы изъ рѣки за волосы соотвѣтствуетъ въ одной сербской пѣснѣ подхватыванье Релью подъ плечо и вытаскиванье такимъ образомъ изъ подкопа—но не врага, а товарищей. (Петран. 258).



вліянія на Кіевлянъ: «дай только мнѣ знать, и тебя не обидятъ». А въ одномъ пересказѣ, какъ видѣли мы, сами Кіевляне, чтобы не дать пролиться напрасной крови, достали Илью Муромца изъ чиста поля. Такимъ образомъ связи его съ народомъ кіевскимъ оказываются не порванными, но онъ даже не обмѣнивается ни единымъ словомъ съ кіевскимъ стольнымъ княземъ. Тотъ, уже прозаически передаваемый конецъ пересказа, въ которомъ Илья вмѣстѣ съ Дюкомъ ѣдетъ къ Владиміру, также не вяжется съ цѣлымъ, какъ и тотъ пересказъ былины про Чурилу, въ которомъ Муромецъ въ качествѣ подручника княжескаго ѣдетъ вмѣстѣ съ княземъ къ Чурилѣ. Въ этомъ отношеніи оба пересказа, очевидно, испорчены. Уже самый пріемъ Владиміромъ на службу къ себѣ Чурилы обидчика долженъ былъ дать пробѣжать между Ильей и княземъ *черной кошкѣ*, а вмѣстѣ съ тѣмъ утвердить Илью въ его мнѣніи, что въ Кіевѣ живутъ все обидчики.—Если Владиміру и вообще порою приписываются въ былинахъ черты, такъ сказать, разногласящія съ Ильей, то онѣ вмѣстѣ съ тѣмъ разногласятъ и съ другими чертами самого Владиміра, принадлежащими иному былевому слою. Въ былинахъ же про Чурилу Владиміромъ сдѣланъ новый рѣшительный шагъ—по дорогѣ, не сочувственной Муромцу.

# IX.

## Проявленія самодурства въ князѣ Владимірѣ. Его отношенія къ Сухану, Данилѣ Ловчанину Ставру Годиновичу. Ссора Ильи Муромца съ княземъ Владиміромъ.

Господствующее эпическое прозвище князя Владиміра, какъ мы уже знаемъ, — *ласковый князь*, подобно тому, какъ въ испанскомъ и французскомъ эпосѣ постоянное прозвище короля—*добрый* король (buen rey, bon roy [1]), изъ чего, однакоже, вовсе не слѣдуетъ, чтобы онъ дѣйствительно являлся тутъ постоянно добрымъ. Что касается нашего Владиміра князя, то, по большей части, онъ на самомъ дѣлѣ оказывается въ былинахъ привѣтливымъ, радушно принимающимъ богатырей, даже подающимъ имъ вино изъ собственныхъ рукъ, благодушно слушающимъ ихъ даже очень рѣзкія, смѣлыя выходки. Не вездѣ, однакоже, такъ, не во всѣхъ былинахъ. Есть и такія, гдѣ солнышко кіевское омрачается припадками гнѣва, и гнѣва самаго причудливаго, самаго самодурнаго. Въ подобныхъ былинахъ и отношенія къ князю богатырей оказываются уже иными. Нѣкоторый изъ нашихъ изслѣдователей рѣшался заключать вообще, что богатыри относятся къ князю *подобострастно* Обобщать такимъ образомъ—ошибка довольно грубая; иной разъ, однакоже богатыри въ самомъ дѣлѣ *становятся* подобострастными — нравъ ихъ оказывается измѣнившимся, соотвѣтственно перемѣнѣ въ самомъ Владимірѣ. Кто сохраняетъ себя непричастнымъ такой перемѣнѣ, устоявшимъ и при новомъ порядкѣ вещей — тотъ за это расплачивается, и дорого! Въ былины проникаетъ такимъ образомъ даже начало *трагическое*.

Оно сказывается, напримѣръ, въ одной, совершенно напрасно, какъ кажется мнѣ, отнесенной въ первомъ томѣ *рыбниковскаго сборника* къ разряду былинъ про *богатырей старшихъ*. Трудно понять, на какомъ основаніи полагаетъ г. Безсоновъ, что главное лицо этой былины—*Суханъ* «носитъ на себѣ явные слѣды происхожденія миѳическаго, доисторическаго».

Если онъ дѣйствительно оказывается *чужимъ* тому кругу, въ какой онъ

1) Это замѣчено еще Ѳ. И. Буслаевымъ въ его статьѣ о Сидѣ, стр. 61.

поставленъ, то вѣдь въ такомъ же точно смыслѣ чужимъ пришлось наконецъ оказаться и муромскому богатырю. И послѣдній, конечно, *старъ*—но не въ смыслѣ *старшихъ богатырей*. Онъ только представитель стараго въ *бытовомъ отношеніи* порядка вещей,—того, отъ котораго уклонившимся оказался уже только по прозвищу *ласковый* князь. Вызвался сослужить ему службу Сухмантій, да не повезло ему: ни у первой, ни у второй, ни у третьей заводи не нашелъ онъ бѣлой лебеди. Вотъ и пораздумался молодецъ: «какъ поѣхать мнѣ къ *ласкову* князю, поѣхать мнѣ — *живу не бывать*». Въ словахъ этихъ уже совершенно сказался тотъ измѣнившійся порядокъ вещей, съ которымъ нелегко было ужиться богатырямъ, при ихъ старой, свободной закваскѣ. Боясь казни княжеской, Сухмантій ищетъ спасенья въ какомъ либо иномъ подвигѣ, и ему, какъ будто бы совершенно нечаянно, представляется самый великій, святой — не тому чета подвигъ! Пріѣзжаетъ онъ къ Нѣпрѣ рѣкѣ:

Что же ты, матушка Нѣпра рѣка,
Что же ты текешь не по старому,
Не по старому текешь, не по прежнему,
А вода съ пескомъ помутилася?

Тутъ сохранился намъ поэтическій пріемъ чрезвычайно древній: такъ и приходитъ на память драгоцѣнная чешская пѣсня VIII—IX вѣка:

Ай Вльтаво, че моутиши водоу,
Че моутиши воду стребропѣноу?
За те люта развлаяше буря...
Выплакавши златопѣскоу глиноу?
—Како быхъ яз воды не моутила,
Кегды се вадита родна братры [2])....

Такъ отвѣчаетъ Вльтава рѣка, жалуясь на помутившую ее вражду двухъ братьевъ. На иное ссылается наша Нѣпра, и ея *помущенье* въ поэтическомъ смыслѣ понятнѣе:

Какъ же мнѣ течи было по старому,
Какъ за мной, за матушкой Нѣпрой рѣкой,
Стоитъ сила татарская невѣрная...
Мостятъ они мосты калиновы;
Днемъ мостятъ, а ночью я повырою:
Изъ силъ матушка Нѣпра рѣка повыбилась...

Раздумался тутъ Сухмантій:

Не честь-хвала мнѣ молодецкая
Не отвѣдать силы татарскія.

Громко сказался въ немъ богатырь, живущій на изберечь землѣ русской, а не на послуги-посылушки княжескія! Употребляя одинъ изъ извѣстныхъ, допотопныхъ, по происхожденію, пріемовъ — выдернувъ дубъ со кореньями, онъ прокладаетъ такою дубиночной улицы, промежуточки и переулочки сквозь татарскую силу, да подстрѣлили его изъ-за кустовъ три татарина: вырвалъ онъ стрѣлы каленыя изъ боковъ бѣлыихъ и сорвалъ себѣ въ раны листочки

---

[2]) Привожу это мѣсто изъ Суда Любуши по старорусскому написанію И. И. Срезневскаго: Пам. и Обр. нар. яз. и слов. I, стр. 11 но съ замѣною нѣкоторыхъ знаковъ, не имѣющихся въ типографіи.

маковы. Скачетъ въ такомъ положеніи богатырь къ граду Кіеву, привязываетъ коня на дворѣ княженецкомъ и бѣжитъ во гридню Владимірову. Ходитъ по гриднѣ столовой князь, кудерками потряхиваетъ и нетерпѣливо сейчасъ же спрашиваетъ: гдѣ лебедь бѣлая?—«Не до лебедушки было мнѣ», говоритъ Сухмантій, и сказываетъ солнышку князю о побіеніи силы татарской. И что же? Солнышко, ждавшій лебеди на столъ княженецкій, истымъ бариномъ-самодуромъ зоветъ своихъ *вѣрныхъ слугъ*: «взять Сухмантья за бѣлы руки, посадить молодца въ глубокъ погребъ».

Слуги безпрекословно слушаются. Не соотвѣтствуютъ ли они, эти вѣрные слуги, такимъ образомъ расправляясь съ *богатырями земскими*, нашей исторической служилой *опричнинѣ?* А все это *положенье* въ былинѣ — не отзывается ли оно тою страшной порой, когда великій спаситель Руси отъ Крымскихъ Татаръ, Воротынскій, былъ изжаренъ на угляхъ Иваномъ Грознымъ? — Тотъ историческій богатырь спасъ родную землю, а опричнинчествующій государь заподозрѣлъ богатыря—въ личной себѣ измѣнѣ. Въ былинѣ, однакожe, государь становится наконецъ и мягче, и разсудительнѣе. Спохватился, надумался солнышко князь, и посылаетъ Добрыню Никитича *провѣдать заработки сухмантьевы*. Добрыня возвращается съ вѣстью, что онъ видѣлъ своими глазами татарскую силу побитою, и приносить *латкову князю* (sic) дубиночку сухмантьеву, на лозиночки дубиночка облочкана [3]), а потянула дубина девяносто пудъ. Пристыженный князь стольно-кіевскій снова зоветъ своихъ *вѣрныхъ слугъ:*

Скоро идите въ глубокъ погребъ,
Взымайте Сухмантья Одахмантьевича,
Приведите ко мнѣ на ясны очи:
Буду его молодца жаловать-миловать...
Городами его съ пригородками,—
Али селами съ приселками...

Тутъ этотъ способъ награды (встрѣчающійся и въ другихъ былинахъ) становится очень умѣстнымъ по своему соотвѣтствію съ *началомъ помѣстной раздачи*, водворившейся въ пору московско-царскую. *Вѣрные слуги*, съ тѣмъ же холопскимъ безпрекословіемъ, обратно приводятъ богатыря на ясныя государевы очи, только богатырь уже не намѣренъ ни глядѣть на нихъ, ни высматривать что-либо изъ раскрывшихся для подачки рукъ государевыхъ:

«Не умѣлъ меня солнышко миловать. .
А теперь не видать меня въ ясны очи!»...
Выдергивалъ листочики маковые
Со тыихъ ранъ со кровавыихъ..
„Потеки Сухманъ рѣка
Отъ тоя отъ крови отъ горючія,
Отъ горючія крови отъ напрасныя!"
(Рыбн. I, стр. 32)

Къ разряду былинъ трагическихъ, разыгрывающихся на той же почвѣ, относится и былина про Данилу Ловчанина. Она на половину семейнаго свойства,—но въ область семьи святотатственно вторгается тутъ государь—опять при помощи своихъ *вѣрныхъ холоповъ*, этого позднѣйшаго дворскаго люда,

---

3 Расщеплена, оббита,—поясняютъ издатели.

заведшагося промежду богатырей. Самого Данилу его прозвище *ловчій* становитъ въ разрядъ людей дворскихъ, служилыхъ. Впрочемъ, званіе этого рода вяжется тѣсно съ *охотой*, составлявшей издавнее любимое препровожденіе времени нашихъ князей, а отъ нихъ уже, какъ бы по наслѣдству, перешедшей и къ царямъ [4]). Обстановка, среди которой поставленъ Данило Ловчанинъ, только по внѣшности—старая кіевская, на самомъ же дѣлѣ иная, позднѣйшая. Положимъ, что въ одномъ изъ двухъ пересказовъ былины (Нижегородской Губерніи, села Павлова [5]) ) Владиміръ даже названъ *Сеславичемъ* (Святославичемъ); въ томъ же пересказѣ зато, совершенно въ духѣ временъ московскихъ, хвалятся на пиру у него *бояре*, хвалятся *помѣстьями, вотчинами* (хотя тутъ-же сидятъ и купцы съ богатырями). Чтò касается этого зачина *похвальбой на пиру*, то онъ совершенно напоминаетъ былину про Сухана,—долгому молчанью котораго соотвѣтствуетъ тутъ молчанье Данилы Денисьевича. Такое молчанье въ обѣихъ былинахъ не нравится князю; онъ какъ будто бы склоненъ подозрѣвать, что тутъ кроэтся что-то недоброе [6]). Сухматій, чтобы по успокоить князя, принужденъ наконецъ похвастаться; Данило же въ свое извиненіе говоритъ, что было бы чѣмъ ему похвалиться—есть и казна, и жена молодая, и платье цвѣтное,—«нешта такъ онъ это призадумался». Вскорѣ, однакоже, оказывается, что была у него на то причина. Владиміръ обращается къ князьямъ и боярамъ: «всѣ вы у меня поженены, только я одинъ холостъ хожу—ищите мнѣ невѣстушку хорошую»;—словомъ, тутъ то-же, чтò въ былинахъ про Дуная Ивановича. Съ внѣшней стороны, такимъ образомъ, былина становитъ насъ въ раннюю пору, не знаетъ еще про княгинюшку Апраксѣевну, но съ внутренней стороны тутъ рѣшительно поздній Владиміръ—не прежнее ясное солнышко былевое, а солнце затмившееся. Быть можетъ, однакожь, и то, что въ другихъ, недошедшихъ до насъ изводахъ былины, Владиміръ затѣвалъ женитьбу отъ *живой жены*; это бы соотвѣтствовало и *историческому* Владиміру (до крещенія) [7]), и тому лицу изъ позднѣйшей поры, съ которымъ онъ совпадалъ и въ сказаніи о Суханѣ—многоженцу Ивану Грозному. Какъ бы то ни было, но жену ему совѣтуютъ взять отъ *живого мужа*. Подобный услужливый совѣтъ подаетъ ему—*изъ за лѣвой сторонушки*, какой-то Мишатычка Путятинъ сынъ. Нельзя не напомнить, что въ одномъ изъ пересказовъ былины про Дуная Ивановича, совѣтъ, какъ найти невѣсту, подаетъ знаменитое въ темномъ смыслѣ историческое лицо—*Малюта Воскурлатовъ* сынъ [8]). Тамъ онъ совсѣмъ не у мѣста, такъ какъ тотъ, подаваемый имъ совѣтъ не заключаетъ въ себѣ ничего подлаго; здѣсь же Мишатка даетъ совѣтъ, рѣшительно достойный Малюты. Долго выхваливаетъ онъ предлагаемую имъ невѣсту и не стыдится назвать ее тутъ же, при *задумавшемся*, какъ видѣли мы, Данилѣ:

---

4) Это совершенно вѣрно замѣчено г. Безсоновымъ въ его замѣткѣ к. III в. пѣсень Кирѣевскаго, стр. II и III.

5) Кир. III, стр. 32—38.

6) Это напоминаетъ у Шекспира подозрѣніе, возбуждаемое въ Ю. Цезарѣ молчаливостью и задумчивостью Кассія. Такъ иногда въ тонкости психологической наблюдательности съ величайшими поэтами сходится простодушный народный эпосъ.

7) Память объ этомъ свойствѣ Владиміра сохранилась въ эпосѣ—см. выше стр. 493

8) Кир. III, 62—63.



Не видывалъ я эдакой пригожицы;—
У того ли у Данилы у Денисьича,
Ишшо та ли Василиса Никулишна...
Ишшо было бы кого назвать намъ матушкой,
Величать намъ государыней!
(Кир. III, стр. 33, ст. 51—58).

Наглость уже черезъ чуръ велика и на первыхъ порахъ дурно принята:

Это слово больно князю не показалося...
«Ишшо гдѣ это видано, гдѣ слыхано,
Отъ живова мужа жену отнять!»
Приказалъ Мишатычку *казнить вѣшати.*

Но Мишатычка зналъ, что́ дѣлалъ; онъ, по словамъ пѣвца, *примѣтливъ* [9]) былъ,—на иную на сторонку перекинулся.

„Мы Данилушку пошлемъ во чисто поле..
Во тѣ луга леванидовы,
Мы ко ключику пошлемъ ко гремячему,
Велимъ поимать птичку бѣлогорлицу,
Принести ее къ обѣду княженецкому,
Што ишшо убить ему льва лютова!...

Словомъ, онъ предлагаетъ средство, чрезвычайно распространенное въ эпосѣ — начиная отъ сказанія про Давида съ женою Уріи. И средство это успокоило князя: это слово князю больно показалося, Володиміру словечко полюбилося.

Съ поспѣшностію князь садится за столъ, пишетъ самъ ярлыки скорописные и посылаетъ ихъ съ тѣмъ же Мишаткой въ Черниговъ градъ ко двору данилину.

Уже по самымъ пріемамъ посланнаго, по тому, что на дворъ въѣзжаетъ онъ безопасышно, во палатушку входитъ безобсылошно, можно было догадаться, что дѣло недоброе. На упрекъ въ *невѣжествѣ* со сторонны Василисы, которую онъ застаетъ одну, Мишатка ссылается на то, что не своей волей къ нимъ въ гости зашелъ, а прислалъ его князь съ ярлыками къ ея мужу. Стала она ярлыки пересматривать, и сейчасъ же все поняла. Залившись слезами и надѣвъ на себя платье молодецкое, поскакала она на конѣ отыскивать друга милаго. «Што останное намъ съ тобою свиданьице», говоритъ, отыскавъ его, Василиса, поѣдемъ-ко съ тобою къ широку двору.»— Ему-же хочется погулять еще *въ остатки* по чисту полю, погулять да поохотиться. Погулявши и пріѣхавъ домой, онъ велитъ подать себѣ *малый* колчанъ каленыхъ стрѣлъ, а Василиса выноситъ большой. Данила не цѣнитъ этой нѣжной предусмотрительности; грубо, какъ раздражительный господинъ слугѣ, замѣчаетъ онъ Василисѣ: «Чево ради ты, невѣжа, ослушаешься? аль не чаешь надъ собою бо́льшово?»

Эта непривлекательная черта, отзывающаяся избыткомъ такъ называемой *патріархальности*, сейчасъ же и выкупается высокой незлобивостью любящаго женскаго сердца. Василисушка на это не прогнѣвалась:

---

[9]) Переметливъ, поправляютъ издатели.

«Ты надеженька, мой сердечный другъ,
Лишняя стрѣлочка тебѣ пригодится;
Пойдетъ она ни по князѣ, ни по барынѣ,
А по своемъ братѣ богатырѣ.

Она, такимъ образомъ, все предвидитъ: въ ея голубиной нѣжности сказывается и мудрость змѣи. Мишатка, должно быть, не до конца досказалъ свой планъ: оказывается, что сверхъ опаснаго порученія, Данилѣ грозитъ еще встрѣча—не со звѣремъ, а съ человѣкомъ. Пріѣхавъ къ ключу гремячему, глядитъ онъ въ подзорную трубоньку:

Не бѣлы снѣги забѣлѣлися,
Не черныя грязи зачернѣлися:
Забѣлѣлася, зачернѣлася сила русская
На тово ли на Данилу на Денисьича.

Она, чье обычное дѣло—служить обороной землѣ отъ враговъ, братоубійственно дѣлается орудіемъ—какого нибудь Мишатки-Малюты! По неволѣ, плача слезами горькими, Данила богатырски прирубилъ эту силу саблею, и возговорилъ таково слово:

Знать гораздо я князю сталъ ненадобенъ,
Знать Володиміру не слуга я былъ!

Но не то еще приходится ему испытать:

Не два сыры дуба шатаются,
На того ли на Данилу на Денисьевича,—
Ево родный братъ Никита Денисьевичъ,
И званой братъ Добрыня Никитовичъ.—

Такимъ образомъ нравственно опозореннымъ, развратившимся является тутъ и этотъ сочувственный богатырь, и оно тѣмъ менѣе въ порядкѣ вещей, что, по прекрасному выраженію многихъ былинъ, *названый братъ паче роднаго*. Понятно, что Данила заплакалъ еще разъ горючьми слезьми; но и въ немъ самомъ сказывается тутъ скорѣе служилый княжескій чаловѣкъ, а не свободный членъ земщины, когда онъ прежде всего на то сѣтуетъ, что, знать, Владиміръ князь на удалово осердился! Доказательствомъ крайняго гнѣва считаетъ онъ то, что палачами ему назначены братья — родной и названой:

«Ишшо гдѣ это слыхано, гдѣ видано,
Братъ на брата съ боемъ идетъ!»

Если, какъ мы видѣли выше, отъ одной распри между братьями могла помутиться Вльтава рѣка,—то что-же отъ подобнаго преступленія? Въ одной пѣснѣ изъ Галицкой Руси отъ того только, что братъ пересталъ говорить съ сестрой—и хлѣбъ пересталъ вдругъ родиться въ полѣ [10]). Что же станется отъ святотатственнаго похода — даже на названаго брата? — Былина умалчиваетъ о дѣйствіи его на природу, но вотъ что сталось съ гонимымъ братомъ:

Беретъ Данила сво востро копье,
Тупымъ концомъ втыкатъ въ сыру землю,
А на вострый конецъ самъ упалъ.
Споролъ себѣ Данила груди бѣлыя...

---

[10]) Головацкаго Пѣсни Галицкой Руси, I, 232.



Погибъ онъ, подобно Сухману, самоубійственной жертвою измѣнившагося порядка вещей, спасши подобнымъ самоубійствомъ или себя самого, или братьевъ — отъ братоубійства. Тутъ братья объ немъ заплакали горючьми слезьми, но, воротившись, сдержанно, глухо сообщили Владиміру: «не стало Данилы, што тово ли удалово Денисьевича»! — А у солнышка на умѣ тутъ же и принимать вѣнцы съ Василисой. Поѣхали къ Чернигову, пріѣхали ко двору данилину, восходятъ во теремъ василисинъ, — цѣловалъ ее Володиміръ князь.

Не цѣлуй меня въ уста во кровавы
Безъ мово друга Данилы Денисьича!...
— Охъ, ты гой еси Василиса Никулишна,
Наряжайся ты въ платье свѣтное,
Въ платье свѣтное подвѣнечное!
Наряжалась она въ платье свѣтное ...

Вотъ поѣхали *молодые* къ Кіеву. Поверставшись супротивъ луговъ леванидовыхъ, тамъ, гдѣ погибъ Данила, попросилась Василиса у жениха: «пусти меня проститься съ милымъ дружкомъ».

Посылалъ онъ съ ней двухъ богатырей,
Подходила Василиса ко милу дружку,
Поклонилась она Данилѣ Денисьичу..,
«Охъ вы гой естя мое вы два богатыря!
Вы подите скажите князю Володиміру,
Штобы не далъ намъ валяться по чисту полю..,
Беретъ Василиса свой булатной ножъ,
Спорола себѣ Василисушка груди бѣлыя...

Такова-то эта *грозная*, по былевому выраженію, Василиса, грозная въ особомъ, прекрасномъ смыслѣ, не въ томъ, какъ соотвѣтственный Владиміру *этимъ* былинъ — царь Иванъ Васильевичъ. Къ былинѣ про Василису подходитъ, по духу, сказаніе о княгинѣ Евпраксіи, выкинувшейся изъ терема при взятіи Рязани Татарами, — сказанье, вошедшее въ наши лѣтописи Въ свою очередь и сербо-болгарскій, теперь распѣваемый эпосъ, представляетъ соотвѣтственные примѣры: такъ, въ одной сербской былинѣ, невѣста, насильно захваченная убійцей ея жениха, такимъ образомъ обращается къ его трупу:

«Ој! Авраме, несуђени друже,
Старо ли си се на ме разсрдио?
„Уж' уста, што ме не љубите?
„Мили руке, што ме не грлите?
Црне очи, што ме не гледате?»
Па потрже ноже од појаса,
Удара се млада у срдашце:
«Кад није Аврама сваје,
Нека није ни мене ђевојке!»
То изусти, па душицу пусти». [11])

Въ соотвѣтственной былинѣ болгарской сходство съ русской былиной едва ли еще не разительнѣе. Совершенно какъ Василиса (въ пересказѣ изъ Павлова) невѣста тутъ просится у насильника жениха на трупъ къ своему милому.

« Пай ми волю, Марнамъ войводо,
Да излѣзнемъ на кървнино мѣсто,
Да с' опростимъ, с кума и с девера. [12])
Далъ и волію Марнамъ войвода,
На отишла на кървнино мѣсто...
Чърни очи, що ме не гледате?

[11]) Вука Сербскія пѣсни, III, стр. 505. Сходно и въ другой пѣснѣ, см. тамъ же стр. 496 (женидба Плетикосе Павла).

[12]) Съ извѣстными свадебными чинами нападеніе сдѣлано было Марнамомъ воеводой на брачный поѣздъ Воина, жениха молодого.



Медни уста, што ми не думате?
Бѣли рудѣ, што ме не гърлите?»—
На извади остъръ палошъ войновъ,
На с' удари у клето-то сърдце,
И се жалко, клета, провикнула:
Лежи, Войно, двое да лежиме!..“ [13]).

Главное сходство, однакоже,—въ самоубійствѣ любящей женщины. Самый же способъ погубленія ея жениха, и отношенія между соперниками—совершенно не тѣ, что̀ въ нашей былинѣ. Послѣдняя представляетъ скорѣе, съ этой собственно стороны, нѣчто общее съ вышеприведеннымъ германскимъ сказаньемъ объ Эрминрекѣ (Эрменрихѣ) и Зифкѣ (Зибихѣ), — въ Тидрекъ-Загѣ [14]). Зифка точно также предательски усылается своимъ государемъ, какъ нашъ Данило. Но разница въ томъ, что порученье дано неопасное: Зифка можетъ вернуться, потому что королю надо только временно воспользоваться его супружескими правами. Далѣе разница въ томъ, что хотя жена Зифки и вѣрна мужу, но не прибѣгаетъ къ самоубійству, а становится жертвой насилья; что̀ же касается его самого, то онъ не впадаетъ въ отчаяніе, а затаиваетъ въ душѣ своей страшную месть—заключающуся, какъ мы знаемъ, въ истребленіи всѣхъ ближайшихъ родственниковъ короля. Мыслью объ этой мести утѣшаетъ онъ и жену свою. Извѣстна знаменитая лѣтопись этой мести, которая, вмѣстѣ съ другой, еще болѣе ужасающей женскою местью—Кримгильды [15]), составляютъ двѣ главныхъ трагедіи въ составѣ германскаго эпоса. Драматизма, нельзя не сознаться, въ этомъ эпосѣ больше, неизмѣримо больше, чѣмъ въ нашемъ, и чѣмъ во всякомъ другомъ. И даже та прекрасная пѣсня, которая, какъ полагаетъ г. Безсоновъ, по своему *драматизму*, выдается *особнякомъ* въ нашемъ эпосѣ, пѣсня о Василисѣ Микулишнѣ [16]),—и она, въ сущности, прекрасна совсѣмъ не по *драматизму*. Вѣдь драматизмъ только тамъ, гдѣ сильныя, грозныя страсти выражаются дѣятельностью, борьбой. Между тѣмъ, въ нашей Василисѣ мы видимъ даже не страсть, а глубокое, нѣжное чувство, которое ежели и становится *грознымъ*, то только въ страдательномъ смыслѣ: она вооружается самоубійствомъ, и имъ же только караетъ насильника. Не въ томъ совершенно смыслѣ *грозна* Кримгильда, въ которой столько же нѣжное и глубокое чувство любви къ къ убитому мужу перерождается въ чувство затаиваемой годами мести, тѣмъ болѣе дѣлающееся страстнымъ, чѣмъ дольше оно затаивается. При такой долголѣтней внутренней борьбѣ съ собою, борьбѣ, приводящей къ немилому, новому браку—какъ способу къ мести — постепенно подготовляется роковая борьба съ обидчиками; начинаясь притворствомъ, она завершается наконецъ у Кримгильды открытымъ боемъ. Василиса грозна только въ *оборонительномъ* смыслѣ, подобно тому, какъ и вообще въ нашемъ эпосѣ, во всей постановкѣ въ немъ земской и народной постоянной борьбы съ врагами, преобладаетъ начало оборонительное. Кримгильда, напротивъ того, грозна въ наступательномъ смыслѣ, какъ и вся вообще постановка германскаго эпоса отличается *наступательностью*. Какъ Василиса Кримгильдѣ, такъ же точно

---

[13]) Безсонова, Болгарскія пѣсни (во Временникѣ И. М. О. за 1855 г.; ч. I. стр 164—165).

[14]) См. стр. 101.

[15]) Въ поэмѣ о Нибелунгахъ (Nibelungenlied) См. выше стр. 145.



[16]) Замѣтка въ III вып. Пѣсенъ Кирѣевскаго, стр. III.



и германскому Зибиху (Зикке) противоположны наши Данила Ловчанинъ и Суханъ Домантьевичъ. Оба *трагически* погибаютъ, но нимало *не драматичны*, потому что, вмѣсто всякой борьбы съ обидчикомъ-государемъ, просто спѣшатъ удалиться съ земного поприща. Да, но въ нравственномъ смыслѣ,— и Василиса, и Данило съ Сухано́мъ стоятъ несравненно выше. Кримгильдѣ и Зикке *для личной* мести ни почемъ неповинная гибель цѣлаго сонма людей, ни въ чемъ не причастныхъ обидѣ. Такого развитія личности, такого простора ея при защитѣ себя, *своихъ* правъ, какъ явленья законнаго и сочувственнаго,—не знаетъ нашъ русскій эпосъ.

Такъ, но съ другой стороны,—хорошо ли и въ нравственномъ смыслѣ, что такія проявленія беззаконствующей, самодурно обидящей *власти*, какъ поступки Владиміра князя въ только что прослѣженныхъ былинахъ, не вызываютъ противъ себя хотя бы и *личной* только борьбы, хотя бы только и *мести*? Въ самомъ дѣлѣ, обиженные съ безгласной уступчивостью обрекаютъ себя на самоубійство,—всѣ же прочіе, даже само извратившееся богатырство, столько же безгласно поддакиваютъ и подслуживаются обидчику. Что̀ это за оборонительное богатырство, которое умѣетъ только отражать насильниковъ на украинѣ, и не смѣетъ даже слова сказать противъ насилья домашняго? Но всегда ли было оно таково? А куда же дѣвался хоть тотъ одинъ богатырь, которому не только случалось прикрывать, какъ щитомъ, своею шубою перетрусившихся князя съ княгиней, но кому доводилось и *дурнемъ* назвать Владиміра, и позариться на чужую деньгу ему не позволить? Теперь же позарился князь на живое добро—жену ближняго;—какъ же было тутъ умолчать Ильѣ Муромцу? Или онъ уже примирился съ мыслію, что въ Кіевѣ живутъ все обидчики? Но Илья и не умолчалъ, какъ легко вспомнитъ всякій, кому приходилось читать самому нашу былину изъ села Павлова. Послѣ того, какъ второе слово мишаткино—наставленіе, какъ удалить Данилу—больно показалося-полюбилося князю,

Тутъ возговоритъ старой казакъ,
Старой казакъ Илья Муромецъ:
„Ужъ ты батюшка Володиміръ князь!
„Изведешь ты ясного сокола,—
«Не пымать тѣ бѣлой лебеди!»
Это слово князю не показалося,—
Посадилъ Илью Муромца во погребъ.
(Кир. Ш, стр. 34).

И что̀ же? Богатырь не прибѣгаетъ къ своей силѣ неодолимой? Нѣтъ, но не прибѣгаетъ и къ самоубійству. Былина заставляетъ его спокойно, сдержанно выносить обиду,—сидѣть въ погребѣ, пока не надумается проученный князь. И вотъ, когда предсказанная Ильею погибель *лебеди* его проучила,

Пріѣхалъ Володиміръ въ Кѣевъ градъ,
Выпушшалъ Илью Муромца изъ погреба,
Цѣловалъ ево въ головку, во темичко:
«Правду сказалъ ты, старой казакъ»...
Жаловалъ ево шубой соболиною,
А Мишаткѣ пожаловалъ смолы котелъ [17]).

Чувство такъ называемаго *поэтическаго правосудія* этимъ, пожалуй,

---

[17]) Кир. Ш, стр. 38.

удовлетворено; но достаточно ли удовлетворено наше чувство нравственное? Благопріятно ли дѣйствуетъ на него уже самое выраженіе, что Илья за свою правдивость *пожалованъ* шубою, и то, что былина умалчиваетъ, какъ принята имъ такая подачка княжеская? Наконецъ, самый этотъ, хотя бы и смѣлый голосъ Ильи, все же онъ только *голосъ*, не подкрѣпленный силою богатырскихъ рукъ—въ оборону не себя одного отъ погреба, но и Данилы съ женой отъ властной обиды княжеской. И Илья тутъ, надо сознаться, великодушенъ лишь отрицательно: не только драматизма нѣтъ вовсе, но и нравственное чувство неудовлетворено.—Вся вообще былина носитъ на себѣ отпечатокъ такого гнета, отъ силы котораго измѣнилось все вокругъ Владиміра,—притихла, смирилась и самая богатырская сила Ильи, а тѣмъ-же, *старымъ* Ильей онъ остался только въ томъ смыслѣ, что при заискивающемъ подобострастьи другихъ, сохранилъ способность терпѣть, *говоря* за правду.

На нашей былинѣ съ особенною силою отразились позднѣйшія, многострадальныя судьбы Земли Русской, принизившейся подъ ударами власти, огражденной опричниной. Не то, однако же, представляютъ другія былины, также знающія Владиміра измѣнившимся, а потому и враждебно сталкивающимся съ Ильей. Тутъ богатырь не только подаетъ голосъ, но и выказываетъ свою силу.

Прежде однако же, чѣмъ перейти къ этимъ былинамъ, слѣдуетъ упомянуть о томъ, совершенно особомъ видоизмѣненіи, какому подверглось въ историческомъ ходѣ развитія нашего эпоса сказаніе объ обидѣ, нанесенной княземъ своему приближенному, и о вѣрной женѣ послѣдняго. Сюда относится былина о Ставрѣ Годиновичѣ, дошедшая до насъ въ значительномъ числѣ пересказовъ. Подъ именемъ Ставра является тутъ тотъ же Данило, только онъ тутъ не лишается жизни, а засаживается въ глубокій погребъ. Въ прекрасномъ пересказѣ Кирши Данилова [18]), вся вина его заключается вотъ въ чемъ. Между тѣмъ какъ другіе князья-бояре, пируя за столомъ у Владиміра, *великимъ княземъ похваляются* (новый, совершенно особый видъ похвальбы, указывающій на *льстивыя* отношенія къ государю), только одинъ *бояринъ* Ставръ Годиновичъ не пьетъ, не ѣстъ (уже это одно можетъ показаться подозрительнымъ князю при чисто *нахлѣбническихъ* къ нему отношеньяхъ льстецовъ его); ничѣмъ Ставръ Годиновичъ при братьи своей не хвастаетъ, только *на единѣ съ товарищемъ* таковы рѣчи сказываетъ: «что это за крѣпость во Кіевѣ у великаго князя Владиміра? У меня-де, Ставра боярина, широкой дворъ не хуже Кіева.» Далѣе слѣдуетъ подробное его описаніе, напоминающее дворы Чурилы и Дюка. Но, знать, прошли тѣ времена, когда Дюкъ преспокойно могъ похваляться своимъ богатствомъ передъ самимъ Владиміромъ. Ставръ, который, подобно Дюку (какъ оказывается изъ заключительной части былины), родомъ изъ *дальней земли*, считаетъ себя вполнѣ зависимымъ отъ Владиміра и, боясь его, только шепчется со товарищемъ. Но у князя кіевскаго уже есть подставныя уши: все, до послѣдняго

[18]) Называю его прекраснымъ по выдержанности содержанія—особливо въ первой половинѣ; но стихъ въ этомъ пересказѣ мѣстами уже является разлагающимся, преимущественно въ началѣ и ближе къ концу.





слова, *доносятъ* ему его *слуги вѣрные*. Владиміръ приказываетъ сковать Ставра боярина и запереть замками булатными во глубокомъ погребѣ, а самъ между тѣмъ посылаетъ *посла немилостиваго* запечатать дворъ Ставра и взять въ Кіевъ его молоду жену—ко великому князю Владиміру. Это послѣднее обстоятельство особенно ясно указываетъ на то, что мы имѣемъ дѣло съ былиной, выработавшейся изъ одной основы съ «Данилой Ловчаниномъ» и со столькими соотвѣтственными сказаніями у разныхъ народовъ. Въ другихъ пересказахъ нашей былины, записанныхъ въ ближайшее къ намъ время г. Рыбниковымъ, это обстоятельство не уцѣлѣло; у Кирши же замѣчательно вмѣстѣ съ тѣмъ, что далѣе дѣйствующимъ лицомъ является и *княгиня*: если эта послѣдняя не затронута пѣвцомъ только машинально, по привычкѣ выводить ее вмѣстѣ съ княземъ, то этимъ прямо указывается на то, что князь Владиміръ тутъ не только беретъ жену отъ живого мужа, но и самъ блудитъ отъ живой жены. Впрочемъ, въ этой послѣдней не замѣтно тутъ ни малѣйшей ревности: она просто, какъ женщина, сейчасъ угадываетъ, что пріѣзжающій къ Владиміру князю посолъ—на самомъ дѣлѣ молодая ставрова жена Василиса Микулишна. Имя это, проходящее и черезъ пересказы рыбниковскіе (кромѣ одного), прямо отождествляетъ ее съ женою Данилы Ловчанина. Точно также черезъ всѣ почти пересказы проходитъ и признаки, по которымъ княгиня узнаетъ въ послѣ — женщину [19]). Дѣло въ томъ, что когда къ Василисѣ перепала вѣсть нерадошна про ея мужа, она «скидывала волосы женскіе и надѣвала кудри черныя» — называлась грознымъ посломъ Васильемъ Ивановичемъ, яко-бы ѣдущимъ въ Кіевъ къ Владиміру за данями-невыплатами изъ дальней Орды, Золотой Земли, отъ грозна короля Етмануйла Етмануйловича (въ былинѣ Кирши про Добрыню король этотъ, напротивъ того, является тестемъ любимымъ Владиміра). На дорогѣ къ Кіеву мнимый посолъ встрѣчается съ настоящимъ — ѣдущимъ отъ Владиміра къ Ставру. Послѣ цѣлованія ручка объ ручку (какъ послы послуются [20]), узнавъ отъ добрыхъ молодцевъ, спутниковъ посла ордынскаго, будто бы молодая жена Ставра убралась въ Орду, кіевской посолъ воротился назадъ съ нерадошной вѣстью о послѣ ордынскомъ. Тутъ «закидалися въ Кіевѣ, заметалися: улицы метутъ, ельникъ ставили,» т. е., поясняютъ издатели пѣсень Кирѣевскаго, ставили вѣхи для проѣзда, по древнему (и нынѣшнему) плохому состоянію русскихъ дорогъ. Этой подробностью дорисовывается та картина Кіева, какъ *села немощенаго*, какую представляютъ былины о Дюкѣ, и понятна становится послѣ этого — подобная похвальбѣ послѣдняго, похвальба Ставра своимъ боярскимъ дворомъ съ особенными удобствами. Мнимый по-

19) Знаю я примѣты всѣ по женскому: она по двору идетъ, будто уточка плыветъ, а по горенкѣ идетъ—частенько ступаетъ, а на лавицу садится—колѣнца жметъ, а и ручки бѣленьки, пальчики тоненьки, дюжины (дужины) изъ перстовъ не вышли. (Поправка д у ж и н ы сдѣлана издателями, съ поясненіемъ: «не всѣ вышли изъ перстовъ слѣды дугъ, колецъ») Въ рыбниковскихъ пересказахъ: «гдѣ жуковины были, и мѣсто знать.»

20) «Какъ всегда, поясняютъ издатели, съ какими пріемами ведутъ п о с л ы посольское дѣло. Ср. при этомъ серск. п о с а о (посолъ), и пословье, п о с л о в и ц у, причемъ корень с ъ л—, с л-а-т и сближается со с л у-т и, откуда с л а в а и с л о в о... По древнѣйшимъ представленіямъ .. слово и дѣло неразрывны, въ посольствѣ же именно все дѣло есть слово»... (Кир. IV, стр. 61, примѣчаніе 2).

солъ Василій Ивановичъ оказывается дѣйствительно *грознымъ* посломъ. На успокоительныя увѣренья княгини, что это переодѣтая женщина, Владиміръ отвѣчаетъ предложеньемъ послу побороться съ его нарочными семью борцами—тѣми самыми *Притченками* да *Хапилонками*, о которыхъ говорено было выше—по поводу богатырскаго перечня у Кирши (въ былинѣ о первомъ пріѣздѣ Ильи къ Владиміру) [21]). Василиса-Василій расправляется съ борцами по богатырски: кому руку, кому ногу выломитъ. Вслѣдъ за тѣмъ предлагается новое состязанье съ 12 богатырями—въ стрѣльбѣ изъ лука. Василиса, подобно Добрынѣ, хочетъ стрѣлять изъ своего собственнаго лученка волокитнаго (который волочатъ по дорогѣ, завозный, кое какой—поясняютъ издатели). Вотъ и кидаются за нимъ ея удалы добры молодцы. Лукъ оказывается такимъ же тяжелымъ, какъ и лукъ Бутеяна въ одной изъ былинъ про Добрыню: несутъ его подъ первой рогъ пять человѣкъ и подъ другой столько же, а колчанъ тащатъ цѣлыхъ тридцать человѣкъ. Какъ эти черты, повидимому, замѣшались изъ былинъ про Добрыню, такъ самый исходъ стрѣльбы напоминаетъ Илью передъ станишниками: Василиса попадаетъ въ дубъ и ломаетъ его въ черенья ножовые, Владиміръ же отъ испуга скорачь наползался —какъ въ былинахъ про Соловья. Въ этомъ мѣстѣ такимъ образомъ оказывается какая-то сшивка изъ различныхъ былевыхъ отголосковъ; въ рыбниковскихъ пересказахъ, какъ мы скоро увидимъ, оно отличается большею цѣльностью и болѣе выдержаннымъ своеобразіемъ. У Кирши же далѣе слѣдуетъ игра Василисы съ самимъ Владиміромъ въ *шахматы* — родъ испытанья, не встрѣчающійся ни въ одномъ изъ другихъ пересказовъ и, кажется, также только замѣшавшійся сюда изъ былинъ про Добрыню, гдѣ это имѣетъ смыслъ, соединяясь съ отыгрываніемъ даней; здѣсь же оно ни къ чему не ведетъ: *поигравъ* (обыгравъ) Владиміра, Василиса требуетъ съ него только того, зачѣмъ и пріѣхала, но Владиміръ очень страннымъ образомъ самъ напрашивается: «изволь меня, посолъ, взять головой съ женой.»—Посолъ же въ отвѣтъ только спрашиваетъ: есть-ли у него въ Кіевѣ *веселые молодцы*? Это «обыкновенное, постоянное прозвище скомороховъ, объясняютъ издатели; но здѣсь изъ нихъ выводятся, кажется, одни плясуны, ибо Василиса послѣ добивается игрока на гусляхъ и пѣвца». Такимъ-то (т. е., надо думать, искуснѣйшимъ изъ такихъ) и оказывается Ставръ Годиновичъ, котораго князь велитъ расковать и привести къ послу. Ставръ, совершенно подобясь Добрынѣ, сыгралъ сыгрышъ Царя-града, *танцы* [22]) навелъ Іерусалима; потомъ, кромѣ этихъ двухъ иностранныхъ родовъ музыки, величалъ онъ князя со княгинею, сверхъ того игралъ онъ еврейскій стихъ (*духовный* — поясняютъ издатели). Ясно, что Ставеръ является искусникомъ на всѣ лады, а отъ такого его искусства посолъ задремалъ и спать захотѣлъ. Это могло-бы пока-

---

[21]) См. выше стр. 448. «Свойства и нарицательныя прозвища обращены здѣсь въ имена собственныя», замѣчаютъ издатели пѣсень Кирѣевскаго (в. IV, стр. 63, прим. 6).

[22]) Думаю, что это слово тутъ только ошибкою вмѣсто—тонцы, какъ въ нѣкоторыхъ былинахъ про Добрыню у г. Рыбникова. Поэтому издатели пѣсень Кирѣевскаго едва ли не напрасно видятъ въ этихъ танцахъ отъ Ерусалима — плясовую на иностранный ладъ (в. IV, стр. 67, пр. 1).



заться страннымъ, еслибы не то, замѣченное издателями, обстоятельство, что «по общему Славянамъ воззрѣнію, это есть непремѣнное слѣдствіе и лучшая рекомендація для музыки и пѣнія» (такъ отъ пѣнія Милоша засыпаетъ Марко кралевичъ — у Вука II, № 38). Но посолъ-Василиса, по особенности своего положенія, скоро превозмогаетъ сонъ и, отказываясь отъ даней-выходовъ, проситъ у Владиміра только веселаго молодца Ставра боярина Годиновича. Такое предпочтенье его данямъ-выходамъ нѣсколько удивляетъ со стороны посла, представителя чужихъ выгодъ, а потому и нельзя не отдать предпочтенья тѣмъ пересказамъ рыбниковскимъ, въ которыхъ Василиса прикидывается не посломъ, а болѣе самостоятельнымъ лицомъ—царевичемъ [23]). Какъ бы то ни было, Владиміръ съ радостью отдаетъ Василью Ставра и провожаетъ отъѣзжающихъ вмѣстѣ съ княгиней. Но посолъ, останавливаясь у быстра Днѣпра, разставлялъ свои палатки бѣлыя, а князя просилъ посидѣть до того часа, пока онъ, посолъ, выспится. Вслѣдъ за тѣмъ раздѣвался посолъ изъ платья своего посольскаго и убирался въ платье женское—для чего, повидимому, и раскидывается палатка: черта, проходящая черезъ всѣ почти пересказы, какъ и слѣдующія за тѣмъ слова Василисы Ставру:

Какъ ты меня не опознываешь?
А доселѣва мы съ тобой въ свайку игрывали.
У тебя де была свайка серебряная,
А у меня кольцо поволоченое:
И ты меня поигрывалъ,
А я тебѣ тоды—вселды [24]).

«И втапоры Ставръ бояринъ догадается,» — но такъ оно только у Кирши, въ другихъ же пересказахъ онъ сначала не можетъ понять загадки своей жены [25]).

Вообще эти пересказы (всѣ до одного записанные въ Олонецкой Губерніи) представляютъ существенныя уклоненія отъ извода Кирши Данилова. Общую и главную ихъ особенность составляетъ то, что Ставръ похваляется именно своей женой, тѣмъ, что она способна провести не только князей-бояръ, но и самого князя, и вотъ собственно это и оскорбляетъ Владиміра, думающаго только проучить мужа и вовсе не разсчитывающаго на прелести жены. Ясно, что это составляетъ значительное *смягченіе*, въ пересказѣ Колодозерскаго Старика еще усиливаемое словами князей-бояръ: «эка у Ставра жена; засади его во погреба глубокіе, — пусть-ка онъ оттоль выступитъ» (Р. I, № 42). Или еще яснѣе въ пересказѣ лысановскомъ: «пущай-ко ставрова молода жена Ставра изъ погреба повыручитъ» (Р. II, № 20). Это уже окон-

[23]) Р. I, 42; II, 20.

[24]) Этой василисиной загадки нѣтъ только у Щеголёнкова и Рябинина, и то, конечно, потому, что къ концѣ обоимъ пѣвцамъ измѣняла память и они передавали былину только отрывками (Р. I, № 41, II, № 21).

[25]) Съ золотникъ кольцомъ этой загадки можно сопоставить въ одномъ заговорѣ Валдайскаго Уѣзда Нов Губ. дорогой золотникъ; заговоръ же этотъ употребляется при родахъ (Л. Н. Майкова Великорусскія Заклинанія, стр. 30). Что же касается того, что свайка въ загадкѣ—серебряная то съ такою свѣтлостію ея можно сопоставить то, что въ нѣкоторыхъ заговорахъ именно къ ближему ..... приговаривается черная ..... Надо замѣтить, что въ пересказѣ А. Савинова (Р. IV, № 6) Василиса, чтобы помочь Ставру разгадать загадку, [illegible] свои платья по самый пупъ: и вотъ молодой Ставеръ сынъ Годиновичъ признавалъ кольцо поволоченое». Но это должно быть только присочиненье, и довольно неловкое: [illegible] какъ бы позабылъ, что Василиса еще не снимала мужского платья, которое приподнять такимъ образомъ мудрено.



чательно придаетъ всему произшествію какой-то оттѣнокъ шутки, и наша былина со своей основной трагической почвы переносится на комическую.

Оба, только что затронутыхъ пересказа сходятся также и въ томъ, что Василиса въ нихъ выдаетъ себя за царевича ляховецкаго, да и дѣйствительно она тутъ, вмѣстѣ съ мужемъ, оказывается проживающею въ землѣ ляховецкой (этимъ только съ большею точностью подтверждается свидѣтельство Кирши Данилова, что они родомъ изъ земли дальней). Далѣе оба пересказа сходятся въ томъ, что мнимый царевичъ сватается за *дочь* князя и Владиміръ идетъ *съ ней объ этомъ подумать*. Такъ оно и въ пересказѣ Рябинина (Р. I, № 41), только тутъ пропущена *дума* съ дочерью, имѣющаяся въ остальныхъ пересказахъ (кромѣ одного—IV, № 6), отличающихся тѣмъ, что тутъ сватовство не за *дочь*, а за *племянницу* княжескую Запаву. (II, 19 и 21; IV, 6). (Но во всѣхъ вообще пересказахъ у Рыбникова дѣло посла заключается въ сватовствѣ, что въ свою очередь составляетъ отличіе ихъ отъ извода Кирши Данилова). Нужно-ли говорить, что *думанье* князя съ самою невѣстой въ свою очередь составляетъ признакъ *смягченности*: въ цѣломъ множествѣ сказаній эпическихъ, какъ нашихъ, такъ и западно-европейскихъ, дѣло обходится совершенно *безъ спроса* самой невѣсты.

Конецъ большей части пересказовъ рыбниковскихъ оказывается вполнѣ совпадающимъ съ былиною Кирши въ томъ отношеніи, что Ставръ вызывается тутъ изъ тюрьмы, какъ искусный гусельникъ. Но у Колодозерскаго Старика царевичъ Василій прямо называетъ Ставра гусельникомъ изъ ихней страны ляховецкой; а въ пересказѣ лысановскомъ онъ выражается и еще яснѣе: «я слыхалъ отъ родителя батюшки, что *посаженъ нашъ Ставеръ у тебя во погреба глубокіе*; онъ гораздъ играть въ гуселышки яровчеты.»— Владиміръ же разсуждаетъ въ обоихъ пересказахъ, что выпустить Ставра— не видать его, а не выпустить—разгнѣвить посла (сходно и въ двухъ другихъ пересказахъ—Р. I 41; II. 19). Въ самомъ же концѣ у Колодозерскаго Старика Ставеръ, узнавая жену, сейчасъ же и хочетъ ѣхать, но она останавливаетъ его: «нѣтъ, поѣдемъ-ка во Кіевъ-градъ (узнаніе, какъ и во всѣхъ пересказахъ, происходитъ въ шатрѣ среди чистаго поля): ты какъ похвастался, такъ я и сдѣлала.» А въ пересказѣ лысановскомъ этому приданъ еще особый оттѣнокъ: «не есть-ли хвала добру молодцу тебѣ воровски изъ Кіева уѣхати,—поѣдемъ-ко свадьбы доигрывать.» Далѣе тутъ оказывается, что она не безъ основанія такъ смѣла. Владиміръ, ни мало не сердясь, говоритъ Ставру, что за его похвальбу за великую, онъ позволяетъ ему (какъ Соловью Будиміровичу) вѣкъ торговать безпошлинно въ Кіевѣ. Тотъ-же добродушный оттѣнокъ, имѣющійся, какъ не трудно замѣтить, уже у Кирши—въ проводахъ Владиміромъ княземъ Ставра съ женой—оттѣнокъ этотъ болѣе или менѣе выдерживается и въ другихъ пересказахъ. У А. Сорокина (Р. II, 19) Ставеръ боится ѣхать къ Владиміру, а жена успокоиваетъ его: «ничего намъ отъ князя не будетъ.» И точно, князю самому стыдно стало, что просваталъ свою племянницу за женщину: «правдою хвасталъ *старъ* Ставеръ сынъ-Годиновичъ своей молодой женой;—во первой вины тебя Богъ проститъ (этимъ указывается на особый еще оттѣнокъ въ похвальбѣ Ставра у А Сорокина, о





чемъ будетъ ниже), поѣзжай ко своему городу, — больше нигдѣ не хвастай молодой женой». А въ пересказѣ А. Савинова Владимiръ говоритъ молодому Ставру (тутъ онъ молодъ, въ лысановскомъ пересказѣ старъ; въ остальныхъ про возрастъ ничего не сказано): «умѣлъ то ты похвастать молодой женой; обманула она и провела меня, князя, да за то тебя Богъ проститъ».

Ясно, что тутъ опять—совершенно иной Владимiръ, вполнѣ поддерживающiй древнее свое прозванiе солнышкомъ, между тѣмъ какъ въ восточной полосѣ Руси, въ нижегородской—былинѣ про Данилу Ловчанина, уцѣли такiя черты Владимiра, которыя его уподобляютъ Грозному. Обратный переходъ отъ такого эпическаго осуровленiя къ смягченiю, начавшiйся еще въ XVIII в., также на востокѣ—въ пермской былинѣ Кирши—переходъ этотъ окончательно обозначился и окрѣпъ въ только что разсмотрѣнныхъ мною въ былинахъ олонецкихъ.

При разборѣ этихъ послѣднихъ не трудно было замѣтить, что особенно близкими между собою оказываются пересказы Колодозерскаго Старика и лысановскiй (I, 41; II, 20). Оба, очевидно, принадлежатъ къ одному и тому же изводу, но послѣднiй отличается большею подробностiю. Въ немъ попадается и такая черта, которой нѣтъ ни въ одномъ изъ другихъ пересказовъ: это то, что Василиса предлагаетъ своему мужу двѣ загадки, вмѣсто одной. Вотъ вторая ея загадка:

Ты помнишь, Ставеръ, да памятуешь ли,
Мы вѣдь вмѣстѣ съ тобой въ грамоты училися:
Моя была чернильница серебряная,
А твое было перо позолочено:
А я-то помакивалъ тогды—сёгды,
А ты-то помакивалъ всегды—всегды.

Замѣчательно, что столь близкiе между собой пересказы записаны въ различныхъ уѣздахъ: Колодозерскаго Старика въ Пудожскомъ Уѣздѣ, а лысановскiй въ Петрозаводскомъ. Существенную разницу между обоими составляетъ то, что первый приписываетъ Ставру только похвальбу женой, второй же—и селами и *комонями* [26]), и матушкой, и женой. Что такая надбавка въ послѣднемъ пересказѣ не объясняется только его распространенностью, это видно изъ того, что въ другомъ, также весьма распространенномъ (А. Сорокина—многорѣчивѣйшаго изъ пѣвцовъ, какъ мы уже знаемъ) Ставръ похваляется только женой. Такъ какъ пересказъ этотъ, подобно колодозерскому, записанъ въ Пудожскомъ Уѣздѣ, то можно бы отнести это къ особенностямъ пудожскаго извода; но въ томъ же уѣздѣ записанъ и пересказъ Савинова (IV, 6), въ которомъ похвальба не одною женою, но и казной, конями, платьемъ, какъ въ пересказахъ Петрозав. У. (кромѣ лысановскаго, тамъ же записанъ рябининскiй, гдѣ Ставръ похваляется вмѣсто казны — молодцами). Да и вообще мудрено распредѣлить пересказы занимающей насъ былины на различные изводы—по мѣстностямъ. Такъ въ нѣкоторыхъ пересказахъ до Василисы просто *доходитъ вѣсть* о заточеньи Ставра, въ нѣкоторыхъ—ей даетъ знать о томъ *свой человѣкъ*, но и та и другая черта встрѣчается какъ въ пудожскихъ, такъ и въ пе-

[26]) Стоитъ обратить вниманiе на эту древнюю форму слова *комонь*, встрѣчающуюся, какъ извѣстно, въ знаменитомъ памятникѣ XII ст. — «Словѣ о Полку Игоревѣ».



трозаводскихъ пересказахъ. Есть только одна черта, которую можно бы признать за отличительную особенность извода пудожскаго: это особый видъ похвальбы Василисой Микуличной. У Сорокина Ставръ говоритъ про нее: «самъ *городъ Кіевъ скупитъ и спродаетъ*, князей—бояръ всѣхъ обманетъ» и т. д. Только нѣсколько слабѣе выражено это у другого пудожскаго пѣвца, Савинова (Р. IV, № 6): «всѣхъ князей-бояръ продаетъ и выкупитъ, и самого князя Владиміра обманетъ и проведетъ». Тутъ такимъ образомъ въ самой похвальбѣ женой какъ будто бы уцѣлѣла и та похвальба превосходствомъ въ богатствѣ надъ Кіевомъ, какая приписывается Ставру у Кирши Данилова. Но подобный же, задѣвающій самолюбіе Кіева, видъ похвальбы имѣется, хотя и своеобразно выраженный, въ пересказѣ, записанномъ не въ Пудожскомъ, а въ Петрозаводскомъ Уѣздѣ—отъ довольно безтолковаго, перепутывающаго пѣвца—Щеголенкова. Съ одной стороны пересказъ этотъ примыкаетъ и къ тѣмъ, въ которыхъ Ставръ похваляется не своею казной, а своими молодцами. Но тутъ эти молодцы (числомъ тридцать)—чоботные мастера: проносивъ сапожки день другой, Ставръ снесетъ ихъ на рыночекъ и князьямъ-боярамъ повыпродастъ. Есть у него и еще 30 молодцевъ — портныхъ мастеровъ; и ихъ работы кафтанчики со своихъ плечъ онъ спуститъ на плечи князей-бояръ. Есть у него еще кобылица златогривица [27]); получше жеребчиковъ отъ нея онъ себѣ возьметъ, а похуже князьямъ боярамъ повыпродастъ, а возьметъ за нихъ, какъ и за ношеные свои сапоги и платье, цѣну полную. Подобная похвальба, нельзя не замѣтить, очень напоминаетъ похвальбу Дюка, подобно которому Ставръ и тутъ, какъ во всѣхъ почти пересказахъ, является выходцемъ изъ чужой земли; только у одного Сорокина (Пуд. Уѣзда) [28]) поселье его дворянское находится въ славномъ городѣ Черниговѣ, хотя жена его себя выдаетъ и тутъ за пріѣзжаго съ Кодольскаго острова посла *земли Ведентецкія*. Издатели рыбниковскаго сборника отмѣчаютъ при этомъ: «изъ *Леденца*, откуда пріѣзжалъ и Соловей Будиміровичъ». (Рыбн. II, стр. 95, прим. 3). Не этотъ ли эпическій *Леденецъ* скрывается и въ той землѣ *Гленской*, которая выставляется родиной Ставра у Щеголенкова (а также и у Рябинина—изъ того же Петрозаводскаго Уѣзда)?

Совершенную особенность щеголенковскаго пересказа составляетъ то, что онъ начинается похвальбой самого Владиміра своимъ городомъ Кіевомъ. Вслѣдъ за тѣмъ похваляются и богатыри—своей силою, а гости-купцы торговые—товарами заморскими; Добрынюшка похвасталъ добрымъ конемъ, а Алешенька Поповичъ безсчетной золотой казной (недаромъ, знать, у него руки загребущія). Кромѣ того хвастались — умный отцомъ-матерью, а безумный молодой женой. То-же самое противопоставленіе имѣется и у Сорокина, только у него вслѣдъ за тѣмъ Ставеръ прямо и оказывается такимъ безумнымъ: хвастаетъ своей Василистой Микуличной. У Щеголенкова же онъ,

[27]) Въ одномъ заговорѣ Пермской Губерніи упоминается кобылица златкиница, а у нея 12 жеребцовъ (заговоръ — охотничій: обращаются къ «старому угрюмому человѣку», умѣющему удержать эту кобылицу, съ тѣмъ чтобы она приберегъ для охотника птица и звѣрей—см. Л. Н. Майкова Великорусскія заклинанія, стр. 135).

[28]) Рыбн. II, стр. 94 и 103.

какъ и во всѣхъ остальныхъ пересказахъ, сначала ничѣмъ не хвастаетъ и только Владиміръ князь вызываетъ его на хвастовство. Напротивъ того въ концѣ у Щеголенкова является уклоненіе отъ другихъ пересказовъ: Ставръ уже не оказывается тутъ отличнымъ гусельникомъ, а Василиса просто говоритъ про него: «засажонъ у тебя странникъ во погреба глубокіе,— отпусти-тко странника на волю вольную.» А въ разнорѣчіяхъ, приведенныхъ у г. Рыбникова въ видѣ подстрочныхъ примѣчаній, она проситъ Владиміра выпустить *всѣхъ странниковъ* со тыихъ со погребовъ глубокіихъ.

Отъ тогоже самаго Щеголенкова записана была уже послѣ г. Рыбникова былина про Ставра Годиновича, доставленная мнѣ г. Барсовымъ, и замѣчательно, что въ такой короткій промежутокъ времени въ ней успѣли произойти какое-какія перемѣны (надо замѣтить, что Щеголенкову особенно измѣняетъ память, вслѣдствіе чего онъ часто путаетъ и дѣлаетъ перестановки). Къ богатырямъ и гостямъ торговымъ тутъ оказываются присоединенными еще крестьяне-мужички: «богатые крестьяне похвастываютъ своими добрыми конюшками, а небогатые малыми дѣтушками.» Если бы это и было только произвольною вставкою, все же тутъ замѣчательно, и совершенно въ духѣ народныхъ сказаній, это надѣленіе бѣднаго горемычнымъ богатствомъ— дѣтьми [29]). Но есть основаніе полагать, что это не просто вставка. Во первыхъ, изъ нѣкоторыхъ былевыхъ свидѣтельствъ (между прочимъ и у Кирши) мы уже знаемъ, что за столомъ у Владиміра были и *мужики*. [30]) Кромѣ же того—не на нихъ ли указываетъ въ пересказѣ былины про Ставра, записанномъ отъ Колодозерскаго Старика, упоминаемая рядомъ съ боярами *мелкая чета* (Р. I, стр. 245)? Въ такомъ случаѣ, не смотря на плохую вообще память Щеголенкова, у него черта эта уцѣлѣла отъ старины съ особенной полнотой. Зато далѣе уже только подновительною замѣной оказывается у него то, что Василиса называетъ себя *посломъ земли Турецкія*. Конецъ совершенно подходитъ къ тому, что̀ приведено у г. Рыбникова въ разнорѣчіяхъ: «и ты выпусти невольниковъ изъ погребовъ глубокіихъ, по своему да слову княженецкому.» — Можно бы было принять эту черту, имѣющуюся собственно у Щеголенкова, за произвольное присочиненіе, если бы нѣчто подобное не встрѣчалось въ одной пѣснѣ Македонскихъ Болгаръ. Тутъ невѣста, пріѣзжая послѣ вѣнца къ жениху, требуетъ отъ него, чтобы онъ отпустилъ на волю всѣхъ своихъ узниковъ [31]). Повидимому, этимъ указывается на какой нибудь старинный обычай, по которому со сватовствомъ (и Василиса-Василій пріѣзжаетъ вѣдь для просватанія), какъ съ радостнымъ дѣломъ, соединялось и обрадованіе другихъ—бѣдныхъ узниковъ или затюремщиковъ, какъ ихъ называютъ въ былинахъ [32]).

Съ другой стороны щеголенковскіе пересказы отличаются въ самомъ

---

[29]) Ср. въ сказкахъ о богатомъ и бѣдномъ: «жилъ былъ бѣднякъ Нестерка, дѣтой у него шестерко» (моего Истор. Обозр. Р. Слов. стр. 171 и моей Христ. стр. 49)

[30]) См. выше стр. 318.

[31]) Веровича Народне Песме Македонски Бугара, I, стр. 223.

[32]) Иногда, впрочемъ, и мужчины въ сербскихъ пѣсняхъ прямо выпрашиваютъ, въ видѣ особеннаго почета себѣ, освобожденіе плѣнниковъ. (На прим. у Вука II, стр. 500).

концѣ позабытостію подробностей. Тутъ не имѣется даже знаменитой загадки василисиной, проходящей чрезъ столь многіе пересказы.

Загадки этой недостаетъ также въ другомъ пересказѣ, записанномъ въ томъ же Петрозаводскомъ Уѣздѣ отъ Рябинина. Хотя это вообще превосходный пѣвецъ, но тутъ и ему мѣстами, особливо къ концу, измѣнила память. Совершенно отлично отъ всѣхъ другихъ пересказовъ, Ставръ тутъ выказывается отличнымъ борцомъ, котораго выводятъ изъ тюрьмы для состязанія съ Василисой, умѣющей побороть и его. Самъ по себѣ типъ затюремщичковъ, выводимыхъ на волю для боя, существуетъ въ эпосѣ разныхъ народовъ, и Рябининъ такимъ образомъ взялъ его изъ готоваго запаса эпическаго. Поборовъ Ставра, Василиса здынула его со матушки сырой земли, цѣловала во уста сахарнія; называла любимою семеюшкой — законною сдержавушкой, но вмѣстѣ съ тѣмъ прочла и урокъ ему: «не учись-ка впредь женою хвастати». [33])

Къ борьбѣ со Ставромъ Рябининъ перешелъ такъ быстро, какъ бы скачкомъ, что г. Рыбниковъ сейчасъ же усмотрѣлъ тутъ пропускъ. На его замѣчанье на счетъ этого, пѣвецъ отвѣчалъ, что Василиста поборола передъ тѣмъ всѣхъ борцовъ поединщиковъ, а что ***Ильи Муромца еще не было при Владимірѣ.*** Послѣднее заслуживаетъ особеннаго вниманія. Сущность былины о Ставрѣ Годиновичѣ такова, что она остается внѣ той земской сердцевины нашего эпоса, въ которой такое видное мѣсто принадлежитъ Муромцу. Это похожденье изъ частной, домашней жизни, какъ и похожденья Дуная, Хотена, Ивана Годиновича; и какъ во всѣхъ тѣхъ похожденіяхъ,—по формѣ хотя и *былинахъ*, но по содержанью отчасти *сказкахъ*,—не встрѣтили мы Ильи, такъ точно нѣтъ ему мѣста и въ похожденіи Ставра Годиновича. Это послѣднее, со многими другими, представляется, по своему содержанію, какъ бы остаткомъ той поры нашего эпоса, когда еще въ немъ не сказывалось земское, историческое начало, т. е. когда въ немъ еще не могло быть и Ильи Муромца. Если же мы обратимъ вниманье на комическую постановку былины о Ставрѣ и противопоставимъ ей одноосновную съ нею трагическую о Василисѣ и Данилѣ Ловчанинѣ, то дѣло представится намъ опять съ особенной стороны. Мы видѣли, что въ этой былинѣ трагической является Илья Муромецъ,—является потому, что она постановлена иначе, что ему въ ней представляется случай сдѣлаться земскимъ глашатаемъ правды въ глаза окруженному дворскою пресмыкающеюся сволочью, сбившемуся съ пути князю. А если обратить вниманье на то, что комическая былина о Ставрѣ Годиновичѣ должна быть только передѣлкой трагической о Данилѣ, то ее нельзя будетъ относить къ тому времени, когда Ильи еще не было въ Кіевѣ: она напротивъ того окажется принадлежащею той порѣ, когда, при совершившейся во Владимірѣ перемѣнѣ, Муромцу *уже* не было постояннаго и притомъ почет-

---

[33]) Кстати будетъ привести здѣсь слѣд. разсужденіе г. Буслаева объ основной мысли нашей былины: «на пиру, гдѣ пьяные хвалятся своимъ молодечествомъ, богатствомъ и борзыми конями, не должно профанировать домашняго счастія и унижать жену, низводя ее до предметовъ, которыми богатырь хвастаетъ, какъ своей собственностью». (Русск. Вѣстн. 1862 г. Окт., стр. 553—554).

наго мѣста у стольнаго князя. Во всякомъ случаѣ замѣчательно, что пѣвецъ нашелъ нужнымъ обратить вниманіе на *отсутствіе* Ильи Муромца.

Кромѣ того, Рябининъ сдѣлалъ еще замѣчаніе на счетъ Добрыни Никитича, что ему мудрено было совладать съ Василистой, такъ какъ онъ оказался слабѣе и меньшой дочери Микулы Селяниновича, Настасьи. Неудачный бой Добрыни съ Настасьею намъ ужь давно знакомъ; но изъ словъ Рябинина можно заключить, что Василисту считаетъ онъ старшей дочерью Селяниновича,—по тому самому еще болѣе сильной. Вотъ, кажется, единственное свидѣтельство, что подъ обѣими этими *грозными* женщинами разумѣются дочери не какого либо другого Микулы, какъ Селяниновича [34]). А приписываемый имъ, въ силу такого происхожденья, избытокъ силъ, даетъ дѣйствительное основаніе относить ихъ вмѣстѣ съ нимъ къ старшему, сильнѣйшему поколѣнію богатырскому. Съ другой же стороны, какъ мы знаемъ, Микула одаренъ и иною силою, сближающею его съ поколѣніемъ младшимъ, — *умѣлостью*. Но такое же точно соединеніе и *тѣлесной силы*, и того, что̀ называется у самой Василисы *догадочками* женскими, представляетъ намъ и эпическій образъ этой послѣдней. Съ одной стороны ей приписывается выдергиванье рукъ и ногъ у борцовъ [35]) и стрѣльба мѣткая (напоминающая Настасью, жену Дуная; правда, что *тяжесть* натягиваемаго ею лука, упоминаемая только у Кирши, повидимому, примѣшалась въ нашу былину отъ лука бутеянова—см. выше стр. 511). Съ другой же стороны она беретъ *хитростью*, умѣніемъ разыграть мужчину. Въ пересказахъ рыбниковскихъ она выходитъ при этомъ торжествующею изъ различныхъ испытаній. У Рябинина такое испытаніе заключается только въ томъ, что Владиміръ приглашаетъ мнимаго посла съ собой въ баню. Посолъ соглашается, но пока стольный князь *разболокался* себѣ, не спѣша, съ *прохладкою*, Василиса-Василій успѣла скорехонько войти въ баню, помыться и вернуться въ передбанникъ, такъ что князь не успѣлъ и взглянуть на нее для узнанія ея пола. То-же самое испытаніе баней упоминается и во многихъ другихъ пересказахъ: II, 19, 20, 21; IV, 6. Въ пересказѣ лысановскомъ (II, 20) и Колодозерскаго Старика (I, 42) за банею слѣдуетъ предложеніе отдохнуть во ложни во теплыя—съ цѣлью, чтобы потомъ посмотрѣть, гдѣ окажется яма: если подъ плечами—то спалъ богатырь, если подъ ....., то женщина. Но Василиса и тутъ догадывается: ложится ногами на подушку, а головой—гдѣ бы надо ногами.

Замѣчательно, что соединеніе мужеской силы съ догадками женскими встрѣчается и въ соотвѣтственной пѣснѣ Черногорцевъ Перойскихъ, помѣщенной въ «Памятникахъ и образцахъ народнаго языка и словесности» [36]). Цѣлыхъ девять лѣтъ томится тутъ Кавальиръ Стипа въ будинской темницѣ. Вѣрная его невовјица проситъ братьевъ заточника сѣчь ей косу *на солдашко* (подновленность этого выраженія соотвѣтствуетъ въ двухъ пе-

---

[34]) Этимъ я поправляю не совсѣмъ точное мое замѣчаніе выше на стр. 438 -439.

[35]) Въ нѣкоторыхъ пересказахъ, она сталкиваетъ ихъ лбами. У Колодозерскаго Старика она облекается даже въ кольчугу и латы, что̀, какъ мы знаемъ, довольно рѣдко въ былинахъ.

[36]) Печатавшихся въ видѣ прибавленій къ Извѣстіямъ Академіи Наукъ (См. въ тетр. II-й № XXII).

ресказахъ нашей былины волосамъ по мужичьему [37]), затѣмъ садится на коня *Стипы*, беретъ съ собою его оружіе и отправляется къ Будиму граду. Тутъ завидѣлъ прекраснаго воина царь и, позвавъ къ себѣ, спрашивалъ: много-ли онъ возьметъ въ годъ жалованья? Но вотъ отвѣтъ молодого воина:

Не ћу јунак мыта око льита,
Нег сем чуо и други ми кажу,
Да ми је побратин у невольe
По имену Стипе Кавальире,
Да је јаден у таемници вашји...
З Богон с'јесмо били побратили.
Оддаш ли ми мога побратина,
Служит ћу те, колико ти драго.

Не трудно замѣтить, что это прямо напоминаетъ откровенный пріемъ Василисы у Щеголенкова. Но царю начинаетъ казаться, что этотъ красивый воинъ — женщина. Вотъ и велитъ онъ принести четыре подковы и четыре золотыхъ перстня, чтобы видѣть, которые изъ этихъ предметовъ предпочтетъ испытуемый воинъ: тотъ сейчасъ же берется за четыре подковы. Послѣ этой первой *провы* (испытанія), царь придумываетъ вторую прову—постелью, какъ и въ нашихъ былинахъ, только въ подробностяхъ тутъ существенныя отличія. Слуги царскіе должны пригласить молодого воина на свою постель.

«Ко је оно голема делија,
Ближе ће се при вас примицати;
Ко је оно льице женске главе,
Дали ће се од вас одмицати».

Но испытуемая, понявъ, въ чемъ дѣло, умышленно такъ и прижимается въ продолженіе всей ночи къ своимъ товарищамъ по постели. Тогда царь назначаетъ третью *прову*, такую, которая можетъ быть выдержана только при воинской силѣ и ловкости: перескакиванье черезъ трехъ коней. Испытутуемая преблагополучно совершаетъ и это, и, очутившись за тѣмъ на четвертомъ конѣ — своемъ собственномъ — слышитъ отъ царя радостную вѣсть, что она можетъ увести изъ темницы своего побратима. *Узнаніе* происходитъ, какъ и въ рыбниковскихъ пересказахъ нашей былины, не сразу: Стипа, посаженный своимъ освободителемъ на его коня, не узнаетъ въ немъ своего собственнаго, ни въ ней — своей вѣрной льубовцы. Наконецъ уже она ему открывается (безъ всякой загадки) а онъ «плаче кано мало дјете» [38]).

Сходною съ вѣрной *льубовцей* Стипы является въ сербскихъ пѣсняхъ Вука Караджича, въ ч. III подъ № 49, *льуба* Хајдук-Вукосава. Попавшись въ плѣнъ къ турку Боичичъ-Алилу, хайдукъ этотъ, засаженный имъ въ темницу, пишетъ къ матери и женѣ (такъ и въ одной изъ нашихъ былинъ, Ставръ даетъ самъ знать о своей бѣдѣ посредствомъ письма), [39]) при чемъ разрѣшаетъ послѣдней выйти замужъ. Но между тѣмъ какъ мать заплакала, льуба только засмѣялась *гротомъ*. Сейчасъ же распорядившись своими волосами, какъ слѣдовало для переодѣванья мужчиной, она сѣла на коня и поскакала къ темницѣ своего милаго друга, богатырски играя въ подбрасыванье топуза (палицы) [40]). Хитрость же, какую при этомъ она пускаетъ въ дѣло, совер-

---

[37]) Рыбн. II, стр. 95; IV, стр. 31.

[38]) Объ обычности богатырскихъ слезъ см. выше на стр. 8 и 35.

[39]) Рыбн. II стр. 115.

[40]) Объ этой игрѣ богатырской также см. выше—на стр. 16-той.



шенно своеобразна. Она бьетъ Боичичъ-Алилу, подскочившаго взять коня у молодого воина, принятаго имъ за служителя царскаго, и укоряетъ его въ томъ, какъ онъ осмѣлился засадить у себя невольника царскаго: «царь меня отправилъ затѣмъ, чтобы привезти къ нему васъ обоихъ и обоихъ погубить смертью.» Слѣзши съ коня, она входитъ въ темницу и притворно бьетъ въ ней своего милаго, а потомъ выводитъ его оттуда, и, сѣвъ съ нимъ на коня, ускакиваетъ во весь опоръ. Узнаніе происходитъ совершенно сходно съ тѣмъ, какъ и въ черногорской пѣснѣ.

Имѣются еще двѣ болгарскія, въ которыхъ, какъ и въ только что приведенной сербской, нѣтъ никакихъ *провъ* (испытаній), и дѣло освобожденія совершается при помощи совершенно особаго рода находчивости *вѣрной любы*. Въ сборникѣ г. Безсонова въ ч. I подъ № VII помѣщена пѣсня о Тиланѣ, въ которой этотъ добрый молодецъ томится въ цареградской темницѣ цѣлыхъ 9 лѣтъ, какъ и кавальиръ Стипа. Мать Тилана, обернувшись голубкой [41]), летитъ къ нему и садится надъ его темницей, куда и попадаютъ ея горючія слезы, растапливающія камень. Сынъ, узнавая въ этой голубкѣ мать, передаетъ черезъ нее женѣ, чтобы она переодѣлась стражемъ, препоясалась его саблею, и, сѣвъ на его коня, прискакала къ нему съ подложнымъ фирманомъ. Тутъ такимъ образомъ хитрость придумывается самимъ мужемъ, чтò, сравнительно съ другими сказаніями, составляетъ уже порчу. Но жена сейчасъ же поняла затѣю своего мужа: прискакавъ съ подложнымъ фирманомъ, она выдала себя за слугу царскаго, присланнаго съ тѣмъ, чтобы вывести изъ темницы давнишнихъ заложниковъ и отрубить имъ головы. Когда его выпустили, она велѣла ему выстричь голову, обросшую волосами до самой земли,—какъ будто бы для того, что бы легче было потомъ отсѣчь ее (тутъ уже—собственная ея хитрость). Затѣмъ она посадила его на коня и отвезла къ матери.

Несравненно пространнѣе и по самому содержанью цѣльнѣе другая болгарская пѣсня — *о руковитомъ Богданѣ*. [42]) Онъ попадаетъ тутъ въ плѣнъ къ какому-то Николѣ вмѣстѣ съ другими семидесятью *робами*, но между тѣмъ какъ другіе отпускаются на волю, его оставляютъ въ темницѣ — ради прекрасной его жены, на которую разсчитываетъ Никола. Не трудно замѣтить, что это напоминаетъ въ былинѣ Кирши и въ двухъ нашихъ былинахъ другого (трагическаго) извода, отношенья Владиміра князя къ женѣ своего приближеннаго (самое имя—*Никола*, повидимому, указываетъ на то, что Богданъ плѣненъ своимъ братомъ христіаниномъ, а не туркомъ, какъ въ остальныхъ югославянскихъ пѣсняхъ.). Чтобы дать знать о бѣдѣ вѣрной своей Ангеліи, Богданъ прибѣгаетъ къ способу, совершенно эпическому: пишетъ

---

[41]) Въ теперешнемъ видѣ былины это объясняется силою ея молитвъ Господу. Совершенно подобно этому въ одной малороссійской свадебной пѣснѣ мать невѣсты, впрочемъ уже умершая, проситъ у Бога позволенія опуститься тучею надъ жилищемъ своей невѣсты дочери. Въ такомъ обращеніи къ Богу слышно уже вліяніе христіанское. Первоначально же тутъ просто дѣйствовало извѣстное миѳическое начало оборотничества, которое могло быть доступно каждому, при помощи извѣстныхъ заклинаній и чаръ (см. въ моемъ Ист. Обозр. Р. Слов. стр. 115).

[42]) Это слово толкуется у г. Безсонова какъ—человѣкъ на всѣ руки, размашистый, смѣлый, удатный. Болг. Пѣсни, I, стр. 19, прим. 1).



письмо на крылѣ прилетѣвшаго къ нему голубя. Ангелія, сейчасъ же окрутившись воиномъ, ѣдетъ къ Черноморскому воеводѣ (какимъ оказывается Никола) и кричитъ у него на дворѣ: «будто-ты не слыхалъ, что у султана родилось дитя мужескаго пола и по этому случаю отпущены на свободу рабы? А ты что же держишь своихъ въ темницѣ?» [43]) При этомъ она ему выколола глазъ, такъ что онъ закричалъ и, боясь, какъ бы не потерять и другого, велѣлъ выпустить узниковъ. А Ангелія, узнавъ между ними своего Богдана, конемъ отдѣлила его отъ другихъ и, для виду, легонько ударяя его топузомъ (какъ и въ другой пѣснѣ), посадила къ себѣ на коня и ускакала во весь опоръ.

Мы такимъ образомъ разсмотрѣли нѣсколько юго-славянскихъ пѣсень, представляющихъ, кромѣ общаго сходства съ основою нашихъ былинъ про Ставра, и нѣкоторыя отдѣльныя черты сходства съ кое-какими подробностями въ томъ или другомъ пересказѣ нашей былины.

Но сказаніе о вѣрной женѣ, освобождающей своею находчивостью изъ темницы мужа, имѣется и за предѣлами славянскаго міра. Такъ, на примѣръ, можно указать на прекрасную нѣмецкую пѣсню «Der Graf v. Rom,» въ которой жена отличается не меньшею степенью вѣрности и *догадливости*.

Римскій графъ (безъ точнѣйшаго опредѣленія имени) отправляется въ Палестину на поклоненіе святому гробу, а вмѣстѣ съ тѣмъ, совершенно въ духѣ западно-европейской средневѣковой жизни, nach ehr und ritterschaft. Но онъ попадаетъ въ плѣнъ къ *одному королю*. Если подобная *безыменность* уже служитъ признакомъ начинающейся порчи сказанія, то вслѣдъ за тѣмъ чисто-древнею чертою оказываются тутъ слова короля своему плѣннику:

Und fielestu alle morgen
Teglich auff deine knie,
Du möchtest nit ledig werden,
Dein fraw wer denn selber hie.

Что это разумѣется именно въ смыслѣ отношеній нашего Владиміра къ ставровой женѣ у Кирши, видно изъ дальнѣйшихъ словъ узника: «brecht ich mein frawenhere, so wird sie mir geschwecht». Между тѣмъ онъ пишетъ о постигшей его бѣдѣ женѣ, которая сейчасъ же придумываетъ отправиться къ нему на выручку подъ видомъ монаха. При этомъ она пользуется своимъ умѣньемъ играть на гусляхъ и, допущенная къ королю, обвораживаетъ его своею игрой. Монахъ-музыкантъ проживаетъ у короля четыре недѣли; ему предлагаютъ въ награду всяческія сокровища, но онъ, отказываясь ото всего этого, выпрашиваетъ себѣ узника, вспахивающаго королевское поле,—т. е. римскаго графа. Такимъ образомъ получивъ свободу, графъ возращается домой, гдѣ начинаетъ упрекать жену, что она, по полученіи отъ него письма, не предприняла ничего для его освобожденія. Тутъ она выноситъ ему то монашеское платье, въ которомъ была у короля, и объявляетъ мужу, что чудесный монахъ-гусляръ—это и была она [44]).

Замѣчательно, что въ сборникѣ г. Аѳанасьева подъ заглавіемъ «Царица Гусляръ» (в. VII, № 21), помѣщена сказка, отличающаяся безыменностью, и всего ближе подходящая къ нѣмецкой пѣснѣ. *Нѣкоего* царя, отправившагося

[43]) Совершенно какъ въ сербской пѣснѣ у Вука III, № 49.

[44]) Mittler, Deutsche Volkslieder, S. 24—26. Взята изъ печатнаго изданія 1493 г.



на богомолье въ Святую Землю, забралъ тамъ въ плѣнъ и засадилъ въ темницу *«проклятый король»*. Плѣнникъ (какъ и въ пѣсняхъ болгарскихъ и въ нашей былинѣ Щеголенкова) [45]) написалъ женѣ письмецо: «продавай все наше имѣніе, да пріѣзжай выкупать меня изъ неволи». Она же остригла свои косы, нарядилась гусляромъ и отправилась къ «проклятому королю.» Игра гусляра понравилась королю и онъ спросилъ наконецъ: что тебѣ за труды?—«А пожалуй мнѣ, государь, единаго невольника, ихъ много у тебя въ темницѣ насажено, а мнѣ нуженъ товарищъ въ дорогѣ. Король согласился, и мнимый гусляръ выбралъ своего мужа Вернувшись домой, царь вздумалъ судить жену свою за то, что она не явилась къ нему на выручку. Тогда царица, нарядившись опять гусляромъ, вышла къ царю и заиграла; потомъ сбросила съ себя верхнюю одежду, и всѣ сейчасъ же узнали ее и поняли, кто освободилъ царя. Изъ всего этого, кажется, ясно, что наша сказка, по всѣмъ подробностямъ, гораздо ближе къ нѣмецкой пѣснѣ, чѣмъ къ нашимъ былинамъ, а потому ея и нельзя почитать происшедшею отъ порчи этихъ послѣднихъ, а слѣдуетъ напротивъ того признать, что она должна была зайти къ намъ книжнымъ путемъ извчужа.

Не трудно будетъ вспомнить, что въ черногорской пѣснѣ о Стапѣ Кавальирѣ подвигъ освобожденія совершаетъ не жена, а *невојица*. У насъ же есть сказки, въ которыхъ спасительницею изъ плѣна добраго молодца является его *невѣста*, притомъ же именуемая постоянно Василисой, какъ и жена Ставра, но съ прозвищемъ—Премудрая. Она оказывается обыкновенно дочерью морского царя, въ плѣну у котораго и находится освобождаемый ею царевичъ. Этому послѣднему приходится выполнять различныя мудреныя задачи царскія, и наконецъ узнать дочь царя въ ряду двѣнадцати, совершенно на нее похожихъ сестеръ, въ награду же ему—руки царевны, которая и даетъ ему способъ узнать ее и удачно рѣшить всѣ задачи, а потомъ спасается вмѣстѣ съ нимъ отъ погони царской [46])..

Изъ этого ясно, что Василиса сказочная не особенно близка къ былевой Василисѣ: въ сказкахъ о ней не имѣется даже переодѣванья мужчиной. Зато оно сохранилось въ сборникѣ братьевъ Гриммовъ въ сказкѣ подъ № 67, но побужденье къ переодѣванью тутъ совершенно особое. Молодой царевичъ-женихъ отправляется къ умирающему отцу, который беретъ съ него слово—жениться на другой. Покинутая невѣста отправляется отыскивать своего жениха и беретъ съ собою одиннадцать подругъ, совершенно на нее похожихъ, которыя всѣ, какъ и она сама, переодѣваются охотниками. Отыскавъ царевича, онѣ поступаютъ къ нему на службу. Надоумленный своимъ говорящимъ львомъ, что это должны быть дѣвушки, царевичъ подвергаетъ ихъ испытаніямъ. «Во первыхъ, говоритъ левъ, вели разсыпать горохъ, и замѣчай, какъ онѣ будутъ ступать: у мужчинъ твердый шагъ, хотя бы они шли по гороху,

---

45) Рыбн. II, № 21.

46) См. у Аѳанасьева въ вып. V, № 23 (цѣлыхъ три пересказа изъ губерній Воронежской и Рязанской) и въ вып. VI, № 48 (также три пересказа) и 49 (Тверской Губерніи; въ этомъ послѣднемъ вмѣсто двѣнадцати сходныхъ сестеръ — цѣлыхъ семьдесятъ семь. Замѣчу, что сходныя сказки имѣются у разныхъ народовъ—даже у Японцевъ (См. въ Sitzungsberichte der Wiener Akademie B. LV, Heft I (1867, Jänner) статья Pfizmaier'a: Zu der Sage von Fo-Wo-de-mi-no-mikote). Та же эпическая основа—и въ нашихъ былинахъ про Садку-купца у морского царя.



а у дѣвушекъ будутъ ноги дрожать и горохъ подъ ними будетъ кататься».— Когда же дѣвушки съумѣли ходить по гороху не хуже мужчинъ, приступлено было къ другому испытанью: въ прихожей разставили двѣнадцать прялокъ, въ надеждѣ, что заподозрѣнные охотники сейчасъ за нихъ схватятся. Но они и не посмотрѣли на прялки. Дѣло кончается тѣмъ, что царевичъ узнаетъ свою невѣсту по кольцу и женится на ней, не смотря на завѣщанье отца [47]).

Опять совершенно особое побужденіе къ переодѣванью представляютъ № 10 и 101 въ сборникѣ греческихъ и албанскихъ сказокъ Гана. Тутъ дѣвушка Θеодора переодѣвается воиномъ и подъ именемъ Θеодора отправляется на войну вмѣсто своего старика отца. При этомъ знакомится съ нею чужой царевичъ, которому кажется, что это переодѣтая женщина. Мать совѣтуетъ ему пойти съ нею въ лѣсъ и лечь вмѣстѣ спать на траву. «Если, вставая, поясняетъ мать, ты найдешь, что трава подъ тобою свѣжѣе, то она— дѣвушка». Но испытуемая, ночью, пока царевичъ спитъ, переходитъ на другое мѣсто и возвращается на прежнее только передъ самымъ пробужденіемъ. Такимъ образомъ трава подъ нею должна была оказаться свѣжѣе, чѣмъ подъ царевичемъ. Такъ оно въ сказкѣ подъ № 10 (изъ Загорья близь Капессова), а въ сказкѣ № 101—три испытанія. Одно напоминаетъ сербскую пѣсню и нѣмецкую сказку: передъ испытуемою кладутъ кольца и оружіе, и она хватается за послѣднее [48]). Третье испытаніе напоминаетъ наше былевое посредствомъ бани, только эта послѣдняя замѣнена тутъ купаньемъ, а догадочка дѣвицы состоитъ въ томъ, что она предварительно заказываетъ себѣ особаго рода кафтанъ: когда разстегиваешь одну пуговку, другая сама собою застегивается. Царевичъ хочетъ, чтобы товарищъ его сталъ раздѣваться первый; тотъ, т. е. та, начинаетъ разстегиваться, но пока длится эта нескончаемая работа, царевичъ, раздѣвшись, кидается въ воду, а испытуемая, пользуясь этимъ, садится на коня и ускакиваетъ [49]). Въ концѣ концовъ Θе-

[47]) Grimm, Kinder=und=Hausmärchen, I, 362—365. По побужденію къ переодѣванью съ этою нѣмецкою сказкою сходятся двѣ французскихъ пѣсни, помѣщенныхъ у Puymaigr'a въ Chants populaires, recueillis dans le pays messin, на стр. 76—84. Но конецъ тутъ трагическій: отыскавъ своего невѣрнаго жениха, дѣвушка убиваетъ его.

[48]) Г. Стасовъ совершенно основательно считаетъ это испытаніе весьма древнимъ, находя его и въ расказахъ объ Ахиллесѣ, только съ тою разницею, что здѣсь говорится не о женщинѣ, переряженной мужчиной, а о мужчинѣ, переряженномъ женщиной: (Вѣстн. Евр. Февр., 694). Но нашъ ученый при этомъ заявляетъ, что и въ расказы объ Ахиллесѣ сказаніе это занесено изъ Азіи. Точка зрѣнія—древне-греческая: кому не извѣстно, что уже Иродотъ—сходства греческихъ вѣрованій съ египетскими не умѣлъ объяснить иначе, какъ заимствованіемъ ихъ Греками у Египтянъ? Но въ извѣстномъ смыслѣ сходнымъ съ занимающимъ насъ эпическимъ положеніемъ кажется мнѣ и вошедшее въ нашу лѣтопись испытаніе Святослава паволоками и оружіемъ (только тутъ дѣло не въ полѣ испытуемаго, а въ его нравѣ и образѣ жизни." См. Тихоновскаго Несторову Лѣтопись, стр. 40 — 41. Черта эта, еслибъ о ней вспомнилъ г. Стасовъ, конечно, была бы объяснена имъ опять таки восточнымъ вліяніемъ на нашу лѣтопись — научная разработка которой, по его мнѣнію, главнымъ образомъ должна бы быть дѣломъ нашихъ оріенталистовъ.

[49]) Надо замѣтить, что и во французскихъ пѣсняхъ у Пюимегра дѣвица переодѣвается воиномъ и отправляется вслѣдъ за невѣрнымъ своимъ женихомъ на войну. А въ примѣчаніяхъ у Пюимегра приводится пѣсня піемонтская и указывается одна португальская, гдѣ дѣвушка переодѣвается воиномъ, и идетъ на войну, чтобы замѣнить собою отца, совершенно какъ въ новогреческихъ сказкахъ. Сверхъ того Пюимегръ указываетъ и на сходныя пѣсни новогреческія, а также и другихъ народовъ. Можно еще привесть и валашскую сказку изъ сборника братьевъ Шоттовъ (№ 16) гдѣ побужденіемъ къ переодѣванію служитъ дѣвушкѣ желанье спастись отъ страшнаго жениха. Испытанія состоятъ тутъ въ сопоставленьи оружія съ прялками, предложеніи ѣсть виноградъ (женщины будто бы изъ жадности готовы ѣсть и невымытый), и въ порученіи увезти неприступную красавицу.

одора остается побѣдительницей въ войнѣ [50]), при чемъ, конечно обнаруживается съ ея стороны и боевая умѣлость.

Не трудно замѣтить, что въ большей части этихъ разнонародныхъ сказаній о женщинѣ-мужчинѣ, ей, какъ и въ нашихъ былинахъ, приписывается не только *догадливость*, но и мужество, сила, хотя послѣдняя и не выражается въ ней такъ богатырски-грубо, какъ въ нашей былинѣ.

Но нельзя не обратить вниманія и на то, что сказанію про дѣвицу, которая вмѣсто отца идетъ на войну, соотвѣтствуетъ у насъ совершенно особая, уже затронутая у меня выше былина—о Савишнѣ, женѣ Ильи Муромца, идущей вмѣсто него на войну и побивающей Тугарина Бѣлевича (см. стр. 462). Какъ по внутреннему признаку—мужеству, такъ и по внѣшнему—переодѣванью, Савишна какъ бы повторяетъ Василису, жену Ставра. Вмѣстѣ съ тѣмъ по нѣкоторымъ намекамъ въ этой былинѣ можно догадываться, что нравъ Владиміра предполагается тутъ столько же своенравнымъ, какъ и въ былинахъ про Василису. Уже выше видѣли мы, что въ самомъ зачинѣ былины князья-бояре низко кланяются Владиміру. Далѣе, когда Илью Муромца выбираютъ они вести княженецкую рать на Бѣлевича, то гонцу наказываютъ сказать Ильѣ: «спѣхомъ спѣши, рать въ поле веди». Но Ильи, какъ мы знаемъ, дома не случилося; молодая же жена его Савишна слышитъ *грозенъ наказъ* княженецкій, и молодое сердце у ней *надорвалося*. «Добро, говоритъ, ты, гонецъ, назадъ бѣги, а Илья за тобой не замѣшкаетъ». Затѣмъ она ласково провожаетъ гонца, порѣшивъ въ своей находчивой головѣ—самой окрутиться и выѣхать въ поле, главнымъ образомъ для того, чтобы не ввести во гнѣвъ князя, какъ оно ясно изъ всей постановки расказа.

Такимъ образомъ и эта небольшая пѣсня, какъ бы одиноко ни стояла она въ ряду былинъ объ Ильѣ и какъ бы ни было велико ея соотвѣтствіе со сказаніями другихъ народовъ, вяжется съ особою, цѣльною частію нашего эпоса, съ тою, въ которой является измѣнившимся, впадающимъ въ самодурство когда-то ласковый солнышко князь.

Въ былинахъ о Василисѣ со Ставромъ, сравнительно съ былинами о

---

[50]) Въ одномъ изъ тѣхъ подробныхъ примѣчаній, какими снабженъ сборникъ Гана, указывается на сходную неаполитанскую сказку въ Пентамероне Дона-Базиле, (№ 26), гдѣ также испытуемая купаньемъ ускакиваетъ на конѣ, сославшись на то, что отецъ ея при смерти. Другія два испытанія -въ умѣньи скакать на дикой лошади и стрѣлять изъ ружья (Hahn, Griechische und Albanesische Märchen, II, стр. 313. Содержаніе сказки Гана приводится у г. Стасова въ главѣ о Ставрѣ Годиновичѣ, но съ опущеніемъ того обстоятельства, что Өеодоръ переряживается главнымъ образомъ съ цѣлію пойти за отца на войну. По мнѣнію г. Стасова, и эта сказка—явно азіатскаго происхожденія, какъ и всѣ вообще греческія и албанскія. Чтб бы нашему почтенному ученому обратить хоть какое нибудь вниманіе на предисловіе самого собирателя этихъ сказокъ, Гана, говорящаго вотъ что: при безпрерывныхъ сношеніяхъ Грековъ съ Турками, при существованіи ново-греческаго перевода «Тысячи и одной ночи», можно бы ожидать, что въ ново-греческихъ сказкахъ окажется много сходствъ съ азіатскими. Но оказывается совершенно противное, а именно: большая часть сказокъ, записанныхъ въ уединенныхъ горныхъ деревенькахъ старой Тимфеи (теперешняго Загорья) оказываются только особыми пересказами сказокъ изъ нѣмецкаго сборника братьевъ Гриммовъ (тогда какъ сношенія Грековъ съ Германцами были всегда незначительны). Съ другой-же стороны внимательное изслѣдованіе точекъ соприкосновенія собранныхъ Ганомъ сказокъ со сборникомъ «Тысячи и одной ночи» и съ эллинскою миөологіею, убѣдило собирателя въ томъ, что, за немногими исключеніями, ново-греческія сказки находятся къ тому и къ другой совершенно въ такомъ же отношеніи, какъ и нѣмецкія (см стр. 27 предисловія). А изъ сравнительной таблицы, приложенной Ганомъ къ своему сборнику, оказывается, что изъ 114 помѣщенныхъ у него сказокъ, похожими на восточныя, приводимыя у Бенфея въ его Пантшатантрѣ, можно признать только двѣнадцать, а похожими на нѣмецкія—цѣлыхъ семьдесятъ.

Василисѣ съ Данилой, нравъ Владиміра, какъ могли мы замѣтить, является опять какъ бы немного смягчившимся, обратно поворотившимъ къ прежнему облику, т. е. собственно къ той его сторонѣ, которая выражается во многихъ былинахъ *простоватостью* стольнаго князя, становящагося даже *забавнымъ* [51]). Проучиванье Владиміра Василисой въ этомъ отношеніи только тоньше, и, такъ сказать, приличнѣе проучиванья его Ильей (черезъ Соловья), Иваномъ Гостинымъ (черезъ бурочку) и т. п.

Такимъ образомъ и комическій изводъ нашего сказанія вяжется съ цѣлымъ рядомъ былинъ, носящихъ одинъ общій отпечатокъ, а тѣ или другія сходства этого извода со сказаніями другихъ народовъ объясняются если и не исключительно единствомъ основы эпической (надо однакожь замѣтить, что наиболѣе сходствъ оказывается у насъ съ одноплеменными сказаніями юго-славянскими), то возможностью только нѣкоторыхъ отдѣльныхъ заимствованій въ подробностяхъ.

При извѣстныхъ сходствахъ со сказаніями западно-европейскими, былины о Василисѣ представляютъ съ другой стороны и нѣкоторыя эпическія сходства со сказаніями восточными. Сюда во первыхъ относятся два расказа, вплетенныхъ, по восточному, одинъ въ другой, въ сборникѣ сказокъ Сомадевы въ гл. XIII [52]). Въ одномъ изъ нихъ вѣрная Сактимати выводитъ изъ тюрьмы, посредствомъ переодѣванія, своего мужа; но отличіе этого расказа отъ выше разобраннаго сказанія составляетъ то, что, во первыхъ, не видно, именно ли въ мужское платье переодѣвается Сактимати, во вторыхъ же освобожденный ею мужъ является тутъ заточеннымъ за свою невѣрность женѣ. Съ ея стороны, такимъ образомъ, тутъ полнѣйшее и совершенно особаго рода самоотверженіе. Самое платье, въ которое она переодѣвается, дается ею любезной своего мужа, заточенной съ нимъ вмѣстѣ, съ тѣмъ, чтобы та могла такимъ образомъ выйти изъ заточенія, между тѣмъ какъ великодушная жена занимаетъ ея мѣсто: когда же на утро приходятъ слуги царевы, то застаютъ узника вмѣстѣ съ законной его женой. Послѣ доклада объ этомъ царю, этотъ послѣдній, думая, что тутъ вышла ошибка, велитъ выпустить безвинно (какъ онъ думаетъ) заточеннаго на свободу.—Расказъ этотъ приводится другою, также вѣрною женою, Девасмитою, какъ образецъ, которымъ хочетъ воспользоваться она сама, чтобы избавить отъ опасности своего мужа. При этомъ она пускаетъ въ дѣло переодѣванье именно въ *мужское платье*, такъ что тутъ совершенно всплываетъ эта чрезвычайно распространенная эпическая черта; далѣе же этотъ восточный расказъ уклоняется отъ занимающаго насъ сказанія въ томъ, что мужа своего она застаетъ на волѣ, еще не подвергшимся никакому нападенію со стороны купцовъ, которые вздумали-было за нею приволокнуться, были ею проучены и могли, какъ и опасалась она, выместить это на ея мужѣ.

Какъ ни значительны уклоненія обоихъ этихъ восточныхъ расказовъ

[51]) На это уже было обращено вниманіе г. Безсоновымъ въ зам. къ IV вып. Кир., стр. LII Далѣе тутъ приводится сказка о хитрости Василисы Поповны.

[52]) Кромѣ этихъ двухъ расказовъ, г. Стасовъ указываетъ на третій изъ брокгаузовой Analyse des VI Buches v. Somadevas Märchenschatz.



отъ занимающей насъ эпической основы былинъ про Ставра, все-же они ближе къ ней, чѣмъ та татарская пѣсня, которая выставляется первообразомъ нашихъ былинъ у г. Стасова [53]). Пѣсня эта если и можетъ быть съ ними сближаема, то единственно по переодѣванью мужчиной и мѣткости богатырши въ стрѣльбѣ: главнаго, основного—*вѣрности заточенному мужу*—тутъ и въ поминѣ нѣтъ. Чтò касается сходствъ между нашими богатыршами и богатыршами восточныхъ сказаній, то на это было обращено вниманіе еще и прежде г. Стасова—на прим. въ статьѣ: «Преданія о женщинахъ-богатыряхъ», помѣщенной въ литературномъ отдѣлѣ Московскихъ Вѣдомостей 1853 № 64. Тутъ приведено нѣсколько преданій мадьярскихъ и среднеазіятскихъ (между прочимъ, о Гессерѣ и богатыршѣ Адшу-Мергенъ) [54]).

Перейду однакожь къ той пѣснѣ Алтайскихъ Татаръ, которою г. Стасовъ надѣется побить всѣ, какъ онъ говоритъ, *фантазіи* своихъ предшественниковъ, состоявшія въ томъ, что они принимали Ставра за подвергшагося опалѣ боярина.—Нѣтъ, говоритъ имъ нашъ новый изслѣдователь, Ставръ—это Алтаинъ-Саинъ-Саламъ, отправившійся однажды на охоту, упавшій со своего рыжаго коня Аикимъ-Саикима и убившійся до смерти. «Свой человѣкъ» Ставра, дающій знать женѣ его, что онъ посаженъ въ тюрьму,—это рыжій конь, извѣщающій о смерти Алтаинъ-Саина сестру его. Василиса, жена Ставра, это сестра Алтаинъ-Саина, сѣвшая на его коня и поѣхавшая на немъ туда, гдѣ лежалъ ея мертвый братъ.—Тюрьма, въ которую посаженъ Ставръ, это та скала, которой сказала сестра Алтаинъ-Саина: «растворись, скала, разступись, скала, я вложу внутрь тебя единственнаго своего брата». Но кѣмъ же долженъ оказаться въ алтайской пѣснѣ Владиміръ-князь? Надобно думать, тѣмъ-же, кѣмъ оказывается и «свой человѣкъ» Ставра,—т. е. рыжимъ конемъ Алтаинъ-Саина; по крайней мѣрѣ г. Стасовъ утверждаетъ, что, вслѣдствіе *небольшого* измѣненія, изъ паденія Алтаина съ коня вышло въ нашей былинѣ попаденье Ставра въ немилость у князя.

Далѣе, по словамъ г. Стасова, слѣдуютъ въ обоихъ расказахъ (т. е. алтайскомъ и русскомъ) *ближайшія черты сходства*. Дѣйствительно, сестра Алтаина, какъ и Василиса, *причесываетъ себѣ голову по мужскому*, *садится на коня* и отправляется къ хану, на дорогѣ къ которому молодые люди предлагаютъ ей *стрѣлять въ цѣль*. Попавъ въ нее и пріѣхавъ къ хану, она, выдавая себя за Алтаинъ-Саина, получаетъ въ награду за мѣткую стрѣльбу невѣсту. Вслѣдъ за тѣмъ ѣдетъ она къ другому хану, снова стрѣляетъ въ цѣль и добываетъ новую невѣсту. Возвращаясь съ обѣими въ братнюю юрту, она живетъ съ ними не такъ, какъ бы слѣдовало мужу, чтò и заставляетъ ихъ подозрѣвать, что она не мужчина. Дѣло кончается тѣмъ, что она опять ѣдетъ къ скалѣ и заставляетъ ее выдать обратно того, кому и назначала она обѣихъ

[53]) Между тѣмъ именно расказы Сомадевы и затронуты г. Стасовымъ только слегка. Но еще замѣчательнѣе, что онъ только указываетъ на существованіе соотвѣтственныхъ пѣсенъ у Южныхъ Славянъ, ссылаясь при этомъ, по обыкновенію, на нѣмецкій переводъ Каппера. Нѣмецкая же пѣсня о «римскомъ графѣ» даже и не упомянута нашимъ ученымъ.

[54]) Статья эта заимствована изъ Magazin für die Litteratur des Auslandes 1856 г. № 60. Кое чтò соотвѣтственное приведено было, если не ошибаюсь, и въ статьѣ И. Худякова: «Данныя для сравнительнаго изученія русскаго народнаго эпоса» (по поводу двухъ первыхъ выпусковъ Кирѣевскаго), напечатанной въ Моск. Вѣд. 1861 г., № 44.



невѣстъ, т. е. Алтаина, невѣсты же чародѣйными словами окончательно возвращаютъ его къ жизни. Вслѣдъ за тѣмъ и сестра Алтаина выходитъ замужъ за ханскаго сына.

При этомъ г. Стасовъ находитъ особенно важнымъ, что алтайская богатырша добываетъ не *одну*, а *двухъ* невѣстъ. Именно въ этомъ обстоятельствѣ, думаетъ онъ, съ особенною яркостью обозначается, что сибирская пѣсня гораздо древнѣе русской; что та—оригиналъ, а эта—копія. «У насъ героиня добываетъ невѣсту, и потомъ это ровно ни къ чему не ведетъ.... Въ алтайской пѣсни совсѣмъ иначе... Героиня добываетъ двухъ женщинъ, но это не безцѣльно: онѣ дѣйствительно становятся женами ея брата...». Нашъ почтенный ученый какъ будто не понимаетъ, что Василиса въ нашей былинѣ только *притворяется* ищущею невѣсты, которая и не должна тутъ быть настоящею *цѣлью*, потому что цѣль тутъ—совсѣмъ другая: освобожденье мужа. Самъ по себѣ *подобный способъ притворства* могъ даже замѣшаться сюда изъ постороннихъ сказаній; онъ даже совсѣмъ не существенъ въ нашей былинѣ: въ пересказѣ Кирши, какъ мы знаемъ, онъ замѣненъ совершенно другого рода притворствомъ—выдачею себя за посла, пріѣхавшаго по дань. Такъ же точно и въ югославянскихъ вышеразобранныхъ пѣсняхъ вовсе не имѣется *притворнаго сватанія*, а между тѣмъ основа у нихъ съ нашей былиной—одна и та-же.

Желая во что́ бы ни стало приравнять алтайскую пѣсню къ русской, г. Стасовъ не обратилъ никакого вниманія именно на такую своеобразную черту въ первой, которая составляетъ ея настоящую драгоцѣнность. Черта эта заключается въ томъ, что сестра Алтаина не только принимаетъ его имя и видъ, но и воспринимаетъ въ себя его богатырскую силу, сказавъ: «не я стрѣляю, — стрѣляетъ Алтаинъ-Саинъ-Саламъ.» Заговаривающею силою этихъ словъ богатырская умѣлость его дѣйствительно сообщается ей, и она съ этихъ поръ становится какъ бы настоящимъ Алтаинъ-Саиномъ. Ни въ одномъ изъ европейскихъ изводовъ занимающаго насъ сказанія ничего подобнаго нѣтъ, хотя по *основному воззрѣнью* всѣ вообще европейскіе *заговоры* оказываются стоящими на той же почвѣ.

Съ другой стороны ученый нашъ проглядѣлъ (но это, можетъ быть, не безъ умысла) такую черту въ нашихъ русскихъ пѣсняхъ, которой нѣтъ и въ поминѣ въ алтайскомъ его *первообразѣ*: (хотя она и принадлежитъ въ свою очередь къ числу распространенныхъ по разнымъ странамъ),—я разумѣю то поползновеніе князя воспользоваться женою опальнаго, которое, напоминая царя Давида и германскаго Эрминрека, встрѣчается въ нѣкоторыхъ изъ вышеприведенныхъ югославянскихъ пѣсень, въ былинѣ Кирши о Ставрѣ, наконецъ въ нашемъ русскомъ изводѣ *трагическомъ* (этотъ послѣдній съ его *Данилой Ловчаниномъ* затронутъ г. Стасовымъ только вскользь,—что̀ и понятно, при совершенномъ его неудобствѣ для сравненья съ алтайскою пѣсней). Но нѣтъ ли этой черты въ томъ расказѣ изъ Магабгараты, который приводится нашимъ ученымъ вслѣдъ за алтайскою пѣсней и въ которомъ онъ отыскиваетъ «главный мотивъ, лежащій въ основаніи всѣхъ остальныхъ разсказовъ», сближаемыхъ у него съ былиною про Ставра?

Проживъ на свѣтѣ нѣсколько тысячъ лѣтъ, царь Яяти поднялся на небо, гдѣ и наслаждался блаженствомъ опять много тысячъ лѣтъ. Наконецъ онъ возгордился среди сонма святыхъ мудрецовъ и царей и сталъ презрительно говорить объ нихъ, за что̀ и свергнутъ съ неба на землю. Но дочь его, царевна Мадхави, выкупаетъ его вину своими подвижническими заслугами, и онъ снова возвращается на небо [55]).

Вышеприведенная алтайская пѣсня, по мнѣнію г. Стасова, занимаетъ «*среднее* мѣсто между этимъ символическимъ разсказомъ Магабгараты и чисто богатырскимъ русской пѣсни». Такимъ образомъ приходится заключить, что блаженный Яяти, свалившійся съ неба, сперва обратился въ Алтаинъ-Саинъ-Салама, свалившагося со своего рыжаго коня, а потомъ уже изъ Алтаина передѣлался у насъ въ Ставра, ниспавшаго въ темницу изъ гридни владиміровой (=рыжему коню). Дочь Яяти, подвижница Мадхави, выкупающая грѣхъ отца, сперва обратилась въ богатырскую сестру Алтаина, добывающую двухъ невѣстъ своему разщибшемуся до смерти а потомъ воскресающему брату, а наконецъ уже изъ этой сестры Алтаина она перешла въ вѣрную жену Ставра, при помощи силы и догадочекъ женскихъ выводящую его изъ темницы. Такимъ образомъ въ расказѣ изъ Магабгараты намъ дается только древнѣйшій, по мнѣнію г. Стасова, видъ алтайской пѣсни; но какъ въ послѣдней, такъ и въ этомъ *древнѣйшемъ видѣ*, всетаки не оказывается того поползновенья воспользоваться чужою женой, которое составляетъ такую существенную черту въ цѣломъ особомъ изводѣ нашей русской былины.

Послѣ всего этого, я бы позволилъ себѣ, во первыхъ, вступиться за Алтайскихъ Татаръ, за нхъ въ своемъ родѣ прекрасную, своеобразную пѣсню, которую г. Стасову вздумалось выдать за выкраденную изъ Магабгараты, тогда какъ она можетъ принадлежать и собственному ихъ творчеству. Во вторыхъ мнѣ бы думалось, что предшественники г. Стасова, укоряемые имъ въ *фантазіяхъ*, могли бы *отворотить* этотъ укоръ ему самому. Самое, приводимое ими указаніе на того Ставра, который упомянутъ подъ 1118 г. въ 1-й Новгородской Лѣтописи, какъ сотскій Владиміра Мономаха, разгнѣвавшій князя и посаженный имъ въ тюрьму,—самое это указаніе совсѣмъ не такъ странно, какъ кажется г. Стасову. Дѣло въ томъ, что въ древнѣйшей лѣтописи упоминаются, какъ намъ случалось уже замѣчать, и нѣкоторыя другія лица, дѣйствующія въ былинахъ. [56]) На это давно уже было указано Л. Н. Майковымъ въ 1-мъ и лучшемъ отдѣлѣ его разсужденія о Былинахъ Владимірова Цикла; и тутъ же на стр. 28—29 въ примѣчаніяхъ сказано сверхъ того: «Лѣтописи знаютъ и о такихъ богатыряхъ, которые не воспѣты въ былинахъ, какъ во времена Владиміра упоминаются Янъ-Усмошвецъ (основа сказанья о немъ сохранилась однакоже и устно въ расказахъ о Кожемякѣ) и «Рагдай удалой, яко наѣзжаше сей на триста воинъ» (Ник. Л. п. 1000 годомъ) [57]) и т. д., да при Мстиславѣ удаломъ «мужи храбри зѣло и *велицы богатыри*».—Все это въ томъ

[55]) Вѣстн. Европы 1868 г. Февр. стр. 688—696.

[56]) См. выше стр. 416—417.

[57]) Напомню, что выше, на стр. 586, видѣли мы въ пѣснѣ изъ книжки «Fürst Wladimir» богатыря Рогдая, не оказывающагося ни въ одномъ изъ нашихъ сборниковъ.



только случаѣ не будетъ болѣе приниматься за доказательство взаимовліянія между нашею лѣтописью и нашимъ народнымъ эпосомъ, если г. Стасову удастся доказать, что и лѣтопись наша выкрадена изъ восточныхъ сказаній.

А пока пусть будетъ позволено мнѣ повторить слова одного изъ нашихъ *фантазеровъ*, что наша былина «отъ временъ Мономаха отодвигаетъ Ставра ко времени Владиміра Святославича». «Ставръ по былинѣ бояринъ, по лѣтописи только сотскій, но ни та, ни другая не считаютъ его богатыремъ.» [58]) Изъ этого, конечно, не слѣдуетъ, чтобы наше былевое сказаніе о Ставрѣ непремѣнно возникло изъ историческаго событія; напротивъ, воспоминаніе о послѣднемъ должно было только примкнуть къ готовому и отчасти сходному эпическому положенію, подобно тому какъ и къ самому Владиміру стольно кіевскому только пріурочены были сказанія, существовавшія уже со временъ отдаленнѣйшей старины. Къ издавнимъ чертамъ, эпически-прикрѣпившимся къ Владиміру Святославичу, позже примкнули историческія черты, принадлежавшія другому Владиміру — Мономаху [59]), подобно тому, какъ къ тѣмъ древнѣйшимъ азіятскимъ насильникамъ, въ которыхъ эпически-претворились древнѣйшія темныя силы миѳическія, въ позднѣйшее время примкнули въ нашихъ былинахъ поработители русской земли, Татары — также отнесенные эпосомъ къ порѣ владиміровой (мы уже видѣли столкновеніе съ ними Сухмана). Въ свою очередь и исторически-возникшіе изъ татарской поры, а потомъ положившіе ей конецъ, порядки московскіе наложили до извѣстной степени и свой отпечатокъ на нашъ эпосъ, отпечатокъ, такъ рѣзко въ немъ разнящійся отъ древнѣйшей подкладки кіевской.

Вотъ этотъ-то отпечатокъ замѣтенъ, какъ видѣли мы, и на трагическихъ былинахъ про Данилу Ловчанина, и на комическихъ про Ставра. Это послѣднее, исторически-древнее имя, уцѣлѣло именно въ томъ изводѣ нашего сказанія, который, по его смягченности, можно признать позднѣйшимъ. Впрочемъ и другое имя, то, которое закрѣпилось за изводомъ трагическимъ, *Данило*, издавна употреблялось въ нашемъ эпосѣ, какъ какое-то преимущественное имя *опальныхъ*. Стóитъ только вспомнить свидѣтельства нашей древней письменности о загадочномъ *Даніилѣ заточникѣ* [60]). Но хотя бы оба эти

---

[58]) См. въ той же книгѣ Л. Н. Майкова на той же 28 стр. въ примѣчаніи.

[59]) Сюда между прочимъ относится, по замѣчанію г. Майкова, то знаменитое мономахово гостепріимство, о которомъ свидѣтельствовалъ митрополитъ Никифоръ въ своемъ посланіи къ князю: «самъ убо служиши и стражеши рукама своима». (См стр. 24 диссертаціи г. Майкова).

[60]) См. въ моей книгѣ о русской словесности стр. 375. Съ другой стороны у насъ и до сихъ поръ существуютъ сказанія о безчастномъ Данилѣ, служившемъ Владиміру и ничего у него не выслужившемъ. Два такихъ сказанія, оба изъ Оренбургской Губерніи, помѣщены въ сборникѣ г. Аѳанасьева подъ № 60 и 61 (во второмъ, значительно попорченномъ, Владиміръ передѣлался въ царя Ивана, а Данило въ брата его Василья царевича). Въ полдень страстной субботы князь наконецъ вздумалъ оказать безчастному милость — подарилъ ему соболиныхъ мѣховъ, съ приказаньемъ сшить шубу къ христосской заутрени, а также «не литы пуговицы», что бы отлить ихъ къ праздику. Никто не берется смастерить это все такъ скоро, но Чудо-Юдо знакомитъ Данилу съ Лебедь-дѣвой, которая, взявъ съ него слово на ней жениться, доставляетъ ему въ срокъ и шубу, и пуговки. «Какъ выйдешь, говоритъ она ему, отъ заутрени, ударь тростью во грудь;—и птицы на твоихъ пуговицахъ запоютъ, львы заревутъ; (отзвукъ былинъ про Илью на Соколѣ кораблѣ и про Дюка съ Чурилой)» только не хвались говоритъ ему Лебедь; ты иною у князя (съ этихъ поръ сказаніе начинаетъ напоминать былину про Данилу). Но Данило безчастный пьянъ напивается, съ пьяну женой похваляется. А Алеша Поповичъ бабій пересмѣшникъ (онъ такимъ образомъ вполнѣ вѣренъ себѣ и въ этомъ сказаніи) сталъ похваляться, будто онъ знаетъ (въ подозрительномъ смыслѣ) жену Данилы. Отъ него требуютъ доказатель-

имени и были одинаково древни, дѣйствительно ли, могутъ возразить, трагическій изводъ древнѣе комическаго, и дѣйствительно-ли второй является только смягчительной передѣлкой перваго? Не объясняется-ли напротивъ того изводъ трагическій тѣмъ *осуровленіемъ* власти, которое совершилось у насъ въ позднѣйшее время, а комическій не служитъ-ли отголоскомъ той болѣе древней поры, которой эпическимъ выраженьемъ былъ если и не всегда добродушный, то и въ самыхъ дурныхъ своихъ начинаньяхъ всегда *простодушный*, а потому и легко проучиваемый Владиміръ? — Положительное рѣшеніе такого вопроса, можетъ быть, невозможно; но несомнѣнно то, что и на изводѣ комическомъ замѣтенъ отпечатокъ *позднѣйшаго строя власти*, а потому онъ и не можетъ почитаться отголоскомъ отдаленной поры вольно-кіевской. Отпечатокъ этотъ заключается въ томъ, что въ нѣкоторыхъ пересказахъ извода комическаго у Владиміра, какъ и въ изводѣ трагическомъ, имѣются *слуги вѣрные*, всегда готовые выполнять его самодурныя приказанія. Такимъ образомъ, существуя и въ изводѣ комическомъ, этотъ отпечатокъ однакоже въ немъ *слабѣе*, нежели въ трагическомъ, а это, можно думать, объясняется тѣмъ, что онъ тутъ *ослабленъ* подъ вліяньемъ комизма.

Впрочемъ, мы знаемъ уже, что и въ древнѣйшемъ эпическомъ обликѣ князя Владиміра, кромѣ мягкихъ, сочувственныхъ, существовали и несочувственныя черты. Кромѣ объясненія ихъ съ одной стороны самодурнымъ складомъ первобытной, такъ называемой патріархальной власти, съ другой—наслоеньемъ варяжско-дружиннымъ (см. выше стр. 329), существованье уже издавна во Владимірѣ и такой несочувственной стороны могло имѣть корень даже въ его первоначальномъ значеньи миѳическомъ. Позволю себѣ повторить здѣсь слова изъ моей книги о русской словесности: «уже изъ сказокъ мы знаемъ, что и солнышко могло представляться не только *ласковымъ*, *яснымъ*, но *и жгучимъ*, *палящимъ*, *злобнымъ*. При позднѣйшемъ *бытовомъ* наслоеніи на *солнышко кіевское*, благотворная миѳическая его сторона должна была перейти въ доброжелательныя отношенія князя къ народу, напротивъ сторона враждебная могла сохраниться въ отношеньяхъ къ народу иного свойства—во вспышкахъ произвола, самоуправства. Если эти послѣднія стали особенно выдвигаться впередъ только въ позднѣйшее время нашей исторіи,—

---

ства, и онъ ухитряется достать цѣпочку Лебеди. Обезчещенному Данилѣ, согласно условію, приходится рубить голову. Въ аѳанасьевскомъ пересказѣ подъ № 60 конецъ, очевидно, испорченъ, отзываясь постороннею примѣсью: Данило идетъ каяться въ своей похвальбѣ къ самой Лебеди, оклеветанной передъ нимъ въ измѣнѣ; она, въ утѣшенье, велитъ ему пригласить въ гости князя. Владиміръ сейчасъ же подается на приглашеніе обреченнаго на смерть Данилы, пріѣхавъ къ которому, ему приходится удивляться различнымъ диковинамъ, натвореннымъ Лебедью (ср. съ диковинами у Чирилы и Дюка). Садятся гости за столъ, а Лебедь бѣлая не показывается, и Данило напрасно ее зоветъ. «Еслибы это сдѣлала моя жена, заговорилъ Алеша, я бы ужь научилъ ее мужа слушаться». Тутъ вдругъ появляется Лебедь: «вотъ де какъ мужей учатъ»—сказала, да и взвилась-полетѣла.—Гораздо осмысленнѣе конецъ въ сказкѣ подъ № 61. Оклеветанная жена продается тутъ мужемъ за сто рублей купцамъ. Ее привозятъ въ городъ, гдѣ умеръ царь и начались выборы: у кого, при входѣ со свѣчой въ церковь, свѣча сама затеплится, тому и царемъ быть: черта, существующая во многихъ сказаньяхъ на западѣ, и, должно быть, зашедшая къ намъ путемъ книжнымъ; по крайней мѣрѣ въ сходной сказкѣ у Рыбн. II № 51 это происходитъ въ Португальскомъ Царствѣ. Какъ у Аѳанасьева, та и у Рыбникова оклеветанная жена переодѣвается мужчиной (что опять напоминаетъ жену Ставра); при входѣ въ церковь свѣча у нея загорается и она дѣлается царемъ. Позже, пріѣхавъ къ Владиміру, она открывается своему мужу въ банѣ, повернувшись къ нему передомъ (опять сходно съ узнаніемъ въ одномъ изъ пересказовъ был. про Ставра)

то первоначальныя проявленія ихъ могли быть возможны уже въ старину, а потому къ ней же можетъ быть отнесенъ и первый зародышъ былинъ о такихъ, такъ сказать, неблагопріятныхъ припадкахъ у князя Владиміра (къ числу ихъ можетъ, на примѣръ, быть отнесено приневоливанье Настасьи, жены Добрыни, выйти за мужъ за Алешу Поповича—см. выше стр. 493) [61]). Безъ сомнѣнія, уже при первыхъ признакахъ подобнаго рода припадковъ у князя, извѣстное *нравственное чувство* народной поэзіи стало противопоставлять его деспотизму то высокое сознаніе собственнаго достоинства, которое не позволяетъ богатырямъ поддаваться Владиміру и рѣшительно портить его рабской покорностью·» [62]).

Собственно только въ выше разобраной былинѣ про Данилу Ловчанина насъ поражаетъ совершенное подобострастіе богатырской дружины, подобострастіе, объясняемое уже вліяньемъ позднѣйшей поры исторической, въ силу котораго и единственный, раздающійся изъ рядовъ дружины, смѣлый, правдивый голосъ — самого Ильи Муромца—остается тутъ только *голосомъ*. Надо, впрочемъ, замѣтить, что мы имѣетъ еще особый пересказъ былины про Данилу Ловчанина, записанный въ Симбирской Губерніи въ селѣ Станичномъ. [63]) Онъ далеко не такъ полонъ, какъ пересказъ изъ села Павлова, а потому мнѣ и не было до сихъ поръ надобности на немъ останавливаться. Теперь же считаю нужнымъ указать на то, что въ немъ противъ Данилы выѣзжаютъ не богатыри святорусскіе, а *триста бояриновъ* да *триста Татариновъ*: сближеніе весьма замѣчательное и легко объясняемое дѣйствительнымъ наплывомъ татарщины въ нашу боярщину. Кромѣ же того противъ Данилы тутъ выѣзжаютъ и триста *Донскихъ казаковъ*, которыхъ сопричисленье къ Татарамъ-боярамъ объясняется, надо думать, ихъ образомъ дѣйствій въ смутное время,—такъ что тутъ ощутителенъ историческій слой уже очень поздній. Данило, не задумавшись, побиваетъ ихъ всѣхъ; въ живыхъ остаются только *малые люди*, которыхъ онъ, надо думать, щадитъ, какъ людей подневольныхъ. Вотъ они-то и доносятъ князю о гибели его Татаръ-бояръ-казаковъ и о самоубійствѣ самого Данилы. Такимъ образомъ пересказъ этотъ *выгораживаетъ*, такъ сказать, святорусскихъ богатырей, но объ ихъ набольшемъ, Ильѣ Муромцѣ, онъ и не упоминаетъ.

Обратимся теперь къ другимъ былинамъ, въ которыхъ Илья всею силой своего богатырства открыто вступаетъ въ борьбу съ самодурящимъ княземъ. Только поводы къ враждебному столкновенію съ нимъ выставляются въ этихъ былинахъ иные. Онѣ совершенно не знаютъ про Василису и, какъ по этому, такъ и по проникающему ихъ настроенію, очевидно, принадлежатъ къ совершенно особой былевой струѣ, протекавшей по мѣстностямъ, болѣе отдаленнымъ отъ средоточія *грозной* поры московской. Записаны эти былины на

---

[61]) О впаденіи свѣтлыхъ божествъ въ значенье враждебное см. у Гануша въ Wissenschaft des slavischen Mythus, стр. 189, 259. Ср. у Преллера — Griechische Mythologie, I, 85.

[62]) См. въ моей книгѣ о русской словесности стр. 228—229.

[63]) Кир. III, стр. 28—32. Пересказъ этотъ доставленъ въ сборникъ Кирѣевскаго А. М. Языковымъ. Мишатка Путятинъ называется въ немъ Путятинымъ Путятовичемъ. Данило посылается тутъ для убіенія звѣря лютошерстнаго на знаменитый Буянъ-Островъ, такъ часто упоминаемый въ заговорахъ.



сѣверѣ, частью въ Олонецкомъ, частью въ Архангельскомъ краѣ, т. е., надо напомнить, тамъ, гдѣ даже и не было никогда заполонившаго остальную Русь крѣпостного права. Какъ вообще, такъ и въ данномъ случаѣ, это обстоятельство не могло не отразиться на *духѣ* проживавшаго въ томъ краѣ эпоса. Сюда, вопервыхъ, относится былина, записанная въ Архангельскомъ Уѣздѣ А. Харитоновымъ и доставленная въ сборникъ Кирѣевскаго черезъ В. И. Даля (Кир. IV, стр. 46—49). Издатели сожалѣютъ о томъ, что у нея не сохранилось начала, но надо бы знать, такъ ли смотрѣлъ на нее самъ пѣвецъ. Быть можетъ, въ его сознаньи она такъ и должна была начинаться словами:

Ѣздитъ Илья во чистомъ полѣ,
Говоритъ себѣ таково слово:
«Побывалъ я Илья во всѣхъ городахъ,
Не бывалъ я давно во Кіевѣ.
Я поѣду въ Кіевъ попровѣдаю,
Что такое дѣется во Кіевѣ.

Извѣстно, что и самыя полныя, цѣльныя былины содержаньемъ своимъ указываютъ на другія, извѣстность которыхъ ими предполагается. Такимъ образомъ и занимающая насъ теперь могла въ свое время, въ цвѣтущемъ возрастѣ нашего эпоса, предполагать извѣстными причины столь долгаго удаленья Ильи изъ Кіева; сама же она повѣствуетъ о томъ, что̀ произошло, когда богатырь вдругъ надумался—опять побывать въ родномъ Кіевѣ. Владиміра, какъ и слѣдуетъ ждать, Илья застаетъ за пиромъ. Но очень давно, должно быть, онъ не бывалъ у князя, и не бывалъ у него не даромъ, если теперь «остоялся Илейко у ободверины: не опозналъ его Владиміръ князь». На спросъ объ имени онъ отвѣчаетъ солнышку: «я Никита Заолѣшанинъ».

Не садилъ его Владиміръ *со боярами*, садилъ его Владиміръ съ *дѣтьми боярскими*—указанье на тѣ различія сословныя, какими обозначается у насъ опять таки пора поздняя, уже московская.

Но Илья находитъ, что ему не по чину мѣсто, не по силѣ честь: «самъ ты, князь, сидишь съ воронами, а меня садишь съ воронятами»... При томъ зловѣщемъ значеніи, какое обыкновенно имѣетъ въ народной поэзіи *черный* воронъ, такое прозвище обнаруживаетъ не совсѣмъ-то благопріятный взглядъ Муромца на бояръ—гостей княжескихъ. Князю же, въ свою очередь, за обиду это пало.

Есть у меня, Никита, три богатыря;
Выходите-ко вы, самолучшіе,
Возьмите Никиту Заолѣшанина,
Выкиньте вонъ изъ гридницы!

Вотъ зачѣмъ теперь у Владиміра могучіе богатыри! Они уже не оказываются у него за столомъ, на ряду съ боярами, а какъ будто выходятъ откуда-то со стороны, изъ загона, какъ какая-то чисто служебная, грубая, дикая сила. И вотъ начинаютъ они, въ угоду Владиміру князю, попѣхивать и поталкивать Илью Муромца, — только онъ себѣ стоитъ не шатнется, и даже колпакъ не тряхнется на буйной главѣ воображаемаго Никиты: «Ежели хошь, князь Владиміръ, позабавиться, подавай еще трехъ богатырей». Выходятъ еще трое, а потомъ и еще трое,—ничего не могли упахать съ Ни-

китушкой.—Оказывается, однако, что при томъ пиру, при бесѣдушкѣ, сидѣлъ, на ряду съ боярами, и Добрынюшка богатырь,—можетъ быть въ силу своего извѣстнаго былевого родства съ Владиміромъ. Какъ же было ему не узнать своего—хотя и долго отсутствовавшаго брата названаго?—Вотъ и рѣшается онъ сказать князю-дядюшкѣ:

Не умѣлъ ты гостя на пріѣздѣ учествовать,
На отъѣздѣ гостя не учествуешь;
Не Никитушка пришелъ Заолѣшанинъ,
Пришелъ старъ казакъ Илья Муромецъ».—

Самъ-же Илья говоритъ князю, что напрасно онъ вздумалъ тѣшиться:

«Глядючи на меня, отойдетъ у тебя охота».
Сталъ онъ Илейко потѣшиться,
Сталъ онъ богатырей попихивать...
Богатыри по гридницѣ ползаютъ...
—Ой ты гой еси, старъ казакъ Илья Муромецъ!
Вотъ тебѣ мѣсто подлѣ меня,
Хоть по правую руку, аль по лѣвую,
А третьее тебѣ мѣсто—куда хошь садись.

Но уже слишкомъ поздно прибѣгаетъ Владиміръ къ такому обращенью *по старинѣ*:

«Володиміръ князь земли святорусскія,
Правду сказывалъ Добрынюшка:
Не умѣлъ ты гостя на пріѣздѣ учествовать.
На отъѣздѣ гостя не учествуешь!
Самъ ты сидѣлъ со воронами,
А меня садилъ съ воронятами...

Былина эта, мнѣ кажется, въ своемъ родѣ цѣлостна и совершенно понятна. Обращенье съ Ильей Владиміра, хотя и противорѣчащее господствующему строю былинъ, объясняется особою обстановкой князя, и тѣмъ, что онъ не опозналъ, или не хотѣлъ опознать богатыря, не даромъ, не безъ какихъ нибудь *прежнихъ столкновеній*, такъ долго отсутствовавшаго. Причиной такихъ столкновеній въ какихъ нибудь прежнихъ былинахъ того-же края могло быть и вмѣшательство Ильи въ похожденіе съ Василисой, но, надо думать, вмѣшательство болѣе дѣятельное и рѣшительное, чѣмъ приписываемое Ильѣ въ дошедшихъ до насъ былинахъ Нижегородскаго края.

Опять со значительными особенностями представляется ссора Ильи съ Владиміромъ въ большой *сводной* былинѣ у Рыбникова II, № 63 (Андрея Сорокина). Въ очень многомъ оказывается тутъ самое явное сходство съ пересказомъ изъ Архангельскаго Уѣзда.

Выше эта былина уже была затронута—при разборѣ былинъ про первый пріѣздъ Ильи въ Кіевъ (стр. 321—325), съ которымъ, какъ видѣли мы, спутана тутъ позднѣйшая ссора Ильи съ Владиміромъ, насъ теперь занимающая. Мы видѣли, какъ Владиміръ тутъ сажаетъ Илью на нижній конецъ стола, какъ онъ не хочетъ кушать у него съ *воронятами*, тогда какъ самъ князь кушаетъ съ *воронами* (т. е. съ князьями-боярами и *сенаторами* думными), какъ Владиміръ, обидѣвшись этимъ прозвищемъ, велитъ—сперва двумъ тройкамъ, потомъ двумъ шестернямъ богатырей выпихнуть Илью изъ гридни, какъ Илья кладетъ ихъ замертво, вслѣдъ за тѣмъ стрѣляетъ по княженецкимъ маковкамъ и идетъ на царевъ кабакъ пропивать ихъ съ голями.

Уже самое выраженье — *царевъ-кабакъ* — опять напоминаетъ о той, все еще не изжитой нами порѣ, которая началась лишь съ Москвою [64]).

Сталъ какъ онъ съ голями пить зелено вино...
Голи тутъ да засумлялися:
«Что-то намъ отъ князя да будетъ...
Пропиваемъ мы его да маковки»!

Ужъ какъ *самъ* говоритъ таковы слова:
«Пейте, вы, голи, не сумляйтеся:
«Я заутра буду во Кіевѣ *княземъ служить*, [65])
«А у меня вы будете предводителями».

А Владиміръ между тѣмъ, хотя и не зналъ еще, что Илья назначилъ ему такой *краткій срокъ*, со страху попалъ въ критическое положеніе крыловскаго Трумфа. Вотъ и раздумываетъ бѣдный князь, кого бы послать къ разсвирѣпѣвшему богатырю, и останавливается на Добрынѣ Никитичѣ, извѣстномъ былевомъ послѣ и переговорщикѣ, къ тому же и успѣвшемъ уже догадаться, что разгулявшійся — *самъ* Илья. Разсвирѣпѣнье послѣдняго до того доводится въ нашей былинѣ, что даже Добрыня его боится: «не по смерть-ли я иду, да по скорую? А ежели не послухать солнышка князя Владиміра, то не хорошо мнѣ будетъ отъ солнышка князя Владиміра».

Послѣдній страхъ пересиливаетъ, а первый оказывается напраснымъ. Добрыня ссылается передъ Ильей на то, *что пословъ ни куютъ ни вѣшаютъ* [66]), и извиняетъ Владиміра тѣмъ, что онъ *не зналъ* его, добра молодца. И добрый молодецъ умилостивляется:

«Поди, скажи солнышку князю таковы слова:
Пусть-ко для меня, для молодца,
Разошлетъ указы строгіе...
Чтобы отворены были всѣ *конторы*, [67])
Кабаки всѣ и пивоварнія,
На трои сутки отворены,
Чтобы весь народъ пилъ да зелено вино,
Безданно безпошлинно...
Чтобы знали, что наѣхалъ старый казакъ,
Старый казакъ Илья Муромецъ...
Пусть для меня, для молодца,
Заведетъ столованье — почестный пиръ.
Ежели не сдѣлаетъ *князь* по моему,
То онъ *процарствуетъ* только до утрія».

Все это, какъ оно въ эпосѣ быть должно, отъ слова до слова передаетъ Добрыня Владиміру, пояснивъ въ началѣ: такъ, молъ, тебѣ отъ Ильи *приказано* [68]). Владиміръ немедленно *слушается*. Собирается у него столованье — почестный пиръ.

---

[64]) См. Прыжова, Исторія Кабаковъ на Руси, стр. 49—51 (и вообще всю 5-ю главу.)

[65]) Замѣчательное выраженіе, указывающее на власть княжескую, какъ на мірскую повинность.

[66]) Эта неприкосновенность посла составляетъ черту, замѣчаемую въ эпосѣ разныхъ народовъ. Беккеръ, въ своихъ прекрасныхъ сравненіяхъ гомерическаго эпоса съ средневѣковымъ, приводитъ нѣсколько примѣровъ этого рода изъ chansons de geste (Monatsbericht der Berliner Akademie, Sep. Oct. 1866, s. 634—39). Примѣръ изъ испанскаго эпоса указывается у г. Буслаева въ его статьѣ о Сидѣ. Съ другой стороны эта черта имѣется уже въ индійской Рамаянѣ (Fauche, Ramayana, VI, 333, 335). Также и въ Пантшатантрѣ: «Посолъ, говорящій правду, неприкосновененъ, ибо всѣ цари употребляютъ пословъ, какъ свой собственный ротъ» (Benfey, P. T. II, 229). Таже черта — и у тюркскихъ народовъ: такъ въ одномъ сказаніи Минусинскихъ Татаръ приводится, повидимому, пословица: «выстрѣленное ядро не боится камня, а человѣкъ, отправленный какъ посолъ, не боится даже и князя» (Castréns Vorlesungen über Altaiche Völker, s. 226). Какъ бы ни стоялъ низко какой нибудь народъ, и у него всегда найдутся хоть какія нибудь человѣческія черты. Надо однакоже замѣтить, что въ chansons de geste встрѣчаются также и случаи умерщвленья пословъ, обыкновенно приписываемые королямъ сарацинскимъ. Такъ послы повѣшены Марсилемъ (Siège de Pampelune, Gautier, 374). Другимъ посламъ отрублены головы (G. 423). Salomon de Bretagne хочетъ обмазать медомъ и отдать медвѣдямъ пословъ Карла В. (Chanson des Saisnes, couplst XXI —XXIX Gautier, 497).

[67]) Подношленіе въ родѣ сенаторовъ.

[68]) Заключительныя слова Ильи передаются Добрынею такимъ образомъ: «ежели князь не сдѣлаетъ по моему, то процарствуетъ царь до утрія».



Какъ тутъ въ кабакахъ никто не пьетъ, не кушаетъ,—
Всѣ ѣдутъ къ солнышку князю Владимеру,
Не для соли, не для хлѣба, не для безсчетной золотой казны,
А ѣдутъ-то посмотрѣть удалаго молодца,
Стараго казака Илью Муромца...,
Какъ идетъ онъ во палаты княженецкія...
Поклоны ведетъ по ученому,
Кланяется на всѣ на четыре стороны,
Солнышку князю съ княгиней Апраксіей въ особину.
Тутъ какъ солнышко Владимеръ князь
Вставалъ да на рѣзвы ноги,
Бралъ стараго казака за бѣлы руки,
Цѣловалъ въ уста сахарныя.
Садятъ его на мѣсто на бо̀льшее.

Илья такимъ образомъ добивается подобающаго ему почета, — но что̀ же?

Не садился онъ на мѣсто на большее,
Садился на мѣсто на середнее,
Возлѣ себя садилъ голей да кабацкіихъ.

Онъ вытребовалъ себѣ почетъ отъ князя, позабывшагося-было передъ нимъ; онъ проучилъ жестоко подслужившихся князю богатырей, но передъ *голью*, предъ бѣднымъ, забитымъ людомъ не хочетъ онъ отличаться мѣстомъ... Сквозь огрубѣлость былины, сказавшуюся проименованіемъ голи *кабацкою*, сквозь этотъ дикій разгулъ съ ней Ильи, проглядываетъ тутъ сочувственное *общинное начало*... Богатырь-крестьянинъ, возвысившись до того, что смиряетъ князя, не забываетъ о своей родимой средѣ: изъяномъ, наносимымъ Владиміру, онъ не только что тѣшитъ себя, но и ублаготворяетъ народъ; не себѣ одному,—всей голи отворяетъ онъ двери въ столовую княжескую, усаживаетъ ее за столъ, и теряется самъ въ ея безразличныхъ, сплошныхъ рядахъ...

Еще одна былина у г. Рыбникова повѣствуетъ о томъ же проучиваньи Владиміра, но уже не съ такими подробностями и съ меньшею заботливостью о голяхъ (ч. I, № 18, отъ Никифора Прохорова). Зато тутъ есть другія черты, прекраснѣйшимъ образомъ дорисовывающія Муромца. Былина составляетъ *особнякъ*, исключительно повѣствуетъ о ссорѣ. Причиною ея выставляется то, что Владиміръ князь, сдѣлавъ пиръ, *забылъ позвать* Илью Муромца: тутъ Ильюшенькѣ *стало зарко*, натянулъ онъ лукъ, пустилъ стрѣлочку,—но уже не по княжескимъ маковкамъ, а даже по божьимъ церквамъ и чуднымъ крестамъ, — украшеннымъ, надо думать, *княжескимъ* золотомъ. Вслѣдъ за тѣмъ и тутъ пропиваетъ онъ это золото съ голью кабацкою, *доброхотами царскими*. (Это послѣднее, мѣткое выраженіе, вполнѣ объясняется выраженіемъ *царевъ* кабакъ). Но съ Ильей эти *доброхоты* не умножаютъ дохода царскаго, а угощаются на счетъ маковокъ, обращенныхъ въ захвачиваемую ими безсчетну золоту казну. Видитъ Владиміръ князь, что бѣда пришла; сдѣлалъ онъ другожды пиръ—ужь нарочито для Ильи. Тутъ они думу думали, кого отправить за Муромцемъ, и послали Добрыню Никитича:

Они были братьица крестовые,
У нихъ крестами побраталось,
Кладена была заповѣдь великая,
Подписи были подписаны,—
Слухать большему брату меньшаго,
А меньшему брату большаго.

Илья Муромецъ, какъ извѣстно изъ многихъ былинъ, былъ большимъ

братомъ; но заповѣдь, *равная для обоихъ*, вполнѣ признается имъ для себя обязательною:

«Ай же, братецъ крестовый названый,
Кабы не ты, никого бы не послушалъ,
Не пошелъ бы на почестенъ пиръ!
А *нельзя законъ переступить*!...

Мнѣ остается только привести здѣсь слова, сказанныя мною въ другомъ мѣстѣ: «Илья не пойдетъ послушаньемъ подслуживаться стольному князю, но добровольно исполнитъ заповѣдь, которую самъ на себя наложилъ.» Названые братья идутъ на пиръ княжескій. Даваютъ Ильѣ мѣсто большее, а онъ поясняетъ Владиміру:

«Зналъ кого послать меня позвать!
Кабы не братецъ крестовый названый,
Никого я не послухалъ бы.
А было намѣреніе наряжено:
Натянуть тугой лукъ разрывчатый,
А класть стрѣлочка каленая,
Стрѣлить во гридню во столовую,
Убить тебя князя Владиміра..
А нонѣ тебя Богъ проститъ
За этую, за вину за великую!»

Думаю, что въ такихъ былинахъ, по крайней мѣрѣ, сказалась *и сила личности*, но все же управляемая и сдерживаемая—то заботой объ общинѣ, то самотворнымъ закономъ братства. Послѣ этого, кажется, Илья Муромецъ, душа всего русскаго эпоса, вовсе не оправдываетъ скороспѣлаго замѣчанія Лазаруса: «Man behauptet, das Bewustsein der meisten Slaven sei servil» [69]).

Заглянемъ теперь въ родственный эпосъ сербскій. Извѣстно, что главный его богатырь, соотвѣтственно историческимъ судьбамъ Сербіи, поставленъ въ служебныя отношенія къ Туркамъ. Между тѣмъ, посмотрите, до какой степени неподобострастно умѣетъ обращаться Марко не только что съ Турками вообще, но и съ самимъ султаномъ.

Однажды охотился Марко съ Турками и великая неудача была соколу визиря: не могъ онъ поймать златокрылой утицы. Возговорилъ тутъ Марко Кралевичъ, обычнымъ турецкимъ словомъ испрашивая себѣ позволенія пустить на утицу своего сокола (је ли тестир—т. е. есть ли позволеніе, вольно ли?): повидимому, полнѣйшее выраженіе подчиненности. Визирь разрѣшаетъ, Марко пускаетъ сокола, тотъ уносится подъ облака и схватываетъ златокрылую птицу. За обиду то великую показалось соколу визиря (врло му се тешко учинило), а была у него привычка недобрая—отнимать у другого ловъ. Вотъ и пустился онъ на маркова сокола, но марковъ соколъ былъ такой же упрямецъ, какъ и его господинъ. Не далъ онъ своей златокрылой утицы, а немало выщипалъ перьевъ у сокола визирева. Визирю Мурату то за бѣду стало: схватилъ онъ маркова сокола, ударилъ его о зеленую ель и перебилъ ему крыло правое,—самъ же пустился со своими двѣнадцатью воинами на утекъ. Это уже, конечно, заставляетъ подозрѣвать, что визирь не считаетъ Марка способнымъ на полную, безгласную подчиненность. И точно,

[69]) Утверждаютъ, что сознаніе большей части Славянъ исполнено подобострастія — Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft v. Lazarus und Steinthal, B. II, s. 420.



чуть раздался по лѣсу жалобный пискъ маркова сокола, какъ лютымъ голосомъ взговоритъ Марко:

Тешко мене и тебе, соколе,
Лов ловеħи съ Турци без Србаља,
Лов ловеħи, криво дијелеħи.

Наскоро завязавъ крыло своему любимцу, кинулся Марко въ погоню за Турками, нагналъ визиря Мурата, отсѣкъ ему русую голову,

А од младих дванаест делија (воиновъ)
Он начини двадест и четири.

(употребляя при этомъ, надобно думать, извѣстный эпическій способъ *разсѣченія на полы* [70]). Сталъ да пораздумался вслѣдъ затѣмъ Марко, куда пойти ему: къ царю ли (султану), или къ своему двору бѣлому? И рѣшилъ онъ—пойти къ царю, чтобы все ему расказать, какъ было, прежде чѣмъ начнутъ ему плакаться Турки. Когда же выступилъ Марко передъ царемъ, то глаза у молодца помутились, какъ у голоднаго волка, когда онъ высматриваетъ на горѣ, не сверкнетъ ли молнія. «Что̀ ты такъ разлютился, мой названый сынъ (посинко) Марко, спрашиваетъ его царь; или не стало у тебя имѣнья-богачества?» (блага). И сталъ Марко сказывать царю все, какъ было, а царь разсмѣялся тутъ громкимъ смѣхомъ: «еслибъ не такъ ты расправился, Марко, я бы болѣе не сталъ называть тебя сыномъ;—чтобы быть визиремъ, у меня хватитъ Турокъ,—а не найдется такого юнака, какъ Марко». И вынулъ тутъ царь изъ кармана тысячу червонцевъ: «на тебѣ, мой названый сынъ, поди-ка, напейся вина». Вслѣдъ же затѣмъ народный пѣвецъ поясняетъ намъ, ради чего поступилъ такъ царь:

Ал' цар Марку дукате не даје
Да он иде пити рујно вино,
Веħ да му се кине са очију:
Јер се Марко врло ражљутио.

Въ другой разъ удалось-было Туркамъ сдѣлать злостный доносъ на Марка. Издано было царемъ повелѣніе, чтобы не смѣлъ никто въ рамазанъ (постъ у Турокъ) пить вино, ни носить зеленой доламы [71]), ни размахивать кованной саблей, ни плясать въ хороводѣ съ женщинами. Узнавъ, что Марко преспокойно продолжаетъ все это дѣлать, царь посылаетъ за нимъ двухъ молодыхъ чаушей. [72]) Они застаютъ Марка сидящимъ въ шатрѣ—передъ нимъ чара въ двѣнадцать окъ (вѣсъ въ $2^1/_4$ австрійскихъ фунта—см. у Вука въ словарѣ стр. 452); узнавъ, въ чемъ дѣло, Марко хвать ихъ этою чарочкой по головамъ:

---

[70]) Вука Пѣсни II, 428. Тутъ напечатано—от д в а д е с т делија, но я позволилъ себѣ тутъ поправку — на томъ основаніи, что выше не разъ упомянуто при визирѣ всего д в а н а е с т (двѣнадцать) воиновъ. Тутъ должна быть или опечатка, или ошибка самого пѣвца. Разсѣченіе на̀ полы встрѣчается въ сербскихъ пѣсняхъ часто. См. у Вука II, стр. 252, 339, 28, 603. III, 10, 311.

[71]) Долама—das serbische lange Unterkleid, worüber der Gürtel kommt, tunica (?)—сказано въ сербскомъ словарѣ Караджича, стр. 130.

[72]) Tschaush bei der Armee und bei Hochzeiten—вотъ все, что̀ сказано въ словарѣ у Вука, стр. 826.



Приште куће, а прште и глава.
И проли се и крвца и вино.

Сдѣлавъ это, Марко преспокойно идетъ къ царю, надвигаетъ совсѣмъ на глаза свою шапку соболью, тащитъ съ собою свою богатырскую палицу (буздован), а острую саблю взворачиваетъ себѣ на плечо. На жалобу царскую: «что ты это вздумалъ не слушаться моего повелѣнія?» Марко даетъ царю знать, что турецкій законъ для него не законъ: «если я пью въ рамазанъ вино, то вѣра моя допускаетъ это; если сзываю при этомъ ходжей (духовныхъ турецкихъ) и хаджіевъ (странниковъ-богомольцевъ), то мнѣ не снести такого стыда, чтобы самому угощаться виномъ, а другихъ заставлять глядѣть;—пускай лучше не ходятъ ко мнѣ въ корчму! Если я ношу зеленое платье, то оно вѣдь къ лицу мнѣ, юнаку: если доводится мнѣ махать саблей, то она вѣдь куплена у меня за деньги; если пляшу въ хороводѣ съ женщинами, то я вѣдь, царь-поочимъ, холостъ хожу, какъ и ты въ свое время былъ холостъ; а что теперь у меня шапка надвинута на глаза, на то вѣдь горитъ чело, когда говоришь съ царемъ; а что я тащу съ собой палицу и держу на плечѣ эту саблю,—то я опасаюсь, какъ бы не вышло распри;—если жь она возникнетъ , то тяжко будетъ тому, кто всѣхъ ближе къ Марку».—Смотритъ царь на четыре стороны, нѣтъ ли кого тутъ поближе къ Марку, но кругомъ Марка—нигдѣ ни души, а близехонько отъ него самъ царь Сулеманъ;—царь поскорѣе въ сторону, а Марко къ нему, и приперъ наконецъ царя къ стѣнѣ. Тутъ рука у царя опустилась невольно въ карманъ за сотней червонцевъ: «ступай, Марко, напейся вина!».

Еще страшнѣе разлютился Марко, когда ему довелось найти отцовскую саблю въ рукахъ у Турка, сознавшагося въ томъ, что онъ когда-то убилъ ея обладателя. Тутъ же на мѣстѣ Марко скидываетъ съ Турка голову, когда же даютъ о томъ знать Султану, и онъ посылаетъ за Маркомъ, богатырь преспокойно сидитъ себѣ и попиваетъ вино, ничего не отвѣчая. Немного же погодя, накинувъ свою шубу, и взявъ съ собой палицу, отправляется онъ къ султану:

Колико се ражљутио Марко,
У чизмама сједе на серчаду
Па погледа цара попријеко,
Крваве му сузе изъ очију.
Кад је царе сагледао Марка
И пред њиме тешку топузину,
Цар с'одмиче, а Марко примиче,
Док доћера цара до дувара;
Цар се маши у џепове руком,
Те извади стотину дуката:
„Иди, Марко, напиј ми се вина;
Што су ми те тако ражљутили?».
—«Не питај ме, царе поочиме,
Познао сам сабљу баба мога;
Да сам Бог д'о у твоим рукама,
И ти би ме'вако ражљутио. [73])

Но примѣры ссоры между богатыремъ и властителемъ попадаются и въ народномъ эпосѣ западно-европейскомъ. О народной основѣ древнѣйшихъ изъ такъ называемыхъ chansons de geste говорено уже было не мало [74]).

[73]) Вука С. II., II, № 57. Прекрасная русская обработка этой пѣсни (А. Н. Майкова) помѣщена въ февр. книжкѣ «Зари» 1869 г.

[74]) Ср. выше стр. 150.

Въ одной изъ нихъ «Girars de Viane», сыновья обѣднѣвшаго барона Гарена Монтглянскаго отправляются conquerre onor en estrange contrée. Двое изъ нихъ добываютъ себѣ по графству (замѣчательно, что этого никогда не случается съ нашими богатырями), двое же другихъ, Ренье и Жираръ, отправляются къ Карлу Великому. Войдя во дворецъ tot maugré le portier (безобсылочно и бездокладочно) они, незванные и непрошенные, садятся за столъ государевъ. Зато имъ и подаютъ только маленькій хлѣбъ и даютъ одинъ разъ испить. Входящій въ это время сенешалъ, съ презрѣньемъ взглянувъ на небогатую ихъ одежду, рѣшается даже ударить одного изъ нихъ, Ренье. Тотъ въ отместку разбиваетъ ему челюсть и валитъ его на землю. Всѣ въ ужасѣ разбѣгаются и даютъ знать королю. Но Ренье, ни мало не смущаясь, разсуждаетъ такимъ образомъ, что королю не трудно будетъ найти себѣ новыхъ, подобныхъ же слугъ; вслѣдъ затѣмъ онъ усиленно ударяетъ чоботомъ въ дверь королевскую. Карлъ, испугавшись его, какъ султанъ испугался Марка, обѣщаетъ *покрыть его золотомъ* [75]).—У Ренье же отъ этого кровь прилила къ лицу: à poi d'ire ne fant. «Я вѣдь не купецъ, взговорилъ онъ; если бы у меня былъ полный дворецъ золота, я бы роздалъ все до послѣдней денежки монахамъ и разнымъ бѣднымъ. Нашъ родъ никогда не отличался корыстолюбіемъ. Отправимся предложить свои услуги другому!» [76]). Повидимому, и эта безсребренность, а не одно только умѣнье проучивать государя, напоминаетъ нашего Муромца; но рѣзко отличается отъ его нравственнаго облика отзывающаяся вельможными началами быта, боязнь быть принятымъ за купца! Къ древнѣйшимъ chansons de geste относится, какъ извѣстно, цѣлый особый кругъ (циклъ) про *Вильгельма курносаго* (Guillame au Cort-nez, или Guillaume d'Orange), Богатырь этотъ (до того богатырь, что у него промежъ глазъ—pleine paume d'entrée) [77]) былъ позабытъ при раздачѣ леновъ королемъ Людовикомъ, котораго онъ, послѣ смерти Карла Великаго, отстоялъ отъ возставшихъ вассаловъ и возвелъ на престолъ французскій. Узнавъ о такой обидѣ отъ своего племянника, Вильгельмъ поспѣшилъ къ королю и съ такою силою взобрался на лѣстницу и прошелся по полу въ палатахъ Людовика, что всѣ бароны невольно вздрогнули. «Изъ за чего же, заговорилъ Вильгельмъ, пролилъ я столько напрасной молодой крови и столько разъ слезилъ матерей? (por cà'i ocis tante bele jovente, né por qu'ai fet tante mere dolante),—прости Господи!—все это изъ за тебя, mauvés roi de France!——И что же я выслужилъ?» На увѣренія короля, что онъ еще ничего не далъ цѣлымъ шестидесяти баронамъ, Вильгельмъ говоритъ: dans rois, vos i mentez! Тогда король предлагаетъ, что отниметъ у другихъ и отдастъ ему;—Вильгельмъ въ негодованіи отказывается и уходитъ. Встрѣтивъ племянника, онъ говоритъ ему, что могъ бы сбросить вѣнецъ съ головы короля:

---

[75]) Объ этомъ древнемъ обычаѣ см. выше стр. 87—123.

[76]) Gautier, Epopées françaises, II p. 86—88. Впрочемъ это похожденіе было затронуто г. Буслаевымъ на стр. 12 и 13 его изслѣдованія о Сидѣ. Но почтенный профессоръ ошибочно говоритъ тутъ, будто объ этомъ повѣствуется въ пѣснѣ о Вильгельмѣ Оранжскомъ.

[77]) Jonckbloet, Guilaume d'Orange I, p. 293, v. 1996. Въ переводѣ на нашъ былевой языкъ было бы: промежъ глазъ косая сажень. Ср. выше стр. 66—описаніе великана Самсона изъ Тидрекъ-Заги.

ge l'y ai mis, si la vorrai oster. Однако же, при вторичномъ посѣщеніи имъ короля, дѣло улаживается благополучно: Вильгельмъ надѣленъ большимъ леномъ (Jonckbloet, Guillaume d'Orange, I, 74—87). Зато позже король опять не *участвовалъ на пріѣздѣ* Вильгельма. Дѣло въ томъ, что богатырь вдругъ попалъ въ бѣду: послѣ цѣлыхъ чудесъ одноличной, чисто-богатырской храбрости, онъ потерпѣлъ однакоже пораженіе отъ Сарацинъ. Вотъ послѣ этого и отправляется онъ, загрязненный, оборванный, ко двору королевскому. На дворѣ пришлось ему самому, какъ обыкновенно и нашимъ богатырямъ, *привязать къ столбу коня*, такъ какъ некому было *приказать* его. Далѣе-же не такъ какъ у насъ. Ильѣ и переодѣтому или неузнанному прямо удается попасть на глаза самому Владиміру, хотя его окружаютъ уже преимущественно бояре: двери, по старинному, всѣмъ отворены Напротивъ о приходѣ Вильгельма въ переполохѣ (отъ богатырской его наружности) *докладываютъ* Людовику. Не самимъ хозяиномъ-королемъ, какъ у насъ Владиміромъ, а посредниками-слугами задается гостю вопросъ: *кто онъ и откулѣшный*? Притомъ же король наказываетъ: mès gardez bien çaienz ne l'amenez, jusque je sache de quel terre il est nez. Вильгельмъ, назвавъ себя посланному, проситъ его поскорѣе передать королю, въ какомъ положеніи онъ находится:

«...je vien ci poures et esgarez...
Or saurai-je coment ja sui amés,
Car au besoins est amis esprovez».

Но напрасно ожидаетъ Вильгельмъ, что король ему дружески выйдетъ на встрѣчу (а онъ-же еще и женатъ на сестрѣ Вильгельма). Людовикъ, пользуясь бѣдствіемъ могучаго вассала и родственника, только высовывается въ окно и говоритъ Вильгельму:

Sire Guillaume, alez-vos herbergier,
Voste cheval fètes bien aésier,
Puis revenez à la cort por mengier.
Trop pouremant venez or cortoier,
Dont n'avez-vos serjant né escuier,
Qui vos servist à vòste deschaucier?

Страшно заблуждали у Вильгельма глаза и заскрежетали зубы: «позволилъ бы мнѣ Господь забраться въ этотъ дворецъ,—ужь далъ бы я волю рукамъ покупаться въ крови». Но король приказалъ сторожить у дверей, такъ что нельзя было никому ни войти, ни выйти. Тогда какой-то добрякъ мѣщанинъ, Гимаръ, приглашаетъ къ себѣ Вильгельма, даетъ ему и покой, и хлѣбъ-соль, какимъ Богъ послалъ!—Отъ него узнаетъ Вильгельмъ, что король собирается торжественно вѣнчать королевскимъ вѣнцомъ сестру его Бланшефлору, свою супругу. Воспоминанье о томъ, какъ самъ онъ когда-то вѣнчалъ Людовика, должно быть, еще живѣе въ немъ пробудилось: «douce France doi-je par droit garder.» [78])

Сознавая же за собою такую обязанность, онъ сознаетъ и особенныя права.

---

[78]) Jonckbloet, Guillaume d'Orange, p. 282—289.

Le roi de France cui-je tost desposer,
Et de son chief fors la corone oster [79]).

Какъ Илья Владиміра, такъ и Вильгельмъ собирается развѣнчать Людовика. Поспѣшно идетъ онъ къ дворцу королевскому, и ему уже не отказываютъ. Множество рыцарей и бароновъ и разодѣтыхъ дамъ встрѣчаетъ онъ при дворѣ—

Li cuens Guilaumes fu moult bien connéuz,
Mès malemant fu entr'euxrecéuz
Por ce qu'il ert si pouremant vestuz,
Onc n'i ot homs qui li déist salux,
Ni la roine dont fu très bien véus,
C'ert sa seror, amer le déust plus.

За бѣду тутъ богатырю стало, но удержалъ онъ, пока, свое сердечушко богатырское, и усѣлся себѣ въ сторонѣ на лавочкѣ. Но вотъ входятъ въ залу его отецъ и мать, а король, ихъ зять, самъ бѣжитъ имъ на встрѣчу. Еще пуще обидно и *зарко* стало богатырю: se ne me venge, je enregeré vis. Вскочивъ со своего мѣста и выбѣжавъ на середину залы, громко возговорилъ онъ, вычисляя королю всѣ обиды:

N'iert por mon père, qui lez lui est assis,
Je'l porfendisse del brant dusque el pis

т. е., если бы не сидѣлъ тутъ отецъ, онъ бы разсѣкъ короля мечемъ своимъ *на полы* [80]). Отецъ и мать стараются умилостивить Вильгельма, но онъ, высчитавъ королю всѣ свои старыя заслуги предъ нимъ и благодѣянія, разражается главнымъ образомъ надъ своею безчувственною, надутою сестрою. Сорвавъ у нея съ головы вѣнецъ и кинувъ его, на глазахъ у Французовъ, на полъ, богатырь ухватываетъ ее за косы за женскія и, хватаясь за мечъ, готовъ уже отрубить ей голову. Расправа его съ сестрой очень живо напоминаетъ добрынину и потыкову съ невѣрными женами—тотъ же пріемъ эпическій, порожденіе одинаково низкой ступени развитія. Тою же первобытной ступенью, за которою не зачѣмъ ходить въ Азію,—такъ какъ на ней находилась въ свое время и вся Европа,—тою же низкой ступенью отзываются и слѣдующія слова дочери бланшефлориной, старающейся умилостивить своего дядю:

Вотъ тебѣ, мой родимый дядюшка, мое тѣло бѣлое,
Хочешь—голову отруби мнѣ дѣвицѣ,
Хошь—огнемъ спали, не то—кинь въ огонь...
А не то—сади въ смоляной котелъ [81]).

---

[79]) Этому соотвѣтствуютъ въ Chanson des Saisnes слова бароновъ Hérupois: Quand nous sommes contre lui, j'ignore, comment il pourra rester en France et garder la couronne. (Gautier, II, p. 497).

[80]) Объ этомъ общенародномъ древне-эпическомъ боевомъ пріемѣ см. выше на стр. 21, 95, 109. Кромѣ приведенныхъ тамъ примѣровъ разсѣченія на полы можно еще указать на соотвѣтственные въ испанскихъ сказаніяхъ о Сидѣ (Damas Hinard, Poème du Cid, ст. 768, 769, 2433).

[81]) Vez-ci mon cors, fai en ta commandie.
Se il te plest la teste aie tranchie,
Ou je soie arrse ou en un feu lancie,
Morir me fai en chaude poix boillie...

И сходныхъ проявленій звѣрства не мало во французскомъ эпосѣ. Такъ оклеветанную королеву Берту, жену Пипина, зауздываютъ какъ лошадь. Сожженіе, разрыванье конями, четвертованье — нерѣдкость. (Gautier, II, 16, 24, 458, 450) Беккеръ, въ своихъ сличеніяхъ средневѣковыхъ эпическихъ звѣрствъ съ опи-

Богатырь размягченъ неповинной дѣвицей. Для нея онъ мирится съ сестрой своей, ея матерью,—а та теперь падаетъ передъ нимъ на колѣни и цѣлуетъ у него ноги: черта, чрезвычайно часто встрѣчающаяся съ chansons de geste и составляющая одну изъ главнѣйшихъ—дѣйствительно *подобострастныхъ* принадлежностей феодальнаго порядка вещей. Затѣмъ происходитъ у Вильгельма мировая и съ королемъ. Вотъ тутъ-то заводился почестный пиръ, и садили богатыря промежду сестрой и племянницей. Было кому прислужить за пышнымъ столомъ королевскимъ: cent damoisel fiurent boteiller, — стало быть, цѣлыхъ сто кравчихъ, разносившихъ питьица, а *другое сто* (autretant) подавало кушанья. Но Вильгельмъ на такой знатный пиръ пригласилъ добряка мѣщанина—своего хозяина ласковаго, да еще и съ женою, и отвелъ имъ мѣстечко противъ себя [82]).

Мѣщанская эта чета соотвѣтствуетъ *голи* въ нашихъ былинахъ. Но chanson въ этомъ случаѣ не представляетъ той грубости, какая видна у насъ въ въ томъ, что голь, угощаемая Ильей, — *кабацкая*. Зато угощенье Вильгельмомъ Гимара съ женою есть только отплата двумъ лицамъ изъ низшаго слоя, оказавшимъ ему, господину въ бѣдѣ, дружелюбный пріемъ. Нѣтъ тутъ заботы (безъ всякаго *личнаго* побужденія) о *многихъ*, когда-то *подобныхъ* ему, о широкомъ просторѣ *для цѣлой громады народной*, надъ которой не хочетъ, однакоже, подниматься заботящійся. Подобной заботы и не могло быть у Вильгельма-богатыря: хотя и оборванный и запачканный, все же онъ рыцарь, глава очень многихъ, *своихъ* вассаловъ, конечно и самъ *королевскій* вассалъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и ближайшій родственникъ королевскій.

Въ положеніи, довольно сходномъ съ Вильгельмомъ, представляется у Саксона Грамматика скандинавскій богатырь Старкадръ. Онъ—другъ короля Фрото и попечитель сына его, малодушнаго Ингеля. Этотъ послѣдній, вмѣсто того, чтобы отомстить за смерть своего отца, сблизился даже съ его убійцами. Въ негодованіи является къ нему находившійся въ долгой отлучкѣ Старкадръ и занимаетъ въ его чертогѣ свое обычное при жизни Фрото, почетное мѣсто. Но королева, жена Ингеля, замѣтивъ, что какой-то нечисто одѣтый старикъ осмѣлился сѣсть на ея дорогія подушки, велѣла ему сейчасъ же перемѣнить мѣсто. Онъ, молча, повиновался, но, вставая, такъ крѣпко пожалъ стѣну, что задрожали сваи и зданье едва не рухнуло. Вслѣдъ за тѣмъ онъ усѣлся на нижнемъ концѣ. Между тѣмъ вернулся съ охоты и самъ Ингель и внимательно посмотрѣлъ на старика, который не всталъ передъ нимъ. По нахмуренному лбу и рубцамъ на тѣлѣ, онъ вскорѣ узналъ въ немъ Старкадра. Сдѣлавъ женѣ выговоръ за дурное обращеніе съ нимъ, онъ пригласилъ бывшаго своего воспитателя за свою трапезу. Но старикъ побрезгалъ изыскан-

---

ровскими, указываетъ въ карловингскомъ эпосѣ на сдираніе кожи съ живого, отрѣзыванье носовъ, выкалыванье глазъ, распинанье (Monatsbericht der Berliner Akademie, Sept. Oct. 1867 г., s. 687—688).

[82]) Jonckbloet, Guillaume d'Orange I, p. 295—301. Въ той же самой chanson de geste и самъ Вильгельмъ представляется нѣсколько позже не у ч е с т в о в а в ш и м ъ силача Renoart'а, своего молодого сподвижника: не приглашенный имъ на пиръ, Renoart по богатырски даетъ себя знать Вильгельму, который скоро однакоже умиротворяетъ его, не имѣвъ вовсе и въ умыслѣ обидѣть его, а просто позабывъ о немъ (Guillaumes fist forment à blasmer que Renoart a mis en oublier—I, p. 4(4).

ной его пищей и потребовалъ простой крестьянской. Чтобы вывесть его изъ мрачнаго настроенія, заставили играть искуснаго флейтщика, но Старкадръ презрительно кинулъ ему въ лицо обглоданную кость, и вслѣдъ за тѣмъ запѣлъ пѣсню, въ которой, какъ Добрыня у князя, сталъ *раскавывать все похожденье* свое и Ингеля. Пѣсня эта передается у Саксона латинскими стихами. Въ ней онъ требуетъ отъ изнѣженной молодежи, чтобы она воздала ему, старому витязю, должный почетъ. «При королѣ Фрото, говоритъ онъ въ пѣснѣ, всегда занималъ я мѣстечко бо́льшее, а теперь мнѣ отводятъ уголъ и я похожу на рыбу подъ водой. Если бы, продолжалъ Старкадръ, я былъ здѣсь во время убіенія Фрото, я бы послѣдовалъ за нимъ самъ, или же отомстилъ бы за его смерть. Но ежели сынъ его такъ развратился, что и не помышляетъ о мести, то я покрайней мѣрѣ не допущу, что-бы наслѣдіе короля расхищалось чужими. Тутъ королева, содрогнувшись, задумала ублаготворить его дорогимъ подаркомъ—своею головною повязкою, но онъ отшвырнулъ ей этотъ подарокъ прямо въ лицо. Кончилось тѣмъ, что пѣсенные укоры Старкадра подѣйствовали на Ингеля,—и онъ отомстилъ за своего отца [83]).

По маститой старости, Старкадръ ближе подходитъ къ нашему Ильѣ, чѣмъ Вильгельмъ Оранжскій. Можно бы также думать, что предпочитаемая имъ крестьянская пища указываетъ въ немъ народнаго представителя, но Старкадръ является чисто вельможнымъ лицомъ, какъ находящійся подъ особеннымъ покровительствомъ вельможнаго бога, Одина, а вмѣстѣ и подъ опалою крестьянскаго бога, Тора, который, силой своихъ заклятій, сдѣлалъ его ненавистнымъ народу [84]).

По самому *происхожденію*, нѣсколько ближе къ нашему Муромцу—Сидъ Испанскій, знаменитый Campeador, или *поленица*, какъ совершенно вѣрно переводитъ это прозвище г. Буслаевъ [85]). Подобно гостепріимцу Вильгельма, Гимару, этотъ campeador—*мѣщанинъ*, и даже иной разъ гордится подобнымъ происхожденіемъ (въ испанскихъ народныхъ романсахъ, отчасти и теперь еще распѣваемыхъ [86]), и въ риѳмованной хроникѣ, написанной на основаніи пѣсень народныхъ еще въ XIII вѣкѣ) [87]). Въ силу такой-то гордости, между тѣмъ какъ вассалы-рыцари преисправно, какъ оно быть водится, цѣлуютъ у короля Фердинанда руку, Сиду не хочется цѣловать, и только по приказанію отца онъ наконецъ на это рѣшается. Но тутъ, когда преклонялъ онъ колѣно, мечъ у него отцѣпился и король закричалъ: «спасите меня! это самъ дьяволъ!» Тогда Сидъ сейчасъ же вскочилъ опять на коня и

83) Uhland's Schriften, VII, 257—261.

84) См. тамъ же стр. 244. Ср. также въ ч. VI стр. 310.

85) Кое какія сближенія Сида съ Ильей уже были приведены выше на стр. 300—301.

86) Такъ говоритъ въ своей статьѣ о Сидѣ г. Буслаевъ. Но Фердинандъ Вольфъ въ библіографическомъ трудѣ über die Romanzenpoesie der Spanier (въ Studien zur Geschichte der Spanischen und Portugiesischen Nationalliteratur, Berlin 1859), перебирая предметы романсовъ, существующихъ и теперь въ народѣ, приводитъ имя Сида только въ томъ ихъ разрядѣ, который обнаруживаетъ на себѣ уже вліяніе испанской драматической литературы—(стр. 396).

87) Въ «Поэмѣ же о Сидѣ» одинъ изъ его противниковъ насмѣшливо говоритъ о немъ: «не пошелъ ли онъ опять работать на свои мельницы?» (стихъ 339). Damas Hinard полагаетъ, что какъ это, такъ и слова самого Сида объ его мѣщанствѣ, не должны быть принимаемы въ прямомъ смыслѣ, а что изъ нихъ можно заключить одно: Сидъ не принадлежалъ къ кастильской аристократіи (стр. V de l'introduction). Мысль, мнѣ кажется, вѣрная.

проговорилъ: «цѣловать у короля руку я не ставлю себѣ въ почетъ; а что мой отецъ у короля цѣловалъ руку, то ставлю себѣ въ безчестіе» [88]). Надо вспомнить, что это еще происходитъ въ первой юности Сида, когда онъ, убивъ графа Лозано въ отомщеніе за отца, предсталъ вмѣстѣ съ нимъ предъ судъ королевскій.

Зато въ другомъ романсѣ, повѣствующемъ о примирительномъ бракосочетаніи Сида съ дочерью убитаго, при посредничествѣ короля, — является, по словамъ г. Буслаева, «уже совсѣмъ другой Сидъ». Когда король предлагаетъ ему руку Химены, и сверхъ того многія земли во владѣніе, онъ съ покорностью говоритъ: «пріятно мнѣ исполнить все то, что будетъ тебѣ угодно, мой король и господинъ» [89]). Въ этомъ отношеніи болѣе *народною* оказывается *риѳмованная хроника* [90]) (во многихъ другихъ отношеніяхъ, не смотря на древность своего *написанія*, уступающая многимъ романсамъ въ первобытности народной стихіи). Въ хроникѣ Сидъ оскорбленъ тѣмъ, что король его женилъ насильно: обвѣнчанный, онъ, однакоже, не живетъ съ женою, и находится въ ссорѣ съ королемъ, которому объявляетъ прямо предъ лицомъ Христа, что не поцѣлуетъ у него руки [91]), а король его называетъ, какъ и въ одномъ изъ романсовъ, дьяволомъ. Въ той же хроникѣ этотъ дьяволъ гордится въ другомъ мѣстѣ тѣмъ, что онъ не какой нибудь рыцарь, а сынъ купца и внукъ мѣщанина [92]). Но съ другой стороны, этотъ мѣщанскій герой былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и señor (баринъ); подъ властью его находилось цѣлыхъ триста покорныхъ ему вассаловъ. Онъ былъ, такимъ образомъ, чуждъ того, въ самомъ дѣлѣ свободнаго духа, какого не знала средневѣковая Европа и какой сказался въ золотыхъ словахъ современнаго поэта словацкаго: «*неправно* имѣть господина, но еще больше неправды быть самому господиномъ!» Слова эти могутъ оказаться сродни лишь поэту-народу— въ лицѣ любимца его Ильи Муромца [93]). Всѣ черты сходства съ Ильей мѣщанина señor'а Сида—все-же, въ корнѣ, черты несходныя. Всего ближе подходитъ campeador къ нашему народному поленицѣ въ тѣхъ романсахъ, которые относятся уже ко второй ссорѣ Сида—и притомъ съ другимъ королемъ. Фердинанду наслѣдуетъ Донъ-Санчо, погибающій насильственной смертью. Сидъ заставляетъ брата его Альфонса поклясться въ томъ, что онъ чистъ отъ крови своего брата. Только послѣ этого Сидъ рѣшается совершить вассальскій обрядъ цѣлованья руки у Альфонса; а по нѣкоторымъ пересказамъ, онъ и тутъ не цѣлуетъ ея. Это повлекло за собою изгнаніе Альфонсомъ Сида,

---

88) Испанскій народный эпосъ о Сидѣ, Ѳ. И. Буслаева (прилож. къ V тому Зап. Ак. Наук., № 6, стр. 72).

89) Тамъ же стр. 78.

90) Французскій издатель Поэмы о Сидѣ, Damas Hinard, перепечатавшій, въ видѣ приложенія, и хронику, говоритъ о ней: «трудно себѣ представить что-нибудь болѣе жалкое; авторъ собралъ, безъ разбору и безъ оцѣнки, тѣ сказанья народныя, какія уже слагались въ то время о начальной порѣ жизни его героя» (стр. LXXIX). Но именно по тому, что такъ мало цѣнитъ этотъ издатель-французъ, для насъ «хроника» цѣннѣе «поэмы».

91) Damas Hinard, Poéme du Cid, appendice, p. LXXXIX: Mas prometolo à Christus que vos non besse la mano (стихъ 720).

92) Fijo da un mercadero, nieto da un cibdadano (v. 880—1) (Damas Hinard, p. CXVI).

93) Тѣмъ же духомъ проникнуто и слѣдующее изреченіе Хомякова, этого русскаго, вполнѣ самостоятельнаго мыслителя: «рабовладѣлецъ всегда бываетъ болѣе развращенъ, чѣмъ рабъ; христіанинъ можетъ быть рабомъ, но не долженъ быть рабовладѣльцемъ.» (Богословскія соч. Хомякова, стр. 87.) Вышеприведенныя же слова Халупки см. въ его стихотвореніи: Mor ho!

который удаляется однакоже не одинъ, а съ тремя стами своихъ подколѣнныхъ. Опять въ особомъ романсѣ зато Сидъ готовъ посылать королю-обидчику свою добычу-удачу, сообразно съ правиломъ: «месть вассала противъ своего короля подобна измѣнѣ, и выстрадать свою неправду—есть знакъ хорошей крови». Мѣщанинъ такимъ образомъ тутъ дорожитъ и доказательствами хорошей *породы*. Но есть зато и другие романсы, гдѣ онъ преисполняется человѣческимъ чувствомъ. Если и тутъ онъ рѣшается наконецъ, въ знакъ примиренія, поцѣловать у короля руку, то подъ условіемъ, чтобы король далъ различныя льготы: тридцать дней сроку дворянамъ, чтобы оставить землю въ случаѣ какого-либо съ ихъ стороны преступленія; затѣмъ — обязательство никогда ихъ не изгонять изъ отечества, не выслушавъ ихъ оправданія; далѣе — не разгонять самовластно судовъ, учрежденныхъ вассалами; наконецъ,—не налагать на народъ непомѣрныхъ налоговъ. Если же король не исполнитъ своихъ обязательствъ, то вассалы имѣютъ право возстать противъ короля». И Альфонсъ, какъ Владиміръ на требованія Ильи, на все соглашается. Заключительная же угроза Campeador'а соотвѣтствуетъ, хотя и въ слабѣйшемъ видѣ, угрозѣ Муромца: «если не сдѣлаетъ князь по моему, то процарствуетъ лишь до утрія». Зато, съ другой стороны, въ словахъ Сида нѣтъ той поразительной *огрубѣлости*, какая придается выходкѣ Муромца его кабацкимъ разгуломъ съ голями. (Ср. Буслаева Сидъ, стр. 83).

Не трудно замѣтить въ романсахъ о Сидѣ и въ риѳмованной хроникѣ постоянное колебаніе между благородною гордостью человѣка и обычною подобострастностію вассала. Послѣдняя рѣшительно перевѣшиваетъ въ *Поэмѣ о Сидѣ*, которая хотя и написана нѣсколько ранѣе *хроники* [94]), но болѣе подверглась вліянію феодально-книжному. Тутъ Сидъ, изгоняемый королемъ, и въ изгнаніи добывающій себѣ собственныя владѣнія, заискиваетъ однакоже въ королѣ, неоднократно посылая ему дары [95]). Альфонсъ наконецъ назначаетъ день для мирового свиданія. При этомъ Сидъ упадаетъ передъ нимъ на колѣни, кусаетъ зубами траву и плачетъ. Самъ Альфонсъ смущенъ этимъ: «цѣлуйте только мою руку, говоритъ онъ, но пожалуйста не ноги, нѣтъ!» А Сидъ все продолжалъ стоять на колѣняхъ и все повторялъ: «прошу у васъ прощенія, природный мой господинъ!» (mio natural senor) [96]).

Постоянное колебаніе между крайними проявленіями подобострастія и столько же крайней строптивостью встрѣчается и въ chansons de geste. «Variabilité singulière qui caractèrise nos héros... ils passent de l'extrême

---

94) См. у Damas Hinard стр. LXXIX

95) Между тѣмъ король тутъ, изгоняя Сида, даетъ даже безчеловѣчное приказаніе, чтобы никто не осмѣливался давать пріютъ Сиду, въ противномъ же случаѣ будетъ лишенъ не только своего имущества, но и зрѣнія (Poema del Cid, стихи 26 и 27). Было даже запрещено продавать ему въ Бургосѣ что либо съѣстное (стихъ 62). Однакоже его снабжалъ всѣмъ гражданинъ Мартинъ Антолинесъ, соотвѣтствующій въ этомъ отношеніи Гимару, гостепріимцу Людовика Курносаго.

96) Передъ тѣмъ, посылая королю дары, съ каждымъ разомъ усугубляемые и наконецъ задабривающіе короля, Сидъ, устами своихъ посланныхъ, постоянно выражаетъ свою готовность поцѣловать у него руки и ноги (стихи 887 и 1881). Но еще высшая степень покорности видна въ томъ, что Сидъ, послѣ мировой, когда король сватаетъ его дочерей за инфантовъ Карріонскихъ, униженно отвѣчаетъ на это: «онѣ, какъ и я—въ вашей волѣ... Отдайте ихъ руку—кому вамъ будетъ угодно (entre yo y ellas en vuestra merced somos nos... dadlas à qui quisieredes vos). (стихи 2097 и 2099) Ср. также стихи 2948 и 3036).

orgueil à une soumission extrême (Gautier, les épopées françaises II, 183). Вассалы то зовутъ Карла Великаго roi assoté, бьютъ его, дергаютъ за бороду,—то опять лежатъ передъ нимъ на землѣ и цѣлуютъ его стопы. Проучиванье короля разобиженнымъ имъ вассаломъ особенно далеко заходитъ въ «Doon de Mayence». Если въ *общемъ* и *цѣломъ* эта поэма носитъ отпечатокъ уже весьма поздній—XIV-го столѣтія, то эпизодъ, заключающій въ себѣ ссору Доона съ Карломъ, по мнѣнію такого знатока, какъ Гастонъ Парисъ, долженъ почитаться болѣе древнимъ и первоначально долженъ былъ составлять особую пѣсню [97]). Эпизодъ этотъ занимаетъ стр. 183—225 печатнаго изданія [98]); замѣчательно, что въ началѣ обиженнымъ является тутъ не Доонъ, а самъ Карлъ Великій. Возвращаясь домой послѣ подвиговъ, совершенныхъ имъ на одномъ турнирѣ, Доонъ, проѣздомъ черезъ Парижъ, возгордясь, не надумался заѣхать на поклоненіе къ Карлу Великому. За бѣду это королю стало, за великую обиду показалося. Вотъ и сталъ онъ поносить Доона передъ своими баронами.

Пришлось это выслушать и молодому родственнику Доона, Ришье; сталъ онъ защищать его противъ Карла, но король, вмѣсто всякихъ дальнѣйшихъ доводовъ, ударилъ юношу палкой по головѣ, такъ что полилась кровь. Прибитый—тотчасъ же на лошадь и давай нагонять Доона. Тотъ, узнавъ про такую обиду, сейчасъ же выхватилъ мечъ и поклялся своимъ золотымъ крестомъ, что онъ получитъ удовлетворенье за слова, короля или Карлу не снести своей головы:

Que icheste parole li sera amendée,
Ou Kalles en ara la teste tronchonnée.

Поворотивъ обратно въ Парижъ, онъ прямо направился къ двору королевскому во главѣ своихъ семисотъ мужей. Завидѣвъ ихъ издали, Карлъ, при которомъ находилось тогда только немного бароновъ, безоружныхъ, какъ и онъ самъ,—переполошился не на шутку: на бѣду же сторожъ въ то время отлучился отъ воротъ, и вся дружина Доона вошла безпрепятственно. Грозно заговорилъ Доонъ королю про обиду свою и своего родственника:

Se ne fusse vostre hons, par Dieu de majestés!
Ja de la moie part nen fussies appelés,
Mais orendroit fussiés à piechez desmembrés,
Comme fel, desloial, traître parjurés,
Qui mesdites de moi quant vous ne me vées.
Més, par ichele crois où Dex fu cloufermés,
Se l'amende n'en est tout à mes volentés,
S'espée vous metroi tout parmi les costés.

Увидѣли тутъ и Карлъ и бароны, что бѣда пришла неминучая. Вотъ

---

97) Gaston Paris, Hist. poét. de Charlemagne, p. 314.

98) Doon de Mayence; chanson de geste, publiée par M. A. Pey, Paris 1859 (изъ коллекціи: les anciens poètes de la France).



и совѣтуютъ Карлу умилостивить Доона: «А потомъ уже мы заставимъ его стать передъ вами на колѣни». Слушаясь, Карлъ предлагаетъ Доону не то одинъ ленъ, не то другой; но Доонъ отвергаетъ и ихъ, и руку племянницы королевской, а требуетъ себѣ лена въ Саксоніи, находящагося во власти язычника Обиганта, у котораго долженъ его отнять король, вмѣстѣ же съ тѣмъ добыть у него для Доона и его прекрасную дочь, сидящую за семью замками. Въ случаѣ же отказа, Доонъ вновь угрожаетъ отрубить королю голову и разорвать его въ клочья. Карлъ и слышать объ этомъ не хочетъ и наконецъ предлагаетъ Доону выйти съ нимъ на поединокъ: если побѣдитъ Карлъ, Доонъ долженъ очистить Майнцъ, если же побѣдитъ Доонъ, то Карлъ отправится съ нимъ противъ Обиганта. Доонъ принимаетъ эти условія. Бароны помогаютъ Карлу вооружиться. Но одинъ изъ нихъ уговариваетъ Доона: «не дѣло поступать такимъ образомъ съ своимъ господиномъ; слѣзайте-ко лучше съ коня и становитесь передъ нимъ на колѣни,—а тамъ уже мы уговоримъ его, и вы получите, чего требуете». Доонъ готовъ согласиться, но король и слушать не хочетъ, а настоятельно требуетъ боя. Начинается бой—и самый ожесточенный. Доону сильно мѣшаетъ то, что онъ никакъ не можетъ забыть, съ кѣмъ онъ сражается. Онъ готовъ сложить передъ королемъ оружіе.

Roy, m'espée te rent par bonne destinée,
En ta merchi me met; la bataille as outrée,
Je voi bien et connois que folie est prouvée
De moi combattre à toi, qui ma foi ai jurée.

Но король не согласенъ на прекращеніе боя; онъ хочетъ во что бы ни стало убить Доона. Вскипѣвъ отъ негодованія, Доонъ продолжаетъ сражаться, но, видя короля падающимъ съ лошади, обращается съ молитвою къ богородицѣ:

Glorieuse du chiel, roïne couruonée!
Gardez-moi mon seignor l'ame n'en soit alée.

При этомъ и самъ онъ слѣзаетъ съ лошади и бросается къ Карлу на помощь, вложивъ въ ножны мечъ. Между тѣмъ *добрый король* (le bon roy), оправившись, кидается на Доона съ мечомъ въ рукахъ, а тотъ наконецъ даетъ клятву, что впередъ уже не станетъ унижаться передъ королемъ. Но немного погодя, видя короля окровавленнымъ, Доонъ невольно упадаетъ передъ нимъ на колѣни, опять протягиваетъ ему, сдаваясь, мечъ свой, плачетъ и говоритъ: «если мнѣ придется убить тебя, государь, то и самъ я зарѣжусь или утоплюсь». За этимъ слѣдуетъ длинная умилостивительная рѣчь, оканчивающаяся словами: «при всѣхъ, государь, стану я цѣловать твой сапогъ, если только ты дашь мнѣ, чего прошу» (т. е. ленъ въ Саксоніи). Но тщетны и его просьбы, и просьбы сообща трехъ бароновъ, упадающихъ на колѣни передъ Карломъ: онъ по прежнему хочетъ или убить Доона, или быть имъ убитымъ. Тогда только бароны теряютъ терпѣніе и уваженіе къ Карлу: «если только вы

убьете Доона, который такъ милъ намъ, говорятъ они, то и сами не проживете до вечера!»—Трудно сказать, чѣмъ бы все это кончилось, если бы не подоспѣлъ ангелъ съ неба и не разлучилъ сражающихся, приказавъ вмѣстѣ съ тѣмъ королю—дать Доону, чего онъ проситъ.—Тутъ только, волей-неволей, умилостивился король:

> Et Dò vient devant li de douchour lermiant,
> Si s'estend à ses piés la merchi demandant,
> Le souler li beisa moult en humiliant.

А Карлъ, уступившій ангелу, какъ послу отъ небеснаго сюзерена, Бога, поднялъ Доона и поцѣловалъ [99]).

Такова эта замѣчательная франкская пѣсня, въ которой нельзя не отмѣтить и той черты, что Доонъ, въ самомъ началѣ, называется тутъ *королемъ* и при этомъ сопоставляется съ королемъ Карломъ: or escoutez...

> Qui avint de Doon, le bon roy droiturier
> Et de Kalles le roy qui Franche ot à bailier (p. 183).

И въ самомъ дѣлѣ, бароны были *короли* въ своемъ родѣ. Постоянныя распри между *большимъ королемъ* и *малыми королями* (баронами) — вотъ въ чемъ заключается содержаніе большей части c h a n s o n s de geste, почти и не вспоминающихъ о народѣ, о томъ, каково-то ему подо *всѣми этими королями*. Нельзя не привесть въ объясненіе глубокомысленнаго замѣчанія Фердинанда Вольфа, что всѣ подобныя пѣсни, хотя и жили вѣками въ *устахъ* и хранились *памятью*, но только этимъ и походили на чисто народныя пѣсни: онѣ пѣлись *не для народа*, не въ *хижинахъ* слушали ихъ, а въ *замкахъ* [100]). Прямо на оборотъ нашъ русскій и весь вообще славянскій эпосъ—эпосъ не только устный и безъискусственный, но и чисто-народный: народъ, самъ народъ поетъ въ немъ и *для себя*, и *про себя*, и поетъ, понятнымъ образомъ, *въ свою пользу*! Пусть новѣйшій изъ нашихъ изслѣдователей не видитъ *народа* въ нашихъ былинахъ: народъ присутствуетъ въ нихъ вездѣ, гдѣ присутствуетъ Илья Муромецъ.

Илья не дается въ обиду князю,—даетъ ему снова узнать свою позабытую силу, объявляетъ ему свою волю, добивается исполненья ея и тогда лишь *прощаетъ* князя. Истребивъ всѣхъ *воронъ*, заградившихъ къ Владиміру до-

99) Двукратный бой съ королемъ происходитъ также въ Renaus de Montauban, и бьющіеся также передъ нимъ унижаются, но все это передается тамъ съ меньшими подробностями (Renaus de Montauban, éd. Michelant, p. 287 etc).

100) Мнѣніе это высказано главнымъ образомъ въ предисловіи Ф. Вольфа къ нѣмецкому переводу шведскихъ пѣсенъ изъ сборника Гейера и Афцеліуса (Schwedische Volkslieder der Vorzeit, übertragen von R. Warrens. Leipzig 1857). Хотя онъ собственно говоритъ тутъ о балладахъ и романсахъ, происшедшихъ изъ рыцарскихъ поэмъ, но относящееся къ балладамъ тѣмъ болѣе должно относиться къ ихъ первообразамъ. — Что касается собственно романсовъ о Сидѣ, то покойный Т. Н. Грановскій, на основаніи изслѣдованій Дози, признавалъ, что пѣвшіе ихъ жонглеры переходили изъ замка въ замокъ и изъ деревни въ деревню. (Полное собр. соч. Грановскаго II, 231). Этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ и могутъ быть объяснены тѣ черты не вельможескаго закала, какія попадаются въ романсахъ о Сидѣ; противоположныя же черты въ тѣхъ же произведеніяхъ должны быть объясняемы тѣмъ, что пѣвцы испанскіе весьма усердно посѣщали также и замки.

ступъ, какъ когда-то залегшаго путь Соловья разбойника, Илья садитъ голь на очищенныя мѣста, напомнивъ о томъ, что имъ только держится князь и продержится только до утра, если не будетъ умѣть—*служить* въ Кіевѣ княземъ. Но эти эпическія отношенія богатыря крестьянина къ князю, при всемъ въ нихъ широкомъ участіи развивающей силы воображенія,—не служатъ ли они отголоскомъ той бытовой славянской дѣйствительности, о коей свидѣтельствомъ служитъ тотъ древній хорутанскій обрядъ *поставленія князя*, о которомъ уже упомянуто у меня выше (см. стр. 232). Мы видѣли, какъ въ этомъ обрядѣ князь долженъ былъ давать передъ сельскимъ старостою клятву въ вѣрности народному благу, и какъ только послѣ этой клятвы староста сельскій сходилъ со стола и сажалъ на него князя. Этотъ *сельскій старѣйшина*, очевидно,—символическое лицо, олицетворяющее весь народъ. Въ немъ сказалась народная память о томъ, что народъ даетъ власть, что онъ только *уступаетъ* собственное мѣсто князю. Не то ли же и въ напоминаньи Ильи, что заутра онъ можетъ и *самъ* служить въ Кіевѣ княземъ?

Но если первоначальная возможность подобнаго настроенія въ нашемъ эпосѣ обусловливалась его дѣйствительной принадлежностью *самому народу*, то живучесть этого настроенія, не смотря на всякія, все болѣе и болѣе напиравшія на народъ невзгоды, объясняется особенными, благопріятными условіями того края, гдѣ собственно и замѣтна такая живучесть. Напоминаю, что всѣ былины, попреимуществу отличающіяся свободнымъ духомъ, записаны были на сѣверной нашей окраинѣ, тамъ—куда не проникло закрѣпощеніе. Поэтому-то на отдаленномъ сѣверѣ сохранилась, вмѣстѣ съ лучшими и полнѣйшими остатками эпоса стольно-кіевскаго, и народная память о древнихъ, общеславянскихъ задаткахъ свободы. Туда, гдѣ жилъ лишь народъ, *самъ народъ*, куда не проникло господство охолопленнаго боярства, — не проникла вмѣстѣ съ нимъ и отрава татарская, отъ которой вкусилъ такъ обильно нашъ верхній слой.

Но полно такъ ли? Не поздно ли вторить тому, что пустили въ ходъ Хомяковъ, К. Аксаковъ, Кирѣевскій, и чему, послѣ долгаго недовѣрія, стали было многіе довѣрять,—теперь же должны разувѣриться! Смѣлый, рѣшительный голосъ сказалъ намъ, отъ имени современной науки, что все это—призраки одурманеннаго народолюбья. Такъ и весь нашъ Илья, и эти его отношенія къ князю въ сущности не имѣютъ цѣны, какъ сколокъ съ тѣхъ телеутскихъ, киргизскихъ или монголо-калмыцкихъ сколковъ, въ которыхъ донеслась къ намъ прекрасная древне-персидская повѣсть о похожденьяхъ Рустема богатыря. Въ Шахъ Намѐ—вотъ гдѣ надо искать первообраза нашей ссоры между богатыремъ и княземъ. Заглянемъ же въ эту поэму, — сперва подъ руководствомъ г. Стасова. Царь Кей-Каусъ, приведенный въ ужасъ вѣстями о приближеніи невѣдомаго туранскаго витязя, требуетъ къ себѣ на помощь богатыря Рустема, проживающаго въ своемъ удѣлѣ. Но вмѣсто того, чтобъ немедленно ѣхать на царскій зовъ, Рустемъ сначала проводитъ цѣлыхъ три дня въ пирахъ и пьянствѣ съ посланнымъ кей-каусовымъ. За это Кей-Каусъ приходитъ въ такой гнѣвъ на Рустема, что когда этотъ появляется наконецъ у него при дворѣ, то царь встрѣчаетъ его жестокими упреками и

велитъ повѣсить его и своего посланнаго. Но Рустемъ отталкиваетъ отъ себя могучею рукою исполнителей царской воли, и уѣзжаетъ къ себѣ въ удѣлъ, объявивъ, что нога его не будетъ больше въ Иранѣ. Послѣ его отъѣзда вельможи упрекаютъ царя, что онъ въ такое опасное время разсердилъ Рустема и умоляютъ его просить богатыря, чтобы онъ воротился. Царь сдается на ихъ убѣжденія и посылаетъ къ Рустему Гудерса. Но Рустемъ не хочетъ его и слушать: «Что мнѣ за дѣло до Кей-Куса! говоритъ онъ. Сѣдло—вотъ мой тронъ; шлемъ—вотъ мой царскій вѣнецъ; кольчуга — вотъ моя царская одежда, и душа моя ни чуточки не помышляетъ о смерти. Что такое Кей-Каусъ передо мною? Горсточка пыли. Чего мнѣ бояться его гнѣва? Развѣ я заслужилъ тѣ неприличныя рѣчи, которыя онъ мнѣ наговорилъ въ своей ярости? А еще я-же освободилъ его изъ цѣпей, я-же воротилъ ему царскій вѣнецъ и престолъ. Теперь моему терпѣнью конецъ, сердце мое переполнилось и я никого уже не боюсь, кромѣ Бога!» [101]).

Такъ вотъ онъ—первообразъ всей смѣлости выходокъ Ильи Муромца! Но и смѣлости Сида и Вильгельма Оранжскаго — слѣдовало бы прибавить, если на то пошло [102])! И не меркнутъ ли всѣ эти смѣльчаки предъ Рустемомъ?—Да, но что же слѣдуетъ далѣе въ Шахъ Намѐ?—Нашъ изслѣдователь говоритъ, что Рустемъ потомъ уступаетъ, ѣдетъ къ царю и мирится съ нимъ. Что бы г. Стасову такъ же дословно, какъ смѣлую выходку богатыря, привести и его *мировую*! Вотъ она, по тому же французскому переводу Моля, которому слѣдовалъ и г. Стасовъ. Чуть завидѣлъ царь еще издали Рустема, какъ поспѣшилъ на встрѣчу ему и сталъ извиняться... «Тебѣ принадлежитъ власть, отвѣчалъ Рустемъ; всѣ мы — твои рабы и весь міръ—твоя собственность. И самъ я только одинъ изъ рабовъ, пребывающихъ у твоихъ дверей, если только я достоинъ считаться въ числѣ ихъ, я, явившійся теперь исполнять твою волю» [103]). Этою униженною рѣчью не упраздняется ли вся сила прежней рустемовой выходки [104])? Такъ это ли первообразъ Ильи, ко-

---

[101]) Вѣстн. Европы, апрѣль 1868 г., стр. 666—667.

[102]) Г. Стасовъ и сдѣлалъ уже вообще шагъ къ тому, признавъ (въ своей полемической статьѣ противъ меня и гг. Безсонова и Гильфердинга, въ № 319 Спб. Вѣд.) что не только нашъ, но и весь европейскій эпосъ заимствованъ съ востока. Но не обмолвка ли это—въ пылу раздраженнаго спора?

[103]) Mohl, Livre des Rois, II, 126.

[104]) Справедливость заставляетъ меня замѣтить что въ подлинникѣ Рустемъ смѣло говоритъ про шаха не только заочно (какъ выходитъ оно въ передачѣ г. Стасова), но также и въ глаза ему: «Ты переполнился гнѣвомъ, говоритъ онъ шаху еще ранѣе тѣхъ заочныхъ словъ, которыя приведены г. Стасовымъ, всѣ твои поступки—одинъ другого хуже и ты недостоинъ царской власти... Если ты и живешь, то только благодаря мнѣ...» (Mohl. II, 147). Собственная выгода г. Стасова на этотъ разъ должна бы заставить его быть поточнѣе въ своихъ выпискахъ, и это можетъ служить намъ примѣромъ, въ какой мѣрѣ поспѣшность его труда доводила его до промаховъ. Я готовъ думать послѣ этого, что и пропуски, выгодные для г. Стасова, объясняются вовсе не недостаткомъ ученой добросовѣстности, а скорѣе небрежностью. Какъ бы то ни было, но и смѣлая выходка Рустема передъ лицомъ самого шаха совершенно изглаживается приведенными у меня выше унизительными словами. Впрочемъ, г. Стасовъ упустилъ одинъ примѣръ для сравненія съ Ильей, гораздо болѣе благодарный,—это примѣръ, представляемый самимъ возсоздателемъ Шахъ-Намѐ, поэтомъ Фирдоуси, въ жизнеописаніи котораго многое, повидимому, отзывается складомъ преданія. Когда шахъ Махмудъ, настроенный противъ Фирдоуси своею дворцовою сволочью, личностями въ родѣ Мишатки Путятина,—вмѣсто обѣщанныхъ мѣшковъ золота, отправилъ къ поэту мѣшки съ серебромъ въ награду за его поэму,—Фирдоуси, обиженный такимъ нарушеніемъ даннаго слова и такою скаредностью, одну часть этихъ мѣшковъ подарилъ посланному, другую—баньщику, который его мылъ (мѣшки были поданы при выходѣ изъ бани), третьею заплатилъ за питье, потребованное у продавца. Зная, что ему послѣ этого не избѣгнуть царскаго гнѣва, Фирдоуси самъ отправился въ изгнаніе, поручивъ одному изъ своихъ друзей вручить шаху по прошествіи 20 дней,

торый тѣмъ, главнымъ образомъ, и отличается, что выдерживаетъ до конца: смѣло начавъ, онъ не менѣе смѣлъ и въ тотъ заключительный мигъ, когда изрѣкаетъ *прощеніе* князю.

Но мы разсмотрѣли только первое дѣйствіе ссоры между богатыремъ и княземъ. Второе заключается въ томъ, что обидчику князю, счастливому въ пору изгнанья богатыря, приходится вслѣдъ за тѣмъ, попадая въ бѣду, искать у него же помощи. Въ расказѣ изъ Шахъ-Наме, какъ нетрудно замѣтить, это второе дѣйствіе отчасти уже заключается въ первомъ. У насъ напротивъ того есть совершенно особенныя былины, относящіяся *ко второму дѣйствію*. Прежде всего приведу сибирскую (съ Сузунскаго и Локтевскаго заводовъ), помѣщенную у Кирѣевскаго въ вып. I, стр. 66—70. На пиру у Владиміра наѣдаются, напиваются и призахвастываются *бояры* (только въ самомъ началѣ упомянуты тутъ, при перечисленіи гостей, и богатыри *съ поляницею*). Какъ возговоритъ Владиміръ князь: «Полно вамъ, *бояры*, хвастати! Стану я васъ дарить, жаловать—кого серебромъ, кого золотомъ, кого жемчугомъ».— Тутъ его останавливаетъ княгиня, напоминая, что одного только удалаго молодца не подарилъ онъ и не ужаловалъ, — что̀ по имени-то Илью Муромца.

«Ты гой еса, княгиня неразумная!
Подарю я удала добра молодца
Тѣми дарами, которы мнѣ пришли
Отъ татарина отъ бусурманова:
Подарю я его тою *шубой соболиною*.
(Стихи 29—32)

Не могъ быть доволенъ Илья такимъ *бусурманскимъ* подаркомъ, наконецъ-то назначеннымъ и ему—какъ будто изъ милости. Вотъ однако же что̀ онъ дѣлаетъ:

Беретъ Илья Муромецъ шубу за одинъ рукавъ
И бьетъ шубу о кирпищатъ полъ,
А самъ къ шубѣ приговариваетъ:
«Велитъ то мнѣ Богъ шубу бить
О кирпищатъ полъ:
Велитъ мнѣ Богъ бивать
Татарина бусурманова.
(Стихи 33—39)

Кто знакомъ съ древнѣйшими общенародными суевѣріями, тотъ не можетъ не усмотрѣть въ этомъ обращеніи съ шубою—заговаривающаго, чарующаго

---

(т. е., когда его слѣдъ проститъ ожесточенную на него сатиру, сохранившуюся и до сихъ поръ. Затѣмъ знаменитый поэтъ выдерживаетъ до конца, и если отпечатокъ восточныхъ отношеній къ власти сказывается сколько нибудь и тутъ, то развѣ въ этомъ стрѣляніи въ шаха сатирою изъ за угла, да еще въ той попыткѣ смягчить его, какую позволилъ себѣ Фирдоуси передъ своимъ отправленьемъ въ изгнанье, когда, подстерегши шаха въ саду, упалъ передъ нимъ на колѣни и сталъ его увѣрять: «враги напрасно обвиняютъ меня, твоего раба, въ принадлежности къ сектѣ Карматовъ (такое обвиненіе было на него заведено врагами съ цѣлью окончательно вооружить царя) (См. жизнь Фирдоуси въ предисловіи Моля къ 1 ч. его перевода, стр. XXIV—XLIV; тутъ же переведена и его сатира). Такимъ образомъ и въ жизни Фирдоуси не обошлось безъ выраженій рабъ и безъ колѣнопреклоненій. Къ тому же вся эта распря между царемъ и народнымъ поэтомъ—распря все-таки болѣе личная, незатрогивающая народныхъ нравъ и неотмѣченная со стороны Фирдоуси ни малѣйшею тѣнью забывчивости о народѣ. Послѣ этого я смѣю думать, что и къ самому Фирдоуси только до нѣкоторой степени могутъ быть отнесены слѣдующія слова Карріера, у него, впрочемъ, относящіяся къ Рустему: «тутъ не замѣтно восточнаго духа рабства (Knechtsinn), а замѣтна такая же свободная служба, какъ у Грековъ и у Германцевъ. (Carriere, die Kunst im Zusammenhange der Culturentwickelung, III, 1, 268). Но дѣло въ томъ, что ни у древнихъ Грековъ, ни у Германцевъ въ сущности не было этой свободной службы, потому что свободно можно служить только общинѣ, міру-народу, какъ у насъ говорится. Вотъ такъ-то и служитъ Илья.

начала. То, чтó дѣлается надъ чьей либо вещью, должно сообщиться и ея обладателю. Такимъ образомъ, потѣшаясь надъ бусурманскою шубою, Илья уже заранѣе обезпечиваетъ себѣ и потѣху надъ злымъ татариномъ. Вотъ на чтó служитъ ему переподарокъ княжескій. Но вѣрные слуги владиміровы пользуются удобнымъ случаемъ, чтобъ очернить передъ нимъ Илью:

Тутъ князья и бояры подмолвились:
«Гой еси, батюшка Владиміръ князь!
Всѣмъ-то намъ твои дары по любви пришли,
Одному-то удалому молодцу
Дары тѣ не по любви пришли,
Чтó по имени-то Ильѣ Муромцу—

И этихъ опричничьихъ словъ уже достаточно, чтобы тотчасъ-же раздался голосъ и самого князя:

Взять было удалаго добра молодца,
Бросить его въ погреба глубокіе,
Задернуть рѣшетками желѣзными,
Завалить чащей, хрящемъ, камнемъ.

Волю Владиміра тутъ же и исполняютъ—всегда, надо думать, находящіеся на готовѣ *скурлаты* немилостивые. А издатели сборника на слово *скурлаты* дѣлаютъ замѣчаніе: «собственное имя Малюты Скуратова обратилось въ имя нарицательное, со значеніемъ палача; есть поговорка, въ собраніи пословицъ В. И. Даля, въ которой удержалось имя Малюты Скуратова въ томъ же значеніи.»—Въ нашихъ былинахъ о Грозномъ царѣ, какъ извѣстно, Малюта является и живьемъ, какъ имя *собственное:* тамъ ему поручаютъ сказнить царевича, котораго спасаетъ однако Никита Романовичъ. Илью же богатыря отъ скурлатовъ княжескихъ умѣетъ спасти — являющаяся тутъ съ самымъ свѣтлымъ значеньемъ княгиня: она была догадлива—копала подкопы подъ тѣ погребы, поила и кормила доброво молодца, поила и кормила ровно три года. А между тѣмъ накатилась на Кіевъ градъ сила невѣрная бусурманская царя Калина,—обстала на шестьдесятъ верстъ. Вотъ и повѣсилъ Владиміръ князь буйну голову, а княгиня спрашиваетъ его, чтó съ нимъ сталося?

«Ты гой еси княгиня неразумная!
Накатилась на насъ сила невѣрная…
Того было царя Калина.
А нѣтъ у насъ стоятеля,
Нѣтъ у насъ оберегателя,
Удалова добра молодца, Ильи Муромца.

А княгиня даетъ совѣтъ: ты вскричи *своимъ вѣрнымъ слугамъ—скурлатамъ немилостивымъ*, чтобъ сходили да посмотрѣли, не живъ ли онъ?

Отвѣчаетъ ей Владиміръ князь:
«Ты гой еси, княгиня неразумная!
Сними-ко ты буйную голову,—
Прирростетъ ли она къ плечамъ?
Говоритъ княгиня князю Владиміру:
«Посылай только—онъ живъ сидитъ».

Слуги *вѣрные неизмѣнные* побѣжали—и точно, достали Илью, отвели къ Владиміру. Богатырь (если только нѣтъ въ этомъ мѣстѣ пропуска) съ разу догадывается, зачѣмъ воротили его на свѣтъ божій, и ссылается на то, что нѣтъ у него коня добраго и всей сбруи богатырскія. Доставляютъ ему и коня и сбрую, богатырь-же, только повидимому спокойный, незлобивый, прежде всего говоритъ Владиміру: *«подай-ко мнѣ своихъ измѣнщиковъ»*.

Такими онъ можетъ считать только тѣхъ, кого князь почиталъ *неизмѣнными, вѣрными* слугами;—тѣхъ, умѣющихъ только стращать государя навѣтами, а не умѣющихъ отстоять отъ враговъ его государство!

Проведи къ Ильѣ измѣнщиковъ,
И посѣкъ онъ имъ буйны головы —

Замѣчателенъ такой оборотъ: эта кара своимъ врагамъ—потому, что они и измѣнщики государевы. Показнивъ всѣхъ скурлатовъ—домашнихъ Татаръ—Илья устремляется на Татаръ постороннихъ. Какъ прибилъ онъ, три года тому, бусурманскую шубу, такъ прибиваетъ теперь въ трое сутокъ всю силу невѣрную. Прибѣжавъ же домой, залегъ и спалъ трои сутки.

Значительно иначе, по подробностямъ, и гораздо полнѣе, съ участьемъ особыхъ лицъ, представляется то-же сказаніе въ двухъ пересказахъ у Рыбникова, которыхъ нельзя не признать за обломки совершенно самостоятельнаго извода. Одинъ пересказъ, записанный въ Петрозаводскомъ Уѣздѣ отъ слѣпого Каргопольскаго Калѣки (Р. III № 35), отличается особенной полнотой и стройностью. Наѣзжалъ собака воръ Калинъ царь на Кіевъ, посылаетъ къ Владиміру князю татарина—посла грознаго.

И не крестится татаринъ, не кланяется,
Не бьетъ челомъ на четыре стороны,
И князю Владиміру не поклоняется,
А бросилъ письмо на дубовый столъ:
Разсматривай, Владиміръ князь, писемочко,
Отъ нашего собаки царя Калина...
«Отдалъ бы Владиміръ князь Кіевъ градъ,
Кіевъ градъ, безъ бою, безъ драки великія»...

А Владиміръ князь выговариваетъ, чтобы далъ ему Калинъ царь сроку на три года, три мѣсяца, три дня и три часа: накурить бы зелена вина, наварить пива пьянаго—было бы чѣмъ его, царя, встрѣтить. Но князю совсѣмъ не на то было надобно выгадать время. Сдаваться онъ не хотѣлъ, а бой завести несподручно было.

И слезно Владиміръ князь расплакался;
*Раздразнилъ я какъ сильныхъ могучихъ богатырей,* [105])
Всѣ богатыри разъѣхались.
Какъ бы былъ старый казакъ Илья Муромецъ,
И тотъ бы постарался
Ради дому пресвятыя Богородицы
И ради матушки свято-Русь земли,
И посадилъ я Илью въ погреба во глубокія
И заморилъ я смертью голодною.
Выходила *дочь княженецкая*...
«Можетъ, живъ старый казакъ Илья Муромецъ,
Бываетъ, съѣздитъ во Кіевъ градъ, да постарается».

Вмѣстѣ съ дочерью отправляется и самъ князь во погребъ:

И сидитъ старый казакъ Илья Муромецъ,
Сидитъ то за дубовымъ столомъ
И читаетъ книгу онъ евангелью.
Ударилъ Владиміръ князь Ильѣ во праву ногу:
„Ай же ты, старый казакъ Илья Муромецъ!
Съѣзди, постарайся ради дому пресвятыя Богородицы,
И ради матушки свято-Русь земли...»
И будто Илья Муромецъ не вѣдаетъ:
«А что, Владиміръ князь, надъ Русью сдѣлалось?»

[105]) Замѣчательно, что Карла Вел. упрекаетъ старый его, совѣтникъ Naimes: vos aves tous vos princes banis (Renaus de Montauban, p. 268) — т. е. несправедливымъ обращеніемъ съ ними.

Повѣствуетъ Владиміръ князь обо всемъ, а Илья, отлагая всѣ счеты и жалобы на обиду, говоритъ просто: «я пойду царя Калина упрашивать». Въ торопяхъ, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, скачетъ онъ черезъ стѣну и черезъ башню и пріѣзжаетъ къ Татарамъ, удивившимся-струсившимъ, что онъ живъ. Память о власти Татаръ сказалась въ нашихъ былинахъ главнымъ образомъ тѣмъ, что въ началѣ на нихъ какъ бы не хватаетъ наличныхъ богатырскихъ средствъ, и даже такой богатырь, какъ Илья, видитъ себя принужденнымъ упрашивать, и, упрашивая, затѣвать обманъ. Онъ повторяетъ просьбу Владиміра о трехгодичномъ срокѣ, чтобы было когда наварить вина-пива Татаровьмъ. «Вѣрю тебѣ, Илья Муромецъ, по старости. Встрѣтьте меня, царя Калина и Татаровей оподчивайте»;—т. е., имъ Калинъ является также довѣрчиво глупымъ, какими обыкновенно являются въ народномъ эпосѣ великаны. Илья же на возвратномъ пути, обозрѣвъ татарскую силу и увидавъ, что ей смѣты нѣтъ, поднимается сперва на одну гору, потомъ на другую и смотритъ на всѣ на четыре стороны—должно быть высматривая товарищей-богатырей, но нигдѣ ничего не видитъ. Наконецъ-то, забравшись на третью гору, онъ увидѣлъ съ нея на востокѣ шатеръ бѣлополотняный... Поѣхавъ туда, онъ находитъ близь шатра *тридцать* [106]) коней богатырскихъ, и кони знакомые, кіевскіе—отца крестнаго Самсона Самойлова.

Входитъ Илья въ шатеръ и видитъ: сидятъ двѣнадцать богатырей и Самсонъ самъ тринадцатый. Вотъ гдѣ, такимъ образомъ, оказались *раздразненные* княземъ богатыри: они отыскали себѣ пріютъ у *старшаго*, ушедшаго на покой Самсона, оказавшагося крестнымъ отцомъ Ильи. А крестникъ, и самъ ужь старикъ, зоветъ къ себѣ на помощь противъ Татаръ крестоваго батюшку: «ступай, молъ, и ты во главѣ всѣхъ двѣнадцати братьевъ названыхъ;—и твоей стариною пришлось тряхнуть—одолѣли безъ счету поганые!» Но Самсонъ отвѣчаетъ:

Ай же ты, любимый крестничекъ!
Кладена у меня заповѣдь крѣпкая
Не бывать-бы мнѣ во городѣ во Кіевѣ
И не глядѣть бы мнѣ на князя на Владиміра,
И на княгину Апраксію не сматривать,
И не стоять бы больше мнѣ за Кіевъ градъ:
Онъ слушаетъ *князей-бояръ*.
А не почитаетъ *богатырей*.

Тутъ съ особенною ясностію проведено это раздѣленіе, соотвѣтственное историческому—*на опричнину* и *на земщину*. Старѣйшій глава послѣдней, понадобившись вдругъ князю, не хочетъ его спасать; но крестникъ старѣйшаго, душа земщины, растолковываетъ ему, что надо спасать—не князя:

Батюшко крестный Самсонъ Самойловичъ!
Не ради князя Владиміра
И княгини Апраксы королевишны,
Ради дому пресвятыя Бородицы
И чудотворцевъ кіевскихъ
И ради матушки свято-Русь земли
*Положи ты половину грѣха на меня*, [107])
Поѣдемъ ко мнѣ на помочь.

[106]) Должно быть тринадцать, соотвѣтственно далѣе упомянутому числу богатырей.

[107]) Считаю не лишнимъ указать при этомъ на существующее въ Сибири юридическое выраженіе, что грѣхъ

Ильѣ уже не въ первой брать на свою душу подобный грѣхъ: нарушеніе даннаго слова. Наложилъ на него, при первомъ его отъѣздѣ изъ дому, родимый батюшка заповѣдь не кровавить рукъ. А попались ему подъ Черниговомъ облегшіе городъ насильники. Какъ тутъ было спасти отъ нихъ мужиковъ черниговскихъ, не нарушивъ заповѣди? — и нарушилъ [108]). Туже свободу духа, туже несвязанность буквой закона обнаруживаетъ Илья и теперь. Напрасно крестовый отецъ еще разъ отнѣкивается:

«Великій мой грѣхъ
Не пойду стоять за Кіевъ градъ».
—Батюшка крестный Самсонъ Самойловичъ!
Положи же весь грѣхъ на меня,
И поѣдемъ ко мнѣ на помочь»;
Пособи мнѣ прогнать царя Калина».
И упросилъ Илья Муромецъ
Самсона Самойловича и двѣнадцать богатырей.

Выѣхали въ поле и легли опочивъ держать, только Ильѣ не спится, мало собится. Всталъ и поѣхалъ одинъ на царя Калина. Началъ ужь онъ проводить переулки и улицы черезъ силу татарскую, какъ вдругъ подъ нимъ конь провѣщился: «выкопано у царя Калина три подкопа—изъ перваго я тебя повынесу, и изъ второго повыскочу, но ужь изъ третьяго-то наврядъ»! Вотъ и попалъ Илья Муромецъ въ третій подкопъ [109]), — сковали ему Татаровья ножки рѣзвыя, связали ему ручки бѣлыя, и привели къ царю Калину. Но подобное положенье любимаго изъ богатырей не могло продолжаться долго. Историческихъ два съ половиною вѣка господства татарскаго эпически сокращаются въ одинъ мигъ. Калинъ царь предлагаетъ Ильѣ служить ему вѣрой правдою, сулитъ даже положить на него *пененизо великое*, а Илья отвѣчаетъ: «какъ была бы у меня одна ручка правая, отрубилъ бы тебѣ голову». А Калинъ велитъ Татаровьямъ отрубить ее самому Ильѣ. Повели богатыря во чисто поле. Но эпически-возможною оказалась тутъ у Татаровей церковь соборная: завидѣвъ ее, взмолился Илья, — и посылаетъ ему Господь двухъ ангеловъ, оборвали съ рукъ поводья шелковые, оборвали съ ногъ оковы желѣзныя [110]). Сталъ Илья на своей волѣ, ухватилъ, замѣсто оружія, татарина за ноги—и досталось же тутъ опять Татарамъ! [111]). Между тѣмъ, досадуя на безпечность и лѣнь крестоваго батюшки, богатырь отправляетъ къ

---

дѣлится подѣламъ (за недостаткомъ уликъ т. е. —между истцомъ и отвѣтчикомъ). См. стр. 624, прим. 1-е въ I т. Записокъ Географ. Общ. по отдѣленію этнографіи (статья П. Мулова о матерьялахъ для объясненія нар. юрид. быта).

108) См. выше стр. 296.

109) Дѣланіе подкоповъ—весьма древняя эпическая черта. Она попадается и въ сербскомъ народномъ эпосѣ, (наприм. у Петрановича въ его Боснійскихъ и Герцеговинскихъ пѣсняхъ, стр. 303). Въ подкопъ попадаетъ и неодолимый иранскій богатырь Рустемъ, (на что указываетъ г. Стасовъ на стр. 674-ой апрѣльской книжки Вѣстника Европы); тутъ и находитъ онъ смерть, тогда какъ нашъ Илья этимъ способомъ только попадаетъ въ плѣнъ и потомъ спасается. — Съ другой стороны къ подкопамъ и до сихъ поръ еще прибѣгаютъ Готтентоты — для ловли слоновъ (Lubbock, l'homme avant l'histoire, trad. de l'anglais p. Barbier p. 341. Бенфей приводитъ примѣры индѣйскаго способа ловить слоновъ—посредствомъ прикрытыхъ подкоповъ, куда они и проваливаются (P. Tantra, I, 826). И это далеко не единственный примѣръ сохраненія въ самомъ быту теперешнихъ дикарей такихъ особенностей, которыя попадаются намъ въ эпосѣ у всѣхъ, даже самыхъ передовыхъ народовъ.

110) Въ этомъ случаѣ эпосъ нашъ является охристіанствованнымъ въ той же мѣрѣ, какъ и карловингскій, гдѣ очень обыкновенно явленье помощниковъ-ангеловъ -особенно самому Карлу Великому.

111) Такое же точно похожденье съ татарскими закопанями приписывается—конечно ошибкой—Добрынѣ, въ одной довольно плохой былинѣ, записанной въ Вытегорскомъ Уѣздѣ г. въ Олонецкомъ Приходѣ? Обручевымъ (Р. II. № 8).

нему вѣсточкою стрѣлу, наговаривая, чтобы прилетѣла она къ нему прямо въ шатеръ, проломила у него латы кольчужныя и прошла прямо въ сердце ретивое. — Стрѣла исполняетъ все въ точности, — и пробуждается богатырь Самсонъ: «Ставайте-тко, братцы крестовые! вѣрно моему-то крестничку не собится». Такимъ образомъ Самсонъ какъ будто сдерживаетъ свое слово: поднимается на выручку не къ кому другому, какъ къ своему крестнику, добродушнаго и свободнаго взгляда котораго не раздѣляетъ. Но какъ бы то ни было, крестникъ достигъ своего: Калинъ царь бѣжитъ отъ Самсона съ богатырями, приговаривая: «Закажу я дѣтямъ и внучатамъ ѣздить ко городу ко Кіеву.»

Тогда Владиміръ князь со княгинею стлали сукна драгоцѣнныя, накладывали мисы златомъ-серебромъ, окатнымъ жемчугомъ, брали куницъ, лисицъ, соболей—дарили и жаловали богатырей.

И въ то время у богатырей «сердца кончились». У Ильи же, который поставленъ несравненно выше ихъ всѣхъ, *сердце кончилось* еще въ погребѣ,— при первомъ извѣстіи о Татарахъ.

Теперь укажу на тѣ тюркскіе *образцы*, которые приводятся г. Стасовымъ. Вотъ одинъ — киргизскій. Народъ хана Конгдаиди боится сына его Суну и завидуетъ ему за необыкновенные его богатырскіе подвиги; вотъ они и клевещутъ на него хану, увѣривъ его, что Суну изнасиловалъ многихъ женъ и дочерей ихъ. Ханъ приходитъ отъ этого въ величайшій гнѣвъ, велитъ выкопать яму въ семь саженъ глубины и бросить туда Суну, а напередъ отрубить ему руки, вынуть лопатки изъ спины и снять кожу. Суну говоритъ ему: «ой, батька, куда-то ты дѣнешься? Какъ убьешь меня, сгинетъ твоя юрта!..».. Но ханъ ничего не хочетъ знать, и сына его спустили въ яму. Какъ вдругъ года черезъ три принесли къ Киргизамъ изъ Монголіи огромный лукъ, съ такимъ объявленіемъ, что если у Киргизовъ натянутъ и выстрѣлятъ изъ этого лука, то Монголы будутъ платить дань Киргизамъ, а если нѣтъ, то Киргизы Монголамъ. Напрасно ханъ Конгдаиди собираетъ весь свой народъ: никто не въ состояніи сладить съ лукомъ. Тутъ ханъ вспоминаетъ про сына своего Суну и плачетъ. Потомъ велитъ отрыть и принести его: Суну еще живъ. Его мажутъ сметаной, кормятъ мозгомъ изъ костей, и онъ снова получаетъ свои силы. Сначала онъ не хочетъ исполнять требуемаго отъ него подвига [112]) и выручить киргизскаго хана изъ бѣды, но потомъ велитъ помазать лукъ сметаной, потому что онъ разсохся, и натягиваетъ его съ такою богатырскою силою, что лукъ ломается. [113]) «Несите его къ Мотнголу, говоритъ Суну, онъ никуда не годится»...

А вотъ и другой образецъ, записанный у Телеутовъ.—У Ойротскаго князя Конгодоя былъ сынъ отъ первой жены, богатырь Шюню, котораго возненавидѣли и замыслили погубиь младшіе братья, сыновья второй княжеской жены. Они однажды наклеветали отцу на старшаго брата и увѣрили его, что

---

[112]) «Отецъ, говоритъ онъ, ты разрѣзалъ мнѣ руку, и у меня нѣтъ теперь силы въ плечахъ». — Попробуй, однакоже, дитя мое. (Radloff, Proben, II, 383—84). Привожу это въ дополненіе къ передачѣ г. Стасова.

[113]) Это стрѣляніе изъ неприступнаго лука составляетъ черту, выставляемую г. Стасовымъ также въ другомъ мѣстѣ, при разборѣ былинъ о Добрынѣ (см. выше стр. 516).

этотъ злоумышляетъ на его жизнь. Отецъ послушался и они напоили Шюню до пьяна, вырыли яму въ 60 сажень глубины и столкнули туда Шюню. Затѣмъ приходятъ изъ другой страны три человѣка съ луками, какъ и въ расказѣ киргизскомъ. Младшіе княжіе сыновья не могли даже и поднять то лукъ; они испугались и сказали: надо за Шюню взяться! Тогда они поѣхали къ Шюню, и вынули его изъ ямы. Шюню былъ еще живъ. Они обрадовались, убили молодую кобылу, стали его угощать виномъ и мясомъ. Шюню сказалъ: «я возьму свой собственный лукъ», и принесъ его. Шюню сталъ стрѣлять изъ своего лука и насажалъ множество стрѣлъ въ желѣзный порогъ своего отца, потомъ сказалъ: «подайте мнѣ тѣ луки». Ему дали тѣ луки, онъ натянулъ всѣ три, выстрѣлилъ и сказалъ: «берите прочь эту дрянь и убирайтесь вонъ». И тогда всѣ три человѣка пошли прочь и стали платить дань» [114])

Ясно, что это только два пересказа одной и той же повѣсти (даже имя богатыря должно быть одно: *Суну—Шюню*). Если же въ расказѣ киргизскомъ богатырь оклеветывается не братьями, а цѣлымъ *народомъ*, то знакомому съ тюркскими пѣснями должно быть извѣстно, что въ нихъ разумѣется подъ народомъ. Одинъ ханъ нападетъ на другого и уведетъ у него *весь народъ* [115]). Ясно, что онъ тутъ равнозначущъ *роду*. И Суну, оклеветываемый народомъ, оклеветывается на самомъ дѣлѣ только совокупностью своихъ родичей. Такимъ образомъ дѣйствіе разыгрывается и тутъ въ предѣлахъ весьма ограниченныхъ, если не семейныхъ, то родовыхъ. Это ссора-вражда не между княземъ и народнымъ богатыремъ, при вмѣшательствѣ двора княжескаго, а между отцомъ и сыномъ, при вмѣшательствѣ братьевъ, или же и цѣлой родни. Сюда бы можно было отнести по праву и знаменитое сказаніе объ Іосифѣ съ братьями,—гдѣ имѣется даже и *яма*, какъ средство гибели, не говоря уже о томъ, что онъ, обиженный, является подъ конецъ спасителемъ братьевъ-обидчиковъ.—Г. Стасовъ, приводя свои тюркскіе образцы, главнымъ образомъ налегаетъ на ихъ развязку, думая тѣмъ доказать, что «благодушіе Ильи вовсе не есть исключительная характеристическая черта нашего Ильи». Отчасти это, можетъ быть, и вѣрно относительно расказа киргизскаго, въ телеутскомъ-же дѣло кончается совершенно иначе, но нашъ сочинитель отбросилъ этотъ конецъ. Приведу его. Братья Шюню отправляются добывать завоеванную имъ дань, а Шюню за ними. Тутъ онъ силою чаръ производитъ холодъ и замораживаетъ всѣхъ трехъ братьевъ [116]). По всей вѣроятности и въ пересказѣ киргизскомъ только *позабытъ* подобный конецъ. Изъ этого, кажется, ясно, что тюркскіе «первообразы» не во всемъ-то близки къ нашей былинѣ.

Но неужели г. Стасовъ не нашелъ у своего нѣмца Каппера перевода

---

114) Вѣстн. Евр. Апр. 1869 г. стр. 665—666.

115) Вмѣстѣ съ цѣлымъ народомъ обыкновенно уводятъ и всѣ стада побѣжденнаго, такъ что народъ постоянно употребляется въ этихъ случаяхъ какъ какой-то неизбѣжный близнецъ стада. (См. въ сборн. Радлова ч. II стр. 95, 123, 126, 348, 412, 569). Особенно же явствуетъ ограниченное значеніе народа изъ слѣдующихъ мѣстъ: «онъ пасетъ свой народъ и свое стадо... проѣзжаетъ сквозь свое стадо и свой народъ (стр. 89) «Стада было столько, что наполнилась степь, народа же столько, что наполнился домъ.. «(стр. 224)». онъ пересчитываетъ свой народъ, а также и все множество своихъ стадъ (стр. 388). «Для его стада не станетъ травы, для его народа не станетъ мѣста въ юртѣ. Пригнанное стадо Акъ-Хана (врага) присоединяетъ онъ къ своему стаду, а народъ Акъ-Хана—къ своему народу (стр. 895).

116) Radloff, Proben, 1, 207.

извѣстной сербской пѣсни про Марка Кралевича и разбойника Мусу? Она значительно ближе къ нашимъ былинамъ, чѣмъ его тюркскіе «первообразы».— Марко уже три года томится въ тюрьмѣ, въ которую засадилъ его царь (султанъ). Между тѣмъ Муса, служившій царю цѣлыхъ девять лѣтъ и не выслужившій ни коня, ни оружья [117]), удалился на берегъ моря и сталъ заниматься разбоемъ. Сколько ни высылалъ царь войска, ничего не могло оно *упахать* съ Мусою. Вотъ тутъ-то и вспомнилъ царь Марка, считая его погибшимъ въ тюрьмѣ (како сам га врг'о у тавницу, нијесам је више отворио). Тогда Ходжа Чуприлійчичъ объявляетъ царю, что Марко живъ. Его приводятъ къ царю, совсѣмъ почернѣвшаго—съ косой до самой земли, съ такими ногтями, которыми бы можно было орать. «Живъ ли ты еще, Марко?» спрашиваетъ его царь. «Живъ, но поржавѣлъ» добродушно отвѣчаетъ Марко. На новый вопросъ царя, можетъ ли онъ выступить противъ Мусы, Марко безъ всякихъ попрековъ ссылается на то, что онъ, отъ долгаго сидѣнья въ тюрьмѣ, почти ничего не видитъ. Но отведи мнѣ помѣщенье въ механѣ (корчмѣ), дай мнѣ подкрѣпить себя пищею и питьемъ, и черезъ нѣсколько дней я скажу, годенъ ли я вступить въ бой». Прошло три мѣсяца, царь опять приступилъ къ Марку, и, надо думать, зная, чѣмъ всего легче можно подѣйствовать на него, заговорилъ о *сиротинѣ*, плачущейся на Мусу. Вотъ Марко велитъ принести себѣ дубину и сжимаетъ ее правой рукой: она треснула на двое на трое, но вода не потекла изъ нея. «Еще не время» замѣтилъ Марко. Прошелъ еще мѣсяцъ, тогда Марко опять послалъ за дубиной, и на этотъ разъ она не только что треснула, но и сокъ полился изъ нея. Убѣдившись въ возстановленіи своихъ силъ, Марко отправился противъ Мусы. Долго ни онъ не могъ побороть Мусу, ни Муса его. Наконецъ, при помощи посестримы вилы (существа миѳическаго, болѣе древняго, разумѣется, чѣмъ *ангельская помощь* Ильѣ въ нѣкоторыхъ былинахъ), Марко одолѣваетъ. Отрубивъ Мусѣ голову, онъ кидаетъ ее въ мѣшокъ своему коню, потомъ ѣдетъ къ царю и бросаетъ передъ нимъ голову Мусы.

Цар је од стра' на ноге скочно...
«Не бои ми се, царе господине!
Како би га жива дочекао,
Кад от мртве главе поиграваш. [118])

Этимъ смѣлымъ указаньемъ царю на его робость и ограничивается вся отместка Марка. Что же касается *киданія головы*, то величавое спокойствіе, съ какимъ дѣлаетъ это Марко, вполнѣ напоминаетъ Илью съ головой нахвальщика жидовина. (Да и самыя подробности боя съ нимъ отчасти напоминаютъ бой Марка съ Мусою) [119]).

Въ другой сербской пѣснѣ—о Маркѣ и Арапѣ, отъ котораго избавляетъ онъ царскую дочь, встрѣчается одна черта, напоминающая слова Ильи Сам-

---

[117]) Это напоминаетъ нашего дворянина безчастнаго молодца. (Р. II, № 51).

[118]) Вука II, стр. 401—410.

[119]) Замѣчу при этомъ что въ пріемѣ Ильи съ головою жидовина г. Буслаевъ совершенно вѣрно усматриваетъ художественный, мастерской штрихъ, который сдѣлалъ бы честь лучшему изъ поэтовъ образованной эпохи. Краткимъ презрительнымъ отзывомъ прикиданія головы ограничилась вся похвальба, весь отчетъ о смертельномъ побоищѣ Р. В. 1862 г. Сент. стр. 59. То же можетъ быть отнесено и къ соотвѣтственной чертѣ въ сербской пѣснѣ.



сону: «не ради князя и княгини, а ради богородицы и святыхъ» (т. е. спаси князя). Царская дочь умоляетъ Марка спасти ее и при этомъ *братимитъ* его Богомъ и святымъ Іованомъ; Марко же отвѣчаетъ: «да с'не бојим цара и царице, ја се бојим Бога и Іована.»—(Вука II, стр. 392).

Но г. Стасовъ задался себѣ мыслію, что съ пѣснями сербскими нѣтъ у насъ ничего общаго, и пробѣжалъ, надо думать, своего нѣмца Каппера далеко не съ такимъ вниманьемъ, какъ Радлова.

Возвращаясь къ нашимъ былинамъ, укажу только на немногія особенности другого рыбниковскаго пересказа былины про Илью съ Татарами, пересказа довольно неполнаго и во многомъ попорченнаго (записанъ въ Колодозерской Волости отъ Трофима Романова) [120]). Владиміръ, у котораго тутъ «*царски ручки* пріопали объ себя», когда Илья отправляется въ путь, провожаетъ его «со всѣмъ да со усердіемъ». Самсонъ не идетъ съ Ильей, а наказываетъ ему:

Подь-ка ты для вечера да поужинай
А въ эвтую силу поганую,
А заутра я пріѣду пообѣдати
Со своей дружиной со хороброю.

Когда Илья Муромецъ ѣдетъ отъ него одинъ на *Каина* (sic), то звонятъ въ Кіевѣ въ плакунъ колоколъ [121]) и ему молодцу за преку пришлю. Илья ободряетъ себя тѣмъ, что смерть ему на бою не написана; но все-же онъ окончательно торжествуетъ и тутъ только съ помощію Самсона, наконецъ прискакавшаго *пообѣдать*. Конь у Ильи убѣгаетъ и, видя его безъ сѣдока, думаютъ, что Илья убитъ: обыкновенный эпическій признакъ погибели воина, о которомъ уже говорено было выше [122]).

Самая крупная особенность въ нашемъ пересказѣ—та, что Илья тутъ какъ изъ земли выростаетъ при нападеніи Татаръ: нѣтъ и въ поминѣ свиданія въ погребѣ. Между тѣмъ, какъ это свиданье, такъ и спасеніе заточеннаго богатыря женщиной — повсемѣстно распространенная, а потому, надо думать, и древняя эпическая черта. И сербскій кралевичъ Марко, сидя въ тюрьмѣ, находитъ участіе въ дѣвицѣ [123]), и многіе герои chansons de geste спасаются дочерями—по преимуществу бусурманскихъ царей. Особенное же сродство съ заточеннымъ Ильей представляетъ въ этомъ отношеніи Ожье. Цѣлыхъ 7 лѣтъ сидитъ онъ въ тюрьмѣ, и притомъ не у кого другого, какъ у епископа Турпина, вассала императора Карла, съ которымъ находится въ ссорѣ Ожье. Его въ это время посѣщаютъ дамы, и не даютъ ему умереть съ голода [124]).

Если въ пересказѣ Трофима Романова не достаетъ такой важной черты, то въ немъ полнѣе, чѣмъ въ другомъ рыбниковскомъ, передается *невѣжли-*

---

[120]) Рыбн. ч. II. № 36.

[121]) Сравнить съ этимъ плакунъ-траву, родившуюся отъ слезъ Богородицы въ духовномъ стихѣ о Книгѣ Голубиной.

[122]) См. стр.115. Кромѣ указанныхъ тамъ мѣстъ, подобная черта указывается еще у Gautier, Epopées françaises, II, 509

[123]) Вука Караджича Сербскія Пѣсни. II, № 65. Другой же заточникъ сербскій, Мирчета, даже именно кормится въ темницѣ, подобно Ильѣ, женою своего брата Радулъ-Бега, которымъ и былъ онъ заточенъ (Вука II, № 75.

[124]) Gautier les Epopées Françaises, II, 241. Chevalerie Ogier de Danemarche, éd. Barrois, II, ch. VIII. Точно также и Вильгельма Оранжскаго съ товарищами спасаетъ въ тюрьмѣ dame Orable (Guillaume d'Orange. p. 241. Сходная же черта встрѣчается и въ одной валашской сказкѣ (см. въ об. братьевъ Шоттовъ стр. 23).

вое обращеніе съ Владиміромъ посла царя *Каина*. Какъ *Калинъ* въ *Каина*, такъ и посолъ его изъ *Татарина* перешелъ тутъ въ *Тугарина*. Вотъ и наказываетъ этому Тугарину Каинъ-царь:

Ты будешь, Тугаринъ, во градѣ во Кіевѣ,
У тыхъ палатъ княженецкіихъ,
Отворяй дверь *на пяту*,
Наперёдъ ступай *лѣвой ногой*
И клади письма на дубовой столъ.
И говори съ *царемъ* не съ упадкою.

Все это обыкновенные эпическіе признаки невѣжливаго обращенія, употребительные не у насъ однихъ. И вообще *грозенъ посолъ съ письмомъ вызывающимъ*—тотъ-же, можно сказать, и у насъ, и въ французскихъ chansons de geste, и въ испанскихъ романсахъ [125]). Незачѣмъ было его искать въ какой нибудь монголо-калмыцкой поэмѣ, въ которой особенно сподручнымъ пришлось г. Стасову имя посла—*Бурза*. Имъ объясняетъ онъ *Бурзу-Мурзу*, посла царя Батыя—въ прекрасной былинѣ изъ Архангельскаго Уѣзда, помѣщенной у Кирѣевскаго. въ вып. IV, подъ № 6. Что имя Бурза—не русское, это очень не мудрено: оно вѣдь и означаетъ не русскаго. Обозначая татарина, не диво было заимствовать у Татаръ имя собственное; но незачѣмъ, право, за нимъ ходить въ *поэму* татарскую [126]). Также точно и разныя татарскія наименованья частей одежды въ нашихъ былинахъ совсѣмъ не диво—потому что такія наименованія вошли вообще въ нашъ бытъ: изъ *быта*, изъ *жизни* они и входили въ былины, и незачѣмъ ихъ выводить непремѣнно изъ пѣсень татарскихъ (какъ дѣлаетъ г. Стасовъ въ своей послѣдней статьѣ—В. Европы, Іюль, стр. 292). Но обратимся къ былинѣ Кирѣевскаго. Царь Батый (тутъ такимъ образомъ сохранилось и настоящее имя) еще точнѣе, чѣмъ у Рыбникова во второмъ пересказѣ, высчитываетъ Бурзѣ всѣ *пріемы невѣжливые*,—и посолъ добросовѣстно ихъ пускаетъ въ дѣло передъ Владиміромъ.

Тутъ Владиміръ стольный Кіевскій
Со своей женой Апраксіей
Кричитъ сильныхъ могучихъ богатырей:
«Ужъ вы гой есте, Добрыня Никитичъ и Алеша
Поповичъ младъ,
Вы примайте ярлыки, распечатывайте» [127]).

Эти богатыри такимъ образомъ оказываются тутъ на лицо. Они покинуются, читаютъ — и выходитъ, что Батый требуетъ выдачи ихъ обоихъ и Ильи Муромца.

Надѣвалъ Владиміръ платье черное,
Черное платье, печальное,
Походилъ ко божьей церкви Богу молитися;
Въ стрѣчу идетъ нищая калика перехожая:
«Ужъ ты здравствуй Владиміръ стольный Кіевскій!
Ты зачѣмъ надѣлъ черное платье, печальное?
Что у васъ во Кіевѣ учинилося?
— Молчи, нищая калика перехожая,
Нехорошо у насъ во Кіевѣ учинилося...
Подымался Батый царь, сынъ Батыевичъ...

[125]) См. ниже указанныя мѣста изъ «Ogier de Danemarche» и Fierabras. Ср. у Gautier, II, стр. 119—120.

[126]) Г. Веселовскому, напротивъ того, б у р з а кажется не болѣе, какъ нарицательнымъ эпитетомъ м у р з ы, зашедшимъ вмѣстѣ съ другими подробностями степного быта въ нашу былину, какъ память татарскаго погрома. (См. стр. 332 въ его статьѣ, помѣщенной въ ноябрьской книжкѣ Журн. Мин. Нар. Просв. 1868 г. Замѣтки о сравнительномъ изученіи средневѣковаго эпоса. Тутъ въ главѣ 3 читатель найдетъ очень дѣльныя замѣчанія на счетъ научной несостоятельности метода, употребляемаго г. Стасовымъ.

[127]) Тутъ Алеша оказывается грамотнымъ. Напротивъ въ был. Кирши онъ поручаетъ Якиму прочитать надпись

И затѣмъ, со всею эпическою подробностью, князь расказываетъ каликѣ про Батыя.

> «Не зови меня нищей каликой перехожею,
> Назови меня старымъ казакомъ Ильей Муромцемъ»
> — Билъ челомъ Владиміръ до сырой земли.

т. е. то-же, что̀ въ подробномъ пересказѣ у Рыбникова, только тамъ это происходитъ *во погребѣ*, здѣсь же *заточенье* Ильи, какъ во многихъ другихъ былинахъ о ссорѣ, замѣнено *изгнаніемъ*, долгой отлучкой его изъ Кіева, почему и не узнаетъ его князь въ этомъ платьѣ каличьемъ [128] (подобно тому, какъ въ другой былинѣ не узнаетъ его въ видѣ Заолѣшанина Никиты).

> Билъ челомъ Владиміръ до сырой земли:
> «Ужь ты здравствуй, старъ-казакъ Илья
> Муромецъ!
> Постарайся за вѣру христіанскую,
> Не для меня, князя Владиміра,
> Не для церквей и монастырей...

Въ уста самому Владиміру тутъ влагается то, что̀ у Рыбникова говорится Ильею Самсону. Но князь въ нашемъ архангельскомъ пересказѣ идетъ несравненно далѣе: онъ проситъ даже *не для церквей и монастырей*, а единственно *для бѣдныхъ вдовъ* и *малыхъ дѣтей*.

> Говоритъ старъ-казакъ Илья Муромецъ:
> «Ужь давно намъ отъ Кіева отказано,
> Отказано отъ Кіева двѣнадцать лѣтъ».

Но князь повторяетъ еще разъ туже самую просьбу, и, при вторичномъ напоминаньи о вдовахъ и дѣтяхъ, у Ильи уже не хватаетъ духу *вспоминать старое*. (Ср. съ Маркомъ, на котораго подѣйствовало напоминанье о *сиротинкѣ*)

На человѣчную способность богатыря озабочиваться положеніемъ вдовъ и сиротъ уже давно обращено вниманіе г. Буслаевымъ. «Даже въ пылу отчаянной битвы, замѣчаетъ онъ, богатырь вспоминаетъ о жестокихъ слѣдствіяхъ убійства: ему представляются вдовы и сироты убиваемыхъ имъ враговъ. Когда Добрыня задумалъ высвободиться изъ оковъ, въ которыя заковали его невѣрные супостаты, и всѣхъ ихъ рѣшился перебить,—тогда говоритъ имъ:

> «Дайте мнѣ немного подуматься:
> Есть ли у васъ отцы-матери,
> Молоды жены, малы дѣтушки?
> Есть ли кому по васъ плакати?

(Русскій Вѣстн. 1862 г. Сент. стр. 85).

Слова эти—изъ той, выше упомянутой былины Вытегорскаго Уѣзда, въ которой Добрынѣ приписывается попаденье въ татарскія закопани, на самомъ дѣлѣ эпически-принадлежащее Ильѣ. Не вправѣ ли мы заключить изъ этого,

---

[128]) Что касается печальнаго платья Владиміра, то въ нѣмецкой моей статьѣ о русскомъ эпосѣ, помѣщенной въ Архивѣ Геррига, оно переведено словомъ Trauerkleider. Статья набиралась безъ меня и вышла крупная опечатка—Frauenkleider. Это выраженіе сейчасъ же дало Нѣмцамъ поводъ къ новымъ толкамъ о женственности Славянъ: «и платье-то князь надѣваетъ женское!» Я, разумѣется, не выводилъ ихъ изъ такого пріятнаго заблужденія—и переодѣванье Владиміра женщиной перешло такимъ образомъ въ книгу Карріера Die Kunst, etc. (ч III, отд. II, стр. 26—впрочемъ, Карріеръ воздержался отъ толковъ про женственность).



что и самыя, приведенныя теперь слова Добрыни—собственно также принадлежатъ Ильѣ?—Впрочемъ, они совершенно согласны и съ нравомъ младшаго названаго братца Ильи: стоитъ только вспомнить знаменитую добрынину жалобу.

Не трудно замѣтить также въ нашихъ былинахъ, какъ выдающуюся черту, битье челомъ князя передъ Ильею. Какъ бы кратко, вскользь ни упоминалъ объ немъ г. Стасовъ, но шила не утаишь въ мѣшкѣ, а въ телеутскомъ, киргизскомъ, калмыцкомъ и даже въ древне-персидскомъ первообразѣ нашихъ былинъ подобнаго княжескаго битья челомъ не сыскалось. Не надобно думать, однакоже, чтобы оно составляло исключительную принадлежность нашего эпоса. Въ chansons de geste Карлу Великому нерѣдко достается стоять на колѣняхъ: такимъ образомъ унижается онъ передъ всѣми своими баронами (Въ Huon de Bordeaux), передъ Ожье Датскимъ (въ пѣснѣ того же имени), передъ войскомъ Gui de Bourgogne (также въ одноименной пѣснѣ), передъ баронами Hérupois (въ chanson des Saisnes). Въ послѣднихъ двухъ случаяхъ онъ даже, къ вящему униженію, разувается и идетъ босикомъ на встрѣчу своимъ баронамъ [129]). Зато всѣ подобныя униженія Карла выкупаются тѣмъ, что пристыженные имъ бароны и сами подъ конецъ упадаютъ передъ нимъ на землю. Только нашъ Илья Муромецъ не дѣлаетъ этого, даже не обнаруживаетъ никакого смущенія, когда ему бьетъ челомъ до земли Владимиръ. Одинъ только нашъ богатырь до конца держитъ прямо свою буйную голову, и только у насъ голова государева во прахѣ лежитъ передъ *крестьянскимъ* богатыремъ. Но это совершенно понятно, если мы вспомнимъ, что наши пѣвцы пѣли *народу*, которому любо-дорого было сознавать *свою* силу въ любимомъ богатырѣ; тогда какъ пѣвцы западно-европейскіе пѣли *баронамъ*, ихъ-же въ свою очередь тѣшило величанье вассальной гордости, хотя они охотно примирялись и съ переходомъ изъ гордости въ униженье, такъ какъ все-же въ концѣ концовъ цѣною его доставались имъ лены. Но главное, существенное отличіе нашихъ русскихъ былинъ—не въ этомъ. Существенно важно то, *какъ скоро* и *ради чего* разобиженный богатырь *прелагаетъ свой гнѣвъ на милость*. Посмотримъ сперва на богатыря франкскаго. Сынъ Карла Великаго, блудливый Callot, поссорившись за партіей шахматовъ съ сыномъ Ogier de Danemarche, одного изъ сильнѣйшихъ богатырей карловыхъ, убиваетъ этого юношу. Ожье въ отомщеніе возстаетъ противъ Карла, но война разыгрывается для него невыгодно: онъ попадаетъ въ тюрьму и сидитъ въ ней семь лѣтъ, впродолженіе которыхъ питаютъ его, какъ выше расказано, дамы. [130]) Какъ вдругъ нападаетъ на Францію страшный великанъ—сарацинъ Bréhus—съ четырехъ-сотъ-тысячною бусурманскою силою; жгутъ они, рѣжутъ и грабятъ, а переполошенные бароны говорятъ Карлу, что только одинъ Ожье и могъ бы спасти la douce France. Но Карлъ

[129]) Для доступной мнѣ полноты въ указаніи эпическихъ сходствъ приведу изъ одной пѣсни Сагайцевъ слѣд. черту. Когда богатырь Тарба Киндши послѣ трехлѣтняго боя одолѣлъ своего противника, то творцы взмолились побѣдителю объ оказаніи пощады побѣжденному. Тотъ послушался, а творцы упали къ его ногамъ (Radloff, II 276). Какъ это г. Стасовъ не усмотрѣлъ тутъ первообраза колѣнопреклоненій Владиміра въ нашихъ въ былинахъ?

[130]) См. примѣч. 124.

считаетъ его заморенным голодною смертью. Тутъ только рѣшаются ему донести, что Ожье еще живъ.

En une crote estait le dux Ogiers
Qui si iert basse, ne se pooit drechier,—
Es si estroite, ne se pooit couchier.

Туда-то, въ эту ужасную яму, рѣшается итти Карлъ—бить челомъ за точеннику. Но Ожье не иначе соглашается спасти la douce, France, какъ съ тѣмъ, чтобы Карлъ выдалъ ему головою своего сына:

Se ne me rens Callot l'engeréure,
Si l'ocirrai à m'espée ésmolue.
Ja autrement n'ares de moi aiue...

Тутъ старый совѣтникъ Карла Великаго, Naimes, этотъ Несторъ французскихъ chansons, совѣтуетъ Карлу:

Sire, por Deu et por vierge pure
Otroiés-lui son bon sous atendue;
En sa merci, desous s'espée nue,
Metés vos fil; Diex vos fera aiue.
Se ce ne faites, c'est vérité séue,
Crestientés iert mort et confondue [131]).

Не малой жертвы, надо сказать, требуетъ онъ у отца для спасенія crestientés! Карлъ рѣшается принести ее — даетъ слово, что выдастъ сына. Въ свою очередь и Ожье берется спасти la douce France. Но ему надобенъ его конь Broiefort; ему говорятъ, что его не стало, и Ожье въ отчаяньи. Ему приводятъ на выборъ другихъ коней,—и онъ испытываетъ ихъ посредствомъ удара кулакомъ по спинѣ—какъ Рустемъ (а также и Зорабъ) въ Шахъ-Наме; какъ нашъ Илья въ одной изъ *сказокъ* о немъ, и какъ нѣкоторые богатыри тюркскіе [132]). Ни одинъ изъ коней не выдерживаетъ удара. Наконецъ отыскивается Broiefort, и Ожье въ восторгѣ. Можно думать, что хоть на радостяхъ онъ позабудетъ о несчастномъ Callot'ѣ и прямо поскачетъ на миломъ своемъ конѣ на враговъ. Не тутъ-то было. Ожье опять напираетъ на выдачу сына карлова,—а Сарацины между тѣмъ продолжаютъ косить Французовъ. И Карлъ, и бароны умоляютъ Ожье смягчиться. Онъ остается неумолимымъ, и тутъ наконецъ Каллотъ ему выданъ. Ожье уже заноситъ надъ нимъ свой мечъ. Между тѣмъ Карлъ Великій молится Богу въ часовнѣ, и Господь, какъ бы видя въ немъ новаго Авраама, посылаетъ своего ангела выручать Исаака-Каллота. Только голосъ ангела останавливаетъ Ожье; ему онъ не можетъ не уступить. Всѣ поздравляютъ другъ друга, и Ожье наконецъ отправляется выручать Французовъ, не совсѣмъ еще истребленныхъ бусурманскою силою.

---

[131]) La chevalerie Ogier de Danemarche, dé Barrois, II, p. 421, 425—426.

[132]) Такимъ образомъ тутъ мы встрѣчаемъ опять общую, т. е., изъ самой природы воззрѣній эпическихъ вытекающую черту. (Ogier de Danemarche, II, ch. (X. Mohl, livre des rois I), 440—50; II, 87. Кирѣевскаго пѣсни, I, прилож., стр. II. Radloff Proben, II, 228—229, (но тутъ не ударъ кулакомъ, а втыканіе ножа въ шейную жилу—что неудается надъ однимъ конемъ, у котораго-шея, оказалась такъ тверда, что ножъ не вонзился въ нее, а весь согнулся; это, повидимому, мѣстное, тюркское видоизмѣненіе). Объ испытаніи коня Ильей см. выше стр. 183.





Не мудрено заключить изъ этого, что богатырь Ожье прелагаетъ свой гнѣвъ на милость не скоро, что гибель родной земли не смягчаетъ его, что къ его укрощенью понадобился — высочайшій приказъ съ небесъ. Отчасти сходное положеніе представляетъ другая chanson — Fierabras. Она называется такъ по имени другого басурманскаго великана, нападающаго на chrestienté и выкликающаго себѣ поединщиковъ изъ самыхъ могучихъ богатырей, какъ разъ въ ту пору, когда Карлъ разошелся со знаменитымъ Роландомъ. Дѣло въ томъ, что Карлъ, незадолго до того подоспѣвшій со своими *стариками* (старшими изъ бароновъ) на выручку къ Роланду, Оливье и другимъ молодымъ, которыхъ—было одолѣвали перевѣшивавшіе числомъ Сарацины, — Карлъ позволилъ себѣ хвастаться этимъ и подтрунивать надъ Роландомъ и его товарищами. Теперь, при нападеніи Фьерабраса, всѣ отказываются отъ боя—*туляются*, какъ говорится въ подобныхъ случаяхъ въ нашихъ былинахъ. Карлъ обращается къ Роланду, но тотъ отвѣчаетъ ему: «а помнишь, какъ ты, подпивъ, позволилъ себѣ говорить, что твои старики лучше молодежи?»

...Par ichel Signeur qui Dix est apelés,
Il n'a en ma compagne un tant soit assotés,
Se il en prenoit armes, mais fust de moi amés.

Раздосадованный Карлъ бьетъ Роланда перчаткою по лицу, а Роландъ готовъ обнажить мечъ, но его удерживаютъ. Вслѣдъ за тѣмъ Роландъ заключается въ свой щатеръ, рѣшивъ, что хотя бы короля Франціи разорвали въ клочья, онъ не выйдетъ ему на помощь.

Тогда выступаетъ противъ великана, не смотря на незажившія еще раны, роландовъ другъ Оливье. Видя это, Роландъ раскаявается въ своей горячности, но уже поздно. Тутъ замѣчается въ пѣснѣ какая-то неясность: можно только догадываться, что Карлъ уже не позволяетъ Роланду выступить въ честный бой. Подъ конецъ однакоже онъ поспѣшаетъ къ своимъ на выручку [133]).

Намъ уже извѣстный французскій ученый, Gautier, сравниваетъ Роланда съ разгнѣваннымъ Ахилломъ. Онъ даже часто прибѣгаетъ къ сравненіямъ изъ Омира во всей своей книгѣ: Les Epopées Françaises. Другой французскій ученый, Littré, перевелъ одну пѣсню Иліады на языкъ древнѣйшихъ chansons de geste—какъ однородный по складу эпическому. Чрезвычайно любопытныя сопоставленья съ Омиромъ, какъ изъ chansons de geste, такъ и изъ старинныхъ германскихъ liet, постоянно представляетъ въ ученыхъ извѣстіяхъ берлинской академіи филологъ Беккеръ [134]). У насъ почему-то почти не пытались сопоставлять былины съ омировскимъ эпосомъ, — а пора бы. Это во всякомъ случаѣ болѣе благодарный трудъ, чѣмъ поиски въ телеутскихъ, калмыцкихъ, киргизскихъ источникахъ—хотя, если не задаваться *уче-*

[133] Fierabras, chanson de geste, publiée par Kroeber et Servois (изъ коллекціи: les anciens poètes de la France), p. 6—9, 52, 53.

[134]) Нѣкоторыя мѣста изъ его изслѣдованій уже приведены выше на стр. 153—въ самомъ текстѣ и въ подстрочномъ примѣчаніи 197.

*ніемъ о заимствованіяхъ*, то и эти послѣдніе въ свою очередь могутъ быть полезны, доставляя новыя данныя для изученія *общечеловѣческихъ* сторонъ эпоса, т. е. *законовъ природы его* вообще: равнымъ же образомъ и сравниваніе съ греческимъ, германскимъ и всяческимъ европейскимъ эпосомъ будетъ мало полезнымъ, если держаться исключительно того же *начала заимствованій*, примѣнимаго только въ нѣкоторыхъ, немногихъ случаяхъ.

Какъ бы то ни было, да позволятъ мнѣ взглянуть на богатыря греческаго, разгнѣваннаго Ахилла. Всѣмъ извѣстно, какъ обидѣлъ его Агамемнонъ и какъ, отомщая ему, онъ собственно отомщалъ всѣмъ своимъ,—всему войску греческому, съ удаленьемъ его съ поля брани испытавшему вскорѣ грозу троянскую. И это казалось вполнѣ законнымъ, какъ можемъ мы заключить изъ слѣдующихъ словъ Ахиллу посланнаго къ нему отъ царя Агамемнона съ умилостивительными подарками. Вотъ что̀ говоритъ этотъ посланный. старикъ Фениксъ:

Еслибъ даровъ не давалъ, какъ теперь, такъ и послѣ, столь многихъ
Сынъ Атреевъ, но все бы упорствовалъ въ гибельномъ гнѣвѣ·
Я не просилъ бы тебя, чтобы гнѣвъ справедливый отринувъ,
Ты защитилъ Аргивянъ, не взирая, что жаждутъ защиты.
Много и нынѣ даровъ онъ даетъ и впередъ обѣщаетъ [135]).

И такъ, еслибъ не эти *умилостивительные дары*, никто бы и не былъ въ правѣ подступить къ Ахиллу: *народная гибель* еще не давала на то основанія. Но извѣстно, что этою гибелью смягчается другъ Ахилла, Патроклъ; онъ отпрашивается у него въ поле битвы на помощь Грекамъ, *отпрашивается*—по тому, отчасти подчиненному положенію, какое играетъ онъ при Ахиллѣ, какъ *меньшій названый братъ*. Но тутъ и *большій* братецъ, какимъ, по всему, является Ахиллъ, позволяетъ ему лишь спасти *корабли*, особенно угрожаемые Троянами.

Вспять возвратися ко мнѣ, кораблямъ даровавши спасенье;
Рати жь Ахеянъ оставь на поляхъ боевыхъ истребляться.
Если бъ, о вѣчный Зевесъ, Аполлонъ и Аѳина Паллада,
Еслибъ и Трои сыны, и Ахеяне, сколько ни есть ихъ,
Всѣ истребили другъ друга, а мы лишь, избывшіе смерти,
Мы бы одни разметали троянскія гордыя башни [136]).

Но Патроклъ, какъ всѣ знаютъ, не воротился назадъ. Онъ палъ жертвой Троянъ — палъ по милости своего друга. Тогда лишь возсталъ наконецъ Ахиллъ — не для помощи Грекамъ, а собственно для того, чтобы отомстить за Патрокла.

Тутъ, стало быть, гнѣвъ до конца не преложенъ на милость; но чисто случайныя, *личныя* побужденія наконецъ потрясаютъ Ахилла...

И такъ, нашъ Илья остается одинъ въ своемъ родѣ: и скоро отлагаетъ онъ гнѣвъ и отлагаетъ ради бѣды народной. Какъ же такъ? А Рустемъ? Не у него ли

[135]) Иліада, п. IX, ст. 15—520, перев. Гнѣдича. [136]) Иліада, п. XVI, стр. 95 - 100.





научился нашъ богатырь и незлобію и народолюбью?—Развѣ знаменитый герой Шахъ Наме не забываетъ всей дерзости царской—чтобы только скорѣе спасти отъ силы туранской Персовъ?—Нѣтъ, совсѣмъ нѣтъ;—вотъ чѣмъ дѣйствуетъ на Рустема уговаривающій его Гудерсъ, вотъ къ какой тонкой уловкѣ онъ прибѣгаетъ: «если, Рустемъ, не выступишь противъ туранскаго войска, всѣ подумаютъ про тебя, что ты трусъ!»—Противъ такого-то довода, только противъ него—не устоялъ наконецъ воинственно-гордый Рустемъ!

Илья остается одинъ—если ставить его съ *чужими*, но *дома*, у *насъ*, онъ не совсѣмъ одинъ въ своемъ родѣ. Не на него одного, также и на другого, такого же *мужика*, какъ и онъ, дѣйствуютъ—не просьбы царскія, а иная, *святая* сила! Въ народной сказкѣ о Кожемякѣ (изъ Тамбовской Губерніи) самъ царь приходитъ къ нему просить, чтобы выручилъ онъ царевну отъ лютаго змѣя. [137]) Позднѣйшая, не былевая владимірова пора сказалась тутъ въ томъ, что юный силачъ, мявшій кожи, при видѣ царя, задрожалъ, и со страху перервалъ всѣ двѣнадцать кожъ. Но, не смотря на такой, чисто *внѣшній* страхъ предъ царемъ, онъ остался рѣшительно глухъ ко всѣмъ просьбамъ царскимъ. Тогда придумали собрать пять тысячъ малолѣтныхъ дѣтей, да и заставили ихъ просить Кожемяку. Придетъ же и ихъ чередъ—достаться на прожреніе змѣю! Вотъ и обсыпали Кожемяку дѣти, стали слезно его молить, а онъ прослезился и самъ, на нихъ глядя,—и вышелъ на змѣя.—Въ другомъ, украинскомъ пересказѣ, вмѣсто царя, въ началѣ идутъ уговаривать Кожемяку, *саміи старіи* люди. «Отъ одинъ зъ тихъ посланцивъ: «кахи!» Кожемяка жахнувся, а дванадцать кижъ тилько трись, трись! Обернувсь до ихъ, а вони ему въ поясъ.. А винъ и не дивиться, и не слухаеть: розсердився, що черезъ ихъ та дванадцать кижъ порвавъ».—Пошли ни съ чѣмъ старики, князь же затѣмъ «схоменувся и послалъ до его малихъ дитей. Тіи—якъ заплакали, то й самъ Кожемяка не витерпивъ, заплакавъ, да й каже: «ну, се жь уже для васъ я роблю». (См. въ моей Христоматіи 232—233 стр. [138]).

И въ южной, украинской Руси, въ немногихъ, тамъ уцѣлѣвшихъ об-

---

[137]) Выше (на стр. 586) уже было говорено о томъ, что въ книжкѣ «Fürst Wladimir» кожемякинъ подвигъ приписывается Чурилѣ. Что же касается собственно пріема, употребляемаго Кожемякою для изведенія змѣя (т. е. обматыванья себя смолистыми веществами), то нѣчто подобное употребляется съ тою же цѣлью и въ новогреческихъ сказкахъ (Hahn, I, стр. 311; а II, 273—впряженье чудовища въ плугъ, напоминающее впряженіе Кожемякою змѣя въ плугъ—въ малороссійскомъ преданіи). Также и скандинавскій Фрото, выходя противъ дракона, обматывается кожею (Uhland, VII. 112). А Рагнаръ Лодброкъ сверхъ того валяетъ свою кожаную одежду въ сажѣ, а потомъ, одѣвшись въ нее, валяется самъ въ пескѣ (Ibidem 300, 318).

[138]) «Тамбовская сказка прибавляетъ, что Кожемяка, сдѣлавши святое дѣло, ничего не взялъ за работу и пошелъ опять кожи мять. Это придаетъ ей совершенно другой колоритъ, сравнительно съ Никоновской Лѣтописью, гдѣ онъ дѣлается вельможею». Таково любопытное замѣчаніе И. Худякова въ статьѣ его: Народныя Историческія Сказки», помѣщеной въ Ж. М. Нар. Пр. за 1864 г.; № 3; см. стр. 58. Тутъ же (стр. 55) совершенно вѣрно замѣчено, что одноосновное сказаніе объ Янѣ Усмошвецѣ (т. е. Кожемякѣ) передано въ безцвѣтно-сокращенномъ видѣ у Нестора. Въ самомъ дѣлѣ тамъ нѣтъ ни полъ-слова о дѣтяхъ, умаливающихъ Кожемяку. Разрываніе кожъ упомянуто (даже кромѣ того—вырываніе кожи съ мясомъ изъ живого быка), но нѣтъ обматыванія себя передъ боемъ, да и про этотъ послѣдній сказано только: «одолѣвъ, уби богатыря печенѣжскаго». Между тѣмъ на эпическую древность самыхъ подробностей нашего сказанія указываютъ приведенныя у меня выше сличенія. Въ статьѣ же г. Худякова указывается еще на древне-польскаго героя Крака, приставившаго къ змінной норѣ нѣсколько бычьихъ шкуръ со смолою и сѣрою, которыя,-зажженныя Кракомъ, были поглощены змѣемъ (стр. 57). Тамъ же указывается на сходный пріемъ въ одномъ малороссійскомъ преданіи (Этн. сб. III, 90) а также въ восточномъ (Or. und Occid. 1, 751)—о змѣѣ, проглатывающемъ овечьи шкуры, наполненныя ртутью, потомъ опивающемся отъ жажды и издыхающемъ.

ломнакъ древнѣйшаго былевого эпоса, и въ Руси сѣверной, сохранившей съ большею полнотой этотъ древній, только съ юга *пошедшій* эпосъ, огласившій въ былую пору *всю Русь*,—повсюду *одно начало*, какъ, въ сущности, всюду одинъ и тотъ же нераздѣльный духъ *Руской Земли*!

Но отголоски того же эпическаго начала доносятся и съ разныхъ *славянскихъ* концовъ—хотя бы въ преданіи объ ожесточенныхъ Гуситахъ, однако пощадившихъ обреченный на гибель городъ—ради высланныхъ имъ на встрѣчу дѣтей [139]). Въ сборникѣ босанскихъ и герцеговинскихъ пѣсень Петрановича (Бѣлградъ 1867 г.) подъ № 18 помѣщена пѣсня, въ которой царь Лазарь, по навѣтамъ, осуждаетъ на казнь Милоша. Напрасно пытаются его спасти царица и разныя лица, облагодѣтельствованныя Милошемъ; но его спасаютъ слезы трехъ сотъ сиротъ, доводящія наконецъ до слезъ и самого Лазаря.

Вѣское, могучее слово *за сиротину* проносится, можно сказать, черезъ весь, во многомъ уже осуровленный сербскій эпосъ, и извлекаетъ нерѣдко горячія слезы изъ глазъ гнѣвливаго, многимъ позаразившагося отъ Турокъ Марка. Такъ, когда султанъ, узнавъ, что у Марка разорили домъ и разграбили все его добро, предлагаетъ выстроить ему новый домъ и сдѣлать его агою—собирателемъ податей, Марко отвѣчаетъ султану: «если ты станешь мнѣ строить дворъ, то меня будетъ проклинать *сиротинья* (намекъ, надо думать, на то, что постройка происходила бы на счетъ народный); если же ты сдѣлаешь меня агою, то какъ же я соберу подати, не заключая въ узы *нища и убога*?—и опять проклянетъ меня сиротинья! (Вука Сербскія Пѣсни, II, 369). Въ другой разъ Марко отказывается итти на пиръ къ бегу Костадину—на томъ основаніи, что однажды онъ замѣтилъ у него на пиру три *нечовештва*: къ тебѣ, говоритъ онъ, пришли двѣ сироты, прося тебя накормить и напоить ихъ, а ты прогналъ ихъ съ бранью; мнѣ же стало ихъ жаль, и я накормилъ ихъ и напоилъ;—это твое первое *нечеловѣчество* (второе—то, что онъ дурно одѣтыхъ сажалъ у себя *по край стола*; третье—что за столомъ у него не было отца съ матерью—Вука II, стр. 355—357). [140]

Самымъ, однакоже, полнымъ эпическимъ выразителемъ мягкой славянской *общинности* является несомнѣнно нашъ Илья Муромецъ. И умѣя сто-

---

[139]) На человѣчность, сохранявшуюся въ Гуситахъ среди самой ихъ ожесточенности, указываетъ г. Палацкій. Мирное населеніе, особливо же крестьяне, постоянно щадились Гуситами; вотъ почему съ ними даже иной разъ соединялся нѣмецкій простой народъ противъ общихъ угнетателей—рыцарей и бароновъ. Die qeschichte des Hussitenthums und Pr. Höfecrrit. Studien v. Fr. Palacky, 2 Aufl., Prag 1868, s. 122—132.

[140]) «Тяжелы сиротскія слезы» (су тешке сузе сиротиньске) говорится въ одной пѣснѣ у Петрановича (стр. 202). Для сравненія можно привесть еще изъ пѣсни Волынской Губ. слѣд. стихи:

Сиротины слезы — Дарно не минають,
Якъ упадуть на бѣлъ камень, — Камень пробивають

(Зѣнкевича, Piosenki ludu Pinskiego, Kowno 1851. Dodatek 414. Впрочемъ, забота о сиротахъ встрѣчается и въ chanons de geste (qautier II, 69, 138, 186). Renaus de Montauban стр. 236). Въ видѣ заповѣди, даваемой Богомъ, такая забота встрѣчается, напримѣръ, и у тюркскихъ народовъ Сибири (Radloff, Proben, II 57, 411). Да и нѣтъ такого угла, обитаемаго человѣкомъ, повторю еще разъ, гдѣ бы не встрѣчалось хоти что нибудь человѣческое. Но есть большая разница между отдѣльными проблесками, и такою совокупностью человѣчныхъ чертъ, какою отличается въ славянскомъ эпосѣ преимущественно Илья Муромецъ (при всемъ томъ, что уцѣлѣли еще и такія былины, гдѣ за нимъ удержались черты допотопной богатырской суровости). Но я во всякомъ случаѣ далекъ отъ того, чтобы всякую свѣтлую черту въ поэзіи нашихъ инородцевъ объяснять непремѣнно заимствованіемъ у насъ: это было бы такою же ошибкой относительно ихъ, какою является относительно Русскихъ недодуманный и на обаятельность новизны разсчитанный трудъ г. Стасова.

ять за себя предъ Владиміромъ, онъ собственно только стоитъ за народную честь и народное право. Когда же Владиміръ въ бѣдѣ, онъ все забываетъ, потому что бѣда эта есть и бѣда *для сиротъ* и *для вдовъ*. Ради ихъ, только ихъ, онъ безгласно вступаетъ опять въ свою богатырскую службу, такъ плохо цѣнимую княземъ, даже *не ради церквей и монастырей*, а они вѣдь сулили награду на небѣ! Мысль о подобной наградѣ, конечно, мысль о небесной подачкѣ, *небесномъ ленѣ*—только она удержала Ожье отъ личнаго мщенія—въ минуты бѣды народной. Только сознанье *народной бѣды* управляетъ Ильей,—не ищущимъ никакой подачки. Весь онъ—*служебная сила*—въ свободномъ, безкорыстномъ смыслѣ этого слова, въ томъ благородномъ смыслѣ, въ какомъ принималп его Хомяковъ и Аксаковъ. Всего же полнѣе опредѣлилъ Илью Шевыревъ, сказавъ, что основное начало въ немъ—*служеніе міру*. И это уже признается теперь не у насъ однихъ. Въ только что вышедшей третьей части замѣчательнаго труда мюнхенскаго профессора эстетики Карріера, въ его «Исторіи Искуства въ связи съ развитіемъ образованости», есть особая глава о славянскомъ эпосѣ. Вотъ чѣмъ заключаетъ онъ тутъ свой очеркъ сказанія объ Ильѣ Муромцѣ: «Замѣтимъ вмѣстѣ съ русскимъ писателемъ, что тутъ нѣтъ и въ поминѣ *вассальной* службы; ни Богъ, ни князь кіевскій не являются сюзеренами, ни приказъ, ни обѣщанная награда не становится двигателями вполнѣ независимаго богатыря, но исключительно и единственно спасеніе народа; надъ нимъ только умилостивляется Илья Муромецъ, между тѣмъ, какъ въ Иліадѣ цѣлыя тысячи должны пасть, чтобы умилостивился Ахиллъ, а во французскомъ сказаніи обиженный Карломъ Ожье не ранѣе соглашается выступить противъ невѣрныхъ, какъ послѣ выдачи ему на отомщенье королевскаго сына—его врага» [141]).

---

[141]) M. Carriere, die Kunst im Zusammenhange der Culturentwickelung und die Ideale der Menschheit, dritter Band, zweite Abtheilung, Leipz. 1868, s. 26. Указывая на Карріера, я съ другой стороны считаю нужнымъ замѣтить, что вообще глава его о славянской народной поэзіи и слаба, и даже не чужда предубѣжденій.

Въ дополненіе къ этой главѣ отмѣчу здѣсь, что весьма позднимъ, разумѣется, отголоскомъ сказаній про государя, принужденнаго обратиться къ обиженному имъ богатырю, служитъ малороссійское про Петра Великаго и Палія. Когда отъ Мазепы измѣнника войску царскому приходилось жутко, тогда царь возговорилъ: «нѣтъ ли такого человѣка, который бы могъ одолѣть Мазепу». Вотъ и указали царю на Семена Палія, А царь говоритъ: «Палія нѣтъ уже на свѣтѣ». — «Нѣтъ, царь, онъ живъ, только въ Сибири.-«Вотъ и послали за Паліемъ.» Эй, Палій, говоритъ царь, вотъ потеряемъ царство.»—«Не бойся, отвѣчаетъ Палій, какъ заѣду, то еще будетъ по нашему.» Прежде всего дали Палію ѣсть, потомъ онъ отправился выбирать себѣ коня посредствомъ встряхиванья за гриву, но ни одинъ конь не выдерживалъ его богатырской руки. Наконецъ Палій отыскалъ своего собственнаго коня и одолѣлъ Мазепу. Царь между тѣмъ за Мазепу хотѣлъ опустошить всю гетманщину, но когда спросилъ у Палія, какой онъ хочетъ себѣ награды, Палій въ отвѣтъ: «не опустошай гетманщины».—«Ну, говоритъ царь, быть по твоему». (Кулиша Записки о Южной Руси, I, 123—[illegible])

# X

## Илья Муромецъ и Василій пьяница. Данила Игнатьевичъ съ сыномъ и сила татарская. Илья Муромецъ и Ермакъ. Общія заключенія о былинахъ про Татарщину.

Въ предъидущей главѣ мы уже познакомились съ нѣкоторыми былинами про Татарщину, при чемъ борьба съ нею представлялась совпадающею съ порою осуровленности князя Владиміра и ссоры съ нимъ Ильи Муромца. Но имѣются и такія былины, въ которыхъ нападенье Татарщины на стольный Кіевъ градъ является само по себѣ, совершенно особнякомъ, хотя и черезъ всѣ эти былины проходитъ болѣе или менѣе ясный намекъ, что богатырямъ уже *не жилось* въ Кіевѣ. Сюда прежде всего должна быть отнесена былина Кирши Данилова про *царя Калина*—имя, уже попадавшееся намъ выше (кромѣ историческаго имени Батый, уцѣлѣвшаго, какъ видѣли мы, въ нѣкоторыхъ изъ пересказовъ рыбниковскихъ). И подъ именемъ Калина страшный насильникъ Руси обрисовывается у Кирши такъ ярко, что въ былинѣ нарушается даже обычное эпическое спокойствіе, и въ нее проникаетъ, въ самомъ началѣ, извѣстная *лирическая* струя, мѣстами сказывающаяся, какъ извѣстно, и въ былинахъ сербскихъ. Не дошедъ до Кіева за семь верстъ, съ грозной силою на сто верстъ во всѣ четыре стороны.

Становился Калинъ у быстра Днѣпра...
Зачѣмъ мать сыра земля не погнется?
Зачѣмъ не разступится?
А отъ пару было отъ коннаго
А и мѣсяцъ, солнце померкнуло,
Не видать луча свѣта бѣлаго,
А отъ духу татарскаго
Не можно крещенымъ намъ живымъ быть.

Замѣчу, что это до извѣстной степени сродно слѣдующему мѣсту въ одной пѣснѣ сербской:

Паде тама од неба до земље,
Нит' се види небо ни земљица
От пустога праха песчанога
И од паре коньске и јуначке 1).

Посылалъ Калинъ царь къ Владиміру князю татарина съ головою въ

1) Вука III, стр. 270. Ср. у Петрановича стр. 316—317.

пивной котелъ сорока ведеръ, грозясь полонить князя и пустить на дымъ церкви Божіи, если онъ не сдастъ ему Кіева града безъ кроволитія напраснаго. Не кланяется татаринъ князю *и въ Кіевѣ людей ничѣмъ заветъ* (думаю, что тутъ надо вспомнить древнее значеніе слова *людіе*=народъ). Глядючи на ярлыки ханскіе, «Владиміръ *заплакалъ* свѣтъ». Послѣ тѣхъ многочисленныхъ примѣровъ *плаканья богатырскаго*, на которые указано было выше (стр. 8), *собственно эта черта* не служитъ еще выраженьемъ особенной *растерянности* Владиміра. А было отъ чего растеряться: «*по грѣхамъ надъ княземъ учинилося,—богатырей въ Кіевѣ не случилося*». Надо замѣтить, что выраженіе *по грѣхамъ*, очевидно отзывающееся уже христіанскимъ вліяніемъ, нерѣдко имѣетъ въ старинныхъ памятникахъ смыслъ совершенно *общій*, указывающій на *грѣховность*, какъ достояніе всѣхъ людей: въ такомъ смыслѣ, на примѣръ, употребляется «по грѣхамъ» (pohříechu) въ Далимиловой Стихотворной Хроникѣ Чешской [2]), гдѣ оно даже становится чѣмъ-то въ родѣ поговорки.—При всемъ томъ послѣ уже намъ извѣстнаго содержанія стольких другихъ былинъ, въ этихъ *грѣхахъ* Владиміра слѣдуетъ, кажется, видѣть и указаніе на особый, ему собственно свойственный грѣхъ—а именно на несправедливость къ богатырямъ, которая и заставила ихъ удалиться изъ Кіева. Какъ бы то ни было, противъ Калина съ его сороками царей-королей и тремя тьмами, тремя тысячами силы подъ каждымъ, съ его правымъ подручникомъ зятемъ Сартакомъ, и лѣвымъ—сыномъ Лоншекомъ—оказывается въ Кіевѣ одинъ лишь Василій пьяница. Взбѣжалъ онъ на башню на стрѣльную и стрѣлялъ въ Калина царя, только не попалъ въ него, собаку, а угодилъ зятю его Сартаку стрѣлою во правой глазъ и ушибъ его до смерти. Вотъ и сталъ Калинъ требовать выдачи виноватаго; но тутъ какъ разъ, мало времени замѣшкавши, со тоя стороны полуденныя бѣжитъ старой казакъ Илья Муромецъ,—т. е. собственно скачетъ на конѣ и (отъ поспѣшности, разумѣется) не привязывая коня, не приказывая, бьетъ челомъ князю съ княгинею и на всѣ на четыре стороны, *а самъ усмѣхается*: «что у тебя за болванъ пришелъ, что за дуракъ неотесаной?» (про посла ордынскаго). Князь подаетъ ему ярлыки, а Муромецъ *самъ ихъ прочитываетъ* (народъ такимъ образомъ представляетъ его себѣ граматнымъ), «Гой еси, Илья Муромецъ, *пособи мнѣ думушку думати*, проситъ стольный князь; сдать ли мнѣ, не сдать ли Кіевъ градъ?» А Илья съ обычнымъ своимъ невозмутимымъ спокойствіемъ отвѣчаетъ князю: «ни о чемъ ты, осударь, не печалуйся: *Боже* спасъ оборонитъ насъ, а не что, Пречистой и всѣхъ сохранитъ.» Совѣтуя князю смириться—ѣхать съ нимъ вмѣстѣ къ царю Калину и задобрить его подарками, Илья въ то-же самое время выказываетъ презрѣнье къ послу царскому, говоря: «тотъ татаринъ *дуракъ* насъ прямо доведетъ.» Чтобы не быть узнаннымъ, Владиміръ князь наряжается поваромъ и марается сажей котельною. Надо замѣтить, что къ переряживанью прибѣгаетъ иной разъ и Карлъ Великій, которому оно обходится гораздо дороже, чѣмъ нашему князю: при этомъ достается карловой сѣдой бородѣ (такъ что въ эпосѣ франкскомъ кар-

---

[2]) Dalimilova Chronika Ceska od Vaceslava Hanky, otisk druhy, v Praze 1861, стр. 62, 81, 154, 181, 194.

рикатурность тутъ идетъ несравненно далѣе, чѣмъ у насъ) [3]). Дальнѣйшее положенье Владиміра въ нашей былинѣ—положенье какого-то слуги безъ рѣчей. Илья говоритъ за него, подавая подарки царю: «дай ты намъ сроку на три дни, въ Кіевѣ намъ пріуправиться, отслужить обѣдни съ панихидами, какъ-де служатъ по усопшимъ душамъ, другъ съ дружкой проститися». Другими словами, это значитъ откровенно просить у него сроку — приготовиться къ бою не на животъ, а на смерть: откровенность, отчасти, можетъ быть, объясняемая разсчетомъ на глупость татарскую. Но Калинъ царь прямо требуетъ выдачи виноватаго, т. е. того, кто убилъ его зятя любимаго. «Гдѣ намъ искать такого человѣка и вамъ отдать?» преспокойно отвѣчаетъ Илья, настаивая на принятьи подарочковъ. Калинъ принимаетъ ихъ, но нечестно, самъ прибраниваетъ и не даетъ сроку на три дни. Тутъ Ильѣ за бѣду стало и сталъ онъ величать царя Калина *проклятымъ*. «Отойди, говоритъ ему, съ Татарами отъ Кіева; охота ли вамъ, *собака*, живымъ быть?— Связанный по приказанью *собаки*, онъ еще разъ говоритъ ему тѣже слова; когда же Калинъ сталъ плевать Ильѣ въ ясны очи и называть русскій людъ хвастливымъ, Илья какъ вскочитъ въ полъ дерева стоячаго, какъ схватитъ татарина за ноги и начнетъ имъ помахивать:

А и крѣпокъ татаринъ, не ломится,
А и жиловатъ, собака, не изорвется,
И только Илья слово выговорилъ,
Оторвется глава его татарская,
Угодила та глава по силѣ вдоль
И бьетъ ихъ, ломитъ, въ конецъ губитъ.

Эта оторвавшаяся голова татарская получаетъ тутъ такое же назначеніе, какъ осколки дуба въ двухъ пересказахъ былины о встрѣчѣ съ разбойниками (см. выше стр. 228); (но какъ тамъ, такъ и тутъ, по всей вѣроятности, это первоначально соединялось у Ильи съ заговоромъ). Тутъ опять проявляется такимъ образомъ та суровость Муромца, которую видѣли мы и въ нѣкоторыхъ пересказахъ его боя съ сыномъ, въ его похожденіи съ Соловьемъ и т. п., суровость, легко объясняемая въ настоящемъ случаѣ насильничествомъ Татаръ. Наконецъ Илья схватываетъ и самого Калина: «Васъ-ли царей не бьютъ не казнятъ,» говоритъ онъ ему, а на самомъ дѣлѣ въ немъ на этотъ разъ совсѣмъ не оказывается того опасенія «царски сѣмена погубить,» какое видѣли мы съ его стороны относительно царевичей подъ Черниговомъ (см. стр. 293). Въ настоящемъ случаѣ Илья только издѣвается надъ царемъ, говоря это, а вслѣдъ за тѣмъ разшибая его въ крохи о горючъ камень.

Вотъ до какой ужасающей степени доводится въ этой былинѣ ожесточенность Муромца, во многихъ другихъ случаяхъ, какъ мы знаемъ, столь мягкаго, человѣчнаго. Но и въ этомъ въ свою очередь отразилась та историческая ожесточенность *народа*, до какой доводили его порою историческія невзгоды. Ожесточенный уже неправдою княжеской, Илья тѣмъ болѣе ожесточенъ униженіемъ, до какого доведена Земля Русская, и любо-дорого ему своей грозной отместкою вызвать со стороны враговъ такого рода за-

---

[3]) Карлъ напримѣръ, переряживается паломникомъ О пролѣзаніи Карла В. подъ ворота, при чемъ онъ себя (калѣкою) въ chanson o Gaydon (Gautier, II, 147, 471). мараетъ платье, см. выше на стр. 531, прим. 144

просъ: «неужто въ Кіевѣ всѣ таковы,—одинъ человѣкъ всѣхъ Татаръ прибилъ?»—Но вслѣдъ за тѣмъ Муромецъ, не приписывая побѣды себѣ одному, идетъ искать *своего товарища*, того ли Василья пьяницу. Отыскавъ его, Муромецъ пьетъ вмѣстѣ съ нимъ зелено вино и называетъ того Василья пьяницу братомъ названымъ. Этимъ оканчивается былина Кирши, которой такимъ образомъ соотвѣтствуютъ отношенья Ильи Муромца къ голямъ въ былинахъ г. Рыбникова, отношенья, при всей ихъ *кабацкой* окраскѣ, столь сочувственныя—по человѣчному нехотѣнью Ильи превозноситься, выдаваться впередъ.

Довольно близкая къ пересказу Кирши Данилова былина про Царя Калина записана въ недавнее время въ Томской Губерніи, а именно въ Бухтармѣ (на Иртышѣ), отъ стараго казака Дьякова, г. Потанинымъ и напечатана въ его описаніи югозападной части Томской Губерніи [4]). Но тутъ уже оказывается совсѣмъ позабытымъ Василій пьяница. Зато Владиміръ тутъ особенно выразительно отзывается объ отсутствіи богатырей:

Нѣтъ-то теперича помощниковъ
И за Кіевъ градъ нѣтъ пристателей...
Ни Илюшеньки, ни Алешеньки,
Нѣтъ Добрынюшки, нѣтъ Никитича...

Какъ разъ тутъ наѣзжающій въ Кіевъ Илья, привязавъ коня къ столбу, входитъ въ палаты потихоньку, отпираетъ двери помаленьку—прямо противоположно тѣмъ признакамъ крайней поспѣшности, съ какими является Илья у Кирши, къ преимуществамъ котораго принадлежитъ и то, что Илья у него всетаки не забываетъ о земскомъ поклонѣ на четыре стороны, позабытомъ въ пересказѣ Дьякова—не смотря на *прохладку* въ пріемахъ Ильи. Далѣе величаемый Владиміромъ у Дьякова: «правая моя вѣрна рученька!», Илья съ откровенностью, еще большею чѣмъ у Кирши, проситъ у Калина сроку *на поправушку собрать дружину хоробрую*. Когда же царь не далъ сроку и на три часа и Илья Муромецъ началъ пролагать у него площади и улицы, [5]) то ему пришлось, какъ и въ пересказѣ архангельскомъ, попасть въ *колодецъ* къ Татарамъ и быть ими скованнымъ, а потомъ и обреченнымъ на смерть. Но за Илью заступается любимый сынъ Калина: «не губи молодца *понапраслину*, а проси изъ чести изъ милости, какъ служилъ *царю* бѣлому *князю* Владиміру, такъ бы и намъ послужилъ».—Отвѣтъ Ильи Калину опять напоминаетъ пересказъ архангельскій, когда же Калинъ за такой отвѣтъ сталъ его бить по лицу, Илья, перервавъ чумбуры, поймалъ татарина и *ходилъ* съ нимъ трои суточки (*ходилъ*, т. е., надо думать, *прохаживался* по татарской силѣ—въ томъ смыслѣ, какъ и у Кирши). Потомъ вышелъ на Алтай гору (отраженье сибирской мѣстности) и сталъ оттуда разстрѣливать стрѣлки съ наговоромъ: «падите Алешѣ во бѣлый шатеръ!»—(къ стрѣлѣ долженъ быть припечатанъ ярлыкъ, позабытый въ теперешнемъ видѣ былины). Алеша такимъ

[4]) Этнографич. Сб. в. VI, 97—102.

[5]) Боевое проложеніе улицъ составляетъ, какъ извѣстно, чрезвычайно распространенную эпическую черту. На древность ея указываетъ то, что она попадается уже въ Краледворской Рукописи: «тако и в прѣiеч пророже драги в вразех (Забой и Славой).

образомъ оказывается тутъ въ томъ положеніи, какое достается Самсону въ вышеразобранной былинѣ г. Рыбникова. Извѣщенный стрѣлою, Алеша въ свою очередь пишетъ Добрынѣ: «нашь-отъ братъ во пойманьи, старой казакъ Илья Муромецъ.» Подобная примѣсь сюда Алеши, *нелюбимаго* въ богатырскомъ кругу, должна быть приписана порчѣ, особенно ежели обратить вниманіе на извѣстныя намъ, совсѣмъ не дружелюбныя отношенія между Ильей и Алешей. Вообще во второй половинѣ пересказа Дьякова, какъ не трудно замѣтить, основной строй былины Кирши нарушается примѣсью изъ другихъ былинъ про Татарщину. Сверхъ того совершенно одинокую, нигдѣ болѣе не повторяющуюся черту составляетъ тутъ щадящій Илью любимый сынъ Калина, котораго за это одного только и оставляютъ въ живыхъ выручающіе Илью Алеша съ Добрынею. Вслѣдъ за тѣмъ богатыри пріѣзжаютъ къ Владиміру *со славою* (довольно рѣдкое выраженіе въ нашихъ былинахъ); была гульба-борьба и кулачный бой (этотъ послѣдній, не находясь въ числѣ обычныхъ занятій богатырства кіевскаго, едва ли въ свою очередь не составляетъ примѣси изъ былинъ про Кастрюка) что же касается *трехденнаго* пира который дается у князя, то продолжительные пиры, какъ извѣстно, явленье довольно обычное въ эпосѣ всякихъ мѣстъ и народовъ [6]).

Если въ былинѣ Дьякова, какъ и въ выше разобранной архангельской, Ильѣ предлагаютъ служить въ Ордѣ и онъ отвѣчаетъ готовностью «послужить по толстой царской шеѣ саблею», [7]) то имѣется въ нѣсколькихъ пересказахъ и такая былина, въ которой богатырь дѣйствительно поступаетъ на службу къ Татарамъ, но поступаетъ притворно, чтобы погубить порученное ему войско татарское: черта, опять таки свойственная эпосу разныхъ странъ, начиная съ древней повѣсти о самоотверженьи Зопира. Подобнаго рода обманъ совершаетъ у насъ Василій пьяница. Сюда относятся у г. Рыбникова въ ч. I № 29, въ ч. II № 10 (оба Пудожскаго Уѣзда), № 11 (Каргопольскаго Уѣзда—отъ калики изъ Красныхъ Лагъ) и въ ч. III, № 37 (опять Пудожскаго Уѣзда—отъ Тр. Потахина). Эти пересказы (кромѣ № 10-го II ч.) начинаются появленьемъ подъ городомъ Кіевомъ туровъ, сообщающихъ своей матери турицѣ о чудесномъ видѣніи. Въ одномъ изъ пересказовъ они *златорогіе*, въ другомъ турица—*златорогая* [8]), чѣмъ, повидимому, указывается на миѳическое происхожденіе этихъ туровъ [9]). Такого же происхожденія — и та дѣвица, которую видятъ они ходящею по стѣнѣ городовой, хотя ей уже дана въ руки книга евангельская: [10]) она не столько читаетъ, *вдвоемъ* плачетъ: I, 29, III, 37; или, повидимому, вѣрнѣе въ ч. II, № 11—*вдвое* плачетъ. Турица поясняетъ турамъ, глупымъ дѣтушкамъ, что это не дѣвица, а *стѣна мать горо-*

---

[6]) Въ сербскихъ и болгарскихъ пѣсняхъ пиръ дается иногда недѣлю, двѣ и три недѣли (Юнича и Любоміра Вое. и Герц. П. I, 182, 183, 190. Миладин. Болг. П. 218, 274. Ср. Dietrichs Tod, стихи 1862—1863).

[7]) Это выраженье сохранилось и въ одной исторической пѣснѣ, гдѣ Пожарскій говоритъ хану Крымскому: «Кабы мнѣ сабелька острая, послужилъ бы тебѣ вѣрою на твоей буйной головѣ (Сахарова Сказ. Р. Нар. I, III 258). Но еще замѣчательнѣе, что тоже говоритъ, въ еще болѣе поздней исторической пѣснѣ, Красношековъ Ливенгаупту: «если бы была при мнѣ сабля острая, послужилъ бы я надъ твоей буйной головушкой» (Тамъ же стр. 2[illegible]).

[8]) Рыбн. II, № 11; I, № 29.

[9]) Къ тому же они выбѣгаютъ изъ подъ загадочнаго креста Леванидова (статья о немъ г. Бѣляева въ «Днѣ» едва ли убѣдительна)

[10]) Въ ч. I, № 29—это книга Леванидова.

*довая*: I, 29; III, 37; но въ ч. II, № 11 кромѣ этой плачущей матери, ходящею по стѣнѣ оказывается мать пресвятая Богородица. Тутъ такимъ образомъ къ болѣе древней основѣ примѣшивается отзвукъ одного изъ тѣхъ книжныхъ, уже христіански осмысленныхъ чудесъ, въ которыхъ Богородица представляется заранѣе оплакивающею предъусматриваемыя ею бѣдствія. Въ настоящемъ случаѣ оплакиваетъ она нашествіе на Кіевъ Батыги Батыговича, съ сыномъ того-же имени, съ зятемъ Таракачникомъ Карабликовымъ [11]) и съ дьякомъ выдумщичкомъ: у каждаго силы сорокъ тысячей — соколу кругомъ летѣть меженный день. *Богатырей въ Кіевѣ не случилося*—единогласно свидѣтельствуютъ всѣ пересказы, иные же поясняютъ: Илья Муромецъ уѣхалъ на желтые на пески, а Добрыня Никитовичъ на Воргановыхъ горахъ, Олеша Поповичъ—за синимъ моремъ гулялъ, а Самсонъ былъ богатырь — тотъ во дальнихъ городахъ (II, № 11) или: Илья да Самсонъ у синяго у моря, а Добрынюшка въ чистыхъ во поляхъ, а Олеша *богомолъ* въ богомольной сторонѣ (соотвѣтственно своему поповскому происхожденію) [12]); кромѣ же того упомянутъ тутъ Святогоръ, пребывающій на Святыхъ Горахъ (III, № 37). Въ этомъ перечнѣ такимъ образомъ онъ и Самсонъ являются двумя различными лицами, какъ и въ томъ перечнѣ, который влагается въ уста каликамъ, исцѣляющимъ Илью Муромца, (см. выше стр. 172). Въ особомъ же разнорѣчіи, записанномъ г. Рыбниковымъ въ Бережной Дубровѣ [13]) упомянутъ только Самсонъ, которому именно и приписывается тутъ пребываніе на Святыхъ Горахъ; такимъ образомъ и въ самомъ сознаніи народныхъ пѣвцовъ оказывается возможнымъ то отождествленіе Святогора съ Самсономъ, которое старался я провести выше (см. IV гл., стр. 215—218). Далѣе же въ бережно-дубровскомъ разнорѣчіи примѣшанъ Микита Романовъ—лицо, принадлежащее совершенно другому кругу былинъ—про царя Ивана Грознаго.

За отсутствіемъ богатырей, въ дѣло пускается Васька Пьяница. Въ двухъ пересказахъ пудожскихъ (I, 29; II, 10) онъ, какъ и у Кирши Данилова, самъ стрѣляетъ по шатрамъ батыгинымъ и убиваетъ его зятя, но важное отличіе отъ Кирши составляетъ то, что его выдаютъ Батыгѣ (заступникъ за Ваську въ былинѣ Кирши, Илья Муромецъ, въ занимающихъ насъ теперь былинахъ такъ и остается въ отлучкѣ). Въ пересказѣ Каргопольскаго Уѣзда (II, 11) Владиміру расказываютъ голи кабацкія, что есть у нихъ проживщій все свое житье бытье Васька, которому нечѣмъ теперь опохмѣлиться, лежитъ онъ въ кабакѣ на печи. Узнавъ про то, солнышко Владиміръ князь самъ пошелъ по кружаламъ государевымъ, по тѣмъ ли по царевымъ кабакамъ и отыскалъ Василья. Тотъ слѣзъ съ печи, поклонился князю и взмолился ему: «опохмѣлько меня чарою опохмѣльною, тогда я съ Батыгою поправлюся.»—(II, № 11) Въ пересказѣ же Тр. Потахина (опять Пудожскаго Уѣзда) Василій самъ приходитъ изъ кабака на дворъ къ Владиміру и проситъ опохмѣленья: «а у Васи со похмѣлья буйна голова болитъ, съ перепою у Василья ретиво серд-

---

[11]) Въ ч. II, № 11 онъ Тараканникъ Караникковъ; Ватыга же тутъ—Сергѣевичъ: очевидно, порча.

[12]) Ср. стр. 444: Алешины молитвы доходны ко Христу.

[13]) Помѣщено въ видѣ подстрочныхъ примѣчаній къ 29 № I ч.



це щемитъ» (III, 37). Далѣе въ этомъ пересказѣ, какъ и въ предыдущемъ, убивъ родственниковъ Батыги, Василій самъ-же и является на лицо царю, тогда какъ въ двухъ остальныхъ пересказахъ его, какъ виноватаго, отыскиваютъ послы ордынскіе (съ помощію ли князя Владиміра—не сказано). Всѣ пересказы сходятся какъ въ томъ, что князь опохмѣляетъ его огромною чарою изъ вина, пива и меду, такъ и въ томъ, что у Батыги Батыговича проситъ онъ новой опохмѣльной чары и за нее обѣщается пособить ему взять славенъ Кіевъ градъ. На тыя рѣчи Батыга пріокинулся (I, 29 II. 10) [14]) и даетъ Василью въ три пріема по сорока тысячъ силы, которыя имъ въ три пріема и прирубливаются, а Батыга дуракъ слезно плачется: «не дай Богъ болѣ бывать подъ Кіевомъ, ни дѣтямъ бывать, ни внучатамъ.» Такъ оно въ ч. I, № 29 и ч. II, № 10 и 11; а въ ч. III, № 37 къ этому онъ еще прибавляетъ: «а въ Кіевѣ богатыревъ смѣты нѣтъ»—до такой степени мастерски одинъ Васька замѣнилъ собою всѣхъ отсутствующихъ.

Въ этой грубой, полу-каррикатурной формѣ — въ лицѣ этого представителя той кабацкой голи, о которой такъ заботится Илья Муромецъ, народъ по своему возвеличилъ себя самого, свою путность и годность при самомъ безпутствѣ—такъ какъ онъ-то и выкупаетъ въ лихую годину родную землю, между тѣмъ какъ ея славно-могучіе богатыри разогнаны княземъ, а его вѣрные слуги — бояре годны лишь на нахлѣбничанье и наушничанье. Но мы имѣемъ еще одинъ пересказъ, записанный въ Нижегородской Губерніи. въ селѣ Павловѣ [15]) (т. е. тамъ же, гдѣ и былина про Данилу Ловчанина) и отличающійся окончательнымъ превознесеньемъ Васьки надъ князьями-боярами. При подступленьи подъ Кіевъ градъ царя Батыя Каймановича со зятемъ Лукоперомъ богатыремъ, кіевскихъ *богатырей дома не было*: Илья усланъ былъ въ землю Латынскую, Добрыня въ землю Черкавскую, а Олеша—въ Сорочинскую; но всѣ трое съ порученьями чисто домашними: Олеша за сорочинскимъ пшеномъ, Добрыня—закупать сидѣльчики черкавскіе, даже самъ Илья Муромецъ—не болѣе какъ затѣмъ, чтобы закупать коней богатырскихъ. Если такое порученье, сравнительно съ большею частью былинъ, совсѣмъ не къ лицу Ильѣ, и въ этомъ замѣтна порча, то все остальное содержанье былины необыкновенно стройно и цѣлостно. Оставался въ Кіевѣ одинъ Васька пьяница, вотъ и посылаетъ за нимъ Владиміръ князей-бояръ «позовите ко мнѣ Василья Казнѣровича (Казимѣровича)». Такое *отчество* можетъ служить указаньемъ на то, что Василій пьяница—тотъ-же самый сподвижникъ Добрыни, который г. Стасовымъ производится отъ знаменитаго индійскаго отшельника Васвамитры (см. выше стр. 512 и 519). Г. Безсоновъ въ своемъ распредѣленьи былинъ Кирѣевскаго положительно держится такого отождествленія, хотя надо сознаться, что Васька пьяница Казнѣровичемъ названъ только въ одномъ пересказѣ изъ Павлова. Какъ бы то ни было, но важно то, что бояре, отправившись во царевъ кабакъ, говорятъ Васькѣ грубны рѣчи: «Охъ ты гой еси Васюточька сынъ пьяница! Што ты лежишь на пе-

---

[14]) А II, 11—понадѣялся; III, 37—пріокинулся на тыи лясы.

[15]) Свящ. Фаворскимъ. Напечатанъ сперва въ прил. къ Изв. Ак. Наукъ, потомъ у Кир. II, стр. 93—96.

чищшѣ нагъ, ни ниточки?»... А Василій, узнавъ отъ нихъ про бѣду, что̀ стряслась надъ Кіевомъ, вмѣсто того, чтобъ смутиться боярскимъ попрекомъ, сбираетъ съ князей-бояръ свѣтло платье до̀ нага, беретъ липнилищу [16]) кабацкую, онъ и бьетъ князей-бояръ по крутымъ бедрамъ и гонитъ ихъ до двора княженецкаго. — Такимъ издѣвающимся проучиваньемъ Василій какъ будто бы хочетъ сказать: «а вы то чего смотрѣли, что пришлось приниматься за меня пьяницу?» Владиміръ-же, видя ихъ нагишомъ погоняемыхъ Ваською, глядючи на нихъ, улыбается. «Что̀ вы, пропились у меня или проигрались?» спрашиваетъ онъ у бояръ; узнавъ же, въ чемъ дѣло, становится не за нихъ, а за Ваську: «ахъ вы глупые бояря неразумные, не утѣшили (утишили) молодца, а только раззадорили». Но народнымъ пѣвцамъ было мало и этого. Они, заставившіе Владиміра, какъ мы уже знаемъ, итти упрашивать Илью въ погребъ, заставляютъ стольнаго князя нетолько отправиться къ Василью Казнѣровичу въ кабакъ (и это уже видѣли мы въ одномъ изъ вышеразобранныхъ пересказовъ), но и кланяться въ кабакѣ на всѣ на четыре стороны (т. е. всей голи народной), а Василью пьяницѣ въ особину. Не давъ князю высказать свою просьбу, Василій требуетъ у него чары, какую испиваетъ Илья (въ полсема ведра), потомъ чары, испиваемой Добрынею (въ полпята), наконецъ — чары алешиной (въ полтретья ведра). Когда же, опохмѣлившись подобными тремя чарами, онъ попадаетъ во правой глазъ Лукоперу, а Батый требуетъ выдачи смѣльчака, тогда бояре, въ отместку Васькѣ, совѣтуютъ князю: «давай выдадимъ виноватаго». А Васютка преспокойно смахнулъ съ себя чуденъ крестъ, заставляя Владиміра думать, что онъ дѣйствительно передается Татарамъ. Былина осталась неоконченною.

Относительною краткостью и нѣкоторыми особенностями отличается пересказъ, записанный въ Кижской Волости Петрозаводскаго Уѣзда (Р. II, № 66). Тутъ Василій ударяется съ самимъ Батыгой въ остры мечи и убиваетъ его, вслѣдъ за тѣмъ острымъ копьемъ поражаетъ Тараканчика, а дьячка выдумщичка разсѣкаетъ съ головы до самаго сѣдла, т. е. на̀ полы. По истребленіи же имъ и всей силы татарской, встрѣчаетъ тутъ Василья пьяницу самъ Владиміръ князь (какъ Илью въ одномъ изъ вышеразобранныхъ пересказовъ) у Златыхъ Воротъ, ведетъ его во гридни во столовыя, садитъ за столъ хлѣба кушати. Словомъ, Владиміръ тутъ самъ, добровольно угощаетъ одного изъ голей, пригодившагося въ черный день.

Упоминаемые въ этой былинѣ *Златые Ворота* невольно напоминаютъ малороссійскую легенду о Золотыхъ Воротахъ, помѣщенную у г. Кулиша въ Запискахъ о Южной Руси, ч. I, на стр. 3—5. Легенда эта тѣмъ болѣе драгоцѣнна, что принадлежитъ къ числу немногихъ, уцѣлѣвшихъ на Украйнѣ отзвуковъ древняго былевого эпоса. «Якъ лихолитте було, то прійшовъ чужеземець Татаринъ и отто̀ вже на Вишгородъ бъе, а дали вже й пидъ Кіевъ пидступае. А тутъ *Михайликъ* лицарь бывъ, да якъ зійшовъ на башту да пустивъ зъ лука стрилу, то стрила и впала у миску тому татарину. Той

---

[16]) Вѣроятно брусъ отъ дверной притолки?» замѣчаютъ изд. сб. Кирѣевскаго (II, стр. 94). Ясно, что это опять осо[бы]й видъ эпическаго вооруженія чѣмъ попало.

скоро сивъ коло скамьи обидати, тилько що поблагословивсь исти, ажъ та стрила такъ и встромилась у печеню.» Ясно, что лыцарь Михайликъ находится тутъ въ положеньи Василья Игнатьевича, только онъ не пьяница, а убіенье татарина смягчительно замѣнилось тутъ попаденьемъ стрѣлою къ нему въ жаркое. [17]) Татаринъ требуетъ выдачи дерзкаго лыцаря. «Отъ Кіяне шушу-шушу, и радятся: а щожь? оддаймо!» Но Михайликъ грозитъ имъ, что если они его выдадутъ, то болѣе не увидятъ своихъ *Золотыхъ Воротъ*:

> Ой Кіяне, Кіяне, панове громада!
> Погана ваша рада:
> Як би ви Михайлика не оддавали,
> Поки свитъ сонця, ворогы бъ Кіева не достали.

Сказавъ это, онъ поднялъ копьемъ Золотыя Ворота [18]) и поѣхалъ черезъ татарское войско въ Цареградъ, а чужевѣйцы между тѣмъ преспокойно ввалились въ Кіевъ. Михайликъ и до сихъ поръ живетъ себѣ въ Цареградѣ, гдѣ находятся и Золотыя Ворота; но будетъ время, когда онъ обратно ихъ отнесетъ въ Кіевъ. «И якъ идучи хто мимо скаже: «о Золотія Ворота! стоять вамъ изновъ тамъ, дѣ стояли,» то золото такъ и зассяе. А якъ же не скаже, або подумае: «ни, вже не буть вамъ у Кіева!», то золото такъ и померхне.»

Внутреннее отличіе Михайлика отъ Василья составляетъ, какъ не трудно замѣтить, его мстительность,—качество, не совсѣмъ обычное въ нашихъ богатыряхъ, но тутъ, при всей этой чудесной обстановкѣ, получающее значенье—скорѣе *кары* за огромное преступленіе, какимъ является готовность Кіевлянъ выдать своего—чужимъ.

Нельзя оставить безъ вниманія и примѣчаніе г. Кулиша къ этой прекрасной легендѣ, что ее слышалъ близь Кіева въ нѣсколько измѣненномъ видѣ одинъ изъ его знакомыхъ, запомнившій только то, что герой преданія тутъ называется *Михайломъ семилѣткомъ*. Это указаніе на отроческій возрастъ богатыря даетъ нѣкоторый поводъ считать за одно лицо съ нимъ того Михайлу Даниловича, который также борется съ Татарами въ одной бы инѣ съ Онеги и которому двѣнадцать лѣтъ; впрочемъ въ другомъ пересказѣ—изъ Симбирской Губерніи—онъ *Иванъ*. [19]) Этотъ *двѣнадцати-лѣтецъ* является сыномъ сильно-могучаго богатыря кіевскаго Данилы Игнатьевича, который поизволилъ постричься во чудномъ монастырѣ. Богатырь, по пролитіи многой напрасной крови отправляющійся въ монастырь спасаться—явленье довольно обычное въ эпосѣ: такъ поступаютъ и знакомые намъ по своимъ похожденіямъ герои: Вальтеръ Аквитанскій, Геймиръ, Виль-

---

[17]) Ср. это обстоятельство съ датскимъ сказаньемъ объ Анѣ стрѣлкѣ (выше стр. 59).

[18]) Тотъ же пріемъ употребляется Хотеномъ для поднятія верха у терема Часовой вдовы (см. выше стр. 361)

[19]) Обѣ эти былины помѣщены у Кирѣевскаго въ вып. III, на стр. 39—51. Симбирская доставлена А. М. Языковымъ, а онежская записана г. Верещагинымъ и первоначально была напечатана въ прил. къ Изв. Ак. Наукъ. О малоросс. легендѣ сравнительно съ былинами см. въ дисс. Л. Майкова, стр. 22.

гельмъ Оранжскій, Рено, Гедонъ. [20]) Черта эта эпосомъ была выхвачена изъ самой дѣйствительности, которая и у насъ отличалась нерѣдкими примѣрами постриженья послѣ бранныхъ подвиговъ. Въ эпосѣ постригшемуся обыкновенно приходится снова тряхнуть своею силою богатырскою, какъ оно въ свою очередь могло происходить и въ дѣйствительной жизни (стоитъ, напримѣръ, вспомнить изъ древней литовской исторіи Войшелга). Въ нашей былинѣ постриженье Данилы Игнатьевича придало снова бодрости ордамъ невѣрнымъ: стали онѣ выкликать у Владиміра поединщика. Растужится, расплачется Володиміръ князь: «не стало у меня застоющки великой.» Вотъ такою-то застоюшкою-оборонушкою не малою вызывается быть за отца Михайло двѣнадцатилѣтецъ и, не смотря на княжеское раздумье, что онъ молодехонекъ-зеленехонекъ, идетъ къ батюшкѣ за благословеньицемъ. Получивъ отъ отца вмѣстѣ съ благословеніемъ и коня богатырскаго (хотя и отецъ повторилъ-было раздумье княжеское), Михайло сначала былъ сроненъ конемъ среди силы невѣрной, но съумѣлъ пустить въ дѣло пріемъ Ильи—взялъ татарина за ноги и побилъ имъ всю силу татарскую. «А отецъ его Данило Игнатьевичъ прискакалъ на добромъ конѣ къ шатру и пыхъ изъ лука стрѣлой — шатеръ бѣлой сшибъ, и увидѣлъ свое дѣтище. Такъ оно въ пересказѣ симбирскомъ.

Въ примѣчаніи къ этому мѣсту издатели сборника Кирѣевскаго указываютъ на его испорченность, и отсылаютъ читателя къ онежскому пересказу, какъ болѣе полному и стройному. Дѣло начинается тутъ на пиру у Владиміра, гдѣ, среди общей похвальбы богатырской, ничѣмъ не хвалится, не пьетъ и не ѣстъ и сидитъ съ повѣшенной головою Данила Игнатьевичъ, тѣмъ самымъ возбуждающій неудовольствіе въ князѣ Владимірѣ. Положенье этого богатыря, какъ замѣтитъ читатель, до такой степени напоминаетъ Данилу Ловчанина, что невольно обращаешь вниманіе на слова г. Безсонова: «если народное творчество спасло мужа Василисы посредствомъ пѣсни о Ставрѣ, то Данило Игнатьевичъ можетъ быть продолженіемъ тогоже Данилы Ловчаго—на закатѣ дней его, когда, разставшись съ женою, постригся онъ въ монастырь.» [21]) «Какъ бы то ни было, продолжаетъ тотъ же изслѣдователь, эта пѣсня (т. е. пѣсня о Данилѣ Игнатьевичѣ)—отрывокъ сказаній о послѣднихъ дняхъ нѣкогда грознаго и страшнаго богатыря.»

«Вѣдь служилъ я у тобя пятьдесятъ годовъ, да убилъ я тобѣ пятьдесятъ царевъ, говоритъ Данило Владиміру; теперь отъ роду мнѣ стало девяносто лѣтъ, ты спусти-тко во кельи низкія, да спасти мнѣ-ка душа грѣшная.» На замѣчанье Владиміра, что кому же теперь защищать Кіевъ градъ, Данило указываетъ на своего сына Михайлушку. Тогда Владиміръ отпускаетъ Данилу, а невѣрный царь, узнавъ, что въ Кіевѣ богатыри (во множественномъ числѣ) ушли въ монастырь, сталъ выкликать у Владиміра поединщика.

---

[20]) J. Grimm, Lat. Gedichte, 105—110. Rassmann, D. Heldensage, II, 669—680. Guillaume d'Orange, éd. Jonckbloet, II: examen critique, chap. IX. Renaus de Montauban, éd, Michelant, p. 399—412 (Рено собственно становится паломникомъ—ѣдетъ въ свят. землю, какъ нашъ Васька Буслаевъ). Gautier, Epopées françaises II, 472 (Гедонъ—тоже паломникъ).

[21]) Зам. къ III вып. Пѣс. Кир. стр. III и IV.

Задалъ князь почестенъ пиръ *на весь-то народъ да православный* и сталъ вызывать *изо всего народа* охотниковъ съѣздить—пересчитать силу невѣрную. Послѣ продолжительной *тулицы*, вызывается наконецъ Михайло, которому по его молодости замѣчаетъ Владиміръ, какъ бы ему не потерять буйну голову? Не *показалось* такое сомнѣнье Михайлу,—отворялъ онъ двери широко на̀ пяту, такъ что палата едва не разрушилась. Взявъ сперва благословенье у матери, онъ потомъ раздумался съѣздить и въ келью къ отцу—взять благословенье *полное*. Вотъ и поворачиваетъ онъ коня къ монастырю пречестному... «А въ тую пору мать сыра земля да зазыбалася»... Трудно сказать, происходитъ ли это отъ молодецкой поѣздки отрока, такъ что по этому-то и чуетъ приближеніе сына инокъ-отецъ, или же земля зазыбалася отъ того, что «старо-старчишшо Данильшо засовалося», т. е. въ своей кельѣ, услышавъ оттуда приближенье коня михайлова. Какъ бы то ни было, но старчищо, подобно князю, не хотѣло бы пустить отрока во поле чистое. Когда же это отроку не показалося и онъ уже поворачивалъ коня во чисто поле, тогда Данильшо, подъ вліяніемъ все той же отцовской любви, закричалъ ему, чтобы онъ по крайней мѣрѣ не уѣзжалъ безъ его отцовскаго благословенія [22]). «Выѣдешь ты, говоритъ Данильшо, на шеломя на окатисто, а по русскому на гору да на высокую.»—Не могу не остановиться на этомъ употребленіи рядомъ двухъ словъ, принадлежащихъ двумъ совершенно различнымъ слоямъ. Объ этомъ уже издателями пѣсень Кирѣевскаго сдѣлано слѣдующее примѣчаніе: «*шеломя*, какъ слово древнее (извѣстное и по Слову о Полку Игоревѣ), выраженіе «шеломя окатистое», какъ древле-пѣсенное, переводится уже «по русски», т. е. на современный обиходный языкъ.) [23]) Выѣхавъ на шеломя или гору, Михайло, по совѣту отца, долженъ кликнуть *во всю голову* богатырскаго коня батюшкова, а потомъ выкопать изъ подъ земли, со стороны восточной, его богатырскую збрую. Когда же и конь прибѣжалъ къ Михайлѣ, и збруя была имъ добыта и богатырь отрокъ пустился въ чистое поле, тогда старчишшо выходило на зеленой лугъ и молилось Спасу съ Богородицей за Михайлушку. «Исполнятъ онъ все да дѣла добрыя, ише дѣлаетъ онъ защиту всему Кіеву». [24]) Этими замѣчательными словами съ молитвы отца стирается всякій *личный оттѣнокъ*, и она получаетъ совершенно нравственное, законное основаніе. Въ дальнѣйшемъ содержаньи нашей былины оказывается опять примѣсь изъ былинъ про Илью: если въ пересказѣ симбирскомъ Михайло какъ бы заимствуетъ у него побіенье Татаръ татариномъ, то въ занимающемъ насъ теперь онежскомъ онъ, подобно Ильѣ, попадаетъ въ закопани татарскія. Отведенный къ царищу Уланищу, Михайло и молится, какъ Илья, и съ той молитвы у него, какъ у Муромца, съ двое съ трое силы прибыло. Схваченною имъ ослядью [25]) телѣжною Михайло начинаетъ пролагать улицы: отзвукъ былины про походъ къ Бутеяну, гдѣ подобнымъ образомъ распоря-

[22]) Ср. въ ново-греч. пѣснѣ: «съ родительскимъ благословеньемъ крутая гора—поляна (сб. Анарантоса с. 85.

[23]) Кир. III, стр. 46, прим. 6.

[24]) Въ подогрочныхъ разнорѣчіяхъ изъ той же онежской мѣстности это прекрасное мѣсто передается уже плоше» исполняетъ вить онъ дѣло доброе, иже дѣлаетъ ограду бѣлокаменной (Москвѣ?)

[25]) Ослядь, оследь—одинъ изъ двухъ длинныхъ толстыхъ стяговъ, составляющихъ я л о телѣги. (Кир. III, стр. 49).

жается Иванъ Дубровичъ), подъ конецъ же ѣдетъ къ самому Уданищу и отсѣкаетъ царищу буйну голову, потомъ, взоткнувъ ее на копье, самъ удивляется ей, какъ Илья головѣ жидовина, или же сербскій Марко головѣ Мусы.

А старо старчищо Данилищо между тѣмъ все туго ходитъ по чисту полю со своею клюкою желѣзною въ сорокъ пудовъ (обыкновенная принадлежность каликъ перехожихъ), ходитъ и приговариваетъ: «ой же вы улановe поганые, а убили у меня вы сына Михайлушка!» Тутъ вдругъ пріѣзжаетъ самъ Михайло и спрашиваетъ: «что ты еще, старый, тутъ дѣлаешь?» А Данилищо, принимая Михайлу за улановина поганаго, грозитъ разсѣчь его клюкой и съ конемъ *нá двое.*

Изъ этого, кажется, ясно, что хотя издатели сборника и отсылаютъ къ онежскому пересказу, для объясненія именно соотвѣтственнаго этому мѣста въ поворченномъ пересказѣ симбирскомъ, но и въ онежскомъ оно не отличается настоящею ясностью, а для окончательнаго разъясненія надо напомнить о выше разобранной сербской былинѣ про Иву Сенковича (см. стр. 49). Тамъ тоже отецъ, принявъ сына за непріятеля, чуть было не убилъ его, но это объясняется тѣмъ, что сынъ прискакалъ къ нему въ платьѣ сраженнаго имъ врага. Точно также и въ первоначальномъ видѣ нашей былины Михайло долженъ былъ надѣвать на себѣ платье какого нибудь сраженнаго или улановина, какъ дѣлаетъ это Алеша Поповичъ съ платьемъ Тугарина (см. выше стр. 444). Теперь же въ занимающемъ насъ пересказѣ неузнаваніе сына отцомъ какъ бы объясняется тѣмъ, что у послѣдняго на глаза надвинутъ колпакъ: «призадыни-тко его, говоритъ Михайло, и втогда увидишь, кого надобѣть.» Какъ бы то ни было, Данилищо выведенъ изъ своего монастырскаго затишья и готовъ опять окровавить руки, но дѣло у насъ не доходитъ до этого, чѣмъ Данило и отличается отъ сходныхъ съ нимъ лицъ эпическихъ. Сынъ, передавая ему свои похожденія, приписываетъ счастливый исходъ пустыннымъ молитвамъ отца, котораго и посылаетъ опять въ честный монастырь молиться Богу по прежнему, самъ же отправляется въ Кіевъ градъ съ доброй вѣстью къ князю Владиміру.

Въ лицѣ Михайлы былина наша выводитъ представителя новаго богатырскаго поколѣнія, и если вѣрно отождествленье отца его съ Данилой Ловчаниномъ, братомъ названымъ Добрыни и прочихъ богатырей кіевскихъ, то тутъ устарѣвшимъ, почти отжившимъ для богатырства является участникъ этой знаменитой богатырской дружины. Но мы имѣемъ и такія былины, въ которыхъ самъ вѣчно-юный духомъ, не смотря на свою старость эпическую, глава этой дружины — Илья Муромецъ — является утомившимся, впавшимъ въ безпечность, тяжелѣющимъ на подъемъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и замѣняемымъ въ свою очередь юнымъ богатыремъ, получающимъ историческое, къ поздней московской порѣ относящееся имя *Ермака* (при томъ даже Тимоѳеевича). Между тѣмъ, хотя мы и имѣемъ особыя, дѣйствительно историческимъ строемъ запечатлѣнныя пѣсни объ этомъ послѣднемъ, въ тѣхъ былинахъ, гдѣ онъ сводится съ Ильей Муромцемъ, Ермакъ очень мало походитъ на историческаго Ермака, становясь полу-ребенкомъ въ родѣ Михайлы двѣнадцатилѣтца

и являясь относительно Ильи совершенно въ томъ положеніи, въ какомъ самъ Илья является относительно Самсона въ тѣхъ былинахъ олонецкихъ про нашестіе царя Калина, которыя были уже разобраны въ предъидущей главѣ.

Прекрасная былина объ Ильѣ съ Ермакомъ была записана г. Гуляевымъ отъ крестьянина Быкова въ такой мѣстности, гдѣ всего менѣе, повидимому, можно бы ждать былинъ—въ Лужскомъ Уѣздѣ Петербургской Губерніи. Вотъ что̀ приводитъ въ объясненіе записавшій—въ примѣчаніи, напечатанномъ вслѣдъ за пѣснею въ Приб. къ Изв. Ак. Наукъ: «крестьянинъ Быковъ, занимающійся извозомъ въ С. Петербургѣ, говорилъ мнѣ, что, кромѣ разсказанной имъ, онъ много слышалъ подобныхъ *побывальщинъ* [26]) о князѣ Владимірѣ и богатыряхъ его отъ своего дѣда и частію отъ отца, прибавивъ, что старикъ дѣдъ жилъ около ста лѣтъ, а можетъ и болѣе; когда вся семья соберется-было въ зимній вечеръ, да усядется за работу, старикъ почнетъ разсказывать, да разсказывать про старину, что и конца-то нѣтъ» [27]). Жаль, что тутъ не сказано, изъ какой именно мѣстности былъ по происхожденью этотъ любопытный *дѣдъ*? Не изъ того ли же многообильнаго былинами края Олонецкаго, съ сокровищами котораго познакомилъ насъ г. Рыбниковъ?

Самое начало лужской былины замѣчательно тѣмъ, что нападающимъ на Кіевъ градъ является тутъ не древній нашъ покоритель Батый, а тотъ изъ позднѣйшихъ нашихъ властителей, которому дѣйствительно довелось испытать пробудившуюся опять силу русскую,—современникъ Донского, Мамай, становящійся тутъ, разумѣется, современникомъ князя Владиміра, но проучиваемый, совершенно согласно съ исторіей, на знаменитомъ Куликовомъ полѣ. [28]) Объ этомъ-то страшномъ насильникѣ собирался *думушку думать* богатыри кіевскіе. Между тѣмъ какъ князья-бояре совѣтуютъ дѣлать стѣну бѣлокаменну да засыпать желтымъ пескомъ, Илья Муромецъ, вскочивъ съ *золотого стула*, [29]) предлагаетъ послать къ Мамаю гонца — просить у него (какъ у Батыги въ другихъ былинахъ) сроку на три мѣсяца, чтобы силой поисправиться, а могучимъ богатырямъ посъѣхаться. Богатырей, по словамъ его, оказывается цѣлыхъ тридевять, только пѣвецъ, назвавъ Алешу, Самсона, Свѣтогора, Дона Ивановича и Ивана Колывановича, имена остальныхъ уже позабылъ. Мамай горделиво отвѣчаетъ на просьбу, что хотя бы просили они сроку на три года, имъ бы и тутъ не исправиться; однакоже даетъ трехмѣсячный срокъ. Тогда Владиміръ посылаетъ за богатырями Илью на Куликово поле. Скакалъ Илья въ торопяхъ чрезъ стѣну бѣлокаменну [30]) и объявилъ тридевяти богатырямъ: «проситъ васъ Володиміръ князь изъ бѣды его выручить.» Богатыри же приглашаютъ Илью зайти къ нимъ въ шатеръ

---

[26]) Такъ, вѣроятно, выразился самъ Быковъ, но по строю можно бы было сказать—былина, такъ какъ стихъ выдержанъ довольно порядочно.

[27]) Памятники и Образцы Нар. Языка и Словесности), ч. II, стр. 156—157. Перепечатана въ Сб. Кирѣевскаго въ вып. I на стр. 58—66).

[28]) Странно, что въ нѣкоторыхъ другихъ былинахъ Куликово поле представляется мѣстомъ, гдѣ рубятъ голову, чѣмъ-то въ родѣ лобнаго мѣста.

[29]) Это одинъ изъ тѣхъ немногихъ случаевъ когда упоминаются у насъ золотые стулья или столы, которыми, по свидѣтельству Стасова (В. Е. Іюнь, 322) изобилуютъ тюркскія пѣсни.

[30]) Такое же скаканіе черезъ стѣну—от послѣднѣе[illegible] попадается и въ болгарскихъ пѣсняхъ; напр у Безсон. I, стр. 78.

вина испить; онъ заходитъ, и отъ поднесенной ему чары Илью хмѣль зашибъ. Уже подобное сильное дѣйствіе на первенствующаго богатыря богатырской чары свидѣтельствуетъ, кажется, объ упадкѣ его тѣлесныхъ силъ, (или, можетъ быть, это объясняется тѣмъ, что, такъ какъ въ числѣ угощающихъ упомянуты *старшіе богатыри*—Святогоръ, Самсонъ, то и чара Ильѣ могла быть подана особенная, да и вино, можетъ быть, слишкомъ крѣпкое для богатырей того *слѣдующаго* поколѣнія, къ которому принадлежитъ Муромецъ). Заснулъ же онъ и прежде-ему-обычнымъ сномъ—на двѣнадцать денъ (см. выше стр. 164). А Владиміръ межъ тѣмъ Илью ждетъ пождетъ и наконецъ посылаетъ за нимъ его *племянника*—молодого Ермака Тимоѳеевича: такимъ образомъ эпосъ народный становитъ этого послѣдняго даже въ ближайшія родственныя отношенія къ Ильѣ[31]). Приглашенный также испить вина, Ермакъ отвѣчаетъ богатырямъ: «если выпить, какъ мой дядюшка, такъ намъ не къ чему будетъ и пріѣзжать.» Заключивъ, надо думать, что отъ тридевяти богатырей ничего не добьешься, онъ оборачиваетъ коня и застаетъ Кіевъ градъ уже обступленнымъ вокругъ чужой силою. Тутъ въѣзжалъ онъ на круту гору и, совершенно подобно Михайлѣ, сталъ силу посмѣчивать, посмѣчивать да пописывать, и убѣдившись, что ея ни смѣтить, ни списать нельзя, вдругъ поскакалъ въ эту несмѣтную силу со крутой горы. И бился онъ палицею въ 12 пудъ цѣлыхъ 12 дней (столько же пудъ и дней, сколько лѣтъ Ермаку-Михайлѣ по двумъ другимъ пересказамъ [32]). Побилъ онъ мамаевой силы безъ счету, а силы все, кажись, не убыло, Ермакъ же изъ силъ выбился. Тутъ взъѣзжалъ онъ опять на круту гору, раскидывалъ бѣлъ шатеръ и ложился опочивъ держать, — какъ вдругъ усмотрѣлъ во полѣ тридевять богатырей и впереди всѣхъ дядюшку Илью Муромца. «Помогай тебѣ Богъ, молодой Ермакъ, побивать силу невѣрную!» говорятъ богатыри, какъ будто разсчитывая, что онъ и еще за нихъ поработаетъ. Но Муромецъ рѣшаетъ иначе: «отдыхай теперь, молодой Ермакъ Тимоѳеевичъ!» говоритъ онъ племяннику, и вслѣдъ за тѣмъ, пользуясь своимъ эпическимъ положеніемъ набольшаго въ богатырской дружинѣ (не смотря на то, что въ ней тутъ—богатыри старшіе), посылаетъ всѣхъ тридевять побивать силу невѣрную. И бились богатыри столько же, сколько бился передъ этимъ одинъ Ермакъ — двѣнадцать дней, и прибили всю силу невѣрную, и взъѣзжали назадъ на круту гору къ Ермаку, который только тутъ и проснулся: стало быть онъ, подобно Ильѣ, проспалъ цѣлыхъ двѣнадцать дней. Потомъ всѣ вмѣстѣ поѣхали къ князю Владиміру и гуляли у него веселились немного, не мало—ровно тридцать дней (какъ вообще число *тридцать*, такъ и продолжительность пира—обычны въ эпосѣ) [33]). Послѣ же отправлялись богатыри обратно на поле на Куликово, но былина объясняетъ это совершенно особеннымъ образомъ—не тѣмъ, чтобы *имъ* было дурно жить въ Кіевѣ вслѣдствіе несправедливости князя, а тѣмъ, что *отъ нихъ* приходилось жутко жителямъ города:

[31]) Впрочемъ въ старину племянникъ=родственникъ (ст. П. Лавровскаго въ XII т. Зап. Ак. Н. пр. 2, стр. 51.

[32]) Рыбн. I стр. 170, 116.

[33]) См. выше на стр. 109 и 690.



Вѣдь въ Кіевѣ то нельзя имъ жить
Разгуляются, распотѣшатся,
Распотѣшатся, станутъ всѣхъ толкать;
А такія потѣхи богатырскія
Народу было не вытерпѣть·
Котораго толкнутъ, тому смерть ли смерть.

Мѣсто это уже было у меня приведено (см. стр. 169), какъ одно изъ до-рыбниковскихъ свидѣтельствъ о собственно такъ называемыхъ «богатыряхъ старшихъ». И дѣйствительно въ числѣ тридевяти богатырей упомянуты, какъ мы видѣли, Самсонъ и Святогоръ—эти два былевыхъ отвѣтвленія одного и того же *старшаго* богатырского типа. Кромѣ того тутъ названы: Донъ Ивановичъ (=Дунаю, который, несмотря на свою эпическую молодость, во многихъ отношеніяхъ принадлежитъ, какъ мы видѣли, къ древнѣйшему былевому слою), а Иванъ Колывановичъ (какое-то загадочное лицо, нигдѣ болѣе не упоминаемое). Правда, что сверхъ нихъ тутъ упомянутъ Алеша,—лицо уже совершенно принадлежащее къ разряду богатырей *младшихъ*, но *личный* его неуживчивый и насильническій нравъ подалъ поводъ смѣшать его съ богатырями изъ поколѣнія старшаго, невыносимаго для народа. Не даромъ наконецъ, можетъ быть, пѣвецъ и не могъ припомнить именъ остальныхъ изъ тридевяти богатырей: это могли быть имена особыя—не обычныхъ богатырей кіевскихъ, а такихъ, о которыхъ память давно заглохла. Во всякомъ случаѣ важно то, что Илья Муромецъ не высылается съ ними изъ Кіева въ поле. Это видно изъ словъ: просили они князя Владиміра отпустить *въ гости* Илью Муромца. Этимъ выраженіемъ Илья отъ нихъ отдѣляется, какъ *чужой*, только *гостемъ* у нихъ считаемый. Владиміръ отпускалъ его вмѣстѣ съ Ермакомъ: къ нимъ, къ лицамъ старшаго поколѣнія, отправлялись представители двухъ другихъ: относительно-младшаго, представляемаго Ильей, и самаго младшаго, представляемаго Ермакомъ.

Но не успѣли они пріѣхать на Куликово поле и раскинуть тамъ бѣлы шатры, какъ прискакала къ нимъ бабища Мамаишна —судя по имени, изъ родни мамаевой, а по силамъ и исполинскому образу напоминающая бабу Горынинку (см. выше стр. 30 и 452): головища у бабы съ дощаннище, а глазища-то съ пивны корцы. Коря ихъ: «побили вы нашу всю силу, всю силу мамаеву», бабища вызываетъ богатырей биться съ нею по единому: «а всѣмъ вамъ вдругъ биться нечестно» (одно изъ самыхъ обще-эпическихъ требованій воинской чести и великодушія).[34] Тутъ, уже окончательно встряхнувшись послѣ своего богатырскаго сна опохмѣльнаго и снова почувствовавъ въ себѣ бодрость, Илья Муромецъ, по старому и обычному, самъ называется: «дайте-ка мнѣ, братцы, съ ней расправиться!» Но молодому Ермаку Тимоѳеичу за обиду то показалося, и выпросилъ онъ, чтобы дали сперва ему напустить свою юную силу на бабищу. Вотъ и бились они, какъ обычно, палицами, копьями, въ рукопашку—бились опять цѣлыхъ двѣнадцать дней; и опять таки не обошлось безъ *провѣдыванья* со стороны Ильи. Вотъ и взмолится ему Ермакъ: «приходитъ мнѣ скорая смерть, что отъ бабищи, отъ Мамаишны». Илья же

[34]) Ср. у Вука во II ч. стр. 409) срамота је двоме на једного.

далъ ему совѣтъ, какъ совладать съ нею—въ родѣ совѣта, даннаго имъ-же Добрынѣ во время боя съ Горынинкой. Тогда наконецъ Ермакъ погубилъ Мамайшну.

Такимъ образомъ въ концѣ концовъ все же не обошлось безъ помощи муромскаго богатыря, первенствующаго въ поколѣніи, старшемъ относительно Ермака. Похожденья съ Мамаишной не имѣется въ другихъ пересказахъ былины про Илью съ Ермакомъ, но сходныя похожденія существуютъ въ эпосѣ у другихъ народовъ. Послѣ погибели мужескаго темнаго существа, иной разъ выступаетъ въ немъ родственное существо женское. Такъ послѣ боя съ чудовищемъ Гренделемъ, англо-саксонскому Беовульфу пришлось еще выдержать бой съ его страшной матерью. Такъ послѣ гибели великана Гидимбы, индійскому Бгимѣ пришлось встрѣтиться съ его исполинской сестрою, только эта послѣдняя, вмѣсто боя, предпочла разыграть съ нимъ Забаву Путятичну [35]).

Послѣ такого сопоставленія, позволю себѣ предложить вопросъ: не изъ эпоса ли зашла и въ троицкій списокъ лѣтописи та *жена чародѣица*, которую будто вмѣстѣ съ послами своими и съ двумя мужами отправили Татары къ князьямъ рязанскимъ—просить у нихъ десятины во всемъ? [36]). На эпическую струю въ лѣтописныхъ сказаніяхъ о татарскомъ нашествіи уже указано было вскользь Л. Н. Майковымъ. Сюда можетъ быть отнесено въ Ипатьевской Лѣтописи слѣдующее мѣсто: «И бѣ Батый у города и отроци его обсѣдяху градъ, и не бѣ слышати отъ гласа скрипанія телѣгъ его, множества ревенія вельблудъ его и ръжанія отъ гласа стадъ конь его»... [37]) Яснѣе и полнѣе передается первая половина этого мѣста въ «Сказаніи о нашествіи Батыя»: «и не бѣ слышати въ градѣ глаголюще другъ къ другу въ скрыпаніи телѣгъ его».

Столько же поэтично и отчасти даже напоминаетъ былины слѣдующее мѣсто, одинаково передаваемое и въ Ипатьевской Лѣтописи и въ «Сказаніи»: «и ту бѣ видѣть ломъ копейный, щитомъ скепаніе, и стрѣлы омрачища свѣтъ (въ былинахъ онъ омрачается отъ пара коннаго) [38]). Затѣмъ уже собственно въ «Сказаніи о Батыѣ» едвали не вліянію богатырскаго эпоса должно быть приписано то, что «единому рязанцу битися со отомъ татариновъ»; или что Евпатій, притупивъ о Татаръ свои собственные мечи,—емля мечи татарскіе, сѣчаше ихъ». Тотъ же Евпатій, *исполинъ сый силою*, наѣха на Хоздоврула *богатыря* [39]) и *разсѣче его на полы до сѣдла*... и многихъ *богатырей* и Татаръ побивъ: *овы на полы просѣкая, а иные до сѣдла крояше*: [40])

---

[35]) Beowulf, übersetzt v. Simrock, 69, Fauche, Mahabharata, II, p. 46—50.

[36]) Полное собр. Лѣт. стр. 221. Таже жена чародѣица упоминута и въ началѣ «Сказанія о нашествіи Батыя», вошедшаго въ Софійскій Временникъ и въ Костромскую Лѣтопись (помѣщ. и у Сахарова въ Сказ. Р. Нар. I, кн. IV, стр. 45). Впрочемъ, эта чародѣица можетъ быть взята и изъ дѣйствительной жизни. Такъ, по свидѣтельству Курбскаго, при осадѣ Казани на городской стѣнѣ стояли колдуньи и колдуны татарскіе и маханьемъ одеждъ насылали на русское войско вѣтръ и дожди (Абак. Пов. Вопр. III, 152).

[37]) Л. Н. Майкова, о былинахъ Владимірова цикла, стр. 30. Собр. Р. Лѣтоп. II. стр. 177—178.

[38]) Сахарова Сказанія Русскаго Народа I, к. IV, 53. Ср. въ Словѣ о П. Игор. «Скрыпятъ телѣги полунощи». Омраченіе неба отъ дождя стрѣлъ также и въ Рамаянѣ, Fauche, III, 191).

[39]) И въ Ипатьевской Лѣтописи упомянуты съ татарской стороны Бедяй богатуръ и Бурундай богатырь (Полное Собр. II, 177).

[40]) Замѣчательно, что и въ житіи св. Трифона Печенгскаго (въ рукоп. XVIII ст.) сказано про нападеніе Нѣмцевъ на монастырь: «овыхъ на полы пресѣкоша (См. ст. г. Шестакова о св. Ѳеодоритѣ и Трифонѣ въ Ж. М. Н. Пр. 1868 г., Іюнь, стр. 286).

пріемъ уже несомнѣнно эпическій, существующій, какъ мы знаемъ, почти повсемѣстно. Тотъ же пріемъ повторяется и далѣе—въ связи съ другимъ, также попадавшимся намъ въ былинахъ: «о *землю* и о стѣну ударяху и на *ножы пресъкаху* (впрочемъ тутъ уже собственно о *младенцахъ*) Едва ли также не эпосу принадлежатъ и тѣ *слезы*, которыми, подобно былевому Владиміру, *весь разливается* Юрій Всеволодовичъ въ Троицкой лѣтописи [41]). Замѣчу наконецъ, что Золотымъ Воротамъ былины и малороссійской легенды соотвѣтствуютъ Владимірскія Золотыя Ворота, близь которыхъ происходитъ ожесточенный бой въ нѣкоторыхъ спискахъ лѣтописи. [42]) Быть можетъ наконецъ и самая *ковыль трава*, на которой въ «Сказаніи о Батыѣ» лежитъ побіенное войско рязанское, происходитъ изъ древняго эпоса южно-русскаго, подобно тому какъ оттуда (частью же изъ восточной степной полосы) занесена она въ наши былины олонецкія.

Въ итогѣ такимъ образомъ общаго между лѣтописями и былинами оказывается хотя и не особенно много, но все-таки кое что́. Но намъ остается еще разсмотрѣть три рыбниковскихъ пересказа былины про Татаръ и Илью съ Ермакомъ. Всѣ они напечатаны въ 1-й части его сборника, подъ № 19, 20 и 21. Начну съ № 20, какъ болѣе близкаго, чѣмъ два остальныхъ, къ прекрасной былинѣ Лужскаго Уѣзда. Записанъ этотъ пересказъ отъ Рябинина. Не смотря на извѣстныя намъ достоинства этого пѣвца, въ началѣ у него—ошибка, оказывающаяся при сличеніи его былины съ намъ уже извѣстною про Василья пьяницу. Тамъ мы видѣли туровъ съ ихъ матерью турицею, прибѣгающихъ къ Кіеву и видящихъ чудесное знаменіе на его стѣнѣ. Здѣсь же, у Рябинина, они являются турицами въ смыслѣ Турокъ, турицами погаными, которыхъ посылаетъ къ Кіеву поганый татаринъ — попровѣдать, что́ тамъ дѣется [43]). Вотъ они и доносятъ ему про плачущую дѣвицу съ книгой евангельской, а онъ толкуетъ имъ, глупымъ, что это была не дѣвица, а мать пресвятая Богородица, плакавшая потому, что вѣдала невзгодушку надъ Кіевомъ (ср. выше стр. 690). Все это, надобно думать, просто припутано Рябининымъ (не смотря на его хорошую, въ большей части случаевъ, память) изъ былинъ про Василья пьяницу, по крайней мѣрѣ далѣе слѣдуетъ совершенно опять особый былевой зачинъ—про снаряженіе подъ Кіевъ градъ царя *Калина*, тогда какъ въ припутанномъ у Рябинина вступленіи посылающимъ турицъ является не онъ, а *безыменный* татаринъ. Калинъ отправляетъ посла къ Владиміру, наказывая ему не бить челомъ ни на четыре стороны, ни Владиміру, ни князьямъ его подколѣннымъ [44]), а прямо класть грамоту посыльную на золотъ стулъ, и пословесно выговаривать очищенія улицъ *стрѣлецкихъ* (при-

---

[41]) Сахар. Сказ. I, к. IV, 49, 51. Полн. Собр. Р. Лѣтоп. I, 224. Къ вышеприведеннымъ многочисленнымъ примѣрамъ плаканья эпическаго присоединю еще голубиный плачъ сильнаго Забоя въ Крал. рукоп., плачъ Марко Кралевича у Милад. 153 182, 230 и dô wurden Recken eugen nas — въ Dietrichs Flucht, ст. 4136. Ср. тамъ же стр. 73, 98, 121, 13), 138, 168, 176.

[42]) Полн. Собр. II, 196—197 (Лавр.) 223 (Троицк.) Сказ. Сахар. I, к. IV, стр. 48.

[43]) На это обращено вниманіе въ примѣч. изд. Рыбниковскаго сборника къ былинѣ про Василья, II, стр. 174).

[44]) См. выше стр. Считаю не лишнимъ указать при этомъ на слѣд. мѣсто въ сербской пѣснѣ:

Ти hem, Марко, први царовати,
А ja hy ти бити до кољена....

Слова воеводы Гойки Марку въ пѣснѣ о выборѣ царя послѣ смерти Душана (Вука II, № 34, стр. 185.

мѣсь отъ позднѣйшей поры московской) и большихъ дворовъ княженецкихъ, чтобы было гдѣ стоять царю Калину со своею силушкой великою. Выполнивъ все это въ точности, тутъ-же посолъ поворотъ держалъ и возвращался къ Калину. А Владиміръ между тѣмъ, пріужахнувшись, жалуется:

«Какъ на почестный пиръ пированьице,
Съѣжаются многіе русскіе могучіе богатыри
Ко славному ко князю ко Владиміру;
Какъ теперь вѣдають на Кіевѣ невзгодушку
Такъ не ѣдутъ оны ко князю ко Владиміру,
Сидять въ своихъ палатахъ бѣлокаменныхъ.

Но тутъ-же, какъ бы для уличенія князя въ несправедливости подобнаго приговора, двери на пяту растворилися, и входитъ въ палату молодецъ, рѣзко оттѣняемый отъ татарина тѣмъ, что на всѣ стороны поклоняется, Владиміру и князьямъ подколѣннымъ въ особину. «Посланъ, говоритъ, я отъ заставы *московской* (опять та-же поздняя примѣсь): у русскихъ могучихъ богатырей есть подогнано Литвы много поганыя ко славному ко городу ко Кіеву». Вотъ, стало быть, причина отсутствія богатырей изъ Кіева, и вотъ по этой-то причинѣ Дунаюшка Ивановичъ (молодецъ съ заставы былъ онъ), совѣтуетъ князю посылать мисы съ дарами къ татарину и просить у него сроку на три мѣсяца. Нужно ли говорить, что въ этой одновременности нападенья Литвы и Татарщины, въ такомъ окруженіи Руси врагами со всѣхъ сторонъ есть своя, широко понимаемая, историческая правда? — Идетъ поскорешенько самъ Владиміръ князь въ погреба, самъ накладываетъ полны мисы серебра, злата, жемчуга, и посылаетъ ихъ съ Дунаюшкой къ татарину, который и даетъ затѣмъ сроку на три мѣсяца.—Но вотъ опять размахиваются на пяту двери (отъ поспѣшности входящаго) и является новый молодецъ, величающій Владиміра дядюшкой; но это не Добрыня Никитичъ, какъ можно бы ожидать, а Ермакъ Тимоѳеевичъ, тутъ такимъ образомъ, какъ и въ двухъ другихъ рыбниковскихъ пересказахъ, вмѣсто родства съ Ильею породнлемый съ княземъ. Со своей, уже намъ знакомой, молодою зарывчивостью, проситъ онъ благословеньица повыѣхать въ поле противъ поганаго (подразумѣвается, конечно, татарина, хотя Владиміръ въ своемъ отвѣтѣ говоритъ о *поганой Литвѣ*). Называя двѣнадцатилѣтняго *племничка* глупешенькимъ, Владиміръ не хочетъ пускать его въ бой, но тотъ выпрашивается по крайней мѣрѣ «посмотрѣть на силушку поганую». Одѣвалъ тутъ Ермакъ *одежицу забранную* [45]), сѣдлалъ коня, выѣзжалъ въ поле:

Посмотрѣлъ на силушку поганаго:
Нагнано-то силушки чернымъ черно,
Чернымъ черно, какъ чернаго ворона,
И не можетъ пропекать красное солнышко
Между паромъ лошадинымъ и человѣческимъ.
(Ср. выше стр. 686).

То-же, или почти то-же, что въ былинѣ Кирши про Калина [46]): но далѣе слѣдуютъ у Рябинина еще и такія поэтическія подробности.

---

[45]) Что это значитъ? Отнятую у врага по примѣру АлешиПоповича?

[46]) Также оно и въ пересказѣ Ник. Прохорова, гдѣ сверхъ того мать земля колеблется Р. 1, стр. 103.



Вешніимъ долгіимъ денечкомъ
Сѣрому звѣрю вокругъ не обрыскати,
Меженныимъ долгіимъ денечкомъ
Черному ворону этой силы не облграяти,
Осенніимъ долгіимъ денечкомъ
Сѣрой птицы вокругъ не облетѣть.

Если сердце богатырское, какъ мы знаемъ, могло ужахнуться у самого Ильи и у стольких другихъ, первѣйшихъ разнонародныхъ богатырей, то что же мудренаго, коли оно ужахнулось у двѣнадцатилѣтняго Ермака? Но онъ, какъ и Илья въ такихъ случаяхъ, зоветъ себѣ Бога на помочь, — и начинаетъ конемъ топтать, копьемъ колоть силу татарскую. Но эпическое воображеніе въ этомъ изводѣ не разыгралось до такой степени, какъ въ лучшихъ: Ермакъ бьется безъ отдыху не двѣнадцать дней, а одинъ цѣльный день, — и вотъ къ концу дня силы стало въ полѣ мало ставиться.

Между тѣмъ, на московской заставѣ, на славной Сватъ-горѣ высокія, стояло двѣнадцать богатырей безъ единаго (двѣнадцатымъ, можно думать, отсутствующій Ермакъ). И возговорилъ вдругъ Илья Муромецъ: «думаемъ мы думушку великую, какъ намъ приступить къ эвтой силушкѣ поганого, а молодой Ермакъ бьется цѣлыя суточки, не ѣдаючись и не пиваючись». Въ такомъ откровенномъ, вполнѣ свободномъ отъ ревности отдаваніи преимущества молодому богатырю, опять выказывается черта, самымъ сочувственнымъ образомъ дорисовывающая Илью, этого вѣчнаго старика столь безпристрастно относящагося къ молодости. [47]) Вотъ и посылаетъ Илья Алешу Поповича наложить на Ермака *храпы крѣпкіе* (пріемъ, уже намъ встрѣчавшійся выше—въ былинахъ о боѣ съ нахвальщиной на той же богатырской заставѣ), наложить храпы крѣпкіе и сказать ему: «ты, Ермакъ, позавтракалъ, оставь-ка намъ пообѣдати». — Но Ермакъ обрываетъ цѣлыхъ трое храповъ Алеши, потомъ столько же храповъ посылаемаго вслѣдъ за Алешей Добрыни. Тутъ скорешенько садился на своего коня самъ Илья: наложилъ онъ свои храпы крѣпкіе на ермаковы плечики могучіе, *прижималъ его къ своему ретивому сердечушку*. Подобная мягкость и теплота становится тѣмъ болѣе цѣнною, что Илья тутъ совсѣмъ не въ родствѣ съ Ермакомъ. Но Муромцу приходилось уже въ послѣдній разъ обнимать молодого богатыря: съ этихъ побоевъ великіихъ, съ этихъ ударовъ тяжелыихъ—кровь-то въ немъ была очень младая—молодой Ермакъ, онъ преставился. Но былина, совсѣмъ по эпически, болѣе не упоминаетъ о чувствахъ Ильи, а говоритъ только, что онъ теперь поѣхалъ *самъ во двѣнадцатыхъ*. На возвратномъ пути богатыри *скрятали* (захватили въ полонъ) Татарина, и онъ даваетъ имъ заповѣдь великую-крѣпкую: будетъ платить дани-выходы князю Владиміру, вмѣсто того, чтобы онъ князя получать дань: ее отвоевалъ Ермакъ, поплатившійся за то жизнію и такою своею участью вполнѣ отражающій историческаго Ермака.

---

47) Отсутствіе богатырской ревности ярко выказывается также въ словахъ сербскаго Марка Кралевича про Релью од. Пазара: «бољи Реља за седамнест Марка». (Петрановича сб., стр. 257). Но въ одной болгарской пѣснѣ, тотъ же самый Марко, вслѣдствіе словъ звѣзды вечерницы, что семилѣтокъ-богатырь Дукадинче въ семь разъ болѣе юнакъ, чѣмъ онъ,—вслѣдствіе этого Марко разсѣкаетъ этого ребенка богатыря на полы (Миладин. сб., стр. 173—176). Тутъ мы видимъ примѣръ богатырской ревности, соотвѣтственный нашему Дунаю—со стороны его отношеній къ женѣ, похвалившей другихъ богатырей.

Отъ прекраснаго въ своемъ родѣ пѣвца, слѣпого Козьмы Романова, записана въ томъ же Петрозаводскомъ Уѣздѣ другая былина про Ермака, къ сожалѣнію, неоконченная (Р. I, № 21). Начинается она довольно необыкновеннымъ *восклицательнымъ* оборотомъ: «ай же ты собака, злодѣй Калинъ царь!» (опять особое проявленье лиризма, проглядывающаго именно въ былинахъ про Татарщину, подобно тому какъ лиризмъ проглядываетъ и въ лѣтописныхъ описаньяхъ погрома татарскаго. [48]) Далѣе Калину приписывается тутъ намѣреніе у живого мужа жену отнять—у того у князя у Владиміра (тоже и въ пересказѣ Никиф. Прохорова—Р. I, № 19); это опять таки соотвѣтствуетъ упоминаемому лѣтописцами обстоятельству, что Батый «нача просити у Рязанскихъ князей дщерей и сестръ себѣ на ложе». [49]) Разставляетъ онъ свою силу на полѣ на Куликовѣ: эта историческая черта тутъ еще яснѣе, чѣмъ въ пересказѣ лужскомъ, гдѣ на Куликовѣ полѣ собственно пребываютъ богатыри. Съ крайнею, конечно уже весьма позднею распространенностью говорится о томъ, какъ Калинъ выбиралъ татарина самолучшаго — для отправленья къ Владиміру князю [50]). Порасплакавшись, стольный князь могучіимъ богатырямъ расклански: «какъ-же намъ съ непріятелемъ поправиться?» Послѣ же отвѣта всѣхъ богатырей, что они думаютъ съ нимъ поправиться, князь веселъ и радосенъ *быть* (въ этой *формѣ* слова слышится какая-то книжная примѣсь). Далѣе и тутъ слѣдуетъ просьба племянника княжескаго Ермака благословить его изъ Кіева повыѣхать, только на колебанье Владиміра онъ тутъ отвѣчаетъ словами, нерѣдко приписываемыми, какъ мы знаемъ, и другимъ богатырямъ: «и не дашь прощеньица, я повыѣду.» Осѣдлавъ коня, скоро будетъ онъ на полѣ на Елескинѣ (?) у того сыра дуба у Невида (испорчено изъ *Леванидова*?), у того у камени у Латыря, гдѣ съѣзжалися могучіи богатыри. Сталъ онъ тутъ по шатрамъ поглядывать, въ которомъ шатрѣ Илья Муромецъ? А на томъ шатрѣ было три примѣточки, три кисточки (на шатрѣ же добрынинимъ только двѣ, а на алешиномъ всего одна: подобнаго рода оттѣненье Ильи и проведенье ступенекъ между *кіевскими* богатырями встрѣчается только въ одномъ этомъ мѣстѣ, и этого едвали не слѣдуетъ принять за подражаніе тѣмъ эпическимъ *отличіямъ* между Соловьемъ, его матушкой и его дружиной, какія проводятся въ былинахъ объ этомъ *заѣзжемъ* богатырѣ). Входитъ Ермакъ во бѣлой шатеръ (чей, не сказано) и, кланяясь, обращается къ богатырямъ съ попрекомъ:

Ѣдите вы, пьете, утѣшаетесь,
Играете во шашки во шахматы,—
Остался князь Владиміръ кручиноватъ,
Кручиноватъ князь, печаловатъ.

Они же, ни слова не возражая, только посылаютъ его на сырой на дубъ на Невидъ поглядѣть на силу войско татарское. А Ермакъ, поглядѣвъ, взялъ

[48]) Да кто, отци и братіе и дѣти, видѣвши божіе попущеніе се на всей землѣ Русской, и не плачеться? (Троицкая Лѣт. Полн. Собр. I. стр. 225). «И кто, братіе, о семъ не поплачеться, кто ся насъ осталъ живыхъ, како ону нужную и горькую смерть подъяша: да и мы то видѣвше, устрашилися бѣхомъ, и грѣховъ своихъ плакалися!»... (Сказ. о наш. Бат. Сахар. I, IV, стр. 45). Лиризмомъ отличаются тутъ въ концѣ и слова плача, приписываемаго матери землѣ; напротивъ въ былинѣ соотвѣтственная ей степа мать городовая плачетъ совершенно безмолвно.

[49]) Сахар. Сказ. I, IV, 46.

[50]) Ерлыкъ же тутъ пишетъ Калинъ царь не чернилами, а краснымъ золотомъ

да и поѣхалъ въ силу войско татарское. Ждутъ пождутъ его могучіе богатыри, думаютъ, чт онъ устрашился силы войска татарскаго и посылаютъ Алешеньку попровѣдать, чтò съ нимъ. Когда же Алешенька привозитъ вѣсточку объ улицахъ и переулочкахъ, пролагаемыхъ Ермакомъ черезъ татарскую силу, тогда посылаютъ Добрыню Никитича удержать его *баграми желѣзными.* Но пока Добрынюшка уговаривалъ: «ты, младешенекъ, глупешенекъ, сорвешься ты, надорвешься», младый Ермакъ Тимоѳеевичъ Добрынюшку съ конемъ повезъ... Далѣе пѣвецъ могъ припомнить только, что Добрыня потомъ *поправился* и что Ермака наконецъ *укротили.*

Несравненно полнѣе пересказъ Ник. Прохорова, существенными чертами сходящійся съ пересказомъ романовскимъ (хотя онъ записанъ не въ Петрозаводскомъ, а въ Пудожскомъ Уѣздѣ). Онъ полнѣе уже въ томъ отношеніи, что въ немъ не забытъ, какъ оно случилось съ Романовымъ, Илья Муромецъ (у Романова только ни къ чему не ведущимъ образомъ упомянуто о *шатрѣ* Ильи.) Начинается пересказъ Прохорова словами, уже приведенными мною въ другомъ мѣстѣ—по поводу сельской внѣшности эпическаго града Кіева (см. стр. 566): «на наше на *село* на прекрасное, на славенъ на Кіевъ градъ наѣзжаетъ собака воръ Калинъ царь». [51]) Не хочется Владиміру отдавать собакѣ свою княгиню Опраксію, и вотъ онъ зоветъ богатырей на думу на великую. Тутъ воспроговоритъ Ильюша крестовымъ братьицамъ Потыку и Добрынѣ:

Видно пришла князю тревогушка,
Что тревожитъ насъ, могучихъ богатырей,
А подите-ка, братцы, отказывайтесь,
Что не можемъ мы служить за Кіевъ градъ.

Нигдѣ, ни въ какой другой былинѣ Илья не даетъ такого совѣта. Желаніе хорошенько проучить князя, способнаго, какъ мы знаемъ, забываться передъ богатырями, доводится тутъ до неумолимости; но надо замѣтить, что это именно въ такомъ пересказѣ, гдѣ Калинъ грозитъ только *лично* самому Владиміру—отнятіемъ у него жены. Вотъ и идетъ, по наказу Ильи, Добрынюшка и, отворяя дверь нà пяту, говоритъ Владиміру:

Мои бѣлыя ручки примахалися,
Бьючись Татаровей поганыихъ,
Мои ясныя очи помутилися
Глядючись на Татаровей поганыихъ.
Не могу больше служить стоять
За славенъ стольный Кіевъ градъ.

Послѣ Добрыни приходитъ Потыкъ и говоритъ то-же самое. Наконецъ является и самъ Илья, подъ которымъ ступененки, мостинки подгибаются, и точно также объявляетъ князю отказъ. *Отперлись всѣ могучіе богатыри.* Все то поколѣніе ихъ, которое постоянно служило изберечью граду Кіеву, объявило, что у него уже силъ не хватаетъ биться-ратиться со Татарами — изъ за жены княжеской. Тутъ-то князю не дойдетъ сидѣть—бѣжалъ онъ на выходы высокіе и опять закричалъ во всю голову: «ай же вы, русскіе могучіе

---

[51]) Объ этой сельской внѣшности свидѣтельствуютъ, какъ мы уже знаемъ, былины про Чурилу и про Дюка. Въ дополненіе къ сказанному выше о послѣднихъ (съ этой ихъ стороны) замѣчу, что и гиперболической продажѣ всего Кіева на бумагу для оцѣнки имѣнія дюкова соотвѣтствуетъ въ сербскомъ эпосѣ то, что сабля Вукашина стоила три царева града Вука II, 240, III, 119; ср. также ш. 145.

богатыри, подите ко князю ко Владиміру на тую на думу на великую».—И вотъ вдругъ идетъ къ нему богатырь — новаго, младшаго поколѣнія: «ай же ты мой любимый даденька! а чего кричишь, тревожишься?» — На этотъ вопросъ Ермака князь отвѣчаетъ изложеніемъ своей бѣды: Калинъ царь хочетъ отъ жива мужа жену отнять.—«Ай же ты, любимый мой дяденька, говоритъ Ермакъ, я могу служить стоять за Кіевъ градъ». Ему такимъ образомъ приписываются тутъ слова, произносимыя, какъ мы знаемъ, Ильею при нападеніи на Кіевъ Соловьникова (см. выше стр. 462). Постоянная готовность служить переходитъ отъ *стараго* казака къ *дитяти* захвастливому (какъ называетъ Ермака Владиміръ). Но замѣчательна съ другой стороны эта эпическая привычка говорить о *служеніи Кіеву*, хотя въ данномъ случаѣ—собственно приходится служить князю.—Захвастливое дитя выпрашиваетъ себѣ кольчугу въ сорокъ пудъ, такую же палицу и коня богатырскаго! *Облатился молодецъ, окольцужился* (объ рѣдкости этихъ выраженій въ нашемъ былевомъ эпосѣ уже было говорено), а латы кольчуга призаржавѣли: бросилъ онъ латы о кирпиченъ полъ, слетѣла ржа отъ латъ-кольчуги. Вотъ и ѣдетъ Ермакъ по чисту полю, гдѣ собиралось *тридцать* богатырей безъ одного (не самъ ли онъ считался у нихъ тридцатымъ?); сидятъ молодцы во бѣломъ шатрѣ и играютъ себѣ въ шашки - шахматы, а Илья Муромецъ спитъ на кровати— рыбій зубъ [52]) подъ одѣяльцемъ соболинымъ. И сталъ Ермакъ корить-будить Илью—звать на Калина. А старый казакъ, не трогаясь, только посылаетъ его на шеломя оскатное посмотрѣть въ трубку [53]) на татарскую силу: «многимъ ли намъ молодцамъ ѣхати, али всѣмъ русокимъ богатырямъ»?—Въ этой прохлаждающейся безпечности богатыря, во внезапномъ ея наступленіи послѣ его постояннаго ратованья выразилась опять-таки одна изъ сторонъ нашего народнаго нрава, столь способнаго къ крутымъ переходамъ и не любящаго ни въ чемъ такъ называемой *золотой середины*. Ермакъ же и въ этомъ пересказѣ, вмѣсто того, чтобы только высмотрѣть силу, ринулся въ нее и проработалъ надъ нею цѣлыхъ трое сутокъ. Только по прошествіи ихъ наконецъ пробуждается Илья Муромецъ и спрашиваетъ, пріѣзжалъ ли Ермакъ?

Не поднявшись за стольнаго князя, Илья поднимается тутъ за своего брата богатыря, за самую младшую головку наилучшую! Пріѣхавъ же къ силѣ татарской, онъ разомъ опять *обертывается* старымъ, т. е. прежнимъ Ильей, выбираетъ себѣ самому работу потруднѣе и поопаснѣе: «идите, братцы, по крайчикамъ, а *я пойду по середочкѣ* искать млада Ермака Тимоѳеева» (подобно тому, какъ въ вышеприведенной былинѣ архангельской Ильѣ достается середка силы, матица [54]). Наконецъ то нагналъ Илья Ермака, скочилъ ему на добра коня, захватилъ его за могучи плечи (переводъ на обиходный языкъ того *налаганія храповъ*, которое попадалось намъ въ другихъ пересказахъ). И укротилъ тутъ Ермакъ свое сердце богатырское, и прибили они всю силу въ три часа.—Вслѣдъ за тѣмъ въ этомъ пересказѣ слѣдуетъ еще надбавоч-

---

[52]) Припомнимъ, что на кораблѣ Соловья Будиміровича изъ того-же рыбьяго зуба сдѣлана была бесѣда См. выше стр. 549.

[53]) Смотрѣніе въ трубку уже попадалось намъ выше (см. стр. 53, 459).

[54]) Кир. IV, стр. 44.



ная расправа Ильи съ самимъ Калиномъ, спящимъ во бѣломъ шатрѣ подъ собольимъ одѣяломъ. [55]) Безъ всякой пощады Илья выдергиваетъ его. поганаго, за желты кудри съ кровати-рыбій-зубъ, бросаетъ о землю и бьетъ плетью шелковою, выговаривая: «каково, собака, здѣ женитися, отъ живого мужа жену отлучать»? Въ концѣ концовъ, стало быть, оказывается. что на самомъ дѣлѣ Илья принялъ къ сердцу обиду стольнаго князя, но хотѣлъ только хорошенько его проучить продолжительными отказами. [56])

Точно также заставляетъ себя упрашивать, а самъ долго не двигается съ мѣста сербскій кралевичъ Марко. Арапы такъ и истребляютъ войско султана, а Марко отговаривается тѣмъ, что онъ еще не допировалъ съ пріятелями и кумовьями. Зато потомъ, поднявшись, онъ истребляетъ войско арапское, добывъ себѣ при этомъ цѣлыхъ семьдесятъ ранъ. [57])

Но надо замѣтить, что и основная черта нашихъ сказаній — какъ про Илью съ Ермакомъ, такъ и про Данилу съ сыномъ—*добровольная замѣна молодымъ богатыремъ стараго* (служащая какъ бы опроверженіемъ тѣхъ словъ, какія говоритъ Илья въ нѣкоторыхъ былинахъ про стояніе на заставѣ: «некѣмъ мнѣ замѣнитися»), — и эта черта оказывается чертою обще-эпическою. Она замѣчается, во первыхъ, въ юго-славянскомъ эпосѣ, напримѣръ въ первой половинѣ той сербской пѣсни про Иву Сенковича, вторая половина которой уже была у меня затронута въ главѣ о боѣ отца съ сыномъ (стр. 49) и по поводу былины о Данилѣ Игнатьевичѣ съ Михайлой Даниловичемъ (стр. 697). Дѣло въ томъ, что Иво, котораго отецъ принимаетъ за турка по турецкому на немъ платью, возвращается къ нему съ боя, предстоявшаго отцу, но добровольно принятаго на себя сыномъ. «Ја ћу, бабо, на мејдан изићи; оћу твоју замјенити славу,» на что отецъ отвѣчаетъ ему: «још ти нема ни шестнаест љета.» [58]) Такой возрастъ менѣе первобытенъ и эпиченъ, чѣмъ *двѣнадцатилѣтній* нашего Ермака, объ обычности котораго въ эпосѣ уже было говорено выше — (см. стр. 67). Въ другой сербской пѣснѣ Драгичъ воевода не можетъ явиться на вызовъ Хасанъ-Аги: «ја сам јунак веће остарио и јуначки мејдан (бой) оставио, ја не могу мејдан дијелити.» Но замѣной служитъ ему сынъ его, нејак и Матија, и, вооружившись тяжелымъ отцовскимъ оружьемъ, побѣждаетъ Хасанъ-Агу. [59]) Въ ряду не-славянскихъ сказаній сюда же должно отнести тотъ зарывчивый выѣздъ въ поле молодого Альфарта, при которомъ, какъ уже сказано выше (см. стр. 60), вслѣдъ за нимъ выѣзжаетъ его дядя, старикъ Гильдебрандъ, чтобы наложить на него свои богатырскія останавливающія руки. Но мы видѣли вмѣстѣ съ тѣмъ, что племянникъ, не узнавая дяди, принуждаетъ его къ бою съ собою и одерживаетъ надъ нимъ побѣду. Въ концѣ же концовъ юный Альфартъ, какъ и

---

55) Описаніе сна его служитъ только эпическимъ повтореніемъ описанія сна Ильи.

56) Попавъ, такъ сказать, въ жестокую полосу воображенье народное разыгралось въ этой былинѣ до того, что далѣе Илья выламываетъ руки и ноги Калину и привязываетъ его за плечи къ другому татарину, которому выломалъ только руки, но сверхъ того выкопалъ глаза, приговаривая: «на-тко, татаринъ—неси домой, а ты, собака (т. е. Калинъ) дорогу указывай» (Р. I, стр. 1061.

57) Вука С. П., II № 62 (Марко и Мина од Костура).

58) Далѣе отецъ Ивы говоритъ копію своему „сад те знальем съ главом неразумном" — совершенно сходно съ прозываніемъ нашего Ермака глупешенькимъ (См. Вука III, стр. 393).

59) Вука III, № 55.

нашъ Ермакъ, *перестался* и сложилъ на полѣ ратномъ свою головушку наилучшую. Послѣ такого сопоставленія, едва ли не придется намъ отдать предпочтеніе тому, хотя и единственному пересказу, въ которомъ Ермакъ является *племянникомъ Ильи*, передъ тѣмъ, гдѣ онъ племянникъ Владиміра (что могло произойти чрезъ позднѣйшую примѣсь къ нему положенья Добрыни Никитича). Кромѣ того, едва ли можно считать совершенно-случайнымъ то обстоятельство, что какъ въ одной изъ сербскихъ былинъ, такъ и въ германскомъ сказаніи, рвущійся въ бой за другихъ *младъ глупешенекъ* оказывается вмѣстѣ съ тѣмъ однимъ изъ эпическихъ бойцовъ съ *отцомъ* или съ *дядею*. Не служитъ ли и нашъ *Ермакъ Тимоѳеевичъ* только позднѣйшею историческою подстановкою вмѣсто того самаго сына Ильи, про бой съ которымъ сохранилось у насъ столько былинъ и трагическаго, и нетрагическаго извода? Если у насъ могли такимъ образомъ сохраниться совмѣстно два совершенно различныхъ вида одного и тогоже сказанія, то почему бы не могъ существовать и третій (служащій только особымъ видоизмѣненіемъ извода смягченнаго), въ которомъ Сокольничекъ, узнанный и пощаженный отцомъ, оставался бы при немъ, поступалъ бы въ его дружину богатырскую и служилъ бы ему замѣною въ старости? При этомъ онъ, по законамъ эпоса, вполнѣ могъ сохранить за собой навсегда свой двѣнадцатилѣтній возрастъ, подобно тому какъ даже въ лѣтописномъ преданіи княгиня Ольга, не смотря на историческую свою немолодость при принятіи ею христіанства, представляется способною прельстить императора Константина [60]). Что же касается того, что Ермакъ *племянникъ* Ильѣ, а не *сынъ*, то это могло произойти вслѣдствіе самой подстановки вмѣсто Сокольника—*Ермака*, при чемъ историческое отчество этого послѣдняго—*Тимоѳеевичъ* уже не позволяло ему быть сыномъ *Ильи* и такимъ образомъ невольно вело къ предположенію между ними *иного* родства, ближайшимъ же послѣ *сына* оказывается *племянникъ*. [61])

Какъ бы то ни было, къ примѣрамъ эпической замѣны стараго богатыря его сыномъ можно еще отнести приведенье молодого Берарда старикомъ Тьерри на службу за себя къ Карлу Великому [62]) (въ Chanson des Saisnes). Впрочемъ, встрѣчаются и примѣры замѣны *старика* не именно сыномъ или ближайшимъ родственникомъ, но просто юношею. Такъ въ chanson о G u i d e B o u r g o g n e на смѣну къ утомившимся старымъ витязямъ является даже цѣлое поколѣніе молодыхъ. [63]) Надо наконецъ замѣтить, что и помимо всякой замѣны, типъ стремящагося въ бой и неожиданно въ немъ отличающагося *млада глупешенька* и самъ по себѣ довольно обыченъ въ эпосѣ.

---

[60]) О долгой эпической молодости см. выше на стр. 175. Готье замѣчаетъ въ ч. II на стр. 153: Roland a toujours 20 ans.

[61]) Сравни, впрочемъ, выше примѣчаніе 31. Надо замѣтить, что одна пѣсня сербская представляетъ любопытную совмѣстность эпической «замѣны стараго молодымъ» съ эпическимъ «боемъ близкихъ родныхъ» въ т р а г и ч е с к о й формѣ. Пока богатырь Янко спитъ, племянникъ его, отрокъ Секула, отправляется въ турецкій таборъ, обернувшись шестокрылымъ змѣемъ, предупредивъ дядю о такомъ своемъ оборотничествѣ. Когда же онъ, схвативъ Султана, обернутаго соколомъ, летитъ съ нимъ къ дядѣ, Янко, съ просонья позабывъ предостереженіе Секулы, мѣтитъ въ него, какъ въ змѣю, и убиваетъ на мѣстѣ Вука II, № 85. (Ср. въ изсл. г. Бессонова объ эпосѣ сербскомъ и болгарскомъ стр. 76—вступл. къ I ч. сб. Болг. Пѣсень).

[62]) Выше, на стр. 640, уже видѣли мы примѣръ замѣны старика отца—дочерью въ новогреческой сказкѣ.

[63]) Gautier, Epopées françaises, II. 496, 379—386.

Сюда относятся у Юго-Славянъ *детенце Османа*, *дете Дукаденче*, *Груица* [64]) и т. д. (Хотя не надобно забывать, что слово дете, какъ и древне-нѣмецкое *kint*, можетъ обозначать не именно *отрока*, но и *юношу*). [65])

При всей древности своей первоначальной основы, былины объ Иль́ѣ съ Ермакомъ въ ихъ теперешнемъ видѣ, сравнительно съ другими былинами о татарскомъ нашествіи, представляются, конечно, наиболѣе поздними — не только по историческому имени Ермака, но и по самому появленью въ его лицѣ въ свою очередь младшаго, новаго поколѣнія богатырскаго. А все же и это новое поколѣніе, даже не смотря на историческое его пріурочение къ Ермаку, остается пріуроченнымъ къ Кіеву и его древнему стольному князю. Кому не извѣстна прекрасная жалоба пѣвца Игорева на то, что того *стараго Владиміра* нельзя было пригвоздить къ горамъ кіевскимъ? Но въ эпосу кіевскому, какъ мы могли убѣдиться, Владиміръ оказывается какъ бы пригвожденнымъ. При немъ происходятъ и нападенье на Русь Батыя, и освободительная битва на Куликовомъ полѣ, и наступательные подвиги Ермака, въ эпосѣ нашемъ ставовящіеся, впрочемъ, какъ могли мы замѣтить, такими же чисто-оборонительными, какъ и подвиги большей части нашихъ богатырей.

О Татарщинѣ сохранилось у насъ не мало былевыхъ пѣсенъ, но здѣсь я могу ограничиться указаніемъ лишь на тѣ, къ которымъ оказывается пригвожденнымъ нашъ *старый* Владиміръ Кіевскій. Такова и извѣстная былина Киріяа Данилова про Михайлу Казарянина (перепечатана у Кир. въ вып. IV на стр. 91—99). Если бы въ этомъ его прозвищѣ можно было видѣть указаніе на то, что онъ выходецъ изъ древняго царства Хазарскаго, [66]) то Михайлу пришлось бы отнести къ числу самыхъ древнихъ заѣзжихъ богатырей. Во всякомъ случаѣ онъ уже связывается съ порою татарскою, выѣзжаетъ же онъ въ началѣ былины, подобно Дюку, изъ далеча, изъ Галичья изъ Волынца. И внѣшность его оказывается столь же воинственною, какъ внѣшность Дюка у Киріяи Данилова (крѣпки доспѣхи, кунякъ и панцырь, кольчуга красна золота, шеломъ, замыкающійся на буйной головѣ, копье мурзамецкое, сабля, лукъ). И скачетъ онъ, совершенно какъ Дюкъ, съ берега на берегъ, а ѣдетъ, какъ всѣ вообще, къ ласкову князю Владиміру — послужить ему вѣрою-правдою и чудотворцамъ въ Кіевѣ помолиться. Привязавъ кони къ

---

[64]) См. въ сб. Миладиновыхъ № 59, 60, 131, 143, 173. Таковъ же отчасти и пятнадцатилѣтній сынъ Карла Великаго, Карлотъ (Gautier II, 52; ср. тамъ-же стр. 139.

[65]) Г. Безсоновъ въ своемъ примѣчаніи къ одной пѣснѣ болгарской, гдѣ упоминается «Марко, малко дѣте» говоритъ: «нужно остеречься, что это не наше д и т я, а отрокъ, д ѣ т и н а. (Сб. Болг. Пѣс. I, стр. 39). Въ его же изслѣдованіи объ эпосѣ сербо-болгарскомъ сказано про попадающееся въ немъ часто д і е т е, что это д и т я не въ нашемъ смыслѣ, а нѣчкого постарше, молодой малой, отрокъ, даже юноша (стр. 22). И въ chansons de geste—enfant часто означаетъ юношу (см. на прим. въ Guillaume d'Orange стр. 237, 269, 364, 365). И. А. Лавровскій приводитъ изъ «кола родства человѣча» слѣдующее: младенецъ до 7 лѣтъ, отроча до 14, д ѣ т и щ е д о 2 1, юноша до 29, и т. д. Коренное знач. въ названіяхъ родства у Славянъ, стр. 100 во 2 прил. къ XII т. Зап. Ак. Наукъ.

[66]) Г. Безсоновъ въ своей зам. къ IV в. Пѣс. Кир. стр. CI говоритъ: «имя к о з а р ъ, что бы ни говорили, есть чисто славянское, хотя и усвоенное народу иного племени, восточнаго. Корень к о з есть тотъ же, что к о д., к о т, к о ш т, к о щ, к о ч—корни, являющіеся въ словахъ к о ч е в ь е, к о ш ь, к о щ е й—со значеніемъ движенія, блужданья. Окончаніе а р ъ, а р ь,— опять чисто славянское. Когда кочевье миновало для сложившейся Руси, тогда его имя перенесено преимущественно на тѣ народы, кои еще продолжали кочевать, на народцы и народы вообще восточные. Отъ того же корня ведетъ начало сильно распространенное у Славянъ и Венгровъ имя г у с-а р ъ, х у с-а р ъ, которое значило кочевую, бродячую жизнь, хайдучество потомъ конницу (отсюда же далѣе производится тутъ и к о з-а к ъ).

столбу и колышу булатному и поклонившись, какъ Дюкъ, совершенно по русски—на всѣ на четыре стороны и въ особину князю съ княгиней, а потомъ, на спросъ княжескій, назвавъ ему свое имя-изотчество (Михайло Казарянинъ душа Петровичъ младъ), новый гость-богатырь принимаетъ изъ собственныхъ рукъ Владиміра чару зелена вина. Все это, какъ мы знаемъ, обычно въ нашихъ былинахъ. Но замѣчательно, что пѣвцу (не смотря на то, что былина эта записана еще въ XVIII в.) показалось надобнымъ пояснить: «втапоры стольный Владиміръ князь не имѣлъ у себя стольниковъ и чашниковъ» (стихи 64—65). Еще замѣчательнѣе то, что въ концѣ былины напротивъ того говорится: «а и стольники-приворотники доложили князю Владиміру» (стихи 220—221). Это, конечно, одинъ изъ самыхъ яркихъ примѣровъ тѣхъ *противорѣчій*, которыя объясняются совмѣстностью въ былинахъ различныхъ слоевъ; а вмѣстѣ и одно изъ яркихъ свидѣтельствъ о томъ, что былины Кирши, хотя и записанныя въ XVIII в., далеко не всегда оказываются цѣлостнѣе и стройнѣе былинъ Кирѣевскаго и Рыбникова.

Собственноручно, по древнему, угостивъ Казарянина, Владиміръ проситъ его сослужить ему службу, въ родѣ задаваемой Сукману, иной разъ Потыку и др.,—настрѣлять гусей-лебедей на синемъ морѣ ко столу княженецкому. «*Не ослушался* Михайло *великаго* князя, поѣхалъ, и на *щаски его великія* [67]) привалила птица къ берегу. Нагрузивъ своею охотой-добычею добра коня по могучимъ плечамъ до сырой земли, Михайло уже поѣхалъ назадъ, какъ вдругъ усмотрѣлъ на дубу черна ворона: а и ноги, носъ, что огонь горятъ. «Сколько, говоритъ Казарянинъ, я ни ѣзживалъ по его *государевой вотчине* (вставка, конечно, поздняя), такого чуда не наѣзживалъ. Вотъ и принялся онъ-было стрѣлять въ ворона, но тотъ, какъ оно обычно въ эпосѣ (особливо же въ сказкахъ), взмолился богатырю:

«Не стрѣляй меня ты, черна ворона
Моей крови тебѣ не пить будетъ,
Моего мяса не есть будетъ,
Надо мною сердце не изнести;
Скажу тебѣ добычу богатырскую:
Поѣзжай на гору высокую...

И увидишь въ полѣ три бѣлы шатра,
Стоитъ бесѣда дорогъ рыбій зубъ,
На бесѣдѣ сидятъ три татарина...
Передъ ними ходитъ красна дѣвица,
Русская дѣвица полоняночка,
Молода Марѳа Петровична.

Не стрѣляетъ Казарянинъ въ ворона, ѣдетъ на гору—видитъ русскую полоняночку: «во слезахъ она не можетъ слова молвити.»—Но вслѣдъ за этимъ, довольно обычнымъ въ подобныхъ случаяхъ эпическимъ оборотомъ, въ уста ей влагаются слѣдующія, и даже вовсе не немногія *слова*, напоминающія скорбныя пѣсни свадебныя:

«Горе горькая моя руса коса
А вечоръ тебя матушка разчесывала...
Расплетать будетъ моя руса коса,
Тремъ Татарамъ наѣзникамъ.

Тутъ начинаетъ ее уговаривать первый татаринъ, чтобы она не скорбила своего лица бѣлаго, что онъ не продастъ ее дешево, а отдастъ за сына

67) Вотъ опять одно изъ тѣхъ мѣстъ, изъ которыхъ ясно, что щаски=счастіе.



любимаго, за *мирнаго* сына въ Золотой Ордѣ. [68]) Но вотъ напущается молодой Михайло Казарянинъ, перваго татарина копьемъ скололъ, другого собаку конемъ стопталъ, третьяго—о сыру землю. Являясь такимъ образомъ освободителемъ русской дѣвицы изъ полона, онъ однакоже далѣе не выдерживаетъ этого прекраснаго своего назначенія, которое обыкновенно выдерживается до конца эпическими молодцами-освободителями. Михайло напротивъ того, избавивъ ее отъ насилья, самъ готовъ предаться тому же самому: «повелъ дѣвицу во бѣлъ шатеръ, какъ чуть съ дѣвицею ему грѣхъ творить.» Но полоняночка удерживаетъ его тѣмъ, что «не честь это молодецкая, богатырская», а потомъ говоритъ ему, что она дочь гостиная изъ Волынца города изъ Галичья, молода Мареа Петровична. Выше, какъ мы видѣли, ему по имени уже называлъ ее воронъ, но тамъ оно, надо думать, пропѣлось чисто механически, какъ это бываетъ въ эпосѣ, и только здѣсь названіе имени служитъ къ узнанью.» Гой еси, душа красна дѣвице, говоритъ Михайло, а ты по роду мнѣ родна сестра, и ты какъ Татарамъ досталася?» Выслушавъ отъ сестры, какъ она гуляла въ зеленомъ саду и они налетѣли на нее, словно вороны, Михайло собираетъ въ шатрахъ злата-серебра, онъ кладетъ во тѣ сумки переметныя (одинъ изъ рѣдкихъ у насъ примѣровъ взиманья добычи съ убитыхъ враговъ), потомъ беретъ и бесѣду дорогъ рыбій зубъ, садитъ дѣвицу на своего коня русскаго богатырскаго, самъ садится на одного изъ татарскихъ и, ведя остальныхъ двухъ въ поводу, отправляется къ Кіеву. Вотъ тутъ-то и *докладываютъ* объ немъ Владиміру *стольники-придворотники*, а вслѣдъ затѣмъ отъ Владиміра къ нему идутъ *послы*, велятъ иттить Михайлу во свѣтлу гридню: ясно, что въ концѣ тутъ эпическій *слой* совершенно не тотъ, что въ началѣ. Сталъ Владиміръ князь свѣтелъ-радошенъ, что Казарянинъ не только настрѣлялъ ему гусей-лебедей, но и выручилъ у Татаръ сестрицу родимую. На радостяхъ князь наливалъ (опять *самъ*) чару зелена вина и турій рогъ меду сладкаго и подносилъ Казарянину. Вслѣдъ же затѣмъ пошелъ онъ и со княгинею посмотрѣть добычу Михайлову, и тутъ окончательно разъяснилось, почему такъ радошенъ сталъ стольный князь. Велѣлъ онъ снимать сумы сыромятныя, (которыя, какъ мы знаемъ, Михайло наполнилъ татарскимъ золотомъ) и относить во свѣтлы гридни, не побрезгалъ и бесѣдой—дорогъ рыбій зубъ, а также и конями татарскими, которыхъ велѣлъ поставить по *стойломъ* [69]) своимъ. Присвоивъ же себѣ такимъ образомъ добычу богатырскую, князь похвалилъ жеребцовъ татарскихъ: «есть у меня цѣлыхъ триста и три любимыхъ, а нѣтъ такого единаго! Исполать тебѣ, добру молодцу, что служишь князю вѣрою и правдою». Такимъ образомъ онъ остается совершенно вѣрнымъ себѣ, тому сребролюбію, которое уже не разъ замѣчали мы въ былевомъ Владимірѣ.

При такомъ нравѣ стольнаго князя, понятнымъ становится, что онъ не могъ быть доволенъ Сухановъ, который ограничился, какъ мы знаемъ, однимъ побіеніемъ силы татарской, и не привезъ князю ничего, ни даже той

[68]) «Т. е. за мирнаго татарина, изъ мирной орды», поясняютъ изд. сб. пѣс. Кир.

[69]) Издатели сб. пѣс. Кирѣевскаго поставили тутъ въ примѣчаніи: «по стойламъ?» Думаю, что въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія, только въ былинѣ сохранилась древняя форма окончанія на о.



лебедки, за которою тотъ его посылалъ. Понятною становится и внутренняя неизбѣжность разлада между княземъ и нашимъ первенствующимъ богатыремъ Ильею. Кромѣ той независимости въ нравѣ Ильи, въ силу которой не могъ онъ снести *самоволья*, сказавшагося уже въ *позднѣйшемъ* Владимірѣ князѣ; кромѣ этой причины, была и другая, старѣйшая, изначальная — это основная разница во взглядѣ, въ стремленіяхъ—князя съ одной стороны, богатыря съ другой. У одного всегда на умѣ добыча, тогда какъ другой именно объ ней-то никогда и не думаетъ: ни самъ никогда ничего не возьметъ, ни князю ничего не доставитъ, ни ему не позволитъ себя подкупить никакою подачкою. Такъ какому же быть тутъ ладу между Владиміромъ и Ильей?

Былина о Михайлѣ Казарянинѣ представляетъ намъ повѣсть изъ частнаго быта временъ Татарщины. Но замѣчательно, что и тутъ, какъ въ тѣхъ былинахъ про Татаръ, которыя выставляютъ нашествіе ихъ какъ общественное бѣдствіе, счастье къ концу склоняется въ пользу Русскихъ. То-же, что̀ въ разобранной мною былинѣ повѣствуется про Казарянина, въ другой, съ Сузунскаго завода (Кир. II, стр. 80—82),[70]) приписывается Алешѣ Поповичу. Этому послѣднему, повидимому, и совершенно къ лицу доводить свои свойства *бабьяго пересмѣшника* до того, что жертвою этихъ свойствъ чуть чуть не становится его родная сестра. Но въ нашей сузунской былинѣ все это несочувственное похожденіе является замѣтно смягченнымъ—сравнительно съ былиной Кирши. Освободивъ дѣвицу отъ Татаръ, Алеша тутъ падаетъ своему коню во праву ногу: «спасибо тебѣ, батюшка добрый конь, получилъ я себѣ *обручницу подвѣнечницу*». Вслѣдъ за тѣмъ *самъ* онъ распрашиваетъ: «какого ты, дѣвица, роду племени? Царскаго или барскаго, княженецкаго или купеческаго, или послѣдняго роду-крестьянскаго?» (эта лѣстница, разумѣется принадлежитъ уже весьма позднему слою).—«Я того батюшка попа растов-, скаго» отвѣчаетъ дѣвица, а Алеша опять падаетъ коню во праву ногу: «спасибо тебѣ, батюшка добрый конь, я думалъ получить себѣ обручницу, а выручилъ родну сестрицу». И побѣжалъ вмѣстѣ съ нею къ своему батюшкѣ, что̀ къ тому ли попу ростовскому» [71]).

Замѣчу, что воронъ въ этой былинѣ попадается Алешѣ на степи *саратовской*. Та-же самая степь, указывающая на происхожденіе этого извода изъ Приволжскаго края, упоминается и въ другой былинѣ, не напечатанной, полученной мною изъ Олонецкой Губерніи отъ Е. В. Барсова (безъ обозначенія, отъ кого записана). И она въ свою очередь, сравнительно съ былиной Кирши, оказывается нѣсколько смягченною, хотя и не въ такой степени, какъ сузунская, но явнымъ признакомъ порчи служитъ въ ней совершенная *безыменность*, такъ что она уже ничѣмъ не связана съ кіевскимъ богатырскимъ кругомъ.

---

70) Перепечатана изъ приб. къ Изв. Ак. Наукъ, т. II. Записана Д. П. Соколовымъ.

71) Въ этой былинѣ упомянутъ и Илья Муромецъ, но упомянутъ, такъ сказать, ни къ селу ни къ городу—въ самомъ началѣ, какъ отправляющійся вмѣстѣ съ Алешей къ синю морю; потомъ же былина позабываетъ Илью—потому именно, что ей съ нимъ и дѣлать нечего. Замѣчательны въ этой былинѣ слова Татаръ своей плѣнницѣ: «ты по русскому красна дѣвица, а по нашему будь г о л ч а н о ч к а. Что̀ значитъ это послѣднее слово? Издатели замѣчаютъ въ выноскѣ: «у Славянъ для дѣвушки есть, названіе неяснаго корня—г о л к а. Но, можетъ быть это ошибка—вмѣсто п о л о н я н о ч к а (?) (Кир. II, стр. 81).

Въ только что разобранной былинѣ къ татарской порѣ пріурочено похожденіе, весьма древнее по своей основѣ и существующее въ эпосѣ различныхъ народовъ. Это одинъ изъ двухъ видовъ того — по первоначальному своему смыслу непремѣнно миѳическаго кровосмѣшенія, которое, являясь въ нашей былинѣ предотвращеннымъ, во многихъ другихъ сказаніяхъ, напротивъ того, совершается подъ вліяніемъ рока [72].

Здѣсь не мѣсто вдаваться въ разборъ всенароднаго миѳа о кровосмѣсителѣ, который бы вывелъ насъ совершенно изъ богатырскаго круга владимірова. Обойду также и всѣ тѣ пѣсни о татарской порѣ, которыя не связываются съ этимъ кругомъ, и прямо затрону, въ заключеніе настоящей главы, одну сказку, которая напротивъ того поставлена съ нимъ въ соотношеніе. Сказка эта записана въ Новгородской Губерніи и помѣщена въ сб. г. Аѳанасьева въ вып. VI, подъ №62. Начинается она, какъ былины, почестнымъ пиромъ у Владиміра;—только не *князя* кіевскаго, а *царя*. Вотъ и вызываетъ царь охотника съѣздить къ *султану турецкому* (позднѣйшая замѣна царя Орды, возможная, какъ мы видѣли, и въ былинахъ—на прим. про Вольгу)— увести у него коня златогриваго, убить кота бахаря, самому султану въ глаза наплевать. Это до извѣстной степени соотвѣтствуетъ подвигу, задаваемому Карломъ Великимъ въ одной изъ довольно позднихъ chansons — о Huon de Bordeaux [73]. Выполнить трудную задачу вызывается Илья Муромецъ, но возлюбленная царская дочь отзывается объ немъ такимъ образомъ: «хоша хвалится Илья Муромецъ, не сослужить ему этой службы».

Подобное выставленье Ильи какимъ-то хвастунишкой въ родѣ Алеши— черта, разумѣется, поздняя, искаженная. Въ ней можетъ заключаться лишь такого рода смыслъ, что такъ какъ задача отчаянная, то для нея нуженъ и исполнитель съ головой, такъ сказать, не на мѣстѣ; вотъ и совѣтуетъ дочь Владиміру: «поди искать по царевымъ кабакамъ млада Балдака сына Борисьевича — *отъ роду семилѣтняго.*» Тутъ такимъ образомъ смѣшиваются уже знакомые намъ эпическіе образы богатыря-пьяницы и богатыря-малолѣтка (Василья Игнатьевича и Ермака). Вотъ и нашелъ Владиміръ Балдака спящимъ

---

72) Кромѣ кровосмѣшенія брата съ сестрой, въ эпосѣ существуетъ, какъ извѣстно, кровосмѣшеніе сына съ матерью. Въ видѣ смягченномъ, какъ и въ нашей былинѣ, первый видъ кровосмѣшенія представляется въ двухъ галицкихъ пѣсняхъ изъ сборника Головацкаго, въ ч. I, стр. 45—46, и въ ч. II), стр. 577—578; также въ нѣсколькихъ пѣсняхъ болгарскихъ въ сб. Миладин. стр. 106, 124, 227. Преступленіе напротивъ того является совершившимся между Карломъ Великимъ и его сестрой, а также королемъ Артуромъ и его сестрой. Упоминая объ этомъ въ своей Поэтической Исторіи Карла Вел, Г. Парисъ, въ подкрѣпленіе миѳическаго толкованія этой черты, указываетъ на кровосмѣшеніе. Зевса съ Ирою въ греческой, и Озириса съ Изидою въ египетской миѳологіи (см. стр. 433: nous retrouvons ce trait dans presque tous les systèmes mythologiques. Кровосмѣшеніе съ сестрою происходитъ также у злополучнаго раба Куллерво въ финской Калевалѣ; то-же, какъ доказываетъ ак. Шифнеръ, происходитъ и съ эстонскимъ «сыномъ Калевы», хотя въ теперешнемъ видѣ сказанія это уже не совсѣмъ ясно. (См. разборъ «Калевипоэга» въ XXIX прис. Дем. Нагр. стр. 20). Совершившееся кровосмѣшенье съ сестрой—также и въ одной изъ тѣхъ повѣстей о кровосмѣсителѣ, которыя напечатаны Н. И. Костомаровымъ во 2-мъ вып. Пам. Старинной Русской Литературы, а также въ болгарской повѣсти, найденной В. И. Ламанскимъ (Ж. М. Н. Пр. 1869 г. Іюль, стр. 112—114).

73) Надо замѣтить, что Карломъ эта задача задается Гуону въ наказаніе. Онъ долженъ убить въ палатахъ вавилонскаго адмирала перваго встрѣчнаго басурмана, три раза поцѣловать дочь адмирала и доставить Карлу нѣсколько волосъ изъ его бороды, а также четыре большихъ его зуба. (Huon de Bordeaux, въ V томѣ колл. Les Anciens Poètes de la France). Тутъ могло быть и заимствованіе, но изъ изслѣд. г. Пыпина о стар. пов. и ск. русскихъ не видно, чтобы Гуонъ былъ у насъ извѣстенъ.

въ кабакѣ подъ лавкою, ткнулъ его носкомъ,—тотъ проснулся. «Недостоинъ я на почестной пиръ итти, говоритъ Балдакъ, и, отсылая Владиміра обратнымъ путемъ въ *чердаки* царскіе, начинаетъ одинъ опохмѣляться въ кабакѣ зеленымъ виномъ, а потомъ идетъ въ *чердаки* [74]) бездокладочно. Владиміръ предлагаетъ Балдаку взять съ собой народу - силы сколько надобно, золотой казны, сколько хочется. Балдакъ же беретъ съ собою только 29 молодцевъ и отправляется въ походъ *самъ тридцать* (древнее эпическое число, какъ мы знаемъ). Съ этой своею дружиною Балдакъ не только выполняетъ у султана всѣ порученья владиміровы, но еще выжигаетъ весь садъ султанскій. Вотъ и закричалъ тутъ заплеванный владыка турецкій своему пашѣ любимому: «неблагополучно въ царствѣ моемъ! Дожидался я *русскаго виновника* — млада Балдака сына Борисьевича; а теперь наѣхалъ на меня царь ли царевичъ, король ли королевичъ—того не вѣдаю». Въ этомъ намекѣ на *виновника* уцѣлѣлъ прямой отзвукъ былины про Василья Игнатьевича, начинающейся, какъ мы знаемъ, *виною* Василья противъ Татаръ и требованіемъ его выдачи, что въ началѣ разбираемой теперь сказки уже совершенно заслонено посторонне ю примѣсью. Подобная примѣсь къ концу нашей сказки еще усиливается. Большая дочь султана вызывается открыть *виноватаго* при помощи двадцати девяти дѣвицъ. Опускаю подробности придуманной ею хитрости, перехитряемой однакоже Балдакомъ, умѣющимъ подмѣченную ею у него, послѣ проведенной съ нимъ ночи, позолоченность ногъ, волосъ и т. п. сообщить и всей дружинѣ. Во всемъ этомъ такъ и кидаются въ глаза отзвуки различныхъ сказокъ, только тутъ молодцамъ достается положеніе, обыкновенно приписываемое въ нихъ дѣвицамъ. Въ концѣ концовъ Балдакъ однакоже попадается, самъ пресмѣло винится султану во всемъ и уже возводится имъ на висѣлицу, но, заигравъ на рожкѣ, призываетъ къ себѣ на помощь свою дружину, которая и побиваетъ весь турецкій народъ: черта, замѣшавшаяся изъ сказаній про царя Соломона и достойнымъ образомъ заключающая эту, такъ сказать, разношерстную сказку, Балдакъ, повѣсивъ салтана, пашу и дочь салтанскую, возвращается во славной городъ Кіевъ къ самому царю Владиміру [75]).

Если мы сопоставимъ эту сказку съ былинами про Татарщину, то не трудно будетъ замѣтить, что въ ней лишь до крайней степени доведена та каррикатурность въ положеніи басурманской силы, которая довольно ярка однако-же и въ былинахъ. Если мѣстами въ этихъ послѣднихъ сказывается даже скорбное полулирическое настроеніе, если вообще въ первой своей половинѣ онѣ во многомъ напоминаютъ *умильный* строй нашихъ лѣтописей и книжныхъ сказаній, то и тутъ въ обрисовкѣ посла татарскаго проявляется

[74]) Терема, поправляетъ издатель.

[75]) Опускаю сказку про Мамая Безбожнаго (Аѳан. VI, № 63), такъ какъ въ ней вмѣсто Владиміра, князя эпическаго. упоминается уже историческій князь Димитрій Донской. Опускаю также прекрасную рыбниковскую былину про Авдотью Рязаночку, такъ какъ она стоитъ внѣ владимірова круга. Любопытное соотвѣтствіе ея основы съ однимъ расказомъ у Иродота, однимъ мѣстомъ въ софокловой Антигонѣ и однимъ эпизодомъ Рамаяны было затронуто мною въ Филолог. обществѣ Журн. Мин. Нар. Пр. 1869 г. Авг. стр. 356. Опускаю и былины про Суровца Суздальца, хотя и сражающагося съ Татарами, но п р и к о м ъ—не видать изъ пересказовъ Кирѣевскаго, въ отрывкѣ же Кирши Данилова это происходитъ при какомъ то князѣ Михайлѣ Ефимонтьевичѣ. Суздалецъ попадаетъ въ засопань, какъ Илья, и насылается на Татаръ ворономъ, какъ Казарянинъ.

забавность, въ своемъ-родѣ-по-шекспировски чередующаяся съ такими чертами, какъ *плакунъ* колоколъ, какъ *печальное* платье Владиміра (но тамъ опять, гдѣ онъ наряжается *поваромъ* и мажется *сажей котельной* — самъ стольно-кіевскій князь становится отчасти забавнымъ) [76]. Вторая же половина нашихъ былинъ—это быстрое истребленіе всей силы татарской, захвастливой и тупоумной, такъ легко дающей себя провести, наконецъ причитанья Батыги, зарекающагося приходить на Русь — все это уже рѣшительно отзывается строемъ какой-то народной траги-комедіи.

Думаю, что и тутъ въ свою очередь, какъ оно ни покажется съ перваго взгляда страннымъ, имѣется своего рода связь съ историческими судьбами Руси. Подобнаго рода строй могъ стать возможнымъ въ былинахъ только при окончательно-упрочившемся сознаніи неодолимости силы народной, сознаніи, до того живомъ, что самая Татарщина стала представляться какимъ-то мимолетнымъ испытаніемъ этой силы, какимъ-то — прошу мнѣ простить это выраженіе—*плёвымъ дѣломъ*; но мы вѣдь только что видѣли въ сказкѣ о Балдакѣ, какъ богатырь этотъ въ глаза наплевалъ Салтану. [77]) Съ комическою постановкой Татарщины въ нашихъ былинахъ можно сравнить тѣ грубо-насмѣшливыя выраженія, какими отличаются казацкія *посланія къ султану*, большая часть которыхъ остается еще не обнародованною. Въ нихъ—тотъже могучій и мѣткій народный юморъ, который даетъ положительное основаніе извѣстному предположенію Шевырева, что русскій народъ особенно разовьетъ даръ комедіи.

Позволю себѣ указать на одну, *подходящую*, какъ представляется мнѣ, черту въ народныхъ свадебныхъ пѣсняхъ. Это тѣ проклятья-насмѣшки надъ сватомъ и свахой, особенно яркіе примѣры которыхъ записаны въ разныхъ губерніяхъ. [78]) Въ нихъ, какъ и во многихъ былинахъ, слышится что-то траги-комическое. Но само собой разумѣется, что обращенье въ *насмѣшку*, въ *грубую шутку* того, что первоначально было *проклятіемъ*, свидѣтельствуетъ о томъ, что когда-то дѣйствительно грозный сватъ, обладавшій, при помощи своихъ чародѣйныхъ, заговаривающихъ продѣлокъ, неотразимою властью надъ дѣвицей, уже утратилъ въ народномъ сознаніи огромную долю такого своего значенія. [79]) Такъ точно и представленье въ былинахъ смѣшнымъ Батыги Батыговича могло стать возможнымъ только тогда, когда въ народномъ сознаніи достаточно простыли слѣды историческаго Батыя. Вотъ почему забавный оттѣнокъ нашихъ былинъ про Татарщину можетъ составлять въ нихъ только довольно поздній слой, никакъ не мыслимый ранѣе окончательнаго торжества государей московскихъ надъ различными татарскими царствами. Послѣ этого болѣе понятнымъ становится и самое привлеченіе Ермака въ былины о Татарщинѣ. Въ самомъ дѣлѣ богатырскими подвигами его небольшой

---

76) Не забавнѣе, впрочемъ, чѣмъ въ тѣхъ былинахъ, гдѣ онъ ползаетъ на корачкахъ передъ соловьинымъ свистомъ, продѣлочками коня Ивана Гостинаго и т. п. Во всей вообще постановкѣ Владиміра довольно ярко сказывается народный юморъ. А вотъ несомнѣнно забавное описанье буравы-мурави татарскаго въ былинѣ Архангельскаго Уѣзда (Кир. IV, стр. 39). «Тутъ высочилъ бурза-мурза татаровичъ, старъ горбатъ, на передъ поклапъ, синь кафтанъ, голубой карманъ».

77) Въ Huon de Bordeaux, какъ мы уже знаемъ, плеванія нѣтъ.

78) См. Пѣсни Якушкина, стр. 255—2 7. Пермскій сб. I, отд. II, 103. Терещенки Б. Р. Н II, 236.

79) См. въ моемъ обозр. Р. Слов. стр. 113.



дружины сознанье народное могло окончательно стать завѣреннымъ, что сила невѣрныхъ ордъ—уже плёвая сила.

Все сказанное, думается мнѣ, окончательно можетъ быть подтверждено сличеніемъ съ сербскою «Лазарицею», подъ которою, какъ извѣстно, разумѣются пѣсни о боѣ царя Лазаря съ Турками на Косовѣ полѣ. Особенно въ этомъ отношеніи важна та прекрасная сводная пѣсня, которая записана въ Герцеговинѣ и напечатана въ сборникѣ Петрановича подъ именемъ *Пропаст царства Српског* (№ 21). О томъ, что это въ самомъ дѣлѣ была *гибель* Сербскаго царства до сихъ поръ еще свидѣтельствуетъ въ томъ краѣ сама дѣйствительность. Во очію дающее себя чувствовать на каждомъ шагу турецкое иго со всею его *грозою* (несуществующею только во мнѣніи какихъ нибудь заскорузлыхъ сыновъ Альбіона) поддерживаетъ до сихъ поръ и въ эпосѣ тотъ отъ начала и до конца скорбный, вполнѣ трагическій строй, который долженъ былъ въ свое время господствовать и въ нашихъ былинахъ про Татарщину, и только позже, съ измѣнившимися обстоятельствами, размягчился примѣсью юмора. Сербская Лазарица, представляя нѣкоторыя эпическія совпаденія съ разобранными въ этой главѣ былинами, отличается отъ нихъ перевѣсомъ *историческаго* строя со всею его горькою правдою. Царь Лазарь, подобно нашему Владиміру, проливаетъ при появленіи посла турецкаго слезы, а между тѣмъ поступки этого посла совсѣмъ не такіе *неумильные,* какъ въ нашихъ былинахъ. Нашъ *татарскій посолъ*, подобно *сарацинскому послу* во франкскомъ эпосѣ, дѣлаетъ всевозможныя грубости государю, къ которому посланъ; напротивъ того податель султанскаго письма въ сербской пѣснѣ употребляетъ такіе уважительные пріемы, съ какими не относится къ нашему Владиміру даже никто изъ собственнаго его народа:

Књигоноше цара опазило,
Предъ њиме се смјерно поклонило,
Пољуби му руку и кољено,
Остави му књигу на крилцу.
Руке преви, натраг се иступи,
Па га двори кајно господара. [80])

Дѣло въ томъ, что въ нашемъ и франкскомъ эпосѣ басурманъ ждетъ въ концѣ концовъ пораженіе. Чѣмъ наглѣе и захвастливѣе съ ихъ стороны вызовъ, тѣмъ позорнѣе для нихъ неудача, тѣмъ болѣе комическое впечатлѣніе произведетъ она. Въ сербскомъ эпосѣ подобнаго впечатлѣнія нѣтъ и въ поминѣ. оно невозможно — при окончательномъ торжествѣ Туречины. Скромно, соблюдая всѣ требованія придворныя (очень замѣтныя въ сербской эпической обстановкѣ царя, [18]) является податель турецкаго ярлыка,—но Лазарь уже заранѣе чуетъ, къ чему приведетъ тотъ «раздѣлъ мечами земли», то «проведенье межей головами», о которомъ пишетъ ему султанъ (сверхъ того онъ требуетъ у Лазаря золотыхъ ключей и дани за цѣлыхъ семь лѣтъ—что опять напоминаетъ наши былины). Далѣе оказывается, что число Турокъ совсѣмъ не такъ баснословно велико относительно Сербовъ, какъ велико число Татаръ—даже въ нашемъ рукописномъ сказаніи о нашествіи Батыя [82]).

---

80) Петрановича Српске Пјесме из Босне и Херцеговине, стр. 274.

81) Что, конечно, объясняется вліяніемъ сперва византійскимъ, потомъ турецкимъ

82) См. выше стр. 701: единому рязанцу битися со стомъ татариновъ.



«Три турчина на једног Сербина», говоритъ Лазарь, и уже изъ этого заключаетъ: «не моремо придобити Турке.» Но такое сознаніе не подавляетъ мужества въ Сербахъ, оно только сразу дѣлаетъ мужество ихъ отчаяннымъ:

«Ми волимо мушки умријети,
Него женски изгубити царство».
(Петрановича, стр. 276)

Такъ говоритъ царю Лазарю Милошъ и затѣмъ отправляется, какъ нашъ Ермакъ, посмѣтить, сколько именно у Турокъ войска. Убѣдившись, вслѣдствіе такой смѣты, что съ ними ратовать не легко, онъ однакожь не хочетъ говорить о томъ Лазарю, чтобы не испугать его. «Ни је много у Турака војске, ми моремо с њима ратовати»—доноситъ царю побратимъ Милоша, а царь разсылаетъ гонцовъ по всѣмъ краямъ царства — созвать отовсюду войско, которое и собирается цѣлыми хиліадами[83]) со своими предводителями, вполнѣ соглашаясь съ рѣшеніемъ Лазаря:

«Боље нам је свима помријети,
Него љутом змају робовати[84])
(стр. 283)

Напрасно Милица, жена Лазаря, упрашиваетъ одного за другимъ своихъ братьевъ, чтобы хотя одинъ изъ нихъ остался при ней. Даже самый младшій отвѣчаетъ царицѣ, что онъ предпочтетъ погибнутъ съ братьею, чѣмъ безъ нея остаться въ живыхъ. Между тѣмъ Милошъ, задѣтый за живое подозрѣніемъ Лазаря, будто бы онъ измѣнитъ ему въ первой битвѣ,—Милошъ даетъ царю слово распороть султана Мурата, наступить ногою ему на горло и принести его перстень Лазарю. Тутъ, по видимому, тѣ же эпическіе пріемы посрамленья султана, что и въ нашей сказкѣ про Балдака,—но стоитъ немного вникнуть, чтобы убѣдиться, что *постановка* совершенно другая. Милошъ рѣшается на такое отчаянное *дѣло*, чтобы доказать свою вѣрность. Пробравшись въ шатеръ Мурата и *распоровъ* его (особый видъ разсѣченія на полы), онъ выѣзжаетъ назадъ, и, подобно нашимъ богатырямъ, начинаетъ себѣ пролагать дорожки черезъ силу турецкую, какъ вдругъ вспоминаетъ, что не сдержалъ второй половины своего обѣщанія: не сталъ султану ногою на горло и не снялъ съ руки его перстня,—и вотъ онъ рѣшается еще разъ пробраться въ шатеръ султанскій. Напрасно останавливаетъ его побратимъ, — онъ исполняетъ свое обѣщаніе до конца, но платится за то жизнію. «Стыдъ намъ не отомстить за царя», рѣшаютъ Турки и всею силою опрокидываются на Милоша съ побратимами. «Није жалит' славно умријети» говоритъ Милошъ умирающимъ побратимамъ и вслѣдъ за тѣмъ самъ, подобно Ильѣ, попадаетъ въ подкопы турецкіе, — но не спасается изъ плѣна подобно нашему Муромцу. Связаннаго, его при-

[83]) Хиліада = тисућа.

[84]) Въ этомъ наименованіи султана змѣемъ заключается, можетъ быть, указанье на то, что и подъ нимъ скрывается темная сила въ родѣ нашихъ змѣевъ горынычей и тугариновъ—сила, въ основѣ своей мифическая.

водятъ къ Мурату, который, пораженный Милошемъ, все еще живъ, но не велитъ добивать своего врага. По приказанію Султана распарываютъ живого верблюда и вкладываютъ въ него израненнаго Мурата,—авось проживетъ еще три дня, авось переживетъ царя Сербскаго! И точно, вслѣдствіе измѣны — не Милоша, запечатлѣвшаго кровію свою вѣрность, а коварнаго Вука Бранковича, передавшагося Туркамъ въ рѣшительный мигъ,—погибло сербское дѣло, погибъ вмѣстѣ съ нимъ и царь Лазарь.

Бог убио Вука Бранковића,
Он издаде таста цар Лазара
Не шће помоћ' милој браћи својој.
Милој браћи и свом господару.

И вотъ приносятъ Мурату голову царя сербскаго: «ты его пережилъ, говорятъ ему; скажи же, гдѣ закопать васъ?»

Укопајте мене и Милоша
Обојицу наске напоредо,
А Лазара нама изпод ногу,
Нек вам буде под ногама раја.

Въ объясненіе смысла этихъ словъ надо припомнить то, что̀ сказано у меня выше по поводу битья Ильей Муромцемъ объ полъ шубы татарской. [85]) Какъ то битье соединялось въ сознаньи народныхъ пѣвцовъ съ чародѣйнымъ, заговаривающимъ значеніемъ, такъ въ силу подобнаго же воззрѣнія, и это погребеніе Лазаря подъ ногами у Мурата должно было упрочить на вѣчныя времена подчиненность Сербскаго народа Туркамъ. Послѣ этого особый, въ своемъ родѣ глубокій смыслъ получаетъ и слѣдующая предсмертная озабоченность Милоша—не допустить подобнаго погребальнаго распорядка:

Молим ти се, силан цар Мурате!
Не мојте нас нако укопати,
Већ два цара, оба напоредо,
Мене м ме цару изпод ногу,
Слуга сам му био овог св'јета,
Нек му будем и оног свијета.

И пѣсня заставляетъ Мурата приказать исполнить желаніе Милоша, а вмѣстѣ съ тѣмъ она приписываетъ султану заботу объ иной совершенно опорѣ для власти Турокъ. Вотъ что̀ завѣщаетъ онъ передъ смертью:

Не мојте ви рају цвијељати,
Не мојте ви рају погазити...
Већ пазите рају ка обраћу,
Тако ћете дуго царовати,
А друкчије изгубити царство,
Што сте с крвљу вашом задобили [86]).

Но пѣсня, приписавъ этотъ человѣчный завѣтъ Мурату, не разсчитываетъ, очевидно, на его исполненіе, и остается такимъ образомъ непричастною тому *легковѣрію*, съ какимъ относится до сихъ поръ къ различнымъ турецкимъ посуламъ образованная Европа. Передавъ еще нѣсколько скорбныхъ подробностей (о выходѣ царицы Милицы на поле, усѣянное трупами), наша

---

[85]) См. стр 668.

[86]) Петрановича, стр. 309, 312, 318.

пѣсня, оставаясь скорбною до конца, заключается слѣдующимъ горькимъ сознаніемъ:

Ето тако, моја браћо драга!
Због невјере и неслоге наше
Пропаде нам царство и држава,
Погибе намъ слава и господство.
Сам Бог знаде, кàд ће опет дође
Али ћемо сви у јаду прође? [87])

Это лирическое указаніе на *неслогу*, какъ причину народной гибели, напоминаетъ глубокое сѣтованіе пѣвца Игорева на взаимную вражду княжескую. Но въ нашихъ былинахъ уже нѣтъ и въ поминѣ этой вражды, да и отъ всей удѣльной поры уцѣлѣли въ нихъ лишь немногіе, попадавшіеся намъ намеки—на *подколѣнныхъ* князей у Владиміра. Но они, какъ могли мы замѣтить, точно *звукъ пустой*. Князь стольно-кіевскій уже вполнѣ надѣленъ въ былинахъ, при всемъ сохраненіи въ нихъ древне-славянскаго строя власти, *всероссійскимъ значеньемъ* позднѣйшей, московской поры нашего государства. Былевой нашъ эпосъ уже не помнитъ о той *неслогѣ*, которая такъ долго губила и насъ, такъ долго не давала сложиться единой неодолимой твердынeй той *матушкѣ Свято-Русь-землѣ*, которая въ нашемъ эпосѣ является какъ бы существовавшею изначала. Между единымъ стольнымъ княземъ этой земли и единымъ (въ смыслѣ незамѣнимаго) богатыремъ Ильей Муромцемъ [88]) крестьянскимъ сыномъ произошла, какъ видѣли мы, своего рода *неслога*: но стоитъ только князю ударить богатырю челомъ отъ имени Свято-Русь-земли,— и въ мигъ не остается слѣда неслоги! Все забывающій богатырь поднимаетъ на ноги, хотя и не безъ труда, даже старшее, тяжеловѣсное богатырское поколѣніе (въ другихъ же былинахъ, какъ видѣли мы, его собственную, задремавшую-было силу опять пробуждаетъ богатырскій *двѣнадцатилѣтецъ*). Даже въ тѣхъ былинахъ, гдѣ *неслога* между богатырями и княземъ, заставивъ первыхъ удалиться вдаль, доводитъ родную землю до безоружности,—даже и тамъ стóитъ только подняться, въ лицѣ одного и негаданнаго богатыря, всей голи народной — и матушка Свято-Русь-земля спасена, и врагъ, вошедшій въ нее съ сороками тысячъ, оставляетъ ихъ всѣ на ея роковой, неприступной равнинѣ.

Такъ ли, иначе ли, но матушка Свято-Русь-земля, въ былевомъ нашемъ эпосѣ, всегда находитъ себѣ удатныхъ, приводящихъ къ благому концу защитниковъ. Нашъ эпосъ не знаетъ, въ годину борьбы съ Татарщиной, никакого измѣнника въ родѣ сербскаго Бранковича или франкскаго Ганелона,— потому что въ немъ окончательно *позабыты* всѣ тѣ историческіе отступники, которымъ, слава Богу, не приходилось оставлять у насъ неизгладимые слѣды!

И надо помнить, что слово, побѣждающее въ нашихъ былинахъ неслогу, это исключительно и единственно — матушка Свято-Русь-земля съ ея сиротами и вдовами; — даже не церкви и не монастыря!

А между тѣмъ вѣдь велико было значеніе этихъ послѣднихъ въ нашей

---

87) Петрановича стр. 821.

88) Напоминаю о вышеприведенныхъ словахъ Дюка: «одно солнце на небѣ, одинъ богатырь на святой Руси» и т. д. (съ чѣмъ г. Тихонравовъ сравниваетъ въ словѣ о Полку Игоревѣ: «солнце свѣтиться на небѣ, Игорь князь въ Русской земли).

исторической жизни. Да, и соотвѣтственно такому значенію ихъ, богатыри наши относятся къ нимъ, въ большей части случаевъ, съ благоговѣйнымъ сочувствіемъ. Но вѣдь и въ исторической нашей жизни церкви и монастыри не были никогда такими, разсѣянными по землѣ, *небесными замками*, какими являлись они на западѣ. Тамъ, какъ уже замѣчено было выше (см. въ главѣ о германскомъ эпосѣ стр. 153), кромѣ феодализма земного, былъ еще феодализмъ небесный. Святые не даромъ называются въ chansons de geste *баронами*: они дѣйствительно представлялись вассалами du roi jésus, а храмы или монастыри, посвященные тому или другому изъ нихъ—такими сторожевыми мѣстами, въ которыхъ молящіеся составляли какъ бы отряды разсѣяннаго по землѣ войска Христова, обязаннаго Ему покорить всю землю. Прежде всего они должны были за Него *отомстить* язычникамъ (къ числу которыхъ относили Іудеевъ) — за то, что предки ихъ Его распяли, а сами они продолжали въ него не вѣровать [89]). Тѣмъ же самымъ мечомъ какимъ добывались владѣнья земнымъ сюзеренамъ, склонялись подъ ноги Христу непокорные — и запечатлѣвали свое поступленіе къ нему въ подданство неохотнымъ погруженьемъ въ купель. Такъ и въ той chanson de geste, гдѣ молодому богатырю задается обезчестить вавилонскаго адмирала, подобно тому какъ Балдакъ въ нашей сказкѣ обезчещиваетъ салтана, — этимъ однимъ, какъ оно у насъ, задача не ограничивается: богатырь со своимъ чародѣемъ-помощникомъ рубятъ головы всѣмъ тѣмъ язычникамъ, которые не хотятъ креститься. Но не только въ этой поздней, во многихъ отношеніяхъ уже искаженной chanson;—и въ одной изъ прекраснѣйшихъ древнихъ — въ chanson de Roland— видимъ мы то-же. За погибель Роланда вслѣдствіе передачи Сарацинамъ измѣнника Ганелона (трагическое положеніе, отчасти напоминающее Лазаря съ Бранковичемъ въ сербской пѣснѣ) — за погибель этого лучшаго изъ богатырей со всею его дружиною яростно отомщаетъ Карлъ, и отомщаетъ не только какъ за своего слугу, но и какъ за слугу Божьяго: Сарацины гибнутъ вдвойнѣ отъ такого двоякаго мщенія, а остающіеся въ живыхъ пригоняются цѣлыми стадами къ купели, а кто не хочетъ въ нее входить, тому долой голову! И такъ оно постоянно въ цѣломъ множествѣ всякихъ chansons: чуть только успѣютъ разбить бусурманъ — и давай приводить ихъ къ присягѣ Христу, или изъ нихъ духъ вонъ! [90]).

Вотъ такого-то состоянья въ *отрядѣ небесномъ* нѣтъ и въ поминѣ въ нашихъ былинахъ, не позаботившихся окрестить ни самого Батыгу, ни хотя бы кого нибудь изъ его Татаръ. Призывая Бога на помощь для обороны родной земли, богатыри наши не воображаютъ себя защитниками царя небеснаго. Вообще почти постоянно ограничиваясь отраженьемъ враговъ, удовлетворяясь зарокомъ съ ихъ стороны нападать на Русь и не чувствуя поползновенья самимъ *зачинать* нападенія (такъ что и самый, по исторіи оказывающійся наступательнымъ, походъ Ермака — въ былинахъ получаетъ оборонительное значеніе), богатыри наши еще менѣе помышляютъ о томъ, чтобы наступать *на враговъ Христа* и силой меча превращать ихъ въ *христовыхъ*

---

89) Ср. у Gautier, Epopées françaises, II, 72, 76.

90) См. Gautier, II, 282, 413, 455, 482, 582.

*подданныхъ*. Церкви и монастыри, служа только мѣстомъ молитвъ за родную землю, мѣстомъ принесенья безкровной жертвы за души ея защитниковъ, не являются резиденціями небесныхъ бароновъ, не разсылаютъ высочайшихъ приказовъ о сборахъ въ походы крестовые.

Если въ нѣкоторыхъ изъ нашихъ полукнижныхъ сказаній святые и представляются поборающими въ битвѣ за Христіаны, то только за тѣмъ, чтобы имъ помочь защитить отъ невѣрныхъ крещеную землю, а не за тѣмъ, чтобы вести ихъ въ походъ на невѣрныхъ для отомщенія имъ за Христа, для разширенья предѣловъ его царства, для насильственнаго наложенья на всѣхъ его царской печати.

И вотъ, между тѣмъ какъ съ запада цѣлыя полчища отправляются въ землю, орошенную кровью Христа, чтобы оросить ее рѣками человѣческой, яко бы пріятной для Него крови, — предки наши отправляютъ ко св. гробу только полчища безоружныхъ паломниковъ. Если это можно объяснять тѣмъ, что намъ и нельзя было нападать на невѣрныхъ, потому что приходилось постоянно самимъ выдерживать отъ нихъ нападенія, то духъ нашего эпоса, выставляющаго насъ постоянно *торжествующими* надъ невѣрными и все-таки не задающимися никакой *воинственной пропагандой*, можетъ свидѣтельствовать о томъ, что и при другихъ историческихъ обстоятельствахъ мы бы не могли быть падкими на *вѣроисповѣдное людобойство*. Какъ бы то ни было, нашъ эпосъ, соотвѣтственно нашей исторіи, не знаетъ *походовъ* въ св. землю, но какъ же было ему не отразить въ себѣ тѣхъ безпрерывныхъ *хожденій* въ нее, о которыхъ свидѣтельствуетъ наша древняя письменность?— Эти хожденія въ немъ отразились. Ихъ представителями являются опять таки богатырскія личности—подъ отчасти уже намъ знакомымъ именемъ *каликъ перехожихъ*.

# XI

**Хожденія во Іерусалимъ градъ: сорокъ каликъ со каликою. Грѣхъ княгини Апраксѣевны и проявленіе въ Кіевѣ Идолища поганаго. Изведеніе Идолища Ильей Муромцемъ. Илья и князь Цареградскій.**

Мы имѣли уже нѣсколько случаевъ встрѣчаться съ каликами перехожими, при чемъ и указано было на ихъ издавнее миѳическое происхожденіе и на связи тѣхъ по крайней мѣрѣ каликъ, которыми былъ изцѣленъ Илья Муромецъ, съ богатырями старшими [1]). Но кромѣ такихъ каликъ *сѣдатыихъ* и *плѣшатыихъ*, являющихся порою какими-то выходцами изъ туманнаго далека, эпосъ нашъ знаетъ другихъ, цвѣтущихъ молодостью и задоромъ, но надѣвающихъ на себя платье каличье не для какого нибудь неопредѣленнаго *потыканья*, а для странствованія въ св. землю. Древній образъ калики, какъ богатырскаго представителя броженія и кочевья, обновился подъ вліяніемъ бытового явленія христіанской поры — того *паломничества*, которое и въ нашей древней письменности выразилось цѣлымъ особымъ отдѣломъ «Хожденій». Но если въ этихъ послѣднихъ знакомимся мы въ раздѣльности съ тѣмъ или другимъ *паломникомъ*, то былины выставляютъ намъ ихъ и цѣлой гурьбой— постоянно становящеюся во единый кругъ дружиной каличьей. Это такъ называемыя былины о *сорока каликахъ со каликою*, былины, указывающія на своего рода сношенія этихъ странниковъ съ княземъ Владиміромъ и нѣкоторыми изъ богатырей его. Особое же ихъ похожденье съ княгинюшкой Апраксѣевной вызываетъ за собою появленіе новой враждебной силы, съ которой приходится состязаться на склонѣ дней Ильѣ Муромцу.

Былина о сорока каликахъ—безъ сомнѣнія одна изъ прекраснѣйшихъ, т. е. самыхъ стройныхъ по стиху и по содержанію, въ сборникѣ Кирши Данилова (перепечатана у Кир. въ вып. III на стр. 90—99 и у Безсонова въ «Кал. Перехожихъ» вып. I, стр. 7—20). Снаряжаются тутъ калики изъ Ефимьевой пустыни, изъ монастыря Боголюбова, [2]) на первѣйшее изъ бо-

---

1) Ср. выше стр. 172. Зам. Безс. къ I ч. Р., XII.

2) Что они не только заходили на богомолье въ этотъ монастырь, но постоянно въ немъ имѣли пристанище— это видно изъ заключенья былины, гдѣ сказано, что они идутъ обратно до своего монастыря Боголюбова и до пустыни Ефимьевы.



гомолій — во Іерусалимъ градъ, этотъ градамъ-отецъ по стиху о Голубиной Книгѣ. Они *думали думушку единую* и, по обычаю общинному, выбирали большого атамана, молода Касьяна сына Михайловича. А и кладетъ онъ заповѣдь великую на всѣхъ тѣхъ *дородныхъ* молодцевъ (а также и на самого себя, какъ окажется изъ дальнѣйшаго): а итти дорога не ближняя, Господню гробу приложитися, во Ердань рѣкѣ искупатися, нетлѣнной ризой утеретися, (т. е. тѣ же благочестивыя цѣли, какія сказываются и у сочинителей нашихъ древнихъ литературныхъ «Хожденій»), итти селами и деревнями, городами и пригородками, а въ томъ заповѣдь положена:

Кто украдетъ, или кто солжетъ,
Али кто пустится на женской блудъ,
Не скажетъ большому атаману,
Атаманъ про то дѣло провѣдаетъ,
Едина оставить во чистомъ полѣ
И окопать по плеча во сыру землю,

Такая заповѣдь была у нихъ *подписана, бѣлыя рученьки исприложены*— опять одно изъ эпическихъ свидѣтельствъ о граматности (ср. выше съ граматностью Добрыни, Ильи, Алеши. [3]) Вотъ подходятъ калики подъ Кіевъ градъ и на Черегѣ рѣкѣ застаютъ Владиміра охотящимся на потѣшныхъ его островахъ: едва ли не единственный случай, когда стольному князю приписывается хоть такого рода занятіе—кромѣ однихъ обычныхъ и безконечныхъ его пировъ. [4]) Надо замѣтить, что съ другой стороны приписыванье Владиміру *охотничанья*, этого любимаго препровожденія времени нашихъ царей, служитъ въ нашей былинѣ однимъ изъ признаковъ той позднѣйшей царственной обстановки, какою отличается въ ней, какъ увидимъ, житье бытье князя съ княгинею [5]). Завидѣвъ князя, калики остановились во единой кругъ, потыкали клюки-посохи въ землю и исповѣсили на нихъ сумочки (это соотвѣтствуетъ богатырскому втыканью въ землю копья и привязыванью къ нему коня). Вслѣдъ за тѣмъ закричали калики такимъ страшнымъ голосомъ, что дрогнула мать земля съ деревъ вершины попадали, а подъ Владиміромъ конь окорачился, да и самъ-то едва пробудится. [6]) Все это свидѣтельствуетъ о томъ, что какъ бы ни скрывалась подъ каличьей одеждой богатырская неугомонная сила, она нѣтъ-нѣтъ, и выкажется! Это то-же, что въ западно-европейскомъ эпосѣ представляютъ намъ тѣ удалившіеся въ монастырь Вальтеры, Геймиры, Вильгельмы, или даже ставшіе, какъ наши сорокъ богатырей, именно кали-

---

[3]) Относительно послѣдняго, какъ мы знаемъ, въ былинахъ оказывается разноголосица: въ одной изъ рыбниковскихъ—онъ граматенъ, а у Кирши Данилова, наѣзжая на камень съ надписью, Алеша поручаетъ прочесть ее Якиму паробку, какъ въ граматѣ поученому человѣку (ср. выше стр. 677). Но не дѣлается ли этой Алешей изъ барства? Не просто ли ему не хочется слѣзать съ коня, чтобы прочесть надпись? Любопытныя заключенія по былинамъ о граматности у насъ въ старину представляютъ статьи И. Григорьева въ «Эпохѣ».

[4]) Г. Безсоновъ, утверждая въ своемъ указ. къ п. Кир. (стр: 5), что Владиміръ любитъ охотиться, ссылается собственно на одно это мѣсто. Далѣе отсылаетъ онъ тутъ вообще къ исторіи Чурилы, но въ ней только упоминаются владиміровы охотники, а не выставляется охотящимся онъ самъ.

[5]) Ср. впрочемъ выше стр. 620—сверху.

[6]) При этомъ падаютъ и богатыри. Спиря начинаетъ поспиривать, а Сема пересемывать. Они упомянуты также въ числѣ станичниковъ, ѣхавшихъ передъ Ильей (у Кирши же), а также въ числѣ кіевскихъ молодцевъ, высланныхъ на выручку къ Ивану Годиновичу (опять таки у Кирши). По мнѣнію г. Безсонова (зам. къ IV в. Кир. стр. XX) они своимъ, произведеннымъ отъ ихъ именъ поспириваньемъ и посемываньемъ характеризуютъ цѣлую кучу; т. е. они—извѣстныя собственно только Киршѣ какіе-то неопредѣленныя личности изъ числа богатырей случайныхъ (ср выше стр. 447).

ками (паломниками), Роланды и Гедоны, о которыхъ уже упомянуто было выше [7]): всѣ они не выдерживаютъ новой своей монашеской или каличьей роли и держатъ себя порою такимъ образомъ, что жутко становится отъ нихъ окружающимъ. Наши же богатыри - калики закричали и еще разъ такимъ зычнымъ голосомъ,—а именно когда пришли къ княгинѣ Апраксѣевнѣ (Владиміръ князь, на ихъ просьбу о милостынѣ, отвѣчалъ отсыломъ ихъ къ женѣ своей: «честна роду дочь, королевична, напоитъ, накормитъ васъ добрыхъ молодцевъ, надѣлитъ вамъ въ дорогу злата серебра». «У меня же (какъ охотящагося) хлѣбы завозные» и т. д.). Тутъ отъ ихъ крика съ теремовъ верхи повалилися, съ горницъ охлопья попадали, въ погребахъ питья всколебалися. [8]) Молодая княгиня хотя и больно передрогнула, но послала *своихъ стольниковъ* и *чашниковъ* (особый, ей собственно *дворящій* людъ) пригласить каликъ къ себѣ въ гридню свѣтлую. Такимъ образомъ, при всей царственности обстановки (стольники-чашники, да еще и съ *прислѣшниками*, упоминаются въ былинѣ и далѣе) [9]), княгиня считаетъ богомоловъ-странниковъ дорогими гостьми—какъ оно и водилось у насъ въ старину. Молодой Касьянъ со товарищами не ослушался княгинина приглашенія; войдя, поклонились они Спасову образу и княгинѣ, а обо *всѣхъ четырехъ сторонахъ* уже позабыто въ этой былинѣ, вполнѣ соотвѣтственно поздней ея обстановкѣ дворской—со всѣми этими чашниками и стольниками, а также и съ особымъ княжескимъ *окруженіемъ* женскаго пола: нянюшками, мамушками и сѣнными красными дѣвушками, среди которыхъ является Апраксѣевна, поджавъ ручки, будто турчаночки. Такая послѣдовательность нашей былины въ соблюденіи царственнаго строя прямо указываетъ на то, что онъ въ ней—не какое нибудь случайное *наслоеніе*, а существенно связанъ съ ея содержаніемъ, относимымъ, какъ мы увидимъ, въ продолжительной эпической жизни нашего первенствующаго богатыря Ильи къ той поздней порѣ, когда ему и вообще приходится стать свидѣтелемъ измѣнившагося порядка вещей. А молодой атаманъ каличій, не смотря на подобную обстановку, садился въ мѣсто большое;—отъ лица же его молодецкаго, какъ бы отъ солнышка отъ краснаго, лучи стоятъ великіе. Это нѣсколько напоминаетъ изображенія жениха въ нѣкоторыхъ пѣсняхъ свадебныхъ [10]), и потому едва ли эти лучи отъ лица Касьяна могутъ быть объясняемы, какъ внѣшній признакъ той святости, которая сказывается въ немъ собственно только къ концу былины. При такой лучезарной красѣ Касьяна, какъ было не влюбиться въ него Апраксѣевнѣ, которая, какъ мы уже знаемъ, была такъ склонна къ любви (подобно Гвенниварѣ, женѣ Артура кельтскаго), что измѣняла Владиміру князю не только для красавца Чурилы, но и для какого нибудь Тугарина Змѣевича? И что же? Тотъ самый Алеша Поповичъ, который, какъ знаемъ мы, съ такимъ негодованіемъ погу-

---

7) Ср. выше стр. 694—695.

8) Подобно этому отъ крика сербскаго Комнена барјактара «све са јела лисје опадоше,» Вука Ш. 188.

9) Въ концѣ же былины упомянуты сверхъ того у князя ключники и ларечники.

10) Какъ у этого млада сына отецкаго красота взята отъ солнышка (Рыбн. Ш, 378). По лицу у нихъ по ясному печетъ красное солнышко, позади ихъ свѣтлы мѣсяцы, по головушкѣ пекутъ часты звѣздушки (о поѣздѣ жениха—Рыбн. Ш, 384). А въ новогреч. пѣснѣ про невѣсту: «когда мати тебя родила на свѣтъ, сошло на землю тогда солнышко, подарило тебѣ красоту свою и опять поднялось на небо» (сб. Амарантоса стр. 51).

билъ Тугарина и постоялъ за честь князя, тотъ же Алеша теперь посылается Апраксѣевною къ Касьяну—звать его въ спальню къ ней долгіе вечеры посидѣть. Но если *тотъ* поступокъ Алеши выше былъ нами отнесенъ къ особому былевому слою, сочувственно-относящемуся къ этому богатырю, то теперь упомянутое *сводничество* Алеши связывается съ другимъ, также намъ знакомымъ слоемъ, выставляющимъ Алешу въ самомъ несочувственномъ свѣтѣ, какъ бабьяго пересмѣшника, женскаго перелестника и т. п. Въ связи съ этою его стороною настоящій его поступокъ можетъ быть истолкованъ былевой поговоркою: «что̀ самъ творитъ, то и другому велитъ» (или, по крайней мѣрѣ, *помогаетъ* то-же творить и другимъ). Но у Касьяна съ его каликами не то было на умѣ: ожидали они отъ княгини злата-серебра — сходить въ Іерусалимъ градъ; да къ тому же и помнилъ Касьянъ суровый завѣтъ каличій.

Отказалъ онъ Алешѣ Поповичу, не пошелъ къ княгинѣ на долгіе вечеры забавныя рѣчи баити. Но княгиня на то осердилася и посылала тогоже Алешу прорѣзать у Касьяна сумку и запихать въ нее чарочку серебряну, которой чарочкой князь на пріѣздѣ пьетъ. А Алеша на то *догадливъ* былъ и эта его *догадливость* окончательно дорисовываетъ несочувственную сторону этого *двойственнаго* лица. Кромѣ догадливости, тутъ, конечно, понадобилось и другое, знакомое намъ свойство Алеши, *смѣлость*, но смѣлость не въ томъ сочувственномъ смыслѣ, въ какомъ она изображена выше (см. стр. 443), а въ самомъ дурномъ, извращенномъ, въ смыслѣ *нахальства*, *наглости* [11]), Впрочемъ, какъ въ другомъ, уже намъ знакомомъ случаѣ, [12]) такъ и тутъ, Алешѣ пришлось поплатиться за свой *смѣлый* (т. е. наглый) *напускъ*. Посланный въ погоню за каликами, онъ такъ-таки прямо и началъ ихъ обзывать ворами: «вы-то, калики, бродите по міру по крещеному, кого окрадете, своимъ зовете [13]). Разобиженные такою дерзостью, калики не давались Алешѣ на обыскъ и онъ ни съ чѣмъ вернулся къ Кіеву. Все это, между прочимъ, происходитъ и отъ того, что у Алеши *вѣжство не рожденное*, тогда какъ оно и *рожденнымъ* и *ученымъ* является, какъ мы уже знаемъ, у другого богатыря, Добрыни Никитича. Наша былина, прямо противопоставляя его въ этомъ отношеньи Алешѣ и только подкрѣпляя этимъ свидѣтельство другихъ былинъ, даетъ Добрынюшкѣ случай опять доказать свое *вѣжество*, свою бывалость во всякаго рода *послахъ*. Только что успѣлъ онъ вернуться съ охоты съ Владиміромъ княземъ, онъ посылается Апраксѣевной обыскать каликъ. Нагнавъ ихъ, Добрыня начинаетъ съ того, что соскакиваетъ съ коня и самъ бьетъ челомъ атаману: «не наведи на гнѣвъ князя Владиміра, прикажи обыскать калики перехожіе, нѣтъ-ли промежду васъ *глупаго*?» (Въ этомъ обозваніи преступленія *глупостью* опять выражается тотъ оттѣнокъ народной мысли, который уже мы замѣтили выше въ объясненіи убійства Бермятою трехъ го-

---

[11]) Г. Безсоновъ и вообще принимаетъ алешину смѣлость въ этомъ именно смыслѣ (См. его зам. къ II вып. Кир. стр. XXIII).

[12]) Въ похожденіи съ женою Добрыни.

[13]) По мнѣнію г. Калачова въ этомъ слѣдуетъ видѣть указаніе на дѣйствительные случаи кражи, водившіеся за каликами. (Статья объ Артеляхъ въ VI вып. Этнографич. Сб., стр. 16)

ловушекъ тѣмъ, что *не хватило у него ума разума*[14]). Осторожный пріемъ Добрыни приводитъ къ тому, что Касьянъ сейчасъ же велитъ каликамъ другъ друга обыскивать отъ малаго до стараго, отъ стараго и до большаго лица, до себя Касьяна Михайловича: яркое проявленіе того общиннаго начала, при которомъ и набольшій подчиненъ уравнивающему всѣхъ закону. И вотъ, когда чарка находится именно у самого атамана, тогда податаманье, родной его братъ Михайло Михайловичъ, принимается исполнять надъ нимъ великую заповѣдь: атамана закапываютъ по плеча во сыру землю и оставляютъ едина во чистомъ полѣ, чарочку же отдаютъ Добрынѣ Никитичу, а съ нимъ *написанъ* виноватый тутъ, молодой Касьянъ Михайловичъ. Княгиня же Апраксѣевна съ того время часу захворала скорбью недоброю, слегла княгиня въ великое во гноище

Калики между тѣмъ прибыли въ Іерусалимъ градъ и, подобно всѣмъ нашимъ паломникамъ, служили обѣдни съ молебнами, при чемъ не забыли положить по поклону и за своего виноватаго атамана (особой же молитвы за князя, о какой говоритъ въ своемъ «хожденіи» Даніилъ Паломникъ, въ былинѣ со стороны каличьей общины не послѣдовало). *Позамѣшкались* въ Іерусалимѣ калики, но двинулись наконецъ въ обратный путь; идутъ назадъ уже два мѣсяца, и на то мѣсто не угодили они (но хотѣли, стало быть, угодить), обошли маленькой *сторонкою* (т. е. дали крюку) его молода Касьяна Михайловича. Все это, очевидно, говорится съ тѣмъ, чтобы увеличить срокъ ихъ отлучки отъ мѣста казни ихъ атамана, а тѣмъ самымъ усилить и чудо, представляющееся имъ, когда сталъ голосо́къ доноситься до нихъ помалехоньку, стали они опознаваться, подалися малехонько и увидали молода Касьяна, машущаго имъ ручкой. Вотъ и подходитъ къ нему въ началѣ его братъ родной, а потомъ и всѣ они здравствуютъ, а Касьянъ подаетъ имъ ручку правую, и къ той ручкѣ они прикладываются: надо думать, какъ къ ручкѣ святого мученика, ибо чудо ихъ сразу убѣдило въ его невинности. Тутъ молодой Касьянъ сынъ Михайловичъ выскакивалъ изъ сырой земли, какъ ясенъ соколъ изъ тепла гнѣзда, т. е. съ нимъ повторилось одно изъ тѣхъ чудесъ, которыхъ такъ много въ эпосѣ и въ которыхъ, подъ ихъ охристіанствованнымъ смысломъ, должно скрываться по своей основѣ единое, позже лишь развѣтвившееся, чудо миѳическое, видоизмѣненьями котораго служатъ и окаменѣніе Потыка, и разслабленность Ильи Муромца, и сидѣнье Ильи въ погребу, и попаденье его въ закопань, и засыпаніе въ погребу песками Егорія Храбраго. Но въ настоящее время насъ занимаетъ не это основное миѳическое *оживаніе* свѣтлой силы послѣ зимняго ея *замиранья*, а позднѣйшее, уже охристіанствованное значеніе нашей былины, доводимой, какъ сейчасъ увидимъ, и до новаго чуда.

Калики опять приходятъ къ Владиміру (атаманомъ все еще правилъ у нихъ молодой Михайло Михайловичъ) и посылаютъ они *легкаго молодчика* (скораго гонца) доложиться князю Владиміру: прикажетъ ли имъ итти къ нему пообѣдать? Это *докладыванье*, не существующее въ столь многихъ бы-

---

14) См. стр. 581. Съ этимъ можно сравнить въ духовномъ стихѣ про Бориса и Глѣба объясненіе убійства ихъ тѣмъ, что Святополкъ въ умѣ разумѣ смѣшался. (Безсонова Калѣки Перехожіе, III, стр. 638)



линахъ, въ свою очередь служитъ признакомъ важнаго, царственнаго строя занимающей насъ былины. Но то уваженіе, съ какимъ смотрѣла наша старина на странниковъ-богомоловъ сказывается, со стороны хоть бы уже и царственнаго Владиміра тѣмъ, что онъ велитъ своимъ ключникамъ и ларечникамъ *бить каликамъ челомъ*, и просить ихъ. Далѣе еще *середи двора княжескаго* встрѣчаетъ ихъ царственный князь, здравствуетъ молоду Касьяну Михайловичу, беретъ его за бѣлы руки и ведетъ во гридню во свѣтлую. При этомъ, какъ можно думать, кромѣ обычнаго уваженія къ богомольцамъ, Владиміромъ руководитъ особое благоговѣніе предъ безвиннымъ и такъ чудесно спасеннымъ страдальцемъ, а также, можетъ быть, и особое ожиданіе отъ него помощи, только эпосъ народный, по обычной своей сжатости въ обозначеніи душевныхъ движеній, въ точности не говоритъ объ этомъ; какъ бы то ни было, но оказывается, что когда Касьянъ Михайловичъ спросилъ Владиміра про здоровье княгини, то князь *едва рѣчи выговорилъ* (надо думать, отъ избытка горя): «мы-де уже недѣлю не ходимъ къ ней». Но молодой Касьянъ *не брезгуетъ*, пошелъ съ княземъ во спальну къ ней, а и князь идетъ, свой носъ зажалъ, а молодому Касьяну ни что ему: никакого духу онъ не вѣруетъ.[15]) Дѣло въ томъ, что былина надѣляетъ его *духомъ святымъ своимъ*: дунулъ имъ Касьянъ на княгиню, обратившуюся къ нему съ просьбою о прощеніи, — и не стало у нея того духу, пропасти. Какъ настоящій угодникъ Божій, прощаетъ онъ ея плоть женскую: захотѣлось ей, и пострадала она, лежала во сраму полгода. Пошли потомъ калики за убраны столы, а Владиміръ, какъ настоящій радушный хозяинъ, убивается (усильно проситъ остаться и горюетъ о разставаньи), но калики въ путь наряжаются. Между тѣмъ молодая княгиня Апраксѣевна *вышла изъ кожуха, какъ изъ пропасти*, т. е. съ нея, надо думать, какъ съ сестеръ Егорія Храбраго ихъ елова кора, разомъ спала ея кора гнойная (въ основѣ и этого чуда, какъ и чуда егорьева надъ сестрами, должно заключаться миеическое скидываніе со свѣтлой лѣтней силы зимней безобразной ея оболочки).

Существенныя черты былины Кирши Данилова сохранились и въ Олонецкомъ краѣ—въ трехъ пересказахъ (Петрозаводскаго и Пудожскаго уѣздовъ) изъ которыхъ два (Р. I, № 40—отъ Л. Богданова и Латышова—и II, № 18—отъ К. Романова—не совсѣмъ окончены, а одинъ (Р. II, № 39, отъ Рябинина), заключаетъ въ себѣ собственно только зачинъ (всего 24 стиха)[16]). Пересказъ Л. Богданова и Латышова представляетъ уже переходъ изъ былины въ побывальщину[17]), но отличается нѣкоторыми замѣчательными подробностями. Такъ каликамъ приписываются тутъ сумочка рыта бархата и лапотики семи шелковъ шемаханскіихъ (довольно сходно у Рябинина и Романова[18]). Въ этихъ

---

15) Когда входилъ онъ къ княгинѣ—раскрывали окошечки косящатыя;—для очищенія воздуха, надо думать.

16) Пересказъ К. Романова напечатанъ также у Кир. въ вып. III, стр. 84—89. У Бессонова же въ I вып. «Калѣкъ Перехожихъ» перепечатанъ отрывокъ рыбницкій и въ видѣ подстрочныхъ примѣчаній къ былинѣ Кирши перепечатаны разнорѣчія изъ пересказа Л. Богданова и Латышова.

17) Странно, что въ примѣч. къ 1 ч. Рыбн, стр. 237 сказано про этотъ пересказъ: «стихъ не выработался вполнѣ;—скорѣ онъ уже сталъ разлагаться».

18) У послѣдняго сумки вышиты золотомъ и высажены жемчугомъ.

лапотикахъ въ паткѣ-носкѣ вплетено по ясному камешку самоцвѣтному, — и по этому камешку идутъ калики ночью (у К. Романова называется онъ антавентомъ и просто берется съ собою каликами для освѣщенія пути; у Рыбникова этого камешка нѣтъ, но упомянуты клюки кости рыбьея и шляпы земли греческой; послѣднія, впрочемъ, имѣются и у Романова). Камень самоцвѣтъ или самосвѣтъ уже попадался намъ выше — какъ принадлежность, приписываемая различнымъ богатырямъ, и не только у насъ, но и въ эпосѣ различныхъ народовъ; другія же подробности одежды каличьей, хотя и опущенныя у Кирши, встрѣчаются въ различныхъ былинахъ, тѣмъ или другимъ способомъ выводящихъ на сцену каликъ, — и притомъ онѣ по большей части отличаются тою же поразительною роскошью, указывающею, надо думать, на то, какъ щедро обдаривали каликъ тѣ, кто разсчитывалъ на ихъ за себя молитвы. На то-же указываютъ у Богданова съ Латышовымъ и у Рыбникова слова каликъ Владиміру при испрашиваніи у него милостыни: «не рублемъ беремъ мы и не полтиною, беремъ-то мы цѣлыми тысячами», — причемъ Владиміръ у Богданова съ Латышовымъ и даетъ имъ, низко кланяясь при встрѣчѣ съ ними, цѣлыхъ сорокъ тысячъ (а у Романова, вовсе ихъ не сводящаго съ княземъ, злато и серебро, атаману же жемчугъ, даритъ Апраксѣевна). Наказанье за грѣхъ, сравнительно съ Киршей Даниловымъ, дополняется у Богданова съ Латышовымъ (а также и у Романова) выниманіемъ языка теменемъ и выкапываніемъ ясныхъ очей. Что касается имени атамана, то у двухъ первыхъ пѣвцовъ онъ, вмѣсто Касьяна Михайловича Кирши, оказывается нашимъ старымъ знакомымъ Михайломъ Потыкомъ, который послѣ долгаго своего *мірского* странничества становится такимъ образомъ странникомъ ради небеснаго царства [19]) (у Романова атаману дается совсѣмъ не извѣстное въ нашемъ эпосѣ имя Ѳомы Ивановича). Засунуть чашу владимірову въ сумку Потыка Апраксѣевна посылаетъ лицо безъименное — какого-то любимаго чашника, далѣе же и тутъ, какъ у Кирши, является Алеша, которому достаются тутъ отъ каликъ удары клюками (у К. Романова княгиня сама упрятываетъ чашу въ *переплеты каличьи*, далѣе же въ положеньи Алеши является тутъ сначала другое, сходное съ нимъ нравомъ, лицо, — Чурила Пленковичъ, когда же калики стянули съ него нижнее платье и натыкали ему..., клюками, тогда самъ вызывается ѣхать къ каликамъ Алеша, но и съ нимъ они поступаютъ такъ же — съ тою разницей, что бьютъ его просто *долонями*. — Когда же совершена была надъ атаманомъ Потыкомъ незаслуженная имъ казнь, то калики пошли и *сами заплакали* (у Романова этой прекрасной черты нѣтъ). Далѣе же онъ, ослѣпленный, на четырехъ костяхъ (четвереньках) *приплываетъ* къ сыру дубу и слышитъ отъ прилетѣвшей пташки: «кто помоется росою съ этой шелковой травы, тотъ здоровъ будетъ». Онъ моется и изцѣленъ. Эта послѣдняя черта очень живо напоминаетъ народныя сказки о правдѣ и кривдѣ, откуда она, можетъ быть, и примѣшалась сюда, не безъ внутренняго на

19) Уже въ моемъ Истор. Обозр. Р. Слов. (стр. 309) высказано предположеніе: не существовали ли былины, въ которыхъ такой нравственный переворотъ въ Потыкѣ происходилъ послѣ чуда, совершеннаго надъ нимъ Николою (чудо это — выводъ его изъ окаменелаго состоянія; см. выше стр. 469).

то основаніи — такъ какъ и подъ этими сказками, и подъ нашей былиной скрывается миѳъ о временномъ *омраченіи* свѣтлаго существа, изцѣленье котораго именно *живою водою* столько же соотвѣтствуетъ основному смыслу миѳа, какъ и изцѣленье *питьемъ* самого Ильи Муромца. (У Романова чудо совершается надъ Ѳомою Ивановичемъ иначе — съ большею долей вліянія христіанскаго и меньшею свѣжестью красокъ эпическихъ. Господь напускаетъ темень на очи каликамъ въ наказанье за ихъ неправду — впрочемъ, невольную — а къ атаману посылаетъ *двухъ ангеловъ* — замѣна первоначальныхъ миѳическихъ птицъ — и они вкладываютъ душеньку въ его бѣлы груди и приставляютъ очи ясныя ко бѣлу лицу — за его правду великую [20]).

Заключительной части былины Кирши Данилова, окончательно возвеличивающей атамана-мученика посредствомъ чуда, совершеннаго имъ надъ княгинею — во всемъ вообще изводѣ олонецкомъ *уже* не имѣется. Столько же неполна въ этомъ отношеніи и былина, записанная въ Шенкурскомъ Уѣздѣ Архангельской Губерніи г. Харитоновымъ и доставленная въ сб. Кирѣевскаго (III, стр. 81—84) В. И. Далемъ. Изъ *Касьяна Михайловича* пересказа Кирши Данилова сдѣлался тутъ *Михайлушка Касьяновъ*; къ пустыни же Даниловой, замѣняющей тутъ Ефимьему пустынь Кирши, приплетается Корела богатая и Волынецъ городъ Галичъ, — зашедшіе, очевидно, изъ былинъ про Дюка. Въ описаніи принадлежностей круты каличьей слышатся тутъ отзвуки олонецкаго извода, особенно подробнаго въ этомъ отношеніи [21]). Вмѣстѣ съ тѣмъ въ пересказѣ шенкурскомъ повторяются и другого рода подробности олонецкаго извода — подробности страшной казни, грозящей виновному. Зато во всемъ остальномъ пересказъ шенкурскій ближе сходится съ былиной Кирши, только передаетъ ея содержанье короче и даже съ утратою тѣхъ существенныхъ въ былинѣ именъ — Алеши и Добрыни — которыя, какъ мы знаемъ, одинаково существуютъ и въ пермскомъ изводѣ Кирши, и въ олонецкомъ г. Рыбникова. Напротивъ того въ шенкурскомъ Апраксѣевна посылаетъ за каликами просто *двухъ догонщиковъ*, которые заговариваютъ съ ними грубо и за то метаются каликами подъ облако (пріемъ этотъ, самъ по себѣ, какъ мы знаемъ, пріемъ — весьма древній). [22]) Тогда княгиня посылаетъ *новыхъ нагонщиковъ*, наказывая: «обойдите дураковъ словами честными». Обрывается же этотъ пересказъ даже ранѣе, чѣмъ олонецкіе — именно на словахъ: «казнена удала молодца во чистомъ полѣ оставили».

Самъ по себѣ не имѣя особенной цѣны, пересказъ шенкурскій любопытенъ только въ томъ отношеніи, что, при всей своей сокращенности, сохраняетъ въ себѣ признаки свода, сдѣланнаго, повидимому, въ Архангельскомъ краѣ изъ двухъ различныхъ изводовъ нашей былины — пермскаго и олонецкаго. Стольже любопытно съ другой стороны и нами уже замѣченная совершенная вѣрность *одному и тому же виду извода* — двухъ пѣвцовъ:

---

[20]) Это указанье былины Романова на правду и неправду служитъ, кажется, свидѣтельствомъ о томъ, что и она не обошлась безъ вліянія сказокъ про правду и кривду.

[21]) Но особенность составляетъ тутъ то, что клюши-посохи — таволжевые, а одна клюша (атаманская, надо думать) была кипарисъ-древо.

[22]) См. выше стр. 18.



Л. Богданова и Латышова, не смотря на то, что первый изъ Петрозаводскаго, а второй изъ Пудожскаго Уѣзда. Но надо замѣтить теперь, что у Латышова есть очень курьозное разнорѣчіе въ самомъ началѣ; оно заключается въ томъ, что калики тутъ идутъ не къ Владиміру, а къ царищу Кудріянищу (примѣшавшемуся изъ стиха о Егоріѣ Храбромъ). Столько же курьозно и отзывается совершенною порчею то, что у Рябинина въ его отрывкѣ калики идутъ въ хоробру Литву къ королю Литовскому, который, по ихъ ужасному крику, узнаетъ въ нихъ не каликъ, а русскихъ могучихъ богатырей. Этимъ отрывокъ и оканчивается.

Изъ разбора различныхъ пересказовъ нашей былины читатель, кажется, могъ замѣтить, что въ ней есть своего рода связь со многими другими былинами, такъ какъ упоминаемыя въ ней лица: Алеша, Добрыня, сама княгинюшка Апраксѣевна сохраняютъ тутъ тѣ черты нрава, какія имъ обыкновенно приписываются въ былинахъ. Понятно, что различные наши изслѣдователи народнаго эпоса не могли оставить безъ вниманія и этихъ «сорокъ каликъ со каликою.» Даже одинъ изъ виднѣйшихъ нашихъ ученыхъ по другой части, Н. В. Калачовъ, коснувшись народнаго обычнаго права въ своей превосходной статьѣ объ «Артеляхъ въ древней и нынѣшней Россіи», обратилъ вниманіе и на нашу былину съ ея каликами, какъ на своего рода важный источникъ при изученіи древней нашей артели. [23]) Цѣлую обстоятельную статью посвятилъ былевымъ каликамъ въ Запискахъ Академіи Наукъ [24]) (ч. I, кн. II), И. И. Срезневскій. Занявшись при этомъ и самымъ слово--*калики—калѣки* (ѣ=и), нашъ почтенный ученый нашелъ, что «оно представляетъ этимологическія трудности, не позволяющія пока окончательно рѣшить, родное ли это наше слово или занятое». Далѣе тутъ признается вѣрнымъ, «что въ томъ же значеніи и съ такимъ же выговоромъ оно употребляется въ говорахъ польскихъ и кое гдѣ въ Моравіи по сосѣдству съ польскимъ населеніемъ, а за тѣмъ нигдѣ болѣе у Славянъ».... «Во всякомъ случаѣ, заключаетъ нашъ ученый, если бы даже слово калика было и славянское, въ бытѣ каликъ нашей древности не выразилось ничего исконно-Славянскаго, а повторилось то-же стремленіе, которое на западѣ Европы было несравненно сильнѣе и привело къ несравненно болѣе важнымъ жизненнымъ послѣдствіямъ.» [25])

Если подъ этими *болѣе важными жизненными послѣдствіями* нашъ почтенный ученый разумѣлъ, между прочимъ, крестовые походы, то именно отсутствіе ихъ у насъ, какъ и объяснено выше, составляетъ уже само по себѣ явленье славянское.

Чтó же касается собственно нашей былины про сорокъ каликъ, то самъ г. Срезневскій замѣтилъ, что положенная ими на себя заповѣдь «должна была, разумѣется, быть сильною для всѣхъ и каждаго изъ нихъ, не выключая и самаго атамана.» (стр. 189) Это «*разумѣется*» совершенно умѣстно, если стать на точку зрѣнія нашего эпоса, если видѣть въ этой ка-

---

[23]) Этнографич. Сб. вып. VI, стр. 15 и 16.

[24]) Изъ той новой серіи, которая началась съ 1862 г. и въ которой соединились труды двухъ отдѣленій.

[25]) Зап. Ак. Наукъ, I, кн. II, стр. 206—207. «Не нашлось и у сосѣдей Славянъ слова, которое бы наводило, отку да-бы могло перейти въ нихъ слово калика.»



личьей дружинѣ *общину*, [26]) подобную нашей богатырской общинѣ на заставѣ, если вспомнить про отношенія къ этой послѣдней Ильи Муромца, про отношенья его вообще къ народу, дѣлающія его, совершенно въ особомъ смыслѣ первенствующаго богатыря — мірскою служебною силою. Но эта основная точка зрѣнія нашего эпоса—славянская, смѣю думать.

Впрочемъ изъ собственной статьи И. И. Срезневскаго придется мнѣ немного далѣе приводить нѣкоторыя очень зорко подмѣченныя черты, прямо свидѣтельствующія объ отраженіи въ нашей былинѣ именно русской жизни. Съ другой стороны нашъ ученый совершенно основательно обратилъ вниманіе на то обстоятельство, что въ нѣкоторыхъ былинахъ (не собственно про «сорокъ каликъ», а такихъ, гдѣ мимоходомъ является тотъ или другой калика), они называются ***пилигримищами*** — именемъ, конечно, не русскимъ (pelegrino, piligrim, pilgrim, pilger — потому что они peregrinabant — peregrini). [27]) Вотъ это-то обстоятельство, можетъ быть, и подало г. Срезневскому поводъ поискать сходствъ между самою одеждою этихъ нашихъ эпическихъ пилигримищъ и одеждою западныхъ пилигримовъ. Вопросу этому посвящена была г. Срезневскимъ и цѣлая особая статья о «Крутѣ каличьей» [28]), въ которой онъ, со своею обычною обширностью знанія, доказываетъ, что и у нашихъ каликъ было все то-же, что у западныхъ пилигримовъ. Особенно остроумно и убѣдительно въ этой статьѣ объясненіе того ***колокола***, который, по нѣкоторымъ былинамъ, носятъ на головѣ наши пилигримища: это не что иное, какъ др. чешское klakol и klakolca, соотвѣтственное англійскому cloak, французскому cloche—въ латинскомъ же выговорѣ у тѣхъ и другихъ cloca—въ смыслѣ капы, капишона у плаща. «Не очень важно оно, замѣчаетъ г. Срезневскій, какъ названіе особеннаго рода одежды; но важно по искаженному употребленію въ пересказахъ былинъ, какъ свидѣтельство о древности первообраза былины. На западѣ оно, какъ названіе одежды, было употребляемо только въ средніе вѣка. Тогда же только могло зайти и къ намъ, тогда же только зайти и въ былину.»

Нѣкоторыя дополнительныя соображенія относительно сходства съ западными пилигримами представлены были А. А. Котляревскимъ, при чемъ онъ обнародовалъ и цѣлое изображеніе западнаго пилигрима, заимствованное имъ изъ одной западной рукописи и нѣсколько похожее, по его мнѣнію, на наше былевое изображенье каликъ. [29])

Послѣ того какъ уподобительныя изслѣдованія нашихъ ученыхъ такъ положительно и съ такимъ запасомъ знанія направились по ***западному пути***, трудно было предположить, чтобы другому нашему изслѣдователю, съ неменьшимъ, можетъ быть, запасомъ знаній (что касается, по крайней мѣрѣ, этого вопроса) удалось направить свои уподобленія въ противоположную сторону—на *востокъ*. [30]) Но мы уже видѣли выше, что послѣ производства г. Котлярев-

[26]) Какъ и сдѣлалъ въ своей статьѣ г. Калачовъ.

[27]) Слово это, дополняетъ г. Срезневскій, хотя уже отчасти и безсмысленно, слышится и въ сказкахъ нашихъ: Подугрюмъ, и даже проще, болѣе по русски, Угрюмъ. (Та-же 206 стр.).

[28]) Въ Извѣстіяхъ Археол. Общ., т. IV.

[29]) Въ томъ IV г. Изв. Арх. Общ.

[30]) Вѣстн. Европы 1868 г. мартъ.

скимъ корабля Соловья Будиміровича изъ Скандинавіи (производства, по моему, основательнаго по многому) оказалось же у насъ возможнымъ производство г. Стасовымъ того же самаго корабля черезъ различныя тюркскія орды изъ Индіи. Точно также и нашихъ каликъ-пилигримовъ г. Стасовъ, съ обычнымъ своимъ остроуміемъ и начитанностью, повелъ—не изъ пустыни изъ Ефимьевой, а изъ буддійскихъ монастырей, а ихъ сумочки рыта бархата и лапотики шелковые не помѣшали ему увидѣть ихъ первообразъ въ тѣхъ буддійскихъ оборванцахъ, которымъ, какъ самъ онъ указываетъ, предписывалось сшивать свои плащи изъ обношенныхъ кусковъ, валяющихся на навозныхъ кучахъ. При этомъ г. Стасовъ особенно напираетъ на то, что есть пересказы (т. е. будто бы пересказы былины про сорокъ каликъ, которую собственно онъ и разбираетъ), гдѣ на каликахъ надѣта *гуня*, т. е. «худая, ветхая, истасканная одежда», переводитъ онъ по словарю В. И. Даля. Но, замѣтивъ мимоходомъ, что о гунѣ говорится не въ нѣкоторыхъ пересказахъ нашей былины, а въ особыхъ былинахъ (про Илью и Идолище, напримѣръ), я обращу вниманье на то, что къ слову *гуня* имѣются у И. И. Срезневскаго въ его статьѣ о каликахъ, слѣдующія любопытныя сопоставленія: «ст. англ. gowne стар. фр. gonne, кельтск. gwn, ср. лат. gunna, gonna, греч. γοῦνα, и все это въ смыслѣ не ветоши, тряпки или т. п., а въ смыслѣ *плаща, по преимуществу мѣховаго* [21]). Не то ли же въ древности должна была значить и наша гуня, въ нѣкоторыхъ нашихъ былинахъ величаемая *сорочинскою* (т. е. *восточною*, налегаетъ г. Стасовъ; но если придавать значеніе такимъ эпическимъ прозвищамъ, то придется не на шутку основываться и на такихъ чертахъ, какъ, напримѣръ, постоянная вѣра Сарацинъ, во французскомъ эпосѣ, въ Аполлона и т. п.)? Это бы болѣе соотвѣтствовало другимъ принадлежностямъ каличьей одежды— сумкамъ изъ бархата и т. п. Правда, попадается въ народной словесности и *гуня кабацкая*, но это могло произойти вслѣдствіе скорѣе *позднѣйшаго* измѣненія смысла, соотвѣтственно позднѣйшему приближенію и самихъ эпическихъ нашихъ каликъ къ тому, что *теперь* мы называемъ *калѣками*. Древніе наши эпическіе калики, какъ мы уже видѣли, брали не полтиною и рублемъ, а цѣлыми тысячами или же златомъ-серебромъ - жемчугомъ, хотя это и не помѣшало г. Стасову производить ихъ отъ тѣхъ буддійскихъ отшельниковъ, которые налагали на себя обѣтъ бѣдности (стр. 271 статьи г. Стасова). Въ этомъ отношеніи нашъ ученый, совершенно даже *не въ руку* самому себѣ, потратилъ время на доказательство, что они — «совсѣмъ не простые калики, какіе есть у насъ и теперь»: если бы они были *такими нищими*, то они бы все-таки болѣе походили на *буддійскихъ нищихъ*, чѣмъ калики нашихъ былинъ. *Богатырскою* же стороною нашихъ каликъ эпическихъ подкрѣплять ихъ происхожденье съ востока—едва ли также умѣстно послѣ слѣдующаго свидѣтельства Псковской Лѣтописи (подъ 1341 г.), приведеннаго уже въ статьѣ г. Срезневскаго: «Псковичи пѣшци, *молодые люди*, поидоша воевать Заноровья 50 мужь, *о калѣкѣ о Карпѣ о Даниловичѣ* (съ калѣкой Карпомъ

---

[21]) Стр. 200 ст. г. Срезневскаго въ Зап. А. Н.



Даниловичемъ). И Карпъ съ дружиною срѣтошася съ Нѣмци и Наровци... и ополчишася Псковичи, сташа съ Нѣмци битися крѣпко... и убиша Нѣмець на припорѣ 20 мужь» [32]). Но нашъ новый ученый почему то незаблагоразсудилъ справиться со статьею г. Сренеевскаго, которая *предупредила* его и во многомъ другомъ (за что бы, вѣроятно, и досталось ея сочинителю, какъ досталось всѣмъ прочимъ предшественникамъ г. Стасова, если бы этотъ послѣдній не обошелъ молчаніемъ этой статьи). Впрочемъ на помощь г. Стасову могло бы тутъ подойти его «происхожденье съ востока» и нашей лѣтописи—такъ что и этотъ лѣтописный калика, Карпъ, могъ бы быть выданъ за осколокъ съ тѣхъ *буддійскихъ* царей и богатырей, которые идутъ въ духовное званіе и въ *нищенскомъ* платьѣ странствуютъ по свѣту. Да ужъ полно и всѣ тѣ наши князья, которые постригались въ монахи, не дѣлаютъ ли они это въ нашихъ лѣтописяхъ собственно потому, что это дѣлаютъ буддійскіе цари и богатыри? «Сами боги и цари змѣевъ, по словамъ г. Стасова, принимаютъ на себя образъ нищихъ, и ключомъ къ этому служитъ то уваженіе, которымъ пользуется нищенство и нищенское сословіе, по брахманскому и буддійскому ученью» (стр. 270). Подумаешь, что и раздаванію милостыни и тому, что, подавая ее, подаешь самому Христу, наши благочестивые предки учились не у читавшейся въ храмахъ, на понятномъ для нихъ языкѣ, *евангельской книги*, а у какихъ нибудь брахмановъ или буддистовъ, да и на богомолье то ходили лишь потому, что и индійскіе отшельники странствовали съ вѣроисповѣдными цѣлями.

Но отъ *внутренняго* перейдемъ къ *внѣшнему*. Кажется, что можетъ быть проще и понятнѣе того, что люди, отправляющіеся странствовать, берутъ съ собою *суму*. По мнѣнію же г. Стасова это только «передѣлка на русскій ладъ тѣхъ горшечковъ для собиранія денегъ, милостыни и съѣстныхъ припасовъ, которые всякій нищенствующій брахманъ и странствующій монахъ-буддистъ обязанъ носить по предписанію закона; иногда же (важное дополненіе!) у индѣйскихъ нищихъ прямо упоминается и сумка, носимая на боку». Но въ статьѣ г. Срезневскаго г. Стасовъ могъ бы найти любопытное указаніе на чудо съ *пахиремъ* (сосудомъ) русскихъ каликъ изъ «Хожденія Стефана Новгородца» (стр. 138 статьи г. Срезн.). Не есть ли этотъ *пахирь—посредствующее звено* между *горшкомъ* буддистовъ и *сумкою* нашихъ каликъ? — Далѣе г. Стасовъ отмѣчаетъ одну черту въ былинѣ Кирши Данилова, которая выше была мной опущена. Когда Владиміръ князь сталъ убиваться, упрашивая каликъ прогостить у него подолѣе, тогда атаманъ каличій вынималъ изъ сумы книжку свою, посмотрѣлъ и число показалъ: «что много мы, братцы, пьемъ-ѣдимъ, прохлаждаемся, уже третій день въ походѣ идетъ, и пора намъ, молодцы, въ путь итти». Въ объясненіе у г. Стасова приводятся слова ламы Галсанъ-Гомбоева, что буддійскіе духовные и до сихъ поръ «постоянно носятъ при себѣ, за пазухой, небольшую тетрадь, состоящую изъ

---

[32]) Стр. 187 ст. г. Срезневск. въ Зап. А. Н. Совершенно вѣрно онъ замѣчаетъ при этомъ: «не могъ Карпъ Даниловичъ калѣка быть дѣйствительно искалѣченнымъ бѣднякомъ, чтобы вести удалыхъ молодцевъ Нѣмцевъ куда бы ни было.» Тутъ же указывается Григорій калѣка архіепископъ, и Іоаннъ калѣка патріархъ.

статей разныхъ названій, чтобы въ случаѣ просьбы міранъ, совѣтоваться съ нею и дать отвѣтъ на вопросъ». Думаю, что г. Стасовъ могъ бы не безпокоить ламы Голсанъ-Гомбоева, если бы обратилъ вниманіе на слова г. Срезневскаго: «можетъ быть въ упоминаніи былины о книжкѣ скрывается давній обычай давать странникамъ письменное позволеніе на странствіе съ обозначеніемъ срока, когда странники должны были возвратиться, съ тѣмъ, чтобы они не ходили «порозднн», какъ замѣтилъ епископъ Нифонтъ (стр. 209 статьи Ср. въ З. А. Н.) Послѣ этого, думаю, совсѣмъ не такъ *ясно*, какъ оно кажется г. Стасову, что «книги нашихъ каликъ — уцѣлѣвшее воспоминаніе книгъ буддійскихъ странствующихъ монаховъ: во времена князя Владиміра, или еще и того ранѣе, книги и грамотность не имѣютъ у насъ никакого значенія, особливо для какихъ-то каликъ нищихъ» (стр. 276). При этомъ ученый нашъ забываетъ, что выше въ одномъ мѣстѣ самъ онъ старается выставить ихъ не нищими, а богатырями, изъ богатырей же, какъ видѣли мы, многіе оказываются въ нашемъ эпосѣ граматными. И у каликъ въ той же самой былинѣ самая запавѣдь ихъ *подписана* и руки *приложены*, какъ оно сказано и про заповѣдь братства, заключенную между Ильей и Добрыней. А что нѣтъ никакой надобности этой граматности богатырской принадлежать именно владиміровой порѣ, то объ этомъ — при несомнѣнности существованія въ эпосѣ различныхъ слоевъ, и говорить нечего. Впрочемъ, дальнѣйшія разысканія въ области русской старины, быть можетъ, докажутъ, что граматными могло быть большинство нашихъ странниковъ-богомоловъ скорѣе до татарской поры, чѣмъ даже долгое время спустя послѣ Татарщины.

Но не оправдывается ли, по крайней мѣрѣ, замѣчаніе г. Стасова, что способъ казни атамана въ нашей былинѣ, — «вырываніе глазъ и закапываніе по поясъ въ землю — чисто-восточныя казни и наказанія?» На этотъ разъ даже хотѣлось бы, чтобы оно было такъ, т. е. чтобы Европа не знала подобныхъ мерзостей, но она ихъ положительно знала. Что бы было г. Стасову раскрыть Rechtsalterthümer Якова Гримма! Тамъ бы нашелъ онъ свидѣтельство legis Visigotorum объ effossio (буквально даже *выкапываніе*, какъ въ нашей былинѣ, а не *вырываніе*) oculorum; а также въ одной формулѣ femgéricht'а: ziehen ihm seine zunge zum nacken heraus (наше выниманіе языка теменемъ): нашелъ бы также и замѣчаніе Гримма о томъ, что довольно обычнымъ видомъ казни—хотя собственно *для* женщинъ — было закапываніе за живо въ землю [33]), (чему примѣры имѣются и въ средневѣковомъ эпосѣ, близко подходящемъ въ этомъ отношеніи къ той сербской пѣснѣ, на которую указываетъ г. Стасовъ, объясняя это восточнымъ вліяніемъ). Впрочемъ, принадлежатъ ли эти пріемы казни въ нашей былинѣ къ эпическимъ остаткамъ у насъ всеобщей допотопной поры, или въ нихъ— отраженіе той позднѣйшей, *грозной* годины, когда пошли у насъ въ ходъ всевозможныя казни, или наконецъ — это дѣйствительно только зашло къ намъ въ эпосъ *книжнымъ путемъ* — для рѣшенья такого вопроса понадобились бы совер-

[33]) Rechtsalterthümer, 684, 694—5, 708. У Вука II, 208: «изводи му обје очи чарне, изводи му језик на вили це»—казнь, къ которой присуждаетъ Югъ-Богдана царь Лазарь.

шенію особыя, продолжительныя изысканія; но несомнѣнно одно—нѣтъ ни малѣйшей необходимости объяснять это заимствованіемъ *непремѣнно съ востока*, брахманскаго или буддійскаго [34]).

Но какой же можетъ быть окончательный выводъ изъ поисковъ нашихъ ученыхъ, то на западѣ, то на востокѣ, чтобы объяснить—по крайней мѣрѣ внѣшность нашихъ каликъ? Думаю, что такой: если бы даже нашлась у насъ и картинка, изображающая древняго нашего калику, и если бы она оказалась рѣшительно сходною съ картинкою западною (у г. Котляревскаго), то и тогда мы могли бы заключить только то, что какъ наши, такъ и западные калики носили и извѣстнаго рода удобную обувь, и посохи, и сумы, и шляпы съ большими, закрывающими отъ солнца, полями, и колпакъ при плащѣ, отъ непогоды, похожій на *колоколъ*—собственно потому, что все это составляетъ необходимыя принадлежности дальняго странствованія, принадлежности, къ которымъ сама собою приводила *нужда*—въ самыхъ различныхъ мѣстностяхъ. Если же слово *пилигримище* указываетъ на западъ, названіе шляпы *греческою*—на Византію, а названіе гуни *сорочинскою*—на востокъ, то это легко объясняется тою пестрою, разношерстною *примѣсью*, въ силу которой являются въ нашемъ эпосѣ *львы* и другія небывалыя у насъ животныя; примѣсью, которая берется *откуда бы ни попало*, но всегда касается только внѣшностей, *мелочей*, и никогда не заслоняетъ вполнѣ самобытной основы эпоса.

Съ другой стороны, если, какъ замѣчаетъ г. Срезневскій, «у насъ, какъ на западѣ, ходили въ святыню не въ одиночку, а дружинами, братчинами, похожими на фратріи западной Европы», то и тутъ и тамъ это происходило само собою, безъ всякаго подражанія. Приводимая далѣе у г. Срезневскаго статья одного изъ руанскихъ соборовъ—объ обязанности пилигримовъ сохранять уставъ свой, столько же любопытна, какъ и выписка г. Стасова изъ устава буддійскихъ странниковъ, но любопытна именно въ томъ отношеніи, что свидѣтельствуетъ о повсемѣстномъ единствѣ положенія и, такъ сказать, природы странника съ вѣроисповѣдною цѣлью [35]).

Но г. Стасовъ приводитъ и различныя *числа* тѣхъ ватагъ, какими странствуютъ въ буддійскихъ сказаніяхъ: сто, четыреста, пятьсотъ. Въ нашей былинѣ число каликъ всего *сорокъ одинъ*: но, если припомнить то, что сказано было выше—объ обычности *сороковъ* именно въ восточномъ эпосѣ, то нельзя ли видѣть указаніе на дѣйствительное происхожденье съ востока хотя бы только *числа* каликъ въ нашей былинѣ? Если напомнить о *сорока сорокахъ церквей* въ Москвѣ, то вѣдь и это можно будетъ растолковать восточнымъ вліяніемъ. Но не надобно забывать, что и въ кругѣ священныхъ сказаній церкви довольно видное мѣсто занимаетъ число *сорокъ*. Вспомнимъ, напримѣръ, изъ житій святыхъ—о *сорока мученикахъ* севастійскихъ, изъ самаго же священнаго писанія—о *сорока дняхъ* между *воскресеніемъ* и вознесеніемъ, сорокодневномъ постѣ Спасителя, сорока дняхъ Моисея на Синайской

---

34) Со множествомъ самыхъ жестокихъ казней могли познакомиться мы по т. н. «закону царя Константина».

35) Ср. въ диссертаціи г. Минаева «Пратимокша Сутра, буддійскій служебникъ, стр. 80—о четырехъ смертныхъ грѣхахъ у буддистовъ: блудѣ, кражѣ, убійствѣ, лжи.



горѣ, и т. п. Если же все это и отводитъ насъ на востокъ, то всетаки не на востокъ брахманскій или буддійскій.

Не на этотъ, открытый у насъ г. Стасовымъ, а на библейскій востокъ отводилъ уже прежнихъ нашихъ изслѣдователей самый эпическій остовъ нашей былины—покушеніе Апраксѣевны на цѣломудреннаго атамана. Уже Калайдовичъ, а за нимъ и Безсоновъ думали видѣть тутъ отраженіе сказанія объ Іосифѣ съ женою Пентефрія. Оно и довольно правдоподобно, при несомнѣнной извѣстности у насъ въ старину, и при томъ въ самомъ народѣ, этого сказанія [36]). Но г. Стасову непремѣнно захотѣлось и тутъ отвести на востокъ брахманско-буддійскій—съ присовокупленіемъ и иранскаго. Такъ онъ указываетъ въ сказкахъ Сомадевы на брахманскаго ученика Сундараку, оклеветаннаго передъ своимъ учителемъ — его женою, не успѣвшею соблазнить юношу, впослѣдствіи получающаго волшебную силу и почетъ отъ царя. Въ другомъ расказѣ Сомадевы указываетъ онъ на царевича, который пошелъ въ монахи и когда въ его ясныя очи влюбилась молодая купцова жена, взялъ и вырвалъ себѣ одинъ глазъ: «посмотри на него хорошенько, сказалъ онъ, это отвратительный комокъ мяса» [37]). Въ третьемъ расказѣ Сомадевы, приводимомъ у г. Стасова, купецкая жена, за неподатливость на любовь царскаго придворнаго, пытается отравить его чашею съ ядомъ. Наконецъ у этого же Сомадевы имѣется и четвертый расказъ о томъ, какъ жены двухъ братьевъ влюбились въ младшаго брата своихъ мужей; когда же онъ оказался неподающимся, онѣ велѣли ему раскопать муравьиную кучу, надѣясь, что тутъ ему и будетъ конецъ. Но онъ вмѣсто того нашелъ въ этой кучѣ сосудъ съ золотомъ, который въ своей честности и снесъ братьямъ. (Какъ этотъ *сосудъ*, такъ и въ третьемъ расказѣ *чаша* особенно важны для г. Стасова, потому что въ нихъ *мелькаютъ подробности о чашѣ*, подсунутой Апраксѣевною въ сумку Касьяну! Я-же думаю, что если уже этой чашѣ непремѣнно надобно быть заимствованной, то самое прямое ея происхожденіе — изъ расказа библейскаго, гдѣ чаша дѣйствительно сходнымъ образомъ кладется — только не женою Пентефрія, а Іосифомъ — въ сумку Веніамина). Когда же муравьиная куча не помогла злодѣйкамъ, онѣ велѣли убить преслѣдуемаго юношу. Но убійцы ограничились отрубленіемъ ему рукъ и ногъ; впослѣдствіи же боги, въ награду за его добродѣтель, велѣли рукамъ и ногамъ снова прирости къ нему. Это послѣднее обстоятельство очень близко напоминаетъ наши сказки о *косоручкѣ*, только въ нихъ, какъ и по заглавію видно, въ подобномъ положеніи находится не молодецъ, а дѣвица (Ср. въ моемъ Ист. Обозр. Р. Слов. стр. 143 о нерѣдкомъ приписываніи въ сказкахъ одного и того же похожденія—въ одномъ ряду ихъ молодцу, въ другомъ — дѣвицѣ). Далѣе г. Стасовъ указываетъ въ Шахъ-Намѐ на любовь царицы Судабэ къ ея пасынку Сіавушу, оклеветываемому ею вслѣдствіе его неподатливости. Но можно вѣдь указать на совершенно сходныя отношенія Федры къ Ипполиту у Еври-

---

[36]) Существуютъ у насъ, какъ извѣстно, и особые духовные стихи о прекрасномъ Іосифѣ.

[37]) На издавность этого преданія вообще на востокѣ указываютъ, можетъ быть, и извѣстныя всѣмъ слова, «если око твое соблазняетъ тебя, вырви его и брось, отъ себя».

пида, при чемъ, надо думать, греческій трагикъ черпалъ изъ народнаго греческаго преданія, а не изъ того иранскаго, которое послужило основою для Фирдоуси [38]).

Но особенную важность придаетъ нашъ ученый двумъ расказамъ индійскимъ, едва-ли не самымъ древнимъ: одному изъ «Записокъ о западныхъ странахъ», переведенныхъ на китайскій языкъ съ индійскаго въ VII в., другому изъ «Жизни царя Асоки», извѣстнаго распространителя буддійства въ Азіи. Тутъ мачиха, которой не удалось соблазнить царевича, своего пасынка, посовѣтовала царю дать ему въ управленіе городъ Такшасилу. Спустя долгое время по отправленіи туда царевича, махича послала туда подложное письмо, въ которомъ приказывалось совѣтникамъ королевича вырвать у него оба глаза, выгнать его вонъ вмѣстѣ съ женою, и оставить однихъ на произволъ судьбы. Совѣтники не захотѣли этого сдѣлать, но самъ царевичъ сказалъ имъ: «когда батюшка присудилъ меня на казнь, то какъ же я осмѣлюсь отказываться». Потомъ онъ велѣлъ палачу вырвать себѣ глаза.—Это одинъ изъ тѣхъ яркихъ примѣровъ дикаго самоотверженія, которыми такъ переполнены различныя буддійскія повѣсти. Не трудно замѣтить, что тутъ оно даже выходитъ за предѣлы *само*-отверженія, такъ какъ вмѣстѣ съ собою добродѣтельный, по буддійски, царевичъ подвергаетъ страданіямъ и свою жену. Въ нашемъ эпосѣ, который, по мнѣнію г. Стасова, такъ много хлебнулъ буддизма, ни одного, хотя бы сколько-нибудь похожаго проблеска такого самоотверженія не оказывается, и это, я полагаю, всего сильнѣе доказываетъ, что, какъ другія наши сказанія, какъ и это, при всемъ, большемъ или меньшемъ сходствѣ *эпическаго остова*, не вышли изъ извода буддійскаго. Что касается собственно занимающаго насъ теперь расказа, то невольное подчиненіе нашего, все-же уличеннаго въ винѣ атамана законному приговору каличьей общины самымъ разительнымъ образомъ расходится съ добровольнымъ подчиненьемъ буддійскаго царевича самодурству своего отца. Внутренне-сроднымъ нашей былинѣ является въ индійскомъ расказѣ только заключительная черта—то, что царевичъ не хочетъ мстить своей мачихѣ, подобно тому, какъ Касьянъ — даже становится изцѣлителемъ обидчицы Апраксѣевны. [39]) Но я полагаю, что нашему атаману каличьему можно было научиться прощенью враговъ изъ евангелія, и не было ни малѣйшей надобности обращаться за этимъ къ Буддѣ.

Думаю, что если взглянуть безъ предвзятой мысли на всѣ, приводимыя у г. Стасова, повѣсти о различныхъ восточныхъ женщинахъ, вслѣдствіе отвергнутой страсти старающихся извести цѣломудреннаго юношу, то онѣ

---

[38]) Особенность извода иранскаго составляетъ опущенное г. Стасовымъ испытаніе Сіавуша огнемъ, напоминающее испытаніе Зиты въ Рамаянѣ.

[39]) Своеобразную черту составляетъ въ расказѣ изъ «Записокъ о западныхъ странахъ» исцѣленіе глазъ у царевича собранными въ сосудъ с л е з а м и в с е г о н а р о д а.' (стр. 268 ст. г. Стасова). Это, конечно, позднѣйшее, но прекрасное, чисто-поэтическое подновленіе первоначальной ж и в о й в о д ы миоической. Изъ тѣхъ же «Записокъ о западныхъ странахъ» приводится у г. Стасова расказъ про 500 разбойниковъ, которымъ царь велѣлъ вырвать глаза. Покинутые въ лѣсу, они взмолились Буддѣ,— и вотъ вѣтеръ нанесъ цѣлебныхъ растеній. Пустота ихъ глазъ наполнилась этими растеніями, они снова получили зрѣніе и ушли, побросавъ свои палки, которыя, оставшись воткнутыми въ землю, пустили тамъ корни.» (стр. 273). Хотя ничего подобнаго и не произошло съ клюками нашихъ каликъ, также воткнутыми въ землю, но для доставленія удовольствія г. Стасову я могу указать на сухую вѣтку, воткнутую въ землю чешскимъ Премысломъ и пустившую отпрыски (см. у Мартина Галла и у Далимила



представятъ никакъ не болѣе сходства съ нашей былиной, чѣмъ библейская исторія объ Іосифѣ, вліянье которой несомнѣнно сказалось, кажется мнѣ, въ *подсовываніи чаши въ суму*. Но хотя предположить въ данномъ случаѣ, какъ и сдѣлали предшественники г. Стасова, вліяніе библіи кажется мнѣ самымъ правдоподобнымъ, я рѣшаюсь думать, что и оно ограничивалось собственно этою *подробностію о чашѣ*, а что самыя отношенія страстной женщины къ сдержанному юношѣ могли существовать въ нашемъ эпосѣ и помимо всякихъ вліяній, подобно тому какъ и выше-разобранное изведенье Владиміромъ княземъ Данилы Ловчанина для овладѣнья его женой, могло у насъ существовать и помимо библейской исторіи о Давидѣ съ женою Уріи. И если выше мы видѣли, что та-же эпическая основа слышится и въ германскомъ эпосѣ—въ похожденіи Эрминрека съ женою Зифки, то теперь кстати будетъ указать въ одной изъ chansons de geste на позорно отринутую любовь жены Карла Великаго къ Гарену Монтглянскому [40]) (вообще же примѣромъ *влюбчивости* и невѣрности своему мужу, какъ мы уже видѣли выше, является и жена короля Артура). Надо наконецъ замѣтить, что занимающее насъ похожденіе, какъ и большая часть другихъ изъ самыхъ распространенныхъ, выражается въ эпосѣ разныхъ народовъ двумя соотвѣтственными рядами—*мужскимъ* и *женскимъ*. Отринутымъ женщинамъ-мстительницамъ соотвѣтствуютъ многіе отринутые мужчины мстители и клеветники, хотя и не въ каждомъ народномъ эпосѣ непремѣнно имѣются, т. е. уцѣлѣли, оба упомянутыхъ ряда. [41]).

Коснувшись вліянія библіи и ограничивъ его собственно только одною подробностью въ нашей былинѣ, считаю нужнымъ замѣтить теперь, что въ заключительномъ замѣчаніи, слышанномъ г. Рыбниковымъ отъ калики Латышова, сказалось вліяніе библейскаго взгляда на вещи. Подобно тому, какъ карой царю Давиду за грѣхъ его съ женой Уріи послужили бѣдствія, постигшія его царство, «за грѣхъ княгини Апраксѣевны, по замѣчанію Латышова, проявилось въ Кіевѣ Идолище поганое» [42]). Вотъ ради этого-то Идолища пришлось снова тряхнуть своей старою силою Ильѣ Муромцу.

Надо сознаться, что изо всѣхъ похожденій нашего богатыря именно это дошло до насъ въ видѣ весьма испорченномъ. Довольно многочисленные его пересказы расходятся въ разныя стороны, такъ что образуется нѣсколько отдѣльныхъ разрядовъ, тѣ же основныя черты, которыя одинаковы во всѣхъ этихъ разрядахъ, не оказываются свойственными собственно Ильѣ Муромцу, а попадаются также въ былинахъ про богатыря, даже вовсе къ нему не близкаго, Алешу Поповича. Довольно близки между собою пересказы: Архангельскаго Уѣзда, напечатанный у Кирѣевскаго въ вып. IV, стр. 18—21, и петрозаводскій, помѣщенный у Рыбникова въ ч. III подъ № 7. Въ началѣ пересказа архангельскаго Илья выставляется ѣздящимъ по полю—не годъ и не другой, а *цѣлыхъ двѣнадцать лѣтъ*, такъ что самымъ этимъ, не совсѣмъ обычнымъ въ былинахъ объ немъ, зачиномъ какъ бы указывается на то, что

---

[40]) Gautier, Ep. fr. II, 148.

[41]) Ср. замѣченное у меня немного выше про сходство положенія юноши въ одномъ изъ расказовъ Сомадевы съ положеніемъ нашей Косоручки.

[42]) Рыбн. I, стр. 240. Кромѣ того, онъ расказывалъ, что калики увидѣли въ церкви соборной въ Іерусалимѣ живымъ и здоровымъ своего казненнаго атамана; чудо такимъ образомъ тутъ видоизмѣнено



похожденіе это относится не къ первой порѣ дѣятельности Ильи. Если же вспомнить, что въ другой былинѣ того же Архангельскаго Уѣзда Илья говоритъ Владиміру князю, бьющему ему челомъ: «ужь давно намъ отъ Кіева отказано, отказано отъ Кіева *двѣнадцать лѣтъ*», то станетъ, кажется, яснымъ, что *двѣнадцати-лѣтнее пребываніе Ильи* въ полѣ въ зачинѣ нашей былины относится къ той же самой порѣ его разлада съ Владиміромъ; Идолище же, о которомъ онъ въ ней услышитъ, должно быть принято только за особый видъ той же темной враждебной силы, которая въ другомъ рядѣ былинъ является подъ историческимъ искаженнымъ именемъ Батыги Батыговича. [43]) Узнаётъ же Илья Муромецъ объ Идолищѣ поганомъ отъ попадающагося ему въ стрѣту сильнаго Иванища, ходящаго въ пѣшь и величаемаго Ильею Муромцемъ—калікою перехожею, сумкою переметною. Чтò касается этого *Иванища* — имя, упоминаемое и въ нѣкоторыхъ другихъ пересказахъ — то нельзя ли по прилагательному *сильный* и по другимъ (какъ увидимъ) указаніямъ былины на избытокъ въ немъ силъ, считать его за одного изъ тѣхъ каликъ, въ образѣ которыхъ скрываются богатыри старшіе, и даже именно за того *Ивана* Колывановича, который уже попадался намъ кое-гдѣ, какъ какая-то неопредѣленная, почти неизвѣстная личность? (см. выше стр. 698)? Какъ бы то ни было, встрѣтившись съ нимъ, Илья спрашиваетъ: «по старому ли въ Кіевѣ звонъ звонятъ, просятъ ли милостыню спасенную?» — вопросъ, уже прямо указывающій на долговременную отлучку Ильи изъ Кіева. Отвѣтъ калики: «не по старому звонъ звонятъ, не просятъ милостыни спасенныя—обнасильничалъ Идолище поганое, сидитъ у князя въ новомъ теремѣ, у княгини держитъ руки въ пазухѣ», т. е. дѣлаетъ съ нею то-же, чтò дѣлалъ Тугаринъ Змѣевичъ. Идолище такимъ образомъ является только особымъ видомъ различныхъ насильствующихъ змѣевъ, кощеевъ, дивскихъ старѣйшинъ, демоновъ и т. п. Собственно же ему свойственною чертою является то, что онъ, соотвѣтственно своему, связывающему его съ язычествомъ, прозвищу — не хочетъ допускать въ обнасилованномъ имъ Кіевѣ того, чтò, по народному представленію, составляетъ главнѣйшее проявленіе христіанства — милостыни спасенныя. Чуть заслышалъ Идолище приближеніе къ терему владимірову Ильи, окрутившагося въ платье каличища Иванища (чтò напоминаетъ Алешу, окрутившагося каликой для боя съ Тугариномъ), чуть заслышалъ калику Идолище, какъ сердито возговоритъ Владиміру: «у насъ заповѣдь положена крѣпкая—не просить по Кіеву милостыни спасенныя; а теперь милостыня въ терему стоитъ». Заслышать приходъ Ильи Идолищу было не мудрено: отъ походочки Муромца гридни съ боку на бокъ пошатилися, ставники въ окнахъ помитусились [44]) (шагалъ же онъ, идя къ Кіеву, ушаги [45]) по полуверсты). Придверники княжескіе обратились къ тяжеловѣсному каликѣ недружелюбно, какъ бы пользуясь при этомъ случаемъ выказать предпочтеніе Идолищу: «у насъ, говорятъ они, Идолище вышины двухъ сажень, а ходитъ Идолище по терему—

---

[43]) Такъ посмотрѣлъ на это и г. Стасовъ.

[44]) Митуситься — бочиться, кривиться. Прим. записавшаго пѣсню.

[45]) Ушагъ — уходъ шага, мѣра его величины.





шаговъ ни чуть (не слыхать), а ты идешь, калика перехожая, неизродная [46]), а по шагамъ твоимъ теремъ ходенемъ ходитъ». Когда же обратился къ Ильѣ и самъ Идолище—со ссылкою на новую заповѣдь между нимъ и Владиміромъ, то Илья отвѣчалъ ему, что не зналъ про нихъ заповѣдь. «Пришелъ я, говоритъ онъ, со степей *цыцарскіихъ* (столь же мало указывающихъ на какую либо опредѣленную мѣстность, какъ и слово— *сорочинскія* въ другихъ былинахъ), пришелъ я поклониться пресвѣтлому князю Владиміру». Тутъ Идолище вдругъ спрашиваетъ, не видѣлъ ли онъ Илью Муромца, каковъ таковъ этотъ Илья?—«На меня гляди, буде хошь узнать Илью Муромца», говоритъ калика. Но Идолище хочетъ знать, много ли онъ, Илейко, хлѣба ѣстъ, много ли къ выти [47]) пива пьетъ. Отвѣтъ на это Ильи таковъ, какого трудно бы ожидать при его, только что проявившейся тяжеловѣсности: «ѣстъ Илейко по калачику, пьетъ Илейко по стаканчику». Такая замѣчательная воздержность кажется Идолищу, оцѣнивающему богатырей по степени ихъ обжорливости, лучшимъ доказательствомъ, что этотъ хваленый Илья — просто дрянь-богатырь. Насмѣялся надъ нимъ Идолище поганое и сталъ хвастаться: «я къ выти по три печи хлѣба ѣмъ, по сороковкѣ къ выти пива пью». Илья же на подобную похвальбу отвѣчаетъ тѣмъ же самымъ сравненіемъ съ коровищемъ отца своего, жравшимъ—жравшимъ и лопнувшимъ, сравненіемъ, къ какому прибѣгъ и Алеша при видѣ того, какъ сходный съ Идолищемъ Тугаринъ металъ за щеку у княгини по цѣлой ковригѣ. (Одинъ изъ пересказовъ нашей былины [48]) даже прямо свидѣтельствуетъ о томъ, что это зашло сюда изъ былинъ про Алешу: Муромецъ говоритъ тутъ про корову не отца своего и не Владиміра, а отца Алеши, *ростовскаго попа* соборнаго). Надо замѣтить, что обжорливость, къ которой относятся такъ презрительно двое изъ нашихъ богатырей и которую напротивъ того цѣнитъ такъ высоко Идолище, — обжорливость эта въ цѣломъ рядѣ сказокъ дѣйствительно выставляется своего рода доблестью: кому не извѣстно почетное положеніе сказочныхъ *объѣдалъ* и *опивалъ*, корень которыхъ — миѳическій. Впрочемъ, какъ скандинавскому Тору въ Эддѣ, такъ и Индрѣ въ Ригъ-Вѣдѣ приписывается собственно способность много *пить* [49]), но мы увидимъ, что и нашъ Илья, въ другомъ рядѣ пересказовъ занимающей насъ былины, представляется опивающимся. Что̀ касается собственно ѣды, то и Торъ, подобно нашему Ильѣ, ѣстъ мало, и даже отказывается у Утгардлокки отъ состязанья въ ѣдѣ, предоставляя это дѣло полутемному, злобному Локки. И въ древне-индійскихъ миѳахъ *обжорливость* сдѣлалась преимущественнымъ достояньемъ злой силы;

46) Безобразная, безпорядочная, невѣжливая. Изродный въ средней полосѣ значитъ негодный; а на сѣверѣ наоборотъ годный, отличный; т. е. это слово принимаетъ значеніе выродка какъ въ хорошемъ, такъ и въ дурномъ. Прим. изд. сб. Кир.

47) Выть здѣсь—количество, сколько кто съѣстъ или выпьетъ за одинъ разъ.—Выть по областямъ Руси: кормъ, потомъ количество корма, по дачамъ, отпускамъ; отсюда тягло, какъ доля, какъ мѣра кормящей земли; дача, какъ мѣсячина... отсюда же жалованье—въ значенья помѣстья. Прим. изд. сборн. Кир.

48) Рыбн. I, № 17, стр. 92.

49) Mannhardt Germanische Mythen, 99—101 (о томъ, какъ Торъ въ гостяхъ у Утгардлокки выпилъ полъ моря). Orient und Occident—въ различныхъ мѣстахъ бенфеевскаго перевода Ригъ-Вѣды, особливо же см. ч. II стр. 244 и ч. III стр 150. Опивается также и Одинъ (Uhland's Schriften, VI, 218). Сербскій Марко не только пьетъ самъ, но и поитъ виномъ своего коня. Напротивъ Карлъ В. умѣренъ (Gautier, II, 122).

обыкновенное прозвище ракшазовъ—обжоры [50]). Такимъ образомъ долѣе удерживалось за богами *пьянство*, бывшее преимущественнымъ достояньемъ *громовника*, по связи его съ *дождемъ* — этимъ *виномъ небеснымъ*. За нашимъ богатырскимъ видоизмѣненіемъ того же громовника, Ильей Муромцемъ, слѣды такого пьянства уцѣлѣли только въ упомянутомъ особомъ рядѣ былинъ про Идолища, а отчасти, можетъ быть, и въ сношеньяхъ его съ кабацкою голью. Вообще же былины, надѣляющія пьянствомъ и Потыка, и Дуная, и Василья Казиміровича, представляютъ Илью и въ этомъ отношеніи сдержаннымъ; занимающая же насъ теперь былина архангельская предоставляетъ ему, какъ мы видѣли, только одинъ стаканчикъ. (То-же и въ нѣкоторыхъ другихъ пересказахъ былины про Илью и Идолища). Тѣмъ понятнѣе становится тутъ негодованье Ильи на поганаго, который, въ отвѣтъ на оскорбительное сравненіе, кидаетъ въ Илью ножомъ — совершенно подобно Тугарину, такимъ образомъ вооружающемуся противъ Алеши. Муромецъ же вооружился просто своею шляпою земли греческой — металъ ее въ Идолища: *улетѣлъ* Идолище сквозь стѣну во чисто поле. Это *улетаніе*, надо замѣтить, еще болѣе сближаетъ его съ Тугариномъ, у котораго, какъ мы знаемъ, были *крылья* (подложныя) [51]). Илья же уходилъ опять во чисто поле, настигалъ Иванища Сильнаго и говорилъ ему: «есть въ тебѣ, Иванище, силы два меня, а нѣтъ въ тебѣ смѣлости — полъ-меня», чѣмъ былина архангельская и оканчивается.

Почти то-же говоритъ Илья каликѣ въ вышеуказанномъ пересказѣ Петрозаводскаго Уѣзда (Рыбн. III, № 7—отъ Г. Ѳедотова) [52]), только говоритъ еще при первой съ нимъ встрѣчѣ, узнавъ, что калика видѣлъ Идолища и не избавилъ отъ него Кіева града. Нужно ли говорить, что подобный попрекъ совершенно къ лицу Ильѣ, у котораго сила постоянно пускается въ дѣло. Указанье Ильи на то, что калика гораздо сильнѣе его, рѣшительно заставляетъ видѣть въ этомъ послѣднемъ одного изъ богатырей старшихъ, къ особенностямъ которыхъ принадлежало, какъ мы видѣли въ своемъ мѣстѣ, и то, что ихъ сила была для нихъ безполезнымъ бременемъ, а если пускалась въ дѣло, то не на изберечь, а на гибель людямъ. Имя каличища въ пересказѣ петрозаводскомъ остается неизвѣстнымъ, но ему дается тутъ прозвище *сорочинская*, въ другомъ же мѣстѣ сорочинскою называется его гуня (повторяю, что со словомъ—*сорочинская* едва ли соединяется болѣе опредѣленнаго смысла, чѣмъ со словами: *цыцарскій*, *латинскій*, и т. п.) [53]). Встрѣчается

---

50) Mannhardt, Germanische Mythen, 162. Въ греческой же миѳол. не только опивалою, но также и объѣдалою является Ираклъ (Геркулесъ). Преллеръ видитъ въ этомъ die Alles vezrehrende Kraft der Sonne (Griechische Mythologie, II, стр. 187). Иранскій Рустемъ съѣдаетъ по цѣлому онагру (Mohl, II, 81).

51) Сходство Идолища съ Тугариномъ еще рѣшительнѣе въ пересказѣ Бутылки (также изъ Петрозаводска, Рыбн. III, № 8). Тутъ Илья встрѣчаетъ Идолища ѣздающимъ подъ облакой на конѣ, шибающимъ палицу стопудовую и подхватывающимъ, какъ Сокольникъ. Самъ же Илья тутъ уже совершенно смѣшивается съ Алешей, прося у Господа дожжичка, чтобы подмочило у Идолища добра коня крылатаго, что и совершается, такъ что Идолище волей не волей опускается на землю. Убиваетъ тутъ Илья Идолища клюкой сорока пудовъ, а не шляпою, хотя въ этой послѣдней тутъ тридцать пудовъ, такъ что подъ нею едва-ли не слѣдуетъ тутъ понимать тотъ выше упомянутый klakol (=cloca), который передѣлался у насъ въ мѣдный тяжелый колоколъ (въ былинахъ новгородскихъ) Въ такомъ случаѣ легче понять и самое убіеніе Идолища шляпою, т. е. такимъ мѣднымъ колоколомъ.

52) Молодца въ тебѣ въ два меня, и силы то у тебя въ три меня, и т. д.

53) Вспомнимъ при этомъ и про смѣсь Карелы съ Волынь-Галичемъ, про исканіе въ Кіевѣ градѣ докторовъ по Москвѣ и т. п. (См. стр. 417).

тутъ Илья съ каликою, ѣздя въ чистомъ полѣ *за охвотою* — занятіе, почти нигдѣ болѣе не приписываемое Ильѣ, у котораго слишкомъ много другого, болѣе важнаго дѣла; но тутъ оно, можетъ быть, указываетъ на *досугъ* Ильи, досугъ, причиненный его долгой отлучкой изъ Кіева, откуда, бывало, давались ему важныя порученія. Впрочемъ, въ самой постановкѣ вопроса Ильи каликѣ въ этомъ пересказѣ не слышится такого яснаго указанія на долготу отлучки, какъ въ пересказѣ архангельскомъ: «Давно-ль, говоритъ тутъ Илья, ты видѣлъ князя Владиміра со стольною княгинею Апраксою, всѣ ли они здравствуютъ?» Къ отвѣту на это калики о проявившемся въ Кіевѣ Идолищѣ присоединяется тутъ выкликаніе этимъ послѣднимъ поединщика, т. е. Идолищу приписываются пріемы Батыги-Калина. А далѣе даже прямо повторяется то обстоятельство изъ былинъ про Татарщину, что «по грѣхамъ учинилося: въ Кіевѣ богатырей не случилося», Идолище же называется тутъ *татариномъ*, сидящимъ между княземъ и княгинею и не дающимъ имъ волюшки другъ съ другомъ думу подумати.—Мѣняясь съ каликою платьемъ, Илья совѣтуетъ ему, окрутившемуся богатыремъ, ѣхать въ Муромъ градъ къ тому подворью богатырскому. Это, кажется, единичный примѣръ указанья со стороны Ильи на свое особенное подворье въ родномъ городѣ, въ свою очередь, повидимому, свидѣтельствующее тутъ о томъ, что ему приходилось уже въ эту пору жить какъ бы частнымъ лицомъ у себя дома. Не хотѣлось-было каликѣ отдавать свою круту Ильѣ, но разсудилъ онъ, что «коли не дать— такъ онъ и силой возьметъ, да еще бокъ набьетъ». Однако-же, разболокаясь, втыкнулъ онъ свою клюшку волжанку [54]) во сыру землю—такъ что она уходила туда до коковочки (до загнутаго верхняго конца). Это послѣднее обстоятельство объясняется свидѣтельствомъ другихъ, лучше сохранившихся въ этомъ отношеніи пересказовъ [55])—о томъ, что клюка калики была *тяжеловѣсная*. Если припомнить при этомъ изъ германскаго эпоса вышеприведенное втыканіе Одиномъ въ дубъ своего меча, котораго долго никто не могъ оттуда вытянуть (см. стр. 117—118), то такое сопоставленіе можетъ навести на мысль, что и нашъ калика втыкаетъ свою клюку съ цѣлью—не дать Ильѣ овладѣть ею. Илья же, подобно германскому Зигмунду, преспокойно выдергиваетъ эту клюку изъ земли. Такимъ проявленіемъ силы восполняется въ пересказѣ петрозаводскомъ отсутствіе колебанья земли подъ Ильей: при приходѣ его въ Кіевъ, *Татаринъ* (т. е. Идолище) просто заслышалъ *горлана* русскаго и самъ, высовываясь въ окно, сталъ звать его во высокъ теремъ [56]). Далѣе ничего особенно не значущую надбавку въ пересказу архангельскому составляетъ тутъ то, что мнимый калика называетъ себя большимъ названымъ братцемъ Ильи; — самое же опредѣленіе скромной мѣрѣ ѣды и питья этого братца и похвальба Идолища своею нескромною ѣдою-питьемъ совсѣмъ опущено. Калика вызываетъ татарина на метанье ножа просто тѣмъ, что, послѣ спроса его объ Ильѣ назвавъ Илью своимъ братцемъ, *хочетъ за него постоять.* Неудачное же метаніе Идолищемъ ножа объясняется тѣмъ, что Ильѣ *не къ*

---

54) Изъ дерева иволги. Прим. г. Рыбникова.

55) Р. I, № 15; III, № 8.

56) Что вы, говоритъ онъ, горланы русскіе, здѣсь заѣдали, что вы стали почасту учащивать?

*суду пришло* — замѣчательное выраженіе, отзывающееся, какъ замѣтилъ уже г. Тихонравовъ, старинным языкомъ «Слова о Полку Игоревѣ», гдѣ *судъ* означаетъ *смерть*. [57]) Не пришло же къ смерти Ильѣ потому, что смерть, какъ мы уже давно знаемъ, ему на бою не написана. Увернулся нашъ Муромецъ, какъ въ былое время и отъ ножа Алеши, за печку муравленную, а сильно пущенный ножъ попалъ въ стоечку, стоечка улетѣла въ заднiй тынъ, а заднiй тынъ весь разсыпался. Вывернулся потомъ Илья изъ за печки и, схвативъ татарина за желты кудри, бросилъ его о дубовый полъ, а потомъ повыломалъ ему ноги и руки и повыкопалъ глаза (какъ царю Калину въ одномъ изъ пересказовъ), и наконецъ повытряхнулъ его изъ платья вонъ (какъ русскій борецъ вытряхнулъ татарина Кастрюка въ одной изъ былинъ про Грознаго).

Такимъ образомъ Идолище погибаетъ въ этомъ пересказѣ иначе, чѣмъ въ архангельскомъ, съ которымъ зато совершенно сходится въ этомъ отношеніи другой пересказъ—изъ Петрозаводскаго же уѣзда, записанный отъ Рябинина (Р. I, №18). Съ другой стороны этотъ послѣднiй сходится съ петрозаводскимъ пересказомъ Ѳедотова въ томъ отношеніи, что и въ немъ Идолище, напавъ на Кіевъ, требуетъ, чтобы ему *ладили поединщика*. Въ другихъ отношеніяхъ зато онъ значительно отличается отъ пересказовъ архангельскаго и ѳедотовскаго и самъ по себѣ составляетъ особый видъ нашего сказанія. Дѣло въ томъ, что Илья тутъ, несогласно съ основнымъ смысломъ другихъ пересказовъ, оказывается живущимъ, по старому, въ Кіевѣ и прямо являющимся къ Владиміру со словами: «не кручинься, Владиміръ, не печалуйся;—на бою мнѣ-ка смерть не написана, убью я Идолища поганаго». Что это тутъ только порча, становится яснымъ изъ дальнѣйшаго. Въ другихъ пересказахъ Илья, не имѣя въ виду никакого боя, случайно узнавъ объ Идолищѣ отъ попавшагося ему калики, вооружается оружіемъ этого послѣдняго. Въ пересказѣ же Рябинина, приписавшемъ Ильѣ заранѣе составленный умыселъ выйти на Идолища, понадобилось объясненіе, почему же онъ вышелъ безъ оружія и ему пришлось заимствоваться у Иванища (какъ называется онъ у Рябинина, согласно съ архангельскимъ пересказомъ). И придумано объясненіе самое пошлое: сдѣлалъ онъ *ошибочку* не малую, не взялъ съ собой палицы булатнія. Зато пригодившаяся ему палица каличья оказывается тутъ тяжелою въ девяносто пудъ, и едва достается Ильею изъ сырой земли, куда спустилъ ее калика именно за тѣмъ, чтобы ее не досталъ Илья. Сдѣлалъ же онъ это тутъ послѣ угрозы Муромца: «мнѣ на бою вѣдь смерть не написана,—а тобя убью, мнѣ клюха и достанется»;—и, разставшись со своею клюхою, пошелъ каличище, заворыдалъ. Остальное же у Рябинина — какъ въ пересказѣ архангельскомъ, съ тою разницею, что Идолище кидаетъ въ Илью не ножомъ, а кинжалищемъ. [58])

Уже выше (на стр. 6 4) указано было на то, что въ сумозерскій изводъ былины про Дюка вставленнымъ оказывается похожденіе съ Идоли-

---

57) Стр. 56 изд. слова о полку Игоревѣ г. Тихонравова. Ср. въ сербской пѣснѣ: ако мени с у д и ј и д а н а к д о д ј é (Юкича и Любоміра Бос. и Герцег. пѣсни. I, 173; см. также 108, 184 268).

58) Небольшая разница также и въ томъ, что пьетъ Идолище по 7 ведеръ пива и ѣстъ по 7 пудовъ хлѣба, про Илью же калика выражается глухо: «по стольку ѣсть и пьетъ, какъ и я» (Р. I, стр. 87).



щемъ. Изводъ этотъ, какъ мы знаемъ, составляютъ два пересказа: одинъ безъименный (Р. I, № 47), другой—А. Сорокина, отличающійся, какъ и всѣ почти пересказы этого содержателя постоялаго двора, крайнею распространенностью. Такъ и самая вставка объ Идолищѣ занимаетъ у него 56 стиховъ, хотя и прибавляетъ очень мало существеннаго къ 44 стихамъ о томъ безъименнаго пересказа, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже болѣе точнаго и обстоятельнаго. Въ обоихъ пересказахъ — когда Илья, вступивъ въ братство названое съ Дюкомъ, сѣлъ съ нимъ въ шатеръ хлѣба кушати, наѣзжаетъ Идолище поганое, входитъ въ шатёръ къ добрымъ молодцамъ, Господу Богу не молится (т. е. не соблюдаетъ обычая православнаго), не клонитъ и передъ хозяевами буйной головушки. [59]) По обычаю гостепріимному приглашаютъ они незваннаго гостя сѣсть съ ними хлѣба покушати, а онъ брезгаетъ: у васъ однѣ крупивчатыя булочки, да еще немножко калачиковъ, я-же ѣмъ по быку семилѣтнему къ выти, по бѣлой лебеди на разъ закусываю» [60]). «Видно, говоритъ Илья, ты, поганое Идолище, силенъ ѣсть. [61]) На это, самъ себя величая *поганымъ* (какъ оно часто бываетъ въ силу эпическаго начала *механическаго повторенія*), Идолище говоритъ, что проѣхалъ онъ *Швецію*, *Турецію*, *Казань*, *Рязань*, *Астрахань* (пестрая, ничего собственно не выражающая смѣсь странъ), и не могъ найти себѣ поединщика, по плечу супротивника. Тогда Муромецъ отвѣчаетъ ему, что теперь онъ наѣхалъ поединщиковъ, а если выйдетъ изъ ихъ шатра, тогда не будетъ ему опять поединщика. Вслѣдъ же затѣмъ Илья тутъ ввертываетъ уже намъ знакомое сравненіе Идолища съ коровищемъ отца муромцева, (совершенно правильно проживающаго, по обоимъ пересказамъ, въ селѣ Карачаевѣ.) Въ отвѣтъ на кидаемое тутъ Идолищемъ *кинжалище*, Илья, знавшій *увертки богатырскія*, *бросаетъ въ Идолище свою шляпу пуховую*. [62]) Вотъ тутъ собственно, въ самомъ концѣ нашей вставки, пересказъ А. Сорокина прибавляетъ слѣдующую подробность. Оба братца крестовые, послѣ убіенія шляпою Идолища, выходятъ на улушку широкую, и Илья беретъ коня идолищева — но беретъ не ради добычи (чего мы ни разу не замѣчали за Муромцемъ), а для того, чтобы честнуть его своей палицей желѣзною межъ очи ясныя. Конь отъ этого падаетъ зà мертво, и такимъ образомъ оказывается изведеннымъ и вѣрный слуга темной, враждебной силы. Хотя бы эта подробность и была просто присочинена Сорокинымъ, все же тутъ замѣчательно то чутье, которое не позволило и этому, иной разъ *по своему* распространяющему пѣвцу приписать Ильѣ стремленье къ добычѣ и такимъ образомъ нарушить стройность эпическаго его облика.

---

[59]) Въ этомъ мѣстѣ большею подробностью отличается пересказъ безъименный: «не приноситъ покору великаго, самъ садится къ нимъ на лавочку».

[60]) У Сорокина противоположность усиливается тѣмъ, что у Ильи съ Дюкомъ всего одна малая булочка.

[61]) Въ безыменномъ пересказѣ Илья при входѣ называетъ его добрымъ молодцемъ и только услыхавъ про его обжорливость, начинаетъ его величать Идолищемъ.

[62]) Это послѣднее, совсѣмъ подновленное прилагательное, окончательно уничтожаетъ въ этой шляпѣ всякій слѣдъ того тяжелаго колокола, какимъ стала представляться, вслѣдствіе такого прозванія, верхушка плаща каличьяго. Здѣсь же, т. е. въ занимающей насъ теперь вставкѣ, вовсе нѣтъ предварительной встрѣчи съ каликою, а потому не у кого занимать каличій колоколъ-шляпу и вотъ она становится шляпою самого Ильи, шляпою, даже пуховою, отъ удара которою тѣмъ не менѣе Идолище поганое только и живъ тутъ бывалъ.

Если и *вставочные* пересказы былины про Илью и Идолище могутъ быть отнесены къ особому ряду, значительно уклоняющемуся отъ другихъ рядовъ, то совершенно уже особымъ путемъ направилось наше похожденіе въ тѣхъ былинахъ, гдѣ оно совершается даже не на Святой Руси, а въ Цареградѣ. Сюда во-первыхъ относится особая былина Архангельскаго Уѣзда, напечатанная у Кирѣевскаго въ вып. IV на стр. 22—38 [63]). Начинается она тѣмъ, что не тычинушка во чистомъ полѣ шатается, а добрый молодецъ подвигается—Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ. Съ пенечка на пенечекъ онъ поскакиваетъ, съ холмочка на холмочекъ онъ поплясываетъ. Такой странный, необычный зачинъ, сопоставленный съ другими пересказами, объясняется, можетъ быть, тѣмъ же избыткомъ досуга, заставляющимъ Илью просто похаживать, *двигаться*, [64]) досуга, причиненнаго его разладомъ съ княземъ. Поскакивающему-поплясывающему Ильѣ ѣдетъ въ стрѣту *дядя* (въ смыслѣ дѣда, старца, поясняютъ издатели) Данило Игнатьевичъ: повидимому, тотъ самый, заточившійся въ монастырь, за котораго подвизался, какъ видѣли мы, его сынъ Михайлушка. Тутъ ему рѣшительно придаются признаки богатыря старшаго, что ни мало не мѣшаетъ ему называться *братаномъ* Ильи (мы видѣли, что и со Святогоромъ Илья побратался). На здоровканье-спросъ Ильи, Данило отвѣтствуетъ, что идетъ онъ отъ града Іерусалима, отъ царя Константина Боголюбова и царицы Елены Александровны [65]). «По хорошему-ли живетъ Константинъ?» спрашиваетъ нашъ Муромецъ. «Не здорово царь живетъ, отвѣчаетъ калика: не стало въ Іерусалимѣ четья-пѣтья церковнаго, звона колокольнаго отъ Идолища проклятаго: въ долину Идолище пяти сажень, промежду плечьми коса сажень, голова какъ пивной котелъ, глаза какъ чаши питейныя, носище какъ палка дровокольная». На это у Ильи новый вопросъ, отзывающійся тѣмъ же духомъ, что и нѣкоторые изъ разобранныхъ пересказовъ: «ты зачѣмъ Идолища на бѣлъ свѣтъ спустилъ?» — Но Данило Игнатьевичъ извиняется своею старостью: «нога за ногу запинается, рука за руку заплетается». Тутъ Илья велитъ ему разболокать свое платье каличье, снимать шляпу земле-грецкую сорокъ пять пудовъ [66]). Накрутившись каликою и наложивъ на себя эту шляпоньку нелегонькую, Илья, не смотря на то, продолжаетъ поплясывать съ шоломя на шоломя. Отправляется онъ въ Іерусалимъ градъ и проситъ милостыни у царя съ царицею такимъ голосомъ, что небо съ землею потрясалися, бѣлокаменны палаты пошатилися, въ палатахъ столы сколыбалися, на столахъ питья кушанья поплескалися, князи-бояра всѣ припадали, само Идолище пріужахнулось. «Эки у васъ *на Руси* калики голосастые», замѣтилъ поганый царю Константину (извѣстно, что и въ духовныхъ стихахъ про Егорія Храбраго Іерусалимъ находится на Святой Руси). По требованью Идолища, царь зоветъ войти Илью, называя его *сумкою переметною*. Входя, какъ и слѣдовало ждать, таково, что подъ нимъ заскрипѣло, мосты погнулися, Илья кланяется, по русскому, на всѣ на четыре стороны

---

[63]) Она занимаетъ такъ много мѣста, потому что въ видѣ подстрочныхъ въ ней примѣчаній приводятся тутъ разнорѣчія по рукописному сказанію XVII ст.

[64]) Впрочемъ издатели поясняютъ: движется, а вмѣстѣ и подвизается, совершаетъ подвиги, полюетъ (?).

[65]) Обыкновенныя у насъ имена цареградскихъ царей и царицъ (см. выше стр. 41 ).

[66]) Тутъ, очевидно, опять разумѣется шляпа-колоколъ.





и царю съ царицею, только Идолищу челомъ не бьетъ. За бѣду это пало поганому, и вотъ тутъ-то онъ началъ свои, проходящіе черезъ всѣ почти пересказы, распросы про ѣду-питье Муромца. «Ѣстъ онъ, поясняетъ Илья, по *три просвиры*, (оттѣнокъ церковный, какъ бы придающій такой воздержности значенье *поста*), вина пьетъ духомъ по одной чарочкѣ, ростомъ-возрастомъ онъ ровенъ со мною». На похвальбу Идолища Илья отвѣчаетъ и тутъ сравненьемъ съ коровищемъ—но не отца своего, а князя Владиміра.—На обиду и Идолище отвѣчаетъ обидой: «кабы былъ здѣсь Илья, на лодонь бы посадилъ, да другой прижалъ — межъ долонями мокро бы повыжалось». Въ концѣ, вслѣдъ за киданьемъ ножомъ и отвѣтнымъ киданьемъ шляпою, встрѣчается тутъ черта отчасти напоминающая былины про Калина: оторванная ударомъ тяжелой шляпы, голова Идолища летитъ ровно пуговица и вышибаетъ въ горницѣ три паклинка [67]). Тутъ Илья велитъ Константину увозить Идолище въ поле волкамъ на съѣденье, воронамъ на пограянье [68]) (отчасти сходно съ отдачей звѣрямъ Сокольника, въ нѣкоторыхъ пересказахъ). Царь же, величая теперь суму переметную батюшкою Ильей Муромцемъ, предлагаетъ ему казны, сколько надобно. Но Илья, по обыкновенію, не беретъ: «что мнѣ надобно, каликѣ перехожему?»—Вмѣстѣ же съ тѣмъ, онъ какъ бы чувствуетъ себя обиженнымъ, повторяя Константину слова, въ другихъ былинахъ относящіяся къ Владиміру: «на приходѣ ты гостя не учествовалъ, на походѣ-то гостя не учествовать».

Къ одному разряду съ только что разобранною былиною можетъ быть отнесена записанная въ Пудожскомъ Уѣздѣ отъ Никифора Прохорова и помѣщенная у Рыбникова въ ч. I подъ № 17, хотя она представляетъ и нѣкоторыя отклоненія. Начинается она сборами въ Іерусалимъ каликушки, величаемаго тутъ, какъ и въ вышеразобранныхъ былинахъ другого разряда, Иванищемъ; ночью путеводителями служатъ ему камешки самосвѣтные въ лапоткахъ. Побывавъ въ Іерусалимѣ, искупавшись въ Іорданѣ рѣченькѣ [69]) и *посушившись въ кипарисномъ деревцѣ*, идетъ онъ домой мимо Цареграда и видитъ, что туда наѣхало поганое Идолище, одолѣли поганые Татарища. Тутъ сильный могучій Иванище хватилъ татарина за руку, оттащилъ на чисто поле и выспросилъ у него, какъ велико Идолище; послѣ же этого, снова схвативъ его за руку, бросилъ во чисто поле, такъ что разлетѣлися татарскія косточки. Такимъ образомъ тутъ проявляется страшная сила калики и ему нельзя уже ссылаться на старость. Когда онъ пошелъ отъ татарина,—въ стрѣту ему Илья, спрашивающій, по прежнему-ль въ Цареградѣ? Въ отвѣтъ калика рисуетъ такую картину: святые образы поколоты, въ черной грязи потоптаны, а въ божьихъ церквахъ коней кормятъ. [70]) Приведенный этимъ въ негодова-

---

67) Короткіе обрубки бревенъ, изъ которыхъ простѣнокъ между окнами—прим. изд. сб. Кир.

68) Вороній крикъ: они граютъ, собираясь на падаль. Прим. изд.

69) Егда погрузять крестъ честный, тогда вси людіе вскочать въ воду Іордана, крестящесь въ Іорданстѣй рѣцѣ, якожъ Христосъ въ полунощи крестился есть отъ Іоанна.» Слова Даніила Паломника (См. въ моей христоматіи стр. 249).

70) Это напоминаетъ стихъ про Анику воина, который много ликъ божіихъ поругалъ, многія святыя иконы перекололъ. Г. Безсоновъ (зам. къ IV вып. Кир. стр. CVIII) видитъ въ этомъ указаніе на иконоборство и признаетъ въ нашемъ стихѣ стороннее заимствованіе. Но тоже въ такомъ случаѣ относится и къ нашей былинѣ про Идолища.

ніе, Илья изъявляетъ желаніе наказать Иванища по нагому тѣлу, ссылаясь на уже намъ извѣстную, по другому разряду, причину: «есть у тя силы съ двуменя, а смѣлости-ухватки половинки нѣтъ!» Переодѣваясь въ платье каличье, уступаемое ему тутъ безъ всякаго прекословія, Илья даетъ Иванищу своего коня, съ тѣмъ, чтобы онъ хоть ѣздилъ на немъ, хоть водилъ, но не уѣзжалъ съ этого со мѣстечка *уловнаго*. Явясь въ Цареградъ, онъ проситъ себѣ «*златой* милостыни спасенныя, такой, чтобы не зачѣмъ было ему волочитися, а можно было душа спасти». Когда отъ крика Ильи Татаринъ (т. е. Идолище) ужахнулся, царь Константинъ напротивъ того возрадовался. Самъ Татаринъ, чтобы только унять калику, велитъ царю накормить его до сыта, напоить до пьяна [71]), царь же взимаетъ калику и узнаетъ его:

Не красное солнышко пороспекло,
Не младъ ли свѣтелъ мѣсяцъ порозсвѣтѣлъ:
А показался во Цареградѣ
Старый казакъ Илья Муромецъ.
Отъ бѣды меня повыручи,
Отъ этой отъ смерти отъ напрасныя.

Но тутъ Идолище взималъ калику къ себѣ и распрашивалъ про Илью, который далѣе выставляется съѣдающимъ *по три калачика*, выпивающимъ *на три пятачика мѣдныхъ*. Ножикъ, пускаемый Идолищемъ, отмахивается колпакомъ Ильи и летитъ въ дверь бѣлодубову, которая выскакиваетъ съ ободвериной: убило на смерть двѣнадцать Татаръ, а друго двѣнадцать ранило. Это нѣчто въ родѣ того, что въ былинахъ про Ивана Годиновича происходитъ со стрѣлою, пущеною тѣмъ же Идолищемъ: какъ тамъ она отскакиваетъ обратно и поражаетъ его самого, такъ здѣсь ножикъ Идолища поражаетъ его Татаръ, [72]) которые, издыхая, его проклинаютъ. Ильюша же вслѣдъ затѣмъ окончательно употребляетъ оружіемъ противъ Татаръ—самого же Идолища: сначала хвативъ его по головѣ клюкой, потомъ онъ, какъ и въ былинѣ про Калина, хватаетъ поганаго за ноги и побиваетъ имъ въ три часа всѣхъ поганыхъ. Обрадованный царь Константинъ предлагаетъ Ильѣ жить у него воеводою. Благодарствуя, отвѣчаетъ на это Муромецъ: «послужилъ я у тя только три часа, а выслужилъ слово сладкое, увѣтливое, а хлѣбъ соль мягкую. Послужилъ-то я у князя Владиміра ровно тридцать лѣтъ, а не выслужилъ слова сладкаго, увѣтливаго, и хлѣба соли мягкія». [73]) Слова эти уже съ совершенною ясностью указываютъ на то, что занимающее насъ похожденіе относится ко времени ссоры Ильи съ Владиміромъ. Самое отправленье Ильи въ Цареградскую землю можетъ быть объяснено тѣмъ, что дома уже не давали хода его богатырской дѣятельности. Однако же, не смотря на предложенія царя Константина, Илья у него не остался, сославшись на то, что у него оставленъ «оставежъ на дорожкѣ». Подъ нимъ разумѣетъ онъ, очевидно, калику Иванища, котораго, возвращаясь къ нему, застаетъ перета-

71) До пьяна—не непремѣнно значитъ—до опьяненія. На прим. въ духовн. стихѣ о вознесеніи Христосъ говоритъ про каликъ: «да будутъ сыты и пьяны».

72) По всей вѣроятности и въ архангельскомъ пересказѣ голова Идолища, отскакивая, должна была поражать Татаръ; если же въ теперешнемъ видѣ пересказа она, какъ мы видѣли, только вышибаетъ три пакдина, то это должно быть объяснено пропускомъ, порчею.

73) Это напоминаетъ побывальщину о дворянинѣ безчастномъ молодцѣ. О связи этой послѣдней со словомъ Даніила Заточника см. въ моемъ Истор. Обозр. Р. Слов. стр. 375.

сканнымъ-перетерзаннымъ у того коня богатырскаго. Словами этими, повидимому, указывается на то, что онъ не съумѣлъ совладать съ богатырскимъ конемъ Ильи—черта довольно подозрительная, несовмѣстимая со всѣми признаками принадлежности калики къ старшему, т. е. сильнѣйшему богатырскому роду. Когда же Илья опять помѣнялся съ Иванищемъ платьемъ, то на прощанье, хотя и младшій, задалъ старшему наставленье такого рода: «впредь ты такъ, Иванище, не дѣлай-ка, а выручай отъ бѣды-напасти, не выдавай крещеныхъ поганымъ Татаровьямъ». Этими замѣчательными словами дополняются негодующія выходки Ильи и въ другихъ пересказахъ противъ недостатка въ каликѣ *смѣлости*. Оказывается, что Илья коритъ его собственно въ недостаткѣ *любви* къ землѣ, къ народу, той любви, безъ которой и величайшая сила остается коснѣющею въ неподвижности. Негодуя на такое ея коснѣніе, на то, что тяжелая клюка калики остается бездѣйственною въ его рукѣ, онъ, какъ мы видѣли изъ многихъ другихъ пересказовъ, рѣшается присвоить ее себѣ, хотя бы насильно, чтобы дать ей послужить хоть въ чужихъ рукахъ народу, если собственныя, и при томъ сильнѣйшія руки калики не умѣютъ, какъ слѣдуетъ, пользоваться своимъ достояніемъ. Этимъ вмѣстѣ съ тѣмъ дорисовывается и все отличіе того богатырскаго поколѣнія, лучшимъ представителемъ котораго служитъ Илья, отъ старшаго, хотя и сильнѣйшаго, но чуждаго всякихъ нравственныхъ видовъ и цѣлей, не ставшаго имъ причастнымъ даже подъ охристіанствованнымъ (съ внѣшней стороны) видомъ странника-богомола.

Оказывается, стало быть, что если Илья въ этомъ похожденіи попадаетъ въ положеніе и усвоиваетъ себѣ пріемы Алеши, то съ другой стороны и тутъ, не смотря на все это, съ новою яркостью проявляются основныя черты его нрава, столь человѣчнаго и сочувственнаго—при всей богатырской грубости постановки и, такъ сказать, топорности выполненія этой былины.

Кстати будетъ привести здѣсь одну черту изъ сѣверной заги о Грольфѣ Краки. Когда герой заги, король Грольфъ, выдерживалъ въ битвѣ напоръ цѣлой стаи враговъ, одинъ изъ служилыхъ мужей его, Гьяльти, сталъ искать на помощь своего друга Бедвара и, найдя его сидящимъ дома совершенно празднымъ, въ негодованіи аакричалъ: «вставай, или я сожгу и домъ, и тебя въ немъ; стыдъ изъ стыдовъ для дружинника—допускать, чтобы король за насъ подвергался опасности!» [71]). Чѣмъ вызванъ этотъ негодующій взрывъ? Безпомощностью короля—*крупной личности*, которая на то вѣдь и держитъ на мздѣ дружину, чтобы она за нее работала. И это вполнѣ сообразно съ тѣмъ началомъ *развитія личности* на воинственной почвѣ, началомъ, которое вывели мы изъ обзора германскаго эпоса. Но что же лежитъ въ основѣ негодованія нашего Муромца? Безпомощность *люда крещенаго*, цѣлаго множества *мелкихъ* и *слабыхъ*, защитой которымъ, безъ всякой мысли о мздѣ; должны быть богатыри — потому уже, что они *сильны*.

Толковать такимъ образомъ взглядъ Ильи имѣемъ мы, кажется, полное

---

71) Uhlands Schriften, VII, 153.



право, послѣ знакомаго намъ обращенья къ нему Владиміра — только во имя *сиротъ* и *вдовъ*. Если же царь Константинъ не говоритъ о нихъ, а проситъ лишь о себѣ самомъ, то Илья Муромецъ въ своемъ укорѣ Иваницу говоритъ не *о царѣ*, а *вообще о крещеныхъ*. Но нѣкоторую *разноголосицу* производитъ именно въ этой былинѣ то, что царь насыпаетъ Ильѣ чаши золота, серебра, жемчуга, и онъ принимаетъ ихъ съ радостью, говоря: «это мое заработчее». Выше мы встрѣчались еще съ двумя примѣрами такого же его поведенія: въ одномъ пересказѣ про Соловья, и въ одномъ про освобожденье Чернигова; во всѣхъ же другихъ пересказахъ этихъ былинъ, какъ и во всѣхъ другихъ случаяхъ богатырской жизни Ильи, мы замѣчали за нимъ постоянный отказъ отъ добычи.

Въ одномъ ненапечатанномъ пересказѣ Пудожскаго Уѣзда, который можетъ быть, по своимъ основнымъ чертамъ, отнесенъ къ одному разряду съ предыдущимъ, о какомъ либо предложеньи Ильѣ царемъ Константиномъ мзды ничего не сказано [75]). Также точно оно и въ другихъ пересказахъ, составляющихъ уже совершенно особый разрядъ.

Главную особенность этого новаго разряда составляетъ примѣсь такой стороны въ Ильѣ Муромцѣ, которая вообще проявляется въ немъ весьма рѣдко, но была уже нѣсколько выше затронута—по поводу миѳа объ опивающемся громовникѣ. Но если приписываемое тутъ Ильѣ богатырское пьянство и дѣйствительно составляетъ въ немъ уцѣлѣвшій слѣдъ миѳическаго его первообраза, все же оно имѣетъ, въ теперешнемъ видѣ былины, значеніе бытовое и понимается самимъ народомъ уже единственно какъ причастность любимаго богатыря народнаго не только народнымъ доблестямъ, но и одному изъ главнѣйшихъ пороковъ народныхъ. Къ разряду этому, прежде всего, какъ наиболѣе полная, должна быть отнесена пѣсня Пудожскаго Уѣзда, записанная отъ Тр. Романова и напечатанная у г. Рыбникова въ ч. III, подъ № 9. Дѣйствіе въ началѣ тутъ происходитъ опять на святой Руси. По дорогѣ отъ Муромля къ Кіеву шелъ-прошелъ калика прохожая, волокитная. Когда будетъ калика въ Кіевѣ, приворачивалъ калика на царевъ кабакъ и зарычалъ цѣловальникамъ: «наливайте мнѣ вина на пятьсотъ рублей, мало разопьюсь—такъ на тысячу». Когда же чумаки цѣловальники со страху всѣ разбѣжалися, по чуланчикамъ разхучалися [76]), тогда калика самъ зашелъ въ погреба, взялъ бочку сороковку подъ пазуху, другую-то взялъ подъ другую, а третью бочку ногой покатилъ, опять зарычавъ во всю голову: «собирайтесь, калики, на почестный пиръ». Слова эти даютъ возможность узнать тутъ Илью, котораго уже видѣли мы угощающимъ голей кабацкихъ. Здѣсь же онъ угощаетъ каликъ, такимъ образомъ также оказывающихся разгульными, а вмѣстѣ съ тѣмъ напивается и самъ до того, что засыпаетъ (какъ въ былинѣ про Ермака).

---

75) Къ замѣчательнымъ чертамъ этого пересказа, записаннаго отъ кр. Щербакова г. А. Николаевскимъ и доставленнаго мнѣ Е. В. Барсовымъ, принадлежитъ то, что ножъ не попадаетъ въ Илью вслѣдствіе извѣстнаго намъ приговора: смерть Ильюши не писана, что онъ побиваетъ Татаръ двумя схваченными имъ татаринами, а Идолища ударяетъ дубинкой межъ уши, отчего у него выскакиваютъ глаза и плывутъ по Волхову (протекающему тутъ подъ Цареградомъ-Іерусалимомъ). Имя царя—Василій Сурмылевичъ Боголюблевичъ.

76) «Отъ корня хит, хут—скрывать»—поясняетъ собиратэль)



Тогда пошли цѣловальники къ Владиміру князю жалиться, а онъ велѣлъ имъ привесть къ себѣ нахала-калику. Но когда принялись цѣловальники побуживать его — потархивать[77]), тогда зачалъ калика съ печки спущаться, за дубову воронечку[78]) приниматься (опять — вооруженіе чѣмъ попало) и убилъ всѣхъ чумаковъ-цѣловальниковъ. Сдѣлавъ такое дѣло, отплативъ этимъ кровопійцамъ народнымъ, разживавшимся на счетъ народной слабости, Муромецъ смѣло пошелъ къ тому, кто развелъ этихъ кровопійцъ-цѣловальниковъ, и зарычалъ опять во всю голову: «ой же ты, Владиміръ князь стольне-кіевскій, не калика былъ въ кабакѣ прохожая, былъ славный казакъ Илья Муромецъ! А теперь я пойду во Царь-Градъ, тамъ наѣхала поганая Издолина».

Такой же непосредственный переходъ отъ разгула къ подвигу, какой уже видѣли мы въ Васильѣ Игнатьевичѣ, и послѣ этого совершенно понятнымъ становится вступленье съ нимъ въ братство названое Ильи Муромца. И первенствующій богатырь, въ столь многихъ отношеніяхъ нравственно превознесенный надо всѣми другими, въ этомъ отношеніи—въ занимающемъ насъ теперь, совершенно особомъ рядѣ былинъ—становится въ уровень даже съ какимъ нибудь Васькой пьяницей, и такую свою причастность даже подобной народной чертѣ доводитъ до размѣровъ необычайныхъ. Прежде чѣмъ перейти къ тому подвигу, который, только что отрезвясь, совершаетъ онъ въ Цареградѣ, остановлюсь на свидѣтельствѣ другихъ былинъ о буйномъ его разгулѣ. Отъ того же самаго Тр. Романова записана г. Рыбниковымъ былина о трехъ поѣздочкахъ, (III, № 12), къ одной изъ которыхъ тутъ отнесенъ тотъ же самый разгулъ Ильи. Освободивъ отъ разбойниковъ какой-то городъ *латинскій* (не безъ нѣкоторой примѣси книжности, повидимому, замѣняющій тутъ Черниговъ однихъ, Цареградъ—другихъ пересказовъ), Муромецъ, въѣзжая вслѣдъ за тѣмъ въ городъ, прямо направляется къ цареву кабаку. Сидитъ въ томъ кабакѣ *горей* кабацкихъ смѣты нѣтъ, и тутова *горюны* догадалися, по полушкѣ *голи* сметалися[79]), окупили вина полтретья ведра и подносили старой собакѣ матерыя. Выпивъ вино во единый духъ, онъ посылаетъ этихъ *голей латинскихъ* донести — королю латинскому: «пріѣхала старая собака матерая, разбилъ онъ заставу великую, всѣхъ сорокъ человѣкъ разбойниковъ; пусть несетъ ко мнѣ даровья великія!» Вотъ и налилъ король чашу золота, другую скатняго жемчуга, третью чистаго золота: но Илья, самъ попросивъ даровъ, при видѣ ихъ повторяетъ свой обычный отказъ: «не надо мнѣ не злата, не серебра»— на этотъ разъ потому, что предпочитаетъ имъ погреба съ напитками. Выкативъ изъ нихъ вино, какъ и въ предшествующемъ пересказѣ, говоритъ онъ голямъ: «пейте-ко вина, сколько надобно, за то, что умѣли старую собаку матерую встрѣтити». Совершенно тоже передается и въ былинѣ 90 лѣтняго старика изъ того же самаго Пудожскаго Уѣзда (Р. I, № 11). Среди самаго безобразничанья Ильи, въ этихъ двухъ былинахъ ясно рисуется, какъ не трудно замѣтить, его нравствен-

77) Отъ корня торокъ—ударъ вѣтра, отсюда—копьемъ лорывать. Прим. изд.

78) Воронецъ—доска, привѣшенная на веревкахъ поперегъ избы. Прим. изд.

79) Голи-гори-горюны: замѣчательная игра словъ, не лишенная горькаго смысла!



ный обликъ: могъ бы нажиться отъ щедрой мзды за свое дѣло, а ограничивается однимъ даровымъ угощеньемъ—въ отплату голямъ за ихъ радушіе. Не совсѣмъ уже то въ былинѣ своеобразнаго, хорошо намъ знакомаго Поромскаго Старика. Онъ переноситъ разгулъ Ильи въ самый Царь-градъ и даже ограничиваетъ однимъ разгуломъ все это похожденье. И тутъ, какъ у Тр. Романова, Илья является въ крутѣ каличьей, но прямо направляется въ Царь-отъ городъ, гдѣ и заходитъ на *кружало государево* (такимъ образомъ выносимое и за наши отечественные предѣлы). Прося и тутъ вина на пятьсотъ рублей, ладя распиться на цѣлую тысячу, онъ рѣшается даже оставить въ закладъ свой пречудный крестъ изъ червоннаго краснаго золота. Такое прозакладыванье святыни отчасти сродно стрѣлянью Ильи по церковнымъ маковкамъ—для угощенія голей кабацкихъ. Но былина Поромскаго Старика, приписавъ Муромцу такой, не дорожащій и собственною завѣтной святыней, забывшійся до конца взрывъ разгула, говоритъ вслѣдъ за тѣмъ, что *никто за крестъ не примается.* У самихъ цѣловальниковъ не хватило на это духу, голи же кабацкіе—догадалися: сложили по денежкѣ да по полушкѣ въ складъ, брали вина полтора ведра, подносили каликѣ перехожему. Выпивъ, сказалъ имъ спасибо калика: «на приходѣ старика вы меня опохмѣлили, опохмѣлили, пить раззадорили». И вотъ, раззадорившись такимъ образомъ, и самъ онъ принялся ихъ угощать, врываясь, какъ и въ другихъ былинахъ, въ погребъ и выкатывая оттуда бочки съ виномъ. Далѣе же все—совершенно какъ въ романовской былинѣ объ Идолищѣ, съ тою разницею, что мѣсто Владиміра занимаетъ тутъ царь Константинъ, которому Илья, уходя, кричитъ на прощанье: «ищи казну за мной, славнымъ Ильей Муромцемъ; приходилъ къ тебѣ на славу на великую—пить зелено вино безденежно».

Этимъ былина Поромскаго Старика и оканчивается, но изъ сличенья съ другими должно быть ясно, что если въ ней нѣтъ ни слова объ услугѣ Ильи тому городу, въ которомъ онъ такъ гуляетъ, то это только пропускъ.

Возвратимся же теперь былинѣ Тр. Романова объ Идолищѣ, гдѣ освожденіе отъ него Цареграда слѣдуетъ за разгуломъ Ильи, происходящимъ тамъ, какъ мы видѣли, дома, во градѣ въ Кіевѣ. Самъ преспокойно объявивъ Владиміру, что убилъ цѣловальниковъ онъ — Илья, богатырь нашъ, какъ мы видѣли, собрался въ походъ. На встрѣчу ему *бѣжитъ* среди чистаго поля калика *Игнатище* [80]) съ шалыгою (плетью) въ девяносто пудъ, и мать сыра земля подъ нимъ подгибается. Узнавъ, что онъ бѣжитъ изъ Царя-Града отъ Издолины, Илья выражаетъ ему уже знакомое намъ негодованье, что при двойной силѣ, не стало у него смѣлости подъ собаку. И тутъ, какъ въ пересказѣ Прохорова, взявъ у него безъ сопротивленья его оружье — шалыгу, Илья идетъ въ Цареградъ и проситъ у *князя* (какъ онъ тутъ величается) Цареградскаго милостыню—*золоту гривну*: «не для-ради калики прохожаго, для-ради славнаго казака Ильи Муромца». Какъ вышелъ изъ палатъ князь цареградскій и увидалъ, что тутъ славный казакъ Илья Муромецъ, *и упалъ*

---

80) Не передѣлался ли этотъ Игнатище изъ того Игнатьевича (Данилы), котораго мы уже знаемъ, какъ сильно-могучаго богатыря, удалившагося въ монастырь? (См. выше стр. 695 и 746).

*на колѣнца князенецкія*: «нѣтъ у меня дать тебѣ милостины, золотой гривны,—обожралъ Издолина весь Цареградъ, золота казна запечатана, а ты поди въ палаты бѣлокаменны, напою тебя напитками до пьяна; [81]) а ѣствами накормлю тебя до сыта». Здѣсь такимъ образомъ замѣна денежнаго подарка угощеніемъ приписывается самому князю и объясняется тѣмъ, что у него нѣтъ казны; Илья же хотѣлъ бы получить *золоту гривну*. Въ этомъ случаѣ вмѣстѣ съ платьемъ каличьимъ онъ усвоиваетъ себѣ и каличье попрошайничество: вспомнимъ, что и въ той былинѣ Н. Прохорова, гдѣ онъ беретъ зарабочее отъ царя, Илья является также каликою. Только въ одномъ пересказѣ Архангельскаго Уѣзда платье каличье не мѣшаетъ ему, какъ мы видѣли, быть столько же непадкимъ на золото, какъ вездѣ и даже въ тѣхъ былинахъ объ его разгулѣ, гдѣ, какъ мы видѣли, золоту предпочитаетъ онъ угощеніе голей. Впрочемъ и въ былинѣ Романова отказъ князя цареградскаго въ золотой гривнѣ не мѣшаетъ Ильѣ избавить Цареградъ отъ Идолища. Подробности — почти такія же, какъ и въ другихъ пересказахъ, только оружьемъ Ильи является тутъ шалыга, отвалявъ же ею Идолища по головѣ, Илья, какъ и у Прохорова, вооружается самимъ Идолищемъ,—и побиваетъ Татаръ въ Цареградѣ [82]).

Самая замѣчательная черта въ этой былинѣ, конечно—то, что и князь цареградскій, подобно Владиміру, становится на колѣни передъ нашимъ крестьянскимъ богатыремъ. Но этою чертою только окончательно дополняется то возвеличеніе Муромца, которое, при всей буйности разгула, приписываемаго ему въ нѣкоторыхъ пересказахъ, составляетъ сущность этого его похожденія. Слава о подвигахъ Муромца разнеслась далеко, и въ Цареградѣ ему стоитъ только назвать себя, чтобы произвести сильнѣйшее впечатлѣніе. Не участвованный собственнымъ своимъ государемъ, онъ могъ бы достигнуть власти въ чужой странѣ, но отказывается отъ нея и тамъ, какъ постоянно отказывался отъ нея у себя дома.

Яркую противоположность представляетъ въ этомъ отношеніи нашъ богатырь-крестьянинъ и съ наиболѣе подходящимъ къ нему, какъ мы видѣли, по самому происхожденію своему, изъ богатырей западныхъ—Сидомъ Испанскимъ. Изгнанный королемъ, Сидъ, во главѣ собственной своей дружины, добываетъ себѣ замокъ за замкомъ, городъ за городомъ и становится независимымъ rico hombre (*богатый человѣкъ*) [83]). То-же дѣлаетъ и рѣшительно уже рыцарскій богатырь — Роландъ. Въ одной изъ до сихъ поръ неизданныхъ chansons—Entrée en Espagne, приведенный въ негодованіе несправедливостью Карла Великаго, онъ удаляется изъ его стана среди самаго разгара войны съ невѣрными, и, во главѣ своей собственной дружины, добываетъ

[81]) До пьяна положительно должно заключать въ себѣ въ данномъ случаѣ смыслъ, соотвѣтственный выраженію до сыта, какъ въ духовномъ стихѣ о Вознесеніи (Безсонова, Кал. Пер. 1, стр. 1). (Ср. выше прим. 71).

[82]) Надо замѣтить также, что Илья тутъ говоритъ Идолищу только о малой своей ѣдѣ (тремя калачиками сытъ), а о питьѣ онъ молчитъ—что и понятно въ такой былинѣ, первая половина которой выставляетъ его пьяницей.

[83]) Буслаева Сидъ, 19, 55. Замѣчателенъ также заемъ имъ у жидовъ денегъ подъ закладъ сундуковъ съ пескомъ (стр. 23).

себѣ собственное царство. [84]) Правда, потомъ онъ бьетъ челомъ этимъ царствомъ своему дядѣ, но когда тотъ, злясь на него за старое, вмѣсто того, чтобы принять отъ него это царство, бьетъ его по лицу, Роландъ, *проливая богатырскія слезы*, совсѣмъ оставляетъ отечество и удаляется на востокъ. Тамъ онъ совершаетъ подвигъ, очень похожій на освобожденіе сербскимъ Маркомъ кралевичемъ султанской дочери отъ ужаснаго жениха. [85]) Въ награду за подобное дѣло, отецъ освобожденной, король Персидскій, дѣлаетъ Роланда управителемъ цѣлаго края. Роландъ пользуется своею властію для покоренія этого края Христу. Вслѣдъ за тѣмъ отправляется онъ въ Іерусалимъ, но буря прибиваетъ его къ берегамъ Франціи и онъ такимъ образомъ снова возвращается къ Карлу.

Но есть у насъ еще одна женская побывальщина [86]) съ совершенно разрушившимся стихомъ и кое какими отзвуками лубочныхъ изданій. Тутъ Ильѣ Муромцу приписывается походъ въ самое Царство Идольское, предпринимаемый имъ изъ особаго Муромскаго Княжества, въ которомъ проживаетъ онъ самъ по себѣ, внѣ всякой богатырской дружины и всякой связи съ Владиміромъ. Былъ онъ до того силенъ, что подъ конецъ не стало никого, кому бы съ нимъ силою помѣряться. Вотъ и захотѣлось Муромцу посмотрѣть каковъ-таковъ Идолъ богатырь проживаетъ, по слухамъ, въ землѣ Идольской. Накрутился Муромецъ, *поверхъ латъ желѣзныхъ*, каликой перехожею и поѣхалъ *верхомъ* (чего обыкновенно не дѣлаютъ калики) къ Идольскому Царству. Заслышавъ его просьбу о милостыни, Идолъ спросилъ: «откуда ты, *человѣче*?» Узнавъ, что онъ изъ Мурома и знаетъ Илью, Идолъ начинаетъ про него распрашивать: оказывается, что Илья, *когда дольше проходитъ*, ѣстъ 10 фунтовъ хлѣба, говядины съ пудъ и ведро вина (воздержность не такъ велика, какъ въ былинахъ). Плюнувъ, Идолище хвастаетъ: ѣмъ 12 пудъ хлѣба, цѣлую корову, пью 40 ведеръ вина. За обидное сравненье кидаетъ онъ въ Илью *вилкою*. Увернувшись, Илья замѣчаетъ: «мнѣ родитель батюшка наказывалъ платить долгъ поскорѣе.» Отъ удара *колпакомъ* Ильи, Идолъ падаетъ съ лавки—и духъ вонъ. Всѣ градскіе люди смерти идоловой обрадовались: «спасибо, Илья, освободилъ ты насъ отъ великаго разорителя; въ городѣ уже мало скота осталося—все поѣлъ Идолъ богатырь. За эту услугу великую возьми изъ нашего добра, что хочешь.»—«Мнѣ, говоритъ Илья Муромецъ, вашего добра не надо,—владѣйте сами межъ собою.»

Въ этой любопытной побывальщинѣ Илья, вмѣсто обычной своей *оборонительной* дѣятельности, дѣйствуетъ *наступательно*, идетъ въ собственную землю Идолища. Но не замѣчательно ли, что и для собственной земли своей поганый является злымъ насильникомъ, такъ что Муромцу и тутъ достается въ сущности значенье освободительное. Въ самой землѣ Идольской всѣ градскіе люди натерпѣлись отъ его прожорства: въ городѣ уже мало скота осталося. Еще покойный С. П. Шевыревъ замѣтилъ, что въ этомъ свойствѣ Идолища надо «видѣть явное олицетвореніе язычества, жаднаго къ требамъ

---

84) Gautier, Epopées françaises, II, p. 360—361.
85) Вука С. П., II, № 66.
86) Записана отъ крестьянки Дмитріевой—Святоозерской Волости Петрозаводскаго Уѣзда (Р. I, № 16).

народнымъ». [87]) Расправа съ язычествомъ такимъ образомъ выставляется въ нашемъ эпосѣ совершенно легкою: всѣ на опытѣ давно уже убѣдились въ его невыгодности и негодности. Не только воинственная, но и всякая пропаганда оказывается тутъ не нужною.

Въ числѣ отмѣтокъ изъ сказокъ и преданій, записанныхъ В. И. Далемъ, значится, что Илья освободилъ Кинешму отъ Литвы, и вслѣдъ за тѣмъ князь Кинешемскій и всѣ жители кумирники обратились въ Христіанство. [88]) И тутъ опять это дѣлается само собою, безъ всякихъ усилій, а тѣмъ менѣе насилій со стороны Ильи.

Въ нѣкоторыхъ сказкахъ мѣсто, соотвѣтственное освобожденью земли отъ Идолища, занимаетъ освобожденье Ильею какой-то дочери королевской отъ летавшаго къ ней двѣнадцатиголоваго змѣя. [89]) Илья попадаетъ тутъ въ положенье цѣлаго множества сказочныхъ добрыхъ молодцевъ, цѣлаго множества всенародныхъ миѳическихъ лицъ, а отчасти и Егорія Храбраго. Невольно припоминается тутъ тотъ духовный стихъ про Егорія и Олексаѳію, въ которомъ эта, только что освобожденная отъ змѣя дѣвица, тащитъ на привязи это чудовище къ своему отцу язычнику и грозитъ спустить его съ привязи, [90]) если отецъ не увѣруетъ въ вѣру крещеную. Въ духовномъ стихѣ, подъ вліяніемъ книжности, оказывается возможною такая насильническая проповѣдь. Чисто народный нашъ былевой эпосъ не знаетъ ни одной подобной черты. [91])

Съ другой стороны въ нашихъ сказкахъ про освобожденье Ильей королевичны отъ лютаго змѣя замѣчательно то, что король предлагаетъ ему у себя службу, но Илья отказывается. «Нѣтъ, говоритъ, я поѣду въ свое государство». Такимъ образомъ, если воображенье народное, не удовольствовавшись подвигами Муромца на родной землѣ, вывело его, съ тѣмъ же значеньемъ освободительнымъ, за ея предѣлы, то и тутъ даже не примѣшалось и малѣйшей тѣни исканія себѣ мзды. Отказываясь ото всякихъ выгодныхъ предложеній въ освобожденной имъ чужой землѣ, крестьянскій нашъ богатырь постоянно спѣшитъ во свояси, чтобы и тамъ опять подвизаться вполнѣ безвозмездно.

Въ этомъ отношеніи Илья представляетъ не мало общаго съ любимымъ лицомъ нашихъ сказокъ, Иванушкой, этимъ якобы дурачкомъ, который постоянно готовъ служить всѣмъ, а самъ о себѣ никогда не думаетъ. [92]) Но сказочное лицо подобнаго рода съ большею или меньшею опредѣленностью существуетъ и въ сказкахъ другихъ народовъ. Только въ эпосѣ богатырскомъ съ

---

87) Лекціи о Русской Словесности, ч. I, стр. 196.

88) Кир. 1, прил.. стр. XXXII.

89) Кир. I, пр., стр. IV. Аѳан. III, 41—47.

90) Пѣсни Якушкина, стр. 27 и слѣд. Или моей христом. стр. 280—281.

91) Если вообще сравнить нравственное міросозерцаніе былинъ съ нравственнымъ міросозерцаніемъ духовныхъ стиховъ, то послѣднее во многихъ отношеніяхъ окажется менѣе человѣчнымъ, а міросозерцаніе многихъ памятниковъ нашей древней книжности — и того менѣе. Не все книжное вмѣстѣ съ тѣмъ непремѣнно и просвѣтительно.

92) См. на прим. у Аѳан. VII, № 38, гдѣ Иванушка вмѣсто серебра беретъ за свою службу песокъ, который нуженъ ему для того, чтобы засыпать огонь, окружающій заколдованную царевну. Или тамъ же VII 22—гдѣ онъ раздаетъ нищимъ полученное имъ въ награду золото, совершенно подобно Ильѣ говоря: «куда мнѣ съ нимъ». Тотъ-же Иванушка, даже противъ воли отца, отправляется спасать сосѣднее царство (См. въ моемъ Истор. Обозр. Р. Слов стр. 160). Ср. также у Аѳан. Сказки, вып. V, 262, в. VI, стр. 256,

его былевымъ (историческимъ) пріуроченіемъ не пришлось мнѣ встрѣчаться нигдѣ, кромѣ нашихъ родныхъ былинъ, съ такою стройною совокупностью свойствъ, какая выставляетъ нашего Муромца человѣкомъ *не себѣ на умѣ*. А между тѣмъ въ его эпической обрисовкѣ нѣтъ и тѣни того, что называется ложною, изысканною идеализаціею. Напротивъ съ него осталась, такъ сказать, не стертою во многихъ мѣстахъ издавняя до-потопная грубость; съ другой стороны замѣтны на немъ и слѣды позднѣйшаго, обратнаго впаденія въ огрубѣлость; намъ даже пришлось замѣчать въ немъ порою и пьяницу-по-колѣна-море. Его богатырскій душевный складъ не выдержитъ, разумѣется, критики какой нибудь щепетильной пуританской нравственности; но онъ вполнѣ отвѣчаетъ на тотъ, широко-понимаемый запросъ нравственный, сущность котораго заключается—въ забвеньи себя для другихъ, въ охотной служилости міру-народу [93]).

Но мы разсмотрѣли еще далеко не всѣ, относящіяся сюда сказки объ Ильѣ Муромцѣ. Въ нѣкоторыхъ, связывающихъ одною нитью всѣ основныя похожденія нашего богатыря, его встрѣча съ Идолищемъ, какъ и во многихъ былинахъ, происходитъ не въ чужой землѣ, а въ градѣ Кіевѣ. Но встрѣча эта постоянно является тутъ послѣднимъ заключительнымъ похожденіемъ, чѣмъ, кажется, окончательно подтверждается несомнѣнная принадлежность этого похожденія къ поздней порѣ въ богатырской жизни Ильи. Въ лубочныхъ изданіяхъ нашей сказки [94]) Илья, показавъ въ Кіевѣ Соловья, поживъ тамъ и вступивъ въ названое братство съ Добрынею, выѣзжаетъ съ нимъ въ чистое поле. Тутъ приписывается имъ, по сказочному, просто *исканіе супротивника*, такъ сказать, изъ любви къ искусству. Они ѣздили цѣлыхъ три мѣсяца, не нашли себѣ супротивника, а наѣхали каличища перехожаго, (у котораго не только шляпа, но и гуня оказывается тяжелою въ 50 пудъ). Илья Муромецъ начинаетъ на него напущать, чтобы отвѣдать своей силы богатырской. Нужно ли говорить, что такое, пока еще ни съ того ни съ сего, *напущаніе*—на калику является, сравнительно съ былинами, позднѣйшимъ сказочнымъ искаженіемъ [95]). Зато далѣе, въ *видѣ* опять искаженномъ, сохранилось указаніе на черту издавнюю и хорошо сохранившуюся въ одной изъ нами уже разобранныхъ олонецкихъ побывальщинъ. Калѣчище въ сказкѣ сдерживаетъ Илью словами: «помнишь ли, мы съ тобой въ одной школѣ грамотѣ-учились?»—Не есть ли это, переиначенное по книжному, то ученье Ильи у *старшаго* Святогора всѣмъ поѣздкамъ-похваточкамъ богатырскимъ, о которомъ свидѣтельствовалъ г. Рыбникову Л. Богдановъ (см. ч. I, стр. 40)

---

[93]) Этою-то постоянною службою Муромца и слѣдуетъ, можетъ быть, объясняя то, что ему не до узъ семейныхъ. О томъ, что приписываемая ему всего одною былиною молодая жена Савишна, по всей вѣроятности, только замѣшалась въ эту былину изъ былинъ про Данилу или Ставра см. выше стр. 641. Но г. Буслаевъ возсталъ противъ такого мнѣнія, впервые заявленнаго г. Безсоновымъ. «Народъ, говоритъ почтенный профессоръ, не руководясь никакими задними мыслями, не брезгаетъ брачными узами и украшаетъ ими своего любимаго героя» (Р. Вѣстн. 1862 г. сент. стр. 31). Но почему же онъ такъ мало помнитъ объ этомъ его украшеніи, а въ нѣкоторыхъ былинахъ (о трехъ поѣздочкахъ) прямо выставляетъ Илью неженатымъ? Да и дѣло тутъ вовсе не въ брезганьи, а въ томъ, что народъ представляетъ себѣ Илью рѣшительно поглощеннымъ своею общественною богатырскою дѣятельностью. Надо замѣтить, что и вѣрный совѣтникъ Карла Великаго, Naimes представляется неженатымъ (Gautier, I, p. 161).

[94]) См. въ прилож. къ 1 вып. пѣс. Кир. стр. XVII XXII.

[95]) Хотя одинъ изъ пересказовъ этой сказки, аѳанасьевскій, изданъ еще въ XVIII в.



Далѣе, какъ и въ былинахъ, Илья узнаетъ про Идолища *нечестиваго*, сильнаго невѣрнаго богатыря, наѣхавшаго на Кіевъ. [96]) Крута каличья берется тутъ Ильею безъ сопротивленія. Идолище въ присутствіи Муромца съѣдаетъ цѣлаго быка, *да еще съ костьми.* [97]) Въ отвѣтъ на обидное сравненье Ильи онъ замѣчаетъ; «что ты меня замаешь? Мнѣ нечего тебя и въ руки взять! Не то, что ты,—каковъ у васъ былъ Илья Муромецъ, я бы и съ тѣмъ стычку далъ.»—«Да вотъ онъ каковъ», говоритъ Илья;—схватилъ съ себя шляпу и ударилъ его въ голову тихонько, только прошибъ стѣну палатъ; и взявши туловище, туда жь выкинулъ. И за то князь Илью Муромца великими похвалами произносилъ (превозносилъ) и причелъ въ сильные могучие богатыри (о какой либо мздѣ—и тутъ ни полъ слова).

Весьма сходно оно и въ сводной же сказкѣ сахаровской, отличающейся большими и часто-искусственными роспространеніями. [98]) Тутъ калѣчище сдерживаетъ напускъ Ильи словами: «не честь богатырская напущатися на каличищу перехожаго.» Въ прожорливости Идолища Илья замѣчаетъ звѣринскій [99]) обычай: «кабы жить ему, говоритъ богатырь, со звѣрьми, кабы быть ему со собаки». Поганый испускаетъ духъ подъ девяти пудовою шапочкою Ильи, которою тотъ его накрываетъ.» Это, мнѣ кажется, одно изъ тѣхъ мѣстъ, которыя рѣшительно заставляютъ предполагать въ этой шапочкѣ *колоколъ*—такъ-таки и понимавшійся въ извѣстную пору развитія нашихъ былинъ, какъ *мѣдь звенящая.* [100]) Накрытіе Идолища колоколомъ, этой принадлежностью христіанскаго богослуженія, вполнѣ бы соотвѣтствовало тому символическому смыслу, какой несомнѣнно заключается въ сказаньи объ Идолищѣ (запрещающемъ, какъ мы видѣли, четье-пѣтье церковное, милостыню и т. п). Вслѣдъ за тѣмъ Владиміръ на радостяхъ сажаетъ Илью за столъ, но тотъ, совершенно несогласно съ былинами и, разумѣется, вслѣдствіе крайняго искаженія, совѣстится, находя, что ему пригоже и поодаль быть. Въ былинахъ же, какъ мы знаемъ, изъ за мѣста по край стола завязывается у Ильи съ Владиміромъ ссора.

Про пьянство Муромца, какъ могли мы замѣтить, въ сказкахъ ни полъ слова. Думаю, что это связано съ отсутствіемъ въ сказкахъ и ссоры съ княземъ Только весьма отдаленный намекъ на эту послѣднюю уцѣлѣлъ въ лубочномъ изданіи, въ словахъ Ильѣ каличища: «князь кіевскій соболѣзнуетъ, что *ты его въ эдакой печали оставилъ.*» Но намекъ этотъ ясенъ только для насъ, изъ сличенья съ былинами; для сказчиковъ онъ можетъ указывать только на *отлучку* Ильи, потому что сказка уже не знаетъ про *ссору*, какъ не знаетъ и про *пьянство* Муромца. Это послѣднее должно быть однимъ изъ прямыхъ

96) У него тутъ промежъ бровми—пядь. Къ сказкѣ сахаровской—борозда со три пяди. Сходно и въ плохой побывальщинѣ, почти—сказкѣ, калики Латышова, доставленной мнѣ г. Барсовымъ—косая падень (я долженъ замѣтить, что выше, и не однажды, вмѣсто: «косая пядень промежду глазъ» ошибкою сказано у меня «косая сажень». (См. на прим. стр. 66) Далѣе тутъ Илья, послѣ торжества надъ разбойниками, заѣзжаетъ къ Идолищу поганому хлѣба кушать. Когда же оказывается, что ему мало нужно, то Идолище выражаетъ Ильѣ свое презрѣнье, а тотъ, сравнивъ его съ коровищемъ, вызываетъ на бой, кончающійся тѣмъ, что Илья растрепываетъ Идолища, не оставляя его и на сѣмена.

97) Пива онъ выпиваетъ котелъ, носимый двѣнадцатью силачами.

98) Перепеч. у Кир. въ прил. къ 1 вып. стр. IV XVI

99) Несторъ о Древлянахъ: живяху звѣриньскимъ обраа.

100) Ср. выше на стр. 7[illegible].

послѣдствій разлада съ Владиміромъ. Извѣстно, какъ часто народъ запиваетъ съ горя. Во всѣхъ отношеньяхъ народный, и во злѣ, какъ въ добрѣ, богатырь Илья, не учествованный Владиміромъ, прибѣгаетъ, по народному, къ синему, только богатырски увеличенному, кувшину — чтобъ размыкать разогнать грусть-тоску-кручину.

Мы могли и во многихъ отошеньяхъ замѣтить, до какой степени сказки, не смотря на закрѣпленіе граматностью еще въ XVIII в. (или, вѣрнѣе, именно вслѣдствіе подобнаго закрѣпленія) оказываются по своему строю новѣе, испорченнѣе былинъ. Но похожденіе съ Идолищемъ запесено было въ рукопись еще въ XVII в. [101]) Оно издано въ такомъ видѣ Н. И. Костомаровымъ во 2-мъ вып. Памятниковъ Старинной Русской Литературы. Обратимся же въ заключеніе къ этой—наистарѣйшей изъ имѣющихся у насъ рукописей былевого содержанія, и посмотримъ — можемъ ли мы особенно дорожить ея *стариной*.

Это—такъ называемая повѣсть *о семи богатыряхъ*, такъ озаглавленная потому, что Илья совершаетъ тутъ походъ въ Цареградъ съ шестерыми другими богатырями: Добрыней, Алешей, Сухономъ Домантьевичемъ, Глапитомъ, дворяниномъ Залѣшениномъ, [102]) дворяниномъ Бѣлою Палицей. Предпринимается же тутъ походъ этотъ вотъ по какой, небывалой въ билинахъ причинѣ. «*Князьямъ-богатырямъ* вѣдомо ли, говоритъ Владиміръ на пиру новосельномъ, [103]) что отпущаетъ на меня царь изъ Цареграда сорокъ два богатыря; а вамъ богатырямъ, продолжаетъ онъ—уже прямо по царски приказывая—за крѣпко стоять, отъѣзду никакого не учинить никуды себѣ изъ моея вотчины.» Богатыри однакоже, вставъ изъ за стола недокушамши и побивъ челомъ князю, объясняютъ ему, что не извадились [104]) они дома сидѣть, а извадились сами ѣздить по полю чистому — *побивать люди многія*; отпусти, говорятъ они, насъ во чисто поле, приведемъ мы тебѣ, князь, языки многіе.» Но Владиміръ настаиваетъ на своемъ: «не пригоже вамъ меня покинуть». Богатыри же закручинились, ударили князю челомъ и пошли — чтобы сдѣлать по своему. Направились они къ Цареграду и по дорогѣ имъ повстрѣчалось цѣлыхъ двѣнадцать каликъ перехожихъ съ атаманомъ *Никитой Карачевцемъ*. [105]) Не уступивъ своего платья Алешѣ, они уступаютъ его Ильѣ: «съ тобою, Илья, и спору нѣтъ. Отъ Никиты Илья узнаетъ, что ходили калики провѣдать, есть ли отпускъ изъ Цареграда богатырямъ ко Кіеву? Оказалось, что отпускъ есть, и вотъ какой: «въ Кіевѣ учинить сѣча великая, а князя Владиміра со княгинею и со богатыри въ полонъ взять.»—«Слышите ли, замѣчаетъ Илья, за совѣтъ слуги и голову складываютъ» (т. е., по толкованію г. Безсонова, за то слуги голову сложатъ, что порѣшено въ совѣтѣ). Оставляя коней своихъ у какой-то Смугры рѣки, идутъ русскіе богатыри въ Царьградъ, неся

---

[101]) Г. Безсоновъ, впрочемъ, какъ будто бы сомнѣвается въ томъ, что она принадлежитъ XVII в.

[102]) А у Кирши, напротивъ того, мужики Залѣшане. Рукопись, повидимому, нашла болѣе приличнымъ ихъ произвести въ дворяне.

[103]) Новосельной—по предположенію г. Безсонова вмѣсто—пиръ на веселѣ (Пѣсни Кир. : V, стр. 23).

[104]) Не повадилися, не навыкли,—поясняетъ г. Безсоновъ. (стр. 24).

[105]) Не заключается ли въ этомъ прозвищѣ отзвукъ села Карачарова? Подъ именемъ Никиты (Залѣшанина) однажды явился къ Владиміру, какъ извѣстно, самъ Илья Муромецъ—Карачаровецъ. См. выше на страницѣ 649.

подъ своими полами каличьими по булатной палицѣ. Гораздымъ говорить (въ Цареградѣ!) языкомъ *татарскимъ* оказывается межъ ними Алеша Поповичъ: «каковъ онъ трезвъ, таковъ и пьянъ». Заслышавъ мольбу каличью о милостыни, посылаетъ царь Константинъ за ними *своего богатыря Тугарина Змѣевича* (вотъ куда, въ Цареградъ, къ царю *Боголюбовичу*—попалъ этотъ нехристь!). Сталъ Константинъ у каликъ распрашивать про богатырей кіевскихъ, а противъ Царя сидитъ другой *его богатырь*, *Идолище жидовское* (вся нечисть-нехристь оказывается такимъ образомъ состоящею въ Цареградѣ на службѣ). На распросы царскіе Илья говоритъ, что есть на Руси тридцать два богатыря и между ними славенъ богатырь Илья Муромецъ: «ростомъ съ меня, рожей похожъ на меня.» Изъ этого Идолъ выводитъ, что его ни почемъ раздавить на ладони, и отпрашивается у царя поскорѣе въ Кіевъ. Алеша говоритъ на это дерзости Идолу, но дворянинъ Залѣшанинъ его сдерживаетъ. Идолъ велитъ показать каликамъ лошадей богатырскихъ: свою и тугаринову: первую ведутъ двадцать, вторую десять человѣкъ. Богатыри идутъ посмотрѣть на нихъ снизу, [106]) кидаются и отнимаютъ по добру коню—и полетѣли тутъ головы богатырскія и татарскія; сѣли на коней — и изъ града вонъ. Остался одинъ Алеша—объявить царю, что собственные ихъ кони у Смугры рѣки и что хотятъ они тамъ перевѣдаться съ богатырями царскими. И вотъ побиваютъ богатыри русскіе, съ Ильей во главѣ, сорокъ богатырей цареградскихъ, а двухъ живыми берутъ: Идола Скоропита [107]) и Тугарина Змѣевича. Вслѣдъ за тѣмъ они возвращаются къ Константину и Илья объявляетъ ему: «тебя мы, царь, ничѣмъ не двигнемъ, потому что мы поѣхали изъ Кіева безъ государева вѣдома на похвалу твоихъ богатырей: мы отдадимъ тебѣ твоего богатыря Идола Скоропита, а съ собой емлемъ въ Кіевъ градъ (ко князю Владиміру на показанье) Тугарина Змѣевича удалаго» (какъ, во время оно, Соловья разбойника). Взмолилась тутъ русскимъ богатырямъ за Тугарина *благовѣрная* (какъ умѣстно тутъ это слово!) царица Елена. Они обѣщаютъ ей не двигнуть его ни чернымъ волосомъ, а только показать князю—а то имъ *ударить челомъ ему нечѣмъ*. Пріѣхавъ въ Кіевъ, они посылаютъ къ Владиміру дворянина Залѣшанина. «Вели, говоритъ онъ, государь, намъ, *холопамъ твоимъ*, свои очи видѣти.» (Ни въ одной изъ былинъ, какъ мы знаемъ, богатыри не называютъ себя холопьями княжескими). И государь ихъ пожаловалъ за ту вѣрную службу—шубами соболиными да цѣпями златыми великими (крайне рѣдкое явленье въ былинахъ). «И впредь, говоритъ, буду васъ жаловать за вашу службу вѣрную.» Затѣмъ, показанный князю, Тугаринъ говоритъ ему, что нѣтъ его, государя, во всѣхъ царствахъ грознѣе, а богатырей его нѣтъ удалѣе во всѣхъ земляхъ.» А Илья Муромецъ съ товарищи бьетъ челомъ: «смилуйся, государь, отпусти Тугарина;— дали мы слово царицѣ Еленѣ». Владиміръ же не только отпускаетъ его съ добрымъ конемъ и со сбруею ратною (т. е. не взявъ съ него и добычи), но даже самъ провожаетъ до рубежа. А богатыри наказываютъ Тугарину:

[106]) Снизу, т. е. съ крыльца; предполагается, что они находятся въ верхнемъ жильѣ палатъ царскихъ.

[107]) Г. Безсоновъ отмѣчаетъ при этомъ въ скобкахъ: «скорпіона; ср. змѣйка-скоропейка».



«скажи царицѣ Еленѣ — еще есмы въ правдѣ устояли, и царское все исполнили.»

Нужно ли говорить, что въ этой повѣсти XVII ст., при нѣкоторыхъ довольно вѣрныхъ чертахъ эпическихъ, не только замѣтно коренное извращенье въ подробностяхъ (напримѣръ, — *холопство* богатырей) но и, такъ сказать, вверхъ ногами поставлено самое основное содержанье былинъ про Идолище въ Цареградѣ. Между тѣмъ какъ крѣпкая память народная до сихъ поръ представляетъ себѣ *поганаго* обнасильничавшимъ Цареградъ совершенно также, какъ и Кіевъ градъ, а царя Константина рисуетъ дѣйствительно *благовѣрнымъ* и *Боголюбовичемъ*,—книжная передѣлка XVII столѣтія доходитъ до какого-то дико-невѣжественнаго отождествленья Цареграда съ Татарщиною! Трудно, кажется, и желать болѣе убѣдительнаго доказательства, какъ мало можно придавать цѣны, безъ какихъ либо дальнѣйшихъ соображеній, собственно раннему *закрѣпленію* (какъ выражаются) того или другого сказанія письменностью. Въ нашей повѣсти, закрѣпленной подобнымъ образомъ, и самый стихъ-то, какъ не трудно было замѣтить, окончательно разшатался и стерся; а память народная, въ столькихъ былинахъ, до сихъ поръ его сберегла, а съ нимъ вмѣстѣ оберегала и самое содержаніе.

Никакъ уже не къ нашей повѣсти XVII ст., стало быть, могутъ быть отнесены не совсѣмъ, впрочемъ, ясныя слова г. Безсонова: «какъ врагъ христіанства, Идолище помѣщается въ коренной странѣ христіанства, въ Іерусалимѣ; далѣе въ странѣ, откуда пришло къ намъ христіанство, въ Царьградѣ, и наконецъ въ землѣ Русской, въ Кіевѣ, куда проникло христіанство при началѣ Исторіи». [108]) Нашъ ученый, конечно, разумѣетъ его помѣщенье во всѣхъ этихъ странахъ, *какъ врага ихъ*; между тѣмъ *повѣсть* выставляетъ его союзникомъ и вѣрнымъ слугою страны Цареградской. Далѣе изъ нашей повѣсти совершенно изгладилась и столь существенная въ былинахъ, прожорливость Поганаго, которая и по замѣчанію нашего миѳолога, г. Аѳанасьева, служитъ «нагляднымъ представленіемъ языческихъ жертвенныхъ обрядовъ» [109]).

Замѣчу въ заключеніе, что это послѣднее обстоятельство подало поводъ г. Безсонову вооружиться противъ отыскиванія миѳической основы во врагѣ Идолища, Ильѣ Муромцѣ. Замѣтивъ, что «въ столкновеніи съ Ильею, представителемъ... проникнувшихъ къ народу христіанскихъ началъ и воззрѣній, Идолище является врагомъ христіанства, образцомъ язычества», г. Безсоновъ усматриваетъ въ этомъ «поразительное доказательство» не однажды повтореннаго имъ [110]) мнѣнія «объ отсутствіи въ Ильѣ Муромцѣ началъ языческихъ и миѳическихъ»... «Кто же изъ страстныхъ искателей русской миѳологіи и русскаго язычества, спрашиваетъ г. Безсоновъ, можетъ допустить, чтобы представитель язычества боролся съ язычествомъ, представитель миѳологіи съ миѳологіей—въ лицѣ врага Идолища?» — [111]) Думаю, что и самый страстный искатель миѳологіи не сочтетъ Илью — *въ томъ видѣ какъ онъ дошелъ до*

---

108) Кир. в. IV, зам, стр. X.

109) Примѣч. къ 1 вып. сказокъ, стр. 118.

110) Въ разныхъ его замѣткахъ.

111) Зам. къ IV вып. Кир. стр. X.

*насъ*—представителемъ язычества; но подъ настоящею эпическою борьбой его съ Идолищемъ, какъ представителемъ идолопоклонства, многіе усматриваютъ иную, первоначальную борьбу—борьбу съ темною силой миѳической свѣтлаго небеснаго существа. Сколько бы ни было тутъ позднѣйшихъ заслоняющихъ примѣсей—все же въ этомъ объѣдалѣ и опивалѣ Идолищѣ, полоняющемъ Владиміра-солнышко, этого рода ученые усматриваютъ чреватую цѣлымъ множествомъ поглощенныхъ ею небесныхъ стадъ — облаковъ и небеснаго пива—*дождя*, сплошную черную тучу, заполонившую ясное солнце, а въ разсѣченіи этого чудовища *на полы*—хотя бы и позднѣйшею «шляпою» или даже «колпакомъ» Ильи — въ этомъ повсемѣстномъ *пріемѣ* эпическаго оружія усматриваютъ разсѣченіе *молніей*, разорваніе ею тучи, вслѣдъ за тѣмъ изчезающей съ проливающимся изъ нея дождемъ и снова уступающей мѣста ясному солнцу. Словомъ, подъ борьбою Ильи Муромца съ Идолищемъ этого рода ученые усматриваютъ только особый видъ той миѳической же, по своей основѣ, борьбы, какая происходитъ между Ильею и Соловьемъ. Если и въ этомъ послѣднемъ самъ нашъ миѳологъ, г. Аѳанасьевъ, склоненъ видѣть въ своемъ родѣ представителя языческихъ вѣрованій—«богатыря кудесника, который силою чаръ могъ по своей волѣ вызывать страшные вихри и грозу», въ подвигѣ же надъ нимъ Ильи—въ своемъ родѣ христіанскую побѣду надъ колдовствомъ языческимъ, [112]) то это нисколько не помѣшало тому же ученому подъ *такимъ* значеніемъ Соловья и Ильи усматривать и другое, древнѣйшее значеніе борющихся между собою ненастнаго ревуна-свистуна и побѣдоносца громовника, прочищающаго дорогу къ солнцу.—Кому изъ занимавшихся сравнительнымъ изученьемъ народныхъ вѣрованій не извѣстенъ несомнѣнный, не у насъ однихъ совершившійся переходъ бога-громовника въ библейскаго, вознесшагося на огненной колесницѣ Илью Пророка? [113]) Кому не извѣстно, какъ и всякія другія свѣтлыя существа миѳическія переходили не только въ различныхъ христіанскихъ святыхъ, но и въ самого Христа, а женскія миѳическія существа въ Богородицу. Всѣмъ также извѣстно, что съ другой стороны темныя силы миѳическія переходили въ *демоновъ*, этимъ же послѣднимъ приписывалось, какъ извѣстно, въ первые вѣка христіанства, и даже не у одного простонародья, страстное поддерживанье язычества, озлобленная борьба за него со Христомъ и святыми. И у насъ миѳическое чудовище, чрезъ посредствующій видъ демона, могло перейти въ представителя порядковъ языческихъ—Идолище, а торжествующій надъ нимъ свѣтозарный громовникъ, чрезъ посредствующій образъ пророка Ильи, могъ наконецъ перейти въ богатырскаго представителя свѣта въ его отвлеченномъ, христіанскомъ значеніи. Все это, разумѣется, совершилось въ самой глубокой дали временъ, до которой можетъ только ощупью добираться наука, и которая давно уже не существуетъ въ сознаніи самого народа. Народъ, безъ сомнѣнія, видитъ въ своемъ Ильѣ Муромцѣ только свято-русскаго, изначала пра-

[112]) Аѳанасьева сказки, вып. 1, прим., стр. 119—120.

[113]) Такъ и у нынѣшнихъ Грековъ сказанія древнихъ объ Иліосѣ (солнечномъ божествѣ) оказываются перенесенными на Илью пророка (чему могло содѣйствовать самое созвучье именъ; солнечные же мием во многихъ отношеніяхъ сродны съ громовникомъ).

вославнаго богатыря, а въ Идолищѣ—чудовищнаго представителя нехристи, которому, подобно всякой другой нехристи въ нашихъ былинахъ, приписывается только какое-то временное нашествіе на русскую землю, рисующуюся въ былинахъ, какъ и самъ Илья, *православною изначала*. Это послѣднее обстоятельство совершенно подходитъ къ тому, что она, какъ мы видѣли, представляется и *единою, цѣльною изначала*. Народнымъ эпосомъ давно уже утрачена память,—какъ о той розни удѣльной, которая когда-то существовала, и долго, на Русской Землѣ, такъ и о той борьбѣ *язычества* съ *христіанствомъ*, какъ *стараго* съ *новымъ*, безъ которой не могло обойтись и у насъ, хотя борьба эта могла и не быть у насъ такою упорною, какъ на западѣ. Если Владиміру князю уже не приходится въ нашемъ эпосѣ являться *собирателемъ* Русской Земли, уже изначала собранной, то ему точно также въ немъ не приходится быть и ея *просвѣтителемъ* христіанскою вѣрою, такъ какъ въ ней уже изначала и звонъ звонятъ и просятъ милостыню спасенную. [114]) Лишь временною попыткой отмѣны того и другой, отмѣны, относимой уже къ самой поздней порѣ въ эпической жизни Владиміра и Ильи, является въ нашемъ эпосѣ идольство, какъ *новая* враждебная сила, возстающая противъ *стараго* христіанства. Если иго татарское отодвинуто въ эпосѣ нашемъ *назадъ* —къ владиміровой порѣ, то идольство напротивъ того подвинуто въ немъ *впередъ*, какъ явленье, пытавшееся - было *смѣнить* христіанство, но прошедшее такимъ же мимолетнымъ мигомъ, какъ и власть Батыги-Калина. Богатырскій освободитель земли отъ Татаръ, Илья Муромецъ, является и богатырскимъ возстановителемъ въ ней христіанства.

Но что же могло такъ долго поддерживать въ сознаньи народномъ этотъ пугающій призракъ язычества, которое на самомъ-то дѣлѣ вѣдь было явленіемъ древнимъ, предшествовавшимъ христіанству? Да вѣдь оно во очію продолжало представляться народу у различныхъ нашихъ инородцевъ, и тѣмъ болѣе могло пугать и отталкивать отъ себя, чѣмъ слабѣе и глуше становилась проповѣдь христіанская, даже въ самомъ сердцѣ Русской Земли, послѣ ига татарскаго. Пугающее вліяніе могли производить и такія явленія, какъ нѣкоторыя изъ ересей, напримѣръ—*жидовствующая*, такъ смѣло коснувшаяся, какъ извѣстно, и самаго двора царскаго (мы могли замѣтить, что въ одномъ изъ пересказовъ нашей былины, Идолище прозывается даже *жидовскимъ*, хотя само по себѣ, безъ дальнѣйшихъ соображеній, прозвище подобнаго рода еще бы не много значило). Наконецъ до нѣкоторой степени, думаю я, объясненіемъ могли бы также служить и заходившія къ намъ путемъ книжнымъ извѣстія о явленіяхъ византійской жизни: иконоборствѣ (о намекахъ на него въ былинѣ про Идолище указано было выше), насильствахъ и кощунствѣ Латынянъ въ Царь-градѣ (вспомнимъ про *имя Латынянъ* въ нѣкоторыхъ пересказахъ, хотя тутъ *они-то* и являются освобождаемыми Ильей), наконецъ водворенье въ немъ Турокъ. Объ извѣстности всего этого въ Землѣ Русской положительно свидѣтельствуетъ, какъ всѣ знаютъ, наша

---

[114]) Первоначальнымъ просвѣтителемъ Русской Земли христіанствомъ является въ духовномъ стихѣ Егорій Храбрый (См. въ моемъ Историческ. Обозр. Р. Слов стр.317).



древняя письменность. Изъ нея подобныя вѣсти могли заходить и въ народъ и, участвуя сердцемъ въ судьбахъ единовѣрнаго Цареграда, онъ въ своемъ эпосѣ высылаетъ на помощь ему Илью Муромца, подобно тому какъ эпосъ юго-славянскій нерѣдко выражаетъ незыблемую увѣренность—въ спасителяхъ изъ Москвы.

Какъ бы то ни было, но былины объ Идолищѣ рѣшительно свидѣтельствуютъ объ одномъ: что и противъ идольства, какъ противъ всякихъ другихъ нашествій, Землѣ Русской принадлежитъ *положенье оборонительное*. Она представляется богатырски увѣренною въ себѣ, въ невозможности конечной отмѣны въ ней колокольнаго звона; но ни изъ Кіева, ни изъ Цареграда ни шага не дѣлающею для того, чтобы насильственно разносить этотъ звонъ по лицу земли [115]).

---

[115]) Вотъ, въ заключеніе, любопытное описаніе состоянія Рязанской Земли изъ «Повѣсти о разореніи ея Батыемъ»: церкви вси погорѣша, а сама соборная церковь внутри погорѣ и почернѣ. И н е б ѣ в о г р а д ѣ п ѣ н і я н и з в о н а»... Но не успѣлъ удалиться Батый какъ «благовѣрный Ингварь Ингоревичъ., обнови землю резанскую, и ц е р к в и п о с т а в и, и монастыри сограды, и пришельцы утѣши, и люди собра». И въ такомъ смыслѣ не разъ могла возстановляться на Русской землѣ в ѣ р а к р е щ е н а я съ ея четьемъ пѣтьемъ церковнымъ и колокольнымъ звономъ (См. И. И. Срезневскаго Свѣд. и Зам. о малоизв. и неизв. памятникахъ—прил. 2 къ XI т. Зап. Ак. Наукъ, стр. 89 и 90).

# XII

**Старость Ильи Муромца. Его три поѣздочки. Противоположность между нимъ и богатырями новгородскими—со стороны ихъ отношеній къ судьбѣ. Смерть Ильи Муромца.**

Ссору Ильи съ Владиміромъ и связывающееся съ нею состязанье его съ Татарщиною и съ Идолищемъ намъ пришлось отнести, какъ могъ замѣтить читатель, къ позднему времени въ эпической жизни Ильи, къ его старости. Но мы вѣдь не разъ замѣчали, что богатырь нашъ и въ другихъ своихъ похожденіяхъ нерѣдко величается *старымъ*, что это прилагательное сдѣлалось какъ бы постоянною и господствующею его принадлежностью, при чемъ, впрочемъ, мы не должны упускать изъ виду слѣдующаго замѣчанія П. А. Лавровскаго. «Съ понятіемъ старца въ древнее время не только не соединялось идеи слабости, дряхлости, а, напротивъ, выражалась мысль объ установившейся, о возросшей крѣпости и мужествѣ. Въ скр. словѣ sthavira, при общемъ значеніи — устойчивый, твердый (stabilis, firmus), находимъ и значеніе старика, senex. Такимъ почитался и у Римлянъ senex; таково было значеніе и седьмой степени возраста у Славянъ, старчества, не переходившаго за 56-й годъ отъ рожденія»... [1]) Въ томъ же ограниченномъ смыслѣ, быть можетъ, слѣдуетъ понимать и старость Карла Великаго, съ какою, по замѣчанью Готье, установился его эпическій возрастъ въ народной памяти. Что̀ же касается его знаменитаго эпическаго совѣтника, Naimes, то онъ несравненно старше, будучи, по замѣчанью того же ученаго, сразу надѣленъ въ эпосѣ столѣтнимъ возрастомъ. [2]) Его на нашемъ эпическомъ языкѣ слѣдовало бы назвать *матерымъ*, такъ какъ *матерство* начиналось у насъ послѣ 56 лѣтъ и шло далѣе безъ указанія границы. [3]) Матерымъ пришлось бы у насъ назвать и знаменитаго Нестора греческаго, [4])а также во время и

---

[1]) Коренное значеніе въ названіяхъ родства у Славянъ, стр. 5 (прил. 2-е къ XII т. Зап. Ак. Наукъ). Въ примѣчаніи же 4 мъ къ той превосходной статьѣ указываются, по «колу родства человѣча» семь ступеней возраста. За выписанными оттуда выше (стр. 70, прим. 65) четырьмя первыми, слѣдуетъ тутъ еще: мужъ до 35 лѣтъ, срѣдовѣчекъ до 42, старецъ до 56.

[2]) Gautier, Epopeés françaises, II, 108, 160.

[3]) См. то-же 4-е прим. къ статьѣ г. Лавровскаго.

[4]) Два поколѣнья уже современныхъ ему человѣковъ
Скрылись, которыя нѣкогда съ нимъ возрастали
и жили

послѣ боя съ сыномъ и германскаго Гильдебранда, который, поступивъ на службу къ отроку Тидреку тридцати лѣтъ и воспитавъ его въ теченіи семи лѣтъ, вслѣдъ за тѣмъ долгое время съ нимъ подвизался, а потомъ провелъ съ нимъ въ изгнаніи цѣлыхъ тридцать лѣтъ. [5]) Но мы могли замѣтить, что и нашъ Илья во многихъ былинахъ называется не только старымъ, но и старымъ-*матерымъ*.

Въ объясненье этой его эпической старости и матерости можно привести замѣчательныя слова Уланда о соотвѣтственномъ лицѣ скандинавскаго эпоса, уже намъ отчасти знакомомъ Старкадрѣ. «Онъ вѣчно старъ, а потому то и носитъ у Снорра прозвище hinn gamli... Онъ представляетъ собою первообразъ (Urbild) того высшаго, строжайшаго богатырства, которое всегда представлялось существовавшимъ въ прошедшемъ. Степенный и умѣренный... съ презрѣньемъ отказывающійся отъ пировъ, но всегда готовый на бой, онъ является ужасомъ для развращеннаго, изнѣженнаго настоящаго. Такимъ образомъ возсѣдаетъ онъ, какъ ужасающій призракъ минувшихъ дней, за роскошнымъ столомъ королевскимъ. [6]) Тутъ-то поетъ онъ, какъ совершенно иначе жилось въ дни Гакона, и вновь раздуваетъ потухавшую-было искру богатырскаго духа... Постоянно, на долгомъ своемъ пути чрезъ вѣка, является снова и онъ при всякихъ другихъ, знаменитыхъ въ эпосѣ-богатырскихъ личностяхъ, ибо вездѣ, гдѣ еще продолжаетъ жить древній духъ богатырства, тамъ и Старкадръ. Такимъ образомъ изъ самаго существа его заги вытекаетъ то, что она привязываетъ къ себѣ и въ себѣ развиваетъ другія заги. Но въ ней при этомъ не замѣтно анахронизмовъ, потому что она принадлежитъ всей вообще богатырской порѣ, и даже то, что могло бы быть изъ нея выдѣлено, какъ не связывавшееся съ нею первоначально, все-таки принадлежитъ къ ней—въ силу ея естественнаго развитія» [7]). Въ такомъ же точно смыслѣ, я думаю, должны быть разрѣшены и всѣ такъ называемые *анахронизмы* въ сказаніи о нашемъ Ильѣ. И онъ, на долгомъ пути своемъ чрезъ вѣка—отъ ласковаго князя Владиміра съ его деревянными ложками для дружины, и до Грознаго, дворскою челядью окруженнаго, царственнаго владыки со щедрой его подачкой, но и со щедростью на опалы—на всемъ этомъ протяженьи временъ остается представителемъ стараго, неподкупнаго, не робѣющаго ни передъ кѣмъ богатырства, но, сурово относясь къ тѣмъ *воронамъ* и *воронятамъ*, что завелись на Руси во время его отлучки, отечески-благосклонно, какъ видѣли мы, относится къ новому, юному представителю настоящаго богатырства, и такимъ образомъ, будучи охранителемъ *старыхъ началъ*, ни мало не противится ихъ дальнѣйшему, новому виду развитія.

Но существуютъ у насъ и такія былины, въ которыхъ богатырь нашъ является матерымъ старикомъ не собственно въ этомъ обще-эпическомъ смы-

---

Въ Пилосѣ пышномъ; надъ третьимъ ужь племенемъ
царствовалъ старецъ
(Иліада, п. I, ст. 250—253, пер. Гнѣд.)

[5]) См. выше стр. 67 и 541.

[6]) См. выше стр. 659, гдѣ его появленіе сравнивается съ появленіемъ Ильи Муромца къ князю, сидящему со воронами и не узнающему стараго казака.

[7]) Uhland's Schriften, VII, 275—276. У него же и подробная передача всей жизни Старкадра.

слѣ, но которыя особенно ясно налегаютъ на то, что повѣствуемое въ нихъ относится—къ самому закату его богатырской жизни. Таковы отчасти только что нами разсмотрѣнныя былины объ Ильѣ и объ Идолищѣ, но еще болѣе таковы былины о такъ называемыхъ его *трехъ поѣздочкахъ*, стоящихъ, повидимому, въ сторонѣ отъ основной его дѣятельности, на самомъ же дѣлѣ совершенно достойно ее замыкающихъ.

Былины о трехъ поѣздочкахъ уже затрогивались и выше (стр. 280 и 751) потому что въ составъ ихъ входитъ уже разбиравшееся у меня похожденье Ильи съ разбойниками и съ *кабацкими голями*. «Три поѣздки» такимъ образомъ, по эпическому своему остову, не составляютъ чего-либо самостоятельнаго и цѣльнаго, но онѣ важны по той совершенно особой основной мысли, какою проникаются сопоставленныя въ нихъ довольно обычныя эпическія положенія.

Въ сборникѣ Кирѣевскаго есть только одинъ пересказъ «трехъ поѣздочекъ», записанный на Онегѣ г. Верещагинымъ и сперва помѣщенный въ прибавленіяхъ къ Изв. Ак. Наукъ.[8]) Начинается онъ слѣдующимъ, совершенно яснымъ указаньемъ поры, къ которой былина относится: «ѣздилъ старъ Илья Муромецъ по чисту полю, отъ *младости ѣздилъ старъ до старости.*» Послѣ описанія извѣстныхъ эпическихъ свойствъ коня богатырскаго, говорится о томъ, какъ старый наѣхалъ на *валюцъ камень* съ *подписью*. Подобныя надписи на камняхъ столь же обычны въ эпосѣ, какъ и тѣ *розстани*, на которыхъ эти камни обыкновенно находятся. Выше (стр. 440) видѣли мы, какъ наѣхалъ на подобный камень Алеша; такіе же камни попадаются нерѣдко въ сказкахъ Ивану-богатырю[9]), но надпись на нихъ не совсѣмъ-то такая, какъ въ нашей былинѣ:

Кому въ этую дороженьку ѣхати—богату быть,
А во другую поѣхать—жонату быть,
А во третею да ѣхати—убиту быть.
И мужевалъ тутъ старой разговаривалъ:
«Куда мнѣ нше старому да съ золотой казной,
Нѣтъ у меня стара да молодой жены,
Нѣту вить у стараго да малыхъ дѣтоцекъ,
А вить некому таскать да платья цвѣтнаго,
Нше не кому тратить да золота казна,
Куды мнѣ нше старому да съ молодой женой:
Молода жена взеть, дакъ тутъ цюжа корысь,
А старая мнѣ ка взеть, дакъ на пеци будѣ сидѣть,
На пеци буде сидѣть да старикомъ командовать».
Да мужевалъ тутъ старой разговаривалъ,
Поворацивалъ же старой—отъ добра коня:
„Во дороженьку вить ѣхать, гдѣ убиту быть»

Ни богатство, ни бракъ—ему не подъ лѣта, а убиту быть, умереть—туда ему старому и дорога! Поѣхавъ по этой *смертной* дорогѣ, наѣзжаетъ онъ на разбойниковъ, которыхъ оказывается тутъ—цѣлыхъ сорокъ тысячъ.—Слѣдуетъ уже намъ знакомое (изъ особыхъ былинъ о разбойникахъ) его лукавое описаніе своего *убожества*, на самомъ дѣлѣ оказывающагося *богатствомъ* [10]). Надо замѣтить, что въ занимающей насъ теперь онежской былинѣ

---

[8]) Перепечат. у Кир. I, стр. 86—89.

[9]) Ср. у Гана въ греческихъ сказкахъ II, стр. 50. «Кто поѣдетъ по одной дорогѣ — вернется благополучно; кто по другой — можетъ быть вернется; кто по третьей—тотъ не вернется вовсе».

[10]) О томъ, какого происхожденія это богатство, см. выше стр. 284 — 285 (мионческое добываніе кладовъ богомъ-громовникомъ).

нѣкоторыя свойства одежды Ильи указываютъ на былины объ Идолищѣ, гдѣ Муромецъ, какъ мы знаемъ, окручивается каликою. Такъ у него въ онежской былинѣ сапоженьки *семи шелковъ*, что не совсѣмъ идетъ къ *сапогамъ*, но напоминаетъ семи-шелковые каличьи *лапотки*. Такъ шеломъ на его головѣ — сорокъ пудовъ, что едва ли не указываетъ на тотъ каличій *колоколъ*, который изъ принадлежности одежды сдѣлался у насъ наконецъ настоящимъ звенящимъ тяжелымъ колоколомъ. Съ другой же стороны и то *самоцвѣтное каменье*, которое тутъ оказывается у коня Ильи межъ глазмы да подъ ушмы — сродни тому *камешку антавенту*, съ которымъ ходятъ калики. Изо всего этого я позволяю себѣ заключить, что въ болѣе древнемъ видѣ нашей былины Илья тутъ являлся *каликою*, какъ и въ былинахъ объ Идолищѣ, также относящихся, какъ мы знаемъ, къ поздней порѣ въ его жизни. Далѣе оказывается онъ относительно разбойниковъ совсѣмъ не такимъ мягкимъ и человѣчнымъ, какъ въ томъ видѣ похожденія его съ ними, въ какомъ оно вошло въ его «первую поѣздку въ Кіевъ.» И суровость Муромца проходитъ чрезъ всѣ пересказы былины про «три поѣздочки». Это, повидимому, то позднѣйшее, обратное его впаденье въ суровость, которое выразилось, какъ мы знаемъ, и избіеньемъ *воронъ-воронятъ* у Владиміра, и выламываньемъ ногъ и рукъ у Калина, и смертельнымъ проучиваньемъ чумаковъ-цѣловальниковъ. Богатырскій образъ Ильи, сперва постоянно смягчавшійся, позже, подъ ожесточающимъ вліяніемъ той перемѣны въ родномъ государѣ и во всемъ, его окружающемъ порядкѣ вещей, перемѣны, свидѣтелемъ которой становится онъ въ нашемъ эпосѣ,—порою опять проникается своею издавнею, до-христіанской своею суровостью, не измѣняя однакоже, въ общемъ и цѣломъ, основной своей земской *освободительной* дѣятельности. Такъ и въ занимающей насъ теперь былинѣ она немедленно скажется вновь—при второй поѣздочкѣ. Первая же оканчивается тѣмъ, что онъ своимъ тяжелымъ шеломомъ побилъ всѣхъ разбойниковъ за то, что и они — туда же! не узнали и не учествовали его, стараго казака. Послѣ этого, выйдя побѣдителемъ изъ опасности, ѣхалъ онъ съизнова къ камени, старую подпись поддалбливалъ и подписывалъ [11]). подпись новую:

Во дороженьку ѣздилъ,—убитъ не былъ,
А понѣце поѣду, гдѣ жонату быть

Муромецъ, какъ мы видѣли, былъ рѣшительно противъ женитьбы, и если теперь онъ ѣдетъ по этой дорогѣ, то, кажется, потому, что по первой несбывшейся подписи совершенно увѣрился въ томъ, что и вторая не сбудется. Онъ увѣренъ, что и на этой дорогѣ, даже на зло пословицѣ, объѣдетъ суженую. Выше, въ началѣ этого труда, мы видѣли, какъ пословица вполнѣ оправдалась на богатырѣ Святогорѣ, какъ ему рѣшительно не удалось *объѣхать* невѣсту, лежавшую тридцать лѣтъ во гноищѣ. [12]) Но то былъ богатырь

---

[11]) Вотъ опять свидѣтельство, и уже совершенно ясное о граматности Ильи.

[12]) См. выше стр. 249, гдѣ приведо и сходное мѣсто изъ Слова о П. Игоревѣ.



*старшій*, при всемъ избыткѣ своихъ тѣлесныхъ силъ не особенно надѣленный силами нравственными. Совершенно не то намъ представилъ относительно-младшій, позднѣйшій богатырскій родъ, недоразвившійся въ лицѣ Микулы, но зато окончательно развившійся въ Ильѣ Муромцѣ. Этому послѣднему на склонѣ дней, какъ будто въ насмѣшку, сулится судьбою жена.... Но смѣло, самоувѣренно ѣдетъ Муромецъ и, наѣхавъ на теремъ *ужасный*, угощенный живущею въ немъ королевичной — чуя въ ней свою суженую, хватаетъ ее осередь, кидаетъ на кровать брачную,—но для того лишь, чтобы она провалилась въ погребъ. Вотъ тутъ и попадаетъ опять Илья въ свое обычное значенье освободителя, отпирая у королевичны ходы подземельные и выпуская оттуда сорокъ царевъ, сорокъ царевичевъ, сорокъ королей, сорокъ королевичей: «подьте вы по своимъ малымъ дѣтенышамъ». Вслѣдъ же затѣмъ, какъ въ былое время Соловья разбойника, казнилъ онъ и державшую всѣхъ ихъ въ плѣну прекрасную королевичну, занимающую тутъ положеніе змѣя, отъ котораго плѣнные цари-короли избавлены были Добрынею. [13]) Казнь, совершаемая надъ королевичной Муромцемъ, оказывается суровою: онъ разрываетъ ее на четыре четверти и разметываетъ на четыре стороны. Совершивъ это, опять возвращается Муромецъ къ камню, опять поддалбливаетъ старую подпись и подписываетъ новую, въ которой за разъ похваляется обѣими своими удачами: «во дороженьку ѣздилъ, убитъ не былъ, а во другую я ѣздилъ, — женатъ не былъ; а во третью поѣду, гдѣ богату быть.» На этой третьей дорогѣ наѣзжаетъ онъ на камень ужасный съ надписью уже новою: «подъ симъ ли камнемъ есть великъ матеръ кованой сундукъ, въ сундукѣ то сумма [14]) несчетная.» Вотъ онъ отворачивалъ камень и вынималъ сундукъ — а на немъ оказывается подпись новая: «кому эвтотъ животъ да достанется, тому строить церква индѣйская, да состроить ему церква пещерская.» [15]) Муромецъ такъ и дѣлаетъ.

Послѣ подновленія имъ первыхъ двухъ подписей, невольно ждешь подновленія и послѣдней, но въ нашей онежской былинѣ этого нѣтъ, и въ замѣну являются, какъ видѣли мы, тѣ цѣлыхъ двѣ новыхъ подписи, которыя, подобно первымъ, только *находятся* Муромцемъ.

Если бы до насъ дошелъ только одинъ этотъ пересказъ былины, то и тогда, по несоотвѣтствію въ немъ послѣдней поѣздки съ двумя первыми, мы бы могли заключить объ его искаженности. Но мы имѣемъ еще пересказы олонецкіе, которые окончательно убѣждаютъ въ этомъ и при помощи которыхъ можетъ быть возстановленъ полный и настоящій смыслъ былины. Изъ сопоставленія съ олонецкими пересказами выходитъ, что и относящееся ко второй поѣздкѣ похожденіе съ королевичной въ архангельскомъ пересказѣ не полно. Изъ пересказовъ олонецкихъ особенною полнотой отличаются: записанный въ Пудожскомъ Уѣздѣ, Уношскомъ Погостѣ отъ Г. Амосова и

---

13) См. стр. 480.

14) Выраженіе уже до крайности подновленное.

15) Выше (въ былинѣ о Вольгѣ, на примѣръ), уже встрѣчалось намъ царство индѣйское, объясненное у меня вліяніемъ книжнымъ—а именно «сказаніемъ объ Индіи богатой». Церковь индѣйская можетъ быть объяснена тѣмъ же сказаніемъ, по которому индійскій царь Іоаннъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и христіанскій пресвитеръ. (Presbyter Johannes—общеевропейскихъ сказаній).

помѣщенный у Рыбн. въ ч III, подъ № 11, особливо же записанный въ томъ же уѣздѣ, въ Филимоновской волости, отъ хорошо уже намъ знакомаго Сумозерскаго крестьянина А Сорокина и помѣщенный у Рыбн. въ ч. II подъ № 62 (хотя вообще Сорокинъ отличается, какъ мы знаемъ, распространеніями, иногда произвольными, ю былина о «трехъ поѣздочкахъ» изъ всѣхъ его былинъ—положительно лучшая: вѣроятно, онъ ей научился у какого нибудь отличнаго пѣвца и сохранилъ ее въ точности). Начинаются оба пересказа совершенно также, какъ и онежскій: упоминаніемъ объ ѣздѣ Ильи въ полѣ отъ младости и до старости, только у Сорокина къ этому прибавлено: «но такова чуда не видывалъ», [16]) т. е. камешка съ надписью. Далѣе встрѣчается разница въ порядкѣ надписей; въ пересказѣ амосовскомъ онъ совершенно тотъ-же, что и въ онежскомъ, а у Сорокина онъ нѣсколько измѣненъ и согласованъ съ самою послѣдовательностью поѣздокъ, совершаемыхъ Муромцемъ. Предпочитая дорожку, гдѣ убиту быть, Илья у Г. Амосова разсуждаетъ такъ:

Полно мнѣ ѣздить по святой Руси,
Убивать головушекъ безповинныихъ,
Слезить отцовъ матерей понапрасные.

Слова эти, напоминающія «добрынину жалобу», не совсѣмъ подходятъ къ оборонительному значенью богатырской дѣятельности Ильи и едва ли не составляютъ тутъ произвольную вставку [17]). Какъ бы то ни было, въ три часа Илья, по обоимъ пересказамъ, проѣзжаетъ триста верстъ и встрѣчается, какъ и въ онежскомъ, съ цѣлыми 40,000 разбойниковъ. Далѣе, въ описаніи Ильею своей круты нѣтъ уже тѣхъ намековъ на принадлежности каличьи, какіе замѣтили мы въ пересказѣ онежскомъ; только въ сорока-пудовомъ шелковомъ калпакѣ у Амосова еще слышенъ отзвукъ шелома-колокола, у Сорокина-же разбойники побиваются не головнымъ уборомъ Ильи, а желѣзною его палицей. Подновленіе подписей, не смотря на обычную наклонность Сорокина къ распространеніямъ, передается у него короче, чѣмъ у Амосова, въ пересказѣ котораго Муромецъ старую подпись подхеривалъ, а новую подписывалъ: «старая подпись была ложная, что съѣздить во дорожку—убиту быть: а съѣздилъ во дорожку, убитъ не бывалъ». А у Сорокина, какъ и въ пересказѣ онежскомъ, просто: «въ ту дорожку ѣздилъ—убитъ не былъ». Похожденіе съ королевичной въ обоихъ пересказахъ отличается отчетливостью и полнотой, живетъ она не то въ селѣ, не то въ городѣ (для села ея посельице велико, для города мало). Угощая Муромца, она предостерегаетъ его, чтобы не наѣдался до сыта, не напивался до пьяна, «было бы королевичной съ кѣмъ позабавиться». Но онъ, не имѣя въ виду послѣдняго, и наѣдался и напивался исправно. Пересказъ Амосова поясняетъ при этомъ, что *«на женскую прелесть онъ не укинулся»*. Когда королевна, послѣ угощенья, повела его на кроватъ

---

16) То-же и въ пересказѣ Поромскаго Старика (Р. Ш, № 13), который будетъ разсмотрѣнъ ниже, только тутъ это говоритъ самъ Илья.

17) Ср. выше стр. 482—483—о различіи въ нравственномъ складѣ мягкости и человѣчности у Ильи Муромца и у Добрыни Никитича.

слоновыхъ костей и стала предлагать ему лечь ко стѣночкѣ, онъ предоставилъ это ей самой, ссылаясь на то, что, послѣ ея обильнаго угощенья питьемъ, ему, по старческой немощи, придется частенько выходить, а потому и надо лечь съ краечка (опять указанье на преклонныя лѣта Ильи). Сказавъ это, бралъ онъ королевичну на руки и кидалъ на постель;—пріемъ, къ которому въ пересказѣ онежскомъ онъ прибѣгаетъ сейчасъ-же, и который по этому тамъ, при пропускѣ предварительныхъ объясненій, остается не совсѣмъ понятнымъ. Дальнѣйшимъ же разъясненіемъ служитъ какъ у Амосова, такъ и у Сорокина то, что кроватка оказывается ложною и подложною (волшебною): у королевичны былъ при этомъ такой разсчетъ, что угощенный ею непремѣнно уляжется первый и провалится; Илья же, постигшій ея злостный замыселъ, самъ ее сдѣлалъ жертвой ея же собственнаю волшебства и подлога. Казнь, постигающая чародѣйку въ нашихъ двухъ пересказахъ, нѣсколько уклоняется отъ онежскаго: это то привязыванье къ жеребцамъ и раздергиванье по полю, которое довольно обычно въ сказкахъ у разныхъ народовъ, попадается иной разъ и въ chansons de geste и существованье котораго въ дѣйствительности среднихъ вѣковъ засвидѣтельствовано у Я. Гримма въ его Rechtsalterthümer [18]). У Амосова Илья хотѣлъ-было предоставить расправу съ королевичной тѣмъ ея плѣнникамъ, которыхъ онъ выводитъ на волю, но они *отворачиваютъ* такое предложенье ему: что молъ, знаешь, то и дѣлай надъ ней. По совершеніи же Муромцемъ казни, у Амосова къ нему примѣняются извѣстныя слова изъ былинъ про Алешу: «только старый казакъ и женатъ бывалъ». Но если въ отношеньи къ Алешѣ слова эти выражаютъ насмѣшку надъ тѣмъ, что ему хотя и хотѣлось, да не удалось жениться, то въ отношеньи къ Ильѣ они скорѣе выражаютъ насмѣшку надъ подписью, которая предписывала старику женитьбу, а вышло иначе! Далѣе съ тою же подробностью, какъ и подновленіе первой подписи, передается у Амосова подновленье второй. Сорокинъ же вообще тутъ гораздо сжатѣе, но зато говоритъ о сожженьи Ильею самыхъ палатъ чародѣйки и о томъ, что все ея имѣнье-богатство роздалъ онъ томившимся у нея въ плѣну удалымъ добрымъ молодцамъ. Этимъ новымъ проявленьемъ своей безсребренности Илья, подновляя тутъ вторую подпись— о несбывшейся женитьбѣ, — какъ бы заранѣе представляетъ доказательства, что онъ непремѣнно подновитъ и третью, что не сбудется и «богатство», предназначенное ему, безсребреннику! Если оказалось, что вторая подпись— относится только къ тѣмъ, кто укидывается на прелесть, то далѣе должно оказаться, что и третья оказываетъ роковую власть лишь надъ тѣмъ, кто укидывается на золото. И вотъ въ самомъ дѣлѣ ѣдетъ нашъ, ни на что не укидывающійся Илья по третьей дорожкѣ и находитъ на ней, по пересказу амосовскому, новую подпись (но уже только одну, а не двѣ, какъ въ онежскомъ): «кто можетъ этотъ камень вывалить, подъ каменемъ лежитъ плита чугунная, а подъ плитой погребъ глубокій». Выкатываетъ онъ этотъ камень каблукомъ на три поприща и выпихиваетъ плиту чугунную. Въ погребѣ дѣйствительно оказывается много злата-серебра-жемчуга. Насыпаетъ Илья по

18) См. стр. 692 (по второму изданію).



мисѣ и того, и другого, и третьяго, но для того лишь, чтобы построить во Кіевѣ градѣ три церкви соборныя: Спасу милостивому, Николы Можайскому и Георгію Храброму.

Сравнительно съ пересказомъ онежскимъ, этотъ конецъ пересказа амосовскаго лучше, т. е. соотвѣтственнѣе съ основнымъ содержаньемъ былины. Въ онежскомъ Илья употребляетъ найденный имъ кладъ на церкви, вслѣдствіе новой подписи, имъ прочтенной на камнѣ. Такимъ образомъ только новая, *внѣшняя*, т. е. роковая-же сила отмѣняетъ тутъ приговоръ прежней внѣшней силы, назначавшей Ильѣ богатство, тогда какъ на первыхъ двухъ дорогахъ онъ самъ, своей собственной *внутренней* силою, отмѣнилъ приговоръ роковыхъ двухъ подписей. Пересказъ Амосова остается чуждъ такого противорѣчія, выставляя богатыря своею собственною волею употребляющимъ найденныя имъ богатства не на себя, а на церкви, но и онъ забываетъ о томъ, чего ожидаешь въ концѣ по примѣру двухъ первыхъ поѣздочекъ—о подновленіи третьей подписи. Но объ этомъ не забыто въ превосходномъ пересказѣ Сорокина, передающемъ заключительную часть былины такимъ образомъ:

Опять какъ выѣзжалъ на поля на чистыя...
Какъ тутъ копаны погреба все глубокіе,
Насыпаны всѣ краснаго золота,
Краснаго золота, чистаго серебра
И мелкаго скачнаго жемчуга.
«Куда мнѣ на старости съ имѣньицемъ?
Со многой несчетной золотой казной?“
Сталъ, да пораздумался;
Взялъ—какъ на это на имѣньицо...
Построилъ монастыри богомольные,
Построилъ церкви соборныя,
Повелъ тутъ пѣніе церковное,
Пѣніе церковное, звоны колокольные.
*Чье было имѣнье за того пускай идетъ!»*

Этимъ послѣднимъ стихомъ совершенно уничтожается всякій оттѣнокъ даже *вѣроисповѣднаго себялюбья*. Даже не за собственную свою душу строитъ тутъ эти церкви Илья, а за души другихъ, тѣхъ, кому принадлежали сокровища. И понятно послѣ этого то чувство окончательнаго довольства собою, своей независимостью отъ всякихъ соблазняющихъ предсказаній, съ какимъ онъ и тутъ поворотъ держалъ...

Опять пріѣзжалъ къ тому же камешку ко горючему,
Опять ту запись подправливалъ:
«Какъ въ тую дорожку ѣздилъ, *богатъ не былъ*».

Былина Сорокина такимъ образомъ оказывается выдержанною до конца, и совершенно уже излишними, по всей вѣроятности, только присочиненными являются въ ней еще стихи о томъ, какъ поѣхалъ Илья ко Владиміру и расказалъ ему про свои три дороженьки.

Возвращеніемъ въ Кіевъ оканчиваются и еще двѣ былины о трехъ поѣздочкахъ, составляющія въ другихъ отношеньяхъ особый, весьма уже искаженный изводъ: обѣ онѣ записаны опять въ томъ-же Пудожскомъ Уѣздѣ и обѣ въ одной и той же Колодозерской Волости—одна отъ 90 лѣтняго старика калики (Р. I, № 11), другая отъ Тр. Романова (Р. III, № 12). Обѣ уже были мною затронуты потому, что въ нихъ включено похожденье съ *латынскими голями*, происходящее тутъ на дорожкѣ, гдѣ убиту быть. Илья освобождаетъ на ней отъ разбойниковъ городъ латынскій и даже ѣдетъ по

этой дорогѣ, уже заранѣе зная, что на ней придется ему совершить подобный освободительный подвигъ. Въ этомъ отношеніи нравственный обликъ его только выигрываетъ въ колодозерскомъ изводѣ, и болѣе понятнымъ становится съ его стороны неумолимое истребленье ощепками дуба [19]) заразъ всѣхъ разбойниковъ, такъ какъ эти послѣдніе оказываютъ тутъ насиліе не ему, а цѣлому городу. Столько же соотвѣтствуетъ нравственному складу Ильи и то, что онъ, какъ мы уже знаемъ, не беретъ тутъ съ короля латынскаго золота, а требуетъ только угощенія голей. Но если такимъ образомъ уже на этой дорожкѣ онъ какъ бы заранѣе выказываетъ рѣшимость не быть богатымъ, то именно на той, гдѣ суждено стать такимъ, Илья, въ испорченномъ пересказѣ 90 лѣтняго старика, побивъ поганаго Чудища, беретъ у него золотой казны смѣты нѣтъ,—о построеніи же на эту казну церквей и монастырей—уже позабыто. Въ пересказѣ Тр. Романова мѣсто это находится въ меньшемъ противорѣчіи съ основнымъ содержаньемъ былины: за побіеніемъ Чудища тутъ не слѣдуетъ взиманья казны, а говорится о *приведеніи святорусской земли во вѣру крещеную*. Это, мнѣ кажется, только не совсѣмъ умѣстная замѣна того построенія церквей и монастырей, которое составляетъ такую осмысленную принадлежность извода онежско-пудожскаго. Само же по себѣ это *приведеніе въ вѣру* какъ бы замѣшалось изъ былинъ объ *Идолищѣ* поганомъ, съ которымъ, можетъ быть, тождественно поганое *Чудище*; но въ былинахъ объ Идолищѣ, какъ мы знаемъ, — не первоначальное приведеніе въ вѣру (нигдѣ болѣе въ былинахъ не упоминаемое, а потому и весьма подозрительное), а только возстановленье поруганной Поганымъ вѣры крещеной. — Во всякомъ случаѣ это приведеніе въ вѣру ни мало не соотвѣтствуетъ смыслу дорожки, на которой Илья, на зло подписи, не долженъ становиться богатымъ [20]);—что́ касается той дорожки, гдѣ женату быть, то объ ней говорится немного подробнѣе, чѣмъ въ пересказѣ онежскомъ, при чемъ замѣчательны слова королевичны: «у тя есть ли охота, *горитъ ли душа со* мной съ дѣвицей позабавиться». На предложеніе же ея ложиться, Илья, у котораго, стало быть, не загорѣлась душа, прехладнокровно ей говоритъ у Тр. Романова: «когда ложится мужикъ впередъ на кроватку тисовую?»— Казнь королевичны въ колодозерскомъ изводѣ не отличается такою изысканною жестокостью, какъ въ онежско-пудожскомъ: Илья просто ей рубитъ голову, выпуская *наобманыванныхъ* у нея царей изъ погреба [21]). Но какъ за этимъ погубленіемъ *суженой*, такъ и за *несбывшимся предсказаньемъ* другихъ дорожекъ не слѣдуетъ уже вовсе *подновленія подписей*, что̀ и составляетъ главную особенность извода колодозерскаго, а вмѣстѣ и главный признакъ его испорченности.

Во многихъ отношеніяхъ совершенно особнякомъ стоитъ и на этотъ разъ пересказъ почти постоянно своеобразнаго, какъ мы знаемъ, Поромскаго

---

[19]) Ср. выше стр. 288.

[20]) Дорожка эта у Романова становится, по порядку, второю, а у девяносто-лѣтняго старика она, какъ и въ другомъ изводѣ, послѣдняя.

[21]) У Романова погребъ глоть сорока саженъ. Особенность наряда Ильи составляетъ у него кожанъ во пятьсотъ рублей; а у 90 лѣтняго старика это просто кожа на плечахъ—въ туже цѣну.



Старика [22]). Впрочемъ, начинается онъ, какъ и изводъ онежско-пудожскій, ѣздою «отъ молодости и до старости [23]) (а въ колодозерскомъ изводѣ просто: ѣздилъ Илья по чисту полю). *Латынскою* называется тутъ уже та большая дорога, на которой и находитъ онъ камень съ подписью (этому, впрочемъ, нельзя придавать никакого значенія). Подписи придается еще особенно *вызывающее* значеніе тѣмъ, что въ ней прямо сказано: «*старому казаку Ильѣ Муромцу* три пути», и т. д. Стало быть, *именно ему*, а не кому бы то ни было, или женату, или богату, или убиту быть. Вотъ это-то обращеніе подписей собственно къ Муромцу и вызываетъ у него тутъ замѣчаніе: «сколько я по святой Руси не ѣзживалъ, а такого-то чуда я не видывалъ; — на что мнѣ старому богачество?» и т. д. И ѣдетъ онъ по дорогѣ, гдѣ убиту быть, вспоминая, надобно думать, тутъ-же про совершенно противный, къ нему именно относящійся приговоръ судьбы: «смерть ему на бою не написана». Нашъ пересказъ даже прямо приписываетъ Ильѣ воспоминаніе о такомъ приговорѣ — только въ другомъ мѣстѣ, при подновленіи второй подписи, на дорожкѣ, гдѣ женату быть; т. е. это воспоминанье Ильи поставлено нашимъ, хотя и превосходнымъ пѣвцомъ, не къ мѣсту. На первой же дорогѣ, побивъ всѣхъ разбойниковъ (тутъ ихъ всего *пятьсотъ*) [24]), Илья подновляетъ подпись слѣдующимъ образомъ: «*да и та была дорожка прочищена* (т. е. прочищена, надо думать, какъ и всѣ прежнія опаснѣйшія дорожки), отъ стольнаго отъ города отъ Кіева, отъ Кіева лежитъ ко Чернигову (надбавка, отзывающаяся, мнѣ кажется, былинами о первомъ подвигѣ Муромца — проложеньи дороги къ Кіеву мимо Чернигова) [25]). Увѣрившись, что и тутъ, какъ нигдѣ, не пришлось ему быть убиту, Муромецъ разсуждаетъ: «да еще было дорожки извѣдати, отчего будетъ женитися». — При этомъ *извѣдываніи* Илья наѣзжаетъ тутъ на цѣлую богатырскую крѣпость, въ которой стоитъ церковь соборная (рѣшительно тутъ неумѣстная, правду сказать). Отъ той ли обѣдни полуденныя идетъ двѣнадцать прекрасныхъ дѣвицъ, по среди-то ихъ идетъ королевична, приглашающая къ себѣ *дородняго добраго молодца*. Сходитъ *старикъ* со добра коня и ѣдетъ къ ней во теремъ: мосты подъ *старымъ* качаются, переводинки перегибаются. — Упомянутая рядомъ со *старостью* дородность *добраго молодца* указываетъ въ нашей былинѣ на какую-то постороннюю примѣсь: и дѣйствительно имѣются сказки, гдѣ подобная же встрѣча съ дѣвицами и королевичной приписываются дѣйствительно доброму *молодцу*, *молодому* Ивану. Но разрѣшается это похожденіе въ сказкахъ совершенно иначе — соотвѣтственно молодой, горячей крови Ивана. [26]) У Ильи же въ пересказѣ

---

[22]) Изъ того же Пудожскаго Уѣзда, съ Кенозера.

[23]) Сходно съ этимъ изводомъ у Паромскаго Старика и то, что конь у Ильи съ самоцвѣтнымъ каменьемъ, разбойники побиваются ш а п к о ю (передѣлавшеюся, повидимому, изъ того к а л п а к а, который въ свою очередь долженъ былъ передѣлаться изъ ш л я п ы - ш е л о м а - к о л о к о л а). Значитъ; и тутъ мелькаютъ подробности круты каличьей.

[24]) Замѣчательно тутъ выраженье Ильи при встрѣчѣ съ ними: «убить старика вамъ меня н е к о г о».

[25]) Камень, къ которому возвращается тутъ Илья, оказывается въ этомъ мѣстѣ камнемъ л а т ы р е м ъ (въ началѣ онъ только г о р ю ч ъ к а м е н ь). Думаю, что это не болѣе, какъ излишняя подробность замысловатая.

[26]) См. Аѳанасьева сказки, вып. 8, № 4, особливо же изъ помѣщенныхъ подъ этимъ № пересказъ 6 (Архангельской Губерніи). Но тутъ 12 дѣвицъ и въ числѣ ихъ царь-дѣвица попадаются Ивану на одной дорогѣ, а чародѣйка-королевична — на другой. Съ царь-дѣвицею, которую застаетъ онъ спящею, Иванъ въ это время «шутить не горазда» (ср. выше стр. 29 и 30), а отъ ча-

Поромскаго старика душа оказывается *не горящею позабавиться*. Самъ спрашивая тутъ у дѣвицы, гдѣ ея *ложни теплыя*, онъ ссылается при этомъ на то, что надо «на старость старику опочинуться.» Приведенный же въ ложню и взглянувъ на кроватку, онъ сейчасъ же угадываетъ ея волшебное свойство: «да я сколько по Святой Руси не ѣзживалъ, этакова я чуда вѣкъ не видывалъ: видно это кроватка подложная». Послѣ такихъ его словъ тутъ совершенно понятнымъ становится то, что онъ прямо подхватываетъ и кидаетъ королевичну на кровать, какъ и въ пересказѣ онежскомъ, гдѣ это кажется не совсѣмъ понятнымъ, потому что этому не предшествуютъ никакія объясненія со стороны Ильи. Цари-царевичи въ ея погребу (а также и цѣлыхъ сорокъ сильныхъ могучихъ богатырей) оказываются призасыпанными песками, призаваленными колодьями (какъ призасыпанъ и призаваленъ Егорій Храбрый у царя Кудріянища). Распихивая ногами колодья, и распорхивая руками пески, Илья выводитъ ихъ всѣхъ на волю

И самъ говоритъ таково слово:
«Вы подьте, цари, по своимъ землямъ,
А вы *короли*, по своимъ *ордамъ*,
А вы, богатыри, по своимъ мѣстамъ,
И молите вы Бога за Илью славнаго Муромца;
Кабы не старый казакъ Илья Муромецъ,—
Положить бы вамъ голова здѣсь у погреба.

А королевичнѣ-чародѣйкѣ онъ *разсѣкаетъ* (но уже безъ прибавленія: *на полы*) 27) ея тѣло женское—т. е. ему удается то, что̀ не удалось Святогору, отъ сильнѣйшаго (такъ какъ онъ старшій) удара котораго все же только остался на груди у дѣвицы рубецъ, заставляющій его впослѣдствіи признать въ ней неохотную суженую и сознаться, что суда Божьяго не объѣхати. Только Муромцу—въ удостовѣреніе, что онъ вполнѣ объѣхалъ этотъ Божій судъ (т. е. древній, подъ нимъ скрывающійся судъ судьбы), удается разметать куски королевичны сѣрымъ волкамъ на съѣденіе, чернымъ воронамъ на пограяніе, т. е. извести даже и всякій слѣдъ чародѣйки. «И та была дорожка прочищена, отъ стольнаго Кіева лежитъ ко Царю граду»—28) поднавливалъ онъ и вторую подпись (съ надбавкою ссылки на «ненаписанность ему смерти», какъ мы уже знаемъ.) «Да еще было дорожка извѣдати», рѣшаетъ послѣ того Илья, и находитъ на этой дорожкѣ пречудный крестъ (Леванидовъ?) 29) въ которомъ угадываетъ онъ вотъ что̀: «этотъ крестъ есть не простой, стоитъ на глубокомъ на погребѣ,—есть несмѣтное златосеребро.» Снимая руками крестъ съ погреба, онъ взимаетъ животъ—золоту казну и воздвигаетъ на нее соборную церковь въ Кіевѣ. Но подновленія

---

родѣйки отдѣлывается совершенно какъ Илья, между тѣмъ какъ двое старшихъ его братьевъ ложатся къ ней на кровать и проваливаются. Подписей на росстаняхъ въ этихъ сказкахъ всего двѣ: «вправо итти—попить да поѣсть, влѣво итти — головушку погубить». Далѣе по пересказу б) Ивану приписывается и разгулъ, самыми подробностями отчасти напоминающій разгулъ Ильи.

27) Между тѣмъ—на́ полы—должно было быть въ древнемъ видѣ былины, потому что въ основѣ должно скрываться и тутъ—разсѣченье миѳическое—разсѣченіе молніею громовника того облака, въ нѣдрахъ котораго скрыты свѣтила—царевичи.

28) Какой-то отзвукъ былинъ про Идолища и цареградскаго князя.

29) Не скрывается ли подъ этимъ крестомъ миѳическій крестъ, т. е. молотъ громоваго божества, пролагающій дорогу къ небесному кладу—солнцу? Не этотъ ли молотъ скрывается и вообще подъ крестомъ леванидовымъ—который могъ въ этомъ смыслѣ становиться на межахъ, подобно тому какъ у Германцевъ межевое значеніе имѣлъ молотъ. (Ср. Я. Гримма Grenzalterthümer —въ Kl. Schr. II, 43—57).





третьей подписи уже не оказывается, и пересказъ Поромскаго Старика въ этомъ отношеніи также точно не выдержанъ до конца, какъ и пересказъ онежскій.

Мы замѣтили, что способъ подновленья Ильею подписей у Поромскаго Старика — заключающееся въ немъ указанье на *прочищенье* дорожекъ, напоминаетъ былины про первую поѣздку Ильи Муромца въ Кіевъ, дѣйствительно соединяющуюся съ прочищеньемъ дороги. Упоминаемое же въ концѣ нѣкоторыхъ пересказовъ отправленье Ильи, послѣ трехъ поѣздочекъ, въ Кіевъ—*для* сообщенья о нихъ Владиміру, въ свою очередь могло повести къ тому, что «первая поѣздка въ Кіевъ» была — не то чтобы смѣшана, а сведена въ одно похожденье съ «тремя поѣздочками». Такъ оно въ пѣснѣ Повѣнецкаго Уѣзда, записанной г. Рыбниковымъ отъ Ѳ. Никитина и помѣщенной въ ч. IV подъ № 3: *Три поѣздки и борьба съ Соловьемъ разбойникомъ*. Изъ самаго заглавія видно, что тутъ «три поѣздки» предшествуютъ прочищенью дороги къ Кіеву, какъ *четвертой поѣздкѣ* Ильи. На многія позднія, частію книжныя и искусственныя подробности этой пѣсни я уже обратилъ вниманье въ моей замѣткѣ къ IV ч. Сборника г. Рыбникова [30]). Въ повѣнецкой былинѣ точно также утрачена основная мысль «трехъ поѣздочекъ», какъ и въ изводѣ колодозерскомъ, вслѣдствіе того, что подписи не подновляются, а просто говорится въ концѣ дорожекъ, что Илья *очистилъ* — первую, вторую, третью заставу. Далѣе оно получаетъ тутъ такой смыслъ, что это какъ бы послужило Ильѣ испытаніемъ силы: онъ выводитъ изъ своихъ трехъ удачъ, что должно же удаться ему послѣ этого и прочищенье дороги къ Кіеву: вотъ онъ и ѣдетъ туда и предупреждаетъ Владиміра: «я очищу дорожку прямоѣзжую отъ Кіева до Чернигова».

Такимъ образомъ выходитъ, что мѣсто «трехъ поѣздочекъ» въ пересказѣ Повѣнецкаго Уѣзда — между изцѣленіемъ Ильи отъ разслабленности и первымъ пріѣздомъ къ Владиміру. Но и тутъ, не смотря на вставку «поѣздочекъ» въ самую цвѣтущую пору Ильи, уцѣлѣли черты, прямо указывающія на то, что это именно только *вставка*, а на самомъ дѣлѣ поѣздочки принадлежатъ старости Муромца. Сказавъ о выѣздѣ изъ Мурома *удалаго добраго молодца* и о томъ, какъ онъ, *добрый молодецъ*, сталъ читать подпись, Никитинъ вслѣдъ за тѣмъ пропѣлъ: « стоитъ, *старенькой*, издивляется: «*сколько ль я въ чистомъ полѣ ходилъ*, а экова чуда не нахаживалъ»,—а между тѣмъ, если это первый его выѣздъ изъ Мурома, то онъ не могъ еще нисколько во полѣ ходить! Далѣе же Илья у Никитина еще прибавляетъ къ этому: «*прошла теперь вся моя молодость*» — и такія его слова уже окончательно увѣряютъ въ томъ, что передъ нами только *насильственный* сводъ двухъ похожденій, относящихся къ двумъ совершенно различнымъ порамъ [31]).

---

[30]) Стр. VI—IX. См. также выше стр. 316. Камень, на который наѣзжаетъ Илья, называется тутъ *серваюцъ* камень, что совершенно удовлетворительно разъяснено въ статьѣ Л. Н. Майкова о IV ч. Рыбн. сб., какъ *сѣръ валюцъ* (валючь) *камень* (а между тѣмъ кое кто, вѣроятно, уже пускался въ поиски по различнымъ нарѣчіямъ тюркскимъ—за первообразомъ этого слова. Королевична, по замѣчанію самого пѣвца, называлась Зеипрой прекрасной—слово столь же искусственное, книжное, какъ и рыцари у нея въ погребѣ.

[31]) Замѣчу, что въ числѣ богатырскихъ принадлежностей Ильи оказывается въ повѣнецкой былинѣ и каме-

Далѣе, заключая изъ своей совершенно прошедшей молодости, что жениться уже не слѣдъ, Илья направляется по дорожкѣ, гдѣ убиту быть, съ такимъ разсужденіемъ: «знаю я, добрый молодецъ, что на бою смерть *написана*». Относительно такой странности г. Рыбниковъ говоритъ въ своемъ примѣчаніи (стр. 25), что это или ошибка пѣвца, недослушавшаго, что *учитель* пѣлъ: *не писана*; или же — иронія. Если послѣднее, то это не лишено соотвѣтствія съ уже намъ знакомымъ ироническимъ обращеньемъ Ильи къ разбойникамъ. Въ похожденіи съ красавицей (она у Никитина *поленица*) особенно хорошо проведено противопоставленіе недогадливости всѣхъ ею *наобманыванныхъ* до пріѣзда Ильи — той богатырской догадливости Муромца, которая заставляетъ его сказать ей: «повались на кроваточку напередъ сама, а тамъ и я повалюсь добрый молодецъ» [32]). Казнь надъ дѣвицей у Ѳедора Никитина (какъ и у девяностолѣтнаго старика въ № 11-мъ 1-й части) состоитъ въ отрубленіи ей головы (что̀, конечно, позднѣе засвидѣтельствованнаго прочими пересказами *разсѣченія на куски* или раздергиванья конями); сверхъ же того онъ тутъ убиваетъ и *стражу великую*, охранявшую злато-серебро, которое оказывается принадлежавшимъ именно красавицѣ-поленицѣ. Замѣчательно наконецъ, что сверхъ употребленія этого злата-серебра на церкви Божіи, Илья раздаетъ его тутъ *по сиротамъ по бѣднымъ*. Это вполнѣ соотвѣтствуетъ многимъ случаямъ въ жизни богатыря, случаямъ уже хорошо намъ знакомымъ. Происходитъ же убіеніе стражи и раздача казны уже на третьей дорожкѣ, но силѣ впечатлѣнія мѣшаетъ то, что и тутъ, какъ и на прежнихъ дорожкахъ, нѣтъ главнаго: похвалебнаго подновленія подписи — что-де былъ тутъ, а богатымъ не захотѣлъ быть, — и не былъ.

Въ другой былинѣ Повѣнецкаго же уѣзда, также припутывающей къ тремъ поѣздочкамъ первую поѣздку въ Кіевъ, но не оконченной [33]), *перепрaвливанье* и *перенавливанье* подписи на первой, по крайней мѣрѣ, дорожкѣ есть, но только въ томъ, не вполнѣ соотвѣтственномъ сущности нашей былины, смыслѣ, какъ и у Поромскаго Старика: «та дорога есть очищена». На *богатой* дорогѣ встрѣчается тутъ Илья съ Соловьемъ разбойникомъ, и ему то должно было принадлежать тутъ богатство, не соблазнившее Муромца,—но этого конца похожденія уже не достаетъ въ былинѣ. Самая подпись относительно *богатой* дорожки отличается тутъ надбавкою: «богату быть, да *препятство есть*», что̀ совершенно противорѣчитъ основному смыслу былины о трехъ поѣздочкахъ, требующему, напротивъ того, чтобы для соблазненія Муромца не было препятствій къ разбогатѣнію: и ихъ дѣйствительно не ока-

---

шекъ самосвѣтъ, и «чеботки с е н и ш е л к о в ъ» (=лапоткамъ),и шеломъ сорока пудовъ (=колоколу)—т. е. тѣ принадлежности круты каличьей, которыя въ свою очередь указываютъ, какъ уже сказано выше, на ту позднюю пору Ильи, когда только и сталъ онъ окручиваться каликою. Число разбойниковъ въ повѣнецкомъ пересказѣ 40,000.

[32]) О томъ, какъ она поступала съ предшественниками Ильи, при помощи своей кроватки о м а н ч и в о й, говорится тутъ очень подробно (стихи 120—173). Въ погребу оказывается у нея н а к о п л е н о цѣлымъ триста недогадливыхъ и довѣрчивыхъ р ы ц а р е й и богатырей. Между ними и А л е ш а П о п о в и ч ъ и Н и к и т а Д о б р ы н и ч ъ, т. е., конечно, Добрыня Никитичъ, тоже такимъ образомъ уступающій въ догадливости своему большему братцу названому. Впрочемъ, что касается этой догадливости Ильи, то сама по себѣ, внѣ связи со всѣмъ остальнымъ, она не особенно важна, принадлежа очень многимъ лицамъ и въ сказкахъ—напримѣръ даже ребенку Ивасю въ его похожденіи съ дочерью вѣдьмы.

[33]) Рыбн. IV, № 4—отъ корельна Василья Лазарева.



зывается въ лучшихъ пересказахъ былины. Зато выборъ опасной, убитой дорожки объясняется въ повѣнецкомъ отрывкѣ прекрасно: «на что мнѣ-ка старому богату быть?... а поѣду я въ дорогу ту, гдѣ убиту быть: не много же мнѣ старому и надобно». Разбойниковъ оказывается всего сто тридцать пять: странное, неупотребительное число. Похожденья же съ королевичной-чародѣйкой не имѣется въ нашемъ отрывкѣ вовсе. Между тѣмъ именно это похожденіе составляетъ ту часть былины, которая встрѣчается въ болѣе или менѣе сходномъ видѣ и у другихъ народовъ.

Въ сборникѣ нѣмецкихъ пѣсенъ Миттлера помѣщены два пересказа пѣсни о королевѣ, зазывавшей къ себѣ проѣзжихъ юношей; насладившись съ ними любовью, она ставила ихъ на доску, которая подъ ними проваливалась [34]. Такимъ образомъ погубила она цѣлыхъ девять, но десятый съумѣлъ ея чарамъ противопоставить свои собственныя...

Der schaute in ihr Herze
Durch seine schwarze Kunst, [35])
Der liess sich nicht betrügen
Von der Königin Liebesbrunst.

«Neun Knaben seh ich schweben
Hier in der Kammer herum,
Dein Bett hier ist ein Schifflein,
Will mit mir schlagen um. [36])

Когда же она послѣ этого велѣла своимъ слугамъ бросить его связаннаго въ воду, то онъ перервалъ свои путы и выплылъ. Тогда королева обѣщала свою любовь тому изъ слугъ, чья стрѣла попадетъ ему въ сердце, онъ же превратилъ всѣ ихъ стрѣлы въ птицъ, и привязавъ къ ихъ клюву записки о подвигахъ королевы, далъ имъ летѣть во всѣ стороны, и онѣ такимъ образомъ всюду разнесли молву о злодѣйкѣ. Впрочемъ по одному изъ пересказовъ онъ подъ конецъ обращаетъ ее на путь истинный, въ этомъ отношеніи напоминая скорѣе нашего атамана каличьяго, чѣмъ Илью Муромца.

Уже г. Буслаевъ въ своей статьѣ о богатырскомъ русскомъ эпосѣ указалъ на другое сходство, назвавъ нашу королевичну-чародѣйку — русской *Цирцеею*. [37]) Но если внимательно просмотрѣть X-ю пѣсню «Одиссеи», то убѣдишься въ томъ, что настоящаго, внутренняго сходства съ нашей былиной тутъ даже менѣе, чѣмъ въ нѣмецкой пѣснѣ. Тамъ юноша, какъ сейчасъ мы видѣли, торжествуетъ надъ королевой при помощи *чаръ* — но, по крайней мѣрѣ, *своихъ собственныхъ*. Одиссею же оберегомъ отъ чародѣйки Цирцеи служитъ зелье, данное ему богомъ Эрміемъ. Только при помощи этого зелія избѣгаетъ онъ того обращенья въ свинью, какое постигло его злополучныхъ спутниковъ. Далѣе же онъ, по совѣту Эрмія, сперва напугавъ Цирцею обнаженьемъ меча, не только не отказывается отъ ложа волшебницы, но даже охотно его раздѣляетъ, взявъ съ нея предварительно клятву — отказаться отъ всякихъ козней.

---

[34]) Не трудно замѣтить, что эта сладострастно-жестокая королева отчасти напоминаетъ и Клеопатру (см. «Египетскія ночи» Пушкина).

[35]) Чернокнижіемъ, какъ извѣстно, стало называться, подъ вліяніемъ уже позднѣйшихъ церковныхъ понятій, всякое чародѣйство—хотя бы соединенное съ умысломъ не злобреднымъ.

[36]) Mittler, Deutsche Volkslieder, № 210, 211, (S. 184—189).

[37]) Русскій Вѣстникъ 1862 г. сент., стр. 30. При этомъ

Замѣчательно, что г. Стасовъ даже совершенно обошелъ былину о «трехъ поѣздочкахъ», (подобно тому какъ имъ оставлены въ сторонѣ и былины про Микулушку Селяниновича). Между тѣмъ, что касается похожденія съ королевичной, то кое что общее съ нимъ представляетъ легенда, заимствованная г. Стасовымъ изъ тибетской поэмы «Дзангдунъ», но сравниваемая у него съ былинами про другое лицо—Садку Новгородскаго. Тутъ королевичъ Гедонъ отправляется въ морское путешествіе, чтобы добыть себѣ возможность помогать бѣднымъ, съ дружиною изъ 500 купцовъ. Старый кормчій предупреждаетъ Гедона, что ему придется наѣхать на замокъ, выстроенный изъ семи драгоцѣнностей. «Стукни, говоритъ онъ, въ ворота алмазною колотушкою, и изъ замка выйдетъ 500 богинь, у одной же изъ нихъ въ рукахъ будетъ голубой камень — выполняющій всѣ желанія Чинтамани. Ты бери его и держи крѣпко, чтобы онъ не вырвался у тебя, но смотри: *владѣй всѣми своими чувствами, и не разговаривай съ ними* (т. е. дѣвицами)». Такъ царевичъ и сдѣлалъ: взялъ камень, завернулъ его въ полу кафтана и сейчасъ же вернулся назадъ.... [38]) Тутъ такимъ образомъ по крайней мѣрѣ оказывается *владѣнье всѣми своими чувствами*, до извѣстной степени соотвѣтственное «неукидыванью на женскую прелесть» нашего Муромца; кромѣ того и самая цѣль Гедона—помогать бѣднымъ—соотвѣтствуетъ раздачѣ Ильею найденныхъ имъ сокровищъ.

Чтобы восполнить пробѣлъ, оказывающійся, относительно занимающей насъ былины, у г. Стасова, постараюсь привести изъ восточныхъ сказаній все мнѣ извѣстное, хотя сколько нибудь подходящее—хотя бы къ той или другой изъ подробностей нашей былины. Что касается собственно раздачи сокровищъ бѣднымъ, то однажды и знаменитый Рустемъ, на радостяхъ отъ одержанной имъ побѣды, потѣшилъ такою щедростью свое богатырское сердце. [39]) Но кромѣ того въ Шахъ-Наме упоминается и о встрѣчѣ его съ очаровательной чародѣйкою въ Мазандеранской степи. Подавая ей чашу съ виномъ, онъ *призвалъ имя Божіе*, и черты ея отъ этого вдругъ измѣнились. Видя, что она вся почернѣла, Рустемъ накинулъ ей на шею петлю, и сказалъ: «явись въ своемъ настоящемъ видѣ!» Тогда она вдругъ обернулась дряхлой, безобразной старухой, а онъ взялъ да разсѣкъ ее мечомъ своимъ на полы. [40]) Нельзя не замѣтить также, что и въ индійской Магабгаратѣ встрѣчаются личности, выдерживающія искушеніе «женскою прелестью». Такъ уже Barthélemy St. Hilaire въ своихъ статьяхъ объ этой поэмѣ обратилъ

---

почтенный профессоръ видитъ въ ней только особый видъ той демонической женщины, съ которою имѣлъ связь Илья. Если онъ разумѣетъ тутъ задонскую королеву, мать Сокольника, то такое предположенье заслуживаетъ особеннаго вниманія. Въ такомъ случаѣ выходило бы, что изъ одной основы выработались два совершенно различныхъ сказанія: одно—древнѣйшее, о заугольной связи Ильи, съ этой полутемной женщиной, другое, позднѣйшее—гдѣ онъ уже не укидывается на ея прелести. А вотъ стихи Одиссеи о Цирцеѣ:

Острый свой мечъ обнаживъ, на нее устремись ты демедля,
Быстро, какъ будто ее умертвить пожелавши; въ испугѣ
Станетъ на ложе съ собою тебя призывать чародѣйка—
Ты не подумай отречься отъ ложа богини...
(Одиссея Жуковскаго—въ 8 ч. Полн. Собр. Соч., стр. 355).

[38]) Вѣстн. Евр. 1868 г., мартъ, стр. 296.

[39]) Mohl, livre des rois, II, 447. А одинъ изъ енциклопедическихъ витязей пренебрегаетъ добычей, довольствуясь одной славой воинскаго подвига (Uhland VI, 117).

[40]) Mohl, I, 522.

особенное вниманіе на неудавшееся искушенье Арджуны красавицею Урваси, которая, за его непреклонность, захотѣла лишить его навсегда его мужеской силы (но богъ Индра допустилъ такое его искалѣченіе всего на одинъ годъ). [41]) Что касается наконецъ тѣхъ тюркскихъ сказаній и пѣсень, которыя, по теоріи г. Стасова, служили посредствующими звеньями между Индіею и нами, то мнѣ пришлось только встрѣтить у г. Радлова въ одной пѣснѣ Сагайцевъ—хоть немножко напоминающую Илью *похвалебную подпись* девятилѣтняго богатыря —что, молъ, онъ вытащилъ изъ земли и перенесъ на другое мѣсто медный столбъ, никому до тѣхъ поръ не дававшійся. [42])

Вотъ и все—лишь отдѣльныя, разрозненныя черты, да и тѣ, какъ замѣтилъ, конечно, читатель, только съ помощію натяжекъ могутъ быть связаны съ нашей былиной. Но такъ какъ вообще натяжки не особенно затрудняли г. Стасова, то пропускъ имъ «трехъ поѣздочекъ» приходится, можетъ быть, объяснять тѣмъ, что онѣ показались ему не особенно важными, исходя на другія былины своими составными частями. Но дѣло не въ этихъ частяхъ, а въ той мысли, которая служитъ имъ связію, находясь въ то-же время въ тѣснѣйшей связи съ цѣлымъ эпосомъ объ Ильѣ Муромцѣ. Богатырь послѣ длиннаго ряда побѣдъ надо всякаго рода насильниками, издавна убѣдившись въ томъ, что смерть ему на бою не написана, отдавшись оборонѣ родной земли до того нераздѣльно, что некогда было и думать о жизни семейной, видавъ передъ собой на колѣняхъ и своего родного, и царьградскаго князя и не нажившись ни отъ одного изъ нихъ,—такой богатырь вдругъ видитъ себя на распутіи, предрекающемъ ему или смерть насильственную, или женитьбу, или разбогатѣніе. Положенье, повидимому, безвыходное—судьбина также точно поискала его, какъ когда-то, у него на глазахъ, Святогора богатыря! Не удалось миновать Святогору ни того *суда Божьяго*, который зовется *женитьбою*, ни того, что зовется *смертью*. [43]) Все, предпринятое имъ, какъ мы знаемъ, чтобъ спастись отъ того и другого суда, только сильнѣе содѣйствовало его совершенью. Но не то съ Ильей Муромцемъ. Благополучно совершаетъ онъ, одну за другой, поѣздки по всѣмъ тремъ дорожкамъ и остается по прежнему не убитымъ, не женатымъ и не богатымъ. Такимъ образомъ и послѣдній, самый опасный *нахвальщикъ*, Судьбина, не съумѣлъ одолѣть Ильи Муромца, и понятно послѣ этого то торжество, съ какимъ онъ *подновливаетъ* роковыя подписи, или, другими словами, отмѣняетъ ихъ роковую силу.

Невольно приходитъ на умъ то древнее свидѣтельство византійца Прокопія, на которое давно уже обратилъ вниманіе въ своей Славянской Миѳологіи Н. И. Костомаровъ: «Славяне судьбы не знаютъ.» [44]) Не получаемъ ли

---

41) Revue des deux mondes Nov. 1865, p. 684—685.

42) Radloff II, 243. Въ двухъ другихъ пѣсняхъ упоминается тутъ царь-дѣвица (Mädchenfürst, подходящая къ нашему соотвѣтственному сказочному, лицу, которое, какъ мы видѣли, отчасти напоминаетъ и былевую красавицу королевичну.

43) Суда Божія на добромъ конѣ не объѣхать (про женитьбу Святогора, Рыбн. III, 3): Бориса Вячеславлича слава на судъ приведе (къ этому мѣсту Слова о Полку Игоревѣ еще у Дубенскаго сказано: судомъ Божіимъ въ лѣтописяхъ называется смерть).

44) См. приложеніе къ древностямъ Шафарика, 2-е пражское изд., стр. 692. Г. Костомаровъ въ предисловіе приводитъ одну малороссійскую пѣсню, гдѣ казакъ жа-

мы право заключать изъ этого, что тогда уже Прокопіемъ подмѣчены были у Славянъ какія-нибудь преданія, свидѣтельствовавшія о силѣ человѣческой воли, преданія, въ которыхъ давался судьбѣ отпоръ, какъ дается онъ ей въ «трехъ поѣздочкахъ»? Думаю, что только въ этомъ смыслѣ и можно понимать Прокопія, такъ какъ вообще о судьбѣ Славяне, какъ и другіе народы, имѣли понятіе. Существовали у нихъ и преданія, свидѣтельствующія о силѣ судьбы, преданія, болѣе древнія, но отзвуками которыхъ до сихъ поръ еще служатъ и на Руси очень многія *сказки*. Эти послѣдніе и въ этомъ отношеніи, какъ въ другихъ, представляютъ болѣе сходства съ другими народами, чѣмъ наши былины. Въ ряду разнонародныхъ сказаній о судьбѣ характеръ этой послѣдней подвергается измѣненіямъ, соотвѣтствующимъ, надобно полагать, послѣдовательнымъ ступенямъ развитія. То судьба представляется по преимуществу обрекающею человѣка на гибель, даже насильно втягивающею его въ преступленія; [45]) являясь такимъ образомъ какою-то темною силой, она, повидимому, служитъ еще отголоскомъ тѣхъ отдаленныхъ временъ миеологіи, когда господствующими и вообще представлялись еще силы тьмы. Уже нѣсколько смягченнымъ оказывается характеръ судьбы въ тѣхъ сказаніяхъ, гдѣ она является просто своенравною, такъ сказать, *самодурною*, покровительствующею, ни съ того, ни съ сего, то тому, то другому, но все-таки уже *покровительствующею*, а не ведущею непремѣнно къ *гибели*. [46]) Наконецъ появляются и преданія, въ которыхъ судьба, промышляя уже исключительно о хорошихъ людяхъ, близко подходитъ къ тому, что въ христіанскія времена было названо *промысломъ*. Вотъ этимъ-то, очевидно позднѣйшимъ, разумнымъ характеромъ уже отличается и та судьбина, которая низводитъ у насъ въ могилу богатырей, готовыхъ смѣшать земныхъ съ небесными, богатырей старшихъ и обезпечиваетъ существованіе такого богатыря, который не хочетъ, чтобы его земля черезъ силу носила,—нашего славнаго Ильи Муромца. Но еще ступенью выше поднимается нашъ былевой эпосъ, выставляя Муромца торжествующимъ не только надъ вещественными опасностями въ силу «ненаписанности ему на бою смерти», но и надъ нравственными искушеніями въ силу своей свободной воли. Въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, былевой нашъ эпосъ стоитъ не одною ступенью выше той, какую до сихъ поръ еще занимаютъ наши сказки, въ которыхъ остаются какъ бы окаменѣвшими древнѣйшіе эпическіе слои.

Надо сознаться при этомъ, что хотя свидѣтельство Прокопія объ отсутствіи у Славянъ фатализма и должно было основываться на преданіяхъ Сла-

---

луется на свою долю, а доля ему въ отвѣтъ: «не я виновата, а воля.» (Слав. Миѳологія, стр. 69). А вотъ и изъ пословицъ—противоположенія доли и воли: во всемъ доля, да воли ни въ чемъ;—своя волюшка доводитъ до горькой долюшки (Даля Слов. 413) Также замѣч. чешскія: вшецко се лидим пршенуоже; муженн велика а темна вецъ; — кажъ мусилъ јест велики панъ;—также галицкая: коли ся не хоче, то гирше якъ коли ся не може (Челяковскаго, Мудросл. Сл. Нар. 379, 381)

45) Таково знаменитое греческое сказаніе объ Эдипѣ, подобное которому имѣется и у Сербовъ. Если бы г. Ламанскому окончательно удалось доказать его происхожденіе книжное (что пока еще не доказано открытою имъ болгарскою рукописью), то такая не самородность, а только заимствованность въ сербскомъ эпосѣ одного изъ самыхъ яркихъ сказаній фаталистическихъ, было бы въ своемъ родѣ знаменательно.

46) Такова она въ нашихъ сказахъ о вѣщемъ снѣ, о богатомъ и бѣдномъ и т. п.



вянъ южныхъ, мы замѣчаемъ теперь въ сербскомъ эпосѣ, въ судьбѣ его первенствующаго богатыря, Марка Кралевича, присутствіе своего рода фаталистическаго начала. Оно сказывается у Вука Караджича въ прекрасной пѣснѣ: Урош и Мрльавчевичи. [47]) Тутъ Марко, спрошенный о томъ, кому завѣщалъ царь Степанъ свое царство, не смотря на просьбы отца своего и двухъ дядей не указывать на сына Степанова Уроша, указываетъ именно на него, ставя правду выше родства и выше собственной выгоды. Благодарный Урошъ отплачиваетъ Марку пожеланіемъ-заговоромъ: «име ти се свуда споминьало, док je сунца и док je мjесеца». Но такому благопріятному заговору Вукашинъ, отецъ Марка, противопоставляетъ другой, зловредный: «и да би ти душа не испала, док турскога цара не дворио». И оба заговора сбываются надъ Маркомъ съ неотразимою силою. Имя его, по благословенію Уроша, осталось вѣчно памятнымъ въ вѣкахъ, но въ тоже самое время память Марка омрачена тою постоянною службою Туркамъ, въ какую онъ вовлеченъ заклятіемъ Вукашина.

Въ этомъ случаѣ, впрочемъ, Сербскій народъ, можетъ быть, только вновь ухватился за старый, въ нѣкоторыхъ древнѣйшихъ слояхъ эпическихъ еще державшійся фатализмъ, чтобы имъ объяснить себѣ оскорбительную для народнаго самолюбія историческую службу славнаго Марка ненавистнымъ Туркамъ. Злосчастное изнеможеніе Сербіи подъ турецкимъ игомъ могло такимъ образомъ снова выдвинуть впередъ фатализмъ, тогда какъ у насъ на Руси удачная расправа съ Татарами и со всякими другими, неменьшими испытаніями, должна была только яснѣе проводить въ нашемъ эпосѣ сознаніе силы человѣческой воли.

Странной *двоякости* доли сербскаго Марка соотвѣтствуетъ двоякость въ положеніи того самаго скандинавскаго богатыря Старкадра, о долговѣчномъ богатырствѣ котораго приведены мною выше глубоко-мысленныя слова Уланда. Какъ ни велика была слава Старкадра, она почти уравновѣшивалась безславіемъ нѣкоторыхъ его дѣлъ; и какъ эта слава, такъ и это безславіе въ сущности не принадлежали ему самому, а были насланы на него постороннею силою. Но разница съ сербскимъ эпосомъ—та, что тамъ эта посторонняя сила представляется силою *человѣческаго заклятія*, здѣсь же — это сила *сверхъ-человѣческая*, *божественная*. Все доброе въ Старкадрѣ принадлежитъ благословенію бога Одина, все дурное—проклятію бога Тора. Получивъ отъ Одина даръ долгой жизни, равняющейся тремъ вѣкамъ человѣческимъ, Старкадръ былъ долженъ, по предрѣшенію Тора, каждый изъ этихъ вѣковъ омрачить позорнымъ дѣяніемъ (totidem execrabilium operum auctor— по словамъ Саксона Грамматика). Послѣдними изъ такихъ дѣяній было измѣнническое убіеніе имъ короля Оло во время купанья и полученье за это обильной мзды [48]).

Но сила судьбы отразилась въ германскомъ эпосѣ не на одномъ Старкадрѣ. Извѣстно, что надъ міромъ боговъ миѳологіи сѣверной тяготѣетъ не-

47) Вука II, № 34 (стр. 189—198).

48) Uhland's Schriften, VII, 242—276.

неотразимое предназначенье ихъ всѣхъ на погибель. Извѣстно, что по такому же неотразимому предопредѣленію преждевременно гибнетъ Бальдуръ, любимѣйшій изъ боговъ. — Если же перейти изъ чисто-миѳической области въ богатырскую, то мы знаемъ уже изъ главы о германскомъ эпосѣ, что роковая, неотразимая сила не только губитъ, но и насильно вовлекаетъ въ преступленіе, соединяется съ обладаніемъ знаменитымъ сокровищемъ Нибелунговъ. Мы видѣли наконецъ, что Зигурдъ, увлекаемый рокомъ, невольно становится вѣроломнымъ относительно невольно позабываемой имъ Брюнгильды, какъ это заранѣе было ему предсказано ею самою въ силу принадлежащаго ей дара предвѣдѣнія [49]). Такъ оно, какъ мы можемъ припомнить, въ томъ изводѣ сказанія о Нибелунгахъ, который заключается въ Эддѣ. Что же касается нѣмецкой «Поэмы о Нибелунгахъ», то въ ней встрѣчается попытка одного изъ главнѣйшихъ лицъ помѣряться силами съ рокомъ — попытка, которая не безъ пользы можетъ быть *сопоставлена* (но не сравнена — сходства нѣтъ) съ положеніемъ нашего Муромца въ его «трехъ поѣздочкахъ». Я разумѣю попытку Гагена — этого человѣка съ желѣзною волею, какъ принято его понимать. Относится она къ тому времени, когда Гагенъ, вмѣстѣ съ другими вассалами Гунтера, сопровождаетъ его и двухъ его братьевъ въ ихъ путешествіи къ Этцелю [50]). Тяжелое предчувствіе давно уже томитъ всѣхъ. И вдругъ, при переправленіи черезъ рѣку, купающіяся въ ней вѣщія дѣвы возвѣщаютъ Гагену и его спутникамъ, что изъ нихъ никому уже не вернуться домой, кромѣ одного капеллана. Желая придать своимъ спутникамъ твердость, сразу имъ показавъ ничтожество предсказанія, Гагенъ, уже на серединѣ рѣки, ни за что, ни про что кидаетъ въ нее этого самаго, покровительствуемаго судьбой капеллана. Для такого поступка, съ другой стороны, нужно было уже намъ знакомое, чисто германское *развитіе личности*, развитіе своего *я* до того, что имъ загрогиваются права другихъ. Нашему Ильѣ Муромцу, какъ мы уже окончательно знаемъ теперь изъ обзора всей его жизни эпической, вовсе не свойственна такая безграничная сила, или, вѣрнѣе, разнузданность *личности*. Но посмотримъ съ другой стороны, свойственна ли, въ его очередь, Гагену та сила *другого рода*, какую мы только что видѣли въ нашемъ Ильѣ?—Къ чему приводитъ Гагена его попытка посчитаться съ судьбой? — Капелланъ, несмотря на величайшую степень опасности, преблагополучно, на глазахъ у Гагена, достигаетъ берега; — и видя, какъ тѣмъ лишь скорѣе сбылась одна половина предсказаннаго, Гагенъ заключаетъ изъ этого, что непремѣнно сбудется и другая. А что оно дѣйствительно вышло такъ, всѣмъ извѣстно [51]).

Мнѣ могутъ замѣтить, что только-что приведенный эпизодъ «Нибелунговъ», принадлежитъ къ числу заподозрѣнныхъ Лахманомъ. Но во первыхъ Лахманъ шелъ иногда слишкомъ далеко въ своемъ скептицизмѣ, критика его

---

[49]) См. выше стр. 128 Въ германскомъ эпосѣ фатализмъ выказывается едва ли слабѣе, чѣмъ въ древне-греческомъ или иранскомъ. (Ср. выше на стр. 5-й о фаталистическомъ началѣ въ Шахъ-Намѣ).

[50]) Ср. выше стр. 139.

[51]) См. выше стр. 141. Только что приведенное похожденіе Гагена находится въ двадцать-пятой авентюрѣ «Нибелунговъ».



далеко не всегда можетъ считаться непогрѣшимою; но положимъ, что въ настоящемъ случаѣ онъ и правъ. Что тутъ значило — заподозрить? Что заподозривалось? — *Исконность*, *древность*, *первоначальность* даннаго эпизода; онъ становился, въ силу подобнаго подозрѣнія, внесеннымъ въ поэму позже, — внесеннымъ какимъ нибудь поэтомъ XII—XIII ст. Но ежели такъ, то, стало быть, встрѣчающаяся въ немъ попытка представить Гагена считающимся съ судьбою принадлежитъ не первоначальному народному эпосу, а поэту позднѣйшаго времени; да и у такого поэта, какъ видѣли мы, она не удалась Гагену! Но если вдуматься, то увидимъ, что и у самого Шекспира не удалась бы ему такая попытка. Поэтъ тутъ во всякомъ случаѣ не создавалъ самъ, а только вырабатывалъ изъ готоваго эпическаго запаса. Но изъ какого же? Каковъ былъ характеръ тѣхъ преданій народныхъ, которыя обрабатывалъ онъ? Припомнимъ, отчего собственно, въ нѣмецкомъ изводѣ, гибнутъ владѣтели клада Нибелунговъ вмѣстѣ со своими вассалами? — Очевидно, отъ роковой готовности Гагена убить Сигфрида — въ угоду Брюнгильдѣ, изъ чувства вассальной вѣрности къ ней. А на чемъ основывалась эта пресловутая вѣрность, которою такъ восторгаются Нѣмцы, а когда-то восторгался и я [52]), — на чемъ, это мы уже знаемъ. Надо же было выслуживать замки и земли, достававшіеся изъ за подобной вѣрности [53]). На *выслуживаніи*, на *корысти* основывалось тутъ все, — на томъ, что *укидывались* на золото, какъ укидывался на него и у насъ Владиміръ князь, — но не Илья Муромецъ. *Страсть корысти* — вотъ что и зиждующуюся на ней вѣрность обратило у Гагена въ страсть, — а изъ нея-то и вытекла, черезъ цѣлый рядъ слѣдствій, та кровавая бойня, какою заключаются «Нибелунги.» — Въ *страсти* — вотъ въ чемъ *судьба* поэмы. Въ умѣніи не поддаваться *влеченію страсти*, этой *стихійной*, *неудержимо-влекущей силѣ* — вотъ въ чемъ возможность торжества надъ *подписями* нашего Ильи Муромца.

Но стоитъ ли придавать такое значеніе нашей былинѣ? Этотъ отпоръ фатализму, это превознесеніе силы свободной воли — развѣ не оказываются своего рода заблужденіемъ при новѣйшемъ ходѣ науки? — Дѣйствительно, именно при теперешнемъ ея положеніи, метафизическій вопросъ о возможности свободы воли получаетъ отвѣтъ отрицательный. Въ той длинной цѣпи причинъ и слѣдствій, какою представляется жизнь человѣка, каждый его поступокъ становится лишь неизбѣжнымъ выводомъ изъ цѣлаго ряда предшествовавшихъ явленій, — и уже рѣшительно не оказывается мѣста *для свободы* человѣческой воли! Такъ оно пока въ *наукѣ метафизической*. Но въ той, къ которой принадлежитъ и изученіе старины и народности, въ *наукѣ исторической*, занимающейся не разъясненіемъ послѣднихъ причинъ, а изложеніемъ явленій, какъ они есть съ ихъ послѣдствіями, вопросъ представляется съ другой стороны. Исторической наукѣ и дѣла нѣтъ до того, *какъ* объяснить *возможность* явленія; — ея дѣло лишь прослѣдить его связь съ другими явленіями. И вотъ и теперь, какъ всегда, она заявляетъ, что мало по малу, вслѣдствіе вѣкового умственнаго

---

52) См. въ моей книгѣ «о Нравственной Стихіи въ поэзіи» стр. 125.

53) Ср. выше стр. 143: an uns wil dienen Ruediger, sine bürge und siniu lant.

труда, въ человѣчествѣ вырабатывается воззрѣніе, противное фатализму, вырабатывается сознаніе такъ называемой свободы человѣческой воли; далѣе, что изъ такого сознанія, у народа, дошедшаго до него, вытекаетъ всегда приращенье его историческихъ силъ. Пусть самое это сознаніе—просто заблужденье, мечта; для исторіи важно вліяніе этой мечты, та сила, которая въ ней заключается!

Объ исторической важности понятія о силѣ воли еще недавно свидѣтельствовалъ современный физіологъ, хорошо знакомый, въ тоже самое время, и съ психологіею народовъ. Вотъ замѣчательныя слова Вундта: «понадобилась продолжительная работа мысли, прежде чѣмъ былъ окончательно побѣжденъ и оставленъ взглядъ, что судьба налагается на человѣка извнѣ. Первоначально народная вѣра приписываетъ силу, опредѣляющую судьбу, предметамъ непосредственно его окружающимъ. Негръ создаетъ себѣ домашняго бога изъ какого нибудь камня, растенія или даже ремесленнаго издѣлія и молится ему о благопріятномъ направленіи своей судьбы... Когда халдеецъ взиралъ на звѣзды, чтобы по положенію, занимаемому подвижными звѣздами между постоянными, заключать о своей судьбѣ, то это уже было шагомъ впередъ къ болѣе зрѣлому взгляду, ставящему судьбу человѣка въ зависимость отъ высшихъ божественныхъ силъ;—планеты вѣдь были его богами... Въ греческой древности мѣсто многочисленныхъ олицетвореній таинственныхъ силъ постепенно заступилъ отвлеченный fatum. Сперва поставленный надъ богами, впослѣдствіи онъ совпалъ съ высшимъ божествомъ. Но все еще судьба оставалась внѣшнею силою. Воззрѣніе, по которому человѣкъ самъ себѣ создаетъ судьбу, принадлежитъ уже новому свѣту. Это его величайшее пріобрѣтеніе». 54)

Но если Илья Муромецъ въ нашемъ эпосѣ дѣйствительно «самъ себѣ создаетъ судьбу», то въ этомъ отношеніи онъ отличается не только отъ сербскаго Марка и отъ нашихъ богатырей *старшихъ*, но и отъ представителей цѣлаго особаго круга въ нашемъ былевомъ эпосѣ, круга, носящаго на себѣ отпечатокъ уже *позднѣйшаго* строя жизни одной изъ нашихъ мѣстностей и стоящаго совершенно отдѣльно отъ кіевскаго былевого круга. Особеннаго вниманія при этомъ заслуживаетъ, что хотя былины о «новгородскихъ богатыряхъ» уцѣлѣли въ тѣхъ же самыхъ мѣстностяхъ, гдѣ и кіевскія, и хотя многія изъ нихъ записаны (г. Рыбниковымъ) даже отъ тѣхъ самыхъ лицъ, которыя сказываютъ и про богатырей кіевскихъ,—въ былинахъ новгородскихъ выражается совершенно особый складъ мысли и особый порядокъ вещей. Это всего лучше доказываетъ, какъ бережно сохраняется у хорошихъ пѣвцовъ *унаслѣдованное* содержаніе былинъ: два различныхъ эпическихъ круга, сходясь въ одной и той же *памяти*, не смѣшиваются въ ней, а продолжаютъ держаться порознь, со всѣми своими издавними существенными особенностями. Выше (стр. 608) намъ попался всего *одинъ* примѣръ сведенія съ глаза на глазъ одного изъ богатырей новгородскихъ, Василья Буслаева, съ нѣкото-

54) Wundt, Menchen und Thier-Seele, II, 273—274. Ср. въ моемъ Ист. Обозр. Р. Слов. въ прим. къ стр. 219.

рыми изъ богатырей кіевскихъ и съ заѣзжимъ Дюкомъ. Кромѣ же того въ сводной былинѣ падкаго на распространенья А. Сорокина встрѣчается опять таки *одиночный* примѣръ приписанья одному изъ богатырей кіевскихъ, и даже главному — Ильѣ Муромцу, такой черты, которая собственно принадлежитъ одному изъ богатырей новгородскихъ. Когда Владиміръ князь посылаетъ Добрыню Никитича унимать Илью Муромца во время стрѣлянія имъ по маковкамъ золоченымъ, тогда Добрыня, не рѣшаясь подойти къ Ильѣ спереду, подходитъ къ нему сзаду, захватываетъ за плеча за могучія и принимается уговаривать; Илья же ему замѣчаетъ: «ты тѣмъ счастливъ, что съ заду зашелъ! а ежели бы, Добрыня, съ переду зашелъ, столько бы съ тебя, Добрыня, пепелъ сталъ.» [55]) Въ ряду былинъ объ Ильѣ встрѣчаясь всего *одинъ разъ*, черта эта напротивъ оказывается во всѣхъ былинахъ про Василья Буслаева. Тамъ въ положеньи Добрыни находится мать Василья, которой онъ отвѣчаетъ, что ежели бы она не догадалась наложить на него руки сзади, то онъ бы ее убилъ замѣсто мужика новгородскаго. И тамъ это совершенно кстати, прямо вытекая изъ общаго склада былинъ про Василья Буслаева. Въ настоящемъ трудѣ я не могу подробно разобрать былины о Васькѣ и о другомъ богатырѣ новгородскомъ, Садкѣ, такъ какъ эта книга уже безъ того велика, а новгородскій эпическій кругъ можетъ стать предметомъ особеннаго труда. Укажу только на главнѣйшія *внутреннія* отличія новгородскаго круга отъ кіевскаго, при чемъ позволю себѣ дѣлать выписки изъ главы о народномъ эпосѣ въ моемъ «Историческомъ Обозрѣніи Русской Словесности».

Мать, которой наконецъ удается унять Василья, рѣшилась выйти къ нему послѣ того, какъ онъ уже положилъ на мѣстѣ взявшагося-было его уговаривать крестоваго батюшку—старчища пилигримища, силача, носившаго на головѣ колоколъ. Хотя старчище такимъ образомъ и не воспользовался тѣми дарами, какими надѣлили его старики новгородскіе за предпринятый имъ *уемъ* крестника, — обѣщанье васильевой матушки тѣми же стариками каждогодной дани соблазняетъ ее — [56]) и она такимъ образомъ рѣшается стать посредницею между этими стариками и новгородскимъ «Коріоланомъ». Поводомъ же къ посредничеству является то, что этотъ «Коріоланъ» вздумалъ со своею дружиной хороброй извести всѣхъ гражданъ новгородскихъ,— и плохо, дѣйствительно, пришлось Новгороду, когда такъ и сталъ валиться народъ отъ руки васильевой съ того волховскаго моста, на которомъ происходилъ бой.—Совершаетъ же Васька такіе, совсѣмъ ужь не земскіе подвиги послѣ многихъ другихъ. Издавна уже «со своей хороброй дружинушкой (привлеченной заманчивымъ приглашеніемъ: «кто хощетъ пить и ѣсть изъ го-

---

55) Рыбн. II, № 63 (стр. 337—338). Выше, на стр. 651, при передачѣ этого похожденія, черта эта была умышленно мною опущена.

56) Взглядъ ея на добычу выражается и въ ея указаніи Василью на примѣръ отца его, позаботившагося составить себѣ дружину, Сполнѣ соотвѣтственную той доходной дружинѣ княжеской, съ которою, по лѣтописному замѣчанью Владиміра, добывается серебро и золото): «не имѣлъ онъ ста рублей, а имѣлъ дружину хоробрую». Слѣдствіемъ же того, что Васенька въ самомъ дѣлѣ послѣдовалъ примѣру отца, было такое накопленье добычи, при которомъ мать, послѣ его смерти, могла сказать дружинѣ васильевой: «подите въ подвалы глубокіе, берите золотой казны не считаючи» (Кир. V, 21, 32, Рыбн. I, 356, II, 208, 207; ср. въ моей книгѣ о русской слов. стр. 369—370).

товаго, валися къ Васькѣ на широкой дворъ). [57]) Васенька занимался вотъ чѣмъ: «какой зайдетъ, убьютъ его, убьютъ, за ворота бросятъ».—Или онъ потѣшался тѣмъ, что сдѣлаетъ пиръ—будто бы для мужиковъ новгородскихъ, а на самомъ дѣлѣ угощаетъ свою дружинушку, гостей же Новгородцевъ заставляетъ только смотрѣть и, съ голоднымъ желудкомъ, высылаетъ ихъ «въ зашей да въ сутычь.» Когда же они, въ свою очередь сдѣлавъ пиръ, не зовутъ его, то онъ не только насильно врывается къ нимъ со своею дружиною, но и садится на мѣсто большее. Вотъ тутъ-то и бьется онъ объ закладъ побѣдить въ бою цѣлый Новгородъ. Но Васенька уже молоденькимъ мальчикомъ забавлялся тѣмъ, что ни за что, ни про что—«кого хватитъ за ногу, рветъ ногу изъ ходиловъ вонъ, кого хватитъ за головушку, головой вертитъ, какъ будто пуговицей,—рѣшительно напоминая тѣмъ дѣтство германскаго Сигфрида, или-кое какія дѣтскія же проказы героевъ скандинавскихъ загъ. [58])

«Въ Васенькѣ такимъ образомъ проявляется сила, не стѣсняющаяся ни чѣмъ и ни кѣмъ: это настоящая личная сила, существующая лично для себя самой и другихъ вокругъ себя собирающая на личную службу себѣ, во имя ихъ личной выгоды, и не только безъ всякой мысли о пользѣ общества, но даже прямо во вредъ ему, во вредъ новгородской общинѣ. Все это совершенно противоположно сдержанной, общинѣ посвященной силѣ Ильи Муромца, который обходится безъ пощады только съ погаными чудищами. Но Василій Буслаевъ противоположенъ и вообще богатырямъ кіевскимъ, и если вѣрно, что онъ отражаетъ въ себѣ историческую жизнь Новгорода, то эта послѣдняя никакъ не можетъ быть приводима къ одному историческому знаменателю съ Кіевомъ. [59])

«Не зная ни въ чемъ границъ, не останавливаясь ни передъ кѣмъ, что мудренаго ежели Васька не хочетъ остановиться и передъ какою нибудь надписью на загадочномъ камнѣ, надписью, гласящею, что кто захочетъ перескочить его поперегъ, тотъ себѣ сломитъ голову. Это только подзадориваетъ его—попытаться перескочить—на зло надписи; въ этомъ случаѣ онъ, по видимому, совершенно напоминаетъ Илью Муромца, также мѣрящагося

---

[57]) Ср. съ приглашеніемъ въ дружину Сида: quien quiere perder culta e venir a ritad, viniese a mio Cid que ha sabor de cavalgar (Poema del Cid, ст. 1198—1199). Испытаніе же Ваською силы и выносливости приходящихъ къ нему въ дружину напоминаетъ Гаральда Гильдетанда (Uhland, VII, 235).

[58]) P. E. Müller, Sagabibliothek, I, 64, 83. Ср. выше стр. 48 гдѣ говорится о подобныхъ же подвигахъ Уруслана Залазаревича.

[59]) Трудно понять, какъ могъ даровитѣйшій изъ нашихъ современныхъ историковъ, Н. И. Костомаровъ, указывая на различіе между новгородскимъ и кіевскимъ богатырствомъ, провести его такъ неточно—невѣрно, какъ это сдѣлано имъ въ слѣд. словахъ: «Для удальства новгородскаго нужно товарищество, а для удальства кіевскаго нуженъ приказъ.» (Костомарова объ Ист. Знач. Р. нар. поэзіи, 115). Впрочемъ, въ своей мастерской характеристикѣ Василья Буслаева и Н. И Костомаровъ не могъ не сознаться, что «новгородская свобода подорвала первобытное равенство отношеній (такъ заключаетъ онъ изъ того, что названые братья Василья являются уже его вассалами; что онъ надъ ними старшина, что въ лицѣ ихъ—древнее равенство ниспускается до кліенства). Далѣе указывая на то, что Василій, внося деньги въ братчину, за себя платитъ вдесятеро болѣе, чѣмъ за каждаго изъ товарищей, г. Костомаровъ замѣчаетъ: «здѣсь тоже видна потеря древняго равенства отношеній. Василій считаетъ себя въ десять разъ выше своихъ побратенниковъ» (Сѣверно русскія народоправства, II, 129, 132). Удивительно только, какъ многоуважаемый нашъ историкъ при всемъ томъ рѣшается утверждать, будто бы новгородскіе нравы сохраняли чистоту древнихъ славянскихъ началъ» (стр. 129). Нѣтъ, знаменитая боярско-ушкуйническая вольница новгородская, и «народъ вольно-кіевскій»,—это не все равно!

силами съ предназначеньемъ, съ судьбою. Но что дается Ильѣ, не дается Василью; долго онъ скачетъ благополучно, но подъ конецъ спотыкается и разшибается до смерти. [60])

Г. Костомаровъ, передавая состязанье съ судьбою Василья, замѣчаетъ при этомъ: «то и молодецъ, что ничему не покоряется, ничего не боится, вѣруетъ въ одну свою силу?·.. Новгородская душа не любитъ закона, связывающаго дѣятельность. [61]) А между тѣмъ эта, не любящая его душа должна сознаться, «что противъ судьбы устоять невозможно.» Но можно замѣтить, что кіевская душа—какъ мы видѣли на Ильѣ Муромцѣ—напротивъ любитъ законъ, тотъ законъ, который сама на себя налагаетъ,—а между тѣмъ это ни мало не связываетъ ея дѣятельности (связывая только такія привычки, какъ выламыванье ни за что, ни про что, рукъ и ногъ, — и что-же? именно кіевская душа, въ лицѣ Ильи Муромца, и умѣетъ вполнѣ устоять—даже противъ судьбы.

«Подобно Василью, безуспѣшно противодѣйствуетъ предназначенной гибели и другой удалецъ новгородскій, Садко-купецъ. Когда, для умилостивленья морского царя, рѣшаются бросить ему одного изъ мореходцевъ, — того, чей жребій пойдетъ ко дну, — Садко, желая себя отличить отъ простыхъ дружинниковъ (опять начало новгородское, а не кіевское), дѣлаетъ себѣ, не размысливъ, жеребей на красномъ золотѣ, и съ ужасомъ видитъ, какъ онъ начинаетъ тонуть, между тѣмъ какъ вольжаные жеребьи дружины всплываютъ. Тогда Садко разомъ рѣшаетъ, что жеребьи эти неправильны;— и понятно: для такой крупно-развившейся личности правильно только то, что ей выгодно и удобно. «Дѣлайте жеребья на красномъ на золотѣ; а я сдѣлаю жеребей вольжаный.» И дружина работныхъ, подначальныхъ людей сейчасъ же безпрекословно и повинуется; — не повинуется только та высшая сила, которою рѣшено, что именно Садку-то и пойти ко дну. Сдѣлавъ себѣ жеребей—даже изъ хмѣлева пера, онъ всетаки видитъ его утопающимъ. Тогда его законодательскимъ произволомъ мѣняется и еще разъ рѣшеніе: «чей жребій потонетъ, тому спастись.» И что же, сдѣлавъ себѣ жеребій изъ булата тяжелаго, онъ видитъ его всплывающимъ поверхъ воды. [62])

Изъ самаго этого образа дѣйствія Садка съ жеребьями видно, что онъ относится къ купеческой своей дружинѣ именно какъ къ *своей*, наемной, ***работной*** [63]) (хотя въ томъ, что и онъ всетаки подвергается жеребьеванію, замѣтенъ нѣкоторый отпечатокъ славянской общинности). Вотъ во главѣ такой-то торговой дружины, страшно разбогатѣвъ, Садко затѣвалъ-

---

[60]) Кир. V. 26. 30. 32 (А не вѣрую я Васенька ни въ сонъ ни въ чохъ») 42. Рыбн. I. 376.

[61]) Сѣвернорусскія Народоправства. II. 147.

[62]) Такимъ образомъ оба новгородскихъ богатыря оказываются слабѣе судьбы, рѣшительно походя въ этомъ случаѣ на варяга Олега Вѣщаго. Въ лѣтопись вошло преданье о смерти, заранѣе ему предназначенной отъ его любимаго коня, и сбывшейся въ точности, не смотря на его повелѣнье убить и закопать въ землю это роковое животное (П. С. Р. Л. I, стр. 16). То же преданіе можно найти и у другихъ народовъ при распространенности и вообще вѣры въ непреодолимость судьбы. Г. Сухомлиновъ приводитъ сходную сербскую сказку (см. статью его о Преданіяхъ въ древней Р. Лѣтописи—въ Основѣ 1862 г., стр. 70 и 71).

[63]) Уже выше говорено было о значеніи слова р а б о т н ы й (см. стр. 550 ). Въ сербскомъ житіи св. Симеона сказано: «л ю д и р а б о т ь н ы е свобождае»— въ смыслѣ: освобождая р а б о в ъ (Даничича Жив. св. Симеуна, стр. 28 и 29). А въ жит. Іосифа Волоколам. скаго: «иноку прилично р а б о т а т и, а не р а б ы и м ѣ т и (Житіе Іосифа, напис. неизвѣстнымъ стр. 30,аа).

было нѣсколько ранѣе въ своемъ родѣ *противуземскій* подвигъ, по основному побужденью напоминающій подвигъ Васьки. Какъ тотъ собирался истребить всѣхъ гражданъ новгородскихъ, чтобы за тѣмъ одному со своею дружиною зажить въ Новгородѣ, такъ Садко собирался скупить въ Новѣгородѣ всѣ товары, чтобы одному со своею дружиною властвовать надъ торговымъ городомъ,—только это удается ему всего въ одномъ пересказѣ, а по всѣмъ остальнымъ государь-Новгородъ оказался все же богаче Садка. Но во всякомъ случаѣ уже самое стремленье Садка къ такому крупному проявленію своей личности составляетъ яркую особенность новгородскаго эпоса, а изъ всего кіевскаго напоминаетъ развѣ одного — и то чужого, *заѣзжаго* Дюка Степановича, да и тотъ если и оказывается богаче Кіева, то все же не вступаетъ съ нимъ въ этомъ отношеніи въ состязанье. Стремленье Садка *перекупить* Новгородъ, какъ и стремленіе Васьки *перебить* его жителей скорѣе напоминаютъ то широкое развитіе такъ называемой личности, которое, какъ видѣли мы, составляетъ основное начало германскаго эпоса. Вслѣдствіе этого я уже въ книгѣ моей о русской словесности рѣшался намекать на то, что въ эпосѣ новгородскомъ не обошлось безъ вліянія германскаго, легко объясняемаго какъ древнимъ частнымъ приливомъ сосѣдней варяжской стихіи, такъ и позднѣйшими торговыми сношеніями Новгорода. Но какъ, при торговлѣ съ Западомъ, не прекращались и торговыя сношенія Новгорода съ Востокомъ, то, при заведшейся уже *чуждой* закваскѣ въ новгородскомъ эпосѣ, закваскѣ германской, къ нему, именно къ нему и могла съ большею легкостью приставать и всякая другая примѣсь, а понятнымъ образомъ и восточная. По крайней мѣрѣ изъ всѣхъ эпическихъ сопоставленій съ востокомъ, находящихся въ трудѣ г. Стасова, тѣ, которыя относятся къ новгородскимъ былинамъ (собственно про Садка,—Васька остался почти не затронутымъ), выдаются извѣстною степенью убѣдительности, и глава о Садкѣ остается въ трудѣ г. Стасова лучшею—послѣ начальной главы объ Урусланѣ Залазаревичѣ. [64]).

Мнѣ не пришлось такимъ образомъ, послѣ моего труда о русской словесности, измѣнить мой взглядъ на коренное отличіе новгородскихъ былинъ отъ кіевскихъ, и на присутствіе въ первыхъ чего-то, какъ будто чужого, всего болѣе напоминающаго, какъ мнѣ и теперь представляется, эпосъ германскій. Понятно, что сходясь съ нимъ въ развитіи *крупныхъ личностей*, эпосъ новгородскій сходится съ нимъ и въ *совершенномъ ничтожествѣ та-*

64) При всемъ томъ и въ главѣ о Садкѣ есть у г. Стасова яркіе признаки совершеннаго отсутствія метода. Такъ, напримѣръ, онъ, не шутя, увѣряетъ, что «музыка Садки въ подводномъ царствѣ—это проповѣдь правой вѣры буддійскимъ героемъ въ царствѣ змѣевъ, злыхъ духовъ» (стр. 239 март. кн. В. Е. 1868 г.) Между тѣмъ всякому мало мальски освоившемуся со сравнительнымъ изученьемъ народной словесности ясно, что въ нашей «музыкѣ Садка, отъ которой расплясался царь морской» народной памятью сохранена черта гораздо болѣе первобытная, чѣмъ книжно искусственное, проникнутое уже отвлеченнымъ началомъ, «проповѣдыванье буддизма духамъ», объясняемое только порчей того сказанія которымъ буддизмъ воспользовался. На страницѣ же 234 г. Стасовъ, опять не шутя увѣряетъ, будто «буря, крушеніе и гибель, испытанныя множествомъ людей оттого, что Садко играетъ у морского царя на гусляхъ—это передѣланный разсказъ о гибели змѣевъ оттого, что Утанка подулъ въ задъ мистическому коню и изъ него дохнуло пламя».— Наши пѣвцы, передѣлывали надо думать съ необыкновеннымъ искусствомъ, если изъ этого непоэтическаго индѣйскаго зада они съумѣли создать такую поэтическую картину какъ гибельная пляска Водяника отъ игры Садка, этого нашего русскаго видоизмѣненія того общеэпическаго типа, который у Грековъ выразился въ Орфеѣ (См. мою замѣтку о болгарской пѣснѣ про Орфеа въ авг. кн. Ж. М. Н. Пр. 1868 г.)



*кихъ личностей передъ судьбою.* Во всякомъ случаѣ рѣзко отличается какъ отъ новгородскихъ, такъ и отъ германскихъ поборниковъ своего милаго *я*— «поглощенная земщиной» личность нашего Илья Муромца, съ другой стороны зато неуступающаго своей свободы судьбинѣ. И, если вдуматься, это вполнѣ понятно. «Садко, Василій новгородскаго, Гагенъ и другіе германскаго эпоса, развивая себя, свое я, не знаютъ себѣ преграды ни въ комъ; но преграда оказывается — въ нихъ же самихъ, въ ихъ страсти, которая ихъ цѣликомъ охватываетъ и сѣдлаетъ, изъ подъ стихійной власти которой имъ — непривычнымъ и неумѣлымъ, никогда ужь не выйти на волю. Напротивъ въ способности Ильи Муромца не укинуться—на красоту ли, на золото ли, на власть ли, на какую бы то ни было *личную сласть*—все равно,— въ этой способности удержу, не подпаденія страсти—вотъ въ этомъ и вся разгадка его не подпаденья судьбѣ [65]). Существуетъ, впрочемъ, былина, въ которой нашъ Муромецъ, наряду съ другими богатырями, становится жертвою расходившейся страсти, а вмѣстѣ съ тѣмъ и жертвою какой-то роковой силы, которая всѣ усилія противъ нея и его, и другихъ обращаетъ въ орудіе исполненія своей воли (какъ оно въ сказаньи про женитьбу и смерть Святогора и въ столькихъ другихъ сказаньяхъ у разныхъ народовъ). Но уже покойный С. П. Шевыревъ замѣтилъ, что тутъ Илья Муромецъ *смѣшивается* съ другими богатырями и олицетворяетъ исключительно *тѣлесную* силу [66]). Одно разнорѣчіе этого сказанія, слышанное въ Сибири (со стихомъ уже разложившимся) Шевыревъ и привелъ въ своихъ лекціяхъ—со словъ студента Московскаго Университета, г. Никотина. Въ сущности тоже сказаніе, только съ большей подробностью, въ видѣ побывальщины, напечатано было покойнымъ Меемъ въ Сынѣ Отечества 1856 г. Выѣзжаютъ на Сафатъ рѣку *семь* русскихъ богатырей, въ томъ числѣ Алеша Поповичъ младъ, Добрыня молодецъ и матерой казакъ Илья Муромецъ, между Остальными. Годенкомъ Блудовичемъ, Васильемъ Казиміровичемъ и Иваномъ Гостинымъ, оказывается тутъ и *Василій Буслаевичъ.* Уже одно такое присутствіе тутъ и представителя новгородскаго круга свидѣтельствуетъ объ искусственномъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и позднемъ строѣ этой побывальщины. Далѣе у *дуба кряковястаго* [67]), сходятся тутъ три дорожки: первая къ Нову-городу, вторая къ Кіеву (вотъ *такого* сведенья дорогъ, соотвѣтственнаго сведенью богатырей — новгородскаго съ кіевскимъ, нигдѣ уже болѣе не встрѣчается); третья—къ синему морю,— та дорога прямоѣзжая залегла ровно тридцать лѣтъ и три года (примѣсь изъ былинъ про Соловья, съ небольшимъ увеличеніемъ срока). Разбивъ шатеръ во полѣ, богатыри опочивъ держатъ. На утро встаетъ раньше всѣхъ Добрыня и видитъ за Сафатъ-рѣкой въ шатрѣ татарченка, не пропускающаго ни коннаго, ни пѣшаго. Добрыня вызываетъ его въ честный бой, который оканчивается несчастливо для Никитича. Татаринъ поролъ ему бѣлы груди и вы-

65) См. въ моей книгѣ о Русской Словесности стр. 270—273.

66) Шевырева Лекціи о Русской Словесности I, 198.

67) Дубъ этотъ (дерево связанное съ громовникомъ) встрѣчается на распутіи и въ другихъ былинахъ. Не объясняется ли это словами Я. Гримма: «unter allen bäumen werden eiche, buche, tanne vorzugweise zur Grenze verwendet? При этомъ онъ приводитъ и изъ слав. памятниковъ dub meznyi и замѣчаетъ, что сербское граница=межа предѣлъ и дубъ. Kl. Schr. II.43.



нималъ сердце съ печенью. На другое утро вставалъ раньше всѣхъ Алеша и увидѣлъ коня добрынина не осѣдлана и невесела. «Знать тоскуетъ онъ по хозяинѣ, что по томъ ли Добрынѣ молодцѣ (слова эти, по замѣчанію изд. пѣсень Кирѣевскаго — позднѣйшей работы: такъ выражаться можетъ не былевая, а бытовая, женская (лирическая) пѣсня». Садился Алеша на добра коня, подъѣзжалъ ко бѣлу шатру,—видитъ: спитъ въ немъ Добрыня, а на бѣлыхъ грудяхъ запеклася кровь. Вызываетъ тутъ Алеша татарина въ бой, а тотъ ему отвѣчаетъ· «ваши роды не уклончивы, не устойчивы: что не стать тебѣ со мной бой держать». Если это относится тутъ не вообще къ богатырскому роду, а собственно къ роду Алеши — «дерзкаго, напористаго, но въ то же время нестойкаго», какъ выражаются издатели пѣсень Кирѣевскаго, то это вполнѣ подходило бы къ господствующимъ чертамъ нрава Алеши въ нашемъ эпосѣ. Но если издатели правы, что о Добрынѣ на оборотъ можно было сказать: онъ уклончивъ (по его пріемамъ, мягкимъ, уступчивымъ, вѣжливымъ), а между тѣмъ стоекъ — то это вовсе не оправдывается содержаніемъ именно этой побывальщины, въ которой положенье Никитича, сравнительно съ положеньемъ Алеши, отзывается чѣмъ-то произвольно сочиненнымъ, дѣланнымъ. Извѣстный былевой обидчикъ Добрыни (хотя и его названый братъ) становится тутъ его воскресителемъ: одолѣвъ Татарина и собираясь пороть ему груди, Алеша щадитъ его ради налетѣвшаго ворона, который за это приноситъ ему живой и мертвой воды [68]), возвращающей жизнь Добрынѣ Никитичу.

На слѣдующее утро вставалъ раньше всѣхъ Илья Муромецъ, выходилъ на Сафатъ рѣку: видитъ, переправляется черезъ нее сила басурманская. Созывалъ Илья могучихъ *витязей* (слово — въ былинахъ не употребительное), стали всѣ они силу колоть-рубить, конями топтать, и въ три часа три минуточки изрубили всю силу поганую. Вотъ и стали тутъ витязи похвалятися:

Не намахалися наши могутныя плечи,
Не уходилися наши добрые кони,
Не притупились мечи наши булатные!
И говоритъ Алеша Поповичъ младъ.
«Подавай намъ силу *нездѣшнюю*:
Мы и съ тою силою, витязи, справимся!

Ему, «напускомъ смѣлому» [69]), приличнѣе, чѣмъ другимъ, произнести такое *неразумное слово* (такъ выражается побывальщина). Вотъ и явились *двое воителей*... «Подобное слово, замѣчаютъ издатели, могло быть допущено въ былинѣ развѣ потому только, что она въ концѣ своемъ переходитъ уже къ *стиху*, которому нечужды бываютъ слова книжныя»... Слово это, дѣйствительно, столь же не обычно въ былинахъ, какъ и выраженіе: *сила нездѣшняя*... Вотъ и вызываютъ ея представители, двое воителей, захвастливыхъ витязей на бой съ собой: «не глядите, что насъ двое, а васъ семеро».— *Не узнали витязи воителей*, загадочно прибавляется далѣе. А Алеша только разгорѣлся на ихъ слова, взялъ—да и разрубилъ ихъ *по поламъ* (по древнему

---

[68]) Черта весьма обычная въ сказкахъ. Ср. также выше на стр. 363 о подобномъ же нацѣленьи Хотеномъ убитыхъ имъ шурьяковъ.

[69]) Какъ величается Алеша въ былинахъ.

былевому было бы—*на полы*): стало четверо — и живы всѣ. Налетѣлъ Добрыня, разрубилъ опять по поламъ—стало восьмеро, и живы всѣ. Налетѣлъ на нихъ и Илья Муромецъ, сталъ рубить и онъ по поламъ: стало вдвое болѣе и живы всѣ. Бросились на силу всѣ витязи, стали они силу колоть-рубить: а сила все растетъ да растетъ, все на витязей съ боемъ идетъ. Бились они такъ три дня, три часа, три минуточки, намахалися ихъ плечи могутныя, уходилися кони ихъ добрые, притупились мечи ихъ булатные, — а сила все растетъ да растетъ, все на витязей съ боемъ идетъ. Тутъ наконецъ испугались могучіе витязи, и побѣжали въ каменныя горы, въ темныя пещеры: какъ подбѣжитъ витязь къ горѣ, такъ и окаменѣетъ, какъ подбѣжитъ другой, такъ и окаменѣетъ; какъ подбѣжитъ третій, такъ и окаменѣетъ. Съ тѣхъ-то поръ и перевелись витязи на святой Руси.

Издатели сборника Кирѣевскаго замѣчаютъ, что къ самому концу, «былина явно разрушена въ стихѣ и складѣ, обращаясь въ сказочный говоръ: потому ея заключеніе, и выводы (по которымъ составлено и заглавіе, какъ говоритъ г. Мей, недостававшее въ пѣсни) могутъ не принадлежать древности и первобытному виду былины». Тѣмъ не менѣе заключеніе это прямо вытекаетъ изъ самаго хода побывальщины [70]), отличающейся вообще позднимъ складомъ, но (во второй своей половинѣ) въ своемъ родѣ цѣльной и стройной.

По моему мнѣнію, нельзя такимъ образомъ отозваться о побывальщинѣ, или, лучше сказать, отрывкѣ побывальщины, записанномъ г. Рыбниковымъ отъ Щеголенкова—пѣвца, какъ мы уже давно знаемъ, не отличающагося особенною крѣпостью эпической памяти. (Рыбн. ч. I, № 22). Начинается побывальщина эта съ того, какъ младаго Ермака одолѣвали Татаровья и Илья Муромецъ созвалъ на помоць ему могучихъ богатырей. ***И прирубили они всѣхъ Татаръ поганыхъ.*** Вотъ тутъ-то вдругъ зарывается похвальбой — уже не Алеша захвастливый и «напускомъ смѣлый», а самъ старый казакъ Илья Муромецъ: «если бы была вся сила *небесная*, прирубили бы и всю силу *небесную!*» (эта послѣдняя какъ бы пояснительно замѣняетъ *нездѣшнюю* другого пересказа). Разгорѣлись тутъ всѣ сердца богатырскія, разрубятъ *татарина* единаго, сдѣлается два *татарина*. — Но какъ же такъ, если Татары еще до похвальбы Ильи *всѣ прирублены*? [71]). Думаю, что Щеголенковъ просто забылъ про послѣдовавшее за похвальбой Ильи появленіе силы небесной, но, помня про *изрубленіе* и его послѣдствія, отнесъ это явленіе къ силѣ татарской. И вышло у него такъ, что умножилося *силы войска поганаго*... Рубилъ старый казакъ Илья Муромецъ эту силу поганую великую, и *пересѣлся* старый казакъ Илья Муромецъ (какъ въ другихъ былинахъ Ермакъ)[72]) и *за-*

---

70) Такъ ее слѣдовало бы называть

71) Или, можетъ быть, надо думать, что они оживаютъ тутъ, какъ въ скандинавскомъ сказаніи о Гильдурѣ, гдѣ эта вѣщая женщина нѣсколько дней сряду силою своихъ чаръ оживляетъ убитыхъ воиновъ по ночамъ окамонѣвающихъ. (Uhland, VII, 279).

72) Въ одной пѣснѣ Киялынцевъ такъ же точно истощаются силѣ Кулатая, который нѣсколько лѣтъ сряду рубитъ богатырей, но каждый изъ нихъ, не успѣетъ онъ обернуться, опять оживаетъ (Radloff, II, 684). Та-же эпическая основа и въ похожденьи Иракла съ Лернейской Гидрой: чуть онъ ей отрубитъ голову, какъ на мѣсто отрубленной выростаютъ двѣ новыхъ. (Preller, Griechische Mythologie, II, 133). А въ одной новогреческой сказкѣ изъ каждой капли крови демона, обернувшагося половиною человѣка, рождался новый, такой же половинный и это продолжалось до тѣхъ поръ, пока борющійся съ нимъ молодецъ не пересѣлся, подобно нашимъ богатырямъ. (Hahn Griechische, Märchen II, 274).

*каменьвши* конь его богатырскій на этоемъ полѣ на чистоемъ [73])... Этимъ побывальщина и оканчивается, такъ что жертвою похвальбы оказывается въ ней именно Муромецъ, который тутъ только одинъ и хвалится.

Полагаю послѣ всего этого, что едва ли вѣрно мнѣніе г. Буслаева, будто замѣна небесныхъ воителей Татарами объясняется тѣмъ, что *народъ* чувствовалъ неловкость, происходящую отъ обоюднаго смысла нездѣшней силы (т. е. отъ возможности понять ее въ христіанскомъ духовномъ смыслѣ). Но очень глубокомысленно сопоставленіе имъ Ильи, каменѣющаго вслѣдствіе похвальбы, со Святогоромъ, который, вознамѣрившись поднять тягу земную, угрязъ и уже встать не могъ; т. е., поясняетъ г. Буслаевъ, погрязшій по колѣна въ землю, Святогоръ на вѣки тамъ и остался, и торчитъ изъ земли, будто скала». Но надо вспомнить, что Святогора за похвальбу его попуталъ *Богъ*, а къ тождественному съ нимъ Самсону посланъ былъ для искушенія его силы *ангелъ отъ Господа*, являющійся съ тѣмъ же значеніемъ и въ соотвѣтственномъ болгарскомъ сказаніи про Марка Кралевича (см. выше стр. 213) Думаю послѣ этого, что именно *ангелами* должны быть признаны и тѣ *воители*, или та нездѣшняя (небесная) сила, которая *поискала* Илью и прочихъ младшихъ богатырей [74]). Если г. Буслаевъ и правъ, говоря, что «русскій миѳъ о превращеніи младшихъ богатырей въ камни или скалы, вѣроятно, первоначально относился къ великанамъ и богатырямъ породы старшей или титанической», а «впослѣдствіи, когда и младшіе богатыри стали для народа стариною незапамятною, то и на нихъ онъ могъ перенести этотъ миѳъ, какъ на существа необычайныя» [75]); — если все это и совершенно вѣрно, то вѣдь для такого окончательнаго *устарѣнія* даже и младшихъ богатырей, для сведенія даже и ихъ съ лица земли нуженъ уже рѣшительный перевѣсъ христіанскихъ, навѣянныхъ книжностію воззрѣній, осуждающихъ *всякое* богатырство, какъ избытокъ все-же *тѣлесныхъ* силъ. Богатыри младшіе—эта уже высшая, проникнутая разумностью степень богатырства—могли уступить дорогу только понимаемой въ христіанскомъ смыслѣ силѣ нездѣшней, небесной—но это могло сдѣлаться только весьма поздно, подъ сильнымъ вліяньемъ духовной письменности и при потерѣ свѣжести эпическаго сознанія, подъ условіемъ — именно перехода *былины* въ *духовный стихъ* (на что и намекнули издатели пѣсенъ Кирѣевскаго).

Вотъ почему, соглашаясь въ данномъ случаѣ скорѣе съ покойнымъ Шевыревымъ и съ г. Безсоновымъ, чѣмъ съ г. Буслаевымъ, я всего менѣе могу согласиться съ глубоко мною уважаемымъ собирателемъ олонецкихъ пѣсенъ и вообще знатокомъ народной словесности, П. Н. Рыбниковымъ. Въ своемъ письмѣ ко мнѣ, извлеченіе изъ котораго напечатано мною въ прил. къ IV ч. его

---

[73]) И войско въ выше указанномъ германскомъ сказаніи по ночамъ обращается въ камень (днемъ же опять оживаетъ). Множество примѣровъ окаменѣванія приводится у г. Аѳанасьева (Поэтич. Воззр. II, 676—677).

[74]) Въ сербской пѣснѣ «Урошъ Мрњавчевичи» (Вука II, № 34) Вукашинъ, думая поразить своего сына, поражаетъ божьяго ангела.—Нашъ многоуважаемый миѳологъ, г. Аѳанасьевъ, говоритъ прямо, что подъ воителями въ нашей побывальщинѣ разумѣются ангелы, которыми обыкновенно замѣняются языческіе духи до христіанской эпохи (свѣтлые альфы) (Поэтич. Воззр. II, 674).

[75]) Русскій Вѣстн. 1862 г. мартъ, стр. 49—52. Въ концѣ указывается тутъ на миѳическія катастрофы: гибель сѣверныхъ великановъ отъ молота бога Тора, и конечное истребленіе свѣтлыхъ божествъ сѣверной миѳологіи въ борьбѣ съ полчищами Суртура и чудовищнымъ огродьемъ злобнаго Локия.

сборника, онъ принимаетъ, что Илья, Ермакъ и ихъ побратимы (въ упомянутомъ отрывкѣ Щеголенкова) неудачно расправляются именно съ *Татарами*. «Бросьте, говоритъ онъ при этомъ, явно поддѣльную или по крайней мѣрѣ дурно переданную и поправленную меевскую редакцію о гибели богатырей. (Насколько она уклоняется отъ древняго былевого строя и какъ вообще *поздняя* — указано у меня выше). Замѣчая рѣзкое противорѣчіе гибели Ильи въ этомъ роковомъ бою съ «ненаписанностью ему на бою смерти», г. Рыбниковъ доходитъ тутъ до того, что какъ будто предполагаетъ возможность и ея для него *«написанности»*.— «Если, говоритъ онъ, скорбное выраженіе Ильи въ иныхъ былинахъ: на бою мнѣ смерть *на*писана (3-я б. IV ч. — и такъ собственно только *одна*), если это выраженіе можно *покамѣсть*[76]) признавать обмолвкою или ошибкою пѣвца, то поразительно мѣтко предчувствіе Ильи именно передъ боемъ со Збутомъ: «хоть на бою мнѣ смерть *не* писана (внутреннимъ сознаніемъ благородства и духовной силы)[77]), *переступитъ сила черезъ великъ законъ!* Сила олицетворилась на первый разъ въ Татарщинѣ»... Далѣе нашъ многоуважаемый собиратель разъясняетъ свою мысль такимъ образомъ: «Наши богатыри довольны мгновенной побѣдой и въ самодовольствѣ проговариваются: кабы здѣсь была сила небесная, прирубили бы и силу небесную. Народный смыслъ (о святотатствѣ внѣшнемъ тутъ нечего и думать[78]) придалъ ихъ наказанію за распущенность силы удивительно наглядный смыслъ. Въ борьбѣ, опредѣленной извѣстнымъ мигомъ времени, Ильѣ не писана смерть на бою; ино сдѣлайте борьбу непрерывной, не устоитъ никакая личная сила[79]). Изъ одного Татарина дѣлается два, изъ двухъ четыре; кочевники съ каждымъ пораженіемъ выдвигаютъ на Русь все сильнѣе массы, и сила переступила въ XIII столѣтіи черезъ великъ законъ». Нѣтъ, въ эпическомъ сознаньи народа она и тутъ не переступала черезъ него: мы видѣли, какъ Илья расправился и съ Батыгой, и съ Калиномъ, и съ Идолищемъ-Татариномъ, какъ на короткій лишь мигъ онъ попалъ въ подкопъ, но спасся изъ него, а не *пересѣлся*. Если нашему образованному собирателю пѣсень хотѣлось бы, чтобы богатыри «подумали и о томъ, откуда берутся кочевники, съ ихъ силой?» и чтобы они поучились у Юлія Цезаря in eorum fines bellum inferre,[80])то наши пѣвцы народные считаютъ чисто оборонительную боевую дѣятельность нашихъ богатырей совершенно достаточною, при этомъ приписывая имъ заботу о разнесеніи молвы, «что святая Русь не пуста стоитъ — много на ней сильно-могучихъ богатырей», а враговъ - Татаръ заставляя давать зарокъ: «ни самимъ, ни дѣтямъ, ни внучатамъ не бывать болѣе на святой Руси». Думать, что Илья съ побратимами пересѣлись отъ силы *татарской*—это значитъ вносить въ нашъ эпосъ народный искусственное про-

[76]) Курсивъ принадлежитъ мнѣ.

[77]) Едва ли только въ такомъ, философски-отвлеченномъ смыслѣ, но, по ясному свидѣтельству эпоса, въ смыслѣ яркого опредѣленія покровительственнаго богатырю промысла.

[78]) Однакоже святотатствомъ до извѣстной степени отзывается стрѣляніе по церковнымъ маковкамъ и выламываніе золотого креста—стало быть, и этотъ оттѣнокъ въ расходившейся силѣ мелькнулъ по нѣкоторымъ былинамъ про Муромца.

[79]) Да развѣ силу Ильи можно назвать личною, т. е обособленною силою? Если онъ борется часто одинъ, то въ общемъ богатырскомъ смыслѣ: силы его хватаетъ на побитіе цѣлыхъ полчищъ, и одинъ онъ замѣняетъ собою рать.

[80]) Вносить войну въ ихъ предѣлы.

тиворѣчіе съ *основнымъ его содержаніемъ* [81]). Ограничивать значеніе «ненаписанности Ильѣ на бою смерти» въ томъ смыслѣ, какъ дѣлаетъ это г. Рыбниковъ, это, — не во гнѣвъ будь сказано нашему многоуважаемому собирателю — значитъ произвольно вносить въ эпосъ народный свой собственный смыслъ. По крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока дѣйствительно не откроется рядъ былинъ про «*на*писанность Ильѣ на бою смерти», до тѣхъ поръ мы должны будемъ принимать ея «*не*написанность» въ смыслѣ широкомъ, неограниченномъ.—Если же побывальщина о гибели богатырей и съ ними вмѣстѣ Ильи противорѣчитъ такому смыслу, то единственно въ силу своего поздняго строя, переводящаго эту побывальщину въ *стихъ*.

Но нашъ эпосъ народный, въ другихъ, дошедшихъ до насъ обломкахъ, обломкахъ болѣе древней поры, остается совершенно вѣрнымъ основному, черезъ столько былинъ проводимому рѣшенію эпическаго промысла, что «Ильѣ не погибнуть въ бою». Тутъ Муромецъ умираетъ не боевою, а какъ бы естественною смертью — отъ старости лѣтъ. Не въ бою также умираетъ и сербскій Марко, проживъ цѣлыхъ триста лѣтъ. Вдругъ замѣчаетъ онъ, что вѣрный конь его Шарацъ, на которомъ онъ ѣздилъ сто шестьдесятъ лѣтъ, подъ нимъ спотыкается, и проливаются у кралевича богатырскія слезы отъ такого недобраго значенія [82]). Тутъ возговоритъ горная вила [83]):«Знаешь, отчего спотыкается Шарацъ? Скоро тебѣ съ нимъ разстаться, Марко» И далѣе она поясняетъ: «никто не въ состояніи отнять у тебя твоего Шарца,

*Не ти можеш умријети, Марко,*
*Од јунака ни од оштре сабље,*
Од топуза, ни од бојна копља,
Ти с'не бојиш на земљи јунака;
*Већ ћеш, болан, умријети, Марко,*
*Ја од Бога, од старог крвника.* [84])

Ясно, что и Марку, какъ нашему Муромцу, смерть на бою не написана, но ему приходится умереть отъ Бога, стараго губителя (понятіе, конечно, еще отзывающееся язычествомъ). [85]) Вотъ и посылаетъ горная вила Марка къ источнику: «погляди въ него и, увидавъ въ немъ свое лицо, узнаешь, когда тебѣ умереть.» Поглядѣлъ Марко въ источникъ на свое лицо и понялъ, что настаетъ часъ смертный. Самъ онъ отсѣкъ Шарцу голову, чтобы Шарацъ его не достался Туркамъ, самъ переломилъ свою острую саблю на четверо, чтобы и она не досталась Туркамъ, [86]) а свою тяжелую палицу бросилъ въ сине море, приговаривая: «когда снова выплыветъ эта палица, тогда только снова возникнетъ другой, мнѣ подобный дѣтина (дјетић).»—Вслѣдъ за тѣмъ достаетъ онъ изъ за пояса свою чернилицу и пишетъ средь чистаго поля свое завѣщаніе: «одинъ поясъ съ золотомъ на погребеніе тѣла, другой

---

[81]) Частныхъ противорѣчій въ народномъ эпосѣ множество, но подобное коренное едва ли мыслимо.

[82]) Спотыканье коня, какъ извѣстно, служитъ въ народныхъ повѣрьяхъ недобрымъ признакомъ. Такъ и въ лѣтописи конь у св. Глѣба, не задолго до его убіенія, «потчеся въ рвѣ и наломи ногу мало», хотя лѣтописецъ и не дѣлаетъ изъ того никакого заключенія (см. въ моей хрестом. стр. 238).

[83]) Миѳическое существо, отчасти сродное нашей русалкѣ и германской валькиріи. Одна вила была посестримою съ Маркомъ Кралевичемъ.

[84]) Вука II, стр. 440 (№ 74).

[85]) У Вука въ Словарѣ (стр. 300) крвникъ переводится: der Mordschuldige, occisor. Но г. Безсоновъ толкуетъ крвника, какъ отомщающаго за пролитую кровь (Обзоръ Сербск. и Болгарскаго эпоса, стр. 85).

[86]) Тоже дѣлаетъ и другой юнакъ у Вука II, стр.

в построенье церквей, третій слѣпцамъ и калѣкамъ (кльасту и слијепу),— пускай слѣпцы, ходя по свѣту, поютъ-вспоминаютъ про Марка.» Написавъ, положилъ онъ подъ дерево граматку,[87]) распростеръ по травѣ свою доламу зеленую, сѣлъ на нее, осѣнившись крестомъ, надвинулъ себѣ на глаза свою шапку соболью, потомъ легъ — и уже не вставалъ. Шелъ тутъ мимо Святогорскій игуменъ, думалъ сначала, что Марко спитъ и предостерегъ дьякона, чтобы онъ не будилъ его, потому что Марко съ просонковъ «зловольанъ», и можетъ ихъ погубить обоихъ. Замѣтивъ же граматку и прочитавъ ее, пролилъ слезы игуменъ Васо, отпоясалъ у Марка три завѣщанныхъ пояса, забралъ тѣло къ себѣ на коня, привезъ его къ Вилиндарской церкви и, честно отпѣвъ, схоронилъ въ ней. Но замѣчательно, что онъ не поставилъ надъ нимъ никакого памятника, *чтобы никто и не зналъ про гробъ Марка* и враги не могли ему мстить по смерти.

Есть одна пѣсня болгарская (уже мимоходомъ затронутая у меня выше), гдѣ неизвѣстность могилы Марка объясняется другимъ образомъ: это слѣдствіе заклятія, произнесеннаго надъ нимъ умирающимъ *дитей* Дукадинче, за то, что Марко его убилъ изъ ревности къ его юной, но уже громкой славѣ. Впрочемъ и отецъ говоритъ, проклиная Марка: «ти немао гроба». [88]) А у Петрановича (стр. 164): «ни се твоје гробле показало».

Впрочемъ неизвѣстность богатырской могилы составляетъ довольно распространенную эпическую черту, первоначально, по всей вѣроятности, и не нуждавшуюся въ особенныхъ объясненіяхъ. И про нашего Муромца въ сводной былинѣ Шенкурскаго Уѣзда сказано:

Илья-то тутъ и былъ и нѣтъ;
Нѣтъ ни вѣсти, ни повѣсти
Нынѣ и до вѣку (Кир. I, стр. 86).

Въ упомянутой сводной былинѣ слова эти приводятся совершенно не кстати —послѣ расправы Ильи у Владиміра за то, что его не учествовали (что происходитъ тутъ, какъ мы знаемъ, уже при первомъ пріѣздѣ его къ Владиміру). Но заключающійся въ этихъ словахъ намекъ на изчезновенье Ильи самъ по себѣ заслуживаетъ вниманія: хотя и не на мѣстѣ поставленный, онъ долженъ быть взятъ изъ подлиннаго эпическаго запаса.—Въ былевыхъ воспоминаніяхъ В. И. Даля встрѣчается и другое, болѣе полное преданіе объ изчезновеньи Ильи: «Илья на Соколѣ кораблѣ вмѣстѣ съ Добрынею поплылъ въ Океанъ-море, о которомъ до того и слыхомъ не слыхать было. Соколъ-корабль насилу ушелъ отъ сизаго орла: но вѣстей болѣе никакихъ. Куда онъ дѣвался, не говорится ни въ сказкахъ о немъ, ни въ пѣсняхъ.» [89]) Ѳ. Ив. Буслаевъ, приводя это преданіе въ своей прекрасной статьѣ о богатырскомъ эпосѣ, замѣчаетъ, что оно «возводитъ изчезновенье Ильи Муромца къ той исторической эпохѣ, когда покойниковъ спускали въ ладьѣ или кораблѣ на

---

505; но замѣчательно, что то-же самое дѣлаетъ и Роландъ передъ своею смертью на ронсевальскомъ полѣ.

87) Черникница, позидимому, осталась за Маркомъ отъ времени исправленія имъ письмоводительской должности при царѣ Степанѣ.

88) Миладиновыхъ Болг. пѣсни, стр. 176, Вукъ II, 397.

89) Кир. I, прилож. стр. XXXIV.



воду, какъ спустили трупъ короля Скильда, по разсказу въ англосаксонскомъ Беовульфѣ, и когда составились первые зародыши преданій о томъ, что герои по водѣ скрывались въ неизвѣстную страну иного, нездѣшняго міра.» [90]) Въ той же статьѣ, немного повыше (стр. 65), говорится и вообще о той таинственности, какою бываетъ окружена кончина эпическихъ лицъ. И про смерть Ильи Муромца, какъ про неясное, таинственное событіе, толкуютъ въ народѣ различно. «То Илья просто пропадаетъ безъ вѣсти, и, слѣдовательно, можетъ быть, когда нибудь возродится, какъ финская Калевала ждетъ возрожденія Вейнемейнена. То каменѣетъ вмѣстѣ съ другими богатырями, какъ древній титанъ».... [91]) Позволю себѣ замѣтить, что и окаменѣваніе, или, по крайней мѣрѣ, заключеніе въ каменныя горы не мѣшаетъ эпической вѣрѣ въ возвращенье такого богатыря. Такъ у эстонскаго сына Калевы ущимлена промежъ скалъ рука правая, и онъ въ такомъ положеніи остается какъ бы пригвожденнымъ къ скалѣ,—но придетъ пора, и онъ высвободитъ свою руку, и снова вернется къ своему народу, чтобы принести ему новые, лучшіе дни. [92]) Такъ и по средневѣковой баснѣ о «дивьихъ народахъ», заключенныхъ Александромъ Македонскимъ въ горы, которыя, «Богу повелѣвшю ступишася о нихъ»,—въ «послѣднія дни» они снова выйдутъ изъ своего заточенія чрезъ оставшееся промежъ горъ отверстіе. [93]) — Извѣстно, что и въ различныхъ мѣстахъ Германіи сказываютъ про горы, въ которыхъ сидятъ неподвижно—гдѣ Карлъ Великій, а гдѣ Барбаросса, сидятъ у стола, вокругъ котораго обросла вѣковая ихъ борода, но въ свое время имѣютъ выйти, и снова явиться людямъ. — У насъ же на Руси такимъ же точно образомъ заключеннымъ въ гору является Стенька Разинъ, и долго вѣрили у насъ по мѣстамъ, не то со страхомъ, не то съ надеждою, что придетъ пора, и онъ выйдетъ изъ своей горы сквозь остающуюся въ ней щель. [94])

Въ основѣ всѣхъ подобныхъ преданій, какъ давно уже указано г. Аѳанасьевымъ, заключается древній общенародный миѳъ объ *окаменѣніи на зимнее время*, тотъ самый миѳъ, который заключается, какъ объяснено выше, и въ *превращеніи въ камень* Потыка, снова потомъ изъ него живьемъ выходящаго, и въ сказочныхъ *окаменѣлыхъ царствахъ*, пробуждаемыхъ къ жизни Иваномъ Царевичемъ (кто бы ни разумѣлся подъ этимъ послѣднимъ—растапливающее солнце, или разбивающій громъ — съ мечомъ-молніей). Но позже рѣшительно повсемѣстно это миѳическое сказаніе, перенесенное на былевую почву, а мѣстами даже прямо пріуроченное къ личностямъ историческимъ, было перетолковано народомъ въ иномъ—только что указанномъ смыслѣ.

Но и про сербскаго Марка существуютъ преданія, отличныя отъ выше приведенной былины и прямо подходящія къ только что мною разобраннымъ.

---

90) Русскій Вѣстн. 1862 г. Сент. стр. 71. Даже полеть души усопшаго по воздуху въ облакахъ, говорится тутъ далѣе, также могъ облегчаться переѣздомъ на корабле, такъ какъ самыя облака, по древнѣйшимъ воззрѣніямъ,..суть корабли, плывущіе по воздушному океану.

91) То, прибавляется далѣе, какъ Святогоръ, ложится въ гробъ живой.

92) Kalewipoeg, verdeutscht v. Rheinthal und Bertram, 523.

93) Аѳанасьева, Поэтическія Воззр., II, 455, 675.

94) См. въ Нѣм. Миѳ. Я. Гримма начало главы XXXII, гдѣ, кромѣ Карла и Барбароссы сидящими въ горѣ представляются Видекиндъ, Сигфридъ и др. А о Стенькѣ

Досталось наконецъ Марку испытать свою богатырскую силу въ такой лютой битвѣ, что и конямъ, и людямъ приходилось плавать въ крови. Тутъ онъ воздѣлъ руки къ небу, возговоривъ: «Господи, что же мнѣ теперь дѣлать!» (што ћу ја сад), и Богъ, умилосердясь, перенесъ его и заключилъ вмѣстѣ съ Шарцемъ въ пещеру, въ которой они и остаются живыми. Воткнувъ свою саблю въ камень, Марко легъ и заснулъ, а Шарацъ ѣстъ по немногу мохъ, сабля же Марка мало по малу выходитъ изъ камня, и когда Шарацъ поѣстъ весь мохъ, а сабля совсѣмъ высвободится изъ камня, тогда проснется и Марко Кралевичъ, чтобы выѣхать снова на свѣтъ Божій.»—[95]) Точно также и про черногорца Ивана Черноевича сказывается, что онъ спитъ въ пещерѣ; сторожитъ его горная вила и разбудитъ тогда, какъ наступитъ время «да сједини опет са Црном гором равни Котор и сињe море.» [96])

При такой эпической распространенности *заключенія въ гору*, можно, кажется, предположить, что и въ нашей былинѣ про изчезновенье богатырей первоначально они не только подбѣгали къ каменнымъ горамъ и у нихъ окаменѣвали, но прямо *заключались* въ эти горы; — заключался въ такую гору-пещеру и самъ Илья Муромецъ, но съ послѣднимъ первоначально это происходило, вѣроятно, не на бою, (согласно съ ненаписанностью ему боевой смерти), а просто *на склонѣ дней*, какъ въ сербской былинѣ про Марка. И такой конецъ дѣйствительно приписывается Муромцу въ двухъ пересказахъ былины про его «три поѣздочки», происходящія, какъ мы уже знаемъ, подъ самую старость богатыря. [97]) По пересказу онежскому, когда состроилъ старъ церкву индѣйскую, да началъ строить церкву *пещерскую*, *тутова старъ и окаменѣлъ*. [98]) Приводя это мѣсто въ своей статьѣ о богатырскомъ эпосѣ, [99]) Ѳ. И. Буслаевъ вслѣдъ за тѣмъ критикуетъ слѣдующее, дѣйствительно нѣсколько затуманенное сужденіе о немъ г. Безсонова: «Илья сдвигаетъ громадный камень, сходитъ *въ глубь*, и здѣсь каменѣетъ, строя церковь въ пещерѣ. Онъ изчезаетъ изъ внѣшняго міра, но изчезаетъ съ тою особенностью народнаго воззрѣнія, которая дала ему мѣсто въ пещерахъ кіевскихъ и чтитъ въ нихъ его мощи. Изъ государства переходъ въ церкви, изъ богатырства выходъ къ святости.» Но напрасно г. Буслаевъ поспѣшилъ воспользоваться и этимъ случаемъ, чтобы высказаться противъ не совсѣмъ ему любезнаго славянофильства. Оказывается, что не въ одномъ «славянофильскомъ воображеніи произошло чудѣйственное претвореніе окаменѣлыхъ богатырей въ православныя реликвіи.»—«Почему было, спрашиваетъ почтенный профессоръ, не выразиться былинѣ яснѣе о мощахъ Муромца, если это хотѣла

см. Н. И. Костомарова. Бунтъ Стеньки Разина (въ Истор. Монограф. II, 279—280. Кромѣ Стеньки сходное расказываютъ про Пугачова, Ваньку Каина, и т. п. (Аѳан. П. Воззр. Слав. II, 452).

[95]) Вука Словарь, стр. 346. Другіе же говорятъ, будто Марко былъ убитъ золотою стрѣлою каравлашскаго воеводы Марчека, попавшею ему въ ротъ, во время битвы Турокъ съ Каравлахами, или же что конь его утонулъ въ болотѣ, близь Дуная, а вмѣстѣ съ нимъ изчезъ и Марко. Болото это показываютъ и до сихъ поръ близь Неготина, гдѣ стоитъ и церковь, будто бы выстроенная надъ тѣломъ Марка.

[96]) Г. Аѳанасьевъ приводитъ это преданіе изъ Архива за Повѣстницу Югославенску (Поэт. Воззр. II, 451).

[97]) Въ моемъ «Истор. Обозр. Р. Слов.» я еще не относилъ этого похожденія къ старости Муромца, но, вслѣдствіе дальнѣйшихъ моихъ изслѣдованій мнѣ пришлось убѣдиться, какъ и могъ уже видѣть читатель, что оно несомнѣнно относится къ ней, а не къ другой порѣ въ жизни Ильи.

[98]) Кир. 1, стр. 89.

[99]) Р. Вѣстн. 1862 г. Сент., 71, прим. 1.

она сказать?» — Но былина и выразилась объ этомъ съ совершенною ясностію — только въ другомъ пересказѣ, обнародованномъ послѣ статьи г. Буслаева.[100] Отъ Поромскаго Старика узнаемъ мы вотъ что̀ про послѣдствія употребленья Ильею найденнаго имъ живота-богачества:

И воздвигнулъ животъ во славный Кіевъ градъ  
И построилъ онъ церковь соборную.  
Тутъ Илья и окаменѣлъ,  
*И по нынѣ его мощи нетлѣнныя*

Но не надобно думать, чтобы причтенье къ святымъ постигло собственно нашего святорусскаго богатыря. Г. Буслаеву могло бы быть извѣстно, что, и ужь это, конечно, помимо всякихъ славянофильскихъ увлеченій, подобной чести дождались, напримѣръ, и Вильгельмъ Оранскій, и Рено, и самъ Карлъ Великій [101]).

Впрочемъ, что касается собственно нашего отечественнаго богатыря, то и самъ г. Буслаевъ, даже и до обнародованія поромскаго пересказа, въ той же самой своей статьѣ, только не много по выше (стр. 63), говоритъ слѣдующее: «въ довершеніе національнаго идеала не доставало ему (Ильѣ) только ореола святости: и русскій *народъ* [102]) признаетъ своего богатыря въ чудотворцѣ, котораго мощи почиваютъ въ кіевскихъ пещерахъ». На что же было пенять тутъ Славянофиловъ за взглядъ, котораго, какъ оказывается, мы и сами держимся?

Но не менѣе замѣчательно то, что вопросу о *народной святости* Ильи Муромца посвятилъ у насъ особенную статью тотъ самый ученый, который впослѣдствіи сталъ доказывать происхожденіе нашего богатыря съ Цейлона (или, можетъ быть, у насъ были, да только сплыли преданія о перенесеньи останковъ его съ этого индійскаго острова въ богоспасаемый городъ Кіевъ?) Во 2-мъ вып. III т. Извѣстій Археологическаго Общества помѣщена была статья г. Стасова о томъ гравированномъ образѣ Ильи Муромца, который печатался у насъ, между угодниками кіевопечерскими, въ XVII в. — съ надписью: «Преподобный Илья Муромскій, иже вселися въ пещеру прежде Антонія въ Кіевѣ, идѣ же нынѣ нетлѣненъ пребываетъ». (Къ статьѣ г. Стасова, какъ извѣстно, приложенъ и снимокъ съ этой гравюры). Приводя мнѣніе покойнаго Сахарова, что это не можетъ быть тотъ Илья, о которомъ поется въ былинахъ, г. Стасовъ объясняетъ подобное мнѣніе тогдашнимъ состояніемъ нашей науки, а самъ признаетъ, что народъ нашъ считаетъ за одно лицо съ отшельникомъ кіевскимъ своего первенствующаго богатыря. Въ подтвержденіе онъ даже прямо приводитъ въ своей статьѣ то мѣсто изъ онежской былины, гдѣ говорится объ окаменѣваніи Ильи вслѣдъ за построеніемъ церкви пещерской.

---

100) Впрочемъ уже въ онежскомъ пересказѣ замѣчательны намёкъ на окаменѣніемъ заключительныя слова: «да къ тому-то стиху и славы поютъ». Названіе пѣсни стихомъ уже само по себѣ указываетъ на заключающійся въ ней духовный, христіанскій смыслъ.

100) (Рыбн. III. стр. 58)

101) Guillaume d'Orange, ed Jonckbloet, II, ch. IX. Renaus de Montauban. ed Michelant, p. 497. Gaston, Paris, Histoire poét. de Charlemagne. p. 68, 427.

102) Курсивъ въ этомъ мѣстѣ принадлежитъ мнѣ.



Иначе, разумѣется, посмотрѣлъ на этотъ вопросъ въ своемъ большомъ трудѣ о Русскихъ Святыхъ покойный Филаретъ Черниговскій. Подъ 19 числомъ декабря у него значится: «Память о преподобномъ Ильѣ Муромцѣ. Преп. Илья, по мѣсту рожденія муромецъ, почиваетъ открыто въ Антоніевой пещерѣ. По словамъ Кальнофойскаго, онъ жилъ за 450 л. до его времени, и слѣд. около 1188 г. и по народному назывался Чеботокъ[104]).—Простодушный паломникъ въ 1701 г. писалъ: «видѣхомъ *храбраго воина* Илью Муромца, въ нетлѣніи, подъ покровомъ златымъ; *ростомъ яко нынѣшніе крупные люди*; рука у него лѣвая *пробита копіемъ*, язва вся знать; а правая его рука изображена крестнымъ знаменіемъ» [105]). «Мнѣніе, что преп. Илья есть одно лицо съ извѣстнымъ богатыремъ Ильею Муромцемъ встрѣчается и въ другихъ московскихъ памятникахъ, но за вѣрность его нѣтъ никакихъ ручательствъ».—Остается пожалѣть, что преосвященный Филаретъ не указалъ, въ какихъ именно другихъ московскихъ памятникахъ попадалось ему это мнѣніе. Что же касается *простодушнаго* паломника 1701, то засвидѣтельствованная имъ язва на рукѣ Ильи указываетъ, повидимому, на преданіе, слѣдовъ котораго не имѣется въ нашихъ былинахъ (какъ нѣтъ въ нихъ и никакого намека на причины прозванія его *Чеботкомъ*). Ростъ же Ильи — не выше теперешнихъ рослыхъ людей — совершенно соотвѣтствуетъ былинамъ объ Идолищѣ, гдѣ Поганый презрительно отзывается, между прочимъ, и объ обыкновенномъ ростѣ богатыря [106]). При разборѣ былинъ объ Идолищѣ я уже указалъ и на ту *просвиру*, которая служитъ мѣрой ѣды Ильи, какъ на что-то, отзывающееся *постомъ*, и такимъ образомъ приближающее Муромца ко значенію *преподобнаго* [107])».

Весьма любопытное свидѣтельство о могилѣ Ильи доставлено мнѣ проф. В. В. Бауеромъ, а имъ заимствовано изъ изданнаго въ Галле въ 1866 г, Tagebuch des Erich Lassota von Steblau, nach einer Handschrift der von Gersdorff-Weicha'schen Bibliothek zu Bautzen, herausgegeben von Reinhold Schottin, Dr. ph.—Самое путешествіе совершено было Лассотою (Славяниномъ по происхожденію) въ 1594 г. и важно для насъ во многихъ отношеніяхъ по живому и подробному описанію Кіева и его святыни. Сказавъ про могилы Ярослава Владиміровича и его супруги, видѣнныя имъ in einer Capel-

---

104) Книга Кальнофойскаго напечатана въ 1638 г. подъ заглавіемъ: Teratourgema, lubo cuda, ktore byly tak w samym swiete cudotwornym monastyru pieczarskim kyowskim, tako y w obudwu swietych pieczarach. См. въ ней стр. 16 и 70: S. rakonnik Ilija, tego darmo lud pospolity Czobotkiem zowie. Илья Муромецъ указывается въ числѣ угодниковъ кіевскихъ также въ Описаніи Кіево-Печ. Лавры, стр. 110 и въ Исторіи Русской Іерархіи, ч. I, стр. 313. Въ Кіевскомъ Полномъ Мѣсяцесловѣ также значится 19 Дек. «Преподобнаго отца нашего Иліи Муромца, Чудотворца Печерскаго, въ XII в. бывшаго.» (Ср. выше стр. 261 въ рукописномъ сказаніи, доставленномъ мнѣ г. Прыжовымъ).

105) Тутъ у пр. Филарета ссылка на Записки отца Леонтія въ Черниг. листкѣ 1862 г. № 4.

106) Однакоже Кальнофойскому приходилось еще оспаривать мнѣніе тѣхъ которые выставляли Илью dlugosci jako wtorego Polyphema, или же расказывали о немъ wielkimi instantiami o nieiakims obrzymie. Кальнофойскій даже измѣрялъ останки воображаемаго богатыря и нашелъ, что онъ longus pedes romanos sex et septimi pedis cwierci dwie et media, при чемъ онъ замѣчаетъ: ludzi wiele podobnich wrostem swietemu y teraz zyjacych nalazlem (стр 70). Это согласно и съ показаніемъ о. Леонтія.

107) На гравюрѣ изображенъ онъ пожилымъ отшельникомъ, обросшимъ волосами и едва прикрытымъ мантіею. Руки его распростерты. Гравюра не вошла въ печатное изданіе Патерика, какъ не вошло въ него и житіе Ильи. Его нѣтъ также и въ Ч. Минеѣ Димитрія Ростовскаго. Въ указателѣ къ Макарьевской Минеѣ также его не оказывается, какъ и во многихъ прологахъ, просмотрѣнныхъ мною въ Публ. Библ.



len въ прекрасной бѣлой гробницѣ, онъ продолжаетъ (стр. 203—204): «in einer andern Capellen an der Kirchen (Santae Sophiae) ausserhalb ist gewesen das Begrebniss des Elia Morowlin[108]) so ein führnehmer Heldt oder Bohatêr, wie sie es nennen, gewesen von dem man viel Fabeln sagt, dasselbe ist heutiges Tags zerstört, aber seines Gesellen ist noch ganz, auch in derselben Capellen». По мнѣнію г. Бауера Capelle должно означать *придѣлъ*, потому что гробница Ярослава и нынѣ еще находится въ придѣлѣ равноапостольнаго Владиміра. Слѣдовательно гробница Ильи находилась внѣ церкви (ausserhalb) около одного изъ придѣловъ. Но нашъ путешественникъ говоритъ, что она уже въ его время была разрушена; а существованіе ея и теперь — только въ пещерѣ Антоніевой, заставляетъ предполагать или перенесеніе на другое мѣсто останковъ того, кто почитался Муромцемъ, или перенесенье народомъ на другую гробницу того почитанія, которое воздавалось прежде разрушенной гробницѣ т. наз. Муромца. Когда именно и отчего она могла разрушиться, это остается у нашего путешественника столь же неяснымъ, какъ и то, какого это товарища нашего богатыря видѣлъ онъ гробницу еще нетронутою? Не Добрыни ли Никитича? изъ всѣхъ богатырей, какъ мы знаемъ, самаго близкаго къ Муромцу, а по нѣкоторымъ проблескамъ человѣчности (напримѣръ, его жалобѣ на богатырство) болѣе другихъ способнаго принять отъ народа, подобно Муромцу, ореолъ святости.

Во всякомъ случаѣ слова Лассоты важны, какъ прямое свидѣтельство, что въ Кіевѣ въ концѣ XVI в. указывалась близъ церкви гробница именно того славнаго богатыря, о которомъ такъ много *басенъ* (fabeln — т. е. въ смыслѣ *сказаній*), а также и какого-то изъ его сотоварищей.

Вѣнецъ святости, приписанный народомъ Ильѣ, долженъ находиться въ связи съ тѣмъ значеніемъ возстановителя у насъ вѣры крещеной, съ какимъ выступаетъ онъ въ былинахъ объ Идолищѣ. На него такимъ образомъ вполнѣ перенесено то, что собственно должно бы принадлежать Владиміру. Не князь стольно-кіевскій, *равноапостольный* по исторіи, является у насъ эпическимъ представителемъ святости, достойнымъ занять мѣсто на ряду съ эпическимъ королемъ Карломъ и баронами Рено и Вильгельмомъ, а все тотъ же, всячески прославляемый, нашъ крестьянскій сынъ Илья Муромецъ.

А вѣдь, если взглянуть на него, то любой изъ воинственныхъ представителей франкскаго эпоса представится, съ виду, болѣе христіаниномъ, чѣмъ онъ. Имя Христа, Богоматери и святыхъ почти не сходитъ у нихъ съ языка; они даже безпрерывно, кстати и не кстати, вспоминаютъ про крестныя страданья Спасителя, а иногда и про другія событія новозавѣтной исторіи). Нашъ же Илья, это правда, умѣетъ, какъ и всѣ остальные богатыри, класть крестъ по писаному, но затѣмъ онъ призываетъ Христа, Богородицу и апостоловъ только въ самыя рѣшительныя минуты своей богатырской жизни.

---

108) Форма Моровлинъ должна была произойти изъ Муровецъ — формы въ какой прозвище богатыря представляется въ выше приведенной выпискѣ г. Прямкова (извѣстна обычность перехода ц въ в.) Перемѣна же окончанія въ инъ указываетъ, м. б., на усилія привести къ этому обычному у насъ окончанію.



Эпосъ народный не приписываетъ ему и такого путешествія въ Св. Землю, какое приписалъ онъ Васькѣ Буслаеву, но приписалъ именно потому, что «съ молоду бито много, граблено, надо подъ старость душа спасти».—Илья же и церковь, какъ мы видѣли, строитъ не за собственную свою душу. И Владиміръ, чтобы заставить Илью ополчиться противъ Татаръ, считаетъ недостаточнымъ сослаться на церкви и монастыри, а долженъ сослаться на вдовъ и дѣтей. Послѣ всего этого въ извѣстномъ смыслѣ правъ г. Буслаевъ, утверждая, что если «въ эпическомъ типѣ Муромца много великихъ доблестей идеальнаго героя, то всѣ онѣ объясняются съ точки зрѣнія общихъ законовъ нравственности, а не нравственности собственно христіанской или православной»[109]). Но дѣло въ томъ, что нравственное именно въ общемъ, т. е. настоящемъ *человѣческомъ* смыслѣ —оно-то, можетъ быть, и оказывается дѣйствительно, т. е. внутренне-христіанскимъ....

Впрочемъ, святость, какою надѣлилъ народъ Илью Муромца, важна особенно въ томъ смыслѣ, что свидѣтельствуетъ о высокой степени уваженія, какимъ пользовался издавна его эпическій образъ. Быть надѣленнымъ наконецъ и святостью могъ лишь такой богатырь, который всегда былъ и важенъ, и дорогъ, и близокъ народу. Но ежели священные останки Ильи до сихъ поръ еще указываются въ Кіевѣ, средоточіи его богатырской службы, то и въ эпической его родинѣ, селѣ Карачаровѣ, до сихъ поръ еще, какъ мы уже знаемъ, указываютъ на часовню, выстроенную надъ ключомъ, пробитымъ копытомъ коня Ильи. Если же обратить вниманье на то, что часовня эта—во имя Ильи Пророка, замѣнившаго у многихъ народовъ Громовника, и что ключъ, пробитый копытомъ коня, составляетъ важную принадлежность миѳа о молненосномъ Громовникѣ,—то придется прійти къ тому заключенію, что Илья богатырь, чрезъ посредствующій образъ Ильи Пророка (яко бы его *ангела*), выработался изъ первоначальнаго миѳическаго образа бога Громовника[110]). Древній миѳическій богъ, перешедшій въ богатыря, продолжалъ и въ этомъ своемъ превращеніи пользоваться исконнымъ уваженіемъ. Вслѣдствіе наслоявшихся на него различныхъ, богатырски постановляемыхъ, нравственныхъ доблестей, издавнее уваженье не только не ослабѣвало, но усугублялось, — и выразилось наконецъ превращеньемъ Ильи въ угодника. Важно при этомъ уже самое *мѣстное* пріуроченіе, существующія и до сей поры указанія — въ мѣстѣ эпической смерти Ильи на могилу, въ эпическомъ мѣстѣ его сидѣнія—на чудесный начальный скачокъ богатырскаго коня муромцева. Стать съ такою опредѣленностью уроженцемъ Мурома, вѣрнымъ оборонителемъ Кіева и наконецъ угодникомъ кіевскимъ, никакъ не могло бы эпическое лицо, только мозаически склеенное изъ различныхъ чужихъ, заносныхъ сказаній.

---

[109]) Не говорю уже о стрѣляніи по церковнымъ маковкамъ за-[illegible] креста и вызовѣ силы небесной—поступкахъ, которые, по замѣчанію г. Буслаева, съ точки зрѣнія православной должны казаться святотатствомъ. Все это упоминается только въ пересказахъ, стоящихъ совершенно особнякомъ. (Въ одной сербской пѣснѣ—Вука II, № 37— Никола стрѣляетъ у Латиновъ через церковь, но и то проситъ прощенья у Бога и у самой церкви, поясняя ей: «не hy на те, него преко тебе.») См. Русскій Вѣстн. 1862 г. Сент. стр. 64.

[110]) Это [illegible], [illegible], ученымъ Мюлленгофомъ (Haupt's Zeitschrift, B. XII, S. 353).

# ЗАКЛЮЧЕНІЕ:

## Кіевскій богатырскій эпосъ, какъ своеобразное цѣлое образовательные задатки народнаго эпоса.

Wie viel auch des Gemeinsamen sich finden mag, mit nichten ist der Gang der Entwickelung überall der gleiche gewesen.

G. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, neue Ausgabe, 182.

Auf das vaterland sind wir von natur gewiesen, und nichts anderes vermögen wir mit unseren angeborenen gaben in solcher masse und so sicher begreifen zu lernen.

(J. Grimm, Widmung der D. Grammatik).

Пора оглянуться назадъ—на долгій, пройденный нами, неровный, и со столькими остановками сопряженный путь, чтобы отвѣтить на всѣ тѣ вопросы, которые были поставлены въ самомъ началѣ. Обращусь во первыхъ къ вопросу, вызванному сравненьемъ Ильи, опоясывающаго мечъ, съ эстонскимъ сыномъ Калевы, дѣлающимъ то-же самое, чтобы дать земледѣльцу на волѣ справлять работу крестьянскую. «Не та ли же самая оборона труда земледѣльческаго, спрашивалось въ концѣ 283 стр., заставила опоясаться мечомъ кладенцомъ и нашего Илью Муромца?»—Теперь уже прослѣжена отъ начала и до конца вся богатырская жизнь нашего Ильи Ивановича, карачаровскаго крестьянскаго сына, и мы могли убѣдиться, что ни стремленье къ добычѣ, ни стремленіе къ власти, ни даже стремленіе къ личной славѣ не руководитъ богатырствомъ Ильи. Въ послѣднемъ отношеніи онъ даже отличенъ отъ сербскаго Марка, который завѣщаетъ часть своего «блага» слѣпцамъ, чтобы они ходили по свѣту, пѣли и вспоминали Марка. — Ильѣ Муромцу, какъ мы знаемъ, и славы-то хочется лишь вообще про богатырей, и то для того лишь, чтобы такая общая слава о богатырствѣ удерживала насильниковъ отъ вторженія въ Землю Русскую. Такимъ образомъ и эта-то общая слава ему не *цѣль*, а лишь *средство*, какъ не *цѣль*, не *искусство ради искусства* для него *богатырство*—а опять таки только *средство*—для того же самаго недопущенья враговъ насиловать въ Землѣ Русской. Если же, по свидѣтельству Слова о Полку Игоревѣ, таково было положенье земли нашей, что рѣдко сталъ на ней слышаться голосъ пахаря, а часто каркали вороны, дѣля трупы,—

то понятно, почему выступившій на богатырство крестьянинъ не могъ уже болѣе разставаться съ мечомъ: отражались одни враги, но вслѣдъ за ними выступали постоянно другіе изъ тѣхъ неистребимыхъ *тльковинъ* (т. е. кочевниковъ), про которыхъ говоритъ Слово о Полку Игоревѣ. Тому земледѣльческому, смягченному быту Полянъ, о которомъ такъ сочувственно отзывался Несторъ, не было дано возможности развиться свободно и мирно, разнося свои смягчающія начала вокругъ. Смежно съ нимъ процвѣталъ еще въ полной мѣрѣ бытъ кочевой, постоянно поддерживаемый новыми свѣжими высылками изъ Азіи, не дававшими въ немъ угасать и тѣсно съ нимъ связанной страсти къ воинственному захвату. По неволѣ приходилось *кроткимъ* и *тихимъ* Полянамъ не только воздѣлывать поле, подобно Микулѣ, но и вѣчно въ немъ *полевать*, т. е. держать *поленицъ богатырей* на заставѣ. [1]) Если новгородскій Васька Буслаевъ говоритъ про свое хожденіе въ Іерусалимъ, что то «гулянье неохотное», то въ широкомъ смыслѣ такимъ же неохотнымъ, т. е. по неволѣ совершаемымъ постоянно стояньемъ-гуляньемъ было само по себѣ богатырство кіевское. Такое его значеніе видно и изъ *добрыниной жалобы*, и изъ обычнаго богатырскаго отвѣта на вызовъ княжескій, что ежели нѣтъ *охотниковъ*, то надобно быть *невольникомъ*. Если же Муромецъ никогда не жалуется и, такъ неустанно полюя самъ, потому что такъ часто ему *не къмъ замѣнитися*, ничего однакоже не ищетъ для себя самого,—то это остается объяснить только тѣмъ его взглядомъ, по которому грѣшно оставлять народъ на жертву Татаровьямъ, взглядомъ, на основаніи котораго *сила* налагаетъ обязанность на того, кто ею владѣетъ, обязанность оборонять вдовъ и сиротъ и ту кормилицу ихъ родную *мать землю*, которая любитъ Микулу-пахаря. Такое чисто оборонительное значеніе богатырства Ильи, кажется, даетъ вполнѣ право объяснить его переходъ отъ сохи къ мечу совершенно также, какъ объясняется такой переходъ у «сына Калевы.»

Въ томъ, что̀ теперь высказано, отчасти уже заключается и отвѣтъ на другой вопросъ, предложенный въ концѣ главы о германскомъ эпосѣ (стр. 163), разобранномъ у меня какъ цѣлое. «Можетъ-ли, сказано тамъ, оказаться хоть какая нибудь основная совокупность и цѣлостность и въ нашемъ народномъ эпосѣ, столь разрозненномъ, отрывочномъ, въ старые дни не записывавшемся?»—Но если оказалось возможнымъ, какъ оно только что мною сдѣлано, привести эпическія черты нашихъ богатырей, особливо же первенствующаго къ одному основному началу,—то въ эпосѣ нашемъ имѣется извѣстнаго рода цѣлостность. Между тѣмъ тотъ способъ изложенія, какому слѣдовалъ я, могъ скорѣе препятствовать, чѣмъ содѣйствовать цѣлостности впечатлѣнія. Всѣ былины были разсмотрѣны мною съ одинаковою подробностію, тогда какъ цѣлый рядъ ихъ, *былины о сватовствѣ*, очень слабо связаны съ сердцевиною нашего эпоса, и въ этомъ отношеніи выгоднѣе было бы, для стройности впечатлѣнія, устранить ихъ, или пройти покороче. Онѣ

[1]) О филол. связи поленицъ и Полянъ см. у Буслаева ОР. Вѣстн. 1862 г (Сент 81).—

остались почти не затронутыми тѣмъ эпическимъ ходомъ *объединительнаго подбора*, который совершался у насъ вокругъ *внутренняго средоточія* нашего эпоса, Ильи Муромца, и были только слегка притянуты къ *средоточію внѣшнему*—стольному Кіеву съ его княземъ Владиміромъ. Но самое это обстоятельство, какъ припомнитъ читатель, объяснено было тѣмъ, что упомянутый рядъ былинъ только отсталъ отъ другихъ въ эпическомъ ходѣ развитія, не проникся тѣмъ, соотвѣтственнымъ высшимъ ступенямъ быта, внутреннимъ содержаніемъ, какое и послужило объединеніемъ для остального запаса эпическаго. Далѣе, каждая былина разбиралась у меня по всѣмъ своимъ пересказамъ, и при томъ съ обращеньемъ вниманія и на самыя мельчайшія изъ подробностей. Это въ свою очередь должно было безпрерывно отводить читателя отъ основной нити, и, утомительно дѣйствуя на него, развлекать вниманіе. Но я считалъ нужнымъ вести его этимъ труднымъ путемъ, чтобы осязательно показать, до какихъ предѣловъ можетъ доходить *эпическая разноголосица*, и въ какой мѣрѣ, среди подобной разноголосицы, всетаки сохраняется нѣчто проходящее по множеству пересказовъ, неисказимое временемъ, единое и основное. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ каждомъ отдѣльномъ эпическомъ похожденіи я старался указывать на различные, заключающіеся въ немъ *слои*, а при такомъ *разлагающемъ* способѣ, труднѣе было слѣдить за нитью, связующею всѣ эти похожденія. Можно было употребить другой пріемъ: выдѣлить изъ всѣхъ вообще былинъ все, относящееся, напримѣръ, къ древнѣйшему слою миѳическому, въ одинъ отдѣлъ, все, относящееся къ бытовому слою временъ родовыхъ—въ другой и т. д.;—но тогда вѣдь было бы окончательно трудно избѣгнуть упрековъ въ *произвольности*, и безъ того неизбѣжно постигающихъ каждаго, занимающагося народною словесностью, при теперешнемъ положеніи этого предмета, съ тѣмъ, чтобы *приходить къ выводамъ*. Вотъ я и предпочелъ другой способъ — выставить каждую былину передъ читателемъ въ теперешнемъ сложномъ ея составѣ, съ тѣмъ, чтобы давать ему усматривать въ этомъ составѣ тѣ разновременныя части, которыя одна подлѣ другой, или даже одна подъ другой, въ немъ скрываются. Въ каждой былинѣ, въ основѣ каждой богатырской борьбы, пришлось усматривать первоначальную миѳическую борьбу, при чемъ ея различные виды эпическіе нерѣдко приходилось намъ приводить къ одному и тому же миѳическому знаменателю. Уцѣлѣвшими отъ поры миѳической пришлось признавать нѣкоторыя черты богатырскаго образа, — напримѣръ богатство Ильи, столь противорѣчивое его позднѣйшей человѣчной безсребренности; нѣкоторыя проявленія въ немъ жестокости, не подходящія къ его мягкимъ человѣчнымъ чертамъ, и т. п. Въ нѣкоторыхъ былинахъ миѳическая подкладка оказалась сохранившеюся яснѣе, въ другихъ напротивъ того почти совсѣмъ заслоненною позднѣйшими бытовыми и историческими, часто охристіанствованными чертами. Въ этомъ отношеніи особенно ярко выдается послѣдняя половина эпической жизни Ильи—начиная съ первыхъ признаковъ его разлада съ Владиміромъ: тутъ и самыя *вспышки* жестокости въ Муромцѣ приходилось намъ объяснять позднѣйшею, исторически вынужденною ожесточенностью народа.—Въ нѣкоторыхъ былинахъ еще довольно ярко сохра-

нились слѣды древнѣйшаго родового строя—съ его самодурствомъ родительской власти, необузданностью домашняго самосуда, насильственнымъ умыкиваньемъ невѣстъ. (такъ оскорблявшимъ Нестора въ «звѣринскомъ» быту Древлянъ) и т. п., но это преимущественно въ томъ именно рядѣ былинъ, который менѣе тѣсно связанъ съ сердцевиною эпоса и въ которомъ по этому не является Илья Муромецъ. Тамъ, гдѣ напротивъ того является онъ, поверхъ нѣкоторыхъ, уцѣлѣвшихъ слѣдовъ то миѳической, а то и бытовой грубости, лежитъ уже отпечатокъ иной, болѣе разумной и человѣчной поры. Объ относящихся къ ней отношеньяхъ семейныхъ по самому Муромцу мы судить не можемъ, такъ какъ жизнь его, послѣ полученія имъ благословенія у отца, вся проходитъ внѣ дома—на службѣ общественной. Связь его съ матерью Сокольника стоитъ въ сторонѣ и въ какомъ-то миѳическомъ полусвѣтѣ, прикрываемомъ позднѣйшимъ бытовымъ значеніемъ *заугольничества*: приписываемая же ему однòю былиною законная жена Савишна—повидимому, только передѣлалась изъ Василисы, жены Ставра-Данилы. Зато высокая вѣрность этой послѣдней своему мужу — вѣрность до гроба, такъ прекрасно угадываемая Ильей, въ его замѣчаньи объ ней Владиміру, указываетъ на водворившееся уже начало *свободной любви* въ семьѣ, начало, какимъ отзывается многое и въ обрисовкѣ отношеній къ своей женѣ Добрыни Никитича (хотя нѣкоторыя черты и тутъ, какъ въ былинахъ про Василису съ Данилой, отзываются еще патріархально семейною грубостью). Съ другой стороны заклейменность Алеши Поповича прозвищемъ *бабьяго пересмѣшника*, готовность Муромца съ нимъ перевѣдаться за честь преслѣдуемой имъ дѣвицы, какъ и негодованье, вызываемое въ Ильѣ, противуестественнымъ безобразіемъ въ семьѣ Соловья разбойника—въ свою очередь отзывается тою ступенію быта, которую, въ противоположность Древлянамъ, такъ хвалилъ лѣтописецъ Несторъ: «Поляне бо отець своихъ имуть обычай кротокъ и тихъ... брачный обычай имаху»...

Но ежели жизнь самого Ильи Муромца проходитъ внѣ дома на службѣ общественной, то по этому послѣднему роду службы мы можемъ зато судить о томъ, до какой степени личность его проникнута *духомъ общины*. Не зная никакого стремленья ни къ личнымъ, ни къ семейнымъ цѣлямъ, онъ издавна ужь задался прочищеньемъ крещеному люду дороги, заложенной вѣковымъ разорителемъ (при чемъ, по пути, спасаетъ отъ разоренія городъ—даже вопреки заповѣди отцовской), далѣе является стоятелемъ на заставѣ во главѣ богатырской общины побратенниковъ, съ тѣмъ, чтобы каждаго проѣзжаго изъ русскихъ богатырей причислять къ своей братіи, а каждаго *чужого нахвальщика* удерживать отъ вторженія въ Землю Русскую. Болѣе всѣхъ побратенниковъ подвизаясь за общее дѣло, онъ неустанно готовъ вмѣстѣ съ тѣмъ послужить и каждому изъ этой своей не родной, а названой, крестовой братіи, узы съ которою *паче* узъ крови. Оберегая ихъ отъ насилія, онъ и имъ не даетъ совершать насилья. *Самъ* добровольно служа другимъ и никого не держа въ услуженіи, постоянный труженикъ и за богатырей, такъ часто *гуляющихся*, и за Владиміра князя, никогда ничего не дѣлающаго, — онъ требуетъ лишь одного: чтобы земское значенье его признавалось, чтобы ему,

крестьянскому сыну, было мѣсто не ниже бояръ за столомъ у князя. Когда, неучествованный Владиміромъ, онъ больно его проучилъ за то, — самъ онъ опять не воспользовался при томъ нималѣйшей выгодой, а только усадилъ голей за столъ владиміровоъ, нимало не домогаясь у нихъ того мѣста почетнаго, котораго не хотѣлъ уступать *боярамъ*. Напомнивъ князю о томъ, что княжество — *служба* и что поставленіе на такую службу во власти его, Ильи, стоятеля за народъ и родную землю, муромскій мужичокъ-богатырь, убѣдившись, надобно думать, въ невнимательности Владиміра къ подобнаго рода напоминаніямъ, удаляется... Но при первой вѣсти о новыхъ насильникахъ, злыхъ Татаровьяхъ, онъ, только переодѣтый, опять тутъ какъ тутъ, и, открываясь растерянному Владиміру, сейчасъ же сдается на призывъ княжескій—снова стать за сиротъ и вдовъ, сдается собственно на такой призывъ, а вовсе не на битье ему челомъ князя, оставаясь ни мало не польщеннымъ этимъ признакомъ крайней почтительности, но столько же мало имъ смущеннымъ или озадаченнымъ. Вовсе не стремясь выслужиться у князя, Илья не стремится при этомъ и выслужиться у Бога: ополчается ради *самихъ* сиротъ и вдовъ, а не ради награды, сулимой за то церквами. Но хотя эти послѣднія такимъ образомъ не возбуждаютъ въ немъ вѣроисповѣдной корысти, онъ возстановляетъ и пѣнье церковное и звоны колокольные не только въ Русской, но и въ Цареградской Землѣ,—а вмѣстѣ съ ними возстановляетъ и проповѣдуемую въ нихъ *милостыню*... И самъ наконецъ строя церкви, онъ строитъ ихъ, хотя оно и подъ старость, не за собственную свою душу, а за тѣхъ, на чьи деньги онѣ воздвигаются... Словомъ, и на почвѣ вѣроисповѣдной, онъ, какъ истый представитель общины, постоянно забываетъ самого себя.

Но если такимъ образомъ черезъ главнѣйшія похожденія Муромца проходитъ эта объединяющая общинная струя, то эпическій слой, соотвѣтствующій порѣ развитія у насъ общины, оказывается рѣшительно преобладающимъ въ нашихъ былинахъ. Къ этому-то слою должны относиться въ нихъ и стольный Кіевъ, и Черниговъ градъ, и матушка Днѣпръ рѣка, и старый Владиміръ Кіевскій—изъ сѣдой старины идущее, эпическое наслѣдіе того южнорусскаго періода нашей исторіи, когда вѣчевой укладъ оставался, и при княжеской власти, явленьемъ господствующимъ. Чуждый варяжскій характеръ вождя военной дружины [2]), съ какимъ къ намъ явились князья изъ за моря, рисовался лишь, такъ сказать, поверхъ того строя жизни, какой застали у насъ князья. Въ эпосѣ этотъ варяжскій характеръ сказался только въ Вольгѣ, разъѣзжающемъ за получкою, въ различныхъ проявленіяхъ сребролюбія во Владимірѣ, въ этомъ смыслѣ напоминающемъ лѣтописнаго Игоря, въ особой, *своей* дружинѣ у князя, и у княгини, и у племянника княжескаго, въ своей же *работной* дружинѣ на торгово-военномъ, въ варяжскомъ вкусѣ, кораблѣ Соловья Будиміровича, въ насилующихъ народъ *села* Кіева *работныхъ* же

---

[2]) Самое же слово дружина — славянское, хотя и стало обозначать понятіе, зашедшее къ намъ съ Варягами. Оно едва ли, какъ думаетъ г. Соловьевъ, отъ дру—хому; въ бѣлорусск. нар. пѣсняхъ оно чередуется въ употребленіи со словомъ дружба (Мат. Нар. Тв. въ Сѣв. Зап. краѣ I, 152, 172, 237).

людяхъ Чурилы Пленковича, задабривающаго князя подарками, какъ и Соловей, и наконецъ поступающаго на службу *къ самому князю*, а не въ земскую богатырскую общину. Вообще же эпосъ нашъ передѣлалъ по своему даже и самый лѣтописный образъ пирующаго Владиміра. Сходясь съ лѣтописью въ изображеніи его радушнымъ, ласковымъ, онъ уклоняется отъ нея въ томъ, что кромѣ бояръ, и гридей, и сотскихъ, и десяцкихъ и всякихъ нарочитыхъ мужей (совмѣщаемыхъ, надо думать, въ былевыхъ *князьяхъ-боярахъ*), кромѣ такого состава дружины, съ которою лѣтописный Владиміръ надѣется добыть серебра и золота, эпосъ сажаетъ за столъ къ князю-солнышку и поповскихъ, и гостиныхъ (купецкихъ), и крестьянскихъ дѣтей (послѣднихъ даже со значеніемъ первенствующимъ), держитъ двери у гридни княжеской настежъ отворенными про всѣхъ и про каждаго, не знаетъ (въ преобладающемъ слоѣ былинъ) ни придверниковъ, ни приворотниковъ, ни какихъ либо слугъ у князя, заставляя его самого и встрѣчать богатырей, и подносить имъ, и допускать у себя, прежде поклона себѣ, нашъ земскій поклонъ *на четыре стороны*, и наконецъ даже отвѣшивать подобный поклонъ своей княжеской головой при посѣщеніи имъ кого либо. Вполнѣ сходясь съ лѣтописью въ изображеніи князя *думающимъ* съ дружиною, эпосъ уклоняется отъ нея не въ томъ только, что въ немъ это—дружина разносоставная-богатырская, но и въ томъ, что, представляя Владиміра «всюду ищущимъ — спрашивающимъ богатырей», онъ этимъ однимъ ограничиваетъ всю дѣятельность Владиміра, оставляя его совершенно въ тѣни, и даже всячески, какъ мы могли убѣдиться, нравственно умаляя его передъ богатырями. Позволю себѣ при этомъ привести одно мѣсто изъ прекрасной статьи о богатыряхъ, помѣщенной не такъ давно въ «Отечественныхъ Запискахъ», и любопытное по тому, что оно свидѣтельствуетъ объ усвоеніи такъ называемыхъ «славянофильскихъ» взглядовъ на нашъ эпосъ народный писателемъ совсѣмъ не славянофильскаго направленія. «Народная былина не различаетъ княжеской дружины въ тѣсномъ смыслѣ слова, т. е. ближайшихъ слугъ и совѣтниковъ князя, его бояръ и тѣлохранителей, отъ остального ополченія: съ чисто-народной точки зрѣнія въ ней дѣйствуетъ не князь (Владиміръ въ былинахъ только собираетъ богатырей, да иногда обращается къ нимъ съ просьбами и порученьями), не княжескіе слуги, въ смыслѣ отдѣльнаго сословія, а *весь народъ* въ самомъ обширномъ значеніи слова. Тутъ является и бояринъ въ лицѣ Добрыни, и удалецъ поповскаго происхожденія въ лицѣ Алеши, и крестьянскій сынъ Илья Муромецъ» [3]). Если лѣтопись, а равно и поученіе Мономаха выставляютъ передъ нами живьемъ образецъ князя, *служащаго свою службу* землѣ, то эпосъ только напоминаетъ Владиміру о подобной службѣ устами того первенствующаго богатыря, на котораго какъ будто перенесена неустанная дѣятельность Мономаха, также не знающаго кѣмъ *замѣниться* [4]), —подобно тому какъ крестьянскому отцу Муромца приписанъ въ эпосѣ нашемъ завѣтъ мономаховъ дѣтямъ — не проливать человѣческой крови. («Не помысли зломъ на Татарина, не убей во чистомъ полѣ

[3]) Отеч. Зап. 1868 г. Сент., стр. 322.

[4]) Въ той же статьѣ О. Зап. также замѣчено, что Мономахъ въ своемъ завѣщаніи описываетъ себя совершенно какъ какого нибудь Илью Муромца. (стр. 323.)



христіанина», говоритъ отецъ Ильи; «ни права ни крива не убивайте, ни повелѣвайте убити его, аще будетъ повиненъ смерти, а душа не погубляйте ни какоя же хрестьяны», говоритъ Мономахъ). Какъ въ книжномъ поученіи князя, такъ и въ эпическомъ поученьи крестьянина уже слышится несомнѣнно вліяніе христіанское, такъ скоро размягчившее душу и лѣтописнаго *стараго*, только что принявшаго крещенье Владиміра. Великое событіе кіевскаго періода, принятіе христіанства, не могло не отразиться и на эпосѣ кіевскомъ, и должно было отразиться въ немъ тѣмъ успѣшнѣе и скорѣе, что смягчающее вліяніе общиннаго начала уже заранѣе подготовило къ христіанству. Вѣдь и на Западѣ, какъ и въ эпосѣ, такъ и въ жизни, существовало и даже гораздо ранѣе чѣмъ у насъ, христіанство, и говорится о немъ въ эпическихъ произведеніяхъ Запада несравненно чаще и больше, чѣмъ въ нашихъ,—но гдѣ-же тамъ что либо, напоминающее завѣтъ Мономаха или отца муромцева? [5]). Начало военно-дружинное, подавившее тамъ зародыши общинности, давшее развиться до крайности такъ называемому началу личности, постоянно мѣшало смягчающему вліянію христіанства, прямо противнаго «крупной личности» а наконецъ поставило тамъ и самое христіанство на военную ногу. И у насъ на Руси, это правда, не смотря на принятіе христіанства, во все продолженіе кіевскаго періода потоками лилась кровь подъ ударами тѣхъ дружинъ, которыя уже лично служили князьямъ, воюющимъ за удѣлы. Но вѣчевая народная жизнь продолжала итти своимъ обычнымъ порядкомъ, а порою и княжескія дружины, подъ вліяньемъ такихъ князей, которые, какъ Мономахъ, не забывали о *земской службѣ*, направлялись противъ степныхъ насильниковъ, чтобы отстаивать отъ нихъ крестьянскія пашни. Какъ бы то ни было, княжескіе раздоры, это, столь яркое, повидимому, явленіе кіевскаго періода, почти безслѣдно изгладилось изъ богатырскаго эпоса кіевскаго, занятаго судьбами не княжеской, а земской дружины [6]) Уже при Старомъ Владимірѣ этой послѣдней открывалось безконечное поприще въ тѣхъ *городахъ*, которые началъ онъ рубить по рѣкамъ и населять лучшими (т. е. храбрѣйшими) [7]) мужами отъ Словенъ, Кривичей, Чуди, Вятичъ: «бѣ бо рать отъ Печенѣгъ и бѣ воюяся съ ними и одоляя имъ». [8]) *Города* эти, по объясненію С. М. Соловьева были *военные острожки* на южной окраинѣ Руси, оказавшіеся

[5]) Ср. слова чешскаго Пржемысла I: nec meae consuctudini seest nec pradecessorum meorum quempiam... ad mortem damnare (Jirecek, Recht in Böhm. I, II, 137).

[6]) Г. Буслаевъ едва ли не натягиваетъ, замѣчая, что былина объ отнятіи Владиміромъ жены у Данилы есть не что иное, какъ одинъ изъ эпизодовъ борьбы Кіева съ Черниговомъ, и что слова Данилы при видѣ идущихъ на него братьевъ названыхъ: «еще гдѣ это слыхано, гдѣ видано, братъ на брата съ боемъ идетъ» что слова эти—то же, что обычная жалоба на междоусобія нашихъ древнихъ князей. Въ такомъ же смыслѣ, и это уже съ большимъ основаніемъ, толкуется у г. Буслаева владыка Черниговскій, ручающійся противъ Владиміра за Ивана Гостинаго и потомъ захватывающій у Владиміра корабли. Что-же касается указываемаго у г Буслаева особаго царя въ Черниговѣ, то по многимъ пересказамъ онъ уже просто гость (Р. Вѣстн. 1862 г Сент., 533) Скорѣе можно бы указать на князя въ Черниговѣ по нѣкоторымъ пересказамъ сказки луб. про первую поѣздку Муромца, въ Кіевъ О подколѣнныхъ князьяхъ у Владиміра уже было говорено. — Всѣ эти черты остаются до того незначительными, что приходится признать нашъ эпосъ подтверждающимъ мнѣніе г. Бѣляева, что въ междоусобіяхъ княжескихъ не принималъ прямого участья народъ.

[7]) Такъ толкуетъ г. Соловьевъ.

[8]) Полное Собраніе Лѣтописей, I, 52. Читатель вспомнитъ, что если въ эпосѣ не встрѣчаются Печенѣги, то однажды упоминается въ немъ земля половецкая (см. стр. 39).

необходимыми для обороны отъ безпрерывныхъ вторженій въ нихъ степныхъ варваровъ. [9]). Вотъ онъ, историческій первообразъ *заставы* богатырской, во главѣ которой стоитъ Илья Муромецъ,—по самому прозвищу своему уроженецъ не юга, а сѣверо-востока, подобно тому какъ Алеша — изъ находившагося въ той же странѣ Ростова, Добрыня же изъ Рязани (по нѣкоторымъ былинамъ): эпическое отраженіе того сбродниго люда, которымъ и населялъ Владиміръ свои острожки. (Вспомнимъ при этомъ въ былинахъ и братьевъ *Сбродовичей*, и мужиковъ *Залѣшанъ*, указывающихъ, повидимому, на Залѣсье, т. е. на ту-же Русь Суздальскую, откуда былъ родомъ и Муромецъ. [10]) Это сторожевое стояніе на украинѣ, пошедшее отъ временъ Владиміра и проходящее, можно почти сказать, черезъ цѣлую нашу исторію,—это сторожевое стояніе для безконечной борьбы со степными насильниками, стало основнымъ содержаніемъ нашего эпоса. Издавна существовавшая въ немъ борьба мифическая перенесена была съ неба на землю, на былевую, т. е. историческую почву. Но по исторіи только зачавшаяся при Владимірѣ, въ эпосѣ она при немъ же и продолжается — не только что до Батыя съ Мамаемъ (какъ бы сливающихся въ одно лицо), но и до тѣхъ, гораздо позднѣйшихъ— эпически все-же *Татаровей*, съ которыми имѣлъ дѣло Ермакъ. Историческій рядъ вѣковъ такимъ образомъ эпически укладывается въ одинъ вѣкъ Владиміровъ, при чемъ однакоже освободительное значенье Донского съ его пріемниками достается не стольному князю кіевскому, а опять таки все тому же муромскому богатырю-крестьянину.

Родина этого послѣдняго отводитъ насъ отъ юга на сѣверо-востокъ, изъ Кіевской Руси въ Русь Суздальскую. Здѣсь совершались первыя, сколько нибудь удачныя попытки государственнаго объединенія, продолжавшіяся подъ властью Татаръ, которая и была наконецъ сокрушена окончательно совершившимся дѣломъ «собранія Руси.» Нашъ эпосъ, какъ видѣли мы, постоянно свидѣтельствуетъ уже объ объединенной, согласной и цѣльной матушкѣ Свято-Русь-земли, и если мы теперь величаемъ большую часть богатырей нашихъ кіевскими, для отличія отъ новгородскихъ (отличающихся особымъ складомъ), то самъ эпосъ знаетъ лишь вообще *святорусскихъ* богатырей. Такое понятіе о единствѣ земли едва ли могло сказаться въ эпосѣ ранѣе суздальскаго періода, внѣшними слѣдами котораго въ немъ остались и нѣкоторыя названія мѣстностей и прозываніе Владиміра, впрочемъ, въ крайне немногихъ случаяхъ, не только кіевскимъ, но и славно - *владимірскимъ* княземъ. Первоначально сложившись около Кіева, эпосъ вмѣстѣ съ позорищемъ исторической жизни былъ, надо думать, перенесенъ въ Русь Суздальскую, изъ чего, конечно, не слѣдуетъ, чтобы онъ могъ сразу заглохнуть вкругъ Кіева[11]), ни чтобы въ Суздальской Руси, а также и въ другихъ мѣстностяхъ, не существовало и до того извѣстныхъ былевыхъ пѣсенъ. Но въ суздальскій періодъ нашей исторіи могло совершиться сліяніе и объединеніе двухъ, и даже болѣе чѣмъ двухъ

---

[9]) Соловьева, Исторія Россіи, I, 179.

[10]) Сюда же относится и Суровецъ Суздалецъ (Ср. Зам. г. Безсона въ III в. Кир. стр. VII—IX).

[11]) И до сихъ поръ еще въ Малороссіи уцѣлѣли—если уже не былины, то сказки про богатырей кіевскихъ. Одну весьма подробную малороссійскую сказку объ Ильѣ Муромцѣ удалось слышать г. студ. Эдельману, но, къ сожалѣнію, онъ ея не записалъ.

мѣстныхъ былевыхъ круговъ, и вотъ тутъ-то долженъ былъ получить дальнѣйшее свое историческое развитіе и самый образъ Ильи, какъ *богатыря святорусскаго*, образъ, до того пріуроченный даже къ опредѣленной точкѣ въ области Муромской, селу Карачарову, что до сихъ поръ въ немъ не только указываются часовня на скочкахъ коня Ильи, но даже существуютъ крестьяне *Ильюшины*, считающіе себя прямыми потомками славнаго богатыря [12]. Въ свою очередь важно и то обстоятельство, что, по мѣстному самосознанію народа, населеніе, обитавшее въ дремучихъ лѣсахъ муромскихъ, славилось вообще своимъ большимъ ростомъ и силою, — а потому и неудивительно, что изъ этой же области вышелъ главнѣйшій изъ русскихъ богатырей — побѣдитель того страшнаго Соловья, который такъ долго гнѣздился въ непроходимыхъ лѣсахъ той мѣстности [13]).

Но, если самое пріуроченіе богатырскаго преемника миѳическаго Ильи-Громовника къ области Муромской указываетъ на дальнѣйшее процвѣтаніе въ этой мѣстности перешедшаго въ нее эпоса, если уже суздальскому его періоду должны принадлежать и эпическіе зачатки представленія Руси объединенною, то средоточіемъ, къ которому притягивается она, все таки остается въ эпосѣ древній Кіевъ, вопреки историческому перенесенію стольнаго города во Владиміръ и даже позднѣйшему перенесенью его въ Москву. Хотя и величаемый кое-гдѣ владимірскимъ княземъ, стольный Владиміръ остается по прежнему *кіевскимъ*, но вмѣстѣ съ тѣмъ и единственнымъ святорусскимъ княземъ. Къ нему въ стольный Кіевъ пролагаетъ дорожку нашъ муромскій богатырь, по пути (и не только эпически по пути) останавливающійся у Чернигова; у Владиміра князя на древней сторожевой окраинѣ подвизается Муромецъ противъ разныхъ насильниковъ, у него наконецъ въ священныхъ пещерахъ кіевскихъ оканчиваетъ свою жизнь — еще до св. Антонія, по вышеприведенному охристіанствованному преданью, отводящему въ глубокую старину [14]). Древній Владиміръ эпическій надѣленъ былъ позднѣйшимъ преимуществомъ *собирателей Земли Русской* — единодержавіемъ, но при этомъ, въ господствующемъ слоѣ былинъ, онъ сохраняетъ за собою всю незатѣйливую, незнающую дворскихъ обычаевъ, обстановку, остается тѣмъ же издавнимъ радушнымъ хозяиномъ — съ дверями открытыми, настежъ для всѣхъ, съ племянникомъ, готовымъ стать братомъ названымъ крестьянину. По прежнему, совершенно въ тѣни, подобно *пустому звуку* или (да про-

---

[12]) См. въ Август. книжкѣ Журнала Мин. Нар. Просв. въ статьѣ г. В—на о народныхъ училищахъ Муромскаго Уѣзда стр. 228.

[13]) См. въ Прибавл. къ Владим. Губ. Вѣдомостямъ 1848 г., № 16, статью г. Протопопова «Илья Муромецъ».—«Изъ Муромской области, говорится тутъ далѣе, и въ послѣдующія времена выходило также много сильныхъ людей, дружина муромскихъ боярскихъ дѣтей была лучшею въ великокняжескихъ полкахъ. И нынѣ жители той стороны отличаются передъ другими ростомъ и крѣпостью. (стр. 74).

[14]) См. выше стр 796. На издавнее существованіе былинъ объ Ильѣ какъ сподвижникѣ Владиміра указываетъ и то уже замѣченное Л. Н. Майковымъ обстоятельство, что въ Thidreksag'ѣ (которая, какъ мы знаемъ, сложилась въ XIII в. изъ пѣсенъ еще болѣе древнихъ) упоминается король русскій Вольдемаръ и братъ его Илья Греческій (конечно по вѣрѣ) или Русскій въ формѣ Ilias von Riuzen, т. е. въ формѣ именно южной вполнѣ со славянскимъ, тогда какъ по германски, какъ замѣтилъ Мюлленгофъ (Haupts Zeitschr. III, 349, XII, 353) было бы Elias. Впрочемъ похожденія, въ которыхъ участвуетъ по Тидрекъ — Сагѣ Илья, по вѣрному замѣчанію г. Майкова (о Был. Влад. Цикла стр. 30—31) не имѣютъ ничего общаго съ извѣстными былевыми подвигами Ильи Муромца, почему я и не приводилъ расказовъ объ Ильѣ Тидрекъ-Саги. (Въ журн. Гаупта XII, 354 указыв. и Ilias въ нѣм. актѣ XII в.)

стить мнѣ это сравненіе) *слугами безъ рѣчей* на театрѣ; являются въ преобладающемъ слоѣ былинъ *князья-бояры*—сравнительно съ настоящими дѣйствующими *лицами—богатырями*. А между тѣмъ уже въ суздальскій періодъ нашей исторіи, по мѣрѣ того, какъ князья стали дольше сидѣть на своихъ мѣстахъ, становилось вокругъ нихъ осѣдлымъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и болѣе крѣпкимъ, боярство служилое. Но эпосъ нашъ знаетъ лишь два настоящихъ боярскихъ типа — Ставра Годиновича и Дюка Степановича, да и то выдѣляетъ обоихъ изъ предѣловъ Руси, какъ жителей земли *дальной*, а послѣдняго, несмотря на его вельможество, братаетъ съ Ильею, заставляя его величать этого крестьянскаго богатыря— единымъ на святой Руси, какъ солнышко на небѣ.—Первенство Ильи Муромца только болѣе и болѣе *расширялось*, получая значеніе всероссійское, но по прежнему понимаемое въ чисто общинномъ смыслѣ — въ смыслѣ силы, налагавшей, въ отношеніи къ слабымъ, обязанности. А между тѣмъ уже въ суздальскій періодъ нашей исторіи рядомъ съ успѣхами государственнаго объединенія, усиливались и попытки государственной власти опутать свободный общественный строй, и земскій поклонъ на четыре стороны замѣстить поклономъ—лишь стольному князю.

Но мы видѣли между былинами и такія, въ которыхъ этотъ земскій, преобладающій въ эпосѣ нашемъ, поклонъ забывается [4]). Вмѣстѣ съ тѣмъ въ нѣкоторыхъ былинахъ высказывается и преимущество, отдаваемое Владиміромъ княземъ *воронамъ и воронятамъ*, какъ ихъ величаетъ Илья, сурово расправляющійся съ этими выскочками, а также и задающій, за пристрастіе къ нимъ, острастку самому Владиміру. Вотъ въ этомъ-то слоѣ былинъ до извѣстной степени отразился тотъ переходъ въ общественномъ и государственномъ складѣ нашей жизни, который, обозначившись уже въ суздальскій, окончательно совершился въ московскій періодъ нашей исторіи. Но въ эпосѣ, какъ все, такъ и этотъ переходъ совершается въ Руси Кіевской. Постепенное заслоненіе отъ народа верховной власти средостѣніемъ изъ боярства дворскаго, соединенное съ осуровленіемъ самой власти—это разительное измѣненіе строя, совершавшееся при многихъ государственныхъ собирателяхъ Руси, по эпосу представляется какъ бы внезапною перемѣною *свычая и обычая*, какимъ-то неожиданнымъ поворотомъ въ нравѣ все того же самаго *стараго*, стольно-кіевскаго Владиміра, вдругъ затѣявшаго обзавестись не только придверниками съ приворотниками, но и стольниками съ чашниками, усвоить себѣ и степенную, царственную походку, при слугахъ, ведущихъ подъ руки, и даже самое имя *царя*, страннымъ образомъ чередующееся въ нѣкоторыхъ былинахъ съ именемъ княжескимъ.

Эта эпическая перемѣна въ князѣ Владимірѣ оказывается соотвѣтственною той исторической перемѣнѣ, какая совершилась въ Грозномъ — соотвѣтствіе, впрочемъ, скорѣе случайное. Кромѣ тѣхъ, весьма немногихъ подробностей, въ которыхъ эпосъ нашъ отражаетъ самого Грознаго, въ немъ можно видѣть мѣстами лишь отраженіе того общаго осуровленія власти въ періодъ московскій, которое не только IV-му, но уже и III-му Іоанну придавало прозвище

---

4) Принадлежность этого поклона собственно нашему эпосу признается даже г. Стасовымъ (В. Евр. іюль 818

Грознаго, да еще и гораздо раньше сказалось въ другомъ, не менѣе поразительномъ прозвищѣ—*Гордаго*. (Собственно IV-й, т. е. по преимуществу Грозный Іоаннъ отчасти, какъ всѣмъ извѣстно, совершенно напротивъ является земски дающимъ отпоръ *воронамъ* и *воронятамъ*, а потому и оставившимъ, въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ преданіяхъ, сочувственную память въ народѣ) [16]. Какъ бы то ни было, но перемѣна въ обычаяхъ и во нравѣ нашего единственнаго и безсмѣннаго былевого представителя власти, Владиміра, самымъ неожиданнымъ образомъ поражаетъ Илью при старыхъ его свободныхъ привычкахъ. Между тѣмъ какъ скандинавскій Старкадръ пораженъ перемѣной, зависѣвшей отъ смѣны лица на престолѣ, и при томъ такой перемѣной, которая собственно выражалась въ дѣлахъ семейныхъ, Илья, послѣ неопредѣленно долгой своей отлучки, застаетъ на столѣ княжескомъ все того же знакомаго ему Владиміра, но самъ уже какъ будто бы не узнается имъ, не встрѣчается съ прежнимъ радушнымъ почетомъ, потому что весь общественный строй вокругъ князя совершенно перемѣнился. И съ тѣмъ большимъ ожесточеніемъ напоминаетъ ему Илья о старомъ *служиломъ* значеніи князя, о тѣхъ старыхъ порядкахъ вѣчевого уклада, когда такъ часто «указывали дорогу» князьямъ. [17])

Эпосъ народный, какъ видно, воспользовавшись сочувственно тѣмъ *единствомъ*, какое было сообщено Землѣ Русской ея *собирателями*, отнесся совсѣмъ не сочувственно къ тому перевѣсу крутого государственнаго начала, съ какимъ неминуемо связывалось собираніе. Но при той идеальности, какая сказывается во всякой поэзіи, а въ устно-народной, быть можетъ, даже болѣе, чѣмъ въ лично-художественной, эпосъ представилъ попытку не осуществлявшагося въ дѣйствительности соединенія единства и цѣлостности временъ московскихъ съ привычками вольно-кіевскаго народа. При всемъ томъ, однакоже, времена московскія до извѣстной степени отразились на нашемъ эпосѣ, но это должно было окончательно совершиться въ иной уже мѣстности—по всей вѣроятности въ той восточной, поволжской, вещественными слѣдами которой остались въ немъ столь многочисленныя названія мѣстностей. Вотъ куда былъ отнесенъ несомнѣнно нашъ кіевскій эпосъ — въ среду населенія, постоянно обновлявшагося всестороннимъ приливомъ людей, недовольныхъ позднѣйшими государственными порядками. Вотъ тутъ-то, подъ ихъ вліяніемъ, и должна была усилиться въ немъ струя того же самаго недовольства, но если въ дѣйствительной жизни тотъ людъ, который стекался на Волгу, способенъ былъ становиться разнузданной вольницей, то въ эпосѣ духъ ея сказался лишь кое гдѣ, вообще же онъ сохранилъ на себѣ отпечатокъ издавней, исполненной самообладанія и самоотверженности, свободы общинной. Еще задолго до перехода на Волгу эпоса старо-кіевскаго, она должна была огласиться совершенно особымъ, какъ мы уже знаемъ, новгородскимъ эпосомъ, котораго не могла же не заносить туда бороздившая Волгу ушкуйническая новгородская вольница. Впрочемъ въ сосѣдство съ новгородскимъ кіевскій богатырскій

---

16) См. Буслаева Очерки, I стр. 513-514. У Рыбникова же II № 39 помѣщено сказаніе, выставляющее Грознаго въ несочувственномъ свѣтѣ.

17) Значитъ, духъ вѣчевой въ нашемъ эпосѣ есть,

эпосъ имѣлъ возможность попасть и другимъ путемъ. Онъ могъ издавна уже занестись на сѣверъ по болѣе прямому и краткому направленію, и намеками на такой путь едва ли не должно считать попадавшіяся намъ въ нѣкоторыхъ былинахъ такія названія мѣстностей, какъ *Тургоеъ* (Туровъ), *Смолягинъ* (Смоленскъ), граде Смоленскій и т. д.[18]) Но гдѣ бы ни становился нашъ кіевскій эпосъ лицомъ къ лицу съ эпосомъ новгородскимъ, ни въ древнѣйшую пору, ни при позднѣйшемъ, совмѣстномъ своемъ существованіи съ новгородскимъ эпосомъ въ Олонецкомъ и Архангельскомъ краѣ, онъ ни мало не подвергся вліянію новгородскому. И сдѣлавшись, по всей вѣроятности уже издавна, сосѣдями, оба эпоса, разнородные изначала, держались одинъ въ сторонѣ отъ другого, каждый блюдя свои собственныя преданія. Между тѣмъ какъ эпосъ новгородскій возвеличивалъ полный просторъ и разнузданность личности, эпосъ кіевскій продолжалъ выставлять даже самую могучую богатырскую личность-сознательно и добровольно «поглощенною земщиной.» [19])

Но вотъ нерѣдко попадалось названіе Муромца *казакомъ*, или *атаманомъ* казачьимъ, Добрыни *подъатаманьемъ*, Алеши *есауломъ* и т. п. Все это прямо указываетъ на отраженіе въ нашемъ эпосѣ и позднѣйшихъ порядковъ казацкихъ — иной разъ даже съ прямымъ указаніемъ на донское казачество. [20]) Въ сущности и оно было только отпрыскомъ нашего издавняго сторожевого стоянія по украйнамъ и по этому, можно бы думать, легко могло наложить и свой отпечатокъ на нашихъ эпическахъ стоятелей у заставы. Но не надобно забывать, что казачество позднѣйшихъ временъ, какъ и ушкуйничество новгородское, нерѣдко перерождалось въ разнузданную, всякихъ высшихъ цѣлей лишенную вольницу. Въ немъ мало по малу утратилось то земское оборонительное начало, которымъ только и возвышается и очеловѣчивается удальство. Тѣ *недовольные* люди, которые, оторвавшись отъ своей среды, искали исхода въ позднѣйшемъ казачествѣ, любили въ немъ только волю — ради самой воли, удаль ради самой удали и наконецъ, едва ли не больше всего, добычу. Все это сказалось самымъ нагляднымъ образомъ въ Смутное Время, когда казачество юговосточное такъ несвязанно пользовалось бѣдствіями Русской Земли, какъ будто совсѣмъ отъ него отчужденной. «*Полонъ взять* и *живота нажить*»—вотъ что оказывается руководящею мыслію и въ тѣхъ полукнижныхъ сказаніяхъ о позднѣйшихъ казацкихъ подвигахъ, къ которымъ относится и извѣстная повѣсть объ Азовскомъ Взятіи (въ рукописяхъ XVIII ст.); тутъ даже безъ всякой особой нужды и въ огромномъ

---

хотя въ немъ и не упоминается о ней (В. Кир. вып. 236).

[18]) Ср. вообще о путяхъ, какими распространялся нашъ эпосъ, стр. 31 въ диссертаціи Л. Н. Майкова.

[19]) Выраженіе г. Свойщика, употребленное имъ, однако, не въ совсѣмъ-то въ сочувственномъ смыслѣ. «Хотя, говоритъ онъ, мы не видимъ, чтобы въ русскомъ созерцаніи имѣла важное значеніе судьба, подавлявшая свободную личную дѣятельность... но зато вмѣсто судьбы подавляющею силою были родовыя понятія и земщина, которая не позволяла личности дѣйствовать во имя какихъ либо своихъ особенныхъ интересовъ. Она поглощала собою личность, она создала себѣ идеалъ въ Ильѣ Муромцѣ, который совершалъ подвиги только для земщины... (О Препод. Р. Литер., 43). В. И. В—въ въ своей статьѣ о богатыряхъ (въ Отеч. Зап.) судитъ объ этомъ гораздо сочувственнѣе, гораздо больше по-русски.

[20]) Донскимъ казакомъ является Илья Муромецъ, напримѣръ, въ тѣхъ, уже совершенно испорченныхъ и отрывочныхъ пѣсняхъ, которыя составляютъ въ 1 вып. Кир. отдѣлъ VII, вовсе мною и не затронутый.—Тутъ же часто упоминается Турецкій ханъ. Ильѣ въ одной изъ этихъ пѣсенъ приписывается похожденіе Михаила Казарянина, и т. п.

количествѣ рубятся головы. «Такъ и ощущается тутъ, сказано мною уже въ замѣткѣ къ IV ч. сборника г. Рыбникова, не та уже совершенно основа, что въ былевомъ нашемъ эпосѣ, гдѣ стремленье къ добычѣ ради добычи и проливанье напрасной крови—просто такъ, изъ любви къ искусству, вовсе не занимаетъ виднаго мѣста» (стр. XXiV). Только въ одномъ пересказѣ былины про Вольгу Святославговича замѣтили мы черты, напоминающія казацкое забиранье полона (см. выше стр. 198, 202). Быть можетъ, казацкому же вліянію должно быть приписано и въ одной изъ былинъ про стояніе на заставѣ вышеуказанное обращенье къ нахвальщику: «что ты нашему есаулу Алешѣ въ казну не кладешь на всю нашу братію приборную?» Наконецъ и тѣ два-три случая, когда нашъ Муромецъ беретъ заработое—не составляютъ ли въ немъ нарость, относящійся къ тому времени, когда онъ сталъ величаться атаманомъ донскихъ казаковъ? По большей части однакоже онъ только такъ называется, но и подъ этимъ позднѣйшимъ прозвищемъ остается стоятелемъ и оберегателемъ въ древне-кіевскомъ смыслѣ — съ нелюбовью къ добычѣ и къ напрасной крови. Такимъ образомъ и вліянье казацкое въ сущности только скользнуло по поверхности нашего эпоса, который, и заносимый съ юго-востока на сѣверъ (о чемъ, какъ мы знаемъ, свидѣтельствуютъ юговосточныя названія мѣстностей въ былинахъ олонецкихъ, архангельскихъ, и сибирскихъ) остался со стародавнимъ, неистребимымъ своимъ отпечаткомъ временъ стольно-кіевскихъ. 21)

Самая поздняя, *петербургская* пора нашей исторической жизни скользнула по эпосу всего незамѣтнѣе: слѣдами ея въ немъ остались только черты—въ родѣ какихъ нибудь *сенаторовъ* думныхъ, или *персенушки* на полѣ кафтана Ильи—въ одномъ преплохомъ пересказѣ. 22) Словомъ, относительно всего позднѣйшаго и ближайшаго къ намъ народъ оказался особенно невнимательнымъ и безпамятнымъ. Извѣстно, какъ его часто сравниваютъ съ ребенкомъ; но, ставъ подъ другимъ угломъ зрѣнія, его съ гораздо большею вѣрностью можно назвать *старикомъ*. Много прожилъ и перенспыталъ народъ, и, какъ всѣ старики, онъ всего болѣе помнитъ и всего охотнѣе расказываетъ о томъ, что было съ нимъ въ годы юности. 23)

21) Такимъ образомъ выходитъ, что на сѣверъ и сѣверо-востокъ (въ Сибирь) эпосъ нашъ былъ только занесенъ изъ сердца Россіи. По теоріи же г. Стасова онъ къ намъ принесенъ изъ Сибири. Во всѣхъ былинахъ, говоритъ этотъ отважный изслѣдователь, записанныхъ въ какой бы губерніи ни было .. обыкновенно спрашиваютъ: «ты коей земли, коей орды, коей сибирской украины».—Мало свѣдущій въ былинахъ читатель пожалуй такъ и повѣритъ нашему ученому на слово, что даже эти сибирскія украины встрѣчаются сплошь и къ ряду въ былинахъ. Между тѣмъ онѣ упомянуты всего въ одной—сводной и перепутанной изъ Шенкурска (см. выше стр. 318). Такъ оно выходитъ изъ провѣрки севили съ различными страницы сборниковъ самого г. Стасова, расчитывавшаго, надо думать, что никто изъ читателей В. Е. его провѣрять не будетъ. Кромѣ же того въ одной былинѣ Кирши Данилова упомянуты нѣкіе сибирскіе народцы, Чукчи и Алюторы, что совершенно основательно объяснено уже у г. Майкова тѣмъ, что былина эта записана на сѣверо востокѣ. Затѣмъ упоминаются еще разъ улусы загорскіе—въ пѣснѣ, записанной уже прямо въ Сибири (Кир. 1, 57). Въ другихъ же мѣстахъ, указываемыхъ у г. Стасова цифрами страницъ, или золотая Орда—остатокъ временъ монгольскаго владычества, или просто вопросъ: изъ какой орды, весьма понятный при нашихъ давнишнихъ сношеніяхъ съ различнаго рода ордами. (В. Евр. іюль, 340).

22) Сюда же можетъ быть отнесена и бумага гербовая, какъ замѣтилъ еще Л. Н. Майковъ (стр. 38).

23) Ср. въ этомъ отношеніи прекрасную выписку изъ Кастрена (о томъ, что и самоѣдскія племена расказываютъ про исчезнувшее золотое время), приводимую у г. Стасова въ Іюльской книжкѣ Вѣсти. Европы на стр. 341 и 342.

Вотъ эту-то юную пору, золотую пору разцвѣта вполнѣ пробудившихся силъ составляетъ въ нашемъ эпосѣ пора кіевская,—богатырская, т. е. героическая наша пора, до сихъ поръ не забытая ни въ Сибири, ни въ Олонецкомъ и Архангельскомъ краѣ, въ этомъ смыслѣ еще живая и до сихъ поръ съ ея радушнымъ и ласковымъ княземъ, съ ея сторожевою заставою, съ первымъ отраженіемъ христіанскихъ лучей на ея благодарной общинной почвѣ. Пора эта была какъ будто бы навсегда остановлена могучимъ воображеньемъ народа, такъ что и всѣ позднѣйшія, самыя важныя, раздѣленныя вѣками, событія отнесены къ ней, пріурочены къ той же богатырской заставѣ, и освѣщены тѣмъ же самымъ свѣтомъ простодушнаго, частію двоевѣрнаго, но въ сущности теплаго и не только наружнаго пониманія христіанства. 24) Такимъ образомъ, при всей своей многослойности, нашъ эпосъ оказывается въ своемъ родѣ объединеннымъ, такъ какъ въ немъ даже имѣется, конечно, своеобразнымъ путемъ достигнутое, единство внѣшнее—*мѣста* и *времени*, а вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ мы могли убѣдиться, и единство внутреннее—содержанія, мысли, главнымъ образомъ выразившейся въ слогавшемся въ теченьи вѣковъ, но все въ одномъ основномъ направленіи, идеальномъ образѣ Ильи Муромца.

При разборѣ его эпической жизни, а также и похожденій всѣхъ прочихъ богатырей, насъ безпрестанно отвлекали въ сторону, какъ припомнитъ читатель, и различныя сличенія съ эпосомъ другихъ народовъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ именно эти сличенія окончательно убѣждали въ томъ, что, при всенародной общности основныхъ положеній и пріемовъ эпическихъ и при частныхъ случаяхъ сходства у насъ съ тѣмъ или другимъ эпосомъ отдѣльныхъ чертъ богатырскаго нрава, затѣмъ обнаруживается, преимущественно въ Ильѣ Муромцѣ, самая стройная совокупность чертъ, слагающихся въ цѣльный и стройный богатырскій нравъ, вполнѣ запечатлѣнный своеобразіемъ.

Но вспомнимъ, что къ обзору эпической жизни Муромца мы перешли отъ отдѣльнаго въ ней событія—его боя съ сыномъ. Самъ по себѣ этотъ бой въ его настоящемъ смыслѣ остается какъ будто бы въ сторонѣ отъ той нити, какою послѣдовательно связываются остальныя похожденья Ильи: трудно рѣшить, куда его вставить, къ какой порѣ въ жизни богатыря его отнести, хотя по мѣсту дѣйствія, въ большинствѣ пересказовъ, онъ оказывается уже пріуроченнымъ къ богатырской заставѣ. Что же касается сущности содержанія, то между этимъ отдѣльнымъ событіемъ и всею остальною совокупностью былинъ про Илью существуетъ своего рода связь. Преимущественно это, конечно, относится къ изводу смягченному, нетрагическому, но и допотопной грубости не смягченнаго, трагическаго извода соотвѣтствуютъ нѣкоторыя отдѣльныя черты грубости, уцѣлѣвшія и въ другихъ похожденьяхъ Ильи. Из-

---

24) Это въ сущности признается и самимъ г. Стасовымъ. «Для Новгородцевъ, потомковъ тѣхъ русскихъ людей, которые переселялись на сѣверъ изъ кіевской области, безъ сомнѣнія всего скорѣе должно было представляться золотымъ и богатырскимъ вѣкомъ время князя Владиміра кіевскаго, и какъ на его самого, такъ и на его богатырей всего ближе и естественнѣе было имъ переносить азіатскіе богатырскіе разсказы, приходившіе къ намъ съ Востока». (В. Евр., іюль, 342) Но вѣдь послѣ этого черты восточныя оказываются только привязкою къ русскому самородному эпическому дереву.

слѣдователи, относящіеся къ нашему эпосу несовсѣмъ сочувственно, любятъ корить его этою грубостью, и она несомнѣнно въ немъ есть мѣстами — даже и въ Ильѣ Муромцѣ, какъ есть и во всякомъ эпосѣ, во всякихъ знаменитыхъ богатыряхъ. Грубость эта составляетъ прежде всего непремѣнную принадлежность самаго *богатырства*, которая, сколько бы ни смягчалось оно, въ чемъ нибудь да уцѣлѣетъ. Такъ и та усиленная смягчительная работа воображенія, какую испыталъ на себѣ нашъ Муромецъ, не смогла одолѣть въ немъ кое чего, унаслѣдованнаго отъ первобытнаго богатырскаго, и даже еще отъ миѳически-богатырскаго его образа. Нѣкоторыя же, замѣчаемыя въ немъ черты грубости, могутъ быть и плодомъ той позднѣйшей эпической *огрубѣлости*, какою несомнѣнно ознаменовывается пора упадка народнаго творчества, уже наступившаго, и не со вчерашняго дня, для нашего эпоса. Но при всей той грубости, какою по преимуществу запечатлѣнъ трагическій изводъ сказанія про бой Ильи съ сыномъ, и въ немъ своего рода смягченность сказывается отсутствіемъ *рокового начала*, составляющаго у разныхъ народовъ существенную принадлежность сказанья про бой отца съ сыномъ. Въ нашемъ изводѣ уже не оказывается насильственнаго втягиванья человѣка въ невольное преступленіе, а все объясняется уже естественными послѣдствіями заугольной связи [25]). Выше я не обратилъ вниманія на эту сторону, которую вполнѣ оцѣнить мы можемъ только теперь — въ связи съ отсутствіемъ рокового начала въ цѣломъ эпосѣ объ Ильѣ. Но выше указано было на другое отличіе нашего извода преимущественно отъ германскаго, — на то, что у насъ не оказывается той готовности отца вступить въ бой уже и по узнаніи сына въ своемъ противникѣ, готовности, объясняемой поставленіемъ выше всего воинскаго чувства чести. Теперь же отсутствіе подобной готовности у Ильи вполнѣ для насъ объяснится тѣмъ, что и во всей эпической жизни нашего богатыря не оказывается и тѣни подобнаго противоестественнаго превознесенія чести воинской [26]). Напротивъ того въ германскомъ эпосѣ мы замѣтили и вообще принесеніе самыхъ естественныхъ чувствъ въ жертву понятьямъ, а подъ вліяніемъ ихъ и чувствамъ, совершенно искусственнымъ. Все это объясняется подавленіемъ первыхъ зародышей общинности и переходомъ, почти совершенно помимо ея, отъ началъ *родовыхъ* къ началамъ *лично дружиннымъ*. Сперва человѣкъ, поглощенный родомъ, въ жертву ему (напр. кровавой родовой мести) приносилъ даже собственную семью, кровь же чужихъ, хотя бы и совершенно правыхъ, совершенно свободно имъ проливалась за родичей, хотя бы кругомъ неправыхъ. Все заключалось въ отстаиваньи *своихъ*, т. е. тѣхъ, подъ чьимъ кровомъ родились и къ которымъ продолжали исключительно тяготѣть — помимо узъ брака, основанныхъ не на любви, и внѣ всякихъ другихъ отношеній, со-

---

25) Замѣчательно, что и въ томъ изводѣ легенды о кровосмѣсителѣ, который составленъ Н. И. Костомаровымъ изъ различныхъ пересказовъ, слышанныхъ имъ въ Великороссіи, есть попытка самымъ естественнымъ образомъ объяснить невольное отцеубійство. Добрый молодецъ побѣждаетъ въ бою своего, нечаемаго имъ отца. Тотъ проситъ у него пощады: молодецъ не щадитъ его, какъ князя удѣльскаго. Когда же онъ впослѣдствіи приноситъ во всемъ покаяніе, отшельникъ говоритъ ему. «Зачѣмъ же ты не смиловался надъ тѣмъ кто просилъ у тебя пощады?» — Стоило только смиловаться, и цѣлый рядъ преступленій былъ бы предотвращенъ.

26) Задѣтая воинская честь ставится въ нашемъ эпосѣ выше всего лишь Дунаемъ Ивановичемъ это какъ черта варяжская, или объясняемая самой старинной грубости нравовъ (Ср. выше стр. 347).

всѣмъ еще не замышляемымъ. Позже отъ *рода*, какъ видѣли мы, происходитъ переходъ къ *воинской дружинѣ*. Вмѣсто родоначальника, стали служить *своему господину*, опять таки ради его, *своего* господина, жертвуя и начинавшимъ-было уже зарождаться свободнымъ союзомъ названаго братства, и начинавшимъ-было слагаться на болѣе человѣческихъ основаніяхъ *семейнымъ* началомъ, а тѣмъ болѣе тою связью съ людьми вообще, къ сознанью которой можно было прійти единственно черезъ *общинность* и о которой, при слабости задатковъ этой послѣдней, вотще говорило одно только христіанство. И вотъ, совершенно наперекоръ ему, чисто-внѣшнимъ образомъ принимаемому, вмѣсто прежняго неограниченнаго развитія *крупной родоначальнической личности*, обозначалось все больше и больше развитіе еще болѣе *крупной господской* (сюзеренской) *личности*. Ей отдавались подъ начало другія личности, но отдавались уже по собственной, личной охотѣ — изъ за щедрой мзды, дававшей возможность въ свою очередь добывать себѣ подначальныхъ. Люди такимъ образомъ оказывались одни подъ другими — въ нѣсколько съ одной стороны подначальныхъ, съ другой — господскихъ рядовъ различной степени крупности. Самымъ крупнымъ избытокъ силы давалъ и избытокъ правъ, относительно ихъ облагались обязанностями менѣе крупные, вознаграждавшіе себя, кромѣ мзды, правомъ надъ имъ подвластными. Въ самомъ же низу, на днѣ этой феодальной лѣстницы, оказывались существа совершенно безъ правъ, съ однѣми обязанностями, тогда какъ относительно ихъ, самыхъ мелкихъ и слабыхъ, ни на комъ никакихъ обязанностей не лежало. Вотще раздавалась въ ихъ пользу, притомъ же и на непонятной латыни, христіанская проповѣдь... Сами ея представители стали наконецъ такими же феодальными господами, учившими только тому, какъ выслуживаться у небеснаго сюзерена — обильными вкладами собственно за себя, за *свою* душу. Вотъ этотъ-то порядокъ вещей отразился, какъ мы можемъ припомнить, и въ западно-европейскомъ богатырскомъ эпосѣ. Богатырская сила представлялась въ немъ исключительно *доставляющею права*, прямо противоположно тому значенью ея у нашего Ильи Муромца, по которому она *налагаетъ обязанности*, напоминая въ этомъ отношеніи извѣстное французское нарѣченіе позднѣйшихъ временъ: noblesse oblige (выраженіе, впрочемъ, обезображенное оттѣнкомъ сословной гордости). Выводя богатыря своего изъ простого народа, эпосъ нашъ заставляетъ его постоянно помнить о слабыхъ, о голи, думать объ *общихъ* правахъ, объ *общемъ* народномъ дѣлѣ, ничего не ища *для себя*—ни здѣсь на землѣ у князя, ни тамъ въ небесахъ у Бога!

Но мнѣ укажутъ на *рыцарство*, это превознесенное явленье феодальныхъ временъ, какъ на идеальный отпоръ *праву сильнаго*. Да, рыцарство считало позорнымъ нападенье съ оружіемъ въ рукахъ не только на безоружнаго, но и на менѣе вооруженнаго, оно требовало равномѣрности выгодъ съ обѣихъ сражающихся сторонъ. Но собственно это требованіе воинскаго великодушія встрѣчается въ эпосѣ всѣхъ народовъ — а также и въ нашемъ: вспомнимъ позорность нападенья на соннаго, на нагое тѣло, или «срамоту двоме на једнога» въ сербской былинѣ. Вся разница въ томъ, что у насъ, какъ и вездѣ, гдѣ не было собственно такъ называемаго *рыцарства*, это дѣлается совершенно просто, безъ тщеславнаго стремленья порисоваться вели-

кодушіемъ, безъ вычурности и преувеличенности, которая такъ легко переходила въ каррикатуру и дѣйствительно перешла въ нее — у Аріоста. Далѣе рыцарство прославилось защитою женщины; но, принимаемое въ общемъ, широкомъ смыслѣ, и это явленіе становится въ свое время свойственнымъ богатырству разныхъ народовъ: вступающимся за женщинъ видимъ мы и сербскаго Марка Кралевича, и нашего Добрыню Никитича, и самого Илью Муромца [27]). Вся разница въ томъ, что рыцарство эту естественную защиту женщины обратило въ *услуженіе* ей—совершенно искусственное, вычурное, доводившее до уродованія себя въ угоду причудливой дамѣ сердца [28]), въ свою очередь напрашивавшееся на каррикатуру и нимало не мѣшавшее въ то-же время самому грубому нарушенію самыхъ естественныхъ женскихъ правъ [29]). И вычурное рыцарское великодушіе и вычурное ухаживаніе за женщиной остались столько же чуждыми нашему эпосу, какъ и вычурное буддійское самоотверженіе; все въ нашемъ эпосѣ просто, естественно, и поступая великодушно, богатыри наши даже не сознаютъ въ томъ заслуги. *Рисуется ли* нашъ Илья хоть сколько нибудь въ то, напримѣръ, мгновенье, когда забываетъ обиду княжескую — ради сиротъ и вдовъ? Но каковы отношенья къ послѣднимъ пресловутаго рыцарства? Развѣ не заботилось и оно о защитѣ ихъ? Да, между прочимъ— но, вопервыхъ никакъ не больше заботы о томъ намѣстныхъ представителей богатырства въ всякомъ эпосѣ, а далѣе—далеко не съ тѣмъ отпечаткомъ *земской уравнивающей всеобщности*, съ какимъ является *сиротинька* въ нашемъ и вообще славянскомъ эпосѣ. На сиротъ и на вдовъ изъ *земли* крайне рѣдко распространялась вельможная, слишкомъ высоко надъ ними поставленная *оборона* рыцарская! Вполнѣ человѣческая, не отвѣшивающая по золотникамъ и чуждая высокомѣрныхъ пріемовъ подачки со стола и съ плеча господскаго,— такая заботливость о *всей земли* вполнѣ возможна лишь въ томъ, кто, обладая человѣческимъ сердцемъ, вышелъ самъ изъ ея рядовъ.

И такъ— упорное, доводимое до послѣднихъ крайностей отдаваніе преимущества *мужицкому* русскому эпосу передъ *рыцарскимъ* европейскимъ?— Да можно ли ихъ и сравнивать — скажутъ, вѣроятно, многіе, прибѣгая при этомъ къ слѣдующему извороту: эпосъ западно-европейскій сложился въ опредѣленную, застывшую форму еще въ средніе вѣка, эпосъ же русскій измѣнялся въ устахъ народа до настоящаго времени, а потому онъ — эпосъ XIX столѣтія, и ежели кое что въ немъ помягче и повольнѣе, чѣмъ въ западно-европейскомъ, то единственно по той понятной причинѣ, что наше столѣтіе отличается большею человѣчностью и свободой, чѣмъ средніе вѣка. Но подобное возраженіе, мнѣ кажется, уже заранѣе предусмотрѣно и отражено всѣмъ, только что изложеннымъ ходомъ моихъ выводовъ, клонившихся именно къ тому, чтобы выказалась вся необыкновенная живучесть старины въ нашемъ

---

27) Въ этомъ отношеніи сравнительно отстаетъ отъ другихъ эпосъ древне-греческій. Но спеціалистамъ стоило бы поискать, не отыщется ли и въ немъ какихъ нибудь признаковъ обороны женщины.

28) Надо замѣтить, что даже примѣры женскаго причудливаго властолюбія встрѣчаются во всякомъ эпосѣ — въ тѣхъ трудныхъ задачахъ, какія нерѣдко задаютъ женщины своимъ поклонникамъ.

29) Примѣрами звѣрскаго обращенія съ женщиной полнится средневѣковой эпосъ. Ср. выше стр. 636 и въ изслѣдованіи г. Буслаева о Сидѣ стр. 49. — о поступкѣ Инфантовъ Каріонскихъ со своими женами.

эпосѣ, сохраненіе въ немъ, подъ незначительнымъ и, такъ сказать, прозрачнымъ наслоеніемъ позднѣйшихъ періодовъ нашей исторіи, того густого и устойчиваго слоя, который принадлежитъ еще періоду кіевскому. Но, что особенно важно, все, отзывающееся въ нашемъ эпосѣ человѣчностью и свободой, оказалось вытекающимъ изъ общиннаго начала, а потому и связывающимся съ временами его простора, а такими оказываются времена, предшествовавшія не только московскому, но и суздальскому періоду. Объ издавнемъ, путемъ естественнаго, ничѣмъ незадержаннаго развитія совершившемся у насъ переходѣ отъ родовыхъ отношеній къ общиннымъ свидѣтельствуетъ вся вообще словесность наша народная. Объ этомъ подробно говорено въ первыхъ главахъ моего «Историческаго Обозрѣнія Русской Словесности». Тамъ-же, въ одной изъ дальнѣйшихъ главъ, старался я указать и на тѣ причины, по которымъ общинность могла развиться. такъ безпрепятственно въ нашемъ славянскомъ мірѣ,—причины, давно уже, впрочемъ, указанныя, хотя и нѣсколько иначе освѣщеныя у Кирѣевскаго, Хомякова и К. Аксакова [30]). «Славянамъ недосталось непосредственное сосѣдство съ дряхлѣющею, разлагающеюся Имперіею Римскою; въ нихъ такимъ образомъ легкостію добычи не были вызваны въ дѣло тѣ силы, которыя у Германцевъ разыгрались воинственностью и положили завоевательное начало въ основу средневѣковой государственности. Несуществовавшимъ для Славянъ переходомъ въ преобладающее воинственное, и притомъ наступательно-воинственное положеніе не могли быть пришиблены тѣ смягчающія основы осѣдлости земледѣльческой съ естественно изъ нея вытекающею общинностью отношеній, которыя вездѣ зачинались, но въ славянствѣ сложились прочнѣе, ненарушимѣе и человѣчнѣе. Изъ этихъ-то основъ, какъ видѣли мы, возникли и тѣ поэтическіе идеалы Микулы-Премысла и Ильи Муромца, которыхъ земледѣльчески-передовое значеніе такъ знаменательно. И между Славянами нѣкоторыя племена, попадая въ ближайшее сосѣдство съ Имперіею Восточно-Римскою, (хотя и несравненно медленнѣе, но все таки разлагавшеюся и также вызывавшею на добычу); или же близко сосѣдя съ Нѣмцами, своимъ насиліемъ вызывавшими на войну; — попадая въ такое сосѣдство, и сами втягивались въ воинственность: у такихъ Славянъ видимъ мы характеръ, значительно ожесточившійся, видимъ и сильно развитымъ рабство, какъ слѣдствіе военно-плѣнничества [31]). Но Славяне русскіе изначала поставлены были въ условія—едва ли не самыя выгодныя. Отдѣленные другими Славянами отъ сосѣдства съ Имперіею или съ Германцами, они, въ своемъ движеніи на востокъ отъ Дуная углубляясь въ теперешнюю Россію, попадали въ широкій просторъ—земли всюду вволю, а населенье на ней не густое, мирное, просто отодвигавшееся въ сторону и уступавшее мѣсто Славянамъ, или дававшее имъ садиться рядомъ — тамъ, гдѣ было ужъ и

[30]) Кир. Полн. Собр. Соч. II, 241, 261—262, Хомякова II. С. С. I, 221, 230, 245. К. Аксак. I, 8.

[31]) Одинаково и относительно этихъ Славянъ сохранилось любопытное свидѣтельство лица, не имѣвшего основанія особенно ихъ любить, имп. Маврикія (VI в.)— что они не держатъ, какъ другіе народы, своихъ плѣнниковъ въ вѣчной неволѣ, но, по прошествіи извѣстнаго времени, предоставляютъ имъ самимъ рѣшить, пожелаютъ ли они, давъ выкупъ, возвратиться къ своимъ, или же остаться у своихъ побѣдителей въ качествѣ друзей и свободныхъ. (Šafařík, Starožitnosti, druhe vydani, prilohy. 696). Тоже уцѣлѣло и въ Сербскомъ эпосѣ— въ лицѣ того дервиша, который отпускается на свободу бановичемъ Страхиньей. (Вука II, стр. 274).

совсѣмъ просторно. Не имѣется у насъ ни преданій, ни историческихъ свѣдѣній о какой нибудь, хотя маломальской борьбѣ пришлыхъ Славянъ съ туземными Финнами. Тутъ рѣшительно не было завоеванія съ его ожесточающими, развратительными послѣдствіями [32]). Не было его, собственно говоря, и позже, по приходѣ варяговъ. Добровольно призванные Славянами, а не насильно обрушившіеся на нихъ, какъ обрушились Германцы на римскій міръ, князья со своими дружинами если позже и пускали въ дѣло мечи свои — для собранія прочихъ племенъ (не участвовавшихъ въ призваньи) подъ власть свою, то съ иными племенами и тутъ порѣшили мирно; вообще же не прибѣгали къ обычнымъ послѣдствіямъ прямого, настоящаго завоеванія, къ раздѣлу земли между побѣдителями. Дѣленія на два слоя — завоевателей съ безграничіемъ правъ и завоеванныхъ, вовсе лишенныхъ правъ, и долгой борьбы исторической вслѣдствіе такого дѣленія, — ничего подобнаго въ нашей исторіи не было. Въ этомъ — совсѣмъ не избранничество, а особое удобство, выгода, счастіе положенія [33]).

Болѣе или менѣе такъ понимаетъ это и Н. Я. Данилевскій въ той главѣ своего замѣчательнаго труда «Россія и Европа», которая носитъ заглавіе: особенности историческаго воспитанія. Начало завоевательное, по мѣткому выраженію этого, еще не оцѣненнаго у насъ писателя, коснулось нашей древней жизни только въ видѣ *прививки*. Вслѣдствіе этого не была у насъ подавлена общинность, подготовившая почву для христіанства. Не надобно забывать и того, что оно пришло къ намъ гораздо позже, чѣмъ къ западно-европейскимъ народамъ, т. е. пришло въ такую пору, когда общинность уже успѣла окрѣпнуть. Вотъ этимъ-то объясняется и сравнительно быстрая воспріимчивость русскаго народа относительно христіанства, этимъ, а никакъ не скудостью формъ нашего язычества, недостаточною развитостью у насъ миѳологіи, или другими подобными же, въ томъ или другомъ направленіи предубѣжденными заключеніями. Язычество наше, какъ совокупность повѣрій, преданій и обрядовыхъ дѣйствій, до сихъ поръ живетъ въ народѣ, *двоевѣрно* скрываясь подъ позднѣйшею христіанскою оболочкой; — въ этомъ отношеніи совершенно правъ г. Буслаевъ и другіе ученые его направленія. Но, не проникнувъ сквозь толстый слой миѳическихъ вѣрованій, христіанство, благодаря общинности, къ нему подготовившей, легко и сравнительно быстро проникло въ нравственныя понятія народа. Этому, конечно, способствовало и то, что народъ нашъ, благодаря принятію нами христіанства отъ восточной церкви, могъ вполнѣ понимать христіанскую проповѣдь. Такимъ образомъ *древнѣйшія* историческія условія были по преимуществу въ нашу пользу, и вотъ ими-то слѣдуетъ объяснять ту степень человѣческаго и свободнаго духа, какая заключается въ нашемъ эпосѣ. Это издавній плодъ общинности и первыхъ, сразу ее озарившихъ лучей христіанства. Такъ оно

---

32) См. въ статьѣ покойнаго Ешевскаго о Русской Колонизаціи въ Вѣстн. Евр. 1866 г., I, 217 и 219: «чужеродцы не обращались въ рабовъ, не причислялись къ существамъ низшей породы.» Ср. также въ «Россіи» яко-бы Булгарина, на самомъ же дѣлѣ пок. каз. проф. Иванова, Ист. ч. II, стр. 11—13: свидѣтельство Прокопія о лже-Хильвудѣ quando quidem rediisset in patriam, se quoque, uti lex juberet, liberum deinceps fore. (Штриттера. II, 27).

33) См. въ моемъ Истор. Обозр. Р. Слов. стр. 287—288.

должно быть признано потому, что весь дальнѣйшій ходъ нашей историческої жизни вовсе не представлялъ удачнаго усвоенія преимуществъ, доставшихся намъ сначала. Христіанское просвѣщеніе, принявшееся такъ легко и давшее быстрые всходы, было скоро и на долгія времена задержано въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи, подобно тому какъ въ нашемъ непостоянномъ климатѣ благодатные дары теплой и быстро наступившей весны нерѣдко бываютъ пришиблены внезапно наставшимъ долговременнымъ холодомъ. Дѣло въ томъ, что вмѣсто сосѣдства съ разлагавшеюся Римскою Имперіею, вызывавшею Германцевъ на дѣйствія наступательныя, у насъ оказалось, какъ уже видѣли мы, сосѣдство съ азіятскими кочевыми ордами, постоянно дѣлавшими нападенья на насъ и заставлявшими насъ *обороняться*. Вотъ эти-то обстоятельства, отъ которыхъ рѣдко сталъ раздаваться голосъ пахаря даже въ чисто земледѣльческомъ юго-западномъ краѣ, привели наконецъ къ тому, что рѣдко стала раздаваться и христіанская проповѣдь въ землѣ, такъ благопріятно подготовленной къ христіанству. Послѣ первыхъ задатковъ народнаго просвѣщенія, зачавшагося у насъ вмѣстѣ съ христіанствомъ и сказавшагося въ нашихъ былинахъ грамотностью столь многихъ богатырей, мало по малу оказался такой застой, что сдѣлались возможными даже священники, совершенно безграмотные [34]) и что въ XVI в. даже члены боярскихъ родовъ могли, за дальностью разстоянья, оставаться безъ неотъемлемаго, по былинамъ, у святой Руси—звона колокольнаго и пѣтья церковнаго [35]). Вслѣдствіе такого застоя, теперешняя степень христіанскаго просвѣщенья въ народѣ едва ли стоитъ выше той, какой достигало оно въ первые два столѣтія послѣ крещенія Руси; я почти готовъ сказать, что она ниже — уже по тому, что нѣтъ теперь, и не можетъ быть, того теплаго воспріятія увлеченнымъ сердцемъ, какое обыкновенно оказывается у новообращенныхъ. Христіанскіе *миссіонеры* положительно нужны въ настоящее время не только по инородческимъ нашимъ окраинамъ, но и въ самомъ сердцѣ Россіи.

Но и кромѣ той бездѣйственности христіанской проповѣди, какая оказалась послѣдствіемъ дальнѣйшихъ неблагопріятныхъ явленій нашей исторіи, не только не возбудительно, но скорѣе пришибающимъ образомъ должно было дѣйствовать на народъ и ссуровленіе власти со всѣми заведшимися подъ вліяньемъ татарщины истязательными орудіями, и обложенье неслыханными повинностями, и безпощадный, какъ бы узаконившійся грабежъ кровопійцъ-воеводъ, и наконецъ прикрѣпленье къ землѣ со всѣми его постепенными — чѣмъ дальше, тѣмъ ужаснѣйшими последствіями. Между тѣмъ, какъ на западѣ отъ совершеннѣйшаго порабощенія народа мало по малу совершался переходъ къ состоянью, болѣе сносному, у насъ напротивъ того отъ широкой народной свободы происходилъ переходъ къ совершеннѣйшему порабощенью. Народу не только не стало лучше, но стало напротивъ положительно

[34]) Это, быть можетъ, выразилось я въ былинахъ безграмотностью Алеши Поповича (если только дѣйствительно онъ безграмотенъ—ср. выше стр. 724).

[35]) Такъ въ житіи Юліаніи Лазаревской говорится про эту боярскую женщину XVI ст.: «и не лучися ей въ дѣвичествѣ возрастѣ въ церковь приходити, ни слышати божественныхъ словесъ прочитаемыхъ, ни учителя учаща на спасеніе николиже». (Буслаева Очерки II, 264). Объ огрубѣлости самого духовенства см. въ Стоглавѣ, по изд. Кожанчикова, стр. 48—57.

хуже и въ ту пору, когда Петръ насъ сближалъ съ Европой, а Лейбницъ начертывалъ ему затѣйливый планъ высшаго ученаго учрежденія. И далѣе, не говоря уже о томъ времени, когда подъ ударами Бирона вымогались изъ народа послѣднія его средства и проливалась рѣкой его кровь,—и позже, въ золотой вѣкъ Екатерины, во время либеральной ея переписки съ Вольтеромъ и его старчески-дѣтскихъ восторговъ при зрѣлищѣ того свѣта наукъ, какимъ она озарила сѣверъ—народъ лишь рѣшительнѣе закрѣпощался. Развѣ только на волосъ легче стало ему въ началѣ царствованія Благословеннаго; но и по сокрушеніи покорителя всей Европы, по пролитіи имъ своей крови за всю Европу, народъ нашъ, между тѣмъ какъ въ сосѣдней Пруссіи проводилось тогда же великое дѣло освобожденья крестьянъ, дождался только того, что знаменитый историкъ Россіи, подъ вліяньемъ преступнаго заоблачнаго идеализма, все доказывалъ, будто нельзя порѣшить съ крѣпостничествомъ, не позаботившись прежде о томъ, чтобы нравственно возвысить народъ [36])! Оборотная точка въ жизни народа Русскаго обозначилась лишь 19 февраля 1861 года. Съ этихъ поръ лишь открывается для него возможность снова пойти впередъ, снова начать испытывать впечатлѣнія и вліянія не притупляющія, а возбудительныя — послѣ того мертвящаго многовѣковаго застоя, какой пришлось ему испытать. Но и теперь еще страшной преградой для бодраго движенья народа впередъ остаются безсмертные наши «кабакъ» и «кружало» съ ихъ обычнымъ эпическимъ прозвищемъ.

Послѣ этого, кажется, должно быть ясно, что вплоть до самаго благодатнаго 19 февраля, чѣмъ позже, чѣмъ дальше впередъ, тѣмъ мрачнѣе должно было становиться въ народѣ. Если же мракъ этотъ, все больше и больше сгущавшійся въ теченіи послѣднихъ вѣковъ, отразился лишь слабо на нашемъ народномъ эпосѣ, то собственно потому, что слишкомъ въ немъ была живуча старина, вынесенная изъ иныхъ, болѣе благопріятныхъ временъ, задолго предшествовавшихъ окончательному крушенію народной свободы, а также и потому, что эта эпическая старина отнесена была въ такія мѣстности, которыхъ не коснулось это крушеніе. Уже въ другомъ мѣстѣ (въ одной изъ моихъ критическихъ замѣтокъ по народной словесности) мнѣ приходилось сравнить нашъ сѣверный, не оскудѣвшій эпосомъ край, съ Исландіей, куда также спаслись остатки древнескандинавскаго эпоса вмѣстѣ съ остатками древнескандинавской свободы,— но то была свобода *аристократическая* (если только при такомъ прилагательномъ возможно это существительное), а не та единая настоящая—общенародная, о которой такъ горячо при этомъ вспомнила Тальфи [37]). То обстоятельство, что самыя человѣчныя и свободныя по духу былины сохранились именно въ краѣ, не подвергшемся закрѣпощенію—обстоятельство, уже указанное и выше (стр. 666)— чрезвычайно важно. Но и оно могло только способствовать сбереженію тамъ ста-

[36]) «Главное право русскаго дворянина, по словамъ Карамзина, быть помѣщикомъ, главная должность его быть добрымъ помѣщикомъ... «Для истиннаго благополучія земледѣльцевъ нашихъ желаю единственно, просвѣщенія, которое одно сдѣлаетъ все хорошее возможнымъ. См. Галахова Ист. Р. Слов. II, 35, 36.

[37]) Такъ она говоритъ въ своемъ Versuch einer geschichtlichen Charakteristik der Volkslieder 261.

рины стародавней, не доставляя народу и тамъ какихъ либо новыхъ, благопріятно-двигающихъ и просвѣтительныхъ для него вліяній. Объяснять себѣ мягкія и дышащія свободой черты нашего сѣвернаго эпоса тѣмъ, что могли же тамъ выдаваться, въ пору ближайшую къ намъ, такія блистательныя исключенія изъ общаго правила, какъ сильное вліяніе какого нибудь просвѣщеннаго и ревностнаго священника,—прибѣгать къ такимъ, или подобнымъ тому объясненіямъ, смѣю думать, это значитъ совершенно не понимать, какъ туго поддается народный эпосъ и широко-захватывающимъ, сплошнымъ вліяніямъ, а тѣмъ менѣе одиночнымъ исключительнымъ случаямъ, это значитъ—выражусь откровенно — въ нашъ трезвый, положительный вѣкъ, рисовать себѣ розовенькую геснеровскую идиллію.—А если бы и предположить въ нашемъ сѣверномъ краѣ (въ слѣдствіе ли основанія Академіи въ Петербургѣ, или вслѣдствіе вліянія д'Аламбера съ Вольтеромъ на Сѣверное Свѣтило, или наконецъ благодаря масонству [38]), иллюминатству и квакерству), если бы даже предположить въ немъ и цѣлое полчище просвѣтителей, взявшихся за дѣло даже и съ полнымъ знаньемъ народа при несомнѣнной къ нему близости (хотя это ужь совершенно не мыслимо),—то почему бы вліянью такихъ просвѣтителей отразиться исключительно на былинахъ изъ круга кіевскаго и нимало не затронуть былинъ изъ круга новгородскаго, хотя онѣ поются въ тѣхъ же самыхъ мѣстностяхъ и нерѣдко даже тѣми самыми лицами? Коренное различіе въ духѣ кіевскихъ и новгородскихъ былинъ—обращаю еще разъ на это вниманіе—прямо свидѣтельствуетъ, что и тѣ, и другія оставались не зависимыми отъ какихъ либо общихъ для нихъ позднѣйшихъ вліяній. Духъ необузданной *личной вольницы* въ новгородскомъ эпосѣ, не смотря на издавность его сосѣдства съ кіевскимъ, ни мало не поддался смягчающему вліянію того духа *свободной общинности*, отпечатокъ котораго кіевскій эпосъ уже долженъ былъ съ собой *принести* на сѣверъ. Духъ этотъ остается только *тамъ сбереженнымъ* (въ свою очередь помимо всякихъ вліяній новгородскаго эпоса), наслѣдіемъ древнихъ временъ еще не пришибленной общинности, подъ воздѣйствіемъ на нее тѣхъ первыхъ началъ христіанскаго просвѣщенія, дальше которыхъ мы не пошли уже съ самыхъ временъ Татарщины.

Послѣ этого, кажется, мудрено сомнѣваться, что, сопоставляя западно-европейскій богатырскій эпосъ съ русскимъ, мы сопоставляемъ средневѣковое съ средневѣковымъ, при чемъ окончательной соизмѣримости мѣшаетъ лишь то, что на эпосѣ европейскомъ замѣтно уже вліянье литературное, замѣтна примѣсь личнаго, сознательнаго творчества, тогда какъ въ нашемъ русскомъ такой примѣси не замѣтно вовсе, примѣсь же этого рода всегда болѣе или менѣе *подновляетъ*. Такимъ образомъ, если пускать въ дѣло пріемы не *внѣшней*, а *внутренней* критики (къ чему и стремился я въ этой книгѣ), то перевѣсъ *новизны* оказывается скорѣе на сторонѣ западно-европейскаго, чѣмъ нашего русскаго эпоса. Впрочемъ, мы можемъ теперь припомнить и то, что

[38]) Конечно, масонство могло бы со временемъ оказать у этого незабвеннаго человѣка отнята была вовліяніе на просвѣщеніе народное—въ лицѣ такихъ, возможность дѣйствовать. Рано смѣнилъ Новикова идеаль-предсѣдателей, имя Новикова, по извѣстно, какъ рано по-крѣпостничествовавшій Карамзинъ!

выше познакомились мы съ тѣми пѣснями изъ средневѣковаго богатырскаго круга, которыя *пѣлись еще и въ началѣ нынѣшняго столѣтія* на островахъ Феррерскихъ, и многое въ нихъ оказалось положительно болѣе близкимъ къ древнѣйшимъ скандинавскимъ изводамъ, чѣмъ позднѣйшіе средневѣковые изводы германскіе. Всего же менѣе въ этихъ пѣсенныхъ отзвукахъ старины, *сохраненныхъ народною памятью* (а потому уже прямо напрашивающихся на сопоставленіе съ нашими), всего менѣе въ нихъ оказывается *смягченности*, напротивъ единственнымъ признакомъ новизны служитъ въ нихъ *крайняя огрубѣлость*.

Но можно бы было, пожалуй, приняться сравнивать богатырскій нашъ эпосъ не съ богатырскимъ германскимъ, литературнымъ образомъ определившимся уже въ средніе вѣка, а съ тѣми эпическими (но уже не богатырскими) пѣснями, какія поются и до сихъ поръ въ различныхъ мѣстахъ Германіи и вошли въ составъ многочисленныхъ сборниковъ. Передъ судомъ *внѣшней критики* это было бы совершенно законно, такъ какъ тутъ *народное, намъ современное* сравнивалось бы съ современнымъ же. Но именно такое сравненіе оказалось бы окончательно невыгоднымъ для германской народной словесности, а *критика внутренняя* положительно назвала бы подобный пріемъ софистическимъ. Дѣло въ томъ, что до сихъ поръ распѣваемыя по всей Германіи пѣсни эпическія принадлежатъ уже той порѣ упадка народнаго творчества, которая наступаетъ по мѣрѣ того, какъ богатырскій былевой эпосъ съ его своеобразнымъ идеализмомъ изглаживается изъ народной памяти. Съ такими пѣснями у Германцевъ могли бы совершенно законнымъ образомъ сравниваться у насъ лишь тѣ, такъ назыв. *бытовыя*, которыя поются преимущественно въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ уже позабыты былины, и которыя въ свою очередь отличаются отсутствіемъ былевого идеализма и значительной степенью огрубѣлости. Вотъ на нихъ-то по преимуществу и отразились тѣ, наступившія уже съ Татарщиною, ожесточающія обстоятельства, которыя въ концѣ концовъ привели къ развращающему закрѣпощенію. Напротивъ внимательная провѣрка былинъ именно теперешними воззрѣніями народа всего яснѣе свидѣтельствуетъ о томъ, сколько сдѣлано имъ шаговъ назадъ противъ той ступени развитія, которая въ свое время отразилась и, разумѣется, идеально отразилась въ былинахъ. Въ нихъ, напримѣръ, мы видимъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ, не поддавшихся смягчительному вліянію времени общинности, эпически окаменѣлыхъ остатковъ патріархальной грубости, — за исключеніемъ этого мы находимъ въ былинахъ уже просвѣтленное и очеловѣченное значенье жены и матери, даже женщины вообще;— а въ какомъ, напротивъ того, униженіи, въ какой полной зависимости отъ самодура мужчины находится она большею частью въ теперешнемъ огрубѣломъ народномъ быту!—Богатырскій эпосъ въ лицѣ Ильи Муромца выражаетъ глубокое отвращеніе къ *звѣринскимъ обычаямъ* въ семьѣ Соловья разбойника,—а какія противоестественныя безобразія происходятъ, мѣстами, и въ наше время, въ народной семьѣ, подъ вліяньемъ рекрутскихъ выхватываній изъ нея и неизбѣжнаго шатанія по городамъ для промысловыхъ заработковъ на уплату повинностей и оброковъ!—Богатырскій эпосъ въ лицѣ

Ильи мца поставилъ силу человѣческой воли выше самой судьбы, — а какимъ жалкимъ притупляющимъ вѣрованьемъ въ «на роду написанность» отличаются въ настоящее время, въ большей части случаевъ, воззрѣнья народныя, тѣмъ неотразимѣе дѣйствующія, что къ нимъ примѣшивается и оттѣнокъ ложно-перетолкованнаго христіанства, — воззрѣнья, вредящія народу во всемъ—и въ хозяйственныхъ предпріятіяхъ, и въ дѣйствіяхъ нравственныхъ. Богатырскій эпосъ, въ лицѣ Ильи Муромца, выставилъ образецъ добровольнаго, вполнѣ безкорыстнаго и безпредѣльно усерднаго служенія міру-народу, — а какъ часто приходится намъ замѣчать, что народъ тяготится своими общинными обязанностями, всячески пытается отъ нихъ уклониться, утаивать и удерживать для себя, обходя и обманывая свое общество, и своимъ собственнымъ свидѣтельствомъ противъ общиннаго устройства нерѣдко подкрѣпляетъ литературныхъ его противниковъ, обыкновенно и ссылающихся при этомъ на голосъ самого народа. Но надобно быть такими *слѣпцами духомъ*, какихъ у насъ, къ сожалѣнью, чрезвычайно много, чтобы изъ за позднѣйшей, подъ вліяніемъ крѣпостничества придавленно-извращенной общинности и того особеннаго, дѣйствительно тягостнаго народу употребленія, какое сдѣлано изъ общиннаго начала въ видахъ экономическихъ—ради удобства сбиранія податей, — чтобы изъ за подобныхъ явленій ребячески возставать противъ самаго общиннаго начала. Теперешнее народное неудовольствіе общинностью и попытки отъ нея уклоняться легко объясняются и особымъ видоизмѣненіемъ общины во времена крѣпостного права, и тѣмъ неизбѣжнымъ развитіемъ себялюбія, которое всегда является слѣдствіемъ рабства. Напротивъ того, при свободѣ только возможнымъ добровольнымъ самоограниченіемъ личности, а также и настоящимъ широкимъ развитіемъ общинности безъ всякаго посторонняго ея примѣненія, то есть прежнимъ ея, стариннымъ просторомъ и *чистотою* объясняется та охотная общинная служилость нашего Муромца, которая такъ поражаетъ въ былинахъ.

Но не только сравненіе былевого эпоса съ теперешнимъ нравственнымъ міросозерцаньемъ народа, зависящимъ отъ его настоящей дѣйствительности, склоняется рѣшительно въ пользу эпоса. Рѣшительное преимущество придется ему отдать и въ томъ случаѣ, если внимательно, безъ предубѣжденій, его посравнить съ тѣмъ, что представляла старинная наша письменность. Между тѣмъ какъ народный эпосъ мало по малу доработался до того, что нравственно поднялъ женщину на извѣстную высоту идеальную, наша древняя письменность, подъ вліяніемъ узко понятыхъ образцовъ духовной византійской литературы, чѣмъ дальше, тѣмъ ниже ставила женщину, какъ пріемницу Евы, какъ тлетворный сосудъ діавола. Между тѣмъ какъ народный эпосъ давалъ своего рода отпоръ фатализму, наша древняя письменность скорѣе могла къ нему возвращать различными заносными повѣстями—съ оттѣнкомъ совершенно фаталистическимъ. Между тѣмъ какъ нашъ эпосъ, въ лицѣ лучшаго изъ богатырей, выставлялъ совершенно свободныя, чуждыя и малѣйшей тѣни подобострастья, отношенья народа къ князю, наша древняя письменность обзавелась уже на первыхъ порахъ словомъ *рабъ* (на этимологическую сродность съ нимъ *работной* дружины собственно *запъзжаго*, т. е. чуждаго

нымъ Соловья и *новгородскаго*, также чуждымъ началомъ позаразившагося Садка, указано было выше), обзавелась и другими различными принадлежностями суровой и опасной для земской свободы, византійской государственной обстановки. Подобнаго рода сравненія были бы въ высшей степени полезны въ томъ смыслѣ, что ими бы совершенно наглядно доказывалось, въ какой мѣрѣ книжность *сама по себѣ* способна и не быть *просвѣтительною*, или быть такою только въ ироническомъ смыслѣ. Но уже и послѣ немногихъ примѣровъ такого сравненія становится, я думаю, несомнѣннымъ, что никакъ не изъ многаго множества всѣхъ тѣхъ книгъ, которыя становились у насъ въ старину посредницами между народною мыслію и *великой книгой евангельскою*, а только прямо, непосредственно изъ этой послѣдней, доступной всему народу, по доступности славянскаго перевода, могло проникнуть въ народный эпосъ такое широкое пониманіе христіанства, какъ выходъ на подвигъ ради вдовъ и сиротъ, а не ради церквей, или построеніе церкви—не за свою душу. Ни одной подобной черты не представитъ наша древняя многосоставная письменность, и оно совершенно понятно: инымъ образомъ отражается христіанство въ тѣсной, закрытой средѣ, за *стѣнами*, и инымъ образомъ подъ открытымъ небомъ, на вольномъ просторѣ народной жизни, если только въ самомъ дѣлѣ дѣйствуетъ на нее христіанство.

Давно бы пора и на Западѣ поставить на очную ставку съ средневѣковою книжностью произведенья народной словесности. Извѣстно, какой важный шагъ впередъ составлялъ въ развитіи миѳическихъ вѣрованій установившійся наконецъ перевѣсъ свѣтлыхъ силъ надъ тѣми силами тьмы, которыхъ могущество такъ запугивало людей въ первобытную пору. И что же? Средневѣковая письменность стала опять выставлять старинное черное пугало подъ обновленнымъ прозваніемъ *чорта*, чтобы тѣмъ удобнѣе помыкать народомъ; но словесность народная служитъ намъ доказательствомъ, что такія попытки не удавались: пугало сдѣлалось просто смѣшнымъ и ему приписывались похожденія, выставлявшія его столь же глупымъ, какъ глупы были миѳическіе великаны. А западно европейскій животный эпосъ? Какъ мѣтко и какъ рѣшительно были въ немъ преданы осмѣянію и средневѣковое феодальное общественное устройство, и средневѣковый, той же самою феодальностью заразившійся clerus. Кому не извѣстно, что эта сатира народная была наконецъ внесена и въ самые храмы, наглядно сказавшись въ нихъ изваяніями, изображавшими могучихъ прелатовъ и рыцарей въ видѣ хитрыхъ лисицъ и хищныхъ волковъ.!—Тѣ великіе «умники» XVIII ст., которые такъ благодѣтельски-гордо посматривали на народъ, собираясь сдѣлать tout pour le peuple, rien par le peuple,—какъ бы смутились они, еслибъ могли догадаться, что эта, презираемая ими canaille уже давно додумалась въ своихъ грубыхъ *басняхъ* и *подлыхъ* (употребляю наше русское литературное выраженіе XVIII ст.) пѣсняхъ до зачатковъ того *вольнодумства*, которое, какъ воображали умники, было по силамъ лишь имъ однимъ. Да и какъ же могли бы только стадообразно молчать, не давая никакого умственнаго отпора угнетающимъ силамъ, именно тѣ, которые всего больше отъ нихъ терпѣли?

Но есть и другія стороны въ словесности простого народа, до сихъ

поръ еще не достаточно оцѣненныя. Взгляните на сказки «о правдѣ и кривдѣ» въ различныхъ европейскихъ изводахъ, преимущественно въ прекрасныхъ изводахъ славянскихъ, а также и на подходящія къ нимъ пословицы. Какъ сильно поражаютъ и тѣ и другія непоколебимою, глубокою вѣрой народа въ неизбѣжное конечное торжество непобѣдимой и вѣчной правды! И въ тоже самое время вспомните, какимъ образомъ разрѣшается борьба тѣхъ же двухъ началъ въ извѣстномъ духовномъ стихѣ, сложившемся, разумѣется, уже подъ вліяніемъ книжности. Правда, хотя бы и переспоривъ кривду (а по нѣкоторымъ пересказамъ она ею переспорена), отправилась къ Богу на небо, а на землѣ ея не осталось. Но такой пессимизмъ, хотя бы и вѣроисповѣдно поставленный, не отразился на произведеньяхъ вполнѣ народныхъ. И духовная письменность съ одной стороны, и горькій жизненный опытъ съ другой единогласно твердили народу одно: «правды давно на землѣ не стало», а народъ, не смотря ни на что, упорно продолжалъ твердить: «правда всплываетъ какъ масло», «она только почиваетъ на днѣ морскомъ», «у кривды мелкое дно»; «съ правдой весь свѣтъ пройдешь, а съ кривдой не дойдешь и до порога.»[39]) Когда съ подобнымъ міросозерцаніемъ встрѣчаешься у мыслителей изъ достаточныхъ, сытыхъ классовъ, то можетъ невольно взбрести на умъ подозрѣніе—не изготовлена ли ихъ философія на их вкусной кухнѣ? Когда же встрѣчаешься съ тѣмъ же успокоительнымъ міросозерцаніемъ у голи, униженной и оскорбленной, тогда только начинаешь сознавать, что подобнаго рода идеализмъ составляетъ потребность природы. Только въ народѣ онъ можетъ найти опору, только изъ народныхъ рядовъ могли бы выступить дѣльные и дѣйствительно вѣскіе его представители.

А все свѣтлый сказочный типъ Иванушки дурачка? Какъ вѣрно выразилъ въ немъ народъ самого себя, свою постоянную униженность и оскорбленность и всю свою ненадломленность и незлобленность. Всегда добродушный, постоянно готовый помочь всѣмъ и каждому, Иванушка кажется *дурачкомъ*, но, по народному, онъ умнѣе тѣхъ *умниковъ*—старшихъ братьевъ, которыхъ весь умъ—въ *себялюбіи*. Въ этихъ умникахъ, повидимому, народъ изображаетъ тѣ старшіе, всѣми преимуществами надѣленные слои общества, которыхъ эгоистическая, вѣками узаконившаяся практика, была наконецъ возведена мыслителями изъ ихъ рядовъ и въ теорію, окончательно развращающую и общественныя, и международныя отношенія. Эгоизмъ еще естественнѣе вытекаетъ изъ избытка правъ, чѣмъ изъ совершеннаго ихъ недостатка;—вспомнимъ слова поэта словацкаго и нашего отечественнаго мыслителя, о томъ, что *рабовладѣльчество* развратительнѣе самаго *рабства*. (См. выше стр. 666). Для народа, не смотря на его угнетенность, въ идеальномъ настроеніи его творчества заключалось противоядіе отъ соблазновъ практическаго эгоизма. Самъ собою, работою собственнаго

39) См. въ моей Хрестом. стр. 127—128. Тутъ же замѣчательны и слѣд. пословицы: «Засыпь правду золотомъ, а она всплываетъ. Рать стоитъ до міра, ложь до [illegible]» А также [illegible] утопити, вѣтру удушити, а правдѣ загинути (Челяковскаго Мудрословье Слов. Нар., стр. 63).



ума, народъ выработалъ ученіе о взаимной помощи и братской любви, и, храня его въ своихъ сказкахъ подъ прозвищемъ *глупости*, внесетъ его и въ литературу, и въ жизнь историческую, когда наконецъ наступитъ *ею* пора.

Итакъ въ народной словесности по лицу всей Европы (вѣрнѣе, быть можетъ, было бы сказать—повсемѣстно) существуетъ извѣстная совокупность такихъ человѣчныхъ, простыхъ и съ тѣмъ вмѣстѣ глубокихъ, вполнѣ своеобразныхъ взглядовъ, которые тѣмъ болѣе поражаютъ, что оболочка, въ какой они выражаются, и крайне груба, и ребячески-простодушна. Въ этомъ отношеніи наша словесность народная только раздѣляетъ преимущества всякой другой, преимущества, объясняемыя тѣмъ, что это словесность *народа*, т. е. того, кому не досталось въ удѣлъ развращающее право сильнаго.

Но вотъ тѣмъ-то окончательно и разгадываются причины различія собственно въ былевомъ, богатырскомъ эпосѣ у насъ и во всей остальной Европѣ. Прошу припомнить, что сказано было выше—о тѣхъ ненародныхъ слушателяхъ, передъ которыми распѣвались на западѣ богатырскія пѣсни. То были бароны, рыцари, разные *сильные* феодальнаго міра. Они-то и дѣйствуютъ почти исключительно въ западныхъ богатырскихъ пѣсняхъ, дѣйствуютъ, какъ подобаетъ *сильнымъ*, съ *насильственностью* (употребляю здѣсь это слово, которымъ Н. Я Данилевскій такъ вѣрно выразилъ основную особенность преимущественно германскаго историческаго начала). Въ западно европейскомъ эпосѣ не видимъ мы впереди, первенствующими, богатырей изъ народа; потому что эпосъ облекаетъ въ богатырскія формы основныя дѣйствующія силы исторіи, а на Западѣ въ теченіи среднихъ вѣковъ такою дѣйствующею силою народъ не являлся. Въ нашемъ эпосѣ впереди всѣхъ является богатырь-крестьянинъ, и почти постоянно въ тѣни — самъ Владиміръ кіевскій со князьями-боярами, и это, при многомъ другомъ, даетъ основаніе заключать, что въ теченіи нашихъ среднихъ вѣковъ народъ являлся дѣйствующею исторической силою — по крайней мѣрѣ сравнительно съ тѣмъ, что было тогда на западѣ. Во всякомъ случаѣ происхожденіе первенствующаго богатыря нашего эпоса изъ народа служитъ самымъ простымъ и рѣшительнымъ объясненіемъ его относительной человѣчности и его свободнаго духа.

Всѣмъ извѣстно рѣзкое, въ угловатой формѣ, выраженіе славянофиловъ о такъ называемомъ *гніеніи* Запада, выраженіе, которое и въ томъ, совершенно новомъ, научными доводами обставленномъ видѣ, въ какомъ оно явилось недавно у г. Данилевскаго, все еще представилось многимъ отталкивающимъ. Но я думаю, что тѣ-же *многіе* готовы будутъ признать выродившимися, выживающими изъ ума и заѣдающими чужой, не начинавшійся, въ сущности, вѣкъ народа,—считать такими тѣ, до сихъ поръ почти исключительно дѣйствовавшіе въ европейской исторіи общественные слои, которые сравнены были выше со старшими братьями сказочнаго Иванушки. И на поприще политическое, и на поприще литературное, положительно оскудѣвшее творчествомъ, Европа ждетъ новыхъ дѣятелей изъ ряда Запечниковъ, Попялoвыхъ и Иванушекъ дурачковъ. [illegible] дѣятелей до



женъ возлагать всѣ свои надежды Славянскій міръ. Въ немъ, какъ извѣстно, общее явденье составляетъ то, что только внизу, въ глубинѣ народной, какъ будто присѣвшими, притаившимися отъ различныхъ гнетущихъ и чужеядныхъ вліяній, оказываются самобытныя народныя начала славянства. Оттуда, съ самаго дна, какъ извѣстно, изъ тѣхъ же суровыхъ, но пощаженныхъ закрѣпощеньемъ краевъ, гдѣ сохранился нашъ былевой эпосъ, вышелъ и первый могучій поборникъ у насъ науки, родоначальникъ нашей новой литературы, холмогорецъ Михайло Васильевичъ Ломоносовъ—рыбачій сынъ. [10]) Съ нашего народнаго дна поднимались и послѣ болѣе или менѣе даровитые дѣятели, а у братьевъ нашихъ Словаковъ и Чеховъ съ народнаго дна поднялись, какъ всѣ знаютъ, передовые представители славянскаго возрожденія и новой славянской науки, люди, съумѣвшіе (отношу это особенно къ Чехамъ) разнести ея свѣтъ по всему народу, въ этомъ случаѣ вѣрно идя по стопамъ великаго крестьянскаго же сына—Гуса.

Если же опять обратиться собственно къ Русскимъ, то на потребность у насъ *обновленія изъ народа* ясно указываетъ, не говоря о другомъ, и сопоставленье народнаго нашего эпоса съ нашей литературой. Въ какомъ бы не полномъ, постерѣвшемся и многое уже поутратившемъ видѣ ни дошелъ до насъ нашъ народный эпосъ, [11]) въ немъ положительно можно замѣтить въ своемъ родѣ идеальное направленіе. Илья Муромецъ положительно представляетъ живой, не искусственно сдѣланный, а съ плотью и кровью, т. е. удавшійся идеалъ народный, рядомъ съ которымъ не можетъ быть поставленъ положительно ни одинъ изъ нашихъ литературныхъ, постоянно неудававшихся идеаловъ. И какъ же было имъ удаваться, когда въ самой жизни нашихъ верхнихъ, искусственно образованныхъ слоевъ, не было общихъ, совокупной работою собственныхъ силъ добываемыхъ, *руководящихъ идей*. Постоянно смѣнялась у насъ одна, заносимая счужа идея другою, и во имя новой — постоянно умно, а потому и удачно, отрицалась въ нашей литературѣ старая, т. е. ей предшествовавшая, съ другой же стороны отрицалась, уже съ самыхъ первыхъ временъ нашей подражательной образованности, и самая, только что указанная ложь и безпочвенность нашей жизни. И благо, что въ послѣднее время полнымъ разцвѣтомъ такъ называемаго *отрицательнаго направленія* въ литературѣ окончательно вытѣснились у насъ, и, надо надѣяться, навсегда, попытки прежняго дряблаго, витавшаго въ высяхъ идеализма, рѣшавшагося, въ лицѣ Карамзина, ожидать улучшенія доли крестьянъ отъ добраго сердца помѣщиковъ, а послѣ него, не

---

10) Странно, что люди, признающіе благотворное вліяніе на Ломоносова той среды, въ которой онъ родился, не объясняютъ тою же самой средой и сочувственнаго духа уцѣлѣвшаго тамъ же эпоса. Не напрасно, съ другой стороны, былины даже вовсе не уцѣлѣли въ Бѣлоруссіи—гдѣ до такой степени былъ угнетенъ народъ. Если же былевой эпосъ и въ самой родинѣ своей, Малороссіи, остался только въ видѣ какихъ нибудь сказокъ или отдѣльныхъ эпическихъ отзвуковъ, то это объясняется другими причинами—тѣмъ, что позднѣйшія историческія событія привлекли все вниманье народа, и прекрасныйи украинскими думами вытѣснены были древнія былины. См. Костомар. Объ Ист. Знач. Р. Нар. поэзіи, стр. 91 и Л. Майкова о Былинахъ Влад. цикла, стр. 32 (тутъ же и ссылка на Кулиша зап. о Южной Руси I, 8).

11) Вотъ этою-то неполнотою дошедшаго до насъ эпоса и объясняется то, что въ немъ не достаетъ многихъ чертъ нашего древняго быта, чему такъ недогадливо удивляется в. Стасовъ.

шутя, увѣрять, будто въ сравненіи съ такъ называемыми *страданіями* поэта доля простого поселянина есть рай земной, или же разражаться потоками брани противъ *толпы*, которая нѣсколько болѣе, чѣмъ такими судорогами поэтическаго самолюбья, озабочивалась насущнымъ хлѣбомъ. Новымъ, здоровымъ и трезвымъ, изъ жизни выходящимъ идеализмомъ литература наша проникнется лишь тогда, когда въ ней проявятся связи съ народомъ — т. е. когда она изучитъ его глубоко, какъ онъ есть, безъ всякихъ предвзятыхъ мыслей, а онъ получитъ возможность вносить въ нее свѣжіе соки, выдвигая изъ собственныхъ своихъ нѣдръ писателей, которые бы могли развить далѣе, перелить въ новыя, совершеннѣйшія, просвѣщенныя формы тѣ задатки глубокихъ и самобытныхъ идей, какіе таитъ онъ въ своемъ безыскусственномъ эпосѣ.

Такъ вотъ что въ концѣ концовъ—желаніе наводненья и самой литературы тѣми выходцами изъ *мужичья*, которымъ и безъ того уже, по мнѣнію многихъ, слишкомъ широко открыта дверь—и въ земство, и въ гласный судъ, и повсюду. Но не сбудутся ли послѣ этого пугающія предсказанія тѣхъ публицистовъ и даже профессоровъ Европы, которые, какъ нѣкогда грекъ-проповѣдникъ Владиміра запоною суда страшнаго, остолбеняютъ своихъ довѣрчивыхъ слушателей мастерски нарисованною картиной новаго наводненія Европы Азіей—чрезъ посредство необузданной, ярой, съ цѣпи сорвавшейся русской не рыцарской силы?

Да, многимъ, по разнымъ причинамъ, хотѣлось бы, чтобы сила эта дѣйствительно оставалась на вѣки только стихійною, грубою. Мы же, по народному эпосу убѣдившись въ томъ, до какой степени смягченности можетъ доходить эта сила сама собою, и даже оставаться смягченною, не смотря на цѣлый рядъ самыхъ неблагопріятныхъ, самыхъ ожесточительныхъ, повидимому, вліяній, заключимъ это изслѣдованіе желаніемъ, чтобы славнымъ днемъ 19 Февраля начался для народа новый, нескончаемый рядъ впечатлѣній, все болѣе и болѣе просвѣтительныхъ и смягчающихъ. Пусть наконецъ, послѣ того долговременнаго застоя, въ какомъ находилось у насъ дѣло христіанскаго просвѣщенья народа чуть ли не съ самой Татарщины, — пусть живо и дружно пойдетъ оно наконецъ, пусть дастся народу рѣшительная возможность и вчитываться, и вдумываться свободнымъ и здравымъ своимъ умомъ въ «великую книгу евангельскую», и пусть, при развивающемъ свѣтѣ *знанія*, онъ съ усугубленною, быстро-развертывающеюся силою продолжаетъ вырабатывать самъ *для* себя и *для насъ* тѣ общія образовательныя начала, въ развитіи которыхъ только и заключается прямое и настоящее наше служеніе человѣчеству. И такъ, забота о широкомъ просвѣщеніи нашего, пока еще только въ безыскусственномъ эпосѣ мыслительно выразившагося, но уже ярко выразившагося народа должна быть для насъ и первѣйшей и самой насущной задачей,—единственнымъ надежнымъ ключомъ къ разрѣшенію всякихъ вопросовъ,—и *славянскаго* въ томъ числѣ.



# ПРИЛОЖЕНІЕ.

## УЗНАНІЕ.

### ГРЕЧЕСКАЯ ПѢСНЯ ПРО БОЙ ОТЦА СЪ СЫНОМЪ

*(въ переводѣ Г. С. Дестуниса).*

Грабятъ Саракины, грабятъ Арменины, грабятъ они Андроника, увозятъ его женушку; тяжела по девятому мѣсяцу, на послѣднихъ порахъ. Въ тюрьмѣ его родила, въ оковахъ кормила. Мама-то прикармливаетъ мякоткой съ молокомъ; эмириха прикармливаетъ мякоткой съ медомъ. Мама-то молвитъ отселѣва: «Охъ сынъ ты мой да Андрониковъ!» Молвитъ эмириха оттолѣва: «Охъ сынъ ты мой да эмира своего!» — Ко году берется за саблю, ко двумъ годамъ за копье, три года минуло — держится молодцомъ. Какъ выйдетъ, какъ разговорится, никого не боится, ни Петра Фоки, ни Никифора, ни Петротрахила, отъ котораго дрогнетъ земля и цѣлый свѣтъ а будь война праведная, то и Константина не побоится. Привели его вороного: вспрыгнулъ и сѣлъ на него, угодилъ его шпорой, на гору въѣхалъ, и тамъ нашелъ Саракиновъ, въ скачку скачутъ. «Въ этакую то скачку и бабы скачутъ, не то что порожнія, а беременныя; нашихъ вороныхъ счетомъ девять, да мой одинъ, — будетъ десять! Ну, свяжите, скрутите меня тройною цѣпью; да зашейте мнѣ глаза тройною ниткой; да прицѣпите подъ мышки свинцу три кандара; закуйте мнѣ ноги въ два желѣзныхъ кляпца: поглядите каково скачутъ паликары Ромеи!« — И связали его, скрутили тройною цѣпью; прицѣпили подъ мышки свинцу три кандара, заковали ноги въ двойные желѣзные кляпцы; а сдѣлавши это ему, Саракины сказали: «Нукась ты глупой—недоросточекъ, — только отъ груди отнятъ,— коли есть въ тебѣ такова прыть, ступай на волю!» Какъ тряхнулъ онъ руками обѣими — надорвалась цѣпь; какъ тряхнулъ подъ мышками—свинецъ упалъ; какъ прыгнулъ онъ дважды — сорвалися и кляпцы: а изъ девяти вороныхъ на своемъ очутился; шпорой угодилъ его, въ поле выѣхалъ. «Сынъ мой, молвила мать, сынъ мой, повторила; сынъ мой, коли ѣдешь ты къ государю-батюшкѣ своему, ставь, чтобъ я тебѣ сказала: «Какъ у всѣхъ-то шатры алые, а у государя у батюшки твоего—чорный; не поклянутся тебѣ трижды— ни за что не спѣшивайся!» — Какъ сказала ему, какъ посовѣтовала, такъ онъ и сдѣлалъ.

Далъ шпоры во второй разъ —спустился въ поле и видитъ: шатры алые, а у государя у батюшки чорный. Туды глядь, сюды глядь, не найдетъ дверей. Крѣпко ударилъ коня и очутился внутри. Андроникъ отецъ вышелъ разгнѣванъ, слѣзть попросилъ, спрашивалъ-переспрашивалъ. «Ну-ка ребенокъ,—недоросточекъ, откуда ты родомъ-племенемъ, откуда родители твои?»—Коли не поклянешься трижды, не спѣшусь я.—«Какъ вытащу я саблю, — вотъ тѣ и клятва моя».—А вытащишь ты саблю свою,вѣдь и у меня своя есть.—«Возьму жь я копье свое, вернуму спѣшиться».—Коли возьмешь ты копье свое, вѣдь и у меня свое есть.—«Саблею, которою я опоясываюсь, десять разъ клянуся: пущай мнѣ въ сердце воткнется,коли тебя разобижу!»—Повернулся на цыпочкахъ и спѣшился съ вороного на землю. Тогда распросили его, откуда онъ родомъ-племенемъ, откуда родители? А онъ признался съ начала же и сказалъ: я сынъ, молъ, Андроника, захваченный Аравитянами, родился въ тюрьмѣ, воспитанъ въ цѣпяхъ. Андроникъ видитъ его, заливается слезами, подымаетъ на руки, славитъ небеса. — «Славлю тебя, Всеблагій, свящу имя твое: одинъ одинешенекъ оставался я, а конече опять воздохнулъ!» — Скоро звалъ попа, молебенъ заказывалъ, раздавалъ подарковъ множество воинству на поздравленіе; а сымалъ онъ знамя чорное, алое подымалъ, уставлялъ шатеръ золотой, что забранъ изъ Крита.

---

*Прим.* Пѣсня эта, помѣщенная Вюдингеромъ въ его Mittelgriechisches Volksepos Лейпцигъ 1866 *), заимствована изъ одного изслѣдованія на греч. языкѣ Спиридона Замбелли, этимъ-же послѣднимъ взята изъ хранившагося въ Парижѣ запаса греческихъ пѣсень, собранныхъ нѣкогда Форіелемъ, въ печатный сборникъ котораго, почему-то, пѣсня эта не вошла.

*) Выше на стр. 41—опечатка: 1861 г.

# ДОПОЛНЕНІЯ И ПОПРАВКИ.

Къ стр. 209. Время написанія Зендъ-Авесты относится къ VII в. (въ текстѣ—погрѣшность: VI в.) у Макса Дункера въ его Geschichte der Arier in der alten Zeit, стр. 520. Не признавая вѣрнымъ преданія, будто бы Александръ Македонскій велѣлъ сжечь священныя книги Персовъ, и доказывая, что онѣ сохранялись, но только разсѣялись и разрознились, почему и пришлось ихъ вновь собирать и связывать въ цѣлое въ III в. по Р. Х. (а не возстановлять по преданію устному), Дункеръ вдается въ продолжительныя разслѣдованія касательно времени первоначальнаго ихъ написанія и наконецъ говоритъ: «so gelangen wir zu dem Schlusse, dass das zend Avesta in Ost-Iran etwa im siebenten Jahrhundert vor Christus in seinen wesentlichen Stücken zusammengestellt und zum beschluss gekommen sein kann»—Но надо замѣтить, что Шпигель въ своемъ переводѣ Авесты склоняется напротивъ того къ тому, чтобы отнести ея письменную редакцію ко времени Артаксеркса III, и никакъ не ранѣе, а до тѣхъ поръ, по его мнѣнію, вошедшее въ нее ученіе должно было сохраняться памятью.

Что же касается первоначальной основы, то сходство языка Авесты съ языкомъ клинообразныхъ надписей съ одной и языкомъ Вѣдъ съ другой стороны заставляетъ Шпигеля относить ее къ старинѣ до-исторической. Впрочемъ въ самомъ составѣ Авесты слѣдуетъ, по его мнѣнію, различать нѣсколько періодовъ. Древнѣйшее въ Авестѣ—вторая часть Ясны, а послѣ нея—Вендидадъ, откуда и заимствовано приводимое у меня сказаніе о золотыхъ земледѣльческихъ орудіяхъ. Въ Вендидадѣ, по Шпигелю, выражается еще первобытный порядокъ вещей». Das Volk war kaum aus dem Nomadenleben herausgetreten, der Ackerbau muss ihm noch als etwas besonders verdienstliches angepriesen werden» (Spiegel, Avesta I, 11, 13, 14, 44, 290; II, 213—214).

Къ стр. 217. Въ «Годичномъ торжественномъ актѣ Новороссійскаго Университета 30 Авг. 1869» помѣщена любопытная рѣчь И. С. Некрасова «о современныхъ задачахъ изученія древне-русской литературы». Здѣсь, въ числѣ приложеній, помѣщена выписка изъ «прѣнія живота съ смертью» по рукописи, до сихъ поръ остававшейся неизвѣстною и значительно древней—*XVI столѣтія* (Волоколамской библ., находящейся въ духовной Академіи Троицкой Лавры): «Самсонъ сильныи не богатыр ли былъ не силен ли был

такъ говорилъ еще было колце вземлю вдѣлано и яз бы всѣмъ свѣтомъ воротилъ да и того яз взяла» (говоритъ смерть, стр. 28).

Въ той же рѣчи г. Некрасова есть весьма умныя замѣчанія на счетъ вновь у насъ подогрѣтаго *ученія о заимствованіяхъ въ эпосѣ*. «Новые изслѣдователи вопроса о русскихъ былинахъ, говоритъ почтенный профессоръ, взяли готовую теорію, выработавшуюся на литературѣ рукописей и печатной, которыя переходятъ отъ одного народа къ другому очень легкимъ путемъ, и приложили ее къ произведеніямъ народной поэзіи, не полагая тутъ рѣшительно никакой разницы. Для нихъ представляется легкимъ, что Русское племя.... могло цѣлою массою народа принять множество чужихъ легендъ и преданій, за которыя этотъ народъ ухватился, какъ за единственное свое поэтическое достояніе, облекъ ихъ самими коренными своими словами, выразилъ ихъ въ самыхъ характеристическихъ своихъ выраженіяхъ и самой національной формѣ стиха.... Изслѣдователи забываютъ, что Новгородъ имѣлъ довольно значительныя торговыя связи съ западной Европой, а между тѣмъ не подарилъ русской земли ни былинами, передѣланными изъ поэзіи древне нѣмецкой, ни значительнымъ количествомъ легендъ католическихъ, и т. д. (стр. 5 и 6)... «Новые изслѣдователи удивляются, почему наши былины не представляютъ *влюбленія*, *мукъ любви и ревности*, словомъ, того романтизма, который принадлежитъ уже поэзіи искусственной. Они удивляются, что въ нашихъ былинахъ нѣтъ описаній природы, занимающихъ значительное мѣсто въ произведеніяхъ поэзіи искусственной, тогда какъ это отсутствіе описаній природы и составляетъ одну изъ важныхъ чертъ, которыми отличается самородная поэзія народа близкаго къ природѣ, обращающагося къ ней съ практической стороны и неумѣющаго еще ее идеализировать (стр. 7).

# УКАЗАТЕЛЬ
## РАЗЛИЧНАГО РОДА ЭПИЧЕСКИХЪ ДАННЫХЪ.

И

# УКАЗАТЕЛЬ ИМЕНЪ.

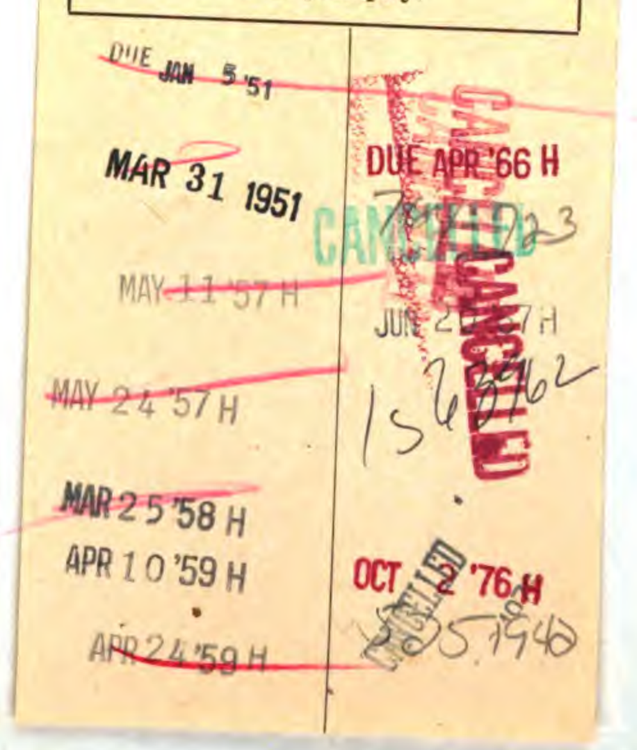
# ВАЖНѢЙШІЯ ПОГРѢШНОСТИ

| Стран. | Строки. | Напечатано. | Читай. |
|---|---|---|---|
| VI. | 17 | цѣлью пересказовъ | цѣлью сличенія пересказовъ |
| XXIV | 27 | богатои айметив | богато найметия |
| 3 | 1 | съ | въ |
| 6 | 22 | нервичной | первичной |
| 8 | 9 | стремящуея | стремящемуся |
| 15 | 14 | былинамъ | былинахъ |
| 35 | 8 | —задѣли | —дѣли |
| 39 | 5 | сладу | складу |
| 46 | 20 | слова | слава |
| 58 | 5 снизу | и Анъ | Анъ |
| 59 | 3 | Скадинавія | Скандинавія |
| 59 | 5 | Die leib | Dietleib |
| 59 | 19 | зависнстую | завѣснстую |
| 90 | 14 | какого | такого |
| 100 | 36 | серочка | сорочка |
| 107 | 9 | chonicon | chronicon |
| 107 прим. | 1 снизу | Q ıedlingburgeuse | Quedlingburgense |
| 115 | 5 | Илазака | Ильзана |
| 117 прим. | 5 снизу | 103 | 101 |
| 117 прим. | 3 снизу | 105 | 103 |
| 118 прим. | 2 снизу | 194 | 104 |
| 119 | 2 | чародѣйской | чародѣйкой |
| 132 прим. | 3 снизу | 144 | 145 |
| 142 прим. | 1 снизу | 1838 | 1858 |
| 144 прим. | 5 снизу | Соnодевы | Сомадевы |
| 149 прим. | 3 снизу | смотея | смотря |
| 153 | 6 снизу | бытъ | быть |
| 158 | 5 | нослѣдіе | наслѣдіе |
| 160 прим. | 2 снизу | ὦκός | ὠκύς |
| 166 | 28 | Святого а | Святогора |
| 167 | 20 | остотрительно | осмотрительно |
| 173 | 23 | значеніо | значенію |
| 177 | 7 снизу | встрѣтилили. | встрѣтили |
| 183 прим. | 1 снизу | росія | роса |
| 190 | 22 | qnos incuqos | quos incubos |
| 200 | 27 | рѣки | рѣкъ |

| Стран. | Строки. | Напечатано. | Читай. |
|---|---|---|---|
| 203 | 1 | Волгà | Вольгà |
| 206 прим. | 3 снизу | 36—57 | 36—37 |
| 207 | 8 | презднующіе | празднующіе |
| 207 | 15 | Сандау | Ландау |
| 207 | 34 | обязательство, что | обстоятельство, что |
| 208 | 4 | дродами | родами |
| 213 | 12 | должи | должно |
| 218 прим. | 1 снизу | Б. | В. |
| 220 | 5 снизу | доолняеся | дополняется |
| 226 | 4 | eavnuerunt | evanuerunt |
| 226 прим. | 5 снизу | Язіономъ | Язономъ |
| 230 | 4 | det | dei |
| 233 прим. | 2 | свою | свою |
| 235 | 3 | 185 | 135 |
| 240 | 1 снизу | ри | три |
| 241 | 10 | выще | выше |
| 262 прим. | 2 снизу | жб | же |
| 285 прим. | 1 | громовника | громовникъ |
| 285 прим. | 1 | Бек- | Бен- |
| 287 | 11 | жувуть | живуть |
| 287 прим. | 2 | Карши | Кирши |
| 294 | 1 | гооорится | говорится |
| 306 прим. | 1 | 196 | 106 |
| 319 | 26 | зажанье | сажанье |
| 432 | 17 | Соловешко | Соловешко |
| 336 | 11 и 12 | строчки въ обратномъ порядкѣ. | |
| 337 | 1 снизу | несильственнаго | насильственнаго |
| 337 | 26 | добролькое | добровольное |
| 343 прим. | 4 снизу | откѣчаетъ | отвѣчаетъ |
| 343 прим. | 3 снизу | Но | но |
| 361 | 24 | по окнамъ | по окна |
| 367 | 4 снизу | — премѣвно | — премѣнно |
| 369 | 5 | у Чесовая | Чесовая |
| 369 прим. | 3 снизу | впередъ | наперед |
| 369 прим. | 1 снизу | пересказ | пересказъ |
| 371 | 3 | приказъ | признакъ |
| 373 | 23 | вероны | вороны |
| 388 прим. | 3 снизу | турилу | Чурилу |
| 398 | 5 снизу | приставляемымъ | приставляемыхъ |
| 399 | 5 | коня | корня |
| 399 | 7 | Uerbrennen | Verbrennen |
| 402 | оглавленіе | пантры | тантры |
| 406 | 32 | слышла | слышна |
| 411 | 3 снизу | принимать | принимать |
| 414 | оглавленіе | князь | казнь |
| 417 | 8 | Ѳебу | Фебу |
| 416 прим. | 2 | Владиміра | Владиміровна |
| 432 | 20 | поминальую | поминальную |
| 427 прим. | 2 снизу | —ушкина накаданьица | — тушакка, наказаньица |
| 433 | 5 | соглашенъ | совасенъ |
| 434 | 32 | гнѣздящимися | гнѣздящимися |
| 439 | 4 | принадлещаею | принадлежащею |

| Стран. | Строкъ. | Напечатано. | Читай. |
|---|---|---|---|
| 447 | 31 | но | на |
| 456 | 9 | удивитеаванаго | удивительнаго. |
| 459 | 36 | но | на |
| 461 | 35 | наченіе | значеніе |
| 465 | 1 | Потыкомъ | Потыкъ |
| 471 | 1 | невнакомый | незнакомый |
| 477 | 30 | добову | дубову |
| 478 прим. | 2 | перескакѣ | пересказѣ |
| 484 прим. | 5 | — prao | — paro |
| 497 | 14 и 20 | Алкиноя | Навзикая |
| 503 | оглавленіе | Рутеяну | Бутеяну |
| 514 | 12 | щелкулъ | щелкнулъ |
| 515 | 14 | лученышное | лучонышко |
| 516 | 18 | день | дань |
| 517 | 3 | въ этомъ лукомъ | съ этимъ лукомъ |
| 518 | 16 | но | по |
| 519 | оглавленіе | нылъ Добрыневи | пылъ Добрыни |
| 534 | 2 | конечаое, | конечно, |
| 534 прим. | 9 | яогатыря | богатыря |
| 536 | 32 | живѣ | живѣе |
| 537 | 1 снизу | —жется | кажется |
| 550 | | примѣчаніе подъ № 169 должно быть поставлено вмѣсто примѣчанія подъ № 168. | |
| 564 | оглавленіе | Чирилы | Чурилы |
| 588 | 37 | на | но |
| 590 | оглавленіе | Дока | Дюка |
| 598 | оглавленіе | чурюлы докалѣ | Чурилы Дюкомъ |
| 607 | 11 | Илья | Дюкъ |
| 609 прим. | 6 | намъ | тамъ |
| 610 | 6 | то | на то |
| 610 прим. | 2 | то | но |
| 619 | 10 | бразомъ | образомъ |
| 620 | оглавленіе | Данилы | Данилу |
| 624 | оглавленіе | Зирка | Зюкка |
| 639 | 2 | боягарскихъ | болгарскихъ |
| 659 | 3 | съ | въ |
| 660 | оглавленіе | Саркадра | Старкадръ |
| 667 | 7 | Кей Куса! | Кей Кауса |
| 671 | 1 снизу | Бородицы | Богородицы |
| 673 | 5 снизу | Мотнголу | Монголу |
| 675 | 9 снизу | скочно | с кочко |
| 680 | 7 | donce | douce |
| 684 прим. | 2 снизу | спротахъ | сиротахъ |
| 697 | 21 | или | имъ |
| 738 | 10 | махича | мачиха |
| 761 | 6 снизу | не— | пе— |
| 808 прим. | 3 и 4 | consuctudinisest nee pradecessorum | consuetudinis est praedecessorum |





This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.
A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.
Please return promptly.
DUE JAN 5 '51
MAR 31 1951
MAY 11 '57 H
MAY 24 '57 H
MAR 25 '58 H
APR 10 '59 H
APR 24 '59 H
DUE APR '66 H
CANCELLED
JUN 2 '67 H
CANCELLED
OCT 2 '76 H
CANCELLED




Digitized by Google


3 2044 100 882 158